



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все примечания, комментарии и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>



СОЧИНЕНІЯ ГЛѢБА УСПЕНСКАГО

ВЪ ДВУХЪ ТОМАХЪ.

Съ портретомъ автора и вступительной статьей
Н. МИХАЙЛОВСКАГО.

ЧЕТВЕРТОЕ ИЗДАНИЕ Ф. ПАВЛЕНКОВА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Цѣна за два тома—3 рубля.

Простые переплеты—по 50 коп. Казенкорозы—по 1 р. Пересылка безъ переплетовъ—за 5 фунтовъ,
въ переплетахъ—за 6 ф.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Титулъ и оглавленіе напечатаны въ типографіи Ю. Н. Эрлиха. Садовая, № 9.
Текстъ въ типографіи Высочайше утвержд. Товарищ. „Общественная Польза“. Б. Подъячская, № 39.

1897.

ОГЛАВЛЕНІЕ ВТОРОГО ТОМА.

I.

ИЗЪ ДЕРЕВЕНСКАГО ДНЕВНИКА.

Стр.

1. Вниманіе къ деревнѣ.—Слѣзное Литвино.— Помѣщичій домъ и его владѣльцы старые и новые.—Баринъ и мужикъ.—Волость.—Бумажная точность.—„Безъ разговоровъ!“—Денегъ-денегъ!—Заработки.—Понравился господамъ.—Крестыанинъ Иванъ Аванасѣевъ.—Бабій заработокъ 1
2. Безъ газетъ.—Улица.—„Деревенское Обозрѣніе“.—Опытъ деревенской газеты.—Подати-подати!—Понукатели.—Упорщики и неплательщики.—Смерть мальчика.—Пріѣздъ доктора.—Учитель.—Лошадиная холка и красивый Петръ.—Деревенская тайна 34
3. Осеннія ночи.—Скука.—Кузнецъ.—Плутъ, а уменъ.—Разночинная гонимѣ.—Горькая участь.—Просвѣщенный мужикъ и его «ловкая» баба.—Опять мужикъ Аванасѣевъ пробоуетъ „выбраться“ 56
4. Деревенскій сторожъ.—Благословенныя мѣста и та же неурядица.—Душевное одиночество крестьянина.—Отсутствіе новыхъ деревенскихъ дѣятелей, понимающихъ новыя осложненія народной жизни 79
5. «Темный» деревенскій «случай» 94
6. Опять темныя осеннія ночи.—Воли и конокрады.—Убийство и оправданіе.—Біографія сироты Федюшки.—Мірской хорошій человекъ Иванъ Васильевъ 107
7. Буранъ.—«Дѣльный» разговоръ.—Совращенный старикъ.—Адское душевное состояніе.—Три деревни.—Трудно изгладить слѣды преступнаго права.—Подробности питейныхъ порядковъ 122
8. Какъ дорогъ для деревни «разговорчивый» человекъ.—Разсказъ объ одномъ добромъ чело-вѣкѣ.—Комтаны и міроѣды 149
9. Лечебникъ отъ всѣхъ болѣзней, помощникъ и указатель во всѣхъ житейскихъ бѣдахъ, несчастіяхъ и затрудненіяхъ 168

НЕПОРВАННЫЯ СВЯЗИ.

1. Лядины 179
2. Чудакъ-баринъ 185
3. Подгородный мужикъ 195

ОВЦА БЕЗЪ СТАДА 210

II.

МАЛЫЕ РЕБЯТА.

Стр.

Главы I—XII 241

БѢГЛЫЕ НАБРОСКИ.

1. Сонъ подъ новый годъ 291
2. Дѣловые люди 309
3. Джутовый мѣшокъ 319
4. На травѣ 328
5. Свокорыстный поступокъ 345

БОГЪ ГРѢХАМЪ ТЕРПИТЬ.

1. Маленькіе недостатки механизма 359
2. Опустошители 378
3. Подозрѣваемые 397
4. «Свои средства» 420
5. Отрадные явленія 427
6. «Съ человекомъ—тихо!» 433
7. Деревенская молодежь 439

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ.

1. Въмѣсто предисловія 443
2. Наконецъ, наши виноватаго! 465
3. Возмутительный случай въ моей жизни.
Опытъ опредѣленія «подлинныхъ» раз-мѣровъ и подлинныхъ свойствъ «русскаго сердца» 482
4. Подробности «возмутительнаго случая».—
«Намъ самимъ ничего не надо» 500

III.

КРЕСТЬЯНИНЪ И КРЕСТЬЯНСКІЙ ТРУДЪ.

1. Иванъ Ермолаевичъ 519
2. Общій взглядъ на крестьянскую жизнь 528
3. Поэзія земледѣческаго труда 536
4. Не суйся 544
5. Смагчающія вину обстоятельства 555
6. Къ чему пришелъ Иванъ Ермолаевичъ 560
7. Пастухъ 566
8. Мышка 572

	Стр.
9. Узы неправды	579
10. Результаты и заключенія	588

ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ.

1. Иванъ Восыхъ	591
2. Разсказъ Ивана Восыхъ	594
3. Разстройство	599
4. Власть земли	605
5. Народная интеллигенція	610
6. Земледѣльческій календарь	614
7. Теперь и прежде	618
8. Жадность	623
9. Прошлое Ивана Восыхъ	630
10. Земельные непорядки	640
11. Школа и строгость	642
12. Заключение	653

ИЗЪ РАЗГОВОРОВЪ СЪ ПРІЯТЕЛЯМИ.

1. Безъ своей воли	675
2. Мишаньки	690
3. «Интеллигентный» человѣкъ	701
4. По поводу одной картинки	703
5. Своимъ умомъ	709
6. Безпомощность	712

НЕ СЛУЧИСЬ	717
----------------------	-----

ПРИШЛО НА ПАМЯТЬ.

1. Встрѣча на Невскомъ	743
2. Сѣно	746
3. Работники	749
4. Варвара	754
5. «Изъ-за дрожжей»	761

IV.

СКУЧАЮЩАЯ ПУБЛИКА.

1. Мнѣніе фельдшера Кузмичева о современ- номъ обществѣ	769
2. Затрудненія купца Тараканова	785
3. Верзило	798

	Стр.
4. Трудами рукъ своихъ	814
5. Мечтанія	834
6. Побойще	853
7. Нѣсколько часовъ среди сектантовъ	879

ЧРЕЗЪ ПЕНЬ КОЛОДУ.

1. Захотѣлъ быть умнѣе отца	897
2. Хорошій русскій типъ	915
3. «Пинжакъ и чортъ»	932
4. «Перестала!»	960

О ЧЕРКИ.

1. Буржуй	977
2. «Дохнуть некогда!»	994
3. «Одинъ на одинъ»	1014

V.

ПИСЬМА СЪ ДОРОГИ.

1. Веселыя минуты	1025
2. Дополненія къ предыдущей главѣ	1050
3. Люди всякаго званія	1064
4. Метрошникъ	1079
5. Человѣкъ, природа и бумага	1097
6. Обиліе «дѣла»	1119
7. «Скучненько!»	1137
8. Мелкіе агенты крупныхъ предпріятій	1153
9. Рабочія руки	1161
10. «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая»	1169

ЖИВЫЯ ЦИФРЫ.

1. «Четверть» лошади	1187
2. Квитанція	1198
3. Дополненіе къ разсказу «Квитанція»	1205
4. «Ноль—цѣлымъ!»	1217

МИМОХОДОМЪ.

1. Паровой дыпленокъ	1235
2. Не все коту масленица	1245



ИЗЪ ДЕРЕВЕНСКАГО ДНЕВНИКА.

I.

Вниманіе въ деревнѣ.—Слѣпое-Литвино.—Помѣщичій домъ и его владѣльцы старые и новые.—Баринъ и мужикъ.—Волость.—Бумажная точность.—«Безъ разговоровъ!»—Денегъ—денегъ!—Заработки.—Поправился господамъ.—Крестьянинъ Иванъ Афанасьевъ.—Бабій заработокъ.

1.

Никогда русская деревня и даже просто «деревенская глушь» не пользовалась въ такой степени благосклоннымъ вниманіемъ образованнаго русскаго общества, какъ въ настоящее время. Одни, убѣдившіеся въ бесплодности своего интеллигентнаго существованія «въ одиночку», ищутъ или, вѣрнѣе, полагаютъ найти подъ соломенными крышами недостающее имъ общество, среди котораго и надѣются растворить остатки своихъ умственныхъ и нравственныхъ силъ (см. рассказъ «Овца безъ стада»). Другіе, напротивъ, полагаютъ найти подъ тѣми же крышами нѣчто совершенно новое, небывалое, спастительное чуть не для всего человѣчества, погибающаго отъ эгонистически направленной цивилизаціи. Третьи интересуются ею просто съ эгонистической точки зрѣнія, стремясь доподлинно знать, что именно можно взять у деревни для улучшенія своего интеллигентнаго существованія («Малые ребята»). Но вообще для каждой изъ заинтересованныхъ группъ совершенно ясно стало въ послѣдніе дни, что деревня начала играть значительную роль, и что мой карманъ, мой умъ, мой душевный міръ—все это какъ будто находится въ самой тѣсной связи съ карманомъ, умомъ и душой деревни. Оказалось, что пустота деревенскаго кармана опустошить и мой; темнота деревенскаго ума не дастъ хода и моему уму, довольно-таки просвѣщенному, а иное направленіе деревенскаго духа можетъ парализовать и въ одно мгновеніе уничтожить громадные жертвы и труды, страстно и безкорыстно направленные ко благу всего человѣчества. Когда во главѣ этой удивительной деревенской силы стояла помѣщичья власть, никто и не думалъ считать деревенскія соломенные крыши за нѣчто достойное вниманія. Нужно было одно: извлекать изъ этой соломы золото. И золото это являлось—стояло только барину дать приказъ бурмистру. Нужно было водворить гдѣ-нибудь цивилизацію, умиротворить, смирить и проч., и проч.—опять-таки стояло приказать: и мужикъ

соч. гл. успенскаго. т. II.

бѣгомъ бѣжалъ черезъ моря и рѣки, черезъ Балканы и Альпы, забираясь въ Парижъ, подѣзжалъ къ Англіи... Все было возможно въ ту пору по единственному мановенію... Но теперь, когда волшебный жезлъ изъ рукъ интеллигентныхъ переданъ самому мужику, когда онъ находится не у помѣщичьяго бурмистра, а у народнаго, волостного суда,—теперь настало время подумать и о деревнѣ, тѣмъ болѣе, что за полштофъ водки волостной судъ иной разъ можетъ и не пустить жезла въ ходъ, а тѣмъ самымъ неминуемо подвергнуть опасности и карманное, и нравственное спокойствіе образованнаго чело-вѣка. Необходимо поэтому знакомиться съ деревней, узнать, что въ ней есть, чего она хочетъ, о чемъ думаетъ и вообще что она такое.

Нижеслѣдующіе очерки ни въ какомъ случаѣ не имѣютъ претензіи отвѣчать обстоятельно на всю массу вопросовъ, возбуждаемыхъ русской деревней, потому что это дѣйствительно только бѣглыя, случайныя замѣтки чело-вѣка, такъ же какъ и огромное большинство читателей, незнакомаго съ деревней и только теперь сознаващаго необходимость этого знакомства. Кромѣ того случайныя наблюденія этихъ замѣтокъ относятся къ извѣстной только мѣстности, Новгородской губерніи,—къ извѣстной деревнѣ, съ которыми пришлось пишущему эти строки познакомиться въ извѣстное время, именно лѣтомъ 1877 года. Дѣлать поэтому какіе-нибудь общіе выводы относительно вообще положенія деревни и тѣмъ болѣе относительно *народнаго* духа и міросозерцанія—будетъ невозможно.

При большомъ досугѣ и внимательности къ дѣлу, деревенка, о которой идетъ рѣчь, могла бы дать обильный и богатый матеріалъ, освѣщающій многое-множество смутныхъ представленій о русской дѣйствительности, такъ какъ въ ней счастливо соединились всѣ нравственные и экономическія черты, отличающія наше переходное время: она знакома и съ желѣзной дорогой, которая проходитъ недалеко, и съ заработкомъ, благодаря дорогѣ, на чужой сторонѣ, и съ барининомъ совершенно новаго, коммерческаго, даже прямо кулацкаго типа (арендаторомъ), словомъ—знакома съ возможностью хлопотать и биться для себя, для улучшенія своего положенія и въ то же время твердо помнить времена крѣпостного права въ лицѣ коммерсанта-барина. Есть тутъ старые старики,

для которыхъ теперешній мужикъ—распутникъ и пьяница, которые ропшутъ и на папирски, и на высокие смазные сапоги, и вообще на всѣ порядки, повторая при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ: «а отчего?—оттого что волю дали! страху нѣту». Есть и молодые, которые какъ будто чуть-чуть задумываются надъ вопросомъ: «да почему же въ самомъ дѣлѣ непременно нужно такъ много страху?» Есть старухи, которыя, слышавъ о «некрутчинѣ», впадаютъ въ какой-то трагическій экстазъ, ходятъ какъ помѣшанныя, причитая и махая по вѣтру платкомъ и раздирая вамъ, постороннему человѣку, своимъ безпредѣльнымъ горемъ всю душу. И есть парни, которые не то чтобы рвутся въ эту некрутчину, а просто не считаютъ ея такимъ ужасомъ, о какомъ помнитъ старуха. Знаютъ эти парни, что служба коротка, харчъ хорошъ, а уйти... отчего-жъ и не уйти отсюда?... Словомъ, измѣненныя экономическія и общественныя условія въ положеніи мужика, измѣнившія—или по крайней мѣрѣ измѣняющія его нравственный міръ—могли бы быть наблюдаемы въ нашей деревенкѣ весьма успѣшно, еслибы, повторяю, былъ досугъ, т. е. не одно только дѣло, а годъ и два, и еслибы необходимой внимательности не препятствовала значительная личная отчужденность отъ деревни.

Запишемъ поэтому, что можемъ.

2.

Видъ деревенки самый обыкновенный. Холмистыя поля спускаются къ рѣчкѣ не широкой и не глубокой, въ которой будто бы въ прошлыя времена было «страсть сколько» рыбы. Теперь рыба перевелась; изрѣдка попадаетъ окунь въ четверть величины, да уклейка, занимающаяся съѣданіемъ червяковъ на удочкахъ и потомъ быстро убѣгающая. «Прежде были» язи, лещи. «Во какіе!»—показываютъ старожилы (тѣ самые, что говорятъ: «страху мало»), растопыривая руки на аршинъ. Щуки въ прежнее время попадались по три аршина и по два пуда вѣсу. Теперь ничего нѣтъ—ни язей, ни щуки; плотва иной разъ побалуеетъ мужика, а то больше все раки; да и раки-то не тѣ, что прежде, а маленькіе, корявые—«шутъ ихъ знаетъ, что за раки за такіе!» Подъ впечатлѣніемъ этихъ баснословныхъ разсказовъ о баснословныхъ язяхъ и щукахъ, современный деревенскій рыболовъ можетъ по пѣлымъ днямъ мучить себя, тщетно разыскивая по обонимъ берегамъ рѣченки «клевыхъ мѣстъ» и тщетно надѣясь на хорошій уловъ: рыбы въ самомъ дѣлѣ нѣтъ; а если и есть то она почему-то умѣетъ только съѣдать червяка и уходить.—«Видно и рыба тоже поумнѣла». невольно думаетъ современный рыболовъ: «какого веселаго червяка насадилъ—и то ничего! Въ прежнее время она бы его такъ не оставила—эво, какъ ротъ-то бы разинула, совсѣмъ бы съ нутромъ крючокъ тащить пришлось, а тутъ вотъ на-ко!.. И червякъ ея не веселитъ».

Веселый жирный червякъ въ самомъ дѣлѣ на-прасно пляшетъ на крючкѣ, на-прасно колитъ своимъ жирнымъ тѣломъ, отъ боли конечно (отъ это-

го-тоу денія его и называютъ «веселымъ»): «нѣтъ въ нонѣшней рыбѣ простоты, хитра стала и лукава»... Впрочемъ иной разъ внезапно, недуманно-негаданно, вдругъ въ безрыбную рѣчку забредетъ въ самомъ дѣлѣ какое-нибудь чудовище, какой-нибудь необыкновенный язь или какая-нибудь щука аршина въ полтора. Откуда являются такіа чудовища—рѣшительно никто не знаетъ, и хотя появленія ихъ рѣдки, года въ два—разъ, но зато вполне достаточны, чтобы слѣдующія поколѣнія такъ же твердо вѣрили въ необыкновенные уловы, какъ вѣрить въ нихъ и деревенская старина.

Берега рѣчки кой-гдѣ покрыты кустарникомъ, кой-гдѣ болотце и песочекъ, а на днѣ густая трава, которую большею частью и вытаскиваютъ, выѣсто рыбы, мужики, задумавшіе побродить (не раздѣваясь) съ бреднемъ. Въ рабочую пору въ разныхъ мѣстахъ рѣченки мокнутъ деревянныя бороны, перевернутыя длинными зубцами въ воду. Вообще рѣченка тиха, ничѣмъ не оживлена и молча, потихоньку течетъ въ тихихъ, молчаливыхъ берегахъ. Называется эта рѣченка Слѣпухой; а деревенка, лежащая по другой ея сторонѣ, называется Слѣпое-Литвино: тутъ, на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ стоитъ деревенка, по разсказамъ старожиловъ, ослѣпла Литва. Шла она несмѣтнымъ полчищемъ и, дойдя до этого мѣста, вдругъ ослѣпла и дальше не пошла.

Черезъ Слѣпуху перекинута новый земскій мостъ, и его бѣлые перила, бѣлыя новыя сваи невольно радуютъ васъ, говоря, что Слѣпое-Литвино не совсѣмъ забытая деревня, что кто-то помнитъ о ней. Съ середины моста открывается такой видъ: направо, на крутомъ пригоркѣ, среди густого березоваго парка, виднѣтся господскій домъ. Налѣво, по низменному берегу, виднѣтся, также изъ-за березокъ, красная крыша волостного правленія, соединеннаго съ несчастной деревенской «училищей», а подалѣе, въ привѣтливой зелени березничка, виднѣтся крылечко кабака. За этой передовой линіей построекъ, обитаемыхъ начальствомъ и интеллигенціей, тянутся жиденькія крестьянскія постройки, перемежающіяся плетнями, низенькими, почернѣвшими крышами амбаровъ и рѣдкими, въ двухъ-трехъ мѣстахъ, купами небольшихъ деревьевъ. Даже и издали трудно отыскать въ массѣ деревянныхъ построекъ хотя какія нибудь черты, которыя бы могли привѣтливо подѣлаться на глазъ. «Кое-какъ», «ничего не подѣлаешь» и другія положенія, выработанныя человѣкомъ, у котораго дѣла идутъ плохо, припоминаются даже вамъ, постороннему человѣку, при взглядѣ на деревенку. «Кое-какъ» покрыты крыши и солома на нихъ придерживается «кое-какъ» разбросанными по ней жерлями; «кое-какъ» сплетенъ плетень, «кое-какъ» держится крыльцо. Даже не приходится и въ голову смотрѣть на это олицетвореніе «ничего не подѣлаешь», какъ на видъ или на пейзажъ; только взглянешъ и думаешь: «какъ бѣдно живутъ-то эти литвиновскіе мужики!..» Не будь этого новаго моста, который говоритъ, что кто-то думаетъ объ этихъ глухихъ и

бѣдныхъ мѣстахъ, тутъ было бы такому постороннему деревнѣ челоѣку, какъ вы, читатель, какъ я, нестерпимо грустно и горько сразу, съ перваго дня по прїѣздѣ сюда... Унылый, бѣдный видъ деревеньки, эта задумчивая тишина, парящая въ ней, этотъ ничѣмъ не привлекающій вашего испорченнаго разнообразіемъ взора, упорный, однообразный и безпрестанный трудъ, держащій деревеньку на бѣломъ свѣтѣ,—все это, столь неподходящее къ вашимъ испорченнымъ вкусамъ, производило бы въ васъ гнетущее ощущение одиночества.

Но вотъ на ваше счастье мостъ — и хороший мостъ, — и ужъ вамъ легче. Его правильность и извѣстнаго рода изящность, старательность постройки и отдѣлки почему-то понятнѣе для васъ и веселѣе, чѣмъ унылый видъ деревни. Но это еще не все. Пройдя мостъ съ одного конца на другой и приближаясь къ крестьянскимъ постройкамъ, мы, опечаленные серьезно-задумчивою бѣдностью деревни, съ радостью встрѣчаемъ настоящую мелочную лавку съ настоящей выѣской: изображены на ней, по обыкновенію, фрукты, виноградныя кисти, маленькій китаецъ, а продается деготь, хлѣбъ, кнуты, возжи, лапти, ситецъ, двухкопѣечныя сказки и трехкопѣечныя папиросы — съ одной стороны — это для крестьянъ, и, съ другой, писчая бумага, почтовые марки и папиросы фабрики Петрова — для высшаго общества. Лавка эта выступила впереди изъ ряда крестьянскихъ домовъ, помѣстившись на самомъ бойкомъ мѣстѣ. Деревня у нея за спиной, направо господскій домъ, налево волость, кабакъ, а за волостью, въ разстояніи версты, — церковь. Кромѣ того, мимо нея бѣжитъ почтовая дорога на уѣздный городъ N.

По воскреснымъ днямъ лавка эта набита биткомъ; но изъ двадцати челоѣкъ, преимущественно женщинъ, присутствующихъ въ лавкѣ, покупають (купать или нѣтъ — это еще неизвѣстно) никакъ не больше двухъ. Остальные только смотрять, любятъ красивымъ видомъ ситцевъ, папиросныхъ обертокъ, трогать товары рукой, прикасаются пальцемъ. И унылой деревенькѣ хочется такъ-же чего нибудь повеселѣть; покрасивѣть, какъ хочется и вамъ, постороннему въ ней челоѣку. И деревеньку тоже тянетъ распрямиться иной разъ и освободиться на минуту отъ своей трудовой задумчивости и исполненнаго серьезной заботы однообразія. Но посторонняго, не-деревенскаго челоѣка, челоѣка, долго ждѣшаго въ городахъ, эта серьезная трудовая забота, вѣющая отъ всей деревенской обстановки, поражаетъ почти испугомъ. Ему тотчасъ нужно чего нибудь полегче, понисходительнѣе этихъ серьезныхъ впечатлѣній; ему хочется куда нибудь укрыться отъ нихъ, и ужъ онъ навѣрно, и безъ всякой надобности, прежде всего сунется въ лавку, если она есть, въ волость, къ «попу», въ господскій домъ... Онъ радъ будетъ встрѣтить нѣмецкій сюртукъ, хорошо запряженный тарантасъ, даже обертку знакомаго табаку. Такъ пугаетъ русскаго отторженнаго отъ народной жизни челоѣка подлинный видъ и смыслъ обыкновеннаго деревенскаго угла.

Вотъ какова существенная черта производима-

го деревеню впечатлѣнія. Эта трусливость передъ деревней слагается изъ внезапной усталости, одолевашей васъ (еще только чутьемъ понимающаго и только издали подавляемаго размѣрами деревенскаго труда), изъ страха, передъ вашимъ безсилимъ и, къ чести вашей, изъ капельки стыда.

— «Легче, легче!» подавленно впечатлѣніями вопіеть все ваше существо: «чего-нибудь не такъ просто-правдиваго, не такъ утомительно-яснаго, не такъ кротко и покорно стыдящаго васъ... Чего нибудь разнообразнѣе, пообильнѣе красками, чего нибудь, чтб бы не такъ правдиво и сильно дѣйствовало на васъ и такъ дерзко не поднимало бы вашей умѣющей «прилаживаться къ обстоятельствамъ» совѣсти».

Въ ряду такихъ облегчающихъ робкую интеллигентную душу пристанищъ первое мѣсто несомнѣнно занимаетъ помѣщичій домъ. Говорю на этотъ разъ не о томъ только помѣщичьемъ домѣ, который украшаетъ собою лѣвый берегъ Слѣпухи, но о помѣщичьемъ домѣ всѣхъ деревенскихъ угловъ Земли Русской.

Рѣдкое по истинѣ явленіе представляютъ эти разсадники отечественной аристократіи. «Чего-чего не было тутъ въ старые годы! Чего-чего не насмотрѣлись эти стѣны», подумается всякому размышляющему о русскомъ житѣ-бытѣ, а между тѣмъ въ десять-пятнадцать лѣтъ наидлиннѣйшія хроники наидревнѣйшихъ господскихъ домовъ заываютъ почти безслѣдно, не оставляя въ окружающихъ ни единого, маломальски опредѣленнаго воспоминанія, то есть не оставляя, послѣ своего долгодѣтняго процвѣтанія, почти ничего, чтб бы имѣло какую нибудь законность, смыслъ, соотвѣтственный этой законности явленія и соотвѣтственную имъ внѣшнюю форму. Всматриваясь въ длинную исторію помѣщичьяго дома, какъ нельзя лучше убѣждаешься, что въ однообразныхъ равнинахъ Русской Земли, въ однообразнѣйшихъ, все подводящихъ подъ одно, условійхъ естественныхъ нѣтъ возможности вытанцоваться, самостоятельно выдѣлиться изъ этого однообразія чему нибудь такому въ смыслѣ привилегированности, чтб-бы хоть капельку равнялось въ прочности привилегированности стараго европейскаго міра. Просторъ, то-есть въ буквальномъ смыслѣ «обиліе мѣста для всѣхъ», и сознание этого простора, сознание того, что «всѣмъ хватитъ», не даютъ возможности развиваться въ должной мѣрѣ тому азарту эгоизма, которымъ долженъ былъ жить «благородный» челоѣкъ. Я знаю, что у меня «можетъ быть» много, что у меня есть это многое; знаю, что со-временемъ оно будетъ мое — и я ужъ въ-половину покойнѣе, апатичнѣе переносу свое теперешнее затруднительное положеніе. А это сознаніе, что всѣмъ хватитъ, всегда жило и живетъ въ крестьяннѣ; оно и теперь помогаетъ крестьянину изо дня въ день тянуть свою лямку и позволяетъ ему быть иной разъ очень веселымъ въ самыхъ крутыхъ обстоятельствахъ. Оно было коротко знакомо и барину, который долженъ былъ чутъ, что только казенное право ограждаетъ его привилегированное положеніе, удерживаетъ за нимъ его тысячи десятинъ, и что безъ этого казеннаго огражденія рѣшительно нѣтъ никакихъ резоновъ имен-

но ему стоять выше послѣдняго мужика. такъ какъ и этотъ послѣдній мужикъ, никого и ничто не стѣсня, ни у кого ничего ровнешенько не отнимая, можетъ имѣть тѣ-же самыя тысячи десятинъ.

Именно у барина-то русскаго никогда и не было внутренней причины быть жаднымъ, воевать за свое привилегированное положеніе, потому что у него и враговъ-то не было никакихъ.

Въ высокой оградѣ своихъ казенныхъ правъ, онъ сидѣлъ одинъ, точно въ тюрьмѣ въ одиночномъ заключеніи, и положительно сходилъ съ ума. Кромѣ такихъ радостей, какъ въ самомъ дѣлѣ довольно хорошо разработанное служеніе ѣдѣ и «грѣху»;—что такое, хотя мало-мальски въ привлекательныхъ формахъ, осталось въ назиданіе потомству даже отъ періода такъ называемыхъ «настоящихъ» баръ?.. Изъ всѣхъ отрывочныхъ разсказовъ о прошломъ, которые уцѣлѣли въ воспоминаніи старожилонъ, вы услышите объ ужасныхъ звѣрствахъ возводимыхъ на степень удовольствія, объ ужасныхъ безчинствахъ противъ слабыхъ и безсильныхъ поповъ и чиновниковъ,—безчинствахъ, тоже имѣвшихъ цѣлью потѣху, развлеченіе, и волей-неволей увидите, что нашъ феодалъ не могъ выдумать ни удовольствія, ни потѣхи, ни развлеченія, мало-мальски похожихъ на развлеченія здороваго человѣка. Пороть и наслаждаться этимъ—надо быть больнымъ; приклеить попу бороду къ столу—надо быть пьянымъ; вывалить становаго въ дегтю и пуху и потомъ заплатить ему—затѣя человѣка и не трезваго, и не умнаго. Мало того, похоже ли на правду—быть другомъ человѣчества, человѣкомъ не описанной доброты, «хрустальной душой», и не сдѣлать такъ, чтобы объ этихъ дорогихъ качествахъ человѣческой души и мысли хоть единое словечко припомнилось народомъ, не говоря уже о реальныхъ фактахъ, которыхъ настоящіе, не больные чело-вѣколюбцы могли бы, при своемъ всемогуществѣ (по крайней мѣрѣ въ своемъ собственномъ углу), предъявить несмѣтное множество? Словомъ, не вдаваясь слишкомъ въ подробныя воспоминанія, касающіяся внутренняго содержанія и внѣшняго обличія старо-барскаго жителя-бытья, невольно убѣждаешься въ томъ, что мозгъ, умъ, сердце плохо и нездорово дѣлали свое дѣло въ этихъ обширныхъ, когда-то блистательныхъ господскихъ дворцахъ, и, напротивъ, что-то напоминающее расслабленіе мозга, вялость, упадокъ всѣхъ силъ, болѣзненнѣйшіе нервные припадки, характеризуетъ собою шумный періодъ боярскаго жита. Ничего похожего нѣтъ на ястребинъ образъ жизни голоднаго, но жаднаго европейскаго хищника, безжалостно рваваго куски изъ чужихъ рукъ и утаскиваваго ихъ въ свои орлиныя гнѣзда. Это—ястребъ. А нашъ баринъ—я и не знаю что такое. Сидитъ и объѣдается, съ-честь, отъ скуки заводитъ тяжбу, бьетъ направо и налѣво и всѣмъ за это платитъ. «колобродитъ», въ веселыя минуты хоронитъ осетра или опять-таки деретъ становаго, попа. Еще хуже баринъ-вольтерьянецъ, революціонеръ, собирающій оброки, продающій крестьянскія деревни на съозъ. Какому ястребу придетъ въ голову разсуждать о благѣ цы-

плять и въ то же время хватать ихъ? Ястребъ только хватается и ѣсть. Или:—какой голубь будетъ пожирать своихъ итенцовъ, какъ пожиралъ ихъ голубь-революціонеръ-баринъ, торговавшій крестьянами? Все это таяло въ себѣ неправду, все говорило о недостаткѣ внутренней сильной и резонной причины быть феодаломъ, баринномъ. Не было причины стать во враждебныя отношенія къ «черни непросвѣщенной», такъ какъ она и не думала враждовать. Ну, какъ-же, изъ чего, изъ какого матеріала выдѣлать свое барство при такихъ неблагоприятнѣйшихъ для неравенства условіяхъ?

Слѣпое-Литвино также, хотя очень и очень смутно, помнитъ это время «настоящихъ» господъ; но, кромѣ какого-то утомленія при улодѣ за этими капризными, больными и несчастными людьми, нѣтъ никакихъ прочныхъ воспоминаній объ этой знаменитой порѣ, нѣтъ ни прочной злобы на прошлое, нѣтъ и добраго о немъ слова. Сторожъ, прослужившій по необходимости лѣтъ двадцать-пять въ сумасшедшемъ домѣ, долженъ былъ, имѣ кажется, по окончаніи этой службы, точно такъ-же вспоминать ее, какъ вспоминаетъ мужикъ, т. е. утомленіемъ отъ этой возни съ людьми, которые не знаютъ, что дѣлаютъ, и бьютъ его, несчастнаго, и плюютъ, и ругаютъ, такъ, зря, безъ всякой причины, «ни за что».

3.

Но вотъ наконецъ этотъ шумный, жирный періодъ настоящаго барства кончился, оставивъ по себѣ кучи законныхъ и незаконныхъ ртовъ и наслѣдниковъ, мебель, пропитанную жиромъ человѣческимъ до того, что къ ней нельзя прислониться (непремѣнно прилипнетъ либо плечо, либо затылокъ), облупленные амуръ на потолкахъ, амуръ и «псища» по стѣнамъ, громадный процессъ въ судѣ и несмѣтную кучу долговъ. Разбрелись музыканты, разбрелись повара, разбрелись по свѣту законные и незаконные рты, убѣдившись, что надо искать другихъ кусковъ, такъ какъ «на всѣхъ» оставшагося не хватить. На весь этотъ порожденный праздностью, большою фантазійей и обжорствомъ людъ, въ самомъ дѣлѣ, приходилось такъ мало (если раздѣлить поровну), что для каждого рта было гораздо удобнѣе, ссылаясь на имѣющее получить богатство, занимать у перваго ротозѣя, чѣмъ въ самомъ дѣлѣ получать это богатство въ руки. Какъ съумѣли извертываться эти потомки доблестныхъ отцовъ—очень хорошо разсказываютъ намъ процессы, и мы не будемъ останавливаться на этомъ подробно. Неумѣніе дѣлать, неумѣніе думать и безсиліе не только побѣдить, но даже и бороться съ громаднымъ аппетитомъ изуродованной плоти—вотъ вообще характерныя черты, наслѣдованныя потомками.

Покуда разбрелся весь этотъ «обреченный» народъ, покуда онъ пристравивался такъ или сякъ къ разнымъ мѣстамъ и кускамъ, барскій домъ стоялъ одинъ-одинешенецъ, полегоньку опустошаемый невѣдомо какими людьми и быстро разрушаемый природой. Разрушались гrotы, мостики, моплезиры; отваливались деревянныя лиры и вѣнки съ кар-

пизонъ и бакановъ, и вѣтеръ вышибалъ стекла изъ итальянскихъ и венеціанскихъ рамъ. Долго стоялъ въ такомъ видѣ домъ. Наконецъ гдѣ-то послѣдовало какое-то рѣшеніе, гдѣ-то объявлена продажа—и домъ попалъ въ чьи-то новыя руки. Началась новая исторія новыхъ владѣльцевъ.

Владѣлецъ, послѣдовавшій за настоящими господами и барами, всегда почти не настоящій баринъ, а человекъ, *добившійся возможности жить по-барски*. Пишущему эти строки удалось видѣть довольно характерный экземпляръ такого «новаго барина». Съ ранняго дѣтства человекъ этотъ, происшедшій изъ мѣщанскаго семейства, зналъ нищету и нужду; лѣтъ съ десяти онъ уже сидѣлъ въ кабацѣ, съ пятнадцати—занималъ какую-то должность по откупу. По собственному его выраженію, онъ тридцать лѣтъ ходилъ «по горло въ грязи» въ откупныхъ подвалахъ, опавшая народъ безъ жалости и снисхожденія, отбиваясь взятками отъ судейскихъ, словомъ—вращаясь въ самомъ темномъ омутѣ самыхъ темныхъ условій русской жизни. Человекъ этотъ видалъ всякіе виды: и онъ «подводилъ», и его «подводили»; и онъ унекалъ, и унекали его. Гдѣ кулакомъ, простымъ ударомъ, коломъ, гдѣ деньгами, гдѣ обманомъ, проницательствомъ, хитростью вывертывался онъ изъ всякихъ положеній, затрудненій, и къ сорока годамъ вышелъ въ люди, то-есть сталъ одѣваться по-господски, ѣздить въ коляскахъ по губернскому городу и творить блудъ.

Ростъ, сложеніе и сила видѣннаго мною субъекта были громадны. Это по-истинѣ былъ исполинъ, человекъ, который въ 40-градусные морозы могъ править лошадьми безъ рукавицъ, причемъ руки не только не мерзли, но, напротивъ—отъ нихъ валилъ паръ, какъ отъ кипящаго самовара. Обильно покрывшія лицо и руки желто-синія веснушки и подстриженная жесткая, какъ проволока, рыжая борода, маленькіе сѣрые глаза въ бѣлыхъ рѣсницахъ—всегда выдавали его мужицкую породу, въ какіе бы костюмы онъ ни наряжался и въ какіихъ бы коляскахъ ни разъѣзжалъ. Это дѣйствительно и былъ мужикъ, попробовавшій быть и жить баринкомъ. Наблюденія его надъ русскою жизнью были необыкновенно тонки, жестки и непоколебимы. Господъ, владающихъ «нашими братьями», онъ понималъ тонко, выражался зло и мѣтко, какъ умный мужикъ. Осмѣивая и презирая то, отъ чего онъ отбился,—всю эту гадость сорока лѣтъ своей жизни, онъ, дѣлаясь баринкомъ, не только не былъ утомленъ жизнью, не только не усталъ, но, напротивъ—вошелъ въ самый аппетитъ жизни въ свое удовольствіе, радуясь счастьемъ положенія, въ которомъ можно смѣло сказать себѣ: «знать ничего не хочу, живу въ свое удовольствіе»... «Отпалъ» (собственное выраженіе гигаита) онъ мѣтніе и зажилъ по-барски... но, увы! нѣтъ у насъ особенныхъ формъ барской жизни. Ышь, пей, блудя: вотъ и все, что могла рекомендовать новому барину его предшественники. Какъ мужикъ, кулакомъ выбившійся въ люди, онъ никоимъ образомъ не могъ развлекаться вольтеріанствомъ или «плѣнной мысли раздраженіемъ». Что за чепуха! «Изъ му-

жиковъ только-только выбился, да опять въ мужики?»—ну, ужъ это извините! Ты *мнѣ* подай, а тамъ я знать не хочу...—сказалъ бы онъ всякому, кто бы сталъ учить его барскому поведенію. Земства и прочія общественныя обязанности онъ давно понималъ въ простой формѣ взноса денегъ и рѣшительно не имѣлъ охоты возматься со всѣмъ этимъ. «Слава Богу, видали на своемъ вѣку... довольно!...» Чего-нибудь *эдакого!*... хотѣлось ему, чѣмъ бы не напоминало прошлаго. И прошлое это отозвалось на немъ не однимъ презрѣніемъ къ людскому стаду.

Сознаніе горькаго горя этого прошлаго всей своей суммой отразилось на немъ по-мужицки, по русски—«запоемъ». Этой болѣзнью онъ разъ въ годъ страдалъ въ сильнѣйшей степени; но объ этомъ послѣ. Задача великана состояла въ томъ, чтобы жить въ свое удовольствіе, для себя и притомъ не по-мужицки.—«Нѣтъ ли чего получше?» Мгновенно идея великана была понята: домъ наполнился знаками не-мужицкаго препровожденія времени, и въ пять лѣтъ, по его собственному выраженію, онъ «проѣлъ» все мѣтніе...

На мой вопросъ, какимъ это образомъ можно въ такое короткое время «проѣсть» такую «прорву» денегъ?—гигантъ отвѣчалъ:

— Какъ продають-то?.. Наживать трудно, а проѣсть, прожить—это, сдѣлайте милость, сколько вамъ будетъ угодно.

— Ну, какъ же, какъ?

— Да вотъ какъ, напримѣръ. Теперь вотъ отъ моего дома до губернскаго города пятьдесятъ верстъ считается... такъ или нѣтъ?

— Такъ

— Ну, вотъ извольте потрудиться проѣхать эти пятьдесятъ верстъ не три или четыре часа, а примѣрно недѣльку или полторы... И, при всемъ томъ замѣтите, лошади у насъ первый сортъ—тройки призовыя... на эдакихъ лошадяхъ тридцать верстъ въ часъ—вотъ какая ѣзда, а мы ѣдемъ недѣлю или двѣ...

— Что же вы дѣлаете?

— Больше ничего, что ѣдемъ «въ свое удовольствіе»! Компанія насъ тутъ собралась питуховъ, лучше требовать нельзя,—ну, и... И у кабаковъ, и съ бабами, и подъ горкой, и на лужокѣ, и на горкѣ, и въ кусточкахъ, вездѣ, гдѣ полюбится,—остановки, закуски, пѣсни, да по рюмочкѣ, да пошлемъ за шампанскимъ, и такъ въ продолженіи всего времени—глядя—тысченки четыре-пятьтокъ и разсортировалъ въ разныя мѣста... Какъ проѣдали?.. Захотѣлъ только! Разъ изъ Москвы метлу привезъ... совершенно даже изъ поминаго ведрамета была эта, а спросите, во сколько обошлась,—и ахнешь...

— Зачѣмъ же метлу-то?

— Зачѣмъ? Фантазія—больше ничего!.. И не припомнишь всего-то, почему и что... Вступитъ вотъ въ башку—давай метлу-ли, чѣмъ ли... ну, и... Разъ тоже на свадьбѣ у одного богача, на обѣдѣ въ Тѣстовскомъ трактирѣ, въ Москвѣ, на столѣ на парадный вѣзъ, да такъ тряхнулъ всѣмъ корпу-

сомъ—на три съ половиной тысячи и набилъ за одинъ махъ стекла да хрусталу одного... Фантазія, ничего не подѣлываетъ!

Разговоръ нашъ происходилъ въ большой парадной залѣ. Но, увы! это уже были остатки всякаго великолѣпія и прошлаго, и нынѣшняго; гигантъ уже все проѣлъ и добивался продажи обѣдковъ, искалъ случая «всучить» ихъ кому-нибудь, даже отдавалъ домъ въ аренду за недорогую цѣну, въ полтора ста рублей (это и было причиною нашего знакомства). Парадная зала какъ нельзя лучше рисовала этихъ новыхъ «людей своего удовольствія». Весь полъ, выкрашенный когда-то масляной краской, былъ изожженъ обкурками папирсъ и сигаръ, очевидно въ изобиліи употребившихъ полъ четырехугольниками, свидѣтельствовавшими о варточныхъ или питейныхъ столахъ. Къ изображеніямъ амуровъ и психеи прибавились изображенія того же направленія, но попроще выражавшія мысль. Это были чуть не лубочныя картинки, изображавшія или исключительно голыхъ женщинъ, или что-нибудь близко касающееся того же предмета: жена застаетъ мужа, цѣлующаго кухарку; офицеръ спрятался за дверью, въ которую входитъ старикъ, очевидно мужъ; у кровати видны женскіе башмачки. Словомъ, полъ и стѣны говорили, что дѣлали люди, переломавшіе въ буквальный смыслъ всю мебель; теперь она не только липла, но валялась при каждомъ прикосновеніи; ни къ стулу, ни къ столу нельзя было прикоснуться: все распатано громаднымъ напившимся и наѣвшимися народомъ.

Разсказывая свои подвиги, великанъ былъ скупъ и задумчиво смотрѣлъ въ окно. Снѣгъ покрывалъ глубокими сугробами видѣвшіеся изъ окна балконъ, почти вырубленный садъ и сосѣдніе холмы.

— Вотъ тутъ былъ лѣсокъ, говорилъ по временамъ гигантъ какъ бы самъ съ собой, и въ это время разглядывалъ комнату. — Десять тысячъ взялъ... Проѣлъ! Тамъ вотъ... тридцать... Семь съ половиной—вонъ взялъ за кусокъ... та-аррошій-безрезничекъ!... Много тоже тамъ оставлено...

— А вѣдъ скучно вамъ, должно быть, отъ всего этого? спросилъ я.

— Неужто нѣтъ? Смерть какая тоска!

— Это теперь; а тогда?

— Да и тогда забирала, признаться, иной разъ, ужъ какая меланхолія!... Больше отъ нея и кутили-мутили... Подумаешь, подумаешь—все суета! Да такъ-то затоскуешь, такъ-то запечалишься... Прежде я запою—то цилъ со зла. Набьется въ душу разнаго гаду, разнаго пакостнаго составу—эхъ, идолю бы тебя взялъ—и рванешь все съ корнемъ, съ маху, мѣсяцъ прогоришь въ кипучей смолѣ—и опять готовъ, и опять пошелъ въ ходъ!... А тутъ безъ дѣла-то тоска, пусто, чистая смерть, слабость, ну, не знаю—хуже всякой муки! Ничего на душѣ нѣтъ... и не знаешь, за что прицѣпиться; не знаешь, какъ, *съ чего запой-то начать*.

И тутъ разсказалъ онъ мнѣ про пріѣзъ, который онъ употреблялъ въ такія минуты для того, чтобы «расчать» запой. Не находя въ себѣ ни въ чемъ, ни къ чему ни аппетита, ни влеченія, онъ

прибѣгалъ къ такому средству: вѣхалъ онъ обыкновенно для этого въ Москву, чтобы не опозориться въ губернскомъ или уѣздномъ городѣ, или даже въ деревнѣ, и тамъ, вставъ чѣмъ свѣтъ, шелъ въ кабакъ, первый, какой откроется по раннему времени, выбирая самое пьяное изъ московскихъ мѣстъ: Грачовку, Солянку и т. д. Въ такихъ мѣстахъ толпится всегда великое множество оборваннаго, безнечнаго народа, воровъ, пьяницъ и проч. Иные изъ нихъ цѣлую ночь мерзли на морозѣ, иные не ѣли, иные съ ума сходили отъ головной боли, и, трясаясь, ищутъ случая опохмелиться. Вотъ эту-то жажду выпить для тепла, для похмеля и разыскивалъ великанъ для того, чтобы можно было «расчать». Войдя въ кабакъ, онъ садился у двери, предварительно купивъ штофъ водки, и поджидалъ этихъ жаждущихъ... Горькій пьяница—первый посѣтитель кабака: стало быть ждать приходилось недолго. Всякій такой несчастный, войдя, начиналъ Христомъ-Богомъ молить цѣловальника дать ему выпить «ради Христа». Начиналась сцена, полная истиннаго ужаса: цѣловальникъ отказывалъ, а несчастный бился и мучился, и умолялъ... Эту сцену великанъ созерцалъ до тѣхъ поръ, пока одереветное воображеніе его хоть чуть-чуть начинало понимать мучительную несчастнаго жажду. Тогда онъ звалъ его къ себѣ и давалъ водки, страстно любуясь той жадностью, съ которой несетъ пьяница водку къ губамъ, проливая и боясь пролить, и еще пристальнѣе наблюдалъ самую минуту питья и слѣдующее за нимъ ощущеніе необыкновенной радости. На чужомъ примѣрѣ, на чувствѣ чужой жажды великанъ воскрешалъ въ себѣ самомъ ощущеніе этой жажды. Иной разъ нужно было извести до шести полштофовъ, перепоить десятки пьяницъ, чтобы въ горлѣ и во всемъ существѣ великана проявились вызванные воображеніемъ симптомы такой же самой страстной жажды! Такъ ослабъ онъ отъ жизни на барскую ногу. Прежде такихъ возбужденій не требовалось. Старухи пьяныя особенно сильно дѣйствовали на него, такъ какъ мученія ихъ были, по женской слабости, безпредѣльно сильнѣе мученія пьяныхъ мужчинъ. Послѣ двухъ-трехъ старухъ у великана захватывало горло, и онъ принимался «садить» на двѣ, на три недѣли. Въ такія минуты онъ пропивалъ не болѣе десяти рублей всего-навсего. Мужичкіе недуги недорого обходятся. Грабили его въ такомъ видѣ, убивали и не добивали несчетное число разъ; но Богъ хранилъ его, и до смѣху поръ онъ все еще, какъ говорятъ, «слава Богу».

Женать онъ втеченіи своей жизни три раза, при чемъ первая его жена была за нимъ «за третьимъ», вторая—за вторымъ, и только третья была дѣвушка, когда онъ ужъ успѣлъ быть два раза женатымъ. Отъ всѣхъ этихъ браковъ у него были дѣти; кромѣ того у каждой жены его тоже были дѣти отъ предшествовавшихъ великану мужей, и все это въ высшей степени разнообразное населеніе, включавшее въ себя дѣтей полковничьихъ, чиновничьихъ, купеческихъ, поповскихъ и т. д. до безконечности, кромѣ дѣтей, прижитыхъ, между прочимъ, и мужчинами, и дамами этого круга—все

это, благодаря великану, ставшему барининомъ, случилось, въ цвѣтущія времена житья въ свое удовольствіе, въ старыя покоящаго господскаго дома, одержимое ненасытною жаждою ничего-недѣланія и удовольствій. Благодаря широкому распутству великана, многое множество этого неизвѣстно зачѣмъ нарожденнаго народа навѣки погнѣло, подышавъ атмосферой ничѣмъ нестѣсняемаго скотства, и, разбредшись по лицу Земли Русской, послѣ того какъ великанъ «проѣлъ» всѣ свои «вольности» и угоды, — еще болѣе увеличило собой густой слой то наглой, то безпомощной жадности, который и безъ того довольно густо осѣлъ послѣ перваго періода жизни *барскихъ хоромахъ*.

4.

Не имѣя съ крестьянниномъ коммерческихъ дѣлъ, не имѣя официальной власти, не покупая или не продавая крестьянину, баринъ никоимъ образомъ не можетъ найти почти ни малѣйшей связи съ крестьянниномъ, и, покуда не съѣстъ съ нимъ двадцати пудовъ соли, едва-ли можетъ разсчитывать на искренность съ его стороны, даже въ самомъ простомъ, обыкновенномъ разговорѣ. У крестьянина прочно сложилось какое-то въ самую кровь вѣвшееся убѣжденіе, что баринъ *не понимаетъ ровно ничего*. Не понимаетъ «житейскаго», не понимаетъ того, что держитъ человѣка на землѣ, что заправляетъ его жизнью, душой и душой. Баринъ можетъ купить, потому что у него есть деньги; можетъ продать, потому что имѣетъ товаръ; можетъ заказать и заплатить за это; — словомъ, можетъ дѣлать все, что могутъ сами собой дѣлать деньги. И во время этихъ операций, вообще во время денежной связи барина съ мужикомъ, могутъ существовать между тѣмъ и другимъ поведенію довольно близкія отношенія, могутъ происходить «понятные» обоимъ разговоры, хотя и далеко не искренніе, никогда не допускающіе барина близко къ правдѣ своихъ мыслей и чувствъ. Но какъ только баринъ возмечталъ, основываясь на этомъ денежномъ знакомствѣ съ народомъ, продолжать это знакомство такъ, «просто», «какъ человѣкъ», какъ продолжаетъ всю жизнь быть знакомъ мужикъ съ мужикомъ, — тутъ конецъ всякой связи. — «Что-жъ можетъ значить баринъ безъ денегъ въ то время, когда онъ не заказываетъ, не покупаетъ и не пролаваетъ? Нешто онъ что понимаетъ?»

Прошлая исторія барина какъ нельзя лучше укрѣпляетъ въ воображеніи крестьянина убѣжденіе въ полной внутренней безсодержательности его, какъ человѣка. Усталость отъ его неразумныхъ капризовъ, коллобродствъ и т. д., словомъ, отъ всѣхъ проявленій большого господскаго тѣла и ума, — это утомленіе уничтожаетъ въ крестьянинѣ всякую охоту взглянуть на этотъ вопросъ съ какой-нибудь другой стороны, какъ-нибудь иначе понять барина. Переставъ быть заказчикомъ, покупателемъ, нанимателемъ или чиновникомъ, баринъ дѣлается для мужика *ничѣмъ* и съ ужасомъ принужденъ видѣть, что у послѣдняго нѣтъ и тѣни увѣренности, что съ этимъ существомъ можно имѣть хотя такія же частныя отношенія, какъ и съ своимъ братомъ-

односельчаниномъ. Необходимо дьявольское терпѣніе, продолжительное и настойчивое желаніе фактически, *на дѣлѣ* доказать пониманіе барининомъ простыхъ человѣческихъ отношеній, чтобы мужикъ началъ вѣрить, что и въ баринѣ сидитъ такой-же человѣкъ, какъ и въ немъ.

5.

Попробуйте напримѣръ зайти вотъ въ эту крестьянскую кузницу, которая дымитъ на соседнемъ пригоркѣ близъ дороги. Зайдемте поговорить съ крестьянами, посмотрѣть на работу, на трудъ, узнать, сколько онъ даетъ доходу, и т. д. У низенькой квадратной двери кузницы собралось нѣсколько крестьянъ. Одни изъ нихъ ждутъ своихъ подковъ, своихъ лемешей; другіе пришли, такъ-же какъ и вы, постоять, посмотрѣть, поговорить. До тѣхъ поръ покуда мы не приходили, у всѣхъ шелъ и дѣловой, и шутиливый разговоръ: и о работѣ говорили они, и о податяхъ, и пошутили надъ молодымъ парнемъ, только-что женившимся, и пожалѣли Ивана-мельника, у котораго такой-то мужикъ совсѣмъ отбилъ жену. Въ это время приходимъ мы съ вами. Намъ не нужно ни лемешей, ни подковъ; мы пришли *такъ*, какъ и два-три другіе крестьянина, стоящіе здѣсь-же. Но, увы! съ нашимъ приходомъ балаканье прекращается: «что вы тутъ понимаете? это не ваше дѣло». Пристать къ разговору, который только-что шелъ, намъ нѣтъ возможности. Намъ «ничего не нужно» — стало-быть и разговаривать съ нами не о чемъ.

Никогда никому изъ находящихся въ этой кучкѣ не придетъ въ голову, что вамъ «хочется» или «надо» просто поговорить объ обыкновенныхъ житейскихъ вещахъ; никто и не думаетъ подозрѣвать въ васъ какой-нибудь интересъ къ личному дѣлу крестьянъ и никто и не думаетъ интересоваться вашимъ личнымъ барскимъ дѣломъ. Что-жъ съ вами дѣлать? — «Угостите, баринъ, кузнецовъ-то! Право слово!» Другими словами: «что пришелъ-то? Хоть полштофа съ тебя, шатушаго, разгрысть»... Или еще хуже: — «Митрофанъ, представь штучку — баринъ тебѣ поднесетъ! доберъ баринъ-то!» «Ужъ да-аберь!» хоромъ подтверждаютъ другіе присутствующіе, явно играющіе комедію и рѣшительно не желающіе видѣть въ васъ человѣка. — «Баринъ! Что-жъ у него въ головѣ? Вѣрно какой-нибудь вздоръ! Представь ему, Митрофанъ, штучку — все намъ по стаканчику». Не подозрѣвая въ васъ никакихъ серьезныхъ желаній, компанія непременно «для васъ» (если только найдетъ достигнуть результата въ видѣ водки) начнетъ глупый скоромный разговоръ, и вы видите, что этотъ разговоръ именно для васъ, для барина, котораго интересуется только «разная мерзотина». Ничего подобнаго никто изъ нихъ не позволитъ себѣ съ своимъ братомъ-крестьянниномъ, который бы точно такъ-же пришелъ и сѣлъ у двери кузницы на камушкѣ. Поэтому, со-временемъ, вы добьетесь отъ нихъ человѣческихъ отношеній, если съумѣете понадобиться имъ безъ заказовъ и безъ денегъ. Но на это надо много времени и труда, а такъ, съ перваго раза, безъ заказа и покупки у васъ нѣтъ никакой связи.

Пошли вы по деревнѣ—это вы за бабами, за дѣвками. Говорить съ вами можно, только надѣясь на угощеніе, и только сальности и глупости. Переставая быть заказчикомъ и покупателемъ, баринъ, просто какъ человѣкъ, способенъ только на пустыя желанія и пустые поступки, словомъ—на что-нибудь такое, что не придетъ въ голову ни одному крещеному человѣку: вотъ первое впечатлѣніе, производимое на мужика бариномъ, когда онъ подходитъ къ нему «просто такъ», какъ «человѣкъ къ человѣку».

Эта черта крестьянскаго взгляда на барина ужасно горько отозвалась на третьей формациі владѣльцевъ барскаго дома, послѣдовавшихъ за проѣзжимъ все случайнымъ бариномъ или, вѣрнѣе, простымъ «ѣдакомъ». Возвращаясь къ исторіи великана, мы должны упомянуть о томъ, что желаніе его «всучить» свои объѣдки какому-нибудь дураку (буквальное выраженіе) исполнилось какъ нельзя лучше. Среди нарожденнаго барскимъ домою народа не все были червонные валеты и рты: были люди и другого типа, которые, не страдая ненасытностью аппетита желудка, не менѣе сильно страдали умственной жаждой. Именно страдали, болѣли: трудно быть здоровому, родившись въ этой жирной тюрьмѣ. Эти люди—имѣ-же нѣсть числа—поняли, что въ положеніи русскаго барина нѣту дѣла, нѣту жизни; что ее надо искать въ трудѣ, въ близости нищеты и невѣжества. Хорошая народная и именно русская черта русской души, не находившей никакихъ резонновъ для своей привилегированности, сказывалась въ этомъ направленіи мысли потомковъ барства. И вотъ началось движеніе «господъ» въ объятія «мужиковъ». Съ однимъ изъ такихъ-то людей и познакомился случайно великанъ въ губернскомъ городѣ, гдѣ-то въ трактирѣ. Расписалъ ему свои объѣдки въ человѣческомъ и минералогическомъ смыслѣ—и всучилъ.. Живетъ онъ теперь тихо въ Москвѣ съ маменькой, старой старухой, и маленькой дѣвочкой отъ послѣдней жены, и Бога благодарить, что не погибъ. Не та участь постигла барина, не хотѣвшаго быть бариномъ,—участь, постигшая не одного изъ людей, руководимыхъ такимъ-же нежеланіемъ барствовать и не могшихъ съ этимъ барствомъ раздѣляться. Да, никто изъ нихъ не хотѣлъ быть бариномъ, но все-таки бариномъ остался.

Впрочемъ интеллигентнымъ людямъ, стремящимся къ деревнѣ, нами будетъ посвящено нѣсколько особыхъ очерковъ, гдѣ читатель найдетъ болѣе подробный рассказъ обаринѣдва очерченнаго теперь типа.

6.

Волостное правленіе и кабакъ, лежащіе по лѣвую сторону моста, уже не производятъ такого веселаго впечатлѣнія, какъ лавка и господскій домъ. Вокругъ и внутри этихъ строеній царить, особенно въ кабацкѣ, мужикъ, и, вступая въ его царство, необходимо позабыть о всякомъ разнообразіи. Впрочемъ, чтобы переходъ отъ легковѣсныхъ впечатлѣній господскаго дома къ тяжеловѣснымъ впечатлѣніямъ деревни не былъ слишкомъ рѣзокъ и труденъ, мы постараемся облегчить его извѣстной постепенностью.

Два писаря волостного правленія, т. е. одинъ писарь, а другой его помощникъ, оба парни ражіе, молодые, которыми мы начинаемъ знакомство съ мужицкою жизнью деревни, своимъ наивнымъ—какъ наивны молодые толстыя дворяшки—видомъ навѣрное произведутъ на читателя благоприятное впечатлѣніе. Посмотрите, съ какою безпечностью валяются они по лавкамъ, сытно, до отвала пообѣдавъ у учителя (за четыре рубля педагога ухитряется кормить ихъ на убой и еще имѣть «пользу»!). Дѣло происходитъ въ довольно большой комнатѣ волостного присутствія. На стѣнѣ портретъ государя, въ простѣнкѣ между оконъ, выходящихъ на большую дорогу, двѣ-три кружки для сбора пожертвованій на разныя благотворительныя учрежденія, съ печатными при нихъ воззваніями; у одного изъ оконъ—столъ съ перомъ, бумагами, чернильницей. Солнце—двухъ-часовое, жгучее солнце—такъ и «жарить» въ оба окна, наполняя комнату стрипной жарой и полчищами мухъ. Но здоровенныхъ парней это не беспокоитъ. Одинъ, лежа на узенькой лавкѣ, подставилъ солнцу спину и только покрывалъ отъ удовольствія; а другой, на такой же узенькой лавочкѣ, ухитрился залечь на спинѣ, задрать разутыя ноги къ печному отдушнику. Оба они безъ сюртуковъ и безъ жилетовъ. Долгое время не происходитъ никакого разговора и не слышно ничего, кромѣ пытѣнія, выражающаго стремленіе отдуться отъ тяжкаго бремени ѣды.

— А что, съ разстановкой и полусонно произносить наконецъ писарь (человѣкъ, лежащій на спинѣ):—что у васъ... въ Болтушкинѣ... какъ насчетъ этого дѣла?..

— Насчетъ товару-то? лѣнивейшимъ тономъ переспрашиваетъ помощникъ (лежащій ничкомъ) и распускаетъ ноги, тоже босая, по обѣимъ сторонамъ лавки.

— Само собой...

— У насъ въ Болтушкинѣ—сколько хочешь...

Онъ потягивается, выгибая спину, какъ котъ.

— Ну?!

— Ну вотъ, стану я врать. Сколько хочешь, столько и есть...

— Какую угодно?

Помощникъ, помолчавъ секунду, даетъ отвѣтъ, такъ сказать, средняго направленія, необычайно лѣниво говоря:

— А то что же!.. Вотъ тамъ... разговаривать!... Это у васъ тутъ все тридцать да сорокъ, да полтинникъ... У насъ въ Болтушкинѣ этого нѣтъ... Шалишь, брать!.. У насъ этого баловства нѣтъ... Знакъ подай—и готово.

— Какой знакъ?

— Ахъ не знаешь? Маленькій ребенокъ, что ли, ты?.. Какой знакъ?—ну, мигнешь, пройдешься мимо, кашлемъ дашь знать... мало ли есть предметовъ...

— И готово?

— А то что-же еще разговаривать-то?.. Много будешь разговаривать, такъ это очень для нихъ жирно...

Все это произнесено беспечнѣйшимъ жирнымъ хрипомъ, приближающимся къ звукамъ простуженнаго горла.

— А кто въ Болтушкинѣ писаремъ?

— Аль разлакомился?... Хе-е, братъ!...

— Хе-хе-хе... Ей-ей, переведусь въ Болтушкино!...

— Хе-хе-хе... Ишь ты, котъ сибирскій какой!.. Поди, переведись... Утрутъ тебѣ носъ-то тамъ... Хе-хе-хе... Я шукну одно слово, поглядимъ, ухватишь ли. .

— Отчего жъ я-то не ухвачу? Ты хваталъ, а я нѣтъ?

— Я другое дѣло... я знаю споровку.

— И я знаю.

— Нѣтъ, не знаешь...

— Анъ, вотъ знаю.

— Ну, хорошо. Отвѣчай, какъ надо поступать, чтобы всакую заинтересовать?

— Деревенскую или благородную?...

— Все одно, сплошь...

Писарь молчитъ, взволнованный разрѣшеніемъ этой задачи.

— И не знаешь... а я знаю!

Помощникъ при этомъ садится.

— Ну, какъ же, чѣмъ?...

— Чѣмъ!—такъ я тебѣ и сказалъ...

— Нѣтъ, пожалуйста скажи!...

Писарь тоже вскакиваетъ съ лавки.

— Вотъ дурака напелъ, стану я секреты открывать...

— И всѣхъ?

— Всѣхъ до единой... Хоть графиня, хоть что...

Писарь бросается къ помощнику и начинаетъ его умолять.

— Ну, голубчикъ, ну, Ваня... скажи... я тебѣ...

— Нечего, нечего зась баловать!

Писарь принимается тормошить помощника, и оба они начинаютъ бороться посреди комнаты. Долго шуршатъ ихъ босые ноги по деревянному, покрытому высушенной солянкой грязью полу; долго раздается то тамъ, то сямъ грохотъ отскочившей лавки или стола, на которые налетаютъ эти юные силачи. Въ борьбѣ они забыли разговоръ, растрепались, раскраснѣлись—любо смотрѣть на парней. Ломая другъ друга то на одну, то на другую сторону, они только покрихиваютъ, не теряя веселаго расположенія духа. Ткнутый кулакомъ въ брюхо, писарь отскакиваетъ въ сторону, потирая больное мѣсто,—и бой оканчивается.

— Я, братъ, говоритъ помощникъ самоувѣрено:—и не такихъ свертывалъ въ комокъ.

— Эка! въ животъ-то пхнулъ...

— И ты пхай! Чего-же? Ну-ко, пхни-ко меня... На! Отскочу я или нѣтъ?

— Давай!

— На.

Помощникъ выпячивается впередъ.

— Ну, пхай!

Писарь дѣйствуетъ схибно, изъ-подъ-низу, такъ что и помощникъ отлетаетъ въ сторону.

— Нешто такъ можно, свинья ты этакая!

— Я ненарошно...

— Дубина этакая! ненарошно...

— Ну, прости, пожалуйста... Нешто я...

— Чортъ этакой... Дай-ко, я тебя такъ гвоздану, такъ ты у меня кубаремъ къ чорту на рога улетишь... Ты пхай въ животъ—нешто такъ можно?... Вотъ куда пхай!...

— Ну, давай...

— Ну, на!.. Да смотри, идолю, башку сверну...

На этотъ разъ три удара кулакомъ, направленные безъ схиства въ указанное мѣсто, не производятъ на помощника никакого впечатлѣнія.

— Ну бей, бей! приговариваетъ онъ.

— Да! говорить писарь.—Вспучилъ животъ-то!...

— Вспучилъ! Ну-ка, вспучь ты, погляжу я.. Ну-ка, становись...

— Ну, дуй!

Писарь раздуваетъ животъ елико возможно, но отъ одного удара, въ самомъ дѣлѣ, летитъ кубаремъ...

— Вотъ-те вспучилъ! приговариваетъ помощникъ.

— Свинья этакая... какъ хватилъ!...

— А! свинья!

— Чистая свинья...

— Нѣтъ, братъ, тебѣ до меня далеко!...

— Дубина!...

— Вотъ-те и дубина...

— Нѣтъ, вотъ какъ! оживленно заговорилъ писарь:—согласенъ такъ—давай?

— Какъ?

— А вотъ какъ... Я возьму палку...

— А я тебя ею тресну по башкѣ...

Начинается хохотъ. Въ это время отворяется дверь и показывается фигура учителя съ удочкой.

— Что вы тутъ гогочете, какъ жеребцы въ конюшнѣ?

Писаря едва могутъ унять.

— Куда это вы, Митрофанъ Петровичъ?

— Да вотъ хочу передъ чаемъ немножечко посядѣть. Авось къ ужину ушицу наберу... Будетъ баловаться-то, бери у Петьки уду—пойдемъ...

— Пойдемъ пожалуй, попытаемъ, отчего же! произноситъ лѣниво помощникъ, къ которому относятся эти слова.

— И я, прибавляетъ писарь:—отъ нечего дѣлать...

Одѣваютъ сапоги, запасаются табакомъ, спичками и отправляются рыть червей. Спустя десять минутъ, всѣхъ тронхъ, окруженныхъ ребятишками, помогающими надѣвать червей, можно видѣть на берегу рѣки. Каждый изъ ловцовъ выбралъ по тихому мѣстечку въ кустахъ и терпѣливо слѣдилъ за поплавкомъ. Тихо въ кустахъ, тиха вода и чудно хорошо и свѣжъ воздухъ. Ни одной тревожной, безпокойной мысли нѣтъ ни въ комъ, кромѣ сладкой тревоги въ ожиданіи минуты, когда рыба потянетъ крючокъ къ низу!

— И-ва-а-а-нычъ!... откуда-то далеко, по верхамъ густого кустарника, доносятся звуки визгливаго, очевидно женскаго голоса.

— Эй! кричить въ кустахъ помощникъ:—Скворцовъ! слышишь, что-ль?

— Чего?

— Какъ чего? Слышишь, зовутъ!..

— Гдѣ зовутъ-то? Только было клевать начала...

— Бу-у-ма-аага-а!

— Бумага! слышишь, что-ль... Пойдемъ!

Помощникъ и писарь бросаютъ удочки, такъ одинакожь, что поплавки остаются на водѣ, и уходятъ.

— Скорѣй, кричитъ имъ учитель.—Тутъ окунься—страсть!..

— Сейчасъ!

— Стадами ходить!..

— Приде-омъ!

Но на этотъ разъ имъ не пришлось скоро возвратиться назадъ: въ правленіи ожидалъ ихъ нарочный изъ уѣзднаго города, привезшій большой пакетъ съ надписью «экстренно-важное». Въ пакетѣ было распоряженіе о немедленномъ призвыѣ пополненія. (Записки относятся къ лѣту 1877 года.)

— Ого! сказали писарь и помощникъ, прочитавъ содержащіяся въ конвертѣ бумаги.

Приходилось немедленно садиться за работу.

7.

Ужъ не думаетъ-ли читатель, что я, вслѣдъ за изображеніемъ волостной идилліи, изображаю теперь сцену, въ которой баловники-писаря окажутся манкирующими своими обязанностями? Помня прошлыя времена, читателю можетъ представиться, что, несмотря на серьезность и важность полученной бумаги, писаря, увлекшіеся рыбной ловлей, спокойно положить ее подъ сукно, а сами отправятся опять на берегъ и, сказавъ себѣ насчетъ бумаги—«успѣется», будутъ преспокойно продолжать свои невинныя удовольствія. Нѣтъ, не приходится теперь говорить о сельскихъ и волостныхъ властяхъ ничего подобнаго. Времена стали не тѣ, и точность въ исполненіи своихъ писчебумажныхъ обязанностей въ настоящее время составляетъ самую видную черту деревенской жизни. Не разспрашивая и не задумываясь «почему», «зачѣмъ», писаря часа два скрипѣли перьями по бумагѣ, адресуя къ сельскимъ старостамъ приказанія явиться въ волость такимъ-то и такимъ-то крестьянамъ, вынужденнымъ рекрутскіе жребіи въ такомъ-то году. Не разспрашивая и не думая разспрашивать о причинѣ спѣшной посылки за старшиной, рассыльный гналъ свою лошадь въ сосѣднюю деревню, гдѣ жилъ старшина. И старшина въ свою очередь, услышавши, что пришла бумага, немедленно одѣлся и прибылъ въ волость. Точно такъ-же, «безъ всякихъ разговоровъ», два рассыльных поѣхали развозить по деревнямъ, для передачи сельскимъ старостамъ, написанныя писарями предписанія, а сельскіе старосты въ тотъ-же вечеръ объявили призываемымъ о томъ, чтобы завтра они шли въ волость, о томъ, чтобы такіе-то и такіе-то мужики приготовили подводы. И все это буквально «безъ разговоровъ» о причинѣ, безъ разспросовъ о томъ, куда и зачѣмъ погонять. Плачутъ конечно жен-

щины, матери, невѣсты; сапожникъ Петръ тоже жалѣетъ, что приходится бросить мастерство и за что ни попало продать инструменты; но ни у кого ни на единую минуту не мелькнетъ вопросъ: зачѣмъ и куда?—разъ приказаніе пришло изъ волости. На всѣ эти вопросы, зачѣмъ гонять и куда гонять, не отвѣтитъ никто—ни сельскій староста, ни волостной старшина, ни писарь. Да и никто изъ нихъ не спроситъ, или, вѣрнѣе, отвыкъ спрашивать и разбирать то, что приходитъ сюда въ деревню въ видѣ приказывающей, но никогда ничего не объясняющей бумаги.

Я три мѣсяца жилъ въ деревнѣ въ то время, какъ наши войска переходили Дунай, дрались, умирали, тонули, покоряли и покорялись. Три мѣсяца вся читающая городская Россія уже жила тревожными интересами войны, и втеченіе такихъ-то трехъ мѣсяцевъ я ни отъ кого, не исключая писарей, учителя, даже іерея, не слышалъ здѣсь ни единого слова о томъ, что дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Газетъ никто никакихъ не получаетъ, а въ городъ или на станцію никто не ѣздитъ: огороды, косяба, словомъ—хозяйство. «Собрать рекрутовъ призыва такого-то года...» «Пронести пріемку лошадей, выбранныхъ тогда-то и тогда-то»—вотъ что доходить въ деревню отъ самыхъ крупныхъ историческихъ событій, и, кромѣ этихъ официальныхъ требованій, вовсе ничего не говорящихъ о значеніи переживаемой минуты,—ничего, ровно ничего и никому не извѣстно, и ровно ни откуда не приходитъ въ деревню ничего такого, что бы показало значеніе этого призыва или покупки казною лошади въ общей картинѣ совершающихся событій. Человѣкъ, который черезъ недѣлю, черезъ двѣ будетъ защищать Шипку или Карсъ, или освобождать Болгарію, уходя изъ села, по совѣсти можетъ жалѣть только о томъ, что сапожные инструменты пришлось отдать за безцѣнокъ и что нескоро опять заведешь эти инструменты; но ни о Шипкѣ, ни о Болгаріи, ни о причинѣ, требующей его на защиту кого-то,—ничего этого ему неизвѣстно, никто объ этомъ ему не скажетъ ни единого слова, а главное—онъ самъ отвыкъ разспрашивать объ этомъ и узнавать.

Я бы сказалъ большую неправду, если бы сталъ утверждать, что въ этомъ «неразсужденіи» народа скрывается, положимъ въ данномъ случаѣ, охота идти въ бой и дѣтски-чистое желаніе постоять за правое дѣло. Нѣтъ этого ничего. Никто не знаетъ—зачѣмъ, въ чемъ дѣло, но всякій безпрекословно идетъ потому, что привыкъ идти, когда ему скажутъ: «иди»; привыкъ платить, когда скажутъ: «плати», и совершенно отвыкъ отъ «разговоровъ» на тему—куда? зачѣмъ? и почему? такъ какъ идея большого или маленькаго явленія, совершающагося въ общей жизни государства, никогда не доходила до деревни. Сюда являются только какія-то дребезги, если можно такъ выразиться, этой идеи, не дающія о ней никакого понятія—деревня никогда не знаетъ даже о причинахъ, влияющихъ прямо на ея экономическое положеніе, на ея карманъ.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, много-ли тре-

буетъ его *собственнаго разсудка* тотъ широкій кругъ общественной, государственной службы, которую несутъ крестьянинъ, и вы увидите, что въ этомъ отношеніи онъ не можетъ играть никакой роли. Онъ можетъ распредѣлить между своими односельцами цифру взимаемыхъ съ деревни денегъ, но самая цифра эта приходитъ ужъ готовая — «изъ города». Вычитано, что съ Слѣпого-Литвина приходится получить 1,082 руб. $\frac{3}{4}$ коп., и Слѣпо-Литвино разбиваетъ эту цифру на количество душъ. И такъ во всемъ. А всего этого куда какъ много проходитъ ежедневно чрезъ деревню, безъ всякой возможности съ какой-нибудь стороны найти кончикъ нитки, по которой можно бы было добраться до источника. Изволь тутъ развиваться, понимать и думать!

Такихъ-то вотъ общественныхъ обязанностей деревня нѣтъ, правду говоря, безчисленное множество. Ихъ разнообразіе и несвязность одного требованія съ другимъ хотя и отбили охоту у крестьянъ отъ общихъ взглядовъ и разсужденій, но занимаютъ въ крестьянскомъ обиходѣ громадное и главное мѣсто. Какимъ-то тяжелымъ клубомъ свернулись всѣ разнообразныя отрасли общественной службы въ сознаніи крестьянина, и, не распутывая этого клубка (такъ какъ распутать его почти не возможно), крестьянинъ опредѣлилъ его однимъ словомъ — «деньги». Вся куча повелительныхъ наклоненій низвергается въ деревенскую глушь въ видъ простого требованія денегъ и вообще какихъ-нибудь материальныхъ расходовъ, но денегъ, денегъ — главнымъ образомъ... Всякая, самая благороднѣйшая мысль, направленная на общую пользу, откуда бы она ни шла, дойдя до деревни, превращается въ простое требованіе денегъ. Проекты «оздоровленія», «образованія», «поднятія народной нравственности», «оживленія народа», словомъ, — всякая *благая* мысль, какъ только начала приводиться въ исполненіе, непремѣнно начинается въ какомъ-нибудь Слѣпомъ-Литвинѣ прямо со «взносовъ». Въ Петербургѣ, въ губернскомъ городѣ, въ уѣздномъ — идутъ разговоры, проекты, доказательства, пренія; слышны разныя, безспорно умныя слова: «развитіе», «улучшеніе», а въ Слѣпомъ-Литвинѣ, во имя этихъ прекрасныхъ прозетовъ и словъ, происходитъ только *раскладка*. Изъ такихъ словъ какъ: «образование», «развитіе», «улучшеніе», въ Слѣпомъ-Литвинѣ, невѣдомо какими образомъ, образуются совершенно другія и всегда грустныя слова: «по гривеннику», «по двугривенному», «по полтинѣ». И всѣ эти гривенники и полтинники вносятся «безъ всякихъ разговоровъ», а если и не вносятся въ должномъ количествѣ, то все-таки каждый старается заплатить, чувствуя, что за нимъ есть недоимка.

Обведя вокругъ Москвы кругъ, радіусомъ верстъ въ четыреста, мы получимъ мѣстность, въ которой положеніе крестьянина и направленіе его мысли въ общихъ чертахъ опредѣлится стремленіемъ «добыть денегъ», только добыть денегъ — больше ничего. Къ этому направленію крестьянской мысли начало присоединяться плохо опредѣляемое, но тяжело чувствуемое крестьяниномъ желаніе — уйти ку-

да нибудь, — желаніе какъ-нибудь полегче добывать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ. И это стремленіе уйти изъ сухихъ и жесткихъ условій крестьянской среды объясняется все тою же необходимостью добывать все больше и больше денегъ. Въ самомъ дѣлѣ, никогда крестьянину не приходилось такъ много платить наличными деньгами, какъ теперь. Платить хлѣбомъ, тальками, курами, поросятами, какъ онъ въ старые годы платилъ помѣщику, который все это могъ обуть оптомъ въ губернскій городъ или въ Москву, — теперь не приходится: ни куръ, ни холста, ни муки не возьметъ ни одно волостное правленіе; нужны чистыя деньги, кредитныя билеты, и вотъ этихъ-то чистыхъ денегъ и не откуда взять крестьянину, настоящему деревенскому мужику. Онъ чувствуетъ, что платить ему «надо»: объ этомъ никакихъ разговоровъ и сомнѣній нѣтъ; но платить нечѣмъ. Вышло такъ, что въ настоящую минуту нѣтъ крестьянскаго двора, по крайней мѣрѣ въ Слѣпомъ-Литвинѣ, о которомъ главнымъ образомъ и идетъ рѣчь, который бы не платилъ за двухъ — никакъ не меньше — душъ. Семь человѣкъ ратниковъ, ушедшихъ въ ополченіе, составляютъ вновь добавочный платежъ за четырнадцать душъ, разкладывающійся не болѣе какъ на пятьдесятъ человѣкъ работниковъ-мужчинъ. Къ Покрову непремѣнно необходимо представить эти деньги; нѣтъ сомнѣнія, что недоимка будетъ громадная (на 60-ти дворахъ Слѣпого-Литвина ея наросло уже 8,000 р.); но слѣпинскіе мужики, не зная, сколько придется выработать (тутъ тоже тѣма кропотливая), все-таки будутъ биться, стараться добыть деньги... Откуда и какъ-же они ихъ добудутъ?

На этотъ вопросъ всякій слѣпинскій мужикъ можетъ дать вамъ только такой отвѣтъ:

— Откуда!.. Вѣдь Господь милостивъ, батюшка... Человѣкъ всю жизнь бьется — все ничего, а вдругъ „и изъ палки выстрѣлить!“.

То-есть вдругъ, невѣдомо откуда и какъ, налетитъ на человѣка полтинникъ, рубль — и спасетъ его отъ бѣды.

8.

Здѣсь встаетъ сказать о самой послѣдней формации господскаго дома. Несмотря на то, что настоящій, колдобящій и капризничающій баринъ прошелъ, что прошелъ баринъ пожирающій и баринъ гуманничашій*), и только теперь, когда въ барскомъ домѣ поселился просто нѣмецкій кулакъ Клейнъ, барскій домъ сталъ заслуживать въ глазахъ крестьянина вниманіе и даже уваженіе... Да! Въ домѣ живетъ просто кулакъ, а крестьянинъ начинаетъ видѣть въ немъ нѣчто высшее, такъ какъ здѣсь — единственное мѣсто въ деревнѣ, откуда можно хотя изрѣдка, но все-таки получать чистыя деньги... Отцомъ и благодѣтелемъ становится этотъ какой-то Адольфъ Ивановичъ, содержавшій въ Петербургѣ домъ терпимости. Всѣ знаютъ это, но все-таки уважаютъ Адольфа Ивановича, и уважаютъ не только потому, что онъ даетъ хлѣбъ, давая работу, а и потому, что онъ сумѣлъ выбиться, вый-

*) См. разсказъ «Непорванные связи».

ти въ люди, въ помѣщики, тогда какъ былъ такой же мужикъ, какъ и всѣ. Это ужъ уваженіе интеллигентности, понятной крестьянину, поставленному въ необходимость выше всего почитать рубль серебромъ. Что Адольфъ Ивановичъ этотъ нажилъ деньги нечестнымъ путемъ—за то онъ самъ и отвѣтитъ, предъ Богомъ: это его дѣло; а главное—умѣлъ нажить. О его высшихъ качествахъ ума свидѣтельствуется также и то, что онъ не капризничаетъ безъ толку, не проѣдаетъ добра, не колобродитъ съ канзасами и дренажами, а просто обираетъ гдѣ только возможно, экономно и умно, запрягая этихъ-же самыхъ крестьянъ въ труднѣйшія работы, которыя стоили бы большихъ денегъ, если-бы Адольфъ Ивановичъ не былъ умнымъ и не сумѣлъ бы обыграть мужиковъ на водкѣ, словно на картахъ. Рѣшительно ни одинъ крестьянинъ не можетъ, то есть буквально не въ состояніи не уважать этого Адольфа Ивановича, какъ умъ, какъ талантъ, такъ какъ у каждаго крестьянина на плечахъ лежитъ та-же самая тяжелая задача—«добыть денегъ», которую Адольфъ Ивановичъ такъ блистательно разрѣшилъ. Есть между слѣпинскими мужиками просто влюбленные въ последовательность и неумолимую логику, съ которою Адольфъ Ивановичъ преслѣдуетъ свои цѣли. Вотъ примѣръ: у сосѣдней помѣщицы стала пропадать мука изъ амбара. Она приказала караулить своему приказчику; приказчикъ укараулилъ какого-то мужика, параннулъ его камнемъ и привелъ къ барынѣ. Нужно прибавить, что приказчикъ—человѣкъ тоже «энергическій» и тоже «последовательный».

Пойманный мужикъ сталъ просить помилованія, и барыня простила. Последовательный приказчикъ немедленно попросилъ расчета.

Я видѣлъ его, когда, по полученіи расчета, онъ отправлялся къ Адольфу Ивановичу просить мѣста. Рассказавъ исторію съ воромъ, онъ прибавилъ:—«Что-жъ это такое? Нешто можно такъ поступать? Опосля этого они (т. е. собственные-же его односельцы) и все будутъ таскать да въ ногахъ валяться... Нѣтъ, у Адольфа Ивановича этого нѣтъ: ужъ у него, братъ, разъ что сказапо—свато! Сказалъ: «бей!»—ужъ бей, постойтъ за тебя до послѣдняго слова; хоть къ мировому, хоть въ сенатъ—ужъ не отступится отъ своего... А это что-жъ такое?..

И такъ, не отступаясь отъ «своего», гони «свою» линію до послѣдняго предѣла, наживай гдѣ и какъ можно, отвѣтъ одинъ—Богу!.. Вотъ въ какихъ формахъ начинаютъ выясняться преимущества умнаго человѣка передъ глупымъ.

— Чистый дуракъ или чистая дура, скажутъ вамъ о томъ или другомъ помѣщикѣ или помѣщицѣ.—Такъ надо сказать—балалайка безструнная.

— Отчего такъ?

— Да какъ-же, помилуйте! кабы ежелибы онъ (или она) *свою пользу* понималъ, нешто-бы онъ сталъ такъ-то?.. А то судите сами...

И затѣмъ рассказывается исторія, изъ которой видно, что человѣкъ своей пользы не понимаетъ.

— И есть дуракъ! какъ-же не дуракъ-то?

Поживъ въ деревнѣ и ознакомившись съ неоспо-

римою важною рубля серебромъ, начинаешь соглашаться съ мнѣніемъ относительно людей, не понимающихъ своей пользы.

9.

Возвращусь однако къ разговору о средствахъ и путяхъ, какими можетъ быть добыта слѣпинскимъ крестьяниномъ кредитная бумажка. Словами «всю жизнь бьешься, и вдругъ и изъ палки выстрѣлить» опытный въ этомъ дѣлѣ крестьянинъ совершенно вѣрно опредѣляетъ полнѣйшую случайность въ возможности приобретенія рублей. И въ самомъ дѣлѣ, даже слѣпинскимъ мужикамъ, деревня которыхъ лежитъ на большой почтовой дорогѣ и въ десятиверстахъ отъ станціи желѣзной дороги, даже и тамъ кинь, относительно сказать, благопріятно поставленнымъ мужикамъ, почти невозможно опредѣлить, откуда именно грянетъ выстрѣлъ рублемъ, изъ какой палки.

Въ ряду такихъ случайныхъ заработковъ слѣпинскаго мужика, первое мѣсто все-таки занимаетъ заработокъ, даваемый бариномъ, на этотъ разъ бариномъ шальнымъ на «новыя деньги», деньги желѣзно-дорожныя, случайныя, пыльные. Отвѣсавъ въ Питерѣ концессію, схвативъ кушъ и просто-на просто «объѣвшисъ» купленныхъ столичныхъ утѣхъ, яствъ и питей, такой новый случайный баринъ чувствуетъ утробную жажду «воздуха», «снѣгу», «чернаго хлѣба», вообще деревни; и вотъ уже нѣсколько лѣтъ сряду, начиная съ половины или съ конца октября, въ Слѣпое-Литвино стали наѣзжать эти «господа» на охоту.

Каждый убитый такими охотниками заяцъ, по рассказамъ слѣпинскихъ мужиковъ, обходится господамъ не менѣе какъ въ двадцать рублей серебромъ—цифра баснословная, сумасшедшая, не имѣющая сравненія съ цифрами никакихъ заработковъ, требующихъ того же промежутка времени, что и пріѣздъ господъ. Благодаря этимъ охотамъ, въ крестьянскихъ домахъ Слѣпое-Литвина то и дѣло встрѣчаешь пустыя бутылки отъ шампанскаго, отъ рейнвейна и т. д. Такая черта господскихъ наѣздовъ въ деревню сулитъ еще множество постороннихъ заработковъ, влечетъ за собой другую серію услугъ, также всегда щедро оплачиваемыхъ. Явные и для всѣхъ видимые слѣды благосостоянія въ нѣкоторыхъ крестьянскихъ семьяхъ, начавшагося именно благодаря этимъ случайнымъ господскимъ наѣздамъ, заставляютъ всю деревню поголовно ждать этихъ наѣздовъ съ нетерпѣніемъ. Но вотъ бѣда: чтобы наѣздъ этотъ былъ такъ-же выгоденъ, какъ онъ оказался выгоднымъ для «умныхъ», надо умѣть примѣтить и поймать въ массѣ наѣзжающихъ, выѣстъ съ господами, прихотей и капризовъ—такую прихоть, такой капризъ, удовлетворяя который можно рассчитывать на вѣрную выручку. Въ этомъ вся штука: узнать человѣка, распознать, на что онъ «ходить», «ловится», и потомъ уже «бить въ эту точку». Тутъ, во время этихъ наѣздовъ, производится двойная охота: господа охотятся за зайцами, выслѣживаютъ волковъ и лисицъ, а мужики охотятся за господами и выслѣживаютъ ихъ капризы и прихоти. Трудна эта, надо сказать правду,

ухъ какъ трудна эта охота крестьянина за барининомъ! Выслѣживается его вся деревня, отъ мала до велика; каждому нужно найти свой кончикъ нитки и крѣпко держаться за него, а между тѣмъ никому неизвестна вообще конструкція господскихъ внутреннихностей; неизвестно, какъ, откуда и какими путемъ пойдетъ капризъ, съ котораго боку схватиться. Все это темно, покрыто мракомъ неизвестности. Правда, въ общихъ чертахъ крестьяне знаютъ, что изъ барина выйдетъ, если онъ не настоящій охотникъ, что-нибудь веселое и капризное, необъяснимое; но кто именно изъ этой толпы настоящій охотникъ, кто только бахвалъ, бабникъ, любитель скоромныхъ разговоровъ — это еще неизвестно. И вотъ тутъ-то и требуется страшная работа ума, къ несчастію рѣшительно не поддерживаемая болѣе или менѣе обстоятельнымъ знакомствомъ съ аппетитами, управляющими вообще господскимъ образомъ жизни. И попрежнему приходится полагаться на случай, на выстрѣлъ изъ пня.

— Вотъ Михайло Петровъ... Тотъ чѣмъ господамъ понравился? А попался ему, братецъ ты мой, купецъ съ Калашниковой пристани... Ну, только очень этотъ купецъ былъ сурьезенъ!.. Такъ сурьезенъ, что это даже ужаси! Думалъ, думалъ Михайло-то Петровъ, что тутъ съ этимъ сурьезнымъ купцомъ дѣлать... И такъ не выходитъ, и въ эту сторону тоже не беретъ.. А богатъ купецъ-то, отойти отъ него «такъ» — обидно! Ну, думаетъ Михайла, что будетъ! — и больше ничего, что сталъ ему угождать... Ничего не просить, чтобы тамъ на водочку или что, а такъ сталъ вродѣ какъ рабъ безсловесный... И впередъ-то его въ сугробъ забѣжить, по шею провалится: «не ходите, говорите, ваше сіятельство, глубоко тутъ, не въ это мѣсто идете»... И ножки то ему обчистить, вѣточку приподыметь, то есть всѣми способами... И ни-ни-ни, насчетъ чтобы награды, ни Боже мой! Расстоялъ онъ вокругъ купца этого самого почтенія и благолѣпія видимо-невидимо; услуживаетъ ему и благодарить, и напредки приглашаетъ, и хвалить — расхваливаетъ, а денегъ не просить... Что-жъ ты думаешь, пропалъ въдѣ?

— Пропалъ?!

— Пробралъ, братецъ ты мой, въ самый корень!.. И что-жъ ты думаешь? — И всего-то въ сурьезномъ купцѣ и было товару что одна глупость... Почитай его да хвали — и все!.. И преспокойно совсѣмъ съ лапочками возьмешь!.. Вотъ поди ты, узнай жкъ! А ужъ какой былъ сурьезный, Боже мой! Мы думали ужъ, и подходу къ нему нѣту, точно какой напиримѣрь столбъ деревянный, а онъ, братецъ ты мой, больше ничего что балобанъ: хвали его да угождай — и все!.. Съ тѣхъ поръ Михайло-то и пошелъ въ ходъ... И дождь оправилъ, и лошадей тройка — все, слава Богу, пошло. Теперича какъ сурьезный купецъ ѣдетъ, — ужъ Михайло безъ шапки бѣжить за тройкой верстъ пять... И купецъ-то, братецъ ты мой, никого, кромѣ Михайлы, не зоветъ... Ужъ наши пробовали-было, да нѣтъ! «Михайлу»; говорить, «давай!..» — Поди ты вотъ...

— Нѣтъ, братцы, какъ я снова влопался-было

съ этими съ господами! Начинаетъ рѣчь новое лицо изъ слѣпнискихъ мужиковъ.

Разговоръ происходилъ на бревнѣ, гдѣ собрались въ праздникъ посидѣть слѣпнискіе обыватели. Бревно лежитъ близъ рѣки; у моста; мѣсто здѣсь просторное, веселое, видно далеко.

— Такъ-было втесался, такъ это — ахъ!.. Попался мнѣ тоже ха-арошій «теленокъ». Утрафилъ я ему тоже, вотъ какъ и Михайло, въ почтеніе... Что угодашь, что похвалишь, глядѣ — гривенники да двугривенный. Вижу я такое удовольствие — поперъ въ этотъ бокъ. — «Ужъ баринъ, этакіхъ господъ, надо такъ сказать, и не было, и не выда-но...» Расписываю его такъ-то, да и махони: — «какой, говорю, это баринъ? Не баринъ это, а Богъ!..» — Охо-хо!.. загготали слушатели: — экъ ты его какъ вздыбилъ... ха-ха-ха!..

— Передалъ, братъ! замѣтилъ старый старикъ.

— Ровно черезъ крышу перебросилъ, прибавилъ другой. — Ну, чтожъ онъ-то?

— Какъ, братцы мои, взбодрилъ я его эдакимъ-то манеромъ — и что только случилось съ бариномъ, не вѣдаю! Покраснѣлъ весь, ровно ракъ, и ужъ принялся же онъ меня пушить, на чемъ только свѣтъ бѣлый стоитъ! До того же все молчалъ, а тутъ какъ пошелъ, какъ пошелъ!.. «И холопъ, и подлецъ, и пошелъ прочь!», и, Боже только милостивый, чего-чего не наговорилъ.. Вижу — шабашъ! Просолилъ барина начисто!..

— Просолилъ, это ужъ вѣрно!

— Стою, молчу, ничего не могу въ толкъ взять, а вижу, братцы мои, — понялъ... «Тебѣ, такому-сякому, двугривеннички надобны?... ты изъ-за гривенника собаку дохлую готовъ цѣловать и богу на нее молиться?»..

— А-а-а... понялъ!

— То-то — понялъ, братцы мои!.. Слушаю я такъ-то, вижу плохо; а жалъ барина-то... Думаю, какими теперича манеромъ мнѣ его оборотить?.. И что-жъ ребята? Вѣдъ оборотили!..

— Ну? единодушно возопило все облѣпленное народомъ бревно.

— Передъ истиннымъ Богомъ, оборотили!.. Перво-наперво далъ я волю: звони, молъ, во всё!.. Что ужъ, вижу — ничего не подѣлаешь.

— Ужъ тутъ что! Чего ужъ тутъ подѣлать!

— Думаю, ребята: дуй, ваше благородіе: можетъ быть Господъ намъ и поспособствуетъ...

— Ха-ха-ха!..

— Луни, молъ, не жалѣй кубышки... Распечатавъ онъ меня, надо сказать прямо, вполнѣ. Мѣста живого не оставилъ... Замолчалъ. — «Попелъ вонъ!» Я и ушелъ, а самъ думаю: нѣтъ, шалишь! Ушелъ я онъ къ Адольфу Иванычу въ покои — обѣдать съ прочими господами... Я остался у крыльца съ лошадьми; думаю, ужъ какъ-нибудь надо выбираться изъ бучила... Думалъ, думалъ и надумалъ. Часа черезъ два эдакъ мѣста — откупали, выходятъ... Выходитъ народу сразу человекъ къ десяти... Перекинулся тутъ я на грубость... Подхожу къ моему, говорю: «За что ты меня, баринъ, говорю, обидѣлъ — я къ тебѣ всей душой...» — «По-

бы и глаза не глядѣли ни на что: товаръ растегрѣлъ, а ничего не привезъ. Остались у меня одни пряники. (И пряниковъ тоже дядя купилъ — бабы, дѣвки любятъ; только у меня что-то бабы пряниковъ не брали: надо быть видѣли, что я съ простиной торгую.) Остались только у меня эти самые пряники, да и тѣ всѣ въ мѣшкѣ переложились. Скучно мнѣ, очень непріятно было. Жена видитъ, что дѣло мое неладно, молчитъ. Сижу такъ-то, думаю, какъ мнѣ съ этими треньями быть? Смотрю, идутъ парни съ посидѣлокъ. — «Мы, говорятъ, слышали отъ твоей бабы, что пряники, что-ли то, у тебя есть?» — Есть, говорю. — «Давай!» — Отпустилъ. Узнали на деревнѣ, что у меня пряники, повадилъ ко мнѣ народъ, и бабы, и парни, и дѣвки: лавочки въ ту пору у насъ еще не было. Не больше какъ часа въ полтора, всѣ мож пряники я и расторговалъ. Ничего что изломанные и все-такое — только подавай... Все начисто до послѣдней порохинки расторговалъ; сталъ считать — вижу: польза и не маленькая!.. Вотъ, думаю, Господь мнѣ послалъ милость свою, хоть мало-мальски убытки мои покрою (теперича вся забота — хоть бы съ долгами-то расплатиться, а ужъ куда торговать...) На утро, чѣмъ свѣтъ, только что бѣлѣть начало, погналъ я свою кобылку на станцію — за пряниками. Вечеромъ — опять торговля, и опять все разобрали: польза идетъ хорошая. На утро опять на станцію, опять вечеромъ торгую. И такъ пошло дѣло чудесно, что ежели бы мнѣ эдакъ-то проторговать недѣли съ двѣ — и долги бы заплатилъ, да и пользы бы имѣлъ, по крайности, рубля на три... Ну, только не вышло. Какъ провѣдали наши слѣпильскіе, что Иванъ, молъ, Аванасьевъ на пряникахъ расторговываться сталъ, и повалили тоже на станцію закупать. Развелось у насъ въ ту пору пряниковъ больше, чѣмъ хлѣба, или снѣгу на дворѣ... И съ этихъ поръ всѣ мы остались въ чистомъ убыткѣ. Я-то, по крайности, хоть мало-мальски на отдачу обилъ деньжонокъ, а другіе-прочіе такъ и остались съ пряниками. Съ тѣхъ поръ я ужъ торговлей не занимаюсь. Ни-ни, сохрани Богъ... Какъ отдалъ дядѣ заемныя, такъ у меня словно гора съ плечъ свалилась: Богъ съ ней и съ торговлей, не наше это, крестьянское, дѣло»!

Изъ такихъ эпизодовъ соткана вся жизнь Ивана Аванасьева втеченіе послѣднихъ десяти лѣтъ. Не умѣя, какъ истинный крестьянинъ, ни хитрить, ни лукавить, ни обманывать (земледѣльческій трудъ ничему такому не учитъ), Иванъ Аванасьевъ прогораетъ на всѣхъ предпріятіяхъ, чѣмъ которыхъ добыть деньги. Разъ его заманила какая-то родственница, жившая въ кормилицахъ въ Петербургѣ, и сулила мѣсто дворника. Иванъ Аванасьевъ соблазнился, изстратилъ всѣ деньги, какія были, на машину, и пріѣхалъ въ Петербургъ. Мѣсто ему въ самомъ дѣлѣ нашлось; но странное дѣло: больше, чѣмъ малаго ребенка, его испугала эта бездонная пропасть «чужого» народа, которымъ кипитъ столица. Онъ испугался этой годой работы изъ-за денегъ; ему трудно было жить безъ «своихъ», трудно

работать безъ ихъ поддержки. Въ тотъ день, когда нужно было идти на мѣсто, Иванъ Аванасьевъ затосковалъ, какъ школьникъ, которому не хочется покинуть родительскій домъ. Кормилица-родственница, которая раздобыла ему мѣсто и у которой онъ останавливался въ Петербургѣ, напрасно гнала его идти на мѣсто, напрасно торопила... Иванъ Аванасьевъ заскучалъ еще пуще отъ этихъ понуканій. Когда же наконецъ онъ очутился и пошелъ, то, прійдя на мѣсто, нашелъ, что оно занято другимъ. Триста верстъ Иванъ Аванасьевъ шелъ до деревни пѣшкомъ, питаясь Христовымъ именемъ, и наконецъ кое-какъ доплелся до двора. — Тутъ-то я ужъ отдохну!.. Думаю, Богъ съ вами совѣтъ, съ мѣстами... Я на одномъ хлѣбѣ просижу — по крайности дома!.. А что намучился, такъ это одному Богу извѣстно...

Послѣ каждой изъ такихъ неудачъ и отлучекъ изъ дому Иванъ Аванасьевъ возвращался къ родному гнѣзду всегда съ необычайною дѣтскою радостью, несмотря на то, что, возвращаясь, былъ еще бѣднѣй, чѣмъ тогда, когда уходилъ. Онъ радъ коркѣ хлѣба, лишь бы она была своя, домашняя, лишь бы ему быть въ понятной ему, знакомой, любимой средѣ...

— «Денегъ! денегъ!» вопіеть новѣйшее время, и не умѣющий ихъ доставать Иванъ Аванасьевъ вновь ловится на какомъ-нибудь денежномъ планѣ. Сминаятъ его на землекопную работу, рыть канавъ близъ Ладожскаго озера, даютъ десять рублей впередъ, обѣщаютъ поить, кормить. Нечего дѣлать, идетъ Иванъ Аванасьевъ, и — глядишь — черезъ полгода плетется домой безъ копѣйки, и безъ здоровья, и безъ одежи... Оказывается, что спать ему приходилось въ снѣгу, что кормили его падалью, что обчитывали безъ зазвѣнія совѣсти, что многое множество перемерло отъ болѣзней рабочаго народа и зарыто кое-гдѣ... Насмотрѣвшись и настрадавшись, Иванъ Аванасьевъ радъ, что выручилъ паспортъ, и ушелъ, куда глаза глядятъ. И ужъ какъ радъ дому-то, какъ радъ своей соломенной крышѣ, печкѣ, этому жидкому, кислому «своему» квасу!.. Какъ ни изнурять, ни измучаютъ его, но свои мѣста, а главное — возвращеніе «къ крестьянству», то-есть земледѣльческому труду, вновь восстанавливаетъ всѣ его нравственныя силы, уничтожаетъ на его лицѣ слѣды болѣзни, горя, негодованія, — и вновь это лицо глядитъ спокойно, благородно и привѣтливо...

Но деревенскія дѣла идутъ такимъ путемъ, что Ивану Аванасьеву никакимъ образомъ не придется остаться дома. Онъ ужъ и теперь поговариваетъ:

— Ежели-бы хотъ на пять рублей въ мѣсяцъ, т. е. вѣрныхъ, какое мѣстечко было, — кажется сейчасъ-бы пошелъ. Право-слово!

Это-то именно и грустно.

Хуже всего въ этой случайности заработковъ то, что они разрушаютъ общность деревенскихъ интересовъ, деревенскій «міръ». Такіе заработки никакимъ образомъ не могутъ считаться мірскими; каждый, кому удалось ухватить, ухватилъ самъ, своихъ умомъ и для себя, и невольно тянетъ въ

свою сторону. При такомъ ходѣ дѣла та нравственность и имущественныхъ отношеній, которую держится міръ, благодаря земледѣльческому труду, нарушается неравенствомъ то тамъ, то сямъ прибавляющихся и вполне чуждыхъ землѣ средствъ. Тамъ, гдѣ заработокъ мало-мальски хорошъ, тамъ, гдѣ онъ даетъ больше денегъ,—пропадаетъ даже и охота жить земледѣльческимъ трудомъ, тянуть эту крестьянскую лямку, не дающую ни единой копейки денегъ, которыя именно и нужны. Является прямое желаніе уйти и отъ міра, и отъ деревни, и отъ земли, оплачиваясь отъ всего этого деньгами.

11.

Кстати два слова объ одномъ «бабьемъ заработкѣ». Съ нѣкотораго времени слѣбнискіе крестьянки получили возможность брать питомцевъ воспитательнаго дома на вскормленіе, такъ какъ районъ, въ которые отдавались дѣти воспитательными домами, постоянно увеличивались: теперь районъ петербургскій ужъ сошелся границею съ московскимъ. Черезъ каждые четыре мѣсяца каждая кормилица получаетъ десять рублей или, всего-навсего, въ годъ тридцать рублей. Но хотя этотъ заработокъ и опредѣленъ, онъ лучше всего доказываетъ, до какой степени крестьянину нужны деньги: за эти тридцать рублей, за три красненькія бумажки, большею частью прямо поступающія въ волостное правленіе, крестьянское семейство платитъ своими трудами и хлопотами и тратою времени не менѣе какъ въ пять разъ болѣе того, что получаетъ. Напрасно полагаютъ, что изъ смертности дѣтей деревенскіе люди дѣлаютъ доходную статью; ничего этого нѣтъ: дѣти мрутъ, правда, какъ мухи, особливо лѣтомъ, но не отъ дурного ухода, не отъ худого умысла, а отъ незнанія, отъ небрежности врачей или отъ бѣдности самихъ крестьянъ. Еслибы не эти несчастныя три бумажки красныхъ, повѣрьте, мало бы нашлось охотниковъ переносить муку ухода за «казеннымъ» ребенкомъ, ухода, обставленнаго безчисленнымъ множествомъ формальностей, которыми знающіе ихъ люди очень легко могутъ пользоваться въ ущербъ этимъ десяти рублямъ.

По Николаевской желѣзной дорогѣ ѣдетъ старуха-баба и держитъ на колѣняхъ мѣшокъ. Дѣло происходитъ въ третьемъ классѣ, лѣтомъ 1877 года, въ жгучій июльскій день.

— Далеко-ли, бабушка? спрашиваетъ ее мѣщанинъ-сосѣдъ.

— Да вотъ (она назвала станцію)... лекаръ тамъ нашъ живетъ...

— Какой-такой вашъ лекаръ?

— А нашъ, питомницій...

— Что-жъ, ты захворала что-ли, али такъ?

— Нѣту, миленькій, не захворала... Я-бы легче помереть, не то что хворать согласна была, ничѣмъ...

Старуха заплакала и шепотомъ произнесла:

— Поглядико-сь, что везу-то...

Осматриваясь съ осторожностью по сторонамъ, она открыла мѣшокъ, и мѣщанинъ, къ неописанному ужасу своему, нашелъ въ немъ три дѣтскіе трупа, завернутые въ тряпки.

СОЧ. ГЛ. УСПЕНСКАГО. Т. II

— Господи помилуй! Что-жъ это такое?...

— То-то, горяшко-то!.. Не хоронять, ввшь, безъ записки отъ доктора, а докторъ-то отъ насъ—эво гдѣ... Съ гробомъ идти—кондукторъ не пуститъ, нанимай особый вагонъ: вотъ и таскаю въ мѣшкѣ...

— Ахъ-ахъ-ахъ!.. Крещенные?

— Какъ-же, соколикъ, крещенные... всѣ крещеные... Помираютъ, другъ ты мой, одинъ за другимъ!.. А все отъ молока. Киснетъ молоко-то: что будешь дѣлать, кабы у насъ погреба были, ледники—ну такъ! А то киснетъ—да и шабашъ! а они съ кислаго-то и мрутъ... И денегъ-то не дадутъ, и свои-то на разбѣзды изведешь; а что мученія на душу примешь—и языкъ не поворачивается сказать. Что я намучилась-то съ этими съ мертвенькими-то!..

— Что жъ такъ, ты-то одна орудуешь?

— Да больно, другъ ты мой, накладно каждой кормилкѣ самой ѣздить... Я ѣду, одинъ билетъ плачу; вотъ онъ мнѣ и складываютъ на билетъ-то... Кабы не старость моя горькая, да не сиротство...

— А потомъ назадъ отъ доктора-то?

— Вѣстимо назадъ.

Старуха плакала, а мѣщанинъ качалъ головой.

Вотъ какія сценки случаются среди скромнаго и труднаго заработка крестьянки не больше какъ въ тридцать рублей въ годъ. Ужъ стало быть крестьянскому дому деньги нужны «до-зарѣзу».

II.

Безъ газетъ.—Улица.—«Деревенское Обозрѣніе».—Опытъ деревенской газеты.—Подати—подати!—Понукатели.—Упорщики и неплательщики.—Смерть мальчика.—Приѣздъ доктора.—Учитель.—Лошадиная холка и красильщикъ Петръ.—Деревенская тайна.

1.

Вотъ уже четвертые сутки какъ я не получаю съ почтовой станціи ни книгъ, ни газетъ, ни журналовъ! Столичному жителю, столичному читателю никогда не понять, что за жестокое мученіе долженъ въ подобныхъ случаяхъ испытывать такой-же самый столичный житель, сидящій почему-нибудь въ деревнѣ, въ русской деревенской глуши! Отвыкнувъ отъ пониманія сущности и формъ деревенской жизни, далекій, благодаря этимъ формамъ, даже отъ мысли находить между деревней и столицей какую-нибудь связь, такой человекъ (живетъ-ли онъ на дачѣ или только-что благопріобрѣлъ тихій деревенскій уголокъ въ потомственное владѣніе) не можетъ обойтись безъ газетъ. Онѣ необходимы ему, какъ необходимы пузыри для человека, боящагося плавать по глубокой и широкой рѣкѣ. Что дѣлать, если эти пузыри лопнутъ? Если два-три-четыре дня нѣтъ извѣстій ни съ театра войны, ни изъ сферъ правительственныхъ, словомъ—нѣтъ ничего, чѣмъ столичный житель привыкъ интересоваться ежедневно,—въ обоихъ случаяхъ гибель неминуемая! По обоимъ берегамъ рѣки, среди которой онъ гибнетъ, видны толпы народа; но никто не поможетъ ему. Одни работаютъ, не видятъ его гибели, не слышатъ его воплей. Другіе и видятъ, и слышатъ, но ничего сдѣлать не могутъ: ни лодокъ нѣтъ, ни пловцовъ.

2

Погибай среди-бѣла дня, во цвѣтѣ лѣтъ, на глазахъ толпы людей! Та-же самая исторія происходитъ и въ случаяхъ, когда по какимъ-нибудь, всегда невѣдомымъ, причинамъ изъ рукъ вышшихъ исчезаетъ газетный листъ... «Что въ Плевнѣ? Что въ Карсѣ? Что въ Александриѣ?»—вызываетъ погибающій—и ни откуда нѣтъ отвѣта! Ни лавочникъ, ни батюшка, ни волостной старшина, ни тѣмъ паче обыватель деревни, крестьянинъ, никто не отвѣтитъ ни на одинъ вопросъ... Всѣ они «рады бы радостью» помочь вамъ, но не могутъ, потому что у нихъ свои дѣла, свои заботы...

—Были вы на станціи, Иванъ Ивановичъ? вопиете вы къ лавочнику.

—Только сейчасъ вернулся...

—И не стыдно вамъ не зайти на почту, не взять газетъ?...

—Изъ ума вонъ!.. Совсѣмъ изъ ума вонъ!.. Да все съ этими раками...

—Какими раками?

—Да раковъ отправляли въ Питеръ, пять тысячъ, такъ цѣлый Божій день бился, какъ собака... Подите-ко, отвѣдайте, каково съ нашими съ первоначальниками то дорожными!.. Тутъ не до газетъ!

Отвѣчая на ваши разспросы, лавочникъ норовитъ уйти къ амбару и нетерпѣливо вертеть въ рукахъ ключъ: ему нужно тамъ что-то гораздо болѣе важное, чѣмъ то, о чемъ вы его разспрашиваете. Очень хорошо вы видите нетерпѣніе, съ которымъ онъ отвѣчаетъ на ваши разспросы: но утопающій хватается за соломинку, и вамъ нѣтъ никакой возможности отпустить его на волю...

—Не слыхали-ли по крайней мѣрѣ чего-нибудь?

—Нѣтъ... что-то бытло не слышно. Расшибли, говорятъ!..

—Кого! Гдѣ расшибли?

—Да болтали тамъ, на станціи, наши бытло расшибли... что-то... Муки, говорятъ, сблаговѣстили у турокъ очень довольноно...

—Да гдѣ? Кого кто расшибъ?

—А ужъ не могу вамъ въ точности... слышно, что сорокъ бытло тысячъ... Не то муки, не то въ плѣнъ... али какъ... Ужъ точно не могу вамъ... Я сейчасъ!—вдругъ вырываясь изъ неловкаго положенія, въ которое вы поставили его своими разспросами, и проворно убѣгая въ сторону, ужъ издали кричить вамъ лавочникъ.—Я сію минутую, только что вотъ насчетъ солонины... какъ бы не попортилась... духъ дала... с-сію минутую!

Но, ужъ будте увѣрены, вамъ не дожидаться его возвращенія; у него тамъ въ погребѣ всепоглощающій интересъ: солонина дала духъ, а вѣдь ее посолено пятнадцать пудовъ! Продать ее или повременить, не вытѣнять ли на жеребенка у Тарасова или двинуть въ казармы?—обо всемъ этомъ надо подумать, и подумать много... Какія тутъ газетъ!..

У лавочника—солонина, у батюшки—хлопоты съ уборкой, благо удалась хорошіе дни, хлопоты съ розыскомъ «рабочихъ»... Словомъ, у всякаго де-

ревенскаго жителя есть нѣчто болѣе важное, болѣе снѣжное, чѣмъ всѣ эти турки, Плевны, газетъ. Безпомощность вашего положенія именно тѣмъ и ужасна, что вы не можете не понимать, какъ въ самомъ дѣлѣ важна эта солонина одному, уборка другому, и стало быть, погибая, не имѣете права негодовать на то, что васъ не спасли. Разсылъный, который, получая отъ волостного правленія три рубля въ мѣсяцъ на своихъ харчахъ, долженъ ежедневно ходить на почтовую станцію, оставилъ васъ на четыре дня (а можетъ оставить и на четыре недѣли) безъ газетъ, т. е. безъ дыханія и воздуха, оставилъ потому, что ему наверхулась работа: сосѣдъ-дьяконъ перевозитъ избу и платитъ деньгами по полтора рубля въ день. Зная хоть чуть-чуть цѣну деньгамъ, ни у кого, даже у волостного начальства, не подымется рука на этого старика, не исполняющаго своихъ обязанностей. Осенью, которая ужъ почти на дворѣ, ему надо платить подати, нужны деньги, а газетъ—«успѣется»!

И вотъ вы идете ко дну. Съ гладкой поверхности политическихъ, литературныхъ, правительственныхъ, русскихъ и иностранныхъ и всякихъ иныхъ извѣстій вы, лишенные газетныхъ пузырей, идете ко дну неподкрашенной, неапечатанной русской дѣйствительности. Безцвѣтная, но крѣпкая и цѣпкая водоросль, покрывающія это дно въ изобиліи, начинаютъ опутывать васъ со всѣхъ сторонъ, не даютъ двинуть ни рукой, ни ногой... «Солонина дала духъ», «продешевилъ съ овсомъ», «испортилъ шкуру», «передалъ три копѣйки», «легче помереть, чѣмъ на сорокъ на пять копѣекъ соглашусь»—всѣ эти подлинныя и насущнѣйшіе интересы самаго дна русской жизни опутываютъ, душатъ непривычнаго столичнаго жителя.

Въ первые дни моего пребыванія въ деревнѣ такіе минуты, когда неаккуратность разсылнаго или какая нибудь иная случайность не давала мнѣ возможности своевременно имѣть газету, журналъ—такіе минуты были минутами истиннаго мученія. Доходило дѣло до того, что я, какъ манящій небесной, радъ былъ всякому печатному лоскутку, садился къ стѣнѣ и съ удовольствіемъ перечитывалъ газетъ, которыми были оклеены стѣны обитаемаго моего дома... Такъ велика была моя разорванность съ интересами деревни, такъ грубо относился я къ ежедневнымъ заботамъ и нуждамъ окружающей меня среды, руководствуясь въ этой грубости только тѣмъ, что эти интересы и ежедневныя заботы являются передъ моими глазами не въ тѣхъ формахъ, въ какихъ я привыкъ и въ какихъ желалъ бы ихъ видѣть. Время и довольно настойчивая неаккуратность разсылнаго, по мѣрѣ разгара деревенскихъ работъ все чаще и продолжительнѣе оставлявшего меня безъ пузырей, понемногу и, какъ мнѣ кажется, довольно основательно исцѣлили меня отъ этой нетерпимости сначала къ непривлекательной сухой формѣ деревенскаго быта, а потомъ и къ не менѣе непривычной для меня самой сущности этой неприбранной, не разложенной по газетнымъ рубрикамъ жизни. Перечитавъ всѣ обклеенныя газетами стѣны и переживъ мучительныя минуты, когда

ужь ровно нечего было читать, когда нигдѣ не находилось ни одного печатнаго клочка, я невольно сталъ задумываться надъ тѣмъ въ высшей степени неловкимъ положеніемъ, которое я всякій разъ испытывалъ, покончивъ съ газетнымъ листомъ и выйдя на деревенскую улицу.

2.

Обыкновенно, очутившись послѣ газетнаго листа на деревенской улицѣ, нѣкоторое время ровно ничего не понимаю. Въ газетѣ — отчеты о рефератахъ по народному образованію, о поощреніи торговли и промышленности, довольно ловко уясненные вопросы о томъ, чѣмъ намъ быть, что мы будемъ и куда мы идемъ. И вотъ, начитавшись всего этого, т. е. всевозможныхъ взглядовъ, мнѣній и мѣтропріятій, касающихся русскаго народа, обсудивъ ихъ, согласившись съ другамъ, составивъ свои собственные теоріи и взгляды, такъ несомнѣнно касающіеся всего русскаго, я неожиданно теряюсь, даже забываю всѣ мои и ученые взгляды, и теоріи, какъ только вхожу въ самую средину этого народа... Что за тайна? Для какого-же народа все это печатается и пишется и о какомъ такомъ народѣ размышляю я самъ, если этотъ народъ своими солонинами, шкурами и прочими непостижимыми для меня интересами выбиваетъ изъ моей головы и заботы о лучшей системѣ народнаго обученія, и твердую увѣренность въ нашей исторической миссіи среди славянства, словомъ — все, что я, живя въ деревнѣ, долженъ искусственно поддерживать въ себѣ газетой?

Размышляя на эту тему, я очень скоро убѣдился, что вся бѣда разъясняется самымъ простымъ манеромъ и именно тѣмъ, что люди высшаго развитія и общества, органами которыхъ служатъ газеты, дѣлающіе все безъ сомнѣнія для народа, не даютъ себѣ труда обратиться именно къ мнѣнію того, о комъ идетъ рѣчь и о комъ идутъ всѣ эти хлопоты. Рефератъ о народномъ образованіи прочитывается въ ученое общество, принимается, одобряется — и дѣлу конецъ. Какъ осуществится предлагаемая желающимъ народнаго блага референтомъ мѣра въ средѣ самаго народа — никто не спрашиваетъ объ этомъ. Столица, а стало быть и столичная газета не принимаетъ во вниманіе того самаго народнаго матеріала, надъ которымъ онѣ производятъ свои опыты улучшеній, усовершенствованій и вообще всякихъ благодѣяній. Ни въ одной газетѣ нѣтъ обстоятельнаго, хотя бы разъ въ годъ появляющагося «деревенскаго обозрѣнія», которое обращало бы вниманіе на участь, постигшую то или другое дарованное столицей народу благодѣяніе, и показало бы, въ какомъ видѣ благодѣяніе это добралось до деревни. Ничего подобнаго мнѣ не случалось нигдѣ видѣть или читать: деревня просто благодѣтельствуется такъ-таки «безъ всякихъ разговоровъ»; и вотъ почему деревенская дѣйствительность ставитъ въ такое неловкое положеніе всѣхъ, самымъ спеціальнымъ и тщательнымъ образомъ разрѣшившихъ у себя дома, хотя бы и въ самомъ благороднѣйшемъ смыслѣ, всевозможные касающіеся народа вопросы: чѣмъ ему быть, что ему надо, какая у него задача и т. д.

Мало-по-малу мысль о правахъ деревни въ рѣшеніи вопросовъ, касающихся ея собственныхъ нуждъ и заботъ, стала вытѣснять изъ моего газетнаго сознанія рѣшенія этихъ деревенскихъ народныхъ вопросовъ, придуманные не деревней. Почему — стало приходить мнѣ въ голову — въ газетныхъ рѣшеніяхъ вопросовъ народной жизни не играетъ никакой роли ни эта солонина, изъ-за которой человекъ забываетъ войну и Болгарію; ни эти раки, ни вообще всѣ интересы, задачи, заботы, которыми живетъ и которыми держится на свѣтѣ деревня? Почему она безропотно должна принимать всевозможныя рѣшенія относительно того, чѣмъ ей быть? Почему она сама не имѣетъ права сказать — что ей нужно? И долго-ли наконецъ она не будетъ знать, что такое задумываютъ для нея чужіе люди, хотя и люди высшаго развитія?..

Да, рѣшилъ я подъ вліяніемъ этихъ мыслей: — необходимъ настоящій мужицкій органъ, органъ деревенской жизни, безъ иностранныхъ извѣстій, безъ театральныхъ и литературныхъ фельетоновъ, органъ не курьезовъ и смѣхоты, а настоящаго положенія деревенскаго кармана, деревенскаго ума, сердца, желаній, нуждъ, надеждъ. Такой органъ освѣтилъ бы тьму кромѣшную русской жизни, внесъ бы свѣтъ въ темную комнату, гдѣ приходится ходить опунью, путаться, теряться, спотыкаться, словомъ — не знать гдѣ, что и кто?..

Въ первый-же разъ какъ разсмысленный оставилъ меня безъ газетъ на цѣлую недѣлю, я, чтобы убить время, принялся за составленіе программы и перваго номера ежедневнаго періодическаго изданія, посвященнаго деревнѣ и мужику. Я ни на минуту не сомнѣвался, что дѣло это легкое, стоитъ только приняться за работу поприлежнѣе. Но, увы! опытъ разубѣдилъ меня въ этой легкости. Дѣло оказалось необыкновенно труднымъ, главнымъ образомъ потому, что я за образецъ взялъ себѣ программу обыкновенныхъ столичныхъ газетъ, и тутъ мнѣ пришлось убѣдиться, что ни одинъ изъ отдѣловъ столичной газеты не пригоденъ для газеты мужицкой. Чтобы достойно подражать органамъ высшаго развитія и высшаго общества, я долженъ былъ просто лгать всякій вздоръ, сочиняя передовыя статьи, въ другихъ же отдѣлахъ долженъ былъ отсѣкать отъ того или другого факта особенные, только деревнѣ свойственные привѣски, чтобы фактъ этотъ влѣзъ въ ту или другую рубрику. Наконецъ нѣкоторые факты рѣшительно не влѣзали въ тотъ отдѣлъ, къ которому они подходили по внѣшнему виду. Столичныя газеты, не претендующія на то, если ихъ забываютъ тотчасъ по прочтеніи и ни въ какомъ случаѣ не будутъ помнить на слѣдующее утро, могутъ позволить себѣ крошить русскую и иностранную жизнь какъ имъ угодно: столичная публика все потребитъ. А съ деревенской дѣлать этого не приходится: мужицкій органъ — насущное и настоящее дѣло, въ противномъ случаѣ зачѣмъ и затѣвать зачѣмъ.

Чтобы слова мои о трудности задачи не были бездоказательными, приведу примѣръ: состоялось распоряженіе о возвращеніи призванныхъ ратниковъ-одиночекъ. Куда я долженъ дѣвать это извѣстіе?

Въ столичныхъ газетахъ оно занимаетъ двѣ строчки въ отдѣлѣ правительственныхъ извѣстій и четыре въ хроникѣ, гдѣ сказано о единодушномъ восторгѣ: такъ въ столичной газетѣ. Въ мужицкой—должно быть совсѣмъ иначе; и какъ ни странно для столичнаго читателя, это извѣстіе я долженъ помѣстить въ отдѣлѣ «недоимокъ», потому что:

- Здравствуй, Петръ! Воротили тебя?
- Какъ-же-съ!
- Что-же, радъ ты? Радъ твои?
- Чему радоваться-то?
- Какъ чему? Пошелъ бы, убили бы...
- А тутъ-то что?
- Какъ? а тутъ ты дома..
- Дома-то дома, да что я дѣлать-то буду?..

Думали, *совсѣмъ* угодить, заложилъсь совсѣмъ, сорокъ цѣлковыхъ стали проводы. А теперь и денегъ нѣтъ, да лишній ротъ... да въ долгу всѣ... Теперь подати... Чѣмъ отдашь-то?—денегъ-то вѣдь нѣтъ!

Или, въ какомъ изъ соответствующихъ столичнымъ газетамъ отдѣловъ долженъ напечатать я слѣдующее:

«Сельскому старостѣ Петру Михайлову.—Приказываю я тебѣ собрать съ мужиковъ—которые положены за порубку съ семи душъ—по шести съ четвертакомъ, то чтобы непремѣнно въ богоотцы Акимыяны ты собралъ, чтобы Акимъ Ивановичу непремѣнно былъ представленъ зыскъ въ день ангела. Поручаю тебѣ съ большимъ стараніемъ предписаную я чтобъ собрать въ теченіи того времени Волостной старшина Полупиткиныхъ».

Что это такое? Внутреннее-ли простоназвѣстіе, правительственное-ли распоряженіе, или это гонимъ въ отдѣлѣ хроникѣ, какъ прибавленіе къ извѣстію объ импѣрияхъ Акимъ Ивановича? Но кромѣ этого голаго извѣстія о собраніи штрафа и о томъ, что старшина хочетъ сдѣлать подарокъ въ день ангела потерпѣвшему «непремѣнному»—кромѣ этого я не знаю, какъ мнѣ помирить съ этимъ радушіемъ старшины его полное къ этому Акимъ Ивановичу презрѣніе. Этотъ же старшина—поговорите съ нимъ объ Акимъ Ивановичѣ—скажетъ вамъ, что человѣкъ этотъ кулакъ и проныра, что при падѣлѣ онъ обманулъ крестьянъ, что крестьянскій дрянной надѣлъ записалъ по 1-му разряду, а свои отличныя земли—по 3-му и налогъ платитъ по третьему. На какія такія рубрики могу я разбить этотъ фактъ, взятый во всей совокупности? Чтобы не запутывать читателя, я прямо удивлю его, сказавъ, что записка старшины должна быть, вмѣстѣ съ упомянутымъ выше деревенскимъ привѣскомъ (о томъ, что Акимъ Ивановичъ—кулакъ), помѣщена въ отдѣлѣ «народнаго прощенья» и даже, какъ это ни покажется страннымъ, подъ особымъ названіемъ: «*Слѣды системы классическаго образованія въ деревнѣ*».

Въ видахъ образованія культурныхъ людей, вводится классическая система образованія. Предполагаются культурные столпы, разставленные въ разныхъ весяхъ Земли Русской и вліяющіе благотворнымъ образомъ на массу, вліяющіе своей внутренней, нравственной высотой, заставляющіе чувствовать массу внутреннее превосходство такого чело-

вѣка и такимъ образомъ облагораживаться. Разъ система признава достойной—ограничиваться школой, медленнымъ приготовленіемъ новыхъ людей невозможно. Предписанія о необходимости уваженія ко всякому благородству навѣрное слѣдуютъ изъ столицъ въ губернскіе города, изъ губернскихъ—въ уѣздные, оттуда—въ волости, въ сельскія общества. И вотъ, черезъ исправниковъ, архіереевъ, губернаторовъ, благочинныхъ, идея о необходимости въ средѣ народа внутренне отличныхъ отъ массы существъ, упрощаясь въ слоги и изложеніи, доходитъ до деревни,—и вотъ «приказываю тебѣ» почтить Акимъ Ивановича какъ культурнаго челоѣка, хотя онъ и кулакъ по нашему деревенскому, некультурному мнѣнію.

Этихъ двухъ примѣровъ, я полагаю, достаточно для того, чтобы понять всю важность и всю трудность затѣяннаго-было мною дѣла. Одинъ уже примѣръ Петра, возвращеннаго въ лоно родительскаго дома и недовольнаго этимъ, говоритъ о томъ, что не худо бы прежде, чѣмъ благодѣтельствовать, спросить у деревни: точно ли нужно брать этихъ Петровъ? Но этотъ примѣръ, какъ и слѣдующій, главнымъ образомъ доказываетъ только трудность разработки формы мужицкаго органа. Вотъ почему, оставивъ мысль о мужицкомъ органѣ, я рѣшился представлять просто мой дневникъ, заносъ явленія деревенской жизни въ томъ видѣ и въ томъ порядкѣ, въ какомъ они слѣдуютъ день за днемъ. Привожу отрывокъ изъ этого дневника, касающійся первыхъ дней осени.

3.

Существеннѣйшій признакъ осени—такой-же грустный и унылый, какъ желтые листья лѣса, какъ грозные тоны, начинающіе слышаться въ порывахъ вѣтра—есть несомнѣнно появленіе въ волостномъ правленіи предписанія уѣзднаго исправника о скорѣйшемъ взиманіи податей—Странное дѣло! Несмотря на то, что всѣ волостныя правленія только и живутъ изо дня въ день, изъ года въ годъ такими предписаніями уѣзднаго исправника, вѣсть о томъ, что «пришла бумага насчетъ податей», производить на обитателей нашей деревеньки впечатлѣніе почти неожиданности, и по тягости, по унылости едва-ли не превосходить впечатлѣнія и осенняго воя вѣтра, и голыхъ деревьевъ, и мокрыхъ желтыхъ листьевъ.

Дѣло въ томъ, что втеченіе всей рабочей поры, начиная съ апрѣля, мая и вплоть до уборки полей, т.-е. до первыхъ дней осени, предусмотрительные руководители наши ни единымъ словомъ не тревожатъ крестьянина.—Ни становой, ни исправникъ, ни старшина, ни староста—никто рѣшительно изъ имѣющихъ власть не пикнетъ, не заикнется ни о какихъ деньгахъ,—вдругъ, точно по мановенію волшебнаго жезла, замираютъ грозные крики: «давай», «давай!» Всякое начальство притивается, словно исчезаетъ съ лица земли, и обыкновенный (не «порядочный») мужикъ, для котораго понуканье, дерганье и всякое тормошенье составляютъ, вслѣдствіе долгой привычки, главнѣйшее и существеннѣйшее содержаніе жизни человѣческой вообще, не видя этого дерганья и понуканья, начинаетъ понемногу

забывать о немъ и замѣтно отдается земледѣльческому труду. Надо удивляться, съ какой дѣтской наивностью предается онъ забвенію ожидающей его катастрофы. — Точно забытый и замученный педагогами школьникъ, онъ, оставшись одинъ, безъ наказаній и попуканій, во мгновение ока забываетъ все, что выдолбилъ, и все, что перенесъ отъ педагоговъ, забываетъ все это подъ впечатлѣніемъ нѣсколькихъ мгновеній покоя. Нельзя не сознаться, что мѣра эта благотѣльна: она поощряетъ рвеніе крестьянина къ труду, который не могъ-бы быть столь успешнымъ, еслибы происходилъ подъ безпрерывнымъ давленіемъ одного и того-же «давай!». Работа его идетъ втрое, вдесятеро лучше. Его поддерживаютъ всевозможныя планы, всевозможныя фантазіи, которыя лѣзутъ въ это время въ его забывчивую голову: вотъ онъ продастъ хлѣбъ, купитъ лошадь, телушка за лѣто отходится какъ нельзя лучше — тоже деньги; вотъ ужъ онъ покрылъ и поправилъ сарай, сшилъ себѣ и мальчишкѣ новые сапоги — и такъ до безконечности. Подъ вліяніемъ этихъ плановъ и фантазій онъ бьется пять мѣсяцевъ какъ рыба объ ледъ, вытягиваясь вѣстѣ съ своей лошадежкой изъ послѣднихъ силъ; и къ концу лѣта, когда поля покрыты волнующимися пышными хлѣбами, онъ до того уже основывается съ своими несбыточными планами, что начинаетъ думать о праздникахъ, предстоящихъ въ августѣ и въ сентябрѣ, и совершенно не подозреваетъ, что онъ уже въ блокадѣ...

Едва онъ съезъ съ поля и смолотъ первый снопъ новаго хлѣба, какъ бомбардированіе открывается внезапно со всѣхъ пунктовъ и съ непошѣрной настойчивостью. И въ самомъ дѣлѣ, необходимо сразу выбить всевозможныя фантазіи, необходимо съ корнемъ вонъ, какъ гнилой зубъ, вырвать эти грезы о телушкѣ, чтобы облегчить нелегкій переходъ отъ розовыхъ плановъ къ горькой и пасмурной дѣйствительности. И, надо отдать справедливость осаждающимъ, энергія ихъ выше всякой похвалы. Положительно можно сказать, что не успѣлъ слѣпинскій мужикъ довести перваго мѣшка новаго хлѣба съ мельницы домой, какъ въ ту же самую минуту разнеслася по деревнѣ вѣсть о «бумагѣ насчетъ податей». Оказалось, что еще вчера, въ одиннадцать часовъ вечера, старшина посылалъ за старостой и объявлялъ ему о строжайшемъ предписаніи. И мгновенно по всей округѣ, точно холодный и упорный осенній вѣтеръ, поднимающій холодную пыль и уныло завывающій въ печныхъ трубахъ, загудѣла по деревнямъ унылая вѣсть о податяхъ — о страховыхъ, о земскихъ, о поземельныхъ... Лѣтнія фантазіи разрушались въ самое надлежащее время, именно когда еще почти весь хлѣбъ, хотя и сжатый, стоялъ въ полѣ, а яровое на-половину и не было даже убрано. Предписанія одно за другимъ, точно шарики, не давая опомниться, громили округу безъ умолку, настигали слѣпинскаго мужика на всѣхъ путяхъ. Пошелъ онъ въ кабакъ — хватъ, у самаго носа разражается граната, являясь въ видѣ сельскаго старосты:

— Будетъ деньги-то въ кабакъ таскать! Подати несите... бумага вонъ!

— И всего-то гривенникъ несущ... два стаканчика...

— Все давайте, что есть!

— Мы съ напьемъ полнымъ удовольствіемъ, да какія это деньги — гривенникъ!..

— Все меньше будетъ! Знаю я ваше прекрасное удовольствіе... зачну вотъ продавать...

— Храни Богъ!.. авось...

Мужикъ идетъ въ кабакъ и коломъ влѣзаетъ ему въ горло оба стаканчика.

— Эй-эй! кричитъ между прочимъ староста, настигая другого случайно встрѣтившагося слѣпинца: — подати несите! Скажи своимъ, чтобы безпремѣнно... бумага — Боже мой!

— Ладно!

— Чего ладно! Сейчасъ давай, сколько есть!

— Да пѣтути сейчасъ-то.

— Когда-жъ будетъ? — все пѣтути да пѣтути. Когда жъ будетъ-то?

— Авось...

— Авось! А мнѣ за васъ въ темной сидѣть?.. Чтобъ безпремѣнно несли — вотъ что!

— Принесемъ...

— Да, безпремѣнно несите! Много вамъ прощали — нонѣ «поступать» стануть,

Слово «поступать» очевидно очень значительно и для старосты, и для мужика.

— Что ты! говорить онъ испуганно: — Господь съ тобою, авось поплатимся...

— Ну, то-то! Помнить это надо!

Говоря такія страшныя слова и суля такія угрозы, сельскій староста, какъ мужикъ доподлинно знающій невозможность въ данную минуту напирать на крестьянъ въ сурьезъ, потому что изъ этого ничего не выйдетъ, кипятился и свирѣпствуетъ безъ всякаго серьезу, просто исполняя предписаніе. Въ виду такой внутренней непрочности идеи о необходимости взносовъ, — непрочности, живущей даже въ самомъ сельскомъ начальствѣ, главнѣйшемъ добытѣлѣ нашихъ сотенъ милліоновъ, необходимо вести осаду съ непоколебимою настойчивостью; необходимо день и ночь долбить циркулярами и телеграммами исправниковъ; необходимо тормозить становыхъ, необходимо не давать опомниться ни старшинамъ, ни старостамъ, чтобы все это полчище финансистовъ постоянно стояло на ногахъ и чтобы оно, внутренне сознающее непреодолимую трудность предстоящей финансовой операціи, выкинуло-бы, подъ вліяніемъ бомбардировки, всякія мысли объ этой трудности и сосредоточилось бы только на требованіи. И вотъ почему, едва смолотъ первый снопъ — крикъ: «подати! подати!» начинаетъ гудѣть надъ деревней неутомкаемо.

— «Подати несите! Несите подати!» какъ-то угрожающе (хотя и кротко) совѣтуетъ старшина, появляясь на деревенской улицѣ, появляясь какъ бы случайно, по пути въ лавку, по въ сущности именно только за тѣмъ, чтобы укрѣпить въ населеніи главную идею времени. Всѣ мимолетующія и мимолетующія власти, которыя втеченіе лѣта куда-то запропастились, а если и показывались на деревенскихъ аванпостахъ, то съ совершенно мирными

намѣреніями, какъ напримѣръ съ вопросами о томъ, что «много-ли, молъ, нынче ягодъ? много-ли будетъ осенью свадебъ?» и «не скучно-ли, молъ, тебѣ, Авдотья, одной, безъ мужа-то?»—все это кроткое, любезное и милое сословіе явилось теперь въ совершенно иномъ видѣ. Никто изъ нихъ не пройдетъ, не пробѣдетъ, чтобы не остановиться или не остановить своихъ лошадей передъ первымъ встрѣчнымъ мужикомъ и не сказать ему торопливо и рѣшительно:

— Скажи старостѣ, чтобы непременно подати... Слышишь?

— Слушаю-съ!

— Непременно! Слышишь-ли? Неп-ре-мѣн-но!..

— Слушаю-съ!

— То-то слушаю-съ! Непре-мѣн-но!

Или:

— Ты староста?

— Я-съ!

— Какъ подати?

— Помаленечку идуть...

— Какъ помаленечку?.. Что такое «помаленечку»?

— Мы съ нашими полнымъ... кабы, ежели бы...

— Что такое — «кабы, ежели»? Какія-такія «ежели»? Никакихъ «ежели» тутъ нѣтъ и быть не можетъ. Слышишь?

— Слушаю-съ!

Благодаря такой тактикѣ, недѣли черезъ двѣтри непрерывной осады, слѣпинскіе мужики окончательно забываютъ всевозможныя дѣтнія фантазіи и перестаютъ понимать въ себѣ и видѣ себя что-либо другое, кромѣ необходимости платить подати.

Вотъ «Общее обозрѣніе» существеннѣйшихъ признаковъ первыхъ осеннихъ дней въ деревнѣ.

4.

Осаждающіе, какъ я ужъ упомянулъ, несмотря на точность, аккуратность и немедленность исполненія предписаній, не только «серьезно» не питаютъ лично къ осажденнымъ враждебныхъ чувствъ, но напротивъ, если дѣло дойдетъ до разговора о предстоящей кампаніи, не замедлятъ высказать вамъ прежде всего о неуспѣшности предпринятой ими осады, даже почти о полной ея бесполезности. Всякій палитъ исправно, настойчиво, неумолимо, но знаетъ, что толку будетъ мало, и что «ежели бы не семейство» или что нибудь въ этомъ родѣ, что заставляетъ человека палить изъ-за молочника, такъ бы отрясъ прахъ отъ ногъ и ушелъ-бы куда-нибудь къ другому, болѣе мирному дѣлу.

— Да неужели вы полагаете, что на мнѣ нѣтъ креста? восклицаетъ гдѣ-нибудь въ интимномъ кругу и въ минуту откровенности кто-нибудь изъ числа лицъ, ежедневно рассылающихъ по всѣмъ концамъ уѣзда «строжайшія предписанія» о взысканіи «безъ послабленія и снисхожденія». — Неужели вы полагаете, что у меня вмѣсто головы ведерная бутылъ или кирпичъ? Вотъ не угодно-ли, прошу васъ покорно, прежде чѣмъ осуждать...

И вслѣдъ затѣмъ изъ бокового кармана военного сюртука торопливо вытаскивается пѣлая кипа бумагъ.

— Вотъ-съ! Сдѣлайте одолженіе.

Длинная бумага есть объяснительная записка въ отвѣтъ на строжайшій выговоръ, полученный уѣзднымъ понукателемъ отъ понукателей губернскихъ. Въ запискѣ говорится, что если не собрано за 1-ю треть 16,744 руб. съ копѣйками, то это произошло не отъ личной бездѣтельности понукателя или нерадѣнія, а отъ другихъ причинъ, которыя онъ и считаетъ долгомъ изложить передъ начальствомъ, дабы оказаныя чистымъ со стороны подданныхъ въ нерадѣніи. Въ доказательство своего рвенія, онъ приводитъ примѣры необыкновенныхъ, по истинѣ геройскихъ подвигамъ: онъ переплывалъ на утлой ладѣ рѣки, бывшія еще въ полномъ разливѣ, застрѣвалъ въ зазорахъ, сажалъ въ темную сельскихъ старостъ и т. д. Но, при всей своей неустрашимости, при всей своей готовности, не могъ ничего сдѣлать съ непреодолимыми фактами дѣйствительности: съ безлѣбьемъ людей, безкоринцею скотовъ, «изъ которыхъ напримѣръ овцы совершенно облѣзли, а коровы до такой степени отошались, что на бывшей ярмаркѣ онъ собственными глазами видѣлъ такихъ, которыя не могли стоять на заднихъ ногахъ, а сидѣли, словно зайцы, на собственномъ своемъ івостѣ». И не случайность какую-либо, вродѣ неурожая или падежа скота, или эпидеміи, винить онъ въ существованіи этихъ несодвинныхъ для успѣшности измнанія обстоятельствъ, хотя и эти случайности безъ вниманія не оставляетъ, но видитъ «причину въ корнѣ, а именно»... Далѣе конечно идетъ то, что извѣстно всѣмъ и каждому: раздѣлы, баловство, пьянство. Дойдя до этихъ словъ, вы готовы возвратить рукопись автору; но авторъ останавливаетъ васъ, говоря.

— Читайте, читайте далѣше!.. Тамъ есть, есть настоящее!.. Это вѣдь только для отводу... Тамъ далѣе я ввернулъ втихомолку... Не беспокойтесь, будьте покойны, извольте читать!

И дѣйствительно, въ пыльномъ букетѣ тщательно собранныхъ народныхъ пороковъ замѣчается тщательно спрятанный репейникъ: идетъ рѣчь о надѣлѣ, о доходности его и о соразмѣрности...

— Все знаемъ-съ! Ужъ говорено! Писано написано... И что-жъ-за все это?—кромѣ выговоровъ да распеканій ничего не видишь и не слышишь... Въ нынѣшнемъ году я получилъ ужъ пять выговоровъ простыхъ да съ полдюжины строжайшихъ: такъ тутъ перестанешь разсуждать... Нѣтъ, батюшка, кабы не семейство...

И такія рѣчи слышатся по всей длинной лѣстцѣ понукателей, отъ высшихъ до низшихъ. Вездѣ пониманіе и гуманизмъ, всегда впрочесть довольно счастливо завершающійся на дѣлѣ непреклонностью. Низшій понукатель деревни, сельскій староста, такъ тотъ даже разъясняетъ вамъ самыя мельчайшія причины неуспѣха осады. Не далѣе какъ сего дня, т. е. въ тотъ самый день, когда мнѣ пришлось въ голову завести дневникъ, я зазвалъ къ себѣ съ улицы нашего сельскаго понукателя и, коснувшись въ разговорѣ вопроса дня, слышалъ отъ него самыя раціональныя и обстоятельныя сужденія.

— Много ли набрали, Михайлъ Петровичъ? спросилъ я его.

Михаил Петрович засмѣялся и махнулъ рукой.
— И не поминайте!.. За два-то дня—четыре съ тѣмъ-то рубля со всѣхъ семидесяти домовъ... Одинъ только мужикъ далъ рубль, и то спасибо что я его настигъ на мосту—съ работы шелъ: плотникъ онъ, съ расчетомъ,—а то все гривенникъ, двугривенный, полтинникъ... Вотъ тутъ вамъ и собирай! Покуда выберешь съ нихъ двадцать-то пять рублей..

— Что-жъ вы будете дѣлать?

— Да что съ ними дѣлать-то? Что нибудь-то принеси, сдѣлай милость, и то спасибо. Да откуда ему взять, сами вы посудите? Доходу у него всего-навсего пятьдесятъ рублей, это ужъ если весь урожай продать, а взносу—25; да вѣдь надо сапоги, свѣчку иной разъ, соль. да мало ли что—все изъ этого.

Деревенскій понукатель развиваетъ картину крестьянскихъ нуждъ въ мельчайшихъ подробностяхъ и заканчиваетъ ее вопросомъ:

— Ну что-жъ, помилуйте, съ нихъ взять? Откуда онъ возьметъ, когда у него ничего нѣтъ?

И, повергнувъ васъ въ грустное раздумье, тоже довольно грустнымъ тономъ прибавляетъ:

— Ничего не подѣлаешь! До Покрова какъ ужъ нибудь, хоть по гривенникамъ, буду принимать, ну а ужъ съ Покрова, видно, посурьезнѣй придется.

— То-есть, какъ посурьезнѣй?

— Да что же мнѣ-то дѣлать? Придется такъ, что возьму шестерыхъ понятыхъ да пойду по деревнѣ съ одного конца до другого съ описаніемъ... У насъ на это есть инструкція, сказано—не дожидаться ни ставногого, ни что... Что дѣлать? и радъ-бы—придется!..

И повѣрять, что пойдетъ, опишетъ и предоставитъ. Крошъ земли, у крестьянина есть лишняя овца, лишняя телушка... Вотъ онъ-то и отвѣтаетъ. И вѣдь всѣ понимаютъ дѣло отлично, вѣрно—и все-таки продолжаютъ поступать безъ всякаго «послабленія».

Глядишь, глядишь на все это, и такъ-то тяжело становится на душѣ...

5.

Нѣтъ никакого сомнѣнія въ томъ, что жизнь, подъ непрерывнымъ долговременнымъ вліяніемъ теоріи «гуманной безпощадности», не прошла безслѣдно для обывателей деревни. Есть у насъ умышленные «упорщики», неплательщики, не покорящіеся требованіямъ осаждающихъ, не желающіе остаться довольными рѣшеніемъ волостного суда о наказаніи 20 ударами за неплатежъ податей—участъ большинства отхожей молодежи, но въ общемъ такіе люди значатъ мало и деморализующаго впечатлѣнія не производятъ. У насъ, въ Слѣпомъ-Литвинѣ, можно указать только на двухъ такого рода упорщиковъ.

Одинъ изъ нихъ—старый старикъ, остатокъ стараго крѣпостного права, человѣкъ, роппущій на новые порядки, на то, что волю дали, дали волю всѣмъ: мужикамъ судить своего брата, молодымъ ребятамъ курить табакъ и т. д. Но ожесточеніе этого человѣка очень легко объясняется тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ старъ, ветхъ, что никакимъ образомъ по закону его невозможно высѣчь... Все его ожесточеніе выражается только въ томъ, что онъ кобенится платить

деньги до послѣдней возможности. «Погодишь!» говоритъ онъ старостѣ, и староста гонитъ, потому что знаетъ стариковскій нравъ и потому, что нѣтъ въ деревнѣ человѣка, который бы не приходился старику родней. Крошъ того семья старика—самая большая въ деревнѣ и самая состоятельная; старикъ и права-то ужъ не мнѣлъ бы распоряжаться дѣлами этой семьи, но уступитъ этого права онъ не хочетъ, отбираетъ отъ дѣтей деньги и держитъ ихъ въ повинновеніи капиталомъ, которымъ по смерти облагодѣлствуетъ всю семью. Уваженіе къ этому капиталу сильно и во властяхъ предержащихъ (я говорю о сельскихъ): и вотъ почему старикъ можетъ кобениться и оттягивать деньги до послѣдней возможности. «Попробуй-ко, коснись!..» ставить онъ на видъ всѣмъ и каждому, подразумѣвая подъ словомъ «коснись»—розги. Въ концѣ концовъ онъ все-таки, съ ругательствами «подавись» и пр., платитъ деньги и уничтожаетъ такимъ образомъ всякій смыслъ своего упорства.

Другой упорщикъ—также человѣкъ, непронзающій на слѣпощцевъ никакого вреднаго впечатлѣнія,—синильщикъ Петръ. Это человѣкъ озлобленный и для слѣпощцевъ несимпатичный. За поддѣлку пятака серебромъ онъ высидѣлъ 6 лѣтъ въ острогѣ, и общество, вновь принявши его, смотритъ на него съ нѣкоторою боязнью: человѣку такому ничего не стоитъ, думаетъ оно, поджечь деревню, разорить всѣхъ до-тла; слава Богу, сидѣлъ въ острогѣ—не велика бѣда и еще посидѣть. Общество не позволяетъ ему даже выстроить избу, а постановило, что если онъ хочетъ жить въ Слѣпомъ-Литвинѣ и заниматься красильнымъ мастерствомъ, то обязанъ жить на квартирѣ, т. е. находится постоянно подъ наблюденіемъ посторонняго глаза. Негодуя отъ всей души на свое положеніе, Петръ старается пользоваться имъ, поддерживая грубостью со всѣми убѣжденіе въ своей жестокости. Съ этимъ человѣкомъ разговоры о податяхъ обыкновенно ни къ какимъ существеннымъ результатамъ не приводятъ.

— Ты что-жъ денегъ-то не несешь! мимоходомъ адресуется къ Петру староста.

— Какихъ денегъ? ошестившись и сверкнувъ глазами, не говорятъ, а рычитъ Петръ. Онъ стоитъ на крыльцѣ съ какимъ-то синимъ ведромъ и при словахъ «какихъ денегъ» дѣлаетъ этимъ ведромъ такой жестъ, что староста отступаетъ нѣсколько шаговъ назадъ.

— Какихъ тебѣ денегъ? повторяетъ Петръ, относя руку съ ведромъ назадъ и двинувшись впередъ на одинъ большой шагъ.

— Казенныхъ денегъ! тоже оретъ, отступая однако, староста.

— Чего-о?

— Денегъ!—вотъ чего! Слышишь, ай нѣтъ?

— Ты чего горло-то дерешь?

— Ты деньги-то неси, вотъ что!

— Горло-то ты чего, говоришь, дерешь?

— Я говорю—деньги подавай!

— Как-кія?

— Такія!

— Какія деньги?

— Тыфу ты, острожная твоя душа! произносить старость и торопливо идетъ прочь.

Петръ нѣкоторое время молча смотритъ ему вслѣдъ, сверкая глазами, затѣмъ съ озлобленіемъ выплескиваетъ изъ ведра сніе помоя и побѣдителемъ уходитъ въ свою хибару.

Такого рода неплательщики никоимъ образомъ не могутъ поколебать въ обыкновенномъ слѣпнискомъ обывателѣ, обыкновенномъ строимъ мужикѣ полиѣйшую, безграничѣйшую увѣренность въ томъ, что нести деньги «надо». Иванъ Аванасьевъ, съ которымъ читатель знакомъ по предшествовавшему отрывку, — образецъ такой упорной вѣры въ «надо». — Наслушавшись рѣчей старосты, познакомившись, благодаря ему, съ настоящимъ положеніемъ слѣпнискихъ платежныхъ силъ, я завелъ съ нимъ рѣчь по этому предмету при первомъ же свиданіи.

— Ну, какъ подати, Иванъ Аванасьичъ?

— Надоть!

Иванъ Аванасьичъ вздохнулъ.

— Чѣмъ-же вы отдадите?

— Какъ-нибудь, по силѣ возможности!

И, помолчавъ, прибавилъ:

— Надоть!..

6.

Не знаю, въ какой отдѣлъ моего мужицкаго обзорѣнія дѣвать маленькій деревенскій эпизодъ, которымъ ознаменовались первыя осенніе дни въ Слѣпомъ-Литвинѣ или, вѣрнѣе, первый кулъ новаго хлѣба.

Была темная, дождливая осенняя ночь; неумолчно и обильно лилъ дождь, при порывахъ вѣтра начинавшій «сѣчь» въ окна и шаркать по крышѣ... Вся деревня давнымъ-давно спала мертвымъ сномъ; былъ ужъ второй часъ ночи, пора самая глухая, непробудная: ни одного живого человѣка не встрѣтишь на ста верстахъ кругомъ. Въ такую-то пору сидѣлъ я за книгой. Какой-то стонъ и оханье подъ окномъ остановили меня. — «О-о о-о!» — «О-о-о-о!» — слышалось мнѣ, когда я прислонился къ стеклу окна...

— Мих-хайла-а! изю всей ночи, напрягая послѣднія истомленные силы, прокричалъ стонущій человѣкъ и опять устало заохалъ.

— Кто тутъ? пріотвори въ окно, спросилъ я.

— Охъ, родимый, мальчишку ищутъ... съ отцомъ поѣхалъ — ни отца, ни мальчишки... И что стало!... о-охъ-охъ-охъ!

Это была женщина.

— Куда ѣздитъ-то онъ?

— На мельницу, родной, — молотъ.

— Ты была на мельницѣ-то?

— Была, была... нѣту-ти уѣхали, да вишь... до дождя... Хожу, ищусь конѣ порѣ... Видно, что недоброе случилось.

— Теперь ничего не найдешь, темно!

— О-охъ, не найду!..

Этотъ разговоръ разбудилъ моихъ сожителей, которые кое-какъ уговорили женщину переночевать въ кухнѣ или погодить до свѣту. Измученная, она было согласилась, вошла въ кухню, присѣла, охая и стеная, но не осталась, несмотря ни на что... «Не дома-ли?» твердила. — Можетъ, и дома... Куда имъ дѣться? Некуда... Нѣтъ, недоброе... Охъ,

худое-худое... И наконецъ-таки ушла. — «Михайло-о...» снова слышался ея голосъ, издавѣка доносимый вѣтромъ.

Чѣмъ свѣтъ, по деревнѣ разнеслась недобрая вѣсть: на разсвѣтѣ крестьянка нашла своихъ, но въ какомъ видѣ! Мужъ валялся на полѣ, верста за десять, и спалъ пьяный; въ сторонѣ отъ него паслась высвободившаяся изъ упряжи лошадь, а подъ телѣгой и подъ мѣшками съ новой мукой лежалъ мертвый мальчикъ...

Какъ случилось это несчастіе? Никто путемъ разсказать не могъ. Разбуженный отецъ только съ ужасомъ таращилъ глаза и меньше всѣхъ зналъ, что такое съ нимъ случилось. Онъ помнилъ только, что вчера поѣхалъ на мельницу, что взялъ съ собой шестилѣтняго сынишку (все человѣкъ: поддержитъ лошадь, сдѣлаетъ сказать «тпру» въ то время, когда отецъ будетъ на мельницѣ). Помнитъ, какъ онъ радовался, таская мѣшки новой муки... Помнитъ, какъ подѣхали дядя Егоръ да дядя Пахомъ; ѣхали они со станціи и везли ведро хорошаго вина. — «Ай новина?» спросилъ Егоръ. — «Она самая!..» — «Никакъ вино везешь?» — «Вино!» — «Дай, стаканчикъ, я тебѣ новинки отсыплю». — «Что отсыпать, давай мѣшокъ-то — пей!» — «Такъ ужъ тогда давай всей компаніей выпьемъ, новину обмоемъ»... Выпили по стаканчику, по другому, по третьему... «а тутъ и не помню». Не помнитъ также ничего и дядя Егоръ, и дядя Пахомъ тоже чуть-чуть что-то домекаетъ... Помнится ему, бытто мальчишки и не было въ телѣгѣ... — «Ежели-бъ было, авось-бы замѣтили, не ввалились-бы въ телѣгу цѣлой гурьбой пѣснипѣть!» — «Господи помилуй! ужъ неужто мы не выдали его, да навалились и задавили?..» «Царица небесная!» — «Да не спалъ-ли мальчикъ-отъ?» — «Спалъ, спалъ и есть!» — вспоминаетъ отецъ. — «Какъ-же это, Господи?» — «Вино-то дюже забрало!.. Вино хорошее! вино, надо сказать прямо, первый сортъ!» — «Много-ль ты его выпилъ-то?» — «Да Господь его знаетъ... дядя Егоръ ни бутылки, ни муки не привезъ, да и то очутился вмѣстѣ съ телѣгой невѣдомо гдѣ»...

Идутъ толки, разспросы; но никто путемъ не знаетъ, какъ случилось это несчастіе. Кто и когда свалился изъ телѣги, какъ, кто и гдѣ очутился? Раздавили-ли мальчишка люди, или мѣшки и телѣга? Всякій помнитъ только стаканчики, а потомъ ничего и не помнитъ — потому вино дюже хорошо попало. А мальчикъ лежитъ мертвый на лавкѣ, и бѣлыми холстомъ покрыты его изуродованные члены!.. Вчера онъ еще бѣгалъ, игралъ въ лошадки, въ воровъ, т. е. ловилъ вора, велъ его въ арестантскую, кричалъ: «отдай деньги!», а теперь вотъ — мертвый... Какъ? за что? Сразу, Богъ знаетъ за что, Богъ знаетъ почему, свалилась на людей бѣда, истинная деревенская бѣда, которая бьетъ какъ громъ, никому ничего не объясняя: и пришибленъ человѣкъ, да какъ пришибленъ! Разбита, какъ дерево молніей, мать, опеломленъ и въ глубинѣ своей совѣсти заклеменъ ощущеніемъ ужаснаго преступленія отецъ, простой, сѣрый, ра-

ботающій мужикъ.. Есть-ли какая-нибудь возможность распутаться, разобрать что-нибудь въ этомъ глубоко несчастіи всему этому несчастному народу?.. Облегчить-ли кто-нибудь эту безопечную боль матери, непостижимый ужасъ отца? «Вино дюже крѣпко!» можетъ только сообразить этотъ несчастный человѣкъ во всей массѣ нахлынувшего на него горя.

Цѣлый день надо всей деревней, не говоря о семьѣ маленькаго покойнаго, являло ощущеніе неразгаданнаго несчастія, которое всякому говорило, что есть надъ всѣми что-то безпощадное, что можетъ грянуть на насъ невѣдомо когда и разнести въдребезги.

Наконецъ пронеслась вѣсть:—«Становой!»

И всѣмъ стало легче... Хотя кто-нибудь покончить съ этимъ тяжелымъ недоумѣніемъ. Такъ, самъ по себѣ, только будешь думать и мучиться, мучиться и думать, и все-таки ничего, ровно ничего не придумаешь. Становой взялъ листъ бумаги и написалъ протоколъ, въ которомъ была смерть отъ давленія тѣлѣй. Помятые подписались и разошлись по домамъ. Дѣло конченное. Далѣе мыслей начальства не приходится распускать темныя мысли мужицкія—не къ чему...

Мальчишку зарыли; и вотъ изъ деревенской дѣвушки, изъ деревенской молодухи образовалась деревенская женщина съ разбитой грудью, съ угнетеннымъ выраженіемъ лица и съ сознаніемъ, что нѣтъ на свѣтѣ ничего, кромѣ муки-мученской... А изъ парня и работающаго отца вышелъ мужикъ молчаливый въ полѣ, молчаливый дома, снимающій молча шапку передъ каждымъ тарантасомъ и издали сворачивающій съ дороги въ грязь, въ лужу отъ всякаго встрѣчнаго: всякій встрѣчный лучше его. всякій имѣетъ право идти по дорогѣ, тогда какъ онъ сѣрый мужикъ—«суконное рыло!»

7.

При всеобщей заботѣ о податяхъ, крестьяне невольно должны обращать особенное вниманіе на всякое явленіе, въ глубинѣ котораго скрываются деньги. Въ виду этого, слѣпские жители съ особеннымъ интересомъ ожидали приѣзда врача воспитательнаго дома, чтобы разузнать, когда имъ будутъ выданы свидѣтельства на полученіе 10 руб. за послѣднюю треть года. Свидѣтельства за предшествующую треть года были заложены давнымъ-давно и забраны—у кого въ лавкѣ мукой, солью; у кого, съ уступкой конечно, отданы растовщикамъ. Эти новыя свидѣтельства, деньги по которымъ получаютъ въ концѣ трети, ожидаемы были также для немедленнаго залога въ лавку или растовщикамъ...

Въ первыхъ числахъ сентября неожиданно пріѣхалъ докторъ и остановился у меня, такъ какъ въ нанимаемомъ мною домѣ—онъ узналъ отъ лавочника—есть большая, удобная комната. Никогда или по крайней мѣрѣ очень, очень много лѣтъ не видалъ я такого олицетворенія русскаго чиновческаго типа. Поставленный въ необходимость исполнять неисполнимое (возможно-ли что-нибудь сдѣлать одному человѣку, съ аутенкой въ полторы

квадратныхъ четверти для нѣсколькихъ сотъ дѣтей, разбросанныхъ на громадномъ пространствѣ цѣлаго уѣзда), этотъ человѣкъ, какъ и всякій русскій чиновникъ, не имѣющій силы оторваться отъ жалованья, создалъ изъ своего дѣла нѣчто по-истинѣ національное, т. е. дѣла онъ не дѣлалъ, потому что не могъ, но непрерывно мучился (или показывалъ видъ, что мучается) и мучилъ окружающихъ, подвластныхъ ему людей, запутывалъ себя и другихъ въ какой-то паутинѣ всякихъ вздоровъ, запутывая до помраченія ума и самъ уставая при этомъ до того, что у него «пересыхало горло», и до обычной фразы въ концѣ-концовъ:

— «Вотъ наша собачья жизнь! Еслибы не семейство» и т. д...

Битыхъ два часа этотъ «служащій» человѣкъ оралъ на собравшихся по его призыву бабъ съ ребятами, не сказавъ имъ ни одного слова дѣла, потому что такія слова не привели-бы ровно ни къ чему.

— Да ты говори путемъ! часто слышалась бабья рѣчь во время его монологовъ.

— Я вамъ двадцать тысячъ разъ говорилъ... довольно съ меня!.. У меня и такъ голова постѣдѣла отъ нашего безобразія!.. Свиныи вы!—вотъ я вамъ что скажу разъ навсегда. Еслибы вы какъ слѣдуетъ исполняли то, что вамъ приказываютъ, тогда дѣло было-бы другое...

— Кажись, мы стараемся...

— «Кажись»!.. Вамъ все, дуракамъ, «кажись»!.. А вотъ какъ напишу ревизору, тогда и узнаешь Кузькину мать. «Кажись»!.. Ты что?

— Третій мѣсяцъ пошелъ.

— Кто ты такая?

— Аксинья...

— Какая Аксинья!

— Маркова! заговорили нѣсколько голосовъ.

— Что-жъ тебѣ нужно?

— Билетикъ-бы...

— Какой билетикъ? За что? Откуда?.. Что она такое говоритъ?

Баба молчитъ.

— Что у ней языкъ что-ль отнялся?

— Она отъ Марыи ребенка приняла... Третій мѣсяцъ держитъ задаромъ, проситъ билетъ на осень...

— Какъ она смѣла взять безъ позволенія?

— Тамъ прописано въ билетѣ...

— Въ какомъ билетѣ?

— А въ Марыиномъ.

— Что это значитъ—«въ Марыиномъ»? Что такое прописано? Тебѣ пропишутъ порку, а ты пойдешь ко мнѣ? Вамъ будутъ тамъ прописывать, а я тутъ съ вами толкую? Нѣтъ ужъ, покорно благодарю!.. Довольно съ меня и того...

И такъ далѣе, все въ томъ же родѣ.

Этому человѣку необходимо было терзаться самому и терзать другихъ по пѣлымъ часамъ. прежде нежели онъ отливалъ въ пузырьки бабъ нѣсколько капель ревеню, или прежде нежели объявлялъ какой-нибудь Аксиньѣ, что она не получитъ за три мѣсяца ни копѣйки, такъ какъ въ билетѣ именно это и прописано, и ничего другого тамъ нѣтъ и не было. Пробышевалъ нѣсколько часовъ, намучив-

шисъ и намучивъ другихъ, нажаловавшись на начальство, на свою каторжную жизнь, похвалившись своими благодарностями, своими хлопотами, врачъ наконецъ уплеся въ сосѣднюю деревню, оставивъ бабъ въ недоумѣніи. Точно кто-то взялъ каждую за шиворотъ, ни съ того, ни съ другого наоралъ, растрепалъ, оглушилъ и выпихнулъ невѣсть куда.

По отъѣздѣ доктора между бабами произошелъ (когда онѣ очнулись) разговоръ, давшій мнѣ возможность внести въ мой дневникъ нѣсколько словъ, касающихся деревенской педагогіи.

Бабы кучей стояли подъ моимъ окномъ и нѣкоторое время были въ полномъ оцѣпенѣніи.

Наконецъ Акинья Маркова очнулась и произнесла:

— Тоже билеты даютъ... а кто ихъ тамъ разберетъ, прости, Господи...

— Ты-бы писарю дала прочитатъ-то...

— Да читали ужъ... Хоть читай, хоть нѣтъ, ишь онъ... ровно цѣпная собака!

— То-то читали. Кто читалъ-то?

— Да Федюшка Корзунинъ читалъ...

— Нашла кому!.. Что мальчишка знаетъ?

— Вѣдь небось учуть ихъ. Шутъ ихъ знаетъ, чему ихъ тамъ учуть-то...

— На-ашла!.. Вотъ тебѣ и начиталъ на шею...

— Да что мнѣ? Пойду да швырну его (ребенка) Марьѣ, пусть беретъ назадъ, а мнѣ отдастъ за три мѣсяца... Шутъ съ ей!

— И то-о!.. Богъ съ нимъ совѣтъ... Что она? Нешто такъ дѣлають? Кабы свой бы...

Долго бабы тараторили о своихъ бѣдахъ, наконецъ ушли. Меня заинтересовалъ Федюшка Корзунинъ, котораго я зналъ. Это — мальчикъ лѣтъ 13-ти л, какъ мнѣ казалось, умный, грамотный. Отецъ его хвалился даже, что «хоть самъ отъ безграмотства пропадаю, ну, только ужъ сынишку произведу»... И вотъ такой то Федюшка повергъ бабу въ большое горе именно своей безграмотностью.

При первой встрѣчѣ я спросилъ его:

— Это ты, что-ль, Акинья билетъ то Марьинъ читалъ?

— Мы.

— Ты что ей тамъ прочиталъ-то?

— Что писано.

— Нѣтъ не то, что писано.

Я рассказалъ ему всю исторію. Оказалось впрочемъ, что и отецъ, и Акинья уже намылили ему голову.

— Какъ же это ты?

— Я читалъ... все...

— Какъ же ты не понялъ, что написано? Развѣ тамъ много напечатано?

— Нѣ... не много...

— И ты не понялъ?

— Нѣ...

— Долго-ли ты учился?

— Три зны...

— Плохо, братъ!

Мы расстались.

Подъ впечатлѣніемъ этого разговора иду къ учителю, съ которымъ я былъ уже давно знакомъ.

По случаю лѣтнаго времени, учитель перебрался изъ маленькихъ комнатъ своей квартиры при училищѣ въ большую классную комнату. Я засталъ его за такимъ занятіемъ: онъ ходилъ на четверенькахъ по какой-то разноцвѣтной, какъ мнѣ показалось, простынѣ и былъ окруженъ чашками съ клеемъ, обрѣзками разноцвѣтной бумаги, тряпками и пр.

— Что это вы такое дѣлаете?

— Вотъ вензель... «А» — видите... Акинъ Ивановичу въ день ангела.

— Что это вы все Акимъ Ивановичу да Акимъ Ивановичу?

— Нельзя... Хорошій человекъ — разъ, а вторыхъ — членъ. А я вѣдь еще землемѣръ занимаюсь при сѣздѣ, въ лѣтнее-то время; онъ — мой начальникъ, вотъ я и желаю ему...

Учитель шмыгнувъ ладонью по носу, полюбовался буквою А, почти уже написанной на простынѣ, и продолжалъ:

— Видите, какой у меня планъ... Я взялъ за женой въ деревнѣ Болтушкинѣ два дома. Теперь они отдаются за безцѣнокъ, вотъ я и хочу перейти туда. Тогда у меня въ одномъ домѣ школа, въ другомъ верхъ — самъ займу, а низъ — подъ кабакъ сдамъ. Огороды свои. Видите? Жалованье то же, что и тутъ, а поглядите-ко-сь, сколько рассчита-то... Ну, а Акинъ-то Ивановичъ меня не пускаетъ, потому я хоромъ здѣсь дирижирую... не хочетъ пустить... Говорить: «тогда отъ сѣзда откажешъ». Ну, вотъ я ему и хочу сюрпризъ... Хе-хе-хе... авось!

Добродушно радовался учитель своей штукѣ и своему плану, и долго потомъ расписывалъ мнѣ, сколько у него останется лишку, если онъ перейдетъ въ Болтушкино.

— Капуста наприжѣръ, пли рѣпа, морковь тамъ, то есть все, все, все, все — свое!..

Говорилъ онъ съ восторгомъ, поводя рукой, какъ-бы обозначая какіе-то широчайшіе горизонты, переполненные рѣпой, морковью, всѣмъ, всѣмъ...

Долго мы толковали на эту тему; наконецъ, уходя, я сказалъ учителю:

— А вотъ вашъ одинъ ученикъ какую штуку отмочилъ... И рассказалъ ему исторію о Федюшкѣ, который, учась три года, не могъ понять прочитаннаго.

— Э, батюшка, добродушно проговорилъ учитель: — хотите вы отъ нихъ!.. Подите-ко, обломайте ихъ, чтобъ они понимали-то... И-и!.. Всѣхъ дураковъ не переучишь! Слава Богу, хоть на экзаменахъ-то не сраматы!.. И этого-то подите-ко добейтесь отъ нихъ... Провалить разъ-другой — и остался безъ хлѣба!.. Хоть на экзаменахъ-то выручаютъ — и то спасибо, а вы тамъ! Посмотрите-ко, какъ найдутъ къ намъ изъ города надзиратели да смотрители, да попечители, да какъ начнутъ загвазживать разные вопросы, одинъ хитрѣй другаго: такъ тутъ только держись за «грядки», точно на перекладной читать... — «Что такое Святой Духъ?» — «Почему заутреня раньше обѣдни?» — то-есть не приведи Богъ! «Что такое Святой Духъ?» Позвольте узнать — что такое? Скажи: третье лицо Святыя Троицы — это имъ мало! Надо и имъ чѣмъ-

нибудь отличиться—недаромъ они ревизоры. Означить нашего брата для нихъ первое удовольствіе... Ну, и налаживашь ребятъ на этакіе фокусы..

— И отвѣчаютъ?

— У меня-то?.. Поп-пробуй-ка у меня!.. Ужъ ежели я *слиз* кого вызову—ужъ тотъ отвѣтитъ... Конечно со всѣми не сладишь; гдѣ этакую ораву ободванить одному: вѣдь это нешто люди?—дрова, полѣнья.. Больше ничего! Ну, а ужъ будьте покойны. Мнѣ нельзя какъ-нибудь: у меня, батюшка, семья на плечахъ!

8.

Возвращаясь къ повѣствованію о такихъ явленіяхъ осеннихъ дней, въ которыхъ какую-нибудь роль играютъ деньги. Къ сожалѣнію моему, такихъ явленій съ «деньгами» въ настоящую минуту въ деревнѣ крайне мало. Настоящая осень съ охотами и наѣздами господъ не начиналась, а другихъ мало-мальски опредѣленныхъ или навѣрнѣе ожидаемыхъ подспорій что-то не видать. Впрочемъ, какъ ни странно это покажется, но къ числу такихъ подспорій можно до нѣкоторой степени причислить и войну, не въ тѣхъ конечно видахъ и формахъ, въ которыхъ она является предъ столичнымъ читателемъ, а въ тѣхъ, въ какихъ доходитъ она до деревенскаго мужика. Уже было говорено, что всякое мѣропріятіе или столичная реформа, или столичная идея, дойдя до деревни, превращается въ простое требованіе денегъ. Въ формѣ требованій то людей, то подводъ, то лошадей приходятъ въ деревню и война: но, уводя людей, она аккуратно и хорошо платитъ за скотину. Не одинъ изъ слѣпыхъ мужиковъ спряталъ сотенную бумажку, благодаря конской повинности, и есть такіе, кому выпалъ на долю барышъ.

Здѣсь слѣдовало бы закончить этотъ отрывокъ изъ деревенскаго дневника, такъ какъ осенніе дни не дали до сей минуты еще ничего достойнаго быть отиѣченнымъ, если-бы, опять-таки невѣдомо откуда, изъ-подъ совершенно опредѣленнаго факта конской повинности не вылѣзаль на мои глаза цѣпляющійся за него фактъ неопредѣленной, темной глубины самаго дня деревенской жизни.. Именно: у старосты Михаила Петрова (съ которымъ читатель познакомился въ началѣ этого отрывка), у этого умнаго, знающаго деревенскую подноготную человѣка, забраковали на приемъ лошадь. Михаилъ Петровъ огорчился; онъ ужъ намѣтилъ хорошенькую лошаду и поровнилъ приобрести ее на тѣ деньги, которыя бы пришлось получить ему съ ремонтера. Лошадь подходила подъ мѣрку, а между тѣмъ операція не удалась только потому, что холка у этой лошади была натерта въ одномъ мѣстѣ. Негодуя на эту холку, Михаилъ Петровъ вспомнилъ, что натертое мѣсто не зарастаетъ у лошади уже третій годъ, сталъ размышлять о причинѣ такой странности.. Не размышлять же обстоятельно о натертой холкѣ онъ не могъ потому, что она лишила его денегъ (денегъ!) и разстроила планы. И невѣдомо изъ какой тѣмы-темъ его ослѣпнло воспоминаніе о томъ, что лошадь эта куплена, три года тому назадъ, у того самаго Петра-синильщика, съ которымъ читатель также познакомился въ этомъ отрывкѣ.

— А вѣдь что-нибудь это значить, подумалъ Михаилъ Петровичъ, и немедленно же вспоминалъ, что годъ тому назадъ волкъ зарѣзалъ у одного крестьянина корову, купленную также у Петра...—Что-нибудь это не такъ! Вѣдь заживаютъ же холки у другихъ лошадей, вѣдь въ одно лѣто зарастаютъ такъ, какъ будто и натерто не было!—недоумѣвалъ онъ. И потомъ, отчего волкъ не зарѣзалъ коровы, покуда она стояла на дворѣ у Петра, а сдѣлалъ это тотчасъ, въ тотъ-же день, какъ попала къ другому хозяину?

Очевидно, что отъ Петра идетъ какое-то зло: тамъ зарѣзана корова, тутъ не приняли лошадь—вездѣ убытокъ, и все отъ Петра. Есть въ немъ что-то худое, недоброе; недаромъ онъ сидѣлъ въ острогѣ и волъ на деревню, и поровитъ пустить краснаго пѣтуха... Два такіе убытка, и все отъ Петра, представлялись Михаилу Петрову основательнѣйшими доводами въ пользу того, что у Петра или въ Петрѣ, или около Петра что-то нечисто... темно и недобро... Свернуть съ пути такихъ подозрительныхъ мыслей Михаилъ Петровъ не имѣлъ возможности, потому что ежеминутно его мучила мысль объ убыткѣ, о забраваніи лошади, ежеминутно онъ долженъ былъ думать о томъ, что вся бѣда въ холкѣ, а отъ холки мысль переносилась на Петра, на то, что это—подозрительный человѣкъ, что это—острожникъ, а тамъ само собой припоминалась корова, и отъ коровы опять къ забравкѣ и т. д. Петръ невольно становился, въ воображеніи практическаго, понимающаго Михаила Петрова, центромъ, вокругъ котораго вращались мысли о неудачѣ, объ убыткѣ, о разрушенныхъ надеждахъ... И фигура Петра—темная и безъ того почти никѣмъ достаточно не понятая—становилась еще непонятнѣе и темнѣй.. Не прямое представленіе чорта, а что-то близко подходящее къ нечистой силѣ, къ чему-то таинственному и злему незамѣтно присоединилось къ личности Петра къ воображенію Михаила Петрова.

— А что, староста, сказалъ ему вечеромъ несчастнаго дня одинъ изъ деревенскихъ мужиковъ:—что я хочу у тебя спросить... Петруха вотъ синильщикъ просить у меня на задворкахъ хатенку поставить.. Какъ по твоему: дозволено ли по закону его пустить?..

Михаилъ Петровъ помалчивалъ, кряхтѣлъ.

— По три серебра сулитъ платить на годъ... Все—деньги... А мнѣ что-жъ? Мѣсто не украдетъ...

— Н-не знаю!.. таинственно сказалъ Михаилъ Петровъ.—Пустить—отчего не пустить; дѣло это мирское... а только что..

Староста покачалъ головой и прибавилъ:

— Человѣкъ-то онъ.. не того... что-то бытъо... нечистоватъ!

— Неужто-жъ онъ худое чтъ думаетъ?.. Чай и на емъ крестъ есть?.. Я же ему ублагодотвореніе дѣлаю; неужто-жъ онъ мнѣ то ужъ что нибудь?.. Вѣдь тоже побился на своемъ вѣку, должнъ оцѣнить, что даю ему упокой.. Вѣдь и онъ крещеный человѣкъ-то?

— Такъ-то такъ... да не очень-то, говорю, вокругъ его благополучно. Такъ мнѣ вотъ бытъо думается... А впрочемъ...

— Али что-нибудь?...

— Да вотъ, прихвѣрно, хоть это какъ по твоему будетъ?

И Михаилъ Петровъ разсказалъ про холку.

— Вѣдь три года—это, братецъ ты мой, тоже надо подумать!.. Опять вотъ у Мирона съ коровой...

И съ коровой исторію разсказалъ Михаилъ Петровъ.

— Вѣдь ужъ что-нибудь же да означаетъ это? философскимъ тономъ продолжалъ Михаилъ Петровъ, видимо стараясь самъ проникнуть въ самую глубину тайны:—вѣдь ужъ есть же что-нибудь?

Мужикъ слушалъ и задумался.

— Не хомутъ ли? робко возразилъ онъ.

— Хомутъ! А отчего-жъ у другихъ и хомутъ на третѣ, а все зарастаетъ? Отчего же тутъ-то три года, братецъ ты мой? Ну, пушай и хомутъ, а корову-то почему же такъ? Вѣдь покада у Петра была—ничего, а какъ только вотъ къ Мирону... Н-нѣтъ, тутъ не очень часто!

Задумавшійся мужикъ, не угнетаемый такъ сильно мыслью объ убыткѣ, какъ былъ угнетенъ старости, пробовалъ-было возразить, что и съ коровой, можетъ, такъ «случаемъ» вышло, но Михаилъ Петровъ опять затуманилъ его, говоря:

— Случаемъ!.. Ну, пушай такъ; ну, а холка-то-почему-жъ?—вѣдь три года..

Тайна не только не выяснялась, но дѣлалась еще таинственнѣе и запутаннѣе, тѣмъ еще темнѣе... Оба—и Михаилъ Петровъ, и мужикъ—чувствовали, что разобрать все это невозможно, и знали одно, что тутъ, въ этой тѣмѣ, главное дѣйствующее лицо все-таки тотъ же Петръ.

— Вотъ тоже, крѣпко подумавъ, робко произнесъ мужикъ:—у Андреяна... Тоже Петръ... стало быть, купилъ онъ, Петра-то, у Андреяна овцу, а Андреяна лошадь пала... послѣ того...

— Ишь ты вотъ! воскликнулъ Михаилъ Петровъ.—Именно говорю тебѣ—не чисто!.. Вотъ погляди! Ужъ что-же нибудь есть въ эфтомъ случаѣ, что вредъ одинъ отъ него—и больше ничего... Какъ хочешь! Но мнѣ все одно, я препятствовать не буду, хочешь отдавай мѣсто, хочешь нѣтъ, а что есть тутъ худое—ужъ это помни ты мое слово!.. Чуетъ мое сердце, что не безъ этого... А по мнѣ—какъ хошь...

И мужикъ, и староста чуяли, что все это можетъ быть и не такъ. Но никакъ не могли рѣшить: значать-ли что нибудь всѣ эти холки, коровы и овцы, или-же ничего не значать.

— А ну, какъ что-нибудь, въ самомъ дѣлѣ? думалось имъ,—и отвѣта не имѣлось никакого...

— Что-жъ, Кузьмичъ? спросилъ Петръ крестьянина, у котораго на задворкахъ думалъ поселиться.—Сладили мы съ тобой дѣло-то, али нѣтъ?..

— Надо быть, не выйдетъ, Петръ Микитичъ.

— Что-жъ такъ?

— Да такъ, не подходитъ дѣло!

— Чего не подходитъ-то?

— Да все что-то бытто не того...

— Ты толкомъ говори: чего не подходитъ? чего ты косишься-то?

— Чего мнѣ коситься...

— Такъ чего-жъ ты рыло-то воротишь? Гاربить что-ли я тебя стану, въ самомъ дѣлѣ, за твою доброту-то? Что ты, съ ума что-ль сшелъ?

Петръ совсѣмъ-было убѣждалъ Кузьмича въ безопасности дать уголокъ бѣдному человѣку; но мысль о холкахъ, коровахъ, о томъ, что «а ну-ко это что-нибудь?»—вдругъ осѣнила его, и онъ торопливо и рѣшительно произнесъ:

— Нѣтъ, Микитичъ, не сойдемся!

— Отчего такъ?

— Это мое дѣло! Счастливо!

— Будь ты проклятъ, собака жадавая, проревѣлъ ему вслѣдъ Петръ, ожесточенный этимъ безсовѣстнымъ поступкомъ, въ объясненіе котораго Кузьмичъ не далъ Петру ничего, кромѣ въ высшей степени холоднаго, подозрительнаго, даже враждебнаго взгляда.

Очень можетъ быть, что со-временемъ Петръ и будетъ доведенъ до желанія отблагодарить своихъ односельчанъ чѣмъ нибудь безумнымъ и дикимъ, чѣмъ-нибудь бѣдовымъ.

III.

Осеннія ночи.—Скука.—Кузнецъ.—Плутъ, а умѣнь.—Равнопочинная голытьба.—Горькая участь.—Просвѣщенный мужикъ и его «ловка» баба.—Опять мужикъ Иванъ Аванасьевъ пробуетъ «выбраться».

I.

Было часовъ восемь темнаго августовскаго вечера. Деревня затихала, гасили огни и собирались спать. Съ каждой минутой становилось все тише и тише: царство непробуднаго сна приближалось быстрыми шагами; еще часъ—и тогда «не добудишься», «не достучишься», не «докричишься». Въ такіе мертвые часы волки утаскиваютъ и рѣжутъ овецъ и коровъ—и никто не слышитъ рева и блеянья, узнавая о несчастіи только на другой день. Въ такіе часы никто не слышитъ, какъ кричитъ и мучается неожиданно начавшимися родами женщина; не видитъ, какъ она въ горячечномъ состояніи слѣзла съ печки, съ лавки, пошла сама не зная куда. Никто не поможетъ ей, не образумитъ ея, и она, полупомѣшанная, стеной и вскрикивая, шатается гдѣ-нибудь по грязному двору, невѣдомо какъ попадаетъ въ хлѣвъ, не помня себя родитъ ребенка, который иной разъ задыхается тутъ-же въ грязи, иной разъ расшибаетъ голову о какое-нибудь бревно, иной разъ обращаетъ на себя вниманіе и аппетитъ какого-нибудь животнаго... На утро, разувѣтся, ужасъ, зарываніе мертваго въ песочекъ; рядъ мучительныхъ дней, оканчивающихся уголовнымъ дѣломъ и тюрьмой, большею частью благодаря собакамъ или свиньямъ, которыя обыкновенно и дѣлаютъ открытія въ темную ночь зарытыхъ дѣтей... «Ничего не слышали! Нѣтъ, крику не было, не слышали что-то!»—показываютъ потомъ на судѣ крѣпко спавшіе сожители или родственники подсудимой. И въ самомъ дѣлѣ, день-деньской намалявшись, умѣютъ крѣпко спать деревенскіе жители: одни спать «какъ убитые», другіе «какъ мертвые», третьи говорятъ: «заснулъ, братецъ ты мой, какъ ко дну пошелъ»; а есть и такіе, что спать «какъ зарѣзанные».

Огни погасли. Вонъ побродилъ зачѣмъ-то по ком-

натамъ со свѣчкой въ рукахъ лавочникъ и задулъ огонь. Теперь чуть-теплится свѣтлая точка въ господскомъ домѣ, да въ волостномъ правленіи догораютъ огонекъ... Писарь съ помощникомъ, во всю ночь выпавшіеся послѣ обѣда, сидѣли на сырыхъ ступеняхъ крыльца, вспыхивая папиросами... Кто можетъ представить себѣ подавляющую силу этой «мертвой» тиши, этой «мертвой» тьмы, за которыми долженъ слѣдовать «мертвый» сонъ, тотъ пойметъ, что мысли человѣческой, имѣвшей къ тому же полное удовольствіе вовсе не дѣйствовать втеченіе цѣлаго дня, въ такія мертвыя минуты нѣтъ никакой возможности воображать что-нибудь кромѣ представленія смертнаго часа. Человѣкъ, который не можетъ въ такія минуты спать (онъ ужъ послѣ обѣда выпался), долженъ чувствовать, какъ эта тьма, этотъ надвигающійся со всѣхъ сторонъ сонъ, горы сна, зарываютъ его, живого человѣка, въ могилу, а если не въ могилу, то въ какое-то такое мѣсто, гдѣ ничего не видать, ничего не слышать, и гдѣ надобно перестать думать, гдѣ даже нельзя думать, еслибы и хотѣлъ.

— Нѣтъ! послѣ упорнаго молчанія и куренія, прозвнѣлъ довольно рѣшительно одинъ изъ собесѣдниковъ: — переведусь я отсюда, непремѣнно переведусь!

— Я самъ тоже уйду!..

— Чортъ съ ними!..

— Я самъ тоже не останусь... Чего тутъ?... привавилъ и молодой писарь.

— Какого чорта? вызывающимъ голосомъ продолжалъ помощникъ, очевидно придавленный пустыми днями и мертвыми ночами; но, какъ человѣкъ солидный, практический, не могъ ограничиться въ доводахъ своему бѣгству отсюда однимъ только сознаніемъ пустоты и гнетущей тоски, не могъ удовольствоваться ощущеніемъ могилы, навѣваемымъ сномъ и тьмой, а долженъ былъ искать, самъ для себя, какого-нибудь болѣе существеннаго практическаго довода къ бѣгству...

— Что мнѣ тутъ? говорилъ онъ, разыскивая этотъ доводъ и оглядываясь къ непроницаемой темнотѣ: — что я здѣсь? за какимъ чортомъ?..

Но темнота до такой степени осадилъ собесѣдниковъ, что какъ-бы даже касалась щекъ, рукъ, точно это была какая-то особенная, черная какъ уголь и тяжелая масса. Вотъ почему помощникъ долгое время не могъ прибрать ничего путнаго въ объясненіе своего желанія и повторялъ:

— Чего я тутъ не видалъ? Слава Богу!... точно свѣтъ клиномъ сошелся! авось...

— Въ самомъ дѣлѣ!... поддакивалъ писарь.

— Что я тутъ? Семь-то рублей, что-ли? Такъ я въ Ендовѣ добуду восемь... коего дьявола?

Доводъ былъ найденъ: мало жалованья — вотъ главное, а вовсе не эта тьма и сонъ, похожіе на смерть.

— Семь-то рублей! продолжалъ философствовать помощникъ: — развѣ это деньги? Тамъ, въ Ендовѣ-то, по крайней мѣрѣ все-таки большая дорога.

— Да вѣдь и здѣсь большая.

— Здѣсь! — здѣсь не дорога, а свинство одно.

Развѣ такая дорога-то большая? Ты спроси сначала, а потомъ и говори. Настоящая дорога-то идетъ, какъ война воюетъ, — вотъ какая дорога; а это что? Почта только... Это чертовщина, а не дорога... Я тамъ однихъ писемъ на пятнадцать цѣлковыхъ пакатаю — въ мѣсяцъ-то, потому народъ, суета, а здѣсь что?

Долго разрисовывалъ помощникъ свои будущія благополучія, зная въ то же время, что все это только такъ, и ни куда онъ не перейдетъ, покуда въ самомъ дѣлѣ не засохнетъ и не задохнется отъ тоски и однообразія, или не подвернется случай жениться, не подойдетъ какая-нибудь невѣдомая теперь, но хорошая «лннія». И писарь зналъ, что все это вздоръ; но «доходъ», но «деньги» были столь уважительными у всей этой тьмы предметами, что никто не чувствовалъ себя глупымъ, позволяя себѣ фантазировать на этотъ счетъ. О деньгахъ, о доходахъ можно размечтаться, можно позволить себѣ безнаказанно поврать даже — это ничего. А вотъ раздумывать о томъ, почему скука, почему «дѣло — не дѣло», раздумывать о томъ, какъ-бы получше было жить на свѣтѣ, словомъ — разыскивать и фантазировать, основываясь на своей внутренней, сердечной тоскѣ и заботѣ, вотъ это ужъ глупость и вздоръ, потому что тогда «всякій» также начнетъ фантазировать, всякій полѣзетъ съ своими сердцами, а ужъ это Богъ вѣсть что.

2.

Торопливое чавканье чьихъ-то лантей, послышавшееся въ темнотѣ, прервало фантазіи и разговоры двухъ хорошо выпавшихъ людей.

— Кто тутъ? радуясь живому существу, спросилъ темноту писарь.

— Бертище!.. весело и рѣзко отвѣчалъ голосъ изъ тьмы.

— А!.. обрадовались собесѣдники.

— Бертище, продолжалъ голосъ, быстро приближаясь: — заютѣлъ винища, бѣжить въ кабачище, во второй, братцы писарь, рразище. Какъ это вамъ покажется?

Тьма и сонъ, и смерть огласились вдругъ радостнѣйшимъ смѣхомъ. Въ голосѣ «Бертища» было нѣчто до того смѣшное, комическое, что кажется самыя обыкновенныя слова, сказанныя имъ, непременно бы возбудили веселое расположение духа и улыбку въ самомъ скучномъ человѣкѣ. Слышались въ немъ и беззаботность, и веселье, и насмѣшка, и симпатія, и почти юношеская веселость, хоть «Бертище» былъ старикъ пятидесяти лѣтъ. Это былъ маленький, жилистый, проворный и нервный до послѣдней степени человѣкъ, съ широкимъ, смѣшнымъ утинымъ носомъ и проворными, крошечными, безцвѣтными глазами; — человѣкъ, занимающійся кузнечнымъ мастерствомъ по дню — день тутъ, недѣлю тамъ, словомъ — сколько ему поправится и гдѣ поправится. Но гдѣ бы онъ ни пристроился, тотчасъ начинался смѣхъ и живой, остроумный крестьянский разговоръ. Остроты, пѣсенки, анекдоты у него были «все свои», особенные, никѣмъ, ни гдѣ, никогда не слыханные. И эти остроты и прибаутки сыпались градомъ въ то время, когда маленькія

жилисты руки Бертищи проворно работали молоткомъ. И работалъ-то онъ, точно комедію представлялъ. Раскаливъ конецъ желѣзной полосы и выхвативъ его изъ горна, онъ, по дорогѣ къ наковальнѣ, непременно испугаетъ бабу, ткнувъ огнемъ по направлению къ ней и прибавивъ конечно смѣшное, хотя и сальное словцо. Ожидая, пока разгораются въ горнѣ уголья, онъ попляшетъ и опять расскажетъ исторію или посмѣется надъ кѣмъ-нибудь. Выдалась среди жаркой работы коротенькая минутка передышки, Бертище не упустить ее, чтобы не хлопнуть водки второпяхъ, виопыхахъ, и все съ разными гримасами, прибаутками, позыми. Непрѣменно родникъ юмора, веселости и наблюдательности таится въ этомъ человѣкѣ; но случайность среды не дала ничему развиться какъ слѣдуетъ, и талантливый человѣкъ этотъ осужденъ на то, чтобы выдѣлывать «колѣна», пить и, разумѣется, спать съ кругу.

— Тебѣ не дадутъ теперь водки: запрещено, сказалъ писарь.

— Миѣ то? Да ты знаешь, кто я такой?

— Кто?

— Я—Бертъ! Понимаешь это? Знаешь, въ Петербургѣ заводчикъ Бертъ, миллионеръ?

— Ну?

— Ну, это я и есть! Это вы только, глупые, необразованные люди, собачьи кличка носите: Свининъ да Балванскій, да Зайцевъ... Я, братъ, этого съ собой не позволю дѣлать.. Я себя самъ произвелъ въ иностранцы.

— А твоя какъ фамилія-то настоящая?

— Кукушка! Ну что это за названіе? Какая я кукушка? Я — человѣкъ: вѣдь это срамъ съ такимъ именемъ. Нѣтъ, братъ, думаю, шалишь, не проводишь! Я-те дамъ кукушка.... Бертъ! Объявляй—и шабашъ.. И въ думѣ такъ сказалъ—«никакого, говорю, Кукушки нѣтъ, и билета съ кукушкой не возьми!» Три цѣлковыхъ далъ, теперь пишутъ «Бертъ». Да какого чорта? Я по кузнечному, и онъ, петербургскій-то Бертъ,—тоже по кузнечному. Вотъ и произвелъ! А то Кукушка! Я тебя за эти слова... Ты что жъ меня садиться не приглашаешь? Что ты за дубина такая, что я долженъ стоять предъ тобой?

Что ты, Аннушка, фарсишь,
Да къ себѣ не пригласишь?
А чего ты косишься...
Самъ ко миѣ не просишься?..

пропѣлъ Бертище, подплывая въ грязь, и вскочилъ на крыльцо.

— Что орете тутъ? среди смѣха писарей послышался голосъ выступившей на крыльцо жены учителя.—Дѣтей перебудите...

— Милая моя мамочка!... не давая сказать ей слова, заговорилъ Бертъ и въ рвему сказалъ такое словцо, отъ котораго всѣ и писарь, и жена учителя, какъ говорится, «сгорѣли со стыда».

— Тьфу ты, пьяница! почти убѣгая, произнесла жена учителя.

— Ай не любишь? сказалъ ей вслѣдъ кузнецъ.—Поди, я еще тебя попотчую.

Смѣвъ, охватившій писарей, былъ по-истинѣ не-

вообразимый. Они то закатывались до перхоты, до удушья, то, не выдержавъ и чуть не задохнувшись, оглашали тишину и тьму громовыми раскатами хохота. Бертъ также смѣлся и все прибавлялъ по словечку, благодаря чему по крайней мѣрѣ четверть часа никто изъ смѣявшихся не могъ придти въ себя. «О-охъ! о-охъ!» стонали они, хватаясь за грудь, и вдругъ опять пускались хохотать, какъ помѣшанные.

— Уйди ты отсюда, балалайка безструнная! кое-какъ поминавшіеся, сказалъ писарь: — измучилъ со-воёмъ.

— Я, братъ, и такъ скоро уйду! Оставляйтесь одни, безъ меня, пьянствовать. Чортъ съ вами!

— Ты ужъ никакъ второй мѣсяцъ идешь, все ни съ мѣста,

— А ты вели стаканчики въ кабакахъ побольше давать!.. да! Какъ-же я уйду то? Меня, вопъ, на станцію приглашаютъ, миѣ надо двугривенный, а вы тутъ избаловали кабакъ,—миѣ и не справиться... Наливай онъ стаканъ форменный, миѣ бы четырехъ-то стакановъ за глаза хватило.

— Ну!

Ну, конечно съ посторонними... Ты поднесешь, Евсей поднесетъ, тотъ, другой, третій... самособой. А то онъ наливаетъ — наперстокъ: виѣсто четырехъ и пьешь шесть... Остается изъ сорока копѣекъ поденныхъ всего гривенникъ: развѣ на это уѣдешь? Миѣ нуженъ двугривенный... а гривенникъ куда я дѣну? Хочешь не-хочешь, надо пропить. Стало-быть, седьмой и восьмой. Вотъ и не на что идти... А то бы я отъ васъ давно ушелъ...

— Все не протрезвишься никакъ?

— Говорю, заведи законный стаканъ...

— Ну, будетъ врать-то. Какой стаканъ ни дай, все восемь выпьешь, покуда всего не пропьешь, — ужъ больно любишь, охотникъ...

— Охъ, братецъ ты мой! вздохнувъ, сказалъ кузнецъ.—Ито! люблѣного апазему, виницезто! Люблю!

— Очень нравится?

— Охъ, какъ нравится, братцы, вино-то! Такъ нравится, такъ...

Кузнецъ что-то чмокнулъ губами.

— Что это ты?

— Бутылку, братцы мои, поцѣловалъ. Я завсегда сначала бутылку поцѣлую, а потомъ налью... А пустую, когда окончу, то къ сердцу прижимаю: милая моя мамочка! Ахъ, и люблю же я ее!.. водочку, матушку... страсть господняя!.. Чистая страсть!..

— А запоешь пьешь?

— Нѣтъ, запою нѣтъ у меня. Я ее постоянно обожаю... Не будь водки—да я сейчасъ утоплюсь... Передъ Богомъ. Она моя отрада, за подвиги награда.

— Давно-ли пьешь-то?

— Я пью, кумовья, лѣтъ десять. Прежде я не пилъ. О, поглядѣлъ бы ты на меня прежде-то! У меня въ городѣ восемь кузницъ было; часы, цѣпочка... полное почтеніе... А тамъ вдругъ и одолѣло меня... Непремѣнно меня испортили—ужъ это вѣрно. Ужъ тутъ кто-нибудь подымшалъ миѣ, потому вдругъ началось. Не пилъ, не пилъ, все честно, благородно жилъ, проживалъ; вдругъ все миѣ

опротівляю. Все не по мнѣ стало; думаю: за какимъ шуткомъ я женился? Зачѣмъ цѣпочки, часы—что такое? Захотѣлось мнѣ все раскассировать, и тутъ я пошелъ; все рѣшительно, вотъ все, что подъ руку подвернется, все сталъ пропивать; что было дома—пропилъ, чужое—эквиважу, коляски тамъ—все продалъ, пропилъ, и что дальше пью, все того интереснѣй... Жена—Боже мой! Боже милостивый! и дерется, и жалуется, и сынъ бьетъ и оретъ, смѣхъ мнѣ—больше ничего... Доберусь до дому, какъ пестъ, въ грязь, пьяный; заберусь на печку—ха-ха-ха!.. а они-то звать, орутъ, Боже мой!.. Вотъ любовитно мнѣ да и только, а зла нѣту... Потомъ они меня вонъ выгнали. Жена съ любовникомъ...

— Эге, братъ, вотъ въ чемъ дѣло-то!..—обравшись скандальной тайнѣ, раскрывавшей причину безобразной жизни Бертища, оживленно воскликнулъ одинъ изъ писарей.—Вотъ отчего ты задумалъ-то... Любовникъ-то видно у нея раньше былъ?

— Чего ты меня перебиваешь? осердился Бертище.—Чего тебѣ надо о любовникѣ знать?—тебѣ какое дѣло?

— Давѣдъ у жены были любовники, говори прямо?

— Зачѣмъ ты меня беспокоишь такими разговорами?

— Говори: были?

— Тыфу ты невѣжа какой? Конечно были, глупый ты человекъ. Чего же ты спрашиваешь? Было нѣтъ у нея въ высшей степени... Чего тебѣ еще?

— Ну вотъ, отъ этого-то и сталъ должно быть ты пьянствовать?

— Конечно, глупая твоя голова, отъ этого! Чего же ты надобѣдась мнѣ?

— А говоришь: «подмѣшали»!

— Да мало-ли я чего говорю, истуканъ ты необразованный! Долженъ ты молчать по крайней мѣрѣ.

— Ну, ладно; рассказывай!

— «Рассказывай»! Только сбился съ разговору... Конечно отъ огорченія, а потомъ, какъ вошелъ во вкусъ, все стало мнѣ нипочемъ... Вдругъ впалъ въ насмѣшку, сталъ издѣваться... Вижу жену съ любовникомъ, съ купцомъ,—только смѣхъ меня раздражаетъ, какъ это глупо! И нисколько не обижаясь! Веселье меня обуюло, какъ птицу небесную. Изъ хозяевъ пришлось въ работники,—еще того веселѣй стало. Полтинникъ выковалъ,—пропилъ, повалился подъ заборъ—сплю. Надобно мнѣ въ городѣ, ушелъ безъ шапки и безъ всего въ другое мѣсто. Вездѣ смѣются надо мной, и я смѣюсь, и только думаю одно—какъ бы мнѣ безъ водки не остаться. Это для меня адъ, смерть... Чего-жъ это я тутъ съ вами время теряю?—вдругъ какъ будто опомнившись и вскопчивъ, сказалъ Берти.

— Куда ты?

— А въ кабакъ-то! Пожалуй въ самомъ дѣлѣ заснуть... А мнѣ это нельзя. Я имъ тогда стекла переколочу. Мнѣ давай вина...

— Ты воротись, приди.

— Ну, ужъ нѣтъ. Я тамъ подъ кустикомъ лягу съ моею милою, съ бутылочкой, тамъ и засну.

— А сонъ-то?—вопросительно произнесъ писарь, когда кузнецъ ушелъ.

— Конечно сонъ-то. Еще бы ему не спиться. Пьетъ безъ отдыха.

— А вѣдь не дуракъ?

— Ну, ужъ уменъ!.. Имѣлъ заведеніе, а теперь самъ поденщикомъ... Какой же тутъ умъ? Умный человекъ такъ не сдѣлается. Просто пьяница и балалайка. Ишь, вонъ, жена и сынъ прогнали его. Умный человекъ до этого не допуститъ.

Писарь молчалъ и внималъ, а помощникъ продолжалъ философствовать.

— Ты изъ ничего выйди въ люди, приобрѣти, ухитрись: вотъ тутъ ты покажешь свой умъ... А готовое прожить всякій умѣетъ. Это что! Вотъ на примѣръ Иванъ Ивановичъ (учитель мѣстной школы): вотъ это умный человекъ, прямо можно сказать, что шельма. Онъ, положимъ, подлець-то подлець, а нельзя отнять, уменъ! Что правда, то правда. Что онъ такое? нигдѣ не кончилъ: ни родни, ни руки нигдѣ не было, а вылезъ же въ люди. Теперь вонъ учитель, жалованье получаетъ, и деньженики..

— Эка важность: на старухѣ жениться!

— Тебѣ не важность, потому что ты ничего не понимаешь. У старухи-то два дома, видишь ты это, да деньги; да дѣтскія деньги также на его рукахъ, потому онъ же—и опекунъ, видишь ты это, али нѣтъ? Ты думаешь, онъ не съумѣетъ какъ слѣдуетъ этими деньгами-то орудовать—сдѣлай милость! Старуха-то, можетъ, и году не проживетъ, анъ у него и дома, и деньги: а съ деньгами все, братъ, можно...

— А ежели она пятьдесятъ лѣтъ проживетъ?

— Да хоть двѣсти живи. Разъ онъ забралъ ее въ руки, ему-то что? Онъ и теперь вонъ преспокойно живетъ съ поповской кухаркой, и вниманія не обращаетъ—живи, сдѣлай милость, хоть тыщу лѣтъ; онъ, братъ, заручился; теперь его не спшибешь...

— А какъ узнаешь старуха-то, да прогнать?

— Да гони, сдѣлай милость! Это ему еще лучше: положилъ деньги въ карманъ—и пошелъ... Она же останется безъ копѣйки... Нѣтъ, братъ, его теперь не ссадишь съ позиціи,—ужъ онъ, братъ, запустилъ корни ловко...

— А плутъ!..

— Ну!.. Плутъ!.. Мало чего нѣтъ! Ты ужъ, чортъ знаетъ, чего хочешь... Такъ нельзя... А еще вотъ Михайло Петровъ? Это развѣ не умный человекъ? Отъ отца отошелъ съ пятиалтыннымъ, а теперь вотъ черезъ шесть лѣтъ домъ двухъэтажный, пять лошадей; поди, не одна сотня...

— Все черезъ жену.

— Черезъ кого-бы ни было, а добился.

— Жену продалъ барину...

— Продавъ-ли тамъ, нѣтъ-ли, а домъ вотъ и деньги, и скотъ... Да хоть и продалъ, что-жъ такое? Можетъ, она ему не мила была? Отчего-жъ, ежели на примѣръ на время, и черезъ это можно на ноги стать? Вѣдь такъ нельзя судить: продалъ. Что у кого есть подъ руками. Ужъ лучше съ выгодой, чѣмъ безъ выгоды; такимъ дуракомъ вонъ, какъ Акулька, безъ всякаго расчета... Ежели идеть линия, такъ, напротивъ того, умная женщина должна способствовать, потому что вотъ, на примѣръ Михайло Петровъ этотъ.

Вѣдь ужъ онъ непременно въ купцы выйдетъ, ужъ это какъ богъ-святъ. А вышелъ въ купцы, никто тамъ этого знать не будетъ; а будетъ эта тайна промежду мужемъ и женой... Ежели-бъ она наживала такимъ манеромъ деньги, да въ домъ бы не несла, ну тогда мужъ можетъ претендовать... А ужъ ежели между ними согласіе, тогда чего-жъ? Только промежду нихъ и будетъ...

— А грѣхъ-то?

— Ну, братъ, всѣ грѣшны. Я думаю и у тебя не сочтешь грѣховъ-то, а тебѣ вонъ и двадцати лѣтъ нѣту... Всѣ грѣшны. Всякій дастъ отвѣтъ Богу самъ. Это не наше дѣло судить. Не осуждай! А про то я говорю, что умный человѣкъ съумѣетъ извлечь, а дуракъ—нѣтъ.

— Подлостью.

— Чѣмъ пришлось. Чѣмъ Господь привелъ, а ужъ достигнетъ, а дуракъ никогда, и даже, вотъ какъ Бертъ, потеряетъ состояніе...

Въ это время почти неслышными шагами—чему способствовали резиновые калоши, выдѣлилась изъ тѣмъ и вступила на крыльцо какая-то фигура.

— Кто это?—спросила она шепотомъ.

— Это мы, громко отвѣчали писаря.—Это вы, Иванъ Ивановичъ?

— Я—я! точно задыхаясь, шепталъ учитель.

— Гдѣ вы до сихъ поръ?..

— Тутъ... у батюшки... предписаніе... Который-то часъ?

— Не знаемъ. Ваши ужъ легли.

— Ну, и слава Богу. Пусть... опоздалъ...

Манера говорить и интонаціи голоса учителя были кротки, монашески-умилительны.

— Ты? Иванычъ! появилась на крыльцѣ жена учителя.

— Я-я-я... Запоздалъ... У батюшки... бумага...

— Иди ужинать... Десятый часъ.

— Иду, иду, иду!

И супруги ушли.

— Вотъ плутъ-то! У батюшки!.. Этакая шельма! восторженно произнесъ помощникъ.

— А гдѣ-жъ, по твоему?

— Да все время, съ семи часовъ, съ ней, съ кухаркой, я самъ видѣлъ... Вотъ поди узнай, гдѣ былъ! Предписаніе? Развѣ она что понимаетъ? А ты говоришь—дуракъ!

— Когда говорилъ? Я говорю, что плутъ!

— Да! Плутъ—это такъ!.. А я думалъ, ты дуракомъ его называлъ... Такъ вонъ онъ какой дуракъ-то!.. Предписаніе да предписаніе—поди-ко, ухвати его!.. Нѣтъ, не дуракъ, далеко не дуракъ!..

— А взять да рассказать ей все?

— Ну, и втешешься. Противъ тебя-жъ дѣло. Ты какое имѣешь право нарушать союзъ? Гдѣ у тебя документы? Нѣтъ, братъ, тутъ со всѣхъ сторонъ законопачено... Тутъ не съ твоимъ умомъ соваться. Ужъ ты лучше помалчивай да присматривайся, какъ люди живутъ... Посильнѣй насъ—и то молчать!..

3.

Долго разговаривали и потомъ фантазировали, ложась спать, даже грезили во снѣ наши собесѣдники на тему о выгодиѣшемъ приобрѣтеніи наилуч-

шихъ средствъ къ жизни, т. е. въ сущности на тему приобрѣтенія денегъ. Но я ужъ не буду изображать ни этихъ фантазій, ни грезъ: утомительны онѣ, а главное—обидны. Неопредѣленно, хотя и довольно осязательно тоскующій необезпеченный русскій человѣкъ не можетъ не видѣть своего спасенія только въ одномъ—въ возможности имѣть въ карманѣ кушъ денегъ. Вотъ тогда, думаетъ онъ, когда у него будетъ этотъ кушъ въ рукахъ, тогда, кажется, онъ разберетъ и пойметъ все, что теперь его только томить и чего онъ теперь иначе и не объясняетъ какъ тѣмъ, что жалованья ему—семь рублей, а не десять. Правда, разговоръ, приведенный выше, происходитъ между людьми, не принадлежащими собственно къ простому народу: и писарь, и помощникъ происходятъ изъ той безчисленной на Руси массы людей, которая растетъ въ убѣжденіи, что она почему-то можетъ рассчитывать на вознагражденіе и средства къ жизни, безъ знанія и безъ труда, въ увѣренности, что ей должно «получать», должно жить, нить, ѣсть и наполнять землю, не становясь въ ряды народа, не зарабатывая хлѣба на фабрикѣ, въ пристани съ кулемъ на плечахъ, или на желѣзной дорогѣ съ лопатой въ рукахъ.

Такого народа, воспитаннаго на жирныхъ крохахъ, падавшихъ съ жирнаго стола крѣпостного права, на Руси великое множество: въ чиновничествѣ, въ мѣщанствѣ, въ духовенствѣ,—вездѣ на рождено много безземельнаго народа, громадному большинству котораго нѣтъ ужъ средствъ получить ни знаній, ни умѣнья, дающихъ право требовать, свою порцію хлѣба, и необузданнаго еще въ томъ, что не сегодня, такъ завтра—«трудъ» и только одинъ онъ и будетъ раздавать большія и малыя порціи. У бабушекъ, у деверьевъ, у безчисленныхъ родственниковъ этихъ невинно привилегированныхъ бѣдняковъ еще есть кое-какія средства прокормить какого-нибудь малаго, не окончившаго нигдѣ курса, лѣтъ до двадцати, есть еще кое-какія связи, позволяющія всунуть его въ учителя, въ писаря, въ писцы на желѣзную дорогу, въ пѣвчіе. Но все это не можетъ удовлетворять большинство, по незначительности своей и скудости, и при изобиліи, такъ сказать, исключительно «свѣстныхъ» идеаловъ, такъ какъ никакихъ другихъ не полагалось во многихъ поколѣніяхъ предковъ. Но кромѣ свѣстныхъ идеаловъ, нынѣшнее время несетъ на всякаго человѣка, даже на всякую дубину въ человѣческомъ образѣ, если не новые, не свѣстные идеалы, то навѣрное не бывшія прежде въ ходу, несвѣстные исключительно мысли. Двадцатилѣтній человѣкъ не можетъ не думать о томъ напримѣръ, что ему трудно когда-нибудь законнымъ и надежнымъ путемъ удовлетворить свой аппетитъ, ему не можетъ не приходиться въ голову, что у него вѣдь нѣтъ ничего, кромѣ почерка; что этого товара вездѣ много, и онъ ужъ не въ цѣнѣ. Не можетъ онъ не видѣть, что, кромѣ почерка, у него нѣтъ никакой другой заручки; что волей-неволей онъ долженъ терпѣть, нести свой крестъ, зависѣть отъ всякаго, кто можетъ ему приказывать, словомъ—не можетъ не чувствовать себя скверно. Съ другой стороны, онъ

не может не видеть, что этот *всякий*, которому онъ «подверженъ» въ волостномъ правленіи, въ желѣзно-дорожной конторѣ, словомъ—на всѣхъ поприщахъ своего заработка, также большею частью человѣкъ случайный, также попалъ на мѣсто и папаетъ кушъ не по праву знанія, не по праву труда, а въ большинствѣ случаевъ также только потому, что его бабушки, его тетки и деверья вращаются въ болѣе высшихъ сферахъ, что они могутъ «кому угодно» доставить мѣсто посредника, директора дороги и т. д.

Глядя на все это и мѣряя свое незнаніе съ незнаніемъ имѣющимъ власть, свое невѣжество съ таковыми-же тѣхъ, кто можетъ показывать, свои аппетиты съ аппетитами людей привилегированныхъ, онъ не находитъ между собой и человѣкомъ, поставленнымъ выше, получающимъ больше, никакой разницы и невольно долженъ упразднить въ себѣ зародившуюся мысль о цѣнѣ знанія и умѣнія и о необходимости ихъ въ человѣкѣ, не желающемъ быть паразитомъ, а во-вторыхъ объяснять все дѣло, какъ оно и есть на самомъ дѣлѣ,—только тѣмъ, что вся суть въ средствахъ, что при средствахъ и низшій невѣжда можетъ сдѣлаться высшимъ невѣждой, ничего отъ своего невѣжества не теряя. Вся разгадка успѣха: «рука», «случай», «то, что хорошо подвернулось подъ руку»... И какъ ни грустно это вымолвить, а еще не одинъ десятокъ лѣтъ предстоитъ намъ присутствовать при все болѣе и болѣе имѣющимъ возрастать стремленіи къ наживѣ «во что-бы то ни стало»,—стремленіи, которому едва-ли не придется на нѣкоторое время дать дорогу, передъ которымъ надобно будетъ посторониться другимъ, не менѣе основательно вытекающимъ изъ условій русской жизни стремленіямъ. «Сначала деньги, а потомъ ужъ разберемъ въ чемъ дѣло, въ чемъ вся суть!» Вотъ что принесено, между прочимъ, въ современную русскую жизнь челоѣкообразными остатками крѣпостного права и нравственности, и что принесутъ, съ еще болѣею чѣмъ теперь настойчивостью, цѣлыя массы этихъ остатковъ, въ безчисленномъ множествѣ залегающихъ въ разныхъ углахъ русской жизни...

Фраза—«во что-бы то ни стало» будетъ имѣть для читателя надлежащій смыслъ только тогда, когда онъ дастъ себѣ трудъ подумать: какая такая сила, кромѣ развѣ квартальнаго надзирателя, прокурорскаго надзора и суда, можетъ стать на пути челоѣку, разъ увѣровавшему, что «сначала нужно добыть, а потомъ ужъ разбирать»?

Долго, очень долго разговаривали, мечтали, даже грезили наши пріатели все на тему о томъ, что вся задача жизни челоѣка умнаго должна состоять въ стремленіи «зацѣпить» гдѣ-нибудь, откуда-нибудь «выхватить» кушъ или, проще, толстую пачку денегъ и положить ее себѣ въ карманъ—вотъ сюда, въ боковой, чтобы онъ вздувался отъ толстоты. На что имъ нужна была такая пропастъ денегъ, куда и какъ намѣревались они употребить ее,—объ этомъ разговора не было, и я вполне увѣренъ, что они не знали и сами.

УСПЕНСКАГО. Т. II.

— Только-бы сюда-бы залучить, а тамъ ужъ оно само собой разберется! говорилъ главный ораторъ, помощникъ волостного писаря, похлопывая себя по карману, и при словѣ «разберется» махнулъ рукой въ невѣдомую даль. Жажда именно только одного—имѣть въ карманѣ пачку—была такъ велика, что, даже совсѣмъ заснувъ, наши пріатели продолжали грезить исключительно о какихъ-то бумажкахъ, пачкахъ билетовъ, причѣмъ помощникъ неоднократно даже хватался за бокъ.

Какъ ни грустно признаться, а признаться надо: такое настоящее стремленіе къ кушу, такое поклоненіе пачкѣ денегъ, безъ разбора средствъ, какими дается она (на томъ свѣтѣ всякъ дастъ отвѣтъ за себя!) и куда она уйдетъ (потомъ само собой разберется!...), обуреваемая въ Слѣпомъ-Литвинѣ не однихъ нашихъ пріателей, писарей. Увы! не одна крестьянская голова, большею частью сама талантливая, самая умная, точно такъ-же работаетъ всѣми силами ума надъ мыслью объ этомъ-же кушѣ, объ этой же пачкѣ. «Только-бы ее-то залучить, а тамъ...» А о томъ что *тамъ*—никто даже не можетъ еще думать. Не только отъ крайней нужды, отъ недостатка въ самомъ необходимомъ развивается такая жажда къ деньгамъ: сѣрый слѣпинскій мужикъ, какъ увидимъ ниже, добываетъ денегъ только на то, чтобы перебиться, и хотя чтить рублевую бумажку, но еще не выучился забывать все на свѣтѣ для того, чтобы во что ни стало получить ее. Онъ еще, къ счастью, не соображалъ своего положенія и все думаетъ, что поправится то осенью послѣ уборки, то зимой на свободѣ, то по веснѣ, ежели Богъ дастъ. Но на то онъ и «сѣръ», чтобы не имѣть возможности придти въ себя. Тотъ-же, кто не сѣръ, у кого нужда не съѣла ума, кого случай или что другое заставило подумать о своемъ положеніи, кто чуть-чуть понялъ трагическія стороны крестьянскаго житія, тотъ «не можетъ» не видѣть своего извѣщенія исключительно только въ толстой пачкѣ денегъ—только въ пачкѣ, и не задумывается ни передъ чѣмъ, лишь-бы добыть ее.

Въ прошломъ отрывкѣ изъ деревенскаго дневника было представлено, хотя, говоря по правдѣ, и довольно поверхностно, кое-что изъ той путаницы, среди которой живетъ крестьянинъ. Если читатель припомнитъ все, что записано тамъ насчетъ докторовъ, учителей, насчетъ всякихъ мѣстныхъ имущихъ власть лицъ, то онъ, надо думать, согласится, что только забитый, сѣрый мужицкій умъ можетъ не видѣть полной беззащитности своего положенія. Во всемъ, что окружаетъ его, не видно ни тѣни вниманія, ни добраго слова. Жизнь его съ самаго дѣтства переполнена угрожающими случайностями: перебѣдетъ лошадь, потому-что «вино попало» джюе хорошо; съѣстъ свинья, потому что родильница лежитъ въ обморокѣ, а домашніе такъ крѣпко спятъ, что ничего не слышать, «хоть въ барабанъ колоти»; задохнется отъ угара, который каждую зиму наполняетъ на пять, на шесть часовъ въ день аккуратно всякую избу, потому что ни въ одной избѣ нѣтъ двойныхъ рамъ и потому что тепло надо беречь.

Не говоря объ этихъ, ежедневно и ежеминутно висающихъ надъ крестьянскимъ ребенкомъ опасностяхъ, можетъ-ли ему докторъ, если захватить его болѣзнь, эпидемія? Можетъ-ли онъ рассчитывать на помощь родного отца, который, ничего не зная ни въ какихъ болѣзняхъ, не пойдетъ къ тому-же иной разъ пятака серебромъ, чтобы купить деревяннаго масла, уксусу? Выведетъ-ли его на свѣтъ Божій грамота, если, преодолевъ всѣ смертоносныя случайности дѣтскихъ годовъ, изъ ребенка выйдетъ парнишка, имѣющій еще вырости въ человѣка? Дастъ-ли что-нибудь хоть капельку стоящаго школьная наука, за которую приходится бѣгать четыре-пять зимъ, иной разъ чуть не босикомъ, иной разъ за пять, за шесть верстъ? А когда онъ вырастетъ, сдѣлается самъ большой—не вѣчный-ли онъ борецъ съ неодоимкой?—словомъ, можетъ-ли онъ существовать на свѣтѣ иначе, какъ вполнѣ отдавшись на волю Божию?

Всѣ, отъ кого зависитъ *попеченіе* (!) объ участи крестьянской души, крестьянскаго существованія, дѣлаютъ свое дѣло пожалуй и добросовѣстно: учитель учить такъ, что на экзаменѣ ребята отвѣчаютъ на разные хитрые вопросы; онъ въ потѣ лица «обламываетъ» эти, по его словамъ, полѣнья такъ, что въ концѣ концовъ они умѣютъ спѣть гимнъ и «Царю небесный»:—онъ не даромъ получаетъ деньги. Не даромъ получаетъ деньги и лекарь, который даже охрипъ отъ хлопотъ и не знаетъ покою ни днемъ, ни ночью. Не даромъ получаютъ деньги всѣ прочіе печальники, строящіе мосты и проч. Но весь этотъ пришлый народъ исполняетъ обязанности свои какъ нанятой человѣкъ, какъ человѣкъ, которому нуженъ кусокъ хлѣба для своей семьи, для себя; человѣкъ, которому впору исполнить форму, обличье дѣла. Словомъ, все это такіе люди, на которыхъ деревня не можетъ смотрѣть какъ на своихъ, какъ на людей, которые бы понимали, «какъ свои», всѣ деревенскія нужды.

Когда придетъ въ деревню учитель—не оставной солдатъ и не полуграмотный дешевый педагогъ, обольщивающій деревенскія полѣнья, а умный, вполнѣ образованный человѣкъ, проникнувшійся важностью дѣла:—только тогда деревня можетъ рассчитывать на то, что ребятами ея узнаютъ въ самомъ дѣлѣ что-нибудь путное. Когда, вмѣсто тысячи рублей жалованья за удовольствіе вѣчныхъ разъѣздовъ по громадной территоріи цѣлаго уѣзда и за глубокое неудовольствіе безпрестаннаго сознанія своей полной бесполезности, образованный докторъ рѣшится дѣлать подлинное добро въ маленькомъ уголкѣ одной-двухъ деревень, не рассчитывая ни на какія опредѣленные вознагражденія, кромѣ добровольныхъ даваній (вѣдь въ городѣ онъ получаетъ именно добровольныя даванія):—тогда только деревенскій ребенокъ можетъ рассчитывать на существенную помощь.

Но будетъ-ли это когда-нибудь? Придетъ-ли когда-нибудь въ русскую глухую деревню такой человѣкъ, который рѣшился-бы отдать ей свои знанія, стать, не смотря на эти знанія, въ общія условія бѣдности крестьянской жизни. рѣшился-бы не

«благодѣлать», а существовать только на тѣ средства, которыя, безъ принужденій волостного начальства, а по-силѣ-по-мочи, дадутъ ему «за его трудъ» сами крестьяне, и только тѣ крестьяне, которымъ онъ помогъ, пособилъ, научилъ?

Когда-нибудь такой человѣкъ непремѣнно придетъ въ деревню; теперь-же покуда его что-то не видно. Мѣсто его занимаетъ человѣкъ служащій, чужой, нанятой, какой случится, какой попался, и деревня живетъ безъ всякаго призора и безъ единого добраго слова, если не считать священника, каждый грошъ дохода котораго виденъ крестьянину (а это много значить!), который, будучи понятенъ крестьянину какъ человѣкъ, зарабатывающій свое пропитаніе (небольшое), хорошъ для него и тѣмъ трудомъ, который даетъ ему пропитаніе. Трудъ этотъ облегчающій—такъ думаетъ крестьянинъ—положеніе крещенаго человѣка: онъ отпускаетъ его прегрѣшенія, лечитъ молебнами и акваностами, масло изъ лампады помогаетъ отъ тысячи недуговъ; крестный ходъ годится для урожая, отъ засухи, для дождя. Даже скотъ—и тотъ можетъ рассчитывать на помощь во время эпидеміи только отъ молебна: не даромъ же, какъ писали недавно въ газетахъ, крестьяне одной деревни Тульской губерніи просили отца своего духовнаго отслужить молебенъ «всему православному скоту» «и помянуть» каждую скотину, то есть мою телушку-бѣлушку, Егорову вороную кобылку.

Теперь-же, когда въ деревнѣ нѣтъ человѣка, который бы, будучи выше по развитію, умнѣй, знающій всего міра деревенскаго, рѣшился-бы зарабатывать себѣ скудный хлѣбъ своими знаніями, какъ зарабатываетъ его священникъ молитвами,—теперь всякому, мало-мальски ощутивавшемуся деревенскому жителю не можетъ представиться ни въ чемъ спасенія, кромѣ пачки денегъ за пазухой. Она можетъ вывести его изъ этой курной ужасной избы, изъ подъ этого безпрестаннаго гнета ничего незначія: за деньги онъ достанетъ и доктора, и учителя, и откупится отъ солдатчины. Онъ такъ мало знаетъ, мало понимаетъ, что кругомъ его дѣлается, что только деньги и могутъ помочь ему выбраться на Божій свѣтъ. А разъ онъ убѣдится, что дѣло его плохо и что ему трудно, неловко и глупо живется, что ему надо и слѣдуетъ выбраться, разъ онъ понялъ, что выбраться можно только деньгами:—ни передъ чѣмъ, ни передъ какимъ средствомъ задуматься онъ не можетъ. Мгновенно начинается вырабатываться не философъ, не «буржуй» (выраженіе И. С. Тургенева), а просто страстно влюбленный въ деньги, въ бумажки, «въ пачки» человѣкъ.

Такихъ влюбленныхъ въ деньги людей въ настоящіе дни полны всѣ углы и закоулки Земли Русской, благодаря только неожиданности, внезапности всевозможныхъ перемѣнъ въ условіяхъ русской жизни. Никакія службы на вновь открытыхъ дорогахъ, никакія воинскія повинности, никакія училища, всѣ вмѣстѣ взятая, не въ силахъ поглотить и дать хлѣбъ народу, который никогда не рассчитывалъ на то, что ему придется остаться безъ хлѣба. Этого народа, въ мелкопомѣстномъ дворянствѣ,

въ чиновничествѣ, въ поповствѣ, въ городскомъ по-
думѣшанствѣ, полукупечествѣ—непочатые углы, и
всѣ они понимаютъ, что ихъ положеніе плохо. Всѣ
они ужасно мало могутъ и ужасно много жаждутъ,
и вотъ по всѣмъ угламъ Земли Русской, на кры-
лечкахъ волостныхъ правленій, въ дьячковскихъ,
дьяконскихъ и священническихъ домахъ, въ этихъ
безчисленныхъ домишкахъ уѣздныхъ и губернскихъ
переулковъ, домишкахъ «вдовы надворнаго совѣт-
ника», «потомственнаго гражданина»—вездѣ всю-
ду тысячи людей, рѣшительно обиженныхъ своимъ
положеніемъ, неумѣющихъ взяться, невозможностью
разсчитывать на помощь, видящихъ спасеніе въ
случайномъ заплученіи куша, который одинъ толь-
ко и можетъ ихъ выручить изъ бѣды.

4.

Въ Слѣпомъ-Литвинѣ есть уже не мало мужич-
ковъ, сообразившихъ, что дѣло въ кушѣ, въ пачкѣ.
Упомяну въ особенности объ одномъ, о которомъ
читатель имѣетъ уже понятіе. Это староста—Ми-
хайло Петровъ. Человѣкъ онъ еще молодой: въ по-
слѣдніе дни крѣпостного права онъ былъ еще маль-
чикомъ лѣтъ восьми. Отецъ его—тотъ самый му-
жикъ, у котораго старый баринъ четыре раза сло-
малъ конюшню. Характеръ этого мужика, позво-
лявшего себѣ воевать съ господскими управляю-
щими и даже съ самимъ бариномъ, человѣка, ко-
торый, несмотря на всѣ невзгоды, счумѣлъ иной
разъ настоять на своемъ, былъ характеръ крутой,
деспотическій. Когда молодой Михайло Петровъ, по
освобожденіи крестьянъ, задумалъ вѣхать въ Пи-
теръ, противъ чего отецъ возсталъ, ему пришлось
назвѣдать на себѣ всю силу этой крутости и ди-
кость необузданнаго ея проявленія. Терпѣливо ждалъ
онъ отцовской смерти. Ждалъ два года и, только
дождавшись ея, могъ добиться права уйти въ Пи-
теръ на заработки. Крутой отецъ, видя непокор-
ность сына, которую тотъ не могъ утаивать
втеченіе двухъ лѣтъ жданья, сохранилъ свой отцов-
скій норовъ до конца дней и, умирая, оставилъ
Михайлѣ всего пятнадцать копѣекъ «за непоче-
тіе», тогда какъ старшіе братья получили все.

Должно быть отцовскій норовъ не миновалъ и
сына, и Михайло Петровъ не задумался пустить-
ся въ дальнюю дорогу почти безъ гроша. Въ Пи-
терѣ онъ сразу попалъ на отличное мѣсто, къ «хо-
рошимъ господамъ», изъ числа тѣхъ быстро наро-
дившихся, которые, наживаясь изъ чужого кармана,
не считали ни того, что имъ самимъ попадется подъ
руку, ни того, что уйдетъ у нихъ изъ-подъ рукъ *).
Михайлу Петрову жилось хорошо; но онъ былъ еще
мужикъ и «глупъ», и, накопивъ сотню-другую ру-
блей, по глупости, воротился въ деревню. Думалъ,
что для него, какъ для мужика, этихъ денегъ ви-
димо-невидимо. Тотчасъ по возвращеніи онъ же-
нился и «подхватилъ» истинную красавицу, какъ
самъ онъ говорилъ, первую умницу. Но послѣ Пи-
тера «крестьянство» показало ему труднымъ и
глупымъ дѣломъ. «Изъ чего биться»—этотъ во-
просъ сталъ возникать у него въ головѣ поминут-

но, при каждомъ шагѣ въ крестьянскомъ дѣлѣ. От-
вѣдавъ легкаго столичнаго труда, хорошей бѣды,
спокойнаго сна вволю, тепла, теплой одежды,
цѣльныхъ сапоговъ, онъ уже не могъ понять удо-
вольствія биться какъ рыба объ ледъ, для того
чтобы ничего подобнаго не имѣть...

У Михайла Петрова родился первый ребенокъ и
померъ—«незнамо отъ чего». Михайло Петровъ съ
женой стояли надъ нимъ дни и ночи почти цѣ-
лый мѣсяцъ, не зная, что съ нимъ дѣлается и чѣмъ
помочь. Онъ оралъ безъ умолку отъ какой-то страш-
ной боли, противъ которой нигдѣ, на сто верстъ
кругомъ, не было помощи. Барыня-помѣщица знала
въ медицинѣ только двѣ вещи—деревянное масло
и спускъ. Батюшка зналъ—масло изъ лампады,
спускъ, просвиру за здравіе и молебень о здравіи.
Деревня знала много другихъ средствъ, вродѣ
того, что кричащаго ребенка надо вынести на мо-
розъ и доржать его на холоду до тѣхъ поръ, пока
онъ не начнетъ затихать, и потомъ нести въ гор-
ницу, гдѣ онъ непременно заснетъ отъ такой вне-
запной встрепки. Ему вправляли животъ, трясли
за ноги къ-низу головой, поили оттопленнымъ въ
печкѣ чернобыльникомъ, поили лампаднымъ ма-
сломъ:—онъ все оралъ и вопилъ безъ всякаго ми-
лосердія, и наконецъ умеръ.

Жаль было ребенка, перваго ребенка, Михайлу
Петрову, и эта смерть разъясила глупость его по-
ложенія едва ли не сильнѣе отцовскаго самодур-
ства и петербургской привольной жизни. Мужики, у
которыхъ мрутъ дѣти точно такъ-же чуть не каж-
дый годъ и которые все-таки продолжаютъ поль-
зоваться ихъ средствами, ведущими ко гробу, стали
представляться ему чистыми глупцами, и ему было
обидно, до крови больно, что и онъ—такой-же
глупецъ, какъ и они. Надо къ этому прибавить,
что, воротясь изъ столицы, онъ вынесъ нѣкото-
рое понятіе вообще о порядкѣ, необходимомъ въ
дѣлахъ, для того чтобы дѣла шли успѣшно: взялъ—
отдай, нанялся—работай, подрядился—исполни,
что слѣдуетъ—получи. Деревня-же, въ которой
ему пришлось жить своимъ хозяйствомъ послѣ та-
кихъ питерскихъ порядковъ, ничего подобнаго знать
не могла; время послѣ крѣпостного права стояло
запутанное, положеніе дѣя не выяснилось для кре-
стьянъ, и эта путаница была Михайлу Петрову не-
выносима.

У него напримѣръ подражаются стронть избу
за тридцать рублей, подражаются безъ бумаги, на
совѣсть, и уходить, получивъ задатки, потому что
вдругъ на нихъ нахлынула откуда-то практическая
струя новаго времени, гласящая, что «безъ рос-
писки нонѣ ничего не подѣлаешь», а между тѣмъ
«по той же самой совѣсти»—они же, за одну толь-
ко водку, дѣлаютъ въ пять разъ труднѣйшую ра-
боту дьячку, потому, молъ, что добрый человѣкъ.
То въ ножки кланяются по старой памяти, то сами
же высѣкутъ себя въ волости. Все это Михайлу
Петрову было не по-нутру. Смерть перваго ребенка
еще болѣе ожесточила его на безтолочъ, окружаю-
щую его, и на его собственную безтолочъ, отъ ко-
торой онъ не могъ выбиться, какъ мужикъ. Онъ,

*) Постройки и проч.

какъ умный человѣкъ, сразу понялъ, что ему нужны деньги — и пока больше ничего, чтобы не тянуть этой лямки, чтобы не покоряться случайностямъ отъ забытыхъ, запутанныхъ людей и случайныхъ порядковъ, чтобы не вредить себѣ своимъ собственнымъ невѣжествомъ. «Выбираться» — вотъ что сдѣлалось его задачей, а умная жена тотчасъ сполна поняла и прониклась этой задачей. Какъ хороша, умная подруга, она знала одно — что ей изъ всѣхъ силъ надо пособлять мужу.

Они опять хотѣли было въ Петербургъ ѣхать, но, *на счастье*, въ деревню назначено было человѣкъ двадцать молодыхъ людей какой то спеціальной школы: они должны были втеченіе лѣта производить съемки, нивелировать и т. д. Народъ падалилъ веселый, большею частью состоятельный, и, на счастье Михаила Петровича, именно въ его домѣ помѣстилось пятеро самыхъ богатѣйшихъ.

Съ двухъ часовъ ихъ пребыванія Михайло Петровичъ замѣтилъ, что жена его произвела впечатлѣніе. «Лучше этой нѣтъ!» говорили молодые люди, въ самое короткое время успѣвшіе произвести съемку всѣмъ деревенскимъ дамамъ. И Михайло Петровъ понималъ это, да и Аграфена только взглянула ему въ глаза — тоже поняла, въ чемъ теперь дѣло.

И «не какъ-нибудь, не зря» стала Аграфена заниматься этимъ дѣломъ, а такъ, что самый расчетливый, самый основательный человѣкъ, осуждая ея поведеніе, могъ въ концѣ концовъ только похвалить ее, признать въ ней необыкновенный умъ, направленный, безъ всякихъ послабленій и увлеченій, только къ одной цѣли, которую она и достигла не какъ-нибудь, а съ толкомъ, умно, расцѣтливо. Она сумѣла вытянуть изъ всѣхъ пятерыхъ все, что у нихъ было; вытягивала все лѣтъ всѣми возможными цѣнностями, причемъ вниманіемъ удостоивала далеко не всѣхъ, довела ихъ до ссоры, чуть не до дуэли, и въ то же время не только не измѣнила своего обличья крестьянской жены, работающей, молчаливой, но даже и тѣни гордости не выказывала передъ завидовавшими ей пріятельницами. Вставала она по-прежнему въ три часа утра, гнала коровъ, шла на рѣчку съ тяжелыми ведрами, жала въ полъ, ходила босикомъ по грязи, словомъ — ни на волосъ не давала замѣтить ни господамъ, что они ей нужны, ни своимъ деревенскимъ соперницамъ, что дѣла ея блестятельны. Напротивъ, разъ появивъ въ чемъ дѣло, инстинктивно угадавъ тотъ образъ дѣйствій, который какъ нельзя лучше привязываетъ къ ней мужа, она при заждномъ успѣхѣ стала чувствовать только одно, что — «мало», надо больше, надо поступать настойчивѣе, добиваться энергичнѣе.

— Къ намъ опять, баринушки, милости просимъ! Не оставьте ужъ насъ опять то, оченно мы вами благодарны! — какъ «простая» деревенская баба, говорила она, кланяясь и держа конецъ фартука у губъ, когда баринушки осенью развѣзжались по домамъ, унося, быть можетъ, истинную любовь въ сердцахъ.

— Непрежнѣно! непрежнѣно! кричали ей самымъ искреннѣйшимъ образомъ баринушки и махали шапками.

— Присылайте другіхъ побогаче! прибавила она грубо и искренне-безсердечно, когда баринушки ушли, и Аграфена осталась съ муженькомъ съ глазу на глазъ. Она еще съ секунду поддержала на своемъ лицѣ это грубое выраженіе, но вдругъ взглянула на улыбавагося Михаила Петрова, и такъ сама улыбнулась, такими громадными и громадно-веселыми глазами мелькнула на мужа, что у того только дыханье захватило отъ удовольствія. Никакихъ больше разговоровъ, ни воспоминаній, ни даже именъ этихъ баринушекъ не повторялось. Точно ничего не было такого, о чемъ можно-бы шепнуть другъ другу пару словъ. Веселая и радостная послѣ отъѣзда постояльцевъ, Аграфена тотчасъ поставила самоваръ и сама начала такую рѣчь:

— А ты вотъ что, Михайла, ты вотъ лошаде-нокъ парочку безпрѣмѣнно у Барсукова купи. — Лошади первый сортъ...

— За лошадыи надоть въ Почивалово... У Барсукова что?

И пошелъ дѣловитѣйшій изъ дѣловыхъ разговоръ.

Михайло Петровъ тоже не зѣвалъ съ господами. Пользуясь вліяніемъ жены, о которомъ господа и понятія не имѣли, полагая, что Михайло Петровъ не болѣе какъ ловко обманываемый мужъ, онъ бралъ съ господъ и за провозъ, и за отвозъ, и за рыбку, и за пиво — «наше деревенское ужъ какое есть» — и гривеннички, и рублевники, и такъ попрашивалъ на лаптишки, что въ концѣ-концовъ въ ту-же осень онъ принялся строить большую домъ, купилъ скотины и единогласно былъ выбранъ въ сельскіе старосты.

Вся деревня знала, что они съ женой пошли въ ходъ съ нехорошаго; но это самое умнѣе, это знаніе «какъ пойти», какъ повернуть дѣламъ — это то и побуждало всѣхъ. Всѣ сознавали, что хоть и худо, а умно, ловко, не какъ-нибудь, не зря, не дуромъ... Такъ-то, дуромъ-то, мало-ли поступаетъ и поступала на своемъ вѣку не одна крестьянская жена, особливо мастерицы онѣ поступать дуромъ «не въ домъ, а изъ дому», а эта, Аграфена, — нѣтъ! — Такъ думали критики-мужчины-женщины, глядя на степенную безъ гордости Аграфену, исто-во кладущую въ церкви поклонны... Грѣхъ! — это такъ. Да кто не грѣшенъ-то? Аграфена небось говѣетъ и кается, да къ тому же у ней есть чѣмъ хорошо заплачивать за грѣхи-то... И будетъ такая же, какъ и всѣ православные христіане, а у Михайлы то между прочимъ домъ вонъ растетъ не по днямъ, а по часамъ, скота прибавляется, да на широкія деньги, которыя у него иной разъ по мѣсяцамъ лежать на рукахъ безъ движенія, обороты дѣлаетъ.

Къ веснѣ слѣдующаго года у Михайлы Петрова былъ въ самомъ дѣлѣ готовъ отличнѣйшій домъ. Онъ раздѣлялся на двѣ половины: внизу — кладовыя, вверху — двѣ половины горницъ.

А въ самомъ началѣ лѣта Господь послалъ и новую практику. Къ помѣщикамъ пріѣхалъ гостить братъ, старшій, лѣтъ подлѣ 50, холостякъ, оставивъ военный. Онъ пріѣхалъ подышать сельскимъ воздухомъ, и тотчасъ-же конечно сталъ заговаривать съ бабами.

— А matka гдѣ? спрашивалъ онъ отечески у малыхъ ребятъ.

— У подѣ...

— А молодая у тебя мамка-то или старая?

— Старая...

— Э... какой же ты бутузъ!

Итакъ, по отечески разговаривая, любитель природы направлялся въ поле. Здѣсь онъ останавливался передъ каждой согнутой въ три погребен женской фигурой, снисходительно отвѣчалъ на земные (по старой памяти) поклоны, но долго не находилъ того, что именно и было любезно ему на лонѣ неискusstvenной природы. Наконецъ онъ встрѣтилъ Аграфену. Она работала вѣстѣ съ мужемъ. Поклона земного онъ не получилъ отъ нея, а тотчасъ остановился какъ вкопанный, держа руки съ палкой за спинной. Онъ даже съѣлъ отдохнуть на первый камень и заговорилъ. Ошибался онъ, надѣясь на легкую побѣду и на свою боевую опытность. Интересъ въ немъ Аграфена возбудила сразу и сразу-же поняла, какъ надо поступать. Они оба, и мужъ, и жена, привели ветерана почти въ изступленіе; понемногу, по вершечку, они завладѣли имъ, его волей, его мыслями. И, прежде нежели ветеранъ могъ одобрително отозваться о проведенномъ лѣтѣ, онъ долженъ былъ переплатить Михайлѣ Петрову и Аграфенѣ кучу денегъ: то впередъ давалъ подѣ тѣзду рублей двѣсти, а Михайло обязывался отработать; то Михайло подбивалъ его купить лошадей, говоря, что она будетъ, молъ, ваша, а только-что «покедова» поработаетъ; то Аграфена просила эту лошадь подарить. На этотъ разъ изъ ветерана была сдѣлана продолжительная доходная статья. Онъ совершенно влюбился и въ Аграфену, и въ Михайла Петрова, въ его порядочность, пониманіе, въ его отсутствіе мужичьяго разгильдяйства, пьянства. Онъ помогалъ достраивать ему домъ съ такимъ усердіемъ и интересомъ, какъ будто это былъ его собственный домъ.

— Да сдѣлай ты, глупецъ этакой, каменный фундаментъ! говорилъ онъ Михайлѣ Петрову. — Ну, какъ-же можно строить на грязи?

— Ваше превосходительство, откуда-жъ намъ камню-то взять? я бы радъ.

— Да я тебѣ дамъ, возьми... Чортъ знаетъ что такое, строить домъ въ лужѣ!

Никакимъ слухамъ, никакимъ наговорамъ, кавшимися Михайла Петрова, ветеранъ не вѣрилъ; онъ нашелъ въ Аграфенѣ и даже въ Михайлѣ семью, заботу, дѣло, вниманіе и деревенскую простоту, охоту выслушать совѣтъ, благодарности—все, что съ избыткомъ наполняло его холостые старые дни.

Михайло Петровъ не прерывалъ сношеній съ ветераномъ и по стѣздѣ его осенью въ столицу, да и самъ ветеранъ не желалъ этого. Онъ самъ скучалъ о нихъ, больше всего конечно объ Аграфенѣ, и все справлялся, не позвуютъ-ли его крестить. Его позвали дѣйствительно, и онъ нарочно прѣхалъ зимой, чѣмъ неказанно обидѣлъ сестру. Но Михайло Петровъ далъ ему понять кое-что насчетъ ребенка, упомянулъ мелькомъ, что за этихъ «малюткомъ» (просто онъ, не умѣетъ по-умному го-

ворить) надо ходить по-божески, не такъ чтобы какъ-нибудь. И ветеранъ понялъ, что этотъ ребенокъ—его, хотя все это былъ вздоръ. Онъ далъ слово вывести мальчишку въ люди, и навѣрное сдѣлаетъ это.

Но, несмотря на успѣхъ, и Аграфена, и Михайло Петровъ съ каждымъ днемъ все дѣлаются ненасытнѣе въ достиженіи, а главное—въ желаніи еще большихъ успѣховъ. «Мало», «мало» — все сильнѣе давить на нихъ общій умъ (они дѣйствительно—одно тѣло и одинъ духъ), и они рвутся, какъ горячія лошади, все дальше и дальше, не зная, куда примчатъ ихъ рѣзвыя и вовсе не усталыя еще ноги. Очень можетъ быть, что эта жажда денегъ и приведетъ ихъ обоихъ къ чему-нибудь не добруму: и Аграфена, и Михайло все-таки *темные люди*, зарвутся, не сумѣютъ остановиться—и погибнуть. Все это случится; но теперь они, по уму, по опредѣленности задачи и по энергіи, съ которою стремятся достигнуть ея,—первые люди деревни; имъ завидуютъ всѣ, мало-мальски вышедшіе изъ туманнаго существованія сѣраго мужика; всѣ такіе слѣпинцы стремятся имъ подражать, то-есть идуть тою-же дорогой; но, увы! успѣха того не имѣютъ. Правда, они не церемонятся ни передъ чѣмъ и поставляютъ всякій «товаръ», лишь-бы за него шли въ руки деньги, только товаръ ихъ, забитый и оборванный, и неумѣлый, не одерживаетъ такихъ побѣдъ, какъ умная и хитрая Аграфена.

5.

«Шибко» нуждается въ деньгахъ и простой сѣрый мужикъ, и также желалъ-бы заполучить въ свои корявые руки какіе-нибудь кредитные знаки; но, глядя на его старанія въ этомъ отношеніи, ясно видишь, что успѣха они имѣть не могутъ. Тайна этого неуспѣха именно въ томъ и состоитъ, что мужикъ—человѣкъ сѣрый, что онъ еще не отвыкъ отъ «крестьянства», не умѣетъ жить иначе какъ своимъ домомъ, своей семьей, и главное въ томъ, что плохо понимаетъ все происходящее за предѣлами его домишки. Онъ не можетъ обобщить и привести въ систему осязающія его явленія жизни, иначе онъ-бы давно думалъ точъ въ-точъ такъ, какъ думаетъ Михайло Петровъ. Теперь-же, не приведя ничего въ ясность, онъ чувствуетъ только, что ему *нужны* деньги, иной разъ «до-зарѣзу», но не какъ спасеніе отъ тьмы, не какъ средство вообще выйти изъ ничтожества, а только какъ средство удовлетворить кое-какимъ нуждашкамъ; о большемъ онъ не хлопочетъ и отвыкъ думать. Ему грезятся не куши, не капиталы, а денюжки, рублишки, необходимые только для того, чтобы покрыть крышу, починить сапоги, отдать два рубля лавочнику. Онъ хватается за всякое средство, лишь-бы только добыть рубликъ, и за этотъ рубликъ платитъ трудомъ своимъ въ десять разъ больше, —и это всегда, за каждый рубликъ. Если же онъ, т. е. настоящій *сѣрый* мужикъ, и сообразитъ, что хорошо-бы было ему получить побольше, справиться сразу, и если къ этому представится даже случай, то и тутъ не всегда онъ сумѣетъ воспользоваться имъ, потому что сѣръ, потому что еще не «насо-

бачился», какъ говорятъ въ деревнѣ въ похвалу развитымъ и умнымъ людямъ.

Во время житья моего въ Слѣпномъ-Литвинѣ познакомился я съ однимъ изъ такихъ сѣрыхъ мужиковъ. Онъ постоянно нуждался въ самомъ необходимомъ, постоянно просилъ хлѣбушка, продавалъ теленка, не давъ ему, послѣ появления на свѣтъ, поотходиться и двухъ недѣль; тащилъ цыплятъ въ продажу, когда они были еще желты. У него во всемъ былъ недостатокъ: о покупкѣ новыхъ сапогъ онъ думалъ года по два; крышу собирался крыть лѣтъ пять, и все-таки не могъ этого сдѣлать. Какая-то непоколебимая надежда на то, что онъ «вотъ, погоди, поправится», особенно поражала въ немъ, такъ какъ только она одна, какъ мнѣ кажется, и поддерживала его среди явного и полного разстройства всѣхъ его дѣлъ. Поддерживала она его до такой степени, что у Ивана Аванасьева (о немъ писано раньше) было больше веселыхъ минутъ въ жизни, чѣмъ у самого исправнаго изъ мужиковъ. Липо его было чаще другихъ запечатлѣно добродушной усмѣшкой, шуткой; чаще другихъ онъ думалъ о томъ, что вотъ придетъ праздникъ, наваримъ пива, словомъ—погуляемъ. Никогда на свою горькую участь онъ не озлоблялся и не срывалъ зла ни надъ кѣмъ изъ домашнихъ, какъ это часто хонько водится и не въ одномъ крестьянскомъ быту; напротивъ, что весьма удивительно, дѣти, даже приемышъ, взятый изъ воспитательнаго дома, составляли предметъ его особенной внимательности. Какъ самый тонкій наблюдатель, онъ день за днемъ могъ рассказать, какъ начала говорить и ходить Машутка, какъ называла на своемъ дѣтскомъ нарѣчьи курицу, телѣгу, хлѣбъ; зналъ съ точностью повадку и натуру каждаго ребенка и даже весьма искусно велъ нравственное воспитаніе своихъ ребятшекъ.

— Меня Васька обижаетъ! реветъ во всю мочь крошечная дѣвчонка, бросаясь головой между колышками Ивана Аванасьева: — прибей его, ты-а-а-а-а-а...

— Она щепку въ ротъ взяла, а я ее отнял... она и заревѣла...

— А-а! серьезно говоритъ Иванъ Аванасьевъ. — Какъ-же онъ это Ваську Машутку смѣетъ обижать? Дамы его вотъ сейчасъ высѣкимъ, погляди-ко какъ. Высѣчь его, Машутка?

— Высѣчь...

— Ну, давай, мы его высѣкимъ... Поди, волокн хворостину.. Хорошую принеси, смотри. Мы его высѣкимъ съ тобой—небу будетъ жарко! Ахъ, онъ такой-сякой! волокн, Машутка, скорѣй...

Вся въ слезахъ и во всякой грязи на лицѣ, тащитъ Машутка со двора громадную хворостину. Но покада она дотащила, обидя ее прошла.

— Нина-а-а-а! реветъ Машутка—и вся исторія оканчивается самой задушевной мировой.

Не разъ приходила мнѣ въ голову мысль, что такому человѣку, какъ Иванъ Аванасьевъ, во что бы то ни стало необходимо помочь. У него въ самомъ дѣлѣ не доставало только денегъ, чтобы поправиться, пообзавестись, и тогда рѣшительно не

было никакихъ основаній сомнѣваться, что онъ встанетъ на ноги. Онъ хорошій, даже образцовый семьянинъ, человѣкъ, который пьетъ, когда случится, когда поднесутъ, и вовсе не завзятый любитель вина. Самъ Иванъ Аванасьевъ двадцать разъ заводилъ рѣчь о томъ, что хорошо-бы добыть мѣстечко гдѣ-нибудь на сторонѣ, поработать годикъ, накопить рублей сто и потомъ взяться за крестьянство какъ слѣдуетъ, т. е. все починить, подпереть, покрыть.

Случайно мнѣ пришлось встрѣтить одного моего хорошаго пріятеля, который нуждался для своего имѣнія въ человѣкѣ хорошаго поведенія, непьющемъ и работающемъ. Имѣніе это находилось верстахъ въ полтора отъ Слѣпного-Литвина и въ семи или десяти верстахъ отъ желѣзной дороги. Состояло оно изъ построекъ: господскаго дома, службъ, бани и необходимыхъ хозяйственныхъ строеній, и лежало одиноко въ лѣсу, въ трехъ верстахъ отъ ближайшей деревни. Въ виду того, что зимой (а человѣка владѣлецъ нанималъ на зиму) мѣсто можетъ показаться глухимъ, владѣлецъ назначалъ желающему хорошее жалованье.

Мѣстные крестьяне, наперерывъ старавшіеся занять это мѣсто, не удовлетворяли владѣльца, какъ народъ придорожный, «шоссейный», снисходительные взгляды котораго на исполненіе своихъ обязанностей—взятыхъ, разумѣется, при всевозможныхъ клятвахъ и тысячахъ «будьте покойны», «если мы», «Господи, сохрани, да мы ужъ»,—были уже ему знакомы. Работа нанимаемаго должна была состоять въ надзорѣ за аккуратностью отправки изъ имѣнія сѣна на желѣзную дорогу, въ записываніи рабочихъ часовъ и въ надзорѣ за домомъ и скотомъ. Кромѣ того нанимавшійся могъ нанять плотника на хозяйскій счетъ; конечно и этотъ плотникъ долженъ былъ жить всю зиму, исполняя тѣ мелкія работы, которыя укажетъ хозяинъ и замѣтитъ самъ управитель.

Я предложилъ Ивану Аванасьеву, не хотеть ли онъ занять такое мѣсто. Жить ему будетъ скучно, но за то къ веснѣ и рабочей порѣ онъ можетъ вернуться довой съ порядочными деньгами. Я подробно рассказалъ ему его обязанности, положеніе имѣнія, рисовалъ дорогу и лѣсъ, и домъ—и Иванъ былъ радъ-радехонекъ.

— Лучше не надо! твердилъ онъ.

— А лѣсъ!

— Господи помилуй! лѣсъ? Али лѣсовъ-то не видали! Я пяти годовъ заблудился въ лѣсу-то, двое сутокъ не ѣлъ... Авось, теперь не махонькой...

Я просилъ его подумать, сообразить; но онъ повторять только одно:—«лучше не надо!» «по гробъ буду помнить!» Владѣльцу я расписалъ Ивана самыми превосходными красками. Въ честности его я не сомнѣвался ни капли. Владѣлецъ внимательно слушалъ меня, вѣрилъ мнѣ; но, наученный, должно быть, опытомъ, почему-то сказалъ въ концѣ концовъ:

— О-охъ, смотрите!.. Впрочемъ, если все-таки, такъ я лучшаго не желаю.

Наконецъ Иванъ получилъ—въ чемъ я убѣ-

дѣлѣ владѣльца самыми непреложными доводами — нѣсколько денегъ на поправку, еще нѣсколько денегъ для дому, десять рублей на подати (и дѣйствительно внесъ ихъ) и нѣсколько денегъ на дорогу. Все это было послано въ письмѣ послѣ моего отъѣзда изъ Слѣпого-Литвина. На мызу было послано уведомленіе оставившему ее приказчику, чтобы онъ къ такому-то дню (по приблизительному разсчету) ожидалъ прибытія новаго приказчика и потомъ уже, сдавъ ему все, оставилъ мѣсто.

Черезъ двѣ недѣли послѣ разчитаннаго срока получилось изъ деревни письмо, въ которомъ старый приказчикъ писалъ, что никто до сихъ поръ въ деревню не приходилъ; просилъ подыскать кого-нибудь другого, говоря, что больше ждать не можетъ.

— Вотъ видите! съ легкимъ оттѣнкомъ насмѣшки сказалъ мой владѣлецъ: — говорилъ я!..

Признаюсь, изумился я такой неаккуратности Ивана, да мало того изумился: — въ маловѣрную душу мою закралось сомнѣніе даже на счетъ безкорыстія Ивана. Я столько навидался и слышалъ на счетъ сомнительности этого безкорыстія, что невольно подумалось: — А ну-ко Иванъ, уплативъ подати и забравъ кой-какія деньжонки, вдругъ раздумалъ ихъ отработывать, повѣривъ какому-нибудь деревенскому опытному, умному человѣку, что «бумагъ никакихъ не было, а нонѣ безъ бумагъ ничего не возьмешь»...

Уже съ слабостью или по крайней мѣрѣ съ поколебленіемъ вѣрою въ правоту моихъ словъ, я старался вновь увѣрить владѣльца, что это какое-то недоразумѣніе, что быть не можетъ, чтобы Иванъ надулъ, что не такой онъ человѣкъ!

— Хорошо, хорошо... Подождемъ немного...

А куда было послано письмо къ одному лучшему изъ мѣстныхъ мужиковъ — пожить въ мызѣ до прихода новаго приказчика. Къ неописанной моей радости — однако не раньше какъ черезъ недѣлю — пришло другое письмо, на этотъ разъ прямо отъ Ивана.

Оказывалось, что не ѣзжалъ онъ по случаю того, что у него родила жена, а главное — потому, что *справлялъ* крестины; а крестины справлялъ потому, что сосѣдей не звалъ на прошлый праздникъ: стыдно, а еще главнѣе потому, что истарчился на угощеніе «до послѣдняго», прибавляя при этомъ весьма категорически — «потому нельзя, никакъ невозможно — продавалъ овецъ, но давали не стоящую цѣну, и теперь вотъ пришелъ потому, что наконецъ продажа состоялась удачная», и въ заключеніе просилъ прощенія, говоря, что «ужъ теперь онъ всей душой разстается»...

Очень я былъ радъ этому письму. Всѣ нечистыя подозрѣнія разлетались сами собою, какъ дымъ, и Иванъ выходилъ совершенно чистымъ. Меня только удивляло немного то обстоятельство, что онъ, бывшійся какъ рыба объ ледъ бѣднякъ, тратитъ послѣднее на угощеніе и, прежде чѣмъ выработать что-нибудь, т. е. прибавить къ своему имуществу, начинается съ продажи овецъ, т. е. съ прямой отбавки, съ прямого убытка. Михайло Петровъ не задумываясь взялся бы за дѣло, а угощать началъ-

бы послѣ, по окончаніи и полученіи чистыхъ барышей. Ивану же, т. е. сѣрому русскому мужику, не отвыкшему ставить на первомъ планѣ интересъ своей семьи, надо сначала до послѣдняго убитъ свои ничтожныя средства на какія-то формальности, которыя легко могутъ быть соблюдены и послѣ. Немного, чуть-чуть, я сердился на Ивана: тутъ надо ковать желѣзо, пока горячо, а онъ двѣ недѣли возится съ угощеніемъ, добываетъ все «до послѣдняго» и даже продаетъ овцу, чтобы тронуться въ путь, когда все это и безъ того было уже устроено.

Но все-таки я былъ радъ, что онъ не обманщикъ.

Съ недѣлю съ дачи не было никакихъ вѣстій, какъ вдругъ неожиданно, когда я случайно находился въ кабинетѣ владѣльца въ Петербургѣ (въ началѣ второй недѣли пребыванія Ивана на новомъ мѣстѣ), вошла горничная и сказала: «изъ деревни вотъ мужикъ принесъ».

На этотъ разъ письмо было отъ Ивана. Къ неописанному нашему удивленію, Иванъ отказывался отъ мѣста, говорилъ, что ему надо «безпрѣмѣнно лѣти домой, такъ какъ у него сгорѣлъ сарай, развалился овинъ, и такъ какъ»... Далѣе онъ такъ нагло лгалъ, выставляя такія невѣроятныя причины къ своему удаленію, что мы ужъ болѣе не могли сомнѣваться въ способности Ивана къ надуванію: онъ сломалъ ногу, вывихнулъ бокъ, ему ударило «сверху» по головѣ балкой, и словомъ — Богъ знаетъ что!

— Вотъ! сказалъ мой собесѣдникъ, кладя письмо на столъ: — какъ это вамъ покажется?

Я не зналъ, что и думать.

— Позвольте-ка мнѣ письмо, сказалъ я, не зная, что сказать. Я еще разъ перечиталъ это истинно наглое вранье, еще разъ не могъ понять, что такое дѣлается съ Иваномъ, и, раздумывая объ этомъ, машинально перевернулъ письмо другой страницей (оно было на четвертій сѣрой писчей бумагѣ). Эта другая страница также оказалась исписанной и, къ удивленію, письмо было адресовано прямо ко мнѣ. «Простите моей подлой глупости, что съ господиномъ долженъ поступать обманомъ: ничего больше нѣту, какъ безъ своихъ жить не могу — все думается». И затѣмъ шло полное признаніе въ томъ, что вся предшествовавшая страница наврана.

Я указала на это моему собесѣднику, и мы оба искренно расхохотались.

— Даже надуть-то какъ слѣдуетъ не умѣетъ! пришло намъ въ голову.

На одной и той-же бумагѣ, въ одномъ и томъ-же письмѣ, этотъ хитрецъ разоблачаетъ всѣ свои тайны.

— У него бумаги не было больше-то! объяснилъ намъ мужикъ, принесшій письмо. Мужикъ былъ присланъ истиннымъ крестьянникомъ, жившимъ на дачѣ до прихода Ивана, и удивительныя дѣла поразсказалъ про этого сѣраго мужика. Оказалось, что жить не въ своей семьѣ, не въ своемъ дворѣ для Ивана — просто невозможно. Никакія деньги не въ силахъ удержать его вдали отъ «своего». Онъ дѣлается пугливъ, какъ ребенокъ, боится темной комнаты, «за тышу» рублей не рѣшается

выйти на крыльцо ночью. Все ему—чужое, всего ему боязно, страшно, дико...

Нѣтъ, подумаль я, слушая эти рассказы, долго еще сѣрому мужику нашему не нажить «большихъ» капиталовъ!..

IV.

Деревенскій сторожъ.—Благословенныя мѣста и та же неурядица.—Душевное одиночество крестьянина.—Отсутствіе новыхъ деревенскихъ дѣателей, понимающихъ новыя осложненія народной жизни.

I.

Эта глава деревенскихъ замѣтокъ, болѣе чѣмъ чрезъ годъ послѣ исторіи съ Иваномъ Аванасьевымъ, мужикомъ новгородскимъ, пишется за тридевять земель отъ новгородскихъ лѣсовъ и болотъ, въ степной полосѣ самарскаго края, а право не видишь никакой разницы между болотными и степными деревенскими порядками.

Вышелъ я въ лѣтній жаркій, праздничный день на воздухъ и гляжу на дорогу, облокотившись на плеченъ. Мимо меня проходили крестьянннъ съ двумя дѣтьми, дѣвочками, изъ которыхъ одну, полутороговую, онъ держалъ на рукахъ, а другую, двѣнадцатилѣтнюю, велъ за руку. Шли они медленно, такъ, какъ ходятъ нищіе, обремененные заботою высматривать челоуѣка, готоваго «подать», обязанные поэтому останавливать свое вниманіе на каждомъ окнѣ, на каждой днери, поглядывая и черезъ заборъ, и въ полукоторенныя ворота. Сходство съ нищими, кромѣ медленной походки, дополнялось еще и внѣшнимъ видомъ приближавшейся ко мнѣ группы: даже и по деревенски она была плохо одѣта, выглядѣла бѣдно. У мужика были штаны въ лохмотьяхъ и дыркахъ, обнаруживающихъ голое тѣло; ноги у него были босикомъ. Дѣвочка, которая была у него на рукахъ, была такъ худа, желта, что показалась мнѣ больною; бѣлые волосы на ея головкѣ были всклокочены, росли неровными прядями и носили слѣды весьма-таки замѣтной грязи: «лепешками» видѣлась она между этими бѣлыми дѣтскими волосами. Та же бѣдность и неразлучная съ нею неряшливость замѣтны были и въ той дѣвочкѣ, которую мужикъ велъ за руку. Самъ онъ шелъ съ открытой головой, что тоже признакъ «нищаго», которому шапка только помѣха, потому-что снимать ее приходится каждую минуту. Когда эта группа поровнялась со мной, я ожидалъ, что мужикъ попроситъ «милостыньки»; но онъ не просилъ, а остановился и поклонился.

— Ты... «просишь»? нерѣшительно спросилъ я.

— Что-ты! съ нѣкоторымъ удивленіемъ взглянувъ на меня, произнесъ крестьянннъ:—я—сторожъ здѣшній... Господь милостивъ еще!..

— Ну, извини!..

— Сторожъ, сторожъ, братецъ ты мой... Господь еще миловалъ отъ этого... Это вотъ внуки ко мнѣ пришли въ гости... Погулять вотъ пошли... Нѣтъ! Храни Богъ отъ этого.

Я еще разъ извинился предъ нимъ и сказалъ:

— Это вотъ я на дѣтей поглядѣлъ: мнѣ и пришло въ голову...

— Ничего, что-жъ! Сторожъ, братъ, сторожъ!..

— Худы онѣ у тебя, дѣвочки-то.

— Какъ не быть худымъ... Главная причина, другъ ты мой, пищи нѣту!

— Какъ пищи нѣтъ?

— Больше ничего, какъ нѣту! Была у насъ коровка—Господь ее у насъ взялъ, пала... Ну, молочка-то и нѣту...

— Чѣмъ же ты кормишь вотъ эту маленькую-то?

— Чѣмъ? а что сами, то и ей... кваску, хлѣбца...

— Эдакой-то маленькой?

— Что-же ты будешь дѣлать!.. Вотъ, Богъ дастъ, осенью телочка подрастетъ, продадимъ, да своихъ за лѣто мнѣ придется за караулъ съ барина... Вотъ изъ этихъ придамъ, вотъ, Богъ дастъ, и купимъ корову то; ну, а покуда что—ужъ надо терпѣть... Ничего не подѣлаешь!..

— Ты ночью караулишь-то?

— То-то только ночью! кабы мнѣ лошадку, у меня-бы и день не пропадалъ-бы даромъ...

Надо сказать, что въ деревнѣ, гдѣ происходить настоящій разговоръ и гдѣ я живу, нѣтъ большія постройки, и свободное время крестьянъ, т. е. конецъ мая и июнь, можетъ быть хорошо оплачено поденной работою.

— Тутъ съ лошадыю-то, продолжалъ крестьянннъ,—по семи гривенъ въ день даютъ; такъ я бы за лѣто-то и совсѣмъ сталъ на ноги; вотъ что, другъ ты мой, огорчаетъ-то! У меня жены нѣту, второй годъ померла; нѣнаго (онъ указалъ на дѣвочекъ) отца, моей дочки стало быть мужа, въ солдаты взяли: вотъ я и ослабъ, а справиться—способовъ нѣтъ... А кабы ежели-бы хоть какая-нибудь лошаденка—вонъ въ пятнадцать рублей на ярмаркѣ были—я-бы все къ осени-то уже какъ бы ни какъ, а приспособовывалъ къ поправкѣ?

— Да ты—здѣшній крестьянннъ-то?

— Знамо, здѣшній.

— Такъ вѣдь тутъ у васъ товарищество, банкъ. Въ банкѣ возьми пятнадцать-то рублей.

— То-то нашему-то брату не даютъ изъ банки-то!

— Какъ не даютъ, отчего же?

— Отъ того что не дадутъ—вотъ и все тутъ. Вѣдь тамъ, братецъ ты мой, ручателя надо поставить; а гдѣ мнѣ его навѣи? Другому, кто по сильнѣе, можно, сколько хошь; а кто ежели вотъ примѣромъ, какъ я теперечи, ослабъ—кто за него пойдетъ? Случись неуправка—никому, братецъ ты мой, отвѣчать за тебя не охота, это тоже надо понимать...

Крестьянннъ помолчалъ и прибавилъ:

— Ослабъ оченно! Вотъ какое дѣло... Жена померла, осталась изъ всего роду дочка, да вотъ двѣ внуки, да и дочкѣ-то тоже не сладко: мужа въ солдаты взяли, сама въ работникахъ. Говорить, будто изъ губерніи пособіе выйдеть—ну, только не слыхать что-то... Вотъ какое дѣло, братецъ ты мой.

Тутъ крестьянннъ прибавилъ съ улыбкой:

— И то, пожалуй, съ твоей легкой руки собираться пойдешь... Право!.. Тыфу! Храни Богъ!

Плюнуть и я на это нехорошее предчувствіе.

— А ужъ кабы лошаденку!.. выказывая намѣреніе уйти, сказалъ крестьянннъ:—я-бъ пятнадцать-

двадцать рублишекъ къ осени легкимъ духомъ собилъ. Къ осени ужъ непременно и банку-бы очистилъ да и лошаденка была-бъ въ дому.. оно-бы все полечче... Ну, ничего не подѣлаешь. Надоть терпѣть — одно!

Покачавъ еще разъ головою и пересадивъ дѣвочку съ одной руки на другую, что дало мнѣ возможность увидѣть ея, по истинѣ какъ спички, худенькія ноги, крестьянникъ попрежнему медленно, потихоньку отошелъ прочь, продолжая свою «прогулку съ дѣтми», а я остался одинъ. Впечатлѣніе этого разговора было весьма тяжелое, потому что разговоръ наводилъ на рядъ вопросовъ, при маломъ знакомствѣ съ деревенскими порядками почти неразрѣшимыхъ. Судите сами.

Деревня, гдѣ живетъ горемыка-сторожъ, не считающій себя нищимъ, деревня бесспорно самая богатая, какую только я когда-нибудь и гдѣ-нибудь видѣлъ. Да и не одна только эта деревня богата, т. е. щедро надѣлена естественными богатствами, богатъ весь край; край этотъ Приволжье — степная Самарская губернія, истинная «житница Русской Земли». Помимо удивительной земли, какіе здѣсь роскошные (въ буквальномъ смыслѣ) луга, какой обильный кормъ скоту, не говоря ужъ просто о красотѣ. Широкая Волга-матушка благодѣтельствуетъ мѣстность хотя ужъ однимъ тѣмъ, что даетъ возможность имѣть рыбу въсомъ въ фунтъ за одну полкопѣйку, да и безъ этого благодѣнія рѣчки, протекающія край и впадающія въ Волгу, даютъ столько съѣдобнаго живня, что его, какъ говорится, «ловить не переловить, ѣсть не переесть». А сколько всякой птицы, всякой дичи гуляетъ по луговымъ «мокринамъ», по этимъ многочисленнымъ степнымъ озеркамъ, прячущимся въ высокой, душистой, изумляющей разнообразіемъ породъ травѣ! «Благодать!» вотъ что можно сказать, глядя на всю эту естественную красоту, на все это природное богатство мѣстности...

Деревня, о которой идетъ рѣчь, надѣлена всѣми этими благами природы ничуть не меньше другихъ здѣшнихъ мѣстъ; стоитъ она при рѣчкѣ, а другая, еще болѣе широкая, глубокая и богатая, течетъ не болѣе какъ въ полуверстѣ. Земли и луга, которыми владѣютъ крестьяне, удивительно тучные, богатые. Кромѣ того въ самой деревнѣ, какъ подспорье этому природному богатству, ужъ есть подспорье денежное — ссудо-сберегательное товарищество, въ которомъ членами состоятъ хозяева рѣшительно всѣхъ семидесяти дворовъ деревни. Наконецъ, чтобы читатель могъ окончательно убѣдиться въ благосостояніи этой деревни, я долженъ сказать, что хотя здѣсь еще и нѣтъ кой-чего, напримѣръ школы, фельдшера, но зато съ самаго основанія новыхъ условій крестьянскаго быта, т. е. съ 19-го февраля 1861 г., нѣтъ и не было, а надо думать, и не будетъ *ни единой копѣйки недоимки*. Этотъ аргументъ въ пользу благосостоянія я могу подтвердить официальною справкою; а личныя мои наблюденія привели меня къ убѣжденію, что такая аккуратность въ отбываніи повинностей, вездѣ крайне для крестьянина обременительная, здѣсь исполняется безъ особеннаго труда, такъ какъ оброчныя статьи — мельница,

рѣка, кабакъ — даютъ крестьянамъ сумму, покрывающую всѣ налоги: такъ напримѣръ, одинъ кабатчикъ платитъ обществу 600 руб. сер. за право торговли.

Чего еще нужно для того, чтобы человекъ, живущій здѣсь, былъ сытымъ, одѣтымъ, обутымъ и ужъ во всякомъ случаѣ не нищимъ? Такъ непременно долженъ думать всякій, кто знаетъ, что общественное, дружное хозяйство — не только спасенье отъ нищеты, а есть единственная общественная форма, могущая обезпечить *всеобщее* благосостояніе. Такъ долженъ думать всякій, кто знаетъ, что лучшей земли нѣтъ въ свѣтѣ, что изъ такихъ природныхъ богатствъ, въ соединеніи съ общиннымъ дружнымъ владѣніемъ ими, можетъ выходить только добро, и что надѣленная ими община можетъ только «улучшать» свое благосостояніе.

И, представьте себѣ, среди такой-то благодати не проходитъ дня, чтобы вы не натолкнулись на какое нибудь явленіе, сцену или разговоръ, который бы мгновенно не разрушилъ всѣ ваши фантазіи, не изломалъ всѣ вычитанные вами соображенія и взгляды на деревенскую жизнь, словомъ — становятъ васъ въ полную невозможность постичь, какъ, при такихъ-то и такихъ условіяхъ, могло произойти то, что вы видите во-очію.

Вотъ рядомъ съ домомъ крестьянина, у котораго накоплено 20,000 р. денегъ, живетъ старуха съ внучками, и у нея нечѣмъ топить, не на чемъ состряпать обѣда, если она не подберетъ гдѣ-нибудь «уворуючи» щепочекъ, не говоря о зимѣ, когда она мерзнетъ отъ холода.

— Но вѣдь у васъ есть общинныя лѣса? съ изумленіемъ восклицаете вы — дилетантъ деревенскихъ порядковъ.

— Нашей сестрѣ не даютъ оттодова.

— Почему же такъ?

— Ну, стало, выходить — нѣтъ этого, чтобы, то-есть, всѣмъ выдавать...

Или:

— Подайте, Христа ради!

— Ты здѣшняя?

— Здѣшняя.

— Какъ же это такъ пришло на тебя?

— Да какъ пришло-то! Мы, другъ ты мой, хорошо жили, да мужъ у меня работалъ барскій сарай и свалился съ крыши, да вотъ и мается больше полгода!.. Говорятъ, въ городъ надоть везти; да какъ его повезешь-то?.. Я одна съ ребятами... Землю миръ взялъ...

— Какъ взялъ? Зачѣмъ?

— Кто-жъ за нее души-то платитъ будетъ? Еще, славу Богу, души сняли: видятъ — силы въ насъ нѣту.

— А работника нанять?

— На что его наймешь-то? Откуда взять?

— Какъ откуда? У васъ есть своя касса, изъ вашихъ же собственныхъ денегъ: тамъ навѣрное и твоего мужа деньги. У васъ касса есть общественная!.. Я знаю, тамъ нѣсколько сотъ рублей... Ты можешь заплатить за работу, и у тебя будетъ свой хлѣбъ... Зачѣмъ тебѣ побираться? Проси тамъ денегъ: тамъ деньги ваши, собственные.

— Ну, какъ же! Дадутъ «они» «намъ»... По-
дайте, Христа ради, что вашей милости будетъ!..

Что-жъ это за волшебство? Что это за порядки,
при которыхъ въ такой благодатной странѣ, при
такомъ обиліи природнаго богатства, можно по-
ставить работающаго, здороваго человѣка въ поло-
женіе совершенно безпомощное, довести его до того,
что онъ среди этого эльдорадо ходить голодный
съ голодными дѣтьми и говорить:

— Главная причина, братецъ ты мой,—пищи
нѣту у насъ—вотъ!

Въ такой-то роскошной странѣ, при общинномъ-
то хозяйствѣ, въ мѣстности съ кассами, банками,
въ мѣстности, гдѣ нѣтъ недомокъ, работающему,
обремененному семьей человѣку—нѣтъ пищи?!

Вѣдь это ужъ что-то очень мудреное, именно
какъ будто волшебное!.. Согласитесь, что еслибы
въ этой деревнѣ на семьдесятъ дворовъ вы встрѣ-
тили только этого сторожа, только старуху и ба-
бу, о которыхъ было сказано выше, то и тогда
они должны бы поставить васъ втупикъ. Но что
скажете вы, когда такіа непостижимыя явленія
станутъ попадаться вамъ на каждомъ шагѣ; когда
вы ежеминутно убѣждаетесь, что здѣсь, въ богатой
деревнѣ, ничего не стоитъ «пропасть» человѣку
такъ, даромъ, за ничто, пропасть тогда, когда все
благопріятствуетъ противоположному? Очевидно, что въ
глубинѣ деревенскихъ порядковъ есть какія-то не-
совершенства интеллектуальныя, достойныя того,
чтобы обратить на нихъ вниманіе.

2.

Въ прошедшемъ году я томъ, живя въ деревнѣ
въ Новгородской губерніи—мѣстности бѣдной удоб-
ными землями, я могъ замѣтить, что трудныя ма-
теріальныя обстоятельства побуждаютъ деревен-
скаго человѣка тѣхъ мѣсть «уходить» изъ дерев-
ни и сосредоточиваютъ все его вниманіе на добы-
ваніи денегъ, такъ какъ денегъ требуетъ началь-
ство, а земля—самый главный источникъ дохо-
довъ—до крайности плоха и кромѣ того количе-
ство ея мало. Всякій случайный заработокъ встрѣ-
чается здѣсь съ восторгомъ; всякій рубль, за что
бы онъ ни попадалъ на руки, считается добромъ.
Несомнѣнно, что бѣдность объясняетъ въ этой сто-
ронѣ многія непривлекательныя явленія деревен-
ской жизни.

Но и тогда я не могъ не замѣтить, что бѣд-
ность—еще не все, что стремленіе во что бы то
ни стало добиться денегъ и потомъ уйти изъ де-
ревни имѣетъ основаніе, кромѣ бѣдности, еще и въ
томъ нравственномъ одиночествѣ, которое тяготѣетъ
надъ каждымъ крестьянскимъ домомъ, надъ каж-
дымъ человѣкомъ, живущимъ въ деревнѣ. Фиктивно
соединенные въ общество круговою порукою при
исполненіи многочисленныхъ общественныхъ обя-
занностей, большею частью къ тому-же навязывае-
мыхъ извнѣ, они, не какъ общинники и государ-
ственные работники, а просто какъ люди—пре-
доставлены каждый самъ себѣ, каждый отвѣчай
самъ за себя, каждый самъ за себя страдай, спра-
вляйся—если можешь, если не можешь—пропадай!

И вотъ тутъ-то, въ этомъ-то множествѣ личныхъ

заботъ, огорченій, страданій, никѣмъ не облегчае-
мыхъ, не освѣщаемыхъ ни однимъ добрымъ словомъ,
переносимыхъ каждою семьей въ полномъ молчаніи
или неумѣніи другихъ помочь въ горѣ—я видѣлъ
главную причину того, что у человѣка, который
понялъ свое одинокое, безпомощное положеніе, долж-
но злиться желаніе уйти отсюда не только для
того, чтобы наживать деньги, но для того, чтобы
выйти къ свѣту, къ людямъ, къ какому-нибудь
знанію свѣта, людей, порядковъ. Эти деньги нуж-
ны: для того, чтобы купить это знакомство съ жизнью
«по-людски»; чтобы лечить своихъ больныхъ дѣ-
тей, какъ лечить люди; чтобы учить ихъ не од-
ной палкой, а настоящей наукой,—то есть вообще
удовлетворить такимъ потребностямъ ума, такимъ
движеніямъ человѣческаго сердца, которыми, при
современныхъ деревенскихъ порядкахъ, гдѣ все со-
средоточено на мысли о недомѣхъ и податяхъ, нѣтъ
мѣста, нѣтъ удовлетворенія и надежды на него нѣтъ.

Я говорилъ тогда, что если въ деревенскую сре-
ду не войдутъ посторонніе, болѣе знающіе люди,
которые сдѣлали бы «общинными» интересами не
одну только землю и раскладку подушныхъ, а всѣ
загнанныя, забытыя, неудовлетворенныя потреб-
ности крестьянской души,—люди, которые дѣлали
бы это не изъ-за жалованья, какъ дѣлаютъ на-
нятые за десять цѣлковыхъ горемыки-учителя, го-
ремыки-священники, не посѣщающіе деревень док-
тора, а какъ люди *убѣжденные въ томъ, что
имъ нѣтъ другого мѣста для примѣненія сво-
ихъ знаній, своего развитія, кромѣ деревни, нѣтъ
другого заработка болѣе безгрѣшнаго, какъ тотъ,
который можетъ дать деревня яйцомъ, подаркомъ
курацы и т. д.,—то безъ этого притока въ де-
ревню «свѣта божьяго» деревня, то есть все, что
есть въ ней хорошаго, стоскуется, разбередится, а
что и останется въ ней, потерявъ аппетитъ къ кре-
стьянскому труду, будетъ только безсильнымъ ра-
бочимъ матеріаломъ въ рукахъ тѣхъ, кто дастъ
хоть какой-нибудь заработокъ.*

Такія соображенія, быть можетъ, исполнѣ дил-
летантскія, но рѣшительно не выдуманныя, а ро-
дившіяся «сами собою» при малѣйшемъ вниманіи
къ современнымъ деревенскимъ порядкамъ, прихо-
дили мнѣ въ голову въ то время, когда передъ мо-
ими глазами стояла бѣдность сѣверной природы.
Теперь-же, когда я вижу кругомъ себя «благодать»
— обиліе и богатство,—я волей-неволей еще проч-
нѣй убѣждаюсь въ своихъ легкомысленныхъ фан-
тазіяхъ, т. е. что деревнѣ необходимы новыя взгля-
ды на вещи, необходимы новыя, развитыя, образо-
ванные дѣятели, для того чтобы среди этого про-
стора не было лондонской тѣсноты, а среди воз-
можнаго, находящагося подъ руками довольства—
самой поразительной нищеты, не знающей, гдѣ пре-
клонить голову.

3.

Первое, что бросается въ глаза при наблюде-
ніи надъ современными деревенскими порядками*),

*) Прошу читателя имѣть въ виду, что замѣтки эти
относятся къ *известному* только времени, именно

это почти полное *отсутствие нравственной связи* между членами деревенской общины. При крѣпостномъ правѣ фантазія господина-владѣльца, одинаково обязательная для всѣхъ, сплочивала деревенскій народъ взаимнымъ сознаніемъ нравственныхъ несчастій. Господская фантазія имѣла право вломиться въ деревенскую семью и по произволу распорядиться личностью человѣка: могла «взять» человѣка и отдать въ науку, въ музыканты, въ повара, въ портные; могла «взять» и женить или выдать замужъ, не обращая вниманія на «человѣка». Ежеминутная возможность такихъ фантазій связывала міръ одинаковымъ *принижениемъ* человеческой личности; какъ «у людей», а не у государственныхъ работниковъ, у нихъ была общая мысль, общая нравственная забота... Теперь ужъ никто не вломится въ семью, кромѣ начальства, которое приходится за солдатами; теперь всякій отвѣчай за себя, распорядяйся самъ какъ знаешь; но связь «нравственного гнета» не замѣнилась сознаніемъ необходимости «общаго благополучія», общаго облегченія жизни, такъ какъ на мѣсто произвола не пришло ни знаніе, ни развитіе, ни даже доброе слово. Привычка трепетать, видѣть въ себѣ вѣковѣчнаго работника, привычка, ничѣмъ и никѣмъ неразрушаемая, держитъ крестьянина и до сихъ поръ въ своей власти.

Произволъ не войдетъ ужъ въ нравственные интересы крестьянской семьи въ тѣхъ широкихъ и даже фантастическихъ размѣрахъ, какъ при крѣпостномъ правѣ, но и сочувствіе къ нимъ, вниманіе къ нимъ также сюда не войдетъ. Кричи больной ребенокъ, сколько хочешь, всю ночь, весь день, недѣлю; охай и мучайся надъ нимъ мать, отецъ, бабушка — вся малосвѣдущая въ медицинѣ семья: никто не войдетъ съ помощью, съ умѣньемъ, точь-въ-точь какъ при крѣпостномъ правѣ. Докторъ, получающій 1,200 р. на населеніе въ 300 тысячъ человѣкъ, говоритъ: «мнѣ не разорваться!» Фельдшеръ также разорваться не въ состояніи... И вотъ умираетъ ребенокъ, оставляя въ сознаніи тѣхъ, кто любилъ его, впечатлѣніе непроходимой темноты и тяжести...

Въ виду отсутствія какого-нибудь свѣта, который бы проникъ со стороны въ крестьянскую семью и далъ бы возможность видѣть хотя уголокъ той сложности новыхъ условій жизни, въ которой стало крестьянство послѣ освобожденія, далъ-бы вообще возможность вздохнуть, оглядѣться, «сообразиться» — въ виду отсутствія всего этого, каждый крестьянскій домъ, обремененный массой такихъ нравственныхъ заботъ, которые бы легко уничтожились, если бы были предметомъ *общественнаго* деревенскаго вниманія, каждый такой домъ представляетъ необитаемый островъ, на которомъ изо-дня въ день идетъ упорная борьба съ жизнью, при неистовомъ терпѣніи и неистовомъ трудѣ. Тяжесть этого бремени такова, что существовать во имя его на бѣломъ свѣтѣ кажется невозможнымъ, и если именно

это-то бремя нравственныхъ заботъ и заставляетъ «биться» крестьянскую семью, то это происходитъ, кажется, только вслѣдствіе глубокой вѣры въ предопредѣленіе свыше.

Примѣровъ, доказывающихъ полное одиночество крестьянской семьи и полное отсутствіе въ современныхъ новыхъ *общественныхъ* крестьянскихъ нуждахъ новаго *типа* общественнаго дѣятеля, новаго, болѣе широкаго типа мірскаго вниманія — такихъ примѣровъ на каждомъ шагѣ великое множество. Вотъ пріѣзжаютъ люди торговые и начинаютъ при помощи сельской власти склонять общество на отдачу въ аренду рыбныхъ статей или права на торговлю виномъ. Общество беретъ тѣмъ меньшую цѣну, чѣмъ болѣе роскошное угощеніе представитъ склоняющій, т. е. чѣмъ болѣе выставитъ вина. На сходкахъ, собираемыхъ по подобнаго рода общественнымъ дѣламъ, обыкновенно бываетъ весь міръ въ полномъ комплектѣ, но едва-ли только не потому, что здѣсь каждый получаетъ свой стаканъ или два, или пять, смотря по щедрости предпринимателя. Всѣ пьющіе знаютъ, что изъ 600 рублей, взятыхъ за кабакъ, никому не придется получить на свою долю ни копейки, и предоставляютъ ихъ, какъ это почти постоянно бываетъ, на расхищеніе людей, стоящихъ у деревенскаго сундука, предоставляютъ именно потому, что некому вступить, возопіять о неправдѣ и злѣ такого дѣла.

Это отсутствіе въ деревнѣ *новыхъ* элементовъ, расширяющихъ размѣры «общественнаго вниманія», дѣлаетъ то, что самое общинное пользованіе землею въ настоящихъ условіяхъ деревенской жизни вовсе не избавляетъ члена общины отъ голодной смерти. Удивительныя явленія подобнаго рода происходятъ очень просто: вотъ крестьянскій домъ, платящій, положимъ, за двѣ души и владѣющій двух-душевымъ надѣломъ. Работниковъ въ семьѣ одинъ человѣкъ, что зачастую бываетъ даже на 5 и на 6 ртовъ или вѣдковъ. Этотъ работникъ свалился съ крыши, сломалъ ногу и лежитъ больной. Деньги, имѣющіяся у него на фельдшера, на больницу въ общественной кассѣ, расстрачиваются волостнымъ писаремъ, сельскимъ старостой или волостнымъ старшиной, да онъ и не полагаетъ, что ему тамъ ихъ дадутъ на *такое* дѣло. Больной работникъ лежитъ и мучается, работа стоитъ и семья гнететъ бѣдность; платить за двѣ души нѣтъ возможности, надо просить міръ, чтобы онъ *снялъ* хоть одну душу. Міръ снимаетъ душу, но *и землю*, на эту душу полагающуюся, беретъ. Лишившись земли и лишившись своего хлѣба, семья *слабѣетъ*, и очень можетъ быть, что на слѣдующій годъ придется снять и вторую душу, остаться совсѣмъ безъ земли, пойти по міру, будучи хозяиномъ общественныхъ лѣсовъ, угодій, общественныхъ суммъ, живя въ благодатной, плодородной мѣстности. Кто же спасетъ, поможетъ мнѣ въ такой бѣдѣ, въ которой не помогаютъ теперешніе деревенскіе порядки, не помогаютъ потому, что не понимаютъ, чтобы такого рода частное несчастіе могло быть достойно общественнаго вниманія? Меся можетъ спасти *родство*, родственныя связи, личные мои отношенія къ частнымъ лю-

дямъ, но *общественнаго* вниманія мнѣ не дожидаться. Эти порядки отдають взятую у меня землю другому лицу, котораго еще не постигло несчастье, заставившее опустить руки... А я, больной и разоренный, долженъ ходить по-міру, служить работникомъ у сосѣда, такого же равноправнаго члена общества, какъ и я самъ. Гдѣ же тутъ «дружная общественная работа»?

4.

Въ рукахъ моихъ въ настоящее время находится копія съ учета одного волостного старшины (той волости, въ которой находится обитаемая мною деревня) и служившаго въ волостномъ правленіи писаря. Мнѣ могутъ сказать, что ужъ то обстоятельство, что растратамъ старшины и писаря сдѣланъ мірской учетъ, свидѣтельствуешь объ общественномъ вниманіи къ своимъ собственнымъ интересамъ. Однако, зная дѣло это подробно, я долженъ сказать, что, къ сожалѣнію, мысль объ учетѣ возникла не въ обществѣ, не въ средѣ крестьянъ, а почти на сторонѣ, и принадлежитъ человѣку, почти постороннему обществу. Будучи крестьяниномъ той самой волости, о которой идетъ рѣчь, человѣкъ этотъ лѣтъ двадцати оставилъ ее, жилъ въ городѣ въ лавкѣ, въ мальчикахъ, потомъ въ приказчикахъ, ѣздилъ не разъ съ хозяевами въ Москву и, воротившись послѣ пяти-шести лѣтъ отсутствія, открылъ въ деревнѣ собственную лавку, въ которой есть что нужно главнымъ образомъ окрестнымъ помѣщикамъ. Человѣкъ этотъ — грамотный, выпысывающій газету и если не блистающій особливимъ безкорыстіемъ, т. е. берущій и живящій извѣстный процентикъ, и процентикъ неубыточный, то уже понимающій, что воровать прямо, безъ всякихъ предлоговъ, нехорошо, понимающій, что воровать общественныя деньги — еще того хуже.

Имѣя, благодаря успѣшному ходу собственныхъ дѣлъ, порядочно досугу и, стало быть, время подумать и о постороннемъ, этотъ человѣкъ, быть можетъ даже подъ влияніемъ газетныхъ криковъ о всеобщемъ воровствѣ (а Богъ его знаетъ, можетъ также и изъ корыстолюбія, изъ желанія самому попасть въ старшины; трудно говорить о мало знакомыхъ деревенскихъ людяхъ, не сѣвъ съ ними предварительно пудъ соли), заинтересовался общественными дѣлами деревни, а заинтересовавшись, открылъ такія вещи, которыя уже не позволяли ему остановиться, знать про нихъ и молчать. Какъ бы то ни было, по мягкосердію или по своекорыстію — разъ въ деревнѣ появился такой человѣкъ, который *взялся* на свою отвѣтственность вести войну «за правду», — такой человѣкъ всегда можетъ рассчитывать на полное сочувствіе деревни. Результатомъ вѣншаательства въ крестьянскія дѣла этого сельскаго торговца была подача въ уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе слѣдующаго «*отъ всего общества с. Б. прошеніе*» (привожу его въ подлинникѣ, сохраняя изложеніе безъ измѣненія):

«1876 года декабря 3-го дня въ Б—мъ волостномъ правленіи были назначены торги на волостную ямщину, и въ то же время были собраны, изъ cadaго селенія здѣшней волости, выбранные изъ

среды общества судьи, которые могутъ присутствовать на волостномъ сходѣ, и что прежде чѣмъ была заторгована волостная ямщина, старшина К—въ и писарь его Ѳ—въ закупили водки не менѣе пяти ведръ. А перепоили народъ (теперь этотъ же самый народъ подаетъ прошеніе) до безумія въ самомъ присутствіи волостного правленія, гдѣ были произносимы скверно...ныя слова, цѣсни и неподобныя дѣйствія. Одни сидѣли въ шапкахъ, иные валялись по полу, чего нравственный сидѣлецъ въ питейномъ заведеніи даже того не допустить, что допустилъ волостной старшина и писарь Ѳ—въ, какъ видно, переносили такіе поступки довольно хладнокровно. Между прочимъ у насъ былъ старшина Моисеевъ, служилъ восемь лѣтъ, не допускалъ такого неприличія въ волостномъ правленіи, и кромѣ того честь имѣемъ довести, какъ бывшій старшина Моисеевъ покупалъ лѣсу для отопленія волостного правленія и изъ этого лѣсу рубилъ срубы, дралъ лубки и затѣмъ мочало, потомъ дѣлалъ продажу и тѣми деньгами покрывалъ расходы волостныхъ суммъ, а отопленіе производилъ почти совершенно безденежно; напротивъ же, настоящій старшина, К—въ, купилъ, конечно на общественныя деньги, въ дачѣ господъ NN двѣ десятины и 12 сажень лѣсу на сумму 380 рублей, какого еще Моисеевъ не покупалъ (?) что же? изъ такого лѣсу нѣтъ совершенно ни срубовъ, ни лубковъ, ни мочалъ, ни столбовъ, совершенно не видимъ ничего, а слышимъ отъ посторонняго народа, что старшина К—въ распродалъ лѣсу очень много, кромѣ того что перевезъ въ свой собственный домъ. А кромѣ того еще какъ старшина К—въ, такъ и писарь его, подѣлали себѣ посуды кадучекъ, боченковъ, ларей, сундуковъ и все это изъ волостного лѣсу, писарь же Ѳ—въ отправилъ въ сосѣдній уѣздъ въ село М. два дубовыхъ воротныхъ столба и возъ липоваго тесу, что, по нашему крестьянскому обычаю, стоитъ не меньше тридцати рублей серебромъ. Но какъ всего этого расхода въ продажѣ лѣса положительно не видно намъ и для насъ это кажется обременительнымъ, ежели онъ старшина К—въ будетъ покупать каждый годъ такое количество и продавать на стороны, то мы придемъ въ совершенный упадокъ, и кромѣ того въ прошломъ 1876 г. волостную ямщину гоняли только за 300 руб., но въ настоящемъ 1877 г. уже за 618 (вотъ гдѣ пять ведеръ вина!). Поэтому покорнѣе просимъ уѣздное присутствіе войти въ защиту крестьянъ...» и т. д.

Слѣдствіемъ этого прошенія было разслѣдованіе дѣла на мѣстѣ уѣзднымъ исправникомъ, который хотя и пишетъ, что относительно лѣсу не могъ получить свѣдѣній, такъ какъ лѣсъ занесенъ свѣгомъ, но относительно ямщины подтвердилъ все сказанное въ прошеніи, прибавивъ еще слѣдующія подробности:

«Бывшіе хозяйственные ямщики, крестьяне села Б., Евграфъ Ильинъ и Петръ Тряскинъ, объяснили мнѣ, что за нѣсколько дней до торговъ на наемъ хозяйственныхъ лошадей, волостной старшина К—въ объявилъ имъ, что онъ наемъ лошадей желаетъ предоставить земскому ямщику, крестьянину с. Кривой Луки Стожарову, и поэтому уговаривалъ ихъ на торгахъ не сбивать цѣну, за что и далъ имъ по 10 ру-

блей, предупредивъ, что если они вздумаютъ гонбу лошадей оставить за собой, то онъ, старшина, частымъ разгономъ по волости заморить ихъ лошадей. Такое-же предупрежденіе объявилъ и еще другимъ двумъ крестьянамъ того-же села, Сучкову и Карташову. Во время торговъ волостной старшина дозволилъ крестьянину Стожарову пить въ волостномъ правленіи вино въ всѣхъ, явившихся торговаться, съ цѣлію не понижать торговыхъ цѣнъ, и чрезъ это содержаніе лошадей при волостномъ правленіи оставлено за Стожаровымъ за 618 р. 90 копѣекъ...»

Вы видите, что пять ведеръ вина и двадцать рублей денегъ, данныхъ за молчаніе людямъ, прямо заинтересованнымъ въ дѣлѣ, заставляютъ общество дать свое согласіе на прямое разграбленіе общихъ денегъ. Кромѣ того люди, взявшіе взятку и продавшіе даже собственно свои интересы и выгоды, молчать до тѣхъ поръ, пока не выѣживаются въ дѣло посторонніе люди.

Въ виду подтвердившихся дознаніемъ исправника фактовъ расхищенія мірскихъ суммъ, изложенныхъ въ прошеніи, присутствіемъ было предписано отомъ, чтобы надъ дѣйствіями старшины былъ произведенъ учетъ. Волостной сходы выбралъ учетчиковъ и уполномочилъ ихъ учесть старшину за всѣ три года его властвованія. Но волостной писарь съумѣлъ составить протоколъ о разрѣшеніи учета обществомъ только за одинъ годъ. Не смотря на то, что учетчики докладывали объ этомъ подлогъ присутствію, послѣднее осталось на сторонѣ писаря и возвратило (продержавъ у себя учетъ больше году) назадъ въ волостное правленіе, при бумагахъ, въ которой сказано слѣдующее:

«Присутствіе нашло, что (приводимъ также въ подлинномъ изложеніи) какъ по дознаніи оказалось, что избранные волостнымъ сходомъ учетчики, уполномоченные для учета суммъ только за 1876 годъ, произвели учетъ кромѣ того еще за 1875 и 1877 г., т. е. вышли изъ предѣловъ даннаго имъ вышеобъясненнымъ сходомъ уполномочія, и потому не признавая возможнымъ признать (бумага подписана самими члѣнами мѣстнаго просвѣщенія) эти учеты правильными, постановило: возвратить эти учеты учетчикамъ чрезъ волостное правленіе. предписавъ объявить имъ, чтобы они представили волостному сходу учетъ за 1876 годъ, а волостному сходу объявить, что если онъ (сходъ) найдетъ нужнымъ сдѣлать учетъ за 75 и 77 годы, то постановилъ-бы объ этомъ приговоръ...»

Между тѣмъ старшину уволили, писарь перешелъ въ другую волость, и я сомнѣваюсь, чтобы безъ особеннаго старанія чловѣка, начавшаго дѣло, можно было вновь возбудить къ нему вниманіе, такъ какъ времени прошло много попусту, и всякій убѣжденъ, что все одно—ничего не возьмешь», особенно послѣ бумагъ, черзчуръ внимательно и заботливо пекущейся объ общественной волѣ, и послѣ того, что писарь, котораго по закону нельзя ужъ принимать на службу, преспокойно продѣлываетъ тѣ-же операціи надъ общественными суммами въ другомъ мѣстѣ.

Было-бы долго входить во всѣ подробности расхищеній. Я укажу только на приходъ и расходъ

волостныхъ суммъ одного года, который даже писарь не пропустилъ въ протоколъ и который поэтому можно считать не изъ особенно удачныхъ для него и для его сотрудника, именно на приходъ и расходъ волостныхъ суммъ въ 1876 г.

Въ этомъ году изъ суммъ, собираемыхъ по деревнямъ на волостные расходы, изъ штрафовъ, налагаемыхъ волостнымъ судомъ, и изъ денегъ, выручаемыхъ съ продажи общественнаго имущества, наиримѣръ тѣхъ-же самыхъ лыкъ, мочаль и т. д., въ приходъ и распоряженіи волости образовалась значительная для деревни сумма въ 1,635 р. 74 к. Это—приходъ.

А вотъ расходъ—выписываю его вполнѣ, чтобы было видно, какія изъ общественныхъ нуждъ удовлетворяются этими общими деньгами, не возбуждая никакого протеста ни съ чьей стороны до тѣхъ поръ, покуда за дѣло не возьмется кто-нибудь одинъ, на свою отвѣтственность:

«1) Выдано жалованья должностнымъ лицамъ и произведено платы служащимъ по найму и на другіе предметы: волостному: старшинѣ—233 р. 90 к., волостнымъ писарямъ: первому—48 р. 91 к., второму—64 р. 74 к. и третьему, 0—ву,—168 р. 53 к. Помощнику волостного писаря—132 р. сер. Двумъ сторожамъ—133 р. 87 к. Кандидату волостного старшины—6 р. 50 к.»

Итакъ, одинъ персоналъ волостного правленія получаетъ изъ мірскихъ суммъ 785 руб.

Къ этому-же слѣдуетъ прибавить:

«2) Израсходовано на покупку канцелярскихъ припасовъ 112 р. 40 к.

«3) Употреблено на проѣздъ волостного старшины съ писарями въ губ. городъ по дѣламъ службъ 35 р. 89 к.

«4) На освѣщеніе волостного правленія—59 р. 48 коп.

«5) Издержано на ремонтъ дома волостного правленія, старшинскаго и писарскаго помѣщеній—73 р. 12 к.»

Все это—расходы управления. Достаточно прожить въ деревнѣ мѣсяцъ, чтобы убѣдиться, что такіе расходы не что иное, какъ денной грабежъ. Представьте себѣ только, что одной бумаги будто бы можно исписать на 112 р.! сжечь на 60 р. свѣчей!

А исполненіе размѣра жалованья властямъ выборнымъ и нанатымъ?

Пойдемъ однако дальше:

«6) Уплатено волостнымъ старшиной К—вымъ за покупку дѣса для отопленія волостного правленія—222 р.

«7) Снесено въ расходъ недочета за волостнымъ старшиной, согласно постановленію общаго присутствія волостного правленія,—30 р.

«8) Перечислено на содержаніе училища *излишне* противъ раскладки мірскаго сбора *принятыхъ* за 1-ю половину года—11 р. 98 к.

«9) Возвращено С—скому сельскому старостѣ неправильно начтенныхъ—10 р.

«10) На содержаніе арестантовъ—30 р. 30 к.

«11) Священнику за молебны—4 р. 62.

«12) Ямщикамъ Стожарову и Тряскину (тому

самому, который потомъ за 10 р. позволилъ Стожарову, своему компаньону, утащить (300 р. мирскихъ денегъ)—249 р. 30 коп.».

Всего расходу — 1635 руб. и въ остаткѣ — 8 р. 26 к.

Вы видите, что деньги есть и что расходуются онѣ довольно щедро; но судите сами, возможны-ли такіе расходы при мало-мальскомъ вниманіи къ общественнымъ интересамъ, при самой маленькой надеждѣ на возможность общественной помощи? Возможно-ли, чтобы три четверти всѣхъ мирскихъ суммъ сдѣлалось совершенно неприводительно волостнымъ персоналомъ и чтобы на школу отчислялись какіе-то *излишніе* 11 р., тогда какъ она можетъ имѣть хорошія средства и безъ этихъ «счастливыхъ» случаевъ? Представьте себѣ, кромѣ всего этого, что, если не въ такихъ большихъ размѣрахъ, ежегодно скопляются мирскія суммы не только въ волости, но рѣшительно въ каждомъ сельскомъ обществѣ, въ каждой деревнѣ—считите все это и подумайте, какъ возможно, чтобы при этомъ въ деревнѣ могли быть нищіе, безпомощные, больные, воры, люди, не умѣющие ни читать, ни писать, ни считать?

И въ то время, когда каждый крестьянскій домъ—цѣлый адъ заботъ, мученій, трудовъ, безпомощности, посмотрите, какъ растрачиваются его же представителями, людьми, вышедшими изъ его среды, средства, которые при мало-мальски добромъ участіи развитого человѣка сдѣлали бы бездну добра.

Учетчики, изъ всей массы безстыдныхъ расходовъ, за 1876 годъ неправильныхъ насчитали только около 400 рублей.

Чего-чего тутъ нѣтъ! На мирскія деньги оклеиваютъ обоями свои квартиры старшина и писаря, покупаютъ самовары, металлические чайники, стаканы, рюмки, выписывается газета «Всемирная Иллюстрація». Старшинѣ надо наточить пилу—и за точку ея онъ платитъ мирской полтинникъ, потому что онъ служить міру. Писарь дѣлаетъ для себя «этажерки»—и за распилку лѣса платитъ 3 рубля мирскихъ денегъ, тогда какъ надо было заплатить всего 20 коп., утверждаютъ учетчики. Но всего не перечесть.

Довольно вѣскимъ доказательствомъ того, что члены деревенской общины все болѣе и болѣе укрѣпляются въ необходимости знать *только себя*, только свое горе, свою нужду, можетъ служить и то, что вотъ напрямѣръ такое новое общественное деревенское учрежденіе, какъ сельское ссудосберегательное товарищество, ни чуть не измѣняетъ своего банковаго духа, духа учрежденія, не претендующаго на болѣе или менѣе общинное распредѣленіе банковыхъ благъ. Давая тому больше, у кого много, мало—тому, у кого мало, и вовсе не довѣрая тому, у кого ничего нѣтъ, сельскій банкъ производитъ въ деревнѣ свои операціи съ тою неизмѣнностью, какъ и въ городѣ, гдѣ, какъ извѣстно, никакой общины не существуетъ и всякій живетъ самъ по себѣ... Банкъ, какъ и вездѣ, даетъ много богатымъ и ничего не даетъ нищимъ, тогда какъ еслибы въ деревенскихъ порядкахъ

вниманіе къ общественнымъ нуждамъ играло-бы хоть какую-нибудь роль, фисіономія деревенскаго банка должна существенно измѣниться, мимо него не ходилъ-бы сторожъ съ ребятами и не тосковалъ бы о томъ, что нѣтъ нигдѣ поручителя на пятнадцать рублей. Мысль объ общественной связи непременно-бы измѣнила порядокъ сельскаго банковаго дѣла и могла бы, пользуясь кредитомъ въ 15 тысячъ рублей серебромъ по 6 проц. въ годъ, сразу надѣлать въ самомъ дѣлѣ общественныхъ, всѣмъ необходимыхъ дѣлъ, столько доступнаго добра, что деревня стала бы походить на жилое мѣсто. А между тѣмъ въ четыре года существованія члены товарищества позанимствовались въ банкѣ не болѣе четырехъ тысячъ, да и тѣ, при отвѣтственности и заботѣ каждаго о себѣ, дали едва-ли новымъ бременемъ только на несостоятельныхъ, плохенькихъ мужиковъ.

5.

Приведу заключеніе еще одинъ фактъ, совершающійся передъ моими глазами, доказывающій, что современные деревенскіе порядки далеко не отличаются прочностью и стройностью.

Владѣлецъ большого имѣнія, прилегающаго къ крестьянскимъ землямъ, предлагаетъ сельскому обществу купить у него 600 десятинъ земли, изъ которыхъ сто десятинъ лѣсу (а въ этой мѣстности лѣсъ дорогъ). Самъ же владѣлецъ не занимается хозяйствомъ и пріѣзжаетъ въ деревню только на лѣто. При прежнемъ владѣльцѣ земля эта охотно разбиралась какъ мѣстными, такъ и сосѣдними крестьянами; но владѣлецъ пожелалъ, чтобы всю землю приобрѣли его сосѣди, крестьяне смежной деревни, и не въ розницу, а всѣмъ миромъ. Чтобы облегчить эту покупку и сдѣлать участниками въ ней всѣхъ, онъ предложилъ уплачивать ему не деньгами, а тѣмъ же самымъ лѣсомъ, который находится въ уступаемомъ имѣніи: каждый годъ крестьяне *всѣмъ миромъ* вырубаютъ 4 десятины лѣса и, по извѣстнымъ существующимъ цѣнамъ, доставляютъ его владѣльцу, причемъ за возку полагается также особая, существующая плата. Вся операція должна совершиться въ 25-ть лѣтъ, причемъ къ концу послѣдняго года крестьяне вновь имѣютъ часть уже 25-ти лѣтняго лѣса. Въ то-же время они со дня составленія мирскаго приговора начинаютъ пользоваться остальными пятьюстами десятинъ земли. Все дѣло въ мирскомъ приговорѣ, въ ручательствѣ всей деревни; и вотъ уже идетъ второй годъ со дня предложенія, а ручательства этого все нѣтъ. Крестьяне продолжаютъ нанимать землю на чистыя деньги, кому сколько понадобится, или у сосѣднихъ помѣщиковъ, или у своего ближняго, которому пришлось трудно, въ послѣднемъ случаѣ всегда подешевле, чѣмъ у помѣщика. Помѣщику платятъ рублей 7—8, ну, а ужъ своему брату 5, и 3: потому своему-то брату труднѣе, чѣмъ помѣщику.

Видѣвъ съ тѣмъ владѣльцемъ имѣніемъ одолѣваютъ просьбами нѣкоторые изъ крестьянъ уступить имъ въ имѣніи участки, а бывали и такіе случаи, что одинъ какой-нибудь крестьянинъ изъ-являетъ желаніе купить, на предлагаемыхъ условіяхъ, все имѣніе—одинъ.

Владѣлец однако не желаетъ отдавать земли иначе какъ всему обществу. Все общество не соглашается, молчитъ — и отличная, нужная, дешевая земля подъ бокомъ у него лежитъ безъ дѣла и безъ пользы.

Что за причина такого непостижимаго явления?

Изъ разспросовъ и разговоровъ съ крестьянами, которые касались этого предмета, я могъ убѣдиться только въ томъ, что взаимная рознь членовъ деревенскаго общества достигла почти опасныхъ размѣровъ.

Покупая имѣніе всѣмъ обществомъ (объясняли мнѣ нѣкоторые изъ крестьянъ), все-таки необходимо «выбрать» одного человѣка, который-бы имѣлъ дѣло съ конторой владѣльца, велъ счетъ подводамъ при возкѣ дровъ, записывалъ рабочіе дни при рубкѣ и т. д., словомъ, необходимъ человѣкъ, которому могло-бы довѣрять все общество, и вотъ такого-то человѣка и нѣтъ между семидесятью дворами! Изъ семидесяти домохозяевъ выбираютъ сельскаго старосту, сборщика; но это лица официальные, имѣющія дѣло съ начальствомъ, да и выбираютъ-то они для начальства больше. Выбрать-же *своего* человѣка, который-бы блюлъ общіе интересы такъ-же точно, какъ и свои собственные, оказывается невозможнымъ. Всякій привыкъ думать, что человѣку нельзя не соблюдать своей собственной выгоды, пользы, и что онъ, особенно поставленный въ нѣсколько иное положеніе, чѣмъ другіе покупщики имѣнія, съумѣетъ повернуть дѣло такъ, что только одному ему и будетъ лучше, а всѣмъ другимъ хуже. Кого въ крестьянъ, знакомыхъ мнѣ, ни называлъ я, — всѣ, по мнѣнію разныхъ деревенскихъ людей, оказывались ненадежными...

— «Ничего человѣкъ, что говорить, а дай-ка ему»... Вотъ какъ характеризовали деревенскіе люди другъ друга...

Кромѣ этого, недовѣріе къ еще неизбранному нѣкъмъ распорядителю, недовѣріе къ возможности существованія личности, которая-бы не пользовалась насчетъ другихъ, если къ этому подвернется случай, одинаково господствуетъ какъ въ кругу состоятельныхъ крестьянъ, такъ и въ кругу крестьянъ послабѣй. Состоятельные и слабые, двѣ довольно ясно обозначенныя деревенскія группы, такъ-же не позволяютъ осуществиться выгодному для *всѣхъ* дѣлу. Для слабыхъ не дать сильнымъ стать еще сильнѣе — прямое удовольствіе, а увѣренность ихъ въ томъ, что при равномъ участіи въ покупкѣ сильнымъ достанется больше, чѣмъ слабымъ, что слабый-то собственно окажется только работающимъ для сильного — такъ велика, непоколебима, основана на такихъ неопровержимыхъ для всякаго фактахъ, что желаніе владѣльца вѣротно и не будетъ осуществлено.

Итакъ, необходимая для крестьянъ земля, предлагающаяся на самыхъ выгодныхъ условіяхъ, лежитъ впустѣ. Богатые мужики внять бѣдныхъ въ томъ, что они не дадутъ имъ и себѣ устроиться лучше, «точно собака на снѣгъ лежитъ, ни себѣ, ни другимъ». Бѣдные сердятся на сильныхъ, видя ихъ намѣреніе пользоваться чужими трудами, забавлять

ихъ приговоромъ владѣльцу на двадцать пять лѣтъ, чуютъ въ этой операци «новую барщину». Всѣ вмѣстѣ — никто не вѣрится другъ другу, и каждый изъ всѣхъ силъ старается какъ-нибудь захватить себѣ клочокъ земли на сторонѣ, должнае въ банкѣ, у частныхъ лицъ, платить проценты и деньгами, и натурой, словомъ — бьется какъ рыба объ ледъ.

V.

«Темный» деревенскій «случай».

I.

Въ погожій лѣтній день, часовъ въ шесть вечера, когда раскаленный воздухъ понемногу начинаетъ простывать, на пчельникѣ у сельскаго писаря за самоваромъ сидѣли деревенскіе гости. Гости сидѣли и лежали на землѣ вокругъ самовара и вели разговоры съ хозяиномъ пчельника, старымъ отставнымъ солдатомъ съ прострѣленнымъ и несгивавшимся колявомъ. Былъ тутъ въ числѣ гостей «банковый писецъ» — молодой человѣкъ изъ семинаристовъ, завѣдующій счетной частью въ мѣстномъ ссудномъ товариществѣ; былъ тутъ сельскій староста, былъ еще одинъ крестьянинъ изъ тѣхъ, которые «почище», былъ и пишущій эти строки. Да больше-то, кажется, никого и не было...

Всѣ мы испытывали пріятныя ощущенія вечерней прохлады и крѣпкаго лѣснаго воздуха. Пчельникъ стоялъ на широкой луговинѣ среди лѣса, былъ обнесенъ кругомъ загородкомъ, которую со всѣхъ сторонъ густо обступилъ мелкій кустарникъ. Тишина, благодаря этому кустарнику, стояла на пчельникѣ поразительная. Всякій малѣйшій шорохъ, звукъ въ лѣсу или скрипъ телеги на пролегавшемъ не вдалекѣ отъ лѣсу проселкѣ — слышались здѣсь среди тишины необыкновенно отчетливо.

Наслаждаясь окружающею насъ «благодатью», мы попевали съ удовольствіемъ довольно безвкусный, если не сказать прямо — скверный, чашекъ и вели непринужденный разговоръ: то о пчелахъ, то о деревенскихъ дѣлахъ, то о покосѣ, то о нашихъ общихъ деревенскихъ знакомыхъ. Въ разговорѣ именно объ этихъ нашихъ общихъ знакомыхъ и отразилось то чувство удовольствія, непринужденности, которое навѣвали природа, вечерняя прохлада, звуки *собиравшагося* стада лѣса...

Какъ-то вышло такъ, что, только уходя съ пчельника, я сообразилъ, что мы почти только и дѣлали во время разговоровъ, что непремѣнно кого-нибудь ругали или мошенникомъ, или дуракомъ, или подлецомъ. Ужъ послѣ я вспомнилъ, что мы «на прохладѣ-то» перебрали всѣхъ нашихъ общихъ деревенскихъ знакомыхъ, и всѣхъ почти кто-нибудь изъ насъ «распечаталъ», какъ говорится, въ самомъ лучшемъ видѣ. Но такова была сила прелести вечера, простора и уюта пчельника, что и распечатывая ближнихъ, мы не чувствовали ничего, кромѣ самаго лучшаго, самаго благодѣтельнаго состоянія духа. Легко было на душѣ, хорошо. Тѣло покойно нѣжилось въ мягкой травѣ, и чистый лѣсной воздухъ свѣжо чувствовался въ груди.

Когда мы такимъ образомъ перемыли всѣмъ нашимъ знакомымъ косточки, когда переговорили обо

всѣхъ деревенскихъ дѣдахъ и бездѣлицахъ, разговоръ на минуту было-замолкъ. Кто-то выразилъ желаніе даже отправиться по домамъ; но нелѣпный вопросъ, неожиданно сдѣланный однимъ изъ гостей, именно банковскимъ писаремъ, направилъ разговоръ на совершенно неожиданную тему.

А лѣшіе попадаютъ тутъ у васъ въ лѣсу-то? произнесъ писарь, лежа на спинѣ, — произнесъ вяло и повидимому просто такъ, неизвестно зачѣмъ и почему.

— Ну ужъ не могу тебѣ сказать, почему-то многозначительно мотнуть головою, отвѣчалъ ему хозяинъ-пчелякъ. — Лѣшіе, нѣтъ-ли, а что-то... есть!..

— Есть?

— Есть что-то!..

Эти слова пчелякъ произнесъ еще многозначительнѣе и принялся пить чай, не отрывая губъ отъ блюдечка и поглядывая на публику уже совсѣмъ загадочно.

— Что-же такое? Черти, что ли?..

Но пчелякъ молчалъ и пилъ.

— Ну вотъ—черти! сказалъ староста: у насъ тутъ съ образами весь лѣсъ обойденъ... Тутъ этой дряни не должно быть. Тьфу!

— Такъ что-же такое тутъ?

— А вотъ что тутъ, братецъ ты мой, — торопливо склепнувъ послѣдній глотокъ, сказалъ оживленно пчелякъ: — женщина тутъ плачетъ... Вотъ уже тринадцать лѣтъ... И такъ рыдаетъ, Боже милостивый, и всякій разъ вотъ объ эту пору, какъ солнце начнетъ садиться...

Всѣ затихли и, надо сказать правду, прислушались къ лѣсу...

— Это точно! сказалъ одинъ изъ гостей: — я самъ слышалъ.

— Тутъ много кто слышалъ, прибавилъ староста. — Ну, только надо быть нечистаго тутъ нѣтъ...

— Это птица у васъ тутъ какая нибудь кричитъ, а вамъ кажется плачетъ...

— Ну—птица!.. Какая птица, когда я ее вотъ такъ, какъ тебя, вижу...

— Ты видѣлъ ее?

— Говорю, видѣлъ, вотъ какъ тебя.

— Ну что жъ она? Молодая?

— Ну ужъ этого я, братецъ, не распозналъ... Не до того тутъ было... А подлинно тебѣ говорю, высокая, худая, вся въ бѣломъ, и платокъ, и сарафанъ.. а руки—бѣлыя снѣгу... И не своимъ-то голосомъ рыдаетъ... Вотъ эдакъ-то руками схватится за голову—и зальется...

Старикъ представилъ, какъ она плачетъ, и самъ прорыдалъ такимъ старческимъ хриплымъ рыданьемъ, что всѣхъ невольно проняла дрожь...

— Какъ же ты ее встрѣтилъ-то? преодолевъ впечатлѣніе страха, спросилъ писарь.

— А такъ: пошелъ я, братецъ ты мой, по лѣсу, какъ разъ вотъ объ эту пору, и норовилъ я отъ Никольскаго добратъ до дому напрямикомъ, стало-быть какъ есть насквозь весь лѣсъ мнѣ пройти надо было... Иду я — палка у меня.. Палку я всегда держу; —иду.. Пошла чаща, иду, разгребая вѣтки-то; вдругъ раздвинулъ въ одномъ мѣстѣ, а она при-

мо передо мной... Такъ я и обмеръ. Думаю:—«Н-ну!» Только тою-жъ минутою глянула она, да какъ птица по лѣсу—эво кругомъ какимъ и вонъ гдѣ позади меня какъ зальется.. Ну, я—давай Богъ ноги...

Всѣ молчали.

— Истинная правда! прибавилъ пчелякъ: — хочешь вѣрь, хошь нѣтъ—что мнѣ вратъ.. А есть это! Вотъ сейчасъ побожится. У меня сынъ Егоръ, такъ тотъ въ полдень, въ самый жаръ на нее напнулся...

— А чай и жутко было, Иванычъ? проговорилъ староста.

— Да ужъ не безъ того. Не хвастаясь скажу—не робокъ я. видалъ на своемъ вѣку много дѣловъ пострашнѣй, а не утаю — зачалъ щелкать по лѣсу-то, забылъ, что нога прострѣлена... Добрался до дому-то—слава тебѣ, Господи!

Всѣмъ стало легко, когда пчелякъ произнесъ послѣднюю фразу, и всякій, подъ влияніемъ этого впечатлѣнія, облегчившаго душу, поспѣшилъ рассказать какой нибудь случай изъ своей жизни, въ которомъ страхъ игралъ также не малую роль, но въ которомъ въ концѣ концовъ все оказывалось вздоромъ и смѣхомъ.. Со всякимъ случалось что нибудь подобное, и всякій рассказалъ, что зналъ или слышалъ, и наконецъ опять настало молчаніе. И «о страшномъ» не было уже матеріала для разговора. Но старикъ-пчелякъ, любившій поговорить, казалось, не желалъ давать разговору какого-нибудь другого направленія и продолжалъ сохранять на своемъ лицѣ то же нѣсколько таинственное выраженіе.

2.

— Нѣтъ, наконецъ сказалъ онъ: — вотъ съ Кузнецовой женой, вотъ такъ ужъ напирался я страху.

Кузнецовъ былъ молодой сельскій торговецъ; въ сосѣднемъ большомъ селеніи у него былъ магазинъ. Я зналъ его лично, и крайне удивился, узнавъ, что онъ—семейный человѣкъ, такъ какъ постоянно видѣлъ его и въ квартирѣ, и въ лавкѣ одного.

— Развѣ Кузнецовъ женатъ? спросилъ я.

— Какъ же! Да-анно!

— Гдѣ же его жена?

— Она ужъ второй годъ какъ въ больницѣ, въ Москвѣ, лечится... Теперича-то, пишетъ, будто поправляется, а ужъ что тогда было, не приведи Царица Небесная!.. Я одинъ, братецъ ты мой, бился съ нею цѣлую недѣлю, день и ночь, такъ ужъ знаю, что такое это... Давай мнѣ тысячу рублей теперича—нѣтъ!.. Не заманишь!..

— Какая же это у нея была болѣзнь? спросилъ писарь.

— Съ ума сошла.. Только съ ума-то сошла на худомъ... И старикъ-пчелякъ шепотомъ рассказывалъ о ея недугѣ... Недугъ дѣйствительно былъ ужасный...

Стали толковать о причинѣ такого недуга...

— И что за чудо! сказалъ пчелякъ. — Вѣдь какъ, братецъ ты мой, чудесно жили-то въ первомъ году—ангелы преподобные! Торговлю начали чисто, на готовые денежки, всего много, домъ—съ иглочками, оба—любо глянуть, ужъ объ ней и говорить нечего: королева—одно слово!.. Да и онъ па-

рень складный... Бывало, взойдешь въ лавку-то къ нимъ, соли тамъ или что-нибудь взять—сидать оба, какъ птички, и ласковы, и веселы... И самому-то, ей-богу право, весело станеть... Вдругъ, какъ нечистый попуталъ, сразу, братецъ ты мой, оба какъ оглашенные стали... На второй годъ пошло это у нихъ.

— А дѣти есть у него? спросилъ я.

— Была одна дѣвочка, въ самый первый годъ была, ну только померши. . Двухъ либо трехъ мѣсяцевъ померла то... Ту-ужили оба... стра-асть... А потомъ вдругъ и началось промежду нихъ... Слышимъ—«бѣть»! По вечерамъ крикъ изъ дому-то несется... Что такое?... Потомъ — того: принялся, братецъ ты мой, за бабами, значить, за женскимъ поломъ—проходу нѣтъ!.. Шѣтъ, беспутничаетъ, жену бѣтъ, бросаетъ ее совсѣмъ, прочь гонить... Отецъ ейный тутъ съ родней прибылъ... Помню, всю морду этому самому Кузнецову изуродовалъ. Однава они всей родней его били, да какъ били-то!.. Самъ своими глазами видѣлъ, какъ одинъ дьяконъ прямо ему въ лицо старымъ-престарымъ вѣникомъ тыкала окаямелькомъ... Тутъ было, Боже мой, что такое! Нѣтъ ему уйму—да и шабашъ! Въ теченіе того времени ейный родитель взялъ да въ судъ его и предоставилъ... значить за истязаніе и самоуправленіе. Присудили его, другъ ты мой, на полгода въ тюрьму... Вотъ тутъ-то съ ней и случилось... Перво-на-перво все тосковала, скучала... Исхудала вся—«не знаю, говоритъ, что со мной дѣлается»... Бывало зайдешь въ лавку-то: сидитъ и смотритъ, а примѣтитъ тебя—не примѣчаетъ... И разъ окликнешь, и два—все молчитъ... Ужъ когда-когда опомнится!—«Ахъ, скажетъ, Иванычъ, я и не вижу!»—Я-молъ тутъ давно стою. . «Ужли давно?» Именно правда. — И опять на нее этотъ истуканъ найдеть, опять говори, не говори—все одно... А однава пришелъ, глядъ—лавка заперта... Что такое? Пошелъ-было на кухню; идетъ навстрѣчу кухарка. — «Взбѣсилась, говоритъ, наша хозяйка... Что дѣлаетъ—такъ ахъ... Лучше и не ходи»...—Я было и не пошелъ, да за мной самъ отецъ ейный прислалъ, подсобить... Потому сладу нѣтъ... Даже отецъ-то родной и тотъ ушелъ, залился слезами, ушелъ изъ дому. Оставили меня одного... Ну ужъ и принялъ я мученьевъ, вѣкъ не забуду.

Пчелякъ рассказалъ мученія: публика посмѣялась...

— Какъ же ты съ ней справлялся-то? спросилъ староста.

— Какъ?—извѣстно палкой!

— Билъ?

— Извѣстно билъ, коли резонъ не слушаетъ. Ей представляешь резоны, а между прочимъ она пуще того безобразничаетъ... Что будешь дѣлать: и жалъ, а нельзя—другихъ способовъ нѣтъ... Огрѣешь кнутомъ раза три-четыре—забѣется за печку, сидитъ недвижимо и пожалуй съ часъ просидитъ, не шелохнется... Ну только ты чуть задремалъ—хватъ вотъ она!.. Думаю, нѣтъ, братъ, шалиши!.. Одну ночь я такъ-то пробился, на другую потребовалъ цѣпь, приковалъ ее за печкой-то,

соч. гл. успинскаго. т. II.

принесъ возжи, говорю—«вотъ, матушка!» показалъ ей... Ну, съ цѣпи ей сорваться трудно... Погрѣмать, погрѣмать—ляжеть... Только ужъ что говорила, слова какія, и не дай Богъ! Разокъ съ пятокъ я ее возжами-то урезонивалъ за эти самыя ея слова... И ругаться тоже—ругалась, словно пьяный солдатъ... Откуда только набралась этого... И бился я такимъ манеромъ съ ней цѣлую недѣлю.

— Все возжами?..

— Возжами все и кнутомъ... Однава такъ подсвѣчникомъ успокоилъ ее, потому чуть-было изъ цѣпи не вытѣзала!.. Цѣлю, братцы мои, недѣлю я такъ-то бился—одинъ! Отецъ то ея перво-на-перво совсѣмъ разсудка лишился, мужъ — въ острогъ, одинъ я. Потомъ принялись таскать знахарей и знахарокъ, поили ее и отчитывали, все одно—никакія средствія... Наконецъ-того, надумали въ больницу везти въ Москву. Вѣришь-ли, инло слеза меня самого прошибла, какъ стали ее изъ за печки-то вытаскивать: вся какъ есть синяя отъ побой...

— Ты ее, должно быть, знатно охоловлялъ то...

— Ужъ чего тутъ!.. Бывало, за ночь-то у самого ладони напухнутъ...

— И отчего же это съ нею приключилось? спросилъ банковскій писарь.

— Поди вотъ! разбери!.. сказалъ пчелякъ.

— Ужъ знаю—дѣло темное! прибавилъ одинъ изъ гостей.

— Господь ее знаетъ!.. заключилъ третій.

Скоро мы разошлись по домамъ подъ тяжелымъ впечатлѣніемъ разсказа.

3.

Всякій деревенскій житель въ своемъ домашнемъ быту непремѣнно испыталъ и постоянно испытывалъ какой-нибудь необъяснимый, непонятный ударъ: какія-нибудь страшныя психологическія страданія, незабываемыя, гнетущія, уродующія челоѡѡка на-вѣки, но ни чѣмъ не облегчаемыя, неразъяснимыя страданія, которыя даже и выплатъ-то нѣтъ возможности.

Правда, Кузнецовъ, о которомъ разсказывалъ пчелякъ, не былъ крестьянинъ: это былъ сельскій купецъ, торговецъ; но исторія его носила всѣ признаки подлинной крестьянской семейной бѣды, въ которой есть все: и побои, и слезы, и кнуты, и избитыя до-синя спины, и очевидно страшныя нравственныя страданія, и въ концѣ концовъ — ничего кромѣ каменной тяжести на сердцѣ, кромѣ угнетающей увѣренности, что такъ угодно Богу, да воспоминанія какого-нибудь «очевѡда» о томъ, на примѣръ, что вотъ у него у самого въ ту пору руки напухли отъ битья...

Такія семейныя бѣды, если вы только приглядитесь къ деревенской жизни, тяжелыми думами, темнотою безъ просвѣта давятъ крестьянскую душу, пришибаютъ челоѡѡка къ землѣ, словно тяжелымъ, неожиданнымъ ударомъ съ неба сваливагося камня, и вы встрѣчаете ихъ на каждомъ шагѣ.

Еще недавно, возвращаясь со станціи желѣзной дороги, я встрѣтилъ старика крестьянина, который везъ изъ города племянницу—сумасшедшую дѣвѡшкѣ. Она глядѣла, но ничего не говорила и ничего

не понимала, даже не дѣлала сама ни одного движенія: старикъ-дядя долженъ былъ самъ утирать ей носъ, самъ усаживать ее такъ, чтобы не свалилась, самъ застегивалъ ей армякъ...

— Что такое? Отчего?

— Господь ее знаетъ! Сразу приключилось... — Ночью!

Старикъ везъ ее домой изъ сумасшедшаго дома, гдѣ ее тоже шибко били «вся спина въ синякахъ»... А самъ онъ какъ будетъ лечить ее? Кто, кромѣ отставнаго солдата, предложить ему свои услуги насчетъ кнутъ и возжей?

Именно съ этой стороны меня и интересовала исторія Кузнецова. Не мало удивило меня и то обстоятельство, что Кузнецовъ, котораго я зналъ, вовсе не походилъ на того, о которомъ рассказывалъ пчелякъ. Это былъ, какъ мнѣ казалось, человѣкъ добрый, даже какъ бы старавшійся быть добрымъ.

И этотъ-то добрый человѣкъ могъ довести до сумасшествія близкаго, мало того—любимаго человѣка, могъ драться, пьянствовать, безобразничать, даже попасть въ острогъ. Тутъ была тайна, и тайна деревенская. Я рѣшился добиться и толкомъ разузнать, въ чемъ тутъ дѣло.

Не буду рассказывать, какія усилія были сдѣланы мною для того, чтобы вынудить Кузнецова рассказать его семейную драму; только драму эту онъ мнѣ все-таки рассказалъ. Передаю ее читателю только въ существенныхъ чертахъ, такъ какъ во всей подробности рассказывать ее невозможно.

4.

«Помилуйте!.. Любилъ-ли?.. И посейчасъ я безъ нея сойду, а ужъ что было съ перваго началу, того и не рассказатъ словами. Да и какъ не любить-то? Въѣзъ это одно — ангелъ превосходный, другихъ словъ для этого нѣтъ... Красавица первая! Развязность, напиритъръ, рѣзвость... Или опять взять въ работу—огонь, проворна, аккуратна... Въ короткихъ словахъ сказать, по моему понятію, миловиднѣй не сыщешь... Сколько ихъ я на своемъ вѣку, напиритъръ будемъ такъ говорить, не обсуждалъ — тряпки и мочалки, больше ничего... Да что еще: вѣдь мы ужъ съ ней десяти-девяти лѣтъ цѣловались... Самъ Господь опредѣлилъ намъ быть въ бракѣ: мой родитель изъ-покойнъ вѣку жилъ здѣсь и ейный, Милочкинъ, — и ния-то, позвольте сказать, сколько миловидно — Эмилиа! Ватюшка, отецъ Іоаннъ, священникъ (теперича онъ ужъ оставилъ должность), также здѣсь съсконинъ бѣ... И оба съ молодыхъ лѣтъ вдовы, и Милочкинъ, и мой... Родители наши души въ насъ не чаяли. Скажу одно: даже сѣкли насъ, ежели случалось за шалости, и то съ большимъ вниманіемъ и болѣе для угрозы, но нежели чтобы обидѣть. Милочку всего одинъ разъ и подвергли — крыжовнику, съ позволенія сказать, объѣлась.. Рѣзвая была... У — Воже мой!.. Отецъ-то Іоаннъ, бывало, не налюбуетъся ей... И былъ онъ большой пріятель съ моимъ родителемъ. Мой родитель, доложу вамъ, покойникъ, царство ему небесное, былъ старинный сельскій купецъ — теперь такихъ нѣту. Теперь все такой народъ пошелъ: налетитъ, одурманитъ, насулить, обдѣлаетъ — и въ другое мѣсто... Теперь

пошелъ въ ходъ жадный человѣкъ, а такихъ, какъ родитель-покойникъ, и въ поминѣ нѣту! Родитель былъ человѣкъ тихій, жилъ на одномъ мѣстѣ, дѣла велъ постоянныя, и все только хлѣбомъ, больше ничѣмъ, никакими дѣлами не занимался... Были у него въ разныхъ деревняхъ тоже постоянные знакомые по хлѣбной части, серьезные мужички, а въ городѣ онъ тоже доверителей не мѣнялъ, все больше съ однимъ кѣмъ-нибудь дѣла дѣлалъ. Знаете, чай, Пастуховыхъ? Ну вотъ, съ ними съ однимъ онъ болѣе двадцати годовъ, окромѣ ни съ кѣмъ никакихъ дѣловъ не дѣлалъ. И никогда въ покойникъ родитель жадности не было: есть у него въ десяткѣ деревень знакомство, есть одинъ хорошій человѣкъ въ городѣ — и будетъ! Не такъ какъ теперь: всякій норовитъ цѣлую губернію одинъ захватить въ свои лапы, да и орудовать... Нѣтъ! Родитель не жадничалъ... Самъ бралъ пользу и другимъ давалъ... Одно слово — велъ дѣло по чести и совѣсти, тихо и безъ всякаго азарта... И бѣдному человѣку у него тоже отказу не было; и пропадало тоже не мало; но родитель никогда не позволялъ себѣ, чтобы тамъ по судамъ или что... «Богъ съ ними!» — больше ничего!.. Бога онъ помнилъ, помнилъ крѣпко. Какъ, бывало, окончимъ дѣла или въ промежуткѣ, среди лѣта, ежели знаемъ напиритъръ, что все дѣло поставлено вѣрно, — сейчасъ, Господи благослови, куда-нибудь на богомолье, по монастырямъ, въ Москву, въ Сергіевскую Лавру, въ Оптину Пустынь, къ разнымъ угодишкамъ... Ъздили не спѣша, полегоничку... Наглядимся, наслушаемся всякихъ дѣловъ — домой! Зиму ужъ безпримѣнно дома, и ужъ тутъ каждый день: либо отецъ Іоаннъ у насъ чай съ ромомъ пьетъ и газеты обсуждаетъ, либо мой родитель у отца Іоанна разговоръ ведетъ о пустынѣ объ какой-нибудь, или такъ разговоръ слушали... Ну, и мы тутъ... То Милочка у насъ, то я у нигъ»...

«Съ самыхъ раннихъ лѣтъ стали мы слышать отъ нашихъ родителей, что когда подростемъ, такъ они насъ непримѣнно женятъ... потому лучше нары нѣтъ. Я тоже былъ не плохъ: одинъ сынъ и притомъ не нищій какой-нибудь; всѣ знали, да и самъ родитель мой не скрывалъ, что у него есть достатокъ, и онъ не разъ поговаривалъ, что въ случаѣ брака всѣ дѣла сдаться мнѣ, а самъ ужъ такъ будетъ вѣкъ доживать, на покой. И у отца Іоанна тоже было не безъ достатку. Окромѣ того, мы изъ дѣтства другъ дружкой любовались. Такъ что, можно прямо сказать, съ дѣтства были влюблены другъ въ дружку... И даже такъ влюблены, что исполнѣ навѣрно знали о своемъ бракѣ, оба дожидались... Бывало, ѣдимъ мы съ отцомъ въ отлучкѣ, по святымъ ли мѣстамъ, по дѣламъ ли въ деревняхъ, только и жду, какъ бы домой, къ Милочкѣ... Но былъ я робокъ; она, правду сказать, пошлѣй была.. побойчѣй, первая, бывало, за щеки обхватитъ и того... да!.. Разъ даже... Да что ужъ одно слово — смѣлая!.. Тормошитъ тебя, бывало, страсть! «Все равно, говоритъ, насъ съ тобой повѣнчаютъ». Ну, однакожъ ждали мы порядочно..

«Повѣнчали насъ, сударь мой, въ самое прекрасное время; пошелъ ей восемнадцатый годъ, а мнѣ

ударилъ двадцать первый... Хотѣлъ было родитель мой еще повременить, ну, только что согласія нашего на это не было. На что я въ ту пору былъ робокъ и родителя почиталъ, а тоже однажды не вытерпѣлъ и поднялъ щетину: «Какъ же это мнѣ такъ можно... да!» Правду надо сказать, что и Милочка тутъ меня много подбуживала на упорство... Сама-то она ужъ вошла въ возрастъ, потишѣла, а начала меня все на родителей натравливать... Бывало такъ, что и на своего отца науститъ меня... налетѣшь такимъ ястребомъ, смѣшно вспомнить... А главная причина—сталъ мой родитель похварывать, стали въ немъ старыя разныя простуды открываться, вотъ по этому случаю и порѣшили насъ повѣнчать... А какъ насъ повѣнчали, тутъ родитель мой и порѣшилъ дѣла прекратить. «Живите, говоритъ, какъ хочется... Заведите свое дѣло, какое по вкусу...»

«И какое, милостивый государь, послѣ того для насъ настало удовольствіе, то даже, извините, этого невозможно представить... Побѣхали мы вдвоемъ, я да она, въ городѣ повидаться съ отцовскими знакомыми, посоветоваться, что они присоветуютъ насчетъ дѣловъ. Изъ города вздумалось намъ махнуть въ Москву, такъ какъ порѣшили мы завести вотъ эту самую лавку, въ которой теперича разговоръ у насъ идетъ, а порѣшивши это дѣло, задумали закупать товаръ въ Москвѣ, изъ первыхъ рукъ. Дѣлать—такъ ужъ дѣлать. И что-жъ? Мы въ Москвѣ съ Милочкой на единаго часу не разлучались: все вѣдѣть—и по лавкамъ, и по конторамъ, и вездѣ насъ московскіе купцы все вѣдѣть видѣли и приглашаютъ на вечера, въ театр... Были мы тутъ, прямо сказать, во всѣхъ мѣстахъ, и въ церквахъ, и во дворахъ, и въ театрахъ, всего насмотрѣлись, всѣ на примѣръ древности, рѣдкости, мошны тамъ или, опять взяты, картины разныя, статуи—все видѣли. И любопытно, и хорошо, и легко намъ было, и ужъ такъ радостно, весело—слеза проникаетъ, какъ вспоминаешь. Въ гостиницѣ-то, въ Чижовскомъ подворьи, гдѣ мы стояли, и то какъ есть всѣ сосѣди нами двумя любовались. Какой-то старичокъ все глядѣлъ на насъ (тоже сосѣдъ), да одново прямо со слезами расцѣловалъ насъ обомъ и перекрестилъ: «дай вамъ, говоритъ, Богъ...»—Право слово. Такое у насъ шло удовольствіе мѣсяца полтора, покуда не обозначилось у Милочки положеніе. Затихла, идти никуда не хочетъ и ко сну ее стало клонить...

— «Собирайся, говоритъ, домой пора». Ну, я вижу, дѣло началось серьезно... Сразу мы оба точно все московское перезабывши, точно даже не видали, только и думаемъ—домой добраться...—«Строить ся надо! говоритъ Милочка:—пора ѣхать»... Скорохонько мы собрались и уѣхали строить, лавку заводить, гнѣздо вить—для себя, для дѣтей... Жить-поживать».

5.

«Все такъ и вышло какъ по писанному: и домъ съ лавкой готовы, и торговля пошла, и дочь родилась... Домъ, изволите сами теперь видѣть, строенъ не кое-какъ; oprичъ лавки, для собственнаго семейства цѣлыхъ три покоя, пять оконъ на улицу;

для родителя мезонинъ, съ теплымъ ходомъ изъ кухни. Все хорошо, однимъ словомъ. Но лучше всего—дочь-дѣвочка... И что это была за ребенокъ!..»

Разсказчикъ хотѣлъ говорить, но вдругъ горько заплакалъ...

«Нельзя этого описать... То есть души мы не чаяли всѣ, и я, и Милочка, и старикъ-родитель, только тѣмъ и дышали, Ольгунькой любовались... Здоровый былъ ребенокъ, веселый, занятливый, словомъ сказать—отрада.. И жили мы такимъ родомъ въ полномъ удовольствіи, и весело намъ всѣмъ, и мило, и дѣло пущено чисто, благополучно; все шло такъ, лучше требовать невозможно...»

«И вдругъ пошли со мной несчастія!.. Одново сидѣлъ старичокъ-родитель съ Ольгунькой на крылечкѣ, нянчился; смотримъ, зашатался и словно будто падаетъ... Подбѣжали, подхватили Ольгуньку—такъ онъ и грохнулся... Что такое? Лежитъ человекъ безъ памяти, а съ чего взялось—неизвѣстно. Перенесли его въ покой, за фельдшеромъ съѣздили, привезли его ужъ на другой день. Поглядѣлъ онъ: «банки» говоритъ. И закатилъ онъ ему тридцать пять штукъ... всю спину надрѣзавъ. А по-утру родитель Богу душу отдалъ... Вы извольте только подумать, каково это было намъ съ Милочкой! Мы родителя всѣмъ сердцемъ почитали, потому онъ былъ для насъ чистый ангелъ-хранитель, самая кротость во плоти... И вотъ—померъ... Вчерась былъ живъ, шуталъ съ Ольгунькой, онѣ лежатъ и не дышатъ... Призадумался я, точно что меня пришибло...

«Опустѣло кругомъ насъ съ Милочкой, только всего и осталось отрады—Ольгунька. И вдругъ и Ольгунька помираетъ... Помираетъ въ одинъ сутки. Что же это такое? Цѣлый день ребенокъ неизвѣстно отъ чего кричитъ, кричитъ не своимъ голосомъ: цѣлый день мы всѣ, и я, и Милочка, разныя женщины-родственницы, мечемся какъ угорѣлые, ничего не понимаемъ, не знаемъ, что это, отчего, какъ помочь... Даже фельдшера не могли привезти; потому на дворѣ стояла невыносимая грязь. То есть привезти-то его привезли, но ужъ дѣвочка на столѣ лежала...

«Но ужъ тутъ, доложу вамъ, опостылѣлъ мнѣ бѣлый свѣтъ. Даже такъ, что показалось мнѣ пріятнѣе вѣдѣть съ Милочкой умереть, чѣмъ жить на свѣтѣ! Зачѣмъ домъ, зачѣмъ торговля, зачѣмъ мы съ Милочкой—все одна мечта, тоска, беспокойство, скука... Изъ-за чего жить на свѣтѣ?

«Которые изъ знакомыхъ видали меня въ ту пору—«лица, говорятъ, на тебѣ. Кузнецовъ, нѣту... Какъ бы съ тобой чего худого не было!..» И въ правду, я и самъ, признаваясь, опасался... Да какъ же: все было хорошо, любезно и вдругъ—пустыня, холодъ и тоска, и за что? Отчего?.. Рѣшительно скажу вамъ, даже и совершенно никакой не было охоты жить... Даже съ Милочкой говорить не хочется... Объ чемъ говорить? Да и она сама не лънула ко мнѣ, все больше лежитъ къ стѣнѣ лицомъ и плачетъ.. Вотъ въ такое-то время и приди ко мнѣ въ лавку одинъ человекъ... Даже прямо есть за что спасибо сказать, по крайности самъ

я много благодаренъ. Теперече, ежели Богъ дастъ, воротится Милочка благополучно — совсѣмъ у меня другая будетъ политика... Аптекарю спасибо. Онъ всему тутъ дѣлу корень...

«Приходить, стало быть, этотъ самый аптекаръ ко мнѣ въ лавку; отпустилъ я ему, что требуется, и сѣлъ въ свой уголъ за прилавокъ — молчать и горемъ своимъ мучиться... Только аптекаръ-то и говорить:

— Что это, хозяинъ, пригорюнился?

— Что жъ, говорю, будешь дѣлать... видно ужъ такъ Богу угодно... и рассказалъ ему, какъ дѣвочка умерла и какъ померъ родитель...

— Ну, говоритъ аптекаръ: — насчетъ родителя — дѣло ужъ совсѣмъ плевое, не воротишь, а насчетъ дѣвочки печалиться тебѣ нечего, другія будутъ...

— Охоты, говорю, у меня ужъ нѣту...

— Будто!.. Какъ же это такъ? Къ этому-то, говорить, нѣтъ охоты?.. Какой же ты послѣ этого, говорить, купецъ? И сталъ онъ тутъ меня язвить.

— Вѣдь у васъ, говорить, только и дѣла, что за прилавочкомъ сидѣть, денежки считать, да съ женой орать. Ну, какія же у тебя больше дѣла-то? Ыдите да спите съ женами! Больше ничего... И дѣтей народите, тоже будутъ за прилавкомъ сидѣть, денежки считать...

— Помираютъ вотъ наши дѣти-то...

— Да ты развѣ думалъ когда, отчего они умираютъ и нельзя ли какъ-нибудь такъ сдѣлать, чтобы не умирали? Ну, знаешь ли ты, отчего твоя дѣвочка кричала?.. Вѣдь кричала?

— Кричала цѣлый день...

— А вы съ женой только смотрѣли и ахали?..

Что-жъ я буду отвѣчать? «Такъ точно», говорю.

— Ну, вотъ видишь, говорить: — рожать умѣете, а даже ходить не умѣете, не знаете, что вредно, что полезно... Это и свиньи такъ-то за поросятами ходятъ...

— Потомъ, говорить: ежели ты самъ ничего не знаешь, какъ-же ты дѣтей-то своихъ воспитывать будешь? А вѣдь, чай поди, тоже учить начнете, за вихоръ, розги, палкой... «Добру!» называется... Сами — невѣжи круглые, а берутся учить, точно въ самомъ дѣлѣ знатоки... Куда вамъ! ужъ вы рожайте только, это — вотъ ваше дѣло.

«Дѣлалъ я ему разныя представленія въ свою пользу, однакожъ онъ меня опровергъ:

— Ты, говорить, скажи одно: кричала дѣвочка?

— Кричала!

— Цѣлый Божій день кричала не своимъ голосомъ?

— Точно такъ, говорю.

— И оба вы съ своей женой — «родители», «воспитатели» ничего не знали: что? какъ? отчего? Не знали?..

— Точно что не знали..

— Гдѣ болить? въ головѣ-ли, въ животѣ-ли, въ спинѣ-ли?.. Ничего не знали?

— Ничего! Кричить!..

— Ну, такъ сами вы ее и уморили... И другая будетъ — и другую уморите...

«Такъ меня и обожгло отъ этихъ словъ...

— Что ты! говорю, другъ любезный, прикуси языкъ-то.

— Прощай, говорить. — Тоже «родители» называются... почитай ихъ!.. И ушелъ.

6.

«Кажется, ужъ довольно дерзко обошелся, а что-жъ бы вы думали? Задумался я надъ этими словами... И даже такъ задумался, что въ городъ къ аптекарю поѣхалъ и книжки даже бралъ читать. Судите сами: былъ-ли счастливѣй меня человекъ? Чего мнѣ не доставало? Все у меня было, и все я получилъ, такъ по крайности мнѣ представлялось. Лѣтъ пятнадцать кряду только и дышала Милочкиной любовью; пережилъ съ нею годъ такого счастья, какого никому и во снѣ не приснится; зналъ, что такое радости семейной жизни, что за счастье быть отцомъ, и вдругъ, одно за другимъ, два несчастія, потомъ пустота голая и сознаніе собственного невѣжества... А насчетъ невѣжества я понималъ сразу, послѣ одного только разговору, и тутъ-же, какъ только аптекаръ изъ лавки вышелъ, почувствовалъ я, что во второй разъ я ужъ не буду съ Милочкой счастливъ такъ, какъ до несчастій... До несчастій я жилъ, точно птица порхалъ; теперь мнѣ стало представляться, что порхать ужъ я не буду, узналъ о своемъ невѣжествѣ... А что всего обиднѣй: въ Милочкѣ-то, кромѣ жены, кромѣ хорошенькой, милой женщины... я ужъ тоже — истинно противъ воли — также невѣжу увидалъ... Коля представляю, коля вспомню, какъ это мы оба глупые, тупоумные блись ночью съ дѣвочкой, ничего-то не понимая, такъ и почувствую къ Милочкѣ что-то нехорошее, то есть что-то какъ будто злѣе... Думаешь иной разъ — хоть-бы подумала, отчего это и какъ... А то смотреть, какъ человекъ мучается, и не думаетъ... — тошно... вѣрное слово...

«Скучно мнѣ, пусто на душѣ было; надобенъ мнѣ былъ, какъ всякому человеку, интересъ... А опять съ Милочкой ту же любовь продолжать не было ужъ интересно, потому-что первое время самой задушевной любви окончилось вздоромъ, мученіемъ душевнымъ, обозначило въ насъ обоихъ, прямо сказать, мѣдлолюбіе... Поднялась моя любовь по этому случаю градусомъ повыше, сталъ я любить другое. Сталъ я влюбляться въ размышленія, въ разсужденія... И повѣрите-ли, въ слова, въ мысли, которыя пошли у меня ходить въ головѣ, я такъ-же точно сталъ влюбляться, какъ въ Милочку... Однажды аптекаръ (это ужъ въ городѣ какъ-то случилось) показалъ мнѣ такую штуку: чашка съ водой; вода какъ есть чистая, комнатная, и вдругъ подсыпалъ чего-то... что-же? — въ одну минуту замерзла, а было лѣто... Такъ что со мной было, если бы вы только знали!.. Такое охватило меня невѣдомое блаженство, такая радость какая-то (и истинно самъ не знаю отчего), ну, ни съ чѣмъ сравнить невозможно... Точь-въ-точь такъ-же у меня забилося сердце, заняло, таково весело, и въ голову точь-въ-точь такъ ударило, какъ бывало съ Милочкой до свадьбы еще случалось, если иной разъ долго не виднися, да вдругъ гдѣ-нибудь въ темномъ мѣстѣ и... вотъ! Прямо вамъ сказать, началась у меня дру-

гая любовь, выше и много любопытней, так, по крайности, въ ту пору мнѣ представлялось!..»

— А съ Милочкой, спросилъ я,—разговаривали вы о вашихъ мысляхъ?

— «Нѣтъ!—въ томъ-то и бѣда вся, что не разговаривалъ... А почему не разговаривалъ?—потому-что въ головѣ-то у меня стояло *все вмѣстѣ*, а по отдельности — ничего не было... Все, о чемъ я отъ роду не думалъ, все у меня стало подниматься въ головѣ сразу, цѣлыми ящиками, оптомъ, если сравнить по торговому... Я бы и радъ говорить съ ней, но ничего-бы путнаго не сказалъ... Я чувалъ, что не съумѣю заставить ее заинтересоваться тѣмъ-же самымъ, что меня захватило... Словъ у меня не было, не зналъ, съ какого конца взяться, откуда захватить, а главное — не утаю—не въ обиду Милочкѣ будь сказано—казалось мнѣ, что плюнетъ она на всѣ мои разговоры — и больше ничего. Не пойметъ-съ. Не интересно ей это... Сердило меня и то, что я самъ съ мыслями не разбавлялся; сердило и то, что и Милочка ихъ не пойметъ... а главное вотъ что меня не то-что сердило, а прямо вводило даже въ гнѣвъ: сказывалъ я вамъ, что послѣ несчастій мнѣ такъ было тоскливо и тяжело, что я даже и отъ Милочки какъ-то сталъ отставать, да и она тосковала и молча мучилась... Съ тѣхъ поръ какъ произошло во мнѣ это самое превращеніе, самому мнѣ стало легче; я тосковалъ по дѣвчкѣ — точно, и иной разъ просто даже до слезъ тосковалъ, но ужъ у меня было лекарство, занятіе... Иной разъ раздобудешь книгу, какого-нибудь наприимѣръ Жуль Верна,—напролетъ всю ночь... Помните, какъ одинъ англичанинъ выстрѣлилъ въ мѣсяцъ!.. То есть всю ночь напролетъ... И рвусь я что дальше, то больше. И все мнѣ пріятнѣй, хитрѣй, мудренѣй, прямо сказать, забористѣй. А между прочимъ слышу, что Милочка не тѣмъ норовитъ вылечиться... Жаль мнѣ ее, вотъ какъ, до слезъ, т. е. до кровавыхъ слезъ жаль... Теперь, Богъ дастъ, воротится, я все ей сдѣлаю, все предоставлю, словомъ—тепереча у насъ съ ней совсѣмъ другой разговоръ пойдетъ...

«Но тогда, когда я влюблялся съ каждымъ днемъ все сильнѣй и сильнѣй въ другое дѣло, въ новое, любопытное, умное, и каково это мнѣ было слышать тотъ наприимѣръ разговоръ: «вотъ погоди, опять ребенокъ будетъ, опять поправишься, все какъ рукой сниметъ!» Это говорили Милочкѣ всѣ ея родственницы, всѣ бабы, какія только въ домѣ были... Всѣ одинаково полагали, что необходимъ опять ребенокъ, чтобы вновь жизнь получила смыслъ... Каково мнѣ это было слышать каждую минуту, когда ужъ самъ-то я на другой смыслъ наскокилъ: сидятъ ли за самоваромъ, отдыхаютъ ли на крылечкѣ, въ кухнѣ ли соберутся, все одинъ разговоръ: «Вотъ ребенокъ будетъ! Вы съ мужемъ люди молодые—чего таить! Вотъ хитрое дѣло, подумаешь!..» И что-жъ вы думаете? Однажды слышу, Милочка разговариваетъ съ одной бабой и говоритъ ей: «вотъ, когда у меня ребенокъ будетъ, я тебя въ кормилицы». То есть и званія никакого нѣтъ насчетъ чтобы ребенка, а ужъ кормилицы приторговываютъ... Что-жъ я то такое? Да какъ это не стыдно, думаю, не подуматъ

хоть бы о томъ, что вѣдь и второго уморимъ ни за что, ни про что!.. Вѣрите-ли, даже упорство какое-то во мнѣ стало дѣйствовать. Точно вотъ врагъ какой между мной и Милочкой появился... Уклоняюсь я отъ нея... И намѣренія-то ея мнѣ куда не по душѣ... Забьюсь въ лавку съ какими-нибудь сочиненіемъ, съ мѣста, кажется, шестеркой лошадей на своротить!.. — «Иди чай пить»! Нѣтъ, думаю, знаю я ваши намѣренія—не хочу. — «Иди ужинать!» Опять я не хочу... А тамъ все разговариваютъ про то же самое... И стали даже такъ поговаривать: «что же это за мужъ? Этого въ хорошихъ семействахъ не допускается»... Эдакимъ вотъ манеромъ...

«И сталъ я, прямо скажу, даже ожесточаться... И что же? Однажды ночью, не помню ужъ, что у меня въ головѣ было, только ужъ совсѣмъ, совсѣмъ не-то... Гляжу, Милочка сама подошла ко мнѣ изъ спальни... взяла такъ-то за плечо и смотреть... Какъ понялъ я этотъ взглядъ, сразу рвануло меня по всей внутренности—«убирайся ты прочь отъ меня!..» То-есть не своимъ голосомъ гаркнулъ.

«Съ этой самой минуты все и помутилось въ дому...

7

«Поглядѣлъ бы кто на насъ въ ту пору: злѣй насъ, кажется, на свѣтѣ не было. И съ Милочкой-то что стало—уму непостижимо. — «Такъ такъ-то! хорошо-же!» Къ отцу — отецъко мнѣ съ увѣщаніемъ; зародной — за старичками, за старушками — настоящій съѣздъ, земское собраніе... Милочка плачетъ и жалуется, а мнѣ ни капельки не жалко, т. е. вотъ хоть-бы капелька... Теперьча я знаю: она тоже не знала, что дѣлала, ей также Богъ вѣсть что мерещилось... Ну, только я ужъ тутъ совсѣмъ ожесточился... Помилуйте, скажите: хотѣя меня наприимѣръ силкомъ къ этому самому порядку привести. — «Какъ не стыдно! Ни Бога въ тебѣ нѣтъ, ни совѣсти!.. И что это такое!» Это я съ утра до ночи слышу сутокъ двое къ ряду. А то такъ просто стали обывать меня «подлецомъ». «Какой это мужъ? это, говорятъ,—подлецъ изъ подлецовъ!»

«Дальше да больше; вдругъ отецъ Иванъ подступилъ ко мнѣ съ кулачьемъ: — «Ты что-жъ это. такой-сякой? а?»... да, не говоря худого слова, багъ меня по уху, багъ по другому... Племянникъ-дьяконъ услышалъ, подлетѣлъ, развернулся—хлопъ! хлопъ!.. Ну ужъ тутъ и я изъ всякихъ границъ вышелъ... Милочка-было за меня заступаться стала: «не троньте, не троньте его!» но ужъ у меня не оставалось снисхожденія. «Сама, говорю, заварила этотъ срамъ, да заступаться?—Вонъ!» И принялся содѣйствовать! Что тутъ такое было уму непостижимо! Тутъ были въ ходу и кнутыя, и метла, и самоваромъ кто-то скотилъ меня по головѣ. и Жуль Верна я расшибъ (какъ есть всю книгу съ рисунками) объ чью то морду — ужъ не помню — и всѣ въ крови, съ синяками, съ раздутыми щеками — т. е. Богъ знаетъ что!.. И все это — на народѣ; собралась вся деревня, ревъ, плачь. — «Исполный законъ!» вопіютъ. Хотѣть, срамъ!..

«Въ тотъ же часъ, послѣ этого боя, я ударился прямо въ кабакъ, и съ этого сраму сталъ пьянство-

вать... Слышу, вдобавокъ ко всему, распознали, что къ аптекарю хожу, присодействовали обо всемъ къ исправнику, все перерыли и всѣхъ моихъ знакомыхъ въ скорости предоставляли къ благоусмотрѣнію; ну, словомъ, оскрамили меня въ самомъ полномъ разиѣрѣ... Тутъ-то вотъ и сталъ я безобразничать, и въ свою голову добезобразничался до суда, да и Милочку съ ума свелъ».

Оставляю неразсказанными много неудобныхъ для печати подробностей, касающихся болѣзни бѣдной деревенской женщины. Сколько перестрадала эта жертва неожиданнаго деревенскаго «случая»!.. Припоминая всю эту исторію, съ ужасомъ вспоминаешь рассказъ пчеляка и разговоръ о леченіи больной.

— Ты какъ-же съ ней справлялся-то?

— Какъ? Извѣстно, палкой... коли не слушаетъ резонновъ... У меня даже у самого руки опухли... Синяя вся отъ побоевъ, даже слеза прошибла... Потому возжами орудовалъ...

VI.

Опять темныя ночи, осеннія.—Волки и конокрады.—Убійство и оправданіе.—Біографія сироты Оедюшки —Мірской хорошій человекъ Иванъ Васильевъ.

I.

Августъ мѣсяцъ шелъ къ концу. Утромъ и вечеромъ въ воздухѣ стала чувствоваться сильная свѣжесть, переходившая ночью въ крѣпкій осенній холодъ. Смеркаться стало рано и темъ по ночамъ сдѣлалась непроглядно. Привычный деревенскій житель, знающій въ своей деревнѣ каждый камушекъ на улицѣ, каждую ямку, лужу, каждое дерево, иной разъ, очутившись въ такія темныя, «черныя» ночи на улицѣ, не узнавалъ своего дома, да и добравшись до двора, долго искалъ ногою лежащій у крыльца камень. Тьма убивала въ человекѣ способность видѣть, лишала возможности свободнаго движенія, даже притупляла чуткость уха. Два человека, столкнувшись случайно въ этой темнотѣ, долгое время даже по голосу не могли узнать другъ друга и непрѣнно съ нѣкоторою оторопью вели такіе разговоры:

— Кто тутъ?

— Я!

— Кто таковъ—я?

— Да Иванъ!

— Какой Иванъ?

— Да Иванъ, стало быть, Петровъ!..

— Ахъ, пущь тебя возьми!.. Эка темень-то!..

— Тюрьма чистая! Это ты что ли! Сафронычъ?

— Что ты? перекрестись!..

— Ай Кузьма?

— Какой тамъ Кузьма? Эко ты.. Егора-то Перепелкина забылъ...

— Ишь ты вѣдь, братецъ ты мой!.. Ну, и темень только—чистая преисподняя!

Въ такія ночи ничего не стоитъ заблудиться въ двухъ саженьяхъ отъ деревни, или захватить невѣсть куда.

Но не этимъ страшны темныя августовскія ночи деревенскому жителю: страшны онѣ главнымъ образомъ волками и конокрадами. Тѣ и другіе начинаютъ дѣйствовать съ изумительною силой; вол-

ки—съ голоду, а конокрады и съ голоду, и по расчету: настаетъ время осеннихъ ярмарокъ, хорошаго сбыта скотины; настаетъ осень, время холодное, когда безпріютному человекѣу западаетъ мысль о теплѣ, о тепломъ кафтаникѣ... Тьма покровительствуетъ и волкамъ, и конокрадамъ. Испугавшись шума осенняго вѣтра, который въ эти дни уже начинаетъ знакомить деревенскую публику съ своими аккордами грядущихъ осеннихъ завываній, овцы, благодаря непроглядной темнотѣ ночи, разбѣгаются по оврагамъ, лѣсамъ, сваливаются съ кручи въ рѣку, и повсюду настагаетъ ихъ неистовый волчій аппетитъ. Волкъ рѣжетъ овецъ и въ оврагахъ, и въ лѣсахъ; забирается даже въ овчарню, прямо на дворъ къ крестьянину, и тутъ, съ немалымъ успѣхомъ, чѣмъ въ полѣ, совершаетъ свои операціи. Тьма и вѣтеръ, пугающій скотину, помогаетъ и конокрадамъ все потому-же, что заставляетъ скотину разбредаться, терять дорогу, блудить. Тутъ-то и караулитъ крестьянскую скотину конокрадная гольтыба.

Да! И въ этомъ дѣлѣ есть главные и второстепенные дѣятели. Главный конокрадъ носитъ въ народѣ названіе «воровской матки». Эта воровская матка сумѣетъ пріютить и спрятать цѣлый табунъ и дѣйствуетъ главнымъ образомъ при помощи пастуховъ. Наворованныхъ лошадей, отогнавъ ихъ предвѣрительно на значительное разстояніе отъ мѣста кражи, главный воръ поручаетъ на сохраненіе первому деревенскому пастуху. «Побереги!» говоритъ, и пастухъ бережетъ краденыхъ лошадей гдѣ-нибудь въ ближнемъ лѣску, гдѣ онѣ ходятъ со спутанными ногами. Бережетъ онѣ краденыхъ лошадей потому, что «воровская матка» грозитъ ему. «не то, говоритъ, изъ твоего табуна угоноу». И угонитъ, навѣрное угонитъ чужими руками, руками гольтыбы, оставаясь самъ здоровъ и невредимъ. Сбываютъ краденыхъ лошадей за безцѣнныхъ первымъ встрѣчнымъ обозчикамъ, пришедшимъ изъ далека рабочимъ, которыхъ въ это время (молотьбы) бываетъ много въ полѣ. Не безупречны въ отношеніи конокрадства и сами господа пастухи. Знатокъ утверждаютъ, что большинство воровскихъ матокъ выходитъ именно изъ пастуховъ. Люди эти умѣютъ обращаться со скотиной, умѣютъ повелѣвать ею, знаютъ мѣста, гдѣ ее спрятать. А подручной гольтыбы, которая своими руками будетъ обдѣлывать темное дѣло кражи, всегда много, и отвѣчать-то, въ случаѣ чего, придется этой жесамой гольтыбѣ. И жестоко-же расправляются деревенскіе люди съ этими разорителями крестьянскаго хозяйства! Бѣда только, что главные-то, «коренные» то норы почти не попадаютъ подъ карающую крестьянскую руку, а весь ужасъ мести выпадаетъ на долю гольтыбы.

Вотъ что рассказывали мнѣ о такой мести очевидцы ея и участники, крестьяне сельца Сычева.

2.

— Ночевало насъ въ ту ночь на полѣ со скотиной человекъ пятнадцать... Въ такія ночи одному пастуху не справиться; для осторожности наряжаемъ караулъ по очереди изъ своихъ... Тутъ въ эту ночь темень да въ вѣтеръ, тутъ ужъ сохрани Богъ зѣвать, т. е. заснуть, стало быть, или задремать...

Тутъ ужъ сиди, гляди въ оба... Огонь у насъ не переводится, и всю ночь мы вокругъ табуна показывали да посвистывали... А ночь темная-растемная, и сыро, и вѣтеръ... И валить съ ногъ-то, а все крѣпиться, держишься, потому напуганы были мы въ ту пору очень быстро. Что ни день, то откуда-нибудь и идетъ слухъ: тамъ вчера тройку угнали, а тамъ нару.. Стало, какъ-ни-какъ надоть крѣпиться. Съ вечера до полуночи, да и за полночь-то, такъ часу до второго, кой-какъ справлялись... Морить-морить тебя, клонить сонъ-то—встряхнешься, и опять въ ходъ пошелъ... А вѣдь устанешь за день-то въ эту пору, не приведи Богъ; съ трехъ часовъ утра на работѣ, да цѣлый день до сумерекъ: въ эту пору и плѣть убираемъ на полѣ, и съ поля возимъ, и молотимъ—самое это бѣдовое время... Бился, бился я такъ-то самъ съ собой, глаза эдакъ-то растопыривалъ, растопыривалъ всѣми способами—хватъ и свалился какъ спохъ.

«Толкаетъ кто-то меня, слышу, подъ-бокъ, изо всей, тонсъ, мочи кулакъ мнѣ подъ ребро посылаетъ... Я было крикнулъ, да ротъ мнѣ зажали: «воры!» шепчутъ.. Очнулся я—догадался, что наши ребята ползкомъ подползли, притаились.. «Гдѣ, молъ, воровъ видишь?»—«А вонъ, бають, двоеползутъ... Не замая, доберутся до лошадей, тогда сразу всѣмъ единымъ духомъ броситься и шумъ поднять»... И точно, приглядѣлся я къ теменю-то: вижу, дѣйствительно шевелятся въ двухъ мѣстахъ... Ну, прямо сказать, да звѣря такъ душа не замираетъ... Кажется, цѣлый годъ прошелъ, покуда дождались мы конца. И просто, по совѣсти сказать, безъ памяти бросились всѣ, какъ одинъ человекъ, только-было одинъ изъ воровъ за гриву лошадь поймалъ... А ужъ заорали, гаркнули, такъ и сейчасъ мнѣ удивительно, какъ у меня нутро цѣло осталось... Налетѣли мы на нихъ ястребами... Такъ налетѣли, что у одного ногу, у другого руку переломили: секунда, кажется, одна, а глядимъ ужъ они какъ куренки валяются ничкомъ и только охаютъ... Единымъ духомъ—руки назадъ, морду въ землю, лежи, дожидайся свѣту... Порѣшили-было не бить, а полностью предоставить въ волю; да вѣдь что будешь дѣлать-то, больно ужъ мучители-то большіе: караулимъ—сидимъ, ужъ конечно не молчимъ, да нѣтъ-нѣтъ кто-нибудь и тронетъ—то сапогомъ этакъ въ бокъ, то возжей, то за волосы... Вѣрите-ли, теперь вспомнить оторопь беретъ, а въ ту пору не то что жалѣть, а прямо сказать сладить, коли-ежели вцѣпишься... Не утаю, было и моего грѣха въ этомъ дѣлѣ, но въ мѣру... Прочіе же напрімѣръ ребята такъ разыгрались, въ такую охоту, что, коротко вамъ сказать, приспособовались мы ихъ къ свѣту до безчувствія... Пришлось вести на деревню подъ руки...

«Одинъ-то, постарше, всемолчалъ, ни словечушка не казалъ, а другой-то помоложе, взмолился:—«Не ведите, молъ, насъ по деревнѣ, други милые! Убьютъ насъ... Охъ, отцы мои родимые... Вѣдь я, говоритъ, вашъ землякъ Сычовскій!.. Пожалуйте своего-то! Я, говоритъ,—Федоръ!» Въ ту пору невдомекъ намъ было, каковъ таковъ Федоръ (а

вѣдь точно нашъ Сычовскій оказался), а признаться, жалковато будто становилось; потому сами-то мы натѣшились, зло сорвали, а ужъ въ деревнѣ, мы это вѣрно знали, имъ, ребятамъ, своей препорціи не миновать... И сказалъ было я: «а что, ребята, не отвезь-ли въ самомъ дѣлѣ въ волость задами!»—Да дерни дурака Федьку сказать эти слова, что, молъ, «вашъ я землякъ Сычовскій»...—«А, молъ, такой-сякой, такъ ты еще своимъ-то землякамъ вредъ, напрімѣръ?..» И опять замутило на сердцѣ:

—«Веди, ребята, деревней!» гаркнули товарищи, и поволокли мы ихъ улицей...

«Солнышко еще и не думало показываться, чуть свѣтало, и народъ еще спалъ. Думали-думали—куда идти? пошли къ Ивану Васильеву... Первѣющій у насъ былъ голова! Староста былъ, копѣйки мірской не утаилъ, за мірское дѣло горой стоялъ, правду блюлъ пуце глазу, зеницы ока.. И откуда такой уродился человекъ, дивное дѣло! Съ годъ назадъ его лошадь зашибла, всей деревней хоронили—потому заслужилъ!.. Такихъ мы еще людей и не выдывали потомъ... Первый нашъ судья, хранитель мірской, божій человекъ.. Заберетъ его за сердце какимъ дѣломъ—живъ не разстанется, послѣднюю овцу продастъ, а ужъ добьется своего. Вотъ къ этому-то человекъ и повелъ воровъ-то... Подвели къ дому, разсудили; вышелъ Иванъ Васильевъ: «что молъ такое?»—«Такъ и такъ, говоримъ, воры»... Поглядѣлъ онъ какъ-то на нихъ, поглядѣлъ съ-искосу, скрипнулъ зубами. «Караулъ-те, говоритъ, а я народъ подым!»... Больше ничего не сказалъ, только пошелъ отмирать влодь порядку саженными ногами да по окнамъ бухать:—«вставай! воры! выходи!»... Всполошилась наша Сычовка. Поднялся народъ, въ чемъ былъ, валить со всѣхъ сторонъ—а у насъ полтора двора... Окружили насъ со всѣхъ сторонъ, даже самими не повернуться; и ругали, и плевали на воровъ—въ полную волю.. Но настоящаго чтобы—ничего никто не зналъ, какъ быть и что дѣлать. Только идетъ назадъ Иванъ Васильевъ, и лица на немъ человеческого нѣту. Рукава засучилъ, побѣдѣлъ ровно полотно. «Ребята, говоритъ, своимъ судомъ грабителей!» И что есть силы-мочи далъ... значить, по скулѣ одному и другому? «Бей!» гаркнулъ. Ну тутъ ужъ... Ужъ тутъ мы и свѣту не взвидѣли... Что было! Пресвятая Владычица! Матерь Божія! Били камнями, палками, возжами, оглоблями, одинъ даже осью телѣжною... Всякій норовилъ дать ударъ, безъ всякаго милосердія, чѣмъ попало!.. Тутъ ужъ мы, караульщики,—кто куда!.. Тащить ихъ толпа своей силой, а упадутъ—поднимутъ, гонять впередъ, и все бьютъ, все бьютъ: одинъ сзади норовитъ, другой спереди, третій сбоку цѣлится, чѣмъ попало... Жестокая была битва, истинно кровопролитная!.. Побѣждалъ я за писаремъ (пришло мнѣ въ голову, что не надо-ли, молъ, чего-нибудь по закону сдѣлать); прибѣгъ съ писаремъ-то назадъ, вижу, стояли народъ около амбара посреди улицы, и слышу разговариваютъ: «глянь ко, малый глаза-то выпучилъ!» Пробрался я сквозь народъ—

вижу—точно, сидитъ бѣдняга на земли: одинъ постарше-то, экакъ вотъ спиной къ амбару привалился, и глаза точно стали, недвижимо стоятъ, только грудь ходитъ, какъ жерновъ... А другой, Федюшка-то, стонетъ, за сердце хватается... Писарь съ допросомъ къ старшему: «Кто такой? Откуда?» Смотритъ тотъ, глаза выпучилъ, а говорить не говорить... Откуда ни возьмись Иванъ Васильевъ. — «Запираться, говорить, дьяволъ этакой?» Да въ волосы ему... Ужь, Боже мой, какъ жестоко! И сказать нельзя. Упалъ тотъ ничкомъ и лежитъ, не дышетъ. «Померъ!» говорятъ — «Какъ-же! помирать такіе черти! какой-то старичокъ объявилъ. — Онъ, такой-сякой, слово знаетъ!» Да мертвого-то (точно вѣдь померъ старшій-то) по спинѣ-то, да почему попало... «Отходить! отходить! и другой-то отходить!» закричали... И точно... помутились глаза и у Федюшки... Забрало меня за ретивое: «Беда! говорю, тебѣ-бы молочка испить?» .. Шевелитъ губами, а сказать не можетъ... — «Испей, Федюшка, молочка-то... можетъ, отойдешь» .. И что-же онъ мнѣ отвѣтилъ на эти слова? — «М-медку-бы»... чуть слышно прошепталъ какъ-то, и духъ вонъ.

«И напалъ на всѣхъ насъ страхъ. Никто не думалъ, что убьетъ до смерти, всякій билъ за себя, за свое огорченіе, не считалъ, что и другіе будутъ. А какъ увидѣли два покойника — оторопь и обула всѣхъ... Всѣ вразсыпную. — «Не я... не я... не я»... Каждому страшно сдѣлалось — «Ничего не будетъ!» сказалъ Иванъ Васильевъ и приказалъ аму рыть, травы и льду въ яму класть, а на ледъ покойниковъ положили и опять свѣжей травой завалили. «Судъ былъ. И точно ничего не было. Всѣхъ оправдали.

«Съ тѣхъ поръ потише стало».

3.

«Всѣхъ оправдали?» сказалъ мнѣ рассказчикъ. Что же это за люди, что это вообще за существа, которыхъ можно истязать, убивать, и за все это получать только одобреніе? — «Такъ! такъ и надо!» говоритъ совершенно по совѣсти всякій обыватель. «Нѣтъ, не виновны!» говоритъ совершенно по совѣсти судъ присяжныхъ... Злодѣйство, безпощадность злодѣйства, выразителями котораго являются два убитыхъ человека, не подлежатъ сомнѣнію; но, по всеобщему «совѣстливому» мнѣнію, никакихъ иныхъ средствъ для острастки злодѣевъ, кромѣ истязанія, нѣтъ. Спрашивается: изъ какихъ-такіхъ источниковъ выходятъ люди, способные заниматься такими злодѣйскими дѣлами; откуда рождаются эти разорители, эти грабители крестьянскаго хозяйства? Вѣдь не валяются-же они съ неба, вѣдь не рождаются они исключительно съ злодѣйскими помыслами? Вѣдь хотя убійство двухъ злодѣевъ и санкціонировано совѣстью господъ убійцъ и господъ судей, но вѣдь и господа конокрады также могли бы представить кое-какія соображенія въ объясненіе своей злодѣйской совѣсти, и вѣроятно представили бы, если-бы ихъ заблаговременно не ухлопали.

Размышляя такимъ образомъ, я невольно пришелъ къ вопросу: откуда берется и какъ дѣлается такой удивительный, ожесточенный, безстыдный

сортъ людей, которыхъ можно раздавить, какъ клоповъ, и чувствовать себя при этомъ совершенно невиннымъ?

При первомъ же свиданіи съ рассказчикомъ исторіи убійствъ, я спросилъ его:

— А кто такой этотъ Федюшка?

— Который-съ?

— А вотъ котораго убили-то, конокрадъ?

— О-о, этотъ? Этотъ нашъ, Сычовскій, нашъ. нашъ... Этотъ-то нашъ. А вотъ другой-то, такъ и не признали чей... Больше ничего, знаемъ—черномазый... Ну, а Федюшка—точно нашъ!

— Кто-жъ онъ такой? Есть у него отецъ, мать?

— А вотъ какъ надобно на это вамъ отвѣтить. Есть слѣдовательно Федюшка спрота... Принесла его одна стало-быть дѣвица... И выйди потомъ эта самая дѣвица замужъ. Попался человекъ, не посмотрѣвъ на грѣхъ, согласенъ былъ взять и съ ребенкомъ; ну только узналъ объ этомъ старикъ-родитель, отъ ребенка отказался. — «Отдай, говоритъ, ребенка въ люди, тогда приму въ домъ, не отдашь — не надо мнѣ тебя». Ну, сами знаете, дѣло родительское, сурьезное... Хорошо, какъ переговоришь родителя—твое счастье; ну, а какъ попадется родитель-то изъ крѣпкихъ: тутъ ужъ изъ его слова не выбьешься... Вы не знаете ли, тутъ у насъ на деревнѣ мужикъ, Емельяномъ звать?

— Нѣтъ, не знаю..

— Такъ вотъ что я объ немъ скажу: мужикъ этотъ человекъ работающій, одно слово — человекъ правильный, ну, только что больно тихъ, значить, попорченъ... И что-жъ съ нимъ отецъ родной дѣлаетъ? посылаетъ его милостыню собирать по праздникамъ... Этого-то человека! Да онъ и безъ чужого хлѣба, своего бы добывалъ въ полныхъ размѣрахъ, ежели бы былъ посурьезнѣе, а то ну-ко—съ сумкой по деревнѣ шатается... Смотрѣть-то, я вамъ доложу, стыдъ чистый... А почему? Главная причина—нельзя родительскаго благословенія забывать; надобно родителей почитать... Положимъ, такъ сказать, каковъ родитель. Иного родителя, надо прямо говорить, и слушать бы не зачѣмъ; вотъ хоть бы Емелькина отца, судите сами: раздѣнныя старикашка, ни на что не похожее. Вдовый онъ, и одинъ у него сынъ Емелька. Покуда сынъ-то подросталъ, ничего былъ человекъ, бился по-христіански, одинъ самъ собою все хозяйство правилъ, а какъ выросъ Емелька, какъ женилъ его — легъ на печь, «не мое, молъ, дѣло», и началъ канальскій старикъ сладить... — То-есть какъ-же такъ?

— Слѣдовательно, то есть вотъ какими манеромъ. Примѣрно надо бы ему на работу идти, въ поле, а онъ, старый хрычъ, съ удочками на рѣчку, да цѣлый день и сидитъ на рѣчкѣ... Наловить рыбы — этого у него, у стараго хрыча, и званія нѣтъ, чтобы продать или что нибудь для дому — куда! все самъ съѣсть! Вотъ это самое и есть, что я вамъ сказалъ: — себѣ сладить... Ну, а гдѣ ужъ одному женатому съ семьей справиться... Чѣмъ бы съ печки-то слѣзть да помочь сыну, а онъ ему — «иди! говоритъ, по міру, собирай!»... Ну, и идетъ... потому родительское слово свято... Не послухай

его, «прокляну», скажетъ; ну, а вѣдь это, ужъ сами судите, довольно будетъ вредно нашему брату... Такъ-то вотъ.

— Это я къ тому говорю, продолжалъ разсказчикъ,—что вотъ и Оедюшкинъ-то вотчимъ изъ послушныхъ былъ.. Противъ родителя не осмѣливался... Да и мать-то Оедюшкина тоже... то есть, куда-жъ, позвольте спросить, дѣться ей съ этою, напимѣрь, прикупой? Хорошо еще самое-то беруть, не бросаютъ, и то еще надо дорожить, что нашлся добрый человѣкъ... Вотъ мать-то и отдала Оедюшку къ теткѣ; была у ней старушка-тетка... бездѣтная... Отдать-то отдала, да не далъ ей Господь вѣку—черезъ два года и померла. Остался Оедюшка сиротой. Покуда жива была тетка, ну кое-какъ, да кое-какъ перебивался, росъ... а эдакъ съ седьмого или восьмого года и побираться сталъ... Ну ужъ тутъ, конечно, житье не легкое; дадутъ шапку—въ шапкѣ пойдешь, не дадутъ—гуляй безъ шапки... Хорошо, коли ночевать пустятъ—ну, почувешь, а какъ не случится гдѣ приткнуться—и такъ гдѣ-нибудь, на вольномъ воздухѣ ночь скороташь... Ну, однако-жъ надо сказать прямо, у насъ этого нѣтъ, чтобы прочь гнать, и пожалуй что безъ ночлегу Оедюшкѣ жить не приходилось. Вотъ черезъ это самое, какъ я полагаю, онъ и заблуждался: сегодня здѣсь ночуетъ, завтра тамъ, поутру проснулся, ушелъ, никто не смотритъ, не видитъ, всякій идетъ по своему дѣлу... вотъ отъ этого-то самого и повадился нашъ молодецъ побаловываться... Тамъ, изволите видѣть, чулки напимѣрь сухонькіе надѣнетъ, тамъ рукавички оставитъ, которыя похуже, а которыя потеплѣе—себѣ возьметъ. Такимъ манеромъ постепенно... Стали замѣчать. Допрашивать иной разъ принимались, да на бѣду мальченка-то былъ боекъ, востеръ—все ему спускали...

— Ты, молъ, Оедька, рукавички мои обмѣнилъ?

— Я, говоритъ.

— Какъ-же такъ, шельмецкій ты сынъ? Это не порядокъ... За это, знаешь?

— А холодно, говоритъ, дяденька!..

Потрепелъ его за вихоръ, и будетъ: что съ него возьмешь?—сирота!

— Такимъ манеромъ и приучился мальчонка побаловываться... Пробовалъ-было онъ въ подпаски наниматься, да не долго нажилъ... Не понравилось, видно, по ночамъ не спать, сбѣжалъ...

— На моей памяти и дѣло-то это было. Вѣхалъ я въ городъ за кладью—кладъ мы возили къ одному барину въ имѣніе...—Бѣдъ такъ-то, гляжу—Оедоръ. Армячишко на немъ длинный-предлинный, босикомъ, шапка эва—какая, гора Голгофа настоящая, съ перьями, генеральская, и палка. Дуется парень по грязи, ножонками-то своими молотить во всю, то-есть, мочь.

— Куда, молъ?

— Въ городъ, говоритъ, подвези, молъ, меня, дяденька...

— Ай ты отъ пастуха-то сбегъ?

Посадила его.

— Сбегъ, говоритъ.

— Что такъ?

— Больно худая жизнь, говоритъ. Бьетъ пастухъ-то. Лютъ.

— Куда-жъ ты это, въ городъ бѣжишь?

— А въ сиротское, говоритъ, призрѣніе?

— Это чтожъ такое—сиротское призрѣніе? Что-то, говорю, будто не слыхалъ я этакого призрѣнія-то... Что-жъ оно такое?

— А это, говоритъ,—зданіе... большое-пребольшое, и все сироты въ немъ... двадцать тысячъ сиротъ, безродныхъ, безъ отца, безъ матери. Царь сдѣлалъ. И всѣхъ кормитъ на царскій счетъ, и у каждаго свой сундукъ, и одежда каждому идетъ отъ Царя. А по двадцатому году всѣхъ сиротъ женятъ, и идутъ они въ царскіе крестьяне... И земли даютъ тѣмъ крестьянамъ, и дома, и скотину; одно слово—жизни не тужи.

— Это, говорю, хорошо, ежели правда.

— Это, говоритъ, вѣрно: мнѣ вѣрные люди сказывали...

— Ну, коли вѣрно, дай, молъ, Богъ тебѣ счастья... Только что, говорю, наврядъ, напимѣрь...

— Нѣтъ, говоритъ, это вѣрно...

— Можетъ, говорю, мѣстовъ нѣтъ?..

— Ну вотъ—нѣтъ! Это вотъ какой домно—съ версту. И почалъ онъ мнѣ опять расписывать, расхваливать.

— Ладно, ладно, говорю, ступай съ Богомъ.

Привезъ я его въ городъ; мнѣ, стало быть, на станціи оставаться, а ему въ это самое зданіе бѣжать. Побегъ. Хватился я послѣ—одного мѣшка нѣту! «Ахъ, думаю, шельмецъ этокой, какъ ловко стянулъ, и не въ примѣту даже». Ну, думаю, Господь съ нимъ.

Такъ онъ и пропалъ невѣсть куда. И забыли было о немъ. Только черезъ полгода этакъ мѣста, приходитъ ко мнѣ нашъ писарь:

— Запрягай, говоритъ, Родіонъ, лошадей; въ волюсть требуютъ по дѣлу. — А въ то время, надо сказать, состоялъ я въ правленскихъ ящикахъ.

— Какія, говорю, дѣла тамъ у васъ?

— Требуютъ, баеетъ, личность удостовѣрять... Обозначилось, напимѣрь, лицо, и что оно есть за лицо такое—никому неизвѣстно.

— Ладно!

Поѣхали. Пріѣзжаемъ, глядь, на крыльцѣ Оедька третъ.

— Ужъ не ты-ли, говорю, Оедоръ, личность-то самая есть?

— Я, говоритъ..

— Ахъ ты, говорю, шутъ гороховый.

И писарь-то тоже смѣялся: все былъ мальчонка, а тутъ эва что—личность!

— Ты, говорю, какъ-же это, личность ты этакая, мѣшокъ-то у меня укралъ?..

— Бѣтъ, говоритъ, нечего было. Продавъ за пятнадцать копѣекъ.

— Ну, а зданіе-то, спрашиваю, розыскалъ-ли?

— Обманъ! говоритъ.

— Что ты?

— Право слово. Я, баеетъ, въ острогъ попалъ: думалъ, пойду въ самый большой домъ, а это ост-

нія одного и того-же, отъ этого упорнаго, утомительнаго дождленія въ одну точку, чтобы, въ концѣ концовъ, то шуткой, то смѣшкомъ, то въ сурьезъ продолбить-таки толстый и крѣпкій слой общественной трусости, равнодушія и ничего не желающаго слышать и знать упростава!

Сычовскій обыватель не ограничился рассказанными примѣрами общественной дѣятельности Ивана Васильева, продолжая рассказывать мнѣ фактъ за фактомъ. Но, признаюсь, я слушалъ его не съ особеннымъ вниманіемъ: я вспомнилъ біографію Оедюшки. Оедюшка, шатающийся за подаваніемъ; Оедюшка, научающійся быть воромъ, надѣвая чужіе чулки; Оедюшка, шествующій разѣискивать какое-то сиротское призрѣніе, всомнилъся мнѣ въ ту самую минуту, когда рассказчикъ рисовалъ мнѣ картину не то чтобы дѣлежа, а прямо сказать—ощупыванія каждаго куста, каждаго сучка, и я невольно изумился передъ тѣмъ полѣзливимъ отсутствіемъ всякаго вниманія къ участи человѣка, которая выпадала на долю Оедюшки. Почему на его долю не приходилось ни сучьевъ, ни полѣзьевъ, ни геометрическихъ фигуръ? Почему, ощупывая каждое дерево, міряне не нащупали промежду себя брошеннаго на произволъ судьбы сироты? И почему наконецъ эти самые міряне оказываются невинновыми, убивъ сироту, для котораго они не сдѣлали ровно ничего, кромѣ карьеры вора и острожнаго жителя?

И отчего, думалось мнѣ, столь внимательная къ «твоему» и «моему» деревенская мысль не удѣлила самой крошечной дозы этой внимательности на долю Оедюшки? Кому отъ этого былъ бы убытокъ?.. Отчего бы, напримѣръ, тому же самому Ивану Васильеву, или кому либо изъ деревенскихъ жителей не выйти на сходкѣ, по случаю отдачи права на кабакъ, и не заявить, прихвѣрно, такого прожекта:

— Вотъ, ребята, что я мекалъ, стало быть, насчетъ кабашныхъ денегъ.. Естьтутъ у насъ на деревнѣ мальчонка, сирота, ни отца нѣту, ни матери... Семъ бы мы на кабашныя тѣ деньги корову купили, у меня у самого коровенка продажная есть...

Куда жъ ты съ коровой-то съ эстой воткнешься?

— Да мекалъ такъ: отдать бы ребенка и съ коровой—гдѣ побдиѣе... Вотъ у насъ старуха съ дочерью безъ мужика бьются, вопъ опять дѣвица одинокая кое-какъ перебивается, тоже безъ всякихъ способовъ... Мало-ли... Дать бы имъ корову; онѣ и сами вокругъ мальчонки-то отдохнутъ. А деньги мірскія, все одно, пожалуй что изведутся зря. Велико-ли тутъ, изъ двухъ-то сотъ кабашныхъ, пятнадцать цѣлковыхъ отдать... По крайности, человѣкъ не пропадетъ; станетъ подрастать; можно опять же и учителю за него заплатить; вырастетъ, обучится письму, — намъ будетъ благодаренъ, а пожалуй, ежели Господь ему дастъ понятія, и писаремъ намъ послужитъ... Такъ какъ же, православные?..

Я ничуть не сомнѣваюсь, что если бы было произнесено кѣмъ-либо что-нибудь подобное, то, по нѣкоторомъ размысленіи, навѣрное начались бы

сначала одиночныя, а потомъ и гуртовыя заявленія сочувствія означенному проекту. Особенно было-бы хорошо, если-бы нашелся такой человѣкъ, который бы съ умѣлъ, на примѣрахъ прошлаго, показать міру предстоящую Оедюшкѣ карьеру; который бы убѣдилъ міръ въ томъ, что пятнадцать рублей, удѣленные въ пользу сироты, убытку мірянамъ не сдѣлають, упомянулъ бы при этомъ, что, молъ, все равно, отдадите-же эти деньги напримѣръ какому-нибудь Ивану Оадееву, который нуждается въ деньгахъ, потому что завелъ очень большую коммерцію и общается платить міру за эти деньги хорошей ростъ, примѣрно по копѣйкѣ съ рубля въ мѣсяцъ, и ставитъ ведро вина... Хорошо было бы также пристыдить мірянь и этимъ ведромъ, сказавъ такое нарѣчіе: «али мы, ребята, своего-то вина не видали? Покорыстоваемся этимъ поганымъ виномъ, а оставить безъ призора ипомощи сироту!..» Получше всего бы, если-бы, повторяю, кто-нибудь нашелся и начертилъ будущую жизнь сироты, если ему не будетъ оказано мірскаго вниманія. «Кто его возьметъ даромъ? У всякаго своей заботы много. А за деньги сыщется человѣкъ, возьметъ и взроститъ. Деньги у насъ есть—стало, надо дать; потому, ежели мы не дадимъ, измозгаются мальчонка, избродяжничается, а не вдолгъ и въ острогъ угодить. А ужъ изъ острога—сами знаете, какой народъ выходитъ. На насъ же въ сердцахъ, что мы пятнадцать рублей на него пожалѣли. что мы душу его погубили, воромъ сдѣлали, пожалуй, еще какую нибудь вреду сдѣлаешь, пѣтуха пустить, лошадей начнетъ воровать»...

Если-бы все это происходило, то нѣтъ сомнѣнія, что Оедюшка былъ-бы живъ, не былъ-бы воромъ, не имѣлъ-бы нужды существовать, разоряя своего-же брата крестьянина. Но такъ какъ въ дѣйствительности Оедюшка оказывается воромъ, разорителемъ, такъ какъ Оедюшка убилъ, а убійцы оказались невинновыми, то волей неволей приходится заключить, что вышеописанной сцены почему-то произойти не могло. До такой степени не могло, что вся вышеприведенная сцена и теперь кажется читателю фальшивой.

Не правда-ли, какая кисло-сладкая сантиментальность? Такія сцены возможны были развѣ въ сантиментальныхъ романахъ каразинскаго направленія; а теперь, если-бы я вывелъ въ какой-нибудь повѣсти такого крестьянина, который-бы *на сходкѣ* завелъ рѣчь о призрѣніи сироты, мнѣ-бы каждый сказать, что это фальшь, вздоръ, что этого не бываетъ. «Пейзана представилъ, а не крестьянина!»

И это вѣрно, потому что *это* въ самомъ дѣлѣ не бываетъ.

А отчего-бы? Чего-бы стоило ему быть? Чего-бы стоило спасти человѣка?

Однако нѣтъ «Сантиментальности! Этого не бываетъ!—вранье!»

И точно, на моихъ глазахъ, мѣсяца за полтора до того времени, когда пишутся эти строки, происходила точъ-въ-точъ такая исторія. Отдавали кабакъ, и отдали за двѣсти рублей въ годъ и десять

ведеръ вина угощенія. Пьянство и оранье шло далеко за полночь, и, увы! никто не вышелъ, не произнесъ вышеозначенной рѣчи, хотя и бѣдышки, и сироты всѣхъ возможныхъ видовъ существуютъ въ селеніи, собирая кусочки, перебываясь со дня на день. Да мало того что никто не вышелъ, — какъ, думаете вы, поступили міряне съ двумястами рублей, которые имъ оказались ненужными, такъ какъ недоимокъ у нихъ нѣтъ? — Они рѣшили разделить деньги по рукамъ, причемъ на душу досталось по два съ чѣмъ то рубля. Такое мудрое рѣшеніе я могу подтвердить копій съ мірскаго приговора, изъ котораго кромѣ того узналъ, что крестьяне, взявъ съ цѣловальника такую высокую для него, хотя и не нужную для нихъ плату, уступили ему, вмѣстѣ съ правомъ на кабакъ, и мѣсто сельскаго писаря, т. е. предали себя за эти десять ведеръ вина и за два цѣловальника, ощущаемыхъ въ рукѣ, на полное сѣденіе цѣловальника-писаря. Контрактъ этотъ они заключили на два года. Теперь, очевидно, всякое частное деревенское недоразумѣніе, доходившее до волостного суда, или по крайней мѣрѣ составляющее предметъ деревенскихъ толковъ, будетъ прекращаться виномъ, разрѣшаться пьянымъ сномъ подъ заборомъ, въ грязи...

Что-же это такое? Самоубійство-ли это или помѣшательство? Ни то, ни другое. Все дѣло въ томъ, что въ деревнѣ нѣтъ, и при настоящихъ условіяхъ нѣтъ возможности быть такому человѣку, который бы внесъ въ общинную жизнь деревни новую мысль; который бы новыми взглядами освѣтилъ (прежде деревня освѣщалась взглядомъ помѣщика) положеніе незнающаго, неумѣлаго и неразвитаго крестьянина. Не смѣшно, когда, изучая исторію умственной жизни высшихъ классовъ, указываютъ на личности, внесшія въ высшее общество *новые* взгляды: когда говорятъ, что тогда то въ общество «проникли» такіе то идеи и преобразили его въ такомъ-то благотворномъ направленіи... Почему-же смѣшно и странно, и глупо желать того же для деревни? Почему же для деревни нужны только земля, частые или рѣдкіе передѣлы; почему нужно увеличеніе только надѣловъ, выгоновъ и вовсе не нужно идей, которыя бы освѣтили этотъ сыхающийся деревенскій умъ? Почему такъ много заботъ и вниманія сочувствующая народу пресса удѣляетъ недоимкѣ? Почему такіе энергическіе усилія энергическихъ умовъ направляются на изобрѣтеніе способовъ, которые бы уничтожили это народное бѣдствіе? Вообще, почему бѣдствіе — только налоги и недоимки?... И почему не бѣдствіе и не предметъ вниманія — то удивительное обстоятельство, что «не внимающая и не дающая отвѣта» народная масса поминутно выдѣляетъ изъ себя такую массу лицъ, кулаковъ, міроѣдовъ, возводящихъ (какъ, на примѣръ, коноклады) разграбленіе своего брата-крестьянина до степени промышленности, торговаго предпріятія, вродѣ, на примѣръ, торговли шерстью, оптовой торговли льномъ, тогда какъ дѣйствительно торговля льномъ, шерстью, которую именно въ деревнѣ то и можно бы, и должно довести до степени доходной статьи, не находитъ почему-то въ

крестьянской средѣ хорошаго организатора? Почему все это должно быть такъ, какъ есть, а не иначе?

VII.

Буранъ. — «Дѣлывнѣ» разговоръ. — Совращенный старикъ. — Адское душевное состояніе. — Три деревни. — Трудно изгладимые слѣды крѣпостного права. — Подробности питейныхъ порядковъ.

1.

...Никогда въ жизни, сколько могу припомнить, не испытывалъ я такого радостнаго состоянія духа и даже тѣла, какъ это случилось на-дняхъ, когда я, проплутавъ не менѣе шести часовъ подрядъ въ полѣ, въ страшный буранъ, извѣдывъ Богъ знаетъ сколько верстъ по невѣдомымъ путямъ, по горамъ и холмамъ скрипучаго снѣга, угнетаемый въ теченіе всѣхъ этихъ шести часовъ мыслью о возможности смерти и самою безпомощною невѣстностью относительно того, гдѣ я? куда ѣду? — когда я наконецъ добрался до теплой, чистой пассажирской залы небольшой, одиноко стоящей въ степи станціи и прилегъ на мягкій и теплый диванъ.

Съ какой необычайной радостью завидѣлъ я, послѣ безконечныхъ блужданій, два-три фонаря, зажженные для встрѣчи ночного товарнаго поѣзда, и какимъ благоговѣніемъ проникся я къ началнику станціи, къ акціонерному обществу, которое выстроило дорогу, наконецъ къ цивилизаціи, которая эту дорогу выдумала! Работа человеческой мысли, въ теченіе тысячелѣтій упорно стремившаяся ко благу человечества и сжумъвшая, не щадя усилий, достигнуть того, что вотъ наконецъ на столбѣ въ степи горитъ фонарь, — показала мнѣ въ эту минуту (особливо послѣ того, какъ я чуть-чуть не замерзъ) по-истинѣ великую.

Сколько-же тысячелѣтій, спрашивалъ я невольно самого себя, должно пройти до тѣхъ поръ, пока мысль человеческая, неустанно стремящаяся впередъ и впередъ, додумается до того, чтобы зажигать въ буранѣ фонарь на сельской колокольнѣ, которая въ степи видна на тридцать верстъ кругомъ? Необозримый мракъ грядущихъ временъ, представившійся мнѣ при рѣшеніи этого вопроса, вновь сосредоточилъ мое благоговѣніе на акціонерномъ обществѣ, которое сжумъло на дѣлѣ осуществить то, что на колокольнѣ будетъ осуществлено только чрезъ нѣсколько тысячелѣтій, что будетъ достигнуто, какъ учить предшествовавшая исторія цивилизаціи, только послѣ страшныхъ бѣдствій и будетъ стоить страшныхъ жертвъ. Всѣмъ директорамъ акціонернаго общества, которые, не дожидаясь этихъ жертвоприношеній, распорядились о томъ, чтобы по ночамъ, хотя и не для людей, а для товарныхъ поѣздовъ, зажигались огни, я отъ всего сердца желаю тройного оклада жалованья. Въ буранѣ, въ степи, зажечь фонарь — за такое дѣло надо ставить монументы, съ чѣмъ, я думаю, согласится всякій, кто знаетъ, что такое буранъ, и вѣрить, благодаря этому, въ возможность смерти въ двухъ шагахъ отъ собственного дома, даже на собственномъ своемъ дворѣ, и притомъ послѣ цѣлой ночи развѣздовъ около того же собственного дома.

Сознаніе счастливо избѣгнутой опасности сдѣлало

то, что, добравшись до станціоннаго дивана и тепла, я нѣкоторое время не испытывалъ ничего другого, кромѣ самаго искренняго удовольствія, и почти было освобожденъ отъ той гнетущей тоски, которая поѣдала меня уже долгіе дни и наконецъ привела къ рѣшенію уѣхать изъ деревни, если не навсегда, то на возможно продолжительное время. Въ послѣдній день эта жажда «не думать» о деревнѣ, освобождена хотя на время отъ этой «безплодной муки» достигла такой степени, что я вмѣсто трехъ часовъ ночи, какъ-бы слѣдовало, уѣхалъ на станцію въ одиннадцать часовъ вечера, рѣшаясь сидѣть болѣе шести часовъ безъ всякаго дѣла въ ожиданіи поѣзда. Не скука и однообразіе деревенскаго дня прогнали меня, а тоска, тоска, доходившая до физической боли, заставила меня выѣхать отсюда «куда нибудь». И вотъ, только-что тепло станціонной комнаты стало отогрѣвать мои иззябшія ноги и безпрестанно вздрагивавшее отъ ледяныхъ мурашекъ тѣло, какъ эта «деревенская мука» стала оттаивать во мнѣ, и благоговѣніе предъ тысячелѣтними усиліями человѣческой мысли и директорами акціонерной компаніи стало вновь замѣняться какими-то тяжелыми, темными, гнетущими впечатлѣніями, попомню воскресавшими среди ненарушимой тишины безлюдной комнаты. Поднялись эти воспоминанія деревенскихъ впечатлѣній безпорядочной массой, которая, несмотря на отрывочность и безсвязность пронесшихся передо мною образовъ, картинъ, сценъ, успѣвала однако въ короткій моментъ появленія оставить на душѣ непрѣнно что-нибудь холодное и тяжелое, и въ концѣ-концовъ сѣмѣла-таки возвратитъ меня въ то душевное состояніе, въ которомъ я выѣхалъ изъ деревни.

2.

Прежде всего особенно подробно припоминалась мнѣ, не знаю почему, одна, повидимому вовсе не относящаяся къ дѣлу, сцена.

Сегодня утромъ, окончательно порѣшивъ уѣхать, я въ ожиданіи минуты отъѣзда безцѣльно бродилъ по деревнѣ, заходя къ знакомымъ и наконецъ заглянулъ въ помѣщеніе мѣстнаго товарищества, въ «баню», какъ говорятъ крестьяне. Въ просторной комнатѣ товарищества, за столомъ, сидѣлъ писмоводитель, что-то писалъ и шелкалъ на счетахъ; въ сторонкѣ, около небольшого простого бѣлаго стола, на которомъ кипѣлъ самоваръ, сидѣли два посетителя и вели разговоръ.

Одинъ былъ знакомый мнѣ раскольникъ, промышленный откармливаніемъ и продажей разной живности. Это былъ человѣкъ громаднаго роста, съ широчайшими плечами, съ таліей въ два обхвата, но съ совершенно дѣтскими выраженіемъ крошечныхъ глазъ. Крошечный лобъ, огромный сомовій ротъ и отвислыя толстыя щеки—вотъ возможно точный обликъ этой допотопной фигуры. Другой собесѣдникъ, по профессіи мелкій подрядчикъ, былъ человѣкъ совершенно другого вида: раскольникъ былъ одѣтъ по-русски, собесѣдникъ—по-нѣмецки; послѣдній былъ въ пальто съ бобровымъ воротникомъ, въ пестрыхъ панталонахъ, новыхъ сапогахъ и калошахъ, которыхъ онъ не снималъ. Волоса,

обстриженные «полькой», были тщательно припмажаны, тогда какъ у раскольника они частой и жесткой щетиной безпорядочно надвигались чуть не на самыя брови. Словомъ, въ этомъ второмъ собесѣдникѣ все было лоскъ, «благородство», тонкое обращеніе, хотя рыжая, какъ мѣдная проволока жесткая, подстриженная борода, волчья бакенбарды и красныя вязанные перчатки значительно разрушали этотъ видъ благородства, невольно почему-то напоминая толкучку.

— Я твою манеру знаю! слышимъ, беззвучнымъ голосомъ говорилъ раскольникъ собесѣднику. — Суета!—больше ничего. Сегодня ты кирпичъ представляешь... такъ али нѣтъ?

— Ну, предположимъ, кирпичъ? мотавъ ногой въ новой калошѣ, вопросительно произнесъ собесѣдникъ.

— А завтрашняго числа тебя на муку перешибырнетъ. Набросился ты на муку, хватъ—крупна пошла ходунотъ: ты—на крупу!

— Само собой: не на муку же я буду обращать вниманіе... Въ этомъ случаѣ была-бы одна нелѣпость...

— Погоди!

Допотопныхъ размѣровъ человѣкъ поднималъ допотопныхъ размѣровъ палець:

— А завтрашняго числа, сказалъ онъ, грозя пальцемъ и какъ бы давая противнику время приготовиться для удара:—ты на курицу!

Противникъ только-было хотѣлъ что-то сказать, но допотопный человѣкъ перебилъ его, заговоривъ такъ, какъ говорятъ при желаніи рядомъ неопровержимыхъ фактовъ добить врага:

— Судакъ тебѣ попался малосольный—ты съ судакомъ связался... Утка-ли, цыпленокъ, заяцъ, или такъ что—баранина, козлятина, всякая, на примѣръ, падала:—въ тебѣ и на это со-вѣ-сти нѣтъ, ты за все «объимъ руками»!

— Хотя бы и такъ! Польза есть—больше ничего. Судакъ-ли, заяцъ ли: есть барышъ—давай сюда!

— Коли ты ежили съ судака на зайца... желая перебить рѣчь, наставительно началъ-было раскольникъ, но подрядчикъ оживленно перебилъ его:

— Ты суди дѣло по человѣчеству, а не по судаку! Ты возьми въ расчетъ: я женился на вдовѣ; у ней сынъ мальчикъ, отецъ у него офицеръ былъ... Судакъ! Я по совѣсти долженъ его вывести въ люди, воспитать, научить, чтобы онъ соотвѣтствовалъ званію, а не мужицкому положенію.. Ты разсуди это! Въ такомъ случаѣ судакъ-ли, заяцъ-ли, хоть дятель—мнѣ все одно! Я долженъ за все взяться! По крайности, Господь дастъ, изъ мужицкой компаніи выдеремся.. А то судакъ!

Великанъ, поминутно порывавшійся возражать и очевидно не слыхавшій и не понимавшій ничего изъ рѣчи своего собесѣдника, едва только подрядчикъ произнесъ послѣднее слово, немедленно заговорилъ:

— Я тебѣ говорю не про вдову; мнѣ твоя вдова—Господь съ ней, у меня самого есть нѣхъ, вдовъ-то, не одна въ знакомствѣ; а говорю я тебѣ: это не дѣло, ежили ты живешь разбросомъ... Вѣдь ты долженъ вертѣться, какъ бѣсъ передъ заутреней,

потому твой товар неосновательный... Хорошо—ты выѣхалъ на базаръ раньше другихъ, предположимъ хоть съ курицей, съ гусемъ: да и тутъ ты изловчился: ты привезъ пять возовъ, разсовалъ ихъ на пяти постоянныхъ дворахъ, чтобъ глаза отвести, и вывозишь по возику—последній молъ... Да хорошо Богъ дастъ погоду, морозъ... Ну, а ежели да тепло, куда годится твоя курица, либо гусь? У тебя вѣдь ихъ ни одинъ нищій не возьметъ, потому они на морозѣ только и форсятъ... на теплѣ они, видишь вонъ, трапка валяется—вотъ! Это не дѣло! А вотъ что я тебѣ хотѣлъ сказать, такъ это ты должишь вникать... Я твоей вдовы не знаю; Богъ съ ней. Я тебѣ говорю (раскольникъ опять поднималъ указательный палецъ и, медленно разсѣвая имъ воздухъ, сталъ говорить какимъ-то торжественнымъ тономъ): изъ древнихъ временъ, съ самыхъ неприступныхъ вѣковъ отъ нашихъ прародителей, искони-бѣ, въ нашемъ роду идетъ одно: свиинна, утятинна, гусятина. Больше ничего! Ни зайцы, ни судаки, ни всякая прочая провизія—это для насъ ничего не составляетъ! Отъ родителей къ дѣтямъ, какъ было, такъ и будетъ у насъ все одно. Заяцъ—мнѣ его не надо! Тетеревъ—проходи своей дорогой! Лисица, или тамъ крупна, или мучка что-ли—Господь съ вами, оставьте меня въ покоѣ! Но коль скоро касаемое, напимѣръ, свиинны или гуся, или утки—давай! Чего другого мнѣ не надо; но коль скоро гусь—это мое дѣло, Свиинья!—это ужъ позволѣть, съ моимъ удовольствіемъ. Утка—очень приятно. Потому у насъ—все одно, изъ самыхъ безконечныхъ предѣловъ до сегодня; и какъ родители наши, древнѣйшіе патріархи, такъ и дѣды и мы, и дѣти наши будемъ стоять на одномъ! Это, по моему, называется дѣломъ дѣлать... За то ужъ вашему брату, въ морозъ-ли, въ оттепель-ли за нами не угнаться—нѣтъ! Я кормлю свиинью-ли, гуся-ли, утку-ли, я не жалѣю: я знаю. Я знаю, что въ каждой птицѣ чего стоитъ; съ издали вижу, на много-ли въ ней потроховъ, пера. Ты мнѣ дай взглянуть на свиинью—я тебѣ скажу, сколько въ ней вѣсу и что и чего: что сала, что мяса, во сколько стануть потроха... Я только взгляну—у меня цѣна готова! Такъ моему товару, хотъ-бы васъ цѣлое ополченіе собралось,—ни во вѣки вѣковъ пренятствія нѣтъ; мой товаръ въѣзжаетъ на базаръ безпрекословно! Морозъ, не морозъ, или громъ, буря, бурянь,—товаръ мой идетъ. Хотъ-бы публика до моего въѣзда у вашего брата нахватала: это для меня наплевать, потому товаръ виденъ, его не взять нельзя. Только слѣпой не возьметъ. зрячій не можетъ себя воздержать... Я вотъ про что говорю. А ты толкуешь: «вдова»!

Подрядчикъ помоталъ новымъ саногомъ въ новой калошѣ и, вздохнувъ, произнесъ:

— Очень можетъ быть.

— Вдова! У меня у самого есть вдова; да шутъ съ ней... А ты гляди, вотъ что я тебѣ разъясню, что такое утка...

Раскольникъ взялъ счеты, и, какъ истинный знатокъ дѣла, началъ разъяснять подрядчику, который слушалъ съ глубокимъ вниманіемъ, что имен-

но заключаетъ въ себѣ, для всѣхъ кажется вполне ясно представляемая, утка.

— Вотъ что такое утка, началъ онъ и, откидывая на счетахъ по одной косточкѣ, произносилъ съ разстановкою: первое—потроха, второе—головка и лапки, третье—перо, четвертое—пухъ, пятое—утка! Слѣдовательно четыре предмета, кромѣ самой утки!.. Видишь?.. Теперь (пять костей на счетахъ были сброшены и счеты приведены въ порядокъ, очевидно для новыхъ вычисленій), теперь обсудимъ каждый предметъ въ полномъ видѣ. Предположимъ на первый взглядъ хотъ лапки.

И затѣмъ началось самое точное опредѣленіе цѣны на лапки, потроха и т. д. Утка была раздѣлена и оцѣнена по частямъ и вмѣстѣ. Былъ брошенъ взглядъ на всевозможныя случайности, могущія вдругъ поднять потроха и уронить перо, или поднять цѣну на пухъ и уронить цѣну на самую утку. Словомъ—утиный вопросъ былъ обслѣдованъ со всѣхъ сторонъ и, надо отдать справедливость изслѣдователю, обслѣдованъ превосходно. Тутъ-же, какъ-бы мимоходомъ, изслѣдовавъ утку, раскольникъ, желавшій показать подрядчику, что всякое дѣло требуетъ обстоятельнаго знанія, оставилъ его вниманіе на пшеничномъ зернѣ.

— Кажется, сказалъ онъ,—что такое пшеничное зерно? Купилъ мѣшокъ пшеницы, свезъ на базаръ, получилъ рубль—и все!...

Однако оказалось, что пшеничное зерно въ рукахъ знающаго человѣка даетъ цѣлыхъ восемь отдѣльныхъ торговыхъ «предметовъ», именно пять сортовъ муки—въ разныхъ цѣнахъ и разнаго вкуса и цвѣта, два сорта огрубей и одинъ сортъ крупы манной. Это все изъ одного зерна.

Подрядчикъ заслушался своего лектора. Да и было что послушать, чему поучиться. Я съ величайшимъ вниманіемъ приготовился было слушать изслѣдованіе о свиинѣ, къ которому лекторъ готовился приступить, такъ какъ не было никакого сомнѣнія, что свиинья разработана имъ въ совершенствѣ, но вниманіе мое было отвлечено новымъ лицомъ.

3.

По улицѣ медленно ѣхалъ на тощей, маленькой, какъ двухъ-годовалый жеребеночекъ, лошадакъ, въ маленькихъ, старенькихъ, почернѣвшихъ отъ времени саночкахъ, крошечный, несомнѣнно старый-престарый человѣкъ. Ёхали они до того медленно, что казались словно спящими. Старикъ точно зануль, да и лошадака точно во снѣ переступала своими тоненькими, безсильными ногами съ маленькими копытцами; словно не живое было все это, а какая-то тѣнь—такъ все и въ лошади, и въ мужикѣ, и въ экипажѣ было легко, безсильно, еле-живо. Сколько времени понадобилось старичку на то, чтобы подъѣхать къ банковому крыльцу и, стоявъ здѣсь у дерева въ какомъ-то заколдованномъ снѣ минуты двѣ, не двигаясь, не шевеля ни однимъ членомъ, наконецъ собраться съ силами и начать выѣзжать изъ санишекъ; сколько затѣмъ потребовалось времени, чтобы подняться по ступенямъ крыльца, и потомъ, долго-долго подождавши

въ сѣняхъ, появиться наконецъ въ самомъ банкѣ — этого я опредѣлять не стану. Только все это потребовало необычайно много времени. Раскольникъ и подрядчикъ, изслѣдовавъ свиной студень, уже завели рѣчь не то о третьемъ, не то о четвертомъ предметѣ свиного дѣла, а старичокъ еще только добрался до второй ступени крыльца.

Наконецъ онъ появился въ банкѣ, отыскавъ «бога», помолился, разглядѣлъ поочередно всѣхъ присутствующихъ, самымъ внимательнымъ образомъ всматриваясь въ лицо cadaго и очевидно отыскивая челоѣка, съ которымъ бы надо было поговорить. Общими усиліями старичка и всѣхъ находившихся, наконецъ-таки былъ розысканъ самъ помогавшій розыскамъ писмоводитель — и старичокъ жалобнымъ слабенькимъ голосомъ наконецъ заговорилъ:

— Благородный господинъ!... А что я хотѣлъ тебя просить, помоги ты мнѣ, сиротѣ...

— Развѣ сирота, дѣдушка? спросилъ раскольникъ.

— Самая одинокая сирота! Нѣтъ у меня ни жены, ни дѣтей, ни снохи; есть внукъ, осьмой годъ, живеть у матерней сестры; больше никѣмъ никого нѣту. Одинъ я, братцы мои, одинъ.

Тяжко сказалоcь это слово. Въ старикѣ было жизни, какъ говорится, на волосокъ, но для этого слова «одинъ» онъ какъ будто-бы собралъ всѣ свои силы и такъ произнесъ его, что холодъ одиночества, испытываемаго старымъ челоѣкомъ при концѣ жизни, былъ понятъ и прочувствованъ всѣми окружающими.

— Одинокъ я, господа вы мои пріятные, какъ перстъ, т. е. какъ былинки въ полѣ, такъ и я.. И все по Господнему попушенію. Былъ я смолodu и лютъ, и крутъ, и непокладистъ — одно сказать, желѣзный былъ у меня духъ, непреклонный. Много былъ сѣченъ на барщину за непокорство. Наказанія принялъ довольное число. Довела меня эта самая лютость до того, что вотъ не съ кѣмъ мнѣ на старости и слова молвить... Въ семьѣ былъ я челоѣкъ жесткій, отецъ сердитый, твердый, женѣ мужъ грозный... Сынъ у меня былъ одинъ, женилъ я его силой; пожилъ онъ съ женой три года, на четвертый годъ убилъ ее, самъ въ Сибирь пошелъ; мать слезами изрыдалась, умерла черезъ полгода; остался я одинъ, въ единъ часъ — я да внукъ трехъ годовъ!.. Разразилъ меня небесный Господь сразу, какъ молніей ударилъ!.. Отдалъ я внука сноховой роднѣ, помогаю, а самъ, господа милостивые, весь слезами истаянъ... Прошло четыре года, а во мнѣ капельки дыханія не осталось. Вѣдь подумай — о-оди-нъ!

И опять это слово было сказано съ необыкновеннымъ выраженіемъ. Едва старикъ произнесъ его, какъ у него градомъ посыпались слезы.

Да и у постороннихъ зрителей слезы навернулись на глазахъ. Когда старикъ успокоился, писмоводитель сказалъ ему:

— Ну, такъ что же ты хочешь?

— А хочу я капиталы мои побережъ у васъ... внуку...

— Много-ли капиталовъ то?

— Капиталовъ у меня сорокъ два рубля бумажками... Вотъ онѣ самыя деньги при мнѣ... Такъ какъ ты мнѣ присоветуешь?..

Старичку было растолковано, какимъ образомъ можетъ онъ сберечь свои капиталы. Ему сказали, что онъ можетъ помѣстить ихъ вкладомъ и получить такой-то процентъ, или же можетъ поступить въ члены, если его приметъ товарищество, и тогда навѣрное будетъ получать барышу больше.

— Росту мнѣ не надо! сердито сказалъ старикъ. — Ни-ни-ни! Этого — сохрани Богъ! Отсохни моя рука. Что положу, то и отдайте кому назначу, а этого грѣха не возьму!..

— Куда-жъ ихъ дѣвать то?

— Не знаю я: это не мое дѣло. Не надо мнѣ!

— Какъ не знаешь? сказалъ раскольникъ шутя. — Да ты мнѣ отдай! вотъ дѣло-то мы и пошабашимъ

— Бери, сдѣлай твою милость!

— Ну вотъ, и прекрасное дѣло!

— Чего лучше! прибавилъ со своей стороны и подрядчикъ, немного развеселившись наивностью старичка.

— Самое любезное дѣло! продолжалъ раскольникъ. — Много-ль, говоришь, капиталу-то?

— Капиталу моего ровно сорокъ два рубля бумажками.

— Сорокъ два — ладно! Вотъ я кажинный годъ и буду за твоѣ здоровье изъ банку потаскивать и пять, и шесть, и поболѣ... Какъ годъ прошелъ, ужъ я и знаю — набѣжало мнѣ барышу шесть рубликовъ, пойтить старичка помянуть... Такъ?

— И сдѣлай твоѣ такое одолженіе! опять сказалъ старикъ, искренно отрекаясь отъ грѣшныхъ барышей.

— Ахъ ты чудакъ, чудакъ! перемѣнивъ тонъ, заговорилъ раскольникъ. — Жилъ ты вѣкъ, наконецъ того нажилъ, чтобы деньги бросать зря! Ну, не чудакъ ты послѣ этихъ твоихъ словъ? Ну, можно ли, посуди ты самъ, бросать зря деньги? Много-ль твоему внуку годовъ-то?

— Седьмой годъ!

— До возрасту осталось ему десять лѣтъ; слѣдовательно ты бросаешь зря мало-мало пятьдесятъ цѣлковъ. Да что это ты дѣлаешь-то?

— Дай ты мнѣ съ чистою совѣстью умереть! съ нѣкоторой жестокостью въ голосѣ произнесъ старикъ. — Не хочу я этихъ нечистыхъ денегъ, хоть бы тамъ ихъ тысячи выросли. Не возьму! Не знаю я, откуда онѣ идутъ, и не надо мнѣ ихъ... Мое кровное отдаю: тутъ ужъ каждая копейка изъ самыхъ моихъ кровей! Пойми это!

— Стало быть не возьмешь?

— Не возьму!

— И-ну твоѣ дѣло! Ну, только помни, старичокъ, внуку твоему теперь маленькій, а вырастетъ большовъ, придется ему жить, о-о-охъ, въ как-кое время!

— Господь батюшка не оставитъ!

— Ну-ну какъ знаешь! Помни, въ книгахъ сказано «и будутъ гонимы времена». Вотъ ты объ этомъ подумай. А гонимыя времена — это самое и будетъ...

— Господь не велитъ брать чужого — я и не возьму!

— Помни! Не тебѣ достанется, внуку! Ты обдумай... Идуть гонимыя времена, вѣрно тебѣ говорю!

Никакіе однако доводы въ пользу полученія дивиденда не убѣдили старика. Онъ пожелалъ написать завѣщаніе, которымъ капиталы свои, сорокъ два рубля бумажками, завѣщалъ внуку, но достиженіи имъ «солдатскаго своего возраста»; а если внукъ умретъ ранѣе, то деньги должны поступить въ церковь того села, гдѣ старикъ жилъ всю жизнь, и въ концѣ прибавилъ:

— А росту мнѣ не желательно?... Сколько владу, столько и отдайте.

— Куда же дѣвать-то его?

— А куда хотите!

Начался тотъ-же самый разговоръ, и точно также, несмотря на всѣ доводы, старикъ остался при своемъ мнѣніи.

— Не надо мнѣ этого, не мое! Богъ съ ними со всѣми, дѣвайте, куда знаете.

Завѣщаніе было записано въ книгу, причемъ проценты опредѣлено было отчислять въ мѣстную школу на покупку бумаги, чернилъ, грифелей и книгъ для бѣдныхъ учениковъ.

Подъ завѣщаніемъ этимъ подписались всѣ присутствующіе. Послали за казначеемъ, чтобы онъ принялъ деньги. Старичокъ замолкъ совершенно, точно заснулъ, утѣвшись въ уголокъ на деревянномъ диванѣ.

— Ну, прощай, старичокъ, сказалъ ему раскольникъ на прощанье:— дай Богъ тебѣ сто лѣтъ прожить, а ужъ прямо тебѣ скажу — чудакъ! Именно чудакъ!

— И, батюшка! засмѣявшись, прошепталъ старичокъ:— мнѣ и то любо, что хотя тебя-то посмѣшилъ.

— Ужъ впрямь насмѣшилъ. Ну, прощай, расти внука-то.

— Спасибо, родной! Захочетъ Господь—выроститъ, а не захочетъ—Его святая воля во всемъ...

— Это ужъ само собой.

Раскольникъ и подрядчикъ ушли. Старичокъ молчалъ; я читалъ старую газету; писмоводитель шелкалъ на счетахъ. Приходили и уходили заемщики, являвшіеся за отсрочкой своихъ долговъ и для взноса процентовъ. Старичокъ съ большимъ «сурьезомъ» и виднымъ любопытствомъ вглядывался въ каждого изъ нихъ и, явно ничего не понимая, слушалъ ихъ расчеты съ «банкой». Такъ прошло съ полчаса. Казначей все не было. Старичокъ, кряхтя, поднялся съ дивана и, такъ же медленно, какъ пришелъ, поплелся на улицу посмотреть лошадей.

Добравшись до саенъ, онъ сѣлъ на край и задумался. Кисти рукъ свѣсилъ между колѣнъ, а голову опустилъ точно сонный, и сидѣлъ онъ въ такомъ положеніи еще не менѣе получаса. Наконецъ явился казначей, а вслѣдъ за нимъ пришелъ и старичокъ.

Не похожъ былъ онъ на того, который приходилъ раньше: не кротость, не безсиліе видѣлись въ немъ, въ его лицѣ; напротивъ, онъ былъ оживленъ,

держался крѣпче, какъ будто воскресъ изъ мертвыхъ, но при этомъ нельзя было не видѣть, что сила, оживившая его, — страхъ. Страхъ, близкій къ ужасу, былъ напечатлѣнъ на его лицѣ; онъ держался при-мѣе, какъ будто крѣпче стоялъ на ногахъ; но руки и голова, и все лицо видимо вздрагивали поминутно отъ сильнаго внутренняго волненія. Торопливо, насколько возможно было для него это сдѣлать, подошелъ онъ къ банковской загородкѣ и проговорилъ беззвучнымъ голосомъ:

— Соглашаюсь! Пущай мой внукъ получаетъ и съ ростою. Принимаю грѣхъ на себя. Потому... Господь видѣть, времена подходятъ точно... гонимыя... лютыя... Пиши отказъ!...

Завѣщаніе пришлось передѣлывать съизнова.

Не могу выразить, какъ глубоко, искренно видѣлось въ старичкѣ сознаніе тяжести принимаемаго имъ на душу грѣха и съ какой рѣшимостью онъ бралъ этотъ грѣхъ на свою душу!

Его ужасъ предъ грядущими временами, во имя которыхъ онъ дѣлалъ грѣхъ, невольно сообщился и мнѣ, и я вновь былъ поглощенъ знакомой мнѣ, но неразгаданной загадкой: почему именно деревенскіе грядущіе годы несутъ въ себѣ необходимость примиренія съ тѣмъ, что даже сейчасъ еще считается грѣхомъ?

4.

Вотъ именно эта сценка почти сразу возстановила во мнѣ то адское душевное состояніе, которое выгнало меня изъ деревни и на нѣкоторое время было заглушено счастливымъ спасеніемъ отъ явной гибели.

«Адское душевное состояніе» это долженъ пережить всякій, кто только, повинаясь даже истинному влеченію къ деревнѣ, только чувствуя, что между нимъ и ею существуетъ какая-то трудная опредѣлимая, но несомнѣнно кровная связь,—попробуетъ... ну, просто хотѣть только «*пожить съ деревнѣю*». О томъ, что долженъ испытывать человѣкъ, для котораго связь эта вполнѣ выяснена, опредѣлена, человѣкъ, который сказалъ себѣ: «*поѣду въ деревню и буду дѣлать то-то и то-то*», я даже и представить здѣсь не въ состояніи. Лично себя я не могу причислить ни къ первой категоріи людей, ни ко второй. Хотя я и зналъ, почему мнѣ слѣдуетъ ѣхать и жить въ деревнѣ, но что я обязанъ въ ней дѣлать—этого я еще не зналъ. Тѣмъ не менѣе «адское душевное состояніе» я пережилъ, т. е. кажется пережилъ, и кажется знаю, изъ чего оно складывается.

Складывается оно, во-первыхъ, изъ такого рода ежедневно предъявляемыхъ деревнею фактовъ, въ которыхъ, по вашему мнѣнію (мнѣнію человѣка, выросшаго въ другой средѣ), непостижимымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными самыя непоколебимыя, самыя истинныя истины. Что можетъ быть неизбѣжнѣй тѣхъ цифирныхъ истинъ, какимы учить васъ таблица умноженія? Два, умноженное на два, развѣ можетъ дать въ результатъ что-нибудь кромѣ четырехъ? Ежедневный деревенскій опытъ доказываетъ вамъ, что не только можетъ, но постоянно, аккурратно изо-дня въ день дать—

не четыре, даже не стеариновую свѣчку, а Богъ знаетъ что, даетъ нѣчто такое, чего нѣтъ возможности ни понять, ни объяснить, къ объясненію чего нѣтъ ни дороги, ни пути, ни самадѣйшей нити.

Ниже читатель на примѣрахъ увидитъ эти изумительные результаты деревенской таблицы умноженія, теперь же я только прошу его представить себѣ положеніе человѣка, который по сту разъ въ день принимается умножать 2 на 2, по сту разъ въ день надѣется, что вотъ-вотъ получится четыре, и по сту разъ въ день видитъ во-очію, что получается нѣчто совершенно неожиданное и невозможное. Представивъ себѣ все это, онъ только до нѣкоторой степени пойметъ, что за безнадежно-отупляющее состояніе долженъ переживать всякій, кто смотритъ на деревню такъ, «какъ должно», по его мнѣнію, смотрѣть на нее.

Второй элементъ, входящій въ составъ адскаго душевнаго состоянія, заключается въ томъ, что, не имѣя рѣшительно никакой возможности отказаться отъ убѣжденія, что два, умноженное на два, должно давать въ результатѣ четыре, и видя, что бывають однакожъ невѣроятные случаи, когда получаются въ результатѣ стеариновые свѣчи и сапоги въ смятку, вы начинаете ставить между правильнымъ и неправильнымъ выводомъ вашей и деревенской таблицы умноженія—себя, свою личность. И тутъ происходитъ до крайности странное явленіе: всякій разъ, когда, вмѣсто ожидаемаго вами вывода, получаются въ результатѣ сапоги въ смятку, невѣдомо почему вы чувствуете, что именно вы-то и виноваты въ этомъ поразительномъ результатѣ. Кажется, что вѣдь не я, а деревня производитъ, помимо всякаго моего участія и желанія, эти сапоги въ смятку, а тайный голосъ шепчетъ: «на-ка вотъ! хорошо-ли тебѣ это покажется?»...

Непрерывный, хотя сначала и не довольно ясный укоръ начинаетъ сказываться опредѣленнѣе съ каждымъ новымъ опытомъ вашимъ надъ деревенской таблицей умноженія. Это мучительное дѣло идетъ такимъ образомъ. Вы умножаете два на два, получаете стеариновую свѣчку—и просто недоумѣваете. Послѣ ста разъ подобнаго опыта, вы сердитесь, бѣснуетесь. Но ужъ одно то, что вы начали бѣсноваться, таитъ въ себѣ новый недугъ, какъ-бы смутное ощущение вашей собственной вины. Послѣ двухсотъ, трехсотъ опытовъ вы, ощущая съ каждымъ разомъ укоры совѣсти все явственнѣе и явственнѣе, ни съ того-ни съ другого начинаете думать ужъ о себѣ, о своемъ прошломъ. И всякій фактъ деревенской жизни, вамъ, вашей личной жизни, вашимъ личнымъ интересамъ по-видимому совершенно посторонній, вдругъ съ удивительной ясностью начинаетъ освѣщать вашу собственную жизнь. А разъ съ вами началось это страшное явленіе, продолжается оно (и должно именно такъ продолжаться) такимъ образомъ: нелѣпый фактъ деревни освѣщаетъ въ васъ самихъ еще болѣе нелѣпую черту, нелѣпую мысль, нелѣпый поступокъ. И такое, прямо сказать, безобразіе начинается терзать ваши нервы съ каждымъ днемъ безпоощаднѣе. Линіи, по которымъ идутъ въ вашемъ

мучительномъ сознаніи нелѣпныя впечатлѣнія деревни и впечатлѣнія отъ собственной вашей личности, идутъ рядомъ. Вы невольно соединяете въ себѣ эти два потока мучающихъ васъ впечатлѣній, но не знаете еще, какъ облегчить себѣ путь перехода отъ однихъ къ другимъ, какъ ихъ связать, и тутъ наконецъ наступаетъ такая минута.. такая минута!

Бѣжать «куда-нибудь» въ такіе минуты—большое спасеніе. Какой-нибудь легонькій степной буранчикъ, во время котораго въ районѣ волости заблудится человѣкъ съ двѣсти и человѣкъ съ пятью отдастъ Богу душу, или волкъ, вышедшій изъ лѣсочку и посмотрѣвшій на мужицкую лошададку да и на васъ съ самымъ нескрываемымъ аппетитомъ,—все это возвращаетъ къ жизни, напоминаетъ, что надо по добру-по здорову удирать и отъ волчьяго аппетита, и отъ бурана. Такое временное удаленіе отъ «мѣста» вашихъ собственныхъ волненій даетъ вамъ возможность спокойное обсудить ваше трудное положеніе. Именно благодаря этимъ непродолжительнымъ отлучкамъ куда-нибудь, въ «чужое» мѣсто (напр. въ городъ), является возможность придти къ положительнымъ выводамъ, которые, оказывается, находились у васъ и въ деревнѣ, что называется, «подъ носомъ»; но въ деревнѣ вы не могли думать о томъ, чтобы придти къ какимъ-нибудь выводамъ, потому что были поглощены исключительно воспріятіемъ своихъ и чужихъ «сапоговъ въ смятку»...

Выводы эти, какъ я ужъ сказалъ, оказываются совершенно азбучными. Именно: деревня дѣйствительно не знаетъ вашей таблицы умноженія и умножаетъ по своему потому-то и потому-то, вслѣдствіе чего и получаютъ сапоги въ смятку. Ваша обязанность—по крайней мѣрѣ такъ говорить вамъ ваша совѣсть—требуетъ, чтобы вы сдѣлали извѣстною здѣсь въ деревнѣ не фантастическую, а *настоящую* таблицу умноженія. Сдѣлать это необходимо, не сдѣлать—безстыдно. Разобравшись въ путаницѣ своихъ и чужихъ «сапоговъ въ смятку», остается только рѣшить вопросъ, какъ это сдѣлать? Задавая себѣ этотъ вопросъ, вы чувствуете, что безплодные мученія и ужасы миновали, и возвращаетесь въ деревню въ состояніи человѣка, который былъ боленъ чуть не при смерти, но поправился, очуствовался. И вслѣдъ за тѣмъ начинается второй періодъ, также неизбѣжный для человѣка, такъ или иначе приткнувшагося къ интересамъ деревни, періодъ работы надъ практическимъ рѣшеніемъ вопроса—какъ? Слабый, но искренній человѣкъ на первыхъ-же порахъ не можетъ рѣшить этого вопроса иначе, какъ въ смыслѣ собственнаго своего безсилія, неумѣлости, испорченности и необходимости влечь жизнь въ той средѣ, которая сдѣлала его неспособнымъ. Тотъ же, кто почувствуетъ себя неспособнымъ уйти, тотъ, кто, хотя-бы и колеблясь на первыхъ порахъ, будетъ въ рѣшеніи труднаго вопроса присматриваться къ тому, какъ рѣшаетъ его дѣйствительное положеніе современной деревни и его собственная совесть—тотъ будетъ крѣпнуть, закаляться, душевно расти, свѣтлѣть, такъ какъ рѣшеніе вопроса,

даваемое деревней, въ высшей степени много-сложно.

5.

Припоминая слышанныя мною въ банкѣ слова старика насчетъ предбудущихъ временъ и невольно соглашався съ нимъ, что нарождающемуся деревенскому поколѣнію пожалуй и дѣйствительно не придется жертвовать «причитающимся дивидендомъ», я не могъ вновь въ сотый разъ не остановиться на вопросахъ: да почему-же это должно случиться? Какіе для этого есть резоны, и вообще почему деревенскія дѣла принимаютъ такое теченіе, что впереди всякому, мало-мальски взирающемуся въ нихъ, рисуется нѣчто суровое, трудное, даже жестокое? И какъ только эти вопросы пришли мнѣ въ голову, такъ и поднялись всевозможные отрывочные воспоминанія и факты, которые заставили меня не то чтобы вновь пережить, а вновь пересмотрѣть тѣ явленія деревенской жизни, которыя привели къ выводамъ предыдущей главы.

Мнѣ пришлось болѣе или менѣе близко видѣть (не скажу—знать) дѣла и порядки трехъ деревень, лежащихъ почти рядомъ, въ мѣстности, которая считается житницей Русской Земли. Эти три деревни, почти уже сливающіяся другъ съ другомъ—такъ близко подходят крайніе дворы одной-къ крайнимъ дворамъ сосѣдней деревни—въ земельных отношеніяхъ, въ разнѣрахъ расходовъ, мірскихъ и казенныхъ, разнятся другъ отъ друга самымъ существеннымъ образомъ. Да и народъ въ одной не таковъ, какъ въ другой, а въ другой не таковъ, какъ въ третьей: въ одной народъ—розиня, въ другой—первый работникъ, въ третьей—и розиня, и лѣнивый, да еще и плутоватый. Такую разницу объясняютъ весьма существенныя причины. Такъ напримѣръ, село Солдатское, самое большое изъ всѣхъ трехъ деревень, образовалось изъ поселенныхъ въ этой мѣстности солдатъ какого-то изъ гвардейскихъ полковъ.

При императрицѣ Екатеринѣ II (такъ здѣсь рассказываютъ старожилы) одинъ изъ солдатъ этого какого-то гвардейскаго полка, находясь на караулѣ во дворцѣ, услышалъ или какимъ-то образомъ узналъ, что существуетъ заговоръ, донесъ объ этомъ, и въ награду за такой поступокъ вся рота или полкъ были пожалованы землями и угодьями въ наилучшей мѣстности Россіи. Земли и угодій было такъ много и они приносили жителямъ села Солдатскаго такъ много дохода, что жили они—«лучше не надо»—катались какъ сыръ въ маслѣ... Деревенское преданіе, касаясь этихъ блаженныхъ временъ, рисуетъ ихъ, къ сожалѣнію, только въ видѣ пьянства: «иной, рассказываютъ, ужъ совсѣмъ готовъ, лежать на землѣ, подняться не можетъ... ну, такинъ, братецъ ты мой, прямо въ ротъ лили».

Рассказываютъ еще объ одной «питеркѣ», женщинѣ, которая пришла изъ Питера вмѣстѣ съ переселенными солдатами, рассказываютъ для того, чтобы показать, какой это былъ народъ холеный, бѣлоручка. Пошла-было однажды эта «питерка» въ поле отъ скуки. «Дай, говоритъ, пойду попро-
бую отъ нечего дѣлать, какъ это деревенскія бабы

жнутъ»... Взяла серпъ и пошла. Вотъ простой деревенскій мужикъ и видитъ: пришла питерка на берегъ озера; на берегу пшеница растетъ, а у берега въ водѣ—камышъ. Пришла она и стала: поглядѣть на пшеницу, потомъ на камышъ поглядѣть, думала-думала, и стала камышъ серпомъ жать...—«Ты что это, говорить ей «простой» мужикъ:—дѣлаешь тутъ?»—«Жну!»—«Что жнешь то?»—«Надо быть хлѣбъ!..» Засмѣялся мужикъ, говорить:—«Эхъ ты, дура петербургская, хлѣбъ-то вонъ онъ, а это камышъ!» Удивилась питерка и говорить:—«А я, говорить, думала—это хлѣбъ; больно онъ на видъ красивъ!» Такъ рассказываютъ про питерскихъ припѣльцевъ «простые» деревенскіе мужики, рисуя ихъ полную неумѣлость въ хозяйствѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ доказывая, что и при такой-то неумѣлости люди села Солдатскаго могли жить припѣвючи.

Съ тѣхъ поръ, въ теченіе ста с лишкомъ лѣтъ, село, надѣленное вначалѣ всевозможными льготами, по-немногу теряло ихъ: такъ, часть земли, очень значительную, они сами продали, а деньги пропили; да и казна поурѣзала ихъ; но все-таки угодьевъ осталось такое количество, что село Солдатское рѣшительно богаче остальныхъ двухъ деревень и можетъ продолжать пьянство предковъ безъ посрамленія. У него три мельницы, дающія до двухъ тысячъ рублей въ годъ чистаго дохода; рыбныя ловли, дающія пятьсотъ рублей дохода, и два кабака, приносящіе міру полторы тысячи рублей чистыми деньгами.

Сосѣдняя съ ними деревня также значительно отличается отъ обыкновенной, перенесшей барщину и несущей на своихъ плечахъ новые порядки деревни. Какъ могло случиться, что крестьяне этой деревни, считаясь постоянно въ удѣльномъ вѣдомствѣ, попали таки лѣтъ съ шестьдесятъ-семьдесятъ тому назадъ въ крѣпостную зависимость, я не знаю; знаю только, что и въ крѣпостной зависимости они все-таки избѣгли всѣхъ суровостей барщины. Старики—люди, которымъ лѣтъ подъ шестьдесятъ,—рассказываютъ про свою послѣднюю госпожу, какъ про женщину крайне добрую: конечно сѣкала и она—безъ этого ужъ никакъ невозможно; но, бывало, рассказываютъ, смотритъ она, матушка, какъ сѣкутъ, а сама плачетъ; какъ чуть мало-мало—сейчасъ: «дурнота со мной! перестаньте, будетъ!» Да и такія жертвы барыня приносила не изъ-за того, чтобы выбить изъ человѣка какія-нибудь матеріальныя выгоды, а по справедливости, сущей правдѣ, какъ утверждаютъ старожилы, сѣкла для собственной ихъ, старожилонъ, пользы. Почтенные историки деревни утверждаютъ даже, что мѣропріятія происходили почти только великимъ постомъ, на первой недѣлѣ, послѣ масляницы: на масляницѣ въ деревнѣ, въ старыя времена, катались съ горы; катались на длинныхъ обмороженныхъ колодахъ; садилось мужинъ и бабъ на каждую колоду человѣкъ по шести. На это катанье любила смотрѣть барыня. Для нея выносили кресло и становили его на такое мѣсто, съ котораго ей было все видно. Сидитъ барыня въ креслѣ и примѣчаетъ, какой мужикъ съ какой бабой ѣдетъ; ежели мужикъ противу себя посадилъ свою жену—хорошо. Ежели же

чужую жену или, чего Боже сохрани, дѣвицу—это барынь неприятно. Однакожь всю масляницу, аккуратно каждый день являясь въ креслѣ смотрѣть на катанье, она все примѣчала да примѣчала, а въ чистый поведѣльничикъ приказывала позвать мужиковъ, виновныхъ въ безразвѣстности. Бабъ за безразвѣстность также она сѣкла, но у себя на дому, и притомъ бабъ сѣкли бабы, а не мужики: «ну, а ужъ сами знаете, какое можетъ быть бабье сѣченье!..» Отъ этого разладинскія бабы и не знаютъ страху.

Былъ однакоже въ исторіи разладинскаго крѣпостного періода одинъ эпизодъ, который грозилъ закрѣпостить и этихъ баловней судьбы въ самомъ дѣлѣ, по настоящему. Одинъ сосѣдній помѣщикъ, прельстившись состояніемъ Разладинской помѣщицы, задумалъ на ней жениться. Помѣщица была старая дѣвица и боялась замужества, вѣривъ охрану своихъ дней надежному человѣку изъ дворовыхъ. Говорятъ, это былъ верзила вершковъ пятнадцати, сылачь и скромнѣе, какъ красная дѣвица. Помѣщикъ, сдѣлавшій дѣвичь-помѣщицѣ предложеніе, получилъ отказъ. Но такъ какъ человѣкъ этотъ былъ истинный сынъ своего времени, то и не задумался надъ средствомъ къ достиженію цѣли иными путемъ, очень обыкновеннымъ по тогдашнему. Онъ пригласилъ барышню покататься, по дорогѣ завернулъ, вмѣстѣ съ нею въ церковь отслужить молебенъ своему ангелу, и здѣсь, неожиданно для барышни, вмѣсто молебна началось вѣнчаніе съ помѣщикомъ: все было заранѣе подлажено, закуплено, и т. д. На крикъ барыни явился тотъ же ея хранитель дворовой, не попавшій въ церковь, и, разломавъ церковныя, уже запертыя двери, выручилъ свою госпожу. Послѣ смерти она отказала ему дыбки, а разладинскимъ мужикамъ даромъ отдала всю землю, такъ какъ умерла бездѣтною и безъ наследниковъ. Благодаря этому подарку, налоги, платимые разладинскими мужиками, никогда въ общей сложности не превышали двухъ рублей. Даже и теперь они платятъ всего-на-все только рубль девять гривенъ.

Третья деревня, раздѣленная отъ Разладина только помѣщицкой усадьбой, обыкновенная русская, бывшая крѣпостная деревня. У нея мало земли, она платитъ большіе налоги—больше Разладина и Солдатскаго—и не имѣетъ почти никакихъ постоянныхъ доходовъ, кромѣ двухсотъ рублей съ кабака, и работаетъ въ потѣ лица. Она знала крѣпостные порядки доподлинно; знала баршину, барина, дворянъ, претерпѣла всѣ крѣпостныя тяготы и теперь несетъ на плечахъ своихъ новые порядки. Больше о ней покуда сказать нечего.

Надѣюсь, что читатель изъ вышеприведеннаго очерка увидитъ, какая существенная разница въ матеріальномъ обезпеченіи отличаетъ всѣ три деревни одну отъ другой. На основаніи этой разницы, зная не деревенскую, а обыкновенную таблицу умноженія, можно вывести такія заключенія: с. Солдатское, пользующееся угодьями и достаткомъ, живетъ лучше Разладина, у котораго нѣтъ угодьевъ, доходныхъ статей. Но Разладино, не платящее почти

никакихъ податей, все-таки *должно* пользоваться болѣебольшимъ достаткомъ, жить вольнѣй, вольготнѣй, чѣмъ третья деревня, которая и платитъ много, и земли имѣетъ мало, да и земля отрѣзана далеко отъ деревни. Послѣдняя деревня несомнѣнно должна жить хуже другихъ, потому что лежить она на неудобномъ мѣстѣ, воды у нея мало, крошечный ручеекъ въ аршинъ ширины, и никакихъ доходныхъ статей нѣтъ. Такъ гласитъ обыкновенная таблица умноженія. Деревенская-же гласитъ вотъ какъ:

Хуже и глупѣй изъ всѣхъ трехъ деревень живеть самая богатая, именно с. Солдатское. Несмотря на то, что доходомъ съ оброчныхъ статей, съ мельницы, съ рыбной ловли и т. д., которые *въ буквальномъ смыслѣ съ значительнымъ излишкомъ покрываютъ рѣшительно всѣ мірскіе, волостные, земскіе, казенные и всякіе иные платежи*, такъ что должны ежегодно оставаться лишнія на общественныя нужды деньги, и ужъ ни въ какомъ случаѣ ни одному изъ жителей нѣтъ надобности вынимать деньги на уплату повинностей изъ своего кармана—несмотря на все это, жители с. Солдатскаго умѣютъ устроить такъ, что каждый годъ имъ недостаетъ денегъ, и, потративъ всѣ мірскіе доходы, они всегда ухитряются дѣлать налоги рубля по три съ души, несмотря на то, что мірскіе доходы постоянно увеличиваются. Теперь я прошу читателя, знающаго обыкновенную таблицу умноженія, представить себѣ всю непостояжность результатовъ, который является при примѣненіи ея къ распоряжамъ, господствующимъ въ с. Солдатскомъ. Я беру окладной листъ, считаю количество душъ (конечно платежныхъ, а не человѣчьихъ), считаю количество требуемыхъ казною, земствомъ, волостью и самимъ селомъ платежей, прибавляю даже пѣлыя двѣ сотни рублей на непредвидѣнные расходы, хорошенько не имѣя даже возможности опредѣлять ихъ, потому что что-же когда-нибудь затѣвала какая-либо деревня сама для себя. Всѣ ея доходы идутъ только на то, что извѣстно подъ словомъ «*подати*». Больныхъ своихъ на общественный счетъ она въ больницу не возитъ; сиротъ, нищихъ на общественныя суммы не питаетъ; вотъ развѣ одно: село Солдатское очень часто ссылаетъ по мірскимъ приговорамъ своихъ односельцевъ въ Сибирь. Вотъ на такіе то расходы и на другіе, ни мной, ни селомъ совершенно непредвидимые, я и кладу двѣ сотни. Получается у меня сумма, причемъ оказывается, что сумма эта съ значительнымъ избыткомъ покрывается суммою получаемыхъ селомъ доходовъ, которые я также прошу читателя класть на счета по порядку, за то-то столько-то и т. д.

У меня получается остатокъ, а на дѣлѣ у деревни недостаетъ цѣлой тысячи рублей!.. Впослѣдствіи я узнаю причину; но теперь, на первыхъ порахъ, я въ недоумѣніи. Какимъ образомъ выходитъ эта «недостача»?

Затѣмъ отчего с. Солдатское до сихъ поръ, съ самаго основанія, не подумало завести хоть какую-нибудь школу, хотя въ виду воинской повинности, а въ Сибирь ссылать своихъ сыновей выучилось? Отчего народъ с. Солдатскаго неряшливъ, распу-

щенъ, наглъ, жаденъ и глупо-форсистъ? Отчего именно въ селѣ, гдѣ есть всѣ условія для мірскаго довольства и для извѣстной порядочности ежедневнаго обихода,—такое неряшливое разгильдяйство, общественная безсвязица и безтолковщина: куча нищихъ, есть воры, куча мірскихъ грабителей?

Не менѣе страннымъ покажется вамъ и положеніе сосѣдняго разладинскаго мужика. Земля у него есть, и родитъ она хорошо, налога онъ почти не платитъ, а посмотрите на разладинскаго мужика: изба гнилая, солома гнилая, самъ мужикъ вялый, тупъ и понятіемъ не твердъ—все поддакивается, а оказывается, и не понимаетъ, о чемъ рѣчь, постоянно жалуется на бабъ—бабы, вѣшь, ему досаждаютъ; жену бьетъ, а самъ трусъ первой руки; «пужливъ» передъ баринкомъ, передъ подрядчикомъ, вообще передъ человѣкомъ; затѣветъ какое-нибудь дѣло, не умѣетъ себя держать совершенно. Баринъ, какъ существо высшее, подавляетъ его однимъ своимъ видомъ. Разладинецъ, разговаривая съ баринкомъ, теряется, бормочетъ ни въсть что, ухмыляется во весь ротъ, даже фигурой показываетъ, «что мы вашей милости» что угодно, а дѣла сдѣлать ни съ баринкомъ, ни съ подрядчикомъ не умѣетъ. Наймется отвезти, положимъ, ночью на станцію, самъ ходитъ, проситъ—«нужда»; а глядишь—и не пріѣдетъ: лѣнь встать отъ бабы, на печи тепло, а на дворѣ холодно; потомъ на бабу сердится. Никакой «ряды» правильно съ нимъ дѣлать нельзя или очень трудно; ничему онъ не знаетъ настоящей цѣны, а по нуждѣ соглашается на всякую цѣну, «сбиваетъ цѣну дуромъ», потому что чувствуетъ, что работа его будетъ плоха, чувствуетъ, что мало-мальски изъ порядочной деревни мужикъ всегда перебьетъ у него и сдѣлаетъ лучше. А взявшись за дѣло, только клянчить, удивляется, какъ это все трудно, и безпрестанно ропщетъ на цѣну. Словомъ, разладинскій мужикъ—мужикъ «брюзга».

— У васъ кто теперьча служить-то? спрашиваетъ мужикъ третьей деревни (будемъ называть Барской).

— Такой-то.

— Разладинскій?

— Разладинскій.

Барскій мужикъ подумалъ и говорить:

— Ничего человѣкъ-то... а только что «набрюзжить» онъ вамъ!

И дѣйствительно «набрюзжалъ». Ничего худого не сдѣлалъ, а именно только набрюзжалъ; больше и лучше этого нельзя о немъ ничего сказать.

Такъ разладинцы «брюзжаютъ» во всѣхъ своихъ дѣлахъ. Бабы, которыхъ разладинскіе мужики бранятъ, немного лучше, потому что большею частью берутся изъ чужихъ, работающихъ деревень; но и тѣ скоро раскисаютъ съ этими брюзжащими мужиками. Брюзжать они безъ толку и въ мірскихъ дѣлахъ: начать сдавать кабакъ—сдадутъ одному, а завтра другому, и съ обоихъ возьмутъ мѣдный грошъ, а потомъ опомнятся и сообразятъ, что лучше взять съ одного да побольше. Былъ у нихъ подъ горой отличный и единственный род-

никъ, изъ котораго вся деревня изъ-посконъ вѣка пользовалась водой; родникъ былъ у рѣчки, выше урอนня ея на аршинъ. Ни съ того, ни съ сего міряне взяли и отдали на рѣчкѣ мѣсто подъ мельницу, отдали такъ—зря, за десять цѣлковыхъ въ годъ. Мельникъ сдѣлалъ плотину, перегородилъ рѣчку—и она залила грязной дрянной водой отличный родникъ, оставивъ всю деревню безъ воды.—«И какой дуракъ это выдумалъ?» сердятся они другъ на друга, старые на молодыхъ, молодые на старыхъ, и пьютъ гнилую воду.

Вообще разладинцы, стоя въ промежуткѣ между мужиками с. Солдатскаго и д. Барской, какъ будто находятся подъ вліяніемъ и тѣхъ, и другихъ. Не плата податей, они чувствуютъ себя какъ бы въ нѣкоторомъ родствѣ съ привилегированными обывателями с. Солдатскаго и перенимаютъ у нихъ разные вздоры. Солдатскіе пьянствуютъ на сходкахъ то и дѣло: то у нихъ мельницу снимаютъ, то они луга сдаютъ, то «отвальныя», то «привальныя». И эти тоже пьются въ пьяницы, хотя быть пьяны отъ мірскихъ доходовъ. Взяли вотъ отдали мельницу—и пили два дня; кабакъ отдали двумъ:—съ одного пили и съ другого, и распились бы Богъ знаетъ какъ, еслибы оба кабака не отказали имъ въ винѣ.

Ничего хорошаго впрочемъ и въ этомъ дѣлѣ разладинцы не изобрѣли. Недавно ихъ навострили солдатскіе на такую штуку: солдатскіе взяли у разладинскихъ какіе-то кустики, всего цѣлковыхъ на двадцать, а разладинскіе взяли у солдатскихъ кусокъ выгона. Солдатскіе, какъ люди, знающіе до тонкости питьевое дѣло, выдумали пить такъ: сегодня ставятъ вино они за кустики, а завтра разладинцы за выгонъ. Пропили съ обоихъ сторонъ рублей по двадцати. Староста было поудержалъ ихъ, сказавъ: «міряне честные, вѣдь вонъ за новымъ кабашикомъ еще два ведра не допито—берите съ него, чѣмъ покупать-то!..»

Міряне отвѣчали:

— То два ведра особенныя, кабашиныя, мы съ кабака ихъ и выпьемъ; а это дѣло тоже особенное—особенно и пить будемъ. Ты не разговаривай, а собирай, почему съ души придется!

Въ другой разъ староста тоже повоздержалъ ихъ:

— Міряне честные! сказалъ онъ,—пейте вы кабашиное вино вмѣсто пастушьяго (пастуза напимали)!

Но міряне сказали:

— Ты зубы не заговаривай! Кабашиное вино мы съ кабака сопьемъ, а пастушье вино пить надо особливо. Ты вотъ разотчи, почему съ души приходится, ежели, примѣромъ сказать, на четыре ведра? А кабацкія два ведра мы въ сухое время допьемъ, когда ни мельничныхъ, ни пастушьихъ подѣвъ не будетъ.

Ужъ нечего сказать, куда охотники выпить; но даже и этого дѣла сдѣлать какъ слѣдуетъ, съ соображеніемъ, также не умѣютъ.

Съ другой стороны, не имѣя даровыхъ доходовъ, разладинцы должны работать, нести на плечахъ трудную обузу земледѣльческаго труда. Въ этомъ отношеніи жители д. Барской также подавляютъ

нихъ. Барскіе—мастера работать, привычны къ работѣ, у нихъ работа «горитъ огнемъ». Разладинцы завидуютъ имъ, но угнаться не могутъ. Они норовятъ съобезьянить съ барскаго мужика, гоняютъ своихъ женъ на работу, говоря:

— Ишь вонъ барскія бабы-то какъ работаютъ! она каждая съ мужемъ по эвтихъ поръ въ грязи пачкается на работѣ, не то что ты, идолъ эдакой преображенный!

И вотъ, по примѣру барскаго мужика, пачкается и онъ съ своей бабой, и дѣйствительно въ самой что ни на есть грязи пачкается, а настоящей работы нѣту. И хозяйскій снарядъ, и самъ онъ—все это плохо: соруя рвется, запряжка кой-какая, руки неразвязны, силшки мало, лѣнь.

— Какая у насъ работа! Развѣ это возможно сказать, настоящая, напримѣръ, работа? въ припадкѣ самоуничтоженія говорить разладинецъ. — Кабы мы барскіе были... ну, такъ: тамъ работа! А то что это? У насъ ѣдутъ на работу эво когда—солнце-то эво ужъ гдѣ!.. А барскій небось темно еще—а ужъ онъ въ полѣ. И дни у насъ все зря... Да и бабы нхнія.

И тутъ разладинецъ начинаетъ бранить сначала вообще разладинскихъ бабъ, потомъ свою жену въ частности и наконецъ всѣхъ своихъ сельчанъ, разбираетъ каждого порознь, и каждый порознь оказывается, по его разговору,—и дуракъ, и подлецъ, и воръ, и человѣкъ, котораго хуже нѣтъ. Такъ они всѣ разбираютъ другъ друга, а на видъ они всѣ люди мягкіе, ласковые, съ масляными глазами; придешь—не знаютъ гдѣ посадить, а за глаза—первые ругатели и сплетники.

Какъ ни покажется страннымъ, а лучше всѣхъ живетъ и умнѣй всѣхъ крестьянинъ дер. Барской. Онъ есть истинный современный крестьянинъ, несущій всю массу крестьянской тяготы безъ всякаго послабленія изъ-поконъ вѣку. Онъ платитъ большія подати и бьетъ круглый годъ исключительно надѣ земледѣльческой работой, и покрываетъ подати; да мало того: живетъ несравненно аккуратнѣй, чище и разладинскихъ, и солдатскихъ. Въ Барскомъ не рѣдкость встрѣтить умницу, человѣка твердаго, желѣзнаго характера, изучившаго до тонкости свои отношенія къ людямъ, съ которыми ему приходится дѣлать дѣло. А дѣлаетъ онъ и беретъ дѣлать дѣла только такіа, какія доподлинно знаетъ. Предлагали имъ возить навозъ въ селитряные бурты и деньги давали хорошія—не поѣхали и угощеніемъ не соблазнились, отказались, «потому дѣло это не наше!» До послѣдняго времени они не заводили кабака: находились между ними люди, которые умѣли оберегать міръ отъ этой бѣды. Раздѣловъ семейныхъ у нихъ мало, такъ какъ въ этомъ—безсилъ, а имъ нужна сила для работы; работа у нихъ на первомъ планѣ и дѣйствительно кипитъ въ рукахъ. Работаютъ всѣ отлично. Мальчикъ плачетъ:—«*татка, жалючисю, на работу не взялъ*».

Словомъ—крестьянинъ, болѣе другихъ претерпѣвшій на своемъ вѣку, слѣдовательно, какъ намъ думается, болѣе угнетенный (онъ пережилъ крѣпост-

ное право), надѣленный плохой землей, обремененный налогами, вопреки всѣмъ смысламъ, вопреки всѣмъ таблицамъ умноженія всѣхъ частей свѣта, оказывается порядочнѣе, положительно умнѣе, даровитѣе, зажиточнѣе и честнѣе того крестьянина, который, имѣя доходы, покрывающіе всѣ посторонніе платежи, или платя сущую бездѣлицу и слѣдовательно имѣя всѣ условія для того, чтобы собственная его домашняя, личная жизнь была лучше, достаточнѣй, вольнѣй, чтобы забота его о мірскомъ дѣлѣ была шире, — оказывается, что такой крестьянинъ ничего не выдумалъ, кромѣ кабака, живеть бѣдно, пьяно, фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ къ міру, къ себѣ, къ семьѣ!.. Мало того: вы видите, что отлично обставленная въ матеріальномъ отношеніи деревня какъ-бы лишена даровитыхъ людей. Есть міроѣды и міроопивалы, а умнаго, характернаго мужика нѣтъ; взамиѣнъ того имѣется обиліе фальшивыхъ мужиченковъ, которые за рубль продадутъ отца родного, наобѣщаютъ съ три короба, а ничего не сдѣлаютъ, не дорого возьмутъ совратъ и надутъ.

Что же означаетъ эта непонятная тайна непонятной деревенской таблицы умноженія?

6.

Послѣ долгаго и мучительнаго опыта, мысль ваша какъ будто начинаетъ докапываться до нѣкоторыхъ дѣйствительныхъ основаній этой удивительной тайны. Главную нить къ познанію, какъ мнѣ кажется, существа деревенскаго жителя—быть даетъ вамъ одно повидимому весьма незначительное обстоятельство. Разговаривая до сего времени, вы очень часто слышите въ разговорѣ слово «барщина», но не придаете этому никакого значенія, какъ дѣлу прошлому. Мало-по-малу однако оказывается, что хотя все, что заключается въ многозначительномъ словѣ «барщина», и дѣйствительно дѣло прошлое, но что и теперь слѣды этого прошлаго далеко не изглажены. Впослѣдствіи выубѣждаетесь въ значеніи барщины для пониманія современной деревни, и притомъ въ такой степени, что уже не довольствуетесь простымъ признаніемъ за ней извѣстныхъ результатовъ, но невольно должны признать, что въ современной деревнѣ нѣтъ такого явленія, нѣтъ въ характерѣ деревенскихъ людей ни одной существенной черты, нѣтъ даже ни одного обычая, которые бы вполне не объяснились барщиной, а главное *только* барщиной *).

Въ самомъ дѣлѣ, что такое была эта крѣпостная барщина? Въ общихъ чертахъ—это была никогда, никѣмъ и никому необъяснимая работа цѣлой деревни на одинъ господскій домъ. Безъ отговорокъ, безъ возраженій деревня должна была работать изо дня въ день, изъ года въ годъ. Баринъ, которому принадлежала деревня, могъ мѣняться, быть то злымъ, то добрымъ, но для деревни всѣ эти перемены ничего не значили: работы одинаково

*) Въ настоящемъ очеркѣ мы не касаемся тѣхъ хорошо живущихъ деревень, которыя держатся не традиціями барщины, а религіозной дисциплиной, т. е. деревень сектантскихъ.

требовали всё—и консерваторы, и либералы, и даже радикалы, словом—всевозможные сорта людей, поселявшихся въ господскомъ домѣ. Кто-бы тамъ ни жилъ, отъ деревни требовалось одно—«работа», заполнявшая большую часть дня, года, всей жизни,—работа *не на себя*. Этотъ коренной принципъ барщины укрѣплялся въ народѣ всевозможными способами, и въ концѣ концовъ все это вмѣстѣ взятое выработало совершенно опредѣленный идеалъ для существа, носящаго названіе *мужика*. Идеаль требовалъ, во-1-хъ, безпрекословнаго исполненія чужихъ требованій; во-2-хъ, требовалъ, чтобы у исполнителя было глубоко вкоренено убѣжденіе въ томъ, что все остальное, все его житишко со всѣми животышками составляютъ дѣла, не стоящія вниманія.

Такъ какъ такой идеалъ тяготѣлъ надъ всѣмъ почти русскимъ крестьянскимъ людемъ, тяготѣлъ немолочно сотни лѣтъ, то сообразно съ нимъ и выработался типъ крестьянина, населяющаго громадное большинство русскихъ деревень. Такой, оставленный намъ барщиной въ наслѣдство, крестьянинъ—во-первыхъ, неустанный работникъ: въ потъ лица, изъ дня въ день онъ бьется надъ работой; во-вторыхъ, аккуратная уплата податей—для него первая забота, предъ которой меркнуть всѣ личныя заботы; въ-третьихъ, это человекъ, который отвыкъ разсуждать объ чемъ-бы то ни было; онъ только спрашиваетъ: «сколько требуется», «почемъ сойдеть съ души»? Раскладка всѣхъ этихъ душевыхъ рублей и копѣекъ составляетъ почти единственный предметъ сходакъ: «своихъ», деревенскихъ предметовъ для разговоровъ на сходахъ нѣтъ—отчужденъ. И въ-четвертыхъ наконецъ, онъ—неусыпный работникъ: работать, «биться на работѣ»—вотъ цѣль жизни, нить, связующая дни и годы въ цѣлую жизнь человѣческую. Онъ покоится, устаетъ и измучившись на работѣ, потому-что сдѣлано то, что именно требовалось. Онъ сына женить насильно, потому что «береть работницу хорошую», а остальное—ничего не стоитъ. Мало устать на работѣ, мало просто изматываться: тотъ—хорошій работникъ, кто не знаетъ «устали» въ работѣ, у кого она «горитъ огнемъ, кто «лютъ», или, еще лучше, кто «золъ» на работу.

Вотъ во имя этого-то идеала и продолжаютъ жить крестьянинъ, какъ жилъ при барщинѣ. Тамъ, гдѣ барщина царилъ вполнѣ, тамъ мужикъ въ буквальный смыслъ остался такимъ же, какинъ былъ и при крѣпостномъ правѣ. Такъ-же до свѣту выѣзжаетъ онъ въ поле, такъ-же бьется изъ-за податей, такъ-же молча, съ незадумывающимся равнодушіемъ исполняетъ все, что ему прочтается старость, и, исполнивъ, вновь продолжаетъ маяться надъ работой, самъ перебиваясь кое-какъ или припратывая достатокъ. Въ такихъ деревняхъ у крестьянъ есть совершенно опредѣленный взглядъ на себя и на Божій свѣтъ, и, благодаря этому, они знаютъ, что дѣлаютъ, изъ-за чего бьются. Вотъ почему оказывается, что бѣдная, заваленная работой и налогами деревня, не имѣющая никакихъ постоянныхъ доходовъ, надѣленная сравнительно худшей, чѣмъ у сосѣдей, землей и притомъ въ маломъ

количествѣ, живетъ лучше той деревни, гдѣ болячки барщины почему-нибудь не такъ живо чувствуются.

А кажется, какъ-бы тутъ-то, при достаткѣ, не подумать о себѣ? Развѣ мало дѣйствительно своихъ нуждъ? Сколько въ селѣ однихъ ребятъ, которые растутъ неграмотными, не умѣютъ ни сосчитать, ни прочесть или написать письма, словомъ—ровно ничего? Сколько въ деревнѣ нищихъ, убогихъ, калѣкъ, сиротъ, бездомныхъ, случайно несчастныхъ и оставленныхъ на произволъ судьбы?.. Обо всемъ этомъ должна-бы заботиться неугнетенная чужой заботой мысль; но она не заботится, потому что не знаетъ, что объ этомъ надо заботиться... Мірскія дѣла почти исключительно состоятъ въ раскладкѣ и питіяхъ водки по разнымъ случаямъ.

Какъ справедливо и тщательно разработанъ процессъ всевозможныхъ дѣлежей и раскладокъ—объ этомъ было уже говорено. Теперь слѣдуетъ упомянуть о томъ, какъ разработанъ процессъ мірскаго питія; потому именно слѣдуетъ, что въ разработкѣ этого процесса потрачена масса крестьянскаго ума, такая масса, какой, за исключеніемъ процесса дѣлежа, не потрачено рѣшительно ни на одну изъ общественныхъ деревенскихъ нуждъ. Каждая деревня пьетъ на свой образецъ, на свой манеръ, по опредѣленному ритуалу: такъ, барскіе пьютъ рѣдко, и къ питію приглашаются только старики-власти, потому что нѣтъ такихъ случаевъ, которые дали-бы возможность заполучить съ кого-нибудь много вина. Но и тутъ уже опредѣлено—съ кого перваго начинать, кому второй стаканъ и какинъ путемъ стаканъ долженъ слѣдовать отъ одного края застѣвающихся до другого и обратно. Впрочемъ сравнительно здѣсь пьютъ главнымъ образомъ въ свои престольные праздники: на Ивана Постителя, на Ивана Богослова. Варятъ пиво, подливаютъ въ пиво водки и пьютъ такъ, зря, сколько влѣзетъ, три дня, три ночи. Безъ просыпу.

Но до полнаго совершенства питейный ритуалъ доведенъ въ Солдатскомъ. Здѣсь выработано множество программъ мірскихъ питій на всевозможные случаи и на всевозможныя количества ведеръ водки. Кажется, если бы случилось, что «всему» солдатскому міру была поставлена только одна косушка—и тутъ ее роспили-бы по правиламъ, и тутъ напились-бы для распитія ея извѣстные, выработанные опытомъ порядки. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не серьезный вопросъ—какъ распить, положить, ведро вина, поставленное цѣлому міру, человѣкамъ эдакъ тремъ стамъ, и притомъ распить такъ, чтобы выпито было по совѣсти и безъ обиды?

Въ виду ясной для всякаго серьезности этого дѣла, мірская мысль въ совершенствѣ разработала ритуалы распитія одного ведра, двухъ, трехъ и т. д., вплоть до такого количества ведеръ, болѣе котораго не запомнятъ столѣтніе старожилы. Одно ведро пьютъ вовсе не такъ, какъ пьютъ два; смотря по количеству ведеръ, къ питію привлекаются—то исключительно власти, считая въ томъ числѣ и стариковъ, такъ какъ «старики»—дѣйствительная

власть. При извѣстномъ количествѣ привлекаютъ къ питію, кромѣ властей, нѣкоторыхъ изъ жителей, имѣющихъ всѣ права занять въ недалекомъ будущемъ мѣста стариковъ. Затѣмъ есть случаи, когда право на часть мірскаго вина присваивается и обыкновеннымъ обывателямъ, но тоже въ извѣстномъ порядкѣ, съ извѣстнымъ выборомъ, по указанію стариковъ или по дворахъ; а наконецъ были и такіе случаи, когда вина хватается на весь міръ. Это впрочемъ рѣдко. «По дворахъ» пьютъ тоже разное: по одному стакану получаетъ всякій глава дома; если же придется по второму, то этотъ второй стаканъ глава дома можетъ, по усмотрѣнію своему, уступить брату, живущему съ нимъ, или сыну, но имѣть полное право выпить и самъ. Необходимо, слѣдовательно, въ видахъ абсолютной справедливости, до тонкости изучить ведро и стаканъ — его объемъ и мѣру, умѣть взглянуть на стаканъ, опредѣлить количество *такихъ* стакановъ въ ведрѣ и, сообразно полученному цифровому результату, назначить тотъ или другой питьевый ритуалъ. И на дѣлѣ существуютъ знатоки, которые, даже «поболтавъ» ведро, изъ котораго уже пито, по звуку знаютъ, сколько тамъ осталось «вотъэтакихъ» стакановъ, и сколько такихъ, такъ что старикамъ и властямъ остается только опредѣлить: какой именно стаканъ пускать въ ходъ, чтобы дѣло было сдѣлано честно, благородно, по божески.

Но знать стаканъ и ведро далеко еще не все; такое знаніе есть еще только часть полнаго знанія дѣла: необходимо еще знать воспримчивость каждаго мірскаго желудка къ питіямъ. Не думайте, что это дѣло шуточное, а главное — не думайте, что оно не играетъ никакой роли вообще во взглядахъ деревни на справедливость людскихъ отношеній. Въ самомъ дѣлѣ, міръ очень хорошо знаетъ, что вотъ этотъ человѣкъ валится съ пятаго стакана, этого не свалишь десятью, а вотъ этотъ и со второго теряетъ ноги, руки и голову... Спрашивается: если, положимъ, на душу, входящую, на основаніи количества ведеръ, въ число допущенныхъ къ питію, приходится по шести стакановъ, и если одинъ изъ допущенныхъ валится съ третьяго, а другой со второго, то не слѣдуетъ ли позаботиться объ остающихся имъ стаканахъ и подумать о томъ, чтобы они получили правильное, справедливое назначеніе, а не были бы выпиты — такъ, «зря» — какой-нибудь первой попавшейся глоткой? При пьянствѣ ста, полутора ста человѣкъ, имѣющихъ право на участіе въ питіи, постоянно случаются, во-первыхъ — совершенно непьющие, во-вторыхъ — валяющиеся подъ лавку со второго стакана, съ третьяго, съ пятаго и т. д., вслѣдствіе чего получается извѣстное количество питій, требующихъ новаго порядка, новаго церемоніала, которое нельзя игнорировать. Вотъ почему всякое — главнымъ образомъ большое — питье, начавшись по одному плану, можетъ перейти множество разныхъ степеней и закончиться питіемъ по плану совершенно другому. чѣмъ началось. Вотъ почему, при питіяхъ, людей, глазѣющихъ на питье, гораздо болѣе, чѣмъ пьющихъ; и глазѣютъ они не даромъ; порядокъ питья легко можетъ

измѣниться почему-нибудь, и тѣ, кому въ данную минуту приходится только глазѣть, чрезъ какое-нибудь мгновеніе могутъ быть призваны къ участию. Почему знать, что кто-нибудь не овалится со второго стакана, хотя до сихъ поръ валился только съ третьяго?

Само собою разумѣется, что если до такой совершеннѣйшей степени разработанъ вопросъ о томъ, какъ пить вино, то не менѣе совершенно разработаны и изслѣдованы вопросы, касающіеся поводовъ, по которымъ и слѣдуетъ, и можно пить. И точно, мірское вниманіе не упустило изъ виду самыхъ ничтожнѣйшихъ, самыхъ крошечныхъ поводовъ для того, чтобы міръ могъ имѣть даровое вино, или для того, чтобы ставить вино на свой счетъ. И не говорю ужъ о такихъ вещахъ, какъ сдача мірскаго имущества въ аренду: тутъ пьютъ долго и много, и берутъ вино со многихъ; не говорю также о такихъ поводахъ, которые не требуютъ никакой выдумки и узаконены повсюду: наемъ настуха, выборъ старосты, разборъ мелкихъ сельскихъ ссоръ, обидъ и т. д. Всякому извѣстно, что безъ вина въ подобныхъ случаяхъ никоимъ образомъ обойтись нельзя. Нѣтъ, я говорю о такихъ выдумкахъ, которыя не могутъ придти въ голову никому, кромѣ людей, не одинъ годъ изучавшихъ — и изучавшихъ вполне, спеціально — данный предметъ.

Человѣкъ, который въ крайнюю минуту (когда вино выпито, міръ желаетъ еще по стаканчику, но не можетъ выдумать — за что пить) сумѣетъ указать на подлежащій описанію предметъ, если не уважается міромъ, то цѣнится имъ, какъ человѣкъ умный и знающій. Такъ называемые въ здѣшнихъ мѣстахъ «коштаны» — особый видъ изъ рода мірофдовъ, про которыхъ сами міряне говорятъ, что «онъ на десять рублей пользы міру сдѣлаетъ, а на тридцать убытку» — тѣмъ не менѣе не только терпятъ міромъ, но частью даже и уважаются, во-первыхъ потому, что никто лучше коштана не знаетъ мірскихъ дѣлъ; а во-вторыхъ, потому, что все это знаніе почти только тѣмъ и хорошо, почти потому только и нужно мірянамъ, что оно выручаетъ ихъ въ трудныя минуты недостатка вина, давая возможность отыскивать къ продолженію прерваннаго пьянства предлоги. Спрашивается: кто изъ сотни человѣкъ мірянъ, недоумѣвающихъ надъ вопросомъ о томъ — кого и по какому случаю описать, вспомнить, что вотъ такой-то Иванъ Мироновъ по веснѣ бралъ изъ мірскаго дѣсу не въ чередъ сорокъ кольевъ для плетня и что слѣдовательно долженъ поклониться за это міру? А коштанъ знаетъ, ибо онъ, какъ паразитъ, только и живетъ тѣмъ, что цѣпляется за другихъ. И вотъ, къ Ивану Миронову посылаютъ депутацію «взять хомуты», или «снять» телѣгу съ передковъ и передки доставить на сходку. Иванъ Мироновъ, болѣею частью и не приглашаемый лично на сходку, долженъ явиться сюда за хомутами и за передками и «долженъ» поставить міру вина, такъ какъ ни безъ хомута, ни безъ передка ему невозможно существовать.

Чтобы не утомлять читателей перечисленіемъ все-

возможных мелочных придирокъ, которые міръ пускаетъ въ ходъ, когда дѣло касается таковагополнѣ самостоятельнаго, вполне принадлежащаго мірскому благоусмотрѣнію дѣла, какъ мірское питье водки, я расскажу только слѣдующій случай. Выше я говорилъ, что разладинскіе мужики за десять рублей уступили какому-то крестьянину право на устройство мельницы. Крестьянинъ сдѣлалъ мельницу и плотину. Мельница самая первобытная, бѣдная, деревенская; плотина узенькая—съ небольшимъ въ аршинъ ширины и не болѣе какъ сажени въ три длины. Но дѣло въ томъ, что одинъ берегъ рѣчки принадлежитъ разладинцамъ, а другой—обывателямъ села Солдатскаго, т. е. плотина «примыкаетъ» къ разнымъ берегамъ. Вотъ эту-то «примычку» и явились пропивать сначала солдатскіе мужики, а потомъ, по обычаю своему праву, и разладинцы.

— Станови четыре ведра! категорически объявили мельнику солдатскіе депутаты.

— За что это?

— Какъ за что?—за примычку!.. Видишь, чай, примыкаетъ..

— Да что вы, лѣшіе эдакіе, съ ума вы спятили?..

— Ну, такъ загородъ постановимъ, пропускать народу не будемъ съ нашего берега!..

Что тутъ дѣлать? Разумѣется, поставилъ.

Только что было-отдѣлялся отъ однихъ, ползутъ другіе, разладинцы.

— Вы чего, дьяволы безголовые?

— Примыкаешь! бормочутъ:—четыре ведра, а то загородъ постановимъ.

Мельникъ не могъ не поставить вина разладинцамъ: нужда научить кирпичи ѣсть; но зато все время, когда міръ пьянствовалъ, мельникъ, блѣдный отъ гнѣва, дрожащій всѣмъ тѣломъ отъ волненія, на чемъ свѣтъ пушилъ стариковъ.. Ничего, пили!

Разладинцы пьютъ глупо, безъ толку; вообще это не настоящіе крестьяне. При всякомъ питьѣ у нихъ старики отдѣляютъ себѣ извѣстную часть и остальное отдаютъ міру. «Старичишки», какъ ихъ здѣсь величаютъ, обыкновенно, по жадности своей, всегда захватятъ столько, что, при всемъ стараніи, не успеваютъ выпить въ одинъ сходъ и допиваютъ на другой день. Міряне пьютъ тоже безъ всякаго рассудка: одинъ еле-живъ плетется домой, а другому капли не досталось. Но, не смотря на эту во всемъ разладинскомъ ощущающуюся распущенность и безтолочь, и здѣсь былъ на моихъ глазахъ случай, доказавшій мнѣ, что если бы да разладинцамъ хорошая мірская школа, вроде той, какую выработали солдатскіе мужики, то и они не плошали-бы въ мірскихъ дѣлахъ. Одинъ «подносчикъ» (такой чинъ на питейныхъ сходахъ—конечно чинъ выборный) отлилъ по дорогѣ изъ кабака, куда ходилъ за мірскимъ виномъ, бутылку мірскаго вина. Ведро онъ отправилъ на сходъ съ первымъ встрѣченнымъ односельцемъ, а самъ съ бутылкой пошелъ домой, гдѣ его ждалъ пріятель. Они не успѣли выпить съ нимъ по одному стакану, какъ обижанный міръ на-

грянулъ на преступника. На міру, даже такомъ разгильдяйномъ, нашлись уже настолько опытные люди, что «по хлюпачью» водки въ ведра догадались о кражѣ, о томъ, что подносчикъ отлилъ... Міръ отбѣпилъ домъ подносчика со всѣхъ сторонъ. Подносчикъ, его пріятель и вся семья подносчика стали защищаться. Конечно прежде всего были заперты ворота, благодаря чему произошла въ буквальномъ смыслѣ осада: въ дѣлѣ были и колья, и камни, и возжи...

Крестьянскій умъ, талантъ, мысль, вообще вся сила его природной даровитости, какъ видите, дѣйствуетъ и тутъ—отрицать ея нѣтъ никакой возможности; но все это, какъ на зло, загнано и дѣйствуетъ въ такомъ замкнутомъ кругу, практикуется надъ такими явленіями деревенской жизни, которые не имѣютъ для насущныхъ человѣческихъ интересовъ деревни либо совершенно никакого значенія, либо имѣютъ значеніе весьма отдаленное. Тѣмъ не менѣе въ этихъ случаяхъ крестьянскій умъ работаетъ, работаетъ сильно и много, наблюдаетъ всевозможныя мелочи, знаетъ и видитъ человѣка насквозь, не жалѣетъ своей спины, рукъ, силъ, стремится не обидѣть, не обчестъ человѣка. Но какъ только дѣло коснется дѣйствительно общественнаго дѣла, такого дѣла, которое-бы принесло міру существеннѣйшую пользу, облегчило бы положеніе его, которое бы помогло поступить мірскому человѣку дѣйствительно по божески,—въ такихъ-то именно дѣлахъ, какъ на грѣхъ, въ мірскомъ деревенскомъ жителѣ исчезаетъ все: внимательность, наблюдательность, даже исчезаетъ самая тѣнь справедливости. Для такихъ дѣлъ не выработано ни ритуаловъ, ни порядковъ, ни обычаевъ—нѣтъ ничего. Между тѣмъ въ дѣлахъ, не имѣющихъ для деревни никакого значенія, кромѣ вреда (какъ на примѣръ пьянство), или въ дѣлахъ, которые имѣютъ значеніе только для постороннихъ деревнѣ вѣдомствъ, все выяснено, определено—лучше не надо. Нельзя не заплатить въ срокъ оброка, аренды; но молча смотрѣть, какъ мрутъ «горлушкомъ» дѣти—можно. Нельзя Ивану Миронову простить сорока кольевъ, нельзя оставить не пропитую перемышку, и можно за вино на волостномъ судѣ сдѣлать всякую несправедливость, можно растратить крестьянскую казну въ сотни, тысячи рублей...

Чѣмъ инымъ, какъ не тѣмъ, что современный крестьянинъ еще и не пробовалъ жить въ своихъ собственныхъ интересахъ, что онъ даже отвыкъ примѣчать ихъ въ обиходахъ собственного своего житишка—объясните вы себѣ на примѣръ такую сцену:

Мельница. У мельницы и на плотинахъ—нѣсколько телѣгъ съ зерномъ, ожидающихъ своей очереди; на телѣгахъ и около телѣгъ, и на землѣ—крестьяне—и старые, и молодые. На горѣ стоитъ новенькій домикъ арендатора мельницы, купца. Купецъ сидитъ у отвореннаго окна, въ ситцевой рубахѣ, пьетъ чай и отираетъ потную шею и красное лицо полотенцемъ.

— Глянь! говоритъ одинъ изъ ожидающихъ:—Ишь, красномордый чортъ, чай пьетъ.

— И то пить!..

— Я, братцы, считалъ, считалъ, которую это онъ лакаетъ, такъ и бросаю—все ему хозяйка подаетъ да подаетъ...

— Какъ не лоппеть!

— Ну итъ, братъ! Его не разопретъ! Ужъ онъ на этомъ дѣлѣ, чай, наладился...

— Да ему только и дѣла, что чай пить!

— А то что же? сиди да пей.—Больше ничего!

— Только и дѣловъ!..

— Сиди да поливай чаекъ-то!..

— Нашъ братъ, дуракъ, бьется-бьется иной разъ изъ-за копѣйки до-поту, а тутъ вонъ ничего не дѣлаетъ, бѣлыхъ рукъ не мараетъ, а деньгу гребетъ да чаекъ распиваетъ... Ишь вонъ, какъ клещъ налилс!..

Многіе изъ лежащихъ на телѣгахъ и на землѣ около телѣгъ мужиковъ вздыхаютъ...

— А какая хитрость-то. Выстроилъ вонъ амбаръ, больше ничего, а онъ, амбаръ-то, тысячи двѣ аккуратно кажинный годъ ему въ карманъ кладетъ... А нашъ братъ крихти изъ-за каждой малости.

На эту тему отовсюду слышится комментаріи и дополненія; да и трудно, говоря о крестьянскомъ житѣ-бытѣ, чувствовать недостатокъ въ матеріалѣ.

Но подойдетъ къ разговаривающимъ и спроситъ:

— Чья это мельница?

— Наша!

— Вы какіе сами-то?

— Солдатскіе.

— Общественная мельница?

— Общественная; вонъ, этому-вонъ (указаніе на гору), чай-то пить... ему отдаемъ.

И затѣмъ слѣдуетъ рассказъ, какъ-бы желающій доказать безответность вонъ этого чело-вѣка, который сидитъ и чай пьетъ. Судите сами, что онъ сдѣлалъ. Изъ-поконъ вѣку близъ мельницы стоялъ небольшой сарай, который нанимали у крестьянъ скупщики хлѣба. Скупая его по деревнямъ, въ разныхъ мѣстахъ, мелкими партіями, они и свозили его въ одно мѣсто, къ мельницѣ, потому что весной вода въ рѣкѣ, на которой стоитъ мельница, поднимается на двѣ сажени—на сажень идетъ выше плотины. Съ Волги приходять сюда баржи (въ послѣднее время даже пароходъ сталъ приходить каждую весну), забираютъ хлѣбный грузъ и вывозятъ его на Волгу. «Вонъ этотъ, что чай-то пьетъ», злодѣй этотъ, арендовалъ у крестьянъ мельницу, вмѣстѣ съ мельницей арендовалъ и амбаръ; но вмѣсто дрянного выстроилъ большой, хорошій сарай и каждую зиму, за пять мѣсяцевъ, никакъ не больше, получалъ съ этого амбара, не шевеля пальцемъ въ буквальный смыслѣ, не менѣе двухъ тысячъ рублей.

Тотъ, которымъ рассказываютъ про это злодѣйство, какой-то погребальный; обиды слышится въ немъ явная. И дѣйствительно, обидно смотрѣть, какъ это чело-вѣкъ сидитъ, пьетъ чай и получаетъ деньги... Но о томъ, чтобы кому-нибудь изъ мірянъ пришла мысль самими взять да выстроить амбаръ, самими назначить чело-вѣка мір-

ского, который бы смотрѣлъ за мельницей, представляя міру отчетъ,—объ этомъ никто не заикнется; итъ «на такіе» дѣйствительно общественныя дѣла ни выработанныхъ порядковъ, ни ритуаловъ. И, повѣрьте, это тоже барщинный результатъ. Крестьянинъ можетъ только копошиться въ своей нуждѣ или проявлять свои дарованія у кабака, настоящія-же доходныя дѣла дѣлаетъ другой; мужику хорошо, если достанется при этомъ «положенный» по питьевому регламенту стаканчикъ вина, а ужъ подлинный доходъ—это дѣло не мужицкое. Это какъ-бы свѣше предназначено для лицъ совершенно деревнѣ постороннихъ...

Другимъ рѣзкимъ примѣромъ, до какой степени крестьянинъ, въ самомъ дѣлѣ, отвыкъ отъ дѣйствительно нужныхъ мірскихъ дѣлъ, можетъ служить то, что казенныя и удѣльныя земли, отдающіяся въ аренду по весьма незначительной цѣнѣ и въ большомъ количествѣ повсюду, попадаютъ въ руки крестьянъ *всегда* только изъ вторыхъ рукъ, т. е. сначала онѣ попадаютъ въ руки купца, чело-вѣка, арендующаго цѣлый участокъ, а потомъ разберутся по клочкамъ и за тройную цѣну крестьянами. Объявленія о продажѣ и отдачѣ въ арендное содержаніе земельныхъ и лѣсныхъ угодій постоянно рассылаются по волостнымъ правленіямъ, даже и сельскимъ старостамъ; но на моихъ глазахъ не было случая, чтобы само общество рѣшило-бы не дать себя въ обиду: напротивъ, знаютъ, но какъ будто ждутъ—когда и кто возьметъ землю.—«Кто взялъ луга-то?».—«Городской какой-то!».—«Гдѣ его приказчикъ-то?».—«Тамъ-то».—И идутъ къ приказчику, который, отдавъ вчера по одному рублю за десятину, беретъ сегодня по трѣмъ, по четыре и по шести. Беретъ деньги и пьетъ чай, а народъ глядитъ на него (издали. не близко) и негодуетъ.

— Ишь, красномордый! знай, брюхо парить да денежки собираетъ.

7.

Надѣюсь, что читатель пойметъ, почему въ предшествовавшихъ очеркахъ я не коснулся той «крѣпкой думы», которая гнететъ каждую крестьянскую голову «дома», у его домашняго очага, не на сходкѣ, не у кабака, а подъ соломенной крышей своего дома. Вратъся за эту тему въ бѣглому очеркѣ—миѣ не подъ силу: такъ эта «крѣпкая дума» многосторонняя и мучительная, и потому требуетъ разработки обстоятельной. Имѣя возможность только поверхностно остановиться на этой сторонѣ многочисленныхъ крестьянскихъ заботъ, мы можемъ указать лишь на то, что *крестьянская дума одинока. Въ этомъ-то именно и заключается горе деревни*: общественная мысль хлопочетъ о податяхъ, о расходахъ на земство, на волость, на множество разновидностей всевозможныхъ сборовъ, или разрабатываетъ кабачный ритуалъ, и вотъ почему драма деревенской избы, тягота крѣпкой думы подъ соломенной крышей не выбралась изъ-подъ крыши на сходку. А въ этой-то драмѣ и есть настоящее *дѣло*: только-бы она-то выбралась изъ подъ низенькой соломенной крыши, только-бы она-то сдѣ-

далась достойною хотя такого-же вниманія, какимъ напимѣръ пользуется «еще непропитая» примычка, и въ деревнѣ *от самого дѣла* станетъ тѣсно, въ самомъ дѣлѣ станетъ душно въ крестьянской избѣ. Какъ только это случится—конецъ кабаку, конецъ деревенскому навозу, деревенской пьяной дракѣ, деревенской безпомощной болѣзни, безслѣдной смерти и всякому грабежу. Деревня немедленно «укупить» столько земли, сколько хватить глазъ, и не будетъ ждать ни «чернаго передѣла», ни «генеральной межи». Деньги найдутся немедленно. Амбаръ будетъ выстроенъ гораздо лучше, чѣмъ выстроилъ его «красномордый; мельница будетъ въ исправности, учитель будетъ не такой, который самъ ничего не знаетъ, или не такой, который бьется изъ-за куска хлѣба и котораго гнететъ презрѣніемъ всякая деревенская шваль изъ породы Титъ Титычей, а настоящій, знающій дѣло человекъ.

Какъ-же вывести на дневной свѣтъ «крѣпкую» деревенскую думу?

Всякій разъ, когда задаешь себѣ этотъ вопросъ, утомленная обыденными порядками мысль непременно, невѣдомо почему—просто, кажется, ни съ того, ни съ другого—вдругъ выдвигаетъ такой вопросъ:—А откуда возьмутъ жалованье *«имъ?»* Это ужъ такъ какъ-то само собой является: до такой степени повсюду много всевозможныхъ жалованій и до такой степени не дѣлается кругомъ даже ничтожнѣйшихъ вещей безъ того, чтобы дѣлающій не соприкасался съ какими-нибудь сундукомъ. Какое обиліе людей, примыкающихъ къ сундукамъ, и какъ длиненъ самый рядъ сундуковъ—судить не намъ: пусть читатель представитъ себѣ это дѣло самъ, и ему будетъ понятно, почему при рѣшеніи такого труднаго вопроса, каковъ деревенскій, какъ-будто ни съ того, ни съ сего возникаетъ мысль о какомъ-то жалованіи.

VIII.

Какъ дорогъ для деревни «разговорчивый человекъ»—Расскажъ объ одномъ добромъ человекѣ.—Коштанъ и мирѣды.

I.

... Вспомнился мнѣ еще разговоръ съ однимъ крестьяниномъ. Крестьянинъ—человекъ молодой. Очень часто онъ заходить ко мнѣ, сидитъ, молчитъ и смотритъ, чтó я дѣлаю. Сидитъ молча часа два-три, потомъ уйдетъ. Иной разъ разговорится. Впрочемъ о современной крестьянской молодежи мы имѣемъ намѣреніе говорить особо, по возможности подробно, поэтому и полная характеристика молодого парня будетъ подробно изложена впослѣдствіи. Теперь-же скажу, что парень кой-о-чемъ крѣпко думаетъ, хотѣлъ-бы кое-что знать, видѣть; но покуда ни до чего опредѣленнаго не додумался: думаетъ часа четыре подрядъ, вздохнетъ, а не то плюнетъ и вздохнетъ, и въ концѣ концовъ уйдетъ.

Разговоръ зашелъ о новомъ волостномъ писарѣ, опредѣленномъ на мѣсто того, который, какъ извѣстно читателю моихъ деревенскихъ замѣтокъ, уволенъ по случаю расхищеній волостныхъ суммъ вмѣстѣ со старшиною.

— Ну что жъ, хорошъ новый-то писарь?

— Ничего, цушай...

— Не мотаетъ мірскихъ денегъ?

— Нѣту, покуда что не слышно.

— Аккуратенъ?

— Знамо, что... А хуже прежняго-то!

— Какъ хуже? Вѣдь дѣло свое онъ справляетъ?

— Какъ не справлять, справляетъ—ничего...

— Деньги не воруетъ, не тратитъ?

— Это что говорить...

— А вѣдь тотъ дѣла запустилъ и деньги мірскія бралъ.

— Да объ этомъ и рѣчи нѣтъ. Размотали деньги до послѣдней полушки. Чтó худо—того ужъ хвалить нельзя, а ужъ что хорошо—тоже объяснить слѣдуетъ.

— Чтó-жъ въ немъ было хорошаго?

— А вотъ что: *разговорчивъ* былъ. Только вотъ это самое. Больше ничего въ немъ и не было стоящаго. Ну, а разговорчивъ—такъ ужъ насчетъ этого цѣны нѣту! Къ нему, бывало, зайдешь по своему дѣлу! дѣла не сдѣлаешь, а не отвергнешься, сидѣлъ-бы да слушалъ. А этотъ что! Отъ этого слова путнаго не дождешься. Такая *необходимая* дубина!

— Да вѣдь дѣло-то дѣлаетъ?

— Да, онъ дѣлаетъ; пестъ съ нимъ и съ дѣломъ, дѣлай его. Про то говорю: старый писарь и дѣла не дѣлалъ, да былъ обоюдный человекъ: разговоромъ былъ хорошъ. Обо всякихъ напимѣръ дѣлахъ, обо всѣхъ предметахъ, или тамъ война напимѣръ, или-же тамъ про разныя статьи, какъ печатаютъ—до всего доходилъ, все зналъ; говорить—не наслушаешься. Вотъ чѣмъ былъ хорошъ, а насчетъ дѣловъ, такъ это для нашего брата все одно: хорошъ-ли онъ, худъ-ли—нашему брату не велика прибыль.

И такъ, хвалить того самаго писаря, который на мірскія деньги, какъ извѣстно изъ учета, выписывалъ газеты. Повѣрьте, что даже простой разговоръ, не о томъ, о чемъ «калякаютъ» міряне, и тотъ—въ деревенской жизни новость, и притомъ очень большая.

Между тѣмъ, какъ извѣстно, въ деревнѣ не видать «разговорчиваго человека», хотя ему и было-бы о чемъ поговорить здѣсь, и говорилъ-бы онъ всегда отъ сердца, хотя и о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, потому что всегда его рѣчи возбуждаются фактами окружающей дѣйствительности, а частица его рѣчей—нѣтъ-нѣтъ да и переведетъ прямо въ жизнь, на глазахъ «разговорчиваго человека». А вѣдь «разговорчивыхъ людей» у насъ не мало, да разговариваютъ-то они все въ пустыхъ мѣстахъ, тамъ, гдѣ вовсе въ нихъ и не нуждаются. Не только «разговариваютъ», а даже прямо поѣдаютъ сами себя, истощаясь, изнывая въ чисто-теоретическихъ разглагольствіяхъ.

2.

Нѣкоторое время зналъ я здѣсь одного молодого человека. Андрей Васильичъ Соловецкій былъ сынъ причетника, человека, обремененнаго семьей, нуждой во всѣхъ возможныхъ видахъ, въ такомъ удивительномъ совершенствѣ разработанныхъ на Рус-

ской Землѣ. Неволя заставила его жениться, неволя заставила гнуть шею передъ батюшкой, передъ всѣмъ приходомъ, передъ каждымъ миродомъ, и притомъ передъ каждымъ отдѣльно, на свой образецъ, гнуть изъ-за того, что у него семья, которую человекъ не желалъ имѣть (вотъ какія бывають на Руси положенія!), но которую нельзя бросать. Можете представить весь холодъ такого существованія, весь гнетъ униженія, всю громадность разнѣровъ поруганія надъ человѣческимъ достоинствомъ! Андрей Васильчъ съ дѣтства не слышалъ ничего, кромѣ горькаго, слезнаго ропота отца, матери, дѣтей на свое существованіе, на безвыходность и ужасъ этого существованія.

Всякому извѣстно, что причетникъ, съ семьей человекъ въ шесть, всегда бѣднѣй бѣднаго мужика; что для его дѣтей крестьянскій дворъ, гдѣ все свое, гдѣ никто его не сгонитъ съ насиженнаго мѣста — предметъ зависти. Андрей Васильчъ до четырнадцати лѣтъ оставался неграмотнымъ; всѣ эти годы работалъ около дома, какъ работаетъ простой мужикъ; онъ зналъ, какъ ходить за скотиной, какъ ея убирать, пасти, зналъ, какъ пахать, боронить; радовался при урожаѣ, горевалъ — и горько — въ засуху; словомъ, вся крестьянская забота была ему такъ же близка, какъ и всякому крестьянину. Но, кромѣ этой заботы, онъ, какъ человекъ, поставленный въ худшія условія, чѣмъ любой крестьянскій мальчикъ, завидуя, изучилъ, примѣтилъ все хорошее въ крестьянскомъ житіи-бытіи, примѣтилъ потому, что въ его жизни этого не было. Мало того: какъ членъ семьи, которая то ожесточается на судьбу, то измученная покорно возлагаетъ надежды на Бога, онъ не разъ въ жизни, вмѣстѣ съ семьей, имѣлъ случай быть действительно спасаемымъ — и именно крестьяниномъ.

Въ глухую зимнюю ночь, во время отсутствія отца, который ушелъ въ городъ хлопотать о переводѣ въ другое мѣсто и не возвращался, и не шелъ домой цѣлый годъ, когда семья съѣла все, что было въ домѣ, когда ребята буквально «кричали» отъ голода, мать сказала маленькому Андрею: «пойдемъ!» И пошли они за господскіе амбары воровать... Андрей Васильчъ и до сей поры не забылъ этой ночи, этого ужаса, который охватилъ его душу отъ воя вѣтра, отъ страха быть пойманнымъ и отъ жгучаго стыда...

И вдругъ — Господь спасъ ихъ: «откуда ни возьмись» — крестьянинъ. Кажется, онъ темною ночью пробирался изъ лѣсу съ мірскими дровами... Онъ самъ зналъ нужду и сразу понялъ, зачѣмъ попомариха съ сыномъ толкутся за амбарами...

— Васьевна! сказалъ онъ тихо. — Что ты это?.. Парнишку заморозилъ!.. Сажай его — доведу до дому.

Довезъ, далъ и дровъ, и хлѣба. Буквально спасъ.

Черезъ годъ отъ отца пришло письмо: оказалось, что онъ получилъ мѣсто уже въ другой губерніи, куда пошелъ цѣшкомъ, а не писалъ потому, что писать было нечего — не поможешь. Цѣлый годъ онъ по грошамъ собиралъ деньги на переводъ семьи и теперь вотъ посылаетъ десять рублей. Онъ знаетъ, что за эти деньги нельзя до-

ѣзять: такъ далеко онъ забрался; но пише больше нѣтъ, достать негдѣ, «какъ знаетъ ше можи силъ нѣтъ!» На переводъ за одинъ ко лошадей требовалась сумма, по крайней разъ въ семь болѣе присланной; и что же? Богъ спасъ, и опять въ лицѣ крестьянина — человекъ, «пришелъ самъ», который везти и за десять рублей — ради Христа даться... Отвезъ, да еще всю дорогу, околица, Богъ его вѣдаетъ какъ, кормилъ семь чадъ.

Немного, правда, было такихъ случаевъ ни Андрея Васильча; но то, что было, оставило неизгладимый, вѣковечный, навѣяло въ сердцѣ впечатлѣніе красоты душъ закорючалаго, грубаго, безжалостнаго крестьянина, какъ человекъ подневольный, *больше*, чѣмъ крестьянинъ зналъ самъ себя; онъ зналъ его и грубость, и безпечальность, и желаніе гнуть въ дугу; но зналъ и силу крестьянскаго великодушія, и доброту, и пониманіе чужой нужды, бѣды...

На четырнадцатомъ году отецъ хотѣлъ отдать его къ мужику въ кузю, въ ученики. Мать заступилась и, послѣ цѣлаго мѣсяца жестокихъ ссоръ съ отцомъ, настояла на томъ, чтобы везти неграмотнаго, уже четырнадцати-лѣтняго мальчика въ духовное училище. Въ городѣ, въ семинаріи, у Андрея Васильча были братья, тоже съ дѣтства измученный нуждой и уже знавшій, что будущая жизнь его — та же нужда, такъ какъ сердце говорило ему, что отецъ недолго наживетъ, что семья только и надѣется на него. И вотъ ему предстоятъ уже помочь семьѣ: помѣстить въ училище неграмотнаго парня... Какія все задачи достаются на долю этихъ тружениковъ! Какъ, въ самомъ дѣлѣ, помѣстить неграмотнаго въ училище, гдѣ требуется экзаменъ? Но находятся добрые люди, совѣтуютъ, «выбираютъ время», и Андрей Васильчъ попадаетъ въ училище...

Выбранъ былъ какой-то особенный моментъ, когда могло совершиться такое дѣло. Жена смотрителя — женщина горячая, всегда суетится, спѣшитъ; задумаетъ что — все вдругъ; въ субботу смотритель и смотрительша ѣздили ко всенощной, въ сельскомъ часу: тутъ обыкновенно въ домѣ идетъ содомъ — смотрительша въ суетахъ, шумитъ, торопится... Смотритель *обыкновенно* самъ не свой, тоже какъ оглашенный... Все это было изслѣдовано и устроено такъ, что неграмотнаго малаго всунули къ смотрителю въ самый разгаръ сборовъ ко всенощной... Какъ и слѣдовало ожидать, смотритель, «обыкновенно въ это время какъ оглашенный», бормоталъ въ попыхахъ: «не «время», «не время»; его просили проэкзаменовать, потому что мальчику негдѣ жить и надо либо поступить сейчасъ на казенный счетъ, либо уѣхать назадъ. Смотритель, задавая какой-нибудь вопросъ, конечно въ попыхахъ, спрашивалъ: «Кто сотворилъ міръ?». Но жена не давала покою, и экзаменъ прерывался... Въ попыхахъ наконецъ смотритель, какъ бы выбывшись изъ силъ, сказалъ: «Ну, пусть остается...» И оба съ женой, еле переводя духъ отъ усталости,

by the person
live their right
scent's signature
pendation will

Я познакомился съ нимъ въ то время, когда онъ проживалъ у дальняго родственника изъ духовныхъ, верстахъ въ десяти отъ той деревни, гдѣ пришлось жить и мнѣ. Кто-то изъ заѣзжихъ крестьянъ, услышавъ, что въ контору требуется грамотный человѣкъ для переписки прошлагодныхъ счетовъ и отчетовъ, указалъ на Андрея Васильича, присовокупивъ, что парень этотъ больно добрый, только бы ему маленько съ дѣлами справиться...

Написали Андрею Васильичу записку съ предложениемъ работы, предложили рубль серебромъ въ сутки и сказали, что работы хватить на мѣсяцъ, а то и на два. Приѣхалъ онъ немедленно въ восторженномъ состояніи, съ множествомъ плановъ: главное—ѣхать учиться. По приѣздѣ, Андрей Васильичъ сейчасъ-же сѣлъ за работу, и недѣли двѣ подрядъ корпѣлъ надъ всевозможными счетами. Казалось, онъ ни о чемъ другомъ и не думаетъ, какъ только объ этихъ счетахъ, о томъ, чтобы рублей не записать въ копейкахъ; а если придется сходить куда-нибудь, такъ только по дѣламъ, все насчетъ тѣхъ-же цифръ, рублей и копѣекъ, а между тѣмъ его деревенское происхожденіе, его знаніе деревенской жизни, деревенскихъ рѣчей, манеръ, лицъ—все-таки сдѣлали то, что онъ въ эти двѣ недѣли не только зналъ деревню, но уже вошелъ и въ ея интересы. Припомните, какое значеніе въ жизни его имѣла деревня, и вы поймете, что не войти въ деревенскіе интересы для Андрея Васильича не было возможности. Прошло два мѣсяца; счета были окончены, а Андрей Васильичъ не могъ ѣхать, все дѣла, то то, то другое. Онъ продолжалъ *проживать*, т. е. спать и обѣдать кой-гдѣ, гдѣ застигнуть обстоятельства; въ то же время деревенская печаль, постоянно трогая его за сердце, понемногу втягивала да втягивала его въ самую ея глубину.

Свалился съ крыши человѣкъ, плотникъ, лежить и не дышетъ. Разумѣется, никто не знаетъ, какъ и чѣмъ помочь.

— Позови-ко Андрей-то Васильича!.. говорятъ народъ.

Андрей Васильичъ приходилъ. Оказывается необходимымъ спиртъ, нужна перевязка.

Сторожъ солдатъ, находящійся среди зрителей, объявляетъ, что у него есть напиримѣръ одна штука, и бѣжитъ за ней. Скоро онъ возвращается съ бутылкой, въ которой какая-то жидкость.

— На-ка, погляди, что такое? Стоитъ въ чужъ второй годъ: не то лекарство, не то что; ее знаетъ, что такое. Пробку обѣдаетъ и заливъ. А штука крѣпкая—одно слово!

Чего лучше! говорить въ толпѣ,—обдай ему то, оно жаромъ его почувствуетъ.

Былка дымится и точно обѣла пробку, но кое въ ней—никому не извѣстно.

Ишь, песь какой, лютая, шельма!.. толвъ толпѣ.

Андрей Васильичъ стараетъ со стыда: онъ не знаетъ, что за песь въ бутылкѣ, и хотъ ль на томъ, чтобы не поливали этой жидкости плотника, но горько пожалѣлъ о своемъ невѣжествѣ. Плотникъ очулся, а Андрей Васильичъ, разыскавъ какой-то старый лечебникъ, всецѣло отдался изученію его. Стыдъ незнанія, такъ осязательно доказанный ему жизнью, мучилъ его. Куда ни пойдеть—лечебникъ у него въ рукахъ.

— Что, Андрей Васильичъ, жена моя помираетъ быдто, говоритъ мужикъ.

— Чѣмъ она больна? давай, я по лечебнику...

— Да пушай ее помираетъ... Право!

— Какъ такъ, зачѣмъ?

— Не по душѣ мнѣ она... Пушай, не трожь ее, помираетъ! а то ей хуже будетъ... Изъ всѣхъ сердцовъ она меня выводитъ... потому—хитрая, язвенная женщина. Меня на ней насильно женили.

Идетъ рассказъ о насильственной женитьбѣ, о зломъ характерѣ жены, которая виновата тѣмъ, что не спросила у жениха до свадьбы—хочеть-ли онъ взять ее, а пошла съ перваго слова. Андрей Васильичу есть что сказать, хотъ все, что онъ говоритъ,—все вещи старыя, всѣмъ извѣстныя. Но тутъ въ деревнѣ онъ нуженъ.

— А лечить, все-таки лечи. Это нельзя. Поѣзжай къ фельдшеру, привези!

— Куда я въ такую погоду? Это и самъ замерзнешь.

— Поѣзжай непремѣнно!

— Да у меня лошадь споролась; играла да на колъ грудью наткнулась, на лѣвую переднюю не ступить.

— Да что же ты за чортъ послѣ этого! Безсовѣстный ты человѣкъ! Мало колотилъ ты ее, теперь бросилъ умирать, какъ собаку! Найми у мужика, ежели своей лошади нѣтъ.

— На что я найму? У меня и гроша за душой нѣту.

— Ну, такъ я тебѣ найму. Пойдемъ со мной!

— Да по мнѣ—наймай...

Андрей Васильичъ занимаетъ рубль серебромъ у мужика, члена банка. Мужикъ даетъ ему деньги и говоритъ:

— Ты вотъ что, Андрей Васильичъ, ты хошь и три возьми, да распутай ты меня съ банкой съ эстой! Вѣдь ночей не сплю. Народъ говоритъ:—«нажилъ»... Черти эдакіе! А я тебѣ, по чистой вотъ по совѣсти, какая бываетъ у человѣка совѣсть, наприхѣръ, чистая!..

— Ладно, ладно...

И еще разъ жизнь втянула Андрея Васильича

ской Землѣ. Неволя заставила его жениться, неволя заставила гнуть шею передъ батюшкой, передъ всѣмъ приходомъ, передъ каждымъ міровдомъ, и притомъ передъ каждымъ отдѣльно, на свой образецъ, гнуть изъ-за того, что у него семья, которую человекъ *не желалъ имѣть* (вотъ какія бывають на Руси положенія!), но которую нельзя бросать. Можете представить весь холодъ такого существованія, весь гнетъ униженія, всю громадность размѣровъ поруганія надъ человѣческимъ достоинствомъ! Андрей Васильичъ съ-дѣтства не слышалъ ничего, кромѣ горькаго, слезнаго ропота отца, матери, дѣтей на свое существованіе, на безвыходность и ужасъ этого существованія.

Всякому извѣстно, что причетникъ, съ семьей человекъ въ шесть, всегда бѣднѣй бѣднаго мужика; что для его дѣтей крестьянскій дворъ, гдѣ все свое, гдѣ никто его не согонитъ съ насиженнаго мѣста — предметъ зависти. Андрей Васильичъ до четырнадцати лѣтъ оставался неграмотнымъ; всѣ эти годы работалъ около дома, какъ работаетъ простой мужикъ; онъ зналъ, какъ ходить за скотиной, какъ ея убирать, пасты, зналъ, какъ пахать, боронять; радовался при урожаѣ, горевалъ — и горько — въ засуху; словомъ, вся крестьянская забота была ему такъ же близка, какъ и всякому крестьянину. Но, кромѣ этой заботы, онъ, какъ человекъ, поставленный въ худшія условія, чѣмъ любой крестьянскій мальчишъ, завидуя, изучилъ, примѣтилъ все хорошее въ крестьянскомъ житьѣ-бытьѣ, примѣтилъ потому, что въ его жизни этого не было. Мало того: какъ членъ семьи, которая то ожесточается на судьбу, то измученная покорно возлагаетъ надежды на Бога, онъ не разъ въ жизни, вмѣстѣ съ семьей, имѣлъ случай быть действительно спасаемымъ — и именно крестьяниномъ.

Въ глухую зимнюю ночь, во время отсутствія отца, который ушелъ въ городъ хлопотать о переводѣ въ другое мѣсто и не возвращался, и не шелъ домой цѣлый годъ, когда семья съѣла все, что было въ домѣ, когда ребята буквально «кричали» отъ голода, мать сказала маленькому Андрею: «пойдемъ!» И пошли они за господскіе амбары воровать... Андрей Васильичъ и до сей поры не забылъ этой ночи, этого ужаса, который охватилъ его душу отъ воя вѣтра, отъ страха быть пойманнымъ и отъ жгучаго стыда...

И вдругъ — Господь спасъ ихъ: «откуда ни возьмись» — крестьянинъ. Кажется, онъ темною ночью пробирался изъ лѣсу съ мірскими дровами... Онъ самъ зналъ нужду и сразу понялъ, зачѣмъ пономариха съ сыномъ толкуются за амбарами...

— Власьевна! сказалъ онъ тихо. — Что ты это?.. Парнишку заморозилишъ!.. Сажай его — доведу до дому.

Довезъ, далъ и дровъ, и хлѣба. Вуквадно спасъ.

Черезъ годъ отъ отца пришло письмо: оказалось, что онъ получилъ мѣсто уже въ другой губерніи, куда пошелъ пѣшкомъ, а не писалъ потому, что писать было нечего — не можешь. Цѣлый годъ онъ по грошамъ собиралъ деньги на переѣздъ семьи и теперь вотъ посылаетъ десять рублей. Онъ знаетъ, что за эти деньги нельзя до-

бывать: такъ далеко онъ забрался; но писать, что больше нѣтъ, достать негдѣ, «какъ знаетъ, больше моихъ силъ нѣтъ!» На переѣздъ за однихъ только лошадей требовалась сумма, по крайней мѣрѣ разъ въ семь болѣе присланной; и что же? — опять Богъ спасъ, и опять въ лицѣ крестьянина: нашелся человекъ, «пришелъ самъ», который взялся отвезти и за десять рублей — ради Христа потрудиться... Отвезъ, да еще всю дорогу, около мѣсяца, Богъ его вѣдаетъ какъ, кормилъ семь человекъ...

Немного, правда, было такихъ случаевъ въ жизни Андрея Васильича; но то, что было, оставляло слѣды неизгладимыя, вѣковичныя, на-вѣки посѣвало въ сердца впечатлѣніе красоты души этого закорюзалаго, грубаго, безжалостнаго крестьянина... Такимъ образомъ Андрей Васильичъ зналъ крестьянина, какъ человекъ подневольный, *больше*, чѣмъ крестьянинъ зналъ самъ себя; онъ зналъ его и грубость, и безпечальность, и желаніе гнуть въ дугу; но зналъ и силу крестьянскаго великодушія, и доброту, и пониманіе чужой нужды, бѣды...

На четырнадцатомъ году отецъ хотѣлъ отдать его къ мужику въ кузню, въ ученики. Мать заступилась и, послѣ цѣлаго мѣсяца жестокихъ ссоръ съ отцомъ, настояла на томъ, чтобы везти неграмотнаго, уже четырнадцати-лѣтняго мальчишка въ духовное училище. Въ городѣ, въ семинаріи, у Андрея Васильича былъ братъ, тоже съ-дѣтства измученный нуждой и уже знавшій, что будущая жизнь его — та же нужда, такъ какъ сердце говорило ему, что отецъ недолго наживетъ, что семья только и надѣется на него. И вотъ ему предстоитъ уже помочь семьѣ: помѣстятъ въ училище неграмотнаго парня... Какія все задачи достаются на долю этихъ тружениковъ! Какъ, въ самомъ дѣлѣ, помѣстятъ неграмотнаго въ училище, гдѣ требуется экзаменъ? Но находятся добрые люди, совѣтуютъ, «выбираютъ время», и Андрей Васильичъ попадаетъ въ училище...

Выбранъ былъ какой-то особенный моментъ, когда могло совершиться такое дѣло. Жена смотрителя — женщина горячая, всегда суетится, спѣшитъ; задумаетъ что — все вдругъ; въ субботу смотритель и смотрительша ѣздили ко всенощной, въ седьмомъ часу: тутъ обыкновенно въ домѣ идетъ содомъ — смотрительша въ суетахъ, шумитъ, торопится... Стотритель *обыкновенно* самъ не свой, тоже какъ оглашенный... Все это было изслѣдовано и устроено такъ, что неграмотнаго малаго всунули къ смотрителю въ самый разгаръ сборовъ ко всенощной... Какъ и слѣдовало ожидать, смотритель, «обыкновенно въ это время какъ оглашенный», бормоталъ въ попыхахъ: — «не время», «не время»; его просили проэкзаменовать, потому что мальчику негдѣ жать и надо либо поступить сейчасъ на казенный счетъ, либо уѣхать назадъ. Смотритель, задавая какой-нибудь вопросъ, конечно въ попыхахъ, спрашивалъ: «Кто сотворилъ міръ?». Но жена не давала покою, и экзаменъ прерывался... Въ попыхахъ наконецъ смотритель, какъ бы выбившись изъ силъ, сказалъ: «Ну, пусть остается...» И оба съ женой, еле переводя духъ отъ усталости,

уѣхали ко всенешной, а неграмотный былъ при-
нять

Семинарскаго житія-бытія Андрея Васильича я описывать не буду. Труженикъ-братъ на своихъ плечахъ вынесъ его изъ бѣды, которая ежеминутно могла разразиться, ежели бы открылся обманъ. Работая до упаду днемъ надъ своими уроками, онъ по ночамъ работалъ съ братомъ: одновременно онъ учился читать и писать, и навзрустъ, со словъ брата, выучивалъ всѣ заданные уроки. Черезъ годъ такой муки Андрей Васильичъ наконецъ справился, сталъ настоящимъ, не поддѣльнымъ ученикомъ, пошелъ по обыкновенной семинарской дорогѣ, и пошелъ хорошо.

3.

Я познакомился съ нимъ въ то время, когда онъ проживалъ у дальняго родственника изъ духовныхъ, верстахъ въ десяти отъ той деревни, гдѣ пришлось жить и мнѣ. Кто-то изъ заѣзжихъ крестьянъ, услышавъ, что въ контору требуется грамотный человѣкъ для переписки прошлагодныхъ счетовъ и отчетовъ, указалъ на Андрея Васильича, присовокупивъ, что парень этотъ больно доберъ, только бы ему маленько съ дѣлами справиться...

Написали Андрею Васильичу записку съ предложеніемъ работы, предложили рубль серебромъ въ сутки и сказали, что работы хватитъ на мѣсяцъ, а то и на два. Пріѣхалъ онъ немедленно въ восторженномъ состояніи, съ множествомъ плановъ: главное—вѣхать учиться. По пріѣздѣ, Андрей Васильичъ сейчасъ-же сѣлъ за работу, и недѣли двѣ подрядъ корпѣлъ надъ всевозможными счетами. Казалось, онъ ни о чемъ другомъ и не думаетъ, какъ только объ этихъ счетахъ, о томъ, чтобы рублей не записать въ копѣйкахъ; а если придется сходить куда-нибудь, такъ только по дѣламъ, все насчетъ тѣхъ-же цифръ, рублей и копѣекъ, а между тѣмъ его деревенское происхождение, его знаніе деревенской жизни, деревенскихъ рѣчей, манеръ, лицъ—все-таки сдѣлали то, что онъ въ эти двѣ недѣли не только зналъ деревню, но уже вошелъ и въ ея интересы. Припомните, какое значеніе въ жизни его имѣла деревня, и вы поймете, что не войти въ деревенскіе интересы для Андрея Васильича не было возможности. Прошло два мѣсяца; счета были окончены, а Андрей Васильичъ не могъ вѣхать, все дѣла, то то, то другое. Онъ продолжалъ *проживать*, т. е. спать и обѣдать кой-гдѣ, гдѣ застигнуть обстоятельства; въ то же время деревенская печаль, постоянно трогая его за сердце, понемногу втягивала да втягивала его въ самую ея глубину.

Свалился съ крыши человѣкъ, плотникъ, лежитъ и не дышетъ. Разумѣется, никто не знаетъ, какъ и чѣмъ помочь.

— Позови-ко Андрей-то Васильича!.. говоритъ народъ.

Андрей Васильичъ приходилъ. Оказывается необходимымъ спиртъ, нужна перевязка.

Сторожъ солдатъ, находящійся среди зрителей, объявляетъ, что у него есть напимѣръ одна штука, и бѣжить за ней. Скоро онъ возвращается съ бутылкой, въ которой какая-то жидкость.

— На-ка, погляди, что такое? Стоить въ чужланѣ ужъ второй годъ: не то лекарство, не то что; пѣсь ее знаетъ, что такое. Пробку объѣдаетъ и дымы валить. А штука крѣпкая—одно слово!

— Чего лучше! говорятъ въ толпѣ,—обдай ему спину-то, оно жаромъ его почувствуется.

Бутылка дымится и точно объѣла пробку, но что такое въ ней—никому не извѣстно.

— Ишь, пѣсь какой, лютая, шельма!.. толкуютъ въ толпѣ.

А Андрей Васильичъ сгараетъ со стыда: онъ также не знаетъ, что за пѣсь въ бутылкѣ, и хотъ настоялъ на томъ, чтобы не поливали этой жидкостью спины плотника, но горько пожалѣлъ о своемъ невѣжествѣ. Плотникъ очнулся, а Андрей Васильичъ, разыскавъ какой-то старый лечебникъ, всецѣло отдался изученію его. Стыдъ незнанія, такъ осязательно доказанный ему жизнью, мучилъ его. Куда ни пойдетъ—лечебникъ у него въ рукахъ.

— Что, Андрей Васильичъ, жена моя помираетъ быдто, говорить мужикъ.

— Чѣмъ она больна? давай, я по лечебнику...

— Да пушай ее помираетъ... Право!

— Какъ такъ, зачѣмъ?

— Не по душѣ мнѣ она... Пушай, не трожь ее, помираетъ! а то ей хуже будетъ... Изъ всѣхъ сердцовъ она меня выводитъ... потому—хитрая, извѣстная женщина. Меня на ней насильно женили.

Идетъ рассказъ о насильственной женитьбѣ, о зломъ характерѣ жены, которая виновата тѣмъ, что не спросила у жениха до свадьбы—хочеть-ли онъ взять ее, а пошла съ перваго слова. Андрей Васильичу есть что сказать, хотъ все, что онъ говорить,—все вещи старыя, всѣмъ извѣстныя. Но тутъ въ деревнѣ онъ нуженъ.

— А лечить, все-таки лечи. Это нельзя. Поѣзжай къ фельдшеру, привези!

— Куда я въ такую погоду? Это и самъ замернешь.

— Поѣзжай непременно!

— Да у меня лошадь споролась; играла да на колъ грудью наткнулась, на лѣвую переднюю не ступить.

— Да что же ты за чортъ послѣ этого! Безсовѣстный ты человѣкъ! Мало колотилъ ты ее, теперь бросаешь умирать, какъ собаку! Найми у мужика, ежели своей лошади нѣтъ.

— На что я найму? У меня и гроша за душой нѣту.

— Ну, такъ я тебѣ найму. Пойдемъ со мной!

— Да по мнѣ—нанимай...

Андрей Васильичъ занимаетъ рубль серебромъ у мужика, члена банка. Мужикъ даетъ ему деньги и говоритъ:

— Ты вотъ что, Андрей Васильичъ, ты хошь и три возьми, да распутай ты меня съ банкой съ зстой! Вѣдь ночей не сплю. Народъ говоритъ:—«нажилъ»... Черти эдакіе! А я тебѣ, по чистой вотъ по совѣсти, какая бываетъ у человѣка совѣсть, напимѣръ, чистая!..

— Ладно, ладно...

И еще разъ жизнь втянула Андрея Васильича

въ маленькое, но серьезное дѣло—въ семейную драму... Поправившись, больная идетъ къ нему благодарить, и рассказываетъ, что во время болѣзни родные, мать родная и сестры, выбрали у нея изъ сундука все до нитки: «думали, умру!» «Мужъ въ ту пору тоже моей смерти дожидался, а теперь вотъ, когда Богъ помогъ встать, застунуться сталъ». Мужъ точно сталъ совсѣмъ другой: горой стоитъ за жену или за имущество — неизвѣстно. И опять Андрею Васильичу, какъ человѣку деревенскихъ интересовъ, нельзя не вступиться въ дѣло.

4.

Покуда онъ участвуетъ во всѣхъ семейныхъ сходкахъ, покуда онъ съ величайшими усилиями добивается «уступокъ», т. е. покуда, благодаря ему, родители возвращаютъ взятые вещи, возвращаютъ медленно, съ промежутками, по полотенцу, по парѣ чулокъ, народный говоръ тянетъ его въ банкъ: «разбери!» Но, прежде нежели взяться за дѣло и разобрать, какъ слѣдуетъ, надо отдать рубль себромъ члену, котораго обвиняютъ въ растратѣ. Андрей Васильичъ рѣшается наняться на эту работу у товарищества. Происходить самый обыкновенный наемъ.

— Много-ль тебѣ надо-то?

— Да вы дайте мнѣ, чтобъ хватило и на ѣду, и на табакъ.

— Много-ль?

— Да рубль восемь.

— Это въ годъ, что-ли?

— Какъ въ годъ, въ мѣсяцъ!

— У-у-у, ты Боже мой! Куды этакую прорву... Это и совсѣмъ банку пристановить надо... Табакъ на столько рублей!..

— Дураки вы этакіе! кричить ктонибудь изъ тѣхъ, кто разслышалъ, въ чемъ дѣло.— И на пишу, и на табакъ.

— Больно жирно восемь-то рублей... Этакъ по восьми-то рублей будемъ продавать, такъ намъ и съ банкой надо по міру пойти.

— Да вы сосчитайте, много-ли я прошу-то.

— Клади на счетахъ! Давай счета! Это лучше всего!

— Онъ тебѣ на орокъ насчитаетъ! Счета-то велики!

— Клади, клади!... Вудетъ гадѣть, дьяволы! Раздается стукъ счетъ.

— Клади, говоритъ, Андрей Васильичъ: — на харчи хоть по пятнадцати копѣекъ въ сутки...

— Куды—столько! Это раззоръ...

— Да ты скажи, горячася вопіетъ Андрей Васильичъ:—почемъ говядина? Ну, почемъ фунтъ мяса?.. Ну?

— Тенерь, поди, постъ!

— Я говорю: ты скажи цѣну? Какая цѣна?

— Ну, три копѣйки...

— Ну, три фунта—девять...

— Да это лопнешь съ трехъ-то фунтовъ...

— Лопну или не лопну—это дѣло мое! А меньше трехъ фунтовъ мнѣ въ день нельзя. Попадется вость—въ ней тоже фунтъ цѣлый пропадетъ въсу-то.

— Вѣрно! раздается голосъ.

— За три заплати, а ужъ трехъ фунтовъ никогда не принесешь.

— Вѣр-р-р-а! утверждаютъ нѣсколько голо-совъ.

— Такъ какъ же ты хочешь, чтобы на обѣдъ и на ужинъ хватило меньше трехъ фунтовъ! съ горькимъ упрекомъ говоритъ Андрей Васильичъ.

— Что ты его слушаешь, раздаются сочувственные голоса.—Онъ самъ не знаетъ, чтъ у него языкъ болтаетъ... Ладно! Вери на три фунта—чего тамъ, авось не проѣшь.

Едва улаживается дѣло съ мясомъ, какъ вопросъ о курительномъ табакѣ вновь поднимаетъ цѣлую бурю, и, только послѣ весьма продолжительныхъ преній, оранья, брани, перекоровъ, дѣло рѣшается въ пользу Андрея Васильича.

— Ладно! Пуцай! говорятъ одни.

— Шутъ съ нимъ! заканчиваютъ дѣло другіе.

И Андрей Васильичъ принимается за работу. Оказывается необходимымъ разобрать не только книги послѣдняго года, но всѣ банковыя дѣла съ основанія, причѣмъ въ теченіе послѣднихъ двухъ-трехъ лѣтъ оказывается такая путаница, которую, кажется, нѣтъ никакой возможности разобрать, если основывать все дѣло на писанныхъ документахъ и записяхъ. Записи, вродѣ напримѣръ: «дано въ кабакъ 10 р.» или «Миридоновъ за 22 фун. по 13 к. за вичину брата опсыткахъ: повернуть въ оборотныя» и т. д., безъ означенія года, мѣсяца и числа,—записи, однако свидѣтельствующія о томъ, что въ кабакъ дѣйствительно дано, а Миридонова ветчина тоже дѣйствительно зачислена въ оборотныя—все это требовало другихъ, не писанныхъ документовъ и разъясненій. Необходимы были словесныя объясненія, разспросы и о ветчинѣ, и о Миридонѣ, и о кабакѣ. Необходимо было по-этому перезнакомиться не съ одной, а съ двадцатью деревнями, необходимо было развѣзжаться по этимъ деревнямъ, ночевать въ избахъ, разспрашивать и Миридона, и миридоновскихъ односельчанъ. При этомъ обнаруживается такая масса пріятныхъ и отталкивающихъ вещей, что знаніе народной среды, прибрѣтенное въ дѣтствѣ и отрочествѣ, дѣлается у Андрея Васильича еще шире. «Нѣтъ, рѣшается онъ:—сюда надо явиться во всеоружіи знанія и опыта, а дѣла здѣсь—нѣтъ числа!» И мысль о знаніи мучить его. Дорabатывая банковое дѣло, онъ только и думаетъ о томъ, хватить-ли у него денегъ на пароходъ...

Наконецъ дѣло окончено: выяснены всѣ темныя мѣста, всѣ пропуски; все записано вполнѣ, на основаніи всевозможныхъ справокъ; съ громадными усилиями достигнуто то, что изъ кармана лицъ, заведывавшихъ банкомъ, были возвращены и 10 р. данные въ кабакъ, и деньги за Миридонову ветчину, словомъ—выяснена вся сума недочета. и по возможности съ ругательствами, бранью, проклятіями возвращена въ банковую кассу... Дѣло сдѣлано старательно, справедливо, ничего не утаено. Лучше всѣхъ объ этомъ знаютъ виновные, и по окончаніи Андреемъ Васильичемъ работы, чувствуя, что худое дѣло какъ-никакъ, а снято съ нѣ

плечь, виновные въ банковыхъ безпорядкахъ начинаютъ относиться къ нему съ искреннѣйшей благодарностью. Они знаютъ, что могло быть и хуже, что, не смотря на то, что Андрей Васильичъ, кажется, уже до всего доходилъ, а въ самомъ дѣлѣ-то до корня не добрался, а безъ него — кто станетъ добираться? Такого другого человѣка не найти. Стало быть, самый корень-то такъ и останется въ забвеніи.

— Спасибо тебѣ, вотъ какое спасибо, искреннѣйшимъ образомъ говоритъ одинъ изъ виновныхъ. — Оправилъ ты меня!.. Я ужъ думалъ — Сибирь мнѣ... Пойдемъ!..

— Нѣтъ, не хочу!

— Съ медомъ! Ну, сдѣлай милость, пойдемъ!

Другой, тоже изъ числа оправленныхъ, зоветъ къ себѣ:

— А оттедова ко мнѣ, бражкой угошу! ужъ какъ мы тобой довольны, вотъ тебѣ передъ Богомъ...

Не хорошо на душѣ у Андрея Васильича. Знаетъ онъ, что люди эти не разъ, во время банковской работы, оставляли у него на душѣ тяжелое, обидное впечатлѣніе.

— Обругать-бы тебя надо, Игнатій Петровичъ! говоритъ онъ одному изъ «оправленныхъ»: — а не чай пить.

— Ну, будетъ! Знаю я! Оставь это, сдѣлай милость, пойдемъ!

— Да и тебя, Капитонъ Васильичъ! И у тебя рыльце въ пушку! Ужъ извини...

— Мы что знаемъ? наввннчаетъ Капитонъ Васильичъ: — мы нешто грамотные? Тамъ писаря напишутъ Богъ вѣсть что, а мы отвѣчай... Нашего брата и такъ ужъ пилили-пилили... Я съ этой банки — ночей не спалъ... Богъ съ ней и съ банкой! А доволенъ я, что по крайности ты меня выправилъ! Кабы помень ты съ меня начету взялъ, я-бъ тебя, вотъ передъ Богомъ тебѣ говорю, не то чтобы бражкой, а самымъ что ни-на-есть... да ужъ больно ты меня деньгами-то наказалъ...

— Мало, мало, Капитонъ Васильичъ!

— Да бббу-детъ вамъ, Христа ради! умоляетъ первый изъ виноватыхъ. — Пойдемъ чай-то пить, шутъ съ ней и съ банкой!

— Нѣтъ, погоди... Вотъ онъ жалуется, что съ него много взято.

— Да пушай его жалуется! Перестанетъ...

— Да я и не жалуюсь. Благодаримъ, молъ, покорно... Оправили... Ну, маленько многовато бытто.

— Нѣтъ, маловато, Капитонъ Васильичъ! Давай я тебѣ на счетахъ докажу..

— Нешто мы что знаемъ? На счетахъ все можно...

— Н-ну нѣтъ, братъ! сердясь уже, произноситъ Андрей Васильичъ.

— То-то мы не понимаемъ эфтого. А представляется нашему уму глупому — бытто лишки. Да это что ужъ! Богъ съ ними, не про это!.. А что благодаримъ — больше ничего.

Андрей Васильичъ не можетъ не волноваться. Капитонъ хоть и говоритъ своимъ рѣчи улыбаясь, но очевидно имѣетъ противъ него зубъ, неудоволь-

ствіе и будетъ питать его непрестанно, сколько ему не разъясняй, не растолковывай. Это одинъ изъ упорныхъ деревенскихъ злоповъ, смиренный, подхалимоватый, но злопамятный человѣкъ. У Андрея Васильича, знакомаго все это и не разъ выводящаго изъ всякаго терпѣнія людьми этого сорта, закипаетъ желаніе во что-бы то ни стало убѣдить этого злоца, сломить это упорное отстаиваніе явной неправды, про которую знаетъ самъ Капитонъ. да не хочетъ сознаться.

— Нѣтъ, говоритъ Андрей Васильичъ: — ты меня, Капитонъ Васильичъ, ужъ пожалуйста не благодарю, сдѣлай милость. А вотъ что я тебѣ скажу. Я было-собрался уѣзжать, думалъ, что дѣло это кончено; ну, а теперь останусь... Давай опять всѣмъ міромъ провѣрять книги.

— Что ты! Что ты! вотъ еще затѣвашь! вопиютъ оба оправленные въ одинъ голосъ. Ну ее къ Богу!

— Нѣтъ! задѣтый за живое, говоритъ Андрей Васильичъ: — давай сызнава. Говори, на чемъ тебя обсчитали?

— Да будетъ тебѣ! Врось ты его, лысаго дурака!

— Ну — въ чемъ? пристаётъ Андрей Васильичъ.

— Али захотѣлъ, чтобы хуже было? А какъ накажутъ на твою лысину еще съ полсотни — лучше будетъ?

— Да, Господи помилуй! Нешто я жалуюсь! ужъ вполне виноватымъ тономъ произноситъ Капитонъ. — Что вы это! Я только такъ, молъ... Что вы насъ, дураковъ, слушаете? Я нешто — что?.. Опять считать! Нѣтъ, ужъ увольте, и такъ она вонъ гдѣ, банка-то...

— А надо-бы тебя, Капитонъ Васильичъ, поприжать! Погоди! Ей-богу, я опять засяду. Я сорокъ рублей записалъ на жалованье письмоводителю, то есть будто-бы себѣ, а вѣдь эти деньги прямо надо съ тебя взять.

— Помилуй, что ты! Господи Боже мой! Чай, и этого будетъ! Еще сорокъ! Нѣтъ ужъ, сдѣлай милость, ты это оставь...

Капитонъ начинаетъ ужъ умолять. Андрей Васильичъ доказываетъ ему, что онъ не будетъ вновь поднимать этого дѣла потому только, что ему надо ѣхать, а то-бы слѣдовало пробрать Капитона Васильича и не такъ... Дѣло кое-какъ улаживается. Андрей Васильичъ чувствуетъ, что онъ дѣлалъ дѣло правильно. какъ могъ, никому не померволилъ, и что протестъ Капитона онъ, по совѣсти, имѣетъ право оставить безъ вниманія, хотя знаетъ, что Капитонъ, испуганный перспективою переучета, только притворился вполне удовлетвореннымъ и что ушелъ онъ домой все-таки со злобой въ сердцѣ.

5.

Надо, надо ѣхать... На будущее-желѣто Андрей Васильичъ воротится сюда-же, здѣсь много у него образовалось связей, знакомства: — куда-жъ ему возвращаться-то, какъ не сюда? И гдѣ онъ такъ много работалъ, гдѣ въ немъ такъ нуждались, какъ здѣсь?

Онъ совѣмъ собрался; только денегъ не хватаетъ... Вопросъ о деньгахъ только-что было-началъ возникать въ ряду его размышленій, какъ случилось новое, совершенно деревенское обыкновен-

нѣйшее обстоятельство, которое одмако заставило сразу забыть и поѣздки, и вопросъ о деньгахъ, и опять потянуло въ глубину, въ темъ деревенской жизни.

Явилась сплетня и неправда.

— Скоро-ль ѣдешь-то? спрашиваютъ его, дня черезъ два послѣ окончанія банковскихъ дѣлъ, одинъ изъ мужиковъ-пріятелей.

— Да вотъ не знаю... Скоро, я думаю...

— А тамъ про тебя и невѣсть что болтаютъ! — Мужикъ-пріятель махаетъ рукой.

— Что такое?

— Галдятъ, не приведи Богъ что!

— Что же именно галдятъ-то?

— Сказываютъ такъ, бытто подѣлили вы съ опрaвленными-то не малые барыши... Онъ бытто тебѣ денегъ отвалилъ... Былъ ты у него опосля банки?

— Былъ.

— Пилъ чай?

— Пилъ.

— А послѣ на пчельникъ поѣхали?

— Да, ѣздили на пчельникъ.

— Давалъ онъ тебѣ тамъ деньги?

— Давалъ.

— Ну вотъ!..

Андрей Васильича сразу хватаетъ за сердце послѣ этого «ну вотъ!» сказаннаго его хорошими пріятелемъ такимъ тономъ, который давалъ этой фразѣ необычайно оскорбительный смыслъ: — «ну, такъ стало быть, не даромъ они галдятъ-то»... Вотъ какой смыслъ таился въ этомъ краткомъ — «ну вотъ».

— Да вѣдь это я съ него восемь рублей за послѣдній мѣсяцъ получилъ.

— Поди, толкуй съ ними!

— Да вѣдь я нанимался къ нимъ за восемь рублей! Вѣдь они же должны помнить это?

— Да, такъ они и стануť разбирать!.. Много они понимаютъ .. Имъ нешто что... Получалъ деньги — вотъ те и все... Нешто ты ихъ урезонишь? Вонъ, еще говорятъ, на Миридоновой вичинѣ Капитона обсчитали... Насчитали по 13-ти конфетъ, а она по 11-ти съ половиною. Свидѣтель показываетъ на тебя, какъ деньги-то бралъ... А дали, три-ли рубля Капитоновыхъ не приписано, а онъ изъ своихъ проѣздилъ на извозчикѣ въ городъ... значитъ, по банскимъ дѣламъ... А съ того, что вы подѣлились-то вѣстѣ, не взялъ лишковъ-то, потому заодно... Ты бралъ у него лошадей?

— Когда?

— А онамени, мѣсяца съ четыре назадъ?

— Это за фелдшерницей-то ѣздили?

— Да ужъ зачѣмъ тамъ не ѣздили .. Бралъ? говорю.

— Бралъ.

— Ну вотъ!..

И опять это «ну вотъ!» бьетъ прямо въ сердце. На этотъ разъ въ немъ слышится нѣчто другое: «Вотъ вѣдь все такъ выходитъ!».. какъ будто-бы начиная подозрѣвать, думаетъ мужикъ-пріятель, говоря свое «ну вотъ»...

— Ну вотъ, продолжаетъ онъ: — они и болтаютъ, бытто у васъ съ нимъ давнымъ-давно шуры-муры!.. Да про бабу, про эту...

— Про какую бабу?

— Ну вотъ, что больная-то была .. Еще лечилъ-то, а опосля того имущество ейное выхлопывалъ... И про бабу тоже болтаютъ, что, молъ, отецъ ея тоже въ банкѣ, а съ него нѣту начету... Да мало-ли тамъ! закончилъ пріятель свою бесѣду, вновь махая рукой. — Ихъ, чертей, нешто переслушаешь! У нихъ -- поди ко!

Андрей Васильичъ очень хорошо уже зналъ, что обнаружить свое негодованіе — значить усилить даже въ пріятель-мужикѣ всевозможныя подозрѣнія; зналъ онъ также, что разъяснить дѣло тихимъ манеромъ — тоже вещь бесполезная, ибо ровнѣ ничего и никому не разъяснишь, да и никто не нуждается въ разъясненіи, такъ какъ галдѣніе это имѣетъ совершенно опредѣленную цѣль, именно: мірѣды и коштаны желаютъ сорвать съ одного изъ «оправленныхъ» по банковому дѣлу могоарычи (по степному «давасы»), и тѣмъ болѣе надѣются ихъ сорвать, чѣмъ срамота, пущенная про него, будетъ больше по размѣрамъ, чѣмъ больше будетъ осрамлено людей, которые за свой срамъ, благодаря все тому же одному лицу, конечно навалатся на это лицо съ гнѣвомъ, бранью, такъ что въ концѣ концовъ, какъ ни крѣпился, а опозориваемый и ругаемый человекъ долженъ-таки будетъ согласиться на такую питейную жертву, размѣръ которой пожелаютъ господа посрамители.

Все это Андрей Васильичъ зналъ; зналъ онъ, что его сраматы, такъ сказать, по пути, чтобы, осрамленный, онъ самъ сорвалъ зло на виновникѣ всей путаницы; зналъ, что и бабу приплетаютъ сюда и позорятъ ее — все для того же, чтобы отецъ бабы, вступившись и за свою, и за дочерину обиду, также бы не обошелъ безъ ненависти все того же единственнаго виновника. Зналъ Андрей Васильичъ, что все это дѣло, несмотря ни на что, непременно должно кончиться могоарычами, такъ какъ виновника, окружа со всѣхъ сторонъ, «припрутъ» всевозможными способами, и т. д., и вѣстѣ съ тѣмъ онъ также зналъ, что всю эту исторію можно прекратить мгновенно — стоитъ только дать свои восемь рублей виновнику (который будетъ упирается до тѣхъ поръ, пока хватить силъ), и пусть онъ удовлетворитъ господъ мірѣдовъ... Но справедливо ли это? Честно-ли? И кромѣ того, развѣ это не явное подтвержденіе всѣхъ сплетенъ!

— Нѣтъ, подумалъ Андрей Васильичъ: — такъ оставить этого нельзя. Онъ зналъ, что нѣтъ никакой возможности и разъяснить, и опровергнуть распускаемыхъ сплетенъ; поэтому, говоря себѣ «нельзя», онъ имѣлъ въ виду не разрушеніе этихъ сплетенъ и не опроверженіе ихъ, а ненависть, уже успѣвшую въ немъ воспитаться, ко владычеству мірѣдовъ и кулаковъ, къ выработаннымъ ими приемамъ, помощью которыхъ они гнетутъ и обираютъ міръ. Имъ, т. е. главнымъ дѣйствующимъ лицамъ этой механики, нужно только сорвать съ человека водку — ничего больше. Сколько они пускали и пускаютъ въ ходъ для этого всякой гадости, клеветы, лжи и обмана! Сколько напускаютъ они въ сознаніе народа всякаго тумана, къ какиимъ подлымъ взгля-

дамъ приучаютъ его! Все это сразухватило Андрея Васильича, и онъ рѣшился обнаружить, вывести на свѣжую воду если не всѣ—на это не хватить силъ—то хоть что нибудь изъ этихъ продѣлокъ, показать добродушнымъ мірянамъ, въ чемъ сила этихъ деревенскихъ умниковъ и авторитетовъ, осрамить ихъ такъ, чтобы самому малому ребенку стала ясна ихъ гнусная суть.

Какая-же тутъ поѣздка?.. Нѣтъ! тутъ есть надѣтъмъ поработать!

Андрея Васильича «взяло за живое». Предстоящая работа ничѣмъ не напоминала той, которая занимала его до сихъ поръ; это—не утомительное банковое подсчитываніе, не безстрастное разспрашиваніе о разныхъ разностяхъ, касавшихся банка, не леченіе наконецъ. Нѣтъ: въ предстоящемъ дѣлѣ слѣдовало быть мудрымъ, яко змій, и кроткимъ, какъ голубь. Это было дѣло высшей политики. Необходимъ былъ тончайшій расчетъ, чтобы не обнаружить плана, чтобы напасть врасплохъ, необходимы были факты и люди, готовые своимъ словомъ поддержать ихъ на міру. Предстояла настоящая парламентская борьба. Говоримъ это совершенно серьезно, такъ какъ парламентскіе приемы, подвохи, подходы отлично разработаны деревней; разработаны особенно потому, что въ большинствѣ случаевъ результатъ ихъ—выпивка.

6.

Здѣсь кстати сказать два слова о коштаныхъ и мірьдахъ, властвующихъ надъ современной деревней. Коштанъ—человѣкъ, который живетъ на мірской «коштѣ»: міръ его «коштуетъ», кормитъ... Между мірьдомъ и коштаномъ существуетъ значительная разница. Мірьдъ ѣстъ міръ тѣмъ, что поровнитъ его нравственно напугать, придавить. Ему мало, чтобы на него работали за долгъ, мало запугать человѣка изъ за нужды и нажить его трудами: онъ еще желаетъ держать въ рукахъ совѣсть деревенскаго человѣка. На сходкахъ онъ поровнитъ осрамить провинившагося человѣка такъ, чтобы тотъ не зналъ, куда дѣться, и потомъ, за вино конечно, помилуется, но такъ помилуется, что помилованный будетъ «чувствовать» свою зависимость отъ помиловавшаго. Мірьдъ—это самозванный судья, грозный отецъ деревни (такова его цѣль), безпощадный каратель всякаго *дурного* поступка... Отъ него, отъ его слова зависитъ, чтобы человѣка навѣкъ осрамили, наиримѣръ выпоровъ его на сходкѣ. Мірьдъ—настеръ стыдить, усовѣщивать, обличать; онъ постоянно стоитъ горой за міръ, за мірской интересъ, за божескую правду и этими приемами затыкаетъ міру ротъ. Всякій, на кого обрушился его гнѣвъ, нарушилъ именно мірской интересъ и божескую правду; онъ не церемонится въ выраженіяхъ—ругательски ругаетъ виновнаго; онъ такъ возмущенъ его поступкомъ, что не беретъ ему наказанія. «Драть тебя мало, такой-сякой, рразоритель, воръ ты безсовѣстный!» И, помиловавъ его, онъ опять ругается: «Вотъ только срами тебя не хочется, мошенника, ради твоего сиротства, каналья этакая, безумная... А т-то бы тебя, шельму этукую»... и т. д. Помилованіе послѣ-

соч. гл. усненскаго. т. II.

довало вслѣдствіе обѣщанія вина. Какъ это дѣлается—читатель увидитъ ниже. На такого человѣка работаютъ даромъ, безъ всякаго долга, потому строгъ и золъ, какъ чортъ; мірьда ненавидятъ всѣ; но всѣ боятся, какъ огня, потому что это такой человѣкъ, который не побоялся и не задумается погубить ближняго—только попробуй ему поперечить. Онъ силенъ, необыкновенно силенъ тѣмъ, что подрываетъ у человѣка, понавшагося ему въ лапы, вѣру въ самого себя, ослабляетъ его духовную дѣятельность, потому что осуждаетъ его во имя высочайшей справедливости (онъ знаетъ не хочетъ никакихъ смягчающихъ обстоятельствъ), а оправдываетъ также во имя безпредѣльнаго милосердія. Человѣкъ уходитъ, чувствуя себя подавленнымъ нравственно, не смотря на оправданіе.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что больше всего отъ этого грома небеснаго терпѣть простой, простодушный человѣкъ, не знающій, по неопытности, всѣхъ парламентскихъ махинацій во имя «срыва» и кабака. Такихъ людей въ деревнѣ много, громадное большинство. Подавленный своимъ домашнимъ хозяйствомъ, своей домашней работой, такой человѣкъ не входитъ во всѣ подробности парламентскихъ затѣй: онъ знаетъ, что тамъ есть старики, которые рѣшаютъ дѣла. Вино мірское онъ ходитъ пить—это правда, потому вино—вещь хорошая, а во всѣхъ прочихъ дѣлахъ слушаетъ стариковъ: «чужскій они рѣшаютъ ихъ, какъ знаютъ—у меня и своего дѣла не передѣлаешь». Вотъ такихъ-то простаковъ, составляющихъ въ деревнѣ почти всю рабочую силу (они на своихъ плечахъ выносятъ желающихъ отдохнуть подъ старость родителей, стариковъ и старухъ, выносятъ почти всѣ платежи), такихъ не знающихъ порядка работниковъ міръ и учитъ въ лицѣ мірьдодъ.

Вотъ укралъ такой простакъ мірскаго лѣсу и укралъ онъ также по наивности и даже изъ явной жалости къ мірскому добру:

— Я-бы попросилъ у міра, говоритъ такой воръ, — да вѣдь виѣстъ со мной двадцать человѣкъ, кому и не нужно, выпросать...

Какъ-то невольно вѣрится этому объясненію. Но если-бы даже онъ укралъ и потому, что не надѣялся на мірское разрѣшеніе, а нужда была ему крайняя, то все-таки такой простакъ нѣкоимъ образомъ не могъ ожидать того сраму, той всеобщей жажды (возбуждаемой мірьдомъ) осрамить его, стереть съ лица земли, какая обрушивается на его голову.

«Поймали, поймали!» вопіетъ вся деревня, и съ позоромъ тащитъ «вора» на сходъ.

Здѣсь мірьды дѣлаютъ свое дѣло. Страшно смотрѣть на бѣднаго простака, въ буквальный смыслъ «потрясаемаго» необычайно выработаннымъ ораторскимъ искусствомъ много мірьда. Разбитый въ дребезги во имя высочайшей справедливости, опозоренный передъ всѣмъ обществомъ, устыженный этою высшею справедливостью въ самой глубинѣ своей совѣсти, онъ въ буквальномъ смыслѣ не знаетъ—что ему дѣлать... Вотъ-нотъ его на-

чнуть сѣчь. Розги лежатъ на печкѣ въ сборной избѣ.

Въ эту ужасную минуту его вызываютъ зачѣмъ-то въ сѣни.

— Да заткни ты ему, громителю - міроѣду, глотку-то! Залей ему, подлецу! совѣтуетъ здѣсь въ сѣняхъ какой-то добрый человѣкъ шопотомъ.

— Отецъ родной! все возьмите, только освободите! Вѣдь драть хотятъ! Я и не знаю, какъ быть-то... Отецъ родной, выручи, помоги! — все отдамъ до нитки...

— Ну, ведрку поставь, да наливочки штофа два...

— Хоть три ведра бери... Пятерыхъ овецъ отдамъ — все возьмите, только отпустите...

— Почему овцы-то?

— Да хоть по рублю давай — отдамъ съ радостью.

— Ну, по рублю-то я возьму, иди, молчи... Я ужъ какъ-никакъ разстараюсь. Жаль мнѣ тебя стало — вотъ въ чемъ! Истинно жаль. Глядѣлъ, глядѣлъ я, думаю: Господи, да вѣдь и на мнѣ, чай, крестъ-то есть! Что-жъ это такое? Вѣдь надо пособить парню-то... Ну, какъ-нибудь...

— Дай тебѣ, Владыко небесный...

Этотъ благодѣтель и есть коштанъ.

Коштанъ — другой типъ изъ числа людей, держащихъ въ своихъ рукахъ судьбы современной деревни, далеко не идеть въ сравненіе съ міроѣдомъ: у того задача громадная — перепугать ближняго нравственно, забрать его въ руки голой рукой. У коштана — цѣль мелкая, практическая: поживиться, нажить рублишко, на даровишину выпить и въ то же время оставить о себѣ впечатлѣніе человѣка, заботящагося о твоей пользѣ. Коштанъ находится въ союзѣ съ міроѣдомъ, но исполняетъ черную работу; міроѣдъ никогда не скажетъ виновному: — «ну мирись, что-ль, на ведрѣ!» Это — дѣло коштана. Дѣло коштана также придумать предлогъ, который-бы далъ возможность накинуться міроѣдамъ на какого-нибудь простофилю. Со-временемъ коштанъ также будетъ міроѣдомъ; но покуда ему надо разжиться, и вотъ онъ набиваетъ карманъ понемногу «не плечами, а рѣчами»...

Вотъ примѣръ коштановой работы:

У міра снимаютъ въ аренду небольшой участокъ земли или луга, положимъ, за сто рублей. На сходѣ является коштанъ и начинаетъ хлопотать, чтобы міръ не отдавалъ чужому, а отдалъ бы своему, хоть свой и даетъ девяносто.

— Что мы будемъ давать чужимъ наживаться? Пушай же, Господи съ нимъ, лучше нашъ, свой владѣть, все нашему міру правильный человѣкъ будетъ и авось поблагодарить... Вотъ вѣдь, рано-ли, поздно-ли, а придется новаго сборщика или сотскаго выбирать, анъ міръ-то тогда ужъ и воленъ сказать ему: «мы, другъ любезный, тебѣ сдѣлали уступку — теперь ты намъ послужи»... Міру нужны люди благодарные... Вотъ я что говорю... А десять цѣлковыхъ — великъ-ли это міру убытокъ? Да и барышъ-то великъ-ли будетъ? А какъ своею отдадимъ, хоть и дешевле, — всегда барышъ:

благодарный человѣкъ отслужить всѣмъ на пользу.

Кажется, все вѣрно и справедливо до послѣдняго слова. И точно: міръ рѣшаетъ отдать землю дешевле тому изъ своихъ односельчанъ, котораго рекомендуетъ коштанъ. Этому человѣку, большую частью бѣднаго, кроткаго, коштанъ рекомендуетъ міру тоже съ самой хорошей стороны.

— Ужъ работага... ужъ сами, чай, видите... Семья большая... сынъ въ солдатахъ и старость идетъ... Нѣтъ, міряне, надо человѣку дать поправиться!

Хорошо, отлично, убѣдительно говорятъ коштанъ. И міръ все рѣшаетъ по его слову. Но прошла недѣля, и что-же оказывается? Оказывается, что мужикъ, котораго міръ пожалѣлъ, совсѣмъ не пожалѣлъ міра: взявъ да отдалъ участокъ тому-же самому мѣщанину, который снималъ его сначала, да отдалъ не за сто, а за сто двадцать пять рублей.

— Ты что-жъ это, безстыдная твоя душа?.. на-падаетъ міръ на измѣнника.

— Простите, православные! Нужда!

Говорить это измѣнникъ самымъ искреннимъ образомъ — и больше ничего не говорить.

А могъ-бы сказать многое; нужда загнала его въ лапы къ коштану, коштанъ подбилъ его снять участокъ, расписалъ ему всѣ выгоды, обѣщая помочъ «все для твоей-же пользы», — и даже денегъ далъ на срокъ. Мужикъ согласился; а какъ только земля досталась по цѣнѣ низшей и досталась человѣку, находящемуся въ рукахъ у коштана, — послѣдній тотчасъ-же затѣялъ переговоры съ мѣщаниномъ, обдѣлалъ дѣло за сто двадцать пять рублей, тотчасъ потребовалъ съ мужика, который ему «подверженъ», свой долгъ (деньги, данная на уплату міру за аренду участка), и когда мужикъ, разумѣется, оказался несостоятельнымъ, то коштанъ и предложилъ ему перепродать.

— Пять цѣлковыхъ еще лишку даетъ мѣщанинъ-то, да и меня развяжешь!..

Что тутъ дѣлать? Теперь представьте себѣ, какими человѣкомъ является коштанъ передъ міромъ? Кто хлопоталъ о своемъ мірскомъ человѣкѣ? — онъ. Кто давалъ свои собственные деньги этому человѣку, чтобы онъ поправился? — онъ-же. Кромѣ того онъ давалъ безъ процентовъ, такъ — отъ сердца...

— Что-жъ подѣлаешь, братцы! вижу, пропадаютъ мои денежки, да и міру-то не всѣ отданы! Ну, думаю, какъ и мірскія-то пропадутъ?... Не такой человѣкъ! Иной-бы съ этакой подмогой какъ взялся-то! Ну, а этотъ, нечего грѣха таить, не обоюденъ! Куда не развяжешь... Н-ну, думаю, грѣхъ-грѣхъ, а и мои денежки — кровныя, да и мірскими. Боже сохрани, пропадать нельзя — какъ никакъ, а воротить надо... Ему-же пять рублей лишковъ далъ: — на, возьми мое! Богъ съ тобой... Да и міру винца уже поставлю за свою за провинность — вотъ два рублика!.. Главная причина, Митрофанъ меня сконфузилъ! Неповоротливъ, неукладистъ, лѣнливъ... А ежели бы на другого...

Пять рублей зажимаютъ ротъ Митрофану. Водка зажимаетъ ротъ міру. Коштанъ сдѣлалъ «оборотъ» — и всѣ видятъ, что хоть и плутовато, но умно. Все обдѣлано на законной почвѣ мірскаго интереса.

— Насилу, насилу свои-то выручилъ! долго твердить онъ въ послѣдствіи, когда рѣчь касается этого дѣла. — Своихъ пять цѣлковыхъ, какъ одну копейку, посадилъ, да шутъ съ ними! Пуше всего — передъ міромъ не сфальшивить! Не будь меня — во-вѣки-бы Митрофанка не справился отдать. Такъ-бы и пропали мірскія денежки!

Коштанъ наживаетъ, выручая то міръ, то мірянина. Онъ все дѣлаетъ «для твоей-же пользы», «главная причина», чтобы была міру польза. Это плутоватый адвокатъ гамбеттовой породы, набивающий свой карманъ. Коштаны выходятъ въ міроѣды — это бываетъ часто; но большей частью ихъ участь — выходить въ мѣщанство, въ подрядчики, въ торговцы, словомъ — въ люди ловкой, скорой и плутовской наживы чужими руками. Міроѣдъ настоящій, коренной — непремѣнно ораторъ съ несомнѣннымъ литературнымъ дарованіемъ, психологъ... Коштаны — дѣлаются, міроѣды — рождаются.

Въ томъ случаѣ, о которомъ я разсказалъ, коштанъ, успѣвши ужъ купить пятерыхъ овецъ за полцѣны, поступаетъ такимъ образомъ: приказавъ обвиняемому опять идти въ сборную избу, онъ, спустя немного времени, и самъ является туда. Міроѣдъ-громовержецъ отлично знаетъ, что такое происходило въ сѣняхъ, но онъ не подаетъ ни малѣйшимъ образомъ вида, что ему что нибудь извѣстно, и продолжаетъ громить. Коштанъ обходится съ своимъ носомъ посредствомъ пальцевъ.

— Согласился! рѣшаетъ про себя міроѣдъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ коштанъ сдѣлалъ-бы что-нибудь другое — кашлянулъ или плюнулъ-бы, или вздохнулъ, или подергалъ бороду... Относительно этихъ знаковъ міроѣдъ и коштанъ условливаются заранее.

Благодаря этимъ уловкамъ, которыхъ міръ не знаетъ, ораторъ-міроѣдъ всегда остается логически правымъ, такъ-какъ переходъ отъ гнѣва къ милости умѣетъ сдѣлать незамѣтнымъ и обставить тоже всѣми доводами.

— Подумай, безумная твоя голова, у кого это ты воровалъ? Вѣдь ты воровалъ у міра! Шельма ты этакая! Твоими щенками холодно въ избѣ, такъ ты у цѣлаго міра вздумалъ отнимать? А другимъ нешто не холодно? А сиротамъ бездомнымъ не холодно? (Коштанъ обходится посредствомъ пальцевъ и, потолкавшись, уходитъ.) Есть-ли въ тебѣ совесть-то, въ безстыдникъ? Бога-то ты помнишь ли?.. Вѣдь за такое дѣло не розгами, а прутьями желѣзными надо драть! Да мало! мало этого!... (Со страшнымъ негодованіемъ): Прощенья проси, безстыжіе твои глаза! Кланяйся... въ ноги міру, чтобы простилъ тебѣ! Ниже! ниже кланяйся... Проси, чтобы, ради глупости твоей, простилъ тебя, дурака. Ну, міряне (усталымъ голосомъ): Господь нашъ царь небесный велѣлъ прощать. И разбойника простили. Простите его, дурака!.. Пусть помнитъ вашу доброту. Жаль только, а то-бы надо выпоротъ! Кла-

няйся старикамъ въ ноги, проси... столбъ безчувственный!..

И въ этомъ дѣлѣ коштанъ хотя и оборудовалъ попользоваться на чужой счетъ, нажилъ рублей пять, а все таки выручилъ: — что-бы безъ него сталъ дѣлать обвиняемый? Какъ-бы онъ справился? Плутъ, плутъ — это вѣрно, а выручилъ — это тоже вѣрно. Міроѣдъ-же, принявъ угощеніе, ничуть не поколебалъ этимъ своего авторитета грознаго судьи. Оправленный чувствуетъ, что онъ могъ его сокрушить и можетъ сокрушить во всякое время, не смотря на угощеніе.

7.

Возвратимся однако къ исторіи Андрея Васильча. Вотъ именно всю фальшь и ложь вышеописанной махинаціи и нужно было разоблачить сразу, влезавно, такъ, чтобы своекорыстное фарисейство мірскихъ воротилъ было выведено наружу и наказано примѣрно. Съ напряженнымъ вниманіемъ и крайнею осторожностью собиралъ онъ факты, изучалъ дѣйствующихъ лицъ и былъ поглощенъ этой работой два или три осеніе мѣсяца. Наконецъ и факты, и люди, сочувствующие дѣлу, были подобраны. Оставалось найти предлогъ, изъ-за котораго можно было-бы начать дѣло. Нашелся и предлогъ. Весною крестьяне дѣлали міромъ загородъ отъ господской усадьбы; загородъ надо было сдѣлать потому что крестьянскій скотъ забредалъ въ господскій садъ, и за это брали штрафы. Скрѣпя сердце, вся деревня принялась за работу, и загородъ была готова въ одинъ день; начали они работу утромъ и кончили вечеромъ. Захотѣлось выпить. Послали депутата въ господскую контору просить выпивки: «мы *вамъ* загородъ сдѣлали». Въ конторѣ отказали. Мірскаго вина не было; необходимо было, во что бы то ни стало, отыскать предлогъ. Коштаны отыскали: при весеннемъ передѣлѣ полей, къ одному изъ крестьянъ отошелъ, кромѣ наѣла, клинушекъ, вдавшійся въ чужую землю не болѣе какъ въ три квадратныя сажени. Коштаны запримѣтили это съ весны, но держали при себѣ до случая. Клинушка этого нельзя было никомъ образомъ раздѣлать: онъ долженъ былъ оставаться никому не принадлежащимъ: но никто не сомнѣвался, что мужикъ, которому клинушекъ достанется, запашетъ его. Такъ и вышло. Въ упомянутый вечеръ коштанъ обратили на эту *несправедливость* вниманіе общества. Общество было радо открытію, какъ маняній небесной. Нѣсколько молодцовъ было отряжено на дворъ къ мужику, съ тѣмъ чтобы, не говоря ни слова, захватить у него на дворѣ хомуты и передки телѣгъ, и все это доставить къ кабаку. Какъ и водится, хозяинъ хомутовъ и передковъ тотчасъ же явился на судъище. Ему объявили, что за запашку лишковъ съ него слѣдуетъ получить въ пользу міра штрафъ. Свидѣтели, люди, особенно жаднѣвшіе выпивки, показали, что клинушекъ они выжибривали сами и что въ немъ оказалось шесть слишкомъ сажень и что міръ мирится на трехъ ведрахъ. Такую громадную цѣну заложили потому, что мужикъ былъ изъ порядочныхъ. Не смотря на всевозможныя сопротивленія со стороны обвиняе-

маго, вино было поставлено и выпито, и клинушек такимъ манеромъ обошелся мирянину рублей не mehr двѣнадцати.

Вотъ за это-то дѣло и взялся Андрей Васильичъ. Онъ вышѣрилъ съ людьми, которые сочувствовали ему, этотъ злостный клинъ, и оказалось въ немъ не шесть, а двѣ съ половиной сажени. Мужикъ былъ радъ дать острастку міроѣдамъ и опивалась и, поддерживаемый Андреемъ Васильичемъ, порѣшилъ еще десять рублей пропить на судей, лишь-бы только вывести дѣло на свѣжую воду. Подана была жалоба — надъ которой Андрей Васильичъ сидѣлъ не однѣ сутки — въ волостной судъ. Судьи были угощены, словомъ — поставлены въ невозможность вилать, въ виду участія посторонняго человѣка, который, по всему видно, спуска не дастъ.

Это собраніе волостного суда, неожиданно потребовавшего на судилище всѣхъ ораторовъ и благодѣтелей деревни, всѣхъ стариковъ, было торжествомъ для всякаго простого, работающаго человѣка, натерпѣвагося на своемъ вѣку отъ этихъ фарисеевъ и лицемеровъ. Вотъ этимъ-то случаемъ и воспользовался Андрей Васильичъ для того, чтобы, придравшись къ нему, показать крещеному міру, въ какой безобразной нравственной кабалѣ держатъ его міроѣды и какъ вообще обираютъ и наживаются на его счетъ, дѣйствуя какъ-будто только во имя мірскихъ интересовъ. Съ громадными усилиями дѣло это было доведено до волостного суда и, благодаря стараніямъ Андрея Васильича и его единомышленниковъ, поддержавшихъ его на судѣ, въ качествѣ свидѣтелей, дѣло было рѣшено справедливо: коштаны и міроѣды заплатились хорошимъ штрафомъ въ пользу мірскихъ сумъ, да и всѣ ихъ соучастники, подручные ихъ, также заплатились, хоть и поменьше.

Справедливостью рѣшенія дѣло было обязано главнымъ образомъ неожиданной пастойчивости, съ которою оно было начато, и явной подготовкѣ его, которой судьи, большею частью тѣ же коштаны и міроѣды, не могли не видѣть въ подборѣ свидѣтелей. Они обвинили виновныхъ, потому-что сразу не могли разобрать, въ чемъ тутъ штука... Но чью-то руку подозрѣвали: знали, что дѣло подстроено.

Андрей Васильичъ также зналъ, что успѣхъ этого дѣла прямо обязываетъ его готовиться на тонкій, систематическій отпоръ. И вотъ, вмѣсто того, чтобы пожинать побѣдные лавры, чтобы похвалить себя за то, что «добился своего», необходимо было вновь напрячь все вниманіе, сосредоточить всю энергію на томъ, чтобы не дать обойти себя, не дать начатому дѣлу исчезнуть безъ слѣда.

Пусть читатель, если можетъ, представитъ себѣ ту бездну мелочей, мельчайшихъ деревенскихъ слуховъ, сплетенъ, которыми приходилось въ это время интересоваться Андрею Васильичу, на которыхъ надо было исключительно сосредоточивать свое вниманіе и онъ пойметъ, что въ жизни Андрея Васильича могли и должны были быть минуты глубокаго отчаянія, томительной тоски.

— Куда ужъ теперь тебѣ вѣхать? говорили ему мужики-пріятели послѣ суда. — Теперь ужъ надо остаться. Нельзя бросить зря...

— Да, ужъ теперь надо погодить! раздумывалъ Андрей Васильичъ.

— Живи въ банкѣ-то... чего? мы тебѣ десятку положимъ... живи пока что...

И сталъ Андрей Васильичъ жить «пока что», чувствуя по временамъ, что какая-то сила тянетъ его какъ будто ко дну, теряя связь съ «тѣмъ міромъ», куда онъ все старался вѣхать, гдѣ легче, лучше, свѣтлѣе, умнѣе, и все-таки не имѣлъ возможности исполнить этого; не имѣлъ возможности «бросить» «нихъ», оставить на произволъ судьбы... Иногда онъ чувствовалъ даже, что погибнетъ здѣсь, пропадетъ, но не могъ: это было безсовѣстно.

Такъ онъ жилъ «пока что» и таялъ... Деревня, нужды которой опутали его умъ и сердце, прямо сказать, съѣдала его. И вѣроятно, въ концѣ концовъ, съѣстъ, съѣстъ безъ остатка и пожалуй даже «не попомнить». Вѣдь никто не поминаетъ добромъ тотъ кусокъ мяса, который съѣденъ вчера и который даетъ возможность быть живымъ сегодня. Такова участь и Андрей Васильича, и онъ знаетъ это; но знаетъ онъ также, что если, послѣ того какъ онъ будетъ съѣденъ безъ остатка деревней, она и «не попомнить» его, даже забудетъ совершенно, онъ — съѣденный — будетъ жить въ ея крови, дѣло его будетъ, незамѣтно для безпамятныхъ деревенскихъ жителей, свѣтитъ имъ же, какъ и забытый съѣденный кусокъ — незамѣтно для человѣка — живетъ въ немъ и помогаетъ ему жить.

Да, мучительна участь людей такихъ, какъ Андрей Васильичъ! Но то, что они дѣлаютъ, до такой степени важно и нужно для народа, что пора, пора, бесконечно давно пора оградить такую дѣятельность отъ малѣйшихъ посягательствъ на то, чтобы превратить ее въ мученичество. Ей надо давать полный ходъ, всякую поддержку, защиту, а не вѣнчать терновымъ вѣнцомъ.

IX.

Лечебникъ отъ всѣхъ болѣзней, помощникъ и указатель во всѣхъ житейскихъ бѣдахъ, несчастіяхъ и затрудненіяхъ.

I.

А откуда дѣятельность Андрея Васильевича не только не признана вполне законной, вполне необходимой, не только не поддержана, а напротивъ — даже и въ деревнѣ, извѣстной частью деревенскаго населенія, считается вредною, такъ какъ мѣшаетъ свободному проявленію зѣвринныхъ наклонностей, — до тѣхъ поръ народъ нашъ долженъ обходиться «своими средствами», облегчать затрудненія жизни собственными силами, своею выдумкой, пользуясь тѣмъ матеріаломъ, который подъ руками, тутъ рядомъ, «около дому». Плохъ и малъ этотъ матеріалъ, а заботъ, печалей, затрудненій — выше головы!...

Позволимъ себѣ познакомить читателя съ однимъ, чисто народнымъ литературнымъ произведеніемъ, которое, какъ намъ кажется, лучше всякихъ сочувственныхъ народу монологовъ, дастъ намъ воз-

возможность видѣть какъ ту необъятную массу неудовлетворенныхъ, гнетущихъ народную жизнь печалей и заботъ, такъ и тѣ ничтожныя «средствія», съ помощью которыхъ онъ долженъ отъ этихъ нуждъ обороняться.

Въ нашихъ рукахъ находится большой рукописный «Лечебникъ», содержащій въ себѣ описаніе восьмидесяти двухъ травъ, съ указаніемъ болѣзней, въ которыхъ онъ употребляется, способа приготовления и употребленія. Книга эта есть несомнѣнно произведеніе народнаго ума, ибо ученые доктора явились въ народную средѣ весьма недавно, и народъ долженъ былъ самъ лечить себя, самъ создавать свою медицину. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что и теперь, сію минуту, такого рода рукописные лечебники пользуются большимъ значеніемъ и въ немаломъ кругу народной массы, такъ какъ и до сихъ поръ еще въ очень многихъ мѣстностяхъ слова: «докторъ» и въ особенности «лазаретъ» пользуются не весьма большими симпатіями народа.

Про «лазаретные» порядки, напримѣръ, въ народѣ разсказывается даже сію минуту множество легендъ самаго нерасполагающаго свойства. То будто бы отплатить ногу не тому, кому слѣдуетъ, то будто бы живыхъ хоронятъ. Разсказъ о покойникѣ, очнувшемся въ гробу, послѣ того какъ изъ лазарета перенесли его въ церковь, почти повсемѣстенъ. Громадная масса народа и до сихъ поръ лечится собственными средствами. Но, кромѣ предрасудковъ къ докторамъ, результата старыхъ порядковъ, когда и съ больницей-то приходилось знакомиться чуть-ли только не въ острогѣ, — предрасудковъ, правда, немедленно же разсѣивающихся при мало-мальски добросовѣстномъ и внимательномъ отношеніи врача къ больному, — народные лекарства и народныя средства продолжаютъ пользоваться въ народѣ авторитетомъ еще и потому, что особенныя условія жизни народа и главнымъ образомъ земледѣльческаго труда вырабатываютъ недуги, иной разъ гораздо лучше излечиваемые мѣстными средствами, чѣмъ средствами, указываемыми медицинской наукой. Укажемъ хоть на весьма распространенную въ земледѣльческихъ массахъ болѣзнь глазъ. Тропаніе льна, засоряющаго поминутно глаза работникамъ, или жнитво, когда тонкіе усы колоса очень часто попадаютъ въ глаза — все это гораздо лучше вылечивается въ деревнѣ, чѣмъ въ лазаретѣ. Поди въ лазаретъ, докторъ начнетъ «*пущать капи*», а деревенская баба-знахарка возьметъ толстую иглу, завернетъ на нее вѣску глазъ и языкомъ сниметъ соринку. Словомъ, при земледѣльческомъ трудѣ есть такого рода недуги, которые понятны врачу только тогда, когда онъ хорошо знакомъ съ этимъ трудомъ и знаетъ сопровождающія его случайности. Въ видахъ всего этого, такая книга, какъ народный лечебникъ, не можетъ не имѣть значенія для нѣсколькихъ интересующихся народомъ, потому что это — коллективное созданіе народнаго ума, многіе годы работавшаго самостоятельно надъ извѣстной областью знанія.

А что лечебникъ, находящійся въ нашихъ рукахъ, именно такое народное произведеніе — это доказываетъ, положимъ, хоть слѣдующее чисто національное *средствіе*. Подъ № 44 значится описаніе растенія подъ названіемъ «Петровъ крестъ», причѣмъ оказывается, что травой этой «хорошо» присыпать «*сѣчное мѣсто*», причѣмъ «это мѣсто» боли никакой не будетъ чувствовать, «я еще того лучше», если имѣть эту траву при себѣ (должно думать, во время экзекуцій), то по буквальному выраженію лечебника, «*какъ хочешь съки по этому мѣсту, то ничего не будетъ!*» Этого, кажется, весьма достаточно, чтобы не имѣть ни малѣйшаго сомнѣнія въ чисто-народномъ и національномъ происхожденіи лечебника, ибо, сколько мнѣ кажется, ни одинъ изъ знаменитѣйшихъ современныхъ свѣтилъ науки не въ состояніи указать какого-либо средства противъ «сѣки, какъ хочешь!» именно потому, что уже ни у кого въ свѣтѣ, кромѣ русскаго человѣка, не можетъ быть такой странной болѣзни, какъ «сѣчное мѣсто». Положимъ, что размѣры этой недавней эпидеміи въ настоящее время значительно сократились; но практика волостныхъ судовъ все-таки поддерживаетъ ее въ такихъ размѣрахъ, которые не позволяютъ считать вышеописаннаго «средствія» анахронизмомъ. Напротивъ, всякому крещеному челоуѣку недурно про всякъ-часъ запастись чудодѣйственной травой. Это обстоятельство между прочимъ доказываетъ, что лечебникъ не утратилъ значенія и въ настоящіе дни; кромѣ того то же самое подтверждаетъ и то, что нѣкоторыя изъ лекарствъ, поименованныхъ въ лечебникѣ, даются *въ кофѣ*, что уже прямо указываетъ на то, что къ содѣйствію его прибѣгаютъ люди наисовременнѣйшіе. И такъ, книга, про которую мы говоримъ, есть чисто-народное произведеніе, и притомъ такое, которое имѣетъ значеніе въ народѣ въ самое послѣднее время.

2

Книга эта, состоящая болѣе чѣмъ изъ двухсотъ страницъ, переписана самымъ тщательнымъ писарскимъ почеркомъ и раздѣлена на двѣ части. Первая часть начинается такимъ предисловіемъ: «Благослови, матушка сырая земля, меня, раба Божія, своего плода уродиться и прокормиться, травъ употребить, коренія укупать, къ чему которая трава угодна, на то употребить». И затѣмъ слѣдуетъ описаніе восьмидесяти двухъ травъ и цвѣтовъ. Во второй части помѣщены «приговоры», съ которыми слѣдуетъ употреблять травы, чтобы онѣ дѣйствовали, и указаны способы приготовленія.

На первый взглядъ, какъ описанія травъ, такъ и приговоры къ нимъ, ничего, кромѣ глубочайшей скуки, не представляютъ. Вотъ напримѣръ трава *муравей*: «ростетъ въ дятловинѣ, *сама мала*; едва можетъ мудрый челоуѣкъ найти. Листочки на ней четыре, крестикомъ; посреди листочковъ — что иглочка красновата». Или вотъ трава *м. тица*: «ростетъ на раменскихъ (высокихъ) мѣстахъ; ростомъ мала; листочки кругленькіе, что капуста, съ одной стороны гладка, съ другой — мохната» и т. д. Мы

давали этотъ лечебникъ въ аптеку, и тамъ въ теченіе мѣсяца по этимъ описаніямъ могли розыскать латинскія названія только пяти средствъ, да и то не по описаніямъ лечебника, а по тѣмъ болѣзнямъ, отъ которыхъ средство дается. Точно также и приговоры: рѣшительно неизвѣстно, почему при употребленіи одной травы читается *«Отче нашъ»*, а при употребленіи другой — *«саломъ 102, Символъ вѣры или молитва Богородицы»*; почему въ одномъ случаѣ молитвы читаются по разу, а въ другихъ по три и наконецъ по двѣнадцати. Все это прописано безъ всякихъ объясненій и въ общей сложности производитъ глубочайшую збѣоту съ двухъ-трехъ описаній.

Но, преодолевъ неинтересность этого чтенія и дочитавъ книгу до конца, вы будете неожиданно глубочайшимъ образомъ заинтересованы. Исчезаютъ изъ вашей памяти описанія травъ, приговоры, молитвы, а вмѣсто этого предъ вами неожиданно возникаетъ полнѣйшая до мельчайшихъ подробностей картина безпомощности, въ которой живетъ простой русскій человѣкъ. Вмѣсто непонятно описанныхъ травъ и молитвъ передъ вами раскрывается весь обиходъ жизни темнаго человѣка, съ такою массою нуждъ буквально на каждомъ шагѣ, нуждъ, требующихъ именно самаго широкаго знанія, замѣняемаго теперь корнями, приговорами, травами...

Собственно *физическихъ* болѣзней въ лечебникѣ поименовано весьма мало. Корень, ядро физическихъ недуговъ, сосредоточивается главнымъ образомъ въ *«порчѣ»*, и этотъ необъяснимый и непонятный недугъ встрѣчается подъ множествомъ также непонятныхъ наименованій: *«порчи смертной»*, *«смертний скорби»*; *«черной порчи»*, *«злой смертной порчи»*, *«нечистой порчи»*, *«черной немочи»*. Очевидно, что подъ этими непонятными опредѣленіями должна заключаться цѣлая масса недуговъ, которые крестьянскимъ умомъ не опредѣлены въ точности и которыми поэтому помогаютъ почти всѣ травы. Затѣмъ болѣзни, болѣе или менѣе извѣстныя и въ медицинѣ подъ тѣмъ же названіемъ, какъ и въ народномъ лечебникѣ, весьма немногочисленны; напримѣръ: грыжа, сумасшествіе (умъ рушится), пьянство, глисты, удушье, болѣзнь глазъ (*«прѣлъ глазамъ»*) — вотъ почти все, и количество лекарствъ противъ этихъ весьма распространенныхъ болѣзней крайне незначительно — по одному, много по два средства указано въ лечебникѣ. Многочисленныя болѣзни дѣтей также почти не подраздѣлены; тамъ, гдѣ дѣло касается дѣтей, лечебникъ, не обозначая опредѣленнаго недуга, просто говоритъ — что именно *«хорошо»* давать дѣтямъ, когда плачутъ, *«жалуются»*. Впрочемъ къ числу дѣтскихъ болѣзней отнесенъ *«бредъ по ночамъ»*, который лечится тѣми-же средствами, что и сумасшествіе у взрослыхъ, и отмѣченъ какой-то странный дѣтскій недугъ — *«бессонница отъ страха»*. Вотъ въ общихъ чертахъ физическія страданія, излечиваемыя по указанію лечебника *). За

исключеніемъ лихорадки, которая имѣетъ три подраздѣленія и наименованія, всѣ обуревающіе народъ физическіе недуги, во-первыхъ, весьма немногочисленны, а во-вторыхъ — крайне поверхностно опредѣлены.

Совсѣмъ не то съ другого рода недугами, тѣми недугами, которыми страдаетъ не больной, а здоровый простой человѣкъ. Можете себѣ представить, что эти же самыя *восемьдесятъ два* травы, излечивающія всѣ поименованные недуги физическіе, что онѣ-же помогаютъ простому человѣку рѣшительно *на всѣхъ* путяхъ его жизни, при всевозможныхъ житейскихъ затрудненіяхъ, во всевозможныхъ жизненныхъ отолцovenіяхъ, словомъ — во всѣхъ отношеніяхъ человѣческихъ, семейныхъ, общественныхъ; облегчаютъ ему безчисленныя затрудненія — и это все тѣ-же самыя *восемьдесятъ два* травы!

Есть травы, положительно обремененныя всевозможными народными нуждами, которымъ онѣ должны удовлетворять, бѣдами, въ которыхъ должны помогать. Вотъ напримѣръ трава *царевы очи* (ростетъ на болотинахъ, ростомъ съ иглу, собою красенъка, цвѣтокъ имѣетъ наверху, тоненькая и маленъкая). Эта трава помогаетъ, *во-первыхъ* — въ домѣ чтобы все было благополучно; *во-вторыхъ* — скотина не хвораетъ, ежели держать ее въ хлѣву въ сухой чистой тряпкѣ; *въ-третьихъ* — хороша, когда идешь на судъ, «то все будетъ хорошо», и начальники будутъ добры; *въ-четвертыхъ* — отъ этой травы, если ее держать на пчельникѣ въ чистой тряпкѣ, водятся пчелы; *въ-пятыхъ* — хороша тому человѣку, который верхомъ ѣздитъ; *въ-шестыхъ* — отправляясь въ путь-дорогу, эту траву хорошо имѣть при себѣ: никто не ограбитъ, не убьетъ; *въ-седьмыхъ* — отличное средство эта-же трава и при женитьбѣ: «возьми эту траву, когда пойдешь въ церковь подъ вѣнецъ, и держи ее, когда будутъ вѣнчать, а послѣ этого держи близко около себя — тогда будешь жить съ женою хорошо, и она будетъ тебя слушаться, во всемъ уважать и бояться»; *въ-восьмыхъ* — эта же трава «пользуетъ», ежели хочешь быть «славенъ предъ вельможами».

Или еще лучше: трава *Адамова юлога* (растетъ кустиками при болотахъ и раменскихъ мѣстахъ, цвѣтъ рудожелтъ, кувшинцами, а листья на ней девять или двѣнадцать, или девятнадцать, а принимать ее черезъ серебро и золото *), на Аграфу купальницу); эта трава, во 1-хъ, помогаетъ противъ «порчи смертныя»; во 2-хъ, хороша для бездѣтныхъ: если ее пить, какъ указано, то будутъ дѣти, сначала мальчикъ, потомъ дѣвочка, а больше двухъ не будетъ; въ 3-хъ, пользуетъ передъ начальниками.

Точно также удивительно во многихъ случаяхъ помогаетъ трава *симвъ*. Она лечитъ отъ «болѣзни черныя» и «смертныя болѣзни». «Имѣть ее при себѣ — вода не принимаетъ, не утонешь. Мельни-

*) Кстати сказать, лекарства принимаются не на тощій желудокъ, а на тощее сердце, и болѣзнь не «проходитъ» отъ лекарства, а лекарство *выгоняетъ* ее вонъ.

*) Черезъ серебро и золото — значитъ, что на рукахъ должны быть золотыя или серебряныя кольца.

камъ хорошо ее имѣть, когда устраиваютъ плотины—не прорываешь; хорошо ее имѣть человѣку, которому надо высоко подниматься (каменщики, штукатуры): «не страшно, оказывается тогда, какъ на землѣ, и страха никакого нѣтъ». Отъ сумасшествія, отъ искалѣченія ногъ, отъ злой смерти и при постройкѣ дома помогаетъ одна и та же трава—плакунъ; она же хороша и для скота, когда онъ заболѣетъ извѣстною болѣзью—«головокруженіемъ» (скотъ вертится).

Такимъ образомъ оказывается, что, разсматривая этотъ лечебникъ, какъ собраніе народныхъ свѣдѣній о медицинѣ, мы ничего не найдемъ въ немъ, кромѣ скуки. Любой современный фельдшеръ превосходить въ этомъ отношеніи народную мудрость неизмѣримо. Очевидно, что народное выраженіе «либо пахать, либо книги писать»—оказывается какъ нельзя болѣе справедливымъ, и книги хороши пишутся не тѣмъ, кто всю жизнь бьется въ потъ лица изъ за куска хлѣба; но съ другой стороны этотъ же лечебникъ достоинъ величайшаго вниманія, какъ собраніе великаго множества такихъ затрудненій, страховъ, мукъ и желаній, которые могутъ быть разсѣяны или удовлетворены только самыми многосторонними знаніями. При настоящихъ же условіяхъ, какъ видимъ, народъ справляется съ помощью восьмидесяти двухъ травъ.

А знать онъ хочетъ ужасно много, даже болѣе: онъ желаетъ знать *притомъ все*. Свидѣтельствуемъ объ этомъ тотъ же лечебникъ и немедленно предлагаетъ средство. Средство это конечно—трава и называется она *бисовецъ*. «Трава эта растетъ въ водѣ, а корень ея—въ землѣ. Сама противу воды стоитъ; перо—что сабля, корень внутри пустой и цвѣтъ у корня желтъ». «Траву эту, сказано въ лечебникѣ, доставать умѣючи, съ приговоромъ; если знаешь приговоръ—тогда достанешь, если нѣтъ—то погибнешь!» Приговоръ же къ этой травѣ въ высшей степени любопытенъ. Прежде, нежели произносить его, надобно снять съ себя крестъ и положить его подъ лѣвую пятку. Это надобно дѣлать въ ночное время, чтобы никого кругомъ тебя и близко не было, и только послѣ этихъ предосторожностей надобно говорить (держа корень травы въ рукѣ) слѣдующее: «встану я, рабъ, не благословясь, пойду, не перекрестясь, изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, въ чистое поле, подъ частыя звѣзды, подъ свѣтлый мѣсяцъ, на оканъ-море, на Сіонскія горы; на тѣхъ на Сіонскихъ горахъ стоитъ дубище, на томъ дубищѣ сидитъ самъ сатана-сатанище. Помогни мнѣ (имя), сатана-сатанище, узнать, разузнать, что я хочу, что у тебя прошу. И съ этой-бы травой ходить мнѣ и гулять и чтобы все *знать* отъ крещеныхъ людей, отъ бояръ и купцовъ». «И тогда, говоритъ лечебникъ:—*все узнаешь, будешь все знать, что гдѣ дѣлается*»...

Но, какъ видно ужъ изъ самаго существованія лечебника, корень этотъ рѣдко попадаетъ въ народные руки. Тотъ же лечебникъ, говоритъ что едва простой человѣкъ задумалъ обзавестися своимъ до-

момъ, жить своимъ хозяйствомъ, словомъ—едва началась постройка жилья, какъ ужъ является врагъ, съ которымъ надобно бороться. Нечистая сила подкапывается подъ домъ, лѣзетъ въ хлѣвъ, сверлитъ въ плотинѣ дыру; словомъ—бѣды возникаютъ со всѣхъ сторонъ, и лечебникъ немедленно предлагаетъ средства: «траву—*царь-Сирхамитъ*, траву—*вереску*, траву—*муравей*».

Кой-какъ, набивъ травами весь передній уголъ подъ образами, заткнувъ ее въ чистой тряпкѣ и «темномъ мѣстѣ», на плотинѣ, въ хлѣву и т. д., человѣкъ начинаетъ жить. Но мало-ли что въ жизни человѣческой бываетъ: оказывается, положимъ, что въ новомъ домѣ и въ новой семьѣ неблагополучно по части семейныхъ отношеній... Какъ узнать, что жена думаетъ о мужѣ, какія у нея на умѣ мысли? Мужъ—человѣкъ недосужный; онъ то работаетъ съ утра до вечера, то въ отъѣздѣ, то на мельницѣ; ему, придя домой съ работы, въ пору поѣсть да лечь спать; ему некогда наблюдать за каждымъ шагомъ своей жены, за выраженіемъ ея лица. Опять есть средство—трава *блѣвецъ*: если эту траву положить женѣ въ головы къ лѣвому боку, то она все скажетъ, и что думаетъ—и то даже выскажетъ все, до послѣдняго слова.

Внѣшнее благоприличіе дома, домашнихъ порядковъ также не мало доставляетъ затрудненія. Лечебникъ предлагаетъ средства, все въ видѣ травъ, чтобы приглашенные, положимъ хоть на крестины, гости не кончили пира дракой и безобразіемъ: надо подсыпать въ вино хмелю съ приговоромъ—и тогда никакого шума и драки не будетъ. Есть средства также для того, чтобы самому, идя въ гости, не буянить и не натворить невѣсть чего въ пьяномъ видѣ. Корень съ приговоромъ помогаетъ и этому.

Но, чтобы жить домомъ, содержать семью, водить компанію, нужно вырабатывать деньги—и тутъ есть средства, облегчающія добычу, и притомъ по профессіямъ: такъ, мельникамъ помогаетъ трава *палочникъ*, отъ которой «на мельницѣ будетъ много помолу и работы будетъ много»; пивоварамъ подсобляетъ «пасочникъ»; онъ же хорошъ для прибытка и винокурамъ: все дѣло—держать при себѣ, а брать—съ приговоромъ. Есть указанія для мореходовъ, для охотниковъ, даже для воровъ... Противъ воровъ также есть средство: есть такая трава (Юва дружба), наступивъ на которую, воръ не двинется съ мѣста; но есть и для этихъ несчастныхъ поддержка и указаніе (также есть указанія и о томъ, какъ «портить» человѣка). Указаніе и помощь даетъ трава *муравей*, про которую сказано: «эта трава хороша для *злыхъ дѣлъ*, но не добрыхъ»; «искать эту траву очень мудро, потому что очень мала, едва разсмотрѣть можно, и надобно имѣть большое стараніе». Затѣмъ, съ истинно дѣтскою наивностью говорится такъ: «эта трава хороша тому, кто хочетъ что украсть изъ-подъ замка... *то никто не увидитъ*». Ворами даже особенно посчастливилось насчетъ указаній. Собаки, какъ извѣстно, весьма вредятъ ворами, но и противъ нихъ есть трава *инди*, кото-

рая заставляет молчать самых злых собак. Словом—всевозможны трудности промысла облегчены помощью приговоров и трав.

Но мало жить только затѣмъ, чтобы наживать деньги. Жить приходится въ людскомъ обществѣ, причесть простой человѣкъ, желающій устроить жизнь «по хорошему», страшно нуждается въ томъ, чтобы его любили, уважали, чтобы не были злы на него, чтобы враги превратились въ друзей. И замѣчательно, что въ то время, когда для исцѣленія серьезныхъ физическихъ недуговъ народный лечебникъ предлагаетъ одно, много два средства—потребность «честь», уваженія, любви, вниманія, снисходительности, должно быть, такъ велика въ простомъ человѣкѣ, живущемъ среди «чужихъ людей», что лечебникъ для облегченія предлагаетъ множество средствъ.

Чтобы любили, почитали, были внимательны—помогаютъ пять разныхъ травъ: «любимъ», «царь Сирхамить», «царевы очи», «Адамова голова», «солнечникъ». Про траву *любимъ* сказано, что «носить ее съ собою—то люди будутъ любить и не будутъ зла помнить»; а въ приговорахъ къ ней добавлено, что «эта трава хороша, когда пойдешь къ какому людямъ, или гдѣ живешь—то имѣй ее при себѣ, и когда пойдешь (къ людямъ), то возьми ее и проговори три раза; «какъ сія трава *любимъ* по имени хороша и знатна, такъ-бы и я, рабъ Божій, между боярами и купцами и всѣми добрыми людьми былъ хорошъ, знатенъ, и нынѣ и присно», и т. д. Приговоры въ томъ-же родѣ, но мѣстами—болѣе сильно выраженные, мѣстами—менѣе, присоединены ко всѣмъ вышеуказаннымъ травамъ, которыя употребляются въ самыхъ разнообразныхъ видахъ: то подкладываются въ питье, то держатся въ рукѣ, подъ рубахой. И все это дѣлается не потому, чтобы человѣку нужна была любовь и внимательность того или другого лица, но потому, что ему вообще нужны мягкія, добрыя людскія отношенія, чтобы его не слишкомъ ужъ донимали «чужіе люди»...

3.

Но, кромѣ страха передъ чужими людьми, у простого человѣка есть еще нѣчто такое, что страшить его безъ всякаго сравненія болѣе этихъ чужихъ людей. Это—начальство и начальники. Въ этомъ трудномъ дѣлѣ лечебникъ предлагаетъ множество средствъ. Не говоря о пяти перечисленныхъ, касающихся также и начальства и дѣйствующихъ и на него мигчительнымъ образомъ, есть въ лечебникѣ много, чисто специально назначенныхъ для смягченія начальства, травъ и приговоровъ. Едва-ли во всемъ лечебникѣ, среди всѣхъ нравственныхъ и физическихъ недуговъ, отъ которыхъ онъ думаетъ исцѣлить, есть такой, который бы поравнялся со страхомъ и трепетомъ, охватывающимъ простого человѣка предъ начальникомъ.

До какой степени грозенъ и ужасенъ для простого человѣка образъ начальника—это можно видѣть изъ тѣхъ мѣстъ приговоровъ къ травамъ, которыя характеризуютъ средства, необходимыя для

обороны. Чтобы начальники были добры, «хороши», кромѣ множества другихъ, не столь замѣчательныхъ травъ, рекомендуется трава *одоленъ*. Растетъ она въ стрѣлу и больше, цвѣтъ красенъ или желтъ, а корень—что *бумжа* (замѣтьте, что цвѣтъ травы *охла*, помогающей быть богатымъ, похожъ на *демежку*, а вотъ корень травы, касающейся начальства, походить цвѣтомъ на бумагу). Ее надо носить на себѣ, закатавъ въ воскъ,—и тогда одолѣешь враговъ, а власти тебя не одолѣютъ. Воскъ, въ который надо закатывать траву, долженъ быть такой, который горѣлъ передъ образомъ. Вооружившись этимъ талисманомъ, можно смѣло идти къ начальнику; но нужно проговорить: *«иду на супротивъ медвѣдя, упираюсь волкомъ»*. Пресвятая Богородице, спаси меня». Это надо проговорить три раза, не переводя духа. Потомъ нужно десять разъ проговорить: «Пресвятая Богородица, спаси меня, раба Божія...» Эти слова надо проговорить какъ можно скорѣе: тогда, говоритъ лечебникъ, «иди прямо и все будетъ хорошо, и къ которому человѣку идешь, *тотъ хоша и похожъ-бы на зверя*—и тотъ смягчится, и будетъ ласковъ, и одолѣешь всякаго врага».

Другой сортъ этой-же травы, какъ видно, будетъ много посиленѣе, въ видахъ тѣхъ-же умиротворяющихъ цѣлей; но приговоръ къ этой травѣ поистинѣ замѣчательнъ. Имѣй траву, закатанную въ воскъ, и идя къ начальнику, въ то время когда пойдешь къ дверямъ его дома, надо проговорить слѣдующій заговоръ «на укрощеніе злыхъ сердецъ»: «Сажусь въ сани, крытыя бобрами и соболями. Ёду на черномъ медвѣдѣ, погоняю лисицами и кунницами: а какъ лисицы и кунницы, бобры и соболи честны и величавы между панями и попами, между миромъ и селомъ, такъ-бы и я былъ честенъ и величавъ между панями и попами, между миромъ и селомъ», т. е. иду съ добромъ, попросту—со *взятой*. Но если это не поможетъ, то *приговоръ* не прочь и по части зла, потому что продолжается такъ: «Ёду на гадинѣ, ужъ погоняетъ. У поповъ, у судевъ—половъ дворъ свиней, и я тѣхъ свиней *перемъ*; съю макъ—разойдутся (отъ него) судьи, а тѣ, что меня судятъ—не осудятъ: у меня *медвѣжій ротъ, волчьи зубы, свиные зубы* (вотъ какъ онъ вооруженъ!) Кто мой макъ будетъ подбирать, тотъ на меня будетъ судъ давать. (а я) спрячу макъ въ желѣзную кадъ, брошу кадъ въ окіанъ-море; окіанъ-море не высыхаетъ, кадъ моей никто не вынимаетъ и маку моего не подбираетъ (а стало быть никто и не придирается). Замыкаю зубы и губы злымъ сердцамъ, а ключи бросаю въ окіанъ-море, въ свою желѣзную кадъ. Когда море высохнетъ, тогда макъ изъ кадъ выберутъ, а тогда и мнѣ на свѣтѣ не бывать». Этотъ заговоръ надо проговорить, стоя у двери дома, гдѣ живетъ начальникъ, или при входѣ въ «присутственное мѣсто». Проговоривъ, «иди прямо: то все будетъ по твоему». Ко всему этому въ концѣ заговора прибавлено: «это было испытано».

Мы привели только главнѣйшія средства, рекомендуемая для укрощенія злыхъ сердецъ; но, повторяемъ, ихъ очень-очень много въ лечебникѣ, больше

чѣмъ на всѣ другія затрудненія въ жизни простого чловѣка.

4.

Позволимъ себѣ привести еще три заговора, которые, какъ намъ кажется, весьма характерны. Первый касается любви. Какъ мужикъ или женщина приворожить къ себѣ любимого чловѣка? Любовный заговоръ, такъ-же какъ и заговоры *для злыхъ дѣлъ*, происходитъ со снятіемъ креста, причѣмъ подъ лѣвую пятку кладется крестъ, а подъ правую — хлѣбъ. Въ рукахъ влюбленный чловѣкъ держитъ кусокъ сахару, приготовленіе котораго въ такой степени отвратительно, что его изображать не будемъ. Дѣло происходитъ въ банѣ. Взявъ въ руки сахаръ и положивъ подъ обѣ пятки что слѣдуетъ, надо проговорить: «Лягу не благословясь, встану не перекрестясь» и т. д. (все что въ прежнемъ заговорѣ насчетъ того, чтобы *все знать*). Послѣ словъ «сатана-сатанище» — слѣдуетъ: «Помоги мнѣ, сатана-сатанище, поймать, изловить... дѣвушку (или мужчину), напусти на нее тоску-тоскущую, сухоту-сухотущую, въ румяную кровь, въ ретиво-сердце, чтобы она на меня зрѣла и смотрѣла и съ очей меня не спускала, гдѣ увидится, въ уста цѣловала, думами не сдумывала, ѣдами не заѣдала, питьею не запивала, паромъ не спаривала, водой не смывала... Какъ вокругъ головы моей волоса виснутъ, такъ-бы и она кругомъ меня висла. Запираю и замыкаю эти слова тридцатью ключами (насчетъ злыхъ сердецъ — только *одинъ* ключъ), бросаю эти ключи въ океанъ-море: какъ не бывать ключамъ этимъ поверхъ воды, такъ не бывать-бы поверхъ моего слова и силы». Послѣ этого сахаръ надобно дать въ кофе любимому чловѣку, «въ первомъ стаканѣ», причѣмъ *онъ* (чортъ) въ то время, когда любимый чловѣкъ будетъ пить кофе, долженъ дать знать о томъ, что заклинаніе услышано: онъ стукнетъ, прошеуршитъ или пропищитъ. Если-же это не случится, то заклинаніе не дѣйствуетъ. «Только, прибавлено въ концѣ средства, нужно быть смѣлому и *безбожному* — тогда все скоро будетъ».

Заговоръ ружью, передъ отходомъ на охоту, отличается еще большею страстностью: «Встану я благословясь и т. д. (сатаны-сатанищи нѣтъ и въ поминѣ), стану я, рабъ Божій, на мать сыру-землю, поцѣлюсь и поклонюсь на всѣ четыре стороны, стану я свою Марью Марвинскую, огненную бойницу, лютую стрѣлу заправлять и закладывать, и заговаривать; ой-же ты, Марья Марвинская, лютая стрѣла, огненная бойница, царь желѣза арабійскаго, не я тебя заправляю, не я тебя закладываю и не я тебя заговариваю, а закладаетъ тебя и т. д. самъ Господь Иисусъ Христосъ и Мать Божія, Пресвятая Богородица. Мать Божія, Пресвятая Богородица засыпаетъ свой сильный порохъ. Самъ Господь Христосъ закладаетъ свою свѣтлую пулю на звѣря побѣгучева, на птицу полетучую, кровь горячую. Заложивши пулю и помолившись на всѣ

четыре стороны, пойду въ далекое чистое поле, пушу далеко лютую стрѣлу. Не упадай, моя лютая стрѣла, ни на землю, ни на воду, ни въ дерево стоячее, ни въ колоду лежащую, а упадай, моя лютая стрѣла, на звѣря побѣгучева, въ птицу полетучую, въ кровь горячую. Дуну, плюну я на мать сыру-землю; какъ моему плевку отъ моего дыханія не подняться, такъ-бы этому звѣрю побѣгучему и т. д. не подняться отъ матушки сырой-земли. Чтобы никому мою лютую стрѣлу не испортить, не околдовать, ни колдуну, ни колдунѣ, ни дѣвкѣ, ни молодикѣ, ни старому, ни малому, ни сутуловатому, ни горбатому, ни вострычному, ни поперечному, ни лихостливному, ни жалостливому, ни радостливому, ни съ яву глядящему, ни со стороны смотрящему, ни изъ подлбья видящему, ни мнѣ самому охотнику отъ блага тѣла, ретиваго сердца, крови горячей и *всѣмъ различнымъ чинамъ* по моимъ мастерскимъ наговорамъ, *зламинилъ* Господь и небо и землю, и зааминь, Господи, моя словеса на вѣки вѣковъ» и проч.

Третій и самый, какъ намъ кажется, трогательный и любопытный заговоръ — «если кто хочетъ *забыть* чловѣка». Припомните эти рекуртинны, эти солдатчины, когда мать, жена разставались съ любимымъ чловѣкомъ чуть не на всю жизнь. Припомните эти мучительныя ожиданія вѣсточки, эту годами угнетающую неизвѣстность, одиночество, тоску о миломъ дружкѣ. Сколько тутъ муки-мученской!... И вотъ создается заговоръ, чтобы *забыть* этого любимого чловѣка, такъ какъ самъ своей волей любящій чловѣкъ не въ силахъ этого сдѣлать. Вѣдныи изстрадавшійся чловѣкъ идетъ къ чистому ручейку, три раза плещетъ на себя студеной водой и говоритъ: «Какъ я, раба Божія, родилась чиста, такъ и меня очищай святая волица и Матушка Богородица... Какъ я забылъ родительскій день (т. е. день рожденія), такъ-бы и мнѣ забыть его нынѣ» и т. д.

Мы не коснулись и десятой доли сторонъ народной жизни, затрогиваемыхъ народною книгой; но и то, что извлечено изъ нея, ужъ можетъ дать понятіе о той массѣ запросовъ, требованій, желаній, таящихся въ народѣ и не находящихъ удовлетворенія ни въ чемъ, кромѣ заговоровъ и травъ.

Разнообразныя формы ига сдѣлали свое дѣло; но чловѣкъ, какъ видите, остался живъ, невредимъ и душа его жива. Компетентныя лица, близко знающія современный народъ, утверждаютъ, что онъ ужъ не довольствуется плодами собственной мудрости, не имѣвшей цѣлыя вѣка благопріятной минуты для полного своего выраженія, и ищетъ указаній у чужихъ людей, въ работѣ чужого ума... Онъ беретъ на первыхъ порахъ за евангеліе.

Работы для будущаго народнаго писателя, какъ видите, предстоитъ много, такъ какъ читатель у него будетъ несомнѣнно многочисленный.

НЕПОРВАННЫЯ СВЯЗИ.

I. «Лядины».

Всякому петербургскому ружейному охотнику должны быть хорошо извѣстны тѣ мѣста, преимущественно въ Новгородской губерніи, которыя называются *лягами*, или *лядинами*, куда господа столичные ѣздятъ бить медвѣдей, зайцевъ, лисицъ, тетеревовъ, вальдшнеповъ, бекасовъ и вообще всевозможныхъ звѣрей и птицъ, и откуда возвращаются въ столицу, въ большинствѣ случаевъ не проливъ ни единой капли птичьей или звѣриной крови и не выпустивъ изъ своихъ превосходныхъ ружей ни единого превосходнаго патрона, если не считать нѣсколькихъ выстрѣловъ въ пустыя бутылки отъ рейнвейна, опорожненныя за завтракомъ и очень часто (надо отдать честь искусству господъ столичныхъ охотниковъ) разбиваемыя въ мелкія дребезги на-лету...

Господамъ столичнымъ охотникамъ очень хорошо должно быть извѣстно, что такія бесплодныя, хотя и дорого стоящія, экскурсіи оканчиваются выстрѣлами въ пустыя бутылки вовсе не потому, чтобы въ лядинѣ не было ни птицъ, ни звѣрей. Какъ извѣстно, въ противномъ увѣряютъ охотниковъ всѣ мѣстные обыватели-мужички, раздѣляющіе съ ними трудности экскурсіи. Однѣмъ, напримѣръ, Родіонъ Миловиловъ, самъ видѣлъ цѣлое полчище тетеревовъ въ то самое время, когда баринъ, около котораго онъ хлопоталъ, сидѣлъ въ шалашѣ и ничего не видалъ. Если-же Родіонъ и не убилъ ни одного тетерева, то именно потому, что «*поопасился*» барина потревожить, «какъ-бы, молъ, не осерчали, зачѣмъ разбиваешь охоту—а то тетеревей было даже до пропасти, вотъ это самое мѣсто». Зайцевъ, или, какъ говорятъ здѣсь, зайцовъ, Иванъ Харитоновъ также настигъ цѣлую стаю, «хоть руками бери», да на грѣхъ у него ружье не далеко бьетъ и порохъ «крупенъ», «поопасился у господъ упросить пороху, а то-бы, ежели-бы съ хорошимъ ружьемъ, такъ онъ однимъ ударомъ въ ключья-бы всю стаю расшибъ; главная причина—ружье очень неспособно... А кабы, ежели!»

Господамъ охотникамъ также должно быть хорошо извѣстно, что такого рода увѣренія, начинающіяся обыкновенно послѣ полной неудачи и блещущія удивительной изобрѣтательностью, хоть и страдаютъ извѣстной долей преувеличеній, имѣющихъ цѣлью успокоить неудовлетворенныхъ «господъ», объяснивъ неудачу охоты только самыми незначительными случайностями («ружье не хватаетъ», «поопасился вдарить» и т. д.), но не совсѣмъ лишены и нѣкотораго правдоподобія, такъ какъ не только Иванъ Харитоновъ или Родіонъ Миловиловъ видѣли «собственными глазами» и зайцевъ, и тетеревовъ, но и сами господа охотники также видали—хотя конечно не въ такихъ, какъ Мило-

виловъ и Харитоновъ, разбѣгахъ—и тетеревовъ, и зайцевъ. «Дѣйствительно, подтверждаетъ свидѣтельство Миловилова г. N***, — я самъ видѣлъ тетерева... только ужасно далеко!» Г-нъ М. также видѣлъ и утку, и зайца, и стрѣлялъ, но не попалъ. Мало того: иногда во время этихъ разговоровъ, а иной разъ именно въ ту минуту, когда охота ужъ кончилась и охотники, отложивъ попеченіе о кровопролитіи, начинаютъ палить въ бутылку, именно въ эту-то минуту у кого-нибудь изъ нихъ «изъ-подъ самыхъ ногъ», въ буквальномъ смыслѣ, шумно взвывается тетеревъ, и—удивительно!—нѣсколько не спѣша и не торопясь, убитъ какъ-то тутъ-же куда-то бесцѣльно исчезнуть, пропасть у всѣхъ на глазахъ!

Такое очень частое появленіе «изъ-подъ самыхъ ногъ» или «подъ самымъ носомъ» всевозможнаго звѣрья и птицы, наряду съ собственными, также довольно частыми наблюденіями господъ охотниковъ и увѣреніями мѣстныхъ обывателей, не смотря на почти постоянныя неудачи столичныхъ охотниковъ, продолжаетъ удерживаться «лядинами» славу отличнѣйшихъ для охоты мѣстъ.

И точно, есть здѣсь много всякаго звѣрья и птицы; но отличительныя природныя свойства, характеризующія мѣстности, называемыя лядами, даютъ ей полную возможность пропадать изъ-подъ носа и изъ-подъ ногъ. Даже подстрѣленную птицу или зайца иногда бываетъ очень трудно, а очень часто и просто невозможно разыскать, хотя и видно, куда она упала. Поминутно отъ мѣстныхъ охотниковъ-крестьянъ слышишь: «вдарилъ я въ него—только шерсть ключьями разлетѣлась; побегъ я, хотѣлъ ужъ руками брать, а онъ (зайца) очуствовался, прыгнулъ въ крутякъ, искалъ-искалъ—нѣтъ! А ужъ вѣрно мертвый лежитъ гдѣ-нибудь!» Природныя свойства ляги, такъ привѣтливо укрывающія звѣря и въ такое безпомощное положеніе ставящаго человѣка, заключаются въ слѣдующемъ.

Лядины суть громадныя пространства лѣсныхъ болотъ, перемежающіяся съ незначительными болѣе или менѣе сухими (но никогда совершенно не высыхающими) пространствами, едва-едва приподнятыми надъ поверхностью болотъ. Пространства эти, не исключая самыхъ топкихъ мѣстъ, густо покрыты довольно разнообразными породами лѣса—ель, сосна, береза, ольха, осина—лѣса, растущаго въ буквальномъ смыслѣ, «какъ борода»: такъ-же скоро и такъ-же часто. Изъ каждаго срубленнаго болѣе или менѣе рослаго дерева въ тотъ-же годъ цѣлыми пучками начинается пробивать прутья, густыми, непроходимыми стѣнами котораго окружены всѣ промежутки между рослыми деревьями, всѣ пни, и которыми непроходимо заростають такъ называемыя *гари*, мѣста лѣсныхъ пожаровъ.

Въ этихъ гаряхъ прутья (коллективное на-

званіе всякой древесной породы, растущей тонкимъ, длиннымъ и ломкимъ прутомъ), какъ щетка, лѣзетъ изъ мховъ, изъ-подъ старыхъ корней, опутываетъ громадные сгнившія, поваленныя огнемъ и вѣтромъ, и гнилыя деревья, и вотъ здѣсь-то во всякое время года преспокойно полеживаетъ и погуливаетъ Михайло Ивановичъ, твердо зная, что до него здѣсь никто не доберется. Здѣсь нельзя сдѣлать шагу безъ звонкаго треска сучья, ломающихся и подъ ногами, и въ рукахъ, которыми приходится раздвигать густой прутьякъ чуть не у самаго носа. Сухіе сучья отъ малѣйшаго толчка, по сухому, кое-какъ еще держащемуся на ногахъ дереву, падаютъ съ трескомъ вамъ на дорогу, загораживаютъ путь, который весь перестѣченъ массами наваленныхъ другъ на друга деревьевъ. Нога проваливается въ гнилой пенъ, и, едва выбравшись изъ этой засады, вы падаете въ непроходимую топь. И гнилыя деревья, и сухіе сучья, и корни, и пни — все это обильно затянута какою-то неустанно лѣзущему изъ болота растительностью мховъ, болотныхъ травъ, цвѣтовъ, ягодъ, какихъ-то грибныхъ наростовъ, и подъ всѣмъ этимъ — вода, грязь бездонная, гниль мокрая, какой-то зацвѣтшій, заплѣсневѣлый студень, въ которомъ можно увязнуть по уши, не въ фигуральномъ, а въ буквальномъ смыслѣ. Такова гарь.

Не лучше и самая лядина. Тамъ, гдѣ стоитъ негорѣлый лѣсъ, утопающій въ прутьякъ, тамъ точно такъ-же, подъ всевозможною болотною растительностью, непроходимое болото, хотя здѣсь и можно кой-какъ пробираться, пользуясь обиліемъ старыхъ корней и сучьями. Но пространства между лѣсомъ и луговинами украшаются, во-первыхъ, такъ называемыми «мокринками», т. е. мѣстами, гдѣ въ сухую погоду нога вязнетъ только по щиколотку, а въ мокрую — по колѣно и выше; во-вторыхъ — настоящими болотами, перебраться черезъ которые иногда нѣтъ никакой возможности, такъ какъ лошадь тонетъ по брюхо, а тина такъ засасываетъ ступню, что человѣкъ рискуетъ навѣки остаться въ трясины, а лошади вытаскиваютъ ноги, оставляя въ трясины подковы. Много въ такихъ мѣстахъ навалено хворосту, палокъ, бревенъ, неизвѣстно — облегчающихъ или затрудняющихъ дорогу въ эти злчаныя мѣста, но вообще пробраться туда — вещь весьма мудреная, и безъ проводника, который знаетъ тропинки, лѣтомъ пробраться трудно, а весною въ апрѣлѣ, маѣ — совершенно невозможно...

Самое лучшее время для здѣшнихъ мѣстъ — зима: вся масса воды замерзаетъ толстымъ, крѣпкимъ слоемъ льда, который все увеличивается вслѣдствіе таянія снѣговъ въ оттепели, и какой бы ни была большой снѣгъ, всегда подъ нимъ нога отыщетъ твердую и ровную, какъ полъ въ комнатѣ, почву. Въ весны начинаются «отпоины», потомъ цѣлыя лужи, потомъ лужи превращаются въ рѣки; но сообщеніе во все это время еще возможно; еще не вышло днище, т. е. еще цѣлъ низшій слой льда. Но вотъ настали теплые апрѣльскіе дни — и тутъ для всѣхъ смертныхъ, имѣющихъ съ лядиною какія-нибудь отношенія, наступаетъ роковая минута: днище начинается выходить. Въ эту минуту всѣ, у кого за

зиму не вывезено накопленное лѣтомъ сѣно или па-рубленныя дрова, изъ всѣхъ силъ бьются какъ можно скорѣе переправить ихъ въ большой шоссе-ной дорогѣ. Лядина оглашается воплями, хляскомъ бьющейся въ водѣ, какъ рыба, лошади, шлепками мокраго веревочнаго кнута, раздающимися во всѣхъ углахъ громаднаго лѣснаго пространства. Люди и скотъ выбиваются изъ силъ, вязнуть по колѣно, по поясъ, по брюхо, по три, по четыре часа бьются на полверстѣ и кое-какъ добираются до двора, измучившись сами и измучивъ скотину. Наконецъ какой-нибудь изъ обывателей, весь мокрый съ головы до ногъ, возвращаясь изъ лядины и проходя по деревнѣ, свидѣтельствуетъ своимъ видомъ, что «днище вышло!» Тутъ ужъ слѣдуетъ благодарить Бога за то, что успѣли спасти, и отложить всякое попеченіе о томъ, что въ лѣсу осталось столько-то сѣна и дровъ, обреченныхъ лежать тамъ до будущей зимы и, стало быть, гнить.

Кромѣ всѣхъ вышеуказанныхъ сортовъ мокроты, лядины изобилуютъ многочисленными ручьями, которые лѣтомъ хотя и пересыхаютъ до того, что черезъ нихъ перейти курица, если только не погибнетъ въ густой травѣ, которою ручьи эти зарастаютъ въ изобиліи, но все-таки по обилию берегамъ окаймлены непересыхаемою топью. Даже мѣста, на которыхъ косятъ траву, мѣста сравнительно высокія, — и тамъ въ травѣ постоянно блеститъ на солнцѣ мокрота, вода; почва и тутъ гнется подъ ногою, какъ-бы сухо лѣто ни было, и всегда, каждый годъ, благодаря этому обилію отовсюду просачивающейся воды, тамъ, на этихъ сравнительно сухихъ мѣстахъ, гниетъ масса сѣна. Словомъ, гдѣ бы нога человеческая ни ступила тамъ, вездѣ она тонетъ либо въ гнилой кочкѣ, либо въ желтой и неароматической болотной трясинѣ, либо вязнетъ въ пышномъ, какъ губка напитанномъ водою, мхѣ. Каждый шагъ, даже въ самые сухіе года, сопровождается чавканьемъ сапога на разные тоны, далеко отдающіеся въ мертво-безмолвномъ лѣсу.

Вотъ это-то обиліе всевозможныхъ звуковъ, сопровождающихъ рѣшительно каждый шагъ человѣческой по лядинѣ — то глухимъ трескомъ сухого пня, то звонкимъ переломами сухихъ сучьевъ, то хляскомъ болотной воды и шумомъ жидкой грязи, и неумолкаемымъ чавканьемъ сапога, грубо шелкающего на мокрынкахъ и глухо хлопающего на мхахъ — это-то обиліе звуковъ, весьма исправно передаваемыхъ лѣсомъ въ отдаленнѣйшіе углы территории, и даетъ возможность обитающей лядину птицѣ и звѣрю заблаговременно убраться по-доброму по-здорову отъ господъ столычныхъ охотниковъ и ихъ превосходнѣйшей доброты англійскихъ ружей. И звѣрь, и птица за двѣ и болѣе версты слышатъ приближеніе столычнаго лакомки, и всегда имѣютъ время — Михайло Ивановичъ уйти въ свою любезную гарь, а заяцъ, тетеревъ, рябчикъ, тутъ-же, по близости господъ охотниковъ, забраться въ прутьякъ и спокойно слушать разговоры о томъ, что хорошо бы попробовать новое ружье на какой-нибудь толстомясой тетерекѣ. Зимой, когда лядина

замерзла и покрылась пушистымъ снѣгомъ, количество предохраняющихъ звѣря звуковъ значительно убавляется; но зато всякій звукъ, даже шепселъ, простой разговоръ, шарканье спичекъ о спичечницу—значительно въливаются въ силѣ, благодаря удивительной тишинѣ, царящей въ лѣдинѣ, удивительной неподвижности воздуха. Обиліе прутняка умѣряетъ самые бурные порывы вѣтра, разсѣкая волны вѣтра на миллионы ровно гудящихъ струй; а въ тихіе зимніе дни, въ особенности вечера, когда надъ лѣсомъ видна темная полоса тепла («лѣсъ надышалъ») — тишина здѣсь стоитъ заколдованная: за три версты слышенъ на деревѣ говоръ и можно различить—бранятся-ли, поютъ ли пѣсни, или разговариваютъ; слышенъ лай собакъ, и деревенскій житель, находящійся въ лѣсу, узнаетъ, чья именно лаетъ собака. И опять хорошо звѣрю и птицѣ.

— Такъ ты говоришь, спрашиваетъ столичный охотникъ мѣстнаго проводника:—есть зайцы-то?..

— Зайцовъ-то? зайцовъ здѣсь—страсть!

Вотъ отъ этихъ-то разговоровъ и зайцы разбѣгаются заблаговременно.

Вообще «пропасть» изъ глазъ, изъ-подъ ногъ и т. д., благодаря предохраняющимъ звукамъ, густотѣ и обилію прутняка, звѣрю въ лѣдинѣ нѣтъ ничего легче; но и человѣку, говоря безъ всякаго каламбура, ничего нѣтъ легче «пропасть» здѣсь, если-бы только существованіе его зависѣло исключительно отъ ея природныхъ богатствъ и свойствъ. Что здѣсь дѣлать ему? Подо мхомъ, на самыхъ сухихъ мѣстахъ лежитъ тоненькая, въ два вершка, прослойка земли, съ грѣхомъ пополамъ удобной для посѣва; но толстый, непроницаемый слой глины, лежащій подъ этой прослойкой, дѣлаетъ запятія хлѣбопашествомъ весьма рискованными. Въ дождливое время хлѣбъ вымокаетъ отъ обилія влаги, въ сухое — отъ непроницаемости слоя глины, которая задерживаетъ влагу около корня хлѣба и спариваетъ его. Сѣна здѣсь много, но массу его спариваютъ дожди и вѣчная, непересыхающая сырость. Вывозить его большую часть года нельзя—нѣтъ проѣзду. Кормить имъ скотъ тоже не всегда удобно, по причинѣ той-же болотной сырой почвы. Овцы напримѣръ отъ этой сырости болѣютъ здѣсь какою-то странною болѣзнію: у нихъ отрастаютъ ногти, длиной (какъ разсказываютъ) болѣе полутора вершка, такъ что больная овца начинаетъ ползати на копытцахъ, не имѣя возможности ходить. Дрова, рубимыя безпрекословно въ господскихъ, казенныхъ и крестьянскихъ дачахъ едва-ли не всѣми желаемыми, такъ называемое въ настоящее время третье сословіе (имѣетъ, благодареніе Богу!) скупаетъ охотно по рублю за сажень и, представивъ въ Петербургъ, продаетъ по пяти. Дрова — это самое легкое и выгодное, что доставляетъ человѣку лѣдана. Правда, крошъ сѣна и дровъ, лѣдана доставляетъ еще корье, т. е. кору ивняка, употребляющуюся на дубленіе кожъ; но съ какими страшными не только трудами, а прямо физическими страданіями достается этотъ продуктъ, равно какъ добыча сѣна—невозможно себѣ представить, не наблюдая этого дѣла лично.

Съ первыхъ теплыхъ апрѣльскихъ дней обыватель, знакомый съ лѣдиной, начинаетъ замѣчать въ ясные солнечные вечера на темномъ фонѣ лѣса какія-то движущіяся въ воздухѣ кучки сѣроватыхъ существъ. Это — комары. Въ первое время поведеніе этихъ тварей весьма деликатно относительно человѣка и скота. Комаръ еще слабъ: прилетитъ, сядетъ на руку или на щеку, воткнетъ свой носъ въ кожу, но проткнуть ея у него еще нѣтъ силы, онъ еще не справился. Но теплые дни становятся все чаще и чаще, и маленькая тварь размножается съ необычайной быстротой; она ужъ запѣла, робко и слабо сначала, но съ каждымъ днемъ это пѣніе становится все звучнѣе и назойливѣе. Съ каждымъ днемъ сѣренькая тварь нарождается миллионами, начинаетъ покалывать, пощипывать; человѣкъ начинаетъ похлопывать себя то по рукѣ, то щекѣ. Еще день — комариное племя уже трубитъ, а человѣкъ начинаетъ отмахиваться обѣими руками; затѣмъ — глядишь — ни дышать, ни работать, ни смотрѣть на свѣтъ отъ этой до невозможности плодущей твари невозможно. Рабочимъ человѣкомъ овладѣваетъ ожесточеніе; онъ начинаетъ ругаться нехорошими словами, бьетъ себя нещадно и бѣснуетъ... То же самое бываетъ и со скотиной: сначала она просто похлопываетъ себя хвостомъ по спинѣ и по бокамъ, потомъ начинаетъ бросаться изъ стороны въ сторону, чумѣть, реветъ... Иногда заяцъ выскакиваетъ изъ прутняка въ какомъ-то безумномъ состояніи: уши у него раздѣлены и разорваны въ кровь, и, выскочивъ на полянку, онъ ровно ничего не можетъ сообразить. Вотъ минута, когда его подлинно можно взять руками, если-бы человѣкъ самъ не находился въ томъ-же, какъ и заяцъ, положеніи. Не спасаютъ ни дымъ костровъ по ночамъ, ни чадъ зажигаемыхъ нарочно для этого пней, ничто, до тѣхъ поръ, покуда кожа человѣка не загрубѣетъ и не заструбитъ до степени непроницаемости. Но едва человѣкъ приспособился къ борьбѣ съ комаромъ, какъ на смѣну его является слѣпень и за нимъ оводъ. Начинается новая война и прямо съ кровопролитіемъ. А затѣмъ появляются какія-то мошки, которыя, по примѣру своихъ предшественниковъ, успѣваютъ вновь еще разъ доказать здѣшнему обывателю, что «жизнѣ» для него въ здѣшнихъ мѣстахъ, точно, «нѣту» никакого. Еще зимой картина молчаливаго, точно глубоко спящаго лѣса имѣетъ нѣчто характерное и даже сильное по впечатлѣнію, но лѣтомъ просто-напросто — нѣтъ житья. Въ сухую погоду жретъ тебя комаръ, слѣпень, мошкара, а въ мокрую — Божомой, что за тоска здѣсь! — изъ-подъ мховъ «булькаютъ» какіе-то пузыри грязи; какія-то птицы прилетятъ и начнутъ терзать васъ унылѣйшими звуками: одна какъ будто уныло лаетъ; другая, иррационально запустивъ свой носъ въ грязь, издаетъ отрывистые, грубые и рѣдкіе, какъ погребальный звонъ, звуки; третья вопитъ жалобнымъ голосомъ, похожимъ на голосъ плачущаго ребенка... вопитъ безъ умолку, точно умоляетъ о спасеніи, точно кричатъ: «погибаю, погибаю, спасите... спасите». Нѣтъ, не хороши здѣшнія мѣста!

II. Чуданъ-баринъ.

1.

Вспомнивъ, что съ этихъ непривѣтливыхъ мѣстъ «пошла Русская Земля», невольно приходишь къ убѣжденію, что древнѣйшему нашему прародителю-новгородцу, начинателю жизни на Русской Землѣ, дѣйствительно должна была придти въ голову мысль о необходимости призванія варяговъ, т. е. начальства, которое своими мѣропріятіями давало-бы какое-нибудь оправданіе мѣстному обывателю на существованіе въ такой труппѣ, какъ лядина. Въ самомъ дѣлѣ, представимъ себѣ древнѣйшаго нашего прародителя-новгородца, ведущаго непрерывную и бесплодную борьбу съ трясиной, «откуда есть пошла Русская Земля». Не приходила-ли ему въ голову примѣрно такіа размышленія: «спрашивается, зачѣмъ, на какомъ основаніи и вообще почему я обязанъ торчать въ этой труппѣ, воевать съ комарами и вообще болѣе или менѣе пропадать въ болотѣ, въ прутнякѣ, въ гари? Изъ-за чего? Положимъ, что вотъ у сосѣдей, у нѣмцевъ, та-же самая трясина и прутнякъ... Но я понимаю, что тамъ совсѣмъ другое дѣло: тамъ земля завоеванная; пришли чужіе люди, забрали въ руки все, обложили каждый лоскутъ данью. Это все понятно. Тамъ, я понимаю, человекъ притиснуть къ стѣнѣ. Плати, или убирайся вонъ! Не на воздухѣ-же жить съ семействомъ... Разумѣется, будешь жить въ трясинѣ... Но заѣсъ? (Новгородецъ восклицаетъ почти въ ужасѣ). Зачѣмъ, изъ-за чего заѣсъ?.. Нѣтъ заѣсъ ни завоевателей, никто тебя по шеѣ не гонитъ, никто твою дань не опутываетъ; изъ-за чего-жъ все это мученіе? Я понималъ-бы это безобразіе, если-бы меня, какъ нѣмца, притиснулъ къ этому прутняку какой-нибудь безстыжій завоеватель. Разумѣется, тогда-бы жилъ, долженъ былъ жить, потому ничего не подѣлаешь... Но ничего этого нѣтъ, и... я не понимаю!»

Вотъ именно какое недоумѣвающее о самомъ себѣ существованіе и было причиною того, что въ образованномъ лядинскомъ обществѣ того времени стала бродить мысль о необходимости введенія въ нашей сторонѣ порядковъ, хотя въ приблизительной только степени, по западно-европейскому образцу. Если нѣтъ заправскихъ завоевателей, которые-бы приструнили нашего брата, «новгородскаго начинателя», на нѣмецкій манеръ, то очевидно необходимо самимъ позаботиться объ этомъ, самимъ установить нѣчто вродѣ завоеванія. Нельзя сказать, чтобы расчетъ былъ плохъ; напротивъ, въ немъ видна значительная доля чисто русской смѣтливости, глазомера и вообще недюжиннаго ума. Въ Европѣ сначала—завоеваніе, потомъ—дань; у насъ — прямо дань, а на завоеваніи прародители наши очевидно остались въ чистомъ барышѣ. Съ тѣхъ поръ до настоящаго времени обитателю лядинъ есть чѣмъ отговориться, когда къ нему пристанутъ съ вопросомъ, зачѣмъ онъ торчитъ въ этой трясинѣ и изъ-за чего бьется?

— Подати, батюшка, говоритъ онъ, — пода-а-ти!.. Подати надоть платить, изъ-за того и бьемся... Недомка!

И, дѣйствительно, недомки накопились лядинецъ сверхъ всякаго вѣроятія.

Итакъ, если лядина обладаетъ вышеописанными свойствами; если древнѣйшій прародитель нашъ, новгородецъ, долженъ былъ призывать варяговъ только для того, чтобы они заставили жить и страдать въ этихъ трясипахъ; наконецъ если въ настоящее свободное время мѣстные обыватели не хотятъ приобрести лядину и за половину той цѣны, которую они давали во время крѣпостного права, если, повторяемъ, все это такъ, то спрашивается: чѣмъ, какими резонами можно объяснить попытку какого-то чудака превратить это пустое мѣсто въ нѣчто обитаемое? Какіе резоны имѣлъ этотъ чудакъ начать постройку (и не кончить) большого двухъ-этажнаго дома въ одной изъ этихъ трясинъ? Кого онъ хотѣлъ удивить, начавъ (и не кончивъ) копать въ этой болотной трясинѣ канавы, какъ извѣстно мгновенно заростающія прутнякомъ и всякой травой? Что, кромѣ величайшихъ неудобствъ, имѣлъ въ виду неизвѣстный чудакъ, пытаясь перекинуть черезъ нѣкоторыя трясины довольно приличные мостики, такъ какъ выбраться изъ трясинъ на мостъ и затѣмъ уже съ нѣкоторой высоты вновь опрокинуться въ трясину же—ни крестьянину съ возомъ, ни охотнику столичному, шагъ за шагомъ пробирающемуся на тряской телѣгѣ въ какой-нибудь откупленный для охоты участокъ, не представляетъ ни малѣйшей пріятности. И вообще что это за чудакъ?

Такія мысли невольно должны приходиться въ голову какъ крестьянину, пробирающемуся на дровняхъ за дровами или за сѣномъ въ лѣсъ, такъ и столичному охотнику и всякому случайному прохожему, путь котораго почему-либо лежитъ мимо покинутой, но очевидно очень недавно начатой, и притомъ въ широкихъ раздѣлахъ, мызы, раскинутой въ довольно глухой мѣстности одной изъ лядинъ новгородскихъ.

Мыза задумана въ широкихъ раздѣлахъ: деревянный, двухъ-этажный съ мезониномъ домъ стоитъ недостроенный, очевидно брошенный своимъ владельцемъ; стекла въ окнахъ нижняго этажа кой-гдѣ цѣлы; во второмъ нѣтъ ни стеколъ, ни даже рамъ; въ мезонинѣ то же самое. Домъ, надо думать, предполагалось поставить въ саду, о чемъ свидѣтельствуетъ въ разныхъ направленіяхъ загородъ. Новая въ то время ворота стоятъ покачнувшись и перекосившись. Бани, людская просторная изба, сарай, скотный дворъ, погребъ—все это ново, пахнетъ свѣжимъ лѣсомъ, носитъ слѣды недавняго струга, рубанка, пилы. Масса щепъ вокругъ дома также свидѣтельствуетъ о томъ, что затѣя поселиться въ трясинѣ—затѣя недавняя, и все это, несомнѣнно стоящее большихъ денегъ, брошено, покинуто на произволъ судьбы. На разспросы случайныхъ посѣтителей извощикъ или проводникъ изъ окрестныхъ крестьянъ обыкновенно отвѣчаютъ, что «хорошій былъ баринъ... и—и, какой человекъ! одно слово—доброта, душа-человѣкъ! Не нажить такого барина и во вѣкъ!» А куда онъ исчезъ, этотъ «хорошій баринъ», никто не знаетъ. Расска-

звали, что ушелъ въ заморскія земли... «И какъ ушелъ-то? Думали-было, что въ городъ поѣхалъ на день, на два, анъ — глядь — вотъ ужъ второй годъ его нѣту, и посейчасъ неизвѣстно гдѣ»... Точно такъ же неизвѣстна мѣстнымъ обывателямъ и причина, почему баринъ нашелъ нужнымъ бросить все добро, бросить такую кучу денегъ, уйти, не сказавъ ни слова знакомымъ мужикамъ, которые «оченно и премного бариномъ довольны были и завсегда» и т. д.

И затѣмъ, если бы случайный посѣтитель пожелалъ разузнать о баринѣ что-нибудь поподробнѣе, то ему сообщили-бы множество фактовъ, доказывающихъ необыкновенную доброту и простоту (похвальная сторона этого послѣдняго качества въ устахъ крестьянина имѣетъ весьма сомнительное свойство), но рѣшительно ничего въ объясненіе причинъ появленія его въ этой трясинѣ. Расскажутъ вамъ для характеристики барина: — «Ужъ и доберъ только былъ человѣкъ, на рѣдкость даже!.. Цѣной не скупился: впередъ давалъ, сколько хошь — по сту, по двѣсти рублей, и по триста давывалъ, работой не неволилъ... Бывало, какъ лѣсъ чистили, часика съ два потукаешь топоромъ, деревъ съ пятью свалишь, ужъ бѣжить: не устали ли молъ, ребята? Водки тащатъ, закуски — пей... Это, наприимѣръ, чай съ сахаромъ за всякое время пей, сколько хошь! Въ накладку пивали, сказать ежели вамъ по совѣсти, истиннымъ Богомъ... всей артелью человѣкъ въ тридцать въ накладку — пей! Ничего! Никакихъ вредовъ не дѣлалъ... Это ужъ что говорить!.. Иди ты, братецъ мой, къ нему въ полночь — запрету нѣтъ, ядъ прямо — допускаетъ безъ разговору. садись, пей чай али тамъ вино, кофей — это у него сдѣлай милость, не опасайся!.. Скажешь: — «А что, Михалъ Михалычъ, хотѣлъ я у васъ увспросить, коровенку хочу»... — «Много-ль?» И сію минуту дастъ, ежели есть, а ежели нѣту — «вотъ, говорить, съѣзжу въ городъ, привезу»... И вѣрно!.. Одно слово, баринъ былъ добрый, худова слова даже ни одного разу не сказалъ; а надо говорить ужъ правду, случалось съ нимъ худо поступали, что грѣха таить!.. Подконецъ, какъ ему уйти, народишко-то вокругъ него малымъ дѣломъ поиспортился... Бывало такъ, что только топоромъ стучить объ дерево, а рубить не рубить. Стучать пострѣлы по пнямъ, а потомъ идти расчетъ получать. И платилъ, и впередъ давалъ. До чего баловство проникло наприимѣръ, что Мишка — вотъ тутъ есть мальченка — такъ тотъ, пострѣленокъ, бывало, въ людской сидимъ, чай пьемъ, набьетъ себѣ въ чашку кусокъ восемь, а то и десять сахару, сидитъ въ шпикѣ передъ образами, да еще и на столъ, съ позволенія сказать, садился! Истиннымъ Богомъ садился, вотъ до чего ихъ обуяло! А иной и совсѣмъ худо дѣлалъ. Дастъ ему Михалъ Михалычъ сотельную: — «Поди, молъ, хошь тамъ Микита или Егоръ, разиѣняй, молъ, бумагу-то, да кстади отдай тому-то, либо тому»... — «Слушаю», скажетъ и поидетъ, да вѣсто того чтобы отдать кому приказано, приходитъ назадъ и докладываетъ: — «Ужъ вы меня, Михалъ Михалычъ, не браните: я деньги ваши

истратилъ, купилъ себѣ тесу или тамъ лошадь, корову; ужъ вы меня поставьте на работу, я вамъ отслужу». И то не серчалъ. — «Ну что-жъ!» только всего и было отъ него... Вотъ какой былъ человѣкъ!.. Ну, а какъ сталъ онъ мало-маленько хмелемъ зашибать — ну ужъ тутъ съ нимъ стали орудовать, надо сказать, прямо не по хорошему... Во хмелю-то хотъ раздѣвай его. Плачетъ, а съ него счищаютъ деньгу-то: охотниковъ-то у насъ на эти дѣла, господишь, весьма предовольно!.. Я такъ думаю, что должно быть, что капиталу онъ своего рѣшился въ нашихъ мѣстахъ — оттого и ушелъ. А ужъ такой былъ баринъ!.. Не нажить такого барина намъ, нѣтъ, не нажить! Подконецъ-то онъ чего-то ужъ больно затужилъ, выпьетъ бывало — и крѣпко иной разъ выпивалъ — и залѣется, а съ чего — не сказываетъ».

И если-бы случайному человѣку захотѣлось узнать, съ чего-же это онъ грустилъ такъ, то мѣстный обыватель не нашелъ-бы что отвѣтить, или отвѣтилъ-бы что-нибудь вроде: — «А Господь его праведный знаетъ... Капиталу своему можетъ сожалѣніе было, али что-нибудь, какіе прочіе предлоги — неизвѣстно намъ это. Господь его вѣдаетъ!»

И ничего болѣе мѣстный обыватель и даже очевидецъ не сообщитъ о чудакѣ добромъ баринѣ. Анекдотовъ объ этой добротѣ, разныхъ случаевъ, въ которыхъ она выказывалась, сообщать многое множество; но всѣ эти свѣдѣнія нарисуютъ предъ вами только фигуру *барина*, правда добраго, но вообще *человѣка* не нарисуютъ. Источникъ доброты, этой чудачливой панибратской обходительности барина съ крестьянами, этой заботливости о томъ, «что, молъ, не усталъ-ли», наконецъ источникъ этого невозможнаго равнодушія къ деньгамъ — все это для мѣстнаго обывателя и даже очевидца объясняется именно *барскими*, отличающими барина отъ мужика, свойствами. Баринъ можетъ такъ *чудачить*, куралесить, баринъ воленъ куралесить на такой образецъ, какъ пожелаетъ: на то онъ не мужикъ, а баринъ, на то у него и денегъ много.

2.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, совершенно случайно пришлось намъ познакомиться съ этимъ, отсутствующимъ теперь въ неизвѣстности, добрымъ бариномъ, Михайломъ Михайловичемъ, и теперь иной разъ, сидя на крыльцѣ его мызы (приведенной въ порядокъ однимъ моимъ знакомымъ) и толкуя съ обывателями обо всякой-всячинѣ, я до нѣкоторой степени могу себѣ представить по-истинѣ трагическое состояніе духа, въ которомъ долженъ былъ находиться добрый Михайлъ Михайловичъ...

Добрый *баринъ*! Что можетъ быть ужаснѣе для человѣка съ его направленіемъ мыслей! Онъ, въ ту пору молодой, двадцати пяти-лѣтній барченокъ, только что оставившій университетскую скамью, пріѣхалъ сюда вовсе не для того, чтобы величаться капиталами, барствомъ и довольствоваться всеобщимъ раболѣпіемъ. Для охотниковъ ко всему этому есть другія поприща, а не ладинская трущоба. Онъ явился здѣсь именно въ увѣренности.

что онъ *порвалъ связи* какъ съ своимъ семействомъ, такъ и съ городскимъ обиходомъ жизни, съ своекорыстнымъ употребленіемъ своего капитала, званія и т. д., и т. д. Все это онъ бросилъ позади себя и явился нарочно въ трущобу, въ безплодное дикое мѣсто, гдѣ человѣкъ терпѣть, нуждаться, бѣдѣть... Михаилъ Михайловичъ пришелъ сюда съ тѣмъ, чтобы «на новомъ мѣстѣ» совершенно по «новому» начать жить, жить такъ, чтобы каждый кусокъ, который попадаетъ ему въ ротъ, не пахнулъ чужимъ трудомъ, чужимъ потомъ. Онъ пришелъ трудиться наравнѣ со всѣми, какъ равный въ правахъ и обязанностяхъ, спать вмѣстѣ съ другими на соломахъ, ѣсть изъ одного котла, а деньги, какъ нажитыя общимъ трудомъ (такъ былъ М. М. въ этомъ глубоко увѣренъ въ то время юношескихъ фантазій), должны быть достояніемъ той кучки людей, которая должна была образоваться какъ изъ крестьянъ, такъ и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ интеллигентныхъ людей. Что среди крестьянъ онъ непременно отыщетъ людей, которые всецѣло не только поймутъ, но еще разовьютъ его мысли — въ этомъ онъ былъ совершенно увѣренъ. Крестьянинъ — это одѣтый въ полушубокъ живой памятникъ всего, чего не упишешь въ 26-ти томахъ исторіи Соловьева. Мало того: въ то прекрасное время къ фигурѣ крестьянина какъ-то невольно примыкивало, кромѣ 26-ти томовъ Соловьева, еще все мучительно переизданное и пережитое европейскою жизнью.

Сообразивъ все это и соединивъ все такъ безобразно-трудно пережитое человѣчествомъ въ лицѣ крестьянина, которому наконецъ настало время вздохнуть свободно, Михаилъ Михайловичъ не могъ не подозревать, что такое существо, какъ крестьянинъ, бѣдный, измученный, забытый, испытавшій и пережившій Богъ знаетъ какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ опыты тысячелѣтнихъ трудовъ — долженъ, *непрерывно долженъ* пытаться ненасытную жажду устроить жизнь по новому; у него въ горлѣ пересохло отъ этой жажды, онъ ждетъ-не-дождется, онъ страстно хочетъ вздохнуть полной грудью. Предъ этимъ величіемъ Михаилъ Михайловичъ — пигмей; онъ ничего не имѣетъ права желать, какъ только отдать этому гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ. Больше Михаилу Михайловичу ничего не нужно. Онъ пришелъ униженнымъ и смиреннымъ работникомъ. Такъ Михаилу Михайловичу казалось... Онъ готовъ былъ простить всякую грубость, невѣжество, всякую неприятность со стороны его народныхъ сотоварищей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не изъ чего выработаться было тонкостямъ и деликатностямъ; онъ былъ готовъ все простить и все претерпѣть... Но, увы! — народъ никакимъ образомъ не могъ простить Михаилу Михайловичу ни капли изъ прошлаго, потому что прошлое было крѣпостное — какъ немогъ забыть своего крѣпостного прошлаго. Этотъ крѣпостной опытъ крестьянъ — съ одной стороны, и съ другой — то, что Михаилъ Михайловичъ былъ вѣдь въ самомъ дѣлѣ баринъ, и сокрушило и планы, и деньги Михаила Михайловича безъ остатка.

Да и какія бы другія представленія могъ имѣть только-что вышедшій «изъ крѣпости» крестьянинъ о людяхъ, подобныхъ Михаилу Михайловичу? Развѣ было что-нибудь и когда-нибудь подобное? А что Михаилъ Михайловичъ — баринъ, это мѣстный обыватель заключилъ по тысячѣ мелочей, которые для Михаила Михайловича казались ничтожными, не имѣющими никакого значенія въ томъ серьезномъ дѣлѣ, какъ то, за которое онъ брался. Ужъ одно то, что онъ пріѣхалъ въ деревню со станціи въ тарантасѣ, а не пришелъ пешкомъ съ котомкой за плечами и босыми ногами, не попросилъ Христа ради испить — ужъ это доказывало, что онъ не мужикъ. Онъ щедро далъ на водку, далъ столько мелочи, сколько попало въ руку въ карманѣ — «и карьера его была рѣшена!» А когда къ Михаилу Михайловичу стали пріѣзжать его пріятели, все люди простые, честные, добрые, тогда мѣстные обыватели, ни мало не сомѣшавшіеся въ томъ, что люди эти — *господа*, окончательно убѣдились еще въ томъ, что они и добрые. Одинъ послалъ за газетой на станцію и далъ рубль серебра за хлопоты — заработокъ небывалый и новый, что немедленно же убѣдило обывателей въ добротѣ господъ и въ томъ, что они — *чудаки*.

Вотъ почему разсужденія Михаила Михайловича и его пріятелей о томъ, зачѣмъ они сюда пріѣхали, что будутъ дѣлать и какъ это выгодно и прекрасно для всѣхъ, какъ это все справедливо и т. д., — мѣстные обыватели не только не понимали, но не желали понимать. Пожелай они — поймутъ отлично; вся задача въ томъ и состоитъ, чтобы пожелать! Но они считали своимъ долгомъ поддакивать. Своему брату или вообще человѣку, который бы пришелъ съ деньгами въ эту трясицу и объявилъ бы, что онъ хочетъ здѣсь жить и кормиться, они бы прямо сказали: «ступай отсюда, пропадешь!» Но разъ передъ нимъ баринъ съ деньгами и съ своей повадкой (фантазія Михаила Михайловича не болѣе какъ *повадка*), то дѣло другое: тутъ только «по-трафляй». Вотъ почему разсужденія Михаила Михайловича, разсужденія, которыхъ крестьяне даже не считали нужнымъ внимательно выслушивать (хотя дѣлали самый внимательный видъ), получили отъ всѣхъ ихъ полнѣйшее одобреніе.

— Вѣдь и эта земля, которая вотъ, кажется, никуда не годится, вѣдь она, посмотрите, какая будетъ, если сдѣлать вотъ то-то и то-то.

— Это ужъ само собой! Этой землѣ цѣны не будетъ! Одно слово...

— Вотъ я вамъ разскажу, робко начиная поучать, говорилъ Михаилъ Михайловичъ: — напри-мѣръ, въ Америкѣ...

И разсказывалъ исторію какой-нибудь американской общины, которая на безлюднѣйшихъ мѣстахъ сумѣла развести цвѣтущія довольствомъ поселенія, и только благодаря знаніямъ и опредѣленности цѣли.

— Цѣль... вотъ главное.

— Само собой! Это ужъ первымъ долгомъ!

Словомъ, какія бы невозможно-идеальныя, фантастическія идеи ни развивалъ въ это время Михаилъ Михайловичъ передъ мѣстными обывателями,

всѣ онѣ безъ исключенія принимались послѣдними безъ малѣйшаго протеста и возраженія и всегда напротивъ съ величайшимъ одобреніемъ: «само собой!» «Чего лучше?» «Первое дѣло!» «Первымъ долгомъ!»

Если-бы Михаилъ Михайловичъ въ это время не былъ помѣшанъ на своихъ фантазіяхъ, то онъ и теперь ужъ могъ-бы услышать изъ устъ своихъ крестьянъ-сотоварищей (такъ онъ думалъ) нѣчто, потрясающее всѣ его иллюзіи. Такъ, одобряя и соглашаясь, нѣкоторые изъ крестьянъ проговаривались весьма неосторожно, вставляя что-нибудь вроде: «мы всегда хорошимъ господамъ съ охотой готовы... Что нашихъ силъ... Для господъ.» Но Михаилъ Михайловичъ въ эту пору никого и ничего не слыхалъ, занятый новымъ дѣломъ, какъ и мужики не слышали, что онъ толкуетъ, занятые своими старыми. Онъ полагалъ, что всѣ разсужденія — сущая правда и неопровержимы, и мужики думали, что они ловко потрафляютъ барину, поддакивая, — и не ошиблись. Баринъ оказался — «рубаша»!

3.

Начавъ общее дѣло съ взаимнаго и совершенно основательнаго нежеланія слушать другъ друга, добрый баринъ и добрый мужикъ такъ это дѣло и продолжать стали. Баринъ «гналъ свою линію», всячески угождая мужикамъ и относясь къ нимъ съ полнымъ почтеніемъ; мужики погнали свою линію, также всячески угождая барину и относясь къ нему съ полнымъ почтеніемъ. Все это, говоря обывательскимъ языкомъ, произошло въ полной мѣрѣ «само собой»! И не прошло трехъ-четырехъ мѣсяцевъ послѣ того, какъ Михаилъ Михайловичъ вступилъ во владѣніе лядинской пустыней, какъ однажды, проснувшись утромъ въ наскоро сколоченномъ мужиками сараѣ, но безъ нѣкотораго ужаса почувствовалъ, что въ его житей-бытьѣ что-то не ладно...

— Канавы прикажете, Михаилъ Михайловичъ, гнать аль мосты наводить? спросилъ его крестьянинъ, снявъ шапку.

Михаилъ Михайловичъ молчалъ.

Онъ былъ пораженъ.

— «Что-жъ это, думалъ онъ: — вѣдь я, кажется, *приказываю... командую*»...

Однако, собравшись съ духомъ, онъ все-таки отдалъ какое-то приказаніе. Но, поднявшись съ сѣна, на которомъ онъ спалъ, наскоро напяливъ рваное пальтишко, въ которомъ ходилъ по приобретенной трясинѣ, грязные сырые сапоги, вытаскавъ изъ-подъ подушки и надѣлъ на голову смятую шляпу и почему-то немедленно уѣхалъ въ Петербургъ.

Недѣли двѣ онъ бѣгалъ по петербургскимъ пріятелямъ, не ваявѣя своего страннаго костюма и грязнѣ, толстымъ слоемъ лежавшей на лицѣ и рубашкѣ, и предаваясь все это время непрестаннымъ разглагольствованіямъ, причемъ обсуждалась на тысячу ладовъ справедливость дѣлаемаго Михаиломъ Михайловичемъ дѣла. Уже въ это время его начинали одолевать припадки острой и мрачной тоски. Думаетъ-думаетъ, остановится на улицѣ съ вытаращеннымъ неподвижнымъ взоромъ, постовтъ и, какъ сонный, войдетъ въ портерную, спросить круж-

ку, выпьетъ, спросить другую-третью, и не замѣчаетъ, что его одолеваетъ хмель...

Такъ онъ долго промаялся въ Питерѣ; но когда воротился въ трясину, то былъ уже не тѣмъ, чѣмъ въ первый пріѣздъ. Онъ ужъ не разглагольствовалъ, убѣдившись, что его не слушаютъ; онъ ужъ не панибратствовалъ, убѣдившись, что въ братья мужику онъ не годится, хотя и продолжалъ вѣстѣ спать и вѣстѣ ѣсть. Длиннымъ рядомъ всевозможныхъ разсужденій о своей задачѣ онъ пришелъ къ тому, что только примѣръ, результатъ видимый, осязательный, доступенъ будетъ пониманію туперешняго крестьянина и научить его лучше всякихъ многосложныхъ разсужденій. Стало быть, надо не разглагольствовать, а взять все дѣло на себя, на свою ответственность. Теперь роятся канавы, осушаются сырые мѣста; но когда будетъ, на зло всѣмъ преградамъ, полученъ первый урожай, словомъ — когда получатся плоды трудовъ и знаній, Михаилъ Михайловичъ на дѣлѣ покажетъ, что значитъ справедливость. Теперь же онъ просто будетъ «пока» распоряжаться.

Рѣшивъ такъ, Михаилъ Михайловичъ почувствовалъ себя спокойнѣе, да и въ самомъ дѣлѣ отношенія сдѣлались между ними и мужиками естественнѣе. Онъ сталъ приказывать, а они стали исполнять. — «Рой тутъ канаву!» скажетъ Михаилъ Михайловичъ, и ужъ не разглагольствуетъ о будущемъ благополучіи, а молчитъ и молча думаетъ: «потомъ сами увидите, что это значитъ!» Ставъ на эту точку, онъ уже началъ отвыкать отъ сплошнаго взгляда на весь толкавшійся вокругъ него народъ; онъ уже не могъ смотрѣть на всѣхъ нихъ одинаково, какъ смотрѣлъ еще недавно, полагая, что предъ нимъ въ каждомъ полушубкѣ ходятъ всѣ 26 томовъ исторіи Соловьева, а сталъ различать въ одномъ экземплярѣ 26-ти томовъ — хитрость, въ другомъ — глупость, въ третьемъ — самодурство, въ четвертомъ — ловкость, понятливость и умъ.

Появились такимъ образомъ любимцы, приближенные, довѣренные.

Такимъ образомъ, если ужъ въ то время, когда Михаилъ Михайловичъ былъ предъ мужикомъ тише воды, ниже травы, если, повторяемъ, и въ то уже время въ немъ не трудно было разыскать и разсмотрѣть барина, барскую повадку, то теперь-то и подавно. Полагая, что онъ только временно, такъ сказать, надѣлъ на себя шкуру барина, Михаилъ Михайловичъ незамѣтно, въ силу того-же, что онъ былъ *баринъ въ самомъ дѣлѣ*, сталъ сбиваться съ равноправной ноги, и воспитанное долготѣніемъ прошлымъ барство стало, сначала понемногу, выступать въ его умѣ, и сердцѣ, и душѣ, а потомъ и очень скоро вышло во всей своей прелести.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по мѣрѣ того какъ въ Михаилѣ Михайловичѣ сталъ проступать ужъ не *прикрашенный баринъ*, въ крестьянинѣ (который, просимъ не забывать, только-что вышелъ изъ крѣпости) сталъ навстрѣчу барину выступать не *прикрашенный рабъ*.

Баринъ началъ повелѣвать, а крестьянинъ прінялся его надувать.

Началась самая утонченная борьба двухъ естественныхъ враговъ, и надо отдать мужикамъ справедливость—молодцы они въ этой борьбѣ. Лаской, угожденіемъ, пограбленіемъ, предупрежденіемъ еще не родившихся, но имѣющихъ рано-ли, поздно-ли родиться желаній, вотъ какъ они, и самые талантливые изъ нихъ, принялись дѣйствовать...

У Михаила Михайловича стало образовываться все больше и больше праздного времени, ему становилось все легче и беззаботнѣе, точно кто по-матерински заботился о немъ. Онъ даже лезть сталъ слушать какъ должно, поддавался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію. Невѣдомо какъ и откуда взялась какая-то бабенка востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да около лебезить. И другая, и третья. . .

4.

Михаилъ Михайловичъ вновь очнулся, опаматывался и совершенно упалъ духомъ. Сначала, когда какое-то ничтожное обстоятельство заставило его прийти въ себя, онъ мгновенно (барская привычка) ожесточился на мужиковъ. Все въ нихъ показалось ему отвратительнымъ: и эти бороды, и лица, но пуще всего эти улыбки, эти снятые шапки. «Холопы!» возопилъ онъ всѣмъ нутромъ. Противными ему показались всѣ эти: «Будьте покойны!» «Дѣло явное, чего лучше!» «Само собой!» «Въ аккуратъ!» и множество другихъ ничего незначащихъ словъ, которыми такой мастеръ отдѣлываться русскій человѣкъ, когда онъ не хочетъ ничего сказать или когда желаетъ сказать не то, что думаетъ.

Бывали у Михаила Михайловича минуты суроваго ожесточенія противъ всѣхъ и вся. Бывало такъ, что, ожесточившись рѣшительно на всѣхъ, толкавшихся вокругъ него на работахъ и постройкахъ людей, ожесточившись на всѣхъ огуломъ и на каждого по одиночкѣ, Михаилъ Михайловичъ прекращалъ всякія приказанія и распоряженія, упорно молчалъ, не давалъ ни на что никакихъ отвѣтовъ. Тогда народъ, толпившійся вокругъ него, немедленно-же начиналъ разбредаться; никому не было расчета терять минуты времени даромъ. Всякій зналъ: «понадобится — пришлутъ», и, взваливъ котомку на плечи, распозались по дѣснымъ тропинкамъ къ нозому заработку.

Но по мѣрѣ того, какъ равнодушіе этихъ разбредавшихся людей (лично къ Михаилу Михайловичу, а не къ заработку) становилось все яснѣе и яснѣе, ожесточеніе его противъ этихъ людей ослабѣвало, а перспектива не сегодня, такъ завтра остаться одинокимъ въ этой трясинѣ—совершенно уничтожала въ немъ гнѣвъ и ненависть. Такъ же быстро, какъ и въ началѣ хандры, ненависть его съ мужиковъ переносилась на самого себя, а мужикъ напротивъ—начиналъ выростать, выростать... въ чѣмъ-же?—въ прямотѣ и правдѣ... Начинало оказываться, что во всемъ поведеніи мужика,—поведеніи, которое возмущало такъ недавно до глубины души, не было ничего, кромѣ самой сущей искренности и глубочайшей правды. Михаилъ Михайловичъ въ эти минуты ясно видѣлъ соб-

ственную свою дрянность, гнилость, негодность, негодность во всѣхъ смыслахъ—въ физической силѣ, въ твердости убѣжденій, въ силѣ мысли, въ прочности, нравственности и т. д. И во всемъ этомъ мужикъ несравненно выигрывалъ. Какое необычайное преимущество мужика предъ нимъ уже въ одномъ томъ, что пѣль его проста, мала—какая-нибудь коровенка, недоимка? Купить коровенку, уплатить недоимку, а сколько онъ тратитъ на это силы, не сердясь, не бѣснуясь, не хвалясь, не чванясь?.. Ему все простительно, онъ все изъ-за хлѣба...

5.

Въ такіе минуты Михаилъ Михайловичъ мрачно пилъ и подъ хмелькомъ ворочалъ мужиковъ назадъ, вновь пилъ «на мировую», подъ хмелькомъ ѣхалъ въ деревню въ гости, вновь пилъ въ гости... И тутъ уже съ нимъ стали поступать безъ церемоніи... Тутъ то вотъ Мшутка сѣлъ подъ образа въ шапкѣ, накаталъ сахару въ чашку до верху и на столъ грозился сѣсть. Въ эту-то пору стали у него брать деньги почти изъ рукъ и почти безъ церемоніи... Не пренятствовалъ Михаилъ Михайловичъ этому, убѣдившись, что другого значенія для него нѣтъ, какъ быть расхищеннымъ на пользу ближнему...

«По настоящему, думалъ онъ,—надо-бы просто послушать совѣта: отдай имѣніе свое—и ступай!.. Бери, ребята, бери!»...

Онъ ужъ совершенно въ это время не разсуждалъ и не фантазировалъ, а изрекалъ гдѣ-нибудь въ крестьянской избѣ за бутылкой водки краткія изреченія, вродѣ наприимѣръ слѣдующаго:

— Нѣтъ, ребята, мы съ вами одного поля ягоды.. И много, много въ васъ и въ насъ разныхъ блохъ вѣрнопостныхъ сидятъ... И долго-долго, ребята, выбивать изъ насъ этихъ блохъ-то придется...

— Само собой! отелкиается кто-нибудь на эту рѣчь.

— Да перестань ты болтать, чортъ знаетъ что! раздражительно восклицаетъ Михаилъ Михайловичъ. — Ну, что это значить «само собой»?—какой тутъ смыслъ? Что значить въ «аккуратъ», «къ примѣру», «первымъ долгомъ»? Зачѣмъ болтать вздоръ? Неужели наконецъ, послѣ всего, ты прямо не можешь сказать, что тебѣ отъ меня нужно? Корову? Лошадь? Тесу? Овцу? Телѣгу? Вѣдь непременно-же что нибудь подобное, а ты какое-то «само собой», а потомъ «въ аккуратъ»... Чего тебѣ нужно?..

— Да лошадку-бы точно что...

— Ну вотъ и прекрасно... а то «первымъ долгомъ», «въ томъ числѣ». Ерунда!..

— Михаилъ Михайловичъ! восклицаетъ востроглазая солдатка, появляясь въ избѣ.—Ты что-жъ солдатку-то забылъ? Чего-жъ чайку-то не зайдешь напиться?..

— Забылъ? Нѣтъ, я зайду, непременно зайду...

— Ты думаешь, солдаткѣ тоже пить-ѣсть не надо?..

— Какъ можно! Я-то думаю?.. Что это ты?.. Отлично понимаю. Именно пить-ѣсть...

— То-то, заходи, стало-быть, въ гости-то...
 — Непремѣнно... Тебѣ чего, тесу или чего?..

А уѣхалъ Михаилъ Михайловичъ потому, что денегъ у него не осталось ни копѣйки.

III. Подгородный мужикъ.

1.

Въ то далекое время—попытокъ въ подобномъ родѣ, какъ извѣстно, было великое множество, и если, несмотря на всевозможныя внѣшнія различія въ способахъ и приемахъ, цѣли онѣ не достигали, то во всякомъ случаѣ источникъ, изъ котораго шли фантазіи, былъ чистъ, а главное—вполнѣ неизбѣженъ, потому что, если Михайлы Михайловичи не могутъ такъ скоро порвать узъ и путь прошлаго, въ которомъ они выросли, то тѣмъ болѣе трудно это сдѣлать мужику. Сколько наросло на немъ и вокругъ него, и подъ ногами, и сверху, и снизу—словомъ, и въ немъ, и внѣ его—всякой дичи, паутины! Сколько вляется по пути его развитія всякаго гнилья, гнилья столѣтняго, обомшлаго, которое путаетъ, сбиваетъ съ толку и пути!

Крестьяне, съ которыми имѣлъ дѣло Михаилъ Михайловичъ и съ которыми намъ въ настоящее время приходится сталкиваться, могутъ, какъ намъ кажется, служить хорошимъ образчикомъ всего, что пришлось пережить русскому крестьянину на своемъ тысячелѣтнемъ вѣку. Правда, *такихъ* крестьянъ, какъ тѣ, о которыхъ идетъ рѣчь, многіе, изучающіе народную жизнь, значительно недолюбливаютъ. Крестьяне эти—шосейные жители, большею частью живутъ по сторонамъ старой московской дороги, имѣютъ частыя связи съ Питеромъ. Мало того: по территоріи, которой касаются мои замѣтки, проходятъ двѣ желѣзныя дороги—николаевская и узкоколейная, съ которыми у крестьянъ постоянныя сношенія. Такихъ крестьянъ многіе, какъ извѣстно, совсѣмъ не считаютъ даже крестьянами: «какіе это крестьяне, помилуйте! Тутъ все перепорчено городомъ, тутъ кадрили, пиньжаки». Въ такого рода сужденіяхъ есть извѣстная доля правды въ томъ отношеніи, что здѣшніе мужики не похожи на мужиковъ, живущихъ исключительно земледѣліемъ: не знакомиться съ положеніемъ народа въ данную минуту нигдѣ нельзя болѣе подробно, какъ здѣсь, потому что если гдѣ и есть такой мужикъ, который-бы въ самомъ дѣлѣ олицетворялъ собою всѣ 26 томовъ Соловьева, такъ это именно здѣсь.

Да и по части древности рода здѣшній крестьянинъ, какъ новгородецъ, перешеголяетъ своихъ одноплеменныхъ собратьевъ. Онъ именно жилъ такъ, какъ обозначено въ 26-ти томахъ. Гнѣздили онъ въ лядинахъ, на печищахъ, перешелъ поближе къ питерской дорогѣ, перелѣзаетъ теперь къ чугункѣ, видѣлъ и аракчеевщину, и холеру, и крѣпостное право; понатерся въ той цивилизаціи, которая сама идетъ и ѣдетъ на деревню, словомъ—«произошелъ». Чего еще нужно для всесторонняго наблюденія и изученія? Да наконецъ, не та-ли же участь рано или поздно ждетъ самый дальній російскій медвѣжьей уголъ и то, что уже получилось въ здѣш-

нихъ мѣстахъ? Рано или поздно пройдетъ каменная, а можетъ быть и желѣзная дорога и въ такіе глухихъ углы, гдѣ недавно сожгли колдунью. И туда, и во всѣ російскія мѣста рано-ли, поздно-ли придутъ и кадрили, и «пиньжакъ», я вообще тѣ-же самыя новизны, съ тѣми-же самыми послѣдствіями. Не Питеръ, такъ какой-нибудь Тихвинъ будетъ разсадникомъ той-же самой цивилизаціи, какою надѣляетъ наши мѣста столица. Питеръ для здѣшнихъ мѣстъ вѣдь только рынокъ, да и не Питеръ даже, а Сѣнная. Сѣнная-же, хоть и маленькая, вездѣ есть; а если нѣтъ, то будетъ вездѣ, гдѣ дорога сдѣлаетъ новый рынокъ для сбыта всего, что идетъ на подати. Словомъ, тотъ-же самый духъ вѣка, какой дошелъ изъ Питера до насъ, дойдетъ и до самаго отдаленнаго угла. Развѣ можно миновать это, хотя и надо? А слѣдовательно пренебрегать здѣшнимъ мужикомъ, разгуливающимъ то въ пиньжакѣ, то въ тулупѣ, резоновъ нѣтъ никакихъ.

Итакъ, къ чему-жъ, къ какимъ результатамъ пришелъ этотъ новгородскій вѣчевой человѣкъ, пройдя черезъ замки въ лядинахъ, черезъ бродяжничество и шатаніе по господамъ, черезъ сохи и обжи, черезъ оброки и барщину, черезъ подушное и по-земельное, словомъ—исколесивъ вдоль и поперекъ всѣ 26 томовъ и достигнувъ наконецъ кадрили, пиньжака и петровской папирски?

Въ 28-ми дворахъ той деревни, которая передъ нашими глазами, уже есть четыре крупныхъ представителя «третьяго сословія». Какъ крестьяне, они безъ сомнѣнія получаютъ въ общественной землѣ точь-въ-точь столько, сколько имъ соответствуетъ по справедливости. Но вотъ какъ-то разжились властвуютъ, скупаютъ у обывателей краденый лѣсъ, а одинъ изъ нихъ имѣетъ рысакъ и кабриолетъ—«почесъ-что баринъ». Но онъ—не баринъ, а крестьянинъ, временно-обязанный, земля его въ мірскомъ владѣніи, и однако-жъ онъ властвуетъ, а остальные воруютъ для него лѣсъ, иные прямо «бьются»,—а земля, повторяемъ, передѣлена между всѣми правильно. Несмотря на эту правдивость, постоянно слышимъ: «у него и скотинѣ-то ѣсть нечего!» «А иному бѣдному и двугривенный слаше рубля серебромъ!»—очень часто говорить общинникъ.

2.

Недавно въ этомъ отношеніи намъ пришлось быть свидѣтелемъ такой сцены:

На мызу (описанную выше и теперь кое-какъ достроенную однимъ моимъ знакомымъ подъ дачу) является вечеромъ, черезъ тои лядинъ, изъ которыхъ какъ-разъ только-что благополучно *выступило* само знаменитое «*омище*», ковыляя на костылѣ, пожилой человѣкъ, отставной солдатъ. За нимъ плетется лѣтъ десяти худенькій мальчикъ. Солдатъ и мальчикъ, окруженные лающими и мечущимися изъ стороны въ сторону псами, приближаются къ крыльцу рабочей избы, на которомъ въ пріятныхъ разговорахъ проводили время крестьянинъ, наблюдавшій за мызой (Демьянъ Ильичъ), случайный охотникъ изъ крестьянъ-же, собираю-

чійся въ ночь на тетеревовъ, и пишущій эти за-
лѣтки.

Солдатъ подошелъ, снялъ шапку, поздоровался. Нѣсколько секундъ помолчали — и солдатъ, и мы. Въ этотъ краткій промежутокъ молчанія мы замѣтили, что у солдата подъ мышкой курица, а у мальчика въ рукахъ какая-то кошелка.

— Яиць не надо-ль? сказалъ солдатъ.

Опять помолчали.

— Много-ль? спросилъ крестьянинъ, управитель мызы.

Помолчалъ немного и солдатъ и потомъ сказалъ:

— Десятка три, три съ половиной... Сосчитаешь.

При помощи такихъ краткихъ вопросовъ и отвѣтовъ, перемежавшихся краткими мгновеньями молчанія, яйца были куплены.

— Михайло! сказалъ солдатъ мальчику, обернувшись назадъ: — снеси кошелку въ избу — сосчитай.

Опять помолчали.

— Грязна дорога-то?

— И-и — не говори! Бездна бездну призываетъ...

— Выступило днище-то?

— Эва! — еще третьяго-дни нелегкая его выперла въ полномъ парадѣ... Нашъ мальченка Холопскій (название деревни) такъ съ ушми совсѣмъ чужькнулъ въ пучину-то. Выперла, нелегкая ее бери!..

Помолчали.

— А курицу .. не требуется вамъ, господа?

Курица все время вертѣла головой, плотно прижатая подъ мышкой, и какъ-то вытягивала грудь, очевидно желая выскочить. Когда рѣчь коснулась ея, она закудаhtала...

— Нѣтъ, куръ не надо.

Опять помолчали.

— А можетъ, баринъ скушаютъ?

Курица закудаhtала сильнѣе.

— Ей только дай покормиться съ недѣлю, она — во-какъ раздобѣть... У насъ она такъ болталась, смотрѣть некому — и то, глянъ, бока-то все-же мало-мальски... Берите ужъ, господа! Сорокъ копѣекъ... у меня старуха что-то недомагаетъ... Деньженокъ-бы надо... Куда я ее потащу назадъ-то? Не возьмете — задаромъ отдамъ, а назадъ не понесу.

Взяли и курицу, а въ послѣдствіи и съѣли ее. Конечно предварительно дали ей отгуляться на волѣ, отѣяться.

Солдатъ пустилъ курицу на землю и сказалъ:

— Ступай! Смотри, чтобы господину бульонъ хорошъ былъ. Не огорчи хозяина!

Курица не побѣжала, а пошла медленно, осторожно оглядывая новое мѣсто.

Опять помолчали. Въ это время воротился мальчикъ съ пустой кошелкой и сказалъ:

— Тридцать семь.

— Ну, ладно, сочтемся. А вотъ что, Демьянъ Ильичъ, не возьмешь-ли у меня мальченку?

— Какого?

— А вотъ! проговорилъ солдатъ, кивнувъ на мальчика. — На подойдетъ-ли онъ тебѣ въ пастухи?

Демьянъ Ильичъ поглядѣлъ на мальчика и сказалъ:

— Мнѣ твой мальчикъ дорогъ будетъ...

— Чѣмъ-же? Полтора куля всего-то...

— Дорогонько...

(По здѣшнимъ весеннимъ цѣнамъ это около 18 р.)

— Дорого? переспросилъ солдатъ, и, подумавъ, сказалъ: — ну, а дѣвчонка не подойдетъ-ли? Есть у меня постарше этого мальченки на годъ — ничего. дѣвчонка проворная. Она не подойдетъ-ли насчетъ скотины?..

— Куль! сказалъ Демьянъ Ильичъ: — Такъ и быть. Ты знаешь, не изъ чего мнѣ расхотѣлось.

— Это намъ извѣстно. Куль, говоришь? Что-жъ, я согласенъ, только ужъ дай записку сейчасъ къ Завинтилову (изъ третьяго сословія). Хлѣбомъ-то больно бьемся...

— Это можно, сказалъ Демьянъ Ильичъ.

— Ну, а ужъ насчетъ мальченки, видно, придется мнѣ рядиться съ Завинтиловымъ. Даетъ онъ мнѣ полтора куля, да жидовать вѣдь человѣкъ-то... Ну, да ужъ видно надо... Такъ ужъ дай записку-то!

— Сейчасъ напишемъ, сказалъ Демьянъ Ильичъ.

— Ну, ладно, спасибо.

Помолчали.

— дѣвчонка — она ничего, бойкая! ужъ я худого тебѣ не пожелаю. Я знаю, каковъ ты есть человѣкъ ..

— У меня съ весны загонъ будетъ сдѣланъ, сказалъ Демьянъ Ильичъ. — Скотина всегда въ одномъ мѣстѣ, только-бы изъ-загородки не выбилась: — вотъ и вся работа

— Хорошее дѣло... Чего лучше какъ загонъ?

Опять помолчали.

— Тамъ, на деревнѣ, началъ солдатъ нѣсколько инымъ тономъ: — сказывали, будто тебѣ человѣкъ для дровъ требуется?

— Надо.

— Чтѣ-бы ты меня взялъ? Колоть и пилить я вѣдь мастеръ. Хитраго тутъ нѣтъ ничего.

— Пожалуй, возьму. Немного дровъ-то... колоть, а пилить наши будутъ.

— Все одно! Сколько наберется. Я-бы теперича тебѣ духомъ откалалъ...

— Что-жъ, оставайся!

Уговорились въ цѣнѣ, написали записку на выдачу куля муки, отдали за яйца и за курицу. Записку солдатъ отдалъ мальчику и сказалъ, чтобы онъ шелъ домой, запрегъ лошадей, съѣздили за мукой и привезъ ее домой. Самъ же солдатъ остался и присѣлъ на крыльцо отдохнуть.

Мальчикъ одинъ пошелъ съ пустой кошелкой по лѣсу, черезъ топи и болота, черезъ знаменитое днище.

Солдатъ сдѣлалъ напроску изъ корешковъ и какого-то лоскута бумаги, который онъ поднялъ тутъ-же на дворѣ въ сору, и сказалъ:

— Справляемся помаленьку... Какъ-никакъ... Вотъ старуха-то у меня малымъ дѣломъ привираываетъ — изъ рукъ дѣло одно ушло задарма... Стирка у господъ... Рубля два, глядишь, и нѣтъ. А то у меня все слава Богу!.. Не гуляемъ... У меня всѣ при добыжкѣ. И самъ, и старуха, и ребята — всѣ дѣйствуютъ... Я, братъ, Демьянъ Ильичъ, не охотникъ по здѣшнему: какъ-нибудь тамъ

схватилъ рубль, дѣло свертѣлъ кое-какъ — и прочь... Или, какъ другой, навѣталъ въ долгъ выше головы, и отдастъ двадцать лѣтъ... Этого у меня нѣту. Я и по-сейчасъ гроша ломаного никому не долженъ, вотъ что я тебѣ скажу.

— Я знаю. Ты человѣкъ исправный, сказалъ Демьянъ Ильичъ. — Въ примѣръ тебя къ нимъ ставить нельзя. Это ужъ что говорить...

— Я тебѣ говорю вѣрное слово — такъ. Ты думаешь, ежели бы я захотѣлъ, такъ Завинтиловъ не повѣрилъ-бы мнѣ куля-то? Повѣритъ! Кому другому, хоть-бы вотъ Кукункинымъ или Болтушкинымъ, кажется, ужъ богачами считаются, а имъ не повѣритъ! А мнѣ, я тебѣ вѣрно говорю, дастъ. Только-что я не люблю этого — просить. Нѣту у меня на это характеру.. Кому другому не дастъ, а мнѣ дастъ.

— Я знаю, это ты говоришь вѣрно. Тебѣ дать можно.

— А ужъ, кажется, жидъ пресвѣтнѣйшій Завинтиловъ-то. Вотъ какое дѣло!

Солдатъ, распродавшій такимъ образомъ курицу, яйца, дѣвчонку, мальчишку и себя, и сожалѣвшій только о томъ, что старуха по случаю болѣзни не идетъ въ дѣло, былъ какъ-то покойно счастливъ, чувствовалъ полную внутреннюю гармонию, причемъ довѣріе Завинтилова очевидно угасновѣшивалось съ вышеупомянутой распродажей.

У него было хорошо на душѣ, ему чувствовалось честно, правильно.

Неподалеку работники пилили дрова.

— Вотъ какое дѣло, еще разъ повторилъ солдатъ и, обратившись къ Демьяну Ильичу, оживленно проговорилъ: — гдѣ у тебя топоръ-то? Солдатъ не любить безъ дѣла сидѣть. Чѣмъ сидѣть-то задаромъ, давай-ко топоръ-то, я покуда что до ужина поколю.

Пила заходила звончѣй и чаще; солдатъ, уставивъ деревянную ногу, какъ ему было удобнѣе, принялся колотъ дрова. И тутъ, въ этой работѣ, не весьма для него удобной, хорошее, правильное расположеніе духа выступало на первый планъ.

— Ты рѣжъ мнѣ аппетитными кусками, говорилъ онъ работнику; что ты мнѣ какія орасины подсовываешь? — твое полѣно къ носу моему разитъ-ромъ подходитъ, я воткнувшись въ него не могу съ-разгону, а ты рѣжъ вотъ адакенъкія... Такъ у меня топоръ-то вопьется вотъ какъ!

Стали рѣзать аппетитныя полѣнья.

— Вотъ это такъ! Валяй — не задерживай. Вотъ какъ у насъ, вотъ, вотъ, эво! Эво какъ... вотъ такъ-то!

При каждомъ изъ этихъ выраженій, аппетитныя полѣнья разлетались фонтаномъ изъ-подъ солдатскаго топора. Тутъ ужъ совершенно исчезла работа, а играло роль чистое искусство, которому поддались и работники, ужъ порядочно уставшіе. Теперь они были заинтересованы и своимъ, и солдатскимъ творчествомъ. Пила пѣла, не умолкая. Расколотыя полѣнья летѣли въ разныя стороны. А солдатъ при каждомъ взмахѣ выкрикивалъ: — «Эво! эво! Ай не хочешь! Поспѣвай, ребята! Живѣй!»

И ребята поспѣвали, какъ не поспѣтъ паровому пильному заводу.

Хорошо чувствовалъ себя солдатъ, распродавшій все семейство, и всѣ почувствовали себя вмѣстѣ съ нимъ также хорошо, потому, въ самомъ дѣлѣ, «по хорошему» поступалъ человѣкъ.

Или вотъ еще: сейчасъ, на моихъ глазахъ, крошечная десятилѣтняя дѣвочка съ пяти часовъ утра и до восьми вечера таскается за скотиной изъ одного угла мызы въ другой. Травы еще мало, да и та, которая уже есть, мала ростомъ; поэтому скотъ поминутно переходитъ съ мѣста на мѣсто, и десятилѣтней дѣвочки, проданной родителемъ за кулъ хлѣба, приходится сдѣлать въ день не одинъ десятокъ верстъ слабыми и босыми ногами. Босыми ногами потому, что башмаки и даже лапти недоступны для нея при той цѣнѣ, за которую купленъ собственный ея трудъ. Однѣхъ лаптей пришлось-бы снести почти на ту-же цѣну, сколько она «стоитъ сама».

А въ то-же время, кто не знаетъ, т. е. кто не встрѣчалъ на петербургскихъ улицахъ, около Гостиннаго двора, здоровнѣйшихъ мужиковъ, ростомъ аршина по три, которые слоняются съ кружевами, съ красными шарами на веревкѣ и даже съ букетами цвѣтовъ. Всякому, на примѣръ, извѣстно, что такіе дылды трехаршинные, у которыхъ силы хватить убить кулакомъ быка (отъ котораго иной разъ крикомъ-кричить въ деревнѣ наступитъ дѣвочка, пугаясь его рева, злости, раздраженія), — такіе дылды обступаютъ проѣзжающихъ черезъ Строгоновъ мостъ на дачи господъ съ предложеніемъ «пукета». Эти дылды — наши деревенскіе, и конечно именно имъ и слѣдовало бы воевать съ быкомъ, вмѣсто того, чтобы прыгать съ «пукетомъ». А для дѣвочки самымъ подходящимъ дѣломъ было-бы сидѣть дома, расти, учиться и много-много отогнать хворостиною свинью, сушущую свое рыло, куда не слѣдуетъ.

Недавно въ одной изъ газетъ мы читали цѣлый рядъ наблюденій, неопровержимо доказывающихъ, что общинныя порядки настолько крѣпки, что крестьяне, выкупившіе свой надѣлъ, предпочитаютъ оставлять его въ мірскомъ владѣніи. Въ подтвержденіе этого явленія было приведено множество фактовъ, подлинность которыхъ несомнѣнна, но одинъ изъ которыхъ произвелъ на насъ вовсе не то впечатлѣніе, на которое рассчитывалъ авторъ. Именно: рассказывается, что такой то крестьянинъ, выкупивъ надѣлъ, оставилъ его въ общинномъ владѣніи, но при этомъ прибавлено, что надѣлъ выкупленъ сыномъ для престарѣлаго отца. Самъ сынъ не жилъ въ деревнѣ, а жилъ гдѣ-то на сторонѣ; но, жалѣючи 60-ти-лѣтняго отца, который застарѣостью лѣтъ не могъ-бы нести мірскихъ повинностей, стало-быть остался-бы безъ земли, безъ хлѣба — словомъ, нищимъ — сынъ и выкупилъ для него землю, т. е. поставилъ его, уже противъ воли мірскихъ распорядковъ, въ невозможность умереть съ голоду. Насъ, конечно, очень радуетъ, что общинныя начала крѣпки; но мы спрашиваемъ: позволительно-ли усомниться въ широтѣ развитія этихъ началъ,

ежели сплошь и рядомъ, при всей крѣпости и долговѣчности этихъ порядковъ, факты, вродѣ вышеупомянутаго, встрѣчаются въ деревняхъ поминутно? И что-жъ это за порядки, когда человѣкъ проработалъ почти всѣ 60 лѣтъ, причеиъ чисто мірской работы было передѣлано его руками многое-множество, выбившись изъ силъ, можетъ разсчитывать только на то, что міряне придутъ къ его одру и скажутъ:—«Ну, старичокъ господній, силковъ у тебя нѣту, платить въ казну тебѣ не въ моготу, приходится тебѣ, старичку пріятному, пожалуй что и слѣзая съ земли-то... Такъ-то... потому молодыхъ ребятъ надать на землю сажать, а тебѣ-бы, старичку, тихимъ-бы, наприимѣръ, манеромъ, ежели говорить приимѣрно, и помирать-бы въ самый разъ... Такъ-то»... Сколько разъ намъ приходилось слышать выраженія, обращенныя къ старику, къ старухѣ:

— А ужъ пора-бы тебѣ, старичокъ или старушка, помирать... Право!

— Пора, пора, родной!...

— Да право!.. Ну, что тебѣ за жизнь? Пожила вѣдь на свѣтѣ—ну... и перестань... Чего ворчать-то попусту?

— Охъ, перестану, перестану, скоро!..

— Право такъ! Перестала-бъ, вотъ-бы и было все честь честью, по пріятному... А то чего заставишь?

3.

Нынѣшней зимой мнѣ пришлось нѣсколько дней провести на той самой мызѣ, которой описаніе было представлено во второй главѣ. Вдоволь налюбовавшись зимнимъ пейзажемъ, наслушавшись фуквально мертвой тишины, мы задумали сдѣлать нѣсколько экскурсій въ отдаленнѣйшія мѣста необитаемой территории. Проникали съ этою цѣлью, на маленькихъ санкахъ, по сугробамъ, безъ малѣйшихъ признаковъ дорогъ, въ глухія деревушки, дворовъ по пяти, по десяти, куда лѣтомъ нельзя проникнуть; познакомились съ тѣмъ, что опредѣляется словомъ *дремучій* лѣсъ, и наконецъ заѣхали въ какой-то глухой маленькій монастырь... Заѣхали мы погрѣться, никого изъ братіи не желая беспокоить. У самыхъ монастырскихъ воротъ стоитъ какая-то обнесенная плетнемъ избушка. Какъ разъ въ ту минуту, когда мы поровнялись съ ней, изъ избы вышла согбенная старуха съ клюкой, и, когда мы выразили желаніе погрѣться въ избушкѣ, старуха охотно провела насъ туда. Въ избѣ было холодно и неуютно. Около печки, на изломанномъ столярномъ станкѣ, сидѣлъ какой-то старикъ въ красной рубахѣ и штопалъ рванный полшубокъ.

— А, здравствуй! сказалъ старикъ проворно, вскинувъ на насъ глазами:—я тебя знаю... Хорошій баринъ! добавилъ онъ, обратясь къ старухѣ.—Я у него работалъ...

— Это глупенькій у насъ мужичокъ призрѣвается! объяснила старуха:—дурачокъ...

— Я у него чашки вертѣлъ... Хорошо кормилъ, хорошо.

— Стало быть, хорошій человѣкъ? сказала старуха, разговаривая съ дуракомъ, какъ съ ребенкомъ.

— Хорошо кормилъ. Чашки сколь хошь.

— Ишь-ты!

— И не бьетъ! Ни-ни! Этого нѣтъ.

— Ишь добрый господинъ.

— Пальцемъ не ударить...

Онъ бормоталъ, поминутно поднимая голову отъ работы и вновь опуская ее, да и шилъ онъ, кажется, вовсе не тамъ, гдѣ слѣдовало. Онъ не говорилъ, а бормоталъ всякій вздоръ, и старуха всегда находила что ему отвѣтить, дѣлая это удивительно деликатно въ томъ отношеніи, чтобы онъ не чувствовалъ своего дурацкаго состоянія.

— А вотъ тамъ, за перегородкой, сказала намъ старуха:—также призрѣвается у насъ человѣкъ... Сто-тридцать лѣтъ ему отъ роду... Извольте поглядѣть... Пожалуйте!... Ничего, не обезпokoите... Пожалуйте, поглядите!

За печкой была маленькая дверь. Пройдя черезъ нее вслѣдъ за старухой, мы очутились въ маленькой коморкѣ, гдѣ на кровати самой деревенской работы (очень высокой отъ полу), подъ грудой полшубковъ, какихъ-то рваныхъ старыхъ тряпокъ, какихъ-то лоскутьевъ съ признаками ваты, уложенныхъ впрочемъ весьма заботливо и насколько возможно прилично, тряслось и охало и какъ-будто рычало какое-то невидимое существо... Сто-тридцати-лѣтній старикъ закрытъ былъ съ головой.

— Родной сынъ, господа почтенные, пояснила старушка, остановивъ у этой груды, подъ которой тряслось человѣческое существо:—родной сынъ выгналъ изъ дому... Вотъ какой нонче народъ сталъ! Кормить отказался... Ну, обитель и призрѣвается... Вотъ ужъ четвертый годъ онъ здѣсь, и все, слава Богу, живъ. А сынъ-то выгналъ, думалъ, помретъ гдѣ-нибудь... Анъ вотъ Господь-то и пріютилъ!

— Да сколько-же сыну-то лѣтъ? съ изумленіемъ спросили мы.

— Да и сыну-то лѣтъ безъ малаго ужъ сто. Ужъ у него, батюшки вы мои, и внуки есть по семидесяти да по восьмидесяти годовъ. Такъ старикъ-то, когда въ силахъ былъ, сказывалъ: боемъ, говорить, на него, на сердечнаго, поднялись... Сынъ-то, говорить, на улицу выбѣгъ, погналъ его жердью... Да и внучаты-то поднялись Мамаемъ!—Вотъ какво сердечному пришлось на старости-то лѣтъ!

Картина, нарисованная старухой, была по истинѣ грандіозна. Представьте себѣ деревенскую улицу, по которой цѣлая толпа столѣтнихъ и восьмидесятилѣтнихъ старцевъ гонитъ также старца, родоначальника всей фамиліи, гонитъ жердью, гонитъ за то, что человѣкъ «обѣлъ», что неизвѣстно, когда же прекратится наконецъ эта праздная бѣда? Ну, если старикъ проживетъ и всѣ двѣсти лѣтъ? Что-же это будетъ!..

— Ну, а нуменъ нашъ—добрый человѣкъ, призрѣлъ, кормитъ вотъ, покой далъ... Вотъ поглядите на старичка...

Старуха осторожно приподняла груды тряпокъ въ изголовьѣ кровати, и намъ представилась громадная, бѣлымъ пухомъ покрытая голова. Рычанье, слышавшееся изъ-подъ тряпокъ, происходило въ груди старика, въ которой работала, казалось, цѣлая

кузница... Дыханіе было часто, прерывисто. Онъ трясся отъ озноба и пышалъ жаромъ. Страшно было смотрѣть на это олицетвореніе борьбы смерти съ жизнью. Смерть видимо одолѣвала, безжалостно разбивая худую хранину всякими способами — и жаромъ, и ознобомъ, разрывая внутренности, колотя въ грудь. Звуки этой безпощадной работы были потрясающи. Вдругъ изъ-подъ хлама, покрывавшаго старика, съ громадными усилиями высвободилась рука... Громадная костяная кисть, на тонкой высохшей кости, по истинѣ напоминала грабли. Грабли эти тряслись, казалось, всячески стремились распастись, отдѣлиться, рассыпаться, но еще нѣкоторая сила, таившаяся въ старикѣ, не пускала ихъ превратиться въ прахъ... Онъ дотащилъ эту руку до своего лба. Глаза его неподвижно смотрѣли на насъ, онъ что-то силился сказать. Пальцы — или кости пальцевъ — лихорадочно тряслись и касались лба. Онъ что-то показывалъ, или хотѣлъ показать, вытаскивъ руку. И вдругъ губы его зашевелились.

— Пу... едва слышно произнесъ старикъ: — пу...клм...

Въ груди его заревѣло пуще прежняго.

Онъ захрипѣлъ, закашлялъ, затрясся. Старуха поспѣшила его закрыть, а мы поторопились уйти отъ этого зрѣлища.

Догоняя насъ, старуха говорила:

— Это онъ вышъ чтѣ говорить-то: говорить, что, молъ, помню, когда въ пукляхъ ходили солдаты. Вѣдь онъ въ солдатахъ самъ-отъ былъ... И въ пукляхъ хаживалъ... Вотъ онъ и говорить: пукли, молъ... Про пукли вспомнилъ...

Старуха кланялась намъ въ землю, когда мой спутникъ вручилъ ей два двугривенныхъ. Она становилась на колѣни, потомъ на руки, потомъ касалась земли лбомъ — и благодарила, говоря, что деньги эти пойдутъ на старика да на дурачка.

— У меня красная рубаха есть! громко крикнулъ намъ вслѣдъ послѣдній.

Точно изъ могилы выбрались мы на свѣжій воздухъ. Впечатлѣніе было дотога дурманное, что освободиться отъ него не было возможности до тѣхъ поръ, пока на возвратномъ пути мы не вѣхали въ деревеньку. Деревенька была маленькая, десять дворовъ, бѣдная; но за этими разбитыми, почернѣвшими и замерзшими оконцами видѣлись живые лица ребятъ и взрослыхъ, и живое мѣсто ожило насъ. Кучеръ попросилъ насъ зайти за овсомъ къ одному крестьянину.

Въ чистой, какъ и вообще во всей Новгородской губерніи, выскобленной избѣ мы нашли стараго крѣпкаго старика, который объявилъ, что сынъ, у котораго кучеръ хотѣлъ купить овса, ушелъ, но скоро придетъ, и просилъ насъ погодить; самъ же онъ, безъ сына, не зналъ цѣны.

— Это ужъ его дѣло, сказалъ старикъ.

Невольно зашла рѣчь о сто-тридцати-лѣтнемъ старцѣ.

— Пустое! сказалъ старикъ. — Это они такъ, для прилика... славу о себѣ пускаютъ. Сто тридцать лѣтъ — чего не скажутъ! Али я его не знаю, онъ — моихъ годовъ, и моихъ-го годовъ, пожалуй,

не будетъ! Пустой старичишка; одна только отъ него въ дому свара была. Буянтъ! Отъ него никому житія въ домѣ-то не было, все поровить хозяиномъ быть, все мѣшается не въ свое дѣло. Что врутъ-то! Это вотъ они болтаютъ такъ, чтобы себя увеличить: вотъ, молъ, мы какіе благодѣтели! Пустое! Никогда его сынъ кормить не отказывался, а только что непокорный старичишка. Я и самъ вотъ старикъ, и хотѣ бы, примѣромъ взять, вотъ требуется намъ овесъ, а я знаю, что это дѣло не мое... Вотъ придетъ сынъ — дѣлайте, какъ знаете. Мнѣ мѣшаться въ чужое дѣло не слѣдъ. Онъ хозяйствуетъ: — ему вѣрнѣй знать. Видишь вотъ... Какъ это онъ можетъ отца своего прогнать, когда ему отецъ все предоставилъ? Самъ судите. И вотъ тремъ сынамъ выстроилъ по дому, всѣхъ пообзавелъ, на старшаго сына три тыщи истратилъ, купилъ за него охотника въ солдаты, онъ должонъ помнить! А и я тоже не мѣшай. Вотъ какъ по хорошему... Теперь какъ праздникъ или воскресный день, ужъ у меня Иванка знаетъ, что родителю пятналыный на вино готовить надобно... Какъ часы ходятъ, такъ вѣрно выдаетъ. Пятнадцать копѣекъ положъ! И даетъ, худова не скажу, аккуратно. Себѣ откажетъ, а ужъ я не останусь... А и я ему подсоблю, чтѣ скажетъ, что по его порядкамъ выйдетъ. Тоже и я, братецъ ты мой, даромъ денегъ-то съ него не беру... Ты меня уважь, а ужъ я тоже свою часть знаю. Я и водицы приволеку, и лошадку запрягу, и распрягу: — сосчитай пятналытники-то, анъ и выйдетъ, что безъ отца-то работяжка наймешь. Вотъ какими порядкомъ... Никто не смѣетъ этого сдѣлать — выгнать... А коли начнешь мутить, да чваниться, да привередничать, да чужое дѣло портить, такъ и впрямь тебя вонъ надо гнать. Знай свою часть. Сто тридцать лѣтъ! Балалайка онъ безструнная — больше ничего. «Я старикъ, тамъ ты мнѣ, молъ, не препятствуй!» Эко дѣло! Вонъ и кобель — старикъ, да не отецъ онъ мнѣ, и въ отцы я его не возьму, хошь бы онъ тыщу лѣтъ по кобелиному прожилъ. А ты хошь и старикъ, а понимай: — вотъ въ чемъ дѣло. Это дѣло мудреное, дураку его въ толкъ не взять. Понимай свою границу. А стараго-то кобеля...

Старикъ былъ бодръ и крѣпокъ. Разговоръ его былъ толковъ, уменъ, и видно, что онъ много пережилъ на своемъ вѣку и много передумалъ. Слушая его простую рѣчь, я невольно раздумывалъ о томъ, что не въ этомъ-ли трезвомъ и сознательномъ самопожертвованіи нужно искать наилучшихъ сторонъ народной души? Она велика «въ одиночествѣ», въ холодѣ и въ голодѣ; она держитъ на свѣтѣ человека брошеннаго, покинутаго, держитъ безъ ропота, безъ гнѣва. Въ этомъ отношеніи народъ дѣйствительно много пережилъ, много передумалъ, и намъ кажется, что его мысль несправедливо болѣе работала надъ тѣмъ, какъ жить на свѣтѣ одинокому, какъ надѣяться на свои руки и какъ не роптать и никого не винить, если кругомъ тебя «некому руку подать», чѣмъ надъ разработкою обязательствъ насчетъ того, чтобы жить, надѣясь на какое-то участіе. Живи безъ всякаго

участія, знай, что его не откуда взять, понимай это — и не роищи: вотъ теорія, которая выработана основательно.

Возможность существованія легенды о томъ, что сынъ прогналъ отца, возможность даже помощью ея распускать о себѣ хорошую молву, невольно говорила о томъ, что въ деревенскихъ порядкахъ не все хорошо и благополучно.

Въ ожиданіи старикова сына, мы вели отъ нечего дѣлать разные разговоры. Старикъ рассказывалъ о себѣ очень интересный эпизодъ изъ недавней старины, который я и спѣшу привести здѣсь, полагая, что рано-ли, поздно-ли, а онъ пригодится.

— ...«И господа мужиковъ продавали и покупали, говорилъ онъ между прочимъ, характеризуя недавнюю старину: — *да и мужики тоже народъ покупывали*»...

Таковъ былъ тезисъ рассказа и эпизода. А вотъ и самый эпизодъ.

— «Я вонъ за охотника три тыщи по тогдашнему на ассигнаціи отдалъ, за Ванятку-то... И какая была со мною поэтому случаю бѣда—сейчасъ вспомнить страшно... Три тыщи,—вѣдь это и для барина деньги не махонькія, а для мужика — разоръ. Сбивалъ я ихъ со всей семьи, у всей семьи все до послѣдняго живота распродалъ, начисто разорился; два мѣсяца охотникъ-то на мой счетъ гулялъ съ женой; цѣлые два мѣсяца каждый Божій день двѣ пары лошадей онъ подъ собой изманивалъ: то его въ городъ, по трактирамъ, то по монастырямъ, то по роднѣ, то опять по трактирамъ... Чего стало — страшно и вымолвить! Только какъ окончилось все это, стало быть, настало время идти въ присутствіе, думаю я: вотъ сдамъ, успокоюсь; вдругъ, братецъ ты мой, охотникъ-то мой — а стояли мы на постояломъ дворѣ — сталъ задумываться да передъ самымъ присутствіемъ, то есть въ ночь подъ утро, какъ вести его — хватъ себя по горлу ножомъ. Женѣнка его прибѣгла ко мнѣ — на дворѣ я былъ, около лошадей: «глянь-кось, говоритъ, что Микитка-то сдѣлалъ!» Прибѣгъ я, а онъ сидитъ на стулѣ да ножомъ-то себя по горлу смурываетъ, а кровинка такъ и свиститъ. Такъ я и ахнулъ: — «Варваръ ты этакой, разоритель, разбойникъ! — что ты дѣлаешь?» Отнял у него ножикъ, думаю: не примутъ зарѣзаннаго-то! Что буду дѣлать? Все-го рѣшился, остался не причемъ, да еще и сына придется отдать. Связали мы тутъ съ евою женѣнкой ему горло-то, устыдили его, безсовѣстнаго человѣка — все говорилъ: «боюсь казеннаго бою» — повели къ доктору, на квартиру. Паль я тутъ на колѣнки, и женѣнка-то хлопочетъ утѣстять со мной, паль я и взмолился... Все ему рассказалъ, про все, про свое разореніе. Сталъ его докторъ осматривать — только головой качаетъ... Располохнулъ онъ, образина, ово какую ямину, даже страшно смотреть.... Ну, иначе-же — то есть, дай ему Господь добраго здоровья и на вѣки вѣковъ всякаго благополучія! — поглядѣлъ, поглядѣлъ: «очень, говорятъ, вредно онъ для себя сдѣлалъ. По закону, его надо исключить вонъ; но только-что, жалѣючи тебя, я даже противъ присяги primaю его. А казнѣ

отъ него одинъ убытокъ: онъ и полгода не проживетъ». И принялъ, дай ему Царяца Небесная. А то-бы... право, самъ на себя руки наложилъ. Ужъ натерпѣлся я въ то время изъ-за Ванятки, чего и весь-то онъ не стоитъ.... И вѣдь точно: — ближе полгода окончился въ лазаретѣ. Женѣнка его и по-сейчасъ жива, за другого въ ту-жъ пору вышла. Покупывали, батюшка, и мы народъ-отъ!»

4.

Это выраженіе «покупывали и мы» даетъ намъ возможность хотя слегка коснуться современныхъ семейныхъ порядковъ въ деревнѣ. И здѣсь прошлое оставило много хорошаго вродѣ возможности такого старика, который добровольно повинуетъ сыну, но много и дурного, вродѣ какъ-бы похвалыбы воспоинаніемъ о томъ, что «и мы покупывали народъ». И здѣсь развитіе понятій и взглядовъ шло не органически правильно, не безъ помѣхи. Въ настоящее время, въ жизни крестьянской семьи есть такое безмѣрное скопище неразрѣшимыхъ трудныхъ задачъ, что если и держатся иной разъ болѣе или менѣе крѣпко большія крестьянскія хозяйства (я говорю о подгородныхъ), то только, такъ сказать, соблюденіемъ внѣшняго ритуала, а внутренней правды тутъ ужъ мало.

Довольно часто мнѣ приходится сталкиваться съ однимъ изъ такихъ большихъ крестьянскихъ семействъ. Во главѣ семьи стоитъ старуха лѣтъ семидесяти, женщина крѣпкая и по-своему умная и опытная. Но весь ея опытъ почерпнуть въ крѣпостномъ правѣ и касается хозяйства исключительно земледѣльческаго, гдѣ участвуетъ своими трудами весь домъ, причемъ весь доходъ идетъ въ руки старухи, а она ужъ распределяетъ его по своему усмотрѣнію и по общему согласію. Но вотъ прошла шоссеиная дорога — и вдругъ кадушка капуста, распродаваемая извозчикамъ, стала приносить столько дохода, что сдѣлалась выгоднѣе цѣлаго года работы на пашнѣ, положимъ, одного человѣка. Вотъ ужъ явное нарушеніе въ одинаковости труда и заработка. Прошла машина — телата стали дорожать: потребовались въ столицу. Одинъ изъ сыновей пошелъ въ извозники и въ полгода заработалъ больше всей семьи, работавшей въ деревнѣ годъ. Другой братъ пожилъ дворникомъ въ Петербургѣ, получая въ мѣсяцъ по пятнадцати рублей, чего, бывало, не получалъ и въ годъ. А младшій братъ съ сестрами цѣлую весну, цѣлое лѣто съ утра до ночи драли коры — и не выработали третьей части того, что выработалъ извозникъ въ два мѣсяца. И вотъ, благодаря этому, хотя по виду въ семьѣ все ладно, всѣ несутъ въ нее «поровну» плоды своихъ трудовъ, но на дѣлѣ не то: дворникъ «скрылъ отъ маменьки» четыре красныхъ бумажки, а извозникъ скрылъ еще того больше. Да и какъ тутъ поступить иначе? Эта вотъ дѣвушка ободрала себѣ до крови руки и цѣлое лѣто билась съ корьемъ, чтобы выработать пять цѣлковыхъ, а извозникъ выработалъ двадцать пять въ одну ночь за то только, что попутался съ господами по Питеру часовъ съ 12 вечера до бѣлаго свѣта. Кромѣ того, авторитетъ ста-

рухи еще значилъ-бы, и значилъ бы очень много, если-бы заработокъ семьи былъ исключительно результатомъ земледѣльческаго труда. Въ этомъ дѣлѣ она точно авторитетъ; но спрашивается: что-же такое можетъ она смыслить въ дворницкомъ, извозничкомъ и другихъ новыхъ заработкахъ? Что она тутъ понимаетъ и что можетъ присоветовать? Авторитетъ ея поэтому чисто фиктивный и если значить что-нибудь, то только для остающихся дома бабъ; да и бабы очень хорошо знаютъ, что мужья ихъ относятся къ старухѣ съ почетомъ и покорностью только по виду, такъ какъ вполнѣ подробно знаютъ достатки своихъ мужей, знаютъ, много-ли кѣмъ отъ нея «скрыто», и сами скрываютъ эти тайны наикрѣпчайшимъ образомъ. Авторитетъ главы фиктивный и фиктивны всѣ общино-семейныя отношенія; у всякаго скрыто нѣчто отъ старухи, представительницы этихъ отношеній, скрыто для себя. Умри старуха—и большая семья эта не продержится даже въ томъ видѣ, какъ теперь, и двухъ дней. Всѣ захотятъ болѣе искреннихъ отношеній, а это желаніе непременно приведетъ къ другому—жить каждому по своему достатку: сколько кто добылъ, тѣмъ и пользуйся.

А чего стоитъ въ смыслѣ нравственной связи даже внѣшнее соблюденіе этого семейно-общиннаго ритуала! Чего стоитъ повиновеніе старухѣ, которая ровно ничего «по нынѣшнимъ дѣламъ не понимаетъ»! Каково годами притворяться, будто-бы слушаешься! Каково это «скрывать» по годамъ сотню рублей за пазухой отъ матери, отъ брата... Не смѣть на избытокъ купить женѣ обновку и пожить въ свое удовольствіе! Разныхъ путей, оставленныхъ недавнею стариною, великое множество, а новыхъ, еще не изслѣдованныхъ и непривычныхъ явленій—также едва-ли не больше, чѣмъ старыхъ путей.

Изъ того и другого въ мѣстномъ подгородномъ крестьянинѣ слагается, прежде всего, какая-то апатія къ интересамъ своего мѣста и жадное стремленіе переимѣнить его на другое. Я увѣренъ, что апатія эта немедленно замѣнится самой оживленной дѣятельностью, если только у здѣшняго человека хватить духу порвать связи съ насрѣженнымъ и, правду сказать, давно уже надобѣвшимъ мѣстомъ и уйти на новое. Немедленно же между *чужими* людьми образуется оживленная общинно-хозяйственная дѣятельность, чего теперь между *своими*, одинаково запутанными во всевозможныхъ старыхъ путяхъ, рѣшительно невозможно достигнуть. Каждый каждому хочетъ сказать: «ты ничего не понимаешь въ моемъ дѣлѣ»; каждому хочется остаться одному, самому по себѣ, одуматься; каждому надобно это мирское пустомысліе и семейно-патріархальное притворство.

Любого изъ здѣшнихъ обывателей, прародители котораго начали съ починка и потомъ въ теченіе тысячелѣтій просидѣли на всѣхъ пунктахъ лядины, обжили и бросили все, что теперь заросло бѣлоусомъ и затянулось болотомъ,—любого изъ нихъ ничего не стоитъ увлечь какимъ угодно фантастическимъ рассказомъ, который-бы рисовалъ выгоды переселенія.

Вышеописанная мыза пользуется тѣмъ великимъ для пишущаго эти строки преимуществомъ предъ прочими общедоступными для жизни въ деревнѣ помѣщеніями, что, благодаря своей необитаемости и апатичности мѣстнаго населенія, рѣшительно не желающаго и за деньги жить здѣсь и караулить домъ и скотъ, она привлекаетъ людей оригинальныхъ, полюбившихъ удивленіе, насмотрѣвшихся на разныя мѣста, словомъ—людей любопытствующихъ, взыскующихъ чего-то. Жилъ здѣсь управителемъ мужикъ смоленскій, жилъ какой-то музыкантъ, жилъ витебскій крестьянинъ, жилъ солдатъ съ Кавказа, жилъ неизвѣстнаго званія человекъ съ Урала. У всякаго былъ свой рассказъ, и всякій увлекалъ своимъ рассказомъ мѣстнаго жителя, иной разъ старика, точь-въ-точь какъ ребенка увлекаетъ сказка.

— Тамъ, на Уралѣ-то, тамъ, братъ, одной рыбы смѣтъ нѣту. Вытащишь судака, такъ въ немъ чепыре али пять пудовъ вѣсу...

— У, ты пропасть какая!

— Я тебѣ вратъ не стану. Пошелъ, ткнулъ въ воду палкой—анъ и есть либо судакъ, либо сомъ. И ѣшь его недѣлю... Вотъ какія мѣста!

— Ей-богу, надо туда убѣчь. Въ нашихъ мѣстахъ одна тоска, братецъ ты мой. Чего тутъ хорошаго?

— Что ваши мѣста! ваши мѣста—одна связя!

— Именно такъ, больше ничего—одно мученье.

— А вотъ мѣста на Кавказѣ, вотъ это ужъ, прямо сказать, мѣ-сс-та а-а! Тамъ, братецъ ты мой, взялъ ружье, пошелъ въ лѣсъ, хлопнулъ—анъ кабанъ, а вѣсу въ немъ пятнадцать пудовъ! И живи на здоровье!

— Именно надо уйтись отсюда...

— Вотъ тамъ такъ ужъ мѣста! Ужъ это надо сказать прямо...

— По моему характеру, сейчасъ-бы ушелъ!

Словомъ, «уйти» здѣшний житель готовъ, по крайней мѣрѣ въ мысляхъ и на словахъ, хоть на край свѣта: такъ запутано, осложнено его настоящее положеніе.

И въ то-же время, когда *свои* хотятъ и думаютъ куда-то уходить, на смѣну ихъ идутъ новыя, чужіе люди.

Сидимъ мы однажды какъ-то, разговариваемъ на крылечкѣ, фантазируемъ на счетъ разныхъ «мѣстовъ», вдругъ собаки подняли лай: изъ-за лѣсу показались какіе-то люди, три подводы, пятокъ коровъ, которыхъ гнали бабы босыя. На подводахъ лежали сундуки, перья и разныя домашнія скарбѣ.

— Кто такіе это ѣдутъ?

— Тоже, должно быть, переѣзжаютъ куда-нибудь.

Подѣхали люди къ намъ поближе. Присмотрѣлись мы—не наши, не русскіе. Бабы хотъ и босыя, но одѣты не такъ, и телѣги не такія, и мужики въ пиджакахъ. Раскланялись они съ нами и забормotalи что-то...

— Нѣмцы! вырвалось у насъ у всѣхъ почти одновременно, причемъ мы переглянулись.

Кое-какъ мы добились отъ нихъ отвѣта на вопросъ, куда они ѣдутъ. Оказалось, что ѣдутъ они тоже на какую-то заброшенную, разваливающуюся мызу, о которой всѣ мы давнымъ-давно позабыли, до того позабыли, что даже дорогу могли объяснить только приблизительно, и то половину дороги, а другую половину нѣмцамъ пришлось узнавать самимъ. Разсмотрѣвъ ихъ поближе, мы замѣтили, что они бѣдны и измучены, и добришко ихъ самое нищенское. На одной изъ повозокъ сидѣлъ совершенно ослабѣвшій, молчаливый, сухой и длинный старикъ. Онъ какъ-будто спалъ и тяжело дышалъ. Одѣтъ онъ былъ въ кургузую куртку, не грѣвную ни рукъ, ни ногъ. Эта нищета и трудовое утомленіе хотя-бы и нѣмцевъ на время прекратили въ насъ патріотическое внутреннее рычаніе до того, что одинъ изъ нашихъ собесѣдниковъ обратился къ старичку-нѣмцу съ любезностью и весьма ласково сказалъ ему.

— Пора-бы тебѣ, старичокъ, умирать!

Старикъ молчалъ и не отвѣчалъ любезностью на любезность.

— Право, пора-бы старику-то вашему помирать.

Нѣмки и нѣмцы тоже не отвѣчали.

— Ничего не понимаютъ по нашему! рѣшили мы.

Нѣмцы и нѣмки тронулись дальше и скоро скрылись въ лѣсу...

— Ишь, ползутъ! заключилъ одинъ изъ собесѣдниковъ. — То-то я гляжу, что это много этихъ самыхъ нѣмцевъ къ намъ понаѣхало!

— А много?

— Много ихъ. И что такое, откуда берутся? Все не было, а таперича пошли и пошли. Вѣдь вышь въ какія мѣста забираются, что и здѣшній-то не знаетъ...

Много «новаго» и чуднаго идетъ въ деревню и «на деревню». Въ дальнѣйшихъ нашихъ очеркахъ мы остановимся на «баринѣ», который также въ разныхъ видахъ, по разнымъ причинамъ и съ совершенно различными цѣлями, идетъ въ деревню, къ народу... Идетъ по необходимости, иногда по своей корысти, иногда по глубокой нравственной потребности. Явленіе это весьма замѣчательно, и я только могу глубоко жалѣть, что разработать это явленіе во всей полнотѣ и сложности нѣтъ еще возможности, смѣлости и необходимой силы дарованія.

По части «искреннихъ» типовъ этого рода «господъ» мы уже имѣли нѣсколько спецъ изъ жизни Михаила Михайловича; теперь познакомимся и съ другимъ баринкомъ, тоже искреннимъ, но въ иномъ родѣ.

ОВЦА БЕЗЪ СТАДА.

1.

— Не окрестите-ли, баринъ, мальчишку у меня?

— Съ удовольствіемъ... Когда будутъ крестить?

— Завтра поутру... Такъ норовимъ — между утренней и обѣдной, часу въ седьмомъ... Коли что, ежели будетъ ваше согласіе, такъ мы съ подводкой къ седьмому-часу подъѣдемъ?

— Я и такъ пойду, тутъ всего до церкви верста... Погода отличная.

— Это точно... Ну, благодаримъ васъ покорно!..

Такой разговоръ происходилъ однажды вечеромъ лѣтомъ между мною и крестьяниномъ деревни Язевой, Маркомъ Ивановымъ. Деревня Язевое лежитъ въ 300 верстахъ отъ Петербурга, какъ-разъ на половинѣ дороги изъ Петербурга въ Москву, и въ 20-ти верстахъ отъ одной изъ желѣзно-дорожныхъ станцій. Наскучивъ петербургскими дачами, я задумалъ провести прошлое лѣто гдѣ-нибудь въ глуши, въ тиши настоящей деревни, и былъ необыкновенно радъ, когда, ежедневно просматривая газетныя объявленія объ отдающихся на лѣто дачахъ, попалъ наконецъ на объявленіе о такой именно дачѣ, какая и была мнѣ нужна... Триста верстъ отъ Петербурга и двадцать верстъ отъ станціи по проселку — это ужъ навѣрно настоящая деревня... Въ половинѣ апрѣля, когда въ поляхъ лежалъ еще снѣгъ, я отправился нанимать эту усадьбу. Въ самомъ дѣлѣ, мѣсто было чисто дере-

венское, и я тотчасъ-же согласился на условія, предложенныя мнѣ хозяйкой дома, а въ половинѣ мая и совсѣмъ переѣхалъ сюда на жительство.

Но, странное дѣло (хотя совершенно понятное), долгое житіе въ городахъ сдѣлало то, что, при всемъ желаніи отдохнуть и провести лѣто «не такъ, какъ на дачѣ», дѣла пошли, помимо моей воли, какъ нарочно, совершенно по дачному, то-есть: прогулки, петербургскіе знакомые, газеты — и ничего, ничего-таки деревенскаго. Дачный образъ жизни среди деревенской обстановки — куда нескладная и некрасивая вещь! Знакомиться съ крестьянскимъ населеніемъ я не могъ, такъ какъ у меня не было къ этому предлога, а жить, не имѣя связи съ окружающимъ — и скучно, и трудно. Вотъ почему я несказанно былъ радъ, когда Маркъ Ивановъ, крестьянинъ, у котораго я нѣсколько разъ покупалъ рыбу и раковъ, пригласилъ меня крестить. Благодаря этому приглашенію, у меня явился законный предлогъ войти въ крестьянскій домъ, имѣть въ деревнѣ знакомыхъ и хоть мало-мальски войти въ кругъ чуждыхъ мнѣ интересовъ деревенской жизни.

И дѣйствительно, съ этого дня я сталъ чувствовать себя менѣе одинокимъ, менѣе отчужденнымъ отъ людей, которыхъ каждый Божій день видѣлъ передъ моими глазами. Понемногу стали завязываться знакомства, понемногу стала раскрываться тайна существованія этихъ бѣдныхъ лачужекъ, этихъ

молчаливыхъ улицъ и переулковъ, этой непонятной будничной, трудовой жизни. А главное, благодаря приглашенію Марка Иванова, мнѣ удалось встрѣтить весьма любопытный типъ человѣка, попробовавшаго на дѣлѣ проѣхать ту вещь, которая на газетномъ языкѣ называется «сліяніемъ», и притомъ прочно убѣдиться въ томъ, что въ русской живой дѣйствительности существуютъ такіа положенія, которыя роковымъ образомъ могутъ привести такъ называемаго интеллигентнаго человѣка въ деревню, къ крестьянскому плетню, къ намѣренію выйти изъ своей интеллигентной шкуры и стремиться войти въ среду совсѣмъ ужъ не интеллигентную, прямо—«чужую».

Буду однако продолжать начатый рассказъ.

2.

На другой день утромъ, ровно въ 6 часовъ, я отправился въ церковь. Всю ночь лилъ дождь. Дорога размокла, и короткій путь въ полторы версты, я мѣсилъ по грязи никакъ не менѣе часу. Дорога шла въ гору, была скользка и изрыта глубокими рытвинами; дождь не переставалъ сѣять непрерывно; крупныя дождевыя капли отъ малѣйшаго дуновенія вѣтра ливнемъ крупныхъ капель слетали съ деревьевъ, подъ которыми я намѣревался пробраться, и снова выгоняли на грязную и скользкую дорогу. Кое-какъ я добрался наконецъ до церкви, одиноко стоящей среди кладбища, но не рѣшился войти въ храмъ, а остался ждать окончанія утрени на крыльцѣ, очищая лужицкой цѣлые куды грязи, обліпившей мои калоши. Сѣрые деревенскіе люди одинъ по одному, съ большими промежутками, подходили къ церкви. Какое-то сонное, удивительно вялое, удивительно нескладное пѣніе дьячковъ доносилось извнутри храма. Точно они не пѣли, а бредили во снѣ, еле-вращая языкомъ и вовсе не соблюдая никакой гармоніи. Въ разныя стороны тянули разношерстные — не голоса, а какіе-то необыкновенные тоны, звуки, и что то дремотное овладѣвало слушателями. Многіе сидѣли въ притворѣ на полу, вдоль стѣнъ, и не то дремали, не то совсѣмъ спали — трудно было разобратъ; только сидѣли эти люди неподвижно, точно заколдованные соннымъ бредомъ дьячкова.

Утрени наконецъ отошла, и какъ-разъ къ концу ея въ-попыхахъ прибылъ Маркъ Ивановъ, моя будущая кума съ ребенкомъ на рукахъ и старуха-бабка. Покуда Маркъ Ивановъ суетился съ купелью, таская изъ рѣчки воду (это все — дѣло родителя), ко мнѣ подошла бабка и, низко кланяясь, прошептала:

— Вы кумовья-то будете, ай нѣтъ?

— И...

— Ужъ не забудь старуху-то!.. бабушку!.. Я принимала у ей...

Тутъ я вспомнилъ, что мнѣ надлежитъ подробно ознакомиться съ количествомъ необходимыхъ расходовъ. Крестъ я купилъ и зналъ, что я обязанъ заплатить священнику; но, благодаря бабкѣ, оказывалось, что существуютъ еще какіе-то расходы, которыхъ я не зналъ. Успокоивъ старуху, я обра-

тился къ самому Марку Иванову съ вопросомъ: кому и что я долженъ давать?

— Да вотъ кумѣ, чтѣ вашей милости будетъ... И бабушкѣ... немножечко.

— Я бабушкѣ дамъ рубль...

— И отлично, хорошо, предовольно!.. Ну, и кумѣ ужъ!.. Полотенчико она вамъ...

— Кумѣ ты, баринъ, купи платье, сказала, сѣмѣо выступивъ изъ толпы, какая-то посторонняя женщина.—Кума твоя—дѣвушка, ей надо это... Выбирай ситчикъ повеселѣй какой, цвѣточками!

— Хорошо.

— Окрестить, прибавила она: — и зайди въ лавку, купи... Не Богъ-вѣсть что! у васъ, у господѣ, побольше нашего.

— Куплю, куплю.

— Вотъ и хорошо. А больше ничего и не надо. Кумѣ да бабушкѣ. А прочихъ не балуй. Такъ-то.

Послѣ этого женщина, на рукахъ у которой былъ ребенокъ, укачивая его, отошла въ сторону, а на мѣсто ея сталъ мужикъ, старый старикъ, и, шамакая, проговорилъ:

— Ежели твоя милость будетъ, такъ ужъ и насъ со старухой не оставь... Мы—родители Марку-то.

У него тряслась голова и хрипѣло въ горлѣ.

— Что пожалуешь, батюшко... Стары ужъ мы... Сиротство...

— Надо старичкамъ-то... проговорилъ еще какой-то голосъ. — Одинокіе старики... что нибудь дай... Ты рубль-то разбей... Куда ей, бабкѣ, рубль-то?..

— Что пожалуешь... Все на новорожденнаго-то... Старикамъ! хрипѣлъ старикъ.

— Ей, бабкѣ то, за глаза, ежели сорокъ копѣекъ, вполне будетъ... а по тридцати копѣекъ старикамъ... Бога помолятъ.

— Хорошо, сказалъ я: — ладно!

— А ужъ хозяйкѣ, надѣ самымъ ухомъ, какъ комаръ прогудѣлъ жарко дохнувъ, произнесъ Маркъ Ивановъ: — что будетъ вашей милости... И такъ благодаримъ покорно... Что вашей милости будетъ... Хоть двадцать копѣекъ...

Всѣмъ нужно, оказывается, хоть сколько нибудь: у всѣхъ сиротство, всѣ норовятъ воспользоваться случаемъ, чтобы «какъ-нибудь», «что-нибудь»... Тяжело мнѣ было на душѣ, когда, окруженный толпой этого «сиротства», я ходилъ вокругъ купели съ новымъ сиротой на рукахъ. Всѣмъ нужно, а тутъ еще является новый конкурентъ и требуетъ еще и на свою долю. Откуда возьметъ онъ? Конкурентъ наконецъ былъ введенъ въ доно православной церкви подъ именемъ Гавріила и отправился домой на рукахъ кумы. Повидавшись съ священникомъ и дьячкомъ, и мы съ Маркомъ тронулись въ деревню. По пути, изъ сторожки вышелъ старый-престарый, кривой на одинъ глазъ сторожъ и низко поклонился.

— Ужъ за ведерочко что-нибудь! объяснилъ мнѣ Маркъ.

Оказалось, что Маркъ бралъ у сторожа ведро для того чтобъ принести воды для купели.

Старикъ низко поклонился, получивъ скудную лепту, и поплелся въ сторожку.

Въ лавкѣ мы купили два платья, причѣмъ лавочникъ вывелъ насъ изъ затрудненія разрѣшить вопросъ о вкусахъ женщинъ, для которыхъ они покупались.

— Кто кума? спросилъ онъ у Марка.

— Дарья...

— Это—женщина сестра, что-ли?

— Она.

— Дѣвица?

— Дѣвица.

— Гм... промывалъ лавочникъ и, обратившись лицомъ къ полкамъ съ ситцемъ и искрестивъ ихъ пальцемъ снизу вверхъ и сверху внизъ, выхватилъ наконецъ одну штуку и, съ рѣшительнымъ возгласомъ:—

— Вотъ твоей Дарьѣ!—хлопнулъ ее о прилавокъ, спросивъ:—сколько прикажете?..

«Вотъ твоей Дарьѣ» было сказано такъ вѣско, что не представлялось никакой возможности предполагать, чтобы Дарьѣ это не понравилось. Въ виду этого, почти не разсматривая матеріи, мы прямо отвѣчали на вопросъ «сколько потребуется».

— Давай на полное платье! сказалъ Маркъ.

Аршинъ зашумѣлъ въ каленомъ ситцѣ.

Точно такъ же была выбрана и матерія на платье и женѣ Марка. Лавочникъ выхватилъ кусокъ и категорически объявилъ, что этотъ рисунокъ будетъ въ самый разъ для Марьи. Когда мы принесли покупки къ Марку въ домъ, дѣйствительно и кума, и жена Марка (сидѣвшая за занавѣской) остались очень довольны подарками.

— Лучше не надо! говорили онѣ.

Несомнѣнно, что лавочникъ отлично изучилъ вкусы каждой Дарьи и каждой Марьи.

3.

Въ домѣ Марка Иванова сошлось избранное общество. Тутъ присутствовалъ сельскій староста, самый богатый и умный, т. е. практическій мужикъ во всей деревнѣ, приглашенный какъ лицо, которому подѣлать сидѣть за однимъ столомъ съ бариномъ. Кромѣ старосты, присутствовало дватри изъ самыхъ «порядочныхъ», т. е. крестьянъ, ведущихъ свои дѣла болѣе или менѣе въ порядкѣ; присутствовалъ самъ Маркъ, бабка и кума. Старый старикъ—родитель, получивъ малую лепту, скромно усялся у двери, заявивъ, что онъ не будетъ беспокоить; а старуха съ тою же лептой тотчасъ ушла домой. Маркъ хотя и удерживалъ ее и просилъ старика идти къ столу, но, какъ мнѣ показалось, удерживалъ не особенно усердно и ни единымъ словомъ не протестовалъ, когда старикъ началъ было отпѣкиваться...

— Ну, какъ хошь, сказалъ Маркъ, не дослушавъ его рѣчи.

— Мое дѣло—старое! какъ-бы оправдывая равнодушіе сына, произнесъ самъ старикъ, и даже мнѣ, человѣку, только-что вступившему въ крестьянскій домъ, показалось, что въ самомъ дѣлѣ ему нѣтъ тутъ мѣста. Своей больной старческой фигурой онъ не подходилъ къ веселю; и самъ онъ зналъ, и всѣ другіе видѣли, что жизнь онъ ужъ прожилъ, и осталось ему одно—умереть. Куда ему пировать?

«Дѣло его старое»... Не нуженъ онъ становится, какъ не нужно старое дерево.

Усѣвшись за столъ, на которомъ кипѣлъ самоваръ, мы выпили порюмкѣводки, загусили ее шукой, жареной въ яйцахъ, кушаньемъ вполне безвкуснымъ, и приготовлялись выпить по другой, какъ съ улицы кто то звонко застучалъ въ стекло. Я успѣлъ разглядѣть, что палка, которою стучало неизвестное мнѣ лицо, была не деревянная; на концѣ ея была, въ видѣ набалдашника, посажена какая-то алюминиевая морда. Самого стучавшаго мнѣ не было видно, потому что крестьянскіе дома въ описываемой мѣстности всѣ безъ исключенія двухъэтажные: внизу помѣщаются подвалы и чуланы, а надъ чуланомъ—жилая горница.

Маркъ тотчасъ поднялся на стукъ и, заглянувъ въ окно, произнесъ:

— Балашовскій баринъ... и ушелъ на улицу.

— Кто такой? спросилъ я.

— Тутъ, въ Балашовѣ, тоже вотъ налѣто флигель снялъ у священника... Въ пяти верстахъ отсюда деревня Балашова...

— Баринъ тоже... сказалъ староста:—только что сумнительность есть въ немъ...

— Какая же? въ чемъ?

— Да такъ, то есть безъ твердости безо всякой, объяснилъ староста.—Господинъ не господинъ... а Богъ е-знаетъ... онъ и доберъ, и все... а чтобы настоящаго...

4.

Староста еще не окончивъ рѣчи, когда въ отворенной двери показался Маркъ, пропуская впереди себя балашовскаго барина.

Это былъ, какъ я потомъ разглядѣлъ, человѣкъ лѣтъ сорока, казавшійся гораздо старѣе своихъ лѣтъ. Какая-то изношенность и выѣстъ съ тѣмъ непрерывная нервная раздражительность составляли довольно рѣзко бросавшіяся въ глаза черты его физіономіи. Въ небольшой черноватой бородачѣ и въ длинныхъ, за уши зачесанныхъ, волосахъ пробивалась сильная сѣдина. Одѣтъ онъ былъ весьма прилично, хоть и небрежно; чистая рубашка была не застегнута у ворота, и галстуха на немъ не было, а шляпа была измята самымъ безпощаднымъ образомъ...

— Радостію-бы радъ, говорилъ Маркъ:—да невозможно!

— Вѣдь дождь прошѣлъ... Сегодня праздникъ... говорилъ ему баринъ.

— Гости-съ! Крестины!.. Милости прошу...

— А! оглядывая гостей, весело проговорилъ баринъ:—все старые знакомые... Мое почтеніе! раскланялся онъ со мной.

— Все старые! поднявшись, проговорили гости.—Здравствуй, Ликсанъ Ликсанычъ.

— Здравствуйте, здравствуйте, друзья любезные, влѣзая на уступленное старостой мѣсто, говорилъ баринъ.—Здравствуйте... какъ поживаете? Нѣтъ ли чего хорошенькаго?

Говорилъ онъ это, очевидно, иронически. Крестьяне, также улыбаясь, отвѣчали ему:

— Слава Богу... поменьше!

— Ну, и славу Богу! Простили Ивана-то?

Баринъ, сказавъ это, поставилъ локти на столъ и опустилъ усы на сжатые кулакомъ пальцы рукъ. Отвѣта онъ ждалъ, какъ-то покоса посматривая на крестьянъ. Я не зналъ, почему это дѣлается, но видѣлъ, что сидѣвшіе за столомъ крестьяне ждали отвѣтомъ.

Баринъ тоже молчалъ, постукивая кулакомъ по своимъ усамъ.

— А? вопросительно промышчалъ онъ еще разъ.

— Онъ, Ликсанъ Ликсанычъ, самъ пошелъ на мировую...

— За много-ли?

— На полштофъ помирились.

— Отлично! А голова-то зажила?

— Кой подживаетъ, кой не...

— «Кой не»... повторилъ баринъ и, обратясь къ Марку, произнесъ: — ты что-жъ не угощаешь водкой-то?

Маркъ со всѣхъ ногъ бросился наливать водку и подаль барину черезъ край налитую рюмку. Баринъ поморщился и залпомъ опрокинулъ ее въ ротъ. Но горловая судорога не пускала глотать, и баринъ долго сидѣлъ съ сжатыми губами, роясь вилкой въ чашкѣ съ яичницей и щукой. Кой-какъ глотокъ проскользнулъ, и словно всѣмъ полетчало.

— «Кой подживаетъ, кой не!»... повторилъ баринъ, утирая усы концами скатерти.

— Да вотъ это еще мѣсто, указывая на собственный високъ, объяснилъ одинъ изъ крестьянъ: — это еще не совсѣмъ.. Дюже глыбоко посадилъ онъ...

— Глыбоко? переспросилъ баринъ.

Такая манера разговаривать крайне стѣсняла всѣхъ присутствующихъ: баринъ точно допрашивалъ, и видно было, что отвѣты, которые давали ему его подсудимые, очень мало удовлетворяли слѣдователя. Но баринъ какъ будто не замѣчалъ этого. Лично мнѣ было просто неловко присутствовать при непонятномъ мнѣ разговорѣ; но крестьяне, къ которымъ обращался баринъ, казалось, хорошо понимали, въ чемъ дѣло, и чувствовали себя едва-ли не хуже, чѣмъ я себя чувствовалъ.

— Ну, а Евсѣю вы сколько ударовъ-то дали? придвигая къ себѣ стаканъ чаю и какъ будто съ полною безпечностью приготавливаясь распить его, продолжалъ баринъ тѣмъ-же строгимъ тономъ.

— Это, Ликсанъ Ликсанычъ, не мы удары-то обозначаемъ: на это есть судъ.

— А не вы «судъ»-то?

— Никакъ нѣтъ!.. На то есть судьи... отвѣчали крестьяне разомъ.

— А судей кто выбираетъ?..

— Ну ужъ судей, знаемъ,—мы...

— А!.. съ какимъ-то злорадствомъ прорывалъ баринъ и, въ сильномъ волненіи, такъ опрокинулъ стаканъ на блюдечко, что чай разлился по скатерти. Баринъ между тѣмъ продолжалъ въ томъ-же тонѣ:

— Такъ не вы дерете-то, стало быть? Чужіе? Приказываютъ? Стоить тебѣ приказать отца родного высѣчь—ты и выдерешь, и невиновать будешь?

— Хе-хе-хе! вдругъ засмѣялся староста (молодой, непьющій, но сухой и жестко-практическій

малый): — все вы, Ликсанъ Ликсанычъ, на насъ сердаете. Все у насъ вамъ не по вкусу, все худо... Что жъ съ насъ, мужиковъ-дураковъ, взять?..

— Известно ужъ—дураки... почесывая затылокъ, произнесъ одинъ изъ «порядочныхъ» крестьянъ. Произнесъ онъ это такимъ тономъ униженія, который паче всякой гордости.

— Объ этомъ я не спорю, да—дураки! сказалъ баринъ, не сморгнувъ.

— Идѣ-жъ намъ взять ума-то?..

— Да и мало того, что дураки, вы... вдругъ вспыхнувъ непритворнымъ негодованіемъ, проговорилъ баринъ: — вы, кромѣ того, еще и...

Жесткое слово, которое, по всей вѣроятности, вертѣлось у него на языкѣ, однако не сказалось. Не кончивъ фразы, онъ быстро повернулся ко мнѣ и спросилъ торопливо и раздраженно:

— Вы тоже въ деревню заѣзжали?

— Да, на лѣто...

— Только на лѣто? Ужъ не «сливаться»-ли съ этими вотъ?

— Какъ «сливаться»? Я просто на дачу...

— И не «сливайтесь»! То есть, я вамъ скажу!..

Онъ ухватился обѣими руками за голову. Я ждалъ, судя по этому жесту, что онъ разразится какимъ-нибудь трескучимъ потокомъ обвинительныхъ фразъ; но вмѣсто того баринъ мгновенно утихъ и почти шопотомъ сказалъ мнѣ:

— Мы хороши—ужъ нечего сказать, достойные плоды цивилизаціи, ну да и они тоже...

Онъ поцѣловалъ кончики пальцевъ и потомъ развелъ руками.

— Малина! сказалъ староста.

— То есть—чудо что такое! Лучше всякой малины... ахти—малина... А ежели мы да они сольемся, да въ томъ самомъ видѣ, какъ сію-минуту...

— Свиныя не тронетъ! досказалъ староста и захохоталъ.

— Правда, братъ, правда!.. Именно не тронетъ! И свиныя понюхаетъ этотъ лимонадъ—и прочь!.. Надей ко мнѣ, Маркъ!..

Баринъ подставилъ рюмку.

— Ужъ наливай, Маркъ Ивановъ, сказалъ староста—всѣмъ! что ужъ...

Маркъ налилъ всѣ рюмки, но пить не было никакой возможности, въ комнатѣ стояла нестерпимая духота отъ самовара, отъ солнца, вдругъ начавшаго жечь июльскимъ полуденнымъ огнемъ, и отъ раскаленной печки... Выпили только одинъ изъ крестьянъ, самъ Маркъ да балашовскій баринъ.

— Нѣтъ, ребята!.. заговорилъ какимъ-то обиженнымъ тономъ балашовскій баринъ, кое-какъ преодолевъ эту вторую рюмку: — вотъ что я вамъ скажу—обидѣли вы меня!..

— Чѣмъ-же, Ликсанъ Ликсанычъ? Кажется, всея душой... Изъ чего намъ тебя обижать? Мы тобой довольны... слышались голоса, правда, не совсѣмъ искренніе, такъ-какъ на заявленіе барина объ обидѣ почти всѣ присутствующіе смотрѣли, очевидно, какъ на причуду барина, да еще «сумнительнаго», да еще, какъ видно, выпившаго.

— Обидѣли, братцы, обидѣли! Бѣхалъ я къ вамъ: думаю, буду жить съ вами, помогать — денегъ мнѣ отъ васъ не нужно — хлопотать за васъ, за вашу крестьянскую семью. Я думалъ, что деревня — это простая семья, въ которой только и можно жить...

Мужики вздыхали, а староста только мотнулъ головой, какъ бы говоря: «ни въѣсть что городить». А баринъ между тѣмъ вновь самъ налилъ себѣ полрюмки, быстро проглотилъ и продолжалъ:

— ...А у нихъ тутъ не только никакой семьи не оказывается — какое!.. Лѣзутъ другъ отъ друга въ разныя стороны... Представьте себѣ, чтó тутъ творится — исключительно обращаясь ко мнѣ, говорилъ баринъ. — Вотъ я сейчасъ спрашивалъ про Евсѣя, котораго они высѣкли за упорство, *«за то, что занимается упорствомъ и лѣнностью»* (такъ у нихъ пишется въ протоколахъ волостныхъ судовъ). Этотъ Евсѣй — завзятый охотникъ, преданъ онъ своему дѣлу страстно. Семья, кромѣ жены, у него нѣтъ никакой; хозяйничать надо, стало быть, съ работникомъ. Но у Евсѣя, помимо того, что сердце вообще не лежитъ къ хозяйству, вслѣдствіе его специальности, у него, вслѣдствіе той-же специальности, и средоточію случайныя: хорошо, вспомнить про него какой-нибудь баринъ, которому онъ могъ услужить на охотѣ, поможетъ, Евсѣй и справится, а нѣтъ — сидитъ такъ... Я этого Евсѣя знаю; это — истый художникъ, страстный любитель своего дѣла и потому добрейшій парень. Въ охотничьемъ мѣрѣ онъ извѣстенъ очень многимъ петербургскимъ тузамъ и, благодаря этому, сослужилъ своимъ сельчанамъ большую службу. У крестьянъ этой деревни, вотъ у этихъ самыхъ (онъ указалъ на сидѣвшихъ за столомъ крестьянъ), больше десяти лѣтъ шелъ споръ съ помѣщикомъ за надѣлъ. Они на это дѣло, какъ рассказываютъ, истратили больше тысячи рублей серебромъ, но толку никакого не добились. Тогда Евсѣй, несмотря на то, что лично ему эта земля была ненужна, — я говорилъ, что онъ былъ плохой хозяинъ, — задумалъ помочь своимъ сотоварищамъ, помочь просто такъ, по добротѣ. Онъ отправился въ Петербургъ, разыскалъ одного изъ господъ, котораго зналъ какъ охотника, и который, какъ оказалось, былъ лицомъ вліятельнымъ, рассказалъ ему все дѣло и, безъ одной копѣйки расходовъ, благодаря своему личному умѣнию затронуть человѣческую струну, выигралъ процессъ не больше какъ въ полтора мѣсяца со всѣми проволочками. Теперь, благодаря этому Евсѣю, у этихъ вотъ джентльменовъ (опять онъ указалъ на крестьянъ) двадцать десятинъ мелкодѣсья съ отличными сѣнами и отличные луга. И что-жъ? Этого человѣка, который на вѣчныя времена сдѣлалъ имъ доброе дѣло, эти же самые джентльмены выдрали розгами за невзносъ податей.

— Постой! остановилъ барина одинъ изъ крестьянъ, видимо взволнованный рассказомъ. — Погоди, Ликсанъ Ликсанъичъ. Слышалъ ты звонъ, да не знаешь, гдѣ онъ.

— Ну, гдѣ-жъ? обратился къ нему баринъ.

— А вотъ гдѣ... Которую землю Евсѣй отбилъ, той земли владѣтель — стало быть, нашъ бывшій

баринъ — и посейчасъ въ присутствіи служить, въ крестьянскомъ...

— Членъ... прибавилъ другой крестьянинъ.

— Въ членахъ. Когда отъ него это угодые отошло, онъ и подвелъ, чрезъ старшинъ и черезъ судей, противъ Евсѣя... Судьи-то, братецъ ты мой, изъ всей волости выборные... Кабы изъ нашей изъ одной деревни они выбирались, небось-бы...

— Ну, ладно, ладно... перебилъ его баринъ, то-ропясь досказать свою рѣчь: — стало быть, это не здѣшніе судьи, а люди, которые не знали Евсѣя, приговорили его къ сѣченію, потому что имъ это было внушено и, пожалуй, приказано.

— Вѣстимо такъ!

— А вы высѣкли вашего благодѣтеля только потому, что было приказано. Такъ? Вѣдь онъ сѣкнута? Вѣдь у этого волостного правленія?.. Такъ, ай нѣтъ?

Крестьяне молчали. Только тотъ, который возражалъ, какъ-то нетерпѣливо схватился за свою грудь, что-то повидимому желалъ возразить, но только мотнулъ головой и махнулъ рукой...

— Какъ вамъ нравится эдакая непосредственность, обратился онъ ко мнѣ.

— Да нешто, кабы ежели... совершенно огорченнымъ тономъ заговорилъ было опять мужикъ, но баринъ не далъ ему окончить и перебилъ вопросомъ:

— Почему вы не заплатили за него этихъ несчастныхъ двѣнадцати съ полтиной? Вѣдь онъ вамъ сдѣлалъ добра на тысячи?..

Вмѣсто отвѣта на этотъ вопросъ, другой изъ порядочныхъ крестьянъ, все время молчавшій, неожиданно и медленно проговорилъ:

— Въ случаѣ ежели что, и Евсѣй. твой тоже бы нашего брата не помиловалъ... Прикажутъ наказъ да прутъ въ руки дадутъ, такъ и Евсѣй твой...

— Ну вотъ! стукнувъ кулакомъ, завопилъ баринъ. — Вотъ тутъ и сливайся съ ними... Сегодня я сольюсь, а они меня завтра въ волости выдерутъ, либо самого заставить дратъ...

И онъ, какъ говорится, «хлопнулъ» еще рюмку водки и видимо охмѣлѣлъ...

— Теперь еще куплетикъ, отирая ужъ просто ладонью свои усы, продолжалъ онъ. — Здѣшняя помѣщица отдала свою землю и усадьбу въ аренду одной петербургской нѣмкѣ... Эта аренда — то же превосходнѣйшая иллюстрація къ пониманію теперешнихъ взаимныхъ отношеній вотъ этихъ господъ... Это прелесть, и мы еще поговоримъ... Не въ томъ дѣло. Дѣло въ томъ, что какъ ни подла и ни жадна эта нѣмецкая тварь, все-таки ужъ одно незнакоміе языка заставляетъ ее прибѣгать къ помощи нашихъ соотечественниковъ, т. е. къ помощи этихъ же язевскихъ обывателей, *противъ тѣхъ* же язевскихъ обывателей... На ея счастье, въ числѣ этихъ господъ (опять указаніе на гостей) отыскалось одно удивительно пригодное для этого нѣмецкаго животнаго русское животное. Это еще молодой парень; но такой глубокой природной кровожадности, такой глубокой ненависти къ своему брату-крестьянину у рѣшительно не видалъ, даже

не могъ предполагать, хотя и теперь порядочно-таки насмотрѣлся на ихъ взаимную любовь...

— Звѣрь—ужь что... подтвердилъ одинъ изъ крестьянъ.—Это вѣрно!

— Я понимаю, что могутъ быть тысячи причинъ, объясняющихъ это уродство; дѣло не въ томъ. Въ обществѣ, въ общинѣ, какую я предполагалъ русскую деревню, такой человѣкъ—первый врагъ, язвы сибирской хуже... Всю силу своей умственной дѣятельности — а парень онъ не глупый — онъ устремляетъ на то, чтобы затруднить отношенія, которыя приходится имѣть ему съ крестьяниномъ, своимъ-же односельчаниномъ. Только изъ какой то нечистижигой потребности дѣлать зло, онъ привязывается къ интересамъ лицъ, которыя какъ разъ противоположны интересамъ его близкихъ!—такъ вѣрнѣе и жестче для этой нѣмки слуги едва ли сыскать возможно. Эта шельма — его звать Федосѣй —этотъ Федосѣй неусыпно сторожитъ ея интересы, точно это его кровное добро. Представьте, онъ выучилъ почти наизусть (грамотный!) судебные уставы, знаетъ всѣ закорючки, путаетъ ими крестьянъ и, разумеется, выигрываетъ процессы. Помимо этой непонятной злобы противъ своихъ, онъ вообще злой человѣкъ: онъ любитъ смотрѣть на смерть животныхъ... любитъ смотрѣть на страданія... Въ прошломъ году онъ напримѣръ сжегъ въ печкѣ девять щенятъ, которыхъ его нѣмка приказала ему утопить... Понимаете-ли, вѣдь надо быть звѣремъ, чтобы рѣшиться на эту операцію, чтобы нарочно растопить прачечную печь и бросать въ огонь по одному щенку...

— Я ему сто разъ говорилъ, вставилъ свое словечко Маркъ: — помрешь самъ такою-же смертью!

— И что жъ? И такъ... И помреть! Вѣрно это! прибавилъ мужикъ, огорчившійся словами барина и все время не перестававшій о чемъ-то упорно и горько думать.

— Такъ вотъ этотъ звѣрь, продолжалъ баринъ: — однажды замѣтилъ, что изъ нѣмкина амбара пропадаетъ мука. Пять ночей кряду, не смыкая глазъ, имѣлъ онъ терпѣнье высидѣть за амбаромъ, со шкворнемъ въ рукахъ, выжидая вора... На шестую — онъ самъ говорилъ мнѣ, что была темь и дождь — онъ наконецъ запримѣтилъ какую-то фигуру, пробирающуюся черезъ дворъ. Впослѣдствіи оказалось, что это мужикъ шелъ за бабкой-повитухой... Не долго думая, вѣрный стражъ нѣмкиныхъ интересовъ погнался за этой фигурой и, догнавъ, буквально изувѣчилъ человѣка желѣзнымъ тарантаснымъ шкворнемъ. Онъ билъ его почему попало, раскроилъ голову въ нѣсколькихъ мѣстахъ, словомъ — изуродовалъ звѣрски... Если-бы вы посмотрѣли, съ какимъ глубокимъ сознаніемъ своей правоты разсказывалъ этотъ звѣрь мнѣ, лично мнѣ, это дѣло! Онъ выходилъ изъ принципа — «не тронь чужого» (потомъ я вамъ скажу, что это за чужое) и чувствовалъ себя какъ-то удивительно веселымъ... Онъ даже пришелъ ко мнѣ жаловаться на свою хозяйку, слышавъ, что она хочетъ простить (простить!) этого мужика.

— «Что-жъ это такое? говорилъ онъ обиженно. — Сейчас-бы ушелъ, ежелибъ не контраеть!»

Но такъ какъ прощать невиннаго нѣмкѣ не пришлось, то Федосѣй и попалъ подъ судъ... Судъ этотъ былъ третьяго дня, въ воскресенье — и что-жъ? Этотъ самый невинно-обиженный человѣкъ, изуродованный во имя нѣмкиной собственности, прощаетъ врага всего язевскаго крестьянства — за полштофъ!..

— Самъ-же говоришь, драть не хорошо...

— Если прощать — прощай такъ, а не за полштофъ... То-то и бѣда: не будь полштофа, вы-бы высѣкли его, а полштофъ-то помѣшалъ.

— Ахъ, Господи, Господи! широко вздохнуть. произнесъ огорченный мужикъ. — Говоришь ты, братецъ ты мой, много, а сказалъ бы я тебѣ словечко...

— Знаю я твои словечки, перебилъ его баринъ. — Бѣдность, сиротство — такъ? Теперь извольте при-слушать...

Баринъ обратился исключительно ко мнѣ.

— Эти люди, бѣдность которыхъ ужъ, кажется, не подлежитъ никакому сомнѣнію, эти самые люди, которымъ дорогъ каждый гривенникъ, каждая копейка — эти люди *даромъ*, *з. вино* добровольно обязываются работать на эту самую нѣмку, на вашу хозяйку... Вы вѣдь у нея нанимаете флигель, кажется? Я подтвердилъ.

— Понимаете-ли: *даромъ* обизались ей всей деревней работать триста сорокъ дней въ году съ лошадьми. То есть *даромъ* дѣлаютъ ей все, доставляютъ ей тотъ самый доходъ, которымъ она уплачиваетъ аренду и отъ котораго у ней остается — куда довольно!..

— Баринъ! а баринъ! заговорилъ огорченный мужикъ. — Право ты меня въ сердце ввелъ...

— Чѣмъ это я тебя разсердилъ?

— А тѣмъ... Поди-ко, спроси у хозяйки-то, у помѣщицы: дастъ она намъ, мужикамъ, земля-то? Нѣтъ, не дастъ! Ей надобенъ одинъ человѣкъ, одинъ отъѣтчикъ...

— Вотъ ты осерчалъ, вошелъ въ сердце, а до-говорить-то мнѣ не далъ...

— Ну, договаривай!

— Изволь; а позволю тебя спросить: одинъ кто-нибудь изъ васъ не можетъ, по вашему выбору, взять это дѣло на себя? Вотъ ты, ты — сельскій староста, ты не пьешь, помѣщица тебя знаетъ...

— Мнѣ что же? я, слава Богу, не сижу безъ хлѣба, холодно перебилъ рѣчь барина староста. — Есть у меня пустоши тринадцать десятинъ да у двухъ мужичковъ нанимаю: — куда ужъ мнѣ съ арендой!..

— Ну вотъ говорите съ ними послѣ этого! Вотъ они въ какихъ теперь отношеніяхъ... «Мнѣ, мое, у меня, а тамъ — прочіе, другіе, сосѣди — какъ знаешь!»

— Я всякому желаю, кротко бормоталъ староста. — Дай Богъ всякому! Мнѣ Богъ помогъ — и другимъ поможетъ.

— Знаю я, тебѣ какъ Богъ-то помогъ, почти огрызаясь на старосту, произнесъ баринъ, и, тотчасъ обратясь ко мнѣ, продолжалъ: — вотъ, вотъ она гдѣ бѣда-то!.. Вотъ что въѣдается въ дере-

венскую среду, съ каждымъ днемъ все сильнѣй и сильнѣй...

— Эхъ, баринъ, баринъ... Долго ты насъ бранилъ, а и намъ-бы тебѣ можно словечко сказать... Худы мы—вѣрно это...

— Другъ ты мой любезный! вдругъ самымъ душевнымъ тономъ произнесъ очевидно разстроенный баринъ:—неужели ты думаешь, что я въ самомъ дѣлѣ пришелъ съ вами ругаться? Чудаки вы такіе? Я ору на васъ потому, что вы не вѣрите, что мнѣ васъ жаль... Эхъ вы! Маркъ, купи-ка, братъ, пивца

Маркъ взялъ отъ барина деньги и много по-несся въ кабакъ.

— Не сопьешься съ нами, а сопьешься!.. Смотрите-то на васъ—душа разрывается...

— То-то вотъ, баринъ, и есть,—говорилъ между тѣмъ огорченный:—«Дураки да дураки... да пьяницы»... Были и мы, братецъ ты мой, хороши, да ужъ потомъ стали худы... Знаешь, чай, про мужика да про вочка?

— Что такое? про какого мужика, приподнимая опущенную на руки голову, устало произнесъ баринъ.

— Сказка такая есть: про мужика да про волка... Шелъ, стало быть, мужикъ съ гумна, а навстрѣчу волкъ бѣжить... «Мужикъ, мужикъ, спрячь меня, за мной охотники гонятся». Подумалъ мужикъ и спряталъ волка въ мѣшокъ; мѣшокъ у него съ собой былъ... Вотъ хорошо... погоди, доберъ по твоему мужикъ-то?

— Доберъ! сказалъ баринъ, какъ во снѣ.

— То-то что доберъ; погляди, отчего онъ худъ-то сталъ...

— Ну, говори, валяй дальше.

— Ну, охотники проскакали, мужикъ и выпустилъ волка изъ мѣшка; а волкъ, какъ вылезъ, и говоритъ: «теперь, мужикъ, я тебя съѣмъ!»—Это какъ-же такъ, говоритъ мужикъ:—нешто такъ добро помнить?—«Старое добро, говоритъ волкъ, забывается».—Сталъ мужикъ спорить. Волкъ говоритъ: «давай, у кого хочешь, спросимъ; ежели скажутъ, что забывается старое добро, тогда я тебя съѣмъ»... Подумалъ мужикъ, говоритъ—«ладно!» Пошли по дорогѣ. Попадаетъ старая лошадь: стали они у нея спрашивать: забывается ли старое добро? Лошадь имъ отвѣчаетъ: «служила я хозяину пятнадцать лѣтъ, работала день и ночь, а старая стала, ослѣпла—меня треснули дубиной вдоль спины и выгнали вонъ... Вотъ и плетусь умирать, куда ноги приведутъ... Старое добро, господа, всегда забывается»... Волкъ разинулъ ротъ, хотѣлъ мужика съѣсть; мужикъ говоритъ: «Нѣтъ, погоди, еще спросимъ у старичковъ». И стали они спрашивать у старыхъ собакъ и у старыхъ людей, и всѣ имъ говорятъ: «забывается старое добро». Покуда, молъ, нужно—кормить, а какъ состарился да не въ силахъ работать—и издыхай, гдѣ хочешь.—«Ну, мужикъ, говоритъ волкъ:—теперь ужъ я тебя съѣмъ»... Видитъ мужикъ, дѣло его плохо. Вдругъ бѣжитъ лисица. Мужикъ къ ней: «разсуди, говорить, насъ!» А лисица—хитрая вѣдь она:—«раз-

скажите, говоритъ, какъ было дѣло». Сталъ ей мужикъ рассказывать, какъ онъ волка отъ охотниковъ спряталъ въ мѣшокъ, а лисица и говоритъ: «Это не можетъ быть!» Волкъ говоритъ: «Нѣтъ, это вѣрно. Онъ меня въ мѣшкѣ держалъ, покуда охотники не проѣхали».—Не можетъ быть. Такой громадный, да чтобы въ мѣшокъ влѣзъ:—это нѣтъ никакой возможности». Волкъ говоритъ: «Хочешь, влѣзу, покажу?»—«Влѣзь!» Волкъ и влѣзъ въ мѣшокъ и говоритъ оттуда: «видишь?» Какъ только онъ влѣзъ, лисица и шепчетъ мужику: «Завяжи его хорошенько, да цѣномъ, да цѣномъ» (а цѣпъ съ мужикомъ былъ—съ гумна вѣдь онъ шелъ). Мужикъ принялся молотить волка, что есть силы, а лисица стоитъ и смѣется.. Глянулъ мужикъ на нее да и подумалъ: какъ-бы и она со мной чего худого не сдѣлала... Вѣдь вотъ упекала-же волка... Да вспомнилъ, что «старое-то добро забывается», замахнулся и царанулъ лисицу до смерти... Съ тѣхъ поръ мужикъ и въ худыхъ сталъ... Потому наученъ.

— Наученъ, братъ, наученъ!.. твердилъ баринъ, поставивъ локти на столъ и опустивъ въ ладони лицо—Отъ этого-то и съѣла меня у васъ тоска!..

— А былъ доберъ, что говоритъ, всей душой готовъ!.. продолжалъ мужикъ.—Да какъ помусолили его хорошо, такъ и сталъ онъ цѣпомъ отбиваться и отъ врага, и отъ хитраго пріятеля... Такъ-то, баринъ!

— Такъ, такъ, другъ любезный, такъ!..

Въ это время явился Маркъ, нагруженный бутылками пива.

5.

За этимъ пивомъ мы прослѣли въ избѣ Марка еще часа два, если не больше, продолжая разговоры на ту-же тему. Но теперь разговоръ нашъ принялъ нѣсколько иное направленіе. Какъ-бы утомившись своимъ негодованіемъ на крестьянскія безобразія, баринъ почти замолкъ и не то думалъ о чемъ-то своемъ, не то внимательно слушалъ слова крестьянъ, преимущественно слова огорченнаго крестьянина, который теперь почти одинъ овладѣлъ бесѣдою, и надо сказать правду: благодаря его разъясненіямъ, основаннымъ на знаніи всей крестьянской подноготной, картина крестьянской жизни стала представляться вовсе не такой ужъ отчаянной, какая вышла благодаря наблюденіямъ «неслившагося» барина.

Послѣ крестинъ у Марка мы встрѣчались съ баринкомъ нѣсколько разъ. Однажды я самъ пришелъ къ нему въ Балашово; въ другой разъ пришелъ онъ ко мнѣ. Несмотря на то, что онъ прямо заявилъ о своемъ намѣреніи жить и думать только вѣстѣ съ народомъ; несмотря на то, что я, начиная со дня крестинъ и съ долгаго разговора о крестьянскихъ дѣлахъ, сталъ весьма прилежно думать о житьѣ-бытьѣ только деревенскомъ, намъ обомъ не представлялось однако ничего болѣе важнаго въ практическомъ отношеніи, какъ вести обо всемъ этомъ разговоры (только разговоры!), и притомъ только барину съ баринкомъ... Между тѣмъ этотъ самый предметъ нашего разговора продолжалъ съ непонятнымъ упорствомъ влечить свою

ежедневную ляжку, продолжалъ задаромъ работать на нѣмку, продолжалъ съѣзъ своихъ ближнихъ въ дни собранія волостныхъ судовъ, мирился на полштофѣ, махалъ съ равняго утра до поздней ночи косою, чтобы ночью не нагрянулъ дождь и не оставилъ-бы его скотину на всю зиму безъ корму, словомъ—шелъ своей дорогой, а мы, опечаленные его участіемъ, разговоры разговаривали... Постараясь впрочемъ не попотѣть читателя въ этомъ морѣ словъ, которыя на-досугъ мы съумѣли произнести на благо народа, я изложу наши словопренія въ возможно приличномъ видѣ.

6.

— Какимъ путемъ?.. восклицалъ балашовскій баринъ:— чортъ его знаетъ, какимъ путемъ я думалъ слиться съ ними... Да и слово-то это—«слияніе»—какое-то дурацкое... Оно даже въ голову не приходило... Я просто чувствовалъ, что сорокъ лѣтъ, которыя у меня за спиной, словно сорокъ невидимыхъ, но крѣпкихъ рукъ, прижкнули меня къ деревенскому плетню и не пускаютъ... «Сливайся, сѣдая каналья»—да и все тутъ!.. Увѣряю васъ, въ первый же день, какъ только я пріѣхалъ сюда, я испугался... ис-пу-гал-ся (повторилъ баринъ это слово съ особеннымъ удареніемъ), именно потому, что не пускаютъ сорокъ рукъ, а самъ я того, что здѣсь дѣлается, не понимаю!.. И представьте, я вѣдь двадцать тысячъ разъ бывалъ и живалъ въ деревняхъ, вѣдь моя семья—помѣщики; потомъ я пріѣзжалъ въ эти деревни въ видѣ отца-благодѣтеля, мирового посредника, земскаго гласнаго... Я вѣдь этотъ миссіонерскій путь прослѣдовалъ, и никогда я ничего не пугался здѣсь, и, въ качествѣ миссіонера, даже не только все яко-бы понималъ, а и совершенствовалъ.

— Но теперь, когда меня въ деревню никто не назначалъ; теперь, когда я явился въ деревню не на лѣто, какъ являлся въ свою деревню въ качествѣ барина; когда меня въ эту деревню привела жизнь—тутъ-то я и испугался... Не на шутку испугался... Зачѣмъ я здѣсь? на каждомъ шагу стало мнѣ лѣзть въ голову... Пшпать пылята, ѣдетъ борона съ поля, блеетъ овца, мычитъ корова—все это что-то мнѣ чужое, идетъ куда-то по своему дѣлу, въ свое мѣсто, словомъ—мимо меня... Я до того растерялся,—что, желая объяснить себѣ мое появленіе въ деревнѣ и съ страшными усиліями пытаясь возстановить въ своей памяти тѣ безчисленныя иллюстраціи, которыми въ моемъ воображеніи были разрисованы мужикъ и деревня, рѣшительно ничего не могъ припомнить... Точно никакихъ иллюстрацій и не было. Думалъ-думалъ, наконецъ придумалъ: «пошлю-ка я за водкой въ кабаки!» Ха-ха-ха... Принесли—«Славянской», «вышей»; съ тѣхъ поръ я и придерживаюсь ея—и ничего: облегчается!..

— Какія-же такіе иллюстраціи придумали вы къ мужику? Чѣмъ могли вы его разрисовать?

— Мужика-то? О, батюшки!

Баринъ вдругъ оживился, и глаза его засверкали какой-то совершенно дѣтскою, улыбающеюся радостью.

— Мужика-то не разрисовать?.. Если на то пошло, такъ я вамъ скажу, что именно только одного мужика въ настоящіе дни и можно разрисовывать такъ, что только мурашки по кожѣ забѣгаютъ отъ восхищенія... Только одного мужика!

— Какого-же? Вотъ этого самаго Марка, Ивана, Кузьму?

— Какого-же еще? Разумѣется, этого самаго... Именно ихъ-то, этихъ Ивановъ, Федосѣевъ, и можно воображенію окружать великолѣпіемъ... Все, что окружалось, надобно... Теперь великолѣпнѣй мужика ничего нѣтъ на свѣтѣ...

— Да, если его раскрасить...

— Прибавьте—и потому еще, что его можно раскрасить... На всемъ другомъ краска лупится, слѣзаетъ.

— Право, я-бы очень хотѣлъ послушать, какъ вы раскрасите мнѣ какого-нибудь изъ этихъ Ивановъ?..

— Ничего нѣтъ легче!.. Позвольте мнѣ припомнить вамъ одинъ разговоръ именно по этому-же поводу... Тутъ такъ раскрасили этого Ивана, что лучше покуда и не требуется... Этотъ разговоръ происходилъ года четыре-пять тому назадъ, за границей. Я въ ту пору шатался тамъ въ самомъ ужасномъ состояніи духа. Какая-то сильнѣйшая нравственная оскормина ежеминутно отравляла мое существованіе. Все, что мнѣ ни припоминалось въ моемъ прошломъ, все, что ни видѣлъ я передъ собою въ настоящемъ, все, каждую минуту, возбуждало во мнѣ это нестерпимое ощущеніе оскормины, и я просто не зналъ, что дѣлать. Только въ кружкахъ русской молодежи, куда я иной разъ—въ лучшія изъ моихъ сквернѣйшихъ минутъ—заходилъ, только тутъ иной разъ передо мной какъ-будто что-то прояснялось. Но, разумѣется, между мною, уже сѣдѣющею, изломанной дубиной, и ими—живущими, молодыми—никакой прочной связи не было: такъ только, въ качествѣ благороднаго свидѣтеля, я и могъ быть переносимъ и принять... Такъ вотъ разъ, когда я забрелъ въ одинъ изъ этихъ кружковъ, мнѣ пришлось натолкнуться, разумѣется, на разговоръ и, разумѣется, о народѣ (это ужъ всегда...) Едва я услышалъ слова: «мужикъ», «народная жизнь» и пр., и пр., какъ тотчасъ-же почувствовалъ ощущеніе оскормины и поспѣшилъ выйти на балкончикъ, стараясь не слушать этихъ разговоровъ о народѣ (Господи! сколько самъ я молотилъ о немъ моими празднословными азыкомъ!), и старался развлечь себя предметами посторонними...

Балкончикъ былъ маленькій, какой бываеетъ у квартиръ въ одно окно, въ полторы комнаты, и висѣлъ надъ улицей необыкновенно высоко: онъ висѣлъ впрочемъ не надъ одной только улицей, а выходилъ угломъ на площадь, куда сходились еще три или четыре другихъ улицъ, спускаясь съ возвышенностей. Мѣсто было необыкновенно типическое: асфальтовая площадь съ массивнымъ газовымъ фонаремъ посрединѣ и широкій асфальтовый проспектъ перерѣзывалъ ее поперекъ, съ жиденькими рядами платановыхъ деревьевъ по его обѣимъ сторонамъ—одни они только нарушали своимъ ординарнымъ видомъ оригинальный характеръ стараго

квартиры, искрещеннаго переулками, узенькими, кривыми, поминутно раскалывавшимися на новые и кривые переулки, обставленные высокими, закопченными вывѣсками маленькихъ кафе, угольныхъ лавокъ, лавокъ всякаго старья, тряпья и хлама, и населенные несмѣтнымъ числомъ народа, кишашаго какъ въ муравейникѣ. Но и полная жизни картина этого муравейника, которую я созерцалъ съ моей обсерваторіи, нисколько не улучшала моего нравственнаго состоянія и не уничтожала ощущенія оскормины, несмотря на то, что эта мелькавшая передо мною жизнь почти ежеминутно мѣнялась, какъ въ калейдоскопѣ, поминутно складываясь, благодаря нагрянувшему омнибусу, барабанному бою, взводу солдатъ и т. д. — все въ новыя и въ новыя перестановки людскихъ фигуръ. Никомъ образомъ я не могъ заглушить въ себѣ этого, въ высшей степени безпорядочнаго потока мыслей, невѣдомо откуда залетающихъ въ голову и невѣдомо какую связь между собою имѣвшихъ. И завидовалъ то я людямъ этого муравейника, и ненавидѣлъ, и о культурѣ думалъ, и о Бисмаркѣ, и о томъ, что хорошо бы все это разсыпать прахомъ, и неожиданно о моемъ личномъ дѣлѣ, и потомъ вдругъ о войнѣ. И — то мнѣ казалось, что «мы» все возьмемъ и разобьемъ, а то я вдругъ, не знаю почему, желалъ, чтобъ насъ «раскатали»... Словомъ, Богъ знаетъ что такое толпилось во мнѣ, и саднило, и жло, безъ всякаго толку, и я, несмотря на страстное желаніе не слушать разговоровъ внутри комнаты, долженъ былъ ихъ слушать, такъ какъ рѣшительно не могъ на чемъ-нибудь опредѣленно сосредоточиться... Долетали поэтому до меня разныя отрывочныя фразы, которыя я большею частью уже и говорилъ, и слышалъ. Только одинъ изъ русскихъ, удивительно нѣжное созданіе и страшно измученный личными несчастіями человекъ — только онъ одинъ на минуту остановилъ было мое вниманіе нѣкоторыми цифрами, касавшимися самыхъ, повидимому, незатѣйливыхъ сторонъ крестьянскаго труда.

— «Знаете-ли, сколько разъ нужно ударить цѣпомъ, чтобъ обмолотить столько-то ржи?» спрашивалъ онъ. — «А сколько?» — «Двадцать восемь тысячъ разъ!» — «А знаете, сколько верстъ надо пройти, чтобы вспахать десятину?» И т. д. И всегда выходили удивительныя цифры, невольно обращавшія на себя вниманіе своими непомѣрными размѣрами и рисовавшими хлѣбопашество дѣломъ необычайно труднымъ. Этими цифрами будущій писатель (молодой человекъ этотъ писалъ повѣсть «Пахарь») хотѣлъ тронуть общество, тронуть сильнѣе, чѣмъ это дѣлалось до сихъ поръ, и заставить его любить этого мужика, который, несмотря на весь гнетъ своего положенія, добръ, самоотверженъ, не корыстенъ и т. д., и т. д. Все это было мнѣ болѣе или менѣе извѣстно, и я, нѣсколько озадаченный цифрами, вновь предался пустопорожнему унынію, когда пошли вновь общія разсужденія.

— «Да что это вы, Кузнецовъ, все плачесь?» — вдругъ заговорилъ молодой, необыкновенно талантливый мальчикъ, — ни въ комъ во всю свою жизнь не видалъ я такой страстной жажды

сунуть себя въ какое-нибудь самое опасное, самое смѣлое, дерзкое дѣло, какъ въ немъ... «Почему вы сидите на несчастіяхъ одного только мужика? Вотъ вы говорите, что мужикъ не видитъ свѣта, потому что — то стоитъ цѣлый день у цѣпа, то полгода ходить за сохой... Ну, а банкиръ, съ вашей точки зрѣнія, не такое же несчастное существо? Вѣдь и онъ цѣлые дни стоитъ у бумагъ и у связанныхъ съ ними миллионныхъ случайностей... Тамъ все цѣпъ да цѣпъ, да двадцать верстъ въ день по пашнѣ, а тутъ все днемъ и ночью — деньги, деньги, деньги, и десятки верстъ на биржѣ, и точно такъ же, какъ для мужика градъ, такъ для этого мученика денегъ тысячи случайностей: оборвалась проволока, опоздалъ купить такую-то бумагу — пропалъ, загремѣлъ въ бездну со всѣми своими экипажами и содержанками, и прямо въ пасть цѣлой толпы озлобленныхъ людей. Благодаря этой проволоцѣ, благодаря тому, что черезъ Ламаншъ оборвался телеграфъ, что Дон-Карлосъ проигралъ битву, что Абдуль-Азизъ неосторожно поигралъ съ ножницами — его могутъ сразу возненавидѣть всѣ и будутъ рвать, какъ собаки волка, начиная отъ кучера, которому нужно получить грошъ, до жены, дочери, родного сына... Ну, какъ по вашему, это — не мученикъ? Что-жъ, видитъ онъ свѣтъ? Есть ему минутка подумать о чемъ-нибудь другомъ, кромѣ той-же, только банкирской, сохи — бумагъ, денегъ?.. Ну, а если несчастія господъ банкировъ васъ не трогаютъ, такъ вотъ вамъ — кондукторъ омнибуса: онъ цѣлый Божій день, съ семи часовъ утра до 11-ти часовъ ночи, за полтора рубля серебромъ вознагражденія, треплется на подножкѣ кареты, буквально не смѣя отойти, цѣлые годы на однихъ и тѣхъ же улицахъ, мимо однихъ и тѣхъ домовъ. Видитъ ли онъ бѣлый свѣтъ? А инженеръ, а священникъ: разве все это не привязано къ своей сохѣ? Какой-такой общій разговоръ можетъ быть у священника и автера, у инженера и кондуктора, у сапожника и банкира? Это все до такой степени оторвано другъ отъ друга микроскопичностью смысла своего труда, что вылилось почти въ такой же рѣзкой формѣ, какъ птица, рыба и т. д.

— «Именно въ смыслѣ необыкновеннаго разнообразія не физической только, а нравственной дѣятельности, требуемой крестьянскимъ трудомъ, обиходомъ его домашней жизни, участью мужика-крестьянина и представляется не только не печальною, но и рѣшительно завидною сравнительно со всѣми безчисленными профессіями, на которыя раскололся родъ человѣчскій. «Мы все сами», говорить мужикъ; онъ самъ добываетъ хлѣбъ, самъ добываетъ кожу на сапоги, овчину на тулупъ; онъ самъ тклетъ себѣ рубашку, словомъ — онъ все самъ. Умственная дѣятельность его постоянно въ работѣ, постоянно въ наблюденіи, потому что этого требуетъ разнообразіе его дѣятельности... Одна добыча хлѣба ставитъ его въ зависимость отъ тысячи явленій природы, отъ тысячи коммерческихъ, финансовыхъ соображеній. Онъ смотритъ и изучаетъ небо и землю, принимаетъ движеніе вѣтра

и силу тумана—тысячи вещей, изъ которыхъ на каждой, гдѣ нибудь въ казенномъ званіи, сидитъ по специалисту съ хорошимъ окладомъ, сидитъ, совершенно отдѣлившись отъ свѣта и ничего непонимая, кромѣ своего оплачиваемого труда. «*Все самъ*» — этого довольно, чтобы представить себѣ, что въ мужицкой крестьянской избѣ сходятся въ каждомъ изъ обитателей этой семьи тысячи всевозможныхъ специальностей, что въ ней царитъ постоянная умственная дѣятельность, что въ ней—бездна знаній... («Знанія?» возопилъ Кузнецовъ — Да, да, знанія... подождите горячиться!)... Такая бездна и разнообразіе знанія, что вотъ этотъ сѣрый, аляповатый мужикъ пойметъ какого угодно специалиста и поможетъ ему, а специалистъ ничего въ мужицкихъ нуждахъ, въ мужицкихъ рѣчахъ не пойметъ... Приѣзжай въ любую русскую деревню Дарвинъ, Гумбольдтъ, кто угодно; и если имъ въ ихъ работахъ придется дѣлать дѣло съ мужиками, то они непременно найдутъ людей, которые поймутъ, что имъ нужно, принесутъ камень, звѣрька и т. д. Поймутъ, потому что каждый наблюдалъ такъ же широко (только по своему) то же самое, что и Гумбольдтъ, и Дарвинъ. А спроси мужикъ что-нибудь у этого Гумбольдта изъ своего обихода—Гумбольдтъ его не пойметъ, потому что и рѣчь-то мужика, т. е. человѣка, широко и разносторонне развитого, въ своей сжатости, всегда касается одновременно массы разнообразнѣйшихъ явленій, одновременно имъ обсуждаемыхъ, или по крайней мѣрѣ принимаемыхъ во вниманіе, и, стало быть, темна, сложна, непонятна для всякаго, думающаго «по своей части». Вы вотъ не согласны съ моей фразой, что у мужика бездна знаній, а я думаю напротивъ—я даже полагаю, что мужикъ, который *все самъ*, знаетъ рѣшительно все... (— Все? — Все, что знаетъ каждый изъ тысячи специалистовъ знанія). У него... да что вы хотите! Просто-таки все знаетъ—да и шабаш! Онъ инженеръ и механикъ, онъ строитъ гати, плотины, мосты, мельницы (вѣтряныя, водяныя). Онъ и ботаникъ, и зоологъ: онъ знаетъ каждую травку, знаетъ каждое, самое ничтожное свойство травки; знаетъ, какой звѣрь, какая птица какъ живетъ, то-есть знаетъ ея слабые стороны, знаетъ ея хитрости, словомъ—рѣшительно все, что знаетъ Времь. Онъ и анатомъ, давно и основательно знакомый съ тѣмъ, что дѣлается у звѣря въ нутрѣ: онъ и медикъ, такъ какъ у него миллионъ свѣдѣній по медицинской части, съ такимъ-же вѣроятнымъ успѣхомъ дѣйствія, какъ и свѣдѣнія Боткина... Да что я! — больше чѣмъ у Боткина: онъ останавливаетъ кровь однимъ словомъ, онъ вылечиваетъ укушеніе змѣи, пошепталъ что-то надъ осиновой корой и приложивъ къ большому мѣсту... Онъ и спиритъ, и знатокъ тайныхъ невидимыхъ силъ, которыхъ гг. Бутлеровъ и Вагнеръ разыскиваютъ подъ столами и подъ диванами, не получивъ впрочемъ никакихъ существенныхъ результатовъ. У мужика результаты давно есть: *чортъ есть*—и мужикъ знаетъ его характеръ, цѣль существованія, цвѣтъ шерсти, длину рога и хвоста, потому что его, вотъ какъ васъ—

такъ близко видѣлъ и держалъ за ногу (нога у него утинная, только шарпава, съ шерстью)... Словомъ, ни у одного, кромѣ мужика, счастливица на бѣломъ свѣтѣ нѣтъ такой удивительно разнообразной, всесторонней внутренней умственной жизни. Ни у кого и не можетъ быть такого разнообразія наблюдательности, такого обилія знаній, какимъ надѣленъ мужикъ, благодаря именно характеру его труда, который требуетъ отъ человѣка самаго широкаго развитія, благодаря его положенію, требующему, чтобъ онъ *все самъ*. Кто сочиняетъ и поетъ на вѣки остающіяся пѣсни?—мужикъ. Гдѣ найдете вы настоящее, неподкупное веселье, чистое, какъ чисто оно въ дѣтской душѣ?—у мужика. Кто здоровъ, силенъ, великодушенъ, такъ, просто великодушенъ, безъ соображенія и форсу?—опять-же мужикъ. Кто всякому поможетъ, найдется во всякомъ положеніи и все перенесетъ, все пойметъ?—опять тотъ-же самый мужикъ... И наконецъ, при маломальски сносныхъ обстоятельствахъ, у того-же самого мужика бывають—и только у него одного—минуты наиположайшаго, широчайшаго счастья... Видите, какъ плохо-то мужику!.. Ему лучше всѣхъ! (Ну ужъ врите!.. завопилъ Кузнецовъ)... Несомнѣнно лучше, еслибы только вы, господа интеллигенція съ госпожею цивилизаціей, не рвали этой здоровой, полной жизненной силы клѣточки крестьянскаго дома на части; еслибы вы не доводили ея до распада какими-то непонятными требованіями, постоянно отъ нея отнимая и ровно ничего не давая взамѣнъ... Почему вы не считаете своей святой обязанностью давать ей *настоящія* знанія, послѣднія слова вашихъ наукъ? Тамъ, гдѣ всѣ *все сами*—тамъ все поймутъ, все нужное возьмутъ, а главное—все пойдетъ въ прокъ: все перерабатывается гораздо лучше, чѣмъ у васъ, изсыхающихъ надъ своими специальностями, да еще въ одиночку»...

— Признаюсь, продолжалъ балашовскій баринъ: — много я болталъ о мужикѣ, зналъ я его за желѣзную грудь и за мученика, и за страдальца; но счастливейшимъ изъ смертныхъ ни я, да и никто еще не считалъ. Невольно я сталъ внимательно слѣдить за этой иллюстраціей къ мужику, и чувствовалъ, что она мной овладѣваетъ, что путаница мыслей и чувствъ, одолѣвавшихъ меня, начинала принимать вѣкторыя формы... потому что, вѣдь, право, разрисовано—ничего-таки?

— Разрисовано—ничего! сказалъ я.

— И лучше, лучше еще можно разрисовать. Я сегодня не въ ударѣ, а то я-бы самъ...

— И такъ хорошо, сказалъ я.—И этого пока достаточно... Такъ именно эта иллюстрація и привела васъ сюда?

— Сюда привела меня жизнь! Жизнь русская, ежедневная, обыкновенная жизнь обыкновеннаго дворянина привела меня къ тому, чтобы иллюстраціи эти пришлись мнѣ по душѣ. Эта самая жизнь заставила меня жаждать выхода, обновленія, выхода изъ этой безконечной, тягостной, ежедневной фальши и лживости, переполняющихъ жизнь не то чтобы интеллигентнаго россиянина, а такъ, просто

жизни обыкновеннаго неплательщика... Быловъ моей жизни такъ много напрасно и глупо мучительнаго, что мужикъ, иллюстрированный вышеупомянутымъ способомъ, не только не терялъ своихъ удивительно привлекательныхъ красокъ, но, напротивъ, я самъ лично, боясь опять остаться съ моей оскоминой, сталъ расписывать его еще ярче, еще великолѣпнѣе...

— Еще великолѣпнѣе? изумился я. — Какъ-же и чѣмъ вы еще его расписали?..

— А расписалъ я его такимъ манеромъ... Впрочемъ необходимо прибавить еще нѣсколько словъ изъ соображеній по этому поводу того мальчика, который съумѣлъ такъ весело посмотреть на мужика... Развивъ свой взглядъ на этого счастливца, онъ сказалъ, обращаясь къ Кузнецову: «Нѣтъ, Кузнецовъ, *вотъ* — несчастные. *вотъ* — нужна помощь и спасеніе, и между всѣми-то этими формами жизни, приводящими къ несчастію, только мужицкая форма и содержаніе жизни и имѣютъ для всѣхъ спасительную будущность... Только человѣкъ, который можетъ *все самъ* и не будетъ имѣть надобности перерывать другому человѣку горла, чтобы добыть то, чего самъ не можетъ, не имѣетъ, — вотъ онъ то и есть «идеаль»».

— Ну, тутъ по такіе громкіе и веселые удары и мертвый запляшетъ... Заплясалъ и я: мнѣ представилось, что первая въ мірѣ земля, земля, которой принадлежитъ миссія обновленія всего бѣлаго свѣта, — это земля сплошь мужицкая, сплошь населенная этими разносторонне и совершенно развитыми людьми, извѣстными подъ именемъ «мужваря», и гдѣ только изрѣдка, «какъ муха въ молокѣ», мелькаетъ красивый околышъ интеллигенціи, — околышъ, не имѣющій другихъ претензій, кромѣ полученія прибавки... Съ этой точки зрѣнія на Русскую Землю, мнѣ стало все видно, вся оскомина моя разсыпалась. Нашлась характерная черта національности: мы — люди всеобщаго права жить, думать и развиваться, не имѣя никакой надобности рвать другъ отъ друга кусокъ, такъ какъ всѣмъ хватить. Это не подлежащее никакому сомнѣнію, и именно только у насъ... Нашлась и національная идея: мы — за всѣхъ мужиковъ всего свѣта, за ихъ право жить, пользоваться всѣмъ, что выдумалъ хорошаго бѣлый свѣтъ... Такиій станокъ мы сдѣлаемъ доступнымъ каждой деревенской бабѣ, взявъ изъ этой выдумки только то, что сокращаетъ трудъ, что даетъ возможность цѣлую зиму труда замѣнить однимъ мѣсяцемъ, и вовсе не обращая вниманія на способность выдумки производить массы... Ну, и такъ далѣе!.. Прибавьте сюда разные: наши артели, общины и прочія, и прочія плѣнительныя вещи, — вещи, конечно разрисованныя, — и вы поймете, почему я, послѣ бѣлаго года размышлений и всевозможныхъ фантазій, очутился тутъ, у деревенскаго плетня...

— Но вѣдь тутъ все не такъ? Вѣдь не разрисованный-то мужикъ — совсѣмъ другой... Неправда-ли?

— Не тотъ, не тотъ... Онъ такъ-же изуродованъ, какъ и нашъ братъ съ краснымъ околышемъ; но знаете-ли что?.. То такъ, то сямъ изрѣдка мелькаютъ какія-то черты въ обиходѣ му-

жицкой жизни, которыя почти приравниваютъ его къ мужику иллюстрированному... Что изуродованъ онъ — это вѣрно; но въ немъ еще живетъ много самыхъ образцовыхъ, въ смыслѣ приведенной иллюстраціи, свойствъ. Расскажу вамъ одинъ эпизодъ изъ фабричной жизни, случившійся на моихъ глазахъ. Подъ Москвою есть большая ткацкая фабрика, едва ли не первая по размѣрамъ производства въ Россіи Два года тому назадъ на этой фабрикѣ было волненіе рабочихъ, окончившееся, благодаря пособію государственнаго банка, къ ихъ полному удовлетворенію. Весь шумъ произошелъ изъ-за того, что администрація завода не хотѣла удовлетворить рабочихъ за осенніе мѣсяцы въ тѣхъ именно размѣрахъ, какъ было условлено весной, при наймѣ, и рабочіе требовали доплаты и сложенія нѣкоторыхъ штрафовъ, — все это имъ и дали, благодаря, какъ я уже сказалъ, сторонней помощи. Любопытнѣе всего причина, по которой администрація завода обманываетъ рабочихъ, общая осенью (когда у крестьянина почти нѣтъ заработка) платить столько-же, сколько весной и лѣтомъ. Причина этого та, что, при наступленіи лѣтнихъ мѣсяцевъ, крестьянинъ предпочитаетъ за ту же цѣну, которую даетъ фабрика, работать другую, крестьянскую работу; онъ предпочитаетъ, наприимѣръ, косить, жать, имѣсто того, чтобы торчать у фабричнаго станка... Видите ли, онъ не доведенъ еще до такого деревяннаго положенія, какъ иностраннй рабочий, изсушенный и обездушенный каменною атмосферою и машинною дѣятельностью фабрики, и позволяетъ себѣ еще фантазировать, прихотничать, бросая съ весны его кормилицу-фабрику... Возможно-ли, стало быть, нашему капиталисту вести свои дѣла такъ, какъ ведетъ ихъ капиталистъ иностранный; возможно-ли ему конкурировать съ фабриками, на которыхъ люди работаютъ съ правильною и неутомимостью паровыхъ машинъ, когда его рабочий еще не обманенъ въ-концѣ и предпочитаетъ дѣлать болѣе веселое, разнообразное дѣло крестьянскаго обихода за ту-же или даже меньшую плату, какую даетъ благодѣтель-фабрикантъ съ своими одиобразнѣйшими машиннымъ трудомъ? Чтобы удержать фантазера-работника, чтобы не потерять всего состоянія изъ-за его фантазій, изъ-за его желанія работать «повеселѣй», капиталистъ нашъ долженъ приобѣгать къ разнымъ уловкамъ и между прочимъ къ той, о которой я уже говорилъ, то есть онъ общается платить ту же цѣну и осенью, когда является множество желающихъ работать и когда цѣна значительно падаетъ. Только подъ такимъ условіемъ, весьма выгоднымъ, и можно удержатъ «любителей крестьянства» у фабричныхъ станковъ. Но осенью, разумѣется, съ нами поступаютъ иначе и кромѣ того донимаютъ штрафами, такъ какъ, несмотря на надувательство осенью, все-таки рабочий-крестьянинъ несетъ съ собою въ фабрику множество убытковъ, портитъ иной разъ съ умысломъ, уходитъ, когда дорога каждая минута, и т. д. И всѣ эти убытки надобно выручать съ него разными правдами и неправдами, обманами, штрафами... Безъ такихъ фокусовъ и уловокъ, да безъ помощи сто-

ронней — нашему капиталисту-фабриканту плохо, почти невозможно существовать: у него нѣтъ нужнаго ему *машиннаго человека*, у него по-неволѣ работаетъ крестьянинъ, — человекъ, привыкшій дѣлать работу, требующую большой внутренней жизни, работу крестьянскую. Со-временемъ впрочемъ, я надѣюсь, и господа фабриканты будутъ благоденствовать; но теперь еще мелькаютъ живыя черточки, и вотъ онѣ-то и поддерживаютъ вѣру въ иллюстрированнаго мужика...

— Но вѣдь эти черточки рѣдки, слабы... Да и такъ-ли вы поняли фактъ, о которомъ была рѣчь?

— Мнѣ кажется, такъ; впрочемъ не знаю.

— Но все-таки мало ихъ, этихъ живыхъ чертъ, и рѣдко онѣ попадаются... Неужели такія или подобныя, едва замѣтныя черты укрѣпляютъ въ васъ вѣру въ эти иллюстраціи... и ведутъ, какъ вы говорите, къ плетню?..

— Да... и эти черты... А мои сорокъ лѣтъ-то? А сорокъ рукъ-то? Ихъ-то вы позабыли!.. Они тутъ! — это главное!..

7.

Въ другой разъ, въ одно изъ слѣдующихъ свиданій; я прямо направилъ рѣчь на эти сорокъ лѣтъ. Что такое за таинственные года, результатъ которыхъ — странное появленіе «барина» (баринъ онъ былъ почти неисправимый) среди мужиковъ съ цѣлыми весьма неопредѣленными и къ тому же съ невозможностью, какъ онъ говорилъ мнѣ не разъ, воротиться вспять?

— Теперь по крайней-мѣрѣ я не знаю... мнѣ нельзя воротиться, говорилъ мнѣ неразъ балашовскій баринъ: — буду вотъ такъ сидѣть, пробѣгать что есть...

— Я самъ прожилъ насвѣтъ такъ же сорокъ лѣтъ, видѣлъ много худого, миллионы разъ желалъ, чтобы было лучше и легче; но никогда мнѣ не приходило въ голову забросить себя, ради этого «лучше и легче», за крестьянскій плетень, ничего не зная и ничего не умѣя...

— Ахъ, батюшка, возразилъ мнѣ на это балашовскій баринъ: — вы! Вы — человекъ семейный, то есть человекъ, поставленный въ необходимость «не разсуждать», или разсуждать, ниѣя однако постоянно въ виду сохраненіе въ безопасности вашего собственнаго гнѣзда, словомъ — разсуждать молча, оглядываясь, разсчитывая...

Я было-хотѣлъ возразить, но балашовскій баринъ прервалъ меня на первомъ словѣ, сказавъ:

— Будетъ, будетъ ужъ! Мы знаемъ этихъ свободномыслящихъ отцовъ семействъ... Самый смѣлый выдерживаетъ вѣрность своимъ свободомысліямъ до тѣхъ поръ, пока сыну или дочери не стукнетъ десять-одиннадцать лѣтъ, когда надо отдать ихъ учиться въ гимназію...

Не буду приводить довольно жаркаго спора между мною и балашовскимъ баринкомъ по этому интересному вопросу о дѣтяхъ (настоящихъ, маленькихъ дѣтяхъ), такъ какъ это затянуло бы и безъ того уже длинное повѣствованіе о балашовскомъ баринѣ, и такъ какъ этотъ предметъ достоинъ болѣе основательной разработки, чѣмъ случайный разго-

воръ. Чтобы прекратить этотъ споръ, начинавшій принимать оттѣнокъ раздраженія, я послѣдшій вновь повернуть рѣчь на исторію самого балашовскаго барина.

Баринъ продолжалъ:

— Ну, а я, какъ человекъ не семейный, какъ шатунъ, или какъ саврасъ безъ узды, естественно могъ посвящать болѣе времени всевозможнымъ мечтаніямъ, не стѣсняя себя мыслью о томъ, что мечтаній этихъ почему либо осуществить невозможно.

— И однако не осуществляя?... его же тономъ прибавилъ я.

— Само собою разумѣется! Я мечталъ, разсуждалъ, не стѣсяясь, — я только; вотъ разница между мною и вашимъ братомъ — опорой отечества. Въ практическомъ отношеніи мы одинаково — ноль, т. е. родные братья... На мою бѣду, направленіе моихъ свободныхъ размышленій приняло общественный характеръ, благодаря тому обстоятельству, что я началъ жить въ самую совѣстливую эпоху русской жизни — въ эпоху освобожденія крестьянъ... Послѣ войны, послѣ всего, что она обнаружила въ русской жизни, пора было вспомнить обществу о томъ, что есть нѣчто, именующее совѣстью; и вотъ все, что было мало-мальски живо, не засѣчено и не сгнано, все это поняло, что ему сейчасъ же, сію минуту слѣдуетъ работать, служить въ этомъ громадномъ лазаретѣ и всѣми способами помогать выздоровленію, исцѣленію больныхъ, калѣкъ, уродовъ.

— Вотъ и я осяненъ былъ необходимостью такого дѣла... Прямо почти съ университетской скамьи (сознаюсь, я былъ не изъ особенно-преданныхъ наукъ молодыхъ барчуковъ) я попалъ въ самый по тогдашнему (да и по нынѣшнему) отборный кругъ общественныхъ дѣятелей, на самыя наисовременнѣйшія общественныя дѣла. Тутъ, въ этомъ кругу, были и радикалы-губернаторы, и радикалки-губернаторши, предводители съ гуманнѣйшими взглядами, и борьба тутъ была съ хищными стремленіями законенѣлыхъ; «обомшѣлыхъ» крѣпостниковъ, и главное — тутъ впервые фигурировалъ народъ, скромно притекавшій къ нашему гуманному сочувствію. Разъ попалъ на эту стезю, я уже не сходилъ съ нея до тѣхъ поръ, покуда мнѣ не сдѣлалось тошно и меня не одолѣла вышеупомянутая оскомина. Былъ я и секретаремъ въ комитетѣ, и мировымъ посредникомъ, и потомъ земскимъ гласнымъ, наконецъ даже предсѣдателемъ одного уѣзднаго земскаго собранія и попечителемъ разныхъ благотворительныхъ учреждений, словомъ — прошелъ всю лѣстницу, доступную красному околышу, воодушевленному благими намѣреніями... И что же? въ концѣ концовъ, получилась убійственнѣйшая оскомина. Я ужъ сказалъ, что не слишкомъ предавался научнымъ занятіямъ, не слишкомъ развивалъ себя помощью научнаго опыта; но, не смотря на мое полуневѣжество, я какъ-то инстинктивно, нутромъ, если хотите, сталъ чувствовать, съ первыхъ же шаговъ моей общественной дѣятельности, что есть въ ней какая-то трещина, дребезжитъ что-то... Кажется, вотъ сдѣлаешь все,

что возможно, отдашь свое жалованье, если мало определенной суммы, ну, например, хоть на школу — пить. дребезжить! Чувешь, что дѣло, которое ты сдѣлалъ, ужъ въ самомъ себѣ носить трещину, какъ старый горшокъ... Замѣчательно, что въ этомъ ощущеніи трещины играли роль не столько независимыя обстоятельства, сколько что-то иное, чего я понять не могъ.

— Напримеръ, устраиваю я школу, покупаю книги, катехизисы, арифметики, приплачиваю учителю своихъ десять-двадцать рублей, словомъ — устраиваю дѣло елико возможно хорошо, и тутъ же чувствую, что — пить! — все дребезжить что-то, гдѣ-то ужъ треснуло... Разумѣется, направление сельской школы, выборъ учебниковъ и т. д. принадлежитъ не мнѣ. Но несомнѣнно, мнѣ принадлежитъ какое-то тайное согласіе съ избраннымъ не мною направлениемъ для школы. Я, желающій или, по крайней мѣрѣ, думающій, что дѣлаю дѣло общественное, полезное народу, чувствую одновременно двѣ такія вещи: я вижу, положимъ, что учитель беретъ мѣсто потому, что ему нечего ѣсть и надобно что-нибудь дѣлать и чѣмъ-нибудь жить до тѣхъ поръ, пока онъ не получитъ дьяконскаго мѣста и не найдетъ невѣсты. Положимъ, я кромѣ того вижу, что учебный кругъ предметовъ, преподаваемыхъ крестьянскими дѣтми, почти ничего имъ не дастъ, ничего не прибавитъ въ ихъ развитіи, ни на одну каплю не прояснитъ окружающаго, — положимъ, что я въ этомъ совершенно убѣжденъ... Но все-таки я устраиваю эту школу... И чувствую, что дѣлаю вздоръ (я тогда только чувствовалъ этотъ вздоръ, а не зналъ еще этого навѣрно), что вмѣсто дѣла выходить какая-то декорация съ усерднѣйше преданной фигурой учителя, съ кротко благословляющимъ дѣтей батюшкой, съ этими дѣтьми, вступающими на новый путь... Чувствую во всемъ этомъ прорѣху, прибавляю учителю десять рублей, и все-таки оставляю именно все въ томъ же дырявомъ видѣ... Что-то мѣшаетъ мнѣ довести до конца мою мысль о негодности школы, что-то мѣшаетъ мнѣ громко, публично заявить объ этомъ.

— Пить! не одни независимыя обстоятельства. Мѣшаетъ мнѣ мое въ высшей степени ложное положеніе, положеніе барина... — замѣтите, что я говорю, мѣшаетъ положеніе не интеллигентнаго человека, а просто барина, мѣшаетъ мое званіе... Всякій разъ, когда я замѣчалъ или чувствовалъ въ какомъ-нибудь изъ моихъ общественныхъ дѣлъ дребезжащую трещину, всякій разъ, когда я видѣлъ вздоръ, я молчалъ, потому что именно мое званіе заставляло меня опомниться... «Какой-же я буду баринъ, какъ будто говорило во мнѣ что-то, — если, напримеръ, школа будетъ отличная *отъ самого дѣла*? и что-жъ будетъ, если въ самомъ дѣлѣ *они* узнаютъ?» Пожалуйста, не думайте, что я когда-либо могъ думать такимъ разбойничьимъ образомъ — пить, никогда (говорю о томъ давнемъ времени)! Я-бы не могъ вамъ въ такихъ определенныхъ фразахъ формулировать того страннаго нравственнаго упорства, которое вдругъ просыпа-

лось во мнѣ всякій разъ, когда суть дѣла требовала отъ меня чего-нибудь такого, что заставляло меня «вспомнить»: а я видѣ баринъ!.. Потомъ, долго спустя, я узналъ, что я вовсе не баринъ и ничего во мнѣ барскаго пить... Тогда я этого не зналъ и, дѣлая пустыя бессодержательныя дѣла, приличныя мнѣ, какъ русскому интеллигентному человеку «изъ господъ», понемногу, каждый день, каждый часъ хоронилъ внутри себя очень много гаденькихъ вещей. Не вѣрилъ я, напримеръ, школѣ, — пряталъ это и старался думать, что вѣрю, что дѣлаю дѣло. Когда въ газетахъ меня расхвалили за мою необычайно-просвѣщенную дѣятельность, я даже былъ радъ и подумалъ: «а вѣдь въ самомъ дѣлѣ я пропасть сдѣлалъ...» Но вѣдь шла въ мѣшкѣ не утайшь, и правда моихъ пустопорожнихъ дѣлъ выплывала иной разъ вдругъ во всей своей суровой безпощадности. Воду минуту становилось мнѣ все противно, и, въ раздраженіи, я окончивалъ тѣмъ, что сваливалъ все (плохо разсуждалъ я тогда) на какую-нибудь христопродавческую рожу какого-нибудь изъ такихъ же поддѣльныхъ интеллигентныхъ людей — и уходилъ...

— Но, пошатавшись безъ дѣла полгода, годъ, я вновь начиналъ чувствовать, что званіе мое вновь влечетъ меня на сцену російскаго прогресса. И вновь занималъ какое-нибудь изъ просвѣдательныхъ амплуа, чувствуя, что не то, не такъ надо дѣлать, и вновь продолжалъ снисходить къ себѣ, вновь почему-то оберегалъ привилегированность своего положенія, вновь позволялъ себѣ бирюлками отдѣлываться... И нельзя сказать, чтобы и въ окружающемъ обществѣ я не находилъ поддержки въ этомъ, въ высшей степени неискреннемъ поведеніи. Немало и кромѣ меня жило, да и живетъ народу, твердо знающаго, что дѣло его — вздоръ, обманъ, нуль, но продолжающаго притворяться, ради сохраненія своего положенія, и представлять этотъ нуль дѣломъ, правда, стѣсненными независимыми обстоятельствами... И у всякаго — въ этомъ можно ручаться головой — скребутъ кошки, у всякаго пить живого мѣста въ душѣ отъ сознанія своего притворства, пустоты, бессодержательности жизни, и все ради какого-то необычайно-упорнаго, но въ высшей степени неосновательнаго не то чтобы желанія — пить, никто этого не желаетъ — а именно какой-то конфузливости предъ своимъ положеніемъ русскаго интеллигентнаго человека «изъ господъ». Точно этому человеку и въ иной формѣ нельзя быть интеллигентнымъ...

— Я васъ не понимаю, сказалъ я.

— Погодите немного: можетъ быть и поймете... И такъ: въ теченіе пятнадцати, восемнадцати лѣтъ, ежеминутно зная за собой вину и снисходя къ себѣ подъ тѣми или другими предлогами, изъ которыхъ ни одного я не считалъ по совѣсти справедливымъ, укрѣпляя, кромѣ того, свое декоративное существованіе прихѣтрѣмъ окружающаго меня общества, котораго я, также по совѣсти, уважать не могъ, — я, въ концѣ-концовъ, накопилъ въ самой святой-святой моей души такую бездну невѣрія, подозрительности, холодности и вообще какой-то безфор-

женной студенистой гадости, что рѣшительно утратилъ всякій смыслъ какъ своего положенія среди двигающагося вокругъ меня люда, такъ и возможность какой-нибудь ужъ даже и неискренней связи (про искреннюю я совѣтилъ и позабылъ!) съ этимъ людомъ... Все мнѣ стало противно, глупо и подло: противенъ и этотъ смиренный сельскій педагогъ, потому что онъ — вовсе и не педагогъ, а ротъ, ищущій каши; противенъ и этотъ мужикъ, три года подрядъ не понимающій, что его сына вовсе ничему не учать, хотя и гоняють по морозу за восемь верстъ; опротивѣли мнѣ всѣ гуманныя, радикальныя, либеральныя лица, разговоры и поступки, такъ какъ все это ходитъ вокругъ да около, норовитъ утanutъ кусочекъ въ свое гнѣздышко, прикрывъ его вновь либеральными листьями...

— Я не могу, не въ силахъ передать этого ужаснаго состоянія, когда, утомленный напряженіемъ въ лганіѣ, человѣкъ какъ-то безсильно и холодно начинатьъ ровно ничему не вѣрять и терпѣть, во имя этого невѣрія или отвращенія, даже самую способность додумывать до конца свои скверныя, но многочисленныя, какъ тучи комаровъ, мысли... Я думалъ, что я умру.. Ужасъ, ужасъ какъ былъ радъ, чтобы кто-нибудь пришибъ меня, чтобы разбило поѣздъ, на которомъ я ѣду, или взорвало паровикъ парохода, на которомъ меня, холоднаго какъ кусокъ льду, везли куда-нибудь на петербургскіе острова. Однако никто меня не пришибъ, котлы, на счастье гг. пассажировъ нескскихъ пароходовъ, не лопались, а я... ужъ самъ не знаю какъ—вдругъ собрался и уѣхалъ за-границу.

— Въ подробности моихъ заграничныхъ наблюденій я вдаваться не буду, а скажу о нихъ нѣсколько словъ вообще. Прежде всего я долженъ сказать, что, съ перѣѣздомъ на чужую землю, я сталъ быстро поправляться нравственно, и не потому, чтобы меня, какъ говорится, развлекала «новизна и перемѣна мѣстъ», а потому, что я сталъ дышать воздухомъ дѣйствительности, очутился среди «понятныхъ» явленій жизни, понятныхъ отъ начала до конца явленій, которыя, благодаря своей объяснимости, видимой законности, возбуждаютъ также законное и самому мнѣ понятное теченіе мыслей.. Вотъ разбило поѣздъ желѣзной дороги, положимъ—посмотришь, въ самомъ дѣлѣ не мудрено разбится: рельсы перепутаны, какъ нитки въ кускѣ матеріи, поѣзда несутся, какъ вѣтеръ, одинъ за другимъ въ громадномъ количествѣ: немудрено прозѣвать одну секунду... Я понимаю, что если-бы былъ я на мѣстѣ того, кто прозѣвалъ, то, при толкучкѣ и суматохѣ, я-бы прозѣвалъ пятьдесятъ разъ... Все это я понимаю, и у меня не остается въ сознаніи того студенистаго безформеннаго комка несвязныхъ представленій, какой остается у меня послѣ подобнаго-же желѣзнодорожнаго случая на какой-нибудь московско-индійской дорогѣ, гдѣ поѣзды сшибаются среди необозримаго простора, спеша оттого, что машинистъ пьянъ, а пьянъ оттого, что въ сущности и ѣхать ему не зачѣмъ, такъ какъ ѣдетъ онъ обязательно съ пустыми вагонами. Почему, по какому резону все это со-

вершается, я не соображу и, разумѣется, только заскучаю отъ размысленій на тему: зачѣмъ ѣздить, когда этого вовсе не нужно?... И машинистъ-то запѣть именно потому, что ему нѣтъ достаточныхъ резоновъ влечь пустые поѣзда и получать жалованье за настоящее дѣло. Я-бы могъ привести вамъ безчисленное множество параллелей между *ихнимъ* и *нашимъ* обиходомъ; но то, что особенно дѣйствовало въ нихъ, что меня становило на твердую землю, что давало мнѣ знать, что я среди живыхъ людей, это именно — совершенно ясная причинность и зависимость между собою всѣхъ явленій, какія только совершаются передъ нашими глазами. Тамъ все можно понять, и притомъ каждому; у насъ — далеко нѣтъ... Понималъ я тамъ, и почему тамошнему рабочему человѣку нельзя, ни подъ какимъ видомъ невозможно въ концѣ-концовъ не схватиться для защиты своихъ поправныхъ правъ; понималъ я, что и барину тамошнему нѣтъ никакой возможности сдѣлаться помягче, понисходительнѣй, почеловѣчнѣй. Понималъ я тамъ, почему каждый стоитъ за свое положеніе, за отвоеванное мѣсто на бѣломъ свѣтѣ...

— Нескладны такіе порядки—что говорить. и возмутительны... но вѣдь основаніе они имѣютъ, резоны у нихъ есть... Наскучивши безрезоннымъ существованіемъ, я всею душою былъ радъ жить среди резонной жизни, смотрѣть на резонныхъ людей и на нихъ хоть и нелѣпыя, хоть и отвратительныя даже, но доступныя пониманію дѣла. Глядя на такой понятный строй жизни, можно было «въ самомъ дѣлѣ» скорбѣть, чего со мною давно не случалось... Какимъ, напримѣръ, образомъ могу я «въ самомъ дѣлѣ» скорбѣть о бѣдности нашего мужика, когда онъ можетъ быть не бѣднымъ, когда у него подъ бокомъ лежитъ богатство? Я только не понимаю тутъ причины, почему богатство, которое никому не принадлежитъ, не можетъ кому-нибудь принадлежать... Испѣляясь этой возможностью «въ самомъ дѣлѣ» думать и жить, я невольно сталъ разыскивать причинность и моихъ собственныхъ поступковъ, основанія лично моего общественнаго положенія... И ужъ не знаю, какимъ извилистымъ путемъ размысленія мои на эту тему привели меня къ такому вопросу: да почему это я считаюсь баринномъ? Что такое во мнѣ барскаго, такого, чтѣ бы заставило меня, какъ заставляетъ тамошняго барина, доходить до звѣрства, защищая свою барскую суть? Какая такая у меня эта суть?..

Забралась въ мой мозгъ эта мысль — и пошла работа!.. И, что-же вы думаете: въ концѣ-концовъ я убѣдился, что я — рѣшительно не баринъ, а тотъ-же нашъ мужикъ, только поставленный въ очень глупое положеніе. Отъ этого-то глупаго положенія я и лгалъ, и рисовалъ декораціи, отъ этого-то я и оскормилъ нажилъ. Да и въ самомъ дѣлѣ, какой я—скажите на милость — баринъ? что такое есть во мнѣ подлинно барскаго, то-есть вообще характернаго, чтѣ бы меня, по сущности моей, отличало отъ мужика, какъ сестеръ отличается отъ дворяшки, или англійскій лордъ отъ англійскаго фабричнаго? Вотъ недавно мнѣ пришлось читать

небольшую иностранную повѣсть. Выведена въ ней молодая дѣвушка обдѣйшаго, но стариннаго аристократическаго рода. Чтобы жить, существовать на бѣломъ свѣтѣ, ей надо было выйти замужъ за богатаго буржуа. Но преданія ея семейства оказываются на столько для нея важными, что она отказывается отъ этого невозможнаго для нея брака и идетъ въ монастырь, въ такіе годы, когда ей жить-бы и жить... Не знаю, найдется-ли у кого-нибудь изъ нашего брата, красныхъ околышей, что-нибудь подобное, какая-нибудь психологическая черта порока, которая-бы заставляла человека, не то чтобы зарывать себя живьемъ въ землю, какъ почти сдѣлала дѣвушка, а хоть немножко повременить, покобениться, прежде нежели измѣнить своимъ традиціямъ. Я по крайней мѣрѣ почти не вижу никакихъ традицій, которыя-бы внутренне, психологически отдѣляли красный околышъ отъ лаптя... Какія такіе, позвольте васъ спросить, мои феодальныя воспоминанія? Крестовый походъ на прованскаго магазинъ? Поставки и подряды? Долгая откупная вареломеевская ночь?.. Да развѣ я скажу объ этомъ хоть одно слово моему сыну? Развѣ я порекомендую моему брату съ меня примѣръ? Скажу я ему развѣ—какія я шуточки выдѣлывалъ съ акціонерами такихъ-то и такихъ-то обществъ? Разумѣется, никогда ни одного слова ни объ одномъ изъ моихъ рыцарскихъ подвиговъ... Еще менѣе открою я ему тайну моего преображенія въ господина. Тщательно я буду умалчивать, какъ и за что я «понравился» и «вышелъ», какъ меня наградили, сдѣлала баринномъ, или какъ я самъ, долгое время свирѣпствовавшій гдѣ нибудь въ казенномъ овсѣ или мукѣ, вышелъ отсюда съ гербомъ и купленнымъ помѣстьемъ... Въ громаднѣйшемъ большинствѣ случаевъ феодальныя воспоминанія требуютъ самаго строгаго умолчанія, и вотъ почему громадное большинство красныхъ околышей воспитывается совершенно въ тѣхъ же самыхъ понятіяхъ, какъ и крестьянскія дѣти. Скажу про себя: выныла и выкормила меня крестьянка; сказки, пѣсни пѣлись мнѣ крестьянскія, игралъ я съ крестьянскими мальчиками... Да и семья наша, какъ и всякая «возведенная», не могла противопоставить этому мужицкому направленію ровно ничего господскаго: лечили меня и сами лечились по-деревенски, вѣрили болѣе знахаркамъ, чѣмъ докторамъ. Моя мать хотя и говорила по-французски, а точно такъ же сводила у меня ячмени съ глазъ посредствомъ какого-то спрыскиванія съ лучинки, какъ и обыкновенная баба; праздники, посты соблюдали тѣ-же самые, что и мужики, и вообще—можете вести параллель сами—вся моя подоплека не можетъ быть ничѣмъ инымъ, какъ тою же мужицкою подоплекой; мы, по совѣсти, по душѣ, были родные братья, и вотъ почему такъ часто моя нянька должна была повторять мнѣ фразу:

— Какъ это можно! *называется вы* баринномъ, а ровно деревенскій мальчишка...

— «Называется!» Лучшее этого нельзя опредѣлить привилегированности моего положенія. Да, я именно только назывался баринномъ, какъ и мои

родители и отдаленные пожалованные феодалы и предки тоже только назывались барями. Помню—всякій разъ, когда я слышалъ эту фразу няньки: «а называется баринномъ», я какъ будто опоминивался, старался сообразить, но, не сообразивъ, позволялъ однако себѣ повѣрить, что мнѣ стыдно (говорила старая нянька и мои родители—какъ-же не вѣрить?), и съ тѣхъ поръ, какъ я сталъ вѣрить въ какую-то, обязывающую меня поступать неискренно, тайну,—съ этого времени начинаю чувствовать одиночество, безсодержательность... Иногда бѣдная старуха-нянька пыталась было замѣнить свое голословное «*называется*» баринномъ болѣе рѣзкими доказательствами моего высшаго происхожденія и положенія, и говорила примѣрно такъ:

— Нешто это можно? Вѣдь вы баринномъ называется, вѣдь у васъ сапожки вонъ какіе, а вы ихъ въ грязи испачкали, вѣдь они три рубля да ны, только мужики этакъ-то вотъ въ грязи...

— Такого рода доказательства еще болѣе съуживали мою способность мышленія, такъ какъ я самъ, желая разсвѣять туманъ, окружавшій меня, вслѣдствіе бездоказательности моего привилегированнаго положенія, съ радостью хватался за все, что маломальски резонно доказывало разницу между мною и деревенскимъ мальчишкой. Сапожки, рубашка, у отца орденъ, «маменька вонъ въ какихъ платьяхъ, а своя мать—эво въ чемъ... она—простая баба»; «у господъ чайпють, когда хощь, а у мужика только въ Свѣтло-Христово Воскресенье!» Такія, какъ изволите видѣть, чисто виѣшнія различія и были тѣми точками, въ которыхъ начиналось пониманіе моего нравственнаго положенія. Только благодаря этимъ пустякамъ, я и приучился считать себя чѣмъ-то инымъ... И въ самомъ дѣлѣ, вѣдь только эти пустяки и останавливали меня въ послѣдствіи, когда я ужъ былъ большой, отъ искреннихъ и правдивыхъ поступковъ...

— «А ну какъ останешься безъ сапогъ? А ну если придется жить въ избѣ?..»

— Желаніе поступать правдиво постоянно было во мнѣ, потому что никакой внутренней цѣли, твердой и прочной, заставлявшей меня умышленно сдѣлать другому вредъ, чтобы отвоевать просторъ самому себѣ, какъ это дѣлаютъ «тамошніе» настоящіе красные околыши (устраивая, наприимѣръ, умышленно невѣжественную школу, чтобы лучше распоряжаться народомъ)—никакой такой цѣли у меня не было. Напротивъ, я всегда понималъ чужое положеніе лучше моего, крестьянское лучше своего барскаго, потому что нутро-то у меня было крестьянское, а все барское было вздоръ: сапожки въ три рубля, чай когда угодно, орденъ... Вообще разныя бирюльки... Да и нельзя русскому человеку, въ какомъ-бы онъ положеніи ни находился, не покориться вліянію мужика: мужикъ силенъ... Изъ енотовой шубы онъ переодѣнетъ васъ въ полушубокъ, попробуетъ только пожить въ деревнѣ; заставитъ, вмѣсто калошъ, носить валенки, интересоваться поѣвкомъ, скотиной и оставить въ сторонѣ чтеніе газетъ. Онъ заставитъ ваше интеллигентное лицо обрости неинтеллигентной бородой, приучитъ

въ дорогѣ, во व्यюгу, привертывать къ кабаку и находить удовольствіе въ стаканчикѣ винца. Баринъ не только не можетъ противопоставить мужику чего нибудь самостоятельнаго, но, напротивъ, самъ постоянно заимствуется у него во всѣхъ надобностяхъ господскаго обихода, отъ развитія собственныхъ дѣтей, которыя жадно подбираютъ крупины сказочекъ, загадокъ, побасенокъ, изобрѣтенныхъ мужикомъ для своихъ заскорузныхъ ребятишекъ, и кончая маринаванными грибами, которыми закусувается рюмка поповской водки на обѣдѣ въ честь какого-нибудь просвѣтителя; все это изобрѣтено мужикомъ, баринъ только заимствовалъ и ѣлъ... Правда, по части съѣстного кое-что выдуманно и интеллигенціей, такъ: существуетъ кушелевская баранина и строгоновская говядина. Но вѣдь не Богъ знаетъ что—выдумать какую-нибудь баранину или гусятину, когда онъ уже давно самъ себя выдумалъ и преспокойно продаетъ во всѣхъ мясныхъ и курятныхъ лавкахъ.

— Изъ-подъ такого всепоглощающаго вліянія мужика сильнѣй всѣхъ доводовъ няни и семьи выводить—надо сказать правду—школа, гимназія, университетъ. Я знаю по себѣ, да и вы навѣрное согласитесь, что направленіе доступнаго нашему брату образованія таково, что, по окончаніи курса, напримѣръ въ университетѣ, теряешь возможность стоять на своихъ собственныхъ ногахъ и тотчасъ принимаешься искать какихъ нибудь казенныхъ костылей въ видѣ подъемныхъ, прогонныхъ, добавочныхъ... Словомъ, начинаешь въ отчаяніи звать—«давай!» и чувствуешь, что непремѣнно надобно что-нибудь «получать отъ казны», такъ-какъ безъ ея благодѣтельной помощи предстоить гибель. Я ничего не умѣю заработать; я не могу ѣсть на улицѣ печенку, потому-что я довольно чисто одѣтъ, словомъ—мое положеніе самое привилегированное... Но, какъ ни сильно содѣйствуетъ направленіе образованія обезноженію нашего брата-околыша, какъ оно ни стремится образовать изъ нашего брата-околыша слой или особенный образованный кругъ, хитрость его не удается: не дальше, какъ черезъ мѣсяцъ по вступленіи въ этотъ кругъ, начинается ощущение какого-то овладѣвающаго тобой угара...

— «Э, батюшка, говорятъ уже нѣсколько образовавшіеся члены этого круга,—это еще что, вы поживите-ка тутъ годикъ—съ ума сойдете!..»

— Въ самомъ дѣлѣ, припомните, представьте себѣ эту нестерпимую натянутость, напряженность, выдумку и фальшь того руководящаго губернскаго, уѣзднаго, какого зотите, общества, которыми охваченъ каждый изъ его представителей... Припомните эти вечера, собранія: ученые, увеселительныя, семейныя, всѣ обиходъ жизни руководящаго общества—какая скука! какая *сибирская* тоска и подѣлка! Черезъ годъ, если вы не женились, не привязали себя къ мѣсту или, какъ говорятъ коренные провинціалы, «не укрѣпились», я увѣряю васъ, что никакое жалованье, никакая прибавка, т. е. ужъ самые достовѣрные акты общественной дѣятельности вашей, не искупаютъ мученій, которыя вы испытываете, благодаря своему привилегированному по-

ложенію. Положеніе это такъ въ самомъ дѣлѣ ужасно, что я даже и выяснять его не хочу: мнѣ больно вспомнить, больно представить себѣ все это... Я не забуду тѣхъ минутъ, когда, ослѣпленный мыслью, что я совсѣмъ не баринъ, я невольно припомнилъ ту массу жи, которую мнѣ пришлось продѣлать, благодаря моему ложному положенію. Помню, какъ, разубѣдившись въ удобствахъ такого поддѣльнаго существованія, я остановился на роковомъ вопросѣ: что же я такое наконецъ? Я оказался какимъ-то баринкомъ, неимѣющимъ возможности наполнить свое барское существованіе, несмотря на то, что мнѣ платили за это хорошія деньги. Я окazyваюсь человѣкомъ, завидующимъ мужику, тогда какъ ни одинъ мужикъ не будетъ завидовать ни-чему. Я понимаю мужика больше, чѣмъ самого себя, я сочувствую ему больше, чѣмъ тому привилегированному кругу, къ которому принадлежу самъ...

— Что жъ я такое? Я—просто *овца безъ стада*!... Я отбился, или меня отогнали, не знаю хорошо, отъ моего стада, отъ народа, съ которымъ у меня нѣтъ никакой внутренней разницы, и я въ тоскѣ шатаюсь по «россійскому интеллигентному пустырю». Вы знаете пословицу: «овца безъ стада не живетъ или не бываетъ», а я, русскій интеллигентный человѣкъ, безъ стада, безъ общества... Куда же мнѣ пойти, гдѣ жить? Тутъ-то вотъ и подвернулись иллюстраціи къ русскому мужику... Ну, разумѣется, больше мнѣ некуда идти, какъ къ нему!.. Возможно ли мнѣ даже и подумать теперь вновь какимъ-нибудь способомъ войти въ ряды людей, развѣзжающихъ для пользы народа на обывательскихъ—ни за что!.. Я вотъ буду—тутъ!»

Балашовскій баринъ энергически стукнулъ при этомъ словѣ кулакомъ въ столъ. Подъ словомъ «тутъ» я поналъ деревню..

— Ну чтожъ вы будете здѣсь дѣлать? сказалъ я.

— Почему я знаю!.. Знаю, что мнѣ надо жить тутъ—и больше ничего... Понадоблюсь я имъ—отлично; не понадобится—буду сидѣть и пить славянскую... У меня вотъ есть нѣсколько денегъ... выйдутъ онѣ здѣсь очень скоро. Стану продавать платье, проживу и то, и въ концѣ концовъ все-таки я думаю, что доведу же я себя до того, что повѣрятъ они мнѣ и понадобится я имъ въ чемъ-нибудь... Кой-что я знаю больше ихъ. Сталобыть—жить тутъ и ждать.. Вотъ и все!..

Неожиданныя обстоятельства среди лѣта потребовали моего возвращенія въ Петербургъ. Воротившись въ августѣ, я, къ удивленію моему, не нашелъ уже барина: онъ уѣхалъ. Рассказывали о пріѣздѣ какой-то дамы, и въ исторіи барина вообще оказывалась какая-то невысказанная и необъясненная мнѣ сторона. Странное, болѣзненное впечатлѣніе осталось во мнѣ отъ этой и болной, и изломанной фигуры; но нѣкоторыя его иллюстраціи, какъ онъ выражался, къ народной жизни произвели на меня такое впечатлѣніе, что я не могъ отдѣлаться отъ нихъ, раздумывая о томъ, что мнѣ пришлось видѣть въ деревнѣ.

МАЛЫЕ РЕБЯТА.

I.

Одинъ изъ моихъ давнишнихъ знакомыхъ, нѣкто Иванъ Ивановичъ Полумраковъ — чиновникъ, занимающій въ настоящее время довольно видное мѣсто въ одномъ изъ петербургскихъ министерствъ, «устроющихъ», создающихъ, направляющихъ и руководящихъ, — пораздумавшись въ свободную отъ всей этой массы работъ, конечно, на пользу блага отечества, минуту — вообще о *подлинномъ* положеніи дѣлъ въ этомъ самомъ отечествѣ — невольно почему-то начинаетъ печалиться и трепетать передъ участіемъ своихъ собственныхъ дѣтей. Много, очень много мотивовъ, заставляющихъ Ивана Ивановича непремѣнно сокрушаться объ этой участи, возникли въ его головѣ при этихъ размышленіяхъ; но мы не будемъ утомлять читателя перечисленіемъ этихъ многочисленныхъ мотивовъ скорби, а только остановимся на той-же самой темѣ, которая волнуетъ и не одного Ивана Ивановича Полумракова.

Много на своемъ вѣку приходилось мнѣ встрѣчать чадолюбивыхъ родителей, но Иванъ Ивановичъ отличается отъ нихъ не столько особенностью въ чадолюбіи, сколько именно озабоченностью, по-видимому не дающею ему покоя, надъ разрѣшеніемъ вопросовъ о томъ, что нужно дѣтямъ образованнаго или болѣе или менѣе обеспеченнаго чело-вѣка въ предстоящей имъ жизни? чему учить? къ чему готовить? въ какомъ направленіи вести нравственное развитие?

Авторъ этого очерка, имѣя намѣреніе сказать нѣсколько словъ о томъ подросткающемъ поколѣніи, которое въ настоящее время, сидя на стулѣ, еще не достаетъ ногами до полу, не можетъ оставить безъ нѣкотораго вниманія такого «озабоченнаго» тѣмъ же вопросомъ родителя, какъ Иванъ Ивановичъ Полумраковъ, тѣмъ болѣе, что «озабоченность» его не ограничивалась только размышленіями, умозаключеніями и т. д., но выражалась и въ нѣкоторыхъ опытахъ, на дѣлѣ пояснявшихъ то, до чего Иванъ Ивановичъ доходилъ путемъ продолжительныхъ размышленій.

Прежде всего необходимо объяснить причину происхожденія въ Иванѣ Ивановичѣ такой «особенной» заботливости о собственныхъ дѣтяхъ; необходимо потому, что — надо говорить правду — было время, когда Иванъ Ивановичъ не блисталъ ни чадолюбіемъ, ни «заботливостью» въ той степени, въ какой блещетъ онъ и тѣмъ, и другимъ въ настоящее время. Правда, онъ всегда былъ добрый и ласковый отецъ; но чтобы такъ обременять себя вопросами, касающимися иногда самыхъ мелкихъ сторонъ дѣтской жизни, дѣтской души, дѣтскаго будущаго — этого не было и въ поминѣ. Говоря откровенно, происхожденіе этой заботливости находится въ тѣсной связи съ однимъ не столько непріятнымъ, сколько

неожиданнымъ эпизодомъ, случившимся въ жизни Ивана Ивановича нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

Дѣло въ томъ, что три года тому назадъ зимой, въ пять часовъ утра, въ квартиру Ивана Ивановича позвонили, затѣмъ вошли въ кабинетъ и спросили: «Знакомъ-ли онъ, и давно-ли, съ акушеркою N, запутавшейся, какъ оказалось, въ какомъ-то непрактическомъ предпріятіи?» Иванъ Ивановичъ, ободренный необыкновенной вѣжливостью и почтительностью, съ которыми былъ предложенъ этотъ вопросъ, оправился и съ достоинствомъ отвѣчалъ, что акушерку N онъ точно знаетъ, такъ какъ семейному чело-вѣку трудно обойтись безъ этого знакомства, но что знакомство это основано только на профессіи г-жи N, что никоимъ образомъ не можетъ имѣть ни малѣйшей связи съ личными взглядами этой госпожи, такъ какъ Ивану Ивановичу якобы совершенно неизвѣстно, какіе такіе г-жа N имѣетъ взгляды.

На томъ все дѣло и кончилось; все произошло вѣжливо и деликатно; деликатно до того, что на-примѣръ лицо, посѣтившее Ивана Ивановича, дабы не пачкать окуркомъ напирсы очень изящную пепельницу, само открыло заслонку пепки и, нагнувшись, бросило окурочъ въ самую глубину. Наконецъ, чтобы замаять непріятный разговоръ, лицо это обратило вниманіе на олеографію Куинджи и выказало большой вкусъ къ изящнымъ произведеніямъ, указавъ прикосновеніемъ кончиковъ пальцевъ къ полотну картины нѣсколько дѣйствительно блестящихъ, эффектныхъ чертъ, касавшихся освѣщенія. Повторяю, посѣщеніе прошло такъ тихо и любезно, что въ Иванѣ Ивановичѣ не могло и не должно было остаться послѣ него ни малѣйшей тревоги. Кромѣ того, даже и высшее начальство того министерства, въ которомъ служилъ Иванъ Ивановичъ, только мимолетомъ и спустя долго послѣ событія, напомнило ему о немъ и притомъ съ единственной цѣлью ободрить. Словомъ, все и началось, и кончилось превосходно, а Иванъ Ивановичъ, несмотря на это... призадумался!..

Показалось ему, изволите видѣть, что въ лѣвомъ глазу того высшего начальства, которое шути-намекнуло ему на неожиданное обстоятельство, что-то какъ-будто мелькнуло, какая-то будто черта, и черта неожиданная. Правый глазъ — Иванъ Ивановичъ очень хорошо это помнитъ — ласкалъ и улыбался совершенно безкорыстно, искренне; а въ лѣвомъ глазу шмыгнуло что-то, шмыгнула какая-то неожиданная точка.

— «Однако — въ ту-же минуту подумалось Ивану Ивановичу: — шути-шутки, а дѣло-то, кажется, вѣдь въ самомъ дѣлѣ...» На словахъ «въ самомъ дѣлѣ» Иванъ Ивановичъ остановился, такъ какъ его внезапно осянула, даже поразила мысль: «А что, если все это — «въ самомъ дѣлѣ», т. е. и аку-

шерка, и визитъ, и то, что шмыгнуло въ лѣвомъ глазу? Что, если все это не случайность, не праздная игра воображенія, а подлинныя явленія, имѣющія какія-нибудь основанія? Словомъ, опять-таки, что, если все это — «въ самомъ дѣлѣ»?

Мысль эта была такъ сильна своей внезапностью и значительностью, что Иванъ Ивановичъ почувствовалъ, какъ горячая испарина разлилась у него по спинѣ и выступила на затылкѣ, и съ этого же момента не иначе сталъ смотрѣть на явленія дѣйствительности, какъ на такія, которыя происходятъ въ самомъ дѣлѣ, имѣютъ результаты и основанія. Кромѣ того, если мы прибавимъ, что увѣреніе Ивана Ивановича въ томъ, будто-бы онъ никакихъ убѣжденій г-жи N, акушерки, не знаетъ, ложно, то читателю будетъ понятно, что Иванъ Ивановичъ въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ впасть въ значительную озабоченность, сначала относительно собственной особы, а затѣмъ и относительно неразрывно связаннаго съ нимъ семейства.

Впослѣдствіи мы скажемъ нѣсколько подробнѣе о томъ, къ чему привели размышленія Ивана Ивановича, основаніемъ которыхъ былъ рассказанный нами незначительный эпизодъ; теперь же мы должны сказать, что, не случись этого эпизода, и тогда Иванъ Ивановичъ, какъ и всякій человѣкъ, болѣе или менѣе обезпеченный, не могъ-бы просуществовать безъ нѣкоторой озабоченности уже по одному тому, что человѣкъ этотъ живетъ не двадцать-пять лѣтъ тому назадъ, а въ настоящіе дни и годы. Двадцать-пять лѣтъ тому назадъ вопросы личности и нравственности стояли прочно и ясно, или, по крайней мѣрѣ, для всякаго была совершенно ясна «неуужность» этихъ вопросовъ нравственности. Центромъ и идеаломъ жизни былъ баринъ, а нравственность заключалась въ крѣпостномъ правѣ. Все, что не было ни бариномъ, не нуждавшимся въ нравственности по праву, ни мужикомъ, не разрабатывавшимъ этого тонкаго предмета *по недосугу*, все, что жило «вокругъ» барина и мужика, также не разрабатывало означенныхъ вопросовъ, по ненадобности. Чиновникъ, говорилось въ то блаженное время: — служи, купецъ — торгуй, шатунъ — шатайся. Вопросъ: «какъ?» и другой: «зачѣмъ?» не могли стоять въ общественномъ вниманіи на первомъ планѣ, въ виду того, что, «выслужившись», «расторговавшись», человѣкъ могъ отдохнуть, только самъ сдѣлавшись бариномъ. Толкись, бейся, изловчайся въ той тѣсной клѣткѣ, которую судьба отвела тебѣ на жительство, а выбьешься, достучишься, дотолкаешься — твое счастье. Все ясно и точно, опредѣленно и покойно. Съ Божьей помощью жизнь идетъ по торной колѣѣ. Въ то блаженное время Ивану Ивановичу — да и не одному ему — было жить легко. На душѣ не лежало-бы никакой ответственности ни за одинъ поступокъ, ни за одно помышленіе, разъ они не выходили изъ предѣловъ желаній дослужиться или расторговаться, т. е. приблизиться къ заветному идеалу. Въ воспитаніи дѣтей родителю стоило только приводить въ примѣръ дѣтямъ себя, свою неустанную заботу о благѣ своемъ и своей семьѣ, а самое благо было ясно, всѣмъ лѣзло въ глаза.

Теперь — увѣ! — не то. Съ устраненіемъ этого, всѣмъ понятнаго, вѣками установленнаго представленія о благѣ, олицетвореннаго бариномъ, въ нравственномъ мірѣ русскаго человѣка образовалось пустое мѣсто, которое необходимо было волей-неволей чѣмъ-нибудь наполнить. Волей-неволей пришлось знакомиться съ нравственностью. Всякому по-прежнему предоставлялось право расторговываться и выслуживаться, но отсутствіе идеала заставляло задумываться надъ вопросомъ: «зачѣмъ?» и за этимъ вопросомъ самъ собою пришелъ другой — «какъ? какими путемъ?» Общественное вниманіе колей-неволей было заинтересовано вопросами о принципахъ чести, совѣсти. Пришлось размышлять надъ этими вопросами — иногда противъ охоты и желанія.

Иванъ Ивановичъ Полумраковъ, какъ и масса его сверстниковъ, застигнутыхъ старыми временами на школьной скамьѣ, и новыми — на первыхъ путяхъ жизненнаго поприща, не принадлежалъ къ числу тѣхъ рѣшительныхъ натуръ, которыя, однажды давъ себѣ отъѣты на поставленные жизнью вопросы, продолжаютъ твердо слѣдовать имъ и идти до конца. Нѣтъ, не сдѣлался онъ ни ярымъ либераломъ, ни яримъ консерваторомъ, а, благодаря мягкости своего характера, подчинялся вліяніямъ времени, не слишкомъ выясняя настоящее и будущее и въ то-же время какъ-бы не разставляясь и съ симпатіями, выясненными изъ прошлаго.

Долгое время онъ очень чистосердечно и симпатизировалъ г-жѣ N, и одновременно съ тѣмъ успѣвалъ по службѣ; и ни г-жѣ N, ни начальству не казалось это страннымъ. Иванъ Ивановичъ, мягкій характеромъ и духомъ, мягко принималъ не очень еще жесткія вліянія времени и жилъ, чувствуя себя порядочнымъ человѣкомъ. Да не подумаетъ читатель, что Иванъ Ивановичъ, какъ говорятъ, «вилялъ» между этими вліяніями. Ничуть. Онъ жилъ этими вліяніями, принималъ ихъ и отзывался на нихъ, но въ тѣхъ размѣрахъ, какихъ требовали еще не совѣтъ выясненныя общественныя явленія. Явленія эти были робки, неопредѣленны, атмосфера туманна, а Иванъ Ивановичъ не особенно дальновзорокъ. Но то, что онъ видѣлъ, онъ принималъ.

Такъ какъ рѣчь наша касается спеціальнаго предмета, именно *дѣтей*, то мы не будемъ распространяться здѣсь о тѣхъ новыхъ вліяніяхъ времени, которыя Иванъ Ивановичъ долженъ былъ принять въ свое сознаніе, а ограничимся только тѣми, которыя касаются избранной нами темы, и остановимся только на томъ новомъ, что уже вошло въ кругъ современнаго воспитанія дѣтей. Имѣлихъ родителей, съ такимъ же болѣе или менѣе обезпеченнымъ положеніемъ, какъ и положеніе нашего Ивана Ивановича.

II.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что самую существеннѣйшую новизною въ этомъ дѣлѣ является присутствіе, такъ сказать, народнаго элемента. Если новыя времена, которыя мы переживаемъ, именуютъ только и новы главными образомъ благодаря «но-

вому» положенію мужика, то, разумеется, что вліяніе, или, вѣрнѣе, какое-то легкое отдаленное дыханіе этой новизны не могло не коснуться и того круга людей, который и выросъ, и держался на свѣтѣ, благодаря только старинному положенію мужика. Изъ этой-то мужицкой новизны вышло все то новое, что обнаруживалось впоследствии въ новизнахъ немужичьихъ; отсюда вышли на свѣтъ и непрактическая акушерка, и непрактическій студентъ, и ожесточенный ненавистникъ живыхъ людей, и такіе либеральные страдалцы, какъ мягкосердый Иванъ Ивановичъ. Всѣ эти представители новыхъ временъ конечно немедленно опредѣляли бы свою собственную задачу, опредѣлили бы ее съ величайшей простотой и точностью, еслибы самое новое и самое главное дѣйствующее лицо, открывшее новую эру жизни, вымолвило-бы хоть единое словечко въ объясненіе того, чего, молъ, желаетъ оно теперь достигать. Еслибы такое словечко было сказано, простота и вмѣстѣ осмысленность жизни для всѣхъ сдѣлалась бы ясною, всякому предлежала-бы своя дорога и, разумеется, не было-бы сомнительныхъ комбинацій въ людскихъ отношеніяхъ, не было бы того запутаннаго, тягостнаго, досаднаго и вообще въ высшей степени мучительнаго положенія, которое впоследствии пришлось переживать образованному обществу. Но драма началась и продолжалась, а главное дѣйствующее лицо молчало, какъ мертвое.

Понятно, что такое положеніе дѣла ставило людей, подобныхъ Ивану Ивановичу, въ величайшее затрудненіе; приходилось почти только «чутьемъ» руководствоваться въ собственныхъ поступкахъ, идти впередъ безъ всякихъ опредѣленныхъ указаній. И точно, Иванъ Ивановичъ не столько *зналъ* доподлинно о значеніи начавшейся драмы, сколько *чулъ* это значеніе. Только этимъ чутьемъ и можно объяснить тѣ маленькія новости въ домашнемъ и общественномъ воспитаніи малыхъ ребятъ, которыя извѣстны навѣрное всѣмъ, имѣющимъ въ числѣ своихъ знакомыхъ такихъ чадолюбивыхъ родителей, какъ изображаемый мною Иванъ Ивановичъ. Намъ кажется, что, именно благодаря этому чутью (практическая черта, наслѣдованная отъ П. И. Чичикова), явилась на свѣтъ и эта простота обращенія родителей съ дѣтьми, этотъ «папка» — вмѣсто «папа», это «ты» — вмѣсто «пожалуйста ручку». Отсюда же вышли эти токарные станки, эти ящики съ сапожными инструментами въ «благоустроенныхъ семействахъ», этотъ скрипъ пилы въ худенькихъ рукахъ ребенка, для поправленія здоровья котораго по совѣту доктора ежедневно покупаютъ какія-то особенныя куриныя яйца по баснословной цѣнѣ. Всѣ подобные эксперименты въ народномъ духѣ производилъ надъ своими дѣтьми и Иванъ Ивановичъ, такъ какъ онъ, хотя и не получалъ еще такого оклада, который бы позволилъ ему питать своихъ дѣтей вышеупомянутыми золотыми яйцами, но принадлежалъ къ числу людей обеспеченныхъ или образованныхъ и все-таки имѣлъ *чутье* и практиковалъ его.

Не разъ, глядя на всѣ эти сапожные шилья,

гвозди и молотки, валявшіеся на паркетномъ полу довольно дорогой квартиры Ивана Ивановича, на эту драгую, топоры и рубанки, забравшіеся иногда даже въ гостиную, я подумывалъ надъ вопросомъ: къ чему такой прочно поставленный человѣкъ, какъ Иванъ Ивановичъ, разыгрываетъ всю эту комедію? Вѣдь не допускаетъ-же онъ въ серьезъ мысли о томъ, чтобы его дѣти, содержаніе которыхъ уже теперь, когда они едва въ силахъ поднимать обѣими руками крошечный сапожный молотокъ, обходится втрое дороже содержанія цѣлой артели, въ пять человѣкъ не игрушечныхъ, а настоящихъ сапожниковъ, что они, эти *дорогія* дѣти, будутъ когда нибудь «въ самомъ дѣлѣ» добывать себѣ хлѣбъ сапожными молоткомъ или шиломъ, или топоромъ, или пилой? Думаетъ ли онъ, что они когда-нибудь могутъ быть сапожниками, дроворубами, столярами?.. «—Почемъ знать! отвѣтствовать на мои вопросы по этому поводу Иванъ Ивановичъ. А можетъ быть!» Или еще проще: «—Все можетъ случиться!» Но, очевидно, это были, какъ говорится, не отвѣты; и только одно ничтожное обстоятельство, одна небольшая сценка, свидѣтелемъ которой мнѣ случайно пришлось быть въ квартирѣ Ивана Ивановича, дала мнѣ нѣкоторую возможность услѣдить «подлинное» направленіе мыслей Ивана Ивановича въ этомъ дѣлѣ.

Какъ-то однажды мнѣ пришлось ночевать у Ивана Ивановича. Мы спали въ его кабинетѣ, выходившемъ окнами на дворъ, и по-утру проснулись рано, проснулись отъ необыкновеннаго тепла и необыкновеннаго солнечнаго блеска, наполнявшихъ комнату до ослѣпленія и духоты. Немедленно было открыто окно, въ комнату пахнула теплая влага великолѣпнѣйшаго майскаго утра, а вмѣстѣ съ нею со двора ворвались въ комнату и чистый звукъ колокола, и какой-то веселый шумъ и гамъ, и смѣхъ. Внизу, на дворѣ, очевидно происходило что-то такое-же веселое, какъ веселы были день, небо, солнце, воздухъ. Иванъ Ивановичъ, отворивши окно, повидимому залюбовался тѣмъ, что происходило на дворѣ, и при новомъ взрывѣ смѣха торопливо позвалъ меня. Вотъ что тамъ происходило. Дворники, кучера, конюхи, кухарки, горничныя и прочій рабочій людъ петербургскаго дома (изъ числа такихъ, гдѣ живутъ хорошіе господа, кто съ ведромъ въ рукѣ, кто съ метлой, кто съ лопатой и т. п. — все народъ ражій, хорошо кормленный, хорошо выпавшійся — въ разныхъ позахъ остановились въ разныхъ пунктахъ двора и, какъ говорится, «помирали со смѣху», хохотали безъ удержу, потѣшаясь надъ тѣмъ, что происходило вверху, въ окнѣ четвертаго этажа. А тамъ какой-то румяный, ражій дѣтина. не то маляръ, не то плотникъ, работавшій въ квартирѣ, изъ которой господа начали выѣзжать на дачу, стоя на краю подоконника, держалъ въ объятіяхъ красивую, плотную, франтоватую горничную, которая вопила благимъ матомъ, не забывая въ то же время почти ежеминутно наносить своему похитителю звонкіе, сильные удары голой и крѣпкой рукой по физиономіи — или нѣтъ, не по физиономіи, а прямо «по мордѣ».

Не обращая на эти удары ни малѣйшаго вниманія, ражій дѣтина хохоталъ во всю пасть и, потрясая горничною надъ четырехъ-этажной бездной, оралъ, обращаясь къ зрителямъ:

— Подставляй фартукъ, я ее кину!.. Эй, ребята, держи, подхватывай!

— Давай, давай! азартно бросая метлу и потряхивая фартукомъ, во все горло откликался одинъ изъ зрителей, дворникъ: — кидай! готово!

— Размахнись хорошенько! совѣтовали конюхи.

— Хватай! оралъ дѣтина, въ самомъ дѣлѣ размахиваясь горничной, какъ неодушевленнымъ предметомъ.

— Дуй его, Авдотья, по мордѣ! Чего онъ безобразничаетъ! визжали бабы.

— Авдотья! обдерни хвостъ!

— Бей его!

— Махай ее черезъ крышу!

Хохотъ неудержимый и искреннѣйшій, визгъ горничной, чувствовавшей однако, что все это «въ шутку» и «любя», звонкія олеуки «въ шутку», искреннѣйшее веселое оранье, хохотъ, остроты, румяныя, оживленные здоровьемъ лица парня и горничной, и публики, и ко всему этому солнце, блескъ воздуха и неба, могучая сила и дѣтская простота и въ природѣ, и въ людяхъ — все это такъ плѣнило Ивана Ивановича, что, отойдя отъ окна, онъ въ сильномъ волненіи могъ только произнести:

— Паршивая цивилизація!..

И сбросилъ рукою на полъ только-что принесенную и лежавшую на столѣ газету, впрочемъ можетъ быть и не нарочно.

— Ну, гдѣ вы (предполагается: въ этой цивилизаціи) найдете это... эту... лепеталъ Иванъ Ивановичъ и, не договоривъ фразы, опять произнесъ:

— Какое-же сравненіе съ этой паршивой цивилизаціей?

Эта сценка не была конечно поводомъ къ полному уясненію взглядовъ Ивана Ивановича на необходимость введенія въ дѣло воспитанія дѣтей нѣкоторыхъ новинокъ въ народномъ духѣ, но все-таки она дала нѣкоторую путеводную нить къ объясненію. Игра во всѣ эти шила, дратвы и топоры не была пустою комедіей, а имѣла въ основаніи почти опредѣленный расчетъ. Дѣти Ивана Ивановича, очевидно, никогда не будутъ ни сапожниками, ни портными; за спиной ихъ никогда не будетъ болтаться мѣшокъ съ кускомъ чернаго хлѣба и рубанкомъ... Объ этомъ Иванъ Ивановичъ не допускалъ даже мысли. Но эта пила нужна для того, чтобы маленькія обезпеченныя ручки были также жѣзки, какъ и тѣ, которыя въ силахъ играть горничной, какъ перомъ. Это дерганье дратвой расширяетъ грудныя мышцы. Въ этомъ только отношеніи физическаго благополучія и понятна какая-то туманная вѣра Ивана Ивановича въ необходимость какого-то вниманія ко всему трудовому люду, вступившему на новый путь. Но, не понимая во всей широтѣ значенія этого вліянія и только чутьемъ догадываясь о немъ, мягкосердечный Иванъ Ивановичъ однакоже и тутъ, какъ видите, умѣлъ из-

влекъ нѣкоторую *пользу для себя*, сумѣлъ, такъ сказать, взять съ мужика взятку и принести ее въ домъ свой.

III.

Недолго однако пришлось Ивану Ивановичу довольствоваться въ своихъ житейскихъ и служебныхъ поступкахъ исключительно чутьемъ, такъ какъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ явленія дѣйствительности совершенно выяснились, вышли изъ тумана, и добираться до ихъ, еще недавно темнаго, смысла ошупью уже не было никакой надобности: они стояли на лицо. Пришло съсерьезно обдумать свои къ нимъ отношенія. Иванъ Ивановичъ началъ испытывать эту необходимость и сознавать всю ея серьезность со времени извѣстнаго уже нашимъ читателямъ эпизода, описаннаго въ началѣ первой главы настоящаго отрывка. Какъ только Иванъ Ивановичъ убѣдился, что все совершающееся совершается *въ самомъ дѣлѣ*, исходить изъ извѣстныхъ причинъ, а главное (вотъ именно, гдѣ главное-то!), имѣть извѣстные результаты, воплѣ неминуемые, тотчасъ-же ему пришлось опредѣлять собственныя свои отношенія къ этимъ явленіямъ, пришлось обдумать ихъ всесторонне, со всей искренностью и тщательно опредѣлить свое мѣсто въ людскомъ обществѣ. И тогда-же какъ только Иванъ Ивановичъ сталъ думать объ этомъ серьезно и по совѣсти, такъ напала на него тоска, въ душу закрался ледяной холодъ, бѣлый свѣтъ опостылѣлъ, и все его существо стало какъ-то «саднить» въ бесплоднѣйшихъ и виѣстѣ съ тѣмъ тягостнѣйшихъ страданіяхъ.

Прежде всего, опредѣляя свои отношенія къ начальству и припоминая знакомство съ акушеркой г-жей Н, Иванъ Ивановичъ сразу увидалъ, что онъ жестоко виноватъ передъ начальствомъ: что онъ изъ года въ годъ обманываетъ его довѣріе, что онъ, однимъ словомъ, лжецъ, — на котораго въ трудную минуту едва-ли можетъ это начальство положиться. Онъ убѣдился, что видѣлъ въ начальствѣ только окладъ, что, не будь тутъ оклада, оно не имѣло-бы такого преданнаго слуги, какимъ считался Иванъ Ивановичъ. Съ другой стороны, припоминая свою служебную дѣятельность, которая оплачивалась хорошими окладами, Иванъ Ивановичъ также мгновенно убѣдился и въ своей виновности передъ акушеркой, такъ какъ, открывши ей всю подноготную и всѣ послѣдствія своей дѣятельности, онъ долженъ былъ-бы оказаться ея явнымъ врагомъ, а вовсе не «сочувствующимъ», каковымъ его считала непрактическая и унылая г-жа Н. Словомъ, въ обоихъ случаяхъ почтенный, добрый, мягкій и либеральный Иванъ Ивановичъ вдругъ, какъ только пришлось подумать серьезно, оказывался просто-на-просто лгуномъ, да еще какимъ — корыстнымъ! Развѣ все это не изъ-за оклада? Да! у Ивана Ивановича не оказывалось никакихъ нравственныхъ убѣжденій. Онъ боялся потерять окладъ, рѣшительно не зная, на какую сторону въ опредѣлившихся людскихъ отношеніяхъ могъ-бы онъ стать по убѣжденіямъ. Не было у Ивана Ивановича никакихъ убѣжденій, никакой нравственности. Былъ

только страхъ передъ акушеркой, передъ начальствомъ и главное—передъ окладомъ.

Въ эти минуты было жалко смотрѣть на Ивана Ивановича, особенно въ отношеніяхъ его къ дѣтямъ. Однажды въ кабинетѣ у него совершенно случайно столкнулись: эта самая акушерка N, генералъ изъ того министерства, гдѣ Иванъ Ивановичъ служилъ, и студентъ-технологъ въ высокихъ сапогахъ. Иванъ Ивановичъ вертѣлся на своемъ креслѣ, какъ на иголкахъ, чувствуя, что настала минута, когда надобно «дать отвѣтъ», т. е. при малѣйшей случайности въ разговорѣ о текущихъ событіяхъ необходимо поступить безпристрастно и по совѣсти. На бѣду Ивана Ивановича въ комнату въбѣжалъ его шестилѣтній сынъ и задалъ одинъ изъ неожиданныхъ дѣтскихъ вопросовъ. Что было дѣлать Ивану Ивановичу? Съ одной стороны—студентъ и акушерка, а съ другой—генералъ. Иванъ Ивановичъ вспыхнулъ и вывернулся, сказавъ: «Чая! чая! скажи, чтобы чая намъ давали! Философы!» И такимъ образомъ выпроводилъ ребенка вонъ, оставшись невредимымъ.

Но, оставаясь до нѣкоторой степени невредимымъ лично, Иванъ Ивановичъ чувствовалъ, что относительно своихъ дѣтей онъ поступаетъ безнравственно. Свои житейскія связи и отношенія онъ еще могъ кое-какъ, съ грѣхомъ пополамъ, оправдать тѣмъ, что у него на плечахъ семья. Ради семьи онъ тянетъ ляжку, хотя «сочувствуетъ». И если поступаетъ при этомъ не совсѣмъ добросовѣстно и искренно, то опять-же потому, что у него семья, что онъ не одинъ. Но, принося такія жертвы ради семьи, естественно было подумать о томъ, что же получаетъ въ самомъ дѣлѣ эта семья? И тутъ Иванъ Ивановичъ совсѣмъ терялъ голову, прежде всего потому, что себя, свою дѣятельность онъ никоимъ образомъ не могъ бы рекомендовать дѣтямъ: это значило рекомендовать искусство лгать изъ-за оклада; сказать же что-нибудь по совѣсти—боялся. Дѣти росли поэтомъ въ какой-то невозможнѣйшей атмосферѣ либеральныхъ недомоловъ и умолчаній по самымъ существеннѣйшимъ вопросамъ нравственности. А нравственность—въ этомъ Иванъ Ивановичъ убѣждался съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе—необходима. Начинается жизнь, жизнь «въ самомъ дѣлѣ», и чтобы перенести ея случайности, недостаточно однихъ крѣпкихъ мускуловъ, румяныхъ щекъ, а нужно нѣчто сильнѣе ихъ. Но Иванъ Ивановичъ не могъ дать ничего подобнаго. Ничего подобнаго не давали ни пилы, ни дратвы, ни станки, ни дѣтскіе сады, ни кубики, ни «жестянички», ни плетеніе, ни клееніе, ни молотки, ни загадки, ни ребусы, ни анаграммы и проч. Иванъ Ивановичъ пробовалъ-было углубиться въ область современной печатной педагогіи, но во-первыхъ—приходилось зарыться въ книги, которыми нѣтъ конца и края, а во-вторыхъ—Иванъ Ивановичъ на первыхъ порахъ встрѣтилъ тутъ такія вещи, которыя совершенно охладили его намѣреніе что-нибудь позаимствовать у педагогіи. Такъ, въ одномъ изъ самыхъ почтенныхъ педагогическихъ журналовъ, пользующихся упроченною репутаціею, Иванъ

Ивановичъ натолкнулся на слѣдующую *живую бесѣду* (какъ сказано въ журналѣ) учителя съ учениками по поводу молитвы Господней. *Учитель*: «Гдѣ Богъ?» *Ученикъ*: «Вездѣ». *Учитель*: «А особеннѣе?» *Ученикъ*: «На небѣ». Учителю, который, какъ видно изъ статьи, не желаетъ, чтобы ученики *задабливали слова*, необходимо помощью *живой бесѣды* выяснитъ основательность именоваія Бога *Отцомъ Небеснымъ*, и вотъ онъ, какъ видите, смотритъ на это наименованіе только какъ на *имя прилагательное*. О дьяволѣ бесѣды еще проще. *Учитель*: «Кто намъ болѣе всего дѣлаетъ зла?» *Ученикъ*: «Дьяволъ!» И все тутъ. Безъ разсужденій и разговоровъ, просто оказывается, что существуетъ дьяволъ и дѣлаетъ людямъ вредъ.

Итакъ, гдѣ же добыть этой нравственности? Какимъ способомъ въ душѣ подросткающаго молодого поколѣнія образовать тотъ прочный нравственный фундаментъ, который выдержалъ бы то, что время воздвигнетъ на немъ? Иванъ Ивановичъ думалъ только объ этомъ фундаментѣ, а о томъ, что выстроить на немъ—не рѣшался думать, умывалъ руки, да и не могъ онъ предвидѣть, что будутъ строить: жилой-ли домъ или гауптвахту, тюрьму или храмъ—лишь бы устоять подъ напоромъ тяжести. Долго думалъ Иванъ Ивановичъ, но наконецъ придумалъ.

Онъ рѣшился такъ: Анна Петровна, его жена, съ дѣтymi большую часть года будутъ проводить въ деревнѣ, а онъ, Иванъ Ивановичъ, всецѣло отдастся служебнымъ обязанностямъ—да и не обязанностиамъ вовсе, а просто служебному заработку... Иванъ Ивановичъ рѣшился лечь грудью въ эту ляжку для того, чтобы современемъ приобрести собственную усадьбу, а съ нею и прочную почву какъ для себя, такъ и для потомства.

Итакъ, какъ видитъ читатель, этотъ планъ на счетъ деревни, усадьбы и т. д. просто-на просто означалъ только то, что Иванъ Ивановичъ, не найдя въ себѣ никакой нравственности и не найдя ея въ педагогическихъ лучинкахъ и бумажкахъ, рѣшилъ, повинуваясь тому же, наслѣдованному отъ П. И. Чичикова практическому чутью, *позаимствоваться* означенной нравственностью у мужика. *Позаимствовать* и утащить въ домъ свой. Но, увы!..

Впрочемъ, такъ какъ опытъ съ позаимствованиемъ у мужиковъ нравственныхъ началъ частью происходилъ на моихъ глазахъ, частью извѣстенъ мнѣ изъ собственныхъ разсказовъ Ивана Ивановича и наконецъ такъ какъ опытъ этотъ представлялъ нѣкоторый интересъ вообще, то я позволю себѣ сказать о немъ нѣсколько подробнѣе.

IV.

Рѣшивъ «позаимствовать», Иванъ Ивановичъ всю зиму довольно прилежно слѣдилъ за газетными объявленіями: не отдается-ли гдѣ въ аренду помѣщичья усадьба? И къ концу зимы такихъ объявленій было найдено довольно много. Усадьбы отдавались и въ степяхъ, и въ глуши непроходимой, и по всѣмъ линіямъ желѣзныхъ дорогъ. Иванъ Ивановичъ выбралъ нѣсколько адресовъ такихъ усадьбъ, которыя лежали не слишкомъ далеко отъ Петер-

бурга, такъ — часахъ въ семи, и не слишкомъ близко въ желѣзной дорогѣ, то-есть «въ цивилизаціи», которую онъ не иначе представлялъ себѣ въ настоящее время, какъ въ видѣ какой-то непрестанной необходимости врать съ утра до ночи.

Рѣшено было осмотрѣть эти усадьбы тотчасъ, какъ только мало-мальски стагетъ снѣгъ. Но такъ какъ въ то время въ Петербургѣ весну *сбывали* ранѣе обыкновенной мѣсяца на полтора, то въ половинѣ марта въ булочныхъ уже появились жаворонки, а въ началѣ апрѣля уже приходилось принахъ за поливку улицъ, потому что появилась пыль... Въ виду всего этого, едва только прошла святая недѣля, какъ Иванъ Ивановичъ и я, приглашенный имъ, тронулись въ путь.

Мы выѣхали съ вечернимъ поѣздомъ, а въ 6 часовъ утра должны были выйти на одномъ маленькомъ полустанкѣ изатѣмъ на лошадяхъ ѣхать верстъ за двѣнадцать въ усадьбу, которую предполагалось осмотрѣть, а если понравится, то и нанять. Истиннѣ, какая-то дѣтская радость охватила насъ вплоть до слѣдующаго вечера, когда мы опять вошли въ вагонъ, чтобы возвратиться въ Петербургъ. Я несомнѣнно былъ зараженъ этимъ дѣтски-радостнымъ расположеніемъ духа, благодаря Ивану Ивановичу, которому въ самомъ дѣлѣ было отчего радоваться. Всѣ нравственныя муки, всѣ неразрѣшимыя нравственныя загадки для него оканчивались съ поселеніемъ въ деревнѣ. Она, эта самая деревня, должна дать дѣтямъ Ивана Ивановича; во-первыхъ — физическое здоровье, котораго не дадутъ ни гимнастики, ни прогулки въ скверахъ, ни дорогіе доктора. Деревня дастъ все это такъ, даромъ. Во-вторыхъ — она дастъ необходимыя прочныя начала нравственности. Въ то время, когда ни педагогія, ни тѣмъ менѣе самъ Иванъ Ивановичъ не могутъ просто и ясно познакомить дѣтей съ причинностью явленій и человѣческихъ отношеній, деревня дастъ все это, простосердечно передавъ дѣтямъ теплую вѣру въ Бога и зародивъ такимъ образомъ зачатокъ связной мысли, пробудитъ искренность чувства и дастъ ему пищу въ простотѣ и деревенской откровенности человѣческихъ отношеній. Въ-третьихъ — она-же, эта самая деревня, уничтожитъ ненужное и губительное въ дѣтяхъ сознание неравенства между людьми, котораго нельзя никакимъ образомъ избѣжать въ столицѣ. Дѣти будутъ въ толпѣ крестьянскихъ дѣтей приучаться жить въ обществѣ человѣческомъ, начнутъ понимать, что такое жизнь.

Словомъ, Иванъ Ивановичъ, рѣшивъ «позаимствовать», черпалъ въ своихъ планахъ конечно щедрою рукою изъ непочатой деревенской жизни. По крайней мѣрѣ по пятнадцати существеннѣйшимъ вопросамъ деревня должна была позаботиться услужить измучившемуся въ безплодныхъ страданіяхъ Ивану Ивановичу. И мы были ужасно рады, что обуза наконецъ снята съ плечъ, или будетъ снята въ самомъ скоромъ времени. Петербургъ и вообще «паршивая цивилизація», само собою разумѣется, подвергались величайшей критикѣ, такъ какъ они рѣшительно не даютъ ни малѣйшей возмож-

ности къ мало-мальски здоровому нравственному развитію и совѣстливому существованію на бѣломъ свѣтѣ. — «Что такое въ самомъ дѣлѣ эта хваленая цивилизація, этотъ великолѣпный Петербургъ? Одна ложь — больше ничего! Вранье, жадность и ложь съ утра до ночи». Иванъ Ивановичъ приводилъ въ примѣръ себя: оказывается, что онъ, наприимѣръ, «ничего много не дѣлаетъ, какъ врать направо и налѣво, съ утра до ночи, конечно если смотрѣть на дѣло безпристрастно. Такъ какъ деревня»... Но, попавъ на дорогу всевозможныхъ сравненій, мы до такой степени были подавлены обиліемъ матеріала, что стали перескакивать съ одного предмета на другой, хвататься за что попало, и пусть поэтому читатель извинитъ, если найдетъ въ отрывкахъ этихъ сравненій, слѣдующихъ ниже, недостатокъ послѣдовательности въ мысляхъ, а иногда, повидимому, и просто бессмыслицу, это такъ только кажется, глядя поверхностно; на дѣлѣ-же нами руководила совершенно ясная для насъ мысль, именно: въ Петербургѣ, вообще въ городѣ, — все ложь, а въ деревнѣ — все правда. Ложь — вся эта жадная ежедневная суеда, этотъ шумъ и блескъ, все — ложь. Солдаты идутъ съ барабаннымъ боемъ — ложь! Чиновники съ портфелемъ бѣжать, какъ помѣшанный, — ложь! Барыня съ собачкой — чистая комедія! А въ деревнѣ нѣтъ ни стука, ни грома, ни блеска: все здѣсь чистосердечно и правдиво. Вонъ на горѣ храмъ, бѣдная сельская церковь... трогательный жалобный звукъ колокола... искреннія слезы старушки... кресты надъ могилами истинныхъ тружениковъ... Пастырь, сѣденый старичокъ, идетъ по косогору... съ палочкой... все просто, хорошо, правдиво!.. И солнце свѣтитъ привѣтливо. А въ Петербургѣ? А въ Петербургѣ чтобы солнце-то видѣть — и то надо ѣхать на лошадяхъ верстъ за двадцать, на «пунантъ»; да и на пунантъ-то оно закатывается не въ море, а за полицейскую будку. Нечего сказать, природа! А въ деревнѣ дѣйствительно, если природа — такъ природа, а не будка; лошадь — такъ лошадь, овца — такъ овца; вѣтеръ, птица на вѣткѣ, рыба въ рѣчкѣ, козель, баранъ, или наприимѣръ дерево — все это натурально, просто, все сущая правда. Это вовсе не то, что какіе-нибудь кубики, лунтики, плетение и вообще всякая ерунда.

До глубокой полночи продолжали мы разговаривать, дѣлая эти нѣсколько беспорядочныя, но въ высшей степени оживленныя и яркія параллели между живыми явленіями цивилизаціи, которая олицетворялась Иваномъ Ивановичемъ въ видѣ неусыпающаго лганья, и деревенскими добрыми и простыми нравами. Я не привожу ихъ во всей подробности, потому что боюсь утомить читателя, но, говоря вообще, въ пользу деревни оказалось такое множество всевозможныхъ преимуществъ, что болѣе или менѣе понимающему человеку, вроде Ивана Ивановича, было бы просто глупо не поживиться чѣмъ-нибудь у такой богачки, какъ деревня.

Радостное состояніе наше, прерванное на нѣсколько часовъ сномъ, вновь возобновилось утромъ, когда мы наконецъ доѣхали до станціи, гдѣ долж-

ны были выйти. Было чудеснѣйшее весеннее утро. Весна была въ самомъ началѣ, вода бѣшенными потоками бурлила въ оврагахъ и бойко, непрерывно журчала подъ рыхлыми, но еще толстыми слоями снѣга, котораго вездѣ — и въ полѣ, и на дорогѣ — было довольно. Выйдя на крыльцо станціи, мы были поражены необыкновенной тишиной, въ которой отчетливо слышалось стоявшее въ воздухѣ непрестанное журчаніе — точно щебетанье — таявшаго снѣга. И небо было молодое, даже молоденькое, и деревья влажные — точно выкушавшіяся и отдыхающія. А воздухъ! воздухъ такъ и ломилъ въ грудь, ломилъ такую массою здоровья и свѣжести, что не хватало крови и легкиѣ, чтобы поглотить ее. Онъ пьянилъ, утомлялъ.

Полустанокъ былъ маленький, незначительный; около него лѣпилось всего два-три домика, изъ которыхъ одинъ былъ постоянный дворъ. Домики были опрятные, зеленые какіе-то, съ желтыми цвѣтами на ставняхъ и съ ярко-малиновыми крышами. Какой-то сѣденькій мужичокъ въ лаптяхъ и армячкѣ, старшій, сухенькій, но легкій на ногу и проворный, подбѣжалъ къ намъ, точно по воздуху прыгнулъ — такъ неслышно и легко ступалъ онъ своими лаптями по проталинкѣ — и пригласилъ на постоянный дворъ. Этотъ мужичокъ какъ нельзя лучше поддерживалъ наше дѣтское расположение духа. Онъ проводилъ насъ на постоянный дворъ, привелъ въ чистую комнату наверхъ, добылъ хозяйку, и все проворно, но не спѣша — такая у него была натура «легкая». Молоко, которое принесла намъ степенная хозяйка, было въ самомъ дѣлѣ въ высшей степени ароматическое и такое густое, что облипало губы, какъ самая густая масляная краска, и стиралось съ величайшимъ трудомъ. Маленькій, кособокій, но ясный, какъ солнце, мгновенно всплывшій подъ руководствомъ проворнаго старичка самоваръ былъ для насъ миль въ эти минуты необыкновенно. Но всего былъ милѣй старичокъ, котораго звали Карпійемъ. Онъ самъ называлъ себя такъ — не Карпомъ, а Карпійемъ.

Напившись чаю, мы вышли на крыльцо, около котораго Карпій запрягалъ намъ лошадей. И тутъ въ нѣсколько минутъ, со свойственною всей его натурѣ легкостью и проворствомъ, онъ успѣлъ познакомить насъ чуть ли не со всей своей исторіей и съ задушевнѣйшими своими убѣжденіями.

Оказалось, что этотъ человѣкъ былъ почти не отъ міра сего. Не по немъ, не по его впечатлительной душѣ была тяжелая крестьянская лямка, докучливая жизнь на міру... Его съ дѣтства тянуло странствовать, перемѣнять мѣста, не грѣшить съ людьми, что неизбежно для человѣка, прилѣпившагося къ мѣсту: и, повинуваясь этимъ влеченіямъ природы, онъ много видѣлъ на своемъ вѣку и людей, и мѣстъ, вырабатывая кусокъ хлѣба чѣмъ придется. «Поживу, покуда поживется, а отъ худова — уйду!» Была въ его глазахъ какая-то, такъ сказать, придураковатость, но придураковатость нѣжная. — «Уйду, не люблю ссоры, потому въ ссорѣ, храни Богъ, сорвется съ языка нечистое слово — а ужъ это хуже всего!» Карпій объ-

яснилъ намъ, что во многомъ онъ грѣшенъ, а чтобы обругать кого — нѣтъ! этого Богъ миловалъ! Ни разу въ жизни онъ никого не обозвалъ худымъ словомъ, не то чтобы лукаваго помянуть! При послѣднемъ словѣ Карпій плюнулъ даже. Какъ доказательство своей непоколебимой вѣрности этому убѣжденію, онъ показалъ намъ руку, кисть и палецъ которой были всѣ переломаны и срослись въ какія-то комбинаціи. Эту руку лѣтъ 20 тому назадъ ему изуродовали на Волгѣ. Былъ онъ въ партіи бурлаковъ, и на ночлегъ, на берегу, Карпиева партія изъ за какихъ-то причинъ затѣяла драку съ другой партіей, ночевавшей неподалеку. Драка съ берега перешла на воду; Карпій, очутившись въ водѣ, сталъ хвататься руками за край какой-то лодки, а его колотили несломъ по рукамъ: — «И тутъ я вытерпѣлъ, чернаго слова не молвилъ!» Карпій тряхнулъ сѣдой головой, и радовалось его лицо этому хорошему, угодному Богу поступку.

Не мало удивлялъ онъ насъ въ пути удивительнѣйшими сообщеніями объ удивительнѣйшихъ вещахъ. Перебѣзжали мы небольшую рѣчку по снѣжному рыхлому уже льду: разговоръ невольно зашелъ объ опасности этой переправы. Карпій увѣрилъ, что рѣчка не глубока; но когда мы перешли на другой берегъ, завелъ рѣчь о томъ, что нечего пугаться, что Господь навѣрное умудритъ человѣка. Человѣкъ своимъ человѣческимъ умомъ ничего не придумалъ, а Богъ умудритъ, да такъ, что только диву даешься. И въ доказательство своихъ словъ загадалъ такую задачу: что бы, наприимѣръ, надо было дѣлать, ежели бы паче чаянія пришлось провалиться не на эдакой рѣчечкѣ, а на широкой и глубокой рѣкѣ? Положимъ, человѣкъ — тотъ уползетъ по льду, а какъ съ лошадыю быть? тащить ее — силъ нѣтъ; подводить веревку подъ животъ — напрешъ на края полыньи, провалишься и съ лошадыю. Какъ тутъ быть?

Задавъ загадку, Карпій помолчалъ, выжидая, и произнесъ, хитро улыбаясь:

— А есть средство.

— Есть?

— Е-есть!

И объяснилъ это средство. Оказалось въ самомъ дѣлѣ нѣчто удивительное: надо, по его словамъ, просто удавить лошадь, сразу захлестнуть ей «удавную петлю»; при этомъ она заглотнетъ такое количество воздуха, что ее всю вспучитъ» вдругъ, и она сама выплыветъ, какъ пузырь; тутъ ее тащи за хвостъ, и петлю опускай по капелькѣ, по вершечку. Съ полчаса полежитъ и встанетъ.

Если это и неправдоподобно, то все-таки весьма остроумно придумано. И мы съ Иваномъ Ивановичемъ не мало разговаривали о народномъ, непосредственномъ умѣ, его нетронутыхъ, природныхъ богатствахъ, и опять убѣдились, что есть тутъ чѣмъ поживиться образованному и обезпеченному человѣку.

Но Карпій скоро еще болѣе поразилъ насъ, сообщивъ такое «средство», въ которомъ не было

ни малѣйшаго человѣческаго смысла и которое въ то же время было весьма замѣчательно.

— Такія-ли еще бывають средства-то! таинственно и ласково заговорилъ онъ, слушая наши разсужденія объ «удавной» петлѣ. — Есть, господа вы мои, такія средства, только — а-ахъ!...

— Есть?

— И-и!

— Какія, напримѣръ?

Каршій обернулся къ намъ, поѣхалъ тихо и сказалъ, почему-то понизивъ голосъ:

— Объ чемъ, спрошу я тебя, скотина разговариваетъ?

Иванъ Ивановичъ, повидимому, совершенно не ожидалъ такого вопроса.

— Я не знаю! сказалъ онъ, какъ ребенокъ, застигнутый врасплохъ.

— А вотъ есть средство!.. Узнаешь, что говорить, примѣрно, овцы, коровы, лошади; всѣ ихнія мысли — все!

— Да зачѣмъ-же это?

— Какъ зачѣмъ? Мало-ли что человѣку знать желательно, да Богомъ ему не дано. Примѣромъ скажемъ — падежъ, болѣзнь, хворь какая... Пойдетъ скотина валяться, человѣкъ не знаетъ причины, а скотинѣ знаетъ. Она еще когда знаетъ это! Примѣромъ, возьми такъ: ѣдешь ты со двора, а лошадь нейдетъ, упирается — что молъ такое? Ударилъ ее кнутомъ, побилъ, поѣхалъ — хватъ, волки напали! Видишь вотъ, она-то знала, а ты-то не зналъ... Вотъ человѣкъ и добивается...

— И точно есть средство?

— Есть. Но только ужъ извини, ужъ это не отъ Бога!.. Нѣтъ! Богъ не положилъ этого человѣку. А это ужъ дѣло... того самаго... черненькаго... Его! Вотъ то, что я напередъ сказывалъ, объ лошади — то отъ Бога, а это — отъ черномазаго... Это ужъ онъ наушаетъ.

— А все-таки наушаетъ?

— Вота!.. Ка-ахъ!!

— Ну, какое же средство-то?

— А вотъ какое: первое дѣло, надобно сказать, скотина разговариваетъ всего-на-всего разъ въ годъ, какъ-разъ подъ новый годъ, въ полночь. Тутъ у ней идетъ предсказаніе, что съ кѣмъ будетъ. Видишь. Вотъ, другъ ты мой, подъ самый-то подъ новый годъ требуется тебѣ первымъ долгомъ хлѣбецъ благовѣщенскій скушать съ четверговою солью. Первое это дѣло. Скушалъ ты хлѣбецъ, надѣвай шапку и шубу шерстью вверхъ, а самый корень всему дѣлу — кость человѣчья: откуда хочешь, доставай кость отъ человѣчьей ноги: и какъ ты кость досталъ, иди въ полночь въ хлѣвъ и садись въ уголъ, а кость приставь къ уху — тутъ все и окажется. Сейчас и услышишь, какъ одна лошадь другой говоритъ: — «А меня, напримѣръ, на Покровъ волкъ будетъ поджидать». Другая ей: «Гдѣ-молъ?» — «Тамъ-то!» Ну, кто знаетъ, и не ѣдетъ тѣмъ мѣстомъ. Вотъ какое средство! Ну, только ужъ отъ нечистаго, отъ него. Это дѣло не Божіе, говоритъ нечего...

— Да вѣдь это... изобрѣтеніе! воскликнулъ

Иванъ Ивановичъ: вѣдь это — телефонъ какой-то! Помилюте, съѣшь то-то, надѣнь такъ-то, приставь къ уху... Какая точность, опредѣленность!..

И опять мы поговорили объ народѣ и похвалили...

Усадьба, въ которую мы доѣхали часа черезъ два, была какъ нельзя больше подходяща къ нашему тогдашнему настроенію. Особенно поразило насъ обоихъ то, что она совершенно соотвѣтствовала нашимъ дорожнымъ мечтаніямъ, даже по внѣшнему виду — и горка, и на горкѣ храмъ сельскій, ветхій, съ жалобнымъ колоколомъ. Даже старичокъ съ палочкой — и тотъ оказался на своемъ мѣстѣ: именно шелъ по кособогу ко храму... Солнце тоже было на своемъ мѣстѣ и въ томъ самомъ видѣ, какъ рисовалъ себя Иванъ Ивановичъ, т. е. оно привѣтливо, щедро разсыпало свои благотворные лучи. Усадьба, стоявшая на пригоркѣ, въ саду, была вся залита солнечными лучами; словомъ, все было привѣтливо, просто, тихо и покойно, все и все намъ понравилось. Понравилась усадьба, понравились мужики, снимавшіе шапки, и видъ мѣстности, и храмъ, и рѣчка, которая еще только воздушалась подо льдомъ, словомъ — все какъ нельзя больше соотвѣтствовало нашимъ желаніямъ. Иванъ Ивановичъ былъ просто въ восхищеніи... Съ двухъ словъ усадьба была нанята на круглый годъ, задатокъ данъ, условились о времени переѣзда, о необходимыхъ починкахъ; постояли на крыльцѣ, выходящемъ въ садъ, помечтали о томъ, какъ все это будетъ хорошо лѣтомъ, закусили у аренда-торши усадьбы, чѣмъ Богъ благословилъ, но съ удовольствіемъ и немнѣющимъ аппетитомъ, и тронулись въ обратный путь. Необходимость возвратиться въ Петербургъ заставила насъ вновь завести рѣчь о прелестяхъ деревни и о неприя-тияхъ столицы; но я передавать ихъ не буду.

V.

Къ величайшему моему сожалѣнію, мнѣ не пришлось быть личнымъ свидѣтелемъ опыта, предпринятаго Иваномъ Ивановичемъ и начатаго, казалось, при весьма благоприятной обстановкѣ, такъ какъ все лѣто я провелъ совершенно въ другой мѣстности Россіи. Передаю поэтому о результатахъ опыта со словъ Ивана Ивановича, съ которыми мы встрѣтились уже осенью. Заглянувъ какъ-то въ началѣ сентября въ его квартиру, я нашелъ не только самого Ивана Ивановича, но и все его семейство, которое по первоначальному плану должно бы было жить еще въ деревнѣ. Разумѣется, первое, о чемъ спросилъ я, было: «какъ онъ провелъ лѣто въ деревнѣ, увѣнчались-ли его надежды какимъ-либо успѣхомъ, и почему наконецъ его семейство такъ равно возвратилось въ городъ?» На послѣдній вопросъ Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ просто: «не приходится», потому сослался на темныя осеннія ночи, непривычныя для людей, жившихъ десятки лѣтъ въ городѣ; на вопросъ же о томъ, хорошо ли ему было въ деревнѣ, отвѣчалъ: «Ни-че-го», но при этомъ произнесъ: «Но...» и умолкъ. Вскорѣ, когда мы успѣли за чай въ его кабинетѣ, онъ опять нѣсколько разъ говорилъ мнѣ,

что «вообще ничего», но опять всякій разъ представляя частицу *но*, а къ этой частицѣ какую-нибудь сценку, замѣчаніе, фактъ. Слушая эти отрывочные замѣтки, факты, сценки, рассказываемые безъ всякой послѣдовательности и, очевидно, безъ достаточной яркости, я тѣмъ не менѣе пришелъ къ убѣжденію, что Иванъ Ивановичъ потерпѣлъ полное фіаско, что ему на этотъ разъ не удалось «пожизниться» и, сколько я могу судить, основываясь на сообщеніяхъ, весьма отрывочныхъ, по слѣдующимъ причинамъ.

Главнѣйшею причиною неудачи Ивана Ивановича было то, что онъ никимъ образомъ не могъ добиться отъ народа мало-мальски искреннихъ человеческихъ отношеній, такихъ, при которыхъ, съ одной стороны, Иванъ Ивановичъ могъ бы открыть свою душу и чистосердечно сказать: «бери!», а съ другой—чтобы и народъ деревенскій также бы распахнулъ свое нутро, также бы радушно сказалъ Ивану Ивановичу:—«получай, баринъ, тепло-то!» Даже и тѣмъ такимъ отношеніямъ онъ не могъ добиться отъ народа. И не мудрено: у Ивана Ивановича—большой окладъ. Поэтому едва Иванъ Ивановичъ поселился въ деревнѣ, какъ деревня поняла, что за ея долготерпѣніе Господь послалъ ей доходную статью. Очевидно, баринъ живетъ на готовыхъ деньги—очевидно, онъ долженъ потреблять, тратить деньги—и вотъ, съ первыхъ же дней по пріѣздѣ, между усадьбой, гдѣ жилъ Иванъ Ивановичъ, и деревнѣ, гдѣ обитали мужики, установились самыя неискреннія отношенія: ни одинъ человѣкъ не приближался къ усадьбѣ «безъ своекорыстныхъ цѣлей». Вотъ идетъ мужичокъ, идетъ повидимому просто поговорить, побесѣдовать, что особенно было бы пріятно Ивану Ивановичу, который съ удовольствіемъ вспоминалъ простосердечнаго Карпія—а глядишь, на дѣлѣ окажется, что онъ, этотъ простосердечный-то человѣкъ, пришелъ только затѣмъ, чтобы заставить Ивана Ивановича брать у него мясо. Случилось Ивану Ивановичу отказать: этотъ человѣкъ, встрѣтившись на другой день, и не поклонился, точно въ глаза не видалъ онъ Ивана Ивановича.

Съ первыхъ же дней вокругъ усадьбы образовалась какая-то непрерывная цѣпь «своекорыстныхъ» людей, которые толпились вокругъ пріѣзжей семьи именно только потому, что она платила за масло, за куръ, за мясо, за рыбу, за ягоды. Сквозь эту цѣпь своекорыстныхъ людей не было никакой возможности пробраться къ *настоящему* безкорыстному деревенскому люду, а въ послѣдствіи Иванъ Ивановичъ убѣдился, что еслибы ему и удалось прорвать цѣпь и пробиться сквозь ряды непріятеля, то и тамъ, въ деревнѣ, гдѣ безкорыстіе-то должно находиться, и тамъ, едва только Иванъ Ивановичъ приближался къ безкорыстному человѣку, какъ этотъ человѣкъ превращался въ корыстолюбиваго и съ первыхъ же словъ говорилъ что-нибудь вроде слѣдующаго:—«Эхъ, баринъ, связались вы съ Антошкой! Позвольте, я вамъ на пробу зарѣжу теленка!» Словомъ, вездѣ и всюду Ивана Ивановича преслѣдовала жажда деревенскихъ людей «пожизниться» не по части

СОЧ. ГЛ. УСПЕНСКАГО Т. II.

нравственныхъ богатствъ, какъ хотѣлъ пожить-ся самъ Иванъ Ивановичъ, а просто насчетъ денегъ. Старушка ли придетъ, расскажетъ сказочку—проситъ внучкамъ на гостинцы, проситъ старыхъ сапогъ, шапки... Старичокъ ли придетъ про старыя времена поговорить—тоже проситъ, а чуть Иванъ Ивановичъ не дастъ—пересталъ ходить. Словомъ, какъ только прерывалась денежная связь, такъ прерывалось даже шапочное знакомство.

Одинъ фактъ возмутилъ Ивана Ивановича жестокою, въ отношеніи корыстолюбія, до глубины души. Старичекъ со старушкой доставляла молоко дѣтямъ Ивана Ивановича, доставляла по извѣстной цѣнѣ. Однажды по случаю пріѣзда гостей второпяхъ взяли молоко не у старика и старушки, а въ другомъ мѣстѣ, поближе взяли, чтобы не идти далеко, а главное заплатили тремя копейками дороже. И что же? Старичокъ со старушкой прекратили носить молоко, зная, что отъ этого разстроится здоровье ребенка, для котораго оно бралось, зная, что дѣти даже умираютъ отъ перемѣны молока, и все для того, чтобы «пришереть» Ивана Ивановича и заставить его платить тремя копейками дороже? Очевидно, онъ можетъ платить, если заплатилъ.—«Ты отчего же мнѣ *просто* и *откровенно* не сказалъ, что тебѣ нужно три копейки? Зачѣмъ же мучить ребенка-то?» протестовалъ Иванъ Ивановичъ.—«А ты-то, отвѣчалъ старичокъ:—отчего мнѣ *откровенно* по одиннадцати-то копейкѣ не платилъ? Небось по восьми все время платилъ... тоже, поди, откровенно!»

Что дѣлалъ мужичокъ, поставлявшій мясо—уму непостижимо. Обыкновенно, зарѣзавъ теленка, онъ развозилъ его пункта въ три; но лѣтомъ, когда рабочая пора и время дорого, этотъ мужичокъ рѣшилъ не ѣздить никуда, а всю телушку вручить Ивану Ивановичу. Онъ такъ и дѣлалъ. Основываясь на томъ, что «семейству безъ мяса невозможно», а достать его негдѣ, приходилось брать цѣлую телушку и бодѣ половины выкидывать собакамъ. Въ теченіе трехъ лѣтнихъ мѣсяцевъ Иванъ Ивановичъ съ семействомъ «сѣбли» двадцать восемь телятъ и пять коровъ, что достаточно было бы для батальона солдатъ. Но что! это пустяки. Одинъ парень, который почему-то «*поправился*» Ивану Ивановичу и которому послѣдній однажды сказалъ объ этомъ—какъ-то, подгулявъ во время сельскаго праздника, прямо потребовалъ отъ Ивана Ивановича «деньжонокъ!»—«За что?»—«Да такъ. Самъ говоришь, поправился, а денегъ не платишь! Это, братецъ мой, не модель—такъ-то! Не по господски!..»

А дѣти Ивана Ивановича? Дѣти конечно не подозрѣвали о тѣхъ терзаніяхъ, которыми агонизировалъ ихъ родитель, и безопасно «играли» на вольномъ деревенскомъ воздухѣ; но Иванъ Ивановичъ ясно видѣлъ, что имъ такъ-же, какъ и ему, ничего пожалуй не придется позаимствовать. Конечно воздухъ былъ чудесный, здоровый, солнце закатывалось не за бугоръ, а за лѣсъ, освѣщая его, какъ роскошный дворецъ, чудными, какъ золото, яркими лучами; травки и цвѣточки были дѣйстви-

только настоящие, чистенькие, душистые, а ключъ, журчавшій изъ-подъ горы, былъ чистъ, какъ слеза. Все это было хорошо и благотворно дѣйствовало на душу, молоко тоже было душистое и густое. Но не хорошо то, что къ концу лѣта на дѣтихъ обнаружилась какая-то сыпь, которая, по словамъ нарочно выписаннаго врача, оказалась весьма подозрительною. Не хорошо, что старичекъ и старушка, которые все лѣто доставляли душистое молоко, по разслѣдованію доктора оказались не совсемъ здоровыми и едва-ли не принесли съ собою нездоровье въ семью Ивана Ивановича. У старичка и у старушки оказались на рукахъ и на ногахъ какія-то раны, надъ которыми докторъ только покачалъ головой. — «Отчего-жъ вы не лечитесь?» — «Какъ не лечимся — лечимся». — «Я, сказалъ старичокъ, — двадцать седьмой годъ лечусь!» — «Чѣмъ?» — «А слюнями мажу, да золой присыпаю! Оно и подсыхаетъ!» У старичка и у старушки оказались дѣти, женатые и семейные, маленькіе внучата, игравшіе вмѣстѣ съ дѣтьми Ивана Ивановича, и у всѣхъ ихъ послѣдовательно, изъ поколѣнія въ поколѣніе, переходитъ одинъ и тотъ-же способъ леченія, конечно вмѣстѣ съ недугомъ. Разумѣется, Иванъ Ивановичъ долженъ былъ устранить и старичка, и внучатъ, и сосредоточился на леченіи, позабывъ, что цѣль его состояла не въ позавистованіи болѣзни, а въ чѣмъ-то другомъ.

Тѣмъ не менѣе все лѣто вплоть до обнаруженія злосчастной сыпи, дѣти Ивана Ивановича ежедневно находились въ обществѣ крестьянскихъ дѣтей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Ивановичъ видѣлъ, что въ расчетахъ своихъ ошибся. Дѣти крестьянскія были чисты душою и сердцемъ, но въ этой крестьянской чистотѣ отражалась только голая дѣйствительность, которая къ тому-же отражалась съ безпощадной фотографической вѣрностью. Дѣтскій умъ и душа принимали все, что эта дѣйствительность предлагала имъ, а она предлагала въ большинствѣ случаевъ матеріалъ далеко не кристальнаго достоинства.

Въ деревнѣ, напримѣръ, поймали почталыона, который хотѣлъ было утащить сумку съ деньгами. Ребятишки играютъ въ вора, и блистательно, т. е. художественно и вмѣстѣ съ тѣмъ фотографически вѣрно, исполняютъ это представленіе. По всѣмъ комнатамъ и черезъ комнаты на дворъ несется въ садъ толпа ребятишекъ, лѣтъ до десяти въ среднемъ возрастѣ, догоняють вора. Воръ, какъ вѣтеръ, несется съ сумкой, закинувъ голову назадъ, прижавъ сумку къ груди, весь потный и блѣдный. Вотъ онъ спотыкнулся о бревно — и вся оравая, гнавшаяся за нимъ, наваливается на него: «Веревку! давай кушакъ! вяжи ему руки! А! ты отбиваться! Утымай, Егорка, сумку, отдавай «начальнику»! Сумка отнята, воръ связанъ; онъ усталъ, онъ еле стоитъ на ногахъ, волосы у него спутаны; словомъ, онъ отлично исполняетъ роль вора, котораго «поймали», «связали». Но и не одинъ онъ, а вся толпа вѣрна дѣйствительности до мелочей. Кто такой воръ? Сынъ одного деревенскаго бобыля, красильщика, чело-вѣка, который просидѣлъ годъ въ острогѣ. Ему

быть воромъ; два сына лавочника — полицейскіе. Дѣти простыхъ крестьянъ, какъ и въ дѣйствительности, — толпа, которая «содѣйствуетъ», бѣжитъ, галдитъ, исполняетъ, что прикажутъ. А дѣти Ивана Ивановича? Разумѣется, они исполняютъ господскія роли; одинъ оказывается исправникомъ, другой — становымъ. И ихъ заставляютъ съ точностью выполнять возложенныя на нихъ обязанности.

Вора поймали, связали.

— Что теперь? спрашиваютъ мужики.

— Теперь къ становому! отвѣчаютъ лавочники. Мы — десятскіе, вы — свидѣтели, а Володя съ Колей — становой и исправникъ. Володя! садись на стулъ, допрашивай!

Володя садится на стулъ, но не знаетъ, что дѣлать.

— Ругай, совѣтуютъ ему. — Ругай его на-перво: мопенникъ! каналья! уку! —

Володя ругаетъ.

— Ударь его по мордѣ!

Но Володя конфузится, а лавочники говорятъ:

— Это исправникъ его ударить! Володя! ты говори: «ведите его, подлеца, къ исправнику».

Ведутъ къ исправнику, по дорогѣ толкая вора въ спину. Коля-исправникъ сидитъ на стулѣ, но также не знаетъ, что ему дѣлать.

— Бей его сначала по щекѣ! совѣтуютъ знатоки.

Коля затрудняется, но ему говорятъ:

— Ты такъ, невзавраду, коснись только! Ну, теперь приказывай: «въ холодную его, шельму!»

— Въ холодную его, шельму!

Вора сажаютъ въ холодную на лѣстницу, ведущую на чердакъ, и лавочниковы дѣти припираютъ дверь палкой.

— Вотъ такъ-то, говоритъ десятскій: — посиди-ка, другъ любезный, въ тепломъ мѣстѣ.

— Что-жъ теперь? спрашиваетъ исправникъ.

— Ты молчи; теперь онъ прощенья будетъ просить, а ты не слушай.

И точно, запертый въ холодной воръ такимъ рыдающимъ голосомъ, съ такими надрывающими душу мольбами начинаетъ умолять о помилованіи, что у исправника немедленно-же глаза наливаются слезами.

— Выходи, Миша! говоритъ онъ жалобно, забывшая, что онъ — исправникъ.

Но тутъ ужъ самъ воръ дѣлаетъ ему замѣчаніе.

— Такъ нельзя скоро! уже своимъ и нѣсколько обиженнымъ голосомъ отзывается онъ изъ-за двери. — Какая-же это игра будетъ? Ты меня до-олго не пушай! Я буду вопить, а ты мнѣ кричи: «нѣтъ тебѣ, подлецу, пощады!»

И начинается вопль. Мальчикъ-воръ навѣрное слышалъ этотъ вопль, раздражающій душу, отъ отца, котораго тоже сажали въ острогъ, отъ матери, которая, навѣрно, рыдала и выла, горюя объ участи мужа, и онъ истинно артистически выполняетъ эту сцену. Но исправникъ уже старается не плакать, чтобы не испортить игры, пріучается не слышать этихъ воплей и твердитъ: «нѣтъ! нѣтъ!».

— Ну, будетъ! говоритъ самъ воръ и толкаетъ дверь.

Его выпускаютъ. Порядокъ спектакля требуетъ, чтобы за тюрьмой слѣдовало нагазаніе «скрозь строй!».

— Сколько прикажете дать ударовъ? спрашиваютъ лавочники.

— Сто! говоритъ исправникъ, не умѣющій считать до десяти.

— Ну, что больно много! возражаетъ воръ. — Эва!

— Двадцать—будетъ! говорятъ мужики.

Приносятъ прутья, «силомъ» валяютъ вора на полъ. Исправнику совѣтуютъ кричать: «бей сильнѣй!» Воръ, само собой разумѣется, «вдопять», но все слабѣй и слабѣй: это значитъ, что его «засѣкаютъ». Наконецъ онъ умолкаетъ. Онъ безъ памяти. Десятскіе и мужики на рукахъ несутъ его и кладутъ на большую плетеную корзину.

— Это лазаретъ!

Игра кончилась.

Не нравится вамъ эта игра—вотъ другая. «Пропиваютъ» невѣсту, сватья ѣздятъ изъ одной деревни въ другую, останавливаются въ кабакахъ, выпиваютъ, шатаются, валяются... Словомъ, все, что даетъ дѣйствительность, и что всего обиднѣе казалось Ивану Ивановичу—что его дѣтямъ, какъ дѣтямъ господскимъ, отводилась въ этой дѣйствительности, во имя самой сущей правды, болѣею частью неблагодарная, непріятная роль барина, причѣмъ этими играми развивались иногда самыя нежелательныя качества. Баринъ бьетъ, наказываетъ—это нехорошо; но и право миловать, въ которомъ игра уѣбрала дѣтей, благодаря своей правдивости, — тоже не особенно нравственное право.

Плоха, забита, груба была жизнь; жестки ея впечатлѣнія. И въ результатъ, какъ казалось Ивану Ивановичу, извѣстная доля жестокосердія или по крайней мѣрѣ равнодушія ко многому, что требуетъ сочувствія и должно вызывать состраданіе. Вотъ, на примѣръ, сценка:

Прѣѣхалъ подъ окна усадьбы мужикъ. На телѣгѣ стоитъ кадушка, а въ кадушкѣ теленокъ. Дѣти и нѣ деревенская компанія смотрятъ на мужика, на телѣгу и на кадушку, стоя въ садикѣ.

— Теленокъ продаю! говоритъ мужикъ.

— А гдѣ теленокъ?

— А вотъ, въ кадушкѣ.

— Зачѣмъ въ кадушкѣ?

— Да еще онъ маленекъ. двѣ недѣли нѣту... Онъ еще и на ногахъ не стоитъ.

— Покажи намъ теленочка.

— А поглядите, съ моимъ удовольствіемъ.

Дѣти облѣпили телѣгу. Мужикъ открылъ дерюгу и оттуда выглянула красивенькая мордочка, тепло дохнула на дѣтскую руку, поглядѣла добрыми дѣтскими глазами, какой-то звукъ издавала.

— Какой хорошенькій!..

— Славный теленокъ, только мало кормленъ. Что ребенокъ малый!.. Ему молочка надобно, а нѣту молочка-то, вотъ и продаю.

Выходитъ кухарка и торгуетъ теленка.

— Купи, купи! кричатъ дѣти.

Теленка покупаютъ. Мужикъ на рукахъ несетъ

его неуклюжую-дѣтскую фигуру, кое-какъ устанавливаетъ на слабыя ноги къ частоколу палисадника, и, когда всѣ любятъ его, спрашиваетъ кухарку:

— Сами рѣзать будете, али мнѣ?

И привыкаютъ дѣти не плакать и смѣяться, «какъ рѣжутъ», и потомъ кушать.

Не счастливилось Ивану Ивановичу и по частіи того старичка, который по кособоку съ палочкой въ рукахъ обыкновенно направлялся къ ветхому храму. Отецъ Іоаннъ былъ точно старичокъ, и съ палочкой; нѣсколько разъ заходилъ онъ къ Ивану Ивановичу попить чаю, но, увы! не вынулъ ни какого «простого міросозерцанія о премудрости Творца въ твореніяхъ его», а, напротивъ, велъ самую практическую бесѣду. То расскажетъ, какъ одинъ телеграфистъ, воспользовавшись тѣмъ, что телеграммы пишутся карандашомъ, стеръ текстъ у старой телеграммы и написалъ на имя извѣстнаго въ городѣ богача «выдать такому-то полторы тысячи» — предъявилъ и получилъ. «Ловко! Нѣтъ, вѣдь какъ ловко-то!» присовокупляетъ старичокъ съ палочкой. То попроситъ сочинить ему (самъ старичокъ слѣпъ) доносъ на благочиннаго или отвезти на станцію и бросить въ ящикъ доносъ, сочиненный имъ самимъ... Вообще мало было теплаго и дѣтски-наивнаго въ словахъ старичка. Копѣйка и добродушно дѣтская зависть къ копѣйкѣ — это слышалось чаще въ его рѣчахъ.

Въ общихъ чертахъ оказалось, что не въ Петербургѣ, а именно въ деревнѣ дѣти Ивана Ивановича узнали, что они не мужики, а господа, и имѣютъ поэтому право карать, прощать и не прощать; получили нѣкоторую крѣпость нервовъ, причувствовали бытъ нечувствительными во многихъ, весьма драматическихъ случаяхъ; затѣмъ получили какую-то сыпь, требующую серьезнаго леченія, и наконецъ приобрѣли самое обстоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ. Если педагогія, какъ мы видѣли, только сухо констатировала фактъ существованія дьявола, то деревня разработала этотъ вопросъ во всѣхъ подробностяхъ. Деревенскій чортъ былъ такое же дѣйствительно существующее лицо, какъ вотъ этотъ лавочникъ, или кузнецъ, или становой. Всѣ видѣли его собственными глазами: одного онъ схватилъ въ водѣ за ногу; другой наткнулся на него въ банѣ; третьяго онъ водилъ цѣлую ночь вокругъ болота и чуть не утопилъ; четвертый «своими глазами» видѣлъ, какъ чортъ ходилъ у него по крышѣ, и ростомъ былъ болѣе четырехъ сажень. Разказы обо всемъ этомъ отличались конечно необыкновенною реальностью, а слѣдовательно неотразимо дѣйствовали на воображеніе. Чувство страха, почти паническаго, до сихъ поръ совершенно незнакомаго дѣтямъ Ивана Ивановича, передъ невѣдомымъ, таинственнымъ зломъ было также однимъ изъ приобретѣній, «цозаимствованныхъ» у деревни. Правда, дѣти Ивана Ивановича совершенно отвыкли врать, къ чему начали-было привыкать въ городѣ; деревня во всемъ поступала совершенно правдиво по сущей совѣсти,

но Иванъ Ивановичъ, въ концѣ-концовъ, всѣмъ этимъ далеко былъ неудовлетворенъ, и въ его головѣ зрѣло новое рѣшеніе, о которомъ мы свое-временно узнаемъ.

VI.

Прежде нежели продолжать рассказъ объ опытахъ, которые Иванъ Ивановичъ Полумракъ счелъ нужнымъ произвести надъ своими дѣтьми, послѣ неудачи съ «деревней», я долженъ сказать нѣсколько словъ, какъ въ объясненіе причинъ личнаго моего вниманія къ этимъ опытамъ, такъ и въ объясненіе собственнаго моего на нихъ взгляда. Опыты вродѣ тѣхъ, какіе производилъ и производитъ Иванъ Ивановичъ, могутъ имѣть нѣкоторый интересъ только при извѣстномъ освѣщеніи, то-есть при изученіи ихъ съ извѣстной точки зрѣнія; а такъ какъ въ настоящемъ случаѣ эта точка зрѣнія зависитъ отъ личности наблюдателя, то я волей-неволей долженъ сказать нѣсколько словъ уже не объ Иванѣ Ивановичѣ и его дѣтяхъ, а о себѣ.

Главнѣйшее основаніе моего вниманія къ чужой заботѣ объ участи подростающаго поколѣнія, говоря откровенно, лежитъ въ собственныхъ моихъ душевныхъ скорбяхъ; а скорби эти состоятъ въ томъ, что тридцать пять лѣтъ моей жизни я прожилъ безъ капли дѣла и въ то же время безъ минуты отдыха. Коренное мое несчастье состоитъ въ томъ, что новыя времена захватили меня нѣсколько ранѣе, чѣмъ напиримѣръ были захвачены люди возраста Ивана Ивановича, и я позналъ эти времена болѣе опредѣленно, чѣмъ это могъ сдѣлать Иванъ Ивановичъ и люди его возраста. Въ то время какъ Ивана Ивановича были застигнуты ими болѣе или менѣе врасплохъ, я уже не могъ не знать, и притомъ довольно положительно, что главнѣйшее требованіе новыхъ временъ состоитъ въ томъ, чтобы всякій человѣкъ, имѣющій претензію на кое-какое образованіе, *непрерывно* дѣлалъ бы какое-нибудь добropорядочное дѣло *и непрерывно* на пользу ближнему. Будетъ барствовать! Труженикъ, столѣтіями работавшій на другихъ, начинаетъ новую эру жизни: надобно работать, и работать непрерывно въ его пользу. А что онъ нуждается въ этой работѣ, въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія: онъ только-что вышелъ изъ заключенія, голодный, холодный, измученный, забитый, полудикій и рѣшительно безпомощный во всѣхъ возможныхъ смыслахъ. Тутъ ли не найти себѣ мѣста и дѣла, особливо человѣку, знающему цѣну своимъ силамъ и готовому помириться съ какими угодно микроскопическими размѣрами поприща, лишь бы только оно имѣло связь съ добropорядочностью дѣла (непрерывно) на пользу ближнему? И что же? Вѣдь не нашлось! Не нашлось не только для людей, въ миллионъ разъ меня сильнѣйшихъ, энергичнѣйшихъ и образованнѣйшихъ, но даже и для такихъ, которые, подобно мнѣ, не фордыбачили и предъ скромнѣйшими размѣрами работы. Напротивъ, вопреки всевозможнымъ резонамъ, представляемымъ

исторіей человѣчества, ежедневнымъ и ежеминутнымъ опытомъ всенедневной жизни, эти люди рѣшительно не требовались нигдѣ, и нигдѣ не находили себѣ пристанища. Въ громаднѣйшихъ размѣрахъ потребовался молчаливый получатель всевозможныхъ жалованій, молчаливый дѣлецъ изъ-за денегъ, спеціалистъ, стучающій счетами на пользу какой-то молчаливой наживы, почти всегда немѣющей ни малѣйшей связи съ главнѣйшею задачей времени или имѣющей съ нею связь губительную, развѣдающую зачатки возникающей жизни. Повсюду открылось множество дѣлъ для наживы, только для наживы... Приходилось пристраиваться либо къ желѣзной дорогѣ, стучать счетами, сидя надъ мертвыми цифрами (такъ мнѣ казалось), либо къ банку, либо къ коммерческому предпріятію; и вездѣ, во всѣхъ вновь открывшихся для грамотнаго человѣка поприщахъ, было одно какое-нибудь желающее нажиться лицо, или цѣлая куча подобныхъ лицъ, какое-нибудь сухое, неинтересное занятіе «для хлѣба», затѣмъ физическое утомленіе, жалованье въ карманѣ—и пустота!

Очень можетъ быть, что я и ошибаюсь, что всѣ эти дѣла имѣли или имѣютъ непосредственную, а главное—благотворную связь съ задачами времени; очень можетъ быть, что взгляды мои узки, ограничены. Все это пусть будетъ такъ: но что же дѣлать, если во мнѣ какъ-то само-собою завелась закваска, развившая непремѣнное желаніе видимой, осязательной, понятной работы, и непремѣнно въ смыслъ пользы нуждающагося ближняго... Толкаясь по этимъ новымъ поприщамъ, скучая ими невыносимо, десятки разъ бросаю ихъ въ полное негодованіе и вновь волей-неволей принимаясь за то-же, я, къ великому моему удивленію, сталъ замѣчать, что требованія на безграмотнаго человѣка не только не уменьшаются, но увеличиваются съ каждымъ днемъ; даже изъ литературы стали раздаваться голоса, отгоняющіе грамотнаго человѣка отъ задачи, требующей временемъ.—«Сиди на своемъ стулѣ, стучи счетами, получай деньги и ступай прочь! Не твое дѣло, добropорядочное-ли это занятіе или нѣтъ! Получай и ступай! А не хочешь такого дѣла—опять же убирайся вонъ! Найдутся сотни тысячъ людей, которые ни о чемъ не думаютъ, не разсуждаютъ, а умиютъ считать на счетахъ, съ нетерпѣніемъ ждутъ жалованья, а, получивъ его, тихимъ манеромъ идутъ въ портерную!» Такъ кричали новыя поприща верхнихъ слоевъ. Что-же касается до новыхъ поприщъ, которыя, казалось, неминуемо должны были открыться и внизу, то во имя ихъ вовсе не слышалось призывныхъ кликовъ... Напротивъ.—Пошелъ вонъ! покрикивали рыжія, подстриженные бородки. «Не суйся! испортишь, изгадишь!...» И превосходно доказывали твою негодность на основаніи историческихъ документовъ, отчищая ими, этими бумажными документами, какъ наждачной бумагой, сѣрую дѣйствительность до степени яркоблещущаго сацовара... Выходило что-то удивительное: вверхъ скучно, пусто, а частенько и безсозвѣстно, а внизъ—не пускаютъ! «Не нужно! Убирайся вонъ! Ты интеллигенція, гни-

лушка, вонь съ глазъ моихъ!»... Хоть ложись да умирай! А безграмотный человекъ все подваливаетъ и подваливаетъ! Онъ улучшаетъ нравы и финансы, онъ умиротворяетъ, укрѣпляетъ народные идеалы, оздоравливаетъ села и города, проповѣдуетъ гигиену, водворяетъ науку и т. д., и т. д., и все это безъ разговоровъ, все въ одну минуту, и все за три копейки. Стоитъ только сказать этому расторопному человеку: «Оздорови деревню, прекрати неправду, развивай бытовые начала, улучшай нравы, вотъ тебѣ два цѣлковыхъ на расходы!». Расторопный человекъ отвѣтитъ только одно неизмѣнное «слушаю-съ», хлопнетъ нагайкой по лошади — и слѣдъ простылъ. Глядишь—все исполнилъ и даже сдачи представилъ съ двухъ рублей, за всѣми расходами, семьдесятъ-пять копѣекъ... Спрашивается, что тутъ дѣлать?

Много въ эту пору сгинуло народу. Ужъ не знаю, какъ я цѣлъ остался, какимъ образомъ не очутился въ Невѣ, не помѣшался. Я помню только цѣлые года какого-то смертоноснѣйшаго угара. Только бывало и видишь: вотъ-вотъ человекъ сойдетъ съ ума, бѣгаетъ что-то, мечется, смотреть какими-то ужасными глазами, и точно: черезъ день, черезъ два — рассказываютъ — повезли въ сумасшедшій домъ! Или придетъ кто-нибудь и извѣщаетъ, что онъ только что съ одинадцатой версты — просидѣлъ десять мѣсяцевъ. Въ то-же время въ обществѣ, жившемъ безъ *отла* и безъ *отдыха*, утомясь этимъ невозможнымъ нравственнымъ состояніемъ, стала распространяться какая-то мертвящая ханжеская доктрина, проповѣдывавшая кротость и простоту сердца, требовавшая какого-то умиленія почти предъ голой пустотой и ровно ни къ чему, ни добруму, ни худому, не обязывавшая человека. Благодаря этой доктринѣ, острая боль утихла въ человекѣ, но зато наставало состояние безчувствія и безмыслія, точъ-въ-точъ напомиравшее угаръ или обморокъ...

Вотъ именно въ такомъ состояніи находился я въ то время, когда Иванъ Ивановичъ продѣлывалъ свои опыты надъ дѣтьми: я интересовался имъ просто потому, что самъ не зналъ, что съ собой дѣлать. Я ужъ не разъ подумывалъ о томъ, какимъ-бы болѣе или менѣе приличнымъ способомъ наложить на себя руки, какъ случилась рассказанная въ предшествовавшихъ главахъ поѣздка въ деревню. Я вздохнулъ свободно, почувствовалъ себя на мгновеніе по-дѣтски легко, и во мнѣ вдругъ, съ неудержимою силою выросло желаніе, во что бы то ни стало, вырваться изъ этого пустого мѣста тяжкихъ мукъ, прекратить это позорное существованіе безъ дѣла и безъ отдыха и уйти въ деревню. И я ушелъ. Не лѣтомъ и не на дачу ушелъ я, а зимой, въ самый разгаръ зимняго сезона, и ушелъ, къ великому счастью, на работу... Работа попала крошечная, мизерная — заниматься въ конторѣ у одного помѣщика.

VII.

И что-же? Скромныя желанія мои (узнать: ну-

женъ-ли зачѣмъ-нибудь грамотный человекъ?) немедленно же по пріѣздѣ въ деревню были удовлетворены въ размѣрахъ по истинѣ неожиданнымъ. Положительно, съ перваго-же дня, на меня со всѣхъ сторонъ стали напирать такія явленія деревенской жизни, въ которыхъ я чувствовалъ и ясно видѣлъ нѣчто дававшее смыслъ моему существованію, нѣчто заставлявшее собирать, укрѣплять свои силы для видимаго, осязательнаго дѣла. Правда, дѣла эти были мелкія, не шумныя, но я до такой степени наголодался какимъ-нибудь понятнымъ мнѣ дѣломъ въ долгіе годы самоубійственной тоски, что былъ радъ имъ несказанно. Приведу нѣсколько примѣровъ.

Къ такого рода деревенскимъ дѣламъ я примкнулъ, какъ уже сказано, въ первый же день по пріѣздѣ. Еще въ то время, когда я проѣзжалъ по деревнѣ, направляясь къ зданію конторы, гдѣ я долженъ былъ жить, я замѣтилъ на селѣ какое-то, какъ мнѣ показалось, оживленіе. День былъ будничныи, снѣжный; сухой снѣгъ, гонимый довольно сильнымъ вѣтромъ, заметалъ улицу большими сугробами и дымомъ дымился на крышахъ, у заборовъ, у воротъ.. Въ такую погоду деревенскій житель предпочитаетъ сидѣть дома, и я поэтому былъ нѣсколько удивленъ, видя, что народъ не только не прячется по домамъ, но почти несъ высыпалъ на улицу; у воротъ видны группы бабъ и подростковъ, мужики группами толпятся посреди улицы, группами же переходятъ отъ двора къ двору, машутъ руками, галдятъ. — «Что такое у нихъ?» спросилъ я извозчика. — «А Господь ихъ знаетъ праведный! Что-нибудь есть... Ишь вонъ какъ! ишь!» сказалъ ямщикъ, указывая кнутомъ на одну группу крестьянъ, въ которой шелъ какой-то оживленный говоръ, причемъ одинъ изъ крестьянъ что-то крикнулъ, сорвалъ съ головы шапку и ударилъ ее о землю, а себя кулакомъ въ грудь.

— Есть, есть! проговорилъ возница. Верховой человекъ, съ плетью въ рукахъ и съ сумкой черезъ плечо, проскакалъ мимо насъ и что то также кричалъ охриплымъ и простуженнымъ голосомъ. — «Н-ну есть!» уже вполне увѣренно закончилъ возница и почему-то погналъ лошадей. Скоро мы подъѣхали къ конторѣ; но такъ какъ помѣщика дома не оказалось, а дѣлать мнѣ было нечего и кромѣ того нечего было курить, то я, чуть-чуть обогрѣвшись, пошелъ на село, разузнавъ предварительно, гдѣ находится лавка. Говоръ и толкотня, какъ мнѣ показалось, еще болѣе увеличились въ деревнѣ; верховой человекъ носился по сугробамъ отъ двора къ двору и вообще выказывалъ какую-то особенную оживленность. — «Что такое у васъ въ деревнѣ?» спросилъ я лавочника, послѣ того, какъ онъ, заснанный, вышелъ изъ своего дома, отперъ дверь и впустилъ меня въ холодную низенькую лавку, передѣланную изъ амбарчика.

— А ужъ не могу вамъ въ точности объяснить. Не наше это дѣло. Да должно быть что-нибудь изъ пустяковъ. Учителишка тутъ что-то связался съ верховымъ-то, ну, а впрочемъ не могу вамъ утвердительно доложить...

Едва лавочникъ проговорилъ это, какъ меня взяло какое-то «сумленіе». — Охъ, подумалъ я, не творить-ли, храни Богъ, учительшка чего-нибудь недобраго? А надобно сказать, что въ одной изъ крестьянскихъ группъ я примѣтилъ какую-то шляпу и какое-то пальтишко не крестьянскаго покроя. Шляпа особенно смутила меня. Было въ ней что-то недоброе: во-первыхъ, была она лѣтняя, а во-вторыхъ, надѣта совсѣмъ небрежно — одинъ конецъ полей вверхъ, а другой внизъ... Словомъ, выраженіе «учительшка», лѣтняя шляпа зимой, верховой человѣкъ и народъ, о чемъ-то шумящій — все это почему-то щипнуло за сердце и заставило подумать: «не уйти ли, молъ, мнѣ отъ грѣха по-добру, по-здорову?» Но уйти не пришлось. Едва я вышелъ изъ лавки, какъ наткнулся на дѣловую группу крестьянъ, которая, громко разговаривая, торопливо шла мимо.

— Это что-жъ такое будетъ? Развѣ это по-божьи? Какое по божьи, явно раззоръ! Хотѣ ло-жись помирый...

Говорили они всѣ разомъ и торопливо прошли мимо; я ужъ заинтересовался исторіей и подошелъ къ другой группѣ. Здѣсь, среди толпы крестьянъ, какой-то старый старичокъ, котораго всѣ внимательно и одушевленно слушали, говорилъ въ сильномъ волненіи:

— Нѣту правды! Не стало ея нисколько. Д-да! Нѣтъ ея! Писано объ этомъ, да. Въ книгахъ сказано, не быть ей! И нѣтъ! Видѣлъ царь Соломонъ сонъ-отъ: вотъ онъ когда сбылся. Д-да! Столбъ-отъ стоялъ каменный, въ семь обхватовъ, конца ему кажись не было, а изъ подъ него заяцъ выскочилъ, онъ и разсыпался; вотъ что Соломонъ царь во снѣ видѣлъ — вотъ оно и есть... Правда то столбомъ стояла, а кривда-то зайчиномъ выпрыгнула, да и пошла по землѣ гулять... А правды-то нѣту! Нѣту ея! Конецъ пришелъ правдѣ! Прядаетъ по свѣту кривда! Да какъ же не такъ-то? И когда это видано? Чистое дѣло, послѣднія времена настаютъ...

Толпа глубоко и мрачно вздохнула, молча пропустила она черезъ свои ряды старичка, который, въ величайшемъ нервномъ возбужденіи, проворно побѣжалъ прочь, видимо потрясенный и угнетенный сознаваемымъ бѣдствіемъ.

— Что такое? рѣшился спросить я у толпы, очевидно призадумавшейся надъ словами старичка.

Нѣсколько секундъ никто не отвѣтилъ мнѣ ни слова; но потомъ у одного благообразнаго, не очень стараго крестьянина вдругъ, мгновенно сверкнули глаза, и, глянувъ мнѣ на меня въ упоръ, онъ нервно шагнулъ по направлению ко мнѣ и произнесъ, весь, какъ говорится, «захолонувъ отъ гнѣва»:

— Да вотъ что!..

Едва проговоривъ это, онъ какъ-бы задохнулся, тяжело дышалъ и блѣденъ былъ, какъ смерть...

— Да вотъ что... Больше ничего... хотятъ до послѣдняго со свѣту сжить!

Онъ сорвалъ съ головы свою шапку, отмахнулъ ею какъ-то въ сторону, при словѣ «сжить!» также быстро нахлобучилъ и коротко прибавилъ:

— Больше ничего!..

— Выморить хотятъ начисто!.. прибавилъ хладнокровнѣй другой крестьянинъ.

— Что вы! Помилуйте! проговорилъ я. — Какъ же это возможно? Развѣ это возможно? Зачѣмъ это?

— Да ужъ это не наше дѣло — зачѣмъ? А должно быть, что такъ требуется!

— Не можетъ этого быть! Что за вздоръ такой?

— Анъ вонъ требуютъ. Вонъ, видишь, верховой-то, упрости-кось у него.. Тамъ сказано: — «въ противномъ случаѣ военнымъ судомъ»... Вотъ оно что!

— Да какъ-же иначе-то? Ну, ты возьми: первое, крыши на скотныхъ дворахъ раскрывать, скотину въ избѣ не держать, навозъ вывозить изъ деревни вонъ, ѣсть изъ разныхъ чашекъ, какое старое хоботы, трапье — жечь! Ну, что-жъ это такое? А не то — разотрѣлы!..

Тутъ всѣ заговорили вдругъ.

— У насъ семь двѣнадцать человѣкъ, покупаютъ двѣнадцать чашекъ? Откуда это взяты? И какъ-же теперича я выкину изъ избы скотину, вѣдь она должна померзнуть? Нешто это не разореніе? Помилуйте, скажите, раскрою я крышу, такъ вѣдь она поколѣтетъ, скотина-то! Чѣмъ-же мы жить-то будемъ? Навозъ! Отдырай его изъ-подо льду! его ломомъ теперича не возьмешь — вѣдь это конецъ! Вонъ огурцы, капусту вышвыриваютъ въ рѣчку: это что-жъ такое?

Словомъ, нѣчто ужасное, хотя и очевидно не-лѣпое происходило въ деревнѣ. Очевидно мнѣ было только одно, что верховой человѣкъ что-то перепуталъ, и я, желая удостовѣриться, въ чемъ-же наконецъ дѣло, вмѣстѣ съ крестьянами направился къ той группѣ, гдѣ видѣлась шляпа «учительшки». Здѣсь шумѣли ужасно, и, какъ кажется, только потому, что верховой человѣкъ былъ тутъ.

— Намъ что велятъ, то мы и исполняемъ! сердито кричалъ этотъ человѣкъ, шеveledъ облещенными усами А смутьяновъ намъ вѣрно записывать и представлять.

— Сдѣлайте милость, записывайте и представляйте куда угодно. Я вамъ говорю одно, что вы сами переполошили народъ.

— У насъ есть строгающая бумага.

— Зная я, какая бумага у васъ, только тамъ ничего этого нѣтъ, что вы требуете.

— Мнѣ ужъ, позвольте сказать, вѣрнѣе знать это! — Вы кто такой? обратился верховой ко мнѣ.

— Конторщикъ.

— Что вамъ здѣсь угодно? Не ваше тутъ дѣло, и безъ того смутьянниковъ много. А я вотъ какъ, угрожающе онъ обратился къ толпѣ: — я больше ничего — уѣду, а не мое дѣло, ежели отвѣчать вамъ придется! Двадцать разъ говорилъ, пущай-же!

И онъ было повернулъ лошадь, но учитель остановилъ его.

— Вы должны успокоить народъ, а не мутить.

— Мы знаемъ, кто мутить-то. Сдѣлайте милость, не беспокойтесь.

— Отлично, только вы ответите за то, что будете, чего въ вашей бумагѣ нѣтъ.

— Это вы не можете говорить!

— Почему? Вы вотъ совсѣмъ не понимаете, что такое сказано насчетъ сажени воздуха, а требуете, чтобы я разсаживалъ учениковъ на двѣ сажени другъ отъ друга. Это сказано о томъ, чтобы дышать, понимаете-ли для дыханія, чтобы хватало воздуху...

— Какъ-же это, позвольте васъ спросить, дышать саженью? И кто этою саженью, когда-бы то ни было, дышалъ?—позвольте мнѣ узнать, такъ какъ вы очень образованы... Ежели я дышу, такъ я просто вотъ, Господи благослови, дышу такъ то и разъ, и другой, честь честью; на кой-же лѣшій мнѣ сажень-то ваша и куда я ее дѣну? И что вы пустые слова говорите? На двѣ сажени потому, чтобы болѣзнь не пристала, а саженью не дышать.

Толпа тоже призадумалась надъ этимъ страннымъ предписаніемъ дышать квадратными саженью. Очевидно, что-то неладно; но несомѣнно, что кривда выскочила изъ-подъ стола и разгудиваетъ по свѣту безнаказанно.

Безграмотство торжествовало. Но не смутившійся этимъ учитель, изъ всѣхъ силъ стремившійся доказать безграмотству, что оно точно ровно ничего не понимаетъ въ бумагахъ, послѣ продолжительныхъ утѣреній, успѣлъ-таки поколебать самоувѣренность верхового человѣка до того, что тотъ довольно смиренно призналъ:

— Намъ этого разбирать не приходится. Намъ что приказу... Сказано-молъ на двѣ сажени... Ну, а крыши?..

— И крыши вовсе не нужно раскрывать, доказывалъ ему учитель.

— Вѣдь сказано въ бумагѣ, какъ-же не нужно-то?

— Въ бумагѣ сказано—«по наступленіи теплаго времени»... а развѣ теперь теплое?

— И чашки не нужны?

— И чашки не нужны до тѣхъ поръ, пока доктор не удостовѣрятъ, что болѣзнь заразительная началась. И тогда-то вотъ нужно отдѣлать больного отъ здоровыхъ и ѣсть изъ разныхъ чашекъ...

Словомъ, все, что строжайше, согласно бумагѣ, требовалъ верховой человѣкъ, оказалось, согласно той-же бумагѣ, немѣющимъ никакихъ основаній къ тому, чтобы народъ замушлѣлъ отъ погибели правды на землѣ. Все дѣло въ томъ, что бумага, въ которой эти мѣры были наложены, необыкновенно пространно и подробно изъясняла ихъ, тщательно объясняла причины и слѣдствія каждой мѣры, а деревенскому человѣку надобно прежде всего знать, чего отъ него требуютъ, надобно узнать суть въ двухъ словахъ. И вотъ, когда безграмотство, распространявшее въ народѣ гигиеническія свѣдѣнія, вѣдало верхомъ въ деревню, оно должно было опустить «всѣ разглаголистования», которыхъ, разумеется, ни единого слова не понимало, и возвѣстать міру самую суть. И вышло поэтому—крыши раскрывать, скотинѣ помирать, огурцы и капусту выбрасывать, а «въ противномъ случаѣ»—военнымъ судомъ...

— Наше дѣло, братецъ ты мой, уже совсѣмъ покорно сказалъ верховой человѣкъ:—что прикажутъ... Намъ этого неизвѣстно... Нѣтъ-ли, ребята, у кого трубочки закурить? Намучился я съ вами новиче—страсть какъ!

И, закуривъ трубку, хлопнулъ лошадь плетью и поскакалъ въ другое мѣсто проповѣдывать пришествіе кривды на землю.

Тотчасъ по его отъѣздѣ начался неистовый хохотъ парней, бабъ и мужиковъ. И было веселіе вѣлие...

— Ахъ, ты... чихая отъ смѣху и покачивая головою, говорилъ добродушный, простенькій мужичокъ, указывая рукою по направленію удалившагося верхового. — Приѣхалъ съ какими приказомъ—чтобы всему міру помирать!..

— Ха-ха-ха! покатывалась толпа.

— А Мироничъ-то, Мироничъ-то! заяцъ, говорить, выскочилъ у него изъ сумки-то...

— Да подъ столбъ-отъ убѣгъ заяцъ-то!

— Ха-ха-ха...

Тутъ я познакомился съ учителемъ, и вѣстѣ съ нимъ мы долго пробыли въ развеселившейся толпѣ. Среди всевозможныхъ насмѣшекъ, мнѣ случайно пришлось услышать кое-что и серьезное:

— Болѣзнь происходитъ отъ худого человѣка, а не отъ навозу! сурово рассуждалъ какой-то почтенный человѣкъ:—вонъ въ Сырейкѣ кто пустилъ на овецъ моръ? Буканика, солдатка, извѣстное дѣло.

— Дѣло явное!

— Тутъ не крышу раскрывать, а долбануть по затылку—вотъ и все!

— А то что-же? Нешто возможно этакихъ злодѣевъ на свѣтѣ держать? За это ни на небѣ, ни на землѣ взыску нѣтъ...

— Ишь ты! Морозыте, говорить, скотину... для здоровья!

VIII.

Съ этого эпизода рѣшительно не проходило дня, чтобы деревенская жизнь не представляла чего нибудь, прямо забироваго за-живное. Бывало, то учитель (оказавшійся очень добрымъ человѣкомъ) пришлетъ за мной поговорить по какому-нибудь дѣлу, то я пошлю за учителемъ.

Напримѣръ, прихожу я къ учителю и застаю человѣка четырехъ крестьянъ, которые зашли къ нему по случаю праздника. Разговоръ идетъ о землѣ.

— Не будетъ вамъ никакой земли! самымъ настоятельнымъ манеромъ убѣждаетъ ихъ учитель:—не будетъ! Вотъ напечатанъ циркуляръ, въ которомъ сказано, что не будетъ больше никакой земли вамъ дано.

— Оттого, что не знаешь ты здѣшнихъ дѣловъ, такъ ты и говоришь. Намъ здѣсь довольно извѣстно. Анна Андреевна, покойницы барыни мать, должна помереть, а наследникъ остается Левъ Львовичъ. Она ему не отдастъ, намъ довольно извѣстно, потому онъ ужъ и такъ одну часть про-

моталь, а старуиза-бабка, Анна-то Андреевна, строгая дама... Ужъ это вѣрно, не потатница такимъ дѣламъ!.. Вотъ мы и въ надеждѣ: по всему оказывается, что къ намъ будто долженъ отойти участокъ-то, потому больше некому.

— И Левъ Львовичъ получить, и бабка ваша Андреевна продать, а къ вамъ онъ никакъ не упадетъ, ужъ будьте въ этомъ увѣрены. Подарить она вамъ не подаритъ, а владѣть будетъ Левъ Львовичъ, а не онъ, такъ кто-нибудь другой.

— Это вѣрно! подтверждаютъ нѣкоторые голоса.

— Продастъ! Да кому продать-то? Опять же мы знаемъ въ здѣшнихъ карманахъ-то, ты насъ объ этомъ спроси. Первымъ долгомъ толстъ карманъ у мельника, у Коромыслова, да ему не къ рукамъ покупать-то: зачѣмъ она ему, земля-то. За коимъ шутомъ онъ втешется сюда — у него и такъ, гляди-ко, какъ жернова-то работаютъ, только гребни денежки... Укупилъ бы пожалуй Ларионовъ кабатчикъ, человѣкъ-то и въ правду глазастый и жадный, да его прошлымъ лѣтомъ подожгли, сгорѣлъ на-чисто, остался въ одной рубашкѣ — скоро-то не выкарабкается...

— Въ десять лѣтъ не выльзетъ!

— А еще-то кому-жъ? Селифонтовъ баринъ? Ну, у того хоть точно что тетка Прасковья Андреевна больно жирна деньгой-то, ну и онъ наврядъ, чтобы что... У него лѣсное дѣло широко пушено, наврядъ, чтобы отсталъ; въ лѣсное дѣло вцѣпился — не рука отставать отъ хорошаго... Вѣдь хозяйство-то, братецъ ты мой, тоже не легкое дѣло. Вѣдь тутъ денежки отдай чистенькія, да потомъ и жди барышей... Когда дождешься-то? Ну вотъ и всѣ, почитай, карманы-то... А больше-то кому-жъ быть? — больше некому!

— Не безпокойся, другъ любезный, изъ Петербурга, изъ Москвы налетятъ, изъ за-границы

— Ну, во-она чего! Это ужъ ты, другъ любезный, сталъ пужать лѣтошнимъ снѣгомъ... За коимъ это шутомъ понесетъ его нелегкая изъ Москвы? — Тамъ поди, чай, свои дѣла-то есть... И кто это побѣдетъ экую даль въ незнакомое мѣсто? Что-жъ онъ тутъ будетъ въ чужомъ-то мѣстѣ болтаться? Это и нашего брата возьми: хоть бы меня ты, примѣромъ, завезъ въ чужую сторону — что бы я? Вѣстимо, мнѣ мать... И ему такъ-то: народа онъ не знаетъ, порядковъ тоже, куда и приладится, такъ долженъ разориться въ конецъ... Это что! Въ нашихъ мѣстахъ снодручно нашему, ближнему, а всѣхъ нашихъ мы довольно знаемъ...

— Укупать! настаивалъ учитель. — Все укупать! И Анну Андреевну со Львомъ Львовичемъ, и всю округу укупать, всѣ доскутки, не мужицкіе — все укупать!

— Ну, всего-то не укупишь! Это, братецъ ты мой, ужъ извини, сдѣлай милость; такихъ и денегъ-то — посчитай-ко-сь — нѣту на свѣтѣ! Развѣ ужъ съ нечистымъ человѣкомъ свяжется, ну, можетъ быть, что... А такъ, чтобы натуральный человѣкъ такую прорву денеговъ отвалилъ, нѣту, не бываетъ этого. Нельзя!

— Бываетъ! Повѣрь ты мнѣ! Не такіе еще есть капиталы!

— Нѣту такихъ денегъ!

— Есть! Ей-ей есть!

— Оставь! Невозможно это! Нѣту!

Идетъ продолжительный разговоръ о капиталѣ, о кредитѣ и т. д. А завтра идетъ другой ужъ — о нравственности. Рассказываютъ такую вещь: верховой человѣкъ пригласилъ по-товарищески, какъ «солдатъ солдата», одного крестьянина, служившаго въ военной службѣ, зайти выпить по рюмочкѣ. Встрѣтилъ его на улицѣ: — «Здорово!» — «Здравствуй!» — «Солдатъ солдату радъ, пойдемъ въ кабакъ, клянемъ по рюмочкѣ». Пошли, выпили сначала по рюмочкѣ бѣлаго, а потомъ и краснаго. И какъ только выпили краснаго, верховой человѣкъ вынулъ изъ кармана книжку и говоритъ новому знакомцу: — «Ну теперь, другъ любезный, ты свѣдѣтелемъ будешь, что Ермолай (кабатчикъ) незаконную торговлю ведетъ красной водкой! Какъ твоя фамилія и мѣсто жительства?» И все въ книжку записалъ и представилъ. Крестьянинъ солдатъ прибіжалъ къ учителю, какъ угорѣлый.

Кстати сказать, этотъ солдатъ былъ одинъ изъ самыхъ впечатлительныхъ къ чужому горю людей. какихъ мнѣ приходилось встрѣчать въ той деревнѣ, о которой идетъ рѣчь. Именно чужое волновало его едва-ли не болѣе, чѣмъ собственная забота. Въ мѣстномъ ссудномъ товариществѣ онъ былъ по горло запутанъ въ поручительствахъ за другихъ и знать не хотѣлъ никакихъ параграфовъ устава, которые стѣсняють его права въ этомъ отношеніи. Почти каждое воскресенье и каждый день, когда товарищество открыто, онъ вламывался съ какимъ-нибудь несчастнымъ мужикомъ, за котораго никто не хочетъ поручиться, и, торопливо помолвившись на образъ и поклонясь господамъ членамъ, громко восклицалъ: — «Давайте намъ, господа, денегъ. Вотъ человѣчку больно нужны... Человѣкъ хороший, я знаю»... — «Что у тебя есть?» спрашивали хорошаго человѣка. — «Овца»... — «Еще?» — «Лошадь есть?» — «Нѣту лошади-то... То-то нѣту»... — «Коровъ много-ль?» — «Да и коровъ-то, пріятный ты мой, тоже... что-то несчастливъ я на коровъ-то!»... — «Нѣту, стало быть?» — «Въ эфтишъ-то и состоитъ главная причина, что нѣту»... — «Ну, хлѣбъ есть-ли?» — «Хлѣбъ-отъ»... уныло начинается бѣдный человѣкъ, но Дмитріевъ (такъ звали крестьянина-солдата), видя его затрудненіе, немедленно же вступается: — «Чего ты музычишь безъ толку?» накидывается онъ на разспрашивающаго члена. — «Какъ бы у него было, онъ бы къ тебѣ и глазъ не показалъ; затѣмъ и пришелъ, что нѣту ничего. Выиниай деньги-то, записывай, будетъ болтать языкомъ-то!» — «Да нельзя ему дать, коли ничего у него нѣтъ». — «А я говорю, давай! Я поручаюсь! Коего тебѣ чорта?» «На тебѣ и то незаконныя поручительства есть.» — «Ну, ладно, знаемъ, давай деньги-то!» — «Да какъ-же я дамъ-то? Ты самъ посуди! Кто будетъ отвѣчать?» — «Ладно, ладно. Отпирай сундукъ-то, доставай! Больше ничего не требуется. . Отпирай, что-ль, тебѣ

я, кажется, говорю человеческим языком или нѣтъ?» — «Да хоть на пай-то есть ли у него?» — «Нѣту у него ни копѣйки! Давай денегъ, отпирай сундукъ, пиши все на меня, упорный какой мужикъ! Небось самъ запустишь лапу-то въ сундукъ, какъ понадобится на засолъ! Завезъ мы васъ — законники! Сейчасъ давай двадцать пять пѣлковыхъ, шутъ этакой!» Бранился Дмитріевъ съ этими законниками постоянно и всегда почти успѣвалъ добиться своего. — «А вѣдь съ тебя когда-нибудь взыщутъ?» говорили ему. Дмитріевъ только смѣется. — «Да взыскивай, сколько хочешь, у меня ничего нѣтъ!..»

Можно себѣ представить, какой гнѣвъ возбудилъ въ такомъ человѣкѣ поступокъ верхового. Дмитріевъ и ругался, и плевалъ, чтобы изгладить даже ощущеніе этого предательскаго вина, грозился и т. д. Поступокъ былъ точно возмутительный, но онъ превратился во всеобщую загадку послѣ того, какъ у мирового судьи произошло разбирательство по этому дѣлу.

У мирового судьи выяснилось, что «верховой» ходилъ къ этому кабатчику задолго до составленія протокола, и всякій разъ пилъ водку и бѣлую, и красную, правда, пилъ на деньги, а между тѣмъ протокола не составлялъ.

— Отчего ты раньше меня не штрафовалъ? спросилъ верхового кабатчикъ. — Я бы, можетъ, и торговать не сталъ вовсе, ежели бы зналъ, что ты со мною сдѣлаешь?

— А потому, отвѣчалъ верховой, — потому я тебя раньше не штрафовалъ, что ты — бѣдный человѣкъ, и ничего у тебя не было. Вѣдь ты долженъ понимать — казна требуетъ штрафа, вѣдь съ тебя надо семьдесятъ пять рублей, что жъ бы я съ тебя взялъ-то, когда у тебя и семи гривенъ не было? Ну, и долженъ былъ я тебѣ дать время расторгаться, чтобы законъ соблюсти. Развѣ я могу идти противъ закону! Ежели мнѣ изъ твоего штрафа и слѣдуетъ получить половину, тридцать семь съ полтиною, такъ вѣдь это тоже законъ требуетъ: нешто я самъ-то по себѣ взялъ-бы съ тебя хоть алтыны! Законъ! Таперича же я знаю, что на праздникахъ объ Рождествѣ ты торговалъ ничего себѣ, средственно, и штрафъ отдашь, то есть, что слѣдуетъ по закону...

— Да я только и оправился-то мало-мальски объ Рождествѣ. Вѣдь я вдовый, у меня на рукахъ трое ребятъ...

— Что мнѣ приказываетъ законъ, то я и долженъ исполнить.

Скажите, пожалуйста, достойна эта сцена (а такихъ сценъ множество), чтобы заставить человека призадуматься? И Дмитріевъ даже призадумался надъ ней. Тутъ все загадка, — загадка, которую непривычному, простодушному человѣку трудно разгадать.

Ограничусь покуда вышеприведенными примѣрами; иначе я бы запуталъ читателя въ массѣ мелочей, повидимому не имѣющихъ никакой другъ съ другомъ связи. Скажу только, что подъ влия-

ніемъ всѣхъ этихъ сценъ и разговоровъ я настроилъ къ Ивану Ивановичу письмо, изъ котораго и привожу здѣсь нѣкоторые отрывки.

IX.

«...Кстати, почтенный Иванъ Ивановичъ, сказать два слова о вашихъ дѣтяхъ. Не удивляйтесь, что о дѣтяхъ начинаю говорить непосредственно послѣ изображенія вамъ современныхъ деревенскихъ порядковъ, да еще нахожу, что такой разговоръ будетъ «кстати». Истинно говорю вамъ, почтенный Иванъ Ивановичъ, участь русской деревни и участь русскаго молодого поколѣнія находится въ прямой зависимости другъ отъ друга: отъ нихъ обоихъ зависитъ, быть-ли солнцу на небѣ, быть-ли тѣмъ кромѣшной на землѣ... Чтобы недалеко ходить за доказательствами, отыщите у себя на письменномъ столѣ суворинскій календарь, раскройте его въ томъ отдѣлѣ, гдѣ находится таблица о народонаселеніи, посмотрите на итоги. Краснорѣчивѣе всего конечно послѣдняя графа этой таблицы, гдѣ сказано, что крестьянскихъ сословій на русской землѣ ни много, ни мало, какъ шестьдесятъ миллионовъ. Эти же крестьянскія сословія несомнѣнно преобладаютъ и во всѣхъ другихъ графахъ, пересматриваемыхъ поочередно: такъ, несомнѣнно обиліе ихъ и въ миллионной массѣ войска, несомнѣнно обиліе ихъ и въ городскомъ населеніи, и даже въ духовенствѣ. И въ войскѣ, и въ духовенствѣ, и въ мѣщанствѣ преобладаетъ тотъ-же крестьянскій, хотя болѣе или менѣе переодѣтый элементъ, родство котораго съ подлиннымъ крестьянствомъ во всякомъ случаѣ несомнѣнное. Если ко всему этому прибавить въ буквальномъ смыслѣ микроскопическія цифры первыхъ графъ таблицы, гдѣ исчислено количество сословій вполнѣ привилегированныхъ и привилегированныхъ болѣе или менѣе, то нѣтъ ни малѣйшей возможности, нѣтъ даже тѣни возможности не видѣть, что «сила» (другого слова я не нахожу) несомнѣннѣйшимъ образомъ находится на сторонѣ миллионовъ, а не сотенъ тысячъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ эти миллионы были ничто, это была именно масса нулей къ нѣсколькимъ многозначительнымъ передовымъ цифрамъ; теперь же безъ этихъ нулей передовыя цифры теряютъ всю свою значительность, а въ будущемъ, когда подростетъ поколѣніе, которое уже не знало, что такое барщина, что такое «бурмистръ», вообще, когда вырастетъ новое поколѣніе, тогда значеніе передовыхъ цифръ должно само собою умалиться несравненно болѣе, такъ какъ эти нули призваны къ жизни, и они будутъ жить, «они теперь уже живутъ», будутъ жить, потому что должны, не могутъ не жить. Настоящая минута въ высшей степени критическая для русскаго общества, такъ какъ переживаемые нами годы несомнѣнно должны рѣшить дѣло въ какомъ-нибудь одномъ опредѣленномъ смыслѣ: какъ жить — «по хорошему» или «по худому»? Позвоительно спросить: по какой дорогѣ пойдетъ растущее поколѣ-

ние, найдется-ли оно въ себѣ силы къ тому, чтобы, выйдя на вольный свѣтъ изъ-подъ крѣпостного ига, повести жизнь дальше? будетъ ли оно скрѣплять общинный обиходъ, развивая широту общинныхъ надобностей и интересовъ, или, не справившись «съ головою», продастъ первенство за чечевичную похлебку и станетъ жить «по худому», не расширяя, а суживая мірской интересъ? Можно съ увѣренностью сказать, что дѣло рѣшится именно въ послѣднемъ, нехорошемъ смыслѣ, если на помощь деревнѣ, «незнающей» всей сложности новыхъ условий жизни, не придетъ человѣкъ, знающій эти условия, и не оборонить ея отъ бѣды. Задача обороны, какъ видите, лежитъ ни на комъ другомъ, какъ только на грамотномъ образованномъ человѣкѣ, и если къ тому-же принять во вниманіе громадную цифру массы, нуждающейся въ грамотномъ человѣкѣ, то легко убѣдиться, что масса грамотныхъ людей, въ десять, въ сто разъ большая существующей на лицо, могла-бы быть многогды поглощаема народною массою вся безъ остатка. Вы, Иванъ Ивановичъ, конечно понимаете, что я не могу и не имѣю возможности сочинять проекты системы народнаго образованія, я только хочу обратить вниманіе родителей подросткающаго поколѣнія и его воспитателей на то, что, воспитывая и образовывая, они не могутъ оставлять безъ вниманія нужды миллионной массы, просто уже потому только, что она миллионная, и что какъ таковая она не можетъ не имѣть вѣса въ будущемъ. Что-же дѣлаете вы, Иванъ Ивановичъ, и другіе не менѣе васъ чадолюбивые родители и опытные воспитатели? Взглядываясь въ существующую систему воспитанія и образованія, легко видѣть, что она не только не проникнута сознаніемъ того, что образованные люди прежде всего нужны народу, а не главному обществу акціонерныхъ надуваній, но, напротивъ, какъ бы добивается, чтобы образованный человѣкъ замкнулся съ своими знаніями въ средѣ, не имѣющей ничего общаго съ народомъ. И это стремленіе замкнуться проникаетъ и ваше чадолюбивое сердце, и педагогическую практику. Что вы, напримѣръ, теперь дѣлаете съ вашими ребятами? Вы точно какъ бы предчувствуете, что народъ что то значить, и въ этихъ видахъ производите разные опыты съ деревней... Но вѣдь все это только для себя, все это съ цѣлью поставить своихъ чадъ именно въ изолированныя отъ народа и наиболѣе безопасныя условія. Вы хотите заимствовать отъ народа его терпѣніе, крѣпость мышцъ, выносливость, даже веселость, словомъ, хотите «заимствовать» — и только. О какихъ-бы то ни было обязательствахъ или обязанностяхъ въ отношеніи къ народу нѣтъ и помину. Предполагается, повидимому, что будущее поколѣніе проживетъ счастливѣе теперешняго, именно потому, что будетъ имѣть возможность далеко стоять отъ народной массы. Но именно это-то и не можетъ случиться. Представьте себѣ, что шестьдесятъ миллионъ остаются жить по собственной своей волѣ, и что безграмотный человѣкъ будетъ единственнымъ компетентнымъ лицомъ во всѣхъ

вопросахъ современной деревенской дѣйствительности. — Что выйдетъ? Несомнѣнно выйдетъ узость и даже полная потеря мірскаго интереса и, какъ слѣдствіе этого, распаденье міра. Представимъ себѣ, что распаденье это примѣтно только едва-едва, въ самой слабой степени, что на волость, въ которую входитъ до десяти и болѣе деревень, въ теченіе года произойдетъ только одинъ случай общинанія и только одинъ обогащенія, что, словомъ, въ теченіе года, изъ двухъ-трехъ тысячъ душъ, одинъ человѣкъ уйдетъ прочь по наметѣ, а другой уйдетъ — потому, что отъбѣлся; представимъ себѣ это и произведемъ простое умноженіе. Нищихъ и ихъ будущее мы совершенно оставимъ, а возьмемъ только отъбѣвшихся по одному на волость въ теченіе года. Въ уѣздѣ — двѣнадцать (или около) волостей, въ губерніи — двѣнадцать или около уѣздовъ, а губерніи восемьдесятъ; такимъ образомъ, при самыхъ скромныхъ предположеніяхъ, мы получимъ довольно почтенную цифру безграмотныхъ и отъбѣвшихся людей, которые, покинувъ деревню, естественно поступаютъ въ то общество, въ которомъ и я, и вы имѣемъ честь жить. Купивъ себѣ на Апраксиномъ рынкѣ «пальты» съ бобровыми воротниками и побывавъ «въ Фоли-Вержерѣ», они ужъ очевидно на стезѣ попасть въ интеллигенцію, куда дѣйствительно и попадаютъ въ скоромъ времени, предварительно конечно выѣсто апраксинскихъ «пальтовъ» приобрести енотовыя шубы и записавшись членами въ клубъ. Если вы на половину сократите цифру, получившуюся отъ умноженія, но признаете, что притокъ такихъ людей въ общество неизбеженъ, то въ самомъ ближайшемъ будущемъ общество это, полагающее себя изолированнымъ, неминуемо должно пропахнуть взглядами, желаніями, аппетитами этого большинства. Къ тому времени, какъ подрастутъ ваши дѣти, это должно непремѣнно совершиться. И какова тогда роль вашихъ столь любимыхъ дѣтей? Разумѣется, они должны будутъ, если пожелаютъ ѣсть хлѣбъ (а они этого пожелаютъ), работать на этихъ переодѣтыхъ еноткахъ деревенскихъ выбросковъ. Эти выброски безграмотны; они не умѣютъ ни читать, ни писать. не знаютъ никакихъ порядковъ, они должны платить «знающимъ», которые и будутъ служить имъ, потому что, ничего не зная и не понимая, люди эти непрестанно жаждутъ; при громадности наплыва такихъ людей, образованный человѣкъ, разумѣется, вздорожаетъ, потому «требуется», будетъ домиать съ этихъ енотокъ хорошую деньгу за всякую малость, и енотка должна платить, такъ какъ весь грамотный человѣкъ расхвтанъ. И какъ вы думаете, почему бы чей-нибудь Петенька, Василька и т. д. могъ устоять и не взяться за деньги енотки! Такова вѣроятно будущность человѣка, образованнаго безъ вниманія къ народному дѣлу, въ томъ случаѣ, если народъ начнетъ жить не по хорошему.

«Но не менѣе горько его дѣло и въ томъ случаѣ, ежели шестьдесятъ миллионъ вдругъ, по шучьему велѣнію, по Божію благословенію, возьмутъ да и справятся сами собой. Тогда вѣдь не

ловѣкъ, образованный въ замкнутой отъ народныхъ интересовъ средѣ, совсѣмъ уже не нужнень... Нѣтъ, Иванъ Ивановичъ, только полнѣйшее вниманіе къ нуждамъ шестидесяти-милліонной массы народа, положенное въ основаніе всей системы воспитанія и образованія, и полнѣйшее выясненіе этихъ нуждъ, только это одно можетъ дать смыслъ многимъ десятилѣтіямъ русской жизни и пристроить къ дѣлу массу талантливыхъ русскихъ людей... Не все заимствовать у народа и прятать въ домъ своемъ, надо и для него поработать, если ужъ нельзя сдѣлать этого по совѣсти, такъ хоть и изъ разсчета. А то вѣдь найметъ енотка-то я начнетъ орудовать».

Въ отвѣтъ на это письмо, Иванъ Ивановичъ написалъ мнѣ между прочимъ слѣдующее:

«...Все это, быть можетъ, и справедливо, но въ высшей степени неопредѣленно... Какъ это, напримеръ, я могу воспитать дѣтей въ интересахъ народныхъ нуждъ? И гдѣ такое заведеніе? Что я долженъ дѣлать? Что такое наконецъ енотка? Словомъ, не въ обиду вамъ будь сказано, не смотря на всю убѣдительность, письмо ваше не имѣетъ, какъ мнѣ кажется, реальныхъ достоинствъ».

«А такъ какъ мнѣ, какъ отцу, особенно много фантазировать не полагается, а необходимо предпринимать что-нибудь реальное, то я пришелъ къ слѣдующему заключенію. По примѣру того самаго народа, который, какъ вамъ извѣстно, цѣлыя тысячелѣтія выходять невредимъ изъ всевозможныхъ бѣдъ, руководствуясь только взглядами отцовъ и дѣдовъ (какъ отцы наши жили, такъ и мы), и я рѣшилъ послѣдовать тому же, конечно примѣнительно къ моему положенію. Что-жъ дѣлать, если я обезпеченный болѣе или менѣе человѣкъ? Ужъ должно-быть, такъ мнѣ написано на роду. Будемъ жить, какъ жили наши отцы и дѣды... Практическое это рѣшеніе я осуществилъ слѣдующимъ образомъ: какая-то почтенная дама рекомендовала русскую няню, старуху шестидесяти пяти лѣтъ. «— Вотъ оно!» подумалъ я, прочитавъ это объявленіе. — Прожить шестьдесятъ пять лѣтъ, это значитъ—быть самымъ корнемъ и теперешняго, и будущаго поколѣнія. Тутъ навѣрное должна быть полная система воспитанія, основанная на опытѣ прошлаго, а стало быть годная и для будущаго. Я немедленно же поѣхалъ по указанному адресу. И какъ вы думаете? Оказалось, что не одинъ я разыскиваю нравственныхъ фондовъ. Вмѣстѣ съ моими санями къ крыльцу того дома, гдѣ жила русская няня, подкатила карета, за ней опять сани, тамъ коляска, тамъ опять карета, — словомъ, съѣздъ какъ къ посланнику великой державы... Изъ швейцарской всѣ мы, родители, двинулись цѣлой толпой въ кв. № 16, гдѣ пребывало дорогое намъ существо; въ толпѣ были молоденькія дамы, гвардейскіе офицеры, инженеры и т. д. — и все это отражалось на лицахъ желаніе перебить и страхъ опоздать захватить сокровище. Не буду рассказывать, какихъ жертвъ стоило мнѣ овладѣніе этой драгоценностью. Одна дама, самая молодая, супруга гвардейскаго офицера, едва увидала нянь-

ку, какъ затряслась отъ страха, попыталась назадъ и тѣмъ навела панику и на инженера, и на другихъ посѣтителей. Инженеръ впрочемъ оправился-было и едва не овладѣлъ старухой, но едва онъ завелъ рѣчь о томъ, чтобы она носила чепчикъ, какъ былъ пораженъ самымъ безцеремоннымъ отказомъ, произнесеннымъ такимъ голосомъ, что молоденькая дама попросила воды... Я конечно всѣмъ этимъ воспользовался, и старуха теперь у меня... Что вамъ сказать о ней? Говоря вообще, это—адъ! Самъ бѣсъ, вельзевулъ, кажется, вселился въ это сѣдое существо! Представьте себѣ, высокая, сѣдая женщина, съ густыми сѣдыми волосами, простоволоса, съ глазами, выраженіе которыхъ—острая внимательность и каменное упорство въ одно и то-же время. Женщина тучная, мягкая.. Представьте себѣ, что это мягкое и жирное, какъ жирный старый котъ, существо ходитъ безъ башмаковъ, въ однихъ чулкахъ, не слышно и неожиданно появляясь чуть-ли не во всѣхъ углахъ квартиры — и вы поймете, что это олицетвореніе порядка. И точно, все пришло въ порядокъ и стоитъ на своихъ мѣстахъ. Прислуга у нея — «дѣвки», которыя, также согласно порядку, зовутъ ее «чертовкой». Маленькую дѣвочку она страшаетъ, какъ и водится, «мужиномъ», тогда какъ въ деревнѣ мужики сажали ее къ себѣ на колѣна. Словомъ, вся старая мораль на лицо. И пусть. Пусть будетъ какая-нибудь мораль, чѣмъ никакой, или чѣмъ такая, съ которой нельзя жить на свѣтѣ!..»

X.

На этомъ мы распростились съ Иваномъ Ивановичемъ и его опытами. И такъ какъ ничего новаго въ этомъ отношеніи мы пока сообщить не имѣемъ, то скажемъ нѣсколько словъ по тому же дѣтскому вопросу въ отношеніи къ подростающему поколѣнію деревни. При этомъ мы должны откровенно заявить, что не можемъ брать этого вопроса во всей сложности, т. е. не можемъ подробно разбирать современной школы, ея достоинства и недостатки, ея положенія и значенія въ общихъ условіяхъ деревенской жизни. Это все вопросы чрезвычайной важности, требующіе основательной работы и обильныхъ, внимательно собранныхъ матеріаловъ. Такой задачи мы въ виду не имѣли, просто потому, что не могли бы удовлетворительно ее выполнять. Намъ хотѣлось только въ общихъ чертахъ отмѣтить направленіе, по которому идетъ образованный человѣкъ, и, намъ кажется, что онъ идетъ отъ народа, а не къ нему; точно также мы хотимъ только отмѣтить существеннѣйшія черты, преобладающія въ умственномъ и нравственномъ развитіи народа въ настоящее время.

Минуя школу, имѣющую, какъ намъ кажется, весьма мало значенія въ совершенствованіи условій народной жизни, мы должны сказать, что вліятельнѣйшимъ учителемъ, какъ старыхъ, такъ и новыхъ поколѣній деревни, является по прежнему сама жизнь, улица и то, что на ней происходитъ.

Въ этомъ отношеніи, нѣтъ никакого сомнѣнія, кулачество — явленіе новое и самое крупное, самое видное за все время, начиная съ освобожденія крестьянъ.

Что же это за явленіе? Что такое кулакъ? Существуетъ мнѣніе, что деревня портится, разстраивается свои порядки отъ пришлаго со стороны чело-вѣка. Пришлый чело-вѣкъ является въ деревню, при помощи капиталовъ или копѣекъ, покоряетъ подъ ноги свои всю округу, начинаетъ эксплуата-тировать и развращать. Въ появленіи такихъ людей не можетъ быть сомнѣнія, — всякой мерзости, точно, очень много толчется вокругъ деревни, — но почему всякая мерзость кулацкая находитъ для себя почву, это не можетъ быть объяснено ни капиталомъ собственнымъ, ни чужеземствомъ его обладателей. Что капиталъ не обезпечиваетъ барышей — возьмите помѣщиковъ: деньги у нихъ были, и притомъ порядочныя; барыши тоже они желали получать — чего бы не доставало? Есть всякая возможность безъ труда овладѣть округой, а между тѣмъ на дѣлѣ вышло и выходитъ иначе; помѣщики съ капиталами разорились, а вотъ деревенскій чело-вѣкъ разжился и сталъ тысячникомъ ни съ чего, началъ, въ бук-вально-мъ смыслѣ, безъ алтына. Въ самомъ дѣлѣ, не чудеса-ли творятся на яву: вотъ баринъ, про-сидившій въ имѣніи десятки тысячъ, не знаетъ, какъ быть и куда себя пристроить; и вотъ мужичокъ, начавшій разжигу съ сальной свѣчки... да, въ бук-вально-мъ смыслѣ, съ фунта сальныхъ свѣчей. При-дѣлалъ ли въ голову какому-нибудь постороннему деревни чело-вѣку съ капиталомъ, желающему отъ нея поживиться, тѣмъ мысли о конкуренціи чело-вѣка, владѣющаго только сальной свѣчкой, фунтъ которыхъ стоитъ двѣнадцать копѣекъ. Разумѣется, никому и никогда; вся тайна этого явленія въ томъ, что всякій мѣстный или пришлый чело-вѣкъ на-живы *имѣетъ* непременно *деревенскую опыт-ность*, непременно прошелъ всю деревенскую лямку, знаетъ всю деревенскую подноготную и яв-ляется по этому чистѣйшимъ продуктомъ всѣхъ условій исключительно деревенской жизни, и при-томъ главнымъ образомъ теперешней. Всякій при-шлый непременно долженъ былъ пройти лямку дере-венской жизни въ «своей» сторонѣ, иначе онъ не имѣлъ бы успѣха и на чужбинѣ, какъ не имѣетъ успѣха баринъ, хотя у него и имѣніе большое, и кредитъ въ банкахъ, и т. д. Возьмемъ хоть исто-рію съ сальной свѣчкой. Какимъ образомъ можно разжиться, т. е. сдѣлаться тысячникомъ, пусть въ оборотъ сальную свѣчку, цѣна которой полторы копѣйки? Для Ротшильда, владѣющаго милліонами, это неразрѣшимая загадка, а вотъ деревенскій чело-вѣкъ разрѣшаетъ ее въ самомъ блистатель-номъ видѣ, и именно только потому, что онъ чело-вѣкъ деревенскій. Какъ извѣстно, всю зиму и осень въ деревняхъ бывають по вечерамъ посидѣлки; устраи-ваютъ ихъ дѣвушки для того, чтобы при-влечь деревенскихъ парней въ такое собраніе, гдѣ всѣ деревенскія дѣвушки на лицо — выбирай лю-бую; по дворамъ никого не сыщешь, а слѣдова-тельно волеѣ-неволеѣ придется въ извѣстное мѣсто.

Чтобы эти посѣщенія не представляли для жени-ховъ никакой тяготы, дѣвушки принимаютъ на себя всѣ расходы по устройству собраній. Онѣ платятъ за квартиру и освѣщаютъ ее. Плата за квартиру обыкновенно не велика, копѣекъ сорокъ въ мѣ-сяцъ; это дѣвушки еще кое-какъ одоляютъ; но освѣтить избу въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, — на это у нихъ ужъ нѣтъ никакихъ средствъ — и вотъ тутъ на выручку является практическій де-ревенскій чело-вѣкъ: онъ вѣрять по двѣ, по три свѣчки сальныхъ въ долгъ, то есть тратить ко-пѣекъ по пяти въ день и записываетъ по пятачку за свѣчку; отдавать-же ему не деньгами, а рабо-той. За каждый пятакъ дѣвушки обязуются сжечь ему *суслонъ* (цѣна опредѣленная), т. е. десять сноповъ. Считите, сколько сгоритъ сальныхъ свѣ-чей и слѣдовательно сколько отработаютъ ему дѣ-вушки, которыя, несомнѣнно, ему и благодарны останутся. Этотъ-же практическій деревенскій че-ловѣкъ *знаетъ*, когда несутся куры и когда ба-бамъ нужны деньги, знаетъ, когда у кого сколько шерсти, когда подъ залогъ идуть овцы, а когда телата, — словомъ, *знаетъ* самые сокровенные по-мыслы деревенскіе и только поэтому и имѣетъ несомнѣнный и вѣрный успѣхъ. Наконецъ, кто не знаетъ, что вотъ это самое имѣніе, въ которое ухло-паны десятки тысячъ, которыми управляли уче-ные агрономы и которое не давало ничего, кромѣ убытка, немедленно начинаетъ «приносить пользу», какъ только къ дѣлу приставятъ опы-тнаго мѣстнаго жителя. Вообще всякому, желаю-щему имѣть съ мужиковъ доходъ, непременно на-добно проникнуться кулачествомъ, изъ барина съ облаго-роженными манерами превратиться въ нѣчто, напоминающее волка, изъ пиджака перелѣзть въ полушубокъ. Словомъ, для того чтобы хищничать въ деревнѣ, у кого къ этому есть охота, надо изучать это дѣло ни у кого другого, какъ у опы-тныхъ деревенскихъ людей.

Мы охотно вѣрять въ дурное вліяніе на де-ревню массы пришлыхъ элементовъ, но низонимъ образомъ не можемъ только ими объяснять де-ревенскаго кулачества, то есть выдѣленія среди де-ревенской массы личностей, эксплуатирующихъ эту самую массу. Вѣда именно въ томъ и состоитъ, что кулачество — явленіе не наносное, а внутрен-нее, что это не патино, которое можно стереть, а язва, органическій недугъ.

Но самая горькая и обидная черта этого яв-ленія заключается не собственно въ хищничествѣ, а въ томъ, что ничего другого, хотя мало-маль-ски равнозначущаго по разработкѣ и техникѣ, де-ревенская жизнь за послѣднее время не пред-ставляетъ. Есть-ли что-либо хотя приблизительно такъ прочно устоявшееся и усовершенствованное въ отношеніи, положимъ, самопомощи, какъ усовер-шенствовано кулачество? Существуетъ-ли, словомъ, какое-нибудь явленіе, прямо противоположное и имѣющее какое-нибудь значеніе, пользующееся какимъ-нибудь успѣхомъ? Говоря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны сказать, что ни-чего подобнаго нѣтъ; напротивъ, что всего ужас-

нѣе, такъ это то, что въ кулачествахъ вы видите несомнѣнное присутствіе ума, дарованія, таланта. Посмотрите, сколько человѣку, вылившемуся въ кулака, надо передумать, сколько ему надо внимательности къ себѣ, къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ дѣлать свое дѣло, какъ надо много знанія людей, характеровъ, вообще жизни. Подумавши объ этомъ серьезно, вы убѣдитесь, что для кулачества необходимо быть очень умнымъ и очень талантливымъ человѣкомъ. Иногда блещутъ въ дѣятельности кулаковъ подлинно гениальныя способности, и въ то-же время вы не можете не убѣдиться, что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности, вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ мірскихъ общинныхъ дѣлахъ, ни въ семейныхъ отношеніяхъ—не выразилось. Что же значить это явленіе? Отчего умъ и талантъ на первыхъ порахъ (что будетъ дальше, мы не предсказываемъ, такъ какъ говоримъ только о настоящей минутѣ деревенской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непривѣтливымъ и разорительнымъ для самаго народа путемъ?

XI.

Не выдавая своего мнѣнія по этому вопросу за непогрѣшимое, я однако-же имѣю нѣкоторыя основанія предполагать, что до кулачества, до холоднаго, обезчеловѣченнаго взгляда на людскія отношенія деревенскій человѣкъ дошелъ именно, и къ несчастію, собственнымъ умомъ, и притомъ умомъ сильнымъ, наблюдательнымъ, безстрашнымъ. Что-жъ давало этому уму непосредственное наблюденіе жизни? Говоря вообще, всякій энергическій деревенскій умъ, за всѣ послѣднія двадцать лѣтъ, могъ въ великомъ изобиліи пачаться наблюденіями, производящими только дурное и ожесточающее впечатлѣніе. Нѣкоторое какъ-бы *засридство* непременно должно было лечь въ основаніе его наблюдательности. Не говоря о матеріальныхъ обидахъ, въ видѣ урѣзокъ земли, лѣса, въ видѣ плохого качества пашни, довольно таки частенько достававшейся крестьянамъ по ихъ освобожденію, какая пища злорадству въ этихъ попыткахъ вчера еще полновластной усадьбы—сохранить прежнюю повадку отвоевать право на широкое бездѣлье, когда ужъ къ этому нѣтъ никакихъ средствъ! Не забудемъ, что наблюдатель нашъ—крѣпостной крестьянинъ; и намъ будетъ понятно, почему неудачи помѣщичьяго дома безъ особаго сожалѣнія встрѣчались этимъ наблюдателемъ... Вонъ—въ этой усадьбѣ—уже нѣтъ огромной дворни, не стѣзжаются полчища гостей, не выѣзжаютъ изъ этихъ воротъ тесовыхъ каналькады охотниковъ и не тѣшатся по недѣлямъ въ отѣзжѣхъ полѣ .. Громадная карета, величійной съ домъ, стоитъ недвижимо подъ сараемъ и лупится, расклеивается отъ дождей... Вотъ ее продали за бездѣлицу на словъ и стали ѣздить «парочкой», въ маленькомъ тарантасикѣ. Перечислите, припомните все въ этомъ родѣ и подумайте, сколько разъ деревенскій наблюдатель дол-

женъ былъ ощутить въ себѣ желаніе сказать или подумать: «Ага, потишали небось!» Кромѣ того, какая масса насмѣшекъ должна была волновать наблюдательный умъ, когда среди яснаго разоренія господская усадьба вдругъ проявляла прежнюю повадку, какъ-бы говорившую деревнѣ: «И безъ васъ обойдусь!.. ко мнѣ еще придете, поклонитесь!» Это случалось, разумѣется, когда удавалось заложить имѣніе и нѣкоторое время дѣйствительно не думать о новыхъ условіяхъ жизни; но наблюдательному уму было снѣшно глѣдѣть на эти пошутки. Онъ зналъ, что онъ основанъ на проѣданіи земли, которая подъ ногами... Въ общихъ чертахъ, наблюденія деревенскаго ума надъ порядками господской усадьбы возбуждали нехорошія мысли.

Другой сортъ наблюденій—деревенскій, неумѣющій собраться съ головой міръ. А онъ точно-что не умѣетъ разобраться съ дѣлами и съ головой... Ему-бы «по дѣламъ-то» надо скрѣпиться, стать крѣпко за свой расчетъ, разузнать всѣ дѣла, гдѣ, какъ и что, чтобы на пользу себѣ дѣлать, а не во вредъ, чтобы человѣку легче противъ прежняго было, а не труднѣй, а онъ что-же? На каждомъ шагу промахивается и промахивается. «Старики», т. е. люди, которые ровно ничего не могутъ понимать въ новыхъ порядкахъ, потому что всю жизнь прожили въ старыхъ, отдали наприимѣръ для уплаты податей рѣку за двѣсти рублей и стали продажную рыбу покупать у своихъ же арендаторовъ-мужиковъ; арендаторы и двѣсти рублей выручили назадъ, да триста рублей нажили и вышелъ вѣдѣсто выгоды убытокъ, т. е. былъ-бы чистый барышъ, еслибы всякъ ѣлъ рыбу задаромъ. Старая крѣпостная повадка сказала: «заложись, а плати!» Сѣчь тоже не только не перестали, а усовершенствовались—сѣкутъ и въ селѣ, и въ волости... Старики думаютъ, что это ученье, а за что? За трубочки съ табачкомъ, за пустяки, вниманія нестоющіе. Выскли, разозлили малаго. а тотъ со зла пустилъ краснаго пѣтуха, спалилъ всю деревню, въ разоръ разорилъ и закабалилъ купцу. Изъ всѣхъ силъ бьются, чтобы въ податяхъ выправиться, и въ то-же время продаютъ за копѣйку огромный доходъ, а на глазахъ у нихъ крадетъ деньги и староста, и писарь, и старшина, и никто объ этомъ дознаться не можетъ. И вездѣ, гдѣ не понимаютъ,—водка. Водка—вездѣ, гдѣ нужно знаніе обстоятельствъ, недоступныхъ крестьянскому уму. Это съ одной стороны, а съ другой—крѣпостной опытъ, т. е. опытъ, рѣшительно ни на что негодный при новыхъ условіяхъ жизни,—вотъ рѣшители сложныхъ вопросовъ всей системы самоуправленія—общественныхъ, юридическихъ и финансовыхъ! Наблюдая эту разладицу и нескладицу, деревенскій наблюдательный умъ непременно долженъ сказать: «Нѣтъ, ребята, съ вами пища не сварится... Всю жизнь бейся, а придетъ старость—иди по міру: вамъ надо подати платить, а старику не въ силу работать, стало быть, ступай вонъ, а на твое мѣсто новаго работника... Всю жизнь бейся, а вы разозлите. обидите какого-нибудь человѣка

«Шелъ-шелъ Одея, подходитъ онъ къ храму свя-
тыя животначальныя и нераздѣльныя троицы и съ
радостью видитъ еще товарища Василия.

«— Здорово, Василий!

«— Здорово, Одея!

«— Какъ ты поживаешь?

«— Помаленьку, братъ Василій.

«Постояли Одея съ Василиемъ и врозь пошли».

* *

Слѣдующее по порядку рукописей сочиненіе не
имѣло заглавія; наверху четвертибумаги написано
было просто: «Осыпа Правдина» (мальчику 10 лѣтъ).
Самъ авторъ раздѣлялъ свои произведенія на три
части, отдѣленные одна отъ другой черточками.

«Во-первыхъ, взяли меня на льду Феодоръ Кни-
гинъ, Иванъ Владиміровъ, Александръ Морозовъ;
взяли они меня трое, связали, положили на ледъ,
а потомъ ушли. Я и лежу. А батюшка Александръ
ѣдетъ; проѣхалъ, воротился, развязалъ...

«Пасли мы съ братомъ свиней; да я легъ у
межи да и уснулъ. А онъ пошелъ меня искать
ночью. Кричитъ. Я услышалъ и откликнулся. Онъ
меня нашелъ; мы пошли домой. А меня искала
мама у гуменъ; а я съ братомъ иду, она меня и
увидала.

«А въ третій какъ было: у насъ была клушка
(насъдка) съ цыплятами. А ворона стала цыплятъ
ловить. Вотъ клушка на сарай. И я на сарай! И
пошелъ сараемъ по крышѣ, хотѣлъ ворону пугнуть,
да и провалился сквозь крышу, черезъ солому.
Только-бы ужъ совсѣмъ провалиться—уцѣпился
за жердь: висѣлъ-висѣлъ—паль. Полчасу лежалъ;
ушибся».

* *

Четвертая рукопись также безъ названія. Вверху
листа написано: «Феодоръ Морозовъ» (одинна-
дцати лѣтъ), солдатскій сынъ. Сочиненіе въ видѣ
письма къ учителю.

«Ваше высокоблагородіе,

Милостивый государь

Андрей Петровичъ!

Согласно вашему приказанію, честь имѣю до-
нести вамъ, что у насъ есть на рѣкѣ, на Бу-
рачкѣ, мельница о двухъ поставахъ. Она мелетъ
хорошо. Затѣмъ, уведомляю васъ, что, въ семей-
ствѣ нашемъ существуетъ воскобойня, на которой
мы пробиваемъ воскъ, продаемъ свѣчникамъ; свѣч-
ники изъ него сучатъ свѣчи, которыя зажигаются
въ церкви у каждой иконы. Священнымъ долгомъ
считаю при семъ присовокупить, что, въ настоя-
щее время, мы дожидаемся торжественнаго празд-
ника Рождества Христова и должны исправить
свою обязанность: сходить къ заутрени, къ обѣднѣ,
а послѣ обѣдни разговѣться, чѣмъ Богъ благо-
словить.

Остаюсь всепокорнѣйшій вашего

высокоблагородія

вѣрный слуга Феодоръ Морозовъ».

* *

Пятая рукопись принадлежитъ сыну трактир-

щика, Семену Курносову, тринадцатилѣтнему
мальчику, и также не имѣетъ названія.

«Я въ трактирѣ подаю чай, воду, лазю въ
погребъ, собираю посуду, перетираю посуду, нали-
ваю вино, получаю деньги, смотрю за народомъ.
Выручка у насъ хороша: когда 800 въ мѣсяцъ,
когда и меньше, а когда и болѣе. Я въ Екатери-
новкѣ учился хорошо, только тамъ меня на колѣ-
ни ставили разъ 5, а здѣсь нѣтъ этого; я изъ
училища приду, пойду на дѣвишникъ, пробуду до
утра, приду домой—меня не ругаютъ».

Кузница. Описаніе Андрея Кузнецова (13-ти
лѣтъ).

«Мы вчера на кузницѣ съ татей наварили дѣ-
насъки. Тятя стоитъ у горна, а я дую мѣхами.
Какъ нагрѣется желѣзо, такъ тятя его вынетъ
на наковальню. Ежели толстое желѣзо, то мы
зачнемъ въ два молота бить; тятя бьетъ малень-
кимъ, а я большимъ молоткомъ бью. Тятя желѣзо
держитъ въ клещахъ. А иногда и я стою у горна,
а тятя дуетъ, или кто нибудь другой дуетъ. Я
умѣю сдѣлать легкую деревенскую работу, какъ-
то: деревенскіе кочедыки для лаптей. Лампы за-
павваю и молотки дѣлаю; а тятя умѣетъ дѣлать
всѣ деревенскія вещи, и «такая» самовары ду-
дитъ—страсть! ружья чинитъ, даже и новыя дѣ-
лаетъ; ну только теперь у него сломался станокъ,
и онъ распродалъ весь свой инструментъ. Тятя даже
гармони чинитъ, но я этого дѣла не знаю».

* *

Разсказъ о вѣнчаніи. Былъ. Филиппа Яков-
лева (14-ти лѣтъ).

«Нанялъ меня Александръ Павловичъ (крестья-
нинъ), съ лошадьми, обвѣнчаться съ своей супру-
гой и заключить билетъ, чтобъ она не могла отъ
него отпереться. Уговорился Александръ Павло-
вичъ съ супругой своей, нарѣченной невѣстой
Грунькой, и поѣхали. Перво поѣхали къ нашему
гвардейскому попу. Нашъ попъ не отпирается и
проситъ съ нихъ за обрученіе жены двадцать-пять
рублей. Имъ показалось дороговъко. Мы обратно
до бузуевского попа пріѣхали, а его дома нѣтъ,
въ городъ уѣхалъ—мы обратно. Пріѣхали къ ала-
каевскому попу—и этотъ уѣхалъ къ благочин-
ному. Мы опять обернули лошадей, пріѣхали въ
Горьловку. Пріѣхали мы въ Горьловку, заѣхали
къ невѣстиной сестрѣ, выпрягли лошадей; дружка
пошелъ съ женихомъ къ попу. Приходятъ къ попу
и спрашиваютъ: «Батюшка! обручи намъ невѣсту
съ женихомъ!» Ну, батюшка не отпирается, а про-
ситъ водки. Дружка съ женихомъ пошли за вод-
кой, выпили штофъ вина и поѣхали въ Кузьминку,
потому въ Горьловкѣ церковь сгорѣла. Пріѣхали
въ Кузьминку, тамъ выпили два штофа. Потомъ
стали они пьяны. Ну, ввели жениха съ невѣстой
въ церковь, а попъ-то былъ шутникъ: постано-
вилъ его съ невѣстой, взялъ ихъ за руки и по-
велъ къ налою; дьяконъ книгу читаетъ, а попъ
«нанзусъ» отчитываетъ. И надѣли вѣнцы. По-
стояли женихъ съ невѣстой въ вѣнцахъ, вдругъ
попъ скидаетъ вѣнцы тѣ. А дьяконъ: «Что ты
дѣлаешь, батюшка? развѣ можно такъ-то? Пуста

лучше, я одинъ обѣнчаю!» А батюшка опять вѣнцы надѣлъ и повелъ кружить кругомъ, и заплѣлъ: «Матери Боже нашъ и роди сына Имянуша». Три раза обвелъ кругомъ, потомъ подвелъ къ иконамъ, поцѣловали они икону, потомъ батюшкѣ въ ноги. И поѣхали опять къ родитѣ; чаю напились, водки полведра выпили и достаточно были пьяны; потомъ поѣхали домой; потомъ пьяные-то женихъ съ невѣстой разодрались. Потомъ она плачетъ. Ёдемъ-ёдемъ — заломить руки кверху и зареветъ коровой. Стали къ сосѣдямъ подъѣзжать, вдругъ она и закричи, а женихъ изъ телѣги выскочилъ; ушолъ прочь... «Пошли прочь къ чортовой...» Мы поѣхали, пріѣхали къ матери; стала ее мать ѣсть, зачѣмъ безъ Александры воротилась. Тутъ пріѣхалъ Александра, купилъ на рубль водки отъ матери тихонько. Невѣста стала у него вино отымать, а онъ ее схватилъ за волосы и мало-что не убилъ ее».

Въ такомъ родѣ было написано до семидесяти «сочиненій», но не въ одномъ изъ нихъ, несмотря на всевозможныя названія, свойственныя «сочиненіямъ», какъ напимѣръ: рассказъ, былъ, описаніе, именно и не было ничего сочиненнаго. «Сущая правда», и явная, видимая неспособность что-нибудь присочинить отъ себя, что-нибудь прибавить, одинаково была свойственна, какъ девятилѣтнимъ, такъ и четырнадцатилѣтнимъ писателямъ, то-есть чистота и ясность дѣтской души ничѣмъ, никакой примѣсью, никакой фальшью не была помрачена и у мальчиковъ, которые года черезъ два будутъ женихами, а черезъ три навѣрное — семейными людьми.

— Ну что, какъ вамъ нравится? произнесъ учитель, все время молчаливо занимавшійся своимъ дѣломъ.

— Хорошо... сказалъ я.

— Что-же именно тутъ хорошаго?

— Хорошо... какъ чистый воздухъ... могъ я отвѣтить.

— Такъ-то такъ, но на меня они производятъ нѣсколько иное впечатлѣніе... Какая безпрекословная, такъ сказать, покорность факту! Обратили-ли вы на это вниманіе?

Учитель произнесъ эту фразу, внезапно оживляясь, и быстро подошелъ ко мнѣ. Онъ, очевидно, хотѣлъ пояснить свою мысль, но остановился.

Подъ самыми окнами слышался хляскъ по грязи лошадиныхъ копытъ... Кто-то повидимому быстро подскакалъ къ окну и остановился; кто именно подъѣхалъ къ окну, не было видно — на дворѣ уже стемнѣло — да кромѣ того, едва учитель приблизился къ рамѣ и приналъ къ стеклу, защищаясь рукою отъ свѣта, какъ глѣскъ копытъ послышался снова... Тотъ, кто подъѣхалъ, побѣлъ у окна нѣсколько секундъ и поспѣшно ускорилъ прочь...

— Ужъ не верховой-ли тутъ разъѣзжаетъ? сказалъ учитель въ безпокойствѣ... — И что имъ еще отъ меня нужно?.. Узнай пожалуйста, обратился онъ къ Гришѣ, — кто тамъ разъѣзжаетъ; выйди, посмотри, будь другъ.

соч. гл. усценскаго. т. II.

Самоваръ уже былъ готовъ. Гриша торопливо, насколько это было возможно при его неповоротливости, поставилъ его на столъ, за которымъ и занимался чтеніемъ, торопливо одѣлся и ушелъ. Учитель, встревоженный воспоминаніями недавнихъ безпокойствъ, со всей ихъ тягостной, досадной, выводящей изъ терпѣнія безсодержательностью, умолкъ и, тревожась ожиданіемъ Гриши, то спокойно шагаль по комнатѣ и ерошилъ волосы, то, чтобы скрыть безпокойство, принимался хлопотать около самовара, заваривая въ разбѣянности груду чаю.

Наконецъ Гриша воротился.

— Верховой и есть! сказалъ онъ, едва отворивъ дверь.

— Ко мнѣ?

— Нѣ! не къ вамъ... На деревню поѣхалъ... по нашему дѣлу. Сейчасъ надо бѣчь отъ васъ.

— Ну, слава Богу!.. Просто мученье, ни я ничего не понимаю, ни они ничего не понимаютъ... вѣдь это съ ума можно сойти!.. Давайте чай пить... Ты что-жъ не раздѣваешься? обратился учитель къ Гришѣ.

— То-то бѣчь надо.. Верховой-то по нашему дѣлу, а вамъ сказывалъ, пріѣхалъ. Опрашивать будетъ...

— Какое такое у васъ дѣло съ верховымъ?

— Да тутъ у насъ, у робятъ, дѣло то... Не знаю еще, меня-то примутъ ли. Ишь вонъ давеча говорятъ, чтобы меня въ компанію не брать...

— Какое дѣло-то, я все-таки не понимаю.

— Да тутъ дѣло... когда то еще выйдетъ рѣшеніе. Долго... Кабы ежели-бы рѣшеніе вышло, ну, тогда хорошо всѣмъ будетъ, по двадцать пять рублей на брата выйдетъ по закону... Это трактирщикъ Масловъ подаль на Недоноскова...

— Недоносковъ тоже трактирщикъ? спросилъ учитель.

— Изъ-за того и подаль Масловъ-то, что Недоносковъ ему перебиваетъ торговлю... Правовъ у него нѣтъ на выносъ, а онъ отпускаетъ вино-то... вотъ изъ-за-этого... Ну, а наши робята подсобили Маслову-то...

— Какимъ родомъ подсобили?

— Какъ подсобили-то? Уговорились съ Масловымъ пойтись къ Недоноскову въ трактиръ... на чай напимѣръ, на расходъ Масловъ свои три рубля далъ. Чаю пей, сколь хощь... Ну, и чтобы купить у Недоноскова бутылку вина, за печатью... Недоносковъ-то не давалъ — ну упросили... А Масловъ, значить, и пымалъ съ виномъ-то... Такъ уговоръ былъ, чтобы пымать насъ... Масловъ-то говорить — мнѣ, баетъ, ничего не нужно, а что выйдетъ по рѣшенію изъ суда — все вамъ, а тамъ вышъ сто цѣлковыхъ придется и больше еще ста, сказываютъ... Ну, а меня-то въ компанію принять не хотять. «— За что тебя, говорятъ, ты не уговаривался?.. «— Такъ что-жъ, что не уговаривался?» Я-же ихъ въ трактиръ привелъ, на свои чаемъ угощалъ, а они три-то рубля почестъ цѣлыми скрыли, подѣяли промежду себя... Вотъ теперь урядникъ пріѣхалъ, допрашивать будетъ, я

самъ отъ себя покажу, пущай по закону раздѣлять, по правиламъ, коли добромъ въ компанію не принимаютъ. Стало-быть, покуда прощайте...

Послѣднія слова, касавшіяся неодобрительнаго поведенія товарищей, Гриша произнесъ дѣтски-обиженнымъ тономъ.

Онъ ушелъ, а мы съ учителемъ молча и много-

значительно переглянулись. Оба мы были поражены этой дѣтской наивностью, съ которой Гриша воспринялъ и передалъ намъ чистѣйшую гадость.

А такую гадость, какъ липкую грязь, господъ Масловы и Недоносковы въ обидѣ и ежeminутно разбрасываютъ вокругъ себя въ поученіе подрастающему поколѣнію деревни.

ВЪГЛЫЕ НАБРОСКИ *).

1. Сонъ подѣ Новый годъ.

I.

Журналисты и литераторы имѣютъ обыкновеніе подѣ Новый годъ выдѣть разные болѣе или менѣе фантастическіе сны, о которыхъ и повѣствуютъ въ новогоднихъ нумерахъ тѣхъ изданій, въ которыхъ имѣютъ честь состоять сотрудниками. Будучи до нѣкоторой степени прикосновененъ къ журнальному дѣлу и литературѣ, и я, пишущій это, также сподобился сновидѣнія и также, по примѣру прочихъ собратьевъ моихъ, хочу сказать о немъ два слова читателямъ.

Само собою разумѣется, что я заснулъ внезапно, не помню, какъ и когда; но очень хорошо помню, что сновидѣніе было не фантастическое, безъ малѣйшихъ какихъ-либо чертъ сказочнаго, неправдоподобнаго или таинственнаго элемента; напротивъ, сонъ мой былъ необыкновенно реаленъ и скорѣе походилъ на газетную корреспонденцію, чѣмъ на дѣйствительный сонъ; во снѣ я видѣлъ статистическія цифры, журнальныя статьи, читалъ процессы—словомъ, почти нп на мгновеніе не отрывался отъ дѣйствительности. Причиною такого «газетнаго» сновидѣнія было, по всей вѣроятности, то, что я заснулъ съ газетою въ рукахъ; догадываюсь, что и причиною того, что я заснулъ и притомъ заснулъ внезапно, какъ убитый, было опять-таки то, что наканунѣ Нового года я слишкомъ усердно предавался чтенію «новыхъ» газетъ, хотя если не всѣ изъ нихъ, то весьма многія не только повидимому не имѣютъ намѣренія усыплять читателей, но какъ бы стараются изъ всѣхъ силъ

разбудить его и повтому кричатъ, даже «орутъ» и вообще стараются взять горломя. Окончательно же свалила меня съ ногъ нынѣ уже не существующая газета «Россія», подѣ патриотическіе вопли которой я и смежилъ свои вѣжды.

Вопли эти касались самаго прозаическаго вопроса,—вопроса о волостныхъ писаряхъ, и такъ какъ они имѣли значительное вліяніе на весь послѣдовавшій за чтеніемъ сонъ, то я и долженъ сказать, въ чемъ именно они заключались: «Здѣсь, вопіяла газета,—у самыхъ корней государственной жизни (въ деревнѣ, и въ особенности въ волостномъ правленіи), у самыхъ источниковъ всѣхъ ея питательныхъ соковъ, всѣ задачи, права и обязанности управленія можетъ съ удобствомъ нести на себѣ и круглый невѣжда, и пьяница, и воръ, и даже агитаторъ!» Тутъ же исчислены были и самыя обязанности управленія, исполняемыя въ настоящее время пьяницами, невѣждами, ворами и даже агитаторами. Обязанности эти оказываются далеко не шуточными, а именно: «полицейская власть, власть судебная, ибо онъ фактически управляетъ волостнымъ судомъ; онъ же завѣдуетъ администраціей волости, распоряжается исправленіемъ дорогъ, содержаніемъ пожарной части, мѣрами общественнаго призрѣнія, наблюдаетъ за нравственностью, за исполненіемъ санитарныхъ правилъ, за дѣйствіями сельскихъ должностныхъ лицъ; онъ же завѣдуетъ волостнымъ хозяйствомъ, мірскими сборами и капиталами, продовольственными запасами: онъ завѣдуетъ раскладкою и взиманіемъ государственныхъ и земскихъ сборовъ; по его распоряженію выполняются требованія воинской повинности, отъ него зависитъ выдача паспортовъ, увольненіе

*) Подѣ общимъ заглавіемъ «Вѣглыя наброски» здѣсь помѣщено то, что въ прежнихъ изданіяхъ носило названіе «Изъ записокъ человека безъ опредѣленныхъ занятій». Я измѣняю это названіе потому, что нахожу необходимымъ совсѣмъ не помѣщать въ собраніи «Сочиненій» тѣхъ главъ этихъ набросковъ, которыя утратили въ настоящее время общій интересъ. Въ выпущенныхъ теперь главахъ шло дѣло о такихъ фактахъ и событіяхъ русской жизни, которые были понятны только тогда, когда наброски эти писались, т. е. въ 1881—82 годахъ. Необходимо прибавить, что вѣкоторая, иногда чрезмѣрная настойчивость, встрѣчающаяся въ этихъ наброскахъ при отстаиваніи такихъ идей и дѣлъ, которыя, повидимому, вовсе не вуждаются въ

настойчивой защитѣ и совершенно ясны и неопровержимы для всѣхъ—должна быть объясняема временными обстоятельствами, тяжкими недоразумѣніями конца 70-хъ и начала 80-хъ годовъ: *приходилось* «вопить» о такихъ вещахъ, которыя въ болѣе спокойное, трезвое и безпристрастное время даже и тѣмъ сомнѣнія возбуждать не могутъ.

Изъ числа тѣхъ главъ, которыя слѣдовало выкинуть изъ настоящаго изданія, я оставлю только одну, которая хотя и написана по поводу случайнаго явленія, но имѣетъ кое-какой общій, постоянный интересъ, такъ какъ касается участіа городского рабочаго пролетаріата. Это—глава «*Джигитовый мѣшокъ*».

крестьянъ въ заработки, вывозъ ихъ оттуда обратно; онъ исполняетъ и объявляетъ по волости вновь изданные законы, правительственные распоряженія и предписанія уѣздныхъ учреждений. Однимъ словомъ, всё тѣ разнообразныя предметы управления, для заведыванія которыми существуютъ въ губерніи и уѣздѣ различныя уѣздныя и губернскія распорядительныя, исполнительныя и контролирующія учреждения — а надъ ними въ столицѣ центральныя — все это въ волости ввѣрено единоличному, въ большинствѣ случаевъ самостоятельному и безконтрольному вѣдѣнію писаря и старшины»... которые, какъ уже знаемъ, зачастую оказываются пьяницами, невѣждами, ворами и даже агитаторами...

Я заснулъ собственно на заключительныхъ словахъ статьи, гдѣ говорится, что на смѣну этимъ пьяницамъ, ворами и проч. должны быть допущены новыя силы, «новыя дѣятели, съ высшимъ умственнымъ и нравственнымъ уровнемъ» («Россія», № 63.). Последнія три строчки патріотической статьи, повторяю, убавляли меня, и главнымъ образомъ потому, что въ последнее время, когда «повѣялъ зефиръ» и русскому пишущему человечеству представилась нѣкоторая возможность сказать свое слово погромче того, какъ говорилось оно недавно, — эти призывы образованнаго человѣка къ дѣлу, къ вѣшательству въ запутанныя до безобразія условія народной жизни, слышатся изъ всѣхъ и новыхъ, и старыхъ передовицъ, вылетаютъ изъ-подъ всѣхъ перьевъ, но, увы! вылетаютъ всегда безъ плоти и крови, безъ малѣйшихъ попытокъ опредѣлить это участіе, очертить хотя бы и гадательно, хотя бы и съ примѣсю извѣстной доли непрактической фантазіи... Предложенія, простыя и сложныя, соединенныя въ пріятныя округленные періоды, въ которыхъ обыкновенно выражаются и излагаются эти призывы, хотя и пріятно ласкаютъ ухо слушателя и мысль читателя, но въ большемъ количествѣ не могутъ считаться питательной и полезной для ума пищи, и вотъ почему читатель очень скоро набиваетъ отъ нихъ оскомину и его начинаетъ клонить сонъ въ такихъ пунктахъ патріотическихъ воззваній, гдѣ, казалось бы, надобно было воспрянуть и ожить...

Послѣ словъ «умственный и нравственный уровеньъ» я почувствовалъ, что вѣки мои слипаются, и я, какъ ключъ ко дну, стремительно погружаюсь въ непробудный сонъ...

Гдѣ я?..

Оглядевшись, я догадался, что нахожусь въ волостномъ правленіи: бѣлая голыя стѣны, кой-гдѣ украшенныя планомъ уѣзда, портреты Государя, министровъ... Комната большая, просторная; въ углу — сундукъ съ деньгами, а передо мной широкій столъ съ кучей бумагъ, съ двумя салными свѣчами въ приличныхъ подсвѣчникахъ, за столомъ — радостная фигура молодого волостного писаря, которымъ сновидѣніе не задумалось сдѣлать моего стариннаго знакомаго, по фамиліи Лиссабонскаго... Эта великолѣпная фамилія уже сама по себѣ означаетъ, что человѣкъ, который носитъ ее, — есть разночинецъ, т. е. принадлежитъ къ та-

кому классу людей, который, не смотря на свою многочисленность въ Русской Землѣ, поставленъ въ всякой возможности быть для нея чѣмъ-нибудь инымъ, кромѣ бремени. Въ былое время крѣпостного права вся эта масса безземельнаго грамотнаго пролетаріата прямо кормилась народомъ, въ видѣ поповскихъ, дьяконовскихъ, чиновничьихъ, приказчиныхъ семействъ; съ упраздненіемъ же крѣпостного права, вся эта масса народа брошена на произволъ судьбы. Для громаднаго большинства этихъ несчастныхъ людей бѣдность не даетъ возможности пройти весь кругъ образованія, дающій входъ въ общество; земельный надѣлъ, могшій прикрѣпить массу такихъ людей къ крестьянскому труду и міру, оказался почему-то невозможнымъ; ремесленныхъ, сельско-хозяйственныхъ и другихъ профессиональных школъ и училищъ, дающихъ возможность приложить свои руки къ труду и ѣсть не сухой хлѣбъ, какъ всѣмъ извѣстно, существуетъ на всю многомилліонную Россію такъ мало, что не насчиташь и десятка. Такимъ образомъ на глазахъ у всѣхъ образовался громадный резервуаръ грамотныхъ, но зависимыхъ въ кускѣ хлѣба отъ любого богатаго мужика, кабатчика — людей, которые въ большинствѣ случаевъ и стоятъ у «корня государственныхъ основъ»; но изъ этого же резервуара выходятъ не мало людей (они вѣдь люди), которыхъ близость къ народной средѣ, знакомство съ нею невольно и неотразимо побуждаютъ и жить, и работать въ ней, и притомъ не на пользу кабатчикамъ и мірошдамъ, а на пользу народа...

Лиссабонскій былъ именно разночинецъ послѣдняго свойства. Со школьной скамьи онъ постоянно стремился найти какое-нибудь дѣло въ деревнѣ, именно въ деревнѣ, а не въ городѣ, гдѣ, по его словамъ, онъ просто «не умѣлъ» жить. Нельзя сказать, чтобы ему не удавалось по временамъ пристроиться къ мѣсту и не въ городѣ, а въ деревнѣ; но онъ обыкновенно выдерживалъ не долго; выходили мѣста въ конторщики, въ приказчики, въ писаря къ мировымъ посредникамъ, но вездѣ онъ не уживался долго потому, что собственно хлѣбъ, харчи, словомъ, возможность быть сытымъ — не привлекаетъ его. Да и работать-то приходилось больше на состоятельнаго человѣка, а Лиссабонскій, по добротѣ сердца и потому еще, что въ головѣ его бродили кой-какія идеи, желалъ работать, какъ разъ наобороте, на несостоятельнаго человѣка, мужика. «Состоятельный, говоритъ онъ: — найдеть: за деньги къ нему пойдетъ и не такой грамотникъ, какъ я; вотъ Губонинъ да Поляковъ деньгами забираютъ въ руки самый цвѣтъ интеллигенціи — «все куплю! сказало золото»... А вотъ у кого нѣтъ, кто «купить»-то не можетъ нужнаго человѣка, вотъ тому-то и надо помогать. Ну, да время не такое стоитъ»...

Такъ говаривалъ Лиссабонскій въ прежнее, хотя и недавнее время; въ ту же минуту, когда я увидалъ его во снѣ, за столомъ въ волостномъ правленіи, онъ весь сіялъ, и первое слово, которое я отъ него услышалъ, было:

— Призываютъ, братецъ мой, всѣ призываютъ!

Не такое время... Если не воръ, не пьяница, не невѣжда нужны господину Губонину, чтобы не быть обокраденнымъ и обворованнымъ и стало быть разореннымъ, такъ ужъ мужику-то и по-давно нуженъ такой человѣкъ.

— Что-же ты будешь дѣлать для мужика? И чѣмъ ты, не воръ, не пьяница, можешь быть ему полезенъ? спросилъ я. — И не лучше-ли всѣмъ взять, воровъ и не воровъ, оставить его въ покоѣ и убраться отсюда изъ деревни по-добру по-здорову?

— Да и я уберусь, какъ только выгоню вора! Пусть уйдетъ воръ и разоритель — и я сейчасъ же удалюсь, куда глаза глядятъ... Но дѣло-то въ томъ, что разоритель всякихъ свойствъ, всевозможныхъ видовъ и формъ, свободно вступаетъ въ деревню, а противуясь ему въ деревнѣ нѣтъ. Возьми вотъ послѣдніе крестьянскіе процессы, въ нихъ все есть для окончательнаго омраченія людей: есть владѣлецъ, который *старается запутать* ихъ, есть власти, которые *не стараются распутать*, есть власти, которые дѣйствуютъ со строгостью и скоростью, есть народъ, который ничего не понимаетъ. Но человѣка, который-бы пришелъ къ нимъ только съ желаніемъ распутать ихъ, который-бы взялся за ихъ дѣло, — нѣтъ его! И только вотъ теперь стали поговаривать въ газетахъ о томъ, что такой человѣкъ нуженъ. Ну, словомъ, вотъ я и хочу работать...

— Что-же именно?

— Да то, что указать обстоятельства: ты видишь, что я только сію минуту сдѣлался волостнымъ писаремъ, я еще ничего не знаю. Ты читалъ въ газетѣ, какая масса дѣлъ на рукахъ у волостного писаря?

— Читалъ.

— Ну, скажи пожалуйста, неужели же я-то, не воръ, не пьяница, не грабитель, и тѣмъ паче не агитаторъ, ужъ такъ и не пригожусь хоть для этой волости, хоть для одной деревни, при такомъ обиліи обязанностей?

Лиссабонскій ждалъ отъ меня отвѣта, но въ эту минуту дверь отворилась, и въ комнату правленія вошло новое лицо.

II.

Это былъ разсылный земской почты. Весь въ снѣгу, съ обмерзлой бородой, въ башлыкѣ, онъ казался какимъ-то чудищемъ. Первымъ дѣломъ, по приходѣ въ правленіе, онъ направился къ яркотопившейся печкѣ и, ежась и приплясывая, сталъ грѣть руки и ноги въ валенцахъ. Обогрѣвшись, онъ приблизился къ столу и вынулъ изъ кожаной сумки два пакета; одинъ былъ очень толстъ, а другой тонокъ.

— Вотъ! сказалъ онъ весело: — гостинчикъ мужикамъ! Способіе прислали, больше тыщи рублей.

— Какое пособіе?

— А на голодъ. Для раздачи. Царь насъ помянитъ, батюшка!.. Вонъ, какъ угодилъ — въ самое

бѣдовое время подсобляетъ. И мужичишки-то радеюньки...

— Когда же они успѣли узнать? спросилъ Лиссабонскій.

— Эва! Я тутъ, верстахъ въ десяти, признался, въ кабачокъ заѣхалъ погрѣться — проболтался, что, молъ, гостинецъ везу царскій, такъ оттудова мигомъ разнесли... бѣднота!.. Голодуха!.. Небось запрыгаешь!

— А другой пакетъ отъ кого? спросилъ Лиссабонскій.

— Ну, а этотъ, какъ-то скосивъ голову на бокъ и съ выраженіемъ сожалѣнія мотнувъ ею, проговорилъ разсылный: — этотъ пакетъ, надо сказать правду, не вполне можетъ быть сюрпризомъ... Нѣтъ, весьма не такой пакетъ, чтобы его счесть за удовольствіе.

— Что же такое?

— Насчетъ недоимки! «Безъ послабленія и безъ снисхожденія!» проговорилъ разсылный, пожимая плечами, и прибавилъ: — что будешь дѣлать? Такое наше мужицкое счастье!

Какъ и куда исчезъ разсылный, я не помню; но знаю, что вслѣдъ за его исчезновеніемъ я и Лиссабонскій торопливо принялись распечатывать привезенные пакеты. Въ томъ пакетѣ, который, по словамъ разсылнаго, не представлялъ для крестьянъ удовольствія, мы нашли бумагу уѣзднаго исправника, въ которой было сказано, что «съ полученіемъ сего предписываю тебѣ немедленно взыскать числящіеся за второе полугодіе на жителей деревни такой-то сборы, въ количествѣ столько-то рублей и копеекъ, въ противномъ случаѣ»... Въ другомъ пакетѣ были деньги около тысячи рублей и бумага отъ уѣздной земской управы, въ которой сказано было, что деньги эти немедленно должны быть розданы жителямъ той же самой деревни, съ которой немедленно же должны быть взысканы и сборы... Но что особенно поразило насъ, такъ это, во-первыхъ, то, что цифра недоимокъ была точъ въ-точъ та же, что и цифра пособій: и въ недоимкахъ стояло 876 р. 34 к., и въ пособіи стояло 876 р. 34 к., а во-вторыхъ, въ обоихъ пакетахъ мы нашли списки недоимщиковъ, причемъ, къ невысшему нашему изумленію, опять въ обоихъ спискахъ оказались одни и тѣ же лица. Въ спискѣ недоимщиковъ значились имена: Перепелкина, Ворокуева, Офицера, Колобродина, и въ спискѣ нуждающихся въ пособіи стояли тѣ же имена и въ томъ же порядкѣ, т. е. Перепелкина, Ворокуева, Офицера, Колобродина и т. д. Очень можетъ быть, что въ дѣйствительности не случается ничего подобнаго; но мы просимъ не забывать читателя, что все описываемое происходитъ во снѣ, стало быть, не можетъ избѣжать нѣкоторой неточности. Прочитавъ эти странныя бумаги, и я, и Лиссабонскій были до нѣкоторой степени поражены страннымъ совпаденіемъ и цифръ, и именъ: одинъ и тѣ же деньги какъ бы вручаются въ пособіе и въ то же время какъ бы отъемлются! Которой изъ этихъ двухъ бумагъ отдать предпочтеніе?

— Какое странное совпаденіе! проговорилъ Лис-

забонскій, спрятавъ деньги въ столъ и вертя передъ собою бумаги и списки... И тамъ, и тутъ—однѣ цифры, одна имена... Ужъ не потому ли деньги на пособіе присланы одновременно съ требованіемъ недоимокъ, что деньги эти должны идти не въ пособіе, а въ казну?..

— Ну, за-ачѣмъ, въ казну-у! произнесъ въ отвѣтъ чей-то незнакомый голосъ. Оглянувшись, мы увидѣли, что въ правленіи посреди комнаты стоитъ небольшого роста опрятнѣйшій старичокъ, молится на образъ и въ то же время говорить:

— Завѣ-емъ! У казны, у матушки, много денегъ... Что ужъ ей пытаться этакими-то крохами. Авось, перетерпѣть лютое-то время!..

Старичокъ помолился, подошелъ къ Лиссабонскому и, протянувъ ему руку, сказалъ очень ласково:

— Ну, здравствуй, нашъ министръ... Здорово! Пришелъ старикъ Баранкинъ обзнакомиться съ новымъ писарькомъ-то. Давай, милушка мой, жить въ согласіи и въ дружбѣ... Вотъ что я скажу... Знаешь, чай, слышалъ Баранкина?

— Нѣтъ, отвѣтилъ Лиссабонскій:—не слыжалъ, не знаю...

— Ну—узнаешь. Баранкина всѣ знаютъ, дружокъ мой, всѣ-э! На-ко вотъ, прими гостинчику, посненькаго?..

Старичокъ отвернулъ полу и досталъ изъ кармана панталонъ бутылку водки съ надписью «Русское Добро»...

— Я не пью! сказала Лиссабонскій.

— Э? Чего такъ?

— Такъ, не пью! Не научился... Не могу!

— Э-э-э, какой ты! А ты привыкай помаленьку... Надо! У насъ безъ водки нельзя... Н-не думай!

— Ну ужъ, что дѣлать, раньше не научился, теперь привыкать поздно!

— Н-ну, нѣтъ надо! И такъ полюбимъ другъ друга... Я тебѣ скажу: понравился ты мнѣ, право слово, по душѣ... Я вратъ не люблю, а говорю прямо, что сразу ты мнѣ понравился: вижу, понятливый ты человѣкъ... Вотъ что!

— Спасибо вамъ!

— Право слово, дорого мнѣ, братъ ты мой, что ты человѣкъ, какъ я вижу, хорошій. Вотъ что мнѣ дорого. Я, братанъ мой милый, люблю, чтобы по душѣ, по совѣсти, чтобы помягче... Вѣдь ежели такъ-то, по мужичьимъ-то взять—кто ты? Писарь! Кто мы?—хозяева твои; мы тебя наняли, платимъ тебѣ деньги, слѣдовательно ты и обязанъ намъ служить. А я не такъ: съ хорошими человѣкомъ надобно по хорошему, а не по худому... Видишь, я вотъ и пришелъ къ тебѣ, самъ пришелъ, чтобы, значить, ты также меня понималъ. А скажу я тебѣ, въ веселый ты часъ къ намъ попалъ... Ты пришелъ, и бумага какая-то пришла пріятная...

— Да! сказалъ Лиссабонскій.—Вотъ пришло двѣ бумаги, и я не знаю, что мнѣ съ ними дѣлать? Въ одной пишутъ: выдать пособіе, а въ другой—взыщи, и точъ-въ-точъ съ однихъ и тѣхъ же крестьянъ, и копѣйка въ копѣйку и тамъ и тутъ. Ко-му-жъ—крестьянамъ или казнѣ?

— И объ-чтомъ! Казнѣ... Казна-матушка царская вел-лика! Вел-лика! Н-ну, авось она какъ-нибудь и перетерпитъ... А вотъ я тебѣ что скажу, только скажи ты мнѣ, любишь ты ветчинку хорошенькую, копчененькую? А коли любишь, такъ ужъ окорочекъ я тебѣ безъ сомнѣнія представлю, потому, милушка ты мой, коптильня у меня есть, и большая, и хорошая... Только, милушка, ветчинку-то купить надобно, ку-у-упить ее надобно, свинокку-то купить надобно, ку-у-упить ее надобно, свинокку-то, голубеночекъ мой, ее надо на де-е-нежки, охъ, на денежки, миланчикъ мой! А де-е-нежки-то, миламурчикъ мой, всѣ-то денежки-то мои, маюнькія, всѣ-то мужички разобрали, да по дворамъ растаскали, да и не отдадутъ, купидончикъ ты мой! А свинопина-то дешева стала, вотъ-бы ее купить теперича, анъ она къ рождеству-то и ветчиной-бы обернулась, и окорочекъ-то-бы у тебя къ праздничку Христову былъ; анъ денежокъ-то нѣтъ—всѣ въ расходѣ да въ разбродѣ... А въ карманѣ-то у Баранкина однѣ записки да росписки... Вотъ, милушка, доброе твое сердце и должно понять это, да старичка-то въ обиду не дать... Старичку-таки, голубъ мой, кормиться надо, надобно ему и пособить... А росписки—есть. Ты что? Ты думалъ, старикъ зря? Н-нѣтъ, мой сизокрылый голубчикъ, росписисски! Ффформенныя... «при первой возможности». Все ффформенныя! Тутъ ужъ безъ обману!.. Время, время учить нашего брата... Я вонъ лавчонку имѣю, съ городомъ дѣлишки дѣлаю, а въ городѣ-то все вексельки берутъ... Знаешь, вексельки? Все одно бумажка маюнькая, а шея трещить отъ нея, трещить! А здѣсь-то все на совѣсть было прежде, все на совѣсть—ну, это вышло будто и не подкадрилъ одно-то къ другому: тамъ векселекъ, а тутъ совѣсть, анъ оно и тово... не вполне спокойно... И тутъ стало-быть надо росписочки, бумажки, и бумажки ффо-оорменныя, голубъ мой бѣлоснѣжный! Охъ, форменныя!.. И всѣ у меня бумажечки-то форменныя, крррѣпкія, прррѣпчайшія: и «по востребованію», и «немедленно», и «въ противномъ случаѣ»—все есть, нельзя, дружокъ молоденькій, нельзя... Накось вотъ, посмотри, какія тутъ у меня есть бумажечки... Всеее ффформенныя... безъ отгѣны, безъ послабленія, а этого я только и хочу—безъ ссоры, безъ брани. а по тихому... А могу! Передъ Богомъ могу!.... Почитайко-сь!

Старичокъ вручилъ намъ цѣлый пукъ исполнительныхъ листовъ и рѣшеній волостного суда, листовъ и рѣшеній такого рода, что мы немедленно же увидѣли въ немъ злѣйшаго кулака и міробѣда; условія Фишера были ничто въ сравненіи съ этими форменными бумажками, которыя представляли собою поистинѣ нѣчто потрясающее.

— Н-ну, какъ по твоему? Вполнѣ-ли по закону? Да я и самъ знаю; тоже имѣемъ знакомство, кой-гдѣ и у насъ есть руки наши... И видишь ты, могу вѣдь я и не по тихому сдѣлать, а не хочу... Вотъ я тебѣ и говорю, по чести, по мягкому моему ндраву: деньги эти казенныя ты въ казну не отдавай, а отдавай ты ихъ мнѣ. Вотъ какъ бу-

публику какъ огнемъ. Офицеровъ поблѣднѣлъ, потъ градомъ лилъ съ его лица, всклооченные волосы прилипли къ худымъ вискамъ, и по мѣрѣ того, какъ въ голосѣ его начали слышаться уже рыдающія ноты, тѣ-же, какіе-то отрывочные, но рыдающіе звуки слышались и въ толпѣ... Она говорила тоже о ненасытности Баранкина, говорила по словечку, глухо и какъ-бы всхлипывая...

Не помню, чѣмъ кончилась эта сцена. Помню одно, что деньги были отданы тѣмъ самымъ лицамъ, которымъ они предназначались по спискамъ земской управы. Помню и Баранкина, уходившаго послѣ всѣхъ, его ожесточенное лицо и слова, сказанныя Лиссабонскому:

— Ну, милостивый мой писарекъ, разговорецъ у насъ съ тобою будетъ особенный... Особенный у насъ будетъ съ тобою обиходъ...

Сильно хлопнувъ дверью, Баранкинъ исчезъ.

— Скажи, пожалуйста, неужели-же я долженъ былъ деньги эти зачестъ въ подати, или отдать міровѣду? Вѣдь если сочли нужнымъ помогать людямъ, стало быть знать, что у нихъ нѣтъ!.. Не правда-ли?

Что отвѣчалъ я Лиссабонскому—не помню... И комната волостного правленія, и Лиссабонскій исчезли невѣдомо куда, и сонъ принялъ беспорядочный, отрывочный характеръ; мѣста и лица мѣнялись, слѣдуя съ поразительной быстротой одинъ за другимъ...

...Вижу я деревенскую улицу, заваленную снѣгомъ; по срединѣ бѣлой дороги, не смотря на то, что на дворѣ поздній вечеръ, ясно видна группа мужиковъ... Это тѣ самые Офицеры, Ворокуевы и т. д., которые только что получили пособіе... Шумъ и говоръ между ними, и смѣхъ даже слышится: рады, веселы, благодарны; поминутно снимаютъ шапки, крестятся...

— Что, язва сибирская? остановившись около дома Баранкина, произноситъ Офицеровъ.—Взялъ?

— Что? вопрошаетъ тотъ-же домъ другой изъ ошаставленныхъ:—хлебнулъ?

— А было, братцы, подобрался? Ло-о-во подобрался было... Дай Богъ здоровья писарю-то, писарь-то не пьяница, не воръ... Не пошелъ на его сладкопѣство. А то-бы сглонулъ.

— Сгло-онулъ-бы! Этому живоглоту...

Вдругъ Офицеровъ не выдержалъ, и со словами:

— Ахъ ты, язвица!—въ дребезги разнесъ стекло въ окнѣ у Баранкина какимъ-то попавшимся на дорогѣ кирпичемъ...

Вижу опратную, теплую-претеплую, хоть и сильно пахнущую маленькими дѣтьми комнату, принадлежащую нѣкому Иоанну Бенедиктову. Согласно «духу вѣка», Иоаннъ Бенедиктовъ пораженъ страстію. даже не страстію, а сладострастіемъ къ матеріальнымъ благамъ, которая понимаетъ въ самомъ обжорномъ, такъ сказать, видѣ. Иоаннъ Бенедиктовъ любитъ пряники, сладкое, вообще, что вкусно языку... Когда онъ ѣдетъ по желѣзной дорогѣ и ему приходится видѣть буфетъ, обставлен-

ный яствами и питіями, онъ не можетъ оторваться, все трогаетъ рукой—и бутылку, и шоколадъ, и яблоко—онъ трясется... Но вѣдь на все это надо деньги, и Иоаннъ Бенедиктовъ достаетъ ихъ; онъ святѣй святого — что касается его обязанностей. Знаешь молитву Господню? — «Гдѣ намъ знать!» Ну, не вѣнчаю.—«Да у насъ все готово, напекли, наварили, ваше боголюбіе!»—Двадцать пять рублей серебромъ! Даютъ. Онъ не даетъ причастія, если знаетъ, что у человѣка есть въ карманѣ деньги, не даетъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ, которыхъ въ церковномъ уставѣ множество; не крестить, не хоронить и т. д. Деньги и деньги, а кромѣ денегъ, гуси, окорока, пряники, вино... Голосъ у него тихій, взоръ ангельскій, но въ малѣйшемъ движеніи видна обжорно-сладострастная душа.

Иоаннъ Бенедиктовъ и Баранкинъ, весь дрожащій отъ гнѣва и ожесточенія, строчатъ бумагу... Они — союзники по части ветчины. Тутъ, въ этой ветчинѣ, замѣшаны и церковныя деньги, и староста, у котораго, посмотрите, какой хорошенькій домикъ, а вѣдь старостою всего два года. Иоаннъ Бенедиктовъ строчитъ, а Баранкинъ помогаетъ; староста входитъ тоже взволнованный и растрепанный.

— Что за напасть? испуганно спрашиваетъ онъ.

— А вотъ слушай: казенныхъ денегъ не платить.. Камнемъ разнесъ окно... Чистое бунтовство! Пиши: и на мои слова — коли ежели казна требуетъ...

Бѣлый день. Опять снѣжная дорога. Баранкинъ съ бумагой подъ жилеткой, въ летнихъ санкахъ, на дюжмъ рысакѣ, во всю мочь мчался къ тому самому мировому судѣ, который поставлялъ рѣшеніе на счетъ взысканія Баранкина. Онъ примчалъ однимъ духомъ. Минута—и они бесѣдуютъ, слышатся слова: «Что-жъ это будетъ? Вѣдь рѣшено по законамъ? Камнемъ въ окно!..» Мировой судья, съ носомъ, налитымъ водкой, чувствуя, что душа его ужъ продана чорту, подправляетъ бумагу; писарь Юносовъ, изъ штрафныхъ солдатъ, перебѣляетъ... и опять поле, саночки, вдали станція желѣзной дороги...

— Поговоримъ мы съ тобою, милостивый милануръ писарекъ!..

Опять большая, даже громадная комната; столы съ бумагами, конторки, въ отдаленіи масса такихъ-же комнатъ, откуда доносится скрипъ перьевъ. За большимъ столомъ сидитъ лицо въ мундирѣ, передъ нимъ тетрадь съ надписью: «Дѣло о именующемъ себя Лиссабонскимъ, обвиняемомъ...»

— Опять! Воже мой, что это такое? вчера Карповъ, третьяго дня Андреяновъ, сегодня Лиссабонскій—конца нѣтъ!

Какимъ образомъ всѣ три лица, о которыхъ упомянулъ человѣкъ въ мундирѣ, очутились въ комнатѣ—не знаю, но помню, что между ними и лицомъ происходили такіе разговоры:

— Помилуйте, говоритъ Лиссабонскій:—за что же? Вѣдь дѣйствительно пособіе приказали выдать... Почему виновнымъ оказываюсь я, а не Баранкинъ, который довѣлъ ихъ своимъ безчеловѣчными требованіями...

— Помилуйте, слышу я голосъ Карпова:—крестьяне сожгли хлѣбъ у г-на N ночью, въ тотъ самый день, какъ я появился въ селѣ и толковалъ съ ними. Я не буду говорить о причинахъ, которыя побудили ихъ стать во враждебныя отношенія съ г. N—дѣло Вобринскаго съ Фишеромъ, и дѣло въ Великихъ Лукахъ разъяснять это лучше. Я буду говорить только о себѣ: въ настоящее время всѣми признано, что улучшение крестьянами своего состоянія зависитъ, между прочимъ, отъ улучшенной обработки земли. Я ничего не хочу, я говорилъ только о земледѣльческихъ орудіяхъ, уговаривая ихъ купить молотилку. Теперь они пользуются молотилкою г. N, который беретъ съ нихъ за часъ. Я уговаривалъ ихъ купить сообща. Неужели это преступленіе? Вотъ—газета, издаваемая благонамеренными лицами; извольте прочитать: «въ артели, товариществъ—спасеніе нашего крестьянства», я говорю то-же самое. Можно писать въ газетѣ, такъ неужели-же нельзя говорить-то о томъ-же въ деревнѣ? Я прошу вашего снисхожденія выслушать слѣдующій примѣръ. Представьте себѣ, что какая-нибудь фирма, торгующая земледѣльческими орудіями, разослала по деревнямъ агентовъ съ самыми обыкновенными коммерческими цѣлями: какъ можно больше распространить этихъ продуктовъ въ народѣ. Вѣдь всякому такому агенту *непременно* надо будетъ *говорить съ народомъ* и непремѣнно надобно будетъ *проповѣдывать* тѣ самыя идеи, которыя проповѣдывалъ я, *непремѣнно* надобно будетъ говорить о томъ, какая выгода въ приобрѣтеніи собственнаго инструмента, надо говорить, что деньги, которыя вы за него платите кому-то, останутся у васъ въ карманѣ и т. д. Безъ *такихъ* разговоровъ нельзя обойтись никому, никакому самому скромному дѣятелю въ народѣ.

— Однакожъ подожгли!

— Но, позвольте...

— Въ свое оправданіе, слышу я голосъ Андреянова:—я могу сослаться на § такой-то устава—скаго ссудо-сберегательнаго товарищества, гдѣ сказано, что имущество крестьянъ—такое-то и такое-то,—не можетъ быть продано для уплаты долга товариществу, такъ какъ такая продажа разстраиваетъ ихъ благосостояніе и ослабляетъ платежную силу. Уставъ утвержденъ г-мъ министромъ внутреннихъ дѣлъ. Извольте посмотреть. Въ то время, когда купецъ Миломордовъ прибылъ съ урядниками и приставами для описи имущества и когда урядникъ, выстрѣливъ изъ револьвера въ щипленка, ранилъ при этомъ женщину и хотѣлъ стрѣлять въ овцу, я, будучи членомъ правленія ссуднаго товарищества и состоя писмоводителемъ, замѣняющимъ предсѣдателя въ его отсутствіе, вышелъ и объявилъ, что такъ какъ, согласно § устава, всѣ члены товарищества отвѣчаютъ своимъ имуществомъ, то, во-первыхъ, лишать ихъ имущества, обезпечивающаго ссуду государственнаго банка, нельзя, ибо банкъ—учрежденіе правительственное, а Миломордовъ только міроѣдъ, и что,

кромѣ того, согласно §, то имущество, которое хотѣли описывать, *не можетъ* быть описано, ибо параграфъ утверждаетъ, какъ я уже доказывалъ, господиномъ министромъ внутреннихъ дѣлъ...

— Однако послѣ вашихъ словъ крестьяне оказали сопротивленіе. Урядникъ Двуглавовъ получилъ по-уху.

— Но, позвольте. Въ § 123.

Вижу вокзалъ желѣзной дороги. Отправляютъ почту. Сонное состояніе позволяетъ мнѣ видѣть, что въ одной изъ сумокъ лежитъ толстый пакетъ за семью печатями, а въ пакетѣ немного менѣе десятка дѣлъ; тутъ и о Лиссабонскомъ, и объ Андреяновѣ, и о Купріяновѣ, и всѣ обвиняемые.. Вижу Петербургъ въ 9 часовъ утра, когда приходитъ почта. Въгуть со всѣхъ концовъ Россіи кучи, горы пакетовъ, и все Лиссабонскіе, Андреяновы и Купріяновы, и все съ вредными разговорами. Вижу лицо: распечатало оно всѣ пакеты, всплеснуло руками и возопило:

— Одновременно во всѣхъ деревняхъ!.. Нѣтъ, тутъ надо безъ послабленія...

И опять ночь, и снѣгъ, сугробы снѣга, елки... елки и тройки... тройки и колокольчики... А на тройкахъ Лиссабонскіе, Андреяновы, Купріяновы... Только колокольчики позвякиваютъ да полозья скрипятъ. Даль, тьма...

III.

На мгновеніе я ничего не видалъ во снѣ, но ухо мое не переставало слышать звуки колокольчиковъ; они то замирали вдали, то слышались громче. И въ самомъ дѣлѣ, они съ каждымъ мгновеніемъ стали явственнѣе доноситься до моего уха и наконецъ заговорили полнымъ звукомъ... Что-же это такое однако? Я опять въ волостномъ правленіи; опять тѣ-же стѣны, тотъ-же сундукъ, тотъ же шкафъ, но Лиссабонскаго нѣтъ; на столѣ лежатъ не распечатанными два пакета, изъ-за которыхъ случилась вся рассказанная исторія. Очевидно, что ничего этого не было; но, продолжая грезить и соznавая, что все это дѣлается во снѣ, я чувствовалъ, что что-то будетъ. И точно, едва только бубенчики замолкли, какъ мнѣ показалось подъ самыми окнами волостного правленія, какъ въ комнату ввалился грузный человѣкъ въ бобровой шапкѣ и въ лисьемъ пальто, съ бобровымъ воротникомъ. Это былъ старшина. И я еще разъ убѣдился, что мнѣ пригрезилось Богъ знаетъ что, потому что безъ старшины ничего подобнаго тому, что сдѣлалъ Лиссабонскій, нельзя было ни подѣлать какими-нибудь. Но меня интересовало, что именно будетъ сдѣлано теперь. Вслѣдъ за старшиной вошелъ писарь, проворный и ловкій парень, по фамиліи Загалстуховъ: оба они—и старшина, и писарь—раздѣлись, поотгреблись, поразіялись и приступили къ разборкѣ дѣлъ.

— Читай; что въ бумагахъ? сказалъ старшина. Писарь прочиталъ бумагу о пособіи.

— Читай другую!

Писарь прочиталъ о взысканіи.

— Ну, какже быть теперь? спросилъ старшина. — Видъ въ обѣихъ «въ противномъ случаѣ» прибавлено, а это слово — у меня вотъ гдѣ.

Старшина показалъ на затылокъ.

Писарь повертѣлъ бумаги въ рукахъ, поглядѣлъ въ списки и произнесъ:

— Очень просто!

— Ужъ уладь!

— Будетъ въ аккуратѣ сдѣлано!

— То-то, чтобъ... Я ужъ сживалъ... знаю... ужъ пожалуйста, чтобы — исполнѣ!

— Авось знаю! Чего ты?

— То-то!..

Въ это время вошелъ Баранкинъ, помолился Богу, поздоровался со старшиной, съ писаремъ, вынулъ бутылку воды, шепнулъ писарю что-то на ухо; писарь взял бутылку, поглядѣлъ на ярлыкъ и отнесъ ее въ уголъ, за кассовый сундукъ. Порѣшивъ съ писаремъ, Баранкинъ взялъ подъ руку старшину, вышелъ виѣсть съ нимъ въ сѣни и, поговоривъ тамъ минуты двѣ, возвратился назадъ виѣсть съ старшиной.

— Ну, ладно! Песъ съ тобой! Будь по твоему! сказалъ старшина Баранкину, войдя въ комнату, и, обратясь къ писарю, прибавилъ:

— Слышалъ что-ль, что старый хрычъ-то желаетъ?

— Я и такъ знаю!

— Можно?

— Очень просто!

— Ну — инъ пушай! Обладимъ!

Немедленно послѣ этого разговора, росписки, хранившіяся въ карманѣ Баранкина, очутились на столѣ; писарь положилъ ихъ посреди бумагъ о пособіи и взысканіи и расправлялъ рукой. Офицеровъ, Недобѣжкинъ, Ворокуевъ и всѣ прочіе явились немедленно.

— Что, господа, сказалъ Офицеровъ: — говорить, гостинчикъ есть намъ, горькимъ?

— Кажется бы, помолчать можно, покуда не спросятъ, сказалъ писарь. — Ты видишь, дѣлами занимаемся.

— Это-то я вижу, а зачѣмъ вы Баранкина-то къ нашей крови припускаете?

— Какой такой крови? Что съѣсъ за бойня? Ты видишь, чей тутъ портретъ? Смотри, братъ...

— Это все мы видимъ...

— То-то, помалчивай. Гостинчикъ!..

Настало мертвое молчаніе. Холодные, промерзлые до нутра люди стояли окаменѣлыми столбами, не шевелясь и не двигаясь ни однимъ членомъ. Глаза выражали напряженное ожиданіе, и толстыя налившіяся кровью жилы на худыхъ шеяхъ билось съ горячею скоростью...

Писарь шумѣлъ бумагами; старшина и Баранкинъ, глядя въ разные стороны, барабанили по столу пальцами и по временамъ вздыхали.

— Офицеровъ! произнесъ наконецъ писарь.

Офицеровъ выступилъ впередъ.

— Тебѣ пособия двадцать восемь рублей.

— Благодаримъ покорно.

— Погоди благодарить-то. Послѣ поблагодаришь.

— Какъ угодно. Мы готовы.

— Да взыску съ тебя, продолжалъ писарь: — вотъ ему, Баранкину, столько же.

— Отдадимъ... Вы способіе-то пожалуйте намъ... Вы сначала дайте, что намъ слѣдуетъ, а потомъ ужъ и о Баранкинѣ...

— Вотъ твои деньги, сказалъ старшина, держа въ рукахъ пачку денегъ: — видишь что-ль?

— Да вы въ руки-то потрудитесь...

— Аль мои руки хуже твоихъ? Украду что-ли я ихъ?

— Зачѣмъ украсть, а какъ сказано въ бумагѣ отдать, такъ и отдавъ-бы...

— А вотъ въ роспискахъ тоже сказано отдать, а ты не отдаешь: — это какъ?...

— Пускай взыскиваютъ... А способіе надобно на руки...

— Я и отдамъ на руки, только не тебѣ... Намъ сказано наблюдать законъ, за это нашего брата не хвалить... На, Баранкинъ, получи!

Баранкинъ взялъ деньги, а писарь, показывая Офицерову росписку, сказалъ:

— Вотъ твоя росписка, теперь ты расквитался.

И разорвалъ ее.

— Покорно васъ благодаримъ! весь зеленый отъ гнѣва сказалъ Офицеровъ. — Благодаримъ, что исполняете законъ... Какъ-же, позвольте васъ спросить, теперь мы Баранкину деньги отдали, а какъ-же насчетъ казны? Опять выбивать будете? Изъ чего же теперь вы выбивать-то будете... царю-то?

— А ты меня попроси, сказалъ Баранкинъ: — Я, милый мой куманекъ, пустошь взялъ въ аренду у господина Онѣгина, такъ, ежели на то твоя будетъ воля, бери подъ работу... Я дамъ. Работа легкая — косьба. Коли что — дамъ, передъ Богомъ.

Офицеровъ молчалъ, но такъ смотрѣлъ на Баранкина, что меня морозъ подиралъ по кожѣ. Баранкинъ долго и ласково говорилъ о работѣ и о томъ, что готовъ дать денегъ, но Офицеровъ молчалъ, какъ убитый. Наконецъ онъ вдругъ какъ-то ослабъ, вздрогнулъ и, безпомощно опустивъ руки, сказалъ.

— Н-ну, давай!.. что-жъ... Я буду...

— Вотъ и добре. Сейчасъ и условіе... Ну-ка, милушка!

Писарь, къ которому относились эти слова, немедленно выхватилъ изъ кучи книгъ, лежавшихъ на столѣ, книгу условій и опытной рукой настроилъ условіе. За 25 рублей Офицеровъ обязывался выкосить территорію величиной съ Великобританію, обязывался кучами неустоекъ, подвергая себя всякимъ египетскимъ казнямъ, и въ затокъ получилъ 15 руб. Офицеровъ въ концѣ условія приложилъ три креста...

— Получай деньги! сказалъ Баранкинъ, отсчитывая изъ полученныхъ денегъ три пяти-рублевки. Но едва Офицеровъ протянулъ руку къ деньгамъ, какъ Баранкинъ виѣсто того, чтобы вру-

чить ему ихъ, быстрымъ движеніемъ руки описавъ надъ столомъ кривую линію, вручилъ ихъ старостѣ со словами:

— Вотъ и казну-матушку почтимъ! Получи недомку-то!

— А мнѣ-то?

Эти слова несчастный Офицеровъ не произнесъ, а крикнулъ, какъ малое дитя, и этотъ тонъ горькой обиды, обиды, доведшей большого, рослаго и немолодого мужика до того, что онъ почувствовалъ въ себѣ безпомощность ребенка и ребячьимъ крикомъ выкрикнулъ слова обиды, тонъ этихъ словъ— «А мнѣ-то?»—хваталъ за душу.

— А мнѣ-то что-жъ? повторилъ Офицеровъ, еще болѣе чувствуя себя безпомощнымъ и жалкимъ. — У меня сынъ помираетъ!.. Дайте, господа! въ ножки вамъ...

Зато старшина, писарь и Баранкинъ, благодаря этому дѣтски-безпомощному состоянію Офицера, сразу почувствовали въ себѣ какую-то внутреннюю или, нѣтъ, прямо физическую силу, физическое спокойствіе и непреклонность. Они чувствовали, что изъ Офицера и всѣхъ другихъ его товарищей, присутствовавшихъ въ комнатѣ, «хоть веревки вей»: такъ всѣ они ослабили духомъ.

— А ты подумалъ-ли, спокойнымъ и поучающимъ тономъ проговорилъ старшина, постукивая рукою съ деньгами по столу, — подумалъ-ли ты, сколько разовъ я сиживалъ за вашего брата въ холодной? И что-жъ! и тепереча вы меня, передъ праздникомъ-то Христовымъ, хотите въ темную упереть? а?

— Да дай хоть что-нибудь! Господи Боже мой! Вѣдь что-жъ это такое? Вѣдь тутъ ужъ послѣдніе способа... Царица небесная, что это такое!..

— Иванъ Абрамычъ (такъ звали старшину), вступился Баранкинъ: — ты того — помягче... Уступи... Ну, хоть что-нибудь!.. Какъ-нибудь по божьи... по сусѣдски!

— Да хоть что-то-нибудь дайте—что-жъ это такое? Вѣдь это... Господи помилуй!..

— Свиныя у тебя есть? какъ бы въ раздумьи спросилъ старшина.

— Поросенокъ есть, а такъ, чтобы свиньи — нѣту!

— Что поросенокъ... Мнѣ свинина нужна... Нетели велики-ли?

— Одна нетель есть... Купи хоть нетель-то!..

— Только что именно изъ-за одной твоей нужды — больше ничего... два цѣлковыхъ дамъ. Получи.

— Да прибавь хоть что-нибудь изъ казеннаго-то? Господи ты Боже мой... Абрамовъ! Вѣдь! братецъ ты мой, на томъ свѣтѣ есть судія...

— Вотъ тебѣ еще трешна — и ступай-ступай!

Офицеровъ взялъ молча пяти-рублевую бумажку (старшина сказалъ: «За нетель потомъ вложу свои въ подати-то»), постоялъ, подумалъ и, видимо приходя въ себя, проговорилъ:

— Вотъ она, кровь-то наша гдѣ!..

Какъ я очутился на дворѣ, въ морозѣ — не помню; знаю только, что я какъ будто хотѣлъ оч-

нуться, заглотнуть свѣжаго воздуха; я дѣйствительно дѣлалъ глубокія выдыханія и въ то-же время слушалъ, что происходитъ внутри волостного правленія (я стоялъ у окна). Тихо было внутри большой комнаты; слышался только гулъ разговаривающихъ и по временамъ слово «кровь», произносимое на разные тоны. Минутъ черезъ пять съ крыльца правленія спускался, послѣ вышеописаннаго расчета, мужикъ и, надѣвая шапку обѣими руками, шепталъ то-же слово... Онъ сдѣлалъ два-три шага по улицѣ и опять сказалъ «кровь». Еще черезъ пять минутъ выходитъ другой мужикъ, также рассчитавшись... И такъ—всѣ. Они плелись по улицѣ одинъ за другимъ вялою поступью, какъ осеннія мухи, и не знаю, какимъ образомъ всѣхъ ихъ я вдругъ увидѣлъ вмѣстѣ въ маленькомъ, жаркомъ кабакѣ. Здѣсь ужъ шелъ громкій говоръ и слово «кровь» произносилось не шопотомъ, а громко, во всю мочь.

— Дурачье! возопилъ въ толпѣ находившихся въ кабакѣ крестьянъ чей-то посторонній голосъ, — Дур-рачье!..

— Кто ты такой? Какъ смѣешь ругаться?

— Это лакей чей-нибудь. Ты зачѣмъ сюда залѣзъ, лизоблюдь?

— Какой я лакей! гордо сказалъ неизвѣстный человѣкъ весьма подозрительнаго вида. — Я — уровень».

— Какой-такой?

— Просто—уровень! Безъ всякихъ прочихъ... Умственный и нравственный.

— Это, ребята, — оборотень. Бей его!

Въ волостномъ правленіи все было кончено; всѣ разошлись; веселъ ушелъ Баранкинъ и доволенъ былъ старшина. Много накупилъ онъ по сходной цѣнѣ разной живности и провизіи, и подѣ Рождество повезетъ ее на широкихъ розвальняхъ въ городъ на базаръ; Баранкинъ немедленно пустился на бойкомъ рысачкѣ по окрестностямъ скупать свинину. У писаря къ празднику въ карманѣ жилета тоже шевелилась красненькая. По удаленіи изъ волостного правленія публики, онъ откупорилъ бутылку водки, стоявшую за шкафомъ, выпилъ залпомъ три рюмки, взялъ листъ бѣлой бумаги и, описавъ перомъ въ воздухѣ нѣсколько зигзаговъ и круговъ, какъ ястребъ «палъ» имъ на бѣлую бумагу и побѣждалъ: «Во исполненіе предписанія, честь имѣю доложить, что пособіе въ размѣрѣ роздано, въ чемъ препровождаю росписки: равнымъ образомъ, при неуспѣшномъ стараніи о взысканіи недомокъ, таковыхъ, при нынѣшнемъ голодномъ времени, взыскано»...

— Очень просто! Всѣмъ сестрамъ по серьгамъ! заключилъ писарь, запечаталъ бумаги въ пакетъ и отправилъ. Въ губерніи распечатали, прочитали и сказали:

— Все благополучно...

Въ то время, когда писарь дописалъ послѣднюю строчку, изъ кабака вышелъ пьяный Офицеровъ и, бѣя себя кулакомъ въ грудь, бормоталъ между прочимъ что-то несообразное:

— Я в-васъ успокою!... Вотъ Богъ свидѣтель, отецъ нашъ.. Я се себя не пожалѣю, а ужъ удостовѣрю!... Ужъ, да!

Я проснулся.

Открывъ глаза, я увидѣлъ, что около меня стоитъ тотъ же Лиссабонскій, только настоящій, живой. Онъ и разбудилъ меня.

— Какими судьбами? съ удивленіемъ воскликнулъ я, изумленный появленіемъ Лиссабонскаго, котораго не видалъ болѣе пяти лѣтъ.

— Разрѣшено! весело улыбаясь, проговорилъ Лиссабонскій. — Бѣду, братъ, въ деревню, въ волостные писаря...

— Зачѣмъ? не безъ ужаса воскликнулъ я, находясь подъ вліяніемъ сна.

— Призываютъ!.. Вотъ погляди газету: «съ нравственнымъ и умственнымъ уровнемъ». Только знаешь что... Въдѣ я у грабителя тоже есть уровень, и у всякаго мракобѣса. Неграбительскій-то уровень позволителенъ-ли?

Не помню, что я отвѣтилъ ему.

II. ДѢЛОВЫЕ ЛЮДИ.

Долгое время не приходилось мнѣ потолковать съ Лиссабонскимъ по поводу нашей встрѣчи и по поводу вообще современной жизни. Однажды начавшій между нами разговоръ былъ прерванъ появленіемъ пріятеля, предложившаго отправиться на сельско-хозяйственный сѣздъ, и разлакомившаго насъ напечатанной программой сѣзда, которая, какъ намъ казалось, давала возможность искреннему человѣку сказать хотя пятокъ искреннихъ словъ о народѣ. Но мы горько ошиблись. Пролушавъ часа три не то, чтобы разговоры, а какое-то болотное «бульканіе» — причемъ слова ораторовъ выло появлялись какъ пузыри на болотѣ, беззвучно допалились, не оставивъ впечатлѣнія, даже звука, — мы оставили залу засѣданія съ какимъ-то безжизненнымъ душевнымъ утомленіемъ.

Когда мы шли на сѣздъ, у насъ были вопросы и интересъ въ разрѣшеніи ихъ; когда мы шли со сѣзда, не было у насъ ни вопросовъ, ни интересовъ, а было неотразимое угнетающее впечатлѣніе какого-то нездороваго «бурчанія», — бурчанія, въ которомъ какъ-то коллективно слылось: бурчаніе гнилого болота и разстроеннаго желудка и еще болѣе разстроенной мысли...

Двѣ недѣли послѣ этого гипнотическаго сеанса не хотѣлось ничего читать, ни о чемъ думать, ничѣмъ интересоваться... Возьмешь газету и едва только встрѣтишь что-нибудь вроде: «земельные надѣлы крестьянъ»... или «какъ извѣстно, мало-земеліе»... или «улучшенная обработка»... — и валится изъ рукъ газета, потому что «бурчаніе» по вѣсѣмъ этимъ «масушнимъ» вопросамъ неотразимо встаетъ въ воспоминаніи. А тутъ эти безконечныя, отупляющія, даже окаменяющія вѣсти о голодѣ: сегодня пишутъ о мальчикѣ, который сѣлъ свою ногу передъ смертью отъ голода, завтра о женщинѣ, которая повѣсилась также отъ голода, а

послѣ завтра — и безконечно изъ дня въ день — все новыя и новыя, и все болѣе и болѣе невѣроятныя и отупляющія извѣстія. Тутъ-же среди этихъ ужасовъ толкуются какіе-то благодѣтели, требующіе корокъ на прокормленіе миллионныхъ массъ, рѣшающіеся сушить ихъ на собственный счетъ; тутъ-же и «Федя съ Машей, пожертвовавшіе 2 рубля», тутъ-же и крики на бездѣліе, и мѣропріятія, и звуки благороднаго образованія — и въ концѣ-концовъ надъ вѣсѣмъ этимъ и между вѣсѣмъ этимъ то же самое «бурчаніе» плѣнной мысли и плѣнной энергіи...

Не только для разговоровъ съ Лиссабонскимъ не было ни малѣйшаго предлога, но и охоты къ нему совершенно ни малѣйшей не чувствовалось. Въ такомъ-то гнетущемъ душевномъ состояніи пришло мнѣ на умъ уѣхать на денекъ изъ Петербурга въ деревню.

Не безъ чувства величайшаго удовольствія очутился я въ вагонѣ Николаевской дороги въ вечеръ того самаго дня, когда мнѣ пришла мысль уѣхать въ деревню. И еще болѣе удовольствія испыталъ я, когда двинулся поѣздъ, ибо, не смотря на то, что путь мой былъ не долгъ и удаленіе изъ Петербурга не на долго, все-же таки Петербургъ хотя на нѣкоторое время уходилъ отъ меня; я на время, на нѣсколько дней, могъ позабыть его, фактически долженъ былъ остаться внѣ ежедневныхъ интересовъ петербургскаго дня (за разстояніемъ и невозможностью получать газеты), т. е. вообще мнѣлъ возможность механически облегчить свое душевное состояніе. Деревня не особенно привлекала меня; но я твердо зналъ, что тамъ есть кой-какія новости, новости деревенскія, и хотя маленькія, но реальнѣйшія, и стало быть способныя интересовать васъ въ самомъ дѣлѣ, а не такъ только, чтобы кое-какъ убить время.

Въ четвертомъ часу утра, когда еще надъ сѣжными равнинами лежало глухая, темная, непробудно-сонная ночь, я долженъ былъ оставить вагонъ и пересѣсть въ сани. Выйдя изъ вагона на платформу станціи ища глазами ямщика, я совершенно случайно встрѣтилъ знакомаго крестьянскаго парня Мишу, лѣтъ 20-ти. Оказалось, когда я подошелъ къ нему, что онъ также ѣхалъ съ этимъ-же поѣздомъ, только сидѣлъ въ другомъ вагонѣ.

— Ты зачѣмъ это въ деревню? спросилъ я Мишу, зная, что съ двумя другими братьями онъ жилъ въ извозчикахъ въ Петербургѣ и долженъ былъ пробывать вплоть до весеннихъ полевыхъ работъ.

— Да что! съ горечью самую искреннюю сказалъ онъ. — Паранька намутила, подлая.

Паранька — это была та самая дѣвица, о которой я рассказывалъ прежде, что ее не выдавали замужъ, оставляя въ дѣвцахъ, изъ-за сельско-хозяйственныхъ интересовъ.

— Что-же такое случилось?

— Самовольски съ женихомъ уѣзжала!

Миша сказалъ это съ такимъ ожесточеніемъ, которое меня изумило.

— Безъ отпа, безъ матери повѣнчались. Чистая срамота—анафема этакая!

— Хорошо-ли женихъ-то?

— А песъ ихъ знаетъ, кто онъ тамъ такой... Теперича вотъ изъ-за ней...

Миша не договорилъ, потому что насъ обступили крестьяне, ожидавшіе на холодѣ и въ темнотѣ ночи сѣдоковъ въ ближайшія деревни. Миша и я мы сѣли въ одні сани, такъ какъ намъ было по дорогѣ, да кромѣ того въ домѣ Мишиныхъ братьевъ я долженъ былъ взять другую лошадь, собственно ужъ на мызу къ Ивану Ермолаичу,—таковъ обычай, а не необходимость. Почти всю дорогу Миша хранилъ глубокое молчаніе, да и я не спрашивалъ его; все молчало кругомъ и это молчаніе невольно дѣйствовало на насъ. И извозчикъ, и мы ѣхали молча и молча думали. Я думалъ о поступкѣ Параньки, не понимая, откуда взялась у этой кроткой, терпѣливой и выносливой дѣвушки такая смѣлость, по истинѣ необыкновенная...

Семейство Горшковыхъ, къ которому принадлежали Паранька и Михайло, было одна изъ самыхъ богатыхъ, до сей минуты не дѣлвшихся семей. Часто я заглядывалъ къ нимъ, такъ какъ давно уже установился обычай брать у Горшковыхъ лошадей до мызы, хотя въ этомъ на самомъ дѣлѣ не было никакой надобности. И всякій разъ, когда приходилось мнѣ зайти къ нимъ, было-ли то рано утромъ, въ полдень, или вечеромъ, я всегда почти заставлялъ самоваръ, за которымъ присутствовали всѣ наличные не занятые работой члены семейства и взрослые, и маленькіе — и всѣ упрашивали пить чай. Всѣ они были ласковы, постоянно говорили: еще «чашечку молочка», «хлѣбца» и т. д., но, не смотря на эту предупредительность, рѣшительно не понимая, почему въ семействѣ этомъ я чувствовалъ крайнее стѣсненіе. Въ разговорахъ и взаимныхъ отношеніяхъ домочадцевъ чувствовалась какая-то тягостная напряженность; выходило какъ-то такъ, что не только я былъ чужой въ этой семьѣ, но, казалось, что и всѣ-то члены семейства какъ-бы чужіе другъ другу; чувствовалось, что и между ними — тоже перегородки, холодныя, неискреннія отношенія и что въ этихъ яко-бы семейныхъ отношеніяхъ и въ этомъ семейномъ гостепріимствѣ слишкомъ много (если не все) приличія, внѣшняго, обиходнаго «обращенія», которое разработано въ крестьянскомъ быту весьма обстоятельно. Знакомая въ послѣдствіи съ этой семьей, и вообще съ условіями крестьянской жизни, я сталъ убѣждаться, что чувство не обмануло меня и что въ семьѣ давно уже начался разладъ коренной, и что если семья эта и продолжаетъ держаться не дѣлясь, то только потому, что ее держитъ привычка къ повиновенію умной, крѣпкой и распорядительной бабкѣ, а главное, нерѣшительность кого-либо изъ семейнъ «начать. Казалось, каждый ждалъ, кто первый въ семьѣ начнетъ «бунтовать»?

Разладъ этотъ, начавшій проникать въ семейство, какъ и во всѣ русскія деревни, по мѣрѣ того какъ въ деревню сдѣлался возможнымъ до-

ступъ заработка не исключительно земледѣльческаго, тронулъ описываемое мною семейство уже довольно давно. Покуда семья эта была исключительно земледѣльческая, совмѣстная общинно-семейная жизнь была всѣмъ понятна: всѣ работаютъ одно и то-же дѣло, всѣ потребляютъ вмѣстѣ выработанный продуктъ, всѣ озабочены одной и той-же заботой—успѣшностью земледѣльческаго труда. Все ему подчинено, и подчиненіе это всякому члену понятно. Всякій, въ лучшихъ семьяхъ, подчинялся сознательно требованіямъ одного для всѣхъ труда и равнаго для всѣхъ благосостоянія.

Но вотъ настали новыя времена, ощутилась надобность въ заработкѣ на сторонѣ. Одинъ изъ среднихъ братьевъ семьи Горшковыхъ поѣхалъ въ Питеръ въ зимніе легковые извозчики; другой, тоже средній, сдѣлался лѣсникомъ и сталъ получать жалованье, а вмѣстѣ съ заработками того и другого началось и разрушеніе стройности земледѣльческаго семейнаго союза. Извозчикъ за пять мѣсяцевъ выслалъ сто рублей, а лѣсникъ добылъ только двадцать пять. Спрашивается, на какомъ основаніи онъ, этотъ лѣсникъ, съ такимъ неограниченнымъ аппетитомъ истребляетъ чай и сахаръ, которые явно куплены на деньги извозчика? И кромѣ того, на какомъ основаніи истребляютъ этотъ чай всѣ домочадцы, напримѣръ старшій братъ, который одинъ выпиваетъ въ теченіе сутокъ до восьмидесяти чашекъ (все семейство выпиваетъ въ день примѣрно, до девяносто чашекъ чаю съ четвертью фунта сахара на всѣхъ. Вотъ почему, между прочимъ, крестьянинъ, покупая въ лавкѣ сахаръ, всегда прибавитъ фразу: «какого *покрѣпче*»... т. е. чтобы съ однимъ кускомъ можно было выпить чашекъ пятьдесятъ) и который однако для этого сахару и чаю не ударилъ пальца о палецъ. Въ то время, когда извозчикъ мерзъ по ногамъ, мучился съ пьянымъ, получалъ «въ зашей» отъ «жандара» гдѣ нибудь около клуба или театра, этотъ старшій братъ преспокойно лежалъ на брюхѣ на печкѣ, рассказывая небыхлицу о томъ, какъ двадцать семь модѣй на его глазахъ прошли въ Тихвинъ, на переселеніе, съ дѣтьми, и никого не тронули. Положимъ, что кормились дѣти извозчика въ то время, какъ онъ былъ въ отлучкѣ, но въ дѣломъ онъ самъ работалъ и они ѣли не чужое. Единственно, что заставляло извозчика терпѣть, это то, что лошадь и сани куплены на общій деньги. Но уже онъ *терпѣлъ*.

Терпѣлъ онъ годъ и два, но уже давно задумывался, высчитывалъ, сколько перешло «своихъ» денегъ, а въ то-же время за нимъ стали «замѣчать», что малый поронитъ «скрытъ» часть выручки и старается столько внести въ семью, сколько, по его соображенію, вносили другіе; однажды его дочь-дѣвочка набрала ягодъ за лѣто на пятнадцать рублей (изъ города пріѣзжали покупать), и онъ попробовалъ было не добавить той-же суммы изъ извозничьей выручки. Но бабка не позволила. Другой братъ попроще тоже сталъ задумываться надъ своимъ жалованьемъ и хотя отдавалъ бабкѣ, но тоже подумывалъ и высчитывалъ, сколько

«перешло» на старшаго брата и на дѣтей его. Вонъ Паранькѣ купали платье у татарина, и явно изъ его денегъ, а Паранька—дочь старшаго брата; въ то-же время Паранька сама выработала — драла корку нивняка рублей пятьдесятъ и присвоила эти деньги себѣ; младшій братъ припомнилъ платье, купленное на его деньги, и когда мать этихъ денегъ не отдала, то въ слѣдующій мѣсяцъ, по его счету, у него оказалось жалованье, которое именно ему принадлежало. Онъ передалъ, или отъ него перешло лишнее за платье; Паранька съ бабкой не отдала его денегъ, такъ вотъ онъ поэтому самъ отнимаетъ у нихъ свое жалованье и пропиваетъ.

Всей этой разладицы невозможно изобразить во всей полнотѣ, но въ общихъ чертахъ она происходила, во-первыхъ, отъ сознанія почти всѣхъ младшихъ членовъ семьи, что отъ каждаго изъ нихъ что-то перешло къ другимъ, перешло мое къ другому, и во-вторыхъ, отъ еще болѣе общаго сознанія, что и ко мнѣ, къ каждому изъ насъ, перешло чужое. Эти двѣ раздражающія спокойствіе духа черты — *мое и не мое* — одинаково чувствовались въ каждой мелочи: въ кускѣ сахару, въ чашкѣ чаю, въ платкѣ, въ ситцѣ и т. д. Николай смотрѣлъ на Алексѣя, думая — «мое ѣшь», и чувствовалъ въ то-же время самъ, что и Алексѣево тоже какъ-бы съѣдено имъ, Николаемъ; точно также и Алексѣй чувствовалъ себя неудовлетворительно: напившись чаю сколько хотѣлось, онъ хотъ и икалъ не стѣсняясь, чтобы показывать, что вотъ молъ напился и напился притомъ «своимъ», но и онъ былъ не искрененъ, чувствуя, что есть тутъ въ чаю или сахарѣ, или въ булкѣ, словомъ, гдѣ-то тутъ, и — вѣрнѣй да и обиднѣй всего — кажется, въ желудкѣ, есть тамъ что-то чужое.

Въ случаяхъ возникавшихъ споровъ, дѣло всегда сводилось на желудокъ: — «Аль ты у меня въ брюхѣ смотрѣлъ?» или: «Въ брюхѣ, братъ, не видно, что мое, что твое». Вотъ именно это «мое-твое», наблюдаемое всѣми въ каждомъ кускѣ, въ каждомъ глоткѣ, было то, что всякій разъ гнало меня изъ-за стола Горшковыхъ, не смотря на ихъ приглашенія выпить чашечку. Пили они истово, молча, уставясь въ блюдечки, но норовили, какъ мнѣ казалось, по-ровну выпить, и какъ-бы слѣдили (конечно не *подавая виду*), не перепилъ-ли кто кого или не объѣлъ-ли въ чаѣ, въ сахарѣ.

По крайней мѣрѣ взоры, которые бросали они искоса другъ на друга, на своихъ и чужихъ дѣтей — прескверные были взоры. И такая-то тягота чувствовалась во всемъ. Поѣдешь съ однимъ братомъ — другой при встрѣчѣ издали узнаетъ, много-ль далъ. Станешь отдавать одному изъ нихъ деньги — другой непременно смотритъ во всѣ глаза и въ кошелекъ, и въ руки брату — и, разумеется, такое напряженное положеніе не могло долго продолжаться.

Вышло такъ, что первая забунтовала Паранька. Оказывалось необходимымъ спать для нея шерстяное платье. Всѣ мужики долго, года полтора, упирались противъ этой затѣи съ непоколебимою энергіею. Милліонъ разъ, не меньше, было до-

казано имъ и бабкой, и другими женщинами, и самой Паранькой, которая рыдала горючими слезами множество зимнихъ вечеровъ, что Паранькиныхъ денегъ перешло на мужиковъ больше ста рублей — упирались мужики истинно по-бычачьи. Наконецъ стала рыдать и бабка — тогда рѣшились сшить ей платье.

Отправили сначала старшаго брата «разунзать цѣны» и вообще узнать: въ чемъ тутъ дѣло и во что обойдется — и тотъ надумалъ ѣхать на пристань, верстъ за двадцать пять. Взявъ онъ лошадямъ овса и сѣна и проѣздивъ двое сутокъ, причемъ совѣтывался съ кузнецомъ, коноваломъ и ходилъ по лавкамъ, но ничего не узналъ, не зналъ, какъ спросить, и воротился ни съ чѣмъ. Чтобы не охладить рѣшимость братьевъ, Паранька стала ревѣть съ той самой минуты, какъ рѣшено было сшить ей платье. Этими слезами она не давала покою мужикамъ, и, благодаря ея усиліямъ, при полнѣйшей неохотѣ, а главное, при полномъ незнакомствѣ «съ этими дѣлами», вслѣдъ за старшимъ братомъ поѣхали оба середіе брата и тоже на пристань, гдѣ лѣсопильный заводъ, а стало быть народъ. Братья тоже путемъ ничего не узнали, но пріѣхали съ убѣжденіемъ, что надо послать бабъ — по возможности, старухъ. Паранька не давала покоя слезами. Старухи поѣхали и воротились въ полномъ испугѣ: меньше какъ за сорокъ цѣлковыхъ никто и думать не беретъ о платьѣ... Тутъ всѣ братья, и жены, и даже Паранька какъ бы поняли, что дѣло это невозможное, но Богъ спасъ Прасковью. Какой-то солдатъ, будучи на пристани, слышалъ разговоры Горшковыхъ бабъ о платьѣ, понялъ ихъ безпомощность и далъ знать въ драгунскій штабъ, что подъ Новгородомъ, верстъ за сорокъ отъ деревни, гдѣ жила Прасковья. Въ штабѣ нашлась какая-то портница, которая, воспользовавшись случаемъ (какой-то офицеръ перевозилъ въ Петербургъ рояль), увязалась съ ямщикомъ и на роялѣ пріѣхала къ Прасковѣ. Вотъ эта-то солдатка и поставила все дѣло на новую ногу. По ея словамъ, все будетъ дешево и хорошо; опять начались разѣзды, причемъ одного овса лошадямъ стравили больше трехъ кулей — по семи рублей куль, да солдаткѣ на чаѣ, на сахарѣ и на водкѣ въ теченіе шести недѣль, покуда шли и кроили, и перепарывали — извели Богъ знаетъ сколько денегъ, такъ что когда платье было наконецъ готово, и братья сосчитали *все*, такъ оказалось, что можно было бы купить два сруба двѣнадцати аршинныхъ и въ семнадцать звеньевъ каждый.

Солдатка утащила какіе-то остатки, за которыми тоже гоняли лошадей съ бабами, и платье кромѣ того вышло ни на что не похожее. Впослѣдствіи Паранька неусыпными трудами, а главное «утайками» денегъ, сшила себѣ шелковое платье въ Новгородѣ, купила «казакъ» и пальто и хранила эти вещи въ чужомъ домѣ.

Вслѣдъ за Паранькой началъ бунтоваться середній братъ, извозчикъ; онъ сталъ требовать, чтобы его держали «на отчотѣ», то есть чтобы поло-

жили съ него опредѣленную сумму денегъ въ годъ, а онъ выручить или не выручить — отдай. Онъ основывалъ это требованіе на томъ, что лошади и сани окуплены давнымъ-давно. Но точно-ли онъ окуплены? Вотъ тутъ и пошли аргументы вроде того, что «ты глядѣлъ молъ мнѣ въ брюхо, твое тамъ али мое». Но первый отдѣлился Алексѣй-лѣсникъ и отдѣлился вѣрнѣе, потому что искреннѣе всѣхъ и чаще всѣхъ чувствовалъ тяжесть чужого, которое переходитъ ему. Свое, что лишнее, онъ аккуратно пропивалъ, чтобъ оно никому не доставалось, не такъ какъ Николай, который утаивалъ, но, отрезвившись, не могъ не сознавать, что ѣдалъ онъ и чужое. Для того чтобы рѣшиться на раздѣлъ, онъ сталъ пьянствовать, какъ говорится «не судомъ», пропилъ семьдесятъ рублей — все годовое жалованье, допилъ до драки, оралъ Богъ вѣсть что и только поэтому могъ оторвать себя отъ семьи, отъ привычки къ ней. Въ трезвомъ видѣ онъ не могъ-бы вести корову съ отцовскаго двора, вести своихъ ребятъ, лошадей, тащить сани и т. д. Онъ пьянствовалъ до того, что валялся, подобралъ себѣ компанію пьяницъ и съ ними-то кое-какъ «разорвался» съ родной семьей, перейдя въ небольшой домикъ, принадлежавшій семейству Горшковыхъ и выстроенный ими лѣтъ десять назадъ послѣ пожара. Они всѣ жили въ этомъ домѣ, покуда строился большой домъ.

Послѣ того, какъ отдѣлился Алексѣй, братъ извозчикъ пріѣхалъ въ деревню, а на свое мѣсто послалъ младшаго брата Михайлу. Это было нынѣшней осенью, и вотъ теперь не проѣзжалъ Михайло и двухъ мѣсяцевъ, какъ въ домѣ случилась новая исторія — убѣжала Паранька, и его требуютъ домой, а братъ Николай (извозчикъ) опять возвращается въ извозъ. Почему требуютъ Михайлу? Почему Михайло золь на Параньку, чѣмъ она ему повредила? Всѣ эти вопросы были для меня загадкой... А главное, я не могъ понять, отчего Миша такъ необыкновенно золь на Прасковью. Это былъ юноша, красивый, добрый паренекъ, а теперь я не узналъ его — онъ показался мнѣ жестокимъ, и жестокимъ какъ-то дико. ибо нападалъ на Параньку за «самовольство» — точно старый, выжившій изъ ума деспотъ; но дорогою онъ меня совсѣмъ поразили. Мы ѣхали молча большую часть дороги; я даже думалъ, что Михайло заснулъ, но онъ, оказавшись, бодрствовалъ, а по мѣрѣ приближенія къ деревнѣ, сталъ что-то поговаривать про себя и вдругъ заговорилъ:

— Какъ-бы только платя въ ей не отдали... Какъ пріѣду, первымъ долгомъ отыщу ейное платье... Дрянъ паршивая!..

— Это ты Прасковью все бранишь?

— Какъ-же ее, дьявола, не бранить-то? Я самъ ей, подлячкѣ, помогалъ, дуракъ былъ, одежду-то въ людяхъ хоронить, а она вонъ что... Въ жисть не разстанусь, а ужъ отыму ейныя платья... Шелковое да шерстяное, да казакъ, все отыму! На клочья разорву, а не дамъ... Псовка экая!

Михайло былъ такъ золь, что разговаривать съ нимъ не было никакой охоты.

Не буду рассказывать о тѣхъ деревенскихъ новостяхъ, которыя повѣдалъ мнѣ Иванъ Ермолаичъ: едва-ли онѣ будутъ интересны читателю: волки съѣли безъ остатка двухъ собакъ, двѣ коровы разрѣшались отъ бремени, причемъ телата получились «всѣ въ отца» (последнее слово «всѣ въ отца» Иванъ Ермолаичъ произнесъ съ истиннымъ умиленіемъ). Возвращусь къ исторіи Михайлы, который, согласно уговору, долженъ былъ пріѣхать за мной съ вечера, чтобы ночевать въ пустомъ домѣ, а утромъ ѣхать на станцію.

Вечеромъ Михайло пріѣхалъ. Разговаривая за чаемъ о томъ о семъ, мы наконецъ коснулись и поступка Параньки.

— Что жъ, спросилъ Михайлу Иванъ Ермолаичъ: — одежду-то Паранька увезла, алы отобрали?

— Отобрали... Успѣли... Только что бурнусъ успѣла ухватить.

— Увезла-таки бурнусъ-то?

— Увезла! угрюмо опустивъ глаза въ блюдечко съ чаемъ, проговорилъ Миша какъ-то отрывисто.

— Тебя-то зачѣмъ изъ Питера выписали? спросилъ Иванъ Ермолаичъ.

Этотъ вопросъ мгновенно расшевелилъ Михайлу. Глаза его загорѣлись, и онъ съ сильнымъ гнѣвомъ и раздраженіемъ произнесъ:

— То-то вотъ Паранька то, поскуда, подвела меня подъ смерть, чисто подъ топоръ. Теперича выписали меня — женись! Мясобѣду осталось мало — успѣвай! Хлопочуть теперь насчетъ невѣсты, ищутъ... Вѣдь у насъ, самъ знаешь, семейка-то не маленькая; ежели хоть мѣсяцъ безъ работницы останутся, такъ и то разоръ. Одной скотины, коровъ восемь головъ, да телятъ, да овецъ, лошадей четыре... Вотъ и надобно жениться...

— А работницу нанять?

— Работницу? По нашему семейству работницу найти нельзя... да и кто будетъ деньги платить? У насъ работница не можетъ, потому семья громадная — никакихъ денегъ не возьметъ... Тутъ надобенъ *свой* человекъ. Вотъ теперича они и разыскиваютъ невѣсту... чтобъ она вѣсто Параньки орудовала... Вѣдь вотъ что она натворила, дубина безобразная!.. Ну, да и ей счастья не будетъ... Оно хоть и по любви, полюбовно вышло, а тоже и въ жениховой семьѣ не сладко ей будетъ... Вѣдь женихъ-то тоже любить-любить, а тоже на Параньку позарился изъ-за работы... Работница она — настоящая... это вѣрно, а у него въ семьѣ четыре тетки, вотъ на нихъ и будетъ работать... Пущай... Кабы послушала, что говорили — взять мужика въ домъ, али-бы погодить замужъ-то покуда подростутъ наши свои дѣвки, алы-бы... А теперь вотъ Богъ ее знаетъ, какую-такую жену мнѣ приспосовбужать... Ужъ навѣрно, чтобъ безсловесную, вотъ какъ Алексѣю присодѣйствовали... Свиныя какая! У меня, можетъ, у самого тоже любовь-то есть? А теперь вонъ — накомъ — скотина, говоритъ, не поена два дня, такъ и женись невѣдомо на комъ... Тоже вѣдь не весьма пріятно изъ-за теленка или тамъ изъ-за овецъ на всю жизнь съ идоломъ съ какимиъ связаться...

Изъ дальнѣйшихъ разговоровъ съ Михайлой оказалось, что у него дѣйствительно существуетъ въ Петербургѣ привязанность. Съ годъ тому назадъ познакомился онъ съ няней однихъ господъ, жившихъ поблизости на дачѣ. Онъ перевозилъ ей вещи. Няня эта оказалась крестьянкой той-же губерніи, что и Михайло, и притомъ изъ деревни, весьма недалеко отстоящей отъ деревни Михайлы. Няня эта была дѣвица старше Михайлы лѣтъ на восемь, но она понравилась ему и лицомъ, и поведеніемъ, и положеніемъ своимъ въ семьѣ. Семья ея состояла только изъ отца и матери. Дѣвушка, которую любилъ Михайло, съ пятнадцати лѣтъ служила въ Петербургѣ въ людяхъ, отдавая рѣшительно все родителю. Она до того свято исполняла эту обязанность, «отдавая все» въ деревню, что едва-ли и знала какую-нибудь другую. Былъ въ ея жизни одинъ эпизодъ, который всякаго другого, не столь искренно и глубоко понимавшаго свою «обязанность», могъ бы разбить и обезсилить: послѣ шести или семи лѣтъ работы въ Петербургѣ, отецъ ея на ея деньги отлично обстроился, прикупилъ скотины и сталъ жить порядочно; онъ даже сталъ звать свою дочь домой, полагая взять ей мужа «во дворъ» — и вдругъ сгорѣлъ и домъ, и все имущество. Отецъ въ отчаяніи сталъ пьянствовать и въ одинъ изъ такихъ загуловъ — отъ кабака, въ которомъ онъ шумѣлъ далеко за полночь, воры угнали лошадей, которые такъ и пропали безслѣдно. На бѣду, домъ, стоившій не одну сотню рублей, былъ застрахованъ только въ пятьдесятъ, чтобы «меньше платить страховки». Дочь, намѣревавшаяся оставить Питеръ и опять взяться за крестьянство, должна была остаться и снова начала труднѣйшее дѣло устройства въ концѣ разстроенной семьи. Въ то время познакомилась она съ Михайлой; отецъ и мать были снова устроены, снова у нихъ былъ домъ, и скотъ, снова все у нихъ поправилось и пошло въ ходъ, и снова отецъ звалъ ее опять домой, говоря, что, умри онъ со старухой, дядя отымутъ домъ, выстроенный на трудовыя деньги племянницы. Вотъ почему она и заинтересовала Михайлу. Сундукъ, который онъ перевозилъ, также игралъ нѣкоторую роль въ благопріятномъ впечатлѣніи, которое производила на него няня. Онъ былъ тяжелъ и великъ, и много было въ немъ имущества. Но не это плѣнило главнымъ образомъ Михайлу въ Авдотью (такъ звали дѣвушку), плѣнили его кротость ея и удивительное терпѣніе. Столько работать, какъ она, и не роптать — вещь, достойная уваженія. Сойтись съ такой кроткой и работающей, къ тому-же грамотной и не забывшей крестьянства женщиной для Михайлы казалось большимъ счастіемъ. Она ему сочувствовала и любила его, онъ ей нравился. Желаясь, они были бы полными хозяевами и начали бы хозяйствовать, никому не одоужаясь. Михайло и его невѣста частенько подумывали объ этомъ, толковали о томъ, какъ выписаться изъ общества, много-ли это станетъ и т. д. И вотъ оказывается, что отъ всего этого надобно отказаться, жениться «къ спѣху», потому что некому понтъ телятъ, и потому, что мясо дѣдъ коротокъ, жениться Богъ вѣсть на комъ.

— Вѣдь вотъ что она, подлая, сдѣлала! заключилъ Михайло свой рассказъ и свою исповѣдь.

И нельзя не сознаться, что негодованіе на Параньку Михайлы было вполне объяснимо, понятно и извинительно.

— Погодить бы ей надоть, покуда дѣвки-то подростутъ... сказалъ Иванъ Ермолаевичъ.

— Про что-жъ я-то говорю? Я про то и говорю... Кабы погодила-то, нешто бы такъ-то вышло... Идолъ этакой! Авось бы, кажется, нечего бояться, не осталась бы въ дѣвкахъ, такія работницы не остаются въ дѣвкахъ... Прямо съ вечеринки... Бабушка говоритъ: прямо, говоритъ, какъ была одѣта на вечеринкѣ, такъ и сѣла въ сани къ жениху. — Что ты молъ, Парасковья? Куда? А она — «не вѣкъ же мнѣ съ вами маяться»... Полубубокъ у жениха-то былъ припасенъ! Такъ и уѣхали... А на утро повѣнчались... Баушка-то и говоритъ: «я, говоритъ, такъ и обмерла... Стою на крыльцѣ, гляжу, вижу, что Паранька уѣзжаетъ, а ничего не соображу... Только какъ начали телята реветъ, непоенные, тутъ только я почувствовала... Думаю: ахъ, ты каторжная, что сдѣлала»...

— Да, вамъ трудно... сказалъ Иванъ Ермолаевичъ съ глубокимъ вздохомъ. — Велики ли дѣвки-то у васъ остались?

— Да самой-то старшей одиннадцать-двѣнадцать, а прочія все ниже...

— Скотины много-ли?

— Телятъ сейчасъ штукъ четыре...

И Михайло сталъ высчитывать количество скота.

— Да! сказалъ Иванъ Ермолаевичъ рѣшительно. — Не справиться... Надо бабу. Какую невѣсту-то сватають?

— А песь ихъ знаетъ... Да я не покорюсь... Это ужъ какъ угодно.

Долго шли между ними разговоры о Михайлѣ и его дѣлѣ и, несмотря на то, что въ разговорѣ этомъ скотина и люди, дѣвки и телята перемѣшивались въ одну какую-то странную массу, невольно всѣмъ становилось яснымъ истинно драматическое положеніе Михайлы. Не покорись онъ — разстроить цѣлую семью, возметъ на душу грѣхъ; покорись — значить пожертвуй собой. Сколько геройства требовали отъ человѣка эти непоенные телята!

Утромъ мы оставили Ивана Ермолаевича и рано уѣхали сначала въ деревню, а потомъ на станцію. Въ деревнѣ зашли къ бабушкѣ повидаться. И здѣсь вновь должны были присутствовать при горькихъ и трогательныхъ хозяйственныхъ жалобахъ разстроенной Паранькой семьи.

Грустно покачивая головою, бабушка, видимо убитая горемъ раздѣла и самовольнаго брака, долго причитывала на ту же драматическую тему о людяхъ и телятахъ:

Я стара, у старшей невѣстки пятый годъ болятъ ноги, плохо ходить... Эта вотъ дѣвка — еще маленькая, не осилить ей... Скотина реветъ... Ни воды достать, ни замѣсить — нѣтъ человѣка! Ахъ, ты Господи, батюшка владыко...

Скучно было слушать это, ужасно скучно.

Уходя, столкнулись на крыльцѣ съ отдѣлившимся Алексѣемъ и должны были зайти къ нему. Алексѣй, встрѣтившій насъ, былъ подѣльникомъ и вмѣстѣ съ нимъ присутствовалъ товарищъ, столяръ, тоже подѣльникомъ. Дѣло въ томъ, что Алексѣй устранился, а столяръ его устранивалъ, дѣлалъ ему лавки, шкафчики для посуды, и въ разговорахъ объ этомъ устройствѣ непременно участвовала водка. Разговоры поэтому даже о шкафчикѣ шли душевнѣйшіе. Алексѣй, человекъ почти сорокалѣтній, былъ не то чтобы радъ своей самостоятельности, но, какъ дитя, въ буквальный смыслъ какъ ребенокъ, былъ поглощенъ своимъ новымъ положеніемъ, въ которомъ онъ «все самъ». Онъ поминутно прибавлялъ почти къ каждому слову два слова о томъ, что теперь молъ все самъ, «все свое», «нельзя», «все надо». И такъ какъ средствъ у него на это «все» не было, то куда дѣло устройства шло въ разговорахъ и преимущественно въ питіи съ пріятелями водки, — питіи, быть можетъ, необходимомъ для поддержанія бодрости духа, ибо дѣло Алексѣя было въ самомъ дѣлѣ труднѣйшее. Теперь все надо добыть самому — отъ пищи до сапога и кнута. Жена Алексѣя понимала всю тяжесть предстоящаго ей житія и во время нашего посѣщенія только и говорила, что объ этихъ тяготахъ: «теперь сама и за дѣтьми, и за скотиной, и въ полѣ, и въ домѣ; обо всемъ сама думай, сама шей, сама стряпай, мой». Не менѣе часто, чѣмъ выраженіе Алексѣя «теперь все самъ», жена его употребляла другое: «...вотъ продадимъ теленочка — Богъ дастъ, справимся!» Этотъ же теленочекъ частенько упоминался и Алексѣемъ въ разговорахъ его съ столяромъ, лавочникомъ, словомъ, со всѣми, съ кѣмъ заставляло сталкиваться его новое положеніе, новая забота и нужда... Вездѣ — при заказѣ шкафика, при питіи водки, въ лавкѣ при покупкѣ кнута, соли — вездѣ теленочекъ игралъ роль плательщика, вездѣ на его продажу указывалось какъ на расплату. Видѣлъ я этого теленочка, на котораго возлагали столько надеждъ и который долженъ удовлетворить такой массѣ нуждъ нарождающагося Алексѣева хозяйства... И скучно стало мнѣ, и боязно за судьбу Алексѣевой семьи.

III. Джутовый мѣшокъ.

I.

«...Въ послѣдніе мѣсяцы пресса наша очень и очень часто толкуетъ и даже горячится по поводу появленія на Руси заграничнаго «джутоваго мѣшка», объявившаго кровавую войну нашему, русскому, пенковому мѣшку... Дѣло выходитъ дѣйствительно серьезное и вполне достойное вниманія всякаго, кому хоть временами заходить въ голову мысль объ участи «меньшаго брата».

Что такое однако этотъ джутъ мѣшокъ?

По внѣшнему виду, это есть самый обыкновен-

ный (и говорить — даже не весьма прочный) мѣшокъ для перевозки зерна, сдѣланный изъ индійскаго растенія — джута, того самаго, изъ котораго дѣлаются веревки въ дѣтскихъ гимнастичкахъ. Но по внутреннему своему содержанію, онъ — бичъ Божій!

— Что за времена настали горькія! жалуется крестьянская женщина *). Прежде бывало наткешъ ровнаго холста, да повезешь въ Суджу, тамъ его изъ рукъ рвутъ; купца — видимо-невидимо! Продашь выгодно, купишь, чего требуется, и ѣдешь домой; теперь же совсѣмъ иное: сидишь за прясломъ цѣлую ноченьку и берешь тебя горькое раздумье: когда-то еще удастся продать! Поносишь по городу, да и привезешь назадъ... Вотъ какія нонѣ горькія времена настали!

Вы представьте себѣ эту несчастную бабѣ деревенскую, многія ночи слѣпившую за прясломъ; ходить она, бѣдная, по городу — и никто-то у нея не спрашиваетъ ея товара.

— И что это дѣлается? думаетъ несчастная баба. — Господи помилуй; Господи помилуй... И что это за времена такія, Господи батюшка!.. И съ чего это? Что такое? Какая напасть?..

Ходить баба изъ улицы въ улицу, отъ однихъ купецкихъ воротъ къ другимъ, и понять не можетъ, что за притча такая, что, несмотря на «ноченьки» трудовыя, должна она идти домой съ пустыми руками.

«— Не нужно!...»

И не знаетъ она, бѣдная, что разоритель ея — какой-то иностранный мѣшокъ.

Пришелъ этотъ мѣшокъ невѣдомо откуда, объявился въ 21 копѣйку за штуку, и знать не хочетъ несчастную бабѣ... Земля наша лѣбная, зерно — единственное богатство, а мѣшокъ — непремѣнный спутникъ зерна. Судите сами, какую многотысячную массу женщинъ и дѣтей обездоливаетъ на Руси этотъ заграничный тиранъ!.. Но выдержка, приведенная нами выше изъ корреспонденціи, неполнѣе еще рисуетъ бѣдствіе (въ буквальномъ смыслѣ), приносимое этимъ побѣдоноснымъ мѣшкомъ.

Въ «Сборникѣ матеріаловъ для статистики Тверской губерніи» **) мы находимъ весьма подробное и обстоятельное описаніе г. Вѣжецка, который почти весь существуетъ торговлею льномъ, выдѣлкою льна въ холстъ, идущій на мѣшки, и шитьемъ мѣшковъ. И здѣсь мы находимъ свѣдѣніе, что еще въ 1872 — 1873 году слышались жалобы на упадокъ льняного и мѣшечнаго дѣла. Слѣдовательно почти десять лѣтъ тому назадъ ужъ иноплеменики грозился на нашу бѣдную землю.

«Холстъ продаютъ — читаемъ въ сборникѣ — болѣею частью женщины, онѣ же и главныя его производительницы. Нѣкоторыя изъ этихъ женщинъ рассказывали мнѣ (автору сборника) слѣдующее: — Самое злое нынче время. Приходится чуть не на коленяхъ умолять купцовъ, чтобы взяли

*) Корреспонд. изъ Суджи, Курск. г. «Порядокъ» 1882 г. № 80.

**) Изд. 1874 г. Вып. 2-й.

холстъ. Бываетъ время, хорошій-то холстъ по рублю продаемъ за кусокъ» (20 арш.).

А вотъ что такое шитье мѣшковъ:

«Шитьемъ мѣшковъ въ Вѣжецкѣ занимается почти цѣлая слобода, называемая «штабомъ»; мѣшки шьютъ дома въ полтораэта. Работники въ нихъ и старухъ, и малыхъ наберется сотъ до пяти, но меньшей мѣрѣ. Купцы, перекроивъ накопленный холстъ (закройщицами болѣею частью члены семейства купца), раздають его по этимъ домамъ для шитья. Плата за шитье полагается зимою 35 коп., лѣтомъ — 40 за каждую сотню мѣшковъ. Мѣшокъ шьется голландской пенковой ниткой, которая идетъ изъ Москвы; нитки выдаютъ швеямъ хозяева-купцы. Рабочихъ дней въ году у швей отъ 200 до 250. Въ воскресные дни и прочіе праздники, особенно лѣтомъ, швеи работаютъ какъ и въ будни. Самая ловкая швея въ сутки можетъ шить не болѣе пятидесяти мѣшковъ, если проработаетъ часовъ пятнадцать или шестнадцать въ сутки, а самая плохая не сошьетъ за то же время 15-ти мѣшковъ. Первая выработаетъ въ день до 20 к., послѣдняя до 5 (копѣйка за 3 часа работы). Пять копѣекъ въ день — обыкновенный заработокъ мало-лѣтокъ»...

«Мнѣ случалось — продолжаетъ авторъ — побывать домахъ въ десяти, гдѣ живутъ и работаютъ швеи: но попалъ я туда какъ разъ въ такое время, когда у нихъ во всемъ штабѣ не было ни одного заказного мѣшка, и всѣ швеи сидѣли безъ работы. Около 11 ч. утра вошелъ я въ первый попавшійся домъ. Въ комнатахъ, по крайней мѣрѣ на полу комнать, довольно чисто и даже слышенъ запахъ плохой помады. Меня встрѣтили двѣ очень молодыя дѣвушки — и той, и другой на видъ не болѣе 16-ти лѣтъ. Я поздоровался, дѣвушки засмѣялись и сказали съ хохотомъ:

— Раненько вы, сударь, по гостямъ-то изволите ходить!

— Что подѣлаешь, занятіе наше такое!

— А ваше какое *задѣла*?

— Вы, сказываютъ, мѣшки шьете, такъ покажите мнѣ вашу работу.

«Дѣвушки *перестали улыбаться* и въ одинъ голосъ сказали, что у нихъ вотъ уже болѣе недѣли нѣтъ никакой работы.

«Въ комнату вошла пожилая съ болѣзненнымъ видомъ женщина и подтвердила только-что сказанное. Разспрашивая ихъ о житіи-бытіи, я узналъ, что кромѣ шитья мѣшковъ у нихъ нѣтъ никакой другой работы, что въ годъ они въпятеромъ *) заработають не менѣе 140 р. и не болѣе 200 р. Всѣ инструменты ихъ состоятъ изъ большихъ иглоковъ, концы которыхъ онѣ сами притупляютъ на брусѣ, чтобы не колоть рукъ. Люди немощные, старухи, употребляють къ тому же желѣзные крюки, надѣвая ихъ на большой палецъ ноги (шьютъ босыя), чтобы придерживать края мѣшка во время шитья.

*) Въ томъ числѣ одна немощная старуха и одна 8-ми-лѣтняя дѣвочка.

— Очень трудно вамъ работать?

— Трудно... да ужъ мы привычны: вѣдь насъ съ пяти лѣтъ за шитье-то сажаютъ. Привыкнешь.

— Ну, а какъ же вы въпятеромъ-то на 200 р. живете, вѣдь это мало?..

— Н-ну, мы еще находимъ...

— У васъ огорода что-ли есть?

«Швеи засмѣялись.

— Нѣтъ, у насъ нѣтъ огорода, отвѣчала пожилая женщина.

«Пожилая женщина закашлялась и ушла изъ комнаты. Одна изъ дѣвушекъ тоже ушла.

— Что же вы теперь дѣлаете, когда вотъ работы-то нѣтъ?

— А съ гостями занимаемся...

— Съ какими гостями? Что у васъ, постоянный дворъ что-ли?

— Нѣтъ... да вотъ... ко всѣмъ, значить, здѣсь въ слободѣ — гости ходятъ... да вы будто не знаете... разспрашиваете?

— Нѣтъ, я не знаю... Такъ развѣ эти гости вамъ деньги носятъ?

— Ха ха-ха! Неужели же безъ денегъ? Бываетъ, и вина всякія приносить... Иной разъ и офицеры, и всякіе господа прочіе...

— И много васъ здѣсь такихъ, что гостей-то принимаютъ?

— Да всѣ занимаемся.. только старухи вотъ не могутъ.

«Когда я уходилъ, одна изъ дѣвушекъ, засмѣявшись, сказала:

— Вы привезете намъ вина-то когда-нибудь?

«Во всѣхъ домахъ, гдѣ я былъ у швей, я слышалъ все то же, что здѣсь описалъ, и вездѣ мнѣ дѣлали такой-же приемъ, мѣстами еще «красивѣе».

Но идетъ-гудетъ джутовый мѣшокъ и грозитъ на бѣдныхъ мѣшочницъ, грозитъ оставить ихъ при однихъ гостяхъ. Да развѣ это все? Вѣдствія, приносимыя этимъ губительнымъ мѣшкомъ, далеко не исчерпываются этими двумя только группами — несчастныхъ деревенскихъ бабъ-ткачихъ и несчастныхъ дѣвушекъ-мѣшочницъ. Вѣдь прежде, чѣмъ лень превратится въ мѣшокъ, ему надобно пройти массу рукъ, которыя всѣ остаются пустыми, благодаря иностранному пришельцу. Каемся — шумъ, поднятый въ печати о злодѣйствахъ джутоваго мѣшка, мы въ значительной степени приписываемъ тому обстоятельству, что мѣшокъ этотъ бьетъ по карману барина ни чуть не меньше мужика. Едва ли бы объ этомъ мѣшкѣ пошелъ такой шумъ, еслибы пришлось кряхтѣть только мужику. Впрочемъ, быть можетъ, это мнѣніе пессимистическое. Во всякомъ случаѣ, перечисляя всѣхъ гибнущихъ отъ джутоваго мѣшка, мы должны упомянуть и о баринѣ — вѣдь десятина (по тѣмъ-же свѣдѣніямъ) можетъ приносить до семидесяти пяти рублей *чистаго дохода*. За бариномъ мѣшокъ буквально валить съ ногъ цѣлую массу, тысячи простого люда, мужика. Буквально весь уѣздъ, весь народъ въ уѣздѣ существуетъ благодаря льняному производству, и притомъ почти исключительно ему. По тѣмъ-же свѣдѣніямъ, почти вся масса земли,

находящейся во владѣніи и арендѣ крестьянъ, за-
сѣвается льномъ. Съ пришествіемъ джутоваго мѣ-
шка, вся масса крестьянства, во всѣхъ своихъ еже-
дневныхъ нуждахъ, дѣлается вполне безпомощною.

Но вѣдь мало вырастить ленъ, надо его еще и
«сдѣлать» льномъ; и вотъ, кромѣ мужика, кото-
рый его раститъ, заграничный пришелецъ выры-
ваетъ хлѣбъ изъ рукъ у массы рабочихъ, зани-
мающихся его трепаньемъ; на одной только льно-
трепальной фабрикѣ, въ Бѣжецкѣ, работаетъ 400
человѣкъ рабочихъ. Куда они дѣнутся и что бу-
дутъ ѣсть? За льнотрепальщиками идутъ ткачихи,
швей.

Такъ вотъ вслѣдствіе того, что явился какой-
то заграничный, машиной сдѣланный, мѣшокъ и
объявился цѣною въ 21 копѣйку, въ буквальный
смыслъ—тысячи, десятки тысячъ народу мгновенно
становится на гибельную стезю разоренія.

Попробовали было наложить на мѣшокъ по-
шлину, т. е. не пустить его силой, но заграничный
мѣшокъ и тутъ извернулся. Иностранные фабри-
каны, судя по газетнымъ слухамъ, заводятъ три
громадныя фабрики для выдѣлки тѣхъ же мѣш-
ковъ внутри самой Россіи, въ самыхъ централь-
ныхъ пунктахъ хлѣбной торговли, причемъ вы-
дѣлка его будетъ конечно машинная, за которой
не угнаться никакому «ремеслу», а цѣна его бу-
детъ еще дешевле, потому что джутъ сырьемъ
возвостись будетъ уже безъ пошлины.

Словомъ, мѣшокъ, объявившійся въ 21 копѣй-
ку серебромъ, вдругъ моментально оставляетъ безъ
хлѣба десятки тысячъ народа — стариковъ, ста-
рухъ, матерей, дѣвицъ и дѣтей. Спрашиваемъ, что
можетъ, въ смыслъ борьбы съ этимъ бичомъ бо-
жіймъ, сдѣлать вся извѣстная намъ общинно-ар-
тельная, до высшей степени совершенства разра-
ботанная канцелярщина? Вѣдь на всей этой огром-
ной территоріи, населенной тысячами людей, безъ
всякаго сомнѣнія, существуютъ всѣ вышеупомя-
нутые общинно-канцелярскіе порядки и добродѣ-
тели; вездѣ на сотняхъ тысячъ десятинъ люди
топчутся на межахъ, иждоуслуживаютъ
передъ межевыми ямами. Ни малѣйшаго также со-
мнѣнія нѣтъ и въ томъ, что повсюду, среди этихъ
тысячъ людей — мужчинъ и женщинъ, существуютъ
всевозможныя артельныя начала; даже у бѣжец-
кихъ швей, при внимательномъ изученіи, окажутся
непримѣнно кой-какія артельныя отношенія, меха-
низмы которыхъ, я увѣренъ, доведенъ до такого
совершенства, что съ горяча можно, на основаніи
его, предрекать обновленіе всего существующаго
строга. Но, несмотря на все это, идетъ-гудеть
джутовый мѣшокъ и все это сметаетъ, какъ вихремъ.

Не слышатъ и не внемлютъ джутовый мѣшокъ,
что при пособіи, молъ, отъ земства всѣ эти на-
чала распустанся пышнымъ букетомъ, гудеть-гре-
митъ и стираетъ съ лица земли и общественные
порядки, и разрабатывающихъ эти порядки людей.
Да что джутовый мѣшокъ! Не только онъ, этотъ
истинно злой иноплеменикъ, попираетъ эти по-
рядки — и до прихода его въ нашихъ мѣстахъ по-
рядки эти мало помогали человѣку... Незащитали

они труженника-человѣка отъ самаго непрестаннаго
грабительства. Джутовый мѣшокъ поражаетъ по
крайней мѣрѣ сразу, а до джутоваго мѣшка ра-
ботника-человѣка рвали поминутно и на всякомъ
шагу.

Везетъ онъ ленъ на продажу — его грабятъ
маклакъ. «Часто безъ гроша въ карманѣ (читаемъ
мы въ той же книгѣ) торгошъ бродитъ по рынку
и торгуетъ ленъ у крестьянъ. Вотъ случилось
сходенько получить партійку льна, скупщикъ вѣ-
шаетъ ленъ, высчитываетъ, сколько придется вы-
дать мужикамъ, тащить тѣхъ же мужиковъ къ ка-
кому-нибудь изъ трехъ льноторговцевъ-коммиссіоне-
ровъ (съ Петербургомъ). Купецъ выдаетъ деньги;
мужики съ грѣхомъ пополамъ рассчитаны, а тор-
гошъ о чемъ-то бесѣдуетъ съ купцомъ на непо-
нятномъ для крестьянъ языкѣ. Въ нѣзъ бесѣдѣ
слышатся слова: «карбованецъ», «тара» и мно-
жество другихъ непонятныхъ словъ. Оказывается,
что подъ словомъ «тара» разумѣется то вознаграж-
деніе, которое купецъ долженъ выдать барышнику
за хлопоты, и это вознаграженіе считается на
«карбованцы». Оказывается, что канцелярскіе по-
рядки не только не въ силахъ сопротивляться
европейскому мѣшку, но они буквально безсильны
просто передъ всякимъ желающимъ ограбить. Вѣдь,
какъ видите изъ приведенной выписки, мужикъ
терпитъ отъ грабителя, который нападаетъ на него,
простая, безъ гроша. Джутовый мѣшокъ по край-
ней мѣрѣ — представитель капитала, и капитала
серьезнаго, а до джутоваго мѣшка грабили не
только безъ капитала, а просто безъ гроша, и про-
тивъ такою-то ужъ совсѣмъ ни съ чѣмъ несо-
образнаго разбойства въ общественныхъ и артель-
ныхъ механизмахъ, какъ видите, нѣтъ приспособ-
ленія. А что этотъ грабежъ шелъ изъ-поконъ вѣка,
это видно изъ того, что даже выработался особен-
ный *грабительскій* языкъ — вѣдь надо же время,
чтобы выработать особенный языкъ для грабежа —
и не выработано ничего для противодействія ему!

Такимъ образомъ, при продажѣ льна, при его
обработкѣ, при выдѣлкѣ пряжи, холста, наконецъ
шитья мѣшка, мы постоянно видимъ около работ-
ника какого то «любителя», который, какъ уже
сказано, не имѣя въ карманѣ гроша, получаетъ,
какъ-то такъ, только во имя желанія поживиться,
пользу, чистую прибыль и, разумѣется, удоволь-
ствіе. Гдѣ жъ корень этой необыкновенной уступ-
чивости со стороны мужика? Почему такая подат-
ливость передъ самыми неосновательными притяза-
ніями на наживу, и притомъ притязаніями людей,
желающихъ сдѣлать это безъ гроша въ карманѣ?
Почему такая снисходительность бѣжецкихъ дѣвицъ
къ посѣщенію ихъ гостями и такая неясность въ
опредѣленіи своей профессіи? Почему такое какъ-
бы даже убѣжденіе, не требующее сомнѣній въ томъ,
что мѣшокъ и гость съ мадерой суть какъ-бы
подснорье одно другому?

Не пытаюсь отвѣчать на эти вопросы категори-
чески, отмѣтимъ только слѣдующія явленія: то же
тверское земство, движимое гуманными побужде-
ніями (хотя и не безъ общаго всякому русскому

гуманству сухо-канцелярскаго оттѣнка) вздумало «казать пособіе оставшковскимъ сапожникамъ, эксплуатирруемыхъ точъ въ точъ такъ же, какъ всѣ перечисленные выше производители льна—мѣшковъ. Оно стало образовывать «изъ работниковъ» артели, давая заимообразно деньги на устройство такихъ артелей. Что же вышло? Вышли артели, только артели не «рабочихъ», а «хозяевъ». Сговорятся наприимѣръ пять человекъ образовать артель, имъ выдадутъ деньги; получивъ деньги, пять рабочихъ немедленно превращаются въ пятерыхъ хозяевъ и каждый изъ нихъ заводитъ *своихъ* рабочихъ. Этотъ фактъ, какъ намъ кажется, даетъ указаніе, хотя и крошечное, на корень зла; если я, сегодня рабочий, товарищъ такихъ же рабочихъ, завтра съ легкимъ духомъ могу сдѣлаться хозяиномъ и нанять своего товарища въ батраки—это значитъ, что я отлично понимаю только *свою* пользу, или страшусь только за себя, и что со верашнимъ моимъ товарищемъ меня связывала, ставила наравнѣ только равнявшая насъ нищета, бѣдность, одинаковость несчастія. Очевидно, что если эту бѣдность я презираю и ненавижу въ себѣ, то въ сосѣдѣ я ее забываю, то есть невнимателенъ я къ сосѣду, не беру въ личное свое вниманіе его горя.

Система безчеловѣческихъ отношеній принесла свои плоды въ томъ, что, не цѣня въ себѣ личность человѣческую, русскій человѣкъ мало цѣнитъ ее въ своемъ сосѣдѣ, и поэтому, несмотря на свои общинные и артельные порядки, онъ одинокъ, онъ въ пустынѣ, и вотъ почему можно придти къ нему безъ грога и, пользуясь его одиночествомъ, ограбить.

Далеко не такъ въ тѣхъ ново-возникающихъ (такъ называемыхъ «сектантскихъ») общинахъ, гдѣ въ основаніе союза кладется мысль о человѣкѣ, о челоѣческомъ достоинствѣ, нравственныхъ обязательствахъ другъ къ другу. Въ такихъ общинахъ немыслимо смѣшеніе понятій мѣшка и гостя съ мадерой, ибо гость съ мадерой — позоръ, обида, оскорбленіе нравственнаго достоинства. Барышъ, доставляемый гостемъ, замѣняется усовершенствованіемъ способа труда. Кругъ сплоченъ во имя общаго блага, во имя вниманія къ своимъ дочерямъ и сыновьямъ, и старикамъ, и старухамъ, какъ людямъ. Единящая такимъ образомъ единомышленниковъ, «по челоѣчеству» внимательная мысль не могла бы, положимъ, хоть въ дѣлѣ джутоваго мѣшка, ограничиться безплодными рыданіями передъ купцомъ, который не беретъ холста, а непременно бы подумала о заплатѣ. Если мѣшокъ бьетъ тѣмъ, что онъ работаетъ по шущему велѣнію машиной, то мысль о борьбѣ съ нимъ тѣмъ же орудіемъ непременно пришла бы въ голову общинникамъ сама собой; *нельзя* не бороться, *надо* бороться, потому что *позорно, безчеловѣчно и по совѣсти преступно* быть равнодушнымъ къ тому, что вотъ это, наприимѣръ, челоѣческое существо, моя или чужая дочь, въ случаѣ моего равнодушія должна будетъ существовать позорнымъ ремесломъ приема «гостей». Развѣ можно

жить на свѣтѣ, допуская такіе вещи? Гдѣ же Богъ-то въ насъ?

И будьте увѣрены, что даже ничтожная земская ссуда распредѣлилась бы въ этой общинѣ не такъ, какъ въ канцелярски-мелочной артели или въ канцелярски-правильной общинѣ.

Да, обезличила русскую общественную мысль замѣнившая ее «общественная канцелярщина». И прошла эта канцелярщина не то, чтобы такъ называемую интеллигенцію, а въ значительной степени и массы народныя. Обыкновенно русское общество привыкло представлять себя въ такомъ видѣ, что половина его здоровая, а другая гнилая: народъ здоровъ, а интеллигенція—гниль. Голова сгнила и болтается на мочалкѣ, а въ то же время ноги бѣгаютъ въ лучшемъ видѣ. Что за нелѣпый образъ! И куда бы вы ни перенесли—здоровье ли въ голову, а гниль въ ноги, или здоровье въ ноги, а гниль въ голову—одинаковы нелѣпнца и невозможность представить себѣ этотъ нелѣпый образъ. Если ужъ дѣло пошло на аллегорію, то мнѣ кажется, что русскіе недуги рисуются нѣсколько въ иномъ видѣ: въ русскомъ обществѣ тронута параличемъ цѣлая половина тѣла, отъ головы до пятокъ, а именно—опять-таки если говорить сравненіями—та половина, гдѣ лежитъ сердце челоѣческое. Другая сторона, сторона опухшей разстроенной печени, напротивъ, дѣйствуетъ и регулируетъ весь строй жизни. Недаромъ у насъ остроги—каменные, въ четыре этажа, подъ желѣзными крышами, и въ каждомъ уѣздномъ городѣ, а народныя школы—лачужки, кое-какъ крытыя соломой, да и не всегда теплыя... Число посѣтителей остроговъ растетъ съ каждымъ годомъ и, сообразно съ непрерывающимся увеличеніемъ заключенныхъ, растетъ и забота о томъ, чтобы ихъ размѣстить, растутъ расходы, растутъ усовершенствованія. А изъ университетовъ гонятъ, изъ гимназій, гонятъ, а въ деревенскія школы не попадаютъ сотни тысячъ, миллионы. Въ острогѣ кормятъ даромъ, а вотъ когда недавно *наконецъ* (!) удалось открыть въ одномъ изъ университетскихъ городовъ студенческую кухмистерскую, такъ, Боже милосердный, какой поднялся трезвонъ, точно правдовавалось вступленіе Россіи во второе тысячелѣтіе: о кухмистерской телеграфировали во всѣ газеты; открывали ее съ молебствіемъ, водосвятіемъ, причемъ служилъ самъ епископъ въ сослуженіи съ четырьмя архимандритами. Были войска, градоначальники... и всѣ въ парадныхъ мундирахъ... Достигнута наконецъ возможность получить бифштексъ цѣною въ 15 копѣекъ! Да и тотъ, какъ въ послѣдствіи оказалось (тоже въ телеграммахъ), вышелъ никуда не годнымъ: жестокъ, какъ пошва, и едва ли не изъ конины.

II.

... Недавно учительница народной женской школы, помѣщающейся въ одной изъ слободокъ глухого уѣзднаго городка, задумала пріучить дѣтей

писать сочиненія. Ученицы ея—всѣ безъ исключенія, если не будущія мѣшочницы, то всѣ принадлежать къ городскому пролетариату, на который у насъ почему-то не обращается никакого вниманія. Учительница сказала, чтобы дѣвочки, какъ умѣютъ, рассказали, у кого что на душѣ, и вотъ одно изъ такихъ признаній:

— «Я продумала цѣлую ночь—писать ли секреты? Но надумала писать. У меня рассказъ начинается съ свадьбы мамы. Мама замужъ вышла 21 года; но она выпла не за милого, а за постылаго, потому что она ни за что не хотѣла идти съ нимъ подъ вѣнецъ, хотѣла идти просить милостыню; но братъ, особенно старшій, Илья, ни за что не хотѣлъ ее оставить дѣвушкой. Онъ говорилъ: «Если мы ее отпустимъ просить (милостыню), то она года черезъ два родитъ ребенка и придетъ къ намъ жить... А если отдадимъ за солдата, то будетъ уже не наша, а посадская солдатка»... Мама не хотѣла идти за своего жениха, потому что онъ былъ изъ жидовъ, но его перекрестили и крестнымъ отцомъ былъ епископъ... Отецъ нашъ былъ худой, черный, поэтому мама до смерти убивалась, чтобы не идти за него замужъ. Но вотъ справили свадьбу, и маму увезъ этотъ еврей въ городъ. Она его не любила, но все-таки у нихъ было трое дѣтей... Старшая, Варвара, когда ей было шестнадцать лѣтъ, то ее прельстилъ молодой торговецъ. Мама конечно ее выгнала изъ дома, потому у нея родилась дочь Машутка... Онъ (торговецъ) ее въ замужъ не беретъ, потому у него была жена... Второй сынъ у мамы былъ Николай, живетъ въ Н въ почталіонахъ и мамѣ денегъ не посылаетъ. Третій, Григорій, каждую ночь гдѣ-то ходитъ и что дѣлаетъ—не знаю... Я сама ужъ другого гнѣзда. Сказать просто—незаконная. Это и по лицу видно: я—блѣлая, а другіе—черноватые. Пятая сестра—тоже незаконная, маленький братъ—тоже незаконный. Теперь мамѣ пятьдесятъ лѣтъ, но она не бросила этого дурного порока, и нынче она живетъ съ однимъ солдатомъ-постояльцемъ... Съ нимъ мама стала добрее, но я этому не рада: она скрываетъ свои поступки, а всѣ, и маленькія дѣти знаютъ; это по мнѣ худо. Она меня раньше все била и ругала, да какъ еще ругала... но когда она заругается, то я затыкаю уши, а когда лежу на кровати, то читаю молитвы или рассказываю изъ русской исторіи, или сочиняю сочиненія... Что она меня била и ругала, то вы (обращеніе къ учительницѣ) въ этомъ отчасти виноваты: помните, прошлую зиму сказали мнѣ: «согласна-ли я поступить въ гимназію?» я сказала мамѣ, а тамъ не приняли, то мама меня и стала бранить, что я ее обманула... Но я рѣшила—такъ какъ въ гимназію меня не приняли, то я поступлю въ монастырь, потому что хоть тамъ и тюрьма, но лучше чѣмъ здѣсь: каждый день брань, попреки, даромъ ѣмъ хлѣбъ. Буду тамъ работать, не буду видѣть каждый день грѣха... А можетъ быть постигнетъ меня и такая участь, какъ старшей сестры... Я теперь думаю, что я ни за что не погублюсь—но не знаю! Вѣдь я еще не велика... а вѣдь когда буду дѣвушка, то можетъ

такъ и сдѣлаю, какъ сестра и маменька... Конечно, я буду стараться всѣми силами, чтобы этого сдѣлать, а когда поступлю въ монастырь, то не буду соблазняться—а все-таки не знаю! Мнѣ какъ не въ монастырь, то болѣе нѣтъ никуда дороги... А не то въ могилу, потому что мнѣ не пережить этой жизни»...

Нѣтъ, изъ участія такихъ существованій, стонущихъ безпомощно по всѣмъ угламъ русской земли, покуда еще не сдѣлано ни общественныхъ вопросовъ, ни общественныхъ задачъ. Не даромъ, года полтора тому назадъ, съ такимъ необычайнымъ торжествомъ былъ «пронесенъ» по всѣмъ журналамъ и толстымъ, и тонкимъ, какъ доказательство, что въ «общественныхъ дѣлахъ» значительную роль играетъ и состраданіе, и забота о безпомощномъ, тотъ фактъ, что въ какой-то губерніи общество прокормило старуху-бабу. Едва этотъ фактъ былъ обнародованъ, какъ тотчасъ-же его подхватили—и онъ обошелъ рѣшительно всѣ журналы и всѣ статьи, посвященные общественнымъ порядкамъ. Вышеупомянутая баба непременно присутствовала въ каждой изъ статей, всегда выдвигаясь, какъ укоръ сомнѣвающимся... «Вотъ, писалось въ одной:—вопреки увѣреніямъ, что наша община и т. д., мы можемъ сообщить слѣдующее: въ одной деревнѣ» и т. д. Слѣдовало повѣствованіе о прокормленіи бабы. Въ другой писалось: «Между прочимъ, мы не можемъ не отмѣтить слѣдующаго замѣчательнаго факта: въ одной деревнѣ, какъ намъ извѣстно изъ вполне достовѣрнаго источника, безъ всякаго посторонняго вліянія, крестьяне прокормили» и т. д. И опять баба... «А чтобы доказать, писалось въ третьемъ:—что упреки, расточаемые разными «свѣжими» наблюдателями, якобы въ равнодушіи... то вотъ фактъ, который говоритъ самъ за себя: крестьяне деревни» и т. д. Словожъ, по всѣмъ журналамъ и газетамъ моментально пронеслась вѣсть: бабу, бабу прокормили, бабу! бабу! бабу! И вездѣ фактъ, въ доказательство его достовѣрности, подтверждали цитатами: «Отецъ. Записки» сослался на «Русскую Мысль», «Русская Мысль» на—«Русское Богатство», потомъ всѣ вѣстѣ—на всѣхъ вѣстѣхъ...

А вотъ, когда въ недалекомъ отъ Петербурга разстояніи, также «вопреки увѣреніямъ», въ нѣкоторой деревнѣ была сожжена живьемъ нѣкоторая больная старушка, такъ этотъ «приискорбный» случай прослѣдовалъ въ печати почти безъ шума... Знаемъ мы, о чемъ надо молчать.

IV. На травѣ.

I.

«...Долго было-бы рассказывать (писалъ мнѣ Лисабонскій изъ деревни еще въ началѣ весны), почему нынѣшней весной мнѣ какъ-то особенно необыкновенно сильно захотѣлось просто-таки лечь на траву! Лечь на зеленую травку, лицомъ къ сы-

рой земли, лечь и закрыть глаза... У меня ужъ не было ни малѣйшаго желанія поѣхать въ «деревню» для того, чтобы смотрѣть, что дѣлаетъ народъ, слушать, что народъ говоритъ и, пристально вглядываясь въ обиходъ народной жизни, высматривать и себя среди него работы, работы, какъ говорится, «по плечу»... Нѣтъ, мнѣ дѣйствительно нужна была только трава, зеленая трава. сырая земля; мнѣ дѣйствительно только того и хотѣлось, чтобы лечь, лечь... въ траву, зеленую, непременно зеленую... Лечь на сырую землю, лицомъ къ сырой землѣ, къ сырой зеленой травѣ, лечь и закрыть глаза.

«...По возможности все это я постарался выполнить, т. е. выбрался изъ Петербурга, нашелъ на широкой русской рѣкѣ болѣе или менѣе уединенное мѣсто и добрался до травы. Правда, по раннему времени, трава была маленькая, но дѣйствительно зеленая, сырая, такъ что можно было бы выполнить и другую главнѣйшую половину моихъ желаній— «забыться и заснуть», такъ сказать, духовно заснуть на этой травѣ, не на вѣки, а на нѣкоторое время... Но вотъ этого-то главнѣйшаго желанія моего мнѣ и не удалось выполнить, и причина этого была для меня весьма удивительная.

«Въ прежнее время, когда я, какъ тебѣ хорошо известно, самъ лѣзъ и совался въ народную среду, самъ выискивалъ себя въ житейскомъ обиходѣ этой среды хлопотъ, дѣлъ и заботъ, которыя-бы дали мнѣ, человѣку безъ опредѣленныхъ занятій, право на существованіе, право на заработанный хлѣбъ, и право на сознаніе за собой какой-нибудь, самой малѣйшей полезности среди нуждающихся въ помощи (какъ я думалъ) посильныхъ трудахъ деревенскихъ обывателей — въ это время не мудрено было превратить собственную жизнь въ рядъ непрерывныхъ беспокойствъ и забыть о томъ, что живешь въ деревнѣ, гдѣ обыкновенно «отдыхаютъ», гдѣ воздухъ, травка и т. д. Чего стоили мученія по поводу того только, что народъ, для котораго я, какъ говорится, «всею душой», не внимая мнѣ, больше частью слушалъ меня изъ снисхожденія, зѣвая въ кулакъ!

«Совершенно не то теперь. Теперь, какъ видишь, я уже не суюсь, не лѣзу и ничего не хочу кромѣ одиночества, тишины, молчанія и зеленой травы... и вотъ теперь-то самъ народъ — не даетъ мнѣ покою.

«То я самъ къ нему лѣзъ, а онъ меня почти что не принималъ; теперь онъ также самъ лѣзетъ ко мнѣ, и я *долженъ* принять его, ибо онъ нападаетъ на меня массой. Не меньшая разница обнаруживается между нами обоими и въ самой сущности этого «напирания» другъ на друга. Я бывало, повторяю, норовилъ «всею душой» и всячески старался, «какъ лучше», а онъ теперь относится ко мнѣ далеко не съ такими побужденіями. Онъ норовитъ, какъ мнѣ кажется, уличить меня въ чемъ-то, помануто запускаетъ въ меня шпильки, язвить, критикуетъ и вообще выказываетъ относително меня, т. е. вообще человѣка, не принадлежащаго къ народной средѣ, огромную подозрительность.

«Подозрѣваетъ-же онъ меня въ чемъ-то крайне злостномъ, и что особенно замѣчательно, въ этой подозрительности къ «барину» вообще въ народѣ замѣчается полное единодушіе, сплоченность; какая-то невидимая нить подозрительности соединяетъ всѣхъ деревенскихъ жителей, безъ различія ихъ положенія и состоянія. Это единодушіе и единогласіе я впервые встрѣчаю въ деревнѣ; въ первый разъ въ жизни я чувствую, что деревня, въ извѣстныхъ случаяхъ, изъ разstreпанной и размоchalенной на множество безсильныхъ въ отдаленности человѣческихъ атомовъ, вдругъ можетъ сплотиться въ крѣпкую массу и стать буквально «какъ одинъ человекъ». Гдѣ-же тутъ возможность забыться на зеленой травкѣ? Не дають, шпыняютъ»...

«Эту совершенно для меня новую черту я сталъ ощущать на каждомъ шагѣ, какъ только мнѣ приходилось быть въ самомъ малѣйшемъ соприкосновеніи съ народомъ. Разыскивая себя уголъ «зеленой травки», я ѣхалъ по желѣзной дорогѣ и на пароходѣ въ полномъ молчаніи; я былъ занятъ своими мыслями; меня ничто не интересовало, да я и мало слушалъ, что говорится въ толпѣ. Вотъ на пароходѣ какіе-то два мѣщанина разговариваютъ «о своихъ дѣлахъ». Въ былое время однѣ эти жилистые хищныя морды обратили-бы мое вниманіе, не говоря объ этихъ «своихъ дѣлахъ», которыя навѣрное бы навели меня на тревожныя и непріятныя размышленія; теперь-же ни ихъ ястребинныя фізіономіи, ни ихъ возмутительныя «свои дѣла», о которыхъ они разговаривали, не трогали меня въ должной мѣрѣ, хотя и были на этотъ разъ дѣйствительно возмутительныя»...

II.

Вотъ, кстати, для образчика одинъ изъ такихъ разговоровъ «о своихъ дѣлахъ»:

— Давно-ли жена-то умерла? спрашивалъ одинъ ястребъ другого ястреба.

— Да ужъ недѣля съ двѣ...

— Никакъ ужъ вторая у тебя помираетъ?

— Вторая!.. отвѣтилъ вдовый ястребъ кратко и сплюнулъ за бортъ парохода.

— Былъ слухъ, что, молъ, скончалась-то не вполне правильно?..

— Надо бы хуже, да нельзя!.. Вотъ какъ скончалась... тьфу! Больше ничего!

Проговоривъ это, ястребъ еще разъ плюнулъ, уже съ ожесточеніемъ, и, запахивая чуйку, съ ожесточеніемъ прибавилъ:

— Не съ покаяніемъ, или, примѣрно будемъ говорить, какъ по христіански, но вполне, можно сказать, съ грабежомъ окончилась покойница, вотъ какъ я скажу!..

Ястребъ еще разъ плюнулъ, еще разъ запахнулся и продолжалъ:

— Мы торгуемъ съ братомъ... онъ — въ Буграхъ, а я — въ Залузѣ... Капиталъ одинъ у обоихъ... Ты знаешь брата-то?

— Слыхалъ... Корнѣй Егоровъ?

— Ну вот. Онъ самый. Можешь ты понять, каковъ онъ есть человекъ? Прямо сказать—тигръ или, напимѣрь, аспидъ какой желѣзный... Приѣдетъ учить лавку — такъ рѣдко когда за ножи не схватится... Двѣнадцать фунтовъ солонины одна я выкинула собакамъ, груднику, потому очень духомъ взялась, такъ вѣдь онъ, анафема-проклять, чуть было меня не зарѣзалъ, дьяволъ этакой!

— Крутъ!

— Чортъ въ-явь, не то чтобы, напимѣрь, человекъ сходствовалъ... Съ этакимъ-то дьяволомъ я вотъ двадцать лѣтъ маюсь... Каждый день норовитъ схватить за горло... Долженъ же я какъ-нибудь себя соблюдать. Такъ или нѣтъ?

— Само собой!

— Н-ну... Я тебѣ говорю по чести, что мнѣ?.. Н-ну, вотъ и было у меня, въ теченіе времени, скрыто, значить, тыщи три... значить, въ кунемъ воротникѣ. Я тебѣ говорю прямо: подъ подкладкой, значить, было... Подкладка простегана, все честь честью. Воротникъ-то этотъ въ сундукѣ... Вотъ, братецъ ты мой, какъ стала Авдотья-то помирать... и не помню, какими манеромъ я обронилъ ключъ отъ сундука. То-ли обронилъ, то-ли вытащила мать ейная—мать-то при ней была—ужъ не знаю; только что, гляжу я, мать-то эта самая тихимъ манеромъ наняла подводу — маршь домой! «Прощайте! недосугъ, телятники, молъ, приѣхали...»

— А есть у васъ теляты-то поёные? перебилъ другой ястребъ.

— Есть.

— Почему?

— Тридцать, тридцать пять.

— Гм... Н-ну?

— Ну, значить, и оказалось: валяется воротникъ за сундукомъ, подкладка испорота, денегъ нѣтъ... Такъ меня, братецъ мой, и затрясло всего... Схватился за дочь—бить! Говори (такъ и такъ) — гдѣ деньги? Молчить, какъ убитая, а была все время при матери... Тутъ старшая дочь, отъ другой жены, отъ первой, все и открыла. Своими, видишь, руками Авдотья-то отдала матери, а ключъ-то, видишь, дочь ей вытащила. Я къ Авдотѣ: — «Скажи, говорю, отдавала матери деньги?» — А она, братецъ ты мой, глядитъ эдакъ-то на меня, зубы стиснула — «не скажу!» говорить. Я ужъ тутъ — даромъ что больной человекъ — вышелъ изъ всякихъ границъ... — «Н-нѣтъ?» — «Не скажу!» Какъ камень! Такъ и померла.

— Не вполне благородно!

— Я тебѣ говорю, скончалась не по-христіански, а, прямо сказать, разбойнымъ манеромъ померла. И всю жизнь-то, какъ волкъ, была... Только и возьмешь бывало боемъ однимъ... Упорная была покойница, настояще какъ дерево или, напимѣрь, камень какой... Старшую-то дочь, отъ первой-то жены, слопала совсѣмъ... Да и мать-то ейная — тоже скорпіону преподобна. Да и Авдотья-то народила дѣтей, тоже вродѣ какъ ежидны какія... только что возьмешь кнутъ, да облеванишь всѣхъ поголовно, и отъ первой, и отъ второй супруги... ну тогда и имѣешь спокойствіе.

— Такъ и пропали деньги-то?

— Ищи поди ихъ! Мать-то ейная говоритъ: «это, говорить, мои были деньги; у тебя, говорить, денегъ нѣту; пусть, говорить, братъ разсудитъ». Ну, а братъ, ты самъ знаешь... Онъ ужъ и теперь косятся, какъ жеребецъ очумѣлый. Нюхаетъ что-то. А какъ узнаетъ, такъ вѣдь... Онъ меня разъ топоромъ было разбѣкъ пополамъ изъ-за того, что восемь фунтовъ двухтесныхъ гвоздей не досчитался. А тутъ — такъ вѣдь онъ... Онъ и то все сулитъ: «Ежели, говорить, узнаю, что напимѣрь скрывашь деньги, такъ всего, говорить, тебя издеру овечьимъ гребнемъ, то есть всю кожу издеру въ ленты...» Вотъ какой урожденный чортъ!

— Н-да!.. Человѣчекъ ничего... Не пропащій человекъ... Нѣтъ! Человѣкъ ужъ, братъ, вполне можно сказать... сурьезный!

— Живодѣръ, одно слово...

— Ну, и что же? спросилъ первый ястребъ второго ястреба: — вѣдь по дѣламъ-то выходить, опять тебѣ надобно жениться?

— Мнѣ безъ жены, отвѣчалъ второй ястребъ: — все одно, безъ рукъ... Первое дѣло — восемь человекъ дѣтей, всѣхъ ихъ надо держать въ рукахъ... второе дѣло — работники: накормить, напоить... скотины тридцать головъ... А третье дѣло — торговля: сѣно, лѣсъ, мало-ли на моихъ рукахъ... Я вотъ и теперь, давно-ли безъ жены-то? а и то сваялся... Двухъ недѣль не будетъ, а ужъ у меня голова кругомъ идетъ... Вѣрнѣе — всѣ руки отрезать, кое о ребятахъ, кое о работниковъ, нѣтъ спосовъ одному управиться!

— Ну только, сказалъ первый ястребъ: — трудненько, я думаю, насчетъ невѣсты будетъ... Не пойдутъ, пожалуй?

— Нейдутъ, анафемы!.. Про дѣвокъ и разговору нѣтъ: тѣ, братъ, нонѣ самъ знаешь... воля! Да ежели бы, положимъ, я и склонилъ дѣвицу, такъ вѣдь это мнѣ не расчесть... Молоденькая на что мнѣ? Кабы я молодой былъ — ну, такъ! А то, хоба я еще и въ силахъ, ну все же не въ пару... У меня у самого дочери почестъ что невѣсты. Вдову взять — опять рѣдко которая вдова безъ дѣтей; тоже нѣтъ расчёту, и своихъ у меня много... А которая вдова и безъ дѣтей, и можно бы пожалуй соблазнъ ей сдѣлать — ну, опять же трудно. Нонѣ вдовы-то норовятъ за холостого выйти, потому всякая разсчитывается, за своими чтобъ ходить дѣтьми...

— Какъ-бы тебѣ того... безъ невѣсты пожалуй не остаться бы? проговорилъ первый ястребъ.

Второй ястребъ подумалъ и отвѣчалъ съ разстановкой:

— Думается мнѣ, братецъ ты мой, что дѣло это какъ-ни-какъ, а слѣдится...

— Али есть на примѣтъ?

— То-то что есть. И такая, я тебѣ скажу, особенная женщина, лучше мнѣ, по моимъ дѣламъ, не требуется... Первое дѣло скажу тебѣ, состоитъ она на дѣвичьемъ положеніи, слѣдовательно, не вдова и вродѣ какъ дѣвица. А можетъ быть и было что-нибудь, такъ вѣдь это, братецъ ты мой,

не касаемое до меня, коль скоро я вступаю въ бракъ.

— Само собой!

— А второе дѣло, вѣры она не нашей, столотѣрка... Я было и подумывалъ —хорошо-ли молъ? Ну, такъ разсуждаю, что какъ она на нашего брата косится, то есть на православныхъ, то и ребятамъ потакать не будетъ... Для нея православный — что нехристь, татаринъ, а, стало быть, работниками, или ребята — ужъ это отъ нея имъ не будетъ снисхожденія. Ужъ она ихъ произведетъ въ страхъ и исполнѣ сократитъ... Окромѣ того и по природѣ —ха-арактерная баба, упаси Богъ какая кремневая! А мнѣ такая и требуется, мнѣ нало, чтобъ она-бы въ дому была —какъ молнія, напрымѣръ, во всѣ мѣста бьетъ, такъ чтобъ и тутъ... Чтобъ то есть пикнуть никому не давала, а ужъ эта —стрѣла огненная! Ты погляди на нее —изъ себя она сушощава, жиловата, рѣчь у ней отрывная, односложно — женщина упорная! А мнѣ это и требуется... Мнѣ въ домѣ надобенъ такой человекъ, то есть чтобъ страхъ къ нему былъ у всѣхъ, а ужъ лучше ея, какъ я сужу, не сыскать...

— И что-жъ? Соглашается?..

— Куда тутъ! Развѣ этакого-то безбожнаго человека согласишь сразу? Тутъ еще погляди-ко, сколько надо хлопотъ. Соглашается? Да ей и замкнутъся-то объ этомъ дѣлѣ — я такъ считаю — неспособно... На что отецъ духовный, да и тотъ отлетѣлъ отъ нея кубаремъ, какъ сунулся ее увѣщевать насчетъ, значить, вѣры... А тутъ она и вовсе осатанѣетъ... Нѣтъ! ее надо перво-наперво обломать начисто всю, сбить съ нея фанатерию-то: еще тутъ, другъ любезный, хлопотъ будетъ, Боже мой, сколько...

— Какъ-же ты ее обломаешь-то?.. Есть-ли способа-то?

— Способа, я тебѣ скажу, — есть. Видишь, какое дѣло... На счастье мое, братанъ-то, что я тебѣ говорилъ, купилъ у нея пять дѣтъ тому назадъ пол-дома, въ Вуграхъ-то... Пять оконъ по улицѣ — его, по ворота, а четыре окна — ейныя, и лавка ейная винзу-то, торгуетъ она мелочами, а братъ трактиръ держитъ... Ужъ она не разъ жаловалась брату, что-молъ пьяные донимають; братъ говоритъ: «продавай свою часть, стало быть, четыре окна-то, т. е. отъ воротъ по уголъ». — Ну, она упирается. «Я, молъ, съ чѣмъ останусь?» — Ну, а теперяtko, какъ, значить, я овдовѣлъ, братанъ и раззѣрился на пол-дома-то... Первое дѣло, въ случаѣ браку, пол-дома безъ покупки отойдутъ къ намъ, второе у меня въ хозяйствѣ будетъ человекъ сурьезный, а третье — я лавку-то ейную ужъ онъ возьметъ за себя, а то теперь приговора не даютъ. Дѣло-то, видишь-ли, исполнѣ намъ въ руку. И пол-дому, и лавка, и хозяйка, и все! Одно только и остается, что обломать ее требуется! Не идетъ. каторжная, добромъ то! Главное — въ оглобли-то ее вопкнуть, а тамъ ужъ рычи, не рычи, наплевать. По нашимъ дѣламъ, что злѣй, то лучше...

— Обломать-то хитро! А то-бы тебѣ въ самыя разъ.

— А братанъ-то? Эдакой-то разбойный человекъ, да чтобы онъ не обломалъ? Ну, ужъ это напрасно! Ужъ что ему вступило въ голову, съ мясомъ вырветъ. Не разстанется!.. Мы было калыкали съ нимъ; «перво-наперво, говорить, надо по Божью, и не чтобы страшать ее, что, молъ, «отдай пол-дома», а такъ говорить, что, возьми, молъ мою половинну, всѣмъ домошъ владай и замужъ выходи». Сначала, говорить, надо мягко, чтобы раззадорить ее на домъ-то, жадны вѣдь бабы-то... А какъ ежели домошъ ее не возьмешь, ну, тогда надобно напорствомъ поступать. Братанъ-то говорить: — «коли добромъ не пойдетъ, такъ я ее, шельму, огнемъ начну жечь со всѣхъ концовъ. Заведу двѣнадцать кузницъ, да примусь молотками зудить, да полимемъ пускать — такъ она у меня въ однѣ сутки позабудетъ, какъ и самое-то ее по имени звать, нетокма замужъ упраться»... Нѣтъ, братъ! Чего-чего... а ужъ этого отъ брата на исполнѣ можно надѣяться... Ежели ужъ онъ меня, своей крови, не жалѣетъ, такъ ужъ чужого человека — и въ порошокъ изотретъ, не ахнетъ... Ужъ это что!.. Утихомирить...

— Ну, а какъ въ дому-то у тебя она оцеткинется?

— А это-то что такое?

Ястребъ вдругъ быстро, злобно, потрясъ кулакомъ, оголивъ отъ рукава жилистые мускулы.

— Слава тебѣ Господи, тоже съ одного маху и мы переносье перешибали на своемъ вѣку. Зачѣмъ же щетиниться? Это нехорошо. Надобно, чтобъ честно, благородно, тихимъ манеромъ... Мы хотимъ не худого, а хорошаго... Богъ дастъ, все и обойдется.

— Дай Богъ! сказалъ ястребъ. — Ну, а она-то, прибавилъ онъ: — знаетъ что-ли насчетъ вашихъ замысловъ?

— Настояще, пожалуй, что не знаетъ... Это дѣло надо дѣлать потише, самъ знаешь... Надо ее надлобучить съ одного маху, надо сразу съ обѣихъ концовъ напереть, чтобы то есть непреклонность эту ейную перешибить... Въ такомъ разѣ надо помалкивать... Ну, кошма мы и молчимъ до поры до время, а чуетъ она... озирается..

— Имѣетъ подозрѣнїе?

— Н-да! такъ что-то, какъ бы пужаться стала... Намедни братанъ — то не вытерпѣлъ, дюже ужъ его пол-дому то сласитъ, полѣзъ къ ей въ половинну осматривать... ну, и я съ нимъ... Сдѣлали тотъ предлогъ, что будто насчетъ строилъ и борововъ, т. е. слѣдовательно, якобы на счетъ страховки... Ну, напели дурѣ всячины... Такъ, братецъ ты мой, какъ принялись мы это за осмотръ то, какъ принялся братанъ-то по всѣмъ мѣстамъ ревизовать, вотъ тутъ она, братецъ ты мой, какъ будто испужалась... Потому братанъ-то вѣдь кока-съ-сокомъ... Ужъ что-нибудь не даромъ это задумалъ: это ей извѣстно... Вотъ она и стала озираться, какъ птица кака сумасшедшая... И стала топоршиться, какъ насѣдка... Думаю я такъ, что чуетъ она...

— Надо быть, чуетъ... Ну, а домъ?..

— Домъ богатѣйшій! что строишь, что балки — цѣны нѣту!

— Да, сказалъ многозначительно первый ястребъ: — это вамъ, повашей коммерціи, подходитъ... Ежели, напримѣръ, взять въ расчетъ, что полдому, и, напримѣръ лавка, и одно подъ одно трактиръ, то вполне можно сказать — не упускай бабы, но всячески старайся вогнать ее напримѣръ въ стойло. Я надѣюсь такъ, что братанъ твой маху не дастъ!..

— Маху!.. Я тебѣ говорю вѣдь: не человѣкъ, а прямо — живорѣзъ! Такому-ли человѣку маху давать?..

— Н-да. А подходитъ, говорить нечего.

На этомъ оба ястреба закончили разговоръ о «своихъ дѣлахъ» и замолкли...

Кстати ужъ сказать здѣсь-же еще два слова объ этихъ ястребахъ, чтобы болѣе не возвращаться къ этому предмету. Не такъ давно мнѣ совершенно случайно пришлось быть въ дер. Вуграхъ и познакомиться съ тѣмъ самымъ живорѣзомъ, о которомъ такъ много повѣствовало одинъ изъ ястребовъ. Живорѣзъ живетъ въ своемъ пол-домѣ въ самомъ центрѣ трактира, въ самомъ центрѣ гама, шума, кабацкой брани и ругани. Онъ дѣйствительно, какъ желѣзный: голова у него не болитъ отъ этого кабацкаго рева, не смотря на то, что комната его отдѣлена отъ трактира досчатыми перегородками. Въ комнатѣ кровать желѣзная и желѣзный негараемый шкафъ, да ко всему этому и онъ самъ одинокій желѣзный обыватель. Воистину это какое-то ястребиное гнѣздо. Показывалъ онъ мнѣ садъ. И здѣсь видно во всякой мелочи что-то желѣзное и жестокое: маленькіе, тшедушные, неумѣло посаженные кусты смородины огорожены такими кольями, которые годились бы на сваи. Жиденькая малина привязана къ такому столбу, что напоминаетъ преступника, привязаннаго къ позорному столбу. Эти огромные кольца у растений и пѣтлѣвъ кажутся поставленными не для поддержки и помощи, а стоять какъ палачи, «силою» тащить къ себѣ несчастныя растения, не даютъ имъ ходу, «не пускаютъ»... «Силою» — въ этомъ выраженіи вся суть ястребиной жизни: «силою!» съ работниками, «силою!» съ дѣтьми, «силою!» съ женой, со смородиной, съ малиной. Вездѣ веревка, палка, оплеуха... Показалъ мнѣ этотъ ястребъ конюшню и рассказалъ исторію болѣзни одной лошади, и тутъ оказалось, что даже болѣзнь, и ту ястребиный умъ нашелъ возможнымъ уничтожить тоже только «силою»... Ученымъ людямъ, докторамъ онѣ не вѣрять; — «это одна глупость!» говорить онъ на основаніи опыта, и на этомъ-же основаніи принялся онъ лечить лошадей самъ. У лошади началась опухоль на животѣ и стала подвигаться къ груди. Чтобы остановить ее, «не дать ходу», онъ поступилъ такъ, какъ вообще поступаютъ, когда кому-нибудь не даютъ ходу: запираютъ ворота, привязываютъ на веревку и т. д. Такъ онъ поступилъ и съ опухолью. «Позвалъ я, рассказывалъ ястребъ, — работниковъ, взялъ веревку (лекарство отъ всѣхъ болѣзней и во всѣхъ вопро-

сахъ) да и перетянули ей животъ по самую попуху эту. Я къ себѣ тяну, работникъ — къ себѣ, перехватили мы ее такъ, что только пополамъ не разрѣзали. Ну, тогда опухъ пошелъ назадъ, значитъ къ задней части... вотъ въ эти мѣста... Погodiлъ я дня три, куда опухъ совсѣмъ сядетъ на мѣсто, ни корму, ни воды не давалъ; наконецъ того, вижу, раздуло ей эти мѣста... Какъ только раздуло ихъ, тутъ я и пошелъ бритвой полосовать... Такъ оттуда болѣзнь-то эта самая кусками такъ и пошла валиться; одного мяса пуда полтора вывалилось изъ этихъ мѣстъ! И что-же? Отдохла вѣдь... Полтора года еще послѣ того воду возила. А дай докторамъ, то есть ученымъ, давно-бы ноги протянула...»

Что всего обиднѣе, это то, что въ силѣ веревки и палки ястреба убѣждаетъ не только такой случай съ лошадью, но вообще несомнѣнный успѣхъ его во всѣхъ дѣлахъ, во всѣхъ предпріятіяхъ: вездѣ онъ «первымъ долгомъ» пускаетъ въ ходъ веревку, палку, грубую силу и вездѣ успѣваетъ. Не думаю однако, чтобы успѣхъ былъ продолжителенъ...

— Это вашъ домъ? спросилъ я ястреба на прощанье..!

— Повамѣстъ только половина, скоро и другая будетъ наша...

— Покупаете?

— Купили-бы, да не зачѣмъ, такъ будетъ наша...

И ястребъ улыбнулся самой спокойной, самоуверенной улыбкой.

III.

Въ былое время такіе ястребиные разговоры производили на меня самое ожесточающее впечатлѣніе. Прежде я-бы непременно вязался въ этотъ ястребиный разговоръ, непременно бы сталъ вопіять противъ «безобразія» этихъ ястребиныхъ взглядовъ и ястребиныхъ поступковъ; но теперь я былъ уже такъ утомленъ вообще болѣе или мѣнѣе ястребинымъ направленіемъ жизни, и до такой степени ужъ освоился съ той «зоологической правдой», которая, кажется, дѣлается единственнымъ основаніемъ и объясненіемъ жизненнаго обихода, что даже и не думалъ принимать въ ястребиномъ разговорѣ хоть-бы малѣйшее участіе. Да кромѣ того, развѣ дѣйствительно не все такъ «должно» подходить одно къ одному», какъ повѣствовала ястребы, очевидно, не исповѣдующіе никакой другой правды, кромѣ зоологической? Развѣ «можетъ» раскольникъ противустоять живорѣзу? Нѣтъ. «не можетъ». Развѣ можетъ живорѣзъ противустоять жадѣ получить задаромъ пол-дома? Тоже нѣтъ. Развѣ не «подходить» раскольникъ къ семьѣ овдовѣвшаго ястреба? Хорошенько разобрать, такъ окажется, что вполне подходитъ. Семья его подобна какому-то гнѣзду, населенному враждующими другъ съ другомъ существами. Всѣхъ ихъ надобно сократить, приплюснуть такъ, чтобы никто пикнуть не смѣлъ, и эта роль пресса и обуха какъ

разъ подходить къ раскольникѣ: она *должна будетъ* ненавидѣть эту семью, какъ раскольника, затѣмъ, какъ каторжница, посаженная въ эту семью какъ въ тюрьму: слѣдовательно, передъ ея ненавистью и мстостью за свою судьбу всѣ будутъ равны: ей всѣ чужіе и всѣ враги—всѣхъ она *должна будетъ* угнетать, давить, а это только и требуется.

Все, съ точки зрѣнія этой зоологической правды, здѣсь правильно, все на своемъ мѣстѣ. Не удивился-бы я даже и тогда, если-бы мнѣ сказали, что и раскольница *сама*, не смотря на предстоящую ей каторгу, полагаетъ, что каторга эта и для нея также неизбежна. Теперь она только *чувствѣ* бѣду, но, подумавши, пожалуй убѣдится, что иначе, какъ быть съѣденной ястребами, ей нельзя ничего другого придумать; спрашивается: чтѣ такое она «на семь свѣтѣ», съ своимъ пол-домомъ? Что она мотается? Вѣдь она не можетъ-же не чувствовать, что ея пол-дома сами тянутся къ ястребу? что ея пол-дома «подходятъ» къ нему, что рано-ли, поздно-ли, а ястребъ оторветъ эти пол-дома? Вѣдь онъ—ястребъ, развѣ *можетъ онъ* оставить это дѣло такъ, зря?

Съ другой стороны, развѣ вдовый ястребъ *можетъ* изгнать отъ себя мысль о томъ, что раскольникъ какъ-разъ «подходить» къ нему? И развѣ она сама-то не понимаетъ, что ему именно требуется, чтобы она, раскольница, шла къ нему какъ въ каторгу, чтобы она была зла на свою судьбу и всѣхъ бы, во имя этого зла, ѣла поѣдомъ? Не безмозглая-же она дура, чтобы этого не понимать и не видѣть во всемъ этомъ неизбежной судьбы... Я даже увѣренъ, что и теперь, еще почти ничего не зная, она уже чувствуетъ гибель неминуемую, видитъ ея неотразимость и начинаетъ ожесточаться... А это тоже, какъ мы видѣли, «требуется». Все тутъ неизбежно и звѣрски-справедливо. И вотъ почему я съ полнымъ спокойствіемъ слушалъ зоологическіе разговоры, точно читалъ Брема.

И такъ, я ѣхалъ, молча смотрѣлъ, молча слушалъ; очень мало видѣлъ, а чтѣ и слышалъ, то меня весьма мало интересовало и, во всякомъ случаѣ, вовсе не волновало. Но едва я раскрылъ ротъ, чтобы сказать слово сосѣду, какъ немедленно-же наткнулся на шпильку, пущенную въ меня изъ какого-то невѣдомаго мнѣ, но несомнѣнно враждебнаго источника или побужденія.

Проѣзжали мы мимо какого-то монастыря, расположеннаго въ весьма живописной мѣстности. Мѣсто мнѣ понравилось, и я захотѣлъ узнать, какъ оно называется и что это за монастырь? Съ этимъ вопросомъ я было обратился къ сосѣду, по виду похожему на торговца, человѣку лѣтъ пятидесяти, бодрому, опрятному и съ фizioноміей весьма благоприличной: ничего не было въ ней ястребинаго, а, напротивъ, было очень много разсудительности. Вотъ къ этому-то сосѣду я было и обратился съ своимъ вопросомъ, но не успѣлъ я произнести и всей фразы, т. е. не успѣлъ выговорить всего вопроса: «Что это за монастырь?», а едва только выговорилъ: «Что это...», какъ благообразный тор-

говецъ, не давъ мнѣ окончить вопроса, вникся, такъ сказать, въ мои слова «что это...» (одновременно съ этимъ *спиваясь* въ мою широкополую шляпу, достаточно изматую, и очевидно *по шляпкѣ* узнавъ во мнѣ *сицилиста*), и видимо не желая слушать вопроса до конца, съ ядовитой ласковостью въ выраженіи губъ поспѣшно заговорилъ: —Это-съ? А это, милостивый государь, по нашему, по мужицкому, называется Божій храмъ! Да-съ, храмъ Господній! Какъ это самое по вашему, по благородному, называется, намъ—ужъ извините—неизвѣстно, потому что мы мужики, а мужики, милостивый государь, само собою, не болѣе есть, какъ набитые дураки...

Я съ недоумѣніемъ поглядѣлъ на сосѣда, не зная, какъ объяснить себѣ это нежеланіе слышать вопросы и этотъ язвительный тонъ рѣчи.

Нимало не смущаясь моимъ недоумѣвающимъ и пристальнымъ взглядомъ, благообразный сосѣдъ глядѣлъ на меня въ упоръ, прямо мнѣ въ глаза, глядѣлъ пристально и продолжалъ уже не безъ нѣкоторой доли жестокости въ голосъ:

— Но хоть мы и мужики, и дураки, а мы, по нашему глупому мнѣнію, такъ считаемъ, что коль скоро увидимъ храмъ Господній, то вотъ такимъ вотъ манеромъ шапочку-то снимемъ (онъ снялъ шапку) да крестное знаменіе-то сотворимъ (онъ перекрестился)—и разъ, и два, и три... Вотъ такимъ вотъ манеромъ, почитаемъ мы, что слѣдуетъ намъ поступать, по нашему, по мужицкому, по дурацкому мнѣнію... Ну, а какъ по вашему, по благородному, по ученому мнѣнію, ужъ этого намъ неизвѣстно, извините! Потому мы неучены, а только что помнимъ мы Бога, чтимъ Его, боимся, со страхомъ благодаримъ... А ужъ какъ господа понимають—ну, это намъ неизвѣстно!

— По нашему, по мужицкому мнѣнію, заговорилъ уже другой голосъ позади меня, и заговорилъ гордымъ, увѣреннымъ тономъ: —мы такъ считаемъ, что это есть монастырь сватителя, отче Антоніе папы Римскаго, который изъ города Рыма на каменіе пропалъ вплоть черезъ Санкиетербургъ... Такъ мы по глупости своей считаемъ... Позвольте вашъ билетикъ!

Этотъ второй собеседникъ перваго моего сосѣда оказался служащимъ на пароходѣ и, отрывая кончикъ билета, также упорно смотрѣлъ мнѣ «прямо въ глаза» и «на шапку» (по всей Россіи и по всѣмъ вѣдомствамъ «узнаютъ» по шапкамъ, пледамъ, сапогамъ) и проговорилъ ужъ совершенно наставительно:

— Извольте получить билетикъ... Антоніе, слѣдовательно, папы Римскія-съ, милостивый государь, такъ мы полагаемъ, по глупому нашему смыслу...

Тутъ я рѣшился возразить.

— Этотъ Антоній вовсе не былъ папой! осмѣлился я проговорить.

— Ну вотъ—вотъ-съ! заговорилъ первый изъ моихъ враждебныхъ собесѣдниковъ.—Вотъ вы, милостивый государь, человѣкъ ученый, образованный, вотъ вы и знаете ужъ, что не такъ, тѣ есть, по дурацкому, по мужицкому, мы, мужики-дураки,

думаемъ... По вашему, мы есть дураки, а по нашему, по глупому, мы такъ полагаемъ, что надобно почитать святыхъ угодниковъ, и полагаемъ такъ, что святители отче Антоніе, Римскіе папы, на камене прибыль, то, слѣдовательно, какъ угодника Божія, мы его чтимъ и молимся ему, чтобы простилъ бы и помиловалъ наши согрѣшенія.. Н-ну, а вы, такъ какъ вы имѣете благородное образованіе, такъ для васъ, я такъ думаю, что ничего это не составляетъ...

— Я не понимаю, что вы говорите! сказалъ я.

— То-то и есть, я говорю:— дураки мы! И гдѣ же намъ, дуракамъ, понимать, какъ должно по наукамъ, чтобы, наприимѣръ, почитать святыхъ угодниковъ? Для насъ, для мужиковъ, такъ представляется, по нашей глупости, что который человѣкъ имѣетъ вѣру въ Бога, тотъ и въ мысляхъ своихъ имѣетъ, наприимѣръ, совѣсть... А который...

— Что ему Богъ-то! вдругъ перебилъ какой-то рыжий верзила, сильнымъ, рѣжущимъ ухо, басомъ; —иному Богъ, а иному пріятіе чортъ... Съ чортомъ-то иному много будетъ попріятіе имѣть свои каламбуры... Чортъ-то, вѣдь онъ, братъ, тоже ученъ!..

— Нау-учить хорошему! послышалось откуда-то изъ-за спины у верзилы.

— А можетъ быть, что и такъ бываетъ, какъ вотъ онъ сказываетъ, продолжалъ первый изъ собесѣдниковъ. — Конечно, что мы глупы, ничему не ученые, но только мы знаемъ отъ нашихъ прародителей, какъ былъ искони бѣ Богъ, то мы и чтимъ, и благодаримъ, и за хорошее благодаримъ, и за худое, потому — все отъ Бога. Хотя мы и дураки, но мы въ потѣ лица несемъ наши труды, семейства, заботимся и терпимъ, потому такъ установлено Богомъ, и Господь насъ не оставляетъ: были мы вотъ крѣпостные, а теперь Господь насъ освободилъ и, слѣдовательно, мы должны Его славить и благодарить; такъ по нашему, по глупому, по дурацкому... А по вашему, по благородному, по ученому, вишь вотъ нетакъ!... Антоній не Антоній, храмъ не храмъ, а «что молъ такое?» (онъ переразниль мой вопросъ), работать, вишь, не надо, повиноваться не надо, бояться тоже не резонъ, а живи въ свое удовольствіе... Ну, вотъ мы и думаемъ, что Господь въ такихъ дѣлахъ — не указчикъ...

— Чортъ имъ указатель, больше ничего! отрѣзалъ верзила. — Богъ на такіа пакости не надумитъ, а чортъ съ удовольствіемъ!..

— Конечно, дьяволу пріятны поганые *нѣмѣ* поступки, чтѣ говорить! Это злодѣйство для него первое удовольствіе. Господь насъ, рабъ своихъ, изъ рабства, за наши мученія и слезы, освобождаетъ, а дьяволъ то — эво чего норовитъ! — чтобы, наприимѣръ, на оборотку! Ну, только нѣтъ, наврядъ!.. Хоша, конечно, ученому народу и пріятіе, чтобы, значить, на прежнихъ правахъ; но Господь милостивъ и щедръ, а бѣсъ сокрушится яко воскъ... Такъ вотъ мы и думаемъ, по глупому нашему уму, и чтимъ, и молимся, а которые есть люди, покорные дьяволу, такъ тѣмъ зачѣмъ Бога почитать?

Мы вотъ, дураки-то, мужичье, какъ видите храмъ, такъ и снимаемъ шапочку, да низкоуко покланяемся... А вымъ зачѣмъ?

Последняя фраза была сказана съ ужаснымъ ехидствомъ.

— Вотъ ученымъ, загремѣлъ верзила: — написать-бы себѣ чортову харю да и почитать ее, какъ своего заступника. Я такъ думаю, что это будетъ, по вашему уму, правильно... А мы, мужики, будемъ Богу поклоняться, а чортъ по шеѣ долбить, доколѣ онъ не расточится. Какъ послѣдняя свинья. Вотъ какъ надо по нашему!

— Закатилъ ему хорошаго леща, произнесъ какой-то посторонній слушатель, очевидно, плохо вслушавшійся въ разговоръ, но несомнѣнно имѣвшій «собственное мнѣніе» относительно «главнаго» предмета разговора: засвѣтилъ ему звѣзду по уху — вотъ тебѣ и *права*!

— А кто-жъ на лежащихъ лесорахъ будетъ ѣздить? виѣшался новый собесѣдникъ, также имѣвшій «собственное мнѣніе».

— Да мы съ тобой! Ты думаешь, не съумѣемъ? Не безпокойся!.. А то права!.. Я-бъ тебѣ показалъ, пузастому чорту, права!.. Погляди-ка, какіе у нихъ у всѣхъ пузы-то! Все мало! «Подай назадъ...» Н-ну нѣтъ, братъ, погоди, повремени!..

Разговоръ мало по малу сдѣлался общимъ, причѣмъ всякій хотя и говорилъ, повидимому, какъ бы что-то совершенно особенное, самостоятельное, не подходящее къ тому, чтѣ сказалъ предшественникъ. Но какая то неразрывная, трудно уловимая нить соединяла всѣ эти разрозненные мнѣнія и фразы; что-то совершенно опредѣленное, всѣмъ понятное лежало въ глубинѣ этихъ разглагольствованій, казавшихся на первый взглядъ почти бессмыслицей. Именно это «что-то», скрытое отъ моего пониманія, и ощущалось мною какъ нѣчто враждебное, непріязненное, ощущалось тѣмъ съ болѣею непріятностью, что всѣ разговаривающіе, очевидно, имѣли меня предметомъ своего сужденія, хотя большинство и не обращалось ко мнѣ въ своихъ разсужденіяхъ. Разговаривая другъ съ другомъ, они смотрѣли на меня; при словахъ: «нѣтъ», «вѣрно» и т. д. въ мою сторону адресовался кивокъ или ядовитый взглядъ. Очевидно, что въ моей фигурѣ, въ моей внѣшности они нашли какіе-то общіе, всѣмъ имъ хорошо извѣстные признаки человѣка, надъ которымъ не только можно, а даже должно упражнять свои критическія способности и практиковать критическіе взгляды. Я былъ точно на судѣ, точно подсудимый, и рѣшительно не зналъ, какъ выпутаться изъ этихъ сѣтей, которыми опутала меня публичная критика. Къ счастью, въ самую трудную для меня минуту, пароходъ подѣлалъ къ какой-то деревнѣ, гдѣ я рѣшился выйти. Но въ то время, когда я спускался по желѣзной лѣстницѣ въ лодку и отдалъ билетъ тому человѣку, который узявилъ меня во время пути, человѣкъ этотъ не преминулъ узявить меня и еще разъ:

— Слѣзаете? спросилъ онъ. — Доброе дѣло съ... Такъ, такъ-то съ. По нашему-то будетъ святители отче Антоніе, папы Римскіа, а по вашему, по-

жалуй, и не требуется этого... Очень жаль-съ!.. А по нашему такъ.

Къ счастью моему, я былъ уже въ лодкѣ, которая стала медленно отъѣзжать отъ парохода, и не слышалъ, какія такія язвительныя шпильки пу-скалъ мнѣ въ догонку одинъ изъ моихъ неожиданныхъ преслѣдователей.

Но этимъ эпизодомъ злоключенія мои не только не кончились, а, напротивъ, только начинались. Съ парохода я могъ еще уйти; но что я могъ и могу сдѣлать въ глухой деревушкѣ, гдѣ я поселился, гдѣ меня никто не знаетъ, и гдѣ, благодаря тому обстоятельству, что въ моемъ паспортѣ значится фраза: «бывшій студентъ», «учитель» — сразу опредѣлилась во мнѣиіи деревенскаго общества самая зловредная, самая непопулярная, а главное, не подлежащая ни малѣйшимъ сомнѣніямъ въ зло-вредности сторона моихъ нравственныхъ свойствъ. «А, студентъ!» сказалъ сельскій писарь, прочитавъ видъ. — «Такъ!» Неграмотные мужики только поглядѣли на меня изъ-подлобья и стали переглядываться другъ съ другомъ и писаремъ. Слово «такъ» писарь произнесъ такимъ тономъ, что оно совершенно ясно для всѣхъ выразило такую мысль: «А-га, вонъ куда *ихъ* стало заносить!..»

Я отличнѣйшимъ образомъ понималъ смыслъ всѣхъ этихъ взглядовъ. всѣхъ этихъ «тоновъ», которыми говорились, повидимому, самыя обыкновенныя вещи, понималъ, что въ глубинѣ этихъ взглядовъ и обыкновеннѣйшихъ разговоровъ лежитъ подозрительность не собственно ко мнѣ, котораго никто не знаетъ въ этихъ мѣстахъ, а къ цѣлой огромной группѣ извѣстнаго сорта людей, въ которыхъ сосредоточивается все, что народъ почитаетъ опаснымъ. Я все это уже видѣлъ, чувствовалъ и хотѣлъ бы что-нибудь сказать въ свое оправданіе, да не могъ, не зналъ, какъ начать, да, наконецъ, мнѣ и сообразиться-то не давали порядкомъ, потому что шпиговали на каждомъ шагу. Я молчалъ, сидѣлъ либо въ своей избѣ съ книгой, либо съ книгой уходилъ на рѣку — и вездѣ меня настигало шпигованіе. И въ этомъ шпигованіи — а главное въ тенденціи-то шпигованія — всѣ: и бѣдный, и богатый, и власть деревенская, и деревенская безгласность — всѣ, какъ одинъ, всѣ согласны, всѣ наираютъ на одно и видятъ зло въ одномъ и томъ же.

Лежу я на этой самой зеленой травкѣ, и вдругъ развязной поступью подходитъ ко мнѣ деревенскій пролетарій: онъ въ рваной рубахѣ, рваныхъ штанахъ, онъ босъ и нагъ; я же нанялъ его сдѣлать мнѣ кровать; а же далъ ему на выпивку «для начатія» работы — и онъ же, выпивъ, первымъ долгомъ является критиковать меня, его заказчика.

— Извините, господинъ, говоритъ онъ, точъ въ точъ *какъ есть*, смотря мнѣ смѣло и прямо въ глаза, и *какъ есть*, загадочно-смѣло улыбаясь: — извините, что мы васъ спросимъ... Позвольте узнать, какъ будетъ ваше, напимѣръ, званіе?

— Зачѣмъ вамъ?

— Да собственно, чтобы знать-съ. Напимѣръ,

откуда, какъ?.. Въ нонѣшнія времена, сами знаете, очень много разныхъ шарлатановъ оказывается.

Я пріѣхалъ жить лѣтомъ на дачѣ, категорически отвѣчаю я. — Мнѣ надо пожить въ деревнѣ для здоровья.

— Такъ-съ... Стало быть, изъ Петербурга къ намъ для здоровья собственно?

— Собственно для здоровья. Видишь, какойздѣсь воздухъ-то. Вотъ мнѣ и хочется подышать.

— Воздухомъ-то-съ?

— Да, воздухомъ.

— Ну, а въ Петербургѣ-то нешто нѣту воздуха-то?

— Есть, да скверный.

— Ишь ты вѣдь! Стало быть, для воздуха?

— Да!

— Такъ-съ. По машинѣ пріѣхали?

Молчаніе. Молчитъ и смотритъ на меня, какъ говорится «въ оба».

— Что-жъ ты, работаешь кровать то? спрашиваю я его довольно строго.

— Мы работаемъ-съ. Не сумлевайтесь!.. Будетъ исправно.

И все-таки стоитъ и смотритъ въ оба. Наконецъ нехотя идетъ и говорить:

— Воздухъ у насъ мягкій... Коли ежели вамъ пріятно насчетъ воздуха... Да мы такъ только, любопытствуемъ: кто, молъ, такіе? Такъ насчетъ воздуха?.. А кровать будетъ готова, не сумлевайтесь.

Поползъ, но на полдорогѣ остановился, поглядѣлъ на меня, посвѣталъ весьма развязно и наконецъ-таки ушелъ.

Ушелъ пролетарій, является тузъ, старшина, богачъ.

— Богъ помочь! говоритъ онъ, входя въ избу, и едва я, отвѣтивъ на привѣтствіе, хочу ему подать руку, какъ онъ, съ улыбкой (*та самая улыбка, всеобщая*), произноситъ:

— Перво-на-перво позвольте ужъ намъ нашъ мужицкій законъ соблюсти — Богу помолиться, а потомъ ужъ и вашу ручку примемъ. Ужъ извините! Такое у насъ, у мужиковъ, у дураковъ, глупое обыкновеніе.

Онъ помолится на образа, повѣсилъ картузъ и сказалъ:

— Ну, вотъ теперь позвольте познакомиться.

Слѣдуютъ тѣ-же самыя вопросы: откуда, зачѣмъ и т. д. Но на этотъ разъ нѣкоторые изъ моихъ объясненій проходятъ безъ подозрѣнія. Старшина, какъ человѣкъ бывалый, уже понимаетъ, что «для воздуха» можно пріѣзжать изъ Петербурга даже и по машинѣ; но вотъ заходитъ рѣчь о паспортѣ, о томъ, что въ паспортѣ стоитъ слово «студентъ» и другое слово «учитель», и дѣло принимаетъ другой оборотъ.

— Я удивляюсь, говоритъ старшина: — чему только въ нонѣшнія времена учатъ ученыхъ людей! Я къ тому, извините, что вотъ у васъ въ паспортѣ сказано «учитель»: ну, вотъ мнѣ и пришло на мысль... И чему только, я удивляюсь, учать нонича? Двадцать лѣтъ его трутъ и мнутъ,

а скажите вы на милость — появляется по окончании этого самого курса столь безсовѣстный человекъ, что онъ даже, извините, лба не умѣетъ перекрестить!.. Я васъ, извините меня, не знаю; кто вы такіе, мнѣ неизвѣстно; можетъ быть, вы и Бога почитаете, опять же я не знаю. Я долженъ придти взять бумаги, потому, по нонѣшнему времени, столь много шарлатанства!.. Я не про васъ говорю, а только къ слову, что сказано вотъ тутъ «учитель» — ну, и я къ слову насчетъ, значить, разныхъ прочихъ подлецовъ упомянулъ... Въ дѣловой безсовѣстный человекъ встанетъ утромъ, рожу свою поганую не моетъ — сейчасъ зажегъ папиросу или тамъ цыгару, подбоченился, засвисталъ: фю-фю-фю, шапку въ горнищѣ надѣлъ, ходитъ передъ образами, какъ ни въ чемъ не бывало... Въдѣ вотъ какіе есть мазурики! Былъ у меня «тоже» вотъ, *какъ и вы*, такой безсовѣстный учитель... Среда, пятница, Петровъ постъ — ему это и вниманія не составляетъ! Земство прислало — дай Богъ ему здоровья — тамъ тоже все ученые люди, высчета кругу-смыслу. Постъ не постъ — пошелъ на погребницу, обלאпилъ горшокъ молока — лакаетъ, какъ свинья. Извините, ужъ я съ вами говорю прямо: я пришелъ къ вамъ по дѣламъ; хотите — слушайте меня, хотите нѣтъ, а что я пришелъ, то потому, что я — начальникъ здѣшній. Вы баринъ, а я мужикъ, но все-же я вашъ начальникъ и пришелъ я по дѣламъ; а негодно меня слушать — какъ угодно.

Я просилъ говорить; говорилъ, что я все понимаю и признаю его власть и т. д.

— Такъ вотъ какихъ нынче шарлатановъ натворили! А считается учитель, тоже деньги получаетъ. Онъ, безсовѣстный, лба перекрестить не умѣетъ, а учитель! Чему-же онъ можетъ учить! Я-бы его самого растянулъ въ волости — да, вышь, тоже нельзя, заступятся; я такъ считаю, что это все одна шайка, рука руку моетъ, чтобы духъ шарлатанскій распустить по свѣту, а тѣмъ временемъ... Мы тоже слышимъ и видимъ, одѣлываете одолженіе. А впрочемъ, очень пріятно познакомиться. Воздухъ... что-жъ? Ежели насчетъ воздуха — ничего... сколько угодно. А за глупыя наши мужицкія рѣчи ужъ не взыщите, потому мы не ученые, а мужики — дураки слѣдовательно, и умныхъ рѣчей у насъ нѣтъ. Ну, а какія есть, не взыщите. У насъ тутъ воздухъ; вполне можно сказать, можетъ освѣжать, наприимѣръ... До свиданія-съ!

Ушелъ, но этимъ не кончилось: на дворѣ, гдѣ мужикъ-пролетарій дѣлалъ мнѣ какую-то недѣльную кровать, завязался общій оживленный разговоръ обо мнѣ и о моихъ, всѣмъ ясныхъ, всѣмъ враждебныхъ, свойствахъ. Замѣчательно, что и богатый-старшина, и мужикъ-хозяинъ, и баба — всѣ были какъ одинъ человекъ. Но пуще всего меня волновало то, что пролетарій-то и былъ особенно неумолимъ въ подозрительности.

— Слушай ты его, азартно говорилъ онъ старшинѣ, не переставая работать: — ты его послушай, онъ тебѣ наплететъ... Учитель! Коего ему дьявола

воздуху понадобилось за полтора ста верстъ отъ Петербурга? Ты за нимъ долженъ глядѣть въ оба!.. Они мастера разговаривать-то — воздуху!

— Ну, будетъ тебѣ, урезонивалъ его старшина: — тебѣ говорятъ дураку: на дачу пріѣхалъ; развѣ мало ѣздить господъ?

— То-то много — не мало! Я про то и говорю: много, молъ, ихъ, шарлатановъ. Онъ вотъ пріѣхалъ на счетъ воздуха. А что у него на умѣ?

— Ну, что?

— Да! Что? Ты начальникъ, ну-ка говори, что? Знаешь?

— А ты знаешь?

— Я-то? Я его насквозь вижу.

Какимъ образомъ, черезъ нѣсколько времени такого разговора, плотникъ-пролетарій нашелъ возможнымъ провозгласить на весь дворъ фразу о томъ, что «они въ прежнія времена людей на собаку мѣняли, намъ это хорошо извѣстно», я рѣшительно не понимаю и совершенно не могу выснить себѣ направленія мыслей плотника. Но фраза была произнесена громко и поддержана подобными же примѣрами: поддержалъ и мужикъ-хозяинъ, и хозяйка-баба, и даже старшина. Пролетарій-плотникъ будоражилъ публику больше всѣхъ. Когда была готова кровать, я далъ этому моему ненавистнику на водку, далъ я ему хорошо и надѣлся, что онъ снизойдетъ ко мнѣ и перестанетъ относиться ко мнѣ съ озлобленіемъ, котораго я ровно ничѣмъ не заслужилъ. Но я жестоко ошибся; плотникъ выпилъ «на всѣ» и поздно ночью появился около моей избы.

— Эй! кричалъ онъ мнѣ съ улицы. — Учитель! Поди-ка сюда. Иди, что-ли? Н-ну, будетъ тебѣ, перестань, ид-ди! Я бы тебя поучилъ малымъ дѣломъ. Поди, я тебѣ дамъ наставленіе... Чего молчишь то?

— Будетъ тебѣ орать-то! не нашелъ время днемъ! остановилъ его голосъ хозяйки. — Чего орешь? Спитъ онъ.

— Спать? Ну, пускай: песь съ нимъ. Пускай. А то бы я его спросилъ бы о предметахъ. Пушай бы отвѣчалъ. Ну, песь съ нимъ... Я бы ему показалъ, какъ человекъ на собаку мѣнять... Я бы его научилъ... Ну, песь его дерн...

Какія-то неясныя для меня, но спланивающія массу идей очевидно бродятъ тамъ, въ глубинѣ народныхъ размышленій. Во имя этихъ идей, народъ очевидно можетъ поступать дѣйствительно «какъ одинъ человекъ». Въ этомъ я положительно убѣдился.

— Боже мой! думалось мнѣ въ трудныя минуты «отдыха на травкѣ», какъ мнѣ доказать имъ, а въ особенности этому плотнику-пролетарію, что я вовсе не то, что они обо мнѣ думаютъ.

Они, правда, понемногу, перестали допекать меня допросами открыто, они стали молча проходить мимо меня; но это было еще хуже: упорный, подозрительный взглядъ каждаго изъ нихъ всегда останавливался на мнѣ, долго пронизывалъ меня и нимало никогда не смягчался.

«Отдыхать» на травѣ при такихъ условіяхъ было въ высшей степени неудобно.

V. Своекорыстный поступокъ.

I.

При всей трудности и неловкости моего положенія, меня все-таки конечно глубоко радовало то новое (для меня) явленіе сплоченности деревенскихъ людей, которое обнаруживалось въ ревнивомъ обереганіи «мужицкихъ правовъ», но правоже, думалось мнѣ, на этотъ разъ оберегатели «правовъ» «не на того» напали, и не я тотъ человѣкъ, который таитъ въ душѣ своей злостныя относително этихъ «правовъ» намѣренія... Чтобы доказать это подозрительнымъ деревенскимъ людямъ, очевидно, необходимо было совершить какой-нибудь такой поступокъ, который-бы сразу и притомъ для всего *сплошь* подозрительнаго деревенскаго общества показалъ мои подлинныя желанія и взгляды по отношенію къ нимъ, деревенскимъ людямъ, моимъ новымъ знакомцамъ и неожиданнымъ врагамъ. Необходимо было притомъ совершить такой поступокъ, который-бы обнаружилъ мои намѣренія *безъ разговоровъ*, такъ какъ, именно только «за разговорами въ деревнѣ» на Руси, какъ извѣстно, сгибло не мало народу, а я просто хотѣлъ отдыхать на травѣ, а на счетъ погибели не думалъ спѣшить, потому что, казалось мнѣ, и такъ я уже почти погибъ...

Поступокъ, не сопровождааясь разговорами, долженъ былъ въ то-же время имѣть то свойство, чтобы при *всеобщей* подозрительности, при *всеобщей* сплоченности въ недоверіи и ревности къ правамъ, давалъ-бы также *всеобщее*, т. е. для *всѣхъ* одинаково доступное представленіе о томъ, что я не крамольникъ и не врагъ вообще крестьянскаго благополучія, необходимъ былъ, слѣдовательно, поступокъ, какъ говорится, просто «благородный». Разъ *всѣ* меня подозрѣваютъ, надо, чтобы и подозрѣвать перестали также *всѣ*, а для этого и надобно было поступить «вообще» благородно. А такъ какъ и за благородные поступки также на Руси сгибло немалое множество благороднѣйшихъ людей, то необходимо было придумать такой благородный поступокъ, чтобы онъ, во-первыхъ, былъ меньше булавочной головки, а во-вторыхъ, чтобы онъ обладалъ свойствомъ полнѣйшей неуязвимости, чтобы подъ него никто не могъ подкопаться, придраться или «прицѣпиться».

Соединивъ все сказанное выше въ одно цѣлое, читатель, надѣюсь, пойметъ, что задача, которую задало мнѣ новое теченіе деревенской мысли, была весьма затруднительна: я долженъ былъ совершить такой поступокъ, который, во-первыхъ, долженъ былъ общепонятенъ, во-вторыхъ—неуязвимъ, въ-третьихъ—благороденъ, въ-четвертыхъ—меньше булавочной головки, и наконецъ въ-пятыхъ—поступокъ этотъ въ общей сложности долженъ былъ такъ-ли, саять-ли дать деревенскому люду представленіе о томъ, что я, неизвѣстный для нихъ человѣкъ, не таю противъ нихъ зла.

Что-же такое долженъ былъ я сдѣлать?

II.

Долго ломалъ я голову, и вѣроятно не пришелъ бы ни къ какому результату, если бы меня не выручила совершеннѣйшая случайность. Именно: понадобилось мнѣ быть какъ-то въ Петербургѣ, и здѣсь, у одного изъ пріятелей, я совершенно случайно встрѣтилъ, въ числѣ разныхъ книгъ, разбросанныхъ на письменномъ столѣ, небольшую брошюру объ оспопрививаніи и, просматривая ее, узналъ, что въ Петербургѣ, въ императорскомъ вольно-экономическомъ обществѣ, можно получать оспу безплатно, такъ какъ давно уже образовался какой-то капиталъ, на проценты съ котораго оказалось возможнымъ устроить даровую раздачу оспенной матеріи. Свѣдѣніе это сразу вывело меня изъ затруднительнаго положенія. Я вспомнилъ, что передъ отъѣздомъ изъ деревни я какъ-то слышалъ отъ старшины, что онъ тоже собирается ѣхать въ Петербургъ и, между другими дѣлами, которыя думалъ сдѣлать въ Петербургѣ,—хотѣлъ также купить для волости оспы. Сдѣлаю, думалъ я, это дѣло для деревни. Я—посторонній человѣкъ, и хотя поступокъ этотъ будетъ весьма ничтожный въ смыслѣ общественной пользы, а все-таки будетъ, во-первыхъ—полезный поступокъ, во-вторыхъ—дастъ деревнѣ возможность взглянуть на меня не съ худой, а съ доброй стороны, а въ-третьихъ—такой поступокъ никого не можетъ обидѣть и всякій долженъ сказать: «хорошо». Авось, думалось мнѣ, крестьяне пережѣнутъ обо мнѣ мнѣніе, когда узнаютъ, что я, котораго они считаютъ въ числѣ ненавистниковъ ихнаго благополучія, вспомнилъ о нихъ въ Питерѣ, вспомнилъ о ихъ недостаткахъ и добылъ безплатно такую вещь, за которую они до сихъ поръ, какъ мнѣ извѣстно, платили деньги. Хотя дѣло, которое я задумалъ сдѣлать для нихъ, было рѣшительно микроскопическое, но его никто изъ крестьянъ не будетъ въ состояніи объяснить какимъ-нибудь худымъ побужденіемъ, а мнѣ, въ моихъ стѣснительныхъ обстоятельствахъ, ничего иного и не требовалось. Не утаю отъ читателя, что личный расчетъ, руководившій мною въ этомъ «благородномъ», съ «булавочную головку» поступкѣ—расчетъ на то, что поступокъ этотъ, давая крестьянамъ нѣкоторый намекъ на присутствіе во мнѣ добрыхъ намѣреній, умягчитъ ихъ сердца и мысли и дастъ мнѣ возможность хоть недѣлю полежаать на травѣ именно такъ, какъ я объ этомъ мечталъ—этотъ личный расчетъ побудилъ меня дать моему поступку нѣкоторую огласку. Нужда, говорить русская пословица, научить кирпичи ѣсть; та-же нужда учить ѣсть и калачи, она-же и меня научила тому, что извѣстно подъ выраженіемъ: рожь на обухѣ молотить и соринки не обронить. И точно: лишь бы только выбраться изъ-подъ гнета неслаженнаго недоверія, ни единой соринки изъ такого ничтожнѣйшаго «поступка», какъ трубка съ телячьей оспой, я не проронилъ. Возвратившись въ деревню съ оспенными трубочками, я постаралъ-

ся сдѣлать такъ, чтобы онѣ достигли рукъ оспопрививателя, описавъ по деревнѣ, по возможности, значительный кругъ и пройдя чрезъ многія руки. Для этого я вручилъ трубочки крестьянину, совершенно мнѣ незнакомому, даже изъ другой деревни, далъ ему двугривенный съ тѣмъ, чтобы онъ отнесъ эти трубочки знакомому мнѣ пролетарію, чтобы пролетарій передалъ ихъ старшинѣ, а ужъ старшина передастъ оспопрививателю. При этомъ, давая двугривенный, я просилъ незнакомаго крестьянина передать пролетарію на словахъ слѣдующее:

— Скажи ему, чтобы онъ передалъ эти стекляночки старшинѣ и сказалъ бы ему, что не надобно ѣздить въ Петербургъ и тратить крестьянскія деньги. Я вспомнилъ, что вамъ надо, и досталъ бесплатно. Ни копѣйки не стоитъ... Зачѣмъ напрасно тратить деньги? Крестьянамъ деньги нужны. Пусть скажетъ старшинѣ, чтобы не ѣздилъ, не тратилъ. Сколько угодно даютъ бесплатно...

Нѣсколько разъ повторялъ я ему одно и то же, всякій разъ сокращая рѣчь, такъ что, въ концѣ концовъ, крестьянинъ ушелъ отъ меня, неся въ памяти своей только представленіе о томъ, что вотъ «за это прежде платили деньги, а теперь бесплатно», и что я, именно я, Лиссабонскій, «вспомнилъ» объ этомъ; я, Лиссабонскій, не захотѣлъ, чтобы деньги тратились даромъ.

Такого шарлатанства я бы никогда прежде не позволилъ себѣ, да никогда оно и не пришло бы въ голову вѣроятно потому, что мнѣ никогда также не могло бы придти въ голову, чтобы меня-то, меня, Лиссабонскаго, человѣка, именно изъ-за сочувствія деревенской нуждѣ обреченнаго остаться внѣ общества, человѣка, вынужденнаго скитаться, не имѣя опредѣленныхъ занятій, — чтобы меня-то могъ деревенскій человѣкъ заподозрить въ желаніи воротить крѣпостные порядки. А разъ это случилось, надо было подниматься на хитрости.

Хитрость моя удалась какъ нельзя лучше въ томъ отношеніи, что трубочки съ оспой дѣйствительно достигли рукъ оспопрививателя не прежде, какъ побывавши въ десяти другихъ рукахъ, причемъ передача изъ однихъ рукъ въ другія сопровождалась комментироваціею моихъ словъ «бесплатно», «вспомнилъ», «напрасно не тратить денегъ». Результаты этой уловки не замедлили обнаружиться, но, увы, они были вовсе не тѣ, которыхъ я ожидалъ! Моимъ безцѣльнымъ, микроскопически «благороднымъ» поступкомъ я хотѣлъ помирить съ собой до нѣкоторой степени *весь* крестьянскій міръ, такъ какъ онъ «*есть*, всей массой, *всѣ, какъ одинъ*», напиралъ на меня въ своей подозрительности. Но, увы! поступокъ мой въ сотый разъ доказывалъ мнѣ, что единеніе полное и плотное въ недоуверіи къ крѣпостническимъ злоумышленіямъ, подозрѣваемымъ крестьянномъ во всякомъ человѣкѣ, который носитъ сюртукъ, есть то самое плотное единеніе, которое сковываетъ націю предъ чужеземнымъ непріятелемъ, и что разъ дѣло коснется интересовъ обыкновеннаго жизненнаго обихода, нѣтъ того, что называется «масса», нѣтъ сплошной толпы, нѣтъ мысли, проникающей

всѣхъ и вся однообразнымъ сочувствіемъ ей или несочувствіемъ... Въ сотый, тысячный разъ убѣдился я, что если народъ носить одинаковыя полуботки, одинаковыя бороды, пашетъ одинаковыми сохами и коситъ одинаковыми косами и т. д., то это вовсе не означаетъ, что онъ — «масса», что онъ одинаково думаетъ, исполненъ одинаковыми желаніями, что вообще нельзя «любить» сплошь всю деревню, хотя бы у нея сплошь у всей были «ядренныя щеки» (тоже свойство народное) и т. д. Вы видѣли, какой почти безцѣльный поступокъ совершилъ я, полагая, что *весь* крестьянскій міръ скажетъ за него «хорошо». Однако посмотрите, что вышло.

Входитъ ко мнѣ въ избу деревенскій тузъ, старшина.

— Добраго здоровья!

— Здравствуйте.

— Зашелъ на минутку. Присѣсть позвольте.

— Пожалуйста... Тамъ, я послалъ вамъ...

— Какъ же-съ! Какъ же-съ! Получили... Благодаримъ покорно! Очень благодарны... Вспомнили-съ! Онъ отеръ платкомъ лицо и, не безъ тонкой ироніи, проговорилъ:

— Вудучи вы въ столицѣ, изволили вспомнить нашихъ мужичковъ...

— Совершенно случайно...

— Прекрасно-съ. Это доказываетъ ваше вниманіе... Такъ какъ дѣло это нисколько васъ не касающееся, потому мы сами всегда знаемъ, что требуется, а между прочимъ вы имѣли такое вниманіе, что вспомнили, то мы и считаемъ это... какъ вашъ благосклонный поступокъ... Очень благодарны-съ!

— Помилюте, ничего не стоитъ.

— Нѣтъ-съ, что же-съ! Мы понимаемъ... Должны цѣнить... Бесплатно-съ... Это мужичкамъ будетъ пріятно... Да-съ. Это для нихъ первое удовольствіе... Да-съ. Это для нихъ первое удовольствие... Теперь же они эти двадцать тамъ или тридцать рублей, которые на оспу шли, прощють у кабака. Какъ же-съ? Экономія!... Чистый барыш! Ну, само собой, и надо нажраться... Хе-хе-хе...

Гость мой какъ-будто начиналъ слегка раздражаться.

— Вы ужъ меня извините-съ, я — мужикъ, говорю по-мужички; можетъ, моя рѣчь для васъ оказывается какъ грубость, а ужъ извините — позвольте вамъ упомянуть — «не хорошо-съ!» Очень для меня непріятно... Конечно вы отъ добраго сердца, а такъ какъ вы не знаете нашихъ дѣловъ, то ужъ извините, хотите сердитесь, хотите нѣтъ, а ужъ скажу: «дурно!» очень дурно поступили!

— Въ чемъ же?

— Позвольте вамъ сказать — вы нашихъ дѣловъ не знаете... Теперь спрошу васъ: ежели вы имѣли такое вниманіе, зачѣмъ вы прямо мнѣ въ руки не отдали?... Кто начальникъ?

— Вы!

— Почему-жъ вы отдали мужичью?

— Васъ не было, кажется...

— А вамъ, коль скоро вы такъ благосклонны,

вамъ погодить-бы-съ! А вы еще изволили называть имъ «бесплатно». Зачѣмъ-съ?

Дѣйствительно, вѣдь бесплатно...

— Знаю-съ, отлично знаю! Я про то говорю, зачѣмъ вы имъ внушаете вредныя мнѣнія?.. Они и такъ ужъ избаловались, негодян, а вы имъ эдакое мнѣние внушаете... Кабы ежели-бы вы знали наши порядки деревенскіе, такъ вы-бы старались внушить имъ добро, а не зло. а вы ихъ утверждаете въ глупомъ мнѣніи.. Вѣдь они, канальи этакіе, и такъ ничего знать не хотятъ, вѣдь за нихъ, подлецовъ, сколько разъ я въ холодной-то сидѣлъ—за недоимки? А вы имъ—«бесплатно»! Я, по ихнему, и такъ ужъ изъ воровъ воръ... Послушать ихъ, такъ я ихъ каждый день обкрадываю—и податей много беру, и земскихъ много, беру да въ свой карманъ кладу, потому что для нихъ, канальевъ, нѣтъ лучше, пріятнѣе удовольствія, какъ чтобы не платить ни копейки.. А вы имъ воткнули въ глупыя ихнія башки, этакое, наприимѣръ, предложъ, что «бесплатно»! Вѣдь теперича они какъ зашлѣдять-то! Теперича зашкенись я имъ что-нибудь касательно денегъ, податей или чего прочаго, вѣдь у нихъ есть предложъ: «даромъ, молъ, брагъ, а деньги въ карманъ класть». Нѣтъ-съ, извините, а сказать, что вы хорошо поступили, — этого, по совѣсти, сказать не могу... нѣтъ, нельзя этого сказать, нельзя-съ!

— Я не зналъ..

— То то, что не знали-съ. Это мы понимаемъ, что ничего вамъ неизвѣстно... И другіе прочіе тоже ничего путемъ не понимаютъ, а дѣлаютъ распоряженія и также вотъ благосклонно поступаютъ, а выходятъ на повѣрку, что избаловали народъ до такой степени—сма-атрѣть тошно! Богомъ вамъ побожусь—смотрѣть тошно! До такой степени разслабили его благосклонными вниманіями да строгими взысканіями, что подобенъ онъ сталъ разслабленному младенцу или какому-нибудь безчувственному пьяницѣ, что не можетъ пошевелить ни рукой, ни ногой... Хлѣба у него нѣтъ, овса у него нѣтъ, податей заплатить не можетъ—совершенно безъ рукъ, безъ ногъ, недвижимъ и разслабленъ... Тутъ ему и способіе, тутъ ему и всякое снисхождение—а наказывать его, чтобы, наприимѣръ за невзносъ, прописать ему мягкую часть для здоровья, какъ можно, нельзя! Помилуйте! «Какъ можно драть! Это ужасно»... Почему-же, позвольте васъ спросить, когда, бывши мы при вѣрнопотномъ правѣ, успѣвали некому свою землю обработать, а обрабатывали и господскую, да раза въ три больше нашей? Почему это? А теперь и своей намъ много, три полосы, извольте поглядѣть, лежатъ въ бурьянѣ... Да и то, только что, прямо сказать, бабы бьются, а эти, орлы-то, мужварье-то это безобразное, только калякаетъ да перекоряется другъ съ дружкой, да у кабака сидятъ, способій ждуть? Почему, позвольте васъ спросить, въ прежнее время были у насъ хлѣбныя магазины полнымъ-полны, а теперь они пустыя, того и гляди на кирпичъ продадимъ, а деньги пропьемъ? Вѣдь до какой степени ослабъ народъ, невозможно этого и вы-

сказать исполнѣ... Вѣдь онъ хомута починить не умѣетъ! Помилуйте! «Да дуракъ ты этакое! Да ты взялъ-бы цѣльный-то хомутъ, да поглядѣль-бы, какъ онъ сдѣланъ, да дѣлалъ-бы такъ. Тутъ, вонъ видишь—дыра, и ты, молъ, дыру верти; тутъ вонъ веревка продѣта—и ты веревку продѣвай!» Учишь его, дурака, а ему все одно—къ стѣнѣ горюхъ. Сталъ онъ совершенно какъ меланхолической какой-нибудь оселъ, извините меня. Чѣмъ-бы, въ самомъ дѣлѣ, починить хомутъ-то, а онъ поглядитъ на него, поглядитъ да зѣвнетъ, да шваркнетъ куда-нибудь въ уголъ, въ грязь, а самъ поперѣ ногу-за ногу къ кабаку, не навернется-ли какой пьянчуга, не поднесетъ-ли стаканчика!

Гость мой все болѣе и болѣе воодушевлялся.

— Почему, продолжалъ онъ:—почему я... пошелъ ужъ мнѣ пятый десятокъ, почему я по-сейчасъ знаю, что нужно по хозяйству, и все могу сдѣлать? Я и сапогъ сошью, не пойду въ люди, я и косу отпущу, я и плотникъ, я и шорникъ, я и кузнецъ—то есть, однимъ словомъ, все, что потребуется по хозяйству, сдѣлаю самъ, не пойду въ люди. Почему это? А потому, что мы воспитывались у покойника-родителя въ страхѣ, въ почтеніи и послушаніи, слушались родительскихъ словъ, почитали начальниковъ, законъ... наприимѣръ, правила, Богъ, престолъ, все прочее, что есть указано для человѣковъ... А теперича, позвольте сказать вамъ, иду я, начальникъ, по улицѣ—они и шапки не снимаютъ, подлецы! Хорошо-ли это? Позвольте васъ спросить: кто я?

— Начальникъ!

— А развѣ возможно мнѣ, начальнику, оказывать такое невѣжество? Въ прежнее время, я-бы позвалъ его въ правленіе да всыпаль-бы ему полсотни горячихъ, такъ онъ-бы и понялъ, что есть начальство и для чего оно поставляется; а что я сдѣлаю теперь, въ нонѣшнее то время, позвольте васъ спросить? Въ нонѣшнее время изволь я жаловаться въ судъ, а въ судѣ-то кто? тѣ-же самыя, канальи непочитатели... Поднеси ичъ пивца, они и начнутъ канитель тянуть, трутъ да мнутъ, да и кончатъ пивцомъ да винцомъ, а я, начальникъ, которому онъ, негодяй, сдѣлалъ дерзость, остаюсь ни съ чѣмъ. Оплевали меня, я такъ оплеванъ и кожу... Ну, что же, хорошо это, положе это на порядокъ? Да это не все-съ. Что судъ? суду-то я и самъ какъ-никакъ могу дать острастку, прищемить его, это что? а вотъ что вамъ скажу: выдери я его, мерзавца, своимъ распоряженіемъ, вѣдь онъ меня сожжетъ, со всѣмъ семействомъ по міру пустятъ!.. вѣдь вонъ они какіе аваемы сдѣлались!.. А почему? Баловство! Воля! Потаканье... изгадили народъ, ни на что непохоже. Я его, какого-нибудь тамъ прохвоста, распоряжась драть, а онъ мнѣ вынимаетъ бумагу. «На-ко, молъ, воткнись рыломъ-то, почитай, что написано». А въ бумагѣ написано: «душевная болѣзнь.. печенка оторвалась... сердце разрывается и носъ у подлѣпа трясется. Докторъ такой-то и печать приложена». Ну, что я могу сдѣлать! Позвольте васъ спросить? Что? А все разные благосклонные на-

роды, все они поглажаютъ и потрафляютъ разнымъ пакостнымъ поступкамъ. «Ахъ, какъ можно драть» — «на тебѣ бумагу!» — «Ахъ, бѣдный мужичокъ, у тебя у несчастнаго овсеца нѣтъ — на тебѣ овсеца»... Позвольте, говорю, господа члены, драть мнѣ ихъ, подлецовъ, въ настоящихъ раз-мѣрахъ! «Ахъ что вы, что вы... Надо регеліозно внушать имъ во храмѣ»... «Да вѣдь за это платить надо священству, вѣдь онъ, батюшка, не меньше какъ сто двадцать рублей запроситъ, вѣдь даромъ никто не будетъ возжаться, а они, молъ, и такъ не платятъ». — «Ахъ нѣтъ, нѣтъ, драть... Это ужасно... Регеліозно надо»... Н-пу, пусть по вашему, какъ вамъ угодно.. А между прочимъ, хоша эти самые члены столь благосклонны, а бумаги присылаютъ мнѣ такіа: «взыскать не медля, въ противномъ случаѣ по всей строгости закона». Теперь извольте: драть его нельзя, потому печенка у него, у пьяницы, разрывается и носъ онъ расшибъ въ кабацкѣ пьяный, это есть душевная болѣзнь, и слѣдовательно драть его нельзя. Коль скоро его драть нельзя, денегъ онъ мнѣ не платитъ. Денегъ онъ мнѣ не платитъ — я поступаю въ холодное мѣсто. Поступаю я въ холодное мѣсто, ноть нашъ мужичишка и думаетъ: — «Такъ его и надо, не взыскивай!» Недаромъ, молъ, въ темную посадили. И почтенія мнѣ не оказываетъ, никого не боится, потому докторъ ему дастъ бумагу, чтобъ его не касаться; работать не работаетъ, потому ему овса дадутъ... вотъ и извольте тутъ жить. А чуть не вытерпѣлъ, распорядился, прописалъ ему штукъ двадцать, глядишь — головешку въ сѣнной сарай засунулъ... То есть адъ, а не порядокъ, вотъ что я вамъ скажу! Вотъ и выходитъ, что благосклонность-то ваша, милостивый государь, не вполне къ мѣсту. Да-съ, ужъ извините!.. Вы вотъ благосклонствуете... а я чрезъ это... воромъ пойду... среди канальевъ. Вотъ оно и не приятно-съ...

Я еще разъ извинился передъ гостемъ въ своей неосторожности и, чтобы выйти изъ неприятнаго положенія, въ которое поставилъ меня упрекъ въ благосклонности, превратившей невиннаго человѣка въ вора, сказалъ:

— Скажите пожалуйста, что же нужно, чтобы прекратить это безобразіе?

— Которое-съ?

— А ноть то, про которое вы рассказываете. Что для этого нужно?

— Что нужно-то? Извольте, я вамъ объясню, въ краткихъ даже словахъ. Но только, какъ вы и какъ прочіе благосклонные члены понятія насчетъ нашихъ мѣловъ не имѣете, а сердце у васъ чувствительное, нѣжное, такъ вы пожалуй мои слова сочтете за обиду...

Я старался утѣрить моего гостя въ противномъ.

— Что-жъ мнѣ обижаться? сказалъ я между прочимъ.

— Дѣйствительно!.. Вотъ когда вамъ, господамъ чувствительнымъ членамъ и благосклоннымъ особамъ, перестанутъ мужики взносить взносы, это, я такъ думаю, точно что будетъ для васъ обидно... А покуда вы снисходите, а намъ тѣмъ временемъ

все-же бумажки присылаете, насчетъ чтобы «по-спѣшить взысканіемъ», такъ пожалуй, что въ чувствительныя слезы словами мои я васъ и не введу... Да-съ. Думается такъ, что не введу васъ въ рыданіе по мужичку, коль скоро у него деньжонки шевелятся... А требуется памъ, по моему мужицкому мнѣнію, не очень много...

— Чего-же?

Гость поглядѣлъ на меня, помолчалъ мгновеніе и рѣшительно твердо произнесъ:

— Палки на нашего брата нѣтъ! Вотъ чего намъ требуется, милостивый государь!..

Гость поднялся съ мѣста и, волнуясь болѣе и болѣе съ каждымъ словомъ, продолжалъ:

— Зачѣмъ отняли отъ насъ палку? Давайте мнѣ ее вотъ въ эти самыя руки, давайте мнѣ ее на два года безъ всякихъ разговоровъ, все я произведу, все водворю, все укореню на своихъ мѣстахъ! Черезъ два года вы не узнаете нашихъ мѣстъ, только дозвольте мнѣ палку, только палку разрѣшите! И овесъ будетъ свой, и хлѣбъ будетъ, и скотъ будетъ, и не будетъ щьянства, и настанетъ повиновение, и порядокъ, и страхъ, и правила, все утвержду, произведу, просвѣщу и ублаговотворю — палку, палку мнѣ позвольте! только позвольте палку! — «Ты чего въ кабацкѣ болтаешься?» (гость обращался очевидно къ воображаемому мужику). — «Тебѣ какое дѣло?» — «Какое мнѣ дѣло?... Рррозокъ!..» — «Батюшка, матушка!» — «Рррозокъ!» — «Ты почему не снялъ шапки? Почему у тебя не застѣяна полоса? Почему у тебя нѣтъ хлѣба? Куда дѣвалъ? Отчего скотина голодная?» — «Да пріѣли хлѣбъ-отъ, да вишь кормить нечѣмъ, да откуда взять-то...» «А! откуда взять, пріѣли, не кормили, ррррозокъ!» Такъ ббуудеть поррядокъ! Такъ я вамъ, милостивый государь, въ два года такой представлю видъ — въ «Живонисномъ Обзорѣніи» не отыщете... А ежели вы, господа члены, будете выдавать документы, что драть нельзя, потому у него печенку въ дракѣ отшибли, а въ томъ-же числѣ потребуете, чтобы взыскивали — такъ ужъ извините! Господь съ вами совѣмъ, живите, какъ знаете! Сдѣлайте милость, потакайте имъ, сколь вамъ будетъ угодно, а ужъ я, человѣкъ, который знаетъ страхъ, совѣсть, правила, престолъ Божій и прочіе, которые достойны человѣка, предметы, ужъ я уйду лучше, оставлю васъ... Справляйтесь одни, какъ вамъ угодно. А на такое безобразіе смотрѣть не буду... Ужъ извините! Такъ вотъ какое мое мужицкое мнѣніе... А знаю, что не понравится...

— Дѣйствительно.. началъ-было я.

— Да знаю! Ужъ знаю-съ! Вамъ надо регеліозно внушать, деньги получать, да чтобъ благосклонно, потому ему, канальѣ, посярабили въ кабацкѣ, ну, онъ и оказался боленъ душевною болѣзнию, неизлечимъ... Все это намъ извѣстно, только какъ-бы не неять-съ... Н-ну, однакожъ и ко дворамъ пора..

— Позвольте еще одну минуту, сказалъ я, оставивъ собиравшагося уходить гостя. — Скажите пожалуйста, какъ же вы теперь-то справляетесь?

— Какъ-съ справляюсь? Деру-съ!

Гость пожалъ плечами.

— Но вѣдь запрящаютъ?

— Сколько угодно! Деру, милостивый государь, въ собственную свою голову. Да будетъ Его святая воля, Всевышняго! и нельзя не драть, какъ вамъ будетъ угодно. Пущай жалуются—дамъ отвѣтъ чистосердечный! Спасибо еще, есть у насъ на деревнѣ два древнихъ мужичка, древнѣйшіе обыватели, имѣютъ медали за столѣтнее потомство, такъ вотъ тѣ подсобляютъ... А то вѣдь и помощниковъ-то не найдешь... Разложишь иной разъ мужичонку, а на ноги и на голову сѣсть некому! Кому ни скажешь—«ну, какъ-же, стану я»... Иной разъ и розги-то никто не хочетъ въ руки взять. Ну, а ужъ эти старички, дѣйствительно, никогда не пожимаютъ, Филоевъ съ Доросеевъ... Только замкнешься: «Ну-ко, старички, утвердите дураку законъ!»—завсегда готовы... Потому они, какъ люди стараго заѣвта, понимаютъ правила, порядки и видятъ, что по нынѣшнимъ временамъ нельзя безъ этого. И не послабляютъ! нѣтъ. Кричи не кричи, а засыпать, что слѣдуетъ... И все съ приговоромъ: «помни правила, почитай начальниковъ, не балуй, не пьянствуй, Богъ... престолъ... храмъ...» Покуда не вспухнетъ... Коренные старички—мало теперь такихъ серьезныхъ мужиковъ... Такъ вотъ, милостивый государь, какъ мы справляемся. Оно, конечно, не вполне благосклонно, да зато... Только поэтому самому и часкъ-то съ булочкой, съ вареньемъ благосклонные господа кушаютъ-съ... Будьте здоровы! Заболтался я у васъ.

Гость ушелъ.

Но не успѣлъ я привести въ порядокъ мысли, навѣянные мнѣ рѣчами гостя, какъ въ избу вошли новые посѣтители: одинъ изъ нихъ былъ мой недавній врагъ, пролетарій, а другой—просто молодой деревенскій парень. Къ удивленію моему, оба они почему-то весело улыбались.

— Ловко! сказалъ пролетарій.—Ай не любишь этого! проговорилъ онъ, обращаясь къ отсутствующему гостю:—что въ карманъ-то не дали зацанать!.. Ишь, какія радеи развелъ...

— Палку требуетъ! сказалъ парень.

— Чив-во-о-о? На-ко вотъ! Пал-лку! На-ко вотъ, выкуси это. Нѣтъ—довольно, будетъ... Не такія времена! Я подъ окномъ сидѣлъ, все слышалъ, какіе онъ тутъ разводы разводилъ. Дай ему, животному, палку!.. У нихъ, у канальевъ, только и есть ума на все—бить!

— Правильно не понимаемъ! проговорилъ парень.

— У нихъ, у канальевъ, только и правильно, что «плати» да «ложись»... Какъ снялъ съ человека штаны—это, значитъ, закону научилъ, правилу... А неуждо-ли, ежели-бы палку-то *можно* передать въ руки, такъ пожалуй и мы правила-то да разныя религіи прописали иному брату также-бы безъ послабленія. Пожалуйте-ко намъ палку-то! Довольно она у васъ была... Что-такое, скажите на милость, за манера--драть! Какъ чуть послаблѣо—потерялъ законъ, «ложись!». Чуть что хочешь, чтобы поиритиѣе—«ложись!». Давай-те мнѣ палку—я ихъ, канальевъ, самъ произведу!

соч. гл. усценскаго. т. II.

Я ихъ научу, какъ брюхи растить на мужицкій карманъ! Давай сюда мнѣ палку-то! Ишь, какіе законники, анаемы! Овса у меня нѣтъ, такъ меня драть! Хлѣба нѣтъ—драть! Денегъ нѣтъ—ложись! Ну ужъ это, братецъ ты мой, вполне глупо. Нашего брата драть, а вы брюхо себѣ набивать? И все мало? Все не хватаетъ? Недостаетъ? Все выбираютъ и выбиваютъ, и никакъ до корня не догребутся? Когда этому будетъ конецъ? Позвольте узнать? Я какъ-то сказалъ-было одному члену: «ваше высокоблагородіе! Много-ли за нами недобору?»—«Очень, очень много». А животики у него—вотъ едакой, ровно какъ тройнями тяжелъ. Вотъ я коснулся ему къ животику-то пальчикомъ и говорю съ вѣжливостью: «а между прочимъ, говорю, вѣдь вотъ у вашего высокоблагородія въ этомъ мѣстѣ и такъ довольно туговато!.. Что-же, ежели мы сполна внесемъ, не будетъ вамъ вреда отъ этого?..» Такъ мимо ушей прошло, будто не слышалъ... да! все мало... А за что—спросить по совѣсти? То-то и оно то...

И тутъ пошли такія рѣчи, которыя ни въ чемъ, рѣшительно ни въ чемъ не походили на рѣчи только-что оставившаго меня посѣтителя. Я не передаю этихъ рѣчей въ подробности, такъ какъ нѣкоторыя выраженія моихъ гостей, говорившихъ въ сердечной простотѣ, не всегда были вполне удовлетворительны въ цензурномъ отношеніи. Не передаю я также множества словъ, случайныхъ разговоровъ, слышанныхъ мною то тамъ, то сямъ въ народной толпѣ и доказывавшихъ, что во всѣхъ самыхъ мельчайшихъ ежедневныхъ явленіяхъ жизни идетъ переборка, трудная и упорная, стараго на что-то новое. Не передаю этого потому, что картина, складывающаяся изъ этихъ мелкихъ жизненныхъ чертъ, выходитъ большая, многосодержательная и требуетъ внимательной, тщательной работы, на которую я сію минуту не способенъ. Кроме того въ ней такъ много жизни, что мнѣ, человѣку изломанному, смотрѣть даже больно, хочется отвернуться, чтобы не мучить себя. Ограничиваюсь двумя вышенаписанными сценами потому, что хочу о себѣ, о своей пропавшей жизни сказать два рѣшительныхъ послѣднихъ слова. Своекорыстіе побуждаетъ меня... И вотъ, только изъ-за желанія придраться «къ случаю», я и беру изъ всего «новаго», происходящаго въ народѣ, только одну черту, которая звучитъ особенно настойчиво, слышится повсюду—именно мнѣніе о «необходимости палки»...

— Бить надо! дать леща!..—Дайте мнѣ палку; безъ палки ничего не будетъ!..—Дайте мнѣ! Дайте намъ!—Васъ надо колотить! Нѣтъ, васъ... и т. д.

Если вы прибавите къ этому массу подобнаго же рода звуковъ, слышащихся далеко за предѣлами деревни, таящихся въ безчисленномъ множествѣ головъ разнаго званія и состоянія, то согласитесь съ тѣмъ мнѣніемъ, также для многихъ вполне справедливымъ, что мысль русская вообще, какъ говорится, «зашевелилась», что вообще про-

исходить какое-то «пробужденіе». Я конечно радъ... Но если это—пробужденіе, то оно для меня рѣшительно не по душѣ.. Оно оскорбляетъ меня, какого-то таинъ Лиссабонскаго, оно наконецъ даетъ мнѣ право даже обидѣться тою глубокою несправедливостію, благодаря которой я, человѣкъ, которому положительно противны такіа «пробужденія», остался «безъ опредѣленныхъ занятій» и пропалъ ни за понюхъ табаку.

Мнѣ обидно и жалко, что безплодно прошло наше время, время людей, стремившихся «въ деревню» служить народу. Жалко мнѣ, что мы не были потреблены (современно) народной средой; жалко потому, что вмѣстѣ съ нами не потреблены народомъ и наши добрыя намѣренія; жалко потому, что, какъ мнѣ кажется, какъ я упорно вѣрю, поглоти нашего брата среда народная—право не было бы этого сѹмбура, этой тьмы, жестокой пуганицы и наконецъ *такого* пробужденія...

19-го февраля 1861 года я, въ числѣ прочихъ учениковъ—ской гимназіи, съ одѣтымъ въ мундиры начальствомъ во главѣ, слушалъ на площади губернскаго города N, передъ соборомъ, чтеніе манифеста объ освобожденіи крестьянъ. Я знаю, что «проклятые вопросы» начались не со вчерашняго дня, но я также знаю, что для «массы» русскаго народа, къ которой я принадлежу по рожденію и воспитанію, проклятые вопросы сдѣлались обязательными именно съ этой минуты. Итакъ, я стоялъ въ толпѣ и слушалъ манифестъ. Значенія его во всей его огромности я тогда не понималъ, но понимать это значеніе меня научила сама жизнь.—«Теперь не то!» заговорили чиновники.—«Нонѣ не то время!» тараторили мужики.—«Не тѣ нонѣ времена!» охали купцы. Иные отъ этихъ новыхъ временъ плакали, разорялись, ожесточались; другіе радовались имъ, приобродрялись, похвалялись. Что же такое случилось? Крестьянъ «освободили». Отъ кого освободили? Отъ крѣпостной, рабской зависимости. Что такое крѣпость, рабство?.. На эти вопросы мнѣ отвѣтила книжка, сразу освѣтившая то, что я множество разъ имѣлъ передъ глазами, но чего я не понималъ. Книжка научила меня понимать, что событіе совершилось во имя справедливости, что хоть и жалъ, что разоряются, что хотя и жалъ плачущихъ, нищающихъ, идущихъ по міру, жалъ всѣхъ, кто дышалъ и жилъ рабскимъ трудомъ и около рабскаго труда, но что дѣлать! Это—жертвы необходимыя и сравнительно съ массой, для которой совершенъ актъ справедливости, ничтожныя.

Такимъ образомъ идеи «свободы» и «народнаго блага» не выдуманы мною или, вѣрнѣе, нами, Лиссабонскими, въ минуты праздности, а сами пришли къ намъ «помимо нашей воли», стали *обязательными* и не только для насъ, молодыхъ подростковъ, но для всего общества поголовно: и для друзей освободительныхъ идей, и для враговъ онѣ, идеи эти, сдѣлались *обязательными*. Человѣкъ, который сегодня крестился въ водахъ Дидѣра, *долженъ былъ*, помимо желанія, помимо привычки, основываться съ *обязательной, новой* для него

христіанской идеей. Онъ уже не могъ смотрѣть назадъ, онъ *долженъ былъ* всматриваться въ новое будущее, волей-неволей долженъ былъ переначить весь обиходъ своей жизни на новый образецъ, сообразно новой, обязательной для него идее. Такое огромное событіе, какъ освобожденіе милліоновъ отъ крѣпостной зависимости, точно также обязывало проникаться не старыми крѣпостными идеями—уже потому, что онѣ стали старыми. отошлѣ, остались назади—а новыми, совершенно противоположными крѣпостной несправдѣ, идеями блага, народнаго благополучія...

Итакъ, вы видѣли, что новыя идеи мы *обязаны* были принять, *обязаны* были проникнуться ими, и если тронулись, какъ говорится, «въ народъ», то не съ злостными намѣреніями и не по прихоти или фанаберіи, а потому же, почему всею таутъ сѣга, тронулись «гонимы вѣшними лучами» новыхъ, обязательныхъ для всего русскаго народа, новыхъ задачъ... Да, государи мои, мы потому пошли къ народу, что были *гонимы* благотворными лучами, какъ солнце, огромнаго событія освобожденія... Если это—вина, то ужъ никакъ не наша.

Такимъ образомъ актъ освобожденія создалъ задачу молодого поколѣнія, наложилъ на него обязанности, и притомъ съ совершенно опредѣленной тенденціей: народъ, вчера крѣпостной и рабъ, сегодня сталъ свободнымъ человѣкомъ; слѣдовательно надо работать съ нимъ и для него. Кто же и что въ обществѣ, которое только вчера стало въ *совершенно новыхъ* условіяхъ, могло разрѣшить обязательную для насъ задачу? кто могъ отвѣтить на вопросъ: какъ и что дѣлать въ народѣ и для народа? Очевидно, что у общества, т. е. рѣшительно ни у одного человѣка во всемъ русскомъ обществѣ, не было опыта, который бы пригодился въ новыхъ условіяхъ. Развѣ крѣпостники могли отвѣтить на вопросъ: что нужно дѣлать—теперь, когда я ихъ самихъ сдали въ архивъ? Разумѣется, нѣтъ; разумѣется, надо было учиться и почерпать знанія въ другомъ мѣстѣ, у другихъ людей; и вотъ явились опять книжки, почему-то столь проклинаемыя, книжки иностранныя. Огромный опытъ европейской жизни, установившейся въ извѣстныхъ формахъ, рѣшительно могъ и долженъ былъ дать указанія для милліонной массы, только что призванной къ жизни, могъ дать указанія хотя бы относительно только того, чего не нужно дѣлать, чего надо бояться дѣлать, чего не надо допускать... Не знаю, какъ кто, только я руководствовался именно этими соображеніями. Да наконецъ развѣ не опытъ европейской жизни привелъ къ простому, мирному, заблаговременному, такъ сказать, освобожденію крестьянъ, вмѣсто того чтобы дожидаться того же освобожденія въ другой формѣ? Не велика бѣда, стало быть, и въ томъ, что мы, Лиссабонскіе, тронулись въ путь, начитавшись иностранныхъ книжекъ... своихъ-то вѣдь не было и никто изъ «своихъ» не зналъ, что надобно дѣлать, а дѣлать, какъ мы видѣли, надобно было новое дѣло...

И такъ, *повинуясь обязательно* для всего русскаго общества и притомъ совершенно новому направленію мыслей и задачъ, не выдуманныхъ мною, не вычитанныхъ въ иностранныхъ книжкахъ, а прямо, логически и *неизбѣжно* вытекавшихъ изъ новыхъ условий, въ которыхъ стала миллионная масса народа, я и пошелъ въ деревню. Дѣятельность моя въ деревнѣ если и страдала множествомъ недостатковъ, то неопытность и новизна могутъ служить для меня, Лиссабонскаго, большимъ оправданіемъ. Между прочимъ меня самого много разъ мучилъ одинъ весьма крупный недостатокъ въ этой дѣятельности, именно какая-то казенная сухость, какая-то канцелярщина и канцелярская узость, въ которую я облакалъ такъ называемыя благотворныя идеи. Но и это да будетъ мнѣ прощено на томъ основаніи, что необузданной канцелярщиной укрѣплялись также и неблагоприятныя идеи, что повсюду вмѣсто «общественнаго дѣла» свирѣпствовала «общественная канцелярщина». Но, несмотря на неопытность, незнаніе народной жизни, сухость и казенщину формъ дѣятельности, сущность этой дѣятельности несомнѣнно соответствовала духу новаго времени. Раздумывая теперь объ этомъ, поражаюсь той огромной неприготовленностью русскаго общества къ воспріятію новыхъ идей, которая дала возможность заподозрить мою скромнѣйшую изъ скромныхъ дѣятельность въ деревнѣ, а главное—не догадаться, не видѣть, не *узнать* въ этой дѣятельности *той же самой* тенденціи, которая лежала въ основаніи великаго событія—освобожденія.

Да, повторяю, я преслѣдовалъ въ деревнѣ, въ мелкихъ деревенскихъ общественныхъ отношеніяхъ, *ту же самую* тенденцію, которая въ огромныхъ размѣрахъ выразилась въ освобожденіи миллионныхъ крѣпостныхъ людей. *Ту же* новую тенденцію я старался по мѣрѣ своихъ скромныхъ силъ примѣнить, а главное *отстоять* въ глухой далекой деревнѣ; я старался не дать ей въ обиду въ маленькихъ, мелочныхъ деревенскихъ общественныхъ отношеніяхъ—словомъ, повторяю, я въ крошечныхъ размѣрахъ дѣлалъ въ деревнѣ то, что человѣкъ, обличенный высшею властью, дѣлаетъ въ огромныхъ размѣрахъ въ высшемъ государственномъ учрежденіи. Теперь уже не тайна, какихъ трудовъ, какой борьбы стоило лучшимъ русскимъ людямъ *отстоять* справедливѣйшее дѣло въ высшихъ учрежденіяхъ. Сколько было враговъ, сколько недоброжелателей, и все это надо было побороть, побѣдить, чтобы добиться права совершить это дѣло!

А въ деревнѣ, куда я пошелъ, развѣ нѣтъ *такихъ же самыхъ* враговъ, хотя тамъ и не савонники, а люди въ полшубкахъ? Развѣ въ деревнѣ нѣтъ охотниковъ властвовать надъ слабыми, пользуясь нуждой, бѣдностью? Развѣ въ деревнѣ нѣтъ враговъ справедливости, развѣ здѣсь нѣтъ деспотовъ, міровѣдовъ, «живорѣзовъ» и прочихъ безчисленныхъ типовъ човѣкообразныхъ хищниковъ? Развѣ въ деревнѣ мужъ не деретъ жену за косу, не колотитъ до полусмерти сына. «потому—глава? Развѣ

нѣтъ въ деревнѣ бѣдныхъ, нищихъ, безпомощныхъ, и, съ другой стороны, развѣ тамъ нѣтъ воровъ, грабителей, людей легкой наживы, ростовщиковъ, ханжей? Все есть, все на лицо!

Вотъ, кажется, ужъ какой ничтожный поступокъ совершилъ я, привезя безплатную оспу, а и то сколько разныхъ мнѣній въ одной и той же деревнѣ: одни прямо говорятъ «худо», «дурно, милостивый государь»; а другіе также прямо восклицаютъ: «ловко!».

Очевидно, есть, и партіи есть, и мнѣнія объ общественныхъ задачахъ и отношеніяхъ, совершенно не согласныя. Кому же, которой изъ нихъ долженъ былъ я потрафлять, говоря крестьянскимъ языкомъ? Да, разумѣется, той же самой, которой «потрафляли» высшіе дѣятели, освобождая крестьянъ. Не рабовладѣльцамъ, не крѣпостникамъ, не хищникамъ потрафляли они, а «не дали въ обиду» тѣхъ, кого эти хищники эксплуатировали, кѣмъ пользовались, кого гнали... Тотъ въ точъ то же, «какъ двѣ капли воды», дѣлалъ и я въ деревнѣ въ тѣ краткіе мгновенія, въ которыя я имѣлъ огромное счастье держать въ моихъ рукахъ какое-нибудь деревенское дѣло... Я препятствовалъ тому, чтобы вотъ этотъ міровѣдъ, ростовщикъ не выпилъ изъ мужиковъ кровь, какъ пьетъ паукъ. Я препятствовалъ несправедливѣйшимъ сдѣлкамъ «сильныхъ» деревенскихъ воротилъ съ опоечными водкой мужиками; я тщательно смотрѣлъ за мужицкой копѣйкой, не давая «насиживать» воротиламъ на мужицкую шею тысячи кровныхъ рублей... Я ратовалъ противъ подкупа на судѣ, противъ подкупа на выборахъ, противъ водки во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ должна быть строгая, трезвая правда... Словомъ, я точъ-въ-точъ дѣлалъ то самое, что крупные дѣятели дѣлали въ высшихъ сферахъ. Крупную монету я размѣнял на гривенники, какъ и потребно въ деревенскомъ обиходѣ...

Но меня постоянно выгоняли изъ деревни, какъ врага! Не буду распространяться объ этомъ печальномъ недоразумѣніи, обращу вниманіе читателя на результаты этого недоразумѣнія, обнаруживающіеся теперь. Недалеко ходить за примѣрами—сенаторская ревизія на каждомъ шагѣ доказываетъ, что новое дѣло едва-ли не погублено старыми руками. Чего ни коснитесь: вотъ вамъ новый деревенскій судъ—подкупъ, водка, пиво, своекорыстіе... Вотъ вамъ общественная касса—все расхищено, растрчено, истрачено на частныя потребности: одинъ открылъ на эти деньги кабакъ, другой—лавку... Личная месть, за водку и подкупъ, сажаетъ праваго въ темную, сѣчетъ, а виноватый живъ, здоровъ и процвѣтаетъ... И вездѣ, на каждомъ шагѣ, нѣтъ признака присутствія човѣка, который-бы въ новыхъ учрежденіяхъ поддерживалъ, отстаивалъ новую, справедливую идею этихъ учреждений... Этотъ човѣкъ могъ быть только я, Лиссабонскій, только такіе, какъ я, люди, т. е. люди, рожденные на рубежѣ новой русскаго жизни, окрещенные и осѣняемые въ лучшую юношескую пору жизни новыми благотворными

идеями, принявшіе эти идеи всѣмъ сердцемъ, со всею искренностью, со всѣмъ жаромъ самоотверженія и безкорыстія. Но насъ выгнали оттуда; съ позоромъ выгнали. За то, что было потомъ, — не я, Лиссабонскій, отвѣтчикъ. Не успѣвъ даже прикоснуться къ дѣлу, я уже подвергся ostracismu. Меня, только и дѣлали, что наказывали... Я давно уже человѣкъ безъ опредѣленныхъ занятій. Я не знаю, какъ, что и почему. А теперь, когда я

слышу поминутно разговоръ о палкѣ, когда я убѣждаюсь, что разговоры эти далеко не пустые, что этой палкой хотѣтъ разобраться въ путаницѣ, тягостной и непушной, я и совсѣмъ никуда не гошусь: и все это не по мнѣ, и слишкомъ грубо, жестоко, и глупо, и обидно, до-крови обидно!... И вижу я, что не остается мнѣ ничего иного, какъ пожалѣть о прошломъ, вздохнуть о немъ и, сказавъ себѣ: «да будетъ воля твоя!», уйти куда-нибудь...

БОГЪ ГРѢХАМЪ ТЕРПИТЬ.

I. Маленькіе недостатки механизма.

— Я такъ думаю: который человѣкъ ни въ чемъ не виновенъ, и того человѣка наказывать не за что. А который ежели есть преступникъ или, такъ сказать, злодѣй какой-нибудь, такъ того наказывай. Больше ничего...

Такія рѣчи съ толкомъ, серьезною и разстановкой велъ буфетчикъ небольшого пароходика «Окунь», сидя въ своей, установленной посудой, каморкѣ и разрѣзывая на подоконникѣ квадратнаго окна своего буфета маленькій бѣлый хлѣбъ на тонкіе ломтики. Пароходикъ «Окунь», дѣлающій отъ станціи желѣзной дороги по рѣкѣ Выдрѣ до губернскаго города М. всего одинъ рейсъ въ сутки, никогда не бываетъ богатъ пассажирами. Мало охотниковъ сидѣть по нѣскольکو часовъ въ пароходной каютѣ, ожидая той минуты, когда наконецъ наберется «по человѣчку» столько народу, что расходы пятидесятиверснаго плаванія не принесутъ хозяину «Окуня» убытка. Нетерпѣливые проѣзжіе, минуя пароходикъ, предпочитаютъ ѣхать до города М. на лошадахъ или же по вѣтви желѣзной дороги, которая идетъ отъ слѣдующей станціи до главнаго пути. Такимъ образомъ на «Окунѣ» ѣдетъ только такой проѣзжающій, которому некуда спѣшить, которому все равно, сегодня-ли приѣдетъ въ городъ, или завтра, который наконецъ даже любитъ ѣхать покойно, не въ тѣснотѣ, а въ просторѣ—на «Окунѣ» же всегда такъ просторно, что можно разлечься «во-всю», выспаться, раздѣвшись совсѣмъ, и т. д. Такіе порядки весьма удобны и выгодны для буфетчика: публики набивается на пароходъ постепенно, по «человѣчку», а поэтому нѣтъ расчета запираить буфетъ, чтобы не отпирать его по двадцати разъ въ сутки. А буфетъ, безпрестанно находящійся передъ глазами «пассажировъ», которыми «некуда спѣшить», надъ которыми «не каплетъ», едва ли можетъ бездѣйствовать. Иной глядитъ-глядитъ на разставленные напитки, да и скажетъ: «Ну-ко, налей-ко! И пить-то, братецъ мой, не хотѣлъ, да бутылка заинтересовала... Чтѣ такое тамъ? Дай-ко рюмочку». А

разъ буфетъ не бездѣйствуетъ, то и пассажиры, по нѣскольکو часовъ ожидающіе, когда-то заснѣтитъ комаръ-пароходикъ, также не могутъ безжолвствовать; всегда поэтому волей-неволей всѣ переѣзжающіе на «Окунѣ» перезнакомятся между собою и въ концѣ концовъ непремѣнно сольются въ одну разговорчивую компанію.

Такъ было и въ тотъ разъ, о которомъ идетъ рѣчь. Въ каютѣ второго класса, около буфетнаго окна и за столиками, сидѣло и лежало на диванахъ человѣкъ десять разнаго народу. Было тутъ два какихъ-то военныхъ, похожихъ по виду и разговору на передѣлтыхъ купчихъ—такъ были они рыжлы, женственны, да и разговоры ихъ были не воинственны: все о провіантѣ, и довольствіи, о несправедливости, объ интригахъ, мелкихъ-премелкихъ—изъ-за сѣна, изъ-за дрожжей для солдатскаго квасу и т. д. Были тутъ купцы, мѣщане, человѣка четыре «живорѣзовъ», сидѣвшихъ особю группою за чаемъ и отрывисто даявшихъ насчетъ своихъ «дѣловъ»: «Два-шесть съ четью». — «Рупъ-зять». — «Сдадь?» — «Сдадь!» — «Снялъ?» — «Снялъ». А въ промежуткахъ этоголая—громкая, какъ отдаленный раскатъ ружейнаго залпа, нѣмота... Ъхалъ еще одинъ молодой человѣкъ, съ которымъ мнѣ пришлось познакомиться на желѣзной дорогѣ и съ которымъ впослѣдствіи мнѣ пришлось сойтись довольно близко. Изъ его разговоровъ я могъ заключить, что жизнь его, несмотря на молодые годы, прошла не безъ приключеній. Онъ повидимому былъ очень утомленъ физически и отдыхалъ, посѣщая своихъ родственниковъ, принадлежавшихъ къ сельскому духовенству. Въ настоящее время онъ ѣхалъ къ сестрѣ, мужъ которой былъ священникомъ какого-то села, расположеннаго на рѣкѣ Выдрѣ.

Нѣкоторое время бесѣда между пассажирами, присутствовавшими въ буфетѣ, шла довольно вяло и не представляла ни малѣйшаго интереса. Офицеры жаловались на то, что они каждый годъ доплачиваютъ изъ «своихъ», и блистали другъ передъ другомъ безкорыстіемъ, а живорѣзы лаiali и икали—вообще было довольно скучно. По ка-

кому случаю буфетчикъ произнесъ фразу, написанную въ началѣ этого очерка, рѣшительно не помню и не знаю. Разговора, по поводу котораго она была произнесена, я не слышалъ и не знаю, о чемъ шла рѣчь прежде, нажали буфетчикъ счелъ нужнымъ произнести свое мнѣніе о наказаніи; но мнѣніе это почему-то пробудило во мнѣ и, какъ я замѣтилъ, въ молодомъ человѣкѣ желаніе слушать, что такое тутъ говорить.

Нарѣзавъ хлѣбъ тонкими ломтиками и тщательно собравъ толстымъ ребромъ толстой руки соръ, буфетчикъ принялся нарѣзывать тоненькіе ломтики сыру и говорилъ съ тою же, какъ и прежде, серьезностью:

— Такое мое мнѣніе. Невиноватаго, который недостоинъ наказанія, того, позвольте спросить, за что же его я буду истязать?

— Это вѣрно! — проговорилъ какой-то купецъ, сидѣвшій за бутылкой пива.

— Что-же касается до того, — продолжалъ буфетчикъ, — когда мы встрѣчаемъ какого-нибудь подлеца, тогда, сдѣлай милость, соблюди законъ вопли!

— Само собой, нечего жалѣть подлеца!

— Опять возьмите и то: вѣдь наказанъ человѣкъ — хитрость не велика, позвольте вамъ сказать. Взялъ, засадилъ его въ темную, или тамъ всыпалъ горячихъ — это труда не составляетъ. Хитрости тутъ большой нѣтъ... А надо сначала узнать, дознаться, до корня дойти, виновенъ-ли молъ ты, или-же нѣтъ — вотъ что есть главное!... Положимъ, что ты выпоролъ или заперъ человѣка, а впоследствии времени оказывается — онъ не виновенъ. Хорошо-ли это? Но коль скоро ты разобралъ, достигъ, наприимѣръ, тогда хоть въ землю его живого закопай, и то будетъ по закону!... А не разобравши дѣло, да истязать человѣка — такъ тутъ хитрости большой нѣту. Вотъ какъ я думаю. Не прикажете-ли буттербродикъ?

Тарелка съ буттербродами была протянута по направленію къ господамъ военнымъ, которые ближе всѣхъ сидѣли къ буфету.

— Пожалуй! нехотя сказалъ одинъ изъ нихъ и, подумавъ, прибавилъ: — кстати налей ужъ и рюмочку вотъ этой, вонъ въ зеленой бутылкѣ... Попробовать, какая такая... А вы то что-жь?

— Да пожалуй — еще болѣе нехотя проговорилъ другой военный — налей ужъ и мнѣ...

И такъ они нехотя, отъ нечего дѣлать, выпили и закусили. А буфетчикъ принялся производить какія-то операціи надъ кускомъ ветчины, на которую предварительно дунулъ, и продолжалъ:

— Надобно разобрать, а не зря.. Бываетъ такъ, что ежели ты дѣлаешь свой судъ съ разборомъ, то и самый, который видимый злодѣй — и тотъ оказывается свою невинность... Не разобравши-то дѣла, его бы, кажется, повѣсить надо, а разберутъ, да обсудятъ, такъ онъ и чистъ. А такъ-то, не разобравши-то дѣловъ, да предать наказанію — тутъ правды, я такъ думаю, нѣтъ нисколько! Почему же въ такомъ случаѣ дѣлается судъ и утверждается судебный чинъ? Изуродовать чело-

вѣка занапрасно — это всякій мастеръ; а ты разбери, а потомъ ужъ и утверди... Вотъ у насъ на пароходѣ малый служить одинъ. Былъ съ нимъ грѣхъ — убилъ онъ человѣка. За это что по закону-то? — Удавная петля, подземные рудники!.. Такъ вѣдь? А между прочимъ вонъ онъ чистъ и правъ. а почему? — Потому выжили и разобрали... Вотъ я вамъ позову его самого. Поглядите, пусть расскажетъ.

И, выйдя на площадку, съ которой поднималась на палубу винтовая лѣстница, онъ громко крикнулъ:

— Михайло, поди-ко сюда! Поди на минутку!... Вотъ пушай самъ скажетъ...

Михайло явился въ одно мгновеніе. Онъ, очевидно, игралъ въ трынку съ пріятелями, такъ какъ въ рукѣ у него были засаленныя карты. Это былъ здоровый, молодой, съ наивнѣйшимъ, почти дѣтскимъ лицомъ, парень. Босыми, крѣпкими ногами, высывавшимися изъ короткихъ ситцевыхъ, розоваго цвѣта, панталонъ, онъ, какъ птица, вспорхнулъ по желѣзнымъ ступенямъ лѣстницы и, распоясанный, сталъ передъ хозяиномъ, видимо торопясь поскорѣй уйти, чтобы продолжать игру. Вся фигура его и выраженіе лица говорили, что игра — «въ разгарѣ» и что игроки «въ азартѣ».

— Чиво? — поспѣшно спросилъ онъ.

— Поди сюда, поди поближе.

— Говори: чего?.. Я и тутъ слышу.

— Да подвинься въ каюту-то, столбъ такой! Успѣешь отыгаться. Поди, расскажи господамъ, какъ ты старика убилъ.

— Тѣфу, ты!.. зачѣмъ звалъ. Я думалъ... Эка нашелъ разговоръ!.. Стану я..

И парень быстро направился на лѣстницу, но буфетчикъ захватилъ его за рубашу.

— Стой! Погоди минутку... Что ты, песъ этакой? Вѣдь тебя честью просятъ.

— Есть чего... пустова вспоминать.

— Да чего тебѣ вспоминать?.. Ты расскажи, какъ было дѣло-то. Ты у купца что-ль жилъ въ ту пору?

— Чего жилъ? Только-что въ тотъ день на мѣсто къ нему сталъ, а даже нисколько еще не жилъ...

— Ну, ну, сталъ.. Ну, какъ дальше?

— Ну, а дальше больше ничего... Сталъ къ нему на мѣсто, значитъ, караулить дрова... У купца-то дровяной дворъ былъ, можетъ на нѣсколько сотъ али тыщъ... Милліонщикъ купецъ-то.

— Гдѣ дѣло-то было? Гдѣ купецъ-то живетъ?

— Въ Москвѣ... Въ Москвѣ жилъ... Вотъ я прямо изъ деревни къ нему и попалъ... Что мнѣ тогда? Почитай и шашнацать годовъ не вышло... Попалъ я къ нему, онъ и говоритъ: «Смотри, мальчонка, будешь стараться — награжу, а будешь ворами потакать — произведу по свойски. Похвалы у меня на это нѣтъ, а прямо разобью всего въ дребезги. А коли ежели будешь стараться, черезъ мѣсяцъ прибавку дамъ. Не спи, баесть, по ночамъ, глазъ не смыкай и, какъ завидишь вора, дуй его по чемъ ни попало!..» А допреже того у купца все

дрова воровали разные прочіе жулики. Ну вотъ, я и слушаю его... А какъ мнѣ не слушать? Не отъ сладкаго въ городъ-то идемъ. Попало мѣсто, надо стараться, чтобы какъ лучше, чтобы хвалили да денегъ побольше давали, а не то, чтобы ругали или били. Ну вотъ, и сталъ по наставленію его думать. Удѣлалъ себѣ дубину—изъ дровъ вытащилъ такую штуку въ тринадцать четвертей, съ корнемъ попалась. Обладилъ, значить, обчистилъ, приспособилъ; пришла ночь, надѣлъ полушубокъ и пошелъ... Ночь осенняя, темная.. Ходилъ, ходилъ, слышу—шевелится. Окликнулъ, не говоритъ. Думаю: прятаться хочетъ; я подошелъ, да и долбонулъ его съ маху, стало быть съ боку, да еще разъ сверху внизъ тоже стеганулъ, онъ и запищалъ, какъ заяцъ. Н-ну, опосля того я было потыкалъ его колемъ-то. потыкалъ этакъ-то; ночь темная, ничего не видно, только что-то мягкое... А голосу не подаетъ... Ну, какъ не подаль онъ мнѣ голосу, пошелъ я къ козянну доложить... Хозяинъ-то еще не ложился... Пришелъ я къ нему. «Вотъ, говорю, никакъ вора я пришибъ. Кто-то, говорю, округъ дровъ шабаршилъ, а я его и долбонулъ... Ну, гласу, говорю, не подаетъ, а только что запищалъ было малость по-заячьи»... Н-ну, хозяинъ позвалъ кучера, велѣлъ пойтить съ огнемъ посмотрѣть. что тамъ такое... Пошли... Ну, и видимъ—человѣкъ нищій... А я чѣмъ виноватъ? Мнѣ сказано—бей! Развѣ я могу послушаться? А ежели онъ бы укралъ, тогда какъ?.. Тогда, можетъ, меня бы...

— Да ну тебя!.. Ты говори дѣло, а не разсуждай. Говори, что было дальше...

— А дальше было, что какъ оглядѣли мы человѣка... однимъ словомъ, голова расшиблена и рука болтается... Вспомнить даже нехорошо, передъ Богомъ!.. Ну, оглядѣли: кучеръ и говоритъ: «надо хозяину доложить». Пошелъ я къ хозяину и говорю: «Такъ и такъ. Расшибъ человѣка...» — «Неужто до смерти?» — «Такъ точно...» Ругалъ-ругалъ онъ меня; говоритъ: «Иди, объявись въ часть». Ну, пошелъ я опосля того въ часть... Искать-искать участка—пропади онъ—насилу нашелъ. Пришелъ, всѣ спятъ. Ждалъ, ждалъ. наконецъ того, выходитъ какой-то... Сталъ меня спрашивать: «зачѣмъ?». Я говорю: «Такъ и такъ. Пришибъ человѣка». Ну, разсказалъ ему что мнѣ? Нешто я виновентъ? Что мнѣ его бить-то?.. Разсказалъ. Ну, онъ записалъ. «А дубина, говоритъ, гдѣ?» — «А дубина, говорю, тамъ въ куфни осталась». — «Пошелъ, принеси дубину! Она также требуется». Пошелъ. Принесъ имъ. Отдалъ. Ну, посадили въ темную. Поутру связали руки, повели въ другое мѣсто. Опрашивали. Ну, что у меня спросать, то я отвѣчалъ. Черезъ два мѣсяца судъ былъ. И опять все то же. «Ты убилъ?» — «Я». — «Какъ?» — «Да вотъ такъ: сначала молъ въ бокъ должно быть я его—ну, а потомъ по тему». «Чѣмъ?» — «Дубиной». — «Признаешь?» — «Она самая». — «Виновентъ ли ты?» — «Чѣмъ я виновентъ? Сказано, бей!—я и бью... Намъ что прикажутъ, то мы и исполняемъ»... Подумали, посудили, писали, гово-

рили, потомъ вышли и говорятъ: «Ну, ты не виновентъ, ступай!». Ну, я и пошелъ...

— А купецъ?

— Купца было тоже притянули, только онъ говоритъ: «Какъ-же не караулить? У меня въ дровахъ капиталы... Воровство безпрестанно... Полиціи не дозовешься... А почему я зналъ, что онъ эдакъ караулить будетъ?..» Ну, а я-то почему зналъ, что тамъ такое? Слышу—шабаршитъ, я его и хлестнулъ... Такъ и вышло дѣло: и я не виновентъ, и купецъ не виновентъ... Ну только, жидъ эдакой, не взялъ меня къ себѣ потомъ. «Ты, говоритъ, больно ужъ сурьезно взялся служить. Я тебѣ только посулилъ шесть цѣлковыхъ, а ты и то ужъ человѣка убилъ; а какъ я тебѣ деньги-то въ руки дамъ, такъ ты пожалуй и не такихъ дѣловъ надѣлаешь съ дубиной-то своей!» Взялъ солдата, а меня отослалъ. . Вотъ жидъ какой!.. Ну, чего еще вамъ?

— Все нешто разсказалъ?

— Все... Ничего больше не надо?

— Ну, коли все, ступай!

Малый вихремъ взвился по лѣстницѣ; а буфетчикъ вновь принялся за разсужденіе.

— Вотъ какъ вышло, сказалъ онъ. — Кажется, ужъ какъ-бы не заточить парнишку наглухо: убилъ и голову расшибъ—все явно, а разобрали дѣло, вникли, обсудили, анъ человѣкъ-то и оправился... Вотъ про то-то я и говорю: коль скоро ежели человѣкъ виновентъ, то ты его наказжи; но ежели человѣкъ хотя бы и видимою былъ злодѣй, то ты его оправь, а невиноватаго наказывать—помоему не есть справедливость... Такъ я думаю..

— Н-да! проговорилъ тотъ купецъ, съ которымъ буфетчикъ главнымъ образомъ велъ бесѣду, вылилъ изъ бутылки въ стаканъ остатки пива и прибавилъ:— оно-бы посправедливѣе-то лучше-бы было... то есть... поступать. Дай-ка еще бутылочку!

Буфетчикъ откупорилъ бутылку, отвертѣлъ со штопора пробку, приткнулъ ее на старое мѣсто и, выйдя изъ буфета, принесъ и поставилъ ее перелъ своимъ собесѣдникомъ. Въ это время съ другого дивана поднялся и всталъ, расправляя ситцевую рубашку на огромномъ животѣ, другой изъ проѣзжавшихъ купцовъ, человѣкъ добродушнаго вида и исполнискаго роста. Поднявшись, онъ взялъ буфетчика за руку, повыше локтя, и съ тонкою улыбкой на лицѣ проговорилъ:

— Ну, а мужикъ-то. почтеннѣйшій господинъ, онъ-то какъ будетъ: виновентъ или не виновентъ?..

— Который?

— А вотъ который кончину-то принялъ, старичокъ-то... Куда мы его съ вами должны опредѣлить? Вѣдь какъ-никакъ, а ужъ положительно можно сказать—нѣту человѣка! Былъ, ходилъ, Богу молился, все прочее, и однако-жъ вотъ не оказывается... Ну, онъ-то какъ? На какомъ положеніи будетъ?

Буфетчикъ на мгновеніе какъ-бы опѣшился отъ этого неожиданнаго вопроса, поставившаго его въ большое затрудненіе; но общій смѣхъ вывелъ его

изъ этого положенія. Вѣстѣ съ прочими захохоталъ и онъ.

— Да, вотъ вы про что!.. Я думалъ, что про какого-такого мужика... Да, это дѣло такое, что можно сказать внезапное.

— Вотъ то-то и есть!.. продолжалъ толстякъ. — У насъ все такъ-то. Всѣ невинновы, а глядишь — кто-нибудь и протянулъ ноги!.. между прочимъ.

— Дѣйствительно, бываетъ! безропотно соглашается буфетчикъ, опять помѣтившись въ своей конурѣ. — Точно, бываетъ и такъ.

— Быва-ить-съ. То есть вотъ какъ бываетъ!.. Ужъ это намъ извѣстно... Старичонокъ этотъ по крайности тѣмъ оплошалъ, что подъ дровами шаялся... Все-же хотъ мало-мало касаніе было: не ходи подъ дровами... А то вотъ какъ бываетъ: сидитъ человекъ, ни въ чемъ не замѣченъ, Бога чтить, начальникамъ повинуется, все честно исполняетъ, а между тѣмъ — ни отсюда, ни отсюда — хлопъ его по шеѣ, да по уху, да въ спину, да объ земь, да опять по шеѣ, да опять въ объ щеки, да по зечи-то брюхомъ, да перевернутъ, да каблучкомъ, да рыломъ-то потыкають въ попойную яму... А потомъ вотъ по вашему и выходитъ: «никто не виновенъ!». И кто рыломъ въ попой тыкалъ — и тотъ чистъ, какъ голубь. И кто брюхомъ тебя по землѣ волокъ — и тотъ не виноватъ!.. Да наконецъ и тотъ, кого уродовали, — тоже оказался не виновенъ... «Ступайте, ребята, по домамъ!.. Всѣ вы невинновы!» А между тѣмъ идетъ человекъ домой и хоша сосчитанъ за невиннованаго, а вѣдь морда-то у него изуродована какъ-бы то ни было... Невинновъ-то онъ невинновъ, а у него все-же трехъ зубовъ нѣтъ у скулъ, да рука сломана, да сраму онъ принялъ съ три короба. Это какъ надо понимать по вашему мнѣнію?

— Н-нда! произнесъ буфетчикъ, совершенно притихнувъ и не пытаясь разглагольствовать. — Это ужъ не благосклонно.

— Вотъ то-то и оно-то А виноватыхъ нѣтъ... Одинъ говоритъ: «у меня бумага!». И другой тоже говоритъ: «у меня бумага!». И у третьяго тоже бумага съ собой... Да позвольте, господа, что-же это такое?.. У васъ у всѣхъ бумага, а вѣдь у меня собственная шкура! Вумаги-то ваши я за три копейки куплю сколько хошь, а рожу-то я, братцы вы мои, новую не куплю нигдѣ... Вѣдь, кажется, есть разница?..

Купецъ-великанъ, говоря это, замѣтно волновался; онъ дѣлалъ руками жесты, краснѣлъ и наконецъ, запыхавшись, сѣлъ на средину своего дивана.

— Вотъ какъ бываетъ-то, господа!

— Бываетъ. Вѣрно! поддакнулъ одинъ изъ живорѣзовъ. — Обмордуютъ, а виноватаго нѣтъ.

— Ну вотъ! сказалъ купецъ. — Ужъ, стало быть, было что-нибудь и съ вами?

Но живорѣзъ только крикнулъ, припалъ губами къ блюдечку и ничего не отвѣчалъ.

— А съ вами, спросилъ гиганта одинъ изъ военныхъ, — тоже было что-нибудь вродѣ этого?

— Не то что «вродѣ», а такое было, что, ка-

жется, ежели-бы я позволилъ разыграться своему характеру, такъ-бы и пропалъ безъ остатку...

— Да изъ-за чего-же?

— А вотъ ужъ этого не могу точно сказать!.. Изъ-за чего вонъ старику парень башку-то проломилъ? Вотъ такъ и тутъ. Видите, какое дѣло...

Гигантъ немного поуспокоился и началъ:

— Главная причина... надобно въ первыхъ словахъ сказать про мою болѣзнь. Видите, какой у меня животъ!

— Да что-же, неужели животъ можетъ играть какую-нибудь роль въ исторіи подобнаго рода? — прервалъ рассказчика одинъ изъ военныхъ.

— Играть?.. Да тутъ такую роль разыграли, что и татарину того не пожелаю!

— Изъ-за живота?

— Вотъ то-то и есть главная причина, что путемъ сказать-то ничего не могу на этотъ счетъ. Ужъ буду говорить, какъ было, по порядку.

— Очень любопытно!

— Такъ вотъ извольте видѣть. Вотъ животъ этотъ самый — корень и есть всего... Животъ у меня стало раздувать съ дѣтскихъ временъ. Докторовъ въ ту пору хорошихъ не было, лечили нашего брата знахари да солдаты. Жили мы въ деревнѣ, мельницу держали — большая была мельница. Вотъ и лечилъ меня одинъ такой-то лекарь. И мазалъ, и пить давалъ, и за ноги трясъ, — словомъ, окончательно все нутро мнѣ испортилъ, такъ что съ тѣхъ поръ безпрестанно я лечусь и безпрестанно страдаю, даже и сейчасъ лекарство со мной... Н-ну, хорошо. А живу я, надо сказать, съ женой, съ дѣтми подъ уѣзднымъ городомъ Сусаловымъ, на мельницѣ. Въ городъ ѣзжу часто. Вотъ года три тому назадъ познакомился я въ городѣ съ аптекаремъ. Пріѣхалъ какой-то новый аптекарь. Думаю: «дай пообзнакомлюсь, не поспособствуетъ ли онъ мнѣ насчетъ живота». Познакомились. Человекъ молодой, хорошій, добрый парень. Выслушалъ меня, подумалъ и далъ пилюли... Далъ коробку. «Принимай, говоритъ, такъ-то и такъ-то. Того-то не ѣшь, того-то не пей». Наставилъ... Вотъ сталъ я принимать; вижу — лучше. Коробку опросталъ, другую, такъ и пошло. Только вышло такое дѣло, что нутро-то у меня стало требовать этихъ пилюлей все больше да больше. Какъ чуть не хватаетъ — смерть. И стало такъ, что бывало коробку-то въ недѣлю изведешь, а тутъ и на день не хватаетъ. Стали мы съ аптекаремъ толковать; подумалъ онъ: «опасаюсь я, говорить, какъ-бы чего не вышло» — ну, однакоже сталъ отпускать на свой страхъ. И сталъ онъ мнѣ такіа пилюли дѣлать, что въ одну по три порціи дѣлалъ лекарства, а наконецъ того, началъ вертѣть что... съ грецкій орѣхъ, стало быть на одинъ приемъ. Глотаю ихъ — ничего, вреда нѣту. Вдругъ, судари мои, уѣзжаетъ мой аптекарь. «Куда?» — «Такъ и такъ, проторговался. Нѣтъ расчегу! Надо поискать счастья гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ». Жаль мнѣ его было, добрый парень, да и помогалъ мнѣ, а дѣлать нечего — уѣхалъ. Сталъ я опять кое-какъ лечиться, все по докторамъ, все по докторамъ...

Проходить такимъ родомъ съ годъ или съ полтора, и надумали мы съ женой выстроить домикъ въ губернскомъ городѣ... Сами знаете, ребяташки подрастаютъ, учить надо. Хочется какъ лучше, да и не бѣднѣемъ — славу Богу, найдется, чѣмъ заплатить. Подумали-подумали, съѣздили, купили мѣсто и стали строиться. Вотъ я и ѣзжу на постройку-то — когда дня на три, когда дней на пять. Частенько и въ Москву приходилось ѣздить за матеріаломъ. Губернскій-то городъ стоитъ на машинѣ, всего отъ Москвы восемьдесятъ верстъ, три часа ѣзды. Вотъ я и рассчиталъ, что мнѣ выгодѣй въ Москвѣ матеріалъ-то брать, то-есть, напримѣръ, гвоздь, скобу и все прочее по обиходу... Вотъ такимъ-то родомъ ѣду я разъ въ Москву, глядь — сидитъ въ вагонѣ мой аптекарь... «А, другъ любезный! откуда? какъ, что, куда?»... Обрадовались оба. Ну, слово за слово, онъ мнѣ про свое, а я ему про свое. Былъ, вишь, въ какомъ-то городѣ, да опять не появилось, ѣдетъ въ Москву. Ну, и я ему рассказалъ, что вотъ молъ строюсь. Запла рѣчь и на счетъ болѣзни. «Братецъ ты мой, говорю, сдѣлай Божескую милость, нельзя-ли отецъ родной, пирюлекъ мнѣ твоихъ приспособствовать! Смерть моя!»

— Пожалуй, говорить, можно. Приѣду, говорить, въ Москву, зайду въ аптеку, куплю всякаго снадобья, что требуется, сработаю у себя дома и дамъ тебѣ. — Ну, уговорились, гдѣ и какъ встрѣтятся. — Приходи, молъ, послѣ-завтра въ Патрикѣвскій трактаръ, съѣдимъ селяночку, поговоримъ, вспомянемъ.. Я, молъ, тебѣ и пирюли передамъ. — Хорошо.

Разсказъ на минуту былъ прерванъ появленіемъ того самаго парня, который недавно разсказывалъ объ убійствѣ. Онъ проворно сбѣжалъ съ лѣстницы и остановился въ дверяхъ.

— Ты чего? спросилъ у него буфетчикъ.

— Да ничего, такъ пришелъ.

— Обыграли видно?

— Когда-нибудь и мы обыграемъ, отвѣтилъ парень и, прислонившись къ притолкѣ плечомъ, сталъ чесать одну босую ногу о другую.

— Н-ну, говорю, хорошо, продолжалъ разсказчикъ. — «Хожу я по Москвѣ, закупая товаръ, все честь честью; наконецъ въ показанное время иду въ Патрикѣву. Прошелся по комнатамъ — нѣтъ моего пріятеля. Сѣлъ, жду — нѣтъ! Жду и часъ, и два; наконецъ ужъ и неловко. Потребовалъ порцію, сѣлъ — уходить надо. На грѣхъ адреса-то его не спросилъ. Думаю, надо еще день остаться, потому лекарство-то ужъ больно требуется; остался и опять въ тотъ самый часъ въ Патрикѣвскій пошелъ — нѣтъ! Опять нѣтъ. Ну, дѣлать нечего, надо ѣхать. Поѣхалъ... Поѣхалъ я не домой, а въ городъ, потому матеріалу закупалъ — банки, стеклянки разныя, коробки... Думаю, какъ-нибудь переночую — въ кухнѣ-то ужъ и печь была, и рамы. Вотъ пріѣхалъ. Сторожъ у меня былъ изъ мужиковъ. Родіономъ звать. Плотниковъ человекъ десять... Ужъ спать собрался... Пріѣхалъ и говорю Родіону: «Поставь-ка, братъ, самоварикъ!». И вижу я, что что-то какъ-будто онъ

на меня не такъ смотритъ. Все былъ услужливъ, старателенъ, а тутъ, вижу, что-то неладно... Не то дѣлаетъ, не то не дѣлаетъ....

— Глядитъ какъ-то. Сказалъ я ему: «Поставь-ка вонъ этотъ ящикъ отъ печки подалѣ, а то какъ бы отъ огня не разгорѣлось, храни Богъ»... Потому политура была въ ящикѣ-то, спирты... Сказалъ я ему, а онъ такъ и выпучился на меня. То на меня глядитъ, то на ящикъ. Поглядѣлъ, поглядѣлъ и ушелъ. Вотъ жду его такъ съ четверть часа — нѣтъ. Пошелъ въ сѣни, самоваръ стоитъ холодный. Думаю, не за вѣткой ли ушелъ? Позвалъ — нѣтъ отвѣту. Истинно чудеса творятся! Досталъ балыкъ — захватилъ я его изъ Москвы фунта два, хорошій осетровый балыкъ, восемь гривенъ фунтъ — досталъ балыкъ, хлѣба отрѣзалъ ломоть, да на бѣлый-то хлѣбъ и положилъ его, вродѣ бутерброду. Положилъ, значить, перекрестился и только-было, Господи благослови, ротъ разинулъ, гляжу — какъ есть вокругъ всего дому засвистали въ свистки, затрещали, заверещали, а плотники въ окна рыла пялятъ... Бросилъ я этотъ бутербротъ, сунулся было въ дверь, хватъ — и наскочилъ на бляху. И Родіонъ тутъ, указываетъ на меня и говоритъ: «Вотъ онъ!». Меня и спанили человекъ восемь народу. Спанали и поволокли... И кричу, вопію: «Что такое, помилуйте...» — «Тамъ разберутъ!» — «Хотъ одѣться-то, говорю, дозвольте — холодь, осень!» — «Тамъ у насъ дамскаго полу нѣту!»... Видѣлись, хотъ что хотъ! Не понимаю. Думаю — не придумаю. Волокутъ! А кругомъ плотники, рабочіе, сторожа, дворники... Господи, Боже нашъ! Что такое, за что? «Помилуйте, вопію, я купецъ, домохозяинъ, капиталъ вишь... У меня дѣти... Супруга...» А мнѣ въ отвѣтъ: «Въ Москвѣ у такого-то молъ вокзала тоже домохозяеважили, тоже съ супругами»... Какъ услышалъ народъ про это самое, та-а-къ и надвигается! Вижу я, дѣло худо, попалъ я въ кашу, а въ какомъ она смыслѣ — и не знаю... Какъ про дорогу-то упомянули, такъ у меня и у самого-то духъ замеръ. Ни въ чемъ не виновенъ, разрази меня громъ, ежели я... Самъ со слезами моими... и кровь свою отдамъ... Чистъ предъ Богомъ весь, а испугался! «Ну-ка, думаю, какое-нибудь окажется ксаніе. Богъ его знаетъ? Что такое? Что будетъ? Все нутро такъ у меня и занялось холодомъ... Думаю: Храни Богъ за жену возьмутся — умереть! Вѣдь съ единого взгляду кончится. А какъ узнаеть, тоже обомреть». Окончательно сказать, обомлѣлъ и ничего не помню, не понимаю, тряусь, и безъ шапки... Шелъ-шелъ... Вдругъ мнѣ и вступи мысль: «А что, какъ все одно разбойство? Вѣдь былъ же въ Москвѣ случай: тоже вотъ такъ-то пріѣхали на Рогожское кладбище въ полной формѣ, захватили деньги и уѣхали, а наконецъ того оказалось, что пріѣхали воры». Вступи мнѣ это въ голову — меня и рвануло за сердце: «Что молъ я за дуракъ такой — дался въ обманъ! Вѣдь дома деньги остались, сотъ семь съ прибавкой... Что же я дурака-то строю?». Какъ вступило это мнѣ въ мыслъ, думаю: «Не распорядиться

ли мнѣ своимъ средствѣмъ?» А вы сами, господа, видите, кажется, не похожъ я на грудного ребенка... (Рассказчикъ поднялся во весь свой гигантскій ростъ, тряхнулъ исполнинскими плечами и стремительно засучивъ рукавъ, обнаружилъ огромный кулачище)... Кажется, можно назвать, что имѣю свой матеріалъ? А тутъ, въ такомъ дѣлѣ, такъ у меня сразу прилинуло силищи во всѣ мѣста: и въ шею, и въ грудь, и въ ноги, и въ кулакъ вступило такое желѣзное расположеніе духа, что я, не долго думая, ка-акъ треханулъ, да ка-акъ почалъ лудить, да какъ почалъ вклеивать, да какъ почалъ конопатить, надставлять да притюкивать, прикозачивать да засмаливать, какъ почалъ раздавать лещей, судаковъ и осетровъ кому въ ность, кому въ лобъ, кому въ разные мѣста — гляжу: распространено вокругъ меня пространство и стою я, какъ Мининъ-Пожарскій на Красной площади, въ одной рубахѣ, а народъ въ прочихъ мѣстахъ какъ рыба бьется на сухомъ берегу: стало-быть, кто головой воткнулся въ дужу, кто въ плетнѣ застрялъ, выбивается не выбьется — словомъ сказать, расшвырнулъ я нечистую силу такъ, что можно сказать — яко таетъ воскъ! Сталъ я по срединѣ этого самаго плацъ-параду и говорю: «Что вы со мной, разбойники, затѣяли?».

Великолѣпнѣе былъ гигантъ-купецъ въ эту минуту, но еще великолѣпнѣе былъ парень, который слушалъ рассказъ купца. Когда купецъ говорилъ о томъ, какъ онъ «наклеивалъ» и «притюкивалъ», дѣлая при этомъ соответствующіе жесты — и руки, и ноги, и весь корпусъ парня такъ и ходили ходенемъ; смотря на купца, парень никакъ не могъ удержаться отъ подражанія его жестамъ, двигалъ локтями, совалъ кулаками въ пространство и не разъ попадалъ въ тонкую красного дерева дверь каюты. «Ты что тутъ дверь-то ломаешь, истуканъ этакой!» сурово замѣтилъ ему буфетчикъ; но парень хотя и оглянулся на него, но видимо ничего не понялъ изъ его словъ, да и купецъ также вошелъ въ такой азартъ, что ни на парня, ни на буфетчика, ни на публику, которая не могла удержаться отъ улыбки, не обращалъ никакого вниманія.

— Что вы тутъ затѣяли, безсовѣстные? — продолжалъ онъ внѣ себя. — Гдѣ такіа права? Нешто можно такъ по закону? Что за разбойство такое... Только подступись, убью на мѣстѣ! Расшибу безъ остатка... Читаю имъ этукую راцію, а того и не вижу, что стали они опоминаться, да опять ко мнѣ. Глянулъ назадъ, а тамъ ужъ эскадра-то эта самая и подилыла. Подилыла, да какъ навалится на меня сзади, да какъ подосениетъ — только я и свѣту видѣлъ!.. «А, такъ ты при исполненіи обязанностей! А-а-а, такъ ты такими дѣлами занимаешься?.. Ящикъ у тебя»... — «Коли такъ, вышибай, ребята, изъ купчины дно! (парень прыснулъ со смѣху, но удержался)... Вышибай ему динище!..» И пошло... Свистки верещать, трещетки трещать, колотушки стучать, а изъ лба у меня огонь брызжетъ, изъ ушей огонь, а шею все одно каленымъ желѣзомъ некутъ... Слышу: «Объ немъ строгая телеграмма... У него ящикъ»... — «Братцы, кричу,

тамъ политура!»... «А-а-а, гудятъ, политура! Раздѣлывай его, ребята, подъ орѣхъ!» (Парень не вытерпѣлъ, прыснулъ со смѣху, хотѣлъ высочлѣ въ корридорчикъ подъ лѣстницей и, со всего размаху треснувшись о притолку головой, буквально со смѣху покатился подъ лѣстницу. Рассказчикъ сурово поглядѣлъ на него, но продолжалъ.) И раздѣляли, братцы мои! Такъ раздѣляли, что и не помню, и не знаю и что такое, что, гдѣ, куда. Живѣ-ли я, померъ-ли — ничего не знаю! Ужъ только такъ... (рассказчикъ согнулся, опустилъ безпомощно руки и сталъ говорить какъ то беззвучно, точно какимъ-то утробнымъ дыханіемъ)... Ужъ еле-еле... Господи! Батюшка... Матушка... Безсловесно и бездыханно... И ужъ несли-ли меня, или самъ шель — ничего не помню... Знаю одно: очутился я въ темномъ мѣстѣ и весь боленъ; всѣ суставы ноютъ, всѣ кости болятъ — окончательно жду смерти (рассказчикъ медленно опустился на диванъ). Вспомнить — такъ и то страшно, передъ Богомъ, а не то что... — Ну-ка, любезный, дай-ко мнѣ лимонаду да рюмочку коняку!..

Последнюю фразу, обращаясь къ буфетчику, рассказчикъ произнесъ утомленнымъ голосомъ; но тотчасъ-же перемѣнивъ тонъ, усталый на парня и сказалъ не безъ нѣкотораго раздраженія въ голосъ:

— Ты чему, Ерусаланъ этакой, радуешься? Ты чего тамъ ржешь? Радъ, что купца-то прижучили. Любо?.. Какъ вамъ не любо! Первое для васъ удовольствіе, игра. Робята малые... Знаю я насъ довольно хорошо... Онъ ребенокъ (рассказчикъ обращался къ публикѣ), а вотъ возьметъ тринадцати четвертой дубину, такъ съ одного маху человека прекратитъ, а потомъ въ деревнѣ, какъ малый ребенокъ, на одной ногѣ скачетъ, въ городки играетъ... Дитѣ... стоеросовое! Пороть-то васъ нонѣ стало некому!..

— Н-ну! какъ-то обидѣвшись, промычалъ парень изъ корридорчика.

— Чего — ну?.. Я видѣлъ, какъ ты ржалъ-то.

— Чего ты тутъ толчешься? сказалъ парню буфетчикъ мимоходомъ, подавая купцу лимонадъ на подносѣ. — Не твое тутъ дѣло, пошелъ къ своему мѣсту.

— Куда я пойду?

— Пошелъ, говорятъ тебѣ!.. Всѣ двери обломалъ тутъ... Убирайся!!!

Парень нехотя поплелся по лѣстницѣ вверхъ, но не ушелъ, а сѣлъ на верхней ступенькѣ.

— Скажите, пожалуйста, сказалъ одинъ изъ военныхъ, — куда же дѣвался вашъ аптекаръ?

Рассказчикъ выпилъ лимонадъ, отеръ бороду и усы и сказалъ:

— А аптекаръ-то — эво ужъ гдѣ въ эфто время! Ужъ онъ, братъ, къ Соловецкимъ монастырямъ подкатывается на курьерскихъ... Его ужъ мчатъ на всѣхъ парусахъ, а за что — и самъ не знаетъ! «И за что, говорятъ, самъ не знаю! Думаю — ничего не придумаю!» Это ужъ послѣ онъ мнѣ рассказывалъ... Какъ пріѣхалъ я, говорятъ, въ Москву, взялъ номеръ, сходилъ по дѣламъ, закупилъ припасу, накаталъ пилюль, да случись что-то,

какая-то задержка, къ Патрикѣеву-то онъ не попалъ. Не попалъ къ Патрикѣеву, адреса моего тоже у него нѣту; вотъ онъ взялъ, обшилъ коробку, написалъ адресъ и думаетъ, что «отправлю, молъ, завтра». Только-что онъ это все удѣлалъ—дѣло было подъ вечеръ—глядь, пришелъ къ нему пріятель. «Поѣдемъ, говорить, къ арфисткамъ за городъ!»—«Поѣдемъ!» Сѣли на извозчика, поѣхали. Ну, само собой, и швеекъ какихъ-нибудь тамъ присоединили къ себѣ для компаніи, холостымъ дѣломъ... Попили, погуляли, провели время, и воротился мой аптекаръ съ болышущей мухой... Какъ пришелъ, говорить, повалился, такъ и захрапѣлъ. Слышу, гремятъ въ дверь что есть мочи... Такой трескъ и громъ. Какъ ни былъ имелень, а очнулся... Ужъ утро на дворѣ. Очнулся, отворилъ—хватъ, анъ эта самая эскадра средиземная и вплыла. — «Пожалуйте!» — «Куда?» — «Туда-то». — «Помилуйте, что же такъ, по какому дѣлу?» — «А ужъ это тамъ видно будетъ!» Аптекарь мой спяну-то забурлилъ-было, а ему говорятъ: «Хуже будетъ! Ужъ лучше добромъ...» Что тутъ дѣлать?.. Одѣлся, идетъ, да и схватись пирули спрятать. Какъ сталъ онъ прятать, а у него спрашиваютъ: «А это что такое?» — «А это, говорить, такъ»... И прячетъ. Тѣ видятъ, что человѣкъ прячетъ что-то—отнимать. Аптекарь не даетъ, боится—ну-ко расслѣдуютъ... А пирули-то вредныя и на коробы-то его имя и фамилія поставлены—вотъ онъ и уперся. «И оставить-то, говорить, въ нумерѣ тоже побоялся: думаю, начнетъ кто-нибудь любопытствовать, проглотить — анъ и бѣда...» Вотъ онъ и хотѣлъ спрятать къ себѣ въ рукавъ... Анъ нѣтъ, не дали! Кончилось тѣмъ, что одинъ изъ гостей треснулъ его по плечу, коробка-то и выпала. Тѣ подхватили и поѣхали. Пріѣхали въ канцелярію, и не прошло полчаса, какъ подошли къ моему аптекарю, спросили фамилію—да на тройку, да маршъ... И пошла писать.

— Да что-жъ это за безобразіе такое? Можетъ-ли быть что-нибудь подобное? воскликнулъ одинъ изъ военныхъ.—Это просто какая-нибудь ошибка нелѣпая.

— А то что-же? Само собой, что ошибка. Нешто безъ ошибки-то можно такъ-то?... Только вотъ кто тутъ ошибку-то далъ, вотъ это-то намъ и неизвѣстно!

— Но вѣдъ внослѣдствіи-то обнаружилось-же, что все это вздоръ?

— А то какъ-же? Обнаружилось, ужъ это не беспокойтесь — и даже такъ, что вполнѣ ясно обозначилось, а только, говорю вамъ, теперича-то мы ничего не понимаемъ... Аптекарь въ умъ не возьметъ, что такое, только за печонку хватается—думаетъ, какъ-бы не отшибли; да и я-то вотъ очнулся и тоже ничего не понимаю, ничего вздумать не могу...

— Но какъ-же все это разъяснилось?

— А вотъ вы слушайте... Ужъ все по порядку... Какимъ родомъ и куда меня опосля этого побойща предоставили, этого ужъ я вамъ рассказывать подробно не буду. Одно скажу — много я страху

напримался, а что обиды—нѣтъ, не видалъ. Прямо сказать, вѣжливость, благородство, тонкое обращеніе.. Я думалъ, хуже будетъ, а на мѣсто того тутъ-то и началась самая разборка.

— Вотъ про это-то, присовокупилъ буфетчикъ,—я и говорю. Сначала надо разобрать дѣло, а не зря...

— Ну, вотъ-вотъ, подтвердилъ рассказчикъ.— Вотъ все такъ и вышло по вашему... Какъ предсталъ я, значить, съ разбитымъ ликомъ—потому всю голову я мокрыми тряпками обматывалъ—членъ-то меня и спрашиваетъ: «Что такое съ вами? Чѣмъ вы нездоровы?» — «Да избили, говорю, ваше сіятельство!» — Какъ? Что такое? Ну, я ему и рассказалъ. Онъ такъ и ахнулъ: «Да на какомъ же основаніи? Какъ смѣли...» «Я говорю: «Сказываютъ, бумага есть у нихъ». — «Ахъ, мерзавцы!» И пошелъ браниться... Бранилъ-бранилъ, наконецъ-то, спрашиваетъ: «Скажите, пожалуйста, что это такое?». И показываетъ мнѣ пирули эти самыя... Я было спервоначалу уперся, потому ничего мнѣ неизвѣстно. «Ну-ка, думаю, аптекаръ-то втесался въ какую исторію? Вѣдъ нонѣ какое время-то! И что мнѣ будетъ, ежели окажу знакомство съ нимъ?» Вотъ я и говорю: «Не знаю молъ, что такое?» — «А не знаете ли, говорить, какого-нибудь Лаптева?» А Лаптевъ-то и есть аптекаръ. «Нѣтъ, говорю, не знаю!» Тогда онъ вынулъ мѣшокъ, въ которомъ пирули зашиты были, и показываетъ мнѣ, а на мѣшкѣ-то надпись: *Ивану Ивановичу Попову. Посылка на одинъ рубль отъ Лаптева*. «Вѣдъ вы, говорить, Поповъ-то?» — «Я.» — «А посылка вамъ?» — «Стало быть мнѣ.» — «Ну, стало-быть, и Лаптева знаете?»... Тутъ я вижу, что попался и говорю: «Виновать, ваше благородіе, знаю.» — «Отчего-же вы сразу не признались?» — «Да боюсь, ваше благородіе!» — «Чего же вы боитесь?» — «Да и самъ не знаю!» — «Однако?» — «Да всего, говорю, боюсь я, ваше сіятельство. Потому измордовали меня, а доискаться ничего не дойду...» Ну, засмѣялся онъ и говорить: «Вы не опасайтесь, а говорите чистосердечно...» — «Спрашивайте, все открою!» Вотъ онъ и спрашиваетъ: «Зачѣмъ вамъ отравленные пирули?» — «Какъ отравленные?» говорю. — «Да вѣдъ это такія пирули, что умереть можно... Вѣдъ это, говорить, не то что человѣкъ, а и лошадь свалится отъ такихъ пируль. Зачѣмъ онѣ были вамъ нужны?..» — «Лечусь, говорю. Жалудкомъ страдаю!» — «Но вѣдъ это отравы!» — «Помилуйте, сохрани Богъ! Я привыкъ постепенно... Окромѣ облегченія ничего не вижу.» — «Ну, а кто ихъ дѣлалъ?» — «Аптекарь, мой пріятель»... — «Расскажите все, какъ было». Я и рассказалъ все про аптекаря... Говорю: «Обѣщался принести въ Патрикѣевской трактиръ, а на мѣстотого, не знаю, куда скрылся, не пришелъ...» — «Гдѣ-жъ, говорить, теперь этотъ вашъ аптекаръ?» — «А это ужъ, говорю, ваше благородіе, мнѣ неизвѣстно!»... Думалъ-думалъ, рылся-рылся въ бумагахъ, въ звонки звонилъ... Гляжу, привели какого-то молодого человѣка... (Незадолго передъ этимъ молодой человѣкъ, съ которымъ я познакомился

на желѣзной дорогѣ, все время внимательно слушавшій рассказчика, поднялся съ дивана, надѣлъ пальто при послѣднихъ словахъ рассказчика и на цыпочкахъ вышелъ изъ каюты). Пришелъ онъ, членъ-то меня и спрашиваетъ: «Этого, говорить, господинъ, дѣлалъ вамъ пирюли?» Поглядѣлъ, вижу—совсѣмъ чужой человѣкъ. — «Никакъ нѣтъ, говорю!.. Я изъ даже и въ глаза не видалъ.» И молодой человѣкъ то же самое говоритъ... Показали ему пирюли, поглядѣлъ онъ: — «Ничего, говорить, я не понимаю!»... Тогда членъ опять порылся, порылся, позвонилъ въ звонки, пошептался съ тѣмъ, съ другимъ, молодого человѣка отпустилъ, а мнѣ говоритъ: «Да, тутъ вышла ошибка... Ужъ вы не будьте въ претензіи!» — «Помилуйте, говорю, я радъ, что хоть живъ-то остался!» — «Дѣло, говорить, въ томъ, что у насъ есть Лаптевъ, вотъ этотъ молодой человѣкъ, который замѣченъ на худомъ счету. Вотъ мы и думали, что пирюли-то онъ приготавливалъ... А такъ какъ доктора дознались, что онъ отравивъ, вредный, то мы и думали, нѣтъ-ли тутъ чего... На адресѣ было ваше имя, вотъ мы и дали знать... А тѣ дураки, чортъ знаетъ чего натворили!» — «Да, говорю, ваше сіятельство, ужъ вѣкъ не забуду!» — «Что дѣлать! Дураки, невѣжи... а время-то, сами знаете, какое»... — «Да, говорю, время точно—не разбери Богъ!»... — «Н-ну, тутъ я приободрился да и спросилъ: — «А гдѣ-же молъ, ваше благородіе, аптекаръ-то мой?» — «А это, говорить, надо разузнать... Тутъ тоже, говорить, какая-нибудь ошибка вышла...» И сталъ онъ мнѣ рассказывать: «Должно-быть, вышла какая-нибудь путаница въ канцеляріи... Вотъ этому молодому человѣку тоже фамилія Лаптевъ, и надо было его препроводить. А препроводили-то, должно-быть, вашего аптекаря... Впрочемъ все это разберется...» — «Ну, а мнѣ-то, говорю, какъ теперь-ка быть?» — «А вы можете идти»... — «Совсѣмъ!» — «Совсѣмъ, куда угодно... Вышла просто нелѣпная ошибка!»

— Н-ну, конечно! съ достоинствомъ и какъ бы съ облегченнымъ сердцемъ сказалъ военный. — Разумѣется!

— Да, продолжалъ рассказчикъ, — ошибка, говорить! Ну, думаю, слава тебѣ Господи! Подобралъ полы — ночь на дворѣ была — прямо на машину да чрезъ городъ-то проклятый, закрывши лицо, на извозникѣ—прямо на хуторъ. И въ домъ-то даже не заѣзжалъ, да и сейчасъ жить не охота, передъ Богомъ говорю! Кабы кто купилъ, за свою бы цѣну отдалъ... Приѣхалъ на хуторъ, заперся на замокъ—ни работниковъ, ни приказчиковъ, никого къ себѣ не допускаю; даже и жену, и семейство отдѣлилъ отъ себя... Очувствоваться не могу, отдѣлаться не отдышусь, и суставамъ-то не дѣйствую. Поѣмъ, лягу и сплю; поѣмъ и спать—только и охоты.

— На томъ и пошавшиль? спросилъ одинъ изъ живорѣзовъ.

— Какъ-же! Больно ты скоръ. Пошавшиль!.. Ты слушай, что дальше будетъ...

— Неужели еще не кончилось? спросилъ военный.

— Да тутъ и кончатся-то нечему... Сами видите, все ошибка да ошибка, а корень-то дѣла еще не виденъ. Вы глядите, какой корень-то вылупися!

— А гдѣ аптекаръ?

— Все будетъ! Только что по порядку надо... Скоро и аптекаръ объявится... Маленечко повремените, анъ аптекаръ-то тутъ и есть. Вотъ хорошо. Сажу я на хуторѣ мѣсяцъ, ѣмъ, сплю, да въ банѣ суставы расправляю... Домъ въ городѣ препоручилъ племяннику. И ужъ задалъ же онъ всѣмъ этимъ канальямъ звону! Ухо парень у меня! Ну, да это до дѣла не подходитъ... Сажу, говорю, мѣсяцъ, отдыхаю, опаматываюсь; гляжу, охнова ѣдетъ верховой... Заекало мое сердечушко! Господи, помилуй насъ грѣшныхъ! Что такое? Подаетъ повѣстку: «Пожалуйте въ судъ!» — «За что?» — «А тамъ сказано!» Почиталъ и вижу—привлекаютъ меня къ отвѣту за оскорбленіе при исполненіи обязанностей... Ладно. Прочиталъ, росписку далъ... Тутъ меня и рвануло за сердце: «какъ такъ?» думаю. — Какія же это такія обязанности? Меня будутъ колотить, а я отвѣчаю?.. Это, значитъ, обязанности, ежели мордовать зря? «Ну, думаю, нѣтъ, ребята-ши!» Довольно, поиграли—и будетъ! Ежели меня самъ высшій членъ оправдалъ, отпустилъ невиннымъ домой, такъ ужъ вамъ-то я не дамъ!» Заложилъ тройку—и въ городъ! Телеграмму въ Москву—адвоката! Мордобой противъ мордобоею—искъ! «Дѣлай, говорю, тысячи рублей не пожалѣю!» И заварили кашу... Назначается судный день, приѣзжаю; приѣхали мы съ женой. Подкатили къ суду рано еще, въ девятомъ часу, а судъ-то въ двѣнадцать. Сѣли на крылечкѣ, ждемъ. Гляжу — и аптекаръ объявился! Идетъ, еле ноги волочить; обносился, исхудалъ, словно нишій. «Ты откуда?» — говорю. — «Да и самъ не знаю! Здоровье потерялъ, въ ногахъ ревматизмъ, еле, говорить, живъ!» И точно, одышка у него и кашляетъ... Сѣлъ онъ тоже на ступеньку съ нами, я и говорю ему: «Ну, братъ, достались мнѣ твои пирюли! нечего сказать, буду помнить!» А онъ мнѣ: «А мнѣ-то, говорить, какво было!» И расскажи онъ мнѣ все, какъ было, то-есть отчего онъ къ Патрикѣеву не поспѣлъ и все прочее, что я рассказывалъ... «До сихъ поръ, говорить, плечомъ не дѣйствую, какъ онъ меня тогда треснулъ кулакомъ, какъ коробокъ-то отымалъ!» — «Да ты зачѣмъ не отдавалъ-то?» — «Боюсь! Незаконныя пирюли-то... Вѣдь только по знакомству дѣлалъ, что знаю твою комплекцію, а онъ отымаетъ»... — «Да изъ-за чего, спрашиваю, дѣло-то вышло?» — «То-то и есть, что я самъ-то ничего дознаться не могъ... Примчали меня на край свѣта, а тамъ телеграмма: «воротитъ! Это — не тотъ!» Вотъ воротился я и сталъ дознаваться въ канцеляріи... Рылись-рылись, копались-копались, и наконецъ того, ужъ кой-какъ да кое-какъ и дорылись до корня. И что-жъ ты, братецъ мой, думаешь? Ну, какъ тебѣ кажется, изъ-за чего бы это вышло?» — «Почемъ мнѣ знать! Я и самъ еле-еле дознался.» — «Вѣдь это все, говорить, изъ-за подлеца Липаткина!» А Липаткина, надо сказать, существуетъ въ нашемъ городѣ купецъ... Такъ, скал-

дырникъ — больше ничего, выжига — одно слово. «Какъ такъ изъ-за Липаткина?» спрашиваю. — «А вотъ какъ, говорить. Вѣдь у него, у дурака, нанималъ я квартиру-то, когда аптеку-то держалъ въ Сусаловѣ?» — «У него». — «Ну, и былъ у насъ такой контрактъ, чтобы перекрылъ я ему крышу... Ну, а какъ дѣла мои не пошли въ ходъ, я и выѣхалъ вонъ изъ города, а крышу-то не перекрылъ, потому, думаю, какъ выѣзжаю я раньше срока и за четыре мѣсяца у меня заплачено впередъ ему, то пущай лучше они пропадаютъ... Сдалъ заведение и уѣхалъ, а Липатка-то вѣдѣлся въ этотъ пунктъ, вздумалъ взыскивать... Разыскалъ какого-то писаришку, тотъ и настроилъ жалобу въ Петербургъ, въ медицинскій департаментъ, такъ и такъ молъ, прошу понудить аптекаря... А въ медицинскомъ-то департаментѣ и разбирать не стали — прямо по мѣсту жительства, въ губернію... А въ губернію-то, въ управѣ, къ одной бумагѣ приладили другую, ужъ въ уѣздъ, «вытребовать аптекаря для объясненія...». Пришла бумага въ уѣздъ, а въ уѣздѣ-то меня нѣтъ, вотъ и третью бумагу настроили: «разыскать аптекаря и препроводить», да и ахнули въ Москву... Вотъ въ Москвѣ-то меня и разыскивали... Какъ только я пріѣхалъ, далъ билетъ прописать, меня и спалили... А тутъ эти шарюги — отнимаютъ, а я не отдаю, прячу... Заподозрили... А въ канцеляріи, въ суматохѣ, тоже ошиблись... Такъ и пошло все къ чорту! Воротился теперь въ номера, всѣ вещи разворовали, изнасили... То есть не знаю, за что и взятыся, — остался съ пустыми руками!...» — «А теперь-то зачѣмъ ты здѣсь?» — «Да взыскиваетъ этотъ дуракъ»... — «Все за крышу?» — «Все за нее... Подай, говорить, тридцать четыре съ половиной!..» Ну, да я ему и гроша не даю, а еще съ него взыщу за четыре мѣсяца... Я самъ началъ противъ него... У меня тоже дѣло тутъ, и я тоже, братъ, окопался канавой! Держись крѣпче, а потомъ поѣдемъ ко мнѣ отдыхать!... Ну, началось дѣло... Сначала разобрали аптекаря съ Липаткинымъ — оправдали! Пошелъ Липаткинъ ни съ чѣмъ. Ну, а потомъ мое пошло... Ужъ тутъ было дѣло! Ужъ мой московскій орелъ показалъ, гдѣ раки зимуютъ, ужъ онъ ихъ такъ отработалъ, лучше требовать нельзя... Даже прокуроръ всталъ, говорить: «Нѣтъ, я, говорить, не могу, отказываюсь»... А мой-то не унялся, да опять ихъ молодъ-молодъ, толочъ-толочъ, теръ-перетиралъ... До того довелъ, встали всѣ, единогласно. «Нѣтъ, невиновенъ!» Шабашъ!..

— Статья есть такая, отрывисто перебилъ одинъ изъ живорѣзовъ: — «По совокупному мордобой и взаимному оскорбленію не виновны».

Ну, вотъ-вотъ! Нѣтъ, невиновны, потому мордобой было взаимообразное — ступайте по домамъ!... Вотъ мы и вышли на улицу. Вышли всѣ: и эскадра средиземная, и плотники, и дворники... Вышли и стоимъ... И столпилось насъ, дураковъ, человѣкъ шестьдесятъ... Передрались мы всѣ какъ самые послѣдніе прохвосты, а выходя изъ всѣхъ милашцы невинные... Стали и молчимъ, какъ столбы. Вдругъ Родіонка подходитъ безъ шапки. «Ви-

новать, ваше степенство!» — «Ты что-жъ, говорю, дуракъ эдакой, сдѣлалъ?» — «Помилуйте!.. Намъ сказано: дать знать, потому бумага... Что намъ приказываютъ, то мы и исполняемъ... Ужъ не помните, возьмите опять!.. Явите божескую милость... Насъ тоже не хвалить». За Родіонкой — плотникъ: «Ужъ ты не попомни... Вѣдь по нынѣшнему времени, самъ знаешь... Опять же намъ скзывали: «Караульте, молъ, его — въ нехорошихъ дѣлахъ попался»... Ужъ ты тово...» — «Это ты что-ли, дуракъ, спрашиваю, подь орѣзъ-то меня раздѣлывалъ?» — Ужъ тутъ всѣ... Ужъ ты-бы... Да вѣдь и ты тоже на свой пай раздѣлалъ нашего брата не худо... Вѣдь у тебя тоже кулачище-то...» За плотникомъ и командиры: «Это — недоумѣніе, извините...» — «Вы за что-же мнѣ снйковъ-то насажали?» — Но и вы, говорить, тоже мнѣ щеку раскроили... Мы дѣйствовали совершенно — у насъ телеграмма. А вы треснули меня... Это не болѣе какъ недоумѣніе... Мы всегда... Такъ какъ вы домовладѣлецъ, то очень жаль...» И аптекаря тоже обступили; Липаткинъ говоритъ: «Не взыскивай съ меня, помирися!» А писарь изъ участка говоритъ: «Вы знаете, какое время? Тутъ, говорить, каждый день только и дѣлаешь, что съ утра до ночи пишешь: «немедленно», да «разыскать», да «представить»... Такъ тутъ не мудро и ошибиться... Такое время... Столпились тутъ всѣ въ кучу и галдятъ: «Времена понѣ какія... Коли ежели-бы не времена... Мы всегда... почитаемъ, уважаемъ... Недоумѣніе...» И вижу я, что хотятъ всѣ эти дуракомы на водочку. Какъ-же дѣйствовали всѣ съ усердіемъ, никто не виноватъ оказался, а угощенія нѣту? Самый бы разъ порюмочкѣ. «Нѣтъ, говорю, друзья пріятные, кабы вы не были дуракомы и остопопы, то и времена-то были-бы другія... И времена-то были-бы не такія, кабы у васъ, у подлецовъ, совѣсть была...» И ушли съ аптекаремъ... Такъ они и остались безъ угощенія.

— Все? спросилъ буфетчикъ.

— А тебѣ что — мало что-ли?

— Да, сказалъ военный, — чортъ знаетъ что!.. Дурманъ какой-то...

— А бываетъ-съ! Передъ Богомъ, бываетъ! со вздохомъ проговорилъ тотъ купецъ, съ которымъ буфетчикъ велъ разговоръ въ началѣ. — И даже очень частенько... ошибаются!.. Потому ежели человѣкъ не знаетъ ничего, не понимаетъ и въ то же самое время бонится безпрестанно, то все можно...

— А охотниковъ, прибавилъ гигантъ-разсказчикъ, — чтобы наприѣтъ эдакимъ манеромъ (онъ засучилъ рукава), хоть прудъ пруди! . . .

И тутъ начались воспоминанія о разныхъ подобныхъ разсказанному случаяхъ, и скоро въ каютѣ стало необычайно душно — душно не отъ табаку, которымъ въ каютѣ дѣйствительно было накурено, а именно отъ этихъ разсказовъ, отъ этой тягостной, ненужной путаницы человѣческихъ отношеній, составлявшихъ ихъ содержание. Ненужные ужасы, наивнѣйшія злодѣяства, огромныя, нелѣ-

пѣйшія недоразумѣнія, безцѣльныя жестокости — все это, группируясь вокруг какого-то наслѣдственнаго «страха жить», страха цѣнить бѣлый, короткий день жизни и какъ-бы полной безнадежности дать этому короткому дню какое-нибудь содержаніе, кромѣ непрестанной тяготы и необузданной жадности — все это до такой степени удручало не только голову, а прямо грудь, стѣсняло дыханіе, что желаніе свѣжаго воздуха дѣлалось неотразимымъ. Именно воздуха, самаго буквального, не смотря на то, что тягота происходила не отъ табачнаго дыма..

Не дослушавъ все болѣе и болѣе разгоравшейся бесѣды, я вышелъ. Меня уже давно занимаетъ одно маленькое обстоятельство, о которомъ я упомянулъ мелькомъ, чтобы не прерывать разсказа. Когда купецъ разсказывалъ о томъ, что ему предъявляли какого-то незнакомаго ему молодого человѣка, я замѣтилъ, что молодой человѣкъ, съ которымъ я познакомился на желѣзной дорогѣ, вспыхнулъ, сконфузился, но, стараясь скрыть этотъ конфузъ, какъ-то неловко сталъ надѣвать пальто и, какъ я уже сказалъ, вышелъ потихоньку въ каюты. Замѣтилъ я, что, выходя, онъ старался пробраться между параллельно разставленными диванами такъ, чтобы разсказчикъ-купецъ остался у него за спиной. Это смущеніе и этотъ приемъ ухода, въ которомъ не представлялось видимой надобности, невольно оставили меня подумать о томъ, «зачѣмъ онъ это сдѣлалъ?». Выйдя на палубу, я думалъ найти мѣсто недавняго знакомца тамъ, но его не было. Вѣсто него я наткнулся на парня-убійцу, который шваброй мылъ палубу. Увидя меня, онъ почему-то весело улыбнулся и, оскаливъ зубы, сказалъ:

— А ловко купца-то отщекатурили. Дуже хорошо!..

— Чѣмъ-же? Что-жъ тутъ хорошаго?

— Ничего... Ловко!.. Иному и этого еще мало! Много-то и не такъ еще достойно.

— За что-же?

— Не дѣлай худа! Они нешто понимаютъ это? Да вотъ сейчасъ у насъ купецъ тутъ одинъ всю рѣку запрудилъ и рыбу не пускаетъ. Что-жъ, хорошо это?

— Какъ не пускаетъ?

— Да такъ! Запрудилъ рѣку въ своей арендѣ, перепрудилъ ее стало-быть поперекъ, у самаго озера, всю рыбу-то и зарестовалъ у себя... Да вѣдь что выдумалъ! желѣзную загородъ-то сдѣлалъ на вѣки вѣковы! На полтора-то верстахъ и нѣтъ рыбы... А вѣдь на полтора-то верстахъ сто деревень... Да всѣ онъ рыбой жили, питались... А теперь вонъ мызгаются - мызгаются по водѣ-то, а тамъ ничего нѣтъ... Это какъ — хорошо или нѣтъ? Вѣдь надо-жъ такую имѣть въ себѣ жадность! Помирайте, молъ, съ голоду сто деревень, только - бы мнѣ!.. Нѣтъ, они тоже не думаютъ о прочихъ народахъ...

— Такъ жаловаться надо на купца. Онъ не смѣетъ такъ дѣлать.

— Ну, жаловаться!.. У него мощна - то, поди-ко, вотъ какъ отдувается... Ему выйдетъ законъ,

а онъ его не исполнитъ — больше ничего... А по моему вотъ эдакъ-то лучше...

— Какъ «вотъ эдакъ»?

— Да вотъ, какъ тому... днище-то высадили... Надавалъ ему хорошихъ, а запруду-то прочь, вотъ оно и будетъ безъ обиды!.. А то поди, пиши бумаги... Ты бумагу пишешь, а онъ рыбу ловитъ, да продаетъ. Нѣтъ лучше, превосходнѣе, какъ «своимъ средствомъ»... Первое дѣло — отдѣлалъ его подъ орѣхъ или подъ воскъ, вотъ онъ и поостережется грабить-то!..

— Ну, братъ, сказалъ я — не выполняй ты правильно разговариваешь!

Хотѣлъ-было я поговорить съ нимъ на эту тему, но, взглянувъ въ сторону, увидѣлъ молодого человѣка. Онъ стоялъ на берегу и, къ удивленію моему, зачѣмъ-то звалъ меня, дѣлая рукою знаки.

II. Опустошители.

Я подошелъ къ молодому человѣку, стоявшему на берегу, и онъ съ улыбкою разсказалъ мнѣ, что именно онъ-то и есть тотъ самый Лаптевъ, который по ошибкѣ попалъ въ исторію купца и былъ принятъ, также по ошибкѣ, за аптекаря. Онъ подробно разсказалъ мнѣ какъ объ этой путаницѣ, такъ и о своемъ дѣлѣ, которое привело его въ ту же самую канцелярію, куда попалъ и купецъ. Разговаривая такимъ образомъ, мы долго гуляли по берегу, а когда стемнѣло, возвратились на пароходъ. Въ буфетѣ продолжались разговоры, слышался хохотъ, а намъ хотѣлось отдохнуть. Парень-убийецъ, проникнувъ въ глубину нашихъ желаній, моментально устроилъ насъ въ дамской каютѣ, гдѣ никого не было. Онъ принесъ намъ сюда чай, двѣ подушки и перетащилъ на своихъ плечахъ всѣ наши вещи, оставшіяся въ буфетѣ. Мы стали пить чай и разговаривать.

— Все-таки, сказалъ я, припоминая недавній разсказъ Лаптева о его дѣлѣ, — я не понимаю, зачѣмъ вы ушли изъ каюты. Пускай-бы купецъ узналъ васъ — что за бѣда?

Слегка улыбаясь, Лаптевъ молча мѣшалъ ложкой въ стаканѣ чай и о чемъ-то думалъ.

— Знаете, началъ онъ, медленно отдѣляя слова, — бѣды дѣйствительно нѣтъ, все вздоръ... Но еслибъ онъ меня узналъ, онъ-бы поглядѣлъ на меня... Вотъ этого взгляда-то я и не могу переносить, то-есть еще не могу, а современемъ, быть-можетъ, привыкну, то-есть позабуду впечатлѣніе этого взгляда. А теперь онъ просто деретъ меня по кожѣ.. Какъ только поглядитъ на меня *этакъ* какой-нибудь обыватель, такъ у меня просто жжетъ всю кожу, точно когтями кто царапаетъ.

Я не понималъ, о какомъ-то такомъ необыкновенномъ взглядѣ говорилъ мнѣ Лаптевъ, и молчалъ.

— Лѣтъ пятнадцать къ ряду, продолжалъ мой собесѣдникъ, — мнѣ пришлось играть роль того кирпича, который швыряютъ изъ рукъ въ руки... Попадешь въ однѣ, швыряютъ дальше, въ другія, а едва попасть въ эти другія, немедленно бросаютъ

въ третью и такъ далѣе. Летишь въ невѣдомую даль... И хотя пребываніе мое въ этихъ безчисленныхъ рукахъ было непродолжительно, но я всегда встрѣчалъ этотъ... терзающій взглядъ, враждебный испугъ, и если не готовность на жестокость, то во всякомъ случаѣ непремѣнно мысль о ней. Вотъ я купецъ, еслибъ онъ узналъ меня, непременно-бы глядѣлъ на меня *такимъ* взглядомъ... А я, ей-Богу, пока не въ состояніи...

— Но вѣдь и самъ купецъ тоже испыталъ кое-что, сказалъ я. — Припомните, въ какую безобразную свалку попалъ онъ... Я думаю, напротивъ, онъ понималъ-бы и ваше положеніе... Вѣдь и онъ, и вы очутились въ одной и той-же канцеляріи...

— Ну, нѣтъ! оживленно перебилъ меня Лаптевъ. — Купецъ отлично видитъ и знаетъ, что онъ-то, обыватель, попалъ по ошибкѣ, а вотъ я, такъ и по его мнѣнію, попалъ *за дѣло*. Свалка-то она точно свалка, если хотите — арлекинада, хоть и необузданно жестокая, грубая, дикая, а въ ней, если только поприглядѣться, выкинуть, разобрать, отыщутся совершенно опредѣленные теченія враждебности, ненавистничества, и повѣрьте, что обывательскій кулакъ отлично знаетъ ту шею, которая ему ненавистна. Положимъ, что, руководствуясь въ отысканіи этой шеи, главнымъ образомъ, чутьемъ, онъ по ошибкѣ задѣнетъ десятка два сосѣднихъ и родственныхъ skulls и затылковъ, но ужъ будьте увѣрены, добьется и той skulls, какая ему требуется. Во времена моей юности и я въ простотѣ сердечной полагалъ, что все это одно только жалкое недоразумѣніе. Не разъ мнѣ хотѣлось сказать: «Безумные, опомнитесь! Вѣдь вы себя-же губите и т. д.». Но потомъ я убѣдился, что именно *себя-то* и не губить обыватель, что именно на всѣхъ путяхъ своихъ онъ только себя одного и поминать... Какъ же, свалки! Недоразумѣніе... Вотъ я сегодня читалъ въ какой-то газеткѣ «сцены на Нижегородской ярмаркѣ». Изображены купцы, трактиры, арфасты и вообще всякое безобразіе. Люди жрутъ, пьютъ, врутъ. Богъ знаетъ что, какъ сумасшедшіе... Въ простотѣ сердечной пожалуй подумаешь, что и въ самомъ дѣлѣ люди эти только безобразничаютъ, а посмотрѣли-бы, какъ они обдѣлываютъ дѣла въ то же время. Посмотрѣли-бы, какъ они въ то же время «подъ гитару» обрабатываютъ какихъ-нибудь каракалпаковъ на ситчкѣ... Нѣтъ, обыватель отлично понимаетъ свою часть! Вотъ почитайте пожалуйста, тутъ у меня есть лоскутикъ изъ газетъ... (Лаптевъ вынулъ изъ бокового кармана памятную книжку, биткомъ набитую всевозможными газетными заѣтками и записками. Кстати сказать, съ этою книжкой онъ почти не разставался и поминутно, въ подтвержденіе своихъ словъ, вытаскивалъ изъ нея какой-нибудь писанный или печатный документъ.) Вотъ... Да я вамъ самъ прочитаю... Дѣло идетъ объ убійствѣ одного больного въ больницѣ для умалишенныхъ. Вотъ... «Били Орлова добрыхъ полчаса. Когда Кудрявцевъ усталъ бить и просилъ помощи, то послалъ за Филимономъ. Этотъ субъектъ преж-

де всего (знаетъ, съ чего начинать слѣдуетъ!) давалъ Орлова колѣнкой въ грудь, далъ по шеѣ и потомъ далъ въ бокъ разъ пять съ розмаху... Смотритель стоялъ и говорилъ: «Прибавь». Но самъ не билъ». Итакъ, видите, позвонили, «кликнули» Филимона, сказали: «бей!» — и Филимонъ немедленно приступилъ къ исполненію приказанія. Сначала въ грудь, потомъ по шеѣ и наконецъ въ бокъ... Во-первыхъ, во-вторыхъ и въ-третьихъ — все по пунктамъ... Что же это за стѣнотбитное орудіе? Что это такое: машина или человѣкъ?.. Оказывается, что человѣкъ, который къ тому же поступалъ совершенно сознательно, и вотъ, полюбуйтесь, выставляеть въ свое оправданіе уважительную причину... Вотъ тутъ сказано: «въ свою защиту Филимонъ сослался на то, что онъ — семейный человѣкъ, имѣетъ при больницѣ казенную квартиру, дорожитъ мѣстомъ и исполняетъ, что приказано...» Существуетъ, стало-быть, двигатель и, какъ видите, весьма сильный — семейство, фатера!.. Подумайте только, какво это семейство, какова эта семейная святая, гдѣ можно спокойно чувствовать себя, совершивъ по-истинѣ злодѣйское избиеніе кроткаго, шутливаго (такъ сказано въ стенографическомъ отчетѣ процесса) человѣка!.. Въ томъ же самомъ Рыбинскѣ, гдѣ происходитъ это безобразіе, ломовой извозчикъ иногда вырабатываетъ въ день по двѣнадцать рублей. Вѣдь есть же, стало-быть, возможность не особенно пугаться того, что если и не исполнишь жестокаго приказанія, то безъ хлѣба будешь... Но для этого надо хоть чуть-чуть думать не о себѣ, хоть на вершокъ видѣть дальше своего носа... А этого-то и нѣтъ въ громадномъ большинствѣ, въ самомъ, такъ-сказать, фундаментѣ обывательскаго общества... Да пусть бы это обывательское «я» было хоть сколько-нибудь разработано, въ чемъ-нибудь выражалось, приняло-бы какія-нибудь хотя мало-мальски достойныя уваженія формы — и того нѣтъ... Семейство, фатера!.. Войдите туда, вѣдь тамъ ничего нѣтъ! Развѣ былъ за послѣднія двадцать лѣтъ хоть единый мало-мальски яркій, внушительный случай, чтобъ обыватель, ссылающійся въ своихъ опустошительныхъ набѣгахъ на отечество, на свою любовь къ семейному очагу, вступилъ бы искренно хотя бы напиримиръ за своихъ собственныхъ дѣтей? Вѣдь онъ нигдѣ не пикнулъ ни въ думѣ, ни въ земствѣ, не отправилъ ни одной депутаціи, какъ отправляетъ теперь съ просьбою «запретить намъ пьянствовать!..» Одного этого уже достаточно для того, чтобы представить себѣ, какъ мало какова бы то ни было нравственнаго содержанія въ его «фатерѣ»... И все таки, если вы попытаетесь потревожить его въ этомъ пустомъ обиталищѣ, онъ, не задумываясь, защититъ себя... сначала въ грудь, потомъ въ бокъ, потомъ по шеѣ...

Я попробовалъ-было возразить Лаптеву, сказавъ, что случай, на которомъ онъ основываетъ свое мнѣніе объ обывательскомъ безсердечіи, есть случай исключительный, что виновники его понесли достойное наказаніе и что наконецъ безсердечіе и

видимая каменность обывателя имѣютъ своимъ основаніемъ и другія уважительныя причины, не зависящія отъ обывателя; но Лаптевъ даже и не отвѣтилъ мнѣ — точно онъ не слышалъ меня — и упорно продолжалъ порицать обывателя.

— Пуще всего обыватель боится какихъ-бы то ни было нравственныхъ обязательствъ, нравственныхъ жертвъ. Все, что не касается лично его благополучія, все, что хоть на вершокъ раздвигаетъ его до безобразія узкое міросозерцаніе, — все это пугаетъ его, все это онъ гонитъ прочь; онъ боится нравственной борьбы, онъ совершенно непривыченъ къ малѣйшимъ тревогамъ изъ-за какихъ бы то ни было заботъ, не касающихся его, а тѣмъ паче такихъ, ради которыхъ онъ въ самомъ дѣлѣ долженъ чѣмъ-нибудь пожертвовать.

Опять я возразилъ Лаптеву и возразилъ довольно рѣзко, но онъ не слышалъ меня, моталъ отрицательно головой и продолжалъ:

— Нѣтъ, нѣтъ, не говорите! Никакая жестокость, никакая несправедливость не можетъ совершиться, если для этого не будетъ обывательскаго содѣйствія... Аракчеевъ — русскій типъ. Посмотрите, какую кроткой овечкой развѣзжалъ онъ за-границей и какимъ оказался по возвращеніи въ отечество... Въ отечествѣ у него есть почва, содѣйствіе, помощь — все, что нужно. Буря, холера валитъ у насъ эти колоссы, а безъ этихъ стихійныхъ пособій обывательская среда, неизвѣстно еще, быть можетъ и по сей день поставила-бы помощниковъ и пособниковъ. Нѣтъ, надо когда-нибудь и обывателю почувствовать себя виноватымъ. А то скажете пожалуйста, выдумали за все и про все отвѣшивать передъ нимъ низкіе поклоны... Онъ — кроткая овца, а его «заставляютъ»... Его вонъ и пьянствовать будто-бы заставляютъ, и онъ перестать не можетъ до тѣхъ поръ, пока ему не запретятъ... Депутация ѣдетъ... Зачѣмъ? — «Позвольте намъ перестать пить! Запретите, ваше благородіе, намъ пить! Вышлите съ насъ, а то мы сопьемся съ кругу!» Вѣдняжки!..

Я ужъ не возражалъ Лаптеву, такъ какъ видѣлъ, что онъ недоступенъ никакимъ возраженіямъ, что «жестокость», о которой онъ постоянно говорилъ, своего рода пунктъ помѣшательства, и потому еще, что нельзя было не замѣтить въ немъ сильнаго нервнаго разстройства. Говоря послѣднія фразы, онъ какъ-то вдругъ осунулся, поблѣднѣлъ и губы его стали тонки и бѣлы.

— Овца на закланіи... Нечего сказать, похожа... А кто пропиталъ этимъ «фатернымъ» элементомъ, этимъ фатернымъ смрадомъ все, что носило за послѣдніе годы какую-либо видимость общественнаго дѣла, кто?.. Кто счумѣлъ обездуть всѣ общественныя учрежденія, кто изъять изъ нихъ всякую тѣнь мысли, кто оставилъ отъ этихъ учреждений одиѣ ободранныя голыя стѣны?.. И кто наконецъ съ такою кропотливостью работалъ надъ тѣмъ, чтобы съ корнемъ раздавить малѣйшую попытку дать этимъ дѣламъ душу-живу?.. Вѣдь если бы пришлось характеризовать въ короткихъ словахъ недавнее прошлое, такъ его нельзя иначе

опредѣлить, какъ временемъ опустошенія общественныхъ заботъ и тщательнѣйшимъ изъятіемъ изъ общества тѣхъ людей, которые хоть единымъ словомъ пытались заикнуться въ самомъ дѣлѣ объ этихъ заботахъ. Вездѣ, гдѣ только должна была работать мысль о ближнемъ, — вездѣ, гдѣ требовалось искренность, жертва, правда, — вездѣ обыватель утвердилъ фатерный элементъ, поставилъ дѣло на нуль, опустошилъ и за безпокойство отомстилъ безъ пощады... Посмотрите-ка хладнокровно, кто остался побѣдителемъ? — Обыватель! Кто натащилъ всюду навозу, сору, тупости и глупости?.. Кто во имя этихъ «фатерныхъ» элементовъ сокрушалъ ребра ненавистникамъ? — Все бумага... Да вѣдь бумага то приходила по желанію обывателя! Сначала обыватель возропщеть и доложить, а потомъ ужъ и бумага слѣдуетъ...

Говоря это, Лаптевъ проворно перебиралъ листки своей памятной книжки, отыскавъ какую-то длинную газетную вырѣзку и, держа ее въ рукахъ, сказалъ:

— Какъ такъ «не обыватель»? Вы, я думаю, читаете же, что пишутъ, и поминутно на каждомъ шагу оказывается, что вездѣ, гдѣ слѣдовало стоять общественному дѣлу, обыватель устроилъ червивую компостную яму... Вотъ, не хотите-ли, я вамъ прочитаю маленькій эпизодикъ. Тутъ и я участвовалъ... Эпизодъ самый обыкновенный — на каждомъ шагу такіе эпизоды были и есть, и будутъ... Тутъ окажутся и правые, и виноватые... Словомъ, все — какъ обыкновенно. Слушайте!

Лаптевъ приготовился было читать и вдругъ лицо его, до сей минуты суровое и даже гнѣвное, озарилось мягкой и добродушной улыбкой.

— А знаете, вѣдь прелебодытное существо этотъ обыватель-опустошитель!.. Повидимому, онъ только и дѣлаетъ, что приспособляется къ обстоятельствамъ, изживается ужомъ. Но разберете его хорошенько, и вы удивитесь тому мастерству, съ которымъ онъ эти самыя обстоятельства приспособляетъ къ себѣ... Какой онъ мастеръ оставлять въ дуракахъ тѣхъ, кому повидимому онъ покоряется и безпрекословно повинуется!.. Это такая прелесть — на охотника... Да вотъ слушайте.

Лаптевъ взялся за листокъ.
— Повторяю, эпизодъ самый обыкновенный — миллионы разъ у всѣхъ этикіе эпизоды были подъ глазами... Но необходимо для полноты картины прочесть все по порядку: «Въ ознаменованіе событія (имя рекъ) Посусаловская городская дума въ экстренномъ собраніи гг. гласныхъ, постановила: отчисливъ изъ такихъ-то и такихъ-то суммъ 8.500 руб. и присовокупивъ хранящіеся въ государственномъ банкѣ, пожертвованные въ 1826 г. купцомъ Маслянниковымъ, 19.736 руб. 37¹/₂ коп., а равнымъ образомъ отчислая изъ городскихъ доходовъ 2.633 р. 4 к., открыть въ г. Посусаловѣ ремесленное училище на тридцать человѣкъ, преимущественно для сиротъ и дѣтей бѣднѣйшихъ родителей, и ходатайствовать предъ правительствомъ о дарованіи означенному училищу относительно воинской повинности права училищъ 2-го разряда.

Постановлено также приобрести покупкою купца Ерыгина домъ съ мезониномъ, на каменномъ фундаменте, находящийся городской части, 3 кварт., по Спасовоспасскому переулку, и приспособить его для помѣщенія училища, т. е. классныхъ комнатъ, мастерскихъ, спальни и лазарета на 5 кроватей. При этомъ гласный Кнутовищевъ, имѣющій въ городѣ одну изъ лучшихъ мебельныхъ мастерскихъ и самъ вышедшій изъ бѣднѣйшаго класса, изъяснилъ желаніе *безвозмездно* преподавать ученикамъ уроки столярнаго ремесла. Благій примѣръ не остался безъ подражанія. По примѣру Кнутовищева, гласный Окаянный, имѣющій въ городѣ каретное заведеніе, и гласный Шаломальчиковъ, славящійся образцовыми сапожными издѣліями, также безъ всякаго вознагражденія, пожелали преподавать уроки сапожнаго и кузнечнаго ремесла, а священникъ Іоаннъ Лейденскій изъяснилъ согласіе на преподаваніе Закона Божія за умѣренную плату. По доведеніи о семъ до свѣдѣнія... Ну и такъ далѣе.

Лантевъ отложилъ листокъ въ сторону и сказалъ:

— Это глава первая, часть первая. Черезъ годъ послѣдовало открытіе, которое вотъ здѣсь и описано подробно. (Онъ указалъ на другой газетный листокъ.) Но я вамъ этого читать не буду... Говоря откровенно, самъ я и корреспонденцію-то писалъ объ этомъ открытіи. Благодаря участію одного изъ моихъ знакомыхъ, думскихъ гласныхъ, я былъ приглашенъ въ учителя въ это училище. Корреспонденцію я настроилъ самую медоточивую, да и дѣйствительно я былъ доволенъ и дѣломъ своимъ, и цѣлью... Словомъ, все вышло хорошо. Набрали, дѣйствительно, сиротъ и круглыхъ бѣдняковъ. Губернаторъ послѣ молебна сказалъ очень хорошую рѣчь, между прочимъ о томъ, чтобы не выходѣ изъ училища ученики не прерывали товарищества. Разсказалъ о вѣнникѣ, который по прутикамъ можно разломать, а въ связкѣ нельзя. Отлично умный и хорошій губернаторъ былъ у насъ, славный чело-вѣкъ... Помѣщеніе — удовлетворительное, все ново и хорошо. Какой-то благодѣтель тутъ же на молебнѣ пожертвовалъ 30 одѣялъ байковыхъ, другой обязался поставлять мясо со скидкой 25 процентовъ. Губернаторъ благодарилъ и хвалилъ. Повторяю, все было хорошо. Только батюшка сплотовалъ было, заведя въ своемъ словѣ рѣчь о превратныхъ толкованіяхъ, да Кнутовищевъ, избранный попечителемъ, тоже, какъ говорится, ляпнулъ ученикамъ не совсѣмъ подходившее къ общему настроенію правоученіе: «Вотъ что, — сказалъ онъ, — господа ученики, такъ какъ мы васъ призѣваемъ, то вы должны слушать и почитать. Кто не будетъ почитать, и того я посажу въ подвалъ, а въ подвалѣ у меня эво какія крысы — такъ ухо и оторветъ! А розги я мочить буду въ шелокъ»... и такъ далѣе. Но оратора остановили на первыхъ фразахъ, и онъ, немедленно понявъ, что не туда заѣхалъ, ступсывался. Объ этомъ эпизодѣ я не упоминалъ, хотя онъ былъ въ своемъ родѣ предзнаменованіемъ. Тогда мнѣ просто было только смѣшно глядѣть на

этихъ простыхъ, простодушныхъ людей, вроде Кнутовищева, который ни къ селу, ни къ городу завелъ рѣчь о крысахъ и розгахъ. Тогда всѣ эти люди производили на меня впечатлѣніе добрыхъ простаковъ; они просто одѣты, просто и неумѣло говорятъ, а поступаютъ между тѣмъ хорошо, предъ хорошими дѣломъ не задумываются. Всѣ они сами изъ простаго званія, трудовую жизнь знаютъ, здравый смыслъ и... бородавки къ тому же сдѣленія у нихъ. Словомъ, все въ нихъ просто, безхитростно; да если и есть въ нихъ какая-нибудь доля хитрости, такъ какая ужъ эта доля? Такіе-ли люди спеціалисты по части хитростей?.. Подъ такими хорошими впечатлѣніями, я, по окончаніи торжества открытія, настроилъ въ одну изъ столичныхъ газетъ, какъ говорится, «теплую» корреспонденцію. А куда я строчилъ эту корреспонденцію, въ томъ училищѣ шли выборы въ попечительный совѣтъ, причемъ въ попечители попалъ Кнутовищевъ, въ назначеніе — Ерыгинъ, въ эконома — Окаянный, а въ члены совѣта кромѣ этихъ трехъ благотворителей попали и тѣ двое, изъ которыхъ одинъ пожертвовалъ тридцать одѣялъ, а другой обязался поставлять говядину со скидкой. Это обстоятельство должно-бы было также служить для меня предзнаменованіемъ и указаніемъ; но, повторяю, я тогда былъ совершенно несвѣдущъ по части практическихъ сторонъ русской жизни, а главное — былъ доволенъ и не могъ обращать вниманія на эти «мелочи». Таково было начало множества такихъ новыхъ дѣлъ, въ которыхъ хоть чуть-чуть мерцало пробужденіе общественной мысли. Десятки лѣтъ она лежала мертвымъ трупомъ — и вотъ какъ будто начинаетъ шевелиться, какъ будто оживаетъ, задумывается надъ обязанностями къ ближнему... Чуетъ, что чело-вѣкъ долженъ нести помимо своихъ личныхъ заботъ какое-то иное бремя, бремя вниманія не къ себѣ только, не къ своей норѣ и утробѣ. Конечно все это мало, ничтожно, но лиха бѣда — начало. А ужъ чего лучше такого начала! Гоголевскіе аршинники, архиплуты и протобестіи — даже они обнаруживаютъ благородѣйшіе душевные порывы, обнаруживаютъ готовность нести бремя заботы о ближемъ, выказываютъ до нѣкоторой степени убѣжденіе въ необходимости «отвѣчать» не только предъ квартальными надзирателями, а и предъ своею совѣстью, начинаютъ думать по «человѣчеству», по божески. Таково, повторяю, было впечатлѣніе всѣхъ этихъ весьма многихъ общественныхъ учреждений, хотя, къ удивленію, обывательская совѣсть пробуждалась почти всегда, благодаря какому нибудь прискорбному событію; такъ что будущій историкъ не безъ недоумѣнія остановится на томъ фактѣ, что напримѣръ вародныхъ училищъ открыто по случаю прискорбныхъ явленій гораздо болѣе, чѣмъ еслибъ этихъ явленій не существовало. И это обстоятельство могло-бы служить предзнаменованіемъ. Но такъ или иначе, прискорбныя или иныя событія пробуждали общественную совѣсть, совѣсть эта пробуждалась на добро, и этого было весьма достаточно для того, чтобы не обращать вниманія на непривлекательныя мелочи. Таково на-

чало, часть первая, глава первая.... Затѣмъ слѣдуетъ антрактъ... лѣтъ въ двѣнадцать. Что дѣлается со школой, обществу неизвѣстно. Разъ только въ газетахъ проскальзываетъ извѣстіе, помѣщенное въ самой сумбурной корреспонденціи изъ Посусалова, въ числѣ извѣстій о томъ, что былъ пожаръ, что епископъ Амвросій поѣхалъ по епархіи, что крестьянка д. Забулдыгиной родила семерыхъ и т. д., какое-то ничего не говорящее извѣстіе, что пререканія изъ за поставки мебели для судебныхъ установлений не прекращаются. И больше ничего. Извѣстіе это мелькаетъ въ промежуткѣ между началомъ и окончаніемъ... Вотъ къ этому окончанію мы и перейдемъ теперь, а объ антрактѣ ужъ будемъ говорить впоследствии.

Рассказчикъ отложилъ прочитанные документы въ сторону и, взявъ изъ своей памятной книжки другіе, сказалъ:

— Помните-же, что начало было хорошо. Теперь слушайте окончаніе...

Лопатевъ развернулъ огромную газетную вырѣзку и началъ читать съ особеннымъ возбужденіемъ:

«Ревизоръ, ревизующій нашу губернію, въ бытность свою въ г. Посусаловѣ, между прочимъ посѣтилъ мѣстное ремесленное училище, открытое 12 лѣтъ тому назадъ. Зрѣлище, представшее его глазамъ, было поистинѣ потрясающее. Изъ 30-ти воспитанниковъ, какъ слѣдовало-бы по уставу, въ училищѣ едва найдено семь или восемь человѣкъ, и притомъ въ самомъ жалкомъ видѣ. Одинъ изъ нихъ вотъ уже второй мѣсяцъ лежитъ въ горячкѣ, не имѣя ни откуда не только помощи или медицинскаго пособія, но даже и пищи. Другіе воспитанники оказались безъ сапогъ, въ спальнѣ не оказалось одѣялъ и простынь, тюфики наполнены мѣрами наскоро. Посѣтивъ кухню, г. ревизоръ не нашелъ тамъ никакихъ приготовленій къ обѣду, и на вопросъ: «Чѣмъ вы питаетесь?»—получилъ отвѣтъ: «Воруютъ по сосѣднимъ огородамъ». И дѣйствительно, мѣстные жители неоднократно жаловались на воспитанниковъ ремесленного училища, которые воруютъ у сосѣдей не только овощи и съѣстные припасы, но и другія вещи: «Нельзя, разказывали обыватели, повѣсить бѣлья просушить или чего прочаго—все утащутъ». Въ свое оправданіе воспитанники указывали на то, что иногда по цѣлымъ недѣлямъ не имѣютъ горячей пищи, а зимой остаются безъ дровъ и принуждены нить водку, чтобы согрѣться. Освѣщеніе также происходитъ весьма неаккуратно. Кромѣ того, одинъ изъ попечителей, купецъ Окаянный, имѣлъ обыкновеніе, будучи въ нетрезвомъ видѣ, собственноручно наказывать розгами и даже палками, безъ всякой съ ихъ стороны вины, и награждалъ за эти истязанія, по окончаніи ихъ, выдавая каждому наказанному по 3 коп. и приказывая молчать подъ опасеніемъ еще большаго истязанія. Болѣе двухъ лѣтъ, какъ въ мастерскихъ не производится никакихъ работъ, такъ какъ ученики постоянно исполняютъ порученія г-дъ попечителей: колютъ у нихъ дрова, набиваютъ льдомъ погреба, подметаютъ улицу, за что и кормятся на кухнѣ. Съ основанія школы,

только въ 1875 году, въ бытность учителя Николаевского, былъ взятъ школою подрядъ на поставку мебели для мировыхъ учреждений, да и тотъ былъ выполненъ только отчасти, всего на сумму 183 р., такъ какъ одинъ изъ попечителей, купецъ и столяръ Ерыгинъ, отнялъ этотъ подрядъ и явился единоличнымъ поставщикомъ. За все-же оставшее время, втеченіе около восьми лѣтъ, учениками сдѣлано: восемь паръ сапогъ, полторы дюжины стульевъ, три стола, два кіота и одинъ ватерклозетъ для архіерейскаго дома, всего на сумму не болѣе 125 руб., хотя по расчету издержанныхъ суммъ каждая пара башмаковъ должна стоить болѣе 367 руб. 23 коп., парасапоговъ 575 руб. 99 к., стулъ 1,000 р., ватерклозетъ 3,738 руб. и т. д. въ той-же пропорціи. Что-же касается кассы, то едва-ли возможно представить изумленіе, въ которое были повергнуты всѣ присутствовавшіе при ея ревизіи. Не говоря уже о томъ, что сундукъ съ деньгами и ключъ отъ него могли быть вытребованы отъ г. Подхалимова только силою и при содѣйствіи г. полицеймейстера и двухъ частныхъ приставовъ, самое содержаніе сундука было потрясающее: въ немъ было найдено деньгами два рубля тринадцать копѣекъ, какая-то иностранная мѣдная монета, двоешка орѣхъ и куча нелѣпѣйшихъ и безграмотнѣйшихъ записокъ и расписокъ; на клочкахъ бумаги каркуляни было нацарапано: «взято 2,000 р.»—безъ подписи. «Всего займо бразъ 3,500 руб.». Подпись неразборчива—не то Ерыгинъ, не то Егоровъ. Или: «Положена сія росписка вѣдущей отдѣлки 300 р. купецъ Ласковскій». Ни года, ни числа нѣтъ. Есть также такіе расписки: «Взялъ 550 руб. и прошу получить съ Маломальскова. Онъ мнѣ пятый годъ долженъ за муку. Живоготовъ». Былъ найденъ еще какой-то локутъ бумаги, похожій на картонъ съ сахарной головой, на которомъ было написано: «Взятъ денегъ»—и ни имени, ни фамиліи, ни количества денегъ не указано. Есть какія-то необыкновенныя постановленія, вродѣ слѣдующаго. «Постановляемъ отчислить по случаю трилѣтія юбилею училищу въ пользу усердія безвозмездія членовъ по триста рублей на брата и впретъ отчислять ежегодно ввиду мнѣва усердія и безкорыстія по триста рублей съ добавленіемъ священству сто. Постановили члены»—и цѣлый рядъ каркуль. Такихъ расписокъ, постановленій и какихъ-то невозможныхъ расходовъ въ родѣ «8 бочекъ керосину» или «1,300 штукъ опойковой кожи» или «12,000 фанеръ краснаго дерева» и т. д.—нѣтъ числа. Кромѣ того, обнаружена масса расходовъ, которымъ даже и не придумаешь ни названія, ни смысла; такъ напримѣръ: «Дано 10 руб.». Кому и за что—неизвѣстно. Этихъ таинственныхъ «дано» за восьми-лѣтнее существованіе школы насчитано до трехъ тысячъ нумеровъ. Каждый годъ въ училищѣ служилось, если вѣрять запискамъ, четыре или пять молебновъ, причѣмъ водосвятіе и коѣнопреклоненіе отиѣчались особой платой; такъ напримѣръ: «за молебенъ 5. съ водосвятіемъ 2 руб. 50 и коѣнопреклоненіе 5, всего 12 руб. 50 коп. Дано

сторожу 1 руб. Дано Федору 4, дано на ладонъ 9 руб. 37, Авдотѣ 20 коп. Свѣчи и прочіе предметы 15 руб.» и т. д. Въ такомъ-же поразительномъ безобразіи оказались и расходы по ремонту училища, которое въ день неожиданной ревизіи найдено было въ самомъ разрушенномъ видѣ: зданіе, казалось, было взорвано какой-либо подземной торпедой, такъ какъ все оно было распатано, ободрано и скорѣй напоминало зияющую пропасть, чѣмъ жилое помѣщеніе, а между тѣмъ на ремонтъ этого зданія ежегодно шло отъ 7 до 8 тысячъ рублей, причемъ господа ремонтеры изъ тѣхъ-же членовъ и попечителей сами себя благодарили за отличное выполнение работъ, умѣренность цѣнъ и въ награду себѣ отчисляли остатки. Доказано было, по свидѣтельству людей свѣдущихъ и близко знакомыхъ съ дѣломъ, что одинъ изъ этихъ попечителей нарочно выпивалъ въ домѣ дубовыя стѣны, изъ которыхъ дѣлалъ мебель для судебныхъ установлений, и вставлялъ осиновыя, очевидно для того, чтобы онѣ скорѣе гнили подъ сырой штукатуркой, чего и достигалъ съ успѣхомъ. Другой — изъ тѣхъ-же попечителей — вывезъ съ чердака всю землю, которая ему понравилась и годилась для парниковъ, а вмѣсто нея навозилъ разнаго сору со двора училища, что заставилъ сдѣлать учениковъ, записавъ расходъ «за очистку двора послѣ ремонту — 13 руб. 60 коп.», хотя все это было сдѣлано руками воспитанниковъ училища... Говорятъ, что начато строжайшее слѣдствіе...

Лаптевъ отложилъ этотъ доскутокъ корреспонденціи въ сторону и проговорилъ:

— Пока довольно!.. Вотъ вамъ альфа и омега, начало и конецъ всѣхъ дѣлъ, имѣвшихъ цѣлью удовлетворить тѣ или другія общественныя обязанности... На каждомъ шагѣ, ежедневно, вы слышите и читаете десятки подобнаго рода эпизодовъ. Начало — хорошо, благородно, а конецъ — непременно одно только голое опустошеніе сундука. Начатое по совѣсти дѣло въ концѣ концовъ теряетъ всякій смыслъ, теряетъ малѣйшую тѣнь общественной надобности или обязанности и оканчивается самымъ прозаическимъ хозяйничаньемъ въ общественномъ сундукѣ... Опустошенный сундукъ и — подсудимые...

— Однако, сказалъ я, — все-таки подсудимые же, а не торжествующіе.

— Объ этомъ мы будемъ говорить немного погодя. Строжайшее слѣдствіе — еще не конецъ такихъ опустошительныхъ эпизодовъ. Есть у каждаго изъ нихъ свой особенный конецъ — «конецъ конца». Но объ этомъ послѣ... Выслушайте, пожалуйста, что я хочу сказать. Я привелъ вамъ для образчика самое обыкновенное, ординарное, общественное дѣло, или затѣю, какъ хотите. Начало такое-то, конецъ — вотъ какой. Это у всѣхъ на глазахъ. Но между началомъ и концомъ есть промежутокъ, антрактъ. Въ данномъ случаѣ антрактъ этотъ, какъ я уже сказалъ, тянется двѣнадцать лѣтъ, и мнѣ кажется, что этотъ-то двѣнадцати-пятнадцати-лѣтній промежутокъ также въ высшей степени типиченъ и въ высшей степени однообразенъ для всѣхъ рѣшительно общественныхъ затѣй, о которыхъ я говорю. Одинаково у нихъ начало, одинаковъ конецъ и всегда одинаковъ антрактъ — то темное, глухое время, которое преисполнено обыкновенно какими-то глухими слухами о какихъ-то неприятныхъ мелочахъ, тормозящихъ хорошо начатое дѣло и ведущихъ его къ предопредѣленному концу. Это-то темное, глухое время мнѣ и кажется самымъ любопытнымъ и поучительнымъ... Какое-бы изъ этихъ кончившихся срамомъ общественныхъ дѣлъ вы ни взяли, вездѣ вы непременно найдете періодъ долгой и упорной борьбы опустошителя съ человекомъ, который хочетъ въ самомъ дѣлѣ наполнить общественное учрежденіе или затѣю — какъ хотите — тѣмъ именно содержаніемъ, котораго требуетъ затѣя. Учрежденіе. Всякій человекъ, желающій вдохнуть въ общественное дѣло живую душу, непременно вступаетъ въ борьбу съ другимъ человекомъ, который, какъ на грѣхъ, *не можетъ* даже переносить этого духа, — съ человекомъ, который прямо враждебенъ ему, который не нуженъ, вреденъ, губителенъ для него. Сказать по совѣсти, я даже не виню, не могу винить этихъ людей, — они такіе «съ роду», они такъ затвердѣли, загрузѣли въ старыя понятія и нравы, они такъ забиты, запуганы, такъ глубоко загнаны въ свои подземныя норы, что просто имъ нѣтъ возможности ни думать, ни поступать иначе, какъ во имя интересовъ своей норы. Но горе-то наше состоитъ въ томъ, что именно вотъ эти-то люди, у которыхъ цѣлыя поколѣнія предковъ жили въ всякихъ общественныхъ интересахъ, именно они-то и хозяева, и осуществители серьезнѣйшихъ, а главное — новыхъ, незнакомыхъ, чуждыхъ имъ общественныхъ заботъ. Въ каждомъ новомъ (особенно напирая на это слово, такъ какъ мы въ самомъ дѣлѣ живемъ новою жизнью, — повторяю: въ самомъ дѣлѣ!) дѣлѣ, которое въ силахъ поднять только возбужденная молодая мысль и молодая сила, въ каждомъ такомъ дѣлѣ хозяйномъ является непременно мрачная враждебность, прямое ненавистничество дѣлу. Замѣтьте эту черту и будьте-же когда-нибудь справедливы къ недавнему прошлому. Увѣряю васъ, иной разъ мнѣ сдается, что опустошитель — человекъ невольнѣ благонадежный. Seriously!.. И въ самомъ дѣлѣ, все опустошаетъ, враговъ побѣждаетъ и — сухъ выходитъ изъ воды! Человекъ явно разстроиваетъ прекраснѣйшіе планы, сражаетъ самыя благороднѣйшія общественныя начинанія, наконецъ просто разоряетъ, поставляетъ зло по своему глупому разуму — и все правъ. Возьмете хоть исторію съ этой несчастной школой; посмотрите на ея цѣль: «школа учреждается для сиротъ, чтобы учить ихъ ремесламъ, которыя дадутъ хлѣбъ». Предполагается, что заработокъ ихъ будетъ храниться въ банкѣ до окончанія курса, послѣ чего они выйдутъ на жизнь не съ пустыми руками... «Не прерывайте связи и по выходѣ изъ училища», говоритъ г. начальникъ губерніи. Отлично. Но кому попадаетъ это дѣло въ руки? — Людямъ, для которыхъ такая школа — *прямой вредъ*, заскорузлѣйшимъ *хозяевамъ* въ самомъ грубомъ, топорномъ

смыслѣ. Вѣдь эти люди привыкли своихъ мальчишекъ драть ремнемъ (учить), бить, чѣмъ попало. Вѣдь у нихъ ученики спятъ на голой землѣ, ходятъ ободранные, оборванные. Вѣдь они на этомъ несчастіи строятъ свое благосостояніе, своему нуру. Мыслимо-ли, чтобы человѣкъ такой заскоруждѣйшей старинки могъ-бы искренно относиться къ этому дѣлу?.. Сироты, которые выучились и выйдутъ съ деньгами въ рукахъ, развѣ они пойдутъ къ нему въ работники, согласятся валаться на голомъ полу и получать олеуки? Вѣдь воспитывать этихъ сиротъ—значить губить себя, значить собственными руками рыть яму своему «заведенію»—малярному, токарному, каретному и т. д. Вѣдь надо-же понимать, что люди эти не могутъ желать успѣха этой затѣи, что она для нихъ—вредъ, гибель, что она совсѣмъ новое дѣло, требующее новыхъ людей, людей *совсѣмъ* иного взгляда на вещи. Но именно эти-то люди,—люди, которые только и могутъ относиться къ новому дѣлу какъ враги,—они-то и его хозяева. Я передаю вамъ дѣло въ самой грубой формѣ. Но сколько-бы вы ни смягчали ее, сущность останется одна и та-же: новое дѣло въ старыхъ рукахъ—дѣло, требующее человѣка, который-бы общее благо и хотя самое поверхностное служеніе ему считалъ въ числѣ своихъ личныхъ обязанностей, попадать въ руки человѣка или цѣлой шайки, у которой какъ-разъ нѣтъ и тѣни никакой иной заботы, кромѣ заботы о своей норѣ. Вотъ вѣдь я читалъ вамъ описаніе открытія и засѣданія думы, на которомъ возникла мысль о школѣ,—не правда-ли, что дѣло имѣетъ весьма пріятный видъ? Со стороны этихъ почтенныхъ обывателей, на первый взглядъ, очень много самопожертвованія: сироты... бесплатно... безвозмездно... А знаете-ли, для того, чтобы провести мысль объ этой школѣ, нужно было «заинтересовать» обывателей самыми прозаическими взглядами! Дѣло затѣялъ одинъ мой знакомый либераль-баринъ. Затѣя не Богъ вѣсть какая, но, какъ говорится, «хоть что-нибудь»... Я знаю, баринъ-либераль—не совершенство, но сверхъ того онъ еще баринъ. Вотъ гдѣ его бѣда и гдѣ самое уязвимое для враговъ его мѣсто! Такъ вотъ такой-то баринъ пѣзъ смѣшанныхъ либерально-барскихъ побужденій (обыкновенно осуществляющихся въ видѣ предпріятій, про которые можно сказать опять только—«хоть что-нибудь») задумалъ устроить и эту школу. Поговорить, поусуетиться—словомъ, «хоть что-нибудь»... Но онъ могъ-бы и говорить, и кричать, и шумѣть о «пользѣ просвѣщенія» цѣлые годы, и никогда ничего бы изъ этого не вышло, если-бы онъ не сталъ поступать просто по-обывательски. «Вотъ вашъ домикъ—сказалъ онъ Ерыгину—очень-бы годился подъ школу... За сколько-бы вы его продали?» Ерыгинъ подумалъ: «А въ самомъ дѣлѣ... штука подходящая!»—и сталъ присоглашать другихъ... Мебельщика онъ «присогласилъ» поставкой мебели. Мебельщикъ присогласилъ кузнеца, сказавъ ему за чаемъ въ трактирѣ не губами, а какъ-то въ носъ: «А ремонтъ-то! Чудакъ этакой!..» Мясникъ тоже потянулся за мебельщикомъ и кузнецомъ, потому

хотѣлъ сбыть тесь, который навозилъ въ прошломъ году за-дешево, и т. д., и т. д. Въ существѣ дѣла всѣмъ представлялись суммы какія-то: ремонтъ, тесь, поставка мебели... Словомъ, «оборотъ» въ томъ или другомъ видѣ. И все это покрывалось «безмездіемъ», усердіемъ, памятованіемъ событія, все это «хорошо» для начальства, которому будетъ пріятно. «А ежели ты потрафилъ человѣку, особенно важному, такъ и онъ тебѣ подможетъ въ случаѣ чего». Случаи эти у всѣхъ за душою чувствовались, и потому всякому не имѣлао заручиться передъ начальниками чѣмъ-нибудь хорошимъ, тѣмъ болѣе, что хорошее это дѣлается на чужія деньги, не стоятъ ни копѣйки и т. д., и т. д. Только этимъ кускомъ и можно было вытащить ихъ изъ ихнихъ норъ и только имъ и можно было манить ихъ впередъ. И дѣйствительно, какъ только кончились всѣ эти покупки, поставки, какъ только тесь былъ сбытъ, а на деньги, вырученные за домъ, сдѣланъ оборотъ, такъ и кончилось все то дѣло, которое господа опустошители имѣли въ виду, учреждая школу. Теперь, послѣ молебствія и открытія, ихъ сталъ манить сундукъ, ремонтъ, расходъ, отопленіе, освѣщеніе и т. д. И въ ту же минуту началась борьба са мной, который имѣлъ въ виду, по молодости лѣтъ, дѣлать именно то самое дѣло, во имя котораго устроилась школа, и, разумеется, мои интересы и интересы опустошителей съ перваго же дня стали совершенно противоположными. Все, до самыхъ послѣднихъ мелочей, въ моихъ мысляхъ, въ моихъ поступкахъ было и должно было быть совершенно не тѣмъ, что было въ мысляхъ и поступкахъ опустошителей. Во-первыхъ, опустошители почти съ первыхъ же дней не стали заниматься своимъ дѣломъ. Столяръ Кнутовищевъ пришелъ, далъ какому-то воспитаннику затрепину, пихнулъ въ другого доскою, обругалъ и ушелъ пить чай въ трактиръ. На другой день пришелъ отъ него работникъ, которому стали платить по два цѣлковыхъ въ день, и деньги эти бралъ Кнутовищевъ, а работникъ только жаловался и бѣгалъ въ кабакъ. Словомъ, съ перваго дня я ясно видѣлъ, что для этихъ господъ попечителей нѣтъ большаго удовольствія, какъ вогнать цѣну стула или сапога въ такіе размѣры, чтобы ихъ не было возможности продать. Опустошительныя намѣренія для меня стали совершенно ясны съ первыхъ же дней, но и для нихъ, для господъ опустошителей, также ясны стали и мои планы. Они увидѣли, что я хочу дѣлать дѣло въ самомъ дѣлѣ, въправду, въ сурьезъ—и ошенились. Вѣдь если помните, въ уставѣ было сказано, что заработокъ учениковъ поимѣшается въ банкъ съ тѣмъ, чтобы выдать его ученикамъ по выходѣ изъ училища; я и начинаю всячески стоять за заработокъ, подаю бумагу въ думу, говоря, что господа учителя не ходятъ въ училище, что работы идутъ худо. Кромѣ того было высказано мнѣніе, чтобы и по выходѣ изъ училища ученики не прерывали между собою сношеній, что артель—спасеніе, что вѣникъ, который по прутіку можно изломать, цѣлкомъ не переломить, и т. д. И вотъ я

стараюсь развить между будущими работниками крайне для нихъ нужная мысль; хочу освѣтить нѣкое будущее какой-нибудь надеждой—не затѣмъ же я (все конечно по молодости лѣтъ!) взялся за дѣло, чтобы выработать изъ нихъ Кнутаовичевыхъ. Могу васъ увѣрить, что такая идея, какъ идея товарищества, взаимопомощи, даже и въ томъ сиротскомъ кружкѣ маленькихъ дѣтей, съ которыми мнѣ приходилось имѣть дѣло, требовала большихъ, настоятельныхъ усилій для того, чтобы быть воспринятой. Даже въ дѣтяхъ среда забытая и загнанная уже успѣла развить много трусости за свою несчастную долю, много неподатливости на сближеніе съ сосѣдствомъ. Надо было иногда «долбить», какъ говорится, и долбить усиленно, чтобы въ забытой головѣ и душѣ засвѣтилась согревающая мысль. Но нѣтъ, опустошитель одолеваетъ на всѣхъ пунктахъ... Странное дѣло! Не знаю, замѣтили ли вы ту особенность, что *разговоръ* самый обыкновенный о самыхъ обыкновенныхъ вещахъ, если только онъ противорѣчитъ опустошительнымъ аппетитамъ, непремѣнно возводится господами обывателями почти на степень преступленія... Такова практика; первая и вторая посылки силлогизма всегда у насъ хороши, правильны, но заключеніе—Богъ знаетъ что! Напримѣръ, артельное начало въ кругу рабочихъ предохраняетъ отъ пролетариата. Распространеніе поэтому въ массѣ идеи товарищества заслуживаетъ всякаго одобренія. А заключеніе изъ этихъ посылокъ выходитъ всегда вотъ такое: «Если же ты будешь объ этихъ вещахъ *разговаривать*, такъ берегись!» И именно обыватель возвелъ *разговоръ* на эту преступную степень.

— А строжайшее-то слѣдствіе? напомнилъ я рассказчику.—И опустошителямъ стало быть тоже достается?

— Н-ну, это еще вы увидите... Я знаю только, что эти простачки съ перваго же моего шага почували мои *идеи*, отлично опредѣлили ихъ вредъ по отношенію конечно только къ себѣ. И пошли за нихъ въ драку... Вотъ я вамъ и говорю: не думайте пожалуйста, что идетъ какая-то непонятная свалка. Нѣтъ, очень часто тотъ самый купецъ, который рассказывалъ про обиду, въ известныхъ случаяхъ съ особеннымъ удовольствіемъ самъ подведетъ васъ подъ эту же самую обиду, въ ту же самую свалку запутаетъ васъ совершенно сознательно, съ опредѣленною цѣлью. Я это знаю—я это сотни разъ испытывалъ на самомъ себѣ. Столкновенія по школьному дѣлу начались у меня и у учениковъ съ попечителями, повторяю вамъ, чуть не съ перваго дня. То не учать ничему, то быть, то ругаютъ, то опять по цѣлымъ недѣлямъ заставляютъ болтаться, то не топать, или не освѣщаютъ, или вдругъ берутъ въ свои мастерскія работать заказы и т. д. Все это вызывало и съ моей, и съ ихней стороны рѣзкости, грубости, и не смотря на то, что всякій разъ пререканія начинались—по крайней мѣрѣ, съ моей стороны—большенчастью по поводу какихъ-нибудь чисто матеріальныхъ не порядковъ, напримѣръ холода, голода и т. д.—опустошители уже подари-

ли меня прозвищемъ... «Вы, Иванъ Ивановичъ,—скажешь бывало—топить у насъ перестали со-всѣмъ»... Или: «Иванъ Ивановичъ! Что же это дѣти болтаются безъ дѣла цѣлую недѣлю?» Или: «Развѣ вы можете заставлять учениковъ работать на себя?» и т. д. Кажется, чего проще этихъ вопросовъ? Но въ нихъ есть протестъ противъ опустошительнаго взгляда на дѣло, противъ самаго существа жизни этихъ Иванъ Ивановичей. И вотъ вы—врагъ. И какъ тонко понимаетъ Иванъ Ивановичъ свою часть!.. Однажды, не помню, кому изъ нихъ, Кнутаовичеву или Маломальчикову, я въ раздраженіи сказалъ: «Вы что же, господа, докуда будете ребятъ-то разутыми водить и ничему не учить?» Опустошитель, которому я сказалъ это, въ свою очередь ошетинился на меня и вмѣсто того чтобы сказать: «всегда такъ будемъ поступать», воскликнулъ: «А ты почему это дозволяешь себѣ ко всеобщей не ходить? Люди идутъ въ храмъ Господень, а тебѣ на это закону нѣтъ? Смѣешь огрызаться на своихъ старшихъ и прини-мать дѣлаешь мальчишкамъ непочтенія!» И вѣдь замолчишь. Я ему говорю: «Перестань плутовать!» А онъ мнѣ на это: «Ты, почтенный, не учишь мальчишекъ. Люди ко всеобщей, а ты—въ баню...» И вѣдь это принималось во вниманіе. Жалуется обыватель и жалуется умѣючи!.. Обоюдное раздраженіе шло у насъ этакъ съ годъ. Держался я только вліяніемъ барина-либерала, а баринъ-либералъ тоже держался, благодаря тоже какому-то тесу, который поставлялъ кому-то изъ своей дачи по сходной цѣнѣ... Но наконецъ разразилась буря. Обѣ партіи столкнулись на одномъ, для обѣихъ въ высшей степени важномъ, событіи. Открывались мировыя учрежденія. Въ городѣ образовалось пять участковъ мировыхъ судей. Необходима была поставка мебели. Я, ради сиротскаго будущаго, ради того, чтобы заработанный фондъ былъ въ самомъ дѣлѣ фондомъ, который дастъ возможность не пропасть съ голоду по выходѣ изъ училища,—словомъ, ради всѣхъ законно утвержденныхъ параграфовъ устава старался отвоевать эту поставку для училища. Сразу приобрѣталась бы большая сумма денегъ для фонда, сразу бы началась трудная работа, сразу бы укрѣпилось на дѣлѣ артельное начало и т. д., и т. д. Опустошители тоже вѣзались въ эту же самую поставку, но ужъ ради себя. Тутъ ужъ приходилось въ самомъ дѣлѣ пожертвовать своимъ личнымъ интересомъ. Тутъ ужъ приходилось быть добрымъ не на чужой, а на свой счетъ. Тутъ надо было уступить что-нибудь изъ своего достатка, а главное—подумать въ самомъ дѣлѣ о пользѣ ближняго... И началась война. Я не буду рассказывать ее подробно—это слишкомъ утомительно и непріятно—скажу одно: побѣдилъ опустошитель. Средства мои были, во-первыхъ, газетныя корреспонденціи, но ихъ боялись печатать, сокращали, фамиліи замѣняли буквами и т. д. Кромѣ газетныхъ корреспонденцій, я старался распространять въ обществѣ свѣдѣнія, совершенно правдиво изображающія моихъ враговъ, и думалъ тѣмъ вызвать протестъ общественнаго мнѣнія. Много

мнѣ сочувствовало народу, волновались и попадали иногда въ просакъ, что вредило мнѣ и дѣлу... Словомъ, корреспонденціи и общественное мнѣніе не помогли мнѣ, а вотъ опустошителямъ приемы ихніе помогли. И замѣтите опять: все я дѣйствовалъ только во имя школы, во имя дѣла. И писалъ, и говорилъ, и старался, чтобы говорили другіе — только о школѣ, только о заработкѣ для нея, словомъ, опять-таки буквально объ одномъ только дѣлѣ и въ частности только о матеріальной выгодѣ. Опустошители ничего подобнаго не дѣлали. Напротивъ, они дѣйствовали противъ меня какъ разъ наоборотъ: въ ихъ «средствіяхъ», употреблявшихся къ тому, чтобы меня истереть въ порошокъ, матеріальная выгода не играла никакой роли; ни единого слова не было о ней во всѣхъ ихъ рукописаніяхъ. Ни о поставкѣ мебели, ни о томъ, что эта поставка имъ выгодна, что это составляетъ для нихъ большой расчётъ, ни разу, ни единымъ словомъ никто изъ нихъ не пикнулъ, и все-таки въ концѣ концовъ мебель досталась имъ. Вотъ наприимѣръ одно изъ этихъ рукописаній...

Лаптевъ снова порылся въ своемъ неизякаемомъ источникѣ обличительныхъ матеріаловъ, т. е. въ записной книжкѣ, и подаль мнѣ исписанный листъ почтовой бумаги.

— Это копія, которую мнѣ пришлось достать нѣсколько лѣтъ спустя послѣ всей этой исторіи. Читайте и помните пожалуйста, что авторы этого рукописанія только и думаютъ о томъ, чтобы заполнить поставку. Помните же! — прибавилъ Лаптевъ внушительно въ то время, когда я принялся за чтеніе рукописи.

Въ рукописи значилось слѣдующее:

«Его добромъслію господину первоначальнику и кавалеру.

«Двадцать седьмого сего ноября, прійдя я къ училищу, какъ состою въ числѣ прочихъ безмездныхъ попечителей, то увидѣлъ учителя Лаптева, стоялъ онъ противу кіоту, для приуготовленія оной подъ политуру, подъ икону святыхъ великомученики Андріаны и Наталіи, праведные чудотворцы, и стуча оныя (?) кулакомъ, утверждалъ публично, не взирая на юношескій возрастъ младенцевъ, кои есть вполне безъ смысла и должны слушаться и почитать своего учителя, то сколь было прискорбно, коль скоро вполне дерзко стуча объ оной кіоту произносилъ дерзкія и глупыя слова, которыя вполне вовлекаютъ человѣка въ погибель, тѣмъ болѣе младенцевъ, которые вышесказанныя гнусныя слова должны брать себѣ примѣромъ. Когда же на мой вопросъ, должно ли почитать Бога и кто сотворилъ небо и землю, и почему земля пожрала живыми Дафана и Авирона, потому что едва только усумнились, то означенный Лаптевъ вторично дерзнулъ выражать такія слова, которыя недостойны даже кого-либо арестанта или человѣка немнѣющаго въ себѣ разсудка. Тогда, умолкнувъ, я крѣтко отошелъ отъ него, что уже не въ первый разъ, и только сожалѣлъ, каковъ есть развратъ въ ученикахъ, что дѣлаютъ грубости, не-

послушаніе, вредные пороки, непочитаніе своихъ старшихъ начальниковъ — и то уже давно всѣми замѣчено, почему и осмѣливаются искать правды. Не чернилами пишу сіи слова, но слезами, и не токмо чужими, но и своими дѣтями, какъ заповѣдано въ законѣ, не пожелаю того безумія. Что же будетъ, ежели мы допустимъ распутствовать нашимъ дѣтямъ, издѣваться надъ высшими предлогами и прочими, которые есть какъ-то: страхъ Господень начало премудрости, а не то, чтобы храпѣть или выражать какія-либо тому подобныя дерзкія слова противъ своихъ попечителей и старшихъ. Зачѣмъ же постановляются начальники, ежели мы будемъ внушать непочтеніе и развратъ? Иной умникъ лба не умѣетъ перекрестить, подобно учителю Лаптеву, который почти-таетъ пріятію упоминать безпрестанно развратныя мысли передъ своими учениками, но не ежели перекрестить лобъ или даже потрудиться пройти къ обѣднѣ. Это у нихъ считается за глупость, а между прочими, мы видимъ и содрогаемся, до чего можетъ довести ихнее безуміе, конечно, чему и быть окромя злодѣйства отъ ихняго безбожнаго смысла, коль скоро совершенно распущены и управы надъ собою не имѣютъ. Даже въ мальчишкахъ, бывши я на черной работѣ, въ нуждѣ и бѣдности, и то не слыжалъ такихъ дерзкихъ словъ или же поступковъ подобно что поступаетъ Лаптевъ. И что-жъ теперича, при склонѣ дѣтъ, и всѣми начальниками почтенъ, всегда служа безсловесно, неужели же мнѣ не будетъ снисхожденія даже отъ мальчишки, каковъ есть учитель Лаптевъ, который есть явный развратъ малолѣтнимъ, а между прочими, отвѣтъ спросится съ насъ: мы же отвѣчаемъ и предъ Богомъ, и предъ начальниками. А какова въ томъ вина наша? и то не наша вина, а духъ вѣка, рыканіе сатанино и безбожіе! Съ низкопоклоненіемъ вопію: изведи младенцевъ изъ гіены погибели и не введи насъ во искушеніе. Вѣчный богомолецъ и всеусердный рабъ, потомственный почетный гражданинъ Митрофанъ Кнутовищевъ».

— Ну, какъ вы находите, производить это рукописаніе какое-нибудь впечатлѣніе, кромѣ конечно безграмотности? — сказалъ мнѣ Лаптевъ, когда я возвратилъ ему рукопись.

Я долженъ былъ сознаться, что рукописаніе должно производить впечатлѣніе довольно сильное: простыя выраженія, такъ горько выраженное оскорбленіе религіознаго чувства — все это дѣлаетъ бумагу достойной вниманія...

— А о мебели, продолжалъ Лаптевъ, — ни полслова, ни тѣни намекъ! Одна оскорбленная сѣдина, одно оскорбленное чувство.

— Но, сказалъ я, — неужели же въ этой бумагѣ нѣтъ ни единого слова правды, и все это сочинено?

— Напротивъ, очень много... Не думайте пожалуйста, что такія рукописанія пишутся зря. Опытные въ опустошеніяхъ люди отлично знаютъ, что такая бумага должна имѣть послѣдствія. Будутъ узнавать, разспрашивать... И отвѣты всегда

получаются подходящіе къ тому, что сказано въ рукописаніи. «Стучалъ по кіоту?» — «Стучалъ.» — «А въ церковь ходилъ?» — «А Богъ его знаетъ» и т. д. Такіе отвѣты съ чистою совѣстью дадутъ самые безпристрастные люди, потому что все это было, но было по извѣстной причинѣ, о которой ближайшіи свидѣтели сцены, ученикамъ, нельзя сказать, хоть-бы они и знали, потому что они — сироты, нищія, призрѣваемые и ихъ завтра-же выгонять вонъ, а другіе не скажутъ потому, что не знаютъ этой причинъ. Дѣло-же было такъ: въ самый разгаръ борьбы изъ-за поставки Кнутовищевъ и другіе его компаньоны задумали пустить въ ходъ одно изъ самыхъ дѣйствительныхъ средствъ, всегда помогающихъ заручиться вниманіемъ первоначальниковъ. Я скажу вамъ объ этихъ средствахъ вообще немного погодя, теперь-же буду говорить только о томъ изъ нихъ, которое было пушено въ ходъ ради мебелиной поставки. Извольте видѣть, жену первоначальника звали Наталія. Она состояла почетельницей какого-то благотворительнаго общества, гдѣ членами были всѣ эти Кнутовищевы съ братіей. Десятилѣтіе попечительства исполнилось какъ-разъ въ разгаръ мебелиной борьбы. Жена первоначальника, разумѣется, имѣетъ вліяніе на мужа-первоначальника, и вотъ, является поднесеніе въ день десятилѣтія — простенькій образокъ, купленный за 45 к., въ простенькомъ кіотѣ. Кіотикъ-то этотъ купленъ былъ на базарѣ, тоже за сходную цѣну, и вотъ Кнутовищевъ притащилъ его въ училище пообдѣлать и помазать политурой. Механику всю эту я, разумѣется, зналъ и вотъ «стуча по онному кіоту и говоря и т. д.» — все какъ слѣдуетъ. Взбѣшонъ я былъ тогда ужасно... «Такъ вы такими фокусами хотите училище-то разорять?» сказалъ я, «стуча». Кнутовищевъ сталъ огрызаться, закричалъ что-то, а я его обругалъ. Вотъ и все! Все было, и все если не такъ было, какъ пишутъ Кнутовищевы, то «по разсѣдованію» оказывается, что «что-то» было. И именно — съ кіотомъ, именно — стуча» и т. д. А ужъ этого вполне довольно, чтобъ уважить требованіе Кнутовищевыхъ. Если даже окажется, что Кнутовищевы слишкомъ близко къ сердцу принимаютъ огорченія, если окажется, что Кнутовищевъ возмущенъ пустяками, то и тогда ему оказывается вниманіе... И знаете-ли, отъ чего это происходитъ?

Разсказчикъ вопросительно взглянул на меня и продолжалъ:

— Опять-таки отъ того, что Кнутовищевы отлично изучили натуру первоначальниковъ, а первоначальники у насъ идутъ, начиная съ сельскаго десятскаго и такъ далѣе... «Мои мужики», говоритъ староста; «мои старшины», говоритъ становой; «мои кушцы», и т. д. Вотъ это-то смѣшеніе разными первоначальниками обязанностей и правъ съ достоинствами собственной особы опустошительно и эксплуатируютъ какъ нельзя успѣшнѣе... Какъ скоро они замѣтятъ, что въ первоначальникѣ крѣпко сидитъ наивная самоувѣренность въ томъ, что онъ, самъ — онъ, Иванъ Петровичъ такой-то — носитъ въ себѣ прирожденный залогъ уваженія, такъ они

и видятъ ужъ, что «правды» строгой и трезвой въ Иванъ Петровичъ нѣтъ, а есть въ немъ произволъ доброты.. Зачѣмъ-же гнѣвить человека?.. Разумѣется, надобно всячески возбуждать въ немъ чувство *личнаго* удовольствія, надобно какъ можно чаще доказывать ему, что онъ именно, какъ Иванъ Петровичъ, необыкновененъ. На глубокомъ знаніи этой черты основаны всѣ поднесенія «даровъ» — простыхъ, не роскошныхъ, а доказывающихъ только голубиное дѣтское чистосердечіе. Такъ напримѣръ, въ качествахъ простыхъ и добродушныхъ людей, Кнутовищевы любятъ подносить первоначальникамъ рыбу, судачка напримѣръ копченъ въ тридцать, но «своего засолу»... Вотъ это-то и дорого! Совершенно какъ ребенокъ подноситъ отцу домикъ, склеенный Богъ знаетъ какъ безобразно, но склеенный съ желаніемъ сдѣлать пріятное, по силѣ возможности... И вотъ судачекъ на деревянномъ блюдѣ (на деревянномъ!) и простая рѣчь! «Ужъ не выштите!.. Большихъ достатковъ нѣтъ, а какъ мы чувствуемъ, понимаемъ и чтимъ, что... вотъ... отъ трудовъ!» Вотъ почему и кіотецъ въ день Андріана и Наталія... А потребуются другое — и другое будетъ, лишь-бы это «другое» льстило Ивану Петровичу съ супругой, лишь-бы Иванъ Петровичъ думалъ, что *его* купцы оправдаютъ его довѣріе... Въ нужное время Кнутовищевъ тащитъ въ *своему* благодѣтелю ужъ не судака, а тряпца на корпію (въ книгахъ ремесленнаго училища значится: 200 простынь «за негодностью» проданы съ аукціона), а иной разъ, по желанію первоначальницы, вынимаетъ прямо радужную — и двѣ, и три — все конечно на доброе дѣло... И все молча и безпрекословно... Только потъ утретъ дырчавымъ платкомъ со лба, поклонится простымъ русскимъ поклономъ (руки съ шапкой и платкомъ врозь) и промолвитъ: «Мы завсегда — съ вашимъ... съ полнымъ...» А въ то-же время, съ каждымъ новымъ судачкомъ или кіотомъ въ Кнутовищевыхъ растетъ увѣренность въ своей прочности. «Мы *важнѣе* уважаемъ, а ужъ вы *намъ* уважите!»... То есть мы именно вамъ, вашей особѣ уважаемъ, уважаемъ Ивану Петровичу — не власти, которая на насъ (зачѣмъ власти судака?), а особѣ вашей достойной... Ну, ужъ и вы тоже, Иванъ Петровичъ, обязаны *такъ* же, лично намъ, уважить — не просто купцу, гражданину уважить въ его справедливыхъ требованіяхъ, а именно купцу такому-то: *моему* Камилавкину, *моему* Кнутовищеву... То-же самое было и въ моемъ дѣлѣ.

— А строжайшее слѣдствіе?

— Не знаю. Была одна телеграмма вскорѣ послѣ того письма, которое я вамъ читалъ. Сказано было: «Говорятъ, ревизоръ энергически принялся за очистку авгіевыхъ конюшенъ попечительства надъ училищемъ». А потомъ и нѣтъ ничего — по крайней мѣрѣ я не видалъ. Да и нельзя! Невозможно иначе! Какое тутъ слѣдствіе, помилуйте! Покуда первоначальникамъ (губернскимъ или деревенскимъ — все равно) не придетъ въ голову отвыкнуть отъ дурной привычки — ни съ того, ни съ сего считать себя отцами и давать волю *своему* вкусу во всѣхъ

общественныхъ дѣлахъ—всегда такъ будетъ... Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ: Иванъ Петровичъ въ настоящее время не можетъ сказать наприимѣръ: мое земство, не можетъ сказать: мой судъ или моя молодежь... Ни земство, ни судъ, ни молодежь не пойдутъ къ Ивану Петровичу съ судакомъ—слѣдовательно, они ему непріятны, онъ далекъ отъ нихъ, онъ сторонится, они не удовлетворяютъ его преданностью именно къ его особѣ, къ особѣ Ивана Петровича... Земство—не опора, молодежь—не опора, судъ—не опора; остается для опоры одинъ Кнутаовищевъ—ну-ка, вытащите его на свѣжую воду, проберите-ка по заслугамъ... Кто-жъ останется-то?..

Давно ужъ на пароходѣ царствовала мертвая тишина, но мы еще долго разговаривали съ Лаптевымъ все на тѣ-же тяжелыя темы... Начался разсѣвъ, когда мы наконецъ заснули.

Жаркій солнечный день подвигался уже къ полудню, когда я проснулся. Лаптева ужъ не было въ каютѣ.

III. Подозрѣваемые.

I.

Прошлой осенью, неподалеку отъ меня, т. е. отъ той деревни, въ которой я живу уже довольно давно, нанялъ себѣ квартиру въ крестьянскомъ домѣ одинъ мой пріятель. Поселился онъ въ деревнѣ и неподалеку отъ меня, потому во-первыхъ, что оба «мы хлѣбъ добываемъ литературнымъ трудомъ»*), во-вторыхъ, потому, что въ Петербургѣ стало ужъ очень тяжело и скучно жить, и наконецъ потому, что ощущаемая всѣми тяжесть мало-мальски сознательной жизни отразилась на моемъ пріятелѣ сильнѣйшимъ нервнымъ разстройствомъ. «Пожить въ деревнѣ», «отдохнуть», «очувствоваться мало-мальски»—вотъ что думалъ мой пріятель, нанявъ верхній этажъ крестьянскаго дома въ Ямской слободѣ. Намѣренія его, какъ видите, были самыя скромныя и безобидныя; но и такіа намѣренія, какъ увидимъ ниже, не всегда и не для всякаго осуществимы въ наши тяжелые дни. Прежде всего необходимо сказать, что нѣтъ такой профессіи, которая, будучи перенесена изъ столицы въ деревню, въ такой степени смущала-бы деревенскихъ жителей, какъ профессія литературная. Самый первый, самый существенный вопросъ, который подлежитъ разрѣшенію деревенскихъ жителей при появленіи въ нихъ средѣ новаго лица, формулируется такъ: «зачѣмъ пріѣхали?». И литераторъ не можетъ объяснить его не только вполне определенно и точно, но даже и мало-мальски удовлетворительно. «Пріѣхалъ такъ... жить, отдыхать...»—вотъ что можетъ отвѣтить онъ по сущей правдѣ; но такой отвѣтъ немедленно долженъ вызвать другой еще болѣе затруднительный вопросъ, именно: «Отдыхать?.. Стало-быть капиталъ имѣете?..» А

такъ какъ на это ничего другого не приходится сказать кромѣ: «Нѣтъ, капиталовъ не имѣю»—то это сразу дѣлаетъ его личностью подозрительной. Въ головѣ деревенскаго жителя съ двухъ словъ возникаетъ огромнѣйшее недоразумѣніе: «Отдыхать пріѣхалъ, а капиталу не имѣеть—что это за существо и зачѣмъ сюда явился?..»

Въ настоящее время по деревнямъ, особливо при-шосейнымъ и прилегающимъ къ желѣзной дорогѣ, какъ тѣ, въ которыхъ поселились мы съ пріятелемъ, стало появляться много небывалыхъ прежде профессій—много людей, неимѣющихъ съ крестьянствомъ и земледѣліемъ почти никакой связи. Но всѣ эти «новые» деревенскіе жильцы, всѣ эти пришельцы всегда могутъ дать на предлагаемые имъ деревенскими жителями вопросы самыя точныя и опредѣленные отвѣты. Одинъ говоритъ: «пріѣхалъ насчетъ телятъ», другой—«по сѣнной части», третій просто отвѣтитъ: «грибы», четвертый скажетъ: «на станціи служу» и т. д. Все это понятно и ясно съ перваго слова; даже такой повидимому неопредѣленный и таинственный отвѣтъ, какъ «пріѣхалъ по своей части» и тотъ понятенъ и удовлетворителенъ для деревенскаго жителя. Мало-ли въ самомъ дѣлѣ «дѣловъ» и «своихъ частей»? Можетъ, онъ хочетъ «проникнуть» въ телячью часть, или въ грибную, или въ сѣнную, или наконецъ проникнываетъ мѣстечко на желѣзной дорогѣ. За такимъ человѣкомъ нужно только «поглядывать», надо смотрѣть только *одну*, не сунулся бы онъ въ какую-нибудь изъ такихъ частей—сѣнныхъ, грибныхъ и т. д., которыя уже абонированы мѣстными обывателями. Но такой отвѣтъ, какой дастъ литераторъ, т. е. «*пріѣхалъ отдыхать*» (подумайте: *пхалъ*, платилъ за билетъ... зачѣмъ?—отдыхать!), а *капитала не имѣю*—это не отвѣтъ, а тѣмъ кромѣшная. Тутъ не видно той нити, которая дала-бы возможность изучить спеціальность человѣка,—тутъ сразу является необходимость смотрѣть «*во оба*».

— Изъ господъ что-ли?—спрашиваютъ обыватели того изъ своихъ собратьевъ, который первый имѣлъ несчастье получить вышеупомянутые неудовлетворительные отвѣты.

— А шутъ его знаетъ! Капиталу, говорить, не имѣю...

— Что-жъ, на машинѣ что-ли мѣсто получилъ?

— Нѣту, какое на машинѣ!...

— Чего-жъ онъ здѣсь?

— Такъ выш. Говоритъ: «отдыхаю!»

— А капиталу нѣту?

— Нѣтъ, говорить, капиталу.

— Чего-жъ ему отдыхать безъ денегъ?

— А исья ихъ знаетъ!

— Тоже народъ... Безъ денегъ пріѣхалъ отдыхать... зимой! Поглядывать-бы за нимъ надоть...

— Нонче, братъ, всякаго народу довольно. Гляди въ оба!

Но невѣдомый человѣкъ хоть и объявилъ, что капиталу не имѣеть, а платитъ за все, что беретъ. Попробуютъ запросить вдвое (собственно для пробы)—платитъ; очевидно, ничего не понимаетъ, а

*) Стих. Н. А. Некрасова „О погодѣ“.

тѣмъ паче по телячьей или какой части. Опробовали его по части пониманія «вобще», принесли барсучью шкуру и запросили рубль — даль, хотя шкурѣ красная цѣна — сорокъ копѣекъ. Очевидно, что хоть капиталу нѣтъ, а деньжонки есть. Не то чтобы довѣріе, а такъ... только нѣкоторое вниманіе возбуждаетъ этотъ человекъ своимъ «непониманіемъ вобще» и расплатами. «Покуда платить, намъ какое дѣло?» — говорятъ мѣстные обыватели. — А въ случаѣ чего... на то есть начальство».

А все-таки любопытно знать, чѣмъ, «какими способами» человекъ деньги достаетъ, коль скоро настоящаго капитала не имѣетъ. И вотъ начинаются разспросы издалека, — разспросы, которые еще болѣе затемняютъ неизвѣстную личность.

— Что я все дивлюсь, какъ вы долго по ночамъ... Все огонь!

— Занимаюсь.

— Какія-же ваши будутъ дѣла?

— Да вотъ все по части книжекъ... Бумаги вотъ разныя...

— Что же, въ канцелярію какую пишете?

— Нѣтъ.

— Стало-быть не служите?

— Нѣтъ, не служу.

— Таперича, позвольте сказать, которыя вы пишете бумаги, или хоть книги-то по казенной онѣ будутъ надобности или по своей?

— Нѣтъ, не по казенной...

— По своей, стало-быть?

— Да, по своей.

— Слѣдовательно, такъ надо почестъ, что по судамъ дѣла дѣлаете?

— Нѣтъ, не по судамъ.

— И не то чтобы прошенія или прочія какія дѣла по судейской части?

— Нѣтъ, не по судейской.

— Стало-быть не по судейской?

— Нѣтъ, не по судейской.

— Не насчетъ какихъ прочихъ дѣловъ, или что касается, напримѣръ, которые бываютъ аблаты, или по писарской части?

— Нѣтъ.

— Нѣту?

— Нѣтъ, не по этой части...

Молчокъ. Затѣмъ:

— Та-акъ!

Чтобы понять всю глубину этого маленькаго словечка, — глубину той бездны сомнѣнія и недоувѣрія, въ которую повергаетъ вопрошателя вопрошаемый, — потрудитесь соединить въ одно все, что этотъ вопрошатель слышалъ отъ неизвѣстнаго человека со дня его пріѣзда.

«Пріѣхалъ такъ, отдыхать... Капиталовъ не имѣю... Не по писарской.. Не по судейской.. Не служу... Не въ канцелярію... Ни насчетъ прочихъ «дѣловъ»... Итого: первое слово — «отдыхать» и затѣмъ безчисленное множество — «нѣтъ». Этого вполне достаточно, чтобы деревенскій житель окончательно усомнился во всемъ, въ каждомъ словѣ, которое было сказано ему вопрошаемымъ. «Ду-

рака-то, братецъ ты мой, изъ меня не выстроишь», думаетъ онъ про себя, а вслухъ говоритъ: «Та-акъ!» — и чтобы не дать замѣтить вопрошаемому своего полнѣйшаго къ нему недоувѣрія (очень искусно умиютъ они это дѣлать), ласково прибавляетъ: «Ну, пока-что, до пріятнаго свиданія!...»

Въ концѣ-концовъ, волей-неволей, а приходится-таки давать подробное объясненіе. Идетъ долгій и продолжительный разговоръ, начинающійся чуть не съ Гуттенберга. Приходится давать самые обстоятельные отвѣты на тысячи неожиданныхъ вопросовъ (о томъ, что такое книга, какъ она печатается, какъ дѣлаются буквы, сколько въ книгѣ сотенъ тысячъ буквъ и т. д., и т. д.), и если въ концѣ этихъ откровеннѣйшихъ объясненій слушатель пойметъ, что есть какое-то дѣло, котораго онъ не знаетъ и о которомъ не слышалъ, то еще слава Богу. Большею частью и этого результата нельзя добиться. «Что-то не такъ!» — сидитъ въ головѣ обывателя, и если онъ перестаетъ допытываться и «доходить до корня», то единственно потому, что уже рѣшилъ: «Намъ какое дѣло? На то есть начальство!.. Наше дѣло — не касайся, а получай. коли есть за что... Какое у него дѣло — неизвѣстно, разыскать что доподлинно — ужъ разыскивали, бормочетъ Богъ вѣсть что — лучше оставить... А деньги точно-что получаетъ. Теперь необходимо «опробовать», много ли денегъ-то получаетъ. Что у него за работа — пѣсъ съ нимъ, а денегъ-то многоли?» И опробываютъ такъ: опять несутъ барсучью шкуру и запрашиваютъ три рубля. «Почему такъ?» — «Да больно ужъ глубоко въ норы позабирались каторжные! Доставать-то ихъ оттого очень много хлопотъ». — «Какъ-же я купилъ за рубль?» — «Да теперь цѣны не тѣ». — «И рубль-то дорого. Всѣ покупаютъ по полтиннику. Вотъ вчера по полтиннику мужикъ продавалъ». — «Какъ такой?» — «Ужъ я не знаю». — «Ни-знаю... Такъ не возьмете?» — «Пятьдесятъ копѣекъ». — «Маловато! Прибавьте». — «Мнѣ онъ вовсе не нуженъ, я просто такъ покупаю»... — «Прибавьте... Ну, за шесть гривенъ». — «Зачѣмъ же ты запрашиваешь три рубля?» — Слѣдуетъ великолѣпная, во все лицо, улыбка — точно солнце въ полномъ блескѣ, сіяетъ и блестяще лицо вопрошателя. — «Да намъ что больше. то пріятнѣе!» — «Ты что-же думаешь, что у меня не деньги, а щепки?» — «Да вѣдь намъ почему-же знать?... Трешной не даете, такъ и шесть гривенъ возьмемъ... для вашего здоровья».

«Нѣтъ» — рѣшаетъ послѣ этого слѣдователь-обыватель — не вполне при деньгахъ... Деньжонки есть, а не такъ, чтобы при полномъ капиталѣ». И дѣло все-таки оканчивается прежнимъ рѣшеніемъ: «Намъ что? Мы нешто что? Въ случаѣ чего... на то есть начальство. А намъ какое дѣло?»

Но, порѣшивъ такимъ образомъ и повидимому успокоившись, обыватели не перестаютъ хранить полное недоувѣріе къ личности неизвѣстнаго человека, занимающагося неизвѣстнымъ дѣломъ. Дѣло имъ неизвѣстно, но достаточно ужъ того, что оно — не крестьянское, не кулацкое, не торговое, а барское, господское. Отъ самаго послѣдняго мужичонки.

отъ безпріютнаго нищаго, побирающагося подъ окнами, черезъ всю длинную лѣстницу крестьянскихъ типовъ разнообразныхъ степеней благосостоянія—черезъ всю лѣстницу типовъ, олицетворяющихъ собою благосостояніе кулацкое, вплоть до тузовъ-кулаковъ, до тысячникковъ—нигдѣ, никогда ни отъ одного человѣка нельзя услышать словъ «пріѣхалъ *отдыхать*», то есть ничего не дѣлать, какъ только отъ барина. Онъ одинъ никогда ничего не дѣлаетъ—такая ужъ порода и такое о ней мнѣніе: къ тому, чтобы ничего не дѣлать, всѣ они и стремятся; а чтобы «отдыхать» да ничего не дѣлать—нуженъ капиталъ, деньги. Вотъ эти-то деньги баринъ и хочетъ добыть какими бы то ни было каверзными способами. Это онъ все мутитъ и орудуетъ... И поэтому, что-бы онъ тамъ ни толковалъ, какіе бы узоры ни выводилъ языкомъ насчетъ «своихъ дѣловъ, насчетъ того, что молъ «книжки печатаю»—все это пустыя слова, выверты, прикрывающіе уязвленное самолюбіе барина, который только и думаетъ, какъ-бы «вернуть на старое»... «Отдыхать пріѣхалъ!.. Отдыхай, любезный, покуда деньжонки маменькины не перевелись... А только что въ случаѣ чего, такъ вѣдь у насъ и начальство есть. Слава тебѣ Господи, не безсудная земля!»

II.

Такъ рѣшаютъ дѣло обыватели-крестьяне, люди хотя и не вполне полированные (а полированныхъ людей въ нашихъ мѣстахъ, благодаря близости Петербурга, очень и очень много), но и не лишеные ужъ нѣкоторой доли политурны, какъ и вообще всѣ здѣшніе крестьяне—въ огромномъ большинствѣ типъ не вполне симпатичный. Но здѣсь-же, въ этихъ-же мѣстахъ, есть ужъ типъ вполне ополитуренный, т. е. ужъ шерамыжничъ въ полномъ цвѣтѣ. Скрытая, но непреклонная его ненависть къ барину прикрыта многоразличѣйшими приемами, обнаруживающими, что человѣкъ понимаетъ до нѣкоторой степени общее положеніе дѣла. Онъ почти всегда лѣзетъ въ знакомство съ господами и хотя, благодаря этому знакомству, нагрѣваетъ мужиковъ, но и барину *всегда* отъ него приходится плохо. Играетъ онъ всегда на старыхъ «барскихъ» струнахъ: предупредительность, любезность, услужливость, холопство и т. д. Система его—«пстрафлять» и тѣмъ истощать барина и его карманъ. Онъ изучилъ господскій «правъ», какъ охотникъ изучаетъ нравъ тетерева или барсука, и изучилъ для того, чтобы продать этого барсука или тетерева на базарѣ. Такіе политурные люди хотя и смотрятъ на барина въ сущности точно такъ-же, какъ и остальные полуполитурные и совсѣмъ неполитурные крестьяне, но ужъ понимаютъ, что нельзя такъ, зря, приходить къ нему только за деньгами и брать ихъ, глядя въ сторону. Понимаютъ, что баринѣмъ еще можно пользоваться и другимъ родомъ. Они читаютъ въ трактирахъ «листки», знаютъ, что такое «газета», понимаютъ, что можно писать и не служить, не занимать писарской должности... Они знаютъ, что

изъ свѣтъ существуетъ печатная, газетная кляуза. И вотъ къ новоприбывшему въ деревню, невѣдомо чѣмъ занимающемуся человѣку начинаетъ являться политурный кляузничъ—не за деньгами прямо, а съ кляузой, съ покорѣйшей просьбой «пропечатать». Кляузничество занимаетъ такую огромную область въ правахъ современной ополитуренной деревни, и область эта до такой степени непривлекательна и срадна, что говорить объ этомъ подробно невозможно—отвратительно. Скажу только, что современная кляуза группируется въ два типа. Въ кляузу судейскую—открыто *личную*—и кляузу, хотя тоже личную, но прикрывающую общественнымъ интересомъ. Кляузничъ перваго типа—большую частью состоятельный мужикъ, самолюбецъ и злецъ; лѣтъ пятнадцать сряду онъ хочетъ донять какого-то дялю или какую-то тетку, донять на пустякахъ, за то, что не уважали его въ чемъ-то на мѣдный грошъ; у него цѣлый мѣшокъ бумагъ изъ уѣздныхъ и земскихъ старыхъ судовъ: копій, рѣшеній, постановленій, кучи документовъ изъ окружныхъ судовъ, судебныхъ палатъ, правительствующаго сената, отъ нотариусовъ и т. д. Онъ просудилъ уже около тысячи рублей; будучи кругомъ неправъ и зная что неправъ, онъ все-таки не можетъ, не хочетъ остановиться, роется своею злостью, какъ кротъ, глубже и глубже зарывается въ бумаги и т. д. Это—самодуръ, и всегда онъ ищетъ такого человѣка, который бы взялся изобрѣсти новую кляузу, прицѣпиться къ чему-нибудь, заварить вновь кашу, чтобы тетка еще на двадцать лѣтъ не знала покою. Онъ только и хочетъ, чтобы нашелся «человѣчекъ», который-бы *непремѣнно* кляузу выдумалъ, хотя большей частью разговоръ идетъ всегда о правдѣ и о томъ, что не сыскать нынче правды нигдѣ. Но глаза его говорятъ: «прицѣпись, замути!»..

Преобладающій кляузничъ несомнѣнно принадлежитъ ко второй категоріи кляузничковъ, кляузничковъ изъ-за личныхъ расчетовъ и обидъ, но непремѣнно во имя общественныхъ интересовъ и общаго блага. Какъ извѣстно, этотъ типъ «опустошителя своего отечества» до полного совершенства доведенъ и выработанъ не въ одной только народной средѣ. Башкирскія земли не расхищаются подобно тому, какъ расхищалось имущество во время еврейскихъ беспорядковъ, а раздаются, на льготныхъ условіяхъ и непремѣнно во имя государственной, даже прямо народной пользы. Искусство представлять расхищеніе такъ, что оно представляется дѣломъ государственной важности, —это искусство выработано не въ крестьянской средѣ; но крестьянская среда, переродившаяся въ кулацкую, поняла, что и ей нельзя пренебрегать этой *модой*. Въ виду этой всеобщей моды, кляузничъ, прикрывая свой акулюю пасть общественнымъ интересомъ и благомъ, распространенъ въ деревнѣ въ огромномъ количествѣ.

И вотъ начинаются визиты этого новаго рода кляузничка. Съ первыхъ-же словъ онъ объявляетъ, что для него главное дѣло вовсе «не что-либо изъ корысти или что...», но единственно только правда:

«дорога мнѣ правда», говоритъ онъ и излагаетъ дѣло и просьбу. Просьба состоитъ почти всегда въ томъ, что бы, вы, человѣкъ мало въ деревнѣ извѣстный, мало понимаемый, а главное, уже подозрѣваемый въ чемъ-то и слѣдовательно—уже до нѣкоторой степени находящійся во всеобщемъ сомнѣніи, составили ему ни много, ни мало, какъ «доносъ». Онъ и самъ, какъ оказывается, изъ дальнѣйшихъ разговоровъ, уже не разъ «подавалъ», куда слѣдуетъ, но все не выходило, потому что не умѣлъ составить. «Учили-то насъ на мѣдныя деньги. Такъ на словахъ-то я все могу, и сказать, и все...—съ хорошими господами разговаривалъ; князья даже прїѣзжали—и то могъ разговаривать, а вотъ на бумагу положить—не складно выходить, да и глаза болятъ, слеза бьетъ». Такъ вотъ этотъ общественный дѣятель и желаетъ, чтобы неизвѣстный человѣкъ, который «все пишетъ», настроилъ ему поядовитѣе доносца на священника, на учителя, на станового, писаря, волостного старшину. Сколько мнѣ ни приходилось слышать просьбу о написаніи такихъ доносовъ, въ огромномъ большинствѣ случаевъ въ глубинѣ побуждений, руководившихъ доносителя, всегда крылось какое нибудь своекорыстнѣйшее побужденіе: копѣйка, грошъ, денежная выгода, которую врагъ перехватилъ, съѣлъ раньше доносителя, вырвалъ у него «изъ горла». Но не могу утаить также и того, что выдавъ я просителей въ этомъ родѣ, которые и въ самомъ дѣлѣ побуждаемы были просто несправедливостью, неправдою, возмущаясь ею безъ своекорыстныхъ расчетовъ. Такихъ впрочемъ очень-очень мало, именно капля въ океанѣ своекорыстной кляузы. Но вотъ какое ужасное положеніе:—и эти-то люди, несвоекорыстники, а въ самомъ дѣлѣ негодушіе на неправду, приходили все съ тою же просьбой: написать въ той или другой формѣ доносъ. Доносъ!.. Вотъ единственный проторенный путь для выраженія всѣхъ государственнхъ и общественнхъ стремленій, вотъ модный, общедоступный, популярный способъ, единственный даже для предъявленія хорошихъ побуждений.

Входятъ въ какія бы то ни было отношенія съ этими типами деревенскихъ кляузниковъ для человѣка, желающаго отдохнуть въ деревнѣ, нѣтъ ни малѣйшей возможности и резона. «Свои собаки грызутся, чужая не приставай»—пословица, весьма подходящая для объясненія того положенія, которое долженъ принять въ деревнѣ человѣкъ, для нея совершенно посторонній. На всѣ жалобы о неправдѣ, какими-бы хитросплетенными разглагольствованіями ни прикрывалъ ихъ деревенскій клязникъ, необходимо отвѣчать самымъ рѣзкимъ и рѣшительнымъ отказомъ. Сразу поймутъ, что не туда попали, и отстанутъ. Но есть еще третій родъ просителѣй и просителей, въ дѣлахъ, словахъ и просьбахъ которыхъ нѣтъ и тѣни кляузы, а чуется въ самомъ дѣлѣ насущная горькая нужда: это—крестьянинъ, мірянинъ, хлопотущій о земелькѣ.. Повторяю, въ просьбахъ этого просителя нѣтъ кляузъ ехидства или кляузнаго либерализма, но, увы, входятъ съ нимъ въ разговоры для человѣка,

который изъ океана столичной муки не хочетъ понасть въ еще болѣе бездоннѣйшій океанъ мученій деревенскихъ, также нѣтъ никакой возможности. Можно конечно съ ними толковать и разговаривать, и даже не грѣхъ жалѣть, глубоко сочувствовать, но (такова на Руси участь заправскаго, настоящаго, не кляузнаго дѣла!), разговаривая, не нужно забывать, что отвѣтъ вашъ, послѣ всѣхъ разспросовъ, долженъ быть одинъ: «ничего не могу сдѣлать!». Этотъ отвѣтъ, по глубокому несчастію, преслѣдуетъ человѣка русскаго всякій разъ, когда онъ очутится лицомъ къ лицу съ какими-нибудь серьезнымъ насущнымъ, всегда простымъ дѣломъ. Едва заслышитъ русскій человѣкъ, что разговоръ идетъ о чемъ-то справедливомъ, какъ ужъ ему чудится: «нельзя», «лучше и не слушать». Вотъ именно объ этой-то напрасной мулкѣ я и говорю, утверждая, что лучше не разстраивать себя, разспрашивая о подробностяхъ простаго крестьянскаго дѣла. Разспрашивая, вы всегда увидите, какъ это простое дѣло огромно и какъ «ничего невозможно» для него сдѣлать... Когда нибудь, Богъ вѣсть когда, что-нибудь сдѣлается, а когда—неизвѣстно.

До какой степени многосложны, а главное бесплодно-мучительны эти простыя крестьянскія дѣла, я постараюсь сказать подробнѣе нѣсколько ниже. Какая-нибудь «простая» просьба, вродѣ того, что «некуда выгнать скотину», мгновенно ставитъ васъ на почву жгучаго несчастія нашихъ дней, въ которыхъ точно такое-же «простое желаніе»—сказать громко «простое» слово—мучить самыми подлинными муками массы людей многое годы. Все это я уже испыталъ, зналъ доподлинно, а потому, когда неподалеку отъ меня поселился мой пріятель, я, зная его за человѣка, которому необходимо было хоть нѣсколько мѣсяцевъ пожить спокойно, — настоятельнѣйшимъ образомъ посоветовалъ ему, во-первыхъ «не мѣшаться», а во-вторыхъ «ни о чемъ», т. е. буквально ни о чемъ, не разспрашивать и не допытываться.. Я ему говорилъ:

— Если хочешь отдыхать, пожалуйста не разспрашивай ни о чемъ и никого: не спрашивай также, почему молоко продается такъ дешево, почему телatina упала въ цѣнѣ... Ышь, ѣшь и молчи; иначе ты умрешь съ голоду! Ышь, спи и ничего не ка-сайся... Клязники сами разберутся. А не клязникамъ ты ничего не можешь сдѣлать. Ышь, молчи и не разспрашивай! Вотъ что требуется въ настоящее время.

Кромѣ того, зная по опыту, что въ настоящее время всякій обыватель и тѣмъ паче всякая самонадѣвшаяся власть, до деревенскаго настуха включительно, обуяна жаждой установить порядки, зная, что всѣ эти установители, искоренители и т. д. каждый имѣетъ «собственный» свой взглядъ на порядки и не порядки, на свои и чужія права и обязанности, что наконецъ недавно еще одно волюстное правленіе присвоило себѣ право приговаривать вредныхъ людей къ ссылкѣ,—я посоветовалъ моему пріятелю поселиться не у какого-нибудь крестьянина, несвѣдущаго по политикѣ му-

жика, а прямо у сельского старосты, чтобы жизнь его—вся какъ есть, во всѣхъ подробностяхъ и съ утра до ночи—была передъ начальствомъ «какъ на ладони». Пусть онъ наслѣдуетъ все, что найдется нужнымъ. Пусть роется въ ящикахъ, въ чемоданѣ, въ бѣльѣ—молчи, терпи, ѣшь и не спрашивай. Пріятель послѣдовалъ моему совѣту, такъ какъ хотѣлъ отдохнуть. Онъ ѣлъ и не спрашивалъ, пилъ молоко и не спрашивалъ, молча писалъ, молча спалъ, молча гулялъ. Пробовали его помощью барсучьей шкуры — не сопротивлялся; пробовали его по части кляузъ — смиренно сознался въ незнаніи. Крестьянамъ съ первыхъ словъ объявилъ: «не могу!». Когда староста, подозрительно покачавъ головой, сказалъ: «что-то больно ужъ буквовъ много въ книжку-то влѣзаетъ, по вашему разговору», я явно заподозрилъ пріятеля моего въ неблагонадежности — претерпѣлъ, перенесъ, не разсердился. Словомъ, какъ ни трудно было моему пріятелю выполнить мои совѣты, онъ выполнилъ и достигъ того, что «вообще» относительно его личности было рѣшено: во-первыхъ, «какой-то баринъ»; во-вторыхъ, «худого не видишь»; а въ третьихъ, «въ случаѣ ежели, на то у насъ есть начальство».

III.

Само собою разумѣется, что три вышепоименованные характерныя признака, которыми деревенскій житель опредѣлялъ неизвѣстную личность, поселившуюся въ деревнѣ, должны были, дойдя до «начальства», получить какое-нибудь общее опредѣленіе. Если для мужиковъ довольно знать, что поселился «какой-то баринъ», что занятія его неизвѣстны и что начальство должно само принять на себя отвѣтъ «въ случаѣ чего», то для начальства, какъ-бы оно ни было деликатно, является неизбежнымъ прибавить къ тремъ вышеупомянутымъ пунктамъ пунктъ четвертый, заключительный, что оно, въ лицѣ урядника, и дѣлаетъ, говоря старостѣ:

— А ты того, между прочимъ, поглядывай тамъ... Въ случаѣ ежели что, или что-нибудь тамъ, такъ ужъ ты тово... соваться не суйся, а посматривай...

Само собою разумѣется, что староста, также по своему пониманію «нонишнія времена», сталъ поглядывать, а когда ему на цѣлую недѣлю пришлось отлучиться въ Петербургъ съ сѣномъ, то онъ, помня приказаніе «поглядывать», пошелъ къ лавочнику, своему сосѣду, и сказалъ ему:

— Подико-съ сюда, Михай Кузьмичъ, на парочку словъ...

— Чего надуть?

— Таперича требуется мнѣ въ городъ по дѣламъ отлучиться, такъ ужъ ты тово... Насчетъ барина урядникъ сказывалъ мнѣ... не то что-либо какъ, а такъ, въ случаѣ ежели... Времена нонѣ—самъ знаешь какія... Ну, такъ вотъ урядникъ и сказывалъ, чтобъ поглядывать.

— Чего поглядывать.

— Да что ты? Оглохъ что-ли? Я говорю —

насчетъ барина... Урядникъ сказывалъ, въ случаѣ говорить, не какъ-нибудь соваться или что-либо прочее, а больше ничего, что касаемое по нонѣшнему времени... поглядывать.

— За баринномъ?

— Ну да... Объ чемъ-же я говорю!

— Ну, ладно.

— Ужъ ты, тово, поаккуратнѣй.

— Ну, ладно.

Само собою разумѣется, что первый-же визитъ прислуги въ лавку, вѣрный своему слову и собственному внутреннему убѣжденію, лавочникъ ознаменовалъ такимъ вопросомъ:

— А что баринъ вашъ подѣлываетъ?

— Мы ихнихъ дѣловъ не знаемъ.

— Ну все, чай, видно.

— Работаетъ свою работу... Книжку читаетъ.

— Что больно джюже книжки любить?

— Не наше это дѣло.

— То-то. Нонѣ всякаго народу много. Вонъ въ Петербургъ тоже—все тоже книжки читали, ученые тоже... Читаетъ-читаетъ, да и тово...

— Намъ это неизвѣстно.

— Такъ-то такъ, а все надо съ опаской... Нонѣ времена—опаси Богъ! Книжки... Конечно, книга книгѣ розъ... Глядя по человѣку, а все нѣтъ нѣтъ да и надо подумать, что молъ за человѣкъ? Нѣтъ-ли какихъ дѣловъ? Я говорю, всякаго народу довольно. Иной и купцомъ обернется, а впоследствии того времени оказывается одно злодѣйство. А иной и на барина сходствуется, а тоже, по дѣламъ-то, мало ему горло перервать. Такъ-то.. Вамъ папирось требуется?

— Папирось.

— Какихъ прикажете?

— Вотъ тутъ на бумажкѣ написано.

— Папирось!.. Папирось-то папирось, а все-таки не мѣшаетъ и поглядывать...

— Намъ все одно. На то есть начальство.

— Ну, а все-таки. Начальство!.. Начальству тоже не угладѣть за всѣмъ... Урядникъ-то вонъ и то ужъ старосту просилъ...

— Насчетъ нашего барина?

— Да ужъ видно такъ.

— Опять-же мы ничего не знаемъ.

— Да и мы ничего не знаемъ, а между прочимъ... И я говорю: не то, чтобы соваться или какъ неаккуратно, или грубо—намъ вѣдь нельзя знать, кто онъ и какъ его дѣло, — а такъ, втеченіе времени, полегоньку... Въ случаѣ что, или ежели такъ-сказать въ какомъ-нибудь смыслѣ... Времена-то вѣдь какія! Тоже не за горами отъ Питера-то живемъ... Ну, такъ вотъ я и говорю: поосторожнѣй, повѣжливѣй, а все надо... Ужъ тамъ знаютъ, что говорить... Урядникъ-то вонъ говорить: «поглядывайте, говорить, между тѣмъ... Не то, чтобы какъ, а «на случай»... Вотъ и я про то же. Такъ папирось?

— Да-съ.

— Извольте-съ... Съ полнымъ удовольствіемъ... До пріятнаго свиданія...

Прислуга, тоже не въ серъезъ, а такъ «между

прочимъ» рассказала въ домѣ и у сосѣдей, а самъ лавочникъ, уѣзжая за патентомъ въ губернской городъ, не дождавшись возвращенія старосты, передалъ порученіе послѣдняго «курляндцу», потому что тотъ жилъ напротивъ дома моего пріятеля.

— Карла! — крикнулъ онъ курляндцу, останавливая лошадь противъ его воротъ (Карла работалъ въ глубинѣ двора). — Подъ-ка сюда на парусловъ.

Выходитъ Карла.

— Вотъ чего... Тутъ староста наказывалъ насчетъ барина... Ты слушай обокими ушами, что говорятъ-то!

— Я слушаю... Чево? Говори!

— Такъ ты слушай, а ротъ-то не разѣвай...

— Ну-у, ну-у!

— Наказывалъ поглядывать насчетъ сусѣда...

Понимаешь али нѣтъ?

— Каково сусѣда?

— Эво! Больше ничего — поглядывай! Соваться не суйся, а такъ, «на случай». Понимаешь?

Курляндецъ не понималъ.

— Ахъ; колбаса нѣмецкая! Говорять... Понимаешь, въ чемъ дѣло? Знаешь, какія времена настали... Н-ну?

— А-а-а-а-а!.. Знай, знай!

— Не разѣвай пасть-то! Ну, чего заоралъ? Охъ, нѣмчура апаеиская! Долбишь, долбишь ему въ голову — какъ въ камень!.. Ну, такъ слушай, мнѣ съ тобой растабарывать не время... Больше ничего. Не суйся, не ори, а такъ... на случай... коли-что... ежели... Понялъ? Да гдѣ тебѣ понять!..

— Понимай.

— Понимай!.. Дубина нѣмецкая!.. Помни одно: не суйся, а поглядывай.

— Ладно, ладно, гуть!

— Дубина!.. Ты помни!

Повторяю, никакого умышленнаго злостнаго намеренія сдѣлать человѣка подозрительнымъ и стѣснить его существованіе, я увѣренъ, даже и не было въ поминѣ, когда начальство произнесло слово «поглядывай». Слово это, я очень хорошо понимаю, было только заключеніе, округленіе силлогизма! Посылка первая: «какой-то баринъ»; посылка вторая: «что дѣлаетъ — неизвѣстно»; заключеніе: «поглядывай». Заключеніе это является, какъ видите, *само собою* (хоть оно и возможно *только* по нынѣшнимъ временамъ), но тѣмъ не менѣе не могу не сказать, что это округленіе въ дѣйствительности выразилось тѣмъ, что не было въ деревнѣ человѣка, который бы не толковалъ о моемъ пріятелѣ и который бы не считалъ себя обязаннымъ «поглядывать». Говорили о немъ, соединяя его имя съ словомъ «урядникъ», и лавочникъ, и курляндецъ, и староста, и кухарки, и сосѣдъ, и сосѣди, и сосѣдки... «Въ случаѣ», «на случай», «ежели что», «что насамое», «въ случаѣ ежели что». Эти ничего не значущія слова, которыхъ такъ много изобрѣло русское косноязычіе, обязательно перемеживались съ словами: «поглядывай», «ноне какое время», и такъ далѣе. И замѣчательно (скажу кстати), что этотъ родъ наблюденій называется «негласнымъ». Всѣ толкуютъ о человѣкѣ,

котораго никто не знаетъ, — толкуютъ весьма худо, даже весьма подло, всѣ даютъ себѣ полное право подозрѣвать человѣка Богъ знаетъ въ чемъ, и все это называется «негласнымъ».

Пріятель мой все претерпѣлъ, всему покорился. Молчалъ, не разспрашивалъ никого и ни о чемъ, точно и подробно отвѣчалъ на каждый самый нелѣпый вопросъ; покорно опускалъ глаза всякій разъ, когда какой нибудь наблюдатель — староста, курляндецъ, лавочникъ, прислуга, сосѣдъ — вперялъ въ него упорно безмысленный и упорно-недовѣрчивый взглядъ (а это, благодаря «негласности» наблюденія, было ежеминутно). Правда, не разъ говорилъ онъ, что испытывалъ ощущенія птицы, на которую цѣлые дни наведено дуло ружья и которая должна ежеминутно думать о томъ, выстрѣлить ли ружье или нѣтъ, заряжено оно или нѣтъ, почему не стрѣляетъ? И почему наведено и прицѣлено именно въ меня, а не въ другое мѣсто? Вѣдь если прицѣлено въ меня, такъ и выстрѣлить можетъ? Но тогда почему не стрѣляетъ? А ружье все прицѣлено въ ту же точку, въ ту же птицу, и хотя не стрѣляется, но «вотъ-вотъ» можетъ выстрѣлить. «Хоть бы ужъ стрѣляли, что-ли!» — не разъ говаривалъ мой пріятель, но я успокоилъ его, доказавъ ему, что «по нынѣшнему времени это всегда такъ».

«Тебѣ — говорилъ я — неприятно, что какой-то глупый лавочникъ или курляндецъ таращить изъ тебя глаза, а подумалъ ли ты о томъ, каково-то лавочнику или курляндцу пріятно твое сосѣдство?.. Они тоже по ночамъ ворочаются на постели и ждутъ неприятностей отъ тебя, какъ и ты ждешь отъ нихъ. Такія отношенія установились во всемъ обществѣ. Человѣкъ, кто бы онъ ни былъ, просыпаясь утромъ, думаетъ: «вотъ и опять какая-нибудь гадость случится...»

Успокоенный мною, пріятель кое-какъ претерпѣлъ къ «нынѣшнимъ временамъ» и той формѣ общенія, въ которой они выражаются, и никого «не касаясь», ни во что не вѣшиваясь, прожилъ такъ мѣсяцевъ пять. Здѣсь оканчивается прісказка, а вотъ и маленькая сказка.

Нѣсколько дней тому назадъ на станціи появился какой-то рванный и пьяный человѣкъ и сталъ выдавать себя за агента, посланнаго разыскивать какихъ-то двухъ преступниковъ.

Необходимо сказать, что слово «агентъ» въ настоящее время такъ-же всемогуще, какъ во времена Гоголя было всемогуще слово «*ревизоръ*». Намъ пришлось видѣть между прочимъ такую сцену въ одномъ изъ московскихъ загородныхъ садовъ. Двѣ компаніи гостиннодворскихъ приказчиковъ, по видимому незнакомыхъ, съ подругами изъ швеекъ, затѣяли въ хмельномъ видѣ ссору, кажется, тоже изъ-за подругъ. Ссора разгоралась съ каждою минутой все больше и больше. Одна изъ компаній, сильнѣйшая (въ ней было однихъ мужчинъ-человѣкъ пять), чувствуя свое кулачное превосходство, стала довольно безцеремонно напирать на другую компанію, несравненно слабѣйшую, имѣвшую всего двухъ мужчинъ. Ссора быстрыми шагами прибли-

жалась къ тому фазису развитія, когда на сцену должны-бы выступить такъ-называемые въ обществѣ «сусалы», но одинъ изъ представителей слабѣйшей компаніи не допустилъ до такого конца. Счастливая мысль обжила его. За минуту предъ тѣмъ, видя, что дѣло не можетъ кончиться иначе, какъ при помощи сусалъ, онъ видимо струнулъ и началъ подаваться. Но «мысль», которая «мелькнула» въ его головѣ, сразу преобразила его изъ человѣка, готоваго отступить, въ человѣка, рѣшившагося дѣйствовать наступательно и притомъ вполне увѣреннаго въ успѣхѣ. Сразу переставъ отвѣчать ругательствами на ругательства, онъ выпрямился во весь ростъ и неожиданно для всѣхъ громко воскликнулъ: «Да ты знаешь-ли, дубина, съ кѣмъ ты разговариваешь?» — «Чего нѣтъ знать! Я и такъ вижу, что съ дуракомъ...» — «С-с-съ кѣ-ѣмъ? Я шш-пюнь!» Эта фраза была произнесена съ такимъ потрясающимъ великолѣпіемъ, съ такой напыщенной гордостью, сопровождалась такимъ геройскимъ закидываніемъ головы назадъ и ударомъ рукой съ отмахомъ въ грудь, что не только бושевавшая компанія, но и вся публика въ саду сразу замолкла, остановилась, кто гдѣ былъ, какъ вкопанная. Мгновенно послѣ этой могущественной фразы бושевавшая компанія какъ-бы окаменѣла; но въ слѣдующее за этимъ мгновеніе и компанія, и посторонняя публика, наблюдавшая ссору, какъ зайцы или какъ брызги, разлетѣлись, разбѣжались мгновенно, въ одинъ мигъ, въ разныя стороны. — «А-га! прибавилъ побѣдитель, оставшись съ своей компаніей. — Во-какъ, во. Только сунься теперь, я тебя на пятьсотъ лѣтъ приспособствую!..»

Торжественно, подъ ручку съ дамами, вышла компанія изъ сада; народъ шпалерами стоялъ по дорожкамъ и безмолвствовалъ. Выйдя наконецъ за ворота, компанія-побѣдительница разразилась неистовымъ хохотомъ... «Хо-хо-хо-хо!» доносилось со стороны Петровскаго парка. «Вотъ такъ ловко!».. «Отмочилъ!».. «Любо-два!» и т. д. И точно — ловко. Слово, сказанное приказникомъ, — слово ходкое, и хоть оно не пользуется особенной симпатіей или любовью, какъ въ старину не пользовалось и слово «ревизоръ», но я сожалею, что послѣднее вышло изъ моды... Лучше, кажется мнѣ, еслибы было въ модѣ это старинное слово: помните, какъ оно пугало темное царство?

Будемъ однако рассказывать начатую быль. Человѣкъ, появившійся на станціи, зналъ, что слово «агентъ» — въ модѣ, что оно даетъ дорогу, заставляя раступаться направо и налево. Впослѣдствіи выяснилось, что этотъ несчастный человѣкъ, промотавъ въ Петербургѣ послѣднія деньжонки, пріѣхалъ на станцію Богъ знаетъ зачѣмъ, въ пьяномъ видѣ, и вотъ очень быть можетъ, что онъ объявилъ себя агентомъ только для того, чтобы ему, не спрашивая впередъ денегъ, дали стаканъ водки. Какъ въ былое время всякая мразь пугалась слова «ревизоръ», такъ теперь всякая мразь смѣшитъ столпиться около новаго моднаго типа. Типъ, какъ мы видѣли, объявилъ, что онъ присланъ разыскивать какихъ-то двухъ подозритель-

ныхъ людей. И вотъ начались трактирные разговоры на эту тему, — разговоры въ томъ самомъ родѣ, въ тѣхъ самыхъ неопредѣленныхъ фразахъ, въ какихъ о томъ-же предметѣ, какъ ужъ видѣлъ читатель, разговариваютъ урядники, лавочники, курляндцы... «Настоящаго какого-либо вреднаго человѣка на примѣтъ нѣту, а такъ, вродѣ какъ... Не то чтобы что, или что касаемое... Живетъ тутъ баринъ... Богъ его знаетъ, что дѣлаетъ... Худова чтобы или прочаго чего не видишь, а только что урядникъ сказывалъ — поглядывать»... Я вполне увѣренъ, что несчастный валетъ, собственно для того только, чтобы не узнали, что онъ — проходимецъ, и не требовала денегъ за водку, придалъ этой болтовнѣ душу и тѣло вопросамъ о томъ, «каковъ изъ себя», возгласами — «э-ге-ге!..» и т. д. А чтобы окончательно заставить буфетчика на время забыть о платѣ, потребовалъ листъ бумаги и написалъ на немъ протоколъ, въ которомъ было сказано, что въ такой-то деревнѣ проживаетъ такой-то человѣкъ (имя и фамилія моего пріятеля), который, какъ удостовѣряютъ истинные толки (всѣ эти «ежели», «нежели», «не то чтобы что» и т. д.), оказывается человѣкомъ неблагонадежнымъ... Впослѣдствіи оказалось, что этотъ протоколъ онъ хотѣлъ представить въ Петербургъ и надѣялся получить за это должность: все это пришло ему въ голову, разумѣется, спьяну. И вотъ, составивъ такой протоколъ, онъ для того, чтобы выскочить благополучно изъ трактира, немедленно побѣжалъ въ сельскому старостѣ, — тому самому, у котораго мой пріятель жилъ, — разбудилъ его (былъ третій часъ ночи) и, объявивъ себя агентомъ, потребовалъ печать, которую и получилъ немедленно. Такъ что, если-бы ему потребовался фальшивый паспортъ или какое-нибудь удостовѣреніе, онъ все-бы могъ сдѣлать, еслибы дѣйствовалъ такъ-же, какъ рассказано. Уже послѣ того, какъ протоколъ былъ утвержденъ печатью, и послѣ того какъ минимй агентъ былъ угощенъ водочкой и собирався уходить, объявивъ, что завтра утромъ въ девять часовъ у моего пріятеля будетъ обыскъ, староста очувствовался: вѣдь въ самомъ-же дѣлѣ пріятель мой не сдѣлалъ ничего худого... Его взяло раздумье, хорошо ли дѣлаетъ онъ, прикладывая печать къ бумагѣ, въ которой жилецъ его подозрѣвается въ худыхъ дѣлахъ, а на самомъ-то дѣлѣ ничего худого онъ за нимъ не замѣчалъ... Замѣтилъ онъ также, что агентъ пьянъ, и попросилъ его сдѣлать приписку къ протоколу о томъ, что худого мы-молъ не замѣчали. Агентъ сдѣлалъ эту приписку и ушелъ, подтвердивъ, что въ 9 часовъ утра будетъ обыскъ. Онъ воротился въ гостиницу, занялъ номеръ и легъ спать. Безъ всѣхъ этихъ фокусовъ и гадостей едва-ли бы оказали ему кредитъ за водку, закуску и за номеръ... Утромъ онъ проснулся, бумагу разорвалъ и вѣроятно придумывалъ что-нибудь новое; но въ это время, не дождавшись обыска, который минимй агентъ назначилъ въ девять часовъ, староста (не говоря ни слова моему пріятелю) отправился къ уряднику, рассказать, ему въ чемъ дѣло, а урядникъ, выслушавъ рассказъ, пошелъ разыскивать непзвѣстную личность: разы-

скавъ, весьма вѣжливо, до послѣдней степени деликатно («Ну-ко, думаю, онъ выпалить!») — говорилъ онъ въ послѣдствіи, въ объясненіе этой деликатности), выспросилъ его обо всемъ и попросилъ документъ, удостоверяющій профессію. Документа не оказалось: агентъ былъ поддѣльный... Какъ только узнали, что онъ не *настоящій шпіонъ*, тотчасъ-же стали обращаться грубо, потребовали и за водку, и за закуску, составили протоколъ и наконецъ помѣстили въ холодную. Началось дѣло.

Прямо послѣ этой сцены староста, оказавшійся въ дуракахъ, пришелъ ко мнѣ и во всемъ повинился. Старосту этого я и прежде зналъ; и я-же рекомендовалъ ему и жильца. Признаюсь, рассказъ его до глубины души возмущилъ меня.

— Какъ-же не стыдно вамъ, Миронъ Ивановичъ, дѣлать такія гадости! — сказала я ему.

— Вить... онъ высоко поднялъ плечи, растопырилъ руки и говорилъ шопотомъ: — вить агентъ!..

— Какой-же агентъ? Вы видите, что просто прохвостъ какой-то... И вамъ не стыдно было не распросить его, кто онъ такой, зачѣмъ, откуда взялся?

— Вить тайный онъ... Вить онъ говоритъ: «я, говоритъ, агентъ...» Я такъ весь и задрожалъ... Печать! Я и далъ... Вить вы тоже подумайте: намъ отвѣчать, въ случаѣ ежели что касаемое...

— Что такое? Что такое касаемое?.. Отчего вы документъ у него не спросили? Вѣдь эдакъ придетъ къ вамъ, кто хочетъ, назовется агентомъ, потребуетъ, что захочетъ, вы такъ ему и отвалите? Миронъ Ивановичъ молчалъ, пожимая плечами, разставляя руки и бормоталъ:

— Нешто мы что?... Мы, что намъ скажутъ, обязаны не послушаться. Говорить, тайный я — ну...

— Ну, а если-бы — перебилъ я его — агентъ тотъ сказалъ вамъ такъ: я — агентъ, приказано взять у тебя каурюю кобылу... Вы тоже бы не послушались?

Слово «кобыла» мгновенно, какъ напатырный спиртъ, освѣтило его... Ему стало совершенно ясно, до какой степени онъ глупъ и даже подлъ.

— Мало мнѣ пятисотъ палокъ за это! вдругъ совершенно бодро и вполне сознательно воскликнулъ онъ.

— Вотъ видите, кобылу-то вамъ жалко стало?... Спроси онъ у васъ кобылу, вы бы непременно сказали: «покажи бумагу!»... Вѣдь сказали бы?

— Кобылу-то ежели?... Ну, ужъ это я бы безъ сумѣнія поостерегся...

— Видите! А тутъ приходитъ клеветникъ, пишетъ на человѣка пакость, да какую! Вѣдь вы знаете, что такое неблагонадежный?..

— Слыхали однимъ ухомъ.

— Вѣдь за «эти дѣла» людей ссылаютъ въ Сибирь, а вы ничего отъ моего пріятеля кромѣ пользы не видали, ничего не замѣчали за нимъ дурного, изъ жалости-то къ человѣку не подумали даже спросить у проходимца видъ! Сейчас печать приложили... Вѣдь это — человѣкъ, поймите вы пожалуйста! Вамъ жалко кобылу, а это — душа христіанская, и вы его сразу, безъ разгово-

вору, печатью вашею подводите... подо что? Подумайте-ка хорошенько! Ну, еслибы проходимецъ то не засидѣлся у васъ, а прямо бы отъ васъ да на машину, да протоколъ-то съ вашей подписью представилъ бы къ начальству — вѣдь моего пріятеля стали бы таскать... А онъ живетъ своимъ трудомъ, никого не трогаетъ, вамъ дѣлаетъ пользу... И не стыдно вамъ?

— Ужъ я сказываю, пятисотъ мало — что ужъ!..

Я помолчалъ, поглядѣлъ на него и скаталъ.

— Безсовѣстно это, Миронъ Ивановичъ! Вѣдь вы знали, что за «эти дѣла» бываетъ.

— Да вѣдь... слышимъ!

— Ну, а пріятеля моего замѣчали въ чемъ-нибудь?..

— Чего намъ замѣчать-то? Ничуть ничего не замѣчали.

— А печать приложили?

— Глупость-то наша... а-ахъ ты, Боже мой! Возможность утратить кобылу, хотя бы и по требованію настоящаго «агента», привела старосту въ чувство, въ разсудокъ, и, пользуясь этимъ, я не жалѣлъ словъ, которыя бы могли разсвѣять въ его головѣ ни на чемъ не основанную подозрительность къ моему пріятелю. И чѣмъ больше я распространялся, поясняя, тѣмъ болѣе убѣждался, что Миронъ Ивановъ какъ будто успокоивается, теряетъ искренность разсказанія по отношенію къ моему пріятелю, а думаетъ о томъ только, что «эти дѣла» надо дѣлать съ опаской, а не зря. Пожалуй, въ самомъ дѣлѣ, отнискать этаннимъ намеромъ и кобылу, и что-нибудь другое»...

— Да, говорилъ онъ по временамъ, почти не слушая, о чемъ я говорю, — да, далъ маху... Мнѣ бы бумагу надо спросить было.

И такъ мы проговорили очень долго. Я говорилъ о пріятелѣ, о томъ, какъ много ему надѣлали гадостей совершенно напрасно, а Миронъ Ивановъ сокрушался о себѣ, о томъ, что «зря дѣлалъ», а о пріятелѣ моемъ какъ будто и позабылъ.

Вотъ эта-то черта равнодушія къ моему пріятелю больше всего и трогала, и интересовала меня во всей этой исторіи — не потому, что это былъ мой пріятель, не потому, что въ самомъ дѣлѣ гадость сдѣлана была напрасно, но потому, что это равнодушіе исключительное. Такой исторіи не можетъ быть ни съ кѣмъ изъ деревенскихъ обывателей: ни лавочникъ, ни курляндецъ, ни кабатчикъ, ни какой другой человѣкъ не можетъ быть предметомъ такого *испоколебимаго* равнодушія, попавъ въ бѣду, какое суждено переносить всякому, кто такъ или иначе получилъ наименованіе *барина*. Случись что-нибудь подобное съ лавочникомъ, съ кабатчикомъ и вообще съ любымъ изъ деревенскихъ обывателей, — повѣрьте, что дѣло было бы не такъ просто и не такъ глупо: тутъ и спросили бы, и побоялись бы, и поостереглись. И потолковали бы. По отношенію же къ «барину» всѣ такія дѣла дѣлаются — рѣшусь сказать это — даже не безъ удовольствія... Пріятель мой слишкомъ повѣрилъ моимъ совѣтамъ «ни во что не

ишаться» и въ самомъ дѣлѣ сдѣлался для деревенскихъ жителей отдѣльной, посторонней, независимой, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ не связанной фигурой, и его опредѣлили словомъ «баринъ», «живеть баринъ»... Вотъ этотъ-то «баринъ» и былъ причиною того, что Миронъ Ивановъ сразу вручилъ печать, удостоверяющую вредность моего пріятеля, тогда какъ онъ же навѣрное не сдѣлалъ бы этого по отношенію къ кабатчику.

IV.

Признаюсь, крѣпко обидѣлъ и разсердилъ меня этотъ тупоумный деревенскій старичишка, котораго необходимо было разжалобить возможностью угрѣть лошадей, чтобъ онъ почувствовалъ возможность задуматься надъ участіемъ человѣка. Деревянная башка была у этого старичишки, а такихъ деревенскихъ головъ весьма-таки многоюшко въ деревнѣ. Но это не идетъ къ дѣлу. Повторяю: не мало негодованія излилъ я на эту деревянную башку, но въ то же время не могъ не сознать, что если деревянная башка старосты и виновата въ томъ, что дѣло съ моимъ пріятелемъ *сразу* вскрыло нутро этой башки, т. е. сразу показало, что башка всегда готова приложить печать къ какой угодно бумагѣ, то скрытая готовность сдѣлать барину что-нибудь подобное, если только можно, — воспитана не въ однихъ только деревенскихъ башкахъ, подобныхъ башкѣ старосты, а тасяся рѣшительно во всемъ, что не причисляетъ себя къ разряду «баръ», господъ...

Въ этомъ затѣяномъ антагонизмѣ конечно играютъ большую роль воспоминанія крѣпостного права. «Что было и что стало!» — говорятъ иные, припоминая барщину и видя, какъ потомки баръ слабеютъ и прогораютъ. Подъемъ народнаго духа въ этомъ отношеніи несомнѣненъ, и мы со-временемъ, въ весьма недалекомъ будущемъ, коснемся этихъ новыхъ явленій народной жизни. Теперь же будемъ говорить о главномъ предметѣ настоящей замітки — о происхожденіи скрытой вражды къ барину. Помимо крѣпостныхъ преданій, о которыхъ мы ужъ упомянули, не мало сдѣлало въ пользу воспитанія въ массахъ этого скрытаго ненавистничества и поведеніе барина по отношенію къ массамъ за послѣднія двадцать пять лѣтъ. Какъ-бы ни были жестоки и ужасны воспоминанія о крѣпостномъ правѣ, они всегда смягчаются фактической невозможностью возвратиться къ нему. «Это прошло», «этого больше не будетъ», надъ этимъ старымъ поставленъ крестъ, а надъ крестомъ для всѣхъ видна могила этого стараго, — могила, обросшая травой. Глядя на эту могилу, не возгорается, а затихаетъ злоба.

Не то совсѣмъ возбуждаетъ поведеніе барина за послѣдніе годы. У барина, какъ у всякаго человѣка на бѣломъ свѣтѣ, имѣются права и есть обязанности. (Крайне сожалѣемъ, что иногда приходится говорить такіе ненужные вещи.) Во времена крѣпостного права у барина, какъ и у мужика, были извѣстныя права и извѣстныя обязанности.

Права у господъ были огромныя, а обязанности только кое-какія, но онѣ несомнѣнно были, ихъ непременно надо было выполнять, хотя только для того, чтобы получить деньги. Но пользоваться правами и исполнять обязанности, возлагаемыя этими правами, можно было разное. Вотъ почему говорятъ: «хорошъ былъ баринъ», а этотъ — «хуже разбойника», и т. д. Отъ худого барина мужики разбѣгались, а когда поселялся «хорошій баринъ», мужики возвращались съ бѣговъ на старое пепелище. Хорошій баринъ не тиранилъ, не гнулъ въ бараній рогъ, не разорялъ. «Хорошій баринъ» могъ (по тогдашнимъ обстоятельствамъ) сдѣлать *что-то хорошее* въ тѣхъ труднѣйшихъ условіяхъ народной жизни — и *дѣлалъ*... Теперь баринъ, какъ видимая власть мужицкаго духа и тѣла, исчезъ. Отдѣльныя личности Петровъ Семеновичей и Семеновъ Ивановичей не имѣютъ значенія и вѣса, но всѣ они — въ кучѣ, въ массѣ, гдѣ-то тамъ, за предѣлами деревни, — сохраняютъ нравъ весьма многочисленныя... Но обязанности, которыми бы несли они, уже нѣтъ. Мы, деревенские неграмотные люди, не видимъ ихъ. Правда, сохраненныя коллективно массой господъ, мы видимъ каждый день. Постоянно идутъ взысканія или, по крайней мѣрѣ, напоминанія: «надо платять». И прежде платили, и оброки были громадныя, но было видно — куда, а теперь не видно.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что и теперь «хорошій баринъ» существуетъ на Руси, но деревня не видитъ, не знаетъ, какъ онъ понимаетъ свои обязанности. А нехорошій баринъ ужъ совсѣмъ нехорошъ сталъ. Вотъ два типа рядомъ — нехорошій типъ кулака и типъ нехорошаго «барина» — сравните ихъ. Оба они хлопчутъ, какъ-бы добыть побольше денегъ, оба нанимаютъ рабочихъ по осени, т. е. въ трудное время, оба за таскали ихъ по судамъ и т. д. Но кулакъ такъ и остается мироѣдомъ; онъ жретъ и прячетъ деньги въ сундукъ, но во имя его не собираютъ какихъ-то особенныхъ денегъ, кромѣ тѣхъ, какія онъ самъ выжметъ и спрячетъ. А во имя «нехорошаго» барина, перенявшаго отъ кулака все дурное, еще какія-то особенныя деньги собираются; онъ, поступая по-кулацки, не прячется въ нору, а настукаетъ, норовитъ крикнуть: «какъ ты смѣешь?», предъявляетъ права на какую-то «амбицію», которой у кулака нѣтъ и которая у барина, поступающаго по-кулацки, тоже совершенно непонятна, а стало-быть и противна. Это ужъ что-то излишнее, ненужное; безъ этой излишней «амбиціи» можно обойтись, успокоившись на скромныхъ кулацкихъ лаврахъ...

— Гдѣ-же «хорошій» баринъ?

Хорошаго барина не видать. Такъ по крайней мѣрѣ кажется съ деревенской точки зрѣнія. Хорошаго барина нѣтъ, а деньги отдай!.. Если-же на дѣло смотрѣть съ точки зрѣнія хорошаго барина, то мы, понятно, должны-бы горой стоять за него. Помилуйте, развѣ хорошій баринъ не ходатайствовалъ, не входилъ съ прошеніями и докладными записками? Развѣ онъ не мучился, не страдалъ за

убѣждения? и т. д. Съ этой точки зрѣнія можно-бы собрать груды матеріала, который какъ нельзя лучше можетъ оправдать хорошаго барина. Хорошіи баринъ старался, убивался, хотѣлъ пожертвовать, жертвовалъ, хлопоталъ. Но, увы, съ деревенской точки зрѣнія, весь этотъ огромный запасъ оправдательныхъ документовъ, которые хорошіи баринъ несомнѣнно можетъ представить намъ, не имѣетъ ровно никакого значенія, по той простой причинѣ, что всѣ эти оправдательные документы деревенскимъ жителямъ совершенно неизвѣстны, а главнымъ образомъ потому, что даже почва-то для пониманія «хорошаго» барина, благодаря бездѣтельности послѣд-наго, совершенно не подготовлена.

Встарину свои хорошіи качества и хорошіи на-мѣренія «хорошіи баринъ» могъ проявлять только въ тѣсномъ кругу своихъ владѣній, среди ему принадлежавшаго народа: теперь же, когда народъ уже не его и когда онъ взялся вѣдать вообще народное хозяйство, хорошіи побужденія и цѣли долж-ны-бы были выступить предъ лицомъ сплошной мас-сы народа и выразиться не въ частныхъ поступ-кахъ случайнаго добросердечія или душевнаго бла-городства во вниманіе къ «общему благу», а въ крупныхъ, всѣмъ видныхъ поступкахъ, въ которыхъ нѣтъ ничего другого, кромѣ чести, правды, спра-ведливости. Крупныя, всѣмъ видныя, высоко надъ людскимъ нравѣнникомъ стоящія заботы и цѣли дѣ-лались для «хорошаго барина», въ новыхъ усло-віяхъ жизни, даже почти обязательными. Обязатель-ны онѣ для него во-первыхъ потому, что онъ — баринъ, т. е. человѣкъ не только обезпеченный, какъ обезпеченъ и кулакъ, и купецъ, но и образованный, образованіемъ, умственностью и властью отличаю-щійся отъ простаго богача, простаго мѣшка съ день-гами; а во-вторыхъ — потому, что вѣдь онъ взялся за дѣло общаго блага, взялся и требуетъ де-негъ, а когда неаккуратно платить, то жалуетъ становому приставу, а становой приставъ не хва-литъ. Но если человѣкъ, хорошо обезпеченный и образованный, берется дѣлать добро и специально на это добро беретъ чрезъ станового пристава день-ги, то мы, деревенскіе жители, въ правѣ требовать во-первыхъ явнаго дѣла и во-вторыхъ, чтобы дѣло это было непременно добро — за зло нечего пла-тить денегъ... Намъ нужны ясныя, видныя всѣмъ, благородныя поступки, въ которыхъ былабы по край-ней мѣрѣ капля безкорыстнаго вниманія къ намъ, деревенскимъ, несвѣдущимъ людямъ, вручив-шимъ свои права и заботы объ общемъ благѣ... хорошему барину.

Но, живя въ деревнѣ и ничего не зная, не вѣ-дая объ оправдательныхъ документахъ, которые «хо-рошіи баринъ» несомнѣнно можетъ представить въ огромномъ количествѣ, мы къ ужасу нашему на каждомъ шагѣ, въ буквальный смыслъ слова, убѣж-даемся, что такъ называемаго «хорошаго» барина совсѣмъ нѣтъ на свѣтѣ, что онъ исчезъ, всякъ, махнулъ на все рукой. Очевидно, онъ не сумѣлъ отстоять для себя право поступать «по чести», и плоды этого неумѣнія мы, деревенскіе жители, еже-минутно ощущаемъ въ существованіи «ненужнаго»,

«излишняго» зла.. Мы очень терпѣливы и вы-носливы и кромѣ того далеко не либеральны и не развиты такъ, какъ развитъ либералецъ хо-рошіи баринъ. Мы сами — мастера создавать зло, да еще какое: неотразимое, звѣриное, зоологиче-ское!.. Но «хорошіи баринъ» не только ничего не противопоставляетъ этому зоологическому злу, но — вѣроятно вслѣдствіе забвенія собственнаго и чужого человѣческаго достоинства — допускаетъ, чтобы кро-мѣ нашего доморощеннаго зоологическаго зла суще-ствовало-бы еще зло ненужное, роскошь зла, изобиліе злодѣйства. Какіе-бы у «хорошаго» барина ни были спрятаны въ письменномъ столѣ оправ-дательные документы, но потакать, мирволить, уси-ливать зло, воспитывать цѣлыя поколѣнія въ увѣ-ренности, что на свѣтѣ нѣтъ даже самой элемен-тарной правды — это ужъ нехорошо, и это запи-шется въ «книгѣ живота» хорошаго барина. Можно не подать нищему — вольному воля; но не подать и въ то-же время ударить его — это ужъ безсовестно. Можно завести фабрику — положимъ, ситцевую, можно жить и прижимать рабочихъ, основываясь на томъ, что такъ, молъ, побуждаетъ дѣйствовать ученіе о капиталѣ; но предоставлять ситцевому фа-бриканту еще возможность сжигать ихъ живьемъ — это ужъ, ей-ей, напрасно, это ужъ, подлинно, рос-кошь злодѣйства! И «хорошіи баринъ» могъ-бы хотѣ въ полногласа крикнуть, что, молъ, такъ нельзя.. Можно строить желѣзныя дороги, можно наживать милліоны и т. д., но живьемъ зарывать десятки людей и дѣлать изъ людей, желѣза, глины, бревенъ, камней одну сплошную массу — это ужъ опять слиш-комъ роскошная приправа къ дивидендамъ, и «хоро-шіи баринъ, если-бы онъ только не позабылъ своего человѣческаго достоинства, могъ-бы, не боясь скоп-прометтировать себя, роскликнуть: «наживайся — наживайся, но убивай людей не мочи!» Можно не давать крестьянамъ больше земли, можно сказать: «не хочу — и не дамъ», или «самому надо», или «довольно и того, что у васъ есть»; но давать вмѣсто земли камни, буераки, болота, зная, что то — «не земля», или давать земли лоскутками въ двадцати мѣстахъ, напрасно изнуряя работника, — это опять-таки роскошь нерадѣнія..

Эта роскошь ненужнаго зла, буквально на каж-домъ шагѣ осаждающая васъ въ деревнѣ, дѣлаетъ жизнь въ ней невыносимой. Если вы хотите жить здѣсь, отдохнуть, то Бога ради не разспрашивайте ни о чемъ, потому что нѣтъ того простаго случай-наго вопроса, который бы не привелъ къ драмѣ. Ыщите мясо и не спрашивайте, почему говядина, ко-торая сегодня стоитъ 12 коп., вчера стоила 20 к., а завтра будетъ стоить 8 к. Надобно молчать, по-купать, солить и ѣсть; если же вы попытаете узнать, отчего такая дешевизна, то кусокъ не пойдетъ въ горло. Говядина дешева потому, что нечѣмъ скотъ кормить: не кормленный, голодный скотъ бабы и му-жики ведутъ къ богатымъ мужикамъ и продаютъ за безцѣнокъ; крестьянскіе ребяткишки остаются безъ молока — это зимой; а весной? Корму нѣтъ — дешевы коровы и лошади. Что же долженъ дѣлать мужикъ, чтобы добыть лошадь для весеннихъ ра-

богъ? Отвѣтъ: кабала, и кабала своему-же брату. Но почему корму нѣтъ?—Продали еще тогда, когда онъ и не выросъ — та-же кабала. Рекрута поставили, умеръ кто-нибудь, недомилку разыскали. лошадь пала. тысячи случайностей.. Конечно масса случайностей была бы отстранена, если-бы «хорошій» баринъ подумалъ серьезно о народномъ кредитѣ, который въ самомъ дѣлѣ нуженъ, какъ нуженъ и самому «хорошему» барину. Можеть быть, «хорошій» баринъ и думалъ о немъ, а его все-таки нѣтъ до сихъ поръ. И когда вы ѣдите дешевое мясо, это значитъ, что кто-нибудь — и притомъ кто-нибудь въ огромномъ количествѣ — разоряется. И такъ, ѣшьте и не разспрашивайте, или не ѣшьте совсѣмъ... Не разспрашивайте также, что это за драка происходитъ рядомъ, въ сосѣдней хибаркѣ, отчего тамъ и ревъ, и визгъ, и плачъ. Затворите поплотнѣе дверь. Подерутся, перестанутъ — и все затихнетъ. Если же вы попытаетесь подробно разузнать, въ чемъ дѣло, то опять недобрымъ словомъ помянете «хорошаго» барина. Вся избитая, съ синяками по всему лицу, изуродованная женщина, истерически вскрикивая и кое-какъ держа на изодранныхъ рукахъ ревущаго ребенка, только-что вырвалась изъ этой бойни и бѣжитъ. «Куда ты, Аксинья?» — «Самъ не знаю», трясась всѣмъ тѣломъ, задыхаясь и за-алебываясь, лепечетъ она и едва можетъ въ-починахъ сказать: — «Мужъ съ матерью... рупь... Сундукъ расшибли топоромъ... Стирала, два рубля дали... Саложнику отдала... Искали... Пьяный пришелъ... топоромъ... отдалъ!» И бѣжитъ, бѣжитъ куда-то — къ сосѣдямъ, въ другую деревню, къ матери за двадцать верстъ — невѣдомо куда, но только дальше, дальше... въ поле! Не разспрашивайте и этого несчастнаго, ободраннаго восьмилѣтняго мальчика, который повадился ходить къ вамъ просто затѣи, чтобы смотрѣть, какъ живутъ господа, какъ ѣдятъ и какой у нихъ горитъ свѣтъ въ горницѣ. Не разспрашивайте — «невидалъ ли ты, тутъ на столѣ лежала бумажка красная»... Не разспрашивайте, куда онъ ее дѣлъ: онъ огнесъ тятѣ-пьяницѣ, плотнику, и мамѣ; радуйтесь, что они всѣ трое на эту исчезнувшую десятирублевую бумажку купили муки, крупы и *цѣлую* ночь пекли и ѣли пироги... Не раскапывайте этихъ исторій. Какъ въ первой, такъ и во второй непремѣнно замѣшанъ «хорошій» баринъ, и замѣшанъ не съ доброты-качественной стороны... Семья, гдѣ губили женщину, отыскивая въ ея сундукѣ рубль, полученный за стирку, опустилась, разорилась случаемъ: «пала лошадь», «продали корову», «продали землю»... И въ семьѣ мальчика, утащившаго десять рублей, та-же исторія: та же лошадь и корова, и земля, сданная въ аренду сосѣду...

Глядя и всматриваясь въ эти ежедневныя сцены деревенской жизни, вы видите, что «хорошій» баринъ (если онъ только чуть-чуть понимаетъ это слово) долженъ бы былъ и могъ бы, не нанося даже ущерба своему барскому положенію, отстранить массу этого ненужнаго, возмутительнаго зла. Чѣмъ объясните вы рядъ слѣдующихъ непостижимыхъ безобразій, вочью совершающихся передъ нами изъ года въ годъ?

соч. гл. УСНЕНСКАГО. Т. II.

Приходитъ крестьянинъ и предлагаетъ купить у него пять маленькихъ живыхъ липокъ. Проситъ онъ за нихъ по двугривенному. Я купилъ. Крестьянинъ посадилъ ихъ и, собираясь уходить, предлагаетъ еще. Я попросилъ посадить еще пять, но дня черезъ два, проснувшись часовъ въ семь утра, я увидѣлъ, что крестьянинъ посадилъ не пять, а цѣлыхъ пятьдесятъ липокъ. Чтобы успѣть посадить такую массу деревьевъ, т. е. чтобы вырыть пятьдесятъ ямъ и посадить въ нихъ деревья, опять засыпать ихъ, и успѣть все это сдѣлать къ семи часамъ утра, надо было встать до свѣта, и это обстоятельство заставило меня призадуматься, не краденныя-ли липки у кого-нибудь? Посадивъ липки, крестьянинъ обѣщалъ вечеромъ прийти за расчетомъ. Но прежде нежели наступилъ вечеръ, я получилъ записку отъ незнакомца мнѣ землевладельца, въ которой значилось, что липки украдены въ его лѣсу и чтобы я не платилъ денегъ впредь до особаго со стороны невѣдомаго мнѣ лица распоряженія. Подъ вечеръ пришелъ крестьянинъ, продавшій мнѣ ворованныя липки, и я долженъ былъ показать и прочесть ему письмо. Сгорѣлъ со стыда не ждавшій бѣды мужикъ. — «Какъ хочешь, сказалъ я, бери липки назадъ или поди уладь это дѣло». — «Пѣсь ихъ возьми совсѣмъ! И стоять-то всего грѣшъ, только что за работу и за поску беру... Ахъ ты, горе, горе! Изъ-за какой дряни воромъ сталъ! Ахъ, Боже мой! Такъ шестьсотъ десятинъ лѣсу-то, такъ, даромъ стоятъ!» — «Ты-бы изъ своего лѣса бралъ, а не изъ чужого»... «Да нѣту его, своего-то лѣсу; былъ клочокъ, — давно весь сожгли.. Ахъ, горе, горе!» Крестьянинъ побѣждалъ улаживать дѣло съ незнакомымъ мнѣ лицомъ. Въ тотъ-же вечеръ онъ возвратился и принесъ записку, въ которой было сказано, что имѣю право уплатить ему деньги, такъ-какъ крестьянинъ такой-то взялся отработать причиненный мнѣ убытокъ. Воровать скверно, но, порывшись въ подробностяхъ воровства, мы также непремѣнно наткнулись-бы на апатию къ общественнымъ заботамъ «хорошаго» барина. И такъ, въ концѣ концовъ получилось, что за пятьдесятъ липокъ, которыя ничего не стоятъ, если принять во вниманіе обиліе лѣсовъ, человѣкъ отработываетъ работу, которая иначе оплатилась-бы деньгами, и чувствуетъ кромѣ того себя воромъ, да и не чувствуетъ только, а въ самомъ дѣлѣ знаетъ, что онъ — воръ.

Словомъ, какъ ни посмотри, дѣло скверное. Это скверное дѣло происходило раннею весной. Полая вода далеко еще не опала, и вся рѣчка, къ которой примыкаютъ земли нашей деревни, была запружена трехсаженными бревнами, сплавляемыми водою. Дня черезъ два послѣ описаннаго эпизода съ липками приходитъ ко мнѣ знакомый крестьянинъ и говоритъ: — «Вы что-же не идете *получать свои (!) дрова*». — «Какія такія дрова?» — «А съ рѣчки!». Что-же это за дрова, о которыхъ я не имѣю никакого понятія? — Оказывается, что, во имя какихъ-то законовъ, установлено имѣннымъ обычаемъ, что дрова, принадлежащія какому-нибудь промышленнику, опустившись отъ мокроты на

дно, принадлежать обывателямъ береговъ. Дрова сплавляются сгономъ, т. е. просто бросаютъ въ воду, а вода несетъ ихъ туда, куда надо, и гдѣ ихъ останавливаетъ искусственная запруда. По пути надѣ рѣки часто встрѣчаются камни и каменистыя мели; стоитъ запнуться одному полѣну, какъ вслѣдъ за нимъ остановится вся сплошная масса дровъ; теченіе будетъ напарать, и дрова начнутъ лѣзть другъ на друга рядовъ въ пять, иногда десять, иногда до самаго дна образуется сплошная масса дровъ. Это называютъ «заломъ». Промышленникъ знаетъ это и посылаетъ рабочихъ, которые идутъ по берегу съ жердами и разламываютъ эти заломы, пропуская дрова дальше. Но иногда заломы остаются неразломанные дня по два, по три, и тогда нижніе слои бревенъ такъ сильно намокнутъ, что опускаются на дно, и вотъ эти-то лежація дрова и принадлежать, согласно невѣдомому закону, обывателямъ береговъ. Дѣлежъ этихъ дровъ происходитъ совершенно правильно между односельчанами, такъ-же правильно, какъ и дѣлежъ земли и вообще всевозможные деревенскіе дѣлежи. На основаніи этихъ-то законовъ и мнѣ надо было «получить» по крайней мѣрѣ кубъ или полтора березовыхъ дровъ. Откуда мнѣ сіе? думалъ я. — Вчера изъ за липокъ, которыя не стоятъ ни гроша, я чуть не попалъ въ укрыватели краденаго, помѣщикъ — въ обворованные, а мужикъ — и въ воры, и въ даровые работники; а сегодня я ни съ того, ни съ сего «получаю» полтора куба дровъ, которыхъ я не рубилъ, не покупалъ, не сплавлялъ и которыя по петербургскимъ цѣнамъ могли-бы дать мнѣ, считая по 6 руб. за сажень, тридцать рублей серебромъ чистаго барыша. Кто дѣлаетъ мнѣ этотъ подарокъ?.. Но подарокъ сдѣланъ — дрова лежатъ у берега, стоитъ только вытащить, распилить и топить печи всю зиму, благословляя Господа. Но какъ подарокъ ни великокошпенъ, припоминая липки, я чувствую, что тутъ я буду ужъ не укрывателемъ краденаго, а прямо воромъ. Очевидно, я у кого-то отнимаю дрова, мнѣ совершенно не принадлежація. И точно, дрова принадлежатъ промышленнику, который купилъ сто сажень (говоря прикирочно), а получаетъ въ концѣ концовъ семьдесятъ пять, такъ какъ двадцать пять получили мы. Но промышленникъ не хочетъ терять *своего* и наверстываетъ убытокъ своимъ способомъ, изобрѣтаетъ *свою* сажень, въ которой не три аршина, а четыре съ половиной. «У меня — говоритъ онъ — *своя сажень!*» Крестьяне, подрядившіеся сплавлять ему изъ мѣста порубки сто сажень, являясь за расчетомъ, встрѣчаются съ изобрѣтеніемъ весьма непріятнымъ, съ *своей* саженью. и получаютъ, благодаря ей, не за сто, а за семьдесятъ пять. Итакъ, вотъ у кого похитили мы двадцать пять сажень дровъ, у своихъ же сосѣдей, у такихъ-же голяковъ и бѣдняковъ, какъ и мы. Отчего мы дѣлаемъ это?.. Нѣтъ лѣсу, а топить надо — дѣло очень простое.

Теперь потрудитесь сосчитать, кто остался доволенъ во всей этой операціи. Промышленникъ недоволенъ — у него меньше, чѣмъ онъ купилъ, да

его и ругаютъ за «свою сажень» и грозятъ поджечь; я также весьма недоволенъ, потому что не желаю брать чужого или ворованнаго; недовольны и тѣ, кто наловилъ дровъ, потому что промышленникъ слишкомъ скоро прислалъ народъ разломать заломъ, и дровъ на зиму «не хватаетъ», недоволенъ и мужикъ, который своими руками срубилъ сто сажень, а расчетъ получилъ только за семьдесятъ пять.

Тутъ всѣ чувствуютъ себя дурно, скверно, не по себѣ.

Это только кусочекъ того паденія «хорошаго» барина, по части заботы объ общемъ благѣ, но и этого кусочка достаточно, чтобы не получить репутаціи внимательнаго къ нуждамъ народа чловека. Не удивляйтесь поэтому, какъ и я пересталъ теперь удивляться, что крестьянинъ спѣшитъ приложить печать къ бумагѣ, въ которой про барина идетъ нехорошая рѣчь.

IV. «Свои средства».

...Вотъ ужъ больше недѣли, какъ жаркій воздухъ послѣднихъ дней нынѣшняго деревенскаго лѣта отравленъ запахомъ гари: гдѣ-то, какъ пишутъ въ мѣстномъ листкѣ, горятъ торфяныя болота, горятъ лѣса; сизый дымъ по-временамъ достигаетъ бѣлизны и густоты тумана, застилаетъ все кругомъ на далекое пространство и даже затрудняетъ дыханіе... Пожары лѣсные — дѣло весьма обыкновенное на Руси, а особенно въ нашихъ сѣверныхъ мѣстахъ, гдѣ, не смотря на всѣ усилія господъ помѣщиковъ, сельскихъ обществъ и промышленниковъ истребить всякую растительность, по возможности въ самый кратчайшій срокъ, мать-природа не совсѣмъ еще вышла изъ терпѣнія и продолжаетъ одѣвать зелеными кустиками и жиденькими березками, осинками и ольхой холмики, болота и берега болотныхъ рѣчекъ. Горятъ лѣса тихо, молчаливо — горятъ, точно дѣло дѣлаютъ, какъ-то задумавшись; въ тихіе вечера много дерево горитъ какъ свѣча; трещить и коробится береста, вспыхиваютъ и свертываются зеленые листья и только по-временамъ треснетъ и точно зарница вспыхнетъ надъ темнымъ лѣсомъ смолистый газъ раскаленной огнемъ сосны... А огонь, точно исполняя какую-то обязанность и не торопясь, опустошивъ десятинъ сто казеннаго, или господскаго, или крестьянскаго лѣса и дойдя до полянки, гдѣ ужъ нѣтъ пищи, скромно принимается жевать высушенную жаромъ и зноимъ траву, жуетъ ее. точно скромная, кроткая овца, по вершочку, по травинкѣ — жуетъ день, два, шагъ за шагомъ перебираясь черезъ канавки, обходя болотца, «гдѣ посуше», и добирается до новаго и свѣжаго лѣса, до новой березки, пуская отъ себя въ разныя стороны такихъ-же кроткихъ огненныхъ овечекъ... И вотъ бѣжить огонь по березкѣ, копошится внутри бузины или ольховаго куста — и, глядишь, черезъ день, черезъ два, тлѣетъ въ горячихъ угольяхъ другая сотня десятинъ. По ночамъ го-

ряцій дѣсь—точно бальная зала или иллюминированный по случаю какого-нибудь торжества огромный парк: вездѣ огни, звѣзды, бенгальскіе огни (сосна вспыхнула), а между ними обгорѣлые или еще горящіе кусты, точно группы гостей, тапчущихъ, топящихся вокругъ столовъ за картами, за ѣдой. Днемъ, разумѣется, все это исчезаетъ и остается одинъ только удушливый чадъ и гарь.

Часто видѣлъ я такіе пожары въ нашихъ мѣстахъ, и никогда мнѣ не приходилось видѣть, чтобы въ огнѣ или около огня присутствовала-бы какая-нибудь человѣческая фигура, которая была-бы обезпечена этимъ пожаромъ, чтобы она хлопотала о сохраненіи государственнаго или частнаго имущества. По всей вѣроятности, гдѣ-нибудь и кто-нибудь непременно беспокоится объ этой гибели лѣса, потому что вѣдь кому-нибудь лѣсной пожаръ непременно наноситъ убытокъ; но я лично, повторяю, не видалъ беспокоящихся или принимающихъ какія-нибудь мѣры ни чиновниковъ, ни мужиковъ. Выгоритъ лѣсъ и перестанетъ—вотъ, мнѣ кажется, общее мнѣніе относительно какъ самыхъ пожаровъ, такъ и средствъ къ ихъ прекращенію. Но лично мое, напуганное явленіями русской жизни, воображеніе, не давая мнѣ возможности относиться къ этому дыму и чаду, ежедневно нагоняемому вѣтрами въ нашу сторону, въ такой-же степени невнимательно и покойно, какъ относятся къ этому всѣ, кого я только въ деревнѣ вижу. Не потому мое напуганное воображеніе не можетъ бездѣйствовать при видѣ явленія, для всѣхъ мѣстныхъ жителей совершенно обыкновеннаго, чтобы я жалѣлъ этотъ горящій лѣсъ или жалѣлъ-бы его хозяина, будь то государство, или крестьянское общество, или господинъ помѣщикъ,—вовсе нѣтъ; въ смыслѣ сожалѣнія о гибели имущества, я ничуть отъ мѣстныхъ обывателей и моихъ сосѣдей не отличаюсь: «мнѣ какое дѣло», или «на то есть начальство», говорю я. Да наконецъ, что-же я могу сдѣлать, еслибъ я и жалѣлъ? Погоритъ и перестанетъ—вотъ все, что я могу по совѣсти сказать, глядя на великолѣпное зрѣлище лѣсного пожара, и затѣмъ «пройти мимо». Если-же мое напуганное воображеніе не пускаетъ меня «уйти» отъ этого обыкновеннѣйшаго деревенскаго событія, то причины этого совсѣмъ иныя. Дѣло въ томъ, что недѣли три тому назадъ мнѣ пришлось самому быть въ лѣсу съ однимъ моимъ пріятелемъ, и притомъ въ той самой сторонѣ, откуда вотъ ужъ давно валитъ дымъ и гарь и гдѣ, очевидно, большой пожаръ. Были мы съ пріятелемъ у другаго общаго нашего пріятеля въ гостяхъ, и послѣ завтрака взяли ружья и пошли пройти по лѣсу; часа два мы гуляли, наслаждаясь погодой, воздухомъ и невозмутимой тишиной лѣса; разумѣется, выстрѣлить намъ не пришлось, потому что лѣто нынѣ было очень сухое, ягода не уродилось, а стало-быть и птицъ незачѣмъ быть въ пустомъ мѣстѣ. Птица улетѣла тудѣ. гдѣ есть ягоды—брусника, смородина и т. д. Шли, шли мы такимъ образомъ и пришли къ крестьянской межѣ, а за этою межою начинался ужъ крестьянскій, значительно выруб-

ленный, лѣсъ. И здѣсь намъ представилось такое зрѣлище: на большой, чисто и гладко выкошенной полянѣ протинулся огромный, сажень въ пятьдесятъ, стогъ сѣна, а сажень въ трехъ отъ этого стога горѣлъ костеръ изъ сухихъ сучьевъ и валежника; костеръ этотъ былъ повидимому только что зажженъ, потому что огонь копошился еще только въ глубинѣ кучи хвороста. Но что поразило насъ и заставило задуматься, такъ это во-первыхъ то обстоятельство, что около костра никого не было, и во-вторыхъ, ясно видная дорожка кое-какъ набросаннаго сѣна шла отъ костра по направленію къ стогу. Ни скотины вблизи, ни пастуха, которому понадобился-бы этотъ костеръ, не было; да кому и зачѣмъ нуженъ былъ костеръ среди бѣлаго жаркаго дня? Папиросу закурить можно спичкой. А дорожка то отъ костра къ стогу?.. И кругомъ мертвая тишина...

— Что-же это значитъ? спросилъ я моего спутника, человѣка больше меня знакомаго съ тою мѣстностью, въ которой мы были.

— А это, сказалъ онъ,—должно-быть что-нибудь по части «своихъ средствъ», что-нибудь по части «своихъ способовъ»...

Онъ помолчалъ, поглядѣлъ внимательно на огонь, поглядѣлъ на стогъ, на дорожку очевидно подброшеннаго сѣна между огнемъ и стогомъ, и уже съ увѣренностью еще разъ повторилъ:

— Да, это несомнѣнно «средствіе»!

Зачѣмъ это гнусное, дикое и жестокое «средствіе», противъ кого оно и противъ чего? Пріятель зналъ это и объяснилъ мнѣ. Сѣно, которое мы видѣли передъ собой и около котораго былъ неизвестно кѣмъ разведенъ огонь, принадлежало мѣстному старостѣ. Староста этотъ полтора года тому назадъ былъ обыкновенный, заурядный мужикъ—хлѣбопашецъ; но какъ только его выбрали въ старосты и какъ только въ рукахъ у него стали оказываться общественныя деньги (подати, страховые сборы, взысканія по роспискамъ и т. д.), онъ немедленно-же сталъ выходить въ люди обыкновеннымъ деревенскимъ порядкомъ: скупить сѣно по нуждѣ у сосѣдей-односельчанъ, перепродать вдвое—и подати внесетъ, и въ карманъ положить. Оставшись безъ сѣна, крестьяне начинаютъ ему-же продавать скотину, которую нечѣмъ кормить (дешевая говядина, дешевая солонина); онъ покупаетъ и перепродаетъ—и опять владетъ деньги. Оставшись безъ скотины, продаетъ ему-же и землю на годъ за безцѣнокъ—и землю онъ беретъ. А такъ какъ безъ земли, безъ сѣна и безъ скотины дѣлать крестьянину нечего, то онъ идетъ къ разживающемуся старостѣ въ работники: пашетъ свою-же пашию, на своей скотинѣ и т. д. Все это весьма обыкновенно, все это ужасно въ смыслѣ разстройства массъ (главнымъ образомъ—нравственнаго) и все это идетъ буквально въ каждой деревушкѣ. Говорятъ, для сбора налоговъ будутъ учреждены особые лица, подъ названіемъ «податныхъ надзирателей», на обязанности которыхъ будетъ лежать не только сборъ налоговъ, какъ это теперь дѣлается «безъ разговору» господами становыми при-

ствами, но еще наблюдение за колебаниемъ доходовъ облагаемаго налогомъ лица и, сообразно съ этимъ колебаниемъ, назначеніе размѣра самаго налога. Если это будетъ и если только господа-надзиратели будутъ хоть что-нибудь понимать и имѣть хотя какое-нибудь представленіе о томъ, что такое совѣсть, то можно быть увѣреннымъ, что такихъ «своихъ средствъ», какъ то, на которое мы натолкнулись въ лѣсу, не будетъ въ деревнѣ. Податной надзиратель, видя, что такое-то семейство разстроилось отъ падежа скота, не будетъ (если только у него будетъ право поступать по-божески) брать того, чего хозяинъ семейства не можетъ дать, и не будетъ кабалить сосѣду, заставляя продавать сѣно, потомъ скотину, потомъ и землю «Говорять», что проектъ объ этомъ, какъ изъ достовѣрныхъ источниковъ слышали газеты, изготовляется и, какъ «носятся слухи», уже поступилъ на разсмотрѣніе. Вотъ когда онъ будетъ приведенъ въ дѣйствіе и когда люди, подобные старостѣ, наживаясь и отбирая отъ сосѣдей и сѣно, и скотъ, и землю, будутъ нести и всѣ сосѣдскія тягости, т. е. будутъ платить пропорціонально своей вѣличности, тогда вѣроятно и «средствія» для улучшенія своего благосостоянія будутъ избираться другія. Теперь-же человѣкъ, случайно (мірскія деньги попали въ руки) получившій возможность эксплуатировать сосѣдей и, вопреки всѣмъ смысламъ, божескимъ и человѣческимъ, берущій соки изъ окружающихъ его сосѣдей, не можетъ не быть такимъ явленіемъ въ глазахъ этихъ сосѣдей, которое только волнуетъ, раздражаетъ и ничего не сулитъ въ будущемъ, кромѣ кабалы. Какъ-же достигнуть того, что имѣютъ въ виду достигнуть комиссіи о подоходномъ налогѣ, засѣдающія въ городахъ и столицахъ? Какъ достигнуть того, что можетъ быть достигнуто (какъ носятъ слухи изъ вполне достовѣрныхъ источниковъ) хотя-бы податными надзирателями, если у этихъ послѣднихъ окажется крупнца свѣта блага въ головѣ? Какъ достигнуть этого въ деревнѣ, въ лѣсу, гдѣ иногда не умѣютъ даже словами формулировать угнетающей муки, гдѣ не умѣютъ писать, не умѣютъ читать, не знаютъ, отъ кого ждать защиты, гдѣ не знаютъ, куда идти жаловаться, кому жаловаться, даже въ какихъ формахъ жаловаться? Да наконецъ развѣ можно жаловаться куда-бы то ни было на то, что сосѣдямъ нашъ, староста, разбогатѣлъ?.. И вотъ въ этой тьмѣ, тоскѣ, нуждѣ и продолжительномъ ожиданіи пріѣзда господъ податныхъ надзирателей начинаютъ зрѣть скверныя мысли. Не натолкнись мы на огонь, разложенный около старостина сѣна, не было-бы этого сѣна черезъ часъ, черезъ два, и староста былъ-бы этимъ жестокимъ средствомъ приведенъ «въ равненіе» по части доходовъ и платежей (обязанность податныхъ надзирателей) съ окружающими его сосѣдями.

Вотъ благодаря такимъ случаямъ, на которые судьба безпрестанно наталкивала и наталкиваетъ силу въ деревенской жизни, и притомъ въ самыхъ разнообразныхъ проявленіяхъ ея ежедневнаго оби-

хода, воображеніе мое и стало пугливымъ, стало облекать несвѣтлыми красками множество такихъ явленій деревенской жизни, которыя для человѣка съ ненапуганнымъ воображеніемъ проходятъ незамѣтными... Часто я спрашиваю себя: чего я боюсь?—И могу отвѣтить только: боюсь!.. Вотъ запахло гарью, мнѣ и представляется, что это вопросъ какой-то разрѣшается «своимъ средствомъ», а средство—не хорошее. Положимъ, что въ данномъ случаѣ дѣло идетъ только объ учрежденіи податныхъ надзирателей—ну, а какой вопросъ разрѣшается (пугливо думалъ я) тѣмъ, напимѣрь, что гарь, и дымъ, и сирадъ лѣсного пожара не прекращаются, а, напротивъ, усиливаются съ каждымъ днемъ, и все идутъ изъ того-же знакомаго мнѣ угла?.. Вопросъ объ уравниеніи доходовъ и платежей разжившагося старосты уже давно бы долженъ быть рѣшенъ, а дымъ все гуще и гуще. Какой-же такой еще вопросъ разрѣшаютъ они тѣмъ-же безобразнымъ средствомъ?.. Не разрѣшаютъ-ли они, думается мнѣ, на этотъ разъ какого-нибудь межевого или земельнаго вопроса? Вѣдь не даромъ-же было обнародовано (въ видѣ слуха), что при министерствѣ юстиціи учреждена комиссія изъ представителей трехъ министерствъ, кажется, финансовъ, юстиціи и государственныхъ имуществъ,—комиссія, специально посвященная вопросамъ межеванія и образованная въ виду массы неправильностей, обнаружившихся за послѣднее двадцатипятилѣтіе въ планахъ на крестьянскія и помѣщичьи земли. Массы этихъ неправильностей, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, происходили просто отъ неумѣнья сдѣлать дѣло, отъ небрежности, простой усталости, а иногда просто «съ пьяныхъ глазъ», не говоря о злоупотребленіяхъ, о вынутыхъ изъ цѣпи звеньяхъ и т. д. Я даже лично имѣлъ случай бесѣдовать объ этомъ съ компетентнымъ лицомъ и слышалъ отъ него, что количество межевыхъ ошибокъ—невѣроятно, что ихъ необходимо распутать, но что распутать ихъ едва-ли возможно въ скоромъ времени, такъ какъ проверка межевыхъ линий и знаковъ должна быть произведена по всей Россіи безъ исключенія, а на это необходимо не милліоны, а милліарды, потому что проверка, нанесеніе на планы и содержаніе межевщиковъ, таксаторовъ и землеустроителей въ общей сложности, составятъ одинъ рубль на каждую обмѣренную десятину. Судите сами, какія огромныя деньги необходимы для этой необходимой операціи! Но милліардовъ пять, и ошибки такъ и остаются ошибками.

Когда и какъ онъ будутъ разрѣшены—неизвѣстно. А дымъ и гарь все наносятъ и наносятъ вѣтромъ изъ того угла, гдѣ—мнѣ также достоверно извѣстно—и помѣщики, и крестьяне «жалуются» на неправильные «планты». Я самъ въ тѣхъ мѣстахъ, откуда валитъ дымъ и гарь, видѣлъ два плана на одно и то-же владѣніе: одинъ—представленный для залога въ банкъ, а другой—полученный при надѣленіи крестьянъ землею, и оба они не похожи во многомъ другъ на друга... На надѣльномъ планѣ у крестьянъ больше, а на

банковомъ — у помѣщика больше; а бываетъ, что у крестьянъ меньше на надѣльномъ, а у помѣщика меньше на банковомъ: вотъ эти лоскуты и путаютъ, и мучаютъ, и разжигаютъ фантазіи... Гарь и сирадь навоститъ вѣтромъ изъ того угла, въ которомъ «жалуются», а я думаю: «ужъ не по межевой-ли что-нибудь части? Ужъ не надумали-ли межевые вопросы рѣшать своимъ средствами?». И не безъ основанія я такъ думаю: цѣлую зиму изъ того самого угла, откуда теперь идетъ дымъ и гарь, постоянно появлялись въ нашихъ мѣстахъ мужики съ новымъ, только-что срубленнымъ, лѣсомъ и дешево отдавали какъ лѣсъ, такъ и дрова. Напуганный покупкою краденыхъ липокъ (о чемъ я рассказалъ въ предыдущей главѣ), всякій разъ, когда продавцы этого лѣса обращались ко мнѣ съ предложеніемъ купить, я непремѣнно задавалъ имъ вопросъ: «А не краденый онъ?» — «Что вы, помилуйте! обыкновенно отвѣчали мнѣ. — Будьте спокойны». И прибавляли: «Да ежели, въ случаѣ что, такъ вѣдь я присягу прижу, что бракъ «со двора»... Что мнѣ? Хотѣ сейчасъ извольте съѣздить къ Ивану Ермолаеву — у него полонъ дворъ навалецъ лѣсу... А я почему знаю... Я беру со двора... Кабы я рубилъ въ лѣсу — ну, такъ... А то мнѣ какое дѣло? Краденый онъ или нѣтъ, на мнѣ отвѣту не будетъ...» Такого рода отвѣты, заставляя меня отказаться отъ дешевой покупки, уже тогда, зимой, зарождали тревожныя мысли о томъ, что крестьяне какъ будто задумали собственными средствами исправить границы, неправильно нанесенныя на планы... И съ каждымъ днемъ я убѣждался, что предположенія мои имѣютъ основаніе, и не маленькое.

Однажды является продавецъ лѣсу и на обычный вопросъ: «Не краденый ли?» — отвѣчаетъ съ полнымъ изумленіемъ: «Господа помилуй! Краденый... Какъ возможно!.. Вишь, какъ вы меня напугали... какими словами... Ахъ, ты Боже мой, владыко, чудотворецъ!..» Не смотря на это изумленіе продавца, я указалъ ему во-первыхъ — на дешезвану, сравнительную конечно; во вторыхъ — на то, что, какъ мнѣ извѣстно, въ ихней сторонѣ крестьянскій лѣсъ повyrубленъ и такихъ бревенъ нѣтъ; а въ третьихъ — на то, что и недавно мнѣ привозили такія же бревна, и тоже сомнительнаго происхожденія. — «Вотъ что, сказалъ я въ заключеніе: — ты говори мнѣ по совѣсти, откуда лѣсъ... Вѣдь не изъ вашего крестьянскаго отвода?» — «Да нешто въ нашемъ лѣсу возможно такое дерево отыскать?» отвѣчалъ продавецъ ужъ безъ всякихъ экзвивокъ. — «Ну, сказалъ я, — такъ не возьму!» — «Позвольте, сказалъ продавецъ, — позвольте, неогорчайтесь... Я вотъ только скажу два слова.» — Онъ отвелъ меня въ сторону и самымъ убѣдительнѣйшимъ шопотомъ сказалъ: «Небеспокойтесь... Сдѣлайте ваше одолженіе! Будьте такъ добры! Извольте меня выслушать. Лѣсъ точно-что спорный, это говорить нечего. Но только не беспокойтесь, сдѣлайте одолженіе — я самъ у этихъ господъ лѣснымъ караульщикомъ служу... Чего же вы?... Я... я — онъ указывалъ себѣ на грудь — самъ караульщикъ... Го-

поди помилуй! Чего же опасаетесь?» Этотъ въ высшей степени вѣсскій, относительно безопасности покупки, аргументъ вѣроятно какъ нельзя лучше подействовалъ на моего сосѣда, который охотно сталъ покупать у этого караульщика «спорный лѣсъ; но что касается лично меня, то я рѣшительно убѣдился, что «исправленіе» границъ, въ ожиданіи того момента, когда упомянутая коммиссія найдетъ возможнымъ приступить къ этому же дѣлу, уже начато обывателями по собственному способу и ведется весьма энергически...

И точно, всю почти зиму изъ того угла, откуда теперь идетъ дымъ, ходили вѣсти, не обѣщавшія ничего хорошаго... «Рубать!».. «Они было сначала по опушкѣ хозяйничали, а потомъ вошли во вкусъ, вломились въ самое нутро».. «Рубать»... «Ужъ будетъ имъ на орѣхи!».. Вслѣдъ за этими слухами, въ концѣ зимы, вдругъ прогремѣла вѣсть: ««открыли», «такой-то барину объяснили». «Баринъ пріѣхалъ». «Теперь бу-у-удеть!» Затѣмъ, что ни часъ, то новости: «нагрянули съ судомъ... Мужики прослышали, всюночь задажи вывозили бревна, разбрасывали подъ мостами, въ проруби, въ снѣгъ... Баринъ ихъ-же нанялъ все это свезти въ одно мѣсто и ихъ же засудилъ... всѣхъ поголовно. Ужъ бу-у-удеть!» Однако, нѣтъ... Такъ какъ въ этомъ дѣлѣ замѣшаны не одни мужики, а и мужицкая аристократія — кулаки, то дѣло пошло по-иному. Пошла въ ходъ водка. Сходы разныхъ деревень составляютъ приговоры: «лѣсъ рубленъ у нихъ», въ ихнихъ надѣлахъ!.. Еслибы не кулаки — конечно крестьяне попались бы. Кулаки, чтобы не попасться самимъ, за одно выручили и мужиковъ; мужики получили и лѣсъ, и за доставку его изъ овраговъ. Снѣгу было «предовольно». Мошенничества еще больше. Баринъ бросилъ тяжбу и продалъ весь лѣсъ за безцѣнокъ крупному лѣсопромышленнику на рубѣ. Это значило: «пустъ никому не достается. Не мнѣ, такъ и не вамъ!» — избобрѣтеніе чисто-русское рѣшать запутанные вопросы. «Пустъ никому не достается!» — это совершенно нашъ способъ, нашъ пріемъ рѣшать общественныя дѣла. «Никому!» — лучше всего: никто не обиженъ, всѣ остаются въ дуракахъ, въ убыткѣ и въ нуждѣ. «По крѣпости никому» — вотъ рѣшеніе всѣхъ общественныхъ вопросовъ, и рѣшеніе, что всего замѣчательнѣе, успокоительное!.. Такъ порѣшилъ баринъ... А теперь вотъ дымъ и гарь несутся изъ той стороны... «Ужъ не порѣшили-ли и мужики на томъ же?» — думается мнѣ. Баринъ сказалъ: «Не мнѣ, такъ и не вамъ», почему же мужики не могутъ сказать: «не намъ, такъ и не вамъ»? И вотъ дымъ пошелъ... «Никому не доставайся!» — это тоже вѣдь «средствіе» — средство до тѣхъ поръ, конечно, покада «коммиссія» не приступитъ наконецъ къ чему-нибудь уже во имя не общаго истребленія, а общаго удовлетворенія нуждъ. Но, говорятъ, нѣтъ средствъ. Средствъ дѣйствительно нѣтъ, и вотъ тихо и безшумно, «какъ свѣча», горитъ лѣсъ, стогъ сѣна... Смотришь на это и боишься... Много есть «вопросовъ», уже возбужденныхъ коммиссіями, — такихъ, которые и народомъ

возбуждены еще раньше — а рѣшенія имъ нѣтъ покуда, кромѣ «своихъ средствъ». Вотъ этихъ средствъ-то и боишься, живя въ деревнѣ.

V. Отрадные явленія.

Живя постоянно подъ гнетомъ неизвѣстности тѣхъ вопросовъ, которые сосѣди-мужички пожелаютъ (быть можетъ сегодня, а быть можетъ и завтра) разрѣшить, не дожидаясь окончанія трудовъ комиссiи, разумѣется, радъ-радехонекъ, если откуда-нибудь нанесетъ на тебя хоть капельнымъ, хоть съ булавочную головку «отраднымъ» явленіемъ. До какой степени иногда одолеваетъ въ деревнѣ жажда какихъ-нибудь «отрадныхъ» явлений, читатель можетъ судить изъ нижеслѣдующаго радостнаго дня, который я сейчасъ опишу подробно и который, въ ряду сумрачныхъ и пустыхъ дней деревенской жизни, я не могу вспоминать иначе, какъ съ удовольствіемъ. Дѣло началось съ получения газетъ, которыя принесли мнѣ первую въ этотъ день отрадную вѣсть. Само собою разумѣется, что кромѣ этой отрадной вѣсти въ газетахъ было все, что бываетъ въ нихъ ежедневно, вотъ ужъ десятки лѣтъ подрядъ: былъ тутъ и священникъ, отказывающійся крестить, и священникъ, отказывающійся погребать, и священникъ, отказывающійся вѣнчать; былъ тутъ и урядникъ, который «просто» посадилъ кого-то въ холодную, былъ урядникъ, который сначала избилъ, а потомъ ужъ посадилъ, былъ урядникъ, который сначала «придрался», а потомъ ужъ посадилъ — и былъ наконецъ такой, который сначала посадилъ, потомъ избилъ, а потомъ ужъ придрался... Были тутъ, разумѣется, извѣстія о массѣ пойманныхъ: одинъ пойманъ потому, что шляпа на немъ была бѣлая съ малыми полями; другой — потому, что шляпа была черная и съ широкими полями; одинъ — потому, что не пилъ водки, когда всѣ пьянствовали; другой — потому, что, имѣя пальто съ бобровымъ воротникомъ, ѣлъ на вокзалѣ обыкновенный пирогъ въ три копѣйки; третій — потому, что шелъ съ книгой въ два часа ночи; четвертый — потому, что шелъ тоже ночью и громко разговаривалъ съ дамами, и т. д. Всѣ они конечно выпущены на свободу и оправданы. Затѣмъ были, разумѣется, хищенія отъ двухсотъ пятидесяти тысячъ до двухъ рублей, и были доносы въ политической неблагонадежности: одинъ доносъ священника на учителя за то, что учитель тотъ понравился матушкѣ; другой — за то, что не далъ старшинѣ ломаться въ классъ и ругаться скверными словами; третій доносъ учителя на священника за то, что тотъ отбилъ у него невѣсту для своего племянника: былъ и доносъ племянника на дядю, вслѣдствіе неправильной задержки невѣстинаго приданаго... Всѣ доносы по обыкновенію оказались ложными, а подсудимые выпущены на свободу. Были извѣстія объ утопившихся, застрѣлившись и отравившихся: всѣ они оставили записки: «никто не виноватъ», или «растратилъ», или «надоѣло... Вся эта куча мел-

кихъ подробностей обыденной жизни группировалась по обыкновенію вокругъ главнаго центра — «блага Россіи», «отечества», о которыхъ вопіяли передовицы, хроники, извѣщающія о «благотворныхъ слухахъ» — все «изъ достовѣрныхъ источниковъ» въ «непродолжительномъ времени» и т. д.

Этотъ-то центръ, вокругъ котораго группируется масса безобразныхъ фактовъ и фигуръ, какъ-то особенно недоступенъ намъ, деревенскимъ жителямъ. Видимъ мы, что идетъ какое-то галдѣніе, что Россія, точно гоголевская лошадь, стоитъ въ этомъ центрѣ — понурая, съ раздвинутыми въ разные стороны ногами, что сначала на эту лошадь лѣзетъ Митяй съ дубиной, на которой написано: «въ непродолжительномъ времени» и «изъ достовѣрныхъ источниковъ», и начинаетъ дуть ее по головѣ; потомъ влѣзаетъ дядя Миняй, тоже съ дубиной съ надписью: «за недостаткомъ статистическихъ данныхъ» — и начинаетъ лупить ее по хвосту. Потомъ видимъ, какъ на несчастной лошади возсѣдаютъ и дядя Митяй, и дядя Миняй, оба колотятъ, понукаютъ, кричатъ; что они говорятъ, мы не слышимъ: толпа, давка и галдѣніе; но изъ всего этого гвалта явственно раздается голосъ дяди Михайлы, который хотя самъ и не влѣзаетъ на несчастную кобылу, но неумолкаемо подаетъ совѣты: «что ты ее по головѣ-то дуешь! Ишь наладилъ! Нешто такъ можно? Ты въ хвостъ, въ хвостъ ее!» А начнутъ бить въ хвостъ, онъ кричитъ: «подъ брюхо, подъ брюхо накаливай!...» Примутся накаливать подъ брюхо, а дядя Михайло совѣтуетъ: «съ обѣхъ, съ обѣхъ концовъ-то налегни!...» Налегнутъ, а онъ: «къ верху, къ верху ее взбадривай, вздымай!...» Станутъ взбадривать къ верху — сердится, кричитъ: «принагни ее къ землѣ-то!» Только-что станутъ дуть по спинѣ, къ землѣ пригибать, а ужъ онъ вопитъ: «съ задѣ-то, съ задѣ-то заходи, навались на спину, навзначь ее, съ боковъ-то нажми» и т. д. За этой толпой вопіющихъ, кричащихъ и ожесточающихся совѣтниковъ мы вовсе не видимъ того несчастнаго существа, во имя котораго раздаются всѣ эти вопли и крики. Знаешь, что оно существуетъ, потому что на него взбирается то дядя Митяй, то дядя Миняй, то оба вмѣстѣ...

Вотъ обыкновенныя газетныя впечатлѣнія. Впрочемъ иногда къ этому заурядному галдѣнію присоединяется голосъ дяди Ивана и на нѣкоторое время весьма измѣняетъ надоѣвшую картину: «Что вы все по мордѣ да по мордѣ! — громко и энергично провозглашаетъ дядя Иванъ, появляясь около дяди Митяя, дяди Миняя и дяди Михайлы. — Что вы все кнутовьемъ да дубьемъ!.. Вы бы догадались овсомъ, либо сѣномъ ее поманить — оно пожалуй-что и по сходишь бы было». Эти простыя, подлинно справедливыя, слова дяди Ивана, говорящаго обыкновенно громкимъ голосомъ, сопровождаемая рѣчь простецкими, умиротворяющими жестами, производятъ на галдящую толпу Митяевъ и Миняевъ обыкновенно весьма отрезвляющее впечатлѣніе; попробоватъ дать сѣна, покормить, вмѣсто того, чтобы колотить то спереди, то сзади, то сбо-

ковъ — все это въ самомъ дѣлѣ такъ просто, такъ дѣйствительно-справедливо и такъ легко разрѣшается вопросы, которыхъ не могутъ разрѣшить ни дядя Митяй, ни дядя Миняй, ни дядя Михайло, не смотря на то, что охрипли отъ крика и «обколотили» руки «объ отечество», — что обыкновенно вся галдѣвшая толпа, окружавшая безобразное зрѣлище и также дававшая только безобразные совѣты, какъ-бы просыпается отъ кошмара и начинаетъ вопить: «Вѣрно! Такъ! Овса подавай! Что кнутовьемъ-то кормить! Овса ей! Давай овса! Сѣна!». Увлеченіе этими простыми и трезвыми словами бываетъ до того сильно, что даже дядя Михайло начинаетъ кричать (онъ всегда кричитъ, а никогда не говоритъ по-человѣчески): «А а про что говорилъ? Не говорилъ я, не бей по головѣ? Развѣ я не говорилъ, какъ надо? Нешто сообразишься съ этими идолами!» Но дядя Иванъ (Богъ знаетъ, что съ нимъ дѣлается!) обыкновенно тутъ же и разрушаетъ то пріятное впечатлѣніе, которое всегда производитъ его первые слова. Не то онъ пугается самъ простоты рѣшенія, не то боится, что несчастное существо, давно уже жаждущее сѣна, увидя вмѣсто кнутоваго сѣна, уйдетъ, и дядѣ Ивану, не о чемъ будетъ разглагольствовать; не то онъ самъ приобыкъ къ галдѣнію о томъ, куда и какъ бить, не то боится разсердить приобыкшую къ этому галдѣнію публику, не то боится Михайлы — только немедленно-же послѣ своихъ понятныхъ и справедливыхъ словъ начинаетъ бормотать всякія несладкицы, какъ будто имѣющія цѣлью сдѣлать такъ, чтобы все осталось, какъ было, да и свои-то «простые» слова пристроить гдѣ-нибудь въ этой свалкѣ. Выходили повтому Богъ знаетъ какія вещи: только-что толпа оживилась, только-что болѣе впечатлительные и правдивые люди бросились за сѣномъ и притащили его къ самому рту того существа, за которое дядя Иванъ вступился, какъ этотъ самый дядя Иванъ, также не сѣмша и также якобы отъ всего сердца, начинаетъ говорить такія рѣчи: «Ты что ей сѣна-то къ мордѣ сунешь? Тышу лѣтъ по мордѣ стегали-стегали, да сѣномъ ей ротъ затыкать. Будетъ! Совалясь-совалясь — досовалась до срамоты!»

Въ газетахъ, полученныхъ въ тотъ радостный день, о которомъ я рассказываю, по обыкновенію, было все, что придаетъ имъ способность производить на читателя удручающее впечатлѣніе вѣстями. Впрочемъ въ послѣдніе годы общественные нервы до такой степени изорваны этими удручающими впечатлѣніями, что рѣшительно отказываются воспринимать ихъ, а въ деревнѣ, гдѣ ежедневный обиходъ жизни переполненъ явленіями жестокой зоологической, неотвратимой, всеми признаваемой за неизбѣжную и дѣйствительно неизбѣжной правды (до поры до времени конечно), нервная дѣятельность и вовсе оказывается несостоятельной: просто нельзя, нѣтъ физической возможности воспринимать все это, и надобно для собственнаго своего спасенія на множество вещей не обращать вниманія, будто ихъ и нѣтъ, и не было. Но зато всякая малость, говорящая, что гдѣ-то и въ чемъ-

то проявляется и можетъ проявляться хоть капля *какой-нибудь* правды, не напоминающей зоологической правды дремучаго лѣса, — иногда наполняетъ душу истиннымъ блаженствомъ. «Стало быть есть-же живые люди! думается тогда. — Стало-быть не все кнутовьемъ, не все своимъ средствомъ... До чего иногда надо мало современному русскому жителю, чтобы обрадоваться и, ощущавъ себя, съ удовольствіемъ сказать себѣ: «Слава Богу, я живъ!» — укажу на подлинный фактъ, который можетъ быть удостовѣренъ самымъ точнымъ образомъ.

На вокзалѣ Николаевской дороги намъ пришлось видѣть мужика, который крестился и громко говорилъ: «Дай Господи много лѣтъ здравствовать начальникамъ и первоначальникамъ... на многая лѣта!.. Пошли имъ Царица небесная!» — За что такъ? — спросили его. — «Да вотъ теперича, дай Богъ здоровья, хотъ загородокъ нѣтъ. Вѣдь что такое? Вѣдь не желѣзная дорога была, а тюрма!» Такъ было и со мною: меня обрадовали и ободрили такіе вѣсти, которыя для господъ столичныхъ жителей или вообще обывателей городовъ не имѣютъ никакого значенія. Во-первыхъ, я былъ очень радъ, когда прочиталъ, что солдатъ, судившійся военнымъ судомъ за *растрату казеннаго имущества*, оправданъ. Стоялъ солдатъ на часахъ и отъ нечего дѣлать сталъ разсматривать патронъ; патронъ этотъ какъ-то нечаянно выскочилъ изъ его рукъ и упалъ въ грязь; солдатъ поднялъ его и сталъ очищать отъ грязи, хлопая имъ по стволу ружья; хлопалъ-хлопалъ онъ такъ-то, и вдругъ патронъ отъ сотрясенія разорвало; солдату оторвало палець, а начальство, узнавъ объ этомъ, предало его военному суду за растрату казеннаго имущества, т. е. за то, что онъ растратилъ непроездивый патронъ. Прокуроръ, подводя статьи закона, доказывалъ, что солдата надобно посадить въ тюрьму *на три года*, но судьи сказали: «нѣтъ, невиновенъ!». И не повѣрите, какъ было это пріятно: невинный оказался невиннымъ — это такъ великолѣпно, что я и выразить вамъ не могу. На три года!.. За что? — За патронъ, который самъ растратилъ у солдата цѣлый палець?.. Но сколько-же лѣтъ должны сидѣть интенданты? Сколько же лѣтъ должны-бы сидѣть тѣ господа, которые растратили три милліона десятинъ башкирскихъ лѣсовъ и земель? Но правда не умерла. «Нѣтъ, невиновенъ!» — сказали судьи, и я радъ, ужасно радъ! Но еще больше я былъ радъ другому случаю: въ одной изъ провинціальныхъ газетъ была напечатана телеграмма, помѣченная какой-то станціей желѣзной дороги. Какая станція и какая дорога, это все равно, — важна сама телеграмма, въ которой сказано: «Начальникъ станціи отказывается выдать книгу для записыванія жалобъ. Публика ропшетъ. Кузнецовъ». Послѣднія слова телеграммы: «публика ропшетъ», напечатанныя на первомъ мѣстѣ подцензурной газеты, были для меня манной небесной. Стало-быть можно и роптать, если начальникъ станціи, обязанный выдать жалобную книгу, не выдастъ ея..

Господи, да когда-же было это видано, и притомъ когда подъ этой фразой можно было найти и подпись: «одобрено цензурою, 23 августа». Да и въ самомъ дѣлѣ, что-же это за мода—не исполнять законѣйшихъ требованій публики? Просить жалобную книгу, которая *должна* по закону лежать всегда въ пассажирской заѣздѣ на столѣ,—и не даютъ! И это поминутно, на каждомъ шагѣ: гдѣ только въ законѣ сказано: «не притѣснять», тамъ непремѣнно «притѣсняютъ»—такая ужъ мода. Но вотъ телеграмма: «публика ропщетъ», «одобрено цензурою»—стало быть можно роптать!.. Я весь дрожалъ отъ негодованія назвѣтъ «начальниковъ», которые только и знаютъ, что «не дамъ», да «нельзя», «поехалъ вонъ». И посмотрите, какую жалобу хотѣли записать пассажиры въ жалобную книгу. Шелъ поѣздъ; одинъ изъ пассажировъ, купецъ, вышелъ на платформу, и такъ какъ былъ модъ хмелькомъ, то, по неосторожности, свалился съ платформы на полномъ ходу—свалился съ насыпи въ сажень шесть вышины. Публика замѣтила это и обратилась къ кондуктору: «Пассажиръ сейчасъ свалился—остановите поѣздъ». Кондукторъ испугался, но сообразивъ, что онъ «служить», «получаетъ жалованье» и что онъ по этому «начальникъ» вагона, отвѣчалъ: «Никакъ нельзя... по росписанію... съ опозданіемъ...»—«Но вѣдь тамъ человѣкъ свалился съ откоса на всемъ ходу!»—«Нельзя... Надо доложить оберъ-кондуктору». Оберъ-кондукторъ, видя, что дѣло серьезное и что на немъ лежатъ обязанности, притомъ *серьезныя*, такъ-какъ и жалованье онъ получаетъ за это, не нашелъ ничего болѣе серьезнаго, какъ сказать: «Невозможно... съ опозданіемъ... по росписанію...»—«Человѣкъ расшибся, упалъ съ платформы...»—шумѣла публика.—«Не извольте шумѣть! Я васъ высажу изъ вагона! Какое вы имѣете полное право шумѣть? Я здѣсь начальникъ!» Шумъ и крикъ усиливался, человѣкъ разбитый валялся въ ямѣ, поѣздъ мчался, а оберъ-кондукторъ былъ внѣ себя отъ дерзостей, которыя ему дѣлала публика. Однако вѣроятно кукуевская исторія нѣсколько освѣжила этой публикѣ представленіе о самосохраненіи, и она не унималась; вѣдь въ самомъ дѣлѣ съ каждымъ можетъ случиться такая исторія, а все только «нельзя и нельзя»—что-жъ это за правило такое?.. Шумъ увеличивался и всѣ искали—«кому пожаловаться». «Кому-бы пожаловаться» на публику—искалъ кондукторъ, а публика искала—кому пожаловаться на оберъ-кондуктора. Наконецъ нашли. Сидятъ въ 1-мъ классѣ инженеръ желѣзной дороги,—той самой, по которой шелъ поѣздъ, и читаетъ «Стрекозу» Оберъ-кондукторъ и публика—къ нему. Одинъ говоритъ: «Произносите дерзкія слова—позвольте записать фамилію...» Другіе вопіютъ: «Человѣкъ свалился въ яму—остановите поѣздъ!» Инженеръ становится на нейтральную почву и говоритъ: «Это не мое дѣло... Я ничего не знаю!» Это тоже современная мода: видѣть, улыбаться, удивляться и говорить: «я ничего не знаю, не имѣю понятія...» Экспонента Зарубина *буквально* ни за что, ни про

что арестовали на московской выставкѣ, гдѣ у него были выставлены изобрѣтенныя имъ машины, и сколько онъ ни спрашивалъ у распорядителей: «За что?»—всѣ отвѣчали ему: «Я не имѣю никакого понятія, совершенно не понимаю!.. Какая нелѣпость!»—«Такъ можно уйти?»—«Ничего не знаю! Уйти?.. Нѣтъ, нельзя!»—«Но за что-жъ меня держать?»—«Не знаю! Удивительно, а уйти нельзя»... Г. Зарубинъ однако *просто* ушелъ, взялъ и ушелъ. Вотъ и инженеръ также: «Я ничего не понимаю... Потрудитесь замма-л-чать, иначе я»... Но шумъ увеличивался, слышались угрозы, поѣздъ остановили, воротили назадъ и нашли упавшаго пассажира съ переломленными руками, ногами, ребрами, въ безчувственномъ состояніи, всего въ крови. Публика взволновалась и по приѣздѣ на слѣдующую станцію потребовала жалобную книгу. «Нельзя!»—говоритъ начальникъ станціи.—«Какъ нельзя?»—«Нѣтъ ключа»...—«Гдѣ ключъ?»...—«Послѣ, вотъ уйдетъ поѣздъ, я вамъ дамъ»...—«Какъ уйдетъ поѣздъ... Да съ поѣздомъ ѣхать надо намъ»...—«Когда уйдетъ поѣздъ»... Наконецъ послали телеграмму, и тогда выдалъ книгу. Но сказалъ: «Па-аслушнѣ, стѣи-ли дря-згнѣ?» Да конечно стѣи-ли!.. Какъ хотите, а въ этой исторіи видно, что «пробуждается» совнаніе и что пробужденію не препятствуютъ: публика ропщетъ—это напечатано, а внизу «одобрено цензурою». Стало-быть еще поживемъ на бѣломъ свѣтѣ.

Но вѣиномъ радости этого счастливаго дня былъ третій отрадный фактъ и подарила мнѣ его не пресса, не газета, а самая жизнь. Пришелъ по какому-то дѣлу тотъ самый мужикъ съ деревяннымъ мозгомъ, который приложилъ печать подъ удостовѣреніе о неблагонадежности моего пріятеля, а его жильца,—человѣка, отъ котораго онъ «худа не видалъ». Разговаривая о томъ, о семъ (кажется, о дровахъ или о камняхъ—съ этимъ мужикомъ нѣтъ другихъ разговоровъ), онъ вздохнулъ и сокрушенно произнесъ:

— Вотъ и еще новый расходъ на шею себѣ намотали!

— Кто и какой расходъ?

— Да мы—общество...

— Какой же?

— Да избу наняли для странныхъ людей... Теперь сами, чай, видите, сколь много народу идетъ нищаго. Всякій ночевать просится. А пусти—обокрадутъ... Вотъ и порѣшили нанять мірскую избу, чтобы всѣ, кому ночевать требуется, шли-бы туда... То-есть, чтобы по дворамъ не пущать...

— Что-жъ, это отлично!

— Отлично-то отлично, а двадцать пять рубликовъ отдай за избу-то.

— Кому же это пришло въ голову?

— Коли меня обокрадутъ да тебя обокрадутъ, да сожгутъ раза три всю деревню, такъ и приде-тъ въ голову... Спроси-ко-сь, кто у насъ не обокраденъ... Ну, всѣ и порѣшили...

Деревянный мужикъ долго рассказывалъ мнѣ насчетъ воровства и всякаго разбойства, но я и не

слушала его—я былъ ужасно радъ еще разъ въ этотъ счастливый день.

«Это, думалъ я,—*тоже своимъ средствомъ. Это—новое; этого не было; это не хозяйственное, а общественное, хоть капельку, но доброе. Тутъ есть ужъ вниманіе къ чужому горю, тоже капельное, но ужъ не только свое...*»

И я былъ необыкновенно этому радъ. Сочтите теперь: солдатъ невиновенъ; публика имѣетъ право роптать и въ концѣ концовъ мои односельчане тоже дѣлаютъ какое-то дѣло на томъ основаніи, что людей бросать зря нельзя... Все въ этихъ фактахъ говорило о какомъ-то пробужденіи сознанія—и не къ худу, а къ добру.

VI. «Съ человѣкомъ—тихо!»

Конечно въ рассказанной мнѣ деревяннымъ мужикомъ исторіи объ открытіи ночлежнаго дома для «странниковъ» и прохожихъ людей не послѣднюю роль играло простое чувство самосохраненія, желаніе «отдѣлаться» отъ случайнаго, Богъ знаетъ откуда идущаго и невѣдомо что думающаго человѣка; но «отдѣлаться» можно бы было и другимъ образомъ: просто не пускать, гнать отъ окна. въ которое обыкновенно стучитъ палочкой прохожій человѣкъ, просясь на ночлегъ — иди-молъ куда знаешь, ночуй, гдѣ хочешь... Однако не случилось этого: обыватель пересталъ пускать на ночлегъ въ свой домъ, но безъ ночлега не оставилъ, и это послѣднее обстоятельство глубоко радовало меня... Въ этомъ поступкѣ видѣлась уже капелька заботы о ближнемъ, капля состраданія къ нему, капелька мысли о томъ, что у человѣка есть какія-то обязанности къ человѣку-же,—обязанности, не входящія въ кругъ заботъ и обязанностей моего дома, моего хозяйства, моего тяжкаго труда. Ночлежный домъ устроенъ не только для личнаго удобства обывателей, но и для удобства неизвѣстныхъ, не имѣющихъ пристанища, людей, а это ново, удивительно ново въ наши сѣрые, тяжелые, угрюмые дни... Вѣдь дѣйствительно мы всѣ рѣшительно забыли о томъ, что называется чужая бѣда; «общее благо» превратилось въ самое пошлое выраженіе, не имѣющее смысла, выраженіе окаменѣлое и не только не разрабатываемое общественнымъ сознаніемъ, не только не совершенствующее это сознаніе, не очищающее его отъ непропорціонально владѣющихъ имъ страха жизни и узкости жизненной задачи, но, напротивъ, съ каждымъ днемъ приводящее понятіе о «благѣ» до разфѣровъ макового зерна и твердости камня. Весь жизненный горизонтъ заставленъ такъ называемыми вопросами, проектами и т. п. но холодомъ пустаго погребѣ несетъ отъ нахъ. Рубль и желаніе не потерять его видно въ каждой изъ этихъ, загораживающихъ свѣтъ, «серьезныхъ» общественныхъ задачъ — человѣка не видать за ними: не видать его души, его мученій, страданій, недоумѣній, желаній... Весь горизонтъ заставленъ и за-

гороженъ толпами людей, исполняющихъ обязанности», но не знаешь, во имя какой цѣли все совершается... Скрипятъ перья, сабля звякаетъ у бедра урядника, рысью ѣдущаго верхомъ, сторожъ тащить кучу пакетовъ на почту — все это дѣла, отъ всѣхъ вѣтъ только однимъ: «не твое дѣло», «пошелъ прочь», «здесь свои дѣла, посерьезнѣе твоихъ». И вотъ эти-то «свои» дѣла, какъ непріятный и не деликатный гость, поселившійся въ чужой комнатѣ и не стѣсняющійся въ своихъ привычкахъ, несмотря на то, что онъ въ чужомъ домѣ, не даютъ возможности быть самимъ собой... Волей-неволей надо молчать и ждать, пока не деликатность уйдетъ. Иногда изъ нежеланія самому поступить съ этимъ гостемъ грубо и выпроводить его, иногда изъ невольнаго страха вызвать въ не деликатномъ человѣкѣ еще болѣе не деликатныя черты характера, вы молчите, говорите себѣ: послѣ, когда уйдетъ, я примусь опять за свое... И, право, если это не деликатное посѣщеніе продолжается долго, можно легко поддаться угнетенному душевному состоянію, потерять нить мыслей, прерванныхъ появленіемъ гостя, а иногда и забыть эти мысли, да такъ забыть, что и не вспомнишь... Гость уѣхать, а не знаешь, что дѣлать, забылъ, о чемъ думалъ... «Что это я хотѣлъ?»—припомнишь, и не можешь припомнить...

Вамъ говорятъ: пакеты, которые сторожъ тащитъ на почту, и урядникъ, который ѣдетъ верхомъ, и вопросы, которыми загроможденъ горизонтъ, — все это дѣлается во имя общаго блага... Я нисколько не сомнѣваюсь въ этомъ—иначе зачѣмъ вся эта суета и возня?—но я не могу угадать, что у меня нѣтъ совсѣмъ съ этимъ связи, я по человѣчеству-то не задѣтъ этимъ за-живое. Несмотря на то, что весь горизонтъ сплошь усталъ и загроможденъ «серьезѣйшими» вопросами, — какъ человѣкъ, живое существо, я чувствую, что мнѣ только холодно отъ нихъ... Вся психологическая сторона, вся духовная и экономическая драма хотя-бы такого явленія русской жизни, какъ «кабакъ», на горизонтѣ обозначена «питейнымъ вопросомъ», но ничего общаго съ живымъ человѣкомъ, приведеннымъ къ кабаку множествомъ психологическихъ и иныхъ причинъ, не имѣетъ. «Патентъ есть?»—«Есть». Только и всего. А человѣкъ, валяющійся въ канавѣ, къ *дѣлу* не относится... Улучшеніе быта духовенства, стоящее на горизонтѣ, опять-таки игнорируетъ всю психологическую сторону дѣла. Загроможденъ горизонтъ вопросами, но всѣ они съужены до разфѣровъ рубля серебромъ; всѣ они не освѣщены, не согрѣты и не соединены другъ съ другомъ мыслью о томъ существѣ, которая въ зоологіи называется «человѣкомъ», нигдѣ объ этомъ существѣ не сказано ни единого слова. Всѣ вопросы поставлены въ обрѣзъ, жестко и «безъ разговоровъ». На первомъ планѣ стоятъ прямо «дороговизна съѣстныхъ припасовъ», а за припасами непосредственно слѣдуетъ «улучшеніе быта»; но зачѣмъ все это, и какую такую мою, личную, человеческую сторону будетъ удовлетворять тотъ или другой начальникъ, побороть дороговизну

сѣстныхъ припасовъ, — неизвѣстно, и никто этого не знаетъ.

Да и вообще, говоря биржевымъ словомъ, «сѣ человекомъ — тихо», и вниманіе къ нему, къ его божественному (эва!) происхожденію превратилось въ нуль, и во всемъ мірѣ по этой части творится что-то недоброе... Возьмите хоть египетскую войну и скажите, было-ли что-нибудь подобное съ сотворенія міра? Прежде воевали народы, но и владыки народовъ воевали одновременно — владыки даже вели бой... Теперь владыки съ владыками находятся въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ, только и пишутъ другъ другу о дружественныхъ чувствахъ, а подданные дерутся. И за что?.. Прежде всякая драка начиналась непременно во имя какого-нибудь высшаго интереса, высшей цѣли... «Освободить гробъ отъ ига... Освободить отъ ига вообще... За вѣру... За порядки и цивилизацію... За освобожденіе... Наконецъ, просто — покорить, завоевать...» Ничего этого нѣтъ въ данномъ случаѣ: завоевывать никто ничего не хочетъ; ни о вѣрѣ, ни о свободѣ или освобожденіи нѣтъ и рѣчи, а просто только: «отдай деньги!» — и больше ничего. Въ Англіи вздорожали «сѣстные припасы» (такъ и въ манифестѣ объ объявленіи войны написано), нужны деньги, феллахъ не платитъ; и вотъ англійскіе купцы посылаютъ флотъ съ пушками и начинаютъ выбивать недоимку изъ мужиковъ Египетской губерніи. Заряжаютъ пушки, палатъ — палатъ день, два — и посылаютъ парламентаря, у котораго на знамени написано: «Отдай апрѣльскій купонъ въ два съ полтиной!». На встрѣчу этому парламентарю выѣзжаетъ другой, у котораго написано: «Повремените, покуда овесъ продадимъ, хотя до Покрова». — «Мы ужъ повременили, отвѣчалъ Сеймуръ, судебный приставъ англійскихъ купцовъ, — довольно! Вамъ довѣряли, хотѣли какъ лучше, а вмѣсто того — одна неблагодарность... Приноси купонъ, а не то опять начну выбивать пушкой. У меня разговоръ коротокъ». А падишахи въ это время сидятъ, пьютъ кофе, говорятъ другъ другу любезности и ожидаютъ, когда уйдетъ судебный приставъ, чтобы опять взять въ руки бразды правленія. Сыновья солнца, братья луны, отцы вселенной не могутъ воспрепятствовать, при всемъ своемъ могуществѣ, истреблять собственныхъ своихъ подданныхъ купцу — истреблять тысячами за то, что у купца векселя неоплаченные въ карманѣ. «Банки возроптали...» А возроптали, такъ можно и изъ пушки двинуть... Совершенно частные интересы — банковые, акціонерные, интересы рубля — съ пушками вторгаются въ страну за полученіемъ недоимокъ, и сынъ солнца ничего не можетъ сдѣлать. Представитель англійскихъ мірѣйдовъ съ пушками и бомбами лѣзетъ черезъ моря и океаны и кричитъ: «отдай купонъ!». Онъ знаетъ ничего не хочетъ — ни трактатовъ, ни конвенцій. «Это до насъ не касающееся. Отдай купонъ, больше ничего!..» Претъ, преодолевая всѣ преграды и пренебрегая всякими приличіями и обычаями, и если обнаруживаетъ какое-нибудь и къ чему-нибудь вниманіе, такъ единственно только въ случаѣ, когда наты-

кается на другого купца, у котораго тоже векселя. Представитель совершенно *частной* компаніи, т. е. кучки *частныхъ* лицъ, человекъ, не обремененный и каплею той власти, которую обременя падишахи. Лессепсъ пріѣхалъ въ Суэцъ и говоритъ: «Тутъ я не пушу. Я тутъ *хозяйинъ*... Я не позволю». — «Да намъ деньги надобно получить!» — возражаетъ Сеймуръ и лѣзетъ съ флотомъ, полагая, что разъ онъ сказалъ: «мнѣ деньги получить», такъ тутъ ужъ разступись все и вся... Однако, нѣтъ! — «Да и намъ тоже нужно деньги получать», — возражаетъ Лессепсъ: — «что вы ужъ очень-то!» — «Да у меня векселя...» ужъ робко возражаетъ судебный приставъ. — «И у насъ тоже векселя!» — гордо говоритъ Лессепсъ. — «Да вѣдь по купонамъ мнѣ надо съ нихъ получить... сами посудите, довѣряли, а на мѣсто того... Позвольте пожалуйста пріѣхать, выпалить изъ пушки!» — «Мнѣ тоже надо получать по купонамъ».

Такъ и остановилъ одинъ цѣлый флотъ. Одинъ человекъ, *частное* лицо, представитель *десяти* *частныхъ* лицъ — взялъ да и остановилъ цѣлый флотъ, не далъ ему ходу, не побоялся пушекъ и пуль, и имѣлъ силу все это сдѣлать *только* потому, что ему *тоже* надо деньги получать. Только потому его и понялъ и «уважилъ» другой представитель группы *частныхъ* лицъ и банковъ, что понималъ огромное значеніе акта полученія купонъ. «И вамъ тоже по купонамъ?...» — «Да-съ, и мнѣ-съ!» — «Ну, извините...» А падишахъ, сынъ солнца, братъ луны, при всемъ могуществѣ, не можетъ препятствовать ни флоту, ни разоренію подданныхъ, ни войнѣ, ни пожарамъ. Что же значить послѣ этого тотъ человекъ, съ которымъ расправляются — феллахъ? Напрасно онъ кричитъ: «Дайте продать овесъ!» «Неурожай!» «Разорился!» «Позвольте вздохнуть!»... «Извольте выслушать, отчего...» — никакого вниманія! «Отдай купонъ!... Заряжай! Пу!»... Вотъ какія дѣла стали дѣлаться на бѣломъ свѣтѣ! «Отдай купонъ, не то убью»; а что касается тамъ какого-то твоего «личнаго» счастья, какого-то національнаго достоинства, какихъ-то семейныхъ и общественныхъ обязанностей, какихъ-то умственныхъ и нравственныхъ недоумѣній, жизненныхъ задачъ — наплевать! Отдай, а самъ хотъ провались сквозъ землю! При такомъ «последнемъ словѣ», опредѣляющемъ главную задачу современной жизни, — словѣ, произнесенномъ и освященномъ отборными представителями отборнѣйшей и могущественнѣйшей націи всего свѣта — мудрено роптать на то, что урядникъ также выдвигаетъ на первый планъ «сѣстные припасы» и во имя ихъ желаетъ обезпеченія.

Но сказать о крайнемъ оскудѣніи «духовной дѣтельности» русскаго человека, о крайней ничтожности проявленій этой дѣтельности все-таки необходимо. Оскудѣніе духовной жизни до такой степени велико вообще, что иногда не только отказываешься дать объясненіе существованію всевозможныхъ лицъ, прикосновенныхъ ко всевозможнымъ учрежденіямъ, но не можешь объяснить и резона для собственнаго существованія. Живешь, глядишь,

и не знаешь—зачѣмъ все это, надобно ли это, изъ-за чего наконецъ на человѣчество навалилась такая масса необузданной скуки и почему такое мертвое молчаніе? Чтѣ вообще все это значить: «Домового-ли хоронять, вѣдьму-ль замужъ отдають?» Вѣдь необходимо же, чтобы для каждого ампула было какое-нибудь объясненіе. И притомъ, если это ампула желаетъ, чтобы я, обыватель, уважалъ его, то объясненіе его существованія непременно должно быть для меня пріятное, вызывать во мнѣ сочувствіе, иначе я могу только переносить это ампула, не имѣя съ нимъ ни малѣйшей внутренней связи. Недавно мнѣ напримѣръ рассказали, что батюшка сосѣдняго прихода, посѣтивъ умирающую женщину, обратилъ вниманіе на двѣнадцатилѣтняго мальчика-сироту и спросилъ его: «Ходишь въ школу?»—«Нѣ!» отвѣчалъ мальчикъ.—«Отчего?»—«Денегъ нѣтъ» (надо платить пять рублей въ годъ). Батюшка подумалъ, поговорилъ съ мальчишкой и сказалъ: «Ну, ходи въ школу—я за тебя пять рублей заплачу!» И, точно, заплатилъ. Когда мнѣ рассказали объ этомъ случаѣ, повѣрили: я цѣлый часъ не могъ придти въ себя отъ изумленія. «Какъ, пять рублей?»—«Да такъ—жалко мальчишку стало.»—«Да неужели только потому, что жалко стало?»—«Только!..» Удивительно, необыкновенно! Судите сами: *просто, такъ* (слова все диковинныя), батюшка *сжалился* и заплатилъ пять рублей за *чужого* мальчонку... Какъ хотите, а это удивительно. За это *съ самого дѣла* слѣдуетъ уважать батюшку. Въ одномъ заграничномъ католическомъ городѣ въ тяжелой болѣзни умирала русская женщина. Жила она въ бѣднѣйшемъ кварталѣ, въ бѣднѣйшей комнатѣ и послѣдніе дни ни откуда не имѣла помощи. Въ это трудное время, въ одинъ изъ самыхъ тяжелыхъ и мучительныхъ часовъ, которые проводила умирающая на чужбинѣ, въ дверь ея комнаты послышался стукъ. Отворили. Патеръ просунулъ руку съ конвертомъ, поклонился и ушелъ. Въ конвертѣ было 20 франковъ. Это конечно фокусъ—эти 20 франковъ пущены въ ходъ для завоеванія всего бѣднаго дома, въ которомъ была умирающая; но зачѣмъ этотъ фокусъ и почему фокусъ такой, а не другой?—Потому, что его дѣлаетъ монахъ. Этотъ поступокъ вполне объясняетъ его званіе. У насъ не такъ. «Батюшка! сейчасъ повели въ волость драть Ивана Тимофеева. Богомъ вамъ боюсь, занапрасно. Саршина на него осерчалъ, что онъ на учотѣ шумѣлъ, срамилъ его, и повелъ драть за грубость якобы. Вступитесь!»—«На это, другъ любезный, отвѣчу я тебѣ кратко: не мое дѣло! Я сунусь, а онъ на меня—кляузу, вотъ и возись съ нимъ...» И точно, какъ сунулся къ чѣмъ-нибудь хорошимъ, такъ и—кляуза. Кляузу примутъ во вниманіе, а насчетъ «хорошаго» скажутъ: «не твое дѣло». Уже такое «заведеніе», такая привычка. И вотъ, повинувшись порядкамъ этого «заведенія», батюшка садится на лавочку около своего дома и, слушая, какъ въ волости кричитъ мужикъ, нюхаетъ табакъ и говоритъ:

— Ишь, какъ запаливаетъ!

— Смородины нарѣзаль! объясняетъ церковный сторожъ.

— Гдѣ-же смородину-то брали?

— Да тутъ, у Авдотьи.

— Хороша смородина то?

— Смородина-то у ней буйная...

— Буйная?... Такъ хорошо-бы у нея кустика два-три...

— Чтѣ-жъ, можно.. У-ухъ какъ задуваетъ!...

— Да... Расходилась рука...

Вотъ почему мы предпочитаемъ другой типъ батюшки, который, говоря: «любви ближняго я помогаю», въ самомъ дѣлѣ помогаетъ—дастъ пять рублей бѣдняку. Этотъ поступокъ оправдываетъ мѣсто, занимаемое имъ, и даже просьбу о прибавкѣ: она будетъ у такого батюшки сформулирована не одною только дороговизной солонины, которая (какъ пишутъ въ прошеніяхъ) «*достигла* даже до 14-ти копѣекъ!..» Поэтому-же самому намъ, обывателямъ, пріятнѣе бы было, еслибъ и начальнакъ станціи (о которомъ упомянуто въ началѣ), вмѣсто того чтобы не давать жалобной книги, напротивъ, самъ бы прибѣжалъ съ ней, самъ бы сказалъ: «Богѣ, какое прокшество!»—а не ломался бы, не говорилъ-бы глупыхъ словъ: «съ опозданіемъ» и т. д. въ то время, когда живой чловѣкъ разбился на нашихъ глазахъ въ дребезги. Поэтому-же самому намъ пріятны и судьи, которые оправдали солдата, «растратившаго патронъ», и сказали: невиновенъ. Поэтому-же самому пріятны и мужики, которые напали для нищихъ и для страннѣйшихъ домъ, купили дровъ, хотя и могли, на основаніи господствующей моды, вслѣдствіе которой «любви ближняго» значить: «чужая не приставай», или «не твое дѣло»—просто гнать нищихъ отъ своихъ воротъ, говоря кроткимъ голосомъ: «не прогнѣвайся», «иди себѣ съ Богомъ прочь!» и т. д. Спрашивается: чтѣ же именно во всемъ этомъ пріятнаго и въ чемъ заключается эта пріятность? Неужели только въ томъ, чтобы понимать и знать, зачѣмъ существуетъ то или другое ампула на бѣдомъ свѣтѣ?—Нѣтъ, мнѣ мало понимать всѣ эти общественныя ампула, мнѣ надо знать, что они хлопочутъ о томъ, чтобы мнѣ было лучше. Зла, тьмы, тяготы, невѣжества и такъ довольно—все это мы воспроизведемъ безъ всякихъ поощреній и одобреній; для увеличенія тягости и холода жизни не нужно никакихъ ампула и не стоитъ такимъ ампула давать прибавки, хотя-бы солонина достигла и семнадцати копѣекъ за фунтъ. Намъ надо добра, правды, облегченія жизни, ободренія того хорошаго, чтѣ въ насъ есть; намъ надо, чтобы всѣ эти ампула, хоть изъ пятаго въ десятое, знали и понимали, что такое значить слово «общее благо». Но вѣдь ужасно сказать: самое понятіе, заключающееся въ этомъ словѣ, исчезло совершенно—изъ всѣхъ ампула, и мы, обыватели, не чувствуемъ смѣлости проявлять хорошія побужденія, убѣждаемся, что они вышли изъ моды, что главное—не это, а «не твое дѣло» и «дороговизна съѣстныхъ припасовъ». И стоитъ дьявольская тоска. Солонина «достигла» 20 к.—неизвѣстно отчего. Батюшка сидитъ дома и ду-

масть объ улучшеніи быта—неизвѣстно съ чего. Въ волости «наказываютъ» Ивана Родіонова—неизвѣстно за что. Урядникъ «ѣдетъ рысью»—неизвѣстно куда и зачѣмъ... Незвѣстно, зачѣмъ прилетѣла птица подъ окно... Солнце свѣтитъ... Соловьи «достигаютъ»... И становится, «неизвѣстно отчего», «страшно»...

VII. Деревенская молодежь.

«...Однако—возразить мнѣ читатель—несмотря на всѣ ваши причитанья о томъ, что вообще понятіе объ общемъ благѣ какъ бы вообще изсякло и исчезло, дѣятельность народнаго духа вовсе не замерла. Вѣдь вотъ устроили же ночлежный домъ для странныхъ. И никакихъ тутъ ни указаний, ни поощреній, ни поддержекъ не было... Стало-быть и безъ всякихъ наемныхъ или ненаемныхъ дѣятелей народъ сдѣлаетъ себѣ самъ все, что ему нужно и что онъ найдетъ полезнымъ. Лучше всего оставить его въ покоѣ, право...»

Все это справедливо, и все это я понимаю и знаю. Знаю я, что духъ народный не умеръ и не умретъ; знаю, что рано или поздно, убѣдившись, что «любимъ ближняго»—не одно и то-же, что «своимъ собакамъ грызутся—чужая не приставай», народъ «самъ» примется за объясненіе этихъ словъ. Знаю, сколько бѣдъ и напастей, зла и трудностей произойти отъ этого можетъ. Знаю я, что все это идетъ и сейчасъ на глазахъ у всѣхъ насъ, но я утверждаю, что это идетъ съ «ненужнымъ» зломъ, съ «ненужными» мученіями—идетъ безобразно, дико, нелѣпо. Вѣдь для того, напримѣръ, чтобы устроить ночлежный пріютъ для «странныхъ» и сдѣлать это «своими средствами» необходимо было, чтобы каждая изъ деревень, принявшихъ въ этомъ участіе, сгорѣла по крайней мѣрѣ раза четыре отъ трубки, которую забылъ прохожій въ сѣнѣ; надобно было, чтобы рѣшительно всѣ были много разъ обокрадены, хотя и въ разное время и въ разныхъ размѣрахъ. Крестьянъ ходъ, учрежденный тоже по собственной инициативѣ крестьянами села Зайцева, учрежденъ потому, что *весь* скотъ переболѣлъ у всѣхъ; другой ходъ въ той-же деревнѣ учрежденъ потому, что во всѣхъ дворахъ холера выѣла людей, и т. д. Надобно было, чтобы воровскія наклонности прохожихъ всѣми ощутились въ такихъ неудобныхъ размѣрахъ, чтобы *всѣ* заговорили о необходимости ночлежнаго дома... Но вопросъ о безпріютности человѣка—такой огромный общественный вопросъ, что его можно и должно ставить предъ общественнымъ вниманіемъ, не дожидаясь, покуда онъ поставитъ себя воровствомъ, пожаромъ и т. д. Я очень хорошо знаю, что народъ не можетъ вѣрить, будто-бы «любимъ ближняго» есть то-же самое, что «чужая не приставай»,—знаю, что онъ будетъ искать подлиннаго объясненія этихъ словъ, знаю всю ту огромную муку, которая ему предстоитъ; но почему я, зная это, долженъ молчать—этого я не понимаю и по-

нять не могу. Такъ во всемъ. Нисколько не теряя вѣры ни въ народную душу, ни въ народный умъ, мы, люди, принадлежащіе къ такъ называемой интеллигенціи, но по несчастью забывшіе, что *обязанность* наша—непрерывно помнить только о *благѣ* общемъ, чтобы дѣятельностью *въ этомъ* смыслѣ оправдывать свое положеніе,—присутствуемъ предъ поразительно-безобразнымъ зрѣлищемъ. Видимъ, какъ «своими средствами»—всегда тяжелыми, грубыми, мучительными, исполненными страданій, ошибокъ и напрасныхъ мученій,—народъ ставитъ и пытается разрѣшить такіе вопросы, которые давнымъ-давно поставлены; глядимъ на это и *знаемъ*, что «рано ли, поздно ли» (десятками лѣтъ) онъ придетъ именно къ тому фазису вопроса, который давно у насъ ужъ предъ глазами... Народъ, идя къ разрѣшенію того или другого занимающаго его вопроса, бредетъ ощупью, не зная завтрашняго дня... Мы знаемъ этотъ день и—молчимъ.

Опытъ осчастливить Русскую Землю помощью людей, хотя и называющихся общественными дѣятелями, но неимѣющихъ понятія о томъ, что общественная дѣятельность можетъ выражаться *только* въ заботахъ объ *общемъ* благѣ,—опытъ этотъ, какъ теперь всякому извѣстно, былъ сдѣланъ въ грандіознѣйшихъ размѣрахъ и, какъ тоже извѣстно, привелъ къ весьма неблагоприятнымъ результатамъ. Вѣдь не объ *общемъ*-же благѣ заботились люди, расхищая милліоны оренбургскихъ земель, общественное народное достояніе и богатство? Вѣдь не объ *общемъ* благѣ хлопотали господа интенданты, расточая милліоны, десятки милліоновъ народныхъ денегъ, каждая копѣйка которыхъ добыта тяжкимъ трудомъ? Развѣ имѣли въ виду общее благо господа желѣзнодорожники, кладя въ карманъ себѣ милліоны, сотни милліоновъ народныхъ денегъ и проводя дороги тамъ, гдѣ захочется? Развѣ объ *общемъ* благѣ думали массы хищниковъ, опустошая банки, растрачивая общественныя кассы, взламывая земскіе сундуки и т. д.? Развѣ объ *общемъ* благѣ думаетъ вся масса Псой Псойчей, Титъ Титычей, большихъ и малыхъ, вся свора міроѣдовъ и кабатчиковъ?... А наше прошлое съ Тарасами Скотининными, Митрофанушками, Фамусовыми, Репетиловыми, Скалозубами и т. д., и т. д.—развѣ оно повинно въ заботѣ объ *общемъ* благѣ? А наше настоящее съ Колупаевыми, Разуваевыми, съ дѣльцами, съ хищниками, со всей этою сворой всякаго сорта жестокихъ людей—развѣ оно слышало когда-нибудь объ *общемъ* благѣ?... Но мы рѣшительно не въ силахъ даже приблизительно, даже въ общихъ чертахъ изобразить все могущество, все обиліе, все безпредѣльное пространство, которое наполняли и наполняетъ въ прошломъ, въ настоящемъ и будетъ наполнять въ будущемъ типъ человѣка, не имѣющаго понятія объ *общемъ* благѣ... «Будетъ», «довольно», ради Бога довольно *этого* типа!—отъ глубины возмущеннаго чувства можетъ только воскликнуть всякій русскій человѣкъ. Довольно *этого* типа! Пора ему выходить изъ моды! Онъ ничего не можетъ сдѣлать, кромѣ зла; онъ все расш-

тасть, расхитить, налжеть, предасть и исчезнуть, оставив один развалины.

Вот этой-то интеллигенции, для которой дороговизна съестных припасов есть единственное руководство въ выборъ той или другой общественной обязанности (сегодня—урядникъ, завтра—дьячокъ), вѣрнѣе пора выходить изъ моды и дать дорогу — не скажу уже готовой, «настоящей» интеллигенции, а хотя тѣмъ вопросамъ общественнаго блага, которые могутъ образовать эту настоящую интеллигенцію. Да, еще «образовать» ее надобно — такъ она слаба, не увѣрена въ себя, во всѣхъ тѣхъ видахъ, которые доступны ей въ настоящемъ. Общественное благо, вопросы насущной жизни, изъ которыхъ оно слагается,—вотъ единственно что можетъ прекратить ту молчаливую, но жестокую борьбу такъ-называемыхъ партій, сосредоточившихъ свою ожесточенную мысль только на способахъ наилучшаго выраженія негодованія сосредоточившихъ до такой степени, что за «способомъ» не видишь ужъ самой причины борьбы и только спрашиваешь, во имя чего-же все это совершается?.. Только вопросы общаго блага, поставленные широко, сами собой уничтожатъ эту наемную, изъ-за денегъ, изъ-за съестныхъ припасовъ толкующую интеллигенцію и дадутъ смыслъ и частной, и общественной жизни.

Скоро-ли и когда именно наше отечество разлюбитъ отверженные типы наемной интеллигенции — міроѣдство всевозможныхъ размѣровъ и формъ — скоро-ли оно убѣдится, что искренняя забота объ общественномъ благѣ только одна и можетъ дать жизнь нашему, постыдно бездѣйствующему нравственному міру — не знаемъ и рѣшать не беремся; но о томъ, что въ отдаленіи отъ малѣйшаго знакомства съ обязанностями человѣка къ ближнему, къ обществу, воспитывается все миллионное молодое поколѣніе, сказать необходимо.

Въ «Наказѣ» Екатерины мы находимъ такіа строки: «Законы должны быть книгою весьма употребительною и которую бы за малую цѣну достать можно на подобіе букваря... и для того предписать надлежитъ, чтобы во всѣхъ школахъ учили дѣтей непременно: изъ церковныхъ книгъ и изъ тѣхъ, кои законодательство содержать». Книги, кои «законодательство содержать». — содержать кратко сформулированный сводъ обязанностей отдѣльнаго человѣка къ обществу. Авторъ «Наказа» желалъ, чтобы съ гражданскими обязанностями народъ во всѣхъ школахъ былъ ознакомленъ наравнѣ съ религіозными. Слѣдовательно онъ считалъ нужнымъ не скрывать отъ массъ того, что во имя общаго блага считается вреднымъ и полезнымъ, и т. д. И это было при крѣпостномъ правѣ, когда народъ могъ и не отвѣчать за свои общественные порядки, какъ бы дурны они ни были. Теперь, черезъ сто лѣтъ, ни о чемъ подобномъ нѣтъ и въ поминѣ. Нельзя говорить именно о томъ, что нужно и о чемъ спрашиваютъ, — вездѣ ссылаются на крамолу, точно ее слѣдуетъ уничтожать поголовнымъ невѣжествомъ массъ...

Теперь представьте себѣ, что гдѣ-нибудь, въ во-

лостномъ правленіи или у сельскаго старосты, совершается какое-нибудь изъ безчисленныхъ вопіющихъ дѣлъ: незаконный контрактъ, пьяный судъ, нелѣпый учетъ какого-нибудь обрала. Ни судья, ни депутаты, ни «окоонтрачиваемые» мужики — никто не знаетъ, что пишутъ, что считаютъ, какія цифры выговариваютъ, но чувствуютъ, что дѣлается что-то «въ ущербъ». Никто не знаетъ ни грамоты, не умѣетъ ни прочесть, ни написать; не кому по душѣ, по совѣсти, растолковать, вступить и т. д. А напротивъ — школа, и тамъ никогда, ни по какому поводу ни батюшка, ни учитель ни единымъ словомъ не займется о томъ, что «нехорошо», молъ, такъ дѣлать, какъ дѣлается тамъ, напротивъ. Ни съ божеской, ни съ человѣческой стороны общественныя обязанности не обсуждаются, не становятся на очередь. Пипнуть о бѣломъ медвѣдѣ, о самоѣлахъ, рѣшаютъ задачу объ «аэронавтѣ, который, поднявшись на высоту 367 футовъ, уронилъ табакерку», и т. д. А кругомъ кипятъ миллионы задачъ, которыя должны быть удовлетворены этими-же мальчишками, будущими деревенскими жителями, общинниками.

Не такъ давно, задумавъ составить книжку для дѣтскаго чтенія, я обратился къ нѣкоторымъ учителямъ К — ской губерніи съ просьбою задать ученикамъ сочиненія на разные темы. Были выбраны: «Домовой и вообще нечистая сила», «Сходка», «Сирота» и «Драка». И что же? — Лучше всѣхъ, то есть разнообразіе и у каждаго по своему были написаны сочиненія о нечистой силѣ!.. Тема — нейтральная: о домовомъ думай сколько хочешь, твоя воля — никто не мѣшаетъ. А хуже всего вышла «Сходка», — явленіе, которое постоянно на глазахъ у всѣхъ. Сходку учителя должны были «растолковать», то-есть почти разсказать все содержаніе этой темы. Всѣ сочиненія вышли одно въ одно, слово въ слово — такъ, какъ растолковали учителя: официально, мертво, безъ единой живой черты. «Драка» и «Сирота» — явленія деревенской жизни, поминутно встрѣчающіяся, были еще хуже. Всякій видѣлъ и зналъ сироту и всякій глядѣлъ на драку — и всетаки очень плохо и небрежно написано и о томъ, и о другомъ. О сиротѣ нужно было также толковать: отчего сирота бываетъ? Куда онъ дѣвается, когда онъ вырастаетъ?.. Всѣ эти вопросы удивили мальчиковъ тѣмъ, что вдругъ сдѣлались предметомъ вниманія и нѣкотораго изученія. Въ «Дракѣ» описывалось только, кто чѣмъ кого ударилъ: она его желѣзкой, а онъ ее сребрѣмъ и т. д. А когда стали спрашивать о причинахъ этой драки, вопросъ за вопросомъ, то очень много не могли ничего отвѣтить, хотя тема и была дана потому, что въ деревнѣ живетъ буйное семейство и живетъ много лѣтъ. Такимъ образомъ вниманіе къ ближнему, не изъ личныхъ только побужденій, оказывалось весьма мало развитымъ. Палку, которою бьютъ, примѣчаютъ, больно ли — тоже помнятъ, а корень этой горькой жизни, которая у всѣхъ на виду, — это не касается, или, по-крайней-мѣрѣ: «чужая не приставай». Самое общественное изъ общественныхъ дѣлъ — сходка —

ни у кого не возбудило никакого серьезного внимания, даже тѣни вниманія.

Я знаю, что лучшія силы въ народѣ не увѣруютъ въ то, что «люби ближняго» значитъ — «чужая не приставай»; но упорное отсутствіе изъ народнаго воспитанія всего, что способно облагородить душу человѣческую, не можетъ остаться безъ послѣдствій. Худы были и безобразны, нелѣпы, глупы и наглы тѣ типы всевозможныхъ саврасовъ и недорослей, выходившіе до нынѣ изъ другихъ, болѣе достаточныхъ классовъ; но все это сравнительно съ тѣмъ, что въ этомъ родѣ намъ предстоитъ видѣть, по-истинѣ капля въ морѣ. Одно количество «саврасовъ будущаго» должно уже поразить своими громадными размѣрами, такъ какъ этотъ новый контингентъ олуховъ общается выйти не изъ такихъ сравнительно немногочисленныхъ слоевъ общества, какъ купечество, чиновничество и т. д., а изъ миллионной массы народа. На тысячу душъ навѣрно можно положить по пятаку болѣе или менѣе благонадежныхъ міроѣдовъ; у всѣхъ у нихъ есть дѣти, опора и надежда; дѣти эти ужъ не работаютъ, не возятся въ навозѣ, они — въ «пинжакахъ», «при часахъ», взыскиваютъ по тенькинскимъ распискамъ и засѣдаютъ въ трактирномъ заведеніи. Коньякъ, портвейнъ — это имъ извѣстно. Карты также въ большомъ ходу. Эти

новые люди никогда не знали и не узнаютъ, что такое книги, что значитъ читать, ни о какихъ буквально вопросахъ, ни жгучихъ, ни нежгучихъ. Никто и никогда изъ нихъ не думалъ, ни о какомъ рода работъ мысли не имѣетъ понятія, не можетъ быть приставленъ ни къ какому дѣлу, гдѣ нужно напряженіе ума, потому что деньги наживаются простыми отнятіемъ чужого. Лѣнь, наглость, невѣжество, гордость и страшныя замашки деспотизма, воспитываемыя покорностью и безропотностью снимающихъ шапки мужичонковъ, привычка постоянно торжествовать надъ всевозможными попытками этихъ мужичонковъ къ протесту — вотъ нравственный матеріалъ, съ которымъ ломится на общественную арену миллионная толпа дюжихъ, здоровенныхъ саврасовъ и недорослей новаго сбора. Что вотъ съ этими-то молодцами дѣлать, когда они явятся попить, погулять, себя показать и другимъ посмотреть и во всякомъ случаѣ надѣлать «некадалу»? Вѣдь они до тѣхъ только поръ могутъ считать себя тѣмъ, что они есть, т. е. потомками совершенно благонадежныхъ людей, называемыхъ къ несчастію міроѣдами, повуда ихъ поддерживаютъ деньги. Но вѣдь пропить ихъ не долго, и тогда что они будутъ дѣлать съ своими волчьими ртами, деспотическими сердцами, пустыми головами и безъ малѣйшей привычки къ добросовѣстному труду?..

ВОЛЕЙ-НЕВОЛЕЙ.

(Отрывки изъ записокъ Тяпушкина.)

Вѣсто предисловія.

I.

Ужъ и не пересчитаешь, сколько разъ я принимался за этотъ романъ, или повѣсть, или мемуары; сколько разъ я былъ вполне увѣренъ, что это надо сдѣлать и сколько разъ разувѣрялся! Сотни разъ — какое? — сотни тысячъ разъ по крайней мѣрѣ рука моя написала: «глава первая», двѣсти тысячъ разъ она написала «часть первая, глава первая», и всѣ эти сотни тысячъ начинаній оканчивались тутъ-же, на мѣстѣ, большей частью на этой же несчастной первой главѣ, а иногда и первой строкѣ... Потому что .. что такое? Я — человѣкъ неопредѣленнаго положенія, неопредѣленнаго званія, человѣкъ случайныхъ средствъ, человѣкъ случайнаго «встрѣчнаго» общества, человѣкъ неуравновѣшеннаго нервнаго развитія — слѣдовательно, какой же можетъ быть толкъ отъ моихъ наблюденій для людей, живущихъ не такимъ, «какъ бы по-вѣтру гонимымъ» обычаемъ? Только скучно! А еще будетъ скучнѣе, если я скажу, что наблюденія моего «отрывочнаго» существованія я, приступая къ ненаписанному роману, думалъ свести къ доказательству того, что такое явленіе, какъ я, положимъ, хотъ Иванъ Тяпушкинъ, во-первыхъ,

явленіе не единичное, а такъ сказать «продуктъ» такихъ-то и такихъ-то неизбежныхъ вліаній, продуктъ, личныя свойства котораго присущи... всему русскому обществу и народу! Если же я еще прибавлю къ этому, что личныя эти свойства заключаются въ неизбежности «пропасть» за что-то, лично меня некасающееся, нисколько даже мнѣ иногда ненужное, что съ другой стороны, отдавшись этому личному, я такъ-же *долженъ* пропасть, пустить себя пулю въ лобъ, то ясно будетъ, что навязать такую «неизбѣжность» всему обществу невозможно. И вотъ почему, написавъ «часть первая», «глава первая», я тотчасъ же и прекращалъ работу... А ужъ сколько этихъ началъ было! И «въ одинъ лѣтній вечеръ»... И «солнце склонилось къ горизонту»... И «Марья Васильевна лежала на кушеткѣ»... Одинъ разъ было даже «полулежала»... Ну, да что! Молчаніе!.. Молчаніе!..

Но въ послѣднее время или, вѣрнѣе, въ самые послѣдніе дни послѣдняго времени цѣлый рядъ явленій жизни, поистинѣ достойныхъ носить названіе «наглядныхъ несообразностей», вновь и съ особенной силой возбудилъ во мнѣ желаніе вытащить опять на свѣтъ божій мою любимую идею, что извѣстному поколѣнію русскаго общества обя-

зательно было «пропасть» во мнѣ чужого дѣла, чужой работы, пропасть волей-неволей, потому что къ этому его привела вся всечеловѣческая жизнь и вся всечеловѣческая мысль, и что если оно не увѣруетъ въ это, не укрѣпится себя въ этомъ, то ничего, кромѣ самой ужасающей безплоднѣйшей и адски-мучительной глупости, выработать оно не можетъ. Эту любимую идею о необходимости «пропасть» во мнѣ лично для меня непунктирныхъ, даже нежелательныхъ обязанностей, обязанностей тяжелыхъ, непривѣтливыхъ, я и захотѣлъ вновь показать на опытѣ моей случайной, во многомъ суженной, изуродованной жизни. Явленія современной жизни, о которыхъ я говорю, сдѣлали то, что даже самая узость моихъ наблюдений, которая всегда меня пугала, теперь какъ бы ободряла, именно потому, что я самъ «суженъ» и всѣ мои наблюдения «сужены» какъ-разъ на этой необходимости «пропасть» не за свое, а за чужое, за что-то, отчего мнѣ ни тепло, ни холодно, и т. п. Или, нѣтъ—холодно! Ужасъ даже какъ холодно!..

А точно, мнѣ неизвѣстно даже, гдѣ и когда могли бы происходить такіе явленія, о которыхъ я только-что говорилъ. Последніе мѣсяцы настоящаго года я, за неимѣніемъ мѣста, провелъ такъ: поживешь въ Петербургѣ, устанешь—поѣдешь въ деревню къ пріятелю; тамъ поживешь, устанешь, поѣдешь въ Петербургъ... и такъ четыре мѣсяца подрядъ мыкался я и туда и сюда, уставалъ, уставалъ и уставалъ... и наконецъ до такой степени измучился, что одно время думалъ о необходимости смерти, вслѣдствіе неотразимо надвигающагося на меня психическаго разстройства, грозившаго умопомѣшательствомъ. Но къ счастью, вдругъ какъ-то попалъ на мысль — писать опять ту же ненаписанную повѣсть...

Впрочемъ, прежде всего необходимо подробно разсказать, какъ и отчего именно я уставалъ; надобно разсказать, какъ я провелъ осень, что видѣлъ и испыталъ. Необходимо иной разъ коснуться и такихъ сценъ и фактовъ, которые припадаютъ только потому, долго спустя послѣ этой первой главы моихъ замѣтокъ. Разсказывать всего по порядку—рѣшительно невозможно; впору справиться только съ самымъ памятнымъ и примѣтнымъ. Начну эти воспоминанія о прошлой осени съ такого событія, которое памятно не для одного меня, а для всей Россіи. Я говорю о похоронахъ Тургенева. Спрашиваю всякаго изъ ста тысячъ чело-вѣкъ народа, присутствовавшего на этихъ похоронахъ, что это такое было, какъ не непрерывная цѣпь самыхъ невозможныхъ несообразностей, волею запутавшейся жизни сдѣлавшихся обязательными, неизбежными? Начиная съ появленія гроба въ дверяхъ варшавскаго вокзала и кончая могильнымъ холмомъ — весь восьмичасовой промежутокъ времени, ушедшій на процессію, обязывалъ рѣшительно всякаго изъ сотенъ тысячъ народа, присутствова-шаго на этихъ похоронахъ, переживать рядъ самыхъ непослѣдовательныхъ, нелогическихъ, болѣзненныхъ, безсвязныхъ впечатлѣній, и въ то-же

время сознавать, что нелогичность, безсвязность, непослѣдовательность ихъ нужны, необходимы, неизбежны—словомъ, что «такъ надо», хотя въ то-же самое время и совершенно «не нужно». Ясное, свѣтлое осеннее утро; цвѣты, лавры, ленты и гробъ писателя, при имени котораго и при воспоминаніи о которомъ никакого много представле-нія, кромѣ того, что и посѣтитель, и читатель его выносили—и отъ знакомства, и отъ чтенія—исключительно хорошія, свѣтлыя впечатлѣнія. Воспоминаются самые тихіе, пріятные, простые обра-зы, густолиственные аллеи, красота... молодость... любовь... глаза, заплаканные невинными слезами... кисея какая-то подвѣнечная чудится невѣдомо почему... холодные пальцы робкой женской руки... А на душѣ у всѣхъ тягота, камень сознанія, что «не намъ и не ему омііамъ пахучій, цвѣты и лавры—нѣтъ!»... *). Что «тернъ колючій» долж-ны мы вспоминать... по случаю, какъ видите, совершенно неподходящему. При болѣе или менѣе здоровыхъ условіяхъ жизни, и «тернъ колючій» вспомнили бы мы въ свое время и въ своемъ мѣ-стѣ, а теперь онъ вспоминается вовсе не у мѣста, и выходитъ такъ, что надо вспоминать колючій тернъ въ такихъ обстоятельствахъ, которые соот-вѣтствуютъ именно лаврамъ и цвѣтамъ. Такъ вы-шло! Такъ надо! И вотъ съ такимъ-то извращен-нымъ волею судьбы состояніемъ духа, съ камнемъ на душѣ, тысячи народа идутъ четыре-пять ча-совъ; мертвое молчаніе, напряженность, обязан-ность идти и знать, что внутренній душевный хо-лодъ обязательнъ. Идемъ, и вдругъ видимъ взводъ казаковъ, молодецъ къ молодцу, которые почему-то невольнo напоминаютъ стихи Пушкина: «вмигъ слетѣлись въ общемъ крикѣ»... и даже не весь стихъ, а одно только слово «вмигъ».

Бога ради, читатель, не думайте пожалуйста, что, заговоривъ о казакахъ, я сдѣлалъ это изъ желанія представить себя «какимъ-нибудь эдакимъ» либераломъ, фанфарономъ, который представляется возмущеннымъ, фыркаетъ, осуждаетъ, фордыба-читъ—словомъ, «отличается» свѣдѣностью и свобо-дою своихъ просвѣщенныхъ идей. Ни чуть и ни въ какомъ случаѣ. Я и говорю объ этихъ заку-банскихъ молодчинахъ именно въ подтвержденіе той странности современныхъ «наглядныхъ несо-образностей» жизни, что они, закубанскіе молод-чинники, должны были непремѣнно присутствовать здѣсь и что началоство непремѣнно должно было послать ихъ сюда. Такъ сложилась жизнь, что на похоронахъ Тургенева должно было и вспомнить тернъ колючій, и созерцать закубанцевъ. И всѣ это отлично понимали, и всѣ чувствовали несо-мнѣнно, что все это весьма странно и удивительно. Въ самомъ дѣлѣ, какая тутъ связь съ литератур-ной дѣятельностью Тургенева и всѣми воспомина-ніями о немъ, которые роятся у всѣхъ присут-ствующихъ, начиная отъ частнаго пристава до студента съ вѣнкомъ въ рукахъ?—Никакой. Тур-геньевъ — и закубанецъ... вѣдь это Богъ знаетъ

*) Стихъ Я. П. Полонскаго.

что! А — надо, и всё знают, что надо. Нелёпо, а необходимо; и вообще такъ вышло.

И такъ, пройдя пять часовъ съ каменной тяготой воспоминаній о колючемъ тернѣ, вѣсто цвѣтовъ и лавровъ, миновавъ несообразную и въ то же время вполне понятную встрѣчу съ закубанцемъ, мы наконецъ достигаемъ могилы и слушаемъ рѣчь Бекетова объ астрономіи. Теперь позвольте сосчитать всё впечатлѣнія, которыя мы пережили: Тургеневъ, Ася, густолиственная аллея, кисея подвѣшечная, закубанскій эскадронъ, рѣчь объ астрономіи. Какую связь, живую, здоровую, все это имѣетъ между собой? Живой и здоровой связи нѣтъ. Хоронимъ Тургенева, создателя цѣлой толпы чудныхъ и нѣжныхъ образовъ, а говоримъ объ астрономіи; при чемъ тутъ Тургеневъ? Ровно ни при чемъ. А закубанецъ при чемъ? Тоже ни при чемъ. . Елена, Инсаровъ, Лаврецкій, густолиственная аллея... а плеть закубанская какъ попала? Неизвѣстно!.. Теперь, если такъ взять: какая связь между плетью и астрономіей, между вѣнкомъ отъ женскихъ курсовъ и закубанскимъ эскадронъ? какая связь между Тургеневымъ и астрономіей, между астрономіей и терніемъ колючимъ? Ровно никакой!

Но жизнь пошла такими дебрями, дала такой нелѣпый оборотъ, что на каждомъ шагу стала создавать явленія тяготы, неизбѣжной, вполне неминуемой и вполне нелѣпой, и главное, безплодной. Возвратившись съ этихъ похоронъ, я чувствовалъ себя совершенно избитымъ впечатлѣніями дня. «Тургеневъ, эскадронъ... астрономія... а надо!» Вотъ что сверлило мой мозгъ, какъ буровомъ... Почему «надо»? спрашивалъ я себя, и тутъ мнѣ почему-то припоминалось освобожденіе крестьянъ, 19-е февраля, стремленіе въ народъ, «народное благо»... И тогда я впадалъ въ отчаяніе еще большее, потому что мои мысли еще болѣе спутывались, такъ какъ въ нихъ начинала чередоваться еще большая масса непонятныхъ и несоединимыхъ представленій... Освобожденіе... Ася... астрономія... 19-е февраля... закубанецъ... Тургеневъ... аллея... Какъ-же все это могло выйдти изъ 19-го февраля? Но когда начнешь думать объ этомъ, то приходишь къ роковому — «надо!» Такъ вышло! А когда опять начнешь перебирать въ подробностяхъ картину, которая вышла, то сталкиваешься съ подавляющимъ вопросомъ: къ чему-же все это нужно? Чего надо достигнуть всѣмъ этимъ? Зачѣмъ это и какой прокъ отъ этой адской тяготы, — тяготы, одинаково неудовлетворяющей никого: ни закубанца, ни Тургенева, ни астрономію, ни начальство?

Нѣтъ! надо отдохнуть! Отдохну, почувствуюсь, а потомъ и соображу.

II.

Отдохнуть я поѣхалъ въ деревню, къ пріятелю... И точно, здѣсь въ деревнѣ по крайней мѣрѣ понимаешь то, что видишь, и глядя на то или другое явленіе, можешь отвѣтить на вопросы: почему, зачѣмъ, отчего? Напримѣръ, тотчасъ по при-

ѣздѣ на станцію и по выходѣ на платформу, я, несмотря на тьму зимней ночи, вижу, что по близости платформы скопилась масса извозчиковъ. Вижу это и понимаю, что стало-быть «пріѣли» хлѣбъ-то, за первые-же мѣсяцы зимы. Что надобно его покупать, и вотъ почему десять человѣкъ пріѣхало за двумя пассажирами. А вотъ осенью, въ сентябрѣ, когда только-что убрались съ поля и когда хлѣбъ былъ у всякаго, тогда ни одного человѣка нельзя было отыскать у той же самой платформы. Тьма и дождь, а ты ходи по платформѣ да жди блага свѣта. А если и навѣрнется какой мужичонко, то только фордыбачить и много слова какъ «рупъ» даже и понимать не хочеть. Все это видно и ясно.

Изъ десяти толпившихся на платформѣ, въ ожиданіи двухъ-трехъ пассажировъ, крестьянъ, окутанныхъ въ какую-то рвань, съ обледевшими бородами и усами, мы — буквально два пассажира, какой-то лавочникъ и я — выбрали самого подходящаго по части нужды въ хлѣбъ: маленькаго двѣнадцати-лѣтняго мальчпика. Крошечная фигурка, въ большой ящичьей шапкѣ, съ кнутомъ изъ за пояса, достигавшимъ до полу, приглашала пассажировъ такимъ-же точно голосомъ, съ такими-же точно жестами и ухватками, какъ и взрослые бородачи, съѣвшие свой хлѣбъ до Рождества. Ужъ если этотъ ребенокъ заблѣтъ здѣсь въ три часа ночи, когда ему самое время спать, стало-быть въ его семьѣ и въ самомъ дѣлѣ жутко.

Сѣли и поѣхали, т. е. сначала сѣли и сидѣли довольно долго, покуда мальчишка дралъ свою лошадь кнутомъ. Дралъ онъ ее весьма долго, послѣ чего она потянулась впередъ, потомъ еще потянулась, а потомъ ужъ и сани поѣхали...

— Видно, кормишь плохо? спросилъ лавочникъ.

— Знамо, плохо!

— Сѣна нѣту?

— Нѣту!

— Такъ! Отъ этого она и неидеть.

— Знамо, отъ этого. Кабы кормъ былъ, такъ пошла-бы.

— Вѣрно! сказалъ лавочникъ.

И я подтвердилъ это. Все тутъ понятно и правильно.

Мальчикъ постоянно долженъ былъ стегать лошадь кнутомъ и дергать возжами, чтобы принудить ее страхомъ наказанія исполнять свои обязанности. И лошадь шла, подпрыгивая отъ cadaго удара. Но у кабака она вдругъ стала. Мальченко сталъ опять изо всей силы стегать ее и преговаривалъ:

— Это тятенька тебя, проклятую, приучилъ...

— Али пьеть, родитель-то? спросилъ лавочникъ.

— Эво! Знамо, пьеть. У него только и дѣловъ, что пить...

— Отчего такъ ослабъ?

— Лѣнливый сталъ...

— Лѣнливый?.. Да ты чей будешь?

Мальчикъ сказалъ.

— Ну, знаю, знаю?.. Много-ль васъ въ семьѣ-то?

— Девять человекъ, да мать, да отецъ...

— А мужичиновъ-то много-ль?

— Да я одинъ.

— А то все дѣвки?

— Все дѣвки ..

— Ну такъ, такъ!.. Ослабъ! Отъ этого отъ самаго... Кабы мальчиговъ побольше, онъ-бы, отецъ-то, пободръй былъ: все бы ему надежда на подмогу, то-есть по муской-то части, въ хозяйствѣ... Ну, а то все дѣвки, это худо!.. Такъ, такъ, знаю!.. И мать-то твою знаю. Ужъ баба! Идетъ съ рѣчки, на одной рукѣ одинъ ребенокъ, на другой—другой, за руку третьяго ведетъ, четвертый за подолъ, да коромысло съ ведрами черезъ плечо, да на коромыслѣ-то бѣлья, рубашъ и прочаго настирано, навѣшано пуда съ два; да валикъ за поясомъ. Ноги какъ у цапли, тонкія да жилистыя... Всѣхъ кормить, отъ всѣхъ отгрызается, направо лягнетъ, налѣво амкнетъ... воюетъ за своегнѣздо—одно слово! Вотъ отъ этого-то и разстройство—нѣтъ равновѣсу! Все на бабій бокъ вышло! Ну, мужику-то ужъ и обидно, вродѣ какъ подначальный у нихъ, потому что онъ такая сила!.. Что-жъ, отецъ-то даже ослабъ?

— Отецъ-то? И совсѣмъ какъ полоумный сталъ.

— Что-жъ онъ дѣлаетъ по дому-то?

— Да чего ему? Лежитъ на печкѣ да пьетъ. По осени пошли молотить, а онъ колеса пропилъ.

— Ай, ай, ай!

— А то вотъ хомутъ хотѣлъ продать—слава тебѣ Господи, я хватился, пыхалъ его: «куда ты, молъ, полоумный, тащишь хомутъ-то?» Ну, отнялъ отъ него... «Нѣтъ, братъ, говорю, погодишь!»

— А онъ что-же?

— Чего ему? Пошелъ на печку, ругается... «Мнѣ, говоритъ, лютко хотѣлось понять!»

Чего?

— Лютко хотѣлось ему понять... «Водки, говоритъ, хотѣлось...»

— Попить?

— Да? «Попить-бы мнѣ водочки, говоритъ, лютко!.. скучно мнѣ, говоритъ, стало, попить захотѣлъ». — «Нѣтъ, говорю, любезный, погодишь!.. Ты бы, говорю, хощь лошадь мнѣ помочь запречь на станцію-то сѣздить... Ты видишь, я еще малъ, мнѣ иное дѣло и не въ силу... Я вотъ пахатъ принялся-было, такъ только и руки, и ноги вывихалъ, еще силовъ нѣтъ, а ты только-бы попить тебѣ, дураку». — «Мнѣ, говоритъ, скучно... Стану я тебѣ подсоблять, когда ты у меня хомутъ, подлецъ этакой, отнялъ». Да чего! На станцію-то не пускаетъ. Во всемъ домѣ хлѣба нѣту куска, а сталъ я ночью собираться—не пускаетъ. «Спи, говоритъ, чортъ! Покоя отъ васъ никакого нѣту. Вотъ встану—бить зачну... Вѣдь вотъ какой полоумный! Чуть было не прибилъ!..

— Да, ослабъ, ослабъ! Да и ослабнешь!

Лавочникъ соскочилъ на перекресткѣ, а мы поѣхали дальше. Пустынный промежутокъ между двумя деревнями; самый молчаливый часъ ночи; темно, мрачно, тихо... И въ темнотѣ виднѣется что-то болѣе темное: присматриваясь, можно раз-

личить темную фигурку, еще болѣе маленькую, чѣмъ мой извозчикъ, и маленькія также черныя салазки. Темная фигурка маленькаго мальчика съ салазками посторонилась и забрела въ сугробъ снѣга.

— Куда это онъ въ такую пору?

— Въ лѣсъ идетъ!

— Зачѣмъ?

— А за дровами!

— Зачѣмъ-же ночью-то?

— Да вѣдь воровать будетъ. Нешто днемъ можно? Вѣдь увидятъ, а теперь спятъ.

— Развѣ своего лѣсу нѣтъ?

— Кабы свой былъ, такъ не воровалъ-бы...

— А ну, какъ его волки съѣдятъ?

— Такъ чего-жъ имъ не съѣсть? Захотятъ, такъ и слопаютъ... Но... голодная!

— Вѣрно! подумалось мнѣ. И все опять-таки правильно и понятно.

И на другой день все также хорошо... Утромъ выхожу на крыльцо вмѣстѣ съ моимъ деревенскимъ пріятелемъ. Стоитъ человекъ въ пиджакѣ, шарфѣ и картузѣ. Человекъ этотъ давно мнѣ знакомъ ремесломъ сапожникъ, но дѣлаетъ всякія дѣла: и деревья сажаетъ, и канавы копаешь, и обоями обиваетъ. Ему лѣтъ пятьдесятъ, но онъ еще бодръ, держится посолдатски и старается всегда и спрашивать, и отвѣчать развязно и весело. Тутъ-же, около крыльца, стоитъ зачѣмъ-то деревенская женщина, старуха съ завязаннымъ и больнымъ лицомъ.

— Здравствуй, Василій! Что скажешь? спрашиваетъ пріятель.

— Къ вашей милости! Нѣтъ-ли какихъ дѣловъ? Я теперича не нью-съ, ни Боже мой!..

— Ты мнѣ много разъ говорилъ, что пересталъ пить — и все пьешь!

— Нѣтъ, ужъ сдѣлайте милость! Теперь нѣтъ, ни капли! Вотъ ужъ четвертый мѣсяцъ даже росинки не было. Опять взялся исключительно за сапогъ. И теперь что вамъ угодно, хоть всю фамилію обошью и переичню... Какъ можно пить! Я, позвольте вамъ сказать, почему пилъ? Я сталъ пьянствовать по случаю смерти жены... Когда она померла, то я впалъ въ тоску. Дѣвочку, которая осталась послѣ нея, отдалъ матери, остался въ пустомъ домѣ, ну, и началъ пьянствовать. Тутъ я дѣйствительно сталъ поступать безъ всякаго смысла. Первымъ долгомъ началъ съ того, что пошелъ въ садъ, вырылъ тамъ малину, смородину, вишни, яблони; вырылъ, продалъ и пропилъ. На кой онъ мнѣ лядъ? Покончивши такимъ родомъ въ саду, пошелъ я въ амбаръ; закрома вынулъ, выломалъ, бочки изъ-подъ капусты, изъ-подъ огурцовъ выкатилъ, ведра, ушатъ, лопаты, ломъ и весь прочій подобный хламъ свалилъ; отвезъ, продалъ и пропилъ. Эту часть пропивалъ я, прямо сказать, недѣли четыре, даже пожалуй весь. почитай, рождественскій постъ. Тутъ подошли праздники, гости, надо ужъ и другихъ угостить. Тогда я принялся за мебель: пропилъ я тутъ пять стульевъ, кожаныя сидѣнья, шкафъ, чашки, серебряныя ложки

двѣ, ризу, потомъ кіоту, столъ ломберный, круглый былъ столъ на колесикахъ—тестъ подарилъ—тоже пропилъ; подъ одно пошли занавѣски, перины, самоваръ, котелъ для бѣлья, чугунокъ—все прикончилъ втеченіе, такъ сказать, промежутка до масляницы. На масляной недѣлѣ подступилъ я къ дивану—диванъ, тоже дареный, со спинкой, пружинный, три аршина длины, аршинъ ширины, столярной работы, прочный, препрочный—сдвинулъ я его, поднялъ, вознесъ, выволокъ, взвалилъ, продалъ, пропилъ. Картины: видъ Іерусалима и Александръ Благословенный даруетъ миръ Европѣ, въ бѣлыхъ панталонахъ, на карту ногой наступивши и со шляпой,—къ буфетчику Ивану Антипову поступили. Кирпичу было припасено на поправку двѣ сотни—прекратилъ! Далѣе, такимъ-же родомъ прекратилъ одежду, перво женину, а послѣ того и свою собственную, до послѣдняго сапога, опорка и даже послѣдній ремень, гвоздь изъ стѣны—и то все пропилъ и окончательно достигъ до того, что является мнѣ самъ дьяволъ и говоритъ: «Одобряю тебя, мерзавца, за твои дѣла». И вотъ эдакъ лапой по лицу провелъ, со лба и по носу, передъ Богомъ, хотите вѣрять, хотите нѣтъ! Ну, тутъ я испугался: оглядѣлся—вижу пусто, и страшно мнѣ, ни жены у меня, ни дочери, ни мебели, ни сада, ни одежды, ни полѣна дровъ, холодно мнѣ, жутко, страшно, боязно; думаю: «нѣтъ! надо бросить, а то и съ голоду помереть не долго». И потянуло меня на бракъ. Потому, страшно мнѣ безъ бабы. Думаю: возьму дочку, женись, примусь за работу, опять Богъ дастъ помаленьку-помаленьку какъ-нибудь. Все хотъ въ печь-то что-нибудь закипитъ... Вотъ тутъ я и бросилъ, сталъ искать невѣсту... Съ тѣхъ поръ, вотъ какъ женился, благодаря Создателя, капли во рту не было...

— А давно ли ты женился?

— Женился я, такъ сказать, вотъ ужъ пожалуй съ полгода...

— Ну, и что же?

— Да пока что—худова не было! Конечно, надо сказать прямо, старенежъ я... Я хотъ и твердаго корпусу, ну, а ужъ все не тотъ во мнѣ взглядъ, какъ ежели взять молодого человѣка... Да и то сказать, вѣдь, по моему положенію и по годамъ, вѣдь и найдти настоящую трудно. Какъ порѣшилъ я вступить во вторичный бракъ, думаю—кто за меня пойдетъ? Которая дѣвица жила въ хозяйственномъ домѣ, вокругъ скотины, пашни—той и мужъ такой надобенъ: ей надо, чтобы и ея бабья часть была полная... А у меня какое хозяйство! Вдову ежели...

— Тебѣ, Василій, въ сиротахъ надо бы искать!.. прогнусила присутствовавшая при этомъ разговорѣ баба, сквозь платокъ, которымъ были завязаны у нея носъ и ротъ.

— Вотъ-вотъ, подхватилъ Василій.—Именно твоя правда! Думалъ-думалъ я, прикидывалъ и такъ, и сякъ, и насчетъ вдовъ, и насчетъ дѣвокъ, и насчетъ прочихъ сортовъ—нѣтъ, не подходитъ. Оказывается такъ, что окромя какъ въ сиротахъ.

въ безродныхъ для меня способовъ нѣту. Пробовалъ было я присогласить у старухи у Пучковой дочь, потому старуха бѣдная, ну, и она-было ничего, «только, говорить, надобно погодить». «Обещалъ, говорить, мнѣ одинъ добрый человѣкъ кирпичу подарить полтыщи да тесу двадцать тесинъ на бѣдность, на поминъ души отцовской, такъ ежели подаритъ, такъ я, говорить, подправлю вторую половину въ избенкѣ, поставлю печку и кое-что подошью тесомъ; тогда, говорить, эту половину у меня общалъ урядникъ нанять... Вотъ, говорить, ежели получу кирпичъ и тесъ, и урядникъ у меня будетъ жить, то буду я имѣть доходу рубля четыре, и мнѣ, старухѣ, хватить; тогда я могу дочь мою отпустить, потому я и на четыре рубля проживу; ну, а коли ежели кирпичу онъ не дастъ, то слѣдовательно не дастъ и тесу, и фатеры я сдавать не буду—то мнѣ безъ дочери прожить нельзя, и въ бракъ я ее не отдамъ, пускай ходитъ хотъ на поденщину, въ стирку, все хотъ что-нибудь добудетъ». «Ну, думаю, говоришь ты, старушка, правильно, а все-таки изъ за твоего кирпича какъ будто-бы мнѣ безъ жены оставаться не приходится...» Да и дѣвку-то жалко. Дѣвка, сказать вамъ по совѣсти, очень мнѣ по сусу пришлась... Потому—тепло отъ нея... Кажется, взять ее въ домъ, такъ и безъ дровъ изъ всѣхъ трубъ пойдетъ дымъ и жаръ. Работяга, и нужду знаетъ, и изъ пустяковъ можетъ большую суету соизжить, а мнѣ отъ этого лучше, потому мнѣ страшно стало одному-то... холодно!.. Вотъ я хотя и слушалъ старухины слова и понималъ, а все же не сразу отсталъ отъ этого дѣла. Сталъ я съ самой дѣвкой разговоръ вести.—«Ежели, говорю, Марья, Иванъ Даниловъ кирпичу твоей матери не дастъ, такъ вѣдь ты такъ и останешься въ дѣвкахъ. А ежели бы за меня пошла, да какъ-нибудь справились, такъ тогда мы и мать бы взяли».—«Что-жъ, говорить, Василій, пожалуй». Подумала-погадала, наконецъ говоритъ: «увози меня такого-то числа съ посидѣлокъ». Это у насъ теперь заведеніе такое «увозомъ», чтобы свадьбы не справлять. Справитъ свадьбу, мало-мало шестьдесятъ рублей—а гдѣ ихъ взять? Опять ежели дѣлать свадьбу честь честью, такъ и приданое надо давать. А какъ нѣту приданого-то, вотъ оно и неловко. Такъ чтобы ужъ не срамиться и понапрасну денегъ не тратить, вотъ надумали «увозомъ»... Тутъ и родителю-то ужъ есть случай сказать: «А! когда такъ, безъ моего согласія, такъ нѣтъ тебѣ и приданаго!» Это даже и родителю пріятно, особливо когда у него ничего нѣтъ. Ну, и гостей тоже приглашать не надо, да и не пойдутъ къ непочотчикамъ, это ужъ не настоящая свадьба, а воровская. И выходитъ такимъ образомъ экономія. Только отдай поцу, больше ничего. «Увози, говорить, меня такого-то числа, а потомъ я посмотрю». Подсогласилъ я тутъ мужика, подѣхалъ, вышла она съ посидѣлокъ, узелокъ при ней, сѣли, поѣхали. Пріѣхали домой.—«Ну, говорить, Василій, теперь мы чаю напьемся, а ужъ завтра я погляжу—быть мнѣ твоей женой или нѣтъ». Достала своего чаю, самоварчикъ я добылъ,

напились—легли спать. Я въ куфѣ, она въ горницѣ, сѣна я ей припѣсь. На утро опять же напились чаю, пошла, поглядѣла домъ—ничего, домъ понравился; поглядѣла чердакъ—и чердакъ ничего: «хорошъ, говоритъ, чердакъ». Потомъ того кухню разсудила во всёхъ суставахъ, только головой покачала, потому дѣйствительно я все тамъ растащила и пропила... Затѣмъ въ анбаръ—худо и въ анбарѣ: тоже ничего нѣтъ, не съ чѣмъ взяться: спрашиваетъ: «Корыто гдѣ?» Я говорю: «Что дѣлать! нѣту, куплю...»—«Лопата?»—«Нѣту, куплю!»—«Ушатъ?»—Опять нѣту... Ничего нѣту. Походить, походить, спросить:—«А, наприимѣръ, ухватъ или утюгъ, или горшокъ?»—«Нѣту, другъ мой, надо покупать...» Обглядѣла всё уголки, все обшарила, обсудила, пришла опять въ горницу, поставила самоваръ, опять своего чаю заварила.—«Нѣтъ, говорятъ, Василій, не подходитъ мнѣ за тебя идти. Что мы будемъ за хозяева? Вѣдь рукъ не къ чему приложить... Куплю-куплю, а на что? это значить: види я, стирай опять да добывай на всякую малость окромя пропитанія; это мнѣ нѣтъ удовольствія. Что же мнѣ, самъ разсуди, съ такой скуки жить начинать?»—«Подумай, говорю, Авдотья, можетъ и подойдетъ какъ никакъ.»—«Я, говоритъ, подумаю, только наврядъ, чтобы это дѣло по мыслямъ мнѣ вышло». Пробыла она у меня такимъ манеромъ два дня, все думала; дровъ наколола, рубашку мнѣ выстирала и все думала... На третій день наконецъ встала, умылась, Богу помолилась.—«Нѣтъ, говоритъ, Василій, не подходитъ. Прощай! Пойду я домой. Чаю тебѣ оставляю на двѣ заварки и сахару, а ужъ что дѣлать, лучше же я при матери потерплю, а можетъ Господь и лучше судьбу пошлетъ.»—«Ну, говорю, Авдотья, нечего дѣлать, прощай!» Одѣлась она, узелъ за плечи навязала, юбку подтыкала, взяла палку—и въ путь, пѣшкомъ... Ха-а-рошная, золотая дѣвка. Твердая, умная, лучше не надо... ужъ я и самъ подумаю-подумаю, вижу—дѣна дѣвкѣ большая. расцѣту ей за меня идти нѣту. Проводилъ ее пѣшечкомъ за деревню... «Смотри, говорю, Авдотья, волки какъ бы тутъ не побеспокоили...»—«Эво, боюсь я ихъ!..» И ушла, хорошая, такая твердая... «Заходи когда!» говоритъ. Хорошая, хорошая—одно слово.. И точно, на ея счастье, Иванъ-то Даниловъ не обманулъ ейной матери, и кириичу, и тесу далъ, и урядникъ переѣхалъ, да какъ увидалъ, какое добро Авдотья и какая округъ ея теплень и уютъ, такъ сейчасъ же честь-честью за ручку да въ храмъ и вступилъ въ законъ. Погляди-ко, какая теперь дама вышла!.. Я ужъ и самъ думаю:—«Истинно тебя, Авдотья, Господь отъ меня спасъ!..» Нѣтъ, каковъ умъ-то у дѣвки? Сколько разсудку-то, вѣдь это цѣны нѣтъ!..

— Этакая дѣвка не по тебѣ, промолвила опять слушательница:—тебѣ безпретѣнно надо бы въ сиротахъ пошарить, порозыскать.

— Ну, тутъ ужъ я къ настоящимъ сиротамъ устремился... И розыскалъ я дѣйствительно почти-что совершенно голую дѣвицу. Жила она при теткѣ на квартирѣ. а тетка-то галачи пекла, лѣ-

томъ на большой дорогѣ пробавлялась. Одна у обѣихъ шубенка... бѣдность. Ну, все же кое-что для начатія было: подушка, образъ, кофейникъ, ухватъ тамъ, наприимѣръ, кочерга, платишко ситцевенное—ну, словомъ сказать, рублей на пятокъ всякой домашней сволочи было, да деньгами-тотетка-то рублей никакъ восемь вытрясла изъ чулка—ну, кое-какъ, да кое-какъ и женился, и сталъ опять помаленечку да полегоньку на путь настигать, съ тѣхъ поръ и не пью ни капли.

— Что-жъ, спросилъ мой пріятель:—хороша жена-то?

— Да какъ вамъ сказать... она ничего, и хлопотлива, и все... Только-что голова у нея маленько съ дуринкой. И молода, да и голодала ужъ больно долго.. слаба... Работаетъ-работаетъ да и начнеть фыркать: «мало, вишь, меня любишь!».. А мнѣ вѣдь пятый десятокъ, куда мнѣ много-то? Ну, и надурить. А потомъ, само собой, должна ужъ замолчать... И дѣвочкой-то моею стала брезговать. Какъ женился-то я да взялъ дѣвчонку, ну, она съ перваго началу ничего, ласково, а теперято нѣтъ-нѣтъ, да и треснетъ ни за что, ни про-что...

— А сама-то тяжела ужъ, или нѣтъ? опять прогнусавила слушательница.

— Должно быть, что какъ-будто есть...

— Вотъ отъ этаго-то она и стала твою-то дѣвчонку пригибать къ землѣ, что свое дите начинается.

— Ужъ и я думаю, не отъ этого-ли?

— Да ужъ вѣрно отъ этого. Коли свое начинается, такъ ужъ чужое такъ-бы и сжилъ со свѣту... Охъ, грѣхи-грѣхи... Такъ бы слонала совсѣмъ съ костями чужое-то.

— То-то вотъ и у нея это стало обозначаться. Я вотъ и сейчасъ-то, признаться, изъ-за дѣвчонки пришелъ, подъ работишку какую-нибудь деньжонку попросить... хоть пѣлковыхъ-бы два... Хво-раетъ, бѣдняга, надо-бы все чего нибудь хошь отъ фершала взять приложить... И все изъ-за моей бабы вышло... Пошелъ я какъ-то полусапожки на станцію отнести, старшаго буфетнаго лакея любовница заказывала, и надо было полтора рубля серебромъ получить... Пошелъ, отнесъ.. «Подожди, говоритъ, почтовый поѣздъ отойдетъ, тогда мой придетъ и отдастъ». Ну, ждалъ-ждалъ, пока что, пока поѣздъ ушелъ, то да сѣ, прошло времени часа три, а съ дорогой-то часа четыре протянулось. Прихожу домой, вижу дверь заперта и замокъ виситъ, а въ горницѣ моя дѣвчонка реветъ благимъ матомъ. Жены нѣту, ушла куда-то; пошелъ, поспрошалъ тамъ-самъ—нѣту; идеть знакомый парень: «Кого, говоритъ, ищешь?»—«Да жены нѣту, не знаю гдѣ?»—«А она на посидѣлкахъ»... Чтѣ за чудо, думаю? У насъ бабы замужнія и глазъ туда не кажутъ. Пошелъ, розыскалъ, привелъ домой: «Чтѣ тебѣ, говорю, за дурь въ голову влѣзла!»—«Да что-же мнѣ такъ всю жизнь и не видать свѣту-то?» Находить на нее дурь эдакая, безобразная. «Всю жизнь, говоритъ, свѣту не видишь. То нищей жила, то теперича за тобой, за старымъ чортомъ, мучаюсь, да съ твоей

съ поскудной дѣвчонкой няньчусь, да и то иной разъ по днямъ ѣсть нечего. Хоть однимъ глазомъ глянуть, какъ люди живутъ...» Оно и правда, что старъ я, иной разъ и по шеѣ треснешь и нуждишка донимаешь, ну, а всея глупость ея иной разъ очень оказывается... Ну, промолчалъ я, перетерпѣлъ. Пришли мы домой, отперла она дверь, огонь зажгла гляжу, дѣвчонка на полу валяется, вся въ крови и голова, прямо сказать, прошиблена. «Какъ такъ?» спрашиваю. — «А такъ, говоритъ, что съ печки свалилась». — «Да зачѣмъ же ты ее, глупая, на печку посадила?» — «А куда-жъ я ее дѣну? На рукахъ что-ль ее мнѣ таскать, эко бревно? Оставь я ее внизу, она тутъ начнетъ баловаться, ножомъ еще зарѣжется или спички найдетъ — подожжетъ». — И посадила она ее, глупая, на стряпущую печку: думаетъ, что дѣвчонка страхомъ однимъ усидитъ тамъ, сама, моль, побоятся къ краю подползти... Усадила ее тамъ въ уголъ, огонь задула и ушла... А дѣвчонка-то говоритъ: «Я, говоритъ, испугалась, мнѣ страшный чортъ привидѣлся, вотъ и треснулась съ печи-то объ полъ и пробила бышку»... Вѣдь вотъ до чего глупость-то господствуетъ въ этой дурѣ... А такъ она — ничего! Коль почувствуется — добрая, страшная. Ну, дѣлать нечего — побилъ я ее, поколотилъ, поплакала...

— А дѣвчонка-то?

— Ну, а съ дѣвчонкой тоже кое-какъ... Обмылъ я ей прошибенное мѣсто... да тряпкой, значить, со столярнымъ клеємъ и заклеилъ, потому ничего нѣтъ! Чѣмъ тутъ? Покуда-бы къ фершалу ходилъ, покуда-бы разыскалъ, покуда что — анъ дѣвчонка-то пожалуй бы и совсѣмъ кровью изошла. Вижу клей — я спопалъ его, развелъ, намазалъ круглымъ манеромъ, да и налѣпилъ ей на проломъ-то, ну, клеємъ-то его и стянуло съ боковъ къ середкѣ и оченно даже фершалъ хвалилъ. Да чего! И сейчасъ отодратъ не въ состояніи, такъ совсѣмъ со шкуркой и спеклось... И фершалъ то говоритъ: — «Пушай, говоритъ, покуда такъ, а то, пожалуй, съ кожей оторвемъ... Пускай такъ остается, покуда что. А въ случаѣ чего — такъ скажи... Ну вотъ, теперяча у ее и начинается вродѣ горячки... бредитъ и жаръ... и надо хоть что-нибудь... Вѣдь жалко дѣвчонку-то, вся въ покойницу, память дорога! Такъ ужъ вотъ не будетъ ли вашей милости довѣрить мнѣ рублика два, а я безъ сомнѣнія, будьте покойны, отработаю... Дѣвчонку-то жалко... мечется! А чтобы пить — нѣтъ, избави Богъ! И въ мысляхъ этого нѣтъ...

— Хорошо, что по крайности захватилъ клеємъ-то! Крови-то ходу не далъ! произнесла слушательница баба.

— И фершалъ тоже говорилъ: «хорошо!».

— А у тебя, Аксинья, спросилъ мой пріятель: — что такое — отчего лицо завязано!

— Да вонъ, вишь что...

Она отстранила отъ носа и рта платокъ, и тогда мы увидѣли, что и носъ, и ротъ, и щеки были опухлые, красные и покрытые крупною красною сыпью.

— Это что такое?

— А это по нашему называется «притка».

— Что-жъ это простуда?

— Нѣтъ, это не простуда. А это вотъ какъ приключилось: — пришелъ Вавюшка изъ училища и сталъ читать книжку, а я на палатахъ лежала...

— Какую книжку? спросилъ Василій: — духовную?

— Нѣтъ, такъ, пустяковую... про козу и про лису, либо про овцу... Слушала, слушала я, да и засни... А на утро — глядь все обличье разнесло...

— Такъ отчего-же?

— А заснула-то я, перекреститься забыла, вотъ отчего и приключилось.

— Отъ этого, сказалъ Василій, — и происходитъ «притка».

— Такъ вѣдь надо лечиться.

— Да ужъ я мазала... керосиномъ, лавочникъ посоветовалъ, и крахмаломъ, говоритъ, засыпай...

— И легче?

— Куда ужъ легче, всю разнимаешь, мочушки нѣтутъ...

Словомъ, начиная отъ выхода изъ вагона на илатформу до этой самой «притки», всѣ деревенскія впечатлѣнія были вполне реальны, понятны и объяснимы. Вопросъ «почему» ни разу до сихъ поръ не оставался безъ самаго яснаго, обстоятельнаго и резоннаго отвѣта. Почему ѣздятъ мальчишка, а не отецъ? Почему мальчишкѣ плетется ночью въ лѣсъ? Почему Василій пилъ, почему Авдотья не пошла за Василіемъ, почему пошла за Василіемъ голая сирота, почему Васильева дочь разбила голову, почему у старухи приключилась притка и т. д.? Всѣ эти вопросы, всѣ эти «почему» имѣли, какъ видите, самые обстоятельные отвѣты, не путали меня нисколько и невольно, действительно, освѣжили послѣ путаницы петербургскихъ впечатлѣній. Правда, иной разъ какъ-то тяжело-вато становилось отъ этой ясности, а иной разъ именно вслѣдствіе этой ясности въ головѣ возникали вопросы о томъ, да почему-жъ это нужно, чтобы ѣздили мальчишка, чтобы мальчишка воровалъ, чтобы дѣвчонка разбила голову и чтобы все это было ужъ такъ неизбежно, ясно и неопровержимо? Но ясность и неопровержимость этихъ явлений вновь успокаивали меня, и всякія сомнѣнія прекращались во мнѣ, такъ-сказать, изморомъ.

III.

Но прошелъ еще день, и жизнь деревенская, давая попрежнему все такіе же реальные и объяснимые факты, неожиданно стала осложнять ихъ той самой путаницей и «необъяснимостью», которая меня напугала въ городѣ, отъ которой я уѣхалъ въ деревню, чтобы отдохнуть и сообразиться.

По улицѣ идеть толпа мужиковъ, машетъ руками, кричитъ, оретъ: въ оранжи и крикахъ видно и раздраженіе, и имель; а рассмотрѣвши поближе — видишь на нѣкоторыхъ лицахъ и на нѣкоторыхъ машущихъ рукахъ слѣды драки, синяковъ и ссадинъ.

— Чтò такое, господа?

— Да что, ваш-бродіе, нѣтъ никакого житія отъ этихъ отъ курляновъ. Принуждены сокращать своими способами. Сегодня вотъ, поглядимъ-съ, какъ была поволочка около волости! Эво руки-то!..

— Да за что-же, за что такое?..

— Да пренятствуютъ! Очень много воли взяли.. Отнимаютъ отъ нашего брата, отъ природнаго жителя, всякіе способа, первымъ народомъ стали, анафемы!.. Эво, какъ рыло дерутъ!.. Хотя возьми вонъ Карлушку, арендателя, — чѣмъ былъ? какъ заяцъ паденый пріѣхалъ къ намъ, одинъ только песъ тупорылый и былъ у него, а теперь — вонъ онъ кто!.. Ужъ пятерыхъ дѣвокъ испортилъ, въ воспитательный то и дѣло возять; а онъ только зубы скалнить... Такъ нельзя! Намъ самимъ земля требуется, мы тоже ожидаемъ ее, — какъ-же такъ можно, чтобы противъ своихъ да иностранныхъ поддѣцовъ предпосетъ? Это, братецъ ты мой, надобно прекратять!..

— Ничего, присовокупляетъ другой дѣятель изъ толпы, молодой парень. — По первоначально и имъ нонѣ хорошо дадено. Для начатія. А съ теченіемъ времени можно и болѣе сдѣлать имъ обученія... По первоначально и такъ хорошо!.. Двое еле-еле въ санки вѣзали... Поди, какъ-бы ужъ окончанія дорогою то не принялъ кто-нибудь!..

— Да въ самомъ дѣлѣ! Каково вамъ покажется, ежели я вамъ все подробно расскажу. Теперича, какъ отошли мы отъ господъ, то, надобно говорить по-совѣсти, земельки намъ мало досталось. Прегнія, напримѣръ, лядины, луга, которые всегда были наши, крестьянскіе, десятины по пятьсотъ, по шестьсотъ и болѣе того, отошли отъ насъ къ господамъ, а господа заложили ихъ въ банкъ, да цѣну то набрали — эво, выше головы! одного проценту не выплатить, не токмо что доходу или чтб... А трудно; земля заложена, пустуетъ, а мы приступить не можемъ. Но думаемъ, что авось какъ-нибудь! Тамъ слухъ пройдетъ — по хорошему обѣщаютъ сдѣлать — такъ дѣло и тянется, а толку все никакого нѣтъ... А курляны-то понемногу да понемногу и стали выѣзжать изъ своихъ мѣстовъ... То одинъ проплетется куда-то въ лѣсъ на своей клячонкѣ; телѣга изъ досокъ, точно песокъ возить, а въ телѣгѣ сундучишко да кадушка, проплетется, и не видать... Идетъ время — глядишь и другой ѣдетъ, и третій, и всѣ проѣдутъ и не видать ихъ... И ужъ семьями, чѣловѣкъ по пяти, по десяти стали выѣзжать, и все бѣдные, ничего имущества, почитай, нѣтъ; плетутся куда то... въ пустыя мѣста. И такъ идетъ и годъ, и два, и три. Мы дождаемся, терпимъ, другъ дружку у кабака пропиваемъ, а они тѣмъ временемъ позанимали мѣста, контракты понаписали... И стало даже такъ, что пошелъ ты въ какое пустое, по прегнимъ-то временамъ, мѣсто, хвать заборъ. Кто тутъ? Курляны... Заборы да заборы, да съ ружьями они всѣ, анафемы, собаки у нихъ тупорылые, злые. Ыдешь — видишь мостъ, думаешь, какъ у насъ: для всякаго, «поѣзжай, кому угодно!» Нѣтъ: «мой!» говорить. Не пускаетъ. Да и мосты-то понастроили подъ курляндскія телѣги — на нашей и не

проѣхать по такому мосту-то... Иной изъ нашихъ попростецки занесъ ногу черезъ курляндскій заборъ, чтобы, значить, поближе пройти, а хозяинъ-то свиснетъ, такъ псиче-то съ одного маху за ногу паннетъ. Вынаетъ такъ, что изъ ружья прицѣлать, да дробью плюнетъ... Глядимъ — и тутъ мѣста заняли, и тамъ, и тамъ... По всѣмъ пустымъ нашимъ-же мѣстамъ, которыхъ мы дожидались, расселилось ихъ видимо-невидимо... То они всѣ мимо насъ ѣхали и невѣдомо куда пропадали, а то стали ужъ и изъ своихъ мѣстъ выпирать — глядишь, масло везетъ и дешево продаетъ, а нашимъ бабамъ ходу нѣтъ; вези въ Питеръ или въ губернію, а тутъ, на мѣстѣ, которые у нашихъ брали, стали у курляновъ брать. Стали они даже такъ осмѣливаться, что перепьются на свадьбѣ, да во всю ночь на двадцать телѣгахъ по нашей деревнѣ — того и гляди, ребятъ передавать. То есть даже и уваженія ужъ не оказываютъ. Вездѣ намъ отъ нихъ убытокъ, а они между прочимъ только храпятъ да носъ дерутъ... А контракты-то понаписали на пятьдесятъ да на шестьдесятъ лѣтъ. Нашъ братъ, природный житель, ворочъ въ лѣсу-то ходитъ, дроваецъ промышляетъ; а они въ своихъ-то арендованныхъ мѣстахъ живутъ, какъ господа, рубятъ лѣсъ, который потребуетъ, вполне свободно и покойно... а нашъ братъ воруетъ, а мѣста-то вѣдь наши исконныя, вѣдь они намъ самимъ надобны... А это что-жъ такое? Мы — бѣдняки, а какія-то невѣдомо откуда объявились народы, посмотрите, какъ жить зачали! Мнѣ вонъ нѣту довѣрія въ лавкѣ, а ему есть.

— Что-жъ это будетъ?

— Такъ вы-бы раньше ихъ арендовали землю, которая теперь курляндцы арендуютъ.

— Да вѣдь кто-жъ его зналъ? Арендовать? Чего ее арендовать, когда она испоконъ вѣка наша была. Вѣдь тоже надѣялись...

— Чего вы надѣялись?

— Да само собой послабленіевъ какихъ ни на есть... Какъ можно съ такимъ лоскутомъ управитъ такимъ дѣломъ, какъ крестьянство?

На это мой пріятель весьма пространно и обстоятельно объяснилъ рассказчику, что начальство десятки разъ рассылало по волостямъ предписаніе о томъ, чтобы не вѣрить несбыточнымъ слухамъ, чтобы никакихъ ни послабленіевъ, ни иныхъ какихъ разносоловъ не ждали, а старались сами заботиться о себѣ, по мѣрѣ своихъ средствъ и возможностей. Пріятель сказалъ, что старшины должны были объявлять мужикамъ объ этихъ распоряженіяхъ, и еслибы только крестьяне слушались ихъ, то давно-бы съумѣли прикупить или арендовать на дальніе сроки такіе участки земли, которые имъ необходимы и которыми теперь, вотъ, «владеютъ» курляндцы.

— Ну да, скажутъ намъ! Старшина-то иной еще нарочно начнетъ путать... Скажи онъ какъ слѣдуетъ, мы-бы, можетъ быть, и столковались-бы обществомъ на чемъ-нибудь. Да онъ не дастъ намъ. Онъ лучше одинъ завладѣетъ кускомъ то... Вонъ у насъ у старшины всѣ оставшія мѣста арендо-

ваны, сѣно косить онъ, да въ Питеръ возить; такъ какой ему расчетъ правду говорить? Вѣдь тогда мы у него отыщемъ да сами будемъ владѣть. Какъ-же, скажете онъ! дождись! Онъ еще нарочно намутить: «не спѣшите-молъ, ребята... Скоро будетъ то-то и то-то, и безъ денегъ, молъ, завладаемъ...» Дождись!

— Ну, а если у васъ, въ волости, такъ плутуютъ, неужели вамъ нельзя было узнать правду хоть у учителя? Вѣдь онъ книжки читаетъ, онъ можетъ справиться, разсказать.

— Ну, ужъ учителя! Чтѣ они знаютъ? Мы видимъ, чему они учатъ. Про козу да про овцу... Однѣ сказки! Нѣтъ, тутъ ужъ видно надо самимъ взяться, своимъ распоряженіемъ вступить.

...Вечеромъ того же дня, пришлось мнѣ встрѣтиться и съ учителемъ.

Я разсказалъ ему утренній разговоръ съ крестьяниномъ. Учитель прибавилъ:

— Это все такъ. Помилуйте, есть цѣлыя деревни (да какое «есть» — повсюду почти, за исключеніемъ развѣ немногихъ близкихъ къ волости лицъ), гдѣ рѣшительно не имѣютъ понятія о томъ напримѣръ, что въ губернскомъ городѣ уже открытъ крестьянскій банкъ и что онъ уже дѣйствуетъ... Знаютъ объ этомъ ловкачи, кулачье, и захватываютъ тихомолкомъ, а масса только запутывается въ своихъ мысляхъ.

— Такъ отъ чего же не говорить съ ней? Неужели у васъ, какъ у учителя, вслѣдствіе обязательнаго вашего знакомства съ родителями учениковъ, не можетъ найтись предлога поговорить, сказать то, что вы знаете?

— Да предлоги-то всегда есть. Напротивъ, они сами ходятъ ко мнѣ, эти родители, разспрашиваютъ... Но признаюсь вамъ — боюсь!

— Чего-же?

— Боюсь разговаривать. Сейчасъ выдумаютъ клевету. Вотъ тотъ-же старшина, которому не расчетъ уступить въ мірское владѣніе подходящій ему участокъ, придерется и наклеветничаетъ...

— Да къ чему-же онъ можетъ придаться?

— Да ко всему. Вотъ не угодно-ли посмотрѣть такую бумажку.

Онъ порылся въ боковомъ карманѣ и подалъ мнѣ бумагу, на которой буквально было напечатано слѣдующее:

«Такъ какъ до свѣдѣнія училищнаго совѣта дошло, что учителя нѣкоторыхъ училищъ собирались, съ участіемъ постороннихъ лицъ, по воскреснымъ днямъ для бесѣдъ, не разрѣшенныхъ закономъ порядкомъ, то училищный совѣтъ постановилъ дать знать циркулярно г-дамъ учителямъ и учительницамъ, что подобныя (?) собранія, безъ надлежащаго разрѣшенія, строго воспрещаются, и виновныя въ оныхъ лица должны подлежать законной отвѣтственности, независимо отъ чего виновные будутъ увольняемы отъ должности».

— Ну, вотъ. Спрашивается теперь, сказалъ учитель, пряча бумагу опять въ боковой карманъ, — какія такія есть въ деревнѣ собранія, разрѣшенныя закономъ? И на какія собранія надобно про-

сить разрѣшенія? Все это неизвѣстно. И вотъ въ этой-то бумагѣ, въ которой не указано даже, что именно законно и что незаконно, а просто сказано только: «подобныя» собранія — вы видите, однако, какъ настойчиво и твердо звучатъ слова объ увольненіи и законной отвѣтственности... Все это конечно понятно, но отъ всего этого жутко... Ну, и молчишь!

— А мужики путаются и мечтаютъ?

— Прямо попадаютъ въ западню.

— А потомъ бьютъ курляндцевъ, своимъ распоряженіемъ поступаютъ?

— Какъ видите!

И не одинъ такой разговоръ пришлось выслушать мнѣ въ деревнѣ, причемъ я явно убѣдился, что несообразности деревенской жизни иной разъ ничуть не меньше городской, а главное, вдумавшись въ нихъ, опять-таки безъ всякой фанатеріи — видишь, что «нельзя», что одна безмыслица такъ сѣпилась съ другой, что изъ круга ихъ нѣтъ выхода, что эти бессмыслица и безсвязица неизбежны.

Пожилъ я такимъ образомъ въ деревнѣ, думаю: «поѣду въ Петербургъ, оглянусь, посоображу и очувствуюсь».

IV.

Въ Петербургѣ я нанимаю комнату въ мебелированныхъ комнатахъ, прилегающихъ къ вокзалу одной желѣзной дороги. Уѣзжая на день, на два, я запираю только письменный столъ и шкафики этого стола, а ключъ отъ номера оставляю номерному. Пріѣзжая я этотъ разъ въ мой номеръ, смотрю — номеръ отпертъ, и Кузьма, «корридорный», стоитъ около моего письменнаго стола и роется въ столѣ, въ бумагахъ.

— Что ты дѣлаешь?

— Да свѣчей ишу, говоритъ Кузьма, глядя на меня совершенно глупыми, круглыми и непроницаемо-деревянными глазами.

Какія-же свѣчи въ письменномъ столѣ? И откуда ты ключъ взялъ?

— Да у васъ не заперто было.

Что же! Можетъ быть. Но такія штуки я сталъ замѣчать за Кузьмой не сейчасъ только; довольно давно уже на лицѣ его появилось это выраженіе деревянной глупости съ отбѣнкомъ чего то неумолимаго.

Я познакомился съ Кузьмой въ самый день его появленія въ мебелированныхъ комнатахъ въ должностъ корридорнаго, и первое время мы были съ нимъ въ весьма хорошихъ отношеніяхъ. А въ разговоръ вступили прямо при первомъ свиданіи.

— И ваша милость никакъ переѣзжали? спросилъ онъ меня, подавая въ тотъ-же день обѣдать. — Ну, вотъ... Авось Богъ дастъ будетъ хорошо. Пока худого не вижу... Я ужъ радъ радею, что до мѣста добрался, все уголъ есть, а то съ самой войны, какъ воротили изъ Турціи, чисто съ ногъ сбился, полное разстройство при-

нялъ. Въ деревнѣ попробоваль-было начатіе хозяйства положить—ну, не вышло; въ городъ сунулся съ женой—опять маята! Первое дѣло — мѣстовъ нѣтъ, а второе дѣло—жена-то у меня не прилажена къ городу. Въ деревнѣ ей оставаться не у чего, а въ городѣ ничего по городскому не смыслить. Кое-какъ занялась прачешнымъ дѣломъ, наиватала тамъ-сямъ зря, пережгла, перепутала, буквовъ-то не знаетъ, которое бѣлье надо-бы, положишь, барину, а она его лакею, а которое рваны, глядишь, барину отнесла — ну, вездѣ ругаются, кричатъ... Вѣрите-ли, своихъ кровныхъ двѣнадцать цѣлковыхъ за нее, дуру деревенскую, отдалъ. Нѣтъ, нѣту настоящаго воспитанія. Деревенщина! Чтò съ нею мнѣ въ столицѣ дѣлать? Теперича вотъ, пока что, благодаря Бога, и моя баба при мнѣ не будетъ помѣхой; хотя сапоги вычистить, подмести, въ лавочку—это она можетъ.

Кузьма былъ очень радъ, что наконецъ пристроился, нашелъ уголь и работу, и на радостяхъ былъ очень разговорчивъ.

— Чего-чего не потерпишься, поживши на свѣтѣ! будешь радъ радехонекъ, какъ къ чему-нибудь пригодишься... Теперича рассказать вамъ, долго-ли я въ деревнѣ побылъ послѣ войны-то... А чего не видалъ!

Кузьма даже махнулъ рукой.

— Вступиться-то за правое дѣло не дадутъ! Слава тебѣ Господи, все-же таки больше мужика видѣлъ, видѣлъ, и какъ прочіе народы живутъ... что-жъ, и писать, читать кое-что знаю, и ужъ не изъ-зла же буду своему брату дѣлать—захотятъ, такъ въ порошокъ сотрутъ!

— Кто?

— Да деревенскіе злодѣи, прорвы! Кому не рассчитать, чтобы народъ понималъ, тотъ и слюпаетъ, лишь-бы только сума толста была! Никакого присоглашенія ни къ чему сдѣлать невозможно, т. е. ежели на пользу. Сейчасъ все перевернуть, и все водкой! Возьмите-то баринъ у насъ землю хотѣлъ крестьянамъ отдать и цѣну назначилъ настоящую, правильную, кажется-бы чего лучше? Земли—мало! Ужъ я тутъ всякими способами — «берите, берите, ребята!» и такъ имъ растолковывалъ, и такъ, и совсѣмъ было ужъ на согласіе пошли, да лихому, злому человѣку нешто дорога правда? Подпоилъ стариковъ, одурманилъ ихъ водкой, навралъ съ три короба: и запутаемся-то мы, и не заплатимъ, а не заплатимъ—взыщутъ, все имущество продадутъ! Навралъ, наггалъ, отбилъ, а потомъ самъ и взялъ у барина-то, да теперича и деретъ съ своихъ-же одиодеревенцевъ въ три дорога... а называется старшина! Да чтò! Ужъ я какъ бился, хлопоталъ—«дозвольте, міряне, я учту его». Ужъ это бы вѣрно я его вывелъ на свѣжую воду, потому въ два трелѣтія изъ ледяшаго мужичонки никакъ нельзя съ капиталомъ оказаться, ежели не воровать... Опять попомъ, да пригрозилъ еще... «Гляди, говоритъ, будешь мутить, такъ я тебя произведу!» Вотъ вѣдь какіе идолы! И нѣту никакого вниманія... А сколько денегъ-то кровныхъ воруютъ! Иной разъ

думаешь-думаешь: Господи! хошь бы о сиротахъ подумали! Мало-ли какихъ случаевъ, иной помретъ, оставитъ, бываетъ, пятокъ-десятокъ ребятъ: вѣдь по-міру идуть! Вѣдь помощи ни откуда никакой. Копѣйки нѣтъ, а сколько такихъ копѣекъ... да какихъ копѣекъ!—сотенъ воруютъ, тыщи пропандаютъ!.. Когда я, позвольте вамъ сказать, былъ на войнѣ, такъ это, Господи ты мой Боже...

Послѣднія слова Кузьмы произнесъ почти шопотомъ и вѣроятно, что онъ хотѣлъ мнѣ рассказать что-нибудь въ высшей степени интересное и даже «страшное»; но, къ нашему общему несчастью, изъ корридора въ мою комнату отворилась дверь и какой-то изъ администраторовъ мебелированныхъ комнатъ громко сказалъ:

— Здѣсь Кузьма?

— Здѣсь-съ!

— Въ контору — къ управляющему!..

Кузьма ушелъ въ контору и долго не возвращался. Я ужъ давно кончилъ обѣдъ, а Кузьма не приходилъ убирать со стола. Заглянулъ я въ каморку, гдѣ жилъ Кузьма, но тамъ не оказалось ни его, ни жены.

А когда онъ наконецъ возвратился, то я тотчасъ-же замѣтилъ въ немъ какую-то перемену, а главное, замѣтилъ этотъ неискренній, глупо-деревянный, съ оттѣнкомъ неомысленнаго негодованія взглядъ... Съ этого дня онъ уже не откровенничалъ, а держался, какъ я замѣтилъ, по отношенію всѣхъ жильцовъ мебелированныхъ комнатъ въ какомъ-то недовѣрчивомъ отдаленіи.

Когда по возвращеніи Кузьмы изъ конторы я спросилъ его:

— Ну, такъ что-жъ на войнѣ-то было?

— Да чему-же быть? Война одно слово... Всякаго было...

Съ этого дня установилось деревенно-глупое выраженіе лица, осложненное отвратительной чертою ненависти, отвратительной по своей бессмысленности, ненужности ея на этомъ простомъ лицѣ, сдѣлавшемся, благодаря ей, и злымъ, и тупымъ, и глупымъ. Послѣ неожиданной перемены въ настроеніи духа и мыслей Кузьмы, всѣ поступки его стали запечатлѣваться какою-то бессмыслицею и дуростью. Спросишь что-нибудь, хотя-бы «какой часъ?» — и вмѣсто того чтобы отвѣтить, онъ выпучитъ сначала глаза, а потомъ ужъ и скажетъ. Глупый, дурашный взглядъ его сталъ останавливаться въ тупомъ недоумѣніи на всякой вещи, при видѣ всякаго лица. Иногда онъ принимался перебирать книги, бумаги, которыхъ я просилъ не трогать, иногда начиналъ рыться въ карманахъ платья, которое бралъ чистить.

— Вотъ записка выскочила...

— Какъ-же она могла выскочить?

— Стало быть выпала какъ-нибудь.

Словомъ, глупость стала теперь отличительнымъ свойствомъ всѣхъ его поступковъ, выраженія лица, разговора и т. д. Даже на женѣ Кузьмы, этой воистину глупой бабѣ, отразилось загадочное настроеніе Кузьмы. До сихъ поръ она довольно кротко и молчаливо исполняла свои нехитрыя обязан-

ности: вычистить сапоги, принести кипятку, а теперь позовешь ее—войдетъ, вытаращитъ глаза и какъ будто-бы старается не понимать, что говоришь.

— Кипятку!

Стоитъ. глядитъ и сомнѣвается; а иногда такъ долго сомнѣвается, что начнетъ икать, и ужъ только застыдившись своего невѣжества, уйдетъ и сдѣлаетъ, что сказано, но все-таки какъ-будто нехотя.

Вотъ въ такомъ-то странномъ и глупомъ настроеніи духа и смысла засталъ я Кузьму въ то время, когда онъ искалъ свѣчей въ моемъ письменномъ столѣ.

Я понималъ глупое положеніе Кузьмы, не могъ сердиться на него, потому-что у него есть резоны—вѣдь онъ рассказывалъ мнѣ объ этихъ резонахъ, передавая деревенскія впечатлѣнія, и для него было простиительно искать виноватаго—но все-таки положеніе его было глупо и отвратительно.

Много разъ я замѣчалъ, что Кузьма какъ-будто чувствуетъ потребность очувствоваться, страхнуть дурасть, опутывавшую его голову; но дурасть овладѣла имъ и противъ воли, можетъ быть, вела отъ одной глупости къ другой.

Получилъ я какъ-то письмо отъ моего деревенскаго пріятеля, который передъ этимъ былъ въ городѣ и закупалъ разныя лекарства: въ деревнѣ свирѣпствовалъ дифтеритъ, и пріятель мой, по порученію доктора и по собственному желанію, а можетъ быть и изъ простаго желанія предохранить отъ бѣды свою семью, поѣхалъ въ Петербургъ купить лекарства, пульверизаторовъ и т. д. Но какъ-то случилось, что въ попыткахъ коробку и пульверизаторы онъ забылъ въ номерѣ той гостиницы, гдѣ онъ останавливался. Я тотчасъ послалъ по адресу посыльнаго; но Кузьма, которому было передано порученіе послать посыльнаго, пошелъ самъ, розыскалъ пульверизаторы и принесъ ихъ. Когда я открылъ крышку, чтобы посмотреть, все-ли цѣло, Кузьма стоялъ рядомъ со мной и пристально смотрѣлъ на эти инструменты своимъ бессмысленно подозрительнымъ взглядомъ. Смотрѣлъ упорно, внимательно, подожѣвая и ничего не понимая.

Ящикъ надо было передать на вокзалъ кондуктору въ извѣстный часъ, на извѣстный поѣздъ, и это тоже вдалека сдѣлать Кузьма.

— Отправилъ? спросилъ я его по возвращеніи съ вокзала.

— Какъ-же, все исправилъ! Отправилъ-съ.

Ровно черезъ сутки я получилъ отъ того-же пріятеля другое письмо, въ которомъ значилось, что пульверизаторы прибыли въ самомъ ненадлежащемъ видѣ: мѣдный, паровой смятъ, лампочка сломана, ни одна крышка не закрывается, точно это наломалъ инструменты неумѣлыми руками; а гуттаперчевый ручной пульверизаторъ прямо порванъ въ двухъ мѣстахъ, и что вообще посланное куда не годится и надобно все это купить вновь.

Я обратился къ Кузьмѣ за разъясненіемъ; но онъ самымъ рѣшительнымъ, даже грубымъ манеромъ отрицалъ свое участіе въ порчѣ инструмента.

Но глаза его были до безобразія глупы въ этотъ разъ: они стали какіе-то косые, блѣдые, совсѣмъ подлые.

Новые пульверизаторы я отправилъ самъ, и они дошли благополучно, а исторія съ порчею старыхъ вѣроятно такъ бы и канула въ вѣчность, еслибы Кузьма, вѣроятно измученный дурастью своего нравственнаго состоянія, не задумалъ сорвать зло на женѣ и, придравшись къ пустякамъ, не поколотилъ ее.

Деревенская баба отвѣтила мужу деревенскимъ манеромъ. Она орала весьма долгое время на весь корридоръ, не смотря на негодованіе жильцовъ, и во время этого оранья прилетала все, что приходило въ голову...

— А ты думаешь, не скажу барину, кто машину-то испортилъ? Это онъ, баринъ, машину вашу испортилъ, влетая ко мнѣ въ номеръ, копѣяла она:—передъ истиннымъ создателемъ... Со швейцаромъ и съ другимъ корридорнымъ... Какъ ящикъ-то вы ему дали, онъ и пошелъ къ швейцару, и стали они все разсматривать, думаютъ: нѣтъ-ли какого вреда, и вертять,—и трогать, и открываютъ... А трубка тамъ была, такъ они, дураки, тянуть принялись въ разныя стороны—покуда не треснула. Слышалъ дуракъ звонъ, да не знаетъ, гдѣ онъ. Все думаетъ, награда будетъ... Псы какіе! А потомъ видятъ, что толку нѣту—наломали да напортили—все опять въ ящикъ забили кое-какъ. даже трещало внутри, сама слышала... Это они все со швейцаромъ, съ мучиломъ-мученикомъ ухитряются... Небось, другъ любезный, какъ былъ лакеемъ, такъ до вѣку и будешь на побѣгушкахъ... Небось, не отличитесь, мошенники этакіе! Дратся выдумалъ—нипъ чего! Жила-жила у отца, у матери обиды не видала, а теперь какъ бѣшеная собака съ войны пришолъ.

И долго еще причитала баба, но я не слушалъ ее; я жалалъ видѣть Кузьму и рѣшился на этотъ разъ не спускаться.

— Ты что это сдѣлалъ, дубина этакая? началъ я свою рѣчь и, каюсь, продолжалъ ее въ томъ-же возвышенномъ и энергическомъ тонѣ. Мнѣ весьма не трудно было доказать ему, какъ онъ глупо поступилъ, преслѣдуя неумѣючи свои цѣли. Я даже тронулъ его, сказавъ:

— Вѣдь ты самъ-же говорилъ мнѣ въ деревнѣ нѣтъ ни откуда помощи въ бѣдѣ: вотъ теперь сколько дѣтей померло отъ твоей глупости, а не сдѣлай ты своего свинства, они были-бы живы.

— Я отдамъ деньги! сказалъ онъ и вздохнулъ.

Онъ ясно видѣлъ, какъ онъ глупъ, и вѣстѣ съ тѣмъ сознавалъ, что поступалъ правильно съ своей точки зрѣнія. Вышло почему-то очень глупо, хотъ все дѣлалось на основаніи резоновъ. Послѣ этого случая Кузьма сталъ задумчивъ и золь больше прежняго. Онъ чувствовалъ, что дурасть обстоятельно одолеваетъ его, а выкарабкаться изъ нея не могъ.

И опять захотѣлось мнѣ сѣздить въ деревню почувствоваться и сообразить...

На этомъ можно и покончить съ перечисленіемъ

примѣровъ такихъ явленій текущей жизни, которыми названіе «тягота», и тягота безрезультатная, неимѣющая никакого иного результата, кромѣ самой себя, то есть тоже тяготы. Такими явленіями заполнена жизнь. Множество подробностей, резонныхъ самъ по себѣ, слагаются въ одинъ какой-то огромный комокъ, не имѣющій никакого резона, никакой основной, правдивой, ясной цѣли—гнетутъ, и въ концѣ концовъ оставляютъ ту-же душевную пустоту. Думаешь, находишь для каждой мелочи весьма явственные резоны: но почему эти резоны соединились въ такую безобразную кучу и что изъ этого соединенія должно выйти — постоянно остается безъ отвѣта..

И вотъ необходимость разобраться въ своихъ душевныхъ неурядицахъ, подкрѣпляемая обильнымъ—къ несчастью, ужасно обильнымъ—матеріаломъ душевнаго общественнаго разстройства, и заставила меня писать эти замѣтки. Какъ ни тѣсенъ уголокъ, въ которомъ я врашаюсь, но я помню, съ чего началось, помню, что надобно было дѣлать: и теперь ясно вижу, что это надобное, обязательное не сдѣлано. Это я по себѣ сужу, на своей «шкурѣ» чувствую.

II. Наконецъ—нашли виноватаго!

I.

Не знаю, достаточно-ли ясно удалось мнѣ высказать, въ какомъ именно видѣ представляется моему Тяпушкинскому, пониманію современное нравственное состояніе общества; но знаю, что въ первомъ отрывкѣ изъ моихъ воспоминаній я упустилъ изъ виду одно весьма важное для меня обстоятельство: я ни слова не сказалъ о моихъ попыткахъ выбраться къ свѣту изъ непостижимо темныхъ явленій жизни, о попыткахъ дознаться, неужели же въ самомъ дѣлѣ нѣтъ ничего, кромѣ какой-то жестокой безтолковщины? неужели не журчитъ гдѣ-нибудь источникъ живой воды и вообще, неужели нѣтъ такого жизненнаго теченія, которое было бы, хоть для извѣстной части современнаго общества, вполне объяснимымъ, понятнымъ, законнымъ, даже хотя-бы просто-на-просто «моднымъ»? Вѣдь должны-же быть, думалось мнѣ, на Руси люди, которые понимаютъ, въ чемъ дѣло, знаютъ—что и какъ надо думать и дѣлать, что считать важнымъ и нужнымъ, и вообще знаютъ, куда и откуда дуетъ вѣтеръ?

Поиски мои за такими знающими «въ чемъ дѣло» людьми заняли у меня не мало времени и были въ сущности главною побудительною причиною того, что я, Тяпушкинъ, наконецъ рѣшился вновь взять въ руки перо и начертать: «часть первая, глава первая». Рассказать кое-что объ этихъ поискахъ я считаю необходимымъ, иначе рѣшительно не будетъ никакого оправданія для моей, Тяпушкинской, смѣлости разсуждать о высокихъ предметахъ.

Долгое время, бесплодно изнывая надъ разрѣше-

ніемъ вопроса о томъ, кому и зачѣмъ нужно упорное стремленіе поддерживать путаницу и тяготу современной дѣйствительности, кому, и зачѣмъ нужно, чтобы грубость въ соединеніи съ невѣжествомъ упорно стремились прекратить въ обывателѣ возможность понимать самого себя и уважительно объяснять свое существованіе—я, по примѣру прежнихъ лѣтъ и прежнихъ путаницъ (которые однако на современную весьма не похожи), старался розыскать нить, руководящую изъ мрака къ свѣту, первымъ дѣломъ конечно въ печати, въ большихъ, убористымъ шрифтомъ и безъ малѣйшихъ признаковъ пустыхъ бѣлыхъ мѣстъ, напечатанныхъ газетахъ. Я читалъ нѣсколько газетъ ежедневно отъ доски до доски—и не только не узналъ, въ чемъ теперь *важное*, важное, но положительно потерялъ всякую возможность что-нибудь понимать: въ одной и той-же газетѣ, только въ разныхъ углахъ, пишется одною и тою-же рукою, что для Болгаріи, какъ страны юной, необходимо было бы республиканское устройство, а для Россіи, какъ страны опытной и пожилой, необходимо уничтожить и гласные суды, какъ учрежденія, гдѣ невинное бормотаніе господъ абакатовъ можетъ смущать умы соотечественниковъ глѣтворными мечтаніями. Въ одной и той-же газетѣ изъ города Мухоморова пишутъ, что на земскомъ собраніи отклонено предложеніе о помощи врачебнымъ курсамъ, и зачѣмъ разсказанъ случай народнаго невѣжества, продолжающагося до сихъ поръ вѣрить знахарямъ, изъ которыхъ одинъ на этихъ дняхъ, принявъ истерическое состояніе одной бабы за порчу и нечистую силу, въ видахъ извлеченія повѣсилъ ее голую надъ костромъ и сталъ жечь огнемъ, приговаривая: «Выди вопъ, выди вонъ!», и приговаривалъ до тѣхъ поръ, пока не умиралъ женщину на смерть. Въ томъ же номерѣ, въ отдѣлѣ хроники, пишется: «Женскіе врачебные курсы переименованы въ курсы ученыхъ акушеровъ», въ видахъ того, что женщинамъ свойственнѣе заниматься леченіемъ дѣтскихъ и женскихъ болѣзней... А на другой день въ той же хроникѣ читаю: «Дѣтское отдѣленіе при Николаевскомъ военномъ госпиталѣ закрывается»... и т. д. Итакъ, въ видахъ того, что женщинамъ свойственнѣе дѣтскія болѣзни, клиника дѣтскихъ болѣзней закрывается, а вмѣсто ребенка дается солдатъ, на томъ основаніи, что леченіе мужскихъ болѣзней «несвойственно женщинамъ»... Словомъ, никакой понятной, органически развивающейся мысли, никакихъ поступковъ другъ изъ друга вытекающихъ и объяснимыхъ—ничего подобнаго я не могъ отыскать въ прессѣ, хлопотушей и уясняющей ежедневную злобу дня.

Такіе поистинѣ безплодные поиски руководящей «нити» въ самыхъ православныхъ органахъ руководящей прессы привели меня, въ концѣ концовъ, къ рѣшенію дѣла чисто «народнымъ» способомъ: «поискать *человѣка*» и «поразспросить». «Человѣчекъ» издавна играетъ большую роль въ пониманіи «путей»,—признанныхъ давнымъ-давно «невѣдомыми»,—и русскій простой человѣкъ, не читающій газетъ и не имѣющій никакихъ связей

съ перомъ и бумагой, давно привыкъ знать, что въ корнѣ всякой русской тяготы — объясняемой обыкновенно то вѣяніями, то «теченіями», то теоріями — «сущую правду» можно познаться только отъ «человѣка», который всѣ эти теоріи можетъ объяснить въ двухъ словахъ, и притомъ всегда съ точки зрѣнія совершенно неожиданной. Иной разъ сотни-тысячи умныхъ, ученыхъ, образованныхъ русскихъ людей по цѣлымъ годамъ ломаютъ голову, желая подыскать какіе-нибудь «умственные» резоны для такого-то или иного непостижимаго явленія жизни, прикидываютъ и такъ, и этакъ, становятся на одну точку зрѣнія и на другую, и все ничего не могутъ ни понять, ни сообразить, ни объяснить. А «человѣкъ», скрывающійся въ глубинѣ-глубинѣ непостижимаго явленія, все это можетъ объяснить въ двухъ-трехъ словахъ, причемъ всегда окажется, что ни теоріи, ни точки зрѣнія, ни научныя объясненія въ пониманіи дѣла не играютъ тутъ совершенно никакой роли. «Человѣкъ» этотъ на Руси необыкновенно разнообразенъ. Иной разъ ни пресса, ни наука, ни люди, стоящіе даже у кормила или около него, не могутъ отвѣтить на ваше желаніе понять причины того или другого загадочнаго явленія, и сами чувствуютъ себя какъ бы въ непрерывномъ и непроницаемомъ туманѣ, говорятъ полу-словами, полу-фразами, безъ начала и конца, хотя иной разъ и сами принадлежать къ числу лицъ, черезъ руки которыхъ постепенно проходятъ составныя части создаемаго невѣдомымъ гениемъ невѣдомаго и непостижимаго явленія. А какой-нибудь лавочникъ, или буфетчикъ, возьметъ да и разъяснитъ дѣло въ двухъ словахъ, потому что знакомъ съ какой-то Авдотьей Миколавною, которая и есть всему дѣлу корень.

— Она, Авдотья-то Миколавна, сначала, изволите видѣть, была актеркой... Ну, а когда графъ этотъ самый облюбовалъ ее, то она и стала ему вродѣ какъ вѣрная слуга... Ну, а самъ-то хоба и вхожъ, только самому-то ему нельзя, а все черезъ нее... Ну, она конечно даромъ не дѣлаетъ — что говорить, жадна, ужъ этого нельзя опровергнуть, цапкая дама, насчетъ ежели касаемое ассигнацій, или какихъ документовъ: прямо сказать, обобрать человѣка для нея за первое удовольствіе — и-ну, только своему слову вѣрная! ужъ возьметъ, ограбитъ, а дѣло сдѣлаетъ! Я самъ вотъ этими руками ей двѣнадцать тысячъ, подъ предлогомъ будто фрукты, передалъ отъ одного господина для начатія дѣла... а черезъ полгода и вышло, чтобы разрѣшить ему... А теперича вонъ по газетамъ пишутъ удивляются — какими-моль родомъ дозволили? упоминаютъ даже, что будто бы большіе убытки для Расеи вышли черезъ это... А ей что, Авдотья-то Миколавна? Она взяла свое, что слѣдовало исполнить, довела до дѣла, ну, а тамъ ужъ не ея часть... Только что замѣчаю я, будто она противъ графа стала немного не чисто поступать. Побаловывать, бытто такъ сказать, начала съ калевардомъ. Ну, самъ-то и грозитъся, говорить: «возьму новую нѣмку!» Пожалуй, какъ

бы и въ самомъ дѣлѣ новой нѣмки не взять... А ужъ насчетъ новой нѣмки не могу вамъ утвердить — какая такая выищется, и какіе будутъ черезъ это порядки — неизвѣстно.

«Человѣчекъ», знающій суть непостижимыхъ дѣлъ, стоящихъ у самаго корня, всегда даетъ объясненія этимъ дѣламъ именно въ такомъ, совершенно неожиданномъ родѣ. Вы думали объяснить явленіе преобладаніемъ какой-то «системы», направленія, полагали, что въ корнѣ дѣла лежитъ какой-то планъ, что тутъ надобно объяснить дѣло теоріей «протекціонизма» или теоріей «свободной торговли» и т. д., а на дѣлѣ-то оказывается, что всему дѣлу корень — Авдотья Миколавна изъ актерокъ, и что вся «система» можетъ оказаться перевернутой вверхъ дномъ, смотря потому, какая такая будетъ «новая нѣмка»...

Вотъ и мнѣ пришлось въ моихъ нравственныхъ терзаніяхъ искать совѣта и указанія также у какого-нибудь «человѣка», у существа, понимающаго гдѣ «корень дѣла», не столько сознаниемъ, сколько чутьемъ, носомъ, обоняніемъ. Но сомнѣнія мои были вовсе не таковы, чтобы я могъ розыскивать нужнаго мнѣ «человѣка» въ лавчонкѣ или въ буфетѣ; мнѣ нельзя было искать человѣчка иначе, какъ въ «интеллигентной» средѣ, — средѣ, обязанной соприкасаться съ тѣми же самыми явленіями жизни, которыя заставляли меня не понимать и недоумѣвать. Словомъ, мнѣ нуженъ былъ человѣкъ понимающій, «слѣдящій» и въ то же время не утратившій зоологическаго свойства «чутья» самую подноготную.

II.

И припомнился мнѣ одинъ мой старшій, давнишній знакомый, за которымъ я давнымъ-давно примѣтилъ, во-первыхъ, умныя «отзываться на все» и, во-вторыхъ, дѣлать только то, что слѣдуетъ. Фамиліи его я называть не буду — мы очень скоро разстанемся съ нимъ, — но скажу, что онъ — человѣкъ образованный, служить, получаетъ награды и поощренія, и въ то-же самое время умѣетъ отзываться «на все». Все то, что связано со службой, съ пониманіемъ «корня» и «существа», словомъ, все, что обусловлено убѣжденіемъ въ силѣ Авдотьи Миколавы и зависитъ отъ характера и нрава «новой нѣмки», все это скрыто, гдѣ-то лежитъ въ глубинѣ невидимаго простымъ глазомъ жизненнаго порядка, которому слѣдуетъ мой пріятель, а видимый порядокъ жизни, напротивъ, вовсе не напоминаетъ Авдотью Миколаву, а весь состоитъ изъ непрерывной отзывчивости. Чтобы лучше характеризовать моего «человѣчка», позволю себѣ сдѣлать такое сравненіе: «человѣчекъ» этотъ походилъ и по внѣшнимъ, и по внутреннимъ свойствамъ на обыкновенный російскій телячій студень. Когда студень лежитъ на блюдѣ среди обѣденнаго стола, то малѣйшее движеніе вилокъ, тарелкой немедленно отражается на немъ: онъ трепещетъ не только оттого, что тронули блюдо, но даже отъ тяжелыхъ шаговъ прислуги; онъ вне-

чатлителенъ даже къ громкимъ звукамъ. Кто-то изъ обѣдавшихъ чихнулъ, и студентъ тотчасъ «отозвался» трепетомъ... А разрѣжьте его, вѣдь ледъ льдомъ, холодъ внутри его ледяной, точно мороженое. Такъ вотъ такая-то впечатлительность, отзывчивость и такое-то нутро — вотъ главные черты того человѣка, о которомъ я говорю... Сколько я его ни помню, онъ постоянно отзывался на все, ощущалъ малѣйшее прикосновеніе новыхъ теченій и вѣяній жизни, и въ то-же время въ глубинѣ, въ нутрѣ своего нравственнаго студня сохранялъ умѣнье вѣрять только въ Авдотью Миколаевну и полагать свою будущность въ «характерѣ» новой нѣмки. Невѣдомо ни для кого изъ безпрестанно мѣнявшихся знакомыхъ преуспѣвалъ онъ по службѣ, что-то дѣлалъ, писалъ, ходилъ куда-то съ портфелемъ; никто даже никогда и не спрашивалъ его, что такое онъ дѣлаетъ, куда ходить и что такое въ портфель, да и самъ онъ не заводилъ объ этомъ рѣчи. А отзывался въ то-же время на все и, какъ я теперь понимаю, отзывался потому и въ такой мѣрѣ, въ какой это ему было нужно и въ какой мѣрѣ отзывчивость не вредила неизбежности вѣры въ Авдотью Миколаевну. Былъ онъ и народникомъ, и въ деревню ѣздилъ, и привезъ оттуда здоровыхъ дѣтей; и о конституціи говорилъ много, и ждалъ, говорилъ, что «задыхается»; однако не задохнулся; и просто «такъ» угрюмо и таинственно молчалъ, глубоко вздыхалъ, сидя за чаемъ въ обществѣ какихъ-то студентовъ и куристокъ, и уходилъ, не сказавъ ни слова, съ стаканомъ чая въ кабинетъ. И «жертвовалъ», и книжки у него были, которые онъ охотно предлагалъ гостю взять прочесть, прибавляя: «любопытно»... Отъ всего этого у него всегда оставалось что-нибудь «для себя», для того нутра, которое никому видимо не было; отъ народничества—дѣти здоровыя, отъ книжекъ—кое-какія экономическія свѣдѣнія и т. д. Все на потребу. Все это мнѣ давно было ясно видимо, но все это не было грубо, и хотя я не питалъ къ моему другу особеннаго почтенія, но, пріѣзжая въ Петербургъ изъ провинціи, не могъ не зайти къ нему осведомиться: какая теперь звучитъ струна сильнѣе и звончѣе другихъ? Придешь—и видишь: пьютъ чай, а за столомъ мрачный студентъ и мрачная акушерка, и пріятель мой мрачный; придешь черезъ два года—опять чай, но за столомъ ужъ земецъ, слышно слово «задыхаюсь», и опять видишь, въ чемъ дѣло, и т. д.

Тоже вотъ и въ нынѣшній разъ; думаю: «пойду я къ этому человѣчку, погляжу, не узнаю ли, чѣмъ пахнетъ»? Потому что по газетамъ рѣшительно ничего понять невозможно.

Поехалъ и дѣйствительно скоро все узналъ и понялъ. Начиная съ внѣшняго вида квартиры, я уже почувствовалъ, что «теперь не то». Въ былое время мой «отзывчивый» пріятель, не смотря на очень хорошій окладъ и ежегодныя награды, «отзываясь» на главнѣйшія вѣянія времени, даже какъ бы считалъ обязанностью держать квартиру въ безпорядкѣ. На двери была приклеена сургучомъ карточка. А не доска; въ кабинетъ зачастую сто-

ялъ самоваръ, чашки съ окурками, кресло передъ письменнымъ столомъ было безъ ноги, — словомъ, демократическое направленіе господствовало во всемъ. Съ дѣтьми разговаривалъ такъ: «Лешка!» говорилъ отецъ сыну. «Петька!» говорилъ сынъ отцу. Жена моего пріятеля также, не смотря на средства, одѣвалась Богъ знаетъ какъ, хозяйствомъ не занималась, обѣдъ былъ невозможный, безпорядочный—до того-ли ей? Она, закутавшись въ платокъ, любила тогда сидѣть на продавленномъ диванѣ съ книгой, которую принесъ студентъ (онъ отлично приготовилъ ее сына въ гимназію и сильно укрѣпилъ его характеръ, которого не было у отца, какъ думала жена моего пріятеля), и нерѣдко даже говорила такія рѣчи, что еслибы-моль она встрѣтила сильнаго, энергическаго человѣка, съ которымъ бы можно было «навѣрное» погибнуть, то она-бы давно погибла, но въ глубинѣ души была рада (молча), что сынъ ея воспитывается безъ сентиментальности и грубоватъ; она радовалась тому, что хорошо, если этотъ мальчикъ будетъ умѣть «дать сдачи», а вовсе не погибать. Когда объявились въ газетахъ «иллюзіи», а за чайнымъ столомъ появился земецъ, который не могъ дышать, то и мужъ сталъ задыхаться, и жена стала тоже задыхаться, и «народъ» вышелъ изъ моды: самоваръ былъ вычищенъ; на столѣ стояли очень опрятныя закуски, книга въ рукахъ была другая—«Пѣснь торжествующей любви». Словомъ, «отзывчивость» моего пріятеля къ главнымъ вѣяніямъ и теченіямъ была чрезвычайна и отражалась навсѣмъ, начиная съ внѣшняго обличья квартиры до внѣшняго обличья самихъ хозяевъ. Въ «нутрѣ» только оставалось всегда одно и то-же—весьма обыкновенный телачій составъ студня.

На этотъ разъ все, начиная съ мѣдной доски, съ электрическаго звонка, съ очень прилично одѣтой горничной, отворившей мнѣ дверь,—все говорило, что настало нѣчто новое. Обстановка квартиры безукоризненная, со всевозможными мелочами цивилизованнаго уюта, это—во первыхъ; во вторыхъ, цѣлыхъ десять минутъ я долженъ былъ ожидать появленія моего пріятеля, чего прежде не бывало; въ третьихъ, появившись, онъ, согласно духу времени, не узналъ меня; потомъ узналъ, но безъ всякаго радушія; прежде-бы онъ закричалъ, засуетился, теперь не закричалъ и не засуетился. Онъ очень развѣлся, былъ тщательно одѣтъ и довольно грубъ; въ глазахъ не только не было еще той недавно обязательной для такихъ «человѣчковъ» виноватости, напротивъ, глаза эти выражали твердость и пустоту, или, вѣрнѣе, серьезное «наплевать!»... Ни одной демократической черты! Прежде, бывало, обращаясь къ прислугѣ, отзывчивый пріятель мой старался быть вѣжливымъ:—«Пожалуйста, Авдотья, потрудись, другъ любезный, тамъ у меня, знаешь, около кровати папиросы на столікѣ»... А теперь—подавилъ вдавленную въ столъ пуговку звонка и, когда являлась франтоватая горничная, сказалъ только: «папиросы!» и видимо показывалъ разницу между собой — баринъ—и прислугой. «Я—баринъ, а ты холопъ»—

это черта новая и как-то особенно усиленно выставляющаяся. Эту «разницу» всё теперешние «человѣчки» стремятся выставить съ особенною грубостью. А что случилось съ женой моего пріятеля, такъ это я даже и высказать не могу! Не только нѣтъ никакихъ признаковъ того, что еслибы нашелся энергическій человѣкъ, который бы помогъ ей навѣр-р-ное погибнуть, такъ она-бы погибла; но мнѣ даже подумалось, когда я взглянулъ на нее при ея появленіи въ кабинетъ мужа, что она теперь сама помогла-бы скорѣйшей гибели энергического человѣка, а ужъ сама и не подумала-бы даже о такой глупости. «Европа — одно слово!» самъ не знаю почему, подумалъ я, едва увидѣлъ преобразованную фигуру стремившейся къ гибели энергической женщины. Самопожертвованная растрепанность бывшихъ временъ замѣнилась теперь тѣмъ-же выраженіемъ «наплевать», которое свѣтилось и въ глазахъ ея мужа, только «наплевать», озарявшее лицо жены, было въ высшей степени безпечное; это «наплевать» видѣлось и въ тѣлодвиженіяхъ, замаскированныхъ прямо отъ разбитой опереточной актрисы. Я только дивился, съ какой настойчивостью эта дама старалась заставить меня обратить вниманіе на то, что теперь она заботится не о погибелі, а вотъ объ «этомъ мѣстѣ», вокругъ и около праваго бедра... Я даже отодвинулся на пол-аршина, давая ей понять, что я уже замѣтилъ и что не надо-же ужъ такъ, къ самому носу...

Подъ этими совершенно неожиданными впечатлѣніями я какъ-то отупѣлъ, даже забылъ, зачѣмъ собственно пришелъ сюда; я почувствовалъ присутствіе кругомъ меня какой-то смѣлой глупости. Смѣлость быть глупымъ, смѣлость не стыдиться этой глупости, даже стремленіе щеголять ею — вотъ новая для меня черта въ моемъ «отзывчивомъ» человѣчкѣ. Не помню ужъ, что такое я говорилъ съ нимъ, не помню, что говорилъ онъ со мной. Я хотѣлъ уйти — и не уходилъ, самъ не зная почему, и не знаю, какъ бы шло дальше, еслибы не выручило насъ всѣхъ одно обстоятельство, которое развязало моему пріятелю языкъ и тѣмъ самымъ вывело меня «изъ мрака къ свѣту».

Въ передней раздался звонокъ, и вслѣдъ затѣмъ послѣ переговоровъ горничной съ пришедшими, въ кабинетъ пріятеля вошли три мужика, каждый изъ нихъ держалъ въ рукахъ, а иные на головѣ, большія рамы, завернутыя въ бумагу. Оказалось, что это артельщики принесли картины, купленные моимъ пріятелемъ. Развернули одну, оказалась сцена изъ римской жизни: молодая патриціанка готовится вступить въ воду широкаго мраморнаго бассейна: она уже опустила туда концы пальцевъ лѣвой ноги. На поверхности воды плаваетъ роза. Разумѣется, патриціанка раздѣлась, руки подняла кверху и въ одной изъ нихъ держитъ кисей, которая невѣдомо зачѣмъ нужна, невѣдомо зачѣмъ спускается до полу.

— Что, сказалъ мой реставрированный человѣчекъ: — не одобряете? Скорби нѣтъ? Что дѣлать. Хочется, знаете, и поотдохнуть немножко. Все му-

жикъ, мужикъ, мужикъ, мужикъ — позвольте-съ! Дайте вздохнуть.

Стали картину вѣшать. Артельщики стучали молотками, а пріятель мой, почему-то разгораясь, сердясь, продолжалъ:

— Да! довольно, довольно-съ этого одуренія, этого кошмара! Позвольте и намъ, не-мужикамъ (можетъ быть къ несчастію!), позвольте и намъ предъявить свои, наши, не-мужикія требованія! Да-а-съ! Безъ скорби! Безъ тенденціи! Что дѣлать-съ! Откройте другую картину!

И другая картина оказалась тоже изъ римской жизни. Патриціанка выходила изъ бассейна, и такъ какъ она, разумѣется, удалялась отъ зрителя, то не было ужъ никакой кисей, потому что и такъ никто не увидитъ.

— И эта тоже безъ скорби! Тѣло, просто человѣческое тѣло-съ, ужъ не взыщите-съ! И — увы — красивое-съ тѣло, и ни недоумокъ, ни неурожая — нѣтъ! Да-съ, нѣту изъ — увы, увы! Я не сомнѣваюсь, что дядя Митяй съ пряниками и тамъ разныя «на постройку храма»... старички... или водовозъ какой-нибудь — ни малѣйше не сомнѣваюсь, что это глубоко... Но ужъ позвольте мнѣ что-нибудь по-изящнѣй... Что дѣлать! И на улицѣ нищій, и на картинѣ нищій, и въ книгѣ нищій — это, воля ваша, нѣтъ! Бога ради, это пора кончить! Пора! пора!

Третья картина — тоже изъ римской жизни. И тоже безъ тенденціи... Голая... и лежитъ, отдыхаетъ должно-быть. Голова впрочемъ убрана и браслеты есть. А пріятель мой все азартнѣе становится. — «Мужикъ, мужикъ, мужикъ, мужикъ, мужикъ, — нѣтъ! Бога ради! Довольно! довольно! довольно!.. Позвольте и намъ, и ямъ, и намъ!» Ничего другого я не помню изъ ожесточенныхъ монологовъ моего человѣчка. Я сидѣлъ, какъ загипнотизированный этими отрывочными, непрерывавшимися фразами негодованія; не помню, какъ случилось, что послѣ того, какъ были повѣшены картины, я очутился за завтракомъ, въ обществѣ моего пріятеля и его жены; не помню, что ѣлъ и что думалъ, не помню, что опять и еще съ большимъ ожесточеніемъ пріятель мой, подкрѣпившійся стаканомъ краснаго вина и чашкою кофе съ коньякомъ, горланялъ неизвѣстно по какому случаю — «мужикъ, мужикъ, мужикъ, мужикъ, нѣтъ! довольно! довольно!..»

Не помню, какими образомъ случилось, что я не только не ушелъ послѣ завтрака, но досидѣлъ и до обѣда, и обѣдалъ, и потомъ вмѣстѣ съ пріятелемъ и его женой отправился въ Малый театръ смотрѣть Жюдику. И здѣсь я помню только одно, именно, что и въ кассѣ, когда пріятель бралъ билеты, онъ не упустилъ случая вернуть: «позвольте же, наконецъ, что нибудь! Что жъ это такое? мужикъ, мужикъ, мужикъ!» И затѣмъ во время спектакля и въ антрактахъ твердилъ тоже самое каждую минуту, и за ужиномъ, въ кабинетѣ какого-то ресторана, при каждой рюмкѣ, при каждомъ кускѣ я слышалъ все одно и то же: «Дайте же и намъ... вѣдь и мы люди, вѣдь и у насъ

потребности! Нельзя же двадцать лѣтъ: мужикъ, мужикъ, мужикъ, мужикъ!» Безпрерывно волнуясь и горячась, пріятель мой старался бѣть какъ будто даже больше, чѣмъ слѣдуетъ, пить больше, чѣмъ могъ, желая этой чрезмѣрностью комментировать выраженіе: «дайте же и намъ».

Наконецъ мы разстались...

Возвратившись домой, я чувствовалъ какую-то необыкновенную физическую усталость, необычайную внутреннюю пустоту, тяжесть собственного тѣла и какой-то шумъ или зудъ всего организма, точно и во мнѣ, и вокругъ меня безпрерывно повторилась фраза моего пріятеля: «мужикъ-мужикъ-мужикъ-мужикъ, довольно! довольно! довольно!..» И невольно, слушая этотъ неумолкаемый шумъ однообразной фразы, я, не смотря на мое физическое утомленіе, не могъ не подумать:

— Да! Такъ вотъ оно новое-то!.. Вѣдь не станеть же пріятель мой «отзываться» на явленія, не стоящія вниманія. Стало-быть, точно новое.

Что-то тяжелое, смутное испытывалъ я, добравшись наконецъ до своего непривѣтливаго меблированного номера, и не только смутное, но и тяжелоугодно-глупое что-то угнетало меня послѣ полусутокъ, проведенныхъ въ обществѣ «отзывчиваго» человѣка; я желалъ-бы отдѣлаться отъ этихъ впечатлѣній, хотѣлъ-бы сбросить ихъ съ своихъ плечъ, какъ ненужную тяжесть, и не могъ! «*Не даромъ* мой отзывчивый пріятель бѣснуется при словѣ «мужикъ»: даромъ онъ не будетъ бѣсноваться, стало быть, что-нибудь тутъ есть...» — Что же тутъ, въ этой видимой глупости, думалось мнѣ, есть именно резоннаго, настоящаго? А главное, почему при словѣ «мужикъ» отзывчивый человѣкъ выходитъ изъ себя? Вѣдь выходитъ изъ себя цѣлыя сутки, значитъ надобно «въ самомъ дѣлѣ» ощущать при этомъ словѣ какую-нибудь реальную боль, уколъ... «Дайте отдохнуть!» — выраженіе, столь-же часто слышанное мною, какъ и слово «мужикъ», произносилось съ крикомъ, съ негодованіемъ. — Да отдыхай пожалуйста! хотѣлось отвѣтить ему. Чего-жь ты кричишь-то? Кто тебѣ мѣшаетъ «просто» идти въ театръ, покупать голую патриціанку, не прибавляя каждую минуту воплей о томъ, что «надобѣ мужикъ»? Да наконецъ я не знаю даже, кто и когда мѣшалъ этому самому отзывчивому пріятелю не имѣть никакихъ отношеній къ мужику? «Дайте отдохнуть!» — и вотъ театры, балы, маскарады, собранія и т. д. Но вѣдь это всегда было! Вѣдь въ послѣднія 25 лѣтъ возможность эстетическихъ наслажденій приняла такіе огромные размѣры, что сдѣлалась доступной не только Петербургу, Москвѣ, но буквально каждому захолустью. Ни одинъ крупный музыкальный талантъ, ни одинъ талантъ художественный не пропалъ за эти годы; всякій изъ нихъ не переставалъ расти, развиваться, выражая и въ звукахъ, и въ краскахъ все, что могъ и считалъ нужнымъ выразить. А теперь вотъ выходитъ, будто бы «мужикъ» все это давилъ, душилъ, и все имъ задушенное, придавленное только теперь въ наши дни вырвалось изъ его лапъ и вопіетъ: «довольно!

довольно! довольно! Дайте и намъ, и намъ... не все же мужикъ, мужикъ, мужикъ»...

Господи помилуй, что за удивительный недугъ! Да, есть что-то! не даромъ вопіетъ отзывчивый человѣкъ!

III.

Тяжелымъ сномъ заснулъ я подъ гнетомъ размышленій о явленіи, столько же тяжеломъ, сколько и непонятномъ. И, проснувшись утромъ, тотчасъ почувствовалъ, что и ощущеніе гнета, и тоска непониманія проснулись вмѣстѣ со мною... Въ такомъ положеніи я сидѣлъ на постели, когда Кузьма принесъ мнѣ газеты. И что же? въ одной изъ газетъ, фizioномія которой была до послѣдней степени прилично вымыта и выбрита, въ передовой статьѣ глаза мои совершенно случайно упали на такую строчку: «кончилось тѣмъ, что отъ мужика не стало *проходу*...» т. е. опять-таки мужикъ, и даже *проходу* (вѣдь это буквально!) не даетъ. — Боже мой! подумалъ я: кто этотъ бѣдняжка, которому мужикъ не даетъ проходу (къ буфету)? Оказалось, что проходу онъ не даетъ тому слову русскаго общества, интеллигентныя цѣли котораго *не могутъ* быть ни чѣмъ инымъ, какъ благомъ народа. Такъ вотъ этимъ-то господамъ, которые думаютъ о благѣ народа, пожалуй, даже того-же мужика, мужикъ не даетъ проходу...къ буфету!

Итакъ, подумалось мнѣ, во всѣ эти двадцать пять лѣтъ мужикъ и ложный взглядъ на мужика мѣшали вамъ что-нибудь дѣлать? Это вы, вслѣдствіе ложныхъ взглядовъ на мужика, господствовавшихъ въ литературѣ, начали новую эру тѣмъ, что въ двадцать разъ увеличили въ Россіи ввозъ шампанскихъ винъ и опереточныхъ актрисъ, просядѣвъ на нихъ сначала выкупныя свидѣтельства, потомъ лѣса и земли? Ложные взгляды на мужика не давали вамъ возможности пикнуть ни по части образованія вашихъ дѣтей, ни по части всевозможныхъ хищеній, всевозможныхъ неправдъ и всевозможныхъ колотушекъ въ разные части собственного вашего тѣла? Мужикъ не давалъ проходу къ кассамъ расхищавшихся банковъ, въ милліардныхъ грабежахъ войны, въ мутной водѣ подпольнаго взяточничества? Мужикъ не давалъ вамъ ходу, когда, даже въ качествѣ свѣдущихъ людей, вы ровно ничего путнаго не могли сказать, хотя и не можете имѣть иныхъ цѣлей кромѣ блага народа? Отъ ложныхъ взглядовъ въ литературѣ, вы, втеченіе двадцати лѣтъ, въ семи стахъ губернскихъ земскихъ собраній и въ восьми тысячахъ уѣздныхъ земскихъ собраній, могли только вотировать прибавки къ жалованью господина становаго пристава, а по всѣмъ прочимъ вопросамъ могли выражать какія-то необыкновенныя «безпредѣльныя» чувства? Это все мужикъ обездоливалъ васъ, не давалъ вамъ *проходу* (проходу, проходу *не давалъ!*) къ настоящему дѣлу?... А между тѣмъ черезъ каждые три года, и по уѣзднымъ, и губернскимъ городамъ, васъ собирали для того, чтобы напомянить о томъ, что

вы въ самомъ дѣлѣ должны имѣть какія-нибудь благія цѣли. Черезъ каждые три года восемьсотъ уѣздныхъ и семьдесятъ губернскихъ казенныхъ протопоповъ увѣщевали васъ шествовать безбоязненно по предназначенному пути, напоминая вамъ, что вы—потомки предковъ, что предки были древле краеугольными камнями и что вы также должны быть краеугольными... А вы все въ буфетъ да въ буфетъ!

Малѣйшаго, самаго поверхностнаго припоминанія тѣхъ всевозможныхъ премысливаній, которыми ознаменовано двадцатипятилѣтнее существованіе тѣхъ, кто «не можетъ имѣть» иныхъ цѣлей, кромѣ народнаго блага,—достаточно для того, чтобы видѣть, до какой степени вопли этихъ людей противъ мужика не только несправедливы, но не умны и унизительны. Ни въ качественномъ, ни въ количественномъ отношеніи это рѣшительно несправедливо. Возьмите сейчасъ всѣ органы печати, имѣющіеся у васъ въ данную минуту подъ рукою, выкиньте изъ толстыхъ и тонкихъ журналовъ, изъ большихъ и малыхъ газетъ все, что касается мужика, и у васъ навѣрное получится масса матеріала, не имѣющаго съ мужикомъ ни малѣйшаго соприкосновенія. Положительно можно сказать, что на какой-нибудь очеркъ въ листъ, въ полтора, вы имѣете цѣлую часть въ пять, въ десять листовъ романа, беллетристики, изучающей культурное общество. О мужикѣ все очерки, а о культурномъ обществѣ романы. Очеркъ изъ мужицкой жизни задушилъ и замучилъ всѣхъ интеллигентныхъ дѣятелей, очеркъ, котораго они даже и въ руки не берутъ, очеркъ, исчезающій къ тому-же въ широкой, подавляющей дѣятельности такихъ огромныхъ силъ, какъ Тургеневъ, Достоевскій, Толстой, Гончаровъ, подарившихъ русское общество въ послѣдніе 25 лѣтъ самыми крупными, самыми замѣчательными своими работами, это ничтожное неуклюжее созданіе, котораго никто не читаетъ,—онъ-то и не даетъ «проходу»! Но оставимъ эти сильные таланты, посмотримъ, что дѣлаютъ не сильные и не могучіе: возьмите малыя и большія газеты того самаго дня, въ который вамъ придется читать эти строки, выбросьте все, что касается мужика, земельки, убійства изъ-за двугривеннаго и т. д., и затѣмъ пересчитайте все, что осталось не о мужикѣ. Вы будете подавлены разнообразіемъ матеріала: объ однихъ театрахъ вы имѣете гораздо больше строкъ, чѣмъ о всѣхъ внутреннихъ дѣлахъ всей Россіи, а о мужикѣ только и сказано, что въ селѣ Чупкинѣ крестьянка родила трехъ близнецовъ, которые находятся въ добромъ здоровьѣ. Въ миллионъ разъ больше свѣдѣній вы найдете въ каждомъ номерѣ газеты о томъ, напримеръ, какія юбки начала носить Сарра Бернаръ или сколько любовниковъ было у недавно скончавшейся актрисы N, чѣмъ о насущнѣйшихъ нуждахъ мужицкаго житія-бытія. Оставимъ и эту, большую прессу, возьмемъ маленькую. И здѣсь отъ первой до послѣдней строки не только никто не хочетъ задушить читателя полшубкомъ, но все стремится развеселить его, насмѣшить, выкинуть

колѣно, сказать стишокъ, отъ котораго-бы заще-котало подъ мышкой... Затѣмъ масса иллюстрированныхъ изданій, гдѣ употребляются всѣ силы, чтобы оградить васъ отъ непріятнаго, тяжелаго впечатлѣнія, гдѣ и изъ прошлаго, и изъ настоящаго выбрано для читателя только красивое, занимательное, курьезное... А много-ли мужика на театрѣ? Много-ли его въ опереткѣ русской, французской, нѣмецкой; въ балетѣ, въ оперѣ, на всѣхъ частныхъ и казенныхъ сценахъ и т. д.? А огромная европейская литература, исполнѣ доступная нашему образованному обществу, напоминаетъ-ли она ему хотя чѣмъ-нибудь о мужикѣ? Сосчитайте по пальцамъ количество произведеній, касающихся мужика, сосчитайте количество экземпляровъ такихъ произведеній, число лѣтъ, въ которые они расходятся, и вы увидите, что такіа произведенія считаются буквально десятками, а какія-нибудь 2 т. экземпляровъ расходятся втеченіе 5—6 лѣтъ, между тѣмъ, какъ «немужицкая» оригинальная и переводная литература, а за ней литература «дня», литература «пріятнаго чтенія», потѣхи и щекотки — кипшиа-кишитъ вокругъ васъ ежедневно, на каждомъ шагѣ. Подписчиковъ десятки тысячъ, а еще больше случайныхъ покупателей; на каждомъ углу улицы, на каждой заолустной станціи желѣзной дороги вамъ предлагаютъ пріобрѣсти листокъ съ потѣхой, увеселеніемъ и щекоткой. «Мужикъ», со всею своею литературою, со всѣми своими очерками, замѣтками, съ цифрами о смертности, урожаѣ и неурожаѣ и т. д.—это капля въ морѣ литературы, ежедневно стремящейся доставить читателю эстетическое наслажденіе, или просто удовольствіе, потѣху, развлеченіе, и во всякомъ случаѣ не имѣющей даже отдаленнѣйшаго намѣренія задушить своего покупателя полшубкомъ.

А между тѣмъ рѣшительно вездѣ, даже и въ этой увеселяющей литературѣ, одинъ и тотъ-же вопль и стонъ. «Мужикъ задушилъ! Мужикъ не далъ проходу, мужикъ, мужикъ, мужикъ! довольно! довольно! довольно!» Несправедливость этихъ воплей, какъ видите, совершенно ясная; никакихъ существенныхъ резоновъ для нея нѣтъ, если конечно выкинуть въ дѣло по совѣсти. Еслибы въ этихъ вопляхъ была хоть тѣнь правды, еслибы мужикъ въ самомъ дѣлѣ такъ безсовѣстно заполнилъ всю литературу, преградилъ-бы всѣ входы и выходы для тѣхъ, кто считается потомками предковъ и кто «не можетъ» имѣть иныхъ цѣлей, кромѣ народнаго блага, то, разумѣется, онъ, этотъ мужикъ, какъ практическій человѣкъ, счумѣлъ бы извлечь изъ своего первенствующаго положенія и несомнѣнныя практическія выгоды. Между тѣмъ посмотрите, вчера или нѣсколько дней тому назадъ, въ той же самой газетѣ былъ опубликованъ на послѣдней страницѣ, въ отдѣлѣ внутреннихъ извѣстій, такой фактъ: ѣдетъ на извозчикѣ съ курскаго вокзала какой-то пассажиръ-крестьянинъ и заводитъ съ своимъ возницей разговоръ о томъ, о семъ, о крестьянствѣ и землѣ. Извозчикъ жалуется проѣзжаемъ крестьянину на бѣдность, говоритъ, что эта бѣдность происходитъ отъ малоземелья, что

она выгнала его въ извозъ, оторвала отъ дома, что отъ извоза не только нѣтъ выгоды, а, напротивъ, только разстройство: въ домѣ однѣ бабы да ребятишки. Разказалъ этотъ извозчикъ пробѣжавшему крестьянину, что не онъ одинъ бьется, какъ рыба объ ледъ, вслѣдствіе малоземелья, а цѣлыя деревни, волости!.. Тогда пассажиръ-крестьянинъ сжался надъ этимъ мужикомъ и присовѣтовалъ отъ править ходовомъ въ такое-то мѣсто, называлъ губернію, уѣздъ и волость, указалъ, какъ пройти, гдѣ, къ какому человѣку обратиться. Словомъ, далъ самые практическіе и опредѣленные совѣты и указанія. Извозчикъ все это запомнилъ, тотчасъ же, подъ вліяніемъ совѣтовъ случайнаго пассажира, поѣхалъ въ деревню, разказалъ дѣло односельчанамъ и добился того, что болѣе сорока домохозяевъ рѣшились сдѣлать сборъ денегъ для ходака, и когда тотъ убѣдился, что пріѣзжіе не солгали,—перезѣхалъ на указанныя мѣста. Собрали денегъ, а скоро и въ самомъ дѣлѣ переселились; переселенцы купили сразу большое имѣніе, цѣною въ 80 тысячъ рублей.—и теперь славословятъ Всевышняго. Такъ вотъ, еслибы мужикъ-то возобладалъ повсюду, еслибы онъ, въ самомъ дѣлѣ, не давалъ «проходу», такъ такіа элементарныя дѣла, какъ дѣло о землѣ, лежащей подъ бокомъ, навѣрное дѣлались-бы правильно и во всякомъ случаѣ считалось-бы дѣломъ серьезнымъ. А то—не случись этого добраго проѣзжающаго—и болѣе сорока дворовъ такъ-бы и пропали пропадомъ на родниѣ, въ то время, когда, какъ видимъ, и земля, и средства пріобрѣсти ее есть въ наличности.

Такимъ образомъ размышленія мои, возбужденныя вчерашними воплями моего пріятеля и сегодняшнимъ чтеніемъ газетныхъ воплей—по поводу того-же самаго «мужика»—сначала сильно меня взволновавшія своей глубокой неправдою, постепенно стали принимать все болѣе и болѣе спокойное направленіе, и я совсѣмъ ужъ былъ готовъ успокоиться на томъ окончательномъ рѣшеніи, что всѣ эти крики и вопли: «задушил!» и «довольно!»—просто пустяки и вздоръ, не стоящіе ни малѣйшаго серьезнаго вниманія, какъ совершенно неожиданное обстоятельство вновь повергло меня въ тягостное недоумѣніе. Неожиданно мнѣ припомнилась голосъ моего пріятеля и выраженіе, съ которымъ онъ произнесъ свои «довольно! довольно!». Голосъ этотъ былъ *дѣйствительно* возбужденный, *дѣйствительно* взволнованный. *Дѣйствительно* негодованіе слышалось въ тонѣ его рѣчей. Пораженный этою неожиданностью, я перечиталъ какъ фальшетоу, въ которомъ авторъ жалуется, что его задушилъ полшубокъ, такъ и передовицу, гдѣ вопіють, что отъ мужика нѣтъ проходу,—и опять убѣдился, что все это говорится искренно, что въ этихъ неправдоподобныхъ статьяхъ сокрыто самое правдоподобное ощущеніе удущья, отсутствіе вѣры въ возможность «пройти» къ какой-то цѣли. «Вѣдь стало-быть, подумалъ я, есть-же какая-нибудь серьезная, глубокая причина, вслѣдствіе которой слово «мужикъ» такъ искренно мучитъ людей и исторгаетъ изъ нихъ крики непритворной боли?»

Искренняя, непритворная боль и напускная досада, слышавшаяся въ вопляхъ совершенно неосновательныхъ и нерезонныхъ, сбивала меня съ толку и спутала всѣ мои соображенія. Не помню и не могу сказать, вслѣдствіе какихъ логическихъ или нелогическихъ сплѣтений мысли я къ концу дня нашелъ почему-то необходимымъ опять пойти къ моему знакомому «человѣчку», не смотря на то, что уже вчера далъ себѣ слово ни въ какомъ случаѣ и никогда не посѣщать его. Самъ не знаю почему, но мнѣ показалось, что тамъ, въ реставрированномъ обиталищѣ «человѣчка», я какъ будто-бы чего-то не досмотрѣлъ.

Пошелъ и наткнулся на шумное сборище гостей; были святки, и у человѣчка происходило что-то вроде маскарадика. Пяти минутъ пребыванія въ этомъ веселомъ обществѣ было для меня достаточно, чтобы почувствовать на душѣ что-то донельзя нехорошее. Всѣ были чрезвычайно веселы («давно мы такъ не веселились!» сказала сама хозяйка), всѣ стремились быть, если можно, еще веселѣй, еще развязнѣй, шумнѣй; всѣ стремились какъ-бы наверстать утраченные годы какой-то вынужденной опечаленности. Боже мой, съ какими усердіемъ и усиліемъ самъ мой знакомый человѣчекъ, его жена (когда-то вздыхавшая о невозможности пострадать) и всѣ остальные гости, которыхъ въ старину я встрѣчалъ у этого-же моего пріятеля только подъ совершенно другими вліяніями времени—Боже мой, съ какими усиліями всѣ они старались возстановить позабытое значеніе кадрили, безтенденціозной потѣхи, простого смѣха! Какъ все это къ нимъ не шло, какъ все это было неуклюже, жалко и скверно... Марья Андреевна Кукушкина, которая въ былые годы, я помню, изнывала въ тоскѣ по собственной негодности, плакала о томъ, что у нея нѣтъ средствъ учиться и т. д., вдругъ теперь, когда она стала въ три раза старше, въ три раза толще, когда ужъ ея собственныя дочери ходятъ въ гимназію, вдругъ теперь явилась въ тирольскомъ костюмѣ, въ коротенькой юбочкѣ, обнаруживавшей икры ногъ, и какія говорила слова!.. Нѣтъ! Описать усилія, которыя дѣлали видѣнные мною гости, чтобы раздѣлаться даже съ воспоминаніями о «вчерашнемъ» днѣ,—невозможно!.. Выраженіе лицъ, на которыхъ отпечатывалось удовольствіе дурости,—не можетъ быть передано мною достаточно рельефно...

Нѣчто подобное впрочемъ приходилось видѣть мнѣ и прежде. Былъ у меня въ Москвѣ одинъ знакомый молодой купчикъ, начавшій торговлю на «раціональныхъ началахъ» и стремившійся быть до мелочности честнымъ и аккуратнымъ. Вѣроятно дѣла его пошли не такъ хорошо, какъ-бы онъ желалъ, и я сталъ замѣчать въ немъ сначала тоску, потомъ какую-то удручающую мрачность; на мои разспросы онъ отвѣчалъ, что его «мучатъ» обязательства, «мучатъ» предложенія раздѣлаться съ этими обязательствами,—предложенія, хотя и выгодныя въ практическомъ отношеніи, но нравственно непереваримыя. По временамъ страданія его были такъ велики, что физически сокрушали

его: онъ ходилъ удрученный, сторбленный, подавленный, и въ самыя горькія минуты мечталъ даже о самоубійствѣ. Случилось, что я долженъ былъ неожиданно покинуть его и не выдался съ нимъ по крайней мѣрѣ полгода. Втеченіе этого времени онъ, должно-быть въ минуту крайняго душевнаго разстройства, рѣшился послѣдовать чьему-то злему совѣту и вдругъ совершенно преобразился. Въ эту-то минуту я увидѣлъ его опять и не узналъ: вмѣсто того, чтобы застрѣдиться, онъ отказался платить, — словомъ, «надулъ», прошелъ всѣ подходы и подлоги и достигъ того, что въ это время и фигура, и выраженіе лица, и манера его сдѣлались точь-въ-точь такими же, какъ манеры и выраженіе лицъ у гостей, собравшихся на вечеръ у «человѣчка». Купчикъ, рѣшившійся поступать «безъ совѣсти», также вдругъ какъ бы расцвѣлъ, сталъ кутить, распутствовать, даже повиному безъ особенной надобности; безъ особенной надобности фордыбачилъ, скандалячилъ и вообще сдѣлался необыкновенно смѣлымъ въ свинствѣ, самъ вызывалъ на упреки въ немъ и какъ будто радовался, что никакой упрекъ на него не дѣйствовалъ. Выраженіе лица его было наглое и придурковатое, точь-въ-точь такое, какое у многихъ на этомъ маскарадномъ вечерѣ, гдѣ и всѣ гости, казалось, рѣшили не платить «долговъ своей совѣсти», хвастаться тѣмъ, что имъ не удивить никакими упреками. До того было тяжело смотреть на реставрацію кадрили, что я не зналъ, куда мнѣ дѣться, и въ то же время не могъ двинуться съ мѣста.

Насилу я ушелъ; на дѣстниці ясно слышался шумъ веселья, происходившаго въ квартирѣ моего пріятеля, стукъ разучившихся танцовать ногъ, звуки пьянино, пѣніе, шумъ, громкій, безтолковый хохотъ и говоръ, въ которомъ, не знаю почему, мнѣ слышалось по временамъ: «Довольно! Довольно! Довольно! дайте и намъ! И намъ дайте!».

IV.

На улицѣ, занесенной бѣлымъ, чистымъ, пушистымъ снѣгомъ, на морозномъ чистомъ воздухѣ, я почувствовался, и во мнѣ вдругъ разлилась какая-то горячая жалость ко всѣмъ и ко всему, что я видѣлъ, о чемъ думалъ и чѣмъ беспокоился въ послѣднее время. Все, что до сихъ поръ меня возмущало, поселяло и возбуждало во мнѣ отвращеніе, вдругъ все это потонуло во впечатлѣніи какой-то огромной драмы, поистинѣ раздирающей душу. Уже не наглое лицо человѣка, чувствующаго, что хотя и помощью подлости ему удалось снять съ души тяготу обязательствъ, вспоминалось мнѣ теперь, а вспомнилась маленькая, молодая, чуть-чуть не ребенокъ, слабосильная, плохокормленная клочонка, которая подъ градомъ ударовъ кнута выбивается изъ силъ, стараясь стащить дровни съ огромнымъ грузомъ камней. Подъ дровнями нѣтъ камня снѣгу, и ей приходится тащить каменный возъ по камнямъ. Она рвется, каждую секунду дѣ-

лаетъ новыя усилія напрячь послѣдніе остатки силъ и наконецъ, какъ бы въ какомъ-то истерическомъ состояніи, начинаетъ рваться изъ этихъ путъ отъ этого кнута, отъ этого вѣса, отъ этого хомута... Она бѣснуется, рвется въ хомутѣ до удушья, до удушья рвется изъ хомута, дрожать, «выбалтывать» голову; ей во что бы то ни стало надобно уйти, уйти отъ этой невозможной для ея силъ работы, уйти, только уйти!

Нѣтъ, не мужикъ измучилъ, истомилъ и задушилъ насъ полшубкомъ; не мужикъ не даетъ намъ проходу, не отъ него мы кричимъ: «дайте вздохнуть!» «довольно! довольно!». И вовсе не на него мы негодуемъ. Напротивъ, мы всѣ, отъ верхняго края до нижняго, очень имъ довольны и любимъ его, и даже просто-на-просто дорожимъ. Мы очень рады, что онъ носитъ намъ дрова, топить печи, чистить сапоги, возить, пашеть, поить насъ молокомъ, кормить мясомъ... Я, по крайней мѣрѣ, не знаю примѣра, когда бы по этому случаю гдѣ-нибудь въ литературѣ раздался негодующій голосъ. Ни одинъ писатель еще не кричалъ, что мужикъ задушилъ его своей услужливостью по части всякой черной работы, измучилъ тѣмъ, что не даетъ возможности самому чистить выгребныя ямы. Нѣтъ, «такому мужику всѣ чрезвычайно рады: отъ времени до времени мы даже «гордимся», что у насъ есть такое славное всестороннее существо, такой надежный потомокъ такихъ-же надежныхъ предковъ...

Кричимъ мы вовсе не отъ мужика, а отъ той «язвы правды», которую мужикъ возбуждаетъ въ нашемъ сознаніи. И говоримъ, и дѣлаемъ еще многое, но, въ нашему несчастью (или счастью!), мы не можемъ говорить и дѣлать съ легкимъ сердцемъ, такъ какъ въ насъ уже сидитъ эта несносная, но неминуемая, неизбежная «язва правды», которая *заставляетъ* насъ понимать, что именно мы дѣлаемъ. Намъ бы хотѣлось жить, ошибаясь, заблуждаясь, поднимаясь и падая, какъ жили «прочіе», но опять-таки намъ невозможно дѣлать этого, не зная, что мы ошибаемся, заблуждаемся. Нѣтъ, мы знаемъ, знаемъ это!

Разумѣется, я говорю о человѣкѣ, имѣющемъ хотя какое-нибудь соприкосновеніе съ книгой, о человѣкѣ развитого сознанія. Что-жъ дѣлаетъ съ нами книга? Выяснивъ намъ всѣ ошибки, уклоненія, паденія и т. д. (которыхъ мы сами бы хотѣли отвѣдать, чувствуя, что въ этомъ «жизнь») и тѣмъ самымъ лишивъ насъ аппетита повторять то-же самое, а главное, отравивъ нашу мысль тягостной необходимостью *непрерывно думать правдиво и правильно*, то есть умертвивъ въ насъ всякое своеволие, прихоть, фантазію, — эта самая книга на послѣдней страницѣ преподноситъ намъ цѣлый возъ, тяжело нагруженный камнями горя челоуѣческаго, и неопровержимо доказываетъ, что намъ надобно сдвинуть съ мѣста этотъ непосильный, тяжелый грузъ. Я хотѣлъ бы погулять, потанцовать, поваляться на травкѣ, пожить, попутать и въ тьмѣ, и въ свѣтѣ... — Вѣдь вотъ у прочихъ народовъ, думаю я, сколько ошибокъ и

сколько злодѣйства, но сколько же и жизни, сколько красоты и поэзіи, всего! Оперу напишутъ изъ тогдашнихъ ошибокъ и кровавыхъ глупостей, такъ любо-дорого смотрѣть! Вотъ бы и намъ... Что за бѣда ошибиться?... Опера потомъ, съ хорошей постановкой, сойдеть... поэма...» Нѣтъ! «Послѣдняя страница» не даетъ мнѣ и помечтать; она насильно вытаскиваетъ меня изъ привольной полутьмы прямо въ океанъ свѣта, запрягаетъ меня, съ собственнаго моего согласія, въ тяжелѣйшій возъ, нагруженный цѣлою горою обязанностей, и заставляетъ сознательно надрываться въ этомъ хомутѣ! Вотъ отчего кричать: довольно, довольно! Мы кричимъ отъ тяготы нашего сознанія, которое давитъ насъ, потому что наша мысль *не можетъ не считать этою знею дѣйствительною правдою*.

Русскій сознательный человѣкъ въ своемъ духовномъ развитіи волей-неволей долженъ брать изъ опыта общечеловѣческаго непременно *последнее слово*, точно такъ, какъ онъ долженъ брать игольчатое, а не кренивое ружье, и т. д. И всѣ послѣднія слова говорили ему, что онъ, какъ личность, какъ «самъ по себѣ», какъ существо своей воли, не можетъ существовать. И мы приняли эти послѣднія слова въ самомъ подлинномъ видѣ, въ неприкрашенномъ, въ жестокомъ даже; въ насъ поэтому всего сильнѣе воспиталось отсутствіе сознанія личнаго права, личнаго разнообразія желаній, энергій, личнаго своеволюства. Иной украдетъ миллионъ и даже прокутить не съумѣетъ: начнетъ извозчикамъ давать на водку по сту рублей. Личная впечатлительность въ насъ ослаблена и ослабляется «послѣднимъ словомъ» мысли человѣческой ежеминутно—это во-первыхъ; а во-вторыхъ, будучи такъ ослаблены по части личнаго эгоизма, мы, благодаря тѣмъ-же послѣднимъ словамъ, воспитываемся въ сознаніи нашей обязанности предъ всѣмъ человѣчествомъ... Вотъ тотъ хомутъ, изъ котораго мы, выражаясь мужицкимъ языкомъ, «выбалтываемъ» голову и кричимъ: «довольно, довольно!».

Воображаю, какія мученія долженъ былъ испытывать, напримѣръ, нашъ славный предокъ, Алеша Поповичъ, когда на него *вдругъ* нагрянуло христіанство, восемьсотъ лѣтъ разрабатывавшееся за тридцать земель... Алеша Поповичъ только было разгулялся, распьянствовался во стольномъ городѣ во Кіевѣ, только-было въ немъ заиграла кровь и сила богатырская, только-было выучился онъ лить въ себя турья рога зелена-вина и получилъ «скусь» къ тогдашнему дамскому полу—хватъ, какъ снѣгъ на голову, нагрянули на него и постъ, и молитва, и воздержаніе, и покаяніе, и адъ со всѣми ужасами. Навезли сѣмь, веригъ, стали «для примѣра» зарывать по самую шею въ ямы, проповѣдывать смиреніе, кротость, незлобіе, нищету, «подставь ланиту», отдай имѣніе... Что долженъ былъ переживать и перенести нравственныхъ мукъ бѣдный «добрый молодецъ». Вѣдь все это новое рѣшительно ему не по вкусу, а ничего не подѣлаешь! Въ этомъ новомъ—правда, и Алешка запрягся въ нее именно потому, что тутъ правда,

соч. гл. УСПЕНСКАГО. Т. II.

что «совѣсть» его запрягла въ этотъ хомутъ... И сколько разъ, вѣроятно задыхаясь въ этомъ хомутѣ, онъ вопіялъ: «довольно, довольно!».. Вотъ и теперь тоже! Это драма, изъ которой два выхода: жизнь и смерть; смерть можетъ быть всякая, по выбору, а жизнь для насъ только въ одномъ—въ *дѣйствительномъ* опытѣ переработки собственной личности практически, свободнымъ дѣломъ во имя общаго, массоваго счастья. Вотъ на этомъ пути мы можемъ и заблуждаться, и падать, и подниматься, словомъ, жить, развивать свои силы. Вотъ на этомъ-то пути мы и оперу «съ постановкой» отыщемъ... Надобно подсыпать снѣжку подъ полозья тяжелаго воза, помочь... А чтобъ обращаться къ возстановленію правъ французской кадрили—нѣтъ, это не резонъ и ничего изъ этого не выйдетъ, будьте увѣрены.

Такъ вотъ только послѣ всѣхъ этихъ недоумѣній, размышленій и всѣхъ этихъ опытовъ выбрать изъ тьмы къ свѣту, приведшихъ меня къ убѣжденію, что передъ моими глазами происходитъ не реставрація французской кадрили, а самая настоящая драма, я и рѣшился написать вверху бѣлаго листа бумаги давно знакомыя мнѣ слова «часть первая, глава первая»...

III. Возмутительный случай въ моей жизни.— Опытъ опредѣленія «подлинныхъ» разсмотрѣвъ и подлинныхъ свойствъ «русскаго сердца».

I.

Для начала моего беллетристическаго повѣствованія, прежде всего рѣшаюсь рассказать самый возмутительный, самый безстыдный и подлый фактъ, тяготящій на моей совѣсти. Фактъ этотъ принадлежитъ къ числу тѣхъ «скелетовъ въ домѣ», которые, увы! кажется, найдутся на совѣсти всякаго смертнаго и которые хотя разъ въ жизни до такой степени ужаснули человѣка передъ самимъ собой и заставляли его испугаться самого себя, что потомъ всю жизнь, по временамъ припоминаясь, заставляютъ его вздрогнуть всѣмъ тѣломъ, въ ужасѣ закрывать глаза и стонать отъ нестерпимо мучительнаго воспоминанія. Такіе случаи не только никогда никто не рѣшится рассказать самому близкому человѣку, но, напротивъ, всякій старается таить ихъ по возможности на недосыгаемой глубинѣ отъ внимательнаго, особенно же отъ дружескаго взора, такъ какъ всякій «боится» вспомнить о нихъ; боится вспомнить себя въ тотъ возмутительный моментъ. Ни забыть ихъ, ни вырвать съ корнемъ, какъ-бы того ни хотѣлось,—невозможно; невозможно и довѣрить ни дальнему, ни близкому, ихъ надо носить на совѣсти, зная, что они не изнашиваются никогда.

Вотъ такой именно неисторгаемый изъ совѣсти случай былъ и въ моей жизни, и если я рѣшаюсь сдѣлать надъ собой невѣроятное усиліе, чтобъ рассказать о немъ, если я рѣшаюсь омрачить душу всякаго, кому попадутся эти строки, омрачить сей-

часъ-же, омрачить глубоко, оскорбить и возмутить бесконечно, то пусть читатель знаетъ, что я дѣлаю это, во-первыхъ, съ невѣроятными усиліями, что я долженъ руку съ перомъ удерживать другою рукою, чтобы она писала, не ушла отъ бумаги и чернильницы, и во вторыхъ, дѣлая это, терзаюсь и мучаюсь и хочу терзать и мучить читателя потому, что эта рѣшимость дать мнѣ со временемъ право говорить о насущнѣйшихъ и величайшихъ мукахъ, переживаемыхъ этими самыми читателями...

Разсказываю этотъ возмутительный случай не для личнаго своего поруганія и оплеванія (это я дѣлаю и дѣлаю съ силою, все болѣе возрастающе, по мѣрѣ того, какъ за мои плечами увеличивается пройденный путь жизни), а единственно только изъ увѣренности, быть можетъ и ошибочной, что фактъ этотъ имѣетъ большое общественное значеніе, и не только не хочу смягчать его возмутительность, но даже *должна* не смягчать ея, долженъ показать этотъ фактъ во всей его потрясающей наготѣ. Для этого прежде всего надобно сказать нѣсколько словъ о самомъ себѣ.

Если вы спросите обо мнѣ кого-нибудь изъ близкихъ моихъ знакомыхъ, пожелаете узнать, «каковъ таковъ Тяпушкинъ?», то я увѣренъ, вы не услышите особенно дурныхъ отзывовъ. Напротивъ, всѣ вамъ скажутъ, что я человѣкъ хорошій; найдутся даже такіе, которые превознесутъ меня, у которыхъ есть въ рукахъ факты моей несомнѣнной доброты, внимательности къ чужому горю. Не разъ въ разговорахъ обо мнѣ мелькнетъ у того или другого расположеннаго ко мнѣ человѣка даже и словечко о моемъ стремленіи къ «самопожертвованію», и фактовъ приведутъ достаточное количество, и на жизнь мою, дѣйствительно исполненную тяжкихъ мученій, укажутъ не безъ основанія въ подтвержденіе того, что я не только болтаю объ общемъ благомъ, но и на дѣлѣ это доказываю и доказывалъ не разъ. Конечно я не великая птица, а человѣкъ черной, мелкой работы, но такая то работа и трудна, а, какъ извѣстно, вѣрный въ маломъ и во многомъ вѣренъ. Такъ вотъ такой-то «хорошій», а для иныхъ даже «превосходнѣйшій» человѣкъ, Тяпушкинъ, который и въ личной-то жизни похожъ на аскета, — не пьетъ, не куритъ, не тратитъ на себя лишней копейки, довольствуется самымъ необходимымъ — вотъ этотъ-то самоотверженный человѣкъ, который не только болтаетъ объ общемъ благомъ, а и на дѣлѣ и т. д., и т. д., такой-то человѣкъ однажды, много лѣтъ назадъ, сидя вечеромъ около колыбели своего собственнаго четырехлѣтняго ребенка, могъ думать такую черную думу: «Хорошо, еслибы этотъ ребенокъ умеръ!». И дума эта была до того черная, что самоотверженный человѣкъ не спускалъ глазъ съ коробки спичекъ, даже руку къ ней протянулъ. Прибавлю къ этому, что никакихъ матеріальныхъ заботъ, нищеты, безденежья — ничего этого не было. Напротивъ, средствъ было вполне достаточно, и все-таки самоотверженный человѣкъ думалъ не только черную, а прямо сказать — звѣриную думу... «Само-

отверженный» человѣкъ, который пришелъ-бы въ ужасъ въ дѣйствительный, неподкрашенный ужасъ отъ газетнаго извѣстія, что на такой-то фабриктѣ мретъ народъ отъ червивой солонины, которому кормить рабочихъ подрядчикъ, могъ однако позволить овладѣть собою черной, звѣриной мысли о смерти собственнаго своего ребенка — мысли злобной, безчеловѣчной, адской. А вотъ именно со мною, прекраснѣйшимъ (какъ говоритъ мой пріятель Кукушкинъ) человѣкомъ, съ самоотверженной натурой, именно со мной-то, съ Тяпушкинымъ, и былъ такой возмутительный, подлый, достойный палача случай. А съ вами, господа, не бывало-ли чего-нибудь подобнаго, по крайней мѣрѣ приблизительно?

И такъ, вотъ онъ, этотъ возмутительный случай, разсказать который я могъ только съ огромнѣйшими усиліями, даже насиліемъ надъ собою и надъ рукою, которая должна была все это написать. Все время, пока я писалъ это, я чувствовалъ, какую массу отвращенія поселилъ я вдругъ въ душѣ читателя, какъ я опаралъ эту душу, какъ ни за что ни про что осрамилъ ее; я ясно видѣлъ, какъ передернуло у читателя лицо, покоробило весь его организмъ, я чувствовалъ, какъ отвратительно защемило у него въ горлѣ...

Теперь, когда я все это разсказалъ, у меня точно гора свалилась съ плечъ; какой-то жаръ ударилъ мнѣ въ голову, лобъ мой мокръ, точно меня облили водой, но мнѣ несравненно легче, и я самъ могу ужъ облегчить читателя. Прежде всего, конечно, необходимо успокоить читателя по части ребенка; я не только не привелъ въ исполненіе мою черную мысль, но до того ужаснулся ея, что волосы у меня встали дыбомъ, что я испугался себя и... убѣжалъ, убѣжалъ и отъ этого ребенка, и отъ жены, и отъ тепла и уюта. Съ этого момента въ жизни моей начался совершенно новый періодъ, о которомъ своевременно будетъ разсказано въ этихъ запискахъ самымъ подробнѣйшимъ образомъ. Новый періодъ жизни начался и для моей жены, и для моего ребенка. Чтобы ужъ окончательно успокоить читателя по этой части, скажу, что ребенокъ этотъ въ настоящую минуту оканчиваетъ курсъ въ одномъ изъ видныхъ учебныхъ заведеній, вполне обезпечивающихъ карьеру своихъ питомцевъ. Фамилія ему, разумѣется, не Тяпушкинъ, а совсѣмъ другая. Не сегодня-завтра этотъ юнецъ займетъ хорошее и вліятельное мѣсто и... что грѣха таить? Иной разъ я даже побаиваюсь — ну-ка судьба броситъ меня ему въ лапы? «Тяпушкиныхъ» онъ ужъ и теперь ненавидитъ, а попадись я ему, вѣдь пожалуй упеетъ въ мѣста не столъ и столъ? Словомъ, по этой части читатель можетъ вполне успокоиться: не пропалъ и не пропадетъ.

Гораздо труднѣе будетъ для меня успокоить читателя собственно относительно меня самого, моего гнуснаго и подлаго поступка. Что-жъ, въ самомъ дѣлѣ, я-то, Тяпушкинъ, за фигура такая? Человѣкъ я или звѣрь? А сердце мое: точно ли оно самоотверженное, или, напротивъ, каменное, желѣзное, безчувственное? «Всечеловѣческое» оно или

«всеволяче»? Эти вопросы давно терзали и мучили меня, не только по отношенію къ себѣ лично, а и вообще относительно русскаго человѣка. Ренанъ, въ надгробной рѣчи Тургеневу, характеризовалъ его сердце, какъ всечеловѣческое, лишенное «узости эгоизма». И я объ этомъ думалъ не разъ, но меня всегда смущалъ фактъ: «Положимъ, думалъ я:—я человѣкъ «всечеловѣческой»... ну, а какъ же это я своего собственнаго-то ребенка?...» Дѣло оказывалось, да и сейчасъ оказывается, какъ видите, весьма сложнымъ; волей-неволей я долженъ вѣдаться въ нѣкоторыя подробности моей, тяпушкинской, біографіи.

II.

Прежде всего необходимо отвѣтить на вопросъ, который вѣроятно предложитъ мнѣ читатель, прочитавъ послѣднія строки предыдущей главы: «на какомъ основаніи я, Тяпушкинъ, человѣкъ неопредѣленнаго положенія, даю себѣ право совѣтаться съ разговорами о свойствахъ моего тяпушкинскаго сердца въ то время, когда рѣчь идетъ о свойствахъ сердца такого человѣка, какъ Тургеневъ, и имѣю еще дерзость прицѣплять это разночинное сердце даже къ общерусскому сердцу, къ сердцу общеславянскому, о которомъ говорилъ Ренанъ?» На этотъ вопросъ я отвѣчу, во-первыхъ, то, что именно только полное, какъ мнѣ кажется, родство моего тяпушкинскаго сердца съ сердцемъ всероссійскимъ (не скажу всеславянскимъ—не знаю), а въ томъ числѣ и тургеневскимъ, и дало мнѣ право, даже какъ бы обязало разговаривать о подноготной собственнаго моего сердца; и во-вторыхъ, то, что родство это полное и неразрывное—доказывается весьма просто тѣмъ, что всѣ мы, отъ послѣдняго сторожа до Тургенева и далѣе, живемъ и воспитываемся рѣшительно одними и тѣми же условіями русской жизни. Всѣ мы видимъ одну и ту-же природу, и если не одинаково воспринимаемъ, то воспринимаемъ одинаковыя впечатлѣнія и природы, и людей, и семейныхъ, и общественныхъ отношеній; кромѣ того, находясь въ предѣлахъ Россіи, всѣ мы не можемъ миновать (за исключеніемъ небольшой группы высшей аристократіи) обязательнаго для всѣхъ насъ государственнаго воспитанія и образованія; тенденція сельскаго однокласснаго училища и тенденція университета—одна и та же и т. д. Стало быть, разница можетъ быть только въ возможностяхъ ослабить вліянія воспитывающихъ впечатлѣній, или, напротивъ, въ необходимости принимать ихъ не иначе, какъ въ самомъ голомъ, подлинномъ видѣ; степени воспріятія ихъ могутъ измѣняться сообразно положенію человѣка, но съ сущностью впечатлѣній не можетъ не быть знакома даже муза на всемъ пространствѣ Россіи, не только человѣкъ. Сущность для всѣхъ одинакова.

Въ этомъ отношеніи, перебирая въ своей памяти всѣ тѣ вліянія, которыя сдѣлали мое тяпушкинское сердце вопросительнымъ знакомъ, я нахожу, что во всѣхъ этихъ вліяніяхъ не было ничего такого, чего бы не испыталъ и не пережилъ

всякій россіянинъ; только мнѣ, Тяпушкину, пришлось пережить эти вліянія, и принять ихъ на свою шкуру и душу безъ послабленія, безъ снисхожденія, безъ какихъ бы то ни было мягкихъ подстилокъ, искусственныхъ средствъ, вродѣ возможности воспитать и вырастить себя вдали отъ жестокой дѣйствительности, въ тиши уютнаго, теплаго, обезпеченнаго дома, подъ руководствомъ выписанныхъ изъ-за границы учителей. Но и такой русскій человѣкъ, который могъ бы вырастить себя внѣ необходимости знать и принимать въ расчетъ «подлинныя» условія русской жизни, невольно долженъ знакомиться съ этими подлинными условіями жизни, разъ только онъ выйдетъ изъ своего обезпеченнаго уюта на улицу; воспитавъ себя, положимъ, на произведеніяхъ европейскіхъ мыслителей и проникнувшись уваженіемъ къ собственному человѣческому достоинству, привыкнувъ уважать въ себѣ «человѣка», цѣнить свое «я», человѣкъ этотъ однакожъ никоимъ образомъ не можетъ считать себя обезпеченнымъ отъ подлиннѣйшаго знакомства съ постановкой вопроса о человѣческомъ достоинствѣ у насъ, на Руси, на улицѣ, такъ какъ первый же визитъ въ гражданскую палату для заключенія купчей крѣпости, первый же визитъ въ почтамтъ для отправки письма легко и даже неминуемо натолкнетъ его на «нашу» постановку вопроса, докажетъ, что если онъ не дастъ двугривеннаго «Михалычу», который снимаетъ шубу, такъ и человѣческое достоинство будетъ попорано; Михалычъ не укажетъ «настоящаго человѣка» и купчую не заключать когда слѣдуетъ; а дастъ—такъ тотчасъ же и во всѣхъ отношеніяхъ окажутся избытнѣйшія права. Заплативъ такимъ образомъ за право проявленія своего человѣческаго достоинства двадцать копѣекъ серебромъ, человѣкъ, минувшій себя устраннымъ отъ этой грязи, долженъ знать, что не Дидероты и Вольтеры могутъ за него предстательствовать въ обществѣ ему подобныхъ, а лишь двадцать копѣекъ серебромъ... А это большая разница!

Такъ вотъ эту-то «подлинность» условій, «подлинность» русской жизни, я, Тяпушкинъ, принялъ даже безъ возможности внести двадцати копѣечное вознагражденіе въ видахъ снисхожденія. Много бы можно было говорить объ этой снисходительности ко мнѣ жизни, но я не буду путаться въ мелочахъ и запутывать мелочами главное, а прямо обращусь къ главному, и *главное* это, по моему мнѣнію, состоитъ именно въ томъ, чтобы показать, насколько знакомыя всякому русскому условія подлинной русской жизни, во всей своей совокупности, способствовали во мнѣ, русскомъ ребенкѣ, потомъ юношѣ, потомъ взросломъ человѣкѣ, развитію того самаго человѣческаго достоинства, о которомъ только что говорено, и насколько сознание этого «достоинства» могло разрабатывать, развивать, культивировать мое, *лично* мнѣ принадлежащее «эгоистическое» сердце.

Отецъ мой, сельскій священникъ, овдовѣвъ очень рано и, оставшись одинъ съ ребенкомъ на рукахъ (этотъ ребенокъ былъ я), отказался отъ службы

въ сельской церкви, перебрался въ городъ и здѣсь получилъ тяжелое, почти подвижническое назначеніе: его опредѣлили священникомъ при острожной церкви. Благодаря этому назначенію, я, постоянно находившійся при отцѣ, съ десяти-одиннадцати лѣтъ, совершенно ясно могъ видѣть, что жизнь—это неволя, это безличное подчиненіе чему-то невѣдомому и непремѣнно грубому, жестокому, и привыкалъ даже не сомнѣваться если не въ справедливости, то по крайней мѣрѣ въ неотвратимой неизбежности этого вывода. Чего стоить одинъ видъ изъ оконъ нашего пустыннаго, безсемейнаго, трехъ-оконнаго домика, назначеннаго огъ администраціи подъ квартиру острожнаго священника,—видъ, на который я смотрѣлъ ежедневно цѣлые годы... Домикъ, какъ и острогъ, стояли за городомъ, близъ кладбища, за городской заставой. Прямо передъ однимъ изъ крайнихъ оконъ нашего домика, оконъ, едва поднявшихся отъ земли,—отъ той-же земли поднималась кирпичная бѣлая, рябая, нештукатуренная стѣна острога; она перерѣзывала наше окно снизу вверхъ, застила свѣтъ и уходила высоко вверхъ, налегая на весь нашъ домишко темнымъ, никогда и никуда не скрывавшимся слоемъ черной и вѣчной тѣни. Даже изъ другого, не загражденнаго стѣною окошка; виденъ былъ такой-же рябой и такой-же страшный своею плоскою невыразительностью фасадъ острога, страшный, какъ страшно рябое лицо человѣка, на которомъ оспа изгладила выраженіе. На этомъ рябомъ и страшномъ лицѣ острога, большомъ и широкомъ, глядѣли всего только три черныхъ, какъ уголь, и маленькихъ оконца съ желѣзными рѣшетками, а подъ ними черныя, ржавыя, скрипучія и лязгающія цѣпями острожныя ворота, солдаты на часахъ, гаушвахта, на которой, по временамъ, трещитъ барабанъ, заставляя всѣхъ вздрагивать и пугаться, или кричить не своимъ голосомъ офицеръ. Въ то время иначе не разговаривали съ подчиненными, какъ не своимъ голосомъ. Въ дополненіе къ этому «виду» необходимо прибавить, что изъ тѣхъ-же двухъ не загороженныхъ стѣною острога окошекъ, видѣлось прямо кладбище. Валъ, а за валомъ масса крестовъ, каменныхъ памятниковъ съ плачущими фигурами, а направо отъ кладбища длинный желтый заборъ, которымъ былъ огороженъ дремучій, темный садъ сумасшедшаго дома. Съ кладбища доносились плачъ и стоны; въ «сумасшедшемъ саду», какъ выражались наши сосѣди, бродили какія-то тѣни людей; изрѣдка ихъ колпаки, наваленныя на безмысленныя лица, высывались изъ-за желтаго забора; нерѣдко въ глубинѣ этого сада слышались бѣшеные крики, вопль и шумъ свалки, послѣ которой между сосѣдями шелъ такой разговоръ: — «Кто-то вишь хотѣлъ убѣжать, вырвался... ударилъ ножомъ... погнались, догнали, повалили, избили, связали, поволокли»... Очень часто къ этому разсказу прибавлялись и другія свѣдѣнія, которые однако всегда были непріятны: «поволокли и—четыре ребра переложили... Поволокли—и голову проломили... скончался!» А въ острогѣ? И въ острогѣ часто бывало, что кто-то кого-то «пнулъ ножомъ», и отца моего звали по

этому случаю со святыми дарами. Но большею частью было мертвенно тихо: входили туда и выходили оттуда цѣлыя толпы арестантовъ, скованныхъ по рукамъ и ногамъ, входили и уходили, молча гремя цѣпями, молча работали, молча молились въ церкви, такъ что фигура безмолвнаго, скованнаго человѣка, не будучи для меня понятной, стала однако обыкновенной, и вмѣстѣ съ этими обыкновенными, нормальными сдѣлались и тоска, и безнадежность, и безсиліе борьбы, которые неразлучно сопутствовали этой сѣрой, съ желтымъ лицомъ, въ желѣзо закованной фигурѣ. Иногда только тоска, уже обязательная для моего сердца, переходила въ страхъ, холодный и ужасающій.

Спишь, бывало, и слышишь—стучитъ кто-то въ окно: откроешь глаза, темная осенняя ночь, темная, какъ тюрьма.

— Кто тамъ? немедленно спрашиваетъ отецъ, вскакивая съ своего дивана, который стоялъ въ той-же комнатѣ, гдѣ спалъ и я.

— Ваше благословеніе, къ «скрозъ строю» пора!.. Приготовляйтесь! говорить съ улицы сторожъ.

— Ахъ-ахъ-ахъ! да-да-да!.. Сейчасъ-сейчасъ! отвѣчаетъ отецъ, встревоженный, взволнованный, растерзанный, и начинаетъ метаться по комнатѣ, охая, восклицая: «Боже мой, Боже мой!» читая молитвы, трясясь и трепещущими руками завертывая въ энтрахилъ св. дары, крестъ... «Боже мой! Боже мой!» Я не помню мгновеній, когда-бы отецъ мой не былъ въ постоянной нервной тревогѣ: его ѣло собственное одиночество, этотъ острогъ, цѣпи, молитва, моя судьба, его судьба, неуютъ, безкозвѣстность дома. Его длинная сухая фигура въ подрясникѣ, съ длинными женскими разметанными волосами, съ лицомъ, какъ-бы искаженнымъ безпрерывной физической болью, до слухъ поръ, припоминаясь, терзаетъ меня; онъ постоянно вздыхалъ, тревожно входилъ и уходилъ, забывалъ то, что нужно, искалъ чего-то, что было ужъ у него въ рукахъ, цѣловалъ меня порывисто, плакалъ, и слова не сказать, и въ промежуткахъ пилъ водку, не закусывая и не пьянѣя. Никогда почти я не засыпалъ покойно; вздохи отца, восклицанія его— «Боже мой! Боже мой» постоянно мучили меня, и даже заснувъ, я чувствовалъ въ сердцѣ непрерывную физическую боль. Отецъ мой почти не спалъ; всю ночь онъ ворочался, постоянно вставая, постоянно пилъ, становился на колѣни, ложился опять. Всякое появленіе сторожа изъ острога всегда заставало его на ногахъ.

— Поспѣшайте, ваше благословеніе!.. прибавляетъ сторожъ съ улицы.

— Сейчасъ, сейчасъ... сію минуту! Боже мой, Боже мой!

И такъ-же какъ всегда, спѣша, путаясь, роняя то, что бралъ въ руки, надѣвая то, что не нужно, болѣзненно истерически тревожась и замирая сердцемъ, кое-какъ извлекается онъ изъ кухни старуху-кухарку, которая остается со мной и ложится на полу около моей кровати, в отецъ уходитъ... Я слышу, какъ онъ шлепаетъ подъ окнами по грязи, какъ онъ вздыхаетъ, слышу его: «Боже мой! Боже мой» и лежу въ ледяномъ ужасѣ... Тьма и тишина.

Кухарка спитъ, но я не могу сомкнуть глазъ — они широко раскрыты, а чуткость слуха достигла невѣроятныхъ размѣровъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ мертвой тишины, по удаленіи отца, я слышу какой-то окрикъ—это опять «невѣроятнымъ» голосомъ что-то командуетъ офицеръ, и голосъ этотъ теперь съ просонка и холода звучитъ особенно ужасно. Еще звукъ: это звякнули ружья... еще заскрипѣли ржавыя ворота... «Выводятъ!» съ ужасомъ думаю я... Если потребовали отца, стало-бытъ будетъ что-то ужасное... Еще звуки и шумъ, много голосовъ, много команды. Но вотъ на мгновенье все затихло и тотчасъ же въ полу нашего домишки я замѣчаю что-то необыкновенное: какая-то невѣдомая сила, духъ, начинаетъ, какъ мнѣ кажется, снизу, изъ-подъ полу стучать кулакомъ въ половицы; стучитъ осторожно, мѣрно, но твердо... Я совсѣмъ замираю, задыхаюсь, но скоро начинаю соображать въ чемъ дѣло: нѣтъ, это не духъ — это тронулся въ путь отрядъ солдатъ, ихъ человѣкъ пятьсотъ, они идутъ въ ногу, разъ-два, разъ-два; и вотъ эти-то шаги отдаются у насъ въ домишкѣ, подъ поломъ. Удары становятся тише... солдаты уходятъ, наконецъ ихъ совсѣмъ не слышать... Настаетъ, дѣйствительно, мертвая, невозмутимая тишина, но слухъ не мирится съ нею, онъ наполняетъ ее ужасными звуками: они доносятся издалека, изъ-за кладбища... я слышу глухой, точно въ глубинѣ земли зарытый звукъ барабана, звукъ не прерывающійся... а рядомъ съ нимъ тянется протяжный, непрерывный, жалобный крикъ крошечнаго ребенка... Нѣтъ! это не ребенокъ кричитъ... это *тотъ*... Это огромный какой-то кричать дѣтскимъ голосомъ... Боже мой, гдѣ мой отецъ? А барабанъ стучитъ подъ землей долго-долго.

— Боже мой! наконецъ слышу я шопотъ подъ окномъ, и вижу вбѣгающаго растерзаннаго, полупомѣшаннаго, какъ листъ дрожащаго, блѣднаго, съ мокрымъ лицомъ и мокрыми волосами, отца...

Я радъ, что увидалъ отца, радъ, что я живъ. Я радъ, что сначала появленіе отца и потомъ появленіе первыхъ лучей дня сняло съ моего сердца это ужасное впечатлѣніе. Радъ, что на сердцѣ пусто, что тамъ ничего нѣтъ, слава Богу! Послѣ «такихъ» минутъ всѣ тревоги, всѣ муки отца, которыя начинаются въ томъ-же порядкѣ и продолжаются какъ всегда,—это уже ничто, это я уже могу переносить: я даже могу уже заснуть, правда, «какъ избитый».

III.

Такъ вотъ въ такихъ-то впечатлѣніяхъ, измѣрающихъ самую мысль о какихъ-то достоинствахъ и «правахъ» личности, пришлось провести мнѣ самые рѣшачіе годы, отъ десяти до шестнадцати-лѣтняго возраста. Конечно, при иныхъ условіяхъ, тѣ-же самыя впечатлѣнія могли-бы развить во мнѣ начало жгучаго негодованія, но дѣло въ томъ, что еще ранѣе этихъ совершенно ясныхъ и до сей минуты вполне отчетливо ощущаемыхъ воспоминаній, въ жизни моей были такія тяжелыя

явленія, которыя хоть я и помню весьма смутно, какъ-бы въ туманѣ, но общее впечатлѣніе которыхъ было такое, что умерщвляло самый зародышъ протеста во имя какихъ бы то ни было человѣческихъ правъ.

Къ такимъ подготовительнымъ къ атрофіи сердца впечатлѣніямъ дѣтства относятся мои смутныя воспоминанія о времени, когда отецъ мой былъ сельскимъ священникомъ и жилъ съ моею матерью въ деревнѣ. Смутно я помню это время, но помню, что оно было не хорошо и тяжело ложилось на душу. Тягостный семейный раздоръ, глухой, свищевый, неизбывный, проникалъ холодной безжизненностью каждую каплю воздуха маленькѣхъ, неуютныхъ и неопрятныхъ комнатъ нашего деревенскаго жилья. Огромная масса тогдашняго священства вступала въ бракъ непремѣнно вопреки человѣческому достоинству, непремѣнно отказываясь отъ этого достоинства, ставя ни во что быть искреннимъ и свободнымъ въ такихъ отношеніяхъ, гдѣ необходимо быть свободнымъ. Одно это уже прекращало дѣятельность сердца у сотей тысячъ народа на Руси, переходило изъ поколѣній въ поколѣнія и, благодаря этому, выработало поразительные типы буквально безсердечныхъ людей, людей съ атрофированнымъ сердцемъ, людей, о которыхъ въ настоящихъ запискахъ будетъ сказано особо. Мой отецъ и мать были жертвами этого принципа. Ни онъ, ни она не подходили другъ къ другу, не понимали другъ друга, не нравились другъ другу, и жили въ безпрерывной, мрачной тоскѣ иногда нескрываемаго отвращенія, а иногда горькаго сознанія общаго безвыходнаго горя и несчастія. Да и самое «знаніе» было не по душѣ моему отцу, объ артистическихъ способностяхъ котораго я скажу ниже. Онъ былъ натура нервная, впечатлительная, расположенная къ изящному, а тутъ старая крѣпостная деревня съ забытыми крестьянами, представлявшими къ отцу иногда чисто языческія требованія, и помѣщикъ-самодуръ, «воля» котораго царилъ и надъ отцомъ, и надъ крестьянами, и «воля» эта была глупая, грубая, пустомысленно жестокая, неслучайная... Мать моя, которую я любилъ—только не человѣческой, а «человѣчьей» любовью—мучилась и томилась своимъ «несчастіемъ», иногда даже прямо бѣсновалась. громко выкрикивая какія-то обиды, перечисляя жениховъ, которые за нее сватались, проклиная себя, опять-таки громко и даже «во все горло». за то, что она была дура, отказавши тому, другому, и полюбивши на теперешняго мужа, отъ котораго не видитъ ни вниманія, ни заботы, ни любви. Маленькую, толстую фигурку ея, съ нехорошимъ выраженіемъ глазъ, я помню главнымъ образомъ именно въ моментъ безжалостнаго гнѣва ея на моего отца, помню почему-то съ огромнымъ негодованіемъ перебрасывающую подушки двухспальной кровати. Она стелетъ постель и при этомъ почему-то и рветъ, и мечетъ... Мнѣ помнится, что гнѣвные, бѣшенные удары руки моей матери объ эти подушки, бѣшенные встряхиванія простыни и одѣяла, что они какъ вожомъ рѣжутъ отца, что

они не удары о подушки, а удары о его лицо; и отца—непрерывно взволнованного, непрерывно виноватого и непрерывно обязанного падать нравственно все ниже и ниже—я тоже не раз выдалъ въ бѣшенномъ состояніи, потому въ рабскомъ, холопскомъ. Я помню это время, но помню, какъ тяжкій, беспросвѣтлый сонъ. Что тутъ любить? Что тутъ было человѣческаго, «по человѣчеству» справедливого, красиваго, пріятнаго?

А деревня?

Прямо изъ оконъ нашего дома, за высокими деревьями сада, видѣлся кусокъ красной, неуклюжей, съ четырьмя трубами, крыши барскаго дома. Домъ стоялъ на косогорѣ, и намъ видна была крыша. А въ домѣ жилъ «баринъ», а отъ барина исходила «воля» жить въ деревнѣ такъ или сякъ; про этого-то барина въ деревнѣ осталось преданіе, что, желая прекратить его глупую, даже безхозяйственную жестокость, крестьяне сожгли не барина, а сами себя— всю свою деревню. «Сожги барина— насъ-же заставятъ строить: а какъ мы себя изведемъ, такъ съ чего онъ возьметъ?» Однако баринъ взялъ и истощилъ мужиковъ до послѣдней нитки. Деревня была неуютная, непривѣтливая, бѣдная. Даже рѣдко гдѣ были загородки вокругъ избъ. Одураченные мужики кое-какъ влачили, въ грязи и неряшествѣ, свое существованіе. Тяжесть приказовъ мухортаго, глупаго и безответственнаго барина убивала въ деревнѣ всякую личную энергію— даже на себя работать и то опускались руки у мужиковъ. Голодъ, неряшество, лѣнь и грызня— вотъ что царило надъ деревней и въ натурѣ деревенскихъ обывателей. Даже сосѣдніе мужики, жившіе мало-мальски исправнѣе, смотрѣли на нашихъ мужиковъ, какъ на сплошныхъ дураковъ и ротозѣевъ, къ тому-же еще нечестныхъ на руку. Глупость, исходящая изъ дома подъ красной крышей и оглулявшая всю деревню, была по истинѣ безпримѣрная; такъ напримѣръ, баринъ, желая узнать, кто изъ дворовыхъ укралъ у него мѣшокъ овса, принимался гадать. Для этого онъ открывалъ псалтырь, гдѣ придется, съ закрытыми глазами, тыкалъ, куда попало, и, прочитавъ строчку, которую указывалъ палецъ, начиналъ думать, что эта строчка означаетъ, на кого указываетъ? На кучера? На лакея или на бабу-солдатку Аксинью? Отецъ мой получалъ множество приказаній разъяснять текстъ и представлять соображенія, на кого именно изъ прислуги слѣдуетъ, согласно смыслу текста, обрушить наказаніе? И отцу приходилось служить этой подлости, конечно опять-таки бѣснуясь. Даже и тогда, когда въ домѣ нашемъ и во всей деревнѣ— не исключая и дома съ красной крышей— царилъ мертвая тишина, кѣ-тогда казалось, что въ глубинѣ этой тишины скрыто какое-то тайное, придавленное бѣснованіе.

Нѣтъ! не о человѣческомъ достоинствѣ говорятъ такіе воспоминанія! Тѣмъ менѣе говорятъ они о протестѣ... Какое! Сколько я ни припоминаю всѣхъ этихъ мучающихся, бѣснующихся, страдающихъ и обремененныхъ, надъ всѣми ними тяготѣло сознание собственной вины, уничтожавшей малѣйшее право

протеста. Всѣ въ глубинѣ души признавали себя безсовѣстными, безжалостными, тупоумными, безсердечными. Это сознание проявлялось въ самыя лучшія минуты. Конечно все дѣлалось поневолѣ, но все-таки дѣлалось, и дѣлалось притомъ нѣчто скверное, такъ что и въ искреннюю минуту никто даже и не смѣлъ помыслить о своей невинности и правотѣ. «Грѣхъ» и неизбѣжное за него наказаніе висѣли надъ всѣми, когда мало-мальски проявлялось сознание и просыпалась совѣсть. И надъ отцомъ, и надъ матерью, и надъ кучеромъ, который по приказанію барина сѣчетъ своихъ близкихъ, и надъ близкими, которые даютъ волю кучеру, и надъ матерями, которые не вступаются за дѣтей,—надъ всѣми тяготитъ сознание измѣны противъ ближняго, сознание попраиіа своей совѣсти изъ какого-то страха, узости и мерзости душевной, безсовѣстности. Вотъ почему, сколько я помню, въ такіе искреннія минуты ни мужики, ни бабы, ни отецъ, ни мать не задумывались о томъ, какъ-бы выдти изъ этого положенія, развязаться съ нимъ, очистить свою совѣсть и развязать другихъ. Напротивъ, въ искреннія-то минуты и начинались душевные разговоры о томъ, «что кому будетъ за все это?». Не знаю, какъ кому, но мнѣ никогда не приходилось слышать, чтобы представленія народа объ раѣ, о наградахъ на небесахъ были такъ-же подробно и ясно выработаны, какъ представленія объ адѣ, о томъ, что кому и за что будетъ. Въ раю, сколько я знаю, никто никогда не указалъ мнѣ никакихъ подробностей обстановки, никакого удовлетворенія настрадавшейся на землѣ душѣ, кромѣ какихъ-то золотыхъ яблочекъ да архангельскаго пѣнія. Тогда какъ адъ—это другое дѣло! Адъ разработанъ народною фантазіей до мельчайшихъ подробностей; здѣсь все изслѣдовано такъ подробно, точно изслѣдователи имѣли въ рукахъ программу на этотъ счетъ отъ какого-нибудь статистическаго комитета.

Я не ошибусь, если скажу, что въ ряду моихъ тяжкихъ воспоминаній—воспоминаніе о тяготеющемъ надъ всѣмъ родомъ людскимъ тяжкомъ грѣхѣ, грѣхѣ, для меня хотя совершенно нецѣлѣкомъ, непостижимомъ, но не подлежащемъ сомнѣнію, и о жестокомъ наказаніи, которое должно постигнуть всѣхъ насъ за этотъ тяжкій, неизбывный грѣхъ, воспоминаніе объ этихъ подробностяхъ адскихъ мученій, крюковъ, воткнутыхъ въ ребра, огня, полымя и срада, несмотря на свою смутность, отдаленность, имѣло едва-ли не самое сильное и важное значеніе для дальнѣйшей участи моего сердца. Можно положительно сказать, что я едва только вышелъ изъ утробы матери, какъ узналъ, что въ концѣ-концовъ мнѣ предстоитъ крюкъ въ ребро и огонь, и что, кромѣ какой-то неизбывной вины и тяжкаго грѣха, нѣтъ ничего важнаго и значительнаго.

Вотъ главнѣйшія черты, лежащія въ основаніи исторіи моего сердца. Было впрочемъ среди этихъ смутныхъ воспоминаній одно, которое совершенно не подходило къ тягостной сущности того, о чемъ я рассказываю, и интересъ къ которому развился уже

во мнѣ чрезъ многіе годы, во время моихъ скитаний въ народной средѣ. Это «неподходящее» воспоминаніе касается смутнаго знакомства съ такимъ народнымъ типомъ, который ничего общаго, какъ ужъ я сказалъ, съ разсказаннымъ не имѣетъ. Типъ этотъ, олимпійски спокойный, сказочный парендурочко мелькаетъ мнѣ не только не забытымъ, не дурашнымъ, не трусливымъ, но, напротивъ, спокойно охаивающимъ всѣхъ и вся: и небо, и землю, и барина, и барыню, и пона, и попадью, словомъ, — всякія человѣческія отношенія, связи, установившіяся мнѣнія — все! Все имъ почему для этого типа; онъ умѣетъ все это такъ ужасно осрамить, такъ умѣетъ разорвать на части однимъ юмористическимъ словомъ самое, повидимому, непреложно важное, серьезное явленіе, понятіе, вѣрованіе, обычай... Я смутно помню, какъ этотъ типъ переворачивалъ во мнѣ все вверхъ дномъ двумя-тремя словами, скабрзной сказкой разгоняя мрачную дѣйствительность, расшвыривая ее, какъ прахъ по вѣтру, и возводя меня куда-то на высоту издѣвательства. Я смутно объ этомъ помню, но помню, что, дохнувъ, благодаря этому Иванушкѣ-дурачку, какого-то свѣжаго, «играющаго» воздуха, я опять скоро подчинился подавляющему вліянію «безчеловѣческой» дѣйствительности.

Эта дѣйствительность, о которой я едва сказала миллионную долю подробностей, прямо и неотразимо вела меня къ полной атрофіи сердца, и я несомнѣнно-бы въ концѣ концовъ сталъ въ ряды тѣхъ безчисленныхъ на Руси безсердечныхъ исполнителей чужого приказанія, которые и сейчасъ, и каждую минуту, даютъ знать о своемъ огромномъ изобиліи на Руси. Но отъ атрофіи сердца меня спасло не знакомство съ охаивающимъ всѣхъ и вся типомъ, а нѣчто совершенно случайное, нѣчто, пожалуй, совершенно неожиданное... Это не было ни доброе слово, ни человѣческое участіе, ни ласка, ни любовное человѣческое вниманіе къ моей человѣческой заботѣ и угнетенности. Нѣтъ! Я ничего этого не видалъ... Это было... Нѣтъ, это были...

Это были просто-на-просто гусли!

Я ужъ сказалъ, что у отца были артистическія наклонности, и онъ примѣнялъ ихъ къ музыкѣ. Онъ учился и съ успѣхомъ игралъ на гусли, и я съ ранняго дѣтства, начиная съ той минуты, когда испугался «грѣха» и желѣзнаго крюка, зацѣпленнаго за «ребро», продолжая угнетающимъ сердце впечатлѣніемъ семейнаго ада и тупымъ ужасомъ впечатлѣній острога, «сквозь строя» и т. д., постоянно слышалъ и радъ былъ слышать эти унылые, стройные, и нервные звуки, исторгаемые моимъ отцомъ изъ металлическихъ струнъ старыхъ-престарыхъ гуслей, помѣшавшихся то въ углу неряшливой комнаты въ деревнѣ, то передъ тѣмъ самымъ окномъ, которое загоразживала въ нашемъ городскомъ домикѣ острожная стѣна. Жалобные звуки эти знакомили меня съ чувствомъ жалости; ничто, буквально ничто другое не знакомило съ нимъ; напротивъ, все, что я видѣлъ, могло возбуждать страхъ, тоску,

горечь, отраву, испугъ, доходившій до полнаго замиранія сердца, но такого нѣжнаго, деликатнаго чувства, какъ жалость, не возбуждало. Это совершенно случайно сдѣлали гусли, сдѣлали, такъ сказать, механически. Отъ этихъ звуковъ мнѣ становилось просто жалко, кого? Кто несчастнѣй? Мать? Отецъ? Баринъ? Мужикъ? Тотъ, кто билъ? Или тотъ, кого колотятъ? Всѣ несчастны, бѣшены, злы, подлы, измучены, всѣ виноваты, всѣ придавлены. И вотъ, механически возбужденное чувство жалости стало обращаться не къ кому-нибудь и не къ чему-нибудь изъ того, что и кого я передъ собой видѣлъ, а къ чему-то отдаленному, къ какому-то огромному, надо всѣми и всѣмъ висящему горю.

Отдѣльно обо всѣхъ я бы могъ «мучиться» бесплодно, а *жалить* я началъ *всѣхъ*. Отвыкнувъ совершенно думать и знать, что бы я могъ пожелать «для себя», что *для меня* лучше, что *для меня* хуже, что лучше и хуже для отца, матери, я могъ только желать одного: избавиться, освободиться отъ этой бесплодной муки... Жалостливое чувство развило вниманіе вообще къ горю, и, не зная, что *лучше* для себя, я начиналъ думать, что *для всѣхъ* (никакихъ лицъ я при этомъ не представлялъ) должно быть и лучше, и легче!..

IV.

Конечно не всякому изъ російскихъ гражданъ выпадаетъ на долю такое неприкрашенное и ничѣмъ несмягченное знакомство съ условіями жизни, уясняющими подлинное положеніе дѣла «о правахъ человѣка» на Руси. Но какъ-бы эти подлинныя условія ни были смягчены богатствомъ, положеніемъ, связями, образованіемъ — сущность ихъ непремѣнно знакома каждому. По крайней мѣрѣ ни въ жизни, ни въ литературѣ я не знаю типа, въ нравственномъ складѣ котораго, хотя-бы даже въ слабой степени, была примѣтна какая-нибудь черта, говорящая о томъ, что типъ не чуждъ увѣренности въ необходимости для «личности» человѣческой какихъ-то правъ. Я никогда не слышалъ, чтобы откуда-нибудь раздался простой человѣчскій голосъ: «мнѣ нужно», «мнѣ неудобно» и т. д. Напротивъ, постоянно только слышишь: «возьмите насъ», «прикажите намъ!». Вообще-же въ массѣ, въ необразованной русской толпѣ слово «право» иногда означаетъ просто чортъ знаетъ что.

Вообще, если не всякому приходилось приобретать первыя свѣдѣнія насчетъ отсутствія «правъ» въ той-же мѣрѣ жестоко, какъ выпало на мою долю, то всякій долженъ былъ неизбежно познакомиться съ ними въ школѣ.

Школа была для всѣхъ одна.

Подробно я не буду вспоминать этой душевной, старой школы, этихъ мертвыхъ годовъ, проведенныхъ въ ея стѣнахъ; но тонъ, царствовавшій въ ея нравахъ и звучащій въ ея ненавистныхъ «краткихъ» учебникахъ, будетъ достаточно ясенъ изъ слѣдующаго незначительнаго эпизода.

Инспекторъ въ нашей гимназій былъ человѣкъ

совершенно типическій по тогдашнему времени — человекъ мертвѣго сердца и мертвѣго ума. Тишина, молчаніе, фронтъ (тогда военное время внесло и въ гражданскія учебныя заведенія военные приемы), стрижка подъ гребенку, аккуратно всѣхъ поголовно, всѣхъ въ извѣстный день и часъ, вотъ матеріалъ, на которомъ онъ практиковалъ свое мертвое сердце. Онъ даже не могъ переносить разнообразія въ фамиліяхъ учениковъ. Что это такое въ самомъ дѣлѣ — одинъ Кузнецовъ, а другой Прокопенко, третій Вруевичъ, а четвертый Кульчицкій? Одни окончанія на «ко», «цкій», «скій», «овъ», «вичъ» — и то ужъ казались ему какими-то безобразіемъ, своевољествомъ, безпорядкомъ и полнымъ отсутствіемъ стройности и гармоніи; онъ хотѣлъ, чтобы даже и въ этомъ отношеніи всѣ были «подъ гребенку»...

Такъ вотъ этотъ-то прямолинейникъ выдумалъ номера къ платьямъ учениковъ, точъ въ точъ такіе, какъ теперь заведены во всѣхъ публичныхъ мѣстахъ, только тѣ, историческіе, были большіе, величиною съ тогдашній пятакъ. Снять въ швейцарской платье, надо было взять номеръ. Инспекторъ провѣрялъ по списку дежурныхъ количество неявившихся въ классъ, словомъ, дѣлалъ, чортъ знаетъ, какой вздоръ, отнимавшій много времени. И все записывалъ: записывалъ и того, кто, снявъ платье, не взялъ номера, и того, кто, надѣвъ платье, не возвратилъ его на надлежащее мѣсто. Всѣ эти проступки присоединялись къ проступкамъ относительно неточной стрижки, вихровъ, неимѣнія гребенки и прочей глупости, и въ концѣ концовъ въ субботу для каждаго Иванова и Кузнецова получался итогъ какихъ-то преступленій, результатовъ котораго были «безъ обѣда», на «колѣни», «въ карцеръ», «безъ отпуска» и, разумеется, розги въ самыхъ разнообразныхъ пропорціяхъ. Можете представить, что сдѣлалъ со мной этотъ варваръ, узнавъ, что я просто-на-просто потерялъ жестянку, если онъ дралъ за то, что забудешь ее возвратитъ или взять! Не говоря ужъ, что я, «хвativшись» этой жестянки, остоленѣлъ и обезумѣлъ отъ страха, я до такой степени былъ потрясенъ и нравственно раздавленъ тѣмъ, что этотъ варваръ продѣлалъ надо мною, что до сей минуты не могу безъ трепета вспомнить объ этомъ «нумеркѣ» и неволью чувствую въ душѣ какое-то благо-раствореніе, когда, раздѣваясь наприпѣръ въ швейцарской у Палкина, слышу великодушныя слова швейцара:

— Пожалуйте, господинъ, — и безъ нумерка!

И безъ нумерка! Боже, какое блаженство! И какихъ еще намъ надо «миллюій», безумные, когда «и безъ нумерка можно, господни!» А какъ я за этотъ нумерокъ былъ поправъ и нравственно раздавленъ. Но именно благодаря этой раздавленности, я могъ только терзаться, чувствовать свое ничтожество, и не имѣть ни малѣйшей капли смѣлости, утобы допустить даже тѣмъ мысли о протестѣ. Мало этого: едва оправившись послѣ тиранства и прійдя какъ разъ на урокъ этого тирана (онъ-же былъ и учителемъ русской исторіи), я даже совер-

шенно забылъ о томъ, что передо мной стоитъ мой тиранъ, забылъ совершенно, подъ впечатлѣніемъ его топорнѣйшей лекціи, въ которой черезъ каждыя три фразы четвертая была непремѣнно такая: «Мы расширили свои предѣлы «отъ» «до»... Затѣмъ слѣдовали новыя три фразы о мудромъ приказаніи, и за нимъ опять та же четвертая о томъ, что послѣ этого приказанія только-что расширенныя предѣлы опять расширились еще дальше «отъ» «до» и все безъ малѣйшихъ трудностей, даже какъ-бы безъ людей, а съ помощью какого-то «мы взяли», расширили. И вотъ-это-то «мы» и неизмѣнно сопровождавшій его результатъ расширенія нашихъ предѣловъ могли настолько овладѣть моимъ вниманіемъ, что я почти легко забывалъ личное, позорнѣйшее униженіе. Мнѣ ужъ было пріятно за этихъ «мы», за нихъ «успѣхъ». Хотя, повторяю, ни лицъ человѣческихъ, ни человѣческихъ сердецъ и мыслей — ничего этого я въ представленіи о «мы» не различалъ, да и не могъ бы этого сдѣлать, потому что по частямъ «мы» состоятъ изъ такихъ-же фигурокъ, какъ и я, Ивановъ 47 и Ивановъ 77? Меня вонъ избили недавно за нумерокъ, осрамили, раздавали даже возможность мысли о негодованіи, я радъ, что измученное «я» можетъ отдохнуть въ представленіи блистательныхъ успѣховъ какого-то безформеннаго «мы». Хорошо, очень я радъ, что черезъ каждыя пять минутъ расширяются границы, а лучше-ли мнѣ отъ этого, легче-ли будетъ, зачѣмъ мнѣ это — эти вопросы ужъ не могли возникать въ головѣ. Напротивъ, хотѣлось исчезнуть въ этомъ «мы», пойти-бы туда, потому что мнѣ-то ничего не нужно; потому что я могу думать только о моемъ ничтожествѣ и ничего, кромѣ муки, не ощущать. А тамъ нѣтъ ни меня, ни моихъ мукъ, ни моей личности, а все подъ гребенку, все одно «мы»... въ немъ какая-то огромная сила (которой я въ отдѣльности капли не чувствую въ себѣ). Эта сила и меня возьметъ, и меня совершенно освободитъ отъ самого себя, и расширитъ предѣлы еще дальше.

V.

Плачевные результаты всей этой системы, про-никавшей и обиходъ жизни, и положенной въ основаніе школы, всѣмъ намъ пришлось очень скоро видѣть собственными нашими глазами и ощущать ихъ въ самихъ себѣ. Когда послѣ крымской войны повѣяло весной, запахло «разрытой землей», предвѣщавшей конецъ чему-то отживающему, блѣдному, какъ смерть, и разлагающемуся, какъ трупъ. Для молодежи настали дѣйствительно совершенно нныя времена. Что никогда не бывало, мы увидѣли людей, которые стали относиться къ намъ съ величайшею вѣжливостью, подавали руку, приглашали къ себѣ на квартиру, не для того чтобы получить взятку, а чтобы «потолковать», разсѣять наши недоразумѣнія, если они есть, спросить о томъ, что интересуетъ и чего не понимаешь. Наялучшіе типы этого новаго поколѣнія учителей дошли до такой деликатности, что стали

выставлять балы на вѣру, не спрашивая. — «Знаете вы, Ивановъ?» — «Знаю.» — «Сколько-жъ бы вы хотѣли, чтобы я вамъ поставилъ?» — «Пять-съ!» — «Вы увѣрены, что это не много?» — «Нѣтъ-съ!» — «Извольте!» И, вѣря на слово, ставили столько, сколько желалъ Ивановъ. Они стали намъ читать, какъ студентамъ, отличнѣйшія, интереснѣйшія лекціи, не спрашивая, не экзаменуя (я говорю объ учителяхъ старшихъ классовъ), не ставя ни единицъ, ни минусовъ, ни плюсовъ. И, несмотря на то, что эта манера обращаться по-человѣчески намъ чрезвычайно была пріятна, и на то, что лекціи намъ до чрезвычайности нравились, и что учителей мы любили, чувствовали къ нимъ симпатію, отсутствіе въ насъ «личности», чувства личной отвѣтственности, обязанности и чести развѣдало насъ, какъ свѣжій воздухъ трупы. Мы какъ-то разслабли отъ этой гуманности, размякли, даже развратились. Лгать въ глаза «любимому» учителю, не учить никакихъ уроковъ, пьянствовать, вмѣсто того, чтобы «самостоятельно» работать, вотъ примѣрно въ какихъ некрасивыхъ формахъ отразилось на насъ человѣческое отношеніе къ намъ новыхъ учителей. Мы знали, что это новое хорошо, чувствовали его свѣжесть въ собственной груди, голосѣ, но у иныхъ изъ насъ совсѣмъ не было оравана, чтобы воспринять это хорошее, не было сердца, и это новое бродило въ насъ, въ крови, въ сознаниі, бурлило, пробуждало грубыя, не развившіяся (гдѣ и на чемъ имъ было развиваться?) потребности сердца. Мы какъ-будто оцѣпѣвали отъ этого новаго и свѣжаго и разслаблялись по всѣмъ суставамъ. Въ первый-же годъ на окончательномъ экзаменѣ никто не могъ отвѣтить ни единого слова ни на одинъ вопросъ; перзабыли все, даже и то, что знали прежде. Между тѣмъ у огромнаго большинства были «круглыя пятерки», поставленныя учителями по довѣрію къ честному слову. Новые учителя были потрясены нашей безсовестностью. Мало этого, одинъ изъ самыхъ лучшихъ когда-то учениковъ не только теперь оказался ровно все перзабывшимъ, но позволилъ себѣ явиться на экзаменъ въ пьяномъ видѣ, стоялъ какъ столбъ, пока ему предлагали десятки вопросовъ, желая его ободрить и добиться хоть какого-нибудь отвѣта, а онъ только моргалъ, мычалъ и вдругъ сталъ кидать. Мало того, осрамившись на экзаменѣ, мы — неизвѣстно кто изъ нашего курса — чтобы выбраться изъ сквернаго положенія, вдругъ просто-на-просто обокрали канцелярію, гдѣ хранились списки и отвѣтки, и такимъ образомъ до того потрясли начальство, что оно должно было всѣмъ намъ дать аттестаты на право поступленія безъ экзамена въ университетъ, чтобы не осрамиться разглашеніемъ о такомъ полномъ паденіи нравственности цѣлаго курса. Почти всѣ мы потомъ очувствновались и оправдывались отъ этого безсовестнаго момента, всѣ мы помнили этихъ благороднѣйшихъ людей, которыхъ мы тогда такъ ужасно осрамили и разочаровали, всѣ мы знаемъ, что ими только мы и возрождались къ жизни. Да нѣтъ, даже и тогда, въ самый моментъ

нашего развращенія мы чувствовали и знали, что это скверно, омерзительно, но не могли остановить себя. Одинъ изъ новыхъ нашихъ наставниковъ вздумалъ, напримѣръ, для облагораживанія нашихъ нравовъ, устроить въ мѣстномъ женскомъ пансіонѣ по субботамъ литературно-музыкальные и танцевальные вечера. Онъ водилъ туда старшихъ воспитанниковъ гимназіи изъ гимназическаго пансіона. И что-же? сердца-то наши были такъ не разработаны, мертвы, дикі, звѣрообразны, что хорошее начало имѣло самый нехорошій конецъ. Конечно не въ женскомъ пансіонѣ онъ могъ выразиться, но выразился скверно: въ одно майское утро въ директорскомъ саду нашли въ безчувственномъ состояніи директорскую горничную, которая, очнувшись, рассказала потрясающую исторію про нѣкоторыхъ изъ воспитанниковъ пансіона. Скверно-скверно, а иначе едва ли могло быть: жизнь и школа обрабатывала насъ исключительно для безпрекословнаго повиновенія и служенія чему-то, что говорить «не намъ, не намъ». — Ивановъ! Поди разорви вотъ то! И Ивановъ пошелъ-бы и, не спрашивая, не разбирая, что такое это «то», — разорвалъ-бы.

Я, Тапушкинъ, конечно не могъ быть нечастнымъ этому моменту разложенія, и я испугался самого себя; я увидѣлъ, что подъ гнетомъ всего мною пережитаго, воспринятаго со стороны, мое собственное сердце оставалось нетронутымъ, т. е. совершенно дикимъ, съ задатками иногда дикихъ желаній. Но меня спасло то, что въ моемъ маленькомъ звѣручьемъ сердцѣ, помимо ощущенія тяжести пережитаго, было уже зерно жалости, жалостливой тоски не о моемъ горѣ и бѣдѣ, а о какомъ-то чужомъ горѣ и бѣдѣ. Была жалость къ какимъ-то «нимъ», «тѣмъ».... А школа прибавила къ этому знакомство съ ощущеніемъ и радости за «нихъ» успѣхъ, желаніе быть среди этой чуждой мнѣ и моему ничтожеству силы. И вотъ, благодаря этимъ задаткамъ нѣкотораго интереса и вниманія къ чему то горькому, чужому, я, испугавшись себя, своего недостойнства, прямо бросился, благодаря новымъ наставникамъ, на книгу, быстро дошелъ до послѣдней страницы, а эта страница, какъ я ужъ говорилъ раньше, говорить какъ разъ то, къ чему меня привели, неотразимо, волей-неволей и школа, и жизнь: убавляй себя для общаго блага, для общей справедливости, для умаленія общаго зла. Чего-жъ мнѣ было убавлять себя, когда меня совсѣмъ не было? И общее горе, общую несправедливость надъ этимъ огромнымъ «мы» — послѣдняя страница выяснила мнѣ въ самой точной, самой прозаической формѣ; выяснила, повторяю, точно, сухо, но неопровержимо указала мнѣ пункты зла, пункты дѣла, самые корни язвъ, бѣдъ, несовершенствъ, несправедливостей. Не было на этой страницѣ никакихъ частностей, мелочей, не было никакихъ подробностей жизненныхъ бѣдъ этого чужого мнѣ полчища человѣческаго — иногда не было даже словъ, были цифры, таблицы, дробы вмѣсто людей и словъ, — но эти-то цифры были мнѣ понятнѣй и могли ужасать меня самымъ искрен-

нимъ образомъ, могли жечь мой мозгъ гораздо сильнѣе, чѣмъ подлинныя стоны и бѣды, изъ которыхъ цифра только экстрактъ. Подлинныхъ стоновъ жизненныхъ, человѣческихъ мелочей, изъ которыхъ выходили эти цифры «последней страницы», я-бы не выдержалъ, они-бы меня замучили; сердце мое, по незначительности своего развитія, своей отзывчивости на *человѣческую* мольбу, могло-бы даже ожесточиться, а не размягчѣть: я самъ никогда не смѣлъ *почеловѣчески* относиться къ себѣ и къ своему горю, стону. Я даже понятія не имѣю о моемъ правѣ стонать, жаловаться, требовать облегченія, я отвыкъ отъ этого. Какъ-же я могу глаголю чувствоваться мелочное горѣ другихъ? Оно меня только измучаетъ, и я поспѣшу отогнать его отъ себя... Но эта боль, спрессованная въ маленькую цифру, въ которой не видно никакихъ отдѣльныхъ, человѣческихъ образовъ и страданій, — мнѣ понятна; она, потрясая мой умъ, развиваетъ тотъ зародышъ жалости, который уже есть во мнѣ, къ пониманію общихъ, всечеловѣческихъ бѣдъ, гонитъ къ нимъ, обязываетъ сосредоточивать вниманіе только на нихъ...

Я не буду входить въ подробности о томъ, какъ умеръ мой отецъ, какъ, не имѣя возможности попасть въ университетъ, я скитался кое-гдѣ у знакомыхъ моего отца и у добрыхъ людей изъ «новыхъ». Но скажу, что «книга», которая овладѣла мною въ это время, съ каждой минутой, своими сухими, но многозначительными цифрами, доказывала мнѣ, что я обязанъ идти куда-то. быть тамъ, гдѣ терпѣть и стонуть; я чувствовалъ, что мнѣ надо бѣжать куда-то отъ этихъ «людей», совершенно опредѣленные фигуры и фizioноміи которыхъ я вижу, и съ которыми «ничего *общаго* не имѣю», бѣжать не къ какимъ-то другимъ людямъ, а къ какимъ-то живымъ массамъ несправедливостей, неурядицъ, требованій, одушевленныхъ въ видѣ человѣческихъ массъ, а не человѣческихъ личностей.

И точно, я убѣждалъ. Убѣждалъ я почему-то въ ту самую деревню, гдѣ родился, и гдѣ осталась жить прабабка моей матери. Не знаю, почему я вспомнилъ о ней; вѣроятно потому, что мнѣ просто было нечего ѣсть. И на первыхъ-же порахъ опять испугался себя... Еслибы «они» какимъ-то не человѣческимъ, а «особеннымъ» образомъ сказали мнѣ: «пропади за насъ», я бы немедленно исполнилъ эту просьбу, какъ величайшее счастье и какъ такое дѣло, которое именно мнѣ только и возможно сдѣлать, какъ дѣло, къ которому я приведенъ всеми условіями и вліяніями моей жизни. Но, попавъ въ деревню и видя это коллективное «мы», разнѣненное на фигуры мужиковъ, бабъ, ребятъ. — я не только не получалъ возбуждающаго къ жертвѣ стимула, а, напротивъ, простывалъ и простывалъ до холоднѣйшей тоски. Эти песчинки многозначительныхъ цифръ, какъ люди, требовавшіе отъ меня человѣческаго вниманія къ ихъ человѣческимъ нуждамъ, къ человѣческимъ мелочамъ ихъ жизни, невообразимо меня утомляли, отталкивали даже... Грязь мучила, въ нуждѣ мелкала и оскорбляла

глупость... Больная нога умирающаго мужика, загноившаяся отъ ушиба, возбуждала отвращеніе. Личное участіе, личная жалость были мнѣ незнакомы, чужды; въ моемъ сердцѣ не было запаса человѣческаго чувства, человѣческаго состраданія, которое я-бы могъ раздавать всѣмъ этимъ песчинкамъ, миллионы которыхъ, въ видѣ цифры, занимающей одну десятую часть вершка на печатной строкѣ — напротивъ, меня потрясали.

Кстати сказать, что-то, подобное свойствамъ моего сердца, вѣроятно было въ сердцѣ такого замѣчательно загадочнаго челоѣка, какъ Иванъ Грозный. Вѣдь вотъ передъ толпой, предъ массою людей, предъ моремъ человѣческихъ существъ, слитыхъ во-едино, въ особый живой организмъ толпы, этотъ челоѣкъ могъ публично, на Красной площади, каяться, плакать, просить у этого «организма» прощенія, рассказывать предъ нимъ свои прегрѣшенія, оправдываться, чувствовать потребность оправдываться только передъ нимъ. . А отдѣлившись отъ этого организма толпы частица, песчинка, и обьявившись она въ видѣ челоѣческой фигуры, съ челоѣческими потребностями, просьбами, желаніями, — словомъ, со всѣми мелочами «челоѣческой» породы — тотчасъ замираетъ не только потребность покаянія, а и вниманія, тотчасъ прекращается отзывчивость сердца на дѣйствительныя, всегда мелкія челоѣческія требованія. Не разработанное въ этомъ отношеніи сердце, не пережившее этихъ челоѣческихъ мелочей, а прямо въ звѣриномъ видѣ закованное въ крѣпкую кору византизма, не хочетъ, не можетъ быть внимательнымъ и отзывчивымъ на мелочи, оно неуклюже, неуютно для этого. Уйди, напротивъ, это надобливое, отдѣльное лицо въ толпу, уничтожься лично, и проснувшемуся звѣрю легче, потому что онъ и своихъ-то личныхъ жизненныхъ и живыхъ мелочей не цѣнить, не умяти ни облагородить, не развить. Ему и самому легче понизиться изъ царей въ монахи, изъ повелителя — въ повинующагося.

Вотъ такіе-то несимпатичныя свойства моего сердца и испугали меня на первыхъ порахъ, а скоро не только испугали, но и потрясли, привели въ ужасъ.

IV. Подробности «возмутительнаго случая». — «Намъ самимъ» ничего не надо.

I.

Первые характернѣйшіе признаки моего сердца, какъ я уже сказалъ, обнаружались и испугали меня почти тотчасъ послѣ появленія моего въ деревнѣ, на старомъ пенелѣщѣ, въ хибаркѣ какой-то бабушки, а можетъ и прабабушки, не помню хорошенько. Отправляясь въ эту деревню, я не имѣлъ никакого опредѣленнаго плана насчетъ того «общаго дѣла», которое должно было меня «взять», «поглотить» и «потребить», но я шелъ туда подъ неотразимымъ убѣжденіемъ, что дѣло это «тамъ», у «нихъ», вообще подъ соломенными

крышами, а не здѣсь въ городѣ, гдѣ я скитался послѣ смерти отца многою годами и гдѣ видѣлъ купцовъ, чиновниковъ, барынь, мѣщанъ, священниковъ и тѣхъ самыхъ мужиковъ, къ которымъ я потомъ устремился. «Все это не то!» думалось мнѣ. «Торгуйте, звоните ко всенощной, женитесь, спите послѣ обѣда, гуляйте на бульварѣ, думалось мнѣ, но все это не то. Это «пока» только, а въ сущности все ужъ это кончилось!» И острогъ, который оставался въ томъ же самомъ видѣ, какъ и былъ, казалось мнѣ, стоитъ здоровъ и невредимъ такъ только, по ошибкѣ. И сумасшедшій домъ тоже скоро долженъ развалиться прахомъ, какъ и эти уродскія кирпичныя триумфальныя ворота, торчавшія за городской заставой, чрезъ которую я уносился въ деревню... къ «нимъ»... Все это старое ни къ чорту не годится, все это явно доживаетъ свой вѣкъ. Не могу припомнить оснований, по которымъ я съ такою увѣренностью полагалъ, что все это «доживаетъ» вѣкъ, по помню, что вообще впечатлѣніе «доживания» было вполне несокрушимое. Настоящая, заправская «гниль» всего старого и во внутреннемъ, и во вѣншнемъ отношеніи была вѣтъ всякаго сомнѣнія. Ни жалости, ни даже простаго вниманія къ этому гнилому, разваливающемуся, а иногда прямо помирающему, или находящемуся при послѣднемъ издыханіи, не было ни малѣйшей—такъ было неизмѣримо велико разстояніе между извѣстнымъ, мучительнымъ вчера и совершенно неизвѣстнымъ сегодня. Эта полнѣйшая невозможность не только подумать о вчерашнемъ днѣ, но даже оглянуться назадъ хоть на минуту, не покидала меня и всю дорогу, отъ города до деревни, которую я въ весеннюю распутицу, въ рваныхъ сапогахъ, сдѣлалъ пѣшкомъ. Странно: и деревни ужъ стали попадаться за городомъ, и мужики, и ихъ рваныя шапочники, бороды, спутанныя комкомъ, полушубки съ дырами на локтяхъ, словомъ,—начались ужъ «они», «мы», «наши», въ полномъ смыслѣ этого слова, а я все пропускалъ ихъ мимо съ тою-же невольной мыслью: «все это не то!». Тоже старое, гнилье какое-то. И телѣги гнилыя, и бороды, и полушубки, и черная солома на крышахъ... И они тоже какъ будто «доживали свой вѣкъ»... И въ нихъ ничто не оставалось меня; кислый квасъ, охающая старуха, ея морщинистая трясущаяся рука, холодная, разоренная изба, скверный хлѣбъ и т. д.—все это «старое», все это надо «туда», назадъ забросить, за спину, въ крѣпостное право. Это все обречено на смерть: жалѣй не жалѣй—ничего изъ него не выйдетъ. И я не жалѣлъ, а неся, какъ птица, неся по лужамъ грязнѣ и запыхавшись, наконецъ прилетѣлъ въ убогую избу старушки-бабки.

Здѣсь надо было жить—сколько времени, я не зналъ; надо было разговаривать съ людьми, слушать ихъ, отвѣчать. Я ужъ всѣхъ ихъ сдѣлалъ въ архивъ, но они почему-то медлятъ убираться туда, а ходять передо мной, охаютъ, нянчатъ дѣтей, ругаются, говорятъ невозможныя глупости, и я началъ мучиться... Дѣйствительность, живая, неприглядная, корявая, рваная, забитая, глухая,

плачущая и ругающаяся или въ потѣ лица бьющаяся изъ-за куска хлѣба, положительно терзала меня. Казалось бы, отчего мнѣ терзаться и мучиться всѣмъ этимъ? Вѣдь это-то именно и есть тотъ самый матеріалъ, во имя котораго я долженъ жертвовать собою для нихъ-же? Все такъ, а на дѣлѣ—между этими глупымъ дядей Митяемъ, который на моихъ глазахъ провозгласилъ: «безъ навозу... нич-чего не будетъ!» и провозгласилъ съ такимъ-же олимпийскимъ величіемъ, съ какимъ Людовикъ XIV провозгласилъ: «государство — это я», и моей неизбѣжной потребности жертвовать Митяемъ собою не было тропинки, нитки. — «Какъ глупъ! думалось мнѣ:—и борода какая скверная!» И ощущеніе глупости дяди Митя было до послѣдней степени тяжело, тяжело до невыносимости, до желанія выгнать его вонъ. До невыносимости жгучее страданіе доставляли мнѣ и не одни только некрасивыя и несуразныя явленія дѣйствительности: крестьянскій ребенокъ, удивительно красивый мальчикъ, тоже терзалъ меня; его нельзя было не любить, но мнѣ было это трудно: эта маленькая потребность «любить» какую-то «капельку» мѣшала мнѣ; она обезсиливала меня въ моей потребности «пропасть», «пожертвовать» собою... Все это меня терзало, мѣшало мнѣ служить «имъ»...

Передо мной, опершись о край стола локтями голыхъ полныхъ рукъ и держа въ нихъ булку, сидѣла дѣвушка, молодая и полная, съ распущенными по плечамъ густыми бѣлокурыми волосами. Она сидѣла совершенно спокойно, безъ всякаго стѣсненія и тоже совершенно спокойно смотрѣла на меня, покусывая какъ бы отъ нечего дѣлать булку; но, взглянувъ на нее, я понялъ, что она надо мной «насмѣляется», понялъ, что она ничего «не боится»,—и какъ будто проснулся...

— У насъ Алевтина удивительная мастерица печь хлѣбы! сказала старушка, которую я тоже въ первый разъ разсмотрѣлъ и которая сидѣла съ какимъ-то вязаньемъ за самоваромъ.

— Ъшьте! приказала дѣвушка, сама откусила кусокъ булки, движеніемъ головы (уларскимъ) отбросивъ косу съ плеча за спину, почесала голую руку и опять прибавила:

— Что вы сидите, какъ истуканъ? Весь мокрый и ничего не ѣсть...

Тогда я увидалъ булки и тотчасъ сталъ ѣсть. Я ѣлъ булки и прежде, и вчера, и сегодня, и каждый день; но все мнѣ какъ-то казалось, что это тоже только такъ «пока», что это въ сущности «все не то» и тоже принадлежитъ къ числу явленій, которыя надо забросить черезъ плечо. Казалось, что все это: чиновники, остроги, сумасшедшіе дома, шинпрутены, помѣщичьи усадьбы, крестьянскія лачуги, учителя, булки, въ особенности слобныя, пироги, блины и т. д., и т. д.—что все это кануло въ вѣчность, все это достоиніе прошлаго, что это только «доживаетъ» свой вѣкъ. Я ѣлъ у бабки ея стряпню, ѣлъ довольно много, но думалъ: «какъ эта старуха глупа, что бѣтся цѣлый день чортъ знаетъ изъ-за чего, во-

рочаетъ какіе-то горшки, крестится и охаетъ... Все это вздоръ и чепуха.» Но когда къ булкамъ призвала меня насмѣшливая дѣвушка, я изумился: булки были превосходныя, горячія, только-что изъ печи... а между тѣмъ, 19-е февраля... какъ же такъ? стало-быть, не все кануло въ вѣчность... Я ѣлъ, чувствуя, до какой степени я необыкновенный уродъ въ глазахъ этой дѣвушки, ѣлъ и думалъ объ освобожденіи крестьянъ, ѣлъ и думалъ — «точно, булки необыкновенно вкусны», а между тѣмъ «все ужъ не то!». Никогда въ жизни не чувствовалъ я себя до такой степени нелѣпымъ и достойнымъ полного посмѣянія...

И вдругъ я испугался. Я увидѣлъ себя въ одинъ прекрасный день совершенно одинокимъ! Все, что я вижу и слышу, — все это мнѣ чужое, непонятное, или если и понятное, то возмущающее, оскорбляющее, возбуждающее желаніе «вырваться» отсюда и вовсе не укрѣпляющее рѣшимости самопожертвованія. Я почувствовалъ, что я просто дармоедъ: ничего не дѣлаю, ѣмъ чужой хлѣбъ, все ненавижу и въ то-же время толкую о самопожертвованіи, думаю, что я обреченъ на великое дѣло мученичества. Мученикъ ѣстъ у старухи послѣднюю корку, да еще на нее сердится за то, что она говоритъ глупости... «Нонче у насъ по осени вѣдму убили!» — «О, идіоты!» думаетъ мученикъ, вторую недѣлю ничего не дѣлая и терзаясь мыслью о томъ, какъ бы унести ноги отъ «нихъ», отъ «этихъ самыхъ», для которыхъ онъ готовъ отдать жизнь.

Я до того испугался своего положенія и своего нравственнаго состоянія, что въ первую минуту, когда оно обрисовалось мнѣ ясно и рѣзко, я какъ-то вдругъ отупѣлъ, остолебѣлъ въ непониманіи себя и окружающаго. Я не пилъ, не ѣлъ, глядѣлъ, и ничего не видалъ: я по цѣлымъ часамъ сидѣлъ на крыльцѣ хибарки, безмысленно и тяжело смотря на хлопъя послѣдняго весенняго снѣга, и чувствовалъ одно — все наполнено вокругъ меня, но тамъ, гдѣ я — совершенно пусто. Постучать палкой тамъ, гдѣ я сижу — непременно загудитъ такъ же, какъ если постучать или крикнуть внутрь пустой бочки. Дни шли за днями, падалъ и таялъ снѣгъ, и я падалъ, и таялъ, и думалъ о смерти, какъ объ избавленіи... Не знаю, какимъ образомъ въ этакомъ-то остолебѣломъ состояніи попалъ я въ господскій домъ.

Не могу припомнить буквально ни одной подробности, которая бы могла выяснить причину или по крайней мѣрѣ предлогъ для этого знакомства. Вѣроятно дѣло не обошлось безъ участія моей бабушки, хотя навѣрное рѣшительно не могу утверждать этого; знаю только одно, что очнулся я отъ моего столбняка и очнулся на мгновеніе за стариннымъ круглымъ столомъ, на которомъ стоялъ старинный, измятый самоваръ, сливки и булки, и варенье. Очнулся въ какой-то курткѣ, въ грязныхъ сапогахъ, и главное, очнулся отъ вопроса:

— Вы чтѣ же ничего не ѣдите? Какія булки вкусныя!

И ѣлъ! Ѣлъ, думая: «когда же наконецъ это кончится?». И не дождавшись конца, вдругъ положилъ булку на столъ, всталъ со стула и пошелъ...

— Куда вы? Чего вы не сидите? Куда вы въ этакую грязь... Идите ночевать навѣрхъ; весь домъ пустой... никого нѣтъ...

— Хорошо!

И я пошелъ навѣрхъ, спотыкаясь и толкая то ту, то другую дверь. Едва слышимый смѣхъ, но смѣхъ бездонной насмѣшки послышался вслѣдъ за мной. «Это непременно она издѣвается!» подумалъ я, почему-то устремляясь навѣрхъ; на поворотѣ лѣстницы я споткнулся и сказалъ себѣ:

— Оселъ!

Потомъ упалъ и сказалъ себѣ:

— Поллець!

Потомъ вспомнилъ, какъ она сидитъ опершись локтями на столъ, какъ смотреть, какіе у нея волосы и какіе глаза.

Здоровая, молодая, босая баба, появившись со свѣчкой, выручила меня изъ бѣды. Я нашелъ дверь, вошелъ въ комнату и увидѣлъ бабу. Баба смотрѣла на меня въ недоумѣніи и я недоумѣвалъ.

— Ну, ложись! сказала баба. — Хучь здѣсь, хучь тамъ...

— Сейчас! отвѣтилъ я и сталъ раздѣваться.

— Дай уйти-то! остановила меня баба.

— Хорошо, сказалъ я и подумалъ: «Идіотъ, оселъ и чортъ!».

И остался одинъ съ вопросомъ: чтѣ все это означаетъ? Чтѣ это такое? А отвѣтомъ на эти вопросы были тѣ же локти, упертые о край стола. тѣ же глаза, тѣ же булки. Долго-долго я не могъ заснуть: все это путалось у меня въ головѣ, кружилось и насмѣшка, насмѣшка бездонная, ѣла меня!..

Но сдобныя, горячія булки «сейчасъ изъ печи» не знаю почему-то въ особенности сильно опечалили меня, вспомнившись среди ночи. Вѣдь *все это* кончилось, а тутъ *сейчасъ* изъ печи эти сдобныя призраки канувшаго въ вѣчность. Быстро и тяжело промелькнуло по сердцу, вслѣдъ за воспоминаніемъ о булкахъ, все это прошлое, погребенное мною, промелькнуло, испугало, защемило въ самой глубинѣ сердца и вызвало страстное желаніе уйти, уйти поскорѣе отсюда, изъ этого дома, гдѣ все вѣтъ прошлымъ, отжившимъ, все тянется назадъ...

II.

Прошлое, канувшее въ вѣчность, на воспоминаніе о которомъ наводилъ старый барскій домъ, казалось дѣйствительно канувшимъ и не для одного только меня. Всѣ, кто жилъ въ немъ, чувствовали, что пѣсня этого дома спѣта, что если еще и живутъ въ немъ люди, то это только такъ, «пока», между концомъ и неизвѣстнымъ началомъ. Жила въ немъ теперь старая сестра умершаго бездѣтнымъ владѣльца, долгое время — чуть не всю жизнь — промаявшаяся на чужихъ хлѣбахъ и въ до-

мах богатой московской знати, дѣвица, въ которой институтская наивность неприятно дополнялась знаніемъ неприглядныхъ будучихъ тайнъ временъ крѣпостного права. Этими тайнами съ наивностью институтки она повременамъ дѣлилась съ своей сожителяницей, молодой бѣлокурой дѣвушкой (насмѣшницей), которая была дочь брата покойнаго владѣльца, офицера, убитаго въ севастопольскую войну. Мать ея умерла также не задолго передъ кончиною отца; и вотъ эти двѣ случайныя наследницы жили въ большомъ, разваливающемся домѣ, не зная, что будетъ завтра и съ ними, и съ этимъ домомъ, и зная притомъ совершенно несомнѣнно, что старое безвозвратно ушло. И онѣ были чужія этому дому, и домъ былъ чужой для нихъ. Не будь вокругъ и около этого дома старыхъ крѣпостныхъ людей, для которыхъ была невозможна даже мысль о томъ, что они свободны и должны считать себя вступившими въ «новую эру», я, право, не знаю, была ли бы какая-нибудь возможность для обитательницъ этого стараго дома просто-на-просто быть сытыми. Но оставались какіе-то Михѣичи, Авдотьи, старики Пахомовны, оставались на тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ были и жили всю жизнь, и руки ихъ продолжали дѣлать то-же, что дѣлали прежде. Иные изъ нихъ были дряхлы и стары, другіе хоть и молоды но не знали еще, какъ быть и куда дѣваться. И вотъ несетъ Пахомычъ дровъ, Авдотья тащить самоваръ, древнѣйшій курчуръ моетъ на дворѣ древнѣйшій экипажъ. Кто-то платитъ аренду, еще заключенную при покойникѣ, кто-то итѣ-итѣ, да привезетъ сотню-другую за купленный лѣсъ. Изъ какого-то казначейства что-то тоже повременамъ высылаютъ, причемъ иногда племянница и тетка съ трудомъ разбирали: «кому это, мнѣ или тебѣ?». Кое-какъ, благодаря тѣмъ-же живымъ остаткамъ прошлаго, создавшимъ кое-какой жизненный обиходъ помощью печенія хлѣбновъ, пироговъ, собиранія и варенія грибовъ и ягодъ, создавались и кой-какія обилія «господской» жизни. Тотъ-же Пахомычъ придетъ и скажетъ, что завтрашняго числа хорошо-бы господамъ пробѣхать въ с. Всесвятское, ибо тамъ храмовой праздникъ; что не худо принять и угостить господина исправника, который сидитъ теперича у попа, что въ такой-то день надо бы отслужить панихиду по покойникамъ, а въ такой-то поставить на господскомъ дворѣ качели и купить дѣвкамъ пряниковъ — такъ-молъ изстари заведено. Не будь этихъ Пахомычей и Аксиній — и люди, населявшие домъ, и самый домъ могли-бы производить на посѣтителя впечатлѣніе только запустѣнія, а при ихъ попеченіи все-таки въ этомъ домѣ журчала какая-то тощая струйка жизни. Иногда Пахомычъ придетъ и «пожалуется» на Авдотью и дастъ такимъ образомъ возможность обитателямъ почувствовать, что они — господа, что они хоть Авдотью могутъ дать нравоученіе. Но вообще струйка жизни журчала здѣсь тихо-тихо... «Старая это жизнь, думали всѣ: — и ничего изъ нея ужъ не можетъ выйти; это — срубленное дерево, на которомъ еще не совсѣмъ завяли листья». Старое и сруб-

ленное — это впечатлѣніе вѣяло отовсюду: изъ пустыхъ конюшенъ, отъ гнилой крыши, отъ огромнаго пустого двора, отъ падавшей съ потолка штукатурки, отъ этихъ старыхъ портретовъ. Баба съ грязными ногами и съ кошолой яицъ, желая прогнать эти яйца господамъ, свободно шла съ чернаго хода изъ одной комнаты въ другую, изъ залы въ гостиную, шла словно по улицѣ, зная, что это улица ничья. И всѣ чувствовали, что дѣйствительно ничья. Молодой крестьянскій парень, Пахомыча племяншъ, толкавшійся по дому и около дома «пока» безъ дѣла, пойдетъ на чердакъ, пороеется, вытащитъ какіе-то сапоги съ ботфортами, надѣнетъ и придетъ къ старой барынѣ: «Глянь-ко-сь, ладно ли?» — Чѣмъ это? — «Да тамъ на чердакѣ валяются. Не знаю чьи.» — Ничего, хорошо! — «Такъ я носить стану?» — Носи, пожалуйста. — Да и въ самомъ дѣлѣ, чьи это сапоги теперь? Да и все въ домѣ тоже неизвестно чье. И жилъ здѣсь народъ, за исключеніемъ стариковъ, только такъ, пока. Хозяйки мечтали поѣхать и въ городъ, и въ Москву, и въ Петербургъ, но такъ какъ определено имъ не было извѣстно, зачѣмъ собственно ѣхать, то и не ѣхали, да и денегъ что-то «не высылаютъ», хотя *должны же* выслать когда-нибудь. Гуляли, разговаривали о старыхъ московскихъ сплетняхъ, о томъ, что Мишка отыскалъ на чердакѣ сапоги, о томъ, что нужно отслужить панихиду; опять гуляли, ѣли, скучали, раскладывали карты, говорили, что надо ѣхать въ Москву, или, итѣ, въ Петербургъ, или въ городъ, потомъ шли смотрѣть теленка, котораго Богъ послалъ, потомъ говорили о теленкѣ, потомъ о попѣ, такъ какъ объ немъ зашелъ разговоръ, благодаря какой-то бабѣ, потомъ о бабѣ, о ея мужѣ. Такъ шли дни за днями «пока», т. е. пока все это въ самомъ *дѣлѣ* кончится. И въ самомъ дѣлѣ, развѣ все это не должно кончиться? Развѣ можно *что-нибудь* оставить изъ всего этого? Здѣсь *все было* когда-то понятно и объяснимо, отъ этого кресла, отъ этого уродскаго портрета до кнута, который виситъ теперь въ бездѣйствіи на конюшнѣ... Теперь, начиная съ кнута, все здѣсь необъяснимо, все погребено, все напоминаетъ молчаніе могилы. И вдругъ вотъ изъ этой-то могилы появляются горячія, сдобныя булки. «Сейчасъ изъ печи!» Если бы самъ домовладѣлецъ, о которомъ у меня съ дѣтства остались тягостнѣйшія воспоминанія, всталъ изъ гроба и явился передо мною ночью, я бы не испугался его такъ, какъ напугался всей вереницы впечатлѣній, связанныхъ съ булками. «Уйти, уйти отсюда, думалъ я, чувствуя настоятельность сдѣлать это сейчасъ же: — уйти изъ дому, изъ деревни — «туда!», все тутъ обречено, страшно, гнило, не нужно, мертво»... Думая «уйти», я однако ни разу не подумалъ о томъ, какъ могло случиться, что я очутился въ чужомъ, незнакомомъ домѣ, сплю на чужомъ диванѣ и сплю на немъ почти безъ всякаго приглашенія? Такъ была прочна, непоколебима увѣренность, что «все это кончилось», что въ домѣ этомъ все «ничье», да и домъ виѣстъ съ людьми «ничей». Онъ такъ-же принадлежитъ имъ.

какъ и мнѣ, какъ и Пахомычу, какъ и бабѣ, которая принесла яйца и ходитъ по всему дому, какъ по площади. А вотъ булки встревожили меня. Стало быть, тутъ что-то живетъ еще. И мнѣ стало страшно и противно, и мысль уйти ужъ не давала мнѣ заснуть вновь.

Я ушелъ едва стало свѣтло, едва гдѣ-то въ домѣ хлопнула дверь, а со двора донеслись звуки раскалываемыхъ дровъ. «Проснулись», подумалъ я, и потихоньку ушелъ.

Въ тяжкой, безвыходной тоскѣ о своемъ положеніи провелъ я пѣлый день въ лачугѣ моей бабки, не зная, чтѣ дѣлать, куда идти. Я чувствовалъ однако, что надо идти «сейчасъ», и къ вечеру почти ужъ окончательно рѣшилъ идти пѣшкомъ въ Москву, не зная, чтѣ еще я тамъ буду дѣлать и къ кому обращаться. Но идти все-таки надо непременно, неотложно, и завтра непременно. Такъ я порѣшилъ и такъ сказалъ бабкѣ. Оба мы, горемычные, сидѣли съ ней вечеромъ на крыльцѣ и думали. Она охала, жалѣла меня, а я сидѣлъ, молчалъ и смотрѣлъ въ сторону, терзаясь кручиной моей бабки: «Боже мой! думалъ я:— какъ она добра, какъ у ней привыкло страдать сердце, сколько въ ней сейчасъ, сію минуту, печали обо мнѣ, сколько она ужъ пролила слезъ о моей участи... Но когда же она замолчитъ? Хотѣла бы она ожесточилась на меня, мнѣ бы было въ тысячу разъ легче».

Мнѣ было до того тяжело, что я положительно какъ ребенокъ обрадовался, увидавъ, что къ нашему крыльцу подошли обыватели стараго господскаго дома... И старая дѣва, и дѣва юная вдругъ появились изъ-за угла. Бабка засуетилась, впаала мгновенно въ рабское состояніе, приглашая войти, но гости не вошли. Старая дѣва только поклонилась бабкѣ поклономъ «путешествующей принцессы, а юная только посмотрѣла на мою старуху, посмотрѣла своимъ сѣрыми, безцеремонными глазами и ѣла подсолнухи...

— Ну, вы! сказала она мнѣ, вылинувъ шеплу и опуская руку въ карманъ, очевидно за новой горстью деревенскаго лакомства:— извольте одѣваться... Пойдемте!

— Я...

— Нечего! Я на босу-ногу... Мнѣ нельзя на сырости... И она показала ногу, безъ чулка въ туфлѣ.

— Надѣвайте шапку и маршъ!

И надѣлъ шапку и пошелъ. И опять ночевалъ въ чужомъ домѣ.

Утромъ я проспалъ; но, проснувшись, тотчасъ одѣлся и хотѣлъ идти. Однако почему-то сѣлъ на тотъ-же диванъ, на которомъ спалъ, и тяжело задумался. День былъ великолѣпный, и какъ-бы пропорціонально этому великолѣпію увеличивалась и моя тоска, тоска одиночества моего на бѣломъ свѣтѣ, тоска пребыванія въ этой могилѣ стараго прошлаго, томлющая жажда свѣта и дѣла.

— Вы продрали что-ли глаза-то? слышалося за дверью.

И, не дождавшись отвѣта, появилась юная хо-

зяйка съ тѣмъ-же взглядомъ, въ томъ-же свободно надѣтомъ ситцевомъ платѣ.

— Надѣньте вотъ, сказала она голосомъ опытныхъ женщинъ:— эту рубашку... Я взяла у Васьки новую.

И какой-то комокъ, пролетѣвъ отъ двери близко около потолка, ударился мнѣ въ грудь. Это была кумачная рубашка.

— А то на васъ противно смотрѣть.

Я нагнулся было, чтобъ подхватить рубашку, скользнувшую на полъ, и въ это время почувствовалъ новый ударъ чѣмъ-то мягкимъ въ голову.

— У васъ, кажется, и чулокъ нѣтъ, пальцы вылезаютъ. Вотъ вамъ Аксиньины...

Въ недоумѣніи поднималъ я голову — и увидалъ дьявольски издѣвающимся лицо. Но это лицо я видѣлъ одну секунду, оно сейчасъ-же сдѣлалось опять просто безцеремоннымъ.

— И одѣвайтесь! Живо! у меня есть къ вамъ серьезное дѣло...

(Здѣсь въ запискахъ Тяпушкина слѣдуетъ большой перерывъ; въ тетради, изъ которой я ихъ заимствую, послѣ вышеприведенной сцены слѣдуетъ множество страницъ съ обозначеніемъ главъ, названіемъ ихъ, началомъ въ нѣсколько строкъ, за которыми почти тотчасъ-же слѣдуетъ перерывъ. рисунокъ какой-нибудь рожи, какая-нибудь фраза, вроде: «Нѣтъ, вотъ Тургеневъ, *небойсь* (?) объ этомъ не пишемъ!» Или «Неужели это только золаизмъ и натурализмъ? Нѣтъ, это дѣло и горе общественное!» и т. д. Сколько можно понять изъ того, что удалось разобрать въ этихъ отрывочныхъ строчкахъ, можно заключить, что Тяпушкинъ пробылъ въ старомъ домѣ всю весну, лѣто, и только въ глубокую осень весь старыи домъ — т. е. старая дѣва, юная дѣва и Тяпушкинъ — какими-то родомъ очутились въ Петербургѣ. Наконецъ идетъ глава, написанная вся пѣликомъ, отъ первой строки до послѣдней. Эту главу я и помѣщаю, придерживаясь моей нумераціи, хотя въ запискахъ Тяпушкина она носитъ какую-то огромную римскую цифру).

III.

...Есть у меня одинъ пріятель-фельдшеръ, человекъ весьма любопытный обиліемъ философскихъ теорій, роящихся у него въ головѣ. Начнетъ что-нибудь рассказывать (а рассказывать онъ любитъ и преимущественно о женщинахъ и своихъ наблюденіяхъ надъ ними) и, не досказавъ до конца, ударяется въ философію. Необходимо остановить его и спросить: «чѣмъ же кончилось?» иначе повѣствовательный интересъ наблюденія или разсказа такъ и канетъ въ бездну обобщеній. Разсказывалъ онъ мнѣ какъ-то недавно одну изъ такихъ любимыхъ своихъ исторій и, не досказавъ, принялся по обыкновенію мудрствовать, а я также по обыкновенію долженъ былъ прервать его и спросить:

— Но чѣмъ-же кончилось?

Тогда философ остановился, нѣсколько презрительно посмотрѣлъ на меня и сказалъ:

— Какое же можетъ быть *изъ этого* (?) сомнѣніе?

И опять, презрительно пожавъ плечами, прибавилъ:

— Мальчикъ и дѣвочка! Одному восемь, другой пять... Кажется, это не требуетъ никакихъ обобщеній.

Вотъ и мнѣ приходится тоже сказать о своей «исторіи».

Осенняя петербургская ночь, глухая, поздняя, темная. Все спитъ въ нашей квартирѣ, и въ маленькой колыбели спитъ маленькій ребенокъ, а я сижу неподалеку отъ него и думаю тѣ самыя черныя думы, о которыхъ я сказалъ въ самомъ началѣ «первой главы, первой части»... Но для успокоенія читателей скажу, что источникъ моихъ черныхъ думъ вовсе не черный; не ненависть и злоба, а, напротивъ, нѣчто совершенно на нихъ не похожее, именно, *необычайная любовь* къ этому маленькому существу, *необычайная чувствительность* къ малѣйшимъ проявленіямъ жизни, обнаруживаемымъ этимъ существомъ. И вотъ эта-то *необычайная чувствительность*, обнаружившаяся во мнѣ при появленіи ребенка, и есть то главное, на что я хотѣлъ-бы обратить вниманіе читателя, рассказывая возмутительный эпизодъ въ моей жизни.

Выражаясь словами философа-фельдшера, «не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія» въ томъ, что ребенокъ — мой, и для меня, и для всякаго смертнаго, волей-неволей, долженъ быть предметомъ личнаго вниманія, личной привязанности. Я могъ бы конечно выбрать какой-нибудь другой прищѣръ, а не этотъ возмутительный фактъ, чтобы проверять на немъ мою личную способность отзываться на *мои* личные побужденія, мою энергію, отстаивать мои личные права, критиковать окружающее, съ точки зрѣнія моихъ личныхъ неудовольствъ и личныхъ желаній; но всякій другой прищѣръ былъ бы не такъ общедоступенъ, какъ тотъ, который я рѣшился рассказать съ величайшими усиліями.

Наконецъ, при томъ систематическомъ умерщвленіи моей личности, о которой рассказано въ прошломъ разѣ, умерщвленіи, основанномъ на впечатлѣніяхъ дѣлаго порядка историческихъ явленій, обязательныхъ для всероссійскаго человѣка, на впечатлѣніяхъ систематически организованнаго воспитанія, направленаго къ тому, чтобы личность «не пикнула», я едва бы могъ найти какой-нибудь другой фактъ личной жизни, который бы также сильно и съ такой неотразимостью потребовалъ отъ меня *всего* того, что есть *во мнѣ моего* человеческого, а не государственнаго, не служебнаго. Ребенокъ же именно и потребовалъ всего, полностью; онъ даже пробудилъ во мнѣ меня, наложивъ лично на меня массу обязанностей, и, помимо моей воли, развернулъ предо мной массу правъ, которыхъ я долженъ бы былъ добиться ранѣе появленія его на свѣтъ, чтобы эти обязанности выполнить по «человѣчески»...

Такъ вотъ на первыхъ же порахъ, когда это маленькое существо потребовало отъ меня «отчета» въ силѣ и правѣ собственной моей личности, я моментально впалъ въ какое-то невозможное состояніе. Я вчера еще, даже сейчасъ, готовъ погибнуть тамъ «за нихъ», за насъ, за общую гармонию, за общественное благообразіе и справедливость, но отстаивать эту гармонию *для себя* — не могу! А вотъ именно этого-то и потребовалъ ребенокъ, этотъ невольный и самый несинохидительный пробудитель моего личнаго вопроса и личнаго интереса... «Тамъ», работая вообще за «гармонию», въ которой я лично ничего не означаю и ни за что лично не отвѣчаю, зная только, что эта работа — дѣло справедливое, я не чувствителенъ ни къ какимъ ударамъ и извѣмамъ; здѣсь же, при дѣлѣ, которое требуетъ лично отъ меня отвѣта, я до чрезвычайности чувствителенъ, страдаю отъ малѣйшаго прикосновенія дѣйствительности, изнемогаю отъ малѣйшаго сознанія, что то или другое дѣло я *долженъ* дѣлать для себя. — «Мнѣ не нужно, воюю я: — такихъ широкихъ правъ, такой смѣлости жить на бѣломъ свѣтѣ! я такъ, какъ-нибудь самъ-то, а вотъ для общаго дѣла...» Но маленькое существо требуетъ этихъ правъ для себя и совершенно меня уничтожаетъ.

Одинъ опытный крестьянинъ-охотникъ рассказывалъ мнѣ между прочимъ, про волковъ, и рассказъ его коснулся между прочимъ совершенно неожиданной для меня черты волчьихъ нравовъ. Кто не привыкъ представлять себѣ волка какъ злодѣя, который вѣчно голоденъ и вѣчно ищетъ кого поглотить? Но кто знаетъ, что источникъ этой постоянной голодовки, этого вѣчнаго вытья съ голоду есть именно *чрезмѣрная чувствительность* къ своимъ личнымъ нуждамъ и потребностямъ? Оказывается, что если волкъ безпрестанно рыщетъ и рветъ на части овецъ и собакъ и все-таки никогда не бываетъ сытъ, такъ основаніе къ этому — *чрезмѣрная любовь* его къ семейству. Онъ до того чувствителенъ къ участи своихъ птенцовъ, къ своей волчихѣ, что только ради ихняго спокойствія и рветъ этихъ несчастныхъ овецъ. Съѣвъ цѣлую овцу, совѣмъ съ шерстью до того, что ему нельзя дышать и ходить, онъ только и думаетъ о томъ, чтобы кой-какъ добраться до дому и положить все съѣденное къ ногамъ своей супруги и дѣтей.. И едва положить, какъ та же непомѣрная впечатлительность къ своему горю, къ своему личному благополучію побуждаетъ его вновь бѣжать въ поле, гдѣ онъ, ни на минуту не забывая своихъ милыхъ птенцовъ и свою милую волчиху, быть можетъ, весьма образованную и съ религіозно-шампанскимъ направленіемъ мыслей, принимается рвать овецъ, собакъ, опустошать общественныя кассы, банки и расхищать башкирскія земли. А въ объясненіе этого звѣрства, почти всегда, со слезами на глазахъ, ссылается единственно только на нѣжность, на впечатлительность своего сердца. Одинъ видъ его Жоржика, этого хилаго маленькаго существа, одна мысль о его будущности до того его мучаетъ, тер-

заеть, печалить, что онъ лучше бы готовъ (по его собственнымъ словамъ) камни таскать на улицѣ, служить дворникомъ, ѣсть воблю и пить воду, только бы не переносить этихъ мученій. Именно отъ этой-то впечатлительности онъ и теряетъ голову, и ужъ что творить — неизвѣстно, самъ не помнитъ. «Мнѣ самому, говоритъ онъ въ трезвыя минуты жизни, то есть когда его семейство сыто и довольно: — мнѣ самому *ничего не нужно!*...» И говоритъ это такъ убѣдительно, что, встрѣтившись въ эту минуту съ овцой, умѣетъ даже ее расположить въ свою пользу, заговорить ее такъ, что та какъ со старымъ знакомымъ идетъ съ нимъ рядомъ куда-нибудь въ бугеракъ и совершенно поддается его гуманному образу мыслей... Онъ умѣетъ вести въ такія минуты нѣжную, простую бесѣду, бесѣду по душѣ, говорить, что и «онъ сочувствуетъ (только бы не семейство), проситъ передать пять рублей въ кассу для вспомошествованія недостаточнымъ слушательницамъ высшихъ женскихъ курсовъ (изъ тѣхъ изъ «сундуковыхъ» денегъ), шопотомъ спрашиваетъ: «нѣтъ ли чего новенькаго?», вздыхаетъ, говоритъ, что ему самое настоящее мѣсто «тамъ», а не здѣсь, въ этой пошлой борьбѣ изъ-за грошовыхъ интересовъ, съ мужиками, которые только и думаютъ какъ бы ухлопать его, тогда какъ всѣ его симпатіи на ихъ сторонѣ... Словомъ, умѣетъ до такой степени очаровать несчастную овцу, что та стоитъ недвижимо цѣлые дни на томъ самомъ мѣстѣ въ бугеракъ, гдѣ оставилъ ее пріятный собесѣдникъ, и стоитъ до тѣхъ поръ, пока какая-нибудь личная гадость, личная впечатлительность къ страданіямъ маленькаго Жоржика не заставитъ его, противъ воли, съѣсть эту несчастную овцу.

Но этими чертами еще не исчерпывается чрезвычайная впечатлительность волчьаго сердца. По разсказу тѣхъ-же опытныхъ охотниковъ, бываетъ такъ, что въ минуты дѣйствительнаго и продолжительнаго голода, когда по поводу хищеній назначаются сенаторскія ревизіи, сундуки запираются на замки, когда всѣ овцы отгоняются на значительное разстояніе и пастухи пристально ихъ караулятъ, впечатлительность волчьаго сердца, не измѣняясь количествомъ, измѣняется качествомъ... Жалость, чрезвычайная скорбь, присущая этому сердцу, направляется ужъ не на Жоржика, а на себя; мысль о томъ, что ему, этому любящему отцу, придется погибнуть, до того шепчетъ его сердце, что онъ невольно начинаетъ безконечно жалѣть себя, ищетъ корень зла и находитъ, что онъ всѣмъ пожертвовалъ «семьѣ», отъ семьи-же заслужилъ всеобщее недоверіе и въ семьѣ ожидаетъ гибели. И онъ, *жалючи себя*, начинаетъ ожесточаться. — «Не будь твоей дурацкой корреспонденціи, злобно рычитъ онъ на Жоржика, ничего-бы этого не было!.. Для васъ-же, подлецовъ, я былъ звѣрь и вы-же даете знать своимъ пискомъ гуртовщикамъ. Мерзавцы!» Онъ ожесточается все болѣе и болѣе, доноситъ уряднику о неблагонадежности своего сына и, въ концѣ концовъ, съѣдаетъ Жоржика безъ остатка. Но и это еще не все.

Нерѣдко такая жизнь заканчивается совершенно

неожиданнымъ образомъ: лишивъ изъ-за чрезвычайной чувствительности собственного сердца тысячи овечьихъ матерей ихъ ягнятъ, перервавъ глотки сотнямъ телятъ и овецъ, вогнавъ въ гробъ «жену свою побояни», онъ отправляется собирать на построеніе храма Божьяго. Выбираетъ для подвига высшую, не земную, нейтральную цѣль, такъ-какъ каждое прикосновеніе къ живымъ людямъ, населяющимъ землю, напоминаетъ о ключахъ овечьей шерсти, вырванной съ мясомъ, о перерванныхъ горлахъ, объ убитыхъ, вбитыхъ въ гробъ... И все, благодаря чрезвычайной впечатлительности личныхъ желаній. Быть сытымъ нужно и собакамъ, не только волку, но собака ужъ шире развила свою личность и лично понимаетъ необходимость благообразія общественныхъ отношеній: она кормитъ своихъ дѣтей такъ-же, какъ и всякая тварь, но дѣлаетъ это, предпочитая караулить тѣхъ-же овецъ и овечьихъ дѣтей, такъ-же, какъ и своихъ. Волку-же кажется, что *только* его дѣти достойны любви чрезвычайной и что дѣти другихъ только препятствуютъ полному удовлетворенію его чувствительности; кажется, что только его Жоржикъ достоинъ глубочайшаго вниманія, а всѣ другіе Жоржики достойны «гигиенической скамейки», такъ-какъ они могутъ обидѣть когда-нибудь его Жоржика.

Не утаю: когда дѣло дошло до личной моей отвѣтственности передъ маленькимъ существомъ, ребенкомъ, сердце мое оказалось чувствительнымъ именно въ этомъ волчьемъ направленіи. Все скверно и гадко въ этомъ мірѣ для такого существа (оно было, кажется, одно на всемъ свѣтѣ, такъ-какъ я въ первое время забылъ, что въ Петербургѣ ежегодно рождаются 50,000 такихъ существъ), все надо было-бы стереть съ лица земли, чтобы это существо могло просуществовать такъ, какъ ему слѣдуетъ. Это было первое впечатлѣніе, но оно тотчасъ-же смѣнилось другимъ, именно, — крайней робостью стирать что-бы то ни было съ лица земли. Это такая возня и такое безобразіе, что лучшее пусть все останется такъ, какъ есть, только Жоржикъ долженъ быть въ особенномъ положеніи: отъ него должна быть отстранена всякая грязь, всякая правда жизни, всякая скорбь, вся эта отравяющая теоріи, реформы, людского горя и т. д. Какъ это сдѣлать? Нужно для его блага пожертвовать собой, покориться, принять всю черноту жизни на себя, сдѣлать такъ, чтобы не орать во имя вообще реформы противъ «кушетки» вообще, а чтобы только Жоржика не драли. Вотъ какъ отозвалось на моемъ сердцѣ первое личное дѣло, первая личная моя обязанность, первая проба предъявить размѣры личной смѣлости жить на свѣтѣ, личной опрятности отношеній человѣческихъ, личнаго уваженія къ личности другихъ... И я пришелъ въ неописанный ужасъ... А общее, то, за которое я съ восхищеніемъ и съ жадной готовъ былъ погибнуть? Я и теперь готовъ погибнуть, даже ощущаю большую жажду, чѣмъ прежде, но отъ этого общаго дѣла къ моему личному дѣлу — нѣтъ дороги, даже нѣтъ тропинки.

Я стремлюсь погибнуть во благо общей гармоніи, общаго будущаго счастья и благоустроенія, но стремлюсь потому, что лично я уничтоженъ; уничтоженъ всѣмъ ходомъ исторіи, выпавшей на долю мнѣ, русскому человѣку. Личность мою уничтожили и византизмъ, и татарщина, и петровщина; все это надвигалось на меня нежданно-негаданно, все говорило, что это нужно не для меня, а вообще для отечества, что мы вообще будемъ глупы и безобразны, если не догонимъ, не обгонимъ, не перегонимъ... Когда тутъ думать о своихъ какихъ-то правахъ, о достоинствахъ, о чело-вѣчности отношеній, о чести, когда, что ни «улучшеніе быта» — то только слышно хрустѣніе костей человѣческихъ, словно кофей въ кофейницѣ размалываютъ? Все это, какъ говорить, еще только фундаментъ, основаніе, постройка зданія, а жить мы еще и не пробовали; только-что русскій чело-вѣкъ, отдохнувъ отъ одного улучшенія, сядетъ трубочку покурить, глядя, другое улучшеніе ва-лится невѣдомо откуда. Пихай трубку въ карманъ и полѣзай въ кофейницу, если не удалось бѣжать во лѣса — лѣса дремучіе...

Такимъ путемъ въ тѣхъ російскихъ жителяхъ, которые попадали въ кофейницу, не могло раз-виться по части эгоизма почти ничего; ни по от-ношенію къ себѣ, ни по отношенію къ другимъ русскій чело-вѣкъ не могъ разработать болѣе или менѣе широко чувствительности своего сердца, и оно осталось такое-же маленькое, звѣрушечье, какъ и было въ ту пору, какъ на него нагрнуло византизмъ. Но зато увѣренность въ необходи-мости жить, покоряясь чему-то не своему, чужому, тяжкому, служить, не думая о себѣ, какому-то, иногда совершенно невѣдомому, но надо всѣмъ одинаково тяготящему дѣлу, увѣренность въ томъ, что эта тягота есть самая настоящая за-дача и цѣль жизни — это въ насъ воспитано не-обыкновенно прочно.

Такимъ образомъ, благодаря нашей историче-ской участи, люди, попавшіе въ кофейницу, выра-ботали изъ себя не единичные типы, а «массы», готовые на служеніе общему благу, общему дѣлу, общей гармоніи и правдѣ человѣческихъ отноше-ній. Прямее каждому въ отдаленности... *ничего не нужно*, и онъ можетъ просуществовать кой-какъ — кой-какъ по части семейныхъ, сосѣдскихъ, экономическихъ отношеній и удобствъ. Лично онъ перенесетъ всякую гадость, даже согласится сдѣ-лать гадость просто изъ-за куска хлѣба, оботрется послѣ оплеухи и т. д. И отдохнетъ душою только въ дѣлѣ общемъ, совершенно поглощающемъ его личность. Не знаю, есть-ли подобныя черты въ та-кихъ напримѣръ общественныхъ дѣятеляхъ, какъ Бредло, Парнель. Мнѣ думается, что Парнелю и дома, и для себя, и для семьи, и для Жоржика нужно то самое дѣло, которое онъ дѣлаетъ въ парламентѣ; что парламентское, общественное дѣ-ло начинается у него дома, въ немъ самомъ, въ личной потребности дѣлать его, въ личной жизни сердца, требующей такихъ именно ощущеній, какъ тѣ, которыя добываются его дѣломъ. Я думаю, что

соч. гл. УСПЕНСКАГО. Т. II.

и Жоржика своему онъ скажетъ все, что дѣлаетъ и что думаетъ, и въ этихъ взглядахъ и воспита-етъ его. Онъ потому и начинаетъ проповѣдывать эти взгляды въ парламентѣ, что это ему нужно, чтобы чувствовать себя самимъ собой. Точно также и Бредло. Чело-вѣка этого каждый годъ избиваютъ по малой мѣрѣ два раза въ годъ и рвутъ на немъ не менѣе двухъ сюртуковъ, и онъ все-таки идетъ опять туда-же, зная, что его будутъ опять коло-тить до синяковъ и что онъ послѣ этой бойни сна-жетъ въ постель, а можетъ и умереть. И здѣсь я думаю, что общественное дѣло, которое онъ дѣ-лаетъ, не покидаетъ его дома, и въ семьѣ, и въ обществѣ жены. Ему, его эгоизму, надобно добыть-ся своего, и онъ претъ, не смотря ни на что.

У насъ-же, напротивъ, есть множество обще-ственныхъ дѣятелей, которые и шире по взглядамъ, чѣмъ этотъ упорный, односторонній чело-вѣкъ, и взгляды ихъ справедливы, гуманнѣе по отноше-нію къ общественному благоустройству и благо-получію; и стоятъ они за эти взгляды до такой степени ревностно, что малѣйшая литературная уловка по отношенію къ ихъ широтѣ возрѣннй на народныя массы, на свойства народнаго духа и т. д. волнуетъ ихъ самымъ подлиннымъ образомъ. Они не хотятъ подать руки чело-вѣку, который усом-нится хотя-бы въ общинномъ землевладѣніи, а сами лично въ то-же время, для собствен-ныхъ дѣлишекъ и Жоржиковъ, не стыдятся со-держатъ откупа и кабаки... Не знаю, содержатъ-ли кабаки Парнель и Бредло, а что касается насъ, то позволю себѣ сдѣлать маленькое отступленіе для того, чтобы привести весьма любопытный при-мѣръ для только-что сказаннаго.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Одессѣ, на бульварѣ, на скамейкѣ сидѣли два чело-вѣка и вели бесѣду о русскомъ народѣ. Одинъ изъ нихъ былъ старикъ, другой — помоложе. И вотъ что гово-рилъ старикъ:

«Я по природѣ грекъ. Проживши не мало на бѣломъ свѣтѣ, я сталкивался съ различными на-циональностями: и съ нѣмцами, и съ французами, и съ итальянцами, и съ своимъ братомъ грекомъ, и вотъ въ чемъ вполне убѣдился: по природному здравому смыслу или разуму, по отгабѣ, выносли-вости, нѣтъ ни одного народа, который бы стоялъ выше русскаго. Эти свойства души русскаго на-рода признаетъ весь свѣтъ. Но замѣтите, что этотъ народъ еще молодой; онъ еще не успѣлъ развить своихъ богатыхъ силъ; его роль еще впереди. И вотъ питейное наше дѣло поставлено теперь такъ, что оно неизбежно должно повести къ потерѣ тѣхъ высокихъ качествъ, которыми русскій народъ въ правѣ былъ гордиться передъ цѣлымъ свѣтомъ и ко-торыя должны бы обезпечить за нимъ славную его будущность. Дѣло это объясняется очень про-сто. Теперь пошло поголовное пьянство, и чѣмъ дальше, тѣмъ эта зараза будетъ больше распро-страняться. Это одна изъ самыхъ прилипчивыхъ заразъ: не даромъ писано: «пьянства яко яда бѣ-гай!». Дѣйствительно, это тотъ ядъ, который мо-жетъ отравить и тѣло, и душу... Вотъ подлила

мужикъ и баба, а затѣмъ что? Вспомните: «не упивайся виномъ, въ немъ же есть блудъ». Не разбѣясняя этого очень естественнаго дѣла, я скажу, что отъ пьяныхъ супруговъ нельзя ожидать здоровыхъ и умныхъ дѣтей. Не знаю, какъ ваши науки говорятъ объ этомъ дѣлѣ, а мы, старики, съ опыта можемъ засвидѣтельствовать, что изъ дѣтей, зачатыхъ въ пьяномъ видѣ, выходятъ голые дураки и идіоты. Недостатки или пороки родителей наслѣдуются дѣтми. Одно испорченное поколѣніе можетъ поредать порчу нѣсколькимъ... Скажите-же, чѣмъ Россія возвратитъ народный здравый разумъ?..»

Кто же сей старецъ, который высказываетъ такъ много глубочайшаго сочувствія къ русскому народу, такъ скорбитъ о его гибели, который такъ ненавидитъ водку, что даже сочиняетъ собственный свой текстъ: «цѣлство яко яда бѣгай?». Это никто иной, какъ Д. Е. Бенардаки, бывшій откупщикъ, распродаватель этого «яко яда», этого напитка, отъ котораго погибаетъ здравый смыслъ народа, — яда, который искажаетъ физически цѣлыя поколѣнія, доводя ихъ до идіотства, — яда, который губитъ народъ, первый въ мірѣ, которому предлагало бы блестящее будущее, еслибы не этотъ ядъ, отъ котораго надо, по писанію, «бѣгать» и которымъ такъ однако долго торговалъ въ средѣ этого народа почтенный старецъ.

«Прошу васъ, сказалъ старецъ въ началѣ разговора: — не смотрите на меня, какъ на бывшаго откупщика; не нажилъ я отъ откуповъ, но буду говорить чистосердечно. Во-первыхъ, откупная система должна служить позоромъ для настоящаго времени. и я самъ не понимаю, какъ я рѣшился на послѣдніе откупа, за что и получилъ достойное наказаніе, потерявъ миллионы»...

(Ну, а еслибы не потерялъ, а приобрѣлъ?)

Извѣстный англійскій филантропъ Плимсоъ всю жизнь и массу своихъ средствъ употребилъ на раскрытіе злодѣйствъ одной мошеннической шайки, наживавшейся полученіемъ страховой преміи за суда, погибшія въ океанѣ. Шайка отправляла завѣдомо гнилое судно, застраховавъ его предварительно въ значительной суммѣ и зная навѣрное, что судно должно погибнуть вмѣстѣ съ экипажемъ. Старикъ Плимсоъ, не спуская глазъ и не покладая рукъ, не изъ года въ годъ, а изъ часа въ часъ слѣдилъ за этими плутами цѣлые годы и довелъ дѣло до парламента. Онъ убѣжденъ былъ, что шайка дѣлаетъ подлое дѣло, и преслѣдовалъ его виновниковъ неусыпно. Могъ ли бы онъ, будучи убѣжденъ, что дѣла этой шайки позорны, самъ вступить съ ней въ компанію и потомъ, въ свое оправданіе, говорить: «не понимаю, какъ могло это случиться...» А у насъ это за частую, и намъ не хочется только называть именъ, лично не брезговавшихъ грязью торговли кабацкимъ ядомъ, переносившимъ сиракъ сивушнаго пойла, наживавшихъ деньги отъ этого позорнаго дѣла, и въ то-же время, въ смыслѣ общественныхъ дѣятелей и печальниковъ горя народнаго, доходившихъ до щепетильной обидчивости въ слу-

чаніи простаго литературнаго противорѣчія ихъ широкимъ «упованіямъ» на боготворимый ими народъ.

Такова наша участь вообще. То, что называется у насъ всечеловѣчествомъ и готовностью самопожертвованія, вовсе не личное наше достоинство, а дѣло исторически для насъ обязательное, и не подвижъ, которымъ можно хвалиться, а величайшее облегченіе отъ тяжкой для насъ необходимости быть просто человѣчными и самоуважающими. Сами мы привыкли, и насъ приучила къ этому вся исторія наша не считать себя ни во что, сами мы поэтому можемъ основательно себя лично допустить и перенести всякую гадость, помириться со всякимъ давленіемъ, вліяніемъ, поддаться всякому впечатлѣнію: «намъ лично ничего не нужно». Добиваться своего личнаго благообразія, достоинства и совершенства намъ трудно необыкновенно, да и поздно. «Уведи меня въ станъ погибавшихъ», вопіетъ герой поэмы Некрасова «Рыцарь на часъ». И въ самомъ дѣлѣ: лучше увести его туда, а не то, оставьте-ка его съ самимъ собой, такъ вѣдь онъ отъ какого-нибудь незначительнаго толчка того и гляди шмыгнетъ въ станъ «обгагрившихъ руки въ крови»... Тургеневская Елена въ «Наканунѣ» говоритъ:—«Кто отдался весь, весь, тому горя мало... тотъ ужъ ни за что не отвѣчаетъ. Не я хочу... то хочетъ!» Видите, какое для насъ удовольствіе не отвѣчать за самихъ себя, какое спасеніе броситься въ большое справедливое дѣло, которое-бы поглотило наше я, чтобы это я не смѣло хотѣть, а иначе.. оно окажется весьма мучительнымъ для собственнаго своего обладателя. Иначе оно — «горе»... Гора мало не отвѣчать за себя, нѣтъ возможность забыть себя, сказавъ: не я хочу, то хочетъ...

Да, «не отвѣчать!». «Лишь-бы мнѣ не быть въ отвѣтъ», «мнѣ самому ничего не надо!» и т. д., эта черта до чрезвычайности сильна въ насъ, т. е. во всѣхъ сословіяхъ, званіяхъ и состояніяхъ.

— Не согласны! вопіетъ сходка, вся гуртомъ, протестуя противъ выбора стараго старшины, явнаго вора и расхиителя. — Не желаемъ! Хотимъ Михайлу Петрова!

— Почему вы не желаете? вопрошаетъ непримѣнный членъ, держащій руку стараго старшины.

— Не желаемъ! Будетъ, наѣлся!

— Хорошо. Эй, любезный, вотъ, что съ краю-то, рыжій-то, поди-ко сюда

Рыжій идетъ.

— Тебя какъ звать?

— Кузьма Ивановъ...

— Ты чѣмъ недоволенъ старшиной?

— Да мы ничего.

— Что онъ тебѣ сдѣлалъ худого?

— Что я тебѣ когда худо дѣлалъ? вопрошаетъ и старшина.

— Я... что жъ? Я худова не видалъ.

— Такъ чѣмъ же ты недоволенъ?

— Да чѣмъ мнѣ? какъ прочіе.

— Да не прочіе, а ты прямо отвѣчай, доволенъ ты или не доволенъ?

— Я доволенъ...

— Обиды тебѣ не было?

— Чего жъ? Обиды я не видалъ.

— Ну, ступай. Слѣдующій! тебя какъ звать?

«По одиночкѣ» всѣ—«ничего», «мы что-жъ?» «Намъ не что-что?» «Я худо не видалъ»—и старый воръ остается.

Или такъ еще.

Тотъ же старшина, еще только превращающійся въ вора, послѣ выборовъ на второе трехлѣтіе, обращается къ мірянамъ съ такими словами:

— Вотъ что я вамъ скажу, почтенные господа міряне! слава тебѣ Господи, хотъ дѣло было мнѣ и вновь, а почитай-что промашки никакой не было... Такъ ужъ вы, старички, набзочку мнѣ полѣжите. Я вѣдь не съ-пуста къ вамъ говорю, а вотъ...

«Начинающій» ловкимъ жестомъ, какъ-то изъ-подъ бороды прямо въ боковой карманъ «пинжака», извлекаетъ «портмонетъ», а изъ «портмонета»—жирненькую ассигнацію.

— Я вѣдь, почтенные, не съ-пуста разговоръ завелъ, а вотъ отъ моихъ трудовъ двадцать пять рубликовъ на угощеніе, пять стало-быть веде-рокъ... а ужъ вы мнѣ не поскупитесь, накиньте, чтобы для аккурату ужъ круглое было число... Бросьте полторы сотенки, а ужъ я заслужу, своихъ въ обиду не дамъ!

И почти всегда такіа воззванія имѣють успѣхъ. За двадцать пять рублей прибавятъ сто, полтора-ста рублей жалованья и такимъ образомъ наконецъ сами воспитають дѣйствительнѣйшаго наглеца и вора. Прибавятъ потому, что въ отдѣльности никто не отвѣчаетъ за эту подлость: если же бы въ отдѣльности отвѣчали и свою нужду цѣнили такъ-же, какъ и нужду сосѣда, то подлость поступка была бы совершенно ясна. Полтора-ста рублей дармоѣду, когда сейчасъ, въ ту же самую минуту, въ деревнѣ есть люди, которымъ буквально «жрать» нечего, когда напимѣръ за поденную работу въ лѣсу, въ снѣгу и на морозѣ множество изъ этого «мы» берутъ по 15 к. въ сутки за рубку дровъ...

Пьянство на Руси не личное («намъ чего-жъ!.. съ чего пить-то?»), а мірское, общественное. Волостное правленіе пьянствуетъ, судъ, словомъ, тамъ, гдѣ надо дать волю народной совѣсти, уму—тамъ-то и водка; пьянство, такъ сказать, парламентское, а не единичное, даетъ главный доходъ казнѣ. «Самъ» никто не желаетъ спиваться и пьяницъ-спеціалистовъ чрезвычайно мало. Пьютъ «вобще», «собча», потому никто за это одинъ-наодинъ не отвѣчаетъ... и за подлости, которыя выходятъ изъ пьяныхъ мірскихъ приговоровъ, тоже нѣтъ никого «такъ чтобы виноватаго».

— Доведись до меня, скажете всякій изъ вотировавшихъ прибавку 150 р.:—доведись до меня, такъ я бы ему алтына не далъ, каковъ-есть алтынъ, не токмо что... Кабы ежели я-то!

Что же послѣ этого можемъ мы сами и въ са-

момъ дѣлѣ воспроизвести хорошаго въ общественномъ смыслѣ, если мы можемъ только тяготиться своимъ я, постоянно убѣждаться въ его неразвитости, въ его узости, трусости, податливости, словомъ—въ его почти полномъ уничтоженіи? И вотъ мы съ радостью и восхищеніемъ бросаемся туда, гдѣ можно лично не хотѣть покоряться велѣніямъ которыя «то» захочетъ положить на наши рамена, но сами мы такихъ явлений не создаемъ, потому что «самихъ насъ» нѣтъ. Нагрянетъ на насъ война и прикажетъ намъ помираться; охотно, съ восторгомъ готовы мы это сдѣлать, и мы тутъ безподобны; но лично изъ насъ изъ нашего я никакихъ благообразныхъ общественныхъ явленій пока не исходитъ: лично намъ «ничего не нужно»... Лично я могу переносить школу съ «гигіенической» скамейкой... Лично я могу терпѣть голодъ, насилие, несправедливость... Лично я могу поддерживать несправедливость, дать взятку, примазаться по откупамъ... Лично я могу переносить глупую и пустую семейную жизнь, лично я знакомъ съ трусостью и т. п. Что же я внесу въ общественное дѣло? Чѣмъ я оживлю общественныя учрежденія? На чемъ я оснужу протестъ противъ общественныхъ неправдъ? У меня лично нѣтъ *матеріала для общественнаго дѣла*, и на дѣлѣ мы видимъ, что при безпрерывномъ гомонѣ, писаньѣ, толкотнѣ и разговорахъ объ общемъ благѣ, о народѣ и т. д., ровно ничего человѣчески простаго, нужнаго другимъ такъ-же, какъ и мнѣ, не сдѣлано.

IV.

И такъ, около колыбели ребенка я, Тяпушкинъ, обнаружился вдругъ и неожиданно, какъ я, какъ существо ответственное лично. И тутъ я оказался плохъ до невозможности. Тутъ я оказался способнымъ съуживаться до ничтожества, даже враждовать противъ слишкомъ назойливыхъ требованій моей мысли о личномъ достоинствѣ и личной свѣдѣности въ предъявленіи человѣческихъ правъ... Я вилѣлъ, что на этой почвѣ я могу пасть до лежащихъ, праздно бляющихъ, лгущихъ, врущихъ и опаивающихъ народъ напиткомъ, про который сказано: «яко адъ». Но такому гнусному поведенію, такимъ гнуснымъ мыслямъ, такой гнусной перспективѣ будущаго противилась вся моя мысль, все, что воспитано во мнѣ всей моей жизнью, послѣдней страницей. Терзаясь между полной невозможностью сдѣлать съмыслимъ и разностороннимъ мое я и глубокой жаждой жертвы въ пользу невѣдомаго еще, но несомнѣнно праваго, всеобщего-необходимаго дѣла, я, волей-неволей, иногда приходилъ къ мысли, что виновникъ моихъ мукъ, виновникъ пробужденія моихъ личныхъ несовершенствъ—онъ, этотъ ребенокъ. И иногда, въ минуты полного отчаянія, мнѣ приходили мрачныя мысли...

Въ одну изъ такихъ минутъ я очнулся. Я открылъ въ себѣ способность мрачной злобы, увидѣлъ, что это мое-же личное свойство, свойство моей личной неразвитости или заботности, и сразу, навсегда, на вѣки вѣковъ, рѣшилъ, что я не могу,

не вправѣ жить этой жизнью... Ошибка сдѣлана, ее не поправишь... Но я не могу быть тутъ. Мнѣ именно нужно быть тамъ, идти туда, зная, что *ме я хочу — то хочеть...* Я былъ изъ числа такихъ образцово-убитыхъ въ личномъ отношеніи людей, что положительно иногда какъ-бы даже ждалъ приказанія. Вотъ-вотъ откроется дверь, войдетъ городской и скажетъ: «Приказано, чтобы по воскресеньямъ всѣ грамотные господа шли на фабрику учить народъ читать, писать... Довольно прокладаться». Или: «Велѣно, которые безъ мѣстъ и грамотные, гнать на Ладоцкій каналъ наблюдать, чтобы народъ не грабилъ, не морилъ, чтобы честно разсчитывались. Довольно ему зря-то пропадать» и т. д. Вообще я думалъ, что потребуется масса, несмѣтная масса народу, нужнаго въ то мгновеніе для освобожденной деревни на всякую потребу, на службу началу обновленія, началу личности.

Да, я убѣдился тогда, что въ этомъ служеніи — начало нашей русской интеллигентной личности, начало нашего эгоизма. Въ этомъ отношеніи мы очень счастливы тѣмъ, что нашъ эгоизмъ смиренъ и подавленъ, что мы прямо можемъ, не жертвуя ничѣмъ, принятися за работу въ самомъ дѣлѣ; для насъ это — облегченіе, счастье, прекращеніе горя... Но надо работать. Надо въ самомъ дѣлѣ выгонять зло изъ всѣхъ угловъ, въ самомъ дѣлѣ войти въ нужду, въ страданіе, въ самомъ дѣлѣ учить, въ самомъ дѣлѣ лечить, давать хлѣбъ, настоящій хлѣбъ, тотъ, который можно ѣсть, кровь, подъ которымъ можно жить. Все тутъ должно быть непремѣнно начато съ полнѣйшей внимательности и правды, и непремѣнно на дѣлѣ; въ этомъ опытѣ я, повторяю, видѣлъ начало нашего личнаго благообразія, начало дѣйствительныхъ, серьезныхъ, общественныхъ интересовъ, начало смысла въ семьѣ, въ школѣ, въ воспитаніи дѣтей... Для начала этой мовой, жизненной, правдивой, божеской эры, я ждалъ сильной, могучей поддержки, защиты, права быть смѣлымъ и искреннимъ.

Но меня никто не звалъ. Городовой не приходилъ. На Ладоцкомъ каналѣ опавали и обсытывали, на фабрикахъ не слышно было ни о какомъ просвѣщеніи. Напротивъ, чувалось, что отъ этого «подвига» (по моему, это неизбежная необходимость) по какому-то недоразумѣнію отклоняли. Городовой говоритъ: «не велѣно пущать», и видно, что дѣло идетъ совсѣмъ не къ тому, а къ программѣ жить въ *свое* удовольствіе. Это мнѣ показалось неудобнымъ и бесполезнымъ. Свое удовольствіе — но вѣдь это даже и малѣйшей работы

мысли не требуетъ! Эгоистически неразвитое сердце не разовьется на своемъ удовольствіи — вѣдь все по этой части ужъ обдѣлано другими, все готово: отъ платья до напитка и языка; весь ритуаль «своего удовольствія» — готовый, европейскій. Итакъ, если насъ обезличивала старая исторія византийствомъ, татарщиной, петровщиной и т. д., то было страшно представить себѣ, что и новая также хлопочетъ не о правѣ самостоятельнаго развитія, а предлагаетъ готовую совсѣмъ, во всѣхъ деталяхъ выработанную промышленность, кредитъ и даже «свое удовольствіе». Вѣдь отъ всѣхъ этихъ готовыхъ удобствъ можно съ ума сойти, можно возопить наконецъ не своимъ голосомъ: «Уведи меня!».

И не готовымъ, не шаблоннымъ, а оригинальнымъ оказывался только одинъ путь — обновленіе самого себя реальной работой для реальной справедливости въ человѣческихъ отношеніяхъ; исходный пунктъ этой работы былъ для меня чрезвычайно простъ; можно-ли умирать кому-нибудь съ голода? Нѣтъ. Ну, и надо дѣлать, чтобы не умирали. Хорошо-ли такое явленіе, какъ проституція? Нѣтъ. Стало-быть не надо, чтобы она была. Нравится вамъ типъ вора? Нѣтъ. Надо, чтобы его не было. А типъ убійцы, а типъ тонкаго хищника, а невѣжество вольное и невольное?.. Нѣтъ. Надо идти туда, гдѣ никто ничего такъ-же, какъ и я, не знаетъ, гдѣ кипитъ нужда въ тысячахъ вещей, идти туда и дѣлать то, что велитъ жизнь. Чтѣ именно должно выдти — я не зналъ, не зналъ, что именно отсюда только и выйдетъ смыслъ моего существованія, и смыслъ моего слова, и смыслъ, и серьезность жизни вообще.

И я ушелъ...

Съ этихъ поръ въ жизни моей начинается совершенно новый періодъ, начинается «опытъ», по окончившійся и до настоящаго времени. О результатахъ этого опыта я разскажу современемъ; теперь же мнѣ необходимо сказать нѣсколько словъ въ объясненіе связи послѣднихъ страницъ съ первыми страницами настоящихъ очерковъ. На этихъ страницахъ изображено нѣсколько сценъ изъ текущей дѣйствительности, сущность которыхъ — внутренняя безрезонанность и страшная тягота общаго впечатлѣнія. Мнѣ кажется, что такое положеніе дѣлъ есть плачевный результатъ плачевнаго недоразумѣнія, послѣдствіе котораго «обязательное» для насъ почему-то превратилось въ запретное и недопускаемое.

КРЕСТЬЯНИНЪ И КРЕСТЬЯНСКІЙ ТРУДЪ.

I. Иванъ Ермолаевичъ.

Вотъ уже почти годъ, какъ я живу въ деревнѣ и нахожусь въ ежедневномъ общеніи съ хорошей

крестьянской семьей, ведущей основательное, подлинно-крестьянское, т. е. исключительно земледѣльческое хозяйство, и какъ въ первый день знакомства, такъ и сію минуту ни я, ни эта семья

не смогли проникнуться интересами друг друга. Я не понимаю, зачѣмъ существуетъ на свѣтѣ семья и изъ-за чего она бьется, а семья тоже совершенно понять не можетъ и удивляется: зачѣмъ собственно я существую на бѣломъ свѣтѣ? Мы находимся въ самыхъ пріятельскихъ отношеніяхъ; при встрѣчѣ всегда здороваемся, раскланиваемся, спрашиваемъ: «какъ дѣла?» «все ли благополучно?» и даемъ другъ другу отвѣтъ: «ничего, слава Богу, по-маленьку», но понимать другъ друга все-таки не понимаемъ. Ни малѣйшаго, мало-мальски общаго интереса между нами не образовалось; все, что интересно мнѣ, ни капельки не интересно для Ивана Ермолаевича (такъ зовутъ главу крестьянской семьи, о которой идетъ рѣчь), хотя онъ, слушая меня, и поддакиваетъ, и старается сдѣлать такое лицо, чтобы оно подходило подъ разговоръ; зѣвоту, которая иной разъ является у него неожиданнѣйшимъ для меня результатомъ моей бесѣды, которую онъ повидимому слушаетъ внимательно—Иванъ Ермолаевичъ весьма тщательно скрывается. Съ своей стороны, слушая задушевнѣйшія бесѣды Ивана Ермолаевича, я иной разъ даже поступаю хуже его, прямо зѣваю и потомъ извиняюсь, что выходитъ ужъ совершенно неприлично.

Когда Иванъ Ермолаевичъ ѣдетъ въ городъ или на станцію, самая важная для меня просьба, съ которою я къ нему обращаюсь—это «привезти газету, зайти на почту и взять письма», а второстепенная въ томъ, чтобы захватить муки, мяса... И всякій разъ выходитъ такъ, что муки и мяса онъ привезетъ, а газету и письма забудетъ.

— Забылъ! говорятъ онъ чистосердечно.—Говядину-то и хлѣбъ я помнилъ, а на счетъ этого... повелъ лошадь ковать—забылъ!.. Мало-ли дѣловъ-то! То то, то другое, все по хозяйству—оно и забудешь!

— Какъ же это вы такъ, Иванъ Ермолаевичъ! вѣдь я васъ какъ просилъ?..

— Что подѣлаешь-то!.. я помнилъ... Всю дорогу я, признаться, въ умѣ держалъ... Да тутъ барышники съ лошадьми встрѣтились... одна лошаденка каренккая попалась... такая пріятная скотинка... грудь, такъ, братецъ ты мой, вѣришь, вотъ не солгать, сказать ежели...

И затѣмъ начинается длиннѣйшую рать о такихъ вещахъ, которыя вовсе не интересны.

Съ своей стороны и я не всегда удовлетворяю желаніямъ Ивана Ермолаевича. Двадцать по крайней мѣрѣ разъ просилъ онъ меня, когда я ѣхалъ въ городъ, «не забыть на счетъ колесной мази», и ровно двадцать разъ я объ этой мази забылъ.

— А мазь привезъ? спрашиваетъ Иванъ Ермолаевичъ, выходя на крыльцо ночью часу во второмъ, слышавъ стукъ колесъ моей телеги, и, получивъ отвѣтъ неблагопріятный, точно такъ-же, какъ и я, пенялъ мнѣ:

— Э-эхъ, говоритъ онъ, крѣпко,—а вѣдь какъ молил-то! не забудь, сдѣлай милость, въ догонку кричалъ... Э-хъ!..

Но и со мной произошло точъ-въ-точъ то-же, что и съ Иваномъ Ермолаевичемъ—я точно такъ-же, какъ

и онъ, очень долго *помнилъ* на счетъ колесной мази. Ыхалъ и помнилъ, да вдругъ попалась газета или пріятель съ разговоромъ объ интересномъ дѣлѣ—ну, и забылъ. «Изъ ума вонъ».

Еще съ здѣшнимъ «подстоличнымъ» мужикомъ, почти отбившимся отъ сельскаго хозяйства, толкающимся по станціямъ двухъ желѣзныхъ дорогъ, еще съ такимъ испорченнымъ цивилизаціей мужикомъ у меня иной разъ можетъ выйти какой-нибудь обоюдный разговоръ, т. е. иной разъ подстоличному мужику понадобится кой о чемъ спросить меня: — А что, спросить,—какъ въ газетахъ пишутъ, много-ли на Лиговкѣ домовъ погорѣло?..

Ему нужно знать, много-ли погорѣло сѣнныхъ складовъ, потому что, «толкаясь» вокругъ сѣна и сѣнныхъ операций, нагрузокъ и перегрузокъ, онъ очень заинтересованъ въ вопросѣ о цѣнѣ сѣна, и потому интересуется знать, много-ли погорѣло сѣнниковъ.

— Да пишутъ, говорю я,—домовъ четырнадцать!..

— Четырнадцать? А кой мѣсто?

Говорю я и про мѣсто.

— Это хорошо, говорить подстоличнымъ мужикъ.— Это все сѣнные мѣста... А что, прибавляетъ онъ,—нѣтъ ли чего насчетъ чтобы другихъ мѣстъ?... все ли благополучно насчетъ сѣна-то?..

— Нѣтъ, нѣту...

— Ничего не пишутъ въ газетахъ?

— Нѣтъ...

— Гм.. Нѣтъ, вотъ какъ года три назадъ, барки, братецъ ты мой, съ сѣномъ взялись горѣть... такъ ужъ было!.. До семидесяти пяти копѣекъ въ одинъ день сѣно-то поднялось. У насъ, братецъ ты мой, по сороку копѣекъ брали, не то сѣно, а прямо сказать прѣль, чернь, навозъ... Что нѣту-тка въ газетахъ-то... ничего, чтобы... насчетъ барокъ ежели?

— Нѣтъ, нѣту...

— Дюжо хорошо съ сѣномъ-то въ ту пору поправились.

Такіе разговоры возможны между мною и испорченнымъ подстоличнымъ мужикомъ, но не только между мною и Иваномъ Ермолаевичемъ почти никогда не выходитъ такихъ «обоюдныхъ» разговоровъ, но не выходятъ ихъ у Ивана Ермолаевича и съ подстоличнымъ мужикомъ. Всѣхъ такихъ мужичонковъ Иванъ Ермолаевичъ, какъ истинный «крестьянинъ», погруженный исключительно въ земледѣльческій трудъ, не долюбиваетъ и даже пожалуй ненавидитъ. Прихотливый, нездорово-избалованный желудокъ, утроба Петербурга, отбилъ подстоличнаго крестьянина отъ земледѣльческаго труда. То желудку этому нужна отличнѣйшая телатина, то вдругъ потребуютъ ягодъ въ громадныхъ размѣрахъ и за землянику, малину дають такіа цѣны, которыя дороже самаго дорогого сѣна... Наѣхали въ Питеръ какіе-нибудь иностранные высокіе гости; расшумѣлся и раскутился какой-нибудь случайный магнатъ, которому удалось выгодно надуть казну; состоялась ли какая-нибудь операція, около которой грѣютъ руки сотни крупныхъ и мелкихъ акулъ и акуленковъ,—все это сейчасъ

остальные двѣ трети, каждая раздѣлена на три разряда, указывающіе погоду, но слово *переменно* одно занимает столько же мѣста, сколько три малыхъ разряда и, по петербургской погодѣ, стрѣлка подолгу шмыгаетъ вдоль этого длиннаго слова *переменно*; то наклонится къ началу, какъ будто къ дождю, то поползетъ къ концу, къ сухой ясной погодѣ, а за предѣлы не выходитъ. Случилось такъ, что стрѣлка застряла въ этомъ длинномъ словѣ дней на десять. Нѣсколько разъ я, на собственный свой рискъ, рѣшился давать нужные Ивану Ермолаевичу отвѣты. Говорилъ по-прежнему: «вози!» или побѣждай!, или «молоты!», но удачи въ этихъ отвѣтахъ не было, выходилъ обманъ... Такъ случилось нѣсколько разъ къ ряду, и Иванъ Ермолаевичъ сталъ посѣщать меня рѣже. Къ моему огорченію, я опять все чаще и чаще сталъ слышать въ отворенное окно, какъ Иванъ Ермолаевичъ, толкуя съ работникомъ и женой о погодѣ, вновь возвращается къ своей системѣ... «А что, Михайло, съ горестью слышу я:— не помнишь ты, какъ мы предъ святой за солонинной ѣздили?... еще Егоръ Петровъ говорилъ насчетъ косятной нази?...» и т. д. Заглянувъ было какъ-то Иванъ Ермолаевичъ ко мнѣ и спросилъ: «Ну, что въ календарѣ, какъ?» Но календарь обманя съ толку— стрѣлка застряла въ длинномъ словѣ и не давала отвѣтовъ. И я не рѣшился давать ихъ.

— Ну, песъ съ нимъ! сказалъ Иванъ Ермолаевичъ и почти совсѣмъ пересталъ посѣщать меня... Надобности ему, очевидно, во мнѣ ужъ не было.

И, увы! этотъ случай съ календаремъ былъ едва-ли, въ сущности, не единственнымъ случаемъ, когда я «въ дѣлахъ Ивана Ермолаевича» понадобился «въ самомъ дѣлѣ», «въ сурьезъ». Былъ еще и другой случай, но въ немъ ужъ не было той серьезности запроса, какая руководила Иваномъ Ермолаевичемъ въ дѣлѣ съ календаремъ, хотя и этотъ не совсѣмъ серьезный случай весьма замѣчателенъ, и замѣчателенъ тѣмъ, что это былъ единственный втеченіе года случай, когда Иванъ Ермолаевичъ заговорилъ о газетѣ... Никогда я не слышалъ отъ него никакихъ вопросовъ, отвѣты на которые могла бы дать газета. Въ газетахъ онъ пуше всего «жалѣлъ» бумагу, другого интереса она для него не представляла... Понятно поэтому, какъ я удивился, когда однажды на сѣнокосѣ Иванъ Ермолаевичъ подошелъ ко мнѣ самъ и какъ-то загадочно спросилъ:

— Чего нѣтъ ли въ газетахъ хорошенькаго?

Я, признаться, не сразу отвѣтилъ ему, что ничего-моль новаго нѣтъ, а нѣсколько мгновений пристально поглядѣлъ на него, желая знать, «что это означаетъ?». Да и Ивану Ермолаевичу былъ, какъ видно, вопросъ этотъ не совсѣмъ въ привычку; задавая его, онъ стоялъ ко мнѣ какъ-то бокомъ и глядѣлъ въ сторону, да и задаль-то какими то чрезвычайно небрежнымъ тономъ.

— Сказываютъ, продолжалъ онъ съ тою же небрежностью и не переставая глядѣть куда-то въ

даль:—будто бы гдѣ-то свалилась съ неба кобыла не кобыла... Врутъ поди? Чего не наплетутъ иной разъ... Правда или нѣтъ? Чай, неправда?

— Какая кобыла?

— Да врутъ тутъ у насъ, будто версты на три длиннику протянулась, изъ пушекъ въ нее палить, а изгнать не могутъ... Такъ, я думаю, болтаютъ зря?.

Тутъ я вспомнилъ, что въ газетахъ дѣйствительно было извѣстіе о томъ, что гдѣ-то распространялся слухъ о чудовищѣ, свалившемся съ неба, и объявилъ Ивану Ермолаевичу, что конечно все это чепуха.

— То-то, я думаю... болтаютъ глупые, а другіе дураки слушаютъ.

Иванъ Ермолаевичъ плюнулъ и ушелъ, но къ величайшему моему удивленію, пропустивъ цѣлую недѣлю, опять завелъ рѣчь объ этой кобылѣ. Опять, какъ и прежде, при случайной встрѣчѣ и также стоя бокомъ и глядя въ даль, прежнимъ презрительнымъ тономъ и какъ-то презрительно улыбаясь, онъ неожиданно проговорилъ:

— Сказываютъ, вся спина у кобылы-то испи-сана... Что, ничего нѣтъ въ газетахъ?

— Какая спина?

— Да вотъ что вралъ-то про кобылу-то? Болтаютъ-то? Сказываютъ—все на спинѣ-то прописано... какія бѣдствія и какъ что будетъ и насчетъ земли, будто будетъ раздача... Не пишутъ?

— Нѣтъ, Иванъ Ермолаевичъ, не слыхалъ и не читалъ...

— Да болтаютъ, такъ... а то бы ужъ, чай, давно пропечатали, какая тамъ есть надпись... Будто бы все, «что будетъ», сказано?..

— Нѣтъ, не знаю, не слыхалъ...

— То-то, пустое болтаютъ... А то бы, чай, давно бы пропечатали, что у нея тамъ сказано... Дюже, болтаютъ, много написано «на спинѣ-то»... И хотя все это Иванъ Ермолаевичъ говорилъ презрительно и не «въ сурьезъ», но я не могъ не видѣть, что его дѣйствительно занимаетъ и кобыла, и надпись. Но газета не сослужила службы; мы съ ней не пригодились Ивану Ермолаевичу, и вотъ съ тѣхъ поръ, хотя и выдаемъ ежедневно и спрашиваемъ другъ друга: «какъ дѣла?», «все ли благополучно?», хотя и даемъ вѣжливые отвѣты: «все, слава Богу, помаленьку» и т. д., но въ сущности дѣла другъ друга насъ не интересуютъ: онъ не понимаетъ моихъ дѣлъ, а я не понимаю его, и между нами вотъ ужъ ровно годъ ничего кромѣ вѣжливости нѣтъ.

II. Общій взглядъ на крестьянскую жизнь.

Но что всего поразительнѣе въ этомъ взаимномъ нашемъ непониманіи другъ друга, такъ это то, что Иванъ Ермолаевичъ высказываетъ непониманіе въ особенно сильной степени именно относительно крестьянскихъ дѣлъ, вопросовъ крестьянской жизни, о которыхъ я нахожу нужнымъ бесѣдовать съ нимъ очень часто; замѣчательно, что

всякій разъ, когда рѣчь коснется такъ называемыхъ крестьянскихъ интересовъ, т. е. интересовъ, касающихся непосредственно Ивана Ермолаевича, тутъ-то онъ особенно какъ-то деревенѣетъ, тутъ онъ именно «не ведетъ ухомъ», ничего не слышитъ, очевидно, не хочетъ слышать и зѣваетъ ужаснѣйшимъ образомъ. Это полнѣйшее равнодушіе къ «*собственнымъ своимъ*» интересамъ поражаело меня въ высшей степени. На мой взглядъ, жизнь современнаго крестьянина на каждомъ шагу, кажется, вопіетъ о томъ, что только дружба, сотоварищество, взаимное сознаніе пользы общинаго, коллективнаго труда на общую пользу — суть единственная надежда крестьянскаго міра на болѣе или менѣе лучшее будущее, единственная возможность «сократить» тѣ невьроятные размѣры труда, поглощающаго всю крестьянскую жизнь, не оставляя досуга, который теперь лежитъ на крестьянинахъ такимъ тяжелымъ и, какъ мнѣ казалось (и кажется), бесплоднымъ бременемъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, что это за жизнь, и посудите, изъ-за чего человѣкъ бѣется. Крестьянская пословица говоритъ: «лѣто работаетъ на зиму, а зима на лѣто». И точно: лѣтомъ съ утра до ночи безъ передышки бьются съ косой, съ жнивомъ, а зимой скотина сѣсть сѣно, а люди хлѣбъ, весну и осень идутъ хлопоты приготовить пашню для людей и животныхъ, лѣтомъ собираютъ, что дастъ пашня, а зимой сѣдятъ. Трудъ постоянный и никакого результата, кромѣ навоза, да и того не остается, ибо и онъ идетъ въ землю, земля ѣстъ навозъ, люди и скотъ ѣдятъ, что даетъ земля. Самъ Богъ, отецъ небесный, помнится только какъ участникъ въ этой бесплодной по результатамъ дѣятельности лабораторіи. Богъ даетъ дождь, ведро, нужные для сѣна, овса, которые нужны для лошадей, овецъ, коровъ и людей, а въ результатъ — навозъ, нужный для земли, и т. д. до безконечности. Промучившись (на мой взглядъ) такимъ образомъ лѣтъ 70, обыватель и самъ отправляется въ землю.

Присматриваясь къ непрерывному труду, влеченному въ этотъ вѣковѣчный химическій процессъ жизни, я (человѣкъ деревнѣ совершенно посторонній) ничѣмъ инымъ не могу объяснить себѣ этой непрерывной неустанности труда, какъ только тѣмъ, что всѣ живыя существа, участвующія въ немъ, «должны быть сыты» для поддержанія собственнаго своего существованія. Я очень хорошо знаю и понимаю, что кромѣ непрерывнаго труда химическій круговоротъ наблюдаемой мною жизни также переплетенъ во всѣхъ направленіяхъ страданіями сердца, радостями и горестями; тутъ слышенъ плачь, тамъ стоны, тамъ скрежетъ зубовъ; я очень хорошо знаю, что кромѣ химическаго элемента во всемъ этомъ процессѣ постоянно слышится и чувствуется «человѣкъ», но именно потому-то, что я это понимаю, меня и поражаетъ бесплодность труда, бесплодность *по отношенію къ человеку*, къ его слезамъ, радостямъ и къ зубовому его скрежету. Именно въ человѣческомъ-то смыслѣ или, говоря точнѣе, «въ расчетѣ-то на

человѣка» бесплодность неустаннаго труда оказывается поразительною. Какъ бы я пристально ни вглядывался въ него, какъ бы ни ужасался его размѣровъ — я рѣшительно не вижу, чтобы въ глубинѣ этого труда и въ его конечномъ результатѣ лежали мысль и забота о человѣкѣ въ размѣрахъ, достойныхъ этого неустаннаго труда.

Повторяю опять: забота эта есть, но она не смѣетъ равняться съ заботами напримѣръ о скотинѣ. Вотъ напримѣръ у Ивана Ермолаевича баянъ, по имени «Сенька», зашибъ рогами мальчика; мальчикъ нѣкоторое время лежалъ безъ чувствъ, потомъ очнувшись, нѣкоторое время рыдалъ какъ помѣшанный отъ испуга. И теперь едва-ли испугъ этотъ не останется въ немъ на всю жизнь; Иванъ Ермолаевичъ и его жена оба «мучились» надъ мальчишкой: прикладывали что-то, напримѣръ, навозъ теплый, поили травами, вообще лечили и болѣли душой; но лечили они его средствами, какія найдутся «вокругъ дому», какъ и вообще лечатся крестьяне; а вотъ захромала у Ивана Ермолаевича кобыла, полечилъ онъ ее также собственными средствами, также намазывалъ на тряпку (тряпка ужъ сама по себѣ въ деревнѣ какъ бы медикаментъ) какую-то дрянъ, а кончилъ тѣмъ, что поѣхалъ и привезъ коновала, и три рубля серебромъ ему не пожалѣлъ. Очень хорошо знаю, чѣмъ могутъ мнѣ объяснить эту разницу отношеній Ивана Ермолаевича къ лошади и человѣку, но никакъ не могу не обратить вниманія на то, что вотъ для лошади въ народѣ есть уже профессія не вполне шарлатанская; къ услугамъ коновала прибѣгаютъ и культурные владѣтели лошадей. У коновала есть «инструменты», выдуманные народомъ, есть «вѣрныя», точныя средства, а для человѣка ничего въ этомъ родѣ не выдумано кромѣ знахарей, которые далеко ниже по познаніямъ коновала и, какъ всѣмъ извѣстно, исполнены шарлатанства, вывѣзжаютъ на невьжествѣ, тогда какъ коновалу на незнаніи своего дѣла никомъ образомъ выѣхать невозможно: всякій крестьянинъ и самъ въ этихъ (лошадиныхъ) дѣлахъ понимаетъ очень много. А вотъ, когда мальчишка оретъ, то тутъ могутъ только плакать и прикладывать тряпку съ навозомъ или съ чѣмъ-нибудь другимъ, что тутъ около дому валяется, какъ никуда пегодная дрянъ. Единственно, чѣмъ я могу объяснить такое вниманіе къ лошади, это тѣмъ, что она нужна въ каторжномъ трудѣ ежедневномъ и неустанномъ, такъ какъ безъ этого труда ни Ивану Ермолаевичу, ни его мальчишкѣ нечего было бы ѣсть. Да и самъ Иванъ Ермолаевичъ, подводя итогъ своимъ ежегоднымъ трудамъ, говорить, что въ концѣ концовъ «только что сыты, больше ничего!». Я это хорошо вижу и глубоко сожалею Ивана Ермолаевича и всѣхъ ему подобныхъ, но въ то же время меня поражаетъ слѣдующее обстоятельство:

На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ Иванъ Ермолаевичъ «бѣется» надъ работой изъ-за того только, чтобы быть сытымъ, точно также бились ни много, ни мало, какъ тысячу лѣтъ, его предки и, мо-

жете себя представить, рѣшительно ничего не выдумали и не сдѣлали для того, чтобы хоть капельку облегчить ему возможность быть «сытымъ». Предки, тысячу лѣтъ жившіе на этомъ самомъ мѣстѣ (и въ настоящее время давно распаханные «подъ овесъ» и въ видѣ овса съѣденные скотиной), даже мысли о томъ, что каторжный трудъ, изъ-за необходимости быть сытыми, долженъ быть облегчаемъ, не оставили своимъ потомкамъ; въ этомъ смыслѣ о предкахъ нѣтъ ни малѣйшихъ воспоминаній. У Соловьева, въ «Исторіи», еще можно кое-что узнать на счетъ здѣшняго прошлаго, но здѣсь, на самомъ мѣстѣ, «никому» и «ничего неизвѣстно». Хуже той обстановки, въ которой находится трудъ крестьянина, представить себя нѣтъ возможности, и надобно думать, что тысячу лѣтъ тому назадъ были тѣ-же лапти, тѣ-же соха, тѣ-же тяга, что и теперь. Не осталось отъ прародителей ни путей сообщенія, ни мостовъ, ни малѣйшихъ улучшеній, облегчающихъ трудъ. Мостъ, который вы видите, построенъ потомками и еле держится. Всѣ орудія труда первобытны, тяжелы, неудобны и т. д. Прародители оставили Ивану Ермолаевичу непроходимое болото, чрезъ которое можно перебираться только зимой, и, какъ мнѣ кажется, Иванъ Ермолаевичъ оставить своему мальчишкѣ болото въ томъ-же самомъ видѣ. И его мальчонка будетъ вязнуть, «биться съ лошадыю», такъ же какъ бьется Иванъ Ермолаевичъ. Но, оставивъ прародителей въ сторонѣ, я, въ качествѣ человѣка посторонняго деревенской жизни и деревенскому труду, рѣшительно недоумѣваю и теряюсь въ догадкахъ, объясняя себя это видимое мнѣ и совершенно непостижимое для меня равнодушіе — положимъ хоть въ Иванѣ Ермолаевичѣ — относительно «облегченія» этой необходимости быть «сытымъ». Я рѣшительно не понимаю, почему Иванъ Ермолаевичъ, который непремѣнно поднимаетъ обрывокъ веревки или гвоздя, если они падаются ему на дорогѣ, терять, въ лицѣ многихъ такихъ-же, какъ и онъ, истинныхъ «крестьянъ», сотни, тысячи рублей на продуктахъ собственного своего каторжнаго труда, сотни, даже тысячи, которые несомнѣнно облегчили-бы, улучшили его благосостояніе и дали бы возможность заботиться о мальчишкѣ болѣе, чѣмъ о жеребенкѣ. Въ отношеніи этого равнодушія къ собственной выгодѣ на моихъ глазахъ происходятъ удивительныя нелѣпости. Напримѣръ, сѣно въ здѣшнихъ мѣстахъ — продуктъ, могущій доставить почти такую-же денежную поддержку, какъ ленъ въ Псковѣ или пшеница въ Самарѣ, съ тою однако разницею, что сѣно растетъ «даромъ». Косятъ его здѣсь всѣ крестьяне, въ томъ числѣ и Иванъ Ермолаевичъ, и потому что вывезти его дѣломъ нельзя — такъ какъ мѣстность перерѣзана болотомъ — продаетъ его «по нуждѣ» на мѣстѣ за самую ничтожную цѣну кулакамъ и барышникамъ, которые, дождавшись зимы, т. е. времени, когда болото замерзнетъ, вывозятъ сѣно въ Петербургъ и продаютъ его въ три-дорога. На глазахъ всѣхъ здѣшнихъ крестьянъ постоянно, изъ-

года въ годъ, происходятъ такіе наприимѣръ вещи: мѣстный кулачокъ, неимѣющий куда ничего кромѣ жадности, занимается на свой рискъ въ сѣднемъ ссудномъ товариществѣ полтора-два рубля и начинаетъ втеченіе мая, іюня, іюля мѣсяцевъ, самыхъ труднѣйшихъ въ крестьянской жизни, покупать сѣно по пяти или много-много по десяти копѣекъ за пудъ: при первомъ снѣгѣ онъ вывозитъ его на большую дорогу, гдѣ немедленно ему дадутъ тридцать и болѣе копѣекъ за пудъ. На глазахъ всего честнаго міра человѣкъ, не шевельнувъ пальцемъ, наживаетъ поминутно кучу денегъ, которые при всѣхъ и кладетъ себѣ въ карманъ. Какимъ образомъ Иванъ Ермолаевичъ дорожитъ гвоздемъ, говоря: «онъ денегъ стоитъ», и не дорожитъ сотнями рублей, которые онъ бросаетъ кулаку на разживу? Ежегодно деревня накашиваетъ до сорока тысячъ пудовъ сѣна и ежегодно кулачишко кладетъ въ карманъ болѣе пяти тысячъ рублей серебромъ крестьянскихъ денегъ *у встѣхъ на глазахъ*, не шевеля пальцемъ? Дорожитъ-ли человѣкъ своимъ трудомъ, поступая такимъ образомъ? Если онъ дорожитъ, то неужели вся деревня (двадцать шесть дворовъ) не можетъ, во имя облегченія общаго труда, сдѣлать того-же, что и кулачишко? Они могутъ занять «на нужду» въ 26 разъ больше, чѣмъ кулачишко, и слѣдовательно «могутъ» быть не въ кабалѣ, «могутъ» даже «сдѣлать» цѣну своему товару, могутъ ждать цѣны и т. д. И ничего этого нѣтъ. Тысячу лѣтъ не могутъ завалить болота на протяженіи четверти версты, что сразу-бы необыкновенно увеличило доходность здѣшнихъ мѣстъ, а между тѣмъ всѣ Иваны Ермолаевичи отлично знаютъ, что эту работу «на вѣки вѣковъ» можно сдѣлать въ два воскресенья, если каждый изъ 26-ти дворовъ выставитъ человѣка съ топоромъ и лошадыю.

И въ то-же время самые, на мой взглядъ, пустяшныя, ни чего не стоящіе мірскія дѣла, вроде хоть мірской загороди или дѣлежъ лядины, поглощаютъ массу общественнаго вниманія: тутъ мѣряютъ по двадцати разъ то, что давно вымѣрено, мѣряютъ и веревками, и саженьями, и кольями, и лаптями, да чтобы *носкомъ непременно въ пятку попададо*; тутъ и значки, и жеребья, и вначки на жеребьяхъ — словомъ, тутъ все разработано, даже свыше необходимости, тутъ дѣло доведено даже до артистическаго совершенства, превращено почти «въ церемонію». Я очень хорошо понимаю, что основаніемъ къ такой тщательности въ самыхъ пустяковыхъ пустякахъ служитъ желаніе сдѣлать дѣло «безъ обиды»; но почему необходимо быть дранымъ за невзносъ податей, почему необходимо драть или смотрѣть какъ дерутъ въ то время, когда всѣмъ видно, что драный человѣкъ не платитъ потому, что откармливаетъ кулачишку, — этого я не понимаю.

Не менѣе непонятными кажутся мнѣ и тѣ случаи, когда мѣстный крестьянинъ, благодаря какому-нибудь неожиданному обстоятельству, какъ-бы образумивался и начиналъ понимать «собственную свою пользу» въ томъ видѣ, въ какомъ по-

нимать ее слѣдуетъ, и, главное, принималъ при этомъ во вниманіе то обстоятельство, что время теперь не то, что было недавно, что теперь деревня должна подумать и о коллективной оборонѣ. Одинъ такой случай былъ у мѣстныхъ крестьянъ заключается въ слѣдующемъ. Одинъ неудачникъ-землевладелецъ, задумавшій вести «большое», по «иностраннымъ образцамъ», хозяйство, какъ водится, разорился и ушелъ отсюда совсѣмъ. Послѣ него въ деревнѣ оказался сѣнной прессъ. Машина соединила разрозненный крестьянскій міръ. Лучше всего, что за отсутствіемъ барина она была «ничья». Додумались прессовать сѣно всѣмъ міромъ, сообща нанимать вагонъ и продавать въ Петербургъ. Пошло дѣло отлачно, но на слѣдующій годъ въ Петербургъ не стали принимать здѣшняго сѣна въ прессованномъ видѣ. «Помилуйте! говорятъ, обрадовались, что выгодно, — и ну пихать въ нутро всякую дрянь: то полѣно, то камень, то навозу набить туда, благо не видать съ боковъ... Теперь здѣшнее сѣно покупалось въ Петербургъ не иначе, какъ съ возовъ. Такое своеобразное пониманіе выгоды конечно имѣть множество оснований, но вотъ что нехорошо: года два тому назадъ пріѣхали изъ Лондона въ ближній къ нашимъ мѣстамъ губернский городъ два англичанина. По-русски они ни слова не говорили и не говорятъ; пріѣхали они честь честью, наняли домъ самый лучший, завели какіе-то экипажи, необыкновенные, на высокихъ колесахъ и т. д. Въ этихъ экипажахъ они разъѣзжаютъ по городу съ своими семействами передъ обѣдомъ и послѣ обѣда и живутъ въ свое удовольствіе. Какъ-же могло случиться, что немедленно-же по ихъ пріѣздѣ вся сѣнная операція на сотни версты очутилась у нихъ въ рукахъ? А между тѣмъ это фактъ, и сѣнное дѣло теперь находится въ слѣдующемъ видѣ: кулачишко, занявъ деньги въ ссудномъ товариществѣ, закупаетъ у крестьянъ въ «нужное» время, лѣтомъ, за безцѣнокъ и поставяетъ «англичанамъ», а англичане поставяютъ въ Петербургъ въ разныя казенныя учрежденія. Прессъ дѣйствуетъ по прежнему, но работаетъ ужъ не на міръ, а на англичанина. «Кому прессуетъ?» — Чарльзу! отвѣчаютъ мужики. Кулачишко такъ тотъ просто благоговѣетъ передъ «англичанами», именно потому, что они, кажется, и пальцемъ не шевельнутъ, все только въ экипажахъ на красныхъ колесахъ ѣздятъ, а все дѣло забрали въ руки. «Ужъ господа! говоритъ кулачишко. — Одно слово! Хотѣ-бы взять Чарльзъ Иваныча или Диксонъ Петровича — одно слово, какъ ни оберни — господа на отдѣлку!» Такимъ образомъ въ то время, какъ Диксонъ Петровичъ съ Чарльзомъ Ивановичемъ разъѣзжаютъ съ сигарами въ зубахъ въ своихъ отличныхъ экипажахъ, «отдыхая» послѣ завтрака и обѣда, здѣшній крестьянинъ продолжаетъ священнодѣйствовать передъ такой громадной общественной надобностью, какъ загородъ, даетъ цѣлыя драматическія представленія при наймѣ пастуха или при покупке быка, — словомъ, всячески старается, чтобы «не обидѣть» ни себя, ни ближняго, даже на поро-

шинку, и рѣшительно не находитъ возможности замостить четверть версты болота, въ которомъ и лежитъ корень очень многихъ изъ его ежедневныхъ и ежечасныхъ обидъ.

Примѣровъ такого безграничнаго равнодушія къ «собственной своей выгодѣ», какъ ее надо понимать при новыхъ условіяхъ крестьянской жизни, можно было бы привести очень много. Положительно на каждомъ шагѣ я, человекъ совершенно посторонній деревнѣ, могъ-бы указать, что вотъ тутъ-то крестьяне теряютъ то то, а вотъ здѣсь они явно разстраиваютъ свое благосостояніе. И, по неопытности моей, объясняя это видимое мнѣ каторжное существованіе только тѣмъ, чтобы кое-какъ пробиться, «быть сытымъ», я не могъ не волноваться, а по временамъ не выходить положительно «изъ себя», видя глубочайшее невниманіе такихъ подлинныхъ радѣтелей «крестьянства», какъ Иванъ Ермолаевичъ, ко всему, что облегчаетъ трудъ, что передаетъ выгоды этого труда въ тѣ руки, которыми эти выгоды принадлежатъ по справедливости и т. д. Много и долго распространялся я иногда на тему «о непониманіи собственной пользы», о грабительствѣ, которому служатъ Иваны Ермолаевичи своими трудами и руками и т. д. И все какъ къ стѣнѣ горохъ! О всякихъ коллективныхъ оборонахъ противъ всевозможныхъ современныхъ золъ, идущихъ на деревню, не могло быть и рѣчи.

— Захотѣли вы съ нашимъ народомъ! Нешто нашъ народъ присогласишь? Нешто онъ что понимаетъ?

Вотъ какіе были отвѣты Ивана Ермолаевича на мои разглагольствія о «ихней пользѣ». Такой неустанный труженикъ не зналъ, куда, кому и зачѣмъ онъ платитъ, не имѣя никакого понятія о земствѣ, о выборѣ въ гласные и т. д. Твердо былъ увѣренъ, что все это до него ни капли не касается. О ссудо-сберегательномъ товариществѣ ровно ничего не понималъ изъ всѣхъ моихъ разсужденій и только замѣтилъ: «Врать-то хорошо, а вотъ отдавать-то какъ?.. Свяжешься. Богъ съ нимъ совсѣмъ!» А когда я указывалъ на кулака, который беретъ и отдаетъ и выгоду имѣетъ, то Иванъ Ермолаевичъ говорилъ: «Ну, песь съ нимъ... тамъ ужъ это ихній рассчетъ... А то свяжешься — не развязаться»...

Однажды онъ меня поразилъ самымъ неожиданнымъ образомъ въ разговорѣ объ общественныхъ крестьянскихъ должностяхъ:

— Всѣ они (выборные) — народъ ненадежный... Покуда живетъ крестьянствомъ — ничего, а какъ выбрали въ должность — чистая дѣлается собака. Какъ присягу принялъ, точно въ зѣбрю оборачивается... По мнѣ, такъ я, кажется, за миллионъ на это не согласился-бы.

— На что?

— Напримѣръ принять присягу волостную. Я снова слушалъ, такъ обмеръ начисто. Какъ зачалъ поплъ вычитывать — «отъ отца, отъ матери отрекись, отъ братьевъ, сестеръ отрекись, отъ роду и племени откажись» — волоса у меня на макушкѣ даже поднялись дыбомъ. Передъ Богомъ! Ужъ который чело-

вѣкъ такимъ манеромъ себя проклиять, такъ онъ отъ этого самаго не иначе дѣлается, какъ злодѣемъ.

Такой взглядъ на присягу неслыханно меня удивилъ. Удивилъ онъ меня не мало и въ другой разъ, когда я случайно засталъ его, какъ онъ училъ своего сынишку молатвамъ. Иванъ Ермолаевичъ въ Бога вѣрилъ крѣпко, непоколебимо крѣпко, близость Бога ощущалъ почти до осязанія, а молитвы читалъ по своему: «Вѣрую во единого Бога отца» училъ онъ сынишку: «а въ небо и землю. Видимо невидимо, слышимо неслышимо. Припонтился еси, расплатился еси...» А дальше ужъ Богъ знаетъ чтѣ было. Кончалась «Вѣрую» такъ: «отъ лукаваго. Аминь».

Все это однако-жъ пустяки сравнительно вообще съ невниманіемъ къ опредѣленію своего положенія не только на бѣломъ свѣтѣ, а въ кругу даже 26-ти дворовъ, среди которыхъ Иванъ Ермолаевичъ жилъ, живетъ и жить будетъ. Не говоря о равнодушіи къ общественнымъ порядкамъ, не касающимся непосредственно хозяйства, я замѣчалъ въ Иванѣ Ермолаевичѣ невниманіе и къ людямъ. Напрямѣръ, онъ отлично зналъ, сколько у кого скота, хлѣба, чтѣ «дадено» за лошадей въ такомъ-то дворѣ; словомъ, сколько у кого физическихъ ресурсовъ къ существованію. Но случись въ этомъ дворѣ какое-нибудь изъ ряду выходящее событіе, объяснить которое можно только зная «людей», участвовавшихъ въ немъ, — не объяснить. Случилось въ деревнѣ два самоубійства, и никто ничего не могъ объяснить. «Должно, деньги пропилъ», говорили про солдата, который еще вчера работалъ въ городѣ, полелъ капусту, а сегодня найденъ подъ переметомъ. — «Вѣдь это, братецъ, какъ сказать — отъ чего? Стало быть, ужъ ему такъ положено. Вотъ прошлый годъ то-жъ вдова одна также вотъ самовольно покончилась. А послѣ нея осталось денегъ тридцать рублей, двѣ коровы, да картофелю мѣшка четыре — вотъ тутъ и думай! Скучалъ, скучалъ, глядишь — и задавился!»

Не разъ, глядя на эту почти добровольную отдачу себя на съѣденіе всѣмъ, кто пожелаетъ, всѣмъ, у кого загребиста лапа, а въ глубокомъ уныніи восклицалъ, конечно въ мысляхъ моихъ: «Боже мой!» какія же нужны еще казни египетскія, чтобы сокрушить въ Иванѣ Ермолаевичѣ это непоколебимое невниманіе къ «собственной пользѣ»? Вѣдь это невниманіе дѣлаетъ то, что черезъ десять лѣтъ (много-много) Ивану Ермолаевичу и ему подобнымъ нельзя будетъ жить на свѣтѣ: они воспроизведутъ къ тому времени два новыхъ сословія, которыя будутъ тѣснить и напирать на «крестьянство» съ двухъ сторонъ: сверху будетъ насѣдать представитель третьяго сословія, а снизу тотъ же братъ мужикъ, но уже представитель четвертаго сословія, которое неминуемо должно быть, если будетъ третье. Этотъ представитель четвертаго деревенскаго сословія непременно будетъ *золъ* (о происхожденіи *злоумужика* будетъ сказано въ слѣдующемъ отрывкѣ) и неумолимъ въ мщеніи, а истина онъ будетъ за то, что очутился въ дуракахъ, то есть пойметъ наконецъ (и очень скоро), что онъ платится за свою дурость,

что онъ былъ и есть дуракъ, дуракъ темный, отчего и разошлись *самъ на себя*. И горько полатятся за это всѣ тѣ, кто, по злому, хитрому умыслу, по невниманію или равнодушію, поставили его въ это «дурацкое» положеніе. Другимъ словомъ нельзя опредѣлить этого положенія, ибо если въ русской деревнѣ завелся хроническій нищій, то только существованіемъ какого-то *неумнаго мѣста* въ организаціи общественной, ничѣмъ другимъ это явленіе объяснить нельзя. Все есть для того, чтобы такого явленія не было — а оно уже есть; никакими резонами, мало-мальски подходящими къ тому, чтѣ опредѣляется словами «необходимость», «неизбѣжность», нельзя этого явленія объяснить. Представитель русскаго четвертаго сословія есть продуктъ безсердечной общественной невнимательности — ничего болѣе. Впрочемъ объ этомъ послѣ; теперь же возвратимся къ Ивану Ермолаевичу.

Безмѣрное равнодушіе Ивана Ермолаевича къ напирющимъ на него бѣдствіямъ, въ видѣ третьяго и четвертаго сословія, въ видѣ наконецъ пришельца-переселенца изъ остзейскихъ провинцій, не разъ становило меня втупикъ, и я недоумѣвалъ: чтѣ именно даетъ Ивану Ермолаевичу силу переносить свое труженическое существованіе? чтѣ держитъ его на свѣтѣ, изъ какихъ лакомыхъ приправъ сварена та чечевичная похлебка, за которую онъ ясно продаетъ свое первородство? Неужели въ самомъ дѣлѣ Иванъ Ермолаевичъ и его тысячелѣтніе предки «бьются только изъ-за податей? Или въ самомъ дѣлѣ изъ-за куска хлѣба? Но если бы это было такъ, Иванъ Ермолаевичъ не перенесъ бы удовольствія платить подати не только тысячу лѣтъ, но и тысячу минутъ. Когда ему что *не нравится*, надобѣдетъ, онъ *нетерпѣливъ*; онъ даже внѣшняго приличія не соблюдаетъ, когда ему что-нибудь не по нутру; вѣдь вотъ зѣваетъ-же онъ самымъ потрясающимъ образомъ, когда я разговариваю съ нимъ о вещахъ, которыя онъ слушать не желаетъ. Всакій разъ когда я заведу рѣчь о коллективной оборонѣ деревни въ томъ или другомъ видѣ, Иванъ Ермолаевичъ немедленно найдетъ предлогъ улизнуть отъ меня: то ему захочется спать, то болить нога, то надо поглядѣть, отчего лаютъ собаки? Словомъ, всегда найдетъ предлогъ увильнуть, и увильнетъ. Что же за пріятность въ податяхъ? Что за удовольствіе биться всю жизнь изъ-за нихъ или только изъ-за хлѣба? Неужели-же такое существованіе можно назвать жизнью? А между тѣмъ Иванъ Ермолаевичъ, *на мой взглядъ*, именно бьется, и именно изъ-за хлѣба, ибо и самъ онъ совершенно справедливо убѣряетъ, что въ концѣ-концовъ онъ только что «сытъ».

III. Поэзія земледѣльческаго труда.

Объясняя себѣ эту загадку существованія, я приходилъ къ самымъ мрачнымъ и безобразнымъ выводамъ; то мнѣ казалось, что Ивану Ермолаевичу предопредѣлено пережить еще одно тягостнѣйшее нго, нго и медекаго пришельца, то мнѣ казалось, что Ивану Ермолаевичу «предназначено» терпѣть, «владѣть»

ся по браздамъ» и т. д. Словомъ, все выходило ужасно нескладно, произвольно и неосновательно въ высшей степени. Только-что я объясню себѣ тайну каторжнаго существованія «терпѣніемъ во Христѣ», какъ натолкнусь на рыданія невѣстки Ивана Ермолаевича, которая говоритъ, рыдая, что ее «сѣбли» въ семьѣ Ивана Ермолаевича и ждутъ не дождутся, когда она протанетъ ноги, чтобы взять другую бабу, здоровую; и злы-то на нее («поѣдомъ ѣдятъ», «сживаютъ со свѣту») за то, что она больна и въ хозяйствѣ только помѣха. Только-что объясню себѣ существованіе Ивана Ермолаевича предопредѣленіемъ насчетъ новаго двухсотлѣтняго нѣмецкаго ига, какъ встрѣчусь съ такими проявленіями русскаго ребросокрушительнаго патріотизма, что мнѣ начинается казаться, будто насчетъ ига «бабушка сказала еще на-двое», т. е. что пожалуй ига-то этого и не будетъ.

Словомъ, тайна бесплодности и непрестанности труда, изъ которыхъ сотканы дни, часы и годы существованія Ивана Ермолаевича и многихъ ему подобныхъ, такъ и оставалась досадною, неразгаданною тайною.

И вдругъ случилось обстоятельство, которое прошло нѣкоторый свѣтъ на эту тайну—и представило жизнь и интересы жизни, волновавшіе Ивана Ермолаевича и державшіе его на бѣломъ свѣтѣ, въ совершенно неожиданномъ для меня видѣ и въ такого рода ежедневныхъ явленіяхъ, которыми я до сихъ поръ не придавалъ ни малѣйшаго значенія. Обстоятельство, столь чудотворно просвѣтившее меня, было въ высшей степени ничтожное, до того ничтожное, что мнѣ даже совѣстно утруждать имъ вниманіе благосклоннаго читателя. Дѣлать однако нечего, и рассказать объ этомъ ничтожномъ обстоятельстве приходится болѣе или менѣе подробно. Вотъ какъ было дѣло.

Иванъ Ермолаевичъ поитъ телятъ, которыхъ продаетъ прѣѣзжающимъ изъ Петербурга телятникамъ. Занятіе выгодное, такъ какъ каждый такой теленокъ продается рублей по тридцати и болѣе. Поитъ онъ молокомъ, и такихъ телятъ у него было восемь штукъ. Какъ-то онъ объявилъ мнѣ, что купилъ у какой то старухи девятаго теленка, и мы вмѣстѣ порадовались, что теленокъ хорошъ и купленъ дешево. На слѣдующій день я встрѣтилъ Ивана Ермолаевича на дворѣ; онъ смотрѣлъ, какъ жена его поитъ телятъ, былъ какъ-то унылъ и что-то рассказывалъ про новую телушку, безпрестанно ругая старуху, у которой она куплена. Сотни разъ слышалъ я рассказы и разговоры Ивана Ермолаевича про его хозяйственные заботы, про телятъ, про овецъ и т. д., но, какъ ужъ сказано было въ началѣ этого отрывка, не мнѣлъ терпѣнія и интереса вслушиваться въ эти рассказы. Не вслушивался я еще и потому, что обыкновенно думалъ о другомъ, о чемъ-нибудь своемъ, и если интересовался «крестьянствомъ», то вовсе не со стороны этихъ происшествій съ телятами, утятами и т. д. Но на этотъ разъ, когда я ужъ совсѣмъ былъ готовъ пропустить мимо ушей рассказываемое происшествіе съ теленкомъ, меня поразило по-

чти драматическое выраженіе его голоса, которымъ онъ произнесъ: «Вотъ онъ! Поглядите на него, на проклятушаго, и смотрѣть-то на него, на проклятаго, тошно!» . . . И вновь принялся ругать старуху.

Меня потому поразили драматическій тонъ этихъ словъ Ивана Ермолаевича, потому что онъ меня заставилъ вникнуть въ огорченіе Ивана Ермолаевича, въ исторію съ теленкомъ—что мгновенно, неожиданно воскресилъ въ моей памяти другое, нисколько на исторію съ теленкомъ не похожее обстоятельство, которое однако вызвало почти точь-въ-точь такое-же восклицаніе и *точь-въ-точь такимъ-же тономъ* у другого человѣка, нисколько на Ивана Ермолаевича не похожаго.

Лѣтомъ 1876 года одинъ русскій художникъ повелъ меня въ луврскій музей смотрѣть Венеру Милосскую. Всю дорогу онъ приготавливалъ меня къ пониманію этого дивнаго произведенія, бранилъ Фета за его стихотвореніе, посвященное этой самой Венерѣ, говоря, что въ немъ нѣтъ ни одной черты, хоть отдаленно напоминающей то, что есть въ *этой* Венерѣ, и т. д. Приготавливалъ меня къ предстоящему зрѣлищу, какъ къ святыни, онъ всачески старался настроить меня такъ, чтобы я могъ воспріять хоть каплю той красоты, которую развиваетъ это удивительное произведеніе, велъ меня по корридорчику, ведущему къ статуѣ, рисующейся въ отдаленіи, почти съ такою-же осторожностью, точно мы шли къ умирающему больному, ступая осторожно кончиками пальцевъ, и... вдругъ остановился, какъ-то безпомощно опустилъ руки и, обернувшись ко мнѣ, *точь-въ-точь такимъ-же драматическимъ тономъ*, какъ и Иванъ Ермолаевичъ, проговорилъ: «Ну, скажите пожалуйста, на что это похоже? Посмотрите-ко, что они надѣлали...»

Кто «они», я не зналъ и рѣшительно недоумѣвалъ, что такое *они* натворили. Оказалось однако, что администрація Лувра или вообще кто-то имѣющій власть въ немъ распоряжаться, въ видахъ того, что мраморъ, изъ котораго высѣчена статуя, ветхъ, крошится, распорядился немного, чуть-чуть, съ величайшею осторожностью, поправить кой-какія наиболѣе ветхія точки: такимъ образомъ оказалось, что на лѣвомъ колѣнѣ и на носу у статуи не то намазано, не то насыпано что-то бѣлое, отчего носъ у Венеры Милосской походилъ на утиный. . . Этотъ-то утиный носъ, оказавшійся тамъ, гдѣ должно было быть совсѣмъ другое, до того потрясъ художника, такъ его ошеломилъ, что онъ, за минуту назадъ до крайности взволнованный, возбужденный, какъ бы мгновенно усталъ, обезсилѣлъ нушелъ вонъ совершенно разстроенный.

Рѣшительно точь-въ-точь то же душевное оскорбленіе, та же нравственная обида слышалась въ голосѣ Ивана Ермолаевича, когда онъ указывалъ мнѣ на теленка и говорилъ:

— Вотъ поглядите на него, на проклятушаго!

Совпаденіе той и другой обиды было до такой степени поразительно, что я невольно перенесъ на теленка, и на Ивана Ермолаевича, и на всю эту исторію съ теленкомъ понятное мнѣ до нѣ-

которой степени огорченіе художника. И что-же? Оказалось, что Иванъ Ермолаевичъ былъ огорченъ почти такъ-же, какъ и художникъ, т. е. именно *оскорбленъ телянкомъ въ глубинѣ своихъ художественныхъ требованій*. И въ самомъ дѣлѣ, телянокъ не пилъ молока; старуха, продавая его, не сказала Ивану Ермолаевичу, что телянокъ приученъ пить овсянку съ отрубями и съ яйцомъ, и что молока онъ не пьетъ. Зрѣлище, на которое Ивану Ермолаевичу было «тошно смотрѣть», было такое: всѣ восемь телятъ столпились у крыльца и изъ корытъ, и изъ шаекъ «дружно тянули молоко, весело помахивая своими хвостами, похожими на палки; одинъ только новый, купленный телянокъ стоялъ въ сторонѣ, сердито зывая о пищи, выказывая недовольство. Недовольный, мрачный, явившійся въ чужой монастырь съ своими уставами, онъ явно нарушалъ художественную сторону вечернихъ порядковъ хозяйства. И лошади, и коровы, и овцы, все это было на своихъ мѣстахъ, словомъ, все въ хозяйствѣ было какъ всегда, какъ привыкъ видѣть хозяйскій глазъ, и вотъ тутъ-то, въ видѣ новаго тельца, неожиданно появилось нѣчто чуждое, несогласное, мрачно и грубо недовольное, какъ-бы даже критикующее. Мрачное состояніе духа, въ которомъ находился новый телянокъ, перешло и на жену Ивана Ермолаевича, и на него...

— И шутъ тебя догадалъ! сердилась на него жена.

— Кто же его зналъ, чорта экова, почти закричалъ Иванъ Ермолаевичъ и принялся ругать старуху.

Стали тащить тельца силой, принялись пихать его морду насильно въ корыто... телянокъ сопротивлялся... Словомъ, вышла преперпятная сцена...

Этотъ эпизодъ съ телянкомъ неожиданно для меня воскресилъ въ моей памяти множество такого же рода хозяйственныхъ эпизодовъ, которые занимали Ивана Ермолаевича, о которыхъ онъ говорилъ со мной, но которые я пропускалъ мимо ушей, какъ вещи не «стоящія» и ровно ничего незначащія сравнительно съ вопросами о возникновеніи кулаковъ, о податяхъ, объ эксплуатаціи и т. д. Благодаря эпизоду съ телянкомъ, все мнѣ представилось теперь въ иномъ свѣтѣ. Припомнилъ я «исторію» съ уткой, которую Иванъ Ермолаевичъ называлъ «остроумной», — исторію, на которую я прежде не обратилъ никакого вниманія. Бывало, выйдешь на крыльцо подъ вечеръ, когда Иванъ Ермолаевичъ ужъ поужиналъ. смотришь, Иванъ Ермолаевичъ сидитъ на крыльцѣ, не спитъ. — «Что вы сидите?» — «Да такъ... на счетъ утки...» Такъ какъ утка для меня ничего не представляетъ интереснаго, то я и оставляю Ивана Ермолаевича безъ разспросовъ; но на слѣдующій день и еще на слѣдующій опять вижу его въ поздній вечерній часъ то на крыльцѣ, то даже притаившимся за угломъ у амбаровъ и опять «все на счетъ утки». Иванъ Ермолаевичъ весело общался мнѣ мимоходомъ: «А вѣдь я открылъ ейный секретъ то!» — «Чей секретъ?» — «Да уткинъ-то! Вчера до двѣнадцатаго часу просидѣлъ, а ужъ добилъ

ся. Вѣдь какая остроумная шельма! Принужденъ былъ даже на балконѣ отъ нея пританцъся — не идетъ, выдѣтъ»... Говорилъ онъ это весело, радостно, и теперь послѣ мрачнаго эпизода съ телянкомъ я понималъ, что именно заставляло сидѣть Ивана Ермолаевича по ночамъ, прятаться за амбаръ и на балконѣ, и почему утка получила названіе остроумной. Не въ примѣръ прочимъ уткамъ, она тщательно скрывала мѣсто, куда кладетъ яйца. Она прибѣгала къ крыльцу амбара, гдѣ разсыпала кормъ для птицъ, послѣ всѣхъ, когда ея собраты утки и куры наѣдятся, заснутъ — и все для того, чтобы не видали, куда она кладетъ яйца, гдѣ несется. Замѣчательно, что она шла къ амбару всегда молча и выбирала дорогу всегда околную, въ густой травѣ, гдѣ нельзя было примѣтить. У другихъ утокъ ястреба растаскали почти всѣхъ цыплятъ, эта-же остроумная утка всѣхъ своихъ дѣтей берегла.

Кромѣ утки припомнился эпизодъ съ «забычивой» свиньей, которая оретъ благимъ матомъ всякій разъ, когда ее треснутъ палкой, но немедленно же и забываетъ ударъ; припомнился разговоръ Ивана Ермолаевича о какихъ-то «камяхъ», въ которые онъ «просто влюбился»: валяются около рѣчки круглые большіе камни, и такъ они «полюбились» Ивану Ермолаевичу, что онъ нѣсколько дней высчитывалъ, сколько будетъ стоять мѣзъ перевезть; припомнилъ выраженія «заглядѣлся на жеребенка», «залибовался овсомъ», — словомъ, припомнились сотни, тысячи такихъ ежедневныхъ хозяйственныхъ мелочей, которые для насъ съ вами не представляютъ ни малѣйшаго интереса, но которые теперь получили для меня совершенно другой смыслъ и значеніе, такъ какъ давали возможность совсѣмъ иначе взглянуть на существованіе Ивана Ермолаевича.

Оказывалось, что земледѣльческій трудъ, отнимающій у Ивана Ермолаевича всю жизнь, хотя и имѣетъ видимый результатъ только въ томъ, что Иванъ Ермолаевичъ «сытъ» со всѣмъ своимъ семействомъ и со всей своей скотиной, но что въ то-же время и въ этомъ же трудѣ невидимо покоятся и существеннѣйшіе его интересы. Иванъ Ермолаевичъ «бьется» не потому только, что ему надо быть сытымъ, платитъ подати, но и потому еще, что земледѣльческій трудъ со всѣми его развитіями, приспособленіями, случайностями поглощаетъ и его мысль, сосредоточиваетъ въ себѣ почти всю его умственную и даже нравственную дѣятельность и даже какъ бы удовлетворяетъ нравственно. Ни въ какой иной сферѣ, кромѣ сферы земледѣльческаго труда, опять-таки въ безчисленныхъ его развитіяхъ и осложненіяхъ, мысль его такъ не свободна, такъ не сбѣла, такъ не напряжена, какъ именно здѣсь, тамъ гдѣ соха, борона, овцы, куры, утки, коровы и т. д. Онъ почти ничего не знаетъ на счетъ «своихъ» правовъ, ничего не знаетъ о происхожденіи и значеніи начальства, не знаетъ, за что началась война и гдѣ находится враждебная земля и т. д., потому что онъ заинтересованъ своими дѣ-

домъ, ему некогда знать и интересоваться всѣмъ этимъ, точно такъ-же какъ мнѣ и вамъ, заинтересованнымъ «всѣмъ этимъ», нѣтъ ни охоты, ни возможности три вечера кряду думать объ уткѣ или «грустить» душевно, глядя на то, что овецъ вышелъ рѣдокъ. Случайности природы онъ сосредоточиваетъ въ Богѣ. Случайности всевозможной политики — въ царѣ. Царь пошелъ воевать, царь далъ волю, царь даетъ землю, царь раздаетъ хлѣбъ. Что царь скажетъ, то и будетъ; деньги платятся царю, а разбирать, что такое урядникъ или непримѣнный членъ, это ужъ совершенно не нужная подробность; но въ *своемъ дѣлѣ* онъ выникаетъ во всякую мелочь: у него каждая овца имѣетъ имя, смотря по характеру, онъ не спитъ изъ-за утки ночи, думаетъ о камнѣ и т. д. Нравственная много-содержательность земледѣльческаго труда показалась мнѣ до такой степени важной въ объясненіи непонятныхъ сторонъ крестьянской жизни, что я имѣю стать объяснять себѣ даже и то странное пониманіе собственной выгоды, о которомъ было говорено выше.

Художникъ, который поставитъ своей задачей *выходъ*, денежную пользу, перестаетъ переимениться съ своей совѣстью, малюетъ все, что требуется, спускается до рисовки выѣсокъ на портерныхъ и овощныхъ лавкахъ; по тѣмъ же причинамъ и крестьянинъ засовываетъ навозъ въ прессованное сѣно. Съ точки зрѣнія нравственнаго оскорбленія и именно оскорбленія самого «святыя святыхъ» крестьянскаго міросозерцанія, я сталъ объяснять себѣ такіа даже явленія, какъ бунтъ военныхъ поселеній при Аракчеевѣ. Нѣтъ ли малѣйшаго сомнѣнія, что одною изъ причинъ бунта были жестокости, жестокія истязанія, шпицрутены... Но вѣдь такимъ же точно истязаніемъ подвергался на ряду съ поселянами не одна сотня тысячъ войскъ, вездѣ царилъ зеленыя улицы, шпицрутены и т. д. И однако-же была возможность молчать, терпѣть. Выказали ли войска, состоявшія изъ людей, оторванныхъ отъ хозяйства, когда-либо во все время аракеевскаго свирѣпствованія, какіе-либо видимые знаки нетерпѣнія? Поселыне же выказали это нетерпѣніе въ громадныхъ размѣрахъ и именно, намъ кажется, потому, что графъ Аракчеевъ, не ограничиваясь муштровкой, вломился со своими реформами въ хлѣвъ, сталъ соваться съ приказами на счетъ коровы, опредѣляя часъ выгона и пригона, приказывалъ пахать такъ, а не иначе, — словомъ, сталъ дерзко распорядиться въ самыхъ нѣдрахъ земледѣльческаго творчества, искусства, сталъ безжалостно разрушать поэзію земледѣльческаго труда.

Художникъ, переносящій отъ своего академическаго начальства всевозможныя служебныя неприятности, интриги, несправедливости, навѣрное не вынесетъ, если начальство вздумаетъ взять кисть, да придѣлать на картинѣ художника, всецѣло ею поглощеннаго, какую-нибудь фигуру или черту по собственному усмотрѣнію. Этого-то ужъ не вынесетъ никакой художникъ, его не вынесетъ и поэтъ-мужикъ. А неудачная дезинфекція хлѣ-

вовъ нынѣшняго года не означаетъ ли, что непрошенные посѣтители попробовали хозяйничать тамъ, гдѣ крестьянинъ наиболѣе чувствуетъ самостоятельность?

Поэзія земледѣльческаго труда — не пустое слово. Въ русской литературѣ есть писатель, котораго невозможно иначе назвать, какъ поэтомъ земледѣльческаго труда — исключительно.

Это — Кольцовъ.

Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогалъ *такихъ* поэтическихъ струнъ народной души, народнаго міросозерцанія, воспитаннаго исключительно въ условіяхъ земледѣльческаго труда, какъ это мы находимъ у поэта-прасола. Спрашиваемъ, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при видѣ пахущаго пашню мужика, его клячи и сохи? Пушкинъ, какъ человѣкъ много круга, могъ бы только скорбѣть, какъ это и было, объ этомъ труженикѣ, «влачащемся по браздамъ», объ ярмѣ, которое онъ несетъ, и т. д. Придетъ ли ему въ голову, что этотъ кое-какъ въ отрѣпья одѣтый рабъ, влачащійся по браздамъ, босикомъ бредущій за своей клячонкой, чтобы онъ могъ чувствовать, въ минуту этого тяжкаго труда, что-либо, кромѣ сознанія его тяжести? А мужикъ, изображаемый Кольцовымъ, хотя и влачитъ по браздамъ, хоть и босикомъ плетется за клячей, находитъ возможнымъ говорить этой клячѣ такіа рѣчи: «Весело (!) на нашѣхъ, я самъ-другъ съ тобою, слуга и хозяинъ. — Весело (!) я лажу борону и соху, телѣгу готовлю, зерна насыпаю. *Весело* гляжу я на гумно (что-жъ тутъ можетъ быть веселаго для насъ съ вами, читатель?), на скирды, молочу и вѣю. Ну, тащися, сивка!.. Пашенку мы рано съ сивкою распашемъ, зернушку сготовимъ колыбель святую; его вспоить, вскормить мать-земля сырая... Выйдетъ въ полѣ травка... Ну, тащися, сивка!.. Выйдетъ въ полѣ травка, вырастетъ и колосъ, станется спѣть, радиться въ золотыя ткани» и т. д. Сколько тутъ разлито радости, любви, вниманія, и къ чему? Къ гумну. Къ колосу, къ травѣ, къ клячѣ, съ которою человѣкъ разговариваетъ, какъ съ понимающимъ существомъ, говоря «мы съ сивкою», «я самъ-другъ съ тобою» и т. д. Человѣкъ, *такъ*, своеобразно, полно понимающій, живущій непонятными для меня и васъ, образованный читатель, вещами, пойметъ ли онъ меня, если я къ нему подскочу съ разговорами о выгодности ссудо-сберегательныхъ товариществъ? А косарь, того же Кольцова, который, получая на своихъ харчахъ 50 коп. въ сутки, находитъ возможность говорить такіа рѣчи: «Ахъ ты, степь моя, степь привольная!.. Въ гости я къ тебѣ не одинъ пришелъ, я пришелъ *самъ-другъ съ косяю* вострою. Мнѣ давно *нужать* (это за 50-то копѣекъ въ сутки!) по травѣ степной, вдоль и поперекъ, съ ней *хотѣлося*. *Раззудись* плечо, *размажнись* рука, ты пахни въ лицо вѣтеръ съ полудня, освѣжи, взволнуй степь просторную, зажуужи коса, *засверкай кругомъ!* Зашуми трава подкошенная, *поклонись цвѣты головой землю*» и т. д. Тутъ что ни слово, то

тайна крестьянскаго міросозерцанія: *раззудись плечо... засверкай кругомъ* и т. п. — все это прелести, ни для кого кромѣ крестьянина-земледѣльца недоступныя. Припомнимъ еще по истинѣ великолѣпное стихотвореніе того-же Кольцова «Урожай», гдѣ и природа, и міросозерцаніе человѣка, стоящаго съ ней лицомъ къ лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты въ одно поэтическое цѣлое. Чтобы яснѣе видѣть достоинства этого стихотворенія, возьмемъ для сравненія извѣстное стихотвореніе другого русскаго поэта, Лермонтова: «Когда волнуется желтѣющая нива». Авторъ «въ небесахъ видѣть Бога, у него морщины расходятся на челѣ, онъ начинаетъ постигать, что такое счастье» и т. д. Такія сильныя душевныя движенія возбудили въ немъ созерцаніе красоты природы. Какова же эта природа и каковы эти ея красоты, такъ растрогавшія автора? «Желтѣющая нива, лѣсъ, шумящій при звукѣ вѣтерка, малиновая слива, которая прячется въ саду, подъ тѣнью сладостной зеленаго листка; ландышъ серебристый, обрызганный душистою росой, когда онъ румянымъ вечеркомъ или въ златой часъ утра привѣтливо киваетъ головой изъ-подъ куста». Вотъ эти красоты природы. Несомнѣнно, что авторъ отобралъ изъ этой природы самые лучшіе ея сорта, что онъ оставилъ самыми приятными растеніями путь, по которому въ душу его шествуетъ Богъ, и развѣстилъ эти растенія и разные фрукты въ такомъ порядкѣ и видѣ, чтобы ему не совѣстно было принять высопоставленнаго посягателя; взята поэтому «желтѣющая нива», зрѣлище очень пріятное для глазъ, затѣмъ слива, да еще малиновая, да не просто малиновая слива, а слива подъ тѣнью, да и тѣнь-то сладостная, потомъ ландышъ; во первыхъ, онъ серебристъ, обрызганъ росой, роса взята душистая, особенная, ради экстреннаго случая; кромѣ того ландышъ этотъ освѣщенъ на выборъ и утренней, и вечерней зарей, разноцвѣтными переливами, помѣщенъ подъ кустомъ, изъ подъ котораго уже и киваетъ съ привѣтливостью. Тутъ, ради экстреннаго случая, перемѣшаны и климаты, и времена года, и все такъ произвольно выбрано, что невольно рождается сомнѣніе въ искренности поэта. Что, думается, вникая въ его произведение, увидѣлъ ли бы онъ Бога въ небесахъ и разошлись ли бы его морщины и т. д., если бы природа предстала предъ нимъ не въ видѣ какихъ-то отборныхъ фруктовъ, при особенномъ освѣщеніи, а въ болѣе обыкновенномъ и простомъ видѣ? Что, еслибы вмѣсто малиновой сливы, душистой розы, серебристаго ландыша автору предстояло созерцать напримѣръ корявый крыжовникъ, бруснику, ежевику, горькую ягоду калину, рябину и прочую неблагообразную тварь Божію? И неужели эта неблагообразная тварь не способна напомнить Бога, а годится только на то, чтобы при видѣ ея вспомнить чорта? Въ концѣ-концовъ вы видите, что поэтъ — случайный знакомецъ природы, что у него нѣтъ съ ней кровной связи. иначе онъ бы не сталъ выбирать изъ нея отборные фрукты да прикрашивать ихъ и

развѣщать по собственному усмотрѣнію. Совѣтъ не то въ «Урожай» Кольцова. Здѣсь все просто, обыкновенно, взята одна только нива желтѣющая, на которой сосредоточены всѣ заботы земледѣльца, сосредоточены всѣ его думы. Авторъ подробно излагаетъ эти «три думы» крестьянскія, связанныя только съ нивой и не разбрасывающіяся по сторонамъ; съ этой же нивой и думами о ней связано совершенно объяснимое вниманіе къ природѣ, вниманіе пристальное, жадное (какъ туманъ густится въ тучу, туча проливаетъ дождемъ и т. д.), и какъ наконецъ глубоко понятны заключительныя слова стихотворенія: «и жарка свѣча поселенина предъ иконою Божьей Матери». Тутъ нѣтъ пустого мѣста, нѣтъ прорѣхи въ міросозерцаніи человѣка, и самое міросозерцаніе удивительно своеобразно.

Такимъ образомъ, благодаря эпизоду съ теленкомъ, для меня раскрылось значеніе въ мірѣ крестьянства такой стороны земледѣльческаго труда, которой до сихъ поръ я не придавалъ почти никакого значенія. Для меня стало совершенно яснымъ, что творчество въ земледѣльческомъ трудѣ, поэзія его, его многосторонность составляютъ для громаднаго большинства нашего крестьянства жизненный интересъ, источникъ работы мысли, источникъ взглядовъ на все окружающее его, источникъ, едва ли даже не всѣхъ его отношеній частныхъ и общественныхъ. Множество явленій русской жизни, русскою дѣйствительности оказываются необъяснимыми или объясняются фальшиво ложно и досадно терзаютъ вашу наблюдательность, потому только, что источникъ этихъ явленій отыскивается не въ особенностяхъ земледѣльческаго труда, сотканнаго изъ непрерывной сѣти на первый взглядъ ничтожныхъ мелочей, а въ чемъ-либо другомъ. Да не подумаетъ читатель, что мы совсѣмъ устранимъ «каторжную сторону труда» и желаемъ представить этотъ трудъ въ видѣ непрестаннаго удовольствія. Но объ этой сторонѣ труда, равно какъ и о крупнѣйшихъ особенностяхъ крестьянской жизни, вытекающихъ изъ условій его труда, поглощающаго не только силы его, но всю почти работу его мысли, мы сейчасъ и будемъ говорить съ читателемъ.

IV. Не суйся!

«— Не суйся!»...

Признаюсь, когда эти слова мелькнули въ моемъ сознаніи, мнѣ стало какъ-то холодно и жутко, ибо если я не буду соваться, то что-жъ я буду дѣлать. спрашивается? До сей минуты мнѣ, напротивъ, самымъ опредѣленнымъ образомъ представлялось, что я и предназначенъ-то собственно для того, чтобы соваться въ дѣла Ивана Ермолаевича, и что самый лучшій жизненный результатъ, котораго я могу желать — это именно быть «потребленнымъ» народною средою безъ остатка. даже безъ воспоминанія, подобно тому какъ не вспоминается съѣденный кусокъ назадъ кусокъ биф-

штекса. Во имя этой необходимости быть съденым без остатка, я читал глубокое почтение къ тѣмъ людямъ, которые, стараясь вслѣдски смирять въ себѣ нѣкоторыя эгоистическія замашки и привычки—наслѣдіе крѣпостного права—не страшатся дѣлать усилія для того, чтобы *обить* себя въ народные интересы, точно такъ, какъ вбиваютъ толстый пыжъ въ узкое дуло ружья, и которые, такъ сказать, заколачиваютъ себя «туда», говоря — «пѣть, любезный; у меня не уйдешь!.. Пора перестать топорщиться и разбрасываться по сторонамъ, а не хочешь-ли вотъ эдакъ, маленькимъ комочкомъ... да шополомъ! да шополомъ!..» И вдругъ—«не суйся! Убирайся вонъ, дѣлать тебѣ здѣсь нечего и соваться не въ свое дѣло, незачѣмъ!».

Эти мысли ошеломили меня, ибо доказывались цѣлымъ рядомъ самыхъ неопровержимыхъ фактовъ, почерпнутыхъ изъ самыхъ подлинныхъ жизненныхъ явленій деревенской дѣйствительности. Пораженный той мыслью, что Иванъ Ермолаевичъ, кромѣ видимыхъ міру слезъ, бѣдствій, недомоковъ, всевозможныхъ притѣсненій и другихъ мрачныхъ чертъ, рисующихъ его жизнь, какъ непрерывное мученіе и каторгу, имѣетъ въ самой глубинѣ своего существованія нѣчто такое, что даетъ ему силу переносить всѣ эти невзгоды цѣлыя тысячелѣтія, и притомъ съ такою непреодолимою безмолвною, которая заставила удивившаго поэта почти въ отчаяніи воскликнуть: «не вмешаетъ онъ и не дастъ отвѣта» — словомъ, пораженный мыслью о существованіи въ жизни Ивана Ермолаевича того, что я не могъ иначе опредѣлить, какъ *могзіей труда*, я рѣшился самымъ внимательнымъ образомъ (на сколько конечно это возможно постороннему человѣку) проникнуться и смысломъ этого труда, и выраженіемъ его въ обыденныхъ явленіяхъ жизни Ивана Ермолаевича, словомъ, рѣшился прослѣдить его жизнь и жизнь всей его семьи въ мельчайшихъ подробностяхъ ежедневнаго обихода — и вотъ тутъ-то на каждомъ шагу, буквально каждую минуту, меня стало преслѣдовать роковое «не суйся!».

Не говоря уже о томъ, что жизнь Ивана Ермолаевича, что, называется, «полнехонька» впечатлѣніями до краевъ, что, начиная съ той минуты, когда онъ подымется до свѣту (конечно вмѣстѣ со всѣми домашними), и кончая непробуднымъ сномъ послѣ цѣлаго дня работъ и заботъ, у Ивана Ермолаевича *фактически* нѣтъ времени слушать мои разглагольствованія, нѣтъ даже возможности уделить для нихъ каплю вниманія—меня съ моею разглагольственной позиціи сбивала на каждомъ шагу, кромѣ сказаннаго, внутренняя стройность его жизни, такая стройность, въ которой мнѣ нечего ни прибавить, ни убавить. Поверхностнаго, самаго легкаго наблюденія надъ ежедневнымъ обиходомъ описываемаго мною крестьянскаго двора достаточно было для того, чтобы воочию убѣдиться, до какой степени между мною и Иваномъ Ермолаевичемъ велика разница въ смыслѣ этой внутренней стройности. Въ мысляхъ, поступкахъ и

словахъ Ивана Ермолаевича нѣтъ ни единого, самаго мелкаго, который-бы не имѣлъ основанія самаго реальнаго и для Ивана Ермолаевича объяснимаго — тогда какъ моя жизнь постоянно, на каждомъ шагу, переполнена и мыслями, и поступками, неизмѣнными никакой связью... Спрашивается: зачѣмъ напримѣръ мнѣ знать, что испанская королева разрѣшилась отъ бремени? А я вотъ знаю, читаю объ этомъ; зачѣмъ мнѣ знать о докторѣ Таннерѣ, о генералѣ Сиссѣ, проворовавшемся съ госпожей Каула, о томъ, что новая пьеса Сарду пойдетъ не во Французской Комедіи, а въ театрѣ Гимназіи? и т. д. А я между тѣмъ именно этими-то газетными лохмотьями ежедневно утомляю собственное вниманіе, и зачѣмъ? чтобы немедленно забыть, чтобы завтра цѣлые полдны употребить опять же на эти безсвязныя, утомительныя мысли. Положимъ, что, проглотивъ газету, я найду двѣ-три строки, интересныхъ для меня въ точно той-же степени, какъ бываетъ интересно и Ивану Ермолаевичу, но зато сколько я ежедневно приму въ свою душу, вмѣстѣ съ интересомъ двухъ-трехъ строкъ, всякаго ненужнаго хлама, вздора... ненужнаго, безсодержательнаго... Въ жизни и мысли Ивана Ермолаевича нѣтъ ничего подобнаго, ни одного самаго крошечнаго пустого мѣста, и если онъ поинтересовался какъ-то разъ чудовищемъ, о которомъ публиковали въ газетахъ, то не просто *такъ*, какъ интересуюсь я, читая о томъ, что на Васильевскомъ островѣ въ 5-й линіи ребенокъ вывалился изъ окна, что императрица Евгенія поѣхала или что Егаревъ пригласилъ новую пѣвицу и т. д., а совершенно съ опредѣленною цѣлью: не написано-ли у чудовища на спинѣ чего-нибудь насчетъ земли...

Такимъ образомъ при самыхъ первыхъ поверхностныхъ наблюденіяхъ мнѣ стало яснымъ, что пестрота ежедневнаго обихода жизни Ивана Ермолаевича наполняетъ его существованіе, фактически и наполняетъ плотно, безъ прорѣзъ, безъ пустыхъ мѣстъ. Но стройность, обнаружившаяся въ глубинѣ этой пестроты, внутренняя цѣльность и резонность, изъ которыхъ эта ежедневная пестрота жизни складается и на которой держится, были для меня чѣмъ-то постояннѣ уничтожающимъ. Широта и основательность этой сложности выяснились мнѣ по мѣрѣ того, какъ я положилъ въ *основаніе* всей организаціи крестьянской жизни, семейной и общественной — *земледѣльческій трудъ*, попробовалъ вникнуть въ него подробнѣе, объяснить себѣ его спеціальныя свойства и вліянія на неразрывно связаннаго съ нимъ чловека. При этомъ, во-первыхъ, я долженъ былъ корнемъ этихъ вліяній признать природу. Съ ней чловекъ дѣлаетъ дѣло, непосредственно отъ нея зависить; чему-же она его учитъ?

Она учитъ его признавать власть, и притомъ власть безконтрольную, своеобразную, капризно-прихотливую и бездушно-жестокую. Въ самомъ дѣлѣ, чего только не выдѣлываетъ природа надъ Иваномъ Ермолаевичемъ! По какому-то необъяс-

никому злорадству она напримѣръ изсушаетъ его ниву, буквально облитую потомъ. Съ безпощадно жестокостью она не день, не два, а дватри мѣсяца подряд томитъ его ежеминутно, ежесекундно мыслью о голодѣ, о нуждѣ, томитъ и молчать... Ежедневно она безъ всякаго милосердія сулитъ ему дождь, урожай; съ утра собираются тучи, ходятъ въ небѣ станицами, грозоздятся несмѣтными массами, глыбами, сулятъ благодать и счастье... Нужно быть на мѣстѣ Ивана Ермолаевича, чтобы понять ту чисто физическую жажду къ этой тучѣ, къ этой водѣ, которую сулитъ небо, чтобы понять его страстную муку, страстную внимательность къ этому небу, къ этой тучѣ... Вотъ наконецъ она собралась, вотъ она тронулась и обложила небо со всѣхъ сторонъ, она гремитъ и сверкаетъ, она дышетъ влагою; Иванъ Ермолаевичъ даже собственнымъ горломъ чувствуетъ эту воду и влагу, жаждетъ, жаждетъ — и ничего! Прошла туча! Запылила, помяла изсушавшую ниву и ушла, бросивъ три-четыре громадные капли дождя точно на зло, на смѣхъ.. И все это съ безбожнѣйшимъ, несправедливѣйшимъ равнодушіемъ... Терпи, Иванъ Ермолаевичъ! И Иванъ Ермолаевичъ умѣетъ терпѣть, терпѣть, не думая, не объясняя, терпѣть безпрекословно. Онъ знакомъ съ этимъ выраженіемъ на фактѣ, на своей шкурѣ, знакомъ до такой степени, что рѣшительно нѣтъ возможности опредѣлить этому терпѣнію болѣе или менѣе точные предѣлы.

Но, пришибая такимъ образомъ человѣка, вкореня въ его сознаніи идею о необходимости безусловнаго повиновенія, вкореня эту идею какъ нѣчто неизбѣжное, неотвратимое, нѣчто такое, чего нельзя ни понять, ни объяснить, противъ чего немислимо протестовать, — та-же самая природа весьма обстоятельно знакомитъ Ивана Ермолаевича и съ удовольствіями власти, т. е. даетъ ему возможность и самому (не смотря на то, что онъ въ рваномъ тулупѣ и рваныхъ лаптяхъ) ежеминутно испытывать тѣ-же самыя удовольствія своего собственнаго могущества, которыя знакомы только неограниченному державцу. Никакой чиновникъ, расточающій «строжайшія» предписанія и свирѣпствующій надъ своими подчиненными, не понимаетъ удовольствія «властвовать» въ той степени, въ которой понимаетъ это Иванъ Ермолаевичъ. Самое большее, чего можетъ достигнуть всякая второстепенная, самая «строжайшая» власть — это титулъ «бѣшеной собаки», который несомнѣнно ему дадутъ подчиненные, обыкновенно ненавидящіе такую бѣшеную собаку, подчиняющіеся ей изъ-за нужды, изъ-за копѣйки и рѣшительно не дающіе другого объясненія своему подчиненію. Да и самъ «строжайшій» начальникъ едва-ли въ глубинѣ души также не именуетъ себя «собакой», находя въ этомъ опредѣленіи и удовольствіе, т. е. будучи доволенъ тѣмъ, что вотъ онъ, благодаря Бога, добился таки высокаго права быть бѣшеной собакой, рвать, метать и лаять... Совсѣмъ не такіе удовольствія власти испытываетъ Иванъ Ермо-

лаевичъ. Не «равнодушная» и безсердечная природа, балуя безпрекословно повинующагося ей Ивана Ермолаевича, даетъ ему въ руки власть не бѣшеной собаки, а, повторяемъ, власть, которая повелѣваетъ, не допуская даже мысли о правѣ прекословить, да и подданные Ивана Ермолаевича также не имѣютъ привычки размышлять о томъ, почему именно они оказались подданными? Подданные Ивана Ермолаевича не могутъ задаваться такими вопросами, потому-же, почему и онъ, подданный природы, не можетъ задаваться ими. Такими образомъ и Иванъ Ермолаевичъ, и его подданные находятся другъ къ другу въ самыхъ естественнѣйшихъ отношеніяхъ. «Строжайшему» начальству необходимо свирѣпствовать, лаять и кусаться, чтобы знать, что «меня, молъ, боятся» и, слава Богу, считаютъ наконецъ за собаку; Ивану Ермолаевичу ничего этого не надо. Иванъ Ермолаевичъ «просто» знаетъ, что ему нельзя, невозможно не властвовать, а подданные также знаютъ, что имъ нѣтъ другого дѣла, какъ повиноваться. Спрашивается, чтó бы могла напримѣръ свинья сдѣлать съ своими поросятами, еслибы Иванъ Ермолаевичъ не отбиралъ ихъ у ней и не продавалъ? Самое большее, на что она способна въ качествѣ самостоятельнаго дѣятеля, это съѣсть своихъ дѣтей, чтобы не далеко шляться за кормомъ, чему бывали и бывають примѣры. Чтó бы могла придумать курица относительно собственныхъ яицъ, еслибы Иванъ Ермолаевичъ, проникнувшись ложными гуманными теоріями, не сталъ вытаскивать изъ копошки, на которой она сидитъ, ея яйца? Не возметь яицъ Иванъ Ермолаевичъ, придетъ собака «Милорка» и выпьетъ ихъ; да наконецъ, еслибы во имя гуманныхъ теорій Иванъ Ермолаевичъ и преслѣдовалъ «Милорку», отгоняя ее отъ беззащитныхъ куръ, чтó-бы было. Еслибы послѣднія безпрепятственно выводили своихъ цыплятъ? Ничего больше какъ то, что цыплята, придя въ возрастъ, немедленно-же принялись-бы нести тѣ-же яйца, точь-въ-точь такія, изъ какихъ они сами появились на свѣтъ, и т. д. Понуждаетъ-ли Иванъ Ермолаевичъ своихъ подданныхъ на поприщѣ такого безпрекословнаго повиновенія и службы? Нисколько. Онъ ихъ не бьетъ, не пишетъ имъ строжайшихъ предписаній, ни куръ, ни свиней не распекаетъ; не употребляетъ никакого насилія, — словомъ, не дѣлаетъ ничего, чтó должна дѣлать самая строжайшая власть. Онъ «просто» не можетъ даже не властвовать; не стриги онъ овцу каждыгоднó — вѣдь она опаршивитъ и издохнетъ; стригутъ ее для ея же собственной пользы; корова сдѣлается больна, если ей не доить, и притомъ для ея-же собственной пользы необходимо доить такъ, чтобы у нея не оставалось «ни капли» собственно ей принадлежащаго молока; лошадь, освобожденная отъ хомута, есть не что иное, какъ соврасъ безъ узда, на котораго просто смотрѣть противно: жреть, лежить и опять жреть, да кромѣ того не имѣетъ опредѣленной жизненной цѣли, а шляясь по свѣту безъ опредѣленныхъ занятій, легко можетъ забрести въ болото, или распоротъ брюхо о

старый пенъ въ лѣсу и издохнуть такимъ образомъ безъ малѣйшаго смысла. И вотъ, надвѣдаясь изъ всѣхъ силъ, кудахчутъ цѣлый Божій день куры и несутся для Ивана Ермолаевича; для Ивана Ермолаевича цѣлый Божій день, всю жизнь старается свинья, питаясь Богъ знаетъ чѣмъ, влачась въ грязи по горло и не получая ни малѣйшаго поощренія, ни похвалы, ни награды, кромѣ ударовъ палкой всякій разъ, когда морда ея приблизится къ чему-либо въ самомъ дѣлѣ питательному. Для Ивана Ермолаевича цѣлую жизнь, не смыкая челюстей ни на мгновеніе, жуетъ, жуетъ, жуетъ корова, для него-же она безпрестанно беременна, для него-же обрастаетъ шерстью овца, для него-же бьется лошадь — и все это безпрекословно, буйвально безъ ропота и протеста, даже безъ тѣни сомнѣнія или мысли въ законности такого непрестаннаго подчиненія. Точно также и Иванъ Ермолаевичъ, безъ малѣйшей тѣни сомнѣнія въ своемъ правѣ, стрижетъ овецъ, стегаетъ и запрягаетъ лошадь, выгребаетъ изъ куриныхъ кошолокъ яйца, доитъ и отбираетъ у коровы молоко, теленка и т. д. до безконечности. Спрашивается: можетъ-ли Иванъ Ермолаевичъ, получающій знанія непосредственно отъ природы, имѣть хотя малѣйшую тѣню сомнѣнія въ неизбежности самой абсолютнѣйшей, самой прихотливой, а главное, ничѣмъ необъяснимой власти? Онъ знаетъ это потому, что прихоти и капризы ея испыталъ на своей шкурѣ, въ видѣ гнета природы; онъ знаетъ ее изъ собственнаго опыта надъ своими безкорыстными подданными. Почему его гнететъ природа, почему она его мучаетъ, разоряетъ, почему она ему благодѣтельствуетъ, или почему онъ *долженъ* обратъ у куръ яйца, а куры *должны* ихъ нести — все это неизвѣстно, все это тайна; но что это такъ, что *безъ этого нельзя*, въ этомъ можетъ-ли быть хоть малѣйшее сомнѣніе?

Изъ всего этого видно, что «повинуйся» и «повелѣвай» до такой степени прочно въбиты природою въ сознание Ивана Ермолаевича, что ихъ оттуда не вытащишь никакими докматами. Непосредственная, постоянная связь Ивана Ермолаевича съ природою, отъ которой онъ единственно почерпаетъ всѣ свои свѣдѣнія, взгляды, вкорекая въ основаніе всего жизненнаго обихода Ивана Ермолаевича эти два положенія, т. е. повинуйся и повелѣвай (*пользуйся*), до такой степени, какъ увидимъ ниже, послѣдовательно продолжается и въ его семейно-общинной жизни, что пошатнуть что бы то ни было во всей этой стройной организаціи рѣшительно нѣтъ ни возможности, ни смысла. Но и кромѣ этого, если читатель признаетъ только то, что прочность вышеупомянутыхъ двухъ принциповъ неумѣнно исходить изъ источника, не подлежащаго сомнѣнію и критикѣ, т. е. изъ источника невыдуманнаго, а дѣйствительно реальнаго, то тогда онъ долженъ согласиться, что всякія попытки человѣка, имѣющаго о тѣхъ же вещахъ понятія книжныя, бумажныя и т. д., должны неумѣнно оказаться безплодными. Въ отвѣтъ на всѣ такіа книжныя раз-

глагольствія, Иванъ Ермолаевичъ можетъ отвѣтить только одно: «безъ этого нельзя», но это «только» имѣетъ за себя вѣковѣчность и прочность самой природы. Но этихъ кроткихъ отвѣтовъ колебатель основъ Иванъ Ермолаевичъ можетъ ограничиться единственно только по своей добротѣ; ежели-же онъ челоуѣкъ не съ слишкомъ мягкимъ сердцемъ, то отвѣтъ его колебатель той или другой изъ основъ долженъ неумѣнно выразиться въ предоставленіи этого самаго колебателя къ началству, не какъ злодѣя, а просто какъ сумасшедшаго пустомысла, который болтаетъ зря не вѣсть что и своими пустомысленными разговорами можетъ вредить въ такихъ дѣлахъ, въ которыхъ не смыслить ни уха, ни рыла, полагая, что въ дѣлахъ этихъ можно что-нибудь измѣнить, тогда какъ Ивану Ермолаевичу доподлинно извѣстно противное, что ничего тутъ измѣнить невозможно и что вообще «безъ этого нельзя».

Чтобы яснѣе видѣть, съ какою строгостью и послѣдовательностью, и вмѣстѣ съ какою безграничной покорностью Иванъ Ермолаевичъ приводитъ вышеупомянутые два (невыдуманныхъ, повторяемъ) принципа въ своей жизни и въ своихъ семейныхъ и общественныхъ отношеніяхъ, обратимся къ обиходу его домашней жизни. И здѣсь все основано и все держится на такомъ резонномъ, добровольно-неизбѣжномъ подчиненіи, что колебатель основъ оказывается совершенно ненужнымъ съ своими гуманними разглагольствованіями. Курица, овца, свинья, корова и т. д. добровольно и безпрекословно несутъ свои дары въ руки Ивана Ермолаевича; съ своей стороны и Иванъ Ермолаевичъ добровольно встаетъ въ два часа ночи, чтобы замѣсить свиньямъ, дать корму курамъ и т. д., ибо, если-бы Иванъ Ермолаевичъ повѣрилъ разговорахъ колебателя основъ о томъ, что жизнь Ивана Ермолаевича — каторга, что онъ встаетъ до свѣту, когда другіе спятъ на мягкой перинѣ и ухомъ не ведутъ о трудностяхъ жизни Ивана Ермолаевича, и согласно этому, задумалъ-бы освободить себя отъ необходимости вставать до свѣту, то въ результатъ получилось бы, что куры бы перестали нести яйца, коровы перестали давать молоко, и всѣ передошли бы, оставивъ Ивана Ермолаевича безъ всякой пользы. — «Нельзя безъ этого», говоритъ Иванъ Ермолаевичъ, соглашаясь однако, что вставать въ два часа ночи точно трудно, и колебатель основъ долженъ согласиться съ простыми, но вѣскими словами Ивана Ермолаевича. Такое же вѣское и основательное «нельзя» будетъ отвѣтомъ на всѣ протесты и противъ другихъ, иногда въ высшей степени подавляющихъ формъ подчиненія, которыми проникнута вся организація земледѣльческой (порядочной) крестьянской семьи. Возможно ли такой семьѣ обойтись безъ власти, безъ большака? Мы видимъ, что «большакъ» есть именно власть надъ семьей, дворомъ, домомъ, такъ какъ иногда, наприимѣръ, за смертію главы семейства и за недостаткомъ способныхъ людей между оставшимися послѣ покойнаго членами семьи, большака выбираетъ міръ изъ постороннихъ людей; како-

нецъ мы знаемъ, что не всегда старшій въ семьѣ бываетъ и большакомъ: иногда, съ согласія міра, большакомъ ставится младшій, но талантливѣйшій, способнѣйшій. Уже изъ этого видно, что *лава* въ домѣ, власть домашняя, нужна: этого требуетъ опять же сложность земледѣльческаго труда (составляющаго основаніе хозяйства) и зависимость этого труда отъ велѣній и указаній природы. Основываясь на этомъ, власть большака, при самомъ внимательномъ разсмотрѣніи, совершенно неизбѣжна и опять-таки ни въ одномъ своемъ ничтожномъ проявленіи не выдумана. Его нельзя не слушаться, потому что, приказывая, онъ самъ повинуетъ природѣ, а не выдумываетъ приказаній съ вѣтру. Надо идти и брать косу, надо идти доить, надо везти навозъ—все, что ни требуетъ онъ, все только потому, что надо; онъ знаетъ, кого на какую работу поставить, онъ знаетъ силы семейныхъ работниковъ, онъ знаетъ ихъ нужды, знаетъ—сколько надо семьѣ хлѣба, сколько корму скотинѣ, словомъ, онъ блюдетъ не собственный интересъ, а интересъ всѣхъ. Его *нельзя* не слушаться, ибо у него есть общій планъ, основанный на знакомствѣ и съ силами, и съ средствами семьи; онъ меньше работаетъ физически, но больше думаетъ, у него больше заботы, чѣмъ у каждаго члена семьи отдѣльно. Въ то время, когда Иванъ пашетъ, Матрена доитъ коровъ, словомъ, въ то время, когда всякій дѣлаетъ свое дѣло, большакъ думаетъ о томъ, сколько на семью надо полушубковъ, сапогъ, рубахъ, сколько есть въ семьѣ денегъ; ѣдетъ рядиться на работу, или проситъ у міра прибавки или убавки земли. Всѣ его заботы, распоряженія, хлопоты клонятся къ общему благу семьи, и на этомъ основаніи всѣ, даже повидимому безчеловѣчныя распоряженія большака, при внимательномъ изслѣдованіи, оказываются вполне основательными, а главное, сдѣланными прямо съ согласія этихъ же самыхъ жертвъ (на мой взглядъ) безчеловѣчія. Начитавшись разныхъ чувствительныхъ романовъ и набивши голову разными эмансипаціями, я вотъ, напримѣръ, «возмущаюсь» (слово взято также изъ романовъ) тѣмъ, что братъ большакъ не выдаетъ свою сестру Паланьку замужъ. Семь лѣтъ къ ряду за нее сватаются отличнѣйшіе женихи, brave парни, а братъ все отказываетъ.—«Отчего ты, Пелагея, не выходишь замужъ? Вѣдь ужъ пора!» спрашиваю я аккуратно въ годъ разъ и черезъ годъ, пріѣзжая въ деревню. И всякій разъ она отвѣчаетъ мнѣ:—«Мнѣ ужъ давно бы замужъ-то надо, да братецъ не отдаетъ!»—«Да какое же нѣтъ кто бы то ни было право насильно не отдавать тебя замужъ? Развѣ нѣтъ чей-нибудь право держать другого человѣка въ кабалѣ?» воплю я, и читатель можеть представить себѣ, что я на эту тему могу воп, ять сколько угодно, особенно, если я прибавлю что на вопросъ мой:—«Нравились-ли тебѣ женихи-то?» Пелагея отвѣчаетъ:—«У меня хороше были женихи...» и вздыхаетъ. Но по ближайшемъ разсмотрѣніи этого дѣла, тиранства въ немъ не оказывается ровно никакого.—«Никакъ нельзя

было отдать, объясняетъ братъ Паланьки, якобы тирантъ.—Въ прошломъ году надежъ былъ, разорились на скотину, не съ чѣмъ было отдавать, въ нонѣшнемъ двухъ лошадей прикупили, опять безъ денегъ. Лошадей прикупили потому, что землю арендовали у помѣщика сосѣдняго, пять десятинъ, а землю арендовали потому, что своей мало, не хватаетъ хлѣба. Вотъ оно и выходитъ, что Паланькѣ погодить надоть... А что говорить, женихи набиваются хорошіе, да и пора—а нельзя! Отдай я ее—безъ лошадей останусь: безъ лошадей останусь—хлѣба не будетъ; хлѣба не будетъ—покупать его надо, занимать деньги, платить ростъ—откуда взять? запутаюсь сегодня, завтра еще хуже будетъ, а черезъ годъ—глядяишь, и весь въ кабалѣ. Конечно, что... а надо погодить...» Такимъ образомъ никакого тиранства не оказывается. «Нельзя» и «надо погодить» понимаетъ вполне и сама Паланька.—«Ну, Пелагея, говоритъ ей женихъ, за котораго ее не отдадутъ:—видно, другъ мой, надо намъ съ тобой простаться...»—«Прощай, Михайло!»—«Такъ-то, другъ мой милый! Видно мнѣ придется Афросинью взять, ничего не подѣлаешь... За Афросинью отецъ сулитъ двѣсти рублей, тутъ можно взяться хозяйствовать, есть съ чего начать положить... А тебѣ мнѣ взять пустую—не приходится!»—«Нешто не знаю...»—«Съ пустыми руками, сама знаешь, какое хозяйство—горе одно!»—«Вотъ лошадей-то купили, истратились...»—«Знаю, что купили...» Остается вздохнуть и покориться... чему? Идеаламъ и требованіямъ, вытекающимъ изъ земледѣльческаго труда... На основаніи этихъ-же земледѣльческихъ идеаловъ, и младшаго брата большака, Лешку, женили на уродѣ и надули, и опять-таки не изъ жестокости это сдѣлано, а на самомъ точномъ основаніи идеаловъ. Самъ Лешка объясняетъ это дѣло довольно резонно. «Въ ту пору пожаръ былъ, погорѣли, пришлось строить, работы много, а народу со всѣми управиться не хватаетъ. Вотъ въ тотъ годъ меня и женили... Мнѣ было, признаться, другая нравилась, и изъ себя хороша, даже красива... Да видишь, какъ вышло: бабушка у насъ характерная, и жена старшаго брата характерна, а жена средняго—больная. Старшаго брата жена—покорится бабѣ, надъ средней командуетъ, а моя бы, ежели бы къ примѣру, я женился—не покорилась-бы ни средней, ни старшей, только что бабѣ-бы пожалуй—што покорилась бы, потому она хушь и хороша собой, а тоже характерная... Вотъ оно и не подходило къ ладу-то... Уже моя-бы безпримѣнно со старшей пререкалась, а старшая тоже спуска не дастъ... Больная-то средняя тоже-бы на мою-то стала покрикивать, все-же старшей-то, вотъ и вышло-бы у насъ разстройство».—«Иди ты!»—«Я большуха».—«Я сама не маленькая». Вотъ и пошло-бы этакъ-то... Думали мы, думали, присогласились такъ, чтобы взять Матрену. Она хоть и рябая и въ умѣ не очень чтобы, а ужъ характеру-нѣтъ; ей и больная прикажи—дѣлаетъ; и старшая скажетъ—и ее не послушается, а бабуку боняетъ ну-

ще огня. Конечно, что лицом она действительно что... ну въ работѣ худого сказать никакъ нельзя!..» Такимъ образомъ, если Лешка и принесъ себя въ жертву, то не сознательно-ли онъ поступалъ при этомъ, и не имѣлъ-ли онъ въ виду единственно только желаніе не нарушить гармоніи въ земледѣльческомъ трудѣ, а также не дѣйствовали ли онъ при этомъ такъ, какъ ему повелѣваютъ исключительно этому труду свойственныя качества? Въ самомъ дѣлѣ, введи онъ въ семью не урода, не дуру и не рабу, а характерную и красивую жену, было-бы полнѣйшее нарушеніе гармоніи коллективныхъ силъ семьи, направленныхъ къ одной определенной и неизбѣжной цѣли. Жаль Лешку, я однако-жъ не могу не видѣть, что, женись на дурѣ и уродѣ, онъ поступалъ вполне резонно и основательно.

Построенное на такомъ прочномъ, а главное, невыдуманномъ основаніи, какъ велѣніи самой природы, міросозерцаніе Ивана Ермолаевича, создавшее на основаніи этихъ вѣлній стройную систему семейныхъ отношеній, последовательно, безъ выдумокъ и интросплетеній, проводить ихъ въ отношеніяхъ общественныхъ. На основаніи сельскохозяйственныхъ идеаловъ деревенскій челоѣкъ цѣнится во всѣхъ своихъ общественныхъ и частныхъ отношеніяхъ; на нихъ построены отношенія юридическія, а опытомъ, вытекающимъ изъ нихъ, объясняются и оправдываются и высшіе государственные порядки. Требованиями, основанными только на условіяхъ земледѣльческаго труда и земледѣльческихъ идеаловъ, объясняются и общинныя земельныя отношенія: безсильный, не могущій выполнить свою земледѣльческую задачу, по недостатку нужныхъ для этого силъ, уступаетъ землю (на что она ему?) тому, кто сильнѣе, энергичнѣе, кто въ силахъ осуществить эту задачу въ болѣе широкихъ размѣрахъ. Такъ какъ количество силъ постоянно мѣняется, такъ какъ у безсильнаго сегодня—сила можетъ прибавиться завтра (подростъ сынъ или жеребенокъ сталъ лошадей), а у другого можетъ убавиться (отдали наконецъ Паланьку, издохла корова и т. д.), то «передвижка» — какъ иногда крестьяне именуютъ передѣлъ—должна быть явленіемъ неизбѣжнымъ и справедливымъ. Эти-же сельскохозяйственныя идеалы — и въ юридическихъ отношеніяхъ: имущество принадлежитъ тому, чьимъ творчествомъ оно создано... Его получаетъ сынъ, а не отецъ, потому что отецъ пьянствовалъ, а сынъ работалъ; его получила жена, а не мужъ, потому что мужъ олухъ царя небеснаго и лѣнтяй и т. д. Объясненія высшаго государственнаго порядка также безъ всякаго затрудненія получаются изъ опыта, приобрѣтаются крестьяниномъ въ области *только* сельско-хозяйственнаго труда и идеаловъ. На основаніи этого опыта можно объяснить высшую власть: «нельзя безъ большака, это хоть и нашего брата взять». Изъ этого-же опыта наглядно объясняется и существованіе налоговъ: «нельзя не платить, царю тоже деньги нужны... это хоть-бы и нашего брата взять: пастуха нанять, и то надо

платить, а царь даетъ землю... Курица, и та яйца не снесетъ, ежели ей корму не дать, а царь за всѣмъ глядитъ...» Началась война съ славянами, съ афганцами—опять, хоть дѣло и трудное, но не несогласное съ міросозерцаніемъ Ивана Ермолаевича. «Славянъ нельзя не отбить, потому свой братъ... Вотъ, когда осиновыцы сторѣла, тоже мы вѣдь помогали, потому съ нами что приключится — и осиновыцы помогутъ...» Афганцевъ бьютъ—потому беспокоятъ... — «Это хоть-бы и у нашего брата доведись... Станутъ къ тебѣ сусѣдніе ребята въ огородъ лазить, капусту воровать—хочешь не хочешь, а долженъ взять палку, выгнать отсюда...» Словомъ, съ точки зрѣнія Ивана Ермолаевича, какъ и вообще «хорошаго» земледѣльца-крестьянина, кажущееся мнѣ владеніе по браздамъ, бесплодное, тяжелое существованіе — оказывается явленіемъ вполне объяснимымъ, а главное вовсе не владеніемъ, а существованіемъ, основаннымъ на извѣстныхъ, притомъ непоколебимыхъ законахъ, — существованіемъ, въ которомъ осмысленъ каждый шагъ, каждый поступокъ, определена каждая вещь, определенъ и вполне объяснимъ каждый поступокъ. Войдя въ этотъ міръ и вполне проникнувшись сознаніемъ законности и непреложности всего существующаго въ немъ, посторонній деревнѣ, хотя бы и озабоченный ею челоѣкъ, долженъ невольно оставить свою фанаберію, и если онъ не сдумѣетъ думать такъ, какъ думаетъ Иванъ Ермолаевичъ, и притомъ не убѣдится такъ-же, какъ убѣжденъ Иванъ Ермолаевичъ, что иначе думать, при такихъ-то и такихъ-то условіяхъ, невозможно, то рѣшительно долженъ оставить втунѣ всѣ свои теоріи, выработанныя на почвѣ совершенно иной. Тронувшись напр. судьбой Паланьки и Алешки, положимъ, что я начну разговоръ о деспотизмѣ — но Паланьки и Алешки сами докажутъ мнѣ, что вовсе не нуждаются въ моемъ заступничествѣ, потому-то и потому-то, и что иначе *нельзя*. Я начну придираться къ нечистотѣ двора, на которомъ гниетъ масса навозу, а Иванъ Ермолаевичъ опять мнѣ докажетъ, что *нельзя* безъ этого, что навозъ первое дѣло, что вывозить его надо во-время, и онъ знаетъ, когда это надо сдѣлать; — словомъ, выйдетъ такъ, что навозъ долженъ быть въ томъ самомъ видѣ и на томъ самомъ мѣстѣ, въ какомъ видѣ и въ какомъ мѣстѣ онъ находится. Я начну колебать его суевѣріе и въ этихъ видахъ представляю въ юмористическомъ тонѣ, какъ причтъ собираетъ пироги и т. д. Но окажется, что юмористическихъ чертъ въ этомъ отношеніи у Ивана Ермолаевича накоплено гораздо болѣе, чѣмъ у меня, а принципа, олицетворяемаго имъ, я ничуть не поколеблю, потому что причтъ нуженъ Ивану Ермолаевичу. У Ивана Ермолаевича есть грѣхи, которые ему не можетъ отпустить ни староста, ни кабатчикъ, ни даже губернаторъ, а отпускаетъ только причтъ. Господь далъ ему урожай, въ благодарность за это Иванъ Ермолаевичъ ставитъ свѣчку и дѣлаетъ это только при посредствѣ причты, такъ

какъ не въ почтовой-же конторѣ ему ее ставить и не въ волостномъ правленіи. Вездѣ своя часть. — «Онъ хоть и не даже человѣкъ хорошій, и зашибаетъ, говоритъ Иванъ Ермолаевичъ о пошлѣ: — а нельзя... Вотъ и почтмейстеръ на станціи тоже пьянствуетъ — а черезъ кого отправишь письмо?» Стало быть, все стоитъ на своихъ мѣстахъ, и Иванъ Ермолаевичъ вовсе не «влячится по браздамъ», а живетъ, во-первыхъ, полною, а во-вторыхъ, осмысленною жизнью. Въ условіяхъ земледѣльческаго труда почерпаетъ онъ философскіе взгляды; въ условіяхъ этого труда работаетъ его мысль, творчество; въ этомъ-же трудѣ обрѣтаетъ онъ освѣжающую душу поэтическія впечатлѣнія; на основаніяхъ этого труда строитъ свою семью, строитъ свои общественныя, частныя отношенія, и изъ условій всего этого составляется взглядъ на общую государственную жизнь.

Проникнувшись непреложностью и послѣдовательностью взглядовъ, исповѣдуемыхъ Иваномъ Ермолаевичемъ, я почувствовалъ, что они совершенно устраиваютъ меня съ поверхности земного шара... Всѣ мои книжки, въ которыхъ объ одномъ и томъ-же вопросѣ высказываются сотни разныхъ взглядовъ, всѣ эти газетныя лохмотья, всякія гуманства, воспитанныя досужей баллетристикой, все это, какъ пыль, поднимаемая сильными порывами вѣтра, было возбуждено естественною «правдою», дышащею отъ Ивана Ермолаевича... Не имѣя подъ ногами никакой почвы, кромѣ книжнаго гуманства, будучи расколотъ на двое этими гуманствомъ мыслей и дармоѣдствомъ поступковъ, я, какъ перо, былъ поднятъ на воздухъ дыханіемъ правды Ивана Ермолаевича и неотразимо почувствовалъ, какъ и я, и всѣ эти книжки, газеты, романы, перья, корректуры, даже теленокъ, не желающій дѣлать того, чего жаляется Иванъ Ермолаевичъ, — всѣ мы безпорадной, безобразной массой, со свистомъ и шумомъ летимъ въ бездонную пропасть...

V. Смягчающія вину обстоятельства.

Пораженіе было до такой степени чувствительно, что нѣкоторое время я положительно не могъ опомниться; но мало-по-малу сознаніе стало возвращаться ко мнѣ, и, не желая быть погребеннымъ живою, я невольно сталъ выказывать кое-какія попытки къ борьбѣ за свое существованіе и въ этихъ видахъ остановился на вопросѣ о томъ, что неужели-молъ въ самомъ дѣлѣ народу такъ-таки ровно ничего и не нужно кромѣ «земельки», которой у него мало, и неужели все то, что извѣстно подъ именемъ «движенія въ народѣ», есть только глупость и только преступленіе? Не настало-ли, напротивъ, время изъ тайны и подполья вывести это дѣло на ясный божій свѣтъ, не пора-ли опредѣлить всю серьезность, а главное *обязательность* этого дѣла для всякаго русскаго совѣстливаго и грамотнаго человѣка? Вѣдь крѣпостное право кончилось, а стало быть кончилось для

большинства русскихъ людей, не принадлежащихъ къ простому народу, *право* празднаго, бездѣльнаго существованія. Не пора-ли въ виду этого въ такой степени прямо и серьезно поставить вопросъ о *народномъ дѣлѣ*, чтобы оно перестало казаться геройскимъ подвигомъ или самопожертвованіемъ, или наконецъ дѣломъ, достойнымъ только пропащаго человѣка. Наши города и столицы переполнены народомъ образованнымъ и грамотнымъ, для котораго однако карьера волостного писаря или сельскаго учителя представляется почти такимъ-же ужаснымъ исходомъ жизненнаго поприща, какъ и карьера кабачнаго сидѣльца. Охотниковъ до «центровъ» и благъ, расточаемыхъ ими, хотя далеко на всѣхъ не хватающихъ, слишкомъ много воспитано на русской землѣ; для деревни-же остаются одни кабатчики и люди, которые «отчаялись» въ своихъ карьерахъ. Но для того, чтобы скромная работа въ деревнѣ не казалась ни адомъ, ни какою-то необыкновеннымъ героическимъ поступкомъ, а простою и серьезнѣйшею обязанностью всякаго человѣка, существующаго несомнѣнно на народныхъ деньгахъ, для этого, повторяемъ, дѣло народное должно быть выяснено во всей своей обширности, во всемъ своемъ патріотическомъ значеніи, во всей своей многосложности. Только это выясненіе дѣла и дастъ устойчивыя, захватывающіе душу идеалы, прольетъ иной свѣтъ на нѣкоторые приемы народнаго дѣла, считающіеся нынѣ зломъ, и очиститъ это дѣло отъ осложнений, ни мало его не касающихся.

Главнѣйшею причиною того, что народное дѣло непременно должно быть выяснено въ самой строгой безпристрастности и, если угодно, безстрашии, служить то чрезвычайно важное обстоятельство, замѣченное рѣшительно всѣми, кто только маломальски знаетъ народъ, что стройность сельскохозяйственныхъ земледѣльческихъ идеаловъ безпощадно разрушается такъ называемой цивилизаціей. До освобожденія крестьянъ нашъ народъ не имѣлъ съ этой язвой никакого дѣла; онъ стоялъ къ ней спиной, устремляя взоръ единственно на помѣщичій амбаръ, для пополненія котораго изощрялъ свою природную приспособительную способность. Теперь же, когда онъ, обернувшись къ амбару спиной, сталъ къ цивилизаціи лицомъ, дѣло его, его міросозерцаніе, общественныя и частныя отношенія — все это очутилось въ большой опасности. Ибо цивилизація эта, какъ кажется, имѣетъ единственной цѣлью стереть съ лица земли всѣ вышеупомянутые земледѣльческіе идеалы. Вѣдь вотъ стерла-же она съ лица русскую бойкую, «необгонимую» тройку, — тройку, въ которой Гоголь олицетворялъ всю Россію, всю ея будущность, — тройку, воспѣвавшуюся поэтами, олицетворявшую въ себѣ и русскую душу («то разгулье удалое, то сердечная тоска»), и русскую природу; все, начиная съ этой природы, выюги, зимы, сугробовъ, продолжая бубенчиками, колокольчиками, и кончая ямщикомъ съ его *буйными криками*, — все здѣсь чисто русское, самобытное, поэтическое... Какимъ бы буйнымъ смѣхомъ отвѣтилъ этотъ удалецъ-ям-

щикъ лѣтъ двадцать пять тому назадъ, еслибы ему сказали, что будетъ время, когда исчезнуть эти чудные кони въ наборной сбруѣ, эти бубенчики съ малиновымъ звономъ, исчезнетъ этотъ ящикъ со всѣмъ его репертуаромъ криковъ, уханій, пѣсенъ и удалства, и что вмѣсто всего этого будетъ ходить по землѣ какой-то коробокъ, вродѣ страпущей печки, и безъ лошадей, и будетъ изъ него валить дымъ и свистѣть... А коробокъ пришелъ, ходитъ, обогналъ необгонимую. Необгонимая позвякиваетъ своими малиновыми бубенцами на весьма ограниченномъ пространствѣ—Конюшенная—Ливадія—Нарвская застава—Конюшенная—только и ходу для необгонимой!.. Что-же будетъ, ежели паче чаянія эта ядовитая цивилизація вломится въ наши палестины хотя-бы въ видѣ парового плуга? Вѣдь ужъ онъ выдуманъ, проклятый, вѣдь ужъ какой-нибудь практическій нѣмецъ, въ расчетъ на то, что Россія—страна земледѣльская, навѣрное выдумываетъ такіа въ этомъ плугѣ усовершенствованія, благодаря которымъ цѣна ему будетъ весьма доступная для небогатыхъ земледѣльцевъ. Вѣдь кромѣ того нѣмецъ можетъ устроить и разсѣрочку, и разныя снисхожденія, — словомъ, придумаетъ и такъ или сякъ водворитъ этотъ плодъ цивилизаціи въ нашихъ палестинахъ, и что тогда можетъ произойти, по истинѣ вымолвить будетъ страшно. Все, начиная съ самыхъ повидимому священнѣйшихъ основъ, должно, если не рухнуть, то значительно пошатнуться и во всякомъ случаѣ положить начало разрушенію... Такъ какъ плугъ вздыраетъ землю и въ дождь, и въ грязь, то количество восковыхъ свѣчей должно несомнѣнно убавиться. Кромѣ того въ значеніи власти большака получится значительный пробѣлъ, а слѣдовательно и сомнѣніе въ необходимости подчиненія его указаніямъ, да и указаній-то этихъ убавится сразу болѣе чѣмъ на половину; громадная брешь образуется и въ мірскихъ дѣлахъ, ибо плугъ, вздырая «по ряду» всю мірскую землю, уничтожаетъ всѣ эти колушки, и значки, и границы... Масса серьезнѣйшихъ мірскихъ дѣлъ оказывается ненужными. Паланька явно не пожелаетъ долѣе подчиняться требованіямъ разрушенныхъ идеаловъ и освободится вмѣстѣ съ освобожденными плугомъ лошадьми. Произойдетъ опустошеніе во всѣхъ сферахъ сельско-хозяйственныхъ порядковъ и идеаловъ, а на мѣсто разрушеннаго ничего не поставится новаго и создающаго. И батюшка начнетъ произносить грозныя проповѣди о развращеніи нравовъ.

Да что плугъ! Плугъ—это покуда праздная фантазія, но бѣды цивилизаціи несутъ къ намъ такіа повидимому ничтожныя вещи, которыя въ сравненіи съ плугомъ то же, что папироска съ Александровскою колонной. Какая-нибудь керосиновая лампа или самый скверный линючій «ситчикъ»—и тѣ, не смотря на свою явную ничтожность, тѣмъ не менѣе наносятъ неисцѣлимый вредъ порядкамъ и идеаламъ, основаннымъ и вытекающимъ изъ условій земледѣльческаго труда. Керосиновая лампа уничтожаетъ лучину, выкуриваетъ

вонъ изъ избы всю поэтическую сторону лучинныхъ, удлиняетъ вечеръ и слѣдовательно прибавляетъ нѣсколько праздныхъ часовъ, которые и употребляются на перекоры между бабами, главной причиной раздѣла и упадка хозяйства. А «ситчикъ» по 10 коп. аршинъ!—ужъ на что кажется дрянъ и притомъ самая линючая, а отъ появленія его баба разогнула спину, бывало согнутую надъ станкомъ; но, разогнувъ ей спину и давъ такимъ образомъ массу празднаго времени,—времени, еще недавно поглощеннаго ужаснымъ трудомъ, онъ тѣмъ самымъ далъ волю ея наблюдательности, развязалъ языкъ и усилилъ семейныя несогласія. А чай? сахаръ? табакъ? сигары? папирсы? пиджакъ? Развѣ все это благопріятствуетъ сохраненію типа «настоящаго» крестьянина?...

Вліяніе цивилизаціи отражается на простодушномъ поселеніи рѣшительно при самомъ ничтожнѣйшемъ прикосновеніи. Буквально «прикосновение», одно только легкое касаніе—и тысячелѣтнія идеальныя постройки превращаются въ щепки. Вотъ передъ вами трудолюбивый, деликатный, умный, цѣломудренный крестьянинъ; но поѣздили онъ двѣ зимы легковымъ извозчикомъ—и ужъ развратился! Скажите пожалуйста, какая же тутъ можетъ быть цивилизація—ѣздитъ зимой въ морозы на облучкѣ и сидя спать въ трактирахъ, опустивъ голову на столъ? А между тѣмъ развращается. Въ двѣ зимы человекъ «насобачивается» такъ, что ужъ дѣлается чужимъ въ родномъ своемъ семействѣ. Гордость рождается у него, фанаберія и насмѣшка; пріучается прятать деньги отъ матери, отъ большака и непремѣнно задумываетъ дѣлаться. И это въ лучшемъ случаѣ, а то просто дѣлается мерзавцемъ: иной придетъ изъ Петербурга безъ копѣйки, хоть и «при часахъ», ничего не дѣлаетъ, не работаетъ, а свою-же родную мать посылаетъ ходить по-міру и ждетъ ее, поглядывая на свои часы... Наконецъ, кто не знаетъ, какъ быстро мѣняется и мѣняется къ худшему самый «тищъ» деревенскаго человека, даже въ такихъ отдаленнѣйшихъ отъ цивилизаціи учрежденіяхъ, какъ напримѣръ кабакъ? Стоитъ «крестьянину» посидѣть года два въ кабацкѣ и притомъ съ своими-же, такими-же крестьянами—какъ изъ порядочнаго человека онъ превращается въ нѣчто рѣшительно непривлекательное: все мѣняется въ немъ. Начиная съ вычурности выговора, съ этихъ масляныхъ волосъ, съ этого бритого затылка, до пріемовъ и хватокъ, растопыренныхъ пальцевъ, походки и т. д., все въ немъ омерзительно и гнусно: во всего гнуситъ—міросозерцаніе. Изъ мірскаго человека онъ превращается въ мірскаго обиралу, изъ жалостливаго къ бѣднымъ—въ хладнокровнаго до жестокости: ему ничего не стоитъ спавивать человека, зная, что онъ этимъ разоряетъ, «голодитъ» цѣлую семью; ему ничего не стоитъ выбросить на морозъ этого спившагося съ круга человека, послѣ того какъ у него не останется ни гроша. Даже убить человека ему ничего не стоитъ изъ-за денегъ. Замѣчательно при этомъ,

особенно въ деревенскомъ кабачикѣ, то обстоятельство, что онъ имѣетъ дѣло исключительно почти съ своими братьями деревенскими человѣкомъ, односельчаниномъ, и притомъ постоянно присутствуетъ при самыхъ откровенныхъ (послѣ стаканчика) разговорахъ о «нуждѣ», о горѣ, которое большею частью и потребляетъ вино — и ничего, кромѣ жестокости, безчеловѣчія, эта обстановка въ немъ не воспитываетъ. Но, положимъ, кабаки вообще плохая школа нравственности: всего ужаснѣе то, что почти такіе-же результаты достигаются совершенно инымъ, вполне противоположнымъ путемъ...

Изъ всего сказаннаго, да и кромѣ сказаннаго, изъ множества ежедневныхъ примѣровъ очевидно слѣдуетъ, что для сохраненія русскаго земледѣльческаго типа, русскихъ земледѣльческихъ порядковъ и стройности, основанной на условіяхъ земледѣльческаго труда, всѣхъ народныхъ частныхъ и общественныхъ отношеній, необходимо всячески противодействовать разрушающимъ эту стройность вліяніямъ; для этого необходимо уничтожить все, что носитъ мало-мальски чуждый земледѣльческому порядку признакъ: керосиновые лампы, фабрики, выдѣляющія ситѣцъ, желѣзные дороги, телеграфы, кабаки, извозчиковъ и кабачниковъ, даже книги, табакъ, сигары, папиросы, пиджаки и т. д., и т. д. Все это необходимо смести съ лица земли для того, чтобы Иванъ Ермолаевичъ, воспитавшійся въ условіяхъ земледѣльческаго труда, на нихъ построившій всѣ свои взгляды, всѣ отношенія, на нихъ основаншій цѣлый, особый отъ всякой цивилизаціи, своеобразный «крестьянскій міръ», могъ свободно и безпрепятственно развивать эти своеобразныя начала...

Но еслибы такое требованіе было въ самомъ дѣлѣ предъявлено, то едва-ли бы нашелся въ настоящее время хотя одинъ человѣкъ, который бы опредѣлялъ его иначе, какъ крайнимъ легкомысліемъ. Да и самъ Иванъ Ермолаевичъ ужъ на что подлинный крестьянинъ, а не безпokoитесь, не промѣняетъ керосиновой лампы на лучину и не посадитъ свою жену за «прясло», когда есть деньги, чтобы купить ситчику. И выходитъ поэтому для всякаго что-нибудь думающаго о народѣ чело-вѣка задача, по истинѣ неразрѣшимая: цивилизація идетъ, а ты, наблюдатель русской жизни, мало того что не можешь остановить этого шествія, но еще, какъ увѣряютъ тебя и какъ доказываетъ самъ Иванъ Ермолаевичъ, не долженъ, не имѣешь ни права, ни резона совѣтаться, въ виду того, что идеалы земледѣльческіе прекрасны и совершенны. И такъ — остановить шествіе не можешь, а совѣтаться не долженъ! Между тѣмъ самъ Иванъ Ермолаевичъ, безропотно покоряясь напору чуждыхъ ему вліяній и въ то же время упорно стремясь осуществить свои земледѣльческіе идеалы въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ они были выработаны при отсутствіи давленія новаго времени, чувствуетъ себя весьма не хорошо и вырабатываетъ — конечно, будучи въ этомъ вполнѣ виновенъ — взгляды на окружающее вполнѣ непривлекательныя.

VI. Къ чему пришелъ Иванъ Ермолаевичъ.

Онъ ропщетъ...

Онъ ропщетъ не на цивилизацію, не на ея гибельное вліяніе, онъ ропщетъ не на порядки, уваженіе къ которымъ вкорено въ немъ, какъ мы видѣли въ началѣ этого отрывка, слишкомъ основательно, а ропщетъ онъ на *народъ*, на своихъ односельчанъ-сообщниковъ. Народъ, видите-ли, сталъ не тотъ, испортился и избаловался.

— Да неужели, спрашиваю я Ивана Ермолаевича: — при крѣпостномъ правѣ было лучше?

— Храни Богъ отъ этого, отвѣчаетъ Иванъ Ермолаевичъ: — кажется, какъ только живы остались, удивленія достойно... Чего ужъ втупору хорошаго? а что ровнѣй было — это дѣйствительно правда. Втупору, надо такъ сказать, всѣмъ худо было, всѣмъ ровно, а нынче стало такимъ манеромъ: ты хочешь, чтобы было хорошо, а сосѣди норовятъ тебѣ сдѣлать худо.

— Да зачѣмъ же это надо?

— Да вотъ, стало быть, надо же зачѣмъ-нибудь. Тебѣ хорошо, а мнѣ худо, такъ пускай же и тебѣ будетъ также худо. Поровнять.. Посудите сами, я вамъ расскажу. Лядины у насъ дѣлятся на участки подъ вырубку; всякій рубить въ своемъ участкѣ. Вотъ я вырубилъ свой участокъ, пни выкорчевалъ, вычистилъ, стала у меня пашня. Какъ только у меня пашни прибавилось — передѣлять! У тебя-моль больше выходитъ земли, чѣмъ у другого съ тѣми же душами. Мірской земли прибавилось — передѣлять!

— Но вѣдь всякій можетъ расчислить свою лядину?

— Только не всякій хочетъ. Вотъ въ чемъ дѣло-то... Одинъ ослабѣлъ, другой обнищалъ, а третій лѣнивъ; есть лѣнныя, это вѣрно... Я встану до свѣту, бьюсь до-поту, у меня хлѣба больше отымутъ, будьте покойны! И по многу-ли достанется-то? Какъ есть вотъ по ремешочку, по тоненькой тесемкѣ... Такимъ манеромъ два раза у меня землю-то отобрали, и все по закону; земли прибавилось: «не одному же тебѣ, надо всѣмъ прибавить...» То есть никакъ не подымеешься. Хочу выписаться изъ общества; тутъ одинъ мнѣ мужичокъ сказывалъ, что будто можно, только не знаю какъ, много ли денегъ платить?

— А много-ль у васъ такихъ людей, которые подняться не дадутъ?

— А гдѣ же ихъ нѣтъ? Богачи не дадутъ и бѣдность не дасть.

— Отчего же это бѣдность-то у васъ?

— Оттого, что избаловался народъ... Все норовятъ отстать, отдѣлиться отъ большихъ семей, отъ семьи-то отойдетъ, а силъ справиться нѣтъ, вотъ онъ и начинаетъ вертѣться, какъ бѣсъ передъ заутреней. Въ работники пойдеть, норовитъ какъ чтобы хуже. Это чтобы по совѣсти дѣлать — этого не ждите!... Какъ чуть отвернулся, онъ и сѣлъ отдыхать, папироску закурить.

Да не подумаетъ читатель, что слова Ивана Ермолаевича приводятся для восхваленія крѣпост-

ныхъ временъ; но самая возможность подобныхъ рѣчей въ устахъ крестьянина уже знаменательна, ибо въ нихъ косвеннымъ образомъ выражается мнѣнiе его современнаго положенiя...

Необходимо упомянуть, что Иванъ Ермолаевичъ долженъ нанимать работника и работницу, такъ какъ его семейныхъ силъ недостаточно для успѣшнаго удовлетворенiя земледѣльческому идеалу. Братъ у него молодъ, шестнадцать лѣтъ, старшему сыну одиннадцать лѣтъ, а у жены еще на рукахъ двое ребятъ. Платить онъ за двѣ души, работникъ и работница для него необходимы, и на неудовлетворительность ихъ нравственныхъ качествъ Иванъ Ермолаевичъ, будучи работникомъ самъ лично, жалуетса даже гораздо болѣе. Чѣмъ любой крупный землевладелецъ. У него существуетъ для работника опредѣленный идеалъ; вотъ напримѣръ, говоритъ онъ, Лукьянъ — это работникъ. Дѣйствительно, Лукьянъ — человѣкъ особенный. Работу онъ считаетъ дѣломъ богоугоднымъ. Богъ труды любитъ, говоритъ онъ, и вѣрить въ это твердо, а въ видахъ этого ворочаетъ пни, бревна, камни, — словомъ, надсѣдается надъ самыми тяжеловѣсными предметами не только безъ ожесточенiя, а, напротивъ, съ полной вѣрою, что все это Богу прiятно. «Онъ любить!» говоритъ Лукьянъ, красный какъ ракъ, весь въ поту, съ страшными усилiями вытаскивая изъ рѣчки пенъ по указанiю Ивана Ермолаевича; онъ весь мокрый кряхтитъ и охаетъ, но Богъ видитъ эти старанiя и ободряетъ Лукьяна. Пенъ захрюкалъ, зачавкалъ, вылѣзая изъ тины рѣчного дна, и Лукьянъ твердо знаетъ, что это у Бога зачлось, что ко всѣмъ его трудамъ прибавился новый нумеръ... Лукьянъ кромѣ того холостъ; онъ дожилъ до старости лѣтъ подъ какими-то страннымъ страхомъ брака; въ деревнѣ у него изба и огородъ; онъ не платитъ никакихъ налоговъ. Весной онъ вскопаетъ гряды, посѣетъ и посадитъ разныя овощи: хрѣнъ, морковь, капусту, картофель. И ухаживать; домъ онъ запираетъ на-глухо, а огородъ поручаетъ вдовѣ-солдаткѣ; съ весны до глубокой осени онъ на работѣ: косить, пилить. Осенью, послѣ Покрова, накопивъ немного денегъ, возвращается домой; въ огородѣ все выросло и поспѣло, и всю зиму Лукьянъ не знаетъ нужды, а когда придетъ чаконецъ старость, когда устанутъ и руки, и ноги — вотъ тогда Лукьянъ намѣренъ вступить въ бракъ. «Никакой свадьбы, говоритъ онъ, не будетъ, а просто возьму за руку ту самую солдатку-пову, которая ходитъ за огородомъ, да и пойдемъ вѣнчаться къ попу, деньги отдадимъ. Пускай подъ старость мнѣ поможетъ, а помру — пусть владѣтъ, чтѣ останется отъ меня».

Такого человѣка, по мнѣнiю Ивана Ермолаевича, еще можно бываетъ называть работникомъ вполне, но идеальный работникъ не такой: идеальный работникъ тотъ, кто не корыстеется, готовъ работать «съ кусу», никакихъ цѣнъ, ни условiй не ставитъ, говоритъ «только корми» или самое болѣе — «что положишь, то и ладно»; идеальный работникъ тотъ, который увлекается общимъ теченiемъ работъ въ той семьѣ, куда онъ входитъ, ко-

торый забываетъ, что работаетъ на чужихъ людей, который сливается съ этими чужими людьми, съ ихъ интересами, который тысячу дѣлъ сдѣлаетъ «играючи» — вотъ это работникъ идеальный; но, по увѣренiю Ивана Ермолаевича, такихъ идеаловъ по нѣжнему времени нѣтъ, и куда они дѣвались — никому неизвѣстно. Напротивъ, въ настоящее время работникъ не только не увлекается трудомъ, не только не видитъ въ этомъ трудѣ никакой игры, но, напротивъ, не хочетъ дѣлать дѣла, не смотря на то, что условiя ставятъ множество, критикуютъ, сплетничаютъ, разглазольствуютъ, обманываютъ и въ концѣ-концовъ опять-таки ничего не дѣлаютъ. Надъ такимъ человѣкомъ нужно *стоять*, не отходя ни на шагъ, погнукать, воли не давать; словомъ, такой человѣкъ ожесточаетъ простодушнаго Ивана Ермолаевича. Поглядите вотъ на этого нынѣшняго работника. Идетъ наниматься, и не успѣлъ онъ и Иванъ Ермолаевичъ сказать двухъ словъ, какъ слѣдомъ является жена нанимающагося.

— Не давай ты ему, подлецу, денегъ! начинать она. — Сдѣлай милость, не давай! Знаю я его, очень хорошо знаю.

— Что пасты-то разинула, кобыла сумасшедшая? Чать не все пропивалъ, чать работалъ! кто вась, чертей, сорокъ-то лѣтъ кормилъ, ты что-ль? Кто сыновей вырастилъ и женилъ? Орало дурацкое! «Не давай денегъ!» Вамъ же, чертямъ, достанутся.

— Ни-и-и грошика, ни полушечки не давай, и не слухай ты его ни въ единомъ словѣ; а наймется — вотъ какъ, ужъ вотъ какъ гляди, глазъ не спускай, а то заснешь! Передъ Богомъ, какъ отвернулся — спать! Я всю жизнь съ нимъ мучилась, я знаю, у меня хребетъ-то хорошо знаетъ, каковъ человѣкъ онъ есть...

Начинается божба, клятвы, упрасиванiя, дѣлежка задатка: часть работнику, часть бабѣ. А работы нѣтъ настоящей! Все надо сказать, напомнить. Не скажешь, не напомнишь — сидитъ, поидетъ нехотя, смотрѣтъ тошно, словомъ, каждый шагъ дѣлаетъ только изъ-подъ палки. Въ интересы семейства не только не входятъ, но, напротивъ, подъ все подкапывается, въ каждомъ словѣ слышенъ упрекъ: «что-то снѣтки-то бытъто мельконьки!» непремѣнно замѣтитъ, и непремѣнно насплетничаетъ насчетъ снѣтковъ и въ лавочкѣ, и въ кабацѣ, и у первыхъ хорошихъ знакомыхъ Ивана Ермолаевича. Насплетничаетъ, прибавитъ, присочинитъ и уйдетъ, не отработавъ задатка, къ другому, уйдетъ бранясь, ругаясь, распускать позорящiя Ивана Ермолаевича небылицы; «снѣтки, молъ, покупаетъ съ пескомъ, послѣднiй сортъ, самъ не ѣстъ, для прилику только ложкой болтаетъ, а въ печкѣ спрятана свинина». Поминутно Иванъ Ермолаевичъ остается безъ работника или съ такимъ работникомъ, который, кажется, только и думаетъ, чтобы уйти прочь, хотя и пришелъ всего-то два дня назадъ. Вотъ въ прошломъ году работникъ полѣнился слѣзть съ воза сѣна, которое вывозили изъ болота, полѣнился, потому что сапоги на немъ новые были, только-что куплен-

ные, въ задатокъ остались, и, сидя на возу, драхъ лошадь кнутомъ: лошадь билась-билась и повредила задъ (оторвала задъ), а лошадь стоитъ около ста рублей. Убытокъ изъ-за сапогъ въ три цѣлковыхъ.

Или вотъ хромоногій солдатъ. Вотъ поглядите на него: Христомъ-Богомъ упрасиваетъ, умоливаетъ, чтобы Иванъ Ермолаевичъ взялъ его дѣвчонку въ работу, и проситъ *только куле*, одинъ кулъ хлѣба за все лѣто, что по нынѣшнимъ цѣнамъ стоитъ 16 рублей. Если Иванъ Ермолаевичъ возьмётъ дѣвчонку хромого, то единственно только изъ жалости, но не прошло двухъ недѣль, какъ хромой взялъ ее, взялъ самымъ наглýmъ образомъ. Пришелъ къ Ивану Ермолаевичу и объявилъ: «Хочешь держать—давай двадцать пять цѣлковыхъ, а не дашь—у меня есть ей мѣсто.» — «А куле?» — «Что-жь куле? вотъ продамъ сѣно, отдамъ, авось не пропадетъ». Но подъ это сѣно выклянчилъ и въ лавчонкѣ и соли, и хлѣба, и чаю, и табакъ, цѣлковыхъ на пять. — «Вотъ продамъ, отдамъ». Подъ это сѣно выклянчилъ въ сосѣдней деревнѣ у кабатчика картофелю, рѣпы, брюквы... «Продамъ—отдамъ». Подъ это сѣно у овчинника взялъ въ долгъ лошадь въ сорокъ цѣлковыхъ и въ два мѣсяца загналъ ее, потому что почти не кормилъ, а гонялъ со станціи на станцію поминутно; даже сыннишка, который на ней ѣздилъ, и тотъ заморился и захворалъ. Мало того, сѣно, заложенное ужъ въ двадцати рукахъ, продалъ *на соты* за пятнадцать рублей третью, совершенно постороннему лицу, причемъ оказалось, что и сѣна-то всего въ дѣйствительности на три цѣлковыхъ. Словомъ, такого вѣроломства, такой смѣси смиреннаго нищенскаго попрошайничества и наглаго обмана, какую олицетворяетъ солдатъ, рѣшительно трудно себѣ представить, а вотъ такихъ-то «народовъ» въ нашихъ мѣстахъ развелось не мало, и они-то первые, по словамъ Ивана Ермолаевича, заорутъ, когда онъ напрямъ распахнетъ ядину, первые не дадутъ ему справиться.

Да что! Времена такъ измѣнились, люди такъ испортились, что не только Иванъ Ермолаевичъ, а овчинникъ, самъ знаменитый, почтенный овчинникъ, перестаетъ вѣрить здѣшнему *народу*. А человекъ, носящій наименованіе овчинника, человекъ очень рѣдкостный и дѣйствительно замѣчательный. Замѣчателенъ онъ своей безграничной добротой и гуманностью; мало того, что онъ истинный крестьянинъ, онъ—и христіанинъ, и добрый человекъ, думающій о бѣдномъ братѣ. Ему ужъ подъ шестьдесятъ лѣтъ и знакомъ онъ съ тѣми мѣстами, гдѣ живетъ Иванъ Ермолаевичъ, лѣтъ тридцать пять. И самъ онъ былъ крѣпостной, и здѣшній народъ помнить крѣпостнымъ. Каждую осень онъ пріѣзжаетъ сюда съ мѣста родины, изъ Калужской губерніи, и поселяется на всю зиму дубить овчины. Такихъ овчинъ онъ выдубитъ штукъ тысячи три въ зиму. Но, идя на этотъ промыселъ, онъ на прошлагодній заработокъ съ него покупалъ лошадей и пригонялъ ихъ съ собой въ

здѣшнія мѣста. Лошадей этихъ онъ раздавалъ кому угодно, на совѣсть, безъ всякихъ росписокъ и документовъ, съ тѣмъ, чтобы человекъ, получившій лошадь въ долгъ, платилъ ему втеченіе зимы—по возможности: рубль, гривенникъ, десять рублей и т. д. Бывали случаи, что къ веснѣ, когда онъ уходилъ домой «хозяйствовать», иные не уплачивали ему ни копѣйки денегъ, и онъ не взыскивалъ, а ждалъ до слѣдующаго года. Онъ самъ рассказывалъ, что даже рассчитывалъ на эти неотдачи, и хлопоталъ только о томъ, чтобы въ общей суммѣ воротить свои деньги, больше ничего. «Чѣмъ въ сундукѣ лежатъ, пушай людямъ отъ нихъ добро, да и цѣлѣй онъ—такъ-то!»

Убытка ему не могло быть, а иногда и барышъ бывалъ. Присутствіе вниманія къ ближнему въ этой операціи несомнѣнное. Мѣстные крестьяне, которые, благодаря его помощи, могли стать на ноги, не называютъ его иначе какъ «миляга!». «Какой миляга—на рѣдкость! Душа-человѣкъ!» Но новыя времена стали расшатывать увѣренность стараго миляги въ томъ, чтобы въ «конѣшнее» время можно было такъ просто дѣлать доброе дѣло, какъ прежде. Цивилизація продала у него лошадей двадцать, розданныхъ въ долгъ, за невзносъ податей тѣмъ мужикамъ, которымъ онъ были розданы. Она же стала наталкивать на него такихъ людей, которымъ ужъ ничего не стоитъ *отираться* отъ своего слова, такихъ, которые уже знаютъ, что безъ росписки ничего не возьмешь и т. д. А овчинникъ—человѣкъ стариннаго покроя: ему и не по душѣ, да и некогда возжаться по судамъ, описывать имущество, взыскивать, глядѣть на разореніе человѣка, когда у него на душѣ совершенно другое, не похожее на желаніе разорить человѣка,—желаніе помочь ему. Въ нынѣшнемъ году онъ также пригналъ лошадей и также роздалъ ихъ, но уже не кому угодно, а людямъ благонадежнымъ, вроде Ивана Ермолаевича и другихъ порядочныхъ мужиковъ... И мы сами были свидѣтелями того удивленія, съ которымъ даже ужъ и къ такому разборчивому благотѣлствованію относились нѣкоторые изъ крестьянъ, уже выросшихъ въ новыхъ условіяхъ жизни.

— Да какъ-же это, братецъ ты мой, говорили овчиннику:—вѣришь ты всякому?

— А ты неужто никому не вѣришь? возражаетъ овчинникъ.

— Ну, а пропадетъ, издохнетъ ежели лошадь, съ кого взыскивать будешь?

— А совѣсть-то на что? Совѣсть и взыщетъ...

— Ну, братъ, мудреный ты человекъ, оное слово, мудреный. Вѣрить всякому безъ росписки!.. Отменно ты, ей-Богу, человекъ-то добрый должно быть...

Слышалъ я и такія вещи: прочиталъ я въ газетахъ, что петербургская дума предполагаетъ увеличить налогъ съ извозничьихъ лошадей до семи рублей въ годъ. Почиталъ и, сожалея здѣшнихъ крестьянъ, занимающихся извозничествомъ, говорю одному изъ нихъ:

— Вотъ какое дѣло: налогъ на лошадей увеличиваютъ.

— Много-ль надбавили-то? спрашивалъ собесѣдникъ.

— До семи рублей платить придется, отвѣчаю я, полагая, что это опечалитъ моего собесѣдника.

Но собесѣдникъ говорить на это слѣдующее:

— Семь рублей! Мало! Маловато!

— Что вы это говорите?

— Вотъ какъ бы до десяти догнали, такъ нашему брату было бы пріятно... Это бы хорошо нашему брату подошло.

— Что-жъ тутъ хорошаго?

— А то, что извозчиковъ будетъ меньше, а это нашему брату доходный. Теперь за четыре-то рубля какая ихъ прорва въ Питерѣ шляется? Хотя не ѣзди... А какъ подняли бы цѣну, такъ не всякій бы сунулся въ Питеръ-то. Анъ зима-то, глядишь, и въ помощь пришла... А то что?.. Ѣздишь, ѣздишь... только что сытъ съ лошадыю.

Изъ этого бѣлаго очерка уже можно видѣть, что разединеніе деревенскаго общества на разные лагери, и лагери не вполне дружельные, судить въ перспективѣ явленія весьма неблагоприятныя. Теперь уже надобно дѣлать усиліе, несправедливость для того, чтобы поровнять всѣхъ такъ, какъ всѣ были уравнины крѣпостнымъ правомъ. Преслѣдуя тѣ же идеалы, Иваны Ермолаичи должны уже бороться за нихъ, враждовать съ извѣстною частью своихъ односельчанъ, когда-то имъ равныхъ, и помышлять объ отдѣленіи отъ нихъ, о выходѣ изъ общества. Съ другой стороны, и противная партія, преслѣдующая тѣ же земледѣльческіе идеалы, не можетъ равнодушно сносить превосходства людей, когда-то равныхъ съ ними. Заимчивательно при этомъ слѣдующее: хромоногий солдатъ, или тотъ работникъ, на котораго жаловалась баба, всѣ они изнываютъ и нищаютъ потому, что имъ и мысли не приходитъ о томъ, чтобы работать товариществомъ; напротивъ, живя старыми земледѣльческими идеалами, каждый полагаетъ, что въ вознѣ на собственномъ дворѣ и должна быть сосредоточена вся жизнь и всѣ интересы, и всѣ удовольствія. Не разъ разговаривалъ я по этому поводу съ Иваномъ Ермолаичемъ.

— Скажите, пожалуйста, неужели нельзя исполнять вообще такихъ работъ, которыя не подъ силу въ одиночку? Вѣдь вотъ солдатъ, вашъ работникъ, который сипетничалъ, и другіе — каждый изъ нихъ мучается, выбивается изъ силъ, вретъ и обманываетъ, и въ концѣ-концовъ нищенствуютъ всѣ... Но, соединивъ свои силы, своихъ лошадей, работниковъ и т. д., они были бы сильнѣй самой сильной семьи... Вѣдь тогда незачѣмъ отдавать малолѣтнихъ дѣтей въ работу и т. д.

— То есть, это совмѣща работать?

— Да.

Иванъ Ермолаевичъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Нѣтъ! Это не выйдетъ...

Еще подумалъ и опять сказалъ:

— Нѣтъ! Куда! Какъ можно... Тутъ десять чело-
вѣкъ не поднимутъ одного бревна, а одинъ-то

я его какъ перо снесу, ежели мнѣ потребуется... Нѣтъ, какъ можно! Тутъ одинъ скажетъ: «бросай, ребята, пойдемъ обѣдать!» А я хочу работать... Теперь какъ же будешь — онъ уйдетъ, а я за него работай! Да нѣтъ — невозможно этого! Какъ можно! У одного одинъ характеръ, у другого — другой!.. Это все равно, вотъ ежелибъ одно письмо для всей деревни писать...

Изъ всего сказаннаго можно видѣть, что «народное дѣло» можетъ и должно принять совершенно опредѣленные реальные формы и что работниковъ для него надо великое множество. До сего времени впрочемъ на *эту работу*, какъ кажется, не рассчитывали люди, именующіеся патріотами своего отечества. Въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ» 1879 г. въ одной изъ передовыхъ статей, оправдывающихъ стѣсненія школьнаго дѣла, сказано: «Если бы *всѣмъ имъ* (50-ти тысячамъ учащихся) оканчивать курсъ и поступать въ университеты, то число ихъ (людей съ высшимъ образованіемъ) возрасло бы до 25 тысячъ. Но зачѣмъ бы *могло потребоваться такое страшное приращеніе?*»

Очевидно, незачѣмъ.

VII. Пастухъ.

Стройность системы земледѣльческихъ взглядовъ» Ивана Ермолаевича начала понемногу дѣйствовать и лично на меня, по мѣрѣ того какъ я сталъ убѣждаться въ полнѣйшей необходимости этихъ взглядовъ. Жить стало легче, т. е. проще. Нервы сдѣлались какъ бы крѣпче, стали обнаруживать нѣкоторую неподатливость въ такихъ случаяхъ, въ какихъ прежде, т. е. весьма недавно, они не могли не ныть, хотя конечно безплодно.

Зашелъ ко мнѣ проститься пастухъ; онъ былъ принанять деревней на полтора послѣднихъ мѣсяца, по случаю того, что старый пастухъ тяжело заболѣлъ. Это былъ лѣтъ поды пятьдесятъ холостой чело-вѣкъ, отставной солдатъ; въ военной службѣ онъ прослужилъ двадцать пять лѣтъ и по выходѣ получилъ одиннадцать рублей какихъ-то артельныхъ денегъ вмѣстѣ съ шинелью, отъ которой однако начальствомъ были отрѣзаны пуговицы, какъ «не *отслужившій срока*», и, одевшись въ эту шинель безъ пуговицъ, пришелъ домой. Здѣсь его приняли не совсѣмъ ласково; правда, сестра родная жалѣла его и много плакала съ нимъ и о немъ, но мужъ сестры косился на то, что Еремей (такъ звали пастуха) не можетъ работать въ хозяйствѣ. Вѣда Еремея въ томъ именно и заключалось, что онъ не можетъ работать *трудной* работы, у него нѣту силъ, необходимыхъ для этой работы; онъ длиненъ ростомъ, и если ему нафабрить усы и растопырить бакенбарды, да нахлобучить каску, какую пострашнѣй, такъ онъ можетъ показаться чело-вѣкомъ очень могучимъ, богатыремъ даже, но на дѣлѣ онъ былъ хотъ и длиненъ, но вялъ и робокъ. — Счастье еще, говорилъ онъ мнѣ,

что меня на службѣ не очень серьезно били, а то-бъ я давно помереть должнъ! фитьфебель у насъ былъ добрый человѣкъ: бѣдныхъ, у кого ничего нѣту—ниущества, денегъ, почестъ-что не билъ, а билъ онъ богатыхъ; какъ увидитъ, что у человѣка деньги, сейчасъ на ученыхъ подлетитъ—рразъ!.. Рубль-ли, два-ли ему и вылетаетъ! Ну, а у меня ничего не было, и денегъ я въ глаза не видалъ—стало быть, пользы ему меня бить не было. Что-жъ меня бить, коли у меня ничего нѣту? А то-бы по моему здоровью мнѣ давно надо помереть, ежели-бы, то-есть, бой мнѣ былъ настоящей, какъ прочимъ богатымъ людямъ былъ бой!»

И точно: пахать ходить по кочкамъ за сохой или плугомъ и напрягать свои силы до степени лошадиныхъ—онъ не могъ и навѣрное повалился-бы на пятой бороздѣ. Вотъ почему, возвратясь домой изъ военной службы, онъ сталъ встрѣчать въ семействѣ косые взгляды, и такъ какъ отъ этихъ взглядовъ кусокъ ему въ горло не шелъ, то онъ и захотѣлъ выдѣлаться. Выдѣлился ему часть изъ отцовскаго имуществъ, часть эту онъ продалъ и денегъ у него набралось рублей ста полтора. «Тутъ, говорилъ мнѣ пастухъ:—стало мнѣ скучно, сталъ я виномъ баловаться; и такъ я его полюбилъ, словно медвѣдь медъ любить; пьянствовалъ я пожалуй-что близко двухъ годовъ; потомъ, какъ оставшись я «безо всего» пошелъ изъ своихъ мѣстъ прочь... Тутъ я поступилъ въ монастырь... Въ монастырѣ трапеза хорошая (пастухъ подробно рассказывалъ мнѣ монастырское меню)—ну, денегъ, то-есть жалованья не даютъ, а отъ богомольцевъ пользоваться не запрещаютъ... Было насъ тамъ такихъ, какъ я, человѣкъ пять. Вотъ мы бывало и испросимъ у отца-игумена благословенія, чтобы въ храмовой праздникъ дозволилъ онъ намъ хоть колокольную пользоваться... Напримѣръ который бываетъ богомольцы охотникъ все осматривать, то лѣзетъ на колокольную: пусти да пусти. Ну, дастъ онъ гривенникъ, копѣекъ двадцать—что по возможности—мы и пустимъ и покажемъ все. Въ большіе праздники рублей по шесть наберемъ артелью-то. Ну, и насчетъ работы нельзя пожаловаться, работа монастырская не тяжела: принесу воды, отнесу письмо... или въ огородѣ чтонибудь... Монахъ не станетъ надъ тобой стоять, надъ душой напимѣръ: «работай!». Ему надо въ храмѣ быть, то заутреня, то обѣдня, то вечерня, то всенощная, то молебенъ, то акафистъ—безпрестанно онъ отлучается... Ну, и отдохнешь. Къ обѣднѣ вдарать, а ты сѣлъ или легъ, или трубочку закурилъ, никто не препятствуетъ...» Монастырская, не тяжелая работа была также по силамъ Еремею, но, увы! наши монастыри, какъ извѣстно, постепенно превращающіеся въ «крупная» земледѣльческія хозяйства, стали брезговать такими, какъ Еремей, работниками, и начали принимать не изъ милосердія, а по найму, не изъ-за хлѣба, а за опредѣленную плату, настоящихъ работниковъ, такъ какъ дѣло хозяйственное пошло не по монастырскому, а по настоящему, въ-сурьезъ, изъ-за самыхъ опредѣленныхъ и ясныхъ коммерческихъ расчетовъ. На

счастье, Еремей чуть-чуть зналъ грамотѣ, едва-едва съ грѣхомъ пополамъ, могъ прочитать по складамъ печатную страницу и написать съ ужаснѣйшими искаженіями словъ крестьянское письмо. Цифры онъ зналъ очень мало: что такое миллионъ—не зналъ, не могъ понять; даже цифры сто тысячъ не могъ себѣ ясно представить, не только-что написать. Но все-таки и эти знанія давали ему по временамъ кусокъ хлѣба: онъ брался учить крестьянскихъ ребятъ и бралъ цѣну небольшую—сорокъ копѣекъ въ мѣсяцъ, и иногда бралъ «огуломъ» за два цѣлковыхъ, и притомъ обязывался къ сроку, напимѣръ чтобы за зиму непременно обучить мальчишку; но въ такихъ случаяхъ, не довѣряя его познаніямъ, съ него требовали подписку. «Дай подписку!» говорили ему, и Еремей не отпирался отъ подписки, давалъ какую угодно, лишь-бы зиму не умереть съ голоду и не заморзнуть. Но и при подпискѣ и безъ нея, Еремей никого ничему не учивалъ, кромѣ азбуки и двухъ, трехъ цифръ; однако случалось, чтобы за это взыскивали съ него, не бывало, ибо и родители, слушая какъ Еремей бьется и потѣетъ, и какъ надсѣдаются дѣти, понимали, что это дѣло нелегкое, что за него взяться заставляетъ человѣка только крайняя нужда. Изъ учителей нужда его погнала и въ пастухи; дѣло это ему непривычное, не по характеру; онъ даже боится быть въ лѣсу однимъ-однимъ, да и скотины, бодрастыхъ коровъ и быковъ, побивается; но нужда научитъ, по пословицѣ, и кирпичи ѣсть. И Еремей кое-какъ прилачился. Къ скотинѣ онъ подошелъ не какъ повелитель и начальникъ, а какъ самый вѣжливый и предусмотрительный человѣкъ; хлѣбомъ, корки котораго онъ сберегалъ отъ обѣда и подбираетъ гдѣ только возможно, онъ задобрилъ рѣшительно всѣхъ животныхъ, которыхъ боялся. Но вѣдь такой образъ дѣйствій со скотиной—вещь немислимая. Ни силъ, ни средствъ не хватить у цѣлой деревни на такую деликатность, да Еремей и самъ чувствовалъ, что онъ не годится для этого дѣла, такъ какъ замѣнить хлѣбъ палкой, что слѣдуетъ сдѣлать настоящему пастуху, онъ былъ неспособенъ. Онъ чувствовалъ, что пастухомъ онъ сдѣлался случайно, да и все это чувствовалъ.

Поехалъ снѣгъ, скотину загнали въ зимнія помѣщенія, и Еремею пришлось уходить. Куда? Онъ и самъ не зналъ, куда именно ему надобно идти. А идти надо, больше ему нѣтъ дѣла; даромъ кормить не будетъ никто, и вотъ онъ въ такую-то минуту зашелъ ко мнѣ проститься. Онъ былъ въ той самой шинели, отъ которой начальство отрѣзало пуговицы, въ сапогахъ, разбитыхъ до невозможности, а шапка, которую онъ держалъ въ рукахъ, была, какъ говорится, ни на что не похожа. Онъ пришелъ проститься, но видимо ждалъ какого-то счастливаго случая, который-бы далъ ему возможность не идти, остаться зиму здѣсь. Онъ привыкъ, познакомился съ людьми—зачѣмъ бы ихъ бросать? а главное куда идти-то? Идти приходится неизвѣстно куда, когда на дворѣ зима, когда добрые люди забиваются въ теплыя избы, когда снѣжкомъ занесены эти избы со всѣхъ сто-

ронъ, густо обложить ихъ толстой, пушистой. непроницаемой отъ холода стѣной. А онъ вотъ куда-то иди! Но куда? Денегъ у него оказалось за разчетомъ семь рублей пятьдесятъ копѣекъ, а ихъ не хватить и на полсутокъ, потому что въ такихъ сапогахъ, какіе надѣты на Еремей, нельзя идти далеко, не пройдешь и трехъ верстъ, какъ ноги околѣнутъ. — «Куда-же ты теперь?» спрашивалъ я Еремея. — «Да, признаться, еще покуда не оглядѣлся... Вотъ сапоги надо. Вотъ какъ разбились... не знаю, кабы рубля-бы за два пришлось сапоги-то купить, оно-бы ничего... Вотъ тоже одѣжи мало, совсѣмъ мало одѣжи!» Еремей трогаетъ себя за борть шинели безъ пуговицъ, вытягиваетъ руки и оглядываетъ рваные рукава. «Мало, мало, совсѣмъ мало одѣжи. надо что-нибудь по зимнему времена... а денегъ-то вонъ семь рублей, да лавочнику поди какъ подсчитываетъ, пожалуй какъ бы за мелочь рубли два не пришлось отдать... Забиралъ табакъ, нитки, рубагу взялъ.. Вотъ денегъ-то и не хватаетъ. Кабы на машину хватило, пожалуй въ городъ-бы уѣхалъ».

Очевидно, что Еремей находился въ глубокой нерѣшимости, не зналъ, что дѣлать, куда идти, что покупать, что исправлять въ одѣждѣ, сапогахъ, или шинели, или шапку. Я предложилъ ему водки—онъ любилъ ее—но въ эту трогательную минуту онъ отказался. Онъ рѣшительно сказалъ: «боюсь я теперь пить!». И точно, настроеніе его было такое, что, зайдя въ теплый кабакъ, онъ не вышелъ бы оттуда на морозъ, не оставивъ въ кабацкѣ всѣхъ семи рублей пятидесяти копѣекъ. Теперь въ кабакахъ играютъ въ карты, и ничего не было-бы мудренаго, еслибы Еремею пришла мысль поиграть «на счастье»... И все-таки Еремей ушелъ, не смотря на страстное желаніе остаться, не смотря на то, что ему ужасно боязно идти невѣдомо куда—въ холодъ, въ рваной одѣждѣ, безъ денегъ и безъ силъ, которыхъ не дала природа. Ушелъ, потому что даромъ кормить его никто не будетъ. Надѣвъ рваную шапку, взявъ палку, крикнулъ какъ-то въ глубокомъ, чуть не до слезъ доходившемъ душевномъ разстройствѣ и пошелъ невѣдомо куда. Я стоялъ у окна и видѣлъ, какъ Еремей удалялся къ лѣсу, ступая рванными сапогами по занесенной снѣгомъ дорогѣ, шелъ, сгорбившись и вытянувъ впередъ длинную, обмотанную тряпками шею...

— Такое ужъ ему должно быть счастье! сказалъ Иванъ Ермолаевичъ о Еремей. — Кто же виновать-то, что онъ не работникъ. Вѣдь этого пережить нельзя... А за-даромъ кормить никто не станетъ. Откуда я возьму—сами посудите?.. Кабы мастерство какое зналъ, ну, еще ему бы можно было какъ-нибудь справиться пошalenьку. А то и мастерства за нимъ нѣтъ... Въ кузю? — Слабъ... Вотъ и выходитъ, что ему надо кое-какъ жить, перебиваться... Случаемъ. А чтобы постоянного жительства — этого нѣтъ... не подойдетъ ему. Нешто работники такіе бываютъ!

И точно, принявъ во вниманіе «породу» Еремея, его физическіе ресурсы, видишь, что для

него какъ-бы естественно, *само собой* вытекаетъ такой, а не иной образъ жизни. Онъ *долженъ* такъ жить, никто не въ силахъ передѣлать его жизнь, никто на это не имѣетъ возможности. Его можно жалѣть, но самъ онъ волей-неволей долженъ пройти именно тотъ самый путь жизни, который ему предопредѣленъ и который объясняется условіями, находящимися въ его натурѣ, породѣ. Онъ *долженъ* поэтому кое-какъ шататься по свѣту, работать случайную работу, кое-какъ кормиться въ случайно попадающихся не слишкомъ бойкихъ для работы мѣстахъ, а помереть ему придется такъ же, какъ вотъ недавно померъ въ деревнѣ бобыль. Померъ онъ потому, что физическія средства существованія были въ немъ истощены до послѣдняго предѣла, и замѣчательно, что имущества послѣ него осталось *какъ-разъ* столько, сколько необходимо надо на его погребеніе. За шапку дали восемнадцать копѣекъ, за остатки полшубка рубль, деньгами осталось въ тряпкѣ сорокъ копѣекъ и разной мелочи (лопата, горшокъ, одинъ новый лапотъ) продано на нѣсколько копѣекъ, всего набралось два рубля восемьдесятъ три копѣйки, которые «точка въ точку» разошлись на погребеніе — за яму, попу, гробъ и т. д., даже три копѣйки, которыя оставались, казалось, лишними, и тѣ пришлось отдать нищему, который сидѣлъ на паперти во время отпѣванія. Словомъ, «копѣйка въ копѣйку» человекъ рассчитался съ бѣлымъ свѣтомъ, возвративъ ему все «до копѣечки», что взялъ отъ него для жизненнаго своего пути. Всякое сожалѣніе, скорбь и т. д.—все это будетъ нѣсколько фальшиво при такой «неизбѣжности» формъ и жизни, и смерти. Такимъ образомъ въ ту минуту, когда бобыль былъ зарытъ въ могилу, отъ него *ничего не осталось*, ни даже воспоминанія... На чужой головѣ «живетъ» его шапка, рваныя овчины перекроены и «живутъ» въ чужомъ полшубкѣ и все это живое въ нѣмыхъ формахъ уничтожаетъ даже возможность воспоминанія объ умершемъ. Жизнь и смерть для человека, имѣющаго дѣло непосредственно съ природой, слиты почти во-едино. Вотъ умерло срубленное дерево, оно вянетъ, гниетъ, но въ то же самое мгновеніе пополняется новою жизнью. Подъ гниющей корой, невѣдомо откуда явились и копошатся тысячи червей, муравьевъ; все это суетится, лазаетъ, точитъ, ѣстъ мертвеца, тащитъ въ свой домъ, строится, устраиваетъ муравьиныя кучи, растаскиваетъ его по мельчайшимъ частямъ, какъ у бобыля шапку, полшубокъ, и, глядишь, нѣтъ дерева, а есть что-то другое, и не мертвое, а живое; дерево рассыпалось, и на томъ мѣстѣ, гдѣ оно лежало, по всей его длинѣ, выросъ крѣпкій мохъ, разнообразный, красивый и въ немъ послѣ хорошаго «грибнаго дождя» (для грибовъ бываетъ особенный грибной дождь)—масса грибовъ, которые черезъ день по появленіи жарятся на сковородѣ въ сметанѣ... Издохла лошадь, и немедленно, не давая вамъ поскорѣе о погибшемъ работникѣ, она, эта самая мертвая лошадь, начинаетъ жить новою жизнью. Сколько живыхъ су-

щество мгновенно воспроизводитъ она въ одинъ день! Какая гибель червей, устранивающихъ свое собственное благосостояніе! Въ какомъ великолѣпномъ расположеніи духа станъ птицъ, воронъ, галокъ и всякихъ прелестныхъ лѣсныхъ птишекъ! Какъ выдѣлываютъ онѣ эти кости, довода ихъ, при помощи своихъ острыхъ носовъ и содѣйствіемъ дождей и вѣтровъ, до степени великолѣпнѣйшей бѣлизны. На весну — нѣтъ лошади, нѣтъ обѣй капли воспоминанія, потому что она вся разбѣжалась, расплзлась и разлетѣлась тысячами живыхъ существъ. Недавно подъ поломъ того деревенскаго дома, въ которомъ я живу, собака вывела щеня. Она прорыла подъ некрѣпкимъ фундаментомъ лазъ и забралась въ самый дальній уголъ противоположной лазу части дома. Она сдѣлала это для того, чтобъ щенятамъ было теплѣй, чтобъ вѣтеръ, который будетъ проникать подъ полъ, чрезъ лазъ, не доходилъ до нихъ. По ночамъ во время снѣжныхъ вьюгъ они сильно вопіяли подъ поломъ; пробовали достать ихъ и перенести въ тепло, но это было невозможно сдѣлать, нельзя было пролѣзть подъ полъ. Но вотъ двѣ ночи кряду не слышать ихъ писка; щенята замерзли. Несчастныя существа! Они не выдержали сильныхъ морозовъ и всей кучей, такіе хорошенькіе, маленькіе — замерзли! Но не успѣли вы посантиментальничать и пяти секундъ, какъ немедленно же, невѣдомо откуда, явилось множество сорокъ... Онѣ дѣлаютъ подъ поломъ свое дѣло и, веселыя, вылетаютъ оттуда. Сколько между ними по всей вѣроятности разговоровъ, и разговоровъ интересныхъ, оживленныхъ, ежели судить по стрекотанью красивенькихъ птицъ, — стрекотанью, которому онѣ съ азартомъ предаются на крышѣ дома, вокругъ загорода, на сосѣднихъ голыхъ деревьяхъ... Не безпокойтесь! онѣ также дѣлаютъ свое дѣло, и своими желаніемъ и правомъ жить уничтожаютъ вашу бесплодную сантиментальность.

Отрывайте отъ семьи людей солдатчиной, дифтеритомъ... поболитъ раненое мѣсто и заживетъ. Жалко бываетъ смотрѣть иной разъ на деревенскую старуху, которая одна доживаетъ вѣкъ среди подрастающихъ внучатъ и правнучатъ. У нея нѣту мужа, нѣту двухъ сыновей — для нея все кончилось, какъ для дерева, которое срублено. Но корень у нихъ у обоихъ живъ и, зная свою смерть, они должны покорно созерцать процессъ собственного конечнаго истощенія, въ обиліи и въ безжалостности возникающей вокругъ нихъ и ихъ послѣдними соками питающейся жизни. Изъ-подъ умирающаго лия такъ и прыснули молодые побѣги, и, зеленѣя, своими молоденькими листьями такъ и рвутъ изъ него остатки силъ. Та-же участь и старухи: съ какой безжалостностью эксплуатируетъ ея привычку заботиться и любить — это новое, молодое, ребячье поколѣніе... Не уйти ей отъ этой жадной до вниманія бѣлоголовой толпы, и она растетъ, сокрушая и разрушая старуху, и чѣмъ гуще и веселѣе этотъ человѣчій «прутнякъ», тѣмъ меньше у старухи силъ. тѣмъ ближе и смерть... Пришелъ сынъ изъ полка — но ужъ ему нѣтъ мѣ-

ста... Матушки ужъ нѣтъ, она вся истратилась въ молодомъ поколѣніи, а онъ, какъ отрубленный сукъ, — не приростетъ къ старому мѣсту... А мы, съ Иваномъ Ермолаевичемъ, подумавши и обсудивъ участь этого сука, скажемъ:

— Такая ужъ ему, стало быть, участь... Вѣдь не приростетъ — стало быть, волей-неволей, а валился при дорогѣ, сгивая понемногу... Такой предѣлъ.

VIII. Мишка.

Расскажу еще одинъ небольшой эпизодъ изъ жизни Ивана Ермолаевича, который подъ вліяніемъ «новыхъ» для меня взглядовъ показался мнѣ весьма привлекательнымъ. Иванъ Ермолаевичъ задумалъ учить своего сына, одиннадцатилѣтняго мальчика. Необходимо сказать, что потребность учить и учиться была сознаваема Иваномъ Ермолаевичемъ въ смутной степени. Обыкновенно онъ рѣшительно не нуждался ни въ какихъ знаніяхъ, ни въ какомъ ученіи. Жизнь его и его семьи, не исключая и одиннадцатилѣтняго сына, была такъ наполнена и такъ хорошо снабжалась знаніями, которыя сама-же и давала, что нуждаться въ какомъ-нибудь постороннемъ указаніи, совѣтѣ, — словомъ, въ чемъ либо непочерпаемомъ тутъ же, на мѣстѣ и на своемъ дѣлѣ — даже не было и тѣни надобности. Но иногда, минутами, что-то невѣдомое, непонятное, что-то доносящееся изъ самаго далекаго далека пугало Ивана Ермолаевича. Ему начинало казаться, что гдѣ-то въ отдаленіи что-то зарождается недоброе, трудное, съ чѣмъ надо справляться умѣючи. Онъ чувствовалъ собственную опасность такъ же, какъ по отдаленному звуку колокола догадывался, что гдѣ-то пожаръ и кто-то горитъ; и тутъ онъ догадывался, что есть какая-то бѣда, хоть и не зная доподлинно, кто горитъ и гдѣ, и въ чемъ бѣда. И въ такіе-то минуты онъ говорилъ: — «Нѣтъ, надо Мишутку обучить грамотѣ. Надо!». Удивительно странныя обстоятельства приводили его къ этой мысли. Однажды во время косьбы зашли мы съ нимъ въ лугъ, арендуемые нѣмцами курляндцами. Попался намъ курляндецъ, сидѣть онъ на коняѣ обна и и что-то ѣсть. Поглядѣли, ѣсть рыбу. — «Какая это рыба?» спрашиваетъ Иванъ Ермолаевичъ. — «Салака!» — «Дай-ко отвѣдать». Нѣмецъ далъ. Иванъ Ермолаевичъ поглядѣлъ на рыбу, повертѣлъ ее въ рукахъ, помѣрилъ, откусилъ, пожевалъ и спросилъ: — «Почемъ?» Нѣмецъ сказалъ цѣну. Иванъ Ермолаевичъ доѣлъ рыбу, поблагодарилъ, и мы пошли дальше, и тутъ-то, ни съ того ни съ сего, Иванъ Ермолаевичъ вдругъ вздохнулъ глубоко-глубоко и сказалъ: «Нѣтъ, надо Мишутку учить! пропадешь, вѣрное слово, пропадешь! Ишь вонъ какую рыбу-то ѣсть!». Или тоже поѣдетъ онъ куда-нибудь изъ дому, на мельницу, на станцію, наглядятся тамъ разныхъ людей, наслушается въ трактирѣ за чаемъ разговоровъ разныхъ и, подавленный всею массою ихъ новизны, сдѣлается какъ-то суше, жестче въ обращеніи и

твердить: «Надо! вотъ уберемся, отдамъ учителю».

Но какъ только Иванъ Ермолаевичъ оставался дома, дѣлалъ свои домашнія дѣла, такъ все это въ немъ исчезало; онъ забывалъ, почему вдругъ ему вздумалось чему-то учить Мишутку. Словомъ, только какой-то непріятный гнетъ, который онъ ощущалъ въѣ дома, какія-то непріятныя, недобрыя вѣянія времени, которыхъ онъ никогда не могъ бы высказать мало-мальски въ опредѣленной формѣ, только это и приводило его къ мысли о необходимости учить сына. Иногда онъ заходилъ посоветоваться на этотъ счетъ и со мной. Но я ужъ до такой степени проникся взглядами Ивана Ермолаевича, что и самъ не могъ хорошенько опредѣлить, зачѣмъ собственно необходимо учить Мишутку? и главное, рѣшительно не могъ представить себѣ того, чему бы именно нужно было его учить. Поэтому въ разговорахъ объ ученіи мы съ Иваномъ Ермолаевичемъ только твердили одно:—«надо!». Онъ, чѣмъ-то угнетаемый, сидитъ, мрачно задумавшись, и твердитъ: «Нѣтъ, надо, надо!» И я ему отвѣчаю тѣмъ же: «Да, надо, Иванъ Ермолаевичъ!».—«Какъ же?» говоритъ онъ; очевидно пытаюсь подкрѣпить свои слова какими-нибудь основательными доводами, но обыкновенно ничѣмъ не подкрѣпляется, а такъ на словѣ и останавливался... Затѣмъ, помолчавъ довольно долго, вновь восклицалъ: «О-хъ, надо, надо. Нельзя безъ этого!». И я отвѣчалъ ему: «да ужъ безъ этого... какъ-же? Разумѣется, надо!»—«А я-то про что-жъ? Я про то и говорю, что—надо! Больше ничего!».—«Конечно, нужно! Чего же тутъ?»

Такимъ образомъ мы разговаривали съ Иваномъ Ермолаевичемъ иногда очень долго и расходились, чувствуя ужаснѣйшую тяжесть на душѣ. «Надо, надо!» а сущность и цѣль Ивану Ермолаевичу неизвѣстны, непонятны, а я ужъ лѣнюсь разяснять ихъ, да и забывалъ, чѣмъ именно это *надо* слѣдуетъ оправдать.

Съ величайшею неохотою и какъ бы тяжестью на душѣ Иванъ Ермолаевичъ приводитъ намѣреніе свое въ исполненіе. Ужъ давно убрались съ хлѣбкомъ, ужъ давно прошла осень и началъ устанавливаться зимній путь, а онъ все не везетъ Мишку къ учителю, раздумываетъ, къ кому отдать. Сначала думалъ было отдать учительницѣ, но на станціи ему разяснили, что учительница ничего не стоитъ.

— Ты самъ посуди, говорили ему, —ну, что она, баба, можетъ? Вѣдь ученіе дѣло серьезное, вѣдь, братецъ ты мой, возьмемъ хоть твоего Мишку, вѣдь его обломать—вѣдь тутъ надобенъ какой учитель-то? Поди-ко, сшиби съ него дурь-то! Ты думаешь, это легко? Нѣтъ, братъ, запотѣешь! Тутъ надо вотъ какъ; чтобы ни-ни, ни Боже мой!.. Ну, гдѣ же тутъ бабѣ? Нѣтъ! Советую тебѣ учителя разыскать, котораго побурезнѣе—вотъ это такъ! Да чтобы онъ твоего Михайлу съ перваго слова осадилъ, чтобы безъ послабленія, чтобы вогналъ его въ правило, установилъ въ точкѣ, остолбилъ его съ бацу—вотъ изъ него духъ-то этотъ, хрипъ-то мужичій и выйдетъ вонъ! вотъ (показываетъ

кулакъ), чтобы—аминь! ну, тогда онъ почувствуетъ.. А такъ-то изъ него въ два года мужицкаго духу не выбьешь... сдѣлай милость! Я по себѣ знаю! Бывало, отецъ меня съ глазъ не спускалъ, какъ я сталъ учиться: такъ и стоять съ палкой! какъ чуть отвернулся — я маршъ черезъ заборъ... И что-жъ? Дралъ! да зато я теперича его помню добромъ, да! А кажется, какъ дралъ-то! До самаго училища отъ дому неотступно, бывало, съ хворостиной провожаетъ. Чуть оглянусь—разъ!.. Чуть въ сторону — два! Бывало, боемъ, чисто однимъ боемъ, въ школу-то вбивалъ. А то—бабѣ! Захотѣлъ ты отъ бабы порядку!»

Такимъ образомъ рѣшено было отдать Мишку учителю. Иванъ Ермолаевичъ нарочно сѣздалъ въ одну изъ ближнихъ деревень, гдѣ была земская школа, уговорился съ учителемъ, и наконецъ насталъ день, когда надо было везти Михайлу въ школу. До этой минуты на всѣ разговоры объ ученіи Михайла обыкновенно не отвѣчалъ ни одного слова. — «Вотъ, скажетъ Иванъ Ермолаевичъ: — скоро въ школу повезу, смотри, учись!» Михайло молчитъ, не отвѣчаетъ ни слова. Мальчикъ онъ былъ бойкій, веселый, разговорчивый, но, какъ только дѣло или разговоръ касался школы, Михайло дѣлался какъ каменный: не огорчается, не радуется, а смотритъ какъ-то осторожно.. Въ день отъѣзда Иванъ Ермолаевичъ сказалъ наконецъ съ тяжелымъ вздохомъ:

— Ну, Михайло, сейчасъ поѣдемъ. Мать, одѣнь Мишку-то!

Мать одѣвала его и плакала. Иванъ Ермолаевичъ также чуть не рыдалъ, не понимая, изъ-за чего должно происходить все это мученіе. Но Михайло хотъ-бы словечко.

Спросить его: — «Радъ ты, что въ школу будешь учиться?» — Молчитъ. Спросить:

— «Чай, не люблю въ школу-то идти?»

Опять нѣтъ отвѣта.

Но въ самой день отъѣзда Мишка даль-таки свой отвѣтъ. Онъ скрылся въ ту самую минуту, когда все было готово, когда ужъ работникъ подвелъ запряженную лошадь, когда и Иванъ Ермолаевичъ одѣлся и Мишку одѣли. Все время Мишка былъ твердъ и молчаливъ, какъ желѣзный, самъ Иванъ Ермолаевичъ тяготился этимъ отъѣздомъ въ школу гораздо больше, чѣмъ Михайло. Иванъ Ермолаевичъ мучился этимъ отъѣздомъ, Мишка-же только молчалъ. И вотъ въ то время, когда Иванъ Ермолаевичъ нехотя и съ глубокимъ сокрушеніемъ сталъ влѣзать въ сани и со вздохомъ произнесъ: — «Ну, Михайло, полѣзай, братъ.» — оказалось, что Михайлы нѣтъ. Покликали, покричали—нѣтъ отвѣта. Принялись искать—опять нигдѣ нѣтъ; оглядѣли всѣ чердаки, всѣ углы въ домѣ и на дворѣ—нѣтъ Михайлы! Иванъ Ермолаевичъ сильно затревожился. — «Вѣдь спрашивалъ дьявола, сердился онъ:—хочешь въ ученіе или нѣтъ? вѣдь молчитъ, какъ камень, дубина экая, а вотъ убѣгъ! Ужъ попался ты мнѣ, я изъ тебя выбью отвѣтъ!» Но этотъ гнѣвъ немедленно-же смѣнялся въ родительскомъ сердцѣ состраданіемъ, и Иванъ Ермолаевичъ

видимо глубоко сожалѣлъ, что затѣялъ всю эту «музыку». — Жилъ-бы, молъ, такъ, вокругъ дому, къ работѣ привыкалъ, а то вотъ... Къ вечеру мысли Ивана Ермолаевича окончательно склонились въ пользу того, что всей этой музыки затѣвать было не зачѣмъ. Надвигались сумерки, а Мишки не было. Всѣми, не исключая работниковъ, овладѣло глубокое уныніе, которое смѣнилось искреннѣйшею радостью, когда одинъ общій знакомый мужикъ изъ сосѣдней деревни ужъ темнымъ вечеромъ привезъ Мишку домой. Всѣ обрадовались, забыли всякіе разговоры объ ученіи, всякія намѣренія «пробовать» и т. д. Спрашивали только, «не замерзъ-ли», «чай, голоденъ», а работники, такъ тѣ откровенно высказывали свое одобрение: — «Ловко ты, Мишанька... Право, ловко!...»

Мишка чувствовалъ себя побѣдителемъ и какъ-бы выросъ и окрѣпъ за эти нѣсколько часовъ бѣгства. Тотчасъ, какъ только его привезли, онъ передѣлся, переобулся и въ нѣсколько минутъ обѣдалъ весь дворъ, заглянулъ въ хлѣва, сарай, и т. д., точно желалъ удостовѣриться, все-ли на своихъ мѣстахъ, все-ли по старому, все-ли благополучно. Мишку ужъ и не спрашивали, хочеть онъ учиться или нѣтъ.

Съ недѣлю Иванъ Ермолаевичъ и не занимался о школѣ и ученіи, онъ приходилъ въ себя, у него были хлопоты съ сѣномъ, ему было не до того. Но опять пришлось ему побывать въ людяхъ, на станціи, въ городѣ — и опять онъ воротился съ тревожными мыслями. «Нѣтъ, безпремѣнно надобно учить. Ничего не подѣлаешь, не такое время»... И опять сталъ ожесточаться на Мишку. — «Ну, ужъ теперь я тебя туда завезу, говорилъ онъ о Мишкѣ: — ты у меня не убѣжишь... Я ужъ теперь знаю. Разговаривать не стану».

И точно, Иванъ Ермолаевичъ пересталъ говорить съ Михайломъ о своемъ намѣреніи, но вмѣстѣ со мной заключилъ заговоръ. Не говоря никому ни слова, мы выберемъ любой день, посадимъ Мишку въ сани и поѣдемъ въ другую деревню за двѣнадцать верстъ, близъ станціи желѣзной дороги. Тамъ мы его сразу и заточимъ въ школу и водворимъ въ квартирѣ. Тамъ есть у Ивана Ермолаевича знакомые, которые будутъ присматривать, приглядывать, а въ случаѣ чего и по затылку дадутъ — ничего, выдержитъ! скотина добрая...

Мишка ничего не подозрѣвалъ, когда Иванъ Ермолаевичъ приказалъ заложить лошадь, объявивъ, что ѣдетъ на мельницу. Онъ, какъ и всегда, помогалъ запрягать, причемъ любилъ дернуть лошади морду и въ бокъ, и кверху, и точно большой мужикъ заготовать на нее и т. д. Когда лошадь была подана, Иванъ Ермолаевичъ внезапно объявилъ Михайлѣ, находившемуся въ избѣ: — «Одѣвайся, со мной поѣдешь». Михайло поблѣлъ какъ полотно, почувствовалъ, что схваченъ врасплохъ, но ни слова не сказалъ, одѣлся; тутъ подоспѣлъ и я; посадилъ Михайлу въ средину между нами, мы тронулись въ путь. Михайло молчалъ, какъ каменный; но однажды взгля-

нулъ на меня. и въ этомъ взглядѣ я замѣтилъ ужасное негодованіе. Онъ не зналъ, куда ѣдемъ, но подозрѣвалъ. По хорошей зимней дорогѣ мы «духомъ» долетѣли до деревни, гдѣ была школа. и обдѣлали все дѣло не больше, какъ въ одинъ часъ. Какъ разъ противъ школы нашли квартиру у вдовы-старушки, внучки которой также учились въ школѣ, дали задатокъ, повели Мишку къ учителю, переговорили съ нимъ, также дали задатокъ, послѣ чего учитель сію-же минуту взялъ Мишку и увелъ въ школу, гдѣ ужъ сидѣло и жужжало человѣкъ сорокъ малыхъ ребятъ. Переходъ отъ деревенской, интересной, понятной жизни къ непонятной и скучной школѣ, отъ знакомыхъ людей, гдѣ Мишка начиналъ ужъ считать себя «большимъ», «парнемъ», въ среду незнакомыхъ, чужихъ ребятъ, былъ необыкновенно быстръ и рѣзокъ. Мишка, хотя и былъ крѣпковатъ на нервы, а когда учитель усадилъ его въ самую средину школьной толпы, малый «загорѣлся», вспыхнулъ, смутился и оторопѣлъ...

— Это самое надо! сказалъ Иванъ Ермолаевичъ, когда мы выбрались изъ школы. Онъ и самъ былъ испуганъ школой не меньше Мишки. — Такъ и нужно прямо подъ обувь! Скорѣй оботрется... Оглушить его этакъ-то — онъ и пообманетъ... Это слава Богу, что такъ — пррямо объ земь! Ничего, пушай! закончилъ Иванъ Ермолаевичъ, и мы поѣхали прочь отъ школы.

По дорогѣ заѣхали мы къ кузнецу, котораго звали Лепило и который вмѣстѣ съ тѣмъ былъ и коноваль. У него находилась на излеченіи лошадь Ивана Ермолаевича. Лепило сдѣлался коноваломъ какъ-то совершенно нечаянно, потому что ему это занятіе «подошло». Онъ былъ кузнецъ, ковалъ лошадей, и всякій разъ мужики спрашивали у него совѣтовъ, не знаетъ-ли, отчего лошадь хромаетъ, что такое вотъ тутъ, на ногѣ, у ней пухнетъ и т. д. Лѣтъ пять Лепило отвѣчалъ на эти вопросы: — «Не знаю!» «Почемъ я знаю?» и т. д. Но потомъ помаленьку да полегоньку сталъ онъ давать и отвѣты: «Пухнетъ? Это пухнетъ... опухъ такой бываетъ... отъ этого». Или: — «Хромаетъ? это она хромаетъ отъ болѣзни, болѣзнь такая есть». А потомъ сталъ и лечить. Помогла и надоумила его въ этомъ дѣлѣ жена. — «Чего ты? сказала она. — Кому-жъ лечить-то, коль не тебѣ? Безперечъ ты при лошадяхъ, да тебѣ не лечить? Кабы коновалы были — ну, такъ. А то только пользу свою опускнешь!» — «А и въ самомъ дѣлѣ!» подумалъ Лепило и сталъ по-маленьку приучаться къ дѣлу; какъ извѣстно, тряпка самая обыкновенная, коль скоро ею завяжутъ рану, или вообще больное мѣсто, ужъ сама по себѣ представляетъ какъ-бы лекарство или медикаментъ — и вотъ Лепило сталъ лечить при помощи тряпки и всякой дряни, какая только попадалась «около дому». Не ходить-же ему за десять верстъ въ аптеку, да и что-бы онъ могъ тамъ купить? Поэтому всякую нечисть двора, все онъ мазалъ на тряпку, иногда перемѣшивалъ одну нечисть съ другой и опять-же мазалъ на тряпку. Иной разъ жена вытащитъ на вьюшкѣ сажу или

зола, или вообще какой-нибудь совершенно никому ненужной дряни и скажетъ ему: «На!» Лепило знаетъ, что означаетъ это краткое изреченіе, и валитъ сажу или золу въ приготовленную дрянъ. Единственныя средства, употреблявшіяся имъ и дѣйствительно могущія назваться средствами, были крѣпкая водка, купоросъ, скипидаръ, а въ послѣднее время керосинъ. Каленое желѣзо «само собой» ужъ должно было считаться въ числѣ средствъ Лепилы, какъ кузнеца: ничего нѣтъ легче раскалить желѣзную полосу и ткнуть въ больное мѣсто. А между тѣмъ это—тоже лекарство, и никогда не даровое.

Заѣхали мы къ Лепилѣ, поглядѣли больную лошадь, къ ногѣ которой была привязана тряпка съ лекарствомъ вышеописаннаго приготовленія, зашли кромѣ того въ лавки кое-что купить, часа два пили въ трактирѣ чай, грѣлись, разговаривали и воротились домой шажкомъ ужъ часу въ первомъ ночи.

— Мишка прибѣжалъ! было первое слово, сказанное женой Ивана Ермолаевича, когда мы подѣхали къ крыльцу его избы.

И я, и Иванъ Ермолаевичъ были несказанно изумлены. Иванъ Ермолаевичъ вылѣзъ изъ саней и молча пошелъ въ избѣ; я также молча пошелъ домой: было уже поздно, и поэтому съ Иваномъ Ермолаевичемъ я увидѣлся только утромъ.

— Это его учитель прислалъ... Грифель вынь. . книгу какую-то надо.... бумагу...

Потолковали мы насчетъ расходовъ и порѣшили отвести Мишку и послать учителю деньги, чтобы купилъ грифель и все, что нужно. Отправили Мишку на слѣдующій же день съ работникомъ. Но утромъ черезъ день Мишка опять явился.

— Ты зачѣмъ?

— Хозяйка прогнала. Напилась пьяна, стала драться, погнала вонъ... Не пиши, не ѣмши...

Михайло рассказалъ возмутительную исторію о поступкахъ хозяйки.

Всѣ жалѣли его, особенно же жалѣли, что онъ и сапоги, и ноги истрепалъ. Но Мишутка въ моменты своихъ кратковременныхъ возвращеній не обращалъ повидимому никакого вниманія ни на сожалѣнія о его ногахъ, ни на самыя ноги. Едва прибѣжавъ изъ дальняго путешествія по снѣгу, онъ немедленно же пускался осматривать, все-ли цѣло, все-ли такъ, какъ было при немъ въ родномъ его мѣстѣ. Бѣгалъ въ коровникъ, въ свиной хлѣвъ, къ овцамъ, къ лошадямъ, въ сарай, въ баню къ уткамъ; все это онъ дѣлалъ лихорадочно, поспѣшно—прибѣжить, откроетъ дверь въ хлѣвъ, въ коровникъ, оглядитъ, пересчитаетъ, захлопнетъ дверь—летитъ въ сарай, и тамъ все пересмотритъ, перепробуетъ, рукой пощупаетъ; словомъ, не на радуется на свои родныя мѣста, въ которыхъ ему, очевидно, дорога каждая порошинка.

На слѣдующее утро побѣжалъ съ Мишкой самъ Иванъ Ермолаевичъ, такъ какъ надо было разобратъ дѣло. По его отъѣздѣ пришелъ работникъ и сказалъ мнѣ:

— А не будетъ Михайло учиться, нѣтъ, не будетъ!

— Почему же?

— Не къ тому приверженъ. У него есть приверженность къ хозяйству, лошадей любитъ, скотину; а это ученье не по немъ—не будетъ! Я ужъ знаю его характеръ. Теперича, ежели ему лошадей править, снопъ возить, такъ онъ трясется отъ радости. А это ученье—нѣтъ. Вѣдь онъ мнѣ самъ сказывалъ, что на хозяйку-то нацѣлъ, наставлялъ облыжныхъ словъ. А все изъ-за того, чтобы отецъ его отдалъ къ Лепилѣ на квартиру, потому что тамъ наша кобыла. Онъ самъ сказывалъ: «какъ, говорить, я увидѣлъ нашу рыжую, какъ она стоитъ съ больной ногой, вспомнилъ домъ, такъ и уперъ изъ училища». Нѣтъ, не будетъ, не такой парень.

Иванъ Ермолаевичъ воротился въ глубокомъ уныніи. Мишка все навралъ—и на хозяйку, и на учителя. Учителя и не думалъ его посылать, а хозяйка, въ виду такой безсовѣстности, отдала Ивану Ермолаевичу назадъ деньги и отказалась держать Мишутку. Волей-неволей пришлось помѣстить Мишутку къ Лепилѣ, но при этомъ Иванъ Ермолаевичъ «оттрепалъ» его за волосы.

Но этимъ мученія не окончились: дня черезъ два мужики, воротаясь со станціи, объявили, что Мишка тамъ трется вокругъ вагоновъ, помогаетъ подводить лошадей и заслуживаетъ тѣмъ всеобщія похвалы. Но что ужасно—жалуется мужикамъ на жестокое обращеніе отца: бьетъ, выгналъ изъ дому; проситъ пріютить и жалуется самымъ лютымъ врагамъ Ивана Ермолаевича, срамить его не на животь, а на смерть передъ людьми, ничего не стоящими. Иванъ Ермолаевичъ вышелъ изъ себя и немедленно же пустился ловить Мишутку и тутъ началась борьба. Только-что Иванъ Ермолаевичъ настигнетъ его, положимъ, у вагоновъ, Мишка—подъ вагонъ, а Иванъ Ермолаевичъ, въ ужасѣ, что его раздавитъ, не знаетъ, что дѣлать. Изъ-подъ вагона Мишка пускается въ бѣгъ. Иванъ Ермолаевичъ узнаетъ это отъ какого-нибудь встрѣчнаго мужика и ѣдетъ разыскивать, но и разыскать не знаетъ возможности, потому что Мишка такъ умѣлъ наказать про отца, что его пряталъ, скрывалъ—«нѣту у насъ!». Дня три подъ рядъ Иванъ Ермолаевичъ возвращался домой безъ всякаго успѣха, но съ увеличившимся ожесточеніемъ. «Погоди, мошенникъ, я тебя тоже поймать! Придешь, приидешь, мошенникъ, ужъ я тебя тогда употчую». Мишка должно-быть и самъ чуялъ бѣду, но не сдавался, а только еще неутомимѣе выказывалъ свое сопротивление. Откуда у него брались силы, чтобы безъ устали цѣлые дни давать концы по десяти-двѣнадцати верстѣ—уму было непостижимо. Наконецъ-таки словили и привезли... Къ этому времени на Мишку всѣ были до того ожесточены, онъ такъ много насрамилъ, нагналъ на отца нѣтъ, такую пустилъ про нихъ худую славу, что позволеніе Мишки вызвало ужъ не радость, а единодушное восклицаніе отца и матери: «Драть!». Розги были припасены, и едва Мишка появился въ избѣ, какъ Иванъ Ермолаевичъ крикнулъ работнику: «Держи-кось его, Федоръ!». Но Федоръ наотрѣзъ отказался и ушелъ вонъ; не драть, а хвалить

мальчишку надо-бы было, по его мнѣнію, за такіе молодецкіе подвиги и за такое образцовое сопротивленіе какому-то учителю. Работница тоже оказалась и убѣждала, и по тѣмъ же причинамъ. Тогда взылась держать мать. Мишка ужасно оралъ, молилъ и вопіялъ, но дранье было безпощадное...

Это-то дранье и было его окончательной побѣдой; сорвавъ зло, Иванъ Ермолаевичъ немедленно утихъ и крайне удивился, что все это мученіе произошло изъ-за какого-то ученія. Онъ рѣшительно ужъ не могъ понять, зачѣмъ оно нужно Мишкѣ, несомнѣнный достоинства котораго, выказанныя во время всей этой исторіи, выступили теперь со всей яркостью; нежеланіе учиться исчезало совершенно передъ этимъ упорнымъ желаніемъ жить въ крестьянскихъ условіяхъ, передъ этой любовью «къ крестьянству», выражавшейся въ любви къ скотинѣ, къ нашей рыжей кобылѣ, въ этомъ неудержимомъ стремленіи «домой», гдѣ дорога каждая курица, утка. Съ каждой минутой Иванъ Ермолаевичъ убѣждался, что въ Мишкѣ растетъ надежный представитель его семьи, работякъ, привязанный къ «крестьянству» неразрывными узами, и недавнее негодованіе замѣнилось весьма скоро восхищеніемъ.

На другой день Иванъ Ермолаевичъ, придя поговорить со мною и рассказавъ о Мишкѣ, о томъ, какъ ему досталось за все, постепенно перешелъ къ похваламъ его упорству, крѣпости, неподадли-вости, силѣ физической, удивительной въ эти годы. Иванъ Ермолаевичъ съ восхищеніемъ говорилъ: «Вѣдь почестъ, что полтора-ста верстъ отмахалъ взадъ и впередъ въ эти дни-то...» Словомъ, съ хозяйственной, земледѣльской, крестьянской точки зрѣнія Ивана Ермолаевича, Мишка выходилъ отличнѣйшимъ парнишкой, изъ котораго выйдетъ отличнѣйшій мужикъ... Мишку хвалили и одобряли всѣ, работники къ особенностямъ, и главнымъ образомъ за то, что, кромѣ всѣхъ вышеизложенныхъ крестьянскихъ достоинствъ, Мишка умѣлъ «насолить». Такимъ образомъ въ этомъ множествѣ похвалъ, расточаемыхъ всѣмъ донатымъ качествамъ крестьянина-работника, обнаруженныи Мишкой, безъ слѣда исчезало и его умѣнье лгать, лишь-бы добиться своего, и его беззабѣчивость срамить незнакомыхъ людей, даже отца родного, для того-же опять, чтобъ добиться своего. За это Мишка былъ выдранъ—и все это позабыто. Съ этихъ поръ и до настоящаго времени Иванъ Ермолаевичъ не упоминаетъ объ ученіи, а Мишка опять тотъ-же, какъ былъ; все у него зажило и, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ попрежнему цѣлые дни толчется около коровъ, овецъ, косябы, сѣна, жнива...

IX. Узы неправды.

Такимъ образомъ, благодаря Ивану Ермолаевичу, вліянію его взглядовъ и всей его жизненной обстановки, я незамѣтно перенесъ мои интересы изъ удушливой области интересовъ русскаго

образованнаго, немужичкаго человѣчества—изъ области, гдѣ размышленія и безпокойства чело-вѣка не сопровождаются соотвѣстственными поступками или гдѣ поступки не сопровождаются соотвѣстствующими имъ размышленіями; гдѣ наконецъ зачастую приходится поступать вопреки «соотвѣствующимъ» размышленіямъ, я, проникнутый до нѣкоторой только степени земледѣльческими идеалами Ивана Ермолаевича, вступилъ въ благословенную сѣнь, гдѣ, напротивъ, всѣ взаимныя отношенія, весь обиходъ жизни держатся исключительно на поступкахъ, непремѣнно сопровождающихся только тѣми размышленіями, которыя поступкамъ соотвѣтствуютъ вполне, гдѣ даже и признака нѣтъ такого рода размышленій или безпокойствъ, которыя бы не имѣли въ результатѣ поступка или которыя бы исходною точкою не имѣли какого-либо совершенно ясно видимаго, ощущаемаго поступка... Не знаю, въ гору или подъ гору шелъ я, переходя изъ одной области въ другую, но знаю положительно, что переходъ былъ благодѣтеленъ; огромная область тлетворныхъ безпокойствъ замѣнилась малымъ райономъ вполне опредѣлимыхъ и удовлетворимыхъ нуждъ, и все во мнѣ и вокругъ меня стало яснѣе, чище, здоровѣй, покойнѣй.

Но все это благополучіе (а это состояніе было вѣрнѣе всего благополучнѣйшимъ состояніемъ) было, увы! мгновенно разрушено, разрушено въ одинъ краткій мигъ.

Въ одну изъ тѣхъ пріятнѣйшихъ минутъ, когда я, удивляясь своему «оздоровленію», недоумѣвалъ, какъ это можно существовать, думать, тревожиться, словомъ—жить, не поступать или поступать не думая, или поступая «вопреки»,—Иванъ Ермолаевичъ привезъ со станціи цѣлый ворохъ газетъ. Я положительно сталъ уже отыкаться отъ интереса къ этимъ большимъ листовымъ бумагамъ, начиная уже совершенно соглашаться съ тѣмъ директоромъ одного банка, который не принималъ въ обезпеченія ссудъ никакихъ, даже самыхъ капитальныхъ изданій, говоря: «Если бы вы представили просто бумагу—мы бы приняли, бумага—товаръ. Но книга... газета... это уже *испорченная бумага*...» Благодаря Ивану Ермолаевичу, я былъ уже такъ далекъ отъ всего, что въ этихъ бумагахъ пишется, какъ-бы находился за тридцать земель въ тридцатомъ царствѣ... Все это гдѣ-то тамъ, далеко... далеко... и главное, со-всѣмъ-таки не касѣется насъ съ Иваномъ Ермолаевичемъ. Но старая привычка къ большой бумагѣ заставила меня пошумѣть этими огромными листами, пошумѣть такъ, отъ нечего дѣлать. И вотъ тутъ-то на мое глубокое несчастіе два-три факта изъ текущей дѣйствительности почти мгновенно унесли меня отъ этой деревни, отъ этихъ хлѣбовъ, посѣвовъ, жнитва, косябы, полусубковъ, сохъ, боронъ, армяковъ и т. д., и т. д. въ міръ фраковъ и сюртуковъ, въ міръ жгутовъ вмѣсто эполетъ и эполетъ съ жгутами, въ міръ красныхъ и пиныхъ околышей, облегающихъ головы всевозможныхъ партій, направленій, мнѣній, по-

ступковъ, не сопровождающихся соответственными мѣняніями, мѣняій, не сопровождающихся поступками. Словомъ, я очутился въ образованномъ обществѣ.

Тщету старался возвратить утраченное спокойствіе—убійственные газетные листки разверзали уже начавшую было заживать душевную язву, и я уже не могъ оторвать своей мысли отъ картины, представлявшей «положеніе» такъ называемаго образованнаго человѣка и общества, въ которомъ онъ вращается,—общества, въ которомъ, говоря словами апостола Павла, «сердца исполнены горькой желчи и въ узахъ неправды».

Удивительнѣе всего то, что объ этомъ пребывающемъ въ узахъ неправды немужичкомъ обществѣ заставлялъ думать меня исключительно мужичкій процессъ, напечатанный въ судебной хроникѣ одной изъ газетъ, привезенной Иваномъ Ермолаевичемъ. Процессъ этотъ всѣмъ извѣстенъ, и пересказывать я его во всей подробности не буду. Характернѣйшій признакъ процесса—сопротивленіе крестьянъ властямъ: пріѣхавшій судебный приставъ описывать имущество крестьянъ за неплатежъ долговъ помѣщику, и крестьяне оказали ему сопротивление. Приставъ началъ палить изъ пистолета, одного убилъ, троихъ ранилъ и убѣжалъ. Крестьянъ судили, обвинили, наказали и все по порядку. Но роли мужиковъ и не-мужиковъ во всей этой исторіи въ высшей степени оригинальны, по крайней своей противоположности. Втеченіе *двадцати* лѣтъ мужики преслѣдуютъ одну совершенно реальную, опредѣленную цѣль, выражая ее въ требованіи увеличенія земельного надѣла. Двадцать лѣтъ *безъ передыху* они твердятъ одно: «земли мало!». Втеченіе шестнадцати лѣтъ изъ двадцати они ходятъ съ этими простыми словами по всѣмъ инстанціямъ, заполненнымъ не-мужичьимъ народонаселеніемъ; ходятъ въ управу по крестьянскимъ дѣламъ, и въ управу земскую, ходятъ къ предводителю, къ предсѣдателью, къ исправнику; ходятъ въ присутствіе, въ канцелярію, въ комиссію; черезъ шестнадцать лѣтъ наконецъ имъ привозятъ планъ на «всю землю», которая, по ихъ мнѣнію, имъ нужна и которою они всегда пользовались. На планѣ дѣйствительно изображена та самая земля, какая имъ нужна. За планъ этотъ они платятъ деньги, и не кому-нибудь, а самому становому приставу, который вручилъ планъ именно *имъ*, а не помѣщику, по мнѣнію крестьянъ, съ 1861 года оттагавшему часть принадлежащей имъ земли. Получивъ планъ, крестьяне входятъ во владѣніе, какъ видно въ полномъ сознаніи права и въ полной увѣренности въ этомъ правѣ: у нихъ «плантъ», за который отданы деньги, и они желаютъ пользоваться только той землей, которая «на *плану*»—чужого имъ не надо. Но тутъ-то, когда повидимому кончились всѣ мученія, всѣ хоженія и траты на просьбы и канцеляріи, крестьянъ начинаютъ убѣждать, даже «внушать», что планъ этотъ *ничего не значитъ*, что планъ этотъ долженъ-бы быть врученъ имъ въ 1847 году, тридцать пять лѣтъ тому назадъ, хотя того плана,

настоящаго плана, который слѣдовало имъ имѣть послѣ 1861 года, имъ не дали: даже уставной грамоты не выдали. Имъ въ основанія не вѣрять этимъ «увѣщаніямъ» и внушеніямъ, ибо опять-таки у нихъ въ рукахъ планъ, за который заплачено и который врученъ становымъ, крестьяне не могутъ понимать ни исконъ къ нимъ помѣщика, не могутъ думать даже, что они должны; рѣшительно не понимаютъ оснований, по которымъ является приставъ въ сопровожденіи почти шестидесяти человѣкъ вооруженнаго народа и начинаетъ хватать поросятъ, а потомъ палить изъ пистолета. Даже находясь на скамьѣ подсудимыхъ, они продолжаютъ твердить: «мало земли», и продолжаютъ не понимать всей этой путаницы. Не поймутъ они ее и въ арестантскихъ ротахъ и даже на каторгѣ въ Сибири. Несомнѣнно, что они—люди темные, что они не могутъ разобрать, какой привезли имъ «плантъ», что значить вотъ эта линия, отгѣненная синей краской, что значить эти А, В, С, и т. д. Но цѣль ихъ ясна—«земли мало!». Съ этой мыслью они шли-лись по судамъ, съ этой мыслью были на скамьѣ подсудимыхъ, съ этой мыслью будутъ сидѣть въ арестантскихъ ротахъ. Такъ же ли просто и ясно выражали свои требованія, или давали отвѣтъ на такое простое, ясное явленіе, какъ: «мало земли», и тѣ многочисленнѣйшія учрежденія, наполненные не мужиками, къ которымъ крестьяне обращались? Сказали они просто и рѣшительно: «Нѣтъ тебѣ земли! Не будетъ!..» И вообще преслѣдовали-ли они какую-нибудь опредѣленно поставленную, по отношенію къ крестьянамъ, свою, не крестьянскую цѣль? Но вотъ именно этой-то ясности, простоты и твердости въ поступкахъ немужичкаго общества и нѣтъ въ отношеніяхъ къ обществу мужичьему. Сію минуту, сидя въ арестантскихъ ротахъ, мужики знаютъ, что «земли, стало быть, не дадутъ!». Но въдѣ *не дать* ей господа образованные люди могли еще въ 1861 году, т. е. двадцать лѣтъ тому назадъ, и это принесло-бы, какъ увидимъ ниже, несомнѣнную пользу какъ мужикамъ, такъ и помѣщику. Но вотъ на эту-то рѣшительность, опредѣленность въ поступкахъ образованная половина процесса и оказалась неспособною. Въ подлинномъ процессѣ сказано, что съ 1861 года по 1877 годъ, то есть втеченіе шестнадцати лѣтъ, крестьяне на свои просьбы не получили никакого отвѣта, не получили даже плана и уставной грамоты. Но на дѣлѣ они непремѣнно получали отвѣты, и притомъ навѣрно всякій разъ при посѣщеніи инстанцій, наполненныхъ образованными людьми. Имъ отвѣчали примѣрно такъ: «Еще не разсмотрѣна просьба... приходите черезъ два мѣсяца...» или:—«Предсѣдатель не пріѣзжалъ... уѣхалъ въ Петербургъ»... или:—«Разсматривается... завтрашній день доложено»... Такъ говорили мелкіе сорта образованныхъ людей. Но несомнѣнно, что и крупные сорта также удостоивали ихъ разговоромъ... Не разъ «застыгали» они предсѣдателя врасплохъ, гдѣ-нибудь на под'ѣздѣ, даже на улицѣ; не разъ застыгали они и предводителя гдѣ-нибудь въ швейцарской, или въ магазинѣ, или на под'ѣздѣ церкви. всегда

эти господа удостоивали ихъ отвѣтомъ: «Знаю... Знаю.. Вамъ сказано, что придется бумага. Все будетъ въ свое время... Еще не разсмотрѣно—кажется, говорить вамъ русскимъ языкомъ!» Или: «Будетъ, будетъ разсмотрѣно... Не вы одни... И кромѣ васъ цѣлыя сотни такихъ же дѣлъ... Нельзя вдругъ... Васъ увѣдомить» и т. д... Иногда, такъ лѣтъ черезъ пять, ихъ ошарашивали вопросомъ: «А почему не представлена уставная грамота?»—«Да мы не получали, батюшка!»—«Какъ же такъ не получали? Не можетъ быть!—Иванъ Ивановичъ! Вотъ не получали уставной грамоты»...—«Успѣть нельзя-съ!...»—«Ну, а безъ уставной грамоты ничего нельзя.. Что-жъ я буду дѣлать, не зная, въ чемъ дѣло? Ты вотъ старый человѣкъ, ходокъ, ну, разсуди ты самъ, ну, что возможно сдѣлать безъ уставной грамоты? Погодите! Получите грамоту, тогда и можно входить съ прошеніемъ, ходатайствовать... Что же я могу сдѣлать теперь? Который разъ вы совершенно понапрасну являетесь, отрываете меня отъ дѣла...»—«То-то бы грамоту-то надо было!»—«И надо погодить! Нельзя все въ вдругъ, вы не одни въ уѣздѣ... Въдѣ тутъ не тысячи человѣкъ работаютъ... все въ вдругъ угодить нельзя. Надо ждать... А тогда и приходитъ!» Такимъ образомъ отвѣты были и, какъ видите, отвѣты, даже разъясняющіе крестьянамъ ихъ темноту; но, съ другой стороны, можно также вполне справедливо заключить, что ровно никакихъ отвѣтовъ и не было, ибо до сей минуты, несмотря на разъясненіе необходимости имѣть уставную грамоту, этой самой грамоты крестьяне все-таки не получили...

Становой приставъ, вручившій или, вѣрнѣе, «взучившій» крестьянамъ «плантъ», поступалъ еще рельефнѣе въ смыслѣ отсутствія определенности въ поступкахъ. Онъ привезъ плантъ собственно для врученія г-ну помѣщику. Являсь въ его домъ, онъ сказалъ: «Вотъ плантъ... по размежеванію... позвольте получить пятьдесятъ рублей за составленіе!»—«Какой плантъ?» спросилъ помѣщикъ.—«Плантъ по размежеванію 1847 г.»—«Да на какой онъ мнѣ чортъ, этотъ плантъ? Теперь 1887 г., съ тѣхъ поръ прошло тридцать лѣтъ, совершилось освобожденіе крестьянъ, тутъ въ плантъ должно быть означено что—ихъ и что мое... Мнѣ надо плантъ 1861 г., а 1847 г. мнѣ не нуженъ. Куда мнѣ его?..»—«Но какъ-же-съ, пятьдесятъ-то рублей?»—«А мнѣ какое дѣло? Привозили-бы его въ 1847 г.; тогда бы вамъ и уплатилъ старый владѣлецъ!...»—«Такъ не благоудно?»—«Нѣтъ, не благоудно!... Почесалъ становой за ухомъ, подумалъ и пошелъ къ мужикамъ:—«Не возьмутъ ли хоть они. Въдѣ они все добиваются какого-то плана... Такъ-ли, сякъ-ли, а пятьдесятъ цѣлковыхъ—привези!» И вотъ онъ сталъ убѣждать мужиковъ принять плантъ.—«Вотъ, сказалъ онъ, плантъ на всю землю». Слово *всю* онъ вставилъ собственно потому, что зналъ симпатію крестьянъ къ этому слову.—«На всю нашу землю?»—спросили крестьяне:—тутъ становой подумалъ и придумалъ такой отвѣтъ.—«Да! сказалъ онъ совершенно твердо и прибавилъ:—на всю, которая на-

ходила въ вашемъ пользованіи при прежнемъ владѣльцѣ».—«Старинной стало-быть наръзки!»—«Да! тоже твердо отвѣтствовалъ:—плантъ старинной наръзки!»—«Какъ въ прежнее время было?»—«Какъ въ прежнее... Это плантъ старый; именно какъ въ прежнее время!» Такимъ образомъ становой тоже давалъ отвѣты, не молчалъ, и притомъ давалъ отвѣты правдивые! Что онъ сказалъ?—«Этотъ плантъ старой наръзки». Развѣ онъ солгалъ, что ли? Онъ сказалъ крестьянамъ сухую правду... Надо ему пятьдесятъ-то рублей получить... Развѣ онъ виноватъ, что они не такъ его поняли? и т. д. Но, кромѣ этихъ официальныхъ образованныхъ людей, даже помѣщикъ, съ которыми тягались крестьяне, и тотъ не высказалъ въ этомъ дѣлѣ спасительной твердости. Въдѣ и онъ могъ привести «къ одному знаменателю» своихъ противниковъ еще въ 1861 г., и притомъ по закону, а главное двадцать лѣтъ зналъ бы, что дѣлать, т. е. находился бы въ положеніи совершенно определенномъ. Стоило только твердо и рѣшительно опредѣлить и установить свои права, а онъ-то, лицо, прямо заинтересованное въ ясности постановки дѣла, дѣйствуетъ почти такъ-же, какъ становой и вышеупомянутыя инстанціи образованныхъ людей. Онъ совершенно незасчетливо позволяетъ крестьянамъ путаться въ неосуществимыхъ надеждахъ—двадцать лѣтъ; молчитъ, какъ будто ничего не понимаетъ—когда становой «всучить» мужикамъ ненужный плантъ, думая вѣроятно: «пускай, пускай, попутаются съ нимъ... придутъ!» И въ концѣ концовъ, изъ всей этой нерѣшительности, т. е. отсутствія рѣшимости и смѣлости предъявить свои права и цѣли въ полной ясности и простотѣ, вышло нѣчто непереваримое по срамотѣ внутренняго содержанія. Поступая въ этой тяжбѣ помѣщика съ крестьянами рѣшительно и прямо, все дѣйствующія въ этомъ дѣлѣ лица, и мужики и не-мужики, никогда не пришли бы къ тому жестокому, бессмысленному и разорительному для обѣихъ сторонъ результату, къ которому пришли теперь. Держали ли «образованные люди» руку помѣщика? Какъ будто бы и держали: они вотъ не препятствовали крестьянамъ путаться и не давали имъ прямыхъ отвѣтовъ; смотрѣли на это сквозь пальцы. Но, съ другой стороны, они и разорили помѣщика; они на двадцать лѣтъ остановили правильность его хозяйства, и теперь, хотя арестантскія роты и доказали мужикамъ, что *стало быть не будетъ* и что слѣдовательно имъ приходится поклониться насчетъ земельнаго помѣщику, приходится пойти къ нему въ батраки, но помѣщикъ ничуть отъ этого не выигралъ: онъ окруженъ населеніемъ недоброжелательнымъ, населеніемъ, которое ему приписываетъ теперешнее свое разореніе, населеніемъ, думающимъ, что онъ двадцать лѣтъ мучилъ ихъ, заставляя тратиться и разоряться... Будутъ у него работники, и работники дѣловые, но не дай Богъ жить съ такими работниками...

Съ другой стороны, выказали-ли ясно и твердо тѣ же самые образованные люди свое намѣреніе

привести мужика къ одному знаменателю, указать ему «точку» и на этой точкѣ утвердить на вѣки-вѣковъ, чтобы навѣки-вѣковъ мужикъ зналъ и эту точку, и «свою линію»? Нѣтъ, не рѣшились и на это. Правда, нельзя сказать, чтобы они помѣшали мужику запутаться, остаться въ дуракахъ, но они нерѣшительностью поддерживали въ немъ фантазмъ. Они говорили: «погодите... все сдѣлается, получите бумагу... планъ, планъ—планъ... безъ плана ничего нельзя... планъ на всю землю... прежняя наръзка... какъ прежде...» Такимъ образомъ дѣйствуя, они не только не искоренили вредныхъ иллюзій, но положительно, можно сказать, развивали и поддерживали ихъ. Такимъ образомъ въ концѣ-концовъ получилось не просто разореніе одной стороны и устроеніе другой—какъ это было бы при рѣшительности и рѣшимости въ образѣ дѣйствій — а разореніе обѣихъ сторонъ, и кромѣ того ожесточеніе: мужики ожесточены на помѣщика, помѣщикъ—на мужиковъ, и оба виѣсть потеряли и вѣру, и уваженіе въ образованныхъ, «не-мужиковъ», которые поставили ихъ обонхъ въ такое нелѣпное положеніе. Намъ даже кажется, что твердое и ясное опредѣленіе мужицкой «точки» и мужицкой линіи въ этомъ дѣлѣ не разорило бы мужиковъ: они-бы, зная въ первые-же дни послѣ 1861 г., что *не будетъ* земли, давно-бы, хотъ и скрѣпя сердце, покорились своей участи и ужъ давно приспособились-бы къ тѣмъ условіямъ, въ которыхъ ихъ поставило-бы рѣшительное «не будетъ!». Они-бы стали тратить деньги не на безплодныя тяжбы, а на хозяйство, на аренду земельки въ людяхъ, а нныя разошлись-бы по заработкамъ, по чужимъ мѣстамъ и людямъ. Теперь же они отуманены, оскорблены, истощены въ конецъ, теперь они измучены и ожесточены.

А сами образованные люди, не обрѣтшіе опредѣленныхъ цѣлей для своихъ поступковъ, развѣ они лучше чувствуютъ себя, чѣмъ ожесточенный владѣлецъ или ожесточенный мужикъ? Спросите-ка ихъ о состояніи духа, и они скажутъ вамъ: «адъ!», т. е. въ душѣ-то у нихъ—адъ кромѣшный. Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ въ глубинѣ души каждый изъ нихъ можетъ считать себя чѣмъ-либо инымъ, какъ не вполне потеряннымъ человѣкомъ? Развѣ становой приставъ, всучившій планъ, не сознаетъ себя обманщикомъ, изъ-за котораго разорены въ конецъ три деревни неповинныхъ людей? А прокуроръ, который рѣшился всѣхъ этихъ явно виновныхъ людей обвинять, который рѣшился обвинять даже жену неповинно убитаго мужика, развѣ можетъ онъ убѣдить самого себя, что, дѣлая это, онъ дѣлалъ справедливое дѣло? Ничуть и никогда. Всѣ они носятъ внутри себя горькую желчь и всѣ чувствуютъ себя въ узакъ неправды. Мало этого, сознание своей нравственной неправды, нравственной муки всѣ эти люди не-мужицкаго званія выказываютъ постояннымъ желаніемъ оправданія и всегда даже рады тому человѣку, который вызоветъ ихъ «на откровенный разговоръ», начнетъ выводить «на чистоту», конечно безъ свидѣтелей. Въ такія минуты оказывается, что

всѣ они вполне понимаютъ свою вину, а главное оказывается, что они дѣйствовали *такъ*, даже какъ-бы на пользу тѣхъ, кому вредили... Почему напримѣръ вы думаете, они шестнадцать лѣтъ не давали мужикамъ никакого опредѣленнаго отвѣта? Да просто потому, что они жалѣли мужиковъ, хотѣли «оттянуть» роковую минуту, потому что владѣлецъ, съ которымъ мужики таялись... Боже мой, какъ росписали они владѣльца! Предсѣдатель, такъ тотъ, по собственнымъ его словамъ, «имени» этого человѣка не можетъ слышать равнодушно, и утроба его готова лопнуть отъ негодованія всякій разъ, какъ онъ услышитъ это имя. Мало того, что всѣ они, не исключая становаго пристава, который убилъ человѣка и который на судѣ заявилъ, что ему *жалъ* хватать поросенка, подлежащаго описи, мало того, что всѣ они *сознаютъ* свою вину — въ искреннѣйшія минуты, когда сознание собственной душевной срамоты почему-либо выступить особенно сильно — всѣ они публично даже готовы проклясть себя, осрамить себя, а народъ, этого самаго мужика, ими запутаннаго, возвеличить, пасть предъ нимъ...

Но и въ такія, казалось бы, искреннѣйшія минуты въ жизни онъ прокинься себя точъ-въ-точъ такъ, какъ я проклиналъ себя въ предыдущей главѣ подъ названіемъ «Не суйся!». Тамъ я проклиналъ себя (конечно только для образчика) повидимому безпоощадно. Не смѣшалъ-ли я тамъ себя съ грязью? Смѣшалъ и уничижилъ; но это только повидимому; если же вы разберете подробно, то увидите, что параллели, которые я бралъ между мной и Иваномъ Ермолаевичемъ, самыя зlostныя и неправильныя. Я тамъ говорилъ: что я такое? Я вотъ читаю газету, а Иванъ Ермолаевичъ дѣлаетъ что-то, совѣмъ на газету не похожее; я беспокоюсь Богъ знаетъ о чемъ, о пустомъ, а Иванъ Ермолаевичъ беспокоится не о пустомъ... и т. д. Продолжая эти зlostныя параллели, можно унижать себя прамѣрно такъ: я, дармоѣдъ, ному сапоги, а онъ труженикъ — лапти; я, безсовѣстный человѣкъ, ѣмъ ростбифъ, а онъ, чистосердечный человѣкъ, ѣстъ снѣтки съ пескомъ и т. д. Въ такомъ родѣ можно проклинать себя сотни лѣтъ, и все-таки никакого вреда отъ этого мнѣ не будетъ, равно какъ и пользы не будетъ Ивану Ермолаевичу. Чтѣ-бы мнѣ стоило, если ужъ я такъ раскаялся чистосердечно, проклясть себя *въ самомъ дѣлѣ*, сказавъ, напримѣръ: «я—безсовѣстный человѣкъ потому, что знаю очень много секретовъ, которые бы улучшили жизнь Ивана Ермолаевича, но, молъ, безсовѣстность запрещаетъ мнѣ ихъ открыть ему; онъ тогда плюнетъ на меня и уйдетъ, а мнѣ надо, чтобы онъ секретовъ-то не зналъ и работалъ на меня». Этого-то вотъ, настоящаго-то, я ни за что не скажу, а проклинать себя такимъ вотъ манеромъ, какъ показано въ образчикѣ, могу сколько угодно, хотъ каждый день передъ ростбифомъ. Иванъ Ермолаевичъ изъ этихъ проклятій, будьте увѣрены, не сошьетъ шубы, нѣтъ, не сошьетъ!... Такимъ образомъ въ то время, когда Иванъ Ермолаевичъ говоритъ мнѣ: «земельки», я, какъ-бы не слыша этого,

валяю самъ себя нехорошими словами, пущу себя ужаснѣйшимъ образомъ, но опредѣленный отвѣтъ Иванъ Ермолаевичъ узнаеть не отъ меня, а не иначе, какъ въ арестантскихъ ротахъ, которыя и отвѣтять ему совершенно категорически: «не будетъ!». Такъ я проклинаю себя. А какъ я хвалю мужика? О, тутъ я (со мной и всѣ вышеупомянутые не-мужики) дохожу почти до восторженнаго состоянія; я преподношу Ивану Ермолаевичу такіе дары, что у него не хватитъ духу и пикнуть мнѣ насчетъ земельки... Во первыхъ, я валяю къ его ногамъ всю цивилизацію всѣхъ вѣковъ и народовъ и изображаю ее такъ, что иначе, какъ «паршивую» наименовать ее невозможно; въ прошлой главѣ для образчика я привелъ нѣкоторые приемы, употребляемые при проклятіяхъ цивилизаціи. Душа поощаго хваленія мужику, будучи поражена антихристовою печатью, не можетъ и въ этомъ случаѣ поступать вполне совѣстно и просто. Въ приведенномъ образчикѣ подъ цивилизаціей поименованы кабаки, извозчики, пьянство, склонности къ разрушенію семейныхъ порядковъ, показано, что «отъ цивилизаціи» Алексѣй бьетъ жену, и т. д. Словомъ, взято множество свинствъ и всѣ они наименованы цивилизаціей, которая потому сама собой уже называется свинствомъ. Въ проклятіяхъ цивилизаціи, умышленно представляемой въ видѣ свинства, я съ успѣхомъ могу выдвигать на сцену и скрежещать зубами и при словахъ «пиджакъ», «кадриль», «петровская папироска»... все у меня сойдетъ съ рукъ, какъ у деревенскаго кулака сходитъ съ рукъ тухлая рыба, гнилая мука, линючіи ситецъ. Въ этомъ родѣ я могу гремѣть годы, и въ то же время, во имя антихристовой печати, опять-таки останусь, какъ рыба, нѣмъ насчетъ *секрета*. Вѣдь, говоря по совѣсти, я знаю-же, что цивилизація выдумала массу добра для человѣчества; вѣдь по сущей совѣсти я знаю, что моя-то личная жизнь значительно облегчена, услаждена, благодаря этой настоящей цивилизаціи; но мнѣ жаль открыть Ивану Ермолаевичу секретъ, потому что, когда онъ «раскуситъ», такъ онъ меня непременно приберетъ за то, что я ему все вралъ. И вотъ въ этомъ-то пунктѣ, въ открытіи-то настоящаго секрета, я нѣмъ, какъ рыба... — «Земельки-бы»... слышится тотъ же гласъ, но кромѣ поправанія цивилизаціи, въ лицѣ пиджаковъ и папиросокъ, у меня есть еще приемъ, которымъ я, не давая отвѣта на прямой вопросъ, могу однако-жъ съ успѣхомъ заткнуть ротъ вопрошающему и въ то же время облегчить сердце, наболѣвшее неправдой и полное горькой желчи. Приемъ этотъ заключается въ слѣдующемъ: тотъ самый мужикъ, котораго привели къ разоренію теми же приемами, основанные на нерѣшимости открыть секретъ, котораго я, благодаря антихристовой печати, развѣдающей мою совѣсть, шестнадцать лѣтъ обманывалъ, которому я «всучилъ» планъ, въ котораго палилъ изъ пистолета, котораго упекъ въ острогъ, котораго пустилъ по міру, — этотъ-то самый продуктъ моей безсовѣстности и безсердечія, этотъ-то самый стыдъ мой, олицетворенный стыдъ, дѣлается предметомъ гимна. Этого нищаго я начи-

наю воспѣвать не какъ собственный укоръ, а какъ идеаль всего, что есть наилучшаго на бѣдомъ-свѣтѣ. Я сравниваю его со Христомъ, который въ рабскомъ видѣ исходилъ всю землю нашу; милъ мнѣ этотъ босой, исхудалый, истощалый человѣкъ, милъ этотъ воротъ, разодранный у рубашки, эти заплаты, эта крайняя бѣдность, у которой ни кола, ни двора, ни куриного пера, и котораго кончина — въ оврагѣ близъ большой дороги или въ лѣсу... Я даже такъ умѣю ухитриться, что это-то безропотное существованіе, эту кротость нищаго солью съ собственною своею кротостью въ покорности судьбѣ, съ тѣмъ, что я тоже терплю всю жизнь и не ропщу, что я, подобно ему, *безропотно* слушающему отказъ въ подавнн, *безропотно* исполняю приказъ ловить поросенка, стрѣлять въ мужика, обвинять невиннаго, разорять бѣднаго, — что *оба* мы терпимъ, что мы *оба* одно, и что изъ обоихъ насъ вмѣстѣ выходитъ одна триумфальная арка. Но, несмотря на то, что страданія и нищаго мужика, и мои — реальны, дѣйствительны, правду, простую правду я умѣю показать хвалѣмому и оплакиваемому мною мужику все-таки только при помощи арестантскихъ ротъ.

Х. Результаты и заключеніе.

Таковы были возмущающія душу впечатлѣнія, принесенныя мнѣ газетами и исходившія отъ «не-мужицкой» части русскаго общества. Но неумолимые газетные листки привнесли недобрыя вѣсти и изъ народа... Что эти вѣсти суть прямой результатъ того образа дѣйствій по отношенію къ народу образованныхъ людей, на изображеніи котораго я останавливался въ предшествовавшей главѣ, — въ этомъ не было конечно никакого сомнѣнія, но результаты все-таки не теряли своего безобразія, не смотря даже и на смягчающія и объясняющія ихъ обстоятельства. Укажу на тѣ изъ этихъ безобразныхъ явленій, которыя непосредственно вытекаютъ изъ дѣйствительности. Известно, что во время голода на обѣмненіе полей и на прокормленіе втеченіе зимы крестьянамъ выдаются разнообразныя пособія. При этомъ, какъ удостовѣряютъ корреспонденціи изъ голодныхъ губерній, происходятъ такіе вещи: «крестьянскія общества во время неурожая медлятъ своими заявленіями, опасаясь круговой поруки... Болѣе зажиточные крестьяне, полагая, что въ случаѣ новаго неурожая они вынуждены будутъ платить за бѣдняковъ, часто противодѣйствуютъ приговору о круговой поруки или же если и дадутъ на него свое согласіе, то полъ условіемъ тоже получить ссуду и на свою долю, хотя бы имъ было *это* *вовсе не нужно*». Бывало также, что при дѣлежѣ ссуды на долю бѣдняковъ доставались такіе небольшіе деньги или количества хлѣба, что они не видѣли въ нихъ надежной помощи, спускали безъ-толка на какую-нибудь несущественную нужду или въ «кабакъ». Въ «Новомъ Времени» писали изъ слободы Покровской (Самарской губер-

ним, Новоузенского уѣзд.), что, отказавшись от казенной субсидіи, крестьяне рѣшили закупить хлѣб на мірскія суммы (богатая слобода), но раздѣлили его не между нуждающимися, а между всѣми поголовно, и притомъ *по душамъ*. Такого рода извѣстій появляется весьма много въ газетахъ, и мы увѣрены, что они являлись-бы *отовсюду*, еслибы эта сторона общественныхъ порядковъ современной деревни должнымъ образомъ интересовала и деревню, и общество. Явленія эти поистинѣ можно считать безобразными явленіями. Судите сами: въ деревню привозятъ хлѣбъ или деньги, рассчитанные по количеству *недостаточныхъ* семей. Предположимъ, что въ деревнѣ 20 дворовъ, изъ которыхъ недостаточныхъ, т. е. такихъ, которымъ *именно и нужно пособие*, пять. И вотъ міръ, не желая *отвѣчать*, не можетъ дать мнѣ этой ссуды, а начинаетъ ее дѣлить, основываясь на томъ: «ежели мнѣ придется отвѣчать, такъ пускай же и я получу на свою часть». Начинается дѣлежъ, и притомъ *по душамъ*, т. е. у богатаго мужика пять душъ—ему «больше всѣхъ» изъ нищенской муки; у средняго три—ему на три. А вотъ человѣкъ безъ души—такъ ему, разумеется, ничего и не останется. Даже нѣтъ того мѣрила, по которому онъ можетъ получить хлѣбъ. Единственное мѣрило, это *отвѣчать!* А онъ, напримѣръ Еремей, чего ему отвѣчать? и чѣмъ? Онъ просто голодный—ну, а это не резонъ для такихъ серьезныхъ мірскихъ дѣлъ. Премудрость этихъ дѣлъ и вѣнчается достойнымъ образомъ: «Хлѣбъ оказывается у тѣхъ мірянъ, которымъ онъ *не нуженъ*, а кому онъ *нуженъ*, у того его нѣтъ, или оказывается столько, что лучше всего отнести его въ бабакъ».

Но вы пожалуйста не заключайте изъ вышесказаннаго, что мы съ Иваномъ Ермолаевичемъ какіе-нибудь звѣри. Слава тебѣ, Господи, кажется, что Бога мы помнимъ, знаемъ, что значить грѣхъ—не маленькіе. Совѣсть тоже у насъ есть. Нельзя безъ этого. И пожалуйста не думайте, что всѣ хромоногіе солдаты и ихъ мальчишки перемрутъ съ голоду, а мы будемъ настолько жестоки, что равнодушно и хладнокровно отнесемъ къ этому зрѣлищу. Иванъ Ермолаевичъ, надо понять это, *не могъ* иначе поступить, не могъ сдѣлать какъ-нибудь иначе это дѣло, которое васъ возмущаетъ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, развѣ мало, за что Иванъ Ермолаевичъ *отвѣчаетъ*? А тутъ приходится отвѣчать за хромоногаго солдата, который предъ этимъ двадцать разъ надулъ того же Ивана Ермолаевича. Хромоногіи солдатъ даже овчинника надулъ, добраго, сердечнаго человѣка. Посовѣстися-ли онъ теперь? Очевидно, что онъ по своей природѣ возьметъ хлѣбъ, съѣсть его, а Ивану Ермолаевичу придется за него расплачиваться. Вотъ почему Иванъ Ермолаевичъ и беретъ хлѣбъ, который ему не нуженъ. Но вѣстѣ съ тѣмъ онъ и не злодѣй, онъ помнитъ Бога, совѣсть и грѣхъ. Хлѣбъ онъ точно взялъ, сколько ему пришлось по раздѣлу, и привезъ домой, свалилъ его въ амбаръ и ждетъ той минуты, когда лично ему ненужный

хлѣбъ онъ долженъ будетъ отдать нуждающемуся ѣдоку.

На утро лай собакъ свидѣтельствуетъ, что ѣдокъ приближается къ жилищу Ивана Ермолаевича.

Идетъ это *ничто*, нуль, и ведетъ за руку *дробь*—мальчишку, и несетъ подъ мышкой *цѣлое*—поросенка.

Это есть хромоногіи солдатъ.

— Здорово! говоритъ Иванъ Ермолаевичъ.

— Здравствуй, Иванъ Ермолаевичъ.

Солдатъ устанавливаетъ деревяшку на настоящее мѣсто.

Молчаніе.

— Что, погода какъ? спрашиваетъ Иванъ Ермолаевичъ.

— Куда! Не приведи Богъ... Чуть было не завязъ въ снѣгу-то...

Опять молчаніе.

— Вотъ, что я тебѣ хотѣлъ, Иванъ Ермолаевичъ... Не возмемъ-ли ты у меня мальчонку?

— Зачѣмъ?

— Да что, братецъ ты мой, вѣдь зарѣзъ мнѣ!

— Кто-же тебя зарѣзалъ?

— Кто! Чать самъ знаю... Чать ужъ такъ... Ничего не подѣлаешь... Въ этомъ-то главная причина, вѣсть нечего! Вотъ, напримѣръ, какое дѣло...

Молчаніе.

— А кто, спрашиваетъ не безъ глубокаго негодованія Иванъ Ермолаевичъ:—кто меня не веснѣ съ мальчонкой-то посадилъ?

— Постой! погоди ты... послушай ты моихъ словъ, что я тебѣ скажу... О веснѣ...

— Чтò о веснѣ? О веснѣ я слушалъ твои слова, вѣрилъ, а ты какъ со мной поступилъ?

— Какъ и съ тобой поступилъ-то?

— Д-да! Какъ ты со мной оборудовалъ?

— Какъ? Я-то? Ты о веснѣ, что-ли? Такъ ежели ты хочешь по совѣсти, по чести—знать, такъ я тебѣ скажу... Изволь, я тебѣ скажу, коли ты ежели хочешь этого, чтобы знать, изволь, вотъ какова есть моя утроба, видишь вотъ! Какова есть самая моя утроба, такъ расшиб-би меня нечистая, и разорви мои черевы, ежели я тебя..

И т. д.

Иванъ Ермолаевичъ не звѣрь, онъ взялъ мальчишку и далъ хлѣба... Но на слѣдующую весну, даже ранѣе весны, именно въ тотъ самый моментъ, когда солдату опять стало нечего вѣсть, онъ «обманомъ» увелъ мальчишку домой, перепродалъ его другому, и другого надулъ такъ-же, какъ и Ивана Ермолаевича... Сердитъ Иванъ Ермолаевичъ на *народъ*.

— Строгости нѣтъ! Избаловался народъ, ослабъ, никому повѣрить на грошъ нельзя...

А солдатъ тоже не веселъ:

— Такъ я тебѣ толстомордому и дался... Ишь ты! За мою же муку да норонить слопать моего мальчишку! Ловокъ! Ловки вы, грабители, толсто-брюхые.. Оттягали хлѣбъ-то, мірофды анаемскіе.. Вамъ-бы только самимъ. а бѣдному человѣку—шипъ! Пог-годи, любезные... Я васъ произведу...

Во второмъ изъ приведенныхъ случаевъ дѣлажа дѣло выходить еще выразительнѣе.

Тамъ покупаютъ хлѣбъ сами, на мірской счетъ, и дѣлать по душамъ. Большею частью хлѣбъ покупаютъ тутъ-же, на мѣстѣ, у своихъ достаточныхъ односельчанъ. Получивъ за хлѣбъ деньги, достаточные односельчане, при дѣлежѣ по душамъ, получаютъ назадъ и самый хлѣбъ, едва-ли не весь сполна. Такимъ образомъ Иванъ Ермолаевичъ, получивъ за хлѣбъ деньги, потомъ, получивъ и самый хлѣбъ, раздавать его (не звѣрь-же онъ какой въ самомъ дѣлѣ?) хромоногимъ бездушнымъ существамъ, и въ обезпеченіе (вѣдь ему отвѣчать-то, хотя онъ и получилъ уже деньги) получаетъ трудъ, какъ самихъ существъ, такъ и ребятъ, пріемлетъ кромѣ того поросятъ и гусей.

Есть за что, какъ видите, и хроному погрозыть-ся. Не безъ основанія и онъ говоритъ:

— Погоди, ребята, я васъ произведу-у!

Заключеніе, къ которому привели меня размышленія, внушенныя газетными фактами, были слѣдующія: «Нѣтъ, думалъ я, — Иванъ Ермолаевичъ не виновенъ... Ни въ чемъ, ни въ чемъ не виновенъ. Вѣрный своимъ взглядамъ, основаннымъ на непреложныхъ для него началахъ, онъ несетъ ихъ сквозь толпу явленій жизни, не имъ созданныхъ; онъ всячески отакиваетъ ихъ, и не его вина, если на пути этого шествія ему приходится драться, да еще съ своимъ братомъ.. общинникомъ. Нѣтъ, онъ въ этомъ не виновенъ! Но я, русскій образованный человѣкъ, я виновенъ самымъ рѣшительнымъ образомъ: я виновенъ тѣмъ, что до сихъ поръ, 25 лѣтъ, не нашелъ въ себѣ рѣшимости по совѣсти признать, Иванъ Ермолаевичъ ужъ не крѣпостной, не рабъ. и что я, бывшій баринъ,

теперь завишу отъ него, хотя бы только потому. что его — миллионы, что теперь даже изъ желанія нажиться я *долженъ* дѣйствовать такъ, чтобы удовлетворять насущнымъ потребностямъ Ивана Ермолаевича. Я *долженъ* строить дорогу преимущественно въ видахъ Ивана Ермолаевича, если хочу не быть его разорителемъ, я *долженъ* устраивать промышленное предпріятіе не иначе, какъ въ видахъ главнымъ образомъ миллионной массы, если, во первыхъ не хочу разориться, а во-вторыхъ, если стыжусь разорить. Но именно этого-то послѣдняго я и не стыжился, и даже не стыжусь пожалуй и теперь. Напротивъ, я умышленно старался его затмить, разстроить, не давая ему ни науки, ни земли, ни малѣйшаго облегченія въ трудѣ. Я такъ знакомилъ его съ цивилизаціей, что онъ только крѣпился отъ нея. За всю эту искренность Иванъ Ермолаевичъ и наказываетъ меня тѣмъ, что начатое мною разстройство его быта практикуетъ и въ деревнѣ, собственными руками разрушаетъ то, на чемъ, еслибы только я могъ *тщательно* стать на сторону устройства, а не разрушенія, дѣйствительно можно-бы создать *кружное* общинное хозяйство, въ которомъ бы не было людей, не имѣющихъ права на хлѣбъ, и въ которомъ нашель-бы мѣсто работника (за деньги, не безпокойтесь!) и образованный человѣкъ. Но такъ какъ я былъ трусливъ, своекорыстенъ и нерѣшителенъ, то Иванъ Ермолаевичъ и наказетъ меня тѣмъ, что покроетъ землю уже не кроткимъ, а сердитымъ нищенствомъ и внесетъ въ общество вмѣсто утѣшаемой мною цивилизаціи тѣ взгляды на человѣческія отношенія, которые мы съ нимъ принимали къ па-стуху.

В Л А С Т Ъ З Е М Л И.

1. Иванъ Босыхъ.

Морозный зимній день въ полномъ блескѣ. Часть одиннадцатый въ исходѣ. Въ незамерзшіи кусочекъ полузаметеннаго снѣгомъ окна вижу я, какъ на широкій дворъ, примыкающій къ тому деревенскому дому, въ которомъ я живу, вошелъ крестьянинъ Иванъ Петровъ, по прозванію «Босыхъ».

Виджу я, какъ лѣнливою, почти болѣзненною поступью подошелъ онъ къ кучѣ кое-какъ наваленныхъ въ углу двора полѣньевъ, которыя Иванъ взялся расколотъ на дрова, какъ онъ, вмѣсто того чтобы приняться за работу, принялся обѣими руками крѣпко-накрѣпко царапать свою голову, держа подъ мышкою шапку, какъ потомъ, нахлобучивъ эту самую шапку на голову, потолкалъ кучу полѣньевъ ногой. обутой въ рваный валяный сапогъ, и какъ опять-таки вмѣсто того, чтобы

взяться за топоръ, сталъ разминать плечи, стараясь достать кулакомъ до середины спины... Вижу я все это и знаю, что Иванъ находится въ самомъ мучительномъ состояніи, — знаю, что онъ боленъ «со вчерашняго», что онъ вчера крѣпко выпилъ, что если сегодня онъ и появился около дровъ, то уже поздній часъ прихода на работу, когда люди собираются обѣдать, означаетъ только желаніе выпросить рубль серебра на опохмелъ. И точно, поколотивъ кулакомъ поясницу и между лопатками, онъ полѣзъ въ карманъ сѣраго подпоясаннаго армяка за махоркой и потомъ, растирая ее на ладони, уныло поплеялся въ кухню. Здѣсь, какъ мнѣ также ужъ достовѣрно извѣстно, онъ долгое время будетъ курить, а чтобы завести общій разговоръ, сообщить, что «вчера» у него вытащили въ кабацѣ деньги, и, возбуждивъ этимъ общее сочувствіе, долготрудетъ разговаривать о своемъ разстройствѣ,

о томъ, какъ онъ жилъ на «вокзалѣ», о томъ, какъ онъ поправился; сообщить множество свѣдѣній о томъ, какъ лечитъ такую-то и такую болѣзнь, какъ ловить барсуковъ, какъ прививать яблони, и въ концѣ-концовъ, не имѣя силъ долѣе сопротивляться мучительному недугу похмеля, скажетъ: «нѣтъ, видно, нонѣ я не человѣкъ» — и пойдетъ ко мнѣ просить рубль серебра, говоря, что у него внутри жжетъ и деретъ, ѣсть и сосетъ, и что, почувствовавшись, онъ придетъ завтра до свѣту и все передѣлаетъ съ одного маху. И это также давно мнѣ извѣстно: знаю я, что, очнувшись, Иванъ Петровъ дѣлается совсѣмъ другимъ человѣкомъ и что въ такіа—къ несчастью, рѣдкія—минуты нѣтъ въ деревнѣ такого другого мужика, который былъ бы такъ, какъ Иванъ, «золъ» на работу, т. е. такъ къ ней пристрастенъ и такъ ею оживленъ.

Иванъ Петровичъ принадлежитъ къ тому ненужному, непонятному, даже прямо постыдному для такой земли, какъ Россія, классу деревенскихъ людей,—классу, народившемуся въ послѣднія двадцать лѣтъ,—который волей-неволей приходится называть «деревенскимъ пролетаріатомъ».

Этотъ новорожденный пролетаріатъ рѣшительно могъ бы не существовать на нашей землѣ, еслибы милліоны мѣропріятій, направленныхъ въ сторону народа, дорожили народнымъ міросозерцаніемъ, по малой мѣрѣ, въ такихъ же размѣрахъ, какъ и его платежною силой. Для того, чтобы махнуть рукой на землю и предпочесть своему дому домъ питейный, вполне достаточно хотя бы только той нелѣпицы въ крестьянскихъ «правахъ», вслѣдствіе которой крестьянинъ, сегодня бывшій присяжнымъ, судьей и великодушно оправдавшій несчастнаго человѣка, давшій ему жизнь словами: «нѣтъ, не виновенъ», на другой же день послѣ свободнаго проявленія такого большого «права», можетъ быть выпоротъ въ волостномъ правленіи *до-крови* за то, что, встрѣтившись подъ имелькомъ со старшиной, нанесъ ему оскорбленіе словами: «ахъ, ты, курносый заяцъ!».

Чтобы молча и безропотно вращаться только между такими полюсами крестьянскихъ «правовъ», и то надо отказываться отъ всякой нравственности, отъ всякой духовной жизни, отъ всякой возможности жить по своему разуму. Но этотъ примѣръ только капля въ морѣ того *коренного* разстройства, которое размываетъ самыя коренныя основы народнаго міросозерцанія, вырабатываетъ человѣка «безъ перспективы» и «безъ завтрашняго дня», стремится сдѣлать работника и раба изъ человѣка, который по самому существу своей природы *не можетъ* существовать иначе, какъ съ сознаніемъ, что онъ—«самъ хозяинъ».

Посмотрите вотъ на этого Ивана Петрова, по прозванію Босыхъ: онъ—человѣкъ сильной породы, онъ легокъ, ловокъ и умѣлъ въ работѣ, жена его умная, сильная и ловкая работница, когда-то красавица; земли онъ можетъ ниѣтъ, сколько понадобится; но кромѣ «хозяйства» онъ еще и плотникъ, весьма хорошій для деревни, и сапож-

никъ; да и просто какъ поденщикъ—колоть-ли дрова, прессовать-ли сѣно и пр.—онъ могъ-бы, получая не менѣе семидесяти копѣекъ въ сутки на хозяйскихъ харчахъ, существовать безбѣдно. А онъ вотъ бросилъ хозяйство, бьетъ жену, жена ходитъ жаловаться, плачетъ; дѣти его, трое ребятъ, по цѣлымъ днямъ шлеются въ грязныхъ лохмотьяхъ по деревнѣ безъ всякаго призора, и неизвѣстно, кормитъ-ли ихъ кто-нибудь. Изба его, въ ряду тѣхъ новыхъ «крестьянскихъ» избъ, въ которыхъ вы видите кисейная занавѣски, вѣнскую мебель и часы подъ колпакомъ, представляетъ собою верхъ безобразія: она вся почти развалилась; вмѣсто стеколъ—тряпки и какія-то лохмотья; а по постройкѣ избы и службъ вы видите, что домъ былъ «богатый»; сарай протянулся сажень на тридцать; столбы вездѣ дубовые, аршина по два въ обхватѣ... А самъ хозяинъ? Спросите о немъ у авторитетныхъ деревенскихъ людей, всѣ отзовутся о немъ самымъ неодобрительнымъ образомъ: онъ три раза продалъ одно и то-же сѣно тремя разными лицамъ, а деньги пропилъ; онъ набралъ «подъ телушку» въ трехъ лавкахъ и не отдалъ нигдѣ—телушку продалъ на сторону, а деньги по обыкновенію пропилъ. Его сѣкли въ волости нѣсколько разъ—и за грубость передъ начальствомъ, и за недомки, и по жалобѣ жены, которую онъ послѣ этого суда жестоко избилъ въ полѣ, возвращаясь домой.—«Не давайте ему денегъ, ни Боже мой, не давайте впередъ!»—совѣтуетъ вамъ экономный деревенскій житель.—«Ни на волосъ не вѣрьте!»—говоритъ другой житель, уже обманутый Иваномъ. А между тѣмъ, когда Иванъ «очувствуется» на недѣлю, на двѣ, что это за славный, добрый, умный человѣкъ! Сколько у него юмора, наблюдательности, вѣжливости, великодушія, насмѣшки надъ самимъ собой, сколько юношеской душевной свѣжести! Что-же валить его пьянымъ съ опухшимъ лицомъ ничкомъ въ мокрую, грязную канаву, безъ сапогъ, безъ одежды и заставлятъ цѣлыя ночи подставлять свою широкую спину подъ дождь и вѣтеръ? Вся деревня помнитъ его родителей, всѣ говорятъ, что когда-то «Босыхъ» были первые хозяева. Что Иванъ и жена жили прежде дружно, работали «за первый сортъ»; всѣ согласны, что, очинись онъ, ему цѣны не будетъ, что у него «золотыя руки»; а онъ точно умышленно махнулъ на все рукой, обманываетъ, буянитъ и, какъ нишій, шлеется въ поденщикахъ, да и то только для того, чтобы выработанное пропить въ кабацѣ.

II. Разсказъ Ивана Босыхъ.

Теперь пьянство Ивана превратилось уже въ болѣзнь, а эту болѣзнь, угнетающую не одного Ивана, а цѣлыя массы такихъ же, какъ и онъ, непостижимыхъ въ Русской землѣ деревенскихъ пролетаріевъ, самъ народъ охарактеризовалъ словомъ «ослабъ». Физически Иванъ, какъ и сотни ему подобныхъ «ослабшихъ» мужиковъ, не толь-

ко здоровъ и силенъ, но прямо могучъ; стало-быть, слабость его имѣла не физическіе, а какіе-то другіе источники. Вотъ о причинахъ этой-то «слабости», «ослабления» и бывали у насъ съ Иваномъ весьма частые разговоры, долгое время не приводившіе ни къ какимъ благоприятнымъ результатамъ, а иногда прямо сбивавшіе съ толку, особенно такого человѣка, который привыкъ и приучился объяснять народное разстройство почти исключительно матеріальными несчастіями, бѣдностью, налогами и т. д. Приведу для примѣра одинъ изъ такихъ разговоровъ.

— Скажи, пожалуйста, Иванъ, отчего ты пьянствуешь? спрашиваю я Ивана въ одну изъ тѣхъ ясныхъ и свѣтлыхъ минутъ, когда онъ приходитъ въ себя, рассказываетъ въ своихъ безобразіяхъ и самъ раздумываетъ о своей горькой долѣ.

Иванъ вздыхаетъ глубокимъ вздохомъ и съ сокрушеніемъ произноситъ почти шепотомъ:

— Такъ избаловался. такъ избаловался... и не знаю даже, что и думать... И лучше не говорить!... Одумайся, станешь думать—не глядѣлъ бы на свѣтъ, передъ Богомъ вамъ говорю!

— Да отчего же это, скажи пожалуйста?

— Отчего?... Да все оттого, что... воля! Вотъ отчего... своевольство!

Такъ какъ отвѣтъ этотъ ставитъ меня въ недоумѣніе, и я рѣшительно не могу понять, почему «воля» можетъ губить человѣка, то Иванъ, чтобы разсѣять мое недоумѣніе и объясниться обстоятельнѣе, прибавляетъ:

— Отъ жизни отъ свободной — вотъ отъ чего!

— Что же это значитъ? спрашиваю я въ полномъ недоумѣніи.

— А то значитъ, какъ жилъ я на вокзалѣ, получалъ я тридцать пять цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, народу имѣлъ подѣ начальствомъ десять человѣкъ, доходу мнѣ каждый Божій день съ вагону ужъ безпремѣнно рубль серебра, а сочтите-ка, сколько въ зиму-то вагоновъ отправимъ?.. Ну вотъ, тутъ-то я, значитъ, и забаловалъ...

Слово «забаловалъ» до такой степени не подходитъ къ сорокалѣтнему, мужественному, бородавтому мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ можетъ въ объясненіе своего поведенія употреблять такіа выраженія, приличныя только развѣ малому ребенку. Но Иванъ не находитъ другого точнаго выраженія.

— Вотъ и сталъ баловаться... При покойникѣ тятенькѣ, бывало, капли въ ротъ не бралъ. Убьетъ, если узнаетъ, на смерть уколотитъ своими руками... Да и послѣ тятеньки, когда ужъ оженился, своимъ хозяйствомъ сталъ жить, и то дозволялъ себѣ—когда угостить, да на праздникахъ, да иной разъ со скуки—стаканчикъ. Все опасался и покуда чего было—берегся... Ну, а ужъ тутъ, на вокзалѣ, какъ стала мнѣ воля, стало мнѣ значить раздолье, сталъ я—однимъ словомъ, коротко сказать—баринъ, тутъ-то я и пошолъ... Жрешь, бывало, цѣлыя сутки, а все до верху не хватаетъ... Я какъ сейчасъ помню, съ чего началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родіоновича венины

были на Ивана Постнаго. Ну, онъ мнѣ и налилъ винограднаго стакань—«портвинъ» прозывается... Я какъ дынулъ его—понравилось. Я и давай... А тамъ и коньякъ, лимонадъ. Вотъ съ этихъ самыхъ поръ и завелъ себѣ язву. А отчего?—Все отъ воли!.. Все отъ непривычки, отъ легкой жизни... Вотъ отчего!.. Бывало, денегъ полны карманы набью... Ну, и сталъ черезъ это самое вродѣ послѣдней свиньи...

Такимъ образомъ оказывается, что «воля, свобода, легкое житье, обиліе денегъ», т. е. все то, что необходимо человѣку для того, чтобы устроиться, причиняетъ ему, напротивъ, крайнее разстройство до того, что онъ дѣлается «вродѣ послѣдней свиньи».

— Отчего же ты деньги-то на хозяйство не тратишь, а на пьянство? спрашиваю я.

— То-то и есть, не привычны мы... Какое тутъ хозяйство, когда совсѣмъ стало жить свободно?.. Дѣлай, чтѣ хочешь,—никто не попрепачтуетъ... Тутъ, однимъ словомъ, можно въ концѣ избаловаться...

Такъ такъ Иванъ видитъ, что объясненія его ничего не объясняютъ, и что я все-таки не могъ взять въ толкъ, отчего хорошая жизнь превращаетъ человѣка въ свинью, то онъ старается пояснить мнѣ свою мысль примѣромъ, къ чему въ разговорѣ вообще довольно часто прибѣгаютъ крестьяне. Привожу этотъ примѣръ, зная, что онъ едва ли чтѣ уяснить читателю.

— Потому что, говоритъ онъ,—природа наша мужицкая не та... Природа-то у насъ, сударь, трудовая... Я скажу вамъ примѣромъ. Былъ у насъ тутъ по сусѣдству баринъ, господинъ Подсолнуховъ, хозяйствовалъ... Вотъ хозяйствовалъ, хозяйствовалъ, видитъ онъ, что доходу ему нѣту, задумалъ онъ молочнымъ дѣломъ заняться. Наша скотина ему не по праву пришлась—коровенки наши точно—худы, шаршавы—дай, думаетъ, заграничную корову выпишу. Выписалъ. Идетъ телеграмма, ѣдетъ корова изъ-за границы, нѣмецъ ученый провожаетъ... Видимъ, ведутъ, чуть не на цѣпяхъ—эдакая верзила, сажень вверхъ, да полторы вдоль. Урядникъ даже шапку снялъ... Что рога, что глаза, что прочее все—страсти Господни! Великанъ, Ерусланъ Лазаревичъ... Очистили ей скотникъ, настлали соломы, пришла она и легла, эдакъ, на бокъ. А нѣмецъ лампу потребовалъ на ночь. Вотъ хорошо, лежитъ она такимъ манеромъ и ѣсть. Только бабы подкладываютъ ей подъ морду кормъ. Ёсть, а молока не даетъ. «Что же это, говорю нѣмцу.—она молока-то не даетъ?»—«А это, говоритъ, она отдыхаетъ, такъ какъ, говоритъ, изъ-за границы и все въ вагонѣ, то она утомлена и поправляется своимъ здоровьемъ»...—«А долго-ли, молъ, она будетъ поправляться?»—«Да съ мѣсяцъ мѣста пройдетъ». Ладно. Попробовали было ей нашего мірскаго быка порекомендовать—куда!.. Какъ глянулъ на нее, какая она есть великолѣпная, испугался какъ заяцъ: понялъ, что не ему съ мужицкимъ рыломъ соваться—и давай Богъ ноги... Едва за двѣна-

дцать верстъ чужіе мужики поймали. А она тѣмъ временемъ отдыхаетъ все. Все ѣсть, вздыхаетъ и ѣсть.. Наконецъ ужъ видно совѣсть ее взяла, даетъ молока, и цѣлое ведро. Вотъ баринъ и говоритъ: «Видишь, говоритъ, Иванъ, какое-же сравненіе съ нашими коровенками!».— «Ну, нѣтъ, говорю, баринъ, по ейному корму наша скотина много способѣй». — «Какъ такъ?» — «А вотъ какъ: сосчитайте, сколько она у васъ съѣла и много-ли по корму молока дала? Она хотъ и ведро даетъ, да ведро-то это больно много стоитъ... А кабы вы кормъ-то, что она одна съѣла, роздали нашимъ десяти коровенкамъ, такъ всѣ-то вмѣстѣ онѣ вамъ въ десять разъ больше этой одной вершки дали-бъ». Тутъ нѣмецъ и говоритъ: «Она, говоритъ, не такой породы, чтобы только о молоко думать; она и объ себѣ думаетъ, она ѣсть для своего удовольствія—посмотрико-сь, какое у ней мясо-то...» Вотъ послѣ этихъ словъ я и говорю барину: «Видите, говорю, господинъ, анъ и оказывается, что наши коровенки какъ-разъ по нашей природѣ и породѣ приходятся... Мясо намъ не требуется, своего удовольствія она знать не знаетъ, а живетъ только изъ-за работы: что ѣсть, то отдаетъ, а объ себѣ не думаетъ. Родилась она для работы и живетъ весь вѣкъ въ ней — вотъ вся и жизнь ея...» Вотъ и человѣкъ этакъ-же бываетъ разный. И вотъ наша крестьянская порода то же самое: мы круглый годъ и всю жизнь не покладаячи работаемъ, да такъ въ работѣ и живемъ... Я вотъ попробовалъ отъ крестьянства отбиться—чуть было не оmlся... А другому что легче, то лучше; что ничего не дѣлать, то и пріятно... Вотъ у насъ на станціи еврейчикъ былъ Шнапъ... Все онъ тамъ толкался въ разныхъ мѣстахъ и все на пустомъ норовилъ рублишко нажить: тамъ барыню провожаетъ, тамъ мужику укажетъ, какъ и куда пройти... Ну, и даютъ—кто рубль, кто гривенникъ... А онъ все прячетъ, все копитъ. «На что, говорю, копишь?» — «Карьеръ хочу дѣлать». — «Какой такой?» — «Деньги наживать!» — «Зачѣмъ?» — «Лавку открывать!» — «А какъ откроешь?» — «Опять деньги наживать!» — «А какъ наживешь?» — «Еще больше буду наживать!» — «А какъ совѣтъ ужъ много будетъ?» — «Опять буду еще больше стараться»... Вотъ и гляди на него. — «Пойдемъ вышьемъ!» Нейдетъ, копѣйки не истратитъ. А по нашему, по крестьянству, для хозяйства еще пожалуй можно понажить деньжонокъ, а такъ... наживать да наживать—такъ это я даже и въ понятіе-то не возьму... Шнапъ-то вонъ этотъ изъ грошей капиталъ дѣлаетъ, а вотъ я, какъ позабылъ крестьянство-то, отъ трудовъ крестьянскихъ освободился, сталъ на волѣ жить, такъ и деньги-то мнѣ стали все одно что щепки... Только и думаешь, куда-бы дѣвать, и кромѣ какъ кабака ничего не придумашь... Чего! Я ужъ вамъ во всемъ буду каяться... (Иванъ говорить шопотомъ.) Тр-р-ри намзели завелъ! Законъ забылъ!.. Передъ Богомъ говорю... Воля! Свобода! Только и думаешь, какъ-бы что... Тфу! До такого дошелъ забвенія, даже

сталъ напикъ, своихъ-же братій, мужиковъ притѣснять... И съ чего!—Просто совѣсти не осталось... Придутъ, бывало, съ холоду, разыщутъ въ трактирѣ, кланяются, просятъ сѣно отправить—второй, молъ, день ждемъ, проѣлисъ, а концовъ не сыщешь... Мнѣ-бы, кажется, только сказать подручному: «Михайло, дай мнѣ вагонъ!» — а меня точно нечистая сила начинается разламывать... Сидишь за бутылкой, ломаешься и говоришь: «Изыскивайте, способъ». — «Да какихъ-же, батюшка, способъ-то искать? Ходили-ходили, вездѣ машины свистать, дымъ дымить, того и гляди раздавать... Ужмы и такъ измучились». — «Изыскивайте! говорю, съумѣйте понять, кто вамъ надобенъ»... — «Да ты, отецъ родной, ты»... Ломаешься, ломаешься, бывало, ужъ кто-нибудь изъ публики вступится, скажетъ мужикамъ: — «Да всуньте вы ему, подлецу, три цѣлковыхъ въ горло... Какихъ ему еще способъ надо!» Но ужъ тутъ поневолишься, сдѣлаешь... Жена придетъ, бывало, облаешь... По крестьянству она мнѣ нужна, а на свободѣ у меня особенныя баловницы есть... Что мнѣ съ ней, съ мужичкой, дѣлать?.. Вѣдь вотъ до какого дошелъ своевольства! И вѣрите, какъ распяниствовался я до послѣдняго предѣла, какъ дошло дѣло до начальства, да какъ пріѣхалъ начальникъ дистанціи, да ка-а-къ далъ мнѣ (лицо рассказчика вдругъ просіяло) хо-о-орошаго леща, да какъ начальникъ эксплуатаціи набавилъ мнѣ (дѣтская радость разлилась по лицу его) въ загривокъ, да какъ въ подвижномъ составѣ наколотили мнѣ бока — такъ я, братецъ ты мой, сотворилъ крестное знаменіе, да точно какъ изъ могилы выскочилъ, воскресъ, да по морозу, въ чемъ былъ, безъ шапки—домой!.. По полямъ, по сугробамъ, по задворкамъ, какъ птица двадцать пять верстъ безъ остановки пропорхалъ и не видалъ, какъ середъ своего двора очутился. Очутился я на дворѣ голъ и нагъ, и все у меня въ разореніи, а радъ былъ—истинно, какъ изъ мертвыхъ воскресъ. Слава тебѣ, Господи! Слава тебѣ, Царица Небесная! Опять я—человѣкомъ, опять я самъ себя отыскалъ... Паль женѣ въ ноги. «Прости меня, жена моя милая! Давай работать, хозяйствовать! Брошу свои глупости, опять стану человѣкомъ»... И ужъ принялся же я въ ту пору! И все-то мнѣ мило—и пашня, и соха, и борона, и дровни, и телушка, и сарай, что покосился, и заборъ, и колода... Все—точно родные, друзья дорогіе, кровные... Гляну, гляну—страсть какое разоренье, а у меня только духъ бодрѣй... Что вижу—сколь много работы, что вижу — работать, не переработать, то мнѣ и охоты-больше, то и силы прибываетъ.. Такъ вотъ какая наша крестьянская природа! А тамъ и работы не было, и всякое удовольствіе, и деньги, а точно безумный сдѣлался, всю душу-то по грязи истаскалъ, какъ свинья свое брюхо... А отчего?—Все воля!

Этимъ непонятнымъ сопоставленіемъ словъ «воля» и «нравственное паденіе» Иванъ и начиналъ, и оканчивалъ свои бесѣды со мною я, какъ видите, не только не разъяснялъ моихъ недоумѣній, но значительно изъ преувеличивалъ.

III. Разстройство.

Не разъ заходилъ у насъ съ Иваномъ разговоръ на ту же тему, т. е. на тему о томъ, отчего онъ спился, отчего разстроился, что нужно крестьянамъ, чтобы было лучше и т. д., и всегда разговоры эти не приводили ни къ какимъ удовлетворительнымъ результатамъ. Отвѣты и разсказы его были всегда неинтересны, очень часто утомительны своимъ однообразиемъ или, напротивъ, ставили въ недоумѣніе, объясняя пьянство выраженіями «воля» или «баловство» и т. д. Происходило это отъ того, что Иванъ часто вовсе не упоминалъ о томъ *главномъ*, что давало этимъ сухимъ и утомительнымъ разговорамъ глубокий (на мой взглядъ) интересъ, а я, какъ человѣкъ посторонній подробностямъ и сущности народной жизни, не понималъ этого главнаго и пропускалъ мимо ушей такія слова и фразы, произносимыя Иваномъ мимоходомъ, какъ всѣмъ давно извѣстныя и понятныя, которыя именно одни только и могли освѣтить мнѣ тьму и путаницу нашихъ неинтересныхъ разговоровъ. Вотъ почему я не буду передавать этихъ разговоровъ въ ихъ «последовательномъ безпорядкѣ», а приведу ихъ тогда, когда читателю будетъ можно понять ихъ, и для этого останавлиюсь на томъ разговорѣ, который приведенъ выше.

Иванъ разсказалъ самую обыкновенную исторію: на каждомъ шагѣ, отъ всѣхъ хозяевъ—отъ всѣхъ, кто имѣетъ дѣло съ наемнымъ человѣкомъ—вы слышите то-же самое, т. е. что пьютъ потому, что «избаловались»; потому, что «воля»; потому, что «некому смотрѣть за порядкомъ», «нѣтъ страху»...

— Помилуйте, слышите вы поминутно, чего еще имъ нужно? Рабочій получаетъ семьдесятъ копѣекъ въ сутки на хозяйскихъ харчахъ, два раза чай—вѣдь это не маленькая плата! Зимній день въ нашихъ мѣстахъ коротокъ—въ восемь часовъ утра еще темно—приходятъ рабочіе въ девятомъ часу, работаютъ съ разговоромъ, съ цыгарками, до двѣнадцати, часа полтора уйдетъ на обѣдъ, а тамъ, глядишь, въ четыре часа и ночь. Скажите, пожалуйста, что еще надо?.. Нѣтъ, поработаютъ до обѣда, уйдутъ въ кабакъ, завтра совсѣмъ не пришли, а если станешь задерживать деньги дня по три, по четыре для нихъ-же пользы—ропотъ, требуютъ; отдашь—пропьютъ!..

Доля правды въ этихъ разсужденіяхъ есть несомнѣнная. Крестьянинъ, работающій дома, никогда не заработаетъ такихъ денегъ, хотя работаетъ цѣлый день. Учитель, нанятый обществомъ, получаетъ три рубля въ мѣсяцъ, съ обязательствомъ всю зиму учить человѣка двадцать маленькихъ дѣтей, которыя являются буквально до свѣту и, пообедавъ, опять сидятъ съ учителемъ часовъ до шести. Родители нарочно посылаютъ маленькихъ дѣтей въ школу, чтобы они не мѣшали дома, и одно ужъ пребываніе въ обществѣ этой шаловливой толпы втеченіе по крайней мѣрѣ 8 или 9 часовъ—дѣло весьма нелегкое; однако, повторяю, учитель

получаетъ три, много пять рублей въ мѣсяцъ, да и то родители обижаются, что «мало учить», рано домой отпускаетъ. Кромѣ этого жизнь учителя—скитальческая. Онъ живетъ въ деревнѣ на пастушьемъ положеніи, то есть ходить обѣдать и ночевать изъ двора во дворъ, и бываютъ частенько случаи, что иная чистоплотная баба выгонитъ изъ избы и учителя, и учениковъ, которые явились къ ней «по очереди»,—выгонитъ вонъ, прямо на морозъ. Сравнительно съ такимъ трудомъ и неудобствами, вознагражденіе учителя хуже, чѣмъ нищенское, такъ какъ всякій нищій, точно такъ-же какъ и учитель, найдетъ ночлегъ въ чужомъ домѣ, найдетъ и кусокъ хлѣба, но деньгами соберетъ гораздо болѣе того несчастнаго гривенника, который платятъ (и всегда съ задержками) учителю. Вознагражденіе, получаемое дроворубомъ или пресовщикомъ сѣна, и трудъ ихъ не могутъ идти ни въ какое сравненіе ни съ трудомъ, ни съ вознагражденіемъ учителя—такъ этотъ трудъ легокъ и такъ это вознагражденіе велико. Прессуютъ сѣно не менѣе четырехъ человѣкъ. Въ то время, когда одинъ кидаетъ его въ прессъ, а другой утаптываетъ ногами, двое другихъ курятъ цыгарки и разговариваютъ разговоры; а когда, въ свою очередь, они принимаются за работу, т. е. начинаютъ рычагами поднимать исподнюю доску пресса, первые двое принимаются за цыгарки. Кромѣ того работа приостанавливается, если пойдетъ снѣгъ, ударитъ сильный морозъ: пойдетъ кто-нибудь къ хозяину «увспроситься», работа стала. Мужикъ по нуждѣ продаетъ сажень дровъ за рубль, а распилить и расколотъ берутъ рубль двадцать. Кабаки и трактиры полны, и здѣсь идетъ питье пива, водки, даже коньяку и «портвину». Наряду съ тѣмъ почти всеобщимъ мнѣніемъ, что зарабатываемыя деньги идутъ почти цѣлкомъ въ трактиръ, вы услышите и сѣтованіе о томъ, что много народу, крестьянъ, бросаютъ пашню. «Балуются», хозяйствомъ не занимаются: «выпить теленка», продать за сорокъ цѣлковыхъ—и пошелъ кофею да чай распивать; а земля брошена, податей не платить. Вообще люди хозяйственные, строгіе, не пьюшіе, опредѣляютъ вамъ характерную черту современной деревенской жизни выраженіями: «ослабъ народъ», «распустился», и въ подтвержденіе этого скажутъ, что «противъ прежняго народу стало легче, денегъ ему приходится больше, но что такъ какъ нѣтъ строгости, то деньги идутъ пражомъ». Скажутъ, что «нашъ» (подстоличный) народъ могъ бы и подати заплатить, и жить хорошо, такъ какъ опять-таки средства для этого есть—сѣно, напримеръ, продаютъ въ Петербургѣ почти такъ-же дорого, какъ хлѣбъ, ленъ и т. д.,—но что онъ «избаловавши», «распустился», «ослабши». Да и помимо показаній этихъ свѣдущихъ деревенскихъ людей, сами вы, посторонній человѣкъ, видите, что непроизводительная трата денегъ среди крестьянства въ самомъ дѣлѣ велика. Въ огромномъ большинствѣ разстроившихся хозяевъ значительнѣйшая часть заработка идетъ не на хозяйство, а на трактиръ, на пустяки, картежную игру, мотовство.

И что удивительно, мотовство, разстройство *начинается* именно *отъ болѣе легкаго*, чѣмъ крестьянство, заработка; рассказъ Ивана, по прозванью Босыхъ, свидѣтельствуетъ о томъ, что онъ, Иванъ, началъ терять всякій смыслъ существованія по мѣрѣ того, какъ ему становилось «легче», по мѣрѣ того, какъ въ рукахъ его оказывались такіе деньги, какихъ прежде онъ и во снѣ не видалъ. Человѣкъ, изъ-за «разстройства» отправившійся на заработокъ и получившій хорошее мѣсто и деньги, какъ будто позабылъ, что съ ними надо дѣлать, начинаетъ швырять деньги, какъ щепки. Онъ говорить: «все—вода». Это непонятно; но еще менѣе понятно и слѣдующее обстоятельство.

Однажды, прочитавъ въ газетахъ о томъ, что какой-то пензенскій помѣщикъ «на свой страхъ» ввелъ въ сосѣдней деревнѣ общественную запашку, я не могъ не поговорить объ этомъ обстоятельствѣ съ кѣмъ-нибудь изъ знакомыхъ крестьянъ. Пришлось разговаривать съ Иваномъ, который былъ въ этотъ день трезвъ и первый попался мнѣ на глаза. Помѣщикъ завелъ общественную запашку съ тѣмъ, чтобы, облегчивъ процессъ труда крестьянамъ, приобрести съкономленное ими время въ собственное распоряженіе и нѣмѣть рабочихъ, которые-бы, какъ говорится, «не разрывались», одновременно работая по найму и на себя, но, отработавъ свою часть на общественной паши, были-бы совершенно свободны. Работы общественныя устроились посмѣнно: одни работаютъ на помѣщика, другіе—на паши. Всякая смѣна ждетъ своей очереди. Въ извѣстнѣ объ этомъ было прибавлено, что облегченіе и скорость труда до того пришлись крестьянамъ по вкусу, что тому-же способу обработкѣ общественныхъ полей послѣдовало въ тотъ же годъ болѣе двухсотъ окрестныхъ деревень.

Хоть я и давалъ себѣ зарокъ не говорить съ крестьянами объ ихъ крестьянскихъ распорядкахъ, такъ какъ въ большинствѣ случаевъ такіе разговоры совершенно безплодны и ни къ чему практически-путному не ведутъ, но на этотъ разъ примѣръ 200 деревень соблазнилъ меня. — «Какъ-бы хорошо было, сказалъ я, если-бы и у васъ завелись такіе порядки: всякій, даже самый послѣдній нищій, калѣка, который теперь побирается у васъ подъ окнами, тогда-бы могъ имѣть общественный хлѣбъ, такъ какъ непремѣнно могъ-бы что-нибудь дѣлать въ общей работѣ. Разсчитать все можно до ниточки. Вотъ этотъ солдатъ безногій теперь побирается, потому что у него нѣтъ ни кола, ни двора, ни земли, ни скотины, а тогда онъ могъ-бы, положимъ, стоять въ ригѣ и считать, сколько привезено сноповъ, или подъ уздцы лошадь водить за тебя, на примѣръ, Ивана, а ты, отработавъ свою часть, — положимъ, дня два, — паши. Былъ-бы свободенъ, работалъ-бы у помѣщика и деньги-бы чистыя пришли домой. А потомъ сколько тратится земли на эти межники, канавки? Толи дѣло по очереди вздирать землю сразу? Вѣдь косятъ-же какіе огромные луга и успѣваютъ скошать въ одинъ день, потому что принимаются сразу

всѣ, а тутъ на хлѣбъ каждый бьется одинъ цѣлые мѣсяцы безъ отдыха, отрывается на чужую работу, оставляя свою. Иной разъ хлѣбъ не выпѣиваетъ, потому что поздно посѣянъ. Почему-же, спрашивалъ я, сѣно можно косить всѣмъ міромъ и раздѣлить копны по-ровну и безъ обиды, а нельзя того-же дѣлать съ хлѣбомъ? А какое облегченіе! Теперь ты работаешь на своей десятинѣ одинъ, а тогда изъ ста душъ будутъ каждый день работать, положимъ, только десять человѣкъ и все-таки твоя десятина обрабатывается въ десять разъ скорѣе; такъ и у другихъ. Девяносто человѣкъ (по очереди) всегда свободны и могутъ дѣлать, что угодно. Наемная работа только выгода, потому что, работая по найму, ты ужъ знаешь, что хлѣбъ у тебя будетъ. Да и о бѣдныхъ и безсильныхъ надо подумать, а при такой работѣ можно». Тутъ для большей убѣдительности я припомнилъ Ивану про нѣкоего конокрада Ручкина. Ручкинъ былъ чистый злодѣй для множества деревень во множествѣ уѣздовъ. Онъ безжалостно разорялъ мужиковъ, угоня лошадей, и издѣвался, буквально тиранилъ и бралъ съ нихъ, что только хотѣлъ. Не разъ его сажали въ острогъ, отдавали подъ судъ. Но «неопытные» начальники, на которыхъ за это весьма рошпуть крестьяне, не зная дѣла, выпускали его, потому что злодѣй Ручкинъ на судѣ оказывался, по ихъ неопытности, бѣлѣй голубя. На примѣръ, лошадей онъ пряталъ обыкновенно въ лѣсу, а когда на судѣ его спрашивали, зачѣмъ онъ былъ въ лѣсу такого-то числа, то Ручкинъ отвѣчалъ: «За грибами». — «А лошадь какъ очутилась въ твоихъ рукахъ?» — «Да я вижу, чья-то лошадь бродитъ, дай, думаю, привяжу и спрошу потомъ мужичковъ, чья такая. Поди, иной бѣдный смучается искамши». «А деньги ты бралъ за лошадь?» — «Ваше благородіе, вѣдь мнѣ пить-ѣсть надо!.. Ну, а кабы пропала лошадь-то, кабы медвѣдь съѣлъ, неужто лучше было-бы? И неужто онъ разорится, ежели что дастъ мнѣ на бѣдность?...» Послѣ такихъ рѣчей Ручкина освобождали и водворяли на мѣсто жительства. Здѣсь, «съ сердцовъ» на односельчанъ, онъ принимался свирѣпствовать еще безпоощаднѣе. А между тѣмъ свирѣпствовалъ онъ истинно по нуждѣ: Ручкинымъ прозывали его потому, что у него *не было одной руки*... Долгое время я слышалъ: «Ручкина убить, утопить мало»; «злодѣй, аспидъ» и т. д. И только случайно узнавъ, что «Ручкинъ» не фамилія его, а прозвище, я спросилъ: «Почему его такъ называютъ?» — «Да руки у него правой нѣтъ, у мошенника, одной лѣвой злодѣйствуетъ» — отвѣчали мнѣ. Конечно, Ручкинъ могъ-бы просто и смиренно нищенствовать, но не всякому это по характеру, и Ручкинъ изъ-за калѣчества предпочелъ злодѣйствовать. Возвратившись два раза изъ острога, онъ сталъ рѣшительно всѣмъ страшенъ. Начальство сельское его трепетало. Встрѣтившись какъ-то въ полѣ безъ свидѣтелей со старшиной, онъ спросилъ его: «Что, Петръ Семеновичъ, много-ли сѣна накопиль?» — «Да пудовъ тысячи полторы. Тебѣ-то зачѣмъ знать?» — «Да хотѣлъ я у тебя деньжонокъ по-

требовать...» — «За что такое денежников?» — «Да... да вѣдь это я прошлый годъ у Козьявкина сѣно-то сжогъ...» И больше ничего Ручкинъ не прибавилъ, только засмѣялся «какъ чортъ». Старшина вынулъ пять рублей и далъ. Жаловаться нельзя — нѣтъ свидѣтелей, да и судьи боится Ручкина; а не дать нельзя — сожжетъ. По мнѣнію обывателей, остается одно — убить его тихимъ манеромъ, какъ собаку. Лодочникъ-перевозчикъ объявилъ, что онъ его утопитъ, и кажется, что всѣ ожидали этого не съ сожалѣніемъ.

Такъ вотъ объ этомъ-то Ручкинъ я и завелъ рѣчь въ подтвержденіе тѣхъ безчисленныхъ выгодъ, которыя могутъ произойти изъ общественной работы. «Ручкинъ этотъ, говорилъ я, сдѣлался не вдругъ злодѣемъ, онъ долженъ былъ какъ-нибудь существовать безъ руки, а нищенствовать не хотѣлъ. При теперешнихъ вашихъ трудахъ вамъ впору только справиться съ своими нуждами, а тогда вы можете и о другихъ подумать. Даже даромъ могли-бы тогда кормить Ручкина. Да и надобности нѣтъ даромъ-то кормить: Ручкинъ и съ одною рукой можетъ помочь въ работѣ. Тебѣ, напримѣръ, некогда снопы возить — Ручкинъ пойдетъ. Лошадь твоя, а трудъ — его. Все это вѣдь разсчитать можно»...

На этомъ Иванъ прервалъ меня. До этой минуты онъ меня слушалъ и, какъ мнѣ казалось, вниманіе его усиливалось, такъ какъ я постарался всевозможными доводами и сравненіями показать ту огромную разницу въ удобствахъ жизни, которая произойдетъ въ случаѣ перемѣны теперешняго хозяйства на то будущее, о которомъ шла рѣчь. Но при моихъ словахъ: «лошадь твоя, а трудъ его» — молчаливо и неподвижно внимавшій мнѣ Иванъ точно проснулся и проговорилъ:

— Н-ну нѣтъ... Хорошій хозяинъ не доверитъ своей лошади чужому...

И, энергически тряхнувъ головой, прибавилъ не менѣе энергически:

— Чтобъ я доверилъ напримѣръ свою скотину чужому человѣку? Самъ-бы ушелъ, а мою скотину? Да позвольте вамъ сказать...

И мгновенно какое-то необычайное оживленіе охватило его. Какая-то масса соображеній, задѣвавшихъ его «за живое», вдругъ овладѣла имъ, и онъ, сверкая глазами, заговорилъ:

— Отдай я чужому свою скотину? Помилюйте! Да позвольте сказать, вы вотъ говорите: дѣлить хлѣбъ... Хлѣбъ въ нашихъ мѣстахъ безъ назему не родится... Позвольте узнать, какъ-же по вашему плану будетъ съ навозомъ?

— Будутъ возить, какъ и теперь. Вѣдь теперь покупаютъ наземъ?

— Это вѣрно. Что такъ, то такъ... Но позвольте сказать...

— Ну, и тогда такъ-же разсчитать. Теперь возъ — тридцать копѣекъ, и тогда — по возамъ, а вмѣсто денегъ — хлѣбъ. Вы пахали, возили навозъ — вамъ и за пашню, и за навозъ.

— Да не про то я говорю, это дѣйствительно учестъ можно; а какъ уронять наземъ — вотъ

о чемъ мои слова! Теперь я везу наземъ конинный, а другой какой-нибудь плетется съ коровьимъ — какое же можетъ быть тутъ равновѣсіе?

Я не зналъ, что сказать, потому что никогда не предвидѣлъ такой тонкости.

— А другой — все болѣе и болѣе входя въ интересъ предмета, горячился Иванъ, — а другой объявляется съ свинымъ — тутъ какъ сыскать правду?

— Да не все-ли это равно?

— Все равно-съ? — Ну, это ужъ извините! Конинный или коровій, или возьмемъ птичій или-же свиный — тутъ, окончательно сказать, небо и земля, а не все равно... Коровій наземъ даетъ хлѣбъ метелкой, онъ топорщится и зерно у него легкое. Птичій... Да за что-же я, позвольте васъ спросить, имѣя въ своемъ хозяйствѣ напримѣръ конинный или гусинный, напримѣръ, самолучшихъ сортовъ — за что-же я долженъ, что онъ тамъ, мошенникъ, воруетъ лошадей и ему Сибири, казальѣ, мало — за что я, коль скоро у меня въ хозяйствѣ все какъ слѣдуетъ, долженъ хлѣбъ получать съ мусоромъ?

— Да вѣдь много-ли тутъ разницы?

— Да позвольте!... Лошадь я отдай, хлѣбъ мнѣ съ помѣсью — за что?

— За то всѣмъ лучше.

— Да лучше я ему и другую руку переломлю, чтобъ онъ не воровалъ; а то, помилюте, все у меня въ хозяйствѣ припасено, а тутъ мнѣ съ свиного, да съ коровьяго... Да тыфу! За что? За что я долженъ пострадать... черезъ подлецовъ или какъ прочихъ негодяевъ?.. Нѣтъ, не выйдетъ этого... Да нѣтъ, нѣтъ! Это и думать даже... Помилюте, лошадь... да какъ-же можно, чтобъ я, хозяинъ, доверилъ кому-нибудь? Навалатъ мнѣ на пашню невѣдомо чего, а я при своемъ при полномъ... Нѣтъ, не выйдетъ!... тутъ съ однимъ наземомъ грѣха не живешь... Или взять такъ: я привезъ конинный, а сосѣдъ куриный... Ну, возможно-ли ему — сами вы подумайте, возможно-ли ему — дать согласіе, что хотя-бы даже и съ конинаго получить? Вѣдь куриный, птичій, все одно червонецъ... За что-же онъ долженъ?.. Да нѣтъ, нѣтъ! Тутъ никакихъ способностей нѣтъ... Какъ можно! Какой-же я буду хозяинъ?

Милліоны самыхъ тончайшихъ хозяйственныхъ ничтожностей, ни для кого, какъ мнѣ казалось, не имѣвшихъ рѣшительно ни малѣйшаго значенія, не оставлявшихъ, какъ мнѣ казалось, даже возможности допустить къ себѣ какое-либо вниманіе, вдругъ выросли неодолимою преградой на пути ко всеобщему благополучію... Горячность, даже азартъ, какой овладѣвалъ Иваномъ во время этого монолога, доказывали, что эти ничтожности задѣвали его за живое, т. е. за самое чувствительное мѣсто его личныхъ интересовъ. Слушая его, я не возражалъ, но только дивился: человѣкъ, который при «хорошей жизни», «на волѣ», «на свободѣ», не жалѣетъ денегъ на пьянство, не находитъ возможности чѣмъ-нибудь наполнить свое существованіе кромѣ распутства, — человѣкъ, который «швы-

ряетъ», какъ баринъ, деньги, когда ему легко жить—вдругъ, какъ скупецъ, дрожитъ надъ какии-то куринымъ наземомъ, не соглашается уступить зерна, ежели оно возросло на ненадлежащемъ удобреніи... Человѣку *легко*—онъ «ослабъ», пропадаетъ и пропивается; человѣкъ отказывается отъ *облегченія* въ трудѣ, и во имя чего-же? Во имя какии-то ничтожнѣйшихъ мелочей!.. Онъ радъ, когда начальникъ дистанціи далъ ему по шеѣ и изъ легкой жизни опять ввергнулъ въ трудную. Въ чемъ-же тутъ тайна?

IV. Власть земли.

А тайна эта, по-истинѣ, огромная и, думаю я, заключается въ томъ, что огромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ и терпѣлива, и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою, мужественно-сильна и дѣтски кротка,—словомъ, народъ, который держитъ на своихъ плечахъ всѣхъ и вся,—народъ, который мы любимъ, къ которому идемъ за исцѣленіемъ душевныхъ мукъ,—до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ нимъ царитъ *власть земли*, покуда въ самомъ корнѣ его существованія лежитъ *невозможность* послушанія ея *повелѣній*, покуда они властвуютъ надъ его умомъ, совѣстью, покуда они наполняютъ все его существованіе. У актера, который играетъ Мефистофеля или Демона, до тѣхъ поръ лицо будетъ казаться огненнымъ, покуда оно будетъ освѣщено огненнымъ свѣтомъ; нашъ народъ до тѣхъ поръ *будетъ* казаться такимъ, каковъ онъ есть, до тѣхъ поръ будетъ обладать тѣми драгоценными качествами ума и сердца,—словомъ, до тѣхъ поръ будетъ имѣть тотъ типъ и даже видъ, какой имѣетъ, пока онъ весь, съ головы до ногъ и снаружи до самаго нутра проникнутъ и освѣщенъ тепломъ и свѣтомъ, вѣющими на него отъ матери сырой земли. Погасите красный фонарь—и лицо Демона перестало быть краснымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ заботъ, которыя она налагаетъ на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми она волнуетъ крестьянина,—добейтесь, чтобъ онъ забылъ «крестьянство»,—и нѣтъ этого народа, нѣтъ народнаго міросозерцанія, нѣтъ тепла, которое идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ пустого человѣческаго организма. Настаетъ душевная пустота, «полная воля», т. е. невѣдомая пустая даль, безграничная пустая ширь, страшное «иди», куда хощь»...

Я чувствую, до какой степени топорно и грубо высказано мною то, что я хотѣлъ сказать, но явленія народной жизни, въ которыхъ власть земли надъ человѣкомъ имѣетъ первенствующее значеніе, до такой степени многочисленны и важны и вѣстѣ съ тѣмъ выражаются въ такой массѣ ничтожнѣйшихъ повидному мелочей, что въ нихъ немудрено запутаться и затемнить основную мысль, которую мнѣ бы хотѣлось высказать. Вотъ почему мнѣ и думается, что, быть-можетъ, и слѣдовало

даже опредѣлить эту мысль грубыми и рѣзкими чертами.

Земля, о неограниченной, могущественной власти которой надъ народомъ идетъ рѣчь, есть некая-нибудь аллегорическая или отвлеченная, индифферентная земля, а именно та самая земля, которую вы принесли съ улицы на своихъ калошахъ въ видѣ грязи,—та самая, которая лежитъ въ горшкахъ вашихъ цвѣтновъ, черная, сырая,—словомъ, земля самая обыкновенная, натуральная земля. Могущество этой персти, «праха», съ глубочайшею силой и простотой указано еще въ стариннѣйшей былинѣ о Святогорѣ-богатырѣ. Въ сущности, это даже и не былина, а загадка, но загадка, въ которой таятся вся сущность народной жизни. Все содержаніе этой коротенькой былины состоитъ въ слѣдующемъ: Святогоръ-богатырь выѣхалъ во чисто поле гулять. Выѣхалъ онъ просто такъ, безъ всякой задней мысли (обыкновенно богатыри выѣзжаютъ собирать дань, выходы), выѣхалъ прогуляться, поразмять кости, силой съ кѣмъ нибудь помѣриться.

«По моей ли да по силѣ богатырской

Кабъ державу мнѣ найти, всю землю подиалъ бы

Никакой однако подходящей, къ сожалѣнію богатыря, державы на пути не встрѣтилось. а встрѣтился ему «прохожій» мужичекъ съ сумочкой за плечами. «Ѣдетъ Святогоръ рысью, а прохожій все идетъ передомъ. Во всю прыть не можетъ онъ (Святогоръ) догнать прохожаго. Закричалъ тутъ Святогоръ, да громкимъ голосомъ: «Гой, прохожій человѣкъ! подожди немножечко — не могу догнать тебя я на добромъ конѣ».

Прохожій послушался Святогора, остановился, снялъ изъ-за плечъ сумочку и сложилъ ее на землю. «Наѣзжаетъ Святогоръ на эту сумочку; своей плеточкой онъ сумочку пощупывалъ: какъ урослая, та сумочка не тронется. Святогоръ перстомъ съ ее коня потрогивалъ; не сворохнется та сумка, не шевельнется. Святогоръ съ коня хваталъ ее рукой, потягивалъ: какъ урослая та сумка не поднимается. Слѣзъ съ коня тутъ Святогоръ, взялся онъ за сумочку; онъ приладили, взялся руками обѣими, во всю силу богатырскую натужился, отъ натуги по бѣлу-лицу ала кровь пошла, а поднялъ суму отъ земли только на волосъ, по колѣна-жъ самъ онъ въ мать сыру-землю угрызъ. Взаговорилъ-ли Святогоръ тутъ громкимъ голосомъ: «Ты скажи-же мнѣ, прохожій, правду-истину, а и что, скажи ты, въ сумочкѣ накладено?» Взаговорилъ ему прохожій да на тѣ слова:

«— Тяга въ сумочкѣ отъ матери сырой земли.

«— А ты самъ кто есть? Какъ звать тебя по имени?

«— Я Микула есть, мужикъ, я Селянниковичъ. я Микула—«меня любитъ мать сыра земля»».

Вотъ и вся былина-загадка, и опять, какъ видите, слову «земля» нельзя придать никакого значенія, кромѣ буквального. «Тяга» въ этой самой натуральной землѣ, — той самой, которая у васъ

въ цвѣточныхъ горшкахъ — оказывается столь огромной, что съ ней не въ силахъ совладать богатырь, которому ничего не стоитъ разнести въ пухъ и прахъ, отъ нечего дѣлать, цѣлую «державу». Этотъ богатырь, ухватившись «обѣими руками», изъ всѣхъ силъ натужившись, едва-едва могъ только на волосъ поднять мужицкую сумочку, — ту пошу, которую народъ носитъ за плечами, и такъ легко, что богатырю не догнать его на добромъ конѣ.

Читая эту былинну, нѣкоторое время неудовольствашь, почему и зачѣмъ невѣдомый авторъ ея, цѣль котораго была показать «тягу земли», представляетъ богатыря догонять прокожого пѣшехода. Но, вчитавшись въ былинну, видишь, что все въ ней глубоко обдуманно, все имѣетъ огромное значеніе въ пониманіи сущности народной жизни: тяга и власть земли огромны — до того огромны, что у богатыря кровь алая выступила на лицѣ, когда онъ попытался поколебать ихъ на волосъ, а между тѣмъ эту тягу и власть народъ несетъ легко, какъ пустую сумочку. Все это такъ именно есть и до сего дня!

Сначала скажемъ о тяготѣ и власти. Вотъ сейчасъ изъ моего окна я вижу: плохо прикрытая снѣгомъ земля, тоненькая въ вершокъ зеленая травка, а отъ этой тоненькой травинки въ полной зависимости человекъ, огромный мужикъ съ бородой, съ могучими руками и быстрыми ногами. Травинка можетъ вырасти, можетъ и пропасть, земля можетъ быть матерью и злой мачихой, — что будетъ, неизвѣстно рѣшительно никому. Будетъ такъ, какъ захочетъ земля; будетъ такъ, какъ сдѣлаетъ земля и какъ она будетъ въ состояніи сдѣлать... И вотъ человекъ въ полной власти у этой тоненькой травинки. Вѣдь она только черезъ годъ, почти день въ день, принесетъ на мужицкій столъ ломоть хлѣба, но можетъ и не принести — она сама во власти каждой тучки, каждого вѣтерка, каждого солнечнаго луча... Сколько переменъ, неожиданностей, случайностей и огромныхъ послѣдствій, сопутствующихъ этимъ неожиданностямъ! Для этой травинки, для того, чтобъ она могла питать, нужна масса приспособленій, масса труда, масса внимательности во взаимныхъ человѣческихъ отношеніяхъ. Нужна работающая жена, которая могла бы участвовать въ этой массѣ труда, нужна скотина, уходъ за скотиной, нужны орудія и т. д., а все это для этой травинки.

Представьте себѣ, что выйдетъ, если мы, оцѣнивъ результаты въ деньгахъ, дадимъ этихъ денегъ любому крестьянскому двору втрое больше, чѣмъ онъ зарабатываетъ втеченіе года, — что выйдетъ? Образуется не семья трудящихся, занятыхъ людей, а толпа ртовъ, у которыхъ вся жизнь — сплошная пустота, что мы и видимъ въ семьяхъ, гдѣ живутъ, какъ говорится, «на готовые деньги»; тогда какъ властвующая надъ нимъ земля и трудъ, къ которому она обязываетъ, наполняютъ все его существованіе, объясняютъ ему необходимость и надобность каждого шага, каждого

поступка, каждого помысленія. Жена крестьянина, которая въ крестьянствѣ неопредѣленна, при готовыхъ деньгахъ, при отсутствіи крестьянскаго земледѣльческаго труда, теряетъ вдругъ всѣ свои достоинства; она оказывается просто душой, дубиной, деревомъ, которое будетъ мѣшать вездѣ, куда только ни сунется. Вотъ почему такъ противны тѣ изъ крестьянъ, которые вылезли къ деньгамъ, отдѣлились отъ труда, живутъ на готовое: скучнѣе, пошлѣе этой жизни трудно себѣ представить. Что за глупые разговоры о людяхъ съ песьими головами, о Махмудѣ персидскомъ или, какъ теперь, о «паньѣ» и «портвинѣ». Кто не знаетъ наконецъ, сколько глупаго «форцу» вносятъ крестьянинъ, пожившій въ трактирѣ, въ лакеяхъ и т. д. А вѣдь онъ пьетъ, ѣстъ готовое, спитъ въ теплѣ и деньги получаетъ; у него «часы анкерные»; но кто не испытывалъ къ этимъ типамъ самаго полнаго отвращенія? И этотъ же пустомеля и остолопъ тотчасъ начинаетъ возвращаться къ образу и подобию человѣческому, какъ только возвращается къ труду земледѣльческому, т. е. когда *тернетъ необходимость* выдумывать свои интересы, наполнять себя нравственно чѣмъ попало, и когда власть земли и трудъ, къ которому она обязываетъ, наполняютъ все его существованіе содержаніемъ не выдуманнымъ, безъ его усилій, безъ его желаній, наполняютъ своею властью безъ его участія и воли.

Такимъ образомъ у земледѣльца нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣтъ мысли, которые бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у этой травинки зелененькой. Ему до такой степени невозможно оторваться куда-нибудь на сторону изъ-подъ ига этой власти, что когда ему говорятъ: «Чего ты хочешь тюрьмы, или розогъ?», то онъ всегда предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ перенести физическую муку, чтобы только сейчасъ же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля, не дожидается: нужно косить — сѣно нужно для скотины, скотина нужна для земли. И вотъ въ это-то ежеминутной зависимости, въ этой-то массѣ тяготы, подъ которой человекъ самъ по себѣ не можетъ и шевелиться, тутъ-то и лежитъ та необыкновенная *легкость* существованія, благодаря которой мужикъ Селяниновичъ могъ сказать: «меня *любитъ* мать сыра земля».

И точно любитъ: она забрала его въ руки безъ остатка, всего цѣлкомъ, но зато онъ и не *отвѣчаетъ* ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ онъ дѣлаетъ такъ, какъ *велитъ* его хозяинъ-земля, онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человека, который увелъ у него лошада, — и невиновенъ, потому что безъ лошади нельзя приступить къ землѣ; у него перемерли всѣ дѣти — онъ опять не виноватъ: не родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ вогналъ вотъ эту свою жену — и невиновенъ: дура, не понимаетъ въ хозяйствѣ, дѣлала, черезъ нее стало дѣло, стала работа. А хозяинъ-земля требуетъ этой работы, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ того, что велитъ ему земля, онъ ни въ чемъ невиновенъ; а главное

какое счастье не выдумывать себѣ жизни, не разыскивать интересовъ и ощущений, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—*долженъ* сидѣть дома, ведро—*долженъ* идти косить, жать и т. д. Ни за что не *отвѣчая*, ничего самъ не *придумывая*, человекъ живетъ только *слушаясь*, и это ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращенное въ ежеминутный трудъ, и образуетъ жизнь, не нѣбующую повидимому никакого результата (что выработаютъ, то и съѣдятъ), но нѣбующую результатъ именно въ самой себѣ.

Для чего растеть вотъ этотъ дубъ? Какая ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли соки? Что ему за интересъ каждый годъ покрываться листьями, потомъ терять ихъ и въ концѣ-концовъ кормить желудками свиней?—Вся польза и интересъ жизни этого дуба именно въ томъ и заключается, что онъ *просто растеть*, просто зеленѣетъ, такъ, самъ не зная зачѣмъ. То же самое и жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ—это и есть жизнь и интересъ жизни, а результатъ—нуль.

Вамъ напримѣръ, петербургскому интеллигентному чиновнику, жизнь не такъ легка: вы работаете въ министерствѣ до пяти часовъ пооденьщину, чтобы выработать *средства къ жизни*, вы дѣлаете *ненужную* вамъ работу; что такое для васъ лично горе вдовы кабатчика, Евдокии Миломордовой, которая пятый годъ со слезами умоляетъ защитить ее отъ опекуна, который при раздѣлѣ дома завладѣлъ четырьмя окнами, а ей далъ три, тогда какъ ей слѣдовало еще полъ-окна—что вамъ до этого? А вы должны сидѣть, класть резолюціи, усовершенствовать опекуна на основаніи статей закона, грозить ему. Вы дѣлаете это изъ за средствъ къ жизни, а для вашей личной жизни все это не нужно совершенно. Жизнь для васъ — особъ-статья: Сарра Бернаръ, Зембрихъ, почести, политика, т. е. нѣчто совсѣмъ особое отъ вашего труда. Дѣтей, напримѣръ, вы должны воспитывать (чтобы не испортить) вдали отъ знакомства съ вашими служебными и общественными интересами. Вы трудитесь, надѣясь на какой-то результатъ. Словомъ, ваша жизнь разбилась на полосы, въ которыхъ нѣтъ связи. Вы въ департаментѣ совсѣмъ другой, чѣмъ дома или въ театрѣ. А крестьянинъ — земледѣлецъ вездѣ одинъ и тотъ-же: онъ трудится и живетъ интересами этого-же труда, и въ этихъ-же интересахъ *самъ собой*, безъ учителя, воспитывается и его ребенокъ. Результатъ вашей жизни, положимъ, хоть плотная банковая книжка; банковая книжка пахаря тутъ-же всегда съ нимъ — въ его радости, что ведро, что «овсы» взялись шибко и т. д. Вамъ нуженъ кабинетъ—*для себя*, салонъ — для общества, классная — для дѣтей. И вездѣ все разное и думается, и говорится, и дѣлается; для пахаря-мужика нужна одна изба, потому что всѣ живутъ однимъ — землей, у всѣхъ одинъ трудъ — земледѣльческій, всѣ говорятъ и дѣлаютъ одно — то, что повелитъ мать-сыра земля!

Недавно пришлось мнѣ разговаривать съ од-
соч. гл. успенскаго. т. II.

нимъ старымъ-престарымъ крестьяниномъ, который выросли и пристроили всѣхъ дѣтей, похоронили жену, сдалъ землю въ общество, такъ какъ силъ работать у него уже нѣтъ, и пошелъ странствовать по святымъ мѣстамъ. И о чемъ-же вспоминаетъ этотъ старикъ, стоящій на краю гроба? Что-бы ему вспомнить двѣнадцатый годъ, осаду Севастополя или какое-либо иное знаменательное событіе, свидѣтелемъ котораго онъ былъ?—Нѣтъ, онъ вспоминаетъ только землю.

— Жалко было бросать-то? спросилъ я.

— Вотъ какъ жалко, сказать не могу... И-и, матушка родная!..

И буквально съ плачущими нотами въ голосѣ продолжалъ:

— По де-вя-но-сто мѣръ хлѣба съ-я-алъ!.. Ов-весь у меня крестецкій, тя-а-желый-претяжелый... Бывало, до свѣту примутся мои бабы жать, что огнемъ палать ..

«Девяносто мѣръ» — это такая должно-быть была прелесть, такой просторъ наслажденію!.. Сарра Бернаръ, когда будетъ старой старушкой, вѣроятно съ такимъ же умиленіемъ будетъ вспоминать восторги, которые она вызывала въ массахъ зрителей, какое испытывалъ этотъ старикъ, вспоминая время, когда онъ съѣлъ де-вя-но-сто мѣръ, вспоминая крестецкій овесъ и «своихъ бабъ», которыя такъ были «завистливы» на работу, что принимались за жнитво до свѣту.

Когда между мною и старикомъ шелъ разговоръ (мы сидѣли на улицѣ, дѣло было въ концѣ лѣта), вдругъ вдали на деревнѣ грянулъ звонкій дѣвичій хоръ; старикъ поднялъ голову и, слушая пѣсню, сказалъ:

— Ишь, горло-то дерутъ! Урожай нонѣ... Вотъ послалъ...

Хоръ зазвенѣлъ еще звончѣй и громче.

— Картофь, должно, Господь уродилъ нонѣ — прибавилъ старикъ въ объясненіе слишкомъ звонкаго пѣнія.

V. Народная интеллигенція.

И опять я знаю, что сказанное мною сказано грубо и топорно, но опять-таки повторяю, чтобы хоть какъ-нибудь разобраться въ томъ запутанномъ нравственномъ состояніи, которое переживаетъ народъ и которое таитъ въ себѣ огромныя несчастія, необходимы грубые, топорныя черты, чтобы рѣзче разграничить необходимое для народа отъ гибельнаго. Итакъ, приводя въ порядокъ все до сихъ поръ сказанное, я думаю, что мало ошибусь, если скажу, что двухсотлѣтняя татарщина и трехсотлѣтнее крѣпостничество могли быть перенесены народомъ только благодаря тому, что и въ татарщинѣ, и въ крѣпостничествѣ онъ могъ сохранить неприкосновеннымъ свой земледѣльческій типъ (онъ *измурялся физически* на барской работѣ, но дѣлалъ ту же работу, что и для себя). цѣльность своего земледѣльческаго быта и, главное, *земледѣльческаго міросозерцанія*. Не

нагайки, не плети, не дранье на конюшнѣ, не становые или урядники, ни тѣмъ паче пятнадцать томовъ законовъ съ двадцатью томами примѣчаний — держали его въ повиновеніи, развили въ немъ строгую семейную и общественную дисциплину, сохранили его отъ тлетворныхъ лжеученій, а деспотическая власть «любящей» мужа матери-земли, обязывавшая его тяжкимъ трудомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ облегчавшая этотъ трудъ, дѣлая его интересомъ всей жизни, давая возможность *св. немъ-же* находить *полное* нравственное удовлетвореніе. Кромѣ этого, едва-ли я ошибусь много, если скажу, что и *община* наша только потому, какъ говорится, устояла и только до тѣхъ поръ, прибавимъ мы, устоять, покуда членовъ ея соединяетъ *однородность* земледѣльческаго труда, *однородность* надеждъ, плановъ, волненій, заботъ, *однородность* семейныхъ и общественныхъ обязанностей.

Я вовсе не хочу сказать, что *однородность* эта обязательна была и есть для характеровъ, дарованій, умовъ, нервовъ. Напротивъ, надъ однородностью труда и вытекающаго изъ него міросозерцанія — умъ, талантъ, сила, дарованіе имѣли полный просторъ, но проявлялись-то они *св. одному* и томъ же дѣлѣ, хотя и различно. Эту одинаковость и однородность труда, не мѣшающую проявленію дарованій, надо принимать въ расчетъ и при оцѣнкѣ нравственной силы нашихъ артелей: у насъ если пойдутъ рисовать подносы съ огнедышащею горой, такъ съ того мѣста, гдѣ нарисовать первый подносъ, и пойдетъ по линіи нерствъ на четыреста — всѣ деревни и всѣ люди въ деревняхъ примутся малевать тотъ же подносъ съ огнедышащею горой. Тутъ дѣло въ томъ, что всѣ хотятъ равняться только въ средствахъ труда: у всѣхъ одна и та же краска, одно и то же желѣзо, одинъ и тотъ же рисунокъ; на этой одинаковости и конецъ равенію. Дальше этой одинаковости идетъ талантъ, физическія преимущества, умъ, проворство, случаи: раньше всталъ, прежде другихъ вышелъ на базаръ, купецъ-покупщикъ попалъ добрый. Едва ли не преувеличено мнѣніе нѣкоторыхъ изслѣдователей общины относительно разнорѣзъ той опеки, которую община накладываетъ на своихъ членовъ почти въ каждомъ поступкѣ. Не знаю. Искать я этой опеки и нашелъ, что дѣйствительно иногда общины запрещаютъ своимъ членамъ продавать «навозъ на сторону», а другихъ опека что-то не видно. Сироту беретъ не община, а кто-нибудь изъ нея, добрый человекъ — беретъ самъ, безъ помощи и приказанія или совѣта міра. Навозъ дѣйствительно нуженъ въ хозяйствѣ. Такія слишкомъ ужъ одинаковыя во всѣхъ отношеніяхъ общины не существуютъ даже въ животномъ царствѣ; даже у стерлядей, по свидѣтельству рыболововъ, существуютъ «десятники», которые посылаются стерлядинымъ обществомъ искать мѣста для метанія икры. Волжская рыба сазанъ, тоже живущая своими сельскими обществами, имѣетъ и выборныхъ, и ходоковъ, и депутатовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества» и, подходя къ

заколу, который ставятъ рыбаки поперекъ рѣкъ, начинаютъ пробовать крѣпость его носомъ, потомъ налегаютъ бокомъ, потомъ пробуютъ перепрыгнуть: когда все это не удастся, то депутаты возвращаются и докладываютъ обществу; мірской сазанъ сходитъ рѣшаешь «взять» заколъ всѣмъ міромъ и, точно, все стадо съ страшною стремительностью бросается на заколъ и ударяетъ въ него всѣмъ своимъ коллективнымъ рыломъ. Многие погибаютъ на смерть, а другіе проскальзываютъ въ брешь и спасаются.

Не говоря уже о томъ, что нѣкоторые изъ мірскихъ поступковъ нашей деревни, въ виду вышеприведенныхъ примѣровъ (которыхъ можно-бы привести множество), теряютъ нѣкоторую долю своего значенія, эти примѣры, взятые изъ рыбаго быта, говорятъ, что даже и въ этомъ быту нѣтъ сплошного во всемъ равенства и одинаковости, тѣмъ паче нѣтъ и никогда не бывало его въ общинѣ крестьянской, человѣческой. Но опять-таки *земледѣльческій трудъ*, жизнь въ *земледѣльческихъ* условіяхъ и, главное, *земледѣльческое міросозерцаніе* смягчали эти рѣзкости всевозможныхъ неравенствъ просто потому, что дѣлали ихъ всѣмъ понятными. Возьмемъ вопросъ самаго жгучаго неравенства — богатство и бѣдность. Богачи всегда бывали въ деревнѣ; но я спрашиваю, чѣмъ и какими образомъ могъ разбогатѣть крестьянинъ-земледѣлецъ и какъ и отчего могъ обѣднѣть? — Только землей, только отъ земли. *Онъ не виноватъ*, что у него *уродило*, а у сосѣда нѣтъ; *не виноватъ* онъ, что онъ силенъ, что онъ уменъ, что его семья подобралась молодецъ къ молодцу. что бабы его встаютъ до свѣту и т. д. Тутъ — счастье, талантъ, удача; но счастье, талантъ, удача — *земледѣльческіе*, точно такъ-же какъ у сосѣда земледѣльческая неудача, отсутствіе силы въ земледѣліи, отсутствіе согласія семьи, нужной для земледѣлія. Тутъ *понятно* богатство, *понятна* бѣдность, тутъ никто ни передъ кѣмъ не виноватъ. Это не то, что теперь, когда Иванъ Босыхъ, силачъ и весь созданный для земледѣлія, нищенствуетъ, а мужиченко, котораго перешибить можно плевкомъ, богатъ безъ земли и безъ труда, на который онъ неспособенъ. Такое богатство, которое у всѣхъ на виду, которое всѣмъ понятно, — извинительно и ему можно покоряться безъ злобы. Чѣмъ виноватъ этотъ богачъ-земледѣлецъ, у котораго земля уродила потому, что на нее *пала дождь*, а на мою не палъ, и я обѣднялъ? Завтра на мое счастье ударитъ *грибной дождь*, высыпуть въ лѣсу масса грибовъ, и я не полѣнюсь встать до свѣта и собрать ихъ, пока другіе спятъ. На мое счастье попадутся бѣлые грибы, а въѣды они — рубль двадцать фунтъ; это счастье можетъ посѣтить и меня, какъ посѣтило сосѣда. Точно также я *не могу* роптать и на то, что сосѣдъ умнѣй, проворнѣй, сильнѣй, дальновиднѣй. Онъ и я — мы дѣлаемъ *одно* и то же дѣло, только по-разному, по-своему, какъ кто можетъ и какое кому счастье. Это взгляды, которому учать также земля и неразрывная съ нею невозможность со-

протівляться велѣніямъ природы, съ которою человекъ неразрывенъ, имѣя дѣло съ землей и живы земледѣльческимъ трудомъ. Но тотъ-же самый человекъ, который безъ зависти и злобы переноситъ богатство, понятное ему и объяснимое съ точки зрѣнія условій собственной жизни и міросозерцанія, ожесточится и со злобою будетъ взирать на такое богатство своего сосѣда, которое онъ, во-первыхъ, *не можетъ понять* и которое, во-вторыхъ, вырастаетъ вопреки всему его міросозерцанію, безъ труда, безъ дарованія, безъ счастья, безъ ума.

Вотъ это-то и есть язва теперешней деревенской жизни, но о ней мы будемъ говорить самымъ подробнымъ образомъ во второй половинѣ этихъ замѣтокъ; тамъ-же, и съ возможно большею обстоятельностью, мы остановимся и на другой, также важнѣйшей чертѣ народной жизни, о которой въ настоящемъ отрывкѣ не сказано ни слова почти умышленно — не сказано для того, чтобы по возможности ярче выставить самое основаніе народного міросозерцанія и власть, которую играетъ въ немъ земля. Это другое, важное въ народной жизни, есть *народная интеллигенція, всегда, во все время существовавшая въ народѣ, но теперь незамѣтная*.

Принимая отъ земли, отъ природы указанія для своей нравственности, человекъ, т. е. крестьянинъ-земледѣлецъ, вносилъ волей-неволей въ людскую жизнь слишкомъ много тенденцій дремучаго лѣса, слишкомъ много наивнаго лѣсного звѣрства, слишкомъ много наивной волчьей жадности. Мужикъ, который убилъ жену, потому что она «мѣшаетъ» въ хозяйствѣ, слаба, не работающа, лѣнива и, можетъ быть, зла—согласно лѣсной морали, былъ правъ и, согласно ей, *не чувствовалъ* себя виновнымъ; но чѣмъ же виновата убитая, что она слаба, больна, нравственно несчастна и т. д.? Вотъ эту, не зоологическую, не лѣсную, а божескую правду и вносила въ народную среду *народная интеллигенція*. Она поднимала слабого, безпомощно брошеннаго безсердечною природою на произволъ судьбы; она помогала, и всегда *дѣломъ*, противъ слишкомъ жестокаго напора зоологической правды; она не давала этой правдѣ слишкомъ много простора, полагала ей предѣлы. Интеллигенція эта ни капли не похожа ни на графа Судакъ-Огратанова 12-го, который «съ сотнею» казаковъ разбилъ многочисленнаго непріятеля, не походила на поэта, бряцающаго на казенной лирѣ подвиги означеннаго графа, ни на государственнаго мужа, написавшаго его томовъ разныхъ полезныхъ законовъ, не походила ни на нынѣшнихъ станowychъ, предсѣдателей, урядниковъ, гласныхъ, волостныхъ старшинъ и т. д. Ни на что подобное она не походила, потому что типъ ея былъ типъ *божія угодника*. Но это не тотъ угодникъ, который, угождая Богу, заберется въ дебрь или взлѣзетъ на столбъ и стоитъ на немъ тридцать лѣтъ. Нѣтъ, *нашъ народный* угодникъ хоть и оказывается отъ мірскихъ заботъ, но живетъ только для міра. Онъ—мірской работникъ, онъ

постоянно въ толпѣ, въ народѣ, и не разглагольствуетъ, а дѣлаетъ въ самомъ дѣлѣ дѣло. Народная легенда о Николаѣ и Касьянѣ какъ нельзя лучше рисуетъ этотъ типъ *народнаго* интеллигентнаго человека. Касьяну, какъ извѣстно, праздникъ бываетъ только въ 4 года разъ (въ високосъ), а Николаю—множество разъ въ одинъ годъ. Отчего такъ? Оттого, разрѣшаетъ этотъ вопросъ легенда, что когда Николай и Касьянъ пришли давать Богу отчетъ, послѣ того какъ они были на землѣ между людьми, то Николай оказался весь испачканный грязью и въ изорванномъ платьѣ, а Касьянъ пришелъ франтомъ. Вотъ Богъ и рѣшилъ, что Николай все время работалъ, толкался въ народѣ, хлопоталъ, а Касьянъ только разговаривалъ, за это и положилъ праздновать Касьяну въ 4 годъ разъ, а Николаю въ годъ чуть не двадцать разъ. Вотъ такой-то типъ и есть типъ *народной* интеллигенціи, и дѣла такого угоднаго Богу и народу человека какъ нельзя лучше подходили къ общимъ условіямъ земледѣльческаго быта: они были нужны, настоятельны—и такой работникъ, какъ мы видимъ, былъ. Теперь нѣтъ въ народѣ такого типа, такого работника, никто не чиститъ своего платья изъ-за чужой бѣды. Всѣ добрыя дѣла обязались дѣлать земскія собранія за умѣренное вознагражденіе. Народная душа опустошена и пожалуй ожесточена, такъ какъ и трудъ — уже не трудъ и жизнь одновременно, а только трудъ.

VI. Земледѣльческій календарь.

Задавшись цѣлью опредѣлить значеніе въ народной жизни и міросозерцаніи «земли» и «земледѣльческаго труда», я долженъ-бы былъ теперь же, т. е. тотчасъ послѣ общихъ разсужденій объ этомъ предметѣ, перейти къ примѣрамъ, къ проявленію, если такъ можно выразиться, «*земледѣльческой мысли*» народа въ частныхъ, семейныхъ, общественныхъ дѣлахъ. Все это и будетъ сдѣлано мною впослѣдствіи, въ отдѣльныхъ отрывкахъ; теперь-же, въ виду того, что мнѣ объ этомъ общимъ очеркомъ современной земледѣльческой жизни необходимо говорить о такихъ явленіяхъ, которыя самымъ безжалостнымъ образомъ расшатываютъ и разрушаютъ весь строй народного труда и міросозерцанія, я ограничусь нѣсколькими случайными примѣрами, касающимися «*власти земли*», только для того, чтобы видѣе было, что именно творится въ народной жизни въ настоящее время.

Итакъ, чтобы не далеко ходить за этими примѣрами, возьмемъ первое, что попадется подъ руку.

Возьмемъ напримѣръ одинъ изъ новогородскихъ календарей; тамъ, въ отдѣлѣ пріятныхъ и замѣчательныхъ событій, обратите вниманіе на тѣ изъ нихъ, которыя «замѣчательны» для народа. Возьмемъ 6-е января, «Крещеніе». Въ отдѣлѣ замѣчательныхъ событій «для господъ» ничего не показано. 3-го января показано, что умеръ графъ Румянцевъ, канцлеръ, покровитель наукъ и просвѣщен-

ня, и заключенъ миръ и договоръ въ Андрусовѣ въ 1667 году и въ Бахчисарѣ въ 1671 году; затѣмъ ни 4-го, ни 5-го, ни 6-го ничего особеннаго не случилось. А вотъ въ отдѣлѣ народныхъ «замѣчательныхъ» событій значится цѣлыхъ семь замѣчательныхъ примѣтъ, именно: «Яркія звѣзды подъ Крещеніе — много родится бѣлыхъ ярокъ». «На Крещеніе день теплый, будетъ хлѣбъ темный». «Коли идутъ на воду въ туманъ, будетъ много хлѣба». «На Крещеніе метель и на Святой будетъ метель же». «На Крещеніе снѣгъ хлопьями — къ урожаю» (цвѣтъ будетъ хорошъ). «Если на Крещеніе въ полдень (вотъ какая точность!) синія облака — къ урожаю». «Если на Крещеніе звѣздная ночь — урожай на горохъ и ягоды». А затѣмъ такъ и пошло безъ перерыва на цѣлый годъ, вплоть до будущаго Крещенія — у господъ идутъ: взятіе, покореніе, одолженіе и т. д., а у крестьянъ: «На Трифона звѣздо — весна поздняя». «На Евдокею снѣгъ — урожай». «На Евдокею погоже — лѣто пригоже». «Коли грачи дружно на гнѣздо летятъ — дружная весна». «Какковы на Алексѣя ручьи — такова и пойма». «На Благовѣщеніе дождь — родится рожь, морозъ — урожай на грузди, гроза — къ теплomu лѣту и орѣхамъ, мокро — къ грибамъ». «Апрѣль спитъ да дуетъ — тепло бабамъ сулитъ, а мужикъ глядитъ, что-то будетъ». «Марья — заиграй овражки, зажги снѣга». «Коли на Юрья березовый листъ въ полушку, на Успеніе кладь хлѣбъ въ кадушку». «Если на Николу заважають лягушки — хорошъ будетъ овесъ». «На Луку полуденный вѣтеръ — къ урожаю яровыхъ».

Святые и чудотворцы также переведены на крестьянское положеніе: св. апостолъ Онисимъ переименованъ въ Онисима-овчарника, Іовъ много-страдальный — въ Іова-горошника; св. Аванасій Великій, архіепископъ александрійскій, имя которого «неразвѣдно соединено съ исторіей христіанской церкви въ IV вѣкѣ, такъ какъ онъ — одинъ изъ самыхъ ревностныхъ защитниковъ благочестія противъ лжеученія Арія», переименованъ просто въ Аванасія-ломоноса, потому что около дня его имени, 18-го января, бывають самые страшные морозы, отъ которыхъ кожа слѣзаетъ съ носа. Св. преподобно-мученица Евдокія, отличавшаяся въ молодости тѣмъ, что плѣняла красотой юношей и жила во грѣбѣ, а потомъ, по увѣщанію нѣкоего Германа, обратилась къ истинному Богу, именуется «Евдокея-плющица, подмочи порогъ», такъ какъ 1-го марта, день ея праздника, таесть, плющить снѣгъ и т. д. Герасимъ — грачовникъ, Ирина — разсудница, «на Кузьму — сѣи свеклу», Лукерья — комарница (13-го мая), Леонтій — огуречникъ, Акулина — гречишница и т. д., и т. д. Такимъ образомъ весь годъ — триста шестьдесятъ пять дней имѣють каждый безчисленное множество примѣтъ, и хотя эти примѣты не имѣють для васъ, образованнаго читателя, никакого значенія, даже смысла, но земледѣльческую народную мысль онѣ достаточно-таки характеризуютъ. Сколько нужно внимательности, а слѣдова-

тельно и траты собственной мысли, примѣчая на-примѣръ цвѣтъ облаковъ въ полдень на Крещеніе, находить въ этомъ связь съ урожаемъ, который можетъ опредѣлиться въ августѣ, то-есть черезъ семь мѣсяцевъ! «Если на Крещеніе въ полдень синія облака»... Можетъ быть эта примѣта ровно ничего не означаетъ, но неужели-же, чтобы создать эту примѣту, чтобы августовскій хлѣбъ привести въ связь съ цвѣтомъ облаковъ въ Крещеніе, да еще въ полдень, не надо было много и своеобразно думать, и притомъ думать именно «земледѣльчески»? Одинъ ужъ этотъ примѣръ, взятый, повторяемъ, совершенно случайно, — а такихъ примѣровъ мы могли-бы привести по-истинѣ великое множество, — одинъ онъ можетъ показать, до какой степени крестьянинъ тратитъ много вниманія на природу и землю и на все, что съ ними связано: мало отиѣтитъ день какою-нибудь примѣтой — отиѣчается даже часъ, полдень, отиѣчается цвѣтъ облаковъ, ночью отиѣчается блескъ звѣздъ и т. д. И это на каждый день въ году и едва-ли не на каждый часъ. Можете представить, что объ одномъ хлѣбѣ, объ урожаѣ или неурожаѣ начинаютъ примѣчать тотчасъ послѣ по-сѣва: ужъ въ октябрьскихъ примѣтахъ значится: «Коли листъ (опавшій) ложится вверхъ изнанкой, будетъ урожай». Въ ноябрѣ «снѣгу надуетъ — хлѣба прибудетъ», а «коли ледъ на рѣкѣ становится горами, будетъ и хлѣба груды». Въ декабрѣ «большой иней, груды снѣга — и хлѣба будетъ много». «Коли снѣгъ привалитъ влооть къ заборамъ, будетъ неурожай; коли не влооть — урожай». «Иней на деревьяхъ — урожай». «Какъ иней на деревьяхъ, таковъ и цвѣтъ на хлѣбѣ». 25-го декабря ясный дождь — къ урожаю; небо звѣздисто — къ приплоду скота, ягодамъ, гороху. «Коли тропинки черны, уродится гречиха». Чего стоитъ хоть-бы вышеприведенная примѣта — коли снѣгъ привалитъ влооть къ забору и коли не влооть! Едва-ли банкиръ и капиталистъ въ такой же степени тщательно изучаетъ всѣ случайности, которыми могутъ подвергнуться его бумаги, какъ тщательно изучаетъ крестьянинъ мельчайшія подробности случайностей природы, обусловливающія успѣхъ его труда и всего благосостоянія. Но мало того, что каждый день въ году и почти каждый часъ втеченіе дня заимѣчаны, объяснены и омыслены сообразно земледѣльческимъ условіямъ жизни; мало того, что заимѣчено и объяснено появленіе каждаго облака, дождя, снѣга, ихъ свойства, видъ, даже цвѣтъ (облака); мало того, что всѣ святые, чудотворцы, апостолы переименованы сообразно земледѣльческимъ условіямъ быта народнаго: самое Священное Писаніе, если послушать деревенскихъ толкователей его (не говорю о раскольникахъ и сектантахъ, которые толкують его весьма широко), кажется, только и написано для того, чтобы доказать крестьянамъ, что «прійдетъ царь (такой-то) и дастъ землю». Непонятный, запутанный текстъ «Апокалипсиса», который съ такой охотой читають деревенскіе грамотные люди, въ толко-

ваніяхъ этихъ послѣднихъ получаетъ совершенно неожиданно самый ясный смыслъ, потому что все обазывается написаннымъ насчетъ того, что земли будетъ вволю... Вездѣ, гдѣ попадаются слова: «и соединиша», «и соединихомъ», «и соединихъ» — ужъ непременно дѣло идетъ насчетъ земли.. «И соединихъ»... вотъ это и есть это самое, толкуетъ толкователь: какъ у насъ теперь наша земля отошла и буеракъ съ прутнякомъ отошелъ, то вотъ и пишется, что «прійдетъ» и присоединить все опять-же къ намъ...

— А не сказано, что сначала отойти отъ насъ должна?

— Какъ не сказано-то! Вотъ...

И точнось отыщется мѣсто, въ которомъ сказано: «разрушу», «расторгну», и потомъ отыщется другое мѣсто *послѣ* «расторгну», въ которомъ сказано: «и соединихъ».

— Вотъ такъ и есть: сначала отобрали, а потомъ отдадутъ обратно.

Отыскиваются указанія въ «Откровеніи», имѣющія часто мѣстный характеръ. Напримѣръ вотъ въ этой деревнѣ крестьянскую землю раскидали въ три разныхъ мѣста, а въ другой она только въ двухъ мѣстахъ, и каждая деревня непременно найдетъ въ «Апокалипсисѣ» указанія, касающіяся земельныхъ особенностей каждой. Одна отыщетъ, что «тріе воедино», а другая — «воедино да будутъ двоіе», и все это съ глубочайшей вѣрой и благоговѣніемъ... Однажды, разговаривая съ такимъ старичкомъ-толкователемъ, я спросилъ его:

— Ну, а у меня отобрутъ землю *тогда*?

— А у тебя сколько земли? — спросилъ старичокъ.

— Одна десятина.

Старичокъ подумалъ, переспросилъ, какъ и у кого куплена, и, подумавъ еще, сказалъ:

— Тебѣ *тогда* должна быть прирѣзка.

И, подумавши еще, прибавилъ:

— Тебѣ тогда *должна* еще четырнадцать десятинъ нарѣзать...

И объ этомъ даже сказано въ Писаніи. Даже то обстоятельство, что земли *въ то время* будетъ на душу по пятнадцати десятинъ, и то предусматрѣно въ Священномъ Писаніи, и толкователь обѣщается указать мѣсто въ «Апокалипсисѣ», гдѣ именно эта цифра указана. Вы представьте себѣ въ этомъ толкователѣ сѣдого, истощеннаго трудами, ходьбой по добрымъ людямъ (у него переремла семья) старика, представьте, что каждое слово въ его толкованіи о землѣ говорится съ истиннымъ благоговѣніемъ и съ такимъ-же благоговѣніемъ слушается — и вы, быть можетъ, задумаетесь надъ этою чертой страстнаго ожиданія земли народомъ. Она нужна не только какъ хлѣбъ — хлѣбъ можно достать на поденщинѣ (теперь дворники получаютъ въ Петербургѣ по тысячѣ рублей, и все-таки думаютъ о деревнѣ и землѣ), — но какъ основа всего рисующагося въ народномъ воображеніи свѣтлаго будущаго, какъ основаніе единственно-благотворнаго труда, какъ источникъ такихъ человѣческихъ отношеній, въ

основаніи которыхъ лежитъ «добровольное» повиновеніе другъ другу, — отношеній, всего менѣе допускающихъ «человѣчскій» произволъ, *въ виду всеобщаго и неизбежнаго повиновенія* несокрушимой, непобѣдимой, таинственной и непостижимой власти.

VII. Теперь и прежде.

Теперь посмотримъ, въ какой степени это, имѣющее для народа огромное значеніе, стремленіе къ землѣ удовлетворялось въ прежнія времена и удовлетворяется теперь.

Рискуя быть причисленнымъ къ разряду заскорузныхъ крѣпостниковъ, я долженъ сказать, что при крѣпостномъ правѣ наше крестьянство было поставлено по отношенію къ землѣ въ болѣе правильныя отношенія, чѣмъ въ настоящее время. Я не говорю о несправедливомъ трудѣ, который несъ крестьянинъ на своихъ плечахъ, о его вѣковой жадѣ высвободиться изъ-подъ этого гнета и т. д. — все это не можетъ быть предметомъ настоящей статьи, предметъ которой — только значеніе для крестьянина земли. И въ этомъ отношеніи крестьянинъ имѣлъ земли гораздо больше, чѣмъ теперь; не ошибемся, если скажемъ, что земли у помѣщичьихъ крестьянъ было вдвое болѣе противъ теперешняго. Кромѣ того всякій помѣщикъ, если онъ не былъ безумнымъ или вырождкомъ, вроде напримѣръ Измайлова и другихъ подобныхъ ему звѣрей, *изъ личной выгоды* долженъ былъ поддерживать въ своихъ крестьянахъ все, что дѣлаетъ ихъ настоящими крестьянами-земледѣльцами, такъ какъ только крестьянинъ исправный и есть исправный плательщикъ помѣщику, который жилъ его трудами. Глядя на крестьянина какъ на безсловесное животное, помѣщикъ, хотя-бы самаго грубаго и дикаго нрава, долженъ былъ кормить это человѣческое существо, почитаемое имъ за скотину, чтобы она возила, чтобы она работала, чтобы она давала ему доходъ. Въ смыслѣ полученія этого дохода было организовано все деревенское управленіе, наблюдалась тщательно сила семей; по этой силѣ распределялись налоги и барщина; во имя *хозяйственныхъ цѣлей* вотъ эта пара одинокихъ лицъ мужского и женскаго пола соединялась насильственнымъ бракомъ, и образовывалось земледѣльческое рабочее тягло; во имя хозяйственныхъ цѣлей вотъ этотъ неспособный въ хозяйствѣ человекъ брался во дворъ, а другой — воръ и пьяница — шелъ въ солдаты. Силы людскія, имѣвшіяся въ распоряженіи помѣщика, всячески экономизировались въ смыслѣ хозяйственной выгоды.

Эта хозяйственная организація деревни до сихъ поръ еще весьма сильна въ сознаніи деревенскихъ стариковъ, помнящихъ крѣпостное право. До сихъ поръ оцѣнка человека только по его успѣху или неуспѣху въ работѣ не только играетъ большую роль въ крестьянскомъ мнѣніи вообще, но служитъ даже для достиженія цѣлей деревенскихъ эксплуататоровъ новѣйшаго типа. Какъ известно,

а может быть и неизвестно читателю, въ настоящее время тѣлесныя наказанія при волостныхъ правленіяхъ не только не умяются въ своихъ размѣрахъ; но, напротивъ, съ каждымъ годомъ возрастаютъ. Крайне жаль, что новорожденные провинціальныя изданія относятся недостаточно внимательно къ суровой дѣйствительности, переживаемой народомъ. Ни плана, ни программы, мало-мальски выработанной и обязательной для корреспондентовъ, ничего нѣтъ. Такое замѣчательное явленіе наприимѣръ, какъ торги на лѣсные и земельные участки, на которыхъ крестьяне могли торговаться обществами безъ залоговъ, въ высшей степени важно, какъ опытъ борьбы кулака съ цѣлымъ сельскимъ обществомъ, а между тѣмъ оно не вызвало ни одной корреспонденціи, ни одной цифры. Дранье на волостныхъ судахъ также проходитъ безъ малѣйшаго вниманія, а дранье—непоправимое... Мы увѣрены, что еслибы кто-нибудь далъ себѣ трудъ просмотрѣть рѣшенія волостныхъ судовъ (мы уже не говоримъ—разобрать подноготную мотивовъ этихъ рѣшеній) и сосчитать число высѣченныхъ, положимъ, въ осенніе только мѣсяцы—такъ положительно волось встанетъ дыбомъ даже у аракеевскихъ ветерановъ. Я самъ былъ свидѣтелемъ лѣтомъ 1881 года, когда драли по 30 человѣкъ въ день. Я просто глазамъ своимъ не вѣрилъ, видя, какъ «артелью» возвращаются домой 30 человѣкъ взрослыхъ крестьянъ послѣ дранья,—возвращаются, разговаривая о постороннихъ предметахъ.

— Да неужели ихъ драли? спрашивалъ я старосту, который, возвращаясь послѣ этого «присутствія», зашелъ ко мнѣ папирсочки покурить.

— А то какъ же?.. Я самъ тронихъ «приставилъ».

— Да за что же?

— А за то, что заслуживаютъ... Не храни, не пьянствуй... Мало-ли у нихъ блохъ-то!...

Осенью самое обыкновенное явленіе—появленіе въ деревнѣ станового, старшины и волостного суда. Драть безъ волостного суда нельзя—нужно, чтобы постановленіе о тѣлесномъ наказаніи было сдѣлано волостными судьями—и вотъ становой таскаетъ съ собой судъ на обывательскихъ. Судъ постановляетъ рѣшенія тутъ-же, на улицѣ, словесно, а «писать» будутъ послѣ. Писарь тутъ же. Вы представьте себѣ эту картину. Вдругъ въ полдень влетаютъ въ село три тройки съ колокольчиками: на одной становой, на другой—старшина съ писаремъ, на третьей—шесть человѣкъ судей; все это—почтенные Несторы-лѣтописцы, Дафаны, Авироны, Авраамы и... Хамы между прочимъ. Разумѣется, эти Авироны не виноваты, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ размѣрахъ, какъ это кажется съ перваго раза,—ихъ таскаютъ силой и для формы. Въѣзжаетъ эта кавалькада, и начинается немедленно ругань, слышатся крики: «Розогъ!»... «Деньги подавай, каналья!»... «Я тебѣ поговорю, замажу ротъ»...

И опять приходитъ свидѣтель и, дѣлая папирску, рассказываетъ:

— Ка-акъ вжикнулъ, сразу кровь пошла...

— Да неужели же опять драли?

— А какъ же?... Который заслуживаетъ, хрипѣть, пьянствуетъ... Только не всѣхъ... Сейчасъ деньги явились... А которые оставши не сѣчены, тѣмъ отстрочка на двѣ недѣли дана... Ну, а между тѣмъ *всѣ изъ розамъ подписались*...

— Это что жетакое?

— Драть, въ случаѣ не принесутъ денегъ...

И, помолчавъ немного, онъ прибавилъ:

— Смородины нарѣзали... на розги-то!

Впослѣдствіи читатель увидитъ, почему «невозможно» не драть. До тѣхъ поръ пока простая, искренняя внимательность, простое, но искреннее желаніе отнестись къ человѣку по-человѣчески, просто, совѣстливо войти въ его нужду и въ *самомъ дѣлѣ* (повторяю, въ *самомъ дѣлѣ*) удовлетворить ее—не освѣтятъ нашихъ темныхъ дней, дранье не прекратится. Но хотъ оно и неизбежно (эту неизбежность докажутъ вамъ волостные старшины и становые пристава), а нельзя не принять въ соображеніе, что этотъ посѣвъ ежедневной и ежегодной жестокости, какъ и всякій посѣвъ, долженъ, непременно долженъ дать всходы, плоды. Но едва-ли они будутъ похожи на смородину. Кстати здѣсь сказать, что и теперь уже есть признаки выраженія народомъ нетерпѣнія; рассказываютъ про одного волостного старшину, который «осмѣлился» попросить станового не ругаться скверными словами въ присутствіи волостного правленія, а это худой признакъ для любителей смородины. Наконецъ тотъ самый староста, разговоры съ которымъ я привелъ выше, недавно смѣненъ обществомъ раньше срока. Еще бы годикъ, и онъ былъ бы «на самомъ лучшемъ счету»—такъ онъ усердно «приставлялъ» въ волость и до такой степени относился къ народу «безъ вниманія». Замѣчательно, что когда я спросилъ его, кто подвелъ подъ него интригу—старикъ или молодой, то онъ съ огромнымъ негодованіемъ отвѣтилъ:

— Молодой, песь его дери!..

И прибавилъ:

— Ну, да я всѣхъ ихъ разыщу. Погоди!...

А и самому этому человѣку нѣтъ сорока лѣтъ. Онъ молодъ, силенъ, здоровъ, уменъ, но есть въ немъ какое-то невольное стремленіе отдѣлаться отъ мужиковъ... Крестилъ его, извольте видѣть, какой-то высокій сановникъ, случайно заѣхавшій въ ихнее мѣсто на охоту, крестилъ, подарокъ сдѣлалъ и точно печатъ наложилъ: не можетъ мужикъ не считать себя чѣмъ-то особеннымъ. Наконецъ вотъ еще любопытная черта. Въ старостахъ онъ не пробылъ и года; до этой должности онъ былъ простой мужикъ и рыболовъ. Втеченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ начальствованія ему попали земскія деньги на овесъ: онъ не утаилъ ихъ, роздалъ все, какъ слѣдуетъ, но онъ ихъ *только подержалъ* у себя (буквально) лишнюю недѣлю и вотъ теперь, посмотрите, выходитъ въ капиталисты. Покупаетъ «у мужиковъ» солому по 15 коп. за пудъ, а продаетъ по 35 копѣекъ. Сталъ отправлять вагоны въ Питеръ... Недавно отправилъ шесть вагоновъ (обертывать бутылки иностран-

ных винь). И я увѣренъ, что угроза его односельчанамъ, выраженная фразой: «Погоди, я ихъ всѣхъ найду!» — осуществится... Съ другой стороны я тоже знаю, что и односельчане тоже не дремлютъ и тоже произносятъ кое-какія фразы насчетъ этого нарождающагося купца, бормочатъ что-то насчетъ «произведемъ», «такъ ты и выскочилъ въ купцы!»... Но чѣмъ все это кончится, не знаю.

Прошу читателя извинить меня за это длинное, прямо къ дѣлу не относящееся, отступление и возвращаюсь къ соображеніямъ по поводу тѣлеснаго наказанія. Не разъ я становился втупикъ передъ этимъ явленіемъ. Я никакъ не могъ понять, какимъ образомъ можно положить на полъ, раздѣть и хлестать смородиной вотъ этого умнаго, серьезнаго мужика, отца семейства, — человѣка, у котораго дочь невѣста.

— Да неужели-же нѣтъ силы владутъ на землю? спрашивалъ я у того-же старосты, который готовился быть на хорошемъ счету.

— Кое-силомъ валать, кое-сами ложатся. Вотъ нонѣ (когда сѣкли 30 человѣкъ) сами все...

— Да неужели это правда?

— Да чего-жъ мнѣ лгать-то? Такъ одинъ по одному и ложатся.

Впослѣдствіи я понемногу ознакомился съ тѣми гнуснѣйшими, своекорыстнѣйшими побужденіями, которыя дѣйствуютъ въ этой, ничего хорошаго не обещающей, свалѣ. Увидѣлъ много самой звѣриной злости, прикрывающейся закономъ, но въ то-же время я узналъ, что и не звѣриная злость, обыкновенно скрывающаяся, и не насиліе прямое и грубое даютъ одному человѣку право бить другого, а хозяйственные доводы. Староста «проставляетъ» мужика къ розгамъ не за то, что хочетъ ему отомстить за обиду (онъ объ этомъ умолчитъ), а за то, что тотъ не внесъ 6-ти рублей, тогда какъ *могъ-бы* внести. Въ правленіи, гдѣ рѣшаютъ число ударовъ и гдѣ человѣкъ готовится раздѣваться, вы слышите разговоры о сѣнѣ, которое продано за столько-то, упреки, что изъ этихъ столякиныхъ-то рублей пропито больше, чѣмъ слѣдовало.

— Сѣно теперь 45 копѣекъ, это намъ извѣстно! кричатъ судьи. — Ложись-ко!

— Коли-бы по сорокъ-то пять я взялъ, такъ я-бы и вниманія не взялъ говорить! оправдывается виновный: Я тебѣ честию говорю — по 28 копѣекъ!

— Полно зубы-то заговаривать — по 28! Знаемъ мы очень прекрасно. Твое сѣно — первый сортъ. Ослѣпъ ты что-ли, за 28-то отдавать?

— А забылъ, дождикъ-то сколько погномилъ... на Ильи-то? Есть въ тебѣ совѣсть!

— На Ильи!.. Знаю я Ильи... Ложись-ко безъ хлопотъ. Погномилъ!..

Какое-бы адски-своекорыстное побужденіе ни руководило всей этой жестокою комедіей (ниже мы увидимъ примѣръ проявленія своекорыстія въ такой жестокой формѣ), всегда пунктъ, на кото-

ромъ держатся судьи, и вина, которую можетъ сознавать виноватый или которую *навязываютъ* ему, потому что знаютъ, что онъ только въ этомъ смыслѣ и можетъ кое-что понимать, — всего исходный пунктъ для всей этой операціи — преступленія *хозяйственныя*: «продать телушку, а купилъ зеркало» и т. д., что ужъ доказываетъ фанаберию и т. д. Нѣтъ никакого конечно сомнѣнія въ томъ, что въ этой жестокой комедіи участвуютъ и другіе мотивы, но самое понятное и самое доступное пониманію во всемъ этомъ бессмысленномъ безобразіи — это *вина противъ своего хозяйства*.

Кстати, чтобы не откладывать дѣла въ долгій ящикъ, скажу теперь-же о томъ своекорыстіи (деревенскомъ), которое умѣетъ прикрываться всевозможными способами, мѣняя шкуру сообразно тѣмъ настроеніямъ высшихъ «командующихъ» классовъ, которые входятъ въ моду въ данную минуту.

Приходитъ ко мнѣ одно изъ «благонадежныхъ» крестьянскихъ лицъ, стоящее на отличномъ счету у начальства. Подати у него всегда взысканы, мужики снимаютъ шапки при проѣздѣ всякаго начальства и вышколены имъ для «декораціи преданныхъ поселянъ» превосходно. Самъ онъ — умный и, какъ увидимъ ниже, «добрый» человѣкъ; но мода «на мутную воду», на трескучій вздоръ, прикрывающій своекорыстіе, совершенно его извратила. Онъ знаетъ одно, что сильна и властвуетъ только палка, и добивается онъ только того, чтобы въ результатъ получился болѣе или менѣе жирный кусокъ пирога. Но, зная это, онъ превосходно понимаетъ, что поступать открыто невозможно, и поэтому, руководствуясь общимъ жизненнымъ настроеніемъ, поступаетъ вполне прилично, законно и даже либерально. Люди подобнаго типа отлично съобезьянили всю интеллигентную вѣщность своихъ воспитателей, административныхъ педагоговъ; но педагоги эти ошибутся, если подумаютъ, что въ этой вѣщности есть что-нибудь въ самомъ дѣлѣ искреннее. Увы, старая пословица — «каковъ попъ, таковъ и приходъ» — до сихъ поръ остается глубоко справедливою: разъ учителя не уважаютъ человѣка, а норовятъ только поживиться на его счетъ, прикрывая свои частенько не только несправедливыя, а прямо жестокія дѣйствія всякими законными, либеральными или охранительными доводами — и ученики вышли такіе-же, съ тою только разницею, что они, какъ простые деревенскіе люди, не привыкшіе къ пустякамъ, буквально ужъ не сдѣлаютъ *ни единого* безцѣльнаго поступка. Вотъ на-дняхъ такіе «надежные» маленькіе сельскіе Капгеры поднесли адресъ и альбомъ мировому судѣ. Они отлично выразили въ адресѣ свои чувства, преданность. Альбомъ стоилъ рублей двѣсти. Вы думаете тутъ въ самомъ дѣлѣ чувство? Нѣтъ, тутъ «заручка» на «предбудущія времена», въ случаѣ попадетъ на какой-нибудь плугъ или понадобится пристращать «должника» по знакомству. «Что-жъ онъ въ самомъ дѣлѣ хорошій человѣкъ? спраши-

валъ я благонадежнаго. — Вотъ здѣсь, въ адресѣ, сказано: «и ваше неустанное попеченіе о благосостояніи» — что-жъ, въ самомъ дѣлѣ онъ внимателенъ къ народу? — «Какъ-же, въ самомъ дѣлѣ... Очень даже внимателенъ... Служилъ въ земствѣ, такъ не забылъ въ свое мнѣніе дорогу проложить...» Вотъ вамъ и «выраженные чувства». Или: я только-что говорилъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ; народъ не всегда доволенъ этимъ способомъ взысканія и ропщетъ на старшину и на начальство. И дѣйствительно: прикрываясь терроромъ господъ становыхъ, «немедленнымъ» взысканіемъ и невниманіемъ къ просьбамъ погодить, пока «станутъ цѣны» на тотъ или на другой продуктъ, многіе изъ такихъ «благонадежныхъ» людей скупаютъ во время этого террора за безцѣнокъ и сѣно, и телушку, и рыбу, и потому улучшаютъ свое благосостояніе, такъ что человѣкъ несвѣдущій, слышавшійся о бѣдности деревенской, въѣзавъ въ деревню и встрѣтивъ расфранченнаго парня (изъ числа улучшившихъ свое благосостояніе вышеупомянутымъ способомъ), говоритъ: «Какое... бѣдность! Я самъ видѣлъ мужиковъ съ часами, бархатный жилетъ... Чистое лганье эта литература». Въ деревнѣ это лганье оказывается однако для всѣхъ, на счетъ которыхъ явились часы и жилеты, совершенно ясно правдой и возбуждаетъ недовольство, пока скрываемое. Незнакомый съ деревенской подноготной видитъ въ этихъ серебряныхъ часахъ только серебряные часы, а знакомый съ нею, напротивъ, видитъ не часы, а лошадь или сто пудовъ сѣна. Для него ясно, что въ карманѣ этого франта спрятана цѣлая лошадь, купленная по нуждѣ и перепроданная за-дорого, а вовсе не часы «съ двумя доскамъ».

VIII. Жадность.

Научившись устраивать свое благосостояніе вышепоказаннымъ образомъ, человѣкъ не можетъ ужъ отстать отъ этой «привычки». Правда, онъ можетъ, какъ Скутаевъ, просвѣтлѣть духомъ и сразу порвать несправедливые путы, но покада Скутаевы — исключительные люди, единичныя личности. Обыкновенный деревенскій человѣкъ, переходя отъ земледѣльческаго благосостоянія къ возможности благосостоянія денежнаго, по наивности почти дѣтской, переноситъ въ эту новую для него область старыя земледѣльческіе взгляды. Какъ земледѣлецъ, онъ «травки» не оставляетъ на полѣ, не устанетъ нагнуться за ней, срѣзать, привезть, обмолотить и т. д. Онъ привыкъ, чтобы «кроха» не пропадала. Будетъ-ли онъ упускать не крохи, а хорошіе «случаи», какъ вышеупомянутые террористическіе аукционы? Настоящій земледѣлецъ-крестьянинъ до сихъ поръ чуждается ихъ, какъ грѣха, но тотъ, кто ужъ *отпеталъ*, не удержимъ. И въ новыхъ «привычкахъ» онъ будетъ стремиться дойти до послѣдней крохи, взять все, что идетъ въ руки. А между тѣмъ недовольство, возбуждаемое этой системой, явное; онъ, «наученный»

новому способу богатѣть на счетъ бѣдности сосѣда, какъ крестьянинъ, знаетъ, что сосѣдъ ропщетъ, что онъ таитъ злобу и пожалуй задумываетъ «поступить своимъ средствѣмъ». Остановиться — нѣтъ силы, а стало-быть надо подавить въ сосѣдѣ злобу какимъ-нибудь погатымъ и резоннымъ для сосѣда образомъ. Сосѣдъ думаетъ: «дерете», чтобы «наживаться», — и вотъ чтобы искоренить въ немъ связь между драньемъ и наживой, изобрѣтается подходящее средство. Въ одинъ прекрасный день становой приставъ, разгнѣванный тѣмъ, что старшина хотъ и деретъ, но не получаетъ результатовъ — подати идутъ слабо, по обязательствамъ и постановленіямъ волостныхъ судовъ не платятъ, — сажаетъ въ темную самую (о, небо!) старшину. Это надолго уничтожаетъ въ обниженныхъ мірянахъ-пахаряхъ возможность логическаго мышленія. «И *изнему* брату *тоже* достаётся — думаетъ простодушный сосѣдъ. — Ишь вѣдь, самую старшину заперъ»... Стало-быть старшина не все самъ командуетъ — нѣмного брата тоже «подбадриваютъ». Арестъ старшины успокоиваетъ сосѣда, но старшина, возвратившійся изъ-подъ ареста, неумолимъ. Подъ ногами теперь у него твердая почва.

— «Вы что-жъ, анаеемы, со мной дѣлаете? Докуда будетъ эта ваша подлость? Когда вамъ добромъ говоришь, рыло воротите, а я за васъ сиди въ холодной, не пимши, не ѣмши! У меня сѣна за три-то дня погнано на сто рублей. (При этихъ словахъ всѣ сознаютъ свой грѣхъ.) Чѣмъ я буху кормить скотину?.. (Опять всѣ «чувствуютъ».) Плевать мнѣ на ваше жалованье-то — только отъ дому отбываешься, «возжамшишь» съ вами, съ пѣнниками, да страмшишь въ холодной изъ-за васъ, анаеешь... Я вамъ добромъ говорилъ, такъ не слушали — и-ну, теперича ужъ не па-тирь-плю! Теперича стану пас-соступ-па-а-ать!» И конечно, — «ложись!..» Но знаетъ-ли, что это за канальская штука? Конечно сажаютъ становые и «взаправду», но очень часто старшина, явившійся къ становому, по-пріятельски говоритъ: «Пришелъ къ вамъ съ просьбой». — «Въ чемъ дѣло?» — «Ни много, ни мало: посадите меня въ холодную. Избаловались мои мужичонки, способовъ нѣту! Не платятъ, пьютъ... Ничего не подѣлаешь. Обколотилъ всѣ руки. Ворчатъ... Сажайте — по крайности тогда я ужъ произведу... Все-же они почувствуютъ»... Становой дѣлаетъ «проформу», и старшина, числясь въ холодной (съ теченіемъ времени все *это* узнается и обѣивается по достоинству), пьетъ чай у знакомыхъ купцовъ, а спать идетъ въ холодную. Я самъ пивалъ чай у себя въ домѣ со старостами, которые тоже для полученія права свирѣпствовать числились въ «холодной». Предположимъ, что маневръ этотъ производится въ видахъ государственной пользы; но, получивъ право свирѣпствовать, новообращенный свирѣпствуетъ за-одно и въ видахъ собственной пользы. Тутъ «подъ одно» случай хорошій взыскать и съ «упорнаго» мужичонки за лошадь, и съ другого за обиду («ахъ ты, заячій твой носъ!»). Тутъ ужъ во

всемъ воля пострадавшему «за васъ, канальевъ!». Но, повторяемъ, современемъ все это разберется, оцѣнится по достоинству и принесетъ плодъ.

Разговаривалъ я однажды съ такимъ «новообращеннымъ» человѣкомъ, и долгое время онъ мнѣ доказывалъ, что они—пьяницы, обманщики, мошенники и т. д., что ханье—единственное спасеніе.

— Да можетъ у нихъ въ самомъ дѣлѣ денегъ нѣтъ? спросилъ я.

— Вѣстъ у нихъ деньги, у аناемъ. На пьянство есть, а на дѣло нѣтъ!.. Послушайте ихъ, канальевъ, такъ они вамъ насакажутъ...

И такъ далѣе.

Но черезъ нѣсколько дней то-же лицо явилось ко мнѣ и заговорило такіа рѣчи:

— Стала выходить газета, и начальство просить писать о нуждахъ. Вотъ я и хочу туда пустить штучку...

— О чемъ-же?

— О запасныхъ магазинахъ. Земства побуждаютъ къ магазинамъ, а въ то-же самое время... Да вотъ я тутъ нацарапалъ...

Нацарапано было между прочимъ слѣдующее: «Такъ какъ крайняя бѣдность населенія и недостатокъ даже совершенно въ пропитаніи и чѣмъ прокормиться, то не въ состояніи удѣлить даже какой-либо крохи, не тожко...» и т. д. Словомъ, крайняя нищета препятствуетъ устройству магазиновъ.

Мнѣ бы слѣдовало спросить: «какъ-же такъ нечѣмъ прокормиться, когда нѣсколько дней тому назадъ вы же говорили мнѣ, что у нихъ есть?». Но я не спросилъ. Увы, я ужъ зналъ изъ предшествовавшихъ опытовъ, чтб значить въ данномъ случаѣ христараднической тонъ, принятый «надежнымъ человѣкомъ». Будь въ самомъ дѣлѣ, а не посредствомъ палки, хорошо, толково и заботливо устроено народное продовольствіе, не было бы надобности въ земскихъ филантропическихъ подачкахъ, крайне для «земледѣльца» разорительныхъ и крайне выгодныхъ для деревенскихъ не-земледѣльцевъ. Вѣдь этому не-земледѣльцу отлично извѣстно, что будущую весну въ рукахъ его (опять только «подержать») будетъ тысячь 20 руб. денегъ на раздачу овса. Во-первыхъ, онъ купать его у себя самого «по хорошей цѣнѣ» (цѣны достигли необыкновенныхъ предѣловъ, такъ что при всемъ стараніи я могъ приобрести куль по 7 р. 20 к., а въ прочихъ мѣстахъ покупали по 7 р. 30), купить у «нужныхъ» господъ, у родни и т. д. Все это онъ раздастъ крестьянамъ въ полной точности. Ужъ будьте увѣрены, что ни одна овсинка не будетъ спрятана: «на—смотри, считай!». И всѣ обыватели скажутъ: «Вѣрно», пересчитавъ все, каждую овсинку буквально. Мѣшки даже вытряхнутъ и палкой выколотятъ, и то «все вѣрно». Но въ то-же время онъ будетъ требовать подати («что-жъ, мнѣ опять въ холодную за васъ идтить?»), и мужики будутъ ссыпать этотъ-же овесъ—иные полностью, а иные астью, и не ему, а какому-нибудь «подручному»,

«компаніону», да и не по 7 р. 20, а по 5 и 4 рубля. Но это только часть операціи, а вотъ осенью начнется настоящее дѣло. Мужикамъ придется отдать за овесъ по 7 р. 20; а такъ какъ онъ на рынкѣ въ эту пору 4 руб., то, отдавая натурой, мужикъ везетъ не куль, а почти два; вотъ тутъ то этотъ овесъ и покупается «новообращенными» крестьянами, у которыхъ есть деньги. И староста, и старшина говорятъ: везите овесъ ко мнѣ, а я внесу деньгами. Отдавши «натурой» почти вдвое, мужикъ къ веснѣ непременно будетъ безъ овса: что какъ Богъ святъ. И тутъ пойдутъ донесенія: «Бѣдственное, даже и совершенно конечное неспособіе къ пропитанію, и не въ состояніи обсягать поля, а потому ходатайствуемъ о способіи отъ земства». Земство высылаетъ деньги, а на эти деньги старосты и старшины опять покупаютъ у себя овесъ, но не по 4 р. куль, а по 7 р. 20 к. или по 8 р. Заплативъ осенью восемь рублей, «новообращенный» весной получаетъ за нихъ шестнадцать, т. е. процентъ невозможный ни для какого самаго алчнаго капиталистическаго предпріятія... Получаетъ и пишетъ: «только стараніемъ и неусыпнымъ ревностію укупилъ овесъ по 8, а даже и по 10 не отдавалъ...»

— Однако—сказалъ я одному изъ такихъ «крестьянъ»—проценты вы, господа, дерете на свои деньги необыкновенные! Вѣдь это болѣе чѣмъ рубль на рубль..

— Н-ну, батюшка,—весело играя веселыми глазами, съ шутливыми и даже шутоватымъ смиреніемъ отвѣчалъ онъ,—гдѣ ужъ намъ наживать такіа деньги!.. Это вотъ у васъ въ Питенбургѣ все только и слышно (густымъ басомъ): рубль-на-рубль, рубль-на-рубль, рубль-на-рубль, — а у насъ по-деревенски, по-мужичьи-то, хошь копѣчку-то Господь бы, батюшка, отецъ нашъ, далъ нажить на копѣчку, и то мы рады-радехоньки... А то рубль-на-рубль!.. Хошь бы копѣчку-то какую ломаную на копѣчку нажить, и то ужъ ово какъ мы Создателя-то благодаримъ!.. Хе-хе-хе...

— А бываетъ, что и на полушку наживаютъ рубль, по деревенски, не то что рубль-на-рубль.

— Да вы чего изволите сумлѣваться? ужъ серьезно, а не шутливо сказалъ мнѣ этотъ же собесѣдникъ, когда я ему сказалъ, что даже и скромность наживы копѣчка на копѣчку не уменьшаетъ огромнаго вреда этой операціи:—вѣдь нажитую копѣчку теряетъ сосѣдъ и притомъ буквально ни за что, ни про что.—Вы чего же сумлѣваетесь? Развѣ я ему не настоящую цѣну даю? Вѣдь цѣна за куль—четыре, и я даю четыре. Овсомъ ли онъ отдастъ, деньгами ли—все одно, у него руки пустыя будутъ. Винны тутъ нашей нѣту...

Во всякомъ случаѣ вины—въ тѣхъ порядкахъ, которые довели не только деревни, а цѣлыя губерніи, т. е. огромныя массы деревенскихъ людей, до попрошайничанья зеренъ на постѣвѣ. Припомните только-что рассказанную исторію съ овсомъ. Земство слышитъ жалобы на недостатки зерна:

«нечемъ обѣснѣнныя поля», — и удовлетворить этой нуждѣ. А между тѣмъ видѣть, какая масса всевозможныхъ ежидневныхъ оборотовъ производится подъ прикрытіемъ этой нужды. Существуетъ мнѣніе, что земства обязаны и должны стараться всячески распускать въ народѣ деньги; думаютъ, что развѣ пушено въ обращеніе между народамъ два три десятка тысячъ рублей, они сейчасъ же принесутъ пользу, оживятъ и души, и карманы. И точно, оживаютъ, но оживаютъ единицы въ прямой и огромный ущербъ сотнямъ и тысячамъ. До сихъ поръ мы читаемъ въ газетахъ всевозможные проекты о переустройствѣ мѣстнаго управленія, и вездѣ «деревня», сельское общество принимается какъ нѣчто совершенно особенное отъ всего государственнаго тѣла. Это такъ же справедливо, какъ еслибѣ я, отрѣзавъ отъ моего платка маленькій кусочекъ, сталъ увѣрять, что кусокъ этотъ совершенно не такого свойства, какъ платокъ, что большой кусокъ платка — одно, а маленький — совсѣмъ другое. Правда, при словахъ: «сельское общество», «сельскій сходъ» — воображенію преобразователя представляется только «староста», получающій 36 руб. въ годъ, и нѣтъ никакой возможности представить себѣ здѣсь, въ сельскомъ обществѣ, какое-нибудь болѣе или менѣе интеллигентное амплуа, а слѣдовательно и мало-мальски приличное содержаніе. Другое дѣло — волость: а тамъ волостные старшины получаютъ по 600 — 1,200 рублей въ годъ, тутъ стало быть можно и позаботиться о благѣ народа, и контролировать... А между тѣмъ въ этой то ячeyкѣ, именуемой «сельское общество» (которое всѣ рекомендуютъ оставить въ полной неприкосновенности, какъ святыню и какъ мѣсто безъ окладовъ), таится начуть не меньше бѣды, чѣмъ во всемъ огромномъ тѣлѣ страны. Вѣдь пора же знать, что сельское общество тогда только было въ своемъ дѣлѣ самоуправляющагося крестьянскаго общиной, когда основаніемъ средствъ къ существованію всѣхъ ея обывателей были земля и исключительно для всѣхъ одинаковый земледѣльческій трудъ. Какіе же это общинники теперь, если сосѣдъ наживаетъ на сосѣдѣ капиталъ, скромную деревенскую копѣчку на копѣчку? Въ земледѣльческой общинѣ я и мой сосѣдъ — мы можемъ богатѣть и бѣднѣть только сообразно нашимъ успѣхамъ въ одномъ и томъ же трудѣ — въ земледѣліи; мы богатѣемъ или бѣднѣемъ отъ нашей сноровки или неумѣнья, отъ удачи или неудачи, но богатѣемъ или бѣднѣемъ не другъ отъ друга, а только отъ себя и отъ своего счастья. Теперь же сосѣдъ, взявшій мой овесъ по существующей цѣнѣ и перепродавшій его земству весной за двойную цѣну, явно наживаетъ (при посредствѣ невнимательнаго земства) на мой счетъ, кладетъ въ карманъ мои деньги, беретъ ихъ за овесъ, моими трудами добытый. Еслибы развивались и укрѣплялись въ народѣ общинныя начала, основанныя на земледѣліи, то, въ случаѣ недостатка зерна, крестьяне заняли-бы у сосѣдей это зерно и отдали-бы зерномъ. И тутъ есть нажива, но опять-таки понятная, из-

винительная. Но земство (я охотно вѣрю, по наивности) само вводитъ зло, не вникнувъ подробно во взаимныя отношенія современныхъ общинниковъ, образовавшихся на разстройствѣ земледѣльческаго труда и порядковъ. Я охотно вѣрю, что оно даже — изъ уваженія къ деревенской «общинѣ» — не хочетъ совать туда своего носа: «пущетъ, думаетъ оно, *хоть тутъ* народныя печати останутся неприкосновенными» — и неприкасается; хотя именно тутъ-то и надо прикоснуться, и не для того чтобъ испортить или ввести зло (что дѣлается теперь), а именно вывести его оттуда. Надо узнать просто, внимательно, добросовѣстно: есть-ли у крестьянъ достаточно земли? Сколько они въ силахъ платить? Сколько на нихъ лежитъ бездѣльныхъ ртовъ? Нѣтъ-ли тутъ кого, кто жретъ своихъ сосѣдей и только облизывается да утираетъ рукой лохматый ротъ и т. п. Все это необходимо знать, чтобъ отдѣлать земледѣльцевъ отъ людей денежной наживы, чтобы палого распределить безъ обиды. Теперь, не прикасаясь къ новымъ деревенскимъ осложненіямъ, не мѣшаясь «въ ихніе» порядки, «командующіе» классы требуютъ только денегъ и любезно говорятъ: «Живите, живите, какъ хотите! Мы васъ не будемъ трогать, потому что и окладовъ у васъ нѣтъ подходящихъ, да наконецъ надо же, чтобы хоть это зерно сбереглось отъ язвы»... А зерно-то, которое лежитъ на самомъ низу, въ сырости и подъ страшною тяжестью нужды и неизвѣстности (во всемъ), всего болѣе и страдаетъ. Мой сосѣдъ, нажившійся на моемъ овсѣ, *вдвое воротившій свои сто рубльишекъ*, платить за двѣ души... И я, который *вдвое потерялъ*, тоже за двѣ души плачу. Внновать-ли я, что я бѣднѣю, а онъ богатѣетъ на мой счетъ? Правильны-ли такіе налоги? И не долженъ-ли я питать дурное чувство къ этому сосѣду, обогащающемуся на новый образецъ, *безъ личнаго труда*? Вѣдь онъ мой, мой, мои труды-то похитилъ! Какъ-то въ одной газетѣ я читалъ грозную статью противъ другой газеты, осмѣлившейся сказать: «не разнуздывайте звѣря». Всей статьи, гдѣ сказаны эти слова, я не читалъ и не знаю, въ какомъ смыслѣ они сказаны; но, въ виду вышеприведеннаго примѣра, позволю себѣ спросить: добрыя или злыя, человѣческія или звѣрскія побужденія воспитываются въ народѣ такими новостями, какъ возможность богатѣть насчетъ трудовъ сосѣда и его нищеты? Какъ вы думаете, доброе-ли во мнѣ рождается чувство къ этому сосѣду, у котораго въ жилетномъ карманѣ, въ видѣ часовъ «съ двумя доскамъ», я вижу мой потъ и кровь — тотъ самый овесъ, который упалъ въ курсѣ подъ осень? Прежде такимъ образомъ наживался только баринъ, но не на мой счетъ, а на *нашъ* общій счетъ и трудъ. Сосѣдъ наживался только *своими* руками, умомъ, силой и т. д., теперь же онъ наживается на *мой* счетъ, что я отлично и вполне ясно вижу. Какія-же чувства воспитываются во мнѣ такимъ явленіемъ? Разумѣется, не добрыя, не гуманныя... «Попадись онъ мнѣ — думаю я — такъ я ему тоже покажу, какъ на чужой счетъ богатѣть...»

Въ подтвержденіе того, что разстройство «земледѣльской деревни» — именно въ имущественныхъ отношеніяхъ «сосѣдей» другъ къ другу — обратило на себя вниманіе и другихъ наблюдателей, позволю себѣ привести выписку изъ статьи Г. М. Громиницкаго, напечатанной въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*: «Теперь вотъ что у насъ происходитъ; въ первыхъ числахъ декабря, въ деревнѣ (Пензенской губ.), въ которой я живу и которая сравнительно благоденствуетъ, изъ амбара одного крестьянина со взломомъ замка увезено ночью около 4-хъ четвертей ржи. Затѣмъ, въ ночь на 12-е декабря, въ той же деревнѣ оказались сломанными замки въ 3-хъ амбарахъ, и изъ одного увезено до 10 четвертей ржи. *Вся деревня поднялась на ноги*, потому что это — событіе не бывалое, старики не запомнятъ ничего подобнаго; не прочь многіе изъ крестьянъ попользоваться на счетъ «барина», но чтобы крестьяне воровали другъ у друга — это явленіе весьма рѣдкое. Есть цѣлыя деревни, гдѣ вамъ скажутъ, что этого у нихъ никогда не бываетъ. За три года я знаю только одинъ случай, да и то кража совершена двумя пьяными». Подчеркнуты здѣсь фразы, какъ мнѣ кажется, представляющія наилучшую характеристику деревенскаго разстройства: *воруютъ другъ у друга* — вотъ это и есть цвѣтъ и плодъ *неравенства въ средствахъ наживы, вторгнувшись въ трудовую земледѣльческую среду*. Если появился человѣкъ, рѣшающійся украсть у сосѣда, вмѣсто того чтобы попросить, поклониться, какъ бывало встарину (старинная интеллигенція открыто вопіяла: «помогай бѣдному» — и сулила за это прощеніе грѣховъ), то значитъ, что уже явилось сознаніе о возможности несправедливой, небезгрѣшной наживы. Евреи были избиты именно потому, что наживались чужой нуждой, чужими трудами, а не вырабатывали хлѣбъ своими руками. Еврей — специалисты по части биржевой игры, но, какъ видимъ, и наши сѣрячки не прочь отъ того, чтобы полакомиться даровою наживою. Евреи не одобряли — и наши сѣрячки жалуются «на народъ», что «никакихъ нѣтъ способовъ», «воля», «драть надо». Евреи жалуются въ Англіи на мужиковъ, *наши дѣйствуютъ въ волостныхъ судахъ, справляются «своими средствами» при помощи всякихъ изворотовъ, о которыхъ мы говорили выше*: садятся добровольно въ холодную, чтобы быть въ «своемъ правѣ»; доносятъ о «бѣдственномъ положеніи народа» и т. д.

Но можете представить, что и тутъ, въ этомъ омутѣ мутной воды и поѣданія ближняго, и тутъ главный двигатель и цѣль — устроить свое земельное хозяйство, вырвать изъ чужихъ рукъ, добыть всякими правдами и неправдами и реализовать не въ чемъ другомъ, какъ только въ хорошей скотинѣ (много назову — земля хороша), въ арендованіи земли, въ покупкѣ хорошихъ сѣмянъ.

Однажды разговори́лся я съ этимъ самымъ «благонадежнымъ лицомъ», о которомъ говорено выше и которое, не смотря на умѣнье дѣйствовать «поновому», какъ я уже сказалъ, не чуждо прояв-

леній самой простой крестьянской доброты... Разговорились мы о тѣхъ же самыхъ вопросахъ, о которыхъ идетъ рѣчь въ настоящей статьѣ, и мало-по-малу разговоръ нашъ принялъ самое искренное направленіе; договорились мы до того, что и благонадежное лицо согласилось, что «времени — тяжелыя» и что въ народѣ — разстройство, много грѣха.

— Мнѣ бы только до конца трилѣтія дотянуть — Богъ съ нимъ совсѣмъ и съ жалованьемъ. Передъ Богомъ... Положимъ, что маленько оно мнѣ подмогло въ хозяйствѣ — ну, и будетъ!.. Только одно зло ростишь на себя. Того и гляди — либо сожгутъ со зла, либо сгубятъ... Богъ и съ ними...

И опять мы говорили про настоящее, прошлое и будущее.

— Ну, а что же будетъ? спросилъ я. — Къ чему все идетъ?

— Не знаю, сказала лицо, задумавшись серьезно. — Не знаю, какъ для васъ оказывается, а по-мнѣ такъ къ старинѣ дѣла склоняются.

— То-есть?

— Да, то-есть... Вѣдь это и въ писаніи сказано... То-есть... должно такъ выдти, что... Здѣсь (для поясненія своихъ словъ онъ отмахнулъ правой рукой сверху внизъ) тыпнулъ топоромъ замѣтку на этомъ деревѣ, а черезъ пять верстъ (и опять онъ отмахнулъ лѣвой рукой также сверху внизъ) опять тыпнулъ на другомъ деревѣ... Вотъ и влады!..

Итакъ, вотъ что таятся въ глубинѣ этихъ интросплетеній, плутовства, пронырства. Замка самая первобытная рисуется его воображенію... Лѣсъ дремучій манитъ его, и вотъ онъ, этотъ «благонадежный» человѣкъ, воображаетъ, что будутъ времена, когда достаточно тыпнуть топоромъ тутъ и тамъ, чтобы «владѣть». Положимъ, что такіа рѣчи говорятся такъ, зря, безъ расчета, но ужъ одна возможность того, что онъ таятся въ типахъ деревни даже новѣйшей хищнической формации, говорить ужасно много въ пользу того, какъ велика.

Тяга въ сумочкѣ отъ матери-сырой земли.

IX. Прошлое Ивана Босыхъ.

Если существуетъ типъ деревенскаго биржевика — человѣка, наживающагося на счетъ сосѣда, то, разумѣется, долженъ существовать и сосѣдъ, весьма недовольный этимъ способомъ наживы. Если у биржевика есть «средствія», помощью которыхъ онъ достигаетъ своихъ цѣлей, то и у сосѣда, «теряющаго на курсѣ», тоже есть такіа собственныя «средствія», помощью которыхъ онъ старается обороняться отъ неминуемой гибели... Лучшимъ для насъ представителемъ этого послѣдняго типа будетъ тотъ самый Иванъ Босыхъ, о которомъ была рѣчь въ самомъ началѣ этого очерка. Не разъ разговаривали мы съ нимъ о его житѣ-бытѣ, и вотъ какой однажды разговоръ произошелъ между нами по этому поводу.

— Что же—спросилъ я его—послѣ того какъ тебя съ желѣзной дороги выгнали, принялся ты за работу?

— Послѣ того я вотъ какъ-было взялся съ радости-то, какъ медвѣдь началъ ворочать вокругъ дому! Только трещить да клюкаетъ! Да не долго пороботалъ такъ...

Онъ махнулъ рукой.

— Отчего-же?

— Да такъ!.. Ужъ раньше было мое хозяйство все въ разстройствѣ, въ разбросѣ, да и настоящее избаловался насчетъ вина. Захватить, затоскуешь—и выпьешь... Н-ну, а ужъ попала муха—какая тутъ работа? Съ вина хозяиномъ не будешь—иди спи... А хозяйство стоитъ... Такъ и пошло день за день, слабѣй да слабѣй, вотъ и достукался до поденщины...

— Да отчего же сначала-то у тебя разстройство вышло.

Иванъ задумался и, вздохнувъ, сказалъ:

— Какъ сказать? по нашему, по крестьянству, особенно по нонѣшнему времени и даже очень просто можно разориться въ-конецъ... Покодилъ у тебя скотина—и ступай по міру... Въ прежнее-то время нашъ домъ, семейство наше—первые были хозяева по крестьянству. Чтѣ скотъ, чтѣ народъ—одинъ къ одному на подборъ были подобраны... И теперьча, извольте поглядѣть, чтѣ отъ старой постройки осталось: столбы подъ навѣсомъ дубовые, два аршина въ обхватѣ, крѣпче чернодубу... Сейчасъ жги его столбомъ, такъ въ сутки пожару не добьешься... Говорить не остается, какіе были крестьяне—прославленные, прямо скажу, не похвастанъ, были. Насъ «босыми» прозываютъ потому, что мы всѣ, весь нашъ родъ, первые были силачи, чистые истуканы подобные. Ужъ на что я, испивши, набаловавши, самый послѣдущъ, а и то, ежели пойдетъ на споръ, подбодрюсь, такъ не одну, двѣ десятины дѣрну подыму. «Босыми» насъ прозвали потому, что когда пошло въ моду сапоги носить, такъ дѣдушка мой покойникъ—царство ему небесное!—никакъ не могъ сапога надѣть на ногу. Первое, что нога у него какъ столбъ какой, прости, Господи, или вотъ какъ тумба какая; а второе, какъ надѣлъ сапогъ—ступить не можетъ; неловко, ноги горятъ отъ жара. А вотъ босикомъ такъ въ трескучій морозъ десять верстъ пройдетъ, только дымъ отъ ногъ идетъ... Или, напримеръ, бывало, на споръ пойдетъ дѣло, такъ онъ, дѣдушка-то, по стеклянкамъ отъ бутылокъ голой подошвой хаживалъ, и то ни чего: «все одно, говоритъ, какъ по облаку хожу, ничего не чувствую»; а надѣлъ сапоги—захромалъ, жаромъ ноги займуся!.. Вотъ отчего намъ названіе такое—Босыхъ!.. Я-то ужъ самый младшій изъ семьи, я дѣдушку помню ужъ совсѣмъ слабого, передъ смертью... А которые помнятъ, такъ рассказываютъ, что бывало захвораетъ чѣмъ, занедужаетъ—никогда на печку не лѣзъ, а зимою-ли, лѣтомъ-ли—прямо въ боръ, кости поразмывать, да тамъ, въ бору-то, топоромъ того натворить, страсти поглядѣть чтѣ!.. Чисто медвѣдь съ

волками дрался—столь много наломано, нарублено, навалено... Размается на работѣ, раздыметъ его всего, а прибѣжить домой, рубаху мокрую снять—и здоровъ. Только всего и леченья его было! А что касавшее по хозяйству, такъ ужъ тутъ вотъ наестолкое, на булавочную головку ошибки не давалъ. Чтобы сдѣлать такъ, зря—ни во вѣки вѣковъ, ни въ большомъ, ни въ маленькомъ. Бывало, невѣсту какому изъ братьевъ возьмется выбирать, такъ цѣлую зиму ѣздитъ по деревнямъ, заискиваетъ. На двѣсти верстъ заѣзжалъ, и ужъ выберетъ бабу—однимъ словомъ!.. Ужъ ежали которую онъ выбралъ, выспросилъ, высмотрѣлъ, одобрилъ, такъ ужъ та баба завсегда на рѣдкость и на работѣ, и по праву. А родитъ ребенка, такъ прямо съ годовалую овцу; взялъ его на руки—къ низу претъ и тянетъ. Вотъ какое было семейство!.. Отборное, первыхъ кровей изъ всей округи было. Вотъ за это-то самое, за нашу породу, наше семейство и было у барина на примѣтѣ; въ солдаты изъ нашей семьи баринъ никого не отдавалъ, а все отсаживалъ въ другія свои деревни на разводъ племя... То дѣвку возьметъ—парня ей купитъ полъ кадрилъ, Еруслана какого-нибудь, въ Самарскую губернію отсадить, то брата съ женой, съ сыномъ въ курень.. Такъ и растыкалъ всѣхъ по-одиночкѣ. Остался я одинъ съ бабой и съ дѣдомъ, а отецъ съ матерью и бабушка въ холеру померли. Дѣдушка-то ужъ совсѣмъ на моей памяти плохъ былъ, а все норавлилъ вокругъ дома съ топоромъ потукать или такъ потоптаться. Пришло ему время помирать—въ самыхъ послѣднихъ годахъ зачуялъ онъ смерть—сталъ ночей бояться. «Боюсь я, говоритъ, ночей, страсть боюсь!» Цѣлую ночь бывало на крыльцѣ сидитъ—ждетъ, скоро ли свѣтъ... А чуть свѣтокъ, чуть пѣтухъ гдѣ-нибудь, и забормочетъ: «Слава тебѣ, Господи! Живъ, живъ я... Вотъ и солнце красное.. Ахъ ты, Боже мой... Свѣтъ и день! Живъ, живъ, живъ...» И спать ляжетъ, когда ужъ вся деревня прснуется, народъ зашумитъ, заговоритъ—тутъ ему не страшно. «Тутъ, говоритъ, я не боюсь помереть... Тутъ—на міру...» И поплакивалъ старичокъ, очень поплакивалъ! Бывало, кой-какъ, ужъ кой-какъ мученски мучается зиму-то, весны ждетъ: а пошелъ капель, стало пригрѣвать, такъ и полютъ изъ глазъ слезы-то... Жаль, всего жаль! Пуще всего—работать ничего не могъ. На пашню поглядитъ—зальется, зальется... А пашню-то нашу все обрѣзывали да обрѣзывали, и дворъ-то поосѣлъ. Я одинъ, заведеніе большое—одному-то и не подъ силу... Тамъ завалилось, тамъ упало... Плакалъ онъ, покойникъ, много плакалъ; а все пока силы были, все топталося, шамкалъ, приказывалъ да совѣтывалъ. Ну, однакожъ и померъ... Днемъ померъ—недаромъ Бога молилъ... Какъ сидѣлъ на солнушкѣ, такъ и заснулъ, кончился... А тутъ скоро и освобожденіе пришло. Пришлось мнѣ новые порядки узнавать... А новые-то порядки нашему брату трудноваты. Первое, что при баринѣ мы знали одно—работу: что скажутъ, то и дѣлали: навалимъ ему хлѣба,

свеземъ въ городъ, деньги онъ возьметъ и ужъ какъ самъ знаетъ, такъ и путается съ начальствомъ — а тутъ то тотъ, то другой тормозить... Да, деньги... Онъ хоть и не велики, да добывать-то мы ихъ непривычны... У меня маменька-то во всю жизнь денегъ разобрать одну отъ другой не умѣла, дай ей копѣйку или двугривенный, ей все одно, потому хозяйствомъ жили, все свое... Только деготь да соль, да что нибудь по мелочи... Да и то все — либо дѣдушка, либо тятенька... Н-ну, а тутъ изволь доставай. А кромѣ того земельки мало — гораздо меньше супротивъ прежняго стало — и выгонъ ушелъ отъ насъ — пришлось нанимать у чужихъ людей, платить опять деньги. Вотъ и пришлось въ люди идти поклониться. Глядишь, тотъ тормозить, рублевку теревить, другой: кой-какъ собьешься, отдашь съ прибавочкой. Тамъ прибавочка, тутъ прибавочка — анъ и самому-то то тамъ не хватить, то тутъ не натянешь...

И затѣмъ Иванъ разсказалъ, какъ онъ запутался въ тѣ самыя тенета деревенскихъ биржевыхъ операцій, о которыхъ говорено выше и которыхъ я здѣсь повторять не буду. Запутывался онъ каждую минуту, но по капелькѣ, по копѣечкѣ, полагая, что это — что-то временное, случайное, тяготился этимъ по-дѣтски, наивно, скучалъ, и вдругъ очнулся, потерялъ наивность неопытнаго ребенка и понялъ, что *это* — не случай и не на время, а что это — такой порядокъ.

Пронизало это слѣдующимъ образомъ:

— Долго-ли, коротко-ли идетъ время, подошла сибирская язва, стала валить скотъ... Вертинаръ пріѣдетъ, расковыряетъ шиломъ больное мѣсто и — уѣзжалъ! «Мнѣ, говоритъ, не успѣть, заболѣло сто тысячъ головъ, а я одинъ на четыре уѣзда, жалованья мнѣ рубль — того и гляди самъ поколѣешь съ голоду». Ну, мы и не взыскиваемъ... Валить скотину — на, поди!.. Остался и я безъ всего. Повадило у меня двухъ коровъ, да къ штрафу присудили за шкуры. Кабы мы были крѣпостные — ну, пошелъ къ барину, поклонился бы, онъ бы и далъ мнѣ лошадь, потому какой-же я буду мужикъ безъ лошади?.. Ну, а въ нынѣшнее время поди къ сосѣду, плачь... Ей-ей, мной плачетъ! Слѣху достойно сказать: эдакой верзило и — плачетъ; а вѣдь сухая правда... Просишь, просишь ковригу-то, зальешься... Я однакъ самъ удивился: записалъ даже съ огорченіемъ, словно заяцъ несчастный, не то что заплакалъ — а вѣдь во мнѣ безъ малаго шесть пудовъ вѣсу. Вотъ нужда-то до чего доводитъ!.. Вотъ въ эдакое-то время толкался, толкался я вокругъ нашихъ своихъ мужиковъ, которые хозяйствомъ покрѣпче: кое-какому нужно, кое не даетъ — задалжалъ я ему раньше. Нѣтъ ничего мнѣ справки!.. А время идетъ и пора стоять рабочая... Хотѣ волкомъ вой безъ лошади-то... Вотъ я и надумалъ идти къ сестрѣ — за сорокъ верстъ отъ насъ сестра была выдана моя... Мужъ-то ея по дровяному дѣлу служилъ, жалованье получалъ — значитъ, при заготовкахъ былъ — ну, и деньжишки кой-какія водились. Вотъ я къ нему: «дай-молъ лошадь»...

А крутъ былъ парень и ужъ онъ мужицкое рыло сталъ воротить. Ломался, ломался — ну, тутъ сестра подвыла за меня — далъ. Поставилъ цѣну въ тридцать пять рублей — отдать весной... А по совѣсти сказать, далъ онъ мнѣ ора; не то што тридцати, а и двадцати — какое! пятнадцать рублей и то напросишься... Ну, что будешь дѣлать? Взялъ, еще въ ножки поклонился. «Продай, говоритъ, сѣно — куда оно тебѣ? Оставь на одну лошадь, а остальное мнѣ отдай. А свалишь въ наше мѣстѣ» (у такого-то). Назвалъ мужика, тоже къ нему подъ кадриль подходитъ: сѣно ткуетъ, и часы, и все... А деньжонки-то требуются: коровъ нѣтъ; все купи, ребятишкамъ молока... Отдалъ ему сѣно по десять копѣекъ и приставить обязался къ тому мужику, которому онъ наказывалъ. Вижу, пріѣхалъ въ нашу деревню, поговорилъ съ мужикомъ эстимъ, Парееновъ прозывается. Потомъ оба зашли ко мнѣ; зять и говоритъ: «Приставляй сѣно Пареенову, а за расчетомъ ко мнѣ ходи». И Парееновъ говоритъ: «Ко мнѣ, говорить, приставляй»... Вотъ я и сталъ приставлять... Еще я забылъ сказать вотъ что: какъ пріѣзжалъ этотъ зять-то, зашелъ онъ ко мнѣ на дворъ, увидалъ телянка: «отдай, говоритъ, мнѣ, на что онъ тебѣ безъ матки-то?» А и то, что безъ матки трудно: дѣлаешь мѣсятку, одной муки сколько слопаетъ, а мужу я въ ту пору скорѣ съ Рождества покупалъ... Отдалъ я ему телянка за пять цѣлковыхъ. Староста тутъ подокинулъ: они, дѣяволы, за двадцать верстъ носомъ слышутъ, коли покушникъ на дворъ зашелъ и деньги изъ кармана вынимаетъ — два цѣлковыхъ отмоталъ отъ пятишной въ подати... Ну, песъ съ нимъ!.. А недоимки на мнѣ дѣйствительно ужъ эво сколько!.. Вотъ ладно, сталъ я сѣно приставлять... «Приставилъ» четыре воза къ Пареенову, а Парееновъ ткуетъ да въ сарай кладетъ. Натюковалъ онъ пятьдесятъ пудовъ. Бѣду я къ зятю за деньгами — стало-быть, приходится мнѣ получить пять рублей... Пріѣхалъ я къ зятю, а его дома нѣту. Сидитъ сестра... Ну, поздоровкались, поговорили, представилъ я записку, выдала она мнѣ пять рублей... Представилъ я еще пятьдесятъ пудовъ, опять поѣхалъ и опять зятя нѣту; сестра только дома... Сидитъ сестра и говоритъ: «А мы твоего теляночка продали. Вчера съ телятниками были, за двадцать пять рублей купили»... Вздохнулъ я отъ этихъ словъ, потому и поили-то они его всего двѣ недѣли; кабы у меня корова была, такъ вотъ они, двадцать пять рубликовъ, въ моемъ бы карманѣ были... Вздохнулъ я и промолчалъ. Разговорились и про сѣно; сказываетъ она мнѣ, что и сѣно ейный мужъ въ Питеръ «приставляетъ» въ казармы, по сорока копѣекъ, а за прессовку Парееновъ по четыре копѣйки получаетъ... «А перевозка почему?» — «А перевозка, говоритъ, тоже по четыре обходится до Питера». И опять я вздохнулъ... Я-то вотъ за сто-то пудовъ всего десять цѣлковыхъ получилъ, а зятю-то восемьдесятъ цѣлковыхъ пришлось... Ну, прессовка восемь — анъ все же монѣ денегъ у него

шестьдесят рублей... А труды-то моя, косьба-то моя, и сушка, и гребля мы тоже съ бабой — а всего десять цѣлковыхъ... За что такъ? — думаю... Пошелъ я къ Пареенову и говорю: «Такъ и такъ... Вѣдь это, братецъ мой, убытокъ; давай мнѣ хоть пятнадцать копѣекъ, а тебѣ приставлять буду»... Парееновъ говоритъ: «Я-бы и радъ, я-бы и двадцать далъ, коли бы у меня въ Петербургѣ мѣста были знакомы. А то мѣстовъ-то нѣтъ. Я ужъ, братъ, за ними вотъ какъ старался услѣдить по Питеру, куда они дѣваются сѣно, всѣ ноги отопталъ, подъ заборами прятался — чуютъ, каналы, путаютъ по Питеру... Ходишь, ходишь за ними, со слѣду не спускаешь, а чуть магнулъ не такъ — его и нѣтъ, какъ въ воду канулъ. Дьяволы — одно слово!» Пошелъ я, думаю: ужъ разыщу-же я себѣ другого покупателя. Пошелъ на вокзалъ, толкался тамъ двое сутокъ, нашелъ. «Вози по двугривенному, сколь хошь!» Ну, тутъ я вышелъ да съ радости и объявилъ Пареенову-то. А Парееновъ-то — въ обиду: «Ты, говоритъ, отъ меня хлѣбъ отнимаешь... Я бы прессовкой-то все попользовался сколько-нибудь, а ты чужимъ...» — да и объяви зятю.. А зять не въ себѣ сталъ. «Какъ, обманывать?»... Прибѣгъ ко мнѣ. «Подавай лошади!» Это чтобы мнѣ возить не на чемъ было. Ну, я уперся, говорю: «лошадь куплена, деньги жди до весны... Вумаги у насъ, молъ, съ тобою нѣтъ, а сдѣлано дѣло на совѣсть, по безсловесному договору — ну, и жди»... — «Давай сейчасъ!.. Эй, Парееновъ, бери лошади! Зови работника!» Я вижу, идетъ дѣло на сурьѣзъ, загородилъ ворота въ скотникъ, сталъ спиной къ двери, и признаться, осердился я... А былъ я немного выпивши, потому получилъ я съ новаго-то пріятеля задатку, вотъ съ радости-то я и пропивалъ рублишко, вчера да сегодня... Вижу я, хотятъ ломаться въ дверь, осерчалъ... «Да ты что, говорю, тутъ орешь-то? Какая-тебѣ лошадь? Да я, говорю, и весной-то денегъ тебѣ не отдамъ, потому ты и такъ на моемъ снѣгѣ да на теленкѣ получилъ... По Божьи-то съ тебя еще надо больше тридцати рублей мнѣ получить, а нежели ты съ меня... Чуть не сто цѣлковыхъ на мнѣ нажилъ, да отдай я ему лошадь, а самъ иди по-міру... На-ко!» Тутъ пошла брань, сваря: что онъ злѣй, то и я... Приступаютъ всѣ они — Парееновъ, работникъ — прямо къ горлу, я и ткну, отпихнись!.. «Чего, молъ, грабить лѣзете, пошли прочь!»... «А, коли такъ — въ судъ!» И подалъ зять на меня въ волостной судъ по оскорбленію его личнаго мордобоя и по взысканію за лошадь: либо 35 рублей, либо лошадь назадъ. А Парееновъ-то — судья... Ну, и прочіе судьи у зятя были присоглашены. Пивцо, вино, и все прочее... Приговорили такъ: за оскорбленіе личности двадцать ударовъ, а лошадь отобрать. Я на судъ не пошелъ. Приходить ко мнѣ десятскій и говорить: «Иди въ волость!» — «Зачѣмъ?» «Драть будутъ!» — «Ну, я и не пойду». — «Не пойдешь?» — «Нѣтъ, говорю, не пойду. Скажи имъ, чтобы кого-нибудь другого выдрали, коли есть охота». Тутъ меня взяло зло. Какъ такъ! Это

что-жъ такое? Меня теперича можетъ драть свой-же братъ мужикъ? Еще баринъ насъ диралъ — ну, это господское дѣло; какъ была неправда, такъ и прошла. А тутъ меня будетъ драть всякое свинное рыло за то, что я ему не даюсь, охотой къ нему въ пастъ нейдю?... Ну, нѣтъ, не дамъ!.. Такъ меня все это разсердило, пошелъ я въ кабакъ, сцарапнулъ косушку, и думаю, чтó творится. Сидятъ солдаты — разговаривались. Разсказалъ я. Посовѣтовалъ: «не давайся». Потомъ спрашиваетъ: «А много-ль за тобою недоимки?» А на мнѣ недоимки накупѣло вотъ какъ: надъ головой на три аршина, съ боковъ по два аршина, да въ землю сажени на четыре слишкомъ. Сказалъ я ему это, онъ обрадовался. «Ничего, говоритъ, не бойся! Недоимка — это наше спасеніе. Съ насъ ее потому и не снимаютъ, что жалѣютъ насъ: снять ее — все равно до-гола раздѣть; тогда эти каналы насъ голыми руками брать будутъ. А какъ окруженъ ты недоимкой со всѣхъ сторонъ — и вверхъ, и внизъ, и съ боковъ, то и сиди ты спокойно, какъ бы въ неприступной крѣпости, потому что продать ежели у тебя скотину, такъ деньги должны идти въ казну, а не имъ, живорѣзамъ, а живорѣзу — чтó казна?... Коли не ему, такъ и не надо. Ужъ коли у тебя продадутъ лошада, да въ казну деньги возьмутъ, такъ ужъ онъ и знаетъ, что ему не съ чего взять будетъ. А такъ-то, безъ аукціона, все, можетъ быть, ты что-нибудь отдашь, все ему надежда... А ты вотъ какъ, я тебѣ скажу: ничего имъ, живорѣзамъ, не отдавай, а продавать тебя для казны они сами пожадничаютъ. Сиди, братецъ ты мой, въ этой самой глубинѣ; недоимка — твои защита. Все одно какъ въ шубѣ сиди. Казна-матушка потому насъ покуда и не раздѣваетъ... А то бы мы всѣ какъ тараканы померали». Такъ мнѣ стало весело отъ этихъ словъ! Выпили мы тутъ еще, и стало мнѣ хорошо. Думаю, коли казна ждетъ, такъ живорѣзы и по давню должны повременить. Да опять я и не долженъ за лошадь — и по совѣсти, и по божьи, и всячески. Я ему предоставилъ на сто рублей моего собственного трудового — будетъ съ него. А то еще драть... За что? — за то, что по дорожке хочу сѣно продать? Вѣдь вотъ анаеема! Какъ вспомню, что меня драть хотятъ за мое же добро, такъ — хоть что хошь — тянетъ въ кабакъ да и на! Однако прошло дня два, опомнись, почувствовалъ думаю — принусъ за хозяйство: лошадь моя, теперь сѣно по двугривенному — стало-быть и коровенку куплю. И все въ той состояю надеждѣ, что защититъ меня недоимка. Солдаты сказывали: «сиди въ недоимкѣ, какъ во дворцѣ, никто не посмѣетъ!» и присовѣтовали: «а въ случаѣ чего, запирайся кругомъ — нѣтъ закона, чтобы сидѣть братъ. Отвѣтять». Вотъ я и сижу во дворцѣ-то. На третій день глядь — тройка: старшина, зять, десятскій... къ Пареенову. Я сейчасъ на запоръ: ворота, сарай, конюшню, домъ — все заперъ. Сижу съ женой, ребятами, подъ окномъ, смотрю, чтó будетъ. Потолковали они у Пареенова — вижу, идутъ ко мнѣ всей гурьбой.

Парееновъ съ ними и еще человѣка четыре мужиковъ. Подошли: старшина и говорить: »Отпирай!» Я не отпиралъ.—»Ты думаешь, говорить, что мы тебя не доставимъ? Ты думаешь, мы судовъ на тебя будемъ дожидаться? Ну, нѣтъ, братецъ! У насъ противъ васъ, канальевъ, и свои средства найдутся. Отпирай ворота добромъ! Лучше будетъ!» Я не отперъ. Сажу, гляжу, что будетъ. Знаю, что противъ закону нельзя имъ идти... «А коли не хочешь добромъ, такъ мы и сами справимся. Ребята!—сказалъ старшина—принесите дубину хорошую». Побѣжали мужичонки къ Пареенову, выволокли четверо еловое дерево, аршинъ шесть долины да вершковъ двѣнадцать въ корню, въ отрубъ. «Дуй!» Подхватили всѣ, размахнулись, разъ-два-три—ворота въ дребезги такъ и разлетѣлись. Тутъ я вижу, что уже безъ совѣсти пошло дѣло. Вышелъ на дворъ: «что вамъ будетъ угодно?»—«Подавай лошадей!»—«Она въ полѣ!»—«А!»—сказалъ старшина—въ полѣ... Ну-ко, ребята, возьмите дубину!» Опять подхватили, раскатали—хлопъ въ скотникъ. Такъ дверь и вбухалъ въ нутро. Лошадь тамъ. «Возьми!» Зять взялъ лошадь и ушелъ къ Пареенову, а старшина говоритъ: «Не хотѣлъ добромъ, хочешь нахрапомъ, такъ мы также можемъ. Ты думалъ своими средствами отвернешься—ну, и мы своими средствами. И помни. А выдрать—выдеру... А ежели хочешь жаловаться въ вышнюю инстанцію, такъ сдѣлай милость, теперь тебѣ двадцать опредѣлили, а тогда сто двадцать всыплю...» Съ тѣмъ и ушли. Остался я безъ лошади, и такое меня взяло зло, такая лютость, точно бѣсъ меня осѣнилъ. Жена было заголосила, а я ее бить. Передъ Богомъ, самъ не помню, какъ рука поднялась! Теперь я безъ лошади, и безъ коровы, и сѣно не на чемъ возить, и драть грозятся—кипятъ у меня все нутро, огнемъ палить... Завыла она. Я—разъ ее въ грудь, а брюхатая была; и это, что брюхается—то она не во-время, тоже меня озлило, а ее и... Стала она кричать, а я злѣй, да злѣй; побѣдло у меня въ глазахъ отъ злости... Пр-рямо въ кабакъ! Жралъ, жралъ, сѣно кабатчику обѣщался отдать за пятачокъ пудъ, только давай вина. Допился до безчувствія, вышелъ, упалъ въ кававу, мордой въ лужу и лежу... Долго ли, коротко-ли лежалъ, стало мнѣ холодно. Открылъ глаза—мѣсяцъ на небѣ. Дѣвки покоятъ въ деревнѣ... Всталъ, пошелъ къ кабатчику, вымолилъ стаканчикъ и пошелъ домой. Иду, гляжу у Пареенова огонь. И зять, и старшина, и компанія. Вино въ бутылкѣ, самоваръ—угощаются. Не могу сказать, что такое случилось со мной, а только какъ увидалъ я это, прямо и повернулъ къ Пареенову. Ввалилъ я къ нимъ въ грязь, безъ сапогъ—пропалъ ихъ—и прямо къ старшинѣ: разъ его по рожѣ—да къ Пареенову, да къ зятю... Даль имъ всѣмъ по хорошему лещу и сѣлъ... Тутъ-было поднялось... и-и, Боже милостивый, что! Но я ужъ былъ въ азартѣ. «Убью, говорю, анаемы! Вина давайте, и только!» Проснулась въ ту пору во мнѣ наша Босовская сила: кажется, убилъ-бы съ одного ма-

ху. Но только они догадались, что опасно меня теперь трогать, отступились, погнали за старостой, за понятными... А я прямо къ столу, выпилъ изъ бутылки, да пустой бутылкой въ зеркало, да чайную посуду на полъ... Сбѣжался народъ: повалили, связали и—въ холодный амбаръ. Подали на меня въ судъ всѣ трое. Старшина—тотъ къ мировому подавъ. Зовутъ къ отвѣту: не пошелъ, сталъ пьянствовать. Выходить резолюція—драть. Зовутъ. Не пошелъ. Три раза приходили. Плюнулъ въ морду десятскому, а не пошелъ. Насудили, анаемы, съ трехъ-то мордъ—до ста ударовъ съ прежними... Я все не иду. Спасибо, еще народъ есть добрый—не выдаютъ... Вотъ я и промаялся кое-какъ до Покрова и все больше пилъ... Тутъ ужъ и новый мой знакомый, съ котораго я задатокъ подъ сѣно получилъ, и тотъ сталъ грозиться судомъ. А на чемъ я повезу сѣно, коли лошади нѣтъ?.. И кабатчикъ требуетъ то-же самое сѣно—я его пропилъ ему... Не глядѣли-бы глаза на свѣтъ бѣлый. Послѣ Покрова слышу—колокольчики. Заливаются соловьями. Вкатываютъ въ деревню на трехъ тройкахъ: старшина, приставъ, судъ... Екнуло мое ретивое! Прямо ко мнѣ на дворъ, вошли въ избу, собрали народъ. «Подати!»... Такъ меня притиснули, не выскочишь изъ избы то... Тутъ стали носить подати, а старшина говоритъ: «Вотъ, ваше сіятельство, этотъ крестьянинъ (я) четыре раза присуждался къ наказанію, во-первыхъ за оскорбленіе зятя, потомъ меня, потомъ Пареенова и опять же зятя. Двадцать разъ его звали—сопротивляется, не идетъ. Позвольте привести рѣшеніе въ исполненіе... Да и податей къ тому же не платить». Вотъ тутъ меня и растянули!... Тутъ я и потерялъ свой смыслъ, и стыдъ, и совѣсть... Лежу и, вѣрите-ли, себя боюсь. Передъ Богомъ, себя боюсь!.. Боюсь подняться, боюсь пошевелиться, потому убилъ бы кого-нибудь, на смерть-бы разможился, кто повернулся-бы въ ту пору. Наконецъ, того, вижу, что живорѣзы въ лакомство вошли, говорю: «будетъ!» И такъ это сказалъ, что перестали вѣдъ анаемы... Ну, вотъ съ этого времени я и потерялъ себя. Всего себя потерялъ! Все мнѣ тоска, свѣтъ не милъ, дворъ пустой... Только есть кабакъ. И воровать даже сталъ. Сѣно продалъ въ двадцать мѣстъ, а все—прахомъ, прахомъ. Слабѣй, слабѣй, такъ и пошелъ ко дну. До того дошло, что и жена стала жаловаться на меня суду... За это мнѣ рѣшеніе выходило—20 ударовъ, а я ее за жалобу опять трепалъ... Такимъ родомъ и исподлѣлъ я, и развратился. Ужъ какъ я обрадовался, когда баринъ одинъ, на дачѣ по близости жилъ, подмогъ мнѣ немного работишкой, далъ прочухаться, а потомъ и на станцію опредѣлилъ. Коли-бы мнѣ опять такое мѣсто, я-бѣ ужъ зналъ, какъ справиться,—ну, а теперь...

Иванъ замолкъ и съ измѣнившимся, поблѣднѣвшимъ лицомъ проговорилъ, понизивъ голосъ:

— Теперь того и жду, что случится что-нибудь худое...

— Съ кѣмъ?

— Да со мной... Того и жду, что въ тоскѣ какой-нибудь сдѣлаю вредъ.

— Отчего же ты думаешь?

— Уже знаю я...

Иванъ замолчалъ. На лицѣ его было выраженіе какой-то суровой таинственности.

— Домовой у меня по ночамъ воетъ на крыльцѣ—вотъ что я вамъ ужъ безъ всякой утайки объясню.

Я могъ только сказать:

— Неужели?

— Вѣрно я вамъ говорю... Какъ меня тогда разорить, то-есть лошадь-то когда отняли, такъ онъ тоже вылъ, а теперь такъ, вѣрите-ли, каждую ночь воетъ безъ устали. Всю ночь съ женой, съ ребятишками трясемся... Выйдешь въ сѣнцы ночью-то, а онъ сидитъ на крыльцѣ, эдакъ вотъ обѣими руками голову обхватитъ, да какъ замотаетъ башкой-то изъ стороны въ сторону, какъ залетѣлъ... Морозъ даже по кожѣ деретъ! Передъ Богомъ вамъ говорю!.. Уже вѣрно, что-нибудь со мной недоброе случится... Уже очень я обозливші... Тоска меня сосетъ... Врагъ шепчетъ все... Уже на что-нибудь подстроитъ онъ меня... Быть мнѣ на каторгѣ—вотъ что я думаю.

— Ну, какой вздоръ! Какіе домовые!

— Какъ, какіе?.. Нѣтъ, ужъ сдѣлайте милость. Мы очень знаемъ эти дѣла-то. При покойникѣ дѣдушкѣ у насъ домовые жили двое; я ихъ самъ своими глазами видѣлъ... Такъ они жили тихо.

— Своими глазами?

— Вотъ какъ васъ вижу, такъ и ихъ видалъ... Да и сейчасъ я вижу его...

— Ну, какой же онъ?

— Домовой-то?.. Да обыкновенно ужъ домового мы подразумеваемъ подъ чортомъ—ну, и видъ у него...

— Какой же у него видъ-то?

— Какъ сказать?.. Мутный онъ весь какой-то...

— Глаза есть у него?

— Да, и глаза *должны* быть. Вѣдь онъ ходить—долженъ же глядѣть-то.

— А ноги?

— У него всему надо быть, только-что не видишь; а видишь только, что есть вонъ тутъ, или тутъ... А такъ сказать, чтобы видъ какой у него—не могу... Я разъ пришелъ на сѣновалъ, а онъ лежить—спать, должно быть.

— Ты его видѣлъ?

— Своими глазами.

— Ну, такъ на кого же онъ похожъ?

— Да на домового-же и походитъ.

— Одѣтъ онъ во что-нибудь или нѣтъ?

— То-то нельзя этого знать... А видишь только, что тутъ онъ... Вродѣ какъ тѣнь, такой мутный, лежить, и сѣно сквозъ него видно.

И тутъ у насъ начался самый дѣтскій разговоръ. Я только могъ дивиться, какая дѣтская наивная душа сохраняется въ этомъ сильномъ и добромъ человѣкѣ, въ которомъ запутанная жизнь можетъ накапливать почему-то только зло, только негодованіе...

Х. Земельные порядки.

Картины, которыя невольно ложатся на бумагу, до того непривлекательны и до того тягостны, какъ для читателя, такъ и для записывающаго ихъ, что мы не будемъ болѣе дѣлать этого. Довольно знать, что какъ безперемонная жестокость мужика разживающагося, такъ и нарождающаяся жестокость сердца въ мужикѣ разоряющемся имѣютъ одинъ и тотъ-же источникъ—разстройство земледѣльческихъ порядковъ. Всѣ въ глубинѣ души сознають, что земля—одна только непоколебимая и прочная основа благосостоянія, что земледѣльческій трудъ—одинъ только безгрѣшный, святой трудъ, складывающій всѣ частныя и общественныя отношенія земледѣльцевъ въ безгрѣшныя, безобидныя формы. Понято-ли достаточно значеніе земли во всемъ обиходѣ крестьянской жизни? Возвращаясь опять къ фактической сторонѣ дѣла, видишь, что земли мало—въ полонину меньше, чѣмъ нужно,—видишь, что никакой не-обходимой при новыхъ условіяхъ крестьянской жизни хозяйственной системы не выработано. Какой-нибудь сѣнной прессъ, который долженъ быть такимъ же общественнымъ достояніемъ деревни, какъ пожарная труба, который долженъ облегчать трудъ всѣхъ земледѣльцевъ, составляетъ источникъ огромнаго дохода для единицы: вотъ этотъ Парееновъ купилъ прессъ и можетъ ничего не дѣлать, обирать міръ. Конечно Парееновъ можетъ покупать, что ему угодно, но и міръ долженъ имѣть свой прессъ, свою молотилку, для того чтобы трудъ облегчился для всѣхъ, чтобы не было ненужнаго зла.

Помимо недостатка земли, стройность и прочность земледѣльческой семьи нарушается и вполнѣ правильной вонискою повинностью. При старой, такъ называемой, очередной системѣ прежде всѣхъ должны были идти многосемейные—для большой семьи не такъ трудно лишиться одного работника, какъ для маленькой потерять его. Теперь возможны случаи, когда большая семья остается невредимой, а маленькая въ концѣ разоряется. Пролетаріатъ, воспитываемый новою модою наживы денегъ съ своего сѣзда, увеличивается и этимъ обстоятельствомъ.

Встарину этотъ пролетаріатъ волей-неволей сидѣлъ на помѣщичьей шеѣ, въ видѣ дворни, въ видѣ «учениковъ», отданныхъ въ городскія мастерскія. Наконецъ огромная масса такого негоднаго въ деревнѣ народа отдавалась въ солдаты и, вслѣдствіе долгаго срока службы, возвращалась назадъ въ самомъ незначительномъ количествѣ. Я знаю, что все это сидѣло на народной же шеѣ, я знаю, что старая солдатчина ужасна, и надѣюсь, что никто не припишетъ мнѣ желанія возвратитъ это прошлое; я говорю только, что, такъ или иначе, пролетаріатъ деревенскій былъ прибранъ изъ деревни, не толкался въ ней, не мѣшалъ мужику быть земледѣльцемъ. Теперь не только такой жестокій приборъ нѣтъ, но, напротивъ, даже и мысли нигдѣ ни откуда не проникаетъ о томъ, что «не

надо разводить» пролетаріата и что необходимо устроить по божески. Срокъ службы хоть и коротокъ, но солдатчина портитъ человѣка и, воротясь, онъ мѣшаетъ: онъ—плохой работникъ.

Затѣмъ старая хозяйственная система была правдивѣй, съ своей корыстной точки зрѣнія, къ народу и по отношенію къ налогамъ. Богатый всегда платилъ больше бѣднаго, хотя бы у обоихъ ихъ считалось по одному тяглу. Теперь же за одно и то же количество душъ платятъ и семьи огромнаго денежнаго богатства, и семьи огромной земледѣльческой нищеты. Кромѣ того, какая система въ томъ, что въ этихъ двухъ деревняхъ совершенно разные платежи: одна деревня платитъ 1 р. 60 коп. въ годъ всего-на-все, а другая—19 р. съ души? Или почему вотъ эту половину рѣки одна деревня сама отдала въ аренду рыбакамъ и получаетъ за нее деньги, а другая не можетъ поймать и окуня, потому что половина рѣки, прилегающая къ ея берегу, тысяча лѣтъ тому назадъ подарена монастырю и монастырь самъ слаетъ ее въ аренду? Тысяча лѣтъ тому назадъ монастырскія владѣнія никого не стѣсняли, а теперь они прямо разстраиваютъ население... Неужели все это не можетъ быть устроено просто, внимательно, по совѣсти? Глядя на все это, не понимаешь, какъ можно какими-нибудь эпитетомъ опредѣлять такое запутанное землевладѣніе, тѣмъ паче такимъ, какъ «община». Тутъ самая грубая неряшливость. Богъ знаетъ что, но только не община.

Вспоминая постоянно крѣпостное право, я полагаю, что читатель не заподозритъ меня въ сочувствіи ему. Я только говорю, что при крѣпостномъ правѣ была система, что хотя на человѣка и смотрѣли какъ на рабочую только силу, но обязаны были, въ видахъ полученія отъ нея пользы, удовлетворять ее въ ея существенныхъ потребностяхъ. Теперь человѣкъ деревенскій—не скотина, не животное: онъ, слава Богу, человѣкъ въ самомъ дѣлѣ, живая человѣчья душа; а между тѣмъ, какъ мы видѣли изъ приведенныхъ выше примѣровъ, хозяйственная-то земледѣльческая организація его была оставлена въ полномъ разстройствѣ и невниманіи, а человѣческая—вовсе ничѣмъ не удовлетворяется.

Столѣтіе тому назадъ Тихонъ Задонскій могъ съ церковной кафедры публично, при всемъ народѣ, говорить такіа слова: «Явное *хищеніе* есть то, когда кто чужую вещь насильно отнимаетъ, какъ то дѣлаютъ: 1) Разбойники, кои насильно другого грабятъ. 2) Властелины, которые у своихъ подчиненныхъ, а сильные у немощныхъ отнимаютъ нагло имѣніе, домъ, землю и пр. или принуждаютъ ихъ продать себѣ то, что они продать не хотятъ (зять Ивана Восьмъ), или продать малую цѣною... 3) Сему хищенію подвержены продавцы, которые въ крайней другого нуждѣ, напримѣръ во время голода, хлѣбъ не продаютъ, развѣ за несносную цѣну. Сюда подлежатъ и тѣ, кои, видя другого нужду, взаемъ не даютъ денегъ или хлѣба, или чего другого, развѣ требуя несправедливой лихвы и росту» и т. д. Повторяю, сто лѣтъ тому назадъ

соч. гл. успивскаго. т. II.

можно было публично, съ кафедры большого губернскаго города, прямо, открыто и безбоязненно говорить о правдѣ человѣческихъ отношеній. Подате-ка пикинте теперь объ этой правдѣ не только въ губернскомъ городѣ, съ кафедры собора, а въ деревнѣ—посмотрите, чѣмъ отплатятъ проповѣднику за эту смѣлость господъ Пареновы, Ивановы зятья, волостные старшины и т. д.

Вотъ въ числѣ молящихся находится господинъ Пуговкинъ, лѣсопромышленникъ. Онъ нанимаетъ мужиковъ возить изъ лѣсу дрова и платитъ имъ съ сажени; только сажень у него своя, именно—не 3, а 4 съ вершками аршина. «Только сажень у меня, ребята, своя», говоритъ онъ. Попробуйте-ка публично сравнить его съ явнымъ хищникомъ, да онъ васъ за это буквально сотретъ въ порошокъ! Говорить публично о такихъ вещахъ—развѣ это не бунтъ? Вотъ почему современный іерей предпочитаетъ сидѣть дома, либо ловить рыбу, либо отъ скуки очинить перо, да потомъ и примется выводить отличнѣйшимъ почеркомъ: «Милостивый государь, господинъ Іоаннъ Гофъ! Употребивъ, совокупно съ тещей, одержимой воспаленіемъ всѣхъ суставовъ, двадцать пять бутылокъ вашего мальцъ-экстрактнаго препарата, съ благоговѣніемъ прилагаю еще 3 рубля»... А рядомъ зять поретъ Ивана Восьмъ за то, что тотъ хотѣлъ съю продать подорожа...

XI. Школа и строгость.

Деревенская школа, деревенскій учитель, какъ вѣроятно извѣстно всякому живущему въ деревнѣ, не пользуются особенной симпатіей деревенскаго населенія. Конечно есть много превосходныхъ учителей, умѣющихъ возбудить къ себѣ страстную и искреннюю любовь учениковъ, и скажемъ даже, что огромный процентъ народныхъ учителей составляетъ наилучшій элементъ современной деревенской интеллигенціи, — элементъ, въ средѣ котораго почти исключительно пріютились остатки исчезающей изъ обращенія идеи самопожертвованія и служенія на пользу ближнему; но все-таки мы должны признать, что современное деревенское населеніе не чувствуетъ въ школѣ того расположенія, которое оно должно было бы чувствовать. Поговоривъ съ любымъ изъ крестьянъ, т. е. земледѣльцевъ, о современныхъ порядкахъ, нуждахъ, перемѣнахъ и ожиданіяхъ и перейдя потомъ къ разговорамъ о школѣ, объ училищѣ, вы непремѣнно услышите два постоянно слышавшіяся мнѣнія, «что ничему не учатъ» и «что нѣтъ строгости». Съ немужичкоя точки зрѣнія, оба эти мнѣнія одинаково несправедливы: во-первыхъ, потому, что учатъ гораздо болѣе, чѣмъ учили встарину по псалтырю; а во-вторыхъ, роптать на недостатокъ строгости въ училищѣ въ то время, когда рука родителя не задумается дополнить по этой части дома то, чего, по его мнѣнію, не сдѣлала сдѣлать школа, оказывается дѣломъ рѣшительно неосновательнымъ. А между тѣмъ весьма не-

рѣдко ропотъ на то, что «ничему не учать» и что «нѣтъ строгости», иногда переходить изъ области простого, затаеннаго неудовольствія на практическую почву и выражается въ томъ, напримеръ, что нѣкоторыя деревни прямо отказываются платить сборъ (отъ 10 до 25 в.) на школы, который они сами-же мирскими приговоромъ обязались платить. Факты подобнаго рода весьма часты, и съ перваго взгляда кажется, что они не представляютъ собою ничего другого, кромѣ доказательства глубокаго народнаго невѣжества и косности; на самомъ-же дѣлѣ выраженія: «ничему не учать» и «нѣтъ строгости» имѣютъ, если только дать себѣ трудъ добиться ихъ подлиннаго смысла, какъ разъ обратное значеніе, т. е. совершенно опредѣленно указываютъ высоту народныхъ требованій по отношенію къ наукѣ,—высоту, которой школа не удовлетворяетъ. Съ этой точки зрѣнія выраженія: «ничему не учать» и «строгости мало» получаютъ иной смыслъ, а слово «строгость» перестаетъ значить то-же, что «за волосы» или «ложись».

Но, позвольте, скажетъ читатель, давшій себѣ трудъ прочитать предшествовавшія главы настоящаго очерка—какая-же нужна школа и наука мужику? Развѣ въ этой жизни, основанной на власти земли, власти, все проникающей, все устрояющей и все въ народной жизни уясняющей—развѣ тамъ есть мѣсто какой-нибудь книжкѣ и какой-нибудь наукѣ? Зачѣмъ она тутъ? Зачѣмъ сюда соваться и разрушать удивительную стройность ни въ какихъ указаніяхъ (кромѣ указаній природы) не нуждающейся жизни? Все это читатель имѣетъ право напомнить мнѣ, и все это, съ своей стороны, я готовъ-бы былъ повторить и подтвердить въ болѣе, насколько возможно, сильныхъ доказательствахъ и фактахъ, еслибы мною руководило не столько желаніе предаться изображенію трудовой жизни «безъ грѣха», сколько другое болѣе настоятельное желаніе, чтобъ эта безгрѣшная жизнь, золотыя зерна которой разсыпаны по всей Русской землѣ, не была оберчена на непрестанное пребываніе въ невозможныхъ кучахъ и чтобъ эта драгоценность не была разиѣнена на мѣдную монету... Что это точно жизнь безъ грѣха и что это точно драгоценность, мы будемъ говорить тогда, когда отдѣлаемся и разъ навсегда покончимъ съ вопросомъ о томъ, что именно надобно дѣлать, чтобы драгоценность эта не была промотана и не пошла прахомъ.

Въ виду этой цѣли, мы въ первыхъ главахъ нашего очерка и хотѣли въ грубыхъ чертахъ выяснить себѣ, въ чемъ именно заключается эта драгоценность, которою обладаетъ народъ и которую жалъ промотать. Объ этой тайнѣ народной силы, объ этомъ *какомъ-то* залогѣ, тающемся «въ нѣдрахъ», объ этой неуязвимости народнаго міросозерцанія и силы духа мы, особенно въ настоящее время, слышимъ на каждомъ шагу, но къ несчастью рѣшительно не видимъ мало-мальски опредѣленныхъ очертаній этой народной тайны.

Лѣтъ тридцать тому назадъ Герценъ написалъ объ этой тайнѣ народнаго духа слѣдующее: «Мнѣ кажется, что есть *нѣчто* въ русской жизни, что выше общины и государственнаго могущества; это *нѣчто трудно уловить словами и еще труднѣе указать пальцемъ*. Я говорю о той внутренней, не вполне сознательной силѣ, которая столь чудесно сохранила русскій народъ подъ игомъ монгольскихъ ордъ и нѣмецкой бюрократіи, подъ восточнымъ татарскимъ кнутомъ и западнымъ капральскими палками—о *той внутренней силѣ, которая сохранила прекрасныя и открытыя черты и живой умъ русскаго крестьянина подъ унижательнымъ гнетомъ крѣпостнаго состоянія,—о той наконецъ силѣ и вѣрѣ въ себя, которая жива въ нашей груди. Эта сила ненарушимо сберегла русскій народъ, его непоколебимую вѣру въ себя—сберегла *внѣ всякихъ формъ и противъ всякихъ формъ*».*

Что же это такое за сила? Какъ видите, такого огромнаго дарованія писатель, какъ Герценъ, не только не можетъ указать пальцемъ на эту силу, но не можетъ даже выразить ее словами. Эта сила, чудесная, таинственная, въ то же время не вполне сознательная, сохраняетъ русскаго крестьянина и подъ кнутомъ, и подъ палкой, и въ крѣпостномъ униженіи,—словомъ, внѣ всякихъ формъ и противъ всякихъ формъ. Что она такое, неизвѣстно—она только чувствуется, и хотя понять и уловить ее нельзя, тѣмъ менѣе можно указать пальцемъ, но она все-таки сберегла русскій народъ и сберегла вмѣстѣ съ вѣрой въ себя. Тридцать, тридцать пять лѣтъ тому назадъ даже человѣкъ такого огромнаго знанія, таланта и дарованія могъ только чувствовать эту народную тайну, но могъ и не касаться ея пальцемъ просто потому, что для этого необходимъ былъ мелкій утомительный опытъ, необходима была черная работа въ самой глубинѣ, у самыхъ корней этой народной тайны. Но повторять тѣ же таинственные слова: «сила», та таинственная сила, которая», «духъ, которой непоколебимъ», «сила, которая устояла»—словомъ, повторять восторженными голосомъ это безконечное «которая», къ которому можно прицѣпить все, что угодно,—повторять это въ настоящее время намъ кажется уже рѣшительно невозможнымъ. Такъ или иначе, намъ надо знать, что *это тѣло*, что не проймешь ни палкой, ни кнутомъ, что внѣ формъ и противъ формъ сберегло русскій народъ и его вѣру, живой умъ, открытое лицо и т. д. Чтобы разъяснить себѣ этотъ вопросъ, прикоснуться къ нему пальцемъ, назвать его словами, мы рѣшаемся спуститься въ самую глубь мелочей народной жизни, идемъ въ избу, прямо къ представителю этой силы, и такъ какъ на прямой вопросъ: «отчего васъ невозможно пронять и отчего, несмотря на татарскіе кнуты и капральскія палки, вы сохранили открытое лицо и живой умъ»,—отвѣта мы не получаемъ, то, разувѣсьте, надо самимъ намъ перерыть все, что ни есть въ избѣ, въ клунѣ, въ хлѣву, въ амбарѣ, въ полѣ... Работа ме-

лочныя и непріятная... Право, господинъ благосклонный читатель,—утомительная и, право, не пріятная! Вы вотъ все жалуетесь, что нѣтъ изящной словесности, все только о мужикѣ пишутъ. Во-первыхъ, это неправда: вы имѣете ежемѣсячно массу литературныхъ произведеній, написанныхъ вовсе не о мужикѣ, и притомъ весьма изящно. А во-вторыхъ, зачѣмъ вы читаете объ этомъ мужикѣ и, главное, зачѣмъ вы полагаете, что писанія эти надо причислить къ изящной словесности?.. Посмотрите пожалуйста повинна-тельнѣе въ оглавленіе, вѣдь и тамъ сказано: «замѣтки», «отрывки»... —какая-же это словесность? Это просто черная работа литературы, а съ словесностью вѣроятно надобно покуда повременить. Пишущій эти строки, виновный до нѣкоторой степени въ литературныхъ огорченіяхъ «читателя (одинъ провинціальный критикъ пишетъ: читатель хочетъ *десерта*, а ему все о мужикѣ)», и самъ-бы радъ былъ радехонекъ почитать что-нибудь хорошее, да все что-то не видно...

Трудна, непріятна и утомительна эта черная литературная работа, а дѣлать нечего, надобно работать. Мы вотъ все твердимъ: «сила», «духъ, духъ, духъ», «она самая, которая», которая чудеснымъ образомъ сберегла, сохранила и т. д., а что это такое—не знаемъ, и можетъ случиться, какъ это и случилось, что сила таинственная и чудесная, сохраняющая неприкосновенность чело-вѣка подлѣ палкаки и кнутами, вдругъ не сохранить его подлѣ ударомъ рубля. Вѣдь вотъ все вытерпѣлъ народъ—и татарщину, и нѣмечину, а сталъ его жидъ донимать рублемъ—не вытерпѣлъ! Ну-какъ что-нибудь еще случится непредвидѣнное? Почему знать?.. А вѣдь если все твердить: «та, которая», такъ вѣдь ровно ничего нельзя ни знать, ни предвидѣть. Вотъ повтому-то, несмотря на огорченія читателей и критиковъ, желающихъ «десерти», мы и рѣшаемся спуститься къ самымъ нѣдрамъ и корнямъ народной жизни... И здѣсь, послѣ милліона недоумѣній, милліона ошибокъ, терзаній, мы наконецъ радостно видимъ, что кое-что изъ этой тайны неуязвимости открылось намъ.

Оказывается, что «сила», которая сохраняетъ чело-вѣка подлѣ кнута и палкой, которая сохраняетъ у него, несмотря на гнетъ крѣпостного права, открытое, живое лицо, живой умъ и т. д., получается въ этомъ чело-вѣкѣ *непосредственно* отъ указаній и велѣній *природы*, съ которымъ чело-вѣкъ этотъ имѣетъ дѣло непрестанно, благодаря тому, что живетъ особеннымъ, разностороннимъ, умнымъ и благороднымъ трудомъ земледѣльческимъ. Оказывается, что не только нашъ крестьянинъ—земледѣлецъ всѣхъ странъ, всѣхъ націй, всѣхъ народовъ точно такъ-же неуязвимъ во всевозможныхъ внѣшнихъ несчастіяхъ, какъ неуязвимъ и нашъ, разъ только онъ почерпаетъ свою мораль отъ природы, разъ только строитъ свою жизнь по ея указаніямъ, разъ только повинуется ей въ радостяхъ и несчастіяхъ, т. е. разъ только онъ—земледѣлецъ, такъ какъ нѣтъ такого труда, который-бы такъ всецѣло и непосредственно, и

притомъ каждую минуту и во всемъ ежедневномъ обиходѣ зависѣлъ отъ природы, какъ трудъ земледѣльческій. Припомните, чего-чего не перенесли французы, итальянцы, турки, славяне, нѣмцы и т. д.; но если мы дадимъ себѣ трудъ разыскать въ земляхъ, населенныхъ этими народами, то, что называется нетронутою цивилизаціей, деревней, такъ мы непремѣнно найдемъ то-же самое міросозерцаніе, что и у нашего крестьянина, конечно видоизмѣненное повнѣшнему выраженію, сообразно климату, темпераменту, породѣ и т. д. Но рѣшительно вездѣ, *точно такъ, какъ и въ нашей деревнѣ*, мы не найдемъ *никакихъ слѣдовъ* воспоминаній о какихъ-бы то ни было гнетахъ и бѣдствіяхъ. Нашъ крестьянинъ сохранялъ открытое лицо и живую умъ, несмотря на татарское иго, шпицрутены и крѣпостное право. А французскій настоящій нормандскій или бретонскій мужикъ сохранялъ развѣ воспоминаніе о нашествіи римлянъ, о нашествіи варваровъ, о безчисленныхъ войнахъ и дракахъ, въ которыхъ погибли милліоны его предковъ? Итальянскій пахарь навѣрное не помнитъ *всей* (!) римской исторіи, точно ея и не бывало. А сколько перерѣзано турокъ, и что же?—Лицо у нихъ улыбающееся и къ мордобитію расположенное во всякое время. Во время сѣрбской войны съ поѣзда русскихъ добровольцевъ на одной изъ австрійскихъ желѣзныхъ дорогъ свалился въ пьяномъ видѣ русскій крестьянинъ-доброволецъ. Поѣздъ ушелъ, а крестьянинъ, очнувшись, увидѣлъ себя въ какой-то мадьярской деревнѣ. Черезъ двѣ недѣли однако онъ съ другимъ поѣздомъ добровольцевъ добрался до Пешта и рассказывалъ о своемъ приключеніи. «Что же ты дѣлалъ эти двѣ недѣли?»—спрашивали его.—«Что дѣлалъ!.. Какъ ѣсть нечего—найдемъ работу!»—«Что-же ты работалъ?»—«Да все: дрова кололъ, воду возилъ—все, что по крестьянству слѣдуетъ».—«Но вѣдь ты не знаешь ни слова по мадьярски, какъ-же ты разговари-валъ?»—«Да чего мнѣ разговаривать-то? Дадутъ въ руки топоръ, да подведутъ къ дровамъ, такъ я и безъ разговоровъ знаю, что мнѣ топоромъ не ши хлебать, а дрова рубить. Разговаривать!.. Поставятъ къ лошади съ плугомъ, *само собой* и видно, что надо пахать, а не въ карты играть, или напимѣръ кофій пить»... Такое родство въ возрѣніяхъ земледѣльцевъ всѣхъ странъ, мы увѣрены, вполне существуетъ.

Эту неизмѣнность основныхъ чертъ земледѣльческаго типа накладываютъ на крестьянъ всѣхъ странъ свѣта неизмѣнность законовъ природы, которые, какъ извѣстно, также «устояли», несмотря на то, что въ Римѣ были Нероны и Калигулы, а у насъ—злые татарчонки, Бироны, кнуты, шпицрутены. Неизмѣнно, на томъ-же самомъ мѣстѣ, какъ тысячи тысячъ лѣтъ назадъ, такъ и теперь, стояло солнце; какъ и теперь, оно заходило и восходило въ тотъ-же самый день и часъ, какъ и въ «безконечные вѣки»; могли смѣняться тысячи поколѣній тирановъ, всякихъ людей, нашествій, но тотъ чело-вѣкъ, котораго трудъ и жизнь обязывали быть въ зависимости отъ солнца, долженъ былъ

оставаться неизмѣннымъ, какъ неизмѣннымъ оставалось оно. Возьмите нашего крестьянина изъ любой земледѣльской деревни: онъ находится и сейчасъ *точь-въ-точь* въ такихъ-же условіяхъ жизни и подъ тѣми-же самыми вліяніями, какъ и тотъ скиръ, портретъ котораго вы можете видѣть въ книгѣ Вайца и который буквально *точь-въ-точь* похожъ на нашего «мужика»: тотъ-же самый камень обходитъ сохой и теперешній мужикъ, какой обходилъ сохой скиръ, и какъ древнѣйшій предокъ теперешняго мужика, обходя камень, говорилъ: «ишь, идолъ, разлегся на самой дорогѣ, возись тутъ около него» — такъ и теперешній мужикъ, поровнявшись съ камнемъ, не преминетъ вымолвить: «и не легкая-же тебя повалила на это мѣсто, неладная дубина!..» Рѣка, солнце, мѣсяцъ, весна, осень, трава, деревья, цвѣты — все до послѣдней мелочи природы было *точь-въ-точь* тоже самое, что и «въ безконечные вѣки». Это было неизмѣнное. Отъ *этого* зависѣла жизнь, въ *этомъ* — тайна міросозерцанія. Это можно называть и указывать пальцемъ.

Въ стрѣй жизни, повинующейся законамъ природы, несомнѣнна и особенно плѣнительна та *правда* (не *справедливость*), которую освѣщена въ ней самая ничтожнѣйшая жизненная подробность. Тутъ все дѣлается, думается такъ, что даже нельзя себѣ представить, какъ могло-бы дѣлаться иначе при тѣхъ-же условіяхъ. Лжи, въ смыслѣ выдумки, хитрости, здѣсь вѣтъ — не перехитришь ни земли, ни вѣтра, ни солнца, ни дождя — а стало-быть итъ ея и во всемъ жизненномъ обиходѣ. Въ *этомъ* отсутствіи лжи, проникающемъ собою всё, даже повидимому жестокія явленія народной жизни, и есть то наше русское счастье и есть основаніе той вѣры въ себѣ, о которой говоритъ Герценъ. У насъ миллионныя массы народа живутъ, не зная лжи въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ — вотъ на чемъ держится наша вѣра. Въслѣдствіи мы стараемся разсказывать нѣсколько самыхъ повидимому возмутительныхъ жестокостей въ народной жизни, и всё онѣ, съ точки зрѣнія міросозерцанія, воспитаннаго неизмѣнными законами природы, окажутся неизбѣжными, а люди, совершившіе ихъ, чистыми сердцемъ, какъ голуби.

Но хоть въ природѣ и все — правда, но не все въ ней ласково. Посмотрите-ка, какой веселый лѣсъ на горѣ, какіе тамъ веселые «птичечъ хоры» или какой онъ молчаливый и торжественный ночью, а между тѣмъ въ то время, когда онъ молчитъ, и въ то время, когда онъ весь поетъ и зеленѣетъ, какое идетъ въ немъ поѣданіе другъ друга! Вы не услышите ничего кромѣ едва-едва примѣтнаго писка то тамъ, то сямъ. Кто-то кого-то ѣстъ, а потомъ, веселый и довольный, «съ свѣтлымъ лицомъ» и губами, на которыхъ незамѣтно крови, идетъ въ свое семейство... Лѣсъ не помнитъ своихъ прародителей, которые въ первый разъ были срублены во время татарскаго ига, а второй разъ во времена «нѣмецкой бюрократіи», и претъ изъ нихъ сгнившихъ корней свѣжими стволами — претъ ктому, что слушаетъ солныа, нельзя ему не вы-

пирать, коли оно его тянетъ, и некогда вспоминать прародителей. Не вспоминаетъ и этотъ волкъ съѣденной овцы и не виноватъ конечно въ *этомъ*; да и сычъ этотъ, съѣвшій яйца въ чужомъ гнѣздѣ, тоже только облизывается и хвалитъ Творца. Все поѣдаетъ другъ друга каждую минуту и все каждую минуту родится вновь... Родится, цвѣтетъ, поетъ, только пискъ-то вотъ этотъ, который по временамъ слышится кое-гдѣ, вотъ онъ-то очень непріятенъ и щемитъ то заячье, то овечье, то птичье сердце. А въ человѣческомъ обществѣ, поставленномъ къ природѣ въ слишкомъ неразрывную зависимость и неимѣющемъ возможности жить иначе, какъ по тѣмъ-же самымъ законамъ, какъ живетъ вышеизображенный лѣсъ, этотъ пискъ и вопль человѣческаго существа ужасенъ и жалокъ необыкновенно, потому что тутъ жестокое другъ надъ другомъ совершаютъ люди, а не звѣри, не безсловесныя животныя. Повторяемъ, и въ *этихъ* жестокостяхъ неизбѣжная правда: заѣдать непременно слабого, заѣдать не зря, а непременно вслѣдствіе множества неотвратимыхъ резоновъ, — заѣдать, и всё будутъ невинны; но и сердце, которое содрогается отъ этого человѣческаго писка, частенько переходящаго въ стоны, также содрогается не безъ основанія. Любители охоты говорятъ, что собаки, обладающія особенно развитымъ чутьемъ, никогда не бѣгаютъ по слѣдамъ дичи, а бѣгутъ въ сторонѣ. Происходитъ это отъ того, что запахъ дичи на слѣду такъ сильно бьетъ собаку въ носъ, что она теряетъ обоняніе, не слышитъ запаха дичи, тогда какъ со стороны, съ боку слѣда, запахъ дичи она слышитъ отлично. Вотъ также и на счетъ сердца человѣческаго: одинъ деретъ съ другого шкуру — и не чувствуетъ; ему довольно знать, что нельзя иначе... А другой, и издали глядя на это зрѣлище, не только самъ ощущаетъ боль сдираемой кожи, но только чувствуетъ страданіе обдираемаго челоѣка, но имѣетъ даже дерзость считать этотъ неизбѣжный актъ возмутительнымъ и жестокимъ, имѣетъ даже дерзость закричать издали: «что вы дѣлаете, проклятые!» — хоть и знаетъ, что они не виноваты.

Человѣкъ съ такимъ сердцемъ, съ такимъ чувствомъ и чувствительностью и есть, какъ мы думаемъ, челоѣкъ интеллигентный. И такой челоѣкъ всегда былъ, присутствовалъ въ самой средѣ *народной массы*, работалъ въ ней не во имя звѣриной, лѣсной правды, а во имя высшей божеской справедливости. Наши интеллигентные прародители были такъ умны, знали, должно-быть, такъ хорошо народную массу, что для общаго блага ввели въ нее «христіанство, т. е. взявъ *по-слабѣе слово* и притомъ *самое лучшее*, до чего дожило челоѣчество вѣками страданій. И слово это, проповѣдывавшее высшую степень самоотреченія, они не побоялись внести въ среду людей, которые «звѣриннымъ обычаемъ живяху». Общество, которое жило такимъ образомъ, очевидно было вовсе не приготовлено къ воспріятію такой непривычной новизны; ему-бы, если вѣрить нынѣшнимъ нашимъ руководителямъ, надобно было пе-

режить весь смрадъ разваливагося міра, прежде чѣмъ вкусить христіанство. Но наши прародители, повторяемъ, знали свой народъ, хотѣли ему добра и, какъ люди, которые сами близко жили къ природѣ, знали, что такое значить жить «звѣриннымъ обычаемъ», — знали, что звѣриному обычаю незачѣмъ переживать всевозможныя благообразныя измѣненія этого обычая, разъ ужъ есть нѣчто лучшее, высшее всего этого звѣринскаго благообразія. Они взяли то лучшее, что только выстрадало человѣческое сердце, взяли христіанство и притомъ въ самомъ строгомъ, не подслащенномъ видѣ... Теперь мы роемся въ какомъ-то старомъ національномъ и европейскомъ хламѣ, въ національныхъ и европейскихъ мусорныхъ ямахъ...

Итакъ, въ русской народной массѣ всегда былъ интеллигентный человѣкъ. Онъ, вооруженный христіанскою идеей, шелъ безбоязненно въ массу народа, которая жила звѣриннымъ обычаемъ. Частенько его колотили дрекольями, но онъ не унывалъ и неустанно твердилъ одно: «не сдирай шкуры съ ближняго!». Этотъ интеллигентный человѣкъ былъ настоящій работникъ народный, и работникъ практическій; чудеса нашихъ угодниковъ весьма не блещутъ разнообразіемъ; да настоящіе интеллигентные работники въ народной средѣ, зная эту среду за практическую, и дѣйствовали также практически. Когда одного изъ проповѣдниковъ христіанства жители нынѣшняго города Владиміра выгнали изъ города, онъ не унылся, а поселился неподалеку отъ города въ лѣсу и здѣсь, не надѣясь успѣть съ звѣринными сердцами родителей, сталъ принимать къ себѣ молодежь. Молодежь также отлично знала, что соловья баснями не кормятъ. Зналъ это и проповѣдникъ и шелъ необходимымъ, прежде нежели начать проповѣдывать, привязать ихъ къ себѣ угощеніемъ: сталъ онъ до отвала кормить молодежь кашей; послѣ каши молодежь стала ужъ слушать его волей-неволей, а потомъ и поняла, и увѣковѣчила его память. Всѣ наши наиболѣе чтимые угодники непременно были самые практически — дѣятельные, добрые, чувствительные люди. Тихонъ Задонскій покупалъ мужикамъ сѣмена, земледѣльческія орудія, хлопоталъ за нихъ въ тюрьмахъ. На эти расходы онъ изстратилъ все, что имѣлъ: даже перину продалъ; часы карманные тоже продалъ; послѣ его смерти осталось денегъ 14 руб. ассигнаціями. Этотъ прекраснѣйшій образецъ человѣчности (по страстности и вниманію къ положенію ближняго, по негодованію на условія его темноты и, главное, по пониманію христіанства) не могъ довольствоваться важнымъ саномъ архіерея и правомъ поучать стадо словесно — онъ добровольно отказался отъ архіерейской кафедры и удалился въ монастырь, гдѣ ему представлялась возможность вмѣшаться съ своею дѣятельною любовью въ народную среду.

Эта интеллигенція «угодниковъ божьихъ» внесла въ народную русскую массу бездну всевозможной нравственной и физической опрятности (посты, браки въ извѣстное время года и т. д.). Но глав-

ное-то — они старались «развить эгоистическое сердце чело́вѣка въ сердце всескорбящее, обогатить его разумомъ и въ свою очередь оживить имъ разумъ»...*). Вотъ эта-то тенденція — превратить эгоистическое сердце въ сердце всескорбящее — и была положена въ основаніе народной школы, училища, основаннаго на псалтырѣ, и т. д. Цифири учили плохо, были бирки, а землю мѣрили (да и сейчасъ мѣрятъ) лаптами, «носомъ въ пятку». Но воспитаніе сердца было настойчивое; учеба была тиранская, но касалась она не разсчета, не выгоды, не простого, ненужнаго знанія, а проповѣдывала ту самую «строгость» къ самому себѣ и къ ближнимъ, которая нужна и важна въ человѣческомъ обществѣ, вопреки той правдѣ дремучаго лѣса, въ которой оно обязано жить. Человѣкъ чувствовалъ, что эта правда жестока, несправедлива, и хотѣлъ сдержать ее «строгостью» справедливости. Худо-ли, хорошо-ли, а эта проповѣдь нравственныхъ обязанностей чело́вѣка къ чело́вѣку проповѣдывалась и лежала въ основаніи старой школы, когда люди жили звѣриннымъ обычаемъ. Ничего практически-полезнаго, въ смыслѣ реализаціи этого ученія о «божественномъ», въ какомъ-бы то ни было видѣ выгоды или удобства — эта школа не давала; напротивъ, она учила прямо необходимости въ нѣкоторыхъ житейскихъ отношеніяхъ нести убытокъ — подавать нищимъ, убогимъ, жертвовать на храмъ и т. д. А между тѣмъ такую школу народъ почиталъ за серьезную, гораздо болѣе серьезную, чѣмъ теперешняя, гдѣ можно узнать массу чисто практически — полезныхъ свѣдѣній объ удобреніи, навозѣ и т. д. Практической пользы въ хозяйствѣ, въ доходѣ, не могло быть ровно ни отъ какого чтенія или заучиванія наизусть наприимѣръ псалтыря. Всякій зналъ, что изъ этихъ рыданій псаломѣвца «не сошьешь шубы», а долбили и плакали, и наказывали за немѣнныя выдолбить, потому что видѣли нравственную необходимость глядѣть на себя и на окружающіхъ не съ одной только точки зрѣнія дремучаго лѣса. «Божественное» знакоило съ нравственными обязательствами и задачами чело́вѣка. Худо-ли, хорошо-ли знакоило, а знакомство давало, по крайней мѣрѣ, возможность знать, что *это* — что-то серьезное, важное, хотя и не прибавляетъ въ доходы ни копѣйки, а, напротивъ, убавляетъ.

Вотъ эту-то божескую правду народъ и считалъ важною въ старинной псалтырной и часословной школѣ. Теперь-же, когда времена значительно измѣнились, когда нѣтъ татарина, барина, когда общественныя и частныя отношенія въ народной средѣ осложнились, облеклись въ новыя формы — этой высшей точки зрѣнія на окружающее и нѣтъ въ современной школѣ. Нѣтъ той науки о *высшей правдѣ*, которая-бы дала *теперь* чело́вѣку возможность сказать себѣ, что справедливо и что нѣтъ, что можно и что нельзя, что ведетъ къ гибели и что спасаетъ отъ нея. При осложненности

*) Какъ настоящая, такъ и предшествовавшая цитаты изъ Герцена заимствованы изъ книги Н. Стржкова: «Борьба съ Западомъ».

современныхъ отношеній въ народной средѣ; эта наука о высшей правдѣ должна бы значительно раздвинуть предѣлы переработки эгоистическаго сердца въ сердце всескорбящее, т. е., говоря проще, должна-бы прямо, смѣло и широко касаться самыхъ жгучихъ общественныхъ вопросовъ, — тѣхъ самыхъ вопросовъ, до которыхъ додумалась и дошла человеческая *всескорбящая* мысль въ ту самую минуту, которую мы переживаемъ. «Какъ! воскликнетъ читатель, вы хотите, чтобы въ школахъ разговаривали о трудѣ и капиталѣ, хотите, чтобы такъ называемые общественные, проклятые вопросы были поставлены въ школьномъ ученіи на должную высоту, чтобы всѣ деревенскіе мальчишки разсуждали о пролетаріатѣ и т. д.?» А почему же нѣтъ? Что это за запрещенный плодъ? Почему эти жгучіе вопросы не могутъ быть поставлены прямо, широко, сдѣлаться достояніемъ общественной мысли? На чемъ основано невозможно-жестокое гоненіе всякой малѣйшей попытки показать народу рядъ огромныхъ общественныхъ задачъ, которыя, къ тому-же, рѣшать такъ или иначе будетъ этотъ-же самый народъ? Отчего «жгучіе вопросы» должны быть недоступны этому крестьянскому юношѣ, который по выходѣ изъ школы будетъ и семьяниномъ, и общественнымъ дѣятелемъ, гласный, судья, присяжный, или — нищій, воръ, грабитель, убійца и т. д.?

Я рѣшительно не понимаю и не могу придумать ни единого вѣскаго мотива, который-бы хотя маломальски объяснилъ такое необузданное преслѣдованіе разговоровъ объ общественныхъ вопросахъ въ народной средѣ. Да не только въ народной, а и въ такъ-называемомъ интеллигентномъ обществѣ вопросъ о богатомъ и бѣдномъ, поставленный такъ прямо, какъ онъ поставленъ напримѣръ на картинкѣ о богатомъ и бѣдномъ Лазарѣ, — и то почти невозможенъ безъ нѣкотораго внутренняго страха за будущее того ребенка, который сьумѣетъ понять этотъ вопросъ въ существующихъ формахъ. Между тѣмъ если-бы мы имѣли практическую смѣлость нашихъ прародителей, которые, какъ мы знаемъ, брали для своего народа послѣднее слово того исключительно справедливаго и *хорошаго*, до чего страдалась человеческая мысль, такъ мы именно не должны бы были бояться прямо, безъ всякихъ equivokovъ, смотрѣть въ глаза тому положенію, которое переживаетъ человечество старше насъ въ настоящую минуту, безбоязненно отдѣлять зло отъ добра и брать для нашего народа исключительно только послѣднее, не стѣсаясь того, что оно, быть можетъ, и не придется иному по вкусу. Чтобы яснѣе было видно, что мы считаемъ зломъ и что добромъ, приведемъ слѣдующіе два примѣра.

Какъ извѣстно, при открытіи банка Бонту, его святѣйшество папа Левъ XIII взялъ для поддержанія репутаціи этого банка акціи на 50 тысячъ франковъ. Поддержавъ ихъ у себя нѣкоторое время, святой отецъ почуялъ, что дѣла банка ненадежны, и поэтому, увидѣвъ удобную минуту, когда акція банка, купленная по 400 фр., достигли цѣны

2.400 фр., продалъ ихъ и такимъ образомъ ни за что ни про что положилъ къ себѣ въ столяръ 250 тысячъ франковъ чистаго барыша.

Въ тотъ самый день и въ томъ же самомъ номерѣ газеты, въ которомъ было напечатано это радостное извѣстіе, среди разныхъ ежедневныхъ мелочей было рассказано такое происшествіе: недалеко отъ Кенигсберга, въ одной прусской деревнѣ, крестьянка зарѣзала своихъ пятерыхъ дѣтей и сама хотѣла утопиться; но такъ какъ близъ той деревни, гдѣ она жила, рѣчка была мелкая, то она имѣла мужество перенести свою горе и отчаяніе до Кенигсберга, на разстояніи 50-ти верстъ, и тамъ бросилась въ глубокую рѣку. Ее вытащили, а когда привели въ чувство и стали разспрашивать о причинѣ ея жестокаго поступка съ дѣтьми, ея отчаянія, то она сказала въ свое оправданіе (!), что она *выбилась изъ силъ* на работѣ. Мужъ ея, изувѣченный въ послѣднюю славную франко-прусскую войну, не могъ работать. Вся тяжесть труда лежала на ней, и вотъ она измучившись, *выбившись изъ силъ* (буквально!), рѣшила выйти изъ жизненныхъ тѣснотъ такимъ рѣшительнымъ и ужаснымъ образомъ.

Вотъ, какъ намъ кажется, самыя характерныя черты ненавидимыхъ нами европейскіхъ порядковъ. Разъ человеческое общество дошло до возможности имѣть въ своей средѣ такія крайности существованія, какъ существованіе деревенской бабы, *выбившейся изъ силъ* отъ работы для насущнаго хлѣба, и человѣка, который «зарабатывалъ» въ одно мгновеніе, не шевельнувъ пальцемъ, 250.000 фр., — разъ существуютъ возмраженія, вслѣдствіе которыхъ поступокъ папы не считается предосудительнымъ (навѣрно, множество людей скажутъ: «ловко, отецъ, сьумѣлъ, во-время!» и т. д.), а поступокъ женщины, доведенной до отчаянія, *преступленіемъ*, разъ все это есть и разъ все это связано между собою рядомъ какихъ-то, всѣмъ признаваемыхъ за неизбежное, оправдательныхъ доводовъ, не трудно видѣть, что общество это таитъ въ глубинѣ своей смертельную язву огромной неправды, что шаблонные оправдательные доводы — ложь, обманъ, то-есть не трудно видѣть ту *правду*, которая видна изъ-за этой лжи человеческихъ отношеній.

Теперь спрашивается, если мы знаемъ (а наше русское счастье и состоитъ въ томъ, что все это мы можемъ и видѣть, и знать, не развращая себя развращающимъ опытомъ), — если мы знаемъ, что такіе порядки въ результатѣ сулятъ несомнѣннѣйшую гибель обществу, ихъ выработавшему (что мы тоже отлично *знаемъ*), то почему-же у насъ не хватаетъ способности на ту простую практическую правду, которую обладали наши прародители, вводя христіанство въ сознаніе народныхъ массъ, чтобы *открыто* не признать этихъ порядковъ ложью, чтобы *открыто* не взяться за ту правду, до которой страдалось человечество и которая видѣется изъ-за этой лжи? Хотимъ-ли мы, чтобы такіе-же порядки развивались въ массѣ нашего освобожденнаго народа?

Хотимъ-ли мы, чтобъ онъ *со свяжими аппетитами* возлюбилъ эти порядки? Если не хотимъ, то намъ нечего бояться положить правду въ основаніе народнаго образованія, нечего бояться ввести въ школы «строгость» въ разработкѣ проявленія этой правды— дома, на улицѣ, на сходкѣ... И вотъ за эту-то науку, касающуюся строгости, то-есть высшей правды среди новыхъ, сложныхъ общественныхъ отношеній, сложившихся въ современной народной жизни, народъ нашъ и былъ-бы несомнѣнно благодаренъ школѣ и сказалъ-бы не премѣнно: «да, учать добру». А этого-то и нѣтъ! Есть все, кромѣ возможности говорить о высшей справедливости человѣческихъ отношеній. И вотъ въ школѣ скучно и учителю, и ученикамъ...

XII. Заключение.

Въ этой заключительной главѣ нашего очерка, оказавшагося, какъ мы сами хорошо сознаемъ, весьма неладно скроеннымъ и невольнѣ крѣпко сшитымъ, мы хотимъ, во-первыхъ, сказать два слова въ объясненіе этой «неладности» очерка и, во-вторыхъ, договорить то, что въ немъ не было еще договорено. Желаніе отмѣтить значеніе въ народной жизни «земли», о которой крестьяннинъ вопіетъ не только съ экономической стороны, но и со стороны нравственной, т. е. показать, что земля нужна ему не только для того, чтобы быть лучше сытымъ (что тоже крайне-бы желательно), но и для того, чтобы сохранить все свое міросозерцаніе, чтобы развить и укрѣпить на основаніи его свои семейныя и общественныя отношенія, свою мысль, свое чувство и т. д.,— это желаніе было возбуждено въ насъ тѣми многочисленными мѣропріятіями, направленными къ улучшенію и устроенію народнаго благосостоянія, о которыхъ мы, благодаря газетамъ, нѣмѣтъ цѣлыя десятки извѣстій. Жадно интересуясь, въ качествѣ деревенскихъ жителей, всѣми этими извѣстіями и радуясь, что «наконецъ» «что-то» «какъ будто» «въ самомъ дѣлѣ» затѣвается хорошее, мы въ то же время, и тоже въ качествѣ деревенскихъ жителей, не можемъ не видѣть, что обиліе мѣропріятій и обиліе извѣстій не блещутъ знаніемъ народной дѣятельности, не отдѣляютъ главное отъ третестепеннаго или вовсе ненужнаго, разрабатываютъ вопросы несущественныя, оставляя въ сторонѣ самые насущныя, толкуютъ о стропилахъ, когда не выстроены еще и стѣны, строятъ печку на томъ мѣстѣ, гдѣ еще нѣтъ дома, и т. д. Съ нашей деревенской точки зрѣнія намъ кажется, что если бы прежде всего, прежде вопросовъ о народномъ пьянствѣ, самоуправленіи, «уѣздной проблемѣ», всеобщей водостѣ, былъ поставленъ на очередь и хотъ *мало-мальски* удовлетворительно разрѣшенъ вопросъ земельный, то не было бы даже и надобности выдумывать такую укрупку бутылки водки, которая бы заставляла пьяницу провозиться надъ этою бутылкою годъ, прежде чѣмъ получилась бы возможность добыть

изъ нея одну рюмку, не было бы надобности въ выдумкахъ пятнадцати-верстныхъ разстояній одного кабака отъ другого и другихъ бесплодныхъ, а иногда и смѣшныхъ, проектов^{*)}. Намъ кажется, что, будь разрѣшенъ только этотъ главнѣйшій, существеннѣйшій вопросъ народной жизни, вопросъ благосостоянія и нравственности, какъ немедленно же, будто свѣжимъ и сильнымъ дыханіемъ вѣтра, стало бы «относиться» и отъ кабаковъ, и отъ волостныхъ судовъ, и отъ «общественныхъ» попойныхъ ямъ самоуправленія тучи того сирада, который надъ ними нависъ и который гнететъ ихъ и давитъ. Сирадъ этотъ, который не даетъ ни дышать, ни думать и который, смѣемъ увѣрить читателя, не будетъ разогнанъ никакимъ образомъ, если на него будутъ, какъ вѣромъ, махать тѣмъ или другимъ замысловатымъ проектомъ, самъ собой исчезнетъ, какъ дымъ, разсѣется въ пространствѣ, «яко воскъ отъ лица огня» растаетъ, отъ одного только добросовѣстнаго удовлетворенія насущнѣйшей народной нужды и отъ добросовѣстнаго признанія тѣхъ послѣдствій, которыя выльются въ извѣстныя требованія и прозвонядутъ послѣ того, какъ *главное* будетъ удовлетворено.

Вотъ для того-то, чтобы показать, что земля—*главное* не только по отношенію къ народному брюху, но и по отношенію къ народному духу, къ народной мысли, ко всему складу народной жизни, мы и задумали написать небольшой очеркъ, который бы касался этого значенія земли, по возможности сжато и кратко, чтобы тотчасъ же перейти къ дѣятельности и показать, до какой степени значеніе это не принимается во вниманіе, какъ оно исковеркано неразборчивыми и ничѣмъ не отражаемыми внѣшними вліяніями. Но когда мнѣ пришлось сосредоточиться на второй половинѣ моей задачи, то есть показать значеніе земли, земледѣльческаго труда и морали, заимствованной непосредственно отъ природы (благодаря этому труду), въ области проявленій народнаго духа,—задача моя вдругъ приняла размѣры неподобающіе, огромные. Бракъ, семья, народная поэзія, судъ, общественныя заботы и т. д., и т. д.,—словомъ, всѣ стороны народной жизни оказались проникнутыми этими вліяніями и моралью труда земледѣльческаго, во всемъ оказался его слѣдъ, вездѣ стала виднѣться черта, начало которой—въ полѣ, въ лѣсу... Быть краткимъ не представлялось возможности. Быть пространнымъ не было подготовки—вотъ и пришлось говорить обо всемъ понемногу.

Говоря о многосложности возникшей предо мной задачи, я вовсе не хочу сказать этимъ, что народная жизнь и жизнь крестьянская представлялись мнѣ въ видѣ чего-то совершенно особеннаго отъ жизни остальнаго человѣчества, что «крестья-

^{*)} Въ одномъ изъ №№ «Сельскаго Вѣстника» напечатано мнѣніе о мѣрахъ противъ пьянства, принадлежащее перу какого-то крестьянина. Этотъ мудрецъ предложилъ такую мѣру: сдѣлать кабаки безъ дверей на улицу. На улицу должно выходить крошечное окно, въ которое можно было-бы просунуть бутылку.

яство»—это каста, не имѣющая ничего общаго съ остальнымъ челоѣчествомъ. Вовсе нѣтъ. Крестьянинъ—такой же челоѣкъ, какъ и всѣ; но всѣ его общечелоѣческія потребности, желанія и нужды удовлетворяются своеобразно, на свой образецъ—удовлетворяются изъ извѣстнаго источника, имѣютъ извѣстный цвѣтъ, видъ и форму, и все это благодаря одной главнѣйшей чертѣ, лежащей въ основѣ его существованія, именно земледѣльческому труду. Никто не ходитъ голый, всѣ носятъ платье для того, чтобы не было холодно и чтобы не было срамно, но не всѣ носятъ одинаковыя костюмы. Жизнь и трудъ крестьянина требуютъ *непрерывно* такого костюма, который онъ носитъ; онъ *непрерывно* будетъ пахать въ лаптяхъ или босикомъ, потому что *долженъ* это дѣлать. У него есть превосходные смазные сапоги съ буруками, но земля и трудъ на ней требуютъ, чтобы онъ, отправляясь въ поле, разулся и надѣлъ лапти. Если чрезъ миллионъ лѣтъ уцѣлѣетъ на свѣтѣ тотъ же самый плугъ, тотъ же родъ труда, та же добыча хлѣба, то крестьянинъ того времени все-таки пойдетъ въ поле «разумши» и въ однихъ хуленскихъ штанишкахъ... Съ другой стороны я также хорошо понимаю великосвѣтскаго франта, почему онъ не является въ лаптяхъ и армякѣ къ англійскому посланнику на балъ. (А вотъ чиновника, который, какъ слышно, хочетъ надѣть на себя мужицкій армякъ и пожалуи лапти, я понять не въ состояніи.) Такимъ образомъ, какъ видите, одна и та-же потребность въ одеждѣ удовлетворяется въ разныхъ формахъ, сообразно особенностямъ жизненной обстановки. Вотъ эти-то особенности въ удовлетвореніи общечелоѣческихъ потребностей крестьянина и отличаютъ его отъ остальныхъ породъ челоѣческихъ (чиновникъ, купецъ, попъ, баринъ и т. д.). Всѣ они—люди, всѣ они имѣютъ одні и тѣ же потребности, но не одинаково ихъ удовлетворяютъ. Потребности—тѣ же, но не тѣ же формы, порядокъ и размѣры удовлетворенія.

Вотъ эти-то особенности формъ, порядка и размѣровъ удовлетворенія общечелоѣческихъ потребностей намъ и желательно выяснитъ въ народной средѣ съ точки зрѣнія главнѣйшей основы всего строя народной жизни, съ точки зрѣнія власти надъ крестьянскою землею. И дѣло оказалось въ высшей степени многосложнымъ и труднымъ. Съ точки зрѣнія «власти земли» одні только отношенія мужчинъ и женщинъ другъ къ другу въ семьѣ потребовали-бы долговременной разработки и усиленнаго труда. Чтобы показать на незначительномъ примѣрѣ, до какой степени любопытны *измѣненія* и перестановки въ удовлетвореніи однихъ и тѣхъ-же челоѣческихъ потребностей въ средѣ крестьянской и въ средѣ не-крестьянской, приведемъ слѣдующій примѣръ. Кому не извѣстно существованіе въ средѣ столичнаго и вообще не-деревенскаго общества типа, извѣстнаго подъ именемъ «мышиннаго жеребчика»? Съ другой стороны, также всѣ знаютъ, что и въ деревнѣ существовалъ, а по глухимъ мѣстамъ существуетъ и нынѣ типъ «снохача». Повидимому, эти типы все-

ма похожи другъ на друга. Мышинный жеребчикъ и снохачъ, во-первыхъ, оба старики и, во-вторыхъ, оба *пристаютъ* къ молодымъ женщинамъ. Оба они—развратники, дѣло видимое. Побужденія ихъ одні и тѣ-же и удовлетворяютъ ихъ они одними и тѣми-же способами, т. е. пристають къ молодымъ дѣвушкамъ и женщинамъ. Но посмотрите на условія жизни одного и другого, и вы увидите, что въ обоихъ, повидимому, одинаковыхъ явленіяхъ *все то же*, а вмѣстѣ съ тѣмъ все *не то*. Что такое мышинный жеребчикъ, какова его біографія? Волею судьбы, мышинный жеребчикъ—челоѣкъ, принадлежащій къ привилегированному сословію, челоѣкъ обезпеченный. Хорошій кормъ, не трудная жизнь сдѣлала то, что онъ созрѣлъ рано и уже въ шестнадцать-семнадцать лѣтъ началъ срывать цвѣты удовольствія; по мѣрѣ того какъ онъ росъ, и цвѣты удовольствія разнообразились. Срывались они и въ Петербургѣ, и въ Парижѣ, и въ Вѣнѣ и т. д. Такимъ образомъ, чѣмъ болѣе подвигался типъ, имѣющій преобразиться въ жеребчика къ старости, тѣмъ болѣе онъ истощался, изнашивался, превращался въ трапку. Достигнувъ 50-ти-лѣтняго возраста, онъ—ужа совершенная развалина; ему надо румяниться, носить корсетъ; ему уже ничего не остается, какъ заняться «наконецъ» дѣлами, занять «постъ», сочинять проекты объ «оздоровленіи корней», отдыхая отъ трудовъ въ грезѣхъ и затѣяхъ испорченной фантазіи. Онъ развратенъ, у него мысли развратныя, онъ въ самомъ дѣлѣ развратитель... Что-же такое снохачъ? Какова его біографія?—Прежде всего, въ качествѣ крестьянина, ребенка крестьянской семьи, онъ сталъ думать о *дѣлѣ* не въ пятьдесятъ лѣтъ, а въ пять, много восемь лѣтъ. Пяти лѣтъ онъ *играючи* загонялъ куръ, въ восемь лѣтъ онъ *играючи* приносилъ дровъ, за десять верстъ бѣгалъ какъ ни въ чемъ не бывало къ отцу въ поле, въ лѣсъ. а съ десяти лѣтъ уже сталъ *помогать* подержать лошадь, распрячь, сбѣгать за пять верстъ въ поле «обратять» буланку. Такимъ образомъ въ то время, когда физическія силы будущаго жеребчика шли на срываніе цвѣтовъ, силы будущаго снохача шли въ трудъ, тратились въ работу—сначала въ работу *играючи*, а потомъ и въ настоящую—и чѣмъ дальше, тѣмъ больше. Юношескій организмъ жеребчика истощался, юношескій организмъ крестьянина, напротивъ, укрѣплялся. Работа требовала только дѣятельности организма; она поглощала тѣ четыре фунта хлѣба, которые онъ сталъ съѣдать втеченіе сутокъ, когда только началъ работать въ-настоящую, а настоящимъ работникомъ онъ уже навѣрное былъ въ пятнадцать лѣтъ. Онъ росъ, а передъ нимъ только расширялся кругъ труда, кругъ заботы: въ шестнадцать лѣтъ у него заботы было уже вдвое болѣе, чѣмъ въ пятнадцать: въ восемнадцать онъ уже—ради заботы о хозяйствѣ, ради того, что кругъ работъ хозяйственныхъ расширился, что сталъ ему не подъ силу—женился, но женился не для цвѣтовъ удовольствія, а для того, чтобы приобрѣсти бабью силу

опять тоже для труда (вотъ въ это время онъ пожалуй былъ похожъ на развратника). Дѣти еще болѣе озаботили его, легли на его плечи новымъ бременемъ, размѣры физическаго труда еще болѣе расширились, и если онъ не свалился, то потому, что организмъ его могучъ и крѣпокъ... Къ двадцати пяти годамъ у него уже *свои* дѣти, которые тоже начинаютъ играючи загонять куръ, носить дрова, бѣгать съ поводомъ за лошадьми, и ему начинаетъ становиться легче. Ребята подростаютъ, а виѣстъ у родителя сокращается его трудовой день, ему ужъ есть время «покалякать» на улицѣ, а года два тому назадъ ему калякать не было времени. У него растутъ свои работники — и съ каждымъ днемъ ему легче и легче. Устоявшій въ борьбѣ съ такимъ многосложнымъ трудомъ, какъ земледѣліе, организмъ его *начинаетъ жить на себя*. Изъ четырехъ фунтовъ хлѣба, которые ѣстъ крестьянинъ, не все уже тратится въ трудъ, а остается и на себя, на свое удовольствіе и благополучіе. Къ тридцати годамъ будущій мышинный жеребчикъ уже все испыталь, уже истощенъ, уже скучаетъ, тогда какъ крестьянинъ, отбившійся отъ тяжелыхъ трудовъ, развивъ и укрѣпивъ свой организмъ, только-только начинаетъ выходить въ силу и чѣмъ дальше отъ тридцати лѣтъ, тѣмъ больше у него досуга, тѣмъ меньше труда и тѣмъ больше возможности мужать, расцвѣтать, жить. Мышинный жеребчикъ чѣмъ ближе къ старости, тѣмъ слабѣй и серьезнѣй (о дѣлахъ думаетъ, объ оздоровленіи корней), крестьянинъ-же чѣмъ ближе къ тѣмъ годамъ, которые для жеребчика уже старость, тѣмъ ближе къ расцвѣту; какъ дубъ, чѣмъ старѣе, тѣмъ крѣпче и развѣсистѣй, такъ и крестьянинъ, одолѣвшій тридцатилѣтнюю трудовую борьбу и тяготу, тѣмъ веселѣй, юнѣй, здоровѣй, разговорчивѣй, чѣмъ тяготы этой меньше, чѣмъ больше досугу, сна и т. д. Такимъ образомъ къ пятидесяти годамъ крестьянинъ, съумѣвшій выйти здоровымъ и невредимымъ изъ-подъ гнета непрестаннаго труда, непрестанной заботы, непрестаннаго обремененія мысли расчетомъ, оказывается не только не сморчкомъ, какъ мышинный жеребчикъ, а человекомъ вполне цѣтущимъ, сильнымъ, крѣпкимъ, какъ дубъ, а главное — при этихъ-то условіяхъ получаетъ, благодаря подроставшему поколѣнію своихъ дѣтей, возможность жить *на себя* и для себя, *а не для труда и хозяйства*. Параллель между мышиннымъ жеребчикомъ и снохачемъ будетъ такимъ образомъ слѣдующая: человекъ, имѣющій быть мышиннымъ жеребчикомъ, начинаетъ влюбляться и срывать цвѣты удовольствія съ самыхъ раннихъ лѣтъ, постепенно дряхлѣетъ и, утрачивая способность любить, суживаетъ свои помыслы относительно женщинъ до самыхъ мелкихъ побужденій чувственности. Крестьянинъ, имѣющій быть снохачомъ, напротивъ, съ самымъ узкимъ своекорыстіемъ сходилъ съ женщиною въ юности, сходилъ ради тоже удовольствія облегчить свой трудъ и также большею частью безъ любви; ежедневный трудъ, послѣ котораго онъ спалъ какъ зарѣзанный, который потреблялъ огромную массу

его силъ и иногда (какъ мы увидимъ ниже) прямо требовалъ въ хозяйственныхъ цѣляхъ воздержанія и цѣломудрія, и виѣстъ съ тѣмъ — тѣ-же требованія того-же воздержанія со стороны, такъ-сказать, церковныхъ порядковъ (что мы тоже увидимъ ниже), — требованія, весьма часто совпадающія съ требованіями успѣшности труда, — все это не давало человеку тратиться, истощаться и изнашивать чувство, но, напротивъ, какъ-бы замораживало. Оставляло его неприкосновеннымъ вплоть до минуты облегченія труда, отдыха и процвѣтанія... Своекорыстный расчетъ по отношенію къ женщинѣ — участь жеребчиковъ въ старости — пережить крестяниномъ въ юности.

Въ огромномъ большинствѣ случаевъ онъ сходилъ съ женой не по любви, а ради личнаго удобства. Въ настоящее время въ деревняхъ, какъ вѣроятно извѣстно читателю, распространенъ обычай выходить замужъ и брать женъ уходомъ. Часа въ два зимней, молчаливой ночи по селу или деревнѣ несутся саночки, а въ нихъ мужчина и женщина. Если вы спросите, что это такое, вамъ отвѣтятъ: «Парень дѣвушку увезъ съ посядѣлокъ». Лошадь онъ добылъ самую лучшую, промчался стрѣлой... Но не всегда въ такихъ романтическихъ приключеніяхъ главную роль играетъ искренняя любовь мужчины. Во-первыхъ, большинство свадебъ «уходомъ» или «увозомъ» совершается для того, чтобы избѣжать свадебныхъ расходовъ, которые, по малой мѣрѣ, обошлись-бы рублей въ 60. Родители обыкновенно знаютъ, когда и съ кѣмъ уѣдетъ ихъ дочь, знаютъ это и женихъ, и невеста, и родители жениха. Дѣлается это для того, чтобы дать родителямъ право (и то только для формы) сказать: «коли ушла безъ спроса, такъ и нѣтъ тебѣ ничего». Но кромѣ этого и женихъ большею частью не безкорыстенъ — беретъ онъ жену *безъ приданого* не всегда исключительно по любви, а частенько и изъ расчета. «Помилуйте, говорили мы одинъ изъ такихъ молодыхъ супруговъ, посылалъ-посылалъ изъ Петербурга отцу деньги, а теперича пріѣхалъ, ни зерна въ домѣ нѣтъ — все пропалъ. Думаю, Богъ съ вами совѣститъ, хоть вы и родители... Взялъ жену, *по крайности будетъ кому деньги беречь*. Пошлешь — ужъ, надѣюсь, не размотаетъ... Все свой человекъ...» Вотъ очень частенько изъ такихъ-то побужденій и совершаются браки крестьянами въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ. Изъ десяти браковъ прошлой зимы никакъ не менѣ половины сдѣланы именно во имя самаго сухого расчета. Парень женится, «*привяжетъ къ себѣ*» жену, поживетъ недѣлю — и въ Петербургъ. Бѣдетъ въ спокойномъ состояніи духа: «привязалъ» — и «будетъ кому деньги посылать...» До Святой онъ ужъ не будетъ дома, потому — «постъ», «мы чтимъ законъ» и т. д., а послѣ Святой опять уйдетъ до осени, потому — «дачи начинаютъ», «торгуемъ по дачамъ: зелень, фрукты... да и женѣ много работы въ полѣ, въ огородѣ... Не до этого, помилуйте!...» Осенью придетъ, принесетъ деньги, опять недѣлку поживетъ. — и опять постъ, опять невозможно: «законъ», надо въ Ни-

теръ, «зима, торговля...», «ужь опять стало быть до мясаѣда...»

Итакъ, «одно и то-же» въ жизни будущаго жеребчика и снохача расположено и пережито не такъ и не въ одинаковомъ порядкѣ. У одного расцвѣтъ по части цвѣтновъ удовольствія въ юности, у другого—въ старости; одинъ, приближаясь къ старости, тощаетъ, изнашивается; другой въ эти же годы только-что входитъ во вкусъ жизни, а истощался онъ въ самомъ раннемъ возрастѣ. У одного чувство мертвѣть и сохнуть по мѣрѣ одряхлѣнія, у другого оно сохло и черствѣло, даже прямо находилось въ замерзшемъ состояніи въ ранней юности. Въ такой разницѣ вы не можете не видѣть вліянія труда, въ условіяхъ котораго живетъ крестьянинъ. Почему-же это пробудившееся чувство не обращается на жену, а на постороннее лицо?—Да потому, что жена, какъ и всякая деревенская женщина, ужь старуха къ этому времени. Она была взята какъ работница, она рожала, нянчила, варила, стряпала. Женскій трудъ въ крестьянской семьѣ и хозяйствѣ ужасенъ, почти нѣтъ ужасенъ. Глубокаго уваженія достойна всякая крестьянская женщина, потому что эпитетъ «мученица», право, не преувеличеніе по отношенію почти ко всякой крестьянской женщинѣ. Есть бабы глупыя и бабы умныя, но добрыхъ и мученицъ несравненно болѣе.

Снохачъ скверенъ тѣмъ, что жертвы для своего баловства выбираетъ тутъ-же, въ своей семьѣ. Но это происходитъ потому, что, во-первыхъ, бабы эти—*свои* (экономія) и, во-вторыхъ, потому, что и другимъ обывателямъ также нужны *свои бабы* и что дѣвушки нужны парнямъ для работы, а вовсе не для потѣхи стариковъ. Старики поэтому соединили во-едино и рабочую силу женщины, и потѣху. Экономія тоже!.. Въ настоящее время, когда земледѣльческіе порядки болѣе или менѣе разстроены, когда иной разъ парню нельзя жениться потому, что и одному «не съ чѣмъ взяться» и «не у чего быть», стало много холостыхъ мужчинъ и женщинъ. Крѣпкимъ старикамъ, расцвѣтающимъ годамъ къ 50-ти, всегда можно повтому найти дѣвушку, которую «не возьмутъ», за которой не погонятся (въ былое время и баринъ-бы изъ расчета продалъ куда-нибудь дѣвку или-же изъ того-же расчета прикупилъ-бы гдѣ-нибудь дешеваго мужчину и женилъ его на лишней безпріютной дѣвкѣ, приобрѣтъ себѣ такимъ образомъ новое тягло и плательщика). Вотъ почему теперь встрѣчаются очень часто такіа влюбленные пары. Старикъ живетъ съ молодой дѣвушкой, какой-нибудь сиротой. Незачѣмъ ему теперь быть снохачомъ. Теперь онъ можетъ дѣлать это открыто.

Недавно жена одного изъ такихъ влюбленныхъ стариковъ, какъ дубъ расцвѣтшихъ годамъ къ пятидесяти, пригласила колдуну съ тѣмъ, чтобы онъ отворожилъ ея мужа отъ его возлюбленной. Колдунъ взялся сдѣлать дѣло за пять рублей, но прежде всего пожелалъ видѣть эту возлюбленную. Сдѣлано было такъ, что эта дѣвушка, не зная, что на нее смотреть, должна была пройти съ подру-

гами мимо того дома, гдѣ сидѣли колдунъ и жена влюбленного старика. Дѣвушка прошла мимо, колдунъ поглядѣлъ на нее, увидѣлъ, что она въ самомъ дѣлѣ красива, подумалъ и сказалъ:

— Нѣтъ, сударушка, не могу я тебѣ службы сослужить!.. Нѣтъ, не могу отворожить!

— А ужь мнѣ тебя хвалили-хвалили! обиженно сказала обиженная жена. — Стало-быть только языкомъ болтать умѣешь!..

Чтобы сохранить за собой авторитетъ и репутацію колдуна и не обидѣть несчастной женщины, сказавъ ей прямо, что соперница ея приворожила къ себѣ мужа красотой, опытный и хитрый мужикъ не обидѣлся словами своей заказчицы, а подумалъ и, покачавъ головой, сказалъ со вздохомъ:

— Не могу, не могу, сударыня. Вѣдь это я самъ твоего мужа-то и привораживалъ къ ней! Вотъ бѣда-то! Вѣдь она (любовница) пришла ко мнѣ, назвалась его женой—«приворожи», говоритъ. Я съ дуру-то и присмолилъ его къ этой псовкѣ навѣки вѣковъ. Теперь не то что пять рублей, а давай ты мнѣ милліонъ, такъ и то я отодрать его не въ силахъ—вотъ вѣдь какая оказія-то!

Возвращаясь къ рѣчи о томъ, какъ многосложна работа изученія семейныхъ порядковъ крестьянскаго дома, я долженъ повторить уже сказанное выше, что порядки эти, находясь въ зависимости отъ требованій и вліяній земледѣльческаго труда, осложнены еще требованіями и вліяніями церковными, которыхъ я никакъ не смѣшиваю съ вліяніями «народной интеллигенціи» (о ней говорю выше), наиболѣе всего олицетворяющейся типами также съ религіознымъ отбѣнкомъ. Церковныя требованія и церковныя вліянія также, какъ мнѣ кажется, весьма много значатъ въ крестьянской жизни, даже въ отношеніи правильности обихода; мясаѣды, посты иногда *какъ-будто* (утвердительно я не могу говорить, потому что не знаю навѣрное и мало объ этомъ думалъ) *подходятъ* къ условіямъ земледѣльческаго труда и какъ-будто *помогаютъ* тому, чтобы человекъ *не вредилъ труду*. Повторяю, я ничего не могу сказать на этотъ счетъ обстоятельнаго, но знаю, что напримѣръ обиліе свадебъ въ такъ называемый рождественскій мясаѣдъ, т. е. между Рождествомъ и масляной, *не вредитъ* земледѣльческимъ работамъ, потому что бабы будутъ рожать осенью, послѣ работъ... Кажется, что огромный «великій постъ», какъ-будто нарочно поставленный передъ весенними мѣсяцами и отодвигающій свадьбы къ апрѣлю и маю, также не вредитъ работамъ: бабы опять будутъ рожать зимой. Наконецъ посты осенніе, тоже довольно длинные, и притомъ поставленные въ такое время, когда народъ отработался и когда онъ можетъ жить «на себя», тоже какъ будто не лишніе въ цѣляхъ хозяйственныхъ... Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ: положимъ, бракъ состоялся въ рождественскій мясаѣдъ, ребенокъ родился осенью, послѣ уборки хлѣба, когда крестьянину можно-бы и отдохнуть, но тутъ, во-первыхъ, баба поправляется и, во-вторыхъ, одинъ за другимъ два поста—успенскій

и рождественскій, такъ что опять — «до рождественскаго мясоѣда», и стало быть опять баба свободна въ рабочую пору. Конечно, въ нынѣшнее время, говоря языкомъ стариковъ, — «воля»; но что напримѣръ посты влияют на семейныя отношенія, это, судя по разговорамъ тѣхъ-же стариковъ, не подлежитъ сомнѣнію. Я помню, какъ одинъ наблюдательный старикъ критиковалъ недостатки приходскаго священника.

— Тоже іерей! иронически говорилъ онъ. — Поглядѣть на него — святы! Выйдетъ съ проповѣдью — сладкогласъ, больше ничего. А на мѣсто того оказалось, что на словахъ-то онъ хоть и апостолъ, а на дѣлѣ-то кобель пестрый.

— Какъ-же оказалось?

— А такъ. Пошли на Крещенье воду святить, гляжу я, что мой батя не въ себѣ? Рветъ и мечетъ, комкаетъ, бормочетъ, сбѣшиваетъ слова голову. Кое-какъ свертѣлъ молебень, бѣгомъ домой. Что, молъ, такое у него? Анъ, оказывается, жена рожала, стало-быть въ самое Крещенье... Ну, какъ узнать я это, тутъ я и подумалъ: нечего сказать, похожъ на апостола. Да такихъ дѣловъ даже и мужикъ пьяный себѣ не дозволяетъ... Родила въ Крещенье... Есть-ли тутъ совѣсть въ человѣкѣ?

Ровно ничего не понимая, я съ изумленіемъ спросилъ:

— Да что-жъ тутъ такого? Какъ-же не родить?.. Что за бѣда?

— А вотъ какая бѣда: ежели на Крещенье кончился девятый мѣсяцъ, такъ счита-ко-сь на пальцахъ, когда первый-то былъ? Считаю-ко назадъ девять-то мѣсяцевъ. Анъ и окажется — апрѣль! А въ апрѣлѣ-то что? — Постъ Великій!.. Ну гдѣ-жъ тутъ совѣсть? Да, окромя того, какъ разобрали наши бабы это дѣло, какъ подвели число подъ число, день ко дню — хватъ, и вышло чистый четверг! А считаются учителя!.. Выйдетъ съ проповѣдью — и то, и другое, абіе, абіе, думаешь, не въѣсть что... А тутъ вотъ какъ!... Я ужъ тогда, признаться, сдѣлалъ ему вопросикъ. Встрѣтился, поздравилъ съ новорожденнымъ, да и говорю: «Что, молъ, отче, никакъ у васъ съ матушкой по календарю ошибочка вышла?»... Понялъ, ускользнулъ отъ меня въ калитку, яко дымъ... Да и матушкѣ тоже я упомянулъ. Сгорѣла со стыда!... Вотъ они какіе законники! «Братіе, абіе», а на дѣлѣ-то и вышло абіе — бабіе!...

Извиняюсь предъ читателями въ несовсѣмъ скромномъ содержаніи приведеннаго разговора. Привести мнѣ его было необходимо въ виду того, что онъ очень «подходитъ къ вопросу, о которомъ идетъ рѣчь. Насколько церковныя вліянія совпадаютъ съ вліяніями хозяйственными и земледѣльческими въ условіяхъ, регулирующихъ семейныя отношенія крестьянина, я не могу сказать положительно, такъ какъ не имѣю нужныхъ свѣдѣній. Я знаю только одно, что какое-то вліяніе церковныя порядки имѣютъ на семью, и не могу не догадываться, что иногда вліянія эти могутъ совпадать съ вліяніями на тѣ-же семейныя отно-

шенія условій труда. Что-же касается собственно этихъ послѣднихъ земледѣльческихъ вліяній и требованій, то они также *несомнѣны*, но также требуютъ разработки. Существованіе въ крестьянскомъ быту желанія сохранить женщину для возможно большаго количества рабочихъ дней — желанія, чтобы «баба» въ трудную рабочую пору «страды» была здорова, не лежала въ родахъ и не была брюхата — *несомнѣнно*. Такъ-называемыя женскія болѣзни терзаютъ огромное большинство деревенскихъ женщинъ. Кому раньше стала известна «спорынья» — докторамъ или деревенскимъ женщинамъ — я не знаю, но знаю, что она играетъ въ жизни огромнаго большинства крестьянокъ весьма значительную роль. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ мнѣ пришлось написать рассказъ, гдѣ есть черты, касающіяся тѣхъ сторонъ крестьянской жизни, о которыхъ мы теперь говоримъ. Позволю себѣ привести его здѣсь, какъ *отдельную вставку*: а такъ какъ въ рассказѣ этомъ, помню тѣхъ чертъ, которыя непосредственно касаются обсуждаемаго нами вопроса, есть множество другихъ чертъ, вовсе не касающихся даннаго вопроса, то мы и помѣстимъ его, какъ совершенно самостоятельный отрывокъ.

(Изъ записной книжки.)

...Всякій разъ, когда мнѣ приходится встрѣчаться и говорить съ крестьяниномъ Гаврилой Волковымъ, мнѣ почему-то непременно приходится въ голову такая мысль: «Не дай Богъ дожить до того времени, когда этотъ Гаврила дастъ волю той скрытой покуда въ душѣ его злости и недовольству, которыя теперь выражаются только въ сухомъ, постоянно жестокомъ выраженіи глазъ и губъ и въ тонѣ его голоса. Дай онъ волю тому, что у него скрыто въ глубинѣ души, — и это скрытое немедленно олицетворится въ видѣ могучаго, ожесточеннаго и безпощаднаго верзилы съ огромной дубиной, поднятой надо всѣмъ свѣтомъ, безъ разбора». Человѣкъ этотъ, могучій физически, несомнѣнно надѣленъ сильной умственной энергіей; но то переходное время, которое мы переживаемъ, благодаря тому, что переживаніе это тянется неумѣренно долго, и тому, что, несмотря на неумѣренную длинноту, оно, какъ на грѣхъ, не дало никакой солидной пищи общественному уму, такъ какъ именно умственная-то жизнь за весь этотъ томительный періодъ времени всего болѣе встрѣчала неожиданностей, неожиданныхъ препятствій въ своемъ развитіи — благодаря этому, умъ Гаврилы только разстроенъ, распатанъ: разлакомленъ надеждами, слухами и разочарованъ въ нихъ другими, противоположными этимъ надеждамъ и слухамъ явленіями и тоже слухами. «Деньги» — вотъ *самое вѣрное* среди продолжительнѣйшей сумятицы и толкучки противорѣчивыхъ, а главное — почти всегда неопредѣленныхъ явленій жизни, которая эта жизнь давала ему. Ему теперь около сорока лѣтъ. Въ ранней юности онъ жилъ при крѣпостныхъ

порядкахъ, но уже носился слухъ, что ихъ не будетъ... Слухи росли, росли и ожидания... Слабѣла напряженность въ трудѣ и убѣжденіе въ ея необходимости: вѣдь все это кончится, будетъ новое, разумѣется, лучшее... Кончилось... Баринъ заложилъ имѣніе въ банкъ и уѣхалъ. Очевидно, кончается прошлое. Варскій домъ стоитъ пустой. А трудъ сталъ тяжелѣе прежняго, земли меньше, расходовъ больше. Понадобился посторонній заработокъ. Въ домѣ при жизни крутого отца-хозяина между тѣмъ шелъ старый порядокъ, царилъ деспотизмъ отца. Отецъ отбиралъ деньги, зарабатываемыя братьями. Одинъ зарабатывалъ больше, а другой—меньше, зарабатывали на разномъ, а жили подъ властью отца равно; это тоже какъ будто хуже прежняго—прежде работали одно... Не оказывалось толку отъ того, что баринъ уѣхалъ и домъ его запустѣлъ; не оказывалось толку и отъ усиленныхъ трудовъ на сторонѣ—ихъ побѣдали другіе; ненужнымъ оказывался отцовскій деспотизмъ во имя того, чтобы держать крестьянство. Богатѣе «отъ крестьянства» вышло изъ моды—стало входить въ моду богатство отъ обороту, отъ денегъ... Это богатство, богатство кулацкое, можетъ не сѣять, не жать, а оборачиваться капиталомъ и жить припѣваючи. Это—новый типъ достатка. И вотъ у Гаврилы новый червь точитъ душу: у него столько семья переѣла заработковъ, что онъ, ежели бы пускалъ ихъ въ оборотъ, давно-бы былъ такой же почетный членъ деревни и жилъ-бы въ такомъ-же достаткѣ, какъ и вотъ этотъ Черемухинъ, который началъ обороты съ мѣднаго алтына. А семейный деспотизмъ давитъ, и все безъ толку: съ крестьянствомъ, съ овсомъ и сѣномъ, съ пашней не угнаться за Черемухинымъ, а семейный деспотизмъ не уменьшается, а растетъ, потому что растутъ платежи, растетъ количество требующихся денегъ, растетъ необходимость труда, чтобы не растратиться, иначе Черемухинъ слопаетъ... Все, что ни переживалъ Гаврила, все *только раздражало*: ждали воли, думали будетъ лучше, а стало хуже, труднѣе.. По-настоящему, отецъ долженъ-бы былъ его отпустить, дать ему жить своимъ умомъ, на свой заработокъ, а онъ не только не пускаетъ, но гнететъ все сильнѣй и сильнѣй—боится разстройства. Несмотря на усиленные труды, разстройство это въ то же время оказывается возможнымъ каждую минуту. Околѣй лошадь—надо кланяться Черемухину, а тотъ въ руки заберетъ, опять худо. А вотъ Черемухинъ и въ руки можетъ забрать, и гнета надъ нимъ нѣтъ, и труда адскаго нѣтъ, и нужды не знаетъ. Чтѣ это такое? Гдѣ источникъ этой почему-то безплодно-трудной жизни, нисколько не увеличивающей ни благосостоянія, ни свободы?... Иногда Гаврила и другіе его братья каждый по одиночкѣ пробовали-было протестовать противъ отцовскаго деспотизма, но оказывалось, что деспотизмъ этотъ силенъ и можно за него сыновей драть. Зло накапливалось на душѣ Гаврилы: зло на отца, на трудъ, на платежи, на Черемухина, за-

висть къ легкой наживѣ, гнѣвъ на малоземелье, на всевозможные хозяйственные платежи... Работай, плати, а ни себѣ, ни всему дому толку не видно. Одно только понималъ Гаврила хорошо и ясно, это то, что *деньги*—и выходъ, и рѣшеніе вопроса о всѣхъ затрудненіяхъ. И стало-быть только-бы ихъ добиться... Съ деньгами можно никого знать не хотѣть, покупать, выкупить, продать и опять купить.

Наконецъ умеръ деспотъ-родитель. Гаврила немедленно отделился съ семьей. Надежда на земледѣльческій трудъ у него была потеряна и подорвана, а приходилось именно жить этимъ трудомъ и притомъ ужъ одному, т. е. опустаться подъ гнетомъ страшнаго труда, и зачѣмъ?—чтобы только перебиваться со дня на день... А Гаврила привыкъ знать, что онъ принадлежитъ къ богатой семьѣ. Онъ выросъ въ семьѣ, которая когда-то богатѣла только трудомъ рукъ своихъ, считалась богачами между тружениками, а теперь богачами стали Черемухины, а онъ изъ богачей попалъ въ нищіе—круглый годъ въ грязи, въ нуждѣ, въ работѣ безъ отдыха, безъ толку и безъ конца...

Жажда «выбраться», «выбиться» сосредоточила всѣ его помыслы и помыслы его жены, тоже энергической, суровой женщины, на деньгахъ. Всякими способами добывать деньги, а тамъ будетъ видно... Всякое «шаромыжничество» было для Гаврилы только способомъ. Вотъ Черемухинъ пресуетъ сѣно и везетъ въ Питеръ, наживаясь деньгами. Рассказываютъ, что тамъ въ тюкахъ и гнилое идетъ за хорошее—гдѣ тамъ видѣть, что внутри тюка,—и Гаврила сейчасъ же перенимаетъ, платить за прессовку и начинаетъ эксплуатировать именно «гнилье». Онъ разыскиваетъ мѣста, успѣваетъ привезти два-три воза хорошихъ, потомъ вдругъ сбываетъ массу гнилья и исчезаетъ... Такія вещи онъ успѣшно повторяетъ съ двумя-тремя разными лицами и въ разныхъ мѣстахъ Петербурга... Вотъ у него и деньжонки есть, маленькія, «чуть-чуть». Но вдругъ его накрываютъ съ этимъ сѣномъ въ Петербургѣ, волокутъ въ часть, составляютъ протоколъ, мызгаютъ по судамъ. Онъ вретъ, лжетъ; но все-таки сидитъ въ темной, остается безъ сѣна и безъ денегъ. Мошенничество не только не увѣчалось успѣхомъ, но пошло прахомъ. Между тѣмъ онъ знаетъ и по опыту другихъ, и по личному опыту, что оно увѣчалось иногда успѣхомъ. Разозленный неудачей, онъ, съ энергіей усиленнаго ожесточенія за обиду и пропажу денегъ, вновь принимается за измышления и тоже шаромыжничаетъ. Онъ пристально слушаетъ, за что даютъ деньги, какъ ихъ добываютъ... Петербургскія событія вносятъ въ народную массу множество неясныхъ и раздражающихъ слуховъ... Вотъ однажды идетъ Гаврила по казенному лѣсу съ ружьемъ, а въ телѣжкѣ утка валяется убитая. Моментально все, что было неяснаго и злобнаго въ душѣ и головѣ Гаврилы, сосредоточилось въ звѣрскомъ желаніи «поймать барина и представить»... «Вѣдь это—господа все...

Награда... Въ казенномъ лѣсу... За начальство... Отлично—награда». И Гаврила, не смотря на то, что онъ былъ такой же посторонній казенному интересу человѣкъ, какъ и тотъ баринъ, который ему встрѣтился, напалъ на него, какъ разбойникъ, отнялъ ружье, утку, забрался на козлы и, взявъ возжи въ свои руки, примчалъ его въ деревню... «Безъ билета, въ казенномъ лѣсу! Провидѣтельствуяте! Барина поймалъ!» оралъ онъ на всю деревню, съ явнымъ желаніемъ надѣлать шуму и сраму... Баринъ бросилъ все и ухалъ. А Гаврила, вмѣстѣ съ другимъ мужикомъ, караульщикомъ казеннаго лѣса, помчался въ лѣсную контору. Онъ гнать лошадей не жалѣлъ, торговался съ лѣсникомъ насчетъ награды, но душе всего былъ чему-то радъ—радъ тому, что «схватилъ», «отнялъ», «приставилъ». Скоро оба они предстали предъ лѣсничимъ, который, выслушавъ восторженное донесеніе Гаврилы, сказалъ: «Я посоветую барину, чтобъ онъ предалъ тебя, дурака, за самоуправство уголовному суду—вонъ, разбойникъ!» А лѣснику сказалъ: «Лови мужиковъ, когда они лѣсъ воруютъ, а не господъ, когда они утокъ стрѣляютъ. Мужиковъ, по крайней мѣрѣ, съчѣ можно, а что я возьму за утку? Что-жъ я изъ-за утки-то врага что-ль буду наживать?.. Дуракъ!» Гаврилу точно притянули къ суду, но баринъ помиловалъ его, и онъ еще кланялся барину, прося прощенія, тогда какъ внутри его клокотала злость и на барина, и на начальство, и на свою глупость. «Нѣтъ—рѣшилъ онъ ужъ давно въ глубинѣ души своей—грабить надо, больше ничего»... Эта жадность, алчность къ овладѣнію чѣмъ-то... чужимъ разумѣется, а главнымъ образомъ—деньгами, стали расти въ немъ съ удивительною быстротою и упорствомъ. А рядомъ съ этими побужденіями алчности, какъ это ни странно покажется читателю, въ Гаврилѣ и въ его женѣ, которая понимала мужа съ одного взгляда, сталъ въ той-же мѣрѣ развиваться какой-то аскетизмъ скупости... Копѣйки не тратилось на чай и сахаръ, ни одной папироски не выкурилъ Гаврила, ни одной рюмки вина не выпилъ съ тѣхъ поръ, какъ вырвался онъ изъ дому и отдѣлился. Ни съ кѣмъ и ни одного слова Гаврила не скажетъ безъ того, чтобы не рассчитывать на какую-нибудь выгоду. Если онъ зашелъ къ вамъ, то ужъ *такъ или иначе*, будьте увѣрены, онъ *заставитъ* васъ дать ему денегъ. Именно *заставитъ* васъ покориться тому, что онъ васъ непремѣнно надуетъ. Онъ не просидитъ лишней секунды безъ толку; въ случаѣ крайней неудачи, онъ выпьетъ три самовара, просидитъ пять часовъ молча и ужъ непремѣнно что-нибудь тѣмъ или другимъ образомъ получить или добьется чего-нибудь отъ своего посѣщенія. Безъ дѣла онъ васъ не знаетъ и даже не узнаетъ. Глядя на это злое лицо, на эти жесткіе глаза, при которыхъ потуги улыбнуться «по крестьянски» только трогали васъ больше, чѣмъ это лицо и глаза, чуешь, что какая-то недобрая сила гнѣздится въ этой душѣ, и кажется, что темная ночь, глухой безлюдный переулокъ, пьяный сѣдокъ съ деньгами и ударъ

шкворнемъ по головѣ—не разъ мелькали въ этой энергической и темной головѣ, какъ дѣло «настоящее» и какъ рѣшеніе вопроса. Питая въ себѣ такіе идеи и планы, Гаврила все-таки принужденъ заниматься «крестьянствомъ»; работаетъ онъ шибко, хотя и мрачно. Маленькихъ дѣтей у него трое.

Таковъ Гаврила теперь, въ настоящую минуту, когда онъ уже прошелъ огонь, воду, мѣдныя трубы и «чугунные повороты» всевозможныхъ разстройствъ труда и духа, которыя сдѣлали и въ деревнѣ мокрымъ хищническое направленіе жизни и мысли. Въ то-же время, къ которому относится нашъ рассказъ, Гаврила еще не увѣровалъ такъ безповоротно въ высокое значеніе проходимства, а только чувалъ, что оно—главное; самъ же скрѣпился на жадности, на расчетѣ, на скупости. Каждый кусокъ сахару, каждая охапка сѣна, каждое полѣно, пенка—все употреблялось съ аптекарскою точностью; онъ зналъ, что можетъ дать ему его трудъ и земля, зналъ впередъ на пѣлый годъ, что ему придется ѣсть и пить, зналъ, какъ и на что будутъ употреблены деньги, полученные имъ за телку, которая еще не появлялась на свѣтъ, даже не думала появляться...

Вотъ въ такую-то минуту, «разсчитавъ» всѣ свои средства, однажды послѣ уборки хлѣба, Гаврила увидѣлъ, что къ будущей веснѣ ему «нехватитъ» столько-то и столько-то и что не достаточнее необходимо гдѣ-нибудь и какъ-нибудь выработать. Онъ рѣшился идти въ извозники въ Петербургъ. Сначала онъ надѣялся работать просто съ своей деревенскою телѣгой, перевозить съ дачъ господъ и заработать къ зимѣ сани; Рождество, масляница, казалось ему, выручатъ его къ веснѣ. Онъ рѣшилъ ѣхать и сталъ собираться. Необходимо сказать, что уже послѣ того, какъ Гаврила съ женой отдѣлились, условія труда стали накладываться на нихъ разными обязательствомъ, во имя которыхъ требовалось все больше и больше, какъ мы видѣли, необходимости расчета и скупости; вотъ въ это-то время они—и Гаврила, и его жена—*портшили не имѣть дѣтей* до поры, до времени. Жена Гаврилы, о которой необходимо сказать подробно, была энергическая, страстная женщина. Она была красива, статна, по послѣ раздѣла, понявъ трудность положенія и всегда съ одного взгляда понимая планы и намѣренія мужа, всю свою энергію и всю свою страстность сосредоточила на томъ-же, на чемъ сосредоточился и мужъ: выбиться, догнать и перегнать всѣхъ, кто давитъ, и стремиться повредить ближнему, закабалая его во имя нужды. Въ виду этого, скупость и расчетливость мужа достигли въ женѣ высшей степени развитія: онъ былъ строгъ и расчетливъ, а она стала расчетливѣе въ сотни разъ болѣе и въ сотни разъ скупѣе. Рѣшеніе не имѣть дѣтей изсушило ее: она стала худа, суха, молчалива—но мужъ видѣлъ, что она понимаетъ необходимость рѣшенія и относится къ нему въ миллионъ разъ расчетливѣе, чѣмъ онъ. Между ними установились какія-то молчаливыя отношенія. Они много молчали

другъ съ другомъ, но другъ друга отлично понимали, затанцъ одинъ и тѣ-же мысли.

Передъ отъѣздомъ въ Петербургъ Гаврила, несмотря на свою сухость душевную, почувствовалъ, что ему «жалко» оставлять семью, жену... Наканунъ дня отъѣзда (онъ собрался выѣзжать ночью) онъ такъ «соскучился», что, лежа на полатахъ, не выдержалъ тоскливаго чувства и робко шепнулъ женѣ, хлопотавшей подъ полатами съ ребятами и другой мелкой домашней работой: «Авдотья, подька сюда!»... Но Авдотья, хотъ и слышала эти слова, не показала вида; она только громче застучала какой-то посудой, громче заговорила съ ребятами, громко хлопнула дверью, выходя въ сѣни, и долго не возвращалась. Воротившись, она легла спать съ дѣтми, не давъ мужу никакого отвѣта, и притворилась, что крѣпко заснула. Да и мужъ успѣлъ уже «очувствоваться» и не повторилъ приглашенія. Онъ уже успѣлъ «высчитать», что чувственность его могла-бы сильно повредить расчетамъ. Во-первыхъ, получился-бы лишній ротъ, который отнялъ-бы Авдотью отъ работы, и когда?.. И это онъ высчиталъ: оказалось—въ сѣнокосъ...

Въ два часа ночи Гаврила всталъ, запрегъ лошадей и сказалъ женѣ: «Ну такъ, значить, отписывай, коли что...» Жена отвѣтила: «Ладно... Отписывай, все-ли благополучно». Заперла ворота и принялась за дѣло.

По пріѣздѣ въ Петербургъ Гаврила неожиданно узналъ, что ему незачѣмъ выработывать городского экипажа, что такіе экипажи отдаются хозяевами извозничьихъ дворовъ на прокатъ, отъ 50 коп. до 1 р. въ день, и что онъ слѣдовательно можетъ сейчасъ-же сдѣлаться самымъ настоящимъ извозчикомъ. Деревенская лошадь и костюмъ извозничій, который онъ могъ, сообразно со средствами, приобрести только самый плохой, обязывали его быть ночнымъ извозчикомъ, а не дневнымъ. Это обстоятельство познакомило его съ свойствами пьяной, темной петербургской ночи и, какъ кажется, положило начало любви къ темнымъ ночамъ и глухимъ переулкамъ. Петербургская осенняя или зимняя ночь, этотъ конецъ дневной вытяжки, лганья и вранья,—это время «воли», которымъ пользуется втеченіе дня Петербургъ для того, чтобы люди не выдали подъ покровомъ ночи, каковъ онъ «неподтянутый» и какъ много скрыто всякаго смрада въ глубинахъ этой выдержки и вытяжки,—этотъ ночной Петербургъ окончательно уронилъ въ мѣніи Гаврилы «господа», положивъ въ его душѣ начало нагдой бездережонности. Не разъ пьяные «господа» съ барышнями по ошибкѣ давали ему десяти-рублевою бумажку вмѣсто рублевой, и онъ привыкъ не стыдиться и не упускалъ случая попросить «опе» на водочку. Пользуясь ночью темнотой, не разъ надували и его, и онъ старался заверстывать тѣмъ-же. Въ общемъ, дѣла Гаврилы шли хорошо; онъ не ожидалъ даже такихъ барышей. И вотъ однажды везъ онъ «изъ клуба» какихъ-то двухъ сѣдоковъ, барина и барыню. Они видимо подгуляли, были веселы, кричали оба: «Извозчикъ, пошелъ, погоняй, прибавимъ!» и подѣхали

они къ какому-то подъѣзду, соскочили опрометью (кажется, это была гостинница) и ушли... Оглянулся Гаврила, а на сидѣннѣ дрожжъ муфта. Былъ октябрь въ началѣ, и холода, иногда со снѣгомъ и морозомъ, одѣвали петербургскихъ жителей въ теплыя платья. Не долго думая, Гаврила припряталъ мягкую муфту за пазуху и погналъ лошадь отъ подъѣзда. Возвратившись на квартиру часу въ пятомъ утра и распрягая лошадь, онъ при свѣтѣ фонаря вытащилъ изъ-за пазухи находку и сталъ ее разсматривать: муфта оказалась новенькая и должно быть дорогая—такихъ мѣховъ Гаврила не видывалъ. Но кромѣ самой муфты внутри ея нашлось маленькое портмоне, которое Гаврила едва могъ открыть, употребляя на это почти лошадиную силу, и въ которомъ оказалось денегъ болѣе сорока рублей. Да и портмоне-то, кажется, серебряное. Находка была, очевидно, большая, цѣнная. Но что съ ней дѣлать? Показать на квартирѣ? Сказать: представъ въ полицію. Продать? Сказать: укралъ, и какъ бы совсѣмъ не отобрали. Онъ спряталъ ее подъ половицу въ сараѣ, поднявъ ее и выпарапавъ руками яму. Яму эту онъ засыпалъ снѣгомъ и, несмотря на то, что никому не пришло бы въ голову, что подъ половицей что-то есть, онъ не спалъ всю ночь. Всю ночь онъ думалъ, какъ быть, и наконецъ рѣшилъ запретъ лошадь въ телѣгу, ѣхать въ деревню, отдать находку женѣ... Можетъ быть, лѣтомъ найдутъ господа на дачи... Да и сама баба, можетъ, что выдумаетъ. Необходимо ѣхать, потому что здѣсь, въ Петербургѣ, находка можетъ пропасть, отлучка-же не продлится болѣе трехъ сутокъ.

Выждавъ денька два, покуда убѣдился, что никто не ищетъ потеряннаго, Гаврила запрегъ лошадь въ телѣгу и уѣхалъ въ деревню, спрятавъ находку на груди... Черезъ день онъ былъ въ деревнѣ, а еще черезъ день уѣхалъ обратно въ Петербургъ, но въ этотъ промежутокъ, подъ впечатлѣніемъ находки муфты, денегъ и портмоне и вообще подъ впечатлѣніемъ нѣкоторой удачи, одинаково дѣйствовавшей какъ на Гаврилу, такъ и на его жену, отношенія мужа и жены утратили нѣкоторую долю официальности. «Ахъ, думалъ Гаврила въ дорогѣ, никакъ по числамъ-то не выйдеть»... То-же думала и Авдотья... Нѣсколько разъ и мужу, и женѣ приходило въ голову, что не зачѣмъ-бы было случиться тому, что вышло противъ всякихъ расчетовъ. И точно, расчетъ Гаврилы оказался ошибочнымъ. Едва онъ воротился въ Петербургъ, какъ узналъ, что въ газетахъ была объявка, что приходилъ городской и разспрашивалъ, «не находилъ-ли кто» такихъ-то и такихъ-то вещей. Неожиданный отъѣздъ его въ деревню былъ принятъ во вниманіе, во-первыхъ, товарищами по промыслу, которые и стали толковать о находкѣ и подозрѣвать Гаврилу. Городовой опять пришелъ. сталъ выспрашивать Гаврилу и такъ настойчиво, что Гаврила струхнулъ. Попробовалъ было онъ отдѣлаться безъ взятки—городовой потащилъ его въ кварталъ для допроса; попробовалъ-было онъ отдѣлаться двугривеннымъ—городовой пять разъ

къ ряду оштрафовалъ его за всевозможныя нарушенія порядка: за то, что сталъ у панаели, не сѣлѣ на козлахъ, за то, что шелъ посреди улицы рядомъ съ дрожками. Пришлось дать сразу сиюю ассигнацію, чтобы, утихомирить малое начальство. Не въ руку Гаврилѣ пошли святки и масляница. На святкахъ цѣна за прокатъ саней поднялась втрое, поднялись въ цѣнѣ овесъ и сѣно. Народу изъ деревень понаѣхало множество и выручка была плохая. Пьяные отнимали множество времени на хлопоты: возить, возить Гаврила много по переулкамъ, а тотъ только мычить, а ничего не говорить, привезетъ въ кварталъ и уйдетъ безъ денегъ. На масляной наѣхали тысячи чухонцевъ и сразу уренили цѣну до ничтожныхъ размѣровъ; пришлось гонять лошадей до упаду. Не посчастливилось и съ погодой: утромъ свѣтъ, а ночью поѣзда на дрожкахъ, плати вдвое — и за сани, и за дрожки... Въ концѣ-концовъ, когда Гаврила возвратился въ деревню (великимъ постомъ), выручка его вмѣстѣ съ находкой только только оправдывала тѣ расчеты и надежды, которые онъ имѣлъ въ виду, отправляясь на заработокъ. А Авдотья была ужъ беременна и, какъ видите, это обстоятельство являлось теперь неподходящимъ ни къ какимъ расчетамъ. Родить она должна въ юнѣ, въ самую рабочую пору: надо ходить за ребенкомъ, надо поправляться. Нанять работницу?.. А считико, сколько это стоитъ.

Въ юнѣ Авдотья родила, къ ужасу мужа и жены, двоихъ дѣвочекъ. Это было такъ глупо и имъ съ чѣмъ несообразно, такъ разстраивало всѣ планы, что мужу и женѣ стало даже стыдно. Они опять замолкли и молча дѣлали свое дѣло, молча понимали другъ друга. Обѣ дѣвочки лежали въ одной люлькѣ, завѣшанной пологомъ; Авдотья ходила на работу, оставляла присматривать за ними свою-же маленькую шестилѣтнюю дочь. Та качала ихъ, когда засыпали; но онѣ были тихи, онѣ все спали... Авдотья придетъ съ работы, уйдетъ за перегородку, налетъ рожки и дастъ ихъ ребятамъ, задернувъ занавѣску. Но что она дѣлала, это пришлось узнать мнѣ совершенно случайно, и я былъ такъ пораженъ тѣмъ, что увидѣлъ, что, говоря по совѣсти, не желалъ бы передавать этого видѣннаго читателямъ. Но дѣлать нечего, надобно досказать до конца. Случайно пришлось мнѣ зайти въ избу Гаврилы, когда ни его, ни жены не было дома. Зачѣмъ я заходилъ, не помню хорошенько. Войдя въ избу и узнавъ отъ дѣвочки, что родителей нѣтъ дома, я совершенно случайно заглянулъ въ люльку... Двѣ дѣвочки лежали головами врознь; лица ихъ были необыкновенно красны, какъ кровь, а рты были раскрыты, какъ у голодныхъ щенцовъ. Чмокнувъ сухими губами, дѣти опять, какъ только возможно шире, раскрывали рты, тяжело, прерывисто дыша, какъ бы отъ пожирающаго внутреннего жара. Я нагнулся, отъ дѣтей несло водкой... Водка была въ рожкахъ. Дѣти умерли въ ту же ночь. Они были лишнія, появленіе ихъ нарушало расчеты и весь обиходъ труда. И вотъ ихъ уже теперь нѣтъ...

Не буду говорить, почему я не могъ вышпаться

въ это дѣло и почему вообще у насъ рѣдко можно вышпаться постороннему лицу въ чужія, хотя-бы и звѣрскія дѣла, не говоря о полной невозможности вышпательства въ такъ-называемыя общественныя дѣла, очень и очень часто прикрывающія собою адское своекорыстіе и неправду. Я опять-таки только сожалею, что мнѣ пришлось написать эту ужасную сцену. Но она — сущая правда. «Почему, говорили мнѣ не разъ, вы берете *только* такія возмутительныя явленія? Неужели въ народной жизни нѣтъ явленій свѣтлыхъ и теплыхъ? Двадцать разъ я отвѣчалъ, что есть такія явленія во множествѣ, но я не могу касаться ихъ въ очеркахъ, посвященныхъ явленіямъ *разстройства* народныхъ порядковъ. Я волей-неволей обреченъ на подборъ этихъ ужасовъ, которые впрочемъ сами лѣзутъ въ глаза, потому что въ господствующемъ теченіи народной жизни въ «настоящую минуту» я вижу разстройство, притокъ дурныхъ явленій, непропорціонально великихъ сравнительно съ явленіями устройства и расцвѣта душевнаго добра.. На этихъ людей я не только не смотрю какъ на звѣрей, но думаю, что это убійство двухъ собственныхъ дѣтей — результатъ множества сложныхъ и главнымъ образомъ не благотворныхъ, а ожесточающихъ вліяній; убійство, затѣянное въ глубинѣ души, убійство вынужденное, будетъ отищено Гаврилой и его женой на комъ-нибудь, или на чемъ-нибудь. Мнѣ хочется сказать, что такихъ явленій, какъ и множества всякаго зла, для русскаго народа ненужнаго, гибельнаго, могло бы не быть. Но я объ этомъ говорилъ уже не разъ и, насколько могъ, убѣдительно...

Этотъ тяжкій эпизодъ хоть и не говоритъ собственно о давленіи земледѣльческаго труда на семейную жизнь, но указываетъ, что обстановка земледѣльческаго труда, особенно въ настоящее время, когда трудъ этотъ вообще разстроенъ, обязываетъ человѣка къ извѣстнымъ «расчетамъ» даже въ самыхъ повидимому неуволнимыхъ семейныхъ отношеніяхъ, — что обстановка эта можетъ иногда *приказать* человѣку сдѣлать то-то и то-то, а «глядя по человѣку» будетъ и исполненіе этого приказанія.

Вотъ плотникъ Никаноръ засыпанъ ребятами выше головы. Онъ и жена его — добрые люди, имъ нѣтъ нечего. а она, добрая мать, утѣшаетъ голодныхъ дѣтей сказками про Дмитрія-царевича, который былъ красивъ, силенъ, уменъ и точъ-въ-точъ походилъ красотой и силой на ея Васютку, который такъ доволенъ, что онъ похожъ на царевича, что и нѣтъ не просить, а сидитъ съ вытаращенными отъ удовольствія глазами, на которыхъ еще не просохли слезы отъ голода... Вотъ они не сдѣлаютъ этого, хотя Никаноръ въ пьяномъ видѣ и колотитъ жену до полусмерти, чтобы «убавить» въ пей эту «силу жизни», которая, не взирая ни на что, плодится, множится и знаетъ ничего не хочетъ, не страшится никакой нужды, согрѣваемая какой-то неизсякаемою добротой... И доброту-то эту Никаноръ хочетъ въ пьяномъ видѣ

убавить въ своей доброй бабѣ побоями... Она ху-дѣетъ, ходитъ разодранная и оборванная, съ го-лою грудью, но продолжаетъ родить и быть доб-рой. Сиротъ они оставляютъ цѣлую кучу...

Изъ этихъ примѣровъ хоть отчасти можно ви-дѣть, какъ сложны и многосторонни тѣ отѣнки особенностей семейныхъ отношеній, которыя скла-дываются въ народной средѣ подъ вліяніемъ усло-вій земледѣльческаго труда. Не менѣе любопытны и по-истинѣ плѣнительны и тѣ черты стройности и здоровой правды отношеній, которыя слагаются подъ вліяніемъ того-же благороднаго труда въ семьяхъ, гдѣ условія этого труда случайно бла-гопріятны. Говорить объ этихъ по-истинѣ завид-ныхъ семьяхъ, не приводя въ параллель съ уди-вительными типами людей труда другихъ типовъ, людей обезпеченности и смертной тоски—нельзя, а этого опять-таки не упишешь въ незначительномъ очеркѣ. Вотъ почему мы и оставляемъ разработку подробностей нашей задачи до болѣе благопріятнаго времени, а теперь, чтобы досказать до конца на-шу мысль, мы вынуждены слѣзуть нашу задачу до ея первоначальныхъ разбѣговъ.

Съ этой узкой точки зрѣнія мы потому при-даемъ «землѣ» огромное значеніе не только въ жизни всего русскаго народа, но, какъ увидитъ читатель, и всего русскаго общества, что «земля» и ея значеніе, въ нагляднѣйшихъ и крупнѣйшихъ особенностяхъ Русской земли, выступаютъ ярко и ясно видны намъ среди другихъ характеристиче-скихъ чертъ, также, быть можетъ, имѣющихъ значеніе въ объясненіи «русскаго типа», но не такъ яркихъ, не такъ ясныхъ и не такъ неотре-зимо понятныхъ, какъ земля и ея власть. Когда намъ говорятъ: «русскій народъ... какъ одинъ человекъ» отъ Перми до Тавриды... сплошная, однородная масса, одинъ духъ, одинъ нравъ, одинъ характеръ, по одному мановенію» и т. д., мы вѣримъ этому, потому что видимъ это; но когда захотимъ объяснить себѣ причины этой однород-ности и сплоченности, то *первое*, что бросается въ глаза *само собою*, это — однородность условій жизни, основанныхъ на однородности труда. Отъ Перми до Тавриды, у стѣнъ Кремля, у стѣнъ Ки-тая—вездѣ одна и та же соха Марья Андреевна, одни и тѣ же ожиданія весны, лѣта, зимы и осе-ни, одна и та же зависимость отъ природы и т. д. Несомнѣнно существуетъ въ глубинѣ этой массы множество и другихъ чертъ духовнаго родства, но мы говоримъ опять-таки, что *самая главная* изъ нихъ, самая, если можно сказать, *первая* изъ нихъ, это—земля и трудъ на ней.

Намъ говорятъ о высокомъ значеніи нашихъ общинныхъ деревенскихъ порядковъ; мы читаемъ восторженные похвалы высшей справедливости об-щинныхъ приговоровъ, рѣшеній. И въ то же вре-мя насъ сбиваетъ съ толку дѣйствительная дере-венская жизнь настоящаго дня, которая помпунто-лаетъ факты самаго поразительнаго невниманія къ общественнымъ или общиннымъ интересамъ. Мы хотимъ разобраться въ этой путаницѣ; идемъ на сходку, внимательно слушаемъ, что такое тамъ го-

ворится, и видимъ, что опять-таки тамъ, гдѣ дѣло касается земледѣльческаго труда и земли, отъ ко-торой онъ въ зависимости, дѣйствительно все вы-работано до высшей степени и точности и акку-ратности; видимъ, что въ этой области труда все *понятно* всему земледѣльческому міру, все строго разработано, что тутъ мірская мысль много рабо-тала, видимъ, что, сообразно этому пониманію труда, и судъ деревенскій справедливъ и строгъ въ этой только области, тогда какъ въ такихъ вопросахъ, которые не касаются этой сферы на-родныхъ знаній, и сходъ, какъ бы онъ ни гал-дѣлъ (это тоже похваляютъ), кривитъ иногда душой не хуже интеллигентнаго акціонернаго со-бранія, и судъ подкупенъ, и продается міровой интересъ... Въ сферѣ земледѣльческаго труда нельзя обесчистить общинника на вершокъ земли, нельзя наложить одной сотой лишнихъ податей, нельзя потому, что тутъ—главный центръ, на которомъ въ самомъ дѣлѣ, въ сурьезъ, сосредоточено общи-ное вниманіе, а въ то же время можно за ведро вина простить старшинѣ тысячную растрату, можно за два ведра угощенія накинуть старшинѣ сто рублей лишняго жалованья, можно изъ-за угоше-нія или изъ страха наказанія постановить не-правое рѣшеніе въ пользу кулака противъ бѣд-няка и т. д.

Вообще, къ какой бы группѣ явленій народной жизни мы ни прикоснулись, *первое*, что мы замѣ-чаемъ и что уясняетъ намъ эту группу явленій—это земля, земледѣльскій трудъ. Мы потому такъ пристально выслѣживаемъ одну только эту черту, что желаемъ показать, какъ велика ломка, какъ много осложненій можетъ произойти отъ того, если *эта, одна только эта сторона* народныхъ нуждъ не будетъ удовлетворена въ должной мѣрѣ; какъ несправедливы тѣ радѣтели о народномъ благѣ, которые рѣшаются сказать, что земельные по-рядки, существующіе въ настоящее время въ на-родѣ, удовлетворилены, не требуютъ улучшеній. Подробности разстройства земельныхъ отношеній, завели бы насъ слишкомъ далеко, да наконецъ мы ужъ и касались этихъ подробностей въ пред-шествовавшихъ главахъ, и намъ кажется, что если читатель припомнитъ, что было говорено по этому поводу, и все, что было сказано въ доказатель-ство значенія земледѣльческаго труда въ жизни народныхъ массъ, то ему не будетъ казаться не-основательнымъ наше желаніе, чтобы народу дано было въ этомъ смыслѣ все, что ему потребуется...

Но это не все. Дайте землю, дайте и интел-лигенцію, а главное—не удивляйтесь, не пугай-тесь того типа интеллигентнаго человека, кото-рый даетъ сама жизнь, который долженъ быть такимъ, а не инымъ, потому что такова страна и люди, среди которыхъ онъ живетъ. Нѣтъ ника-кого сомнѣнія, что страна, которая вся держится главнымъ образомъ земледѣліемъ, должна вся сплошь, сверху до низу, носить печать главнѣй-шихъ типическихъ чертъ, налагаемыхъ главнѣй-шимъ сословіемъ на другія. Въ Россіи народныя мужицкія черты должны быть первенствующими, и

намъ не стоило бы большого труда разыскать ихъ въ сферахъ, повидимому, весьма отдаленныхъ отъ сохи. Но мы не будемъ дѣлать этого, чтобъ опять не осложнять нашей задачи, а остановимся на самыхъ этихъ чертахъ, которыя мы почитаемъ исходящими прямо изъ народныхъ массъ, и которыя въ массахъ этихъ являются, какъ результатъ близости ихъ къ природѣ, къ гошой зоологической правдѣ, обязательной при земледѣльческомъ трудѣ.

И эти главнѣйшія черты, общія всему русскому обществу, мы укажемъ тоже грубо и въ обрѣзъ, иначе опять будетъ трудно выбраться на дорогу. Черты эти и раньше насъ, и лучше насъ отмѣчались въ русской литературѣ, а потому мы предпочитаемъ лучше взять хорошее готовымъ. Типическимъ лицомъ, въ которомъ наилучшимъ образомъ сосредоточена одна изъ самыхъ существенныхъ группъ характернѣйшихъ народныхъ свойствъ, безъ сомнѣнія, есть Платонъ Каратаевъ, такъ удивительно изображенный графомъ Л. Толстымъ въ «Войнѣ и мирѣ».

Какія же это типическія, наши народныя черты?.. «Жизнь Каратаева, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла какъ отдельная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ. Привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ, но онъ любилъ и любовно жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ чело-вѣкомъ... Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, не смотря на всю ласковую къ нему нѣжность, ни на минуту бы не оторчился разлукой съ нимъ»...

Откуда, какъ не изъ самыхъ нѣдръ природы, отъ вѣковѣчнаго, непрестаннаго соприкооношенія съ ней, съ ея вѣчной лаской и вѣчной враждой, могли выработаться такіа типичнѣйшія черты духа?.. «Онъ никогда не любилъ»... «Онъ ничего не значилъ самъ по себѣ»—вотъ черты, которыя мы ежеминутно встречаемъ въ нашемъ народѣ и которыя прямо вошли въ его душу отъ рѣки, отъ травы, отъ земли, лѣса, солнца. Мать-природа, воспитывающая миллионы нашего народа, вырабатываетъ миллионы такихъ типовъ, съ одними и тѣми-же духовными свойствами. «Онъ—частица», «онъ самъ по себѣ—ничто», «онъ любовно живетъ со всѣмъ, съ чѣмъ сталкивается жизнь» и «ни на минуту не жалѣетъ, разлучаясь»... Такая частица мретъ массами на Шипкѣ, въ сѣняхъ Кавказа, въ пескахъ Средней Азіи... «Жизнь его, какъ отдельная жизнь, не имѣла смысла». Эта, не имѣющая смысла, жизнь, не любя никого отдѣльно, ни себя, ни другихъ, годна на все, съ чѣмъ сталкивается жизнь... Все можетъ сдѣлать Платонъ: «Возьми и свяжи... Возьми и развяжи», «застрѣли», «освободи», «бей»—«бей сильнѣй» или «спасай», «бросайся въ воду, въ огонь для спасенія погибающаго!»—словомъ, все, что даетъ жизнь, все принимается, потому что ничто не имѣетъ отдѣльнаго смысла, ни я, ни то, что дала жизнь...

Въ Крымскую войну такихъ Платоновъ умирало безъ слѣда, безъ жалобы—тысячи, десятки тысячъ. 20 тысячъ ихъ легло на Зеленыхъ горахъ въ одинъ день... Сотни тысячъ ихъ умираетъ ежегодно по всей Россіи—безмолвно, безропотно, какъ трава, и сотни тысячъ, также какъ трава, родятся... Все это черты чисто наши, родныя, російскія—черты той страны, гдѣ десятки миллионъ ежедневно слушаютъ мать-природу, въ которой, какъ и въ нихъ, нѣтъ исключительной любви, нѣтъ смысла въ отдѣльномъ существованіи камня, дерева, ручья... Это все—наше, но это не все.

А тотъ типъ, который гонитъ Платона и по горамъ, и по степямъ? Тотъ, кто заставляетъ его и спасать, и губить? Тотъ, кто неотступно слѣдуетъ по его пятамъ, глядя, какъ онъ мретъ тысячами, и только облизывается, видя, что отъ этихъ смертей увеличивается и толстѣетъ его карманъ?... Развѣ это не нашъ типъ! Развѣ не «ничтожничество», сознаваемое Платономъ, воспитало его, развило, раскормило, раздуло его страсть къ произволу, къ «чраву» до громадныхъ размѣровъ?—Нѣтъ, именно Платонъ, именно его философія, именно его безропотное, бессловесное слушаніе «всему, что даетъ жизнь», выкормила у насъ другой типъ хищника для хищничества, артиста притѣсненія, виртуоза терзанія... Отдѣлять эти два типа другъ отъ друга невозможно—они всегда существовали рядомъ другъ съ другомъ.

Но въ далекую старину между ними, какъ мы уже говорили, видѣлась третья фигура, третій типъ,—типъ чело-вѣка, который, во-первыхъ, «любилъ» и, во-вторыхъ, любилъ «правду». Безропотно, какъ трава въ полѣ, погибающій и, какъ трава живущій, Платонъ однако думалъ, что «Богъ правду видитъ, но не скоро скажетъ». И умиралъ, не дождавшись этой правды. Третья фигура, о которой мы говоримъ и которую мы называемъ народной интеллигенціей, именно и говорила эту правду; худо-ли, хорошо-ли, но она заступалась за Платона противъ хищника, которому сулила адъ, огонь, крюкъ за ребро.

Какъ-же обстоятъ дѣла теперь?—Теперь мы видимъ только двѣ фигуры—Платона и хищника. Третьей фигуры—чело-вѣка, который-бы могъ заикнуться о той правдѣ, которую Богъ видитъ и которую говоритъ устами людей,—нѣтъ и въ поминѣ. Напротивъ, все на сторонѣ хищника. На сторонѣ его земельное разстройство массъ, разстройство душевнаго удовлетворенія ихъ трудомъ; разстройство это гонитъ ихъ къ хищнику внутренне-обезсиленнымъ, сознающимъ свое ничтожество гораздо сильнѣе, чѣмъ сознавалъ его Каратаевъ *).

*) Кое-что недоговоренное въ предыдущихъ очеркахъ было досказано въ послѣдствіи въ рассказѣ, который хотя и носитъ самостоятельное названіе, но написанъ на ту же тему о власти земли. Этотъ рассказъ: «Изъ разговоровъ съ пріятелями» слѣдуетъ ниже.

ИЗЪ РАЗГОВОРОВЪ СЪ ПРІЯТЕЛЯМИ.

(НА ТЕМУ О „ВЛАСТИ ЗЕМЛИ“)

I. Безъ своей воли.

I.

...Слава Богу, зима стоитъ настоящая, снѣжная, морозная, съ вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, przejść и пройтись на снѣжмѣ, холодномъ воздухѣ, хорошо и дома посидѣть во вьюгу и пургу, жарко растопивъ печку и взявъ въ руки хорошую книгу.

Въ одинъ изъ такихъ вьюжныхъ вечеровъ, какъ-то на-дняхъ, я и одинъ мой пріятель мирно коротали время, попивая чай, читая, кто книгу, кто газету, и испытывая самое современнѣйшее изъ удовольствій, удовольствіе не стѣснительнаго молчанія. Въ особенности съ этимъ «удовольствіемъ» освоился мой пріятель, такъ какъ жизнь накопила у него на сердцѣ не мало горя, и всякій разъ, когда онъ говорилъ, слово его было невеселое, очень часто желчное, а иногда почти истерически негодующее. По натурѣ это былъ человѣкъ добрый и мягкій, но судьбѣ угодно было заставить его жить въ такихъ условіяхъ, гдѣ эти качества, особенно мягкость, не требовались, и не только не требовались, но не доставляли ничего, кромѣ горя и душевной отравы. Онъ началъ жить сердцемъ и умомъ въ то время, когда отъѣна крѣпостнаго права налагала даже на самыхъ заскоружлыхъ натуры обязательства знать и видѣть, что все это старое крѣпостное *кончилось* и что теперь *ничего этого не будетъ*. Пріятель мой принадлежалъ не къ заскоружлымъ натурамъ, и не поневолѣ думалъ, что все это кончилось, а вѣрилъ въ это и зналъ это по сущей совѣсти. Онъ началъ жить, думая, что *теперь* все пойдетъ «по хорошему», тихо, смирно и благородно; думая, что «тихо, смирно и благородно» и есть то новое, что началось и что устранило старое, не тихое, не смирное и не благородное. Однако «по хорошему» не вышло, развилась ненасытная алчность и жестокость своекорыстія, и навстрѣчу имъ пришла жестокость мести. Пріятель мой съ своими тихими планами жизни «по хорошему», съ ассоціаціями «хорошихъ людей», съ ссудными товариществами, со школами и чтеніемъ мужикамъ Хоря и Калиныча оказался совершенно ненужнымъ въ этой битвѣ «на чистоту»; но и оставаясь «между» господствовавшими теченіями жизни, былъ измолотъ ими, какъ зерно между двумя жерновами, былъ, если можно такъ выразиться, не стѣсненъ жизнью, а изжеванъ, измятъ ею, но такъ измятъ, что въ немъ не оставалось буквально живого мѣста ни въ тѣлѣ, ни въ душѣ. Обиліе всевозможнаго рода жестокостей, встрѣченныхъ имъ втеченіе жизни при рѣшеніи вопросовъ, иногда самыхъ гу-

маныхъ—жестокостей, иногда совершенно затмѣившихъ цѣли, во время которыхъ пускались онъ въ ходъ, доходившихъ до виртуозности въ преслѣдованіи человѣка, такъ, зря, безъ разбору, испугало его. Онъ не то, чтобы пересталъ вѣрить въ свѣтлые и теплые дни, а отвыкъ, боялся думать объ этомъ, чтобы не получить какого-нибудь новаго удара по незажившему, избитому мѣсту. Не принадлежа къ числу торжествовавшихъ и не попавъ «въ станъ погибающихъ», онъ тѣмъ не менѣе много, ужасно много пережилъ мыслью и тѣмъ, и здѣсь, много видѣлъ и много думалъ о русской жизни и о русскомъ народѣ, но «изжеванная» жизнь сдѣлала то, что мысли его были нѣсколько односторонни и, сколько можно судить, сосредоточивались на рѣшеніи вопроса: «почему изъ всѣхъ благъ, матеріальныхъ и нравственныхъ сокровищъ, доставшихся русскому человѣку даромъ, не выходитъ ничего, кромѣ взаимнаго мордобитія?». Рѣшеніе этого вопроса, а также боль тѣла и боль духа, подаренныя ему неудачнымъ опытомъ жизни, заставляли его въ особенную внимательностью останавливаться на мрачныхъ явленіяхъ жизни,—явленіяхъ, рѣжущихъ нервы. А такъ какъ это больно и непріятно, то Протасовъ—такая была фамилія у моего пріятеля—предпочиталъ молчать: молча шагаль по цѣлымъ часамъ изъ угла въ уголъ, молча курилъ или, вѣрнѣе, ѣлъ уголь рта мундштукъ папирасы, и когда говорилъ, то рѣчь его была ласкова, почему вмѣсто Протасова его почти всѣ знакомые называли Пигасовымъ, памятуя одно изъ дѣйствующихъ лицъ Тургеневскаго романа. Въ настоящее время Протасовъ ѣхалъ въ Петербургъ хлопотать о какомъ-нибудь «мѣстныкѣ» въ какой-нибудь желѣзнодорожной конторѣ, такъ какъ небольшое имѣніице, доставшееся отъ матери, въ которомъ Протасовъ проживалъ послѣдніе годы съ женой и тремя дѣтьми, плохо кормило его большую семью и, кажется, было наканунѣ продажи. Проѣздомъ въ Петербургъ онъ заѣхалъ ко мнѣ, и вотъ ужъ два дня какъ мы занимаемся съ нимъ самымъ успокоительнымъ и самымъ дружескимъ молчаніемъ. Вѣроятно промолчать еще такимъ-же пріятнымъ образомъ день или два, Пигасовъ (такъ называть его почему-то всѣмъ его знакомымъ кажется правильнѣе) взялъ-бы шапку, надѣлъ галоши, пожалъ-бы мнѣ руку и молча какъ пріѣхалъ, такъ и уѣхалъ-бы въ Питеръ; но неожиданно случилось обстоятельство, которое развязало ему языкъ и развязало такъ, какъ можетъ быть не случалось десятки лѣтъ.

Обстоятельство это не заключаетъ въ себѣ ровно ничего чрезвычайнаго. Дѣло только въ томъ, что нашъ молчаливый дуэтъ, общавшій окончиться

мирнымъ и молчаливымъ сномъ подъ шумъ мятели, былъ нарушенъ появленіемъ новаго, но не молчаливаго, а, напротивъ, весьма разговорчиваго лица. Ничего особеннаго не представляетъ и это новое лицо, но сказать о немъ два слова необходимо. Это былъ молодой малый или, лучше сказать, «парень лѣтъ двадцати, по фамиліи Березниковъ. Происхожденіе онъ былъ купческаго, и лѣтъ десять тому назадъ отецъ его торговалъ краснымъ товаромъ въ одно изъ окрестныхъ тихихъ уѣздныхъ городковъ и здѣсь-же десять лѣтъ назадъ умеръ, оставивъ вдовѣ и сыну небольшой деревянный домъ и флигель съ лавкой. Мать Березникова не продолжала торговли, лавку продала, домъ подновила и отдала подъ помѣщеніе уѣздной управы, а сама стала жить съ сыномъ во флигелѣ. На деньги, которыя остались отъ продажи лавки и которыя получались съ управы, жили они не богато, но и не бѣдно; мать молодого Березникова занималась тѣмъ, что пила чай, плакала, ходила въ церковь, да баловала своего сына, а сынъ росъ и ничего не дѣлалъ. Но что-то помѣшало ему сдѣлаться соврасомъ, шатуномъ, полюбить трактиръ, бильярдъ и кулацкую наживу; какая-то врожденная деликатность отталкивала его отъ этого, и хоть онъ ничего не дѣлалъ, но хотѣлъ что-нибудь дѣлать и притомъ хорошее. Въ настоящую минуту это былъ дюжій, здоровый и сильный парень, который дѣлалъ и думалъ то, что заставляло его дѣлать случай, хотя случай этотъ, повторяю, никогда не отзывалъ его ни въ кабацкую, ни въ кулацкую компанію. Единственный сынъ у матери, онъ не подлежалъ воинской повинности, не нуждался въ кускѣ хлѣба, былъ совершенно свободенъ, здоровъ и силенъ, но вопросъ «что дѣлать?» тѣмъ сильнѣе угнеталъ его въ деревенской и уѣздной глуши, что «нажива», которою этотъ вопросъ разрѣшается всего чаще, не прельщала его.

— Что мнѣ дѣлать? Скажите пожалуйста! — иногда какъ-бы въ изнеможеніи вопрошалъ этотъ здоровый и румяный юноша, неожиданно явившійся изъ какихъ-нибудь странствованій, которыя онъ любилъ дѣлать пѣшкомъ и даже бѣгомъ!...

— Да вы что-бы хотѣли дѣлать?

— Да чорта мнѣ хотѣть? Кабы я хотѣлъ, я бы не спрашивалъ...

— Вы что знаете?

— Да ни чорта я не знаю!...

— Такъ какое-же вамъ дѣло? Ничего не знаете и ничего не хотите.

— Такъ неужто мнѣ пропадать?

— Ну, возьмите какое-нибудь мѣсто... на желѣзной дорогѣ... въ управѣ.

— За какимъ-же чортомъ?

— Ну, все таки будетъ занятіе!

— Да за какимъ-же чортомъ мнѣ это занятіе? Жрать? Такъ у меня и безъ него есть, что ѣсть: пошелъ къ матери, похлебалъ шей — вотъ и все, а строить тамъ въ конторѣ или въ канцеляріи всякую ерунду — зачѣмъ это? Мнѣ надо знать, что я пользу дѣлаю кому-нибудь, тогда я согласенъ...

— Такъ подумайте хорошенько, можете и вы берете какое-нибудь дѣло...

— Ужъ я думалъ и вижу, что камень на шею, да въ воду — одно! Впрочемъ, нѣтъ-ли у васъ книгъ какихъ-нибудь? Я хочу читать. Надо читать до зарѣзу, одно спасенье... Дайте мнѣ книгъ пожалуйста, сколько у васъ есть.

Послѣ такихъ разговоровъ Березниковъ уходилъ домой, унося съ собой цѣлый ворохъ книгъ, связавъ ихъ собственнымъ кушакомъ (онъ ходилъ въ русскомъ платьѣ). Книги были всегда самаго разнообразнаго содержанія и собранныя кой-какъ: третья часть одного сочиненія, вторая другого, тутъ и романъ съ иностраннаго, и брошира объ уходѣ за скотомъ, и толстый отчетъ земскаго собранія. Нахватавъ всего этого такъ, зря, безъ разбору и толку, и притомъ второпяхъ, подъ давленіемъ мысли о неотложнѣйшей необходимости читать «до зарѣзу», — онъ немедленно-же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходилъ домой «читать» и пропадалъ на недѣлю, на двѣ. Черезъ двѣ недѣли онъ приносилъ ворохъ прочитанныхъ книгъ и на вопросъ — «Ну, что? — отвѣчалъ: — «Прочиталъ все... башка трепить, Богъ знаетъ, до чего... Все хорошо и любопытно — а точно кирпичами голову заложилъ... чистая смерть! Ужъ я дрова сегодня рубилъ цѣлый день — никакъ въ чувство не приду». Заходилъ разговоръ о систематическомъ чтеніи, о томъ, что такъ читать нельзя, что отъ такого безалабернаго чтенія можетъ получиться отвращеніе къ книгѣ. Березниковъ всегда соглашался, говорилъ: «да-да, вѣрно», но прибавлялъ «только ужъ послѣ... теперь у меня башка ничего не приметъ... теперь я пойду провѣтриться... у меня есть знакомые охотники на тетеревовъ»... И уходилъ, пропадалъ опять недѣлю, двѣ-три, принося потомъ цѣлый ворохъ всевозможныхъ, хотя и въ высшей степени безпорядочныхъ разсказовъ и наблюденій:

— «Ну, теперь опять давайте книгъ».

Но систематическое чтеніе никогда не удавалось; препятствовали этому живыя встрѣчи съ людьми. То идя домой съ книгами, Березниковъ встрѣтился съ овчинниками и такъ заинтересуется ихъ бытомъ, мастерствомъ и разговоромъ, что пристанетъ къ нимъ и проживетъ, «протаскается» съ ними до тѣхъ поръ, пока не пропадетъ интересъ, не станетъ скучно и опять не упадетъ унылая минута съ неразрѣшимымъ вопросомъ, «что дѣлать?». То встрѣтится съ учителемъ и вздумаетъ самъ готовиться держать экзаменъ, натащить домой Ушинскаго, Корфа, Евтушевскаго, но какая-нибудь новая встрѣча съ какими-нибудь голубятниками или столярами увлекала его къ живому наблюденію, и начатое приготовленіе въ учителя ничѣмъ не окончивалось, или во всякомъ случаѣ откладывалось въ долгій ящикъ.

Не смотря на безпорядочность жизненнаго опыта, исполненнаго случайныхъ встрѣчъ, мало по малу кое-что изъ вычитаннаго имъ переходило въ личныя наблюденія и иногда объясняло даже то или

другое знакомство, напр. съ учителями, съ мастеровыми. Хотя и крайне безпорядочно и безобразно, но голова Березникова работала, вычитанное переносила въ жизнь, а видѣннымъ провѣряла прочитанное. Но въ концѣ-концовъ въ головѣ этой царствовалъ все-таки хаосъ и безпорядокъ, неприводившій его ни къ чему опредѣленному, кромѣ какой-то страсти пережѣвывать мѣсто, чтобы не скучать, не томиться бездѣльемъ. Знакомыхъ и отцовскихъ, и своихъ много было у него и въ городѣ, и по деревнямъ, между учителями, священниками, крестьянами и въ особенности между крестьянами, занимавшимися какими-нибудь мастерствомъ: портными, бондарями, дубильщиками, вяляльщиками, и вездѣ онъ не былъ чужой, потому что приходилъ «любопытствовать» и любилъ болтать самъ. Корыстныхъ цѣлей въ немъ никто не видѣлъ, а побалагурить всякій былъ не прочь; да кромѣ того Березниковъ и не надоедалъ своими посѣщеніями и не всегда былъ празднымъ зрителемъ того, чтѣ дѣлаютъ люди: онъ всегда готовъ былъ подсобить и не только, въ чемъ могъ, а и въ томъ, чего не могъ.

— Ну-ка ты, парень, чего сидишь-то, ласы точишь, поди-ко принеси дровъ, видишь, хозяйка хвораетъ, и намъ недосугъ! — скажетъ ему какой-нибудь овчинникъ среди бесѣды о томъ, о семъ, и Березниковъ не только притащитъ охапку дровъ, но и наколетъ ихъ еще на двое сутокъ впередъ.

— Добрый парень! вотъ что говорили про него знакомые, и мы скажемъ про него то-же самое.

II.

Такъ вотъ этотъ-то Березниковъ и явился неожиданнымъ гостемъ въ то время, когда мы съ Пигасовымъ проводили время въ дружескомъ молчаніи, попивая чай и шумя кто газетой, кто листомъ книги. Березниковъ явился весь въ снѣгу: снѣгъ былъ на шапкѣ, на сапогахъ и на полушубкѣ.

— Здравія желаю! сказалъ онъ весело и, снявъ шапку, просыпалъ съ нея на полъ клочья снѣгу. — Вотъ и мы... незваные, непрошеные. Не хуже буду татарина? Можно ночлегу попросить?

Какъ ни дружески молчали мы съ Пигасовымъ, но появление новаго лица, въ которомъ притомъ же не было скуки для обоихъ насъ, было весьма приятно.

Черезъ пять минутъ Березниковъ уже раздѣлся, снялъ полушубокъ и въ одной красной русской рубахѣ сидѣлъ за стаканомъ чая, проглатывая огромные куски булки. Я познакомилъ его съ Пигасовымъ, но Пигасовъ, который, по его-же собственнымъ словамъ, сторонился всего веселаго — потому что отвыкъ отъ него, — не особенно обрадовался появленію новаго гостя, отъ котораго ужъ слишкомъ вѣяло какой-то безпричинной радостью молодости и физической силы. Вѣжливо поздоровавшись съ Березниковымъ, онъ отодвинулся немного отъ стола съ газетой въ рукахъ, молча уткнулся въ чтеніе и, какъ кажется, даже ста-

рался не слушать разговора, который начался у меня съ Березниковымъ.

— Ну, сказалъ я, — рассказывайте!

Съ Березниковымъ всегда начинался разговоръ именно этой фразой, потому что всякій промешутекъ между нашими свиданіями ознаменовывался тѣмъ, что Березниковъ, уходя отъ меня, попадалъ случайно въ какую-нибудь совершенно новую среду, о которой и приходилъ рассказывать при слѣдующемъ свиданіи. На этотъ разъ Березниковъ не сразу отвѣтилъ на мой вопросъ. Онъ ѣлъ и, занятый этимъ дѣломъ, только кивалъ головой, какъ бы говоря, — что много есть, о чемъ рассказать.

Покуда въ его рукахъ была булка, никакого разговора между нами происходить не могло; но вотъ булка съѣдена. Березниковъ отряхнулъ крошки съ подола своей рубахи и сказалъ:

— Не знаю, съ чего и начинать... столько всего видѣлъ!... Двѣ недѣли работалъ съ рыбаками... вотъ народъ-то!... Лучше этого народа, кажется...

Березниковъ вдругъ сотановился, какъ бы что-то вспомнивъ важное, и торопливо сказалъ:

— Да! Что же я? Самаго главнаго-то и не говорю... Вѣдь антихристъ народился! Въ народѣ удостаиваютъ объ этомъ самымъ положительнымъ образомъ.

— Гдѣ же? у насъ народился, въ Россіи? спросилъ я.

— Опредѣленнаго на этотъ счетъ сказать не могу... Какое-то царство называютъ. Такъ вотъ въ этомъ-то царствѣ есть князь, и живетъ у этого князя поваръ. Поваръ-то этотъ и есть корень всему дѣлу... Во-первыхъ, онъ постоянно работаетъ въ бѣлыхъ перчаткахъ, а почему — это послѣ узнаете... А во-вторыхъ, необыкновенно любезенъ, ласковъ и добръ...

Пигасовъ, какъ я уже сказалъ, старавшійся не слушать разговора, однако-же оставилъ газету, подвинулся къ столу и сталъ слушать Березникова.

— Когда этотъ поваръ «въ бѣлыхъ перчаткахъ» нанялся служить на княжеской кухнѣ, то немедленно же сталъ всячески угождать и *дѣлать добро* прислугѣ. Есть у него деньги — отдаетъ, помогаетъ, а княжеская прислуга разнесла о добротѣ повара вѣсть въ народѣ и довела до свѣдѣнія самого князя. Князь узналъ о добротѣ своего повара и полюбилъ его, а когда поваръ узналъ, что князь его любитъ, то воспользовался этою любовью также на благо народа. Прислуга, какъ я сказалъ, разнесла о немъ вѣсть въ народѣ; къ повару стали приходить со своими нуждами истопники, конюхи, потомъ городскіе извозчики, дворники, черноработіе и вообще масса чернаго народа — мужиковъ; всякій рассказывалъ ему и плакалъ надъ своимъ горемъ, и поваръ всякому выхлопывалъ по его желанію: кому землю, кому домъ, кому скотину, кому деньги. Никто изъ мужиковъ не уходилъ отъ повара необлагодѣтельнымъ. Такъ дѣло стоитъ въ настоящую минуту; поваръ въ бѣлыхъ перчаткахъ служитъ

у невѣдомаго князя, и слава о его добротѣ, о его милости къ мужичкамъ, къ простому бѣдному челоуку растетъ не по днямъ, а по часамъ... Но скоро, лѣтъ черезъ двадцать, произойдетъ такой случай: князь, у котораго живетъ поваръ въ бѣлыхъ перчаткахъ, созоветь въ гости къ себѣ прочихъ всѣхъ китайскихъ и азіатскихъ князей; поваръ, какъ любимецъ князя, будетъ служить гостямъ, стряпать и подавать кушанья, и вотъ тогда-то, въ одинъ изъ такихъ роскошныхъ обѣдовъ, одинъ изъ князей спроситъ: «Отчего это у васъ поваръ постоянно носить бѣлыя перчатки?» — «Ахъ, Боже мой, отвѣтитъ князь, я этого и не замѣтилъ!» И скажетъ повару: «Отчего, любезный, ты ходишь постоянно въ бѣлыхъ перчаткахъ?» Поваръ ничего не отвѣтитъ на это, только въ первый разъ сдѣлаетъ недоброе лицо; тогда князя и разные султаны станутъ просить, чтобы онъ приказалъ повару снять бѣлыя перчатки... Князь исполнитъ желаніе гостей; онъ будетъ приказывать повару снять перчатки до трехъ разъ: сначала лаской, а потомъ и съ гнѣвомъ. Два раза поваръ ослушается приказанія, а третій разъ, тоже со страшнымъ гнѣвомъ, исполнитъ; онъ сорветъ съ рукъ перчатки, и тогда всѣ гости, всѣ князя и султаны въ ужасѣ увидятъ, что поваръ — не поваръ, а антихристъ: на одной рукѣ у него окажется копыто, а на другой когти. Ужасъ блестящаго общества будетъ такъ великъ, что всѣ гости немедленно уйдутъ изъ-за стола и немедленно же разбѣгутся; самъ князь, у котораго живетъ этотъ поваръ, также немедленно вслѣдъ за гостями соберетъ всѣ свои сокровища и уйдетъ изъ своей стороны... Между тѣмъ народъ, который уже наслышанъ о необыкновенной добротѣ повара, оставшись безъ главы и хозяина, не найдетъ никого болѣе достойнымъ замѣстить разгнѣваннаго владыку, какъ именно этого самого повара. И вотъ поваръ сдѣлался главнымъ лицомъ въ царствѣ, но вѣсто милостей народу онъ съ перваго же дня начнетъ проявлять необузданную жестокость... И здѣсь вотъ что въ высшей степени любопытно: вы вѣдь помните, что онъ въ первый разъ ожесточился и разсердился, когда у него потребовали снять перчатки и стали смотрѣть руки... Такъ вотъ и онъ тотчасъ послѣ того, какъ сдѣлается главою, — издать повелѣніе «*смотреть у всѣхъ руки*». «Вы-когда меня осрамили съ моими когтями и копытами — вы тайность мою раскрыли, такъ и я вамъ также...» И вотъ начнутъ у всѣхъ осматривать руки... и у кого руки эти окажутся чистыми, нѣжными, безъ мозолей, тѣмъ будетъ очень худо... *Чтобы спастись отъ гибели*, всѣ бѣлоручки начнутъ *хвататься руками за землю*, начнутъ рыть ее и все-таки будутъ гибнуть... А такъ какъ и у мужиковъ мозоли будутъ проходить (отъ хорошей жизни, которую антихристъ устроилъ имъ, будучи поваромъ), то вслѣдъ за бѣлоручками, уничтоженными по повелѣнію антихриста, станутъ уничтожать и обѣлорученныхъ мужиковъ... Ничего, кромѣ гибели!.. Затѣмъ начнется пожаръ земли,

которая сначала превратится въ мѣдъ, потомъ въ серебро и наконецъ въ золото. Тутъ воскресеніе мертвыхъ и судъ... Вотъ такая исторія! Итакъ первое самое важное извѣстіе я сообщилъ... Теперь второе — рыболовы...

— Позвольте одну минуточку, перебилъ Березникова Пигасовъ. — Эту легенду объ антихристѣ я на своемъ вѣку слышалъ несчетное число разъ; антихристъ всегда является въ ней въ разныхъ видахъ, но всегда рѣшительно, во всякой изъ легендъ онъ всегда ознаменовываетъ свое пришествіе *добрыми дѣлами*. Онъ всегда завоевываетъ симпатіи народа, дѣлая ему пріятное, облегчая ему жизнь... Почему это — зло, гибель, несчастіе и вообще послѣдніе дни, кончину міра народъ полагаетъ послѣ того, какъ жить будетъ необыкновенно легко, исполнятся всѣ желанія, снимутся всѣ тяготы?.. И вѣдь это постоянно такъ, продолжалъ Пигасовъ. — Антихристъ постоянно начинаетъ свою злодѣйскую карьеру тѣмъ, что благодѣлательствуетъ и помогаетъ бѣдняку, униженному и оскорбленному, а потомъ губитъ его именно этими облегченіемъ жизни. Вѣдь еще на-дняхъ было напечатано въ газетахъ сообщеніе о подлинномъ фактѣ, какъ въ Смоленскѣ бѣдные люди стали считать какого-то добраго барина за антихриста, потому что онъ дѣлалъ массу добрыхъ дѣлъ: давалъ займы безъ отдачи, покупалъ корову вдовѣ. Даже полиція встревожилась... Еще я помню, что Аракчеева народъ сталъ считать антихристомъ и оказывалъ ему особенное упорство въ тѣхъ случаяхъ, когда онъ хотѣлъ дѣйствовать не палкой, а лаской. У одного мужика въ той деревнѣ, которую графъ хотѣлъ обернуть въ военныя поселенія, пропали деньги, кажется, рублей тысячу. Мужикъ былъ вліятельный, и графъ, чтобы склонить его на свою сторону и чтобы засвидѣтельствовать предъ всей деревней о своей добротѣ, выхлопоталъ у государя всю пропавшую сумму и при велерѣчивой бумагѣ препроводилъ въ деревню для передачи чрезъ мѣстное начальство обокраденному мужику. Но какъ только въ деревнѣ стала извѣстна эта *милость* и *доброта* графа, такъ немедленно же онъ и прослылъ за антихриста. — «Ишь, заманиваетъ! Не бери этихъ денегъ, не касайся, Боже сохрани!» Такъ и препроводили ему велерѣчивую бумагу съ деньгами обратно!.. Что значить это? Отчего это *облегченіе жизни* отъ бремени несчастія, горя и труда, и одновременно съ *облегченіемъ* — гибель неразрывны въ понятіяхъ крестьянина?.. Отчего самый настоящій заправскій крестьянинъ никогда не промѣняетъ своего «труднаго» житія на легкое житіе барина или купца?.. Вотъ это меня ужасно интересуетъ.

— Такъ отъ чего же это? спросилъ Березниковъ въ раздумьи и вдругъ прибавилъ съ неутишеннымъ оживленіемъ. — Оплетаютъ его, вотъ онъ и боится... Ему дадутъ рубль, а сдерутъ вдесятеро! Такъ онъ и пятится отъ филантропій-то...

Пигасовъ призадумался.

— Оплетаютъ-то оплечаютъ, это такъ... Но вѣдь я говорю про такія явленія въ крестьянской жиз-

ни, которыя, напротивъ, прямо облегчаютъ жизнь и снимаютъ съ плечъ тяготу явно, видимо для всѣхъ и безо всякаго обдиранія. Нѣтъ, мнѣ кажется, тутъ есть нѣчто иное!.. Ты (обратился Пигасовъ ко мнѣ), помнится, что-то писалъ про власть надъ крестьянствомъ — и если помню, то и надъ его умомъ и волей — труда земледѣльческаго... Тамъ у тебя много напутано всякаго вздору — ужъ извини по пріятельству — но есть и доля правды... Дѣйствительно, мнѣ кажется, что крестьянинъ живетъ, лишь подчиняясь *воле* своего *труда*... А такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ разнообразныхъ законовъ природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой *своей* мысли... Вынуть изъ этой жизни гармонической, но подчиняющейся чужой волѣ, хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо замѣнять своей человеческой волей, своимъ человеческимъ умомъ... а вѣдь это какъ трудно! какъ мучительно!.. Возьмите вы человѣка *своей* воли, своей мысли — скажемъ такъ: культурнаго человѣка — сколько онъ мучился, сколько страдалъ, а чего добился? Добился ли сотою доли того гармоническаго существованія, которымъ пользуется *такъ*, не беспокоясь и не думая, крестьянинъ?.. Культурный человѣкъ — это человѣкъ, выгнанный изъ рая невѣдѣнія, изъ рая, гдѣ всякая тварь служила ему (какъ служитъ теперь нашему мужику) подъ условіемъ не касаться древа *знанія*.. Его выгнали въ пустыню, въ голую, безжизненную степь, на полную волю. И въ обидѣ на неправду, а также и въ гордомъ сознаніи силы своего ума (вѣдь онъ вкусилъ отъ древа-то) онъ вѣроятно сказалъ, уходя изъ рая: — «Такъ будетъ же у меня *мой собственный* рай да еще лучше этого!..» И вотъ надъ созданіемъ этого рая онъ и бьется вечное число вѣковъ. Ему не служить твари — онъ сдѣлалъ своихъ: локомотивъ его бѣгаетъ лучше лошади; онъ выдумалъ свой собственный свѣтъ, который будетъ свѣтить и ночью; онъ переплываетъ океаны въ своихъ, собственнымъ умомъ выдуманныхъ ихтиозаврахъ-корабляхъ; онъ хочетъ летать, какъ летаетъ птица... И вѣроятно когда-нибудь въ безконечные вѣки онъ добьется своего... Будетъ у него свой собственный, *выдуманный*, взятый умомъ и волею рай. Но какъ еще ужасно-ужасно далеко это время! Когда-то еще его мертвое животное, локомотивъ, достигнетъ поворотливостилюбой деревенской кобыленки! Когда-то еще его упорноежеланіе летать птицей осуществится хотя въ приблизительныхъ только размѣрахъ того совершенства, которымъ *уже* обладаетъ галка, обладаетъ такъ, безъ всякихъ усилій съ своей стороны, а просто такъ... галка такъ галка и есть, *взяла* да и полетѣла! А Надары еще лѣтъ тысячи будутъ разбивать себѣ головы и тонуть въ моряхъ прежде, нежели добьются умѣнья произвольно перелетать съ крыши на крышу.. Вотъ точно такъ-же и народная жизнь...

— Какъ такъ-же? спросилъ въ совершенномъ недоумѣніи Березниковъ. — Народная жизнь подобна галкѣ? Что-то больно хитро!

— То есть совершеннѣйшее подобіе галки! Если вы дадите себѣ трудъ поймать эту галку...

— Поймаю трехъ! сказалъ Березниковъ.

— И одной довольно!.. Если вы поймаете галку и рассмотрите всю ея организацію, то вы поразитесь, какъ она удивительно умно устроена, какъ много ума положено въ ея организацію, какъ все соразмѣрно, пригнано одно къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла, ни линіи ненужной, негармоничной и не строго-обдуманной. Не такъ-ли?

— Надо быть ловко устроена. На то Господь праведный...

— Удивительно ловко и умно устроена! Но вѣдь тогда любая галка — геніальнѣйшее существо, необъятный умъ?... Вотъ у насъ часто, изучая народную жизнь, иныя въ высшей степени гармоническія явленія народнаго быта приписываютъ народному уму, и тогда онъ кажется необъятнымъ... А между тѣмъ эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ человѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ тысячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ, какъ галка, какъ жеребенокъ... Неисповѣдимыми путями предугазано, чтобы кобыленка по весѣ ходила по полю и махала хвостомъ. Она ходитъ и махаетъ, потомъ ее начинаютъ «пучить», и въ концѣ концовъ получается прелестнѣйшій жеребенокъ, въ миллионъ разъ умнѣе и лучше выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется безъ собственной воли, устроивается и принимаетъ формы и строеніе безъ собственнаго ума, а *такъ*... И народная жизнь въ огромномъ большинствѣ самыхъ величественнѣйшихъ явленій удивительна, стройна, гармонична, красива, *просто такъ*.

— Ну, знаете, сказалъ, все болѣе и болѣе недоумѣвая, Березниковъ: — это вы... чортъ знаетъ что такое!.. Какъ-же *такъ*?... Это... чортъ его знаетъ!.. Что-же это такое?..

Но Пигасовъ по мѣрѣ того, какъ овладѣлъ своею мыслью, возбуждался все болѣе и болѣе и, не слушая Березникова, продолжалъ:

— Народъ — это тотъ человѣкъ, который, по изгнаніи изъ рая непокорнаго собрата, предпочелъ остаться тамъ... Сказавъ себѣ: «ладно и такъ!».

— Отчего-же объ этомъ не писано? спросилъ Березниковъ.

— Да кто-же писать-то будетъ? Выгнанный человѣкъ, человѣкъ, сказавшій: «сдѣлаю свой рай еще лучше», тотъ выдумалъ печатный станокъ и записалъ свои страданія и мученія, свою душевную муку, а этотъ, оставшійся въ готовомъ раю, разсчиталъ, что лучше «повиноваться». Сказано: «не касайся древа *знанія*!» — онъ и не касается... И до сихъ поръ не касается. . И ничего! Живетъ! И всѣ звѣри и птицы служатъ ему и покоряются; куры несутъ яйца, свиньи предоставляютъ поросятъ, кобыленки дарятъ готовыми локомотивами, бабочки приносятъ цвѣточную пыль, пчела передѣлываетъ ее въ медъ, черви вырабатываютъ черноземъ. И въ этомъ раю онъ только исполняетъ, что ему опредѣлено, довольствуясь *готовымъ* умомъ

природы, и выходитъ въ его жизни такъ-же почти все стройно, хорошо, удивительно, какъ все удивительно хорошо въ природѣ: какъ цвѣтокъ, какъ галка, какъ пчела...

III.

Пока Пигасовъ говорилъ, Березниковъ сидѣлъ съ вытаращенными глазами и ничего не понималъ, только бормоталъ негромко:

— Это... чортъ его знаетъ...— галка!.. Чортъ знаетъ, что такое! Ничего нѣтъ! ни ума, ни воли! Ну, ужъ это...

И вдругъ столбнякъ, въ которомъ онъ находился отъ этихъ рѣчей Пигасова, оставилъ его, и онъ, разсержившись, произнесъ:

— Чтѣ вы тутъ говорите? Что это еще за безобразіе? Какъ нѣтъ ума? Я слушаю, слушаю, думаю: что такое? Совсѣмъ было очумѣлъ... Да что вы? Какъ-же такъ ума нѣтъ? чтѣ вы говорите?..

— Я не говорю—«нѣтъ», я говорю: «своего» ума нѣтъ. Есть великолѣпный, удивительный умъ, но чужой, божій умъ природы... А какъ своимъ, человѣческимъ приходится дѣйствовать—увы!.. *Такъ* не думая, «не сумлеваясь»—покоримъ, разобьемъ и сами померемъ сотнями тысячъ; а человѣческимъ умомъ начнемъ дѣйствовать—не сладимся купить пожарную трубу для деревни!..

— Чтѣ вы говорите! возразилъ Березниковъ.— Господь съ вами! Опомнитесь вы хоть немножечко!.. Да позвольте, я вамъ приведу примѣръ. Вотъ я дѣтъ съ лишнимъ недѣлю прожилъ въ рыбной артели на Ильменѣ, такъ неужели-же я не знаю, сколько тамъ ума, какая бездна удивительныхъ мыслей, сколько благородства?.. Да позвольте вамъ разсказать все это подробно, и вы увидите...

И Березниковъ съ жаромъ сталъ описывать рыболовную ильменскую артель. Организация ея была дѣйствительно совершенна, въ полномъ смыслѣ слова. Приводить здѣсь всѣ подробности этой организации слишкомъ-бы затянуло разсказъ о дальнѣйшей бесѣдѣ Березникова съ Пигасовымъ. Приведу для образчика одну только подробность, касающуюся невода. Неводъ плетутъ всѣ члены артели по ровной части. Но такъ какъ къ этому неводу, опускающаго его въ воду, привязываютъ веревки, и тѣ мѣста, къ которымъ эти веревки привязываются, рвутся и портятся скорѣе тѣхъ частей невода, гдѣ нѣтъ привязей, то артельщики распределяютъ работу каждого такъ, чтобы *у каждого* приходилась часть плетенія къ узлу, гдѣ рвется, и часть труда тамъ, гдѣ неводъ свободенъ отъ узла; словомъ, внимательность артельщиковъ другъ къ другу и къ безобидному и совершенно ровному распределенію этого труда—доказывалась этимъ примѣромъ блистательно. По этому примѣру можно судить и объ остальной организации; вся она также организована на самыхъ справедливейшихъ отношеніяхъ къ труду собрата. Объ умѣ, вложенномъ артельщиками въ нѣтъ дѣло, Березниковъ разсказалъ чудеса: они астрономы, и каждая звѣзда на небѣ у нихъ называется по своему; каждое на-

правление вѣтра также изучено и названо собственнымъ своимъ именемъ. Словомъ, какъ организація артели, такъ и распределение труда и заработка, все было удивительно стройно и удивительно справедливо и умно.

— Теперь позвольте спросить васъ, горячась сказалъ Березниковъ:— гдѣ-же тутъ и въ чемъ видится проповѣдуемая вами галка или ворона какая-то? Да не только галка, а и вашъ культурный человѣкъ со всѣми своими потрохами гроша мѣднаго не стоитъ противъ этихъ мужиковъ. Вотъ недавно я бралъ у попа книгу объ Америкѣ, о какихъ-то американскихъ сектахъ... Описывается тамъ, какъ какіе-то культурные распутники заводятъ тоже какія-то общины. И весь культурный умъ ихъ не въ силахъ сдѣлать такъ, чтобы общины эти обходились безъ распутства. Какой-то Нойсесъ—чуть не богъ, а вѣдь отсюда за пять тысячъ верстъ видно, что онъ весь въ грязи, что даже лысина-то у него совсѣмъ подлая... И объ чемъ хлопочутъ! Не сбѣснять инстинктъ, а чтобы дѣтей не было. Чтобы инстинктъ былъ—это ничего, а дѣти—это пролетаріатъ, такъ вотъ и рекомендуютъ идти въ аптеку... Изъ аптеки возьми на цѣлковый лекарства противъ пролетаріата, а инстинктъ оставь! Вѣдь на это послѣдній мужикъ плюнетъ, такая это ахинея и подлость... И гдѣ-же тутъ вашъ культурный умъ? и чего оно стоитъ въ сравненіи съ нашимъ мужицкимъ умомъ, съ нашей чистой крестьянской семьей, съ дѣтьми, сколько-бы ихъ ни родилось, и безъ всякихъ паршивыхъ рецептовъ?.. Чтѣ вы! Нѣтъ ума! Вы меня совсѣмъ одурачили вашими разговорами!

Пигасовъ все время молчалъ и внимательно слушалъ. При послѣднихъ словахъ Березникова онъ заговорилъ опять:

— Мнѣ кажется, сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ, —что нѣтъ другого болѣе несчастнаго человѣка на свѣтѣ, какъ русскій культурный человѣкъ. Вѣдь свою культурность-то, свою мысль онъ долженъ дрессировать по чужимъ образцамъ, по образцамъ умственного работы того человѣка, который, какъ я говорилъ, хочетъ завоевать рай своимъ умомъ. И, какъ я также говорилъ, завоевалъ онъ очень мало, почти ничего... Сравнительно-же съ нашимъ народнымъ раемъ...

— Рай! нечего сказать! перебилъ Березниковъ, но Пигасовъ, не слушая его, продолжалъ:

— Сравнительно-же съ нашимъ готовымъ раемъ и вовсе мало. А между тѣмъ русскій культурный человѣкъ, живя среди миллионной массы некультурнаго народа, нисколько чувствуетъ вокругъ себя какія-то такіа совершенныя и широкія формы жизни, которыя далеко превосходятъ всю его европейскую культурность. Лакей, горничная, извозчикъ—всѣ одинаково даютъ ему чувствовать, что они выше его чѣмъ-то, что они самостоятельныѣе его, что они неуязвимѣе, чище, смѣлѣе и въ миллионъ разъ прочтѣе его на землѣ. Чувствуя это и ощущая ежеминутно, нашъ культурный человѣкъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ не знаетъ, чтѣ дѣлать? Все для него кажется, или, по край-

ней иѣръ, онъ чувствуетъ, что вся его культурность слаба, дрянна, бесплодна для этой сильной массы. И замѣчательно, что чѣмъ онъ искреннѣе, тѣмъ онъ нравственно слабѣе среди нашей массы. Да, въ самомъ дѣлѣ, представъ себѣ, что онъ пережилъ, съ книгой въ рукахъ, всю эпопею страданія культурнаго человѣка и дошелъ до послѣдней точки, на которой этотъ измучившійся культурный человѣкъ стоитъ. Какая это точка? Это именно, вотъ какъ говорить господинъ Березниковъ, какіе-то паршивые отцы Нойесы, какія-то неудавшіяся коммуны, неуклюжіе фаланстеры и фамилистеры. И когда онъ доходитъ до этого предѣла, такъ тутъ у него совершенно опускаются руки, передъ нимъ во всемъ блескѣ и совершенствѣ стоитъ наша община, наша артель, и онъ говоритъ: «Какого-же чорта (вотъ совершенно такъ-же, какъ господинъ Березниковъ выражается) стоить вся эта культура!». Но тутъ происходитъ удивительная ошибка: переживая *мысль* культурнаго человѣка и дойдя вмѣстѣ съ этою *мыслью* до послѣдняго ея проявленія, мы, встрѣтивъ потомъ нашу общину, вкладываемъ въ нее продолженіе нашей мысли и продолжаемъ смотрѣть на нее, какъ на продуктъ нашей мысли, т. е. объясняемъ ее нашей мыслью, и, разувѣясь, поставивъ рядомъ какой-нибудь Нью-Ленаркъ и нашу деревню, видимъ огромную разницу въ пользу нашу и начинаемъ думать: «вотъ каковы разиѣры нашей мысли, вотъ каковы мы... Что-жъ будетъ изъ насъ, если тѣ дотолкались до какой-то казармы, тогда какъ мы додумались до такой прелестнѣйшей вещи, какъ община?». И ошибаемся! До казармы люди въ самомъ дѣлѣ додумались и пострадались, а община родилась сама, какъ цвѣтокъ, какъ галка. Хвалиться нашей общиной, артелью—то-же, что приписывать самому себѣ и своему уму гениальное устройство собственнаго своего тѣла, своей нервной и кровеносной системы, то-же, что приписывать галкѣ блестящій успѣхъ въ умственномъ развитіи, такъ какъ она удивительно стѣснѣла устроить самое себя и не только летаетъ, куда и когда ей угодно, но даже знаетъ, что за пять верстъ отсюда мужикъ просыпалъ овесъ, и что слѣдуетъ туда отправиться.

— Опять галка пошла въ ходъ, иронически и сердито сказалъ Березниковъ.

— Да, опять!.. Или вотъ еще, продолжалъ Пигасовъ, попрежнему обращаясь ко мнѣ.— Возьми ты теперь французскаго анархиста. Вѣдь сердце кровью обливаешься, глядя на нихъ. Всѣ они неизбежно должны погибнуть, *должны*, понимаешь ли? *должны погибнуть!!* потому что сію минуту они даже не могутъ приблизительно очертить того «будущаго», къ которому идутъ. Передъ ними тьма. Изъ существующихъ на ихъ глазахъ культурныхъ отношеній, какъ ихъ ни поверни, ничего не можешь выйти такого, что-бы сдѣлало жизнь гармоническою; но существующія отношенія тяжелы, и вотъ они говорятъ: «разрушить все, а потомъ видно будетъ». Въ самомъ дѣлѣ, что могутъ они объявить и обѣщать обществу, которое

будетъ ихъ бить? Ничего! Ассоціацію трудящихся классовъ, сапожниковъ съ сапожниками, башмачниковъ съ башмачниками—какая казарма и какая скука! и результатъ — двѣ копейки барыша противъ нынѣшнихъ цѣнъ. И они знаютъ, что это — казарма и скука, знаютъ, что и существующее несправедливо, и вотъ идутъ *только* разрушать... Вѣроятно послѣ морей крови и страданій они придутъ путемъ огромныхъ усилій знанія и воли къ тому, что ассоціація-то должна быть въ одномъ человѣкѣ, что въ немъ одномъ должны сосредоточиваться, если такъ можно выразиться, всѣ знанія, всѣ науки, всѣ ремесла, а союзъ такихъ всесторонне развитыхъ людей будетъ община, общество. То-есть придутъ къ типу нашего мужика, который *все самъ*, на всѣ руки, все можетъ, ни въ комъ не нуждается и, сосредоточивая въ одномъ себѣ возможность всестороннѣйшаго развитія врожденныхъ въ немъ физическихъ и нравственныхъ силъ, представляетъ типъ «полнаго человѣка», а не башмачника, сапожника, телеграфиста... Но зато, если культурный человѣкъ, послѣ всѣхъ усилій ума, воли и знанія, послѣ всѣхъ страданій, послѣ морей крови придетъ къ тому-же типу, который въ нашемъ крестьянинѣ уже есть, существуетъ во всей красѣ и силѣ — не завоеванныхъ имъ, а взятыхъ даромъ — тогда ужъ и самостоятельность, и независимость этого своей волей выбившагося изъ ирака и холода мукъ человѣка будетъ вѣковѣчная!.. Его не сокрушить *случай*, не сокрушить дуновение вѣтра, какъ сокрушаетъ нашего теперешняго представителя этого типа, крестьянина. Какъ созданіе Божіе только, онъ превосходенъ, красивъ и совершенъ, вотъ какъ это развѣсистое дерево, этотъ кленъ; но если маленькій топоръ валитъ огромный дубъ, который валится и падаетъ безъ ропота, то и нашего крестьянина, который *сейчасъ* служилъ образцомъ человѣческаго совершенства и всесторонняго развитія, также валитъ всякая малость, которая бьетъ его по могучему и великолѣпно организованному тѣлу... Рубль... свистъ машины... и глядишь — «образчикъ будущаго» развалился прахомъ!..

Березниковъ, слушая эту рѣчь, сначала ходилъ взадъ и впередъ въ нетерпѣливомъ волненіи, потомъ замедлилъ шагъ, наконецъ остановился противъ Пигасова, скрестилъ по-наполеоновски руки на широкой груди и молча стоялъ, ожидая окончанія рѣчи. Когда Пигасовъ кончилъ, Березниковъ еще молчалъ нѣкоторое время, наконецъ проговорилъ:

— Позвольте... галки... вороны — это я ужъ слышалъ. А вотъ вы не изволили отвѣтить на мой вопросъ. Я рассказывалъ вамъ про рыбную артель... Такъ вотъ я желаю знать, какъ, по вашему мнѣнію, откуда все это произошло, и откуда взялись всѣ альтруистическія черты, которыя мы замѣчаемъ въ этой организаціи?.. Словомъ, кѣмъ или чѣмъ все это организовано? Народнымъ умомъ, или... ну, чѣмъ?

Пигасовъ молча выслушалъ этотъ вопросъ и какъ-то нехотя проговорилъ:

— Да тамъ у васъ какую рыбу ловятъ?
— У насъ? У насъ тамъ ловятъ сига... ни больше, ни меньше!

— Ну, такъ все это и произведено, спокойно отвѣчалъ Пигасовъ,—не умомъ, а... сигомъ!

И замолчалъ. Березниковъ стоялъ противъ него въ той-же наполеоновской позѣ и молчалъ, не зная, что сказать, но смотрѣлъ на Пигасова иронически.

— Сובлаговолите хотя-бы краткое сдѣлать разъясненіе этой премудрой философіи?

— Сובлаговолю!

— Вѣчно буду благодаренъ!

— Извольте. Вы говорите — какъ великъ неводъ-то?

Березниковъ сказалъ.

— Отчего-жъ онъ такъ великъ?

— Потому неводъ требуется для рыбы, а не для философіи, а рыба сидитъ глубоко. Надобно ее достать, и вотъ почему его дѣлаютъ такимъ, а не другимъ.

— Ну вотъ, стало быть, неводъ дѣлается по указанію сига!.. это разъ!.. А звѣзды зачѣмъ вамъ знать?

— Звѣзды надобно знать потому-съ, что ловля бываетъ ночью, и чтобы крикнуть лодкѣ, куда она должна поворотить, надо назвать какой-нибудь признакъ... и вотъ говорятъ: «вороти на такую-то звѣзду»...

— И такъ звѣзды также для сига изучаются... Ну, а вѣтеръ?

— А вѣтеръ для темныхъ, беззвѣздныхъ ночей, «вороти на такой-то вѣтеръ».

— И вѣтеръ, какъ видите, для сига-же... Теперь позвольте мнѣ спросить васъ въ свою очередь, что было-бы съ вашей артелью, еслибы сига вдругъ исчезли?...

Березниковъ сконфузился и молчалъ.

— Вѣроятно, продолжалъ Пигасовъ:—не было-бы и артели, не было-бы ни вашей астрономіи, ни вашихъ теорій вѣтра, ни вашихъ неводъ, ни вашихъ альтруистическихъ чувствъ... Вотъ я тоже живу въ деревнѣ. И въ ней есть рѣчка, только мелкая, въ пол-аршина глубины, сига тамъ нѣтъ, а водятся пикари... И тамъ поэтому нѣтъ ни астрономіи, ни альтруизма, а есть грубый эгоизмъ: чтобы поймать пикаря, нужно засучить штаны и почти на четверенькахъ ползати по рѣкѣ, поднимая на рѣкѣ камни и выхватывая изъ-подъ нихъ пикарей: и эгоистически, и индивидуально... У васъ сига, крупная рыба—ну, и альтруизмъ...

Пигасовъ ехидно улыбался и кусалъ по своему обыкновенію папиросу. Березниковъ не измѣнялъ наполеоновской позы, покачивался, разставляя ноги, и бормоталъ:

— Такъ-съ! Очень прекрасно!

Пигасовъ молчалъ. Березниковъ тоже молчалъ.

— А знаете, сказалъ онъ, наконецъ, Пигасову:—я васъ вѣдь опровергну.

— Пожалуйста.

— Эй-Богу, опровергну... всего какъ есть съ ногъ до головы...

— Сдѣлайте милость, очень буду радъ.

— Вы долго здѣсь пробудете?

— Дня два-три...

— Ну, такъ я непремѣнно васъ разобью на всѣхъ пунктахъ... Только дайте мнѣ сообразиться... А то вы совсѣмъ меня запутали съ вашими словоназверженіемъ.

— Сообразитесь!

Такіе разговоры на тему о «власти земли» почти цѣлую зиму шли между моими деревенскими пріятелями и мною. Всякій разъ, когда намъ приходилось встрѣтиться, зайдетъ кто-нибудь ко мнѣ (преимущественно Протасовъ) или я случайно загляну къ кому-нибудь изъ нихъ—въ концѣ концовъ у насъ непремѣнно произойдетъ разговоръ, касающійся деревни, народа, интеллигенціи, словомъ,—всего того, о чемъ въ настоящее время приходится думать русскимъ людямъ всякаго званія. Кое-что изъ этихъ разговоровъ мнѣ кажется нелашнымъ сообщить читателю въ видахъ уясненія вопроса о власти земли. Передавать все, что бывало говорено на пустопорожномъ деревенскомъ досугѣ и долго, и утомительно. Вотъ почему я и выбираю изъ этихъ разглагольствованій только отдѣльные эпизоды и сокращаю все, что къ дѣлу не относится. Разговоры идутъ преимущественно между мною и Протасовымъ, причемъ изъ нихъ взяты только извѣстные факты народной жизни; обоюдныя же наши разсужденія по поводу ихъ значительно сокращены. Первый изъ этихъ разговоровъ («Вѣзъ своей воли») кончился ничѣмъ. Березниковъ опровергать не явился. А второй состоялъ въ слѣдующемъ:

II. Мишаныи.

Однажды, теплымъ зимнимъ вечеромъ, обыкновенный нашъ съ Пигасовымъ разговоръ принялъ образъ такого невозможнаго толченія воды въ ступѣ, что мы наконецъ по безмолвному согласію сочли нужнымъ совершенно прекратить его. Благодаря обилію только-что полученныхъ съ почты газетъ и журналовъ, это облегчающее другъ друга молчаніе удалось намъ какъ нельзя лучше. Долгое время мы молчали поистинѣ образцовымъ образомъ. Часъ-два въ комнатѣ стояла мертвая тишина—только шуршали большіе листы газетъ и періодически слышались рѣзкіе звуки, разрываемой рукою Протасова (взять костяной ножикъ ему было лѣнь) страницы новаго журнала.

И вдругъ намъ обоимъ и притомъ сразу опять смертельно захотѣлось говорить. Я прочиталъ въ газетѣ такой фактъ, что вдругъ какъ-бы одеревенѣлъ и сразу пересталъ понимать *рѣшительно все* (есть такіе факты, и притомъ попадаются они частенько). а Протасовъ, напротивъ, вдругъ оживился до такой степени, что я, только-что было собравшись съ силами послѣ изумленія, хо-

тѣлъ раскрыть ротъ, чтобы повѣдать Протасову объ ошеломляющемъ фактѣ, какъ онъ, не давая мнѣ сказать слова, быстро подбѣжалъ ко мнѣ съ книгою въ рукахъ, и хлопая ладонью по открытой страницѣ, почти вопіялъ съ какимъ-то даже умоляющимъ выраженіемъ лица:

— Читай! Ради Бога, читай вотъ это! вотъ! Отъ «сихъ до сихъ».

— Позволь, сказалъ-было я, — я тутъ такой фактъ вычиталъ, что у меня даже дыханіе прекратилось...

— Чи-тай! Читай, прошу тебя! вопіялъ Протасовъ, и не обращая вниманія на то, что и мнѣ тоже необходимо было освободиться отъ факта, захватившаго мнѣ дыханіе, совалъ мнѣ въ руки книгу и, тыкая въ страницу пальцемъ, умолялъ:

— Читай, я тебѣ говорю!... Вотъ именно это мѣсто! Ты увидишь потомъ... Вотъ—вотъ!

Волей-неволей я долженъ былъ уступить Протасову и прочиталъ слѣдующее:

«...Культурное значеніе финиковой пальмы громадно... Только *благодаря ей*, населеніе Аравіи могло спуститься настолько, чтобы видѣть до всѣхъ концовъ свѣта тѣ полчища, которыя такъ далеко распространяли владѣтельство ислама. *Всемирно историческая роль арабовъ прямо связана съ этими ихъ священнымъ деревомъ*; оно одно позволяетъ держаться и странствовать въ пустынѣ, но оно не *принуждаетъ* человѣка къ постоянному труду и осѣдлости, *позволяетъ* ему оставаться кочевникомъ и потому не *ведетъ* его выше умѣренной степени культуры и *позволяетъ* *заставляться* цѣлыя тысячелѣтія *въ тѣхъ же привычкахъ, взглядахъ и потребностяхъ*. На всей необъятной полосѣ распространенія финиковой пальмы мы видимъ *тѣ-же бытовые порядки* и *ту-же косность въ вещественномъ и умственномъ строѣ жизни*. Быть *можетъ*, самый культъ ислама, который до такой степени къ *этой жизни подходитъ*, такъ быстро покорялъ себѣ всю эту область и царитъ въ ней одинъ, какъ выраженіе этого однообразія и того *предѣла*, который положила человеческому уму природа, ошастлившая эти страны финиковой пальмой»).

— Довольно! повелительно воскликнулъ Протасовъ, когда я дочиталъ до послѣдняго слова, и взявъ изъ моихъ рукъ книгу. Очевидно, тѣ строки, которыя онъ далъ прочитать мнѣ, сильно интересовали его, потому что все время, пока я читалъ, онъ, стоя сбоку меня и заглядывая въ книгу, поминутно тыкалъ пальцемъ въ тѣ слова и строки, которыя у меня подчеркнуты. Взявъ изъ моихъ рукъ книгу, онъ не далъ мнѣ ни минуты на то, чтобы выразить свое изумленіе по поводу того, какими образомъ перечисленные достоинства финиковой пальмы такъ сильно могутъ волновать моего соотечественника, и заговорилъ, съ особенной выразительностью отдѣляя каждое слово и на каждомъ словѣ останавливаясь:

— Видишь, заговорилъ онъ: «*по-зво-ля-етъ*»!.. «*не позволяетъ*»!.. «*препятствуетъ*»!.. «*не мѣшаетъ*»!.. «*кладетъ предѣлъ*»! — кто? что? — Дерево! Дерево оказывается на столько властнымъ надъ человѣкомъ, что не только организуеъ его бытовые порядки, но даже создаетъ

религіозный культъ, *поз-воляетъ или приказываетъ* разнести его по всѣмъ концамъ свѣта, формируетъ личный характеръ миллионовъ массъ... И опять, кто-же этотъ творецъ и выжидатель? Дерево! Дерево! Понимаешь-ли ты, что это такое? И какъ-же у насъ на Руси не идти на ржаное поле и не обращаться къ колосу за отвѣтомъ на вопросы о всѣхъ, рѣшительно о всѣхъ особенностяхъ, даже о мельчайшихъ случайностяхъ русской жизни?

— Ну, сказалъ я, — а вотъ это, вотъ что я сейчасъ прочиталъ въ газетѣ, любопытно, объяснишь-ли ты ржанымъ полемъ?

— Что такое ты прочиталъ?

И я немедленно же сталъ рассказывать ему прочитанный фактъ, радуясь возможности избавиться отъ того впечатлѣнія, которымъ этотъ фактъ меня буквально ошеломилъ, и, не заботясь о томъ, насколько онъ соотвѣтствуетъ громадному значенію финиковой пальмы, которымъ Протасовъ былъ поглощенъ.

Фактъ этотъ состоялъ въ слѣдующемъ: нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, въ одинъ осенній вечеръ, по Загородному проспекту въ Петербургѣ ѣхалъ извозчикъ и везъ сѣдока. И сѣдокъ, и извозчикъ повидимому были оба мертвецы пьяны; оба они качались то взадъ, то впередъ, то направо, то налево, что дальше, то больше, и наконецъ на поворотѣ въ какой-то переулокъ, куда лошадь повернула сама, такъ какъ извозчикъ ея уже не правилъ, оба сѣдока, т. е. и извозчикъ, и сѣдокъ, свалились съ пролетки одинъ въ одну сторону, другой въ другую. Лошадь ушла. Сѣдоки лежатъ бездыханными. По обыкновенію, ихъ взяли и свезли въ часть и здѣсь одинъ изъ нихъ — извозчикъ — умеръ, не приходя въ сознаніе, а другой пришелъ въ себя и оказался фельдшеромъ Обуховской больницы; въ карманѣ его найдена стеклянка, въ которой оказалась хлораль-гидратъ; по вскрытіи тѣла извозчика, оказалось, что онъ отравленъ также хлораль-гидратомъ, принятымъ въ лошадиной пропорціи. Фельдшеръ былъ арестованъ и дѣло его не успѣло еще разъясниться, какъ въ другомъ концѣ Петербурга произошло слѣдующее: ночью сидитъ у воротъ одного дома дворникъ и видитъ: два мужика несутъ за ноги и за голову третьяго, въ безчувственномъ состояніи. «Что такое? куда? кто?» спросилъ ихъ дворникъ, когда они поровнялись съ воротами дома и хотѣли пронести свою ношу. — «Да тутъ, отвѣчалъ одинъ изъ мужиковъ: — братанъ... натрескался въ кабакъ... Изъ деревни прѣхалъ, нажрался съ устатку-то... не-семъ домой... въ фатеру... Пусть проспится»... — «Ну, несите!» разрѣшилъ дворникъ и мужики понесли... Стука сапогами и пѣпляя ими за камнемъ мостовой двора, понесли они свою ношу, но не въ «фатеру», а прямо, черезъ весь дворъ, въ дальній уголъ, гдѣ была разверста зловонная пасть помойной ямы, и, раскачавъ свою ношу — «братанъ-то, — ввергли его въ эту яму, какъ какое-нибудь полѣно. Ввергли и ушли въ «фатеру». Долго-ли, коротко-ли, обратана этого разыскали въ помойной ямѣ; онъ былъ мертвъ и, какъ оказалось, былъ при-

несенъ уже мертвымъ. Братана вскрыли, и опять оказалось, что онъ отравленъ хлораль-гидратомъ. Эти два случая отравленія однимъ и тѣмъ-же ядомъ заставили слѣдователя энергично приняться за дѣло, результатомъ чего и былъ судебный процессъ. На процессѣ этомъ выяснилось, что жили-были въ Петербургѣ «на фатерѣ» мужикъ съ бабой и надумали «такимъ вотъ манеромъ» деньги наживать... Достали сонныхъ капель отъ фельдшера, растолковали двумъ Мишанькамъ, деревенскимъ парнямъ, какъ каили эти на водку «пущать» и какъ деньги вытаскивать изъ кармана, и отправили ихъ на добычу. И вотъ Мишаньки принялись—вѣроятно за харчи (работы нонѣ мало.. хощь съ голоду помрѣй!)—орудовать, но съ непривычки (кабы знато, кака препорція!) стали бухать въ водку извозчикамъ такое количество капель, что закатывали людей на смерть. Даже фельдшеръ, который сонныя капли доставлялъ, и тотъ чуть на тотъ свѣтъ не отправился. — Что вы, дураломы, ругала ихъ баба-хозяйка, отправляя на промыселъ и вручая пузырекъ съ каплями:—дуромъ лекарство-то изводитъ! Вѣдь оно дорогое! Вѣдь деньги за него плачены—не щепки! Не жаль хозяйскаго добра-то... О-о-охъ, Господи батюшка! Грѣхъ, грѣхъ тяжкіе! Бухаете по цѣлому пузырьку—не напасешься!... О-о-охъ, отче Макаріе, праведные угодники нечерскіе, помилуй насъ грѣшныхъ! Берите лекарство-то, безумные!..» Но Мишаньки не ушѣли, не приобыкли и даже, можетъ быть, со страху продолжали не жалѣть хозяйскаго добра: угощая водкой послѣднюю жертву хозяйской выдумки, какого-то иззябшаго на морозѣ извозчика (котораго потомъ спустили въ яму), одинъ изъ Мишанекъ бухнулъ ему въ стаканъ такую пропасть сонныхъ капель, что извозчикъ умеръ въ то же самое мгновеніе, какъ выпилъ стаканъ, умеръ сразу, не успѣвъ отереть усовъ, а толькодохнулъ какимъ-то звукомъ, похожимъ на «у-ухъ!», и грохнулся объ земь, уже испустивъ духъ. Результатомъ всей этой хозяйской выдумки, такъ безпрекословно, хотя и весьма топорно исполненной Мишаньками работниками, было то, что, отправивъ на тотъ свѣтъ двоихъ человѣкъ, они выручили всего на всего около четырехъ цѣлковыхъ, которые и предоставили хозяину «копѣйка въ копѣйку». (Мнѣ чужого не надо! говоритъ Мишанька по чистой совѣсти и, какъ говорить, такъ дѣйствительно и дѣлаетъ.)

Разказавъ Протасову этотъ газетный фактъ, я не могъ удержаться, чтобы тотчасъ-же не высказать моего мнѣнія объ этомъ нелѣпѣйшемъ изъ нелѣпѣйшихъ и глупѣйшемъ изъ глупѣйшихъ злодѣевъ. Именно глупость, полное отсутствіе какого-нибудь смысла или расчета въ поступкахъ этихъ Мишанекъ, этого хозяина и хозяйки и ошеломили меня, едва я только въ первые прочиталъ объ этомъ фактѣ, ошеломили до того, что я сразу какъ-то пересталъ понимать, что такое творится на бѣломъ свѣтѣ. Судите сами: есть-ли какой-нибудь человѣческій смыслъ поправлять свои дѣла, отравляя—кого? извозчиковъ, у которыхъ никогда

не можетъ быть болѣе двухъ-трехъ рублей! Настоющій злодѣй, рискуя каторгой, въ самомъ дѣлѣ выдумываетъ что-нибудь такое, что можно выразить выраженіемъ «либо панъ, либо пропасть». Этотъ-же «по мужицкому своему званію» надумалъ морить и грабить своего брата, ночниковъ-извозчиковъ, тогда какъ по пальцамъ могъ-бы считать, что для того, чтобы «такимъ манеромъ» заработать, положимъ, сто рублей, нужно усѣять Петербургъ трупами и переполнить мертвецами всѣ помойныя ямы. Самый простой расчетъ, казалось, говорить этому выдумщику, что затѣя его нелѣпа. Изъ четырехъ цѣлковыхъ, вырученныхъ безпрекословными Мишаньками, вѣдь надо отдать было за лекарство фельдшеру, надо угостить его водкой, надо водкой поить извозчиковъ, надо съ Мишаньками поѣлиться, потому что они вѣдь стараются, буквально «себя не жалѣютъ», да наконецъ надо ихъ кормить, вѣдь они ѣдятъ по четыре фунта въ день одного хлѣба, да хлеба все надо дать хоть разъ-то въ день, а вѣдь теперь все дорого («способовъ нѣту!» говоритъ хозяйка). Какой-же смыслъ и расчетъ? Ничего, кромѣ самой глупѣйшей-глупости, угнѣчиваемой каторжными работами. Не отравляя и не рискуя каторгой и сознаніемъ грѣха, всѣ эти четыре человѣка на поденщинѣ (если-бы она случилась) могли-бы, считая по 70 копѣекъ, заработать 2 рубля 80 копѣекъ въ сутки, и были-бы на миллионно-верстномъ разстояніи отъ убійства, отъ каторги, да и щи были-бы у нихъ съ мясомъ. Но выбралась въ какую-то очевидно глупую голову мысль насчетъ сонныхъ капель,—мысль, вѣроятно почерпнутая отъ настоящихъ мазуриковъ, въ какомъ-нибудь темномъ углу, и вотъ она осуществляется при помощи Мишанекъ, осуществляется совершенно «по топорному», безобразно глупо, безцѣльно, нелѣпо, словомъ, глупо до безчувствія. Людей валать «дуромъ», кое мѣсто объ мостовую, кое въ помойную яму. Точно въ самомъ дѣлѣ это не люди, а дрова, и Мишаньки нанялись эти дрова валить туда, куда прикажутъ хозяева...

— Да! сказалъ Протасовъ:—это документъ! и документъ, я тебѣ скажу, превосходящійся. То есть для меня и для того, о чемъ я теперь думаю... Отличнѣйшій, отличнѣйшій документъ!

— То есть, отличнѣйшій, переспросилъ я его:—въ пользу все того-же ржаного поля?

— Конечно! Только то, что ты разказалъ, надобно немного дополнить... Надобно сдѣлать небольшую прибавочку, и тогда ты поймешь, что фактъ этотъ имѣетъ глубочайшее значеніе и для ржаного поля.

— Чѣмъ-же ты его дополнишь?

— А вотъ чѣмъ... Ты вотъ разказалъ о глупомъ и жестокомъ поступкѣ всѣхъ этихъ Мишанекъ. Глупы-глупы они, эти Мишаньки, и нелѣпы, а пришлось, случилось—исполнили, что приказано, и исполнили, какъ видишь, безъ сумленія. Какъ-никакъ, а двухъ человѣкъ отправили на тотъ свѣтъ, хоть и по топорному... Словомъ, ты сообщалъ такой фактъ, въ которомъ Мишаньки являются со

стороны своей глупости и безобразнѣйшей умственной нелѣпности. Теперь я представляю тебѣ этихъ же самыхъ Мишанекъ совершенно въ другомъ видѣ... Разумѣется, ихъ приговорили къ каторгѣ, и вотъ тутъ-то мы ихъ увидимъ совершенно въ другомъ видѣ... Во-первыхъ, они ужъ въ артели—это непременно—и здѣсь тѣ самые люди, которые «безъ разсудку», «такъ зря», спустили въ помойную яму человѣка, бросили его такъ, какъ бросаютъ полѣно,—посмотри, какъ они ведутъ себя въ этой артели острожной... Погляди, напримѣръ, какъ они ѣдятъ. Вотъ шесть человѣкъ такихъ-же все Мишанекъ, и старыхъ, и молодыхъ, сидятъ за чашкой щей... Въ чашкѣ, положимъ, накрошено мясо (нѣкто пожертвовалъ по случаю благополучной неотдачи денегъ въ скопинскій банкъ), такъ вотъ посмотри, какъ они ѣдятъ и эти щи, и это мясо... Во-первыхъ, сначала для того, чтобы никому изъ артельщиковъ не было обиды—ѣдятъ всѣ шестеро одни только щи, мяса не трогаютъ... Хлебаютъ. И хлебаютъ по порядку. Первый дожидается шестого, чтобы вновь опустить свою ложку. Такъ продолжается до тѣхъ поръ, покада въ комъ-нибудь изъ шестерыхъ не созреетъ убѣжденіе (а убѣжденіе зрѣетъ въ каждомъ, такъ какъ каждый наблюдаетъ за собой и за всеми), что настала часъ приступить и къ мясу. И вотъ, убѣдившись, что другіе раздѣляютъ это мнѣніе, артельщикъ стучитъ ложкой о край чашки. Только тогда, также по порядку, одинъ за другимъ, начинаютъ ѣсть мясо, и точно такъ-же какъ прежде, шестой даетъ возможность первому вновь опустить ложку въ чашку и взять кусокъ; кто-нибудь задумался, и вмѣсто щей съ мясомъ взялъ ложкой однихъ щей—напоминать, скажутъ: «ты что-жъ кусокъ-то пропустилъ?..» И куски всѣ нарязаны точь-въ-точь поровну; словомъ, на глотокъ, на каплю нѣтъ несправедливости къ сосѣду, къ шамъ, къ мясу и къ хлѣбу... Похожи-ли, спрошу я тебя, —эти Мишаньки, эти товарищи, внимательнѣйшіе другъ къ другу, справедливѣйшіе другъ къ другу, словомъ, Мишаньки, дающіе тебѣ возможность чувствовать всю прелесть братскихъ отношеній между людьми, на тѣхъ Мишанекъ, которые валяютъ братановъ и валяютъ зря (вотъ что главное-то!) въ помойныя ямы? Похожи? Нѣтъ! Совсѣмъ не похожи. Но въѣдь это одинъ и тѣ-же Мишаньки—вотъ что ужасно, вотъ что важно! вотъ почему фактъ, который ты сообщилъ, вмѣстѣ съ моимъ дополненіемъ, которое я имѣю право сдѣлать безъ малѣйшей тѣни сомнѣнія въ его справедливости, вотъ почему оба эти факта, слитые воедино (а они на Руси всегда слиты воедино), знаменательны: они даютъ русской жизни ту главную, преобладающую черту неужнаго, излишняго «неблагообразія», которая дѣлаетъ ее въ концѣ-концовъ мучительною...

— Ужъ я не говорю, продолжалъ Протасовъ:—собственно о деревенской жизни; здѣсь положительно на каждомъ шагу тебя то морозъ деретъ по кожѣ, то душа растворяется въ нѣжнѣйшемъ умиленіи. «—Знаешь, говорить тебѣ, положимъ, сегодня утромъ какой-нибудь пріятель, я былъ въ

деревнѣ и не знаю... кажется, никогда въ жизни не испытывалъ такихъ по-истинѣ благоговѣйныхъ ощущеній. Какая въ нихъ простота, доброта, какой свѣтлый умъ, сколько остроумія, какое терпѣніе, какіе удивительно широкіе, просторные идеалы жизни!.. Я былъ недолго, это правда, но ужъ и того, что я видѣлъ, достаточно, чтобы сказать, что у нашего народа великая будущность—великая!.. Мы со всѣми нашими интеллигентными потрохами—ноль... больше ничего, ничтожество!..» А вечеромъ приходитъ другой пріятель, такъ-же отвѣдавшій деревни, и вотъ что говорить:—«Знаешь, на этихъ дняхъ мнѣ пришлось провести нѣсколько времени въ деревнѣ, такъ я ей-Богу до сихъ поръ не могу опомниться, придти въ себя. Что я тамъ только видѣлъ—уму непостижимо! Понимаешь-ли, до сихъ поръ не могу еще опомниться, очувствоваться, придти въ себя, а я ужъ больше недѣли какъ воротился оттуда... Понимаешь-ли... (разсказчикъ переводитъ духъ) просто—дерутъ другъ съ друга шкуру! Такого безчеловѣчія, такого безсердечія я... да, нѣтъ! это невозможно!» И какъ первый изъ посѣтителей деревни, пріѣхавшій оттуда въ восхищеніи, заваливалъ тебя разсказами о самыхъ привлекательнѣйшихъ явленіяхъ деревенской жизни, которые онъ видѣлъ «собственными своими глазами», такъ и второй преподноситъ факты, такъ-же видѣнные «собственными своими глазами», но ужъ потрясающіе безобразіемъ и безчеловѣчностью. А сойдутся оба пріятеля—еще того хуже; тутъ начнутся такіе разговоры, въ которыхъ ничего понять невозможно. — «Я — съ разстановкой и съ явнымъ желаніемъ придать каждому слову непоколебимую тяжеловѣсность, говорить одинъ изъ пріятелей:—самъ, собственными своими глазами, видѣлъ, какъ на сходѣ здоровенный мужикъ, котораго съ перваго взгляда можно было-бы принять за разбойника, просилъ у общества и кланялся ему въ ноги—понимаете-ли?—въ ноги кланялся и у-мо-л-я-л-ъ отдать ему шестерыхъ сиротъ, оставшихся безъ отца и матери. Я самъ своими собственными глазами это видѣлъ!...» — «Позвольте, возражаетъ другой:—очень можетъ быть, что вы все это видѣли... То есть, не только «можетъ быть», а навѣрно; но поручитесь-ли вы, что этотъ благодѣтель, похожій на разбойника, не взымалъ сиротъ на телѣгу, не отвезетъ ихъ въ Москву, чтобы раздать по лавкамъ и кабакамъ, и на полученныя по контрактамъ деньги не купить для своего хозяйства сиваго мерина?.. Я говорю это потому, что я «самъ, своими собственными глазами» видѣлъ, какъ (желаніе придать тяжеловѣсность каждому слову начинаетъ невольно овладѣвать и этимъ наблюдателемъ) родная мать—понимаете-ли—родная мать, не хотѣла—слышите ли?—не хотѣла лечить родного сына, который умиралъ и котораго можно было вылечить! — не хотѣла потому, что иначе старшій ея сынъ, который ее кормилъ столярной работой, долженъ-бы былъ пойти въ солдаты! Она на моихъ глазахъ сорвала съ ребенка компрессы, вылила въ помой-

ную яму лекарство и ему, живому, умоляющим голосом просившему испить: «мамынька, горитъ въ нутрѣ, охъ, мамынька-мамынька»... совала въ руки восковую свѣчку какъ умирающему, а воды не давала... Вотъ что я видѣлъ, собственнымъ своими глазами!» «— Не знаю! скажетъ другой— впрочемъ мало-ли на свѣтѣ злодѣевъ и уродовъ... Я не только не видѣлъ ничего подобнаго, но, напротивъ, видѣлъ такіа удивительныя, нѣжныя отношенія матерей и отцовъ къ дѣтямъ, выше которыхъ нельзя ничего себѣ представить... Да вотъ я вамъ расскажу...» И рассказываетъ такой фактъ, отъ котораго у перваго пріятеля, какъ говорится, языкъ прильпелъ къ гортани и слова онъ не можетъ вымолвить. Такъ блистателенъ и великолѣпенъ фактъ, преподнесенный въ опроверженіе прикѣра безсердечія и безчеловѣчія... «Не знаю, въ свою очередь говорить опровергнутый:— очень можетъ быть... впрочемъ я мало знаю народную жизнь... Но мнѣ случалось видѣть... вотъ что»... И вновь преподноситъ какое-нибудь такое деревенское изобрѣтеніе, что и восторженный поклонникъ деревни не находитъ возможнымъ сказать что-нибудь кромѣ того-же: «не знаю... можетъ быть, впрочемъ... я такъ мало знаю...»

Но это еще не все! Восторженный и ожесточенный опять ѣдутъ въ деревню и опять возвращаются оттуда съ фактами и наблюденіями, но на этотъ разъ съ ними произошла значительная перемѣна... Осовѣлъ восторженный и поутихъ ожесточенный...— «Да-а! растягивая слова, говоритъ восторженный, чувствуя въ головѣ своей какой-то шумъ, точно послѣ ошеломляющаго удара:— да-а... дѣйствительно, что-то тамъ какъ будто не вполне»... и рассказываетъ такую исторію:— «Помните, я рассказывалъ, какъ мнѣ тамъ понравилось... Я попалъ на передѣлъ, и мнѣ до того они всѣ показались благородными и справедливыми, что я положительно пришелъ въ восторгъ. Вотъ теперь былъ я во второй разъ и говорю одному старикъ, который мнѣ особенно понравился: «Что, говорю, вѣдь я хочу тутъ жить у васъ, у васъ славно, просто, хорошо».— Обрадовался старикъ: «Живи, живи, мы хорошимъ людямъ рады...» И пошелъ мнѣ расписывать, гдѣ и у кого купить домъ, какъ починить сарай и такъ далѣе... Точно о маломъ ребенкѣ заботится— что я ему? Чужой человѣкъ, а онъ рѣшительно каждый гвоздь предусматривалъ и обдумалъ въ томъ домѣ, который еще не купленъ, и обдумалъ все до послѣдняго гвоздя въ мою пользу... — «А баню, говоритъ, мы за двадцать пять цѣлковыхъ отхватимъ за мое почтеніе... Только ты не спѣши, не торопись, не суй денегъ въ руки, когда не надо, а погоди, псвермени...» И сталъ онъ тутъ говорить не громко и даже какъ-то не губами говорилъ, а носомъ: верхнюю губу подтянулъ къ носу и такъ сквозь щетину-то и сталъ пропускать носовые звуки такого содержания:— «Успѣется, главная причина— спѣшить не надо, а пообгодить да пообожждать... Вотъ по веснѣ... такъ тутъ мы съ тобой такую штуку укупимъ, которую ежели теперь торговать, такъ

шестьдесятъ либо семьдесятъ рублей отдашь, а по веснѣ-то мы за двадцать отломимъ... вотъ что я тебѣ скажу!..»— Почему же такъ?— «Да потому, что *нужда, братецъ ты мой, нужна настиметъ*, а *нужда вѣдь, братецъ ты мой, — о-о-охъ*, какъ она нашего брата нажимаетъ! Теперь вотъ у много хлѣба-то на мѣсяцъ не осталось, а по веснѣ-то и совсѣмъ негдѣ взять... вотъ отъ чего, другъ сердечный, и за двадцать отдадутъ, которая вещь шестьдесятъ, семьдесятъ стоитъ... Только ужъ ты слухай меня, я тебя не обману!..» Сказалъ онъ мнѣ это наивно, добродушно, даже прямо жалѣлъ тѣхъ, кому по-веснѣ придется продавать «вещи» вмѣсто восьмидесяти за двадцать— и вполне, вполне искренно жалѣлъ... А не хорошо, неловко стало у меня на душѣ».— «И знаете, прибавляетъ ошеломленный этимъ фактомъ соболѣзнующаго грабительства:— я сталъ замѣчать, что у нихъ два рода разговоровъ: то орутъ, такъ что за двадцать верстъ слышно, орутъ во всю глотку, на міру, а то какъ-то какъ будто совсѣмъ не говорить... сойдутся, пошевеливъ носами и усами, помычатъ что-то... а потомъ и разойдутся... Вотъ этотъ-то разговоръ ужасно неприятенъ, удручающъ... Не все стало-быть тутъ чисто и откровенно... Есть стало-быть тутъ дѣла, которыя понимаются почти только обнюхиваніемъ другъ друга. И если они обнюхиваютъ по такимъ дѣламъ, какъ вотъ эта баня... такъ, право, не хорошо что-то... Впрочемъ я не знаю, я такъ вообще мало знакомъ съ народной жизнью, что... вообще не знаю! Мудрено!»

Такъ заключаетъ свою рѣчь восторженный поклонникъ деревни, чувствуя какую-то слабость и въ головѣ, и во всемъ тѣлѣ, и не имѣя возможности высвободиться изъ подъ ошеломляющаго впечатлѣнія только-что рассказаннаго факта...

А вотъ является и другой наблюдатель, вчера еще ожесточенный нескананно и почти бѣсновашійся,— и онъ тоже какъ будто осовѣлъ, и, раскланиваясь со своимъ недавнимъ врагомъ-собесѣдникомъ, не только не сердито, а напротивъ въ высшей степени умильно смотритъ на него и съ какими-то особеннымъ чувствомъ пожимаетъ руку. Очевидно, они виноваты другъ противъ друга. Погорячились, не зная дѣла. Одинъ изъ нихъ, какъ мы уже видѣли, покался, а скоро начинаетъ каяться и другой:

— Да! начинаетъ онъ, сконфуженно отирая потный (также отъ конфуза) лобъ:— да... дѣйствительно!.. Тутъ, разумеется, играетъ главную роль незнаніе... Пріѣдешь, поглядишь и позволяешь себѣ судить... Между тѣмъ какъ при болѣе внимательномъ изученіи... иногда просто поражаешься фактомъ удивительной душевной чистоты!..»

— Какъ? восклицаю я, посторонній слушатель. — Да ты же самъ вчера говорилъ, что тамъ другъ съ друга чуть не сдираютъ кожу? Какая же эта «душевная чистота»?

— Я говорилъ и повторяю... Потому что я самъ видѣлъ! но я также могу привести и такой при-

мѣръ: у одного моего пріятели, земскаго врача, живеть старикъ, одинокій, 80 лѣтъ. Этотъ старикъ двадцать восемь лѣтъ работалъ на одного купца, работалъ буквально какъ волъ—у него сзади на шеѣ образовался даже твердый желвакъ отъ носки бочекъ съ сахаромъ, кулей и такъ далѣе, нѣчто вродѣ лошадиной холки. Прослужилъ онъ двадцать лѣтъ и долженъ былъ уйти куда глаза глядятъ, потому что купецъ какъ-то вдругъ прогорѣлъ, сталъ пить и въ концѣ концовъ наложилъ на себя руки. Послѣ него осталась большая семья въ самомъ бѣдственномъ положеніи. Старикъ пришлось уйти, искать мѣста, и ушелъ онъ буквально безъ копѣйки. Ни одежды, ни хлѣба, ничего буквально у него не было, когда ему пришлось выйти изъ этого дома прямо на мостовую, на шоссе и искать себѣ хлѣба. И рѣшительно, какъ разказывалъ мой пріятель, никогда ни одного упрека не слыжалъ онъ отъ старика на счетъ своей горькой доли. «Богъ съ ними! сами они въ нуждѣ. Грѣхъ и брать-то...» А вѣдь за двадцать восемь лѣтъ службы, считая по самой умѣренной платѣ, и то бы пришлось старикъ не одну сотню получить... И вотъ эти-то сотни онъ терялъ безъ всякаго сожалѣнія... Шелъ слабыми ногами, невѣдомо куда нескать хлѣба тогда, когда ужъ собрался перестать работать и, запасшись заработанными деньгами, обойти нѣкоторые излюбленные святыя мѣста, а потомъ и умереть честно и праведно... Ни малѣйшаго сожалѣнія объ утраченных деньгахъ, о нищенской старости никогда мой пріятель отъ старика не слыжалъ. Но вотъ на этихъ дняхъ устроилъ мой пріятель для своихъ и для деревенскихъ дѣтей елку... Набралось много народу, мужиковъ, бабъ, парней мальчиковъ и дѣвочекъ. И старикъ припелся, стоитъ въ передней, выставивъ бороду, и какъ ребенокъ радуется: «каково хорошо!». Стали раздавать подарки, коробочки, всякіе пустяки, и старикъ далъ... Держить, любитъ, боится раздавать... А есть тутъ у этого же моего пріятели дѣвушка, тоже крестьянка, въ услуженіи. И ужъ невѣста, и ей досталась коробка, но въ коробѣ случайно оказалась конфетка, на которой былъ нарисованъ парень. Показала она подружкамъ—тѣ и засмѣяли: «о парняхъ-молъ думаетъ, такъ вотъ парень и достался». Сгорѣла она при всѣхъ отъ стыда.— «Позвольте, говоритъ, обвинять мнѣ его на сахарную собаку». Ей не позволили, потому что было ужъ очень смѣшно ея смущеніе. Да и парня также возпротали. «Ишь ты! парня на собаку хочешь мѣнять!» Вотъ она, чтобы отдѣлаться отъ этого смѣха и пристала къ старикъ—прошнаться коробками: «на кой, тѣ лядъ?»—«Не отдамъ!»—«Дѣдушка, родименькій!» Не отдаетъ, надулся, брови нахмурилъ.—«Пошла, не приставай!» Облапилъ подаркомъ обѣими руками, оцѣтенился, но та не церемонилась съ нимъ, подкарауливъ минуту, схватила изъ его рукъ коробку, сунула туда свою съ парнемъ и пустилась бѣжать. старикъ за ней, да вѣдь какъ звѣрь! ноги-то не ходять... догнать не можетъ... схватилъ полѣно у печки, пустилъ

въ догонку... Ну, совершенныя дѣти. Поправилась ему игрушка, и облапилъ какъ сокровище, а двадцать восемь лѣтъ труда пропали—ничего: «Богъ съ ними...» Чистыя дѣти!.. Нѣтъ, вы (обращается къ вчерашнему оппоненту)—вы правы... Дѣйствительно, чистота души...

— Нѣтъ, прерываетъ первый изъ покаившихся: чистота, конечно... И я самъ чистоту видѣлъ... но дѣйствительно иногда и шкуру, какъ вы говорите...

— Такъ вотъ и идетъ! Чистота души... шкура... Любовь къ ближнему и «забилъ на смерть»... высшая справедливость... жестокая несправедливость—и все это вмѣстѣ, все рядомъ и все иногда въ одномъ и томъ же лицѣ... Поди вотъ разбери, гдѣ они и когда сливаются, когда расходятся, что въ нихъ «въ самомъ дѣлѣ», а что—нѣтъ... Поди вотъ разбери, гдѣ граница благообразія и начало неблагообразія? Чистое сердце и благообразіе, чистое сердце и безобразіе—вотъ изъ безпрерывнаго соединенія явленій того и другого рода вмѣстѣ и выходитъ то положеніе вещей, взглянувъ въ которое, можешь только содрогаться. «Ты—сказалъ покойный Некрасовъ—и убогая, ты и обильная; ты и могучая, ты и безсильная...» Признаки вѣрные, но чтобы эти признаки не были пустыми словами, надо же наконецъ хотъ какой-нибудь опредѣленный отвѣтъ: въ чемъ именно могучая? въ чемъ именно безсильная? въ чемъ обильная и въ чемъ убогая?.. Необходимо дамъ себѣ на эти вопросы хотъ-бы самый грубый, но самый общепонятный отвѣтъ, иначе всякій русскій человекъ не отдѣлается отъ страшной необходимости таить въ своемъ сердцѣ радужныя, почти дѣтскія желанія и чувствовать необходимость закалять свое сердце въ ожесточеніи... Безплодная тягота жизни, непрерывное ощущеніе неблагообразія отношеній, безпрестанная тоска ожиданія чего-то общающаго не добро... Право, иной разъ ночью проснешься покурить и испугаешься... Чего? Да такъ всего!.. Тотчасъ при воспоминаніи дня, что-то начинаетъ давить грудь, и думаешь... Чего этого прошлый день хочеть добыться? Изъ-за чего онъ такъ ужасно и такъ необычайно серьезно (даже «сурьезенъ») и такъ необычайно грубъ, глупъ и нелѣпы!.. И кто же съ такой упорной настойчивостью, что называется, непокладаячи рукъ, воспроизводитъ этотъ грубый, глупый, серьезный, нелѣпый день, воспроизводитъ его безъ передышки цѣлыми годами? «Ничего не выйдеть!»—вотъ мысль, которой оканчиваются мечты ночного пробужденія и ночного страха. Я хочу знать—отчего «вс: это можно»? Что жъ это наконецъ такое? Почему я могу «ненарокомъ сокрушить превосходнаго Мишаньку, а превосходный Мишанька можетъ также «игравчи» сокрушить меня? Какъ-нибудь да надо знать—что у меня есть хорошаго и худого? Въ чемъ я убогъ и въ чемъ я могучъ? И вотъ я радъ этому писателю, который съ своей финиковой пальмой даетъ мнѣ капелку возможности разобраться въ моихъ мукахъ».

III. «Интеллигентный» человекъ...

— «... И право, говорилъ Протасовъ, какъ-то еще въ другое наше свиданіе, — поистинѣ удивительно слышать иногда въ нашемъ обществѣ такое краткое объясненіе всего нашего положенія, всѣхъ достоинствъ и недостатковъ: «Баринъ плохъ, говорить тебѣ, а мужикъ хорошъ, великолѣпенъ; все, что въ полшубкѣ, — все это хорошо, а все, что не въ полшубкѣ, — все это плохо! Или еще хуже: «*Народъ* хорошъ, а *интеллигенція* плоха!...» Интеллигенція! И слова-то этого множество разглаголюющаго народа даже и не понимаютъ путемъ; тогда какъ оно должно-бы имѣть самый опредѣленный, глубокий смыслъ... я запомнилъ, не помню чье-то превосходное опредѣленіе этого слова — вотъ оно: «Интеллигенцію надобно понимать внѣ званій и состояній, внѣ размѣровъ благосостоянія и общественнаго положенія. Интеллигенція среди всякихъ положеній, званій и состояній исполняетъ всегда *одну и ту же* задачу. Она всегда — свѣтъ, и только то, что свѣтитъ, или тотъ, кто свѣтитъ, и будетъ исполнять интеллигентное дѣло, интеллигентную задачу. Въ полѣ — грѣютъ сучья хвороста, въ избѣ — лучина, въ богатомъ домѣ — лампа. Но вездѣ разными способами задача исполняется одна и та же: во тьму вносятся свѣтъ...» Вотъ это опредѣленіе, и такой интеллигентный человекъ всегда былъ и есть въ деревнѣ.

— Расскажу тебѣ одинъ небольшой примѣръ по этому случаю. Какъ извѣстно тебѣ, освобожденіе крестьянъ совершилось не вдругъ; нужно было много усилій «лучшихъ людей», чтобы крѣпостная неправда стала для общества настолько общедоступной, чтобы общество это рѣшилось чѣмъ-нибудь пожертвовать для прекращенія этой неправды. Въ высшемъ обществѣ работала литература и вообще люди туманнаго образа мыслей, дѣйствуя такими средствами, которыя въ этомъ обществѣ оказывались возможныи и наиболѣе достигающими цѣли; одни ходатайствовали, другіе писали чувствительныя драмы народныхъ страданій, осторожно дѣйствуя на сердце и чувство читателей, состоявшихъ изъ помѣщиковъ и помѣщицъ. Такъ поступали интеллигентные люди, стараясь достигнуть извѣстныхъ цѣлей въ кругу образованнаго общества... Но и въ деревнѣ, и въ курной избѣ, тамъ, гдѣ вѣсто лампы горитъ лучина — и тамъ были свои интеллигентные люди, добивавшіеся *тѣхъ же самыхъ* цѣлей, что и интеллигентные люди высшаго общества, *но по своему*... Жилъ не подалеку отъ нашей усадьбы, я помню, одинъ помѣщикъ, кажется, по фамиліи Строевъ, или Устроевъ — хорошенъко не помню, — но помню, что никто не называлъ его настоящей фамиліи, а именовали его «Сквозь-строевымъ» и именовали вслѣдствіе необузданной его жестокости. Онъ владѣлъ большою деревней на большой дорогѣ и неподалеку отъ нея былъ его господскій домъ. Это былъ въ полномъ смыслѣ слова тиранъ. Мало ему было барщины, оброковъ и всего, что надлежало получать помѣщику, — ему

еще надобно было тѣшить свою «удалъ молодецкую»... Безпрекословнымъ, молчаливымъ и угрюмымъ исполнителемъ всѣхъ его тиранствъ былъ дворовый мужикъ Тихонъ, онъ и кучеромъ былъ у барина. Казалось, это былъ не человекъ, а машина, стѣнбитное орудіе, одинаково молчаливое на сожалѣніе, какъ и на ненависть. «Холодства», т. е. потаканія и одобренія барскихъ прихотей, въ Тихонѣ не было ни капли, но не было и порицанія. Что прикажутъ, то исполнялъ съ точностью, а ни одобреній, ни порицаній не выражалъ. Но вотъ у него въ одинъ годъ отъ холеры померли жена, два сына и дочь — словомъ, исчезло все семейство, и онъ остался одинъ одинешенекъ, какъ перстъ. Вѣроятно тоска одиночества навела его на мысль о «Божіемъ наказаніи» — припомнилось ему, какъ вопіяли однопоросенцы, припомнились ему ихъ возгласы: «кровопивецъ ты», «накажетъ тебя Богъ», «чтобъ тебѣ не своею смертію помереть». И подъ вліяніемъ этихъ мыслей и полного одиночества, молчаливый, желѣзнодорожный Тихонъ сталъ преображаться въ глубочайшаго ненавистника. Онъ сталъ все чаще и чаще, какъ говорится, «храпѣть» на барскія приказанія, затѣмъ сталъ прямо рѣзко и грубо отказываться исполнять ихъ, а когда его самого за это стали наказывать, то онъ уже не молчалъ, а клялъ все и вся, во всю глотку, и не стѣсняясь никакими выраженіями... И наконецъ надумалъ мечь. Въ одинъ жгучій лѣтній день, когда вся деревня была на работѣ, вспыхнулъ пожаръ. Загорѣлось почти мгновенно въ одномъ, въ другомъ, въ третьемъ домѣ, потомъ, спустя незначительный промежутокъ, въ другомъ концѣ деревни — и черезъ нѣсколько минутъ надъ деревней бушевала буря огня... Завидѣвъ пожаръ, народъ опрометью бѣжалъ съ полей, спасать свое имущество — и тутъ-то ему представилось необыкновенное зрѣлище: погорѣльцы увидѣли Тихона, который съ горящей головешкой, какъ безумный, метался по деревнѣ и поджигалъ тѣ строения, которые еще не коснулись пламени. — «Погоди! вопіялъ онъ въ изступленіи: — я тебѣ докажу права! Поплачешь и ты у меня! На! на! вотъ тебѣ гостинецъ!» оралъ онъ и совалъ головешку то въ соломенную крышу, то въ скардъ хлѣба, то въ стогъ сѣна. Ожесточенные несчастіемъ мужики, увидѣвъ, что творитъ Тихонъ, набросились на него, отняли головешку, связали, стали бить и по обыкновенію куда-то «поволокли»... — «Братцы! зывалъ Тихонъ, изнемогая подъ ожесточенными ударами односельчанъ, волочившихъ его по землѣ безъ всякаго состраданія: — это я за васъ... за всѣхъ...» — «Анаема ты этакая! Дьяволъ ты проклятый! Гудино ты отродье сатанинское! не переставая наносить удары чѣмъ попало, возражали ошеломленные горемъ односельчане... Зачѣмъ же ты, поганая твоя душа, насъ-то, насъ-то разорилъ на смерть? Вѣдь сироты мы голые остались! вѣдь укрыться нечѣмъ, треклятая твоя душа!» — «Братцы! возопилъ Тихонъ, уже чувствовавшій близкую смерть: — это я за васъ... чтобъ вамъ лучше... Сожги я *свою* усадьбу — онъ васъ заставитъ новую строить... Новую

выстроить... А теперь... безъ васъ онъ и въ усадьбѣ долженъ помереть... Что съ васъ взять? У васъ ничего нѣтъ... и у него нѣтъ... А васъ Богъ пріютитъ...» И умеръ. Мужики опустели кулаки, бросили камни и дубины и, тяжело дыша, стояли надъ Тихономъ, испутившимъ духъ... Кое-какъ послѣ пожара они разиѣстились по сосѣднимъ деревнямъ и долго бѣдствовали, но и господинъ Сквозьстроевъ также обнищалъ, отошалъ, запутался въ долгахъ и погибъ жертвою приказной кляузы, осѣтившей его со всѣхъ концовъ и поминутно поднимавшей противъ него тысячу дѣлъ.

— Единомышленники интеллигентныхъ дѣлей разбѣяны среди всѣхъ званій, состояній и положеній и, несмотря на разныя средства, обязательны для извѣстнаго званія и положенія, непремѣнно стремятся къ дѣламъ одинаковымъ и непремѣнно къ такимъ, которыя-бы имѣли результатъ: чтобы было лучше, жить на свѣтѣ. И сейчасъ есть въ народной средѣ типы интеллигентные, преслѣдующіе тѣ-же дѣла, что и интеллигентные типы другихъ слоевъ общества, но по своему, на свой образецъ, хотя въ сожалѣнію, благодаря полной безпомощности въ умственномъ развитіи, типы собственно народной интеллигенціи не могутъ видѣть свою задачу во всемъ объемѣ, толкуются въ тѣхъ пустяковъ и вздорѣхъ и свѣту отъ нихъ, «по нынѣшнимъ временамъ», мало, а иногда и совсѣмъ не видно... Но мы пока оставимъ этихъ людей, такъ какъ у насъ совсѣмъ другая задача. Намъ нужно найти граніцу, гдѣ чистосердечное благообразіе переходитъ въ чистосердечное-же неблагообразіе. Исключивъ интеллигенцію, которую чистосердечно-благообразный Мишанька-товдохновляетъ, то также чистосердечно-неблагообразно-искореняетъ, искореняетъ и вдохновляетъ «зря», «не нарочно», «играючи» или «по ошибкѣ» — мы будемъ имѣть передъ собою, такъ сказать, «пошловыя» черты нашей жизни, жизни всей страны, и тутъ мы не минувемъ нашей финиковой пальмы, т. е. нашего ржаного поля...

IV. По поводу одной картинки.

«...Поговоримъ въ самомъ дѣлѣ наконецъ и о благообразіи русской жизни... (такъ говорилъ Протасовъ при слѣдующей встрѣчѣ). Расскажу я тебѣ сначала небольшой и на первый взглядъ какъ-бы не подходящій къ дѣлу эпизодъ. Эпизодъ этотъ состоитъ въ слѣдующемъ: какъ-то вотъ съ недѣлю тому назадъ былъ я въ Петербургѣ и, какъ тебѣ извѣстно, искалъ мѣста. Вотъ въ это-то время, толкаясь тамъ и сямъ въ ожиданіи всякихъ благъ, встрѣчалъ я разныхъ старыхъ знакомыхъ; толковали, «балакали», и одинъ изъ этихъ старинныхъ знакомыхъ затащилъ меня какъ-то случайно въ мастерскую одного молодого художника.

— Поглядѣлъ я по обыкновенію съ какими-то деревяннымъ благоговѣніемъ на всю эту обыкновенную обстановку мастерской, дополненную по обыкновенію обязательной для ничего непонимаю-

щихъ зрителей тишиной и молчаніемъ, и вдругъ ожилъ, очувствовался, возвратился въ состояніе здраваго ума и полной памяти. Увидалъ я одну маленькую картинку — и она-то вотъ сразу вывела меня изъ глубокомысленнаго столбняка и деревяннаго благоговѣнія къ вещамъ, совершенно непонимаемымъ. Картинка эта ничѣмъ особеннымъ не замѣчательна. Вотъ она: дѣвушка лѣтъ пятнадцати-шестнадцати, гимназистка или юная студентка, бѣжитъ «съ книжкой подъ мышкой» на курсы или на уроки...

— Такихъ дѣвушекъ «съ книжкой подъ мышкой», въ пледѣ и мужской круглой шапочкѣ, всякій изъ насъ видалъ и видитъ ежедневно и ужъ много лѣтъ подъ рядъ, и притомъ въ огромномъ количествѣ. Одни изъ насъ, «изъ публики», просто опредѣляютъ это явленіе словами: «бѣгаютъ на курсы»; другіе черезъ пень колоду присоединяютъ разсужденія «о женскомъ вопросѣ»; иной почему-то произнесетъ слово «самостоятельность» и схибно улыбнется. Словомъ, всѣ мы, «публика», имѣемъ понятіе о томъ, что «бѣгаютъ», что «идутъ противъ родителей», иногда «помираютъ не своей смертью»; что съ другой стороны самостоятельность «хорошо», что «пушай», что лучше всего «мать»; назначеніе женщины — «мать», а не бѣгать на курсы, что мозгъ женщины малъ, что ничего не выйдетъ и что опять-таки какъ будто «хорошо». Словомъ, обо всей этой современной бѣготнѣ, книжкахъ, мужскихъ шапкахъ, непочтанимъ родителей, пледахъ, очкахъ, самостоятельности, медицинѣ, материнствѣ, маломъ объемѣ мозга мы, публика, толкуемъ, бормочемъ, судимъ, тараторимъ, говоримъ множество шаблонныхъ умныхъ вещей, множество глупостей и пошлостей, и въ существѣ не понимаемъ того главнаго, существеннаго, что таится въ глубинѣ всей этой толкотни, бѣготни, разсужденій о мозгѣ, книжкахъ, пледахъ, очкахъ.

— И вотъ художникъ, выбирая изъ всей этой толпы «бѣгущихъ съ книжками» одну самую ординарную, обыкновенную фигуру, обставленную самими ординарными аксессуарами простого платья, пледа, мужской шапочки, подстриженныхъ волосъ, тонко подмѣчаетъ и передаетъ вамъ, «зрителю», «публикѣ», самое *главное*, самое важное во всемъ, томъ, что мы, «публика», изжевали своими разглагольствованіями; это главное: — чисто женскія, дѣвичьи черты лица, проникнутыя на картинѣ, если можно такъ выразиться, присутствіемъ юношеской, свѣтлой мысли. Я знаю, что я говорю грубо, можетъ быть, совсѣмъ непонятно, но я хочу быть хоть приблизительно точнымъ. Главное же, что особенно свѣтло ложится въ душу, это нѣчто прибавившееся къ обыкновенному женскому типу — опять-таки не знаю, какъ сказать — новая, мужская черта, черта свѣтлой мысли вообще (результатъ всей этой бѣготни съ книжками), не приклеенная, а органическая, что она уже въ крови, что если прежде, напримѣръ въ тридцатыхъ годахъ, какая-нибудь Марья Петровна должна была предварительно разойтись съ тремя мужьями, чтобы задуматься о несчастномъ положеніи женщины, и

только через посредство трех «очень развитых молодых людей» могла еле-еле добраться до мысли о необходимости самостоятельности, то здѣсь, въ этомъ нарождавшемся «новомъ типѣ», это даже и не вопросы, и думать-то о нихъ нечего, такъ какъ они повторяю, достались уже даромъ. Вотъ это-то изящнѣйшее, не выдуманное и притомъ реальнѣйшее слатіе дѣвичьихъ и юношескихъ чертъ въ одномъ лицѣ, въ одной фигурѣ, осященной не женской и не мужской, а «человѣческой» мыслью, сразу освѣтлало, осмысливало и шапочку, и пледъ, и книжку, и превращала въ новый, народившійся, небывалый и свѣтлый образъ человѣческой.

— Сначала, взглянувъ на эту картину въ томъ состояніи деревяннаго благоговѣнія, о которомъ я говорилъ, я было-хотѣлъ уже перенести мой деревянно-благоговѣнный взглядъ на другіе предметы и сдѣлалъ-было уже шагъ далѣе, какъ почувствовалъ, что не могу двинуться, словно кто ухватилъ меня за полу (или словно я зацѣпилъ карманомъ, какъ иногда бываетъ, за ручку двери). И точно, зацѣпилась. Не пустила картинка. Я остановился и думалъ, а тѣмъ временемъ еще подошло два-три человѣка посетителей, и тоже поглазѣли по сторонамъ, также зацѣпились карманомъ за ручку двери, какъ и я, дойдя до этой картинки, и всѣ говорили: — «Д-а-а-а-а!.. Отлично!.. Вотъ что такъ, то такъ!» И также начинали думать, а о чемъ всѣ мы думали и что такое означали выраженія: «вотъ что такъ, то такъ», которыя срывались съ устъ рѣшительно каждаго изъ зрителей—это понемногу разъяснилось послѣ, когда мы, выйдя изъ мастерской художника, гдѣ случайно пересонажились, какъ-то случайно же сошлись за однимъ столомъ въ сосѣднемъ трактирѣ и стали ѣсть.

— Вотъ тутъ-то и начались разговоры, разсужденія и пересказы тѣхъ впечатлѣній, которыя внушила картинка. И странное дѣло! О картинкѣ никто уже не напоминалъ и не говорилъ, и не хвалилъ, совсѣмъ объ ней и разговору не было, а всѣ толковали о женщинахъ, о семейной жизни, о современной жизни, разсказывали тысячи семейныхъ негѣлицъ, и во всѣхъ этихъ разговорахъ—не могу утаить—женскому полу порядочно таки доставалось. Но подробно разсказывать и этого не буду, хотя и здѣсь, какъ и въ трактирѣ, нѣтъ дамъ. Вообще, еслибы я хотѣлъ привести въ порядокъ всѣ сѣтованія, какія я тамъ слышалъ, то не много-бы ошибся, еслибы сказалъ, что всѣ они сводились къ одному: именно къ отсутствію въ современной семьѣ (говорилось объ «обществѣ»), между мужемъ и женой, между мужчиной и женщиной, такой нравственной—замѣть, нравственной!—необходимости, которая бы дѣлала союзъ мужа и жены дѣйствительно нравственно-неразрывнымъ, и чтобы изъ этой духовно-неразрывной жизни выходило-бы въ самомъ дѣлѣ одно гармоническое цѣлое. Бываютъ «случаи» конечно, но рѣдко. Выказывалось такое мнѣніе, что въ женщинѣ («обществѣ») развито слишкомъ много чисто женскихъ чертъ, доведенныхъ иногда до махровой красоты и махровой бесплодности,—чертъ, нару-

шающихъ равновѣсіе сожителства въ пользу бременительной, хотя и красивой пустоты, досадной, пустой, зарождающей въ душѣ человѣка сѣмена холоднаго презрѣнія. Не пощажены были, надо было также правду сказать, и спеціально мужскія, тоже не въ мѣру иногда разрастающіяся махровыя свинства: но вообще найдено было, что такого нравственнаго единенія, которое-бы было необходимо, настоятельно нужно, неизбѣжно для «обѣихъ сторонъ», чтобы изъ этого необходимаго, настоятельно нужнаго нравственнаго единенія выходила одна гармоническая во всѣхъ отношеніяхъ жизнь—нѣтъ и неизвѣстно, когда оно еще будетъ!

— Долго, очень долго шли разговоры на эту тему, но такъ какъ всему бываетъ предѣлъ, то наконецъ и разговоры эти кончились и мы разошлись. Но вотъ что мнѣ пришло въ голову. Когда-то еще въ культурномъ обществѣ будетъ возможность выработать такой супружескій союзъ, гдѣ-бы при полномъ нравственномъ единеніи мужа и жены не страдала индивидуальность каждаго изъ нихъ, а вотъ въ крестьянской средѣ, живущей подъ охраною велѣній ржаного поля, онъ уже давнымъ-давно существуетъ и иногда въ такомъ совершенствѣ, выше котораго, право, нельзя себя ничего представить.

— Вѣдь тамъ, въ деревнѣ-то, мужикъ и баба дѣлаютъ дѣйствительно одно и то-же дѣло, и въ то-же время у всякаго есть «своя часть», но эта «своя часть» не носитъ на себѣ для каждаго изъ нихъ печати той исключительности, которая давала бы возможность сожителствующимъ сказать другъ другу: «Это не твое дѣло» или: «Тутъ ты ничего не понимаешь», или: «Я въ твоёмъ дѣлѣ ничего не понимаю, а ты не мѣшайся въ мое», какъ это частенько-таки бываетъ въ сожителствахъ немужичкаго общества, гдѣ супругъ съ супругой въ то-же время, т. е. не понимая дѣла другъ друга и «не мѣшаясь» въ дѣла другъ друга, ознаменовываютъ прочность союза едва-ли только не тѣмъ, что ходятъ другъ съ другомъ «подъ руку», чего, кстати сказать, я никогда не замѣчалъ у мужиковъ и бабъ. Всегда они идутъ рядомъ... Такъ и въ жизни. (Я говорю о благопріятнѣйшихъ условіяхъ.) Они идутъ въ жизни рядомъ, но каждый самостоятельно дѣлаетъ свое, хотя въ общей сложности одно и то-же дѣло. Это двѣ руки, исполняющія одну и ту-же пьесу. Мужикъ понимаетъ все бабье дѣло и цѣнитъ бабу по этому дѣлу: безъ этого бабьяго дѣла не было-бы и его дѣла, мужичкаго; баба также понимаетъ все дѣло своего мужа, да и ея дѣло ничего-бы не значило безъ дѣла мужа. Здѣсь дѣйствительно полная неразрывная связь мужа и жены въ самыхъ малѣйшихъ движеніяхъ мысли; здѣсь нерѣдко пониманіе «безъ разговоровъ», «по одному взгляду». Примѣровъ подобнаго единенія въ такъ называемомъ «обществѣ» нѣтъ, потому что нѣтъ такой формы труда, организація котораго, подобно организаціи, сдѣланной для человѣка особенными свойствами ржаного поля, давала-бы возможность проявиться рѣшительно всѣмъ—и нравственнымъ, и физическимъ

сторонамъ челоѣческаго существа. Необходимо упомянуть здѣсь еще объ одной, весьма важной сторонѣ мужицкаго сожителства, именно о дѣтахъ и ихъ воспитаніи: дѣти не являются здѣсь существами, которыхъ необходимо сдать кому-то на руки, потому что родителю, служащему въ департаментѣ «обнѣяковъ», рѣшительно нѣтъ времени разговаривать съ ребенкомъ о птичкѣ или рассказывать сказку тогда, когда голова его занята мыслями «посерьезнѣе», а мать хотя и переворачиваетъ по временамъ листы какой-то книжки, но, сколько я могу замѣтить, даже это весьма непослѣдовательное переворачиваніе страницъ болѣею частью «раздражаетъ» нервную мать. Она не можетъ быть *безпристрастно къ своему ребенку* (все резоны), и поэтому весьма скоро прекращаетъ это занятіе, вручая собственное дитя постороннему попеченію. Въ той-же гармонично-живущей крестьянской семьѣ воспитаніе дѣтей составляетъ также *одно* съ жизнью родителей, и такъ какъ трудъ, возложенный на нихъ ржанымъ полемъ, составляетъ одновременно и самую жизнь (то и другое одно — жизнь), то и воспитаніе дѣтей не отдѣляется отъ общей жизни отца и матери, а составляетъ съ этой жизнью — *одно*...»

— Ничего болѣе благороднаго, болѣе отвѣчающаго потребностямъ и духа, и тѣла челоѣческаго я не знаю другого, какъ то, что можно опредѣлить выраженіемъ «крестьянскій трудъ»! Возьмимъ хотя бы просто-на-просто одну физическую сторону труда: вѣдь въ немъ дѣйствительно нуженъ *весь* челоѣкъ, такой, какииъ создала его природа, а не только кусокъ челоѣка, не мозгъ, не рука, не ноги только... а весь сполна! и если ты вникнешь во всѣ подробности этого труда, то ты увидишь, что ни одного нерва, ни одного мускула безъ упражненія, въ условіяхъ этого труда, не остается, развѣ этотъ мускулъ существуетъ... Все работаетъ и работаетъ равномерно. Нѣтъ того, чтобы, атрофируя двѣ-третьи своего организма, какъ несчастный чиновникъ или рабочій, стоящій у станка, челоѣкъ скоплялъ-бы силу атрофированныхъ членовъ въ двойномъ, въ тройномъ усиленіи проявленія какой-нибудь челоѣческой способности или недостатка. Уравновѣшенность духовной и физической дѣятельности, встрѣчающаяся, повторяю, въ нашемъ крестьянствѣ, въ счастливыхъ случаяхъ, въ полной чистотѣ и совершенствѣ, дѣлаетъ его поистинѣ образцомъ того, къ чему долженъ стремиться такъ называемый прогрессъ. Эта уравновѣшенность до такой степени иногда поражала меня, что однажды, находясь подъ впечатліемъ знакомства съ одной изъ такихъ полныхъ гармоній крестьянскихъ семействъ, я былъ пораженъ, поистинѣ пораженъ образомъ «Манфреда», когда случайно взялъ въ руки эту поэму, возвратясь послѣ посѣщенія любезной мнѣ семьи. — Что это такое? думалось мнѣ: какъ такъ можно, чтобы *весь* челоѣкъ превратился въ *одно страданіе*, не находилъ-бы покоя и вылъ, какъ волкъ голодный, на весь свѣтъ (на Сен-Готардъ пробрался!): «Мнѣ ску-у-учно! мнѣ у-ужа-сно!...» Потомъ я

опаматовался, но впечатліе было сильное. Здѣсь же, въ этомъ «образчикѣ» гармоническаго существованія ничто не замираетъ и ничто не разроствается до несоответственныхъ съ благообразіемъ, уродливыхъ размѣровъ. Всѣ физическія и духовныя способности дѣйствуютъ въ мѣру, не шибко, не поражаютъ грандіозностью, но дѣйствуютъ *всѣ*, и вотъ эта всесторонность въ общемъ производитъ и грандіозное, и граціозное впечатліе. Всему, даже любви, здѣсь отведено мѣсто «по пропорціи». Хотѣлось-бы мнѣ сказать тебѣ очень много вотъ именно по этому послѣднему пункту, «о пропорціи въ любви» — вещь очень любопытная, но объ этомъ будемъ разговаривать когда-нибудь.

— Я не могу не вспомнить тѣхъ юношескихъ, но исполненныхъ огромнѣйшаго невѣдѣнія минутъ, когда я, устраивая съ однимъ пріятелемъ, въ одной глухой нетронутой цивилизаціей деревнѣ, ссудное товарищество, основывалъ доказательства пользы, которую оно принесетъ, на томъ, что-молъ вамъ будетъ *легче*: «теперь у тебя баба сидитъ всю зиму, гнется надъ станкомъ, чтобы выткать три аршина холста, а *тогда* (увы-увы-увы!) ты просто можешь купить двадцать аршинъ, и баба у тебя будетъ *свободна*. Теперь почему она у тебя спитъ не разгибаетъ? Потому что у тебя не на что купить. Почему у тебя не на что купить? Потому что нужда тебя заставляетъ продать теленка за пять рублей, тогда какъ еслибы ты имѣлъ время погодить, то теленокъ превратился-бы въ быка и стоялъ-бы сорокъ цѣлковыхъ. Вотъ товарищество и дастъ тебѣ эти пять рублей, которые дадутъ тебѣ возможность погодить»... Словомъ, юношеская неопытность и незнаніе, какую огромную роль играетъ *именно многосложность*, именно обиліе труда въ сознаніи крестьянинаиномъ нравственной полноты существованія, правды его и устойчивости, дѣлали то, что я на всѣ лады проповѣдывалъ только какое-то огромное облегченіе, необыкновенную легкость существованія, и представлялъ въ яркихъ краскахъ такіа времена, когда никто ничего не будетъ дѣлать, будетъ *всѣмъ* полная свобода; причеиъ выходило, что при полномъ отдохновеніи будутъ получаться въ то же время какіе-то и откуда-то весьма значительные барыши... И никто изъ подлинныхъ самыхъ симпатичныхъ мнѣ крестьянъ не довѣрялъ мнѣ, думая, что тутъ «подвохъ», что какъ бы чего не вышло... и стали брать деньги прежде всѣхъ люди сомнительнаго положенія, а потомъ и кулачки... И не развилось товарищество и не сплотило, а вотъ сектантъ, пробирающій нонѣшнее крестьянство за то, что оно отстаетъ отъ работы, — сплотить въ единую трудящуюся семью цѣлую массу народа, оторваннаго новыми вліяніями отъ своего хозяйства, отвѣдаващаго прелести свободнаго житія на деньги и натерпѣващагося горя и голодовокъ, перемежающихся съ кабацкими веселіемъ... «Богъ насъ и сотворилъ для того, проповѣдуетъ одинъ изъ такихъ учителей, — чтобы мы работали да отъ трудовъ своихъ и другимъ помогали. Оттого-то теперь и горе всюду, что никто работать не

хочетъ. Одни на наслѣдство надѣются, другіе хорошихъ ярмарокъ ожидаютъ, и работать всё не хотятъ... Всѣ стали норовить, чтобы не работать жить и хлѣбъ ѣсть... И дорого все стало оттого, что работающихъ людей мало стало: все больше приказчики да торгашки» *) Да! въ трудѣ — и правда, и смыслъ народнаго существованія; онъ для народа — сама жизнь. Работать и жить, трудъ и человѣкъ — до такой степени одно, какъ вотъ (Протасовъ искалъ сравненія) ты... и въсь твоего тѣла... Ты не чувствуешь тяжести самого себя, между тѣмъ въ тебѣ навѣрное пуда четыре есть... Эти четыре пуда ты носишь съ собой вездѣ и не замѣчаешь тяжести. Такъ и крестьянинъ не замѣчаетъ тяжести своего огромнаго домашняго труда... Дай я тебѣ поднять на третій этажъ полушубковую покупку — ты скажешь «тяжело», и если не скажешь, то почувствуешь тяжесть... Сдѣлай я крестьянина работникомъ, приставъ, положимъ, къ *однимъ* коровамъ — скучно ему и тяжело, пока нужда не пріучитъ: а вѣдь повидимому за одними коровами легче ходить, чѣмъ самому дѣлать все?.. Вотъ, что такое для крестьянина (не забывай только, *случайно* въ настоящее время имѣющаго возможность сохранить въ чистотѣ и соблюсти свои трудовыя желанія) — этотъ для насъ, лѣнивыя и неправильно развитыя люди, этотъ безпрерывный и повидимому каторжный трудъ. Это образчикъ правильнѣйшаго существованія и самаго совершеннаго человѣческаго типа. Этотъ типъ у насъ есть... Но знаешь-ли, о чемъ я думаю?

V. Своимъ умомъ.

— Я думаю о гоголевской слесаршѣ, которая, помнишь, *сама себя высткла*? Неѣпо и глупо, неправда-ли? Развѣ возможно что выбуду подобное? Человѣкъ взялъ да и высклъ самъ себя? Однако Мишанька (Мишанька — типъ тоже всесловный, какъ и *интеллигентный* человѣкъ) и не такія вещи дѣлаетъ съ самимъ собой. Припоминая подвиги Мишаньки за послѣднія двадцать лѣтъ, я вижу, что онъ только и дѣлалъ, что изводилъ этотъ благороднѣйшій типъ человѣка съ лица русской земли. Что имъ руководило въ этомъ безмысленномъ злодѣяннѣ, рѣшительно неизвѣстно. Неповоротливымъ, непривычнымъ для выраженія собственныхъ своихъ мыслей языкомъ онъ иногда въ объясненіе этого безобразія бормочетъ: «такъ въ Европахъ... Желѣзные законы... безпрѣмѣнно надо разориться въ раззоръ»... А хорошенъко право не понимаетъ, что такое творится въ Европахъ... А въ Европахъ (я тебя не буду мучить разглагольствованіями) творится между прочимъ вотъ что: близъ Люттиха существуетъ образцовый фамилистеръ, нѣчто вродѣ отеля для рабочихъ; этотъ отель именно за свою образцовость получилъ медаль на всемірной выставкѣ въ Парижѣ 1873 г. И дѣйствительно, онъ

стоитъ награды: «за 1 фр. 50 с. въ день рабочій можетъ имѣть два завтрака, обѣдъ и ужинъ; у него есть помѣщеніе, отопленіе и стирка бѣлья. Въ отелѣ есть ресторанъ, гдѣ онъ имѣетъ залъ для чтенія, казино, гдѣ есть музыка и гдѣ онъ можетъ проводить свои вечера. Онъ *можетъ имѣть* столъ, какой пожелаетъ, за *отдѣльнымъ столикомъ*. Общихъ столовъ нѣтъ. *Рабочій сохраняетъ такимъ образомъ свою полную независимость*».

— Понимаешь-ли, такъ-таки слово въ слово и пропечатано: «*такимъ образомъ* рабочій можетъ сохранять *полную независимость*, не стѣснясь казарменными формальностями». Полная независимость! Независимость, да еще полная — это такая побѣда надъ роковыми трудностями жизни, что изобрѣтателя этой независимости дѣйствительно слѣдовало наградить медалью... Рабочій освобожденъ отъ казарменной формальности, преслѣдующей его въ этихъ многоэтажныхъ казармахъ фабрикъ, въ общихъ спальняхъ ночлежныхъ домовъ и т. д., освобожденъ по крайней мѣрѣ за обѣдомъ: ему наконецъ отвоеванъ отдѣльный столикъ... и полная независимость обѣдать за этимъ отдѣльнымъ столикомъ! Чтѣ бы сказалъ нашъ мужикъ, любой, на выборъ взятый, еслибы я сталъ увѣрять его, какое огромное счастье рабочаго человѣка составляетъ этотъ «отдѣльный столикъ» и «полная независимость» ѣсть такую съистную дрянъ, какую пожелаешь? А между тѣмъ какую ужасную родословную имѣетъ эта побѣда въ европейскомъ рабочемъ мірѣ, въ этомъ мірѣ неустаннаго труда, неугасимаго огня и застилающихъ лучи солнца тучъ дыма!.. Въ этой же самой книжкѣ, изъ которой я привелъ тебѣ цитату о «полной независимости» и отдѣльномъ столикѣ, есть прекрасное стихотвореніе римскаго поэта (конца римской республики), современника изобрѣтенія водяной мельницы... «Рабы! писалъ онъ (я заучилъ это стихотвореніе наизусть): — рабы, которымъ приказано вертѣть жернова, дайте отдыхъ нашимъ рукамъ и спите спокойно! Напрасно звонкій голосъ пѣтуха возвѣщаетъ утро — спите! Теперь работа молодыхъ дѣвушекъ дѣлается надами и вотъ онѣ прыгаютъ на вертящемся колесѣ, сверкающія и легкія... Онѣ увлекаютъ ось (мельничнаго колеса) своими лучами и приводятъ въ движеніе тяжелый жерновъ, который вертится кругомъ... Будемъ жить счастливою жизнью и наслаждаться, не трудясь, благами, которыми осыпаетъ насъ богиня»... Вотъ какъ радо было чувствительное сердце поэта тому, что съ плечъ раба спадаетъ забота, тягота труда, что ему будетъ легче, что онъ можетъ спать спокойно... Вотъ когда судьба раба трогала и заботила чуткія къ справедливости сердца! Чуткія сердца не дремали и, не смотря на страшныя разочарованія въ своихъ надеждахъ, продолжали безпрестанно воевать во имя «справедливости». Такъ или иначе, но «отдѣльный столикъ» съ «полною независимостью» — *завоеванъ*!

— Теперь обрати вниманіе, какъ мизеренъ этотъ «отдѣльный столикъ» съ полною независимостью смотрѣть въ стѣну и ѣсть блюдо, состоящее изъ

*) «Какъ я сталъ духовнымъ братомъ» (изъ Записокъ штундиста).

объѣдковъ (буквально) — въ сравненіи съ нашей крестьянской семьей того случайно благообразнаго и благоустроеннаго вида, о какомъ я тебѣ такъ много говорилъ? Имѣя передъ своими глазами такой типъ человѣческаго существованія, спрашиваю я тебя, какія такія утопіи и теоріи могутъ быть для насъ страшны, непозволительны и преступны? Вѣдь мы уже имѣемъ образчикъ вполне независимаго во всѣхъ отношеніяхъ существованія, а не за отдѣльнымъ только столикомъ, этимъ едва ли не послѣднимъ словомъ практическаго осуществленія заботы о «меньшемъ братѣ»? Такъ именно всѣмъ намъ, россиянамъ, кажется. Отдѣльный столикъ не представляется намъ ничѣмъ кромѣ подлости и безчеловѣчія, тогда какъ у насъ.. И тутъ намъ рисуется великолѣпный образчикъ крестьянской семьи, крестьянскаго благоустроеннаго дома, который во всемъ самъ себѣ хозяинъ...

— И однако мы рѣшительно не правы, предаваясь необузданной гордости по поводу «образчиковъ», которыми владѣемъ *даромъ*. Столикъ — точно мизерность, но онъ — *побѣда*; онъ — завоеваніе, вершковое, но непримѣнно завоеваніе въ пользу справедливости... Самъ по себѣ онъ — ничтожество, но съ нимъ дѣйствительно прибавляется въ обществѣ мысль о полной независимости. Въ глубинѣ всѣхъ этихъ мизерныхъ опытовъ важна именно мысль о полной независимости человѣка. Опытъ малъ, но мысль велика, и мысль о независимости съ каждымъ днемъ завоевываетъ себѣ большее и большее пространство и большее вниманіе. Мысль эта, развиваясь и укрѣпляясь, будетъ осуществляться практически, и все, что будетъ добыто ею, будетъ вѣковѣчно и прочно.

— У насъ, у нашего крестьянина, эта независимость, идеалъ ея самой высшей пробы и самой совершеннѣйшей степени, есть уже, но онъ созданъ ржанымъ полемъ, а не человѣкомъ. Весь строй, все обличье образцовой крестьянской семьи, образцоваго крестьянскаго дома, о которомъ я говорилъ, — неизмѣримо выше, красивѣе, полнѣе, совершеннѣе всего, что только можно себѣ представить по части завоеванной независимости. въ видѣ ли она ищущей независимости женщины (съ книжкой подъ мышкой), въ видѣ ли столика, съ полной независимостью сидѣть за нимъ отдѣльно и самостоятельно смотрѣть въ стѣну; но эта величественность и стойкость семьи и дома, дѣлающая ихъ по истинѣ образчикомъ того отдаленнѣйшаго типа независимаго существованія, до котораго еще Богъ знаетъ когда добьется ищущій независимости человѣкъ. — непрочно неустойчива, потому что источникъ красоты находится не въ сознаніи человѣка, а внѣ его, въ полѣ, въ колосьяхъ ржи... Благообразіе мысли, благообразіе типа даны готовыми, и вотъ почему благообразный Мишанька можетъ превратиться и въ неблагообразнаго...

— Вотъ тутъ-то, мнѣ кажется, кроется органическое безсиліе русской интеллигентной мысли. Европейскіе порядки обличены европейскою-же мыслью во всемъ своемъ объемѣ. Тутъ ужъ нечего заимствовать для образца. Что такое этотъ «от-

дѣльный столикъ», это послѣднее слово завоеванной независимости? Сунься-ка я съ нимъ къ мужику — онъ меня просмѣетъ на смерть; тутъ нечего взять для насъ; впечатлѣніе столика такъ мизерно, что благообразіе крестьянскаго дома вырастаетъ до размѣровъ огромнаго значенія. И такъ, съ одной стороны безобразіе и мизерность, а съ другой — огромное благообразіе; одно намъ не нужно, другое слишкомъ совершенно. Ну, интеллигентному человѣку и остается убираться вонъ и не соваться, не мѣшаться и не портить... И дѣйствительно ему придется убраться вонъ, если онъ будетъ только соваться и портить, и мѣшаться. А между тѣмъ есть у него огромное дѣло: ему надо только знать, что мы обладаемъ образцовѣйшими типами существованія человѣческаго. Надо знать, что именно этотъ типъ, который я тебѣ описалъ изъ пятаго въ десятое, именно и есть образцовѣйшій. Надо всѣмъ своимъ существомъ убѣдиться въ этомъ и дѣлать все, чтобы онъ превратился въ сознательно образцовѣйшій и пересталъ быть образцовымъ бессознательно... Образчикъ этого образцоваго существованія долженъ лечь въ основаніе школы и овладѣть умомъ и совѣстью всѣхъ имѣющихъ право что-нибудь дѣлать на общественномъ поприщѣ.

VI. Безпомощность.

Уѣзжалъ однажды Протасовъ отъ меня въ С.-Петербургъ и разговаривалъ.

— Поѣдутъ теперь пониколоавской дорогѣ. Сколько разъ на своемъ вѣку я сдѣлалъ этихъ поѣздокъ по ней въ Петербургъ и изъ Петербурга въ Москву?.. Бѣжу я, замѣчаю перемѣны въ постройкахъ, замѣчаю перемѣны въ вагонахъ, замѣчаю, что вырубленные лѣса вырастаютъ, а дремучіе вырубакт-ся; вспоминаю старое и вижу, какъ я много прожилъ, какъ я старѣю съ каждой поѣздкой... А вотъ эти маленькія дѣвочки, которыя двадцать лѣтъ тому назадъ, когда я впервые ѣхалъ по этой дорогѣ, пищали подъ окномъ вагона: «Дяденька, купи цѣтчиковъ! Дяденька, купи малины! Малина хороша!» — точь-въ-точь такая-же и теперь, какъ двадцать лѣтъ и какъ будто-бы совершенно не старѣются и такая-же ростомъ, и лицомъ, и костюмомъ. Это конечно уже не тѣ Марфутки и Лизутки... Тѣ ужъ можетъ быть, вывезены на Преображенское кладбище по желѣзной дорогѣ, или разжились кулацкимъ достаткомъ, или пропадаютъ гдѣ нибудь въ «заведеніи», а это *другія* Марфутки и Лизутки, но точь-въ-точь такая-же, какъ и тѣ... Точь-въ-точь такое-же и ржаное поле, которое ихъ растило, какъ и малина, и цѣточки — все тѣ-же... Да и самая деревня точь-въ-точь такая-же: вонъ Мишанька бѣжить съ недоуздкомъ и кошкой, въ которой насыпано немного овса, чтобы приманить имъ и обрататъ въ полѣ сивую кобылу, и баба точь-въ-точь такая-же, какъ и двадцать лѣтъ тому назадъ. Поднимается съ ведрами отъ рѣчки, и старикъ Сидантій грѣется на завалянкѣ, и дѣвочки пѣсни поютъ на той сторонѣ за рѣч-

кой. Все то-же самое, но люди ужь другие, хоть точь-въ-точь такіе-же, какъ и тѣ, которые давно померли, взятъ въ солдаты, проворовались или ушли въ Сибирь, или разбогатѣли. Ржаное поле поставляетъ все точь-въ-точь такихъ-же людей—и дядей Силантьевъ, и тетокъ Авдотій, несмѣтныя тисачи которыхъ лежатъ въ землѣ, по всѣмъ концамъ земли русской. А сколько они вынесли, какъ погибли, гдѣ и какъ пропали? и отчего? и какъ? это до ржаного поля не касается, этого не видно и не слышно и на деревенской улицѣ... Ржаное поле имѣетъ дѣло только съ живыми и сильными, а до мертвого, до слабого, до погибающаго ему нѣтъ дѣла.

— Можно поэтому любоваться и этой устойчивостью деревенскихъ формъ жизни, и ихъ красотой, и широтой, но объяснять ихъ прочность и широту обиліемъ создающаго *сознанія* невозможно... Я по крайней мѣрѣ не могъ бы этого сдѣлать и взять грѣхъ на душу.

— Въ какую-бы сторону отъ этого благоустроеннаго ржанымъ полемъ типа человѣческаго существованія, которымъ нельзя не восхищаться, ты ни пошелъ, вездѣ ты не только наткнешься, а потонешь въ фактахъ, которые докажутъ тебѣ, что, будь въ глубинѣ этихъ прекрасныхъ формъ жизни сознательная зиждательность, никогда ни подъ какимъ видомъ не могло-бы быть тѣхъ *наивнѣшихъ* ужасовъ, которые, повторяю, немедленно начинаются, какъ только ты отъ этого главнаго благоустроеннаго типа уклонись либо въ сторону упадка, либо въ сторону благосостоянія.

— Для человѣка-же, *отвогваивающаго* себѣ «полную независимость даже за отдѣльнымъ столикомъ», невозможно утратить эту независимость, потому что право на это есть достояніе его сознанія, а сознаніе не горитъ въ огнѣ и не тонетъ въ водѣ; оно не можетъ отказаться отъ того, что приобрѣтено, оно должно расти. Но можно все утратить тамъ, гдѣ корень формъ существованія не въ человѣкѣ, а внѣ его...

— Вотъ славная крестьянская семья. Мужъ, жена, два мальчика и дѣвушка... Трудненько справляться мужику, но у него есть подспорье—отличная работящая жена и дочь на возрастѣ; ей ужь шестнадцатый годъ. Справляются. Отецъ хочетъ взять мужа дочери во дворъ и подумываетъ объ этомъ, подыскиваетъ подходящихъ парней. Тогда-бы домъ былъ полный. Но вотъ отецъ зашибъ ногу и слегъ: зашибъ онъ ногу въ самую жаркую рабочую пору, по веснѣ. Сосѣди, люди, которыхъ «Господь не посылитъ» такимъ несчастіемъ, люди, живущіе благоустроенно, говорятъ, глядя на несчастіе семьи: — «Эко горе какое! Ахъ, ты горе-то, горе какое страслось въ самую-то горячую пору... Теперича имъ *безпрѣменно надо* двухъ телокъ продать, надо работника нанять!.. Вотъ Марьюшкиной свадьбѣ-то и не *бываетъ!*» И все точно такъ и выходитъ: двѣ телки, которыя приберегались къ продажѣ осенью, чтобы сыграть Марьюшкину свадьбу, продаются, и Марьюшкина свадьба дѣлается ужь невозможной: не на что ее сыграть! Кое-какъ работникъ сдѣлалъ. что надо, а хозяинъ все лежитъ да лежитъ; лечитъ его лекарь, при-

кладывая на трицѣ разные составы; а ногѣ все хуже да хуже. А тутъ косяба подошла, тутъ ужь не на что работника нанять, тутъ большакъ перемогся, всталъ самъ, кое-какъ отбилъ косу, пошелъ въ поле, косилъ и натрудилъ ногу пуще прежняго. Въ самую косябу—большакъ отдалъ Богу душу!— «Ну теперь, говорятъ сосѣди:—Марьюшкѣ *надо* непременно въ услуженіе идти, деньги матери присылать, теперь ужь ее *никто замужъ не возьметъ*... Ахъ, горькія, горькія!..» И точно; опять все точь-въ-точь такъ и выходитъ. Теперь Марьюшку нельзя взять, ничего у нея нѣтъ—это первое, а второе—войти къ ней въ домъ нельзя, куча народу: двое братьевъ малолѣтковыхъ, старуха, да свои дѣти пойдутъ—какъ тутъ справиться одному? Нельзя. А нужны подати, нужна земля, безъ земли пропадай, нуженъ работникъ, и вотъ Марьюшка ѣдетъ по машинѣ... Она ничего не умѣетъ городского, и ей нужно все въ себѣ передѣлать, начиная съ костюма; сколько лѣтъ она должна биться, чтобы выработать себѣ платье, въ которомъ не стыдно было бы служить въ порядочномъ домѣ, башмаки, которые при петербургскихъ лѣстницахъ изнашиваются необыкновенно быстро, огнемъ горятъ... Теперь представь себѣ тѣ безчисленныя случайности, какъ оболщаніе, рожденіе ребенка и возвращеніе съ нимъ въ деревню на вѣчный поворотъ и посрамленіе; простое ничтожное обстоятельство, вроде того, что господину, въ семействѣ котораго пришлось служить, отказали отъ мѣста, и онъ три мѣсяца не могъ платить жалованья, такъ что Марьюшка ничего не могла выслать въ самое нужное время. Уплаты податей и расчеты съ работникомъ дѣлаютъ то, что у старухи отбираютъ землю, а чтобы уплатить работнику—продать корову. Что дѣлать бабѣ, угнетенной горемъ, потрясенной нищетой, возрастающей съ каждымъ днемъ? У нея на рукахъ два ребенка, десяти и одиннадцати лѣтъ... они не работники... но имъ нечего ѣсть... И вотъ они ѣдутъ по машинѣ къ той же Марьюшкѣ, и добрый человѣкъ, дворникъ, пристраиваетъ ихъ въ трактирное заведеніе, въ портерную... Осталась одна старуха. Ей скучно, она истомилась одна гореть и нуждой... Она продаетъ домъ и идетъ, куда глаза глядятъ; съ котомкой за плечами, она идетъ къ угоднику и молится тамъ... И за мужа, и за мальчиковъ, чахнувшихъ въ трактирѣ и портерной, и за Марьюшку, съ которой невѣдомо что творится... «Эка болѣзная! Эка горькая!» говорятъ и жалѣютъ сосѣди, провожая владѣтельницу разорившагося гнѣзда... А потомъ черезъ недѣлю-другую привѣтствуютъ новыхъ жильцовъ ея дома... Въ немъ поселилась новая, молодая семья; мужъ здоровенный парень, жена молодична и всего одинъ ребенокъ... Закипѣло дѣло у нихъ, любо смотреть: — «Ужъ любо, любо, поглядѣть-то любо!..» говорятъ сосѣди. А недавняя драма прошла... «Теперича ей надѣтъ идти побираться»—констатировали сосѣди положеніе вдовы, когда она отсылала въ Питеръ обоихъ мальчиковъ и продала домъ. И точно, она пошла побираться. И такихъ мгновенныхъ ги-

белей, разореній безконечное множество; они на каждомъ шагѣ, ихъ такъ много, что при долгой жизни деревенѣшь отъ ихъ обилія и безрезультатности страданія, постоянно созерцаемаго... И что же, если сознаніе народныхъ благоустроенныхъ формъ жизни такъ велико, какъ кажется, такъ отчего жъ оно не захватываетъ и этой области «случайностей деревенской жизни», — случайностей, которыя всякаго, самаго богатаго изъ деревенскихъ богачей, могутъ въ одно мгновеніе превратить въ нищаго, въ вора, въ убійцу, и т. д.

— Не могу забыть одного дня, принесшаго мнѣ самое непереваримое по тяжести впечатлѣніе деревенской жизни... Дѣло было въ деревнѣ, въ студеной осенней день... Рыжія поля, голыя деревья, сухой шумъ сухихъ листьевъ, гонимыхъ по землѣ сухимъ холоднымъ вѣтромъ, рѣжущимъ по лицу и шеѣ тупымъ и грубымъ лезвіемъ... Скучно, холодно, непривѣтливо... Было часовъ девять утра, и я стоялъ на дворѣ, глядя, какъ пріѣхавшій изъ сосѣдней деревни крестьянинъ складывалъ у забора дрова... Не любилъ я этого мужика; какая-то безпредѣльная затѣенная алчность — казалось мнѣ на основаніи многихъ фактовъ — алчность неустрашимая, язвой точила его душу; и въ то время, какъ лицо всегда было благообразно и благопрістойно, глаза только выдавали душевную тайну... Мрачныя впечатлѣнія деревни, къ несчастію, долгіе годы непрерывно и безъ отдыха мной переживаемые, накопили и въ моей душѣ что-то жестокое, непривѣтливое... Душа какъ-то закрылась, заперлась точно на замокъ и отвыкала съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе отъ желанія раствориться, раскрывать себя радостному явленію... Напротивъ, я сталъ замѣчать, что какъ только что-нибудь свѣтлое или отрадное мелькаетъ мнѣ въ этой холодной и темной атмосферѣ, такъ я инстинктивно отворачиваюсь, мнѣ больнѣй: не хочу я видѣть этого и думать объ этомъ потому, что меня сейчасъ что-нибудь придавитъ и мнѣ второе будетъ хуже... Такъ вотъ въ такомъ-то мрачномъ душевномъ настроеніи, воспитанномъ во мнѣ годами и не покидавшемъ меня въ послѣдніе годы пребыванія въ деревнѣ ни на минуту, стоялъ я на дворѣ, въ то памятное мнѣ осеннее утро, и смотрѣлъ на дюжью спину нелюбимаго мужика... Мы переговаривались съ мужикомъ по словечку чрезвычайно холодно, но вѣстѣй деликатно... А думалось мнѣ почему-то одно: «убьетъ!..» Кого? когда? какъ? Не знаю!.. Просто какъ-то такъ стало выходить невольно, несознательно... Поглядишь на такое благообразное лицо, отвѣтишь на благообразный поклонъ или благообразный вопросъ, а самъ въ то же время почему-то думаешь: «а вѣдь разорветъ, анаееша, въ ключа!» Вотъ и въ это утро шевелились въ моей мысли тѣ же непривѣтныя слова... Да и вѣтеръ меня мучилъ, парая своимъ тупымъ лезвіемъ по лицу, по шеѣ и забираясь въ рукава, да и поле — ужъ мертвое, ободрванное, облѣзлое, какъ облѣзлая шкура мертвого животнаго — гнело душу. Изъ-за забора съ прѣзжей дороги вѣтеръ поднималъ сухую холод-

ную пыль... «Убьетъ...» опять мелькнуло у меня, и я хотѣлъ было уйти, какъ вдругъ нѣчто совершенно неожиданное, съ неба свалившееся, приковало меня къ мѣсту, и приковало какъ-разъ на половинѣ этого страшнаго слова «убьетъ»... Какъ разъ въ ту минуту, когда отравленная душа вымучила изъ себя эту страшную мысль о мужикѣ, который клалъ дрова и спину котораго я созерцалъ изъ-за забора, сначала какъ первая капля дождя, падающая въ крышу, послышался какой-то ясный, свѣтлый звукъ: за нимъ другой, третій, и вдругъ эти странные звуки быстрымъ и рѣзвымъ оборотомъ перешли какъ-то сразу въ развеселый, разудалый, разухабистый вальсъ изъ какой-то оперетки... Шарманщикъ, пробираясь изъ столицы въ губернский городъ, слышалъ разговоръ за заборомъ — а заборъ-то былъ около усадьбы, повидимому не крестьянской — вотъ онъ и заигралъ вальсъ. Грубый вѣтеръ грубыми толчками точно дрался съ этими звуками, разнося ихъ по пыльной улицѣ, угоняя вверхъ, опрокидывая внизъ... Когда-то я слышалъ эти звуки, и ничего въ нихъ не было кромѣ опереточной «клубнички», но появленіе ихъ здѣсь, въ деревнѣ, среди этихъ соломенныхъ крышъ, этихъ ободранныхъ полей, рваныхъ полушубковъ, ошеломило меня... Они неожиданно-негаданно принесли и поставили среди этой суровой деревенской обстановки образы довольства, веселья, праздности, роскошной, залитой золотомъ и упоенной «своими удовольствіями». Они такъ превосходно нарисовали этотъ другой міръ, а мое, истомленное однообразіемъ деревенскихъ впечатлѣній, воображеніе съ такой яркостью отпечатлѣло его, что я не додумалъ даже до послѣдней буквы страшнаго слова «убьетъ...» какъ ужъ и мужикъ, котораго я только что ненавидѣлъ, и его черная съ глубокими ямами шея и его рваная шапка, словомъ, все, все въ немъ пробудило во мнѣ взрывъ, да именно взрывъ необычайной жалости. «Какъ я могъ думать это... убьетъ?..» истерически билось у меня гдѣ-то не то въ головѣ, не то въ сердцѣ... Истерическія слезы какъ-то неудержимо стремились вылиться и оплывать одновременно и неустанные труды этихъ неустанныхъ рукъ, и холодъ избъ, и тьму ночей съ бьющимся отъ страшнаго сна ребенкомъ, и жестокость этого же мужика къ родному брату, котораго эти же руки ободрали, буквально ободрали, и воровство этими руками въ темную ночь чужихъ дровъ, и эту неустрашимую алчность, неусыпающую въ душѣ мужика, и черствый хлѣбъ, и грязную соску во рту ребенка... Шарманщикъ игралъ, мужикъ клалъ холодными руками на холодномъ вѣтрѣ холодныя и грубыя полѣнья, холодный вѣтеръ рѣзалъ и толкалъ... а въ глубинѣ души разверзлось что-то горячее, какъ огонь, разливалось жаромъ рыданій...

Протасовъ долго ходилъ по комнатѣ, не говоря ни слова, и подолгу останавливаясь у окна, спиной ко мнѣ, смотрѣлъ на улицу, также ни слова не произнося... Я не мѣшалъ ему овладѣть собою...

— А вѣдь знаешь, заговорилъ онъ, отходя наконецъ отъ окна и стараясь казаться совер-

шенно спокойнымъ, даже слегка, хотя и напряженно улыбаясь:—вѣдь дѣйствительно этотъ мужикъ-то содралъ съ брата шкуру, какъ говоритъ у насъ по-деревенски... Ну, жда! Чѣмъ ее поправить? А вотъ насупротивъ живетъ братанъ, Алешка, братанъ нескладный; все у него незадача... Было у этого Алешки мѣсто лѣсника, семь рублей въ мѣсяцъ жалованья — отбилъ, потому Алешка пьетъ, а этотъ, Николай, капли въ ротъ не беретъ... «Ему эти деньги все одно ни къ чему». Надумалъ Алешка дрова возить куда-то по два съ полтиной сажень—Николай «выздалъ» мѣсто, сталъ возить по два... отбилъ!..—«Вози, говоритъ, нешто я препятствую тебѣ?»...—«Ну, констатируютъ сосѣди,—теперича Алешка *должонъ* совсѣмъ подохнуть». Тутъ все только констатируютъ... «*должонъ* теперича по міру пойдти...», «теперича ѣтъ бы ужъ помирать *должонъ*...» Когда Николай отбилъ отъ Алешки мѣсто («Николаю-то семь цѣлковыхъ даже хорошо!.. констатировали сосѣди...—теперича онъ *должонъ* шибко поправляться»), и когда отбилъ поставку дровъ, и когда потомъ отбилъ сѣнокосъ, который Алешка снималъ у сосѣдняго барина (всего-то пудовъ на 60), тогда сосѣди констатировали такъ: — «Теперича, надо полагать, Алеха *должонъ* совсѣмъ порѣшиться, начисто пошелъ на раззоръ...» И Алеха пошелъ на раззоръ. Дѣтей у него куча, все маленькія, жена слабая, больная и на несчастье плодущая... Алешка началъ разоряться и пьянствовать, сталъ жестоко колотить жену, чтобы усмирить въ ней эту плодovitость, уравновѣситъ плодущую бабу съ окружающимъ недостаткомъ, но не уравновѣсилъ. Алешка сталъ пьянствовать, и я сталъ встрѣчать его въ самомъ растерзанномъ видѣ: раза два я видѣлъ его лежащимъ въ грязи, въ канавѣ, лицомъ внизъ, бездыханнымъ... «*Должонъ* Алеха, надо быть, покончиться съ эстаго съ пьянства», констатировали объективные наблюдатели-миряне... Но Алеха не померъ, а случилось съ нимъ еще новое и огромное несчастье.

— Въ одинъ день разнеслась вѣсть, что три дѣвочки, дочери Алехи, оставшіяся дома безъ матери, которая ушла зачѣмъ-то къ сосѣдямъ, на рукахъ девятилѣтняго парнишки (отца также не было дома—«воровалъ дрова» въ графскомъ лѣсу), опрокинули на себя во время игры огромный бѣлымъ ключомъ кипѣвшій самоваръ... и обварились съ головы до ногъ. «Теперича ужъ пожалуй и помирать должны бы... вчера обварились-то...» констатировали деревенскіе діагносты... «Должны помереть, подтверждали безпристрастные наблюдатели,—коли ежели не отходятъ». «Коли отхо-

дятъ, въ ту пору и живы должны остаться, ну, а коль скоро не отходятъ, то само собой, окончатъ сказать, должны покончиться...» — «Безпремѣнно покончутся, коли ежели какихъ способъ не будетъ отходить...» «Да, теперича пожалуй что ужъ и померши, коли ежели...» А такъ какъ всѣмъ хорошо извѣстно, что въ деревнѣ существуетъ самый внимательный контроль другъ надъ другомъ и надъ всѣмъ домашнимъ бытомъ каждаго дома, то къ этому констатированію неизбежной для дѣвочекъ смерти (ежели не отходятъ) присоединилось констатированіе и другого факта. «А пожалуй, что Алеха-то теперь *должонъ* пойдти на поправку!... Горе, горе, что говорить! Всякому свое жалко... А и такъ ежели сказать, Божиимъ повелѣніямъ человекъ не указчикъ... Неизвѣстно, можетъ, Господь-то премудро все это послалъ.. А что Алехѣ все полегче станетъ—это вѣрно, потому какъ же? остался онъ въ тронѣ... куда съ этакой аравой ребятъ выбиваться. А теперича, пожалуй, что и на поправку *должонъ* пойдти... Право, *должонъ*...» Дѣти дѣйствительно умерли, и Алеха дѣйствительно пошелъ на поправку... Долго я не видалъ его послѣ этого несчастья и не знаю, какъ онъ его пережилъ, но когда я его увидѣлъ наконецъ, онъ былъ и трезвъ, и опрятенъ, и взоръ его былъ и чистъ, и свѣтелъ, и уменъ...—«Слава тебѣ, Господи, кабысь немножко дѣло мое поправляться стало... Дай Богъ здоровья (имя рекъ), мѣсто мнѣ далъ—мость на желѣзной дорогѣ караулить, черезъ день, рубль серебромъ, свои харчи, маленько поправляться сталъ... А то всего-бы рѣшился, чисто-бы померъ безсловесно!.. До весны какъ-нибудь промерзну въ землянкѣ-то, рублей подъ шестьдесятъ деньжонокъ накопится, опять возьмусь за хозяйство... Слава тебѣ, Господи, землю-то кое-какъ у мужиковъ «отпили»—не отняли... А то-бы начисто-бы пришлось покончиться». О дѣтяхъ мы не говорили...

Такъ вотъ какіе эпизоды иногда *выручаютъ* человека изъ гибели!

— Какъ-бы я желалъ, говорилъ Протасовъ спустя нѣкоторое время,—еслибы можно было свалить всю вину на знаменитую пословицу «только печкой не били». Когда приказываютъ, Мишанька не можетъ ослушаться, онъ привыкъ слушаться, ржаное поле пріучило его. А вотъ о несчастій нѣтъ приказаній ржаного поля, и Мишанька только констатируетъ факты съ точностью ученаго изслѣдователя и привыкъ погибать, также исполняя съ точностью собственную свою гибель, разъ она этимъ ржанымъ полемъ ему предудказана.

Н Е С Л У Ч И С Ь .

Рассказъ.

Недавно въ газетахъ былъ напечатанъ небольшой, но въ высшей степени замѣчательный уго-

ловный процессъ. Слушался онъ въ вологодскомъ окружномъ судѣ и состоитъ въ слѣдующемъ. Бо-

лѣе двухъ лѣтъ тому назадъ, именно около Петрова дня 1880 года, желѣзнодорожный сторожъ нашелъ въ рѣкѣ Шаграшъ, около моста Ярославско-Вологодской линіи, джутовый мѣшокъ, въ которомъ, по вскрытіи, оказался трупъ убитаго человѣка, разложившійся до такой степени, что только по одеждѣ можно было догадаться, что убитый—мужчина. Открытіе этого трупа напомнило (не знаемъ, властямъ или обществу) о загадочномъ исчезновеніи нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ одного изъ посѣтителей гостинницы «Вологда», пользующейся весьма сомнительной репутаціей. Началось слѣдствіе, которое черезъ нѣсколько времени открыло виновнаго. Убийцей оказался корридорный или половой гостинницы «Вологда», крестьянинъ Иванъ Васильевъ Горюновъ, и вотъ какое поразительное и потрясающее показаніе далъ этотъ Иванъ Горюновъ на судѣ:

«Года за два раньше, какъ я убилъ Крамскаго (фамилія убитаго), къ намъ въ гостинницу «Вологда» пріѣзжалъ какой-то господинъ, повидимому купецъ. Жилъ онъ у насъ въ гостинницѣ дня четыре и больно сильно кутилъ, пьянствовалъ. Когда этотъ господинъ уѣзжалъ, онъ подарилъ мнѣ золотые часы съ цѣпочкой и сказалъ: «Спасибо тебѣ, что ты сберегъ меня — все въ цѣлости; у меня, говоритъ, было девяносто три тысячи рублей». Потомъ гость этотъ попросилъ проводить его на вокзалъ; я проводилъ, и тутъ онъ еще далъ мнѣ двадцать-пять рублей и еще три рубля. Пришелъ я домой и показалъ буфетчику и хозяину часы, что мнѣ подарилъ гость. Хозяинъ спросилъ: «за что-жъ онъ подарилъ?» — «За то, молъ, что у него девяносто три тысячи съ собой было, и всѣ остались въ цѣлости». — «Экъ ты, говоритъ хозяинъ, не умѣешь деньги наживать! Такъ будешь дѣлать — и помрешь бѣднякомъ»... Потомъ хозяинъ говоритъ, чтобы я заманивалъ гостей, обѣщая имъ продавать какіе-то банковые билеты съ большой уступкой... Зимой 1880 года къ намъ въ номера пріѣхалъ какой-то господинъ съ дѣвушкой... Выпивали они тутъ. На другой день, часовъ въ девять, дѣвушка ушла, а господинъ остался один. Стали разсчитываться и дали мнѣ сторублевую бумажку. Ну, я пошелъ въ буфетъ, увидалъ тамъ хозяина и говорю: «Господинъ должно быть богатый — все сторублевки». Хозяинъ сказалъ: «Погоди-ка носить сдачу, я взгляну сначала, что за господинъ такой». Вернулся онъ и говоритъ: «Это человѣкъ мнѣ знакомый, денежный человѣкъ» — «Какъ-же тутъ быть?» — спрашиваю. — «Самъ, говоритъ, знаешь — не малолѣтокъ... Рѣка все унесетъ». — «Страшно, говорю, какъ-то»... — «А ты выпей стакана два водки—страхъ-то какъ рукой сниметъ... А чтобы свидѣтелей лишнихъ не было, мальчишку-то въ полицію пошли за паспортной книгой»... Сказалъ это, а самъ ушелъ въ другую сюю гостинницу «Россію», черезъ дорогу. Выпилъ я водки, послалъ подручнаго Николая въ полицію и понесъ сдачу въ третій номеръ. Господинъ лежалъ на постели, опершись на локотки, и выпивалъ... Столъ около кровати стоялъ съ бутылками...

Тутъ-же лежалъ молотокъ, который я принесъ накупить, чтобы вбить задвижку, какъ господинъ приказали... Я взялъ молотокъ и ударилъ господина по головѣ раза и два... Какъ ударилъ—спереди или сзади — хорошенько не помню. Вытащилъ деньги изъ кармана брюкъ и, не считая, сунулъ ихъ себѣ въ карманъ. Вытащилъ покойника въ четвертый номеръ, а самъ сталъ прибирать въ третьемъ. Окровавленную простыню и наволочку засунулъ въ печь и сжогъ. Обои около кровати обрвалъ, полъ подтеръ, а пятна на матрацѣ и подушкѣ слегка замыылъ водой. Потомъ вернулся къ покойнику, перетащилъ его черезъ пятый номеръ въ чуланчикъ, который былъ рядомъ, и спряталъ его въ сундукъ подъ лѣстницей, отодравъ для этого плинтусъ. Въ это время, слышу, вернулся Николай. Я пошелъ къ нему навстрѣчу и вальгалъ прибрать въ номеръ третьемъ. Онъ послѣ спрашивалъ: «Что это вода въ тазу кровавая и на полу кровь?» — «Это, говорю, гость не расплатился съ дѣвницей, она ему и раскровянила морду». — «Какъ-же, говоритъ, онъ ушелъ въ такомъ видѣ?» — «Умылся, говорю, да и ушелъ»... Ну, онъ и повѣрилъ. Часа черезъ два послѣ убійства пріѣхалъ хозяинъ. Я ему и подаль всѣ деньги, не считая. «Мало, говорю, денегъ-то». — «Врешь, говоритъ, не можетъ быть столько, ты утаилъ». Я побожился. Онъ взялъ всѣ деньги, а мнѣ далъ немного мелочи... На другой день начались розыски покойника. Въ гостинницу пріѣзжала его родственница съ знакомымъ, ходила полиція... Мы отвѣтили, что гость расплатился и уѣхалъ неизвестно куда. *Такъ какъ околотовный пьетъ у насъ всегда водку и все такое, то номера осматривать онъ постыдился.* Тутъ меня взялъ страхъ, тоска напала... Я все ходилъ въ рундукъ, смотрѣлъ, лежитъ ли тамъ покойникъ, иногда сидѣлъ тамъ и плакалъ... Хотѣлъ идти дать знать полиціи; сказалъ объ этомъ хозяину, а онъ говоритъ: «Дуракъ и будешь — ни за грошъ пропадешь. Меня все равно не оговоришь — не повѣрять; я и въ гостинницѣ-то въ это время не былъ». Ну, я и не пошелъ. Послѣ Рождества отпросился я у хозяина домой въ деревню, взялъ у него денегъ и уѣхалъ, захвативъ шубу покойника, которую раньше спряталъ... И въ деревнѣ тосковалъ. Но роднымъ объ этомъ ничего не говорилъ. Пріѣхалъ опять въ городъ къ хозяину. Передъ Пасхой сукровица проникла черезъ потолокъ, пошелъ по номерамъ скверный духъ. Меня все пуще стала тоска забирать, и я все чаще сталъ ходить къ покойнику, смотрѣть на него. Потомъ перетащилъ его изъ рундука въ другой уголъ чуланчика и положилъ подъ рамы. Духъ все сильнѣй по номерамъ расходится... Гости стали жаловаться. Я все собирался вывезти, да все случая не было, а хозяинъ не помогаетъ и тоже говоритъ: «Убери!». Въ концѣ іюня я положилъ покойника въ мѣшокъ, завязалъ веревкой, пошелъ, взялъ извозчика и ночью поѣхалъ окольной дорогой за городъ на рѣку Шаграшъ. Бросилъ тамъ мѣшокъ и возвратился... Потомъ въ скорости слышу, что на-

или покойника. Полиція пришла и взяла съ меня росписку о невыѣздѣ... Я сказалъ хозяину. Онъ говоритъ. «Ты пойдѣ въ полицію и скажи, что у тебя просроченъ паспортъ, чтобъ они отпустили тебя». Полиція не отпустила. Тогда я самъ ушелъ домой... Но тутъ меня арестовали и представили въ станъ. «Я и открылся, что я убилъ...»

Вотъ показаніе главнаго дѣйствующаго лица, которое мы привели отъ слова до слова.

Здѣсь все въ высшей степени любопытно и поучительно. Поучительно то, что хозяинъ, который, какъ видно изъ показанія, былъ душой всей этой операціи, признанъ виновнымъ не «въ подстрекательствѣ съ корыстной цѣлью», а только «въ знаніи и укрывательствѣ». Любопытна и поучительна фигура и этого блюстителя порядка — околоточнаго, который, помня трактирную хлѣбъ-соль и «все такое», *стыдится* осматривать нумера, гдѣ совершено это убійство, — убійство, которое онъ несомнѣнно чувалъ и можетъ быть даже зналъ о немъ навѣрное, такъ какъ это знаніе или догадка — только одно и могло заставить его «*ностыдиться*», смотрѣть сквозъ пальцы, помня хлѣбъ-соль «и все такое». Въ то же время, принимая во вниманіе такъ называемыя «новѣйшія времена», невольно представляешь себѣ, какъ много развелось теперь такихъ блюстителей, которые, выпивая въ гостинницѣ, гдѣ надъ головой выпивающихъ «и все такое» полгода лежить и гниѣтъ убитый человѣкъ, котораго они «стыдятся» розыскать, навѣрное не упускаютъ случая высматривать «неблагонадежныхъ личностей» и, запримѣтивъ таковыя (а примѣты въ этомъ отношеніи годятся всякія, какія только взбредутъ въ голову), не только не постыдятся, а прямо безъ разговоровъ «сгребутъ» и заточатъ... Вѣдь вотъ «сгребъ» же одинъ блюститель мирнаго сельскаго жителя за романъ Шпильгагена — сгребъ и засадилъ, не зная и не имѣя понятія о томъ, что значатъ слова: «романъ», «Шпильгагенъ», «Впередъ». Сгребъ же другой такой-то блюститель сельскаго учителя, который сидѣлъ на вокзалѣ въ провинціи, ожидая поѣзда, и читалъ брошюру «О дезинфекціи» сочиненія Нечаева. Что такое «дезинфекція» — это блюстителю знать не полагается. *Тотъ ли* это Нечаевъ или другой — тоже можно и не знать. Но мелькнуло ему въ голову слово «Нечаевъ» и — «сгребъ»! Вездѣ теперь только и слышишь: «сгребъ да «сгребъ», или «чуть не сгребъ», или «да и сгребъ бы, а то что же?.. И ей-богу бы сгребъ»... И всѣ эти сгребанья всегда почти оказываются вполне нелѣпыми и неосновательными; но недѣлности и отсутствіе всякихъ основаній не запрещаютъ «сгребать» и не заставляютъ стыдиться несправедливой жестокости и безобразія, а осматрѣть нумера, въ которыхъ пропалъ и убитъ человѣкъ, — «стыдно», потому хлѣбъ-соль и «все такое»...

Но всего замѣчательнѣе въ этомъ процессѣ — это, разумѣется, личность самого несчастнѣйшаго Ивана Горюнова. Во-истину не даромъ судьба надѣлила его такимъ именемъ и фамиліей. «Господинъ» «приказалъ» прибѣгнуть въ номеръ задвижку.

Иванъ Горюновъ взялъ молотокъ и исполнилъ приказаніе, а утромъ черезъ нѣсколько часовъ исполнилъ этимъ же молоткомъ другое, почти, приказаніе хозяина — убилъ этого самаго господина. За часъ, за нѣсколько мгновеній до убійства, у него и мысли не было объ убійствѣ; сторублевая бумажка ставитъ его въ недоумѣніе: «какъ-же теперь быть?». Ему говорятъ — какъ, и онъ дѣлается убійцей, онъ бьетъ молоткомъ господина по головѣ съ такимъ же точно покорнымъ настроеніемъ «слуги», какъ бы подавалъ на столъ порцію селянки или прибавалъ задвижку. «Какъ же тутъ быть?» говоритъ онъ, и вы видите, что еслибъ ему было сказано, какъ быть: «возьми да отдай сдачу» — такъ онъ бы и не былъ убійцей и отдавалъ бы сдачу. Зачѣмъ онъ убиваетъ — неизвѣстно. Деньги онъ отдалъ хозяину, а самъ получилъ немного мелочи. Ему когда-то сказали: «Дуракъ будешь» — и онъ думалъ, что не дуракъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ. Самъ онъ не знаетъ доподлинно, глупо или умно грабить и убивать, и потому спрашиваетъ у «хозяина»: «Какъ же теперь быть?». Онъ, *самъ лично*, дѣйствительно не имѣетъ понятія о томъ, что умно, что глупо, кто дуракъ, кто умнѣе, что хорошо, что дурно. Выслушавъ его разсказъ о томъ, какъ баринъ подарилъ ему золотыя часы и двадцать восемь рублей денегъ, хозяинъ говоритъ ему: «Дуракъ будешь, если такъ станешь жить — такъ померешь бѣднякомъ». И онъ думаетъ, что онъ дуракъ — думаетъ такъ, какъ ему сказано; такъ, какъ побуждаетъ думать его и поступать постороннее вліяніе, чужое приказаніе, чужая воля: «прибей задвижку» — прибѣлъ, «убей барина» — убилъ, и однимъ и тѣмъ же молоткомъ, безъ малѣйшей тѣни собственной своей мысли и собственной своей воли. Вѣдь еслибъ онъ «самъ» могъ думать, понимать и соображать, т. е. еслибъ онъ самъ имѣлъ какой-нибудь взглядъ на человѣческія отношенія, такъ вѣдь случай съ бариномъ, который щедро награждалъ его, долженъ бы былъ убѣдить его какъ-разъ въ противномъ тому, что говорилъ хозяинъ: за честность и добросовѣстность онъ *на долгъ*, на фактъ, самомъ реальномъ, самомъ ошутительномъ, оказался не только не въ дуракахъ, но прямо въ умникахъ. За то, что онъ не грабавъ, не укралъ, а берегъ и смотрѣлъ, чтобы не обокрали барина, онъ получилъ сравнительно огромное вознагражденіе — золотыя часы и двадцать восемь рублей денегъ. Кажется, еслибы человѣкъ могъ и имѣлъ бы привычку самостоительно думать о чемъ-нибудь, этого случая было бы для него весьма достаточно, чтобы убѣдиться, что хорошіе и добросовѣстные поступки не пропадаютъ безслѣдно: результатъ на лицо — золотыя часы и деньги... Но онъ не умѣетъ думать самъ, и потому убиваетъ безкорыстно, безъ всякой выгоды, отдавъ деньги хозяину, а самъ получаетъ немного «мелочи»...

Вотъ эти-то черты нравственности Ивана Горюнова и потрясаютъ васъ самымъ угнетающимъ образомъ. Какъ бы внимательно ни всматривались вы въ душу этого человѣка, вы не можете отвѣтить мало-мальски утвердительно ни на одинъ изъ

вопросовъ, которые должны возникнуть при этомъ въ нашемъ сознаниі. Жаденъ ли онъ? — Нѣтъ: деньги отдалъ хозяину... — Жестокъ? — Ничуть: онъ убилъ не подумавши, не задумываясь, а такъ, какъ прибилъ задвижку, и потомъ самъ же плачетъ и терзается надъ трупомъ въ тихомолку по ночамъ... — Скрытенъ, хитеръ и злобенъ? — Опять нѣтъ: — вѣдь онъ «побожился», что не утаилъ денегъ, а всѣ сполна отдалъ хозяину; онъ не обманщикъ... Добровольно, когда мало-мальски проясняется умъ, онъ хочетъ идти въ полицію — объявить, но ему опять говорятъ: «дурракъ будешь» — и онъ не идетъ. Послушаніе его примѣрное. Его награждаютъ за честность; но ему говорятъ, что безчестно поступать лучше, — и онъ вѣрять вопреки фактамъ, доказывающимъ противное. Ему говорятъ: «прибей задвижку» — прибилъ; «убей» — убилъ. Затѣмъ полгода трупъ лежитъ въ чуланѣ, лежачи до тѣхъ поръ, пока хозяинъ не сказалъ: «Убери!» — и Иванъ убралъ. Словомъ, Иванъ Горюновъ весь чужой, человекъ посторонняго вліянія, чужого приказанія, даже чужого желанія. *Совсѣмъ* по части убѣжденій и нравственности у него ничего нѣтъ — хоть шаромъ покати. Это совершенно пустой сосудъ, который можетъ быть наполненъ, чѣмъ угодно. Не попади онъ въ такой темный притонъ, можете-ли вы сказать, что онъ сдѣлалъ бы что нибудь подобное тому, что его принудили сдѣлать? Былъ ли бы онъ убійцей, если бы «попалъ» вмѣсто трактира въ столары, въ сапожники, въ кучера къ хорошему барину, въ лапочники, въ хлѣбонекъ?.. Наконецъ, еслибы попалъ даже опять-таки въ трактиръ-же, только не въ такой вертепъ, какъ «Вологда», а такой, гдѣ все честно и благородно?.. Ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ вы не можете отвѣчать утвердительно, потому что предъ вами человекъ, внутренній міръ котораго, какъ траву, какъ тонкую вѣтку, колеблутъ внѣшнія дуновенія, дыханіе чуждыхъ ему, со стороны идущихъ, вліяній, — человекъ, который покоряется всему, на что его «Богъ нанесетъ». — всему, что волею судьбы «набѣжитъ» на него...

А вѣдь такихъ Ивановъ Горюновыхъ уже въ настоящее время можно считать на Руси сотнями тысячъ, а въ будущемъ, если только народная жизнь будетъ такъ же, какъ и до сихъ поръ, оставаться въ условіяхъ царствующей и въ ней, и внѣ ея неурядицы Ивановъ Горюновыхъ будетъ тьма, тьма темъ, тьма темъ протетаріата, выброшеннаго расстройствомъ деревенскаго быта и духа, готоваго подчиниться съ чуждой ему средѣ всевозможнымъ вліяніямъ съ наивностью ребенка, не имѣющаго возможности знать и понимать, что въ этихъ вліяніяхъ зло, что добро, — словомъ, пролетаріата, который съ ненавистью ребенка можетъ однимъ и тѣмъ же молоткомъ и одной и той же рукой прибить задвижку по приказанію «гостя» и разбить тому же гостю голову по чьему-нибудь другому указанію и наставленію.

Отчего же это происходитъ?

Вѣроятно не разъ, а миллионы и миллионы разъ

тотъ же вопросъ, только примѣненный къ самому себѣ и къ своей ужасной исторіи, задавалъ и задаетъ Иванъ Горюновъ, задавали и задаютъ сотни другихъ Ивановъ Горюновыхъ. Сидя въ слезахъ и тоскѣ за желѣзной рѣшеткой тюрьмы, или на пароходѣ-клеткѣ, перевозившей арестантовъ и осужденныхъ въ сибирскія тюрьмы и рудники, Иванъ Горюновъ и ему подобные мучительно ломаютъ уже погибшія головы свои надъ этими вопросами: какъ, и зачѣмъ, и отчего? — и, ничего, не понимая, но только ужасаясь и недоумѣвая, невольно переносятся мыслью въ родную деревню и инстинктивно ищутъ здѣсь, въ ней, въ условіяхъ ея современной жизни — корни и основаніе всему, что случилось потомъ. Оплакавъ утраченное спокойствіе и цѣломудренность деревенской жизни, оплакавъ и утраченную возможность жить какъ люди, работать, играть свадьбу, пить вино на праздникахъ и т. д. и дорываясь до корня своего огромнаго горя, своихъ огромныхъ утратъ, вѣковѣчныхъ, на всю жизнь — всякій такой Иванъ Горюновъ непременно найдетъ въ самой глубинѣ, на самомъ днѣ своихъ бѣдъ, какую-нибудь деревенскую «случайность», благодаря которой человекъ долженъ былъ оторваться отъ дома, отъ деревни и идти въ невѣдомый міръ, плыть безъ кормила и весла... Непременно въ корнѣ корней окажется какое-нибудь на нашъ взглядъ ничтожное обстоятельство, отъ котораго и вышло потомъ все, вплоть до конца, до Сибири и каторги. «Не случись» того-то или того-то въ деревнѣ, въ хозяйствѣ — и не надо было бы уходить оттуда и отдавать себя на волю непонятныхъ вліяній, непонятныхъ условій жизни. Не случись, что умеръ отецъ или братъ, не случись, что пала лошадь, не случись, что старшая сестра сломала ногу и пролежала годъ болячая, не случись падежа, неурожая, засухи — и не было бы тысячи случайностей, которые потомъ затвятили человека и стали имъ вертѣть по своему, какъ имъ угодно...

Этихъ случайностей, иногда ничтожныхъ какъ пылинки, никогда не тяготѣло надъ крестьянской жизнью такъ много, какъ теперь. Земледѣльческій трудъ, весь, сполна находящійся во власти вѣдній природы, самъ по себѣ уже таитъ въ этихъ вѣдніяхъ и прихотяхъ природы нескерпаемый источникъ случайностей. Въ успѣхѣ или неуспѣхѣ этого труда — слѣдовательно въ благосостояніи и нравственномъ равновѣсіи, или въ разореніи и нравственномъ паденіи крестьянъ играютъ важную роль не только такіе пособники труда, какъ животные, скоть, не только своя личная сила, свое здоровье и т. д., но даже самыя ничтожнѣйшія атмосферныя явленія — направленіе и сила вѣтра (обилье хлѣба и т. п.), сила и время дождя, засухи и т. д., и т. д. безъ конца. Все это можетъ осчастливить, все это можетъ и разорить. Всѣ эти случайности необходимо имѣть въ виду. А ихъ въ настоящее время столько развелось, что вся современная жизнь деревни зависитъ именно отъ этихъ случайностей — и стихійныхъ, и всякихъ другихъ, неизвѣстно по-

чему скопившихся надъ деревней какъ нарочно въ такое время, когда она не въ силахъ противопоставить ни «кузькѣ», ни «мгѣ», ни «красному пѣтуху» ничего, кромѣ отчаяннаго вопля и безцѣльнаго бѣгства «на сторону».

При крѣпостномъ правѣ (намъ не для чего заглядывать дальше для того, чтобы сравнить прошлое народа съ настоящимъ) всѣ эти случайности *волей-неволей* долженъ былъ устранить баринъ, если онъ не былъ, что называется, живорѣзомъ. Онъ, въ видахъ своей собственной пользы, долженъ былъ кормить въ неурожай, давать скотъ во время падежа, помогать свадьбѣ, покупать жениха, — словомъ, онъ долженъ былъ всячески экономизировать людьми. Негодныхъ къ одному труду онъ ставилъ на другой, ни къ чему негодныхъ сдавалъ въ солдаты, а безпомощнаго старика ставилъ къ уткамъ или такъ кормилъ на дворѣ. Это былъ скотный дворъ, организованный изъ людей, но организованный. Возвращенія къ нему не можетъ быть, но возвратиться къ «организацин», перейти отъ полнаго невниманія къ массамъ къ самому искреннему вниманію — необходимо. Всѣ эти случайности, обставляющія крестьянскій трудъ и слѣдовательно играющія огромную роль въ благосостояніи массъ, въ настоящее время почти не составляютъ предмета серьезнаго вниманія со стороны такъ называемыхъ командующихъ классовъ. Страхование скота, какъ известно, до сихъ поръ только въ проектѣ, да неизвестно еще, будетъ-ли оно удобно для крестьянъ; по части организованнаго кредита тоже въ высшей степени плохо; земскія подачки въ неурожайные годы — предметъ для хищническихъ злоупотребленій и плохое подспорье для большинства крестьянъ. Да наконецъ времени «даромъ» ушло такъ много, что теорія хищничества уже вошла въ моду и въ деревнѣ, и теперь уже нельзя поручиться въ томъ, что даже самое благотворительное мѣропріятіе не будетъ здѣсь-же, въ деревнѣ, повернуто такъ, что окажетъ выгоду меньшинству и вредъ огромному большинству. Отпаденіе отъ «хозяйственнаго», крестьянскаго, чисто земледѣльческаго ядра, составляющаго силу деревни и силу крестьянской массы, все увеличивается; случайности, никѣмъ и ничѣмъ не отстраиваемыя, съ одной стороны выбрасываютъ за бортъ общиннаго корабля ослабѣвшихъ, опустившихъ руки, идущихъ искать гдѣ лучше, съ другой — эти же случайности возвышаютъ незначительное меньшинство, которое, владѣя лишней копѣйкой, пользуется нуждой ослабѣвшихъ, дешево покупаетъ скотъ, пашню и другое имущество и богатѣетъ, но въ свою очередь также отпадаетъ отъ крестьянства трудящагося. Одни уходятъ потому, что нельзя трудиться, а другіе — потому, что можно и не трудиться. можно отдавать «изъ прокату» сѣнной прессъ, получать за прокатъ деньги, сидѣть въ трактирѣ и играть на гармоніи «Стрѣлочка». Такимъ образомъ отъ общиннаго земледѣльческаго ядра, деревни, въ одну сторону уходятъ «по разстройству» Иваны Горюновы и поступаютъ ла-

кеями въ трактиры, а въ другую — уходятъ люди вслѣдствіе достатка, уходятъ въ тѣ-же трактиры, но не въ качествѣ лакеевъ, а гостей. Эти люди достатка и досуга требуютъ водки и закуски «и все такое», а Иваны Горюновы подаютъ имъ и водку, и закуску «и обслуживаютъ по части всего прочаго». Одни учатся — «что приказывать», а другіе исполняютъ приказанія: «прибей задвижку» — и прибей, «убей» — и убей, и все одними и тѣми-же молоткомъ.

Не смотря на имущественную разницу между Иванами Горюновыми, перестающими быть крестьянами, «послугую» по нуждѣ, и другими типомъ отщепенцевъ крестьянства, бросающихъ его и отвыкающихъ отъ него вслѣдствіе достатка — въ нравственномъ отношеніи оба типа не представляютъ ни малѣйшей разницы. Оба они, уходя изъ одного общества въ другое, не вносятъ въ него ничего *своего*, а обречены — по крайней мѣрѣ на долгіе годы — подчиняться тому, что Богъ нанесетъ на нихъ, или что само на нихъ набѣжитъ. Оба эти типа, не смотря на разницу состояній по части матеріальныхъ благъ, одинаково нищѣ, одинаково безнравственны. Слово «безнравственность» не слѣдуетъ понимать исключительно въ дурномъ смыслѣ, въ смыслѣ дурной нравственности — вовсе нѣтъ; просимъ понимать его *только* буквально, т. е. только какъ отсутствіе какого-нибудь опредѣленнаго нравственнаго содержанія, какихъ-нибудь опредѣленныхъ нравственныхъ принциповъ... Намъ могутъ многое возразить на это, указать на сектантовъ и т. д.; но мы, очень хорошо зная, что этою «безнравственностью» не исчерпываются всѣ свойства народной души, тѣмъ не менѣе не имѣемъ намѣренія доказывать здѣсь, что эти «другія» стороны извѣстны намъ, также какъ и возражателямъ, — не будемъ дѣлать этого именно потому, что мы беремъ специально эти безнравственные, а не какія другія черты народной души, хотимъ указать именно на пустыя мѣста этой души, — мѣста, которыя, помимо естественныхъ причинъ, держатъ народную душу въ постоянномъ колебаніи по части «убѣжденій», какъ будто еще умышленно оставляются пустыми, тщательно ограждаются отъ всякаго вторженія въ эту пустоту общечеловѣческихъ интересовъ, идей общаго блага и обязанностей къ ближнему и къ самому себѣ. «Не отвѣчать» за свои поступки какъ лично, такъ и по отношенію къ сосѣдямъ, къ ближнему, народную массу учить — и заставляетъ даже насильно — ея трудъ, весь подчиненный прихотямъ природы. — «Не отвѣчать» приучило народъ крѣпостное право, при которомъ за всякія безобразія, за все хорошее и дурное отвѣчалъ, хотя-бы только официально, помещикъ. Теперь, когда это право миновало, надобно отвѣчать самимъ... Но вотъ этой-то отвѣтственности не только никто не требуетъ отъ народа, но, напротивъ, все, что командуетъ имъ, какъ-бы умышленно стремится отучить его отъ всякой мысли о томъ, что кромѣ отвѣтственности въ исправной

уплатѣ податей есть еще другая отвѣтственность — за этого сироту, который можетъ сдѣлаться воровъ, за эту старуху, за этого старика, за эту случайно ослабшую семью, которая можетъ разориться и пустить по міру кучу нищихъ. Ни въ школѣ, ни въ церкви, ни въ другихъ вліяющихъ сферахъ мы не видимъ ни малѣйшихъ попытокъ, не слышимъ ни единого слова, которое обратило-бы вниманіе молодого и стараго деревенскаго люда на массу явленій, за которыя по привычкѣ не принято отвѣчать, но за которыя отвѣчать непременно слѣдуетъ. Одинъ деревенскій мальчикъ сказалъ мнѣ: «Сколько разъ я видалъ зиму и носъ отмораживалъ, и ноги знобилъ, и въ снѣжки игралъ, а все не думалъ, что такое зима... А вотъ какъ прочиталъ стихокъ сочиненія Пушкина про ту-же зиму и про тотъ же снѣгъ — и стала мнѣ зима любопытна». Вотъ такого-то слова, которое бы сдѣлало любопытными тысячи явленій, къ которымъ народъ приглядѣлся, которыя онъ видитъ каждый день, но о которыхъ не думаетъ, какъ мальчикъ не думалъ о зимѣ, хотя и отмораживалъ носъ и знобилъ ноги, — и нѣтъ у насъ. Какъ были выраженіемъ общественныхъ заботъ въ старыя времена мірской быкъ: староста, кабакъ и холодная, такъ и теперь — то-же. А когда къ этимъ быку, старостѣ, кабаку и холодной прибавится что-нибудь новое, вродѣ постоянного фельдшера (изъ своихъ и для своихъ), вродѣ мірской каморки, въ которой могли-бы доживать свой вѣкъ старики бездомные, вродѣ другой каморки, въ которой больная, вывихнувшій ногу, или больная, обожженная солнцемъ на жнивѣ спину, могли найти койку и помощь и т. д., — когда все это будетъ, неизвѣстно. Нигдѣ, повторяемъ, ни въ школѣ, ни въ церкви, мы не слышимъ ни о злѣ, ни о добрѣ, ни о добромъ, ни о худомъ, ни о безнравственности, ни о нравственности... Конечно этимъ мертвымъ молчаніемъ нельзя убить въ человѣкѣ душу и совѣсть, и она такъ или иначе выразитъ себя въ стремленіи къ свѣту и правдѣ; но какъ-бы ни были прекрасны эти, никѣмъ не поощряемыя проявленія благородныхъ стремленій души, нельзя не видѣть, что покуда къ общиннымъ хозяйскимъ порядкамъ не будетъ *приблизно* права широко и свободно дѣлать все и думать обо всемъ, что только можетъ расширить размѣры народной впечатлительности по отношенію къ горю и благу ближняго, — до тѣхъ поръ деревня будетъ поставлять изъ своей среды, подчиненной случайностямъ удачи и неудачи, съ каждымъ годомъ все большее и большее количество людей съ нравственностью Ивана Горюнова, — нравственностью, колеблемою, какъ листъ, отъ малѣйшаго дуновенія въ ту или другую сторону.

Не знаю, скоро-ли интеллигентный человѣкъ (т. е. человѣкъ исключительно интеллигентныхъ цѣлей, а не служащій по найму въ интеллигентныхъ должностяхъ) отвоеуетъ для деревни право пешихъ не о единомъ хлѣбѣ. Это — его обязанность, и другой обязанностью нѣтъ у русскаго интеллигентнаго человѣка. Конечно сперва ему необо-

димо отвоевать это право и для себя... Очевидно, что и то, и другое будетъ не скоро. А покуда мы дождемся этого, позволю себѣ возвратиться къ прерванной рѣчи о значеніи «случая» въ современной народной жизни — «случая», противъ котораго не спасаетъ община, при всѣхъ своихъ хозяйственныхъ совершенствахъ, и который выбрасываетъ изъ «крестьянства» массы безпомощныхъ неудачниковъ на волю Божию. Расскажу по этому поводу кое-что изъ того, что почти сейчасъ происходило передъ моими глазами, но при этомъ заранее предупреждаю читателей, что рассказанное будетъ мѣстами производить впечатлѣніе неприятное и грубое. Что дѣлать? Дѣйствительность куда хуже того, что я расскажу сейчасъ.

Почти каждый вечеръ прошлагодняго дѣта, за рѣкой, «на той сторонѣ», среди всеобщаго мира и тишины, вдругъ и неожиданно начинались какіе-то крики, брань, ругань и плачь... Иногда эти крики, этотъ плачь и шумъ поднимались среди ночи, когда все покоемъ мертвымъ сномъ, и будили не только мирныхъ обывателей деревни, но и насъ, жителей противоположнаго берега, — такъ они были громки, столько тамъ было женскаго визга и мужского рева. Не было ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что дѣло не ограничивалось одними криками, а иногда разыгрывалось и въ драку, и что драки эти большею частью пьяныя. Очень часто, послѣ того какъ свалки и крикъ прекращались на той сторонѣ, на нашу сторону переправлялись черезъ рѣчку и шли по нашему берегу какія-то пьяныя, ругавшіяся и грозившія кулаками фигуры, — фигуры, весьма плохо владѣвшія ногами, суда по нетвердой походкѣ. И не менѣе плохо владѣвшія языкомъ, суда по несвязности рѣчи, иногда переходившей въ простое мычанье. Но какъ ни безсвязно бывало иногда это бормотанье пьяныхъ гулякъ, все-таки, слушая его, можно было понять, что и сами пьяные, и ихъ пьяныя рѣчи имѣютъ какую-то связь съ только-что затихшей на той сторонѣ свалкой. Не разъ смущали меня эти ночныя исторіи и эти толпы пьяныхъ людей, по ночамъ шатавшіяся около моей дачи. Дача была совершенно одинокая, а народу, какъ говорятъ тамъ, въ деревнѣ, «много всякаго». Поневоѣ подумаешь о томъ, что это за люди, которые чуть не каждый вечеръ производятъ драку, съ криками и со слезами, и потомъ по ночамъ шлеются съ какими-то угрозами около дома... Не разъ я спрашивалъ у крестьянъ «съ той стороны», случайно сталкиваясь съ ними, когда они иной разъ перебирались на нашу сторону за сѣномъ или за дровами, такъ какъ ихніе луга и лѣсы были на нашей сторонѣ, но никто изъ нихъ не далъ мнѣ опредѣленнаго отвѣта: «Пьянствуютъ поди. Вѣдь нонѣ воля — свободно стало!» — «Вѣдь нонѣ нешто мало безобразіевъ-то?» — «Намъ, батюшка, недосугъ за этимъ глядѣть — намъ впоору съ своей работой управиться, а не то чтобы на какихъ подлецовъ смотрѣть. Нонѣ всякаго есть и хорошаго, и худого, сколько угодно... Кто такой

шумить?—А Господь их вѣдаетъ. Такъ, должно быть, какіе-нибудь пьяницы...» и т. д. А шумъ и драки на той сторонѣ продолжали повторяться, какъ и прежде, черезъ день, черезъ два. По праздникамъ и по воскреснымъ днямъ они бывали ужъ непремѣнно.

Заходитъ однажды ко мнѣ волостной старшина, съ которыми я познакомился уже давно, просится посидѣть—«подождать одного человѣчка». Человѣчекъ долженъ проходить какъ разъ мимо моей лачи, такъ вотъ старшина и сѣлъ къ окошку, къ-торое выходитъ на дорогу.

— Что это за драки на той сторонѣ? спросилъ я его.

— Какъ драки?

— Черезъ день, черезъ два ужъ непремѣнно и шумъ, и драки, и крикъ на той сторонѣ.

— О, да, да... Ужъ давно я думалъ вывести, искоренить это гнѣздо, да все недосугъ. Проститутки живутъ—ну, и пьянство...

— А драки-то?

— Да ужъ одно безъ другого не ходитъ. Что и за гулянье безъ драки...

— Да какія-же тутъ у васъ проститутки?

— Очень просто—гуляшкія...

— Какимъ-же образомъ завелись онѣ тутъ?

— Завелись-то онѣ въ прежнее время... Началось это, видите-ли... стоялъ полкъ по близости. Вотъ откуда пошло направленіе это самое... Да и по сейчасъ не вдалекѣ войска стоятъ и солдаты шляются... Началось-то съ войсковъ—ну, а потомъ и пошло, и свои пошли баловаться... Вѣдь нонѣ народъ распустился, не дай Богъ... Хлопотъ-то, ежели-бы знали, сколько, не приведи, Господи! Какъ есть съ этой должностью всего хозяйства рѣшишься. Вотъ хотъ-бы сейчасъ: шляется къ этимъ проституткамъ солдаты, а потомъ и стали въ лаваретъ поступать... Теперича вотъ предписано мнѣ всѣхъ этихъ шкуръ представлять каждый вторникъ къ доктору—нарочно земскій докторъ пріѣзжаетъ. Четверыхъ я ужъ сегодня представлялъ—отпустили; а вотъ пятую—она-то должно-быть и корень всему—вотъ и дожидаюсь теперича... Докторъ тамъ сердится, а я сиди вотъ, гляди... А свое дѣло стоитъ.

— Такъ вы эту «пятую» дожидаетесь?

— То-то и есть... Докторъ сердится, а гдѣ я ее возьму? Она вонъ на покосъ ушла—жди ее!

— Такъ она и на покосъ ходитъ, и проститутка?

— Да вѣдь надо жрать-то что-нибудь? Теперь поденно, на хозяйскихъ харчахъ, бабѣ тридцать копѣекъ даешь въ сутки—какъ-же не идтить-то? А гуляшкой вѣдь не проживешь. Видите, каковы гулянки-то: рубль пропить, да на три цѣлковыхъ реберъ поломають... Каждый вечеръ сами слышите, какъ плачутъ гулянки-то... Вѣдь иной пьяный саврасъ какъ разойдется-то, кулачише-то разсучить... Да съ этихъ гулянокъ и не прожить; нонча хлѣбъ дорогой, а вѣдь надо каждый день что-нибудь покушать... Водкой-то пожалуй напоятъ, да кулаками накормятъ—съ этого сытъ не будешь, такъ какъ же ей на косовицу-то не идтить?

Я думаю, она горячаго-то не ѣстъ по цѣлымъ зимамъ, а тутъ каждый день какъ-никакъ—похлебка...

— Какъ-же это такъ? Кто-же онѣ такія?

— Какъ сказать?... Вѣдность!.. Вотъ теперича—которую я жду женщину—отца у нея нѣтъ, и матери нѣтъ, а братъ въ Питерѣ... Тоже, скажутъ, пьянствуетъ—за паспортъ деньги не присылаетъ. Хочу вытребовать, ужъ и бумагу послалъ... Вотъ и живетъ... Какъ одной-то справиться въ разстройство? Вотъ и идетъ въ грѣхъ... А по нѣшнему времени много охотниковъ-то: и солдаты есть, и свои, сѣнники, приказчики—разнаго народа много... А вотъ никакъ и мои красавицы!..

Въ самомъ дѣлѣ, по дорогѣ, направляя къ перевозу черезъ рѣчку, шла толпа крестьянскихъ женщинъ, босикомъ, съ граблями на плечахъ, въ подолнутыхъ платьишкахъ и въ однихъ новышкахъ, съ голыми, черными отъ солнечнаго загара шеями. Старшина взялся за шапку, распрощался и торопливо вышелъ на дорогу. Изъ окна я видѣлъ, какъ онъ помахалъ бабамъ рукой, приглашая остановиться, какъ вошелъ въ толпу, говорилъ что-то и какъ потомъ одна изъ женщинъ, передавъ грабли сосѣдкѣ, вышла изъ толпы и отошла съ старшиной въ сторону... Бабы постояли еще съ минуту, столпившись кучей, но потомъ опять выстроились въ шеренгу и пошли своей дорогой къ перевозу. Старшина и несчастная проститутка остались одни на дорогѣ и разговаривали. Высокая, сгорбленная, нищенски одѣтая и уже не совсѣмъ молодая на видъ баба, потупившись, слушала то, что ей говорилъ старшина. Раза два она пробовала что-то отвѣтить ему, крестясь и ударяя рукой въ грудь, но голоса не было у нея. Видно было, что она съ огромными усилиями старается сдѣлать свою рѣчь звучной, но не выходитъ ничего кромѣ хрипоты. Но вотъ она взялась за фартукъ, заплакала, подняла фартукъ къ глазамъ и поплелась вслѣдъ за старшиной. Старшина въ новомъ черномъ картузикѣ, въ опрятненькомъ пиджачкѣ, надѣтомъ сверхъ красной русской рубахи, выпущенной изъ-подъ жилета, и въ новенькихъ блестящихъ сапогахъ съ бураками, шель, пожимая плечами и разводя руками, впереди, а баба, поминутно утиравшая фартукомъ то носъ, то ротъ, то глаза, шла за нимъ. Они шли въ волостное правленіе, которое помѣщалось въ деревнѣ на нашей сторонѣ и куда завѣзжалъ по временамъ деревенскій врачъ.

Тяжелое впечатлѣніе этой сцены, горькая участь этой несчастной деревенской проститутки (да, читатель, у насъ уже есть деревенская проституція!), которой нечего ѣсть, которая по цѣлымъ зимамъ не ѣстъ ничего горячаго, которую поятъ водкой и бьютъ и которая въ то же время охотно работаетъ обыкновенную крестьянскую работу, находя очень выгоднымъ получать тридцать копѣекъ въ сутки и похлебку,—все это было новой прибавкой къ той массѣ впечатлѣній «ненужнаго зла»,—зла, которое не можетъ не быть у насъ, но которое однако плодится и множится вопреки всякому смыслу человѣческому, котораго такъ много даетъ раз-

строенная деревня каждый день и каждый часъ. Что дѣлать съ впечатлѣніями такого рода? Обыкновенно они не то чтобы забываются, а какъ-то изнываютъ въ душѣ, прибавивъ къ постоянному ощущенію какой-то душевной тяготы, испытываемой въ деревнѣ при видѣ, повторяю, явленій «ненужнаго» зла, еще новую тяжесть. Но на этотъ разъ новое тяжелое впечатлѣніе не имѣло обычнаго результата — ему суждено было осложниться новыми, не менѣе тяжелыми подробностями. Во-первыхъ, въ этотъ же день, часа черезъ два послѣ того, какъ старшина увелъ бабу въ волость, мнѣ опять пришлось встрѣтиться съ нимъ.

Я сидѣлъ у воротъ дачи, когда онъ возвращался изъ волости.

— Ну, что? спросилъ я его какъ-то машинально.

— Посадили! отвѣчалъ онъ, пожавъ плечами и поздоровавшись.

— Кого посадили?

— Да эту самую проститутку-то!.. Посадили въ холодную.

— За что же?

— Да куда я ее дѣну? Докторъ ждалъ, ждалъ — не дождался, общался пріѣхать послѣ, а пока что, оставилъ записку — «надзирать»... А какъ я буду надзирать за ней? Не караульщика же въ самомъ дѣлѣ нанимать мнѣ... На какія деньги?.. Ну, и распорядился запереть въ темную... Накормить — накормить... А вѣдь такъ-то пустить на волю — она вонъ совсѣмъ ужъ голоса лишилась — такъ ее пустить нельзя.

— Почему же въ холодную?

— Да куда же-съ? Вѣдь нѣту... Вѣдь у насъ ничего этого нѣту... Больница за пятьдесятъ верстъ... Вѣдь нѣту этого ничего... У насъ холодная за все — и клиника, и тюрьма, и исправляемъ, и отрезвляемъ, и внушаемъ — все въ одномъ мѣстѣ. Заперъ въ холодную — и все! Кабы какіе прочіе способы были, или что-нибудь по-христіански, а то вѣдь нѣту. Холодная — это есть — ну, и сажаемъ... Даже странники, которые, бываетъ, ко святымъ мѣстамъ идутъ, ночевать просятся — и тѣхъ, бывало, въ холодную на ночлегъ запираемъ, потому народъ набаловавши, распустивши... Иной странникъ попросится ночевать, да и обмоледствуетъ что-нибудь изъ сундука...

Старшина помолчалъ, отеръ платкомъ лобъ и проговорилъ:

— Конечно воешь, сидеть... Я и самъ понимаю, что за удовольствіе за желѣзной рѣшеткой сидѣть, да вѣдь, матушка моя, ничего не подѣлаешь... Вѣдь этакую болѣзнь въ народѣ разводить — тоже не хвалить за это... Я ужъ и такъ отвѣчаю, отвѣчаю, ужъ и отвѣчать-то усталъ...

Прибавивъ своимъ рассказомъ къ тяжелому впечатлѣнію дня еще новую тяжелую и непривѣтливую черту, старшина ушелъ. Но этимъ дѣло не кончилось, и на другой же день послѣдовало новое дополненіе.

— Петръ Петровичъ васъ спрашиваетъ, сказали мнѣ утромъ слѣдующаго дня.

Петръ Петровичъ былъ все тотъ же старшина — Гдѣ онъ?

— Онъ на лошади, въ телѣгѣ.

Я вышелъ на дорогу. Петръ Петровичъ сидѣлъ, а внизу, въ ногахъ у него, на мѣшкѣ, сидѣла дѣвочка лѣтъ четырехъ и во всю ночь заливалась горючими слезами. Вся она была въ грязи. Въ одномъ ситцевомъ платьишкѣ, которое замѣняло и рубашку; ноги были босыя, грязныя, а голова простоволосая.

— Что мнѣ вотъ съ этой дѣвочкой дѣлать? Матку-то сегодня въ лазаретъ отправили, а вотъ дочка осталась.

— Это той, про которую вы вчера рассказывали?

— Вотъ этой самой дочѣ... Мать-то, должно-быть, не сказала доктору — думала отпустить — онъ уѣхалъ, приказавъ отвезти ее въ лазаретъ, а про дѣвочку ничего не сказано... Отдать къ матери — ну-ко и дѣвочка захвораетъ? Такъ что бы чего — на ней непримѣтно, ничего худого... Оставить здѣсь — никто не беретъ, боятся. И въ самомъ дѣлѣ, можетъ и дѣвочка больна.. Куда я съ ней дѣнусь?

Дня черезъ два-три дѣвочку эту удалось пристроить у одной вдовы; но теперь, въ эту минуту, про которую я рассказываю, положеніе ея было самое трогательное.

— Взять?.. Но можетъ-быть она больна?.. Не взять, такъ куда же она дѣнется?

Къ телѣгѣ подошло еще нѣсколько человѣкъ, два мужика и баба. Всѣ мы стояли и думали, но ничего не могли придумать.

— Ну, куда я ее дѣну? спрашивалъ старшина. — Да не кричи ты! Чего горло-то палишь?.. Не пропадетъ твоя мамка.

— Больная ежели, не возьмутъ! говорила баба и мужикомъ подтверждали.

«Холодная» и тутъ рисовалась, какъ единственное нейтральное спасительное мѣсто, но оставить дѣвочку въ холодной было невозможно.

— Н-нѣтъ! подумавши и покачавъ головой, проговорилъ одинъ изъ зрителей и пошелъ прочь.

— Кабы знато, что здорова, а то нѣтъ! сказала баба и тоже ушла.

— Еслибы здорова... сказалъ я.

— Ахъ ты, Господи! произнесъ старшина и послѣ нѣкотораго молчанія и раздумья сказалъ кучеру: — Н-ну, дѣлать нечего, трогай!..

— Куда ѣхать-то?

— Трогай, я тебѣ говорю!.. Поѣзжай прямо.

— Куда прямо? Ѣхать, такъ надо къ мѣсту.

— Да и безъ тебя знаю, что къ мѣсту. Не въ лѣсъ поѣдемъ... Садись на передокъ-то!..

— Мнѣ сѣсть то недолго... А ѣхать-то куда? Мнѣ тоже лошадь-то самому нужна.

— Ну, не разговаривай, потрогивай!.. Знаешь, куда ѣхать.

Говоря: «знаешь, куда ѣхать», старшина однако не отдавалъ никакого-либо опредѣленнаго приказанія; онъ поправлялся на сидѣньѣ, усаживался поудобѣе, но видимо неумолялъ, куда напра-

вить путь. Но вдруг его осынала мысль, онъ устылся и крикнулъ:

— Пошелъ назадъ! Поворачивай за рѣку!.. Не знаю, куда ѣхать... Авось, найдемъ. Потрогивай-ка, а не разговаривай!

— Куда жъ вы? спросилъ я.

— А къ старостѣ. Сдамъ ее— вотъ и все. Общество, такъ и отвѣчай за своихъ.

— А какъ и тамъ никто не возьметъ?

— А мнѣ какое дѣло! Что я — нынька что ли? У меня двое сутокъ ушло, а мнѣ каждый день пятнадцать цѣлковыхъ убытку... Поворачивай-ка съ Господомъ...

— А какъ не возьметъ староста-то? повторилъ я еще разъ, когда телѣга стала поворачивать отъ дома на дорогу.

— А въ холодную не хочешь? обернувшись назадъ, отвѣтилъ старшина и раскланялся.

Телѣга поѣхала назадъ, за рѣку, и дѣвочка снова залилась горячими слезами.

Дня черезъ два, черезъ три, какъ я уже говорилъ, кое-какъ удалось устроить эту дѣвочку у одной престарѣлой вдовы — это я зналъ навѣрное — но что съ нею, куда она дѣвалась и гдѣ ее мать, до сихъ поръ ничего неизвѣстно. Не разъ встрѣчаясь послѣ того, какъ дѣвочка была устроена, со старшиной, я спрашивалъ его и о дѣвочкѣ, и о матери, но онъ ничего не зналъ. «Слава тебѣ Господи, хоть съ рукъ сбьютъ! — Вѣдь, ей-Богу, и безъ этого хлопотъ не оберешься». Но зато неожиданный случай далъ мнѣ возможность узнать всю исторію разстройства этой семьи, изъ которой вышла эта гулящая, избитая и больная мать, отправленная въ лазаретъ, эта дѣвочка, которая неизвѣстно гдѣ находится, и братья ее матери, про котораго старшина сказалъ, что онъ пьянствуетъ въ Петербургѣ и не высылаетъ денегъ на паспортъ. Читатель помнитъ, что старшина не хотѣлъ высылать ему паспорта и что слѣдовательно онъ волею-неволей долженъ былъ воротиться въ деревню.

И онъ действительно воротился.

Нѣсколько разъ говорилъ я знакомымъ мужикамъ, чтобъ они прислали кого-нибудь выкосить дворъ и садъ при дачѣ — они за лѣто сильно заросли травой — и всякій разъ мнѣ говорили: «хорошо, ладно, придемъ или пришемъ»; но такъ какъ пора работы была горячая, то отрываться отъ нея для такого ничтожнаго дѣла, какъ косьба сада, было не изъ чего. «Успѣетсяя». Но вотъ однажды въ ворота дачи вошелъ человѣкъ, неся на плечѣ косу; повидимому это былъ представитель той деревенской голи, которой такъ много теперь возвращается изъ столицъ въ деревни, съ пьяными синяками по всему лицу, безъ копѣйки и иногда буквально безъ одежды, если не считать рубахи и штановъ за единственную одежду, прикрывающую отъ непогоды. Роста онъ былъ высокаго, въ кости широка, но худъ и вялъ, хоть и молодъ. При первомъ же взглядѣ на его лицо, носившее слѣды пьянства и болѣзни, не трудно было видѣть, что

онъ только-что продолжительно хворалъ. Голосъ, лазаретный цвѣтъ лица, голова, обстриженная подъ гребенку и мѣстами совершенно облѣзлая, и какія-то розовыя язвы, какъ-бы чуть-чуть затянутыя кожей, говорили, что онъ былъ боленъ крѣпко и притомъ нехорошо... (Я предупреждалъ читателей насчетъ непривлекательныхъ подробностей и еще разъ предупреждаю.) Снявъ рыжій рванный картузъ и обнаживъ большую голову, онъ сказалъ, что прослышалъ насчетъ косьбы, и просилъ ему дать эту работу. «Что пожелаешь...» сказалъ онъ относительно цѣны. — Какая это работа!.. Нешто такія работы работали?.. Теперь и косы-то вотъ нѣтъ... Коса была со сломанной ручкой и лезвіе ея, почернѣвшее отъ сырой травы, было тонко и глубоко выѣдено брускомъ: видно, что коса много служила на своемъ вѣку.

Сталъ онъ косить. Косилъ плохо, хоть и съ жаромъ принялся за работу: видно было, что онъ разучился, если и умѣлъ, и что недавняя болѣзнь ослабила его силы. Съ двухъ-трехъ взмаховъ покосилъ, вспотѣлъ и ужъ вытиралъ лобъ. И все время онъ говорилъ, что «такъ-ли кашивали!.. Первый косакъ былъ.. А теперь и косу-то занялъ у людей, и то наслу-наслу дали — хоть помирай». Разговорились мы, и скоро оказалось, что это тотъ самый Михайло, пьяница петербургскій, про котораго говорилъ старшина и сестру котораго увезли въ лазаретъ. Эта куча больныхъ, и битыхъ, и пьяныхъ людей безъ кола, безъ двора и безъ хлѣба — невольно заставила меня подробнѣе разспросить о причинѣ разстройства ихъ семейства, и вотъ что объ этомъ рассказалъ мнѣ Михайло.

«...Какъ вспомнишь, какъ въ прежнее-то время жили — вѣрите-ли, сердце кровью обольется... Теперича, говорю, вотъ и коса чужая, и на себѣ ничего нѣту, и сестра эва въ какомъ мѣстѣ находится — срамота, не глядѣлъ-бы набѣлый свѣтъ... И не знаю, за что и взяться, и съ чего начинать... Взяться-то не съ чего — синя пороха нѣтъ — и все было, все было хорошо, исправно... И давно-ли? Почитай есть-ли годовъ пятокъ, много-много лѣтъ шесть, какъ людямъ жили, семействомъ, а теперь вотъ... (Разсказчикъ утеръ слезу.) Конечно маменька-покойница рано померла, а все жили ладно; отецъ-родитель — царство ему небесное! — крѣпкій былъ человѣкъ, неустанный работникъ, и въ ту пору, какъ бѣдѣ-то случиться, было у насъ земли на три души. Первый работникъ — родитель, второй я — мнѣ ужъ тогда подъ двадцать годовъ подошло, а третья — сестра, вотъ которая теперича занапрасно пропадаетъ... Въ ту пору была она дѣвка славная, годовъ подъ семнадцать. И что дальше, то все-бы лучше должно выходить: первое — сестру замужъ, хотѣли работника въ домъ взять, потому тятинька нашъ добрый былъ человѣкъ, душевный, жалостливый. Любилъ онъ насъ, родители нашъ милостивый, отъ сердца любилъ. «Не отдамъ, говоритъ, Марушку въ чужіе люди, найду ей жениха, — пусть на моихъ глазахъ живутъ»; да и мнѣ пора ужъ была въ законъ вступать... И была-бы у

насъ семья полная, въ полномъ видѣ. Такая семья выходила первый сортъ — все молодые, а большакъ — добрый и ласковый... И непременно-бы такъ и было, и въ ту-же осень все-бы такъ и исполнилось, потому урожай страшный былъ въ тотъ годъ. Страсть, что былъ за урожай — старики не запомнятъ такого года благословеннаго. Все выходило по хорошему, по-пріятному — анъ и случилось невѣдомо что... Охъ, Господи помилуй, Господи помилуй!.. Подумаешь, подумаешь... Я вотъ теперь плелся изъ Питера-то, Христовымъ именемъ побирался; и чего-чего ни передумалъ, чего-чего ни намучился, вспоминаячи-то... И думается такъ: боли-бы ежели въ тотъ годъ не случилась весна ранняя, такъ и не было-бы ничего этого, и все-бы было по-хорошему, и тятенька былъ бы живъ-живехонекъ, и Марутка-бы въ законѣ жила, да и я бы былъ вполне какъ должно человѣку быть, а не ежели подобнымъ какъ есть подлецомъ... То-то вѣдь Господь-то... Премудры его вѣдѣнія...

«И случилась въ тотъ годъ, говорю я вамъ, ранняя весна. Никогда старики такой ранней весны не видывали. Зиму, почитай, что и снѣгу не было — все тепло и туманъ... А ежели и снѣжокъ выпадалъ, такъ сейчасъ и дождь. И стала весна исполнѣ въ такую пору, когда въ прочія времена еще сугробы снѣга лежать и метели крутить по дорогамъ... Старикъ долго остерегался ее, этой весны-то, — думали, не ударятъ-ли морозы — анъ, нѣтъ, тепло и травка... Погодили, погодили и принялись за работу... И отработали мы весеннія дѣла почитай-что недѣли за двѣ раньше, чѣмъ въ прочіе-то годы... Отработали мы такъ-то, глядь — и весь порядокъ у насъ сдвинулся на бокъ, и вышло у насъ такъ, что передъ Петровымъ днемъ вылупились двѣ лишнія недѣли... Что по весеннимъ работамъ слѣдовало, то ужъ понабавили; а что надо было насчетъ лѣтнихъ — то рано. И межупары прошло, а все двѣ недѣли пустого мѣста остается; все передѣляли — какія мелочи, починки, а все много время... Чисто вотъ какъ трещина какая вышла!.. Хоть что хошь, а нѣту никакой работы... И направо работа была, и налѣво взять работы будетъ, а по середкѣ — ровно дыра какая... Ужъ мы въ это время и пѣсни играли, и такъ лежишь — спишь, сколько вѣзетъ, и опять за пѣсни — все некуда дѣвать. До того дошло дѣло, что ужъ старые старики, почтенные, и тѣ не знаютъ, какъ распорядиться, даже въ ладыжки — побожиться, не вру — игравали... Вѣдь даже смѣху достойно было смотрѣть, какъ прародители-то эти соберутся... «Ну-ко, говорятъ, кости-то поразмывать...» И въ рюхи игравали. Иной старикъ на одной ногѣ съ дубиной скачетъ, точно ребенокъ малый, — вспомнить, такъ посейчасъ смѣхъ разбегается...

«Вотъ разъ такъ-то вечеромъ и разыгрались — и старики и молодые, и дѣвки и бабы, и малые ребята... Веселое время было, у всѣхъ на сердцѣ было весело, потому урожай Господь давалъ небывалый... А ужъ какъ хлѣба много будетъ,

такъ мужикъ прямо отъ веселья пьянъ... Разыгрались до того, что даже староста обмотался весь холстами, да взмогнулся на ходули и сталъ народъ пугать... А мы, молодые, кто какъ — кто колесомъ, кто какъ обдумалъ... Вотъ и я тутъ-же. А я въ ту пору, хоть было мнѣ подъ двадцать годовъ, какъ вспомню, такъ былъ подобенъ малому ребенку. Ничего я тогда этого не зналъ — ни водки, ни трактировъ... Игралъ такъ, какъ ребята играютъ... Всѣмъ весело, а мнѣ пуще всѣхъ!.. И была у меня въ рукахъ дубина... Перво-наперво «въ рюхи» игралъ, дубиной бросалъ, а потомъ и такъ сталъ махать зря, старосту съ ходули этой дубиной снесъ, только всѣхъ насмѣшилъ... А надо вамъ сказать вотъ что: пришлось мнѣ везти на станцію какого-то приказчика и далъ мнѣ тотъ приказчикъ двадцать копѣекъ на чай; «поди, говоришь, выпей чаю». Вотъ я и былъ однова въ трактирѣ. Пилъ я чай и все глядѣлъ, какъ на бильяртѣ играютъ... Я ужъ послѣ узналъ, что это бильяртъ называется, а тогда я только смотрѣлъ, что за игра такая, и слушалъ, что говорятъ. Вотъ и запомнилъ я три слова: «Дуплетомъ въ уголъ — мимо!». Вотъ какъ разыгрались мы по деревнѣ, я и упомянулъ эти слова-то; и въ рюхи игралъ, а все повторялъ ихъ; и какъ съ палкой гулять сталъ, тоже все они на языкъ дѣзутъ. Тятенька покойникъ — веселый, помню, сидѣлъ на завалинкѣ — говоритъ: «что бормочешь?». А я не знаю, что эти слова и значутъ... Размахнулся дубиной, пустилъ ее въ рюху или въ собаку, а языкъ самъ прибавилъ: «Дуплетомъ — въ уголъ — мимо!». Играли, играли такъ-то; ужъ и темнѣть начинало — ужъ не одинъ староста, а человѣкъ пять на ходуляхъ по селу пошли дѣвокъ и бабъ пугать — стали медвѣдями наряжаться, а я все во всѣхъ мѣстахъ съ своей дубиной и все: «Дуплетомъ — въ уголъ — мимо...» Вдругъ какъ шархаетъ на меня изъ-за плетня мужикъ, прямо подъ ноги, на четверенькахъ, овчиной вверхъ одѣлся, заревѣлъ, я и не поостерегся да дубиной-то, значить «дуплетомъ — въ уголъ — мимо», какъ рѣзну съ разбѣгу-то, глядь — медвѣдь-то и растянулся... Застоналъ, распластался весь... Такъ я и ахнулъ... Вѣдь отца родного... Батюшки мои, батюшки мои миленькіе!.. (Разказчикъ плакалъ въ три ручья и косилъ.) Онъ, родимый мой, сидѣлъ, сидѣлъ на завалинкѣ-то, любовался баловствомъ нашимъ, потомъ (сестра сказывала) «погоди, говоритъ, я ихъ пугану...» Пошелъ, надѣлъ овчину, да на четверенькахъ и сунулся въ народъ, замычалъ по медвѣжьимъ... Тутъ-то я его и...

«Ужъ тутъ-то я рыдалъ, тутъ-то я тятеньку моего родного, батюшку, цѣловалъ-обнималъ, тутъ-то я убивался! Кажется, все нутро у меня какъ щель распахнулось отъ горя, отъ тоски... А ужъ конечно, ничего не подѣлаешь... Аминь!.. Какъ что было, ничего не помню: какъ хоронили, какъ меня мыкали-судили, какъ въ темной сидѣлъ, какъ въ судѣ былъ, что говорилъ — все равно какъ во снѣ это для меня было... (Окончилось

дѣло—на годъ на покаяніе въ монастырь Покуда судъ, да всякая воложба шли, такъ еще все и опаматоваться не могъ, все какъ сонный... А какъ опредѣлили меня въ монастырь—въ лѣсу онъ стоялъ, тихо тамъ, народу нѣту, праздники осеніе—какъ остался я тутъ, и сталъ думать, сталъ соображаться, какъ быть, чтó дѣлать... Сталъ думать-то, а дѣлать ужъ нечего—ужъ все пошло прахомъ, все повалилось... Замѣсто того, чтобъ объ осени двѣ свадьбы играть да на двѣ души силы прибавить—ежели-бы то-есть сестринъ мужъ и моя жена прибавились—пришлось дому остаться совсѣмъ безъ народу: меня нѣту, родителя нѣту, осталась одна сестра... Пришло бѣднѣ такъ, что продала на корню весь хлѣбъ, подати еле-еле отдала, двѣ души въ общество сдала и ужъ кое-какъ выплакала земельки на одну-то душу—думаешь, ворочусь я все какъ-нибудь... Какая была скотина лишняя—продала, наняла работника, посѣялась и перебивается зиму-то съ хлѣба на квасъ... А зима опять безъ снѣгу стояла и опять весна ранняя, да тутъ ужъ не такъ, какъ въ прошлый годъ. Вся деревня съ весны тосковать стала, потому въ позапрошлую зиму хоть и не было снѣгу, да мѣста у насъ и такъ мокры, тепло-то и взялось за эту сыр, да за лѣто-то всю ее и вытянуло изъ земли-то. Урожай былъ точно на диво... Ну, а ужъ на другой-то годъ, безъ снѣгу-то, ужъ трудно землѣ-то стало. А весна-то пришла жаркая, сухая; стало палить-нажаривать съ самыхъ первыхъ дней; выдернуло колосья сразу, а потомъ и стало его жечь. Земля стала бѣлая, и чтó дальше; то крѣпче... Молились, молебны служили, а не далъ Богъ дождя; сдѣлалась земля какъ камень крѣпкая. Тутъ ужъ не до гулянки. Не то чтобы пѣсни пѣть, а, разсказываютъ, принялись бабы выть, да обмывать, да за обѣдней выкликать зачали... Пошли слухи про свѣтопреставленіе, про антихристово пришествіе... Затосковалъ народъ... А солнце палить, какъ печка раскаленная. Прижгло все начисто. Еле-еле на двѣ недѣли травы собрали, сѣмянъ только-только на посѣвъ, да и то у исправныхъ, богатыхъ, а ужъ нашъ домъ совсѣмъ развалился. Осталась сестра безъ всего... Какія были деньжонки или скотина—все разошлось въ годъ-то по-мелочи... Одному мнѣ сколько, сердечная, передавала! Все надо! и по судамъ, и въ монастырь—письмо написать, сторожудать, караульнаго поблагодарить, когда булочку купить, изъ одежды тоже нуждался... Все по-мелочи, по мелочи, а все не въ домъ, все изъ дому... А въ монастырь братія тоже не ласкова. Коли не угостишь... Тутъ я съ тоски по разоренью и самъ сталъ рюмочки придерживаться, а до этого капли не бралъ... Исхудалъ я тутъ, истосковался, измучился—не знаю, чтó и будетъ... Отбылъ свой терминъ, пошелъ въ деревню... Ничего нѣтъ! И послѣдней души удержать не могу—сдалъ. Тутъ вступилъ Ермолаевскій полкъ (должно-быть Ингерманландскій), въ десяти верстахъ сталъ. Стала сестра ходить туда стирку брать... А я и не знаю, за что взялся. Стали у насъ на деревнѣ ребята

собирались въ Питеръ на поденщину—ну, подумалъ-подумалъ, и ушелъ съ ними... Авось, думаю, счастье Богъ дастъ... И что-же вѣдь? Послалъ Господь, да дуракъ я былъ—не умѣлъ я понимать... Вотъ, наше горе мужицкое—обломы, неотесы!.. А вѣдь какая штука-то навернулась, сказать ли тебѣ?..

Разсказчикъ помолчалъ, заинтересовывая меня и этимъ молчаніемъ, и загадочно-развеселившимся лицомъ.

— Въ любовники прямо, съ одного маху влетѣлъ почитай—что только носъ показалъ въ Питеръ-то!.. Да вѣдь, братъ ты мой, порція-то какая попалась! Своихъ, чистыхъ денегъ скоплено было у ей, у этой самой Аграфены, подъ пять сотъ рублей да два сундука всякаго добра нажито, пудовъ по двѣнадцати въ сундукъ! Вѣдь вотъ какая штука подвернулась! Мнѣ-бы—ежели-бы, то есть, имѣлъ я человѣческій умъ—мнѣ бы самому надобно-бы ее на бракъ склонить. Я-бы самъ долженъ былъ вовлекать ее въ это дѣло, да на пять-то сотъ въ своей-же деревнѣ кабакъ, либо лавочку открыть, и были-бы всѣ сыты, и все-бы было честно, благородно. То-то ума-то нѣтъ!.. На мѣсто того за всю ейную любовь только и было моихъ мыслей, какъ-бы ей хуже сдѣлать, чтобы ей было какъ посквернѣй. Вотъ какая дубина!.. Потому что не понималъ я этихъ любовныхъ поступковъ; представилось мнѣ все это какъ подлость одна... Неотесъ!..

— Перво-наперво, недѣли съ двѣ, какъ въ Питеръ-то пришли мы, шлся я безъ всякаго пропитанія... Еле-еле три копѣйки на ночлегъ выпросилъ Христа-ради... Думалъ, подохну гдѣнибудь, какъ собака... А тутъ иду снова по Пескамъ, по Восьмой улицѣ,—сидитъ у воротъ старичокъ дворникъ... Иду и самъ не знаю куда Увидалъ старичка, говорю: «Нѣтъ-ли какой работы?» Сначала-то говорилъ—нѣту, а потомъ поразговорился, поразспросилъ—«постой, говорить, я къ барыѣ пойду»... Пошелъ и въ скорости воротился.—«Хочешь, говорить, три рубля—оставайся!» Я и остался въ подручные ему. Домикъ былъ не великъ, деревянный, шесть квартиръ, во флигелѣ еще три махонькія... Вотъ я и сталъ ворочать и воду, и дрова, и соръ... Радъ, что кошъ ши-то ѣшь каждый Божій день. Вотъ въ это время и увидалъ я Аграфену. Принесъ я въ первый разъ дрова въ хозяйскую кувшину, вижу—женщина, одѣта по-хорошему, ростомъ коротковата, волосомъ черная, а годовъ ей на видъ ужъ за тридцать, однако не похожа на старуху. Увидѣла она меня и остановилась, и смотритъ—я дрова складываю, а она смотритъ; потомъ вздохнула и пошла, а потомъ опять пришла. Она мнѣ потомъ сама сказывала: «ты, говорить, сразу мнѣ полюбился. Я, говорить, какъ увидала тебя, такъ въ ту же пору о тебѣ затосковала...» А меня—я по совѣсти говорю—ежели-бы съ недѣлю покормить въ ту пору хорошо, такъ я-бы послѣ годоводки-то ловко выправился... Вотъ Аграфена-то и поняла это. Пришелъ я на другое утро съ дровами, опять она на кувшнѣ.—«Ты, говорить, усталъ

вотъ тебѣ кофейникъ, пей кофій съ чернымъ хлѣбомъ». Выпилъ я тутъ стакановъ съ десятокъ—до того, что ужъ одинъ кипятокъ въ стаканъ наливаю, а Аграфена только ужимается, головой качаетъ. Съ тѣхъ поръ стала она меня въ свою комнату звать кофій пить. Приду, сложу дрова, или воду вылью въ кадку—«иди кофей пить». Заведетъ меня подъ лѣстницу, принесетъ булокъ, калачей—ѣшь! Я пью, ѣмъ, а она на свою горькую участь жалуется. «Всю жизнь, говоритъ, свѣту не видала. Сирота круглая. Съ малыхъ день жила въ казенномъ пріютѣ, кормили плохо, строгости большія, все божественному учили, чтобы потомъ въ прислуги въ хорошія отдавать... Взяли, говорятъ, потомъ въ прислуги, прожила я въ хорошемъ домѣ двадцать лѣтъ—ни дня, ни ночи не видала покою. Барыня была старуха божественная, поѣдомъ ѣла. Сколько, говоритъ, жениховъ сваталось—всѣхъ прогнала барыня-то. Жениха прогнать, а мнѣ пригрозить: въ аттестатѣ напишутъ!.. А не то, говоритъ, иди: ни жалованья, ни одежи не дамъ. Такъ и жила какъ въ тюрьмѣ». Померла эта божественная-то барыня, поступила Аграфена къ другой,—къ той самой, у которой домъ и гдѣ я мѣсто получилъ. Жила она здѣсь свободно, барыня была вдова, все плакала по мужчинамъ—все они ее обманывали... И Аграфена также все о мужчинахъ тосковала, что дожила она до какихъ лѣтъ, а никакого удовольствія не видала. Вотъ онѣ обѣ и сошлись—и барыня, и ключница. И у куфарки былъ любовникъ—музыкантъ полковой. Такъ у нихъ у всѣхъ и было согласно все по любовной части. Однѣ женщины да любовники, только Аграфена все разыскивала себѣ по сердцу. А тутъ и нанеси меня нелегкая... Вотъ и стала она меня кофиемъ поить да горькую участь свою рассказывать... Я пью-ѣмъ, а она говоритъ-говоритъ, какимъ хорошимъ женихамъ отказала, какъ свѣту не видала, да и заплачетъ. Я поѣмъ, попью и—уйду. А сталъ я шибко разѣдаться съ этихъ кофиевъ. Стала Аграфена меня даже котлетами кормить съ барышняго стола и между прочимъ плачетъ и говорить: «И кто-бы меня успокоилъ!..» Я поѣмъ и—пойду. Проходитъ время, стала Аграфена такъ говорить: «Миша, неужто ты меня не успокоишь? Развѣ ты не понимаешь, что я тебя кофиемъ пою и прочія предлагаю закуски не зря?.. Вѣдь зря-то, говоритъ, я и собакамъ могу выкинуть». А я, ей-Богу, передъ Богомъ сказать, въ толкъ не возьму, чѣмъ я ее успокою?.. Три рубля жалованья всего-то на мѣсяцъ—изъ чего тутъ угощать?—«Нечѣмъ, говорю, мнѣ тебя успокоить». Что день, то она все явственнѣе стала доказывать, а я все отвѣта ей не даю, потому порядковъ не знаю... День за день, день за день, наконецъ, того, однажды плакала-плакала она, покуда я пилъ-ѣлъ, потомъ видать, что отъ меня нѣту ей никакого смысла, отверла глаза платкомъ и говоритъ проворно таково: «Ну, говоритъ, коли ты до сихъ поръ ни въ чемъ не имѣешь понятія и словъ моихъ не слушаешь, такъ должна-же я

какъ-нибудь сама присодѣйствовать. Ступай, одѣвайся и жди меня за воротами». Допилъ я кофій, пошелъ, одѣлся и вышелъ за ворота. Спустя время выходитъ и Аграфена. «Иди, говоритъ, за мной». Ну, я и пошелъ. Она все попереду идетъ... Шли, шли и пришли въ Большую Мѣщанскую... Есть тамъ гостинница «Ломбардія», потому она какъ разъ напротивъ ломбарту помѣщается. Аграфена все впередъ, а я все за ней... Такъ нешто я понималъ что? Вѣдь никто ей не велѣлъ—сама догадалась...

— Н-ну, послѣ этого случаю и стала она меня подвергать къ себѣ—что ни день, то крѣпче—что ни день, то все строже... Первымъ дѣломъ подвела подъ барыню мину—старого дворника-старичка вонъ согнала съ мѣста. Двадцать лѣтъ онъ жилъ и вдругъ его выкинули. Даже заплакалъ пошелъ... Куфарка было вступилась за старичка, да Аграфена подвела тарпеду—и ее вонъ, и съ любовникомъ, всѣхъ прочь... Меня въ дворницкую. Подручнаго мальчишку изъ дворницкой—вонъ: спи, гдѣ хочешь, хоть помирай... Дворницкую вымыла, прибрала, выклеила; мнѣ—поддевку, сапоги, жилетку, часы—все за первый сортъ... Ну, а чтобы куда-нибудь отлучаться или что-нибудь—ужъ извини! Твѣ и смотреть изъ кувина на дворъ, точно ястребъ... Чуть мало-мало замѣш-калъ съ дровами гдѣ-нибудь въ квартирѣ—зоветъ на весь дворъ: «Михайла, Михайла! Гдѣ мой Михайла?». Цѣльный день по всему дому только и слышно: «мой Михайла, мой Михайла, мой Михайла, и мой, и мой, и мой, и мой...» Чистая срамота! А у ней даже ни капли совѣсти нѣту... Куфарокъ всѣхъ костить нехорошими словами во всю пасть; по всѣмъ кабакамъ по восьмой улицѣ обѣгала, чтобы мнѣ водки не давать: «если будете моему Михайлѣ водки давать—я васъ всѣхъ въ каторжныя работы отдамъ, денегъ не пожалѣю». Иной гдѣ-нибудь съ какимъ человекомъ или съ квартирантомъ поговоришь, хватъ—ужъ она всѣ портерныя облетѣла, во всѣхъ лавкахъ побывала: «не видали ли моего Михайлу?» И все ко мнѣ въ дворницкую; какъ урвется минутка—тутъ! А нѣтъ меня, опять: «Михайла, Михайла!» или: «иди, иди, иди!.. Домой, домой, домой...» То есть загоняетъ меня, какъ скотину хворостиною—и съ того боку, и съ другого, а ужъ вгонить въ дворницкую, или къ себѣ въ кувину... Народъ то сталъ смѣяться. Куфарки стали подражать—тоже принимались изъ кувинъ въ фортки кричать: «Михайла, Михайла! иди ко мнѣ ночевать!» А это ее пуще мѣтитъ... Однава лавочникъ въ шутку ей сказалъ: «твой Михайло вонъ къ той куфаркѣ пошелъ»—такъ, въ шутку—такъ она, ни слова не молвя, прямо ему въ виски впилась, еле отняла. Потомъ отдала у мирового пятнадцать цѣлковыхъ штрафа. «Только посмѣй кто, все рыло обору!» Вѣдь вотъ что за характерная женщина!..

— И стала она, братецъ ты мой, противна мнѣ. Кажется дѣйствительно, что надо бы мнѣ ей уваженіе дѣлать за всѣ ея угожденія: подручнаго на свой счетъ наняла, а меня ужъ прямо въ кувину

перевела, чтобъ я ничего не дѣлалъ—а нѣтъ, мутить меня и вся тутъ... И народъ смѣется—говорятъ: «нанялся въ любовники!..» И воли-то нѣту, да и грѣхъ... Она-было сама мнѣ насчетъ браку—«примемъ законъ!». «Нѣтъ, думаю, сравнить ли экую шкуру съ нашей деревенской!» А пуще всего стала она меня сердить сестрой... Я было ей сказалъ: «надо сестрѣ денегъ послать — чай, она тамъ пропадаетъ съ голоду». Ни копѣйки не дала: «Я, говоритъ, всю жизнь мучилась, да деньги свои буду давать. Мнѣ самой хочется имѣть отдыхъ.» Такъ и не дала... Разъ я погрозилъ: «уйду, найду себѣ другое мѣсто» — такъ какъ чортъ осатанѣла: «всю одежду отберу, жалованья не отдамъ, барыню упрошу и въ паспортъ напишутъ такъ, что никто не возьметъ». Конечно со-зла болтала, а случись, и ей-Богу бы сдѣлала. А безъ одежи куда я пойду?.. Скрѣплюсь, молчу, а дюже, дюже она мнѣ противна... А тутъ случилось—пришло письмо изъ деревни: пишутъ, сестра родила, гулять пошла... Вспомнилъ я нашу деревню, сестру, все наше горе и разоренье—и такъ меня засосало съ этого дня, и такъ мнѣ показалась горька моя кабала... Сталъ я пить, а Аграфену колотить... Раздумываешься, затоскуешь—и прямо въ кабакъ... Какъ Аграфена показала—а ужъ она сейчасъ мчится—такъ кулаки сами и зачнуть сучить... И больно ей доставалось... Долго я крѣпился, покорялся ей, а какъ сорвался да какъ пошелъ на отчаянность, такъ что дальше, то чаще. Придешь пьяный, разорешься, раздерешься, напикадались—барыня сама выйдетъ: «Сейчасъ убирайся со двора долой!». И сейчасъ Аграфена меня выручить. Спрячетъ, уложитъ, упроситъ, а сама передъ барыней—и на пяточкахъ, и на носочкахъ, и лапочками и бочками, и словами и глазами, и такъ и эдакъ, и вползетъ и выползетъ—хватъ и выпутала. Придетъ, говоритъ: «оставайся»—и все цѣлуетъ да плачетъ... Послѣ этого я недѣли съ двѣ погожу, покрѣплюсь — потому куда я въ самомъ дѣлѣ дѣнусь? Послѣ сестринаго горя и въ деревню-то страмъ показаться... А потомъ опять сдѣлаю скандалъ, барыня опять: «чтобъ сейчасъ твоего духу не было»,—а Аграфена опять заюлитъ, зазѣмъ, замутитъ передъ барыней, забормочетъ, замерячитъ, вплететъ и выплететъ — глядишь, и выюлила, и вызмѣила... Опять бѣжать: «оставайся!»

— Долго всего рассказывать... Только сколь она меня ни выправляла, а все а хуже и хуже сталъ забаловывать. Стала она мнѣ все противнѣй... Какъ вспомню деревню, бабъ нашихъ умницъ, работницъ, сестру мою горькую — убилъ бы Аграфену съ маху... Сталъ я отъ ней бѣгать по два, по три дня. Сталъ вещи пропивать да принялся шлаться по нехорошимъ мѣстамъ... Долго ли, коротко ли, а дошлялся я до того, что надо ложиться въ больницу... И что-жъ вы думаете? Какъ дошлялся я до этого, вдругъ мнѣ стало Аграфену жалъ... Такъ мнѣ стало ее жалъ—страсть! Вспомнилъ я, сколько она, бѣдная, меня любила, какъ за мной ходила.

всѣ деньги свои кровныя на меня провела—и вдругъ я ей скажу... Вѣдь она помереть должна отъ огорченія... Мнѣ бы сейчасъ сказать, а я пожалѣлъ и не сказалъ... Вижу я, что и она пропадаетъ, молчу и жалѣю. А она видитъ, что я жалѣю—рада, горькая, радешенька, не знала, какъ и угодить... Наконецъ того стали ей говорить: «Михайла твой такъ и такъ»... Куды тебѣ! Такъ и лѣзетъ къ мордѣ тому, кто скажетъ. Ни капли вѣры не даетъ. «Чтобы мой Михайла?.. Онъ меня любитъ (а я только и полюбилъ ее, какъ сталъ виноватъ), да чтобы онъ... Всѣ глаза выпараваю, кто скажетъ-то»... А я гляжу, затаилъ свою подлость да еще больше ее жалѣю.. А она все пуще влюбляется, даже не спрашиваетъ—«не можетъ быть этого». А ужъ гдѣ не можетъ быть...

— Барыня сама все раскрыла, заприѣтила и ту же минуту обоня насъ вонь... Аграфену и меня полиція въ больницу отвезла. Какъ узнала Аграфена правду, только поглядѣла на меня, ничего не сказала, и сдѣлалась съ ней точно какъ падачая... Вспоминать-то страшно объ этомъ, передъ Богомъ скажу!.. Какъ отвезли ее въ лазаретъ, такъ я съ тѣхъ поръ и не видалъ ее. А и самъ дюже я не по ней тосковалъ, да и сейчасъ сосетъ тоска... Долго я въ лазаретѣ маялся... Вышелъ вотъ мѣсяца четыре назадъ, всю одежду въ больницѣ проѣлъ, лицо у меня видите какое, не всякій пуститъ—сейчасъ видно, что нехорошо хворалъ... Идти мнѣ некуда. Думаю: «не розыскать ли Аграфену?» Справалялся и въ адресномъ, и въ участкѣ—нигдѣ нѣтъ. Пошелъ въ больницу, далъ писарю послѣдній рубль (сапоги продалъ), чтобы розыскать... Розыскалъ: «Сейчасъ, говоритъ, она на Преображенскій вокзалъ свезена... Померла вчерась»... Пошелъ я на Преображенскій вокзалъ, въ Гончарной улицѣ—по желѣзной дорогѣ покойниковъ отправляютъ—спрашиваю—не знаютъ. Нужно, говорятъ, нумеръ знать. Гробовъ-то много, нумера обозначены, а который гробъ Аграфенинъ—неизвѣстно... Паренекъ тутъ сидѣлъ на станціи, плакалъ: отправилъ онъ мать-покойницу, значить, багажемъ сдалъ на Преображенскую машину, а квитанцію-то отъ матери потерялъ... Теперь и бонься, какъ бы ему на кладбищѣ-то какого-нибудь другого покойника-то не выдали, а пуще всего какъ-бы въ матернину могилу другого покойника не положили. У одной генеральши—тоже вотъ такъ-то квитанцію отъ мужа потеряла—такъ вмѣсто мужа-то бухарца зарыли. Вотъ и я такъ-то безъ квитанціи-то... Гробовъ-то много, а которая тутъ Аграфена—не знаю... Постоялъ я, поглядѣлъ, поплакалъ, и пошелъ пѣшкомъ въ деревню.. Видите, каковъ вернулся?

Онъ снялъ картузъ и провелъ ладонью по облѣзлой головѣ. На глазахъ у него были слезы.

— А сестра-то!—сказалъ онъ и заплакалъ, залился и, утирая лицо концомъ рваной рубахи, шепчетъ:—теперь бы ужъ не то кабакъ, ужъ и трактиръ бы...

«Ну—скажете читатель—вѣдь нельзя же предвидѣть такихъ случайностей, какъ убійство играю-

чи»... Такихъ мелочей конечно, нельзя предвидѣть; но «спростство», какъ результатъ этихъ безчисленныхъ «мелочей», благодаря случайностямъ, представляющимъ крестьянскій трудъ,—надо видѣть,

и надо стараться, чтобы оно не было отдано на волю случая и полной безпомощности. Надо на свѣтъ и жить умные и ученые люди, чтобы неученый человѣкъ не пропадалъ понапрасну.

ПРИШЛО НА ПАМЯТЬ.

РАЗСКАЗЪ.

I. Встрѣча на Невскомъ.

Все, что написано ниже, пришло мнѣ на память случайно, неожиданно, и пусть не удивится читатель отрывочности этихъ случайныхъ воспоминаній. Произошло это отъ того, что воспоминанія нахлынули на меня въ самое неподходящее для нихъ время. Шелъ я какъ-то по Невскому, въ морозный зимній полдень, занятый *своими* мыслями, озабоченный своими заботами, шелъ, не видя ни толкотни, ни давки, не слыша ни единого звука, кромѣ тѣхъ, какіе слышались мнѣ въ моихъ молчаливыхъ размышленіяхъ; и вдругъ на углу какой-то изъ улицъ, впадающихъ въ Невскій,—сплошная масса народу всякаго званія и состоянія: и барышни съ портфелями нотъ, и рыбаки съ посудинами на головахъ, и чиновники, и офицеры, а среди улицы—масса остановившихся экипажей, каретъ, извозчиковъ, ломовиковъ, и все это сгрудилось въ кучу по случаю похоронъ какого-то военнаго.

Остановившись вѣстѣ съ другими и оглядѣвшись, я совершенно случайно увидѣлъ въ толпѣ какъ-будто знакомую мнѣ фигуру крестьянина, да и крестьянина какъ-будто узналъ меня. «Кто это такой?» думалъ я въ то время, когда военный оркестръ затянулъ унылое и длинное «Коль славень». Приблизившись къ крестьянину, я спросилъ его, гдѣ я его видѣлъ, и съ двухъ словъ мы совершенно узнали другъ друга. Мы—точно видѣлись и знали другъ друга, но давно, года съ два назадъ въ деревнѣ, гдѣ я провѣлъ цѣлое лѣто, первое самое пріятное деревенское лѣто... Въ то время Иванъ (такъ звали моего знакома) былъ простымъ работникомъ, и я видалъ его не иначе, какъ въ одной рубашкѣ; теперь на немъ былъ ватный картузь, тугой платокъ на шеѣ, ватная чуйка, а лицо уже не носило той загадочной драматической черты, которую я помнилъ въ немъ, а было какое-то глупо-важное, опухшее невздоровой полнотой, да и голосъ у него былъ сиповатъ.

Не смотря на то, что намъ было пріятно встрѣтиться, оживленнаго разговора между нами какъ-то не вышло. Слушая унылые звуки «Коль славень», глядя на публику, на солдатъ, на офицеровъ, державшихъ въ рукахъ подушки съ орденами и переминившихся отъ холоду съ ногами на погу,—мы перекидывались самыми ординарными вопросами и отвѣтами.

— Ты что-жъ, давно въ Петербургъ?..

— Да ужъ, почитай, съ годъ.

— Что-жъ... на мѣстѣ?

— Какъ-же, слава Богу!

И молчимъ.

— Хорошее мѣсто?

— Мѣсто? дай Богъ всякому, вотъ какое мѣсто!

— Гдѣ-же?

— На пивоваренномъ заводѣ.

И опять помолчимъ.

— Довольно я, говоритъ Иванъ,—на мужиковъ поработалъ, будетъ!.. Пущай кто другой опробуетъ. Я довольно это знаю, какъ въ работникахъ жить у мужика.

— Что-жъ, развѣ здѣсь лучше?

— Здѣсь-то? здѣсь вотъ какъ, я вамъ скажу: харчи ежели взять...

Неожиданно унылые звуки прекратились, раздалась глухая барабанная дробь, по поводу которой одинъ изъ рыбаковъ, находившійся въ публикѣ, замѣтилъ:

— Н-но! Горохъ просыпалъ!

А другой совершенно серьезно прибавилъ:

— Должно, мѣшокъ прорвался.

И этими двумя фразами унылое пастроеніе публики почти мгновенно перешло въ улыбающееся, а еще черезъ мгновеніе и совсѣмъ сдѣлалось веселымъ, потому что вслѣдъ за барабаннымъ боемъ офицеръ, сидѣвшій на конѣ, возгласивъ на всю улицу: «на плѣ-э-э... ччо!» повелъ взводъ солдатъ въ противоположную отъ процессіи сторону, причемъ музыканты, уткнувшись губами въ свои трубы, грянули на весь Невскій развеселый нѣмецкій вальсъ.

И не успѣла печальная процессія пройти по Невскому пѣста шаговъ, какъ вся недавно унылая отъ унылыхъ звуковъ толпа заплясала, зашагала въ тактъ развеселымъ звукамъ вальса, подпрыгивая и смѣясь тому, что вотъ никакъ нельзя удержаться, чтобы не плясать, и плясать притомъ совсѣмъ не во-время, совсѣмъ не у мѣста. А вальсъ все болѣе и болѣе раззадоривалъ публику.

На перекресткѣ въ одно мгновеніе образовался неистовый водоворотъ людей, экипажей и лошадей, все хлынуло сразу—и впередъ, и назадъ, и поперекъ. Пробиваясь сквозь толпу, я было совсѣмъ потерялъ Ивана, но, оглянувшись, увидѣлъ, что Иванъ догоняетъ меня, желая что-то сообщить и указывая на что-то руками и головой.

— Гляньте, гляньте, заговорилъ Иванъ:— вѣдь передъ Богомъ, это Варвара скачетъ!

— Какая Варвара!

— Вонъ, вонъ, глядите! торопливо заговорилъ Иванъ, повертывая меня за руку къ Невскому.

Посреди улицы, въ кучѣ хлынувшихъ другъ на друга экипажей, несло множество саней съ «погибшими созданіями». Извозчики, невольно покоряясь звукамъ вальса, улыбались и весело стегали лошадемокъ, неспихая вскачь; весело улыбались и погибшія созданія... А блестящіе вдругъ хлынувшіе на Невскій и весь Петербургъ лучи солнца, точно на посвѣяніе, какъ нельзя ярче высвѣтили передъ всѣмъ народомъ эти опухлыя, больныя, однообразно неживыя лица. Веселые извозчики очень скоро умчались изъ нашихъ глазъ.

— Ахъ какое сходствіе! передъ Богомъ, она... Какъ есть она самая—Ворвара?

— Какая Варвара? опять спросилъ я его.

— А работница-то. Помните, еще она меня ведромъ-то по этому мѣсту?

Иванъ показалъ на свою щеку и, видя, что я вспоминаю, прибавилъ:

— Ведро-то, песь ее возьми, согнулось, да ромъ что желѣзное... Вѣдь вотъ какой идолъ была...

— Нѣтъ, сказалъ я, вспомнивъ исторію съ ведромъ,— не можетъ быть!

— Охъ, что-то будто... Какъ есть Варвара!

— Нѣтъ, не можетъ быть... Ты обознался...

— Ужъ сходствуетъ-то оченно! А можетъ, что и опознался... Вѣдь это нешто долго!

На этомъ мы разстались, и разстались навсегда. Но это случайная встрѣча, несмотря на то, что я занятъ былъ *своими* дѣлами и заботами, вызвала во мнѣ множество деревенскихъ воспоминаній. Они возникали во мнѣ какъ-бы наперекоръ этимъ моимъ заботамъ и размышленіямъ. Недумайте пожалуйста, что все сказанное есть просто предлогъ для того, чтобы рассказать исторію погибшаго созданія. Нѣтъ! Повторяю еще разъ, воспоминанія были случайны, отрывочны и безпорядочны.

Такимъ образомъ, разставшись съ Иваномъ и продолжая путь по Невскому, я самъ не могъ объяснить себѣ, почему вдругъ мнѣ вспомнилось... сѣно... Слушая звуки удалявшаго оркестра и озвученный *своимъ* дѣломъ, я въ то-же время почему-то никакъ не могъ отогнать воспоминанія о привѣтливыхъ зеленыхъ лѣсныхъ лужайкахъ, о стогахъ, копнахъ и зародахъ свѣжаго душистаго сѣна. Даже запахъ, этотъ прелестный запахъ травы, цвѣтовъ, древесныхъ побѣговъ, попавшихъ въ копну и стогъ, даже онъ какъ-будто припомнился мнѣ, я какъ-бы ощущалъ его... А какъ только пришло мнѣ на память сѣно, такъ сейчасъ-же вспомнилъ я и Демьяна, мужика, у котораго жилъ то «первое» лѣто.

Демьянъ былъ предмѣстникомъ Ивана Ермолаевича*) въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, въ которыхъ мнѣ пришлось жить въ послѣдніе годы. Теперь Демъ-

янъ разжился, бросилъ аренду и содержитъ въ Петербургѣ извозничій дворъ. Тогда, давнѣе, онъ только наживалъ, и наживалъ со стараніемъ, прилежаніемъ и большимъ умѣніемъ. И тогда онъ уже былъ по виду пожилымъ человѣкомъ, хотя въ дѣйствительности и не былъ старъ: старикомъ его дѣлала лысина со лба до затылка. Кстати сказать, лысина эта почему-то какъ-бы беспокоила Демьяна Ильича, потому что не разъ я слышалъ, какъ онъ, улыбаясь и какъ-бы шутя, говаривалъ:

— Лысъ-то я, лысъ, точно, а только надо знать, съ какого конца я лысѣть то сталъ!.. Если человѣкъ начинается лысѣть съ затылка, это—отъ пьянства или распутства, а который со лбу—тотъ человѣкъ отъ ума лысѣетъ. А я, братецъ ты мой, со лбу лысѣть сталъ... А который лысѣетъ со лбу, тотъ человѣкъ за старика не долженъ идтить... Это не старость, а умъ».

И точно, умъ и—не утаю—интеръ былъ Демьянъ Ильичъ. Много и глубоко понималъ онъ, и не одѣтъ только хозяйственные вещи, а о хозяйственныхъ и говорить нечего. Вспомнивъ о сѣнѣ, я вспомнилъ между прочимъ и о его разговорахъ насчетъ этого сѣна. Вспомнилось мнѣ, какъ бывало, сидя вечеркомъ на ступеняхъ старой бани. Демьянъ Ильичъ посвящалъ меня въ тайны предстоявшей ему сѣнной операціи.

II. Сѣно.

— Это ежели такъ-то со стороны поглядѣть, говаривалъ онъ бывало:—кажется, что за хитрость скосить траву и высушить, а поглядите-ко, сколько тутъ разной премудрости, да и грѣха пожалуй что не меньше будетъ! Съ однимъ дождемъ сколько хлопотъ: цѣлый Божій день надо глядѣть—нѣтъ-ли гдѣ тучки, облачка... иной разъ въ одинъ часъ на тысячу рублей сгинѣтъ, задаромъ пропадетъ. Кажется, вотъ ни откуда никакой бѣды нѣтъ, небо чистое-разсѣсное—пойдешь обѣдать; только успѣешь, Господи благослови, ложку проглотить—откуда что взялось, налетѣло, хлынуло: гляди да плачь, больше ничего... Или теперича возьмемъ прессовку; прессовка у насъ идетъ зимой; положимъ, что обязался я поставить сѣно въ городъ, ну, хотъ будемъ такъ говорить, въ воскресенье. Ежели я такъ обязался, то прессовать я долженъ, положимъ, въ среду; вотъ, Господи благослови, вышелъ я съ рабочими—а Господь-то милосердный послалъ мнѣ на среду-то морозецъ! А морозъ что такое? А морозъ означаетъ, что изъ десяти пудовъ выйдетъ девять, а куда одинъ-то пудъ дѣвается, Господь знаетъ... Или же возьмемъ такъ: снѣгъ замѣсто морозу-то... Коли снѣгъ мелкій, какъ пыль, это ничего, это на прессованной кипѣ прибавляетъ вѣсу, ну, а коли крупный—пропадай! Потому что попади въ тюкъ вотъ эдакой комочекъ снѣгу (Демьянъ Ильичъ показывалъ на ногу), весь тюкъ сгоритъ, а отъ него весь вагонъ загорится... Выдали, чай, иногда бѣдетъ вагонъ—весь бѣлый, завидивѣлый?

*) См. «Крестьянинъ и крестьянскій трудъ».

томъ *лучше встѣть*—это послѣднее необходимо для того, чтобы работникъ призналъ въ насъ *хозяина*. Надобно уметь сдѣлать *все лучше* всякаго нанимаемаго, и тогда нанимаемый признаетъ въ нанимателѣ хозяина и будетъ знать свою цѣну. Необходимо поэтому для хозяина доказать каждому рабочему и всей артели вмѣстѣ свою способность цѣнить умѣнье въ трудѣ, а для этого необходимо и себя показать на той-же работѣ. И Демьянъ Ильичъ показывалъ себя, дѣлая это всегда весьма тонко и деликатно; иной сдѣлаетъ это грубо, по мужицки, вырветъ косу изъ рукъ и скажетъ: «Ты чего мотаешь косою-то? авось не въ квашнѣ мѣсишь?» или что нибудь въ этомъ родѣ. Демьянъ Ильичъ никогда такъ не поступалъ. Онъ бывало подойдетъ къ рабочимъ, поздоровается и глядитъ, не дѣлая никакихъ замѣчаній, потомъ, какъ-бы для шутки или изъ желанія побаловаться, подойдетъ къ кому-нибудь изъ рабочихъ и скажетъ: «Дайко-сь, Митрофанъ, косу-то... что я разучился косить-то, али нѣтъ?» Возьметъ косу, поплюетъ на руки, позвонитъ брусомъ и опять скажетъ: «Ну-ко попробую... Когда-то кашивалъ... не бранили». И пойдеть, приговаривая: «Когда-то кашивалъ»... Да въ два, въ три взмаха и докажетъ, «что такое есть кособа»; и окажется, что противъ его работы всѣ косятъ худо, никуда негодно—такое Демьянъ Ильичъ обнаруживаетъ мастерство и умѣнье. И это съ двухъ-трехъ взмаховъ.

— Д-д-а-а! думаетъ каждый изъ рабочихъ: не даромъ тоже и хозяиномъ называется!..

И каждый приравниваетъ къ этому образчику и свою, и чужую работу и не обижается, что одному больше платятъ, а другому меньше... А Демьянъ-то Ильичъ, ошеломивъ такимъ образомъ всю толпу, послѣ двухъ, трехъ, много десяти взмаховъ отдастъ косу назадъ и скажетъ: «Нѣтъ! Не то дѣло! Разучился я косить-то... а прежде кашивалъ, не бранили!..» И это тоже надо намотать на усъ. Иной чистосердечный человекъ, такъ тотъ послѣ этого маневра въ уныніе впадаетъ, станетъ считать себя ничтожествомъ.

Къ июлю артели были совсѣмъ готова и все почти изъ старыхъ знакомыхъ, изъ людей, которые и другъ-друга знали, и Демьяна Ильича почитали; согласіе поэтому въ артели было полное; изъ новыхъ былъ только Иванъ (котораго я встрѣтилъ на Невскомъ), который не портилъ хорошей компаніи, да молодые мужъ и жена, Миронъ съ Миронихой, какъ звали ихъ въ артели. Миронъ съ Миронихой являли собою въ артели элементъ увеселительный. Они только-что женились и пошли въ работу «собственно только для своего удовольствія», какъ они говорили оба. Дружны были они ужасно, неразлучны постоянно; но такъ какъ косбой занимались для собственного удовольствія, то расчета требовали почти каждый день.

— Вѣдь тебѣ-же лучше, ежели ты сразу получишь хорошую препорцію, чѣмъ по рублевкамъ-то хватать? говорили Мирону. Но Миронъ и Мирониха всегда вмѣстѣ отвѣчали:

— Чего намъ лучше? Намъ и такъ хорошо. Въ

солдаты мы не пойдёмъ. Дѣтей покуда нѣтъ, а дома три бабы есть — мать да двѣ тетки — все на насъ сработаютъ: и клѣбъ, и огорода. У насъ все дома есть; и одѣться, и обуться—все. Чего намъ? Давай деньги, мы съ бабой гулять пойдёмъ.

И въ то время, когда другіе рабочіе ложатся спать, Миронъ съ Миронихой, получивъ рубль, уходятъ лѣсомъ въ сосѣднюю деревню, идутъ въ кабаки, пьютъ вино и пиво, и по лѣсу пѣсни ихъ раздаются иногда всю ночь. Миронъ гудитъ басомъ, а Мирониха такъ-то ли звонко-развонко разливается. Иной разъ только къ свѣту придутъ, и все за ручку другъ съ другомъ ходятъ, и бывало такъ, что и спать не ложились, а прямо за косу да и на работу. И ничего, не валила ихъ усталость: крѣпки, молоды, а главное ужъ веселы, довольны, беззаботны были до безконечности... Всю артель они потѣшали своими почти нескрываемыми проявленіями взаимности.

Иванъ былъ тоже рабочій хорошій, но иногда напивался, и напивался мрачно; была у него на душѣ какая-то исторія, которая, кажется, тяготила его и угнетала. Да и въ лицѣ его вообще была какая-то затаянная не то злость, не то печаль, хотя вообще онъ былъ парень добрый. Однажды Демьянъ Ильичъ угостилъ рабочихъ виномъ, послѣ цѣлаго дня самой возбужденной работы. Иванъ былъ во-первыхъ и истомленъ до такой степени, когда человекъ, цѣлый день не ѣвши, все-таки не хочетъ и не можетъ ѣсть, и во-вторыхъ выпилъ стакана два водки на тощій желудокъ. Все это такъ на него подѣйствовало, что онъ, сидя въ артели за мызой, на луку у рѣчки, вдругъ заговорилъ долго и много, и не о работѣ, а о своихъ семейныхъ дѣлахъ...

— А кто виновень? слышалъ я, сидя на другомъ берегу рѣки:—кто! Бабыё, бабыё это дѣло. Меня родная мать ейная сомустила.

— Онѣ бабы, Богъ и съ ними-то! поддакнулъ работникъ Лукьянъ (какъ-бы по наслѣдству перешедшій потомъ къ Ивану Ермолаевичу), до сорока лѣтъ остававшійся холостымъ и почему то очень «опасавшійся» женщинъ и брака. — Она тебѣ дастъ яду—вотъ тѣ и скажъ!..

— Эво ляпнулъ куда! Яду! загальдѣло нѣсколь-ко человекъ.

— А чего-жъ? тоже возвышая голосъ, продолжалъ Лукьянъ:—насыплеть тебѣ въ лепешку бѣлаго порошку, вотъ тебѣ и вся!.. Вонъ у насъ баба одна намѣсила.

— Да не про то говорить! закричалъ Иванъ — Какая лепешка!

— Намѣсила ему въ лепешку. — «Нако-сь, говорить, отвѣдай!» не унимался Лукьянъ.

— Да будетъ тебѣ болтать! остановила его публика.

— Тебѣ говорятъ не въ томъ... Что замололъ! Яду! Языкомъ навредили бабы — вотъ про что. Я живу въ городѣ въ кучерахъ, ничего не знаю; мнѣ мать ейная пишетъ письмо: твоя жена такъ и такъ съ братомъ—видѣли. Пишетъ такъ, что сама мать видѣла... Вѣдь вотъ дьявола какіе! Вѣдь должны

я матери-то ейной повѣрить? Вотъ кто меня въ грѣхъ ввелъ! Вытребовалъ ее да и поучилъ... потому—повѣрилъ!.. А мнѣ брать-то родной потому со слезами рыдалъ, все вишь неправда... Видишь ты! пошолъ онъ въ солдаты охотой за меня. За это самое ухажу я въ городъ, говорю женѣ: «Авдотья! коль скоро придетъ братъ изъ службы, то почитай его, какъ меня! Угождай ему всячески, служи!..» Черезъ два года онъ и приди... Ну вотъ и вышло такъ, какъ онъ-то рассказываетъ... былъ онъ на вечеринкахъ и догостился тамъ до самаго свѣту... Пришелъ, говоритъ, и упалъ на постель, а постель ему особо, на полу стлали. Упалъ, говоритъ, совсѣмъ и въ одежѣ. И не думалъ, говоритъ, что Авдотья тутъ, на постели-то спать... Передъ истиннымъ Богомъ, говоритъ, не думалъ... Пьянъ былъ. Какъ пришелъ, плюхнулъ на бокъ, и не помню, говоритъ... А Авдотья-то, говоритъ, то-же самое. Вишь, во всемъ домѣ она работала-то. Была въ домѣ окромѣ ея одна моя бабка, да на ту пору мать ейная почевать осталась. Цѣлый день, говоритъ, на рѣчкѣ была, умаялась! постлала ему постель-то, да и прилегла, и задремала... Мать-то съ бабкой проснулись, глядятъ... И отписали мнѣ. Ну, я чѣмъ тутъ виновенъ? Опослѣ-то какъ я узналъ, я бы, кажется, своего мяса далъ на зарѣзъ, чѣмъ такъ-то. Слава Богу, знаю, каковъ есть братъ, какова и жена была

— Померла жена-то?... спросилъ кто-то изъ слушателей.

— Ты что перебиваешь? строго отнесся къ вопрошавшему Иванъ.

— Я такъ, къ примѣру...

— Ты долженъ слушать, что я говорю... Я и такъ ее вспомню, вспомню... Я-бъ ее пальцемъ не тронулъ. До этого числа я ей даже и касанія какого, не то что бою или тиранства... Вѣдь мать родная!.. Вѣдь это человѣка можно всячески въ грѣхъ вестить, особливо подъ сердитую руку. Да я и не думалъ, что помретъ... Анъ она отъ одного разу свалилась. Вотъ изживи-ко-съ это!..

Еще выпили по стакану.

— А я, заговорилъ Лукьянъ:—насчетъ отравного порошку... Это тоже бабы любятъ съ мужикомъ такъ-то...

— Да ну тебя!..

— Насыпетъ ему порошку... въ лепешку...

Лукьянъ рассказалъ длинную исторію о разныхъ бабьихъ козняхъ противъ мужиковъ; многіе изъ слушателей смѣялись, несмотря на то, что Лукьянъ рассказывалъ не для смѣху и самъ не смѣялся. Но Иванъ не принималъ участія въ разговорѣ. Онъ молча набилъ трубку и молча курилъ ее. Вотъ эта-то темная исторія какими то темными пятнами омрачала его душу; она какъ-бы застилала ему свѣтъ. Того покая душевнаго, дѣтскаго взгляда на бѣлый свѣтъ и людей, который былъ даже у Лукьяна, — у Ивана не было. Въ весельѣхъ, въ работѣ - ли, въ шуткѣ - ли съ молодой работницей—всегда что-то мѣшало его искренности, и это было написано на его лицѣ и свѣтилось въ глазахъ. Когда я его встрѣтилъ на Невскомъ,

черезъ два года, лицо его было, какъ я уже сказалъ, совсѣмъ не то.

IV. Варвара.

...Вспомнилъ я наконецъ и Варвару. Нельзя было не вспомнить о ней, говоря о рабочихъ; это была положительна *идеальная работница* и рѣшительно *ничто* во всѣхъ иныхъ отношеніяхъ.

Вдемъ мы какъ-то разъ съ Демьяномъ Ильичемъ по большой дорогѣ (ѣздили за харчами) и видимъ, что впереди насъ во всю ширину дороги движается цѣлая шеренга прохожаго народу, съ узлами и сапогами за спиной; были тутъ и мужики, и бабы. Между ними особенно была примѣтна высокая, могучая, хотя и сгорбленная фигура старика; длинная коса, лезвіе которой было обернуто соломой (берегъ!), лежала на его плечѣ.

— Да вѣдь это никакъ Іовъ? проговорилъ Демьянъ Ильичъ и тронулъ лошадь рысцей.

Толпа прохожихъ разступилась, заслыша стукъ копытъ, и старикъ съ косою очутился какъ-разъ рядомъ съ нашей повозкой.

— Куда путь держишь? весело окрикнулъ его Демьянъ Ильичъ и прибавилъ:—али Демьяна не узналъ?

Очевидно уже слабѣвшій глазами старикъ, ласково улыбаясь беззубымъ ртомъ, вдругъ радостно проговорилъ:

— Къ тебѣ, къ тебѣ, Демьянъ!

— Тебѣ у меня всегда мѣсто будетъ, не безъ важности произнесъ Демьянъ Ильичъ.—Правду тебѣ ежели сказать, артель у меня—вполнѣ, ну для тебя, какъ я тебя знаю, всегда будетъ мѣсто.

— Ужъ и Варьку возьми, дочку...

Тутъ мы увидѣли и Варвару. Это была довольно высокая дѣвушка съ самой обыкновенной, ординарной бѣлокурой фizioноміей и, кажется, немного косая. Бѣлокурые волосы, бѣлокурые глаза, бѣлокурая косичка съ мышинный хвостъ величиной— все говорило о томъ, что на красоту ея никто не позарится. Да и одежда у ней была не казистая: платочекъ въ гривенникъ на головѣ и старый шерстяной платокъ на плечахъ, узломъ завязанный на спинѣ, худенькое и вылинявшее ситцевое платье, все это говорило прямо о бѣдности, но радушное выраженіе этого обыкновеннѣйшаго, кой-какъ вылѣпленнаго лица, пріятливое и притомъ «такъ просто» пріятливое, какъ просто выражалось оно у старика-отца, и та-же отцовская сильная порода, которая сама собой чувствовалась въ его дочери, какъ-то невольно обязывали быть внимательнымъ къ нимъ обонимъ—и къ отцу, и къ дочери.

— Ну что-жъ! сказалъ Демьянъ Ильичъ, подумавъ немного:—идите! найдется мѣсто. Не забылъ дорогу-то?

— Вотъ, забыть! Къ хорошимъ людямъ дорогу не забываютъ... Помню.

— А помнишь, такъ и ступайте съ Богомъ. Найдется!

— Возьми узелки-то, сказал старик. — Домой чай ѣдешь?

— Домой — клад!

Старик и его дочь сняли свои ноши — старый полушубок отца и черную ваточную куцавейку дочери — которые они несли на спинах, обвязав кушаками, и положили въ телѣгу. Сказавъ еще разъ: «Ступайте, ступайте съ Богомъ — найдется!», Демьянъ Ильичъ погналъ лошадь пошибче. Старикъ и его дочь остались позади.

— Первый работник! сказалъ мнѣ Демьянъ Ильичъ: — онъ умения четыре лѣта работалъ — куда молодымъ, даромъ что старикъ!..

— Онъ и ходить-то плохо!

— Раз-зойдется, не узнаешь! Это хорошо, что Іовъ подоспѣлъ. Хорошо! Теперь у меня артель будетъ за первый сортъ.

Но Іовъ не оправдалъ надеждъ Демьяна Ильича, не «увѣнчалъ зданія» артели; порабатывъ сутокъ двое и порабатывъ такъ, что, глядя на старика, брала жалость — такъ упалъ онъ силами за послѣдній годъ — онъ не выдержалъ и чистосердечно порѣшилъ, что работѣ его насталъ конецъ: «отказались руки», «отказались ноги». Это было видно всѣмъ и каждому. Денька два онъ поотдохнулъ, ничего не работая, сидя на крыльцѣ подъ солнцемъ, съ открытой головой. Тѣмъ временемъ Варвара перестирала ему рубахи и онучи, и когда все было готово, онъ ушелъ домой съ той-же самой косою на плечѣ, какъ и пришелъ. Демьянъ Ильичъ далъ ему три цѣлковыхъ, которые и остались отработывать Варвара. Оставшая Варвару, старикъ не уговорился насчетъ ея съ Демьяномъ Ильичемъ, а сказалъ только: «Н-ну что... не обидишь!». А Варвара даже и не замкнулась о цѣнѣ. Она проводила отца до большой дороги и поздно вечеромъ вернулась домой.

На другой день она ужъ работала. И съ перваго-же дня присутствія Варвары въ артели всѣ чувствовали, что именно она-то и «увѣнчала зданіе», внесла какую-то новую, неудобную, но несомнѣнно поэтическую черту въ работу и трудъ, трудъ изъ-за харчей, изъ-за подачей...

Чтобы лучше понять, что именно хотимъ мы сказать выраженіемъ «поэтическій», — посмотрите на слѣдующую сцену: на дворѣ льетъ дождь; гудитъ въ крыши, слезитъ стекла въ окнахъ, булькаетъ подъ окнами и пузырями скачетъ по лужамъ; въ рабочей избѣ скука и тягота бездѣлья; вотъ и Варвара, ничего не дѣлая, сидитъ у окна и глядитъ въ тусклое мокрое стекло — посмотрите на ея лицо, на этотъ косой глазъ; въ лицѣ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго выраженія, оно глупо, просто глупо... «Дура какая-то — больше ничего, орисина!» Иной просто скажетъ: «корова» или что-нибудь еще хуже; но Варвару надобно смотрѣть и изучать не въ такой обстановкѣ. Любая великосвѣтская красавица-лady бываетъ и дурна, и желта, и зла, и непріятна, и глупа, когда она переживаетъ пустыя, мертвыя минуты жизни; но она совсѣмъ иная, когда попадаетъ въ живую струну поглощающихъ ее интересовъ. То же самое про-

исходило и съ Варварой, когда она попадала въ свою живую струну, а такая струна для нея, некрасивой, топорно сколоченной двадцатилѣтней дѣвушки, была работа! Да, читатель, работа возбуждала Варвару такъ-же, какъ балъ возбуждаетъ великосвѣтскую красавицу... Только въ работѣ она знала — что она, «зачѣмъ она на свѣтѣ и чего она стоитъ».

Въ артели было не мало женщинъ-работницъ, но все это было не то, что Варвара. Были бабы — и красавицы, и веселыя пѣвуньи, но это были по-деньщицы: они торговались, считали суслоны, считали копны точно такъ-же, какъ и мужики-работники. Не то было Варвара: она всю жизнь не знала, что такое деньги; двое они жили съ отцомъ почти съ ея дѣтства; какъ только она начала понимать себя, она всегда жила «съ куса», то-есть работала за хлѣбъ въ чужихъ людяхъ. а отецъ, уходившій лѣтомъ на косьбу, кое-какъ сколачивалъ ей нищенскую одежду. Она выросла въ работѣ, въ интересахъ работы, какъ иная вырастаетъ въ интересахъ великосвѣтскихъ интригъ. Конечно ее спасало отцовское здоровье⁵ спасало физически, не смотря на страшные труды; но еще болѣе чѣмъ природа, Варвару спасало опять-таки то поэтическое настроеніе, которое возбуждалось въ ней трудомъ, работой, если она была маломальски благопріятна, то-есть если въ этой работѣ можно было «разойтись».

Демьянъ Ильичъ, какъ человѣкъ, въ высшей степени много понимающій въ «работѣ», сразу, съ одного взгляда опредѣлялъ Варвару и пришелъ въ восхищеніе. Въ восхищеніе-то онъ пришелъ, а молчать; но видно, что вся внутренность въ немъ трепещетъ отъ удовольствія — вѣтъ, не отъ удовольствія, а именно отъ восхищенія. Его плѣнило (пожалуйста, понимайте это слово въ самомъ полнѣмъ и буквальномъ смыслѣ) прежде всего то, что Варвара «не знаетъ себѣ цѣны», цѣны ленивой. При взглядѣ на каждого изъ своихъ рабочихъ онъ непремѣнно представлялъ какую-нибудь цифру — два рубля, двадцать рублей. При взглядѣ на Варвару, никакой такой цифры ему не представлялось: при видѣ Варвары онъ опускалъ только присутствіе какъ-бы безплотнаго существа, веселаго духа, но духа, который «воротитъ» за семерыхъ, и воротитъ едва-ли не потому только, что это доставляетъ ему личное удовольствіе. Варвара работала такъ же непринужденно, какъ работаетъ для человѣка солнце, которое сущать и рости, а денегъ не проситъ и не скупается, и не сердится. Въдъ вонъ «и тѣ» бабы тоже работаютъ, вонъ и суслоны вяжутъ, и сѣно гребутъ и молотятъ, но опять-таки «не то»! Въ каждой видна *нужда*; каждая добываетъ день. день трудный, думаетъ объ оставленномъ ребенкѣ, жалуется на деверя; нѣкоторые и злы, и беременны, и лѣнны, въ нихъ видна усталъ, издала чувствуешь, что у иной болитъ поясница, стонутъ поженки. А поглядите-ка на Варвару? — желѣзная, неутомимая и веселая, т. е. не то чтобы хохочущая, играющая среди «преlestнѣйшихъ долннъ», а просто вся и всегда свѣтлая и радужная...

Вонъ баба-работница ворошить сѣно, поглядите на нее и увидите, что не легко ей, бѣдной, трудно. А поглядите на Варвару: грабли, обернутыя рукоятью внизъ, а зубцами вверхъ — играютъ въ ея рукахъ. Легко ходить она по скошенному сѣну, легко касается острыми концомъ рукоятки по верхушкамъ сѣнныхъ полосъ, и сѣно летаетъ у ея ногъ справа налево и слѣва направо; летаетъ не колями, не волочитъ по землѣ, а порхаетъ тонкими встрѣчными струями. И все это безъ малѣйшихъ усилій, безъ малѣйшихъ признаковъ утомленія, и тѣмъ менѣе — малѣйшаго намека на присутствіе силы. Вонъ и другая баба тоже «ворошить», но вѣдь она ворошить, какъ косила медвѣдь, тогда какъ Варвара работаетъ, какъ работаетъ врожденное дарованіе, не представляя себѣ даже мысли о томъ, что «это» — работа, трудъ...

Или вонъ посмотрите — несетъ баба-работница ведро воды изъ-подъ горы, съ рѣчки; коромысло у нея скрипитъ, ей тяжело идти, тяжесть выпираетъ ей бокомъ... Чувствуешь, что когда она доберется до бочки, въ которую выльетъ это ведро, то тяжело вздохнуть и еле выговорить: «ухъ, ба-тюшки!». Не то Варвара: коромысло ее не гнететъ. Это вы видите и чувствуете неотразимо; оно не рѣжетъ ей плеча, а лежитъ просто такъ, какъ будто это принадлежность костюма, будто украшеніе для Варвары, безъ котораго Варвара была бы некрасива... Она идетъ стройно, легко; стройно и легко одна рука ея лежитъ на коромыслѣ, а другая упирается въ край ведра, удерживая его въ равновѣсіи съ другимъ ведромъ. Вода въ ведрахъ не плещется, лежитъ смирно, слушается Варвары, точно знаетъ, кто несетъ. Не такъ, какъ баба-работница, Варвара и выльетъ воду въ кадку, не такъ она и коромысло съ ведрами спуститъ съ плечъ — все не такъ, какъ у работницы. А главное — не устаетъ! Не сѣѣшитъ и не торопится, а легка во всемъ, и всегда опять-таки несокрушимо радужна.

Сунуть ей какъ-нибудь на ходу жена Демьяна Ильича двухгодовалого мальчишку — и тутъ Варвара немедленно найдетъся, «немедленно скажетъ что-нибудь мальчишкѣ, или сдѣлаетъ что-нибудь такое, отчего онъ притихнетъ, хоть и ревѣлъ до сихъ поръ благимъ матомъ. Мало того, какъ-то «сама-собою» она отлично пойметъ состояніе его души и потрафитъ ему словомъ или дѣломъ безъ всякаго усилія. Сунула однажды ребенка жена Демьяна Ильича на руки какому-то солдату, тотъ взялъ его и чтобы позавлѣть, заплѣлъ басомъ: «— Благочесті-вѣйшаго...» Ребенокъ такъ и залился; захрипѣлъ, задохнулся, закатился... Варвара бросила палку, которой гнала свинью, подскочила, выхватила ребенка, заговорила что-то про зайчика, про птичку: «вотъ, поймалъ его, вонъ-вонъ поймалъ», и сразу утѣшила парнишку.

— Дуракъ ты этакой! сказала она солдату (который однако только улыбнулся отъ этой брани), — заготовалъ какъ жеребецъ... Вѣдь ребенокъ всю ночь не заснетъ отъ твоего ржанья... Теперь

ночь, а на ночь ему надо веселое рассказывать... Дуракъ горластый!

И опять солдату стало отъ брани только весело... Такой-ужъ духъ веселый былъ въ Варварѣ.

Или было еще такое дѣло. Былъ у насъ быкъ, съ которымъ сладу не было. Загнать его вечеромъ въ хлѣвъ, это было дѣло весьма серьезное. Пастухъ отказался идти на быка въ одиночку, и поэтому въ загонъ быка обыкновенно принимала участіе вся артель рабочихъ, которая къ вечеру, къ приходу съ поля скотины, обыкновенно возвращалась домой. Каждый вечеръ посреди двора Демьяна Ильича шла чистая война. Со всѣхъ сторонъ въ быка летѣли палки, куски бревенъ, камни, кирпичи и т. д. Но обыкновенно ничто это не дѣйствовало на быка; раскачивая задомъ и уставившись на враговъ, онъ не трогался съ мѣста. Пробовали даже стрѣлять ему въ морду холостыми зарядами, ничего! Иной возьметъ длинную жердь и со всего размаха ударитъ ею быка между рогъ, или по спинѣ, но опять-таки ничего. Точно газетой, свернутой въ трубку, ударили это чудовище — стоять, злиться, но ничего не чувствуетъ. Эта несокрушимость къ ударамъ обыкновенно ожесточала воевавшихъ съ быкомъ людей. Необходимость «загнать» быка превращалась въ настоящую вражду; начинали слышаться покрикиванія, въ которыхъ звучала страшная злость, глубокое ожесточеніе. Иные, не вытерпѣвъ, выходили на единоборство, рискуя быть посаженными на рога. Словомъ, быкъ каждый вечеръ растранивалъ на нѣкоторое время всю артель, а иныхъ ожесточалъ, и засыпали они не съ добрымъ чувствомъ на душѣ. Но въ одну изъ такихъ битвъ подоспѣла откуда-то Варвара, и какъ-то мимоходомъ, безъ оранья и крика, и безъ страха и злости, какъ-то такъ съязвила быка сзади, что онъ какъ сумашедшій бросился бѣжать, сразу потерявъ все свое грозное величіе. Вышло это такъ какъ-то легко и просто, что вмѣсто криковъ, палокъ и каменьева, словомъ, вмѣсто ожесточенія, злыхъ звуковъ, всѣ отъ мала и до велика покатались со смѣху и весь вечеръ хотали до упаду. Тутъ-то и открыли секретъ, что его надо колотить сзади, а глухие мужичонки дрались съ нимъ «рыломъ къ рылу». Нечего сказать, нашли товарища! А сзади-то онъ не видитъ, что дѣлается, можетъ быть тамъ чортъ-знаетъ что происходитъ, и изъ льва рыкающаго превращается въ зайца...

И вездѣ Варвара вносила въ среду рабочихъ ощущение какой-то «легкости на душѣ». Именно легче становилось при Варварѣ и работать, и жить вообще. Хотя она для этого ни словъ ласковыхъ не говорила, и вообще ни капли объ этомъ не старалась, ибо она уничтожала собою всякое представленіе о трудѣ, трудности, усиліи. Она *просто жила такъ*; ей было легко жить и съ граблями, и съ ведрами, и на покосѣ, и на жнивѣ.

Но не въ одной только работѣ при Варварѣ было легче на душѣ всѣмъ артельщикамъ.

Была въ артели страпуха, здоровья, румяная, жирная баба, Анна. Баба она была разбитная и

веселая, и было вообще въ ея фигурѣ нѣчто призывающее. И въ глазахъ это было, и въ жестахъ, и въ походкѣ. Бывало, когда она корнѣть вечеромъ рабочихъ, а сама стоитъ подбоченясь у котла съ ложкой въ рукѣ, то скоромный разговоръ (весьма впрочемъ тонкій и изящный) почти не прекращается, и Анна, тоже весьма тонко и изящно — иной разъ только одними взглядами, жестами да тѣлодвиженіями — охотно даетъ этому разговору матеріалъ и поддерживаетъ его тонъ... Хорошо и весело было съ Анной, и во всѣмъ это было полезно и удобно, и не одинаково ложилось всѣмъ на душу. Вотъ для этого молодого солдата въ «кэпе» это несомнѣнно по сердцу — поглядите, какъ онъ гогочетъ и осклабляется; дѣло его молодое, холостое; хорошо вонъ и для вдоваго здорovenнаго мужика, а вотъ для безбрачника Лукьяна неловко, потому что онъ не то-что не любить этого, а «не хочетъ»; и для Ивана нехорошо, потому что онъ начинаетъ вспоминать жену, начинаетъ роптать на судьбу; для стариковъ «нехорошо» тоже по разнымъ причинамъ... Такимъ образомъ, хотя и бойкая, и разбитная была страпуха Анна, и веселые были разговоры заужиномъ, подъ вечерокъ, но не всѣмъ они были по душѣ, и не всѣ принимали въ нихъ участіе.

Но вотъ стала страпухой Варвара — и что-же? Разговоры не только не перемѣнились въ тонъ, но еще болѣе усилились, и въ нихъ стали принимать участіе рѣшительно всѣ: и Лукьянъ-безбрачникъ, и старикъ беззубый — словомъ, всѣ до единого. И почему бы вы думали? Почему именно, что Варвара ничего этого не понимаетъ... Вотъ напримѣръ прежняя страпуха Анна, такъ та, очевидно, понимала, та бывало только почешется, а всѣ понимаютъ, что этоособенно для поддержанія разговора. Очевидно, понимаетъ. То же самое и точно такъ-же сдѣлаетъ Варвара — и всѣмъ ясно, что «она сама, дура, не понимаетъ, что дѣлаетъ». Это не значитъ вовсе того, чтобы Варвара «не имѣла понятія» о нѣкоторыхъ явленіяхъ жизни, — вовсе нѣтъ; напротивъ, она знала очень много, даже прямо сказать, все знала: живя постоянно прискоти-нѣ, нельзя не знать очень и очень много. Она вонъ въ разговорѣ оподрастающему бычкѣ даетъ весьма практическіе совѣты; она очень обстоятельныя ведетъ разговоры съ женщинами про беременность, роды и т. д., но она не понимаетъ во всемъ этомъ того, что заставляетъ солдата въ кэпе осклабляться, не понимаетъ той черты «всего этого», отъ которой вотъ этотъ мужикъ заржалъ. И именно вслѣдствіе этого-то непониманія, вслѣдствіе полной видимости того, что въ пониманіи этихъ-то сторонъ явленій, которыя она отлично знаетъ — она «набитая дура», скромные разговоры не только не прекратились послѣ того, какъ страпухой стала Варвара, а напротивъ усилились: всякій — и старъ, и малъ — норовилъ внести свою лепту, но всѣ вносили ее не потому, чтобы поохотятъ надъ тѣмъ, какъ молъ ее пробереть выдумка, а какъ-разъ наоборотъ, потому что «ничѣмъ этимъ» ея «не проберешь». Любо-

вались не впечатлѣніемъ, а именно тѣмъ, что «не беретъ», «какъ къ стѣнѣ горохъ». Любо было смотрѣть на нее, какъ она «стоитъ, какъ дура», ничего не понимаетъ въ то время, какъ ей въ уши Богъ-знаетъ что суютъ... На этомъ-то, множествомъ наблюденій (о которыхъ мы говорить не будемъ) доказанномъ, непониманіи и пріятно было отвести душу, пріятно для всѣхъ... Передъ этимъ непониманіемъ всѣ были равны, какъ солдатикъ въ кэпе, такъ и Лукьянъ, и беззубый старикъ — всѣмъ было поэтому въ охоту пошутить предъ «дурой въ этихъ дѣлахъ», Варварой, и всѣмъ было поэтому-же легко...

Было впрочемъ одно лицо, которому осклабляющійся солдатикъ (и въ особенности Иванъ, часто глядѣвшій на Варвару какими-то строгими глазами) могъ бы завидовать. Приходилъ иногда изъ соседней деревни мальчикъ лѣтъ одиннадцати. Съ кошкой за плечами, онъ частенько захаживалъ на дворъ Демьяна Ильича, иногда возвращаясь изъ лѣсу съ грибами и ягодами, иногда отправляясь туда. Варвара была къ нему ласкова. Увидитъ его и побѣжитъ, будто боится, что онъ ее догонитъ; тотъ не догоняетъ. Тогда она остановится, подниметъ щепку и броситъ... Мальчишка тогда самъ броситъ щепку и станетъ догонять — и непременно догонитъ, тогда какъ ни одинъ-бы изъ самыхъ ловкихъ и сильныхъ ребятъ-рабочихъ не сумѣлъ-бы этого сдѣлать. Но мальчишка мало того, что догонитъ, а еще и повалитъ Варвару и кулакомъ ее по спинѣ бьетъ, а она, которая въ двадцать разъ сильнѣе мальчишки, очевидно, покоряется, играетъ. Бьетъ ее мальчишка, стараясь чувствовать себя «мужикомъ», а она пищитъ, будто и въ самомъ дѣлѣ больно. Подымется. Будто вырвется, убѣжитъ и волосы поправляетъ. А мальчишкѣ и любо, что онъ, какъ настоящій мужикъ, «растрепалъ бабу».

А вотъ съ Иваномъ, такъ съ тѣмъ случилось что-то совсѣмъ другое. Чтò у нихъ было съ Варварой — никому неизвѣстно, да и сама Варвара не знаетъ. Извѣстно только, что однажды Иванъ прибѣжалъ къ рабочей избѣ, прямо къ рукомошнику и сталъ поливать водой голову. Одна сторона головы у него посинѣла и опухла. Поливалъ онъ голову и ругался на Варвару:

— Демонъ! говорилъ онъ: — съ тобой шуткой, а ты, чортъ... Вѣдь ведро-то желѣзное, чортъ ты этакій!

Испуганная Варвара стояла недалеко и, не слыша этихъ разговоровъ и брани, все вниманіе сосредоточила на желѣзномъ ведрѣ, которое въ одномъ боку сильно погнулось... Оправдываясь потомъ, она говорила, что молъ ударила такъ. невзначай — «играючи», и все-таки Иванъ съ мѣсяцъ ходилъ съ опухшимъ лицомъ и въ синякахъ.

Рабочіе много потѣшались надъ этой исторіей. а Иванъ, чувствуя себя смѣшнымъ, осердился на Варвару, и серьезно осердился. А Варвара осталась, какъ была: въ работѣ одна, въ бездѣльи — другая.

V. «Изъ-за Дрожжей».

Демьянъ Ильичъ былъ положительно влюбленъ въ Варвару. Онъ былъ человѣкъ семейный, имѣлъ четверыхъ дѣтей, изъ которыхъ старшему шелъ восьмой годъ. Жена у него была женщина отличная. умная, тихая, ласковая; хозяйка самая прилежная, внимательная. Ни сплетенъ, ни какиъ-нибудь «особенныхъ», «бабьихъ исторій» никогда отъ нея не исходило. Даже злого или сердитаго лица никогда никто у нея не видалъ. Я увѣренъ, что теперь, когда Демьянъ Ильичъ вышелъ въ люди, живетъ гдѣ-нибудь на Лиговкѣ, въ квартирѣ съ цвѣточками на окнахъ и съ кисейными занавѣсками, Марья Яковлевна, его супруга, представляетъ изъ себя весьма уважаемую, ласковую, внимательную и аккуратную «даму» и скроумную во всѣхъ отношеніяхъ женщину...

Къ Варварѣ жена Демьяна Ильича относилась весьма любезно, внимательно и цѣнила ее не менѣе, чѣмъ цѣнилъ и Демьянъ Ильичъ. «Варюша», «Варварушка», другого наименованія для Варвары не было; а однажды, когда Варвара почти цѣлый день, съ трехъ часовъ утра до глубокой ночи, не садилась ни на минуту и ни на минуту не была безъ работы: стряпала работникамъ, разваливала копны, топала баню, причежь воды одной перетаскала ведеръ сорокъ, потомъ опять работала въ полѣ и т. д.—въ этотъ разъ жена Демьяна Ильича при всѣхъ похвалила Варвару, сказавъ: «И золотыя-же у тебя руки, Варварушка!» Она ясно видѣла, что мужъ ея, Демьянъ Ильичъ, влюбленъ въ Варвару, но и къ этому относилась весьма благосклонно, ибо отлично понимала, что Демьянъ Ильичъ влюбленъ не въ Варвару собственно (Марья Яковлевна была красивѣйшая въ двадцать разъ), а въ ея работу, въ легкость, неутомимость и какъ-бы несокрушимое веселье работы. Въ этомъ именно смыслъ и она сама любила Варвару. Варвара никогда не скажетъ: «у меня не двадцать рукъ!» или: «мнѣ не разорваться!», что поминутно слышатъ хозяйка и хозяинъ отъ всякой пощенщицы, работающей изъ-за куска хлѣба и раздражающейся, если ей кромѣ той работы, для которой она нанята, «суютъ такъ-себѣ, мимоходомъ, какую-нибудь другую; этого ропота и не было въ Варварѣ; ей надобно было только намекнуть на работу да сказать по дружески, и она сама немедленно-же примется за нее да сдѣлаетъ по дорогѣ еще десятковъ дѣлъ, о которыхъ ее и не просилъ никто. Оба они, и Демьянъ Ильичъ, и его супруга, были вполне, безъ всякихъ переговоровъ и предварительныхъ разсужденій, молча согласны въ томъ, что работающему ребенку, какъ Варвара, надо дать волю работать до полного его удовольствія, надо не препятствовать, надо обращаться ласково, снисходительно улыбаясь, какъ улыбаются мудрые родители, не препятствуя ребенку играть, рѣзаться... И Демьянъ Ильичъ, и жена его такъ именно и относились къ Варварѣ: «Ну, играй, играй, что съ тобой подѣлаешь... Дѣло твое молодое... Ничего, играй... Ужъ такъ и быть». И

Варвара дѣйствительно играла, и такъ пріятно, такъ весело, что еслибы счесть въ деньгахъ, во что стала-бы эта игра Демьяну Ильичу, эта работа, которую Варвара перерабатывала на его семейство ежедневно, такъ вышла-бы большая-пребольшая сумма. А Варвара не заикалась даже о деньгахъ. Два только раза во все лѣто къ ней отецъ писалъ письма насчетъ денегъ. Письма эти она вручала Демьяну Ильичу, а тотъ посылалъ «по возможности». Варвара была довольна и благодарна, что Демьянъ Ильичъ «послалъ», что отцу «деньги» отъ нея пошли, а сколько, этого она не понимала...

Но, не смотря на то, что отношенія супруговъ къ Варварѣ были, вообще говоря, «отеческія», и походили на отношенія умныхъ родителей къ малому ребенку, иной разъ мнѣ приходило въ голову, что Демьянъ Ильичъ хотя и облысѣлъ со лба, т. е. отъ уны, а не отъ чего другого, и не съ затылка, но что лысина, захватывая и «затылокъ», — заслуживаетъ нѣкотораго вниманія... Иногда въ похвалахъ Варварѣ я слышалъ въ голосъ Демьяна Ильича такія ноты, а въ рѣчахъ такія слова и цѣлыя фразы, что невольно долженъ былъ задавать себѣ вопросы такого рода: «Да точно ли только со лба? Дѣйствительно ли отъ умственного напряженія? И не участвуетъ-ли тутъ хотя отчасти затылокъ?».. Иногда мнѣ кромѣ того казалось, что и Марья Яковлевна относится къ происхожденію лысины своего супруга скептически и какъ-бы не довѣряетъ его рѣчамъ. Слишкомъ большая выдержка Марьи Яковлевны въ ея отношеніяхъ къ Демьяну Ильичу, это непрестанное желаніе «не подать виду», чтобы между супругами могли происходить хотя малѣйшія недоразумѣнія, именно эти безукоризненныя стороны ихъ отношеній и вводили меня въ сомнѣніе. Думалось мнѣ, что иногда Марья Яковлевна разрывается отъ гнѣва на Демьяна Ильича, но что сдерживаетъ этотъ гнѣвъ ея адское терпѣніе, сильный характеръ и сильный умъ... И только благодаря этимъ качествамъ, она не только можетъ переносить похвалы Демьяна Ильича, расточаемыя бабачь-работницамъ и Варварѣ въ особенности, но и сама еще поддерживаетъ и даже усиливаетъ ихъ...

Разскажу одинъ небольшой эпизодъ, который, какъ мнѣ кажется, имѣетъ нѣкоторое отношеніе къ вопросу о происхожденіи лысины Демьяна Ильича.

Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жилъ Демьянъ Ильичъ съ своей рабочей артелью, протекала тощая, ничтожѣйшая рѣчонка; да и не рѣчонка это была, а ручей; весной онъ бурлилъ отъ тающихъ снѣговъ и шумѣлъ массами тонкихъ, какъ стекло льдинокъ, а лѣтомъ пересыхалъ, почти совершенно заростая высокой болотной травой до того, что за ней не видно было со стороны почти ни капли воды; нужно было раздвинуть траву, и тогда увидишь, что на днѣ мокро, что тамъ вода. Лѣто, котораго касается разсказъ, было жаркое, сухое, и ручей пересохъ такъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его можно было переходить почти по-суху. И вотъ имен-

но потому-то, что лѣто стояло особенно жаркое, что ручей почти пересохъ, въ немъ оказалось множество рыбы. Дѣло въ томъ, что мѣстами въ руслѣ ручья попадаются глубокія ямки, сажени по двѣ длины и аршина на полтора глубины; за травой ихъ не видно. Весной, во время разлива, сюда заходитъ рыба — налимы, родъ минюга и щуки, мечетъ здѣсь икру въ громадномъ количествѣ. Но обыкновенная принадлежность здѣшнихъ мѣстъ, «дожди» не даютъ возможности ей расплодиться. При дождяхъ рѣчонка всегда притѣтна, всегда имѣетъ такую высоту, хоть и не больше четверти, что рыба не можетъ уйти. Но въ сухое лѣто, когда рѣчонка мѣстами пересыхаетъ совершенно, рыба, появившаяся весной въ яминки, сидитъ какъ въ садкахъ, и тутъ ее ловятъ пудами. Тайну эту открыли старики со старухой, жители сосѣдней деревни. Въ одинъ жаркій палящій день видимъ, идутъ по лѣсу старуха, а за ней старикъ, и несутъ на плечѣ бредень.

— Куда это вы, старички?

— Да вотъ рыбки половить.

— Гдѣ же вы ловить ее будете?

— А вотъ.

И старикъ указалъ на пересохшую рѣчонку.

Это указаніе до такой степени было удивительно, какъ если-бы кто-нибудь объявилъ, что на мѣрѣнъ ловить рыбу у васъ, читатель, на письменномъ столѣ.

— Да вѣдь тутъ сухое мѣсто? какая же тутъ рыба?

— Да не въ сухомъ она, а въ мокромъ, отвѣчали старики и ушли съ бреднемъ въ траву. Въ травѣ они скрылись оба, и не прошло нѣсколькихъ минутъ, когда оттуда послышался плескъ воды, и крихтеніе старичковъ. Старички вытащили полнехонькой бредень трепещущей и бьющейся на солнцѣ рыбы. Никто изъ всей рабочей артели не вѣрилъ своимъ глазамъ, но рыба, массы рыбы было на лицо. Древніе старики отлично знали свою сторону; они знали, что «такое лѣто» было двадцать лѣтъ тому назадъ, и знали про ручей то, чего никто не зналъ изъ молодого поколѣнія деревни.

Рыбу принялись ловить всѣ, кто хотѣлъ, и въ короткое время опустошили яминки до тла. Демьянъ Ильичъ наловилъ и насолитъ однихъ щукъ и налимовъ двѣ кадки. Рыба была въ харчахъ у рабочихъ каждый день, и вообще хорошее расположение духа у всей артели увеличилось во много разъ.

Однажды послѣ обѣда, въ ясный лѣтній день, Демьянъ Ильичъ, въ отличнѣйшемъ расположеніи духа, сидѣлъ на крылечкѣ рабочей избы и грѣлъ на солнцѣ лысину, поглаживая ее ладонью и приятно покрахтывая. Погода была отличная, дѣла шли хорошо, сѣно на участкѣ Демьяна Ильича уродилось, тогда какъ у сосѣдей и въ другихъ ближайшихъ съ Петербургомъ мѣстахъ погорѣло и посохло, словомъ, все было хорошо — Богъ, очевидно, «посылалъ» Демьяну Ильичу. Сидѣлъ-сидѣлъ онъ и надумалъ идти отъ нечего дѣлать ловить

рыбу — не для чего другого, а такъ, для развлечения. Надумавши эту забаву, онъ придумалъ и другую: идти ловить рыбу вѣстѣ съ Варварой.

— Ма-а-а! а мать? сказалъ онъ, обращаясь къ женѣ, которая сидѣла внутри отворенной настежь избы. — Гдѣ бредень-то у насъ...

— Рыбу, что-ль, ловить идешь? спросила Марья Яковлевна.

— Хочу съ Варварой пойдти, попытать на досугѣ.

— Никакъ она стираетъ...

— Ну, успѣется... Варва-ра-а!

Варвара появилась изъ-за угла избы съ красными покрытыми мыломъ руками, торопливо ихъ вытирая фартукомъ.

— Пойдемъ ловить рыбу. Вери бредень-то...

— Вымочишься, Варварушка, сказала Марья Яковлевна, появляясь на крыльцѣ.

— Я подберусь, устремляясь за бреднемъ, сказала Варвара.

Демьянъ Ильичъ вошелъ въ избу за картузомъ и сапогами, причемъ Марья Яковлевна молча дала ему дорогу, не поднимая глазъ отъ чулка, который вязала, и опять не сказала ни слова, когда Демьянъ Ильичъ, уходя, сказалъ ей:

— Мы недолго.

Но Марья Яковлевна поняла, что тутъ ужъ не Варвара играетъ, а «играетъ» Демьянъ Ильичъ.

Пошли. Варвара шла позади Демьяна Ильича и несла на плечѣ бредень.

Воротились они, когда солнце уже садилось. Рыбы наловили мало; показывая ее женѣ, Демьянъ Ильичъ смотрѣлъ не въ лицо ей, а какъ-то мимо лица. Лицо Варвары было какое-то глупое, какъ бываетъ у нея въ скучные дождливые безработчіе дни. Деликатная Марья Яковлевна, поглядѣвъ внимательно на мужа, на Варвару и на рыбу, молча опустила глаза на чулокъ и, помолчавъ и попрежнему не поднимая глазъ, сказала, обращаясь къ Варварѣ, обыкновеннымъ, ровнымъ, невозмутимо-ласковымъ тономъ:

— Завтра, Варвара, хлѣбы... Не забыть бы. Последнюю ковригу сегодня дождаемъ

Это извѣстіе какъ бы оживило Варвару; она немедленно принялась готовить все нужное для печенія хлѣба: квашню, муку, весло. Принялась скоблить, мыть, вытирать. Поздно вечеромъ изъ рабочей избы еще доносились звуки весла, стучащаго въ дно кадки.

Все, казалось, пошло своимъ порядкомъ, но на слѣдующій день Варвара была огорчена — хлѣбъ вышелъ ни на что не похожій: крѣпкій, какъ камень, и плоскій, какъ доска. Онъ взынулъ въ зубахъ, какъ самая крѣпкая глина, и благодаря этому, въ первый разъ Варвара увидѣла себя виноватой: Андріянъ сломалъ послѣдніе зубы, Иванъ прямо зарычалъ, да и всѣ были весьма недовольны. Всѣ были къ тому же, какъ на грѣхъ, голодны, такъ какъ работа была жаркая, спѣшная. Варвара опечалилась: она глубоко чувствовала, какъ огорчила весь этотъ народъ.

Цѣлые два дня она всячески «старалась» за-

гладить свою неудачу и вину, работая за десяти-терых и съ нетерпѣніемъ ожидая минуты, когда неудачный хлѣбъ будетъ съѣденъ. До этихъ поръ въ работѣ ея не было и тѣни старанія или усилія; теперь же она старалась, и поэтому даже уставала, и уставала быть — можетъ не столько отъ работы, сколько отъ того напряженно-безпкойнаго состоянія духа, которое она каждый день испытывала всякій разъ, когда рабочіе завтракали, обѣдали, полудничали и ужинали. Хлѣбъ не улучшался, а, напротивъ, становился все жестче и хуже, и народъ ѣлъ его, недовольный и обиженный.

Наконецъ кой-какъ доѣли. Варвара была необыкновенно счастлива, принимаясь за новую квашню; она опять скребла и мыла, крестила и внутри квашни, и снаружи; весло стучало и слышѣе, и несравненно дольше этотъ разъ, чѣмъ въ прошлый, и я не знаю, спала ли даже Варвара эту ночь. Но на слѣдующій день она была положительно испугана. Ее нельзя было узнать: въ ней пропало веселье, сила, легкость — все, что было, — это была какая-то другая Варвара, испуганная и глупая, и не даромъ: хлѣбъ опять вышелъ хуже подошвы. Вмѣсто хлѣба получилась какая-то чугунная лепешка.

— Какъ же это ты, Варвара? ласково сказала ей Марья Яковлевна, качая головою. — Ишь ты вѣдь какъ...

Варвара ничего не могла отвѣтить. Она совершенно растерялась. Но то, что послѣдовало за появленіемъ этого второго неудачнаго хлѣба, окончательно сокрушило ее. Народъ, придя обѣдать и увидавъ этотъ безобразный хлѣбъ, прямо забунтовалъ. Иванъ началъ первый: онъ бросилъ хлѣбъ собакамъ, заоралъ о расчетѣ, заоралъ на Демьяна Ильича, чего онъ, лысый чортъ, держитъ въ стряпухѣхъ такого косолапаго идола, а Ивана поддерживали бабы. Бабы такіе давали эпитеты этому хлѣбу, что у Варвары только вянули уши. Никогда отъ роду не была она такой безпомощной и виноватой душой. И брань, и ропотъ сдѣлали то, что надо было послать за хлѣбомъ въ деревню, послѣ чего Варвара бросила ложку, которую наливала изъ котла горячее, и ушла, заливаясь слезами, въ сарай... Она выбралась оттуда ужъ къ вечеру, наплакавшись до-сыта, чувствуя себя несчастной, виноватой и одинокой. Вышла она потому, что надобно было убирать скотину, но работала, какъ автоматъ. Кой-какъ окончивъ уборку, вошла она въ избу и застала здѣсь Марью Яковлевну за работою; Марья Яковлевна мѣсила хлѣбы.

— Сама хочешь попытать, сказала она Варварѣ:

— Что такое, Господи помилуй? Отчего?

Варвара сидѣла какъ сонная, какъ сонная смотрѣла на работу Марьи Яковлевны, но ночью не спала.

Настало утро. Варвара за завтракомъ почти ничего не ѣла, работала вяло и какъ бы неохотно. Пришли обѣдать. Варвара какъ — то сама собой устранялась отъ должности стряпухи и толкалась безъ дѣла около печи (обѣдали въ избѣ).

— Ну-ко, Яковлевна, давай хлѣбца-то свяженькаго!.. Авось, на твое счастье, хлѣбъ-отъ удался!.. заговорили мужики. — Поголодила насъ Варвара, поголодила.

— Охъ, отвѣчала Марья Яковлевна. — Погоди хвалить то. Смерть боюсь я... Пожалуй, какъ бы хуже не было... И полѣзла въ печку лопатой, которою вынимаютъ хлѣбы. Не безъ любопытства публика взидала на зѣвъ печки, въ ожиданіи появленія хлѣба. Марья Яковлевна заглянула туда, покраснѣла и, потянувъ лопатку, какъ-то жалостливо прошептала: «Охъ, милые мои...» Это «охъ» произвело на Варвару оживляющее дѣйствіе: она понадеялась, что Марья Яковлевна оправдываетъ ея неудачную стряпню такой же неудачей, но Марья Яковлевна вытащила наконецъ... такую великолѣпную ковригу, такую румяную, пышную, ароматную, что Варвара сгорѣла со стыда...

— Охъ ты... какъ-ка! тоже какъ бы жалобно проговорила Марья Яковлевна и покачала головою, тогда какъ публика покатила со смѣху отъ удовольствія... «Охо-хо-хо!» прогоготалъ Иванъ, опять первый: «вотъ такъ хлѣбъ!..» и какъ побѣдитель поглядывалъ на Варвару. Да и всѣ наши глядѣли такими глазами, какъ бы хотѣли сказать: «Что, косолапая? Вотъ какъ хлѣбы-то пекутъ!» Но почему Марья Яковлевна «охала» при такомъ своему торжествѣ и не глядѣла на Варвару? Ужъ не виновата-ли тутъ въ чемъ-нибудь? Не знаю. Знаю только, что Варвара, сгорѣвшая со стыда и уничтоженная этой великолѣпной ковригой, вдругъ въ одно мгновеніе *возненавидѣла* Марью Яковлевну.

Вдругъ, въ одно мгновеніе, она *поняла*, что этой ковригой Марья Яковлевна оскорбила ее до глубины души... Въ головѣ Варвары мелькнула какъ молнія мысль: «не тѣ дрожжи!» и гнѣвъ рванулъ ее за сердце. Она сорвалась съ мѣста, бросилась вонъ, хлопнула дверью, что есть мочи, и, совершенно какъ безумная, бросилась сначала въ амбаръ, потомъ въ сарай, потомъ въ баню. Въ первый разъ въ жизни она была разозлена, не разсержена, а разозлена, не какъ ребенокъ, а какъ женщина, которую «бабы сплетни» окатили дѣлымъ ушатомъ помой... «Уйду-уйду-уйду-уйду!» немолчно звучало въ ея ушахъ, во всемъ ея существѣ, когда она металась по двору, точно ища чего-то, и дѣйствительно она хотѣла пайти свою ваточную куцавейку... И съ каждой минутой она все больше и больше *понимала*, и то, что она понимала, вихремъ вертѣло ее голову... Она поняла, что это — мѣсть за то, что Демьянъ Ильичъ ласковъ, поняла, сколько ехидства въ кротости и ласкѣ Марьи Яковлевны. Поняла, какой подлець Демьянъ Ильичъ, и изъ-за чего онъ къ ней ласковъ... Вспомнила рыбную ловлю... Вспомнила, какъ гоготали мужики, рассказывая разные скверности. Поняла, что все это скверность; поняла, почему на нее золъ Иванъ, поняла всѣ отношенія, всю ихъ суть, всю ихъ безсовестность, расчетъ, лежавшій въ основаніи этой внимательности. Поняла, что никто съ ней *по-правдѣ* не говорилъ, никто по-

правдѣ не относился, всё безсовѣстные, гадкіе, злые... а она — совѣтъ, совѣтъ одна въ бѣломъ свѣтѣ, совѣтъ одна. Вдругъ вспомнила она старика отца и вдругъ залилась слезами, но эти слезы не уменьшили ея гнѣва, даже какъ-бы увеличили. Гнѣвное возбужденіе дошло у ней до такихъ размѣровъ, что она сама не помнила и удавлялась, гдѣ она нашла свои вещи, почему-то связывала, то развязывала эти несчастныя тряпки, и затѣмъ, собираясь уйти, вдругъ принялась стирать какое-то рваное платишко, стирать торопливо, лихорадочно.

Въ такую минуту (она стирала въ банѣ, въ корытѣ) въ баню заглянулъ одинъ изъ рабочихъ; это былъ уже не молодой оставной солдатъ, Пахомъ. Его не любили въ артели, да и Демьянъ Ильичъ его не долубливалъ, и ни во что не цѣнилъ. Взяли его въ артель потому, что по случаю хорошаго сухого лѣта рабочіе были дороги и приходилось брать кое-какихъ. Попалъ такимъ образомъ въ число рабочихъ и Пахомъ. Онъ былъ человѣкъ лѣнивый, неумѣлый; въ работѣ онъ отстаивалъ рѣшительно отъ всѣхъ, даже отъ самой хвострой и слабой бабы; ѣсть ему хотѣлось всегда часами двумя раньше времени и раньше, чѣмъ приходилъ аппетитъ другимъ. Работалъ онъ поэтому всегда съ какимъ то неприятымъ, почти злымъ выраженіемъ лица, подмѣчалъ всевозможныя недостатки въ работѣ товарищей, въ отношеніяхъ хозяевъ къ рабочимъ, критиковалъ и обобщалъ болѣе, чѣмъ косилъ и пахалъ. Получалъ онъ меньше всѣхъ. Вотъ этотъ-то Пахомъ и заглянулъ въ баню къ Варварѣ въ ту минуту, когда она и плакала, и негодовала, и не имѣла въ головѣ другихъ мыслей, кромѣ: «уйду, уйду, уйду!..»

— Что, Варвара, сказалъ онъ, сидя на порогѣ и набивая трубку: — видѣла, какъ нашего брата, бѣднаго человѣка, уважаютъ?

— Уйдѣ-ты, дуракъ косорылый! Чего тебѣ надобно? Помелъ ты отсюда вонъ, безсовѣстный!.. не помня, что говорить, оборвала его Варвара.

Пахома это не удивило, онъ не разсердился и довольно спокойно сказалъ:

— Что ты, матушка?.. чего ты? я вѣдь понимаю эти дѣла-то... Слава тебѣ, Господи, пожилъ на свѣтѣ... Чего мнѣ нужно? Ты ужъ больно того... И слова сказать нельзя; ты не того... Я вѣдь, кажется, видѣлъ, какъ они тобой помыкали. И твою работу знаю!..

Варвара ничего ему не отвѣчала.

— По твоей работѣ, продолжалъ Пахомъ уже совершенно спокойно и не спѣша: — по твоей работѣ тебѣ, надобно прямо сказать, цѣны нѣту. Цѣна тебѣ — миллионъ! Больше ничего!.. А ты вотъ осерчала... Нешто я тебѣ худого желаю? Я тебѣ говорю по совѣсти: нѣтъ тебѣ цѣны, вотъ какая твоя работа... А они, черти, хотятъ всякаго человѣка обобрать. Работаешь-работаешь, гнешь-гнешь спину, а пришло дѣло къ расчету — много ли? — три копѣйки! Тутъ бы съ него, подлеца, надо сколько денегъ-то, ежели-бы по настоящему? А онъ твои-то деньги — въ карманъ, да изъ кар-

мана въ сундукъ, да сундукъ-то на замокъ, а ты гуляй безъ сапогъ... Знаю! Довольно знаю...

Пахомъ покурить, поплевалъ и продолжалъ:

— А ты, ежели ты только слушаешь моихъ словъ, то по твоему характеру иди тебѣ въ Питеръ — первое дѣло. Чего тебѣ тутъ копаться? Какого чорта, прости, Господи? Изъ-за чего? Да я самъ, ежели-бы не обѣднялъ на счетъ одежды — минуты-бы тутъ не остался, пропади они пропадомъ. Я-бы въ Питерѣ-то давнымъ-давно двадцать-пять дѣлковыхъ на хозяйскихъ харчахъ получалъ, не то что... Живалъ вѣдь, слава тебѣ, Господи, знаю. Что мнѣ за корысть врагъ? Хотя у кого хочешь спроси, вѣрно-ли я говорю. Всякій тебѣ отвѣтитъ... Тамъ куфарки получаютъ по пятидесяти рублей серебра... Издохни я на семъ мѣстѣ, ежели не правда... Вотъ до чего достигаютъ! А тутъ три копѣйки... Ты чего ревешь-то? Ты вотъ слушай, что я говорю, а ревѣть-то перестань... Расчетъ-то съ нихъ съ подлецовъ стребуй, все стребуй до полушки, да и съ Богомъ на машину. А тамъ, братъ, мѣстовъ — сколько угодно! Тамъ, ежели сказать тебѣ, не соврать, такая дѣвица, какъ ты, Варя...

Не хотѣла Варвара слушать этого болтуна да почти и не могла слушать его, такъ она была поглощена своимъ оскорбленіемъ, возбуждена гнѣвомъ, ощущеніемъ одиночества и глубокимъ состраданіемъ къ отцу... Но болтунъ болталъ, не переставая, расписывалъ ей Питеръ такими великолѣпными красками, какія только приходили ему на умъ, и въ воображеніи Варвары невольно стало вырисовываться какое то удивительное, заманчивое мѣсто, гдѣ она можетъ найти и покой, и довольство, и, благодаря которому, можетъ даже отомстить. Старая свое тряпье съ той же лихорадочной поспѣшностью, какъ и прежде, она невольно ужъ вслушивалась въ разговоры Пахома о подаркахъ, о шелковыхъ платьяхъ... Почему-то особенно неотразимо поддавалась она обаянію словъ: «отъ барыни не отличишь», «чисто какъ барыня», «надѣнетъ платье, зашумитъ хвостомъ — графиня, а была вотъ какъ ты-же» и т. д. Слушая и горячо принимая къ сердцу эту болтовню отъ нечего дѣлать, она въ то-же время не могла удержать своего воображенія, рисовавшаго ей, Варварѣ, ее же, Варвару, въ разныхъ до сихъ поръ совершенно незнакомыхъ ей видахъ. Вотъ она посылаетъ отцу деньги много-много, и отецъ покупаетъ корову, строитъ новую избу. Вотъ она въ шелковомъ платьѣ проходитъ мимо злой мужички Марьи Яковлевны и т. д. Воображеніе, въ первый разъ возбужденное съ необыкновенной силой, не давало ей покою. Она стирала свои тряпки такъ, какъ будто хотѣла разорвать ихъ, и въ ея головѣ такъ-же настойчиво, какъ и «уйду-уйду-уйду», звучало: «Питеръ-Питеръ-Питеръ»...

— Вѣдь сманилъ, жидъ-проклятый, Варвару-то! съ сильнымъ волненіемъ говорилъ мнѣ Демьянъ Ильичъ на слѣдующій день поутру. — Въ Питерѣ и — шабашъ! Ахъ, песь-адакой! Вѣдь ему, канальѣ, только бы съ нея на выпивку выудить!.. А что

она въ Питерѣ? Долго-ли!.. Ахъ, безсовѣстный человѣкъ! Вѣдь такъ зря языкъ болтаетъ невѣдомо что, а она и въ самомъ дѣлѣ помчалась, какъ угорѣлая. Онъ ей на перекоски черезъ лѣсъ пустился, догналъ-таки у самаго кабака, выпилъ. Вотъ вѣдь какіе люди на свѣтѣ есть!

Демьянъ Ильичъ жалѣлъ и крѣпко жалѣлъ Варвару, но, какъ видимъ, уже послѣ ея удаленія. Онъ также понималъ отчего у Варвары выходили плохіе хлѣбы, а у жены вышли превосходные. Понималъ и покорился. Вступиться за Варвару—значитъ завести раздоръ въ семьѣ, а это нехорошо. Жена у него—человѣкъ дѣловой. Онъ скрѣпился и промолчалъ, а жалъ, жалъ Варвару. Да и всѣ понимали—въ чемъ дѣло и всѣ ее жалѣли. Марья Яковлевна тоже жалѣла и, частенько покачивая головой, говорила:

— И что за чудо? Вѣдь, кажется, и дрожжи тѣ-же, и все...

— Дрожжи, ожесточенно, но молча, думалъ

Демьянъ Ильичъ, слушая такіа рѣчи, — знаю я тебя, ехидна!..

А молчалъ, «виду не показывалъ».

Съ тѣхъ поръ, какъ Варвара ушла отъ Демьяна Ильича, ни его самого, ни его супруги никто-то не видалъ. О Варварѣ пришлось вспомнить послѣ случайной встрѣчи съ Иваномъ, а послѣ нея и до настоящаго времени ни о Варварѣ, ни объ Иванѣ не приходилось даже и думать. Гдѣ Варвара? Что съ ней? И точно-ли Иванъ не ошибся, говоря мнѣ при встрѣчѣ, что Варвара проѣхала по Невскому? Ничего этого я не знаю. Быть можетъ, она здравствуетъ; быть можетъ, умерла; быть можетъ, и такъ пропала—все можетъ быть. Такіе люди, какъ Варвара, живутъ безъ біографій: только «необыкновенный» случай выдвигаетъ ихъ изъ неизвѣстности, тьмы и беспомощности; въ обыкновенное-же время они—только цифры, «статистическія данныя» и больше ничего.

СКУЧАЮЩАЯ ПУБЛИКА.

I. Мнѣнія фельдшера Кузьмичова о современномъ обществѣ.

...Сквозь крѣпкій, тяжелый сонъ давно уже ощущалъ я признаки какой-то суеты вокругъ меня, надо мной и около меня, но рѣшительно не могъ раскрыть глазъ. Что-то гремѣло и стучало надъ головой, что-то билось у самой головы, уткнувшейся въ подушку лицомъ, что-то шумѣло и надо мной, и близъ меня, и гдѣ-то далеко... И только тогда, когда все это стихло, я вдругъ открылъ глаза и понималъ, что это пароходъ останавливался у пристани, что около моей головы бились волны взбужденной пароходомъ Волги, что на палубѣ вверху бѣгали рабочіе, смурыгали канаты и гремѣла рулевая дѣля.

Открылъ я глаза, а вставать не хочется; ослѣпительные лучи утренняго солнца, отраженные водою на бѣлый потолокъ общей каюты, играютъ, зыблются и слѣпаютъ; въ круглое окно подуваетъ легкій свѣжій вѣтерокъ съ запахомъ рѣчной воды, по временамъ же и запахомъ рыбки, а подчасъ и нефти. Но лежать покойно, хорошо, и вставать не хочется. И вотъ, лежа и не поднимая головы, я узнаю, что въ каютѣ есть пассажиры, которыхъ совѣтъ не было, когда я въ Нижнемъ вечеромъ сѣлъ на пароходъ. Одинъ лежитъ и кашляетъ у меня въ головахъ, а другой вѣроятно за общимъ столомъ чай пьетъ: слышно, какъ звякаетъ въ стаканѣ чайная ложечка.

— А что капитанъ-то? Куда онъ дѣвался?—спылымъ, не то простуженнымъ, не то опившимся голосомъ, хотя и съ мягкимъ и добрымъ оттѣн-

комъ, спрашиваетъ пассажиръ, лежащій у меня въ головахъ.—Ай выльзъ на пристани-то?

— Видно, вышелъ... Не видать что-то... Я, признаться, заснулъ, станціи двѣ проспалъ, не видалъ... Должно быть, вышелъ, и вещей нѣту...

— Однако—кашляя сухимъ, тяжелымъ кашлемъ, продолжалъ мой сосѣдъ, досталось ему по женской части, какъ поразсказалъ! Довольно искусно!.. Должно-быть и баба тоже попалась вострая... Я считалъ, считалъ и счетъ потерялъ, сколько у ней душевекъ-то перебывало... Наконецъ, того, въ сумасшедшій домъ упечатали!.. Эво какъ! Въ сенатъ что-ли хотѣлъ жаловаться?

— А, право, ужъ что-то не припомню... кажется... впрочемъ... въ сенатъ.

— Какъ-же! въ сенатъ и въ правительствующій синодъ... А по моему въ эфтомъ разѣ оставь, уйди... Коли самъ весь въ дырахъ, такъ ужъ что тутъ, какой синодъ. Вѣдь и ихнюю сестру тоже надобно пожалѣть: изъ нашего брата сволочи-то тоже, слава тебѣ, Господи, сколько... Тоже вѣдь!..

— Какъ вамъ сказать? съ оттѣнкомъ какъ бы серьезной задумчивости въ голосѣ проговорилъ собесѣдникъ, пившій чай. — Конечно причѣмъ же тутъ можетъ быть святѣйшій синодъ, или напрімѣръ сенатъ? Но я вамъ вотъ что скажу: даже и молодому человѣку, который, положимъ, что имѣетъ напрімѣръ возможность, и то весьма трудное это дѣло, то-есть женская часть?

— Н-не знаю! Не знаю я этого... Я даже такъ скажу: опасаясь и соваться въ эти дѣла; то-есть напрімѣръ по этой самой дамской части... А что ежели сказать по совѣсти, по чистой душѣ, такъ

я склоняюсь къ арфисткам! Передъ истиннымъ Богомъ! Это я скажу при васъ-ли, при комъ угодно... Чего мнѣ утаивать? Свиное, такъ оно и соотвѣтствуетъ къ свиному... Зачертишь недѣли на двѣ—и бултыхъ въ омутъ, только и всего! Что же? Ежели и такъ взять: тоже вѣдь и онѣ люди, арфистки-то!

— Я этого вопроса не касаюсь, а говорю...

— Чего ужъ касаться! Касайся, не касайся, а выше своего носа не прыгнешь. Мнѣ маменька давно зудитъ: «женись, женись»... Зачѣмъ? По хозяйству у меня полножъ домъ бабъ: маменька, двѣ сестры. А ежели не для хозяйства, такъ я даже и опасуюсь... Самъ-то дуракъ да дуру возьмешь—будетъ два дурака... Имназистку? Такъ она училась, понимаетъ... А я даже ежели цифру которую подлиннѣй написать, и то ошибусь сто разъ... Нешто насъ чему учили родители?—Такъ вотъ я и думаю, что самое подходящее нашему брату—арфистка. Мусоръ къ мусору—и обнѣхъ въ помойную яму, туда и дорога! Ежели этакая-то мусорная дама другой разъ и по мордѣ тебѣ дастъ подгулявши, и то смолчишь: свой своему... А попадись нашему брату добрая да умная, да смиренная, да, сохрани Господи, ученая, такъ вѣдь мы ее должны на части разорвать съ одного, что она хорошая... Нашъ братъ тоже вѣдь, ухъ, какой дьяволъ бываетъ!

Все это сосѣдъ, лежавшій у меня въ головахъ, пронялъ медленно, совершенно спокойно, своимъ сильнымъ голосомъ, въ которомъ я теперь ясно слышалъ ноту полной искренности и доброты. Даже такія выраженія, какъ «свиное къ свиному», «мусоръ къ мусору».—выраженія, казалось бы, рисующія негодование человека на самого себя, горькое сознание своихъ дурныхъ свойствъ, и они произносились имъ совершенно просто, единственно только какъ самыя вѣрныя, несомнѣныя опредѣленія, не больше.

Долго кашлялъ мой сосѣдъ сухимъ, удушливымъ кашлемъ послѣ своего признанія, и это заставило молчать собесѣдника, пившаго чай.

— Отвѣчать на ваше предложеніе я не могу, заговорилъ наконецъ собесѣдникъ,—я этихъ предметовъ не касаюсь, потому что человекъ я занятой. Но позвольте вамъ сдѣлать такое замѣчаніе: съ дѣтства я нахожусь безъ роду, безъ племени, безъ отца, безъ матери, положительно не имѣя пристанища. Что были дворовые при господахъ, да еще при жестокихъ? Ну, такимъ образомъ я съ самыхъ первыхъ дней видѣлъ самую горькую долю. Маменька была сослана за убійство ребенка своего и не знаю... можетъ и жива еще! Какое это знать дѣтскому сердцу? Слѣдовательно съ дѣтства я вполне понималъ горе человеческое и видѣлъ крестьянскія мученія, и душа у меня изболѣла... Впослѣдствіи времени, когда это кончилось, Господь меня призрѣлъ: пріѣхалъ молодой баринъ, студентъ, человекъ совѣтъ другого роду: ни царя, ни этого кнута, ни чтобы насчетъ бабъ, ничего этого. Домъ заколотилъ, жилъ въ одной комнатѣ, лечилъ мужиковъ... Совѣтъ не то, что ро-

дители: добрый былъ и призрѣлъ меня, обратилъ вниманіе и вотъ въ настоящее время я съ Божіею помощью имѣю кусокъ хлѣба: я состою фельдшеромъ въ земствѣ; фамилія моя—Кузьмичовъ. Но только позвольте вамъ сказать: и земствъ много, и фельдшеровъ много, и членовъ, и депутатовъ—всего этого довольно...

— Сколько угодно! силло провнесъ мой сосѣдъ.

— Весьма много! Но такъ какъ, быть можетъ, они не изъ нашего сословія, не знаютъ горя, бѣдствія человеческого, то хоть и получаютъ тысячи, но общественнаго блага отъ этого не видать, то есть мало гдѣ можно встрѣтить...

— Махонькими, значитъ, порціями? этакъ только на вилочку зацѣпить?

— Весьма вѣроятно! Но такъ какъ во мнѣ изъ дѣтскихъ лѣтъ вкоренено печальное состояніе ума и сердце приучено къ содроганію, и потому учитель мой и благодѣтель, который воззвалъ меня изъ ничтожества и постановилъ человѣкомъ, также мнѣ внушалъ, что такое есть долгъ совѣсти, такъ я безъ хвастовства могу сказать, что во мнѣ есть совѣсть и есть чувство. Я хоть и двадцать пять рублей получаю въ мѣсяцъ, но, по совѣсти, съ любимымъ членомъ, который глотаетъ тысячи полторы-двѣ, въ сравненіе себя не поставлю. Это я говорю честно, благородно. Я хоть фельдшеръ, ничтожная часть человѣчества, но я обществу служу не на словахъ, а на дѣлѣ. На словахъ много охотниковъ, а ты поди-ка на дѣлѣ; своими руками, носомъ-то своимъ сунься къ болящему. А это въ моей природѣ: сердце у меня нѣжное, и я скорблю! Приди ко мнѣ мужикъ, или напиримѣръ пришли фазтонъ какой-нибудь кулакъ, я пойду къ мужику, а фазтонъ подождетъ! Я смѣло могу сказать, что есть я дѣятель для общества, но не для себя. Я бы могъ взятки брать, кулаковъ пользоваться, но напротивъ безъ хвастовства говорю, самъ даю свои деньги мужикамъ. Къ иному придеши—ни свѣчки, ни хлѣба, ни дровъ, горячей воды не на чемъ вскипятить, обмытъ больное мѣсто. Ну, и даешь! Кулакъ сунетъ тебѣ «рубль», а я его мужику отдамъ... Я говорю не то, чтобы я хвалился. а собственно доказываю, что во мнѣ есть природа совѣстливая и убѣжденіе.

— Не знаю! сказалъ сосѣдъ.—У нашего брата не слышать этого... Она нашему брату даже во вредъ, совѣсть-то:—препятствуетъ! Живемъ себѣ такъ, безъ совѣсти, постепенно острога дожидаемся... Ты вотъ по совѣсти хлопочешь, пилили даешь, а нашъ братъ подвалилъ тебѣ сразу какого ни на есть сираду изъ своей фабрики въ рѣчку, да распустилъ его верстъ на двадцать, одурманить и скотину, и народъ, а ты лежи тамъ, давай пилили!

— Это намъ вполне извѣстно! Мы съ нетерпѣніемъ ожидаемъ санитарнаго надзора и вѣроятно современемъ и будетъ достигнуто. Дѣло не въ этомъ... Я васъ покорнѣйше прошу обратить вниманіе на мои слова: мы завели рѣчь о женскомъ вопросѣ. Теперь, взявши напиримѣръ мое

положеніе, спрашиваю васъ: могу ли я имѣть по-другу, которая бы соответствовала моему сердцу, чтобы она понимала мою скорбь о ближнемъ и чтобы она не только не препятствовала, но побуждала? И я вамъ отвѣчаю: трудно!

— Не знаю, голубчикъ! Не касался я этого! Вотъ какъ лопнетъ нашъ банкъ, да поведутъ насъ всѣхъ, подлецовъ, на цѣпи, вотъ и будетъ окончаніе. А пока что, ввязался въ омутъ, вертись да совѣсть изъ себя выбирай, какъ причалъ изъ воды... А больше мы не знаемъ! Не знаю я! Боюсь я этого! Даже и думать объ этомъ намъ не подходитъ!... Врешь-врешь, вертись-вертись, да бутылкинешь туда, въ «слободку», къ арфисткамъ» — ну, и будто въ свои мѣсты! Доберешься до навозо-то, ну, оно будто и хорошо!

— Хотя вы, кажется, и преувеличиваете ваши взгляды, — послѣ небольшого молчанія проговорилъ собесѣдникъ моего сосѣда, — однако же позвольте мнѣ окончить мое мнѣніе. Сколько я на своемъ вѣку ни соприкасался съ женскимъ вопросомъ, постоянно я вывожу заключеніе одно: очень трудно! И мнѣ вѣдь тоже надобенъ иной разъ уголь, утъ. Мерзнешь-мерзнешь по зимамъ-то, захочется въ свободный часъ и погрѣться, и слово сказать. Тоже существуетъ сочувствіе человѣческое, называемое «рука помощи». Такъ — вѣрите ли? — не выходитъ! Я теперича ѣду на новое мѣсто служенія, а до сего времени я служилъ подъ столицей, близъ большой станціи желѣзной дороги... Пунктъ бойкій и служащаго народу очень довольно. Дамскаго полу много. Даже такъ много, что, ей Богу, беретъ жалость: куда, думаешь, дѣнется весь этотъ народъ? У всѣхъ жены и всѣ родятъ. И стрѣлочники, и телеграфисты, офиціанты, повара, кондуктора, начальники станцій, депо — у всѣхъ, у всѣхъ дѣти, и все больше дѣвочки... Мальчики — и такъ, и сякъ. ну, а дѣвочки? Куда, позвольте узнать?

— А мы-то? сказалъ сосѣдъ тѣмъ же безпристрастнымъ тономъ своего осипшаго голоса. — С-слопаемъ! Это мы все счастливѣе, сдѣлавъ милость! В-ссе!...

— Знаю! Знаю я это и безъ числа самъ видѣлъ. Въ этомъ-то и состоитъ чрезвычайное огорченіе... И вѣрите-ли, какой былъ случай на моихъ глазахъ? Одинъ оберъ-кондукторъ мало того что отъ жены у него трое ребятъ, еще монашенку совратилъ (тоже пошла въ монастырь изъ бѣдности), въ своей квартирѣ поселилъ и отъ нея двое ужъ, а впоследствии времени нянька къ нему поступила, такъ и то!

— Да чего ты? Я тебѣ скажу, въ Воронежской губерніи купцы Бѣлокуровы купили мнѣніе, такъ праздновали новоселье и одинъ нашъ былъ тамъ, захватили его въ Москвѣ, такъ рассказывалъ: «Загонъ, говорить, противъ дому сдѣлали. Противъ-то дому роща, такъ обнесли, вишь, ее столбами, по столбамъ канаты вытянули, да со всей округи бабъ и дѣвокъ созвали и загнали въ загонъ-то. переполни, да какъ стемнѣло, и пошли забавляться.. Какъ волки, вломатся туда въ за-

гонъ-то, подхватить что по вкусу и продолжаться. Вотъ какъ бываетъ! А это что! Оберъ-кондукторъ! Тутъ чисто какъ волчья стая. И никто не пикнетъ, потому «платимъ»!.. Поди-ка, откажись отъ шоколадной бумажки-то?.. Отказываться! Сами идутъ.

— Я про то и ужасаюсь, что сами, сами... Куда имъ дѣваться? Да что? Когда это оберъ-то кондукторъ, какъ я вамъ рассказывалъ, няньку-то молоденькую повлечетъ, такъ та сначала было жаловаться хотѣла. Такъ что-жъ вы думаете? Сама жена и монашенка-то стали ее усовѣщивать; стали уговаривать, что молъ «живи съ нимъ, молчи, а то отъ мѣста откажутъ». И самъ-то онъ этимъ же дѣйствуетъ: «Только, говорить, пикнешь — сейчасъ откажутъ; всѣ подохните голодомъ, со всѣмъ вашимъ племенемъ нарожденнымъ». Молчать, живуть, родятъ, другъ дружку уговариваютъ... Вотъ вы чему подивитесь... Однако же узнало начальство, и теперь, я слышалъ, точно что отрѣшили отъ должности, такъ что теперь, извольте сосчитать, сколько народу должно по міру пойти?

— Да мы еще прибавимъ этакое же племя!

— Глядѣвши только на это, и то содрогаешься: куда это дѣвать? Вѣдь наконецъ отвѣчать надо передъ Богомъ за человѣческую жизнь. Но, съ другой стороны, если взглянуть съ такой точки зрѣнія, чтобы начальство оставило этого самаго оберъ-кондуктора на своемъ мѣстѣ, такъ вѣдь сколько бы онъ еще ищей сестры перекалѣчилъ? Человѣкъ — прямо сказать, звѣрь, первый плутъ по всей линіи... Деньжонки у него водились, потому что, откровенно сказать, даже на парѣ брался провести сколько угодно — и народу, и товару — и никакое начальство сыскать не можетъ... Весь поѣздъ обыщи — ничего не найдешь, а онъ везетъ двадцать человѣкъ... Деньжонки у него всегда водились. Такъ сколько бы, говорю, напортилъ и народилъ?

— Что-жъ? Ничего! Сколько угодно! Пока Богъ грѣхамъ терпитъ, да желей, паче чаянія, еще годовъ восемь-девять въ острогъ нашего брата не пригласятъ, ничего! Вали, слопаемъ, сколько ни народи!

— Въ этомъ-то и заключается горе; и главное, все это явственно, какъ на ладони, — вотъ передъ самыми глазами — и что-жъ? Которыя вотъ, какъ вы говорите, женщины или дѣвицы не слопаютъ, даже несколько не страшатся! Какъ поѣздъ подходитъ, полна платформа женскаго сословія: гуляютъ, пока есть во что одѣться, да есть что жевать. Мужичкаго труда не знаютъ, мастерствомъ много не наживешь, да и много ужъ очень народу: пять дѣвицъ-швей на одно платье, гуляютъ себѣ, ждутъ, не подвернется ли женихъ, а не женихъ, такъ вотъ такой-же оберъ, а не оберъ, такъ и такъ кто-нибудь, кто болтаетъ мастеръ да посулы сулитъ. «Вѣдь вы же видите, Авдотья Петровна, говорю, бѣдствіе: съ одной то-то вышло, съ другой то-то, съ этой еще хуже, а сами стремитесь расплождать голодныхъ? Не лучше ли вамъ выйти за мужика? По крайности при домѣ». —

«Вотъ, стану я съ мужикомъ жить!» Вотъ ихній расуеодокъ!

— Да вѣдь тоже, поди-ка, поживи съ мужикомъ-то, попробуй-ка его оглоблевой науки!

— И это знаю, знаю я! Но вѣдь лучше же трудомъ жить, чѣмъ такъ, ни вѣсть на что рассчитывать. Ну, пироги пеки, продавай, экзаментъ выдержи, учи, получай тамъ что-нибудь! А то вѣдь въ сидѣлки даже въ больницу, на жалованье, и то съ большимъ затрудненіемъ идутъ: всѣ невѣдомо на что рассчитываютъ. «Въ депо еще, говорятъ, двое холостыхъ остаются». — «Но позвольте, говорю, вамъ замѣтить, Марья Ивановна, что, во-первыхъ, въ депо Андреяновъ ни во вѣки вѣковъ не женится, а во-вторыхъ, что у него сломана при столкновеніи нога; что-жъ касается Капустина, то потрудитесь счесть, сколько на него одного приходится дѣвицъ вашего положенія? А вѣдь всѣ только и думаютъ, что «въ депо еще двое остались». Позвольте, говорю, вамъ замѣтить, что въ отношеніи этого дѣла и телеграфистамъ, и стрѣлочникамъ, и оберъ-кондукторамъ, и въ депо, и въ подвижномъ составѣ—ведѣтъ наконецъ должны обозначиться предѣлы, мѣра и граница». — «А можетъ, какія другія должности произведутъ?» И хотя бы малѣйшая плачевность! Даже о себѣ вѣтъ никакого серьезнаго попеченія, не то что о другихъ. Случись съ кѣмъ грѣхъ—сейчасъ осудятъ, а подумать, что и самой можетъ угрожать паденіе, ни во вѣки вѣковъ!.. Такъ вотъ извольте судить, возможно-ли, предположить, хотя бы мнѣ найтись себѣ подругу или какое-нибудь осмысленное существо, хотя приблизительно? Откровенно скажу, много ихъ ко мнѣ стремилось... Все-жъ таки у меня мѣсто, жалованьишко какое ни на есть, да и молва про меня не худая; напротивъ, всѣ довольны, потому что я исполняю свое дѣло благородно и серьезно. Думаютъ также онѣ, что я, по примѣру прочихъ, и мошенничаю, ворую въ больницы, и что слѣдовательно у меня есть доходы и въ концѣ-концовъ, конечно, главное-то, что я не женатъ. По этому случаю много я ихъ вижу. — «Михалъ Михалычъ! У меня болитъ палецъ». — «Позвольте!» Осматриваю, ничего нѣтъ! Погляжу ей въ глаза, а тамъ все и обозначено. Говорю: «Во-первыхъ, вамъ надо руки держать опрятнѣе, а во-вторыхъ, заниматься какими-нибудь трудомъ, шить или писать, или на огородѣ, тогда пальцы ваши будутъ здоровы. До свиданія!» — «У васъ никогда не добьетесь ласковаго обращенія...» — Что дѣлать! я занятъ дѣлами? — «Какіе вы грубые...» А иная придетъ (все въ больницу ходятъ, потому что я всегда занятъ) и затрепещитъ опять все то же: «Михалъ Михалычъ! У меня палецъ заболѣлъ...» — «Гдѣ именно?» — «На рукѣ». — «Позвольте!» Только отвернешься за чѣмъ-нибудь, а она ужъ забыла, что и говорила-то, возвращаясь: сняла чулокъ, показываетъ колѣнку. — «Это что жъ такое?» — «Я забыла»... А глазами все и указываетъ. — «Ну, сударыня, говорю, потрудитесь идти домой, вспомните, гдѣ именно у васъ болитъ, тогда и приходите!» — «Да я

и теперь помню». — «Гдѣ же и что?» — «Больше ничего, приходите къ намъ чай пить, а потомъ пойдемте гулять на озеро... Я вамъ что-то скажу!» — «Душевно благодаренъ, но у меня обязанности», т. е. надѣвай, матушка, чулокъ и ступай куда тебѣ угодно, если не хочешь серьезно обдумать свое положеніе. То есть ни малѣйшаго абсолютнаго развитія и чистокровный абсурдъ въ головѣ! И вѣдь не то, чтобы притворялась, или лгала, нѣтъ! все по чистой совѣсти! Одна такая-то вѣдь какъ меня потрясла. Явилась также вотъ, ужъ не помню съ чѣмъ-то, съ пальцемъ или съ чѣмъ другимъ,—то, се... вдова, трое ребѣтъ, молодая женщина... А мнѣ что-то пригрустилось, а можетъ и дѣловъ не было. только что думаю: «Зайду такъ, посидѣть». Вѣдь одурѣешь, молчавши-то! Зашелъ. Ну то, другое. Разговариваешь. Я излагаю свои мысли, что, молъ, женщина должна способствовать, а не препятствовать, побуждать, а не опровергать; говорю, что общественное благо выше узкаго эгоизма, что женщина должна выйти изъ замкнутаго узкоколѣбія и обращать вниманіе также и на общественную пользу. Развиваю свои мысли подробно. Слушаетъ, кажется, слова не проронитъ, наконецъ говоритъ: — «Какъ вы, говорить, хорошо говорите, Михалъ Михалычъ, что я даже все понимаю, а какъ говорятъ другіе прочіе служащіе, то ничего нельзя понять, потому что однѣ глупости. Если бы мнѣ опять выйти замужъ за такого человѣка хорошаго, какъ вы, то я бы, говорить, не только что не стала препятствовать общественному благу и затруднять его поприще служенія (вѣдь запомнила слова-то!), а даже бы, говорить, которые у меня отъ покойнаго мужа остались трое дѣтей, то я и ихъ готова искоренить со свѣта, чтобы только предаться любимому существу!» Отпечатала мнѣ она этакую-то прокламацію и сидѣть, сіяетъ, думаетъ: вотъ она мнѣ въ самый разъ по мыслямъ попала, а я такъ—вѣрите ли?—просто за нее-то со стыда сгорѣлъ! Не зналъ, какъ убраться домой, обалдѣлъ даже совершенно! Такъ вотъ какъ онѣ понимаютъ общественное благо!

— Не знаю! Не знаю этого! Чего не знаю, о томъ говорить не могу,—покашливая, пробормоталъ сосѣдь.

— И этакіхъ-то эпизодовъ въ моей жизни—сидѣтъ нѣтъ! Посмотришь, обратишь вниманіе, а тебѣ въ концѣ-концовъ такую засвѣтять ерунду, что только давай Богъ ноги. Ничего кромѣ мученія! Въ послѣдній разъ, я вамъ расскажу, такъ я былъ до такой степени изумленъ, что даже мѣсто рѣшился оставить; думаю: «уйду куда-нибудь подальше и отрекусь навсегда отъ сочувственныхъ мыслей»... И ѣду вотъ теперь въ Вятскую губернію, въ самую дикія мѣста... Познакомился я тоже—ужъ это стало-быть послѣ той вдовы, что я рассказывалъ,—съ другой, второй. Тоже женщина молодая и дѣтей нѣтъ. По примѣру прочихъ дамъ, пришла она въ больницу, только не съ пальцемъ и не съ какими-нибудь притворствомъ, а довольно серьезно... «Просто, говорить, хотѣлось посовѣ-

товаться съ вами: осталось у меня послѣ мужа тысяча рублей, такъ вотъ мнѣ бы хотѣлось поговорить, какъ лучше сдѣлать: торговлю-ли какую открыть, или пойтить въ монастырь?» Объяснила она мнѣ, что есть монастыри, гдѣ принимаютъ съ тысячей рублей на вѣчныя времена: деньги отдай и живи до самой смерти. Говорить она это хорошо, честно, благородно. А у меня перевязка, времени нѣтъ. Приглашаетъ зайти, поговорить. Подумалъ, говорю: «Хорошо! вечеромъ зайду!» Вечеромъ дѣйствительно я пошелъ къ ней, и — откровенно вамъ скажу — очень она мнѣ понравилась: и въ домикѣ у ней хорошо, чисто, тепло, и разговоръ простой. Думаю: попробую я ее нѣсколько поразвить. Куда ей въ монастырь или въ лавку?.. Въ обоихъ случаяхъ одно дармоедство и праздное существованіе. Нельзя-ли, думаю, какъ-нибудь порасширить у нея интеллигентныя точки зрѣнія и кругозоры? Поговорилъ въ этомъ смыслѣ. Говорить: «Я и сама думаю, что будто не подходитъ мнѣ ни въ торговки, ни въ монахини»... Закуску подала, водку; я конечно не пью: не люблю этого; попилъ чаю, ушелъ. Звала заходить, просила подумать. Подумалъ — подумалъ, вижу, что, кажется, почва будетъ благопріятна. Совѣсть мнѣ указываетъ, что при такихъ условіяхъ я даже права не имѣю бросить человѣка, а долженъ содѣйствовать. Надобно сказать, что я страсть какъ охочу до книгъ. Чуть мало-мальски свободный часъ, сейчасъ я за книгу, за журналъ, газету... Все что есть у насъ на станціи, у инженеровъ, въ депо, у прочихъ служащихъ — все это я постепенно перечиталъ. Задумавшись о вдовѣ, прихожу къ мысли — начать съ чтенія. Отобралъ кой-гдѣ нѣсколько экземпляровъ съ тенденціей, понесъ, далъ ей. Говорю: «Вашихъ вопросовъ, съ которыми вы ко мнѣ обращались, я еще не разрѣшилъ, а вотъ, говорю, пока что, не хотите-ли отъ скуки заняться чтеніемъ?» — «Очень рада!» Дамъ ей романъ и сурьезное сочиненіе. — Взяла. «Непремѣнно все прочитаю!» Отлично. Захожу какъ-то. Говорить: «Романъ прочитала, а эту книгу, сурьезную, не могла прочитать, ничего не поняла». И это мнѣ понравилось: не врать. — «Что же вамъ въ романѣ особенно нравилось?» — «А нравилось про любовь, разговоры понравились, гдѣ короткими строчками написано, а гдѣ густо напечатано, такъ скучно!» И опять припалъ мнѣ по вкусу и эти слова. Хорошо. Продолжаю разговоръ, говорю: «Напрасно вамъ такія именныя мѣста понравились». Начиная разъяснять главную идею, говорю: это вотъ эгоизмъ, а это вотъ долгъ, происходитъ борьба, и такъ далѣе. Затѣмъ объясняю, что на борьбу и надо обращать вниманіе, чтобъ согласно убѣжденіямъ стоять либо за одно, либо за другое, и что вся эта любовная ерунда ничего не составляетъ... Ну, разъясняю все подробно; слушаетъ. И разъ пришелъ, и двѣ... Шпицгагена «*Одинъ въ полѣ не воинъ*» притащилъ, прозудилъ ей первую часть самъ, объяснилъ. Далѣе-больше, выходить, что ужъ перебиралъ я къ ней на квартиру, жильцомъ; ужъ мнѣ скучно безъ нея; есть ужъ мнѣ съ кѣмъ

слово сказать, потолковать... Какъ чуть выдастся минутка — за книгу. — «Понимаете ли, въ чемъ дѣло?» — «Понимаю!» — «Не можете ли разсказать своими словами?» Ничего, кое-какъ да кое-какъ добирается. — «Я, говорить, теперь стала серьезныя мѣста понимать, а тамъ, гдѣ короткія строчки, то мнѣ не любопытно». Постепенно такимъ образомъ начинаю я привыкать, думаю, что она прониклась моими воззрѣніями... Только разъ получаю казенную бумагу: «немедленно явиться въ городъ къ г. предсѣдателью губернской земской управы для личнаго объясненія». Что такое? Являюсь, не могу никакъ сообразить, а ужъ и въ бумагѣ почуялъ я что-то неладное: что-то больно строго написано... Явился, жду. Выходитъ предсѣдатель, да какъ началъ меня пушить справа на лѣво. Свѣту не взвидѣлъ я. — Вы маникуете, злоупотребляете, роняете довѣріе и уваженіе къ земству». И-и-Боже мой! — «Позвольте, говорю, ваше превосходительство, узнать, въ чемъ я виновенъ?» — «А вотъ въ чемъ!» и показываетъ мнѣ цѣлую кучу жалобъ отъ разныхъ лацъ: тогда-то пріѣзжали отъ тифознаго — не поѣхалъ; тогда-то требовали въ деревню, гдѣ сибирская язва, — не поѣхалъ; тогда-то привозили сумасшедшую — не принялъ. Читаю, самъ глазамъ не вѣрю! Я-то? Да могъ-ли я въ мысляхъ это допустить? Я полагаю въ это дѣло сколько во мнѣ есть совѣсти, да чтобы я себѣ позволилъ? Нѣтъ, это неправда! — «Ну, чтобъ впередъ этого не было!» Воротился, рассказываю Анфисѣ Николаевнѣ и вижу: покраснѣла она вся, сконфузилась и говоритъ: «Это я, Михалъ Михалычъ, виновна; потому что я, говорить, васъ люблю, жалѣю... Вы не какъ прочіе... Какъ же мнѣ васъ не беречь?.. Тутъ пріѣзжаютъ, а вы только-что отдыхать легли; ну, я и говорю: «не принимаютъ»... А то ѣдутъ съ тифозной горячкой, съ язвой какой-то... Мнѣ васъ жалко... Я говорю: «Пошли вы отсюда, безсовѣстные!» Ужъ вы меня простите... Этого и въ романахъ не сказано, чтобы подъ сибирскую язву любезнаго человѣка подвергать!» Такъ меня ровно варомъ обдало отъ этихъ словъ... И не врать, а что можетъ быть хуже этихъ безсознательныхъ выраженій? Такъ съ тѣхъ поръ я и сталъ отъ нея сторониться... Такъ меня и стало онъ нея относить далѣе и далѣе... Думаю: «оставлю я всѣ эти планы, уѣду въ пустынное мѣсто, предамся долгу, а эта женская любовь не подходитъ ко мнѣ... она мнѣ вредитъ, совѣсть мою ослабляетъ, а какъ совѣсть моя погаснетъ, такъ что я буду? Только дѣтей распространять? Нѣтъ, это не по мнѣ...» Такъ постепенно и отсталъ... Получилъ недавно отъ нея письмо, пишетъ: «Теперь я все понимаю и навсегда буду васъ будить послѣ обѣда, въ полночь и за полночь!» Хотѣлъ отвѣчать... да не знаю... Нѣтъ у нихъ умственного кругозора!.. Вотъ въ чемъ вся суть. Доброта есть и все, а что по умственному развитію — одно узколюбіе! Такъ лучше это дѣло оставить и отдать себя на жертву обществу. Вотъ какъ я думаю!

— Богъ его знаетъ, какъ оно тамъ, — лѣнливо, силно и хрипло проговорилъ мой сосѣдъ. — Я тебѣ

рать! Вотъ въ такомъ-то положеніи и посылаешь мнѣ Господь кроткаго ангела. Нанялась въ сидѣлки такъ дѣвочка, лѣтъ семнадцати. И ростомъ невелика, вродѣ Анны Ивановны; кажется, слабенькая, но что касается души — одинъ пламень! Пришла, послушала, что я говорю, молча все это поняла и потихоньку, не спѣша, безъ разговоровъ все, до-чиста привела въ полное совершенство: всѣ больные напоены, накормлены, бѣлье переодѣто, всѣ ребята успокоены, лежать, спать; чисты, опрятны, вездѣ чистый воздухъ; полы вымыла до такой степени — бѣлѣй снѣгу. Думаю: «устанетъ! уйдетъ!». Ни чуть не бывало. Ляжетъ спать — чуть кто пискнулъ — она тутъ, на ногахъ; и день, и два, и недѣля прошла — все тоже и безъ всякихъ разговоровъ все сдѣлаетъ, исправить... Рай земной! Положительно сказать, первый разъ въ жизни встрѣчаю такое явленіе. Вдругъ приводать одного молодого малюга! изъ богатенькихъ кулачковыхъ, торговцевъ. Пьянствовалъ, ногу повредилъ, лечить привезли. Положили. Лежитъ, поправляется. Вижу, палить мой кулачишко глаза на эту дѣвицу, на Ольгу. — «Что?» говорю. — «Хорошая, говоритъ, Михалъ Михалычъ, порція!» Я говорю: «Ты бы лучше капустныя кочерыжки собиралъ — вотъ твоя порція. А это — женщина, да еще какая! Ты рыло-то, говорю, свое сначала лошадиной скребничей оскوبي, чтобы позволить себѣ дышать около нея, а не то, чтобы думать худо, дуракъ!» А малый еще былъ молодой — понималъ мои слова, почувствовалъ. И что больше лежитъ, вижу, все больше влюбляется, вздыхаетъ, охаетъ. «Жить, говоритъ, не могу, женюсь!» И Ольга какъ будто тоже что-то... Она все продолжаетъ попрежнему со всѣми неподобно хорошо обращаться, все у нея вполне великолепно, а есть что-то... Однако малый выздоровѣлъ и на выписку идетъ. «Я, говоритъ, Михалъ Михалычъ, женюсь на Ольгѣ; сейчасъ къ тятенькѣ, а завтра приѣдемъ съ матерью, возьмемъ ее!» А между тѣмъ открывается сибирка и ужъ человѣка два-три было. Вотъ я и думаю: «Конечно малый онъ хорошій и Ольга точно ему нравится, но что же должно считать выше и справедливѣе: общественное ли благо, или личный эгоизмъ? Положимъ, что я устрою счастье Ольги и молодого парня, и они будутъ наслаждаться, а эти несчастныя дѣти, больные мужики и бабы?» Что же, спрашиваю васъ, справедливѣе: доставить ли удовольствіе двоимъ, или спасти десятки? Думалъ, думалъ; жаль мнѣ и Ольгу, и парня, но совѣсть взяла верхъ... Выписалъ я парня, говорю ему: «Пойдемъ въ трактиръ!» (а самъ я отъ роду не хаживалъ). Пошли, поставили я пива ему и говорю: «Ты любишь Ольгу?» — «Такъ точно. Обожаю.» — «Жениться хочешь?» — «Полнымъ закономъ.» — «Хорошо. А знаешь ли ты, какого она поведения? Вѣдь у нея былъ, говорю, отъ меня, отъ са-мо-го ме-ня ребенокъ; одного, говорю, она убила, а другого живымъ зарыла въ землю. Отъ этого-то она и тиха, потому что я знаю ея секретъ...» Словомъ, такъ я ее расписалъ, что парень мой сидитъ да глаза тарашитъ, а потомъ

схватился за шапку, да задвину черезъ огороды — домой... Послѣ этого яду я къ Ольгѣ и говорю: «Тебѣ кажется, этотъ молодой человѣкъ поправился?» — «Онъ самъ мнѣ признавался... не какъ-нибудь... мы въ законъ.» — «Ну такъ вотъ что, любезная, я тебѣ скажу: во-первыхъ, этотъ молодой человѣкъ *воръ* и ужъ два раза сидѣлъ въ острогѣ, а черезъ недѣлю пойдетъ въ каторжные работы; во вторыхъ...» «Ито же ужъ постарался! Такъ постарался, что она ревѣла, ревѣла у меня цѣлый день, а потомъ очуствовалась сразу и опять пошла еще того превосходнѣе дѣйствовать. Истинно золотое сердце! Такъ вотъ сколько я долженъ былъ употребить обмана и лганья, чтобы удержать хорошаго человѣка на поприщѣ священныхъ обязанностей!»

Разсказчикъ замолкъ, позвенѣлъ ложечкой въ стаканъ, хлебнулъ и проговорилъ:

— Я было думалъ навсегда ее удержать; ну, признаться, совѣсть закрила. Какъ кончилась рабочая пора, бабы опять тутъ, какъ тутъ «Гдѣ наши шпигонцы? Пожалуйте намъ!» — «Шпигонцы, дуры вы эдакія? Теперь пришли за шпигонцами, какъ деньги понадобились, а тогда что дѣлали?» — «Будетъ тебѣ болтать-то! Давай, которые живы, не задерживай... А на мѣсто, которые умерли, новыхъ надѣть получать. Тамъ поди уже пронасъ эво сколько запасено новинъ-то!» Ей-Богу, истинные есть живорѣзы изъ этого соловія! Ну, роздалъ имъ остатку (много помираетъ), ушли, остались мы съ Ольгой... Сибирка тоже призатила. Осень. Бабъ много. Саперный батальонъ снялся. Думаю, что я ее мучаю? Говорю: «Оля! ангелъ неподобный, а вѣдь вотъ я какъ тебя обманулъ...». И все ей разсказалъ. «Я, говорю, самъ съѣзжу къ твоему любезному, привезу его...» И точно. Малый сидитъ, какъ зарѣзанный: такъ я его ухлопалъ. Ну, что же дѣлать? Все обошлось какъ слѣдуетъ... Былъ на свадьбѣ.. Да и много такихъ случаевъ было, но все это единичные атомы... А ежели посмотрѣть вообще, то положительно душа содрогается... «Модназель, говорю одной, вы должны побуждать своего мужа къ честнымъ поступкамъ и только въ такомъ случаѣ должны его любить. Ежели-жъ онъ совершилъ какой-нибудь подлый общественный поступокъ, то вы должны наказать его своимъ презрѣніемъ». Что-жъ мнѣ отвѣчаютъ? «Я такъ думаю: который человѣкъ будетъ меня любить и даже готовъ себя изъ-за меня прозакладать, тотъ есть честный человѣкъ!» — «А если онъ обокрадетъ казну и подаритъ вамъ золотой браслетъ?» — «Кто любитъ женщину всей душой, тотъ даже и Сибири не боится». Это называется любовью; чтобы позаботиться о прогрессѣ, это ужъ извините никогда!

— Нѣтъ, ничего! Ух-хъ, какъ меня тогда Аграфена-то!..

На словѣ «ухъ» сосѣдъ мой сдѣлалъ такое усліе, что осяпшее горло его какъ бы захлебнулось, и удушливый, затажной кашель захватилъ его дыханіе. Всякіе разговоры прекратились; фельдшеръ

побѣжалъ за водой, я тоже вскочилъ, прибѣжала даже буфетчица.

Однако все обошлось благополучно.

II. Затрудненія купца Тараканова.

Эта маленькая неожиданность, заставившая меня покинуть покойное ложе, волей-неволей заставила также увидѣть и моихъ попутчиковъ. Фельдшеръ былъ маленькій, сухенькій человѣчекъ съ нѣсколько постнымъ и притомъ чисто крестьянскимъ лицомъ. Бѣловурые, почти лыняго цвѣта волосы были тщательно зачесаны со лба назадъ и подстрижены въ скобку; одѣтъ онъ былъ чрезвычайно опрятно, въ новенькую кожаную куртку, застегнутую до горла, и въ высокіе, выше колѣнъ, сапоги. Что касается моего сосѣда, лежавшаго въ головкахъ, то это былъ человѣкъ также небольшого роста, новинному купецъ, человѣкъ пухлый, раздутый, точно налитой; онъ былъ безъ сапоговъ, въ холстинной рубашкѣ, плотно перекрещенной на спинѣ и на груди старыми кожаными подтяжками; что то залежавшееся, старозавѣтное виднѣлось въ его фигурѣ со скомканной рыжеватой бородой, «пятерней» разбранными волосами и тараканьими усами, увѣчанными малиновымъ носомъ, величиной съ пуговицу. Тугой, на солдатскій манеръ, галстухъ, скрывавшій воротъ рубашки и очевидно съ усиліемъ застегнутый на два крючка на братой щетинистой шеѣ, также показывалъ, что человѣкъ этотъ не «нонѣшняго» поколѣнія и не нонѣшней развязности, а бараны, круглые стрые глаза на выкатѣ, казалось, и при усилии не могли бы выразить ничего иного, кромѣ навивной заботности.

Долго чихалъ онъ, наклоняясь къ полу и обѣими руками отирая тамъ, внизу, чуть не подъ диваномъ, на которомъ сидѣлъ, свое лицо и бороду. И не успѣлъ онъ еще привести ихъ въ должный порядокъ, какъ счелъ почему-то нужнымъ повернуть свое раздувшееся отъ кашля и тѣснаго галстука лицо въ мою сторону и сильнымъ прерывающимся голосомъ объяснить:

— Вс-се... отъ... пьянства!..

Онъ хотѣлъ что-то прибавить, объяснить мнѣ, новому лицу, дѣло «поподробнѣе», но опять ему пришлось нагнуть голову подъ диванъ, откашливаясь и чихая.

— Потому... жрешь... безпрестанно! прокричѣлъ онъ наконецъ, когда припадокъ окончился. Отчихавшись, купецъ умылся, послѣ чего, обратясь къ буфетчицѣ, сказалъ: «Нѣтъ ли, матушка, тряпочки какой *рыло* обертереть?» и потомъ нѣкоторое время молча посидѣлъ на своемъ мѣстѣ, упираясь въ сидѣнье обѣими руками и тяжело дыша открытымъ ртомъ.

— Нѣтъ! рѣшительно проговорилъ онъ, наконецъ.—Видно, надо горячимъ продолжать...

Эти слова относились ужъ не ко мнѣ исключительно, а ко всѣмъ, бывшимъ въ какотѣ, т. е.

и къ намъ, попутчикамъ, и къ лакею, и къ буфетчицѣ.

— У меня двѣ линіи идутъ завсегда: первоначально горячимъ орудуешь, пуншами наливаешься, гринтвейномъ, все горячимъ — пока до предѣла. Ну, а ужъ какъ дойдешь до пункта, на другую линію поворачиваешь: тутъ ужъ все со льдомъ, со льдомъ, холодное пониче, видно, еще не въ пору... хватилъ вотъ съ ледкомъ коньячншку, анъ оно и захватило!

На маленькомъ столикѣ предъ купцомъ стояла бутылка коньяку, талерлка льду и какія-то рюмки и стаканы.

— Такъ ужъ ты дай мнѣ тепленькаго, сказалъ онъ лакею. — Кофейку съ коньячншкомъ... Лимонцу!..

Лакей ушелъ исполнять приказаніе; ушла и буфетчица.

— Что-жъ это, позвольте васъ спросить? сказалъ участливо фельдшеръ, обращаясь къ купцу.—Все вы говорите: «пнешь, пнешь»... Что-жъ это, недугъ что ли у васъ?..

— Нѣтъ, запую у меня нѣту! Это мнѣ и доктора говорили... Вотъ какъ послѣ Аграфениной расправы пришлось мнѣ недѣли три дома просидѣть, такъ я ничего, совсѣмъ сталъ человѣкомъ. Даже и охоты никакой нѣтъ пить-то! И рюмки не выпилъ... Ну, а какъ вступилъ въ публяку — и пнешь!

— Да зачѣмъ же это?

— Ей-Богу, не знаю! Такъ вотъ, хлопнешь рюмку за рюмкой по случаю разныхъ предлоговъ, только и всего! И даже совершенно не понимаю, что такое? А глядишь, какъ часъ десятый, одиннадцать приближается, ужъ и языкъ не дѣйствуетъ и воротъ своихъ не слышишь... Такъ вотъ, пнешь его знаетъ, какъ выходить...

— Гм!.. сказалъ фельдшеръ.—Странно!

— То-есть, даже понять невозможно. Вѣдь это я знаю: коли не пить, то и пишу принимаешь хорошо и въ разсудкѣ ясность, и вообще весь корпусъ оказываетъ крѣпость. Это я все понимаю. А такъ какъ и въ мысляхъ, и въ поступкахъ, и въ дѣлахъ, и во всемъ спутавши, такъ вотъ и пнешь незнамо зачѣмъ. Н-ну, и дѣла не веселятъ... Торговлишка тоже кое-какъ... довольно какъ-то ту-поумно идетъ... Да и такъ воцпе все склоняетъ на пьянство... ей-Богу! А что сурьезно сказать, даже и удовольствія не вижу... Ей-ей! Вѣдь даже скусу не вижу; что водка, что коньякъ, что ромъ, или тамъ вина—вѣдь чистое, съ позволенія сказать, свинное пойло. Ну, какой въ нихъ скусъ? А ломаешь! А такъ я думаю, что вотъ мотаешься всю жизнь вокругъ да около, пнешь его знаетъ, чего, такъ вотъ и жрешь все, невѣдомо зачѣмъ... Однова даже совсѣмъ было задохся...

Говоря это, купецъ поглядывалъ то на меня, то на фельдшера; но ни я, ни фельдшеръ не нашли возможнымъ отвѣчать ему что-нибудь, не смотря на то, что объясненіе имъ своего «пьянства» вышло довольно пространнымъ. Наше молчаніе было скоро прервано появленіемъ слуги, который принесъ купцу стаканъ кофе и лимонъ. Купецъ подлѣлъ

въ кофе коньяку, выпилъ, крикнулъ, похвалилъ и усы свои пососалъ...

— Такъ какъ-то оно даже съ самыхъ первоначальныхъ дней идетъ—заговорилъ онъ.—Слышишь-послышишь, обсуждаютъ разные времена, говорятъ: «порядку было больше въ старое время, правилъ, Бога чтли». Не знаю! Ничего этого обсуждать не могу, ни новыхъ, ни старыхъ правилъ.. А что касается объ себѣ — ничего кромѣ побоевъ съ дѣтскихъ дней не было. Только бывало и ждешь одного! И весь домъ тожъ, бывало — и маменька, и сестра, и братья, и прислуга, и приказчики, и все населеніе — все, бывало, только трясется цѣлый Божій день, чего-то опасаются... Конечно намъ нельзя осуждать родителей, а вспомнишь — ничего хорошаго отъ нихъ не было... И самъ, бывало, родитель-то молчитъ, сидитъ въ своей моленной, и весь домъ молчитъ, шепчутся только, и собаки на цѣпяхъ, и замки вездѣ эво какіе... А что такое? зачѣмъ? почему такая строгость? — Не знаю! Я моимъ глупымъ умомъ этого не могу понять... Трассеяся бывало и все тутъ! Терпишь, терпишь, да случай выйдетъ, прямо въ подворотню да въ кабакъ! Напьешься, наколотятъ тебѣ шею, вычихаешься и опять молчишь. Не знаю! Порядокъ это или ужъ какъ иначе назвать, а вспомнить, передъ Богомъ, нечего. Завсегда, кажется, какъ себя началъ помнить, не иначе объ себѣ могъ думать и полагать, какъ о самой послѣдней твари, а кому отъ этого польза — не спрашивалъ. Да и про нѣтъшнія времена тоже не могу ничего настоящаго сказать: ни то хорошо, ни то худо. При родителяхъ по крайности зналъ одно: молчишь какъ зарѣзанный и мыслей даже нѣтъ; ну, а теперь мыслей тоже нѣту никакихъ, и врешь съ утра до ночи... По моему счету, господи, сталъ я наприимѣръ вратъ, то-есть безъ усталы, лѣтъ пятнадцать либо двадцать тому назадъ, да и по сейчасъ не предвижу остановки, развѣ что въ тюремномъ мѣстѣ прекратилъ это занятіе, а что своимъ смысломъ — не выбраться! Нѣтъ, не выйдешь!

— Да въ чемъ же собственно дѣло? спросилъ фельдшеръ въ недоумѣніи.

— Да въ томъ и дѣло, что время съ утра до ночи — вотъ въ этомъ самомъ все наше дѣло и заключается. Какъ пошла леформа, такъ и стали вратъ направо и налѣво, отъ утренней зари до заката, пока на четверенькахъ до воротъ не доползешь. Все только врешь и больше ничего... Мы жили при родителяхъ, ни о чемъ понятія не имѣли. И родители тоже никакихъ смысловъ не могли разъяснить; мнѣ вотъ теперь сорокъ шестой годъ, а я, передъ Богомъ, не знаю: и что такое Россія, гдѣ она начинается, гдѣ кончается, ничего не знаю! Знаю, что живу въ Россіи, а что она такое — неизвѣстно! Никакихъ правилъ, порядковъ, законовъ — ничего мнѣ неизвѣстно. Лѣсъ дремучій — больше ничего! Про Бога тоже мало знаю, ничего мы этого не понимаемъ, никакой премудрости не можемъ знать. Ни читать чтобы со смысломъ, ни написать по-человѣчьи, ничего не умѣемъ, — однимъ словомъ, окончательно только

получили отъ родителей одинъ испугъ, больше ничего. Что же мы можемъ понимать? Ничего! Ну, вотъ въ этомъ-то видѣ и всунулись мы рыломъ въ леформы.. Вотъ съ тѣхъ поръ только и дѣлаешь, что врешь да поило жрешь, да съ арфистками.

— Про какія же собственно реформы вы изволите говорить?

— Да про всякія... Какія только ни бывали, во всѣхъ мы натоптали, насроматили... А такъ, чтобы сказать, гдѣ больше, а гдѣ меньше — не могу! Вездѣ все спутавши комомъ и акромия острога намъ не будетъ другого результата... Потому — не хорошо! Вотъ что! Батюшка-протопопъ распространяетъ такое мнѣніе, что, молъ, въ прежнія времена «страхъ Господень знали, Бога боялись»... А Аграфена-то вонъ какъ нашего брата опредѣлила! Извольте-ка подумать, чего натворили изъ-за одной роши, а ежели всѣ-то поступки счесть, такъ и смѣты даже не будетъ, сколько мы, окромя этой роши, зла натворили! Стало-быть, что Бога-то въ насъ мало было, а не очень чтобы много... Разсказать хоть про эту самую банку нашу. Сокрушили мы эту самую рошу, всякую черноту и голь оголили, сиротъ осиротили, и на эти, на сиротскія, на Аграфенины, стало-быть, деньги стали ушпреніе дѣлать потребленію, само собой ужъ съ молебномъ, конечно ужъ и слово протоіерей сказалъ, ну, только надо прямо говорить: слабоватое было слово; не въ привычку еще было объ такихъ дѣлахъ «по писанію» разговаривать; только всего и слышали, что «изда» да «изду»... Ну, а вотъ одинъ изъ свѣтскихъ, изъ ловкихъ, такъ точно сплелъ хорошій бредень! Этотъ, ловкій-то, главный былъ воротило въ этомъ дѣлѣ. Жаднаго народу у насъ много, ртовъ-то наприимѣръдохматыхъ очень даже довольно, а чтобы какъ-нибудь форменно обработать порцію, нѣтъ, не мастера; разговору нѣтъ никакого и выдумки тоже никакой нѣтъ. Такъ, ежели просто по шучьи сглупить кусокъ — можемъ! Разинемъ ротъ и дождаемся, покуда въ него сама порція вскочитъ: ну, а чтобы свое разбойство поблагороднѣй представить, нѣтъ, не умѣемъ! Чавкаемъ, да пальцами играемъ, да кланяемся — въ томъ наше и образованіе все. Такъ ужъ само собой такимъ людямъ на подмогу требуются люди по словесной части: то-есть, чтобы все привелъ въ форму, расписалъ, обгородилъ, чтобы намъ не безпоиться ни о чемъ, а только бы пасть свою развѣять во время. Вонъ и въ нашемъ дѣлѣ такой-то тоже былъ инструментъ... Еще когда рошу сводили, такъ онъ тоже много въ думѣхъ бормоталъ на разные манеры: «Рыскъ, говорить... Въ Америкѣ, вишь, завсегда рыскъ... чрезъ это и богатство... утромъ, вишь, нищій былъ, поймалъ рыбу, продалъ, сейчасъ деньги въ оборотъ — къ обѣду у него сто тысячъ, а къ вечеру миллионъ.. Въ Америкѣ, вишь, поѣзда безъ-остановки ходятъ... Пассажировъ прямо съ багажемъ въ окно швыряютъ и ничего: сейчасъ встанетъ и побѣжитъ, потому — время дорого, отъ этого и оборотъ быстрый, проценту мно-

го, не то что, молъ, у васъ: набили сундуки деньгами да и спите на нихъ!» Всякихъ словъ тогда много набормотано было! Мы вѣдь очень-то прекрасно понимаемъ, что это одно бормотанье, да носомъ чувствуемъ, что по нѣшнимъ временамъ именно на такой манеръ требуется лапу-то запустать, т. е., чтобы съ Америкой было и съ производствомъ, и со всѣмъ прочимъ припасомъ, а не просто по-волчьи: сгребъ за хохолъ и поволокъ въ лѣсъ... Ну, и бормоталъ этотъ парнишко во всѣхъ мѣстахъ: и въ думѣ, и въ губерніи, и въ Питерѣ. Все и выхлопоталъ, и утвердилъ. Такъ вотъ этотъ-то ловкачъ и на молебствіи тоже отъ себя слово сказалъ. Само собой и про Америку, про всякую небыллицу въ лицахъ, «а что касаемое, говорить, до вкладовъ, то мы въ надеждѣ, говорить, что всѣ почтенные старцы и вдовы и прочіе, напримѣръ, преклонные люди принесутъ намъ свои крохи, и будутъ они, говорить, доживать свои дни спокойно, безъ заботъ и трудовъ, потому—будетъ имъ идти дивидентъ, подобно, говорить, какъ въ писаніи сказано: «ни сѣють, ни жнутъ, а получаютъ дивидентъ со всѣхъ продуктовъ и живутъ во славу, превосходяще Соломона!» Вотъ такъ и началось; пока что, бормотали да бормотали, да лѣсъ рубили—глядь, а ужъ вокругъ этихъ денегъ два-три человѣка есть. Своими ручками ихъ держутъ: Иванъ Кузьмичъ директоръ, Артемъ Артемычъ членъ и Кузьма Семенычъ членъ... Стало быть: одинъ дядя, одинъ племянникъ и одинъ двоюродный братъ. Одинъ одному подписали три векселя, попереду всѣхъ денежки взяли—хвать-похвать—эво, какая сила у нихъ вышла! Чисто вотъ какъ ловкачъ-то про Америку сказывалъ: утромъ ничего не было, а вечеромъ—хвать-похвать изъ Аграфейкина лѣсу—и богачами сдѣлались! И видимъ мы, лавочная мелкота, что не сегодня—завтра намъ точно подохнуть придется, потому у нихъ сила явная въ лапахъ-то! Набрали денегъ эти самые сродственники и такъ грозятся, что большую торговлю откроютъ и всѣхъ насъ проглотятъ. И видимъ, нѣтъ мудренаго ничего. Надо было стало-быть и самимъ лѣзть либо въ перекоръ, либо въ компанію. И покупатель-то намъ весь на чисто извѣстенъ; всего-то его по пальцамъ пересчитать можно, а что дѣлать? Надо тянуться!.. Вотъ такимъ родомъ наша малая братія и лѣзетъ въ союзъ къ сродственникамъ: «Не губите, молъ, а примите подъ крыло!»—«Извольте!»—«Что же требуется?»—«Верите у насъ товаръ; больше ничего и не требуется, только всего!»—«Что-жъ? Позвольте товару!» Отвалить товару на пять тысячъ, дѣвать некуда! Произведутъ въ члены, подышутъ такихъ же дураковъ поручителями и деньгъ выдадутъ, то-есть, денегъ-то не выдадутъ, а въ уплату за свой товаръ въ карманъ себѣ положить, а мы только какъ курица лапкой напараемъ: «пять тысячъ получилъ купецъ Таракановъ...» Какъ ты эдакъ-то хоть одинъ разъ поступилъ, то-есть воткнулся въ чужую компанію, съ этого самаго числа и начинаешь ты, другъ любезный, врать безъ передышки.

— Почему же? Зачѣмъ все это нужно?

— Уширять? производство-то? Да я и самъ не знаю, зачѣмъ! Богъ его знаетъ! Уширять да уширять... Въ Америкѣ, вишь, и чемоданы въ окно кидаютъ, и письма, и пассажировъ вышвыриваютъ, такъ вотъ, говорить, и вы должны чувствовать... Кабы безъ этой безъ Америки-то, такъ я бы съ маменькой да съ сестрами-старухами такъ бы и вѣкъ свѣковалъ на капустѣ да на квасу. Какъ была лавка при родителяхъ разукрашена—на правой сторонѣ у двери арапъ съ цыгарами, а на лѣвой китаецъ съ чаемъ—такъ бы пожалуй по сейчасъ этимъ же украшеніемъ украшались, а тутъ какъ пошла леформа да уширеніе, да какъ товару я себѣ навалилъ выше головы, невѣдомо зачѣмъ, вотъ тутъ я и второе притворство долженъ сдѣлать: китаецъ, араповъ снять, на-ново разукрасить, лампу повѣсить, да окна эво какія разломать, чтобъ товаръ самъ человѣка звалъ: «и не хочешь, да купишь». Не то что какъ прежде, по зимамъ въ трехъ шубахъ въ лавкѣ сидѣлъ: теперь я притворяйся роскошнымъ человѣкомъ. А душа то ужъ начала трястись, и ужъ трясется безъ перерыву: покупатель-то какъ былъ старинный, такъ и теперь онъ же все; достатки его извѣстны, чиновничьи, а оборотъ-то ужъ во сто разъ уширенъ, да за одни окна, да за лампы, да за всякое благолѣпіе ухлопано не мало капитала, а отдать-то его надо, все изъ тѣхъ же четырехъ человѣкъ, изъ нихъ же надобно экую прорву вынуть... А срокъ втеченіе времени приближается... Вѣжишь, въ ножки кланяешься либо къ Артему Артемычу, либо къ Кузьмѣ Семенычу... «Хорошо, говорятъ; какъ ты теперь большой коммерсантъ сталъ, такъ ты, говорятъ, также подмахни векселекъ Артамонъ Петровичу; онъ, молъ, имѣніе покупаетъ, а ты для себя тамъ-то поищи; не ударь только лицомъ въ грязь, а мы подсобимъ». Кое-какъ срокъ минетъ, перевернутъ, переключаютъ тебя, а на-шеѣ, глядь, ужъ двѣ петли: и за Артамонъ Петровича, и за самого себя. Тутъ ужъ надо вѣсто одной лампы двѣ вѣшать, чтобы еще великолѣпнѣй представиться, а на душѣ-то ужъ эво сколько мусору! Ужъ знаешь, что Артамонъ-то Петровичъ имѣніе купить, лѣсъ спустить, денежки въ карманъ положить, а потомъ лица съ него, да и у самого-то пріятелей невѣдомо какихъ набралось съ десятокъ... И одинъ говоритъ: «подпиши», и другой: «Мнѣ замужъ дочь отдавать». А другой говоритъ: «Мнѣ тоже деньги нужны»... А между тѣмъ у меня въ великолѣпномъ магазинѣ прѣтъ товару цѣлый стогъ: и папирозъ, и всякихъ щекоталовъ видимо-невидимо! Напрѣло его, нагнило, а опять подходитъ время перелицовку дѣлать. Артемъ Артемычъ и говоритъ: «Хорошо, возьми еще товару, улажу!» Мало что гнилого продукту полноу сарай, еще бери! И опять, какъ перелицовка прошла, глядь—на шеѣ-то не двѣ и не три петли, а ужъ подъ десятокъ подходитъ! Тутъ ужъ какъ-никакъ долженъ я на хитрости подниматься; надобно мнѣ первымъ дѣломъ гнилье сплавить, а вторымъ дѣломъ—надобно настоящихъ денегъ до-

бывать, потому вижу я, что через перелицовку эту только один острог впереди оказывается... И я вижу острог, и другой его замѣчаетъ, и третьему онъ снится... Вотъ мы и сами ужъ начинаемъ распространяться: по волчьимъ, тихимъ манеромъ, изъ города-то да въ деревню, стало быть ужъ прямо «въ овчарню». Начинаешь въ свою вѣру оборачивать деревенскихъ кулачишекъ, ободряешь его, сластишь барышомъ, пасть-то ему щекотиль... «Мы, молъ, тебѣ, а ты намъ!» И разводимъ этикими родомъ свои станы, притоны, спускаемъ туда всякій хламъ, а оттуда ужъ живые прямо съ мясомъ выдираемъ. Вѣдь ужъ тутъ, въ деревнѣ-то, ищешь прямо волка, а не человѣка съ совѣстью, потому—надобно, чтобъ онъ сахаромъ да чаемъ, ситцемъ линючимъ да папироской прѣлой выдиралъ бы живые, настоящее добро оттуда. Съ совѣстливымъ человѣкомъ на такія дѣла нечего и знакомства заводить. Ну вотъ, такімъ-то манеромъ и выходить, что безъ поила никакъ невозможно... Ну, и жрешь его.

— Но, сказалъ фельдшеръ,—почему же къ одному безобразію нужно еще другое прибавлять?

— А потому и прибавляешь, что мусоръ, такъ онъ къ мусору и соответствуетъ. Тутъ ужъ нельзя, другъ любезный, надъ книжкой или надъ писаніемъ вечерокъ посидѣть, когда цѣлый день врешь да какъ бѣсъ извиваешься, тутъ ужъ даже совѣсть запрещаетъ по хорошему-то думать, а указываетъ идтить душу отводить въ худыя мѣста, пьянствовать, къ арфисткамъ... Кабы мы по совѣсти жили, намъ бы и рошу не зачѣмъ рубить, не зачѣмъ намъ и арфистокъ расплывать, и кулакамъ пасти ихнія расщекотывать... А какъ все дѣло поставлено на жадности да на наживѣ, да чтобы «ни сѣять, ни жать», а дивидентъ получать, такъ тутъ правды нисколько нѣтъ, а коли впутался въ это дѣло, такъ и знай, что во всѣхъ поступкахъ будетъ кривое. Вотъ съ пойломъ-то ужъ кое-какъ тянешь, а безъ поила и совѣсть плохо: векседекъ-ли переписать, первымъ долгомъ—врешь: «у меня на долгахъ, молъ, двадцать тысячъ», во-вторыхъ, угощаешь и самъ пьешь. Поручителей подыскать—опять врешь и опять пьешь; торговля стоить, а на показъ надо, чтобъ она бойкая была—только пьянствомъ это и оказываешь, въ деревнѣ съ кулачишкой пьешь, съ приставамъ пьешь, чтобы взыскивать безъ послабленія, старосту угощаешь, чтобъ наши долги первыми выбрать въ ту же секунду, какъ должники-мужики хлѣбъ снимутъ, сѣно пересушатъ, телатъ выпоятъ. Со сходомъ пьянствуешь, чтобъ кабаки сдали, и тоже само-собой врешь безъ совѣсти: надобно доказать имъ, что, молъ, «вамъ отъ эфтого будетъ польза»... отъ кабака-то! А ничего, изловчаешься: «Точно, говорятъ, хорошо! Много пользы отъ тебя... Кабы не ты, намъ бы пропадать»... Эво, какъ время-то!.. Этакъ съ твердыхъ глазъ даже и невозможно сдѣлать, а съ пушемъ въ башкѣ можно что угодно. На все смѣлость объявляется.

— Ну, какъ вамъ сказать? проговорилъ фельд-

шеръ.—По этой части, то-есть насчетъ злыхъ поступковъ, въ нашихъ мѣстахъ очень даже много трезвыхъ людей. Самые лютые, я вамъ скажу, даже и чаю не пьютъ, а дозволяютъ себѣ иной разъ кипятокъ съ лимономъ... Дажо полные постники есть изъ этихъ ехидновъ.

— Это ужъ какъ кому по характеру... А что касается напиринѣръ меня, такъ я, какъ ввязался въ это «уширение», безпрестанно не въ натуральномъ состояніи: то горячимъ наливаешься, то холоднымъ въ чувствіе входилъ, а такъ чтобы въ свѣтломъ умѣ быть—очень рѣдко! Ввязавшись въ такую темноту, гдѣ ужъ тутъ свѣту искать? Тутъ—что ни шагъ, то темнѣй да темнѣй. Мало того, что по торговой части врешь съ утра до ночи—и по прочимъ-то частямъ тоже только лганьемъ приходится дѣйствовать. Даже и совѣмъ въ постороннія мѣста гадость свою принуждены водворять. Путаемъ, путаемъ въ банкѣ, глядя—выборы въ думу назначаются... Вотъ мы изъ банка-то и полземъ въ думу срамоту разводить, потому что мостъ-ли какой строить, мостовую мостить—всякое дѣло денежное намъ подавай: Иванъ Семенычу, Артемъ Артемычу—всѣ жадны, всѣ запутавшись, всѣмъ деньги нужны. И лѣзетъ наша партія. И опять поимъ, подкупаемъ, обманываемъ; за то ужъ другъ за дружку крѣпко держимся: сами пѣну назначаемъ высокую, сами и свой матеріалъ ставимъ, сами и постановленія дѣлаемъ, чтобы этикія-то или другія думскія деньги въ нашъ же банкъ внести, да на эти же деньги и орудуемъ. Вѣдь такія дѣла надобно дѣлать въ потемкахъ, на такія дѣла надо подкупныхъ людей, обманныхъ, обжорливыхъ. Поври-ка поди, попробуй, куда гнѣздо-то ястребное вполне сформируешь!.. Тутъ вѣдь сколько народу-то надобно въ безсловесное состояніе привести, чтобы онъ тебя въ этикихъ подлостяхъ поддержалъ! Или—возьми земство: и сюда намъ надобно свое рыло всунуть: урядника я, положимъ, подмазалъ, и старосту купилъ, и старшину купилъ, и волостной судъ одурманилъ; всѣ они мнѣ свою службу сослужили въ нужное время, когда у Ивашки телушка оказалась: указали, во-время ее захватили, безъ земледенія продали и денежки мнѣ предоставили... А Ивашка-то мировому пожаловался, а мировой-то взялъ да и сдѣлалъ по совѣсти—всѣхъ насъ опровергъ, Ивашку оправдалъ, съ насъ деньги назадъ требуетъ, да еще и слѣдователемъ страшается, и судомъ. А намъ это нельзя. Ежели намъ дожидаться, пока Ивашка телушку продастъ въ свое время и съ выгодой, такъ вѣдь мы свое время пропустимъ и безъ выгоды останемся. Какъ же это порядокъ? Вотъ и надо намъ судью несправедливаго, чтобы и кулачишкѣ онъ былъ подвѣренъ, чтобы по нашему и объ Ивашкѣ думалъ, чтобы, словомъ, Ивашка ни въ какомъ разѣ у него никакъ ничего не выигрывалъ, а только бы все проигралъ по судебной части... И вотъ мы опять за поило, за подлогъ, за подвохъ, за дурманъ, за всякія наши средства: опять, запутать, стыдъ изъ человѣка вымотать, къ арфист-

кашъ его свозить, да потомъ женой пригрозить, словомъ—всеми способами! Ну-ка, подумай, другъ любезный, какъ тутъ не подкрѣпиться напѣткомъ? Тутъ ужъ даже прямо совѣсть надобно водкой заливать, и свою, и чужую... Ну вотъ, и глотаешь всякое пошло... а зачѣмъ все это и кому какая отъ этого разбойства польза—передъ Богомъ, не знаю! и зачѣмъ время и пьемъ—тоже мнѣ ничего неизвѣстно!

— Но скажите же, Бога ради,—съ раздраженіемъ проговорилъ фельдшеръ,—неужели во всемъ вашемъ обществѣ не нашлось порядочнаго человѣка, который бы выѣхалъ въ эту свалку, разоблачилъ, вывелъ на свѣжую воду? Неужели нѣтъ честныхъ, искреннихъ людей?

Фельдшеръ сильно взволновался и вознегодовалъ, а пока онъ громко ропталъ на все это безобразіе, купецъ Таракановъ вытребовавъ себѣ стаканъ кофе, налилъ въ него коньяку и, не отвѣчая на вопросы фельдшера, молча выпилъ почти весь стаканъ.

— Насчетъ честныхъ, благородныхъ людей?—сказалъ наконецъ Таракановъ.—Я тебѣ скажу вотъ что: очень даже ихъ много въ нашихъ мѣстахъ. Не то, что честные, а, прямо сказать, ангельскіе есть люди; ну, только мы имъ никакихъ поступковъ не дозволяемъ... У насъ по всей линіи требуется человѣкъ съ гнилью, чтобы совѣсть у него была подмоченная, а человѣкъ правдивый, справедливый—чисто одинъ вредъ намъ... Ты самъ посуди: открытъ кабакъ—мнѣ надобно старосту получить корыстнаго, старшину бесовѣстнаго, писаря пройдоху; надо всю сволочь вокругъ себя собрать, чтобы хорошимъ людямъ проходу не было. Мой сидѣлецъ деньги въ долгъ распускаетъ, обираетъ у мірскихъ въ три-дешева всякій продуктъ, коровитъ въ голодное время зазывать—опять мнѣ требуются люди не настоящіе: и становой, и мировой, и пристава—все мнѣ требуются не изъ благороднаго народу... Повезъ я это сѣно въ городъ. Обмѣнялъ я его на чай, сахаръ; на десять дѣжовыхъ у меня мужикъ набралъ на зиму, а я сѣномъ отдачу взялъ, пять копѣекъ пудъ—стало быть двѣсти пудовъ, по тридцать копѣекъ я его пожарнымъ лошадямъ ставлю... И тутъ мнѣ тоже надобны на всей дорогѣ люди неправильные: нужны они мнѣ въ думѣ—чтобы цѣну несообразную утвердили, нужны мнѣ они и въ полиціи—чтобы двойную росписку выдали... Лекаръ мнѣ требуется также съ фальшивыми мыслями: чтобы сына моего забракowałъ при рекрутчинѣ, оставилъ бы его мнѣ въ моихъ дѣлахъ орудовать, показалъ бы его, что у него сердце очень стучитъ, когда онъ съ арфистками плясуетъ, и чтобы онъ на мѣсто моего сына взялъ Аграфенна брата. Такъ видишь ты, другъ любезный, какая тутъ окрестность выходитъ! Гдѣ тутъ поставить хорошаго человѣка? На комъ мѣстѣ? Поставь его—онъ тебѣ всю механику и испортитъ! Какой-нибудь писаришка волостной внушитъ мужикамъ упорство, анъ, глядь, оно по всей линіи отозвалось! Такъ вотъ мы и стараемся все,

чтобъ подъ масть было, чтобъ и въ полиціи наши, и въ думѣ наши, и въ земствѣ наши бы, и въ волости, и въ деревнѣ... А трудноато!

— Трудно?

— Трудненько! На моей памяти, хоша можно сказать, нашъ братъ, живорѣзъ, и съ большимъ успѣхомъ орудовалъ, а чтобы совсѣмъ безъ помѣхи—нѣтъ, не было! Война шла съ честнымъ народомъ постоянная, безпрестанно, по всѣмъ мѣстамъ... Конечно пока что, наша взяла, а что безпокойства завсегда много было... То учитель гдѣ-нибудь хорошій человѣкъ объявится, почувствуетъ мужиковъ; то священникъ вступится; то—нѣтъ-нѣтъ—писаришка окажется съ совѣстью, то мировой, то становой. То вдругъ, откуда ни возьмись, просто даже сказать, гимназистъ какой-нибудь объявится, да все это и пропечатаетъ въ вѣдомостяхъ! И цѣна-то ему, гимназисту-то, всего два гроша; ростомъ дай Богъ семь четвертей чтобы вышло, а вѣдь какіе медвѣди пугаются! Артемъ-то Артемычъ ужъ на что даже обомшлѣ въ своей берлогѣ, улежался въ ней, какъ медвѣдь: ни собакъ, ни проѣзжихъ не боится, на саняхъ даже черезъ него ѣздить, а онъ и ухомъ не ведетъ, а и тотъ бывало, какъ эдакъ-то гимназистъ объявить дѣло, такъ трясется бывало, бородой вертитъ отъ страху, какъ поросенокъ хвостомъ! Ничего не сообразить, не знаетъ, какъ взяться... Конечно покуда не знаетъ способовъ, а какъ надумаетъ—и опять ничего... «Чей-моль этотъ мальченокъ?»—«А отца Ивана, троючкаго попа»... Ну вотъ, ужъ и есть ниточка: ежели учиться, нельзя ли черезъ начальниковъ: тожъ—я изъ ученыхъ бывалъ намъ подверженный. Ежели такъ живетъ, нельзя-ли на родителя налегнуть: пріѣхалъ онъ въ Рождество—«Не принимаетъ!». пріѣхалъ въ Святую—«Не принимаетъ!». Попросилъ изъ банки деньжонокъ—дочь отдавать замужъ—не дали; глядь, и начнеть отецъ на сына налегать да напирать, анъ и прикусилъ языкъ! А который человѣкъ даже и никому изъ нашей компаніи не подверженъ, такъ и того можемъ убаюкать! Слухъ пустимъ: «Не жена-моль съ нимъ живетъ, а любовница...» Глядишь, въ клубѣ загладѣли, на «откосѣ» забормотали... Ходитъ человѣкъ: видитъ, неладно что-то! Оскорбляется, обижается, до скандалу доходить, а намъ тѣмъ и любо! Ну-ка, послушай-ка, какъ у мирового-то про твою жену всякая сволочь будетъ разговоры разговаривать! Глядь-поглядь, и сплылъ куда-нибудь въ другое мѣсто, подальше отъ грѣха... Былъ у насъ одинъ мировой изъ «нашихъ» членовъ, и все потрафлялъ, и все потрафлялъ, да однова какъ-то не потрафилъ—и выпала разстройка... Такъ мы такъ его доняли, что вполсѣдствіи времени даже раскаяніе приносилъ... Такъ вотъ, другъ любезный, какъ мы орудуемъ, производство упираемъ!

— Боже милосердный! сказалъ фельдшеръ въ сильномъ волненіи.—Но когда же все это кончится? Вѣдь долженъ же быть когда-нибудь положенъ конецъ этому безобразію?

— А какъ же? Долженъ! Безпремѣнно... Даже и

сейчас видно, что оканчивается это самое ушпение производству... И сейчас ужь тюремныя мѣста обозначаются... Какъ же! Будетъ конецъ! Безъ этого нельзя! Тамъ ужь, то-есть въ нашей компаніи-то, идутъ приготовления: поди ка теперь къ Артему Артемычу въ магазинъ, да спроси: «Гдѣ, молъ, хозяинъ? Видѣть мнѣ его требуется»... И выйдетъ къ тебѣ кучеръ.—«Мнѣ бы хозяина».—«Да я самый и есть хозяинъ».—«И магазинъ вашъ?»—«Такъ точно».—«И заводъ?»—«И заводъ мой-съ!»—«А Артемъ-то Артемычъ что-жъ теперича?»—«А они у меня въ приказчикахъ состоятъ!» Эво какъ! Хозяинъ на козлахъ сидитъ, кнутомъ погоняетъ, а приказчикъ на хозяйскомъ мѣстѣ, въ скунсовый воротникъ свою бороденку уткнувши, сидитъ! А у Кузмы Семеныча, такъ у того и совѣтъ нѣтъ ничего: ни дома, ни фабрики, ни мѣстныя: одно продалъ женой сестрѣ, другое, вишь, за долги братинна свояченица взяла, а третье тожъ съ аукціону двоюродному племяннику досталось. А самъ состоитъ при бывшихъ своихъ мѣстнѣхъ только въ сторожахъ, три цѣлковыхъ въ мѣсяцъ получаетъ... Ужъ тамъ, братъ, идетъ пьеса, готовятся къ представленію! Кто дворникомъ нарядится, кто кучеромъ, кто приказникомъ, кто чѣмъ! Ни у кого ничего нѣтъ, только векселей полны сундуки въ банкъ... Пробовали было краснымъ пѣтукомъ балавецъ заключить и даже сундукъ-то изъ казначейства съ векселями представили въ банкъ:—стало быть къ поджогу; ну, не вышло! А все было обдѣлано опротно... Мнѣ сторожъ банковскій все подробно описалъ. «Подожгли, говорятъ, изъ другой улицы, съ задовъ. Иванъ Мухинъ, мѣщанинъ, отъ самовара загорѣлся въ праздничный день... Всѣ на гуляньѣ, на дачахъ»... Сказываютъ, Иванъ-то Мухинъ за свой домишко три тысячи взялъ чистыми деньгами. Огонь-то долженъ былъ идтить прямо по сараямъ, сѣнникамъ, къ банку. Сторожъ-то мнѣ говоритъ: «Я все чуюлъ, все видѣлъ; и которыя гдѣ книги, бумаги лежать—все зналъ; слава Богу, поди ужь подь двадцать лѣтъ гляжу на все это.. Думаю: спасать или не спасать? А ну какъ потомъ раздавятъ? Вѣдь компанія плотная, союзная, долго-ли меня расплющитъ? Подумалъ, подумалъ, побоялся!.. А чтобъ передъ судомъ не отвѣчать, принялся образа спасать да зеркало; въ этомъ худова нѣтъ»... Ну, только не дали сгорѣть ни снѣ-пороха; все какъ есть цѣло осталось: стало быть частный приставъ одинъ, Камушкинъ, все спасъ съ сердцовъ, со зла...

— Какъ такъ со зла спасъ?

— А вотъ какими манеромъ вышло это дѣло: Камушкинъ-то этакъ долго состоялъ въ этой самой компаніи; и лютый былъ человекъ, жадный! Въ думѣ ему цѣны сдѣлали на сѣно, на овесъ, на весь комплектъ хороша, и счетовъ не требовали, только подписывали, чтѣ онъ напишетъ, и выдавали, чтѣ потребуетъ. И въ банкъ ему кредитъ былъ, такъ что онъ даже домикъ подь горкой съ арфистками установилъ. Всякое ему денежное послабленіе было... Ну, а за это и онъ ужь

старался; ежели кому надо, доймае паспортами, мостовой, гигиеной этой самой, штрафами, или ежели и въ губерніи потребуется намотить противъ какого-нибудь—намотить, затмить... Такъ вотъ все у нихъ шло по промежду себя честно, благородно и долго-нѣтъ-такъ... Вдругъ, братецъ ты мой, пріѣзжаетъ къ этому самому Камушкину сынъ: пожилъ лѣто, походилъ, погулялъ, посмотрѣлъ, послушалъ, а по осени поѣхалъ въ Питеръ да и пропечаталъ въ газетахъ про все это наше представленіе... Вотъ Артемъ-то Артемычъ и гонитъ за Камушкиныи:—«Что-жъ это такое? Какъ такъ? Какая это съ твоей стороны благодарность, ежели ты сыну своему родному не могъ внушить здравыхъ понятій?» А Камушкинъ-то не будь дуракъ—зналъ ужь, что дѣла компаніи-то пошатываются, прорѣховъ очень много — говоритъ: «Ежели хочешь, чтобы мой сынъ все свое писанье опровергъ, такъ я ему прикажу. Давай мнѣ за это мои векселя, которые въ банкъ». Получилъ онъ свои векселя, написалъ сыну, пригрозилъ, повелѣлъ ему опровергнуть, а тотъ, не послушавшись отца, хватъ-похватъ, и во второмъ экземплярѣ отпечаталъ, да еще лучше перваго разныя тайности обнаружилъ. Опять Артемъ Артемычъ за Камушкиныи гонитъ: «Что-жъ это такое? Скажи на милость? Вѣдь весь городъ загадѣлъ про насъ; вѣдь подписана фамилія твоего сына... Всѣ говорятъ: «Стало-быть правду пишетъ, отъ отца узналъ». Сдѣлай ты такъ, Бога ради, чтобы онъ языкъ прикусилъ! Удѣлай, говоритъ, ты ему *неблагодѣтельность*! Я тебѣ на ремонтъ въ думѣ выпарапаю тысячи четыре, пять»...—«Ну, говоритъ Камушкинъ,—ладно! Удѣлаю, говоритъ, я ему *неблагодѣтельность*. Выводи на ремонтъ пять тысячъ, присылай талонъ». Талонъ ему выдали, деньги онъ себѣ въ карманъ положилъ, а между тѣмъ никакой вляузы противъ сына не сдѣлалъ. А вмѣсто того приходитъ газета, а въ ней и въ третьемъ экземплярѣ все росписано, еще того превосходнѣй! Дознались: сестра-молъ гимназистка брату отписала! Тутъ Артемъ Артемычъ ужь ошестился! «Мы васъ кормимъ, питаемъ, а вы только клевету распускаете? А ежели, говоритъ, ты сейчасъ мнѣ на нихъ не напишешь, чтобы я самъ своими руками отправилъ на почту, такъ я самъ, говоритъ, хоть по куриному, а нацарапаю штучку и на сына, и на дочь!» Ну, тутъ, должно быть, въ Камушкинѣ кровь заговорила отцовская.—«Нѣтъ, говоритъ, ужь извини! Пиши, не пиши, а твоего письма я не пушу; такъ оно и сгнѣетъ въ помойной ямѣ».—«А! завопилъ Артемъ-то Артемычъ, коли такъ, завтра думскую ревизію на тебя напущу, и нѣтъ тебѣ кредиту! Пошелъ вонъ!» Вотъ Камушкинъ-то и ушелъ.—«Ладно, говоритъ, помни». А тутъ въ скорости и загорись у этого самаго мѣщанина, Ивана Мухина.. Вотъ Камушкинъ-то со зла и говоритъ:—«Погоди, говоритъ, анафемы! удружу я вамъ; я васъ произведу!» Подступилъ огонь къ банку къ самому; даже, сказываютъ, крыша занималась, а онъ ужь тутъ: со всѣхъ дворовъ бочки согналъ, да какъ принялся

орудовать. Сторожъ-то говоритъ:—«Не успѣлъ я, говоритъ, Александра Невскаго икону въ присутствіи отвязать, какъ со всѣхъ концовъ вода полила»... А Камушкинъ-то, говорятъ, командуетъ пожарными и все кричитъ:—«Нѣтъ, подлецы, не дамъ я вамъ поживиться! Убогаютворю! Все спасу! Будете меня помнить, сѣдая крысы!» И точно—все до нитки спасъ: векселя (свои то выбралъ), книги, записки—все до чиста. Даже за это получилъ награду изъ губерніи, а тамъ еще вышло, что Артемъ-то Артемычъ долженъ былъ самъ хлопотать передъ членами, чтобъ ему награду выдать «за спасеніе банка». Получилъ Камушкинъ деньги и говорить Артемъ Артемычу:—«Ну что, сѣдая крыса? Будешь бунить? Теперь я самъ въ твою компанію не пойду, потому что всѣхъ васъ подь-судъ въ скорости укукутъ». И точно:—вотъ-вотъ, все загудитъ, загремитъ, только ниль подымется до неба на томъ мѣстѣ, гдѣ банкъ стоялъ... Еле-ели скрипнуть... Да ужъ и въ самомъ дѣлѣ пора! Пущай бы ужъ поскорѣй весь этотъ смрадъ сквозъ землю провалился... Надо-таки дать дыханіе и справедливому человѣку, ей-Богу, право!

— Но позвольте васъ спросить, — сказалъ фельдшеръ, — вотъ вы описали полное безобразіе и несправедливость... Что-жъ, какъ тутъ поступалъ дамскій полъ? Внушалъ-ли онъ своимъ супругамъ о подлости ихъ поступковъ?

— Ну ихъ еще тутъ! Чего онѣ знаютъ? Гуляютъ по откосу, а музыка играетъ: «Который былъ мой мамашей, который былъ мой лапашей». Только и всего. Аграфена понимаетъ, а онѣ чего? Сидятъ подъ окошкомъ да пьютъ чай съ вареньемъ... Да беспокоятся: «Не разлюбилъ-бы меня мужъ»...

— А что онъ сундуки опустошаетъ, это ей ничего не значить! подхватилъ фельдшеръ. — Одна мнѣ хвасталась даже; сидитъ на плацформѣ съ ребенкомъ на рукахъ и говоритъ мнѣ:—«Мой Васинька тоже вотъ, какъ вы, спервоначала во все совался. И тамъ ему надо, и здѣсь требуется... То полнозъ домъ мальчишекъ наведетъ: пѣть учить, читать; то на скрипкѣ начнетъ зудить; то, говорить, спектакль надо, то кассу надо открывать... Богъ вѣсть что! Думаю, когда-жъ это онъ меня всему этому предпочтетъ? Ну, и стала дѣйствовать». — «Какими-же, говорю, средствами?» — «А всякими: какія есть у женщинъ средства, тѣми и дѣйствовала... — «Пойдешь на спѣвку, такъ я моль-раздѣнусь и простужусь... Будешь мальчишекъ водить, такъ я ребенка въ колодезь брошу, уйду къ матери... Начнешь съ пьяницами объ кассѣ разсуждать, да водку пить, а я начну на весь домъ кричать и чашки буду бить объ полъ». Вотъ какими средствами! «Ну, говоритъ, и добила: пѣніе бросилъ, скрипку бросилъ, кассу бросилъ, ни самъ ни къ кому, ни къ нему никто. Только я да онъ — и никакихъ затѣй нѣтъ. Рѣшительно ото всего у него охоту отшибло!» Сказала — и сама вся засіяла. — «Только, говоритъ, цѣлѣ позволяю ему... пусть!..» Вотъ какъ онѣ понимаютъ стремленіе человѣка

къ общественной дѣятельности! А то еще одна говоритъ мнѣ:—«Онъ долженъ, говоритъ, меня цѣнить и любить безъ памяти и безконечно, потому что я для него отпа обманула, даже деньги унесла, мужа обманула и мать свою въ гробъ свела... Такъ онъ долженъ это цѣнить!» Я отвѣчаю:—«Не знаю, Капитолина Петровна! По моему, такъ онъ долженъ васъ опасаться, потому что вы на всякое злодѣйство способны». Обругала меня подлецомъ, треснула хвостомъ объ уголъ и слѣдъ простылъ. Тамъ можетъ-ли такая женщина понимать что-нибудь по совѣсти? Ей даже удовольствіе можетъ доставлять, ежели мужъ грабитъ для ея удовольствія: «Стало быть, любить. Который любить, тотъ себя готовъ прозакладать!» Вотъ ихъ мнѣніе!

Купецъ допилъ то, что было у него въ стаканѣ, и потребовалъ новую порцію.

— Думаешь, думаешь: и изъ-за чего только это зло идетъ и этотъ мусоръ? Вѣдь если сосчитать, сколько денегъ ухнуло! Вѣдь миллионы! И вѣдь дѣловъ-то отъ нихъ не видно никакихъ. На коммерцію десятая часть, да въ деревню, можетъ, проникла малая малость... а то вѣдь все на зло, на подкупъ, на взятку, на клаузу, на распутство — вотъ вѣдь на что! Сколько народу-то напорчено вокругъ этого дѣла! Вѣдь хоть и пьянствовать, такъ и то нужна компанія; голи надѣлали да ее же и въ компаніи по разнымъ случаямъ къ распутству приучили, деньгами ее раздражили, къ попойке привлекли. Теперь какъ стали эти гнѣзда сквозъ землю проваливаться, вѣдь почитай ничего отъ нихъ и не останется кромѣ продажной, бездѣльной голи... А голя эта нехорошая, злая, да и ужъ сладкаго куска отвѣдала, тарелку съ хорошими кушаньемъ, вокругъ воротилъ толкающихся, отвѣдывала... И вѣдь, другъ ты мой, двадцать вѣдъ лѣтъ это все съ рукъ сходило! Это вѣдь теперь только за очистку берется, а сколько неправды-торосло! Ужъ ежели насъ хотятъ высѣлѣть, такъ ужъ и враговъ нашихъ также надо оправить, оправдать, дать имъ слово сказать... За что-жъ хорошій-то человѣкъ, который давнымъ-давно все это видѣлъ, долженъ страдать? Нѣтъ, это неправильно! Хоть бы взялъ Аграфену... Что-жъ, такъ и должны онѣ всѣ пропадать?

Принесли новую порцію кофе и купецъ Таракановъ продолжалъ высказывать свои взгляды на прошлое и будущее. Но картина, изображенная имъ, была такъ тяжка и притомъ такъ еще свѣжа въ памяти, что мнѣ было трудно слушать ея дальнѣйшее объясненіе и дополненіе.

Мнѣ захотѣлось подышать свѣжимъ воздухомъ, и я вышелъ изъ каюты на палубу.

III. Верзило.

I.

— Что это, господа, скучно какъ? Хоть бы въ «дураки» съ кѣмъ-нибудь поиграть!

Эти слова громко, такъ сказать во всеуслышаніе всей публики, наполнявшей крытую палубу парохода, проговорилъ какой-то черномазый мужикъ, видномъ артельщикъ; все время онъ лежалъ на палубѣ ничкомъ, уткнувшись растрепанной черной головой въ красную подушку, и вдругъ поднялъ голову, сѣлъ, сталъ торопливо царапать руками свои спутанные волосы и въ то же время сдѣлалъ вышеприведенное громогласное воззваніе. А точно, на пароходѣ было скучненько. Жара падила, рѣка была пустынна, берега скучны, промежутки между остановками продолжительны. Палубная публика, проснувшись вмѣстѣ съ восходомъ солнца, успѣла уже умыться, напиться чаю, потолковать и вновь отъ нечего дѣлать укладывалась на старыя мѣста—укладывалась не спать, а такъ, полежать. Жарко было отъ палашаго солнца, отъ раскаленной паровой машины, отъ раскаленной паровой кухни...

— А что, въ самомъ дѣлѣ? быстро вскакивая съ лавки, стоявшей около борта, отозвался издаലെка другой палубный пассажиръ. Это былъ человѣкъ небольшого роста, въ куртку, надѣтомъ на русскую рубашку, гладко выбритый. Что-то напоминавшее трактирнаго лакея было въ этой фигурѣ.

— Ребята! вновь воззвалъ мужикъ, похожій на артельщика, продолжая сидѣть на полу, — нѣтъ ли у кого картъ на поддержаніе?

— За прокатъ отдадимъ! прибавилъ во всеуслышаніе и лакей. — Ужъ навѣрно у кого-нибудь да есть... Слышите что-ль, почтенные?..

— Эй, ты, любезный! нѣтъ ли въ буфетѣ, у хозяйки?.. Спросико-сь!

— Какія карты? нехотя отвѣтилъ буфетный слуга, пробираясь съ чайнымъ приборомъ и шагая черезъ головы и ноги лежавшей на полу публики.

Лакей, первый отозвавшійся на приглашеніе артельщика, соскочилъ съ своей лавки, проворно пересѣлъ на полъ и, похлопывая артельщика по спинѣ, какъ стараго знакомаго, говорилъ:

— Такъ какъ-же, любезный? Хлопочи. Надо какъ-нибудь время коротать.

— Нѣтъ! Богъ съ ними и съ картами! проговорилъ новый пассажиръ, появляясь откуда-то около артельщика и лакея.

Это былъ совершенно приличный молодой человѣкъ, неизвѣстно какой профессіи и какого званія. На немъ была вполне приличная шляпа котелкомъ, вполне приличное лѣтнее пальто, надѣтое поверхъ русской рубашки голубого цвѣта, вышитой очевидно женскими руками. И говорилъ онъ, и держался, и глядѣлъ вполне прилично и благообразно.

— Я много на картахъ потерялъ! продолжалъ онъ. — Меня однажды, также вотъ на пароходѣ, на пятьсотъ рублей жулики обчистили, такъ я съ тѣхъ поръ даже боюсь и смотрѣть на карты.

— Что вы! Мы не жулики! По пятачку проиграемъ — велика бѣда! — отвѣчалъ ему лакей. — Присаживайтесь!

— Сначала-то всегда такъ — по пятачку, а по-

томъ и пойдешь выкладывать зря, сколько рука захватитъ въ карманѣ...

— Это, любезный, какъ играть и съ кѣмъ. Вотъ отъ чего зависитъ. Коли у меня въ карманѣ три гривеника, такъ ужъ я не вытащу на конъ ста рублей! — прибавилъ и артельщикъ.

— Конечно, я игрывалъ на большую... Ну, обжегся — и побайваюсь.

— Ну, чего тамъ, Господи помилуй! По большой! Съ нашимъ братомъ этого нельзя; у насъ тоже каждая копѣйка трудовая... Ужъ не оставляйте компаніи...

— Развѣ что отъ скуки... Да вотъ картъ-то нѣту...

— Надо раздобыть! Что-жъ, почтенные, нѣтъ ли у кого какой колодишки?

— Что дадите за прокатъ? опять невѣдомо откуда появляясь, проговорилъ четвертый палубный пассажиръ. На этотъ разъ пассажиръ представлялъ изъ себя чистѣйшій типъ голи и рвани кабацкой. Толкался отъ нечего дѣлать то тамъ, то сямъ по пароходу, я уже давно замѣтилъ эту рваную фигуру; еще съ вечера эта фигура сидѣла на палубѣ третьяго класса у столика, пила водку и непрерывно разглагольствовала о чемъ-то протестующимъ тономъ: косушка водки и селедка съ самаго утра не сходили со столика, передъ которымъ засѣдала фигура, рваная, небритая, немытая, въ опоркахъ, въ какой-то кацавейкѣ и въ сплюснутыхъ на затылкъ картузѣ. Повидимому, человѣкъ этотъ былъ горькій пьяница: онъ пилъ и ничего не ѣлъ и въ то-же время твердо держался на ногахъ — «припился», какъ утверждаютъ знатоки питейнаго дѣла.

— Вотъ, отецъ и благодѣтель! воздѣвая руки къ стоявшей рваной фигурѣ, плутовски-восторженнымъ тономъ воскликнулъ лакей, сидѣвшій на полу. — Рубашку послѣднюю сыму, отдамъ!

— А я думаю — съ ироническою вѣжливостью проговорилъ благообразный господинъ въ «котелкѣ», — вы можете вполне безкорыстно доставить обществу полное удовольствіе: карты у васъ лежатъ въ карманѣ и по окончаніи опять туда возвратятся.

— Ишь ты, братъ! ломаясь, бормоталъ пьяница, уже запустившій было руку въ рванный карманъ рваныхъ панталонъ. — Нѣтъ, ты подавай мнѣ моргарычей!

Послѣ довольно продолжительныхъ ломаній и кривляній пьяницы и упрасиваній, то шутовскихъ — со стороны лакея, то вѣжливыхъ и «полированныхъ» убѣжденій — со стороны «котелка», то наконецъ грубыхъ и нетерпѣливыхъ требованій артельщика перестать галдѣть и начинать игру — карты очутились въ рукахъ лакея и, усѣвшись кружкомъ, лакей, «котелокъ» и артельщикъ начали какую-то игру.

— Больше пятачка, сказалъ «котелокъ», — ужъ извините, господа, и я не пойду! Довольно наученъ!

— Научили! Хе-хе-хе! сочувственно поддержалъ это заявленіе кто-то изъ посторонней публики.

— Да очень прекрасно просвѣтили на этотъ счетъ!.. Будетъ! Кажется, ни въ жизнь бы не взялъ въ руки этой погани, да ужъ такъ... скучно...

Началась игра. На полу, между тремя игроками, лежали деньги, мѣдные пятаки. Понемногу вокругъ этихъ трѣхъ людей стали, отъ нечего дѣлать, собираться посторонніе зрители. Стали слышаться слова: «Вашъ гривенникъ!» «Мой пятакъ!» «Ахъ песь, его дери! гривенникъ убѣгъ въ чужой карманъ!» и т. д.

Часа черезъ два послѣ начала этой игры мнѣ опять случилось выйти изъ каюты на палубу; игроки сидѣли на тѣхъ же мѣстахъ, но публики было вокругъ нихъ очень много, и она была ужъ не такая, почти апатическая, какъ два часа тому назадъ. Теперь ужъ можно было замѣтить въ нѣкоторыхъ лицахъ напряженное вниманіе; иные ужъ перекидывались черезъ плечи игроковъ, по временамъ слышались совѣты: «Ходи, ходи, не робѣй, бей!». И на полу между игроками лежали ужъ не однѣ мѣдные деньги — видѣлись рублевки и мелочь. Разговоръ какъ игроковъ, такъ и публики былъ оживленъ. Иные изъ публики даже спорили между собою о картахъ игроковъ, которыя были всѣмъ видны, хотя игроки, получивъ сдачу, и старались держать ихъ какъ-то въ горсти.

— Крой пиковкой! Не робѣй! Твоя!

— Вѣдь, у яво козырь, елова голова! Пиковкой!

— Кр-ррой пиковк-а-ай! Вижу я, какой козырь!

— А! была не была! Вотъ!

— Ну, и просолилъ!

— Просолилъ! Чисто просолилъ...

— Вѣдь говорилъ—козырь! Нѣтъ! «Знаю я...»

— Такъ вѣдь песь его зналъ!

— Песь!

— Ну, куда ни шло! Ушла рублевочка! Сдавай сызнова, ворочу.

Оживленіе и интересъ зрителей къ игрѣ возростали и поддерживались постоянно разными карточными эпизодами. Между прочимъ послѣ одной сдачи, былъ воѣхъ оживленіе «лакей»; взглянувъ въ свои карты, онъ вдругъ проговорилъ:

— Господа компаньоны! Сдѣлайте милость! Уважьте! Позвольте рыскнуть!

Говорилъ онъ какимъ-то умоляющимъ тономъ, прижимая карты къ груди.

— Отцы родные! Такая привалила карта — вотъ! — Онъ наклонился къ постороннему зрителю и показалъ ему карты.

— Н-да! сказалъ многозначительно зритель.

— Позвольте поставить десять цѣлковыхъ! Кто соотвѣтствуетъ? Карта очень великолѣпна.

— Идетъ! гаркнулъ артельщикъ. — Клади красную!

— Нѣтъ, позвольте! благообразнымъ жестомъ руки накрывая выкинутую лакеемъ десятирублевую бумажку, проговорилъ весьма благообразнымъ тономъ благообразный владѣлецъ шляпы «котелкомъ». — Позвольте вамъ сказать, что такіе правловъ нѣтъ! Коль скоро вы въ компаніи, то вы должны дѣлать уваженіе... Вы бы, можетъ быть, хотѣли и сто рублей выиграть, но когда вамъ не

соотвѣтствуетъ компаньонъ и, можетъ быть, по своимъ средствамъ лишится всего, что у него есть, то это не можетъ быть дозволено въ игрѣ. Извольте взять вашу ассигнацію... Получите-съ!.. А какъ на кону былъ рубль, то извольте и вы становить рубль, хотя бы у васъ былъ даже хлюстъ!

— Вѣрно! послышалось въ публикѣ.

— Такъ, такъ! Этакъ-то съ жадности всякій бы тебя обобралъ.

— Хорошо!

— Но за что-жъ я потерю свою пользу? возразилъ лакей, волнуясь алчными порывами.

— Мало-ли какой тебѣ надо пользы!

— Ахъ, карты-то какія!

— Да тебѣ какое дѣло мѣшаться? возразилъ грубо и гнѣвно артельщикъ. — Ежели тебѣ твоихъ денегъ жалко, говори «пасъ», больше ничего, а союзному дѣлу не препятствуй.

— Вѣрно! Вѣрно! возопили голоса публики.

— Можетъ, я хочу проиграть! Какое тебѣ дѣло?

— Н-ну, если такъ, то я «пасъ»! А вы — какъ угодно.

Слова эти благообразный господинъ произнесъ кротко и сложилъ карты, не глядя въ нихъ.

— Такъ идетъ? спросилъ въ азартѣ лакей артельщика.

— Вали! Станови красную! Вотъ моя!

Двѣ красныхъ бумажки валились на полу.

— Ходи!

— Ходи ты!

— Вотъ!

— А вотъ!

— А это?

— А мы вотъ какъ!

— Твоя! Твоя! загалдѣла публика, и артельщикъ, весь сіяющій, вдругъ весь вспотѣвшій, съ мокрымъ, осклабавшимся лицомъ, потянулъ къ себѣ всей пятерней двѣ красныхъ.

— Ловко! Вотъ такъ ловко!

Артельщикъ только улыбался и сіялъ.

— Конечно, всякому свое счастье! благообразно-воздохнувъ, произнесъ благообразный «котелокъ».

— А ты у меня учись, сказалъ лакей, — десять цѣлковыхъ выкинулъ на-удалую и жалѣть не буду! Сдавай.

Публика, собравшаяся вокругъ игроковъ, была сразу въ высшей степени заинтересована этимъ эпизодомъ; въ большинствѣ это былъ народъ сѣрый, бѣдный, трудомъ наживавшій деньги и, очевидно, въ большинствѣ только теперь знакомившійся съ какими-то новыми, мгновеннымъ способомъ наживы. Десять цѣлковыхъ, поставленные на конъ лакеемъ, всѣ видѣли своими глазами и также всѣ своими глазами видѣли, что артельщикъ на какихъ-то новыхъ основаніяхъ получилъ право на эти десять рублей, которые, опять-же у всѣхъ на глазахъ, очутились у него въ кошелькѣ. «Ловко» — мелькало въ выраженіи лицъ очень и очень многихъ зрителей: мужиковъ, рабочихъ, даже у отца дьякона, который также внимательно смотрѣлъ на игру. Въ числѣ зрителей этой игры обратила мое вниманіе фигура одного крестьянина: это былъ

пароходный рабочий въ картузѣ съ мѣднымъ ярлыкомъ: роста онъ былъ огромнаго и — какъ часто это бываетъ у сильныхъ людей — лицомъ походилъ на ребенка: самое дѣтское, простодушное выраженіе лица было у него. Онъ подошелъ къ группѣ играющихъ довольно давно и сначала былъ совершенно равнодушнымъ зрителемъ; по его лицу было видно, что «въ этихъ дѣлахъ» онъ ровно ничего не понимаетъ, что это его даже и не интересуетъ, но послѣ эпизода съ десятью рублями что-то какъ будто проснулось въ его сонныхъ спокойныхъ, какъ стоячая вода, глазахъ. Что-то какъ будто шевельнулось, плеснуло въ этой стоячей водѣ. Онъ поближе придвинулся къ игрокамъ, пристальнѣе сталъ смотрѣть въ карты, на деньги, на руки игроковъ, на ихъ кошельки.

— Михайло! позвали его откуда-то.

— Сейчас! отозвался онъ, но не уходилъ, а съ возрастающей внимательностью сталъ вникать въ дѣло. Его позвали въ другой разъ, и тогда онъ, съ трудомъ оторвавшись отъ зрѣлища, бѣгомъ побѣжалъ туда, куда его звали, и скоро возвратился тоже «бѣгомъ»...

— Не шулера-ли какіе? сказалъ мнѣ какой-то толстый купецъ, также изъ числа зрителей, спускаясь со мною въ каюту. — Много этого мусорнаго народу развелось... Я глядѣлъ, глядѣлъ — будто какъ что-то есть...

— Не знаю, не видалъ я этого!

— Это только такъ, представленіе одно, будто незнакомые собрались, то-есть, трое-то... Они очень знакомы... Вотъ посмотрите разадорятъ они публику!... Это завсегда ихній пріемъ!... И откуда это, Господи, сколько пошло по Россіи шарлатановъ всякихъ? Чисто отбою нѣтъ!

Подозрѣнія купца вполнѣ оправдались впоследствии, но не въ этомъ пока дѣло. Меня очень интересовала фигура мужика, на моихъ глазахъ начавшая, такъ сказать, развращаться. Я видѣлъ эту фигуру въ воловей работѣ при нагрузкѣ и выгрузкѣ товаровъ, видѣлъ его гигантскую силу и дьявольскій трудъ, ни чуть не отразившійся на этомъ спокойнѣйшемъ дѣтскомъ лицѣ, едва-едва обрамленномъ бѣлокурой бородкой, видѣлъ его апатическимъ и ровно ничего не понимающимъ зрителемъ карточного состязанія и видѣлъ наконецъ, какъ въ этой дѣтской душѣ шевельнулось что-то острое и жадное... «Что будетъ съ нимъ дальше?» — подумалось мнѣ, и часа черезъ два я опять вышелъ на палубу.

Парень (его звали Михайло) былъ къ этому времени просто неузнаваемъ, да неузнаваема была и вся толпа, окружавшая игроковъ. Возбужденіе жадности къ деньгамъ, которыя въ видѣ «рублевокъ», «трешницъ», «мѣдяковъ», мелочи, кучей лежали на полу, на глазахъ всѣхъ, переходя отъ одного игрока къ другому, было необыкновенно сильно. Но мужикъ, этотъ огромный верзило, на лицѣ и фигурѣ котораго трудно было замѣтить слѣды малѣйшаго волненія послѣ того, напримѣръ, когда онъ только-что перетаскалъ на берегъ не одну сотню цибиковъ чая или демидовскаго желѣза, теперь,

подъ вліяніемъ животной страсти, волновался и буквально трепеталъ каждымъ мускуломъ. Жаръ какой-то валилъ отъ его огромнаго тѣла, все лицо содрогалось и глаза прыгали между вытаращенными вѣками; огромная трясущаяся рука то вытаскивала изъ кармана замшевый кошелекъ, крѣпко сжимающаго его въ рукѣ, то пыталась отвергнуть его, то опять прятала и опять вынимала. Наконецъ парень не выдержалъ, отчаяннымъ жестомъ раздвинулъ толпу, присѣлъ къ игрокамъ и, весь блѣдный, трясущійся, принялъ участіе въ игрѣ; онъ плохо понималъ, въ чемъ дѣло, и потому, когда ему сдавали карты, онъ сейчасъ же показывалъ ихъ сосѣду, тому самому равному пьянчугѣ, который предложилъ игрокамъ свои карты. «Брось, наплевать! Ничего не стоитъ! Пасъ!» — совѣтовалъ пьянчуга, или, напротивъ, поощрялъ. «Ходи! ходи! Бей! Такъ...». И не только не умирало волненіе верзилы, не только всѣ члены его не переставали ходить-ходунюмъ, но, напротивъ, увеличившаяся блѣдность лица и трясущіеся пальцы заставляли думать, что ужъ не жаръ томитъ его, а холодъ, ознобъ деретъ ему тѣло... И вдругъ онъ опять вспыхнулъ и весь загорѣлся огнемъ: ему «привалила карта» — это, во-первыхъ, увидалъ онъ самъ; во-вторыхъ — это провозгласилъ во всеуслышаніе пьянчуга, а затѣмъ такіе-же возгласы удивленія къ счастливымъ картамъ выразила и публика, толпившаяся за спиной у игроковъ. — «Вали, вали! Не робѣй! Станови! Не бойся! Выиграешь? Твоя, твоя!» — со всѣхъ сторонъ галдѣла публика и сами игроки, а верзило съ отутѣшившимъ, налившимся кровью лицомъ, только поворачивалъ голову то направо, то налево, то пряталъ карты въ горсть, точно сокровище, то опять совалъ ихъ «посмотрѣть», кому придется... Ему предстояло либо проиграть пятнадцать рублей, либо выиграть сорокъ пять; наконецъ онъ рѣшился и голосомъ кулачнаго бойца, приготовляющагося къ отчаянной дракѣ, воскликнулъ:

— Иду! Ходи!

— Иду и я! также, точно приготовляясь разможжить сопернику голову (а не обыграть въ карты), воскликнулъ и артельщикъ.

Лакей ничего не воскликнулъ, но сидѣлъ блѣдный, какъ смерть, съ горящими глазами.

Секунды двѣ-три стояла мертвая тишина.

— Твоя! Взять! Охо-хо-хо, денжищъ-то поволокъ! возопила вдругъ вся публика.

Оказалось, что выигралъ артельщикъ, а верзило проигралъ. А лакей хоть тоже проигралъ, но не выдержалъ своей роли и явно обрадовался.

Верзило молча и какъ-то деревянно смотрѣлъ, какъ его деньги забираетъ артельщикъ; онъ даже какъ будто успокоился и пересталъ трястись.

— Будетъ! сказалъ онъ, поднялся съ полу и пошелъ. Пошелъ онъ прямо къ кухнѣ, взялъ швабру, стоявшую тутъ, и какъ ни въ чемъ не бывало принялся вытирать ею полъ около крана, передъ которымъ умываются пассажиры третьяго класса. Онъ какъ будто хотѣлъ показать, что съ нимъ ничего не случилось, что онъ знаетъ, что самъ

виновать. Я подивился этой силѣ характера, этой возможности быть «какъ ни въ чемъ не бывало», проигравъ такую кучу денегъ, какъ 15 руб. Но радость моя была не долга: онъ потеръ шваброй мокрый полъ, пошелъ было съ этой шваброй куда-то въ другое мѣсто, но едва сдѣлалъ нѣсколько шаговъ, какъ остановился и вдругъ, какъ подрѣзанная трава, упалъ, свалился на полъ, уронивъ швабру... Онъ свалился куда-то за тюки съ то-варями, не разбирая «куда», и, колотясь головой обо что ни попало, взвылъ на весь пароходъ.

— Бат-ю-ушки... м-мой... мил-лые!.. Отцы мои... Пятнадцать цал-ко-о-о-выхъ... О-о-хо... о-о-хъ — охъ-охъ!..

Самыя маленькія, неумѣющія даже лепетать, дѣти могутъ такъ горько, такъ отчаянно и такъ жалобно плакать, какъ плакалъ этотъ верзило, катаясь между тюками товара, стукаясь лбомъ и огромнымъ тѣломъ обо что ни попало. Такого ребяческаго малодушія, такого ничтожества душевнаго, какое обнаружилъ верзило, нельзя себѣ представить, не представляя именно совершенно безомощнаго ребенка; между верзилкой, на весь пароходъ и на всю Каму пышавшимъ «какъ малый ребенокъ», и тѣмъ верзилкой, котораго нѣсколько минутъ тому назадъ «трясло» всего и «ломало» подъ впечатлѣніемъ проснувшейся алчности, жадности, не было ничего общаго; это были два разные существа: то былъ звѣрь, а теперь чуть не грудной ребенокъ, и ни звѣрь, ни ребенокъ одинаково были не похожи на сильнаго, могучаго, тихаго работника, каковъ верзило былъ въ дѣйствительности. Проявивъ въ себѣ глупую жадность звѣря и неумное отчаяніе несмысленнаго младенца, верзило промзвелъ на публику парохода впечатлѣніе какого-то глупца и даже смѣшного дурака.

— Дуракъ! Такъ дурака и надо!

— А съ дураками нешто не такъ надобно?

— Дураковъ надо учить!

— Разъ-другой поучать такъ-то дурака, анъ онъ и умнѣй будетъ!

— Ишь-ты! Сорокъ пять цѣлковыхъ хотѣлъ слизать, а какъ не вышло, такъ и взвылъ какъ бѣлуга.

— Охъ! охъ! охъ! охъ!.. пя-а-а-а-атнацать цал-ко... о-охъ—охъ...

— Ха! ха! ха! ха! помирала со смѣху публика.

И по истинѣ было смѣшно.

Но верзило не исчерпалъ еще всѣхъ своихъ душевныхъ свойствъ. Верзило вылъ и катался по полу довольно долго, едва-ли не до тѣхъ поръ, откуда вся пароходная публика вмѣстѣ и по одиночкѣ не засвидѣтельствовали ему лично своего мнѣнія о томъ, что онъ «дуракъ».

— Какъ обыгрывать—такъ ничего, а какъ проигрывать, такъ закудахтавъ!

— Охо-хо хо... Батюшки.. матушки мои!

— Ха! ха! ха!

Положительно всякій пассажиръ подходилъ къ нему, слушалъ его вытье и говорилъ, что «такъ дураковъ и надо».

Наконецъ всѣ называли его дуракомъ и ра-

зошлись по своимъ мѣстамъ. Игроки, партнеры верзилы, тоже давнымъ-давно разбредились. Артельщикъ, выигравшій деньги, спалъ самымъ крѣпчайшимъ сномъ, уткнувшись лицомъ въ подушку; онъ не слышалъ, какъ обыгранный мужикъ вылъ. Благообразный человѣкъ въ «котелкѣ» сидѣлъ вверху на рубкѣ и меланхолически любовался видомъ камы, а лакей почему-то перебрался со своей подушкой и узломъ на другой конецъ палубы, сказавъ прежнимъ сосѣдямъ: «Уйтить отъ васъ, а то пожалуй взвоешь вотъ какъ этотъ мужикъ!..» Наконецъ затихъ и верзило.

— Очутился, видно?

— Въ другой разъ не будетъ!

— Видно, вытѣмъ-то не поможешь!

Но верзило думалъ не такъ. Онъ, правда, затихъ, не вылъ, не охалъ и не катался по полу, а долго сидѣлъ за ящиками, утирая носъ рукавомъ красной рубахи. Сидѣлъ онъ такъ довольно долго, потомъ всталъ, оправилъ рубаху и пошелъ..

И пошелъ онъ прямо къ капитану парохода жаловаться.

Отворивъ дверь капитанской каюты, онъ тотчасъ же упалъ на колѣни и, разставивъ безпомощно руки, взмолился:

— Явите божескую милость! Что жъ это будетъ! Пятнадцать рублей... Это не игра, вашскородіе!.. Отецъ родной... Это одно мошенство!.. Помилюйте! Я жаловаться буду... Эти деньги у меня чужія! Что-жъ это такое? Господи помилуй!..

Публика видѣла это.

— Ишь, подлецъ какой! Небось, кабы самъ считилъ сорокъ-то пять рублей, не пошелъ бы жаловаться... Сказалъ-бы: май!...

А какой по первому впечатлѣнію хорошій типъ: сильный, работающій, простой, скромный, съ наивными глазами... Пудовые тюки мелькаютъ въ его рукахъ, какъ соломинки, «ворочается» онъ этими руками и пѣсню поетъ, «не жалится», что трудно, а взяло за-живое — вышелъ жадный звѣрь: не пришлось звѣриной алчности удовлетворить — взвылъ какъ грудной ребенокъ, свалился, какъ подрѣзанный колосъ, а когда взялся за умъ, «очутился», сейчасъ «къ начальству» — выручай меня изъ моей глупости и подлости.

Капитанъ выручилъ его. Съ шумомъ, съ бранью, деньги (оказавшіяся уже подѣленными между котелкомъ), лакемъ-оборванцемъ и артельщикомъ) были возвращены верзилѣ. Верзило былъ радъ. Онъ опять взялся за швабру и принялся работать ею, елико хватало силъ, не переставая всѣмъ и каждому говорить въ то же время:

— Потому что у нихъ игра не настоящая!.. Этакъ-то я кого хопъ обыграю...

— Дуракъ! говорили ему.

А иные называли даже и «подлецомъ». Но верзило не обижался, потому что былъ радъ, сіяя отъ счастья, и работалъ за семерыхъ.

На слѣдующій день я видѣлъ верзилу уже въ обыкновенномъ, нормальномъ состояніи: онъ таскалъ куди и тюки, отчаливалъ, причаливалъ, мѣрилъ шестомъ глубину воды, а въ антрактахъ, помо-

лившись, благопристойно ѣлъ артельную кашу, или, укладываясь спать, слушалъ какую-нибудь «занятную» сказку, небывальщину, которую ему рассказывалъ другой такой-же верзило, геркулесъ съ ребяческимъ выраженіемъ лица; но впечатлѣніе вчерашняго эпизода, которое этотъ верзило напоминалъ мнѣ каждый разъ, какъ только мнѣ приходилось встрѣчать его, не изгладилося во мнѣ, а, напротивъ, постоянно развивалось и на несчастіе все въ томъ-же непріятномъ, несимпатичномъ направленіи. Эти шулера, благообразные «котелки», сюртуки, напоминающіе трактирныхъ лакеевъ, напомнили множество разговоровъ и личныхъ наблюденій относительно обилія на Руси въ настоящее время всякаго «шлющаго», бродячаго народа. Не такъ давно было въ газетахъ опубликовано, что бродячаго рабочаго народа, голытьбы, на нижегородской ярмаркѣ было меньше прошлогодняго, что та голытьба, которая была въ Нижнемѣ, вела себя какъ нельзя лучше и т. д. Но тутъ же былъ опубликованъ цѣлый рядъ «жѣръ», благодаря которымъ голытьба была приведена въ благообразное состояніе: ночлежные пріюты, дешевыя столовыя и вѣроятно было что-нибудь по части дисциплины. Говорю это потому, что въ іюлѣ мѣсяцѣ до начала ярмарки Нижній былъ переполненъ голытьбою; никогда, сколько разъ на своемъ вѣку я ни бывалъ въ Нижнемѣ, мнѣ не приходилось видѣть такого обилія «шлющаго» народа. Я видѣлъ эту толпу тотчасъ послѣ еврейскихъ безпорядковъ и утвердительно могу сказать, что страшна она мнѣ показалась *). И затѣмъ, относительно вообще обилія голытьбы я слышалъ отъ всякаго, нѣмьющаго дѣла съ народомъ, неизбежный вопросъ: «И откуда только берется этотъ рваный народъ? Просто нѣтъ проходу!» Пароходные шулера ознакомили меня съ новымъ типомъ этого растущаго на Руси класса людей: это уже не нижегородскіе ломовники съ разбитыми «вчера» въ дракѣ глазами, а люди, которыхъ съ перваго взгляда не признаешь за плутовъ; они приличны, благообразны, хорошо одѣты. Это ужъ не рвань и голъ ломовая, деревенская, бродяжная; это ужъ люди потерпѣвшіе, отгадывшіе легкой наживы, люди несомнѣнно толкавшіеся вокругъ денегъ. Такого рода голытьба—голытьба злая, развратная и пагубная—вообще-то была ужъ знакома мнѣ: по старой московской дорогѣ изъ Петербурга и въ Петербургъ проходить мимо нашей деревни не одна тысяча втеченіе года. Иногда голытьба эта проситъ милостыню на французскомъ языкѣ и обижается, если милостыню подають ей хлѣбомъ.

— Куда я потащусь съ этой дрянью? Мнѣ денегъ надо.

Впрочемъ обиліе этой голытьбы и разнообразіе ея типы будутъ предметомъ особаго очерка, теперь-же скажу, что вчерашній «картежный» эпизодъ только натолкнулъ меня на мысль о ней. «Верзило» — въ томъ видѣ, какой обнаружилъ онъ

вчера—представился мнѣ въ видѣ какой-то центральной фигуры, вокругъ которой кишитъ все это безобразіе. «Видъ вотъ—думалось мнѣ—въ этомъ самомъ верзилѣ есть видимыя для всѣхъ превосходныя черты, есть также для всѣхъ видимый образъ такой жизни, который подходитъ къ самымъ лучшимъ сторонамъ верзилкинаго міросозерцанія, среди котораго онъ и хорошъ, и уменъ, и добръ, и привлекателенъ, и справедливъ. Но при стараніи изъ него можно сдѣлать и звѣря, и труса, и ничтожество, и предательство, и подхалимство, словомъ, можно сдѣлать много гнуснаго. За чѣмъ?»

II.

Отвѣтить себѣ на этотъ вопросъ я, конечно, не успѣлъ, но картина, вызванная имъ и изображающая въ общихъ чертахъ положеніе интеллигенціи (въ рукахъ которой и находится участіе вопроса: зачѣмъ?),—картина эта была приблизительно такого рода: представилась мнѣ прежде всего огромная, сплошная, въ видѣ какой-то длинной, широкой полосы, пролегающей вдоль всей Россіи, точно шоссе, масса интеллигентнаго народа. Я называю «всю» представившуюся мнѣ массу «интеллигентною» исключительно только, такъ сказать, по обличью, по внѣшнему образу жизни, хотя самой большей и главной части этой массы не придаютъ никакого значенія въ интеллигентномъ отношеніи. Эта масса есть обжорный рядъ, толпа «своего удовольствія», солидной дѣйствительности! Она огромна и первая лѣзетъ въ глаза.

За нею слѣдуетъ не менѣе огромное скопище интеллигенціи, получающей жалованье, томящейся завистью, скучающей, закусывающей у клубныхъ и желѣзнодорожныхъ буфетовъ, томящейся въ танцевальныхъ, театральныхъ и игорныхъ залахъ, на пикникахъ, за карточными столами, въ ученыхъ и неученыхъ обществахъ и засѣданіяхъ и жаждающей прибавки. За нею слѣдуетъ еще болѣе огромная масса людей, также закусывающихъ, также томящихся и также никакого практическаго результата не оставляющихъ послѣ своего исчезновенія съ лица земли,—людей, мысль которыхъ хотя и не замерла, но освѣщаетъ только (и то чуть-чуть) пустоту и безсовѣстность собственнаго существованія: человекъ пьетъ, играетъ, участвуетъ во всякой подѣлкѣ «общественныхъ дѣлъ», и въ то же время постоянно надъ собой подтруниваетъ, издѣвается, называетъ себя дрянью и продолжаетъ закусывать, играть и т. д., не находя въ своей мысли очертаній другихъ условій и обстановки жизни, не находя въ себѣ даже силы представить что-нибудь лучшее, что-нибудь болѣе опрятное. Каждый день увязая все глубже и глубже въ грязь, человекъ такой не перестаетъ почитать это, не перестаетъ издѣваться надъ собой, знаетъ даже глубину своего паденія, но продолжаетъ сновать, не выпуская изъ рукъ картъ и не отходя отъ буфета. За этими самообличительными слѣдуетъ огромнѣйшій разрядъ теоретиковъ

*) Въ дополненіе къ этому ниже помѣщается разсказъ VI-й — «Побойще».

всевозможныхъ сортовъ, видовъ и цвѣта. Оди, благодаря средствамъ, раскинувшись вокругъ себя аршина на два въ діаметрѣ кучи того неопратнаго хлама, которымъ изобилуетъ жизнь, ищутъ *нистоящую* въ совершенствѣ личное, проповѣдуютъ «неземную справедливость», неземныя *дѣла*, доходятъ въ послѣдовательномъ развитіи своихъ идей до вопроса о томъ, изъ какого матеріала шьются «тамошніе пиджаки». Другіе, окруженные горами «сегоднешняго» хлама, уносятъ мысль въ отдаленнѣйшее будущее Россіи, тщательнo изучаютъ тотъ моментъ, когда Англія и Россія вступятъ въ единоборство, и превосходно знаютъ, какія блестящія перспективы могутъ изъ этого столкновенія возникнуть. Третья, не только не расчищая вокругъ себя хлама, но, напротивъ, ежеминутно созидая его, изощряютъ свои мысли въ риторикѣ восхваленія нашего будущаго; наконецъ даже люди, вполне здравомыслящіе, исходящіе мыслью изъ дѣйствительнаго положенія дѣла на бѣломъ свѣтѣ, и тѣ весьма скоро суживаютъ свою мысль на теоретическомъ знаніи жгучаго дѣла «настоящаго», тощуютъ безъ живого опыта жизни, скудѣютъ знаніемъ этого большого дѣла во всемъ его теперешнемъ *живомъ* объемѣ... Когда въ прошедшемъ году, во время рабочаго кризиса въ Парижѣ, печатались отчеты парламентской комиссіи, созданной для изысканія средствъ къ помощи, читая ихъ можно было только удивляться той мелочности, до вниманія къ которой могутъ опускаться такіе тузы, какъ депутаты. Депутатъ Лезенъ долженъ высчитывать, сколько нужно выкупить тюфяковъ, одѣялъ (холодно вѣдь!), дѣтскихъ кроватей, часовъ, лампъ, кухонныхъ принадлежностей... Читая эти отчеты, я жилъ въ деревнѣ и, признаюсь, думалъ такъ: «Да его-ли депутатское дѣло заниматься такими пустяками? Да они, неумытая рыла, не заслуживаютъ того, чтобы этотъ господинъ копался да рылся, какому пьяницѣ что нужно, тюфякъ-ли, одѣяло или кастрюля! Уже видно, что доберъ баринъ — отъ господинъ-отъ Лезенъ, мы этихъ еще и видошъ не видали!» Да помылите: когда мы дождемся, чтобы у насъ въ волостномъ правленіи разговаривали о томъ, есть-ли кому что ѣсть и есть-ли у всѣхъ сапоги? У насъ въ самомъ центрѣ нищеты и нужды только и идетъ разговоръ о вышнихъ дѣлахъ и цѣляхъ.

Да и то, что на нашихъ глазахъ было живого и дѣятельнаго, и то какъ будто затихаетъ и замираетъ. На нашихъ глазахъ возникъ такъ называемый женскій вопросъ, хотя тогда-же или вскорѣ послѣ его возникновенія какой-то поэтъ хотѣлъ-было его похоронить и изобразилъ-было его въ видѣ ребенка, котораго литература подняла на улицы, отдала на воспитаніе въ типографію, стала кормить его бумагой и поить чернилами, т. е. постепенно приводила его къ гробу, но на дѣлѣ однако вышло не такъ: женское образованіе пошло развиваться на дѣлѣ, и мы имѣемъ не одинъ выпускъ женщинъ-докторовъ, которыя уже давно «работаютъ» въ народѣ. Но до сихъ поръ

въ литературѣ, въ прессѣ, изъ которой вся русская публика только и почерпаетъ свѣдѣнія о томъ, что дѣлается на свѣтѣ, ничего, то есть почти ровно ничего не было рассказано объ этомъ опытѣ «работать въ народѣ». На моей памяти я читалъ только одинъ рассказъ женщины-доктора о венерической чумѣ и еще рассказикъ въ *Вѣстникѣ Европы*. Теперь также на нашихъ глазахъ курсы эти падаютъ, закрываются — и опять яи откуда ни звука, такъ что попрежнему самое любопытное для «насъ» остается все только безконечное чтеніе рецензій объ «Эрмитажѣ», Лентовскомъ и «Ливадіи». А опытъ людей, сознательно отправившихся изъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ въ народную среду, нуженъ, необычайно нуженъ для общества и въ особенности для подросткащаго молодого поколѣнія, которое теперь въ свободное отъ уроковъ время стоитъ за спинками стульевъ, на которыхъ сидятъ родители, играющіе въ карты, и наблюдаетъ со всѣмъ напряженіемъ дѣтской впечатлительности за ходомъ игры. Одна такая книга, какъ *Что читать наравду?* (въ 25 лѣтъ одна!) — манна небесная въ нашей изсушающей душу жизненной пустотѣ. Опытъ «работать въ народѣ» — трудный, непривѣтливый, изнурительный, мучающій человека, — манна небесная потому, что въ немъ именно и есть правда, съ нею только и можетъ начаться наше самостоятельное развитіе, воспитаніе. Ни въ какомъ другомъ смыслѣ нѣтъ ходу нашей самостоятельности, нѣтъ приложенія нашихъ силъ, стало-быть нѣтъ имъ развитія: все можно купить готовымъ; все, что обѣщаетъ намъ развитіе у насъ европейскіхъ порядковъ, все давно ужъ въ совершенствѣ обдуманно и выдуманно *не нами*. Всѣ вотъ эти колеса, винты, гайки, молотки, бочки, изображенные на фотографіи какой-то «группы» инженеровъ или механиковъ и заставляющіе Марью Васильевну думать: «какой умный Иванъ Оедоровичъ!» (онъ изображенъ съ какой-то козергой) — все это куплено, *только куплено*, а на выдумку всего этого Иванъ Оедоровичъ не тратилъ собственнаго ума ни капли. Даже кашинскимъ винодѣламъ нечего выдумывать, а остается только поддѣлывать. Словомъ, во всемъ строѣ европействующаго русскаго человека отъ науки, отъ книги до сапога и чулка, не на что тратить свою мысль — все ужъ готово: «поди и купи». Эта полная возможность «все купить», отъ знанія до чулка, совершенно обезсиливаетъ нашъ умъ, наши силы — такъ намъ въ этихъ условіяхъ все хорошо и умно сдѣлано другими — и нашъ умъ, наша совѣсть, наши силы даже *волей-неволей* должны работать въ иномъ направленіи, чтобы имѣть хоть какую-нибудь гимнастику и не исчахнуть въ пустынѣ тоски или въ пустынѣ «своего удовольствія».

Спрашивается, что напримѣръ можетъ сдѣлать оригинальнаго, самостоятельнаго наша литература, если она приметъ это готовое, чужими руками устроенное теченіе жизни за нѣчто новое? Ровно ничего! Всѣ мотивы, которые могутъ на этомъ пути встрѣтиться наблюдателю, уже разработаны и,

какъ оригинальные, разработаны превосходно. Да наконецъ въ настоящее время въ мелкой журналистикѣ уже практикуется кое-что по части «перелицовки» *тамошняго* на наше *россійское*. Мнѣ пришлось встрѣтиться съ одной госпожой, которая по нуждѣ дѣлаетъ для одной маленькой газеты такія вещи: возьметъ французскій или нѣмецкій рассказъ изъ буржуазной среды и передѣлаетъ его на русскіе нравы: вмѣсто Віаррицъ, напишетъ Ялта, вмѣсто Гансъ — Кузьма Ивановичъ, а вмѣсто гофъ-кригсъ-ратъ — надворный совѣтникъ Анафемцевъ, вотъ и все. Читаютъ и похваляютъ, потому что дѣйствительно трудно выдумать что-нибудь оригинальное, когда *все* одинаково у извѣстной среды, будь она французская, русская, нѣмецкая... Наши буржуа не могутъ выдумать какой-нибудь обстановка жизни или дать ей какое-нибудь иное содержаніе, кромѣ той обстановки и того содержанія, которыя вообще свойственны типу буржуа. Русскій заяцъ точно такой же заяцъ, какъ и заяцъ-англичанинъ, и все нѣтъ того, чтобъ нашъ заяцъ леталъ, а англійскій пѣлъ—оба они зайцы и все у нихъ заячье, какъ двѣ капли воды. На этомъ готовомъ пути грозитъ намъ полнѣйшее утомленіе отъ готовыхъ удобствъ, средствъ жизни и самаго ея содержанія, и единственное наше спасеніе, единственная возможность пробудить наши силы *не наготовомъ*, т. е. не на ослабляющемъ даже самую охоту думать, дѣлать и жить, а на новомъ, что можетъ поднять всѣ наши силы, что потребуетъ даже удешевленной энергіи, что состоитъ въ опытѣ жить, принимая за главнѣйшую цѣль жизни благосостояніе народныхъ массъ. Это трудно, но въ этомъ непрерывномъ опытѣ, въ этихъ непрерывныхъ неудачахъ, разочарованіяхъ, радостяхъ, высказанныхъ и несказанныхъ слезахъ, въ этомъ повидному мучительномъ сознаніи недостижимости цѣли—во всемъ этомъ только и можетъ быть *наша самостоятельная жизнь*, отсюда только и придетъ матеріалъ, который ляжетъ въ основаніе воспитанія будущихъ поколѣній.

III.

Съ какими по истинѣ дѣтскими восхищеніемъ рассказывалъ мнѣ одинъ мой пріятель слѣдующій маленькій эпизодъ. Задумалъ этотъ мой пріятель походить пѣшкомъ и посмотреть, какъ живутъ на бѣломъ свѣтѣ добрые люди. Съ мѣсяцъ ходилъ онъ по Московскому уѣзду, и въ одну настоящую, заправскую «черную ночь», въ дождь и вѣтеръ, забрелъ невѣдомо куда, въ какой то огромный лѣсъ или паркъ съ заросшими, но правильными, величественными аллеями, и скоро очутился передъ громадной развалиной стариннаго барскаго дворца. И въ паркѣ темно, и пусто во дворцѣ — только вѣтеръ реветъ и воетъ, раскачивая огромныя деревья... Куда идти? И вдругъ, обойдя рунну съ другой стороны, онъ замѣтилъ огонекъ. Огонекъ свѣтился въ единственномъ окошкѣ, не лишепномъ рамы и задернутомъ занавѣской. Обрадовавшись

огоньку и жилью, пріятель сталъ искать входа въ него и скоро нащупалъ дверь, которая, какъ оказалось, не имѣла даже и петель и была только приставлена снаружи; съ громомъ и стукомъ повалилась она, эта дверь, отъ одного легкаго прикосновенія, и этотъ громъ заставилъ выскочить обитателей жилья: въ сѣняхъ, наполненныхъ мусоромъ отъ обваливающагося кирпича, появились древнѣйшій старикъ и молодая дѣвушка. Дѣвушка оказалась учительницей сельской школы, которая помѣщалась тутъ же, въ другой не совсемъ разрушенной каморкѣ. На селѣ негдѣ «приткнуться», все занято трактирами и кабаками, а земское зданіе школы еще не готово, такъ вотъ земство и нашло возможнымъ «приткнуть» ее съ нѣсколькими картами и книжными шкафомъ въ этомъ микроскопическомъ углу огромнаго дворца, кое-какъ приведя уголь въ возможный порядокъ. Пріятель мой, такъ неожиданно появившійся и надѣлавшій такого шума, оторвалъ дѣвущку отъ работы: она исправляла дѣтскія сочиненія. Завязался простой разговоръ о школѣ, о ребятишкахъ, о ежедневныхъ школьных мелочахъ, и разговоръ этотъ былъ точно лучъ свѣта во всей этой видимой, слышанной и пережитой тьмѣ... Во время разговора торопливо вбѣжала въ комнату деревенская дѣвочка, закутанная въ платокъ и съ высокой палкой въ рукѣ.—«Я у тебя, Алексѣевна,— сказала она учительницѣ,—нонѣ ночевать не буду!»—«Отчего?»—«Да мнѣ надыть пьяныхъ и прохожихъ по дворамъ разводить... Отецъ-то имелень, а очередь наша... такъ вотъ я вмѣсто отца-то!»—и ушла. И опять хорошо и свѣтло показалось моему пріятелю. Какой бы микроскопическій, съ высшей точки зрѣнія, «палліативъ», ни представляла эта учительница, читающая дѣтскія сочиненія на тему: «какъ я разъ испужался» или «какъ я разъ расшибся»—хорошъ человекъ, который рѣшился на этотъ палліативъ, который гдѣ-то въ углу, въ трещинѣ стараго дома нашелъ возможнымъ, а главное *нужнымъ*, разговаривать съ какими-то чужазымы ребятишками, и дѣло его хорошо. Какъ ни мизерны средства этого человека, но онъ не скажетъ: «Почитай Кузьму Ивановича потому, что у него восемнадцать кабаковъ!» Не скажетъ: «Хлопочи только о своемъ карманѣ!» и т. д. Этого *нельзя* сказать ей, иначе она бы и не была здѣсь, не ежилась бы въ углу этой развалины съ своими тетрадками, сказками... Все это чуть-чуть замѣтный огонекъ въ черной, окутывающей ее кругомъ тьмѣ, но огонекъ несомнѣнный, хотя и трудно, мучительно трудно отвоевать его право не гаснуть среди цѣлой орды кабатчиковъ, кулаковъ, на которыхъ держится неурядица народная.

И, право, только вотъ такіе едва мерцающіе огоньки и радуютъ, хотя огоньки, точно, еле мерцаютъ... Молчаливое совершенствованіе теоретическихъ воззрѣній гораздо болѣе распространено, чѣмъ желаніе живого дѣла, теоретическое изящество, отдѣлка всевозможныхъ теоретическихъ деталей развиваются въ ущербъ вниманію къ сего-

дншней человѣческой нуждѣ — и это во всѣхъ интеллигентныхъ сферахъ; приводитъ въ связь съ сегодняшней мелочной дѣйствительностью свои отшлифованные до высшей степени изящества теоретическія построения русскій человѣкъ отвыкаетъ съ каждымъ днемъ все болѣе и болѣе. Недавно въ газетахъ былъ опубликованъ такой случай: въ Кронштадтѣ существуетъ какая-то ремесленная касса, дѣла которой ведутся по способу Артемь Артемычей: молебень, расхищеніе, пожертвованіе корпии въ «Красный Крестъ», молебень и опять расхищеніе. На общее собраніе этой кассы, гдѣ члены хотѣли возстать на такіе порядки, появились пріѣхавшіе изъ Петербурга «новые люди». Эти новые люди теоретически были до того справедливы, говорили такъ превосходно, что собраніе, заслушавшись ихъ рѣчей, сразу забаллотировало прежнее правленіе и выбрало въ члены правленія новыхъ, пріѣзжихъ людей. Но когда дѣло дошло до необходимости показать оправданность своихъ отшлифованныхъ мыслей на дѣлѣ, то-есть войти въ мелочи жизни небогатыхъ трудящихся хозяевъ кассы, и, основываясь именно на этихъ мелочахъ (ради нихъ-то вѣдь и касса возникла), начать новые порядки, то новые люди оказались совершенно ничего въ этихъ мелочахъ не понимающими, не имѣющими никакого понятія о нуждѣ, о томъ, какъ живетъ бѣдный человѣкъ, каковъ его трудъ. И что же? Въ то-же самое засѣданіе разочарованные бѣдняки должны были свергнуть новыхъ людей съ только-что дарованныхъ имъ мѣстъ и съ горемъ и уныніемъ должны были выбрать опять старыхъ: эти хоть и воруютъ, но все-таки знаютъ, почемъ свѣчи, какъ дорога крупа и т. д.

Иллюстрацій, которыя-бы наглядно показали, до какой степени отвыкаяя отъ реального дѣла мысль русскаго человѣка привыкла молча и неподвижно присутствовать при созерцаніи того самаго зла, объ уничтоженіи котораго эта мысль смертельно печалится, можно было бы привести несмѣтное количество.

IV.

Едва я дописалъ послѣднюю строчку, какъ въ мою комнату вошелъ одинъ мой пріятель. Я прочиталъ ему написанное и между нами произошелъ такой разговоръ.

— Это все такъ, все вѣрно, сказалъ пріятель, — вѣрно и то, что русскій человѣкъ подавленъ и ослабленъ обиліемъ «готового», и то вѣрно, что это готовое не всегда ему по душѣ; ужъ очень видны намъ и фальшь, и ложь всего этого готового-то... Вѣрно тоже и то, что даже «дѣло» во имя благосостоянія народа не дремлетъ у насъ, а двигается неустанно по мѣрѣ возможности... Народное дѣло — слово не пустое и не только слово! Но все-таки какъ будто что-то не то, чего-то не достааетъ во всемъ этомъ всякому росіянину...

— Отчего-же такъ?

— Да оттого, мнѣ кажется, что человѣку не-

премѣнно надобно знать, что должно выдти изъ этого? Ну хоть-бы, съ позволенія сказать, утопично-бы какую-нибудь намъ представили... «Это не хорошо, это не такъ, это несправедливо, а вотъ такъ, молъ, и справедливо, и хорошо!» У европейцевъ, не чувствующихъ аппетита къ старымъ порядкамъ, всегда на смѣну имъ есть фантазія о новыхъ; всякій европеецъ-реформаторъ отвѣтитъ вамъ на вопросъ: что надо? — «Вотъ что!» А у насъ, т. е. у насъ, нѣтъ! «Народъ, масса, капитализмъ, община», а все что-то не то! Образчика, фантазіи не создано по поводу того, что и какъ должно быть, что и какъ справедливо. Давайте-ка эту фантазію, образчикъ — проснемся! Право, проснемся!

Я бы разумѣется, ни въ какомъ случаѣ не рѣшился давать этихъ образчиковъ и даже въ дружеской болтовнѣ не нашель-бы удовольствія фантазировать на этотъ счетъ. Но одно совершенно случайное обстоятельство заставило меня невольно сосредоточить вниманіе на этомъ дѣлѣ.

Совершенно случайно въ мои руки попало одно народное современное произведеніе, гдѣ говорится «обо всемъ», и мнѣ показалось, что въ этомъ произведеніи воистину «брежжетъ» какой-то свѣтъ, давая возможность хотя чуть-чуть уловить чертанія чего-то гармоническаго, справедливаго и необычайно свѣтлаго.

IV. Трудami рукъ своихъ.

I.

Въ послѣднихъ строкахъ предыдущаго очерка я обѣщалъ познакомить читателя, томящагося рѣшеніемъ вопроса: «какъ жить свято?» — съ одною рукописью, написанной крестьяниномъ, въ которой какъ-бы «брежитъ» нѣчто, отвѣчающее на этотъ многосложный и многотрудный вопросъ. Рукопись эта будетъ представлена читателю въ настоящемъ очеркѣ, но я боюсь, что она не произведетъ на него такого впечатлѣнія, какое я желалъ-бы, чтобы она произвела, я боюсь, что читатель (конечно, именно только такой читатель, который не чуждъ мыслей о томъ, *какъ жить свято*), истомленный дѣйствительностью, повиному неопровержимо доказывающей ему каждую секунду и долгіе-долгіе годы подрядъ, что свято жить нельзя, надобно жить не свято, — боюсь, что этотъ читатель набросится на эту рукопись, въ которой обѣщанъ отвѣтъ на мучительный вопросъ, съ жадностью и алчностью утомленнаго, чрезмерно уставшаго человѣка, и какъ всякій уставшій и проголодавшійся человѣкъ, которому кажется, что онъ съѣстъ быка, не съѣстъ съ должнымъ аппетитомъ и того маленькаго кусочка, который ему предлагаютъ. «Кусокъ», который предлагаетъ рукопись крестьянина, не великъ, но въ немъ есть дѣйствительно подлинныя читательныя свойства, — надобно только потребить

его не съ азартомъ жадности, «поотдохнувши», не торопясь глотать его сразу.

Вотъ именно въ видахъ того, чтобы читатель съѣлъ этотъ кусокъ полностью, съ аппетитомъ, ощутилъ бы его доброкачественность и оригинальность вкуса, мы и необходимо не давая его читателю сейчасъ «съ устатку» и попросить его поотдохнуть немного на нѣкоторыхъ предварительныхъ соображеніяхъ. Эти «предварительныя соображенія» дѣлаются мной между прочимъ на основаніи выводовъ и наблюденій, сдѣланныхъ на тему настоящаго очерка уже другими русскими писателями, такъ что предлагаемый очеркъ есть работа компилятивная.

Въ томъ-же предыдущемъ очеркѣ мною было сказано между прочимъ, что наша интеллигентная скучающая публика потому именно «владѣть» бесплодно и тускло свое существованіе, что волею судьбы для нея уже выработаны формы существованія, что она должна принимать ихъ готовыми, что эти готовые формы заминаятъ ей силу самостоятельной мысли: не приходится думать, когда уже впередъ извѣстно, какъ пойдутъ твои дни и годы. Но, принимая волею судьбы надвигающіяся готовые формы жизни съ совершенно готовымъ содержаніемъ, русскій интеллигентный человѣкъ самъ по себѣ не можетъ не видѣть, не чувствовать, что все это готовое — не ладно, не гармонично, не чисто и вообще «не такъ». Какъ человѣкъ *свѣтлый*, т. е. не принимавшій ровно никакого участія въ созданіи тѣхъ формъ жизни, которыя онъ долженъ принять готовыми, онъ въ то же время принимаетъ также въ готовомъ видѣ и критику этихъ формъ и, еще не живя въ нихъ, не пробуя ихъ, онъ уже съ совершенною ясностью видѣть, что онѣ не годны, непривлекательны, не возбуждаютъ аппетита.

Въ самомъ дѣлѣ, можно-ли ему быть искреннимъ въ уваженіи и въ интересѣ къ оригиналу тѣхъ сторонъ жизни, которыя онъ обреченъ только копировать? Оригиналу этотъ — европейская жизнь, какъ видѣть всякій, не блещетъ особенно привлекательными сторонами и рѣшительно никого не можетъ убѣдить, что оригиналъ этотъ — совершенство и послѣднее слово. Мыѣ невозможно владѣться въ подробности несовершенства настоящей минуты, переживаемой оригиналомъ, но чтобы читателю была видима самая суть этихъ несовершенствъ, я позволю себѣ указать хотя на послѣдніе выборы въ европейскіе парламенты, такъ какъ *суть* (необходимая намъ для нашей цѣли) выражается въ нихъ весьма рельефно: безпрестанныя стычки и даже драки, брань, ссора, ожесточенная борьба партій никогда съ такой силой не проявлялись на собраніяхъ, предшествовавшихъ выборамъ, какъ въ послѣдніе мѣсяцы! Не слышно никакихъ теоретическихъ разговоровъ — по этой части все ужъ переговорено, а дерутся и ругаются, срамятъ и стремятся втоптать въ грязь другъ друга группы людей, не имѣющія между собой ничего общаго. И вотъ этимъ-то *ничего не имѣющимъ общаго* между собою группамъ людей, на которыя распа-

лось европейское общество, предстоитъ выбрать правительство, блющее интересы *всѣхъ*, хотя у *всѣхъ* интересы совершенно различны: у капиталиста — не тѣ, что у рабочаго, у духовенства — не тѣ, что у республиканцевъ, у земледѣльцевъ — не тѣ, что у землевладѣльцевъ... Немудрено, что напр. господину Гревю, стоящему «во главѣ» такого правительства, не остается другого занятія, какъ кормить по нѣскольку разъ въ день свою утку и отдѣлываться ничемъ незначащими фразами отъ требованій *всѣхъ* партій, такъ какъ интересовъ одной нельзя удовлетворить, не нарушая интересовъ другой, а эта другая, какъ и третья, и пятая, стремится выдвинуть свои интересы непременно на первый планъ.

Но никакой отдѣльный человѣкъ, отнятый отъ этого муравейника, не скажетъ вамъ, что онъ счастливъ, что ему легко, что онъ увѣренъ въ завтрашнемъ днѣ. Ни рабочій, ни капиталистъ, ни землевладѣлецъ, ни купецъ, ни военный, ни ученый и т. д. — никто не скажетъ, что онъ не пужается въ томъ, чтобы какой-нибудь изъ его перчисленныхъ сосѣдей не былъ притиснутъ къ стѣнѣ для того, чтобы его благополучіе было вѣрнѣе обезпечено, и что слѣдовательно каждый изъ нихъ, т. е. каждый изъ миллионовъ жителей, населяющихъ страну, при настоящихъ условіяхъ жизни, складывающейся на подобіе пчелинаго улья, не можетъ чувствовать себя уравнивленнымъ съ окружающей средой и слѣдовательно личное его существованіе не полно, не независимо, не свѣтло и слѣдовательно не счастливо.

Въ видахъ того, чтобы читатель могъ оцѣнить значеніе того престопаго произведенія, съ которымъ мы хотимъ его познакомить, намъ желательно обратить особенное его вниманіе именно на эти двѣ рѣзкія черты, характеризующія оригиналъ тѣхъ формъ жизни, которыя ужъ томятъ русскаго человѣка: въ глубинѣ этихъ формъ томится личность человѣческая, томится человѣкъ, на умаленіи котораго и зиждется «порядокъ» теперешняго «общества». Но порядокъ этотъ совершенно не отвѣчаетъ окованной его цѣпами личности, и то, что грезится ей какъ справедливое, можетъ быть превосходно выражено нѣсколькими строками, взятыми нами изъ сочиненія Н. К. Михайловскаго и касающимися мечтаній о такихъ условіяхъ человѣческаго существованія, среди которыхъ личность человѣческая могла бы найти полноту своего существованія, не нарушая полноты существованія общества; вотъ эти строки, опредѣляющія прогрессъ: «прогрессъ: *есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами (недѣлимаго) и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми*».

Въ четвертомъ томѣ сочиненій Н. К. Михайловскаго читатель найдетъ обширную статью: «*Что такое прогрессъ?*», которая выведетъ его сбиваемую съ толку мысль на настоящую дорогу, къ настоящему свѣту. Мы не можемъ дѣлать боль-

шихъ выписокъ изъ этой статьи, такъ какъ выясненію вышеприведеннаго положенія посвящены почти пять томовъ этого писателя, такъ что теряешься въ обилии блестящихъ страницъ и не знаешь, которую изъ нихъ предпочесть передъ прочими. Ограничимся поэтому только тѣми строками, въ которыхъ формула прогресса г. Михайловскаго излагается въ самомъ сжатомъ видѣ. На основаніи этой формулы, *«беспривратно—говорить г. Михайловскій—несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе (т. е. приближеніе недѣлимаго къ цѣлостности). Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ»*.

Прилагая ее къ настоящему моменту жизни человѣческихъ обществъ и выдѣляя изъ нихъ *мичность* *человѣческую*, *недѣлимую*, мы не можемъ не видѣть, что недѣлимое не можетъ похвалиться «цѣлостностью» своего существованія. Напротивъ, въ каждомъ чловѣкѣ каждой общественной группы, изъ соединенія которыхъ образуется образъ пчелинаго улья, нѣтъ гармоніи въ развитіи его личности, нѣтъ разнородности въ дѣятельности членовъ его организма; напротивъ, онъ, *цѣльный чловѣкъ*, живетъ только *частію* себя, самъ сдѣлавшись *членомъ* общественнаго организма. Трудъ раздѣленъ «между людьми», а не «между членами организма чловѣческаго». Рабочій только стоитъ у станка или у горна и стучитъ всю жизнь молотомъ, проститутка всю жизнь должна быть весела и пьяна и т. д. Всѣ исполняютъ какую-нибудь спеціальность, не дающую возможности жить специалисту другими сторонами чловѣческаго духа и тѣла, и всѣ не могутъ считать себя счастливыми. «Попробуй-ка моего!»—можетъ сказать чловѣкъ всякой современной профессіи, и всякій въ то же время не можетъ существовать безъ посторонней помощи, всякій эксплуатируетъ всякаго и въ свою очередь эксплуатируется всякимъ. Рабочій, священникъ, инженеръ, балетная танцовщица, ученый и т. д., поставленные въ положеніе, при которомъ ихъ спеціальности оказываются ненужными, не требуются, не покупаются, должны *сгинуть*, пропасть отъ своей безпомощности, и вообще никто изъ нихъ не можетъ *самъ удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ*, а напротивъ—удовлетворяя какую-нибудь ничтожную общественную потребность, *самъ-то* въ удовлетвореніи всѣхъ своихъ потребностей требуетъ постороннихъ услугъ такихъ-же, какъ и онъ, микрокопическихъ специалистовъ.

Выраженіе *«самъ»* удовлетворяетъ *всѣмъ своимъ потребностямъ»* принадлежитъ гр. Л. Н. Толстому; употреблено оно имъ какъ характеристика формъ жизни нашего крестьянства, въ отличіе отъ формъ жизни, выработанныхъ «цивилизацией», и, какъ мы думаемъ, характеристика эта окончательно разсѣиваетъ всю ту темъ и туманъ, и муть, которые въ литературныхъ спорахъ окружаютъ толки о народѣ и цивилизаціи, о Россіи и Европѣ.

Упомянувъ въ одной изъ своихъ педагогическихъ статей о мнѣніи Маколее, что благосостояніе рабочаго народа измѣряется высотой заработной платы, гр. Толстой спрашиваетъ: «Неужели мы, русскіе, до такой степени не хотимъ знать и не знаемъ положенія нашего народа, что повторяемъ такое бессмысленное и ложное положеніе? Весь народъ, каждый русскій чловѣкъ безъ исключенія назоветъ богатымъ степного мужика, съ старыми одоньями хлѣба на гумнѣ, никогда не выдававшего въ глаза заработной платы, и назоветъ несомнѣнно бѣднымъ подмосковнаго мужика въ ситцевой рубашкѣ, получающаго постоянно высокую заработную плату. Не только въ Россіи невозможно опредѣлить богатство степенью заработной платы, но смѣло можно сказать, что появленіе въ Россіи заработной платы есть признакъ уменьшенія богатства и благосостоянія». А въ другой мѣстѣ той же педагогической статьи гр. Толстой говоритъ: «Чтобы чловѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе Пушкина или исторію Соловьева, надо этому чловѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. чловѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ потребностямъ». Пушкинъ и Соловьевъ здѣсь поставлены только какъ признакъ нужды духовной, которую оказывается невозможнымъ удовлетворять самому, какъ и въ предшествовавшемъ примѣрѣ указаны признаки матеріальной нужды: разъ чловѣкъ теперь, въ настоящую минуту, удовлетворяетъ всѣмъ своимъ потребностямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и духовнымъ, онъ вполнѣ независимъ, и дѣлается зависимымъ, т. е. несовершеннымъ, удаляется отъ цѣлостнаго типа только тогда, когда не можетъ *самъ* удовлетворять себя во всѣхъ своихъ потребностяхъ. Какъ видите, ту формулу прогресса, которую дѣлаетъ г. Михайловскій путемъ научнымъ, гр. Л. Н. Толстой, къ нашему, т. е. русскому огромному счастью, видѣть даже осуществленной въ глубинахъ нашихъ народныхъ массъ, и его выраженіе: *самъ удовлетворяетъ всѣмъ своимъ потребностямъ*, сказавшееся послѣ глубокаго и искреннѣйшаго изученія русскаго народа, вполнѣ отвѣчаетъ теоретическому выводу г. Михайловскаго: «нравственно, справедливо, разумно все то, что уменьшаетъ разнородность общества (разнородность между профессіями людей), усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ», т. е. соединяя эти разрозненные профессіи въ каждомъ чловѣкѣ, т. е. дѣлая для каждого возможнымъ удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ.

Повторяемъ: эта формула и этотъ выводъ, сдѣланный гр. Л. Н. Толстымъ относительно формъ жизни русскаго народа, окончательно рѣшаютъ вопросъ какъ о томъ, что вообще нравственно, разумно, справедливо, такъ и о томъ, что такое Россія, Европа, народъ и цивилизація. Стоитъ только эти выводы приложить къ любимому разсужденію о благѣ русскаго народа, чтобы немедленно убѣдиться, точно ли разсуждающій желаетъ народу блага? точно-ли онъ *понимаетъ*, въ чемъ оно заключается, *точно-ли онъ любитъ* его, или толь-

ко гадать о немъ и безъ толку бормочетъ о Россіи и Европѣ, о народѣ и цивилизаціи?

Въ томъ III «Сочиненій Н. К. Михайловскаго» *) читатель найдетъ превосходный примѣръ примѣненія этой формулы прогресса къ ученію теперешняго славянофильства, которое, какъ всѣмъ извѣстно, десятки лѣтъ твердитъ о народѣ и хлопочетъ о широкомъ развитіи его духа. Въ № 4 газеты *Дни* 1865 г. была напечатана статья «*Зигизмъ и арабески русскаго домохозяина*»; изъ нея-то Н. К. Михайловскій дѣлаетъ слѣдующую выписку: «Всякимъ довольствомъ обильна, величавымъ покоемъ полна, текла когда-то старинная дворянская жизнь домохозяинская: медъ, пиво варили, соленья солили и гостей угощали на славу — избыткомъ некупленныхъ, Богомъ дарованныхъ благъ. И этой спокойной жизни не смущала заветная мысль а если подчасъ бушевала кровь застолая — пиры и охота, шуты и веселье разгуломъ утоляли заволнованную буйную кровь». Затѣмъ идетъ описаніе запустѣнія дворянской жизни и, не мѣняя былиннаго языка, авторъ приходитъ къ выводу, что въ Россіи нужны новыя желѣзныя дороги, новыя финансовыя предпріятія, деньги съ которыхъ опять оживить жизнь домохозяинскую. «*Не старцевъ, какъ лѣтъ переходныхъ ждетъ томимый избыткомъ богатствъ неизбытокъ южнорусскій край; ждетъ онъ желѣзнаго пути отъ середины Москвы къ Черному морю. Ждетъ его могучаго свиста древній престольный городъ Кіевъ; встрепенется, оживетъ въ немъ старый русскій духъ богатырскій; возсіяютъ яркимъ золотомъ потемнѣвшія златоглавыя церкви и звонче раздастся колокольный тотъ звонъ, что со всѣхъ концовъ земли русской утоленныя силы, нажитое, накопленное горе — ко святымъ пещерамъ зоветь, облегченье, обновленіе даетъ. Торный, широкій слѣдъ проложила крѣпкая вѣра нетронутая, да тяжелая, жизнью вскормленная скорбь народная къ городу Кіеву. Но на перепутьи другомъ сознали силы народныя новый городъ Украины, Харьковъ торговый; бьетъ ключемъ здѣсь торговая русская жизнь, съѣзъ съ югомъ торговлю ведетъ и стремятся сюда свѣжія ретивыя русскія рабочія силы къ непочатымъ землямъ Черноморья и Дона, къ просторнымъ степямъ, къ Крыму безлюдному, что стономъ стонетъ, рабочихъ рукъ просить. Томятся, ждуть города и земли — къ кому (къ Кіеву или Харькову) направится новый желанный путь, кому дастся сила, кому безсиліе?» Къ этому же редакція *Дня* дѣлаетъ такое примѣчаніе: «Моря и Москвы хотеть достигнуть Кіевъ; пуше моря нужна Москва Харькову; Кіеву — первый почетъ, да жалъ обидѣтъ и Харькова. Или Русь-богатырь такъ казною-мощной отощала, ума-разума истеряла, что не подъ силу ей богатырскую, не по ея уму-разуму за единый разъ добыть обоихъ путей, обоихъ морей, желѣзомъ сгнать до Чернаго черезъ Кіевъ-градъ и Азовское на цѣпь къ Москвѣ черезъ Харьковъ взять, чтобы никому въ обиду не стало?» За исключеніемъ*

мѣстныхъ, будто-бы Азовъ-градъ обидится, если его по примѣру прочихъ мѣстъ не посадятъ на цѣпь — что же тутъ, спрашивается, русскаго, народнаго, что тутъ «не Европа?» Богатырскимъ языкомъ здѣсь изложено, что желаютъ учредить совершенно европейское финансовое предпріятіе; съ гусярными звономъ говорится о рабочихъ рукахъ, т. е. о народненіи той самой заработной платы, которая не можетъ появиться на Руси иначе, какъ вслѣдствіе упадка народнаго благосостоянія. Кстати сказать, недавно вышедшая книга г. Янжула: «*Фабричный бытъ Московской губерніи*» уже рисуетъ «начало» на Руси этихъ чисто европейскихъ формъ жизни, и намъ кажется, что г. Янжуль, зная фабричный бытъ Англіи, могъ бы даже теперь, не посѣщая фабрикъ, не только знать, что тамъ дѣлается, но даже и предсказать, что тамъ будетъ дѣлаться завтра, черезъ десять, пятнадцать лѣтъ. И все, что тамъ ни дѣлается, и все, что ни будетъ дѣлаться, — все это противорѣчитъ кореннымъ свойствамъ народнаго быта, основаннаго на полномъ удовольствіи всѣмъ своимъ потребностямъ. Но если г. Янжуль, какъ знающій фабричный бытъ Англіи, т. е. образца, съ котораго у насъ на Руси водворяется готовый слѣпокъ, могъ бы предсказать заранѣе все, что впоследствии изъ этого нововведенія, то наша скучающая публика должна знакомиться съ такими работами, какъ книга г. Янжула, такъ какъ она весьма мало знаетъ, что такое за несчастіе эта заработная плата и что за счастье такое учрежденіе, какъ фабрика.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, чего напримѣръ стоитъ человѣку (*человѣчку*, господа!) такой ничтожнѣйшій продуктъ, какъ рогожа? Работа на рогожныхъ фабрикахъ начинается съ воскресенья, съ девяти часовъ вечера и идетъ такъ: работники — отецъ, мать и двое дѣтей — работаютъ всѣ вмѣстѣ съ девяти часовъ до четырехъ часовъ ночи, въ четыре часа отецъ ложится спать, а мать и двое дѣтей работаютъ до шести; въ шесть встаетъ отецъ, ложится мать, въ девять часовъ ложится одинъ ребенокъ, а въ часъ дня, *то-есть проработавъ шестнадцать часовъ подрядъ*, засыпаетъ другой, и такъ втеченіи цѣлаго дня почти безостановочно, съ перерывами въ одинъ часъ — для обѣда, въ два-три часа, когда случится, днемъ и ночью — для сна; идетъ работа всю осень, зиму и весну... Весной, уходя домой, рабочіе до того *утомляются*, что, даже по выраженію самихъ хозяевъ этихъ фабрикъ, ихъ «*вѣтромъ качаетъ*», и что-жъ, такой каторжный, изматывающій трудъ — что онъ, приближаясь ретивый трудовой типъ русскаго человѣка къ «цѣлостности», въ подлѣ или удаляется отъ него, и изъ цѣлаго человѣка превращается въ какой-то инструментъ, шиплющій мочало?

Но эта рогожная фабрика — образецъ фабрики самаго первобытнаго устройства: здѣсь хозяинъ, какъ видите, самъ говоритъ, что работники изматываются такъ, что ихъ «вѣтромъ качаетъ»; кромѣ того, при наймѣ рабочихъ также самъ хозяинъ

*) Стр. 213.

по-мужицки откровенно говорить имъ, что за провизию съ нихъ онъ, хозяинъ, будетъ брать дорожку лавочнаго и чтобы эту дорогую провизию брать непременно у него. Это фабрика—нерафинированная ни гуманностью, ни филантропией. Но и рафинированныя фабрики, образчики которыхъ читатель можетъ пайти въ книгѣ г. Янжула, также не очень будутъ радовать его сердце.

Вотъ наприѣръ фабрика въ городѣ Серпуховѣ, гдѣ все устроено по послѣдней модѣ и со всевозможнымъ «гуманствомъ»: есть и больница, и особенный родильный пріютъ для рабочихъ женщинъ, гдѣ онѣ могутъ «родить *безмялжно*», и притомъ пользуются даровыми лекарствами и уходомъ; для дѣтей фабричныхъ рабочихъ устроены колыбельни, въ которыхъ, за отсутствіемъ матерей, за дѣтьми ходятъ нѣсколько нанятыхъ администраціей фабрики женщинъ. Около этой колыбельни устроенъ садикъ и въ немъ ящики съ пескомъ, въ которыхъ дѣти могутъ играть. Все превосходно съ перваго взгляда, а посмотрѣть на дѣло «по-божески», такъ и скучненько становится: представьте себѣ дѣтскіе годы этого ребенка: ребенокъ, неразлучный съ матерью со дня рожденія, благодаря уже *одному* разговору материнскому, разговору, начинающемуся еще *за долю* до самыхъ элементарнѣйшихъ признаковъ пониманія въ ребенкѣ, за долго до того времени, когда онъ еще научится слышать, глядѣть — разговору безконечному, постоянному и притомъ рѣшительно *обо всемъ*, что только даетъ разнообразная жизнь дня, — благодаря уже одной этой материнской болтовнѣ, ребенокъ начинаетъ ощущать потребность самаго разносторонняго вниманія и, благодаря именно этому вниманію къ многоисленности явленій жизни, возбужденныхъ материнской болтовней, начинаетъ развиваться *всѣми сторонами* своего духа и тѣла. Теперь-же, въ этомъ ящикѣ съ пескомъ, оставленный на попеченіе старухи, обязанной смотрѣть за десятирými, онъ на тысячи вопросовъ не получаетъ отвѣта (не разорваться же старухѣ!), тысячи любопытныхъ явленій—цвѣтокъ, пѣтухъ, бабочка—мелькнутъ только явленіями непонятными. Въ этомъ ящикѣ съ пескомъ онъ уже лишенъ безконечно-разнообразныхъ впечатлѣній, которыя дала бы ему жизнь въ трудовой крестьянской семьѣ, впечатлѣній трудового крестьянскаго дня. Мать онъ видитъ въ то время, когда она приходитъ ѣсть и спать, въ тѣ же часы видитъ и отца, но и у матери, и у отца нѣтъ ничего общаго и въ трудѣ, какъ это есть въ крестьянской семьѣ; нѣтъ общаго, понятнаго и мужу, и женѣ и въ то же время воспитывающаго этимъ общимъ трудовымъ днемъ и разговоромъ своего ребенка: отецъ дѣлаетъ одно, мать другое, а общій разговоръ—«про деньги», и все про то, чтобы «отдохнуть», да какъ-бы «уйти въ кабакъ». Ребенокъ растетъ подлѣ однообразнаго стука и свиста паровыхъ машинъ, въ разговорахъ о штрафахъ, о рабочихъ часахъ, объ убавкѣ платы—и съ дѣтскихъ годовъ всѣ его духовныя и физическія свойства воспитываются примѣнительно къ узкой, однообраз-

ной, *измѣняющей* фабричной работѣ. Онъ будетъ, можетъ быть, аккуратнѣе отца, будетъ исправнѣе, но онъ будетъ уже глупѣе его, если можно такъ сказать, онъ уже не будетъ тѣмъ полнымъ человѣкомъ, какимъ пришелъ на фабрику его отецъ; отца его нужно было приводить въ машинообразное состояніе штрафами, вычетами, кутузками, строжайшими угрозами пустить по міру безъ копѣйки за буйство, за пѣсни, за опозданіе, за драку, за водку; на тысячи манеръ администрація «обламывала» неотесаннаго мужика, который напился и набуянилъ отъ тоски, который изъ ревности исколотилъ жену, изъ личной обиды на неотеса-надсмотрщика испортилъ дорогую машину или «нажрался» съ радости, вспомнивъ, что «на селѣ» праздникъ, или что надо погулять, потому что жена родила, заговорило родительское сердце... Этотъ новый типъ, безъ деревенскихъ впечатлѣній, ребенокъ, выросшій въ колыбельняхъ, въ ящикахъ съ пескомъ, подлѣ стука и свиста паровиковъ и паровыхъ молотовъ, можетъ быть и не будетъ буянить, будетъ лѣнствовать тихо, валяться за-мертво, не безпокоя администраціи и не подвергая себя штрафу; быть можетъ, этотъ будущій рафинированный фабрикой челоѣкъ не забуянить и изъ ревности, потому что вѣроятно и надъ проституціей прострется рука гуманности, и она будетъ «упорядочена», улучшена въ гигиеническомъ отношеніи, такъ что не будетъ надобности и въ больницѣ лежать, и ревновать, да и на крестинахъ буйствовать съ радости вѣроятно также не придется. Еще можно бы говорить, что эти новости неотразимы для насъ, что эти бѣды должны придти къ намъ, что нужно все сдѣлать, чтобы ослабить неизбежное зло, и подлѣ прикрытіемъ этихъ гуманностей все-таки съ грѣхомъ пополамъ власть въ карманъ «неизбѣжный и неотразимый» дивидендъ, но говорить, что соловьиный свистъ желѣзныхъ дорогъ и фабричныхъ паровиковъ тоже, что богатырскій посвистъ Ильи Муромца (это сказано въ упомянутой статьѣ *Дня*), что отъ свиста этого проснется русскій духъ богатырскій, что засяжутъ кресты златоглавыя—это ужъ даже и безобразно.

II.

Не будемъ однако слишкомъ далеко уходить отъ главной темы настоящаго очерка и, предоставивъ капиталу творить то, что ему будетъ «позволено», вновь остановимъ наше вниманіе на любезномъ намъ типѣ челоѣка «независимаго» и удовлетворяющаго всѣмъ своимъ потребностямъ.

Типъ этотъ любезенъ намъ потому, что, какъ мы видѣли, и «по наукѣ» онъ оказывается именно тѣмъ типомъ существованія, о которомъ смутно и тяжело томится стиснутая и скомканная душа современнаго челоѣка, пытающагося отвѣтить на преслѣдующій его вопросъ: «какъ жить свято?». И потому любезенъ онъ, что въ немъ есть и простота, и широта, и гармонія, и независимость, и правда—все, что хочется челоѣку, все, что тѣится

въ глубинахъ-глубинахъ его тоскующей совѣсти; любезенъ онъ намъ еще и потому, что этотъ типъ, т. е. этотъ *образчикъ* справедливаго существованія, есть у насъ въ живомъ видѣ, живетъ въ массахъ русскаго народа и во-сто разъ любезнѣе и значительнѣе становится онъ для насъ теперь, благодаря рукописи простого крестьянина, потому что рукопись эта говоритъ, что и самъ народъ, въ лицѣ своихъ, по-своему образованныхъ, мыслящихъ людей, также хочетъ сказать всему бѣлому свѣту, что и онъ, народъ, *сознательно* полагаетъ и правду, и счастье, и независимость именно въ такой формѣ жизни, въ основѣ которой лежитъ *удовлетвореніе личности ея въ своихъ потребностяхъ*.

Съ умысломъ подчеркнуто мною слово *сознательно*. Всякій, кто, желая знать народъ, старался понять его жизнь и его мысль, и вообще всякій интеллигентный человѣкъ, жившій въ деревнѣ, въ народѣ и хотъ чуть-чуть «съ народомъ», непремѣнно и притомъ необычайно долго долженъ былъ переживать самыя мучительныя, самыя терзательныя, обсекающія даже иногда минуты. На каждомъ шагѣ онъ встрѣчалъ, и притомъ одновременно, какъ дѣйствительно тѣ гармоническія формы народнаго быта, о которыхъ только что говорено и которыя невольно возбуждали скорбь о своемъ интеллигентномъ ничтожествѣ и зависть къ гармонической силѣ и простотѣ народа, такъ и полное разочарованіе въ гармоніи, полную безсмыслицу деревенскихъ людей, грубую дикость, узкость, узколюбіе, безсердечіе и вообще полнѣйшее отсутствіе какихъ-бы то ни было человѣческихъ привлекательныхъ чертъ и свойствъ. Вотъ сейчасъ наприимѣръ, въ то самое время когда я писалъ эти строчки, приходилъ ко мнѣ вполнѣ «гармоническій», «цѣлостный» и «полный» деревенскій человѣкъ и объявилъ, что онъ завтра поступаетъ въ лакеи къ одному барину, который появился на станціи. — «Что же ты будешь дѣлать у него?» — «Да ужъ что потребуется... куда пошлютъ... что подать... комнаты, наприимѣръ, *приобрѣсти* въ чистоту» и т. д. До сей минуты это былъ славный крестьянскій юноша, молодой паренъ, человѣкъ, «самъ удовлетворяющій своимъ потребностямъ», а сегодня онъ съ веселымъ лицомъ идетъ въ лакеи, потому что ему дадутъ семь рублей въ мѣсяцъ (хотя не *проявись* на станціи баринъ, этотъ паренъ продолжалъ-бы оставаться «цѣльнымъ» и «полнымъ» и жилъ-бы безъ семи рублей, какъ жилъ безъ нихъ до настоящаго времени). И вотъ онъ-то весело идетъ въ лакеи; изъ хозяина, вполнѣ независимаго человѣка, радуется, превращаясь въ холопа, ни мало не задумываясь о томъ, что это униженіе, что обидно же ему будетъ подавать тарелки, когда теперь ему самому подають бабы, что не маленький онъ бѣгать за булками. Вчера еще онъ говорилъ отличнымъ языкомъ, правильнымъ, дѣльнымъ, свободнымъ, выразительнымъ, а теперь онъ выдвигаетъ слова, въ которыхъ смысла человѣческаго нѣтъ, — «*приобрѣсти* комнату въ порядокъ», а завтра, можетъ быть, будетъ уже тайкомъ выпивать остатки

недопитатаго «портвину», воровать напироски, лѣстить барскому самолюбію, даже про барскую собаку, можетъ быть, будетъ говорить: «онъ пошелъ по своей части», а ужъ рѣчь его будетъ навѣрное испещрена, чортъ знаетъ, какими словами; не сегодня. завтра онъ ужъ «примазывается» къ «куфаркѣ» и на весь домъ ржетъ отъ удовольствія, найдя въ отсутствіе барина сатирической листокъ съ какой-нибудь сальной картинкой, тогда какъ вчера онъ и мысли не имѣлъ, чтобы «примазываться» къ кому-нибудь: вчера онъ велъ себя въ этомъ смыслѣ и чисто, и честно, и строго, а о сальностяхъ и удовольствіи созерцать ихъ — я помню не было. Словомъ, вчера я считалъ его человѣкомъ вполнѣ достойнымъ всякаго уваженія, обращался съ нимъ деликатно, вѣжливо, какъ и онъ со мной; относился къ нему, какъ къ сильному, умному, толковому, понятливому сельскому жителю, не сегодня-завтра семьянину и хозяину, а сегодня онъ ужъ и самъ не *посмѣетъ* протянуть мнѣ руки, поздороваться «за ручку», какъ мы злоровались все время, да и разговаривать намъ будетъ ровно не о чемъ.

Словомъ, на каждомъ шагѣ нашихъ столкновений съ народомъ мы чувствуемъ и видимъ «собственными глазами», что есть въ этомъ гармоническомъ человѣкѣ какой то предѣлъ, послѣ котораго этотъ-же человѣкъ можетъ превратиться Въогъ знаетъ во что, изъ добраго сдѣлаться злымъ, изъ великодушнаго — жаднымъ и алчнымъ, изъ мірскаго — сущимъ врагомъ міра, разорителемъ его и предателемъ, и изъ человѣка внимательнаго къ себѣ — какимъ-то безмысленнѣйшимъ губителемъ самаго себя.

Гдѣ-же тотъ пунктъ и въ чемъ онъ заключается. дойдя до котораго гармоническій человѣкъ вдругъ превращается въ безобразіе и дѣлается рѣшительно не похожимъ даже самъ на себя? Мало-по-малу, то восхищаясь, то терзаясь разочарованіями, начинаешь приходить къ мысли, что этотъ гармоническій человѣкъ *едва-ли* даже *понимаетъ*, что онъ именно гармоническій, что онъ хотъ и говорить всю жизнь прозой, но, кажется, рѣшительно не знаетъ этого; онъ не знаетъ, хорошъ-ли онъ или худъ, а живетъ, дѣлаетъ и думаетъ хорошо и красиво, и справедливо, какъ-бы только благодаря какимъ-то постороннимъ, вовсе не отъ него зависящимъ вліяніямъ; начинаетъ чувствовать, что кто то властвуетъ надъ нимъ, и покуда этотъ кто то властвуетъ, передъ вами стоятъ и многосторонній, и гармоническій человѣкъ, а какъ только этотъ кто-то пересталъ властвовать, такъ гармоническій человѣкъ и идетъ въ лакеи къ барину, который «появился на станціи», и начинаетъ выговаривать слова безъ всякаго смысла — «*приобрѣсти* комнату въ чистоту».

Разубѣдиться въ силѣ этой власти невозможно, такъ какъ, почуявъ ея присутствіе, вы можете только всѣми силами добиваться разрѣшенія вопроса: гдѣ, въ чемъ и чья такая эта власть? Оказывается, что власть эта есть дѣйствительно и что все благообразіе гармоническаго человѣка всецѣло зависитъ отъ условій его труда, и вотъ здѣсь, са-

мымъ пристальнымъ образомъ вникая въ условія и свойства этого труда, вы убѣждаетесь, что этотъ трудъ, непрерывный и безконечный, во имя только «куска хлѣба», охватываетъ всего человѣка, владѣть имъ всю жизнь, переносить на него все свое разнообразіе, красоту, многосложность, гармоничность, поэзію; убѣждаетесь, что этотъ трудъ, владѣя человѣкомъ, уничтожаетъ въ этомъ человѣкѣ малѣйшую возможность своевольтства, *своей* выдумки, *своихъ* плановъ, *своихъ* убѣжденій, но, напротивъ, самъ своею властью, выдумкой, прихотью входитъ въ мысль, въ поступки, въ домашніе и общественные порядки и отношенія деревенскаго «гармоническаго человѣка». Знай этотъ гармоническій человѣкъ, что онъ живетъ такъ хорошо, честно, просто и свято — потому что такъ *должно* жить, что жить такъ справедливо по отношенію къ себѣ и къ людямъ, что вообще иным, болѣе легкія формы существованія не соответствуютъ требованіямъ его совѣсти, его убѣжденіямъ, — развѣ бы онъ продавалъ съ такой веселой безпечностью свое первородство за чечевичную похлебку, какъ это мы видимъ въ деревнѣ безпрестанно?

Да и никогда для огромной миллионной массы огромнаго большинства русскаго крестьянства не было и малѣйшей возможности воспитывать свою совѣсть; оно дѣлало это само, кое-какъ, безъ малѣйшихъ средствъ, валило черезъ пень колоду, но дѣлало едва-едва, урывками, мало, плохо, путанно, но дѣлать хорошо и прочно оно не могло, потому что сотни лѣтъ его воспитывали исключительно въ хозяйственныхъ дѣляхъ, въ агрономическомъ, такъ сказать, направленіи. И большой бояринъ стараго времени, и господинъ бывшій помѣщикъ чуяли, что власть земледѣльческаго труда безгранична надъ мужикомъ, что она скляче палки и даже самого бурмистра или ключника, и старались только, чтобы надъ нимъ царяла исключительно эта власть, власть естественныхъ условій труда, власть земли, навоза, вѣтра, дождя, урожая, неурожая, — условій, которыя не подлежатъ ни контролю, ни протесту, ни малѣйшей критикѣ: большой бояринъ и бывшій господинъ помѣщикъ ничего не измѣнили въ той, такъ сказать, «запряжкѣ» крестьянина, которую создали ему независимыя отъ него условія труда; съ своими бурмистрами, приказчиками, арапниками и прочими атрибутами хозяйства, они только нахлестывали запряженнаго ужъ мужика, увеличивая этимъ хлестаньемъ только напряженіе его труда, заставляя его плотнѣе «лечь въ оглобли», поднять и провезти больше того, что онъ вывезъ бы безъ кнута, но ничего не измѣняя ни въ условіяхъ труда, уже владѣвшихъ мужикомъ и создавшихъ ему «запряжку», ни въ томъ пути, по которому онъ и самъ шелъ, повинувшись опять же этимъ условіямъ труда.

Недаромъ же только послѣ освобожденія крестьянъ явилось такое обиліе сектъ, весь смыслъ которыхъ исчерпывается стремленіемъ *тѣ-же самыя земледѣльческія формы жизни, тѣ-же самыя семейныя и общинныя порядки, кото-*

рые мы постоянно и безъ сектантства встречаемъ въ народѣ, но которые не основаны на *убѣжденіи* въ чистотѣ и правдѣ этихъ порядковъ, а только на томъ, что такъ хорошо *велятъ* жить *хорошій трудъ*, передѣлать и перестроить на основаніи *именно правоты, справедливости, чистоты и праведности этихъ формъ жизни*, т. е. сдѣлать ихъ крѣпкими и несомыемыми, чего невоспитанная совѣсть огромной массы русскаго народа не можетъ сдѣлать до тѣхъ поръ, пока чье-нибудь слово неразрывно съ дѣломъ не возмущаетъ за эту молчащую струну народной души. Наша деревня съ «нетронутою и невоспитанною совѣстью», при обиліи въ настоящее время всевозможныхъ и безчисленныхъ новыхъ вліяній, болѣею частью неблагопріятныхъ «гармоническому типу», — вліяній, которыми невоспитанная, неукрѣпленная убѣжденіемъ совѣсть ничего противупоставить не можетъ, — поминутно выдѣляетъ отъ своего зоологически-здороваго ядра тысячи единицъ, которыя уже не могутъ жить за-одно съ этимъ ядромъ, а должны отпасть отъ него: одинъ, послуживъ на желѣзной дорогѣ, отвыкъ отъ работы; другой запутался въ долгахъ и, сдавъ землю, пошелъ въ работники; у третьяго отъ тѣсноты семьи перемерли всѣ близкіе, а зоологическая деревня только хоронитъ мертвыхъ, увольняетъ изъ общества, описываетъ за долги имущество и современемъ постепенно опять уравниваетъ количество жителей съ количествомъ земли. Было, положимъ, при надѣлѣ сто душъ — и земля на сто душъ хватало; теперь на этой же землѣ должна жить тысяча душъ. У зоологической деревни нѣтъ *способовъ* добыть на всѣхъ земли; вотъ когда придетъ крестьянскій банкъ, да объявлять объ этомъ, да разъяснять, да уговаривать, чтобы «не пужались» — вотъ тогда она купитъ земли, а теперь и есть земля, и вотъ она рядомъ, и деньжонки бы нашлись, но всѣ отъ мала до велика въ зоологической деревнѣ говорятъ, что «съ нашимъ народомъ не сообразишь». И такъ какъ сообразить точно нельзя, потому что этого и въ заводѣ не было, то дѣло идетъ такъ, какъ *велятъ* обстоятельства. «Горлушкомъ» перемерло человѣкъ двѣсти дѣтей — вотъ уже и ближе къ равновѣсію. Ушелъ Иванъ Кузьминъ, потому у него лошадь пала въ прошломъ году, а въ нынѣшнемъ жена померла, простудилась, такъ сказать за 30 коп. въ день дрова изъ рѣчки въ студеную пору; Иванъ Кузьминъ сдалъ землю, пустилъ ребятъ по міру, самъ ушелъ и вотъ опять ближе къ равновѣсію — земля прибавилось. Три двора начисто распяниствовались, все пораспродали, землю сдали, разбрелись въ работники. Иванъ Мионовъ, совѣтъ «распустивши», померъ у кабака, жена ушла къ купцу въ работницы, землю сдала; пришла «воспа» — поуровняла еще души съ количествомъ земли... И такъ постепенно все покоряется *естественному теченію*. Глядишь, на той же землѣ, которой хватало только на сто душъ, опять живутъ не тысяча уже, а именно только сто, и живутъ исправно. Но народъ, ото-

рванный отъ этого здороваго, выдержавшаго всё напасти ядра деревни, образуетъ ту массу бродячаго рабочаго люда, котораго теперь такъ много развелось на Руси.

На нашихъ глазахъ настроенія духа этого бродячаго человѣка выражались въ весьма различныхъ видахъ; еврейскіе погромы, поджоги усадебъ и только-что приготовленнаго на продажу владѣльцами хлѣба совершались и совершаются не безъ участія этой бродячей рабочей толпы; съ другой стороны, не меньшая масса такого же народа, оторваннаго отъ «своихъ мѣстъ», стремится на новыя мѣста, примазывается къ переселенцамъ, пристаётъ къ сектантскимъ обществамъ, даже новые сектантскіе союзы образуетъ. И всякій такой новый союзъ замѣчательнѣе тѣмъ, что онъ образуется изъ людей «чужихъ» другъ другу, — людей «разныхъ мѣстъ», и эти «чужіе», «разные» люди соединяются въ общины и союзы, ужъ не зоологически, не стадно, а сознательно. Весь югъ, Новороссійскій край, напримѣръ, весь онъ населенъ людьми «разныхъ мѣстъ», «чужими другъ другу людьми», — людьми, которыхъ или жестокости помѣщика, или личное несчастье, или равнодушіе ту-поумнаго деревенскаго общества выбросили вонъ изъ своей естественной, испоконной среды, отпустили его на волю неизвѣстности, одиночества, голода, холода, всякаго страданія, всякаго страха*), — словомъ, совершенно выбили изъ обычной колеи, при которой онъ жилъ такъ, какъ *вселятъ* дожди, засухи, урожай и становые; заставили много думать «вобще», привели долгимъ опытомъ ежеминутной опасности стигнуть, исчезнуть, пропасть зря, къ мысли, къ убѣжденію, что такъ жить нельзя, что надо жить «по-божецки», и вотъ уже на *убѣжденіи* жить по-божецки образуется повидимому *та же самая* крестьянская семья, то же самое сельское общество, въ которомъ живутъ повидимому *тѣ же самые* мужики, которые точно также пашутъ, сѣютъ, косятъ, бабы которыхъ точно также жнутъ и бѣлье стираютъ; но эта семья и эта община уже «божецкая», убѣжденная, что она устроилась *такъ*, а не иначе потому, что *такъ* жить справедливо, праведно, что такъ жить слѣдуетъ *по совѣсти***))

Эта зоологическая, съ нетронутой, невоспитанной совѣстью деревня, какъ много разъ говорено было мною, глубоко нуждается въ интеллигентной помощи, въ чѣмъ-нибудь постороннемъ влияніи, которое бы дало возможность пробудиться мысли и совѣсти. И какъ бы ни были слабы и неопытны люди изъ русскаго интеллигентнаго общества, чувствующіе потребность жить въ деревнѣ, «работать» и «помогать», какъ бы ни были они мало опыты и какъ бы ни чувствовали они ежеминутно, что имъ тяжело и мучительно — дѣло ихъ не безплодно, такъ какъ они при всей неопытности, от-

даленности отъ народа, унаследованныхъ отъ не-народнаго воспитанія и прежней обстановки жизни, *не могутъ* не дѣйствовать именно въ направленіи тѣхъ же справедливыхъ и гармоническихъ формъ жизни, которыя созданы неосмысленными условіями труда. Что эти формы хороши, правды — этого нельзя не чувствовать, не ощущать; и разъ человѣкъ относится къ дѣлу искренно, онъ даже просто по инстинкту не скажетъ такого слова и не сдѣлаетъ такого дѣла, чтобы повредить этимъ формамъ, разстроить ихъ, урѣзывать и убавить. Такъ и въ немъ самомъ, хотя и не сознано, не ясно, а только мучительно тяжело, живетъ все то же стремленіе къ полнотѣ существованія, иначе онъ не былъ бы несчастливъ, не томился бы вопросами: «что дѣлать и какъ жить?». А за справедливость, за правду и красоту формъ жизни, при которыхъ человѣкъ можетъ удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ, т. е. быть совершенно независимымъ, цѣльнымъ, не эксплуататоромъ и не эксплуатируемымъ, то есть за главную, хотя и отдаленную цѣль работы интеллигентнаго человѣка, какъ видѣли мы, свидѣтельствуешь и наука, и самый пристальный и искренній опытъ, и наконецъ *сознательное* слово, исходящее изъ среды самого народа. Теперь будемъ говорить наконецъ и о *рукописи*, въ которой это слово сказано.

III.

Рукопись эта написана крестьяниномъ изъ молдаканъ, добровольно переселившимся въ Енисейскую губернію. Въ заголовкѣ ея значится, что авторъ адресуетъ ее: «*Въ м—скую городскую муззею, въ домъ Бѣлова, идѣ собраны со всего свѣта рѣдкости*». Ознакомившись съ содержаніемъ рукописи, не трудно понять, почему именно авторъ ея избралъ такое нейтральное мѣсто, чрезъ посредство котораго желалъ бы познакомить Россію съ своими идеями: «образованный» человѣкъ, вообще бѣлоручка, не всегда, съ точки зрѣнія его идей, можетъ пользоваться его почтеніемъ, а вѣдь образованный человѣкъ, «чистый народъ», къ несчастью автора, утвердился во всѣхъ мѣстахъ, завѣдующихъ «серьезными дѣлами», и являться съ критикой къ критикуемому, для того чтобы онъ «помогъ распространить эту критику», оказывается дѣломъ неудобнымъ, и вотъ авторъ вноситъ свое произведеніе въ нейтральное мѣсто — въ *городскую муззею, въ домъ Бѣлова, идѣ собраны со всего свѣта рѣдкости*.

Кромѣ того, онъ и самъ считаетъ свое произведеніе явленіемъ рѣдкимъ, такъ какъ подлагаетъ, что идеи его не только у насъ, но и во всемъ свѣтѣ умышленно скрыты, «спровергнуты», не смотря на то, что истекаютъ изъ первороднаго закона Божія. «Источники», говоритъ онъ въ началѣ рукописи, изъ котораго я почерпнулъ все это — завѣтъ Божій: *въ попіи лица твоего снѣси хлѣбъ твой, дондеже возвратишься въ землю, отъ нея же взялъ*» (Бы ія, 3). И на основаніи этого завѣта строить цѣлую, стройную

*) Обращаемъ вниманіе читателей на «Записки южнороссійскаго крестьянина», напеч. въ журналѣ *Устои* 1882 г.

**) См. далѣе разсказъ VII-й — «Нѣсколько чашъ среди сектантовъ».

теорію труда «своими руками», которой и даетъ общее заглавіе: *«Трудолюбіе или торжество земледѣльца»*. До чего авторъ послѣдователенъ въ развитіи своихъ идей о святости и неспѣльности для человѣка исполнять первородный законъ Божій, повелѣвающій *трудиться* и трудиться непремѣнно своими руками, можетъ служить одно, даже нѣсколько возбуждающее улыбку, мѣсто въ этой рукописи, гдѣ авторъ мелькомъ упоминаетъ о евреяхъ. Какъ вы думаете, отчего именно евреи такіе, какъ они есть, а не другіе? Отчего имъ надобно тянуть съ ближняго своего выработанный этими ближними грошъ, а не работать самими и выработывать его своими руками? Строго, вѣковѣчно, неизмѣнно установивъ законъ для всего человѣчества — въ потѣ лица ѣсть хлѣбъ свой, — Богъ, по милосердію своему, однажды только, изъ жалости и состраданія нарушилъ его, *«поманилъ»* (т. е. побаловалъ) *свиреявъ сорокъ лѣтъ въ пустынь манною*, т. е. покормилъ ихъ даровымъ хлѣбомъ и тѣмъ самымъ испортилъ ихъ навсегда: отъ этой-то ошибки — говоритъ авторъ — *они по сей день вонъ какіе работники!* Восклищательный знакъ принадлежитъ автору и доказывается, до какой степени ему непріятенъ типъ тунеядца, и какъ онъ взволнованъ этой непоправимой «ошибкой». Хотя этотъ отрывокъ рукописи и можетъ заставить улыбнуться читателя, но онъ ни мало не портитъ стройности его мыслей, зорко примѣчающихъ нарушение «закона первороднаго», гдѣ бы и кѣмъ бы это нарушение сдѣлано ни было.

Далѣе вотъ что читаемъ мы въ рукописи:

«Я призналъ себя въ правѣ толковать о трудолюбіи и тунеядствѣ потому, что я знакомъ съ «закономъ» и трудомъ его (земледѣльческимъ) не на словахъ только, но на дѣлѣ, съ юности, и даже съ предковъ. Вотъ и говорю, не заискаясь, отъ имени всего своего земледѣльческаго круга.

«При концѣ каждаго изъ шести дней творенія Господь сказывалъ: «добро есть». «И видѣ Богъ, яко добро есть». Если бы эти слова: «добро есть» сказалъ человѣкъ, то тутъ можно (было бы) усомниться, потому что человѣкъ ошибкѣ подлежитъ и даже часто называетъ доброе худымъ, худое — добрымъ. Но ежели Богъ сказалъ: «добро есть», то тутъ никакому сомнѣнію мѣста быть не можетъ и стало быть все сотворенное имъ не требуетъ ни приложения, ни отнятія, а непремѣнно для всѣхъ и навсегда — «добро есть».

«...Въ то же время (т. е. втеченіе этихъ шести дней творенія) и на томъ же мѣстѣ Богъ выдалъ человѣку свой незавитой (не запутанный), короткій и притомъ не тяжкій законъ: «въ потѣ лица твоего съѣси хлѣбъ». И утвердилъ этотъ законъ словами: «добро есть» и стало-быть и тутъ не нужно ни приложения, ни отнятія (никакого умствования); а надо принимать, что этотъ законъ исполнѣнъ добро есть. Тутъ-то безъ сомнѣнія и открывается намъ, что человѣкъ, работающій хлѣбъ своими руками, исполнѣнъ всѣхъ добродѣтелей, а удаляющійся отъ него творить зло: не сказано — не

работай» и не сказано, что не работать «добро есть».

«...Все, что создано Богомъ, на землѣ и на небѣ, — ничто не выходитъ изъ круга первороднаго закона, и исполнѣнъ и безусловно повинуется волѣ Сотворшаго. Спрашиваю, почему онъ сотворилъ въ началѣ бытія *только двухъ людей* — мужа и жену Адама и Еву — а не населилъ землю, по всемогуществу своему, множествомъ людей? Потому, что во всей жизни человѣческой два главнѣйшихъ дѣла или двѣ обязанности одного и того же достоинства и цѣны: *первая* — рождать на свѣтъ людей, *вторая* — выработывать имъ хлѣбъ. Онъ и сказалъ Евѣ: «Умножая, умножу печали твои и воздыханія твои, въ болѣзняхъ роди чада твои», а Адаму сказалъ: «Въ потѣ лица твоего съѣси хлѣбъ твой».

«Ничто по закону первородному не иѣняется ни на землѣ, ни на небѣ, и какъ опредѣлили Богъ женскую обязанность, такъ она и безъ всякихъ тайностей, изворотовъ и иносказаній исполняется, и какъ сказалъ Богъ, такъ буквально все и обывается: какъ женѣ, живущей въ убогой хижинѣ, такъ и царницѣ, на престолѣ сѣдящей, на главѣ корону нѣмлющей, одна и та же участь: въ болѣзняхъ родить чада своя. Да! До такой степени въ болѣзняхъ, что по днямъ лежить полумертвою, а иногда и совсѣмъ умираетъ.

«Но вотъ эта именитая жена могла бы за деньги избавить себя отъ родовъ, могла бы купить за деньги готоваго ребенка? Нѣтъ? Нельзя этого сдѣлать; не можно переиѣнить постановленія Божія; собери со всего свѣта сокровища, и отдай ихъ за дитя, а оно не будетъ твоимъ, и какъ было чужое, такъ чужимъ тебѣ и останется. Чье же оно? Да той матери, которая его родила.

«Также и мужъ. И онъ тоже можетъ отказаться отъ хлѣбной работы, купить деньгами одинъ фунтъ хлѣба. А хлѣбъ какъ чужой, такъ и будетъ чужимъ. Чей же онъ? А того, кто его работалъ. Потому что, какъ Богомъ положено, — женѣ не должно прикрываться деньгами или какими-либо изворотами отъ рожденія дѣтей, такъ и мужъ долженъ для себя и для жены, и для дѣтей своими руками работать хлѣбъ, какого бы онъ ни былъ великаго достоинства.

«Вотъ гдѣ главнѣйшій источникъ всѣхъ добродѣтелей, вотъ гдѣ полезнѣйшія врачества отъ нищеты и злодѣянія! И все это въ обнародованіи *первороднаго* закона, влекущаго человѣка ко всѣмъ трудамъ, которому голова есть хлѣбный (земледѣльскій) трудъ. Этотъ трудъ и по житейскому — дороже всѣхъ драгоценностей, и по духовному — спасительнѣе всѣхъ заповѣдей и постановленій, потому что въ немъ законъ *первородный*, въ немъ защита отъ пролитія человѣческой крови и слезъ!

«Пускай обнародуется этотъ первородный законъ, и всѣ мы получимъ себѣ временное и вѣчное спасеніе, потому что онъ собственныи нашъ, земледѣльскій. А безъ него мы лишены и того, и другого, безъ него мы бѣдны, глупы, злы; безъ него мы сироты, какъ маленькія дѣти безъ отца и безъ

матери; безъ него у насъ нѣтъ покровителя и спасителя!

«Я говорилъ: ни на небѣ, ни на землѣ ничто не мѣняется противъ первороднаго закона. Только человѣкъ; образованнѣйшій и умнѣйшій, который бы долженъ какъ къ хлѣбному, а затѣмъ и къ прочимъ трудамъ показывать собой примѣръ другимъ, скрылся и удалился отъ назначеннаго Богомъ труда, да и живетъ въ какихъ-то тамъ *трущобахъ, притѣвлючи*, да руки свои заложилъ въ карманы и празднымъ своимъ житіемъ ослабляетъ руки другимъ, поощряетъ ихъ къ злодѣяніямъ.

«...Каждый изъ нихъ (ученѣйшихъ и умнѣйшихъ) говоритъ: «Я люблю и почитаю какъ хлѣбный трудъ, такъ и работающаго хлѣбъ, а лѣнивца ненавижу и гнушаюсь имъ». Но я таковымъ отвѣчаю: «слышу голосъ Іакова, а осязаю Исава».

« — Мы не лежимъ (говорятъ ученѣйшіе и умнѣйшіе), а рачительно работаемъ. Мы болѣе земледѣльцы трудимся: мы хлѣбъ не даромъ беремъ, а за трудовыя деньги покупаемъ; мы по заповѣди въ потѣ лица ѣдимъ хлѣбъ. Мы людемъ деньги даемъ, а люди намъ — хлѣбъ. Мы людьми живемъ, а люди — нами. Намъ и людьми-то распоряжаться и давать имъ направленіе времени не достаетъ, а не то, чтобы самимъ работать. Данная Адаму заповѣдь не на одинъ только хлѣбъ указываетъ, а на всѣ занятія. Человѣкъ и деньги наживаетъ съ той цѣлью, чтобы избавиться отъ хлѣбной работы. Заняться хлѣбомъ, тогда о другомъ дѣлѣ и подумаетъ некогда. Я покою не знаю, день и ночь хлопочу, мнѣ и готового-то побѣсть некогда. Если всѣ будутъ работать, тогда вселенная должна придти въ упадокъ и обнищать. Я вотъ сколь много денегъ имѣю, да пойду работать за сорокъ копѣекъ, тогда всѣ должны меня глупцомъ назвать. Пусть у меня хлѣбъ вырабатываютъ деньги, а не я...» А я спрашиваю: «Что, ежели бы этими суетвѣрными и закону противными изворотами стали бы и мы всѣ прикрываться отъ трудовъ — повѣрили-бы они намъ?» Подумай себѣ, читатель, представь и вообрази: если бы мы всѣ, подобно имъ, попрятались отъ хлѣбной работы за разные углы, «кто куда, а кто куды», тогда въ короткое время вся вселенная должна голодной смертію погибнуть. Приняли ли бы они отъ насъ такое же, какъ и ныне, оправданіе?

« — Я поѣхалъ бы работать хлѣбъ (говоритъ какой-нибудь изъ нихъ), да не умѣю». Спрашиваю: «Когда тебѣ два года было отъ роду, ты и тогда уже умѣлъ ѣсть хлѣбъ, а работать его и за столько лѣтъ не научился? Если бы Богъ сказалъ: «возьми камень и коси», ты бы могъ сказать: «этого нельзя!» Это оправданіе уважительно. А почему нельзя хлѣбъ работать?

«...Все это я говорю о тебѣ, городъ М — скъ, только потому, что ты торчишь у меня передъ глазами, а на самомъ дѣлѣ этотъ разговоръ не къ тебѣ слѣдуетъ. Если бы законъ первородный былъ разъясненъ, и всѣ народы, а также и предки твои выполняли бы его, то твоя вина (теперь не

выполняющаго этого закона) была бы неизбежна. Но если (отъ этого закона) отъ начала вѣка осталось только одно имя, то (не обвиняя М — ска) я спрашиваю всю Россію: «Виновата ли ты, Россія, въ опроверженіи этого закона? Затѣмъ прошу тебя, Россія, передѣлай всѣ мои вопросы на лучшій ладъ съ добавленіемъ, но безъ отнятія смысла ихъ, и представь государствамъ, которыя старше тебя отъ рожденія: ты отъ нихъ законъ и вѣру получала и приняла; они обязаны тебя законнымъ отвѣтомъ удовлетворить — какъ они сначала писали законъ и съ какою цѣлью отъ очей всего міра этотъ законъ скрыли? Они — старики, они — учителя твои, а твоя, Россія, хата съ краю; ты по этому великому и уму непостижимому дѣлу за людьми человѣкъ».

«...Именемъ Бога правды умоляю васъ, читатели и слушатели, почему это такъ, что самая главнѣйшая и душевспасительнѣйшая изъ всѣхъ добродѣтелей, драгоцѣнность дороже всѣхъ драгоцѣнностей свѣта, скрыта и уничтоженію предана? Да и было ли когда-нибудь прежде разъясненіе этому закону во всѣхъ вѣрахъ и народахъ, во всѣхъ писаніяхъ? Ни слова! И этотъ законъ въ цѣломъ мірѣ — живой мертвецъ. Хотя бы его къ малѣйшимъ добродѣтелямъ причли; изъ «головы» сдѣлали бы хвостомъ — нѣтъ, ничему такому даже не уподобили! Кѣмъ же онъ уничтоженъ? Можетъ статься, невѣрующими въ бытіе Божіе? Можетъ быть, незначительными и невѣжественными людьми? Нѣтъ, ученѣйшими и умнѣйшими! Можетъ быть, не во всѣхъ племенахъ и вѣрахъ скрытъ этотъ законъ? Нѣтъ, во всѣхъ племенахъ земныхъ! Можетъ статься, и теперь есть люди, которые желаютъ работать въ честь этой заповѣди, но по случаю какого-либо препятствія не могутъ? Нѣтъ, на это нѣтъ никакого препятствія! Можетъ статься, были тѣ вѣка и люди, у которыхъ эта заповѣдь процвѣтала, такъ что можно надѣяться, что она и опять возникнетъ, изъ праха возстанетъ и изъ пепелища выйдетъ? Нѣтъ, никогда ничего такого не было!..

«...Собирай, м — ска, почтенная публика, собирай свои мысли, разбѣянные по суетскимъ суетамъ, собирай и совѣтуйся съ ними, какой отвѣтъ дать мнѣ на мои вопросы. Видишь ли: рѣзала, рѣзала коса траву, да сама и нарѣзалась на камень! Не всегда вамъ насъ учить и направленіе давать, чтобы мы были Богу угодны и людямъ полезны: дошла и наша очередь — не учить и не направленіе давать, а только спросить: а почему вы людей учите, а сами себя не научите, какъ сказано: «связывайте тяжкія и неудобноносимыя бремена и накладывайте на плечи человѣческія, а сами перстомъ двинуть не хотите ихъ?» Это почему такъ?

«...Я и самъ своей загадки разгадать не могу: на кого жалуясь, тому и жалуясь; съ кѣмъ завелъ тяжбу, тому и на рѣшеніе ее представляю... Здѣсь и десятой части не сказано (того, что нужно бы сказать), потому что въ этомъ законѣ скрыто сокровище, что и на тысячѣ кораблей не

подыметь! При мысли объ этомъ много разъ я пытался сказать все это какъ-нибудь скрытно или какъ-нибудь стороной и обинякомъ, но нѣтъ, нельзя! Кромѣ ласкательства да лукавства, нѣтъ никакихъ средствъ... Потому-то я и поѣхалъ примикомъ!»

Вотъ, кажется, и все, что оказалось возможнымъ извлечь изъ довольно объемистой рукописи:
(1) *трудолюбіи и торжествъ земледѣльца.*

IV.

Я знаю, что, даже не смотря на мое предостереженіе, сдѣланное читателю въ первой главѣ этого очерка относительно того, чтобы онъ не очень жадно набрасывался на литературное произведеніе крестьянина, — произведеніе это, съ которымъ теперь читатель успѣлъ уже ознакомиться, не удовлетворяло его; оно кажется блѣднымъ, не громкимъ, не трепещи; не открываетъ какихъ-нибудь новыхъ невѣдомыхъ чудесъ, а, напротивъ, толкуетъ о вещахъ всѣмъ извѣстныхъ и даже не привлекательныхъ для большинства читающей и слушающей публики. Извольте-ка, въ самомъ дѣлѣ, идти пахать, своими руками «работать хлѣбъ», — совѣтъ, неисполнимый для миллионовъ людей. Да мы и не думаемъ, что слушающая публика, двадцать лѣтъ изнемогающая (подъ звуки: «который былъ мой папаша, который былъ мой мамаша») въ тоскѣ бездѣйствія и бездумья, стала бы отказываться отъ семейно-музыкально-танцевальныхъ формъ жизни и бѣжать къ сохѣ, чтобы начать новую жизнь «по-божецки». Конечно на Руси было бы много лучше жить, если бы «соха» попробрала подъ свой цѣлительный покровъ дурно направленные массы «нерабочаго народа». Да и вообще положеніе независимое на лоскутѣ земли — положеніе, выражающееся словами «самъ хозяинъ, самъ и работникъ», — не оскорбительно ни для какого хорошаго, образованнаго и честнаго человека. И ничего бы не было болѣе желательно, если бы этотъ «типъ» распространялся на Руси, входилъ бы въ моду среди образованныхъ людей подросткающаго поколѣнія, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ же разбѣрахъ, какъ вошелъ на примѣръ типъ адвоката, т. е. человека, хотя и «умнѣйшаго и ученѣйшаго», а все-таки вполне зависящаго, съ позволенія сказать, отъ всякой кляузы. Но я даже и такихъ совѣтовъ не намѣренъ давать; если приведенные выше отрывки изъ рукописи могутъ имѣть какое-нибудь значеніе, такъ только для людей, не боящихся просто и смѣло думать, и думать конечно о томъ, «какъ жить свято?» вообще, и во-вторыхъ — о будущемъ русскихъ народныхъ массъ. А для такихъ людей вышеприведенный документъ долженъ имѣть нѣкоторое значеніе.

Нельзя, будучи справедливымъ, не признавать за вполне справедливую ту формулу прогресса, которую мы привели въ началѣ этого очерка, т. е. *постепенное приближеніе къ цѣлостности и достатку, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между изг.*

соч. гл. УСНЕНСКАГО. Т. II.

нами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми (то есть самими недѣльниками) — вотъ что такое прогрессъ. И далѣе: нельзя на основаніи этой формулы не признавать безусловно, что *нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ.* Нельзя затѣмъ не признавать, что та же научная формула, выраженная словами: *самъ удовлетворяетъ всѣмъ своимъ потребностямъ,* характеризующими форму жизни огромной массы русскаго земледѣльческаго населенія, говоритъ намъ, что у русскаго народа есть полная возможность развиваться широко, самостоятельно, «справедливо, нравственно, разумно». И вотъ этотъ-то справедливый, разумный и нравственный идеалъ человеческого существованія не только *сознательно* подтверждается словомъ человека, принадлежащаго къ *народной земледѣльческой средѣ*, не только совпадаетъ съ научнымъ опредѣленіемъ прогресса, но еще и говоритъ, что идеалъ этотъ прочно таится въ самой народной душѣ, что она именно и живетъ во имя этого самаго идеала, живетъ, вполне сознавая его «нравственность, справедливость и разумность».

Какъ ни незначительны по количеству тѣ отрывки изъ рукописи, которые мною приведены, но и изъ нихъ нельзя не убѣдиться, что въ народѣ таится вполне опредѣленные и ясныя стремленія и что во имя вѣры въ нѣ справедливость онъ *можетъ* совершенно ясно видѣть и сознавать все что этимъ стремленіямъ не соответствуетъ, мѣшаетъ, не подходитъ. Авторъ рукописи строго ведетъ свою линію, исходная точка которой «жить трудами рукъ своихъ», самому удовлетворять всѣмъ своимъ потребностямъ, какъ духовнымъ — сознаніемъ, что такая жизнь справедлива, нравственна, разумна — такъ и физическимъ: мужъ и жена должны жить такъ, а не иначе, потому между прочимъ, что они физически обязаны жить извѣстнымъ образомъ: мужу физически нельзя оставлять въ бездѣйствіи такой сложный организмъ, который данъ ему, какъ мужчине, точно такъ-же женщины невозможно избѣжать тѣхъ свойствъ организма, которые ей даны.

Такъ вотъ мнѣ и кажется, что если читатель, даже и слушающій, усвоитъ себѣ хотя бы маломальски ясныя очертанія «справедливаго, разумнаго и нравственнаго» типа существованія, провѣритъ имъ себя и подумаетъ о *будущемъ* русскаго народа, примѣняясь къ его нравственнымъ свойствамъ и идеаламъ, то, если онъ и не оживетъ и не воспрянетъ, все-таки онъ хотъ думать начнетъ свѣтлѣе, увѣреннѣе, у него будетъ хотъ «что-нибудь» впереди, но это «что-нибудь» — навѣрное свѣтлое, справедливое, «божецкое».

V. Мечтанія.

— Ну, такъ какъ-же по вашему? Всѣмъ надо пахать приниматься? — съ безконечнѣйшей ироніею

спрашивали меня некоторые из моих читателей, сосредоточивая в этом коротком вопросе весь смысл статьи, написанной по поводу рукописи крестьянина.

Отвѣчать на этот вопросъ я, разумѣется, не могъ иначе, какъ только молчаніемъ, и притомъ молчаніемъ смущеннымъ. Не говоря уже о томъ, что утвердительный отвѣтъ на этотъ вопросъ для великаго множества интеллигентныхъ людей есть не болѣе, какъ непонятный, глухой, а пожалуй даже и преступный вздоръ; что для другого, не менѣе великаго «множества» той-же интеллигенціи этотъ отвѣтъ есть только дасадная, непріятная болтовня, совершенно напрасная трата пустыхъ словъ, осуществить которыхъ на дѣлѣ невозможно, немыслимо,—не говоря обо всемъ этомъ, я не могъ бы дать спрашивавшимъ меня читателямъ иного отвѣта, кромѣ смущеннаго молчанія еще и потому, что и самъ я, пишущій это и восклицавшійся произведеніемъ крестьянина, увъ! не пошелъ бы пахать... Я воспитывался, какъ и всѣ, гнѣвно или иронически, или презрительно относящіеся къ слову «пахать», интеллигентные люди, вовсе не въ тѣхъ условіяхъ, которыя дали бы мнѣ смѣлость, какою вполне законно обладаетъ авторъ рукописи, сказать кому-нибудь изъ моихъ знакомыхъ, живущихъ и жившихъ со мною въ одинаковыхъ условіяхъ: «Бѣтъ хлѣбъ умѣлъ, когда тебѣ два года было, а работать и—до сорока лѣтъ не научился?» Нѣтъ! Куда намъ! Всѣмъ намъ—и прямо негодующимъ на предложеніе крестьянина, и всѣмъ даже сочувствующимъ ему—внору только удерживаться отъ явнаго проявленія негодованія на «дерзость» предложенія, а въ самомъ лучшемъ случаѣ только смущаться и безпомощно разводить руками.

— Пахать! сказалъ мнѣ недавно одинъ «настоящій» пахарь-мужикъ. — Пахать вашему здоровью никакъ невозможно... Силовъ у васъ настоящіхъ нѣтъ, и по этому случаю она, соха-то можетъ васъ, господинъ, съ единаго маху на смерть положить... Соха-то, господинъ, норовитъ выскочить изъ земли, ей тоже не охота землю-то носомъ рыть, такъ ее безперечъ падо со всей силы пхать и въ землю выпирать руками... Ну, а тебѣ этого не осмилить! Какъ лошадь дернула, соха подскочила, да прямо тебя въ подбородокъ... Еще слава Богу, коли скуду перешибетъ... Это еще надо Бога благодарить, а пожалуй какъ бы и начисто не выпшгло духъ вонъ!.. Нѣтъ! Это не по вашей, господинъ, части дѣло-то!

Надѣюсь, что доводы противъ осуществленія на дѣлѣ справедливейшихъ теорій автора рукописи,—доводы, которые далеко не исчерпываются вышеприведенными соображеніями пахаря, подлиннаго знатока дѣла,—значительно облегчатъ смущенное состояніе духа тѣхъ, кто смущается, сочувствуя. Но всѣ мы, смущающіеся и совершенно безсильные на дѣлѣ осуществить теоріи, которымъ въ глубинѣ души сочувствуемъ, едва-ли будемъ особенно преступны, если позволимъ себѣ это «сочувствованіе», это вниманіе къ типу людей, желающихъ

жить по божески», и не будемъ останавливать своей мысли, когда она пожелаетъ уйти въ мечтанія о справедливыхъ, простыхъ, свѣтлыхъ и въ то же время вполне человѣческихъ, даже человѣчныхъ формахъ жизни.

Бисмаркъ недавно очень «пужалъ» германскій парламентъ мечтателями,—людьми, неимѣющими никакого опредѣленнаго плана устройства человѣческихъ обществъ и человѣческихъ отношеній. а только умѣющими ворчать противъ того, что есть и что «можно» сдѣлать. Бисмаркъ грозился даже обѣщаніемъ дать этимъ людямъ, не имѣющимъ за душой ничего яснаго и опредѣленнаго, цѣлую провинцію съ тѣмъ, чтобы они попробовали осуществить на дѣлѣ свои неясныя мысли, и предсказывалъ полную безурядицу, какъ результатъ этого опыта «на дѣлѣ». Это все вѣрно, но почему бы въ самомъ дѣлѣ не попробовать, такъ, для смѣха напримѣръ? Почему бы, повторю, хотѣ для смѣха не дозволить людямъ, хотѣ въ одной какой-нибудь крошечной германской провинціи попробовать пожить «по божески», а не такъ, какъ повелѣваютъ неумолимые «желѣзные законы», по неотвратимому указанію и велѣнію которыхъ мы, людишки, влечимъ свое житьишко съ незапамятныхъ временъ? Мы очень хорошо знаемъ, что законы эти—дѣйствительно желѣзные; знаемъ, что они неумолимые и не только ни малѣйшимъ образомъ не протестуемъ противъ нихъ, но, напротивъ, съ дѣтскихъ лѣтъ впитываемъ въ себя несокрушимое къ нимъ благоговѣніе, нескоренный страхъ и непоколебимую увѣренность въ ихъ неизмѣнности и даже правотѣ: и когда насъ, выражаясь мужицкимъ языкомъ, исторія начнетъ дуть со щеки на щеку, во имя незыблемости «желѣзныхъ» началъ, мы не только на сопротивляемся этому изувѣченію, но сами, въ глубинѣ своего сознанія, съ полною искренностью убѣждаемъ себя, что это такъ и должно быть, что это—не мордобитіе, а только фазисъ, неотвратимый и неизбежный. Мы отлично знаемъ, что безъ этого фазиса, во имя котораго мы обречены почти на бездыханное состояніе, желѣзная часть исторіи никоимъ образомъ обойтись не можетъ, что насъ необходимо исполосовать на обѣ корки, иначе никоимъ образомъ не можетъ быть слѣдующаго неотвратимаго и неизбежнаго фазиса, когда желѣзо повелитъ оттирать носъ сукномъ, давать нюхать нашатырный спиртъ и приказеть отпавивать парнымъ молокомъ... Все это мы знаемъ, все это мы докажемъ на основаніи самыхъ подлинныхъ документовъ, но отъ чего же не позволить себѣ, хотѣ такъ, для отдохновенія пометать съ особенной внимательностью на тему о томъ, почему бы господамъ желѣзнымъ законамъ не попробовать благодѣтельствовать родъ человѣческій помощью парного молока и хотѣ на нѣкоторое время, только для опыта, убрать куда-нибудь свое желѣзо? На площади Согласія въ Парижѣ указываютъ направленіе канавы, которая сто лѣтъ тому назадъ была вырыта для того, чтобы въ Сену стекала кровь человѣческая... Вотъ какая была страсть Господня... Что-жъ въ кон-

цѣ-концовъ «досталось» отъ этого фазиса навѣ, простымъ «жителямъ», обывателямъ? А за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ чего-чего мы, обыватели, не перевидали! Однѣхъ революцій по всѣмъ мѣстамъ—видимо-невидимо! Денегъ что, Господи, желѣзные законы «вынули»! Одинъ Бисмаркъ пять милліардовъ получилъ излишнихъ противъ обыкновенныхъ желѣзныхъ взысканій! А намъ, обывателямъ, что? «Довольно, говорятъ, съ васъ почтовыхъ марокъ! Въ слѣдующій фазисъ только по шести копѣекъ будутъ!» И мы, обыватели, понимаемъ это, чувствуемъ и съ благодарностью вопіемъ: «Дай Богъ вамъ здоровья! Чувствительнѣе же васъ благодаримъ, господа почтенные, законы желѣзные!» А все иногда нѣтъ-нѣтъ, да и мелькнетъ мысль: «да нельзя-ли какъ-нибудь попробовать, чтобы на счетъ булокъ и насчетъ напримѣръ почтовыхъ марокъ, да и земельки такъ распорядиться, чтобы на предбудущее время безъ этакой страсти Господней доставались онѣ нашему брату, простому жителю?»

На такіа смѣлыя мысли почти ежедневно наводитъ меня нашъ буфетчикъ. Какъ только мнѣ случится пріѣхать на станцію, непременно я слышу, что эта длинная, измученная, испитая фигура ужъ вопіетъ передъ кѣмъ-нибудь изъ посѣтителей.

— Ничего не подѣлаешь! Нѣтъ никакихъ способъ! Хоть ложись да умирай!

— Да неужто ужъ и корюшкой торговать невозможно?

— Никакихъ нѣтъ способъ! Изъ всѣхъ мѣстовъ только и видишь, что отказываютъ, да штрафуютъ; какъ есть по міру пойдешь!

— Такъ ты, любезный, достигай до правительствующаго сената!

— Да пожалуй-что придется достигнуть и высшей инстанціи! Вотъ она, корюха-то (показываетъ тарелку съ жареной корюшкой)! Кажется, что такое? А продай я да попадись, такъ мнѣ лучше петлю на шею! Вонъ что есть на свѣтѣ подъ названіемъ корюха!

— Такъ ты тово... доходи, любезный, до сената!

— Послѣдняя рѣшусь, всѣ силы изъ себя до капли вымотаю, а надо доходить! У меня восемь человекъ дѣтей... Мнѣ что въ петлю, что здѣсь торговать!..

И, нянчая на одной рукѣ полуугодового плачущаго ребенка, онъ другой рукой, за которую хватаются рученками еле видные изъ-за буфета другіе его ребятишки, въ волненіи прячетъ подъ стойку буфета тарелку съ корюшкой, которая, какъ видите, хуже петля. А, кажется, чѣмъ бы могъ провиниться противъ желѣзныхъ законовъ этотъ несчастный человекъ? Безропотно покорялся онъ имъ, когда ушелъ въ качествѣ двороваго на всѣ четыре стороны, безъ земли и съ кучей ребятъ, и, зная, какъ пекутъ пироги и жарятъ корюшку, весьма даже былъ обрадованъ, что желѣзные законы водворили на Руси чугунокъ. «Буду—мечталъ онъ—жарить корюшку, печь пироги, буду ихъ продавать и семейство кормить. Хорошо, что

прошла чугунокъ! Дай Богъ господамъ здоровья за эту выдумку!..» Но тѣ же желѣзные законы, во имя существеннѣйшаго своего свойства — «неумолимости» — сдѣлали такъ, что станцію съ буфетомъ устроили въ чистомъ полѣ, гдѣ былъ одинъ только проѣзжающій—генералъ Сидоръ Карповичъ Дворниковъ, акціонеръ и крупный землевладѣлецъ, а на той станціи, гдѣ водворился дворовый, умѣвшій жарить корюшку и печь пироги, и гдѣ скоплась масса проѣзжающихъ, буфетъ воспретили, а чтобы заставить публику ѣздить въ большой буфетъ и поддерживать требованіемъ питья и закусокъ хозяина большого, хотя и пустыннаго буфета, создали цѣлую систему взысканій, наказаній и штрафовъ, которые специальный желѣзно-дорожный адвокатъ взыскивалъ неукоснительно и преслѣдовалъ виновнаго во всѣхъ инстанціяхъ, не ограничиваясь даже правительствующимъ сенатомъ.

— Да чѣмъ же тебѣ, послѣ этихъ твоихъ словъ, торговать-то можно? спрашивали истерзаннаго запрещенной корюшкой буфетчика.

— Чѣмъ? Погляди въ правила.. По 17 параграфу могу я свободно продавать пряники, и то въ зимнее время, да квась... А по дополненію къ 21 параграфу не возбранено и деревянные издѣлія на рукахъ продавать...

— Да пироги то, пироги-то... Ежели я, проѣзжающій, говорю тебѣ: «дай мнѣ пирога съ рыбой!» это то можешь-ли ты, по закону-то?

— А насчетъ пирога было кассационное рѣшеніе—такъ оно вотъ у меня гдѣ сидитъ! Съ рыбой! Онамедни, кабы жандаръ, добрый человекъ, не упредилъ меня, что тутъ агентъ надзираетъ, да не съѣлъ всю корюху, чтобы, значитъ, не было доказательствъ, такъ мнѣ бы теперь, почитай, до Рождества пришлось отсиживать въ хорошемъ мѣстѣ за это за самое. Съ рыбой! Вамъ это очень просто представляется, а поди-ка на моемъ мѣстѣ, такъ блѣдугой взвоешь!

Этотъ почти ежедневный стонъ несчастнаго буфетчика заставлялъ меня также почти ежедневно невольно задавать себѣ мечтательные вопросы: вродѣ того, почему-бы въ самомъ дѣлѣ не похлопотать для человечества въ томъ направленіи, чтобы оно пекло булки и жарило корюшку, не утруждая правительствующаго сената и не будучи вынуждено изъ-за нихъ, этихъ пироговъ и булокъ, лѣзть въ петлю? Это незначительное обстоятельство едва-ли не было главною причиною того, что я сталъ позволять себѣ частенько фантазировать на тему о жизни людей «по-божецки», а по временамъ мнѣ стало казаться, что для русскаго народа можно уже кое-что даже и сдѣлать въ этомъ направленіи, а не только фантазировать о томъ, что «хорошо бы!».

Въ самомъ дѣлѣ, Марья Васильевна Лихоимцева, волею желѣзныхъ законовъ, изъ ничтожества превращенная сто лѣтъ тому назадъ въ помѣщицу, повинувшись тѣмъ же законамъ, повелѣвающимъ ей сохранять свое положеніе и достоинство, при освобожденіи крестьянъ всячески «должна» стремиться сдѣлать все, чтобы этого достоинства и положенія не потерять. И вотъ бывшіе ея крѣпостные,

крестьяне деревни Горьлово-Нефьлово, получают нищенский надѣлъ, вмѣсто луговъ—болота, а вмѣсто лѣсовъ—каменные горы; получают и вступаютъ въ неизбежный, желѣзными законами установленный фазисъ, втеченіе котораго они *должны* придти въ полное разстройство и вообще обязаны знать, что настало время, опредѣляемое словами: «ложись да помирись!». Нѣкоторые, точно, начинаютъ ложиться и помирять. Но желѣзные законы, отлично и непреложно знающіе, «что за чѣмъ» пойдеть и какой фазисъ будетъ послѣдующій, а какой предыдущій, знаютъ, что въ данную минуту крестьяне Горьлово-Нефьлово ложатся и помираютъ, что этотъ фазисъ обуславливаетъ для нихъ другой, послѣдующій: и въ Горьловѣ-Нефьловѣ появляется фабрика, появляется она не раньше и не позже, а какъ-разъ минута въ минуту, указанную желѣзными законами. Появляется и, ни на волюсь этимъ законамъ не измѣняя, начинаетъ творить то, что по законамъ этимъ слѣдуетъ: крестьянинъ Иванъ Кузмичевъ идетъ на одну фабрику, жена—на другую, а дѣти, сынъ и дочь—въ Москву: одинъ въ извозчики (мальчонка), а другая «въ прислуги». Фабрика начинаетъ безъ церемоніи передѣлывать Ивана Кузмичева и его жену на свой образецъ; ей, державшей мѣлъ, нельзя сдѣлать такъ, чтобы Иванъ Кузмичевъ съ женой не повиновались ей: въ кабакъ сидѣть и пѣсни орать нельзя—это нарушаетъ желѣзные законы затраченного капитала, нельзя проспать, нельзя отлучиться, нельзя быть не напряженно-внимательнымъ. Пить водку, калаять нельзя попрежнему свободно—за все штрафъ, а вмѣстѣ со штрафомъ и злоба въ Иванѣ Кузмичевѣ, а вмѣстѣ со злобой неизбежная потребность подавить ее (ѣсть будетъ нечего) и, исхитрившись, провести эти желѣзные законы, надуть, обмануть, тайкомъ сдѣлать то, что нельзя явно... Это ужъ развратъ душевный, а за нимъ не далеко и физическій—жены, семьи, дѣтей нѣту, скучно, тошно, маятно, водка и все, что изъ нея слѣдуетъ—вплоть до «лазарета». Съ женой Ивана Кузмичева творится то же самое: развратъ фабричныхъ бабъ извѣстенъ и доказывать его существованіе не зачѣмъ. А дѣти? Мишенька, одинокій парнишка, оставшійся почти-что безъ отца и матери и безъ крова, ѣздилъ-ѣздитъ съ сѣдоками, возилъ-возитъ хозяину деньги—заскучалъ: конца краю нѣтъ этой каторгѣ! Заскучалъ и задумался... Думалъ-думалъ, да разъ оглядѣлъ у пьянаго купца бумажникъ съ деньгами, вытащилъ изъ подъ сидѣнья колесный ключъ... и угодилъ къ Бутырской заставѣ, въ казенный домъ... А дочь? Сначала баринъ къ ней приставалъ, когда барыня дома нѣтъ, потомъ изъ гостей одинъ молодой человекъ сталъ подмигивать, звалъ на Тверской бульваръ выдти... А потомъ мало-помалу и Тверской бульваръ насталъ для нея, и билетъ изъ полиціи выдали, а наконецъ и «лазаретъ». Все неизбежно вытекаетъ изъ предыдущаго и каждая послѣдующая гадость поконится на неизбежномъ основаніи и можетъ быть доказана какъ неотвратимый фазисъ. По желѣзному міросозерпанію все это хотъ и скверно, и подло, а неизбежно; этому

ходу дѣла не поможешь никакими фантазіями. А вотъ авторъ рукописи не такъ смотритъ на вещи. Отчего это явились на свѣтъ—спрашиваетъ онъ—проститутка, воръ, убійца, больной, пьяница? Оттого, что они не исполняютъ первороднаго закона, повелѣвающаго жить не убійствомъ, не проституціей, а трудами рукъ своихъ, на землѣ. Вотъ вамъ земля, работайте, и этотъ земледѣльческій трудъ такъ обширенъ и святъ, что и мысли о злѣ, о хитрости, объ обманѣ, о развратѣ или объ убійствѣ не будутъ возможности зародиться по одному ужътому, что некогда, что занять весь человекъ.

Земцы и думцы, ежегодно отпускающіе всякихъ размѣровъ суммы на больницы, тюрьмы, суды, полицію, то-есть на такіе органы общественнаго управленія, которые обязаны врачевать всевозможныя общественныя язвы, неужели-бы оказались стоящими не на высотѣ своего культурнаго развитія, еслибы попробовали лечить тѣ же язвы болѣе не вымы, простыми и «божецкими» образомъ? На глазахъ земцевъ и думцевъ кипящая кипитъ по городамъ и весамъ и воры, и разбойники, и проститутки, убійцы, и нищіе, и толпы бездѣльныхъ и празднопатающихся дармоедовъ, надувалъ, обиралъ, и чтобы очистить отъ нихъ общество, земцы и думцы строятъ тюрьмы, больницы, платятъ и полиціи, и судьямъ, и докторамъ. Все это превосходно. Но почему бы опять-таки не попробовать излечить эти раны и язвы «по-божецки»? Безропотно повинусь непреложности желѣзныхъ законовъ, земцы и думцы долгое время поступали да и до днесь поступаютъ въ своихъ хозяйственно-общественныхъ дѣлахъ по точному указанію этихъ законовъ: заводили банки, кредиты, «уширали производство», дабы бѣдные классы ниѣли къ чему руки приложить и что пить-ѣсть... Двадцатипятилѣтній опытъ повиновенія желѣзнымъ законамъ, при самомъ тщательнѣйшемъ выполненіи всѣхъ великолѣпнѣйшихъ формъ, олицетворяющихъ эти законы и весьма неподходящихъ къ нашимъ, далеко не великолѣпнымъ мѣстамъ, на нашихъ глазахъ окончился весьма неблагоприятно. Все ухнуло и лопнуло, оставивъ на поверхности злобу и смрадь удушающей безсовѣстности. Прежде у городовъ были общественныя земли, на которыхъ бѣдный людъ могъ селиться и сажать капусту, была лѣса, въ которыхъ росли и рыжикъ, и опенки; теперь желѣзные законы все это упразднили, все проглотили: лѣса и поля, если и не обречены на полное исчезновеніе и продажу въ частныя руки, то во всякомъ случаѣ уже недоступны для бѣдняка, для человѣка, у котораго единственный капиталъ—собственныя руки: они уже обременены долгами, и тотъ лоскутъ земли, который по божеской и человѣческой справедливости стоитъ всего одинъ мѣдный грошъ, теперь обремененъ тысячнымъ долгомъ, и человѣку съ голыми руками къ нему ужъ не приступить. Все это сдѣлано по образцу желѣзныхъ законовъ, и все послѣдующее будетъ неизбежно вытекать изъ нихъ, какъ неизбежно было и все ихъ проявленіе въ предыдущемъ: и воровъ, и проституттокъ, и грабителей, и надувалъ, и аферистовъ, и самоубійствъ.

и вообще всякой бѣды и дряни будетъ гораздо больше, чѣмъ прежде; одинъ неотразимый фазисъ выльзаетъ изъ другого неотразимаго фазиса, какъ колосъ изъ зерна, и тутъ ничего не подѣлаешь, кромѣ расширенія тюремныхъ помѣщеній и улучшенія въ нихъ вентиляцій. Но еслибы земцы и думцы повѣрили рѣчамъ автора рукописи «о торжествѣ земледѣльца» и увѣровали, что «первородный законъ» повелѣваетъ человѣку жить трудами рукъ своихъ, ищаая этимъ трудомъ отъ всѣхъ золъ, язва и неправдъ, на которыхъ обреченъ неуравновѣшенный, искалѣченный человѣкъ, такъ они бы не сдѣлали грѣха и не опорочили бы своей интеллигентности, еслибы ежегодно прикупали земель, которыхъ множество кругомъ, еслибы ежегодно селили на нихъ всѣхъ, кто хочетъ ѣсть, а капиталу нѣтъ — только руки свои. Почему нужно усовершенствовать тюрьму, вводить въ ней вентиляціи, гигиену, а современемъ и электрическое освѣщеніе, а нельзя покупать земли, нельзя селить на ней всѣхъ, кто не по собственной волѣ родился на свѣтъ и не по собственной прихоти хочетъ ѣсть? Нельзя ли опять-таки хоть попробовать поступать съ человѣчествомъ такимъ тихимъ и внимательнымъ манеромъ?

Да! русскому интеллигентному человѣку, земцу и думцу, давно пора освѣжить собственное тусклое существованіе, вопросивъ самого себя: «Да зачѣмъ же собственно я считаюсь и интеллигентнымъ, и земцемъ, и думцемъ?». И если онъ спроситъ себя такимъ образомъ, то непременно отвѣтитъ себѣ, что онъ обремененъ извѣстными полномочіями вовсе не для того, чтобы расчищать дорогу желѣзнымъ законамъ — они сами дѣлаютъ свое дѣло безъ остановки и поспѣваютъ туда, куда надо, минуя въ минуту и точь въ точь съ тѣми свойствами и качествами, которыя имъ нѣтъ слѣдуетъ — а для того, чтобы парализовать все, чтѣ въ этихъ законахъ неправда и зло; чтобы знать, зачѣмъ я земецъ и думецъ — для этого надобно знать, какъ ужасно быть бѣднымъ, злымъ, голоднымъ; какъ страшно быть воромъ, убійцей, проституткой. Надобно искренно вѣровать въ то, что эти язвы не должны существовать, что это неправда, подлость и срамъ — и тогда у земцевъ и думцевъ будетъ подъ ногами твердая почва и въ ослабленной душѣ явится несокрушимая сила. Всѣхъ насъ, не умѣющихъ и не приученныхъ жить трудами рукъ своихъ, надобно по крайней мѣрѣ воспитывать не исключительно въ раболѣпін предъ всемогуществомъ желѣзныхъ законовъ, но хотя бы въ нѣкоторомъ вниманіи къ тѣмъ язвамъ, которыми усѣянъ путь желѣзнаго шествія. Пусть эти законы дѣйствуютъ — они, точно, желѣзные — но пускай же мы получимъ умѣнье и право ненавидѣть язвы, содрогаться отъ нихъ, кричать отъ испуга и ужаса, и думать о томъ, чтобы ихъ, этихъ язвъ, не было. И, къ сожалѣнію, въ Россіи меньше чѣмъ гдѣ-либо вниманіе интеллигентнаго человѣка привыкло сосредоточиваться на этихъ язвахъ, грѣхахъ, оставляемыхъ триумфальнымъ шествіемъ желѣзныхъ законовъ, и меньше чѣмъ гдѣ-либо, по какому-то ве-

постижимому недоразумѣнію, русскій интеллигентный человѣкъ привыкъ объяснять себѣ собственное интеллигентное положеніе правомъ хотя бы только думать о томъ, чтобы язвы эти не существовали. Анри Джоржъ, профессоръ политической экономіи въ Калифорнійскомъ университетѣ, во вступительной лекціи студентамъ этого университета (1883 г.), *могъ позволить себѣ* говорить такіе слова: «Надѣюсь, что вы ощущали уже стремленіе высочайшаго *честолюбія*, — желаніе быть полезными своему времени и поколѣнію, чтобы потомки, идущіе за вами, были хотя нѣсколько, хотя немного умнѣе, лучше и жили счастливѣе васъ. Если вы еще никогда не испытали подобныхъ ощущеній, то надѣюсь, что они всетаки живутъ въ васъ въ скрытомъ состояніи, готовые бить ключомъ, когда это будетъ нужно. Господа! посмотрите и убѣдитесь, что это уже нужно! Вы — одинъ изъ немногихъ избранныхъ, ибо и то, что вы находите здѣсь, въ университетѣ, свидѣтельствуеетъ о счастливыхъ случайностяхъ, выпадающихъ на долю лишь немногихъ. Но вы не можете себѣ представить при всѣхъ своихъ усиліяхъ, какая жестокая борьба, составляющая удѣлъ многихъ и многихъ, можетъ связывать по рукамъ и по ногамъ, мучить и искажать; какъ можетъ она заглушать благороднѣйшія дарованія, охлаждать горячія побужденія и лишать людей радости и поэзіи жизни; какъ можетъ она превращать въ прокаженныхъ общества тѣхъ, которые способны бы сдѣлаться его украшеніемъ; превращать въ подтачивающаго его червя и дикаго звѣря, бросающагося къ его глоткѣ, тотъ мозгъ и тѣ мускулы, которые способны были бы обогатить его! Никогда, быть можетъ, вы не обращали на все это своего вниманія, но, подумавъ, вы тотчасъ же увидите теперь нужду и бѣдность, даже въ нашей странѣ, достаточныя для того, чтобы возбудить въ васъ грусть и состраданіе и укрѣпить въ высокомъ рѣшеніи, пробудить въ васъ симпатію, которая держаетъ, и негодованіе, горящее желаніемъ свергнуть неправду. Видя все это, *не почувствуете ли вы желанія сдѣлать что-либо для облегченія нищеты, искорененія несправедливости, уничтоженія порока?* И тогда обратитесь къ политической экономіи». Въ этихъ словахъ, какъ видите, не блещущихъ особенными новизнами, для меня существуетъ однако одна новизна — несомнѣнная и удивительная: спрашиваю всѣхъ и каждого, кому на долю выпало пройти всю интеллигентную лямку отъ школы до университета, слышали ли когда-нибудь они отъ кого нибудь, втеченіе всей своей жизни, такой простой и открытый призывъ быть лучше, чѣмъ они есть, какъ тотъ, который открыто дѣлаетъ американскій профессоръ и который, не смотря на свою простоту, несомнѣнно долженъ облагородить тѣхъ юношей, къ которымъ обращенъ? Положа руку на сердце, я, да вѣроятно и всѣ люди интеллигентной лямки, должны сказать, что такого призыва мы всѣ никогда и ни отъ кого не слышали. Никогда и никто не говорилъ намъ, что наше честолюбіе должно состоять въ томъ, чтобы нашимъ по-

томкамъ было лучше; никогда и никто не раскрывалъ нашихъ глазъ на существующія общественныя язвы; никогда и никто не начиналъ курса науки, исходя изъ скорби о язвахъ, разъѣдающихъ общество; никогда и никто не усовѣщевалъ насъ, не старался пробудить въ насъ сознаніе всей огромности нашихъ обязанностей. Что бы намъ, дѣтямъ чиновниковъ, помѣщиковъ, купцовъ, людямъ обезпеченнымъ и не дешево стоющимъ народу, кто-нибудь, начиная съ іерея Злотоустева, продолжая учителемъ гимназій и кончая профессоромъ, открыто и смѣло сказалъ о томъ, что мы, обезпеченные, должны искоренять нужду и бѣдность, что мы должны видѣть людей даже въ тѣхъ изъ нихъ, которыхъ принято называть проклятыми общества, что руки и мозгъ, способные обогатить общество и поставленные теперь въ необходимость хватать это общество за горло изъ злобной мести за свою нищету, мы должны взять подъ свою защиту и такъ распорядиться ими, чтобы они могли обогатить это общество, — такихъ рѣчей, такихъ призывовъ, такихъ усилій раскрыть наши заспанные глаза на царящее зло мы не слышали ни отъ одного изъ нашихъ воспитателей... Напротивъ, въ родительскомъ домѣ, въ школѣ, въ университетѣ, насъ постоянно увѣряли, что широта вниманія къ окружающему — фанатерія, гибель, верхоглядство; что узоръ, строгость сердца — самое вѣрное и въ жизни, и въ наукѣ... Много-много, если мы слышали, что есть на свѣтѣ явленія мрачныя, темныя, черныя, но чтобы кто-нибудь сказалъ намъ: «ваше честолюбіе должно быть въ томъ, чтобы въ немъ не было» — никогда! Напротивъ, всегда говорили, что они неизбѣжны, неминуемы, что они — фазисъ, что мечтать, будто можно избѣжать ихъ, — фантазія и вздоръ... Отчего это? Анри Джоржъ говоритъ свою рѣчь въ такой странѣ, гдѣ капиталь, со всеми своими желѣзными законами, гудитъ и реветъ всей глоткой, властвуетъ безъ всякаго стѣсненія, гдѣ онъ — царь, глава, власть, все! Джоржъ говоритъ эти слова передъ лицомъ дѣтей представителей этого капитала, — людей, которые съ дѣтства выросли въ благоравствѣ воздуховъ, доставляемыхъ этимъ капиталомъ, — и не «пугаются»? А у насъ, въ нашей соломенной сторонѣ, гдѣ капиталы только разворовываются, не производя никакихъ «уширеній» потребления, никакихъ производствъ, гдѣ грубые, невѣжественные, тупоумные хищники еле-еле знаютъ, что, ворую, все-таки надобно по временамъ подводить какой-то «бакалеицъ», — пикнуть не приходится ни одного слова о томъ, что надобно, чтобы на свѣтѣ было меньше зла, нищеты, бѣдности, чтобы человекъ не гибнулъ зря. Тайна сія велика, до такой степени велика, что этотъ самый хищникъ, утроба, дурь и голь лѣсная, волчья жадность съумѣли подавить и заглушить всѣ благороднѣйшіе порывы, такъ широко и безъ всякихъ усовѣщиваній развившіеся въ обществѣ послѣ освобожденія крестьянъ. Звѣрище, пасты и дурь одолѣли это движеніе, заняли всѣ тѣ пункты общественной службы, гдѣ должны проявиться именно только побужде-

нія благороднаго сердца. Эти крамола орудовала передъ глазами нашими дѣть двадцать-пять, и обществу не легче отъ того, что теперь звѣрище появляется на скамьѣ подсудимыхъ. Оно уже отвыкло черпать силу своей интеллигентной мысли изъ несовершенствъ живой дѣйствительности и даже не оскорбляется этими несовершенствами, не находитъ своего честолюбія въ томъ, чтобы несовершенствъ этихъ было меньше.

А между тѣмъ это превращеніе человека, «честолюбіе» котораго должно бы заключаться въ томъ, чтобы на свѣтѣ было меньше нищеты, невѣжества, порока — превращеніе такого человека въ апатическое, сонное или много-много если только «теоретически» ворчащее существо, сдѣлало уже и дѣлаетъ нехорошее дѣло съ русскою жизнью и русскимъ народомъ. Кто изъ насъ не привыкъ почти за непреложное и не волнующее уже насъ явленіе ежедневно считать такіе фразы, проявляющіяся въ обстоятельнѣйшихъ статистическихъ работахъ, какъ наприимѣръ: «малоземельныя хозяйства въ большинствѣ случаевъ *исчезаютъ*», уступая мѣсто крупнымъ» и т. д. Все это уже намъ пріѣлось, отъ всего этого намъ уже скучно. Но еслибы въ насъ не была умерщвлена потребность почерпнуть силу своей мысли и поступковъ изъ живой дѣйствительности, то мы бы содрогнулись, еслибы увидѣли *своими глазами* то, что въ статистической работѣ обозначено однимъ надобившимъ уже словомъ: «исчезаютъ». Вѣдь это исчезаютъ люди, а не дрова, мужики, бабы, дѣти, а не щепки и не цифры. Какъ на живой образчикъ той раздражительной драмы, которая таится въ этомъ примелькавшемся словѣ: *исчезаютъ*, уступая мѣсто и т. д., — драмы, которая происходитъ вотъ тутъ, рядомъ съ нами, и которую мы не видимъ, апатически влача семейно-танцевальное существованіе, — я могу указать на превосходнѣйшую работу г. Лудмера, напечатанную въ 11 № *Юридическаго Вѣстника*. Авторъ ея, бывший мировой судья въ одномъ изъ подмосковныхъ уѣздовъ, пораженъ былъ обиліемъ въ крестьянской средѣ семейныхъ раздоровъ и рѣшился быть особенно внимательнымъ къ дѣламъ этого рода. Въ его статьѣ «*Бабы стоны*» собрано огромное количество дѣлъ, касающихся семейныхъ домашнихъ неурядицъ, иногда поистинѣ потрясающихъ. Картина, которая нарисована имъ, ужасна: здѣсь, на вашихъ глазахъ, вы видите, какъ *убиваютъ*, даже *поподомъ подымаютъ* другъ друга люди, бѣдаты, погибая, исчезая съ лица земли, *уступая* свое мѣсто другимъ, — и волось дымою становится у васъ на головахъ! А всмотритесь въ эту ужасающую картину — и вы увидите, что во имя какихъ то не божескихъ законовъ у этихъ семей разрушена возможность жить трудами рукъ своихъ, такъ жить, какъ они хотѣли жить и какъ единственно только могли жить — и вотъ вамъ это разстройство, отразившееся на мужикѣ, бабѣ, ребенкѣ. Нельзя выразить той безконечной благодарности, которую невольно чувствуешь къ автору этой безподобной статьи, рѣшившему связволновать насъ, одеревянѣвшихъ въ безплодной тоскѣ и ворчаньѣ,

живую раздирающею драмой жизни. Намъ, одеревѣвшимъ и ворчащимъ интеллигентнымъ людямъ, необходимы такіе сильные удары, чтобы мы оцувствовали, очнулись и подумали бы о «честолюбіи» быть ненавистниками зла.

Но какихъ бы ужасовъ, трагедій и драмъ ни насмотрѣлись земцы и думцы, еслибы они почувствовали склонность къ «честолюбію» указаннаго выше типа, всѣ эти ужасы, драмы и трагедіи, распавшаяся на немногія, но совершенно опредѣленные группы — нищеты, невѣжества, порока, легко могутъ быть парализованы положительно въ самой большей своей части тѣми «божедскими мѣрами», которыя предлагаетъ крестьянская рукопись. Если можно миллионы банковыхъ денегъ пускать по вѣтру и въ трубу, то на эти миллионы можно приобрести и земли, и лѣса. А «баланецъ» отъ дохода съ этихъ заселяемыхъ земель навѣрное будетъ не такой, какой подводился въ итогахъ операций скопинскаго банка. Но, не говоря о прямой выгодѣ устраивать по-божески пролетаріатъ, не дожидаясь, пока онъ самъ устроитъ свое существованіе на общественный счетъ при помощи тюремъ и больницъ, теорія «жизни трудами рукъ своихъ» должна быть проповѣдуема какъ образецъ справедливѣйшаго существованія на землѣ; какъ существованіе, при которомъ возможно удовлетворять самому всѣмъ своимъ потребностямъ, и слѣдовательно жить широко, всѣми сторонами своей личности. Надобно, чтобы «типъ» человѣка, лично удовлетворяющаго всѣмъ своимъ потребностямъ, привлекалъ къ себѣ всѣхъ тѣхъ, кому дорога справедливость, людей изъ всѣхъ сословій, ощущающихъ въ себѣ силы взяться за плугъ, и для этого нужна школа, земледѣльческое всесословное училище; благодаря ему, трудъ этотъ долженъ стать не бѣдствіемъ изъ-за насущнаго хлѣба, а счастьемъ жить, соединяя въ одной своей личности слугу и хозяина.

Приглашать теперь въ крестьянскую избу лицъ «благороднаго» происхожденія, увѣренныхъ, что если не будетъ больше урядническихъ мѣстъ, то для народившагося «благородства» изобрѣтутъ новыя, безчисленнѣйшія мѣста, конечно съ жалованьемъ — нѣсколько страшновато: крестьянская изба очень и очень часто можетъ напугать; мрачна она и трудно въ ней, и грязно, и холодно, и вообще не дай Богъ. Получать жалованье и играть въ винтъ гораздо все-таки лучше, но въ утѣшеніе такимъ пугливымъ людямъ можно съ полнотой сказать, что изба эта не всегда будетъ такъ мрачна, какою мы привыкли ее представлять себѣ, что она способна развиваться, увеличивать и чистоту, и свѣтъ, и интересъ внутренняго обихода: какая угодно книга ничуть не лишняя въ ней, но пока нѣтъ достатка еще купить ее. Но ужъ и теперь можно подиѣлать въ избѣ крестьянской кое-что цвое, лучшее, чѣмъ было прежде. Вонъ по тихвинскому тракту мужики выдумали устраивать печи по новому образцу! Старая печка устраивалась такъ, что баба непременно должна была влѣзать головой въ самое пламя,

должна была горбиться, и рѣдко лицо ея не носило признаковъ сажки. Теперь мужики сдѣлали такъ: трубу отодвинули дальше и поставили надъ самымъ горниломъ, такъ что входъ въ печку сталъ открытымъ, а загнетку выдвинули впередъ, какъ столъ, на которомъ баба можетъ орудовать, не сгибаясь. Да и носъ ея теперь никогда ужъ не запачканъ сажей; нынѣшнихъ мужикамъ ужъ не нравится это, да и бабы желаютъ держать себя поделикатѣй: старыя сгорбленные бабы съ сажей на носу выходятъ изъ моды. А современемъ, нѣтъ сомнѣнія, разнообразіе внутренняго обихода крестьянской избы, нисколько не измѣняясь въ своей многосложности, значительно облегчится въ смыслѣ техники, внѣшнихъ удобствъ, комфорта. Знатки техническаго дѣла проводятъ рѣзкую черту между изобрѣтательностью по этой части въ Англіи и въ Америкѣ; въ то время, когда изобрѣтательность Англіи, рассчитанная на массы колоніальныхъ полудикихъ жителей, стремится забросать весь свѣтъ одѣлами, сапогами, рубашками и т. д., т. е. стремится отнять у дикаря удовольствіе все это дѣлать своими руками, и, обезсиливъ его, обезмысливъ его личное существованіе, превращаетъ его въ раба, поденщика, трудящагося не для себя, не по своей охотѣ, а по нуждѣ, дѣлающаго не нужное ему, скучное и всегда трудное черное дѣло, что и ведетъ дикаря къ тоскѣ, водкѣ и смерти, — американская промышленность, продѣлывая то же, что и англійская, принуждена однако рассчитывать на потребителя, не поддающагося обезсиливанію и обезличиванію. Эмигрантъ, изъ котораго выросла вся Америка и который постоянно стремится туда со всѣхъ концовъ свѣта, въ огромномъ большинствѣ случаевъ — человѣкъ сильнаго характера; онъ бросаетъ родину не всегда потому, что тамъ тѣсно, но потому, что ему не по душѣ стало жить, потому, что съ нимъ случилась драма душевная, послѣ которой ему надо бѣжать; онъ идетъ потому, что не можетъ подчиниться такимъ-то и такимъ узаконеніямъ, его гонитъ съ родины возмущенная совѣсть, кровная обида... Огромное большинство эмигрантовъ не можетъ не чувствовать себя совершенно *одинокими*, разорвавшими связи съ прошлымъ и обреченными начинать новую жизнь на новомъ мѣстѣ... Гдѣ и съ кѣмъ? Въ невѣдомой, незнакомой странѣ, среди чужихъ людей, не зная ни языка, ни обычаевъ!... Для такого человѣка нельзя не сосредоточиться только въ самомъ себѣ, нельзя не рассчитывать только на *себя*, на *свои* силы, на *свой* умъ, на *свое* умѣнье... Обиліе людей такого типа заставило американскую промышленность помогать существованію такихъ, на *свои* только силы полагающихся людей, заставило техническую изобрѣтательность направлять свою мысль на такіе изобрѣтенія и техническія усовершенствованія, которыя бы облегчали существованіе не огромной фабрики, какъ въ Англіи, а отдѣльнаго человѣка; все, что касается удобства отдѣльной личности, отдѣльнаго дома, возможности одинокому человѣку *самому* улучшить свое существованіе — все это

изобрѣтено Америкой: швейная машина, доступная для каждаго дома, — не швейная фабрика на весь міръ. И въ этомъ отношеніи нашъ крестьянскій домъ, отдѣльная его семья могутъ дѣлать множество облегчающихъ трудъ заимствованій, нисколько, повторяю, не нарушая разнообразія труда, не убавляя его разносторонности и интереса. То, что теперь дѣлается и трудно, и неуклюже, и иногда вредно для здоровья, то же самое можетъ дѣлаться и легко, и изящно, и не изнурительно физически. Школа должна все это откопать и познакомить со всѣмъ этимъ добровольцевъ земледѣльческаго труда, если только они будутъ.

II.

На этомъ, кажется, можно окончить съ «мечтаніями» по поводу практическаго осуществленія на дѣлѣ теоріи, основанной на «первородномъ законѣ», повелѣвающемъ всякому жить только трудами рукъ своихъ. Надѣюсь, что мечтанія эти не взволновали читателя настолько, чтобы онъ могъ размечтаться до предѣловъ невозможнаго, а главное, недозволенаго; надѣюсь потому, что всѣ мои мечтанія весьма легко сосредоточиваются въ желаніи «попробовать». И вотъ, единственно только во имя этого скромнѣйшаго желанія, мнѣ хочется, помимо указанія на практическую пользу этой пробы, указать еще и на сторону эстетическую, коснуться хотя слегка красоты человѣческаго типа, удовлетворяющаго всѣмъ своимъ потребностямъ, — типа, составляющаго самый существенный доводъ въ пользу скромнаго желанія «попробовать».

Какъ-то разъ въ деревнѣ вышелъ я отъ нечего дѣлать на крыльцо. Было утро, раннее, ярко-солнечное, крѣпко-морозное и совершенно тихое. Передъ крыльцомъ дворникъ расчищалъ дорогу отъ снѣга, а по мосткамъ, уже расчищеннымъ, проворно шла какая-то крестьянская женщина; шла она легко, бодро, смотрѣла необыкновенно весело и чисто, и вся она была такая складная, легкая, крѣпкая, веселая, что и мнѣ стало весело, когда я рассмотрѣлъ ее. Крѣпка и складна была на ней и одежда, и обувь: кацавейка была такъ простегана, что топоромъ не разрубить, и застегнута на стройной груди такъ плотно, точно обѣ онѣ съ кацавейкой вылиты изъ мѣди, но вылиты изящно, стройно, легко и почему-то весело для глаза.

— Купите, баринъ, яицъ... десятка полтора никакъ! почему-то весело сказала она, показывая маленькій узелокъ съ яйцами. — Больно ужъ деньги нужны! прибавила она и также весело почему-то.

— Надуть яйца-то у ней, ужъ видно, взять... Новое хозяйство начинается! сказалъ дворникъ. — Она еще даве приходила, да вы спали...

— Въ самъ дѣли, баринъ, ужъ возьмите. Право слово, съизнова жить начинаю, а капиталу всего на всего вотъ что за эти яйца дадите...

И все это опять-таки веселымъ голосомъ говорить.

— Развели меня вчерась, дай Богъ здоровья

судьямъ, съ моимъ мужемъ-дуракомъ... Все они у меня съ матерью обобрали, только и оставили вотъ яйца, потому куры мои... Ну, да Богъ съ ними: я рада, что хоть вырвалась изъ этой каторги...

— Какъ-же ты будешь жить?

— Вотъ, не жить еще! Знаю, жить буду... Я въ случаѣ чего всякую и мужицкую работу умию. Господи помилуй! Не прожить! Теперь-че опять дядя у меня вдовый, вотъ къ нему и пойду — тоже ему нужна помощь... Кокъ-нибудь проживу. Руки, слава Богу, не отсохли, ноги тоже не отнялись... Мнѣ бы только хотъ чутьчку на первое время денегонько, самую малость... А то авось Господь... Какъ такъ не прожить, коли никакого во мнѣ пороку нѣту?

— Ужъ видно, надо яйца-то взять — добавилъ дворникъ.

Яйца были куплены, и баба, поразказавъ еще звонкимъ свѣжимъ голосомъ про свою каторгу съ дуракомъ-мужемъ и злою свекровью, весело распрощалась съ нами и такою-же проворной, легкой походкой, легкой, крѣпкой и веселая, ни капли не унывающая, ушла начинать новую жизнь съ сорока копѣйками въ карманѣ... «Господи помилуй, не прожить!» сказала она — и это выраженіе съ нѣкоторымъ страхомъ предъ словомъ «не прожить» и удивленіемъ предъ мыслью о невозможности *для нея-то*, для такой-то бабы, не прожить на бѣломъ свѣтѣ, сразу сдѣлали для меня понятною эту хорошую крестьянскую женщину.

Да, эта женщина проживетъ на бѣломъ свѣтѣ сама, одна; она знаетъ *всякую* работу — подумайте только объ этомъ *подчеркнутомъ* словѣ! Какъ будетъ радъ ей вдовый дядя, у котораго теперь въ домѣ все идетъ врозь; ребятишки, скотина — все это грязно, заброшено и полуголодно; онъ самъ, бѣдняга, теперь мѣсятъ хлѣбы, и хлѣбы выходятъ какъ кирпичи. Но явится эта женщина, расплатившаяся сорока копѣйками со всѣми деревенскими долгами и съумѣвшая еще купить дѣтямъ дяди гостинцевъ, тѣхивенскихъ кренделей, — и точно свѣтъ озаритъ разстроившую, скучную, грязную избу. Скотина тотчасъ почувствуетъ, что пришелъ человѣкъ, безъ котораго скучно и голодно жилось. Отъ одного ея голоса — отъ этого сорочьего, бабьяго стрекотанія — вдругъ все ожило, и теленокъ, повинувшись чувству радости, возбуждаемому въ немъ этимъ голосомъ, невольно идетъ къ крыльцу, къ дому, гдѣ появилась эта баба, чувствуя, что тутъ долженъ быть источникъ будущаго его благополучія... Все — отъ куръ до стѣнъ и людей, наполняющихъ избу, — начинаетъ *жить*. Ухваты, горшки, печка, скотина — все ожило, задымилось, застучало, пошло ходить, убираться, чиститься, ѣсть и пить, и работать, словомъ, *жить на счетъ*. А не будь этого пристанища, женщина эта нигдѣ не пропадетъ — она и мужицкую работу въ случаѣ чего можетъ исполнять. Еще дѣвчонкой, которой впору только бы въ куклы играть, она ужъ знала много всякихъ занятій, утрою играла, пѣсни пѣла, а вечеромъ мірскую очередь исполняла за мамку или за тятюку. въ колотушку стучала и въ кабакъ за отцомъ хо-

дила, а потомъ и за дровами въ лѣсъ ѣздила, и косить умѣть, и въ сторожихи на желѣзную дорогу пойдеть—словомъ, она, мастерица во всякой женской работѣ, не пропадетъ, если судьба поставитъ ее и на мужскую.

Перейдемъ теперь въ другой кругъ людей, въ такъ называемое «общество», общество средняго сорта, въ такъ называемую нашу русскую буржуазію, и вы увидите, до какой степени здѣсь, гдѣ нѣтъ ни мужицкихъ сапогъ, ни мужицкихъ разговоровъ, ни грубыхъ мужицкихъ ухватокъ, до какой степени здѣсь огромно уродство и въ мужчинахъ, и въ женщинахъ, до тонкости разработавшихъ свои отдѣльныя, спеціальныя мужскія и женскія дѣла и свойства, и васьколько завидна и прекрасна участь грубой крестьянки, сьумѣвшей въ одномъ своемъ лицѣ сосредоточить и мужскія, и женскія свойства и спеціальности.

Въ «Русской Мысли» за 1884 и 1885 годъ были напечатаны три беллетристическія произведенія, чрезвычайно замѣчательныя въ томъ отношеніи, что два изъ нихъ (*Домшумасъ* и *Магистръ и Фрося*) какъ нельзя лучше рисуютъ тяжкую безсодержательность семейныхъ отношеній буржуазной семьи, а третье (*Мои вдовы*), къ нашему величайшему удовольствію, затрогиваетъ вопросъ о выходѣ изъ этихъ пустыхъ, хотя и удобныхъ, но далеко нравственно не удовлетворяющихъ условій жизни. И выходъ этотъ указанъ авторомъ до такой степени неожиданнымъ, оригинальнымъ и прекраснымъ, что рассказъ *Мои вдовы* нельзя не считать однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ литературныхъ произведений, что читатель и увидитъ ниже.

Всѣ три литературныя произведенія написаны женщинами, и поэтому во всѣхъ этихъ работахъ замѣчается особенное вниманіе къ такимъ сторонамъ современной жизни и буржуазной среды, которыя касаются главнымъ образомъ положенія въ этой средѣ женщины, женскихъ напастей и бѣдъ, женскихъ огорченій, мукъ и желаній. Иногда авторы, увлеченные искренностью сознаній своею горькой участи, не задумываются изображать такіе моменты этихъ мученій, которыхъ ни одинъ изъ беллетристовъ-мужчинъ не привыкъ касаться, не знаю впрочемъ почему, или касается только для того, чтобы цегольнуть зоманзмомъ или прорваться насчетъ натуралистической клубнички. Всѣ такого рода сцены написаны авторами упомянутыхъ повѣстей совершенно не такъ и не съ той цѣлью, какъ это дѣлаютъ господа золансты, а вполне цѣломудренно, чистосердечно, чисто и поэтому весьма серьезно и трогательно: это не клубничка, а муки, настоящія терзанія чловѣка, настоящія «ахъ спальныхъ».

Изъ огромнаго матеріала, который эти повѣсти могутъ доставить читателю, желающему серьезно подумать о теперешней русской буржуазной семьѣ, я возьму только одну самую характерную сцену, какъ наиболѣе яркій документъ въ пользу того, что среда, живущая трудами рукъ своихъ, куда совершенно той, гдѣ не сѣютъ, не жнутъ, въ буквальномъ смыслѣ, а живутъ, какъ говорится, на готовомъ.

Вотъ эта сцена.

Фрося (героиня повѣсти *Магистръ и Фрося*) родила ребенка, дѣвочку, и вотъ что она ощущаетъ: «Сначала Фрося ничего не чувствовала кромѣ наслажденія избавитися отъ физическихъ мукъ; въ первыя минуты послѣ родовъ ее не могло быть огорчить извѣстіе о смерти ребенка, но когда дѣвочку прибрали и положили къ ней на кровать, и она, приподнявшись, взглянула на это маленькое сморщенное личико, въ ней вдругъ загорѣлась такая страстная любовь къ ней, что она готова была жизнь свою отдать за это безпомощное созданіе» («Русск. Мысль» 1883 г., кн. IX, стр. 111).

Вотъ что чувствовала Фрося.

Магистръ, Петръ Ивановичъ, напротивъ, сдѣлавшись отцомъ этого безпомощнаго существа, чувствовалъ къ нему нѣчто другое: «И такъ, то, чего онъ ужасно боялся, свершилось: ребенокъ родился и былъ живъ. Онъ (Петръ Ивановичъ, отецъ ребенка) оперся головой на руку и чуть не скрежеталъ зубами и въ то время, когда торжествующая акушерка хлопотала около дѣвочки, стараясь какъ можно теплѣе укутать ее въ пуховую подушку, отецъ былъ въ отчаяніи: онъ готовъ былъ проклинать часъ, въ которой зародился младенецъ; онъ совѣтъ не желалъ его и къ тому же былъ такъ увѣренъ, что судьба сжалится надъ нимъ и ребенокъ родится мертвымъ. И вдругъ такое страшное разочарованіе!» (тамъ же).

За рожденіемъ этого ребенка слѣдуетъ рядъ сценъ, по истинѣ ужасающихъ. Фрося, готовая отдать за него жизнь, и Петръ Ивановичъ, жаждущій его смерти, начинаютъ поступать каждый сообразно властвующимъ или побужденіямъ. У Фроси нѣтъ молока. Она проситъ, чтобы Петръ Ивановичъ нанялъ кормилицу; Петръ Ивановичъ отказывается. — «Но если не кормить ребенка, то онъ умретъ сегодня же... онъ не вынесетъ коровьяго молока!...»

— «Такъ что-жъ дѣлать?» говоритъ Петръ Ивановичъ. — «На колѣняхъ умоляю! Ради всего святого успокой меня! Я съ ума сойду!» Петръ Ивановичъ остается жестокимъ, непреклоннымъ, и когда Фрося начинаетъ метаться въ страшныхъ мукахъ гнѣва, страха и отвращенія, Петръ Ивановичъ какъ бы выжидаетъ голодной смерти ребенка, а пожалуй и смерти Фроси, и хотя приходится въ ужасѣ отъ ея мученій, отъ ея начинающагося безумія, но ровно ничего не дѣлаетъ ни для Фроси, ни для ребенка, и когда она дошла до того, что доктора вынуждены были привязать ее къ кровати, Петръ Ивановичъ, *скорчившись, прижмался за диваномъ въ сосѣдней комнатѣ...* (стр. 115).

Спрашивается, что же это за извергъ? И это еще ученый, образованный чловѣкъ, магистръ! Нѣтъ, онъ — не извергъ: на той же 115 стр. мы находимъ такую строчку: «Спасите ее, докторъ, спасите!» — говорилъ Петръ Ивановичъ, схвативъ руку доктора и прильнувъ къ ней губами». Стало быть, сердце у Петра Ивановича не совсѣмъ каменное, и мы попробуемъ отнестись къ нему спра-

ведливо. Онъ — ученый, и хотя опытъ его профессорства былъ неудаченъ, но онъ не оставилъ своей цѣли — сдѣлать карьеру ученаго; онъ поглощенъ своей специальностью, онъ добивается, чтобы ученый мiръ призналъ его; специальность забрала его въ руки, онъ весь сосредоточился въ ней; каждый шагъ его, какъ специалиста, обязываетъ его поступать извѣстнымъ образомъ, онъ весь во власти своей специальности, для нея работаетъ его умъ, она владѣетъ его сердцемъ... А Фрося? Фрося — тоже специалистка, и именно тѣмъ, что она Фрося — и больше ничего. Если Петръ Ивановичъ узокъ, потому что весь ушелъ въ успѣхъ диссертаци и ничего такъ не жаждетъ, какъ того, чтобы въ концѣ-концовъ ученый мiръ сказалъ про него: «Молодецъ Петръ Ивановичъ!» — то и Фрося также ушла въ то, что она женщина, что ее надобно любить, что ее нельзя по цѣлымъ днямъ оставлять одну, что она должна жить, что ей, Фросѣ, нельзя такъ сидѣть, «одной». Ей мѣшаетъ все, что для Петра Ивановича нужно, интересно, важно. Петру Ивановичу все мѣшаетъ, что нужно Фросѣ: постоянное вниманіе, постоянныя прогулки подъ руку, постоянные разговоры «обо всемъ». Вѣдь положила руку на сердце, развѣ Фрося пойметъ, что такое обременять голову Петра Ивановича? Для этого тоже надобно быть профессорско-специалистомъ, также съзвистись въ достиженіи крохотной цѣли. Но поймемъ она или не пойметъ, ей-то вовсе не нужно и не интересно быть обремененной заботами Петра Ивановича, — она сама по себѣ; она совершенно законно говоритъ: «я хочу жить», но въ буржуазномъ обществѣ она можетъ жить только крайне односторонне: какъ женщина, до мельчайшихъ подробностей развивая свои собственные женскія требованія; мужчина долженъ быть энергиченъ и твердъ, женщина — нѣжна и блѣдна «какъ лилія»; вотъ специальности буржуазныхъ отношеній, въ грубой формѣ выраженные. Это не крестьянка, которая сама одна умѣетъ и работать какъ мужикъ, и нѣжныя пѣсни ребенку пѣть. Ребенокъ для Фроси — все; она жизнь готова отдать за него; для Петра Ивановича онъ — гибель, онъ — конецъ его карьеры, онъ, этотъ маленький человѣкъ, которому всего-то нужна одна рюмка молока въ день, — онъ является на свѣтъ для того, чтобы терзать Петра Ивановича какими-то новыми обязанностями, своею безпомощностью, болѣзнью и т. д., наполняя ими то сердце, которое уже отдано во власть наукъ, карьерѣ... Этотъ пискъ вытѣсняетъ изъ его сердца старую хозяйку — карьеру; Петръ Ивановичъ *долженъ* трепетать этого, потому что, отдавъ онъ свою внимательность этому крошечному существу, — онъ пропалъ буквально, онъ долженъ уйти съ той дороги, на которой стоятъ, онъ завтра же «отсталъ въ наукѣ», онъ завтра за штатомъ и все его существованіе — на воздухъ...

Эта сцена груба и жестока, но кто же не скажетъ, что такіе отношенія въ формахъ значительно болѣе мягкихъ, чѣмъ отношенія Фроси и Петра Ивановича, не характеризуютъ вообще се-

мейныхъ отношеній буржуазной среды? Желѣзные законы сдѣлали въ этой средѣ женщину — *слишкомъ* женщиной и мужчину — *слишкомъ* мужчиной. Каждый *особенно* слишкомъ развитъ въ сторону своего пола, причемъ мужчина, мало того, что *слишкомъ* мужчина, но всегда служенъ еще какою-нибудь специальностью, то есть нравственно, Богъ знаетъ, какъ далеко отъ своей жены, а связь между ними, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, далеко не гармонична, далеко не такая, какъ у мужика и бабы, которые живутъ и интересуются и дѣлаютъ одно и то же дѣло, причемъ и каждый изъ нихъ отдѣльно можетъ и умѣетъ дѣлать это дѣло и самъ одинъ, безъ чужой помощи.

Въ повѣсти *Дошутылась* представлена другая буржуазная драма; здѣсь между мужемъ и женою нѣтъ ужъ никакой, маломальски достойной уваженія связи. Даже дѣтей нѣтъ. Онъ — земскій гласный, а она — жена его... только жена, — жена, которую онъ *долженъ* любить, которая *любитъ* его... любить *такъ*, «искусство для искусства»... и выходитъ тяжелая картина безсодержательной и некрасивой жизни.

Картины этой безсодержательной жизни могли бы повергнуть читателя въ нескондную, мрачную тоску, еслибы по счастью не было такихъ литературныхъ произведеній, въ которыхъ бы не доказывали, что въ этой средѣ не умерла здоровая, прямая, свѣтлая мысль, что человѣкъ стремится выйти изъ этихъ теней пустоты и безстрашно идетъ къ правдѣ, смѣло ищетъ такихъ формъ жизни, при которыхъ *душа* чувствовала бы себя широко живущей и чистой. Разсказъ г-жи Н. Л. *Мои вдовы* — одно изъ такихъ замѣчательныхъ по новизнѣ идеи произведеній.

Героиня разсказа, образованная женщина, жена образованнаго человѣка, живущая въ возможно благоприятныхъ и разумныхъ семейныхъ отношеніяхъ, словомъ, — женщина умная и считающая себя счастливою женою, живя подолгу въ деревнѣ, начинаетъ невольно наблюдать тѣхъ деревенскихъ женщинъ, съ которыми сталкивается ее судьба, и наблюдая, какъ умная, развитая женщина, начинаетъ замѣчать, что въ этихъ грязныхъ крестьянкахъ есть что-то новое для нея, что-то такое, чему можно даже завидовать. Ее поражаетъ именно эта самостоятельность крестьянской женщины, эта красота справедливости существованія, нравственная полнота его, дающая возможность понять слово *жизнь* шире, покойнѣе и свѣтлѣе... Въ параллель съ этими самостоятельными женщинами деревни, превосходно изображенными въ лицѣ двухъ крестьянскихъ вдовъ, авторъ приводитъ типъ велико-свѣтской вдовы, которая послѣ смерти мужа остается совершенно невѣдущей и безпомощной во всѣхъ отношеніяхъ и должна бы пропасть, какъ былянка, еслибы объ ея участи не заботилась масса родни, которая за нее думаетъ, дѣлаетъ, распоряжается, а современемъ выберетъ ей мужа и опять водворитъ въ новую спальню для продолженія существованія специально по женской части. Скоро становится вдовой и героиня разсказа, отъ лица которой ве-

дется ея рассказъ. Для нея, какъ для женщины образованнаго общества, предстоитъ та же дорога, что и для изображенной ею великосвѣтской вдовы; о ней, какъ о женщинѣ, позаботятся, устроятъ, похлопочутъ; ей легче идти по этому пути: у нея дѣти, надо ихъ пристроить... а она—женщина... слабое существо... Но она уже видала неслабыхъ женщинъ, она уже поняла красоту этого типа, и она сознательно предпочитаетъ этотъ типъ; ей уже тѣсно жить въ обществѣ, гдѣ обязательно «услуживать» женщинамъ; она чувствуетъ приливъ силъ, дающихъ ей право быть самостоятельной, независимой, непорабощаемой ни услужливостью, ни деспотизмомъ, и она рѣшаетъ жить такъ, какъ живутъ ея деревенскія вдовы, эти женщины-мужчины.

Она рѣшила сдѣлать такъ, возвращаясь въ деревню съ похоронъ мужа.

Приближаясь къ дому, она шла полями:

«Великая скорбь, которую она несла въ своемъ сердцѣ, — невѣстная, какъ эти необъятныя поля, могучая, какъ эта земля, все покоряющая — какъ грозно поднявшаяся стихія, встала, заступила ей дорогу, пошатнула и ударила о сыру землю. На грудь этой нѣмой, но могучей матери хлынули потоки слезъ, задержанные мелочью людскою; ласково приняла росистая трава изнемогшее тѣло, ласково дышала воздухъ, ласково обступала кругомъ горячая, цвѣтущая рожь.

— «Родная, святая, *отчаянная вдова!* рыдала бѣдная женщина, страстно прижимаясь къ родной землѣ, — побереги, не оставь меня съ малыми дѣтушками! Дай мнѣ силу твою, молчаливую, великую, неизмѣнную! Помоги мнѣ ихъ выкормить, вырастить, *тебя любить научить!*

«Жизнь, жизнь зоветъ! Вставай же и иди на встрѣчу ей. Мѣсто, мѣсто дайте *моей барынь въ рядахъ своихъ*, вы, тянущія ламку день и ночь, безъ передышки, безъ ропота и уклоненій; вы — держащія сиротъ, домъ и дѣла *на уровень мужскою и женскаго труда, сложныхъ вѣстятъ*, вы — бодрія, терпѣливыя, безупречныя русскія вдовы и матери! Подайте руку, встрѣчайте — не посрамить она васъ!» (*Русск. Мысль* 1884 г., кн. III, стр. 69.)

Рассказъ этотъ положительно превосходенъ, и я желалъ бы, чтобы его перечитали тѣ, которые не замѣтили его или не обратили на него серьезнаго вниманія. Онъ даетъ вамъ смѣлость не только думать и мечтать о томъ, «какъ жить свято», но и въ самомъ дѣлѣ пробовать свято жить. Вы видите, что ужъ пробовать — и это одно изъ самыхъ драгоценныхъ движеній души искреннихъ русскихъ людей.

VI. Побойще.

(Изъ путевыхъ замѣтокъ.)

I.

Въ воскресенье, 27-го февраля, въ такъ называемый «прощенный день», я проводилъ вечеръ въ

одномъ знакомомъ бакинскомъ семействѣ; вечеръ тянулся обычнымъ въ настоящее время порядкомъ скорѣе скучно, чѣмъ весело, и за отсутствіемъ мало-мальски живого разговора, котораго теперь что-то нигдѣ не слышно, мирно приближался къ благополучному окончанію, т. е. ужину, за которымъ на этотъ разъ предполагалось «пробовать» новый бурдюкъ бѣлаго кахетинскаго вина. Маленькіе стаканчики боцоночками (хозяинъ былъ поклонникъ «русскаго стиля») уже позвякивали гдѣ-то въ отдаленіи, какъ въ комнату, въ которой было человѣкъ семь-восемь знакомыхъ хозяина, поспѣшно вошелъ слуга, блѣдный и встревоженный, и ломаными русскими языкомъ, какими говорятъ обыкновенно «восточные челоѣки», объявилъ, что въ городѣ «бунтъ», что «приказываютъ» запереть ворота и что потребованы войска...

Не то чтобы «испугъ» или особенную тревогу произвало это извѣстіе, а скорѣе какъ бы серьезное недоумѣніе. «Вѣдь вотъ, подумалось невольно каждому изъ присутствовавшихъ, — мы тутъ сидимъ, скучаемъ, не знаемъ, какъ дотянуть время до ужина, болтаемъ о чемъ придется, не найдемъ разговора, который можно бы вести безъ усилій, не найдемъ темы для этого разговора, которая бы искренно сознавалась нами, какъ вполне серьезная... а тамъ, гдѣ-то, вотъ за этими стѣнами, за этими окнами, заставленными цвѣтами и плотно отъ стороннихъ глазъ занавѣшенными, тамъ что-то бурлитъ, и бурлитъ до мордобитія, до свалки... до призыва войскъ... Мы сидимъ, скучаемъ, зѣваемъ, ждемъ книги, чтобы она оживила нашу изнывающую въ безсодержательности мысль, дала бы тему для разговора, только для разговора «до ужина»... а тамъ вотъ безъ разговоровъ есть какія-то такия «темы», изъ-за которыхъ... войска зовутъ!.. И ворота велятъ запереть!»

Словомъ, извѣстіе, принесенное слугою, заставило всѣхъ призадуматься о томъ, что мы всѣ здѣсь бывшіе, образованные городскіе обыватели что-то забыли, забыли что-то важное, серьезное, и вотъ оно, это серьезное, напоминаетъ о себѣ, напоминаетъ грубо и, главное, непонятно намъ... Не страшно намъ стало — нѣтъ, а какъ-то «виновато», горько за свою тоскливую тяготу незнающаго «нужды» существованія...

— Вотъ проклятая жизнь! подумали мы, относя слово «проклятый» не къ жизни тѣхъ, кто теперь «тамъ» затѣвалъ побоище, а къ себѣ, къ своему интеллигентному существованію... Невольно почувствовалась какая-то связь между нашимъ интеллигентнымъ нравственнымъ извуреніемъ и тѣми нравственными волненіями, которыя тѣшили *мы*, въ глубинѣ массы людей побоища, хотя мы къ несчастью совершенно не понимали, что именно *мы* таимся, и не могли бы этого объяснить толково и опредѣленно.

Разумѣется, всѣ, кто былъ въ комнатѣ въ ту минуту, когда вошелъ слуга съ извѣстіемъ о побоищѣ, поспѣшили «своими глазами» удостовѣриться въ томъ, что именно происходитъ въ городѣ. Дамы отправлялись смотрѣть побоище на балконъ,

и несмотря на то, что на дворѣ стояла тьма и что балконъ выходилъ вовсе не на ту сторону, гдѣ могло происходить побоище, такъ какъ передъ самымъ балкономъ было море, въ волненіи утверждали, что слышно, какъ стрѣляютъ, что слышны стоны, крики, плачъ и даже огонь какой-то ужасный вспыхиваетъ гдѣ-то на горахъ, вѣроятно пожаръ. Между тѣмъ и вѣтеръ, и шумъ моря, издавашіе возможности что-нибудь слышать, и полная тишина и безлюдность набережной могли бы убѣдить въ противномъ, т. е., что ни пороха, ни плача, ничего этого нѣтъ. Оно въ дѣйствительности такъ и было. Когда мы вышли на широкій дворъ, прилегающій къ дому и выходившій на набережную, то сквозь желѣзную рѣшетку, которою домъ этотъ окруженъ, могли видѣть на далекое разстояніе совершенно пустынную набережную, по которой носились столбы несносной бакинской пыли. Изрѣдка пробѣжалъ экипажъ съ фонарями (фонари здѣсь у каждаго извозчика), и только по быстротѣ его ѣзды можно было чувствовать, что въ городѣ происходитъ что-то тревожное. Улицы, выходящія на набережную и отъ нея поднимающіяся въ центръ города, къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ должна была происходить драка, также были почти совершенно пусты; изрѣдка попадались прохожіе, то по одиночкѣ, то небольшими группами, но особеннаго оживленія въ нихъ замѣтно не было... Вотъ плетется пьяный солдатъ-матросъ съ ружьемъ на плечѣ и въ разстегнутой шинели. На нашъ вопросъ—«гдѣ побоище и кончилось-ли?»—онъ бормочетъ какую-то бессмыслицу и, споткнувшись о камень, падаетъ въ канаву. Поднимаясь все выше по улицѣ и углубляясь въ городъ по направленію къ такъ называемому Молоканскому саду,—группы людей становятся чаще. Иные очень громко разговариваютъ; слышенъ гдѣ-то въ переулкѣ свистъ, и свистъ, надо сказать правду, разбойничій; переулокъ темный, а вѣтеръ буйный, разнося этотъ свистъ по окрестности, заставляетъ почувствовать что-то жуткое... Но это только минуто. Хотя группы людей попадаютъ все чаще, но нельзя было не видѣть, что они уже расходятся, что все уже «кончилось», и народъ валитъ по «домамъ»... Вотъ и солдаты, тамъ и самъ расположившіеся группами, и офицеры, тревожно расхаживающій по своей линіи, и опять какія-то фигуры, то по одиночкѣ, то группами... По всему можно было замѣтить, что дѣло дѣйствительно окончилось, и теперь толкавшійся на мѣстахъ побоища народъ разсуждалъ о томъ, что было, или отъ нечего дѣлать ждалъ, не будетъ-ли еще чего? Самое оживленное мѣсто въ эту пору (былъ уже десятый часъ вечера) было около Молоканскаго сада; садъ этотъ находится по близости отъ самыхъ бойкихъ и шумныхъ мѣстъ города, и какъ мѣсто гулянья, обставленный трактирами съ арфистками, которыхъ такъ любятъ посѣщать разнообразнѣйшіе пришлые элементы морскихъ и фабричныхъ рабочихъ разнаго званія и положенія, садъ представляетъ мѣсто довольно оживленное и бойкое: здѣсь всегда много народу. Изъ разговоровъ

толпившагося здѣсь люда, изъ котораго многіе были съ начала и до конца, а иные, какъ кажется, даже и участвовали, ничего существенно важнаго, при всемъ нашемъ желаніи, разузнать оказалось невозможнымъ. Именно въ чемъ дѣло-то, никто не могъ намъ растолковать: ни участники, ни зрители. ни даже «очевидцы, хвалившіеся, что все видѣли своими глазами, и притомъ съ начала и до конца»...

— Видите-ли, начиналъ было какой-нибудь изъ этихъ очевидцевъ.—Я самъ былъ и видѣлъ. Дѣло очень просто: началось съ того, что одинъ рабочий, матросъ, пришолъ въ лавку, въ чайную, и разбилъ съ пьяну лампу, а хозяинъ ударилъ его за это по мордѣ.

— Нѣтъ, не ударилъ; вовсе этого не было. Хозяинъ сталъ требовать десять цѣлковыхъ, а мастеровой закричалъ: «грабятъ!»—ну, и пошло.

— Но почему же онъ закричалъ «грабятъ», когда его не грабили?

— Да потому, что всѣ пьяны были. Очень просто!

— Нѣтъ-съ, не потому-съ?.. Онъ требуетъ десять цѣлковыхъ, когда можетъ быть она и трехъ рублей не стоитъ! Даже и рубля, можетъ быть, не стоитъ. Нѣтъ, они—порядочные мошенники... Ужъ ежели ободрали человѣка, такъ они—мастера, это что говорить!

— Все-таки какъ же это всеобщее-то буйство началось?

— Да видите: оно, буйство-то, началось теперь дѣйствительно по случаю того, что подишли, подгуляли. Чтѣ ужъ! Надо говорить прямо, водочка-матюшка тутъ дѣло не послѣднее, а надо намъ сказать, что еще двѣ недѣли тому назадъ ужъ что-то затѣвалось... Помните, какъ осла пускали?

— Какого осла?

— Да изъ сада, на воздушномъ шарѣ осла пускалъ французъ какой-то.

— Ну, такъ что-же?

— Ну, тогда тоже народу скопилось около саду—глядѣть, какъ полетитъ оселъ въ небо... Ну, а какъ поднялся шаръ, да осла-то ударило объ загородку мордой, тутъ они и загалѣли!..

— Кто?

— Тутъ больше, кажется, татары...

— Всѣ галѣли; какое это удовольствіе? Привязать животное и пустить его чортъ знаетъ куда,—увеселеніе, нечего сказать! Тутъ тогда всѣ было бросились... Дѣло до того дошло, что французъ-то этотъ поѣхалъ въ фаэтонъ за осломъ за городъ, искать.

— Что жъ, нашелъ?

— Нашелъ. Здравъ и невредимъ. Стоитъ и оретъ. Ну, онъ его привезъ чуть-ли не въ фаэтонъ, показалъ публикѣ—живъ, молъ. Ну разошлись. А то такъ и лѣзутъ... Такъ вотъ видите: и тогда было озлобленіе...

— На кого же? Да француза или на татаръ? Да и причеъ же тутъ татары?

— Какъ причеъ? Плуты! Очень просто! Они вонъ всю землю городскую разворовали—въ одну ночь сколотить какую-нибудь печурку изъ камней

на пустомъ мѣстѣ, а по нѣкому закону она его, земля-то, ежели застроена.. Откуда-жъ они богачами-то дѣлаются? Все отъ этого, отъ плутовства!..

— Такъ позвольте, въ полномъ недоумѣніи вопрошаетъ внимательный слушатель этого разговора и разъясненія.—Я все-таки не понимаю... При чемъ же тутъ оселъ?

— Оселъ тутъ къ тому, что въ народѣ есть ожесточеніе... Вотъ почему я объ ослѣ упоминалъ. Потому, что дума у насъ безголовая,—вотъ почему!

— Это вѣрно! говорить кто-то съ полнымъ убѣжденіемъ.

— Тамъ все захватчики орудуютъ, воротились... Вотъ отъ этого и выходить безобразіе.

— Такъ народъ захватчиковъ хотѣлъ проучить?

— И захватчиковъ, да и такъ вообще...

— То есть?

— Чего «то есть»? Кабы у насъ полиція была, такъ ничего бы не было!.. А то, я говорю, нешто у насъ дума?

— Какая у насъ полиція! Смѣхъ одинъ... Только у губернаторскаго дома и есть одинъ городской, похожъ на человѣка, а то дуракъ на дуракѣ, шуты гороховые, а не полиція!..

— Вотъ я про это самое и говорю!.. Я говорю: будь у насъ порядокъ—ничего-бы и не было! А то четыре человѣка какихъ-то одровъ лѣзутъ на тысячу человѣкъ пьянаго народа—что же они могутъ сдѣлать?

— Да почему народъ-то лѣзетъ?

— Да потому и лѣзетъ, что нѣтъ начальства, вотъ почему! Кабы былъ живъ генералъ (я за-былъ фамилію), такъ при немъ бы этого не было... Нѣ-ѣтъ!.. Пррри-немъ бы, братъ, не разгулялись!

— При немъ-то? Праху бы не оставилъ!

— Прри-немъ бы ужъ извини! Онъ и безъ войска, одинъ бы всю эту сволочь разогналъ въ секунду!.. Ужъ онъ бы съумѣлъ... Бывало, гаркнетъ да топнетъ ногой—такъ... упаси, Царяца небесная!

— А что, почтенный, нѣбо у него черное было? проницески спрашиваетъ одинъ изъ слушателей.

— А тебѣ зачѣмъ?

— Да я хотѣлъ узнать, какой породы...

— Не знаю, черное или зеленое, или, можетъ быть, синее, а что вашему брату спуску бы не далъ! Нѣтъ, не попиrowали бы вы у него!

— А вы какого такого нашего брата знаете? Гдѣ вы съ нимъ познакомились?

— Да я вотъ тутъ все глядѣлъ, какъ вотъ такіе-то, на тебя похожіе—братъ должно быть—стекла изъ домовъ вышибали, а солдаты ихъ прикладами по спинѣ дули...

— По чѣмъ?

— По спинѣ.

— И чѣмъ же это?

— А прикладами, голубчикъ, прикладами... Что, не чешется спина-то?

— Нѣтъ, у меня ничего! Не чешется. А у кого-нибудь и очень зудитъ... Прикладами! Нѣтъ, господи, нѣтъ! нѣтъ! эта консерватическая мѣра не годится...

— Мудренныя слова говоришь, а все-таки спину-то чешешь послѣ приклада-то?

— Эту консервативность пора оставить. Довольно! Спина у насъ точно чесалась отъ этихъ древнихъ обычаевъ. Теперь какъ у васъ не зачесалась... Ишь ты какъ ловко—«сволочь бы разогнать!..» Самъ ты сволочь, я вижу!..

— А не хочешь, позову офицера?

— Я самъ офицеръ! поспѣшно отходя отъ разговаривающей группы, громко, во всю ночь, заключаясь оппонентъ «очевидца» и, ругаясь, исчезаетъ въ темнотѣ.

— Ужъ этотъ навѣрно былъ!

— Да я самъ его видѣлъ! Это непремѣнно поджигатель. Какъ есть такую морду я видѣлъ, какъ лавку тушили...

— Чью лавку?

— Да вотъ тутъ на углу, не знаю...

— Почему же ее сожгли?

— Почему-почему! Подите, разберите, почему? Потому что порядку нѣтъ никакого..

II.

Наслушавшись такихъ ничего не разъясняющихъ свѣдѣній и разсужденій, мы уже въ двѣнадцатомъ часу ночи возвратились по пустынной бакинской набережной домой, т. е. къ тому же гостепріимному хозяину, у котораго проводили вечеръ. Бурдюкъ уже былъ откупоренъ, вино разлито въ бутылки и ужинъ готовъ. Къ прежнимъ лицамъ присоединилось много новыхъ собесѣдниковъ, и разговоръ, на этотъ разъ «оживленный» происходившими въ городѣ событіями (да и стаканчики «бочоночками» наполнились весьма аккуратно), сдѣлался всеобщимъ и шумнымъ. Къ тѣмъ свѣдѣніямъ, которыя мы почерпнули изъ разговоровъ съ очевидцами на мѣстѣ побоища, прибавилось множество новыхъ, принесенныхъ новыми посѣтителями, изъ которыхъ нѣкоторые сами были очевидцами, а другіе разсказывали то, что слышали отъ очевидцевъ. И, несмотря на такое обиліе свѣдѣній, все-таки не было никакой возможности выяснить себѣ какой-нибудь существенный резонъ, никакой возможности найти видимый и ясный центръ всего происходившаго, отъ шума и хожденія толпами по базару до бросанія камней, поджога и разбитія лавокъ включительно.

То какъ-то выходило, что резонъ для всего происходившаго очень много, то не оказывалось ровно никакихъ резонъ, кромѣ того что, «молъ, праздники, народъ пьянъ». Но едва дѣло упрощалось до такой степени, какъ сама собой для всѣхъ становилось ясною вся нерезонность такой простоты взглядовъ. Народъ празднуетъ девяносто дней въ году, а въ кабакѣ бываетъ и того чаще—отчего же именно сегодня водка довела его до сожженія двухъ лавокъ и свалки, въ которой, какъ разсказываютъ, были и убитые? Кто-нибудь, «углубившись» въ корни дѣла, выскажетъ положимъ такую мысль:—«Помилуйте, теперь масса рабо-

чихъ безъ дѣла: съ одной желѣзной дороги пришло болѣе пятьсотъ человѣкъ.. бѣдность!.. Я самъ видѣлъ множество рабочихъ, которые готовы работать за тридцать копѣекъ въ день...» И едва вы начинаете соглашаться, что мнѣніе это нѣтъ своихъ резоны, какъ другой собесѣдникъ возражаетъ:—«Такъ что же, неужели этимъ тысячамъ облегчается отъ того, что они разнесутъ лавчонку какого-нибудь Абдулка? Что же, развѣ они отъ этого получаютъ больше тридцати копѣекъ?»—«Такъ-то такъ... да вѣдь вы посмотрите—вѣдь у насъ даже ночлежныхъ домовъ нѣтъ... вѣдь это все-таки люди... Извольте-ка безъ крова и пристанища...» «И опять-таки все это вѣрно, но въ томъ, что нѣтъ ночлежныхъ домовъ,—развѣ виновать Абдулка? Объ этомъ ужъ дума должна позаботиться, а Абдулка тутъ не причемъ...»—«Да, оно такъ... А когда мы, слѣдуя логическому теченію мыслей, начинали говорить о думѣ и самоуправленіи, то договорились въ концѣ-концовъ до Бога знаетъ какихъ неожиданностей: напримѣръ, до свободы печати, причемъ повидному терялась всякая связь съ тѣмъ, что происходило; и дѣйствительно: что общаго между свободой печати и негодованіемъ массы на то, что оселъ ушибъ себѣ морду о загородку въ городскомъ саду? Или татаринѣмъ, который разсердилъ рабочаго, потребовавъ съ него десять рублей за разбитую лампу? «Къ чему тутъ свобода печати, когда всѣ были пьяны...»

Словомъ, чѣмъ больше накоплялось свѣдѣній и наблюденій очевидцевъ и не-очевидцевъ, тѣмъ болѣе терялась возможность дать тому, что происходило, какое-нибудь ясное и определенное объясненіе. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ Америкѣ, въ Чикаго, происходило большое волненіе между желѣзнодорожными служащими и рабочими. Тамъ компанія желѣзной дороги нашла нужнымъ сильно сбавить заработную плату всѣмъ служащимъ и рабочимъ. Рабочіе и служащіе составили стачку противъ компаніи и вступили съ ней въ борьбу. Тутъ борьба понятна: одна сторона нажимаетъ на другую. Понятенъ и ужъ совершенно ясенъ и самый родъ борьбы: когда для прекращенія стачки и защиты интересовъ желѣзнодорожниковъ явилось войско, толпа рабочихъ овладѣла пушками и стала просто напросто разбивать желѣзнодорожныя постройки; изъ пушекъ стрѣляли въ вокзалъ, въ вагоны, съ совершенно ясной цѣлью нанести вредъ, причинить убытокъ врагу, заставить его сдаться. Въ этомъ дѣлѣ, какъ видите, все ясно до послѣдней степени: стрѣляютъ изъ пушки прямо въ сундукъ, въ карманъ, который не хочетъ сдаться. Абдулку тутъ никто не трогаетъ; виновать сундукъ—и бьютъ прямо въ сундукъ; торговку съ трипками также никто не бьетъ, потому что и она, какъ Абдулка, въ этомъ, какъ говорится, «не причинна». Вотъ именно такой-то ясности и нельзя было достигнуть въ объясненіи волненія, происходившаго въ Баку, несмотря на множество мельчайшихъ подробностей, разсказанныхъ очевидцами и не-очевидцами.

Странное нравственное состояніе испытывали мы, разсуждая объ этихъ новостяхъ дня; всѣ мы были интеллигентные, а всѣ современные интеллигентные люди, какъ извѣстно, скучаютъ, томятся, жаждутъ и не получаютъ, одновременно и терпятъ, и не надѣются. Намъ скучно и даже трудно всегда и вездѣ—и дома, и на улицѣ, и въ думѣ, и въ земствѣ, и въ театрѣ. И дѣятельность насъ не удовлетворяетъ—ни общественная, ни частная—не удовлетворяетъ ни семейная, ни общественная жизнь. Гнететъ насъ тягота безцѣльности существованія и точить червь тоски. Какъ при такомъ состояніи духа не отвести душу въ разговорѣ по поводу такого событія, какъ народное побоище? И мы за ужиномъ много и оживленно о немъ разговаривали. Наряду съ подробностями очевидцевъ, мы высказывали наши интеллигентныя соображенія, давали объясненія, толковали о мѣропріятіяхъ. Большинство изъ присутствовавшихъ за ужиномъ не было поклонниками палки, какъ мѣропріятія всеустроющаго, и касались дѣла шире. И что же? Мы высказали совершенно свободно все, что тамъ, въ глубинѣ души, ѣло и томило насъ, всѣ наши негодованія и желанія—и опять ничего яснаго, живого, понятнаго и резоннаго не получилось! Мы все разобрали, всего коснулись, даже, какъ я уже упомянулъ, достигали до разсужденій о свободѣ печати, ширяли по поднебесью, а въ концѣ-концовъ опять-таки не получилось центра въ нашихъ разговорахъ. Множество было высказано мыслей, затронуто множество явленій, высказано множество нуждъ, но все это точно дребезги, точно куски, ничѣмъ не соединенные... И когда эти дребезги интеллигентныхъ нравственныхъ потребностей соединились въ моемъ воображеніи съ тѣми дребезгами множества влчій, также не соединенными другъ съ другомъ, изъ которыхъ складываются такіе народные проявленія, какъ бакинское побоище, о которомъ шла рѣчь, то я невольно почувствовалъ—и наэтотъ-разъ совершенно ясно—связь между темной улицей, гдѣ дерется толпа, и этой свѣтлой комнатой, въ которой засѣдаютъ господа. Въ общемъ, картина уличнаго безобразія и картина того безобразія, которое мы, разговаривавшіе за ужиномъ, противопоставляли улицѣ въ объясненіе ея безобразій,—все это рисовало такую нравственную тяготу и неурядицу идей, одинаково волнующихъ и гостиную, и улицу, отъ которой становилось и холодно, и тяжело. И гостиную, и улицу волнуютъ массы печалей, желаній, мыслей, но все это исполнено здоровья, правильности органическаго развитія, которое даетъ явленіямъ жизни и прочность, и поучительность. Ни прочности этой, ни поучительности вы не ощущаете ни въ семьѣ, ни въ общественной дѣятельности, ни въ школѣ, ни въ думѣ, ни въ земствѣ, ни наконецъ на улицѣ, гдѣ бьютъ неповиннаго Абдулку. Вездѣ кишатъ идеи и желанія, но они смяты, скомканы, полуживы, безъ начала, конца и центра.

Не знаю ужъ какими образомъ на этомъ же самомъ ужинѣ, среди разговоровъ о подробностяхъ

побойща, въ моемъ воображеніи стали возникать воспоминанія, ничего повидимому не имѣющія общаго ни съ Кавказомъ, ни съ избіеніемъ татаръ на баккинскихъ площадяхъ и въ баккинскихъ переулкахъ. Мнѣ припоминалась наша сѣверная деревня, занесенная сугробами снѣга. Вечеръ, темнота и ташина... По пустынной улицѣ, проваливаясь въ сугробы снѣга, возвышающіеся по сторонамъ узенькой, накатанной дровнями и скользкой, какъ самый лучший паркетъ, дорожки, идетъ мужикъ, посланный старшиной, живущимъ въ сосѣдней деревнѣ за двѣ версты, пригласить на «совѣщаніе» по какому то дѣлу особенно авторитетныхъ мужиковъ нашей деревни. Посланный мужикъ зашелъ въ одинъ, въ другой и третій домъ и вездѣ объявилъ, что у старшины сидитъ въ гостяхъ господинъ Черемухинъ, пріѣхалъ изъ города, о чемъ-то хочетъ разговаривать со стариками и вообще съ солидными деревенскими людьми. — «Что-жь, бумага что-ли каша есть?» спрашиваютъ приглашаемые на совѣщаніе. — «Стало быть должна быть бумага... ничего не зная, отвѣчаетъ посланный и добавляетъ: — чай теперича пьютъ съ ромомъ!» Авторитетные мужики не-хотя собираются исполнить желаніе старшины. Каждый изъ нихъ въ ту минуту, какъ его потребовали на какое-то совѣщаніе, думалъ «о своемъ» дѣлѣ: у одного забота платить за лошадей, другой обдумывалъ планъ женитьбы сына, третій строилъ планъ насчетъ сѣна: хотѣлось ему какъ-нибудь «притѣснить» сосѣднюю помѣщицу, чтобы она сдѣлала ему уступку. Словомъ—у всякаго были въ головахъ свои текущія, насущныя заботы и вопросы, вопросы настоящаго дѣла и настоящаго часа. И вотъ съ такими-то «своими» вопросами въ головахъ идутъ приглашенные на совѣщаніе къ старшинѣ. Оказывается, что къ старшинѣ «нарочно» пріѣхалъ изъ города одинъ изъ земскихъ гласныхъ, специально ратующихъ за народное образованіе. Гласный этотъ искренно озабоченъ успѣхами народнаго просвѣщенія и благосостоянія. На этихъ же дняхъ онъ намѣренъ прочесть въ собраніи докладъ о ремесленныхъ классахъ при народныхъ школахъ, и такъ какъ есть шансы на то, что земство скупились не будетъ, то вотъ онъ, чтобы дѣло было дѣломъ, а не перепиской, самъ лично посѣщаетъ тѣ пункты, гдѣ должны быть учреждены классы, не откладывая въ дальній ящикъ, а руководствуется въ этомъ «благомъ» дѣлѣ не произволомъ, хотя бы даже интеллигентнымъ, а народнымъ, общественнымъ мнѣніемъ. — «Такъ вотъ, господа, говорилъ онъ, обращаясь къ авторитетнымъ деревенскимъ людямъ,—какое же мастерство: токарное, слесарное, кузнечное или какое иное находите вы лучшимъ для вашей мѣстности? Въ какого рода ремеслахъ ощущается наибольшая нужда?» Въ этомъ вопросѣ и въ этомъ намѣреніи пріѣзжаго гласнаго, какъ видите, очень много вниманія къ народу и дѣйствительное желаніе пользы и блага, а едва онъ произнесъ свой вопросъ, какъ и онъ самъ, и авторитетные крестьяне почувствовали одно: какую-то неловкость. «Оно

такъ-то такъ, а въ то же время какъ будто и глупо»... Тысячу лѣтъ жилъ—и вдругъ, именно сегодня, когда я думаю о снѣгѣ, когда другой думаетъ о свадьбѣ, а третій—о лошади, мы должны рѣшить вопросъ: что для насъ важнѣе: токарное или слесарное, или какое иное ремесло? Предложеніе исходитъ изъ хорошаго источника и имѣетъ хорошія цѣли, а между тѣмъ отъ него становится какъ-то фальшиво на душѣ у всѣхъ. Почему же именно сегодня, въ восемь часовъ вечера, такъ необходимо оказалось нужнымъ знать, что лучше: токарное или слесарное ремесло? У меня забота со свадьбой, а я думаю о токарномъ ремеслѣ. Оно хорошо-то хорошо, да какъ будто бы въ то же время глупо. «Что-жь, говорятъ одинъ изъ приглашенныхъ: токарное ежели?... Ничего—можно и токарное! все на пользу»... А другой кашлянулъ и, чувствуя себя въ весьма глупомъ положеніи, прибавляетъ: «Столярное — по столярной ежели части — дѣло тоже не худое... худовнѣе». — Отъ этого худого не бываетъ», прибавляетъ третій. И бесѣда истощается. И еслибы для поддержанія ея старшина не провозгласилъ, что «много бы лучше заняться по самоварной части, или бы вотъ лампы керосиновыя выдѣлывать», —желаніе, которое уже взѣвъ показалось нелѣпнымъ, то на этихъ похвалахъ столярному и токарному ремесламъ и кончилось бы совѣщаніе съ свѣдущими людьми. Но кончить его такъ глупо совѣсімъ ужъ не годится, и вотъ между гласнымъ и собесѣдниками устранивается соглашеніе на «телѣжномъ дѣлѣ». Дѣлать телѣгу—это лучше всего. Это—и токарное ремесло, и столярное, и наконецъ телѣга нужна всякому. Найдены наконецъ пункты полнаго сліянія съ общественнымъ деревенскимъ мнѣніемъ. Всѣ депутаты единодушно свидѣтельствуютъ, что ежели «телѣгу», такъ тутъ худого нѣтъ ничего, «окромѣ хорошаго». Ушли депутаты, уѣхалъ гласный, преданный народному благу, а какая и у него, и у этихъ депутатовъ смута и тягота отъ всего этого дѣла, въ которомъ ничего худого, окромѣ хорошаго, дѣйствительно вѣдъ нѣтъ! И депутаты, и гласный чувствуютъ, что бесѣда ихъ была пустая и будетъ имѣть пустые результаты, чувствуютъ потому, что эта сама по себѣ полезная затѣя является безъ связи какъ съ нуждами и заботами сегоднешняго дня, такъ и съ нуждами общенародныхъ потребностей, мѣры для удовлетворенія которыхъ предлагаютъ также по одиночкѣ, безъ связи другъ съ другомъ, такъ же, какъ-то «вдругъ». Какъ это вдругъ, въ семь часовъ вечера, понадобилось рѣшить о токарномъ ремеслѣ! Одновременно съ разговорами о пользѣ ремесленныхъ классовъ въ томъ же собраніи идетъ разговоръ о томъ, что для народа нужны земельные банки, при посредствѣ которыхъ народъ можетъ увеличить свою земельную собственность и слѣдовательно благосостояніе. Постановлено: ходатайствовать и т. д. Но разъ дѣло въ самомъ дѣлѣ идетъ объ улучшеніи народнаго благосостоянія помощью увеличенія земельной собственности, надо же имѣть представленіе о томъ, что увеличеніе земли уве-

личить хозяйство, что потребуются въ дѣло всѣ руки, до рученокъ девятилѣтнихъ дѣтей включительно—кто же и зачѣмъ пойдетъ учиться столлярному мастерству? Оба предложенія, обсуждаемые на одномъ и томъ же собраніи, одно другое уничтожаютъ, и наша интеллигентная мысль такъ ослабла по части искренности, т. е. по части здравья въ мысленіи, по части простоты и смѣлости, что не замѣчаетъ, какъ одно предложеніе дѣлается совершенно ненужнымъ при другомъ, и въ обѣ сами по себѣ хорошія затѣи вносятъ такимъ образомъ недодуманность, непоследовательность: въ обѣихъ оставляетъ пустоты, и въ концѣ концовъ получается путаница, трата денегъ, всеобщая неудовлетворенная *скука* въ душѣ интеллигентнаго человѣка и *досада* въдушнѣе-интеллигентнаго.

Побойше бакинское, какъ и другія подобнаго рода массовыя волненія послѣдняго времени, есть именно результатъ нездороваго, прашибленнаго состоянія русской интеллигентной мысли. Проникая въ народныя массы чрезъ разнаго рода общественныя и частныя учрежденія и мѣропріятія, а главное проникая въ такомъ разорванномъ видѣ, какъ теперь, и въдобавокъ въ такомъ не вполне осмысленномъ, а поэтому и не вполне искренномъ видѣ, она неправильно, нездорово волнуетъ народныя массы, затрагиваетъ ихъ во множествѣ отношеній, ни въ одномъ не удовлетворяя; а между тѣмъ массы непосредственно должны на своихъ плечахъ переносить безрезонныя учрежденія и мѣропріятія, которыя, какъ мы уже сказали, проникнуты безрезонностью и неправдивостью, вслѣдствіе болѣзненнаго патологическаго состоянія русской интеллигентной мысли, обремененной большими задачами, но къ несчастью неимѣющей возможности свободно и просто разрабатывать ихъ.

Иногда нежизненность интеллигентной мысли (обреченной на то, чтобы не переходить въ дѣйствіе) проявляется у насъ на Руси въ такихъ чертахъ, которыя возбуждаютъ глубочайшую грусть и недоумѣніе. Предъ образованнымъ, развитымъ, понимающимъ человѣкомъ стоять, положимъ, фактъ, выдвинутый самой жизнью и требующій именно того развитія и того направленія мыслей, которыми этотъ человѣкъ обладаетъ. Смотритъ онъ на него, понимаетъ, видитъ, и—ничего, точно нѣтъ передъ нимъ факта и точно фактъ не тотъ, который ему нуженъ. Вотъ человѣкъ говоритъ вамъ и много, и долго о пролетаріатѣ, а передъ нимъ этотъ самый пролетаріатъ стоитъ и онъ его не видитъ, т. е. видитъ, по привыкѣ такъ думать и такъ поступать, чтобы изъ его мыслей и поступковъ ничего живого не выходило. Сколько мы читали напримѣръ статей о сельско-хозяйственныхъ школахъ для крестьянъ, сколько о нихъ толковали земства, и недалеко то время, когда на нихъ будутъ тратиться деньги. Совершенно резонное и добросовѣстное желаніе улучшить народное благосостояніе приводитъ къ мысли устроить такія улучшенныя хозяйства, которыя бы были примѣромъ для крестьянъ; крестьяне будутъ заимствовать примѣрами благоустроенныхъ хозяйствъ, будутъ и сами улуч-

шать свои хозяйства. Такая мѣра, которая можетъ быть осуществлена только при спеціальныхъ средствахъ и много-много въ десяти-двадцати пунктахъ во всей Россіи, признается спасительнымъ средствомъ для такой страны, которая на милліонъ верстъ покрыта милліонами деревень, гдѣ каждый дворъ буквально представляетъ земледѣльческую школу, гдѣ притомъ всякій мальчикъ 5—6 лѣтъ знаетъ, что хорошія сѣмена лучше худыхъ, что хорошая лошадь лучше худой и т. д. И если пахутъ на худыхъ лошадяхъ и сѣютъ плохое сѣмя, такъ именно потому, что обходятся безъ спеціальныхъ средствъ, на которыхъ предполагается основать образцовыя школы. Эти школы считаются дѣломъ большой важности и о нихъ толкуется какъ о средствѣ, могущемъ противуставъ развитію въ Россіи бродячества, бездомовничества и вообще сельскаго пролетаріата. Между тѣмъ передъ глазами всѣхъ, самымъ искреннимъ образомъ (мы не сомнѣваемся въ этомъ ни на минуту) трагующихъ объ этомъ дѣлѣ и на всѣхъ путяхъ и всякими способами отстаивающихъ его, стоятъ огромный пролетаріатъ: дворянскій, чиновническій, поповскій пролетаріатъ, выросшій на даровыхъ лѣбахъ крѣпостнаго права, не пріотивившійся ни въ спеціальныхъ школахъ (которыхъ почти нѣтъ), ни имѣющей возможности, по недостатку средствъ, пройти всю лѣстницу общаго образованія... И этотъ огромный пролетаріатъ не представляется вопросомъ, требующимъ разрѣшенія! Хорошо еще, если по временамъ выйдетъ какой нибудь циркуляръ, вродѣ циркуляра объ учрежденіи института урядниковъ, и сразу потребуетъ масса нетрудащихся людей за приличное вознагражденіе; тогда нѣсколько тысячъ человѣкъ такого пролетаріата выберутся изъ него; но, получивъ готовый кусокъ, эти тысячи женятся и производятъ потомство, которое также потребуетъ новаго циркуляра, приглашающаго явиться получать жалованье всѣхъ, кто ничему не учился и ничего дѣлать не умѣетъ.

Если для кого нужны земледѣльческія училища, такъ именно для этого рода пролетаріата, чтобы ласково, а не помощью грубой и жестокающей нужды привести къ независимому труду, вовсе не мѣшающему быть и порядочнымъ, и образованнымъ человѣкомъ,—труду, прекращающему типъ обывателя пороговъ, ничего не дѣлающаго Гамлета, —человѣка, бесплодно тоскующаго и пропадающаго въ поискахъ какихъ-нибудь средствъ существованія. Это наше русское, обязательное для насъ рѣшеніе вопроса о пролетаріатѣ: рѣшить его не мордобитіемъ и не развитіемъ дармовѣдныхъ карьеръ, а просто и по-божески привлеченіемъ къ благородному труду, къ независимому существованію трудами рукъ своихъ, къ превращенію дармовѣдныхъ Гамлетовъ въ хозяевъ. Но чтобы рѣшать такъ просто и справедливо насущнѣйшіе вопросы, которые дала намъ жизнь и въ важности которыхъ убѣдилъ насъ европейскій опытъ, надо уважать свои мысли и стоять за нихъ и за право ихъ логическаго осуществленія въ жизни. А вотъ мы именно этимъ и несчастны. Мысли у насъ есть,

но чтобы изъ нихъ сдѣлать жизнь — мы этого не умѣемъ, потому что не смѣемъ и отвыкли смѣть, и наши благородѣйшія мысли, вслѣдствіе кореннаго нашего недуга, не осуществляются логически. Вѣроятно такой нелогическій результатъ ожидаетъ и земледѣльческія школы, и вопросъ о городскомъ пролетаріатѣ. Чувствуется, что земледѣльческія училища также поглотятъ массу этого пролетаріата, но поглотятъ нехорошо и безъ толку: городской пролетаріатъ пристроится въ нихъ въ качествѣ опытныхъ куроводовъ, специальныхъ коровниковъ, главныхъ надсмотрателей, скотныхъ инспекторовъ, помощниковъ смотрителей, экономовъ и экзекуторовъ, вышнихъ ветеринаровъ и низшихъ агрономовъ и т. д. Все это «пристроится» въ новенькихъ квартиркахъ, будетъ играть на гитарѣ: «Вотъ какъ желалъ-бы я любить»... а потомъ и хмеленіе обнаружится. А мужикъ останется при худой скотинѣ и при худыхъ сѣменахъ, потому что купить ихъ не на что — иначе онъ это сдѣлалъ бы и безъ школы.

Конечно, этихъ незначительныхъ фактовъ и ихъ поверхностнаго объясненія недостаточно для того, чтобы читатель могъ представить себѣ всю сложную картину нашего тяжкаго нравственнаго состоянія, но все-таки и изъ нихъ можно видѣть, что мы несчастны отъ того, что не слушаемся голоса нашей совѣсти, не покоряемся нашему сознанию, которое неотразимо приводитъ насъ къ убѣжденію, что мы, какъ народъ, начинающій жить, обязаны основать свое нравственное развитіе на заботѣ о благоустройствѣ массъ. Начать жить съ хлопотъ о неблагоустройствѣ невозможно. Хлопотать о томъ напримѣръ, чтобы благоустроенная деревня разстроилась, немислимо; надобно только открыто и прямо сознать, что именно на роду намъ написано, и не бояться логическихъ послѣдствій. Но были причины, которыя насъ напугали, сбили съ толку: «соблазнили» и обезсилили, и вотъ обезсиленная мысль наша, проявляясь въ обезсиленномъ, тускломъ, нездоровомъ видѣ въ общественныхъ и частныхъ учрежденіяхъ и просачиваясь чрезъ нихъ въ томъ же тускломъ, тревожащемъ и неудовлетворяющемъ видѣ въ массы, для блага которыхъ мы дѣлали всѣ эти тускля, безрезультатныя дѣла, тревожатъ ихъ, надѣдасть имъ, мутить ихъ и приводить къ безрезультатнымъ безобразіямъ.

III.

Въ этомъ смыслѣ бакинское побоище и много-сложно, и безрезультатно, и безобразно, и если можетъ быть представлено въ мало-мальски связанномъ и опредѣленномъ видѣ, то только исключительно съ полицейской точки зрѣнія. Съ этой точки зрѣнія о немъ можно сказать нѣчто, имѣющее и начало, и середину, и конецъ *).

*) По этимъ полицейскимъ наблюденіямъ и свѣдѣніямъ дѣло было такъ:

«27-го февраля, около четырехъ часовъ по-полуночи, въ чайную лавку подъ гостиницею „Италія“ зашло нѣсколько человекъ русскихъ чернорабочихъ, совер-

Но правильность и округленность въ описаніи такихъ неожиданныхъ и во многомъ непонятныхъ явленій, какъ такъ называемые «беспорядки», особенно часто повторяющіеся на югѣ Россіи, правильность, ограниченная точнымъ указаніемъ «пунктовъ» волненій и заполненная не менѣе точнымъ перечисленіемъ разбитыхъ стеколъ, разломанныхъ домовъ и разграбленныхъ лавокъ, нисколько не погрѣшая въ топографіи и статистикѣ событія, тѣмъ не менѣе придаетъ этому событію совершенно неточный и неправильный видъ.

Прочитавъ такое топографически и статистически точное описаніе, вродѣ того, которое мы принели, читатель видитъ передъ собой только граблящую и бушующую толпу и невольно долженъ изумиться передъ вопросомъ о томъ, откуда могла взяться такая масса людей, жаждущихъ грабежа? Если даже читатель и не повѣритъ, несмотря на описаніе, существованію въ волновавшейся толпѣ исключительно грабительскихъ наклонностей, то все-таки онъ будетъ удивленъ необыкновенной цифрой ожесточенныхъ людей, вдругъ, внезапно, появляющихся на улицахъ того или другого города, иногда совершенно незначительнаго и мало населеннаго. Откуда взялась такая масса буйнаго народа? Гдѣ она была прежде и наконецъ куда скрылась послѣ того, какъ побушевала два-три дня? А между тѣмъ полицейски-опредѣленное описаніе (такого рода опредѣленностью, къ сожалѣнію, грѣшатъ и нѣкоторыя газетныя корреспонденціи), волею-неволею изображающее неизвѣстно откуда взявшуюся ожесточенную толпу, какъ разбойниковъ и грабителей, сулитъ и мѣропріятія противъ нихъ въ томъ же неизбѣжно-правильномъ направленіи, то есть остроги, суды. То-есть сулитъ цѣлый рядъ если не совершенныхъ неправдъ, то ужъ навѣрное безплодно раздражающихъ и ничего не достигающихъ строгостей.

IV.

Не менѣе такой полицейской правильности взгляда на дѣло будетъ несправедлива и всякая другая «правильность», всякое другое однообразное освѣщеніе факта. Попробуйте пожалуйста посмотреть на «эти дѣла», какъ исключительно на войну «капитала и труда». Факты есть: 500 человекъ рабочихъ на желѣзной дорогѣ были разсчитаны передъ самыми бакинскими беспорядками и явились въ Баку безъ денегъ и безъ пристанища; нефтяной кризисъ, постоянно сопровождавшій рабочихъ на нефтяныхъ заводахъ, наконецъ просто неаккуратные платежи этими заводами денегъ и т. д., и вотъ ужъ есть достаточный доводъ для того, чтобы объяснить это дѣло въ другомъ и совершенно опредѣленномъ направленіи. Но малѣйшаго вниманія къ дѣлу достаточно для того, чтобы видѣть, что правильность или по край-

шенно пьяныхъ. Одинъ изъ нихъ нечаянно разбилъ лампу, за которую хозяинъ лавки потребовалъ десять рублей. Рабочіе стали кричать, что татары ихъ грабятъ. Произошла перебранка, перешедшая вскорѣ въ драку между русскими и находившимися въ лавкѣ та-

ней мѣръ основательность такого объясненія сомнительна. Любой нефтепромышленникъ скажетъ вамъ, что это не такъ, и приведетъ такой примѣръ: «Рабочіе, приходя за расчетомъ въ конторы заводовъ, говорятъ: «Вы, господа, дайте намъ хоть что-нибудь на продовольствіе... А тамъ остальное, когда поправитесь; мы и сами знаемъ, что у васъ денегъ нѣтъ ни копѣйки. Чего ужъ!» Ни желѣзная дорога, которая рассчитала 500 человѣкъ рабочихъ, ни заводы, которые ихъ постоянно рассчитываютъ и стало быть оставляютъ на улицѣ, да еще въ чужой сторонѣ, — словомъ, ни одинъ изъ прямыхъ виновниковъ увеличенія на улицахъ голоднаго народа не тронуты; всѣ здоровы и невредимы и не подвергаются ни малѣйшей опасности. Не подходитъ къ этому и окраска волнующейся толпы въ «пьяную чернь». Въ 1881 г. въ Баку происходили беспорядки во много разъ сильнѣйшіе, и главное зерно дерущихся были бондари, люди вполне обезпеченные, зарабатывавшіе по сту рублей въ мѣсяцъ, наряжавшіе женъ въ парчевыя душегрѣйки. Когда одного изъ такихъ бондарей, арестованнаго во время безпо-

рядковъ, спустя долго время, допрашивали у слѣдователя, то онъ, желая доказать свое отсутствіе во время беспорядковъ, говорилъ такіа рѣчи:

— Гдѣ же вы были въ то время? спрашивали его.

— Я дѣлалъ визиты.

(Побойще было на Святой.)

— А на слѣдующій день?

— А на другой день, само собой, должнъ былъ визиты принимать. Очень кажется понятно!

Какая же это чернь и голытьба!

Точно такъ-же не будетъ вполне согласно съ истинной, если свести дѣло на національную вражду русскихъ и татаръ—какъ въ Баку, или русскихъ и евреевъ—какъ вообще на югѣ. Если читатель помнитъ письмо крестьянина, напечатанное нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ «Отечественныхъ Запискахъ», онъ вѣроятно не забудетъ, что въ письмѣ этомъ, рекомендуя «бить жидовъ», всего меньше говорилось объ этихъ послѣднихъ, а напротивъ—рѣчь автора особенно была оживлена и гнѣвна, когда касалась поведения духовныхъ лицъ, судей, помѣщиковъ и т. д.,—все людей русскихъ; точно

тарами, причемъ была перебита посуда и во второй комнатѣ лавки разнесенъ очагъ. Не удовольствовавшись этимъ, рабочіе стали звать товарищей съ улицы на выручку. На ихъ крикъ стали подходить возвращавшіеся изъ городского сада и вскорѣ образовалась толпа, приблизительно въ 200 человѣкъ, начавшая грабить лавку и бить проходившихъ мусульманъ. Прибывшіе на мѣсто, сначала дежурный помощникъ пристава, а потомъ полиціймейстеръ съ приставомъ, казаками и городовыми, тѣсно старались усмирить разбушевавшуюся толпу, разграбившую до-чиста на ихъ глазахъ лавку подъ гостиницею. Вскорѣ съ угла Красноводской и Торговой улицъ стала надвигаться новая, весьма значительная толпа, приблизительно въ 500 человѣкъ, вооруженная палками. Увидя подкрѣпленіе, успокоившаяся нѣсколько толпа вновь заволновалась. Полиціймейстеръ съ приставомъ Визировымъ, пятью казаками и тремя городовыми, поспѣшили на встрѣчу приближавшейся толпѣ, надѣясь не допустить ее до соединенія съ первою толпою. Дѣйствительно на короткое время удалось имъ задержать передніе ряды напавшихъ и у нѣкоторыхъ изъ нихъ были отобраны палки, но успѣхъ этотъ былъ непродолжителенъ. Раздались крики: «Не слушай, бей ихъ все!» Постепенно тѣсный по направленію къ гостинницѣ «Италія», полиціймейстеръ видѣлъ себя не въ силахъ остановить разъяренную толпу, уже начавшую разбивать другую лавку, и поручилъ приставу доложить губернатору о происшедшихъ беспорядкахъ и просить распоряженія о присылкѣ военной силы. Сдѣлавъ необходимыя распоряженія о присылкѣ войскъ, губернаторъ лично отправился туда, гдѣ происходили главнѣйшіе беспорядки.

Въ это время полиціймейстеръ пытался подѣйствовать на толпу внушеніями, но всѣ его усилія остановить грабежъ и буйство остались безуспѣшными; толпу нельзя уже было удержать, и она все болѣе и болѣе надвигалась на полицейскихъ чиновъ и казаковъ. Полиціймейстеръ, получивъ два удара рукой по головѣ и одинъ камнемъ въ плечо, былъ втиснутъ толпою въ двери гостинницы «Италія» которая немедленно за нимъ захлопнулась. Спустя ¼ часа, въ то самое время, когда полиціймейстеръ съ прибывшими пятью конными казаками, оставивъ гостинницу, старался разогнать толпу, грабившую лавку бакинца, значительная часть пьяной и буйствующей толпы направилась къ сторонѣ Прачешной улицы, разбивая находящіеся по пути лавки. Прибывшій на мѣсто беспорядковъ губер-

наторъ, полагая, что войскъ мѣстнаго батальона будетъ недостаточно, послалъ въ портъ за ротой моряковъ. Между тѣмъ безчинство приняло крайне острый характеръ: явились подстрекатели, начались поджоги лавокъ. Подоспѣвшая наконецъ мѣстная воинская команда приостановила дальнѣйшее распространеніе беспорядковъ.

Высланный по распоряженію губернатора войска—полурота 4-й роты, 2-я рота мѣстнаго батальона и рота Каспійскаго экипажа—оставались на мѣстахъ въ тѣхъ частяхъ города, гдѣ указывалась къ тому необходимости, до 9 часовъ вечера, послѣ чего, за прекращеніемъ беспорядковъ, 2-я рота была отправлена въ свою казарму, полурота 4-й роты оставлена при городской полиціи, а для усмиренія средствъ къ охраненію безопасности въ городѣ была оставлена на ночь рота моряковъ, разставленная значительными патрулями на разныхъ пунктахъ, и кромѣ того былъ усиленъ караулъ въ городской тюрьмѣ 15 нижними чинами. Ночь прошла спокойно.

На другой день, 28-го февраля, все было спокойно до 9 часовъ утра, и народъ если и скопился, то только изъ любопытства. Около 9 часовъ въ Карантинѣ, толпою приблизительно въ 300 человѣкъ, разграблена чайная лавка бакинца Ирза-Мамедъ-Огли, но дальнѣйшій грабежъ былъ прекращенъ въ этой мѣстности подоспѣвшими моряками. Въ предупрежденіе повторенія беспорядковъ были потребованы губернаторомъ 1-я, 3-я и 4-я роты мѣстнаго батальона. Затѣмъ часть толпы подвинулась къ вокзалу желѣзной дороги и успѣла тамъ напасть и разграбить двѣ савки.

Остальной день прошелъ въ скопленіяхъ на улицахъ. Масса празднаго народа, производя крики и шумъ, нападала и бросала камнями въ проходившихъ мусульманъ. Къ семи часамъ вечера въ городѣ повсемѣстно возстановились порядки и спокойствіе, не нарушавшіеся и въ слѣдующіе дни.

При усмиреніи толпы не было употреблено въ дѣло ни холоднаго, ни огнестрѣльнаго оружія; пѣхота дѣйствовала прикладами, а казаки—плетью.

Результаты беспорядковъ слѣдующіе: разграблено 15 лавокъ, на сумму около 10 тысячъ рублей; поранено и убито 10 человѣкъ. Кромѣ того у десяти чиновъ мѣстной команды ружейныя ложи разбиты камнями.

Всѣхъ задержано 70 человѣкъ изъ русскихъ черно-рабочихъ, обвиняемыхъ въ возстаніи, въ поджогѣ, грабежѣ и оскорбленіи властей».

такъ-же въ безпорядкахъ бакинскихъ невозможно всего дѣла исчерпывать національною враждою русскихъ и татаръ. Ознакомившись весьма подробно съ исторіей волненій въ Баку въ 1881 году, я къ великому моему удивленію увидѣлъ, что изъ числа *трехъ*, отбѣденныхъ полиціею (состоящемъ преимущественно изъ татаръ и, какъ утверждаютъ русскіе, мирволящемъ татарамъ), вожаковъ, которые особенно бунтовали и больше всѣхъ кричали: «пойдемъ, ребята, разбивать и бить!», былъ одинъ только русскій, бондарь, прозванный Скобелевымъ, который однако никакихъ возгласовъ не произносилъ — по крайней мѣрѣ изъ дѣла этого не видно, — а остальные два вожака *противъ татаръ*, какъ бы вы думали, кто были? Одинъ *татаринъ* Сакаевъ, а другой — даже невѣроятно сказать — *сврей* Ш — нъ! Вотъ вамъ и борьба русскихъ съ татарами!

Не подходитъ къ національной враждѣ также и такой фактъ, рассказываемый «подлинными» очевидцами безпорядковъ 1881 г.: толпа бондарей идетъ вдоль улицы и бросаетъ камнями въ убѣгающихъ татаръ и татарскіе дома. Одинъ изъ этихъ камней попадаетъ въ мечеть; татаринъ-сторожъ выходитъ изъ нея и говоритъ толпѣ враговъ: «Ребята! здѣсь мечеть!» И на эту *просьбу* (собственное показаніе татарина) русскіе отвѣтили тѣмъ, что прекратили побойще и ушли въ другое мѣсто.

И чѣмъ больше мы будемъ искать опредѣленности, тѣмъ неопредѣленность все будетъ становиться шире и шире. Послѣ перваго дня безпорядковъ (1881 г.), когда въ полиціи сидѣло множество арестованныхъ, толпа подвалила къ полицейскому зданію и стала требовать освобожденія. Пріѣхалъ полиціимейстеръ, потомъ — прокуроръ; толпа молча дожидалась исполненія своихъ желаній, только одинъ вышеупомянутый *татаринъ* отрицалъ во всеуслышаніе пользу и просьбу, и разговоровъ съ начальствомъ, крича: «Чего тутъ разговаривать, пойдемъ разбивать!». Послѣ того времени терпѣливаго ожиданія, заключенные были выпущены и толпа разразилась громкими криками ура!». «Казалось, рассказываетъ также вполне подлинный очевидецъ: — что она была вполне удовлетворена и благодарна. Ни малѣйшаго желанія затѣвать драку ни у кого не было; два бондаря, отправившись въ зданіе полиціи, осмотрѣли его во всѣхъ подробностяхъ и объявили во всеуслышаніе: «Никого нѣтъ, всѣхъ выпустили по домамъ!». И толпа повалила по домамъ. Но толпа татаръ, принявъ крики «ура» за воинственные возгласы, бросилась бѣжать отъ русскихъ, а русскіе «для смѣху» бросились за ней... Мальчишки стали бросать камни, а напуганные татары, загнанные въ какой-то переулокъ, стали защищаться также камнями — и опять произошла драка. Одинъ поступокъ и хорошъ, и резоненъ, а другой — сейчасъ же сущая «зрятина», для смѣху, безъ надобности и цѣли...

Эта смѣсь нужнаго и ненужнаго, то есть сколько-нибудь резоннаго и вовсе ничѣмъ необъясни-

маго — на каждомъ шагѣ. Окровавленный персъ вбѣгаетъ во дворъ одного обывателя, а за нимъ гонится толпа въ 300 человекъ. — «Что вы дѣлаете?» обращается къ нимъ обыватель. — «Да вотъ, съ княжаломъ поймали... вѣдь зарѣжетъ кого-нибудь, анаема». — «Вы вѣдь его убьете и будете отвѣчать за убійство. Его надо отвести въ полицію, и тамъ его накажутъ по закону». — «Ну, веди въ полицію! Тогда мы его и пальцемъ не тронемъ». — «Честное слово?» — «Русскіе, рассказываетъ обыватель: — дали мнѣ честное слово и дѣйствительно оставили перса въ покоѣ, дождавшись однако, пока я сѣлъ въ фаянтъ и посадилъ съ собою перса... Толпа ушла. Но тотчасъ нахлынула другая, и одинъ изъ этой толпы ни съ того, ни съ сего ударилъ этого перса желѣзною палкой. Хорошо, что подосѣли люди изъ той толпы, которая дала мнѣ слово не трогать, и битье прекратилось!»

При такихъ колебаніяхъ въ настроеніи волнушагося народа «случайность», часто совершенно ничтожная, имѣетъ огромное значеніе. Описанное побойще началось изъ-за лампы, за которую хозяинъ потребовалъ 10 рублей а въ 1881 году случай, изъ-за котораго возникло волненіе, гораздо болѣе сильное, былъ еще удивительнѣе. Русскіе ходили по базару, заходили въ кабакъ (праздничное время), а на базарѣ, въ какомъ-то пунктѣ, стоялъ татаринъ-полицейскій и всякій разъ, когда мимо него проходилъ русскій, онъ издавалъ ртомъ какой-то звукъ. Что это было за звукъ — изъ дѣла нельзя понять. И почему именно этотъ звукъ обижалъ русскихъ — также объяснить невозможно. Только въ концѣ концовъ русскіе «не вытерпѣли» и началась свалка, сопровождавшаяся и разбитіемъ лавокъ, и уничтоженіемъ безвредныхъ лотковъ съ пряниками, и бросаніемъ камней, и такими великодушными требованіями, какъ освобожденіе заключенныхъ, и «уваженіе» просьбъ сторожа мечети, и совершенно безцѣльными мордобитіями и жестокостями.

Слово «вожакъ» при такомъ многосложномъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неопредѣленномъ направленіи мыслей толпы также какъ будто ничего не значить, а съ другой стороны — какъ будто и означаетъ что-то. Вотъ напримѣръ хотъ бы этотъ русскій вожакъ, которому дали кличку Скобелевъ. По рассказамъ, это былъ «рыжій бондарь», «предводительствовавшій» толпой. Встрѣтивъ это слово въ газетной корреспонденціи, читатель можетъ подумать, что толпа избрала себѣ предводителя, что предводитель понималъ и зналъ ся цѣли, иначе бы онъ и не былъ предводителемъ, что вообще у этой, какъ будто неорганизованной массы пьяницъ и грабителей, должна быть какая-то организація. Вѣдь вотъ есть «предводитель», да еще и кличка ему дана Скобелевъ. А между тѣмъ на дѣлѣ выходитъ нѣсколько не такъ.

Этотъ рыжій бондарь, не имѣя никакихъ плановъ и цѣлей, просто-на-просто пришелъ изъ Балахановъ въ городъ на праздники, не зная, что тамъ идутъ драки, и, придя въ городъ, первымъ

дѣломъ «на гулянкахъ» отправился въ кабакъ, нашелъ тамъ пріятеля и сталъ съ нимъ пить водку. Въ это время въ кабакъ вошла толпа солдатъ Шарванскаго полка, возвратившихся изъ аталъ текинской экспедиціи; солдаты также стали пить водку и когда подгуляли, то начали провозглашать тосты за здоровье Скобелева. Громко орали они спяну и вѣроятно до того громко, что въ кабакъ вошелъ городской-татаринъ и сказалъ:

— Что за крикъ?

— За здоровье Скобелева-а-а! отвѣчали солдаты новымъ залпомъ крикомъ.

Татаринъ не зналъ этого имени и сказалъ:

— Какой тутъ Скобелевъ? Гдѣ онъ тутъ?

— Да вотъ онъ? совершенно для смѣху сказали солдаты, указывая на бондаря.

— Я— Скобелевъ! гаркнулъ спяну и бондарь, желая поддержать «своихъ» и разыграть изъ татарина дурака.

— Я тебя въ часть возьму!

— Какъ? Скобелева?

— Меня? Попробуй!

— Ребята, Скобелева не выдавай!

И съ криками: «Скобелева не выдавай!», толпа подгулявшихъ солдатъ высыпала на улицу.

— Скобелевъ! Гдѣ Скобелевъ?

— Я здѣсь!

И бондарь «для смѣху» вошелъ въ роль и, понавъ въ двигавшуюся на татаръ толпу, гаркнулъ:

— За мной, ребята!

— Валай, Скобелевъ! Эво! лошадь бѣжить! бери лошадь-то! Эво-эво!

И опять «для смѣху» бондарь вскочилъ на лошадь, которая, можетъ, убѣжала съ какого-нибудь раствореннаго двора, испуганная крикомъ и шумомъ, и почувствовалъ себя еще болѣе Скобелевымъ. Сѣвъ на коня, ужъ надо было «для картины» представить себя генераломъ.

— За мной, ребята! Скорымъ шагомъ, маршъ!

Хохотъ и смѣхъ. А тутъ, тоже «для смѣху», кто-то изъ толпы, только-что «зря» опрокинувшей ларь съ овощами, подхватилъ пучекъ зеленого лука и кричить:

— Скобелевъ! Вотъ тебѣ султанъ!

— Воткни въ шапку-то!

— Генералъ! Теперь полный генералъ!

И вотъ Скобелевъ на конѣ, и съ пучкомъ зеленого лука на шапкѣ, замѣняющемъ генеральскій султанъ, недумаянно-негаданно сталъ предводителемъ, и сначала «только для смѣху» идетъ впередъ, а потомъ пойдетъ туда, куда потянетъ волнуемое море народа: просто-ли опрокидывать лотки, или освобождать заключенныхъ, или такъ, «зря», нападать и гнать татаръ.

Я вовсе не хочу сказать, что «резонъ» играетъ во всемъ этомъ не первенствующую роль. Напротивъ, я теряюсь въ обилии резонновъ. Вездѣ всякаго резона наприпѣтръ нѣсколько камней попало въ квартиру городского головы; такъ какъ онъ пользуется всеобщимъ уваженіемъ, то нѣсколько чловѣкъ тотчасъ же явились къ нему и объяснили, что это случилось по ошибкѣ; но и въ этомъ случаѣ

были въ толпѣ люди, которые даже къ явной ошибкѣ могли подыскать резонъ. — «Это за то, что мясо дорого, а онъ, голова, долженъ наблюдать!» Резонъ явился неизвестно откуда и никакой дѣйствительной связи съ камнями, попавшими въ квартиру головы, не имѣетъ, а резонъ. Или вотъ: толпа русскихъ слѣдуетъ за татаринномъ, который кричитъ: «пойдемъ разбивать!». Оказывается, что татаринъ этотъ, Сякаевъ, много разъ терпѣлъ отъ полиціи, былъ даже высылаемъ изъ Баку этою полиціею и, воспользовавшись суматохой, кричитъ: «Нечего разговаривать, пойдемъ бить и разбивать!». И толпа идетъ, потому что многие изъ русскихъ потеряли отъ татарской полиціи немало: татары не пьютъ, а русскіе частенько пьяны, и татары-полицейскіе относятся къ нимъ нехорошо, отымаютъ деньги, смѣются. И вотъ толпа находитъ предложеніе татарина соотвѣствующимъ своимъ мыслямъ. Какъ предводитель, онъ уже не татаринъ, а только ненавистникъ полицейскаго произвола; но, разгромивъ полицію, толпа можетъ черезъ двѣ-три минуты разгромить и этого самаго предводителя, только потому, что онъ—татаринъ. Крикнетъ кто-нибудь: «Братцы! бей татаръ, они нашихъ бабъ на базарѣ обижаютъ!». и это будетъ достаточный резонъ для того, чтобы измолотить Сякаева только за его татарскую національность.

Словомъ, какъ разношерстные элементы, изъ которыхъ слагаются такіе явленія, такъ разнообразны и резоны; нѣтъ той мелочи въ нихъ, которая бы не имѣла своего резона, и еслибы мы пожелали сдѣлать изъ всѣхъ этихъ резонновъ экстрактъ и, очистивъ явленіе отъ ненужныхъ случайностей, попытались опредѣлить самую суть этихъ резонновъ, то право не было бы большою ошибкою сказать, что двигатель—главный, существенный—всего этого дѣла заключается въ желаніи не дать въ обиду чловѣческаго достоинства. *Не смѣй* обижать бабу! *Не смѣй* носить кнжала, когда я его не ношу! *Не смѣй* смѣяться, когда я пьянъ! *Не смѣй* хватать и сажать въ полицію народъ зря, кто попадетъ подъ руку. *Не смѣй* вообще надо мной важничать, *не смѣй* меня тащить пьянаго въ часть отъ товарищей, которые доведутъ меня до дому, и д. д. Словомъ, желаніе сказать во всеуслышаніе: «Не смѣй!»—И это «Не смѣй» во сто разъ болѣе относится къ нравственнымъ потребностямъ личности, чѣмъ къ матеріальнымъ невзгодамъ. Еврей, по словамъ крестьянина, все суютъ рубли въ руки мужику, а ненависть въ нихъ возбуждается потому, что этотъ рубль онъ суетъ съ тѣмъ, чтобы соблазнить чловѣка работать въ воскресенье, т. е. испортить его совѣсть, заставить пользоваться на деньги и не пойти къ обѣдѣ, т. е. не выполнить того, что нужно для души.

Вотъ именно эта-то сторона дѣла и есть самая важная и любопытная. Откуда берется щепетильность по отношенію къ собственному достоинству, когда тотъ-же самый бондарь, живя на родинѣ, въ Тульской или Орловской губерніи, далеко не такъ щекотливъ по отношенію къ своему или чужому чловѣческому достоинству, а если сознание

этого достоинства онъ и тамъ носить въ глубинѣ души, то во всякомъ случаѣ не выказываетъ миллионной доли той смѣлости въ проявленіи этого достоинства, какую обнаруживаетъ здѣсь. Вѣдь это напримѣръ, у всѣхъ на памяти псковскій процессъ одного кулацкаго савраса, который издѣвался самымъ безсовѣстнымъ образомъ надъ женщинами и дѣвушками множества деревень, «подверженныхъ» его отцу — кулаку. Въ этомъ отношеніи ни со стороны родителей, ни со стороны мужей ему почти не было отказа въ требованіяхъ — хотя безъ сомнѣнія они не могли считать ихъ иначе, какъ божескимъ наказаніемъ. Но они молчали, и молчали до тѣхъ поръ, пока саврасъ чуть-чуть было не задушилъ непокоряющуюся его требованіямъ дѣвушку, и когда сельскими властями уже нельзя было не вѣстаться. А здѣсь въ Баку одинъ изъ мотивовъ побойща: «Не задѣвай нашихъ бабъ!». И притомъ *нашихъ*, когда у большей половины бушующей толпы и бабъ-то никакихъ нѣтъ. Здѣсь въ числѣ мотивовъ къ побойщу есть и такой: не смѣй меня пьянаго брать въ часть, тогда какъ у насъ нерѣдкость отъ своего брата мужика быть выпоротымъ въ волости занеprisingly, по капризу и не въ пьяномъ, а въ трезвомъ видѣ. Здѣсь цѣлая толпа приходитъ «освобождать» «своихъ», «нашихъ», посаженныхъ въ часть, а у насъ цѣлая деревня смотритъ, какъ пьяный мужикъ бьетъ возжами жену посреди улицы, и говоритъ: «свои собаки грызутся — чужая не приставай!». Здѣсь онъ обижается на полицейскихъ, что они обращаютъ у пьяныхъ деньги, но спрашивается: когда же внутри отечества полицейскіе не обирали у него, у пьянаго, деньги, не били его, зная, что послѣ этого онъ скажетъ: «пронадай и деньги совѣмъ!» и улепетнеетъ изъ части во всѣ лопатки? А тутъ вотъ онъ фордыбачитъ и фыркаетъ, и дерется, разбиваетъ полицію... Обижается тѣмъ, что татаринъ надъ нимъ смѣется, надъ пьянымъ, и бьетъ его камнемъ по мия этой обиды, а тамъ, на родинѣ, «норовитъ» въ праздничный день, возвращаясь изъ кабака, казаться гораздо пьянѣе, чѣмъ есть на самомъ дѣлѣ, ругается самыми безобразными словами, старается, чтобы думали люди: — «эко нажрался-то! денегъ-то пропилъ чай сколько!» Ему именно хочется представить, что онъ «нажрался» и даже не напился. А тутъ вдругъ такая обидчивость, когда татаринъ засмѣется надъ этой самой чертой!

Эта щепетильность въ проявленіи своего человеческого достоинства есть, какъ я уже сказалъ ранѣе, самая любопытная и важная черта во всѣхъ этихъ безурядицахъ на югѣ Россіи. Щепетильность эта происходитъ здѣсь безъ особенныхъ новыхъ условій жизни, въ которыя попадаетъ русскій человекъ, уроженецъ коренной Россіи, очутившись на югѣ, въ чужой сторонѣ. Чужая сторона даетъ ему рѣдкую возможность *думать принципиально*, сравнивать себя съ чужимъ человекомъ, думать о справедливомъ «по нашему» и справедливомъ «по ихнему». Живя въ глубинѣ Россіи въ сплошной массѣ однородно живущаго и однородно трудящагося народа, къ тому же въ образѣ и порядкахъ жизни

подчиненнаго въ огромномъ большинствѣ случаевъ не своей волѣ, не своей волей создающаго радости и горести жизни, счастье и несчастье, русскій коренной земледѣльческій человекъ живетъ въ извѣстныхъ формахъ жизни, не критикуя достоинствъ или недостатковъ этихъ формъ, всю жизнь, такъ сказать, говорить прозой, не зная этого. Народная школа, основанная на *сознательномъ* уваженіи благообразія формъ народной жизни, могла бы переработать безсознательное, по вѣтру случайностей колеблемое благообразіе въ благообразіе крѣпкое, сознательное, укрѣпленное сознаніемъ важности и справедливости этихъ благообразныхъ формъ. Но этого нѣтъ, и русскій земледѣльческій человекъ только на чужбинѣ, только въ походахъ, только въ столкновеніяхъ съ формами жизни, нисколько къ формамъ его жизни неподходящими, начинаетъ *думать* о собственныхъ формахъ жизни, начинаетъ *цѣнить* ихъ и сравнивать себя съ другими.

Евреи и татары такимъ образомъ дѣйствуютъ на русскаго человека педагогически. Это «наглядное обученіе» ознакомляетъ съ самимъ собою. Русскій человекъ волнуется здѣсь не какъ чернь, голытьба, грабитель и т. д., а какъ человекъ, чувствующій, *ощущающій свою личность*, которую онъ начинаетъ находить вовсе не такой завалащей, какъ къ этому его приучили «случайности» крестьянской обстановки. Здѣсь, на югѣ, онъ даже и бѣдствуетъ не такъ, какъ на Руси, — напротивъ, какъ мы видѣли, занимается мордобитіемъ, знаетъ уже, что такое визиты; у него здѣсь больше досуга; какъ рабочій, получающій поденную или почасную плату, онъ чувствуетъ себя независимымъ уже въ томъ отношеніи, что ему не надо смотрѣть «на небо» каждый день и думать: «дастъ Господь дождичка или не дасть? Если дасть — будетъ хорошо: и подати отдамъ, и дочь выдамъ замужъ; если не дасть, то старшина будетъ драть». На главной физической обсерваторіи въ Петербургѣ лучше всего можно знать, когда у народа весело на душѣ и когда старшина говоритъ: — «Ну-ко, милашка, ложись! Снимай костюмъ-то!» Здѣсь въ чужой сторонѣ совѣмъ не то: онъ нанятъ — и деньги ему отдадутъ, или онъ увѣренъ, что должны отдать. Работа наемная — не своя, именно «работа», трудъ, трудъ на «чужого человека», трудъ съ требованіями и критикой. Такимъ образомъ нѣкоторая свобода, нѣкоторые досугъ даютъ головѣ русскаго человека извѣстную возможность подумывать, пообсудить, потолковать, «вообще» покритиковать порядки, людей, нравы и обычаи...

Двѣ такія національности, какъ евреи и татары, — національности, совершенно къ нашему великорусскому типу неподходящія, — затрогиваютъ мысль русскаго человека рѣшительно на всѣхъ пунктахъ; и справедливо это или несправедливо по отношенію самоинтереса «нашихъ», только наши начинаютъ внутренне чувствовать себя здѣсь, среди евреевъ и татаръ, и выше, и правственнѣй, и шире, и справедливей... «Намъ», русскимъ, и смѣшна, и жалка эта фигура еврея, вѣчно чѣмъ-то встревоженнаго, вѣчно до пота рыщущаго за

копѣйкой, хватающего копѣйку, какъ соломинку, точно погибающій. Хватаетъ-хватаетъ, а все у него утомленное, скучное, озабоченное лицо, все онъ весь въ грязи: его лачужки—въ кучахъ сора и хлама; его дѣти—въ грязи и въ рубищѣ. Хотя бы устроилъ уютъ, тепло, чистоту, а главное, не *пугался бы жить на свѣтѣ, не трясясь бы такъ, не пугалъ бы насъ своимъ лихорадочнымъ испугомъ жизни...* «Что мы, аль ужъ намъ смерть пришла?.. Чего ты трясешься, какъ мокрый заяцъ?» «Ай, вай-вай!» И какъ для «нашего брата» смѣшно это «ай-вай» во взрослому человѣкѣ съ бородой! Эта фигура даетъ «нашимъ» возможность почувствовать въ себѣ много достоинствъ и сравненіе съ евреями сдѣлать въ пользу себя. Старческія черты много пережившаго племени ненавидитны нашей, если не молодости, то «вѣчной новизнѣ» существованія.

Еще болѣе развивающее, педагогическое вліяніе имѣетъ на русскаго человѣка «татарва». Въ татарскомъ строѣ жизни, въ татарской культурѣ все не столько мизерно, какъ кажется намъ въ еврейской испуганной жизни, сколько несправедливо, высокомерно, глупо. Возьми хоть этотъ обычай—носить оружіе. Мы всѣ вся «Расея», живемъ безъ всякихъ кинжаловъ, безъ орудіи, кромѣ палки для собакъ. Зачѣмъ же кинжалъ? Что это за *добавленіе* къ человѣку? Разъ человѣкъ *дополняетъ* себя въ своихъ житейскихъ отношеніяхъ такимъ инструментомъ, онъ ужъ не *полный* человѣкъ. «Полный» человѣкъ живетъ на свѣтѣ безъ всякаго существеннаго дополненія: просто себѣ вышелъ изъ утробы матери, прожилъ весь вѣкъ безъ дополненій, за исключеніемъ необходимыхъ штановъ и рубахи, и померъ съ голыми руками, съ каковыми руками ходилъ даже противъ обуха. Такъ-то, съ голыми руками, татаринъ пожалуй не выдержитъ противъ нашего; такъ вотъ онъ, чтобы выдержатъ, искусничаетъ, заводитъ ножъ. Это—не модель; ножомъ не хитро зарѣзать человѣка и отнять его имущество; нѣтъ, ты имущество *такъ* наживи, *безъ всего*. Вотъ это будетъ «по божьи».

А семейныя отношенія?

Тутъ ужъ нашъ російскій человѣкъ неизмѣримо выше татарина.

— Что пьешь-то? Что жрешь винище-то? говоритъ расейская бондариха своему мужу, который, пользуясь здѣсь и достаткомъ, и свободой, не покидаетъ расейскаго обычая посѣщать расейскій кабакъ. — Пріѣхали на чужую сторону, чѣмъ бы денегъ скопить да домой убраться, нѣтъ, жреть винище, какъ прорва, прости Господи! И что за жизнь каторжная! Всю-то жизнь только бѣдность да пьянство! Поглядишь на татаръ—вѣдь не пьянствуютъ же, живутъ... И денегъ такихъ нѣтъ, какъ у насъ, а помяди-ко, какъ жену-то обряжаютъ... Намедни ѣхала со мной — такъ что у ней золота понавѣшано на лобу!

— На лобу! Дубье костромское! На лобу золото! Не хошь-ли, поди къ татарину-то, онъ тебѣ на лобу повѣситъ золото, а состарѣешься, такъ онъ тебя въ поле выгонитъ на работу...

— Да хоть годовъ пожить бы въ покоѣ, а съ тобою всю жизнь—одно тиранство!

— На лобу! Охъ, морда этакая! Мы съ тобой, глупая голова, живемъ по христіански, по закону... какъ взялись на вѣки вѣковъ, такъ и должны до кончанія жить. На лобу! Кабы я съ тобой, съ дурой, по татарски-то жилъ, такъ вѣдь я бы тебя давно бы долженъ былъ прогнать. Вѣдь ты что? Ты думаешь, что я въ молоденькой скуса не сыщу. Напрасно. Очень просто могу разыскать гдѣ скусъ—повѣрь! А Богъ-то гдѣ? Онъ вотъ не пьетъ, поганецъ, да четырехъ бабъ держитъ подъ замкомъ, онъ на него и работаютъ, а онъ, подлець, на конѣ съ кинжаломъ развѣзжаетъ; бабы его обшили въ золото, а лошади онъ самъ раскрасилъ въ разныя краски и ѣдетъ, какъ идолъ... А ты мнѣ много-ль нашила золотыхъ штановъ-то, чучела безподобная? На лобу! Ну-ко, давай-ко я тебя въ погребъ-то посажу, да ротъ тебѣ тряпкой наглухо завяжу—скусно будетъ? А я тоже молчу, какъ ты горланить-то начнешь: пастъ-то разинешь — небось въ Астрахани слышно! У нея на лобу повѣшено, такъ она и молчитъ, какъ ужаленная! Само собой, тутъ и не подумаешь въ кабакъ идти! А какъ двѣ ваши сестры сойдутся — рты-то у васъ, у дурь, мы, дураки, вамъ не завязываемъ — такъ вы вѣдь какъ трезвоните-то!.. А все вамъ худо! Каторга! Да вѣдь и мнѣ съ тобой тоже каторга! А ты что думаешь? Мнѣ бы теперь по татарскому положенію давно бы надо тебя за ноги съ кровати-то стащить, да эво куда зашвырнуть, въ поле! Копайся, матушка, ты мнѣ теперь не нужна, а я новенькую обновочку себѣ приспособилъ, да въ темненькій вертеникъ и заточилъ, да ротикъ-то ей горластенскій завязалъ тряпочкой, чтобы она не зѣвала, да дверочку-то на замочекъ заперъ, а въ окончаніе дѣла и на лобу ей повѣсилъ цѣлое даже голенище серебряное, али бы даже золотое, и сиди, милашка, пока нужна... Сиди да штаны намъ серебромъ вышивай, да помалчивай на заднемъ дворѣ!.. Вотъ какъ по татарскому-то! А по нашему не такъ: по нашему мужъ-жена—аминь! Какой въ тебѣ скусъ? Никакого нѣтъ, повѣрь; а положено намъ съ тобой жить—и живи, не дури. У тебя нѣтъ ничего на лобу — и у меня нѣтъ золотыхъ штановъ! ты своими руками — и мнѣ, и себѣ, и я 'своими руками — и тебѣ, и себѣ! И живи! Я пойду, напьюсь—а ты орешь, какъ нобелевскій паровикъ, а я тебѣ рта не завязываю. Ори, матушка, хотъ разорвись, изъ дурака умаго не сдѣлаешь. А запирать тебя въ яму—этого въ законѣ нѣтъ. Такъ-то, сударыня. А то «на лобу!». Эхъ ты, чучело гороховое! Хочешь что-ль—въ кабакъ сбѣгаю, увиѣстятъ по рюмочкѣ выпьемъ, авось пастъ-то закроешь?

Франтоватый, гордый, напыщенный, но основанный на рабствѣ, на кинжалѣ, на заточеніи и молчаніи цѣлой половины человѣчества—женщинъ—мусульманскій міръ представляется російскому человѣку еще болѣе неправильнымъ, негармоничнымъ, несправедливымъ, чѣмъ міръ еврейскій, угнетен-

ный какимъ-то разочарованіемъ, боящійся засмѣяться, дрожащій надъ копѣйкой, воющій въ снагогѣ, воющій такъ, точно его ведутъ на смертную казнь. У насъ и молятся то весело. Посмотрите-ка, какъ заголоситъ иной дьяконъ—любодорого смотрѣть!

— Ишь, милый? весело думаетъ баба, принесшая причащать ребенка и слушая, какъ «выводить» дьяконъ.

— Отъѣлся, думаетъ мужикъ, и думаетъ съ удовольствіемъ. Онъ любитъ здоровье, силу, все румяное и веселое...

А тутъ—т. е. у евреевъ, у татаръ—нѣтъ, тутъ намъ не «по вкусу». И вотъ, когда на пьянаго русскаго челоука навалился полицейскій татаринъ и станетъ его тащить въ часть, то русскій начинаетъ протестовать и отбиваться не отъ «городового», а отъ цѣлаго ненавистнаго ему міросозерцанія, узкаго, несправедливаго, ничтожнаго даже сравнительно съ тѣми идеалами, которые воспитаны формами нашего труда, но которые выяснились и оцѣнились только здѣсь, на чужой сторонѣ.

— Этакая-то сволочь (которая и т. д.), да меня (который и т. д.)? Ну, ужъ нѣтъ!... Ребята, бай!

V.

Укладывать такимъ образомъ народные безпорядки въ полицейскія рамки съ соответствующими имъ послѣдствіями, по малой мѣрѣ, непрактично. Кто тутъ виноватъ? (За исключеніемъ, разумѣется, дѣйствительныхъ охотниковъ до чужого добра). Десятка два выѣзженныхъ въ полицію изъ числа посаженныхъ въ нее «зря», т. е. безъ разбору,—это два десятка новыхъ уличныхъ дѣятелей для другого случая, который можетъ представиться во всякое время. А между тѣмъ нельзя сказать, чтобы совершенно пустопорожняя переписка, неосновательные аресты, отрывающіе людей отъ дѣла и т. д., не играли въ такого рода дѣла значительной, хоть и совершенно безплодной роли. Возьмите хоть этого «предводителя» толпы, Скобелева, и скажите по совѣсти: что можно съ нимъ сдѣлать по части справедливаго возмездія, не привлекая къ этому же возмездію всей толпы? Въ концѣ-концовъ Скобелевъ, разумѣется, былъ выпущенъ на свободу, но полицейское крючкотворство все-таки напутало и напело цѣлую уйму безцѣльныхъ пустяковъ. У насъ на Руси образовался даже типъ, всецѣло поглощенный заботою сдѣлать изъ ничего кому-нибудь и какое-нибудь затрудненіе.

Окончивъ командованіе во время бакинскаго побѣды, Скобелевъ этотъ получилъ изъ одного волжскаго города письмо, въ которомъ дядя его зоветъ на свадьбу дочери своей. Скобелевъ сѣлъ на пароходъ и поѣхалъ. На родинѣ онъ отпраздновалъ свадьбу, рассказывалъ о бакинскомъ побѣдѣ и на свадьбѣ, и въ лавкѣ у купца, и въ трактирѣ, и въ полицію, гдѣ у него были знакомые—словомъ, ничуть ни отъ кого не скрывался и не таялся. Но вотъ одинъ изъ слушателей, отлично знавшій, что

этотъ мужикъ есть Скобелевъ, и проникнутый весьма моднымъ въ то время стремленіемъ «хватать» и «представлять»,—беретъ листъ бумаги, пишетъ на немъ собственнаго изобрѣтенія бланкъ: «Исправляющій должность полицейскаго письмоводителя» и обращается, куда слѣдуетъ: «Не нужно-ли молъ вамъ Скобелева представить, такъ какъ по примѣтамъ этотъ Скобелевъ находится тутъ, въ нашемъ городѣ?». Волей-неволей приходится ему отвѣтить: «Нужно» и просить представить по назначенію. И вотъ этотъ поэтъ кляузы начинаетъ строчить такіа бумага: «Сего числа я, исправляющій должность письмоводителя, вслѣдствіе словеснаго предложенія управленія о производствѣ *неласнаго* дознанія о мѣстѣ жительства (имя рекъ), который заявилъ наканунѣ въ полицію, что уѣзжаетъ изъ города (т. е., который и не скрывался, и не прятался), прибывъ къ мѣщанину (такому-то) съ цѣлью *какъ будто бы* купить щепъ, я дозналъ отъ рабочихъ, что (Скобелевъ) до 27 го іюля часто проходилъ мимо лавки, а съ 27-го не проходилъ и относительно своего намѣренія ѣхать ничего не говорилъ. Имя въ виду, что (Скобелевъ) *скрылся* (?) въ 7 часовъ, т. е. ранѣе требованія о задержаніи его за полчаса времени, и что, по словамъ приказчика лавки, наканунѣ отъѣзда онъ ничего о намѣреніи ѣхать не говорилъ, я, исправляющій должность письмоводителя, постановилъ (это слово написано огромными буквами): просить управленіе дозволить мнѣ произвести въ заведеніи, а равно въ домѣ, гдѣ жилъ (Скобелевъ), обыскъ и въ случаѣ по обыску означеннаго Скобелева (который, какъ видите, уже уѣхалъ) не окажется, дозволить мнѣ выѣхать за нимъ въ погоню, о чемъ и записать въ протоколъ, который, какъ касающійся секретнаго дѣла, къ подпису лицъ не предлагать». Такимъ образомъ преступникъ самъ заходилъ въ полицію объявить, что онъ ѣдетъ, и уѣхалъ. Всѣ это знаютъ, но кляузная фантазія играетъ: сама создаетъ на пустомъ мѣстѣ затрудненія, сама пишетъ себѣ предписанія, постановленія и производить по нимъ изслѣдованія. «Сего числа я, исправляющій должность письмоводителя, производилъ обыскъ въ бондарномъ заведеніи мѣщанина такого-то, причемъ... не найдено. Постановилъ: записать въ протоколъ и къ подпису предъявить». Такъ-какъ по обыску ничего найдено не было, то кляузная фантазія составила сама себѣ новую бумагу: «Предписывается исправляющему должность письмоводителя розыскать, схватить и представить». И вотъ, пожираемый жаждою «схватить», этотъ новый Лекокъ принимается создавать новыя затрудненія на пустомъ мѣстѣ. Бумага, въ которой описаны эти подвиги, называется «представленіе»—что весьма правдоподобно. «Имя честь донести, что я, отправившись въ погоню, но не могъ настигнуть на пути, почему, слѣдуя по его направленію, я прибылъ въ то же время въ 8 часовъ вечера въ г. А. Тотчасъ же, явись въ мѣстное управленіе, объяснилъ цѣль моего пріѣзда и въ ту же минуту, совѣстно со мною, мѣстный приставъ отправился на пароходъ и, произведя тщательный

осмотръ, причѣмъ ничего не оказалось, командировалъ съ однимъ изъ хорошо знающихъ (преступника) въ лицо въ мѣстность, населенную бондарями, а самъ отправился розыскивать чиновника — лева, прїѣхавшаго вмѣстѣ (съ преступникомъ) на одномъ досчаникѣ. Найдя оного, командировалъ вмѣстѣ съ нимъ пристава для розыска, самъ же лично отправился въ другое направленіе для той же цѣли, всюду осматривая питьевныя заведенія, гостиницы. баварин и т. п. Затѣмъ, получивши свѣдѣнія, что (преступникъ) не взялъ своихъ вещей изъ лодки, на которой прїѣхалъ, посадилъ двухъ *переодѣтыхъ* городовыхъ въ означенный досчаникъ, а самъ помѣстился на берегу. Такимъ образомъ, выслѣдивъ его приходъ, я замѣтилъ его шедшимъ по мосту, гдѣ онъ, по моему указанію, былъ *схватченъ* переодѣтыми городовыми».

Виновный ничуть не больше и не меньше того, какъ были виноваты тысячи другихъ такихъ же бондарей, — этотъ полководецъ, разумѣется, долженъ былъ выйти на свободу, что въ концѣ-концовъ и воспослѣдовало. Но сколько тутъ напрасной и ненужной кляузы и какая страсть къ этой кляузѣ, а главное какая полнота возможности осуществить на дѣлѣ любую кляузную фантазію! Какой-то «помощникъ писмоводителя» самъ пишетъ себѣ предписанія дѣлать обыски, производить негласныя дознанія, пускаться въ погоню, переодѣваться и хватать — и ничего! Не знаю, случается ли теперь что-нибудь подобное (вѣроятно, нѣтъ). но недавно еще кляузная фантазія господъ исправляющихъ должность помощника писмоводителя ужасно надѣдала и досаждала мирному обывателю.

VII. Мѣсколько часовъ среди сѣнтантовъ.

Было раннее мартовское утро, когда я проснулся, чтобы идти на «собраніе» ленкоранскихъ баптистовъ. Наканунѣ я познакомился съ однимъ изъ нихъ, извозчикомъ, привезшимъ меня изъ глубины Ленкоранскихъ вѣсковыхъ лѣсовъ въ городъ Ленкорань, и получилъ отъ него приглашеніе придти къ нимъ на форштадтъ, на «моленіе». Устроивъ меня на ночлегъ въ комнатѣ, отдававшейся въ наймы какимъ-то таможеннымъ сторожемъ, новый прїятель мой поѣхалъ домой, чтобы распречь лошадей, и, покончивъ съ этимъ дѣломъ, вновь возвратился ко мнѣ «побесѣдовать», причѣмъ сдѣлалъ мнѣ подарокъ: подарилъ евангеліе и собраніе стиховъ, которые поются на баптистскихъ моленіяхъ. Долго, до поздней ночи, бесѣдовали мы съ этимъ новымъ знакомцемъ и наконецъ разстались. На прощанье онъ еще разъ повторилъ приглашеніе посѣтить ихъ.

Неуютная комната, кровать изъ досокъ, коекакъ покрытая тоненькимъ ковромъ, а главное — невнятный «грохотъ» разсердившагося моря, — грохотъ, напоминавшій непрерывный поѣздъ массы гремящихъ телегъ по гремящей булыжной мостовой, вѣтеръ и дождь, хлеставшіе въ камыше-

вый щитъ, которымъ на ночь было съ улицы заставлено окно — все это, хотя и не дало возможности отдохнуть послѣ тряской и неудобной дороги, но зато помогло не проспать урочнаго часа, назначеннаго для моленія, и въ семь часовъ утра я уже выходилъ изъ дому.

«Помутилось синее море!» Сѣрыя безконечныя волны, сѣрый туманъ, сливавшійся съ волнами и сѣрыми дождевыми тучами, которыми было затянуто небо, вѣтеръ и дождь совершенно преобразили живописный и веселый видъ Ленкорани: вся она, обыкновенно такая веселая, съ своими бѣленькими малороссійскаго типа домиками, прїютившимися подъ высокими зелеными тополями, теперь точно прижалась къ землѣ, придавленная этими тяжелыми небомъ и мокрая отъ дождя, и испуганная этими несмѣтными рядами сѣрыхъ, сердитыхъ волнъ, набѣгающихъ на низменный берегъ, на которомъ она расположена. На улицѣ было пустынно, мокро, но не грязно; улицы вымощены отличными морскими желѣзистыми пескомъ, черными цвѣтомъ своихъ напоминающимъ дороги на желѣзныхъ заводахъ. Пройдя по городу двѣ весьма недлинные улицы, я очутился за городомъ; дорога шла по берегу моря и иногда была до того размыта волнами, что приходилось спускаться къ самой водѣ и выжидать, пока отхлынетъ только что разбившаяся о берегъ морская волна, торопливо перебѣгать по мокрому и крѣпкому песку на другую сторону промоины, видя, какъ другая волна уже несется съ моря на сѣбѣ первой и вотъ-вотъ «схватитъ за ногу».

Въ полуверстѣ отъ города начинается татарскій базаръ, рядъ лавчонокъ, висящихъ на самомъ обрывѣ берега, а за базаромъ идетъ молуканскій форштадтъ, улица, обставленная домиками и избами такого же типа, какъ и въ Ленкорани. Правая сторона этой улицы также виситъ надъ моремъ и рано или поздно непременно упадетъ въ воду; у моего знаконца-извозчика уже свалился въ море сарай, и разговаривая съ нимъ объ этомъ случаѣ и о предстоящемъ форштадту плачевномъ будущемъ, я услышалъ давно знакомыя мнѣ русскія слова: «Что будешь дѣлать? *Поддавали бумагу...*» а отвѣта все что-то не слышать! Много я впоследствии услышалъ и здѣсь, далеко отъ коренной Россіи, на самомъ почти конечномъ предѣлѣ ея съ юга, чисто коренныхъ русскій мнѣніи и словъ и подвигавшихъ ихъ нестремимости и неизмѣнности. несмотря ни на климатъ, ни на разстояніе. Между прочимъ, войдя въ избу моего знаконца-извозчика, я сразу встрѣтился съ портретомъ генерала Скобелева и съ лубочной картинкой, изображавшей нашего русскаго гиганта-мужика, стоящаго въ какой-то плясовой позѣ, причѣмъ ногами онъ раскидывалъ турецкія войска, а руками — турецкія крѣпости. Но тутъ же я увидѣлъ и кое-что новое. Мой знакомецъ сидѣлъ чинно и опрятно, и за опрятнымъ столомъ, и читалъ евангеліе; образовъ я не замѣтилъ въ комнатѣ, но уголь, гдѣ они должны быть, завѣшенъ ситцевой занавѣской; за этой занавѣской лежатъ книги, бумаги и стоятъ черниль-

нища съ перомъ. Кухонной, стряпущей печи, какъ обыкновенно бываетъ въ русскихъ избахъ, здѣсь не было: очевидно грязная половина не соединялась съ чистой.

Упрямость и порядокъ соединялись непривычно для меня съ какой-то молчаливостью жителей: входили женщины, входили дѣвушки-сестры, заглянулъ другой братъ извозчика — и все какъ будто не по нашему: не то ужъ слишкомъ деликатно, не то какъ-то ужъ очень отдѣльно другъ отъ друга смотрѣли они.

Скоро пришлось увидѣть и совсѣмъ новое. Извозчикъ — руководитель мой — повелъ меня въ домъ собраній. Домъ этотъ былъ почти напротивъ; въ отворенныя ворота входили мужчины и женщины (востромъ полу-городской, полу-деревенскій), дѣти и старики. Въ сѣняхъ, какъ у обыкновенной крестьянской избы, также были дѣвушки и парни; лица у нихъ не постыныя, но и не скоромныя, хотя и молодыя, но какія-то молчаливыя, если можно такъ выразиться. Изъ сѣней вошли мы въ комнату, большую и свѣтлую; вся она была уставлена поперекъ скамьями, на которыхъ уже сидѣли сектанты и сектантки, въ углу стоялъ обыкновенный деревянный небольшой столъ, на которомъ лежали евангеліе вѣнскаго изданія и экземпляръ книги стиховъ такого же самаго изданія, какъ тотъ, который я получилъ въ подарокъ вчера. Въ той же комнатѣ у самой двери, головой къ столу, на деревянной кровати лежалъ больной крестьянинъ — хозяинъ избы. Мой знакомый крестьянинъ-баптистъ усадилъ меня за столъ, за которыми обыкновенно помѣщаются учитель и другіе знатоки и толкователи писанія; главнаго учителя еще не было, и поэтому въ комнатѣ царствовало молчаніе; кое-гдѣ слышался вздохъ; сосѣди мои, толкователи и знатоки пѣнія, были все простой народъ — и старые, и молодые. Весь форштадтъ населенъ собственно не крестьянами, а скорѣе мастеровымъ народомъ — столяры, кузнецы, извозники, плотники, штукатуры, работающіе на ленокранскихъ жителей. Сообразные этимъ профессіямъ были и костюмы, и фигуры моихъ сосѣдей и другихъ посѣтителей собранія: были тутъ люди и въ «пиньжакахъ», и въ сибиркахъ — чуйкахъ, и даже въ тулупахъ, а одинъ изъ стариковъ, сидѣвшихъ въ переднемъ углу, напоминалъ даже нашего російскаго дьячка чистой крови. Разговорившись (шопотомъ) съ моимъ сосѣдомъ о больномъ, я узналъ отъ него, что это — хозяинъ, что вотъ уже два мѣсяца, какъ онъ не можетъ встать съ постели, такъ-какъ переломилъ ногу. — «Такъ и хруститъ... а впрочемъ махонькія кости выходятъ». — «Кто же лечитъ его?» — «Да сами... *прикладываемъ!*» Отвѣтъ этотъ также напоминалъ мнѣ глубину Россіи, гдѣ слово: «прикладываемъ» въ соединеніи съ словомъ: «тряпка» нерѣдко исчерпываетъ врачебную помощь миллионамъ народа. Но за этимъ російскимъ и знакомымъ пришло и незнакомое.

Вошелъ наконецъ учитель. Онъ былъ рабочій-столяръ и по виду очень бѣденъ; на худомъ его тѣлѣ надѣтъ былъ старый престарый скрутокъ,

очевидно съ чужого плеча, который къ тому же по случаю дождливой погоды былъ совершенно мокръ. Это былъ человѣкъ совсѣмъ молодой съ строгимъ, нѣсколько постынымъ лицомъ. Войдя въ комнату, онъ, никому не кланяясь, остановился въ какой-то глубокой задумчивости, окрестивъ вытянутыя впередъ кисти рукъ (ладонями внизъ), и такъ благоговѣнно помолчалъ нѣсколько секундъ. Затѣмъ поклонился всѣмъ и сѣлъ за столомъ рядомъ со старцемъ, напоминавшимъ дьячка. Почти у всѣхъ присутствовавшихъ очутились въ рукахъ книжкі стиховъ, и такъ какъ я свою книжку-подарокъ забылъ дома, то сосѣдъ мой пододвинулся ко мнѣ и почти держалъ передъ моими глазами свой развернутый экземпляръ. Экземпляръ его былъ однако не тотъ, который подарилъ мнѣ извозчикъ. Когда началось пѣніе, я сталъ замѣчать, что учитель, окончившій пѣніе ранѣе, чѣмъ текстъ оканчивался въ экземплярѣ моего сосѣда, иногда не допѣвалъ по два и по три куплета, иногда пѣлъ стихъ вовсе не тотъ, который былъ въ экземплярѣ у сосѣда. Впослѣдствіи оказалось, что у сосѣда былъ старый экземпляръ, а у другого присутствовавшихъ, въ томъ числѣ и у учителя, — новый, напечатанный въ Тифлисѣ съ дозволенія цензуры, благодаря которой вѣроятно и произошли измѣненія въ текстѣ.

Общее пѣніе началось тотчасъ же по приходѣ учителя; раскрывъ книгу стиховъ, онъ произнесъ первый стихъ пѣсни и вслѣдъ за нимъ тотъ же стихъ повторили нараспѣвъ всѣ, кто зналъ мотивъ, и всѣ присутствовавшіе за столомъ. То же самое повторилось и со вторымъ стихомъ и т. д. Такое пѣніе продолжалось съ полчаса. Пѣніе это не такъ оригинально, какъ пѣніе чистыхъ молканъ; тамъ слышатся звуки живой пѣсни, пѣсни малороссійскаго кобзаря; иногда мелькнетъ что-то даже узарское — «Эхъ да ни одна...» или «Эй, ду-уби-нушка...» словомъ, въ этомъ пѣніи слышно много живыхъ, прямо съ улицы взятыхъ звуковъ. Пѣніе баптистовъ не такъ характерно; оно какъ-то сухо, иногда визгливо, а иногда дьячковски-церковно. Женщины также участвуютъ въ пѣніи.

Когда былъ пропѣтъ первый стихъ, нѣсколько секундъ продолжалось молчаніе. Кто входилъ и, поклонившись, тихонько отыскивалъ себѣ свободное мѣстечко, кто уходилъ. Наконецъ учитель взялъ евангеліе и поднялся. Началось поученіе. Я потомъ слышалъ такіа поученія и въ другихъ мѣстахъ, и въ другихъ сектахъ, и всѣ они похожи другъ на друга, такъ что поученіе, которое я приведу ниже, можно считать самымъ обыкновеннымъ, нормальнымъ для обыкновенной крестьянской сектантской общины. Я не слыхалъ записныхъ ораторовъ (къ Святой на форштадтѣ ждали изъ Тифлиса двухъ знаменитыхъ проповѣдниковъ, на пріѣздъ которыхъ было собрано вообще со всѣхъ живущихъ въ окрестностяхъ баптистовъ до 600 р.). но все, что я слышалъ въ этомъ родѣ, очень похоже одно на другое: полуграмотность, плохой языкъ, неумѣніе тонко и искусно придумать фразу, и т. д. Въ Баку я слышалъ такого проповѣд-

ника, котораго рѣшительно не было возможности понять — что такое борются онъ; постоянно онъ перевиралъ слова такъ, что вмѣсто напимѣръ: «И дѣйствительно»... (онъ часто употреблялъ выражения проповѣдей православныхъ священниковъ), онъ множество разъ произнесъ: «И дѣйствительно!». Впрочемъ, этотъ послѣдній ораторъ никимъ образомъ не можетъ быть образчикомъ вообще типа учителя, наставника. Это — богатый купецъ-капиталистъ, который уже знаетъ вкусъ и въ новыхъ антихристовыхъ временахъ. Обыкновенный наставникъ, болѣею частью искренно желающій выслушать передъ слушателями глубину писанія, говорящій передъ обществомъ «не изъ корысти» — онъ ничего не получаетъ — говоритъ такъ, какъ говорилъ бы всякій человѣкъ простого званія, не имѣвшій возможности учиться, какъ слѣдуетъ. Баптистскій учитель былъ именно такой искренній и простой человѣкъ. Вчера еще онъ съ ремешкомъ на головѣ работалъ рамы для господина мирового или исправника, ночью читалъ и приготовлялъ проповѣди, а сегодня вотъ проповѣдуетъ. Это было и ново, и поучительно. Раскрывъ евангеліе, онъ, по временамъ затрудняясь, прочиталъ притчу о пахарѣ, который пошелъ искать заблудшую овцу, оставивъ цѣлое стадо. Прочитавъ это, учитель положилъ евангеліе на столъ и сказалъ:

— «Вотъ, братіе мои, что пишется... Что-жъ это означаетъ? Это надо очень прилежно обдумать, чтобы понимать... Это надо понимать, братіе мои, съ самыхъ первобытныхъ вѣковъ, отъ начала самаго сотворенія міра. И ежели мы вспомнимъ, то увидимъ, что сотворилъ насъ Господь Богъ Саввоевъ, слѣдовательно, Богъ-Отецъ. Вотъ откуда идетъ начало этому дѣлу И какъ же Господь Богъ, Богъ-Отецъ сотворилъ насъ? Онъ сотворилъ насъ въ самомъ лучшемъ видѣ! Подумайте, братіе, сколь много любилъ онъ человѣка, что уготовалъ ему рай? Онъ, Богъ, Вседержитель, Отецъ, приуготовилъ намъ землю, небо и воду... Приуготовилъ онъ намъ плоды и зѣрей, и животныхъ, и травы, и всякія птицы, и рыбы. Все, однимъ словомъ: нѣтъ того, что бы милость Божія поскупилась для человѣка. И когда все до безконечности было приуготовлено, только тогда и сотворилъ Богъ человѣка. Когда все уже было готово, только живи, не безпокойся! Но увя! Это еще не вполне обозначаетъ милосердіе Отца нашего, Творца! Мало того, Онъ еще, по своей добротѣ, создалъ человѣка по образу своему и подобію... Понимаетъ ли мы, друзья мои, коль велика милость Божія? Да, братіе, ничего болѣе для человѣка и въ мысляхъ представить невозможно! Все, все для него было! Живи, плодись, множись — тебѣ все дано! И гдѣ-жъ онъ жилъ? Онъ въ великолѣпнѣйшемъ саду, въ неизреченномъ раю пребывалъ, чего ему еще отъ Бога желать? И что-жъ, онъ вмѣсто того, чтобы поблагодарить и съ кротостію славить Бога, что-жъ онъ, спрошу я васъ, друзья мои, сдѣлалъ?»

Ораторъ на мгновеніе умолкъ; необходимо сказать, что съ самаго начала его рѣчи начали то тамъ, то сямъ въ публикѣ слышаться вздохи;

вздыхали глубоко и часто, и это показалось мнѣ не вполне натуральнымъ. Одна толстая и здоровая женщина, лѣтъ пятидесяти, вздыхала какъ-то ужъ совсѣмъ непріятно: «О-охъ, Боже мой. Боже мой, Боже мой!.. Охъ-охъ-го-го!» вопіяла она сильнымъ, но спокойнымъ голосомъ. Нѣсколько молодыхъ людей, особенно молодыхъ дѣвицъ, совершенно не принимали участія въ этихъ вздохахъ; но какъ-разъ противъ меня за столомъ на лавкѣ сидѣлъ какой-то мастеровой, дюжій, широкоплечій, съ добродушнымъ лицомъ человѣкъ въ пиджакѣ изъ верблюжьяго сукна; широкое, веснушчатое лицо его, съ добродушными сѣрыми глазами, было положительно удручено искреннѣйшимъ вниманіемъ къ каждому слову оратора; огромный ребенокъ этотъ видимо глубоко тосковалъ о томъ далекомъ времени, когда человѣкъ жилъ въ прекрасномъ саду, о тѣхъ благодѣяніяхъ, которыми надѣлилъ его Творецъ, и вздохи его, тихіе и глубокіе, были въ высшей степени трогательны. Когда ораторъ сказалъ: «Что-жъ, спрошу я васъ, сдѣлалъ человѣкъ?» верблюжій пиджакъ утеръ огромнымъ мозолистымъ пальцемъ слезу и горько вздохнулъ...

— И что-жъ сдѣлалъ человѣкъ? продолжалъ ораторъ. — Онъ все превратилъ въ беззаконіе и беззаконіе! Все нарушилъ, ничего не послушался! Его природа — вотъ врагъ нашъ! Природа его совратила съ истиннаго пути. Онъ не хотѣлъ жить честно — и Господь наказалъ его... Онъ выгналъ его вонъ изъ рая, лишилъ всего, и вотъ теперь-ка даже и по сейчасъ, мы ни днемъ, ни ночью не видимъ покою, а видимъ одно мученіе. Нѣтъ у насъ пристанища на бѣломъ свѣтѣ! Что Господь давалъ даромъ, теперь мы съ кровью рвемъ другъ у дружки. (Охъ-охъ-охъ! слышалось въ разныхъ концахъ.) Диви-бы богатые изъ зависти, что у одного больше, а у другого меньше добра — грызлись, а и бѣдные-то норовятъ другъ на дружку наступить (вздохи становились все чаще и чаще). Что мы теперь? Всю жизнь бьемся, какъ оглашенные, всю жизнь безъ передышки страдаемъ; а минуты нѣту покою, и все только и дѣлаемъ, что другъ дружку обижаемъ... Вотъ, братіе, какъ Господь наказалъ насъ! Да вѣдь это такъ и должно: нешто можно было простить ему, Отцу-то! Вѣдь онъ Отецъ былъ нашъ, онъ намъ хотѣлъ какъ лучше сдѣлать, а мы какъ отблагодарили? Это хоть бы взять и нашего брата: ежели я — положимъ — отецъ и люблю я своего сына и стараюсь для него, а онъ мнѣ за мѣсто этого взялъ да и сдѣлалъ какъ невозможно хуже — и что же! я его взялъ да и простилъ? похвалилъ? Нѣтъ, братіе, такъ нельзя, это будетъ баловство! И вотъ по этому случаю Богъ-Отецъ насъ никакъ не могъ простить, онъ долженъ былъ насъ наказывать строго, чтобы мы почувствовали; и онъ насъ наказалъ, и до того, что намъ бы всѣмъ пропасть надо было, потому что мы достойны погибели...

Верблюжій пиджакъ всѣмъ своимъ лицомъ, даже всѣмъ своимъ огромнымъ тѣломъ изнывавшій отъ глубокой душевной тоски, не выдержалъ и, почти

всклиывая, опустился съ лавки колѣнами на полъ, а руки локтями поставилъ на край стола и закрылъ лицо ладонями. Изъ-за этихъ широкихъ ручищъ поминутно стали слышаться всхлипыванія, и мокрые бѣлокурые спутанные волосы тряслись на колебавшейся отъ этихъ всхлипываній головѣ.

— Достойны полной гибели! Иначе, братіе мои, намъ бы и быть невозможно, но Господъ милосердъ неизреченно: Самому Ему нельзя было насъ выручить — и вотъ Онъ послалъ Сына... И вотъ Богъ-то Сынъ и есть тотъ пастырь, чтó я читалъ... Вотъ какъ надо это понимать! — «Поди сюда! Я тебя не обижу! Я знаю, что ты — вся во грѣхахъ, что ты заблудилась, запуталась въ терніяхъ, пропадешь зря... Выходи! не бойся! Я тебя спасу... ты мнѣ дорога... вѣдь тебя Богъ создалъ... Поди сюда!»

Верблюжій пиджакъ рыдалъ: слезы хлестали у него между пальцевъ, и съ носа бѣжали крупными каплями; въ публикѣ слышались безпрестанныя всхлипыванія. Вадохи, казавшіеся мнѣ прежде официальными, теперь были совершенно искренни, — учитель говорилъ съ большимъ чувствомъ, особенно слова, обращенныя къ заблудшей овцѣ.

По окончаніи этой рѣчи, учитель сѣлъ, видимо взволнованный, сталъ отирать мокрый лобъ равнымъ платкомъ. Молчаніе царствовало минутъ пять; верблюжій пиджакъ сѣлъ опять на лавку; лицо его было совершенно мокрое; онъ сморкался и утиралъ глаза, но слезы такъ и лились. Втеченіи этихъ пяти минутъ взволнованная публика едва-едва успокоилась, были впрочемъ и лица совершенно невозволинованныя, преимущественно изъ дѣвицъ...

Наконецъ всѣ успокоились.

— Вотъ что, братіе! сказалъ учитель совершенно «другимъ», дѣловымъ голосомъ. — Позвольте васъ спросить: сколько мнѣ еще разъ говорить вамъ о фатерѣ?

Слушатели молчали. Нѣкоторые почему-то вздохнули — опять тѣмъ же официальнымъ вздохомъ.

— Человѣкъ второй мѣсяцъ лежитъ боленъ, не встаетъ съ постели (учитель указалъ на больного хозяина), вѣдь надо же понимать, что мы его беспокоимъ!

Общество безмолвствовало.

— Хорошо-ли будетъ, какъ лавки-то наши на улицѣ повыкидаютъ? Я бы и самъ прискалъ помѣщеніе, да вѣдь мнѣ тоже пить-ѣсть надо: я — рабочий человѣкъ... Кажется, можно кому нибудь бы заняться, часокъ удѣлать?

Долго-то такъ учитель пробиралъ своихъ братьевъ за ихъ равнодушіе къ общему дѣлу, и пробиралъ строго, не церемонясь присутствіемъ посторонняго человѣка. Вторженіе въ духовную бесѣду чисто дѣлового разговора мнѣ также показалось новымъ и хорошимъ, а впослѣдствіи мнѣ пришлось узнать, что такіа вторженія въ духовную бесѣду дѣловыхъ разговоровъ происходятъ почти на каждомъ собраніи и всякій разъ касаются какого-нибудь общественнаго дѣла, о которомъ во имя ученія надобно напомнить мірянамъ, а иногда даже и пробрать ихъ...

Дальнѣйшее моленіе продолжалось такъ: когда всѣ успокоились послѣ впечатлѣнія проповѣди, и когда окончился дѣловый разговоръ, учитель молчалъ немного и опять открылъ книгу пѣсень. Началось пѣніе новаго стиха такимъ же порядкомъ и манеромъ, какъ сказано выше. По окончаніи стиха началось моленіе: всѣ стали на колѣна и учитель сталъ говорить, прося у Бога помощи для всей братіи въ томъ, чтобъ онъ помогъ каждому быть лучше, очистилъ бы душу каждого отъ зла, и т. д. Въ концѣ-концовъ, также стоя на колѣнахъ, учитель просилъ Бога о дарованіи здравія и долгоденствія Государю-Императору. На этомъ и кончилось моленіе, продолжавшееся часа два.

Мой пріятель, извозчикъ, проводилъ меня до дому, и какъ дорогой, такъ и за чаемъ въ моей комнатѣ, шли у насъ разговоры объ особенностяхъ и порядкахъ баптисткой секты. На каждый мой вопросъ о семейныхъ отношеніяхъ, объ отношеніяхъ бѣдныхъ и богатыхъ и т. д., собесѣдникъ мой давалъ самыя «пріятныя» отвѣты. Онъ видимо *желалъ* говорить со мной только *хорошо*, честно, благородно; бѣднымъ они помогаютъ, кто сколько можетъ, для чего и пріибита къ стѣнѣ кружка. Я спросилъ его: — «Отчего же сегодня въ эту кружку никто ничего не положилъ?» — «Ну, разнó бываетъ... а то кладемъ... какъ же? Нельзя, это должно... кладемъ! Это у насъ есть, заботимся?» — Заботитесь ли вы и другъ о другѣ, подсобляя въ несчастіи? — «Подсобляемъ, какъ же... это ужъ нельзя безъ этого!» и т. д. Все у нихъ выходило хорошо, и все могло бы быть тутъ же значительно умалено фактами живой дѣятельности по отношенію къ практическому осуществленію хорошихъ желаній, хорошихъ мыслей; но, не смотря на эту возможность умалить значеніе хорошихъ словъ — именно обиліе хорошихъ желаній, именно стремленіе, «чтобы все было поаккуратнѣе, почише», какъ выразился мой собесѣдникъ, именно желаніе, чтобы вопросы о бѣдныхъ и богатыхъ, о правыхъ и виноватыхъ, о слабыхъ и сильныхъ — чтобы всѣ эти вопросы были справедливо рѣшены «по хорошему», именно такъ, какъ говорилъ мнѣ (только — говорилъ) мой собесѣдникъ, — вотъ это-то и было мнѣ очень ново. Ново тó, что всѣ эти вопросы сидятъ въ умахъ этихъ людей, составляютъ ихъ заботу, что эти вопросы поставлены открыто передъ общественнымъ вниманіемъ всѣхъ старшихъ, и малышей, до послѣдняго ребенка. Не надо было быть особенно внимательнымъ, чтобы видѣть, какъ мало эти хорошія желанія — установить совѣстливыя взаимныя отношенія — осуществлены на практикѣ, но стремленіе осуществить ихъ, положенное въ основаніе нравственнаго воспитанія, хорошо и не забывается послѣ всѣхъ шероховатостей, остающихся въ нашихъ впечатлѣніяхъ отъ знакомства съ сектантскимъ міромъ.

Шероховатости эти, заставляющія васъ много разъ сказать себѣ: «и у насъ въ деревняхъ то же самое творится, къ несчастію!» гораздо болѣе бросаются вамъ въ глаза здѣсь, чѣмъ въ нашихъ

безкишечных деревнях, и фактов, которые убеждают вас, как мало «на деле» осуществлено хороших стремлений, даже и искать не надобно: они на каждом шагу. Напримѣръ, переночевать на одномъ постояломъ дворѣ, принадлежащемъ крестьянину изъ секты «Общихъ», и перемѣнить лошадей, рано утромъ ѣдемъ мы по темной, еще пустынной Муганьской степи. Извозчикъ нашъ, работникъ хозяина постоялаго двора, нѣтъ-нѣтъ да и приостановить лошадей. — «Что съ тобой?» — «Да животъ все схватываетъ...» отвѣчаетъ извозчикъ... а дорога — ишь какая! Какъ толкнетъ на ямѣ или канавѣ, такъ и схватить...» Объяснивъ причину остановокъ, извозчикъ помолчалъ и сказалъ:

— Не кормить, песь этакой, какъ должно! Днялъ квасомъ, хоть что хошь!

— Кто не кормить?

— Да хозяинъ то! Такой жидоморъ! Рыбы ишь по нонѣшнимъ «правамъ» укупить невозможно, такъ вотъ и за обѣдомъ, и за ужиномъ только и есть — квасъ да хлѣбъ. Раздуло всего на-чисто!

А съ этимъ хозяйномъ цѣлый вечеръ мы вели самые «хорошіе разговоры». Говорили напримѣръ о баптистахъ, и онъ отлично раскритиковалъ ихъ ученіе на основаніи евангелія, доказывая, что спастись можно именно *добрыми дѣлами*, а не вѣрою только, какъ утверждаютъ господа баптисты. Когда же я показалъ ему баптистскую книжечку стиховъ, подаренную мнѣ извозчикомъ, такъ онъ только повертѣлъ ее въ рукахъ и презрительнѣйшимъ тономъ произнесъ:

— Знаемъ мы эту ихнюю болтовню. Это все у нихъ взято изъ аглицкаго пуза! (ужъ извините за выраженіе).

А теперь вонъ оказывается — «не кормить», хотя принадлежитъ къ сектѣ, утверждающей, что спасеніе только въ добрыхъ дѣлахъ.

Разговорившись съ возницей, мы узнали вещи и еще того хуже:

— Снохачъ! сказалъ возница про хозяина.

— Будто бы!

— Ужъ это вѣрно! Видѣли жену сына-то?

— Какъ же, видѣли. Это та баба, которая сама-варъ подавала?

— Ну вотъ, она самая! ну, такъ это дѣти у нея не сыновы — а евоныны!.. Извѣстный снохачъ! Его жена ужъ старуха, внизу живетъ... А сынъ-то его хочетъ теперича оставить, хочетъ наново креститься...

Еще болѣе тяжелое несоотвѣтствіе хорошаго слова съ дѣломъ пришлось видѣть мнѣ среди такой удивительной секты, какъ «Общія». Секта эта дѣйствительно удивительная. Щаповъ въ своихъ очеркахъ: «Умственные направленія русскаго раскола» называетъ эту секту «Рабочимъ согласіемъ». Возникла она въ 20-хъ годахъ въ Саратовской губерніи, благодаря инициативѣ Михаила Акинфиевича Попова. «Каждая слобода, согласно этому ученію, есть особая община; каждая партія или каждый домъ составляютъ какъ бы домашнюю церковь; дома для жительства каждой партіи строятся

миромъ единомышленниковъ одной слободы. *Имѣнія движимыя и недвижимыя* и доходы съ нихъ принадлежать братскому общему союзу по изравненію каждого, не разбирая, кто гдѣ въ какой деревнѣ находится. *Личной же собственности, ни движимой, ни недвижимой, ни у ко-ю нѣтъ.* Дома, скотъ, земледѣльческія орудія, телеги, все домашнее хозяйство, земля, сады, огородъ, мельницы, пчельники — словомъ, все сельское хозяйство, принадлежитъ цѣлой слободѣ, и доходы со всего этого составляютъ общую сумму общины. У «Общихъ» въ каждой слободѣ — одна общая денежная касса; изъ этой общей кассы, также изъ общаго имущества, отпускаются части въ партіи, т. е. отдѣльные дома по числу душъ и общему для «души» уравнию. Такъ распределяется скотъ, все хозяйственные принадлежности, даже одежда и обувь. Затѣмъ въ каждой партіи или домѣ выбирается домашній распорядитель, сохраняющій все мужское платье и обувь партіи, и распорядительница: она обязана смотреть, чтобы пища была хорошо сварена, и раздавать хлѣбъ и пищу, также уравнивая ихъ; она же завѣдуетъ всѣмъ быломъ дома, холстомъ, нарядами, женскими сарафанами, платками, занавѣсками, и т. д. Слободы управляются также выборными — членомъ, судьей, главнымъ учителемъ и наблюдателемъ общины, жертвенникомъ, распорядителемъ, видѣтелемъ, молитвенникомъ, словесникомъ, тайникомъ, мысленникомъ. Всѣ работы, полевые и домашнія, производятся общими трудами по наряду общинныхъ членовъ и домашнихъ распорядителей. Въ каждой слободѣ учреждены училища, содержащія на общественный счетъ, въ которыхъ родители обязаны отдавать своихъ дѣтей. Всѣмъ работникамъ общины ученіе проповѣдуетъ братство, символомъ котораго служитъ общее лобызаніе: *соборное* — на общихъ сборныхъ сходкахъ всей слободы, *домашнее* — между членами каждой партіи, и *единотѣльное* — при посѣщеніи другъ друга. Бракъ не почитается таинствомъ и совершается по одному взаимному согласію и по засвидѣтельствуванію передъ народомъ».

Мнѣ пришлось быть въ той самой деревнѣ, которую основалъ М. А. Поповъ. Сосланный съ своими единомышленниками на Кавказъ, Поповъ поселился здѣсь, близъ Ленкорани, основавъ поселеніе Николаевку, гдѣ въ широкихъ размѣрахъ из практикѣ примѣнилъ свое ученіе. Я видѣлъ стариковъ, знавшихъ этого Попова лично, которые «дѣйствительно» пережили періодъ самыхъ подлинныхъ коммунистическихъ порядковъ, общественныхъ работъ, общественныхъ столовыхъ, общественного имущества; тотъ самый хозяинъ постоялаго двора, о которомъ говорено выше, рассказывалъ, что онъ бывало получалъ деньги на покупку сапогъ, рубахи — изъ общественной кассы; на работу шелъ по указанію и распоряженію общиннаго совѣта, и т. д. — «Ну, потомъ, прибавилъ онъ: — надоло, признаться, работать на другихъ. Иной иенше тебя втрое сработаетъ, иной и совѣтъ дѣнь-дѣнью, и, какъ-то будто бы и обидно стало...» Не мало повредило этому опыту и многое другое. Такъ на-

примѣръ мѣстность, гдѣ Попову пришлось поселиться, оказалась не весьма благоприятной: рѣчка, протекающая черезъ Николаевку, вытекаетъ изъ мѣстности, переполненной массою всевозможныхъ минеральныхъ ключей, преимущественно сѣрныхъ, а поэтому вода въ рѣчкѣ плоха, плоха она и въ колодцахъ. Женщины жалуются на эту воду и климатъ (страшные лѣтніе жары) и приписываютъ имъ большую смертность дѣтей. Все-таки, не взирая на эти неблагоприятныя условія, Поповъ энергически развивалъ на практикѣ свое ученіе, но скоро былъ сосланъ въ Сибирь, гдѣ вновь основалъ такое-же общинное поселеніе. Въѣздъ съ Поповымъ были сосланы семь главныхъ его сотрудниковъ, а другая часть рабочихъ-общинниковъ, которые не были признаны столь же виновными, какъ Поповъ, были отданы въ солдаты. Въ Николаевкѣ остались почти только женщины да дѣти, и лѣтъ десять николаевскія женщины переживали какой-то темный періодъ «безмужія». Впослѣдствіи, послѣ множества ходатайствъ, мужьямъ-солдатамъ дозволено было жить въ Ленкорани, и отъ времени до времени они могли выдаться съ семьями. Въ 1873 г., по ходатайству намѣстника кавказскаго, Поповъ возвратился изъ Сибири и нѣкоторое время жилъ въ Николаевкѣ, гдѣ скоро и умеръ. Изъ Сибири за нимъ пришло сюда нѣсколько новыхъ единомышленниковъ, изъ которыхъ нѣкоторые состояли съ Поповымъ въ родствѣ, женившись на его дочеряхъ; другіе женились въ Сибири на мѣстныхъ женщинахъ, дѣти которыхъ носятъ особенности сибирскаго типа, весьма отличнаго отъ типа великорусса. Съ возвращеніемъ Попова и эти «сибиряки» также стали перебираться сюда по доброй волѣ, поближе къ источнику ученія и къ мѣсту жительства учителя.

Въ настоящее время Николаевка — довольно большая деревня, далеко не напоминающая того фаланстера, который, какъ кажется, грезился основателю ея. Есть здѣсь и богатые дома, есть и бѣдные, есть и лачуги. «Равненія» въ средствахъ жизни и достаткѣ уже нѣтъ. Нѣтъ ни общественныхъ столовыхъ, ни общественныхъ работъ; всякій работаетъ на себя, по силамъ, какія есть въ его семействѣ. Всѣ двѣнадцать «чиновъ» общинной администраціи, установленныя Поповымъ, существуютъ и теперь, но нѣкоторые изъ нихъ уже не имѣютъ ни значенія, ни резона: учитель, судья, распорядитель — сосредоточены теперь въ одномъ лицѣ, преемникъ Попова и его ученикъ, Иванъ Антоновичъ С—нъ; за прекращеніемъ общественныхъ работъ, общественныхъ расходовъ, стали не нужны и такія общественныя должности, какъ на примѣръ «видѣтель», — лицо, на обязанности котораго въ прежнее время лежало наблюденіе за тѣмъ, чтобы всякій исполнялъ то, что ему назначено распорядителемъ. Должность эта есть и теперь, но дѣла ей нѣтъ, за исключеніемъ «непорядковъ», касающихся частной жизни общинниковъ. Изъ старыхъ общественныхъ порядковъ остались общественный судъ и обязательная для каждаго жертва десятой части урожая въ пользу нуждающихся; общественный амбаръ, изъ котораго выдаютъ

ся ссуды хлѣбовъ — и выдаются безъ возврата — дѣйствительно существуетъ. Общественная касса сократилась до размѣровъ добровольныхъ приношеній, собираемыхъ во время молитвенныхъ сборищъ, «кто сколько можетъ» — и чинъ «жертвенника», завѣдующаго этими приношеніями и общественнымъ амбаромъ, имѣетъ нѣкоторый резонъ для существованія. Но зато «мысленникъ» и «тайникъ» и сейчасъ весьма много значатъ въ жизни «Общихъ». Желаніе жить «повкуратнѣй, почище», какъ выразился баптистъ-извозчикъ, лежащее въ основѣ всѣхъ сектантскихъ ученій, осуществляется въ сектѣ «Общихъ» между прочимъ стремленіемъ не держать на душѣ грѣха, дурной и пагубной мысли. Чтобы отдѣлаться отъ дурного желанія, отъ какой-нибудь черной мысли, надобно ее сейчасъ же открыть, рассказать, надобно покаяться въ ней, и тогда она оставитъ человека сама собой. Такъ вотъ «тайникъ» выслушиваетъ такіе мрачные замыслы, которые слишкомъ тягостно дѣлать извѣстными всему обществу; «тайникъ» не говоритъ ни кому-о мрачной мысли, забравшейся кому-нибудь въ голову, и ему-то непременно надо открыть эту мысль. «Мысленнику» точно такъ-же повѣряютъ дурныя, злобныя мысли и желанія, и какъ «тайникъ», такъ и «мысленникъ» обязаны принять участіе въ дурномъ душевномъ состояніи кающагося, разсѣять его, разяснить, облегчить и непременно простить. «Простить» человека въ концѣ-концовъ — это также основной принципъ ученія Попова, идущій рядомъ съ обязанностью всякаго — непременно «каяться» въ своихъ дурныхъ поступкахъ, даже, какъ видите, дурныхъ мысляхъ. Покаяніе или, другими словами, полная откровенность — обязательны для общинниковъ. Каяться должно первому близкому человеку, потомъ «тайнику», «мысленнику», наконецъ всему обществу, міру. И всѣ должны разобрать, разслѣдовать, устыдить кого нужно и въ концѣ-концовъ — простить.

Одна старушка рассказала мнѣ недавній случай общественнаго суда надъ однимъ мужчиной и одной женщиной, вступившихъ въ такія отношенія, о которыхъ «видѣтель» долженъ былъ доложить общественному суду. Оба виноватые рассказали при всѣхъ все, до мельчайшихъ подробностей поступки ихъ были публично обсуждены, рассмотрѣны во всѣхъ отношеніяхъ, и въ концѣ-концовъ достаточно пристыженные грѣшники были также публично прощены и общинниками, и «чинами».

— Да вѣдь что, батюшка, сказала старушка, — вѣдь подумаешь-подумаешь, а вѣдь ужъ больше-то этого и не придумаешь, какъ прощай всѣхъ, и за все!

Между прочимъ эта же старушка и разсѣшила меня. Разговоръ шелъ о томъ, что надо постоянно облегчать, очищать душу откровенностью съ ближнимъ; чтобы на душѣ не заставалось ни одно дурное ощущеніе и чтобы это ощущеніе не портило душевной ясности, надо сейчасъ-же покаяться кому-нибудь.

— А мужчина, спросилъ я,— можетъ каяться женщины?

— Ну ужъ чего бабѣ каяться! Каяться, такъ ужъ, знаю, мужику надо.

Кромѣ обязательнаго покаянія, по части личной чистоты, личной опрятности и сдержанности, «Общія» налагаютъ на себя много другихъ обязательствъ, которыя несуть на себѣ дѣйствительно съ изумительнымъ терпѣніемъ и твердостью духа. Въ этомъ отношеніи на первомъ мѣстѣ стоитъ обузданіе плоти. Пища, обязательная для каждаго изъ «Общихъ», должна быть самая скромная и самая умѣренная; ничего мало-мальски возбуждающаго—чеснокъ, лукъ—они не употребляютъ; ничего жирнаго они не ѣдятъ; всѣ большія жирныя рыбы Каспійскаго моря, которыя у нихъ подъ бокомъ, не употребляются ими въ пищу. Словомъ, ѣда ихъ самая постная и скромная. Вина они не пьютъ (развѣ тайкомъ); никакихъ пѣсенъ, плясокъ, хороводовъ—ничего этого нѣтъ; даже на свадьбахъ поютъ только духовныя пѣсни. Этотъ постный, сухой образъ жизни иногда бываетъ тягостенъ даже и для посторонняго наблюдателя: ни звука, ни смѣха—все молчаливо, сухо, постно, сдержанно.

Такимъ образомъ изъ ученія Попова болѣе всего удержалось между «Общими» только то, что касается личной стороны, личной опрятности, личного благообразія. Но то, что въ этомъ ученіи касалось общественной опрятности и общественныхъ обязанностей общинниковъ другъ къ другу, удержалось только въ самой слабой степени. Удержалась жертва на общую пользу десятой части урожая, удержалось какое-то подобіе общественной кассы и — только! Теперь каждый дворъ живетъ особнякомъ, работаетъ на себя. Въ этомъ отношеніи глава секты, И. А. С., самъ подаетъ примѣръ. Онъ отдѣльно отъ общества снимаетъ рыбную ватагу и стало-быть богатѣетъ въ одиночку; вообще И. А. постоянно разочаровывалъ меня въ моихъ предположеніяхъ, основанныхъ на знакомствѣ съ «Общими» по статьѣ Щапова. По приѣздѣ въ Николаевку, я былъ пораженъ такой особенностью во внѣшнемъ видѣ селенія: никакихъ заборовъ между дворами не существуетъ. Есть заборъ по улицѣ, но загородей, отдѣляющихъ дворы сосѣдей нѣтъ; куры, овцы, буйволы свободно переходятъ изъ одного двора въ другой. Мнѣ подумалось, не остатокъ ли это отъ старой имущественной равноправности, проповѣдовавшейся Поповымъ?

— Это, вы думаете, по ученію? сказалъ И. А., когда я спросилъ объ этомъ.—Это лѣнь, вотъ что это такое! Который хорошій хозяинъ, такъ тотъ загородится, будете покойны! Вонъ у меня, посмотрите, какая загорода со всѣхъ сторонъ обнесена!

И точно: И. А. прочно огородилъ свое жилище. Собаки у него страшныя-престрашныя и злыя-презлыя. Когда мы шли къ нему въ гости, такъ насъ взялся проводить одинъ изъ «Общихъ», котораго собаки знали,—а то разорвутъ!».

Этотъ-же И. А. однажды не только разочаровалъ меня, но по истинѣ даже «потрясъ» нѣкоторыми своими сужденіями. Разговаривали мы о покаяніи и прощеніи. И. А. сказалъ, что общественный судъ «Общихъ» прощаетъ до трехъ разъ одного и того же преступника, а потомъ отвергаетъ его товарищество и исключаетъ изъ общества — иди куда хочешь. Такъ было въ старину, а теперь такъ измѣнились времена, что, по словамъ И. А., стали появляться въ средѣ «Общихъ» такіе люди, для которыхъ и трехъ судовъ стало мало; его простятъ три раза, а онъ сейчасъ за то же: пьетъ, ругается, воруетъ...

— Что-жъ вы дѣлаете въ такомъ случаѣ?

Надо сказать правду, что когда я задалъ И. А. этотъ вопросъ, онъ крѣпко вздохнулъ, прежде нежели отвѣтилъ.

— Предаемъ властямъ! что станешь дѣлать?

— То есть, кому-же?

— Да начальству, старостѣ казенному...

И еще разъ глубоко-глубоко вздохнулъ и прибавилъ:

— Да что! ему бы надобно наказывать его, выслать, а онъ пускаетъ!

Признаюсь, истинно какъ громомъ разбилъ меня И. А. этими словами, отъ которыхъ я и на роднѣ рѣшительно не зналъ, куда дѣваться. Много лѣтъ подъ рядъ въ самыхъ разныхъ мѣстностяхъ Россіи, вездѣ гдѣ мнѣ приходилось бывать, только и слышавши по части серьезныхъ мнѣній разныхъ свѣдущихъ людей, старающихся «искоренить зло», что ежели бы драть, какъ слѣдуетъ, такъ все бы и было хорошо, а горе въ томъ, что вотъ дерутъ-то какъ-то уныло, меланхолически, а не серьезно. И вдругъ эта-же самая фраза, это несносное изреченіе догнало меня здѣсь, чуть не на концѣ русскаго свѣта!... Господи Боже!...

— Сладу нѣту! продолжалъ И. А., — непокорство... папирсочки... трубочки... и т. д.

Все, слово въ слово, то самое, что я миллионы разъ слышалъ на Руси!

Словомъ, повторяю, даже и безъ особенныхъ стараній подмѣчать темныя стороны сектантства, онѣ сами бросаются въ глаза. «Все это есть у насъ, безъ всякихъ постовъ, гимновъ и чиновъ!» Есть люди наживы, и трубочки съ табакомъ, и такое же нежеланіе работать на другого — все есть! Но при всемъ этомъ столь явномъ сходствѣ темныхъ сторонъ нашей безкижной и этой книжной деревни, онѣ очень и очень не похожи другъ на друга и поровнять ихъ невозможно. У насъ, въ безкижной деревнѣ, много есть точъ-въ-точъ такихъ же неправдъ, какъ и въ книжной деревнѣ, но разница заключается въ томъ, что въ книжной деревнѣ темнымъ явленіемъ жизни всенародно противопоставляются и проповѣдуются самыя строгія нравственныя требованія. Это дурное и темное дѣлается. *но этого не должно быть.* Должно быть вотъ такъ-то и такъ, и если происходитъ иначе, если мы не можемъ обойтись безъ худого, то въ сущности это неправда, это не хорошо, этого не должно быть. У «Общихъ» напимѣръ съ ранняго школь-

наго дѣтства. при обязательности обученія, дѣтямъ внушается «Уставъ упованія общаго ученія», затрогивающій самыя серьезнѣйшія общественныя и частныя отношенія, требующій въ этихъ отношеніяхъ самой высшей справедливости. Словомъ, въ основаніе всего союза людей кладутся и проповѣдуются открыто самыя широкія требованія. *Какъ должно быть*—здѣсь извѣстно всѣмъ, и если И. А. арендуетъ отдѣльно отъ общества ватагу, то послѣдній мальчишъ знаетъ, что этого *не должно быть*, что *не должно* богатѣть на счетъ другихъ, что *нельзя* бросать бѣдныхъ и немущихъ на произволъ судьбы. Всего этого достигнуть трудно, человекъ плохъ, слабъ, своекорыстенъ, но онъ *долженъ быть* лучшимъ. Такимъ образомъ притѣхъ же самыя явленія, какъ у насъ, здѣсь есть въ душѣ и въ сознаніи каждаго нравственный идеалъ; онъ плохо осуществляется, это правда, но онъ долженъ бы быть осуществленъ. И въ каждомъ нашемъ крестьянинѣ, какъ во всякомъ человекѣ, несомнѣнно есть «Богъ», совѣсть, и нашъ крестьянинъ подлое называетъ подлымъ. но здѣсь эти проявленія совѣсти сдѣланы предметомъ *всеобщаго* вниманія, «главнымъ дѣломъ», лежащимъ въ основѣ воспитанія, главною цѣлью, къ которой *надо* стремиться. Въ ученіи «Общихъ», какъ видно изъ приведеннаго выше изложенія, проповѣдуются самыя идеальныя человѣческія отношенія, проповѣдуются и отцами, и матерями, и наставниками, и судьями, и т. д. Трудно достигнуть такого идеальнаго совершенства, и оно плохо достигается на дѣлѣ; но чего именно надо достигать, къ какой цѣли стремиться, что хорошо и что худо—это извѣстно всѣмъ и каждому, это поддерживается, если хотите, всѣмъ «начальствомъ» секты.

У насъ есть всѣ темныя явленія, какія встрѣчали мы и въ сектантскихъ деревняхъ, но наши идеальныя стремленія, наши представленія о справедливомъ и несправедливомъ не имѣютъ и миллионной доли того общественнаго значенія и той общественной поддержки, какія лежатъ въ основѣ сектантства. «Какъ должно быть?»—нигдѣ, ни въ церкви, ни въ школѣ, не поставлено такъ широко и не разрабатывается такъ открыто и настойчиво, какъ разрабатывается въ сектантской школѣ, въ сектантской семьѣ, въ сектантскомъ собраніи. Вотъ почему въ нашихъ безкишечныхъ деревняхъ могутъ встрѣчаться поразительнѣйшія колебанія общественной и частной совѣсти,—колебанія, отъ которыхъ иной разъ просто подираетъ морозъ по кожѣ. Не такъ давно напримѣръ въ газетахъ было разсказано слѣдующее: во Владимирской губерніи до самаго послѣдняго времени сохранились еще самыя образцовыя формы общиннаго землевладѣнія. Есть цѣлыя нераздѣльныя волости, включающія по двѣнадцати деревень, причемъ въ общемъ пользованіи находятся и земли, и луга, и выгоны, и лѣса! Разсказывая исторію одной такой общины-волости, корреспондентъ рисуетъ картину по истинѣ прелестную. Такъ называемые пессимисты должны посрамиться отъ ея созерцанія. Земля въ этой волости (Константинов-

ской) передѣлялась по душамъ по мѣрѣ прироста населенія, причемъ границы обозначались камнями, которые при передѣлахъ передвигались съ одного мѣста на другое; сироты распредѣлялись между имущими; излишекъ населенія въ одной мѣстности мирскимъ согласіемъ передвигали въ такія мѣста, гдѣ были въ немъ недостатки, и т. д. Словомъ—картина самыя удивительныхъ проявленій народной правды и справедливаго народнаго ума. Такъ живетъ эта волость долгіе годы. Настаетъ 19 февраля, пріѣзжаютъ чиновники и размежевываютъ деревни, не смотря на всеобщее нежеланіе. Луга константиновцамъ однако же удалось оставить нераздѣльными. Но и по раздѣленіи земли, всѣ девять деревень постоянно стремятся къ сліянью воедино, постоянно заявляютъ объ этомъ на сходахъ, въ виду того, что въ нѣкоторыхъ изъ 9 деревень стало тѣсно, приросло много народу, а въ другихъ убыло. Приготавлились уже сдѣлать общій, на старинный образецъ, передѣлъ, передвижку—какъ случилось одно совершенно неожиданное обстоятельство: въ деревнѣ Константиновкѣ (отъ которой и волость носитъ то-же названіе) появилась холера и изъ 300 душъ унесла въ могилу 150 человекъ. Едва 150 человекъ были зарыты, какъ оказалось, что у константиновцевъ *само собою* образовались вдвое большіе противъ прежняго душевыя надѣлы. До холеры было по 4 десятины, а послѣ холеры—вдругъ оказалось по 8... И что же? константиновцы тотчасъ-же отказались отъ всеобщаго передѣла и стали пользоваться своими 8 десятинами, свалившимися съ неба, предоставляя сосѣдямъ, жаловавшимся на тѣсноту, ждать новаго Божьяго наказанія, чтобы увеличить свои надѣлы.

Я боюсь сказать, но мнѣ кажется, что здѣсь ни въ первой половинѣ этой исторіи, ни во второй не было для поступковъ дѣйствующихъ лицъ опредѣленнаго нравственнаго убѣжденія въ томъ, *какъ должно*, а было одно—*какъ пришлось*. А пришлось, говоря по совѣсти, какъ видите, очень скверно. Люди требовали передѣла, потому что народилось много народу; можетъ, именно отъ этого и отъ недостатка въ питаніи и произошла въ Константиновкѣ холера, и вотъ этотъ-то печальный опытъ не мѣшаетъ отказываться отъ еще вчера нужнаго передѣла, хладнокровно подвергать сосѣдей-товарищей той же тѣснотѣ и той же, быть можетъ, эпидеміи. Право, это не «по сусѣдски» и не по совѣсти.

Здѣсь не «по сусѣдски» и не по совѣсти поступлено константиновцами потому, что въ ихъ идиллическую жизнь вторглось постороннее вліяніе въ видѣ размежеванія и познакомило ихъ съ удольствіями отдѣльнаго владѣнія. Вышло не хорошо. Слѣдовательно. еслибы вліяніе, хотя бы даже и постороннее, явилось сюда съ требованіями другаго рода, съ поддержкою, положимъ, началъ общиннаго владѣнія, то и поступки константиновцевъ могли-бы быть другіе. И дѣйствительно, всякій разъ, когда власть или вообще лица и учрежденія рѣшаются поддерживать и ободрять въ на-

родѣ справедливыя побужденія совѣсти, эти побужденія начинаютъ обнаруживаться въ самыхъ повидимому заскоружилыхъ и омертвѣлыхъ сердцахъ. Въ Елецкомъ уѣздѣ, Орловской губерніи, въ одной изъ волостей долгое время свирѣпствовалъ и грабилъ въ буквальномъ смыслѣ слова старшина, и міръ долгое время хотя и ропталъ на него, однакожь своими мірскими сходами и приговорами потакалъ этому дѣятелю. Однажды міръ этотъ, видя, что старшина растратилъ мірскія деньги, выбралъ въ учетчики крестьянина, почти отъ старшины независимаго и самостоятельнаго. Крестьянинъ этотъ былъ богатъ, имѣлъ 100 дес. собственной земли, и ему нечего было бояться старшины. Онъ взялся за учетъ, раскрылъ всѣ плутни, словомъ, сдѣлалъ дѣло по совѣсти. Но старшина, какъ сказано въ отчетѣ о разбирательствѣ дѣла, *приказалъ* сходу составить приговоръ осылкѣ этого счетчика въ Сибирь, по какимъ-то совершенно нелѣпымъ мотивамъ. Приговоръ составили, а послѣ него посадили въ «холодную» все семейство счетчика. Въ «холодной» онъ просидѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ, пока жалоба его ходила въ присутствіе по крестьянскимъ дѣламъ. Втеченіе этихъ мѣсяцевъ у него были вырублены лѣсъ, разломанъ амбаръ и растащенъ хлѣбъ, а домъ сожженъ. Человѣкъ вышелъ почти нищимъ. Другое дѣло того же человѣка, сдѣланное при содѣйствіи мірянъ, состоитъ въ томъ, что, желая завладѣть всѣмъ имуществомъ одного крестьянина, онъ позвалъ одного изъ односельчанъ этого же мужика. заставилъ его дать вексель отъ имени того мужика, чѣмъ имуществомъ онъ хотѣлъ завладѣть, повезъ этого мужика въ городъ, гдѣ тотъ у нотаріуса подтвердилъ, что онъ именно есть то самое лицо, за которое выдаетъ себя; это же подтвердилъ и извозчикъ, молодой мальчикъ, юноша, который участвовалъ во всѣхъ плутняхъ и гадостяхъ старшины. Дѣло наконецъ дошло до суда. На предварительномъ слѣдствіи всѣ показывали въ пользу старшины. Но вотъ начался судъ—и всѣ эти плуты и лже-свидѣтели почувствовали, что судъ касается ихъ совѣсти, *въ самомъ дѣлѣ* добирается до правды, до стыда, вдругъ наперерывъ другъ передъ другомъ выложили правду злодѣйства старшины, какъ на ладони.—«Теперь ужъ я тебѣ не поддамся!» говорилъ на судѣ, обращаясь къ старшинѣ, юнецъ-кучеръ! Даже волостной писарь, который въ сущности былъ указателемъ для старшины въ кляузнничествѣ и умѣнъ обойти законъ, и тотъ выболталъ все, и даже прибавилъ, махнувъ рукой: «Что творилось, такъ это сохрани Царяца небесная!». Всѣ почувствовали, что судъ танетъ за струну совѣсти, и она заиграла.

Еще интереснѣе другой эпизодъ, о которомъ я уже упоминалъ въ одной моей статейкѣ и кото-

рый я расскажу здѣсь вкратцѣ. Нѣсколько солдатъ изъ полка, стоящаго въ Харьковѣ, шли съ унтеръ-офицеромъ во главѣ по какому-то служебному дѣлу; дорогой они подгуляли и перессорились; рядовые побили даже унтеръ-офицера. Началось дѣло. Но самъ унтеръ-офицеръ, не желая губить своихъ товарищей и пріятелей, просилъ ихъ показывать на судѣ, что этого ничего не было, и самъ показывалъ то-же, то есть, что его не били, и все это выдуманно имъ такъ, зря. Пришлось принимать присягу, они приняли, и ихъ оправдали. Но въ войскахъ, какъ известно, существуютъ нѣкоторые особенныя требованія относительно военной *чести, присяги*,—требованія справедливыя, а потому рѣшительно для всѣхъ важныя. И вотъ эти самые солдаты, которые, будучи мужиками, подъ влияніемъ и давленіемъ какого-нибудь гнуснаго волостного старшины, составили-бы, въ пьяномъ видѣ какіе-нибудь возмутительные приговоры, здѣсь, въ войскахъ, подъ влияніемъ особеннаго значенія, какое имѣютъ для солдата присяга и честь, будучи оправданы, не вынесли признанія, что оправданіе досталось имъ цѣной ложной присяги. Для черезъ два они явились къ начальнику и объявили, въ чемъ они виновны. — «Просто даже невозможно было *тпру-тпру!*» сказалъ одинъ изъ нихъ, т. е. невозможно было перенести собственного обмана...

Давно, давно пора поддержать русскій народъ въ этихъ стремленіяхъ совѣсти, давно пора увѣрить его, что онъ *долженъ* проявлять ихъ смѣло и безбоязненно. И вотъ, когда сравнить, какъ поставлены требованія относительно того, какъ должно жить «по хорошему» въ нашей некишечной деревнѣ и деревнѣ сектантской, то разница между ними окажется огромная. Тамъ съ дѣтства, со школы къ человѣку предъявляются самыя строгія и широкія требованія относительно необходимости самаго безукоризненнаго житія, рисуются самыя справедливыя отношенія, и затѣмъ сама жизнь на его глазахъ стремится по возможности все это осуществить; школа не разорвана съ жизнью; жизнь не разорвана съ администраціей и церковью. Церковь, моленный домъ—это одновременно и судъ по всевозможнымъ дѣламъ, и проповѣди здѣсь перерываются для разговора о житейскихъ уличныхъ дѣлахъ, а уличныя дѣла вторгаются въ проповѣди. Изъ такой школы можетъ выйти много хорошаго. Кулаки-міроѣды выходятъ не изъ этихъ школъ, а вопреки имъ. Нынѣшнее поколѣніе сектантскихъ учителей—люди старые, видѣвшіе крѣпостное право, солдатчину, палку, кулакъ «скуловоротъ». Молодое поколѣніе, ничего этого не знавшее, быть можетъ, не остановится на томъ, до чего доработались ихъ отцы.

ЧЕРЕЗЪ ПЕНЬ КОЛОДУ.

I. Захотѣлъ быть умнѣй отца!

I.

— Тамъ, на кухнѣ, васъ спрашиваетъ какой-то мужчина, — сказала мнѣ какъ-то на дняхъ работница, появляясь въ моей рабочей комнатѣ. — Вотъ какую-то бумагу велѣлъ вамъ прочесть... Не очень молодой ужъ... Даже ужъ довольно пожилой мужчина.

Работница вручила мнѣ бумагу и ушла.

Очень и очень была мнѣ знакома эта «бумага», засаженная продолжительнымъ пребываніемъ за пазухой невѣдомо откуда появляющагося «прохожаго» человѣка, случайнаго моего посѣтителя, и не безъ нѣкотораго непріятнаго ощущенія взявъ я ее въ руки: много, очень много перечиталъ я этихъ бумагъ съ тѣхъ поръ, какъ живу въ деревнѣ, и давно уже отвыкъ чувствовать любопытство къ произведеніямъ такого рода; эти желтые чернила, отъ которыхъ слѣпнуть глаза, и почти всегда невѣроятно исковерканный языкъ, надъ пониманіемъ котораго надобно въ буквальномъ смыслѣ слова «ломать» голову, а главное, всегда почти кляузное содержаніе этой «бумаги» — все это развило во мнѣ какое-то непріязненное, даже болѣзненное ощущеніе, ощущеніе боли въ вискахъ всякій разъ, когда какой-нибудь случайный посѣтитель, желая поговорить со мной, посылалъ впередъ себя эту засаженную бумагу.

«Кляуза! Непремѣнно какая-нибудь ехидная гадость!» — чувствуется мнѣ всякій разъ, когда я увижу этотъ протягиваемый мнѣ работницей засаженный лоскутъ. Горькій опытъ убѣдилъ меня, что хорошій, дѣльный, *порядочный* мужикъ не пойдетъ ко мнѣ за разговоромъ; онъ дѣлаетъ свое дѣло — некогда ему разговаривать, да и нечего мнѣ ему сказать: ничего я *въ его дѣлахъ* не понимаю и не знаю. Горькій опытъ убѣдилъ меня еще и въ томъ, что хорошій, *порядочный* мужикъ, желающій подумать, а по временамъ и поговорить «по хорошему» и о хорошемъ «вообще», не пойдетъ ко мнѣ не потому только, чтобы онъ былъ увѣренъ, что и по этой части, т. е. по части хорошаго разговора, я такъ же мало понимаю, какъ мало понимаю въ его крестьянскихъ дѣлахъ; нѣтъ, онъ знаетъ, что по части «хорошаго разговора» я могу быть ему полезенъ, что у меня книжки, что я въ газетахъ «вычитываю обо всемъ», и что вообще намъ съ нимъ есть много о чемъ поговорить по совѣсти; но зная все это, онъ все-таки не пойдетъ ко мнѣ, потому что чувствуетъ бесплодность такихъ разговоровъ, чувствуетъ, что не тѣ времена *), чтобы *дозволять* себѣ даже мечтать по хорошему, что теперь времена стоятъ рыковскія, не свѣтлыя, не настоящія, — времена, которыя несомнѣнно пройдутъ, но съ которыми «по хорошему» ничего не подѣ-

лаешь. Можно только сторониться отъ нихъ, «не касаться» этой рыковщины, гдѣ бы она ни проявлялась въ деревенской жизни: въ волостномъ судѣ, на сходѣ, въ кулацкомъ трактирѣ или на кулацкой попойкѣ; и вотъ почему не идетъ ко мнѣ *порядочный* мужикъ для хорошаго разговора: рыковщина вдвойнѣ страшна здѣсь, въ деревнѣ, гдѣ она груба, топорна, безчеловѣчна и ничѣмъ не прикрашена. Рыковщина страшна, какъ систематическое истребленіе во всѣхъ и въ каждомъ малѣйшаго проявленія чего-нибудь божескаго, совѣстливаго, умнаго, справедливаго. Рыковщина не только банковый грабежъ, а *умышленное истребленіе малѣйшихъ благородныхъ и справедливыхъ побужденій въ человѣкѣ*. Последнія двадцать пять лѣтъ тѣмъ и ужасны, что дѣло о правдѣ и неправдѣ стояло въ такомъ именно, а не иномъ положеніи. Неправду слишкомъ берегли, слишкомъ холили, дали ей полную волю, а правду слишкомъ жестоко, слишкомъ неумолимо истребляли въ малѣйшихъ ея проявленіяхъ и положительно на всѣхъ путяхъ. Если рыковщина городовъ не пускала въ банкъ *порядочнаго* человѣка, чтобы онъ не помѣшалъ дѣлать зло на десятки милліоновъ, то рыковщина деревень не пускала его ни въ ссудосберегательное товарищество съ грошевыми оборотомъ, ни въ волостное правленіе, ни въ судъ, ни въ школу. Все, что втеченіе этихъ двадцати пяти лѣтъ имѣло стремленіе въ самомъ дѣлѣ дѣлать добро, приносить общественную пользу, все, что хотѣло дѣлать по правдѣ, совѣсти и чести, на какихъ бы отдаленнѣйшихъ и глухихъ мѣстахъ эти попытки ни осуществлялись и въ какихъ бы микроскопическихъ размѣрахъ ни проявлялись онѣ, — все это зорко, необычайно зорко, по звѣриному видѣла, носомъ чуяла рыковщина и стремилась истребить. Свѣтлое сознаніе, умъ, малѣйшія проявленія доброй воли, прямоты совѣсти, словомъ, малѣйшее проявленіе *души* — все это претяло, бѣсновало зоологическій инстинктъ рыковщины, которая не церемонилась и пускала въ ходъ всякія средства: «всемогущій Богъ», «съ Божіею помощію», «помощь бѣднымъ и нищимъ», «расширеніе производства», «страданіе сердца», «пантажъ и подрывъ доверія», и т. д. словомъ — все, что можетъ заставить вѣрить, что на кровати лежитъ бабушка, а не волкъ въ бабушкиномъ чепчикѣ. И для чего все это? Для того же, для чего и волку нужно вѣчно рвать овецъ и вѣчно быть голоднымъ; въ этомъ рваньѣ, въ этомъ бесплоднѣйшемъ истребленіи все содержаніе безсмысленной зоологической рыковщины, — рванье, грабежъ для рванья и грабежа, разворовавъ милліоны, рыковщина не научитъ даже дѣтей своихъ читать и писать; у ней нѣтъ фантазій истратить эти милліоны; она можетъ только хватать ихъ, воровать и ввергать въ помойную яму... Ни замковъ она не выстроитъ,

*) Слова эти относятся къ недавнему прошлому.

ни морей не оживить, ни горь не коснется и ничего ни изъ какихъ сокровищъ не извлечетъ. Чтобы быть *хорошимъ зоистомъ*, нужна продолжительная наслѣдственность, нужна порода, а здѣсь наслѣдственность фантазіи хватается только до поясной икры и чистосердечнаго приношенія городничему: на миллионъ уже не хватается этой фантазіи; но, несмотря на то, что фантазіи хватается на полтинникъ, этому зоологическому типу, мужику безъ мужицкаго труда, нельзя остановиться въ грабежѣ и въ злѣ, нѣтъ другихъ формъ для проявленія самого себя. не угнетеннаго мужицкимъ трудомъ, а освобожденнаго отъ него... Волка сколько ни корми, какъ ни уваживай за нимъ, но онъ уйдетъ въ лѣсъ голодать, выть и рвать всякую пададь.

Теперь, благодаря суду, стало ужъ ясно, что такое эта рыковщина и какая у нея суть нравственная, нравственная подоплека, облекаемая, смотря по обстоятельствамъ, какъ заячья шкура, то яко бы патриотизмомъ, то смиреніемъ, то волчьимъ оскальчиваніемъ зубовъ, — теперь ясно, что рыковщина есть обманъ по отношенію къ существующему порядку.

Рыковщина отучила насъ всѣхъ — и мужиковъ, и не-мужиковъ — вѣрить и думать даже о томъ, что есть человѣкъ, душа, совѣсть, стыдъ, обязанность къ ближнему; отучила вѣрить, что не только нужно, а даже можно думать и дѣлать хорошо; какъ дважды-два доказала, что по хорошему поступать — страшно, опасно и не время. Вотъ почему и хороший, честный, порядочный мужикъ притаялся, приумолкъ, предоставивъ волю деревенской рыковщинѣ во образѣ грабительства, кулачества и кабачества. Порядочный крестьянинъ вѣрить, что это не навсегда, что у торжествующей рыковщины будетъ конецъ — обѣется и лопнетъ и ничего, кромѣ срада, отъ нея не останется... А пока это еще будетъ, онъ идетъ мимо меня и не заходитъ: не къ чему разговаривать и разспрашивать — «еще не отѣлились, чавкаютъ еще!» — думаетъ онъ — «пущай, апосля приду!..» Разъ два-три, правда, заходили ко мнѣ такіе хорошие мужики — спросить, скоро-ли откроется банкъ крестьянскій, да какія правила насчетъ лѣсныхъ торговъ, и больше кажется не было у меня хорошихъ посѣщеній... А вотъ кляузникъ идетъ! Чуетъ онъ носомъ, что теперешній образованный, грамотный человѣкъ, который газету читаетъ, долженъ понимать, гдѣ раки зимуютъ... Онъ знаетъ старую, заскорузлую кляузу, произошелъ, и новую, деревенскую знаетъ — такъ вотъ нѣтъ-ли, думаетъ, еще какого-нибудь иного новаго манера, чтобы оформить по новому заскорузлую кляузу, выскочить чрезъ и сквозь всѣ древнія и новыя кляузы еще выше, подъ самый, такъ сказать, переметь неправды?... Не виню я этихъ тварей за такое мѣтніе о баринѣ, — баринъ, къ несчастію, очень и очень мало заявляетъ себя передъ мужикомъ съ хорошей стороны. — но все-таки типъ деревенскаго кляузника для меня въ такой степени противенъ, что одно появленіе бумаги, въ которой я привыкъ видѣть непремѣнно вступленіе въ обшир-

нѣйшій кляузный разговоръ, одинъ запахъ этого лоскута, валяшагося за пазухой кляузника вмѣстѣ съ кучей другихъ кляузныхъ «скопій» и документовъ, этотъ большею частью умысленно запутанный и омерзительный языкъ, эти блѣдныя каракули, запятнанныя чернилами, масломъ и грязью, — все это давно ужъ стало возбуждать во мнѣ физическое отвращеніе. боль головы, груди... Вотъ почему я, по уходѣ работницы, принесшей мнѣ бумагу, не могъ не расклаваться въ своей неосторожности: зачѣмъ я взялъ эту гадость? Но такъ какъ бумага была уже въ рукахъ, то волей-неволей я прочиталъ ее. Вотъ что было нацарапано на ней:

«18** году двадцать пятого числа марта мѣсяца бывши я крестьянинъ сопсеникъ деревни Кубышки Чихалковской волости Купреянь Муравушкинъ бывши во храмѣ святыя Софіи въ Новѣ градѣ при служеніи соборне имѣлъ мысли о себѣ самомъ и о Руси и о прочемъ и тогда впавъ въ состояніе слезъ и даже до обморока въ безчувствіи на весь храмъ произносилъ необыкновенныя слова горести весь въ слезахъ и не могу даже остановиться по случаю вдохновенія до изнеможения и языкъ мой стало тянуть взадъ къ затылку и упалъ въ безпамятствѣ. Іерей же Іовнъ Лисацынъ засвидѣтельствовалъ съ теченіемъ времени выздоровленія, о дивныхъ словахъ кои были мною возвышены вдохновеніемъ, и золотыми буквами на поученіе заблудшему народу изъяснялъ опубликовать, но я даже не могу найти и вспомнить тѣхъ словъ. И было со мною въ теченіе времени шестьдесятъ восемьлѣтъ необыкновенныхъ вдохновеніевъ тріе: первое — на съѣздѣ дворянства, второе — въ поученіи сыну моему художнику Синеону Муравушкину, а третье во храмѣ св. Софіи о чемъ покорнѣйше доношу вашему сіятельству, какъ даровано мнѣ отъ Бога вдохновеніе, то покорнѣйше прошу не оставить безъ вниманія. Кр. с. Кубышки и т. д.

Прочитавъ эту тарабарщину, я все-таки чувствовалъ, что есть тутъ какая-то гадость, или вообще что-то старое, уродливое, нелѣпое, хотя прямой, видимой кляузы нѣтъ. «Что ему нужно?» — думалось мнѣ. Но пока я раздумывалъ, работница опять явилась въ моей комнатѣ и со словами: «Пущай, что ли, его?» выпустила въ комнату незнакомаго посѣтителя, не дожидаясь моего отвѣта.

II.

Вошелъ длинный, сухошавый пожилой человѣкъ съ смиреннымъ выраженіемъ какого-то тусклаго лица, съ гусиными маленькими красноватыми глазами, и «первымъ долгомъ» съ благоговѣніемъ помолился на образъ; въ его опрятненькомъ, крытомъ чернымъ сукномъ тулупчикѣ, тщательно подпоясанномъ кушакомъ, въ его манерѣ держать себя такъ, чтобы вы чувствовали, что онъ не просто пришелъ къ вамъ, а «предсталъ передъ вами», опять мелькнуло мнѣ что-то непріязненное, не просто крестьянское, а опять-таки кляузное и

ехидное. При ближайшемъ знакомствѣ, всѣ эти подвѣрѣнія мои вполне подтвердились, хотя ехидство и клузнничество этого человѣка были особенныя, имѣли не личный характеръ, а, такъ сказать, государственный: онъ вообще клузнничалъ на существующій порядокъ во имъ благоговѣнія предъ старымъ, въ которомъ для него все свято и совершенно.

— Осмѣлюсь доложить вашему высочордію, что я съ тысяча восемьсотъ сорокъ шестого года и до реформы, и даже послѣ реформы завсегда былъ на первомъ счету у высшаго начальства. Я живу при третьемъ императорѣ и, благодареніе Создателю, всегда былъ прихвѣрнаго поведенія! И господа управляющіе палатъ, окружные начальники, а въ послѣдствіи времени мировые посредники завсегда становили меня на первый планъ. Потому я какъ отъ Бога награжденъ даромъ ума и совѣсти, то я не послаблялъ ни въ единомъ мгновеніи... У меня подати, сборы, повинности—ни Боже мой, чтобы задолжать или что—никогда! Я себя не помнилъ, не зналъ, какой я есть человѣкъ самъ по себѣ: рюмки водки не выпилъ, не стоялъ, какъ сторожъ на часахъ, при начальникѣ... Этого безобразія не было, какъ теперь! Я, старшина, или будучи головой, встану до свѣту—вижу, кто что дѣлаетъ... кто въ кабаки идетъ, кто на работу—и не потерплю... Я знаю, на какія деньги у кого что куплено.—«Это откуда у тебя салоны?»—«Тятенька купилъ».—И этого довольно. Я знаю, на какія деньги купленъ салонъ; онъ, тятенька, что-нибудь продалъ въ хозяйствѣ, а этого я не потерплю. Я разыскиваю его, допрашиваю, и ежели вижу, что точно продалъ что-либо хозяйственное, то немедленно же и жестоко накажу, не взирая; салонъ сниму и вновь обращаю его въ лошадь или корову и не дамъ (это слово онъ сказалъ съ такой энергіей, что затрясся весь), не дамъ своевольничать, не позволю!

При послѣднихъ словахъ онъ такъ воодушевился, что даже вспотѣлъ и стеръ лицо синимъ набойчатымъ платкомъ.

— У меня по волости вотъ такой соринки не было непорядку!.. За версту кланялись и шапку ломали, не то, что теперь дозволяется всякое непочтеніе и нахальство! Я имѣю двѣ медали и почетный кафтанъ, и даже жена моя удостоилась получить почетный шугай отъ высшаго начальства за примѣрное домашнее поведеніе и строгость, что ни малѣйше ни въ чемъ даже не послабляла!.. И когда началась реформа, тогда даже начальникъ губерніи, при личной бытности въ моемъ домѣ, взявши меня вотъ за это самое мѣсто (гость осторожно взялъ меня за плечо)—«только, говоритъ, на тебя и есть надежда; поддерживай господъ, не давай воли мужикамъ, ты, говоритъ, понимаешь, что есть Богъ, который установилъ уставъ и правила,—такъ ты и не послабляй...» Такъ я восемь лѣтъ почитай не спалъ какъ слѣдуетъ и восьми ночей, потому что началось развращеніе, пьянство, своевольство... Бога никто не признавалъ, не почиталъ, и никто объ этомъ внушеніи не дѣлалъ;

бывало, со всѣхъ концовъ кажинный Божій день идутъ бумаги: «такіе-то мужики не идутъ ко мнѣ на работу»; «такой-то сдѣлалъ грубость, обругалъ моего приказчика»; «сего числа у меня украли двухъ кохинхинскихъ куръ и дыпленка голландскаго, почему прошу взыскать по всей строгости закона». Не пмыши, не ѣмши, по горячимъ слѣдамъ во мгновение ока вездѣ былъ и порядокъ утверждалъ безкорыстно... Самъ въ помон руку залушу, вытащу оттедова куринныя ноги и головы, тотчасъ облачу, разыщу—кто былъ, кто ѣлъ, кто воровалъ, и черезъ два часа у меня готова расправа. Ежели бы не я, такъ что бы тутъ было! А будетъ еще хуже, идутъ времена зловѣщія, народнишко распустивши, не знаетъ правилъ, забывая Бога и пользуется своимъ неуваженіемъ къ начальникамъ! Смѣнили меня своею властію, а предпочитаютъ пьяницу, но Господь ниспровергнетъ ихъ и въ ничтожество произведетъ!.. Когда мировой посредникъ, его сіятельство графъ Зайцевъ-Волчищевъ, оставлялъ постъ, то рыдалъ и обливался слезами:—«Безъ тебя, Муравушкинъ, должны прекратиться порядки и строгость, и народъ, забывши Бога, долженъ впасть въ развратъ». Оно теперь и у вашего высокаго благородія вполне на виду... И я самъ претерпѣлъ со слезами отъ сына моего родного... Вотъ извольте почитать... Здѣсь все описано вполне, для опубликованія до всей Россіи.

Все время онъ трясся отъ волненія и трясущимися руками подаль мнѣ тетрадку, вытащивъ ее изъ-за пазухи.

— Даже сынъ мой родной—продолжалъ онъ трястись—увѣнчалъ мои дни оскорбленіемъ отца своего! до того дошло послабленіе и развращеніе начальства!

— Какъ развращеніе начальства? спросилъ я его довольно строго.

— То-есть развращеніе ума, ваше высокое благородіе, непочитаніе родителей, Бога, и нисколько нѣтъ страху! Человѣчество сдѣлалось подобно стаду безъ пастыря, не зная Бога и страха предъ Его лицомъ: все развращено и погрязло въ неповиновеніи... Я всю жизнь трепеталъ предъ Всевышнимъ и предъ начальниками, кои поставлены Богомъ, и теперь терплю за правду... Здѣсь въ книжкѣ все сказано!.. Какъ послѣ увольненія моего изъ старшинъ взиравъ я на поправіе божескихъ и человѣческихъ правилъ, когда видѣлъ я ниспроверженіе закону, то у меня слеза не высыхала изъ глубины сердца! Я цѣлыя ночи стоялъ на колѣняхъ въ молитвѣ, но, увы! сынъ мой—и тотъ ниспровергъ престолъ Господень въ сердцѣ своемъ. Не говоря о скоромной пищѣ, которую съ наглостію позволялъ себѣ, но даже отца ниспровергъ!

— Какъ же это случилось?

— Содрогается душа моя, какъ подумаю!.. Будучи головой, старшиной и вполне взысканъ отъ высшихъ начальниковъ за мою религіозную душу и поступка строгости безъ послабленія, я замѣтилъ въ сынѣ моемъ черту, и по совѣту господина мирового посредника, его сіятель-

ства графа Зайцева-Волчищева, отдалъ его въ живописное мастерство, такъ какъ замѣчено было въ немъ стремленіе, и былъ въ надеждѣ на утѣшеніе... Но развращеніе и забвеніе Бога сокрушаютъ всѣ преграды!.. Россія должна чрезъ это погибнуть... Я и сейчасъ посѣщаю начальниковъ, и всегда мнѣ первое мѣсто, и мнѣніе мое—первое. И я, не хвастаясь, скажу, что умъ во мнѣ очень огромный: я вижу гибель... Я доводилъ до вышшаго начальства, но Господь не похотѣлъ, дабы дьяволъ былъ побѣжденъ!.. Вотъ, ваше высокое благородіе, почему въ горестяхъ и въ содроганіи сердца моего троекратно впалъ я во вдохновеніе!.. Впервые—на сѣздѣ сельскихъ хозяевъ, когда прочіе высокіе господа высказывали взгляды, то я всталъ и въ полномъ безуміи, такъ какъ явное было нактіе, провозгласилъ о ниспроверженіи закона. И такъ великолѣпно произносилъ—но теперече словъ не упомяну—что его сіятельство графъ Зайцевъ-Волчищевъ опослѣ того взялъ меня такъ-то за это мѣсто (опять прикосновеніе къ моему плечу) и публично отрекомендовалъ: — «Вотъ золотыя уста поселанина, который спасутъ насъ!..» Такъ я даже не могу вспомнить моихъ словъ: такое было восхищеніе!.. А второе вдохновеніе было во храмѣ, какъ я описалъ въ бумагахъ, и тоже съ огорченія души возопилъ о социлистахъ публично, и отецъ Іоаннъ утверждалъ мнѣніе, что устами моими глаголетъ Господь! Но дьяволъ превозмогаетъ! Подавалъ даже въ третье отдѣленіе, но отвѣта не имѣю... И въ третій разъ—по случаю разврата сына моего—чувствуя Господа Вседержителя, глаголющаго устами моими, я уже все подробно рѣшился записать—и вотъ книга. Извольте почитать, и не возможно ли будетъ опубликовать повсемѣсто для имперіи? А иначе все должно погибнуть! Правда Божія въ забвеніи, развратъ, непокорство, постовъ не соблюдаютъ, не почитаютъ родителей и начальниковъ. Это все есть противъ Бога нашего, и козни дьявола превозмогаютъ законъ Бога живого... Извольте почитать, какія изложены мысли. Его сіятельство графъ Зайцевъ-Волчищевъ чистосердечно увѣрялъ, что надобно опубликовать, дабы было почтеніе и уваженіе вновь установлено... Извольте почитать, будьте такъ добры!..

Взволнованный сынъ отечества вновь утеръ потное лицо, взялъ изъ моихъ рукъ свою тетрадку и, раскрывъ ее на извѣстномъ мѣстѣ, сказалъ:

— Вотъ отъ этихъ поръ извольте почитать!

Вотъ что тамъ было написано:

Вдохновеніе Всевышняго чрезъ бывшаго волостнаго старшину Купріяна Муравушкина сыну моему семену для вразумленія отъ развратныхъ поступковъ.

Сынъ мой Симеонъ!

Господь вседержитель Адонамъ савваофъ въ первый самый день отъ сотворенія свѣта, когда сотворены были рыбы и птицы, а впоследствии того времени человекъ и жена его изъ ребра—Создатель и промыслитель нашъ І. Христосъ, на горѣ Хоривѣ утверди законъ: Чти отца своего. Спра-

шиваю я тебя, бывшій сынъ мой Симеонъ, какъ-вымы въ настоящее время тебя не считаю, ежели господь утвердилъ законъ, то я какъ отецъ твой—покоряюсь закону его, но ты какъ сынъ—то для тебя законъ—я! твой отецъ; мнѣ же законъ—Богъ, творецъ, вседержитель—тебѣ же законъ я, ибо я тебя сотворилъ также какъ бы рыбу или птицу или пресмыкающую тварь. Больше ста двадцати пяти рублей серебромъ издержано мною на твоё просвѣщеніе, не касаясь обуви и одежды, каковая познанию была справлена и полѣтнему положенію; харчей же, яицъ, гусей, а по грибной и по капустной части, которые твоему наставнику препровождены, я съ великодушіемъ не утруждаюсь вспоминать. Но ты, забывши законъ Господень, ниспровергши святаго духа, обуялъ себя гордостью и непочтеніемъ. Не говоря, что подобно бессловесной свиньѣ ничего не стоитъ облапить кувшинъ съ молокомъ или подобно какому звѣрю обжорствовать куринымъ мясомъ, оскверняя сердце и душу въ постыный день—не упоминаю объ этомъ! Отвѣтъ твой будетъ на страшномъ судѣ христовѣ! Но спрашиваю тебя: что же я для твоего гордаго ума? Не бессмысленный ли ты человекъ, утверждая въ себѣ, что на отца можно наплевать? Гдѣ, спрошу тебя, двадцать три рубля серебромъ, какъ мною дознано стороною, взятые за патреть купца Ивана Ларивонова? Принесъ ли ты ихъ отцу твоему, который тебѣ далъ существованіе не подобное пресмыкающему, но просвѣтилъ изъ своихъ послѣднихъ кровныхъ достатковъ? Не говорю тебѣ: сынъ Семенъ! но называю тебя: Жало! гдѣ твоя побѣда? Въ твоемъ гордомъ образованіи невозможно для тебя одной побѣды отыскать: если бы со всего свѣта собрать ученыхъ и книги, то и тогда отецъ твой превыше всѣхъ долженъ быть, такъ какъ господь глаголетъ его устами, и никакая сила адава меня не сокрушитъ, хотя бы ты просвѣщалъ себя сто лѣтъ. Я уже просвѣщенъ Создателемъ какъ твой отецъ и заблаговременно уже знаю, что въ ожиданіи возобновленія *Формозы*, *Вакери*, въ *Одеонѣ* дадутъ драму *Жанна Маррасса* семейство дармелъ никто не знаетъ какъ онъ овдовѣлъ, но сынъ его *Октавъ* не помнитъ своей матери. Этотъ сынъ недавно женился и уже обмануть своею женою *Ирена* такъ зовутъ ее, собирается бѣжать съ красивымъ офицеромъ *Гонтраномъ де морвалемъ*. Отецъ напрасно везетъ любовника, между тѣмъ узнаетъ о своемъ несчастіи, готовый исполнить совѣтъ *Александра Дюма* сына «убей ее!» или ты, безумецъ, осмѣливаешься думать, что я такъ глупъ по твоему высокому уму, что мнѣ неизвѣстно когда отецъ *Гонтрана* схвативъ топоръ бросается въ одну изъ дверей, куда должна войти *Ирена*? Глупое твое высокоуміе!

— Что за чепуха такая?—невольно сказалъ я вслухъ.

— Въ какомъ мѣстѣ-съ?

— Да вотъ тутъ.. Тутъ что-то, кажется, чужое у васъ?

— Это-съ? Это дѣйствительно чужое... не мое...

То, все прочее моего вдохновенія, а это дѣйствительно взято изъ книжки... Я взялъ тогда, что подѣ руку попало... Не разбирахъ-съ! Потому-что мнѣ надобилось хоть бы мало его затѣмнить...

— Вотъ видите, — сказалъ я не безъ нѣкоторой грубости, — вы все о строгости, о правдѣ, о развращеніи толкуете, а сами поддѣлкой занимаетесь... Сами не знаете, что написано въ книгѣ, а хотите изумить, будто все знаете!

— Нѣтъ, нѣтъ! Противъ вашихъ словъ ничего не могу сказать! Извлекалъ безъ смысла, это вѣрно, что тамъ написано — не могу знать. Чего не знаю, того ужъ, прямо вамъ докладываю, не знаю! А что дѣйствительно надобно было мнѣ его изумить: «пускай, думаю, не пойметъ этихъ словъ — авось задумается, уважать будетъ!» увѣруетъ, что отъ Бога мнѣ много дано! Если сказать чистосердечно, какъ предъ Богомъ, такъ взялъ онъ на себя такую дерзость, что я для него сталъ въ дурацкомъ званіи — больше ничего! Такъ ужъ тутъ мнѣ надобно было какъ-никакъ стараться нагнуть его башкой-то, чтобы не дралъ головы-то пустой... Я вѣдь, ваше высокоблагородіе, отецъ: я на него расходовалъ больше ста двадцати пяти рублей, не касаясь харчей, обуви, одежды... Вблизи двухъ лѣтъ я ему позволялъ обучаться живописи у живописца на Гороховой... Но и въ два года уже въ него проникъ социализмъ, неповиновеніе... Я его хочу брать домой, а ужъ онъ хрипитъ: «Хочу учиться!» Я говорю: «Когда отецъ тебѣ говоритъ: «довольно», то слѣдовательно это прямо отъ Бога, и мнѣ старику, лишивши я доходовъ, нужно утѣшеніе отъ сына, спокойствіе, и я могу сказать «довольно!» Но онъ и тогда сопротивлялся и хрипѣлъ... А когда я принужденъ былъ его вытребовать и водворилъ его въ моемъ домѣ, то не только хотя бы стремился принести домой рубль серебромъ и подарить отцу, отказалъ даже патреть мой списать, а предпологалъ, что по нынѣшному своевольному времени будетъ просвѣщеніе рисовать котовъ и пѣтуховъ, или дерево, но не отца своего, отъ котораго произошло самое существованіе. Я для него оказался глупѣй послѣдней собаки безхвостой. Даже злодѣемъ провозглашалъ публично въ пьяномъ видѣ... Такъ мнѣ надобно было его ошеломить-то хоть чѣмъ-нибудь... Въ послѣднее время едва-едва вогналъ въ церковную живопись — не идетъ! «Я, говоритъ, дальше хочу, ты меня погубилъ...» Вотъ какъ дьяволъ-то его обучалъ!.. И нигдѣ нѣтъ управы: отецъ для нынѣшняго вѣка хуже мочалки... Если меня родной сынъ становится дуракомъ, когда я всю жизнь отъ первѣйшихъ начальниковъ почтенъ, такъ мнѣ надо ему доказать. Вотъ я выхватилъ у него книгу — натащилъ онъ ихъ цѣлый сундукъ — и употребилъ въ серединѣ, незамѣтно...

— Что же онъ?

— Будто какъ немножко ослѣлъ, потишѣлъ, поглядѣлъ эдакъ на меня... Ну, а потомъ еще хуже сталъ, довелъ меня до послѣдняго предѣла... Да вотъ вы извольте почитать... Тамъ все прописано въ тетради... Сколько я претерпѣлъ ущербу! Только

единный Господь былъ моей опорой! Извольте-ка почитать, а я покажѣсь васъ не буду беспокоить... пока что, погляжу ваше заведеніе.

И гость ушелъ осторожными, кошачьими шагами.

III.

Не могу выразить, до какой степени измаяли меня эти безконечные толки деревенскихъ стариковъ о непорядкахъ, о развращеніи, объ отсутствіи строгости. Всѣ эти люди, еще не забывшіе помѣпичью или начальническую палку, муштровку — во всей многосложности новыхъ явленій народной жизни, многосложности непривычной и во многомъ совершенно новой — видятъ только бѣду въ недостаточномъ употребленіи палки, и вездѣ суютъ ее, какъ вѣрнѣйшее средство отъ всѣхъ общественныхъ деревенскихъ недуговъ. Осеннее драгье изъ-за податей идетъ неукоснительно, ничуть не убавляясь съ годами; выраженіе — «постановили: наказывать 20 ударами розогъ» положительно встрѣчается на каждой страницѣ рѣшеній волостного суда. Въ нынѣшнемъ году, напр., неурожая по всей губерніи; не только ничего не уродилось, но погнимо отъ дождей на корню то, что обѣщало уродиться; подати стали, и что-же? Бдуть почтенные старцы со старшиной брать росписки «къ розгамъ». Если къ 21 числу не будетъ денегъ представлено, то долженъ явиться въ волость для тѣлеснаго наказанія. И являются, а тамъ сбѣгутъ въ волости. Нѣтъ у нихъ ничего кромѣ палки для рѣшенія большихъ общественныхъ дѣлъ, и согласія по большимъ общественнымъ дѣламъ еще нѣтъ. «Старикъ» вообще еще дѣйствуетъ и главенствуетъ на міру, и мужикъ лѣтъ сорока — самый молодой изъ мірскихъ дѣятелей. Но ужъ есть поколѣніе не драгое, не поротое, видѣвшее не мордобойную школу, а хорошую книжку, и крѣпко думающее; и лучшее деревенское будущее, несмотря на всѣ неприглядныя стороны настоящаго, уже чувствуется вами.

Какъ-то мнѣ пришлось пересмотрѣть въ волостномъ правленіи за много лѣтъ книги для записки рѣшеній старинныхъ расправъ и нынѣшнихъ волостныхъ судовъ по дѣламъ тяжбы и «по проступкамъ», и несмотря на то, что выраженіе: «къ наказанію 20-ти ударовъ» — за неплатежъ податей, за дерзость, за драку, за пьянство или мелкое воровство — положительно пестритъ страницы рѣшеній волостныхъ судовъ, все-таки въ концѣ-концовъ я думаю, никто даже изъ приговариваемыхъ къ 20 ударамъ не противяется теперешнимъ порядкамъ, противъ которыхъ можно кричать и вопять, на образцовое благообразіе порядковъ стараго времени, неусыпными держателями которыхъ были люди того мужицко-чиновничьяго типа, образцомъ котораго можетъ служить мой гость, Купріянычъ Муравушкинъ.

Перелистывая протоколы засѣданій старой «расправы», цѣлые мѣсяцы иногда не встрѣчаешь ничего, кромѣ краткаго заявленія въ такомъ родѣ: Н — ская сельская расправа имѣла сего числа непрѣмное засѣданіе въ присутствіи старшины и

добросовѣстныхъ, и какъ съ жалобами и доносами никого не явилось, то занимались чтеніемъ узаконеній и въ два часа пополудни присутствіе закрыто». Такія присутствія собирались каждую недѣлю; на протяженіи цѣлыхъ мѣсяцевъ вы видите только эту неизмѣнную записъ: ни жалобъ, ни доносовъ — ничего, чѣмъ изобилуетъ настоящій волостной судъ.

Жалоба мелькаетъ изрѣдка и всегда даетъ вамъ доказательство того, что въ прежнее время точно было ужъ какъ строго по части требованій отъ человѣка, чтобы онъ ни о чемъ, кромѣ какъ объ исполненіи своихъ мужицкихъ обязанностей, не мечталъ. Старшина Муравушкинъ (тотъ самый, который явился ко мнѣ съ повѣствованіемъ о своихъ вдохновеніяхъ) значитъ утверждающимъ своею подписью грозныя рѣшенія по дѣламъ нарушенія мужицкихъ обязанностей. Я розыскалъ подлинное дѣло о салопѣ и лошади, о которомъ онъ упоминалъ въ разговорѣ, и вотъ что тамъ сказано: «Н — ская расправа, по предложенію сельскаго старшины, разбирала дѣло о кр. д. Чахалово, Василиѣ Нестеровѣ, который, по замѣчанію его, всегда обращается къ праздности, лѣности и чрезъ то несправно платитъ общественные сборы и сверхъ того разстраиваетъ собственное хозяйство продажей необходимо нужнаго ему скота и употребляетъ вырученныя деньги на предметы роскоши, именно: до свѣдѣнія старшины дошло, что съ мѣсяца тому назадъ онъ продалъ г. инженеръ-полковнику корону за 20 руб. и деньги употребилъ на покупку нарядной шубы для своей дочери... *Постановили:* за продажу безъ надобности коровы, на осн. 188 ст. сельск. суд. уст., а равно за нерадѣніе, лѣность и разстройство своего хозяйства, по статьѣ 179, наказать 16 ударами розогъ».

Мелькнетъ такое доказательство необычайной зоркости тогдашняго попечительнаго начальства разъ въ полгода, и опять цѣлые другіе полгода идутъ краткія извѣстія, что собирались въ непремѣнное присутствіе, читали узаконенія, а жалобъ не было. Очевидно, что былъ какой-то порядокъ, если такія мелочи, какъ продажа коровы безъ надобности, наказывались и карались... Но это не такъ. Послѣ цѣлаго ряда страницъ, рисующихъ тишь и гладь, трудолюбивую жизнь поселянъ и бдительность начальства, вдругъ высказывается такая страница: «Н — ская расправа слушала предложеніе сельскаго старосты о наказаніи за соблазнъ и дурное поведеніе ученичныхъ въ непотребной жизни: 1) вдову Агафью Федорову, 2) сестру ея, дѣвицу Анну Федорову, 3) Псковской губерніи дѣвку государственнаго имущества, Настасью Иванову, 4) Витебской губерніи крестьянскую дѣвку Федосью Никифорову и 5) крестьянина Боровичскаго уѣзда Александра Платонова, такъ какъ Агафья Федорова уличена въ открытіи у себя непотребнаго дома и сама тутъ же способствуетъ, а Анна Федорова, ея сестра, и другія — собственно для этого дѣла въ домѣ Федоровой проживаютъ... Вдова Федорова показала, что она, по случаю немѣнія мужа своего, занимается такими дѣлами и для чего придерживаетъ дѣвокъ... Дѣвки подтвердили,

что не имѣютъ себѣ постоянныхъ любовниковъ, а продолжаютъ вообще... Постановили: 6 дней чистить мусоръ около церкви, а ночевать въ холодной».

Выскачить такая страничка — и видите вы, что старинныя тишь и гладь были не вполне образцовыя. Ни жалобъ, ни кражъ, ни обидъ — одни только хозяйственные погрѣшности, а между тѣмъ въ такомъ-то образцовомъ селеніи существуетъ исполнѣ «форменный» домъ, заведеніе, чего при теперешнемъ якобы развращеніи нравовъ пока даже въ поминѣ нѣтъ. Есть распутство, но безъ такой правильной, городской организаціи — и когда? когда, по словамъ Муравушкиныхъ, только и дѣлали, что Бога чтили...

Тишь и гладь сильно начинаютъ мутиться по мѣрѣ того, какъ время приближается къ шестидесятымъ годамъ. Тщательно-каллиграфически записываемые прежде протоколы о томъ, что жалобъ не было и т. д., теперь начинаютъ записываться все хуже и хуже — рукѣ надоѣло строчить эту ерунду; иногда вы видите, что рука пьяна, карапаетъ каракули во всю страницу: «въ непремѣнномъ за сѣданіи членовъ, а равно проступковъ и жалобъ не было, почему въ два часа присутствіе закрыто для чтенія проступковъ и узаконеній». И чѣмъ дальше, тѣмъ хуже: случается полное отсутствіе записей или жалобъ безъ всякаго рѣшенія; наконецъ послѣднія страницы съ чернильными пятнами, каракулями судейскихъ подписей и показывающимися направо и налево крестами безграмотныхъ судей отдають явнымъ развращеніемъ нравовъ... Кресты эти — знамя могилъ старыхъ порядковъ старыхъ людей и всего чернильнаго благолѣпія... Послѣднія страницы совершенно пусты: въ глубинѣ ихъ покоится бездыханный дореформенный клопъ.

Но съ 1861 года жалобная книга совершенно измѣнилась: точно хлынула со всѣхъ сторонъ полная вода жалобъ, обидъ, оскорбленій, требованій; владѣльцы имѣній, мужья, жены, отцы и дѣти — все принялось вопіять и жаловаться, все изливало свои бѣды.

«Вчерашняго числа — пишетъ мировой посредникъ — крестьяне (такіе-то) вечеромъ буйствовали, и когда караульщикъ ихъ унималъ, то они ему сопротивлялись и безчинствовали, а потому предписываю тебѣ...», и т. д.

«20 сентября — пишетъ посредникъ — крестьяне (такіе-то), а равно и поваръ, служащій у меня, Тверской губерніи и уѣзда, Иванъ Андреевъ, уличены въ кражѣ у меня вечеромъ курицы и пѣтуха кохинхинскихъ и цыпленка голландскаго, а равно — въ жареніи ихъ въ моей кухнѣ и ужинѣ ихъ вмѣстѣ съ водкою на моей же кухнѣ, вслѣдствіе чего предписываю тебѣ...»

«Крестьяне селенія Н., бывшіе мои крѣпостные, отказались идти на работу и грубыми ругательствами обозвали моего управляющаго, почему, доводя до свѣдѣнія, прошу на основ. по всей строгости закона...»

«Крестьянинъ с. Ч. (имя рекъ) жалуется на

крестьянина Алексѣева о нанесеніи ему обиды ругательными словами, называя безсовѣстнымъ, говоря: «ты дешевле меня стоишь»... почему прошу взойти... объ удовлетвореніи меня»...

«Крестьянинъ Н. жалуется о нанесеніи ему обиды крестьянскою дѣвицею Анною Егоровою и разныхъ неприличныхъ словъ съ нанесеніемъ удара... почему взойдите въ защиту...»

«Крестьянка д. Н. Наталья Яковлева жалуется на крестьянина той же деревни о нанесеніи ей побоевъ, причемъ Наталью отъ Никиты отняли даже Петръ Михайловъ, а почему взойдите...»

«Крестьянка Матрона Сидорова жалуется на мужа своего о нанесеніи ей увѣчій и побоевъ, на что отвѣтчикъ показалъ, что онъ побоевъ ей не наносилъ, а какъ она не послушна, то соглашается, чтобъ она отошла отъ него прочь, на что и Сидорова согласилась».

«Крестьянская дѣвица Ольга Федорова проситъ на крестьянина Михайлу Иванова, что онъ общалъ ее взятъ въ замужество, чрезъ что она оказалась беременна, на что отвѣтчикъ показалъ, что на союзъ не склонялъ, а болѣе потому, что она была въ союзѣ съ Дмитріемъ Михайловымъ, но миролюбиво готовъ заплатить Ольгѣ 60 руб. въ три срока».

«Крестьянка Татьяна Терентьева проситъ на крестьянина Василія Яковлева о нарушеніи перваго числа октября на Покровъ чести дочери ея Настасьи, которая въ настоящее время находится беременною, и общался взятъ въ замужество, и на сію любовную связь имѣется у нея письмо Василія, на что Василій показалъ, что за связь съ Натальей имъ уплачено ей три рубля серебромъ, но въ замужество ей не общался, а письма имъ писаны собственно въ насмѣшку».

«Крестьянка д. Тушино проситъ поступить съ мужемъ ея по закону о нанесеніи побоевъ, а также и о томъ, что ей не дають жить въ людяхъ, а потому и проситъ сдѣлать распоряженіе—ежели пожелаетъ мужъ жить, то безъ свекрови, а ежели не пожелаетъ, то она жить съ нимъ не согласна».

«Жена крестьянина Марья принесла жалобу на мужа своего Андреяна въ нанесеніи побоевъ и похваляется отомстить мнѣ и пусть выдастъ мнѣ паспортъ, на что мужъ ея показалъ, что побоевъ онъ не наносилъ, а что вышла жена его на улицу для свиданья и переговоровъ съ крестьяниномъ, служащимъ на желѣзной дорогѣ, съ которымъ имѣетъ грѣхъ, и когда я сталъ звать домой, то они скрылись, и на другой ужъ день она принесла жалобу о побояхъ, на что крестьянка Марья объяснила, что къ мужу она не пойдетъ и чтобы далъ паспортъ».

«Крестьянинъ Семенъ проситъ на родного брата своего Никиту о недачѣ ему возову, и чтобы Никита не дѣлалъ ему побоевъ, на что Никита показалъ, что брата своего онъ не намѣренъ бить, а нечаянно махнулъ возжами и попалъ Семену по губамъ, а Семенъ началъ бить его палкой... Свидѣтели показали, что между ними идетъ обоюдная драка ужъ пятый разъ, а четвертаго іюля они ходили другъ на друга съ вилами».

И такъ далѣе до безконечности: все зашаталось, все рвется изъ тисковъ, изъ нескладныхъ условій, требуетъ *своего*: все это, задохнувшееся въ деспотизмѣ свекрови, отца, мужа, жены, брата, рвется на свободу, не хочетъ покоряться и, вырвавшись, усиливаетъ сумятицу то кабацкимъ безчинствомъ, то кражей съ голодухи, то кражей для смѣха, то дерзостью для смѣха и для собственного удовольствія, и надо всѣмъ этимъ столпотвореніемъ въ ужасѣ стоять мочальныя фигуры начальниковъ, не вѣдающихъ никакихъ средствъ, кромѣ палки, вопиющихъ о развращеніи нравовъ, вопиющихъ о томъ, что страха нѣтъ, страха, страха...

Нѣтъ! Страхъ давно уже не спасеніе въ настоятельныхъ, общечеловѣческихъ нуждахъ деревни, и *старик*, какъ спеціалисты по этой только части, какъ люди, не умѣющие проповѣдывать ничего много—будь это кстати и не кстати—кое-какъ еще терпятъ новыми поколѣніями деревни, но уже не пользуются уваженіемъ. Хорошій теперешній мужикъ, видѣвшій школу, нерѣдко куда лучше и разумнѣе любого старика даже въ хозяйственныхъ дѣлахъ, и немудрено: онъ уже отвѣдалъ «воли».

Теперь на волостномъ судѣ бывають иногда такія сцены:

— Господа судьи,—жалуется упрямый, нескладный и зараженный страхомъ и деспотизмомъ отецъ, человѣкъ несомнѣнно ужъ прошлыхъ временъ,—прошу наказать моего Мишку. Споспобовъ мнѣ нѣтъ, старику, жить съ нимъ... Не слушаешь меня молчаливъ ни въ единомъ словѣ... Пушай идетъ вонъ изъ моего дома и съ женой своей...

— Что-жь?—говоритъ сынъ.—Я уйду, да вѣдь ты помрешь съ голоду... Кто тебя будетъ кормить-то? Вѣдь ты это зря ворчишь... Скучно тебѣ, потому-что я тебѣ всякій покой дома дѣлаю... Чего тебѣ надо? Я тебѣ отвелъ цѣлую половину, а ты все ворчишь; печку тебѣ поставилъ, кофей пьешь, когда угодно. Чего тебѣ? Ну, я уйду, ну, что ты будешь дѣлать?

— Не смѣй мнѣ прекословить... Страху никого нѣтъ, набалованы... непочетчики...

— Это вы, старики, точно что набалованы... Какъ была ямская гоньба, такъ вы никакого крестьянства не знали, только въ трактирѣ чай пили... А я, твой сынъ, самъ съ малолѣтства началъ крестьянствомъ заниматься, со слезми... Ты мнѣ косы не далъ, серпа въ домѣ не было... Я крестьянинъ—и тружусь, работаю, и ты мнѣ не указчикъ, потому—ты ничего не понимаешь; тебѣ бы только мудрить да пьянствовать, а смыслу въ тебѣ нѣтъ нисколько...

— Вотъ извольте, господа судьи, слышать... Пушай идетъ изъ дому вонъ.

— Что съ нимъ разговаривать, съ глупымъ! Онъ и самъ-то не понимаетъ, что у него языкъ болтаетъ... Я даже самъ могу его выгнать, только жалѣю... Ты живи-ка да Бога благодарь, а не мудруй!

— Ну вотъ что, Михайло,—говоритъ судья:—ты тово... Оно точно что старикъ обдурѣлъ...

успокой ты его, уважь, за глупость за свонную... Глупъ, это вѣрно, только онъ тебѣ пуще надобѣсть. Уважь его дурь древнюю — сядь хоть въ темную-то на время, ну, хоть на сутки...

— Будетъ что-ль съ тебя?— Спрашиваетъ сынъ отца, какъ спрашивалъ бы взрослый человѣкъ маленькаго ребенка.— Потихишь ли ты, ежели я день въ темной просижу?

— Да хушь на день его, шельму, посадите, все ему наука.

— Наука! Тоже о наукѣ бормочетъ старый хрѣнь! На, двадцать копѣекъ — иди чай пить... Нѣтъ ли, Иванъ Ивановичъ, у васъ какой газетки? Скучно вѣдь день цѣлый сидѣть...

— Газетъ нѣтъ!— отвѣчаетъ писарь.— Книгу не хочешь-ли?

— Какая книга?

— Пушкина сочиненіе: *Исторія пугачевского бунта*.

— Что-жь? Давайте Пушкина. Сочинитель извѣстный, я помню... давайте. Ну, ты чего стоишь? Мало еще?

И вотъ старикъ идетъ въ трактиръ—галдѣтъ о непокорствѣ и пить чай и водку, а сынъ, не пьющій ни капли, сидитъ въ темной съ *Исторіей пугачевского бунта* въ рукахъ и находитъ, что Пушкинъ — хорошій писатель... Темную даже и не забирали для него, зная, что изъ трактира придетъ отецъ посмотреть: «сидитъ ли?». И точно: приходилъ смотрѣть...

— Да сажу, сажу, не безпокойся!— отозвался сынъ изъ глубины отворенной тюрьмы, куда пришла къ нему жена.— Иди, ложись спать, только ужь потомъ смотри, не дури!.. Ужь я, братъ, тогда потребую отъ тебя послушанія; не даромъ я сажу...

Недавно въ нашей мѣстности былъ такой случай: два брата крестьянина «посѣкли» родную мать.

— Какъ такъ?

— Да очень *набалована*... ничего не подѣлаешь!

Съ уничтоженіемъ ямщины и проведеніемъ николаевской желѣзной дороги, масса крестьянъ, привыкшихъ въ легкой наживѣ, чаемъ, сахарамъ, наливочкамъ, подаркамъ проѣзжающихъ и т. д., принуждена была «сѣсть на землю», взяться за косу. Это пришлось сдѣлать молодому поколѣнію, ибо старое было уже *набаловано*. Такимъ образомъ молодое поколѣніе положило начало, почти по всему старому тракту, настоящему крестьянству, а старому осталось одно—допивать остатки и доживать свои годы. Вотъ изъ числа «допивающихъ» и была та *набалованная* мать, которую принуждены были учить родныя дѣти. Пила она много и воровала у дѣтей, у невѣстокъ разныя вещи, которыя и закладывала въ кабаки...

Вотъ ее и поучили, для «ея же пользы». И какъ это ни жестоко, но и эта избалованная господами, проѣзжающими купцами мать, и этотъ глупый старикъ, чувствующій успокоеніе разстроенной пьянствомъ печени въ заключеніи сына въ «темную», въ

глубинѣ души чувствуютъ превосходство дѣтей ихъ надъ собою во всѣхъ отношеніяхъ: они и умнѣе, и аккуратнѣе, и работящѣе... Допивая остатки, они чувствуютъ, что пѣсня ихъ спѣта и что дѣти лучше ихъ. Не таковъ однако тотъ родитель, тотъ изъ оскорбленныхъ временемъ и порядками отцовъ, съ вдохновенными произведеніями котораго имъ пришлось случайно познакомиться... Этотъ вѣрять въ правоту свою непоколебимо, не раскисается и не прощаетъ.

IV.

Вотъ что читалъ я въ его рукописи послѣ того, какъ онъ пошелъ осматривать все мое «заведеніе»: «Топоръ выпадаетъ изъ его рукъ и адюльтеръ остается ненаказаннымъ «что же мнѣ дѣлать теперь?» восклицаетъ мужъ, но въ объятія его бросается маленькая дочь его Марта и занавѣсь падаетъ. Альберъ Дельпи также поразился парижанъ новинкой... Еслибы ты долотомъ продолбилъ свою голову, то и въ это время не возможно для тебя сообразить о моемъ умѣ, который можетъ проникать повсемѣстно, единственно волею всемогущаго творца. Безумецъ, говорю тебѣ: не хотяи смерти грѣшника! Успокой старость преклоннаго отца, который всѣ средства содержанія на тебя опровергнулъ, оставшись при концѣ дней въ уныніи и безъ помощи. Для того ли я жертвовалъ до послѣдней капли на твое образованіе и просвѣщеніе? все рѣшительно истощилъ какъ деньгами также и вещами, не упоминая о гарчевомъ довольствіи наставниковъ твоихъ, между тѣмъ вижу въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, не соблюдая постовъ и не почитая родителей, занимаешься недостойно просвѣщеннаго человѣка описаніемъ всякой твари, кошки, собаки, какой-либо пень и тотъ дороже отца, почтеннаго отъ высшаго начальства и кровь свою источившаго на твое образованіе, дабы подъ старость имѣть опору. Отжени врага рода человѣческаго, призови Бога всевышняго, омой слезами оскверненную душу и успокой родителя помощію отъ трудовъ твоихъ, ибо безъ меня не только образованія, но и существованія ты бы не имѣлъ...»

Мѣсяцевъ черезъ шесть послѣ этого письма (подъ каждымъ письмомъ находился годъ и число) вдохновенный отецъ переписываетъ въ свою тетрадь такое письмо:

«Его привелелію отцу іерею Михаилу Остромыслову въ селеніи Глушицѣ священнослужителю всепокорнѣйшее прошеніе!»

«Сего числа извѣстился я о сынѣ моемъ Симеонѣ, какъ будучи онъ по живописной части, снялъ подрядъ написанія во храмѣ селенія Глушицѣ четырехъ образовъ сумною, сказываютъ, до ста рублей серебромъ—то какъ отецъ, припадаю объ удовольствованіи меня въ означенной сумѣ. Будучи преклонныхъ лѣтъ и по слабости своего здоровья, которое все пожертвовалъ въ ревности служенія и почтенъ отъ высшаго начальства — я

изъ послѣдняго моего соку, не жалѣя копѣйки оставшей отъ трудовъ, и окончательно истощивъ всякія способы пропитанія своего — все сіе употребилъ для вышшаго просвѣщенія сына моего Симеона дабы подъ старость имѣть утѣшеніе и денежное удовлетвореніе отъ его ко мнѣ любви за мои труды и послѣднія капли крови моей, коіе я истощилъ на него, оставши нищимъ. Но зловерное ученіе социализма, видѣвши подобно какой болѣзни развратной, будучи онъ въ Петербургѣ въ ученіи — то не только чтить отца, но съ гордостью считать сталъ дуракомъ, а себя выше всякаго смысла какъ бы великолѣпнаго ума. Но какъ вѣрую въ Творца вседержителя, то молясь денно и ночно и со слезами призывая Бога въ помощники съ ангелы и архангелы, получалъ утѣшеніе, въ томъ, что согласился взяться онъ за церковную работу, а то все презиралъ. Ваше священное благоутробіе! Отецъ іерей! внемли голосу престарѣлаго старца! на краю пропасти могилы уже одною ногою близко нахожусь! Какіе будутъ моему Симеону деньги, то я умоляю до послѣдней копѣйки отнюдь не отдавать и все то неусыпно удерживать до моего прибытія, такъ какъ я одного убытку для его просвѣщенія понесъ все мое состояніе и силы до послѣдней капли крови. Съ умиленіемъ вопію къ творцу и зиждителю и Богу нашему, да несоблазнить тебя, священнослужитель, злоумышленная хитрость сына моего Симеона, насчетъ выдачи ему подъ работу хотя бы трехъ рублей — но укрѣпится десница твоя въ опроверженіи...

Слѣдующее письмо писано недѣлю черезъ двѣ:
*«Господину становому приставу перваго
 стана... уѣзда Чихаловской волости Нико-
 лаю Ивановичу Фіалетову.*

„Сокрушенное и всеподданнѣйшее со скорбію прошеніе плачущаго отца, крестьянина Курпіана Муравушкина противу сына его Симеона, забывшаго Бога и отца, а потому и весь престолъ и отечество.

«Какъ мы видимъ изъ вѣдомостей объ ученіи зловерныхъ сицилистовъ, которые хуже языческихъ кровопійцевъ, коіе не побоялись распять Христа, то какъ вѣрный подданный и неподкупный земледѣлецъ и принявшій присягу согласно священному писанію, то не дозволю себѣ впасть въ малодушіе, но иду къ высшему начальству глаголя: «возьмите отъ меня его и распните!». Отечество наше, которое имѣетъ славное воинство и арміи, и флоты и вездѣ повсемѣстно прославлено — то ежели не будетъ повиновенія, тогда держава должна прекратиться. Окончательно сказать, даже иностранцы чувствуютъ сокрушеніе, видя повсемѣстное забвеніе Бога; развращенный крестьянинъ, не имѣя страха, запрягаетъ тощю лошадь, каковая только ковыряетъ пашню, но не пашетъ, чрезъ что появляется голодъ и недостатокъ средствъ для славы отечества, но становится противъ иностранцевъ на худомъ счету. И какъ сынъ предпочитаетъ не повиноваться и уходитъ отъ отца жить отлѣбно, то ни скотины у него нѣтъ, и не нахо-

та у него, а одно посрамленіе, чрезъ что не имѣемъ весной дождей, а осенью заливаютъ хлѣба — отъ чего же все сіе происходитъ? Отъ неповиновенія родителѣмъ, забвенія бога, почему имѣю честь донести, что сынъ мой Симеонъ, на просвѣщеніе и образованіе котораго я истощилъ послѣднюю мою кровь...»

Здѣсь слѣдуетъ почти то же самое, что и въ письмѣ къ священнику. Разсказавъ о томъ, что послѣ денно-ночной молитвы сынъ его наконецъ согласился взять церковную работу, старецъ продолжаетъ:

«...Но не токма ста рублей серебромъ я не получилъ, но даже едва семьдесятъ пять рублей могъ выпросить у него чрезъ священно-іерея отца Михаила, причемъ отзывался объ отцѣ съ ожесточеніемъ, называя тираномъ, каковой тиранъ истощивши на образованіе сына своего послѣднія свои жи-лы и даже сокъ послѣдній — едва къ могилѣ можетъ достигнуть, подобно младенцу невинному. И это все есть зло въ неповиновеніи отцу, слѣдовательно сицилизмъ, чрезъ что происходитъ поврежденіе хозяйства, а также отечества, посрамленіе передъ иностранцами и уничтоженіе державы. Нынѣ же извѣстенъ я, что сынъ мой Симеонъ снялъ новый подрядъ въ селеніи Колобовѣ, поблизости становой квартиры вашего высокоблагородія уже въ суммѣ до трехъ сотъ рублей серебромъ и съ дерзостію возмечталъ о вступленіи въ союзъ съ дѣвицею Феоклистою, живущею безъ отца при матерѣ, каковая безнравственная дѣвица не имѣя отца и надзора при матерѣ потатчицъ — то сынъ мой Симеонъ можетъ погибнуть и окончательно предать отца въ забвеніе на голодную смерть. Почему, какъ вѣрноподданный, не желая разврату державѣ, доношу вашему высокоблагородію обо всемъ чистосердечно съ низкопоклоненіемъ, дабы повелѣно было строжайше арестовать онную сумму въ триста рублей серебромъ, каковая сумма по закону должна быть предназначена отцу, издержавшему на образованіе сына всѣ средства жизни, и привлечь къ законной отвѣтственности дѣвицу Феоклисту за развратное ея поведеніе вѣстѣ съ матерію ея, что недозволено въ законѣ. Слезамъ написаны эти строки мои, но какъ есть я рабъ престола и Бога вседержителя, то хотя бы мнѣ повелѣно было руку отсѣчь своею топоромъ, то отсѣку, не потерплю ниспроверженія Бога живаго и пойду съ прошеніемъ къ господину министру, почему и прошу объ удовлетвореніи меня въ трехъ статьяхъ рубляхъ».

Послѣ крошечнаго промежутка времени нацарапана копія съ слѣдующаго прошенія.

«Въ глушицкое волостное правленіе, въ волостной судъ, покорнѣйшее прошеніе.

«Проживающій въ с. Глушицѣ родной сынъ мой Симеонъ. находясь якобы на хлѣбахъ у вдовы Акинѣи Михайловой, съ дочерью ея Феоклистой предавался непотребному поведенію, намѣреваясь взять въ замужество, то я какъ отецъ не позволяю этого разврата и такъ какъ находящіеся у сына моего

триста рублей сопсвеннаго моего капитала, захвачены имъ безъ позволенія и оставляетъ меня безъ пропитанія, то покорѣйше прошу за неповиновеніе и развратное его поведеніе и наглые поступки подвергнуть тѣлесному наказанію, арестовать сумму 300 р. въ церковныхъ деньгахъ впредь до разбирательства по жалобѣ моей въ вышемъ мѣстѣ и подвергнуть крестьянскую дѣвку Теоклісту какъ за распутное поведеніе тѣлесному наказанію, ибо по обоюдному ея съ сыномъ момъ распутному поведенію меня постигаетъ разореніе и голодное состояніе — почему и прошу на законномъ основаніи подвергнуть ихъ строжайшему взысканію, о чемъ и доношу начальнику губерніи X — цкую духовную консисторію. Ежели мы будемъ послаблять, то не будетъ никакого повинновенія, а это есть противъ Бога и даже вся Россія можетъ погибнуть...»

Далѣе слѣдуютъ копія съ бумагъ: «Господину начальнику губерніи...», «Въ святѣйшій правительствующій синодъ...», «Въ третіе отдѣленіе сопсвенной Е. И. В. Канцеляріи...», «Г-ну жандармскому начальнику...».

Но я ужъ не буду приводить этихъ вдохновенныхъ произведеній. По тому, что уже было мной прочитано, можно было догадаться о содержаніи и другихъ документовъ. Я не дочиталъ ихъ и пошелъ возвратитъ рукопись автору.

Авторъ сидѣлъ въ кухнѣ и очевидно разспрашивалъ прислугу о моемъ поведеніи, и видъ его былъ не смиренный и не благоговѣйный; но онъ тотчасъ же облекся въ смиреніе и благолѣпіе, какъ только въ дверяхъ появился я.

— Гдѣ-жъ теперь вашъ сынъ? — спросилъ я.

— Померъ-съ, померъ! А почему? потому, что въ нонѣшнія времена...

Затѣмъ между нами произошелъ непродолжительный разговоръ, вслѣдствіе котораго, я утѣренъ, вдохновенный авторъ тетрадки ушелъ отъ меня во свояси не въ весьма хорошемъ расположеніи духа; я же разстался съ нимъ съ истиннымъ удовольствіемъ.

II. Хорошій русскій типъ.

I.

Всѣ рождественскіе праздники мнѣ пришлось провести не въ деревнѣ, а въ Петербургѣ, и я уже рѣшился было встрѣчать въ Петербургѣ и новый годъ, но какая-то необычайная тоска — результатъ всего видѣннаго и слышаннаго въ столицѣ — до такой степени обуяла меня въ утро тридцать перваго декабря, до такой степени охватила все мое существо испугомъ и холодомъ, что я почувствовалъ непреодолимую потребность тотчасъ же уйти въ свой деревенскій уголокъ, къ печкѣ, къ теплу, къ одиночеству, тишинѣ, книгѣ и вообще къ *какой-нибудь*, хотя бы также ужасной деревенской правдѣ...

И вотъ обуянный этимъ трудно формулируемымъ, но внезапнымъ страхомъ и тоскою, я, не подыдавшій даже съ лучшими мовни пріятелями,

— мгновенно собралъ свои пожитки и скоро, къ величайшему удовольствію моему, былъ уже въ вагонѣ третьяго класса.

По случаю праздниковъ народу было мало, въ вагонѣ было просторно, т. е. почти пусто, а стало быть и хорошо. Спутниками моими по вагону были только двое: крестьянинъ — изъ числа «іозыistenныхъ» народныхъ типовъ — и пожилая дама.

Не могу припомнить, какимъ образомъ между нами завязался разговоръ; кажется, что причиною общей бесѣды былъ крестьянинъ, долгое время разговаривавшій одинъ, самъ съ собой, и невольнo вызвавшій на отвѣтъ сначала даму, а потомъ и меня. Но что замѣчательно, такъ это именно то, еще недавно невозможное обстоятельство, что мы, случайные дорожные знакомые, люди разнаго званія, положенія, развитія, какъ-то дружно повели разговоръ именно объ этомъ нравственномъ испугѣ, испугѣ души, который мы всѣ — и крестьянинъ, и дама, и я — увозили съ собой изъ столицы.

Въ былое время шелъ бы между нами какой-нибудь пусташный разговоръ; мужикъ говорилъ бы объ урожаѣ, объ овсѣ и сѣнѣ, о сынѣ, котораго сдали въ солдаты; можетъ быть и дама вспомнила бы что-нибудь изъ своей семейной жизни, да и мнѣ пришлось бы разговаривать о чемъ-нибудь случайномъ, отвѣчать на вопросы: «вы чьи будете? гдѣ служите, какая ваша должность, велико ли семейство?» — но теперь, и не только въ этотъ разъ (я ѣзжу по желѣзной дорогѣ очень часто), а вообще въ послѣднее время дорожный разговоръ случайно встрѣтившихся людей почти утратилъ характеръ разговора о будничныхъ дѣлахъ и частностяхъ жизни, а всего чаще прямо начинается съ разговоровъ «вообще» или «вообще» и всегда имѣетъ неопредѣленный, плохо оформленный видъ несвязнаго бормотанья о чемъ-то, что чрезвычайно ужасно для всѣхъ насъ, но что нельзя, невозможно опредѣлить, назвать точно однимъ, двумя словами.

Всѣмъ намъ знакомо это ужасное, лежащее камнемъ на душѣ, тяжкое, многосложное, сбившее всѣхъ насъ съ круга, съ толку, тѣснящее и давящее грудъ, пугающее ежеминутно и днемъ, и ночью, и всѣ мы, говоря объ этомъ, родственномъ всѣмъ намъ и не покидающемъ насъ, людей разнаго званія, ощущеніи душевномъ, можемъ только перекидываться вздохами, иногда даже только обмѣниваться отчаянными жестами или фразами, вроде: «Ужасъ что такое! То-есть, знаете ли, просто не знаешь, куда дѣваться!» и чувствуешь себя уже безсильнымъ развѣнчать эти жесты и фразы на текущіе житейскіе недуги, ошибки, желанія; все это сто тысячъ разъ было думано, передумано и все это сто тысячъ разъ должно было изъ передуманнаго сдѣлаться переживаемымъ, и все пошло прахомъ — теперь возможны только жесты, выражающіе присутствіе въ душѣ человѣка, измученнаго безплодными размышленіями, чего-то умирающаго, коченѣющаго, отъ чего только холодъ идетъ по всему существу человѣческому...

И на этотъ разъ разговоръ нашъ какъ-то самъ собой сосредоточился на этомъ неразвѣнномъ на реальныя явленія сегодняшняго дня душевномъ испугѣ, отчаяніи передъ чѣмъ-то «вообще». Что же такое въ самомъ дѣлѣ мы видѣли и слышали въ столицѣ? Всѣ мы видѣли нашихъ старыхъ знакомыхъ, людей намъ близкихъ, — людей, съ которыми мы прожили весь вѣкъ, — людей, которые пережили вѣсть съ нами все то, что пережили и мы, но всѣ — и мы отъ нихъ, и они отъ насъ — ушли и разстались съ пугающею мыслью о нашемъ взаимномъ духовномъ упадкѣ, нравственномъ униженіи, паденіи, даже умираніи духовной жизни и вообще въ сознаніи близости для всѣхъ насъ чего-то недобраго, тусклаго, суроваго и даже грубо-позорнаго.

Это тяжкое, гнетущее душевное состояніе, всѣми нами, случайно встрѣтившимися въ вагонѣ людьми, вывезенное изъ столицы (точно такъ же, скажу кстати, и привозимое нами въ столицу изъ деревень), было до такой степени тягостно всѣмъ намъ, что мы употребляли всевозможныя умственные усилія для того, чтобы почти мимически выражаемое отчаяніе перенести на реальную почву и разговаривать, придравшись къ какому-нибудь тягостному для насъ жизненному факту. Но какихъ бы фактовъ мы ни касались, всѣ они какъ-то были ничтожны передъ огромностью тяготы «вообще», терялись въ этой огромности и какъ-то даже утрачивали свою отдѣльную, маленькую возмутительность.

Прежде всѣхъ и больше всѣхъ изъ запутанной массы впечатлѣній, сливавшихся «вообще» во что-то удивительно неожиданное и нехорошее, старался выбраться на дорогу къ какому-нибудь реальному факту упомянутый выше хозяйственный крестьянинъ. Онъ не бывалъ въ Петербургѣ лѣтъ восемь; занимался хлѣбопашествомъ; но у него въ Петербургѣ было много знакомыхъ односельчанъ, торговавшихъ дровами, сѣномъ, камнемъ, занимавшихъ мѣста дворянскихъ, трактирныхъ буфетчиковъ и хозяевъ разныхъ дровяныхъ, сѣнныхъ и извозчичьихъ дворовъ; въ прежнее время, когда еще не подросли его ребята, онъ также тащивалъ на заработки въ Питеръ и возилъ туда и сѣно, и дрова, поставлялъ и камень, и кирпичъ. И никогда ни онъ не получалъ, посѣщая своихъ односельчанъ въ столицѣ по дѣламъ, такихъ не подходящихъ ни къ чему впечатлѣній, какія вывезъ изъ столицы теперь, ни односельчане такихъ впечатлѣній не внушали ему: всѣ они просто-на-просто «дѣлали дѣла», продавали привезенное, копили полученные деньги, думали о деревнѣ, а окончивъ дѣла, заходили въ трактиръ, слушали машину, пили чай и разъѣзжались по дворамъ и по домамъ. Ни въ дѣлахъ, ни въ мысляхъ, ни въ поступкахъ не было замѣтно у нихъ ничего такого, что бы было непонятно, необъяснимо, чего-нибудь такого, что было бы и удивительно, и ни къ селу, ни къ городу, и въ то же время страшно. А теперь вотъ есть, и есть въ такой степени, что, повидавшись съ этими же самыми дровяниками, сѣнниками, буфетчиками и трактирщиками,

односельчанинъ ихъ ѣдетъ домой и понять не можетъ: что такое творится? Что сдѣлалось съ народомъ?

— Ну ужъ Петербургъ! какая головой, бормotalъ хозяйственный мужикъ, хлопая руками о полы романовскаго полубубка и въ недоумѣніи какая головой. — Ужъ точно... да!... Ужъ чисто, кажется, ума рѣшивши. Передъ истиннымъ Богомъ!... Ай-ай-ай!

— Да что же такое, въ чемъ дѣло?

— Да тутъ поразсказать, такъ передъ Богомъ, и словъ такихъ не подберешь. То-есть передъ истиннымъ Христомъ сказать ежели... такъ что это такое съ народомъ?!... такъ даже невозможно и сказать этого! Вотъ передъ истиннымъ Богомъ говорю: чистое разстройство въ умѣ пошло... ей-ей!

— Да все-таки въ чемъ-же собственно бѣда-то?

— То есть такъ спутавши народъ, такъ сбивши въ мысляхъ, даже... Да какъ же, позвольте вамъ сказать: человекъ, мой землякъ — шестьдесятъ лѣтъ лѣтъ ему отъ роду — почтенный человекъ: семейство, домъ собственный на Лиговкѣ, подгулялъ, напимѣръ, и при всѣхъ, при женѣ и при дочеряхъ — вѣдь невѣсты, передъ истиннымъ Богомъ, невѣсты, взрослые дѣвицы! — «поѣдемъ, говоритъ, Михайло (мнѣ говоритъ; ей-ей не лгу вамъ), поѣдемъ въ такое-то мѣсто!» — При дѣтяхъ и при женѣ, шестьдесятъ лѣтъ лѣтъ отъ роду человеку! Да это что! Это нельзя сказать всего, что съ мозгами подѣлалось. — «Поѣдемъ, говоритъ, погуляемъ!» — И хопъ бы что... постыдиться или что, или напимѣръ... Ни чуть, а чисто на отдѣлку, при дѣтяхъ! Да что!

Говоря это и всячески желая выяснитъ подробности того удивительнаго «вообще», которое такъ поразило его наблюдательность въ Петербургѣ, крестьянинъ очевидно чувствовалъ, что все это не то, что онъ ощущаетъ, и выраженіе лица его то вдругъ дѣлалось смѣющимся, то серьезнымъ, то просто испуганнымъ, и вообще отражало крайнюю спутанность и сложность полученнаго впечатлѣнія. Все, что онъ видѣлъ у знакомыхъ односельчанъ относительно ихъ «дѣловъ», все было то же, что и прежде: дровяники торговали дровами, сѣнники — сѣномъ, содержатели извозчичьихъ дворовъ занимались извозомъ — все было по-старому; но къ этому старому *дѣлу* присоединилась какая-то новая, незнакомая ему черта душевной, нравственной нескладницы, неѣвшицы, чего-то совершенно недостойнаго уваженія, словомъ, какой-то огромный нравственный изъянъ, схватить который мѣткимъ словомъ онъ никакъ не могъ, и вотъ почему онъ то жестами рукъ, то движеніями головы, то выраженіемъ лица, быстро мѣнявшимся и глуповато переходившаго изъ серьезнаго въ смѣшливое, хотѣлъ подсобить своей рѣчи. Но рѣчь продолжала быть нескладной и продолжала касаться фактовъ, только частью дававшихъ возможность понять то, что собственно его огорчало.

— Да что я вамъ скажу-то, господа почтен-

ные! Вотъ Богомъ побойтеся, не вру, а истинную говорю правду. Эта самая дочь, дѣвица, сейчасъ одѣлась, надѣла шляпку—маршъ! А я тутъ у воротъ на извозчика сажусь.—«Куда, молъ?»—А мнѣ къ Синему мосту.—«Ахъ, говоритъ, и мнѣ къ Синему мосту, въ Нѣмецкій клубъ. Довезите меня до клуба».—И какой-то клубъ, не знаю. «Ну, садись!»—Поѣхали.—«Что такое за клубъ?»—«А, говоритъ, танцы, театры».—«А мать-то, говорю, что-жъ, позволяетъ?»—«Да что же мать? Мать старуха. Нельзя мнѣ съ ней цѣлый вѣкъ сидѣть».—«А женихи-то есть?»—«Сватаютъ тамъ какихъ-то, говоритъ, полотеровъ, либо ломовиковъ; только я, говоритъ, не согласна. Никакого, говоритъ, съ ломовикомъ мнѣ нѣтъ удовольствія. У меня, говоритъ, въ клубѣ очень много хорошихъ мужчинъ знакомыхъ, угощаютъ меня и уважаютъ. Я ежели не найду хорошаго жениха, такъ я согласна жить тутъ съ однимъ женатымъ (ей-ей, истинный Христосъ, правда!). Я съ женатыми лучше согласна, говоритъ, чѣмъ съ холостыми. Потому—женатыя жены боятся и съ нашей сестрой должны обращаться вѣжливо».—Вотъ передъ самимъ Христомъ Богомъ говорю, какъ есть эти самыя слова сказала! Да что еще! То есть... Да тутъ, Боже милосердный!.. Однимъ словомъ...

И опять на помощь плохо выраженному слову впечатлѣннѣе крестьянинъ пустилъ въ ходъ и мимику лица, и жесты рукъ, то хлопавшихъ въ ужасѣ о полы полушубка, то творившихъ крестное знаменіе въ удостовѣреніи справедливости разсказываемаго.

И хотя всѣ мы, не исключая и самого разсказчика, чувствовали и знали, что то, что онъ разсказываетъ, только частица того «вообще», которое насъ всѣхъ напугало, но все-таки, благодаря и этой частицѣ, мы имѣли возможность заговорить о какомъ-нибудь фактѣ, и какой-нибудь ясной, общезнакомой намъ частицѣ, тысячной долѣ того, что угнетало насъ вообще.

«Паденіе нравовъ» сдѣлалось такимъ образомъ предметомъ довольно оживленнаго разговора. Оказалось, что у всѣхъ насъ было накоплено по этой части множество матеріаловъ, почерпнутыхъ нами въ случайныхъ разговорахъ въ театральнхъ и клубныхъ залахъ, въ массахъ всевозможныхъ «собраній» мужской и женской толпы, которыхъ теперь такое множество въ нашихъ городахъ,—матеріаловъ, касавшихся всѣхъ слоевъ общества и всѣхъ возрастовъ, начиная отъ гимназиста и до почтеннаго старца, члена свято-петровскаго филантропическаго братства, пекушагося о распространеніи идей религіозно-нравственнаго направленія среди невѣжественныхъ массъ. Нехорошая, жуткая картина вырисовалась передъ нами, но мѣткое и умное слово нашей спутницы, пожилой дамы, разсѣяло въ насъ впечатлѣніе срамоты и гнусности, къ которому приводило насъ въ такомъ обилии накопленный матеріалъ, касавшійся «паденія нравовъ», — и то, что намъ начинало казаться только срамотою, вдругъ получило значительный и серьезный интересъ.

II.

Пожилая дама, о которой идетъ рѣчь, женщина на впрочемъ еще совершенно бодрая, живая, оказалась обладающею массою наблюденій по части всевозможныхъ нравственныхъ настроеній, пережитыхъ русскимъ обществомъ за довольно значительный періодъ времени. Она была постоянная обитательница города N, но также имѣла и постоянныя связи съ Петербургомъ и преимущественно съ педагогическимъ міромъ Петербурга. Ея дѣдъ, отецъ и покойный мужъ ископѣ въку были педагогами, содержа въ г. N хорошій частный мужской пансіонъ, приготовлявшій въ высшія учебныя заведенія. Втеченіе болѣе чѣмъ пятидесяти лѣтъ пансіонъ этотъ выпустилъ на свѣтъ массу молодежи, изъ которой нынѣ давно ужъ старики, въ чинахъ и въ орденахъ, да и дѣти этихъ дѣтей также прошли черезъ ту-же школу, гдѣ учились ихъ дѣды и отцы. Изъ числа воспитанниковъ этого пансіона вышло впоследствии много извѣстныхъ людей, имена которыхъ и громки, и славны. Почтенная дама, съ которой намъ пришлось познакомиться, какъ оказалось, только недавно, и то по случаю смерти мужа прекратила свое старинное родовое дѣло; но долгое и постоянное пребываніе ея въ кругу молодежи, среди которой она выросла и интересами которой жила ея семья, оставило на всей ея фигурѣ, на ея манерахъ и на всемъ складѣ ея мыслей какой-то неизгладимый слѣдъ юношеской бодрости и молодой впечатлительности. Жизнь ея объяснялась еще и ея происхожденіемъ: дѣдъ ея былъ французъ, оставшійся въ Россіи послѣ двѣнадцатаго года, а русская жизнь и работающая среда, въ которой она жила всю жизнь, прибавили къ живости ея природы какую-то серьезную простоту обращенія; вліяніемъ русской жизни среди молодежи можно объяснить и ту внѣшнюю особенность ея, которая у насъ считается еще несомнѣннымъ признакомъ нигилистки: сѣдые, но густые и сильные волосы почтенной старушки были подстрижены «въ скобку», какъ у мужиковъ и «студентокъ».

— Да! заговорила почтенная женщина послѣ того какъ, благодаря крестьянину, тема нашего разговора выяснилась въ смыслѣ порицанія нравовъ. — Да! Нехорошо! И обидно, и непріятно... Случалось и мнѣ бывать кое-гдѣ, въ разныхъ общественныхъ собраніяхъ... Аллегра разная, елки и... не хорошо! Толпа вездѣ страшная... Никогда такъ много не бывало этихъ собраній... Каждый день въ десяти мѣстахъ, и вездѣ тьма тьмущая... Одного голаго женскаго тѣла! плечъ, спинъ—видимо-невидимо!.. Но не только нѣтъ веселья или разгула, а напротивъ — скучно ужасно. Скучно и обидно: какіе-то «ужасно-простые» взгляды мужчинъ и женщинъ, которые встрѣчаешь на каждомъ шагу, всего ужаснѣе. Нѣтъ! Это не разгулъ и не развратъ. На моемъ вѣку, я помню, была такая, узарская полоса послѣ освобожденія крестьянъ: тутъ помѣщичьи и помѣщички, покинувъ проданныя или заложеныя имѣнія, съ выкупными свидѣтельствами

въ рукахъ, вырвавшись въ міръ разливаемаго моря желѣзно-дорожныхъ денегъ, концессій, прожигали жизнь напропалую: здоровья, досужества, фантазіи, своевольства, лѣни, дикости—всего было много накоплено въ родныхъ гнѣздахъ. Дымя коромыслою шелъ. Иная барыня сама правитъ тройкой, въ кучерскомъ армякѣ, штанахъ, словно старинный кутала-ремонтёръ. Или, вырвавшись изъ родной Заманиловки, накуралесить и въ Петербургѣ, и въ Москвѣ, и за-границей такъ, что только небу жарко. Это все было! Теперь вовсе не то... Теперь нѣтъ ни ухарства, ни прожиганія, а именно одна ужасная простота, безстрастная простота отношеній этихъ массъ мужчинъ къ этимъ массамъ женщинъ. Скверно, нехорошо, скучно, обидно, но это не развратъ. Нѣтъ! Это именно—паденіе души. Душа остановилась, не дѣйствуетъ, точно какъ часы остановились и стоятъ. Они могли идти не вѣрно, врать, бить вмѣсто двухъ, двадцать часовъ, вмѣсто часа показывать восемь,—словомъ, куралесить, какъ куралесило общество послѣ освобожденія, но теперь они стали и стоятъ на одномъ мѣстѣ, не двигается стрѣлка... и во взглядахъ, и въ отношеніяхъ, и во время проведеніи массъ мужчинъ и женщинъ вы именно и видите, что души-то нѣтъ, что стрѣлка не движется, а неизмѣнно и днемъ, и ночью, и во всѣ часы дня стоитъ на одномъ мѣстѣ: полночь!

Нашъ общій собесѣдникъ—крестьянинъ, слушавшій эти рѣчи почтенной женщины съ напряженнымъ вниманіемъ и очевидно отлично понимавшій, что разговоръ идетъ «о томъ самомъ», что именно и волновало его самого, попробовалъ было выразить сочувствіе словамъ говорившей, но такъ-какъ при всѣхъ усиліяхъ его выразить свое мнѣніе у него ничего не выходило, кромѣ: «то-есть передъ истиннымъ Создателемъ, ежели поразсказать»... или: «И что только, ежели поразсказать, съ народомъ творится, такъ передъ истиннымъ Создателемъ...», то онъ и прекратилъ свою рѣчь, ограничившись одними жестами и мимикой: сначала плюнулъ, потомъ засмѣялся, махнулъ рукой, перекрестился и, глубоко вздохнувъ, опять сталъ внимательно слушать, какъ говоритъ барыня. А барыня между тѣмъ продолжала такъ:

— И знаете-ли, что я еще замѣтила?—говорила она, внимательно смотря на меня.—Я замѣтила, что теперь совершенно какъ-то нѣтъ... Ну, какъ это сказать? Ну, я буду говорить по провинціальному, губернскому жаргономъ... *Нѣтъ теперь интереснаго мужчины*... Вотъ что мнѣ кажется. Совсѣмъ нѣтъ. По крайней мѣрѣ, не видишь на поверхности, нѣтъ такого мужского типа, предъ которымъ можно было-бы... ужъ скажу опять жаргономъ губернскихъ дамъ... можно было-бы преклониться... Нѣтъ его!

— Ну какъ!—сказала я, какъ-то зря, повинаясь единственно инстинктивному желанію сказать что-нибудь въ защиту «нашей сестры»-мужчины, но никакихъ иныхъ существенныхъ аргументовъ въ пользу этой защиты привести не могъ: какъ-то они не приходили въ голову.

— Знаю, знаю,—не давая мнѣ времени подыс-

кать хоть какихъ-нибудь смягчающихъ въ пользу «нашей сестры» обстоятельствъ, продолжала старушка.—Знаю все, но я говорю про общество, про публику... про сотни этихъ плечъ, шей и спинокъ... Эта публика была всегда, но всегда у насъ по примѣру, по типу лучшаго общества, избраннаго круга была господствующій типъ мужчины, «достойнаго благоговѣнія», поклоненія... А теперь нѣтъ его! Всякой женщинѣ, чтобы любить человѣка, мужчину, мужа, надобно навѣрное знать, что въ самой глубинѣ глубинъ его души есть такое хорошее, предъ чѣмъ можно благоговѣть. Это-то святое, что лежитъ въ самой глубинѣ сердца любимаго человѣка, и есть главное, что даетъ смыслъ всей жизни женщины, всѣмъ ея поступкамъ, что способно заставить ее все вынести, все вытерпѣть, на все рѣшиться. «Это» въ мужчинѣ должно быть непременно святое, непременно искреннее, «настоящее». Опять-таки я говорю о толпѣ, объ обществѣ. Множество женщинъ, и хорошихъ, и честныхъ, и чистыхъ, и талантливыхъ, способныхъ, могутъ сгинуть, пропасть задаромъ, не отвѣдавъ счастья сознательной жизни, если ихъ не пробудитъ избранный человѣкъ и то, что таится въ глубинѣ глубинъ этого избраннаго сердца. Кругомъ нея могутъ быть и книги, въ которыхъ масса интереснаго, важнаго и такого, что способно захватить всю жизнь, но пока это способное не придетъ «во образѣ», въ живомъ словѣ книга можетъ лежать покойно хоть тысячу лѣтъ. Но то же самое, явись оно въ устахъ живого человѣка, непрерывно «настоящимъ образомъ» запечатлѣнное въ его сердцѣ, можетъ сдѣлать чудеса. Непрерывно надо только, чтобы это святое было «въ самомъ дѣлѣ» настоящее; женщины это умѣютъ понимать чутьемъ. И еще есть великая масса женщинъ, которыя не такъ одарены Богомъ, какъ тѣ, о которыхъ я говорила, не такъ благопріятно поставлены, не такъ даровиты. И тѣмъ надобно, чтобы въ сердцѣ мужа было что-то святое, надобно, если не для того, чтобы благоговѣть и жить этимъ святымъ, то хоть для того, чтобы бояться... Да! И бояться даже этого святого—и то для многихъ счастье, опора и серьезный смыслъ жизни. И вотъ я вамъ говорю! нѣтъ теперь такого типа, сокровенную глубину души котораго масса женщинъ могла бы въ самомъ дѣлѣ благоговѣнно чтить, уважать или наконецъ просто бояться.. Красота, успѣхъ, здоровье, богатство—все это конечно хорошо, все это пожалуй и надобно для удовлетворенія мелкихъ сторонъ женскаго тщеславія, но все это сущій вздоръ, если нѣтъ главнаго—благоговѣнія предъ высокими, святыми тайнами сердца любимаго человѣка... Не будетъ этого, можете десять разъ разворовать всѣ банки и кассы, и все-таки ничего, даже веселья настоящаго не получите, ровно ничего... Женщина въ такомъ «безсовѣстномъ» состояніи можетъ расточить на кружева цѣлую страну, расточить, даже и не замѣтитъ этого, и послѣ всѣхъ вашихъ разбойствъ и кражъ ничего вы отъ нея не получите, кромѣ того, что все-таки ей надо чего-то еще... собачку какую-нибудь нужно въ два золотника, а то она

умреть отъ тоски, вовсе не замѣчая того, что эта тоска уже стояла кому-то и гибели, и страданія, и разоренія.

— Не дай Богъ! — проговорилъ крестьянинъ, продолжавшій внимательно слушать рѣчи старушки, но опять-таки, вслѣдствіе многосложности волновавшихъ его впечатлѣній, не успѣлъ разобраться съ мыслями и неизвестно для чего прибавилъ: — «Это и изъ нашихъ деревенскихъ, которая чуть мало-мало въ городѣ пожила, поглядитко-сь, какъ хвосты заламывать наострилась!»

Но чувствуя, что сообщеніе о хвостахъ какъ будто бы и не подходитъ къ разговору, счелъ нужнымъ округлить его и проговорилъ:

— Поглядѣть-то на это, такъ не приведи Царяца Небесная!

Но такъ-какъ и это изреченіе также хвостамъ плохо соответствовало, то ему не оставалось ничего другого кромѣ жестовъ, которыми онъ и закончилъ свою рѣчь: онъ махнулъ рукой, плюнулъ, вздохнулъ и опять сталъ слушать.

А старушка продолжала:

— Я стара ужъ; я помню далекія, далекія времена, о которыхъ теперешнее поколѣніе и понятія не имѣетъ. Лѣтъ сорокъ, пятьдесятъ тому назадъ все наше общество по внѣшнему виду было не то, что теперь; не говоря вообще о дикости всевозможныхъ видовъ и формъ, надо всѣмъ царилъ солдатчина, бурбонство, солдатская вытяжка, словомъ, мертвечина. Даже литературы не было. Военный — вотъ господствующій типъ, герой... Но эта обязательная для всего общества внѣшность, обязательная для всякаго вытяжка, туго стянутая шея, картежь, кутежь вовсе не исключали возможности «святого», спрятаннаго въ глубинѣ сердца, спрятаннаго за этимъ, на всѣ пуговицы застегнутымъ мундиромъ. Напротивъ, тамъ было много «настоящаго», такого, что могло захватить всю жизнь и что совсѣмъ было не похоже ни на эту солдатскую внѣшность, ни на эту внѣшнюю топорность и грубость. Вѣдь даже такіе люди, какъ Лермонтовъ, не могли миновать этой солдатской и захватской внѣшности жизни, а между тѣмъ въ нихъ таились Лермонтовы. Я и теперь говорю не про какую-нибудь хищническую или вообще низменную, грабительскую общественную группу, а про группу такъ называемыхъ хорошихъ людей. И вижу, что теперь какъ разъ наоборотъ вышло. Тогда этотъ бурбонъ, растегнувъ свой мундиръ и туго стянутый воротникъ и оставшись одинъ на одинъ, давъ волю своему сердцу и своему тайному желанію, могъ не только по совѣсти высказать свое негодованіе на свое положеніе, но имѣлъ еще нѣчто за душой, именно имѣлъ желанія, какъ разъ противоположныя его топорной внѣшности, имѣлъ желаніе быть гуманнымъ, мягкимъ, справедливымъ, освободить своихъ крестьянъ и вообще *наотпрно* зналъ, что — неправда, и какая должна быть правда; ясно видѣлъ, въ чемъ и какъ, въ какой формѣ и въ какомъ видѣ эта правда — тайна, святая святыхъ его души — можетъ быть выражена, и вѣрилъ, непоколебимо вѣрилъ, что она, эта правда,

непремѣнно такъ, какъ онъ думаетъ, и будетъ выражена. Эта-то «святая святыхъ» и могла плѣнять женщину, могла воодушевлять ее, давать ей силу, вносить смыслъ въ семейныя отношенія, т. е. въ самыя интимныя стороны семейныхъ отношеній, а это-то вѣдь и главное... самыя-то интимныя. Они-то непремѣнно и должны, и могутъ держаться только на святомъ, на великомъ, передъ чѣмъ можно преклониться или чего во всякомъ случаѣ нельзя не бояться... И чѣмъ дальше шло, тѣмъ все больше и больше развивалось этого святого въ обществѣ. Вывало, идетъ-ли молодой человекъ въ университетъ или въ инженерны, или по какой-нибудь профессіи, то и дѣло слышишь, что профессія эта ему нужна не для профессіи и не для карьеры, а напротивъ, карьера, деньги, слава нужны для чего-то другого, именно для какого-то святого дѣла. Ну, онъ купить землю и будетъ самъ съ то-варищами пахать, работать, или накопить денегъ и откроетъ школу, больницу, и т. д. Онъ будетъ справедливымъ, онъ будетъ въ народѣ — учить, лечить, хлопотать, защищать. Все это свято, все это ясно, понятно, велико, и это святое, великое, таившееся на глубинѣ глубинъ, и было главное, что поднимало женщину изъ ничтожества, обновило ея жизнь, пробудило наконецъ ее къ этой самой жизни. Карьера, деньги, мѣста — все это долго, долго считалось ничѣмъ; *главное*, что держало на свѣтѣ, что ясно освѣщало весь путь человека, каждый его шагъ, и наполняло совершенно опредѣленнымъ и притомъ свѣтлымъ и святымъ смысломъ каждую минуту его жизни — это главное было свято. Жили не для средствъ, а нуждались въ средствахъ для этого главнаго, святого. И такъ долго шло. А потомъ какъ-то все это спуталось, размякло, скомкалось, осрамилось, озяло — словомъ, все это какъ-то пропало... Долго объ этомъ говорить... И вотъ теперь совсѣмъ, совсѣмъ другое! По внѣшности, никакого сравненія съ прошлымъ: ни затянутыхъ воротничковъ, ни тротъ, запертыхъ на замокъ, — ничего этого и въ поминѣ нѣтъ; развязность, шумъ, говоръ, тысячи вопросовъ такъ и кишатъ на тысячахъ газетныхъ столбцовъ каждый Божій день. Мало намъ сотенъ тысячъ русскихъ «вопросовъ», и европейскіе-то всѣ вопросы въ нашемъ распоряженіи, и азіатскіе, и американскіе, — словомъ, горы интереса и матеріала для вниманія и языка... А все-таки чувствуешь, что нѣтъ во всемъ этомъ гамѣ, шумѣ и трескотнѣ, и во всемъ этомъ обилии общественныхъ толковъ и пересудовъ ничего «настоящаго»... Чувствуешь, что во всемъ этомъ обилии говорѣ, среди массы всевозможныхъ мнѣній о безчисленномъ множествѣ всевозможныхъ вопросовъ и дѣлъ, есть что-то напоминающее анекдотъ о томъ мужикѣ, который, стоя у притока въ то время, когда баринъ ѣлъ поросенка, въ отвѣтъ на слова барина: «Какой отличный поросенокъ!» сказалъ: — «Нѣтъ, ветчина вотъ, такъ та много скусѣй!» — «А ты ѣлъ ветчину-то?» — спросилъ баринъ. — «Самъ-то я не ѣлъ, а мнѣ приказчикъ знакомый сказывалъ, что видѣлъ онъ, какъ одинъ офицеръ проѣзжающій ѣлъ». Вотъ именно это: «я

самъ не ѣлъ, а слышалъ отъ приказчика, который также самъ не ѣлъ,» — слышится положительно во всемъ этомъ нескончаемомъ разговорѣ о милліонахъ вопросовъ и русскихъ, и общечеловѣческихъ, разрабатываемыхъ и на столбцахъ газетъ, и въ комиссіяхъ, и за чайнымъ столомъ, и въ собраніяхъ, и въ салонахъ — словомъ, вездѣ... Никто самъ не знаетъ настоящаго вкуса ветчины, никто самъ не ѣлъ и не думалъ самъ ѣсть, а также, какъ мужикъ, стоя у притолки и желая изъ приличія поддержать разговоръ, говорить довольно развязно: «Нѣтъ, вотъ ежели какъ слѣдуетъ уѣздъ на примѣръ устроить, такъ тогда много лучше будетъ, скуснѣй!» — «Да что же тебѣ уѣздъ? Тебѣ-то очень это нужно? Самъ-то ты ѣлъ ли что-нибудь въ этомъ вкусѣ?» — «Нѣтъ, самъ-то я не знаю настоящаго скусу... мы этого не ѣли... а сказывалъ мнѣ одинъ пробѣзжающій, что видѣлъ онъ, какъ одинъ публицистъ ѣлъ, такъ хвалилъ, говорить...» Безъ шутокъ, самая глубина-то сердца всей этой говорящей и пишущей о милліонахъ вопросовъ толпы, глубина-то эта холодна, какъ выстывшая печка... При шумной и развязной внѣшности интимная-то сторона души безжизненна, испугана. Прежде, при холодной и грубой внѣшности, въ глубинѣ сердца таялось настоящее тепло; теперь же именно въ глубинѣ-то холодно, испуганно, а только по внѣшнему виду кажется, что будто бы человѣку даже и жарко.. Оттого такъ и много всякихъ вопросовъ, что нѣтъ главнаго, что и въ интимномъ-то разговорѣ, въ интимной-то бесѣдѣ съ глазу на глазъ, я, женщина, услышу отъ васъ, мужчинъ, не это *главное*, что бы дало мнѣ возможность сразу, съ двухъ словъ понять и проникнуться благоговѣніемъ къ источнику, изъ котораго выходитъ этотъ нескончаемый разговоръ вашъ о милліонахъ дѣлъ и вопросовъ, а, напротивъ, услышу, что вы это «только такъ», что главное состоитъ вообще въ испугѣ вашимъ жить на свѣтѣ, въ невѣрїи въ вашъ развязный разговоръ, что вообще въ глубинѣ-то души вашей утомленіе, холодъ и боязнь. За что же мнѣ любить васъ? Къ чему привязать мою жизнь и силы? У васъ нѣтъ желаній, вы «сами не ѣли ветчины» и скусу не знаете, а если и говорите, что она лучше поросенка, такъ это только изъ приличія... Завѣтнаго, чего-нибудь такого, что бы вы берегли «про себя», у васъ ничего нѣтъ, а безъ этого... зачѣмъ мы виѣстѣ? И вотъ мы видимъ стремленіе мужчинъ и женщинъ какъ можно чаще быть въ толпѣ, въ стадѣ, въ кучѣ, ходить, говорить, двигаться, какъ случится, какъ всѣ, какъ толпа, — стремленіе гнать себя на случайныя впечатлѣнія, случайные разговоры... Потому-что дома, за чайнымъ столомъ съ глазу на глазъ, намъ, мужу и женѣ, только боязно и холодно... Между нами пусто, ничего нѣтъ... Единственное спасеніе — идти жить въ толпу, въ кучу незнакомыхъ людей, и жить тѣмъ, что дастъ случай вечера, дня... Здѣсь всѣ чужды и всѣ одинаковы... всѣ не имѣютъ необходимости уважать другъ друга и всѣ имѣютъ возможность упражнять другъ на другѣ свое вниманіе. Вотъ почему

инымъ могутъ показаться противными тѣ слишкомъ *простые* взгляды, которыми теперь такъ часто обмѣниваются мужчины и женщины въ толпахъ общественныхъ собраній. Эти взгляды не вызовъ, но обоюдное невниманіе — только обоюдное непочтеніе, обоюдное заявленіе о томъ, что наши души не живы, не дѣйствуютъ, что стрѣлка показываетъ полночь — только!

— Вѣрно! — воскликнулъ крестьянинъ, не спускавшій глазъ съ одушевившейся старушки. — Такъ, правильно ты говоришь... Поразказать ежели все, какъ должно, честь честью, такъ передъ Богомъ...

Но вѣроятно опасаясь какимъ-нибудь неудачнымъ комментариемъ испортить бесѣду, понимаемую только чувствомъ и чутьемъ, собесѣдникъ нашъ замолкъ и еще разъ проговорилъ какъ то особенно громко и энергически:

— Вѣрно! Такъ! Нечего разговаривать!..

И заслышавъ свистъ машины, подѣзжавшей къ какой-то станціи, онъ сталъ торопливо собирать свои пожитки...

III.

— Уважать-то васъ, господа мужчины, стало почти не за что, вотъ въ чемъ бѣда! — съ неприятнымъ сокрушеніемъ въ голосѣ сказала мнѣ почтенная старушка, когда намъ наконецъ пришлось прекратить разговоръ о паденіи нравовъ и проститься.

Разговоръ этотъ, и на ту же тему, продолжался между нами еще очень долго послѣ того, какъ нашъ собесѣдникъ, крестьянинъ, оставилъ вагонъ и мы остались вдвоемъ. Признаюсь, не разъ приходило мнѣ въ голову замолвить словечко и за «нашу сестру», за не всегда очень счастливую «мужскую часть», притомъ на память какъ-то сама собою приходили аргументы самаго громкопнящаго свойства. Но искренность той горести, которая проникала каждое слово старушки, — горести, исходящей изъ глубины удрученнаго сердца, заграждала мои уста, и я не посмѣлъ предъявить ни единого изъ моихъ защитительныхъ аргументовъ, предпочитая уважить старушку и помолчать.

Эти громкопнящаго свойства аргументы въ защиту «нашей мужской части» нѣкоторое время невольно отвлекали меня отъ мысли о томъ душевномъ общественномъ недугѣ, предметомъ котораго былъ продолжительный дорожный разговоръ, и серьезность затронутой этимъ разговоромъ темы нѣкоторое время какъ бы затенялась воспоминаніями массы всевозможныхъ мелочныхъ частности, касавшихся какъ участі «нашей сестры», такъ и участі нѣей сестры... Но вотъ потянулись знакомые деревенскіе виды, постройки, фигуры людей... Припомнилась теперешняя, сегодняшняя жизнь и маята этихъ людей, живущихъ въ этихъ постройкахъ, — людей, мнѣ давно знакомыхъ, и опять стало чувствоваться неладно «вообще», опять стало страшновато и опять проснулась томительная жажда въ чемъ-нибудь найти опору, приближше...

«Уважать-то васъ, господа, стало не за что!» — вновь припомнились мнѣ слова старушки. и я былъ

очень радъ этому: они, хоть чуть-чуть, а все-таки разъяснили мнѣ, отчего мнѣ стало жутко и страшно. И сознание справедливости этихъ словъ старушки не только не убавлялось во мнѣ по мѣрѣ того, какъ я, минуя деревню за деревней и проникаясь все болѣе и болѣе деревенскими впечатлѣніями, приближался къ моему углу, но, напротивъ, впечатлѣнія деревни, смѣняя впечатлѣнія, привезенныя мною изъ столицы, только перемѣняли матеріалъ, не измѣняя душевнаго настроенія и не мало не искореняя внутреннего сознания въ своемъ недостоинствѣ. Не знаю, въ какомъ томительномъ настроеніи духа пришлось бы встрѣтить мнѣ новый годъ, еслибы одно случайное обстоятельство, маленькая, невѣдомо какъ попавшая подъ руку книжка не дала мнѣ возможности воскресить въ моемъ воображеніи одинъ хорошій, какъ будто бы пропастившийся куда-то русскій типъ. Раздумывая о судьбахъ этого типа, я уже не чувствовалъ себя какъ бы въ какомъ-то кошмарѣ; напротивъ, мнѣ стало совершенно ясно, отчего и почему такъ справедливы слова старушки: «не за что васъ, господа, уважать!».

Книжка, которая, повторяю, совершенно случайно попала въ мои руки, было тощенькое изданіе какого-то благотворительнаго общества и заключало въ себѣ кратчайшую (для народа вѣдь!) біографію св. Стефана Пермскаго. Біографія эта написана чрезвычайно плохо, несмотря на то, что изъ-подъ пера г-жи Толмачевой, автора этой біографіи, выходили произведенія очень замѣчательныя, но въ этомъ «изданіи для народа» талантливый авторъ почему-то счелъ нужнымъ елико возможно обезцвѣтить оригинальность изображаемаго лица, подогнать его біографію къ обыкновенному житію, излагающемуся на трехъ страничкахъ и продающемуся за три копейки. И, не смотря на всевозможные недостатки этого произведенія, несмотря на шаблонность изложенія, — шаблонность, выработанную на Никольскомъ рынкѣ, все-таки тотъ незначительный подлинный матеріалъ жизни святого, которому удалось проникнуть на эти блѣдныя странички, былъ весьма достаточно для того, чтобы въ моемъ воображеніи возникъ тотъ славный человѣческій образъ, который народъ именуетъ *святымъ человекомъ*.

Русскій святой человекъ — типъ весьма замѣчательный. Шаблонныя житія обыкновенно всячески стараются вогнать его біографію въ шаблонныя рамки «житія святого», полагая, что чѣмъ менѣе въ этой біографіи будетъ отведено мѣста практическому, реальному дѣлу на землѣ, сдѣланному святымъ человекомъ, и чѣмъ болѣе напротивъ будетъ сказано о постной пищѣ, вочномъ бдѣніи и искушеніи бѣса, тѣмъ жизнь чтимаго человека будетъ святѣе для простонароднаго читателя и тѣмъ болѣе онъ будетъ чувствовать душевнаго умиленія при чтеніи біографіи. На дѣлѣ однако оказывается не такъ.

Практическая польза, ясное, видимое ощутительное добро и полезное дѣло всегда составляли отличительную черту святого человека, всегда

составляли главнѣйшую особенность его личнаго желанія быть «угоднымъ Богу». Желаніе угождать Богу въ *русскомъ святомъ* всегда выражалось въ трудѣ, самомъ реальномъ и самомъ простомъ, на пользу ближнему, познающему, невѣжественному, нищему. Начиная съ Кирилла и Меодія, принявшихъ «угождать Богу» перомъ и книгой, ученіемъ безграмотнаго народа слову Божию, и кончая русскимъ святымъ человекомъ нашихъ дней — Тихономъ Задонскимъ, закладывавшимъ свои часы и платье, чтобы купить задонскимъ мужикамъ сѣмянъ для посѣва или дать взятку приказной строкѣ, безвинно томившей въ острогѣ отца семьи, — всѣ чтимые по разнымъ угламъ Россіи истинно русскіе святыя люди — всѣ свои душевныя сокровища, всѣ свои знанія, все свое умѣнье, весь свой умъ всегда отдавали нуждающемуся въ нихъ, толпѣ, массѣ народа; никто изъ нихъ не берегъ этихъ сокровищъ «про себя», а прямо несъ на улицу, туда, гдѣ они нужны, и вездѣ оставлялъ ясныя, видимыя и ощутимыя слѣды и знанія, и доброты, и умѣнія...

Да и нельзя было русскому человеку, желающему «угодить Богу, повторять своею жизнью тѣ образцы «не-русскихъ угодишковъ», по которымъ онъ учился. Борьбу со страстями и похотями, и съ самимъ собою пережили ужъ другіе — сирійскіе, греческіе подвижники, а намъ, ихъ ученикамъ, ужъ и такъ, изъ книжки только, вполне ясно видно, чему именно слѣдуетъ подражать. Этотъ чужой опытъ указываетъ прямо то, что хорошо, и какъ старинныхъ, такъ и теперешнихъ людей, желающихъ угодить Богу и «жить свято», обязываетъ не таить въ самомъ себѣ свое знаніе, свое сокровище, а отдавать его тѣмъ, кто не обладаетъ имъ, расточать его въ толпѣ, тратить на общую пользу, не вводить во искушеніе, но выводить изъ него...

Только въ самыя раннія времена русскаго просвѣщенія, въ кievскій періодъ, борьба съ собственною плотью и со врагомъ рода человѣческаго удручаетъ мыслящаго русскаго человека; чѣмъ дальше, тѣмъ задача человека, желающаго угождать Богу, дѣлается сложнѣе, труднѣе, практичнѣе; онъ уже знаетъ, что плоть его немощна, но приковать къ ея немощности свою молодую душу онъ уже не можетъ, и вотъ онъ начинаетъ уничтожать свою плоть не въ стояніи на столбѣ, а въ трудной будничной работѣ на пользу ближнему. Онъ прямо несетъ свои знанія и свою доброту въ толпу, учить и грамотѣ, и опрятности, и порядку, и справедливости, и ремеслу, и, словомъ, всему, чего нѣтъ кругомъ него и что должно быть, и что ему знакомо.

Вотъ такимъ-то «трудомъ» и работой и Стефанъ Пермскій угождалъ Богу. «Еще мальчикомъ — говоритъ г-жа Толмачова — онъ возлюбилъ чтеніе духовныхъ книгъ», но въ то же время и также «еще мальчикомъ» любилъ онъ толкаться по базару г. Устюга, куда по праздникамъ пріѣзжали зыряне: сталъ этотъ мальчикъ приглядываться къ зырянамъ, сталъ разспрашивать ихъ о житіи-бытіи.

и перскіе купцы вели съ нимъ охотно разговоры. Изъ этихъ разговоровъ онъ узналъ, что несчастные зыряне въ большомъ рабствѣ и невѣжествѣ пребываютъ, и въ то же время у него зародилась мысль просвѣтить ихъ и помочь имъ выбиться изъ-подъ гнета разныхъ тогдашнихъ воротилъ. Въ юношескомъ возрастѣ поступилъ онъ въ монахи, но выбралъ Ростовскій монастырь, между прочимъ потому, что тамъ «былъ богатый запасъ книгъ». Монашество и изученіе церковныхъ книгъ не сдѣлали однако изъ него «постника», — человѣка, хлопочущаго о личномъ совершенствѣ, а напротивъ — привели къ мысли реализовать приобрѣтенныя знанія въ средѣ тѣхъ несчастныхъ зырянъ, съ забитою жизнью которыхъ онъ былъ знакомъ съ дѣтства.

И вотъ началась эта реализація знанія. Это была дѣятельная практическая борьба со зломъ, съ народнымъ невѣжествомъ, умышленно поддерживаемымъ тѣми, кому это невѣжество было выгодно. Боролся приходилось съ первыми зырянскими тузами и авторитетами.

Глупенькіе зырянскіе мужики обвѣщаютъ бывало соболями, кунницами, лисицами какой-нибудь священный дубъ, а мѣстные авторитеты (жрецы, какъ называють ихъ г-жа Толдычева) оберуть эти приношенія, объявлять народу, что «Богъ принялъ нхніе дары», и продадутъ эти дары московскимъ купцамъ. Съ кулакомъ въ настоящее время очень трудно бороться интеллигентному человѣку, но св. Стефанъ не робѣлъ. Одинъ какой-то кулачишко, развѣвшійся на соболяхъ и кунницахъ, по имени Пима (и у насъ есть Пимка — кабачникъ, первый плутъ), желая отстоять «своихъ боговъ», т. е. право продавать купцамъ соболей, а деньги класть въ карманъ, — предложилъ «на отчаянность» Стефану пойти въ огонь выстѣ — кто молъ сгоритъ? Пима этотъ очевидно рассчитывалъ, что Стефанъ, такъ глубоко вѣрующій въ своего Бога, по наивности своей самъ вскочитъ въ пламя и сгоритъ тамъ. Это тому было бы на руку. «Вотъ молъ евоинный Богъ! Несите-ка, ребята, опять соболей на дерево!» Но Стефанъ, хотя и вѣрилъ въ своего Бога пламенно, однако не поддавался на удочку кулачишки, а былъ себѣ на умѣ.

— Я готовъ принять лютую смерть за нашу святую вѣру, сказалъ онъ всенародно. — И ежели я долженъ повелѣніемъ Божиимъ погибнуть, то молитесь за меня и не забывайте ученія Христова.

По приказанію Стефана разложили костеръ, и лишь только онъ разгорѣлся и лишь только Пима подумалъ, что вотъ-вотъ врагъ его вскочитъ въ огонь — какъ Стефанъ схватилъ его за руку и бросился выстѣ съ нимъ къ пламени, «но Пима упирался ногами въ землю и искалъ около себя, за что бы ухватиться».

— Идемъ! крикнулъ Стефанъ и рванулся съ нимъ впередъ, но Пима вырвался изъ его рукъ, а въ толпѣ поднялся гулъ.

— Что-жъ въ огонь-то не идешь, Пима? кричали въ толпѣ, полагая, что Пима — авторитетъ несгораемый.

Но Пима совершенно растерялся и бормоталъ:

— Этотъ иноплеменикъ совратилъ насъ съ пути истины... Я хотѣлъ васъ спасти... хотѣлъ его запугать... Я думалъ, онъ не поидетъ въ огонь! (Стр. 24).

Зыряне, очевидцы плутни кулака, повѣрили Стефану, да и нельзя было не повѣрять. На стр. 29 читаемъ: «Въ то время не было грамотныхъ (да и сейчасъ немного ихъ), а сборщикамъ податей оно было съ руки: всякій обманетъ безграмотнаго, сборщики и обманывали народъ, и брали съ него, что хотѣли. Но великій князь далъ большую власть Стефану во всемъ краѣ и съ тѣхъ поръ никто уже не смѣлъ притѣснять бѣдныхъ зырянъ — знали, что у нихъ есть защитникъ; народъ сталъ пользоваться своими заработками и торговля пошла успѣшно». При такой манерѣ русскаго святого человѣка «угождать Богу», воюя съ сборщиками, съ кулаками, съ обиралами, давая народу возможность пользоваться заработками, торговать, жить лучше и яснѣе видѣть вообще, что «вокругъ меня» дѣлается, нельзя не слушаться, не вѣровать въ этого человѣка и нельзя не считать его за человѣка, вполне угоднаго Богу.

V.

Позволю себѣ сдѣлать здѣсь нѣсколько замѣчаній по поводу дѣла, далеко не посторонняго разговору о русскомъ святомъ человѣкѣ. Нѣкоторые изъ читателей моего очерка: «Трудами рукъ своихъ» письменно выражали свои недоумѣнія относительно теоріи, изложенной въ рукописи крестьянина, для объясненія которой и написана самая статья; жить трудами рукъ своихъ невозможно потому-то и потому-то, а слѣдовательно и самая теорія крестьянина едва-ли правильна. Мнѣ кажется, что на эту теорію слѣдуетъ смотрѣть такимъ образомъ: она несомнѣнно правильна, какъ во-первыхъ для самого автора, и пожалуй для всего русскаго крестьянства, такъ и для тѣхъ интеллигентныхъ людей, для которыхъ выполненіе ея на дѣлѣ возможно; кто хочетъ добывать хлѣбъ своими руками, а главное — кто можетъ это сдѣлать — для того она будетъ также правильна какъ и для всякаго крестьянина. Но, оставаясь правильной въ своей сущности, она для множества людей теперешняго общества можетъ быть просто неисполнима, невозможна и даже непонятна; это — такъ, но это вовсе не означаетъ, чтобы «неисполнимость», «невозможность» «жить свято», повинуясь крестьянской теоріи труда своими руками, преграждала бы возможность «жить свято» вообще. Типы хорошихъ людей изъ народа не исчерпываются типомъ одного только хорошаго работника своими руками, земледѣльца: не одинъ 60-ти лѣтній старикъ, съ котораго за старостью лѣтъ «сняли мірское тягло», который ужъ пережилъ своихъ сыновей и выдалъ замужъ дочерей, словомъ, освободился отъ *своей* заботы, служилъ уже общей пользѣ, міру, принималъ на себя общую мірскую заботу, мірскія хлопоты, и именно потому принималъ, что ужъ былъ свободенъ, могъ рисковать

собою, изживши все, что полагается изжить на свѣтѣ работнику и земледѣльцу.

Не знаю, нужно ли, да и возможно ли въ этомъ очеркѣ перечислять, какія именно дѣла могъ бы и сейчасъ дѣлать русскій образованный человѣкъ, желающій жить хоть чуть-чуть свято. Такихъ дѣлъ всегда находилъ множество всякій, кто хотѣлъ ихъ находить. Русскій святой человѣкъ, то есть русскій интеллигентный человѣкъ стараго, церковнаго воспитанія, какъ мы видѣли, находилъ ужъ ихъ въ достаточномъ количествѣ, настолько достаточномъ, что могъ отдавать имъ всю свою жизнь. На нашихъ же глазахъ и не святой, а обыкновенный русскій интеллигентный, совѣстливый человѣкъ также не искалъ дѣла и зналъ, что надо дѣлать. Припомнимъ напримѣръ хоть такого человѣка, какъ кн. Васильчиковъ. Это былъ и баринъ настоящій, и богачъ, и аристократъ, словомъ, — имѣлъ все, что имѣютъ теперь тысячи богачей на Руси, но въ придачу къ богатству и положенію имѣлъ еще и умъ, и совѣсть, и не затруднялся въ розыскиваніи того, что нужно сдѣлать народу. Говорятъ: народъ спивается, мотаетъ деньги, не платитъ податей; предлагаютъ мѣры — акцизы, строгости, нравственность. Васильчиковъ говоритъ, что если тѣ деньги, которые выручаются съ кабаковъ, будутъ выручаться въ видѣ прямыхъ налоговъ, то кабакъ не будетъ свирѣпствовать; если же кабацкій доходъ надобно выручить все-таки кабацкимъ путемъ, то никакое искусственное поднятіе нравственности немислимо, а попытки — пустяки. Говорятъ ему о распущенности нравовъ наемныхъ рабочихъ и о нарушеніи ими условій съ хозяевами — и въ этомъ случаѣ Васильчиковъ находитъ возможнымъ знать свою обязанность по отношенію къ народу и говоритъ: «Если дѣйствительно отъ распущенности нравовъ терпятъ интересы землевладѣльцевъ, то еще болѣшая опасность угрожаетъ самимъ крестьянамъ и сельскимъ обществамъ; помѣщики еще могутъ найти исходъ изъ этого положенія, но на самихъ крестьянъ эти безпорядки дадутъ тяжелымъ бременемъ, круговая порука свяжетъ ихъ на цѣлое столѣтіе, и въ этотъ долгій срокъ положеніе ихъ, если не будетъ принято мѣръ къ правильному образованію народа, сдѣлается невыносимымъ: мірошды ихъ объѣдаютъ, пьяницы разоряютъ» (стр. 26). И согласно такимъ правильнымъ и простымъ взглядамъ на положеніе народа, Васильчиковъ зналъ, что слѣдуетъ дѣлать и ему, образованному человѣку, чтобы чувствовать себя совѣстливо: расширеніе крестьянскаго землевладѣнія, народный кредитъ, избавляющій отъ кулачества, народная школа — все это онъ не боялся отстаивать вездѣ, гдѣ было можно. Все это можно отстаивать и теперь всякому, кто чувствуетъ внутреннюю потребность дѣлать людямъ добро.

Все это припомнилось мнѣ, благодаря маленькой книжкѣ, напоминавшей мнѣ хорошаго русскаго типъ, всегда присутствовавшій на поверхности русской жизни, но какъ-то затертый, куда-то запропащившійся теперь, въ наши сѣрые дни. Какъ бы

мрачна, тяжка ни была картина, между мрачными, непривѣтливыми типами виденъ былъ и этотъ хорошій типъ... А вотъ теперь какъ-то непримѣтно его... Гдѣ онъ? А вѣдь былъ онъ, былъ, и обѣ немъ даже деревенскіе люди иной разъ вспоминаютъ съ сожалѣніемъ.

III. «Пинжамъ» и чортъ.

— Кабы ежели бы *въ ту-то пору* послушать бы евоинныхъ (или ейныхъ) словъ, такъ оно бы, дѣло-то, пожалуй-что и по хорошему бы... Да что, дубье, больше ничего! И вся-то цѣна нашему брату — мѣдный алтынъ! Какъ были всю жизнь дурками, такъ видно и въ могилу ляжемъ!

Такими нелестными эпитетами приходится надѣлать самого себя почти всякому современному крестьянину, достигшему примѣрно сорока или сорокапятилѣтняго возраста и почему-нибудь задумавшемуся надъ текущей минутой своей жизни. Надо сказать правду: не хороша, не складна и вообще какъ-то тяжело не свѣтла эта «последняя минута» его сорокалѣтняго житія на бѣломъ свѣтѣ; лѣтъ пятнадцать, даже около двадцати прожилъ онъ въ тяготѣ крѣпостного безправія, въ фантастическихъ, почти сказочныхъ грезахъ о томъ времени, «когда будетъ воля», представлявшаяся также въ сказочныхъ, по-дѣтски представляемыхъ размѣрахъ и очертаніяхъ, и затѣмъ, дождавшись наконецъ дня, въ который воля была объявлена, всѣ послѣдующія двадцать-двадцать пять лѣтъ пережилъ среди небывалыхъ новыхъ, непостижимыхъ и всегда почти непонятныхъ явленій и вѣяній, въ результатѣ которыхъ — трудный сегодняшний день. Что-то неладное, вкравшееся въ его «вольную жизнь» въ самомъ началѣ, какія-то, вовсе несоответствовавшія его дѣтскимъ, крѣпостнымъ мечтаніямъ «ошибочки» противъ его крестьянской правды, — ошибочки, сдѣланныя «въ землѣ», т. е. въ самомъ корнѣ его міросозерцанія, сдѣлали то, что ему не удалось сразу стать на ноги, сразу разстаться со сказкой и мечтаніемъ. «Ошибочка», напротивъ, заставляла его смотрѣть на все то новое, что шло ему навстрѣчу, сквозь неразсѣявшуюся дымку этой сказки, и это постоянно сбивало его съ толку, качало и направо, и налево и вообще туманило голову. Чуть не съ перваго же вольнаго дня онъ сталъ объяснять «ошибочку» тѣми причинами, которыя напѣвала ему сказка. «Отойдетъ!» вѣрилъ онъ, и въ иныхъ мѣстахъ отрешивался отъ земли, а въ другихъ хотъ и бралъ то, что пришлось, но никакъ не могъ повѣрить, чтобы скотина должна была пастись въ болотѣ, а не на лугу, или — что бы вѣсто пашни можно было хозяйствовать на пескѣ или камнѣ. Долго, безконечно долго жилъ онъ мечтами о «слухномъ часѣ», о «генеральной межѣ» и радовался «вѣтмъ нутромъ», что кулачишко Пимка расхищаетъ барина: рубить у него безъ пощады лѣсъ, покупаетъ и разламываетъ его родовыя помѣстья; Пимка — «свой братъ»; онъ тоже говоритъ: «отойдетъ», и благодаря его совѣту,

они только посмѣиваются въ бороду, слушая предложенія «барина» купить у него землю, имѣніе, не слушать Пинку... Но шли времена, и приходилось не вѣрить Пинкѣ; Пинка оказывался куда не тѣмъ, чѣмъ бы ему надлежало быть, ибо самъ начиналъ поговаривать, что «ничего отъ него-то, отъ Пинки, ужъ не отойдетъ». А скотина тѣмъ временемъ продолжала пастись въ болотѣ и пашня была не пашня, а невѣдомо что, то есть «ошибочка» оставалась ошибочкой попрежнему... Кому же тутъ вѣрить? Хорошему барину? Но не видно, чтобы онъ что-нибудь дѣлалъ хорошее въ самомъ дѣлѣ. Мысль объ антихристѣ, о страшномъ судѣ мелькала не разъ въ недоумѣвающей крестьянской головѣ, но такъ-какъ и антихристъ также медлил своимъ появленіемъ и не давалъ такимъ образомъ возможности выяснитъ положеніе дѣла, то волей-неволей приходилось опять думать, что «ошибочка» должна быть исправлена, а въ ожиданіи этого—жить кое-какъ, какъ придется, закладываясь Пинкамъ, рѣшая водкой дѣла, которыя «по настоящему-то» могутъ быть рѣшены только тогда, когда ужъ не будетъ «ошибочки». И такъ, путаясь въ мечтаніяхъ, вѣря и разуиваясь, сорока-сорокалѣтній деревенскій житель въ настоящую минуту видитъ, что «ошибочка», какъ разбитое корыто, стоитъ на своемъ мѣстѣ, но что помимо ея и изъ-за нея, вокругъ него и надъ нимъ со всѣхъ сторонъ, во всѣхъ общественныхъ и домашнихъ дѣлахъ и отношеніяхъ, наросла невѣдомо какая пропасть тяжкаго, кажется, даже воплію ненужнаго, но въ то же время кажется и неизбежнаго. И вотъ, раздумывая о какомъ-либо теперешнемъ явленіи будничной жизни, сорокалѣтній деревенскій житель въ концѣ-концовъ не можетъ не заключить своихъ размышленій почти всегда одной и той же фразой:

— Да что! Одно слово — дубье! Намъ, дуракамъ, видно и въ гробъ лечь дураками придется!

Но что значитъ, что, награждая себя такими нелестными эпитетами, деревенскій житель, какъ-бы припоминая что-то, не можетъ миновать и другой фразы: «кабы ежели бы въ *ту-то пору* да послушать...» и говорить эту фразу (или думать—все равно) съ нѣкоторымъ отгѣнкомъ сожалѣнія въ голосъ.

А значитъ это, что въ его сумбурно-тяжкомъ сорокалѣтнемъ опытѣ жизни было нѣчто еще и *иное*; и хотя это «иное» было такъ-же сумбурно, ни съ чѣмъ не сообразно, не принесло въ результатѣ ровно ничего существеннаго, но, вспоминая его, это иное, нельзя не сознавать, что было въ немъ какъ-бы какое-то *легкое дуновенье сущей правды*.

Много за эти сорокъ лѣтъ видѣлъ мужикъ всякой всячины: и боялся-то, и переставалъ бояться, и принимался плясать «на радостяхъ», и антихристу начиналъ ожидать со страху; слышалъ и то, и другое, и вѣрилъ всему; а потомъ ничему не вѣрилъ, или оказывалось совсѣмъ не такъ, какъ думалось, какъ вѣрилось и должно бы быть. Но какая-то едва приметная струя правды, чего-то такого, про что нельзя не сказать: «вѣрно!», была

въ томъ сумбурѣ, показывалась кое-гдѣ, черезъ пятое въ десятое.

Да!.. Какъ ни нелѣпо, какъ ни сумбурно предъ-явилъ въ народной массѣ «сердечный» человѣкъ шестидесятихъ годовъ свое стремленіе «къ народу» и «въ народъ», въ какомъ бы ни съ чѣмъ несообразномъ видѣ ни появлялся онъ въ народной массѣ съ своими сердечными изліяніями, планами, совѣтами—все-таки онъ «былъ» тутъ, былъ въ деревни, бормоталъ «свое» наряду съ тѣмъ, что бормотали, совѣтовали, сулили, предсказывали всѣ другіе, и это бормотанье не могло пройти бесслѣдно; оно оставило въ воспоминаніяхъ сорокалѣтняго деревенскаго жителя какой-то, хотя и слабый, едва ощущаемый звукъ, но звукъ правдиваго слова, чего-то подлиннаго, справедливаго.

— Кабы ежели-бы «въ тѣ поры» послушали бы Михалъ Михалыча да укупили бы его землю-то обществомъ, такъ оно бы пожадуй что и не того...

Натворивъ въ мірскомъ сходѣ или въ волостномъ судѣ пропасть всякой неправды и возвращаясь подъ хмелькомъ домой, сорокалѣтній деревенскій современникъ не можетъ не раздумывать объ этой неправдѣ и всегда либо про себя, либо вслухъ непремѣнно вспоминаетъ что-нибудь изъ «той поры».

Но можно ли было «въ ту-то пору» послушать этого Михалъ Михалыча? Михалъ Михалычъ былъ баринъ—это первое; и потомъ «съ чего» это онъ лѣзъ къ мужикамъ цѣловаться, совалъ деньги въ руки, обнимался? Откуда деньги-то у него? И кто добрый человѣкъ будетъ этакъ-то швырять? «Верите у меня землю! Отымайте ее у меня! Подлецъ я, да, я подлецъ!» Кто этакъ-то дѣлаетъ? Одной Марфуткѣ передавалъ деньги зря болѣе пожадуй пятачокъ серебромъ, а что въ ей скусу, въ Марфуткѣ-то? Больше ничего—солдатка. Связался при всемъ честномъ народѣ съ этой шкуркой, а свою законную жену зря покинулъ. Да и опять вѣдь сказывали: и такъ, молъ, отойдетъ. Такъ чего-жъ ее укупать-то? Вѣдь тожъ, укупил-ко-съ... А вѣдь какъ набивался-то: «Купите, православные, дайте мнѣ вамъ послужить. Душа моя требуетъ этого!»—Ишь вонъ Марфутка-то... что была? А нонѣ, по дико-съ, какъ орудуетъ по сѣнной части... Мужа вишь купила себѣ изъ благородныхъ... Нѣтъ, кабы въ ту-то пору... такъ... Да что ужъ!.. Дубье! И цѣна-то намъ всѣмъ, дуракамъ, мѣдный грошъ... Какъ жили дураками, такъ видно и въ землю дураками ляжемъ!.. Да и въ самомъ дѣлѣ, какъ тутъ узнаешь, что къ тебѣ пришла правда, а не какая-нибудь хитрая штука, не подвохъ? Вотъ тоже еще «объявлялся» въ нашихъ мѣстахъ человекъ и тоже, какъ подумаешь, не все зря болталъ. Ежели-бъ намъ тогда по евангелическимъ словамъ Пинкѣ-кулаку не покориться да на оборотку ему съ заливными лугами сдѣлать, такъ оно бы пожадуй-что и попревосходнѣй вышло... А болталъ вѣдь, какъ кричалъ-отъ! А опять-же какъ вспомнишь все подробно, такъ тоже нельзя было дать вѣры этому человѣку; и невѣдомо откуда взялся, и невѣдомо кто. Ну, Михалъ Михалычъ положимъ что

баринъ; ну, взбрело ему въ умъ, вотъ онъ и сталъ мотать деньги... Ну, а этотъ съ чего? Ни кола, ни двора, ни штановъ, ни даже жилетки нѣтъ... Только сигарки жечь да книжку читать, а между прочимъ только и зудитъ: «Вамъ убытокъ въ десять тысячъ, тутъ убытокъ вамъ въ тридцать тысячъ»... Тыщи, да миллионы, да горы золотыя сулилъ, а самому иной разъ нечего перекусить... Что ему, безштанному-то, тыщей чужихъ жалко стало? Ну, положимъ, что... Ну, а слова-то какія говорилъ при всемъ честномъ народѣ? Вѣдь за эти слова-то такъ вѣдь четвертовать его, идола, и то мало! Нешто можетъ человѣкъ, который понимаетъ Бога, да чтобъ онъ посмѣлъ?... А вѣдь онъ что!.. Вѣдь онъ даже... Ну, какъ же Пимку-то не послушать было? Нешто Пимка-то не правду говорилъ: «Эй, ребята, глядите въ оба! Онъ вамъ надѣлаетъ дѣловъ! Сма-атрите!» Да что мнѣ Пимка? Я бы и самъ его своими руками, жидя этакова, скрутилъ да представилъ. Тутъ и слушать-то крещеному человѣку такихъ словъ невозможно, не токмо-что... А что ежели бы въ ту пору насчетъ Пимки бы... и дѣйствительно насчетъ луговъ, такъ оно, пожалуй, и на другой бы манеръ обозначилось. Пимка-то вонъ и точно, по его, какъ онъ сказывалъ, оболваниваетъ нашего брата. Ежели бы въ ту-то пору захватить кузьминскіе-то покосы, такъ Пимка теперь бы... Да чего ужъ! Одно слово—дубье! Такъ дураками видно и въ могилу ляжемъ».

Нескладно и даже какъ бы «неприлично» для «барина» проявилось въ немъ это стремленіе жить и дѣйствовать по сущей правдѣ; въ нескладныхъ, ни на что не похожихъ и ни съ чѣмъ несообразныхъ формахъ проявилось оно среди народа, въ деревнѣ, въ мужицкой избѣ; да и для народа, среди другого оно проявилось, оно казалось также ни съ чѣмъ несообразнымъ, нескладнымъ, ни на что непохожимъ и ужъ во всякомъ случаѣ «сумнительнымъ» явленіемъ; но во всей этой нескладницѣ, неожиданности формъ проявленія дѣйствительно таилась «сущая правда», настоящая, безъ всякой примѣси и обмана, и миллионная доля ея, понятная и постижимая припоминается теперь на каждомъ шагу, такъ-какъ на каждомъ шагу—въ общественныхъ, мірскихъ, домашнихъ, семейныхъ дѣлахъ и отношеніяхъ—чувствуется потребность въ коренномъ обновленіи крестьянскаго дѣла, крестьянскаго духа, ума; чувствуется потребности выразить стремленіе къ правдѣ, всегда неизмѣнной, въ иномъ видѣ, иной формѣ, иномъ размѣрѣ.

И вотъ, въ такія-то минуты и припоминаются сорокалѣтнему современнику эти невѣдомо откуда принесшіяся дуновения сущей правды, «объявлявшейся въ *ту пору*» и невѣдомо куда канувшей, и никакого иного, кромѣ смутнаго воспоминанія, не оставившей слѣда.

Къ сожалѣнію, это появленіе въ народной средѣ какихъ-то едва-едва вспоминаемыхъ очертаній «сущей правды», т. е. какихъ-то такихъ постушковъ и какихъ-то такихъ словъ и указаній, въ которыхъ какъ будто-бы заключалось именно то, что

надобно было крестьянину новой жизненной обстановки, то, чему слѣдовало-бы вѣрить—къ сожалѣнію, все это появлялось въ народной средѣ въ такихъ капельныхъ размѣрахъ и съ такой неподходящей внѣшностью, что оставило только дѣйствительно едва замѣтный слѣдъ, частичку какого-то случайно хорошаго звука, едва припоминаемое ощущеніе какого-то благотворнаго дуновенія.

И хотя поэтому выраженіе: «кабы ежели бы *въ ту пору*» и слышится въ устахъ деревенскаго современника чуть не на каждомъ шагу, потому-что на каждомъ шагу онъ ощущаетъ и тѣмъ, и страхъ, и безразсвѣтную тяготу нескладницы, но это вовсе не значитъ, чтобы «въ ту пору» онъ почерпнулъ такъ много необходимыхъ ему идей, что съ помощью ихъ вполне понимаетъ все, что теперь творится съ нимъ. Далеко нѣтъ; «въ ту пору» было только что-то похожее на правду, частичка, крохотная капелька, которая много-много что дастъ возможность задуматься надъ спутавшейся и сбитой въ кучу современностью.

II.

Вотъ и семидесялѣтній старецъ, исконный деревенскій житель, Афанасій Фирсановъ, закручинившись о своей домашней бѣдѣ, которая какъ снѣгъ на голову свалилась на его домъ и семью, также не можетъ почему-то не вспомнить прошлыхъ временъ.

— Кабы въ тѣ поры-то, размышлялъ онъ,—послушали бы эту самую барыню-то, да взяли работницу, да Прасковью-то свезли въ лазаретъ, такъ оно бы пожалуй-что и совсѣмъ бы по хорошему вышло.

Вспоминаетъ Афанасій Фирсановъ, какъ однажды «въ ту пору», невѣдомо откуда, не то «на дачу», не то—такъ, невѣдомо, зачѣмъ, налетѣла какая-то барыня-лекарка, въ очкахъ, стриженная... И какъ она шумѣла по избамъ, ругая мужиковъ и бабъ за больныхъ дѣтей, какъ она бабъ было всѣхъ взбунтовала противъ мужиковъ, говоря, что имъ, почитай, всѣмъ бабамъ, нельзя было работать въ полѣ, что у одной одна болѣзнь, у другой—другая; что это злодѣйство—не лечится, что будетъ хуже. Вспомнилъ онъ, что и Прасковья сказала она: «Нельзя, надо лечиться», и Прасковья уже подумывала было не идти на работу. Но вспомнилъ и то, что никогда этого ничего не бывало, что бабы всегда работали и будутъ работать, и проповѣдывать: «лечись»—значить бунтовать, становить вверхъ дномъ весь обиходъ крестьянской жизни. «А кто подати будетъ платить? А съ кого спрашивать? А ѣсть-пить кто добудетъ? А скотина?»... Все это такія возраженія, что даже сами бабы скоро перестали слушать лекарку, которая очевидно говорила чортъ знаетъ что, бунтовала, да и по прочимъ рѣчамъ ея видно было, что она больно сумнительная дама, потому—такія слова говорила, что каждый крещеный человѣкъ безпримѣнно долженъ бы представить ее по начальству. а не то что «слушать» да покоряться ей бунтовству

Но, выбирая изъ всѣхъ этихъ воспоминаній только едва вспоминаемый совѣтъ—лечить Прасковью, онъ хотя и чувствуетъ, что этотъ совѣтъ былъ точно правленъ, но очень хорошо знаетъ, что, даже и вспомнивъ этотъ правильный совѣтъ, ему не понять всей безпросвѣтной тьмы наваливавшегося на него горя.

То, о чемъ онъ думаетъ, — такая тьма, что разобрать ее нѣтъ источниковъ; въ общихъ чертахъ горе Афанасія Фирсанова состоитъ въ томъ, что неожиданно-негаданно прошлой осенью въ дому его появилась порча. Женить онъ сына, и сынъ молодой, и жена его молодая; оба молодцы-силачи. Но на второй день свадьбы сдѣлалась порча съ молодой, а потомъ и съ молодымъ, а затѣмъ и пошло «бить» о землю, ломать всю родню; даже сошедшихъ бабъ ни съ того, ни съ другого начало корчить, бросать и катать по полу, — словомъ, произошло невѣдомо что. Весь домъ въ упадокъ; грызущая тоска. никогда незнакомая прежде жителямъ этого дома, стала сосать ихъ всѣхъ, и всѣхъ закручинило глубокой тоской.

Вотъ что стряслось надъ домомъ и надъ всею семьею Афанасія Фирсанова; и не безъ основанія мелькнуло ему воспоминаніе о словахъ барыни лечить Прасковью (тогда бы не надо было женить сына), но все-таки эти слова лекари-барыни и сотовъ доли не освѣщаютъ и не разъясняютъ въ этомъ сложномъ и необычайномъ происшествіи. Чувствуетъ и видитъ старикъ, что въ этомъ горѣ кромѣ явнаго участія чорта, явившагося неожиданно-негаданно, сплелось все то, что запутало вообще теперешняго человѣка, съ чѣмъ не можетъ справиться стариковскій опытъ, къ которому въ помощь не выработано ничего новаго, вѣрнаго, прочнаго, и только вотъ когда-то мелькнула какая-то капелька, подходящая къ тому, что нужно, мелькнула «въ ту пору» и исчезла.

Но, дѣлая попытку рассказать эту темную исторію и разобраться въ ней, чтобы имѣть понятіе о томъ, до какой степени вообще запутаны головы нашихъ деревенскихъ современниковъ, я чувствую уже, что едва-ли мнѣ удастся благополучно обратиться изъ этой сложной тьмы событія, и пусть читатель извинитъ меня, если, не одолѣвъ всей сложности дѣла, я ограничусь главнымъ образомъ выясненіемъ только самыхъ характерныхъ особенностей упомянутыхъ выше двухъ жизненныхъ теченій, столкнувшихся въ этомъ дѣлѣ.

III.

Семья и домъ Афанасія Фирсанова съ давнихъ временъ считались въ нашей «округѣ» самыми образцовыми и самыми счастливыми въ отношеніи крестьянства и крестьянскаго дѣла; все, что слѣдуетъ по крестьянству, шло у нихъ всегда ладно, складно, обильно, прочно и вообще солидно. Да и не мудрено; посмотрите на мужиковъ: дѣдъ, который въ настоящее время какъ-то разслабъ и растерялся, не смотря на свои семьдесятъ слишкомъ лѣтъ,

до неожиданнаго событія былъ истинно молодецъ; неотличить было отъ сына, которому всего-на-всего лѣтъ сорокъ пять; здоровые оба, сильные, а главное, что особенно отличало эту семью отъ другихъ, веселые. — рѣдкое явленіе въ деревенской жизни. Въ полѣ на работѣ, на сходѣ у кабака, даже на учетѣ мірскаго старосты, гдѣ уже непременно всѣ злы и норовятъ разорвать другъ дружку, Афанасій съ сыномъ Иваномъ непремѣнно хохочутъ—не смѣются, а хохочутъ, медленно, громко, раскрывая весь ротъ широко и держа голову прямо. Мірныне вопіютъ, галдятъ, упрекаютъ другъ друга и ругаются самыми отборными словами, уличаютъ другъ друга и распинаются изъ-каждой копѣйки, хотя бы разыскать сущую правду въ каждомъ глоткѣ мірскаго водки, а Афанасій съ Иваномъ, засунувъ руки въ карманы разстегнутаго полушубка или армяка, только хохочутъ да изрѣдка переговариваются:

— Пушай его... экъ его!.. Хо-хо-хо!.. Чего не скажешь!.. Ха-ха-ха!..

«Пушай!»—этими словомъ они подтверждаютъ всякое мірское рѣшеніе; не спорятъ, не прекословятъ, а только говорятъ одно:

— Пушай!.. По многу-ль? По полтинѣ, вишь... Ха-ха-ха! Ну, пушай по полтинѣ... Ишь что шумитъ... Ха-ха-ха!.. Ладно, что ужъ, по полтинѣ... Доставай, Иванъ... Ха ха-ха!..

И на дворѣ со скотиной тоже у нихъ веселое обращеніе, не слышно чего-нибудь вроде: «У, пропасти на тебя вѣтъ!.. К-ккуд-ды понесло тебя, проклятую!»; а напротивъ, тотъ-же поступокъ коровы или лошади обсуждается всегда съ веселой точки зрѣнія:

— Глянь, глянь, куда полѣзала!.. Аха-ха-ха!.. Ишь вѣдь что мудрить... Хо-хо-хо!..

И даже въ самыхъ, повидимому, критическихъ обстоятельствахъ, когда вся деревня ходитъ по нуру голову, когда неурожай, даже холера, — и тогда Фирсановы разговариваютъ не такъ, какъ всѣ.

— Что, Афанасій Петровичъ, никакъ холера идетъ? Не умереть бы какънибудь...

— Да вѣдь какъ же не умереть-то? Ха-ха-ха! Ужъ безъ этого нельзя, чтобъ не помереть...

Или:

— А что, Иванъ Афанасьевичъ, сказываютъ, хлѣба-то совсѣмъ не родилось?

— Даже и совсѣмъ ничего не родилось... ха-ха-ха!.. ей Богу!..

— Такъ какъ же быть то?

— Да вотъ, поди-ка! безъ хлѣба-то поживи! Ха-ха-ха! Изволь-ка вотъ безъ хлѣба-то оборудовать, умудрись! Хо-хо-хо!..

Да и въ самомъ дѣлѣ уберешься ли отъ холеры, если она порѣшитъ отправить тебя на тотъ свѣтъ, если будешь причитать о ней и говорить жалкія слова? И хлѣба не прибудетъ, ежели выть да стонать о безхлѣбѣ. Если даже придется въ долгъ у кулака хлѣбъ занимать, такъ тоже нѣтъ никакого резона роптать или негодовать: скрежещи — не скрежещи, рыдай — не рыдай, а все отдашь занятое вдвое или втрое.

— Ты ужь миѣ, Афоня или Ваня,—говорить кулачишко Афанасію Петровичу или Ивану Афанасевичу—ты ужь миѣ, миляга, въ двѣ препорціи отдашь, въ обработку-то! Это надѣть помнить.

— Такъ пущай же и въ двѣ... ха-ха-ха! отвѣчаетъ Афоня или Ваня. — Коли въ двѣ надо, такъ и въ двѣ... ха-ха-ха... препорціи надѣть отдавать... ха-ха-ха... а не въ одну препорцію... ха-ха-ха... Коли въ двѣ надо... хо-хо-хо!..

Какъ разъ подѣлать здоровымъ, рослымъ и хохочущимъ мужикамъ попались и бабы въ семью Афанасія Петровича. Еще прабабка, корень всей этой веселой породы, установила правильно и прочно «бабью часть», выбирая бабъ не кручинныхъ, а веселыхъ, легкихъ сердцемъ. И Афанасію, своему сыну, и Ивану, сыну Афанасія, она сама разыскала невѣсты, и все изъ такихъ «некручинныхъ» бабъ. Тяжкій крестьянскій трудъ испоконъ вѣку, благодаря такому веселому «заводу», веселому тону, отличавшему семью «съ искони», ни капли не теряя въ своей тяготѣ, шелъ однако съ легкимъ сердцемъ, веселымъ порядкомъ. Въ такомъ же тонѣ стала жить семья и тогда, когда и прабабка, и бабушка померли. Сильные и здоровые мужики — дѣдъ и отецъ, да два подростка, изъ которыхъ Михайлѣ (сыну Афанасія) было уже подѣ двадцать лѣтъ, а Семену (сыну Ивана и Прасковьи) лѣтъ тринадцать, рѣшительно не нуждались послѣ этихъ двухъ смертей въ какомъ бы то ни было приращеніи еще новой силы въ семьѣ, хотя бы въ лицѣ жены Михайлы, котораго по настоящему-то ужь и слѣдовало женить. Однихъ такихъ мужиковъ, какъ дѣдъ, сыны и внукъ Семень, да такой бабы, какъ Прасковья, было совершенно достаточно для того, чтобы все хозяйство шло, какъ должно.

Послѣ смерти бабки Прасковьи почувствовала себя не только не хуже, но, напротивъ,—какъ бы просторнѣе, шире, самостоятельнѣе; маленькихъ дѣтей не было, а у мужиковъ столько было силы, что иногда Михайлѣ, двадцатилѣтнему дѣтнѣ, совсѣмъ нечего было дѣлать: Афанасій, Иванъ и тринадцатилѣтній Семень «играючи» передѣлывали столько домашнихъ пустяковъ (на которыхъ Сенька «учился» хозяйствовать), что Прасковья оставалось только бабѣ дѣло, не осложненное присутствіемъ маленькихъ ребятъ. И она, какъ хорошая печь, нагрѣвающая сразу четыре комнаты, была центромъ семьи, вполне удовлетворяя необходимому присутствію въ домѣ женскаго или бабьяго элемента, и притомъ въ размѣрахъ самыхъ надлежащихъ: есть въ домѣ уютъ, уходъ и бабій (особенный) разговоръ—и нѣтъ никакой надобности прибавлять ко всему этому ни новыхъ силъ, ни новыхъ осложненій жизни, принимая въ дому сноху. Можно было приглашать сосѣдку на подмогу, напр., въ стиркѣ или зимой къ скотинѣ, но брать въ домъ бабу, т. е. принимать въ семью незнакомаго человѣка, входить въ новыя связи, и согласно имъ и характеру новой бабы, измѣнять что-нибудь въ прочно установившемся обиходѣ жизни не было рѣшительно никакой надобности. Вотъ отчего Михайло, двадцатилѣтній парень, рослый, здоровый и веселый

пока былъ не женатъ и жилъ, благодаря налившкѣ въ домѣ мужскихъ силъ, свободно, легко, привольно.

IV.

Иногда Михайло, сынъ Афанасія, чувствовалъ себя въ своей семьѣ совершенно лишнимъ и не въ томъ отношеніи, чтобы онъ былъ лишній ротъ, а просто не требовалась семьею его рабочая сила: помогать дѣду, отцу, то-есть убавлять ихъ трудъ, «облегчать»—это значило бы то-же самое, какъ облегчать трудъ поэта, заставляя его не писать, или трудъ актера, живописца помощью блестящаго обезпеченія, лишая ихъ возможности играть на сценѣ или трудиться надъ картиной.

Ни Афанасій, ни Иванъ, ни даже Сенька не могли бы «спокойно» высидѣть въ домѣ не только дня, а двухъ часовъ, часа подрядъ безъ какой-нибудь работы; одна потребность дышать не комнатымъ, а настоящимъ воздухомъ, и та уже не даетъ возможности усидѣть дома часа; а потребность движенія, ходьбы, упражненія всего тѣла? Посовѣтуйте-ка Афанасію или Ивану пойти, положимъ, въ управляющіе къ хорошему господину, получить хорошія деньги и смотрѣть за людьми, а не работать—не пойдутъ. «Нѣтъ, скажутъ они, ужь мы насчетъ работы не утерпимъ... нѣтъ, не утеримъ!» И точно, нельзя утерпѣть не работать, такъ же какъ нельзя и поэту, и художнику не измучивать себя надъ своимъ трудомъ. «Миѣ ежели посидѣть такъ-то дома день, такъ у меня сейчасъ зашкурная кровь начнетъ въ темѣ бить и сейчасъ во всемъ тѣлѣ пойдетъ ломота и звонъ, и не приведи Богъ!»

— У насъ леченье извѣстное,—говорилъ миѣ Афанасій,—какъ чуть что, сейчасъ раздѣлся, пошелъ въ одной рубашкѣ на морозъ да принялся ворочать, что тамъ слѣдуетъ, покуда дымъ отъ всего корпуса не повалитъ какъ изъ овина—вотъ и все, и все болѣзни-то духу не останутся! Ха-ха-ха!... Духу-то ея даже не слышно будетъ... хо-хо-хо... и куда она дѣвалась, эта самая болѣзнь-то... ха-ха-ха... съ собаками ее не сыщешь хо-хо-хо!.. Вотъ какая у насъ аптека-то... ха-ха-ха!..

А Михайло былъ дѣтина молодой, здоровый, не сидѣть же ему дома, сложа руки? Такимъ образомъ сама судьба, отстраняя его отъ крестьянства, стала понемногу да полегоньку вталкивать его въ тотъ новый сортъ деревенскихъ людей и дѣлъ, который держится ужь не на хлѣбопашествѣ и не на трудѣ рукъ своихъ, а на «наживѣ» денегъ, на «оборотахъ», и вообще толчется вокругъ разныхъ дѣлъ и предпріятій, жизненная сила которыхъ—не руки, а деньги. И такихъ дѣлъ и людей не мало уже въ деревенской средѣ, хотя «дѣла» эти носятъ общій всей теперешней деревенской жизни сумбурный, случайный характеръ.

Вдругъ пронесется между денежными людьми разнаго званія и состоянія, «здѣшними» и приплывшими, какъ бы манія строить паровыя мельницы, какъ предпріятія чрезвычайно выгодныя, и вокругъ этихъ предпріятій уже толчется куча народу, ко-

торый «поставляетъ матеріалъ», занимаетъ мѣста, «смотритъ», закупаетъ. Но манія проходить: годъ-два опыта отлично выясняютъ, что не только пяти мельницамъ нечего дѣлать въ нашихъ бездѣльных мѣстахъ, а и одной-то еле-еле окупить дровяной расходъ. Смотришь, и потухъ одинъ промышленный кратеръ, за нимъ потухъ другой—и цѣлая толпа людей въ «пинжакахъ», въ высокихъ сапогахъ съ бураками и при часахъ, «толкается» по трактирамъ и станціямъ, по лавкамъ и другимъ люднымъ мѣстамъ, норовя наткнуться еще на какое-нибудь предпріятіе, въ которомъ ничего никто по обыкновенію не смыслить, результатовъ и цѣлей котораго никто не знаетъ, но жалованье получать можетъ всякій.

Погасли мельницы—пошли въ ходъ дѣсопники.

— Досшечки стали какі-то пилить!—говоритъ человѣкъ, приткнувшійся къ «досшечкамъ».

— Пятнадцать рублей въ мѣсяцъ даетъ, только надзирайтъ да матеріалъ провѣряйтъ!

— Что-жъ, 15 р. ничего!

— Чего-жъ, ничего!

— Да какія такіе досшечки?

— Да пещь ихъ знаетъ... такъ, махонькія... аршинъ долины, да вершка два ширины... новелкія досшечки... Отправляютъ куда-то... сказываютъ, за-границу... въ селечочныя мѣста, откуда селетка дѣйствуетъ...

А лопнеть дѣло съ «досшечками» и съ селечкой, глядишь, и новое какое-нибудь нарождается: кто-то началъ съ керосиномъ орудовать, «вагоны стали приходить», и опять «пинжачная» деревенская толпа толпится у новаго дѣла, до тѣхъ поръ пока оно не лопнетъ.

Замѣчательно, что вся пинжачовая толпа, толкаясь около этихъ новыхъ дѣлъ, надсматривая за ними, закупая, поставяя, дѣйствуетъ всегда въ такомъ направленіи, результатомъ котораго въ концѣ концовъ непремѣнно будетъ то, что предпріятіе «лопнетъ», чтобы дать мѣсто новому мыльному пузырю. Отправляясь дѣлать закупки, поставяя, всякій «пинжакъ» съ самаго начала предпріятія почему-то таитъ въ глубинѣ своей души мысль о томъ, что дѣло это должно лопнуть, таитъ эту мысль невольно отъ себя, безъ умысла даже, и сообразно съ этой неотразимой увѣренностью, что дѣло затѣвается именно только для того, чтобы въ концѣ концовъ лопнуть, производятъ и закупки, и поставки. «Не вѣкъ же ей пылѣть, досшечки пилить!» думается этому слугѣ капитала. То, что у всякаго дѣла существуетъ и начало, и продолженіе, и конецъ, даже въ случаѣ успѣха, томитъ уже «пинжакъ», ослабляетъ его, лишаетъ расторопности, проворства, надѣдаетъ своимъ однообразіемъ, «манеромъ». А когда дѣло наконецъ лопається, «пинжакъ» вновь оживаетъ и, оживленно обсуждая въ трактирѣ исторію только-что лопнувшего мыльнаго пузыря, пытливно смотритъ впередъ, ожидая, какую еще штуку, затѣю, выдумку пошлетъ ему чей-нибудь пока еще совершенно невѣдомый карманъ.

Мало-по-малу Михайло, совершенно свободный

отъ крестьянства, сталъ «толкаться» вокругъ этихъ дѣлъ; сначала толкался онъ такъ, отъ нечего дѣлать; потомъ—чтобы не быть празднымъ, а наконецъ сталъ брать и мѣста. Да и какъ же не брать? «Иди, смотри за досшечками... пятнадцать рублей, больше ничего!» Какъ же не взять пятнадцати рублей за такое дѣло, да и вообще: какъ же не взять денегъ, коли даютъ? И такъ постепенно, то по керосиновой части, то по селечочной, то по кирпичной, прилаживаясь и практикуясь, Михайло, самъ того не замѣчая, далеко ушелъ отъ крестьянства, и года черезъ два-три такой практики стоялъ уже совершенно на другой линіи. Онъ теперь, незамѣтно для самого себя, сдѣлался уже членомъ этой пинжачовой среды, толкающейся вокругъ денегъ и денежныхъ дѣлъ. Жениться ему на крестьянкѣ, на бабѣ, уже совершенно нѣтъ никакого резона; онъ стоитъ на такой *миніи*, которая прямо ведетъ его къ браку на дѣвицѣ съ деньгами, которыя дадутъ ему возможность завести свое дѣло, «орудовать» на свой капиталъ. Онъ молодъ, здоровъ, красивъ, получаетъ тридцать рублей серебромъ жалованья на хозяйскихъ харчахъ, и между молодыми дѣвицами этого «пинжачковаго міра», родители, родственники и женихи которыхъ всѣ либо «орудуютъ», либо «жалованье получаютъ»,—дѣвицами, которыя гуляютъ въ «дипломатахъ», Михайло ужъ желанный женихъ; на «балахъ», которые задаетъ этотъ пинжачовый міръ, онъ всегда въ числѣ кавалеровъ. Даже «на пристани», гдѣ самый цвѣтъ и центръ кулачья и всякаго люда, получающаго жалованье, Михайло не послѣдній гость. Кулачье по случаю безграмотства избрало пригласительные билеты, напечатанные въ губерніи: «Иванъ Ивановичъ господинъ Пошечинъ, съ супругой Анной Петровной, просятъ васъ, милостивый государь, почтитъ ихъ благосклоннымъ вниманіемъ за чашку чая съ танцами и духовой музыкой, о чемъ имѣю честь увѣдомить». Такихъ билетовъ у Михайлы полны карманы, такъ-какъ такихъ вечеровъ на пристани тѣмъ тѣмущая: и старшина, который сѣномъ орудуетъ и отлично знаетъ, что мірской учетъ кончится неблагополучно, и урядникъ, и низъ желѣзно-дорожныхъ служащихъ масса лицъ, получающихъ жалованье, и десятки другихъ воротилъ по дровяной, рыбной, овсяной частямъ—все это живетъ весело, даетъ вечера, выписываетъ военную музыку, благо близко стоитъ полкъ. Въѣстъ съ пинжаками, дипломатами, картами и другими вѣшными признаками привилегированныхъ людей вторглись въ этотъ міръ и танцы, и музыка, а по части съѣстной и говорить нечего: портвейнъ, хересъ, мадера, сыръ, сига копченые, маринованная корюшка, шоколадъ, апельсинны, пуншъ, ромъ, ветчина, сардинки и нѣсть числа и мѣры всему благородству, которое вошло сюда, и все это въ широкіхъ размѣрахъ истребляется на балахъ.

— Сначала—разсказывалъ Михайло родителямъ—на балахъ на этихъ самыхъ наѣхъ всего, напимѣръ шоколаду, ветчины тамъ, мороженаго, колбасы, апельсинновъ; ну и прочаго всего какъ

нахвататься, такъ бывало башку-то такъ тебѣ и разламываетъ, точно клиномъ... (Хо-хо-хо!—гремятъ родители.) Стоишь, стоишь потомъ у забора, пока все кончится... (Хо-хо-хо... Балъ! Вотъ такъ балъ!.. Ха-ха-ха!) Ну, а теперича, такъ что хошь: апельсинъ, такъ апельсинъ, шеколадъ, такъ шеколадъ, рыба, такъ рыба—что хошь! Налей ты меня и набей всего какъ кулекъ съ овсомъ—ни въ одномъ глазѣ! Какъ былъ, такъ и есть... (Хо-хо-хо!.. Вотъ такъ ловко-же прокопѣлъ ты, Михайло!.. Ха-ха-ха!)

Современемъ Михайло надѣялся пообыкнуть и пообкопѣть хорошенечко и относительно знакомства съ другими свойствами и качествами этого новаго общества. Онъ вовсе не хотѣлъ быть изъ послѣднихъ; послѣдними они и въ мужикахъ-то не привыкли быть; вся семья такая у нихъ, такъ и тутъ вовсе нѣтъ резону соваться зря, не разувая дѣла. Невѣсть—сколько угодно, но нѣтъ никакой надобности соваться въ это дѣло, не разобравши хорошенько всего. И Михайло не спѣшилъ съ своей карьерой, все болѣе и болѣе входя въ знакомство съ этимъ новымъ обществомъ и все болѣе проникаясь его идеями, правами и обычаями.

И по мѣрѣ знакомства Михайлы съ пинжакомъ, табаккомъ и трактиромъ, вмѣстѣ съ знакомствомъ какъ вести себя на балахъ (ѣшь, сколько хошь, только чтобы не жать громко и т. д.), незамѣтно для Михайлы стала, какъ тонкая отравка, проникать въ его душу и мораль этого «пинжаковаго» образа жизни. То, что для него, какъ для крестьянина, было-бы дѣломъ совершенно невымыслимымъ и иногда прямо позорнымъ, здѣсь стало представляться въ совершенно иномъ видѣ. Обмануть, хотя бы сказать «не знаю», когда «знаешь», или «не быть», когда «былъ»,—для него сдѣлалось не только не конфузнымъ, а какъ-бы даже необходимымъ дѣломъ. Скажи онъ, что знаетъ цѣну керосину, или сѣну, или дровамъ, онъ повредитъ своему хозяину, дастъ возможность нажиться другому,—словомъ, поступить совершенно глупо и безсовѣстно. Напротивъ, хорошо, ловко соврать, такъ, чтобы въ результатѣ получился успѣхъ, стало для него дѣломъ обязательнымъ; лгание, обманъ, уловка оказывались нужными для этого денежнаго дѣла такъ-же, какъ для крестьянства нужна коса, чтобы скосить сѣно, серпъ, чтобы снять хлѣбъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ насиліе надъ человѣкомъ, которое-бы онъ самъ считалъ грѣхомъ въ крестьянскомъ обиходѣ, такъ-же стало для него обязательнымъ и ничуть не удивительнымъ, разъ онъ сталъ на денежную линію. Заключить контрактъ, пользуясь чужою недогадливостью, незнаніемъ или, вѣрнѣе, просто спать не подозрѣвающаго бѣды человѣка, а потомъ обирать этого человѣка, какъ липку, тоже стало дѣломъ вовсе не удивительнымъ. «Плати и торгуй, а безъ моего позволенія не можешь на копѣйку продать, потому у меня вотъ какой контрактъ сдѣланъ; на пятнадцать верстъ одинъ я могу торговать, а никто другой не имѣетъ права». Все это ужъ нисколько не удивляло Михайлу.

Средствъ нѣтъ перечислить, сколько совершенно невозможныхъ въ крестьянскомъ быту неправдъ вторглось въ сознаніе Михайлы въ видѣ самыхъ непреложныхъ истинъ, не только не унижающихъ его предъ своими братьями-крестьянскими, но напротивъ—становящихъ его куда выше мужика и притомъ на необозримо далекомъ разстояніи. Между прочимъ отношенія его къ женскому полу, имѣющія для нашего разсказа большое значеніе, приняли совершенно иной смыслъ сравнительно съ крестьянскими. Будь онъ деревенскимъ парнемъ, онъ хотя-бы и баловался съ дѣвками на посидѣлкахъ, но баловство это никогда-бы не могло перейти во что-бы то ни было дурное; онъ и подумать бы не посмѣлъ дурного, не отъясняя себя впрочемъ въ полной свободѣ «игры» съ дѣвками; съ этими дѣвками можно играть и баловаться, но ихъ нельзя не почитать, какъ будущихъ хозяекъ, работницъ, матерей, продолжательницъ населенія и обихода этой «нашей» деревни. Новая *линія* совершенно измѣнила его міросозерцаніе на это дѣло: мѣстныя дѣвицы были для него уже чужія, мужички, съ которыми у него никогда не будетъ ничего общаго; по примѣру «золотой» пристаньской молодежи и всего вообще охочаго до «грязцы» «пинжаковаго» общества, онъ зналъ, что до того времени, пока онъ не устроится при хорошей денежной невѣстѣ, ему, молодому человѣку, получающему хорошія деньги, вполне можно пользоваться женскимъ поломъ, покупая его на деньги и уплатою оканчивая всякія обязательства. Не разъ онъ прямо щеголялъ своими деньгами на деревенскихъ посидѣлкахъ, совершенно привыкнувъ къ тому, что, отблагодаривъ рублевкой, онъ не сдѣлалъ ровно ничего худого. «Вольна брать, а вольна и не брать: это вѣдь какъ хочешь. Коли бы я тебя обманывалъ или замужъ бы общался взять, ну, тогда такъ, не хорошо! А то вѣдь это по согласію: хочешь, такъ бери, а не хочешь, такъ и другую найдемъ!» Вотъ какъ привыкъ разсуждать Михайло, не находя въ этихъ разсужденіяхъ рѣшительно ничего недостойнаго.

Да и надобно сказать правду, что «линія», на которой стоялъ Михайло, линія денежной наживы, выработала уже цѣлый классъ женщинъ и дѣвицъ, для которыхъ мораль, впитанная Михайлой, рѣшительно не представляетъ ничего удивительнаго. «Предпріятія», «дѣла», «обороты» скопляютъ около себя не однихъ мужчинъ, а также и массы женщинъ, нуждающихся въ работѣ, въ тридцати копѣйкахъ поденной платы. Такой ли несчастной дѣвушкѣ отказываться отъ красной, а то и отъ бѣленькой бумажки, когда она къ тому-же еще знаетъ, что врядъ ли ей удастся выйти замужъ? Ея извѣстны всѣ женихи и всѣ невѣсты. Имѣющие право «въ ихнихъ мѣстахъ» сойтись другъ съ другомъ и вести хозяйство, не нуждаясь въ поденщинѣ. Неурядица въ земельныхъ порядкахъ, прямо связанная съ избой и съ семьей, живущей въ ней, выбрасываетъ на улицу много лишнихъ ртовъ, съ голоду нарожденного народа, дѣвицъ, которыхъ не съ чѣмъ выдти замужъ, вдовъ по-

слѣ «случаеиъ» умершаго мужа (простудился, такъ изъ рѣчки весной дрова, или разорился, сталъ пить, померъ). И весь этотъ *излишній* народъ подбираетъ какое-нибудь предпріятіе, дѣло, затѣю; здѣсь сходятся люди съ деньгами и люди безъ денегъ, и нигдѣ такъ сила денегъ не убѣдительна, какъ здѣсь, въ деревнѣ.

Сила денегъ, а также сила обстоятельствъ, ставящихъ женщину въ необходимость обвинять себя на рублевки, здѣсь, въ деревнѣ, такъ велика и такъ понятна, что иногда не рѣшаешься употребить слово «падшая» женщина. Вотъ хоть бы нѣкая «дѣвушка» Аннушка, о которой у насъ будетъ еще рѣчь впереди. Она — не здѣшняя, забрела она сюда изъ Тверской губерніи на заработки, поступила на мѣсто къ приказчику въ кухарки за 6 р. Деньги эти она всѣ сполна посылала домой, гдѣ были больные отецъ и мать. Но вотъ умеръ отецъ, стала она посылать рублемъ меньше; умерла мать, стали у ней оставаться всѣ шесть рублей. Она стала человѣкомъ совершенно свободнымъ; дома у ней нѣтъ, хозяйства нѣтъ, имущества нѣтъ; на родинѣ ее замужъ *нельзя* взять, да и не съ чѣмъ; а здѣсь, въ чужомъ мѣстѣ, ее и во вѣки не возьмутъ; тутъ жениховъ меньше чѣмъ невестъ въ два раза — куда ей соваться? И вотъ она прямо-таки приведена къ тому, чтобы располагать собою такъ, какъ лучше. Какъ же лучше ей? Да вотъ приказчикъ предлагаетъ ей бумагу бѣлую, а почтесодержатель предлагаетъ двѣ бѣлыхъ бумаги. Что же лучше: шесть ли рублей, или двѣ бѣлыхъ бумаги?

И дѣвушка Аннушка, *разсчитавъ* (да!) все правильно, какъ слѣдуетъ, разсчитавъ такъ, что ее никакъ даже не похвалить невозможно, пристраивается на задворкахъ у знахарки Афиимы (о ней тоже рѣчь будетъ впереди) и начинаетъ жить *сама*. Она какъ-разъ подъ стать всему «пинжаковому» сорту людей, «иному» міросозерцанію и образу мыслей и дѣйствій; деньги у нихъ есть, а у Аннушки нѣтъ; а до свадьбы, до невесты съ оборотнымъ капиталомъ, имъ надо же куда-нибудь предъявлять свои пьяныя морды. И вотъ «дѣвушка Аннушка», какъ непремѣнный членъ этого общества, ничуть даже и не конфузится своего положенія; она внутренне убѣждена въ полной законности своего появленія въ избушкѣ Афиимы и въ полной правотѣ своего образа жизни.

— Вы что же, Михайла Кузмичъ, ко мнѣ въ гости не ходите? громко, на весь вагонъ, спрашиваетъ она своего сосѣда изъ числа пиджаковъ, сидящаго напротивъ нея и также, какъ она, управляющагося въ городъ за покупками.

— Да не знаю вашей фатеры, Анна Ликсѣвна!

— Да что-жъ у васъ отвалится языкъ людей-то спросить? Вѣдь въ деревнѣ-то всякій знаетъ Аннушку... Я вѣдь, почитай, тамотко одна Аннушка-то *изъ гулящихъ*.

И эти слова говорятся громко, просто, вполне естественно и развязно.

Такъ вотъ такъ же естественно, развязно и

просто приучился и Михайло смотрѣть на свои отношенія къ женскому полу, въ ожиданіи того времени, когда линия укажетъ ему подходящую невѣсту.

V.

А въ то самое время, когда Михайло учился новой морали и все болѣе и болѣе приближался къ идеальному «пинжаковому» типу, въ домѣ Фирсановыхъ случилось что-то неподходящее: что-то за-неможилось Прасковья, какъ-то шатнулась она — «крянула» немного...

Здѣсь впервые и Прасковья сама, и Афанасій съ Иваномъ вспомнили ту невѣдомо откуда появившуюся въ тѣ поры барышню, которая до того разсердила ихъ и возмущала своими бунтовскими разговорами, что даже Афанасій Петровичъ — хотогунъ, и тотъ сулился связать ей руки къ лопаткамъ. Вспомнили эту востроносую, стриженую, несуразную дѣвицу всѣ; вспомнили шумъ и гамъ, который она подняла «въ ту пору» насчетъ прасковьиной болѣзни, когда, также въ ту пору, эту самую Прасковью такъ же вотъ «крянуло» на жгучей полевой работѣ.

— Кабы въ ту-то пору свататься, — подумала прежде всѣхъ Прасковья, — такъ пожалуй что и еще десятокъ годовъ выстояла бы.

Подумали такъ же точно всѣ, весь домъ, но, увы, воротить прошлаго было невозможно: она какъ пришла невѣдомо откуда, такъ и ушло невѣдомо куда. И волей-неволей Прасковья, хотя и «крянувшая» немного, но все-таки продолжавшая грѣть своимъ присутствіемъ и своей живой работой, своимъ живымъ разговоромъ весь фирсановскій домъ, при-нуждена была прибѣгнуть къ помощи Афиимы.

Объ этой Афиимѣ необходимо сказать нѣсколько подробнѣе, такъ-какъ въ рассказываемой исторіи она играетъ довольно видную, хотя и совершенно неожиданную роль.

Деревенскіе жители не могли бы опредѣлить, что это собственно за существо: не то колдунья, не то знахарка, не то какъ будто бы и еще хуже, въ виду хоть бы того, что она дала пріютъ упомянутой «дѣвушкѣ Аннушкѣ». Мнѣніе о ней въ деревнѣ было неопредѣленное, хотя и не вполне одобрительное, потому-что колдовство, знахарство и потворство «Аннушкамъ» были дѣла вообще темныя. Въ сущности же Афиимья была женщина весьма изуродованная жизнью и несчастная.

При крѣпостномъ правѣ она была самой любимой и приближенной прислугой одной жестокой и грубой помѣщицы. Афиимья была гроза дѣвичьихъ: колотовка, змѣя подкодная, ехидна — вотъ эпитеты, которые давалъ ей тогда всякій крѣпостной, всякій дворовый чело-вѣкъ. Много зла она натворила въ угожденіе барыни; но сама она, какъ живой чело-вѣкъ, тоже не была безгрѣшна, и если безъ пощады преслѣдовала дѣвицью, обличала чужія шашни и безъ милосердія выводила ихъ на свѣжую воду, то сама она грѣшила тайно, «какъ тать въ ящи», умѣя ловко пользоваться отлучками барыни въ столицу или за-границу.

И когда по веснѣ въ пруду всплывалъ трупикъ ребенка, или когда тотъ же трупикъ находили въ дровахъ, Афимья какъ ястребъ налетала на дѣвчачью и пошады отъ нея не было въ такія минуты никому.

Но вотъ кончилось крѣпостное право, барыня продала имѣніе купцу Тютюкову и уѣхала за-границу; на прощанье дала она Афимьѣ поцѣловать свою холеную руку, подарила ей кучу стараго тряпья и хламъ, подарила пятьдесятъ рублей и отпустила на всѣ четыре стороны. За пять рублей, которыми Афимья поклонилась обществу, поставивъ ему ведро вина, общество позволило ей поселиться на задахъ, отвело лоскутокъ земли подъ огородъ, и Афимья, купивъ рублей за двадцать старую баню, переладчила ее въ каморку и стала «доживать вѣкъ».

И ужасныя начались для Афимьи минуты: когда она очутилась одна-одинешенька въ этой крошечной каморкѣ, сама съ собой съ глазъ на глазъ, вблизи этихъ тихихъ полей, ее охватили жуткія воспоминанія прошлаго; воскресла въ самыхъ ничтожныхъ мелочахъ вся прошлая ея жизнь, всѣ ея неправды, злодѣйства, которымъ она теперь не находила объясненія и только ужасалась предстоящей казни на томъ свѣтѣ; но съ особенной ужасающей неумолимостью стали преслѣдовать ее образы этихъ выплывавшихъ по веснѣ и откапываемыхъ подъ дровами мертвыхъ ребятъ... Это вѣдь она, Афимья, кидала ихъ какъ щенятъ, боясь потерять свою репутацію и страшась гнѣва... Ужас потрясалъ ее по ночамъ; ангельскія души, погубленные ею, были невидимо тутъ, въ самой избѣ; онѣ, невидимыя, стонали вокругъ избы. шуршали крыльями надъ самой головой Афимьи и какимъ-то явственнымъ, но совершенно неслышимымъ шопотомъ надъ самымъ ухомъ ея что-то шептали ужасное... Она стала худѣть, томиться, терзаться: адъ, вѣчныя муки не выходили у нея изъ головы; объ адѣ и мукахъ она разспрашивала священника; купила страшную картину послѣдняго суда, купила другую картину, на которой былъ изображенъ лежащій въ огненномъ озерѣ дьяволъ, а изъ утробы его росло дерево, все обвѣшанное по сучьямъ грѣшниками. Бабы деревенскія дивились и пугались этихъ картинъ, въ которыхъ было такъ много огня, желѣзныхъ крючьевъ и чертей, и этой одинокой, съ испуганными, ввалившимися глазами страшной женщины... Ужъ и тогда у деревенскихъ бабъ мелькнула мысль: «Ужъ не колдунья ли она?» Онѣ не знали, что этотъ адъ, развѣшанный по стѣнамъ, былъ въ душѣ Афимьи, что она сама ежеминутно горѣла въ этомъ адскомъ пламени.

И вотъ однажды послѣ мучительной ночи, проведенной безъ сна, въ страхѣ и напряженіи всѣхъ нервовъ, терзаемыхъ и шестеломъ невидимыхъ крыльевъ, и отдаленнымъ жалобнымъ дѣтскимъ, душу раздражающимъ плачемъ, отдаленнымъ, безпомощнымъ, дѣтскимъ смертнымъ хрипѣніемъ и, главное, этими неотступными ужасными образами ея мертвыхъ дѣтей, которыхъ она видѣла въ мельчайшихъ подробностяхъ ежеминутно — въ концѣ истомленная всѣмъ этимъ, Афимья, совершенно из-

немогая, ослабѣвшая, какъ-бы въ забытіи опустилась на лавку у окна.

Окно было открыто; за нимъ шло безконечное ржаное поле, тихое, еле шшущающееся колосьями; жаркое солнце палило землю безъ малѣйшаго вѣтерка, и только кузнечики неумолчнымъ однообразнымъ чириканьемъ нарушали мертвую тишину. Афимья была рада этому чириканью кузнечиковъ; слушая ихъ, она чувствовала, что какъ будто слабѣетъ, какъ будто засыпаетъ... Чирикъ!.. чирикъ!.. чирикъ!.. и вдругъ лавка, на которой она сидѣла, и полъ, въ который упиралась ногой, и косякъ окна, къ которому было прижато ее плечо, — все какъ-то раздвинувшись, ушло въ стороны, опустилось подъ нею... Она было испугалась, чувствуя, что падаетъ куда-то, сердце ея тоже упало, но въ то же мгновеніе она убѣдилась, что ее несетъ не въ бездну, а напротивъ — куда-то въ высъ необъятную мчитъ невѣдомая сила.

Господи помилуй! Жаромъ палить ей темя; она подъ самымъ небушкомъ, подъ самымъ солнцемъ раскаленнымъ, а въ дали, точно необозримая гора раскаленныхъ угольевъ, играетъ и сіяетъ въ ослѣпительныхъ лучахъ какое-то великолѣпное зданіе... Это рай. Афимья несется все ближе и ближе къ этому зданію — и вотъ райскія врата: они распахиваются предъ ней, и еще новымъ, невиданнымъ свѣтомъ обдаетъ ее всю въ безконечной свѣтлой хранилѣ, куда ее внесла невѣдомая сила. Она ослѣплена, изумлена до того, что падаетъ на золотой полъ...

— Афимья! слышится ей голосъ, и она знаетъ, что это голосъ самого Христа Спасителя. — Тебѣ бы надо было умереть, но я тебя жалѣю... Жалѣю я тебя, Афимьюшка, много ты намучилась, настрадалась... Я твое покаяніе принялъ... А не покайся ты, такъ было бы тебѣ худо-худо. Угодники мои святые! покажите Афимьѣ, что было ей приспѣто за ея злодѣйскія, проклятыя дѣла! Пускай посмотритъ, какъ и другимъ достается за беззаконія...

Какой-то старичокъ подналъ Афимью съ полу, и она мгновенно очутилась около какой-то великолѣпной золотой рѣшетки, много лучше той, которая при покойницѣ-барынѣ вокругъ сада была. — «Погляди-ка, говоритъ, Афимья, каковъ рай-отъ у Боженьки есть!» Глянула она черезъ рѣшетку, а тамъ цвѣты растутъ лазоревые, запахъ отъ нихъ идетъ несказанный, ручейки тамъ бѣгутъ «журчастые», свѣтленькіе, и на золотыхъ деревьяхъ поютъ райскія птички... и всѣ-то деревья обвѣшаны разными ягодами и фруктами несказанными... А промежду деревьевъ бѣгаютъ маленькіе ребяточки съ золотыми кудрями, забавляются и съ ними ангелочки играютъ, крылышками ихъ обмахиваютъ и нѣжно-нѣжно по личику гладятъ... — «Вотъ, Афимья, и твои невинно убіенныя дѣтки тутъ же бѣгаютъ... Ишь вонъ! Вонъ твой первенькій, а вонъ и другой... что подъ дровами-то»... И ихъ Афимья своими глазами видѣла. Залилась она горячими слезами, и радость такая у нея разлилась по сердцу, такое счастье загорѣ-

лось гдѣ-то въ ней, что вѣкъ бы кажется не ушла отсюда.

Но старичокъ сталъ его торопить: — «Будетъ, говоритъ, — ты и такъ ужъ цѣльный день смотришь!» А Афи́мья казалась, что она только «глянула». Старичокъ взялъ ее за рукавъ, толкнулъ — и очутилась она въ такомъ мѣстѣ, гдѣ люди томятся ни въ аду, ни въ раю... По виду мѣсто похоже на «нашу деревню». Домики стоятъ чистенькіе и человѣчки какіе-то сидятъ на заваленкахъ, ничего не дѣлаютъ, а только раскатываются изъ стороны въ сторону да болтаютъ головами отъ дыму, который валитъ на нихъ прямо нѣтъ въ лицо изъ оконъ и изъ дверей чистенькихъ домиковъ... — «Это вотъ за трубочки, папирсочки. Кто табачище куритъ, такъ вотъ теперь и душитъ его дымомъ: ни съ заваленки встать, ни въ домъ войти». А немного подальше цѣлая толпа деревенскихъ бабъ: лица ихъ совершенно засыпаны кострикой, такъ что онѣ не видятъ свѣта Божьяго, въ ладоши воткнуты веретена, а за ногти забиты зубья гребней... — Это бабы, которыя жадны до работы, которыя и праздниковъ не соблюдаютъ. Господниѣ, только бы побольше наработать да нарядовъ у раснозчиковъ вымѣнять... Вотъ и сиди весь вѣкъ такъ-то!»

Отсюда незамѣтно поднялись они на высокую гору, а на верху этой горы, въ глубокой и огромной ямѣ кипѣло цѣлое озеро мѣди расплавленной. Мѣдь клочкотала бѣлымъ ключемъ, бушевала какъ кипяткомъ, а въ этомъ мѣдномъ кипяткѣ варятся и не могутъ свариться тысячи тысячъ бабъ: тѣла ихъ то всплываютъ на поверхность, то, перевернувшись, исчезаютъ опять въ мѣдномъ кипяткѣ; тамъ высунется рука, тамъ — нога, тамъ — спина, и все опять исчезаетъ; изрѣдка съ воплемъ высовывается горящая растрепанная голова, но ее сейчасъ же захлестываетъ пѣной мѣднаго кипятка... — «Вонъ, Афи́мья, гдѣ-бы тебѣ быть-то за твои проклятыя дѣла! сказалъ старичокъ. — Посмотри ко-сь, да запомни хорошенько!»... И увидѣла она еще, что по берегамъ этого озера, тамъ, въ самой глубинѣ, стоятъ съ баграми бѣсы и отпихиваютъ въ глубину озера тѣхъ бабъ, которыя порываютъ на берегъ выскочить, за кусты руками хватаются. Тѣло на бабахъ все сожженное, клочьями болтается... Обуялъ Афи́мью ледяной холодъ, а старичокъ хотѣлъ-было еще толкнуть ее туда. Но Афи́мья уцѣпилась за кустъ. — «А дѣтей губить любишь?» — съ гнѣвомъ сказалъ старичокъ и, рванувъ ее за рукавъ, пихнулъ въ другое мѣсто, сказавъ: «А вотъ тутъ всѣ твои любовники, поганка этакая! Полюбуйся-ка на нихъ!...»

За огромными, высокими желѣзными дверями слышанъ былъ такой необыкновенный стонъ, визгъ, вой, вопль, какого въ жизнь свою не слыхала Афи́мья. За этими желѣзными дверями открылось бездонное озеро кипучей смолы, и что тутъ было мужиковъ и что съ ними дѣлалось — рассказать того невозможно! Доѣзжачій бучиловскаго барина, Петька, съ которымъ она, Афи́мья, «въ тѣ поры»... сидитъ въ смолѣ по горло и смола непрерывно

лется ему въ ротъ... Егорка кучеръ, съ которымъ Афи́мья также «въ тѣ поры», плаваетъ на днѣ и не можетъ выбраться на свѣтъ Божій... Яшкз-кузнецъ, Митька-форейторъ — также всѣ тутъ на лицо и въ такомъ видѣ и такъ кричатъ, что душа у нея замерла отъ ужаса — «Ну, сказалъ старичокъ, — теперь будетъ! Ступай!» и съ силой толкнулъ ее въ спину съ высокой горы...

Неслась, неслась она... упала... и открыла глаза.

VI.

Полная изба народа — мужиковъ, бабъ съ грудными ребятишками, стариковъ — привѣтствовало пробужденіе Афи́мьи шопотомъ молитвъ, крестными знаменіями, земными поклонами. Афи́мья, лежавшая на полу (причемъ голова ея покоилась на подушкѣ, подложенной чьею-то заботливой рукой), ничего не могла понять отъ слабости и необычайнаго утомленія; она видѣла только народъ, видѣла, что тутъ же въ избѣ стоитъ, опершись на посохъ, и внимательно смотреть на нее батюшка, что какой-то старецъ невѣдомо зачѣмъ кадитъ ладономъ, а другой старецъ — съ ополоумѣвшимъ лицомъ торчитъ въ образномъ углу, держать на темени икону и что-то шепчетъ. Среди молитвеннаго шопота и несказаннаго удивленія она едва-едва могла понять, что припадокъ ея продолжался, ни много ни мало, какъ четверо сутокъ, что она ничего не пила, не ѣла, что ее уже собирались было хоронить, но отстоялъ батюшка, замѣтивъ дыханіе.

Понемногу Афи́мья начала поправляться; сердобольные люди, пораженные необыкновеннымъ событіемъ — смерти и воскресенія, — не покидали ее, помогали, чѣмъ могли, ухаживали. И Афи́мья стала оживать. Голосъ Воженки, который несомнѣнно простилъ ее, позволилъ ей жить, обѣщалъ ее не губить, — голосъ, который она слышала собственными своими ушами, снялъ съ ея души страшную тяготу; а маленькіе ребяточки, играющіе въ раю, въ числѣ которыхъ она обрѣла и своихъ певинно погибшихъ дѣтей, наполнили ея сердце чистой радостью. Ей было такъ пріятно быть совершенно покойной за дѣтей, что... даже стало жалко и Егорку-фалетора, а Петьку-доѣзжачаго, и всѣхъ прочихъ.

— За что ужъ ихъ-то такъ, голубчиковъ? Легко ли дѣло: смолой кипучей въ ротъ! И какіе славные ребята были, хотъ бы Петенька или Егорка... да и прочіе. Бывало, какъ на балабайкѣ-то дѣйствовали!

И эта нѣжность къ Егоркамъ, Петькамъ и прочимъ молодымъ людямъ, пробужденная въ Афи́мью сознаниемъ, что теперь не за что ихъ мучить, что ребятишкамъ хорошо, весело на томъ свѣтѣ, была причиною того сочувствія, которое она выказала, принявъ въ сожигальницы веселую «дѣвушку Аннушку»; да и шарни, которые къ ней хаживали, вродѣ хотъ Михайлы, посѣщавшаго Аннушку довольно частенько, почему-то пользовались ея симпатіей, хотъ она и не обнаруживала ее. Всякій

разъ, когда такой парень гуляетъ съ Аннушкой въ кустикахъ, играетъ на гармоніи и ѣсни поетъ, она вспоминаетъ и Петьку, и Егорку.

Вотъ основанія, которыя впоследствии дали деревенскимъ жителямъ право выражать неодобрительныя мнѣнія объ Афиимьшкѣ.

Но это сдѣлалось уже впоследствии; тотчасъ же послѣ воскресенія Афиимы, она, напротивъ, стала предметомъ всеобщаго вниманія и уваженія. Она несомнѣнно была на томъ свѣтѣ, несомнѣнно «видѣла» тамъ «здѣшнихъ» знакомыхъ, мужиковъ, бабъ и дѣтей. И съ каждымъ днемъ картина видѣннаго выяснялась для нея все больше и больше, такъ что иногда на вопросъ какой-нибудь наивной бабы: «А что, Афиимюшка, не видала-ль моего мальчика-то, Ванюшку?... Приспала я его!» Афиимья неменѣе наивно спрашивала: «А какой онъ изъ себя?» И, получивъ полнѣйшее и подробнѣйшее описаніе, долго какъ-бы всматривалась во что-то, припоминала, перебирала всѣ дѣтскія личики, которыя видѣла она за райской рѣшеткой, и наконецъ совершенно твердо отвѣчала: «Какъ-же, видѣла, видѣла я его, Аксиимюшка... Ничего, хорошо ему, даже хорошо!» И сначала, съ первыхъ моментовъ пробужденія Афиимья не говорила неправды, а потомъ мало-по-малу, изъ желанія, можетъ быть, не остаться въ одиночествѣ и поддерживать къ себѣ общее вниманіе, выражавшееся въ пособіяхъ, помочи, она сдѣлалась посылѣе на счетъ своихъ загробныхъ свѣдѣній. И бывали по этому случаю весьма тягостные эпизоды.

— А что, Афиимюшка,—спросила разъ Афиимью молодая, нервная, впечатлительная женщина, только-что вышедшая замужъ,—долго ли я проживу? Не слышала-ли *тамотко* чего?

— Нѣтъ, Марья, не долго проживешь... Слышала, слышала я... Годъ всего тебѣ только и житья на свѣтѣ.

Почему, затѣмъ дернуло Афиимью испугать такими рѣчами несчастную бабу? Но рѣчи эти такъ поразили ее, что баба стала чахнуть, сохнуть, и точно: умерла ровно черезъ годъ.

— Вишь, вѣдь—вѣрно!—говорилъ народъ.—Стало быть открылось ей тамъ... прозорливость эта самая...

Мало-по-малу Афиимья очень привыкла давать совѣты, предсказывать, растолковывать сны, разъяснять предчувствія, а потомъ какъ-то «само собой» стала и лечить. Послѣ барыни, въ числѣ разнаго негоднаго хлама, досталась ей куча банокъ, стлянокъ отъ флаконовъ съ духами, отъ лекарствъ, остались сигнатурки, мази, масла, спирты, порошки, пилюли. Въ это Афиимья забрала съ собой для себя—«лечить» на старости лѣтъ, чтó любить старухи и вообще деревенскія женщины. При барынѣ она кое-что даже и понимала въ лекарствахъ; барыня была нервная, и Афиимья волей-неволей должна была научиться различать одніѣ капли отъ другихъ: желудочныя отъ успокоительныхъ и т. д. И понемногу къ ея умѣнью разговаривать, совѣтовать и предсказывать при-

соединялась и репутація лекарки. — «Нако-сь вотъ!»—скажетъ она, давая капли, и глядишь—баба поправилась. Двухъ удачныхъ случаевъ было совершенно достаточно, чтобы не только народъ призналъ Афиимью за лекарку, а чтобы и сама Афиимья увѣрилась въ своей способности «пользоваться», стала даже узнавать отъ тѣхъ же деревенскихъ бабъ о разныхъ средствахъ и способахъ леченія. За это не только благодарили, а и деньги платили; это былъ кусокъ хлѣба. Съ годами за Афиимьей вполне упрочилась репутація женщины таинственной и лекарки.

Вотъ къ этой-то Афиимѣ и прибѣгла Прасковья въ ту минуту, когда почувствовала, что въ ея организмѣ, въ самомъ нутрѣ его, что-то какъ-будто «крянуло.» Конечно, и обращаясь къ помощи Афиимы, Прасковья крѣпко печалась, что *въ ту-то пору* не послушала она добраго совѣта, что хорошо-бы, ежели-бы теперь проявилась эта стриженная барыня. При всемъ желаніи Прасковья получить настоящую помощь, помощи этой не было ни откуда, и пришлось обратиться къ Афиимѣ.

Афиимья пришла, принесла горшокъ, свѣчку страстную, ладону, какую-то тряпку, пузырекъ и мазь. Ладоню она надыммила, въ горшокъ подула, плевала на всѣ четыре стороны, читала молитвы, потомъ повела Прасковью въ баню, гдѣ втеченіе двухъ-трехъ часовъ и дѣлала, «чтó слѣдовать». Изъ бани принесли Прасковью на рукахъ мужики и уложили въ постель. Афиимья еще пошептала, поплевала, побормотала и ушла.

— Ну что, милушка, какъ?—спрашивала она Прасковью на другой день.

— Худо, родимая, худо мнѣ! Еще того хуже стало, что было.

— А худо, такъ надобно, чтобы лучше было! Дайко-сь, я еще тебя попользую...

На этотъ разъ были въ ходу уже два горшка, и плевала на этотъ разъ Афиимья не на четыре стороны, а по всѣмъ мѣстамъ, и притомъ черезъ плечо, дула она, куда только было возможно дуть, а затѣмъ была баня уже не днемъ, а ровно въ полночь, гдѣ Прасковья битыхъ четыре часа кричала не своимъ голосомъ и была принесена домой почти въ безчувствіи.

— Ну что, красавушка, какъ? спрашивала Афиимья больную на другой день.

— Ху...ж-же... ху... ддо... еле-еле могла прошептать Прасковья.

— Такъ можно, ангелъ мой безподобный, и на другой манеръ облегчить.

На этотъ разъ Афиимья ужъ, признаться сказать, не знала, чтó и дѣлать. Однако ушла домой за средствами.

Между тѣмъ съ самаго того момента, когда Прасковью пошатнуло и крянуло, въ домѣ Фирсановыхъ появилось тотчасъ же уныніе, съ каждой минутой овладѣвавшее всѣмъ домомъ все сильнѣе и сильнѣе. Въ то-же мгновеніе, какъ только Прасковья «на минуту» должна была приостановиться въ работѣ, приостановился весь механизмъ

дома. Все пошло не такъ со скотиной, съ птицей; послѣ перваго посѣщенія Афиимы уже слышался ревъ голодныхъ коровъ, блеяніе неприбранныхъ овецъ, а еще черезъ день и овцы, и куры, и лошади, и коровы—все ужъ потерялось, упало духомъ, не знало что дѣлать, куда идти, толкалось, лѣзло съ своими недоумѣніями къ крыльцу, въ сѣни, совало голову даже въ горницу. «Мужики» — Афанасій, Иванъ, Сенька — окончательно растерялись, ослабли духомъ, ходили какъ помѣшанные... Въ такомъ расшатанномъ душевномъ состояніи, горько опечаленный болѣзнью жены, которая уже еле-еле шептала что-то, а не говорила, стоялъ Иванъ Афанасьевъ посреди двора, среди цѣлой толпы животныхъ, рѣшительно разстроенныхъ домашними несчастьемъ, когда въ воротахъ появилась Афиимъ, таща ужъ цѣлыхъ три огромныхъ горшка и очевидно приготавлиаясь совершить что-то необычайное.

Мгновенно Ивана рванула за сердце такая жалость къ своей женѣ, которую эта корга готовится истязать, что онъ, какъ бѣшенный, подскочилъ къ ней и не своимъ голосомъ заоралъ:

— Ты что это, чертовка, опять мучить пришла? Тремя горшками ужъ норовишь все нутро выволочь оттуда? Я тебя, псовка экая!

И онъ оглушил Афиимю такимъ универсальнымъ уларомъ, что и она, и горшки, и какия-то банки, и пакля — все это разлетѣлось и исчезло невидимо куда, но гдѣ-то тутъ же на дворѣ.

— Я тебѣ дамъ, чертова кукла! — не имѣя возможности остановить своего гнѣва и хватая въ руки первую попавшуюся жердь, вопіялъ онъ и можетъ быть убилъ бы Афиимю, но приближавшійся на крикъ Афанасій силою утащилъ Ивана въ избу.

И здѣсь, не имѣя силъ успокоить своего волненія, Иванъ тяжело дышалъ и трясся всѣмъ тѣломъ, пока не услышалъ, что съ улицы доносится визгливый голосъ очуствовавшейся наконецъ Афиимы:

— Погоди, чортъ этакой!.. Будешь ты меня помнитъ!.. *Помни же!*

VII.

Эти слова, пропущенныя мимо ушей въ моментъ раздраженія на Афиимю, получили для всей семьи Фирсановыхъ, не больше какъ черезъ день послѣ этого эпизода, совершенно неожиданное и грозное значеніе. На другой день еле живую Прасковью отвезли въ больницу, гдѣ сказали, что положеніе ея опасно, и тотчасъ для всего дома стало ясно, что Михайло долженъ жениться.

Этого брака требовало рѣшительно все, что только жило и было въ домѣ: упавшій ухватъ, пустой рукомойникъ, опрокинутое ведро, нетопленая печь, и куры, и бараны, и коровы, и люди — все требовало брака Михайлы, брака немедленно, и вотъ тутъ-то вся семья Фирсановыхъ припомнила слова старухи: «Помни-же!» и содрогнулась... Вѣдь что можетъ натворить злая баба съ людьми, со скотиной, съ молодыми!

Михайло, этотъ уже, казалось, вполне полированный человѣкъ, испугался этихъ словъ: «Помни же!» гораздо больше, чѣмъ даже и старики, испуганные или рѣшительно не на шутку. Незадолго передъ болѣзнью матери онъ побранился съ «дѣвшкой Аннушкой», жившей около Афиимы, которая попеняла ему, что онъ сталъ пляться къ новой гулящей, къ Каткѣ, которую только-что пустил въ ходъ одинъ кулачишко, получившій отъ земства подрядъ на содержаніе лошадей. «Ну, помни!» сказала ему тогда и Аннушка, погрозиивъ кулакомъ, но тогда онъ не обратилъ на это вниманія: онъ тогда стоялъ совершенно на *другой линіи*, — на такой линіи, гдѣ все было для него совершенно ясно. «Помни! Чего тутъ помнить? Приду какъ-нибудь, прогуляю трешку — вотъ-тѣ и все!» Тогда, два-три дня назадъ, міросозерцаніе его было совершенно опредѣленно, онъ не вѣрилъ «предразсудкамъ», былъ вполне увѣренъ, что разъ у человѣка деньги въ карманѣ, такъ тутъ самъ чортъ ничего не подѣлаетъ, да и чорта-то никакого нѣтъ. Но вотъ сегодня, чрезъ три-четыре дня, когда его какъ громомъ поразила необходимость бросить разстаться съ пинжакowymъ направленіемъ мыслей, покинуть линію и исполнѣ прикинуть къ крестьянству, отъ котораго онъ уже отвыкъ, отсталъ, которое забылъ — его охватилъ страхъ. Онъ возвращался въ крестьянство съ такой кучей грѣховъ на душѣ и на тѣлѣ, съ такимъ изобиліемъ правъ у Каткѣ и Аннушкѣ дѣлать ему зло въ его хозяйствѣ, въ скотинѣ, въ полѣ, въ конюшнѣ, что слово: «Помни!» приняло совершенно потрясающій смыслъ... Афиимъ, Аннушка, обѣ обиженныя, обѣ нечистыя (онъ теперь долженъ былъ думать *по чистому*), онъ могутъ Богъ знаетъ что сдѣлать.

Но главный источникъ его темнаго и въ то же время безграничнаго испуга, поселившася въ самой глубинѣ его души съ того момента, какъ только онъ убѣдился, что жениться «надо», что хозяйство безъ этого брака должно развалиться, — была та женщина, на которой онъ долженъ былъ жениться.

Возвращенный мыслями къ «крестьянству», Михайло тотчасъ же зналъ, которая именно изъ деревенскихъ дѣвицъ *должна быть* его женой. — Кромѣ «Варьки» ему *нельзя* было брать за себя никакой иной дѣвицы, и вотъ почему: съ болѣзнью Прасковьи и съ его женитьбой (которая немѣлжна) народу въ домѣ, на котораго должна работать будущая *новая баба*, должно прибавиться; однихъ мужиковъ теперь будетъ ужъ не трое, а четверо. да пятая, если выживетъ, будетъ хвора Прасковья; такая огромная семья *должна* имѣть въ центрѣ своемъ — куда ужъ веселую, а просто только желѣзную женщину, и притомъ самое главное — женщину, которая, войдя въ домъ, сразу-бы прониклась интересами всего живущаго въ этомъ домѣ, *только въ этомъ домѣ*, которая-бы *свою* курицу могла отличить среди тысячи другихъ точъ-въ-точъ такихъ же куръ, — словомъ, такую женщину, жизненный интересъ которой весь бы состоялъ *только* въ совокупности

интересовъ всего хозяйства, у которой-бы не было сердца *для себя*, но и сердце и мысль, и умъ которой могли-бы дѣйствовать только подъ вліяніемъ куриныхъ, коровьихъ, телячьихъ, овечьихъ, бараньихъ, гусиныхъ, мужичьихъ и другихъ желаній, печалей, нуждъ, случайностей, требований. Нужна была такая женщина, которая не могла бы жить на свѣтѣ, была-бы съ позволенія сказать совершеннѣйшей *дубиной*, если-бы не была именно *только* и исключительно центромъ инстинктовъ зоологической жизни всего живущаго въ домѣ и на дворѣ. Не нахожу возможности иначе опредѣлить коренныя свойства того типа женщины, который нуженъ былъ не Михайлѣ собственно, а всему дому безъ исключенія; Михайло же — это собственно только причина, вслѣдствіе которой женщина такого типа теперь, за два-три дня до свадьбы, быть можетъ еще и не помышляющая о замужествѣ и не знающая еще, кто ея мужъ, женихъ, должна послѣ свадьбы навѣки пригвоздиться къ одному мѣсту и не имѣть даже тѣни мысли о томъ, что есть на свѣтѣ гдѣ-то какія-то другія мѣста кромѣ того, на которомъ она толчется.

Насѣдку нужно накрывать рѣшетомъ, чтобы она не видала свѣта бѣлаго, по крайней мѣрѣ день, чтобы заставить ее сѣсть на яйца; вныхъ, особенно непокорныхъ, кормятъ хлѣбомъ, пропитаннымъ водкой, и пьяную сажаютъ въ лукошко, но разъ она сѣла, она уже *не можетъ* встать. Она не разбираетъ — куриное или гусиное, или утиное яйцо лежитъ подъ ней; но у нея съ этимъ яйцомъ образовалась уже какая-то неразрывная связь, благодаря которой, она не можетъ не изманивать себя до того, что «присидитъ» до голаго тѣла. Вчера еще эта самая курица не обращала на снесенное ею яйцо ни малѣйшаго вниманія; она снесла его гдѣ пришло: на чердакѣ, подъ печкой, въ дровахъ, и ушла слушать, какъ пѣтутъ поетъ: «Скажите ей». А сегодня, послѣ того какъ ее насильно усадили на то же самое яйцо, послѣ того какъ ее лукошкомъ прихлопнули, опомли водкой, чтобы она одурѣла, она хоть и слышитъ, что вышелъ въ свѣтъ новый романсъ г. Пригожаго: «Подъ монимъ она окошкомъ» и т. д., но уже не можетъ встать съ мѣста, а отчего? — и *сама не знаетъ*.

И когда мысли Михайлы сосредоточились на крестьянствѣ, которое онъ представлялъ себѣ не иначе, какъ въ самомъ благообразнѣйшемъ видѣ (вѣдь онъ изъ хорошаго дома, да наконецъ что-же можетъ быть ужаснѣе неблагообразнаго крестьянства?), ему стало жутко. Вѣдь то, что называется «крестьянствомъ», то-есть весь строй трудовой «крестьянской жизни, вѣдь онъ весь находится въ полной зависимости отъ тайны, отъ этого невѣдомаго, что даже курицу пригвозждаетъ къ яйцу. Какъ-бы ни была курица премудра, она будетъ сидѣть «до голаго тѣла», невѣдомо зачѣмъ и отчего. И это *невѣдомое* проникаетъ весь строй жизни, начиная съ земли, съ зерна и дождя, и вѣтра, выражается въ успѣхѣ, въ неуспѣхѣ, въ болѣзни людей и животныхъ. Въ глубинѣ всего этого лежатъ не

своевольная мысль, выдумка, а никому невѣдомая тайна, среди которой можно жить только при безукоризненности инстинкта, чутая. Мужикъ и баба, составляющіе центръ крестьянскаго дома, центръ всей этой тайны, тогда только могутъ благообразно существовать, то-есть безъ страха жить неизвестно для какой цѣли, когда въ глубинѣ ихъ взаимныхъ, интимныхъ отношеній, помимо всякихъ человѣческихъ соображеній и побужденій, *безукоризненна* та необъяснимая, невѣдомая никому изъ нихъ зоологическая связь, прочность которой только чувствуется инстинктивно, а непрочность расплатываетъ весь строй, неизвестно для чего существующій обиходъ. Но вотъ такого-то *безукоризненна*го, зоологическаго инстинкта Михайло уже не ощущалъ въ себѣ въ той мѣрѣ, въ какой онъ долженъ-бы былъ ощущать его, какъ крестьянинъ. Варька — существо, взятое прямо отъ земли, «вынутая» изъ самой сердцевины тайны крестьянства, — даже и понятія еще не имѣетъ о томъ, что такое мужикъ, хотя и видитъ ихъ передъ глазами всю жизнь; она даже и мысли не имѣла никогда о томъ, что съ нею будетъ, когда она выйдетъ замужъ, какъ и курица понятія не имѣетъ о томъ, что съ нею сдѣлается, когда ее посадятъ въ лукошко. Эта зоологическая струна даже и не звучала въ ней никогда, несмотря на то, что она кровь съ молокомъ; она и «стыдится»-то начинаетъ только въ мясоѣдѣ, потому-что ей извѣстно, что по мясоѣданію виню сестру мужики лукошкомъ-то накрываютъ, а въ постъ такъ даже ей нисколько не стыдно никого, потому что-жъ по поставъ стыдиться? Еслии стыдиться, такъ надо въ мясоѣдѣ, а не въ постѣ. А вотъ въ Михайлѣ, благодаря тому, что онъ долго жилъ на другой линіи, уже нѣтъ этой-то самой важной зоологической безукоризненности, и вотъ отчего онъ, зная, что ему непремѣнно надо брать Варьку, уже боится этой Варьки.

«Линія», на которой до сихъ поръ стоялъ Михайло, отставшій отъ крестьянства, никогда бы не привела его къ такой *болѣзни*. Тамъ, на той «пинжаковой» линіи, *только* нисколько не зависитъ отъ прочности связи мужа и жены; что такое значитъ жена, взятая «пинжакомъ» съ придаными, благодаря которому этотъ пинжакъ началъ «орудовать», положимъ, по керосинной части — въ этомъ самомъ керосинномъ дѣлѣ и керосинномъ успѣхѣ? Ровно ничего. На *той линіи* даже очень хорошо, если жена настолько *развита*, что не суется не въ свое дѣло, а сидитъ дома и пьетъ чай. А такъ-какъ такихъ *развитыхъ* женщинъ въ пинжаковомъ обществѣ, *ровно ничего не понимающихъ* въ мужскихъ дѣлахъ и благодаря своему умственному развитію не сующихъ носа въ мужские дѣла, обороты, связи, уже довольно много, то женское общество *той линіи* совершенно справедливо считается также *развитыми* мужчинами «той линіи» довольно глупымъ и скучнымъ и совершенно извиняетъ это общество пинжаковыхъ мужчинъ, если они «балуются съ Аннушками». Аннушки тоже ничего не смыслятъ по керосинной части, но онѣ веселѣе, съ ними развѣяться — надо-жъ отвести душу! Веселѣе

быть съ женой въ пинжаковомъ обществѣ невозможно, потому что тогда «не сущаяся въ дѣла» и болѣею частью некрасивая жена совѣмъ сдѣлается ни на что не похожимъ существомъ. Тамъ нужна строгость, молчаніе, чтобы жена *понимала*, что ей не слѣдъ совѣтаться. Если жужъ не будетъ съ женой молчать какъ пень или камень, такъ тогда ей не за что будетъ и уважать его. А если попираемая Аннuschками зоологическая правда и заговоритъ въ женѣ, такъ вѣдь это опять же не вредитъ *дѣлу*, ни керосинному, ни свѣчному, ни дровяному. Съ женой могутъ дѣлаться истерики, припадки, обмороки — все, что угодно — но вѣдь гдѣ есть деньги, тамъ будутъ и доктора, и лекарства. Лечиться жена можетъ всю жизнь сколько угодно; мужъ (развитой ежели) не жалѣетъ денегъ — чего еще? Наконецъ и побои, и увѣчья, практикующимые на той же «линіи» въ темнотѣ и удушѣ спаленъ съ лампадками, — все это ни на волосъ не вредитъ *дѣлу*, успѣху оборота, наживѣ, а стало быть и положенію въ обществѣ и вообще тому, что для пинжаковаго общества можетъ почитаться цѣлью жизни и успѣхомъ. Если же поступать умненько, умѣть во время приласкать жену, подарить ей дипломатъ, поболтать безъ рычанья и хрюканья, такъ и вовсе можно жить въ полное свое удовольствіе: и отъ людей почетъ, и жена почтаеъ, и любовницъ сколько угодно, и въ концѣ-концовъ деньги, барыши, успѣхъ.

Вотъ на какой линіи стоялъ Михайло до того момента, когда судьба вновь повернула его въ крестьянство, и здѣсь онъ сразу ощутилъ, какая огромная разница между «той линіей» и этой, крестьянской. Тамъ на первомъ планѣ «выдумка», «своей умъ», «хитрость»; здѣсь — полная тайна, въ самыхъ существеннѣйшихъ чертахъ вовсе не зависящая ни отъ какихъ разсчетовъ и умствованій, которые здѣсь не имѣютъ никакого значенія. Все крестьянское *дѣло*, не имѣющее никакого результата, подобнаго дѣламъ той линіи и выражающагося въ увеличеніи денегъ, обстановки, имущества и т. д., держится и стоитъ на неразрывной и въ то же время таинственной связи мужика и бабы; въ глубинѣ этой связи, за которой держится все «крестьянство», т. е. одновременно и дѣло крестьянское, и жизнь, должна быть только зоологическая безукоризненность, а онъ, Михайло, уже не имѣлъ ея. Онъ былъ и силенъ, и здоровъ, и ту же Варьку могъ бы совратить съ пути истины, если бы попрежнему стоялъ на *этой линіи*; но теперь онъ боялся этой Варьки, боялся именно ея безукоризненности.

И не того онъ боялся, что Варька можетъ узнать о его поведеніи, можетъ «осуждать» его, какъ распутника, подозрѣвать его въ желаніи приволокнуться и послѣ свадьбы. Нѣтъ, Михайлѣ было страшно именно потому, что Варька не можетъ объ этомъ *думать*, разсуждать и вообще понимать; ему было страшно оттого, что она *почуетъ* въ немъ порчу, почуетъ невѣдомо какъ, не зная и не умѣя опредѣлять даже, что такое она почуяла и почему ее за сердце взяло, и почему она

вдругъ возненавидѣла зачатого ребенка. Варька страшна именно потому, что она *невольно* въ этомъ. Она *почуетъ* что-то тамъ, въ самой глубинѣ своего физическаго существа, — и начнетъ дурить также «невѣдомо съ чего». Невѣдомо съ чего она возьметъ да и взбѣленится на неродившагося еще ребенка, начнетъ рвать и метать, и проклинать.

Кстати сказать, вѣдь вонъ былъ же подобный случай разсматриваемъ недавно на судѣ. Хорошій, умный, добрый мальчикъ доведенъ былъ матерью до того, что пытался ее отравить, чтобы она хоть познакомилась съ чувствомъ жалости къ самой себѣ, не обнаруживая его сыну всю жизнь, и притомъ безъ малѣйшей причины. Изъ дѣла выяснилось, что мать возненавидѣла его вотъ именно такими Варькинымъ манеромъ, и нужно было довести славнаго мальчика до скамьи подсудимыхъ и до обвиненія въ преступленіи, грозившемъ каторгой, чтобы сія зоологическая дама пришла къ мыслямъ «простить» мальчика. — «Ну, что ужъ въ каторгу! глубокомысленно изрекла она на судѣ. — Мы его *прощаемъ*».

Чувствуя въ себѣ изъянъ по части зоологической безукоризненности, Михайло также *чуялъ*, что этотъ изъянъ *не можетъ* не отразиться на безукоризненности Варьки. А если это такъ, то вѣдь «все можетъ пойти прахомъ». Отчего родятся на свѣтъ калѣки, слѣпые, безрукіе? Отчего родятся двухголовые не люди и не звѣри? Одна такая-то мать обругала ребенка, когда онъ былъ въ ея утробѣ, со зла сказавъ: «Вотъ еще пасть собачья народится!.. Тоже хлѣба будетъ просить, чтобы ему первымъ кускомъ подавиться!» И что-же? Посмотрите: этотъ ребенокъ теперь портной; ротъ у него собачій, хлѣба онъ ѣсть не можетъ, а только и живъ молокомъ, а говорить по человѣчески еле-еле... Другая мать также сказала: «Чтобъ тебя уволокли!» — и опять вышло слово въ слово: какъ только мальчонка подросъ, такъ чортъ и увелъ его, и водилъ 13 лѣтъ, заставляя все овины поджигать, пока мальчонку не упекли въ Сибирь... А все отчего? Цѣлая масса подобныхъ ужасныхъ случайностей пришла въ память Михайлѣ, какъ только онъ сталъ думать по-крестьянски, и страхъ передъ Варькой гвоздемъ засѣлъ въ его сердце... «Если она почуетъ да поглядитъ на меня, какъ сумасшедшая, да начнетъ невѣдомо что говорить» — думалъ онъ, и морозъ подиралъ его по кожѣ. Случись, что она задуритъ, случись, что придется ее бить, тогда все пойдетъ Богъ знаетъ какъ. Какое это крестьянство?

А тутъ еще «помни», которымъ погрозились Афимя и Аннuschка. Афимя можетъ сдѣлать «со зла», а предъ Аннuschками онъ уже считалъ себя не только виноватымъ, а и великимъ грѣшникомъ; теперь онъ *боится* этого, а какъ онъ попиралъ это самое еще недавно, зная, что это значить въ жизни человѣческой!

Такимъ образомъ начало бѣды зародилось прежде всего въ самомъ Михайлѣ: онъ испугался, что его физическая безукоризненность внесетъ во все существо Варьки, его будущей жены, страшную,

неизлечимую, потрясающую смуту, которая можетъ разстроить, разрушить, уничтожить все, всю жизнь его и ея, и всего дома, и всего, что живетъ около и вокругъ дна. Этотъ страхъ физическихъ бѣдъ осложнился тяжкимъ сознаниемъ грѣховной нечистоты, грѣха, который у Бога не можетъ быть оставленъ безъ наказанія, и наказаніе это придетъ, и онъ ждалъ его ежесекундно, съ той минуты, когда уха его коснулось слово: «Помни!».

Испугъ Михайлы понемногу заразилъ и всю его семью (цѣлый вечеръ Михайло почему-то разговаривалъ съ своими родными объ уродахъ, и всѣхъ обуялъ страхъ), а потомъ перекинулся и въ домъ невѣсты, куда тоже дошли слухи объ этомъ «Помни!» Было-бы долго рассказывать, до какой степени исполненъ всяческаго суевѣрія такой деревенскій типъ, какъ Варвара, невѣста Михайлы. Она не могла не быть безконечно, безгранично суевѣрной; это была образцовая, прямо взятая изъ глубины тайнъ «крестьянства» женщина. И одной мысли о томъ, что ей что-то сдѣлаютъ, было совершенно достаточно, чтобы потрясти все ея гигантское тѣло. Она заглохла отъ испуга именно потому, что не была въ состояніи понимать, обдумывать, соображать. Не такая она была натура, чтобы уметь думать; она могла только «озираться» и трепетать всѣмъ существомъ съ того самаго момента, когда услышала слово «Помни!», и когда наконецъ насталъ день свадьбы, то въ обѣихъ семьяхъ, жениха и невѣсты, не было человѣка, который не ожидалъ-бы чего нибудь ужаснаго.

Именно въ этотъ день, день свадьбы, всякая гадость и творится съ молодыми.

Совершенно струсившій Михайло не пилъ и не ѣлъ по совѣту дружки два дня, даже не позволялъ себѣ выйти изъ комнаты втѣченіе этихъ двухъ дней, такъ-какъ именно въ эти-то моменты, когда человѣкъ не думаетъ, тутъ-то и дѣлаются ему гадости. Такимъ образомъ въ день свадьбы онъ былъ совершенно изможденъ, съ страшною болью въ животѣ и еле-держался на ногахъ. Невѣста вся обомлѣла и «вся внутренность» у нея затряслась и заглохла, едва она глянула на жениха: лица на немъ не было, потому-что, кромѣ физическихъ страданій, онъ съ минуту на минуту ждалъ, что это «Помни!» вотъ-вотъ проявится въ какомъ-нибудь угрожающемъ дѣйствіи.

Отъ трепещущаго жениха страхъ передъ «чѣмъ-то» передался всѣмъ поѣзжанамъ, всей роднѣ, всѣмъ зрителямъ, и когда слѣдовало-бы тронуться свадебному поѣзду, то вся толпа народа, съ минуту на минуту ожидавшая какого-то событія, окружила поѣздъ въ такомъ глубокомъ, загадочномъ молчаніи, что даже лошади испугались, не понимая, почему это цѣлая куча давно знакомыхъ имъ мужиковъ среди бѣлаго дня что-то шепчутъ вокругъ нихъ, тогда какъ еще вчера всѣ они говорили громко или во все горло...

— Но! но! трепещущимъ голосомъ попукалъ лошадей кучеръ, но лошади только пятились, а народъ разступался.

— Но! уже едва слышно прошепталъ кучеръ, а народъ еще подался, лошади еще попятались.

Въ это время какъ-разъ мимо открытыхъ воротъ прошла Афимья...

Тутъ ужъ всѣмъ стало ясно, что дѣло не чистое, что уже что-то случилось непоправимое.

VIII.

Какъ происходили вѣнчаніе и свадебный пиръ, я не стану изображать; скажу только, что всѣ, и гости, и хозяева, чувствовали себя мучениками. На утро подозрѣнія семьи оправдались. Молодые встали какъ бы испуганные и ошалѣлые. Они были испорчены; это несомнѣнно. Скоро и Афанасій, и Иванъ убѣдились въ этомъ сами. Въ тоскѣ и въ какомъ-то отчужденномъ остоленіи провели молодые этотъ день и кое-какъ дотянули до ночи.

Въ спальню они пошли, трясаясь отъ страха всѣмъ тѣломъ. Кровать казалась имъ не кроватью, а развертой дьявольской пастью, и когда они легли туда, то оба почувствовали себя какъ-бы окаменѣлыми отъ холода. Зубы стучали и у мужа, и у жены. Съ испуга съ женой ночью сдѣлался припадокъ истерики. И это такъ подѣйствовало на мужа, что онъ, выскочивъ въ испугъ изъ спальни и уже не мало не сомнѣваясь, что «бѣда» сдѣлана, не успѣлъ раскрыть рта, чтобы позвать на помощь, какъ упалъ на полъ и его стало ломать, корчить, трепать.

Теперь не узнаешь Михайлу: такъ онъ измѣнился, похудѣлъ и подурѣлъ. А давно ли это былъ вполне развязный молодой человѣкъ новаго деревенскаго направленія, — человѣкъ «пнижака», калрили, хорошаго обращенія? Глядя на него и на этотъ «пнижакъ», на этотъ балъ, на которомъ онъ кушаетъ щеколадъ, и сига, и апельсинъ, подумаешь: какъ измѣнилась деревня противъ прежняго, какая «образованность» распространилась въ ней и какъ она далека отъ старинной мужицкой темноты! А между тѣмъ темнота-то эта все-таки какъ была, и даже съ самимъ чортомъ, котораго всякій хорошій мужикъ выдалъ на своемъ вѣку не разъ, вся тутъ, въ этой кадрили, на этихъ балахъ, среди этихъ «пнижаковъ»... Во всякую минуту самый настоящій чортъ можетъ появиться среди этой образованности и превратить ея всю безъ остатка въ прахъ и пепелъ.

IV. «Перестала!»

(Изъ деревенскихъ замѣтокъ.)

I.

— Ну что же, Михайло, какъ-же ты поживаешь? Какъ твои дѣла?

— Ничего! Славу Богу!.. Теперича ничего: живемъ поменьше!

Болѣе десяти лѣтъ не видалъ я этого Михайлы

и теперь, когда онъ меня опять везъ по той же самой дорогѣ и въ тѣ же самыя мѣста, гдѣ много лѣтъ назадъ и мнѣ съ моими близкими, и Михайлѣ со всѣми нами было такъ хорошо жить,—оба мы, встрѣтившись послѣ долгой разлуки, жадно стремились поговорить другъ съ другомъ «по душѣ», поговорить долго, много, откровенно, какъ «говаривали» въ старину мужики, освободившіеся отъ господъ, и господа, стремившіеся «изъ господъ» если не въ мужики, то хоть къ мужикамъ. Однако и мой вопросъ, и Михайлинъ отвѣтъ вышли какъ-то официальные и сухи, и даже конфузливый, несмотря на то, что намъ обоимъ хотѣлось завязать самый душевный, самый настоящій разговоръ. И такой разговоръ непременно бы завязался у насъ, еслибы у меня хватило духу начать его съ вопроса о самомъ существенномъ и важномъ для насъ обоихъ дѣлѣ и, вмѣсто ничего почти не означающихъ словъ: «какъ ты поживаешь?», прямо бы спросить:

— Ну, какъ ты, Михайло, теперь съ женой живешь? Перестала ли она мудрить, бунтовать?

Но признаюсь, у меня на это не хватило духу: говорить съ Михайлой о его женѣ—значить вспомнить тѣ времена, когда мы, такъ называемые «хорошіе господа», что-то такое хотѣли сдѣлать по-хорошему съ хорошими Михайлами и, вспоминая все это, зная съ горькимъ ощущеніемъ ясно сознаваемой вины на сердцѣ, что изъ всего этого, начатаго по хорошему, ровно *ничего не вышло* до сихъ поръ ни для насъ, «хорошихъ господъ», ни для нихъ, «хорошихъ Михайловъ». Вообще мы, «хорошіе господа», и они, «хорошіе Михайлы», какъ-то осрамились за этотъ двѣнадцати-пятнадцатилѣтній промежутокъ времени и, осрамившись, рѣшились существовать изо дня въ день, немного привирая, немного сокрушаясь, немного фантазируя и затѣвъ опять-таки привирая по немногу, конечно всякій разъ съ глубокимъ вздохомъ.

И вотъ почему я не могъ начать разговора съ Михайлой такъ, какъ бы слѣдовало начать. Дѣло Михайлы съ женой чисто семейное, но оно обоимъ намъ напоминаетъ «тѣ времена» и тѣ взаимныя вліянія, подъ которыми мы въ то время жили, то-есть вліянія «хорошихъ Михайловъ» на «хорошихъ господъ» и «хорошихъ господъ» на «хорошихъ Михайловъ»; мы въ то время, и Михайлы, и господа, — конечно «хорошіе», — жили исключительно хорошими впечатлѣніями, получаемыми другъ отъ друга. Прошлое—нехорошее, темное, тяжелое—намъ не вспоминалось; о будущемъ мы еще не думали, какъ слѣдуетъ, а жили настоящимъ, зная, что оно хорошо, что намъ, во-первыхъ, надобно и, во-вторыхъ, можно быть хорошими. Тогда для насъ, хорошихъ господъ (насъ тогда жила въ деревнѣ цѣлая компанія), не могло быть въ деревнѣ ничего дурного, всѣ деревенскіе люди добры, всѣ заслуживаютъ полнаго уваженія, водноваться какою-нибудь непріятною чертой въ какомъ-нибудь непріятномъ деревенскомъ человѣкѣ было просто глупо: что можно спрашивать съ такихъ людей, которые, мы сами видѣли собствен-

ными глазами, трудятся въ потѣ лица? Какая жетутъ критика со стороны насъ, живущихъ безъ труда? Имъ нельзя не быть такими, они ни капельки не виноваты; напротивъ, мы виноваты и должны дѣлать для нихъ все хорошее. Что собственно должны были бы мы «дѣлать», мы не знали, но знали—что относиться къ нимъ, какъ къ самымъ уважаемымъ людямъ, было исполнѣ обязательно—обязательно безъ всякаго притворства и наслія надъ самимъ собою. Принимать всякаго мужика лучше всякаго городского гостя, называть по имени, по отчеству, отнюдь не «торговаться» насчетъ грибовъ, подводы, дичи, ягодъ, открывать дверь всей деревнѣ, когда въ домѣ именины, елка или вообще праздникъ—это тоже было непритворно-обязательно, а главное пріятно. Разговоры о школѣ, о необходимости дороги черезъ болото, о ссудномъ товариществѣ, разговоры огромнѣйшихъ размѣровъ съ широчайшимъ развитіемъ задачи предпріятія—тоже были задушевнѣйшіе, отраднѣйшіе и любопытнѣйшіе. Съ другой стороны и хорошіе Михайлы были тоже довольны и чувствовали себя хорошо съ нами: «приди когда хощь, спрашивай вездѣ»... «безъ торгу»... «по совѣсти»... «не гнушаются нашимъ братомъ, мужикомъ»... «просто»—вотъ тѣ черты, которыя нравились въ насъ Михайламъ. «Дѣла» какого-нибудь существеннаго не было, но было что-то обоюдное-хорошее, обоюдное-снисходительное, ни капельки никому не обидное, напротивъ, одинаково заманчивое какъ для «хорошихъ господъ», такъ и для «хорошихъ Михайловъ».

Среди такихъ-то взаимныхъ отношеній между хорошими господами и хорошими мужиками особенно хорошими оказывались они между нами и Михайлой. И намъ было «особенно» съ нимъ хорошо, и ему «особенно» хорошо съ нами. Онъ былъ такой-же мужикъ, какъ и всѣ, въ такой же армякѣ и такихъ же лаптахъ, и съ такой же, какъ у всѣхъ мужиковъ, бородой, но было въ немъ нѣчто и иное: онъ уже былъ грамотенъ, и грамота очевидно затронула его мысль, которой было уже надъ чѣмъ попрактиковать себя. Вслѣдствіе домашнихъ затрудненій онъ много лѣтъ жилъ въ городахъ, много перетерпѣлъ, перестрадалъ, но въ концѣ-концовъ сохранилъ и на себя, и на все видѣнное и пережитое имъ свѣтлый и не односторонній взглядъ. Онъ могъ судить «вообще», не жалуясь только на неправду относительно его самого. Вотъ эта-то черта, то-есть возможность съ Михайлой говорить «вообще», не чувствуя при этомъ неловкости разговора съ разсуждающимъ писаремъ или дьячкомъ и, къ удивленію нашему, не замѣчая даже ни малѣйшаго коверканія языка—это и было первое, что особенно нравилося намъ въ Михайлѣ, а затѣмъ поправились и его деликатность, покойная, не выдуманная, его «достоинство», никому не мѣшающее, и затѣмъ желаніе «жить почище, поблагороднѣй, потише, поумнѣй». Онъ былъ мужикъ, но понималъ мужиковъ больше, чѣмъ понимали ихъ мы или даже сами они. И его иронія, спокойное, добрымъ голосомъ сказанное

ядовитое слово или характеристика были и умны, и просты, и пріятны. Съ своей стороны и Михайлѣ было хорошо и свободно съ нами: мы поняли вѣдь, что именно въ немъ хорошо, поняли, что онъ уменъ, что онъ умно и хорошо думаетъ, что есть въ немъ что-то крошѣ лаптей и мужицкаго армяка, — словомъ, поняли и оцѣнили то, чего, быть можетъ, никто въ немъ не цѣнилъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ живетъ на свѣтѣ. Изъ сторожа сельской школы онъ превратился въ нашего сожителя, то-есть онъ работалъ тамъ на дворѣ, кололъ кое-какія дрова, но здѣсь, въ комнатѣ, былъ совершенно какъ «свой».

Другое особенно намъ пріятное и симпатичное лицо среди «вообще» хорошихъ деревенскихъ людей была Авдотья, молодая дѣвушка, сирота, существо живое и милое. Она пзъ замарашки съ босыми ногами, изъ худенькой и оборванной нищенки-дѣвочки на нашихъ глазахъ превратилась въ стройную, опрятную дѣвушку, выучилась читать и писать вмѣстѣ съ «господскими» дѣтьми, не забывая въ то-же время подметать полъ, сказывать сказки, играть въ горѣлки, работать самую черную работу и въ промежуткахъ учиться, добиваясь возможности читать Некрасова, Григоровича. Было въ ней все, что намъ, хорошимъ господамъ, могло быть пріятно: было, во-первыхъ, все крестьянское, начиная съ проворныхъ босыхъ ногъ, съ этихъ непрестанно работающихъ рукъ и кончая неизвѣнно-веселымъ настроеніемъ духа во всевозможнаго рода черномъ трудѣ; было кромѣ того еще и другое, не крестьянское, именно пробужденная мысль, желаніе почитать книжку, желаніе узнать, «чѣмъ кончится» исторія, которую вчера читали вслухъ, — словомъ, было что то особенно нравившееся намъ, все таки еще городскимъ жителямъ.

Подъ вліяніемъ такихъ взаимныхъ симпатій не мудрено, что у всѣхъ насъ должны были являться мысли о будущности Михайлы и Авдотьи. «Не выходитъ же Авдотья за мужика?» «Не женится же Михайлѣ на деревенской бабѣ?» Положимъ, что мужики и бабы деревенскіе были намъ тогда «вообще» всѣ очень симпатичны и пріятны, но Михайло и Авдотья все-таки не то, что настоящіе черноземные мужики и бабы. Имъ ужъ какъ-то иначе надобно жить, какъ-то гораздо лучше, свѣтлѣе и изящнѣе. А Михайло и Авдотья? Несмотря на то, что между ними не было еще и помина о какомъ бы то ни было сближеніи, раздумывая о своемъ будущемъ, они не могли не думать о немъ точно такъ же, какъ и мы. Можно ли было Авдотѣ кончить замужествомъ съ мужикомъ, хоть бы и богатымъ? Нѣтъ. Она уже знала, что «будетъ бить ее мужъ-привередникъ и свекровь въ три погубитъ», знала это, думала объ этомъ и разумѣется не могла не желать какой-нибудь иной перспективы. Да и Михайлѣ, у котораго кромѣ мужицкихъ мозолистыхъ рукъ и мужицкихъ лаптей было еще что-то, въ головѣ бродили какія-то размышленія, едва ли улыбалось сожительство съ самою несокрушимою въ работѣ деревенской бабой;

ему ужъ надобно было и человѣка, съ которымъ «можно слово сказать». Благодаря такимъ отношеніямъ и взаимнымъ вліяніямъ — не знаю съ чьей стороны, съ нашей или съ ихней, — возникла мысль о бракѣ Михайлы съ Авдотьей. Она какъ-то вечапно явилась между всѣми нами и никого ровно не удивила. Бракъ состоялся, и именно во имя нашихъ общихъ мечтаній: они будутъ жить «хорошо», умно, тихо, мирно. Въ это мирное, тихое, благообразное житіе гораздо болѣе насъ вѣрили сами Михайло и Авдотья. Михайло ее ни въ чемъ не будетъ неволять; не такой онъ человѣкъ, чтобы, Боже сохрани, тиранствовать или безобразничать надъ женой. Знаетъ онъ мужика и мужицкій поровъ: онъ перенесъ все это на себѣ, и не то, что повторять его надъ кѣмъ-нибудь, ему и вспомнить страшно о немъ. И Авдотья вполне была увѣрена, что ея жизнь не будетъ похожа на жизнь истерзанной деревенской бабы: не такой Михайло человекъ.

«Хорошіе господа» помогли Михайлѣ завести лошадей и телѣгу, а онъ началъ заниматься извозомъ, что дало ему полную возможность существовать безбѣдно. «Пока» было хорошо; оставшійся Михайлѣ домишко, долгое время стоявшій пустымъ, благодаря Авдотѣ, преобразился совершенно и ожилъ; мы, «хорошіе господа», заѣзжая къ Михайлѣ, всегда чувствовали себя чрезвычайно хорошо: свѣтло въ домишкѣ, тепло, опрятно, уютно, весело. Картинка на стѣнѣ изъ *Нивы*; въ шкафу вмѣстѣ съ чашками книжки — Некрасовъ, *Записки Охотника*; угостить насъ чаемъ — выйдетъ совсѣмъ не по мужицки, а точь въ точь такъ, какъ и мы сами угощаемъ Михайлу и Авдотью, когда они пріѣзжаютъ къ намъ: ни стѣсненія, ни низкопоклонства, ни раболѣпства, а самая простая, деликатная, человѣческая ласка и внимательность.

Дальнѣйшихъ перспективъ, какъ я уже сказалъ, насчетъ продолженія «хорошаго настоящаго» ни у насъ, ни у Михайлы никакихъ мало-мальски определенныхъ еще не было. «Пока» теперь было «хорошо» и вѣроятно такъ же хорошо и будетъ. Но вотъ къ намъ, «хорошимъ господамъ», пріѣхалъ становой приставъ, пріѣхалъ невѣдомо зачѣмъ, покурилъ папироску, извинился и уѣхалъ, и съ этого дня мы уже стали понимать направление, по которому пойдетъ будущее «хорошихъ господъ», очертанія «перспективъ» стали намъ дѣлаться съ каждымъ днемъ яснѣе и яснѣе, а по мѣрѣ этой ясности намъ становилось то обидно, то невыносимо, то ужасно, то гадко, то по-заячьи трусливо, малодушно-подло и вообще такъ худо, такъ скучно, что сначала мы съежились, потомъ загрустили, загрустили, затѣмъ перебрались въ городъ — и такъ постепенно, «со ступеньки на ступеньку», дошли до теперешняго «тишайшаго» влеченія дней задними, начинаемыхъ, продолжаемыхъ и оканчиваемыхъ глубокими вздыханіями.

А Михайло и Авдотья остались въ деревнѣ совершенно безъ всякой перспективы. Сначала отъ нихъ бывали письма — письма хорошія, пріятныя намъ, потомъ они перестали писать. Потомъ чрезъ

деревенскихъ людей стали доходить слухи, что у Михайлы и Авдотьи не ладно, не хорошо. И такъ пошло, что дальше, то хуже. Однажды кто-то принесъ извѣстіе: «Вѣсть онъ ее, Михайло то», а въ другой разъ: «Пьетъ Михайло мертвую... въ темной сидитъ». А что рассказывать стали про Авдотью, такъ это и сказать совѣстно.

Вѣсти эти какъ-то духовно придавливали насъ.

«Вотъ онъ, книжка-то!» — иногда мелькало въ нашемъ напуганномъ сознаніи, и мысль о «суетѣ суетъ» все чаще стала сжимать сердце въ тѣхъ случаяхъ, которые, бывало, могли его только радовать.

II.

И вотъ теперь, почти черезъ двѣнадцать лѣтъ, мнѣ опять пришлось встрѣтиться и съ Михайлой, и съ тѣми самыми мѣстами, гдѣ когда-то такъ «хорошо жилось». Но ѣдемъ мы съ нимъ, Михайлой, зная, что все теперь стало по иному: и мы, и усадьба, и порядки, и духъ усадьбы — все ужъ не то, все по новому, «по скучному».

Впечатлѣнія настоящаго и прошлаго не дали намъ возможности начать искренній и простой разговоръ, и мы долго не могли наладиться. Верстъ десять мы ѣхали, постоянно разговаривая, и всѣтаки это былъ разговоръ не настоящій, не о томъ, о чемъ намъ слѣдовало и хотѣлось бы говорить. Но вотъ кончилось разбитое и треснувшее земское шоссе, телѣга свернула въ сторону, въѣхала въ лѣсъ, — въ тотъ самый, въ глубинѣ котораго стояла когда-то наша милая усадьба, пошли знакомыя болотца, послышалось знакомое чавканье лошадиныхъ ногъ въ мокромъ мху... и намъ стало просто необходимо говорить другъ съ другомъ безъ всякихъ экивоковъ, а такъ-же просто и свободно, какъ говаривали и «тогда».

— Ну, что же, Михайло, провзнесъ я уже безъ всякаго стѣсненія, — какъ-же твоя жена? Какъ ты поживаешь съ ней?

— Слава Богу! Перестала теперича! — быстро обернувшись ко мнѣ, радостно отвѣтилъ Михайло и главу на меня важными ласковыми глазами.

— Ну слава Богу.

— Совсѣмъ перестала! Слава тебѣ, Господи!

Михайло соскочилъ съ козель, какъ это онъ дѣлалъ встарину, проѣзжая топкія мѣста, и пошелъ рядомъ съ телѣгой, положивъ руку на ея край.

— А ужъ какъ она меня умаяла!

Онъ сказалъ это почти шопотомъ, но такъ покачалъ головой, что я только теперь понялъ, до какой степени онъ дѣйствительно усталъ, только теперь разглядѣлъ, какъ онъ измѣнился и постарѣлъ; онъ сдѣлался какъ-то уже въ бокахъ и плечахъ, щеки его сильно ввалились, ноги какъ будто подлиннѣли, расслабили, и весь онъ, слегка сгорбившись, держался какъ-то наклонясь впередъ, а то особенное, «интеллигентное», что когда-то такъ плѣняло насъ въ Михайлѣ, исчезло теперь безъ слѣда: онъ былъ просто измѣявшійся мужикъ.

«Усталъ, усталъ!» — думалось мнѣ, и я нетревожилъ его разспросами.

Нѣкоторое время онъ шелъ молча, продолжая держаться рукой за край телѣги и очевидно отдыхая отъ той тяжести, которая у него до сихъ поръ лежала на душѣ и которая какъ бы свалилась съ нея, когда онъ сказалъ: «Перестала!».

— Нѣтъ! — началъ онъ, поотдохнувъ, — кабы въ ту пору намъ съ Авдотьей прямо бы въ крестьянскій хомутъ влѣзть, то есть прямо бы за крестьянство взятыся, а не разговоры разговаривать, такъ ничего-бы этого не было. Вѣрное слово! Намъ свою силу мужицкую нельзя по вѣтру распускать, намъ нужна запряжка, чтобъ дохнуть некогда было... Силы много, особливо въ бабѣ... Ее вѣдь, силу-то, тоже надобно дѣвать куда-нибудь, а куда ее въ нашемъ-то положеніи дѣнешь, ежели крестьянствомъ не охомутаешься?... Ну вотъ, отъ этого отъ самаго... Не отбейся я самъ-то отъ крестьянства съ малыхъ днѣй, такъ и прожилъ бы вѣкъ тихо, благородно... А то вѣдь меня съ малыхъ днѣй отъ крестьянства-то отбивало, дальше да дальше... Наше семейство было завсегда первое по крестьянству-то; были мы завсегда въ полномъ достаткѣ и вѣкъ-бы такъ прожили, да какъ грянула эта самая оттоманская порта...

— Какая порта? что такое?

— А какъ же? А севастопольская то кампанія, вягло-турецкое столкновение?... Мы были мужики всегда исправные, хлѣбные. Этой палки или оплеухи какой-нибудь, какъ крѣпостные, мы и знать не знали, вѣдать не вѣдали; мы были крестьяне государственные; я былъ мальчишка холеный, любимый, въ школу казенную бѣгалъ, а учитель меня шибко хвалилъ; бѣловали меня, потому работничковъ было въ домѣ много: отецъ, два брата... Все шло честь-честью, ну, а какъ императоръ Николай I потребовалъ ключи отъ Ерусалима, да ключей-то ему черномордые дураки не отдали, такъ онъ тогда и зачалъ ихъ, подлецовъ, лущить по башкѣ... Вотъ тутъ-то никакъ года въ два четыре набора было, тутъ-то вотъ нашъ домъ и разорился... Какъ потребовали перваго брата, такъ отецъ-то весь домъ распродалъ, хотѣлъ его какъ-нибудь высвободить, докторамъ платилъ, всякія манеры перепробовалъ, однако-же взяли, а немного погодя слышимъ: померъ на Черномъ морѣ, а дѣло-то не меньше, какъ въ тысячу рублей стало... Не успѣли оглянуться — и втораго берутъ... Тутъ отецъ весь по шею заложился — охотника купилъ, заложился онъ моему дядѣ, своему брату, темному кабатчику петербургскому. И только было охотника сдали, принялись въ дому дыры чинить, разоренное гнѣздо поправлять, хватъ — и втораго брата померъ... И затосковали мои родители, руки опускаются! Запустѣлъ нашъ домъ, ослабъ, вся сила изъ него вышла... Хирѣли, хирѣли мои родители, да одинъ по одному и ушли на тотъ свѣтъ... Передъ смертью-то родитель мой и объявилъ мнѣ: «По случаю, говорить, кампанія задолжалъ я Михайлѣ Кузьмину, брату-кабатчику, тысячу триста рублей, такъ ты, говоритъ, Михайло, по случаю нашей смерти, одинъ ему и оставшись плательщи-

комъ... Терпи, бантъ, малыи!» и померъ. А какъ заключили парицкій трактатъ, тутъ меня кабатчикъ-то и сгрѣбъ! Да лѣтъ двѣнадцать онъ, дьяволъ, выколачивалъ изъ меня эту самую порту оттоманскую! Швыряетъ меня, какъ полѣно, съ мѣста на мѣсто, куда ему угодно, обираетъ за меня деньги, и все я никакъ не могу расчитаться! Тамъ ужъ и миръ заключили, и ключи отдали, а онъ — то въ печники меня, то въ квасники, то въ полотеры, нѣтъ мнѣ никакого перемирія! А мальчонка-то я былъ не простой, балованный, любилъ, чтобы меня похвалили да погладили, а не такъ, чтобы за волосы или по шеѣ. И стало меня зло забирать, и унишко-то тоже у меня заворачалъ. Злѣй да злѣй становлюсь, не хочу жить, уйду, наплюю, а за обиду къ мировому. Въ ту пору уже судъ пошелъ новый, а я вѣдь грамотный былъ, и мимо меня это дѣло не прошло. Возьмешь листокъ — видишь, что не потакаешь поддѣцамъ. Это мнѣ по вкусу пришлось, думаю: «буду воевать съ негодаями!». Объ это время разыгралъ я большое представление! Устрапалъ меня трактирщикъ въ кучера, въ казну, возить курьеровъ. Вотъ одинъ изъ нихъ и свистни меня по уху: попалъ я не въ тотъ переулочекъ, куда надо. Я, ни слова не сказавши, съ козелъ долой, прямо съ разбитой рожей къ городовому: «Гдѣ докторъ?» Курьеръ остался, оретъ, зоветъ, вопиетъ — сколько угодно!.. Я своею дорогою въ участокъ: «Извольте засвидѣтельствовать, такъ и такъ»... Да къ мировому! Да такую тамъ рѣчь провозгласилъ, рты разинули! И не о своей обидѣ я провозгласилъ, а расшумѣлся о неправдѣ, о томъ, какъ насъ, бѣдныхъ, притѣсняють, мордуютъ. — «Мнѣ не надо, говорю, ничего: ни денегъ за обиду, ни того, чтобы его, курьера, наказали, ничего не надо! Ничего мнѣ не надо, а я, говорю, хотѣлъ только доказать противъ подлости!» Отбрилъ всѣхъ негодаевъ, хлопнулъ дверью, да и былъ таковъ. И сталъ я, признаться, съ этого дня зашибать виномъ. Получилъ въ казнѣ расчетъ, двадцать восемь рублей, ни копѣйки моему кровопийцу не отдалъ, пилъ, пилъ, думался до участка.

— Да сколько же тебѣ тогда было лѣтъ?

— Да когда парицкій трактатъ-то заключили?

— Трактатъ заключили въ пятьдесятъ шестомъ году...

— Ну, при трактатѣ мнѣ было лѣтъ пятнадцать, а какъ зашибать-то сталъ, тутъ, надо быть, лѣтъ ужъ подъ двадцать пять подошло... Однако-жъ мой хозяинъ вытрезвилъ меня и опять водворилъ на мѣсто. Утвердилъ онъ меня въ шапкинскомъ дилижансѣ, съ Большой Садовой въ Новую деревню... Ужъ и маята-жъ только настала для меня!.. Не приведи-то Господи! Что одежда, что одры-лошадь — чистая смерть! День-деньской дерешь-дерешь одровъ-то; самого-то бьетъ-бьетъ на козлахъ — жарща, пылица... Смерть моя! Замучался я, вся у меня душа изныла, думаю-думаю: «когда этому будетъ конецъ?» Никакого свѣту не видать! Нѣтъ! Нѣтъ моихъ силъ! Бросилъ все, напился пьянъ, дилижансъ вывалилъ, одежду разодралъ въ дребезги. — «Подавай расчетъ!» А расчета не даютъ,

мой живорѣзъ ужъ такъ обдѣлалъ дѣла, чтобы все ему шло... Ахъ ты... Стащилъ хозяйскій армякъ, уволокъ, продалъ, пропилъ... Укралъ! Что станешь дѣлать?.. Укралъ, думаю: «конецъ, все одно», пустился во всѣ тяжкія... Этого рассказать невозможно всего, что было... Вѣдь я вамъ какъ на духу говорю — въ острогѣ сидѣлъ! вотъ до чего! По этапу препроводили на мѣсто родины, а на родинѣ принялись меня учить, драть, ожесточили! Опять я задурилъ, опять меня учептали въ темную... Кончилось — «не принимаетъ общество» — и шабашъ! Иди въ Сибирь! Тутъ ужъ живорѣзъ меня выручилъ, потому я ему нуженъ... Приткнули меня къ обществу кое-какъ... Вотъ тутъ-то я, весь изуродованный да измороженный, и прилипъ въ училище въ сторожа... Ну, а потомъ Господь послалъ добрыхъ людей, хорошую кампанію, обратили на меня вниманіе... не дали пропасть... Вотъ тутъ-то я и оженился на Авдотѣ-то... Вспомнишь-вспомнишь прошлую-то жизнь — жуть одна, морозъ по кожѣ подираетъ! Не видалъ я хорошихъ людей; и города боюсь, и деревня мнѣ не сладка досталась; видѣлъ ихъ, какъ они меня учили, знаю ужъ этихъ старичковъ почтенныхъ — вотъ и наду-малъ жить почище да не кланяться и не яшкаться... Богъ молю съ вами, проживемъ съ Авдотей поблагороднѣе... Анъ вотъ...

Съ тяжкимъ короткимъ вздохомъ произнесъ Михайло эти слова, но къ удивленію моему вѣсто того, чтобы, какъ я ожидалъ, заговорить о чемъ-нибудь тяжелою и непріятною, вдругъ неожиданно улыбнулся.

— Какъ вспомню первое-то время, какъ мы съ Авдотей жили, — заговорилъ онъ, весело улыбаясь, — такъ ужъ не перечесть, сколько я въ ту пору всякой смѣхоты наглядѣлся... Бабенка молодая, сильная, складная, а хозяйства-то настоящаго нѣту... Я въ тупору и думать не хотѣлъ, чтобы мнѣ пойти къ обществу поклониться: «Дайте молю земельки!». И сохрани Богъ! Это чтобы галдѣть, кланяться, врать и поить ихъ? И ни-ни, ни за какіе миллионы!.. Да и такъ хватало на расходъ, очень даже прекрасно пошла моя ѣзда. Ну вотъ, Авдотья-то и некуда свою силу-то дѣтъ... А силы-то много — у-ухъ сколь много въ бабѣ силы! И дѣвать ее куда-нибудь надобно... Ну вотъ, она и стала изъ моей Авдотьи-то вывинчиваться во что ни пришлось... Жили мы въ старомъ флигелшкѣ отцовскомъ — сѣнцы, да каморка въ три окна съ русской печкой. Всего объема будетъ шаговъ восемь въ длину, да шаговъ шесть въ ширину, а до потолка и руки не разогнешь — упрешься; такъ вотъ она въ этакихъ-то размѣрахъ и то съужѣла ни дня, ни ночи себѣ покою не найдетъ! И моетъ, и скребетъ, и третъ, и царапаетъ, и приколачиваетъ, и то-есть никакого нѣтъ окончанія! Тысячу верстъ вокругъ самой себя сдѣлаетъ въ сутки, а все еще не все передѣлала. И занавѣски, и полотенцы, и всякія малости... Такъ у нея глаго-то и шмыгаетъ въ пальцахъ, какъ молнія... Кровать вознесла такую — даже лечь совѣстно — при-дешь въ грязи, думаешь: да какъ же это можно?

Это молъ все равно, что лѣптемъ въ горшокъ съ молокомъ стать, то и мнѣ въ такое благодѣіе воткнуться.. И кажинный Божій день такимъ манеромъ, въ ночи съ ногъ собьется, а съ утра опять! Тараканъ какой попадется или клопъ тамъ, ужъ она его выдеретъ изъ самой стѣны со всѣмъ семействомъ. Бабенокъ какихъ-то молодыхъ подобрала въ компанію, такъ онѣ бывало цѣлой компаніей за тараканомъ-то въ щель вопьются... Выволокутъ, дверь настежь распахнутъ, всей компаніей на дворъ выбѣгутъ: тра-ра-ра-ра-ра!.. Кипитокъ сухой кипитъ, какъ у нихъ-этотъ разговоръ идетъ! Одна изъ ихней компаніи, тоже горячая бабенка, такъ та за чернымъ тараканомъ безъ памяти такъ втиснулась за печку, еле я ее выдернулъ оттуда за ногу... Да неужто же не все, думаю? Нѣту, куда тамъ! Еще на всю жизнь хватить! Забила, заклеила во всѣхъ щеляхъ, все искоренила, обшила, обрядила—«нѣтъ, говоритъ, надо все ободрать, да ножомъ выскоблить чисто-на-чисто!» И все ножомъ ободрала, обскобила, и стѣны, и полы, и лавки, и столы, и шкафики, и полки, и подоконники; скребла-скребла—доскреблась до потолка, на тубаретъ установилась, перегнулась вся, смотрѣть-то душа замираетъ! Ну, тутъ ужъ должно быть и Господь осерчалъ: оступилъ она съ тубарета, да кубаремъ, да головой о печку, а спиной объ полъ... «Охъ, матушки мои родимыя!» Ну, думаю, окончаніе перваго дѣйствія! Занавѣсь опускается! Положилъ ее въ кровать, позвалъ за докторомъ, привезъ примочки. «Лежи, думаю, другъ любезный, поправляйся! Не будетъ-ли чего любопытнаго во второй пестъ?»—«Охъ, матушки-матушки родимыя!» А меня такъ и разнимаетъ смѣхомъ: доскреблась же до бѣды!

Посмѣялись мы надъ Авдотьей, и Михайло продолжалъ:

—Начинается однако-жъ и второе дѣйствіе. Лежитъ она, стонетъ, охаетъ, а бабенки одна за одной къ ней да къ ней, пожалѣть, поохать, потужить, присовѣтывать. Тарара, да тарара, вошла моя Авдотья во вкусъ сплетни плести. Поправляется, съ постели встаетъ, по избѣ ходить, а языкъ свое дѣлаетъ: у Петра курица пропала, у Ивана овца чихаетъ, у дьякона жена сердита, на колокольніхъ галчата вывелись. Я молчу, пущай, думаю, галчата выводятся. Дальше—больше, поправилась, надобно и собесѣдокъ отблагодарить. Сегодня у Марьи побывала, цѣлый мѣшокъ новостей принесла, а завтра у Дарьи еще того больше заимствовала. Помаленьку да помаленьку стала моя Авдотья совсѣмъ шальная: то все вокругъ себя мучилась, по тысячѣ верстѣ въ сутки дѣлала, а тутъ дня мало стало чужихъ людей обѣгать. Ворочусь съ работы, такъ изъ Авдотьи и хлынетъ: «у Захаровыхъ зеленый платокъ купили, а Марья два аршина ситцу подарила кумѣ, староста избилъ Пелагею, старшина любовницу завелъ, у Егора украли полшубокъ, Акулина мужа не любитъ, Петра приревновала... Никита—снохачъ, у Кузмы деньги въ погребѣ»—не приведи Богъ! Слушаешь, слушаешь, только около ушей словно бы вьюга шу-

милъ. А затѣмъ пошло дѣло Авдотьино и еще шибче: то она по одиночкѣ перебирала Дарью да Марью, а то начала отъ Марьи къ Дарьѣ переносить, а потомъ и въ оборотъ—отъ Дарьи къ Марьѣ. Долго-ли, коротко-ли, смотрю, начали къ намъ и гости жаловать; то Марья придетъ, перекрестится и скажетъ:—«Ты что-жъ это, Авдотьюшка, Акулинь-то сказывала?», то Дарья вломится, загалдитъ:—«Ты какія-такія про меня слова говорила?». Авдотья моя, само собой, отпирается:—«Не я, молъ, а Оекла.»—«Какъ Оекла?» Глядь, и Оекла бѣжитъ:—«Когда я говорила?» Глядишь и началась баталія. А Авдотья моя не такова баба, чтобъ обрѣсть, горло у нея здоровое; какъ начала входить во вкусъ горло-то драть, такъ не успѣлъ я и оглянуться, какъ она на все село «горластымъ чортомъ» пошла считаться. Да вѣдь какъ! на пять верстѣ слышно; да мало того, что изъ двора бабья визготня цѣлый Божій день звенитъ, точно паровикъ на фабрикѣ, стала Авдотья и на середину улицы выбѣгать; станеть, оретъ во всю глотку направо и налѣво, кулакомъ грозить:—«Я тебѣ докажу, такія, сякая!», да еще и эдакимъ манеромъ (онъ показалъ, какимъ) не постыдится сдѣлать, ей-Богу! Чистая срамота! А я-то боюсь круто на нее налечь, потому я себя знаю: чуть у меня зашепчетъ сердце зломъ, такъ ужъ я не останюлюсь. Вотъ я и помалчивалъ, да кое-какъ урезонивалъ, а она все во вкусъ входить!—«Подлячки, такія, сякія... я имъ пропишу правду!» Догадай меня нелегкая, и начиня я усовѣщевать ее такимъ родомъ: «что за охота молъ тебѣ, Авдотья, со всякой сволочью возжаться?.. Ну, чего ты къ Марьѣ полѣзала? Чего тебѣ у Петра надо? Зачѣмъ тебѣ про любовницу старшины знать? Вѣдь это, говорю, *отъ какіе люди*—они тебя съдѣлаютъ»,—да и распиши ихъ по своему (а я отъ нихъ вѣдь предовольно потерпѣлъ). Думаю, попритихнетъ, опасется на грѣхъ наскочить... А она эти мои слова возьми да и разнеси по домамъ:—«Мой, говоритъ, Михайло такъ и такъ васъ почитаетъ! Ты, говоритъ, воръ, а ты душегубъ». И отпрапортовала! Такъ такой мути намутила, и зги-то не видно стало. Все село перекѣсилось, точно тѣсто въ квашнѣ. Гляжу, и ко мнѣ ужъ идутъ: «Ты что-жъ, Михайло, про меня сказываешь? Да я тебя, острожного мошенника...» Приду въ лавку—«Нѣтъ тебѣ кредиту, пошелъ вонъ! Про мою жену твоя Авдотья...» Смотрю, старшина зоветъ:—«Ты какъ же, мошенникъ, про меня смѣешь такія слова разсуждать?» Да такую кашу заварила, еле-еле я виномъ судей отпоялъ, а то бы меня, раба Божьяго, и выдрали бы да изъ деревни бы вонъ выгнали... Вотъ вѣдь чего намутила!

Вздохнулъ Михайло и взгрустнулось ему.

—Вотъ и второе дѣйствіе кончилось у насъ съ Авдотьей, и кончилось не по хорошему. Какъ пришелъ я домой то съ волостного пойма, да какъ вспомнилъ, до чего меня глухой бабій языкъ довелъ, сколько я денегъ извелъ изъ-за бабьихъ сплетенъ, да сколько я поклоновъ сдѣлалъ нестоющимъ людямъ—взяло меня зло! А на грѣхъ и мнѣ

пришлось съ мірскими пьяницами и водки, и пива хлебнуть, вотъ я съ пьяну-то и зарычи:—«Ну, говорю, Авдотья, ежели ты не перестанешь языкомъ звонить, такъ я тебя—вотъ! (Михайло погрозила кулакомъ.) Распибу, говорю, въ мелкія части!» Она было мнѣ:—«Что-жъ? Я вправду говорила...» А я-то съ пьяну хватъ ее за это мѣсто подъ горломъ:—«Я молъ тебѣ покажу правду! только пикни!» Да маленько ее трянуль впередъ, назадъ... Ничего она мнѣ не отвѣтила, а только грубая сдѣлалась сразу, и глаза у нея стали грубые; взглянеть—точно обухомъ ударить.—«Кабы, говоритъ, у меня ребеночъ былъ, такъ я бы и на тебя-то, дурака, не глядѣла, не то что по людямъ ходить!» Только и сказала, а по голосу мнѣ слышно, что опротивѣла я ей. Да и мнѣ-то стало не складно, потому ребенка дѣйствительно не оказывалось... вотъ съ этого разу и стало между нами студено... Бывало, стараешься взять недалняго сѣдока, который по-близости, чтобы отъ дому не далеко было, ну, а тутъ что-то будто и не охота стало дома-то сидѣть... Иной разъ сидишь въ трактирѣ, пиво пьешь, а домой не тянетъ... и даже сталъ брать самые дальніе концы, верстъ за сто, за полтораста, по недѣлямъ дома не бывалъ... А Авдотья между тѣмъ думала, думала, да и надумала новую заботу—ревновать! Воротишься откуда-нибудь изъ дальней поѣздки, ничего не скажешь, а поглядить, точно топоромъ ударить... Гляжу-погляжу, разъ прибѣжала въ трактиръ, оглядываетъ, осматриваетъ:—«Ты чего, Авдотья, тутъ? Зачѣмъ?»—«Я, говоритъ, знаю зачѣмъ». А у насъ въ трактирѣ, на станціи, всякаго сброду довольно, и мужчинъ, и бабъ.—«Тебѣ любо, говоритъ, тутъ съ дѣвками-то бражничать?» И главное то досада, что правды-то нисколько нѣтъ, а злѣ въ ней по этой части съ каждымъ днемъ больше дѣлается. А ужъ коли въ бабѣ неправда противъ тебя, да еще зло бѣшеное, такъ тутъ и мужикъ начинаетъ думать по-звѣрному. Стало такъ, что ни шагу ступить, ни слова сказать ежели съ бабой—сію минуту Авдотья тутъ, караулить и злыми глазами смотреть. Ходить за мной съ своими глазами, точно съ заряженнымъ ружьемъ, а меня всего такъ и рветъ за сердце отъ этого. Докараулилась до того, что вышелъ я изъ всѣхъ границы. Привезъ я на хуторъ какъ-то со станціи купчиху одну съ дѣвочкой, вдова... Купила она хуторишко, верстъ десять отсюда—«буду, говоритъ, вѣкъ доживать!» Хорошая женщина. Знакомыхъ нѣтъ, вотъ она у меня то то спроситъ, то другое; я, что знаю, скажу; «сѣзди-ка туда-то» — сѣздишь; «привези то-то» — поѣду. привезу. И стали мы не концами считать, а такъ: «за все». И хорошо платить, добрая. Иной разъ скажетъ: «Чѣмъ тебѣ домой ѣхать, да опять завтра пріѣзжать, ночуй въ кухнѣ», ну, и ночуешь. А на утро уѣдемъ съ ней въ лѣсъ, тесъ или что прочее покупать, да такъ иной разъ день шесть—хорошая женщина! А мнѣ кого ни возить, сами знаете.—«Поди, Михайло, въ кухню, попей чайку», скажетъ; ну, сидишь и пьешь. А чтобы худого — ни Боже мой!

Вотъ разъ спужу такъ-то, пью чай въ кухнѣ; глядь, моя Авдотья на дровняхъ, въ дипломатѣ подлетѣла и прямо въ домъ къ купчихѣ. Минуты не прошло, смотрю, содомъ въ домѣ начался. И Авдотья визжитъ, и купчиха. Слышу: «Любовники! любовники!...» Не успѣлъ опомниться, а Авдотья и купчиха, обѣ какъ ястреба, въ кухню влетѣли. Купчиха-то тоже не въ себѣ:—«Какъ такъ? какъ она смѣетъ? чтобы я...» Тутъ я понялъ, рвануло меня, бросилъ я стаканъ съ чаемъ, да прямо въ Авдотью... Сгрѣбъ ее, себя не помню, да какъ былъ въ фуфайкѣ, такъ и выскочилъ, да съ Авдотьею-то на тѣхъ дровняхъ безъ шапки, да дулъ ее, дулъ безъ памяти всю дорогу, ужъ и не помню, что я съ ней дѣлалъ... только большой скандалъ вышелъ, шибко мы осрамлились, а Авдотья и совсѣмъ слегла.. Жаль мнѣ ее стало; сталъ я ее улаживать—нѣтъ! Молчитъ, ни слова не говоритъ! И вижу я, что съ каждымъ часомъ отходитъ она отъ меня дальше и дальше, словно льдина оттаяла отъ берега и поплыла... Отмякъ ледокъ отъ берега, тронулся—чуть глазомъ прищипишь, а потомъ понесло его стрѣлой... Такъ и съ Авдотьею стало. Откачнулась она отъ меня, остыла и не успѣлъ я оглянуться, опомниться, нѣту моей Авдотьи!... Чужая она мнѣ стала, совсѣмъ незнакомая, будто мы и другъ дружки-то не встрѣчали... Зашла къ ней безъ меня прохожая богомолка, побормотала ей про святыхъ мѣста и сразу втянула въ богомолье... Я вѣдь по словечку обо всѣхъ Авдотьиныхъ дѣлахъ вамъ сказываю, а вѣдь ежели бы обо всѣхъ то ея поступкахъ и моихъ мученьяхъ говорить, такъ вѣдь это въ годъ не расскажешь. Захватило ее за душу богомоленіе, святость, и потянуло ее вонъ изъ дому въ пустыни, въ лѣса дремучіе... Какъ чуть весна началась, только и видѣлъ я Авдотью... Палочки, котомочки съ зими готовы, товарокъ ждать не дождется, и никакими силами не удержишь!... Одинъ я въ избѣ-то, пусто, холодно, ни привѣта, ни отвѣта. Просто хотъ руки на себя наложить!.. Еле-еле лѣто кое-какъ пробьешься, и ужъ только въ глухую осень, ужъ къ снѣгу и Михайлову дню дождешься Авдотьи. Да и то совсѣмъ чужая! Нѣтъ того хозяйскаго неугомону, какъ сначала: топлена печь, не топлена—ей все равно; только бы зиму пережить, а потомъ и опять ее нѣту! И эдакъ года два она подрядъ меня томила; исхудала, отошала, оборвалась вся; тоска въ избѣ-то, сокрушеніе одно...—«Уйду, говоритъ, Михайло, совсѣмъ отъ тебя, на подвигъ. Прости меня Христа ради!» А у меня у самого глаза слезами заливаются. На третій годъ, думалъ, совсѣмъ пропала, ужъ на саняхъ стали ѣздить—нѣтъ Авдотьи! Все сердце мое изорвалось... потому хорошая баба, одно слово—сокровище! Не то, чтобы набормотать, да дѣла не сдѣлать... Ужъ возьмется за что—такъ огонь! ужъ дойдетъ до послѣдняго предѣла... Думаю: «пропала моя Авдотья, въ самомъ дѣлѣ въ монашки ушла!» Только ужъ подъ самый Николаевъ день привозять ее: больненька! Всей продудло ее, дождемъ промочило, сгорбилось, согнуло, а кашель такъ и реветъ въ груди...

А я ужъ и не помню себя отъ радости! Хоть такую-то молъ дай сюда!.. Свалилась бѣдная, всю зиму промаялась, смерти ждала, да спасибо докторъ добрый у насъ человѣкъ, очень за ней глядѣлъ, каждую недѣлю навѣщалъ, лекарства давалъ — выправилъ-таки ее къ веснѣ... Стала моя Авдотья по избѣ ходить, и все на старое! — «Вотъ придетъ весна, уйду на богомолье!.. Въ Ерусалимъ поплыву...» — «Ну, думаю, ладно, попробуй!» и рѣшилъ такъ, что ужъ ни за какіе милліоны ее не пушу; стосковался я, измучился... А замѣсто того, случилось такое, что ни мнѣ, ни Авдотѣ и во снѣ не снилось. Опять эта самая оттоманская порта чудить начала. Сидѣла, сидѣла смирно, да и стала народъ рѣзать безъ всякаго снисхожденія. Стала рѣзать, а ее стали бить за это. Началась война. Вотъ въ это самое время, какъ Авдотью потянуло вонъ изъ дому, хватъ-похватъ, вступаетъ къ намъ полкъ. Авдотья рвется уйтти, хрипитъ на меня, что я ее силомъ не пускаю, а солдатъ Яшка красная-рубашка, постоялецъ, сидитъ съ трубочкой на крыльцѣ, на гармоніи жалостныя пѣсни играетъ... Такія жалобныя фігуры выводить и голосомъ нѣжными пѣсни жалобныя поетъ. А дѣтина здоровый, песь бы его взялъ, красивый, собака, удалой, и на гармоніи мастеръ играть; гармонія складная, «тальянка» называется, четырехъ-угольная. Только тронетъ бывало гармонію-то, а Авдотья ужъ и вздыхаетъ: — «Жалко мнѣ его... убьетъ бѣднаго!» Ну, какъ она его разокъ пожалѣла, вы ужъ и сами можете понимать, что дальше... Сердце у нея горячее, за что уцѣпится, такъ ужъ не какъ-нибудь... Недѣли не прошло, пріѣзжаю изъ Тифина, сидятъ милые дружки, водку пьютъ, жалобныя пѣсни поютъ, на тальянкѣ играютъ... Ну, тутъ ужъ мнѣ и рассказывать-то не охота... Не то что рассказывать, а страшно даже подумать. Озвѣрѣлъ я совсѣмъ, а ужъ Авдотья... ну, не дай Богъ никому этого! Все разорвалось, все пошло прахомъ, все пропилось, перералось, перепарались.. Срамоты что было — во вѣкъ этого не забудешь! Устрашился я какъ-то однажды своихъ злодѣйствъ, пошелъ къ солдату: — «Уйди, говорю, добромъ; возьми, что хочь, только оставь!» — «Давай сорокъ цѣлковыхъ, оставляю твою бабу, а коли сама пріѣхаетъ, такъ въ шею накладу. А не дашь сорокъ серебряныхъ, ей-ей сведу бабу!» Отдалъ, продалъ послѣднее. Тутъ Авдотью колотить начали съ двухъ сторонъ: и солдаты «учать», и я изъ предѣловъ вышелъ. Не знаю! Нѣтъ! И что такое было, и какъ рассказать — нѣтъ, не приведи Богъ! Четыре мѣсяца эдакъ-то тиранились, и чѣмъ бы окончилось это дѣло — не знаю, только не по-хорошему бы окончилось, это ужъ вѣрно! да Господь насъ обоихъ спасъ отъ грѣха!.. Лаемъ мы какъ-то съ Авдотьей въ холодной избѣ, безъ огня: она съ кровати рычитъ, я съ печи огрызаюсь, и вдругъ незваная, непрошенная, входитъ калашница Артамоновна... Перемеръ весь ея родъ, такъ она на большой дорогѣ около своей избушки калачами торговала... Помолилась Богу, отдохнула и говоритъ: — «Была я у всенощной, Богу молилась, и всю-то

службу, сама не знаю отчего, только про васъ, горемычныхъ, и думу думала. Вложилъ, говорить, самъ Господь должно быть эти думы въ меня. И жалость меня къ вамъ взыла. Шепчетъ вотъ кто-то на ухо: «Вызволи Михайлу, вызволи Авдотью! Скоро твой конецъ, помоги!» Меня даже слеза ударила отъ этихъ словъ, а Авдотья такъ сразу коровой заревѣла. И говорить мнѣ Артамоновна: — «Глупый ты, безбожный и безразсудный балбесъ! До чего ты довелъ твою жену и до чего себя самого произвелъ? Не дуракъ ли ты: хотѣлъ прожить съ женой весь вѣкъ за самоваромъ; думалъ ты, дуракъ, что будетъ она тебѣ благодарна, ежели ей только чай съ сахаромъ пить, а никакого безпокойства не имѣть? куда-жъ она силу-то свою дѣнетъ, подумалъ ли ты? Вѣдь у ней, у жены-то твоей, на четырехъ бабъ силы-то хватить. а ты думаешь чаемъ ее отпнить? Вѣдь твоей Авдотѣ цѣны нѣтъ, вотъ она съ солдатомъ связалась — такъ вѣдь на смерть готова; въ богомолье ударились — прямо на небо норовить, не какъ-нибудь; бабъ на чистую воду вывела — такъ вѣдь ея голосъ-то за пять верстъ слышно. И этакую-то золотую бабу ты, балбесъ, удумалъ на всю жизнь оставить безъ затрудненія? Почему же ты не дѣлаешь ей въ жизни затрудненія? Вѣдь она всего хочетъ, понимаешь ли ты? Ей всего нужно... А ты самоваромъ хочешь отбояриться? Иди, глупый человѣкъ, въ волость, созови сходъ, поставь угощеніе, да въ ножки мужикамъ поклонись, проси земли, да оба съ Авдотьей впрягайтесь въ одинъ хомутъ — да чтобы спина трескала — вотъ и окончаніе будетъ вашей безбожной жизни! Всякій человѣкъ хочетъ всего, ну, богатый и укупить все: такъ ли, сякъ ли, съумѣетъ силу свою размотать и душу пріютить, а вы-то, мужичье-то, что задумали? Куда вамъ окромя хомута? На такую бабу-то, какъ Авдотья, по настоящему надо-бы какую заботу-то навалить, чтобы она не мудрила? Ей мало цѣлаго стала коровъ, да овецъ ежели двѣсти, такъ и то она каждой ния дастъ и характеръ узнаетъ, да куръ тысячу, и то она запомнитъ объ каждой, что которая курица думаетъ, да дѣтей ей нужно полдюжины, да чего тебѣ угодно навали на зкую силу, такъ ей только-только въ самый разъ почувствовать, что она жива, на свѣтѣ живетъ, а не въ могилѣ зарыта. А ты, болванъ, поставилъ передъ ней самоваръ, да и «живи въ свое удовольствіе!». А ты-то, говоритъ Авдотья, балалайка безструнная, чего думала? Ты бы хоть мужу на портянки холста наткала, такъ и то бы тебѣ потруднѣй было, повеселѣй! Ахъ вы, глупые, безсовѣстные! Задумали безъ крестьянскаго хомута вѣкъ свѣковать!» То-есть ревля ревѣли мы отъ этихъ словъ оба, и Авдотья, и я... И дай ей Богъ! Вотъ съ этого-то дня мы съ Авдотьей и опять оживать стали. Артамоновна-то не то что на словахъ, а и дѣломъ помогла... Сто рублей серебромъ вынула кровныхъ денегъ: «мнѣ, говорить, все равно помирать надо; на что мнѣ деньги? Лучше вы начинайте жить съизнова!» И стала она намъ замѣсто матери. Придетъ, журить... Усадила-таки Авдотью за станъ. Усѣлась, растопырила локти,

какъ калегвардъ на конѣ, да какъ застучалъ челнокъ, такъ у нея, у растрепы, и засіяло распарпанное-то лицо!.. Какимъ родомъ опять я въ крестьянство вошелъ, какъ всему покорился, какъ съ Авдотьей въ одиѣхъ оглобляхъ пошелъ—этого ужъ не стану рассказывать. А точно, затрепали наши спинушки въ хомутѣ то!.. У Авдотьи на жиниѣ въ первый-то разъ спина отъ солнца пузырямъ вспухла, тѣло-то непривычное. А ничего!.. Барыша никакого нѣту, и достатка нѣту, ничего нѣту такого, чтобы сказать, «изъ-за чего бьемся», а что жить — точно, *жить* стали, стали словно бы не чужіе на бѣломъ свѣтѣ! И что труднѣй, то Авдотья горячѣй. Мало вѣдь и этого ей стало. «Ахъ, говоритъ, ребенка бы мнѣ!» — «Да у тебя и такъ моль не мало заботы». — «Нѣтъ, говоритъ, у меня сердце тоскуетъ; я-то сама въ хлопотахъ, а сердцу-то нѣту заботы». И тутъ Артамоновна поняла: «Вѣрно, говоритъ, ты, Авдотья, говоришь: надобно, чтобы и сердцу было затрудненіе, и тогда будетъ легче!» Подумали и такъ рѣшили взять на вѣчныя времена чужого ребенка. И что хлопотъ было—Боже мой! Что слезъ-то!.. Отдалъ было одинъ вдовый мужикъ ребенка, мальчика, и контрактъ сдѣлалъ, «чтобы не касаться, а въ противномъ случаѣ долженъ онъ отдать Авдотѣ тысячу рублей». Въ пьяномъ-то видѣ мужикъ все это подписалъ и пять рублей получилъ, ребенка отдалъ; а черезъ мѣсяцъ пришелъ тоже пьяный, да и унесъ его безъ всякихъ разговоровъ. «Я, говоритъ, женился!» А Авдотья ужъ такъ къ нему привязалась, больше, чѣмъ къ родному! Что слезъ-то было! Потомъ ѣздили по тѣмъ-то тракту, дѣвочку отдавала какая-то курлянка. Ну, не понравилась дѣвочка-то Авдотѣ. Тогда ужъ съ Артамоновной ударились въ Петербургъ въ воспитательный домъ, выбрали тамъ мальчонку въ полное свое удовольствіе. Перебрали, говорятъ, штукъ двѣсти, перепробовали, пересчитали. Артамоновна-то рассказываетъ, какъ очутилась Авдотья въ этой кучѣ ребятъ, такъ у ней глаза-то и разгорѣлись. Дать ей волю, такъ она бы джигу привезла. И тотъ хорошъ, и этотъ хорошъ, да вотъ ушки велики, а у этого ручки коротки. Наконецъ ужъ выбрали черномазаго мальчишку — растеть! И то мало! Дѣвочку, говорятъ, хочется. Вотъ у насъ теперь и вышла запряжка крестьянская, почитай, въ полномъ видѣ: Артамоновна замѣсто матери, мальчонка замѣсто сына, а мы съ Авдотьей будто отецъ ему и мать. Ну, кое-какъ, за работой, да за крестьянствомъ и живемъ поналежку. Такъ вотъ отчего Авдотья-то мудрить перестала!..

III.

Скоро мнѣ пришлось убѣдиться, что не одинъ Михайло съ Авдотьей перестали мудрить. Перестали мудрить и «хорошіе господа». Убѣдили меня въ этомъ два дня, проведенные въ той самой усадьбѣ, гдѣ когда-то мудрили мы всѣ. Повидимому все то же: и лѣсъ, и усадьба, и люди, которые въ ней

живутъ, но того радостнаго тона жизни, который когда-то проникалъ во всевозможныя отношенія «хорошихъ господъ» съ «хорошими мужиками», нѣтъ и въ поминѣ. И не враждебностью замѣнился онъ; замѣнился онъ отчужденностью, держащею мысль на сухихъ мелочахъ настоящаго дня, ничего никому не сулящаго, не имѣющаго никакихъ перспективъ.

Всѣ «перестали» — и Михайло, и Авдотья, и «хорошіе господа». И это слово такъ въѣлось въ мою мысль, что я, отправляясь съ Михайлой въ обратный путь и находясь подъ впечатлѣніемъ этого, во всемъ видамомъ звучащаго слова, не могъ не спросить его:

— Ну, а мужики, Михайло, какъ? Перестали?

— Мужики-то? И-и!.. Такъ «перестали», что лучше требовать нельзя! Намедни отвалили господину Чибисову двадцать восемь тысячъ рубликовъ изъ крестьянскаго банка! Стало быть ужъ почувствовались! А вѣдь какъ мудрили-то!

— То-есть какъ-же?

— Да какъ же? Какъ вышло освобожденіе, такъ господинъ-то Чибисовъ въ скорости самъ имъ эту землю отдавалъ — «по чѣмъ ни возьми, да возьми». Не брали! Куда! Дядя Сафронъ говоритъ: «Чего ее укупать-то? Она и такъ должна отойти. Потому, что земля, что вода, что неба — все Божье. Отойдетъ». Вотъ тебѣ и отошло! неба!

Михайло даже засмѣялся.

— Въ ту пору учитель тутъ у насъ былъ молодой. Самъ Чибисовъ его привезъ школу учредить. Такъ этотъ учитель-то, бывало, какъ умолялъ мужиковъ-то: «Купите, ребята! Онъ теперь съ актеркой связался, ему деньги нужны, покупайте! Поздно будетъ! А то вѣдь въ банкъ заложить, не достанется вамъ!» Такъ его, этого учителя-то, за эти слова какъ поняли! Когда стали разыскивать, нѣтъ ли какихъ умышленниковъ, злодѣевъ, на перваго на него указали: «вотъ кто злодѣй-то!». Ну, тотъ и пропалъ куда-то.

— Да за что-жъ злодѣемъ-то его сочли?

— На зло подушалъ, вишь!

— Да какое же зло — купить землю?

— Вотъ въ этомъ-то и зло-то! За это въ Сибирь должны всѣ пойти, ежели землю-то купить — вотъ какія были мнѣнія! А онъ, стало быть, подушаетъ ко грѣху, погубить хочетъ. Учитель-то говоритъ: «Баринъ, говорить, по рублю, по два отдастъ десятину-то, берите!» А нашъ братъ думаетъ: «Нѣтъ, не обманешь! Царь насъ высвободилъ, а вы опять хотите насъ залучить? Нѣтъ, шалишь! Какъ же! Опять обиваться помѣщику? Это, значить, царя не слушать... Все равно, если бы меня изъ тюрьмы выпустили, а я бы не подорожилъ милостью, да опять бы грѣхъ сдѣлалъ — за это шибко наказываютъ!» Вотъ тогда и думали: «не соблазняйся! Не дѣлай бумаги! Пускай его самъ пашетъ землю! Самому ему нечего дѣлать, стало быть ее отберутъ и такъ...» И какъ сталъ этотъ господинъ Чибисовъ деньги-то мотать, то-то было намъ любо, дуракамъ! Изъ города то кабатчикъ пріѣдетъ, то лавочникъ — не слушаемся, какъ они про барина рассказываютъ: «Тутъ, говорятъ,

куралесить, съ актерами на тройкахъ, шампанскимъ собакъ поить...» А намъ-то и любо: «не работаетъ, а кутить, стало быть отберуть отъ него!» Пущай, пущай скорѣй проснитъ деньжонки-то! Слышимъ—«проснитъ!».. Слава тебѣ, Господи! Скоро ли отбирать прїѣдутъ? Прошелъ слухъ, что къ нянѣ къ своей крѣпостной прїѣзжалъ, деньги у нея занялъ. «Ну, думаю, конецъ! Видно, послѣдки обираетъ! Анъ вотъ не по нашему вышло! Прїѣхали мужичонки изъ банку, показываютъ бумаги, а такъ *за все заплачено*: и за шампанское, и за актеровъ, и за тройки—за все мужи-

чишки отдали. И въ банкъ отдали, и закладчикамъ, и всѣ долгишки заплатили, всѣ недоимки, да еще въ два раза противъ всего пропятаго надбавили господину-то Чибисову! Вотъ тебѣ и «неба», «земля», «вода», «по-Вожь»... Прїѣхали—тише воды, ниже травы.. А ужъ чего намудрили, пока въ три-дорога пришлось расплачиваться!.. Нѣтъ, теперь куда ужъ мудрить! Перестали!

Такимъ образомъ, возвратившись въ столицу послѣ непродолжительной отлучки въ деревню, я привезъ въ себѣ твердое убѣжденіе въ томъ, что вообще на Руси мудрить перестали.

О Ч Е Р К И.

I. Б у р ж у й.

I.

Было шесть часовъ вечера—время идти пить полстакана знаменитаго № 17 Есентуковъ съ полстаканомъ теплаго молока. Дней двадцать аккуратнѣйшаго исполненія предписаній доктора приучили уже меня къ ощущенію нѣкотораго страха, какъ только стрѣлка часовъ начинала приближаться къ извѣстной; указанной докторомъ, точкѣ на циферблатѣ. «Шесть часовъ утра... шесть часовъ вечера...», слѣдовательно «нужно торопиться», «спѣшить», «бѣжать», чтобы «не опоздать». «Полстакана нумера семнадцатаго и полстакана молока...», «полстакана молока и стаканъ нумера шестого»—ничуть не менѣе роковыхъ часовъ вторглись въ мое сознаніе, какъ нѣчто въ высшей степени значительное, хотъ и неопредѣлимое, и все это виѣсть, то есть и «шесть часовъ», и «полстакана» мало-по-малу, по мѣрѣ ежедневной практики, приняло размѣры дѣла первѣйшей важности, чего-то неотвратимаго, неумолимаго и не подлежащаго ни малѣйшему снисхожденію, а тѣмъ менѣе какому-либо пониманію.

«Съ испугомъ» узнавъ, что «уже шесть часовъ, что необходимо спѣшить, что тамъ ждутъ неумолимые «полстакана и полстакана», которыхъ я теперь трепеталъ, какъ трепеталъ въ дѣтствѣ учителя нѣмецкаго языка, который, ни слова не понимая по-русски, былъ неумолимъ къ тѣмъ, кто ни слова не понималъ по-нѣмецки, я, «въ торопяхъ и суетѣ», забывая то надѣть галстухъ, то, надѣвая куртку, не надѣвалъ жилета и т. д., елико возможно спѣшилъ выскочить изъ моего номера «въ меблированныхъ комнатахъ», чтобы «бѣжать», чтобы оправдать довѣріе ко мнѣ строгаго «полстакана» и не оскорбить этихъ «шесть часовъ», которые, какъ я уже привыкъ думать, существуютъ исключительно для меня и поправленія моего здоровья, и что я поступлю плохо, если

пренебрегу этой стрѣлкой, нарочно для меня остановившейся на «шести», ожидающей меня, и притомъ ожидающей исключительно для моей пользы.

Въ большихъ попыткахъ наконецъ-таки выскочилъ я изъ номера и по обыкновенію не пошелъ, какъ ходятъ люди, а уже побѣжалъ по корридору къ крыльцу, но вдругъ на этомъ самомъ крыльцѣ, съ котораго мнѣ слѣдовало-бы сбѣжать такъ же проворно и торопливо, какъ я дѣлалъ это до сихъ поръ, вдругъ я какъ-то ослабъ, разнякъ, какъ-то вдругъ совершенно потерялъ потребность быть въ попыткахъ, бѣжать, какъ-то вдругъ почувствовалъ, что «не пойду» овладѣло мною такъ же сильно и всемогуще, какъ до сихъ поръ всемогуще владѣло сознаніе необычайной важности «полстакана». Я вдругъ увидѣлъ, что все это до такой степени несказанно уже надобно мнѣ, насучило и уже сдѣлалось нестерпимымъ, что я какъ-бы прозрѣлъ, одумался, очувствовался и съ величайшимъ удовольствіемъ почувствовалъ, что теперь я уже *не пойду*, ни за что не пойду, что не боюсь я ни шести часовъ, ни семнадцатаго нумера, ни шестого нумера не боюсь, и чортъ съ ними, съ этими «дурачками» полстаканами!

Подъ сильнѣйшимъ впечатлѣніемъ этихъ неожиданныхъ мыслей и желаній я немедленно почувствовалъ потребность полнѣйшей свободы, потребность надѣть туфли, снять съ себя все, что я подъ страхомъ «полстакана» напялил на себя, не взирая на изнуряющую жару дня, пойти на крылечко, которое выходило на засаженный деревьями дворъ, сѣсть тамъ на плетеный стулъ и сидѣть, наслаждаясь вечеромъ и единственнымъ, охватывавшимъ всего меня сознаніемъ полнѣйшаго освобожденія отъ *всего этого*. Но когда я все это выполнилъ съ лихорадочной быстротой человека, выпущеннаго изъ тюрьмы на свободу, когда я безпечнымъ образомъ, въ туфляхъ и легкой парусинной блузѣ, утѣлся на плетеномъ стулѣ, радостно чувствуя, что и никого «изъ нихъ» не

боюсь и могу безгранично наслаждаться приближающимся вечеромъ, во мнѣ такъ же неожиданно, какъ и жажда свободы, пробудилась самая настоящая жажда «поговорить хоть съ кѣмъ-нибудь, услышать какое-нибудь живое словечко... о чемъ-нибудь!.. Буквально о чемъ-нибудь, но лишь бы оно было живое...» И я почему-то понялъ, что я не только глупо, но даже просто подло поступалъ, что ни разу во все время пребывания въ этихъ меблированныхъ комнатахъ не поговорилъ вотъ съ этимъ старичкомъ, крестьяниномъ-каменщикомъ, живущимъ со мной въ одномъ дворѣ. Все время я видѣлъ его въ углу двора «тюкающимъ» какой-то желѣзной кривулькой по камню, высѣкающимъ изъ него надгробный памятникъ съ неуклюжимъ крестомъ, видѣлъ его живые, ласковые глаза и не подошелъ, не поговорилъ, не отвелъ душу живымъ словомъ живого разговора, не подошелъ, боясь, что меня сардито дожидается какой-то сердитый «полстаканъ». Мало этого, цѣлая партія переселенцевъ, скрипя неназанными колесами и бочками телегъ, разбитыми дальнею дорогой, поздно ночью остановилась подъ самымъ моимъ окномъ на ночлегъ, простояла здѣсь и проговорила всю ночь, и я не выскочилъ къ нимъ, не поговорилъ съ ними, полагая, что мнѣ завтра предстоитъ серьезное дѣло — «вставать въ 6 часовъ и бѣжать...» Правда, проглотивъ полстакана, я тотчасъ же воротился домой съ цѣлью поговорить съ ними, но, когда воротился, партія переселенцевъ ушла. И все это я промѣнялъ на какіе-то «полстаканы съ полстаканами», тогда какъ тутъ-то, среди этихъ-то живыхъ людей, говорящихъ о живомъ дѣлѣ, и притомъ тѣми самыми словами, какими слѣдуетъ говорить — тутъ-то и есть исцѣленіе, лекарство для бездѣйствующаго духа, отъ котораго я полагалъ исцѣлиться какимъ-то недѣльнымъ полстаканомъ!

Конечно въ этой жадности услышать живое слово, «поговорить съ живымъ человѣкомъ» немалую роль играла и непривычная мнѣ изолированность такихъ учреждений, какъ тѣ, которыя называются «минеральными водами», — учреждений, собирающихъ извѣстную публику и обязывающихъ ее къ повиновенію извѣстному порядку. Труденько конечно обязательно два-три часа безъ всякаго толку плятаться изъ угла въ уголъ по палящей жарѣ, труденько не съѣсть вотъ этой вкусной-превкусной рыбы, которую на вашихъ глазахъ ѣстъ какой-то еще не бывшій у доктора счастливцевъ, и еще болѣе трудно ежедневно, по два раза въ день, подставлять свои нервы подъ беспорядочные удары музыкальных «попурри». въ которыхъ умирающая (ежедневно въ 5 часовъ утра и въ 6 час. вечера) Травіата виѣсто того, чтобы испустить послѣдній вздохъ, къ которому уже приближаются курлыкающіе, какъ индюшка, звуки кларнета, вдругъ восклицаетъ послѣ неожиданнаго удара въ барабанъ: «Ахъ, какъ я люблю военныхъ!» и, вслѣдъ за тѣмъ, также въ неожиданномъ мѣстѣ, начинаетъ путаться пьяными ногами пьянаго камаринскаго мужика, сопровождаемаго также полупьяными звуками какъ будто

полупьяныхъ смычковъ. Отъ всего этого конечно весьма легко одурѣть и все это можетъ привести въ самое ненормальное состояніе самые нормально настроенные нервы. Но не эти минеральные вздоры угнетали меня, когда я, освободившись отъ нихъ, ощутилъ потребность поговорить съ живымъ человѣкомъ. Эти вздоры даже и не припомнились мнѣ въ моментъ моего пробужденія, но зато припомнилось что-то дѣйствительно мертвенное, что-то, прямо сказать, мертвое, какъ трупъ, холодное, распухшее, безжизненное, дурно пахнущее и въ общей непривлекательной сложности своихъ свойствъ неосознано извивающееся тутъ, въ этомъ обществѣ минеральной группы, среди этихъ подстакановъ, семнадцатыхъ и шестыхъ нумеровъ, этихъ Травіатъ, умирающихъ по-камарински, вообще всего этого пустышняго и надоедливаго обихода. Вотъ именно это еще неясное для меня и ни въ какія опредѣленныя формы не вылившееся ощущеніе заставило меня съ такой страстной жаждой чувствовать свободу и искать удовольствій живой бесѣды. Теперь уже я ясно чувствовалъ, что не надоедливая и однообразная сѣтловока-лечебнаго заведенія такъ мнѣ опостылѣла и такъ мнѣ сдѣлалась ненавистна, а постыло и ненавистно вотъ это что-то мертвое, трупное, что меня мучило постоянно гораздо сильнѣе, чѣмъ мучилъ по-индюшечьи курлыкающій кларнетъ.

Никакъ не въ «обличеніе» современнаго русскаго общества и тѣмъ менѣе въ обличеніе этой группы этого общества, которая въ самомъ дѣлѣ лечилась нынѣшнимъ лѣтомъ на кавказскихъ водахъ, говорится все это. Не говоря о дѣйствительно тяжело-больныхъ людяхъ всѣхъ званій и состояній, не подлежащихъ никакому обличенію, не подлежащихъ обличенію рѣшительно никто въ отдѣльности, никто изъ образованныхъ, высокообразованныхъ или простыхъ, необразованныхъ людей, которые по тѣмъ или другимъ причинамъ сочли нужнымъ пріѣхать лечиться. Уже если что подлежитъ обличенію, такъ это именно та мертвенная черта въ нравственномъ настроеніи русскаго общества, которая вообще заставляла и образованныхъ, и высокообразованныхъ и вообще людей съ большими нравственными требованіями *поубивать* эти требованія до минимума, *погодить*, *повременить* съ ними совѣтаться, дать вамъ, образованному и высокообразованному человѣку, очень ясное пониманіе о томъ, что теперь не время для проявленія вашихъ высокообразованныхъ мыслей и связанныхъ съ этими мыслями цѣлей; что большія знанія и большія нравственныя и даже, вообще говоря, опрятныя чело-вѣческія отношенія можно и даже должно отложить до другого времени, что ихъ надобно держать до поры до времени про себя, что теперь не то время, что волей-неволей, а надобно переждать, пока кончится это давленіе мертвенной тяготы жизни, что наконецъ съ этой тягостной безжизненностью... жизни ничего не подѣлаешь, покуда она «сама собой» не окончитъ своего существованія естественной смертью.

Ощущая до полной ясности силу этого гнета и

степень отвращения, испытываемого не мною конечно однимъ, угнетающей, а главное, какъ бы обязательной для всѣхъ и вся узости и неизменности, не только въ общественныхъ, но опять-таки, главное, прямо въ личныхъ требованіяхъ, въ личной строгости къ самому себѣ, я однако долгое время упорно напрягалъ свое воображеніе, чтобы олицетворить сложность моихъ дурныхъ ощущеній въ какомъ-либо живомъ, видимомъ и осязаемомъ типѣ, найти виновника, распространяющаго въ живомъ людскомъ обществѣ запахъ холоднаго трупа. Кто-же это такой могъ быть, вотъ хоть бы среди всѣхъ этихъ разныхъ сортовъ людей, которые собирались сюда лечиться? Отъ кого, отъ какого типа, отъ какого образа человѣческаго съ полстаканомъ № 17 въ рукахъ несетъ этимъ мертвеннымъ запахомъ, заставляющимъ одновременно сознавать, что «иначе и не можетъ быть», и что въ то же время чувствительность вашего носа оскорбляется не во-время и не у мѣста?

Не знаю, правильно ли было теченіе моихъ мыслей въ весьма продолжительномъ и напряженномъ разысканіи «виноватаго», только въ концѣ-концовъ я, кажется, нашелъ «что-то», если не вполне достовѣрное, то во всякомъ случаѣ несомнѣнно приближающееся къ истинѣ. Сужу объ относительной достовѣрности моихъ соображеній потому многочисленному количеству современныхъ явленій, которыя вдругъ стали мнѣ понятны, когда я невольно остановился мыслью на этомъ «виноватомъ» и не могъ не почувствовать, что этотъ «виноватый» есть именно онъ, «новорожденный російскій буржуй», продуктъ, выросшій на банковыхъ дрожжахъ, на усовершенствованныхъ способахъ европейскаго кредита, такъ широко разросшагося на російской почвѣ въ послѣднія двадцать, двадцать-пять лѣтъ и призваннаго къ пользованію благами цивилизаціи массы людей, у которыхъ и потребностей-то въ этихъ благахъ не существовало.

II.

Слову «буржуй» я рѣшительно не придаю значенія, свойственнаго слову «буржуа» или «бюргеръ»; если же я и заимствую это слово изъ какой-то повѣсти Тургенева для опредѣленія того нелѣпаго явленія, о которомъ говорю, то именно потому, что явленіе нелѣпо, какъ и самое слово; есть въ этомъ явленіи, какъ и въ словѣ, нѣчто совершенно понятное, дѣйствительно буржуазное, дающее право слову «буржуй» походить на слово буржуа — именно низменность нравственныхъ побужденій, но есть вромѣ того и еще нѣчто, совершенно нелѣпое и притомъ «наше», родное, что заставляетъ исковеркать понятное слово «буржуа» въ непонятное и бессмысленное «буржуй», отдающее, какъ видите, чѣмъ-то нелѣпымъ и въ то же время чѣмъ-то «нашимъ», роднымъ.

Нашъ «буржуй» и европейскій «буржуа», имѣя повидимому нѣкоторое внѣшнее сходство, во внутренней своей сущности не имѣютъ почти ничего общаго. Помните! Возьмите вотъ хоть бы эту

толстую колбасу съ языкомъ и фисташками — одинъ изъ безчисленныхъ продуктовъ умственной дѣятельности подлинной европейской буржуазіи — и подумайте, какія усилія должна была сдѣлать колбасная мысль колбаснаго европейскаго мыслителя для того, чтобы первобытная форма колбасы (образчикомъ которой, я думаю, можно считать колбасу малороссійскую) достигла удивительнаго совершенства формъ колбасы современной? Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что колбасная мысль должна была, хоть и медленно, но непрерывно работать надъ усовершенствованіемъ малѣйшихъ деталей, изъ которыхъ наконецъ создались какъ современная колбаса, такъ и все колбасное дѣло во всѣхъ своихъ развѣтвленіяхъ и подробностяхъ. Не сразу создались начинки съ языкомъ и фисташками; не сразу создались начинки съ чеснокомъ и лукомъ; не сразу выработались кожа, облекающая колбасу, рази́ры — длина, толщина, не сразу выработался колбасный запахъ, потому что изученіе вкуса носовъ ничуть не легче изученія вкуса языковъ и ртовъ. А манера отрѣзывать колбасу, то грубо — для какойнибудь горничной, то нѣжно и кротко — для нѣжной и кроткой дамы, тонко и соблазнительно — для гвардейскаго офицера? А манера завернуть въ бумагу какую-нибудь чудовищную оглоблю съ чеснокомъ, завернуть «двумя пальчиками» и такъ изящно, какъ будто это не оглобля, а вѣнокъ для невесты? А подать къ самому носу покупателя окорокъ съ такимъ жестомъ, что у покупателя защемитъ сердце и что онъ, желая купить два фунта, почувствуетъ себя въ невозможности не сказать: «Заверните весь!... Нѣтъ, дайте еще... другой!» Сообразите, сочитите всѣ эти тонкости, всю эту неустанную, непрерывную работу колбасной мысли, и вы не можете не быть убѣжденными въ томъ, что личная жизнь европейскаго буржуа всегда была наполнена какою-нибудь идеей, что «личность», какъ и «идея», руководившая ею, росла, совершенствовалась и развивалась.

Но это еще не все. Почему фисташки попали въ свиное мясо? Потому, что Фридрихъ Великій любилъ во первыхъ фисташки и во вторыхъ — колбасу; но оба эти предмета существовали-бы и до сихъ поръ въ полнѣйшемъ отчужденіи другъ отъ друга, если бы колбасникъ Пфуль, тенденціознѣйшій поклонникъ монарха, пожираемый чувствомъ преданности и, не имѣя возможности выразить ее иначе, какъ въ колбасѣ, не напрягъ всей своей умственной дѣятельности на изобрѣтеніе комбинаціи пріятныхъ для великаго человѣка продуктовъ въ созданіи одного, новаго продукта, немолчаливаго для колбасника иначе, какъ въ формѣ колбасы. Пфуль достигаетъ своей цѣли конечно послѣ многихъ лѣтъ тяжкаго опыта, и такимъ образомъ его личная колбасная мысль не была исключительно личной, узко-эгоистической, но примыкала и къ общему ходу отечественной исторіи, соприкасалась съ жизнью великихъ дѣятелей страны, и Пфуль, а затѣмъ потомки Пфуля, говоря о фисташковой начинкѣ, могутъ говорить также и о Фридрихѣ

Великомъ, не выходя изъ узкаго круга своей буржуазной жизни и специальности.

Но и это еще не все. Пфуль вслѣдствіе извѣстныхъ историческихъ обстоятельствъ дошелъ до мысли водворить фисташку на свиной; но почему вотъ этотъ нынѣшній знаменитый Шнапсъ дѣлаетъ колбаски почти по первобытному способу, не заботясь объ изяществѣ формы и стараясь достигнуть только того, чтобы большая толстая колбаса продавалась по дешевой цѣнѣ? А потому, что Шнапсъ ищетъ популярности въ массахъ, въ пролетариатѣ, потому что онъ—соціалистъ, радикаль, и именно въ цѣляхъ общественной реформы создаетъ и начинку, и форму колбасъ такіа, какія соответствуютъ его убѣжденіямъ и могутъ способствовать осуществленію этихъ убѣжденій въ общественномъ дѣлѣ.

Сообразивъ все это, т. е., что взятый нами наудачу маленькій типикъ европейскаго буржуа не только такъ или иначе упрямается свою умственную дѣятельность, но что эта хотя бы и капельная умственная дѣятельность въ лицѣ Пфуля примыкаетъ даже къ отечественной исторіи прошлаго, а въ лицѣ Шнапса не чуждается фантазировать и о будущемъ, — зная и припоминая все это, читатель, падѣюсь, пойметъ, что Пфуль и Шнапсъ, потрудившись и для себя, и для прошлаго и хлопоча о будущемъ, имѣютъ полное право заканчивать свой день десятками двумя-тремя не совсѣмъ доброкачественныхъ сигаръ. Правда, противнымъ дымомъ этихъ сигаръ и сквернымъ запахомъ пивныхъ бочекъ пропала и прокопчилась вся вселенная во всѣхъ углахъ, но что Пфуль и Шнапсъ не «добрые буржуа», этого сказать невозможно.

Пьетъ, и не то что пьетъ, а говоря собственными словами нашего буржуа, жретъ онъ и пиво, и шампанское, и «душить водку», и квасомъ отъ всего этого поила отпивается, и потомъ опять жретъ, что попадется подъ руку на заставленномъ бутылками столѣ трактирнаго кабинета. И не до десяти часовъ, какъ Пфуль и Шнапсъ, сидитъ онъ за питейнымъ столомъ, а сидитъ безконечно, послѣ того, какъ трактирные лакеи измучаются почти до потери сознанія, когда развѣдутся по домамъ даже ночные извозчики; пьетъ, когда уже звонятъ къ завтраю, народъ идетъ на работу, да и окончивъ наконецъ это нескончаемое питье въ большомъ и шикарномъ ресторанѣ, ѣдетъ куда-то, ѣдетъ туда, гдѣ уже заперто, умоляетъ отворить, а когда не отворятъ, лѣзетъ въ извозничій трактиръ, проситъ сдѣлать пирогъ съ яйцами, требуетъ папирсъ въ три копѣйки десятокъ послѣ великолѣпныхъ сигаръ, которые остались въ номерѣ роскошнаго ресторана, воткнутыя въ ликеръ, въ шоколадъ, расплюснутыя о зеркальное стекло. Нашъ буржуа ни передъ чѣмъ не останавливается по части пользования продуктами цивилизаціи и куда какъ превосходитъ въ этомъ отношеніи скромное сосаніе пива и скверныхъ сигаръ, которыя позволяетъ себѣ европейскій буржуа, но европейскій буржуа имѣетъ право на пиво и сигару, а нашъ буржуа этого-то права и не имѣетъ.

Ни малѣйшей личной мысли, ни малѣйшаго личного участія въ приобрѣтеніи права пользоваться дарами цивилизаціи нашъ буржуа не истратилъ даже и на двѣ копѣйки серебромъ; никогда личная «выдумка», личная работа мысли, имѣвшая цѣлью хотя-бы только личное благосостояніе, не были свойственны ему въ разнѣдрахъ, даже болѣе ничтожныхъ сравнительно съ размѣрами умственной работы нѣмецкаго колбасника; никакого историческаго прошлаго, которое есть у колбасника, и никакого будущаго, о которомъ колбасникъ позволяетъ себѣ фантазировать, никогда не было у нашего буржуа и вѣроятно не будетъ. Онъ появился вдругъ, неожиданно, какъ неожиданно, точно съ неба свалился, появился невѣдомо откуда широчайшій кредитъ; банки промышленные, земельные, городскіе, общественные, концессіи и т. д. — все это въ огромнѣйшихъ размѣрахъ ввалилось въ общество и, какъ магнитъ, притягиваетъ одинаково и ключъ, и иглоку, и ножикъ, и перо, притянуло къ себѣ и купца, и чиновника, и помѣщика, и инженера, и офицера, и создало совершенно новое сословіе, стоящее вѣ всѣхъ опредѣленныхъ трудомъ или общественнымъ положеніемъ установившихся сословій—сословіе людей съ кучей денегъ въ рукахъ, съ кучей денегъ не заработанныхъ, не «нажитыхъ», не имѣвшихъ, въ огромномъ количествѣ случаевъ, даже плана истратить эти деньги. Какой-нибудь инженерикъ, инженерныя преданія котораго не простирались далѣе возможности приворовывать по зернышку шоссежную щебенку; какой-нибудь помѣщикъ, возлагавшій всѣ свои надежды единственно на троюродную тетку и ея скорую смерть; какой-нибудь купчишко, не возлагавшій ровно никакихъ надеждъ и полагавшій только, что онъ рожденъ на свѣтъ именно только для того, чтобы играть въ шашки около своей лавочки съ хомутами—сегодня, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, оказались заваленными чуть не по шею всевозможными кредитами, кучами денегъ, такими кучами, которыя не только устраняютъ мысли о щебенкѣ, тоску о долгодѣтій тетки или терпѣливое сидѣніе около лавки съ хомутами, но прямо становятся на высоту, съ которой и инженеръ, и помѣщикъ, и купецъ даже саміхъ-то себя, вчерашнихъ купцовъ, помѣщиковъ и инженеровъ, различить не могутъ, не могутъ узнать: «я ли, молъ, это — Ванька Хрюшкынъ?»

Умертвивъ такимъ образомъ всѣ капельныя тревоги купчишки, инженерика и изнывающего по умирающей теткѣ помѣщика, т. е., умертвивъ все ихъ прошлое, сдѣлавъ его совершенно нелицепымъ, събитымъ, глухимъ и вниманіемъ не стоящимъ (тогда какъ для европейскаго буржуа это прошлое его колбасной исторіи чрезвычайно дорого), необыкновенныя, неожиданныя деньги въ самый моментъ своего появленія умертвили въ новорожденномъ сословіи и всякія мысли о будущемъ. Чего-жъ думать и о чемъ? Стоитъ написать одну строчку въ Нью-Йоркѣ: «Пришлите мнѣ паровой лѣсопильный заводъ», или: «Пришлите мостъ въ двѣ версты», или: «Пришлите желѣзную дорогу» —

все сейчас и пришьют, и стоит только вбить гвозди въ дырки, сдѣланные въ требуемыхъ механизмахъ въ Англіи или Америкѣ, какъ, глядишь, и лѣсопильный заводъ уже дымитъ и стучитъ, и по мосту идетъ паровозъ. Что-жъ остается? Прошедшаго нѣтъ—оно глупо и, точно, не стоитъ вниманія; будущаго не нужно—оно «все готовое». Остается одно настоящее.

И вотъ, какъ нѣтъ квашины, завязанной старыми тряпками, подъ влияніемъ банковыхъ дрожжей и искусственнаго тепла, распространяемаго жадными животными стремленіями къ наживѣ, стало выпирать, раздирая старыя тряпки, пролѣзая во всѣ дырчавыя мѣста, пролѣзая вездѣ, гдѣ можно влѣзть, полѣзла эта вздутая, рыхлая, расплывчатая масса, тѣстообразное, безформенное сословіе; полѣзло оно и въ общественныя учрежденія, полѣзло оно и въ частную жизнь.

Въ общественныя учрежденія полѣзло оно по тому, что «настоящее», на которое обрекли это сословіе умерщвленное прошедшее и совершенно «готовое» будущее, обязывало его непремѣннымъ сохраненіемъ этого денежнаго торжества, и вотъ безформенное сословіе, думающее только о деньгахъ, вторглось и въ думу, всюду. Мостъ, водопроводъ и опять мостъ или мостовая—вотъ что уступили мѣсто въ общественныхъ учрежденіяхъ и разговорахъ «всему прочему». Мостъ; водопроводъ и т. д.—это вѣдь деньги, о нихъ можно и гадать до хрипоты, изъ-за нихъ можно и на выборахъ мутить и подкупать—словомъ, творить всякую гадость, потому-что «какъ же безъ денегъ-то?».

И въ частную жизнь влѣзаетъ это тѣстообразное сословіе, но ужъ не за деньгами, а за *деньгами* въ карманѣ, влѣзаетъ затѣмъ, чтобы жить, доставить «себѣ удовольствіе». Но вѣдь чтобы извлечь изъ человѣческихъ отношеній одни удовольствія, необходимо имѣть и нервы достаточно прихотливые, капризные—словомъ, достаточно культивированные для воспріятія наслажденій. А между тѣмъ наслѣдственность буржуинныхъ нервовъ въ какомъ угодно отношеніи совершенно ничтожна. Какая такая сила, воспріимчивость и прихотливость нервной системы могла развиться въ Ванькѣ Хрюшкѣ, если позади его, во многихъ поколѣніяхъ его предковъ, нервы только привыкали быть нечувствительными къ холоду лабаза, амбара, къ оплеухѣ самодурнаго барина и тумакамъ неумолимо-строгаго родителя? Какая такая нервная щепетильность, разборчивость въ тонкостяхъ изящнаго могли наслѣдственно передаваться нервамъ помѣщика, которые также въ цѣлыхъ поколѣніяхъ культивировались на отъѣзжествѣ полѣ, закалялись въ удовольствіи далеко не человѣческихъ мистикотовъ, не говоря о немзыкальности звуковъ кнута «на конюшнѣ»,—звуковъ, также не содѣйствовавшихъ разработкѣ и совершенству нервной организации? А ужъ про инженерика Пичугина, сына мелкаго чиновника, вышедшаго изъ духовнаго званія и уже съ дѣтства придавленнаго ужасомъ «многочисленнаго семейства», среди котораго пришлось

рости, для котораго пришлось учиться, чтобы потомъ при помощи щеченки вывести въ люди братьевъ и сестеръ, и говорить нечего. Только бы до щеченки-то добратся далъ бы Богъ!—вотъ и вся нервная наслѣдственность.

И вся-то эта новорожденная орда людей, мгновенно вознесенная на недостижимую высоту, въ миллионы разъ превышающую доступныя ей пониманію размѣры желаній, никогда не думавшая ни о чемъ «общественномъ», опустошенная нравственно въ отношеніи къ недавнему прошлому, опустошенная умственно въ отношеніи къ будущему, а въ настоящемъ поставленная исключительно въ самое благоприятнѣйшее положеніе—живи въ свое удовольствіе—увы, ничего не могла изобрѣсти ни по части широты размаха, ни по части прихотливости, ни тѣмъ менѣе по части изящества. Да! даже по части прихотливости—то ровнехонько ничего не могла изобрѣсти эта буржуинная орда. «Купитъ!»—вотъ что внесла она въ общество. Купитъ чужую жену, купитъ балетчицу (былъ случай, что одинъ петербургскій купецъ покупалъ полбалетчицы, такъ-какъ она была уже на половину куплена), купитъ начальство, купитъ выборщиковъ—словомъ, ничего, кромѣ *купитъ*. Буржуинная орда началась прямо съ конца: нѣмцу Шнапсу нужны были цѣлыя поколѣнія, чтобы *достигнуть* наконецъ благосостоянія и кружки пива, а нашъ буржуа сначала *достигъ* и слѣдовательно долженъ былъ прямо перейти къ попой, къ резултату, къ увѣнчанію зданія. И въ своихъ отношеніяхъ личныхъ онъ также требуетъ конца. Ухаживаетъ онъ за буржуинной дамой и ничего не можетъ выдумать, кромѣ попой. Повѣтъ ее и опиваетъ все, что кругомъ ея есть. Въ «густолиственной» аллеѣ ему нечего назначать ей свиданія. Съ глазу на глазъ ни буржуу, ни буржуинкѣ нечего сказать; она понимаетъ, чего ему нужно, а онъ ничего много и понимать не можетъ. Свиданіе назначается поэтому не въ отдаленномъ уголкѣ парка, не въ густолиственной аллеѣ, а тутъ, на самомъ юру, подъ самымъ турецкимъ барабаномъ. Пускай его бухаетъ, барабанъ-то этотъ, все на музыкѣ-то оно не такъ трудно языкъ ломать, занимать даму разговорами, все хотъ предлогъ есть помолчать, не утруждать себя, а въ время-то кое-какъ и протянется «до ужина». Ну, а ужъ тутъ начнется такое бормотанье, что и до свѣту ему не будетъ конца; а про что бормотали—никто потомъ изъ буржуинной компаніи и припомнить не въ состояніи. «До ужина» и вообще до той минуты, съ которой, благодаря купленному возбужденію, благодаря русской и иностранной сивухѣ всѣхъ видовъ и сортовъ, начинается развязность и расцветъ минуты, когда «все можно говорить и дѣлать» (деньги есть)—вотъ тотъ предѣлъ нервнаго томленія и нервной маяты, испытываемыхъ буржуемъ, по крайней необработанности нервной системы, во всѣхъ людскихъ отношеніяхъ: влюбленъ ли онъ, норовитъ ли спавать подрядецъ, норовитъ ли подкупить или замазать какую-нибудь гадость—только бы «до ужина», а тамъ ужъ не я, буржуин, оборудую, а

само собой оборудуется и упростиется до ничтожества всякое дѣло.

III.

— А пожалуй, что пора ужъ и ко двораѣ собираться—сказалъ мнѣ одинъ такой то буржуй, подсаживаясь ко мнѣ на садовую скамейку во время музыки.

Надобѣль онъ мнѣ давнымъ-давно, но нельзя же сказать ему: «Убирайся прочь!», иначе пришлось бы браниться цѣлые дни. Надо было говорить.

— Отчего такъ?

— Да чего тутъ больше-то? Брюхо, слава Богу, кажется, утвердилось, окрѣпло... Просолили его ловко—на всю зиму хватить, выдержать... Ну, а что же еще-то? Всего ужъ, кажется, отиѣдалъ... А третьяго дня даже и на Бермамутѣ ѣлъ...

— То-есть какъ «ѣлъ»?

— То-есть ѣздили на Бермамутѣ и тамъ ѣлъ. Обыкновенно. Ыль я съ дамочками и въ долинухъ, потому видъ великолѣпнѣе снизу вверхъ... Экскурсія называется. Ну, и въ ямахъ ѣлъ, и изъ ямы вверхъ глядѣлъ... Ыль и на превысочайшихъ горахъ и оттуда тоже глядѣлъ внизъ, въ яму—тоже экскурсія, съ шашлыкомъ конечно и все прочее.. еле-еле до постели доползъ... А третьяго дня какъ въѣхали съ бараниной прямо на небо... ей-Богу! Чего вы? Шестерикомъ взволкли насъ, компанію: пудовъ на тридцать на пять собралось съ дамочками-то. Вижу, возносятся насъ, пьяницъ, на самое небо! Прямо въ облако вкатили! И тутъ, признаться, мнѣ немножечко и жутковато стало: вѣдь небо! Вѣдь тоже, какъ бы то ни было, Бога-то боишься. Ловко ли, думаю, въ такихъ-то мѣстахъ пьянствовать? Ну, а потомъ, постепенно, кое-какъ, по рюмочкѣ, съ молитвой, дальше—больше... да такъ надрызгались на небесахъ-то, хоть бы тебѣ у Патрикѣева или въ «Эрмитажѣ». И не то, что бояться, а даже смѣхъ меня промчал: сижу съ костью, стало быть съ шашлыкомъ въ рукахъ, жру, а облако лѣзетъ ко мнѣ въ морду! Ну, думаю, шабашъ! Надрызгался даже и на небесахъ; теперича, думаю, пора и въ Москву... Тамъ пѣтъ ли чего новенькаго... А брюхо ловко просолили доктора! Молодцы, право, молодцы! Помните, какъ вы меня встрѣтили, такой ли я былъ?

А встрѣтилъ я это, съ позволенія сказать, буржуйное брюхо, на мое несчастье, совершенно случайно мѣсяца два тому назадъ.

Ѣхалъ я два мѣсяца тому назадъ на пароходѣ по одной южно-русской рѣкѣ, ѣхалъ просто такъ, посматривать народъ. О народѣ въ этомъ отрывкѣ мнѣ говорить не приходится, но я не могу умолчать, что нигдѣ во внутренней Россіи я не видалъ такъ много простыхъ людей, живущихъ или пытающихся жить сознательно, заинтересованныхъ нравственными вопросами пытающихся разрѣшить ихъ, какъ именно на югѣ Россіи: штундисты, менониты, молокане, баптисты—все это думаетъ и живетъ или пытается жить по своему; прибавьте къ этому особенности жизни колонистовъ нѣмецкихъ,

болгарскихъ, прибавьте къ этому тысячи паломниковъ, идущихъ въ Кіевъ, ѣдущихъ въ Іерусалимъ, великороссовъ, живущихъ въ чужихъ мѣстахъ, и нигдѣ, нигдѣ по всей Россіи вы не найдете такого края, гдѣ-бы народная душа выяснялась въ такой необыкновенной разносторонности и разнообразіи, какъ здѣсь. И нигдѣ въ то же время мѣстная пресса... Впрочемъ молчаніе, молчаніе! Объ этомъ когда-нибудь въ другой разъ, а теперь о знакомствѣ съ брюхомъ.

Брюхо это лежало въ каютѣ второго класса, лицомъ къ стѣнѣ и спиной къ публикѣ; публики впрочемъ было немного: кромѣ меня и брюха, были еще три еврея; одинъ, старый, пухлый и одѣтый съ головой въ какую-то мантию, угрюмо молился, уставившись въ уголъ и не обращая ни на кого и ни на что ни малѣйшаго вниманія; иногда онъ поворачивалъ голову и смотрѣлъ какими-то остановившимися, круглыми, страшно отчужденными отъ всего, что было кругомъ, глазами. Глаза эти отталкивали всякаго, на кого смотрѣли; въ нихъ было что-то не отталкивающее, но прямо пихающее васъ прочь отъ себя; онъ былъ мыслью очевидно не здѣсь, на землѣ, но я думаю, что и не на небѣ; съ неба онъ вѣроятно не смотрѣлъ бы такими холодными, круглыми, лягушечьими глазами.

Два другихъ еврея ѣли, сидя за столомъ, поставленнымъ вдоль каюты, какія-то сдобныя булочки и то, кажется, бормотали какія-то молитвы, то бормотали вѣроятно о дѣлахъ, и сорили своими булками по столу ужасно. Кончивъ ѣсть, одинъ изъ нихъ взялъ въ руку остатки булки, присоединивъ къ нимъ толстый шелковый шейный шарфъ, все это вѣстѣ сжалъ въ рукѣ и потащилъ въ карманъ, соря и по столу, и по полу, и по дивану, на которомъ они сидѣли.

Слуга принесъ мнѣ порцію жареныхъ карасей, и, дождавшись, пока столъ, устланный остатками сдобныхъ булокъ, былъ прибранъ, я сталъ ѣсть, но едва я постучалъ ножомъ и вилкой, какъ спавшій спиной къ публикѣ человекъ проснулся, повернулъ голову, потеръ себѣ лобъ, пытливо поглядѣлъ въ мою сторону и, быстро, проворно соскочивъ съ койки, подбѣжалъ ко мнѣ и, опираясь обѣими руками въ доски стола, съ выраженіемъ въ голосѣ крайняго любопытства нагнулся надъ моей тарелкой и спросилъ:

— Это у васъ что такое?

— Карась.

— Въ сметанѣ?

— Да, въ сметанѣ...

— Человѣкъ! Эй! вдругъ завопилъ онъ, побѣжавъ къ двери.—Эй!...

Съ необычайной жадностью и торопливостью приказалъ онъ человѣку сію же минуту принести точъ въ точъ такую же порцію караса, причемъ сказалъ ему вслѣдъ: «Сію минуту... Живѣй, скорѣй, какъ можно!» и, бѣгая мимо меня, потиралъ и животъ, и начинавшую лѣзть голову и въ то же время поминутно заглядывалъ въ мою тарелку, бормоча:

— Ахъ, ты, Боже мой! Какъ долго, пошелъ и провалялся... Нѣтъ, въ Варшавѣ бы этимъ подде-

памъ задали... Только-что пришелъ аппетитъ... сію секунду надо! И чортъ его знаетъ, куда провалился!.. Я второй день не могу придумать, что бы съѣсть, и вдругъ вотъ сейчасъ увидалъ у васъ... и нѣтъ его подлеца! За это ихъ, подлецовъ, и съ хозяйной-то...

Это былъ человѣкъ лѣтъ подь сорокъ, несомнѣнно російскаго, мочальнаго типа; но отлично сшитое платье и ножницы хорошаго парикмахера сдѣлали подчистить мочальныя черты лица и фигуры настолько, что «не отличишь и отъ барина». Лицо его было не старо, но заспано и вообще поношено, и все его тѣло казалось вялымъ.

Наконецъ явился карась. Съ шумомъ, гамомъ и крикомъ, дребезжа дряблымъ голосомъ, накинудся на него дряблый человѣкъ, пробормоталъ что-то о Варшавѣ, о полиціи, накричалъ что-то объ аппетитѣ и, дѣлая все это, всѣмъ своимъ существомъ стремился къ принесенному карасю. Изъ собственной бутылки онъ проглотилъ двѣ рюмки водки, одну за другою, утѣлся, расправилъ локти, разстегнулъ рубашку на шеѣ и очевидно готовился «пожирать».

Но увы! первый же кусокъ, который онъ положилъ въ ротъ, такъ и застрялъ у него въ горлѣ. Онъ жевалъ этотъ кусокъ необычайное количество времени и проглотилъ съ величайшими усилями.

— Нѣтъ! Не идетъ въ горло! бросая вилку и ножъ на столъ, безпомощно воскликнулъ онъ, прямо обращаясь ко мнѣ. — То-есть, чортъ его знаетъ, что такое творится! Что ни съѣмъ, не идетъ! Что тутъ дѣлать?

Именно безпомощность, въ которой онъ находился при видѣ прекраснѣйшаго карася, и невозможность удовлетворить нѣтъ своего огромнѣйшаго аппетита и заставили меня разговаривать съ нимъ.

— И вѣдь главное, дребезжалъ онъ дряблымъ голоомъ и дребезжалъ жалостливо, безпомощно, — главное дѣло, вѣдь какъ-то вдругъ двѣ напасти... Давно-ли?.. Да двухъ лѣтъ не будетъ, какъ я «закатывалъ» во всѣхъ отношеніяхъ! Бывало, пять если, такъ хоть недѣлю безъ просыпу — ничего! Конечно помахешься, пократишь съ денекъ, ну, въ баню тамъ... А черезъ день какъ не бывало, опять жаръ! А второе — женскій полъ тоже... А теперь вотъ подите! И какъ-то вдругъ!.. Заскучалъ, аппетиту нѣтъ, думаю — пройдетъ, анъ, гляжу, хуже: то въ горло не идетъ, этого не пропихнешь, рюмки три-четыре пропустишь — ко сну клонить... А въ то же время и по женской части... Теперь вотъ въ Кіевѣ былъ въ «Шатомъ»: вѣдь какія штуки ходятъ! Въ былое время, да развѣ я-бы могъ быть хладнокровенъ? Эдакихъ-то милочекъ пропустить? А теперь вотъ три вечера ходилъ, смотрѣлъ, думаю, неужели же во мнѣ не пробудится фантазія? И нѣтъ! Сажу, гляжу — хотъ бы что! И вѣдь сразу страшно, и чувствую, что хуже да хуже... И не знаю, что дѣлать... Главная бѣда, фантазія-то, кажется, пріотупѣла. Надобно какія-нибудь средства; вотъ въ Самарской губерніи старикъ какой-то травами лечитъ, попробовать-бы... Я и дѣду-

то теперь по совѣту докторовъ: воздухомъ, говорить, надо... Какой тутъ воздухъ? Бывало, какъ только платье женское увидишь, и ужъ воодушевленъ... А теперь и бормотать-то съ дамочками не охота... А ужъ это мнѣ чистое наказаніе... Что и за жизнь послѣ этого!

Утрата двухъ такихъ благъ, какъ удовольствіе бормотать съ дамочками и «закатывать» по недѣлямъ «по питейной части», до того печалила и искренно угнетала несчастнаго человѣка, что невольно думалось: «не пособлю ли я ему, напомнивъ, что кромѣ питей и дамочекъ есть и другія нитерсныя вещи, которыя могутъ разсѣять его уныніе?» Спросилъ его поэтому о его лѣсопильнѣ заводѣ и о томъ, интересуется ли его это дѣло?

— Чего мнѣ въ немъ? Велико дѣло — лѣсопилька? недовольнымъ тономъ отвѣчалъ несчастный буржуй. — Тамъ у меня приставленъ дядя, человѣкъ стараго закала, желѣзный... Ужъ этотъ не дастъ маху, а пріѣзжай я, виѣшайся, всѣ знаютъ, что я добръ, пользуюсь съ жалобами, да просьбами. не выпутаешься! У того палецъ оторвало — пенсію ему! Того обочилъ — жалуетса... И — да тутъ тьма-тмущая! Давай мнѣ пенсію! Онъ спяну сунетъ голову въ машину, а я отвѣчай тутъ! «Ты, говорить, не станови къ машинѣ, когда она опасна!» А я почему знаю? Какая она тамъ машина, у меня и понятія нѣтъ... Пускай тамъ разбираются! Что я за судья?.. Пусть тамъ по закону, какъ знаютъ; тамъ человѣкъ приставленъ отъ меня, довѣренный, возжайтесъ съ нимъ, какъ знаете! Есть чего — лѣсопилька!

Спросилъ я его, женатъ ли онъ, есть ли у него дѣти; оказалось, что онъ женатъ, но что съ женой не живетъ.

— Кабы если бы дѣти были, ну еще, можетъ быть, жили бы. А то сами посудите, дѣтей нѣтъ, ну, какой же у меня интересъ? Брюзжить за каждую малость: «не ходи, да не пей, да сиди дома», и не вѣсть что... А то такъ — «возьми меня!» Куда? Въ «Эрмитажъ» что-ли, или къ цыганамъ?... Ну, такъ брюзжали, брюзжали оба, наконецъ говорить: — «Коли ты такъ, такъ и я такъ же буду!» — «И сдѣлай твою милость!» Отдалъ ей приданое; живи, матушка! Живетъ съ кѣмъ-то! Я радъ, хоть безпокойства отъ нея нѣтъ... Да и что толку-то? Все одинъ чортъ... Да фантазія-то стала пропадать! Скучно!.. Даже иной разъ и жену вспомнишь.

Спросилъ я его и о томъ, отчего онъ, нѣтъ средства и цензъ, не попробуетъ развлечься общественной дѣятельностью. Но этотъ вопросъ почти разсердилъ его.

— Это галдѣть-то, горло драть въ думѣ изъ-за шекатурки для тюремнаго заданія? Да зачѣмъ мнѣ? Подрада что-ли надо? Такъ у меня лѣсопилька дѣйствуетъ, какой же мнѣ расчетъ на шекатуркѣ-то мошенничать? Ну, ужъ это... избави Богъ! И близко-то къ нимъ не пойду...

И въ концѣ-концовъ вся наша бесѣда поздней ночью закончилась опять тѣмъ-же:

— Главное, фантазія прекращается, вотъ что

горько-то! Изъ-за чего-же жить-то?... Позвольте васъ спросить?..

На другой день часу въ одиннадцатомъ утра пароходъ остановился у небольшого южно-русскаго городка, гдѣ мнѣ слѣдовало продолжать путь по желѣзной дорогѣ. Справившись на пристани о времени отхода поѣзда, я былъ непріятно удивленъ, когда узналъ, что поѣздъ уходитъ поздно вечеромъ. Волей-неволей приходилось ѣхать въ гостиницу и брать номеръ. Я уѣхалъ съ парохода, когда несчастный страдалецъ увядающей фантазіи спалъ, обернувшись лицомъ къ стѣнѣ. Его не будили, пароходъ стоялъ около городка долго.

Извозчикъ привезъ меня въ небольшую гостиницу. Въ большихъ, просторныхъ сѣняхъ, съ буфетомъ у задней стѣны, я нашелъ хозяина, человека русскаго происхожденія. Коренастый, широкобедный, въ бѣломъ парусинномъ пиджакѣ, онъ отвелъ мнѣ номеръ тутъ-же, внизу, по корридору, направлявшемуся влѣва отъ буфета. Гостиница была маленькая, номеровъ пять, шесть.

Долго я сидѣлъ въ моемъ номерѣ и безмолвно пилъ чай. Направо и влѣво изъ номера были двери въ сосѣдніе номера; двери эти съ одной стороны были заставлены комодами, съ другой — кроватями.

Спустя нѣкоторое время, въ номерѣ слѣва отворилась дверь и послышались дѣтскіе частые шаги и дѣтскіе голоса.

— Учитесь здѣсь! слышался голосъ хозяина.

— Да не баловаться!

— Хорошо! весело отвѣчали дѣти.

— То-то!

Дверь хлопнула, хозяинъ ушелъ, дѣти остались.

— Ну, Вася, — послышался голосъ дѣвочки — учись... въ самомъ дѣлѣ, будетъ кривляться, не лазай на окошко... Ну, Вася!

— Сейчасъ!

— Ну, Вася, учись! Мнѣ самой надо изъ географіи готовить...

— Ну, давай!

— Ну, читай молитву утреннюю... Знаешь?

Съ шутками и понуканіемъ, переходившимъ въ смѣхъ и бѣготню, и съ бѣготней, переходившей въ просьбы со стороны дѣвочки учиться и не шалить, началось наконецъ ученіе и Вася зачиталъ утреннюю молитву.

— Что значить: дьявольское поспѣшеніе? спрашивала дѣвочка строгимъ тономъ учителя. — Тутъ сказано: «помози мнѣ во всякое время и во всякой вещи и избави мя отъ всякія мірскаго злыя вещи и дьявольскаго поспѣшенія»... Что значить: дьявольское поспѣшеніе?

— Дьявольское поспѣшеніе? переспросилъ мальчикъ невнимательнымъ тономъ. — Это значить (онъ говорилъ, стуча равнодушно въ стѣну не то рукой, не то ногой), что дьяволъ поспѣшаетъ...

— Ну, вотъ ты опять начинаешь врать... Куда ему поспѣшать?

— Онъ поспѣшаетъ соблазнять...

— Ну, вотъ и глупъ!

Смѣхъ, бѣготня и опять серьезная бесѣда.

— Не поспѣшаетъ дьяволъ — съ чувствомъ говорила дѣвочка — а нужно молить Бога, чтобы онъ избавилъ насъ отъ дьявольской помощи въ злыхъ дѣлахъ... А «отъ всякія худыя вещи» — это значитъ, что съ нами можетъ въ теченіе дня приключиться несчастіе, болѣзнь, пожаръ, бѣда какая-нибудь...

— Дѣти! опять послышался голосъ хозяина. — Варя, Андрюша! Идите въ третій номеръ.

Дѣти шумно пробѣжали по корридору и очутились въ номерѣ, который былъ у меня справа, а въ томъ номерѣ, гдѣ они учились, послышались шаги взрослого человека и шопотъ его съ хозяиномъ.

Шептались они минутъ пять.

— Такъ можно? спросилъ мужской голосъ, въ которомъ я, къ глубочайшему сожалѣнію, узналъ голосъ моего дряблага спутника.

— Да ужь... будемъ стараться!

— Пожалуйста... Главное, поскорѣй!

— Сіюминуту-съ. Минутъ пятнадцать пройдетъ...

— Ну, валийте! Да дайте пока пива хорошаго...

— Сію минуту!

Дверь хлопнула, хозяинъ вышелъ, потомъ вошелъ. Хлопнула пробка, забулькало пиво.

— Такъ пожалуйста!

— Поѣхали, поѣхали-съ!...

И въ номерѣ настала тишина.

— Ну, Вася, — послышалось справа, гдѣ были дѣти, — теперь вечернюю молитву!

Долго пискливыя дѣтскія голоса дѣвочки раздавались изъ-за сосѣдней двери, долго она учила, «била» съ братишкой изъ-за молитвы «На сонъ грядущій»; долго въ полнѣйшемъ молчаніи всей гостиницы шумѣлъ на моемъ столѣ маленькій кривобокій самоварчикъ, долго кряхтѣлъ мой пароходный сосѣдъ, подливая пива, какъ вдругъ по пустынной улицѣ (городъ полуеврейскій, и была къ тому же суббота) затрещали колеса извозничьяго экипажа и мимо моего окна пронеслась на извозчикѣ какая-то молоденькая дѣвушка премилыя наружности въ дешевенькомъ платочкѣ на головѣ.

Извозчикъ сразу остановился у крыльца гостиницы.

— Кто пріѣхалъ? прерывая разговоръ о молитвѣ, проворно проговорилъ мальчикъ и побѣжалъ куда-то.

— Не смотри въ окно! Не твое дѣло! Вася, не высовывайся! умоляюще закричала дѣвочка.

А вслѣдъ зѣтѣмъ въ номерѣ съ лѣвой стороны послышалась суматоха, хлопнула дверь, послышалось много шаговъ и звонкій, свѣжій, дѣвичій голосъ и смѣхъ...

— Ну, снимай платокъ, пальто!... Чего ты хочешь? Тебя какъ звать-то? дребезжалъ голосъ пароходнаго сосѣда.

Надобно было тотчасъ уйти куда-нибудь.

Я вышелъ въ корридоръ и натолкнулся на хозяина, который, весь въ поту, запыхавшись и видимо торопясь изъ всѣхъ силъ, тащилъ какой то подносъ съ бутылками и тарелками.

— Какъ вамъ не стыдно позволять это въ вашей гостиницѣ? сказалъ я. — Тамъ ваши дѣти...

— Да какъ-же не позволять-то? У меня дѣти. Помилюйте! Надо кормить, одѣвать, учить... А какіе доходы? Городъ жиловскій... Какъ-же не позволять-то? Въ одно кредитное общество извольте-ка выручить... Да я ихъ сейчасъ въ садъ выгоню... не беспокойтесь... А нельзя не дозволить... Кабы не номера, такъ...

На улицѣ было скверно, пыльно, пустынно, неопрятно. Скверно, неопратно было и у меня на душѣ. Этотъ звонкій дѣвичій голосокъ, этотъ мальчикъ, этотъ отецъ, дозволяющій гадости ради «семейства и дѣтей» и не имѣющій времени за хлопотами подумать, что и у той дѣвушки, которую онъ «представилъ», тоже есть родители, что и она такое-же «дѣтя», какъ и его дѣвочка, что даже голосъ и смѣхъ ея — почти дѣтскіе, и наконецъ эта болыная и дряблая, несчастная свинья, «дающая хлѣбъ» хозяевамъ, этимъ извозчикамъ, этимъ дѣвушкамъ съ почти дѣтскимъ голосомъ и смѣхомъ — такая во всемъ этомъ безконечная тоска и мука!

А на минеральныхъ водахъ мнѣ опять пришлось встрѣтиться съ этимъ дряблымъ, несчастнымъ и сквернымъ типомъ, явившимся сюда во всевозможныхъ видоизмѣненіяхъ. Говорить съ нимъ прямо и подлинно, — это значить прямо сказать ему, что онъ подлъ, гадокъ, что — онъ кровопійца, что онъ — язва, что всему его существованію имени нѣтъ на человѣческомъ языкѣ. Но говорить такъ — значить во-первыхъ говорить правду, а во-вторыхъ — говорить правду о цѣломъ рядѣ такихъ общественныхъ явленій, которыя пользуются не только безнаказанностью, но напротивъ — составляютъ именно обыкновенную, привычную, сегоднѣшнюю жизнь. «Буржуй» не просто только, съ позволенія сказать, животное, онъ — прочно установившіяся формы жизни, противъ которыхъ мало моего отдѣльнаго, личнаго негодованія и противъ которыхъ я одинъ ничего не сдѣлаю ни съ моими широкими взглядами, ни съ моимъ высшимъ образованіемъ, ни съ моимъ негодованіемъ на несправедливость. Вотъ и приходится каждому отдѣльному человеку молча переносить каждую отдѣльную буржуйную тварь со всѣми ея буржуйными дѣлами, терпѣть эти дѣла, такъ хорошее про себя, до тѣхъ поръ конечно, когда «отдѣльные» другъ отъ друга ненавистники буржуйнаго теченія перестанутъ быть отдѣльными, или когда, быть можетъ, само буржуйное теченіе не исчезнетъ въ какомъ-нибудь случайномъ и сильномъ теченіи, такъ-же неожиданно для себя, какъ неожиданно оно родилось на свѣтъ.

IV.

Не знаю, какъ будетъ съ нимъ, но знаю, что вотъ теперь, сидя на этомъ крыльцѣ, на этомъ плетеномъ стулѣ, и наслаждаясь этимъ славнымъ южнымъ вечеромъ, я такъ счастливъ, что теперь, окончивъ съ полстаканами, покачиваю и съ возможностью наталкиваться на буржуа, на необхо-

соч. гл. усненскаго. т. II.

димость терпѣливо тантъ въ себѣ глубокое къ нему отвращеніе. И Боже мой, какъ мнѣ страстно, какъ мнѣ жадно хочется поговорить о чемъ-нибудь живомъ и услышать опять живое человѣческое слово отъ этого старика-крестьянина, который вонъ тамъ въ углу двора продолжаетъ «тюкать» своимъ желѣзнымъ инструментомъ по камню, высѣкая изъ него надгробный памятникъ. Сейчасъ я пойду къ нему и отведу душу...

II. «Дохнуть некогда».

— Тоже, чортъ бы ихъ побралъ, земство называется, самоуправленіе! Трясись вотъ тутъ, на облучкѣ, какъ калка какая переходящая!.. Все ну-тро-то выколотить, пока дойдешь до волости... Только бы себѣ въ карманъ хапнуть... дьяволы этикіе!

Такия, не вполне резонныя, но зато ужъ исполнѣ сердитыя слова говорилъ судебный приставъ Апелсинскій, сидя на облучкѣ земской телѣги и трясясь на ямахъ и колдобинахъ плохой земской дороги, мѣстами покрытой еще не растаявшими пластами льда, мѣстами, напротивъ, обильной полосами глубокой и жидкой весенней грязи. Приставъ Апелсинскій потому попалъ на облучокъ, что заднія мѣста той же самой земской телѣги были заняты исправникомъ и мировымъ судьей; желая вести бесѣду съ своими спутниками, Апелсинскій сидѣлъ на облучкѣ задомъ къ дорогѣ и, благодаря этому, не имѣлъ возможности принять какой-нибудь предосторожности противъ неудобства дороги, почему и долженъ былъ поминутно прерывать свой разговоръ сердитыми и негодующими восклицаніями.

— Да осторожитесь ты, братецъ! вопіялъ онъ къ ямщику. — Ну, что ты гонишь на рытвинахъ и ухабахъ?.. Авось успѣешь... Вы тутъ право съ вашимъ розжней-земствомъ съ ума спятили совсѣмъ... Деньги дерутъ, а въ результатѣ — извольте-ка вотъ поѣздить такими манеромъ... Вотъ! Вотъ! Ну, братъ, ты мнѣ положительно спину передолбишь... Это называется земство! Земскій трактъ! Ахъ, анафемы!..

Исправникъ и мировой судья хотя и не поддерживали гласно мнѣній своего спутника, но несомнѣнно глубоко ему сочувствовали. Судите сами: земство, которое на памяти у всѣхъ задрало носъ противъ всякой кокарды и наострилось выговаривать слово «администрація» такимъ тономъ, которымъ прямо вызывало на личное оскорбленіе, дошло теперь до такого паденія и низости, что, поминутно кляпча у той-же администраціи о содѣйствіи, о помощи, особливо при «взысканіяхъ», не въ силахъ настолько поддержать свой авторитетъ въ средѣ плательщиковъ, чтобы доставить этой самой администраціи, единственной добытчицѣ земской копѣйки въ земскіе сундуки, помощь въ самыхъ элементарныхъ вещахъ: ѣзди, взыскивай, шуми, бранись, неистовствуй — этого земство жаждаетъ; а вотъ устроить такъ, чтобы исправникъ, мировой, судебный приставъ могли ѣхать

каждый по своимъ дѣламъ и на отдѣльной подводѣ — не можетъ! Средствъ нѣтъ! Было прежде шесть троекъ на земской почтѣ, а теперь только три — вотъ и приходится какому-нибудь административному органу иногда по полусутокъ сидѣть на вокзалѣ, ждать другого административнаго органа, чтобы ѣхать вмѣстѣ, хотя у каждого органа своя часть.

Конечно, если бы всѣ три административныхъ органа, возсѣдавшихъ на одной земской подводѣ, могли и желали вспомнить прошлое этого нынѣ пахнущаго въ ихъ глазахъ земства, они бы знали, что уже давнымъ-давно само земство предвидѣло и публично заявляло о неминуемомъ своемъ паденіи, если только вмѣсто простого, но существенно важнаго для народа дѣла, оно принуждено будетъ ограничиться канцелярской суетой. и вмѣсто «дѣла» только бумагой, — конечно, повторяю, если бы разсерженные представители администраціи помнили все это, они бы не удивились тому, что вмѣсто трехъ троекъ имъ еле-еле удалось получить одну, а вмѣсто «тракта» — ямы и лужи грязи. Но представители администраціи не помнили этого; у нихъ и у самихъ было довольно всякихъ душевныхъ невзгодъ, вытекавшихъ также изъ не вполне успѣшной, хотя и суетливой дѣятельности, и вотъ почему они вполне сочувствовали негодованію Апелсинскаго, который между тѣмъ продолжалъ своимъ рѣчи такимъ образомъ:

— Ъзди вотъ для нихъ день-деньской, какъ чортъ какой-нибудь! Всѣ бока-то переломалъ, ей-Богу право! И такъ-то ужъ чортъ знаетъ что за должность.. получай да получай, а что съ нихъ возьмешь? Да и тутъ то иной разъ трясешься, какъ бы только Господь сохранилъ въ живыхъ... ни дорогъ, ни мостовъ... ложись да умирай! Я на-медни ѣздилъ также вотъ съ исполнительнымъ листомъ въ деревню Незамайку... Такъ что-жъ вы думаете? Одинъ день я всего-то и проѣздили, а чего-чего не натерѣлся!.. Изъ города выѣхалъ я конечно честь-честью — въ вагонѣ, по желѣзной дорогѣ, во второмъ классѣ... Проѣхалъ до станціи Масловки какъ слѣдуетъ, почеловѣчески.. Изъ Масловки тоже не совсѣмъ по свински; положимъ, что паровозикъ еле-еле дышетъ, сто разъ на мель садится въ часть, ну, все-жъ таки: спросилъ закусить — подали карту, и на ней написано: Шато-Брянъ... Ну, давай, какое оно тамъ!.. Все таки какъ будто въ человѣческомъ обществѣ... Но вотъ какъ пристали къ берегу, тутъ и начало-ось! Сначала повезъ меня мужикъ парой въ телѣгѣ... грязь по ступицу... дралъ, дралъ мужикъ лошадей. «Нѣтъ, говоритъ, надо перепрячь!» Еле-еле добрались до Осиновки, пересѣлъ въ «бѣду», въ двухколеску; поплелись лѣсомъ — то есть сущее божеское наказаніе! Нашвыряны по болоту бревна на аршинъ одно отъ другого, то въ яму упадемъ, то на бревно еле влѣземъ... Бились, бились — три версты пять часовъ ѣхали! — «Нѣтъ, баринъ, неспособно такъ-то!» говоритъ ямщикъ. — «А какъ же быть?» — «А ужъ надѣть верхомъ!» — Что тутъ дѣлать? Бросили «бѣду». сѣли вдвоемъ на клячу,

дули, дули ее и въ хвостъ, и въ голову, прошла двѣ версты и стала, хотъ убей, ни съ мѣста! Ни взадъ, ни впередъ; да и точно: затянулась кляченка... — «Какъ же быть?» — «Ужъ и не знаю, баринъ!» Попробовалъ я пѣшкомъ, провалился по шее! Какъ есть въ полномъ смыслѣ слова! Даже портфель съ повѣстками едва не утонулъ... — «Ну, вотъ что, баринъ, говоритъ мужикъ — лошаденку надо бросить, пущай отдохнетъ, а ты ужъ садись на меня верхомъ, дѣлать нечего; авось я кое-какъ да кое-какъ доволочу твое благородіе по пнямъ-то до лѣснаго объѣздки, а тамъ пожалуй и лошадей добудемъ...» Ну, что вы будете дѣлать? Сѣлъ. Взобрался ему на плечи! — «Ну-ко, Господи, благослови!» У мужика-то палка — претъ! Съ кочки на кочку, раза два оба чубуракнулись кубаремъ, ну, однако не дошли! захрипѣлъ мой мужикъ, шапку снялъ, мокрый весь... — «Нѣтъ, говоритъ, господинъ, неспособно! Какъ бы пожалуй жила какая не обורвалась; пожалуй померещи!..» Нечего дѣлать, слѣзъ я съ мужика; стояли, стояли въ грязи и ужъ совсѣмъ не знали, что дѣлать! Хотѣ пропадай! Говорю: — «какъ хочешь, а доставай мнѣ лошадей! Иди въ деревню пѣшкомъ, неси повѣстку старостѣ, а я буду здѣсь ждать!..» А замѣтьте, вечеръ, седьмой часъ; я вспотѣлъ, а ужъ крѣпко морозитъ... того и гляди тифъ. Ну, пошелъ мужикъ. Остался я одинъ въ лѣсу. Жутко! Волки въ эту пору стадами пляются. Думалъ, думалъ, вскарабкался на дерево, сажу! Да до глухой полночи проторчалъ на сукѣ-то съ портфелемъ, покада ужъ къ свѣту мой мужикъ пріѣхалъ на подводѣ и ужъ кое-какъ доплелись до паровозика... Конечно я воротился опять по желѣзной дорогѣ. Иной и подумаетъ: «Ишь, разѣзжаетъ на бархатныхъ подушкахъ!» А поди-ка, попробуй поѣздить-то!.. Да хорошо-бы. ежели бы толкъ былъ, а то толку-то нѣтъ! Чего съ нихъ возьмешь? Имъ, незамайевскимъ-то мужикамъ, и самимъ ѣсть нечего, чего съ нихъ возьмешь? А поди-ка, оставь, не исполни, такъ вѣдь корреспонденцію такую отпечатываютъ — любо-дѣла.. Дохнуть некогда, а изъ-за чего бьешься, самъ чортъ не разберетъ! Вѣдь вотъ я чуть-было въ лѣсу не умеръ, вѣдь волки налетѣли бы стаей, такъ костей бы не осталось, а нди, тащи бумагу за тридевять земель. Кулачишко какой то, извольте видѣть, разыскиваетъ съ нихъ тринадцать съ полтиной за сѣно; сѣно вишь у него растащили, у него-дѣла... Да кабы у меня не хозяйство, такъ я бы самъ его, анафему, въ тюрьму-бы заточилъ... Я его знаю, что это за живодеръ... А вотъ между тѣмъ сидишь на деревѣ, трясешься, что волки слоняются... Я, вѣдь, тоже не падаю какой-нибудь, понимаю, что нечего имъ ѣсть, неурожай, а поди-ка!..

— Это вѣрно, вышескобродіе! неожиданно произнесъ ямщикъ, — неурожай у насъ, вотъ главная причина. Тутъ ужъ и хлопотать-то не изъ чего. вѣрно вамъ докладываю... То-есть чисто ни зерна, ни сѣна клокъ. Теперь вотъ, извольте видѣть, снѣгъ еще не стаялъ, а ужъ мы гоняемъ скотину въ поле.

— Да вѣдь тамъ ничего нѣтъ! замѣтилъ кто-то изъ трехъ сѣдоковъ.

— Да именно и нѣту ничего.

— Такъ что-жь она ѣсть-то?

На этотъ вопросъ ямщикъ сначала засмѣялся, а потомъ вдругъ снялъ шапку, перекрестился и сказалъ:

— Вотъ передъ истиннымъ Богомъ, какъ есть, какъ передъ Создателемъ, говорю, то-есть песь ее знаетъ, что она тамъ ѣсть... И ежели вамъ угодно, чтобы наприимѣръ можно было утвердить, что она ѣсть, такъ неизвестно что такое: идетъ въ поле— брюхо пусто, какъ мѣшокъ болтается, а назадъ идетъ—эво какъ раздуло! А чтобы наприимѣръ сказать что такое, такъ даже понять этого невозможно.

— А все-таки набьетъ брюхо-то?

— Набьетъ-съ! Умереть на мѣстѣ, а что набьетъ брюхо... Разопреть его вотъ какъ! а въ чемъ именно заключается, никто не можетъ понять. Моихъ что ли она тамъ роетъ какой, глину ли какую жуешь—этого никакимъ способомъ не можемъ понимать... То-есть иной разъ даже смѣху достойно.

И ямщикъ дѣйствительно засмѣялся, прибавивъ:

— Вотъ извольте посмотреть, вѣдь вотъ вся тройка существуетъ почитай что неизвестно чѣмъ, а вѣдь бѣжить-съ!

И въ доказательство полной непостижимости обсуждаемаго факта ямщикъ тронулъ возжами, хлестнулъ по всѣмъ по тремъ и, промчавъ своихъ сѣдоковъ съ полверсты по ухабамъ и грязи, обернулся къ нимъ съ удивленнымъ лицомъ и сказалъ:

— Вѣдь ишь какъ орудуютъ! а какая такая пища имъ способствуетъ—неизвестно... Истинно надо быть, только что Господь намъ помогаетъ, питаетъ скотину по премудрости своей. Все кое-какъ дынешь, а то бы...

— Да! почему-то съ нѣкоторой укоризной проговаривалъ Апелъсинскій. — Вамъ вотъ все какъ-то Господь помогаетъ, а ты поди-ка въ нашу шкуру влязь! По вашему, «господа. господа — не вѣсть что такое», а поди-ка, попробуй... У васъ вотъ тутъ неурожай—это мы отлично и безъ тебя знаемъ — а лошадь-то вонъ у тебя все-таки какъ-ни-какъ бѣжить... Чѣмъ она сыта—тебѣ это неизвестно, а ты все-таки въ телѣгу ее запрегъ да поѣхалъ на станцію, да пассажира посадилъ—вотъ у тебя рубль или полтинникъ и есть.

— Да только что тѣмъ и дышемъ, передъ Богомъ ежели сказать!

— Да! Однако дынешь. А ты поди-ка, поживи-ка безъ Божьей помощи, да чистыя денежки отдай за каждую малость, такъ нетакъ бы запѣлъ. Неурожай, неурожай! Я вотъ хорошо знаю, что неурожай у васъ и ничего нѣтъ, и ѣсть нечего, однако ѣду, мучаюсь, на деревѣ вонъ чуть не замерзъ, а знаю, что безъ толку.

— Такъ чего ужъ беспокоиться-то? робко спросилъ ямщикъ. — На деревѣ, въ лѣсу — это тоже очень мудро. И вѣрно, что волки ходятъ. Сохрани Господи отъ этого! Такъ я такъ думаю! ежели ужъ неурожай наприимѣръ, божеское наказаніе, такъ

ниѣ, примѣромъ сказать, на дерево съ бумагой лѣзть? Да волки еще сѣдятъ. А что толку-то?

— Да и безъ тебя я знаю, что толку никакого нѣтъ и не будетъ, да вотъ, видишь-ли, въ чемъ дѣло: у меня, другъ любезный, шестеро ребятъ, да какъ разнудать они рты съ утра, такъ какъ по твоему—будутъ они сыты, ежели я ихъ въ поле выгону: «Набивай, молъ, ребятъ, брюхо, чѣмъ вамъ будетъ угодно, что, молъ, вамъ Богъ дастъ»? Какъ ты объ этомъ полагаешь?

— Господи помилуй! сказалъ ямщикъ съ удивленіемъ. — Кажется, мы можемъ понимать...

— То-то и есть! Такъ тутъ полѣзешь на дерево. «Господь помогаетъ!» Нѣтъ, у насъ, братъ, нѣту этого, а отворяй кошелекъ да деньги вынимай... Да и тутъ еще: бьешься, бьешься хоть бы съ ребятами одними, а и то... неизвестно еще, что выйдетъ... Ошибся твой сынъ въ склоненіяхъ или тамъ въ спраженіяхъ, наказали его, нагрубилъ онъ—и убирайся на всѣ четыре стороны. Все и пошло прахомъ. Куда его пристроишь? Вездѣ и такъ биткомъ набито народу. И ты-то не справишься съ головой, да и онъ-то тоже очумѣлый ходитъ. Иной глядитъ, глядитъ, да и пуститъ пулю въ лобъ... Много этакихъ случаевъ было... А ты послѣ всѣхъ твоихъ хлопотъ да заботъ остался только что въ дуракахъ... Нѣтъ, братъ! Это вы тутъ, полущубники, про нашего брата судачите: «Баре да баре; готовые деньги берутъ, ѣздить взадъ и впередъ, а толку нѣтъ», а ты поди-ка, въ нашей шкурѣ посиди, давно бы ужъ волкомъ звывалъ.

— А много-ль у тебя на шеѣ народу-то? спросилъ Апелъсинскаго исправникъ.

— Да ежели всѣ рты сосчитать, такъ пожалуй человѣкъ пятнадцать, а то и больше наберется... Сколько однихъ стариковъ да старухъ, да всѣ крѣпкіе, Богъ съ ними... Такъ вотъ тутъ и подумаешь, да не только что на суку готовъ какъ птица сидѣть, а придется, такъ и летать начнешь по воздуху, а какъ принажметъ семья, такъ и нырять начнешь, какъ торпеда какая подъ водой... Нѣтъ, братъ, намъ Господь не поможетъ! У насъ, братъ, «купи», а такъ, чтобы брюхо набить неизвестно чѣмъ, этого у насъ нѣтъ... Вотъ и вертись, какъ бѣсъ передъ заутреней... Да еще неизвестно: это теперь человѣкъ пятнадцать сидитъ на шеѣ, а можетъ и еще Богъ пошлетъ... Это еще неизвестно!

— Такъ ты бы того,—не безъ ироніи проговорилъ исправникъ:—ты бы прекратилъ...

— Чего прекратилъ?

— Да, то-есть распространеніе-то, наприимѣръ. Апелъсинскій пристально посмотрѣлъ на исправника, помолчалъ и наконецъ проговорилъ, понизивъ голосъ:

— А ты-то, самъ-то, прекратилъ ужъ, поди?

Исправникъ захохоталъ. Захохоталъ и извозчикъ и, стегнувъ лошадь, проговорилъ:

— Прекратишь, какъ-же!

— Ну, такъ нечего и болтать! Вонъ Арапкинь-то, самъ чай знаешь, почти что совершенно оша-

лѣлъ отъ этого самаго многочисленнаго, а поди-ка, закинься ему. — «И не знаю, говорить, что будетъ: дѣти да дѣти, а окончанія не предвижу!» Ужъ и я-то ему сказалъ: — «Ты бы, говорю, поосторожнѣй!» А онъ что мнѣ на это отвѣтилъ? — «Подика, говорить, попробуй! у меня жена съ дѣтства воспитана въ такомъ мѣтѣ, что она пикантная женщина. — «Я, говорить, пикантная!» А пикантная-то то означаетъ, что «чуть что», ая она и сдѣлаетъ каламбуръ съ офицеромъ, вотъ тебѣ и сказъ!» Такъ Арапкинь-то и говорить: «Поэтому, говорить, случаю я и долженъ продолжать... и единственно, говорить, изъ-за одного реноме, а то бы, говорить, давно ужъ надобно Бога вспомнить!.. Потому-то, говорить, случись этакій какой-нибудь эпизодъ, сейчасъ осмѣюся, пойдеши дуракомъ, и съ мѣста согнать не поцеремонятся. Только, говорить, единственно изъ-за одного реноме!» Реноме-то оно реноме, объ этомъ чего ужъ разговаривать, а только что поглядѣлъ я какъ-то на этого Арапкина, такъ вѣдь человѣкъ-то совсѣмъ вродѣ полоумнаго сталъ: бѣгаетъ по городу, деньги занимаютъ у встрѣчнаго и поперечнаго... «Земство, говорить, затѣгиваетъ, не выдаетъ»... А какое ужъ, чай, земство?

— Ну, это-то точно, вѣрно! довольно серьезнымъ тономъ проговорилъ исправникъ. — Подожди да подожди, это сколько угодно! И все на нашего брата сваливаютъ: понужденія молъ нѣтъ относительно взыскапія... А какого понужденія нѣтъ? Я даже и не понимаю, когда своимъ голосомъ говорилъ: только и дѣлаешь, что орешь, да шумишь, да свирѣпствуешь... Сегодня вотъ въ шести волостяхъ надо бушевать, все мало!

— Ну, въ этомъ, я думаю, и имъ надо дать извиненіе. Тоже и у нихъ пикантныя штучки существуютъ, да и на счетъ реноме по нынѣшнимъ временамъ не зѣвай... Подвернись тамъ какія-нибудь деньжонки, такъ, разумеется, прежде всего себѣ въ карманъ сунуть, а ужъ никакъ не тебѣ... Да изъ-за чего и бѣдѣ-то въ самомъ дѣлѣ? Конечно только изъ-за денегъ и мнешься, какъ маятникъ, ни днемъ, ни ночью покоя не имѣешь... Ежели за этакую малую да денегъ давать не будутъ, такъ это лучше петлю на шею... Да что же въ самомъ дѣлѣ? Какое такое получаешь удовольствіе? Что я отъ удовольствія что-ли на деревѣ-то чуть не замерзъ, или пріятность мнѣ что-ли какая по мужичкамъ избѣтъ ходить... или тебѣ вотъ орать, горло драть? Конечно семейство... А семейство-то вотъ иной разъ за твои хлопоты да мученія возьметъ да и плюнетъ тебѣ въ морду. Да! Вонъ у Кузьмичова, у Ивана Егорыча, сынъ, такъ что-жъ онъ сдѣлалъ? Отецъ-то бился-бился для семьищи, растилъ-растилъ ихъ — ну конечно не безъ грѣха... На одно жалованье такую ораву гдѣ же прокормить?... А сынъ-то пришелъ въ возрастъ, да вмѣсто благодарности и пропечаталъ всѣ отцовскіе поступки, да и въ глаза-то отцу прямо такъ и ляпнулъ: «Вы, говорить, папенька — не благодѣтель для народа, но врагъ и зло! Я, говорить, долженъ васъ обличить для общаго блага, не какъ отца,

а какъ общественнаго дѣателя, злоупотребляющаго общественнымъ довѣріемъ!» И подвелъ подъ судъ. Правда, и самъ пулю въ себя всадилъ, да отцу-то какъ? Онъ и воровалъ-то, можетъ быть, для семейства, а семейство-то вонъ какъ его на старости-то лѣтъ... Вотъ и подумай! Сидишь-сидишь иной разъ на суѣ-то на какомъ-нибудь, какъ птица перелетная, да думаешь о томъ, какая будетъ благодарность, ая и жутиково станетъ на свѣтъ-то жить...

— Да, вздохнувъ, сказалъ исправникъ. — У меня вонъ дочь родная двадцати лѣтъ ушла изъ дому въ учительницы, да меня же и выбранныя. — «Вы, говорить, работаете противъ народа, а я, говорить, буду ему служить; мы съ вами не товарищи». А какъ я ей представилъ вопросъ: кто-жъ тебя выростилъ, вспоилъ и образовалъ? — такъ она мнѣ такую отапортовала рацею, что окончательно я вышелъ, по ея мнѣнію, извергомъ рода человѣческаго. Что-жъ? Пускай поживетъ на своемъ хлѣбѣ! А кабы побывала на моемъ мѣстѣ, какъ я двадцать лѣтъ ни днемъ, ни ночью покоя не имѣю. такъ узнала-бы, каково легко деньги то достаются на газеты да на журналы. Можетъ тамъ, въ газетахъ-то, и правильно пишутъ, только эту газету надо купить, а купило-то нашему брату не очень пріятно достается... Коли не разрешишь глотки со старшинами да со старостами, такъ начальство-то и безъ тебя обойдется, а ты зубы на полку клади... Ну, да что!.. Какъ-никакъ, надобно вѣкъ доживать.

— Да еще доживешь-ли вѣкъ-то мало мальски поопратнѣй, и того неизвѣстно... Ты вотъ о семействѣ... а ему какое дѣло, какъ ты тамъ орудуешь? Мнѣ вонъ иной разъ и рассказать совѣстно, какіе такіе мои были труды; я расскажу, а меня мои же ребята на смѣхъ могутъ поднять, да еще злодѣямъ пропечатать... Ихъ, братъ, тоже по нынѣшнему времени не очень ловко кулакомъ къ уваженію приводить... Въ старину я-бы огрѣлъ его оплеухой, вотъ онъ бы меня и не критиковалъ, а теперь я не могу этого... Ну, и молчишь... Таскаешь деньги и помалчиваешь... А вѣдь семьѣ безъ уваженія къ отцу и мужу тоже, братъ, трудно существовать... Какъ-бы не разсыпалась въ дребезги... да! Да ты что думаешь? Мнѣ вотъ недавно одинъ флотскій какую исторію рассказалъ. Пріѣхалъ я какъ-то на станцію, жду поѣзда — часа четыре мнѣ пришлось на вокзалѣ протоптаться. Пріѣхалъ, смотрю, а около буфета какой-то человѣкъ вертится. По платью-то вижу — флотскій, только что въ большомъ градусѣ, весь въ грязи, шатается, бормочетъ что-то, оретъ, а ужъ человѣкъ не молодыхъ лѣтъ. Волтаетъ этакъ около буфета и все хлопаетъ, да все буфетчику приказываетъ: «Побольше молъ налей рюмку». Вижу я, что и очень ужъ онъ грузенъ сталъ; и на столъ наткнется, и на стулъ опрокинется, а тутъ какъ-то ни съ того, ни съ другого подскочилъ къ лампѣ, схватилъ ее со стола да объ земь. Слава Богу, лампа-то была не зажженная, а то бы пожаръ надѣлалъ... Разбилъ лампу и заоралъ: — «Вотъ онъ, врагъ мой,

вотъ онъ гдѣ! Будь онъ проклятъ!» Я ужъ подумалъ, не допился ли онъ до чертиковъ; думаю, не надѣлалъ бы чего худого, подошелъ къ нему, говорю: — «Что вы беспокоитесь? Какой врагъ? Ни кого нѣтъ». — «Нѣтъ, говоритъ, есть; вотъ онъ — мой врагъ, керосинъ! Вотъ онъ, мой злодѣй!» И сталъ топтать лампу ногами... — «У меня, говоритъ, теперь пріюта нѣтъ. Я семь лишился... Это онъ, дьяволъ!» Что такое, думаю, какимъ образомъ керосинъ... семейство... и такой гнѣвъ? Но все-таки, думаю, что нельзя ему давать воли; кое-какъ уговорилъ его, уложилъ на диванъ. Похрапѣлъ онъ часа два, разбудилъ его сторожъ, и пришлось намъ вѣять вѣстѣ. Хмеля все еще много было въ немъ, да и у буфета онъ прибавилъ ставнчикъ на дорогу. Тутъ съ него взяли за лампу рублей пять. Какъ напомнили ему о лампѣ-то: — «А, говоритъ, очень радъ! Разбилъ? Отлично. Это моя месть за все!» «Да что такое? спрашиваю его, какъ ужъ мы въ вагонѣ очутились. — Какъ это такъ керосинъ васъ оскорбляетъ?» — «Не оскорбляетъ, говоритъ, а разрушилъ всю мою жизнь и превратилъ меня въ ничто! Вотъ что такое керосинъ для меня!» Слово за слово, дальше — больше, и оказывается въ чемъ же дѣло? А былъ онъ, изволите видѣть, смотрителемъ маяка; человѣкъ женатый, семейный... Гдѣ былъ этотъ маякъ — не упомию хорошенько, а знаю, что по его словамъ выходило, будто-бы, освѣщеніе на маякахъ масляное, т. е. деревяннымъ масломъ. Между тѣмъ жена у него тоже, какъ видно, дама была пикантная, ботаника: по-французски, по-нѣмецки, на фортепіанѣхъ — все, какъ слѣдуетъ. Расходу, по-пятно, пропасть, потому-что «не считать же ей тамъ какія-то копѣйки, и она не кухарка». А дѣтей въ то же время весьма довольно, и что дальше, то больше расходу. Въ это время объявляется керосинъ и возникаетъ мысль примѣнить его къ освѣщенію маяковъ. Экономія важная, такъ-какъ на войну истрчено было очень много милліоновъ... Вотъ какъ возникла эта мысль, такъ этотъ самый офицеръ и задрожалъ по всѣмъ суставамъ. — «Потому-что, говоритъ, жена моя завела такіе порядки, что при керосиновомъ освѣщеніи не было никакой возможности существовать; все въ домѣ держалось исключительно благодаря деревянному маслу, и цѣна на бочку масла и бочку керосина — никакого сравненія, и насчетъ экономіи... Словомъ, какъ только будетъ керосинъ, такъ жить нечѣмъ, хоть по міру иди. А начальство между тѣмъ спрашиваетъ — нельзя ли экономію сдѣлать? и т. д. «И тутъ — рассказываетъ мнѣ бѣдняга — сталъ я, говоритъ, ужъ врать и плутовать». То есть конечно ужъ и до этого времени онъ пользовался, показывалъ одно, а тратилъ другое, но тутъ пришлось врать на особый манеръ. — «Лѣтъ восемь, говоритъ, я только и дѣлалъ, что лгалъ передъ начальствомъ, единственно изъ-за семейства и потому, что жена иначе не можетъ жить. И сначала, говоритъ, вралъ я по наукѣ, съ вычисленіями и таблицами: сила свѣта, расстояние — словомъ, вралъ по морскимъ правиламъ, доказывалъ въ томъ

родѣ, что если будетъ отиѣнено деревянное масло, тогда Англія насъ можетъ превзойти; кораблекрушеніе, говоритъ, даже одно устроилъ, и доказалъ такъ, что именно оно отъ керосина... Ну, говоритъ, кое-какъ да кое-какъ, протянулъ такимъ манеромъ лѣтъ пять. А тѣмъ временемъ дочь гимназію оканчиваетъ и жена хочетъ вывозить ее. Что тутъ дѣлать? Между тѣмъ начальство ужъ и по-серьезнѣе стало приставать, а по морскимъ наукамъ врать мнѣ, говоритъ, стало нечего, истощилъ я все; чтъ было можно по этой части соврать, давно ужъ совралъ. Пришлось мнѣ, говоритъ, врать безъ всякой совѣсти... «Горѣлку, говоритъ, надо приспособить, а потомъ и опытъ». Начальство пишетъ: «Поспѣшить приспособленіемъ горѣлки». Я, говоритъ, отвѣчаю: «Приспособляю немедленно», а между тѣмъ полгода кое-какъ со дня на день и протяну... Черезъ полгода начальство спрашиваетъ: «Что-жъ горѣлка?» Отвѣчаю: «Горѣлка приспособлена, но требуетъ исправленія» — и опять полгода. А тутъ ужъ женихъ сталъ свататься... Тутъ начальство опять вопрошаетъ: «Да что-жъ наконецъ горѣлка?» Отвѣчаю мѣсяца черезъ два: «Горѣлка готова, но не доставлена». Спрашиваютъ: «Когда будетъ доставлена?» Отвѣчаю черезъ мѣсяць: «Горѣлка будетъ доставлена въ непродолжительномъ времени»... Тянулъ тянулъ, вралъ вралъ... вдругъ ревизоръ, какъ снѣгъ на голову! Прямо ко мнѣ совѣщи документами... Все распоталъ, разрылъ, рассортировалъ... подъ судъ! Жена моя бросилась къ нему, но онъ такъ ей меня расписалъ, такъ, прямо скажу, справедливо, такъ все мое лгальное-вральное представилъ ей, что... чтъ вы думаете? Влюбилась въ него по уши! — «Герой! говоритъ. — Идеаль! Неумолимый! Честный! Непреклонный! Вотъ мужчина!» Закружилась, завертелась, за голову хватается: — «Вся жизнь пропала съ какимъ-то ворихой... Вотъ человѣкъ! Вотъ гражданинъ! Я не могу! уйду! И ушла».

— Ушла? спросили одинаково изумленными голосомъ исправникъ и мировой.

— Ушла! Вотъ вѣдь что!.. Дочери — невѣсты, а она, сама мать, ушла... Говоритъ: — «Вотъ кому готова отдать жизнь! Вотъ гдѣ энергія!» А тотъ ей конечно расписалъ это деревянное масло съ высшей точки зрѣнія: отечество, родина, Англія, Португалія и тому подобное.

— Ну, конечно — сказалъ исправникъ.

— «И какъ я могла жить, погубить свою жизнь съ такимъ подлецомъ?» Это жена-то. А мужъ-то говоритъ: — «Дѣ вѣдь я подлецомъ-то взъ-за тебя сталъ! Вѣдь изъ-за кого же я и воровалъ, и кралъ, и обманывалъ?» Ну вотъ, въ эту то пору я и встрѣтился съ нимъ. Совѣщи малый ошалѣлъ: жена бросила, куча народа на шеѣ и къ тому же подъ судомъ... Вѣхалъ въ Петербургъ — оправдываться... и все пилъ. Какъ увидѣть лампу — хлопъ ее кулакомъ: — «Вотъ, говоритъ, гдѣ драма въ пяти дѣйствіяхъ!» Такъ вотъ иной разъ какъ семейство то орудуетъ! А спрашивается: изъ-за чего же колотилась-то, какъ не изъ-за семейства?

Несмотря на обильный матеріалъ ко всевозмож-

нымъ остроумъ и шуткамъ, который, казалось, могъ бы доставить рассказъ Апельсинскаго о кесосиновой драмѣ, никто однакожъ изъ слушателей его почему-то не считалъ уместнымъ шутить или острить по поводу несчастій несчастнаго моряка. Напротивъ, всё, не исключая и словоохотливаго Апельсинскаго, какъ будто бы поприуныли; мировой судья, слушавшій этотъ рассказъ съ особеннымъ вниманіемъ, произнесъ по окончаніи его самымъ многозначительнымъ тономъ: — «Н-да, все это вещи довольно сложныя!» Исправникъ ничего не сказалъ, но глубоко вздохнулъ, а Апельсинскій совершенно примокъ на нѣкоторое время.

— Ишь вѣдь, какъ дѣла-то! произнесъ шутиливо ямщикъ, весьма внимательно вслушивавшійся въ рассказы и разговоры Апельсинскаго. — Что значить этотъ самый Нобель-то американскій!

Но и эти шутки не развеселили нашихъ путниковъ, такъ какъ всѣмъ имъ вѣроятно вовсе не въ шутку были знакомы кое-какія изъ тревожныхъ семейной жизни, разговоръ о которой такъ случайно завелъ Апельсинскій.

— А ты, любезный, пошевеливай-ка! довольно сурово сказалъ исправникъ извозчику. — Некогда раздобаривать, да и въ волости, поди, ужъ давно дожидаются...

— Потрогивай, потрогивай! присовокупилъ Апельсинскій тономъ довольно дѣловитымъ.

Извозчикъ тронулъ лошадей, но, желая изгладить въ своихъ сѣдокахъ неприятное впечатлѣніе неудачной остроты, произнесъ, не обращаясь собственно ни къ кому изъ сѣдоковъ отдѣльно:

— И трудно-жъ только, ваше высокоблагородіе, ваше дѣло, погляжу я... Что одной ѣзды! Что напримѣръ разныхъ членовъ ѣздить, что всякихъ начальниковъ!.. Ужъ, кажется, что такое нашъ братъ мужикъ, старшина какой-нибудь, а и тотъ еле-еле тройкой обойдется...

— Вамъ только и видно, что ѣздить! сурово сказалъ Апельсинскій. — Только ѣзду и видите... Миѣ одна старушонка-раскольница тоже вонъ такъ-то: «И что это вы безпречъ тутъ ѣздите, толчетесь? И когда вы наѣздитесь? И чего отъ насъ проку-то?» Только ѣзда у васъ и на примѣтѣ!.. А не ѣзди, такъ...

Апельсинскій хотѣлъ было опять упомянуть о семействѣ, но увидѣлъ, что этотъ аргументъ вовсе не будетъ убѣдительнымъ для ямщика, и потому замолчалъ, прибавивъ только:

— Ёзду только и видите!

— Мы, ваше благородіе, не то, что ѣзду, а и безпокойство ваше видимъ, сказалъ извозчикъ, — а только что сумѣваемся насчетъ хлопотъ-то... Вѣдь мы видимъ хлопоты-то! Старшина вонъ пустится по волости, деретъ-деретъ, съ позволенія сказать, по мягкому-то мѣсту, а вѣдь хлѣба-то онъ изъ мягкоты-то нашей не выбьетъ... Вотъ собственно насчетъ чего... Вотъ и насчетъ ѣзды то же самое. Чай, не одна ѣзда, а безпокойство, труды всякіе, огорченія, а пѣту хлѣба, такъ и взять нечего... Вонъ тоже слѣдователя вчера съ возилъ по убійству, такъ тоже разговоръ былъ. Я говорю,

кабы у насъ достатокъ былъ, такъ и безпокоиться вашему высокоблагородію нечего... Вотъ она, дѣвчонка-то, ухлопала дубиной двухъ старухъ, и ее за это за самое въ острогъ надо, и вы, ваше высокоблагородіе, по этому случаю изъ города пріѣхали, побезпокоились; а ежели вынуть, такъ и окажется дѣло-то такимъ манеромъ, что кабы не нужда, да не горе, такъ и не за что бы дѣвчонку-то въ острогъ сажать. Вотъ про что-съ! А не то что «ѣзда, ѣзда»! Мы тоже видимъ... Дѣвчонка-то эта безъ матери, одна у отца, на рукахъ куча ребятъ, а хлѣба-то нѣтъ, неурожай у насъ; вотъ и нуженъ въ домъ мужикъ, а чтобы мужикъ-то пошелъ, надыть его приманить, надыть тоже хотъ на посидкахъ какой-нибудь достатокъ показать. Вотъ дѣвчонка-то и пойдѣ къ старухамъ-теткамъ, не дадутъ ли нарядовъ ей какихъ, потому надо спѣшить со свадьбой: не выйдетъ осенью — до весны не дотянуть, а съ мужикомъ все хотъ самой-то уйтѣ можно въ прислуги. А теткѣ-то, вишь, пожадничали; сундуки полны у старухъ-то всякимъ добромъ, да жадность велика — не дали! Думала, думала, горькая, да и украла у старухъ-то чулки тамъ, сарафана два, два али три платка — утащила, да домой. А старухи-то догадались, да за ней, да настигли ее дома-то ночью; да со зла одна тетка-то прямо начин ее бить полѣномъ, а дѣвчонкѣ-то само собой обидно стало, да и испугалась она — она и хвати старуху-то такимъ же манеромъ, т. е. стало-быть полѣномъ же ее треснула, а старуха-то и духъ вонъ!.. Ну, тутъ ужъ и испугалась, да со страху и другую прикончила. Ну, и должна идти въ острогъ... А какъ ежели разобрать, да былъ бы достатокъ, да сиротство-то ежели бы у насъ человѣка не заѣдало, такъ пожалуй и безъ острога бы дѣло-то справилось. Опосля этого случая, какъ наши убитыхъ въ проруби, купецъ у насъ тутъ одинъ говорилъ: «Кабы знато да вѣдано, такъ я бы и такъ ей пятьдесятъ пѣлковыхъ далъ бы на свадьбу!» Это когда! То-то и есть-то! А какъ надо, какъ припретъ къ горлу, такъ норовятъ полѣномъ человѣка отблагодарить... А начальству хлопоты, разѣзды, все такое — пакеты разные печатать, писать — все хлопоты, а такъ, чтобы настоящаго устройства...

Ямщикъ въ-время остановилъ свои неуѣстные рѣчи и прибавилъ:

— Я докладывалъ объ этомъ судебному слѣдователю и все имъ подробно обсказалъ. Такъ они такъ сказали, что вѣрно, молъ, справедливо. Что-жъ миѣ? Миѣ вратъ не изъ чего... Даже водкой въ кабацѣ угостили господинъ слѣдователь-то!

— Ну, конечно! Извѣстный пьяница, — сердито сказалъ исправникъ. — Недолго онъ насидитъ на своемъ мѣстѣ. По кабакамъ-то очень охотникъ разслабляться.

— Такой простой баринъ!

— То-то простъ очень.

Ямщикъ понялъ, что ему слѣдуетъ замолчать, и замолчалъ. Но и слушатели его тоже молчали, такъ какъ настроеніе духа ихъ, благодаря случайностямъ

дорожного разговора, становилось все сложнее и все неприятнее. Сначала Апельсинский омрачил душу путников, заведя рѣчь о той тревожной, безпкойной жизни «нижняго брата», которую онъ весьма вѣрно охарактеризовалъ выраженіемъ «дохнуть некогда», и заставилъ каждого изъ путниковъ припомнить цѣлые долгіе годы этой безпкойной служебной маяты, а заставивъ припомнить эту маяту, заставилъ каждого изъ измаявшихся и пожалѣть самого себя, подумать о томъ, «изъ-за чего, молъ, все это?». Но едва только путники начали было сожалѣть о самихъ себѣ и едва только они ощутили къ самимъ себѣ состраданіе, едва только они хотѣли было объяснить свою каторжную жизнь горячими заботами о счастьѣ семьи, какъ тотъ же словоохотливый Апельсинскій ни съ того, ни съ сего завелъ рѣчь объ этой самой семьѣ—семьѣ, изъ-за которой люди всю жизнь «бьются», «терпятъ», какъ рѣчь шла о такихъ, не подходящихъ къ подобному настроенію чертахъ семейной жизни, которыя заставили усомниться этихъ измучившихся во имя семьи людей въ томъ, что мученія ихъ имѣютъ хотя какіе-нибудь плодотворные результаты. По словамъ Апельсинскаго выходило, что какъ только въ семьѣ, въ томъ или другомъ видѣ, проснется въ комъ-нибудь изъ ея членовъ стремленіе къ правдѣ и къ справедливости, такъ всѣ эти хлопоты, заботы, всѣ тяжкіе труды, подъемленные тружениками во имя семейства, разлетаются прахомъ, все разваливается, и, вмѣсто благодарности за заботы, труды и печали, труженика можетъ ожидать нѣчто, совсѣмъ не похожее на благодарность. Стоитъ-ли эта безконечная маята того, чтобы выращивать людей, которые только и могутъ, что издѣваться надъ этой маятой и бѣжать отъ нея, какъ отъ глубокой неправды? Мысль о непрочности такъ называемаго семейнаго счастья, о томъ, что счастье его и смыслъ вовсе не зависятъ отъ этой безпрерывной маяты, не только не подходящемъ къ желанію пожалѣть себя, возбужденному разсказомъ Апельсинскаго въ началѣ бесѣды, но, напротивъ, неожиданною, неприятною, неделикатною гостьей врывалась въ душу, запрещала жалѣть себя, свои въ безпкойствахъ прошедшіе годы, потому что для самаго-то главнаго резона этихъ безпкойствъ—семьи—они ровно ничего не значатъ и ничего хорошаго въ нее не вносили... А тутъ, какъ на грѣхъ, не успѣли собесѣдники разсѣять въ себѣ нескладное ощущеніе борьбы собственныхъ мыслей о полной ненужности «каторжной жизни» для блага ихъ семейства, какъ ямщикъ своими разглагольствованіями о неурожаѣ коснулся ненужностей той же самой маяты и по отношенію уже не къ семьѣ, а, такъ сказать, къ отечеству, къ народу. По его словамъ оказывалось, что эта безпрерывная ѣзда господъ членовъ, сопряженная какъ съ безчисленными безпкойствами этихъ «членовъ», такъ и съ весьма реальными страданіями безчисленнаго множества «мигикихъ мѣстъ» въ имперіи, что все это не имѣетъ никакой связи съ дѣйствительными источниками совершающихся въ отечествѣ-народѣ жизненныхъ явленій; что такіа простыя, видимыя для

ямщика и всѣхъ его сѣдоковъ явленія, какъ неурожай, «нехватка» въ хлѣбѣ, въ работѣ, въ землѣ и т. д., совершенно ясно и просто выясняютъ ту пропасть всевозможныхъ «дѣлъ», во имя которыхъ идетъ эта безконечная «ѣзда», безконечное безпкойство господъ, и во имя которыхъ, наконецъ, всѣмъ этимъ господамъ «некогдадохнуть».

И вотъ почему сѣдоки земской повозки замолчали и ѣхали молча. А извозчикъ между тѣмъ съ каждымъ шагомъ все ближе и ближе подвозилъ ихъ къ селенію, въ которомъ всѣмъ имъ предстояло совершить безчисленное множество тѣхъ самыхъ дѣлъ, которыя какъ будто ничего не значатъ и ни для кого не имѣютъ ровно никакого результата, кромѣ «ѣзды» и «безпкойства».

II.

Вотъ мелькнула изгородь села, вотъ и трактиръ «Вѣлая Лебать», миновали и «Бакалѣйную» и мушкетерскую лавку съ колониальными товарами и подкатили къ волостному правленію, а здѣсь не болѣе какъ черезъ нѣсколько минутъ принялись и «дѣла дѣлать». Судебный приставъ, засучивъ панталоны, съ портфелемъ подъ мышкой и въ сопровожденіи десятскаго немедленно же отправился «описывать какого-то теленка», увязая по колѣна въ грязь и проклиная свою участь; мировой судья помѣстился въ одной изъ комнатъ волостного правленія, а исправникъ—въ другой. Одинъ сталъ судить, а другой—бушевать. Въ сѣняхъ и на лѣстницѣ волостного правленія, наполненныхъ народомъ, настала мертвая тишина; только сторожъ поскрипывалъ сапогами, пробираясь къ чуланчику, чтобы посмотрѣть, достаточный ли тамъ запасъ розогъ. Сторожъ, какъ и весь народъ, наполнившій волостное правленіе, не исключая и начальниковъ, также очень хорошо зналъ, что въ сущности все дѣло въ неурожаѣ и вообще въ «нехваткѣ», сопутствующей мужику на всѣхъ путяхъ, тѣмъ не менѣе, заглянувъ въ чуланъ и убѣдившись, что розогъ припасено довольно, успокоился и притихъ.

И вотъ среди этой тишины изъ камеры мирового судьи стали доноситься такіа рѣчи:

— Да помилюте, ваше высокобродіе, какъ же мнѣ его не обругать? Онъ же меня обчистилъ всего, всего меня оплелъ, значить, да не скажи я ему неласковаго слова?

— Онъ—староста, начальникъ, и обращался къ тебѣ съ требованіемъ податей, сдѣловательно по дѣлу казенному, т. е. онъ исполнялъ свои обязанности, и ты не имѣлъ права его ругать.

— Да чего же онъ, пропади онъ пропадомъ, терзаетъ меня, когда я у него даже до послѣдней женниной кацавейки позакладывалъ? Вѣдь онъ, жидъ, ковриги хлѣба не повѣритъ безъ залогоу-то! Вѣдь кабы ежели бы Господь урожаю далъ, такъ и безъ него бы пробились, а то, сами извольте подумать, какъ же тутъ управляться! Я ему телку должонъ былъ отдать своими руками за пять цѣлковыхъ, а кабы недѣлку погодить, такъ она бы патна-

дцать серебромъ дала вотъ и подати, а то онъ же меня обобралъ, да я же ему и виновенъ.

— На него ты можешь жаловаться, если онъ тебя обидѣлъ, можешь взыскивать, но публично ругать его непотребными словами ты не имѣешь никакого права. Онъ—начальникъ, онъ требовалъ денегъ не для себя, а какъ начальникъ, понимаешь ты?

— Чего намъ понимать то? Разбирай его, дьявола, когда онъ—грабитель, когда—начальникъ... Намъ тоже недосужно... Вонъ третій годъ недородъ у насъ... а тоже...

— Къ аресту на однѣ сутки. Доволенъ?

— Ну, песъ съ нимъ! Пушай, доволенъ.

— Маловато, вашескорodie! послышался-было голосъ изъ толпы, но на него не последовало отвѣта потому, что заскрипили перья, строчившія рѣшеніе.

Слово «маловато» было произнесено однимъ изъ обиженныхъ, и такихъ обиженныхъ въ дверяхъ комнаты мирового судьи стояла цѣлая толпа. Все это было сельское и волостное начальство; а извѣстно, что начальство это, ознакомясь съ правомъ имѣть въ своихъ рукахъ мірскія деньги, очень ловко пользуется ими для своихъ личныхъ выгодъ и именно благодаря этимъ-то очень короткое время остающимся въ его рукахъ деньгамъ и вырастаетъ въ кулаковъ. А когда же кулаку и раздолье, какъ не въ неурожай, когда человекъ и закладъ несетъ, и телушку продаетъ за безцѣнокъ? Тутъ-то и наживаться.—И вотъ, наживаясь лично, это же начальство пристаётъ къ обиденнымъ имъ же людямъ съ требованіемъ податей, или съ требованіемъ своихъ долговъ, нужныхъ на новый, болѣе выгодный оборотъ. Неудивительно, что ихъ ругаютъ, а иногда и бьютъ, и въ лицо имъ плюютъ обиженные ими люди, и вотъ это начальство наказываетъ ихъ за оскорбленіе себя, какъ начальства, а не какъ міроѣдовъ. Неурожай былъ большой, кулаковъ много, наживы много, а стало быть и много бѣдности и негодованія, а стало быть много и дѣлъ объ оскорбленіяхъ. Вотъ почему изъ камеры судьи слышались, втеченіе по крайней мѣрѣ двухъ-трехъ часовъ, только однѣ и тѣ же фразы:

— За оскорбленіе при исполненіи служебныхъ обязанностей...

— Да вѣдь онъ же меня обобралъ-то!

— Ты можешь взыскивать судомъ, но не имѣешь права... На одинъ день... Доволенъ?

— Шутъ его деръ... пушай! Песъ съ нимъ.

И «довольные» выходили по очереди изъ камеръ, держа въ рукахъ шапки и бормоча:

— Кабы урожаю Богъ далъ, такъ не былъ бы я у него, у живорѣза, въ лапахъ!

Но хотя «живорѣзы» и чувствовали, правда, не полное, «маловатое» удовлетвореніе, видя своихъ обидчиковъ, направляющихся въ темную, «неурожай», о которомъ имъ было извѣстно ничуть не хуже кого бы то ни было и который таился тутъ, въ глубинѣ всего этого безпокойства, заставляя ихъ чувствовать, что ихнее начальническое дѣло тоже

будетъ не совсѣмъ ладно; вѣдь за стѣной сидитъ исправникъ, а это вовсе не означаетъ, чтобы вмѣсто неурожая вдругъ урожаемъ сдѣлался.

А у исправника дѣла было еще больше. Для скорости и подмоги въ маленькой камеркѣ, принадлежавшей къ присутствію, занимаемому исправникомъ,—камеркѣ, въ которой старшина и волостной писарь обыкновенно пьютъ чай, принимаютъ взятки и шепчутся относительно разныхъ дѣлъ,—засѣдалъ волостной судъ; этимъ судомъ еще съ осени было приговорено къ 20 ударамъ розогъ человекъ двадцать пять неплательщиковъ, обязавшихся къ февралю мѣсяцу представить либо деньги, либо «мягкія части». Но прошелъ и февраль, и мартъ, и вотъ ужъ идетъ и апрѣль, а ни денегъ, ни мягкихъ частей отъ этихъ болящихъ не получено. Старосты и старшины, обезсиливъ въ личной борьбѣ съ этой упорной и какъ камень безплодной нищетой, представили теперь всю эту голытьбу прямо господину исправнику, а для «скорости» въ исполненіи приказаній послѣдняго со-звали волостной судъ.

— Кабы ежели бы хлѣбушка Богъ далъ!

— Все работники нѣту-ти, вашескорodie!

— Ономаясь вонъ хотъ солому прессовали, а нонѣ...

— Не мое дѣло! вопилъ исправникъ. — А на кабакъ есть деньги? Ты чего пьяный сюда затесался?

— Мы, вашескорodie, собственно...

— Собственно! Знаю я васъ, каналий! Писарь, пиши волостной приговоръ...

— Эй, судьи, чего-жъ вы? шепчетъ писарь, и судьи постановляютъ сѣчь пьянаго...

Голосъ исправника гремитъ неслучно среди шума, просьбъ и объясненій причинъ, даваемыхъ сразу всей толпой. Но развѣ можетъ быть какое-нибудь уваженіе къ этимъ объясненіямъ, если вообще невозможно уважить такую понятную и объяснимую, ясную причину, какъ неурожай? И вотъ почему исправникъ гремитъ и жестокосердствуетъ, но онъ свиходителемъ, и нѣкоторымъ опять дается отсрочка до Троицы, до Петрова дня, а нѣкоторые «упорщики», «пьяницы» и вообще крайне благодарные элементы деревенскаго общества идутъ подъ сарай, куда сторожъ несетъ розги, а два мужика идутъ помогать, т. е. драть.

Такимъ образомъ волостное правленіе, недавно еще молчаливое, начинаетъ оживать, шумѣть и двигаться. «Дѣла» кипятъ и выражаются въ томъ, что подъ сараемъ идутъ разговоры о розгахъ, мочить ли ихъ или такъ, идутъ уговоры непокорныхъ: «ложись, ложись, не ломайся». Въ камерахъ судьи, волостного суда и исправника шумъ и крикъ. И все неурожай, да неурожай. А въ то же время изъ волости и изъ камеръ народъ разбредается двумя потоками въ разные мѣста: отъ мирового судьи потокъ людской направляется въ «темную», отъ исправника и волостного суда—подъ сарай. А скоро и третій потокъ хлынулъ оттуда же, изъ зданія волости, хлынулъ сильнымъ теченіемъ.. Кто это? Увы! Это ужъ сами сельскія власти, старши-

ны и старосты... И ихъ тоже исправникъ препровождаетъ въ темную, за нерадѣіе, за неисполненіе приказаній, за упущенія во взысканіи.

— Знаю я, какой у васъ неурожай! Небось, съ своимъ сѣномъ, такъ по недѣлямъ въ Петербургѣ жила, негодая, а въ деревнѣ хоть трава не расти. А кто отвѣчать будетъ? Что-же мнѣ за васъ, негодяевъ, въ темной сидѣть что-ли?.. Въ темную!

— Да вѣдь, вашескобродіе, кабы урожай бы... а то...

— Въ темную, канальи!

Эти три потока «виноватыхъ», которые обильно истекали изъ дверей волостного правленія каждую минуту, смѣшиваясь на волостномъ дворѣ, служили обильной пищей для остроты тѣмъ деревенскимъ счастливымъ, которые почему-то остались въ числѣ правыхъ и пользовались завидною долей—стоять въ сторонѣ отъ всѣхъ этихъ безпокойствъ и «дѣловъ».

— Ты куда, Сафронъ Петровичъ?

— Да въ темную, ангелъ мой, приказываютъ!

— Ты-то въ темную? Да вѣдь ты, кажись, тоже изъ передержавшихъ?

— Ну, братъ, тамъ этого не разбираютъ!

— Не ладно! И это ты виѣстѣ съ Егоркой будешь тямотко?

— Мы, Кузьма Ивановичъ — говоритъ самъ Егорка, забудыга изъ числа «неплательщиковъ» и «упорщиковъ», — мы виѣстѣ съ Сафронъ Ивановичемъ за-границу ѣдемъ. На минеральныя воды. Онъ меня беретъ вродѣ губернантки...

— Компания, нечего сказать!.. Компания!.. А тамъ, подь сараемъ-то, что такое? Шумятъ что-то!

— А тамъ, Кузьма Ивановичъ, молотѣба идетъ... Хлѣба нѣту, сами знаете... такъ вымолачиваютъ изъ непокорныхъ особовъ...

— Что-жъ, поди, подешевѣтъ... хлѣбъ-отъ?

— Наврядъ, штобы подешевѣлъ... Молотятъ — здорово молотятъ, а не видать, чтобы много намолотили... И даже до крови добрались, а зерна настоящаго не видать.

— Да что-жъ онъ, дуракъ, деретъ-то? Аль онъ очумѣлъ?

— Извѣстно, дуракъ, солдатъ безмозглый.

— Поди-ко-сь, я ену, подлецу... У насъ и при господахъ, такъ и то больше по дереву хлопали, а онъ, дуракъ, теперича вздумалъ...

Иразгнѣванный Кузьма Ивановичъ, мужикъ, имѣющій нѣкоторое представленіе о томъ, что такое означаетъ въ самомъ дѣлѣ слово «порядокъ», уже безъ шутокъ идетъ подь сарай.

Мало-по-малу шумъ, толкотня, настиженіе, брань, приговоры и приказанія начинаютъ стихать, сначала подь сараемъ, потомъ у мирового, потомъ у волостныхъ, а потомъ и у исправника. Все окончено; надо ѣхать въ другое мѣсто. Исправникъ проситъ водичи и «съ устатку» пьетъ прямо изъ ковши; мировой чувствуетъ потребность умыться, вымыть лицо и руки, волостные судьи тоже устали и понемногу разбредаются, утирая лбы, и наконецъ появленіе до нельзя уставшаго Апелсинскаго, всего въ грязи и всего мокраго отъ поту, кла-

детъ окончательно предѣлъ дѣловому дню. Приказываютъ подавать лошадей и уѣзжаютъ.

Все затихло и замолкло. разошлось, разѣхалось и размѣстилось въ темной. Все было сдѣлано не сумасшедшими и не пьяными; но всѣ, рѣшительно всѣ дѣйствующія лица, участвовавшія такъ или иначе въ событіяхъ дня, чувствовали себя въ самомъ недѣльномъ душевномъ настроеніи. Всѣ они давнымъ-давно свыклись съ этой мыслью, что именно въ томъ, что происходило сегодня, и заключается то, что называется «дѣломъ», «службой»; но въ то же время каждый изъ нихъ чувствовалъ, что всѣ эти дѣла — ничто сравнительно съ той простой нуждой народной, удовлетвореніе которой тотчасъ же прекратило бы весь этотъ тяжеловѣсный, дѣловой сумбуръ. Простое, внимательное удовлетвореніе простыхъ человѣческихъ потребностей, простой, понятной, ясной человѣческой нужды, сдѣланное безъ шума, гама, крика, безъ розогъ и холодныхъ — въ результатѣ которыхъ ничего, кромѣ сумбура и тоски нѣтъ, — чувствовалось всѣмъ, какъ дѣйствительное, настоящее дѣло, — то самое, которое именно и нужно дѣлать; но оно, это простое вниманіе въ нуждѣ человѣка въ то же время казалось всѣмъ почему-то недостижимо далекимъ, необычнымъ мечтаніемъ, фантазіей, и, напротивъ, вотъ этотъ тяжеловѣсный сумбуръ, безрезультатность котораго была также всѣмъ понятна, не рисовался въ какомъ-то отдаленіи и туманѣ, а угнеталъ каждого, ощущался въ самой явственной физической боли, недомоганіи, усталости. Служба отечеству, оторванная отъ дѣйствительныхъ нуждъ человѣческихъ существъ, изъ которыхъ это отечество состоитъ, выразилась въ массѣ какихъ-то такихъ службъ и такихъ дѣяній, которыя по малой мѣрѣ возбуждаютъ только всеобщее равнодушіе, выражаются въ безрезультатной суетѣ-суетѣ, и въ то же время не уважающее этой суеты-суеты чело-вѣчество привыкло, сжилося съ мыслью о томъ, что эта суета-суета какъ бы вещь неминуемая.

Но въ концѣ-концовъ никто изъ дѣйствующихъ лицъ этой сегодняшней сцены не могъ, какъ говорится, разобратся въ своихъ мысляхъ. Точно облака удушливой пыли, поднятыя этой суетой, затемнили здравый разсудокъ каждого.

— И что же это будетъ? — сидя въ темной, размышлялъ старшина или староста. — Я же начальникъ, и меня же виѣстѣ съ прохвостомъ? И кто же меня будетъ слушать, бояться?.. А ежели меня не бояться, не почитать, такъ что-жъ будетъ значить мое слово? И что-жъ это сажать начальника, когда явственно взять нечего? Теперича я просижу день, что-жъ, прибавится взносовъ отъ этого или нѣтъ?.. Ты сажай прохвоста, пьяницу, а начальника берега, да тогда и взыскивай!..

— Нѣтъ, это оченно прекрасно, что васъ, живорѣзовъ, учить стали! говорилъ начальнику «упорщикъ» и грубиянъ Егорка. — Вашему брату давно бы ужъ пора руки къ лопаткамъ прикрутить! Ишь ты какъ лапы-то растопырилъ, пасть-то разинулъ... Такъ тебѣ и полѣзу я прямо въ

хайло! Кабы не неурожай, такъ попалъ бы я тебѣ въ лапы-то, какъ-же, ухватилъ бы ты меня! Очень прекрасно, что вашего брата приструниваютъ, а вотъ нашего-то брата ужъ не за что въ темную-то пιάть: ужъ это надобно сказать прямо... За что? У меня хлѣба нѣтъ, работы нѣтъ, ѣсть нечего. Чѣмъ я виновенъ, что урожаю нѣту? Опять-же изъ-за чего я перезаложилъ вамъ, живорѣзамъ? Кто меня обобралъ? Чѣмъ мнѣ платить, коли я тебѣ все отдалъ? Нѣтъ! Тутъ правды нисколько нѣтъ! Ну, чего отъ меня проку то будетъ, ежели я сутки просижу!.. Ну?..

И такія странныя, тяжелыя мысли, у которыхъ никто не былъ въ состояніи свести концы съ концами, тяготѣли рѣшительно надъ всѣми участвующими. Мировой судья, сидя въ земской телѣгѣ, направлявшейся на станцію желѣзной дороги, попробовалъ было оправдать все происходившее какою-нибудь высшею цѣлью, какинь-нибудь неприимѣннымъ простому глазу благомъ и пытался доказать самому себѣ, что такая на первый взглядъ безцѣльная суета все-таки въ концѣ-концовъ имѣетъ сопосредствование съ поднятіемъ курса русскаго рубля, а слѣдовательно съ благомъ общественнымъ, но при всемъ его желаніи «свести концы съ концами» изъ размышленій его не выходило ровно ничего. Такая простая вещь, какъ неурожай, а вмѣстѣ съ нимъ масса другихъ не менѣ простыхъ вещей и нуждъ, не имѣющихъ даже и отдаленнаго права надѣяться быть просто удовлетворенными, разбивали его софистическія размышленія, и онъ чувствовалъ только, что онъ усталъ, что дѣлать никакихъ не было, что была суета, пустыня и шумъ... Ѣзда и жалованье въ концѣ-концовъ.

Мраченъ и утомленъ былъ также и исправникъ, и ему было не по себѣ, до того не по себѣ, что, встрѣтивъ на дорогѣ мужика той деревни; изъ которой онъ уѣзжалъ, онъ приказалъ ему передать, чтобы выпустили изъ темной всѣхъ, кто тамъ есть. Онъ дѣлалъ то, что слѣдуетъ ему дѣлать, но все, что онъ дѣлалъ, было никому и ни на что не нужно. Не нужно ему, не нужно семьѣ, не нужно деревнѣ. Онъ ясно чувствовалъ, что нужно вовсе не то, а что-то гораздо болѣе тихое, простое, челоѣчное. Но это опять-таки одна фантазія.

Апельсинскій также не радостно смотрѣлъ на бѣлый свѣтъ. Онъ описалъ у мужика теленка, который былъ до того малъ, что не могъ держаться на ногахъ, для чего мужикъ долженъ былъ вынести его на рукахъ какъ младенца. И теленокъ-то стоитъ четвертакъ... Какъ все это чудно, тяжело, безтолково, а надо! Ничего не подѣлаешь... А рядомъ съ Апельсинскимъ сидѣлъ тотъ же самый ямщикъ, который везъ ихъ всѣхъ въ волость и раньше, сидѣлъ и думалъ:

«Сколько ѣзды-то! Вонъ опять у лошадеенокъ брюхо-то подвело! Сколько народу-то ѣздить... А чего? Коли бы ежели бы урожай былъ, а то нехватка, недостача... А что шуму-то! Да не пиши, не ѣши...»

Въ самомъ мрачнѣйшемъ настроеніи духа подѣ-

ѣхали пассажиры земской подводки къ станціи. Но здѣсь они неожиданно натолкнулись на сцену, которая весьма облегчила ихъ измученныя души, потому, что въ самыхъ яркихъ чертахъ указала выходъ изъ безплодной, но каторжной суеты жизни, которою они были подавлены.

Тяжелой, утомленной поступью поднялись они всѣ трое по ступенькамъ вокзала, сопровождаемые земскимъ ямщикомъ, несшимъ за ними портфели, плотно наполненные дѣлами, когда въ самыхъ дверяхъ буфета на нихъ налетѣла какая-то пьяная фигура.

— А, ямщикъ! Михайло! Ты Михайло? заплетавшимся языкомъ бормотала фигура, бормотала громко, на весь вокзалъ, покачиваясь и махая руками.

— Такъ точно, ваше высокоблагородіе... я-съ самый!

— Это... т-ты м-меня везъ?

— Точно такъ... мы везли-съ.

— А про дѣвчонку ты объяснилъ?

— Это про зину-то? Какъ-же, ваше благородіе... это я вамъ докладывалъ.

— А-а! Ну, вѣрно, вѣрно! Давай я тебя поцѣлую! Вѣрно, братъ; братъ ты мой милый! Михайло, голубчикъ, вѣрно, родной, все вѣрно!

И слѣдователь (это былъ. къ сожалѣнію, онъ), какъ говорится, обласкавъ извозчика и, шатаясь, цѣловалъ его въ губы, въ бороду, захлебываясь и всхлипывая. Онъ былъ сильно пьянъ.

— Вѣрно! бормоталъ онъ въ промежуткахъ между поцѣлуями.—Нужда, братъ, Миша! А мы въ острогъ, пррротоколь...прокуроръ...Голубчикъ, прости! Подлецъ, да, подлецъ.. прости подлеца!..

— Ну, будетъ, Николай Петровичъ! желаю прекратить эту сцену и трогая слѣдователя за рукавъ, тихо проговорилъ Апельсинскій.—Вѣдь народъ... дамы, не ловко же!

— А-а-а. удивленно и по-прежнему громко, во всю мочь возопилъ слѣдователь, обернувшись въ сторону Апельсинскаго.—Сотоварищъ... Э-э-э!.. и г. исправникъ тутъ же... да тутъ всѣ... вся армія спасенія... культура, цивилизація и эмансипація...

— Ну, будетъ, будетъ! шепталъ Апельсинскій.

— Нѣтъ! Очень пріятно... Здравствуйте, господа, и прощайте... Оревуаръ! Мерси! Не ожидаю! Предоставляю вамъ аррену, аррену-съ, а меня увольте. Увольте меня! во мнѣ есть Богъ! да! Богъ во мнѣ есть! Культурная вы мастеровщина!.. Не хочу! довольно! будетъ! Я учился, я читалъ, я думалъ... и я пойду тащить въ острогъ мужика? Нѣтъ, не будетъ этого!

— Ну, будетъ, будетъ, Николай Ивановичъ!

— Нѣтъ! Не будетъ! Я посадилъ дѣвчонку, теперь мнѣ надо сажать цѣлую деревню... Кулачишко имъ сидѣлъ подтопъ мельницей, оставилъ безъ сѣна, безъ молока, безъ пищи ребятамъ, безъ скотины, безъ дровъ... Я, университетски образованный, я долженъ стоять за кулачишку: у него собственность, плотина, а они самовольно ее разломали... У нихъ дѣти, старики, жены, это ничего!

Это ниже собственности... Мнѣ этого довольно, довольно! Позоръ, стыдъ, срамъ... Эй! Эй! Человѣкъ! на тебѣ фуражку! Водки давай! Давай лапти! Лапти мнѣ!.. Это... это... что это? Что такое? Да! Это одна ѣзда, ѣзда и кровь человѣческая... Лапти давай мнѣ, каналья!.. Лапти!..

— А вѣдь ей-Богу такъ! сказала исправникъ.

Вѣрно! вѣрно! воскликнула Апелсинскій и хотѣлъ было съ объясненіемъ броситься къ слѣдователю, но въ это время съ дивана вскочилъ какой-то пассажиръ и громко крикнулъ:

— Что это за безобразіе! Выведите его вонъ, каналья! Здѣсь дамы!..

Восклицаніе это было до такой степени грозно, что любопытные, начавшіе стекаться на шумъ, производимый слѣдователемъ, вдругъ раздalisся въ стороны, слѣдователь замолкъ, а я... проснулся.

Оказалось, что я спалъ крѣпкимъ сномъ и проснулся оттого, что поѣздъ владикавказской дороги, по которой я ѣхалъ, остановился около какой-то станции, а по платформѣ два жандарма тащили подъ руки какого-то огромнаго, пьянаго, ободраннаго человѣка съ косою на плечѣ.

— Выведите его, каналья! Долой съ платформы! кричалъ начальникъ станціи.—Здѣсь дамы... дѣти!..

Я понялъ, что именно этотъ голосъ и разбудилъ меня.

Не все однако рассказанное мною происходило только въ сновидѣніи. Я очень хорошо помню, что о весенней голодовкѣ въ нашихъ сѣверныхъ мѣстахъ и о той «дѣловой суетѣ-суетѣ», которой она сопровождалась, я сталъ думать потому, что, садясь въ вагонъ владикавказской дороги, чтобы ѣхать домой на сѣверъ, и такимъ образомъ покаячиваясь съ лѣтними впечатлѣніями жизни на югѣ, я невольно сталъ вспоминать то время, когда я только что сталъ собираться ѣхать на югъ, и вспоминалъ весну, а съ ней и голодовку, и суету-суету. Но гдѣ же та точка, съ которой мож совершенно реальныя впечатлѣнія перешли въ сновидѣніе? Этотъ вопросъ тотчасъ же бросился мнѣ въ голову, какъ только я открылъ глаза и убѣдился, что я спалъ, и на мое счастье дѣйствительность почти тотчасъ же разсѣяла мои недоумѣнія: какъ разъ противъ окна вагона, въ которое я смотрѣлъ на станціонную публику, стояла группа тѣхъ самыхъ дѣтелей, которые мнѣ приснились: тутъ былъ и исправникъ, и мировой, и слѣдователь, и еще много разныхъ людей съ портфелями, набитыми бумагами; но всѣ они были такъ свѣтлы, такъ спокойны, здоровы и веселы, что рѣшительно не напоминали своихъ сотоварищей, приснившихся мнѣ во снѣ; ни сомнѣній, ни терзаній, ни вздоховъ — ничего этого нельзя было ожидать отъ совершенно спокойныхъ, изящныхъ людей, которыхъ я видѣлъ въ дѣйствительности. Ясныя, свѣтлыя лица ихъ и спокойные приемы не давали, правда, возможности рѣшить вопроса о томъ, почему лица эти такъ ясны и самодовлѣющы? Потому ли, что дѣла ихъ ясны и свѣтлы, или потому, что въ темныя и неясныя дѣла они сами только и дѣлаютъ, что вносятъ свѣтъ?

Но и не затрудняя себя рѣшеніемъ этого вопроса, можно было все-таки ясно видѣть, что это вотъ не приснившійся, а настоящій исправникъ, это настоящий слѣдователь, а это заправскій судебный приставъ, да вотъ и столікъ съ картами и мѣломъ пронесли для нихъ два сторожа въ первый классъ—очевидно, что люди настоящіе, дѣлающіе какое-то должно быть тоже настоящее дѣло.

III. «Одинъ на одинъ».

(По поводу одного процесса.)

I.

Необыкновенное, поразительное, потрясающее уголовное дѣло разбирало недавно отдѣленіе орловскаго окружнаго суда въ городѣ Болховѣ. Обвинялся и приговоренъ къ безсрочной каторгѣ нѣкто Пищиковъ, который засѣкъ свою жену, беременную на девятомъ мѣсяцѣ, нагайкой. Процессъ этотъ не сдѣлалъ такого общественнаго шума, какой обыкновенно дѣлаютъ разные кровавые процессы,—и я не сомнѣваюсь, что *ужасъ*, именно только безконечный и безпредѣльный ужасъ, которымъ запечатлѣно это дѣло, и былъ причиною того, что всякій, хоть чуть-чуть знакомый съ нимъ, предпочелъ перестрадать его молча, про себя, а столічная печать не сочла умѣстнымъ тираниль своихъ читателей подробностями ужаснаго дѣла, такъ-какъ и маленькаго пересказа о немъ, промелькнушаго во всѣхъ газетахъ, было совершенно достаточно для того, чтобы потеряться отъ невыразимой тоски.

Въ настоящей замѣткѣ я также не желаю тираниль читателя изложеніемъ подробностей этого дѣла *), потому что не въ нихъ, какъ мнѣ ка-

*) Въ короткихъ словахъ содержаніе процесса таково: бѣдный провинціальный писарекъ Пищиковъ случайно знакомится и женится на богатой дѣвушкѣ (дѣвическая ея фамилія Сан-Венсанъ), образованной, что никакъ нельзя сказать о самомъ Пищиковѣ. Вскорѣ послѣ свадьбы Пищиковъ уѣзжаетъ на жительство въ деревню, и вотъ здѣсь сталъ совершенно обезпеченнымъ человѣкомъ, что для грубой и дикой натуры Пищикова могло означать—полное освобожденіе отъ всякихъ общественныхъ обязанностей (а это, къ сожалѣнію, какъ увидать читатели, оказывается дѣломъ вполне возможнымъ); онъ начинаетъ жить исключительно своими личными интересами и прихотями, въ числѣ которыхъ зерно ревности къ доброй жизни жены даетъ ему право проявлять относительно ея свои дурные, жестокіе инстинкты. Въ настоящемъ очеркѣ я опускаю только процессъ развитія въ Пищиковѣ этихъ жестокихъ инстинктовъ, то есть не говорю ничего о томъ, какъ отъ грубыхъ словъ и ругательствъ дѣло дошло до побоевъ, а отъ побоевъ—къ дракѣ, къ увѣчью, къ всенародному посрамленію жены, и т. д. Ужаснаго конца этихъ жестокостей вполне достаточно для того, чтобы читатель былъ потрясенъ и подавленъ злодѣйствомъ, и нѣтъ никакой надобности усиливать это подавляющее впечатлѣніе пересказомъ подавляющихъ подробностей. Все существенно важное для пониманія этого ужаснаго дѣла читатель найдетъ въ настоящей замѣткѣ: узнаетъ, кто такой былъ Пищиковъ, кто такая была его жена, какъ они сошлись и т. д.

жется, заключается то невидимо ужасное, изъ котораго возникло ужасное видимое. Подробности процесса не даютъ вамъ ни малѣйшаго понятія объ этомъ невидимомъ, но ужасномъ. Самъ виновникъ злодѣйства объясняетъ свое дѣло ревностью — «ревностью къ добрачной жизни жены»; говоритъ, что жена раздражала его тѣмъ, что не говорила правды; «сегодня расскажетъ одно, а завтра говорить, что я все наврала, ничего этого не было» — и вотъ отъ такого-то раздраженія человѣкъ могъ постепенно дойти до того, что не нашелъ иного выхода изъ своихъ личныхъ огорченій, какъ безчеловѣчное истязаніе *отеченіе шести часовъ* беременной на девятомъ мѣсяцѣ беременности, — истязаніе, про которое врачъ, видѣвшій солдата, наказанныхъ шпицрутенами до тысячи ударовъ, говорилъ, что онъ не видывалъ ничего подобнаго тому ужаснѣйшему положенію, въ которомъ засталъ мертвую г-жу Пищикова. Кромѣ полнѣйшаго несоответствія такого звѣрскаго конца съ размѣрами личнаго огорченія, эти размѣры *въ подлинномъ*, выяснившимся на судѣ видѣ, *въ подлинномъ своемъ значеніи*, не только не имѣютъ чего-нибудь маломальски фактически достовѣрнаго, что дѣйствительно могло-бы довести человѣка до изступленія, но умяляются до ничтожества (въ смыслѣ *коренной причины* ужаснаго дѣла) показаніями того же самаго Пищикова, который засѣлъ жену, имѣя отъ нея уже 4-хъ дѣтей, — жену, совершенно ему преданную, засѣлъ *яко бы* за ея «добрачную жизнь», тогда какъ съ этой «добрачной» жизнью своей будущей жены онъ былъ исполнѣ уже знакомъ до брака. Убитая теперь имъ женщина до брака была «влюблена» въ плѣннаго турецкаго офицера, нѣкоего Телятъ-бей. Дѣвушка эта училась въ институтѣ (но не кончила) и жила не то чтобы на свободѣ, а такъ, безъ призора; отецъ ея женился на другой, когда ей было два года, жила она у какой-то тетки безъ дѣла, и, повторяю, — безъ призора. Бульвары, прогулки, спованіе изъ угла въ уголь. Замужъ бы надобно было барышнѣ-бѣднягѣ, а тутъ Телятъ-бей какой то по бульвару шляется. Она такъ въ него влюбилась, что когда онъ уѣзжалъ на родину, такъ она хотѣла съ нимъ бѣжать, просила, чтобы онъ «взялъ ее» съ собой. (Вѣдь скука въ самомъ дѣлѣ адская *такъ жить* у тетки... Что-жъ? Тетка — тетка... все одно и тоже!). И эти-то просьбы передавались Телятъ-бею черезъ Пищикова; Пищикова носилъ ему письма своей будущей жены, уговаривалъ его придти къ ней на свиданіе, словомъ, помогалъ ей... Когда же Телятъ-бей отказалъ барышнѣ, «не взявъ» ее съ собой, то она полюбила Пищикова — да въ самомъ дѣлѣ, вѣдь какъ онъ для нея старался, какъ хотѣлъ помочь! А тотъ оттолкнулъ ее... Разумѣется, Пищикова «добрый», и не ходитъ же ей всю жизнь по бульвару изъ угла въ уголь... Пищикова женился на барышнѣ, *зная все это и будучи, по его словамъ, «до брака же» въ мальчайшихъ подробностяхъ знакомъ со всевозможными другими романами своей жены* (рѣшительно не подтвердившимися на судѣ). Словомъ, все, что якобы оже-

сточило Пищикова послѣ долгихъ-долгихъ годовъ супружеской жизни съ безукоризненной женой, все это давнымъ-давно было уже извѣстно Пищикову, — а главное то, что все это «извѣстное» положительно не подтверждено ни единымъ свидѣтельскимъ показаніемъ. Въ этой бѣдной женщинѣ не только не видно признаковъ малѣйшаго своевольства сердца, но мы видимъ напротивъ, что она, обладая вполне независимымъ состояніемъ, дающимъ ей полную возможность жить «въ свое удовольствіе», — даже и мысли не имѣетъ о возможности *уйти* отъ тирана мужа, не въ силахъ убѣжать отъ его ударовъ: даже въ страшный день своей страшной смерти, чувствуя приближеніе чего-то немовѣрно жестокаго, она только проситъ не уходить, остаться ночевать какихъ-то двухъ мужиковъ, случайныхъ гостей Пищикова. Мужики отказались, и она ничего не могла придумать иного для своего спасенія.

Такимъ образомъ мотивъ, выставляемый Пищиковымъ, при самомъ тщательномъ изученіи показаній, касающихся «добрачной» жизни его жены, рѣшительно не имѣетъ ни малѣйшаго значенія сравнительно съ невѣроятнымъ результатомъ, къ которому онъ привелъ. Защитникъ Пищикова (къ чести его) даже и не коснулся этого, во всѣхъ смыслахъ не подлежащаго уваженію, мотива. Но и другой мотивъ, выставляемый прокуроромъ, — пожелательно также, какъ и первый, не выводитъ васъ на настоящую дорогу. Пищиковымъ руководило корыстолюбіе; жена его владѣла имѣніемъ цѣнностью до семидесяти тысячъ рублей, и вотъ онъ, сдѣлавшись ея мужемъ, хочетъ, чтобы жена сдѣлала его полнымъ хозяиномъ имѣнія и ради этого онъ начинаетъ ее бить, т. е. побоями хочетъ добиться отъ нея того, что она, прикованная къ нему какой-то неискоренимой привязанностью, могла бы сдѣлать по одному ласковому слову. Но и этого не нужно, потому что (какъ видно изъ дѣла) она сдѣлала это уже давнымъ-давно; Пищикова давно уже имѣлъ отъ нея довѣренность на управленіе имѣніемъ, могъ это имѣніе продать и заложить, и кромѣ того имѣлъ ея векселя на сумму, превышающую стоимость имѣнія. Словомъ, онъ имѣлъ въ своихъ рукахъ все; — и вотъ, когда онъ все получилъ, онъ и дѣлаетъ дѣло, за которое его ждетъ безерочная каторга. Не могъ же онъ не знать, что, истязая жену, онъ идетъ не къ свободѣ и богатству и тѣмъ паче не къ счастью... Онъ отлично зналъ еще утромъ рокового дня, что день этотъ кончится какъ-то необыкновенно жестоко, онъ зналъ это наканунѣ, задолго до рокового дня ощущалъ потребность разразиться въ чемъ-то ужасающемъ... Въ день смерти жены онъ утромъ посылаетъ ея отцу телеграмму, извѣщая его о приближающейся кончинѣ жены, которая была еще жива — сдѣла съ гостями, которыхъ потомъ просила остаться ночевать...

Словомъ, всевозможные «резоны», приводимые прокуратурой, защитой, свидѣтелями и самими подсудимымъ въ объясненіе этого необычайнѣйшаго злодѣйства, не только не объясняютъ вамъ его, но

напротивъ, тѣмъ болѣе вы стараетесь выикнуть въ «подробности» дѣла и съ помощью ихъ до «самаго корня», тѣмъ болѣе вы начинаете чувствовать, «что это не то», что «это не главное», что это мелочи, и что гдѣ-то тутъ «около» этого процесса, а не здѣсь, въ этомъ окружномъ судѣ, и не въ этомъ отчетѣ о засѣданіи, который вы читаете, есть то главное, то ужасное, что гнететъ васъ несказаннымъ ужасомъ. Ужасъ этотъ начинается возрастать именно по мѣрѣ того, какъ «подробности» дѣла начинаютъ надобѣдать вамъ своею ничтожностью, мелочностью... Вы видите, что для объясненія злодѣяства никто изъ лицъ, заинтересованныхъ въ процессѣ, — не въ состояніи представить такихъ резонныхъ объясненій, чтобы вы могли сказать себѣ: «А, вотъ наконецъ въ чемъ дѣло!»

И вотъ въ то самое мгновеніе, когда вы хотѣли бы совершенно забыть то ничтожное до микроскопичности малое сердечное огорченіе Пищикова на его жену за какую-то добрую жизнь, — огорченіе, источникомъ котораго была послѣдствіемъ кровавая безчеловѣчная бойня, — вотъ тутъ-то вы и начинаете понимать, почему это дѣло такъ несказанно васъ потрясаетъ.

II.

Васъ ужасаютъ тѣ непонятныя условія жизни, которыя сдѣлали возможнымъ нѣчто совершенно невозможное. Что бы вы сказали, если бы кто-нибудь указалъ вамъ на огромное, толстое и крѣпкое, какъ дубъ, дерево и сказалъ бы, что это не дубъ и даже не дерево, а просто-на-просто салатъ, доведенный до такого невѣроятнаго состоянія какими-то особенными приѣмами? Въ дѣлѣ Пищикова поражаютъ именно тѣ таинственные причины, лежашія гдѣ-то тутъ, *около этого дѣла*, которыя сдѣлали возможнымъ, что крошечное, по-истинѣ, какъ маковое зерно, ничтожное личное дѣло, *личный*, притомъ же вполне призрачный *вопросикъ*, могъ постепенно развиться до такихъ необычайныхъ размѣровъ, что завладелъ всѣмъ человѣкомъ, сдѣлался руководителемъ всѣхъ его помысловъ, поступковъ, побужденій, сдѣлался воздухомъ, которымъ онъ дышетъ, сталъ главнѣйшимъ и единственнымъ мотивомъ ежедневнаго *временного* *привожденія*, до того единственнымъ и насущнымъ, что когда жестокосердію не было пищи, когда воображеніе отказывалось работать въ направленіи жестокихъ мыслей за положительнымъ отсутствіемъ матеріала, словомъ, когда утомленная однообразіемъ работы мысль начинала ослабѣвать — то человѣкъ, *жившій* и дышавшій только этими злыми мыслями, долженъ былъ прибѣгать къ искусственнымъ средствамъ, пить стаканами водку, возбуждать свою отказывающуюся работать фантазію — въ томъ же совершенно противоестественномъ направленіи, точно, не будь у него этихъ безчеловѣчныхъ мыслей, такъ ему и жить-то на свѣтѣ не будетъ никакого интереса.

Въ чемъ же заключаются тѣ удивительныя, непонятныя условія нашей жизни, которыя съ одной

стороны даютъ человѣку широчайшую, роскошнѣйшую возможность отдать всю свою жизнь, всю свою душу, силу, кровь и плоть капельному личному вопросу, разработать этотъ вопросикъ въ необычайныхъ тонкостяхъ, довести его крохотное значеніе до гигантскихъ размѣровъ — а съ другой, каковы же тѣ условія жизни, которыя, позволяя даже маковымъ зернамъ личныхъ вопросовъ разрастаться до предѣловъ невозможнаго, тѣмъ самымъ даютъ возможность пожираемому личнымъ дѣломъ человѣку *по чьимъ законамъ не ощущать ни малѣйшей потребности удовлетворить что-нибудь изъ своихъ личныхъ силъ, личнаго гора, личнаго вниманія на интересы, печали, радости того океана людей, среди котораго онъ живетъ?* И почему наконецъ этотъ самый океанъ людей тутъ, вокругъ этого человѣка, можетъ жить своей жизнью, не прикасаясь къ нему, ничего отъ него не требуя и ничего не давая?

Вотъ тѣ дѣйствительно ужасные вопросы, объясненіе которыхъ таится гдѣ то «около» процесса, но никакъ не въ подробнѣйшихъ подробностяхъ его.

Случалось-ли вамъ, читатель, когда-нибудь заглянуть на большую фабрику во время перерыва работы, т. е. точь-въ-точь въ такую же минуту, которую относительно русскаго общества я позволялъ себѣ характеризовать словомъ «безвременье»? Живая сила пара еще дѣйствуетъ и на фабрикѣ идутъ шумъ и стукъ; вотъ здѣсь пытитъ какой-то здоровенный поршень, хлякая масляной поверхностью, пытитъ и неустанно толчется на одномъ мѣстѣ; тамъ вверху неустанно, неутомимо, неугомонно вертится какое-то маленькое колесо, вертится ужасно проворно, кажется, бьется изъ всѣхъ силъ, до послѣдняго издыханія; а здѣсь вотъ до послѣдняго же издыханія прыгаетъ какой-то крючокъ, прыгаетъ на одномъ мѣстѣ миллионъ разъ въ секунду. Но сколько бы ни вертелось это колесо, какую бы безконечнѣйшую неутомимость ни обнаруживалъ этотъ поршень, до поту лица измученный своей вѣковѣчной обязанностью соваться внизъ и вверхъ; какъ бы ни измучался этотъ крючокъ, безъ усталости долбящій своимъ желѣзнымъ носомъ по желѣзу, — вы можете видѣть только, что всѣ эти мученія винтовъ, поршней и крючковъ совершенно безплодны, что никакого ситца или сукна не будетъ, несмотря на ужаснѣйшія усилія этихъ мучениковъ механики до послѣдней капли крови исполнять свои механическія обязанности, — не будетъ до тѣхъ поръ, покуда не придетъ мужикъ и не надѣнетъ на это вертящееся безъ усталости и толку колесо вотъ этого приводнаго ремня, который по случаю останова дѣла снять съ него и висить тутъ, рядомъ съ этимъ колесцомъ. Но стоятъ только надѣть приводной ремень, т. е. стоятъ только соединить тонкой эластичной нитью это отдѣльно мучающееся колесо со всѣмъ механическимъ міромъ фабрики, со всѣмъ машиннымъ «обществомъ» — какъ все приходитъ въ порядокъ; все получаетъ смыслъ, все начинаетъ стучать и долбить, и пытитъ съ извѣстной цѣлью, и на этотъ разъ изъ

пытѣнья и шипѣнья, и долбленья ужъ непременно получатся и результатъ—и сукно, и ситецъ...

А Пищиковъ-то именно и есть это одинокое колесо, безъ усталы вертящееся на оси своего личнаго вопроса. Будь это колесо притянуто приводнымъ ремнемъ, т. е. какою-нибудь нравственною связью ко всему общему механизму, къ этимъ отдѣльно стучащимъ и шипящимъ гайкамъ и винтамъ, къ этимъ людямъ, которые живутъ кругомъ него, ощущай онъ хоть чуть-чуть, что на немъ лежитъ ремень, обязанность,—и эта лошадиная сила, вылившаяся въ такомъ непостижимомъ злодѣйствѣ, убавилась бы на-половину; а разъ она должна-бы была дать мѣсто чему-то *не своему, не личному, а общечеловѣческому*.—она бы не посмѣла выразиться, по крайней мѣрѣ такъ, такъ ужасно... свободно, какъ она могла выразиться... Всякій убійца, всякій злодѣй, всякій мститель *боится людей*, прячетъ свое злодѣйство, кладетъ ядъ потихоньку въ лепешку, убиваетъ врага, когда онъ спитъ. Злое, безчеловѣчное дѣло, отъ котораго человѣкъ не можетъ удержаться, *обязываетъ его по крайней мѣрѣ облегчать себѣ ту подлость своего поступка, утаивъ его отъ людей, запираясь, отрекаясь отъ него...* Въ дѣлѣ Пищикова то-то и ужасно, что оно совершается при полнѣйшемъ сознаниі безлюдья; ни скрывать, ни притворяться, ни хитрить ему не приходится въ голову. Онъ *однимъ* съ своимъ личнымъ дѣломъ; кругомъ него пустыня, и размахъ его кнута, дѣлаясь все шире, все вольнѣе, удалѣе, встрѣчаютъ только пустое пространство, только въ пустомъ воздухѣ свиститъ его окровавленный кнутъ...

У него полонъ домъ народу, онъ живетъ въ деревнѣ, онъ бываетъ у священника, у кабачника, у станового, кругомъ него живутъ крестьяне,—но каждый изъ нихъ, какъ это одинокое колесо, какъ тототъ пыхтѣющій поршень, какъ тототъ крошечкѣ, долбящій желѣзнымъ носомъ по желѣзу, прикованъ, какъ и Пищиковъ, къ своему горю, къ своему дѣду, къ кабаку, къ пашнѣ, къ требамъ, и т. д. Это—не камни, не звѣри, нѣтъ, это люди—каждый по одиночѣ, какъ винты, гайки и поршни на фабрикѣ, находящейся безъ работы, томящіяся въ обилии и тяготѣ *своихъ* крошечныхъ печалей и заботъ, безъ умолку толкущіяся въ *своихъ* вышеступающихъ горестяхъ; но между всѣми ними нѣтъ ничего связующаго, нѣтъ этого приводнаго ремня, который, связывая отдѣльное колесо съ общимъ механизмомъ, ставилъ бы *мои* печали и желанія въ связи съ печальми и желаніями сосѣдей и, сливая ихъ, ставилъ бы надъ всѣми нами общія, понятныя всѣмъ одинаково и одинаково обязательныя дѣла. «*Одинъ на одинъ*», «*съ глазу на глазъ*» «*съ самимъ собой*», съ своими радостями, съ своими печальми, съ своими дурными, злыми и добрыми желаніями, съ муками или мелочами своей души—вотъ характернѣйшая черта «безвременья», результатъ искусственно, съ огромными, нечеловѣческими усилями оборванной связи, разрываннаго нерва, который на нашихъ глазахъ такъ животворно соединялъ когда-то меня, отдѣль-

наго человѣка, со всѣмъ человѣчествомъ вообще и со всей русской землей въ частности.

Ничтожный провинціальныи писарекъ Пищиковъ, которому предстояло бы существовать доходами въ кварталѣ, вляузами и т. д., неожиданно дѣлается богачемъ, женится на богатой, получаетъ любящую и преданную жену. Не случись этого, онъ бы изъ простаго желанія получать съ мужика за абзвкатскую практику рубль долженъ бы былъ огромнымъ; долженъ бы былъ «*держатъ себя*» прилично, хотя мало-мальски долженъ бы былъ «ломать голову» надъ *чужими* дѣлами, чтобы, получивъ вознагражденіе, отвести и *свою* душу гдѣ-нибудь въ кабакѣ, въ трактирѣ. Но вотъ обстоятельства его сложились такъ счастливо, что уже ему не надобно такъ или иначе «держатъ себя», думать о *чужихъ* дѣлахъ, хотя бы изъ-за денегъ,—и онъ оказывается въ безвоздушномъ пространствѣ.

«Какъ такъ?»—быть можетъ, спроситъ читатель. «Тутъ-то, то есть именно тогда, когда *ополнъ удовлетворены все личныя потребности и нужды*,—тутъ-то человѣку и открывается просторъ для общественной дѣятельности, тутъ-то и можно, ни въ чемъ себя не урѣзывая и не стѣняя, подумать о чужомъ дѣлѣ и жить». Но въ томъ-то и бѣда, что, говоря вообще, именно у насъ на Руси никто не предоставленъ въ такой степени «пустому пространству» относительно общественной дѣятельности, какъ человѣкъ «вполнѣ обезпеченный». Желаніе такъ-ли, сая-ли высочить изъ условій «полнаго удовлетворенія», иной разъ «куда глаза глядятъ», есть одна изъ самыхъ замѣчательныхъ чертъ общественной жизни, затерянныхъ въ хаосѣ постоянного «безвременья». Не только такая деревянная и ограниченная натура, какъ Пищиковъ, остаются за полнымъ удовлетвореніемъ всѣхъ личныхъ своихъ интересовъ въ пустомъ пространствѣ, а и самыя вѣжныя, впечатлительныя и воспримчивыя натуры. «Вотъ тебѣ деньги, вотъ тебѣ миллионъ—живи и не суйся». «Не суйся» — видно обезпеченному человѣку гораздо лучше, чѣмъ кому-нибудь другому. Нѣтъ мѣста даже хотъ повратъ-то либерально или консервативно—но лишь бы на народѣ. Еле-еле въ двадцать лѣтъ явится возможность напечатать какую-нибудь книжонку для народа въ двѣ копейки. Самый впечатлительный человѣкъ можетъ у насъ лѣтъ пятьдесятъ сидѣть въ углу своего кабинета и думать о правдѣ, сколько ему угодно, думать до тѣхъ поръ, пока диванъ подъ нимъ провалится, пока подъ диваномъ провалится полъ—и общественного толка отъ этого не будетъ.

Почему такъ? Да просто, говоря по чистой совѣсти, *боимся!* «Поди-ко, сунься!» — вотъ что «начинается» для обезпеченнаго человѣка послѣ того, какъ онъ наконецъ «достигъ». Да, господа, боимся, рѣшительно *боимся* сунуться изъ своего закодваннаго угла на улицу, въ толпу, въ народъ, въ общество—и это *боимся* начинается для русскаго развитогаго человѣка какъ-разъ тогда, когда бы ему слѣдовало подумать и о «другихъ». когда ему даже и самому приходитъ желаніе по-

думать и поработать для другихъ. Если у впечатлительныхъ людей на дорогѣ отъ интересовъ личности къ интересамъ человечества стоитъ это, довольно основательно обставленное, «боюсь!», — то у Пищикова, человѣка нисколько не впечатлительнаго, ни мало не развитого, оказалась, по удовлетвореніи личныхъ нуждъ, безконечная, голая пустыня... Мало образованный и бѣдный до сихъ поръ — онъ могъ только практически познакомиться съ областью дѣлъ общественныхъ. Онъ зналъ, какъ человѣкъ, которому нужно гдѣ-нибудь получить жалованье, что есть какіе-то общественные банки, общественныя дѣла въ думѣ, общественныя дѣла въ земствѣ. Но чему же действительно общественному онъ могъ бы научиться во всѣхъ этихъ учрежденіяхъ, какъ практикъ, какъ человѣкъ опыта? Что такое сдѣлали общественнаго въ дѣйствительности всѣ эти учрежденія за послѣдніе годы, и что въ нихъ могла видѣть и наблюдать такая грубая, ограниченная натура? Одни только корыстные мотивы — только одинъ безусловно; толкуютъ: «общественное общественное» — а глядишь, и пропалъ сундукъ съ деньгами... Толкуютъ о развитіи промышленности, о кредитѣ, о заработкѣ для бѣднаго люда, т. е. въ концѣ-концовъ объ общественной пользѣ — а на дѣлѣ оказывается — обворовали банкъ и больше ничего! И вѣдь это такъ въ дѣйствительности; и если бы Пищиковъ былъ въ нуждѣ, то онъ старался бы изучить механику такихъ «общественныхъ дѣлъ» и научиться бы, можетъ быть, довольно искусно врать объ общественной пользѣ, имѣя въ сущности какую-нибудь низменную цѣль; но у него нѣтъ нужды, нѣтъ надобности изучать эти звонкія слова для того, чтобы разломать сундукъ съ деньгами, и вотъ онъ — въ полной пустынѣ. Положа руку на сердце, скажите — въ какомъ видѣ, въ какихъ разбиратъ «общественное дѣло», нужды вообще людей, среди которыхъ мы живемъ, могутъ въ настоящее время сами придти къ вамъ, постучаться къ вамъ въ дверь, сказать вамъ: «Что вы сидите! идите дѣлать то-то и то-то. *Вы обязаны*». Никогда! Никогда они не стучатся теперь сами въ вашу дверь и не приходятъ къ вамъ и не требуютъ васъ къ себѣ... И вотъ Пищиковъ — совершенно въ пустомъ пространствѣ. Кругомъ него крестьяне, нищета, нужда, кабала, тѣснота земельная, горе мужицкое; но изъ этого на памяти Пищикова никогда никакого вопроса и никакого «дѣла» не дѣлалось, и онъ, видя все это, какъ человѣкъ, наученный практикой жизни — считать *все это* за обыкновенное, — ни мало не думаетъ сдѣлать все это предметомъ хотя бы малѣйшаго вниманія и вовсе не считаетъ матеріаломъ, годнымъ для личной духовной и умственной жизни.

Просторно и пусто кругомъ него... Просторно и пусто въ немъ самомъ, въ его пустой душѣ, пусто, какъ въ огромномъ пустомъ сараѣ... Ничего тамъ нѣтъ... Но надо же, чтобы тамъ что-нибудь жило, нельзя же такъ, просто, лить туда водку, надо что-нибудь... И вотъ въ его неласковомъ сердцѣ является мысль о Телять-беѣ. Мысль крошечная, воспоминаіе ничтожное, какъ дымъ, легкое, про-

зрачное, но онъ и ему радъ, онъ хватается за него, и по немножечку, по каждую минуту (а теперь у него всѣ минуты свободны) начинаетъ развивать это зернышко, наконецъ-таки найденное въ пустомъ сараѣ, начинаетъ лелѣять, разрабатывать, тысячи разъ разспрашивая жену о томъ, что ему извѣстно давнымъ-давно, и подбавляя себя смелой въ такія минуты, когда кажется, что лелѣемому растенію не изъ-чего развиваться... И по немножку, по капелькѣ, но не бросая этого дѣла ни на минуту, въ нѣсколько лѣтъ Пищиковъ успѣваетъ возростить это капельное зернышко салата до размѣровъ огромнаго дуба...

И во всѣ эти годы *чужая* жизнь ни откуда не вторглась въ эту пустую, нищую душу, не дунула въ нее ощущеніемъ стыда, не вложила въ нее никакого *иного* матеріала, потому-что и чужая жизнь состоитъ теперь тоженъ миллионовъ жизней «одинъ на одинъ». А вотъ не угодно ли полюбоваться на ту же черту настоящаго безвременья совершенно ужъ въ другомъ видѣ? Пищиковъ, поставленный въ положеніе полной изолированности отъ людскаго общества и общечеловѣческихъ интересовъ, наполняетъ огромный пустырь, окружающій его, проявлениями своей жестокости въ разбиратъ, ничѣмъ не ограничиваемыхъ, — а вотъ какой-то сельскій учитель, чувствующій вокругъ себя тотъ-же пустырь (для Пищикова это «просторъ»), вотъ какъ описываетъ свое положеніе: «Сердце сжимается. *уста цытеньютъ* (?), кровь стынетъ въ жилахъ, голова горитъ какъ въ огнѣ, и мысль едва-едва работаетъ при написаніи сихъ правдивыхъ строкъ. Если бы не вопіющая дѣйствительность, не святая истина, всегда, вездѣ, во всѣхъ жизненныхъ проявленіяхъ, тождественная, если бы не *юрькія, безотрадная, безутышная слезы* народныхъ носителей по пути грамотности — не закричало бы наше скромное перо. Но оно невольно скрипитъ, повинная глаголу вѣчной правды, рисуя неприглядную, забитую, запуганную, скомканную, искалѣченную жизнь этого истиннаго труженника, сельскаго учителя Усманскаго уѣзда. Что ждетъ его въ будущемъ? Гдѣ успокоитъ онъ свои старыя кости? Развѣ только подъ сводомъ сырой могилы. Это впрочемъ удѣлъ каждаго движущагося индивидуума по непреложному вѣлнію Творца. Но прежде, чѣмъ дойти до этого предѣла, что испытаетъ сельскій учитель, еще юный, *жизненная могила* котораго протянется, быть можетъ, на цѣлые десятки лѣтъ? Нельзя безъ сердечнаго содроганія и нравственной муки смотрѣть на эту блѣдную, исхудалую, забитую горькой нуждой фигуру сгорбленную, въ дырявомъ сюртукѣ, въ разорванномъ пальто, въ изношенныхъ сапогахъ, — фигуру сельскаго учителя, идущаго въ усманское земство для полученія какихъ-нибудь 10 — 13 р. мѣсячнаго содержанія. Если при этомъ взять во вниманіе окружающую невѣжественную и пьяную массу крестьянъ, среди которыхъ приходится насаждать свѣточъ науки, — крестьянъ, отъ которыхъ нерѣдко, какъ будто въ награду, переносятся всякія оскорбленія, то можно судить, насколько красна

жизнь сельского учителя и сколько нужно терпѣнія, умственного и нравственного устоя, чтобы безъ ропота нести такое ужасное бремя жизни!...» (Тамб. Губ. Вѣд.).

Читая эту корреспонденцію, невольно спрашиваешь себя: что такое случилось съ бѣднягой — усманскимъ учителемъ? Ужъ не истиранилъ ли его кто-нибудь ни за что, ни про что... У него «уста цѣпенѣютъ» отъ ужаснѣйшаго положенія, для него жизнь не жизнь, а *жизненная мольба*, «ужасное бремя», онъ не можетъ безъ *сердечнаго содроганія* представить собѣ фигуру учителя: фигура вся изорвана въ клочья, согбенна, изнурена и забита... Что же наконецъ такое дѣлаютъ господа усманскіе земскіе изверги съ усманскими сельскими учителями? Но при внимательномъ чтеніи письма оказывается, что съ усманскими учителями ровно-хонько-таки ничего особенно не творится; жалованья мало, но по всей Россіи учителя получаютъ мало; вотъ и все... А между тѣмъ ужасъ, который владѣетъ корреспондентомъ при изображеніи положенія сельского учителя, несомнѣненъ; черезъ нѣсколько дней послѣ этой корреспонденціи появилось извѣстіе о самоубійствѣ какого-то сельского учителя изъ усманскихъ? и я не удивился бы, если бы этотъ наложившій на себя руки человекъ оказался именно тотъ самый, который писалъ корреспонденцію. Отчего же такой ужасъ охватилъ его? Отчего ему представилось, что быть сельскимъ учителемъ усманскаго земства почти то же, что быть живымъ зарытымъ въ могилу?... Мнѣ кажется, что ужасъ овладѣлъ бѣднягой именно отъ ощущенія одиночества. Онъ одинъ, въ пустынѣ, съ своими тетрадками, книжками, чернильницей... Кругомъ — невѣжество, ничего общаго съ его святой миссіей, онъ обреченъ на всю жизнь чахнуть надъ таблицей умноженія, «фыкать» и «пыкать», — онъ одинъ, а все чуждо ему и всѣмъ чуждъ онъ... Вотъ источникъ того неподдѣльнаго ужаса, послѣдствіемъ котораго кажется даже было самоубійство. «Одинъ самъ съ собой» — живи такъ всю жизнь! Да, это точно могила! Читая корреспонденцію, вы чувствуете, что человекъ иззябъ, издрогъ въ какомъ-то холодномъ погребѣ, исчахъ тамъ, «измучился», долженъ знать, что ему ничего не предстоитъ, кромѣ гибели, — его забыли, до него никому нѣтъ дѣла.

И такое душевное состояніе, такая душевная жуть, которая свозитъ въ словахъ учителя, дѣлается совершенно понятной, если припомнить опять то же самое одиноко, непрерывно и безцѣльно вертящееся фабричное колесо, не приведенное въ связь съ общимъ ходомъ живого общественнаго механизма и живого общественнаго дѣла. На нашей памяти опять-таки были времена, когда эта связь существовала и когда передаточный ремень притягивалъ маленькое колесо къ большому механизму. Тогда не страшно было бы жить сельскому учителю и на 13 рублѣхъ, и въ рваномъ пальто, и не страшно потому, что онъ, точно также «пыкая» и «фыкая» и до хрипоты взнемогая надъ таблицей умноженія, чувствовалъ, что онъ «не

одинъ», что ему дороги не 13 р., «не средства къ жизни», а самое дѣло; онъ могъ *посвятить* жизнь этому дѣлу, давать молодому деревенскому поколѣнію возможность мыслить разумно и справедливо, и онъ охотно, съ жаромъ и всѣмъ пыломъ молодости принимался за трудную черную работу умственного развитія молодого поколѣнія, вставалъ въ 6 часовъ, когда на дворѣ еще темно, — ребята ужъ бѣгутъ къ учителю; грѣлся отъ холоду, играя съ этими же ребятами на-кулачки... Онъ зналъ, что онъ не одинъ, что литераторъ, писатель пишутъ для него, для учителя, и этикъ мальчиковъ книгу подѣ влияніемъ *тѣхъ самыхъ* побужденій, которыя и его заставили *посвятить себя* трудному дѣлу, — и книга *поможетъ* ему придать работѣ большую силу, большее содержаніе; онъ зналъ, что и журналистика не забываетъ его, потому что работаетъ въ одномъ съ нимъ направленіи; зналъ, что вотъ этотъ мировой судья не помирволитъ неправдѣ, такъ-какъ исповѣдуетъ один и тѣ же принципы и проводитъ ихъ въ своемъ, не учительскомъ, а судейскомъ дѣлѣ. Зналъ, что рѣшеніе такого-то дѣла подтвердитъ его слова, сказанныя ученикамъ. Словомъ, тысячами рукъ въ разныхъ видахъ и пріемахъ дѣлалось одно и то же, и ни одинъ винтъ, поршень или крючекъ этого механизма не толкался праздно на своемъ мѣстѣ, а зналъ, что онъ находится въ связи съ человѣческимъ обществомъ, что идея, ихъ связывающая, есть идея общечеловѣческая, и такимъ образомъ, долбя въ холодной избѣ таблицу умноженія, ни малѣйше не терялъ связи съ развитіемъ общечеловѣческой мысли...

Да, если можетъ быть не такъ вполне «прекрасно было» на нашихъ глазахъ, зато дѣйствительно точно такъ, какъ здѣсь говорится, — прекрасно думалось, чувствовалось и частью — несомнѣнно осуществлялось въ дѣйствительности.

Но, увы, передаточный ремень снятъ, живой нервъ, соединявшій мою духовную жизнь съ духовной жизнью человѣчества и русскаго народа, разрѣзанъ; винты, гайки и поршни толкутся, шпять, суетятся, изнуряются каждый «самъ по себѣ», «одинъ на одинъ», изнуряются безъ общей цѣли, безъ общаго плана, безъ живой общественной связи.

Уединенный поэтѣкъ начинаетъ маленькимъ воробышнымъ носикомъ копать въ крошечномъ цветкѣ, обрызганномъ капелькой росы, и дѣлаетъ это дѣло съ величайшей тщательностью... Уединенный беллетристъ производитъ микроскопическія изсѣдованія надъ психическимъ состояніемъ Петра Петровича, которому нравится толстая Марья Андреевна и опостылѣла худощавая Наталья Ивановна... Уединенный учитель пускаетъ пулю въ лобъ, потому-что ему пришлось жить съ одними чернильницами, перьями, линейками, безъ всякой нравственной душевной связи съ окружающимъ крестьянскимъ обществомъ, безъ связи съ командующимъ, распоряжающимся надъ нимъ земскимъ классомъ, и ужасъ его одиночества, холодъ этой заброшенной нетопленной комнатки, эти рваные сапоги и дыры износившагося платья — все это рисующееся

его воображенію въ перспективѣ всей жизни, до конца, до могилы—невольно тянетъ къ этому концу, къ этой могилѣ, какъ полному успокоенію... А вотъ уединенный Пшчиковъ, не нуждающийся въ людскомъ обществѣ и къ сожалѣнію по цѣлымъ годамъ не ощущающій со стороны этого общества ни малѣйшаго давленія, сосредоточившійся на своихъ личныхъ микроскопическихъ обидахъ,

позволяетъ праздному воображенію увеличить эти обиды, какъ подъ микроскопомъ, въ миллионы разъ, и наконецъ, поглощенный, подавленный ими,—берется за плетъ, полагая, что ему нельзя жить на свѣтѣ, покуда онъ эту въ миллионы разъ увеличенную обиду не отомстятъ миллионами ударовъ плети по здоровому тѣлу!.. И хлещетъ, и хлещетъ!...

ПИСЬМА СЪ ДОРОГИ.

I. Веселыя минуты.

I.

Волею фургонщика, доставившаго меня въ Новороссійскъ тотчасъ послѣ того, какъ пароходъ Русскаго Общества, на который я долженъ былъ сѣсть, благополучно отбылъ къ портамъ черноморскаго побережья, т. е. именно туда, куда мнѣ и слѣдовало ѣхать, я обреченъ былъ пробыть въ этомъ совершенно незнакомомъ мнѣ городѣ ровно цѣлую недѣлю, вплоть до будущаго воскресенья, когда долженъ былъ придти другой пароходъ того же общества. И, несмотря на то, что въ этомъ городѣ у меня не было ни одного человѣка знакомыхъ, на то, что была Страстная недѣля и что Свѣтлый день я долженъ былъ провести въ полномъ одиночествѣ, несмотря наконецъ на общее безлюдье, отличавшее тогдашній*) Новороссійскъ, я все-таки былъ ужасно радъ и счастливъ, что извозчикъ запоздалъ, что онъ подарилъ меня этой тихой, безшумной Страстной недѣлей, далъ мнѣ въ эти семь дней освѣжиться отъ удручающей тоски, вывезенной изъ столицы, и осчастливилъ возможностью безпрепятственно впитать въ себя тѣ живыя, къ счастью, радостныя впечатлѣнія, которыя уже дала мнѣ живая русская жизнь за недолгій промежутокъ времени, проведеннаго въ дорогѣ отъ Петербурга до Новороссійска.

Все, все безъ разбора и безъ всякой критики радовало меня въ эту поездку, потому что даже то, что я видѣлъ въ вагонѣ, на станціи и изъ вагона въ окно,—все была *жизнь*, все напоминало, что Петербургъ еще не окончательный результатъ, къ которому пришла вся русская жизнь, что есть еще что-то гораздо болѣе интересное, именно—есть еще Россія, жизнь русскаго народа, жизнь всего этого разнокалибернаго встрѣчнаго населенія мужиковъ, бабъ, купцовъ, господъ, духовенства,—словомъ, всего, что, вотъ опять я своими глазами увидѣлъ втеченіе переѣзда отъ Петербурга до Новороссійска. На что бы я въ этотъ краткій промежутокъ времени, проведенный въ дорогѣ, ни

смотрѣлъ, все было мнѣ радостно видѣть, все заставляло меня думать: «слава Богу! какъ я радъ!»

Какъ видите, состояніе духа было положительно необыкновенное: не то это была просто радость ребенка, только начинающаго ощущать вокругъ себя все разнообразіе окружающей *жизни* и счастье чувствовать себя съ ней неразрывнымъ, или же—и это будетъ вѣрнѣе—я просто былъ «радъ», сознавъ себя, что я не умеръ, что я живъ и что временное мое душевное изнуреніе было временное, не больше, что при малѣйшемъ прикосновеніи подлинной жизни согрѣется и моя душа, охладѣвшая въ ледяномъ дождѣ, называемомъ Петербургомъ.

Времена въ эту пору для людей, обреченныхъ пережить весь реформенный періодъ въ болѣе или менѣе впечатлительномъ возрастѣ, были поистинѣ изнуряющія душу. Передъ самой моей поездкой по Россіи пришлось мнѣ провожать одного изъ моихъ пріятелей за-границу, и вотъ какого рода болѣзненные разговоры вели мы съ нимъ передъ нашей взаимной разлукой.

— Да что же тебѣ за-границей-то надо? спросилъ я его въ то время, когда въ его номерѣ, при помощи прислуги, шла укладка и упаковка его вещей для отправки на варшавскій вокзалъ.

— Да просто... очувствоваться! сказалъ онъ растерянно и съ какимъ-то тупымъ выраженіемъ лица.

Я понималъ, что онъ не могъ бы сказать мнѣ въ отвѣтъ никакого иного слова, да и самъ зналъ, что вопросъ мой ему—совершенно излишній и не нужный. И нашъ разговоръ на этихъ нѣсколькихъ словахъ вѣроятно прекратился бы, окончившись крѣпкими молчаливыми рукопожатіями, если бы одно совершенно ничтожное обстоятельство не дало моему пріятелю возможности нѣсколько подробнѣе высказать смыслъ его, хотя и понятнаго, но недостаточно опредѣленнаго слова «очувствоваться».

Это ничтожное обстоятельство состояло въ слѣдующемъ: одинъ изъ прислуги, занимавшейся укладываніемъ вещей, обыкновенный коридорный петербургскій гостинищъ, подошелъ къ комоду,

*) 1886 г.

чтобы вынуть изъ него все, что тамъ осталось. Но оказалось, что комодъ запертъ, а ключа нѣтъ. Корридорный ушелъ и скоро принесъ пѣлую связку ключей всевозможнаго рода: маленькихъ, большихъ, длинныхъ, короткихъ. И всѣ эти ключи, несмотря на свое разнообразіе, безпрепятственно входили въ одинъ и тотъ же замокъ—такъ онъ былъ испорченъ, «развороченъ» и вообще искалченъ во всѣхъ отношеніяхъ. Всѣ ключи, большіе и маленькіе, входили въ эту разломанную дыру, вертѣлись, кружились совершенно свободно, даже шелкали, а комодъ все-таки не отворялся. Наконецъ, выбившись изъ силъ, корридорный ргнулъ этотъ замокъ и ключи и рѣшился испробовать послѣднее средство: взялъ и хлопнулъ кулакомъ по верхней крышкѣ комода. И что же? Замокъ шелкнулъ на этотъ разъ довольно пѣвуче, и комодъ отворился.

Такъ какъ говорить намъ съ пріятелемъ было почти не о чемъ, потому что слово «очувствоваться» исчерпывало всѣ темы разговора, то и мы поэтому молча наблюдали всю эту возню корридорнаго съ замкомъ. Когда же вся операція кончилась, вещи были вынуты изъ комода и уложены, а корридорный ушелъ, мой молчаливый и отупѣвшій пріятель вдругъ оживился и сказалъ:

— Я все смотрѣлъ на этотъ замокъ... и знаешь что? Вотъ точь въ-точь и сердце мое стало такое же, какъ и этотъ замокъ. Вотъ ключи входятъ и шелкаютъ, и кругомъ поворачиваются, а никакого толку, никакого ощущенія нѣтъ! Ничего меня за-живое не хватаетъ, не беретъ. Какія хочешь принимай и дѣлай реформы, мѣропріятія, и въ какомъ тебѣ угодно направленіи, ничего не чувствую—ни радости, ни печали! Уже очень свободно, прихотливо, безъ всякой церемоніи надъ моимъ сердцемъ похозяйничало наше время! Сколько туда за всю мою жизнь входило и влѣзало всякихъ ключей, вѣяній, теченій, направленій!... И всѣ они хотѣли его отпереть совсѣмъ не въ ту сторону, куда бы оно непременно отперлось само... Каждое изъ этихъ вѣяній и направленій, то длинное, какъ этотъ длинный ключъ, то какъ ключъ короткій, всѣ норовили его отпереть на свой образецъ—то въ одну сторону, то въ другую, а то и такъ, зря, крутили кругомъ безъ всякаго милосердія... Отпереть его просто, какъ говорится, — «добромъ» и, прибавлю, для добра, никто не догадался или вѣроятно нельзя было. Ну, теперь и верти сколько хочешь—не дѣйствуетъ. Вотъ кулакомъ со всего размаху—это пожалуй такъ! Если кулакомъ царапнуть—ну, пожалуй опять запоетъ жалобнымъ звукомъ скорби, страха и мольбы. И пожалуй опять отперется... хоть къ стону и плачу... Кулакъ—не свой братъ!..

Мы оба улыбнулись этому сравненію, а пріятель мой, не теряя оживленія, продолжалъ:

— Какъ я радъ... этому замку! Теперь я совершенно ясно и во всѣхъ подробностяхъ понимаю, зачѣмъ я ѣду на границу... Именно сердце-то хочу оживить! Хочу поставить его въ подлинную обстановку подлинной, какая бы она ни была, только подлинной жизни! Тамъ, я думаю, оно опять бу-

детъ имѣть право чувствовать горе тогда, когда передъ нимъ выйдетъ горе, и радость—когда радость его захватитъ... Миѣ надобно возстановить въ своемъ сердцѣ и въ своей совѣсти право ощущать именно то, что ощущать слѣдуетъ... Вотъ отъ этого-то я и отвыкъ! Думаешь обрадоваться. а приходится плакать—и такъ всю жизнь!.. Я совершенно отвыкъ думать до тѣхъ предѣловъ, пока работаетъ мысль, и чувствовать, пока чувствуется... И это всю жизнь—чувствовать и не дочувствовать, думать и не додумывать, говорить и не договаривать! Вотъ и надобно *очувствоваться*, пробудить дѣятельность сердца возможностью безъ опаски смотрѣть на жизнь и о ней думать. Надо вновь узнать, что такое добро и что такое зло... Ну, а у насъ, т. е. по крайней мѣрѣ лично въ моей жизни, разные вѣянія, направленія и теченія постоянно заставляли меня мѣнять взгляды на то и другое. Сегодня это добро, а завтра это же самое уже зломъ нескорошимымъ считается. Вотъ и затуманились представленія и о томъ, и о другомъ и прекратилась возможность предпочтенія одного другому... Вотъ европейская-то жизнь, я и думаю, оживитъ меня: добро и зло въ ней ярки, на виду, открыты и не прикрашены. Смотри и думай!... А миѣ это и нужно. Я хочу опять начать воспитывать свое отупѣвшее сердце съ азбуки... Какъ я радъ этому комоду! Вѣдь надо же было этому случиться!... Именно необходимо «очувствоваться», воскресить право «чувствовать» и пожить съ этимъ правомъ хоть нѣсколько мѣсяцевъ. Вотъ зачѣмъ я ѣду!

Я совершенно понималъ моего пріятеля, но самъ, собираясь ѣхать по Россіи, даже и мысли не могъ допустить въ себѣ о какихъ-то правахъ на оживленіе сердца. Я просто чувствовалъ, что необходимо ѣхать, чтобы только видѣть вообще «жизнь». И въ объясненіе такой алчности поключительно только къ тому, что совмѣщается въ словѣ «жизнь», будетъ достаточнымъ сказать, что передъ этой поѣздкой миѣ пришлось почти безвыѣздно прожить петербургской жизнью болѣе полутора года. Если мой пріятель имѣетъ возможность указывать, въ объясненіе своего обезчувствія, на вторженіе въ его личную жизнь какихъ-то совершенно не соответствовавшихъ ей вѣяній, теченій и направленій, то я, въ объясненіе моей алчности къ побѣгу изъ Петербурга, могу сказать только одно: потому я хотѣлъ бѣжать и смотрѣть на какую бы то ни было жизнь, что я измучился Петербургомъ.

Повидимому и, такъ сказать, по всѣмъ документамъ, Петербургъ долженъ бы быть, какъ столица, центромъ жизни всей страны, какъ Парижъ и Лондонъ. И онъ точно центръ, только не такой центръ, куда стекаются мелкіе ручейки живой жизни страны, сливаясь въ огромное, глубокое вѣстилище проявленія всѣхъ жизненныхъ силъ націи. Въ Парижѣ, Лондонѣ, и только въ нихъ, а никакъ не въ дальнихъ уголкахъ Англіи или Франціи, можно видѣть во всей полнотѣ все, чѣмъ живутъ и дышатъ эти страны. Въ Петербургѣ же

пменно и не увидишь, чѣмъ живетъ Россія. Ручьи русской жизни, стекаясь сюда, сливаются не въ открытое озеро жизни, которое едва можно оглянуть взоромъ, но точно уходятъ куда-то подъ землю, въ какія-то сталактитовыя пещеры канцелярій, департаментовъ, раздробляются еще на болѣе мелкіе ручьи, чѣмъ тѣ, которые влились въ него, и съ каждымъ дальнѣйшимъ теченіемъ раздробляются все на меньшія и меньшія струи и капли... Въ Чухломѣ, въ Пинегѣ или Батумѣ можно гораздо многосложнѣе видѣть русскую жизнь, чѣмъ видишь и чувствуешь ее въ Петербургѣ. Французъ-провинціалъ, у котораго на душѣ накипѣли тѣ или другія нужды, желанія, ѣдетъ въ Парижъ, зная, что именно тамъ онъ можетъ проявить ихъ во всей полнотѣ и объемѣ. Обитатель Чухломы, подъѣзжая къ николаевскому вокзалу и медленно вдвигаясь въ вагонъ въ темную его пасть, подъ темныя его своды, чувствуетъ, что именно тутъ-то и конецъ его праву желать, фантазировать и хотѣть. Въ Чухлому будетъ «дано знать» въ запечатанномъ конвертѣ, какъ ему жить слѣдуетъ, а въ Петербургѣ онъ ничего не узнаетъ по этой части. Русская жизнь въ Петербургѣ—это пакетъ съ просьбой, жалобой, мольбой, угрозой, стономъ и воплемъ. Въ пакетѣ она сюда является, въ пакетѣ отсюда выходитъ. Чтѣ написано въ пакетѣ, который отсюда посылается въ Чухлому, неизвестно—пакетъ запечатанъ. Не знаетъ тотъ, кто печаталъ пакетъ, не знаетъ тотъ, кто писалъ адресъ, не знаетъ и тотъ, кто переписывалъ бумагу, не знаетъ и тотъ, кто бумагу составлялъ, не знаетъ и тотъ, кто велѣлъ составлять бумагу. Тайна и смыслъ жизни плутъ изъ центра къ окружности, а не вливаются отъ окружности въ центръ, и жить постою въ Петербургѣ — это значитъ не знать русской жизни. Можно знать всѣ указанія «по русской жизни», но видѣть въ нихъ самую жизнь въ связи разрозненныхъ явленій, отмѣтить ея главнѣйшія теченія, ясно видѣть, гдѣ и въ чемъ сила, слабость, добро и зло—здѣсь невозможно.

Мнѣ могутъ сказать, что печать, «газета», не оставляетъ петербуржца безъ ежедневныхъ увѣдомленій о русской жизни. Стали печатать листы въ восемь столбцовъ, стало быть есть о чемъ поговорить?

И будь я истиннъ петербуржцемъ, я бы повѣрилъ, что «газеты» вполне достаточно, чтобы знать, какъ идетъ русская жизнь. Но къ несчастью я не петербуржецъ, и еще болѣе — къ несчастью судьба дала мнѣ полнѣйшую возможность знать, что такое «внутреннія извѣстія» петербургскихъ газетъ, поворяющихся главнымъ образомъ интересамъ петербургскаго дня, нечуждыхъ видѣть успѣхъ въ розничной продажѣ и радующихся наплыву объявленій о кучаркахъ и кучерахъ, ищущихъ мѣста, почти такъ же, какъ и успѣхамъ русской дипломатіи. Возьмите любую изъ такихъ газетъ сегоднѣшняго дня и посмотрите, что тамъ написано во внутреннихъ извѣстіяхъ о внутренней жизни Россіи? Во-первыхъ, собственная корреспонденція изъ Корчевы о томъ, что въ городѣ недавно былъ по-

жаръ, обнаружившій недостатки мѣстнаго самоуправления, затѣмъ (мелкими шрифтомъ) перепечатка изъ другой какой-нибудь газеты о томъ, что близъ деревни Лукьяновки найденъ убитымъ мужикъ, только что продавшій на базарѣ въ ближнемъ городѣ пару телятъ, и третье (тоже мелкими шрифтомъ) — рѣдкій случай рожденія семерыхъ дѣтей, которыя всѣ къ сожалѣнію умерли. Конечно то, что здѣсь написано, не можетъ служить образчикомъ «внутреннихъ извѣстій», — извѣстія могутъ быть самыя разнообразныя; но какія бы они ни были, всегда они имѣютъ въ общемъ одно неизмѣнное свойство, именно: невозможность объяснить, почему напечатано то, что напечатано, и почему собственно вамъ, читателю, нужно знать именно то, что напечатано. Родилось семь дѣтей—хорошо. Но почему же пишутъ именно о семи дѣтяхъ, а не о чемъ нибудь другомъ? И почему изъ Корчевы, а не изъ Тифлиса?

Тайна сего не только не велика, а къ сожалѣнію крайне проста и незначительна.

Бывало, придешь въ редакцію вечеромъ, когда уже начинается сверстка нумера, когда весь оригиналъ набранъ и ожидаютъ только телеграммъ. и принимаешься съ прискорбіемъ въ сердцѣ за внутренний отдѣлъ, за характеристику русской жизни въ данную минуту. Матеріалъ выбранъ и вырѣзанъ господами редакторами отдѣловъ (внутренняго, политическаго, финансоваго, биржевого) еще утромъ. Полученныя корреспонденціи, одобренныя редакціей, и безчисленныя вырѣзки изъ провинціальныхъ газетъ уже набраны и лежатъ на моемъ столѣ цѣлою грудой то длинныхъ, то коротенькихъ корректурныхъ полосъ. Глядишь на нихъ и думаешь: «Какого-то хламу придется мнѣ понадеграть изъ этой сокровищницы?»

Зазвенѣлъ электрической звонокъ; надо идти въ комнату редактора

— Для внутренняго отдѣла, говоритъ онъ, — сегодня, кажется, можно удрѣать строкъ восемьсотъ... Кажется, телеграммъ будетъ мало. Ничего особеннаго нѣтъ. Пожалуйста, побольше перепечатокъ. Денегъ у насъ мало.

«Восемьсотъ строкъ! съ восхищеніемъ думаю я. — Вотъ это будетъ на что нибудь похоже!»

И, роаясь въ матеріалъ, корреспонденціяхъ и перепечаткахъ, подбираю на восемьсотъ строкъ вполне благоприличнаго матеріала.

Въ виду рабочей поры какъ нельзя лучше составилаcя весьма опредѣленная картина положенія рабочаго класса. Подошла и собственная корреспонденція къ этому вопросу, и вырѣзки изъ газетъ, и мелкія извѣстія о случаяхъ, касающихся этого же вопроса («не найдя работы, утопился или поджогъ чужой амбаръ» и т. д.). Словомъ, всѣ извѣстія отягчаютъ главнѣйшему вопросу времени и во всякомъ случаѣ для большинства читателей, какъ заинтересованныхъ въ вопросахъ рабочаго времени, такъ или иначе поучительны или по крайней мѣрѣ не лишны.

Восемьсотъ строкъ наполнены, и наполнены хорошо и поучительно.

Но вотъ опять звонитъ электрическій звонокъ.

— Надо убавить на двѣсти строкъ. Пришло пропасть телеграммъ о тайныхъ интригахъ англичанъ въ Константинополѣ, о смерти мароккаго императора и банкротствѣ въ Мюнхенѣ торговаго дома... Да спросите въ типографіи, сколько объявленій?

Прежде чѣмъ спросить объ объявленіяхъ, надобно вычеркнуть двѣсти строкъ. Но газетныя перепечатки неравномѣрны: въ одной 50 строкъ, въ другой сто, въ третьей семьдесятъ пять—словомъ, надо что-нибудь придумать, если я хочу оставить собственную корреспонденцію невредимой. И вотъ я вынимаю цѣлыхъ триста строкъ (надо сохранить наборъ для будущаго) и уже-теперь недостающія сто замѣняю такою перепечаткой, въ которой какъ-разъ сто строкъ. Оказывается, что послѣ корреспонденціи о рабочемъ вопросѣ приходится помѣстить сто строкъ извѣстія о скандалѣ въ клубѣ г. N, причемъ такой-то разбилъ такому-то физиономію.

Гармонія «обозрѣнія» нарушена, но оплакивать этого горя не приходится, потому что надобно еще узнать, много ли объявленій. Для этого необходимо подавить косточку звонка, проведеннаго въ типографію, и ждать, откуда оттуда, изъ-подъ земли, явится уже не писатель, а совсѣмъ особенный человѣкъ съ черными пятнами на лицѣ (блѣдномъ и истомленномъ), съ черными руками и хриплымъ, гробовымъ голосомъ.

— Много объявленій?

— Много-съ!.. Сейчасъ вотъ отъ купчихъ похоронное объявленіе приняли... Нарыдала она съ горя строкъ на пятьдесятъ мѣста.

— А такъ-то, вообще, сколько можно оставить для внутренняго?

— Да строкъ на триста... Да и то врядъ-ли... Фельетонистъ разскандальничался строкъ на двѣсти лишку... Охаваетъ кого-то... А вѣдь вы сами знаете, Кузьма Ивановичъ, что издатель охотникъ до этого... На-расхвать пойдетъ нумеръ!.. «Вотъ тебѣ разъ!» думаю я въ сокрушеніи.

Въ одной корреспонденціи оказывается чотыреста пятьдесятъ шесть строкъ и слѣдовательно ее либо надобно урѣзать, либо замѣнить чѣмъ-нибудь другимъ. Но урѣзать корреспонденцію на полтора-раста строкъ невозможно. Необходимо ее отложить.

Вмѣсто рабочаго вопроса появляется такимъ образомъ корреспонденція изъ Корчевы о томъ, что вчера проѣхалъ пресвященный, затѣмъ слѣдуетъ рѣше заготовленная перепечатка о дракѣ въ клубѣ и прибавляется еще перепечатка о камнѣ, упавшемъ съ неба. Итого получается количество строкъ «въ обрѣзъ».

Но едва вы подумали, что дѣло кончено, какъ въ редакцію является репортеръ. Онъ въ страшныхъ попыткахъ—только что случился огромный пожаръ на Лиговкѣ, сгорѣлъ укусный заводъ, одинъ пожарный переломилъ ребро и, кажется, погибла маленькая дѣвочка. Происшествіе «городское», а хроника, не заносящая на свои столбцы

такихъ происшествій во всѣхъ мелочныхъ подробностяхъ, уже не хроника, и городской читатель не проститъ этой небрежности.

Для внутренняго отдѣла остается такимъ образомъ всего двѣсти строкъ, и потому приходится оставить только корреспонденцію изъ Корчевы о проѣздѣ архіерея. Но развѣ это «отдѣлъ»? Что же тутъ «внутренняго»? Необходимо опять порыться въ заготовленномъ матеріалѣ и составить «извѣстія» почти заново.

Отдѣлъ такимъ образомъ составляется изъ такихъ кушетовъ: драка въ клубѣ, упавшій съ неба камень, механикъ-самоучка и старикъ, умершій на сто двадцать девятомъ году, сохранивъ въ цѣлости всѣ зубы.

«Кажется, все?» думается наконецъ. Но — увы!—электрическій звонокъ главнаго редактора опять заигралъ что-то и зоветъ васъ.

— Скончался генералъ Шомполовъ. Необходимо помѣстить некрологъ... строкъ двадцать пять. Пришла еще телеграмма: Кальюки ѣдутъ въ Эмсъ. Патти простудила горло. Новая опера Гуно имѣла блестящій успѣхъ и въ Нью-Йоркѣ была буря... Строкъ пятьдесятъ.

Стиснутый такимъ образомъ съ одной стороны «городскими» событіями, съ другой—кушарками, кучерами, телеграммами и т. д., внутренній отдѣлъ въ концѣ-концовъ представляетъ слѣдующее плачевное зрѣлище:

Съ неба упалъ камень.

Умеръ столѣтній старецъ.

Крестьянинъ Егоровъ упалъ въ колодезь внизъ головой.

Пароходъ *Нептунъ* прибылъ въ Ватумъ.

Актрисѣ Купріяновой въ Саратовѣ поднесли бутель.

Вотъ она внутренняя русская жизнь въ ежедневной газетной живописи!

Но не думайте, чтобы заготовленный матеріалъ такъ и не пошелъ въ ходъ — нѣтъ, «наборъ не пропадетъ». Только о рабочемъ вопросѣ будетъ напечатано, когда онъ уже потеряетъ всякій интересъ, наприм. въ сентябрѣ; извѣстіе о дракѣ также найдетъ свое пристанище когда-нибудь, когда найдетъ ему два-три вершка свободнаго мѣста. То же самое идетъ и по другимъ отдѣламъ. За репортеромъ, прилетѣвшимъ съ вѣстью о пожарѣ, можетъ явиться другой репортеръ—музыкальный, и ему никоимъ образомъ нельзя отказать въ отчетѣ о бенефисѣ любимой актрисы: это — городскія вѣсти, которыми живетъ и дышетъ городской читатель. Но такъ какъ пожертвовать содержаніемъ «внутренняго отдѣла» въ пользу замѣтки о бенефисѣ уже нельзя, такъ какъ внутренній отдѣлъ и безъ того уже окончательно наѣлъ, то принимаются и за другіе отдѣлы. Въ нѣкоторыхъ извѣстіяхъ, напримѣръ, былъ прекраснѣйшій пересказъ послѣдняго парламентскаго засѣданія въ Лондонѣ по аграрному вопросу; вотъ его-то и приходится отложить до будущаго времени, а опроставшееся мѣсто заполнить восторженнымъ гимномъ бенефицианткѣ, настроеннымъ репорте-

ромъ, еще не очухавшимся отъ бенефиснаго ужина у Понсе.

Даже и то, что пресса даетъ намъ подлинно петербургскаго, мѣстнаго, приказы о назначеніи, перемѣщеніи и награжденіяхъ, законоположенія, измѣненія и дополненія — все это вмѣстѣ съ сумбуромъ «внутреннихъ извѣстій» не можетъ быть приведено вашею мыслью ни въ малѣйшую связь. Отставка генерала Купріянова, назначеніе Федорова на мѣсто Протасова такъ же для васъ и вашей мысли чужды и не нужны, какъ и паденіе съ неба камня и смерть старика. Политическія европейскія дѣла всегда неизмѣримо яснѣе для васъ и всегда имѣютъ даже въ поверхностныхъ газетныхъ извлеченіяхъ понятныя и видимыя исходные пункты и перспективы. И ничего подобнаго не видно относительно русской жизни.

Принявъ во вниманіе, что и я не чуждъ былъ до нѣкоторой степени тѣхъ душевныхъ страданій, въ которыхъ исповѣдывался передъ отъѣздомъ за границу мой пріятель, что и въ моей душевной изнуренности также не послѣднюю роль играли разныя вѣянія и теченія, и присоединивъ къ этому характернѣйшую особенность собственно петербургской жизни, т. е. особенность такого мѣста, гдѣ о русской жизни ничего никому неизвѣстно, читатель, я надѣюсь, пойметъ, почему я такъ жадно рвался видѣть именно жизнь, почему мнѣ было необычайно весело видѣть даже ту жизнь, которую можно видѣть изъ вагона и въ вагонѣ, и почему наконецъ я былъ искренно радъ, что возница мой опоздалъ къ пароходу.

Онъ далъ мнѣ время «отдышаться», приучить-ся опять ощущать радость жизни вообще, и меня дѣйствительно радовало рѣшительно все, самая мелкая мелочь, даже и то, что вовсе не порадовало бы при болѣе тщательномъ вниманіи; но я не хотѣлъ, я просто даже не могъ быть внимательнымъ къ чему-нибудь непріятному. Истомленное воображеніе само старалось за меня, само окрашивало все видѣнное исключительно только въ розовый цвѣтъ.

II.

Подъ вліяніемъ такого-то душевнаго настроенія, какое чудеснѣйшее впечатлѣніе произвело на меня пребываніе въ такомъ многомъ «мѣстѣ», какъ Новороссійскъ! Я употребляю слово «мѣсто», не опредѣляя его какими-нибудь болѣе точнымъ административнымъ терминомъ, потому что Новороссійскъ совершенно не напоминаетъ ни города, ни села, ни станицы, ни деревни, а есть пока просто «милое», тихое, но безпokoйное жилое мѣсто, которое, не имѣя ничего опредѣленнаго въ настоящемъ, даетъ вамъ полную волю мечтать, безъ всякихъ стѣсненій мысли, о его будущемъ. Впечатлѣніе, которое можно все-таки кое-какъ опредѣлить человѣческимъ языкомъ, это то, что Новороссійскъ — начало чего-то, зеленый стебелекъ, едва-едва показавшійся на дѣвственной почвѣ пустыннаго побережья.

Дѣвственность, начало новой жизни на этихъ старыхъ мѣстахъ, опустѣвшихъ послѣ бѣгства горцевъ въ Турцію, новая дѣвственная растительность, до основанія уничтожающая малѣйшіе слѣды старины, — вотъ она то и веселитъ усталое сердце въ этихъ безлюдныхъ, но обновляющихся жизнью мѣстахъ. Пока еще грѣховодникъ-капиталъ не показывалъ сюда своего носа, по крайней мѣрѣ въ своихъ подлинныхъ размѣрахъ, и не успѣлъ раздражить запахомъ своихъ приманокъ этой невинной земли и этого невиннаго воздуха, который обвѣваетъ ваше лицо и которымъ дышать ваши большія легкія. И такая прелесть начинается чувствоваться почти тотчасъ же, какъ только дорога, бѣгущая по кубанской степи, входитъ въ предгорія Кавказскаго хребта.

Кавказскій хребетъ, подходя къ Черному морю, какъ будто бы смиряется и затихаетъ въ своемъ бунтовствѣ: довольно онъ намудрилъ и напугалъ человѣка тамъ, въ глубинѣ Кавказа; довольно онъ тамъ намучилъ его своими ущельями (какое скучное слово!), скалами, высовывающимися изъ облаковъ, ревущими рѣками и пропастями бездонными. Довольно онъ надивилъ, настрадалъ и навосхищалъ васъ тамъ, «въ своихъ мѣстахъ», теперь — будетъ! Тамъ, въ своихъ-то мѣстахъ, онъ широко развернулся, самому небу доказалъ, на какія способенъ онъ чудеса, теперь же пора и отдохнуть. И, приближаясь къ Черному морю, точно къ дому, откуда ушелъ гулять по бѣлу свѣту, онъ какъ будто отдыхаетъ отъ своихъ чудовищныхъ подвиговъ; идетъ онъ ровнымъ шагомъ и тихо улыбается вамъ, встрѣчному прохожему, мягкими, живописными очертаніями ничѣмъ не пугающихъ горъ, живописныхъ долинъ, глядя на которыя съ вершины этихъ смиренныхъ высотъ, чувствуешь и видишь только одно, именно — какъ онѣ хороши, живописны, и нѣтъ того головокружительнаго ощущенія и мысли о возможности «помереть не своею смертью», которыя съ такой неистощимою любезностью преподносятъ вамъ на каждомъ шагу настоящій, головокружительный Кавказъ.

Отличная, ничѣмъ не уступающая военно-грузинской, шоссеяная дорога, начиная отъ станицы Небережайской (послѣднее жилое мѣсто по дорогѣ отъ Екатеринодара въ Новороссійскъ), на протяженіи около тридцати верстъ идетъ между этими смиренными горами, извиваясь поминутно такими же змѣиными изгибами, какъ и военно-грузинская, но безъ всякихъ по кожѣ подирающихъ свойствъ этой послѣдней. Дорога эта совершенно пустынная; дѣй почтовые станціи да керосиновая передаточная станція (пробирается-таки, грѣховодникъ!) — вотъ все «жилое», попадающееся на этомъ пути вплоть до Новороссійска. Но именно въ этой-то пустынности и есть что-то необыкновенно дѣвственное, освѣжающее. Молодая трава, цвѣты, деревья, изгладившія малѣйшія впечатлѣнія старины, радуютъ тѣмъ, что никто повидимому еще не пробовалъ топтать эту траву и цвѣты и никто еще не замазывался топоромъ на эту юную ра-

стительность. Невинно, мягко, пушисто здѣсь все, въ этихъ смиренныхъ и тихихъ горахъ.

Въ дни моей побѣдки, раннею весной, горы эти еще не были вполне опущены листовой; лѣса, покрывающіе эти горы густою и частою, какъ шерсть, растительностью, почти еще голы; на темномъ фонѣ ихъ только ярко золотятся желтые густые клубки распускающагося кизила, а въ долинахъ бѣлѣютъ какъ снѣгъ бѣлыми цвѣтомъ дикія яблони: все еще голо, но голо цѣломудренною наготой, провѣяно чистымъ весеннимъ воздухомъ, въ которомъ чувствуется еще свѣжая струйка гдѣ-то лежащаго снѣга, и вообще все юношески-свѣжо.

Въ такіа-то минуты я постигъ съ содроганіемъ «во всѣхъ суставахъ» заприимѣтилъ въ этихъ дѣвственныхъ мѣстахъ явный слѣдъ «грѣховодника». Заприимѣтилъ я какую-то тоненькую, дюйма въ два въ діаметрѣ, чугунную трубочку, которая по временамъ стала показывать свою змѣиновую спину въ разныхъ мѣстахъ этихъ дѣвственныхъ долинъ.

«А вѣдь пробирается — таки, грѣховодникъ-то! Пробирается, анафема!» — съ истиннымъ ужасомъ и скрежетомъ зубовъ думалось мнѣ всякій разъ, когда мелькала желѣзная спина желѣзнаго червяка.

Увы, дѣйствительно пробирается желѣзный червякъ! Изъ разсказовъ фургонщика оказалось, что червякъ этотъ уже довольно давно воткнулъ свой желѣзный носъ въ вѣдра земли верстъ за 80 отъ Новороссійска, въ станціи Ильской, и уже давно высасываетъ эти вѣдра. Въ предгоріяхъ червякъ этотъ поднимается отъ земли и лѣзетъ либо на пригорокъ, либо перегибается черезъ вершину резервуара, откуда, при помощи парового давления, нефть гонится до самаго Новороссійска черезъ горы и до Новороссійска же доползаетъ и самъ желѣзный червякъ. И здѣсь, по другую сторону бухты, противъ того веселаго мѣста, которое именуется Новороссійскомъ, уже видны какія-то грѣховодниковы затѣи: резервуары, заводы, черный, точно изъ ада, фыркающій дымъ — и нельзя не содрогаться всѣмъ существомъ, видя, что грѣховодникъ уже проложилъ дорогу. И насыпъ желѣзной дороги, къ глубокому огорченію, кажется, почти уже готова до самаго моря! Пришелъ, пришелъ-таки грѣховодникъ! И было бы до глубины души обидно за эти дѣвственные мѣста, если бы не существовало нѣкоторыхъ преградъ, самую природу противопоставляемыхъ успѣшному шествію грѣховодника и дающихъ нѣкоторое право задушеваться надъ такимъ вопросомъ: «Да удастся ли еще и грѣховоднику-то затоптать и замусорить здѣшнія дѣвственные мѣста?» Кое-что есть и противъ замысловъ грѣховодника, и на этомъ-то «кое-что» только и отдыхаетъ душа.

Прежде всего оказывается, что не даетъ грѣховоднику ни проходу, ни пробѣду такъ называемый «трескунъ-камень». Желѣзной дорогѣ необходимо въ двухъ мѣстахъ пробиться черезъ горы этого самаго трескуна-каменя, а трескунъ не про-

пускаетъ. Станутъ его рвать динамитомъ — думаютъ, онъ и въ самомъ дѣлѣ камень, а онъ, вѣсто того чтобы разваливаться глыбами, какъ бы слѣдовало поступать настоящему камню, разлетается въ дребезги пылью, разсыпается въ муку и засыпаетъ дорогу на томъ самомъ мѣстѣ, откуда его хотѣли удалить. Если же случится дождь, то трескунъ мгновенно превращается въ тѣсто, и тогда дорога оказывается залитой бездонной грязью, съ которой ничего не подѣлаешь. «Хорошо, подумалось мнѣ, поступать съ грѣховодникомъ трескунъ-камень! Смертоубійственно и вѣсть съ тѣмъ кротко дѣйствуетъ — эта черта российская!»

Не менѣе ядовито поступаетъ съ грѣховодникомъ и самое солнце кавказское. Какое оно чудное, животворящее! А тоже норовитъ подставить грѣховоднику ногу!

Здѣсь, на Кавказѣ, это ласковое солнце, какъ извѣстно, творитъ чистыя чудеса по части растительности. Въ годъ, въ два дерева вытягивается въ ростъ вдвое-втрое противъ роста того же дерева въ средней или сѣверной Россіи. Но, вытягивая съ такой энергіей соки для питанія растенія изъ земли, то же самое солнце съ той же самой энергіей вытягиваетъ соки и изъ самаго растенія и изъ его плодовъ, которыми оно обильно его одаряетъ. Говорятъ, что доска изъ здѣшней сосны или дуба, какъ бы хорошо ни была высушена, подъ палящими лучами солнца скоро коробится, трескается по слоямъ, если только не защищена чѣмъ-нибудь постороннимъ, напримѣръ штукатуркой. Даже самый могучій дубъ, по словамъ мѣстныхъ хозяевъ, не стоитъ въ здѣшнихъ постройкахъ болѣе трехъ лѣтъ: солнце, напоявшее и накормившее его, вытянетъ изъ него потомъ всѣ соки, расщепитъ его, избороздитъ трещинами, весьма удобными для поглощенія дождевой влаги, которая, подъ тѣми же палящими лучами, испаряясь и тлѣя въ мертвомъ тѣлѣ дерева, способствуетъ его окончательному уничтоженію и разрушенію. Говорятъ, что фрукты въ горныхъ лѣсахъ Майкопскаго уѣзда и Черноморскаго округа, рождающіеся въ несчѣтномъ количествѣ, такъ же весьма не прочны; груши и яблоки на видъ очень велики и очень крѣпки, но, сорванные съ дерева, скоро портятся и внутренность ихъ истлѣваетъ втеченіе четырехъ-пяти дней.

То же самое (по разсказамъ случайно встрѣчавшихся мѣстныхъ обывателей) происходитъ и съ зерновымъ продуктомъ. Говорятъ, что хлѣбъ, воздѣлываемый по лѣвую сторону отъ Кубани, т. е. въ самыхъ благодатныхъ мѣстахъ предгорій, такъ же красивый на видъ, жиренъ, крупенъ, и такъ же, какъ и все, растущее на здѣшней жирной землѣ и подъ здѣшнимъ пламеннымъ солнцемъ, недолговѣченъ и непроченъ; за здѣшнимъ хлѣбомъ нуженъ постоянный и тщательный уходъ: провѣтриваніе, пересыпка, иначе онъ начинаетъ кишѣть паразитами и даже слипается въ пласты. Крупные хлѣботорговцы стараются купить такое количество хлѣба, которое могло бы пойти въ дѣло по возможности въ скоромъ времени, чтобы не держать

это изнѣженное зерно въ амбарахъ, хотя бы этого требовали расчетъ и выгода. Изнѣженное зерно не выдерживаетъ продолжительнаго пребыванія въ амбарахъ и гнѣетъ. Кстати сказать, что это изнѣженное зерно такъ не похоже на наше, притерпѣвшееся ко всѣмъ случайностямъ, что опытный хлѣбо торговецъ узнаетъ здѣшнее зерно по одному только взгляду. Нѣтъ въ немъ нашей ржаной «строгости». И вотъ такой-то изнѣженный хлѣбъ, изнѣженный лѣсъ, изнѣженный фруктъ и долженъ бы быть главнымъ кормильцемъ и поильцемъ строящейся желѣзной дороги, такъ какъ хлѣба кубанскихъ земель, лежащихъ по правую сторону Кубани, вѣроятно пойдутъ къ Ростову, по крайней мѣрѣ изъ сѣверной части Кубанской области. Но уже въ самой изнѣженности всѣхъ этихъ товаровъ таится нѣкоторое противодѣйствіе успѣхамъ грѣховодника, такъ какъ, кромѣ фруктовъ, лѣса и зерна, что же есть здѣсь другое? Есть, правда, скотъ и вѣроятно будетъ табакъ, но объ этомъ я не могу сказать ничего опредѣленнаго, хотя и сожалѣю, что грѣховоднику все-таки есть чѣмъ поживиться.

Однако же и это прискорбное обстоятельство значительно смягчается еще третьимъ, кромѣ перечисленныхъ выше, препятствіемъ грядущему грѣховоднику. И препятствіе это пожалуй что будетъ поцѣпнѣе всѣхъ вышеупомянутыхъ: это — бухта. Она дѣйствительно похожа на котелъ и кипитъ какъ котелъ на огнѣ, когда начнетъ здѣсь свирѣпствовать nord-остъ или по-здѣшнему *бора*. Порожняки-извозчики, переѣзжая въ такіе бурные дни черезъ горы, наполняютъ свои фургоны и тележки камнями, иначе вѣтеръ снесетъ ихъ въ овраги, перевернетъ и изобьетъ какъ ему угодно.

— Иной разъ бываетъ такая штурма — говорилъ мнѣ сторожъ на пристани русскаго общества пароходства — не приведи Богъ! По цѣлымъ недѣлямъ не заходятъ пароходы: не пускаетъ буря. И якорь не держитъ, дно каменное, не за что зацѣпиться.

Рассказалъ онъ мнѣ, что будто-бы хотѣть (не знаю, кто именно) рвать горы, окружающія бухту, динамитомъ, чтобы «вродѣ какъ отдушины сдѣлать для воздуха, а то какъ надавить его, сюда, въ котелъ-то, такъ точно адъ крошечный раскрывается!»

Не знаю, была ли «штурма» въ то время, какъ я разговаривалъ со сторожемъ на пристани, но, пока шелъ разговоръ, я долженъ былъ изъ всѣхъ силъ держать одною рукой шапку, а другою держаться за фонарный столбъ, потому что, на мой взглядъ, вѣтеръ рвалъ, какъ бѣшеный. Да и не только на пристани, а вотъ и въ гостинницѣ, все-таки на нѣкоторомъ разстояніи отъ самой «штурмы», и то приходится имѣть съ вѣтромъ безпрепятственные столкновения! Гдѣ-нибудь отворять дверь, а вѣтеръ такъ ее затворить, что точно изъ пушки выпалитъ, и потрясетъ все зданіе. Покуда выбѣжешь изъ подъѣзда на улицу, необходимо имѣть продолжительную дуэль съ дверью подъѣзда, необходимо нападать на нее, собравъ всѣ свои силы,

бросаться очертя голову, и вообще не бояться смерти.

Все это весьма меня радовало, и я съ удовольствіемъ подумывалъ о томъ, что, быть можетъ, съ Божьей помощью, а также и съ помощью трескуча, изнѣженнаго зерна, неутомимой боры и капризной бухты — быть можетъ, грѣховоднику-капиталу и не удастся замусорить этихъ дѣвственныхъ мѣстъ, не придется «почавкать» своею сладострастною пастью всякаго свѣженькаго мяса и «кровушки свѣженькой изъ дѣвственныхъ мѣстъ повыточить».

Много, много здѣсь весьма благопріятныхъ условий для того, чтобы грѣховодникъ «не солоно хлебаль» (такъ мнѣ казалось), но, къ несчастью, не меньше есть и признаковъ того, что грѣховодникъ идетъ, что онъ близко, что онъ уже раздвѣиваетъ свою пустопорожнюю пасть, и охотниковъ свѣженькой кровушки повыточить не мало стремится въ эти дѣвственныя мѣста. *)

Еще по дорогѣ къ Ростову, затѣмъ на владикавказской линіи и далѣе, по станицамъ и по большой конной дорогѣ къ Новороссійску, постоянно встрѣчаются люди какихъ-то полутемныхъ биографій, мечтающіе и разсуждающіе о Новороссійскѣ. По разговорамъ видно, что люди эти уже видали виды; бывали они и въ Бессарабіи, и Петербургъ знаютъ, да и въ Ташкентѣ, въ Закаспійскомъ краѣ, изучили положеніе дѣлъ и кармановъ и, убѣдившись, что вообще во всѣхъ видѣнныхъ ими мѣстахъ никакого карманнаго «толку нѣтъ» и что вообще все это «пустой разговоръ», въ концѣ-концовъ норовятъ «попробовать и Новороссійскъ». Иные изъ нихъ откладываютъ эту пробу до того времени, когда будетъ открыта желѣзная дорога, а другіе и теперь ѣдутъ и обнюхиваютъ новое мѣсто.

Ѣдутъ какіе-то восточнаго типа верзилы въ фескахъ, съ удрученной походкой, съ безпомощно болтающею головою, какъ бы притягиваемой къ землѣ тяжеловѣснымъ восточнымъ носомъ; ѣдутъ они сюда съ какими-то непостижимымъ товаромъ, напоминающимъ обсаяренный мусоръ, взятый съ улицы, съ какими-то маленькими ягодами, перепачканными въ обсаяренную грязь; но ихъ верзильный ростъ и воловыи, съ тупымъ выраженіемъ, глаза заставляютъ думать, что имъ не чуждъ и тотъ родъ коммерціи, въ корни котораго таится коммерческій пріемъ, опредѣляемый словами «сѣкимъ-башка».

И жилотъ, нервный, напряженно внимательный, проворный, какъ ртуть, шмыгая по дѣвственнымъ мѣстамъ изъ угла въ уголъ, норовитъ прицѣлиться своимъ пронзительнымъ взоромъ къ чему-нибудь свѣженькому и сочному.

Наконецъ и наша великороссійская «бакалейная и мускательная» щетинистая рыжая борода по временамъ также сверкаетъ здѣсь бураками своихъ молодцовскихъ сапогъ. Выйдя съ постоялаго двора и перекрестившись большимъ крестомъ,

*) Увы! Пришелъ-таки и разинулъ пасть.

она бодро отправляется развѣдывать и прицѣпляться; тамъ запускаетъ руку въ возъ сѣна; выхватить клочокъ, понюхаетъ и даже пожуетъ; тамъ въ горсти у нея окажется пшеничка, ячмень, овесъ; все это борода попробуетъ на зубъ, разгребетъ пальцемъ, подуетъ и на руку вѣсомъ прикинетъ, а потомъ крикнетъ и пойдетъ въ заведение пить чай, соображать и прикидывать «такъ и эдакъ».

Но пока всѣ эти опыты всѣхъ охотниковъ «свѣженной кровушки повыточить» не увѣнчиваются никакими положительными результатами. Сколько обнюхиватели новыхъ мѣстъ ни упражняютъ своего обонянія — нѣтъ! пока ни откуда еще не несетъ падалю. Напротивъ, все еще дѣвственно, свѣжо и чисто. Попробуютъ они и «на зубъ», и «на языкъ», и на руку привѣсятся, и глазомъ прицѣлятся, да съ тѣмъ пока и должны отправляться въ обратный путь, въ какія-нибудь новыя, уже тронутыя «грѣховодникомъ» мѣста, напримѣръ въ Екатеринодаръ.

Этотъ городъ дѣйствительно уже тронутъ практическимъ человѣкомъ. И хотя желѣзная дорога еще не открыта, но практическій дѣлатель уже свилъ себѣ здѣсь прочное гнѣздышко, и, глядя на «процвѣтаніе» Екатеринодара, нельзя не порадоваться непрощѣванію Новороссійска: бухта — слава Создателю! — пустымъ-пустехонька; на пристани общества пароходства всего только пять керосиновыхъ бочекъ, съ десятокъ лодокъ у берега, на самомъ берегу штукъ пять не введенныхъ въ воду купаленъ — вотъ пока и все здѣшнее процвѣтаніе. Вся синяя, волнующаяся гладь залива, окаймленная дѣвственными горами, пока, слава Богу, чистехонька: ни лодочки, ни парохода, ни паруса! Ко всему этому ни у лодокъ, ни у купаленъ, ни на пристани около керосиновыхъ бочекъ нѣтъ ни единой человѣческой фигуры: ходитъ вѣтеръ, да волны шумятъ, и никакой язвы покуда ни откуда не видать...

Да и на берегу все слава Богу честно и благородно: домики стоятъ кое-гдѣ, «какъ Богъ привелъ»; живетъ ли кто въ нихъ — неизвѣстно; но все, благодареніе Богу, тихо. Амбарчики кто-то выстроилъ на «предбудущія времена», но «пока что», а амбарчики заперты на глухо и напрасно нордъ-остъ стучитъ въ запертую желѣзную дверь и рветъ желѣзный висячій замокъ — ничего еще въ этихъ амбарчикахъ нѣтъ, а Богъ дастъ, такъ ничего и не будетъ!

— Что-то Богъ дастъ завтра! — оканчивая свой торговый день, говоритъ нашъ Россійскій мужичокъ, выдвинувшій въ упоръ нордъ-осту и грѣдущему грѣховоднику-капиталу свой деревянный шалашикъ съ надписью: «кислощейное заведеніе съ продажей квасу». И нельзя не согласиться съ нимъ, что «завтра» для Новороссійска покрыто полнымъ мракомъ неизвѣстности.

Этотъ «кислощейный» мужикъ и этотъ дѣвственный Новороссійскъ чрезвычайно похожи другъ на друга: мужичокъ выстроилъ на самомъ юру вѣтровъ шалашикъ изъ шести-семи нестроганныхъ

тесинъ, прилѣпилъ вверху навѣса кислощейную вывѣску, повѣсилъ на стѣну «патреть» и видѣ Аеонской горы, поставилъ на тесину, замѣняющую стойку, боченокъ съ квасомъ, три толстобокіе стакана, пятокъ бутылокъ съ квасомъ, перекрестился и вмѣстѣ съ своей «бабой» сталъ ждать «что будетъ». До сихъ поръ пока ничего нѣтъ: только нордъ-остъ забирается ему подъ рубаху, вздуваетъ ее пузырями на его спинѣ. Что касается его «бабы», то и она пока имѣетъ дѣло только съ нордъ-остомъ: чуть вышла изъ будки, такъ вѣтромъ ее подхватитъ, раздуетъ весь ея «ситчикъ» и, того гляди, умчитъ невѣдомо куда. Идутъ и наши земляки мимо кислощейной, да вѣтренно, и пить холодно, неохота «пока», а носастые азіаты, такъ тѣ, проходя мимо, только косятъ глазами и на бочку, и на вывѣску. Такъ и проходитъ день; а часовъ въ семь мужикъ съ бабой выберутся изъ будки, заставятъ ее досками, помолятся на небо, поклонятся на всѣ четыре стороны и идутъ домой, на фатеру, «пожевать» вѣсового хлѣба намѣсто ужина, идутъ и говорятъ: — Что-то Богъ дастъ завтра!

А завтра тотъ-же вѣтеръ, и все то же, что и вчера. Такъ вотъ Новороссійскъ и живетъ, ничего не видя «настоящаго» сегодня и не зная, что Богъ дастъ завтра!

Сегодня, чтобы какъ-нибудь истратить цѣлый праздный день, остающійся въ моемъ распоряженіи до прихода парохода, я задумалъ совершить цѣлыхъ пять дѣлъ и зайти въ пять разныхъ мѣстъ, полагая, что на эти пять дѣлъ уйдетъ все-таки хоть два часа времени. Задумалъ я пойти на пристань, на почту, на телеграфъ, въ лавку купить чаю и наконецъ остриться.

Послѣ кровопролитной и продолжительной битвы съ дверью подъѣзда, во время которой я два раза почти уже одержалъ побѣду и проникалъ на улицу, но тотчасъ же былъ вдуваемъ или даже вбиваемъ вѣтромъ во-внутрь гостинницы, точно такъ, какъ пулю вбиваетъ шомполъ въ дуло ружья, — послѣ всѣхъ этихъ мученій, я въ концѣ-концовъ очутился все-таки на улицѣ, и здѣсь, оглядѣвшись, въ крайнему сожалѣнію моему, увидѣлъ, что всѣ пять мѣстъ, которыя я задумалъ посѣтить, находятся тутъ же, чуть не у самого подъѣзда, сосредоточиваясь такимъ образомъ всѣ въ одномъ мѣстѣ: въ двухъ шагахъ почта, еще два шага — телеграфъ, черезъ дорогу «бакалейная и мускательная», а въ десяти шагахъ и пристань. Все это, при дѣятельномъ участіи нордъ-оста, я посѣтилъ не болѣе какъ въ пять минутъ, и мнѣ оставалось одно утѣшеніе — парикмахерская, гдѣ ужъ навѣрное я пробуду минутъ пятнадцать и такимъ образомъ хоть эти пятнадцать минутъ отниму у совершенно празднаго дня. Парикмахерская опять-таки оказалась «тутъ-же», въ двухъ шагахъ, и была также совершенно дѣвственна: на дверяхъ были нарисованы люди: одного брѣвну, у другого отворачиваютъ кровь, — рисунки, какъ видите, почти столь же древніе, какъ и византійскія фрески. У самой двери на полочкѣ сто-

или «банки» и лежали машинки для кровопусканія—тоже инструменты, давно исчезнувшіе изъ современной парикмахерской. Въ комнатѣ было накурено, такъ какъ въ ней отъ нечего дѣлать и очевидно въ ожиданіи «что Богъ дастъ завтра» сидѣли разные люди восточнаго, еврейскаго и русскаго типа изъ числа «присматривающихся», «прицѣпывающихся глазомъ», пробующихъ и на языкъ, и на зубъ и вообще ожидающихъ у моря погоды. Дѣлать имъ было, очевидно, ровно нечего, и они все свое вниманіе сосредоточили на мнѣ и на парикмахерѣ, который меня стригъ; они такъ же, какъ и я, наклоняли голову въ ту сторону, въ которую парикмахеръ наклонялъ мою, дѣлали такіе же гримасы, какія приходилось дѣлать мнѣ, и даже дѣлали замѣчанія.

— Пожалуйста уха барину не отрѣжь ножницами! сказалъ какой-то азіатецъ. — Ты мнѣ уха рѣзал!

— Зачѣмъ намъ ухо рѣзать! Слава Богу, кажется, на своемъ вѣку довольно практиковалъ!

Но и это занятіе, къ сожалѣнію, весьма скоро прекратилось. Прекратилъ его я самъ, испугавшись какой-то горчицницы, изъ которой парикмахеръ хотѣлъ что-то вылить мнѣ на темя. Поблагодаривъ его за услугу, я поспѣшилъ уйти, и затѣмъ мнѣ ничего много не оставалось, какъ возвратиться въ гостиницу, т. е. сдѣлать еще только два шага.

Гостиница пуста: кромѣ меня и какого-то чернаго челоуѣка, очевидно съ полутемной біографіей и таинственнымъ большимъ узломъ съ таинственнымъ товаромъ, сидѣщаго въ темномъ номерѣ, никого нѣтъ. Въ залѣ накрытъ общій столъ и стоитъ открытое піанино; но никто не играетъ и никто ничего не ѣстъ. Лакей спитъ; поспитъ, встанетъ, обмахнетъ салфеткой лампу, графинъ, вздохнетъ и опять сядетъ къ столу—дремать на своихъ локтяхъ. Тишина мертвая; только вѣтеръ свищетъ въ окнахъ, въ дверяхъ, въ трубахъ, въ заслонкѣ, да кошка мяукаетъ безпрестанно. Весь домъ, въ ожиданіи «не будетъ ли чего нибудь», предпочитаетъ дремать и даже, кажется, спитъ. На площади передъ окнами стоитъ одинъ ломовой извозчикъ и идетъ одинъ прохожій.

Надо спать. И спать здѣсь хорошо, да и проспавшись, также хорошо себя чувствуешь: необыкновенно пріятно побыть въ некоторое время въ такомъ «мѣстѣ», гдѣ ничего не знаешь о прошедшемъ, гдѣ нѣтъ ничего въ настоящемъ и гдѣ поэтому не беспокоитъ мысль о будущемъ. Тишина, вѣтеръ—и ровно ничего такого, что бы могло навести на какія-нибудь личныя воспоминанія о прошломъ и предаться поэтому невеселымъ думамъ о всякихъ пережитыхъ тяготахъ и безплодно утраченныхъ годахъ. Правда, приходили терзать меня и такіе думы и воспоминанія, но систематическое отсутствіе впечатлѣній, упорная тишина, упорный шумъ вѣтра, пустота улицы и дома преодолѣвали напряженность мысли о прошломъ и дѣлали мысль совершенно свободной, вольной. А разъ ей, этой изболѣвшей мысли, выпала на долю та-

кая счастливая минута, не захочетъ она добровольно утомлять себя, утомленно возвращаясь къ покинутымъ воспоминаніямъ о тяготѣ жизни. Почувствовавъ себя на полной свободѣ, она какъ птица, выпущенная изъ клѣтки, летитъ къ свѣту и къ солнцу.

Вотъ такое-то стремленіе овладѣло и моею мыслью, которой въ этомъ миломъ «мѣстѣ», именуемомъ Новороссійскъ, не за что было ухватиться, чтобы заскучать и затосковать, и потому мнѣ стало припоминаться только то, что оставило въ душѣ свѣтлый слѣдъ. А на мое счастье, одна только недѣля переѣзда отъ Петербурга до Новороссійска, т. е. одна недѣля самаго поверхностнаго соприкосновенія съ живою жизнью русскаго народа, уже много дала мнѣ радостныхъ минутъ. Объ этихъ-то радостныхъ минутахъ я и сталъ думать среди моего прекраснѣйшаго и неварушимаго одиночества и, думая, ясно понималъ, почему мнѣ стало теперь такъ весело на душѣ, почему меня такъ обрадовали и эти тихія горы, и этотъ «трескунъ», и нордъ-остъ, и вообще все, что видѣлъ мой глазъ. Была этому началу радости серьезная причина и заключалась она въ слѣдующемъ.

III.

Наслушавшись въ Ростовѣ на станціи разговоровъ между проѣзжими о томъ, что новая дорога отъ ст. Тихорѣцкой до Новороссійска уже дѣйствуетъ и что по ней уже ѣздятъ, хотя она официально и не открыта, я задумалъ и самъ проѣхаться по ней и посмотреть на новыя невиданныя мною мѣста. Но при первой же справкѣ у начальства оказалось, что поѣзда ходятъ только служебныя, а пассажирскія не принимаютъ. Такой неласковый отвѣтъ начальства далъ мнѣ поводъ опять загрустить о чемъ-то.

Нужно сказать, что при всей моей радости видѣть живую жизнь, тоска, намучившая меня въ Петербургѣ, постоянно мѣшала моимъ веселымъ впечатлѣніямъ въ первые дни поѣздки. Маленькія радости поминутно омрачались привычною болью изломаннаго сердца, и на снѣгу вотъ этой капелькѣ тепла, живой радости—грубо надвигалась черныя и какъ ледъ холодныя воспоминанія. Мгновеніями казалось, что въ такомъ настроеніи и ѣхать-то некуда и не зачѣмъ, и малѣйшая непріятность, даже простое неудобство, положительно сокрушали и обезсиливали, такъ какъ трогали уже изболѣвшіе отъ черныхъ впечатлѣній нервы, уничтожали надежду на что-нибудь радостное, обезсильвали. Вотъ въ такое-то обезсиленное, близкое къ полной тоскѣ, состояніи привелъ меня и такой пустякъ, какъ отказъ «начальства» въ билетѣ на поѣздъ отъ Тихорѣцкой станціи до Екатеринодола. Стало мнѣ какъ-то непомѣрно скучно и тяжело, но это продолжалось по обыкновенію только мгновеніе, тѣмъ болѣе, что и само Провидѣніе уже неслось обо мнѣ.

Въ то время, когда я шелъ разочарованный послѣ разговора съ начальствомъ, на меня при-

стально и по-отечески смотрѣли ласковые глаза какого-то російскаго человѣка. Это былъ какой-то низшій желѣзно-дорожный служитель въ рабочей блузѣ, съ бляхой и въ черномъ картузѣ съ бѣлымъ позументомъ. Его доброе, мягкое сердце вѣроятно почувало, что у меня на душѣ нескладно, что мнѣ не весело, и онъ, какъ добрый человѣкъ, должно быть подумалъ обо мнѣ:

«Зачѣмъ ему начальникъ непріятныя слова говорить? Лучше же ему пріятныя слова говорить, а не то что обижать!.. Все одно: на новую дорогу его не пустятъ, а ежели съ нимъ по пріятному поговорить, такъ все же ему будетъ легче. Пойду-ка я ему поговорю по-пріятно-по-шутливо?.. Пускай же онъ хоть повеселѣетъ... не дождется!»

Собравшись и обдумавъ все это, добрый человѣкъ кашлянулъ, поправилъ кожаный поясъ, развеселилъ свое лицо и ласково сказалъ, подойдя ко мнѣ съ картузомъ въ рукахъ:

— Вы что такое, вашкобродіе, у обера спрашивали?

Я сказалъ и спросилъ его:

— Даютъ ли по крайней мѣрѣ на Тихорѣцкой-то билеты?

Добрый человѣкъ вмѣсто отвѣта сдѣлалъ такой видъ (фыркнулъ въ сторону и картузомъ закрылъ полъ-лица), что далъ мнѣ полную возможность видѣть, до какой степени разнѣшилъ его мой наглѣйшій вопросъ:

— Да сколько вамъ будетъ угодно, столько вамъ билетовъ и дадутъ! какъ бы оправившись отъ комическаго положенія, въ которое я его поставилъ, сказалъ онъ самымъ успокоительнымъ и убѣдительнымъ тономъ.

— Будто дадутъ?

— И, будьте такъ добры, оставьте!

— Вотъ это славно!

— И сколько вамъ угодно! И очень просто! Какъ сейчасъ пріѣхали и сейчасъ взяли билетъ, и больше ничего—поѣзжайте съ Богомъ!

— Отлично!

— И ни Боже мой, нисколько! А какъ будетъ звонокъ, тогда я прибѣгу за вашимъ чемоданчикомъ, извольте только помнитъ седьмой номеръ... И билетикъ до Тихорѣцкаго возьму, и мѣсто займу!

— Ну, спасибо! Отлично!

Онъ такъ пріятно говорилъ, что я тутъ же счелъ нужнымъ его поблагодарить «въ руку».

— А вы, продолжалъ онъ, изыскивая новые способы проявить свою ласковость,—а вы извольте спокойно гулять, чай кушать. Или порціями чего-нибудь, что потребуется, и нисколько не опасайтесь! Сколько потребуется билетовъ, столько и дадутъ, и поѣдете съ Богомъ, пріятнымъ манеромъ... Даже и насѣтили вы меня, господниче, вашими словами, ей-Богу!.. Да сколько только угодно!..

— Ну, спасибо, спасибо! Благодарю очень!

Пріятныя слова добраго человѣка дали мнѣ возможность въ самомъ пріятнѣйшемъ расположеніи духа провести время въ ожиданіи поѣзда, въ такомъ же пріятнѣйшемъ состояніи вѣять всю дорогу

до Тихорѣцкой, да и тамъ, когда оказалось, что добрый человѣкъ единственно только изъ-за своей доброты создалъ легенду о раздачѣ билетовъ, и тамъ мнѣ не было скучно, потому что легенда была веселая и выдуманная не подъ вліяніемъ дурныхъ побужденій. «Добрый человѣкъ!»—думалось мнѣ, когда я окончательно убѣдился, что билетовъ нѣтъ и что вмѣсто нихъ только одна пріятная легенда. За эту пріятную легенду я и сейчасъ благодаренъ доброму человѣку, потому что ей я обязанъ хотя и совершенно случайной, но въ высшей степени радостной встрѣчѣ съ одною переселенческою партіей крестьянъ.

Когда эпизодъ съ легендой о билетахъ (просьба у начальника станціи, оберъ-кондуктора, даже буфетчика и постоянные отвѣты «Нѣтъ! Невозможно! Не дозволяется!») былъ совершенно законченъ, т. е. когда поѣздъ ушелъ, станція совершенно опустѣла, и мнѣ пришлось искать себѣ ночлега, тогда, оставивъ свои вещи у сторожа, я вышелъ со станціи на какое-то огромное пустошное пространство безмолвное пространство и, оглядѣвшись, запримѣтилъ вдали мельканіе нѣсколькихъ огоньковъ. На эти огоньки я и пошелъ.

Свѣтилось по русскому обычаю въ самомъ популярномъ и передовомъ во всѣ времена и во всякомъ мѣстѣ учрежденіи—въ кабакѣ. Рядомъ съ кабакомъ былъ и трактиръ съ «номерами», гдѣ мнѣ пришлось взять комнату, такъ какъ на станціи не было ни малѣйшихъ удобствъ для пріѣзжающихъ. Но номеръ былъ такъ малъ, душенъ, грязенъ и вообще невозможенъ во всѣхъ отношеніяхъ, что, помаявшись въ немъ часа два, я не выдержалъ и вышелъ на улицу.

Было темно; тучи застилали мѣсяцъ, который какъ будто силался выглянуть и высвободиться изъ этой темноты, но темнота упорно въ этомъ ему препятствовала. Едва можно было разглядѣть человѣческія фигуры, длиннымъ рядомъ сидѣвшія на длинной лавкѣ у забора, примыкавшаго къ воротамъ трактира. Кое-какъ оглядѣвшись въ темнотѣ и примѣтивъ на концѣ лавки кусокъ свободнаго мѣста, присѣлъ въ компанію къ этимъ неяснымъ фигурамъ и я. На мое счастье мѣсяцъ вырвался таки изъ тюрмы весеннихъ тучъ и осіялъ всю окрестность на огромное пространство. Ясно очертились недостроенные корпуса будущей большой станціи. Засверкали на двухъ-трехъ изъ новаго теса сколоченныхъ бивачныхъ лавкахъ золотыя буквы вывѣсокъ, стали видны тамъ и сямъ крыши бараковъ для рабочихъ и наскоро сколоченныя помѣщенія для служащихъ—вотъ и все, что осіялъ вырвавшійся изъ тучъ мѣсяцъ. Никакихъ иныхъ сооружений, кромѣ кабака и трактира, о которыхъ я уже упоминалъ, на ровномъ, безконечномъ пространствѣ, очертившемся подъ сіяніемъ луннаго свѣта, не было видно кругомъ. И несмотря на эту пустынную, къ моему большому огорченію, ужъ и сюда набрело немало всякаго случайнаго человѣка, который плетется на будущія грѣховодниковы приманки со всѣхъ концовъ Руси и во всѣ концы Руси. Мѣсяцъ, осіявшій окрестности, осіялъ

и моихъ сосѣдей, и я увидѣлъ сразу, что народъ этотъ — низшій сортъ, но непремѣнный сорутникъ грѣхонедника, вторгающагося во всѣ наши «непочатые углы». Должно быть, что города наши, гдѣ грѣхонедникъ успѣлъ уже развернуться вполне, накопили этого темнаго народа такъ много, что онъ вынужденъ распоздаться не только по селамъ и деревнямъ, но даже и по такимъ пустырямъ, какъ то мѣсто, гдѣ мы теперь находились вѣстѣ съ моими сосѣдями по лавкѣ.

Сосѣди эти по временамъ вставали съ лавки и уходили въ кабакъ, и фонарь, висѣвшій надъ дверью кабака, давалъ мнѣ возможность довольно отчетливо рассмотреть моихъ сосѣдей, ихъ фигуры и костюмы: резиновая калоша на одной ногѣ, а на другой ничего, штанина, разорванная до колѣна, рукава какихъ-то разорванныхъ во всѣхъ направленіяхъ хламидъ, также какъ и хламиды, разорванные до локтя, — вотъ костюмы, и ко всему этому охрипшія гортань, сильные голоса. Разговоры этихъ охрипшихъ людей были совсѣмъ не крестьянскіе, т. е. не о *своихъ дѣлахъ*, а какъ разъ наоборотъ — о чужихъ; мои собесѣдники обсуждали положеніе дѣлъ, обзорѣвали текущія событія. «новости дня», какъ бы нища въ этомъ матеріалѣ чего-то подходящаго. И опять-таки ужасно: «новости дня» даже и въ такомъ-то пустопорожнемъ мѣстѣ, какъ недостроенная станція, уже изобилуютъ всякою несносною клеузой и мутью.

— Завтра, вишь, — хрипѣть и дасть обзорѣватель тихорѣцкихъ новостей дня, — слѣдователь пріѣдетъ.

— Н-ну? могильнымъ голосомъ, въ которомъ слышится испугъ и даже ужасъ, не вопрошаетъ, а какъ-то стонетъ человекъ въ резиновой калошѣ. — Чего ему?

— Хайкину лавочку будутъ обыскивать... Заклады беретъ, деньги даетъ пустяковыя, а выкупить не позволяетъ, упирается... У Сашки серебряный порцыгаръ такъ-то пропалъ.

— А чепочку тоже Сашка-то закладывалъ?

— Эта чепочка у Михайлы пропала. Сашка не закладывалъ.

Обзорѣватели полагаютъ, что Хайка непремѣнно должна вывернуться, такъ какъ Хайка заручилась отличнѣйшимъ адвокатомъ. Вонъ ужъ и адвокатъ зашелъ на пустомъ мѣстѣ, и на томъ же пустомъ мѣстѣ заведось адвокату дѣло. И сколько дѣлъ! Вотъ хотъ бы этотъ кабакъ: вѣдь, кажется, что и стоитъ-то онъ на этомъ пустомъ мѣстѣ безъ году недѣлю, а ужъ «дѣло» опутало его со всѣхъ сторонъ! По закону выходитъ такъ, что трактирщикъ долженъ сломать цѣлыхъ полдома, именно ту часть, гдѣ находится кабакъ. Если онъ полдома разломаетъ, то поступитъ по закону. Если же не разломаетъ и не перенесетъ кабака на законное разстояніе, то онъ поступаетъ противъ закона и долженъ отвѣтить. Безъ адвоката, какъ видите, выпутаться невозможно, и адвокатъ, какъ я слышалъ отъ обзорѣвателей «дня», изловчается. Онъ хочетъ оставить и кабакъ, и трактиръ на томъ же мѣстѣ, причемъ все вый-

детъ «по закону». Будетъ дѣло поставлено такъ: теперь крыльцо въ кабакъ прямо съ улицы, и если шѣрять отъ станціи до крыльца, то кабакъ будетъ противузаконный. Адвокатъ, обороняясь бумагами, въ то же время прицумалъ слѣдующее: дверь съ улицы забить наглухо, а входъ въ кабакъ сдѣлать сбоку дома изъ заднихъ сѣней. Такимъ образомъ, если шѣрять отъ станціи до заднихъ сѣней, то окажется, что кабакъ имѣетъ «противъ закона» еще преимущество на двѣ съ половиной сажени.

— Одно слово — башка! хрипѣлъ обзорѣватель. — Здорово считилъ съ трактирщика, а удѣлаешь!

— Да, стѣбитъ!

Не мало въ самое короткое время наслушался я такихъ «новостей дня», и все самаго темнаго свойства; право, нельзя было не надивиться той поразительной быстротѣ, съ которою «рубль» въ столь короткое время умѣетъ собирать вокругъ себя такую пропасть всей этой муты.

Вѣдь давно ли, кажется, то самое мѣсто, гдѣ мы теперь сидимъ на лавочкѣ, было все чисто и свѣтло, и ничего здѣсь не было кромѣ степной травы; но вотъ пришло «предпріятіе», запахло наживой, «оборотомъ», и уже все тутъ есть: «и часы пропали... и въ залогъ принимается... и адвокатъ наживается... и слѣдователь ѣдетъ... и запечатывать хотятъ», а затѣмъ ужъ и судъ, и остроги рисуются въ перспективѣ. Какая пропасть «дѣлъ» и людей, которые живутъ «вокругъ» этихъ дѣлъ! И какая скука отъ всего этого!

Опять затуманили мою голову тоскливыми мыслями, и я хотѣлъ было оставить моихъ сосѣдей, господъ обзорѣвателей новостей дня, когда мое вниманіе было привлечено большой толпой простого народа, двигавшеюся по ярко освѣщенной мѣсяцемъ площади. Ближе и ближе — слышеть звонкій и частый женскій и дѣтскій говоръ и смѣхъ — и цѣлая масса женщинъ съ грудными дѣтьми, молодыхъ дѣвушекъ и дѣвочекъ, мальчишекъ и подростковъ, лѣтъ по двѣнадцати, проходитъ мимо насъ, проходитъ съ живымъ говоромъ всей толпы, пискомъ ребятъ и смѣхомъ молодежи.

Дойдя до кабака, толпа остановилась, долго говорила тѣмъ чуднымъ, общимъ говоромъ, который пріятенъ и радостенъ уже тѣмъ, что намъ до-нельзя хочется проникнуть въ его смыслъ, какъ хочется понять тайну того, о чемъ шумитъ рѣка, о чемъ говорятъ дѣсь, что творится въ тайнахъ облаковъ и свѣтлаго неба. Въ этомъ говорѣ — не новости дня, а дѣло вѣчной, не умирающей жизни. Поговора у кабака про свои живыя дѣла, толпа женщинъ прямо прошла въ кабакъ, вытѣснила оттуда всѣхъ оставшихся тамъ поспѣтителей и въ одно мгновеніе заполонила обѣ его комнаты: одну, гдѣ пили водку, и другую — гдѣ стоялъ биллиардъ. Биллиардъ мгновенно былъ заваленъ подушубками, кошмами, подушками, на которыхъ бабы уложили своихъ дѣтей, которыхъ, буквально, были десятки. Скоро и на полу, и подъ биллиардомъ, и по лавкамъ — повсюду стали раз-

мѣшаться бабы, раздѣваясь, молясь Богу, нянчая и баюкая ребятъ. Какъ пчелиный улей, зашумѣлъ и зажужжалъ сразу сдѣлавшійся тѣснымъ кабакъ, зашумѣлъ и зажужжалъ сотнею дѣтскихъ и женскихъ звонкихъ голосовъ.

Оказалось, что по ту сторону станціи желѣзной дороги, за полотномъ, разлѣстилась большая партія переселенцевъ. На ночь, для ночлега женщины и дѣтей, переселенцы сняли помѣщеніе у трактирщика въ кабакъ — по пяти копѣекъ за ночь съ человѣка, а мужчины ночуютъ около теплѣгъ и лошадей въ полѣ. Поговорить и поразспросить кого-нибудь изъ женщинъ о подробностяхъ ихъ переселенія оказалось неудобнымъ — всѣ онѣ устали, заняты были ребятами и вообще имъ было не до разговоровъ. Волей-неволей пришлось отложить всѣ разговоры и разспросы до утра, когда, по словамъ одной женщины, должны были придти къ нимъ мужики пить чай, брать воду. Нечего было дѣлать, надобно было ждать до утра, и я, кое-какъ промаявшись ночь въ моей клѣткѣ, утромъ, часу въ шестомъ, былъ уже опять на улицѣ, уже разговаривалъ съ переселенцами, и вотъ они мнѣ что рассказали.

Они — бывшіе крѣпостные крестьяне Кочубей, идутъ изъ Черниговской губерніи, Борзенскаго уѣзда, въ количествѣ ста восьмидесяти семей; идутъ они конечно отъ тѣсноты и недостатка земли, по направлению къ Екатеринодару. Въ тридцати верстахъ отъ этого города, у нѣкоего землевладѣльца г. Воловика, купили они 2,000 дес. земли, изъ которыхъ около двухсотъ десятинъ строевого лѣсу въ предгорьяхъ. Покупка эта сдѣлана по публикаціи самого г. Воловика, кажется въ *Сельскомъ Вѣстникѣ*. Прочитавъ эту публикацію, они отправили ходоковъ осмотрѣть мѣсто; ходоки осмотрѣли, нашли мѣсто удобнымъ и дали властѣлицѣ 10 т. задатка. Но такъ какъ покупка земли была не общественная, а единичная, и сто восемьдесятъ домохозяевъ покупали каждый отдѣльно и «по деньгамъ», то для окончанія этого дѣла г. Воловикъ самъ долженъ былъ (на счетъ переселенцевъ) пріѣхать въ Черниговскую губернію, въ Борзенскій уѣздъ, и заключить съ каждымъ отдѣльно особые частныя условія, а затѣмъ всѣ сто восемьдесятъ домохозяевъ, желая получить ссуду изъ крестьянскаго банка, ходатайствовали объ этой ссудѣ уже отъ имени цѣлаго общества.

За двѣ тысячи десятинъ съ лѣсомъ и пятидесятью избами (въ этихъ избахъ жили, до покупки земли крестьянами, также крестьяне, только арендаторы; послѣ продажи земли г. Воловикъ перевелъ ихъ на другой свой участокъ и будто бы хорошо вознаградилъ за постройки) они заплатили шестьдесятъ тысячъ рублей; изъ нихъ сорокъ пять тысячъ рублей заплачены самими крестьянами, а пятнадцать тысячъ, по 7 руб. за десятину, далъ крестьянскій банкъ. Количество купленной крестьянами земли распределяется между отдѣльными домохозяевами примѣрно такъ: самое меньшее — шесть десятинъ а самое большее — сорокъ. Откуда взяли крестьяне сорокъ пять тысячъ наличныхъ

денегъ? Деньги эти получились отъ продажи земли на родинѣ. Тамъ они продали свою землю не менѣе 150 р. за десятину и до 200 р. Одинъ переселенецъ продалъ только двѣ десятины земли съ усадьбой и взял за эту усадьбу двѣ тысячи рублей. Денегъ отъ продажи земли и скота у нихъ образовалось вполнѣ достаточно для того, чтобы переселиться не съ голыми руками; напротивъ, деньги на обзаведеніе, на покупку всего необходимаго, были у нихъ въ весьма достаточномъ количествѣ. Покупка состоялась въ прошломъ году, и тогда же, осенью, изъ Борзенскаго уѣзда они отправились на новую землю шестьдесятъ человѣкъ изъ своихъ товарищей, которые расплачали часть земли подъ озимое, засѣяли ее и воротились назадъ. Теперь такимъ образомъ переселенцы имѣютъ уже хлѣбъ на весь будущій годъ.

Въ Тихорѣцкой станціи они очутились по тѣмъ же соображеніямъ, по какимъ очутился и я, т. е. думали пробѣжать по желѣзной дорогѣ до Екатеринодара; но дорога не согласилась исполнить ихъ желаніе, и они, нисколько впрочемъ не унывая, живутъ здѣсь, ожидая прихода по желѣзной дорогѣ вещей и разной клади, нѣсколько сотъ пудовъ, закупая у окрестныхъ жителей лошадей и подводы для перевозки ея и семействъ. Прежде чѣмъ приступить къ этой покупке, они пробовали еще разъ по телеграфу ходатайствовать у правленія дороги о перевозкѣ, но все-таки получили отказъ. Кстатіи сказать, телеграфъ много сдѣлалъ имъ добра, и они очень наострились имъ орудовать; всѣ важнѣйшія операціи относительно г. Воловика, крестьянскаго банка и желѣзныхъ дорогъ — они обдѣлывали по телеграфу безъ проволокъ. Благодаря разумному веденію дѣла, они добились того, что переѣздка отъ ст. Плиски курско-киевской дороги до Ростова обошлась имъ всего по 8 руб. на взрослого человѣка и по 4 руб. на подстка.

Всѣ эти свѣдѣнія я получилъ, повторяю, уже на другой день, разговаривавшись съ переселенцами, пришедшими къ женамъ и дѣтямъ. И рассказы ихъ, и сами они произвели на меня самое радостное впечатлѣніе.

Какъ видите, эта переселенческая партія — партія совершенно не нищенская; у нея есть достатокъ; есть все, что нужно; всѣ дѣла свои она сдѣлала умно, расчетливо, безъ упомощенія, и пріѣхала именно туда, куда ей слѣдовало пріѣхать, а не колесить невѣдомо гдѣ, прося «Христа ради» подъ окнами, какъ это часто бываетъ съ нашими переселенцами, идущими на «бѣлыя воды». Почти всѣ сто восемьдесятъ семей были семьи молодыя. За исключеніемъ нѣсколькихъ стариковъ и старухъ, принадлежащихъ къ большимъ семьямъ, положительно всѣ остальные мужчины были никакъ не старше 30—35 лѣтъ. Это было уже новое, послѣреформенное поколѣніе крестьянъ; гораздо больше половины взрослыхъ были грамотные, а подростки — грамотны всѣ; вся толпа мужчинъ и женщинъ, парубковъ и дѣвчатъ была просто какъ на подборъ: молодые, здоровые. ни ка-

пальми не забыты, безъ малѣйшихъ признаковъ какого-либо ярма, которое когда-то лежало на нихъ. Единственное, что было въ ихъ прошлой, недавней жизни тяжкаго и непріятно вспоминаемаго, это, кромѣ малоземелья, «панъ» вообще и къ сожалѣнію рядомъ съ паномъ «жидъ». Но теперь, избавившись отъ наемной работы и отъ жидовской кабалы, они вспоминали о томъ и другомъ не иначе, какъ въ смѣхотворной анекдотической формѣ. На панской работѣ—для потѣхи рассказываютъ они теперь—кормятъ такимъ борщомъ, что когда остатки его выльютъ на землю, то всякая собака, которая подойдетъ и понюхаетъ, начинается лаять и бѣсноватся—такой славный у этого борща запахъ и вкусъ!

— А жидъ?

Жидъ много дѣлалъ зла, но и жидовское зло вспоминается теперь только въ смѣхотворномъ видѣ.

Приходитъ крестьянинъ къ жида, проситъ рубль серебромъ въ долгъ на одинъ годъ и даетъ въ закладъ полушубокъ. Жидъ беретъ полушубокъ и говоритъ, что процентовъ на рубль въ годъ будетъ тоже рубль. Мужикъ согласенъ и взялъ рубль. Но только-что онъ хотѣлъ уйти, какъ жидъ говоритъ ему: «Послушай, тебѣ вѣдь все равно, когда платить проценты, теперь или черезъ годъ? Теперь или черезъ годъ—все равно вѣдь отдашь рубль?» Мужикъ соглашается съ этимъ и говоритъ: «Все равно!»—«Такъ отдай теперь и ужъ не безпокойся цѣлый годъ». Мужикъ и съ этимъ соглашается и отдаетъ рубль, чтобы ужъ совсѣмъ не безпокоиться о процентахъ. Отдавъ рубль, онъ приходитъ домой и безъ денегъ, и безъ полушубка, и въ долгъ.

А то вотъ и еще.

Къ шинкарю приходитъ крестьянинъ и проситъ въ долгъ четверть вина: у него ребенокъ умеръ, надобно справлять похороны. «Деньги есть?»—«Нѣтъ, нѣтъ денегъ!»—«Ну, убирайся къ чорту!» Мужикъ уходитъ, но черезъ нѣсколько минутъ опять возвращается. «Принесъ деньги?» спрашиваетъ шинкарь. — «Нѣтъ, не принесъ... Я воротился попросить, чтобы ты хоть этой-то четверти не приписывалъ», т. е. не приписывалъ бы той четверти, которую мужикъ только занкнудся попросить.

Въ этомъ родѣ было рассказано множество преданныхъ исторій, но всѣ онѣ, рисуя дѣйствительно большую кабалу, были въ рассказчикахъ смягчены радостнымъ сознаніемъ того, что все это кончилось, осталось тамъ, гдѣ-то далеко-далеко, и не повторится никогда.

Глядя на этихъ здоровыхъ, свободныхъ, не голодныхъ, не холодныхъ, хорошо, тепло, красиво одѣтыхъ въ самодѣльное и самотканное платье людей, слушаая ихъ свободную, остроумную рѣчь, я рѣшительно позабылъ самое слово *мужикъ*. Да, это настоящіе свободные люди—именно люди, независимые вполне, такъ какъ надъ ними нѣтъ теперь даже ненавистнаго жида. Это несомнѣнно была счастливая, рѣдкая встрѣча, но, благодаря ей, я могъ опять вспомнить самое важное и са-

мое главное, что таится въ самой сущности строя народной жизни.

Этотъ строй и эта сущность затемнились для насъ народнымъ разстройствомъ, неурядицами народной жизни, независимости отъ народа, и вѣсто важнаго и главнаго насъ въ народѣ поражаютъ и останавливаютъ наше вниманіе его невольныя уклоненія отъ этой сущности, раны и язвы, покрывающія ее, которыя мы часто смѣшиваемъ съ непримѣчаемъ нами сущностью типа народной жизни, дѣлаемъ признакомъ особенностей народной жизни то, что въ сущности составляетъ только признакъ ея уродства, болѣзни, а не самую сущность. Нищета, умственная робость и темнота, забитость, стонущая безпомощность растеряннаго человека, кроткая покорность безжалостной судьбѣ—никакихъ такихъ весьма впрочемъ обычныхъ для нашего крестьянина искаженій его человеческой личности не было въ той большой толпѣ крестьянъ-переселенцевъ, которая мнѣ встрѣтилась, и вотъ потому, что, быть можетъ, случайно на ихъ долю выпало счастье освободиться отъ всѣхъ этихъ язвъ, вовсе не составляющихъ непримѣнную принадлежность жизни трудового народнаго типа,—сущность-то этого народнаго типа жизни и выяснилась предо мною во всей своей широтѣ и прелести.

Не «мужики» были предо мною, не труженники, не подвижники, не самоотверженные или подвижнически цѣломудренныя существа, наконецъ вообще не взрослые дѣти—нѣтъ! а только свободные, независимые люди. Каждый изъ нихъ, выражаясь словами кольцовской пѣсни, *слуга* самому себѣ и *хозяинъ* самого себя, то-есть самъ вдвойнѣ слуга и хозяинъ вмѣстѣ, не хозяинъ надъ кѣмъ-нибудь, какъ всѣ въ обществѣ, живущемъ въ условіяхъ, установленныхъ грѣховодникомъ, и не слуга кому-нибудь, какъ также непримѣнно всѣ, живущіе въ томъ же грѣховодническомъ обществѣ, но самъ-другъ, самъ вдвойнѣ—слуга и хозяинъ, т. е. человекъ, существующій не налагая ни на кого никакихъ путъ и самъ незапутанный никакими и ничьими путями.

Не «мужикъ» уже интересовалъ меня въ томъ, что теперь я видѣлъ передъ глазами, благодаря встрѣчѣ съ свободными и независимыми людьми, но уже открывалась какъ бы самая тайна жалаго измученнаго человека вообще, очерчивался тотъ «образъ» человеческой «жизни», жажда которой, несознанная, несмѣлая, таится въ глубинѣ души всякаго человека, живущаго въ наши дни. И вотъ почему мнѣ стало такъ весело.

II. Дополненія къ предыдущей главѣ.

I.

Подъ впечатлѣніемъ описанной встрѣчи я тогда же въ особой статьѣ подробно объяснилъ причину той радости, которую я ощутилъ въ душѣ, бла-

годаря этой встрѣчѣ; въ идущихъ на новую трудовую жизнь семьяхъ, такъ счастливо обставленныхъ въ матеріальномъ отношеніи, мнѣ очертился въ такой ясности и полнотѣ, какъ этого до сихъ поръ не случалось, образъ жизни *свободнаго* человѣка, — тотъ образъ жизни, о которомъ тоскуетъ мысль и совѣсть человѣка, измученнаго современными строемъ культурной жизни, въ которой есть все, кромѣ свободной личности и свободной совѣсти.

Тогда же я привелъ кое-что изъ имѣвшихся у меня подъ руками матеріаловъ, доказывавшихъ, что въ европейской жизни данной минуты слышатся голоса, вопіющіе противъ существующаго строя жизни и ищущіе выхода для закабаленной этимъ строемъ человѣческой личности и совѣсти. Я привелъ тогда слова одного англійскаго крупнаго капиталиста, сказанныя имъ на какомъ-то митингѣ и опубликованныя въ газетѣ *Standart*, которыми онъ такъ характеризуетъ свое *плеченое*, какъ капиталиста, положеніе въ цѣлой цѣпи такихъ же плачевныхъ положеній окружающаго его общества: «Мы — только крошечныя звенья въ огромной цѣпи *ужасной организаціи* и только полное расклепаніе этой цѣпи можетъ дѣйствительно *освободить насъ* (богатыхъ-то фабрикантовъ!). Сознаніе беспомощности нашихъ индивидуальных усилій (выйти изъ тисковъ этой ужасной организаціи) заставляетъ насъ (хозяевъ) принимать дѣятельное участіе въ *аппаціи противъ собственной нашей классы* — агитаціи, которая, если будетъ успѣшна, лишитъ насъ нашего положенія капиталистовъ. Пожертвовать этимъ положеніемъ, я думаю, не покажется намъ *тяжелымъ*, если мы вѣрно оцѣнимъ то благо, которое, при измѣненіи этихъ порядковъ, получить общество, и тѣ многочисленныя дары, которыхъ не купишь за деньги. *Видѣть конецъ нищеты и роскоши*, найти досугъ и утонченныя удобства жизни среди тѣхъ, которые выполняютъ черную работу, видѣть чистое, здоровое искусство, развивающееся *неволью* изъ этого счастья жизни, видѣть намъ милые острова, освобожденные отъ слѣдовъ унижающей борьбы (труда и капитала) — борьбы за насущное существованіе и борьбы за богатство — развѣ участіе въ подобной жизни и удовольствіе чувствовать, что *мы участвуемъ* въ поддержаніи такого порядка жизни — развѣ всѣ эти радости могутъ быть похожи на тѣ, которыя можно пріобрѣсти за какія бы то ни было деньги? Мнѣ кажется, что въ настоящее время богатые люди пытаются купить жизнь *вродъ этой*, стремясь окружить себя, при помощи громаднхъ расходовъ, призракомъ порядка и довольства, но въ результатѣ за всѣ эти деньги получаютъ одинъ миражъ». Далѣе ораторъ говорилъ, что онъ увѣренъ въ предстоящей перемѣнѣ строя жизни; что *пробужденіе совѣсти богатыхъ и состоятельныхъ есть лучшая гарантія противъ насильственнаго переворота*, и что вообще порядокъ, о которомъ онъ мечтаетъ, по его словамъ, уже *нарождается*.

Какой же этотъ порядокъ, какой строй жизни?

Общее счастье — возможно; указанія на это есть въ народномъ строй жизни — не въ мужицкомъ невѣжествѣ, тѣмъ, голодѣ и холодѣ, а въ *строй*, планѣ жизненнаго крестьянскаго обихода, жизненнаго порядка, устраняющаго разстояніе между хозяйнымъ и рабочникомъ.

Тогда же, въ подтвержденіе того, что въ европейскомъ культурномъ обществѣ стремленіе къ *освобожденію* въ неразрывной цѣпи *ужасной организаціи* отражается именно въ проповѣди народнаго типа жизни, т. е. проповѣди трудовой жизни, а не трудовой каторги изъ-за хлѣба, я привелъ рѣчь поденщика Джозефа Арча въ англійскомъ парламентѣ, — рѣчь, которую съ полнымъ вниманіемъ «слушали герцоги и лорды» и не могли не задуматься надъ глубокимъ ея смысломъ. Этотъ ораторъ — простой поденщикъ, съ дѣтскихъ лѣтъ прошедшій всю нужду рабочаго человѣка. Вотъ какой у него видъ: «большая голова съ широкимъ лбомъ; глаза, добродушно смотрящіе изъ-подъ нависшихъ бровей; нѣсколько горбатый носъ; густые съ просѣдою волосы и борода; атлетическая грудь, при слегка согнутой спинѣ и большихъ грубыхъ рукахъ, — словомъ, типическая фигура человѣка, для котораго физическій трудъ составляетъ привычное занятіе. Это и есть Джозефъ Арчъ, *первый представитель земледѣльческаго сословія, которое только теперь* *), со времени завоеванія Англіи норманами, *начинаетъ понемногу подниматься въ смыслъ общественномъ и экономическомъ*». «Этотъ депутатъ, вынужденный и въ депутатскомъ званіи кормиться трудами своихъ рукъ, всего лѣтъ десять тому назадъ жилъ исключительно земледѣльческимъ трудомъ, странствуя какъ работникъ по всей Англіи втеченіе 20-ти лѣтъ». Во время этихъ странствованій онъ бралъ съ собою только иголку съ необходимымъ платьемъ и двумя-тремя книгами, спалъ, гдѣ придется, питался чернымъ хлѣбомъ. За это время Арчъ по собственному опыту узналъ всю тяжесть положенія рабочаго человѣка, и вотъ, благодаря новому Гладстоновскому избирательному закону, придя въ парламентъ, сталъ проповѣдывать здѣсь «трудовую жизнь», какъ выходъ изъ всѣхъ золъ ужасной организаціи; онъ сталъ проповѣдывать крестьянскій строй жизни, а не мажорку, какъ это иной разъ, конечно по недоразумѣнію, проповѣдуемъ мы, — не сѣрыя щи, не спасеніе подъ лавкой, не подвижничество въ нищетѣ и каторжномъ трудѣ, а именно трудовую жизнь; онъ потребовалъ не много и не мало — *три акра земли и корову на каждую человѣка, живущаго въ Англіи*.. И, не смотря на это нешуточное требованіе, широта идеи, лежащая въ этомъ требованіи Арча, и ея значеніе въ *освобожденіи* всего общества отъ «ужасной организаціи жизни» такъ велика, что надъ ней не могутъ крѣпко не задумываться высокопоставленные сотоварищи крестьянскаго депутата. «Достоинство и скромность этого поденщика, который

*) Цитирую изъ *Недли*, № 8, февраль 1886 г.

еще недавно по 12—15 часовъ рылся въ бодотѣ, чтобы заработать нѣсколько шиллинговъ, сдѣлали его любимцемъ парламентскихъ сочленовъ, и герцоги и лорды охотно слушаютъ его рѣчи и даже включаютъ въ свои программы его девизъ — *три акра и корова*.

Многозначительность для всѣхъ слоевъ англійскаго общества этой, повидимому, очень умѣренной программы крестьянскаго депутата очень скоро обнаружилась въ весьма рельефныхъ фактахъ живой дѣйствительности. Въ уличныхъ беспорядкахъ по случаю безработицы, въ народныхъ кварталахъ Лондона, требованіе трехъ акровъ и коровы провозглашалось народными голодающими массами во всеуслышаніе. Вожаки, призванные въ судъ, ссылались въ свое оправданіе на Чемберлена, который, будучи министромъ, самъ стоялъ за требованіе Арча и указывалъ на эти три акра именно какъ на «исходъ» изъ пути «ужасной организаціи». Чемберленъ, призванный также на судъ, въ качествѣ свидѣтеля, имѣлъ мужество публично подтвердить слова вожаковъ уличной толпы, и такимъ образомъ у людей, вполне разъединенныхъ общественнымъ положеніемъ, мысль объ исцѣленіи отъ зла оказалась одна и та же и стало-быть одинаковое качество нравственнаго страданія.

Вотъ какимъ, имѣвшимъ подъ руками въ ту пору, матеріаломъ могъ я подтверждать читателю многозначительность впечатлѣній, полученнаго мною при непродолжительномъ столкновеніи съ крестьянскими семьями, по счастью надѣленными всѣми средствами для того, чтобы *жить* именно такою жизнью, которую современный культурный человекъ какъ бы *хочетъ купить на деньги*.

Въ то время не было у меня подъ руками другого «печатнаго» матеріала, который бы рисовалъ тяготу современнаго культурнаго строя жизни и указывалъ бы выходъ изъ нея въ очертахъ той жизни, которая такъ плѣнительна въ крестьянствѣ. Теперь, когда я занимаюсь пересмотромъ и переработкой старыхъ корреспонденцій, оказывается уже возможнымъ подкрѣпить рѣше сказанное кое-чѣмъ новымъ, что также можно найти подъ рукой.

Прежде всего я позволю себѣ сдѣлать небольшое извлеченіе изъ фельетона *Русск. Вѣд.*, въ которомъ пересказывается содержаніе книги Летурно: *Evolution de la morale*.

Опредѣливъ, согласно сущности современнаго строя жизни, мораль этого строя названіемъ индустріальной, меркантильной, а по-нашему, «по-просту», купонной, Летурно говоритъ: «Мы еще далеко не отдѣлались отъ нравственной низменности, дикости, грубости и варварства нашихъ предковъ. Правда, въ современныхъ европейски-организованныхъ обществахъ нѣтъ уже ни рабства, ни крѣпостного состоянія, въ томъ спеціальному смыслъ, какой имѣли эти слова въ прошломъ, но, несмотря на это, имѣемъ ли мы основаніе оглашать воздухъ имъ освобожденія? Развѣ беззаконіе, безправіе и уни-

женіе личности дѣйствительно стали достояніемъ прошлаго? Вовсе нѣтъ! Они только приняли иную форму, стали замаскированными. Законность, справедливость, равенство существуютъ только на словахъ, въ отвлеченныхъ гуманитарныхъ формулахъ, на практикѣ же ихъ не оказывается ни въ сердцахъ, ни въ дѣйствіяхъ... Правосудіе наше еще насквозь пропитано духомъ возмездія и мщенія, живо напоминающимъ намъ поросшую мохоми древность. Въ нашемъ языкѣ еще продолжаютъ пользоваться полнымъ правомъ гражданства такіа, напримѣръ, архаическія выраженія: «правосудіе удовлетворено», «воздаяніе преступнику по заслугамъ» и т. д. Очевидно, правосудіе еще играетъ у насъ роль разгнѣваннаго существа, имѣющаго въ виду не только защиту общества, но также и социальное отищеніе. Иногда господствуетъ повсюду, что однако же ни мало не мѣшаетъ намъ смотрѣть на проституцію, какъ на самое обыкновенное, самое естественное явленіе. Дѣтубійство сурово наказывается закономъ, но тѣмъ не менѣе втайнѣ, подъ покровомъ лицемѣрія (а мы прибавимъ — и необходимости, *неизбѣжной* въ этомъ строѣ общества), оно практикуется на очень широкую ногу. Убіенію считается тяжкимъ преступленіемъ, а между тѣмъ теперешніе цивилизованные народы то и дѣло предаются «бранной потѣхѣ», устраиваютъ грандіознѣйшія массовыя бійки, заливаютъ землю широкими потоками дорогой человѣческой крови. Вопіющія социальныя неравенства всякаго рода на каждомъ шагѣ бьютъ въ глаза въ нашихъ обществахъ. *Благодаря господству индустріализма и меркантилизма, получается та возмутительная социальная нелѣпость, что не продуктъ существуетъ для человека, а человекъ для продукта*...»

Я позволю себѣ на одну минуту прервать эту цитату и напомнить читателямъ разговоръ мой съ раскольниковомъ, случайно встрѣченнымъ мной, во время поѣздки по Волгѣ, въ прошломъ (1887) году *). Ни я, ни раскольникъ и въ глаза, какъ говорится, не видали произведенія Летурно, а между тѣмъ здравый, свѣтлый умъ моего простонароднаго собесѣдника почти *буквально* тѣми же словами, какъ и Летурно, опредѣлилъ строй современной культурной жизни и значеніе въ этомъ строѣ капитала.

— Желѣзо-то, говоритъ, онъ, — оживаетъ отъ прикосновенія капитала. Желѣзу отъ него хорошо! До прихода капитала оно лежало мертвое подъ землею, а пришелъ онъ — и ожило, и заиграло по свѣту! А вотъ человекъ-то, который жилъ на свѣтѣ своимъ домомъ и самъ себѣ былъ слуга и хозяинъ, съ появленіемъ капитала начинаетъ превращаться изъ хозяина въ работника. изъ существа мыслящаго — въ существо, механически дѣйствующее, въ рабочія руки...

Надобно знать и цѣнить внутреннюю красоту трудового строя жизни, чтобы простымъ свѣтлымъ умомъ понять всю «некрасоту» строя жизни ку-

*) См. Вѣстн. № 11, 1887 годъ.

понного, меркантильного. Одно знакомство и близость раскольника къ народной, «хозяйской» жизни крестьянина дали ему возможность съ точностью указать всѣ тѣ извѣны меркантильных порядковъ, которые отмѣтилъ ученый человѣкъ на основаніи долгаго изученія своего предмета.

«Саларіать — говоритъ Летурно, продолжая характеризовать порядки нашихъ дней — наемничество является *новой* извой, смѣнившіею извы рабства и иныхъ былыхъ формъ *зависимости* *человѣка отъ* *человѣка*. Число бѣдняковъ, пролетаріевъ съ каждымъ днемъ все растетъ и растетъ. Милліоны нищегого люда прозябаютъ и гибнутъ въ крайней нищетѣ. Современный наемный рабочій свободенъ только *de jure*, но не *de facto*; онъ не угнетается непосредственно, какъ въ былое время рабъ или крѣпостной, но за то онъ оказывается вполне безпомощнымъ, предоставленнымъ на произволъ судьбы, такъ какъ практика современной индустріи уничтожила всякую нравственную, человѣческую связь между рабочимъ и работодателемъ. Юридически рабочій давно уже пересталъ быть вещью, какъ это было въ эпоху рабства, и превратился въ свободнаго гражданина; но житейская практика все еще продолжаетъ не признавать въ немъ человѣческой личности: какъ извѣстно, въ индустриальныхъ странахъ представители труда зовутся обыкновенно не рабочими *людьми*, а просто-на просто рабочими *руками*».

Не знаю, можно ли сомнѣваться въ томъ, что строй жизни современнаго культурнаго общества изображенъ вѣрно и справедливо и что мрачныя краски, которыми авторъ его изображаетъ, вовсе не преувеличены. А если это такъ, то какъ же не испытывать глубочайшей радости, если знать и воочию видѣть, что на нашихъ глазахъ жизнь человѣческая можетъ идти совершенно по другому плану? О томъ же совсѣмъ, совсѣмъ другомъ строѣ жизни мечтаетъ современная европейская женщина культурнаго общества. Объ этихъ неясныхъ мечтаніяхъ и въ то же время о совершенно ясныхъ, отчетливо слышимыхъ вопляхъ женщины современнаго общества свидѣтельствуеетъ недавно вышедшая (книга *Къ рѣшенію женскаго вопроса* *). Объ этой книгѣ современнѣе и желалъ бы поговорить болѣе подробно, чѣмъ могу сдѣлать это теперь. Но и теперь я долженъ сказать о ней нѣсколько словъ, для того, чтобы читатель видѣлъ, что собственно заставляетъ изнемогать современную женщину и какія формы общественной жизни могли бы дать ей возможность ощущать себя «человѣкомъ».

Книга эта, состоящая изъ переводныхъ статей, написанныхъ почти исключительно женщинами, не смотря на то, что написана безъ всякой системы и плана и есть только вопль, жалоба, даже крикъ измученнаго человѣка, тѣмъ-то и должна быть до-рогався кому задумывающемуся надъ вопросомъ, какъ жить и что дѣлать, что въ этомъ не систематизированномъ крикѣ и жалобѣ слышится настоящая,

неприкрашенная бѣда, горе человѣка, изнемогающаго въ жалѣзныхъ условіяхъ жизни, не дающей возможности жить по-человѣчески.

Тотъ же меркантильный, купонный строй жизни, который раздробилъ мужской полъ на тысячи разновидностей, сдѣлалъ то же самое и съ женщиной. Въ трудовомъ строѣ жизни всякая женщина — только женщина, или всякая баба — только баба, въ купонномъ же, напротивъ, не всѣ женщины одинаковы: въ немъ могутъ быть женщины семейныя, могутъ быть вѣчныя дѣвственницы, которымъ нѣтъ возможности быть матерями, могутъ быть проститутки, то есть вѣчныя не-дѣвственницы и не-матери; могутъ быть здѣсь хозяйки и слуги, могутъ быть совершенно не трудящіяся и изнуренныя трудомъ, могутъ быть утопающія въ роскоши и изнемогающія отъ нищеты. Словомъ, женщина въ культурномъ строѣ не можетъ быть женщиной, *какъ* *остъ*, не замкнутою въ какой-нибудь тѣсный, душный кругъ роскоши или нужды, семейства, кухни или публичнаго дома, вѣчной оргіи или вѣчнаго труда. И вотъ такая измученная, одинаково не живущая всею полнотою своихъ силъ и нравственныхъ побужденій, какъ въ высшемъ обществѣ, такъ и въ трущобѣ, въ публичномъ домѣ, какъ и въ роскошной тюрьмѣ старика миллионера-мужа — вотъ она то, женщина, не живущая по-человѣчески, вопіетъ именно о желаніи полноты жизни, которой не даетъ теперешній строй жизни и которой онъ *не можетъ* дать.

Книга, о которой мы говоримъ, доказываетъ, что невинность и чистота, огражденные «вынужденнымъ позоромъ» отъ всякихъ неблагоприятныхъ случайностей грѣха, также вопіютъ о своемъ горѣ и ужасѣ своего ненормальнаго счастья: «невинность», слишкомъ устроенная отъ общей жизни, отъ ея горя и радостей, терпитъ страшное разочарованіе, когда поступаетъ во власть мужщины, мужа, уже потерявшаго уваженіе къ женщинамъ, разъ онъ могъ, для огражденія невинности, покупать другихъ женщинъ, разъ онъ уже попробовалъ безжалостнаго къ нимъ отношенія. Его опрошенный взглядъ на женщину, на жену, вовсе не подходитъ къ тѣмъ возвышеннымъ требованіямъ, въ которыхъ воспиталась его жена, огражденная отъ грѣха «вынужденнымъ позоромъ». Ея не понимаетъ мужъ, она не понимаетъ мужа.

И вотъ такой-то крикъ идетъ изъ всѣхъ «вынужденныхъ» положеній, въ которыя, какъ и мужчина, поставлена современная культурная женщина. Если бы нужно было въ короткомъ и сжатомъ видѣ передать сущность женскаго протеста, раздающагося изъ разныхъ не похожихъ другъ на друга замкнутыхъ положеній, въ которыя поставлена современная женщина меркантильнаго общества, то можно бы выразить этотъ протестъ въ такого рода, повидимому, немногосложномъ видѣ: всѣ разновидности женщины — замкнутой въ кухню, не знающей работы, знающей работу и неусыпный трудъ, огражденной отъ грѣха и погрязшей въ грѣхѣ и т. д., и т. д., — вопіютъ прежде всего о правѣ быть только женщинами, просто жен-

* Къ рѣшенію женскаго вопроса. Спб., 1888 г.

щинами, не виновными или виновными, обезпеченными или голодными, а просто женщинами. Это— первое, самое громкое и вопиющее требованіе, а второе, уже вполне человѣческое, это— требованіе неразрывной нравственной и трудовой связи въ совѣстной съ мужемъ жизни; третье, еще болѣе важное требованіе — неразрывность личной нравственной и трудовой жизни въ семьѣ съ нравственной и трудовой жизнью общества, міра, толпы, улицы, среди которой живешь и которой принадлежишь. Всѣ эти требованія мы находимъ положенными въ самое основаніе всего строя жизни «по народному» типу, т. е. въ народной средѣ. Въ грубомъ и дикомъ видѣ вы можете найти «въ крестьянствѣ» образчики той жизни, о которой мечтаетъ и вопіетъ культурный человѣкъ, удрученный меркантильнымъ, купоннымъ строемъ общества.

Въ видѣхъ наибольшаго уясненія свойства народнаго строя жизни, мною было написано нѣсколько литературныхъ замѣтокъ, касавшихся такихъ литературныхъ произведеній, которыя давали возможность обрисовать коренныя свойства народнаго строя жизни возможно яркими чертами. Такъ и съ такой цѣлью я позволилъ себѣ сказать нѣсколько словъ между прочимъ о драмѣ Л. Н. Толстого *Власть тьмы* и о произведеніи г. Тимошенкова *Борьба съ земельнымъ хищничествомъ*. Чтобы въ этой замѣткѣ было исчерпано по возможности все, что помогло мнѣ подтвердить мои соображенія о превосходствѣ «трудовой жизни» передъ строемъ жизни меркантильнымъ, я позволяю себѣ привести здѣсь кое-что изъ сказаннаго мною по поводу драмы *Власть тьмы*.

«Мнѣ кажется—писать я тогда *)— что драма *Власть тьмы*, кромѣ напоминанія культурному человѣку о его обязанностяхъ по отношенію къ некультурному меньшему брату, могла бы заставить задуматься его и вообще надъ строемъ культурнаго общества, заставила бы подумать, и подумать крѣпко и многосторонне, вообще о такомъ строѣ жизни, въ которомъ были бы немислимыя язвы, разъѣдающія теперешній культурный слой общества и проникающія уже, какъ это доказываетъ *Власть тьмы*, въ массы, въ толпу темныхъ людей.

«Да, драма Л. Н. Толстого есть драма культурная, только разыгравшаяся среди мужиковъ; всѣ составные элементы, изъ которыхъ она сложилась,—элементы культурнаго строя жизни, а не народнаго, и мнѣ всегда казалось нѣсколько страннымъ, что культурный читатель **) этой драмы

ужасается напримѣръ жестокости дѣйствующихъ въ ней лицъ, убившихъ ребенка.

«Косточки хрустятъ! съ ужасомъ говорить читатель или читательница.—Нѣтъ, это ужасно! Это невозможно ставить на сценѣ! Въ публикѣ непременно будутъ припадки истерик!»

«Чтобы читатель сразу могъ видѣть огромную разницу строя, т.-е. сущности и плана, по которому расположены человѣческія отношенія въ строѣ купонномъ и въ строѣ «трудовомъ», я обращаю его вниманіе на слова Петра, сказанныя имъ въ первомъ явленіи перваго дѣйствія, чуть не на первой же страницѣ драмы.

«Хворый Петръ говоритъ:

«— *Кабы не былъ я боленъ, ни въ жисть не взялъ бы работника.*

«Эта фраза сразу рисуетъ совершенно не тотъ строй жизни, которымъ привыкли жить мы, люди культурнаго общества. Кто въ этомъ обществѣ можетъ сказать, что ему не нуженъ работникъ, что онъ обойдется самъ, что наконецъ только крайняя нужда, неожиданная бѣда заставляютъ покориться этому несчастію пользоваться чужимъ трудомъ? Въ культурномъ обществѣ всѣ нуждаются и живутъ чужимъ трудомъ и всѣ въ то же время служатъ чужому дѣлу—всѣ работники, всѣ нанятые и принужденные жить, нанимая другихъ. Поэтому, чтобы въ народной средѣ могла произойти культурная драма вроде той, которую мы видѣли во *Власти тьмы*, нужно, чтобы и строй народной жизни исказился по культурному образцу; это въ драмѣ и оказывается.

«Петръ, завязанный «хозяинъ», человѣкъ, весь поглощенный разностороннѣйшею дѣятельностью земледѣльческаго труда, вдругъ вдовѣетъ, и вдовѣетъ уже въ дѣтахъ немолодыхъ, когда на рукахъ у него уже взрослая дочь. Не будь у него денегъ, а главное не будь уже въ окружающей его средѣ такого разстройства, которое даетъ возможность деньгамъ превратиться въ силу, чтѣ бы сталъ дѣлать Петръ? Онъ неизбежно бы ослабъ, огромная часть бабьяго труда, неразрывно влеченная въ область труда его собственнаго, со смертью жены замерла и омертвила бы его мужичье трудовое дѣло. Надо бабу. Но тамъ, гдѣ всѣ «сами хозяева», кто пойдетъ за него, старика, семейнаго? Всякая дѣвка сама будетъ хозяйка и мать; а старуху, вдову, взять ему не будетъ нужно — не будетъ съ ней, со старухой, это-

вычекъ, культурной выучки, казаться человѣкомъ широкаго и искренняго сердца. Интеллигентный человѣкъ, напротивъ,—невольникъ искренности сердца, человѣкъ, въ которомъ не можетъ быть тѣни стремленія смягчить, приладить къ обстоятельствамъ, такъ сказать, образумить свою искренность, и потому, захваченный тою или другою идеей, онъ не можетъ отказаться отъ послѣдовательнаго ея развитія до конца, хотя бы конецъ этотъ и была смерть, огромное личное горе и т. д. Употребляя выраженіе «культурное общество», я подразумѣваю общество, которое, при внѣшнемъ благообразіи и благовоспитанности, не вполне еще благообразно и благовоспитанно въ своей внутренней сущности и, возмущаясь на словахъ противъ зла, въ глубинѣ сердца пожалуй считаетъ его даже не зломъ.

*) *Русск. Вѣд.*—19 марта 1887 г.

**) Выраженіе это требуетъ объясненія. Одинъ русскій писатель, мнѣніе котораго я вполне раздѣляю, характеризуетъ разницу между интеллигентнымъ и культурнымъ человѣкомъ, какъ разницу между настоящимъ и поддѣльнымъ алмазомъ. И поддѣльный алмазъ можетъ стоить тысячи и ни въ чемъ повидимому не уступитъ настоящему, но только—повидимому. Можно обладать всѣми прекрасными свойствами человѣка интеллигентнаго, и въ то же время не имѣть искренней потребности въ этихъ свойствахъ, т. е. можно имѣть грубое, дикое сердце, поддающееся всякой неправдѣ, и въ то же время, подъ влияніемъ культурныхъ при-

го тепла въ трудовой жизни, которое было въ жизни Петра съ женой, съ которой они, не сознавая этого конечно, жили однако вполне «увѣстахъ» и притомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Безъ денегъ и безъ возможности примѣнить нѣ къ дѣлу Петръ такъ бы и зачахъ, если бы не взялъ во дворъ, за свою дочь, мужа. Да и для этого нужно уже разстройство чьего-нибудь «своего», собственного хозяйства, чтобы кто-нибудь захотѣлъ идти въ люди, въ чужой домъ, въ мужья. Но Петръ—завзятый крестьянинъ; онъ и передъ смертью не можетъ оторваться отъ неразрывныхъ путей, связующихъ его съ жизнью; едва волоча ноги и чувствуя предсмертный холодъ, онъ все-таки бормочетъ что-то о картошкѣ, о лошади, о полѣ—все для него важно, существенно, все это вошло къ нему въ плоть и въ кровь, и все это для него—*жизнь*. Такому человѣку нельзя брать «въ зятя», нельзя поправить разстроенный механизмъ жизни, принимая въ свое дѣло новаго хозяина—у него у самого много страсти и аппетита къ жизни.

«И вотъ онъ дѣлаетъ первый культурный грѣхъ—женится, *старый, на молодой дѣвкѣ* Анисья; молодая, красивая, работящая Анисья ни во вѣки вѣковъ не пошла бы за старика, не польстилась бы на его хозяйство, если бы только строй народной жизни не былъ пошатнутъ и разстроенъ. Она вышла бы замужъ по вкусу (хоть бы за того же Никиту, котораго «нужда» сдѣлала работникомъ на желѣзной дорогѣ), вышла бы замужъ своевременно за вполне подходящаго ей парня и жила бы своимъ *домомъ, своимъ* хозяйствомъ; но, повторяю, народный строй уже расшатанъ, поврежденъ и въ немъ уже существуетъ свойственный культурному обществу типъ красивой, бойкой молодой дѣвушки, *которой нѣтъ ничего*, которую *нужды* уже заставляютъ выйти за старика, продаться.

«О роднѣ Анисьи ничего не сказано въ драмѣ Л. Н. Толстого; не видно въ ней ни ея отца, ни матери, и можно думать, что Петръ, понявъ ея сиротство, рѣшился, ради любви къ живой хозяйственной жизни, соблазнить молодую дѣвку, то есть нанять, купить *на деньги* ея молодую бабью силу, бабѣ тепло, животворными токами связующее и овеселяющее миллионы мелочей хозяйственного быта жизни.

«Деньги, а главное уже разстроенная среда помогли ему сдѣлать насильственное дѣло, заставили Анисью покориться; но Петръ навѣрное знаетъ, что онъ согрѣшилъ (и это чувствуется въ драмѣ), что изъ—за своей любви къ жизни провинился предъ тою же любовью къ жизни—въ Анисью; онъ и ослабъ, и развалился, и расхворался—то потому, что, очевидно, *старился* Анисью привязать къ хозяйству не однимъ только расчетомъ жить не въ бѣдности. Но онъ уже пожилъ на своемъ вѣку съ своей первой бабой, а Анисья—молодая, и Петръ, при всемъ своемъ стараніи, поослабъ, сильно раскисъ и до того раскисъ, что принужденъ былъ взять *работника* Никиту.

«Съ другой стороны, и Анисья очевидно жила съ Петромъ только потому, что нужда заставила,—жила съ Петромъ какъ съ нанятымъ, т. е. точь въ-точь такъ же, какъ Анна Каренина и какъ всякая героиня современнаго буржуазнаго романа, и никакія старанія Петра, какъ мужа, привязать ее къ чужому дѣлу—ее, въ душѣ которой скрыто лежитъ врожденное желаніе самостоятельности, жизни по своему вкусу, съ «своимъ» мужемъ—никакія такія старанія не приносили ничего кромѣ пассивнаго повиновенія со стороны Анисьи; Петръ ослабъ, а ей—какъ къ стѣнѣ горюхъ, до тѣхъ поръ пока не явился Никита, то есть настоящій Анисьиный суженый, половина, вполне къ ней подходящая.

«И опять-таки, чтобы Никита, этотъ молодецъ и красавецъ, *могъ попасть въ работники*, опять-таки нужно было предварительное разстройство народной среды. Такому парнишѣ, по народному порядку жизни, придя въ возрастъ, надо бы прямо принять законъ и жить своимъ хозяйствомъ, но *нужда*, невозможность уже въ настоящее время такимъ славнымъ ребятамъ, какъ Анисья и Никита, жить своимъ хозяйствомъ, жить «по божедкѣ», гонить Никиту на желѣзную дорогу за рублемъ, какъ и Анисью гонить въ жены къ старiku; такимъ образомъ получаются тѣ самыя неискреннія, недобровольныя, склеенныя деньгами связи, которыя составляютъ *существенную* особенность купоннаго строя теперешняго общества.

«Нужно было отравить Петра, убить Акулинина ребенка для того, чтобы Никита и Анисья могли стать въ тѣ естественныя отношенія, въ которыя они стали бы безъ всякихъ злодѣйствъ, если бы только условія народной жизни не подверглись ломкѣ и разрушенію. Никита, живущій со Анисьей, съ Мариной и съ Акулиной, доказываетъ только то, что въ народной средѣ, какъ и въ культурной, ему нельзя было жить *по-крестьянски*, взять во-время жену и жить хозяйствомъ; что въ народной средѣ образовались такія неблагоприятныя условія, вслѣдствіе которыхъ Анисья должна продаться старiku, Маринка виѣсто замужества пойти на желѣзную дорогу въ поденщицу, а Акулина должна уничтожить Анисью, пришлую въ чужой домъ хозяйку, чтобы возвратитъ себѣ право хозяйствовать въ своемъ домѣ.

«Не будь разстройства народной среды, дающаго деньгамъ силу, —непродалась бы Анисья, не пошелъ бы въ работники Никита, и Петръ, оставшись безъ купленного труда, выдалъ бы Акулину замужъ за честью. Но разстройство, давшее силу деньгамъ, уже произошло въ народной средѣ и превратило всѣхъ лицъ драмы въ людей другъ другу *подверженныхъ*, связанныхъ *нуждой*, тогда какъ въ неспорченномъ и въ нерасшатанномъ народномъ строѣ жизни тѣ же самыя люди были бы людьми самостоятельными—каждый и каждая—и связи между ними были бы не во имя нужды, хлѣба, а именно во имя взаимной самостоятельности, независимости отъ нужды.

«Вѣдь вотъ хоть-бы эта Маринка: загнанная

нуждой на желѣзную дорогу, сходится съ Никитой не какъ мужъ и жена. Ни тому, ни другому *нельзя* сдѣлать этого тамъ, то-есть *нельзя быть* мужемъ и женой. Спрашивается: какая была бы участь Марины, если бы ее не спасла деревня? Она бы навѣрное пропала, превратилась въ проститутку. Но деревня дала ей свое хозяйство и сдѣлала ее человѣкомъ. Въ разстроенной же семьѣ Петра всѣ отношенія людей уже «подверженны», не народныя. Петръ *подверженъ* Анисѣ; онъ старается привязать ее къ своему, чуждому ей дѣлу, бьется и истощается; Анисья подвержена Петру изъ-за нужды—терпитъ его какъ мужа, только потому, что ѣсть его хлѣбъ; Никита—работникъ, подверженный Петру также изъ-за нужды. Но у всѣхъ въ душѣ есть желаніе независимости, самостоятельности, и чтобы этому желанію можно было осуществиться, нужно совершить рядъ преступленій, то-есть разрушить насильственные связи.

«Возьмите любой современный романъ, рисующій жизнь и нравы современного культурнаго слоя, и вы вездѣ найдете *точь-въ-точь* такую же драму, какъ та, которая изображена во *Власти тьмы*. Золя, Дюма, Бурже, Серао, Мопассанъ—всѣ эти живописцы современныхъ нравовъ культурнаго слоя европейскаго общества живописуютъ намъ именно то, что теперь у насъ начинается происходить въ деревнѣ. Вездѣ—насиленные связи, связи по нуждѣ, вездѣ взаимная кабала, подверженность и въ то же время желаніе выйти изъ этой путаницы,—желаніе, сопровождающееся обманомъ, хитростью, скрытою грязью, унижайнѣйшими страданіями.

«Униженіе человѣческаго достоинства—вотъ что именно и ужасно, что собственно и потрясаетъ въ этой современной культурной драмѣ. Попробуйте напримѣръ разсказать языкомъ мужика Акина (въ драмѣ *Власти тьмы*), а главное посмотрѣть съ его точки зрѣнія на жизнь хотя бы тургеневской Ирины (въ *Дымѣ*), и вы придете въ ужасъ отъ безчеловѣчія людей, среди которыхъ прошла ея жизнь. Вотъ ужъ гдѣ «косточки-то трещать!».

«Ее, хорошую и молодую дѣвушку, невинную и чистую, родитель-князь для поправленія своихъ финансовыхъ обстоятельствъ рѣшается уступить какому-то лицу, съ которымъ онъ знакомится на балѣ въ дворянскомъ собраніи. Ее нарочно одѣваютъ такъ, чтобы «лицо» заржало и пожелало. Лицо заржало и потомъ, чтобы подлое дѣло прикрыть благообразнымъ покрываломъ, перепродало или переуступило Ирину генералу Ратнирову. Она *долгие* годы живетъ съ нимъ, непрестанно чувствуя, что живетъ только для виду, зная, что тѣло ея куплено и что силы души направлены на то, чтобы это грязное дѣло, этотъ развратъ ея и ея мужа имѣлъ приличный, благообразный видъ. Такимъ образомъ вся загрязненная, захватанная грязными лапами, эта несчастная уже боится быть искреннею и только «уворучи» можетъ втеченіе всей своей жизни сказать одинъ разъ искреннее слово любимому человѣку, да и то гдѣ-то въ чуланѣ на

какомъ-то чемоданѣ. Только «крадучись», какъ воръ, и опять одинъ только разъ въ жизни, проданною, купленною и перекупленною. можетъ она отдать любимому человѣку какой-то *долгъ*. И все впопыхахъ, въ одну минуту. Прибѣжала, отдала долгъ и убѣжала опять вратъ всю жизнь, жить по найму!

«—Не по Божьи, значитъ, это, таѣ,—сказалъ бы Акимъ, прослушавъ эту кружевную тургеневскую повѣсть.—Скверность это!.. Душу загрязнили, душу, значитъ, Божьекую запакостили удѣвки! Это, таѣ, грѣхъ великій, таѣ, значитъ грѣхъ передъ Богомъ!

«А вѣдь этотъ, и именно такой грѣхъ безпрерывенъ, ежедневенъ, обязательнъ для нашего недорослаго культурнаго общества, и вотъ почему удивительно, что оно же и ужасается «косточекъ» толстовской драмы».

Тѣ же цѣли руководили мною и при составленіи замѣтки о произведеніи г. Тимошенкова. Эта замѣтка будетъ помѣщена въ концѣ настоящаго *писемъ*; теперь же скажу только одно, что въ произведеніяхъ г. Тимошенкова я взялъ только тотъ матеріалъ, который касался исключительно *трудо-вой* жизни, и никакія фабричныя фантазіи г. Тимошенкова нисколько меня не интересовали. Меня интересовалъ строй трудовой жизни семьи и только. А что домъ, семья могли и могутъ жить трудовой жизнью, мы можемъ указать между прочимъ на воспоминаніе г. Селиванова о жизни рязанскихъ помѣщиковъ 50 лѣтъ тому назадъ. Помѣщичья семья, получавшая съ 2 тысячъ крѣпостныхъ крестьянъ пятьсотъ рублей дохода, *не могла ихъ истратить втеченіе года*: все, что нужно человѣку, могло быть получено дома. Даже *барышнямъ*, говоритъ Селивановъ, не приходилось покупать нарядовъ—все дѣлалось дома. Положимъ, что все это дѣлалось крѣпостнымъ, рабскимъ трудомъ, но эта фабрика могла быть домашнею.

Вотъ пока все, чего мнѣ пришлось коснуться до сихъ поръ ради выясненія язвъ культурной жизни и самаго поверхностнаго очертанія такихъ порядковъ жизни, при которыхъ совѣсть человѣка чувствуетъ себя свободною и чистою. Знакомство со строемъ народной жизни—пока только «образчикъ», при помощи котораго есть возможность провѣрить и освѣтить языку меркантильнаго, купоннаго, а не трудового строя жизни. Безъ этого образчика трудно, невозможно разобраться въ многосложности тяготы существованія человѣка, захваченнаго купонными порядками, не легко понять, отчего мнѣ, этому купонному рабу, «такъ больно и такъ трудно» жить на свѣтѣ. Вотъ почему, какъ и до сего времени, все, что литература и жизнь дадутъ намъ подходящаго и пригоднаго въ видъ нашей пѣли выяснять, отчего *такъ больно и такъ трудно*, все это будетъ предметомъ нашего самаго пристальнаго вниманія.

Теперь же однако пора возвратиться къ нашимъ путевымъ впечатлѣніямъ и досказать все, что касается моей встрѣчи съ переселенцами.

II.

Толкаясь въ этой, такъ хорошо, удобно устроеншейся толпѣ трудящихся людей, я рѣшительно не чувствовалъ ни малѣйшей потребности омрачить эту весело складывающуюся жизнь тѣмъ, на нашу взгляды необходимыми и неразрывными съ представлениемъ о народной жизни придатками, которые мы привыкли полагать для «мужика» обязательными. Не приходило мнѣ въ голову внушить этой толпѣ что-нибудь о смиреніи, о подвижничествѣ, о безропотности и покорности; не приходило въ голову оскорбиться этимъ стремленіемъ «мужика» къ удобствамъ жизни и не обижало меня то, что вотъ всѣ они, эти переселенцы, тепло и красиво одѣты, что спятъ они не подъ лавками, не на грязномъ полу, а на чистыхъ и теплыхъ бѣлыхъ кошагахъ и ѣдятъ не «пустыя» щи, а щи самыя прекрасныя и питательныя. Никакой надобности не ощущалъ я среди нихъ даже въ мысли о томъ, что трудовая жизнь должна быть осложнена лишеніями, неудобствами, недостатками. Какъ это часто считаютъ необходимыми проповѣдники ученія о «трудовой жизни». Напротивъ, именно потому, что встрѣтившіеся мнѣ крестьяне случайно были поставлены въ хорошее положеніе, т. е. лишены были возможности страдать отъ случайныхъ несчастій крестьянской жизни, передомной и могла выясниться вся подлинная, не затемненная несчастными случаями истинная прелесть и красота трудовой жизни.

Нѣтъ—думалось мнѣ—никто изъ нихъ не пойдетъ ни въ какую кабалу, никто не будетъ вынужденъ пойти и продать себя въ публичный домъ, точно такъ-же какъ никто не будетъ вынужденъ и покупать продающагося; никто не согласится уродовать ни своей головы, ни своей души, ни своей совѣстности за «средствъ къ существованію». Средства къ ихъ существованію—они сами, эти мужики, эти статныя и красивыя женщины, дѣвушки, здоровые, игривые ребята. Они не пойдутъ за средствами ни въ банкъ, ни на фабрику, а носятъ ихъ самихъ въ себѣ, не раздѣляя своего труда отъ цѣлей и средствъ своей жизни.

Жалко и больно стало мнѣ за нашихъ интеллигентныхъ ребятъ; не узнать имъ никогда счастья жить свободнымъ человекомъ, какими живутъ воть эти крестьянскія ребята. «Хлѣбъ» свой они будутъ зарабатывать и ѣсть не иначе, какъ изуродовавъ на тотъ или другой манеръ свою душу, и жить будутъ, пугаясь жизни и крѣпко держась за свое калѣчество, какъ за якорь спасенія.

Въ тяжкія минуты жизни имъ будетъ мелькать мечта о какой-то свободѣ, о какой-то простой, свободной жизни; по временамъ душа ихъ будетъ болѣть неправдою своего существованія, искать выхода, завидовать простотѣ и свободѣ жизни мужика; но мы, родители, сами изувѣченные духовно, не сумѣли еще разсѣять страхъ въ нашихъ дѣтяхъ передъ *трудовою жизнью* и продолжаемъ до сихъ поръ рисовать ее себѣ и дѣтямъ не иначе, какъ жизнью холода, голода, рванца, собиранія ку-сочковъ, невѣжества и тыны.

Независимость, таящуюся въ трудовой жизни подъ грудой нами же набросанныхъ на нее золъ и бѣдъ, мы не сумѣли выдвинуть на первый планъ, не создали трудовой школы въ смыслѣ выхода къ независимости и тѣмъ не отстранили отъ слова «трудъ» всей каторжной его обстановки. Все это надо сдѣлать, и все уже дѣлается на Руси въ видѣ маленькихъ и робкихъ попытокъ.

Объ этихъ попыткахъ будетъ кое-что сказано ниже въ этихъ же письмахъ. Теперь же пора возвратиться къ пересказу путевыхъ впечатлѣній.

III. Люди всякаго званія.

I.

Вся Страстная недѣля 1886 г. прошла для меня въ разнообразныхъ мечтаніяхъ и воспоминаніяхъ. И хотя веселыя впечатлѣнія дѣвственныхъ мѣстъ были мнѣ вполне по сердцу и матеріалъ для такихъ впечатлѣній было вполне достаточно. Но все-таки я не безъ удовольствія ждалъ конца недѣли и прихода парохода. Одиноко и довольно томительно прошла ночь подъ Свѣтлымъ днемъ, да и самый первый день праздника съ своимъ жалкимъ гуляньемъ былъ едва-ли не томительнѣе будничнаго дня.

Въ городѣ въ этотъ день было уже совсѣмъ пусто, даже двѣ-три лавчонки, около которыхъ въ будничныя дни все-таки толкался народъ, были теперь заперты. По улицѣ изрѣдка проходили жиденькія группы мѣстныхъ жителей и жителейницъ, праздновавшихъ большой праздникъ, кажется, только непомѣтнымъ истребленіемъ подсолнуховъ—вотъ и всѣ праздничныя впечатлѣнія. Откуда-то съ поля вѣтеръ приносилъ въ городъ хриплые звуки шарманки, наигрывавшей скучный мотивъ пѣсни о «подруженькахъ», которымъ скучно, «изъ Аскольдовой могилы», и подъ эти скучные звуки тамъ, въ полѣ, истребляя всетѣ же подсолнухи, на скрипучихъ круговыхъ качеляхъ, должно быть не въ особенно веселомъ расположеніи духа, качались многочисленные жители и жительницы Новороссійска. Наконецъ часу въ двѣнадцатомъ ночи съ воскресенья на понедѣльникъ послышался сильный свистокъ парохода, и все, что было цѣлую недѣлю заперто въ Новороссійскѣ, цѣлую недѣлю какъ въ тюрьмѣ, ожидая выѣзда, бросилось на пристань. Очень много было простого народа, отправлявшагося въ Новый Афонъ (монастырь близъ Сухума), пользующійся въ народѣ большимъ уваженіемъ. Было не меньше, чѣмъ «сѣраго мужика», того подзрительнаго народа, ищущаго «кого поглотить», о которомъ уже было и еще будетъ говорено. Простой, безъ опредѣленныхъ цѣлей путешественникъ былъ, кажется, только одинъ я. Принявъ всѣхъ насъ на бортъ, пароходъ постоялъ еще нѣкоторое время и, не взирая на темную ночь, ушелъ-таки наконецъ въ море.

И съ тѣхъ поръ впечатленіе мѣсяца я и путе-

шествую болѣе или менѣе съ незначительными остановками; отъ Екатеринодара я проѣхалъ къ морю три раза: во-первыхъ — кубанскимъ степнымъ почтовымъ трактомъ, во-вторыхъ — другою дорогою, идущею въ предгоріяхъ, третій — на пароходѣ по Кубани до Темрюка, а по черноморскому берегу, доѣзжая до Лазаревского поста, ниже Туапсе, я проѣхался въ скверныхъ парозодишкахъ между Темрюкомъ и Керчью. Все, что мнѣ пришлось видѣть въ эту поѣздку, все это я видалъ только «мелькомъ», причемъ положительно на каждомъ шагѣ встрѣчалось такъ много самыхъ разнообразныхъ, затрогивающихъ за живое впечатлѣній, что постоянно являлось желаніе остаться, пожить на одномъ мѣстѣ мѣсяцъ, два, чтобы разглядѣть интересное явленіе поосновательнѣе. Но времени было мало, приходилось ѣхать дальше, мелькомъ только взглянувъ на интересное явленіе и мелькомъ о немъ подумавъ. И все-таки, несмотря на то, что поѣздка моя была поспѣшна и непродолжительна, разнообразіе впечатлѣній, мѣстъ и всякаго званія людей было настолько обильно, что я, при условіяхъ, въ которыхъ находился, не могъ и пожелать ничего большаго. Нигдѣ, думается мнѣ, не скопилось такъ много, какъ на Кавказѣ, явленій русской жизни данной минуты, рисующихъ наши русскіе порядки, отношенія и настроенія, и нигдѣ нѣтъ такого разнообразія мѣстныхъ географическихъ условій, способствующихъ, чтобы разные порядки, вовсе одни на другіе непохожіе, уживались почти рядомъ другъ съ другомъ. То, что въ Россіи надобно изучать по отдѣльнымъ областямъ Великороссіи, Малороссіи, Волыни или казанской татарщины — все это можно видѣть здѣсь какъ бы въ образчикахъ, сгруппированныхъ на незначительныхъ пространствахъ мѣста, точно въ музеѣ.

Ровная, какъ столъ, кубанская степь, вся — хоть перышливо распаханная подъ разные роды хлѣбовъ, вся уставленная огромнѣйшими станицами, изда-лека примѣтными своими безчисленными вѣтрянными мельницами и ихъ широкими махающими по вѣтру крыльями, эта земледѣльская гладь, приближаясь къ низменностямъ, на большое пространство окружающимъ горъ Темрюкъ, почти сразу превращается въ настоящую южно-американскую табачную плантацію. Непривычное для русскаго земледѣльца слово «плантація» начинаетъ слышаться поминутно; въ чистомъ полѣ или въ дорогѣ начинается встрѣчаться фигура точъ-въ-точъ такого же самаго американскаго плантатора, какую мы видимъ на иностранныхъ объявленіяхъ о разныхъ новозобрѣтенныхъ машинахъ всякаго рода: какой-то удивительный инструментъ (такъ обыкновенно рисуютъ на этихъ иллюстрированныхъ объявленіяхъ), вяжущій и бросающій готовые связанные снопы на телѣгу, подвигается по золотистой нивѣ, а рядомъ съ этимъ инструментомъ, на парѣ сильныхъ лошадей, въ вязанной бричкѣ, въ широкополой соломенной шляпѣ и съ сигарою въ зубахъ, мчится куда-то благообразный «плантаторъ». Такъ вотъ точъ-въ-точъ такіе благообразные плантаторы съ лицами, сияющими удоволь-

ствіемъ и благополучіемъ, начинаютъ попадаться и здѣсь, а неразлучно съ благообразнымъ и благополучнымъ плантаторомъ начинаютъ попадаться буквально цѣлыя обозы «рабочихъ рукъ», къ сожалѣнію также вполне соответствующихъ американскому своему сотоварищу — негру. Здѣшнія «рабочія руки» плантаціи — все женщины, все молодые жены, молодые дѣвушки. Десятки голыхъ женскихъ ногъ болтаются по краямъ нѣмецкаго фургона-телѣги, на которыхъ, сиппа-о-спину, насажено молодой женской силы столько, сколько влѣзетъ въ телѣгу. Въ Екатеринодарѣ существуетъ для найма работницъ на эти плантаціи настоящій женскій рынокъ. По воскреснымъ днямъ на мѣстномъ базарѣ съ ранняго утра стоитъ уже тысячная толпа этихъ рабынь, предлагающихъ на продажу свои руки и вынужденныхъ даромъ отдавать все, чего пожелаютъ многочисленные администра-торы табачнаго производства. Бѣдныя деревенскія дѣти, чисты по дѣтской наивности, полагаютъ, что нужно какъ можно лучше принарядиться, чтобы напиться охотники купить этотъ товаръ; всѣ онѣ разодѣлись какъ «маковъ цвѣтъ», въ лучшихъ платочкахъ, точно собрались *тѣсни играть*. Сколько дѣтской наивности въ этой толпѣ женской молодежи, незнакомой еще съ ощущеніемъ *тоски въ трудѣ*, не подозревающей, что эти «планташи» (мѣстное названіе плантаціи) умертвять въ нихъ это трудовое «веселье», которое они, дѣти деревни, трудовой жизни, привыкли не отдѣлять отъ работы! Планташи знакомятъ ихъ съ тяготою труда, на деньги «купленнаго» чужими людьми

Не успѣли вы побывать въ американскихъ плантаціяхъ, какъ уже что-то совершенно не похожее на нихъ идетъ на встрѣчу. Кубань, приближаясь къ морю, течетъ по мѣстамъ все болѣе и болѣе низменнымъ. Рѣка эта вообще не особенно живописна и привлекательна: не изъ ключей и ключевыхъ ручейковъ, сливающихся по живописнымъ ложбинкамъ въ широко прихотливо пробирающуюся по «удобнымъ» мѣстамъ рѣку — какъ вообще русскія рѣки — исходитъ Кубань и не ключевой водой наполнены ея некрасивые берега. Вся она — изъ талой снѣговой воды; холодная, свѣтлая, гремѣющая по скаламъ только въ истокахъ, спадая съ высоты ледяныхъ вершинъ кавказскаго хребта, она превращается въ низменной равнинѣ просто въ сильный потокъ, пробивающій дорогу подъ вліяніемъ напора силы гдѣ попало, то-есть по тому направленію, по какому напираетъ сила бѣгущей изъ ледниковъ талой воды, и тотчасъ же грязнить свои кристальныя воды въ черноземѣ, который ей приходится рыть, чтобы на ровномъ мѣстѣ проложить себѣ дорогу. Берега Кубани некрасивы, точно топоромъ обрублены, и грязны. И среди этихъ грязныхъ, некрасивыхъ береговъ Кубань несетъ къ морю свои грязныя воды. Чѣмъ ближе подходитъ она къ Темрюку и къ морю, тѣмъ низменнѣе становятся ея берега; еще часъ назадъ берегъ возвышался надъ поверхностью теченія на аршинъ, а теперь едва виднѣется только на чет-

верть аршина, а дальше и берегъ, и вода уже на одномъ уровнѣ.

Подъ Темрюкомъ Кубань расходится въ разные стороны многими рукавами, теряясь въ огромной и поистинѣ удручающей низинѣ; на огромное пространство кругомъ виденъ только сѣдой прошлогодній камышъ, торчащій изъ какой-то словно вдавленной земли. Эта-то вдавленность земли и производитъ душное, удручающее впечатлѣніе. Чувствуешь себя какъ бы на какой-то глубинѣ, несообразно далеко упавшей книзу, отъ высоты этого неба, этого солнца, отъ огромности всего этого воздушнаго пространства, которое, кажется, хотѣтъ навалиться на васъ и окончательно притиснуть къ притиснутой землѣ.

Нельзя не подивиться тѣмъ человѣческимъ существамъ, которые и здѣсь, въ этихъ мертвенныхъ мѣстахъ, почти у самаго края берега, высота котораго вершокъ, находятъ возможнымъ ютиться въ какихъ-то хибаркахъ изъ камыша и надѣются «жить землей» здѣсь, гдѣ Кубань иногда разливадается до такихъ размѣровъ, что сносятъ цѣлыя поселенія, стояція на берегахъ ея сравнительно довольно высоко. Кто они, эти человѣческія существа? Какая адская нужда загнала ихъ сюда и заставляетъ въ потѣ лица трудиться тамъ, гдѣ Кубань каждую минуту грозитъ уничтоженіемъ, въ мгновеніе ока, плодовъ многолѣтнихъ и неустанныхъ усилій труда? Несмотря на явную очевидность невозможности жить здѣсь, передъ вашими глазами и пашня видна, и пазарь, и баба, и мальчонка безъ штановъ и безъ шапки, и камышовое лукошко вмѣсто избы, и наконецъ тотъ самый «Шарикъ», у котораго еще тогда, когда таинственные его хозяева жили гдѣ-нибудь въ Тульской губерніи, кошка выпарапала глазъ и телѣгой переѣхало лапу. Все это волею судебъ занесено сюда, въ эти бесплодныя, втиснутыя въ землю долины, копошится въ этихъ непривѣтливыхъ низинахъ, трудится въ потѣ лица, охраняемое отъ всѣхъ напастей единственно только тѣмъ же старымъ другомъ Шарикомъ, который и теперь съ такимъ же лаемъ, какъ бывало на родинѣ, бросается уже не на «прохожаго», а на чудовище-пароходъ который, проходя мимо камышеваго шалаша, такъ взбалтываетъ грязныя воды Кубани, что онѣ грозятъ снести съ лица земли все, только что устроенное человѣкомъ на берегу. Какъ же не лаять изъ всѣхъ силъ на это чудовище? И Шарикъ дѣлаетъ, что можетъ, — заливаясь лаемъ изъ всѣхъ силъ.

Люди, хорошо знающіе эти мѣста, говорятъ, что десять лѣтъ назадъ берега Кубани были пустыня. Теперь, проѣзжая на пароходѣ въ воскресный день, мы на каждомъ шагу встрѣчали по берегамъ народъ, глазѣвшій на пароходъ, постоянно видны хутора, большіе и малые, одинокіе домики, жалкіе поселки въ два-три двора, а затѣмъ, какъ я уже сказалъ, начали встрѣчаться камышевыя хибарки и плетушки въ такихъ мѣстахъ, гдѣ даже мысль о возможности вообще «жить», да еще и земледѣльческимъ трудомъ, не могла бы придти въ

голову, если бы во всемъ этомъ не сказывалась крайняя нужда безземельнаго человѣка.

Подъ самымъ Темрюкомъ эти шалашы изъ камыша и камышевыя хибарки начинаютъ попадаться все чаще и чаще, но обитатели ихъ уже не безземельные скитальцы, а темрюкскіе мѣщане-рыболовы. Проѣзжая на маленькомъ пароходѣ къ взморью, гдѣ останавливаются большіе морскіе пароходы, идущіе въ Керчь и далѣе до Ростова, вы дѣлаете много поворотовъ по рукавамъ изливающейся въ море Кубани и во многихъ мѣстахъ встрѣчаете эти плетушки изъ камыша, двухъ-трехъ человѣкъ, оперирующіхъ что-то надъ только что пойманною рыбой, и безчисленное множество лодокъ, разбросанныхъ повсюду, по всей поверхности широко разлившихся водъ. И все это большею частью какіе-то одинокіе рыболовы: вотъ чистый бородатый русакъ копошится съ своею сѣтью, опущенною въ воду, охраняя ее отъ набѣга парохода, а вотъ въ другой лодкѣ какой-то турокъ или грекъ въ фескѣ, а тамъ совершенно явственный «николаевскій» служака, у котораго когда-то бритое лицо заросло сѣдой, топырчащейся щетиной. Эти на лодкахъ. А по берегамъ тоже съ какими-то хитрыми ручными сѣтями плетутся и мужчины, и женщины, и даже дѣти, и все одинъ по одному, «сами-по-себѣ». И глядя на эти одинокія, разносословныя, разнохарактерныя фигуры, еще разъ убѣждаешься въ обиліи «оригиновъ» и «характерныхъ людей», которыхъ Русская земля высыластъ сюда виѣстѣ съ «толпами» переселенцевъ, исключительно ищущихъ земли. И точно, много здѣсь типичныхъ русскихъ людей, которые хотятъ жить «на свой образецъ», которые могутъ сказать про себя: «я самъ себѣ голова!». Но объ этомъ ниже будетъ сказано подробнѣе.

Теперь пойдемъ къ тому же Черному морю другою дорогою и, выйдя изъ Екатеринодара по направлению къ Новороссійску, сдѣлаемъ небольшою, верстъ въ сорокъ, крюкъ южнѣе обыкновенной фурунгой дороги, идущей по берегу Кубани, — и мы опять въ совершенно новой, удивительно прекрасной мѣстности. Правда, и здѣсь уже чувствуется та «низина», которая далѣе переходитъ въ темрюкскія болота, но здѣсь эта низина постоянно перемежается съ отрогами Кавказскаго хребта и виѣстѣ съ ними покрыта роскошною растительностью. Могучіе дубовые лѣса идутъ на прострѣствѣ многихъ десятковъ верстъ и, проѣзжая ими, я тысячу разъ вспоминалъ И. И. Шишкина: «вотъ — думалось мнѣ — гдѣ было бы раздолье его перу и кисти!»

Особенность этихъ вѣковыхъ дубовыхъ лѣсовъ та, что они, закрывая васъ отъ солнца и отъ неба своими густыми развѣсистыми зелеными вершинами, даютъ много простора по сторонамъ; чувствуешь надъ собой зеленый куполь, а по сторонамъ просторныя широкія залы, съ безчисленными, но широко, просторно разставленными и величественными колоннами. Вѣковые дубы, могучіе, дышашіе обиліемъ и расцвѣтомъ силъ, стоятъ рѣдко другъ отъ друга, и стоить только взглянуть на этихъ гиган-

товъ, чтобы понять, почему вокругъ нихъ такъ просто, почему нѣтъ порослей молодняка и всякаго непригляднаго бурьяна, котораго такъ много въ здѣшнихъ степяхъ: гиганту нужно «самому» такъ много, что онъ ужъ не даетъ никому пожитья тѣмъ, что ему надобно: солнечные лучи не добѣгутъ до земли—гигантъ съѣстъ ихъ самъ, своею зеленою вершиной; да и влагой земли тоже не придется пожитья никакому тощему переселенцу-зерну: «самъ» пьетъ за двадцатерыхъ—скоро ли нальешь «эту прорву»? Вѣдь въ этой прорвѣ шесть обхватовъ, сотни гигантскихъ сучьевъ, вѣтвей, толщиной въ хорошее строевое бревно, вѣтокъ толщиной въ руку и сучковъ не тоньше самой толстой проволоки. А миллионы листьевъ? А миллионы желудей? И все это хозяйство надо прокормить, напоить, одѣть — и все это дѣлаетъ одинъ этотъ шести-обхватный насосъ, и вотъ почему эти гиганты стоятъ такъ простоно другъ отъ друга, мѣшаясь въ вышины только вершинами, но далеко отстоя корнями и стволами; вотъ почему такъ чисто въ этихъ просторныхъ залахъ, застланныхъ по низу зеленымъ ковромъ мелкой травы...

И вотъ въ такихъ-то чудныхъ лѣсахъ разбросаны хутора, станицы, деревни, разноплеменные, своеобразныя, живущія каждая на свой образецъ.

Продолжая идти этою дорогой далѣе, мы придемъ уже въ пустынные, но красивыя и живописныя горы, о которыхъ я писалъ въ первомъ письмѣ, черезъ горы очень скоро доберемся до Новороссійска, о которомъ также было говорено, а послѣ него передъ нами Черноморское побережье, многосложная исторія пустынности и необитаемости котораго также уже рассказана мною выше.

И такъ, вотъ какъ много разнообразія въ томъ крошечномъ уголкѣ, который только мелькомъ довелось оглядѣть мнѣ не болѣе какъ втеченіе одного мѣсяца... А какое разнообразіе людей и какое удивительное обиліе оригиналовъ всякаго рода!

II.

Обиліе людей всякаго званія и въ особенности «оригиналовъ» также всякаго образца стало поражать меня съ той самой минуты, когда я, оставивъ станцію Тихорецкую и добравъ по желѣзной дорогѣ до другой станціи, откуда шла старая почтовая дорога на Екатеринодаръ, очутился наконецъ въ фургоны, въ обществѣ цѣлыхъ трехъ путчиковъ, которые весьма скоро всѣ до одного оказались каждый на свой образецъ.

— Что новенькаго въ газетахъ? едва фургонъ тронулся по пыльной дорогѣ станчнаго базара, спросилъ меня человѣкъ цыганскаго типа, оказавшійся моимъ сосѣдомъ. Спросилъ онъ меня о газетахъ потому, что, садясь въ фургонъ, я сунулъ газету за подушку.

Я недоумѣвалъ, что можетъ быть интересно знать изъ газетъ этому цыгану, въ казакии, въ мерлушачей шапкѣ, «при цѣпочкѣ» и при золотыхъ кольцахъ, дающихъ право думать о незна-

комцѣ какъ о тенорѣ или баритонѣ цыганскаго хора. Не помню, что я отвѣтилъ на его вопросъ.

— Хотѣлось бы мнѣ узнать насчетъ маршала Серрано, какъ бы призадумавшись о чемъ-то, проговорилъ онъ...

Фамилія извѣстнаго испанскаго генерала, маршала, политическаго дѣятеля, въ устахъ этого цыгана изумила меня.

— Да что же вамъ надо о немъ знать?

— Да такъ собственно. Поди, ужъ старичокъ сталъ?.. Они вѣдь съ Примомъ какъ орудовали, пора и на покой!..

Я вспомнилъ, что, кажется, въ газетахъ было напечатано о смерти этого дѣятеля, и сказалъ:

— Умеръ онъ!

— Умеръ? Ну, царство небесное! Помутилъ на своемъ вѣку довольно, а ничего старичокъ!..

— Да какъ же вы его знаете?

— Нашъ баринъ на его дочери женатъ... Изабелла, кажется, Андреевна... Ужъ забылъ я... Очень хорошая дама!.. Ну, да лучше ужъ и не вспоминать! Прошли эти времена!

Онъ съ грустью махнулъ своею коричневою съ перстнями рукой и, нѣкоторое время задумавшись о чемъ-то, молча смотрѣлъ въ окно фургона.

— Не далъ мнѣ Богъ послужить имъ, хорошимъ господамъ! Потому что я былъ дуракъ! Вотъ отчего! Безкорыстіе во мнѣ, въ дуракѣ, было, честность!.. Отъ честности своей безкорыстной нахожусь я теперь, вотъ какъ видите... ни въ тѣхъ, ни въ сѣхъ... Догадало меня, по глупости моей, не молодому барину съ барыней предать себя на услуженіе, а напротивъ—дядѣ иному, чорту сущему, я вѣрой и правдой служилъ... Вотъ въ чемъ! Господь меня помутилъ! И не баринovou руку держалъ, а его сестры, племянницы, стало-быть, моего-то чорта... А кто она, племянница-то? Мотовка! А я все ее передъ чортомъ-то огораживалъ, потому надѣялся, что поддержитъ она меня передъ дядей и тотъ въ завѣщаніи не забудетъ меня... Пятнадцать лѣтъ я такъ-то прозудилъ! И чего только ни натерпѣлся!

И понемногу онъ рассказалъ весьма любопытную исторію жизни своей у одного крупнѣйшаго малороссійскаго помѣщика, знаменитаго скряги, превосходящаго Плюшкина, и необычайнаго кляузника въ малѣйшихъ житейскихъ отношеніяхъ, превосходящаго самого Іудушку. Описавъ тысячи уловокъ, безъ которыхъ рѣшительно нельзя было ступить шагу, живя около этого человѣка и проживъ даромъ потраченныя пятнадцать лѣтъ, онъ связалъ съ грустью:

— Съ тѣхъ поръ вотъ и маюсь—то сюда, то туда! Отъ одного дѣла къ другому, а толькo все нѣтъ!

Рассказалъ онъ про «хлѣбное дѣло», къ которому онъ присталъ послѣ того, какъ молодой баринъ отказалъ ему отъ мѣста, но въ скоромъ времени прогорѣлъ.

— Были у меня кое-какія крохи, тысячь пять—всѣ угнули! Повѣрите ли? Даже посѣдѣлъ съ тѣхъ поръ.

Затѣмъ рассказалъ про винное дѣло, про раз-

ныя операциі съ кизляркой, про всякія поддѣлки станичныхъ винъ — и опять вышло плохо, такъ плохо, что, горя о неудачѣ, цыганобразный человѣкъ по забывчивости окончилъ разсказъ объ этомъ эпизодѣ уже сказанными ранѣе словами:

— Повѣрите ли? Посѣдѣлъ даже съ тѣхъ поръ!

Много дѣлъ, по его разсказамъ, предпринималъ и все выходило такъ, что оставалось только посѣдѣть... Наконецъ онъ умолкъ на нѣкоторое время, глубоко о чемъ-то вздыхалъ и вдругъ съ оживленіемъ и какъ бы рѣшительностью спросилъ меня:

— Не посоветуете ли вы мнѣ, какъ тутъ быть?

Пучекъ бумагъ быстро былъ вытащенъ изъ бокового кармана казаккина.

— Замучила меня эта погань... слѣдствіе! Окружной судъ оправдалъ, а прокуроръ подалъ на апелляцію — опять дѣло начинается вновь!

Бумагъ была такая пропасть, что я не рѣшился и трогать ихъ, а спросилъ:

— Въ чемъ же ваше дѣло?

— Да такъ... чепуха! пряча бумаги въ карманъ и слегка сконфузившись, сказалъ онъ: — Такъ... просто ерунда... Подняли газеты...

— Однако?

— Н-ну...

Онъ помолчалъ, возясь рукою съ бумагами въ карманѣ.

— Н-ну... Читали въ газетахъ про *народный одеколонъ*?

— А!..

— Ну вотъ!.. Такъ, ерунда! А какое дѣло подняли! До того замучили — даже, кажется, посѣдѣлъ отъ этого ..

Но въ этотъ разъ, кажется, и самъ разсказчикъ услышалъ собственное свое привиранье, и чтобы загладить впечатлѣніе этого троекратнаго «сѣдѣнія» по случаю трехъ разныхъ плутней, посѣдѣлъ вновь возвратиться къ началу собственныхъ несчастьей.

— Нѣтъ! Дуракъ, дуракъ былъ я! Чортъ-то мой умеръ скоропостижно, въ домѣ былъ одинъ я да дьячокъ... А въ шкатулкѣ было сто девяносто восемь тысячъ... Чего бы стоило? Дьячокъ-то рвался отъ злобы: «Боже мой! Давай! Карьера! Чортъ! Бери!..» Нѣтъ! Была глупость — не взялъ ни копѣйки! Каждый Божій день себя за это проклинаю. Мыкайся вотъ!

— А теперь куда вы ѣдете?

— Въ Екатеринодаръ.

— Что же, дѣло есть какое нибудь?

— Дѣло-то есть... только далъ бы Богъ... да вотъ!

Онъ порылся въ своихъ бумагахъ и далъ мнѣ какой-то печатный листокъ. Къ величайшему сожалѣнію, листокъ этотъ затерялся во время моихъ развѣздовъ, но содержаніе его было слѣдующее:

Въ верху лѣстка было напечатано: «*Амстердамъ, Банкирскій домъ* (такой-то)». А далѣе слѣдовало на русскомъ языкѣ подробное изложеніе порядка подписки на пятипроцентные выигрышные билеты. Желающій участвовать въ извѣстной ча-

сти выигрыша, имѣющаго выпасть на десять билетовъ, постепенно выплачиваетъ семьдесятъ пять рублей, а когда на какой-нибудь изъ десяти билетовъ выпадетъ выигрышъ, то подписчикъ получаетъ изъ него соотвѣтственную своему взносу часть. Деньги (до 75 р.) вносятся постепенно по пяти рублей въ мѣсяцъ, не менѣе; номера билетовъ будутъ извѣстны подписчику тогда, когда онъ уплатитъ половину подписной суммы. Вопросы, пересылка денегъ и прочее — все это дѣлается чрезъ агента, каковымъ и состоитъ цыганскаго типа человѣкъ, посѣдѣвшій въ плутовствѣ до трехъ разъ.

— И берутъ? спросилъ я.

— Да какъ-же не брать-то? Это дѣло законное. Въ Амстердамѣ вѣдь нашъ посланникъ существуетъ. Ужъ онъ не дозволитъ плутовать! Амстердамская держава, все одно какъ Россія — та же имперія — обману не допустить.

Получая понемногу взносы, онъ пользуется ими для своихъ оборотовъ, пока не набѣжитъ до половины, и затѣмъ также пользуется взносами за вторую. Со всей же суммы 75 рублей онъ получаетъ извѣстный процентъ. При нынѣшнемъ колеблющемся умонастроеніи какъ общества, такъ и народныхъ массъ, является множество охотниковъ «сыграть въ темную», рискнуть «на счастье», и человѣкъ цыганскаго типа не хулитъ своего предпріятія.

Есть у него еще и другіе планы, гораздо болѣе капитальные, чѣмъ амстердамскія операциі съ выигрышными билетами. Въ Ростовѣ живетъ агентъ другой иностранной банкирской фирмы и раздаетъ деньги *крестьянамъ* подъ общественные приговоры за 18 процентовъ въ годъ. Вотъ и къ этому дѣлу желалъ бы примазаться человѣкъ цыганскаго типа. Крестьянъ-переселенцевъ, нуждающихся въ кредитѣ уже послѣ покупки земли, теперь масса на Кавказѣ и на югѣ вообще, да и осѣдлымъ казакамъ также кредитъ необходимъ для разныхъ оборотовъ.

— Что же, спросилъ я, — выдавали уже ссуды кому-нибудь изъ *крестьянъ*?

— Пока еще нѣтъ. Пока наберется извѣстное количество приговоровъ (не помню, сколько именно), тогда и будутъ выдавать. Теперь же пока взимаютъ съ крестьянъ по десяти рублей за представленіе приговора.

Сколько можно судить, и эти десять рублей, въ ожиданіи начала операциі, не лежатъ даромъ въ карманахъ иностранныхъ агентовъ, а идутъ также въ оборотъ, на покупку хлѣба, вина, скота и т. д.

Все это, рассказанное цыганскаго типа человѣкомъ, — положительно капля въ морѣ всевозможныхъ стремленій со стороны рубля, идущаго за наживой въ распатанныя народныя массы, — стремленій, о которыхъ слышнѣе постоянные разговоры и на которыхъ сосредоточены мечтанія массы темныхъ личностей, повсюду кишачицъ на *новыхъ мѣстахъ*.

Человѣкъ цыганскаго типа былъ такимъ об-

разомъ первымъ образчикомъ людей такого сорта и первымъ неординарнаго свойства человѣкомъ, котораго мнѣ пришлось встрѣтить, едва я сѣлъ въ фургонъ. Но и второй «типа» былъ не за горами.

Лицомъ ко мнѣ и спиной къ фургонщику сидѣлъ молоденькій мальчикъ, лѣтъ восемнадцати, армянскаго типа и повидимому очень хорошо воспитанный или выдрессированный. Во время нашего разговора съ авторомъ *народнаго одеклома* онъ иногда дѣлалъ какой-нибудь вопросъ, всегда самаго практическаго свойства и всегда на самомъ лучшемъ литературномъ языкѣ. Эта благовоспитанность, умѣнье себя хорошо и прилично держать и прекрасный языкъ заставили меня спросить его:

— Вы учились?

— Какъ-же. Я вышелъ изъ четвертаго класса классической гимназіи.

— Зачѣмъ же вы бросили гимназію?

— Да какъ вамъ сказать? У моего дяди есть ресторанъ и лѣтній садъ (онъ называлъ одинъ изъ большихъ кавказскихъ городовъ). Ну, какъ-то лѣтомъ во время каникулъ онъ и пригласилъ меня вести счеты за буфетомъ. Я самъ изъ *** (онъ называлъ другой кавказскій городъ), тамъ и моя мать. Думаю, отчего мнѣ не поѣхать въ Т.? Туда учителя изъ нашей гимназіи не пріѣзжаютъ, за буфетомъ меня не увидятъ и стало-быть мнѣ стыдно не будетъ. Кончатся каникулы — и я опять буду въ классѣ.... И пятьдесятъ рублей, которые дядя обѣщалъ, тоже деньги... Но дядя меня обидѣлъ — около перваго августа рассчиталъ и далъ только тридцать; это меня разсердило. А я уже привыкъ къ буфету и мнѣ понравилось. На мнѣральныхъ водахъ сезонъ еще не кончился... Подумалъ я — куда: въ гимназію или Кисловодскъ? да и сбѣжалъ въ Кисловодскъ... Здѣсь заработалъ въ одинъ мѣсяцъ до восьмидесяти рублей. Потянуло въ Ялту... Тутъ случился эпизодъ съ одной барыней: втроемъ (насъ гуляло трое: я, нѣмецъ и грекъ) мы съ нея взяли дѣвяти рублей. Съ этими деньгами я поступилъ въ самую лучшую ялтинскую гостиницу: купилъ отличнѣйшій фракъ, все платье, бѣлье лучшаго сорта. Ну, конечно доходы — говоритъ нечего! Собралось у меня денегъ восемьсотъ рублей; сошелся я съ поваромъ, сняли въ Н. лѣтній садъ. Привезъ я изъ Харькова четырнадцать арфистокъ; посуду, мебель — все магазины даютъ въ долгъ, съ уплатой каждый день изъ кассы. Все бы хорошо. Арфистки подобрались бойкія, наподборъ; четырнадцать столовъ ужъ это каждый Божій день до бѣла-свѣта ужинаятъ. Отлично было пошло, только вдругъ начались проливные дожди! И представьте: безъ перерыва полтора мѣсяца! Пришлось бросить все и просто бѣжать, бѣжать куда глаза глядятъ... Попробовалъ было я въ Ростовѣ — тамъ надо самому еще платить хозяину гостиницы 50 коп. — много народа. Вотъ теперь ѣду въ Е. — кажется, тамъ будетъ поживѣе... Три шантажа уже открыто и на счетъ женскаго пола тоже... пріѣзжихъ очень много... Можетъ быть, и поправлюсь.

Въ началѣ рѣчи этого мальчика, когда онъ говорилъ о гимназіи и о томъ, что учителя и товарищи не увидятъ его за буфетомъ, въ его голосѣ слышалось что-то тоскливое и стыдливое; но по мѣрѣ того какъ рассказъ продолжался и по мѣрѣ того, какъ «деньги» начинали въ немъ играть первенствующую роль (благодаря толчку въ этомъ направленіи, данному обманомъ дяди), никакой застенчивости и ни малѣйшихъ признаковъ скромности не звучало уже въ его рѣчи. О «скандальныхъ» ялтинскихъ эпизодахъ, объ успѣшной «торговлѣ арфистками», о томъ, что въ городѣ Е. къ счастью, кажется, уже начался развратъ — объ всемъ этомъ восемнадцатилѣтній мальчикъ, ученикъ четвертаго класса гимназіи, говорилъ совершенно спокойно, какъ о дѣлахъ, не подлежащихъ ни малѣйшему сомнѣнію и критикѣ. И опять повторяю, нѣсть числа въ этихъ новыхъ мѣстахъ толпамъ всякаго темнаго народа, плущаго «на рубль», какъ «на огонекъ».

Что-то глубоко-оскорбляющее чувствуется на сердцѣ всякій разъ, когда придется хотя нѣкоторое время побыть въ одномъ изъ такихъ «новыхъ», на рубль и для рубля возникающихъ человѣческихъ общежитій. Повидимому въ этихъ городахъ съ рублевыми корнями въ основаніи общежитія жизнь выражается въ тѣхъ же формахъ, какъ и въ городахъ, постепенно выросшихъ изъ деревень и разросшихся до размѣровъ большихъ торговыхъ центровъ; и тамъ, и тутъ — суды, церкви, гостиницы, базары, театръ, трактиръ, газетка, воръ, нищій, проститутка. Все то же тамъ и тутъ, но при первомъ же внимательномъ отношеніи къ собственному вашему ощущенію чего-то оскорбительнаго, что возникаетъ при посѣщеніи этихъ «новыхъ» городовъ, вы ясно видите, что тутъ все хотъ и то же, да не то.

Городъ, выросавшій постепенно изъ маленькаго трудового зерна — деревни, жилъ одинаково всѣми достоинствами и недостатками собиравшихся сюда людей; рядомъ съ богачемъ появлялся и святой; хорошее и худое выросло *неволею* для собравшихся здѣсь людей. Если появилась гдѣ-нибудь «на тычкѣ» отчаянная дѣвка Мареутка, то появилась потому, что «характерная», «нравная», и крутитъ на своей страхъ. Параллельно съ безстыжными поступками Мареутки шли и разговоры о томъ, какъ и отчего все это съ нею вышло. Происхожденіе вора Антошки также было у всѣхъ на глазахъ; дѣло его обсуждалось, разбиралось всѣмъ обществомъ, и всѣмъ было ясно, отъ какихъ причинъ и ошибокъ Антошка погубилъ свою жизнь. Надо всѣмъ этимъ можно было, а главное *нельзя* было не думать всему обществу, начавшему жить и живущему вмѣстѣ съ Антошкой.

И совсѣмъ не то происходитъ, когда города вырастаютъ сразу, во имя только рубля.

Вчера еще здѣсь было совершенно дѣвственное мѣсто; о дѣвственный берегъ плескалась дѣвственная морская волна, а по берегу шумѣлъ дѣвственный лѣсъ. Но въ то же самое время, когда ни единый живой человѣкъ не помышлялъ поселиться здѣсь — такъ

здѣсь дико и страшно одинокому—гдѣ-то въ Берлинѣ, Лондонѣ, Парижѣ, Вѣнѣ, въ банкирскихъ финансовыхъ мозгахъ уже созрѣвалъ планъ эксплуатаціи этой мѣстности; уже сосчитано количество милліоновъ франковъ, милліоновъ марокъ, нужныхъ для того, чтобы положить начало жизни въ этихъ мѣстахъ безжизненныхъ. И вотъ приходить сюда милліоны (въ Новороссійскъ напримѣръ милліонъ пришелъ отъ г. Фрейсине) и только во имя ихъ начинаютъ стекаться сюда люди. «Тамъ деньги» — думаютъ техники, механики, инженеры, и ѣдутъ сюда. «Тамъ деньги» — слышатъ рабочіе, слышатъ темные люди, слышатъ всякая голытьба. «Тамъ деньги» — чуютъ носомъ аферисты всѣхъ сортовъ, и все это идетъ сюда къ деньгамъ, къ деньгамъ, и во имя денегъ. Здѣсь вы видите, что не только невозможно порицать Марутку за ея поведение, но, напротивъ, *надобно съзидить* въ Харьковѣ, Ростовѣ, закупить тамъ Марутокъ и привести ихъ сюда и «организовать проституцію», какъ такое дѣло, безъ котораго нельзя жить въ современномъ обществѣ. Здѣсь, ничего не видя, *надобно* уже почти на пустомъ дѣвственномъ мѣстѣ строить острогъ, потому что воры придутъ непремѣнно, нельзя безъ этого. *Надобно* строить кафе-шантанъ, потому что также невозможно безъ этого; *надобно* открывать гостиницы съ номерами, *надобно* заблаговременно отводить мѣста подъ трущобы и публичные дома. Словомъ, здѣсь, въ этихъ новыхъ городахъ, люди *сознательно* тащутъ на частую, невинную землю всевозможный мусоръ, сами, своею волей, *должны* заводить грязь и всякую гадость, и такимъ образомъ, будучи, во-первыхъ, чужды другъ другу совершенно, чужды по національностямъ, по личной жизни, по личнымъ планамъ относительно своего будущаго, они сходятся въ какое-то якобы общество во имя только рубля, одинаково какъ капиталистъ, такъ и рабочій, адвокатъ, техникъ, проститутка, журналистъ, воръ, даже монахъ, и, сойдясь на рубль, они начинаютъ жить уже съ нечистоплотной душой: всѣ они сами завели всѣ эти язвы; и потому всякая причина этихъ язвъ съ ихъ стороны — фальшь и ложь. По совѣсти имъ нельзя критиковать ничего: всѣ знаютъ, что безъ этихъ язвъ, безъ этой гадости, нанесенной на дѣвственную почву, *нельзя жить*, что такъ-то именно, съ грязью-то, *нарочно* организовано, и неизбежно жить, и вотъ почему даже журналистъ, появляющійся съ газетой въ такихъ *новыхъ*, бойкихъ, оживленныхъ капиталомъ мѣстахъ и самъ желающій оживить свой капиталъ, неминуемо начинаетъ дѣло, вводя и въ него язву сознательной неправды. Онъ беретъ для своей газеты самый послѣдній газетный шаблонъ, точь-въ-точь какъ содержатель кафе-шантана устраиваетъ его по послѣднему петербургскому образцу: онъ бурлитъ въ передовыхъ статьяхъ о французскомъ министерствѣ, радуется возрожденію флота, печатается анекдоты скоромнаго свойства, дѣлаетъ замѣтки съ восклицательными знаками о самоубійствѣ, кувыркается въ фельетонѣ, печатаетъ пикантные рассказы, гражданскою скорбью скорбитъ

о неправдѣ, — словомъ, одѣтъ по послѣдней модѣ; но *нѣтъ въ немъ возможности* быть искреннимъ: онъ искренно шелъ только за рублемъ, искренно зналъ, что безъ грязи и неправды *невозможно* обойтись, что даже *нужна она*, эта грязь, что ее *нужно* принести въ корзинкѣ, выписать по почтѣ и положить на чистое мѣсто для того, чтобы жизнь не имѣла прорѣхъ и была *какъ вездѣ*. Всѣ свои шаблоны прессы такого рода беретъ готовыми: на пять верстъ вокругъ рубля, который возродилъ ее, она не видитъ ничего для себя важнаго и интереснаго и, несмотря на виѣшній лоскъ и блескъ, мертва внутренно, безжизненна, холодна, какъ трупъ. Она не оживить, не разовьетъ ни одного дарованія, не окрылитъ ни чей мысли; она родилась безъ крыльевъ или сознательно оборвала ихъ. искренно помирившись съ необходимостью грязи и неискренно протестуя противъ нея.

Почти въ каждомъ человѣкѣ, пришедшемъ на новое мѣсто изъ-за рубля, мы только съ огромными усиліями можете добраться до его настоящей человеческой сущности, и всегда она будетъ чуждая вамъ. Даже въ семейной жизни, въ любви, не поручитесь вы за то, что рубль не участвовалъ въ ней или не участвуетъ. Задумавъ поты начинаютъ прорываться только тогда, когда дѣло коснется интимнѣйшихъ сторонъ біографіи каждаго, будь то журналистъ, рабочій, капиталистъ. И тогда вы видите, что искренно мыслить всякъ изъ нихъ не о томъ, что здѣсь кругомъ него, а о чемъ-то далекомъ. Берлинскія, вѣнскія, орловскія, петербургскія, бердичевскія горести, надежды и упованія — вотъ, гдѣ они настоящія; здѣсь онъ чужой, среди чужихъ, здѣсь онъ вѣритъ только въ рубль, и всѣ красивыя слова, которые онъ говорить вамъ, всѣ только для того, чтобы не видна была (даже и ему самому) его холодная, быть можетъ только временно, но умершая во имя рубля душа.

Это — «ненастоящая» жизнь, и переносить ее даже послѣ самаго короткаго соприкосновенія съ народной жизнью, гдѣ личная забота неразрывна съ душевнымъ настроеніемъ такъ же, какъ и со всѣмъ обиходомъ жизни, положительно невозможно.

Однако не въ этомъ дѣло, и мнѣ ужѣ давно слѣдовало бы возвратиться къ своимъ попутчикамъ.

Я разсказалъ только про двоихъ, но въ фургонѣ было кромѣ пишущаго это письмо еще два человѣка: мужичокъ, сидѣвшій рядомъ съ извозчикомъ, и наконецъ самъ извозчикъ.

Мужичокъ съ длинными волосами, висѣвшими длинными косами изъ-подъ теплой шапки и падавшими на широкій воротникъ широкаго армяка, имѣлъ въ лицѣ что-то не вполне крестьянское: эти волосы и борода, впалыя щеки и тонкій голосъ — все это заставляло думать, что если онъ и не изъ духовныхъ и не знакомъ съ клиросомъ, то во всякомъ случаѣ онъ и не мужикъ.

Покуда мой цыганскаго типа сосѣдъ и литературнымъ языкомъ излагающій всякія гадости мальчикъ разсказывали мнѣ свои біографіи и планы, му-

жичокъ вѣлъ непрестанные разговоры съ извозчикомъ.

— Во какіе! Груши напирѣть! Яблоки! Господи Боже мой! Рубль серебромъ—сто мѣръ! Подъ Майкопомъ—даромъ бери, сколько хошь! Передъ Богомъ, я самъ ѣздилъ. Орѣховъ—бери, сдѣлай одолженіе, хотъ сто воевъ—никто слова не скажетъ!

Такія слова и полуфразы, произносимыя какими то напряженно выглитыми теноромъ, поминутно доносились до меня въ промежуткахъ разсказовъ объ испанскихъ маршалахъ, одеколонтъ, Амстердамъ, арфисткахъ и т. д. И когда эти разсказы были окончены, дошла очередь и до мужика. Можно было вполне слышать все, что онъ толковалъ, можно было и разспросить, куда и зачѣмъ онъ ѣхалъ.

Онъ былъ дѣйствительно не мужикъ, но *сдѣлался мужикомъ*, хотя очень недавно. Отецъ его былъ портной и тому же портняжному мастерству обучилъ и сына. Уроженцы и жители они были Курской губерніи. По смерти отца сынъ продолжалъ отцовское ремесло, но его увлекло переселенческое движеніе его односельчанъ, и онъ, подъ впечатлѣніемъ разсказовъ о привольныхъ мѣстахъ, присталъ къ переселенческой партіи безъ всякихъ средствъ и безъ всякихъ надеждъ — и ушелъ на новыя мѣста. Это былъ нервный, впечатлительный человѣкъ. Выбравшись изъ своей душной портновской каморки на вольный свѣтъ, онъ былъ до высшей степени возбужденъ новизной и разнообразіемъ впечатлѣній; эта возбужденность не пропала въ немъ и сейчасъ: о чудесахъ кавказскихъ горъ и лѣсовъ онъ разсказываетъ съ увлеченіемъ сказочника, гѣритъ всякими легендами о богатствахъ, скрывающихся тамъ, въ глубинахъ этихъ горъ и лѣсовъ. Широта, просторъ и воля, а главное свобода мечтанія пришлись ему очевидно по вкусу: онъ пристрастился къ земледѣльческому труду, полюбилъ его, вошелъ во вкусъ мельчайшихъ подробностей этого труда и трудовой жизни; наблюденій у него масса—относительно земли, травы, пахоты, дождей, засухъ, скотины. Земледѣльская жизнь заполонила его всего; изъ работниковъ онъ выбылъ въ хозяева, женился и вотъ теперь ѣдетъ въ Екатеринодаръ, ходокомъ отъ всего общества, хлопотать за мужицкія права, попираемые казакомъ. Впослѣдствіи я подробно разскажу о томъ, что творится здѣсь между такъ называемыми «иностранцами», т. е. пришлыми крестьянами, и мѣстными жителями, казаками; теперь же скажу, что общество крестьянъ, притѣняемыхъ казаками, сдѣлало удачный выборъ: этотъ неофитъ въ земледѣльческомъ трудѣ, крайне впечатлительный отъ природы и весь проникнутый любовно воспринятыми впечатлѣніями привольной, разнообразной, поэтической, трудовой жизни—этотъ ходатай постовтъ за тѣ 500 семействъ, которыхъ его послали хлопотать объ ихъ дѣлѣ; этотъ не уступить, «вопъется» и уже добьется своего, дойдетъ однимъ своимъ теноромъ, дребезжащимъ какъ колокольчикъ.

Этотъ оригиналъ «сдѣлался мужикомъ» и радъ

этому *весь*, радъ до мозга костей, а вотъ извозчикъ, который везетъ этотъ фургоны, наполненный, какъ видите, оригиналами, — такъ тотъ *не хочетъ быть мужикомъ*.

— Что, спрашиваетъ онъ меня, когда къ этому представилась возможность,—не слышали, какъ желѣзная дорога, не пойдетъ на Анапу?

— Кажется, не пойдетъ.

Начинаются продолжительные общіе разговоры о новой дорогѣ, причемъ человѣкъ цыганскаго облика принимаетъ большое участіе: онъ знаетъ дѣло хорошо. Дорога будетъ проведена непремѣнно въ Новороссійскъ; г. Фрейсине затратилъ тамъ уже большія деньги; даже войны въ Греціи не будетъ, потому что тогда г. Фрейсине не пройдетъ съ своимъ керосиномъ, братъ-министръ этого не допустить; и если Греціи нельзя получить Олимпа изъ за керосина г. Фрейсине, то Анапа уже и думать ни о какихъ полученіяхъ не должна.

— А тебѣ чего такъ въ Анапу то непремѣнно захотѣлось? спросилъ фургонщика цыганскаго облика человѣкъ, доказавъ ему всю несостоятельность его надеждъ.

— Да домшко у меня тамъ есть. Кабы прошла дорога, продаль бы, купилъ бы земли, дѣтей бы пристроилъ къ серьезному дѣлу, а теперь съ чѣмъ начать? Начать не съ чѣмъ!..

Онъ помолчалъ и продолжалъ:

— Ужъ сколько я твердилъ: возмнитесь за дѣло, будетъ вамъ шарлатанить! Надобно имѣть постоянное занятіе — нѣтъ, куда! Старшій у меня сынъ тоже съ фургономъ ѣздилъ, ну, и въ карты любить... все думаетъ разжиться легко... Какъ-же! Я седьмой десятокъ живу — не разжился!.. Теперь вотъ все Новороссійскъ у всѣхъ на языкѣ... Мой Казиміръ задумываетъ виномъ торговать. Изобрѣлъ такое средство, что изъ подсолнуховъ будетъ дѣлать ромъ, коньякъ. «Жареные подсолнухи, говорить, со спиртомъ большія деньги дадутъ»... Вотъ какія затѣи!.. Я ужъ говорилъ, говорилъ—ничего нѣтъ толку!

— Плохо внушаешь! нравоучительно сказалъ цыганскаго вида человѣкъ. — Надобно съ дѣтими поступать строго, безъ послабленія...

— Такъ-то оно такъ!

Старикъ замолчалъ и молчалъ довольно долго.

— Оно такъ! сказалъ онъ наконецъ. — Это справедливо, что я самъ слабъ... Да вѣдь что будешь дѣлать, кровь-то во мнѣ дворянская! Ничего не подѣлаешь! Какъ задумаю о крестьянствѣ—лучше ничего нѣтъ; а какъ вспомню, что во мнѣ дворянская кровь, такъ руки и опускаются.

— Нѣтъ ничего худого пахать!

— Чего худого: первое дѣло!.. Навѣки человѣкъ спокоенъ... Я вѣдь это понимаю!.. Да вѣдь дворянинъ я, кровь во мнѣ дворянская! Какъ же я въ мужики-то оборочусь? Это ужъ мнѣ должно быть обидно!..

— Ты откуда будешь?

— Я полякъ! У меня всѣ документы дворянскіе, такъ какъ же мнѣ за сохой-то ходить?.. Вотъ и сыновья тоже не согласны...

— Да, дворянину трудно за соху браться!

— Не трудно, а обидно! Дворянская кровь препятствует...

— Такъ, стало быть, коньякъ изъ поджаренныхъ подсолнуховъ будемъ пить?

Вѣднѣй старикъ горько усмѣхнулся, вздохнулъ и не отвѣчалъ. И точно, трудно ему: ему болѣе шестидесяти лѣтъ, а онъ все мыкается въ фургоны, стараясь набрать какъ можно больше пассажировъ, а самъ поэтому помѣщается всегда на самомъ неудобномъ мѣстѣ, на подножкѣ у козелъ, подложивъ подъ сидѣнье мѣшокъ съ овсомъ и трясясь всѣмъ своимъ старческимъ тѣломъ на каждомъ толчокѣ. Но и въ этомъ неудобномъ положеніи онъ старается сохранить свое достоинство. Онъ не побѣжитъ къ рѣчкѣ налить для пассажира воды въ бутылку—это не его дѣло; остановится, чтобы сойти и выпить воды, — не сразу и не тамъ, гдѣ ему велятъ, а непременно подальше или поближе; лошадей онъ не колотитъ «по мордѣ» кнутомъ, когда онѣ нейдутъ, и не оретъ на нихъ, а слѣзетъ и подойдетъ какъ-то особенно, не спѣша, разставивъ локти, какъ пѣвецъ, приближающійся къ рампѣ, чтобы пропѣть грозную арію; «на чай» не проситъ; къ столу, гдѣ пьютъ пассажиры, не подсаживается и вещей не вытаскиваетъ изъ тарантаса на своей спинѣ. Но при всѣхъ этихъ проявленіяхъ какихъ-то своихъ особенностей онъ еле-еле перебивается, непрерывно ломая свои кости въ ежедневной ѣздѣ. При страшной дороговизнѣ корма, трехдневная ѣзда съ остановками едва даетъ ему два рубля чистаго заработка. Проездивъ непрерывно всю Странную недѣлю, онъ повезъ къ празднику домой въ Анапу всего восемь рублей.

Самый завалѣвшій казакъ и самый обиженный судьбой мужикъ живутъ покойнѣе и лучше его. Но что прикажете дѣлать — «дворянская кровь препятствуетъ!», и старикъ, родившійся дворяниномъ, не хочетъ умереть мужикомъ, хотя завидуетъ ему въ глубинѣ души.

Вотъ первые попутчики перваго полдня моей поѣздки. Прибавьте къ этимъ четыремъ біографіямъ, ни въ чемъ другомъ друга на друга не похожимъ, пятую біографію, т. е. біографію пишущаго эти строки, намеки на которую были сдѣланы въ первой главѣ, и вы сразу получите такой букетъ оригиналовъ, жизни и цѣлы которыхъ рѣшительно не имѣютъ ничего общаго, что маленький фургонъ долженъ представить вамъ большимъ романомъ, не уступающимъ *Пиквицкому клубу*.

Но это только «попутчики» перваго полдня. А вѣдь въ нашемъ распоряженіи есть и еще полдня.

IV. Мирошникъ.

I.

Выѣхали мы, всѣ пять типовъ и оригиналовъ, съ желѣзно-дорожной станціи часу въ первомъ дня,

а въ семь часовъ того же дня остановились кормить лошадей на первомъ по пути постояломъ дворѣ. Такимъ образомъ не болѣе какъ втеченіе шести часовъ я успѣлъ познакомиться съ четырьмя разнохарактернѣйшими біографіями (пятую я зналъ про себя), а съ семи часовъ, т. е. съ момента выѣзда нашего фургона въ ворота постоялаго двора, снова начался новый рядъ самыхъ разнообразнѣйшихъ встрѣчъ, знакомствъ и приключеній.

Постоялый дворъ, куда мы выѣхали, впоследствии мнѣ пришлось посѣтить еще нѣсколько разъ. И я могу рассказать объ этихъ «остановкахъ» для корма лошадей нѣсколько подробнѣе, чѣмъ рассказывалъ до сихъ поръ о случайныхъ дорожныхъ встрѣчахъ. Дворъ этотъ стоялъ поодаль отъ станицы, въ сторонкѣ, потому что хозяинъ его, казакъ, держалъ мельницу, а мельницы всегда строятся на окраинахъ станицъ. Мельница эта досталась хозяину отъ отца, по раздѣлу между тремя братьями, послѣ его смерти; оцѣнивъ все отцовское имущество въ 4,500 р., братья раздѣлили его такъ: одинъ взялъ хорошій большой домъ подъ желѣзной крышей, оцѣненный въ тысячу рублей. и 500 р. долженъ былъ ему же заплатить второй братъ, получившій мельницу и маленькую хатку, которая была оцѣнена въ двѣ тысячи; третьему досталось разнаго имущества, скота и т. д. также ровно на 1,500 р. Всѣ три постройки, т. е. большой домъ подъ желѣзной крышей, маленький домикъ средняго брата (содержащаго постоялый дворъ) и только что строящійся *тирлунный* (глиняный) домъ младшаго—всѣ эти дома и постройки стали цѣлой кучей, гнѣздомъ, хотя и были тщательно огорожены другъ отъ друга.

Содержатель постоялаго двора, казакъ, былъ бездѣтенъ, но дѣтей ему имѣть очень хотѣлось, и въ то время, когда пришлось пріѣзжать намъ, хозяинъ уходилъ въ Новый Афонъ (монастырь близъ Сухума) молить Бога о томъ, чтобы у него были дѣти. Съ тѣмъ же цѣлымъ онъ и вообще любилъ богомолья и почасту и подолгу уходилъ изъ дома, такъ что все довольно большое и сложное хозяйство постоялаго двора лежало на его женѣ. Во дворѣ и въ хозяйствѣ ихъ было много скотины, много птицъ; все это нужно было накормить, напоить, выгнать и загнать. Всякій разъ, когда мнѣ приходилось останавливаться на этомъ постояломъ дворѣ, я не могъ не дивиться энергіи этой казачки, справляющейся съ такой массой работъ безъ малѣйшаго утомленія.

Это была не совсѣмъ молодая, но и не старая, красивая женщина: тонкая, стройная, остроумная и легкая на походкѣ и во всякомъ трудѣ. Во всѣ три поѣзда я только одинъ разъ видѣлъ ея мужа. Да и то мелькомъ—это человѣкъ очевидно хворый: то онъ на богомолье ѣдетъ дѣтей вымаливать, то къ доктору, то къ знахарю кровь отворять. Словомъ, сколько я замѣтилъ, всѣ хлопоты лежали исключительно на его женѣ, энергія которой была возбуждена не столько привязанностью къ мужу, сколько иными двигателями: дѣти у нея уже были и умерли большими, и она уже не пи-

тасть надежды ни на лекарства, ни на Новый Аeonъ; но ее мучаетъ дрянной домишко, въ которомъ приходится жить рядомъ съ большими домомъ мужаина брата, мучить необходимость расплатиться съ этимъ братомъ за мельницу и наконецъ необъяснимая въ крестьянскихъ, если такъ можно выразиться, жадность къ тому, чтобъ всего было больше и больше. Во всѣ три проѣзда черезъ постоянный дворъ я, попадая сюда въ разные часы дня, могъ видѣть весь обиходъ жизни рабочаго дня и невольно дивился неутомимой энергій этой неустающей худенькой женщины. Почуя въ фургонѣ на дворѣ, я видѣлъ какъ она еще до свѣту (еще мѣсяцъ стоитъ на небѣ) уже выходила изъ избы босикомъ въ шубѣ и проворно бѣгала туда и сюда; въ маленькой хаткѣ было все выбѣлено, вычищено ея собственными руками; весь уголь съ образами былъ изукрашенъ всякими искусственными цвѣтами и расшитыми полотенцами; кровать, подушки, одѣяло—все носило слѣды самой тщательной работы иглой, старавшейся не только шить, а и изукрасить каждый ситцевый вершокъ. И какъ въ коморкѣ этой былъ изукрашенъ каждый вершокъ, точно такъ-же и каждая минута дня была у нея наполнена непрерывною домашней суетой и хлопотамъ, исчислить которыя нѣтъ никакой возможности. Но всей нескончаемой вознѣ со скотиной, птицей, прибавьте еще возню съ прѣзжающими, съ извозчиками, которымъ надо отвѣсить овса и сѣна, сварить обѣдъ, поставить самоваръ, для котораго надобно на своихъ плечахъ принести воды, поговорить со всѣми, такъ чтобъ всѣ остались довольны, и подвигаться, на какую массу труда способенъ человекъ худенькій, тощенькій на видъ—труда непрерывнаго и къ тому же не оставляющаго никакого изнурительнаго слѣда. Хозяйство ея шло какъ то такъ удивительно стройно и рассчитанно, что, кажется, пылинки не попадали въ немъ даромъ, все шло на потребу, до послѣдней скорлупки: коровамъ, телятамъ, свиньямъ, курамъ, гусямъ, кошкѣ, собакамъ; даже помомъ отъ кувшиновъ съ молокомъ, отъ чашекъ и тарелокъ послѣ харчеванья прѣзжихъ—все это поглощалось также какими-то ртами, которые гдѣ-то терпѣливо ожидали этихъ именно помой и, получивъ ихъ въ известное время, самымъ приятнымъ манеромъ жевали, лакали, сладко ворчали гдѣ-нибудь подъ печкой, на дворѣ, подъ лавкой, а чаще всего во всѣхъ этихъ мѣстахъ.

И вся эта суета и непрерывное движеніе, ходьба, даже бѣготня по домику, по двору, по полю, вокругъ и около всего этого, все это переливаніе помой разнаго званія и качества изъ малыхъ горшковъ въ большіе, собираніе въ кучу всякаго мусора и обѣдковъ—все это ни малѣйшимъ образомъ не дѣлалось зря и необдуманно; напротивъ, все дѣлалось съ самымъ тщательнымъ расчетомъ, все дѣлалось своевременно, обдуманно, все, весь домъ, все хозяйство напоминало химическую лабораторію и было полно ума и несомнѣннаго, хоть и домо-рошеннаго знанія.

Хозяйка очевидно имѣла совершенно опредѣ-

ленную цѣль въ жизни, къ которой и шла прямой дорогой, летѣла, какъ стрѣла, ни на минуту не останавливаясь, не сбиваясь «съ ногъ» и не сомнѣваясь. И вотъ эта-то опредѣленность цѣли и обиліе ума, вложеннаго въ ея достиженіе, давали ей возможность со всѣмъ огромнымъ количествомъ труда, который лежалъ на ея плечахъ, справиться почти безъ всякой чужой помощи, если не считать маленькой десяти годовъ дѣвочки, получавшей рубль въ мѣсяцъ, да мирошника, котораго еще надобно было счѣмѣть подчинить себѣ, подчинить совершенно безъ всякихъ приманокъ, не говоря о деньгахъ, о которыхъ и помину не могло быть. И тутъ, въ подчиненіи своему хозяйству совершенно посторонняго, здороваго, сильнаго человека, въ этомъ дѣлѣ также виденъ далеко недюжинный умъ и тактъ хозяйки.

Мирошникъ работалъ на мельницѣ, принадлежавшей хозяевамъ постоялаго двора, изъ-за третьей мѣрки или изъ-за третьей копѣйки. Это былъ человекъ чрезвычайно своеобразный. По виду это невысокій, но коренастый, сильный человекъ съ кривыми и сильными, какъ у саги, ногами. Изъ-подъ низкаго лба смотрѣли протодушно «по-дѣвичьи» голубые глаза, а голосъ былъ мягкій, добрый, бабій. Эти бабьи черты, при его полужазацкой внѣшности, въ общей сложности производили такое впечатлѣніе, что, взглянувъ на него, послушавъ его голоса, хотѣлось улыбнуться. Полужазацкій видъ его былъ такой: голова была обстрижена по-солдатски подъ гребенку, но зато борода, не бритая послѣ солдатчины, разрослась буквально до пахоты. Онъ былъ уроженецъ одной изъ внутреннихъ губерній, служилъ во флотѣ въ Черномъ морѣ, а по окончаніи службы не пожелалъ воротиться домой—никого тамъ у него нѣтъ—а пошелъ въ «Черноморье», да вотъ и оказавшись, живя въ мирошникахъ.

И мирошника этого случалось видѣть мнѣ каждый разъ, когда мнѣ приходилось останавливаться на этомъ дворѣ. Каждый день онъ довольно рано приходилъ сюда съ мельницы почевать и всегда какъ-то невольно, по натурѣ, увлекался той бабьей суматохой, которая вечеромъ съ приходомъ скотины достигаетъ высшей степени. Военной, многолѣтней службы своей онъ какъ будто совершенно не помнилъ; ни о чемъ военномъ никогда не говорилъ ни единого слова, политикой не занимался, но что-то женственное, что таилось въ немъ, видно было въ глазахъ, слышалось въ голосѣ, влекло его къ женской мелкой суетѣ, и онъ больше всякой женщины оживлялся тѣмъ мелкимъ «живьемъ» быденной жизни, въ кругу котораго вращается женская жизнь. О пыленкѣ, котораго съѣла собака, онъ толкуетъ съ такимъ же искреннимъ волненіемъ и негодованіемъ, какъ и эти женщины, которыя сошлись со всѣхъ трехъ дворовъ трехъ братьевъ и сдѣлали изъ сдѣланнаго пыленка не только серьезный вопросъ, но развили его въ цѣлую интермедію со смѣхомъ, съ шутками, безчисленными разговорами, остротами и даже бѣготней отъ мирошника. Тутъ среди бабъ и ихъ тревоженій ми-

рошникъ былъ какъ-разъ на своемъ мѣстѣ; здѣсь онъ принялъ живое участіе въ цыпленкѣ и обесѣдовалъ всѣ качества собаки, все разсудилъ и разобралъ, а тамъ онъ что-то про ребятъ беспокоится, нянчить (сунуть ему — онъ и нянчить и «заговариваетъ» ребенка), а тамъ открылось, что ежъ яйца таскаетъ, и мирошникъ лѣзетъ подъ коню соломы. лѣзетъ съ головой прямо въ солому, выдираетъ ежа со всѣмъ его семействомъ, обдираетъ до крови руки, но увлекается во всемъ этомъ чисто по-женски, доходитъ до самаго искренняго безпокойства.

— Нѣтъ, ужъ теперь тебѣ не жить! — весь потный и волнуемый говорилъ мирошникъ, таща ежа на смерть, какъ самаго лютаго врага, и окруженный цѣлой толпой стрекотавшихъ, какъ птицы, женщинъ, дѣтей и подростковъ.

Убіеніе ежа происходило какъ-разъ въ то самое время, когда на постоянный дворъ въѣзжалъ нашъ фургонъ, наполненный типами и оригиналами. Наше знакомство съ мирошникомъ состоялось въ самую для него благопріятную минуту: онъ былъ окруженъ толпой женщинъ, удивлявшихся его поведению, чувствовалъ себя на своемъ мѣстѣ и при всеобщихъ похвалахъ, расточаемыхъ женщинами, отирая потъ, видимо съ большимъ удовольствіемъ принималъ эти похвалы.

Разстегнувъ свой ситцевый, стеганный, казацкаго покроя бешметъ, мирошникъ сѣлъ на лавку въ общей комнатѣ, гдѣ хозяйка приготовляла намъ чай, достала кисетъ и, свертывая цыгарку, разсказалъ намъ всѣмъ:

— Я гляжу, семь яицъ лежатъ подъ соломою! Что за чудо? А Дарьютка давно ужъ жалуется: куда это яйца дѣваются?... А смотрю, онъ вылѣзъ и носомъ нхаетъ яйцо-то въ нору!...

— Ужъ и спасибо мирошнику! внося самоваръ и ласково смотря на виновника торжества, звонко заговорила хозяйка. — И не доглядѣть, не доглядѣть!... Восемь куръ несутся, а нѣту и нѣту яицъ! И не задумаю, что такое?

— Теперь не будетъ! самодовольно сказалъ мирошникъ.

— Коли-бъ не добрый человѣкъ, какъ бы я сама-то догадалась? И такъ дѣла не передѣлать.

— Я давно его караулилъ! съ не меньшимъ, чѣмъ и прежде, самодовольствіемъ проговорилъ мирошникъ. — У меня не уйдетъ!

Умая, расчелтывая, деликатная хозяйка разсыпалась въ похвалахъ добротѣ мирошника. Расточая эти похвалы, она стояла рядомъ съ нимъ, покровительственно положивъ ему на плечо руку. Мирошникъ не смѣлъ пошевелинуть плечомъ отъ удовольствія.

— Охъ! сказалъ, проницая показывая головой. человѣкъ цыганскаго типа, — что-то ты, хозяйка, ужъ очень расхваливаешь мирошника!.. Гдѣ мужъ-то?

— У поли.

— То-то «у поли»! Какъ ни пріѣдешь къ тебѣ, все твой мужъ «у поли», а мирошникъ-все тутъ, въ домѣ торчитъ! И все ты его расхваливаешь! Охъ, ужъ ваша сестра...

— Такъ отчего же не хвалить добраго человѣка? Мы добрыхъ людей любимъ!

И чтобы отстранить подозрительный и ироническій намекъ, хозяйка тутъ же разсказала о какомъ-то плотникѣ, тоже добромъ человѣкѣ, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ также работалъ на мельницѣ и всякій день, какъ только кончитъ работу, такъ сейчасъ и идетъ ей помогать въ хозяйствѣ и совершенно безкорыстно, по добротѣ. Она такъ умно и хитро похвалила добраго плотника, что вѣроятно мирошнику пожелалось превзойти его по этой части, и въ послѣдующіе пріѣзды я видѣлъ уже, что онъ не только таскалъ изъ норъ ежей, но уже и воду носилъ, и самоваръ ставилъ, и сѣна пудовъ по пяти сразу таскалъ на своей крѣпкой, широкой спинѣ. А хозяйка постоянно осматривала его похвалами и всегда лицо ея, обращенное къ мирошнику, было самое ласковое и любящее.

Разсказавъ про плотника, хозяйка дружески хлопала мирошника по плечу и сказала:

— Нѣтъ, у насъ ничего этого нѣтъ съ мирошникомъ! Не такіе мы люди!

— Охъ, такъ ли? усомнился цыганскій типъ.

— Охъ, ужъ и мастеръ ты языкомъ звонить! шутиливо и въ тонъ цыганской рѣчи отвѣтила хозяйка и ушла, улыбаясь.

Въ комнатѣ, гдѣ мы пили чай и сидѣлъ мирошникъ, покуривающій «цыгарку» и молча своими веселыми «дѣвичьими» глазами смотрѣвшій на насъ во время шутилаго разговора, — кромѣ всѣхъ насъ находился еще одинъ посѣтитель, мѣстный казакъ. Это былъ уже настоящій казакъ. Онъ сидѣлъ на лавкѣ, заложивши руки въ карманы распахнутаго стараго бешмета, откинувшись спинной къ стѣнѣ и вообще раскинувшись всѣмъ тѣломъ съ полнѣйшей непринужденностью. Все время онъ молчалъ, какъ «посторонній», пришедшій по своему дѣлу, и повидимому былъ совершенно равнодушенъ къ нашимъ разговорамъ. Но когда ушла хозяйка, онъ кивнулъ головой въ сторону мирошника и, обращаясь ко всѣмъ намъ, сказалъ лѣниво, медленно:

— Любятъ его бабы... Секретъ знаетъ... Спроси-ко-сь у него, много ли у насъ въ станицѣ его казачать бѣгаетъ?

Всѣ засмѣялись, и мирошникъ, вспыхнувъ и покраснѣвъ, тоже улыбнулся, но чрезъ мгновение неожиданно отвѣтилъ очень серьезно:

— Потому что ежели бы былъ указъ землю подѣлить и чтобъ землю бы мнѣ дали — ну, тогда другое дѣло!.. А то что я безъ земли? А что, господа, не слыхатъ: выйдетъ указъ, чтобы и иногороднимъ землю нарѣзывать? — неожиданно обратился онъ къ намъ.

Но флегматически сидѣвшій и говорившій «посторонній» казакъ опять кивнулъ головой въ сторону мирошника и опять лѣниво, медленно и флегматически проговорилъ:

— Указа нѣту насчетъ земли! Ишь, какъ обочивается! А съ бабами-то, когда къ нимъ подбираешься, небось не о томъ разговариваешь? <Бу-

демъ-моль, Маруся, или тамъ, Дарьюшка, будемъ съ тобой какъ братъ съ сестрой!» Указа нѣту! Не землей и не указомъ, поди, на мельницу бабъ-то заманиваешь!..

— Что-жь?.. Братъ съ сестрой, уклончиво пробормоталъ мирошникъ, — тутъ худова ничего нѣтъ!..

— Еще бы худое! «Будемъ съ тобой, какъ духовные, вродѣ ангеловъ!» а потомъ и нарѣзывать твоимъ ребятамъ землю... Самый настоящій братъ духовный!

— Что-жь, нарѣзывать? Земля Божья, а ребята—слуги царскіе!.. Царю помочь!.. Тутъ худова нѣтъ. А вотъ дѣвочку обидѣли! ей тоже десятину бы по закону слѣдуетъ, а не дали.

— Да ты какъ же можешь это говорить? немного разгорячившись, сказалъ казакъ. — Дѣвочкѣ твоей не дали!.. Да твои пять-ли, шесть-ли тамъ ребятенковъ сколько земли-то стянули казацкой? По девятнадцати десятинъ на душу оторвали для твоихъ духовныхъ-то порослятъ!.. А то дѣвочку обидѣли!

— Одна десятина — не великъ кусокъ! не глядя ни на кого, проговорилъ мирошникъ. — Все бы оно годилось.

— Вотъ онъ какой, мирошникъ то! То-то его и любить. Умѣетъ онъ орудовать... «братъ, свать», сестра, сестра», а глядишь — то тамъ мальчонка появился, то тутъ — и все мирошниковы!.. Ловокъ, парень, нечего сказать!

— Что-жь? смиренно сказалъ мирошникъ, опустивъ глаза. — Дѣло это было по согласію... Кабы ежели указъ бы. А то указа-то нѣту...

Тутъ всей компаніи стало такъ весело отъ смѣшныхъ и наивныхъ словъ мирошника, что разговоръ нѣсколько со скоромнымъ оттѣнкомъ не прекращался довольно долгое время. Наконецъ веѣмъ захотѣлось спать.

Когда веѣ разошлись на ночлегъ, кто подъ сарай, кто въ фургонъ, мирошникъ понялъ, что похвалы, только-что полученныя отъ такой славной, умной женщины, понимающей «умныхъ людей», — что эти похвалы обязываютъ его также быть любезнымъ и внимательнымъ къ ней, онъ понялъ, что ему надобно остаться въ избѣ, перемыть чайную посуду, убрать самоваръ и все привести въ порядокъ. Онъ тотчасъ же и принялся за работу. Перекинувъ черезъ плечо полотенце, онъ совершенно «по бабѣ» принялся орудовать съ посудой.

Была у меня бутылка дешеваго станичнаго вина, такъ пазываемаго «прасковейскаго». Выпили мы съ мирошникомъ по стакану вина и разговорились.

— Однако, сказала-я, — пробралъ тебя казакъ-то!

— Они, разбойники, давно меня жмутъ! Убить было собирались, дьяволы! «Ты, говорятъ, не имѣешь права своихъ байстрюченковъ намъ въ казакъ присоединять!» А какъ стали мѣрять землю, такъ они и сами веѣхъ моихъ байстрюковъ за своихъ выкричали: «наши! наши!» Стало-бытъ отъ моихъ потомковъ ничего худого не вышло, каждый принесъ въ домъ по девятнадцати десятинъ..

Вотъ только дѣвочка не попала въ размежеваніе! Ужъ послѣ межовки родилась она тутъ у меня, въ одномъ мѣстѣ...

— Какъ «въ одномъ мѣстѣ»? ..

— Да такъ, значитъ, въ одномъ семействѣ.

Мирошникъ вытряхалъ уголья изъ самовара.

— Въ одномъ, значитъ, семействѣ оказалась дѣвочка... моего напримѣръ происхожденія.

— Однако они правду вѣдъ говорятъ, сказалъ я мирошнику. — Все ты въ семействахъ?...

— Такъ, въ семействахъ! Такъ я то чѣмъ виновать? Коли бы нашему брату, иногороднему, была земельная нарѣзка — ну, въ то время я бы, можетъ быть, и переломилъ себя какъ-нибудь на хлѣбопашество, слѣдовательно на законъ... то есть въ бракъ бы долженъ. Ну, а какъ же я осмѣлюсь принять святой законъ напримѣръ Вожій. ежели я вполнѣ округленъ безъ земли? Какое же можетъ быть моимъ дѣтямъ обезпеченіе? А не жениться — такъ какъ же? Бабъ много всякихъ; ежели бы я имѣлъ какія пустыя мысли, такъ это сколько угодно; иной еще и слова не сказалъ, а она уже согласна на свое преступленіе. Ежели бы я какія подлые мысли имѣлъ, такъ я на мельницѣ-то словно бы султанъ персидскій существовалъ и отвѣту бы никакого на мнѣ не было... А только я этого не люблю и на такое пустяковое дѣло не согласенъ никогда!.. Мнѣ надобно не это, а чтобы была у меня въ жизни пріятная сестра. Я вѣдъ тоже какъ перстъ одинъ, наломанъ на службѣ довольно — мнѣ надо имѣть заботу въ жизни. чтобы съ «удовольствіемъ» была эта забота. Примѣромъ сказать, вотъ хотъ понадобилась мнѣ рубаха — чего бы, кажется, дѣлать? Взялъ, попомолъ на базарѣ, отдалъ тридцать копѣекъ вотъ и все. А мнѣ такъ-то скучно жить. Я пять цѣлковыхъ тебѣ въ подарокъ или въ подмогу дамъ, а ты мнѣ сама, какъ сестра брату, возьми да принеси рубаху-то! Вспомни! ты меня только вспомни, а я тебя во вѣки не забуду... Много ихъ на мельницѣ-то ко мнѣ подскальзываютъ и такъ, и этакъ, только что я вниманія на это не даю, а которая придетъ, да по совѣсти вздохнетъ, да посоветуется, какъ на духу, да увижу я въ ней пріятную совѣсть, — вотъ она мнѣ и сестра. «Чего тебѣ надо? Хлѣба? Вотъ тебѣ! Ребятишкамъ сапожники! Бери три рубля. Я твою нужду знаю и чувствую, что тебя мужъ бьетъ, что твой мужъ пьяница — все это я принимаю къ сердцу, а ты мою доброту къ сердцу приими. Я на мельницѣ сплужу, а ты дома обо мнѣ вспоминай». Вотъ какое мое желаніе. Ну, а конечно ужъ какъ-нибудь такъ впослѣдствіи времени происходить дѣти — такъ вѣдъ какъ же тутъ? Это ужъ никакъ невозможно!

— Вѣдъ мужья-то, я думаю, какъ женъ-то бьютъ за тебя?

— Такъ вѣдъ они, подлецы, и такъ ихъ колотятъ зря. Самъ пьянствуетъ по чужимъ мѣстамъ, жену морить на работѣ, а придетъ — и давай дурить... Вотъ такихъ-то, неповинныхъ-то, мнѣ и жалко. а не то, чтобы которая прямо на тебя намѣревается съ пустяками. Да еще и такъ возьмете:

ну, пушай онъ ее бьетъ тамъ, за косы рветъ, всячески издѣвается—такъ вѣдь со мной-то она не одна! Вѣдь на мельницѣ я существую! Прибѣжить она: «такъ и такъ, то и то!» и плачетъ—такъ вѣдь я ее привѣчаю, всячески дѣлаю ей пріятное. Вывааетъ и такъ, что посоветуемся: «какъ быть?»... «Подари-ко, говоритъ (предположимъ), корову—можетъ онъ поутихнеть, потому и своннымъ дѣтямъ молоко надо»... И только мнѣ скажи, такъ я все тебѣ предоставлю; есть у меня деньги—на, получай, покупай... а нельзя тебѣ со мной на совѣсти жить, или мужа опять полюбила, или онъ самъ потишѣлъ, пьянствовать пересталъ—оставь! Живи по-хорошему—Богъ съ тобой! Я худова никому не согласенъ дѣлать, я и жить-то для худова не согласенъ. «Живи, какъ тебѣ лучше. И мнѣ-то будетъ пріятнѣй. Чего мнѣ насильно-то? Хорошаго народа много! Пошлетъ Богъ, и другая уйдетъ отъ меня не съ худымъ. Я съ тобой такъ же молъ по хорошему норовилъ!»... Ну, а какъ мнѣ разъ попадется баба характерная, да потянетъ словомъ, да захрапнѣтъ, да заругается, да ребенкомъ начнеть въ морду пхать, да почнеть теревить да жаловаться—ну, ужъ этого я окончательно терпѣть не могу! Ту-жъ минуточку—прочъ отъ нея! Даже алтына не дамъ—пошла прочь! Нѣтъ тебѣ отъ меня никакого снисхожденія, пока по совѣсти поступать не станешь: бери отъ меня, что совѣсть дозволяетъ, а словомъ ни во вѣки вѣковъ. Жалуйся! Пускай чрезъ станичное правленіе хоть все мое состояніе взыщутъ, а ко мнѣ на глаза не показывайся: я тебя утѣшать не согласенъ. Иди по начальству!

— А бывало развѣ что-нибудь подобное?

— Какъ не бывало! Иная возьметъ ребенка-то да виѣстѣ съ нимъ эво какого скандалу по всей станицѣ надѣлаетъ! Ну, потомъ конечно образумится, войдетъ въ понятіе, утихнеть: «Прости, говоритъ; нѣтъ-ли молъ муки мнѣ?»—«Муку-то, говорю, возьми—на, а ко мнѣ на глаза не показывайся!» Теперь вотъ всѣ довольны; сколько земли-то черезъ мой характеръ получили! А то какъ не бывало!.. Одна вдова разыгрывала со мной такую игру—думаю, живъ не останусь. Точно, полюбила она меня крѣпко, надо ужъ говорить правду, по совѣсти сказать, мы и сейчасъ съ ней живемъ, какъ мужъ съ женой: двое у насъ мальчиковъ, третья дѣвочка... Нотолько случилось однажды такъ, что рванула она меня за живое мясо не по-сестринному! Слава Богу, теперь все прошло, а горячаго я все-таки отъ нея хлебнулъ порядочно! И вотъ какъ это было дѣло: познакомился я съ ней на свадьбѣ у одного казака: вижу, сидитъ самая пріятная женщина. Думаю: ахъ, какая она пріятная! И такъ мнѣ захотѣлось взять ее въ мои пріятные друзья! Помаленьку-полегоньку, такъ и сажь, словечко по словечку, расчувствовалъ-таки я ей душу; стала она мнѣ довѣрять. «Тебѣ, говорю, одной трудно, а мнѣ, говорю, одному холодно; будемъ жить какъ братъ съ сестрой; хлѣба у меня много, деньги есть, что тебѣ понадобится—все дамъ, только спроси. А меня за это самое какъ брата

помни, въ мысляхъ своихъ имѣй и безпокойвайся обо мнѣ какъ о родномъ. Только всего мнѣ и надобно. Такъ мы съ тобой и будемъ жить на бѣломъ свѣтѣ». А совѣсть у нея, у Марьи этой самой, была опрятная, душа совѣстливая, худыхъ мыслей она себѣ въ голову не пускала. Подумала, подумала она. «Хорошо! говоритъ.—Давай такъ жить! будемъ другъ дружкѣ беречь. Такъ-то намъ обоимъ будетъ жить веселѣй!» Ну, поцѣловали другъ дружкѣ для начатія, Богу помолились и стали жить. «У тебя и постели-то нѣту никакой?» Пришла на мельницу, все осматрѣла.—«На тебѣ одѣяло, а подушку послѣ справлю». И подушку справила...—«А тебѣ чего не надо ли!—То-то и то-то, молъ.—На, бери!.. Давай чай пить.—Давай!.. Разсказывай, какъ на свѣтѣ жилъ, что видѣлъ?.. Ну, я ей все подробно, какъ что было съ дѣтства.—А ты какъ?—А я вотъ какъ.—Ну, пора домой!—Пойдемъ, провожу». Ну вотъ, такимъ родомъ... Что она надумаетъ про себя, все мнѣ разскажетъ. Что я надумаю, опять же ей все скажу. На ярмарку ѣдемъ вмѣстѣ; купимъ, что намъ нужно. На богомолье виѣстѣ. По хозяйству что нужно—«приди, помоги!»—Приду... И очень у насъ хорошо шло такъ-то... Живемъ какъ родные—ей точно брата родного Богъ послалъ, а мнѣ родную сестру... Мы жили такъ съ полгода... Ну конечно, сами знаете, что вѣдь тоже люди!.. Какъ же ужъ? Съ теченіемъ времени рождается младенецъ мужского полу. Что-же ничего! Слава Богу, сынъ—царю помочь! Людямъ, конечно, судачать—то, се,—пускай! Ей обидно—я утѣшу; мнѣ отъ этого худо—она придетъ съ мальчишкой—мнѣ и весело... Ну, идетъ время, и замѣчаю я въ моей Марьѣ очень вредный взоръ въ глазахъ, и слова у нея стали не очень простыя... «Что мы, говоритъ, какъ цыгане живемъ, другъ къ другу въ гости ходимъ?» Я говорю: «Что-жъ дѣлать?.. Должность у меня при мельницѣ, оставить нельзя, а тебѣ тутъ и мѣста нѣтъ». Была у нея своя избенка... Постепенно начинаетъ она умудряться на разные манеры. «Коли любишь, такъ женись!» Этакимъ образомъ! Я говорю: «Женишься мнѣ невозможно—земли нѣту, хозяйства нѣту; а коль скоро я женюсь, такъ вмѣсто одного будутъ и другія дѣти—чѣмъ ихъ кормить безъ земли-то? Кабы приказъ вышелъ о нарѣзкѣ... Ну, такъ! А пока, давай жить опять какъ братъ съ сестрой, а мальчишку виѣстѣ будемъ растить. Все, что у меня есть,—все ваше». А вѣдь въ то время я прежнимъ моимъ сестрамъ все нѣтъ-нѣтъ, да дамъ на поправку. Такъ мнѣ невозможно было изъ моихъ средствъ семью заводить и хозяйство. «На мальчонку, говорю, иватитъ, а сами давай какъ братъ съ сестрой»... Ну, однако она что дальше, то хуже. Какой уже тутъ братъ! «Какой ты мнѣ братъ, говоритъ, когда вотъ есть мальчишка, существуетъ? Нешто я сестра тебѣ, когда есть дитя? Что врешь-то?» Я опять же свой резонъ: «Коли бы ежелю вотъ землю»... И не слушаетъ! Ровно помучилась, очумѣла и одурѣла, такъ и лѣзетъ съ ножомъ къ горлу: «женись, дьяволъ!». Ну, а когда со мной такими манерами, такъ ужъ и я дѣлаюсь несогла-

сень. «Пошла, говорю, вонъ, коли такъ!» Она, ни много, ни мало, прямо въ станичное правленіе, въ судъ, жалобу! Засудили меня, засрамили, взыскали сразу четвертную, да каждый мѣсяцъ обязали давать ей по пяти рублей! Все она подвела, подвезла, чтобы меня притиснуть за горло. Не довольно того—является послѣ суда, говоритъ: «Женись, дьяволъ! Деньгами ты меня не укротишь. Сожгу, говорю, тебя и съ мельницей съ твоей вмѣстѣ, и яду, говорю, тебѣ дамъ такого, что въ одну минуту окольнешь, какъ собака!» Ну, тутъ ужъ и я пожаловался на нее въ станичное, а ей самой ружьемъ пригрозилъ: «Покажись, говорю, такъ и шарашу!» Отстала. Канула какъ въ воду. Разрывается моя душа на части, потому я знаю ее совѣсть и поминую, что все это она по любви, а не по злобѣ. Скучно стало мнѣ, и сказать не умѣю какъ. Тяжко! Полгода протянулось, ничего слуховъ нѣтъ, а взысканіе въ станичное идетъ... Только вдругъ, нажданно-негаданно, глядь—и сама пришла! Мальченка на рукахъ; пришла она прямо изъ церкви, причащать его носила, и сама такая румяная, ласковая. Поздоровались, какъ ни чемъ не бывало; рада радехонька! Она и говоритъ: «Ну, говорю, Никитишка, прости меня: дура я была, твоихъ словъ не понимала, а теперь все обдумала и удѣлала свою судьбу по-хорошему. Теперь, говорю, и земля у меня есть, и ребенокъ въ казаки принять, и никакого сраму не будетъ. А жить мы съ тобой будемъ какъ мужъ съ женой, и насчетъ предбудущихъ младенцевъ несколько не опасайся и не беспокойся—всѣ будутъ законные и всѣ казачьего званія». — Какъ же это молъ ты такъ удѣлала?—«А вотъ какъ», говоритъ. И рассказывала она, какъ все это дѣло вышло. Какъ прошли въ ней угаръ и злость, одумалась она, поняла всѣ мои слова и взялась за умъ. Нашла она сваху, а та и сосватала ее нарочно за стараго-престарѣлаго казака, лѣтъ ему подъ шестьдесятъ, одинокій; въ сторожахъ кладбищенскихъ служилъ. Вотъ словили они этого старика, и уломали, и умаслили: «Женись на Марьѣ—свахѣ-то ему—она молъ тебя до конца дней кормить, поить, обувать, одѣвать, покомтъ будетъ; будешь жить какъ въ родномъ семействѣ, а вмѣсто того прикрой стыдъ женскій, а ребенка возьми въ наслѣдники. Чего молъ тебѣ? Ты старый человѣкъ, о грѣхѣ тебѣ и въ умъ не должно вступать, имущества у тебя нѣтъ—чего тебѣ стоить грѣхъ прикрыть, да въ спокоѣ вѣкъ вѣковать?» Не утаили и про меня. Расписали: и онъ бы женился, да не казакъ, хозяйства не на что начать... Все какъ должно. Однимъ словомъ, соблазнили бабы старика. «Ладно, говорю, псовки, сдѣлаю я вамъ доброе дѣло, а вы меня покойте съ твоими любезными...» Попъ-то не хотѣлъ было вѣнчать, да тоже понялъ, когда бабы ему надрезали про меня... Понялъ. Хорошій у насъ попъ, понимаетъ все по человѣчеству... Повѣнчалъ. Ну вотъ, теперь и живемъ съ ней...

— А старикъ?

— А старикъ ни въ чемъ не касается... Корнимъ его, поимъ, угрождаемъ, а онъ ребятъ на себя

записывается... «Пиши, говорятъ, Никита, ничего! пиши въ казаки, все царю помочъ!» Теперича я какъ отработаюсь на мельницѣ, такъ и домой... къ ночи всегда домой... Ну, а ежели здѣсь почувешъ, такъ тоже нельзя не подсобить: хозяева, да къ тому же и люди хорошие, нельзя! Надо жить дружно... И старикъ ничего, хоть иной разъ злые люди его и подбиваютъ на худое; иной разъ наслушается ихъ, да и захрапится. Однава пьяный—«откажусь, говорю, отъ дѣтей!.. не мон!» А то, такъ вотъ какъ злодѣи подвели: насовѣтовали такъ: «Ты, говорятъ старику-то, второго ребенка воспитывай какъ родного сына, а про прочихъ говори ему, второму-то, про родныхъ его братьевъ, что они незаконные; вотъ онъ этой бабѣ-то, обманщицѣ, которая молъ тебя, стараго дурака, окрутила, да заставила своего любовника прикрывать—онъ-то и отомститъ ей за все!» Это слѣдовательно родной сынъ да родной матери отомститъ! Вотъ вѣдь змѣя какія есть между людьми крещеными! И иной разъ такъ еще разожгутъ старичишку—напоятъ его, доведутъ, что кричать: «эй! жена! иди молъ ко мнѣ—я мужъ!» Ишь, подлецы какіе! Ну, только я ужъ этого не дозволю. «Только, говорю, посмѣй—тутъ тебѣ конецъ на вѣки вѣковъ. А хочешь, жить по честности—все тебѣ будетъ». Ну, подурить-подурить—перестанетъ... Да не умираетъ что-то, старый песь! Коли бы умеръ, такъ ужъ я бы мельницу-то покинулъ да къ Марьѣ какъ-нибудь, жить вродѣ работника въ домѣ, примостился. Земли у насъ теперь на три души наръзано, слава Богу!.. Кабы ежели бы варьзка раньше была, такъ оно не такъ бы было... А то ужъ про меня галдѣли-галдѣли, хаяли-хаяли... А что я, чѣмъ виновенъ?

Такъ вотъ сколько разнаго рода людей пришлось мнѣ увидѣть только на первыхъ порахъ моей поѣздки! А за этими первыми днями пошли все такіе же разнообразныя и любопытныя дни, недѣли.

На слѣдующей остановкѣ слышу длинную и трогательную исторію молодой жены, брошенной мужемъ съ двумя дѣтьми и одиноко борющейся за свое существованіе; на слѣдующемъ ночлегѣ покинутый женою мужъ рассказываетъ мнѣ трогательную исторію на самую современную тему: «ушла жена», и такъ далѣе, каждый день, при каждой остановкѣ, ночлегѣ, встрѣчѣ, при каждомъ малѣйшемъ столкновеніи съ случайно нужными или просто встрѣчными людьми. Всѣ неурядицы, всѣ горести, тяготы и въ то же время всѣ неудовлетворенныя желанія—мечтанія Великой, Малой, Бѣлой Россіи—всѣ принесены сюда на новыя мѣста выходцами, и на нихъ, какъ на «образчики», можно ознакомиться довольно основательно со всѣмъ, чѣмъ «живетъ» современная Россія. Нужны какія-нибудь особенныя побужденія, чтобы человѣкъ бросилъ родину, знакомыя, родныя мѣста и ушелъ бы искать счастья на чужой сторонѣ; такой человѣкъ идетъ съ своимъ горемъ, съ своимъ планомъ, съ своей фантазійей, и поэтому всѣ эти люди разнаго

званія, будучи образчиками общихъ условій русской жизни, въ то же время оригинальны каждый на свой образецъ. Неудивительно поэтому, что нѣсколько дней пребыванія среди такихъ оригиналовъ, постоянно знакомившихъ меня съ самыми оригинальнѣйшими біографіями, настолько отучили мое вниманіе отъ явленій обыденной жизни, что я помимо воли сталъ задавать себѣ вопросъ: «какой-то оригиналъ мнѣ теперь попадется?» — всякій разъ, когда приходилось вѣзжать въ новую станицу, на новый постоянный дворъ или даже просто садиться въ новый фургоны.

II.

Именно вотъ такой-то вопросъ задалъ я себѣ и тогда, когда пересѣлъ съ парохода, доставившаго меня въ одно мѣстечко на черноморскомъ побережьи, на фелюгу, которая должна была перевести меня съ вещами на берегъ. Сидя на этой фелюгѣ и любясь видомъ приближавшагося берега, на которомъ чуть-чуть были замѣтны очертанія чего-то живого, а по привычкѣ и вполнѣ безсознательно спросилъ себя:

— Какихъ-то теперь оригиналовъ пошлетъ мнѣ судьба въ этихъ новыхъ мѣстахъ?

И едва я подумалъ и сказалъ это, какъ «оригиналы» немедленно же предстали передо мной въ весьма значительномъ количествѣ, и притомъ совершенно новаго, особеннаго качества. Начался «мечтатель», «утопистъ», «фантазеръ».

Часа черезъ два по прѣздѣ въ «мѣстечко» мнѣ пришлось вѣхать на маленькомъ частномъ пароходѣ, которымъ управлялъ молодой семнадцатилѣтній мальчикъ. Съ первыхъ словъ оказалось, что мальчикъ проникнутъ ученіемъ Л. Н. Толстого, что онъ нарочно прѣхалъ сюда на побережье, чтобы здѣсь начать жить трудами своихъ рукъ, въ чемъ онъ и нашелъ поддержку со стороны одного лица, преданнаго тому же ученію. Это первая встрѣча.

На слѣдующій день фелюжникъ Мустафа, обезьяноподобный турокъ-лодочникъ, сидя у руля своей фелюги, медленно подвигавшейся по неподвижному морю, доставляя меня и одного молодого человека къ нашимъ общимъ знакомымъ, ломанымъ русскимъ языкомъ, коверкая имена и фамиліи, рассказывалъ мнѣ длинную исторію про какихъ-то «Миколаичей», которыхъ онъ очень хвалилъ и вспоминалъ о которыхъ, закрывая глаза, причмокивалъ, покачивая головой. Эти «Миколаичи» были «господа», но жили здѣсь лѣтъ пятнадцать тому назадъ, какъ простые крестьяне:

— Варина рубахъ сама стирала, на море таскала!

И жили эти «Миколаичи» такимъ образомъ именно потому, что были люди хорошіе. По словамъ Мустафы, одинъ изъ этихъ «Миколаичей» задумываетъ творить на этомъ побережьи чистыя чудеса. Начавъ о немъ рассказъ, Мустафа сталъ бормотать вслѣдствіе какихъ-то ямъ съ чѣмъ несообразныя слова:

— Мельница будить вѣтеръ хватать, изъ мель-

ницы будить огонь въ проволоку бѣжать и масло бить!

Во время этого разсказа обезьянье лицо его разгорѣлось, онъ мазалъ руками, повидимому изображая мельничныя крылья, пыталъ, потѣлъ — и все-таки я бы ровно ничего не понялъ, если бы впоследствии одинъ изъ мѣстныхъ аборигеновъ (разумѣется, «оригиналъ») не объяснилъ мнѣ, въ чемъ дѣло.

Оказалось, что этотъ «Миколаичъ» хотѣлъ основать трудовую общину и во всѣ работы, требующія физической силы, ввести силу электрическую, добывая ее силою вѣтра!).

«Миколаичи» жили здѣсь лѣтъ пятнадцать тому назадъ, но и по уходѣ ихъ побережье не оскудѣваетъ всякаго рода Миколаичами. Въ одномъ днѣ пути ко берегу отъ упомянутого выше «мѣстечка» живетъ отставной военный человекъ, изобрѣтающій статистическую машину. Можно будетъ взять на ней, какъ на пѣянино, аккорды извѣстныхъ цифръ по извѣстнымъ вопросамъ, и вмѣсто звука получатся выводы, также цифровые. А въ двухъ-трехъ верстахъ здѣсь семья образованныхъ людей уже устроилась по крестьянски и живетъ трудами рукъ своихъ. Затѣмъ говорятъ о какихъ-то «богочеловѣкахъ», которыхъ пріютилъ фабрикантъ, уступившій имъ лоскутъ земли.

Какъ видите, всѣ эти черноморскіе оригиналы далеко уже не того сорта, какъ оригиналы казакскихъ долинъ и тѣхъ «новыхъ мѣстъ», куда капиталу есть расчесть появиться. Есть расчесть туда появиться и земледѣльцу — земли много; есть расчесть прійти «на новыя мѣста» и аферисту, и темному человѣку вообще, и человѣку рабочему, поденщику, превращающему теперь, благодаря дешевизнѣ своего труда, всякаго казачаго урядника въ помѣщика и «аристократа». Всѣмъ, кому нужны скорыя средства къ жизни, — всѣ таятся туда, на новыя мѣста. Черноморское побережье неудобно для такого сорта людей. Крестьянину нѣтъ даже и земли; капиталисту неохота тратить огромныя капиталы въ ожиданіи отдаленнаго барыша. Аферисту нечего дѣлать съ шакалами — и вотъ сама судьба указала путь на это побережье фантазеру-мечтателю, одинокому человѣку. Сначала сюда пришли административные мечтатели; они и заселяли, и расселяли, и учреждали города, станицы, рыболовство, рыболовство, скотоводство, мореходство и Богъ вѣсть что; за ними пришли практическіе люди, расхватили все побережье и сконфузились. Стали витать надъ побережьемъ какія-то легенды о вольномъ казачествѣ, пришли откуда-то изъ Абиссиніи какія-то мечтанія насчетъ этого самаго побережья и сошлись невидимо съ мечтаніями о томъ же самомъ прежнихъ *Московскихъ Вѣдомостей*, — словомъ, мечтанія, легенды, сказки, проекты, чудеса въ рѣшетѣ рѣяли надъ этимъ берегомъ съ той самой минуты, когда онъ опустѣлъ. А теперь вотъ появились толстов-

¹⁾ Въ настоящее время такіа попытки уже осуществляются на дѣлѣ.

цы, статистическія піанино, вѣтеръ «пускаетъ огонь и бьетъ масло по проволокамъ», затѣмъ богочеловѣки на купеческой землѣ появились, — словомъ, всякая фантазія, всякое мечтаніе продолжаетъ властвовать и царить надъ этимъ пустыннымъ и прекраснымъ берегомъ.

Находясь подъ обаяніемъ этого мечтающаго и полнаго мечтательныхъ воспоминаній берега, сталъ мечтать и я. Сидѣлъ я однажды на берегу моря и возмечталъ:

Почему бы на этомъ пустынномъ, пока никѣмъ не занятомъ берегу не попробовать, въ самомъ дѣлѣ, осуществить мечтаніе о трудовой жизни въ видѣ *школы всесловной*, изъ которой человѣкъ могъ бы выйти не въ работники куда-нибудь и на кого-нибудь, а прямо могъ бы сѣсть на этой же землѣ *хозяйнома*? Хозяинъ-мужикъ страдаетъ отъ невѣжества, отъ незнаціи, отъ тяжести, неуклюжести труда — почему же не попробовать образовать человѣка, живущаго по тому же мужицкому хозяйскому плану и типу, но снабженнаго всѣми облегчающими каторжную сторону труда знаніями? Вѣдь теперь машина служить только грѣховоднику-капиталу и убиваетъ человѣка въ рабочаго. Не можетъ ли она, эта машина, приспособить себя къ облегченію жизни каждаго трудящагося человѣка? Соха, борона, коса, шило, топоръ — все это машины въ крестьянскомъ хозяйствѣ, средства облегченія труда. Неужели же на этомъ и окончится пришествіе въ крестьянскій домъ всего, что облегчаетъ крестьянскій трудъ?

Всѣ существующія въ настоящее время учебныя заведенія имѣютъ въ концѣ-концовъ цѣлью выработать человѣка *служащаго* — все равно государству ли, обществу ли, капиталу ли; но кто же не согласится, что, несмотря на незначительныя ограниченія въ количествѣ желающихъ поступить въ эти учебныя заведенія, — людей, стремящихся существовать службою и жалованьемъ, несравненно болѣе, чѣмъ могутъ поглотить всѣ существующія государственныя, частныя и общественныя учрежденія, требующія слугъ, работниковъ? Не говоря объ огромномъ количествѣ образованныхъ людей, бывшихъ безъ мѣста, какъ рыба объ ледѣ, которыми переполнены всѣ города и веси, — сколько смертей, сколько самоубійствъ ежедневно совершается на нашихъ глазахъ единственно изъ невозможности *существовать*, т. е. пить и ѣсть, и кому же? — человѣку образованному. Недавно, кажется въ Ковно, портные и другіе мастеровые хоронили въ складчину умершаго почти съ голоду гимназиста. Другой гимназистъ, сколько помню въ Динабургѣ, повѣсился отъ невозможности существовать. Нѣкоторое время его въ складчину содержали какія-то арфистки, помогая изъ своихъ горько-трудовыхъ копѣекъ; гимназистъ, лишившись этой послѣдней помощи и не видя ни откуда ни малѣйшей надежды на поддержку, повѣсился на деревѣ, а за нимѣишемъ бумага и чернилъ, мѣломъ написалъ на заборѣ укоризненное для общества объясненіе своей смерти. Но та часть этого интеллигентнаго *служащаго* пролетаріата,

которая, несмотря на всѣ невзгоды, все-таки кое-какъ устранивается и, такъ сказать, заставляетъ общество поглотить себя и дать средства къ существованію, обречена существовать только народнымъ разстройствомъ и непорядками народной жизни юрискъ, которому нѣтъ мѣста въ городѣ, проникаетъ въ деревню, заводитъ здѣсь кляузу и кормитъ этимъ свою семью, т. е. онъ существуетъ только потому, что пользуется неурядицей въ народной средѣ, и такъ какъ онъ съ этой неурядицы беретъ средства къ жизни, то-есть отнимаетъ ихъ у разстроившихся въ хозяйствѣ людей, то онъ и потомство, которое онъ народитъ, должны для продолженія своего существованія рассчитывать также прямо на кляузу, на расширение народнаго разстройства, которое имъ и дается именно средства къ существованію. Разстройство же народной среды отражается обиліемъ крестьянскаго пролетаріата, который, проникая въ города, образуетъ босые команды; эти команды требуютъ расширения тюремъ, увеличенія полиціи, размножаютъ *дѣла* въ судахъ, и это размноженіе размножаетъ служащихъ, размножаетъ расходы; служащіе размножаютъ свое поколѣніе, а оно требуетъ новыхъ служебныхъ мѣстъ и жалованій.

Такимъ образомъ разстройство народныхъ массъ находится въ весьма тѣсной зависимости отъ обилія служебнаго пролетаріата, растущаго съ каждымъ годомъ во всевозможныхъ, дурныхъ и хорошихъ формахъ, вопли однако же одинаковыхъ въ средствахъ жизни: для худыхъ и хорошихъ цѣлей средства берутся все-таки съ трудящагося человѣка. Между тѣмъ уже и въ этомъ самомъ «служащемъ» сословіи не разъ уже высказывалась мысль о земельномъ надѣлѣ, какъ о самомъ правильномъ выходѣ изъ затруднительнаго матеріальнаго положенія и какъ о возможности не чувствовать себя всю жизнь «неправедно» живущимъ. Недавно поднятъ былъ вопросъ о землѣ сельскими учителями. И если бы ему было дано какое-нибудь практическое осуществленіе, то несомнѣнно, что о землѣ завопили бы и другія безчисленныя служебныя профессіи, прокармливаемыя теперь свои семьи единственно народнымъ разстройствомъ. Мы могли бы привести здѣсь множество подлинныхъ документовъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что жажда «земли» и желаніе жить земледѣльческимъ трудомъ, т. е. желаніе уйти отъ всякаго рода наемной, поденной работы, до чрезвычайности сильно развиты во всѣхъ классахъ служебнаго сословія. Были примѣры и есть сейчасъ, когда адвокатъ бросаетъ практику и идетъ пахать; и совѣсть его покойнѣе, да и жизнь независимѣе, а то живи и корми семейство кляузой!

Обыкновенно всѣ попытки въ такомъ родѣ пока оставались безъ особенно благоприятныхъ результатовъ, но это происходило потому, что «единица» не подѣ силу поднять на свои плечи такое важное общественное дѣло.

Намъ скажутъ: никто не запрещаетъ жить трудами рукъ своихъ — иди на базаръ, напимайся

въ работники, спи подъ заборомъ, ѣшь сѣрыя щи, кто тебѣ мѣшаетъ? Но именно эти-то ужасы, которыми обставленъ трудъ, — ужасы, непосредственно происходящіе отъ того, что непроизводительно сидящіе на народной шеѣ массы служебнаго пролетаріата, существующіе только при неурядицѣ въ народной жизни, доводятъ трудового человѣка до безвыходнаго состоянія и выбрасываютъ его на толкучку голоднаго и холоднаго, — эти ужасы-то страшатъ, пугаютъ людей, выросших не въ народной средѣ. Если бы трудовая жизнь имѣла не такой ужасный видъ, какъ теперь, повѣрьте, что всѣ эти судебные пристава, становые и т. д., и т. д. охотно бы предпочли жить на свѣтѣ въ качествѣ самостоятельныхъ хозяевъ и не показывали бы своей энергіи при описи крестьянскаго имущества, необходимой имъ для того, чтобы обезпечить свои семейства и чтобы не пустить своихъ дѣтей на толкучку продаваться въ работники.

Школа, о которой я возмечталъ, *должна устроить въ общественномъ сознаниіи весь ужасъ, соединенный теперь съ представленіемъ о трудовомъ существованіи.* Она должна показать, что жить на свѣтѣ, совмѣщая въ себѣ службу и хованія, прекрасно, благородно и не въ примѣръ чаще заработка помощью процентовъ съ описываемаго у мужиковъ имущества за долги купчихкѣ Полумордову. Она должна показать, что трудовая жизнь — не подвигъ вродѣ монашескаго, не страданіе, не искупленіе грѣховъ, не сѣрыя щи, не дизентерія, не переломленная спина, а самая правильная, совѣстливая, независимая жизнь, дающая полный просторъ всѣмъ сторонамъ духовной дѣятельности человѣка.

Кавказское побережье имѣетъ всевозможныя удобства именно для открытія школъ, въ которыхъ можно практиковать всевозможные роды труда: прекраснѣйшія долины между горъ, чрезвычайно удобныя для школъ хлѣбопашества, т. е. для того, чтобы выучиться этому труду не изъ-подъ палки и не изъ крайней нужды, а такъ же тихо, спокойно, какъ любая профессиональная школа выучиваетъ какой-нибудь специальности своихъ питомцевъ. Здѣсь возможна культура табака, винограда и слѣдовательно винодѣліе, садоводство; лѣса — это источникъ всякихъ кустарныхъ промысловъ изъ дерева. Есть желѣзо, есть другіе металлы. Въ лѣсахъ птицы, звѣри; въ морѣ — рыбы. Размышляя на эту тему, не трудно представить себѣ, какъ было бы хорошо, если бы наши города, земства, благотворительныя заведенія, морящія сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей въ клѣтункахъ своихъ мизерныхъ пріютовъ для того, чтобы, доведя ихъ до малокровія, пустить потомъ безпомощными на всѣ четыре стороны, наконецъ лица, расточающія массу денегъ на всевозможныя, не приносящія никому никакой существенной пользы, пособія — если бы всѣ они, разобравъ этотъ берегъ по рукамъ, основали разнообразныя школы возможнаго здѣсь труда, давъ средства входить туда дѣтямъ всѣхъ сословій, съ тѣмъ, чтобы, вы-

учившись тому или другому роду труда, они прямо здѣсь же, на этомъ же побережьи, сажались на самостоятельные участки, которые и выкупали бы такъ же, какъ крестьяне выкупаютъ свой надѣлъ.

Знаніе такъ уже дало много въ помощь и облегченіе человѣку, изнемогающему подъ бременемъ труда, что въ этихъ образчикахъ трудовых школъ должно быть примѣнено все, что отнимаетъ у труда ужасныя его черты, — черты, пугающія непривычнаго человѣка и заставляющія его избрать какой-нибудь темный путь для обезпеченія своего существованія, вѣсто того, чтобы жить такъ, какъ велитъ совѣсть, никогда не мирящаяся ни съ какими темными дѣлами, хотя и покоряющаяся необходимости дѣлать ихъ.

Устраняя каторжную сторону труда, школа, выпускающая своихъ питомцевъ прямо на землю и на трудъ, безъ сомнѣнія должна давать и общее образованіе, причемъ въ основаніе его «община», «артель», «товарищество» должно быть положено, какъ самое существенное *дѣло науки.* Надо учить общиннымъ идеямъ, нужны доказать ту глубину правды, которая въ этихъ идеяхъ заключается — словомъ, *школа должна взять всю сущность трудовой народной жизни и устроить отъ нея всѣ тѣ ужасы и недостатки, которые происходятъ отъ обремененія народныхъ массъ паразитнымъ существованіемъ не трудящагося пролетаріата.* Вѣдь все это необходимо нашему народу. Если «опытъ» такого рода не будетъ совершенъ на общественныя средства, то когда же въ домъ къ нашему крестьянину придутъ наконецъ облегчающія его трудъ знанія?

Неужели мы, имѣя такіе удивительные образчики подлинно-справедливой, здоровой, веселой жизни, которую живетъ (конечно въ счастливыхъ случаяхъ) нашъ народъ, неужели мы, видя, какъ въ европейской жизни измученный человѣкъ начинаетъ выбиваться изъ тяготы существованія къ тѣмъ же самымъ формамъ жизни, никогда и ничего не извлекаетъ практически-важнаго для человѣка, общества, человечества и, мучаясь неправдой, будемъ продолжать смотрѣть на то, какъ неправда безъ всякой надобности разѣдваетъ здоровое народное тѣло и нашу уже нездоровую интеллигентную душу? Неужели наша русская мысль, имѣющая такую огромную массу ежедневнаго матеріала въ живой народной жизни, доказывающаго ей, какъ дважды-два, возможность *независимаго* существованія, не будетъ настолько оригинальна, настолько добросовѣстна, чтобы воспользоваться этимъ драгоценнымъ образчикомъ независимой жизни, постоянно видимымъ нами, и не положить этого образчика въ основаніе *воспитанія* молодого поколѣнія, т. е. не сдѣлаетъ попытку ободрить непривычнаго къ труду — для трудовой жизни?

III.

На этомъ окончились мои умѣренные фантазіи и мечтанія. На этомъ же оканчиваются и повѣствованія обо всемъ случайномъ, объ оригиналахъ,

оригинальныхъ біографіяхъ и, къ сожалѣнію, начинается повѣсть о томъ, что есть въ дѣйствительности... Повѣсть эта такъ невесела, тягостна, что, признаюсь, мнѣ очень-очень горько разставаться съ фантазерами и какъ съ своими, такъ и съ чужими фантазіями. Но дѣлать нечего, надобно разстаться и съ тѣми, и съ другими: дѣйствительная жизнь такъ громко кричитъ о неправдѣ и злѣ, что не слышать этого крика или успокоивать себя фантазіями—невозможно. Надобно говорить о томъ, о чемъ говорить дѣйствительность.

V. Человѣкъ, природа и бумага.

I.

«Дѣйствительность» прежде всего начала разрушать во мнѣ какъ-разъ именно тѣ веселыя мечтанія и фантазіи, которыя овладѣли мною послѣ веселой встрѣчи съ переселенцами. На дѣлѣ переселенческое движеніе далеко не поощряло къ мечтаніямъ; все, что приходилось мечтать о немъ, наводило на мрачныя мысли и почти ничѣмъ не радовало.

Я не буду утомлять читателя пересказомъ этихъ невеселыхъ мыслей и обращаю вниманіе только на слѣдующее соображеніе: всякій разъ, когда дѣло идетъ о томъ же самомъ явленіи, но не у насъ, а за нашею «границей», и когда переселеніе именуетъ по-иностраниному «эмиграціей», а переселенецъ называется «эмигрантомъ», для всѣхъ насъ, даже для послѣдняго волостного писаря, это народное движеніе дѣлается совершенно понятнымъ, яснымъ, имѣющимъ совершенноопредѣленный смыслъ и наводящимъ на мысль о самыхъ реальныхъ мѣропріятіяхъ, которыя это явленіе вызываетъ. Всякій знаетъ, что эмигрантъ уходитъ отъ тѣсноты, что ему нужно перебраться океанъ, что для этого нуженъ пароходъ, и притомъ дешевый, потому что эмигрантъ бѣденъ, что по прибытіи на мѣсто, гдѣ эмигрантъ оказывается среди чужихъ людей, не зная ни языка, ни условій жизни, онъ нуждается въ поддержкѣ государства, въ указаніи наилучшихъ средствъ къ устройству на новыхъ мѣстахъ. Слово «эмигрантъ» понятно для всѣхъ насъ совершенно и возбуждается соображенія вполнѣ точныя, опредѣленныя, вполнѣ свойственныя «здравому уму» человѣческому. Но какъ только слово «эмигрантъ» зашлѣнется въ нашей мысли и сознаніи словомъ «переселенецъ», такъ тотчасъ-же насъ покидаетъ способность руководствоваться здравымъ смысломъ. Становой приставъ ничего не можетъ больше придумать, какъ донести о своевольномъ уходѣ съ мѣста жительства, интеллигентный человѣкъ начинаетъ раздирать свои ризы, рыдая о гибели народныхъ массъ, и даже коммерческой человѣкъ, тотъ, что въ Европѣ наживаетъ деньги на перевозкѣ тысячъ пассажировъ-эмигрантовъ, на отдачѣ имъ въ Америкѣ участковъ земли, на чемъ онъ опять-таки наживаетъ и тѣмъ раститъ свой капиталъ, — даже этотъ хищный глазъ оказывается

совершенно ослѣпшимъ, не видящимъ въ этомъ движеніи ничего для себя существеннаго. Накупивъ сотни тысячъ десятинъ отъ помѣщиковъ, онъ закладываетъ землю по тремъ закладнымъ, ломается, мошенничаетъ и только при всякихъ ухищреніяхъ плутовства успѣваетъ перевести на жену и на какую-нибудь частицу наворованнаго капитала, тогда какъ по его же пустопорожней землѣ идутъ, какъ тѣни, полуголодные толпы людей, ищущихъ и жаждущихъ этой же самой земли, которые ее оплодотворили бы, оживили, отъ которой расцвѣли бы сами и дали бы возможность владѣльцу прожить на свѣтѣ безъ помощи «скамышъ подсудимыхъ».

Вотъ примѣръ «заграничной» переселенческой операціи. Эмигрируютъ въ Америку изъ нашей Екатеринославской губерніи менониты, и разъ они *эмигранты*, а не переселенцы, дѣло происходитъ самымъ понятнымъ здравому человѣческому разсудку образомъ. Нуждаясь въ землѣ, они выбрали человѣкъ пять ходоковъ и отправили ихъ не на Бѣлыя Воды, дорога куда почему-то полагается идущею черезъ Москву и Вологду, а именно туда, куда слѣдовало, — въ Гамбургъ, гдѣ стоитъ эмигрантскій пароходъ. Купецъ взялъ съ нихъ деньги и привезъ въ Америку. Въ Нью-Йоркѣ объ участіи нашихъ менонитовъ позаботился муниципалитетъ. Тотчасъ по ихъ приѣздѣ онъ пріютилъ ихъ въ общественномъ зданіи, гдѣ они могли дожидаться частныхъ предложеній отъ продавцовъ земли, не разыскивая ихъ ошущю черезъ вѣстичныхъ и поперечныхъ. И вотъ одно желѣзно-дорожное общество, желающее, чтобы его желѣзная дорога возила людей и товаръ, а не гремѣла только пустыми вагонами, предложило имъ землю на условіяхъ, также доступныхъ пониманію, если только найдешь въ здравомъ умѣ. Канзасская желѣзная дорога отвела имъ нѣсколько сотъ десятинъ земли близъ самой линіи дороги, по девяти акровъ на хозяйство и по 10 долларовъ за акръ, съ разсрочкой на 10 лѣтъ. Кроме того желѣзно-дорожная компанія обязалась выстроить имъ два помѣстительныхъ дома, чтобы они не остались подъ открытымъ небомъ тотчасъ по приѣздѣ съ семьями на чужую сторону. Тѣмъ же путемъ ходки возвратились на родину, Христовымъ именемъ нагдѣ не просили, и, взявъ семьи, благополучно доѣхали до новыхъ мѣстъ, гдѣ дѣйствительно уже ожидали ихъ два, выстроенныхъ дорогой, помѣстительныхъ дома.

Такъ происходитъ «за границей» дѣло переселенія, именуемое «по-заграничному» — эмиграціей. Та же самая эмиграція, именуемая на Руси *переселеніемъ*, происходитъ совершенно не такъ. *Выгода, матеріальная польза*, которую мы видимъ въ дѣлѣ «эмиграціи», рѣшительно отсутствуетъ въ нашемъ «переселенческомъ» дѣлѣ; гамбургскіе корабли ждутъ переселенцевъ, потому что это выгодно; нью-йоркскій муниципалитетъ, также изъ-за выгоды не имѣетъ въ городѣ массу безпріютнаго народа, устраиваетъ имъ даровыя помѣщенія; желѣзно-дорожныя компаніи, также единственно изъ

желанія нѣтъ пассажировъ и товары, уступаютъ переселенцамъ земли и облегчаютъ возможность поселенія. Все здѣсь одинъ голый расчетъ, основанный однако же на удовлетвореніи извѣстныхъ надобностей человѣка.

Въ ходѣ же нашего переселенческаго дѣла и устройства народныхъ массъ, ищущихъ земли и труда, какъ разъ и не видно даже этого простого и яснаго расчета, пониманія простой выгоды того, что постановка этого дѣла на практическую почву общественной пользы есть именно то, что во всякомъ случаѣ необходимо сдѣлать безъ отлагательства. Въ настоящее время уже есть всякаго рода «мѣропріятія», но кто же не знаетъ, что переселенецъ продолжаетъ и сейчасъ плутать безъ пути и дороги? И въ то же время нѣтъ въ Россіи человѣка, который бы не понималъ, что дѣло это серьезное, важное... Нигдѣ такъ не скорбятъ о народѣ, объ его разстройствѣ, какъ именно у насъ; нигдѣ его не боготворятъ такъ, какъ у насъ же, и нигдѣ не мечтаютъ объ его благѣ съ такимъ подлиннымъ безкорыстіемъ, какъ опять же именно у насъ. «Народъ», «народное благо» и «благоустройство» не сходятъ съ нашего языка цѣлые десятки лѣтъ, и безчисленные «проекты» всякаго рода патріотовъ, имѣющихъ доступъ туда, гдѣ эти проекты принимаются, ничего много не трактуютъ, какъ все то же самое народное благо. Сколько у насъ суеты, скорби, переписки, и все о томъ же народномъ благѣ—этого невозможно ни описать, ни пересказать, и все-таки никакого реальнаго, практическаго дѣла изъ всѣхъ этихъ скорбей о народѣ не выходитъ: общество продолжаетъ скорбѣть, проекты продолжаютъ писаться, мѣропріятія принимаются, а все-таки никто не можетъ по совѣсти сказать, чтобы все это было даже похоже на дѣйствительное дѣло. Чего то маленькаго, но самаго главнаго не хватаетъ во всѣхъ этихъ скорбяхъ и беспокойствахъ о народѣ, чтобы они преобразились въ дѣйствительную заботливость объ устройствѣ народныхъ массъ... Нѣтъ спички, чтобы зажечь лучину и поставить самоваръ,—а то рѣшительно все есть для того, чтобы хорошо «поить чайку»: и самоваръ полонъ воды, и вычищенъ такъ, что горитъ, какъ жаръ, и угольевъ тѣна въ корзинѣ рядомъ съ самоваромъ, и чай уже положенъ въ чайникъ, и сахаръ есть... Все есть, нѣтъ только спички для того, чтобы зажечь лучину и оживить весь этотъ самоварный матеріалъ... И для народнаго дѣла все у насъ есть въ полномъ разбѣрѣ: есть и нужда въ землѣ, есть и безконечныя свободныя пространства земли, есть и истинная скорбь о народѣ, и истинное желаніе сдѣлать добро... А вотъ спички-то, которая нужна для оживотворенія всего этого матеріала жизни, дѣйствительно живого дѣла, ея то и нѣтъ...

Никогда бы я не рѣшился говорить о такихъ скучныхъ и тягостныхъ особенностяхъ русской жизни и томить ими читателя, если бы мнѣ совершенно случайно не пришлось встрѣтиться съ однимъ изъ старыхъ моихъ пріятелей, который, въ разговорѣ объ этихъ же скучнѣйшихъ вопросахъ, не

только сдумѣлъ вывести ихъ изъ области присущей имъ скуки и тоски, но, къ удивленію моему, нашелъ возможность толковать о нихъ въ самомъ юмористическомъ тонѣ. Благодаря только этой счастливой случайности, я и рѣшаюсь еще разъ коснуться того же темнаго дѣла, не впадая однако въ заунывный тонъ.

II.

— Такъ ты желаешь знать, говоритъ мой пріятель,—почему вотъ этой самой спички-то нѣтъ?

— Да. Отчего нѣтъ этой спички?

— По твоему выходитъ, что у насъ есть все, чтобы чаю попить «вволю», т. е. чтобы добро вышло? И самоваръ, и вода въ немъ, и уголья, и чай, и сахаръ, да спички-то нѣтъ, и чаю поэтому напиться нельзя?

— Совершенно вѣрно! А ты развѣ иначе думаешь?

— Нѣтъ, и я такъ-же полагаю... Я только для вѣрности переспрашиваю, о томъ ли я думаю, о чемъ ты то говоришь. Вижу, что о томъ, и вотъ что я надумалъ объ этой самой спичкѣ.

Пріятель мой крѣпко понохалъ табакъ, помолчалъ, сообразилъ что-то и сказалъ:

— Тебѣ вѣдь извѣстно, что я иной разъ пописываю кое-что?

Мнѣ это было извѣстно: не разъ черезъ меня въ редакцію передавались *начала* его большихъ трудовъ и черезъ меня же ему возвращались. Обыкновенно передавалась только *первая глава* обширнаго труда, а содержаніе остальныхъ шестидесяти девяти главъ излагалось въ видѣ конспекта, въ концѣ котораго авторъ обыкновенно сообщалъ редакціи, что за обработку этихъ шестидесяти девяти главъ онъ приметъ не иначе, какъ по одобреніи редакціей идеи его труда, изложенной въ программѣ. Такъ какъ редакція этой программы обыкновенно не имѣла времени просмотрѣть, то на первой главѣ надписывала роковое «возвратить», и шестидесять девять главъ никогда оканчиваемы не были, а вѣсто нихъ, чрезъ годъ или два, являлась новая первая глава новаго обширнаго труда.

— Какъ же мнѣ не знать? отвѣтилъ я пріятелю.—Очень знаю!

— Такъ вотъ я, года полтора тому назадъ, и задумалъ написать о Россіи и о русскомъ народѣ... нѣчто обширное... Объять, такъ сказать, задумалъ я всю массу разнообразѣйшихъ особенностей русскаго быта... Затрудняло меня только заглавіе—слишкомъ ужъ много содержанія надобно было включить въ него. Но наконецъ, думаю себѣ, если я окрещу мое твореніе, назвавъ его «Русскій *человѣкъ* и русская *природа*», то на разстояніи этихъ двухъ точекъ можетъ умѣститься и все прочее разнообразіе явленій жизни, всегда прикосновенныхъ и къ одной точкѣ, и къ другой... И въ европейской литературѣ также названія подобнаго рода трудовъ часто исчерпываются только этими двумя словами: «Природа и человѣкъ» или «Отношенія человѣка къ природѣ». Ну, словомъ, въ этомъ родѣ. Не знаю, такъ ли, нѣтъ ли, но я все-таки

взялъ перо и начерталъ: *Человекъ и природа*— конечно русскіе—и принялся за дѣло... Но какъ тебѣ покажется? Вижу, чувствую, что есть въ общей картинѣ нашей жизни нѣчто такое, что иной разъ совершенно нарушаетъ всякіе законы природы и совершенно неожиданно ставитъ человека въ невозможное положеніе. Есть нѣчто такое, что, вторгнувшись между человекомъ и природой, произведетъ необыкновенную путаницу и тамъ, и тамъ, и главное, когда дѣйствіе этого неожиданно вторгнушагося таинственного элемента прекратится, не оказывается никакой возможности понять, во имя какихъ цѣлей произошло это вторженіе. Думалъ, думалъ я, потѣлъ, потѣлъ, наконецъ вижу... Нѣтъ! Нельзя мнѣ именовать свое сочиненіе только двумя словами: «Человекъ и природа», а надобно прибавить къ нимъ и третье, самое важное, и тогда опредѣленіе моей задачи будетъ полное...

— Какъ же ты придумалъ?

— А придумалъ я такъ: «Человекъ, природа и... бумага!»—да, вотъ подлинное указаніе на самую существенную, исходную точку всѣхъ тайнъ нашей жизни.

— Откопалъ же штуку, нечего сказать!

— И откопалъ! Дѣйствительно, добрался до самой сути... *Бумага!*— вотъ это и есть самый центр!

— По твоему, прервалъ я его, бумага-то и есть центръ зла? По твоему, значить, мы духовно мертвы только потому, что свертъ и тлѣнь въ нашу совѣсть вносятъ бумага? Да можешь ли ты это даже думать?

— Напротивъ! Никогда ничего подобнаго мнѣ и въ голову не приходило. Чтобы бумага наша когда-нибудь вокругъ себя разсѣвала зло? Никогда! Я положительно утверждаю, что эта могущественная сила постоянно блистала полнымъ отсутствіемъ даже самой тѣни какихъ-нибудь злоумышленныхъ цѣлей. Напротивъ, въ ней всегда писалось, чтобы люди жили «какъ лучше», она постоянно *предусматривала* всевозможныя случайности нашей ничтожной обывательской жизни и предостерегала отъ нихъ. Еще на-дняхъ я читалъ приказъ по полиціи—не опускать у магазиновъ маркизы ниже трехъ съ половиною аршинъ, потому что третьяго дня одинъ прохожій, задумавшись, повредилъ себѣ лобъ, т. е. стукнулся о раму маркизы... Извозчики, прежде нежели выльзти изъ саней и потоптаться на тротуарѣ, чтобы согрѣться, должны узнать у городского, сколько градусовъ мороза! При десяти градусахъ они не могутъ выльзти изъ саней и слѣдовательно не могутъ «погрѣться», и только на одиннадцатомъ имъ разрѣшено начать грѣться какими угодно способами. Когда же до «свѣдѣнія дошло», что городовые начинаютъ брать съ извозчиковъ взятки за прибавку градусовъ, и когда самъ г. приставъ собственными ушами слышалъ, какъ городской Семеновъ сказалъ извозчику: «Ну, поезъ съ тобой, неси сороковку! Накину я тебѣ, дураку, градуса пожалуй на два!»—то тотчасъ же явился циркуляръ, разблачающій всѣ эти злоупотребленія, отрѣшающій

виновныхъ отъ должностей и прочее... Словомъ, всякая въ буквальномъ смыслѣ бумага стремится совершить только добро и только печется о человекахъ...

— Ну стало-быть виноваты кто-то другой, а не бумага. Зло стало быть вовсе не въ ней. Она добро?..

— Да!

— И изъ нея выходитъ однако же зло?

— На это я тебѣ скажу вотъ что... Я тебѣ изображу нѣчто баллетристическое... Такъ будетъ яснѣе... Представь себѣ, что ты или я были какъ-нибудь надняхъ на концертѣ, театрѣ или клубѣ... и случайно познакомился съ очень хорошенькой вдовушкой или дѣвушкой...

— Представилъ.

— Хорошо! Представь теперь еще и то, что она мнѣ очень и очень понравилась...

— А ты ей?

— И я ей также, само собой, понравился. Дальше—больше, у меня возникаетъ мысль написать ей письмо... «Нельзя ли, молъ, видѣть васъ потому-то и потому-то? Необходимо поговорить о томъ-то, и позвольте, молъ, мнѣ придти или вы ко мнѣ приходите... Адресъ тамъ-то»... и такъ далѣе. Написалъ я это письмо, положилъ въ конвертъ, наклеилъ марку—въ ящикъ. На письмо приходитъ отвѣтъ: «Я согласна... въ такомъ-то часу... Мнѣ самой надо было съ вами поговорить». Я иду, мы видимся, говоримъ, и затѣмъ дѣло идетъ такъ, какъ покажутъ обстоятельства: разойтись придется—разойдемся; жениться—женемся. Словомъ, какъ вообще идутъ такого рода дѣла... Худо ли, хорошо ли, а отвѣтъ за все только на насъ двоихъ—не правда ли?

— Совершенно вѣрно!

— Теперь представь себѣ, что въ такія-то наши отношенія вмѣшалась «бумага». Она вѣдь все предусматриваетъ и постоянно стремится, чтобы *все было по хорошему*? Да? Конечно, да! И вотъ она предусмотрѣла, что молодые мужчины, познакомившись гдѣ-нибудь съ молодыми женщинами, обыкновенно продолжаютъ знакомство письмами, причемъ «усмотрѣно», что письма эти сначала всегда вызываютъ на необходимость какого-то якобы серьезнаго разговора («нѣтъ ли у васъ *Исповѣди Толстого*»), но что, въ сущности, якобы серьезными мотивами прикрываются совершенно не тѣ побужденія и что «управленію» извѣстно множество примѣровъ, когда, начавъ съ необходимости «о многомъ говорить, молодые люди вовлекали дѣвицъ въ величайшія несчастія, причиняли разстройства въ семействахъ, бывали причиной преждевременныхъ смертей. Съ другой стороны «управленію» также извѣстно, что и дѣвицы, начавъ знакомство съ молодыми людьми подъ неопредѣленнымъ предлогомъ узнать отъ нихъ: «гдѣ исходъ?»—побуждали ихъ къ законному браку и въ послѣдствіи не оказывались «подругами жизни», но, напротивъ, вынуждали расхищать семейскіе сундуки и предавались расточительной жизни, доводя въ концѣ-концовъ мужей своихъ до скамьи подсудимыхъ...

Такъ вотъ, принимая всѣ эти случаи во вниманіе и желая оградить обывателей отъ сѣтей и обмановъ недобросовѣстныхъ личностей мужского и женскаго пола, а также въ виду «предотвращенія» самоубійствъ, расхищеній, растратъ и другихъ преступленій, «управленіе» находитъ нужнымъ обязать молодыхъ людей, переписывающихся между собою—*во избѣжаніе могущихъ произойти неблагоприятныхъ послѣдствій*—представлять любовныя письма въ канцелярію управленія, которое, провѣривъ положеніе пишущаго, не иначе препроводитъ письмо по назначенію, какъ тщательно провѣривъ показанія переписывающихся: женатъ-ли мужчина? какое серьезное дѣло онъ хочетъ объяснить? не расточительница-ли скрывается подъ словами неопредѣленной фразы «гдѣ исходъ?», имѣются-ли достаточныя средства къ жизни? Управленіе возьметъ твое письмо, провѣритъ, вызоветъ свидѣтелей и, убѣдившись, что ты хочешь въ самомъ дѣлѣ говорить серьезно, препроводитъ твое письмо черезъ околоточнаго къ Марьѣ Андреевнѣ подъ ея росписку. Письмо же Марьи Андреевны точно такимъ-же порядкомъ будетъ разслѣдовано въ томъ-же управленіи, причемъ и сама Марья Андреевна, и прислуга будутъ опрошены самымъ деликатнымъ образомъ. И по повѣркѣ всего этого, ежели ничего подозрительнаго не окажется, она получитъ твое письмо, а ты ее—точь-въ-точь какъ бы по почтѣ. Въ случай-же Марья Андреевна, которая въ письмѣ проситъ *Исповѣдь*, на допросъ въ управленіи явится надушенная и расфранченная, управленіе, въ предупрежденіе могущихъ произойти неблагоприятныхъ для тебя послѣдствій, не выдастъ ей твоего посланія и ее посланія не передастъ тебѣ и такимъ образомъ предохранитъ васъ обоихъ отъ расхищенія земскаго сундука. Ну, скажи пожалуйста, развѣ все это дѣлается съ худыми дѣлами? Не къ твоему-ли благу все это предпринимается и не для твоего-ли благополучія управленіе предусмотрѣло тысячи несчастныхъ случайностей? Наконецъ вѣдь письмо твое дошло, только Марья Андреевна получила его «при бумагѣ» и только послѣ росписки. Что-жъ, развѣ трудно расписаться—«Марья Колпакова» и развѣ обидна бумага, въ которой только и сказано, что: «прилагая при семъ любовное письмо служащаго на ряжско-вяземской дорогѣ сына дворянина Андреянова, имѣю честь предупредить ваше благородіе, что, въ случай вовлеченія молодого человѣка въ земскую растрату, вы имѣете подвергнуться всей строгости закона»? Это вѣдь простая формальность—и даже не написано, а напечатано, хотъ и не читай. А подумай-ка хорошенько, сколько эта бумага и формальность умертвила твоей собственной души. Вѣдь во-первыхъ ты и Марья Андреевна будете думать не другъ о другѣ въ ожиданіи, положимъ, вызова въ управленіе, а ужъ объ управленіи, *какъ тамъ пишутъ*. Не будь этой бумаги, ты, въ ожиданіи свиданія, можешь быть до мелочей анализировалъ бы *свою* жизнь, все прошлое и старался бы проникнуть въ будущее, а тутъ ты ана-

лизировать будешь все то же управленіе: какъ оно на тебя посмотритъ? какъ оно посмотритъ на Марью Андреевну? Тутъ между вами, между вашими личными отношеніями вошло что-то постороннее, вошло съ заботой, съ предостереженіемъ, съ усмотрѣніемъ; но вашему-то личному чувству надобно ужъ молчать и ждать, а вашему исполненному пріятнымъ мечтаніямъ воображенію надобно уже проникать во что-то чужое вамъ, и, разумѣется, отъ этого вишпательства бумага въ ваши личные желанія и дѣла только меркнетъ и гаснетъ ваше чувство и тупѣетъ умъ... Именно вотъ это-то приглушеніе чувства и ума я и замѣчаю во всемъ современномъ русскомъ обществѣ, а дѣлѣ... хлопотъ... изнуренія... видимо-невидимо! И все—«въ пустую», потому что мы отвыкли даже желать своего, а все ждемъ, что заставитъ насъ желать бумага...

— Но вѣдь то, что ты сейчасъ говоришь, небылица, больше ничего! возразилъ я пріятелю.

— Конечно, небылица, но я и былей могъ бы тебѣ сказать столько, что ты только бы развелъ руками.

— Ну, рассказывай!

Пріятель мой сдержалъ свое слово. Въ одну изъ нашихъ встрѣчъ онъ съ документомъ въ рукахъ весьма основательно подтвердилъ сдѣланную имъ характеристику значенія той силы, которую онъ именовалъ «бумагой». Пользуясь этими документами моего пріятеля, я постараюсь вкратцѣ познакомить съ ними читателей въ моемъ собственномъ пересказѣ.

III.

Одинъ изъ этихъ документовъ, рисующій «человѣка» и «природу» безъ участія третьяго, главнѣйшаго элемента нашей жизни, заимствованъ изъ перваго тома литературныхъ прибавленій къ газетѣ *Восточное Обозрѣніе*. Въ прекрасной, живо написанной статьѣ г. Ядринцевъ рассказываетъ о своихъ путевыхъ впечатлѣніяхъ среди русскихъ раскольниковскихъ общинъ, устроившихся какими-то чудомъ и процвѣтающихъ на самой дальней границѣ Россіи съ Китаемъ. Эти раскольниковскія общины были, какъ кладъ, зарытый въ землю, *открыты* при императрицѣ Екатеринѣ около границъ Китая въ Алтайскихъ горахъ, куда тогда еще не проникала бумага. Онѣ жили совершенно независимо и образовались ранѣе прошлаго столѣтія изъ бѣглецовъ и раскольниковъ, искавшихъ убѣжища въ горахъ и лѣсахъ. До 1878 года они не несли воинской повинности, и вотъ въ какомъ видѣ нашелъ ихъ г. Ядринцевъ во время своей поѣздки на Алтай.

Прежде всего оказывается, что наши великороссійскіе черноземные мужики превратились въ совершеннѣйшихъ горцевъ, весьма удобно приладившихъ къ условіямъ горной мѣстности. Кстати сказать, Алтайскія горы—горы въ *самомъ дѣлѣ*, настоящія. Вотъ какъ описываетъ г. Ядринцевъ эту мѣстность: «Когда мы приближались къ вершинамъ Вухтармы, горы становились все выше. Хребты поднимались пирамидально изъ долинъ,

рѣка неслась иногда въ ущелья, въ каменистыхъ берегахъ, бушевала, пѣнилась. Возлѣ Черновой открылись бухтарминскіе пороги; вода *жила* въ нихъ. Кругомъ дикія горы и ущелья, поросшія лѣсомъ. Нарымскій хребетъ былъ особенно величественъ. И далѣе за станціей Черновой «горы еще величественнѣй, на склонахъ были лѣса, а вершины были каменисты, выступая гребнями и сопками. На величайшей вершинѣ лежала, какъ говорили крестьяне, *защитившись за блокъ*, темная туча»... Словомъ, природа, какъ видите, вовсе не «крестьянская», и однакожь крестьяне, единственно только подъ давленіемъ нравственнаго побужденія *жить въ мирѣ*, суждали не только не погибнуть въ непривычной для нихъ обстановкѣ, но, какъ увидимъ ниже, устроились самымъ завиднымъ образомъ.

Въ непривычной для мужика обстановкѣ, кромѣ совершенно диковинной для него природы, не послѣднюю роль играла и «чужая сторона» съ чужими враждебными сосѣдями, китайцами, киргизами, съ которыми у пришлецовъ должно было быть множество столкновѣній, обыкновенно переходящихъ въ такого рода пограничныя затрудненія, которыя разрѣшаются вмѣшательствомъ правительственныхъ войскъ. Однако вотъ оказывается, что «все здѣсь тихо и мирно: и къ китайцамъ въ гости ѣздить, и халаты приобретають, да и рыбой давно пользуются, ходя артелями за границу безъ всякихъ паспортовъ и трактатовъ». «Въ этой способности ориентироваться (въ чужой землѣ) и, занявъ мѣста, отстоятъ ихъ—заключались немалые таланты и сказалась не одна сила, но и умъ» (стр. 25). «Онъ (пришлецъ-крестьянинъ), являясь въ чужое мѣсто и среди чужихъ людей, показывалъ свою силу, свое право, энергію, настойчивость, но потомъ вступалъ въ дружественный договоръ», такъ какъ, повторяемъ, «ему нуженъ былъ только безусловно одинъ *миръ*» (стр. 24).

Такии образцы исключительно своимъ умомъ, умѣньемъ и исключительно только при помощи самаго простаго человѣческаго побужденія «жить» на бѣломъ свѣтѣ, и притомъ жить въ «мирѣ», крестьяне, поселившіеся въ Алтайскихъ горахъ, представляютъ собою въ высшей степени замѣчательное явленіе; они, по словамъ г. Ядринцева, сформировались въ могучую, богатырскую расу. «Населеніе это крупное, рослое, атлетическаго тѣлосложенія; одинъ извѣстный намъ охотникъ-крестьянинъ напоминаетъ просто богатыря». Казачій офицеръ, самый здоровый и коренастый мужчина, передавая г. Ядринцеву свое впечатлѣніе отъ рукопожатія этого колосса, говорилъ, что его собственная рука показалась ему рукой ребенка, когда колоссъ пожалъ ее».

Не только мужчины, могучи и сильны здѣсь также и женщины: «Въ Алтаѣ, пишетъ г. Ядринцевъ, мы видѣли дѣвицу — аршинъ въ плечахъ, поднимавшую 12 пудовъ» (стр. 46). «Однажды, подѣвжая къ деревнѣ, я увидѣлъ, говоритъ г. Ядринцевъ, двухъ приближавшихся

всадниковъ въ яркихъ костюмахъ, точно французскихъ гусаръ. На головѣ у одного была красная шапка съ позументомъ. «Кто это скачетъ?» спросилъ я у ямщика. — «Да это наши бабы!» Въ другой разъ я рано утромъ пилъ чай въ деревнѣ. Это было часовъ въ 6 утра. По всей улицѣ стояли у воротъ привязанныя верховыя лошади. Черезъ нѣсколько времени начали выходить изъ воротъ старухи и бабы съ ребятами; онѣ смѣло вѣзали на лошадяхъ верхомъ по-мужски, прилаживали на сѣдлѣ малолѣтчиковъ и отправлялись изъ деревни. Я замѣтилъ, что у каждой старухи черезъ плечо былъ холщевый мѣшокъ. «Куда это у васъ старухи собрались, не въ походъ ли?» — спросилъ я хозяйку. — «Зачѣмъ въ походъ! Молодыя то теперь на работѣ, а старухи на пчельникахъ поѣхали, да и ребятки съ собой захватили». — «Зачѣмъ же верхомъ?» — «А развѣ въ нашихъ мѣстахъ иначе пройдешь? Гористи страсть, крутизна! А ничего, мы привыкли!»

Правда, у этихъ богатырскихъ женщинъ и дѣвицъ иной разъ случаются нѣкоторыя ошибки противъ «правилъ благопристойности»; г. Ядринцевъ сообщаетъ, что «у нихъ будто бы существуетъ свобода любви и короткія связи называются просто «птичьимъ грѣхомъ», что дѣвицѣ не ставится въ грѣхъ, если она до замужества жила съ кѣмъ-нибудь, но по выходѣ замужъ она обязывается быть вѣрною своему мужу». Но такіе ли грѣхи творятъ напримѣръ кавказскіе горцы, которые, какъ сванеты, истребляютъ новорожденныхъ дѣтей, особенно дѣвочекъ, засыпая имъ ротъ горячей золой, или осетины, стискивая деревяннымъ корсетомъ грудь дѣвушки съ дѣтскихъ лѣтъ и не давая ей развиться, какъ органу кормленія дѣтей? Это ужъ грѣхъ не птичій, а человѣческій, и называется онъ дѣтоубійствомъ, совершеннымъ къ тому же съ своекорыстными цѣлями: имѣть какъ можно меньше дѣтей, чтобы женщина могла больше работать на своего господина. Алтайскія же грѣховодницы по выходѣ замужъ безпрепятственно увеличиваютъ народонаселеніе, такъ что напримѣръ въ Кумышскомъ округѣ втеченіе столѣтія изъ 10 семей такихъ же грѣховодниковъ-богатырей населеніе разрослось до 1,260 душъ народа, какъ уже сказано выше, рослаго, могучаго, работяшаго, вполне къ тому же сохранившаго свои симпатіи къ крестьянству. «Нѣкоторые изъ крестьянъ въ деревняхъ по Бухтармѣ сѣяли хлѣбъ на высотѣ 4,000 фут. Сѣно косили въ такихъ ущельяхъ, что его приходилось вывозить верхомъ, связывая въ охапки». Хлѣбопашество въ нѣкоторыхъ горныхъ деревняхъ идетъ въ настоящее время такъ хорошо, что крестьяне имѣютъ возможность выгодно сбывать излишекъ: 4,000 пуд. ржаной муки они поставляютъ въ зырянскій заводскій магазинъ. Кромѣ хлѣбопашества они занимаются скотоводствомъ, пчеловодствомъ, ведутъ мѣновую торговлю съ киргизами, китайцами, давая въ обмѣнъ юфть, топоры, зѣброловые капканы, ножи и другія желѣзные вещи, а также соль. муку и особенно зерновой ячмень».

Общее впечатлѣніе, вынесенное г. Ядринцевымъ изъ его поѣздки по Алтаю, по горнымъ крестьянскимъ деревнямъ, оказалось самымъ свѣтлымъ и ободряющимъ: «*можно жить на бѣломъ свѣтѣ*» — вотъ какими словами можно бы выразить сущность всего, что рассказалъ намъ г. Ядринцевъ.

Посмотримъ теперь, что выходитъ, когда между человѣкомъ и природой появляется «сдѣйствіе» самой гуманнѣйшей бумаги, предусматривающей всевозможныя колонизаціи, тщательно ихъ предупреждающей и вообще пекущейся совершенно безкорыстно и безукоризненно о благосостояніи «человѣка». Матеріаломъ для ознакомленія читателя съ опытомъ колонизаціи этого послѣдняго рода послужить намъ статья г. Шаврова, напечатанная въ *Сѣв. Вѣстн.* (1887 г., № 7), въ которой г. Шавровъ подробно рассказываетъ, какъ приводились въ исполненіе напимѣръ всевозможныя проекты, изобрѣтавшіеся для колонизаціи еще и нынѣ довольно пустыннаго черноморскаго побережья. Начало этимъ проектамъ и мѣропріятіямъ относится ни много, ни мало, какъ къ 1804 году, когда черноморское побережье было присоединено къ владѣніямъ Россіи и когда впервые было понято государственное значеніе этого побережья.

Это «государственное значеніе» черноморскаго побережья сдѣлалось понятнымъ для государства и поддерживалось съ 1804 г. тогдашнимъ начальникомъ края, княземъ Цициановымъ. Съ тѣхъ поръ и до настоящаго времени всѣ замѣчательныя дѣятели, управлявшіе Кавказомъ, единодушно признавали, что, очистивъ побережье отъ непокорныхъ горцевъ, съ которыми пришлось вести тяжкую и дорого стоющую войну втеченіе 60 лѣтъ, Россія, во избѣжаніе повторенія того же самаго, нуждается въ колонизаціи очищенныхъ горцами земель преимущественно «русскимъ элементомъ».

Такъ вотъ съ 1804 года и до настоящаго времени съ неуспынною энергіей всѣ замѣчательныя дѣятели Кавказа единодушно напрягаютъ всѣ силы, чтобы водворить на Кавказѣ русскій элементъ. Этотъ элементъ и самъ бы вѣроятно явился сюда въ значительномъ количествѣ, потому что ему надо пить-ѣсть и жить мирно; но для задачъ «бумаги» такой цѣли, какъ «пить-ѣсть», слишкомъ мало.

Прежде всѣхъ началъ оперировать надъ «элементомъ» генералъ Раевскій. Онъ «задумалъ» широкій планъ—обратить береговыя укрѣпленія въ торговые пункты и водворить при нихъ русскія поселенія, которыя, производя постоянный торговый обмѣнъ съ горами, сдѣйствовали бы сближенію послѣднихъ съ русскими и сдѣлали бы ненужными постоянныя военныя дѣйствія» (стр. 22). Съ этой цѣлью (замѣтьте: съ цѣлью *торговли*) генералъ Раевскій испросилъ разрѣшеніе пересылать на казенный счетъ семейства *солдатъ* для образованія поселеній и, «не смотря на всѣ затрудненія, успѣлъ-таки поселить 1,520 русскихъ семействъ».

И такъ, *солдаты*, въ виду государственной важности, должны были превратиться въ *купцовъ*

и не маршировать, а *торговать*. Но этого мало. «*Кромѣ торговли съ горами*», генералъ Раевскій успѣлъ «обратить дѣятельность поселенцевъ на *рыболовство и каботажное плаваніе*, съ цѣлью создать на черноморскомъ побережьи *морское населеніе*» (стр. 22). Преемникъ его, генералъ Анрепъ, хотѣлъ все это уничтожить, но не успѣлъ, потому что передалъ власть генералу Серебрякову, продолжавшему дѣло Раевскаго до крымской войны, которая все это прекратила, и «элементъ», превращенный изъ мужиковъ въ солдатъ, изъ солдатъ въ купцовъ, въ садоводовъ, въ рыболововъ, въ мореплавателей, разбѣжался невѣдомо куда и берегъ опять опустѣлъ... «*Успѣя*—говорить г. Шавровъ—этихъ генераловъ оказались бесполезными для Россіи»; а каково было «элементу» крикѣть—объ этомъ ничего не сказано...

Въ 1864 году черноморское побережье было окончательно покорено, горцы всѣ ушли сами, перетонули въ морѣ, перемерли отъ холода и голода. Причиной этого бѣгства были мѣры генерала Евдокимова, который сталъ переселять горцевъ въ долины, а казаковъ въ горы. Вслѣдствіе бѣгства горцевъ, побережье совершенно «обезлюдѣло» (стр. 25) и опять надобно было взять за бока все тотъ же «элементъ».

«При составленіи *перваго* (перваго послѣ уже «*бывшаго*» другого *перваго*, который, какъ мы видѣли, оказался бесполезнымъ) проекта колонизаціи черноморскаго побережья приняты были въ основаніе *самыя рациональныя* историческія, практическія и государственныя соображенія о значеніи, которое имѣла эта пограничная область въ общей системѣ Кавказскаго края. Кромѣ того не было забыто и общее государственное значеніе восточнаго берега въ развитіи русскаго могущества на Черномъ морѣ». Въ виду всѣхъ этихъ соображеній, «предполагалось въ наиболѣе удобныхъ морскихъ пунктахъ образовывать приморскія станицы изъ азовскихъ казаковъ съ прибавленіемъ къ нимъ постороннихъ лицъ изъ казаковъ, отставныхъ солдатъ и вольныхъ людей»...

Всѣ эти люди превращались просто въ «русскій элементъ», «*предназначались*, чтобы служить началомъ *будущихъ коммерческихъ портовыхъ городовъ*, а потому всю дѣятельность новыхъ поселенцевъ предполагалось *направить* на рыболовство, судостроеніе и каботажное плаваніе... Затѣмъ, вдали отъ берега предполагалось поселить нѣсколько казачьихъ поселеній для обороны на случай войны» (стр. 28). Такъ какъ время тогда было военное, то заселеніе побережья казачьими станицами началось *немедленно*, и для начала было поселено около 15 станицъ; но затѣмъ все это было *приостановлено* вслѣдствіе того, что къ военнымъ соображеніямъ постепенно примѣшались соображенія гражданскія: *одружъ*... всѣмъ *показалось* слѣдующее: «Казакъ въ полномъ вооруженіи, конный или пѣшій, но обязанный нести постоянную военную службу, *стаетъ самымъ непригоднымъ поселенцемъ*»

для богатѣйшей по своей производительности страны, которая требовала интенсивной земледѣльческой культуры и такихъ знаній въ сельскомъ хозяйствѣ, которыя недоступны для служилаго казака. Самое его военное званіе казалось большимъ препятствіемъ къ правильному веденію сельского хозяйства. Не мало приведено было доказательствъ, что для казака невозможно вести успѣшно интенсивное хозяйство, заниматься культурой винограда, винодѣліемъ, разведеніемъ цѣнныхъ растений. Словомъ, казакъ былъ признанъ непригоднымъ для *быстраго* экономического преемственнаго края, и дальнѣйшее устройство казачьихъ станицъ было приостановлено» (стр. 29).

Вотъ каковъ былъ этотъ проектъ.

Какъ видить читатель, на шею «русскаго элемента», желающаго только всего «пить-ѣсть и жить въ мирѣ», проектъ, принимавшій во вниманіе политическія, государственныя, историческія, экономическія соображенія, возлагалъ оборону, культуру, интенсивное хозяйство, развитіе морского могущества, садоводство, винодѣліе, рыболовство, земледѣліе. Все сіе долженъ былъ совершить «элементъ», собранный изъ азовскихъ казаковъ, отставныхъ солдатъ и вольныхъ людей. Такова была задача военного управленія. Когда же всѣ эти станицы разбѣжались и «элементъ» разсѣялся «кто куда», «не пиши и не ѣйши», тогда началась дѣятельность гражданская.

Задача гражданского управленія была такова. Въ трехъ пунктахъ побережья учреждены были попечительства, «на обязанности которыхъ было *возложено* попеченіе объ успѣшной колонизаціи побережья, о привлеченіи сюда иностранныхъ колонистовъ и введеніи при помощи ихъ высшей земледѣльческой культуры и интенсивнаго сельского хозяйства въ оставшихся (пустыни, конечно) казачьихъ станицахъ и во вновь *имѣющихъ поселиться русскіе колоніалы*»... Обратите вниманіе на коренное свойство «бумаги»: никакихъ русскіхъ колоній нѣтъ, не существуетъ, а ужъ обязанность введенія *въ нихъ*. въ тѣхъ самыхъ, которыхъ и въ поминѣ-то нѣтъ, введенія интенсивнаго хозяйства уже *возложена* на кого-то и кто-то эту обязанность смѣло рѣшается взять на себя, кто-то уже говоритъ: «водворю!» и требуетъ оклада жалованья. Принявъ эти обязанности, попечители *возложили* ее въ свою очередь на колонистовъ, но въ концѣ-концовъ «колонизація не могла идти успѣшно, и многіе изъ колонистовъ, въ виду смертности товарищей и собственной болѣзненности, теряли бодрость и просили о перемѣщеніи ихъ въ другія мѣста или объ отправленіи ихъ на родину» (стр. 31). Эта смертность и болѣзненность произошла, во-первыхъ, отъ того, что «*подробной сѣжки черноморскаго побережья сдѣлано не было*» (стр. 29), что *энергическое* стремленіе водворить какъ можно больше колоній вызывало *случайное* ихъ расположеніе — въ такихъ мѣстахъ, гдѣ, *по мнѣнію попечителей*, встрѣчалась *болѣе удобная* мѣста для колоній». Переселенцы же, «явившіеся изъ сѣверныхъ провинцій», не могли соблю-

дать гигиеническихъ предосторожностей, потому что, устраиваясь (*по мнѣнію попечителей*, болѣе удобно) въ дикіхъ лѣсахъ и болотистыхъ долинахъ, были предоставлены единственно только собственнымъ своимъ силамъ» (стр. 30). «Правительство не жалѣло средствъ для помощи колонистамъ, но пособія были опредѣлены по одной общей нормѣ для всѣхъ лицъ, желающихъ водвориться на всемъ побережьи». Кромѣ того, при отсутствіи путей сообщенія (это также оказалось неожиданно), доставлять провіантъ поселенцамъ было не легко, сохранять его на открытомъ берегу было еще труднѣе, и потому естественно, что переселенцы терпѣли не мало лишений и подвергались болѣзненности, не смотря на энергическія заботы. Въ концѣ-концовъ *выяснилось*, что «безъ устройства путей сообщенія колоніи, разбросанныя по горамъ, ущельямъ и долинамъ, не могутъ развиваться и достигнуть благосостоянія» (стр. 31). Такимъ образомъ окончился еще одинъ періодъ «энергической дѣятельности»; но тотчасъ-же, «безъ передышки», начался новый, то-есть снова-здорово взялись съ новой энергіей за то же самое дѣло.

Такъ какъ оказалось, что безъ путей сообщенія жить нельзя и что водвореніе интенсивнаго сельского хозяйства и высшей земледѣльческой культуры невозможно безъ затраты на то и другое (на дороги и культуру) огромныхъ капиталовъ, то гражданское вѣдомство и стало «*изыскивать средства*», и съ 1871 года «правительствомъ были приняты *всевозможныя мѣры*, указываемыя экономической наукой, для *быстрой* и успѣшной колонизаціи».

Въ помощь къ водворенію земледѣльческихъ колоній (которыя всѣ, къ сожалѣнію, уже разбѣжались неизвестно куда) административнымъ путемъ *создана* была на черноморскомъ побережьи *крупная земельная собственность*. Привлечены капиталы и капиталисты для культуры этой богатѣйшей нашей окраины (стр. 32).

Кстати здѣсь сказать, что мысль о *созданіи* на Кавказѣ крупной собственности явилась гораздо раньше 1871 года, именно тотчасъ-же послѣ того, какъ ушли горцы и побережье опустѣло. Тотчасъ же «признано было справедливымъ выдѣлать нѣкоторую часть опустѣвшей земли въ вознагражденіе *славныхъ участниковъ покоренія Кавказа*» (стр. 31). Въ виду этихъ соображеній, въ руки участниковъ покоренія Кавказа (изъ лицъ военного и гражданского вѣдомствъ) перешло слѣдующее количество земель: 1) передано въ военное вѣдомство для раздачи по пожалованьямъ — 23,000 дес.; 2) передано въ распоряженіе закавказской лотереи съ благотворительною цѣлью — 2,000 дес.; 3) пожаловано разнымъ лицамъ 26,264 дес. и 4) отведено разнымъ лицамъ, на основаніи устава о горномъ и сельскомъ хозяйствѣ, 6,784 дес.

Все сіе, оказывается, было сдѣлано еще до возложенія на «русскій элементъ» историческихъ, политическихъ, мореходныхъ, оборонительныхъ, рыболовныхъ, виноградныхъ, хозяйственныхъ, торговыхъ, каботажныхъ, культурныхъ и всякихъ интенсивныхъ обязанностей. Когда же «элементъ» разбѣжался,

«не пимши и не ѳиши», тогда, повторяю, тогда же была *создана* крупная поземельная собственность. Начало ея, какъ мы видѣли, было до-вольно прочно положено еще до появленія «элементъ», теперь было продолженіе: въ началѣ 1871 года опубликованы были правила для продажи земель. Московскіе капиталисты воспользовались этимъ и приобрѣли болѣе 50 т. дес. земли по 10 руб. за десятину, съ уплатою втеченіе 10 лѣтъ по 1 р. въ годъ. Впрочемъ еще ранѣе этого времени въ Москвѣ родилась мысль объ образованіи товарищества съ цѣлью приобрѣтать на Кавказѣ земли. Первое товарищество ходатайствовало о продажѣ ему земель въ долині Эльдара; но баронъ Николай, начальникъ главнаго управленія, отклонилъ это ходатайство на томъ основаніи, что «предполагалось отдать барону Таубе 600,000 дес. земли *даромъ*—съ обязательствомъ образовать общество для ирригаціи долины». Вообще, какъ видно, капиталъ не дремалъ, спѣшилъ содѣйствовать процвѣтанію покореннаго края задолго до «мѣръ, указываемыхъ экономической наукой» и бывшихъ причиною появленія правилъ 1871 г. Но, къ сожалѣнію, опять явились препятствія къ осуществленію указаній экономической науки, именно: «*незнание мѣстныхъ условій*», отсутствіе морскихъ и сухопутныхъ сообщеній и неопредѣленность положенія новыхъ землевладѣльцевъ, не имѣвшихъ понятія, гдѣ *будутъ* (!) города и *гдѣ проложатся пути сообщенія*. Кромѣ того «точной съемки, точныхъ границъ купленныхъ участковъ» сдѣлано не было. Вслѣдствіе этого большинство участковъ, купленныхъ на основаніи правилъ 1871 г., *до сихъ поръ* еще не отмежеваны въ натурѣ, а потому нѣтъ ничего удивительнаго, что капиталисты не рѣшаются затрачивать капиталъ» (стр. 33). «Въ силу всѣхъ вышеприведенныхъ затрудненій,—говоритъ г. Шавровъ,—не смотря на *всѣ усилія* (!!) гражданскаго вѣдомства, все земледѣльческое населеніе Черноморскаго округа составляетъ не болѣе 11½ тыс. душъ, въ числѣ которыхъ 8 тыс. казаковъ, поселенныхъ военнымъ вѣдомствомъ».

Въ 1880 г. великій князь Михаилъ Николаевичъ поручилъ генералу Старосельскому отправиться въ Черноморскій округъ, «ознакомиться ближайшимъ образомъ съ состояніемъ его во *всѣхъ частяхъ* его устройства, причѣмъ выяснитъ причины, препятствовавшія успѣшному осуществленію тѣхъ цѣлей, къ которымъ правительство съ немаловажными матеріальными пожертвованіями доселѣ стремилось».

16 октября 1880 г. данъ былъ этотъ приказъ, а 14 мая 1881 г. генералъ Старосельскій, *ознакомившись съ деломъ во всѣхъ частяхъ* и *выяснивъ всѣ причины*, представилъ свой докладъ. Что было въ этомъ докладѣ, осталось къ сожалѣнію неизвѣстнымъ, потому что «въ это время» произошло упраздненіе самаго намѣстничества и преобразование *всего* административнаго строя...» Такимъ образомъ въ концѣ всѣхъ этихъ *усилій*, на всемъ огромномъ прибрежьи еле еле водворено

3½ тысячи поселенцевъ самаго разношерстнаго сорта, разноплеменнаго, разноязычнаго, и въ то же время не осталось ни одной пяди свободной земли.

— Какъ? воскликнулъ я въ недоумѣніи, когда мой пріятель произнесъ слова, написанныя въ послѣднихъ строкахъ.—Никто еще на побережьи не живетъ, а земли ужъ нѣтъ?

Пріятель мой развелъ руками, вздохнулъ и сказалъ:

— Увы, все это именно такъ и есть! Никто еще на побережьи не живетъ, а земли свободной нѣтъ ни одной пяди...

— Да неужели-же это правда?

— Чтобы ты убѣдился, что я не лгу—вотъ тебѣ и еще очень солидный документъ: процессъ нѣкоего мѣщанина Данкова. Прочти его и вразумись.

Вотъ этотъ замѣчательный процессъ.

IV.

«Господа присяжные засѣдатели! Обратите ваше вниманіе, что я заключенъ въ тюремный замокъ, гдѣ и нахожусь уже болѣе 14-ти мѣсяцевъ, а жена и дѣти мои, будучи безъ моей единственной помощи, доведены до неслыханнаго крайняго разоренія. Въ настоящее время уже наступила холодная зима, а у жены моей и дѣтей моихъ малолѣтнихъ, отъ семи и до 12-ти лѣтняго возраста, не осталось ни одежды, ни обуви, ни теплой квартиры и даже необходимой постели; все, что было необходимо, послѣдовало въ залогъ заимодавцу-еврею по десяти процентовъ на рубль въ мѣсяцъ съ рекаміями, да и у жены уже не осталось ни обуви, ни одежды, кромѣ арестантской. Это злосчастное испытаніе я съ моимъ семействомъ выношу незаслуженно, выше всякаго *современнаго христіанскаго терпѣнія*!»

Вотъ какъ плакался передъ господами присяжными засѣдателями 29 ноября 1883 г. нѣкто мѣщанинъ Иванъ Васильевъ Данковъ, преданный суду курскаго окружнаго суда. Онъ уже не молодъ, ему 54 года; маленькіе глаза его слезятся отъ долгаго тюремнаго заключенія и на лицѣ лежатъ печать страданія и усталости. «Говоритъ онъ, по словамъ хроникера, съ полнымъ сознаніемъ своей правоты, но волнуется и иногда до того, что нюхаетъ нашатырный спиртъ изъ простого пузырька».

Въ чемъ же провинился и за что потерпѣлъ бѣдный мѣщанинъ? «Лишь за то только (мы цитируемъ по его собственному показанію), что взялъ на себя трудъ помочь до крайности обѣдѣвшимъ крестьянамъ, по малоземельному надѣлу при дурныхъ урожаяхъ и поднятію цѣны арендной платы до 30 рублей на десятину подлѣ озимыхъ посѣвъ. а заработная поденная плата оъ многолюдства бѣдныхъ — не свыше 20 коп. на своемъ содержаніи, что недостаточно и одного работника прокормить, не только семейство».

Такъ вотъ какія цѣли имѣлъ мѣщанинъ Д—въ, но такъ какъ онъ желалъ осуществить ихъ на осно-

ваніи тѣхъ «попечительныхъ» словъ, которыми искони блещетъ «бумага», всегда стремящаяся сдѣлать «какъ лучше», то и оказалось, что вмѣсто помощи «объединившимъ» крестьянамъ онъ ощутилъ на скамьѣ подсудимыхъ, предварительно просидѣвъ въ острогѣ 14 мѣсяцевъ.

Первая «бумага», которой повѣрилъ Д—въ, была бумага газетная—именно № 2123 *Новаго Времени*, въ которомъ была напечатана статья о раздѣлѣ желающихъ земель въ Черноморскомъ округѣ. Вотъ въ какомъ видѣ нашли мы въ бумагахъ Д—ва этотъ газетный листъ: сложенный въ три раза въ длину и перегнутый потомъ пополамъ, онъ весь пропитанъ какимъ-то желтымъ составомъ, точно масломъ, и какъ бы истлѣлъ. Оказывается, что этимъ составомъ, похожимъ на масло, пропитала газетный листъ собственная грудь Д—ва. Онъ и сложилъ-то его такимъ образомъ, какъ описано выше, для того, чтобы удобнѣе приладить его къ своей груди, ибо такую драгоценность, по мнѣнію Д—ва, должно было свято хранить только на груди, у самого сердца. А драгоценность въ газетномъ листѣ была не маленькая: тамъ говорилось «о *льготахъ и преимуществахъ лицъ, водворяющихся въ Черноморскіе прибрежныя поселенія*», на основаніи *Положенія* 1866 г.

Между прочимъ тамъ было сказано, что, по § 30-му этого *Положенія*, лица, приписывающіяся къ черноморскимъ побережнымъ обществамъ: а) не вносятъ денежныхъ платежей въ пользу вспомогательнаго капитала отставныхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ; б) освобождаются отъ натурального воинскаго постоя; в) освобождаются отъ крѣпостныхъ, канцелярскихъ и гербовыхъ пошлинъ, а также отъ употребленія гербовой бумаги; г) производить безъ платежа акциза рыбный промыселъ въ водахъ Чернаго моря; д) безпошлинно производить торговые и промышленныя дѣйствія, устриваютъ мануфактуры, фабрики и заводы; е) освобождаются отъ платежа податей и отправленія денежной и натуральной воинской повинности (§§ 19, 22 и 27 *Полож.* 10 марта 1866 г.) Кроме того по § 31 государственные крестьяне получаютъ изъ запасныхъ магазиновъ все то количество хлѣба, которое по числу ихъ душъ причитается изъ наличныхъ въ то время запасовъ; сверхъ того они, если представится надобность, снабжаются разнообразно денежными путевымъ пособіемъ и пользуются въ пути содѣйствіемъ и покровительствомъ власти. По § 32 получаютъ лѣсъ и строительный матеріалъ. Необходимыя для обстройки каменъ, песокъ, известь и проч. поселенцы добываютъ безденежно, по своему усмотрѣнію, на всѣхъ свободныхъ земляхъ въ предѣлахъ черноморскихъ прибрежныхъ поселеній. По § 33: а) на первое обзаведеніе и устройство жилищъ выдается, въ случаѣ отпуска лѣса, по 20 р., а безъ лѣса—по 35 р. на каждое семейство; б) на приобрѣтеніе рогачаго скота и земледѣльческихъ орудій отъ 15 до 20 р. на каждое семейство. Такія денежные выдачи производятся безвозвратно (§ 34). По § 35 на общинномъ правѣ получаютъ землю, въ размѣрахъ, не превышаю-

щихъ тридцати-десятиной пропорціи на каждый дворъ или цѣлую семью, считая (въ 30-ти десятинахъ) одну удобную землю, т. е. пахотную, сѣнокосную и выгонную, на хуторномъ правѣ также. По § 37. эти переселенцы пользуются указанными льготами втеченіе пятнадцати лѣтъ со дня утвержденія *Положенія* (т. е. съ 10 марта 1866 г.).

Эти превосходные параграфы, какъ видите, способны очаровать не только человѣка, ищущаго «куска хлѣба», а рѣшительно всякаго, даже вполне обеспеченнаго какими-нибудь чиновничьимъ мѣстомъ. Все дается даромъ—и земля, и лѣса въ благословенныхъ мѣстахъ: ни солдатчины, ни податей нѣтъ; дадутъ даже денегъ, «коли ежели потребуется». Понятенъ восторгъ и благоговѣніе, которые охватили Д—ва, когда онъ узналъ объ этомъ, такъ какъ матеріальное положеніе его, уже пожилого человѣка, было по истинѣ бѣдственное.

Вышедшій дворовый, онъ послѣ освобожденія крестьянъ вынужденъ былъ кормить большую семью (жена и 5 человѣкъ дѣтей отъ 7-ми до 12-ти-лѣтняго возраста) всякой поденною работою въ уѣздномъ городкѣ, и постоянно нуждался и даже бѣдствовалъ, «потому что не могъ найти для себя должности или работы: дающей необходимыя средства для пропитанія, одежды и обуви своему семейству, и дать дѣтямъ своимъ грамотное и ремесленное обученіе».

Чтобы выйти изъ такого бѣдственнаго положенія, Д—въ вздумалъ уйти изъ Курской губерніи и искать счастья по бѣлу-свѣту. 13 іюня 1879 года, взявъ съ собой старшаго сына и оставивъ семью въ собственномъ домишкѣ при деревнѣ Ольшанцѣ «безъ всякихъ средствъ къ содержанію», ушелъ, буквально, куда глаза глядятъ.

Пѣшкомъ дошелъ онъ до Кіева и здѣсь-коже какъ помѣстилъ своего сына въ бакалейную торговлю къ купцу «въ мальчики» на 4 года. Для себя же по случаю лѣтняго времени и выѣзда господъ на дачи, въ мѣня и вообще вслѣдствіе лѣтняго затишья, не могъ приникать «полезной должности». Пробывъ въ Кіевѣ мѣсяцъ, онъ «надумалъ» идти въ Полтаву на ярмарку; но, отправившись туда пѣшкомъ, опоздалъ: ярмарка разѣхалась. Изъ Полтавы онъ также пѣшкомъ и побираясь Христовымъ именемъ добрался до Харькова; здѣсь онъ случайно встрѣтилъ знакомаго каменичника-поденщика, у котораго и пріютился, сдѣлавъ въ справочной «конторѣ» объявленіе о мѣстѣ. Но и здѣсь, продавши мѣста около мѣсяца, ничего не добился; дѣло дошло до того, что каменищикъ, у котораго онъ «приткнулся» жить, самъ нуждаясь въ каждой копѣйкѣ, объявилъ своему другу, что онъ долге не можетъ его кормить—«нѣтъ способовъ!».

Нужно было уходить, опять-таки куда глаза глядятъ. Вотъ въ это-то время ему и попался обольстительный № *Новаго Времени*, и можете представить, какое сильное произвелъ онъ на него впечатлѣніе. «Прочитавши эту статью въ газетѣ—пишетъ самъ Д—въ—и находившись отъ моихъ неудачъ болѣе чѣмъ въ грустномъ состояніи, зная, что семья моя осталась безъ запаса дневного про-

питанія и ждать отъ меня единственно помощи, я рѣшилъ отправиться въ Черноморскій округъ, куда и прибылъ 4 ноября 1879 г., а восьмого того же ноября поступилъ на должность въ гостиницу съ номерами за 8 р. въ мѣсяцъ, да за услугу прѣвзимъ господамъ былъ вознаграждаемъ по 10 р. въ мѣсяцъ, что и дало мнѣ возможность посылать моему семейству для дневного пропитанія».

Почти тотчасъ по прибытіи въ окружный городъ, Д—въ отправился въ управленіе и вынулъ тамъ свидѣтельство для предьявленія попечителямъ Вельяминскаго и Сочинскаго отдѣловъ, въ которыхъ онъ хотѣлъ искать себѣ мѣстечка; но такъ какъ средствъ для пѣздки по побережью и осмотра его у него не было, то онъ рѣшилъ терпѣть до весны; и дѣйствительно, около 10 мая 1880 года отправился по побережью. Былъ въ Туапсе, въ Сочи, гдѣ прожилъ болѣе мѣсяца, разсматривая мѣста, разспрашивая людей и, убѣдившись, что здѣсь «рай земной» и что «лучше не надо», возвратился въ окружный городъ прямо въ «управленіе», заявивъ желаніе получить право на поселеніе въ такъ-называемомъ Платунскомъ участкѣ. Въ канцеляріи управленія ему сказали, что *одному ему съ семействомъ поселиться нельзя*, что управленіе *считаетъ это неудобнымъ*, но что оно *желаетъ* населить пустопорожнія мѣста *большимъ количествомъ семействъ*.

«Я тутъ, говоритъ Д—въ, высказалъ, въ чемъ сознаюсь откровенно передъ судомъ, что къ переселенію въ такой благодатный край, какъ я лично убѣдился, при такихъ благодатныхъ правахъ, какія дарованы 10 марта 1866 года, желающихъ къ переселенію должно оказаться весьма много. Это я высказалъ—*непорочно*, потому что, проживая съ малолѣтства въ Курской и Орловской губерніяхъ, я постоянно слышалъ и видѣлъ крайнее стремленіе чернорабочаго люда къ переселенію, какъ лестное для поселянъ... Управленіе высказало, что оно весьма было бы радо, если-бы явились въ Черноморскій округъ крестьяне, почему и совѣтовало мнѣ отправиться на мѣсто моего жительства и пригласить желающихъ переселиться въ Черноморскій округъ. Слушая это, я объявилъ, что словеснаго порученія его я исполнить не могу: мнѣ никто не повѣритъ, чтобы управленіе поручило говорить объ этомъ съ крестьянами такому лицу, какъ я. Г. начальникъ сказалъ, что онъ выдастъ *удостовереніе* для объявленія крестьянамъ, и тутъ же на моемъ прошеніи и написалъ резолюцію въ этомъ смыслѣ».

9 сентября 1880 года дѣйствительно выдано было Д—ву изъ канцеляріи начальника округа официальное удостовѣреніе такого рода: «*Въ округѣ имѣются въ значительномъ количествѣ свободная и юдная для переселеній земли, какъ осмотрѣнная уже Д—вымъ, такъ и другія. Если явятся уполномоченные (до 1 января 1881 года—срокъ дѣйствія правилъ о заселеніи и льготѣ), то препятствій для переселенія со стороны администраціи не будетъ*».

Здѣсь же, въ канцеляріи, Д—въ купилъ книжку г. Верещагина, въ которой правила были подробно напечатаны, и, въ видахъ предосторожности и подлинности этихъ правилъ, попросилъ сдѣлать на книжкѣ надпись, что она пріобрѣтена въ канцеляріи управленія.

Съ этими, какъ видите, совершенно подлинными документами Д—въ опять-таки пѣшкомъ отправился на родину въ Курскую губернію, куда и прибылъ въ ноябрѣ 1880 года, «заставши—какъ пишетъ онъ въ собственноручной запискѣ—семью мою *безъ особаго запаса къ жизни*. Посмотрѣвшись дома и поныдавшись съ родными и знакомыми, запасши нужное для дома содержаніе чрезъ продажу единственной коровы за 33 руб., я (продолжаетъ Д. въ собственномъ показаніи) долгое время оставался дома для поправки одежды и обуви своего семейства и запасаясь на зиму соломой для отопленія; а между прочимъ ко мнѣ приходили для свиданія и узнаванія о правахъ поселенія въ Черноморскомъ округѣ. Имѣвши у себя удостовѣреніе и печатныя правила о надѣлѣ и количествѣ земли и о льготахъ, я свободно говорилъ моимъ роднымъ и знакомымъ о томъ, что въ правлахъ сказано и что самъ я видѣлъ. Разумѣется, крестьяне должны были повѣрить мнѣ и убѣдиться изъ моихъ личныхъ объясненій, что переселеніе въ тотъ край выгодно, и многіе заявляли мнѣ свое желаніе переселиться («Будемъ хошь винограды ѣсть, коли хлѣба нѣтъ»—шутя говорилиныне) и предлагали мнѣ довѣріе ходатайствовать объ ихъ переселеніи. Я принималъ предложеніе по узаконеннымъ довѣренности и увольнительнымъ отъ обществъ приговорамъ, за что мнѣ крестьяне предложили по 10 руб. съ семейства за всѣ мои труды и разѣзды по ихъ дѣлу о переселеніи».

Вѣсть о земляхъ и льготахъ, принесенная Д—вымъ въ деревню, быстро разнеслась по всѣмъ окрестнымъ уѣздамъ, такъ что втеченіе полутора мѣсяца набралось уже болѣе 500 семействъ, желающихъ переселиться. Нотариусъ К—въ свидѣтельствовалъ на судѣ, что Д—въ, заключавшій у него договоры съ крестьянами, все время держалъ себя «самымъ серьезнымъ и важнымъ образомъ: онъ точно исполнялъ какую-то миссію и старался по возможности даже сдерживать стремленіе къ переселенію. Мы съ Д—вымъ старались, чтобы по возможности имущество пока не продавалось крестьянами, и что продано было не много, указывая въ то обстоятельство, что въ моей конторѣ не было совершенно ни одной купчей крѣпости, а только предварительныя сдѣлки*). Повторяю, Д—въ велъ себя самымъ серьезнымъ образомъ—я нарочно приглядывался къ нему, но ничего предосудительнаго не замѣтилъ. Онъ телеграфировалъ начальнику округа огромными телеграммами. Въ одной изъ нихъ онъ говорилъ, что начальство уѣзда не пускаетъ пере-

*) Не лишнее упомянуть, что по заключенію сдѣлки Д—въ платилъ расходи изъ тѣхъ 10 руб., которые онъ выговорилъ на расходъ, каждый разъ, когда заплата крестьянину было нечего. Но и изъ десяти-то рублей онъ получилъ только задатки, рубля по 3 съ семь.

селенцевъ, требуетъ приемныхъ приговоровъ (отъ пустыхъ-то мѣстъ!). Когда начальникъ округа отвѣтилъ, что приемныхъ приговоровъ не надо, Д—въ прибѣжалъ ко мнѣ въ большой радости...

До сихъ поръ все еще, какъ видите, можно было чему-то радоваться, да и вообще все и въ мечтаніяхъ Д—ва и мужиковъ, и на словахъ, и въ бумагахъ (въ правилахъ, удостовѣреніяхъ и т. д.)—все было хорошо. Но уже легкое дуновеніе того подлиннаго значенія, какое таятъ въ себѣ бумага, видно изъ препатствій при выдачѣ увольнительныхъ приговоровъ, которыхъ въ сущности вовсе и не надобно было никуда представлять. Впечатлѣніе этого дуновенія хотя и было изглажено успокоительной телеграммой, но дѣйствительность, скрывающаяся во всѣхъ этихъ хорошихъ «словахъ и мечтаніяхъ», стала обнаружиться все яснѣе и яснѣе, и «на дѣлѣ», по обыкновенію, выходило вовсе не то, что «на словахъ и въ мечтаніяхъ». Засуетился становой, урядникъ, волостной писарь, кабатчикъ. «Не давать увольнительныхъ приговоровъ!»—это было первое изобрѣтеніе и первая смута, брошенная въ сердца переселенцевъ.

Между тѣмъ въ декабрѣ мѣсяцу у Д—ва набралось уже до 500 семействъ, желающихъ переселиться, а такъ какъ 1 января 1881 г. истекъ срокъ льготнымъ правиламъ, то Д—въ спѣшилъ съ переселеніемъ, да и крестьянамъ оно было необходимо, чтобы заблаговременно приняться на новыхъ мѣстахъ за весеннія работы. И вотъ онъ начинаетъ посылать въ округъ телеграммы за телеграммами; 17 декабря 1880 г. телеграфируетъ (85 словъ) съ уплаченными отвѣтами и между прочимъ говоритъ: «Я набралъ уже 119 семействъ; желающихъ очень много. Могу ли продолжать?» 24 декабря того же года, телеграммой въ 248 словъ, сообщаетъ, что уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе требуетъ приговоровъ, и Д—въ проситъ управленіе разъяснить присутствію, что они не нужны. Третья телеграмма была послана уже изъ Лозовой, на пути въ Черноморскій округъ: «На двѣ посланныя мною телеграммы (отъ 17 и 24 декабря) отвѣта не получилъ и сиѣшу въ округъ лично узнать, не пропушу ли срокъ. Изъ К—ой и О—ской губ. много крестьянъ желаетъ переселиться на Кавказъ, а между тѣмъ имъ препатствуютъ, и по сіе время съ 225 семействами приговоры не засвидѣтельствованы, и переселенцы, за прекращеніемъ срока (1 января 1881 г.), потерявъ значительные убытки, почему покорнѣйше прошу о скорѣйшемъ распоряженіи—засвидѣтельствовать общественные увольнительные приговоры.!» На эту телеграмму послѣдовалъ также телеграфическій отвѣтъ: «Ждать разъясненія отъ губернатора». Но Д—въ вѣроятно не ждалъ, потому что прибывъ въ округъ, подалъ прошеніе о выдачѣ ему копій съ отвѣта округа губернатору. И вотъ какой былъ этотъ отвѣтъ:

«Мѣщанинъ Д—въ телеграфируетъ, что набрано 520 семействъ, желающихъ переселиться въ округъ. Благоволите приказать *предостеречь* переселенцевъ. На 500 семействъ *трудно найти въ окру-*

въ земель. Притомъ мѣстность крайне пресѣченная, гористая. Необходимо прислать нѣсколько благонадежныхъ лицъ осмотрѣть земли подробно, безъ чего не совѣтую трогаться съ мѣста».

Въ январѣ же мѣсяцѣ вслѣдъ за Д—вымъ пріѣхали въ округъ депутаты отъ мѣстныхъ крестьянъ (согласно телеграммѣ изъ округа) для осмотра мѣстности. Очевидно, что препатствія со стороны «мѣстнаго элемента» уже возымѣли свое дѣйствіе; выборные люди были заражены уже недоверіемъ къ Д—ву; въ воображеніи ихъ не разъ уже мелькнуло: «надулъ», «обобралъ», «сбѣжалъ», и т. д. Непривычные къ морскому пути, они, какъ нагрѣхъ, сѣли на пароходъ въ бурное время; два дня ихъ трепало въ морѣ, и они, еще не доѣзжая до главнаго города округа, были уже настрашены и напуганы. Пріѣхавъ въ округъ ночью, отыскали Д—ва; переночевали у него. Утромъ, выйдя на улицу, были изумлены окрестностями: горы кругомъ нескончаемыя. «Такъ такіа-то земли ты намъ сулилъ?» Но Д—въ сулилъ вовсе не такіа земли а гораздо южнѣе, за Сочи, въ такъ называемомъ Пастуновскомъ отдѣлѣ.

— Надо ѣхать посмотрѣть! говорилъ онъ, но депутаты были напуганы ѣздой на пароходѣ и ѣхать на парусной флегѣ имъ за что не соглашались. Явившись въ то же утро въ управленіе, они спросили:

— Какія же тамъ мѣста?

Тогда, указывая въ окно на горы, лицо, которое они спрашивали, сказало:

— А вотъ такіа, какъ здѣсь!

Это окончательно пришло депутатамъ, которые по всѣмъ видимостямъ и были посланы только для того, чтобы привести домой неблагоприятныя извѣстія и удержать народъ на старыхъ мѣстахъ и въ старыхъ путяхъ; они не оставались въ окружномъ городѣ даже и сутокъ и тотчасъ же отправились сухопутнымъ на станцію Крымскую и Ростовъ—домой, не взглянувъ даже на тѣ мѣста, которые видѣлъ Д—въ и отъ которыхъ остался въ восторгѣ.

Возвратившись домой, Д—въ былъ въ самомъ тяжкомъ и глупомъ положеніи. Враговъ у него было множество и въ народѣ, и въ «чистой публикѣ»; дѣло его окончательно провалилось, онъ оказался «вымогателемъ чужихъ денегъ», шарлатаномъ и надувалой. Но молва о земляхъ и подлинная, дѣйствительная невинность Д—ва, его безкорыстное служеніе дѣлу также не пропали безслѣдно въ народномъ сознаніи. Все, что онъ говорилъ, было правильно, удостовѣрено начальствомъ, напечатано и засвидѣтельствовано—и молва о «новыхъ мѣстахъ» и льготахъ шла въ народѣ своимъ чередомъ.

Вѣроятно молва эта была не маленькая и вѣроятно народъ вполне вѣрилъ Д—ву, такъ какъ, несмотря на то, что ни отъ кого изъ довѣрительныхъ не поступало жалобъ на то, что Д—въ обманымъ манеромъ выманилъ деньги, его «обязали подпиской о невыездѣ», и когда повѣстка о явкѣ Д—ва къ судебному слѣдователю, на 22 дек. 1881 года, не застала его дома (такъ какъ онъ явился къ слѣ-

дователю 20 декабря, т. е. двумя днями ранѣе), то изъ этого поступка была сдѣлана самовольная отлучка—причина его ареста, заключенія въ тюрьму и суда.

Вотъ плачевная исторія «мечтателя».

— Обманъ точно-что былъ! показывали свидетели,—только неизвестно, кто обманулъ!..

На судѣ конечно выяснилось, что и земель пахотныхъ нѣтъ, и вообще земель нѣтъ, и что онѣ не размежеваны, что неизвестно, гдѣ какія поселенія, что послѣднія вообще, кажется, невозможны—словомъ, выяснилось совершенно *не то*, что опубликовано въ правилахъ (да еще со срокомъ до 1 января), что Д— въ видѣлѣ своими глазами и что потомъ годъ спустя увидѣли своими глазами и его односельчане, отправившись въ тѣ-же благословенныя мѣста и арендовавъ тамъ участки.

А какъ все хорошо написано и какъ, въ самомъ дѣлѣ, хорошо: земли благословенныя, всего вдвое!

На дѣлѣ же, какъ читатель видитъ, вышло совсѣмъ, совсѣмъ не то!

IV. Обиліе «дѣла».

I.

Смущенный доводами моего пріятеля, относительно спеціальнаго значенія «бумаги» въ условіяхъ нашей жизни, я рѣшился поближе ознакомиться съ ея дѣяніями не въ такихъ экстренныхъ дѣлахъ, какъ колонизація и возрожденіе жизни на безжизненныхъ мѣстахъ, а въ обыкновенныхъ условіяхъ нашей жизни, въ удовлетвореніи будничныхъ общихъ потребностей. Матеріаломъ для такого ознакомленія мнѣ послужили разные замѣтки, собранныя мною въ разные времена изъ провинціальныхъ газетъ. Изъ нихъ-то я и извлекаю здѣсь кое-что по части всякихъ дѣловыхъ хлопотъ нашихъ провинціальныхъ захолустій.

На мое счастье мнѣ попался прежде всего № «Недѣли» (85 г.), въ которомъ какой-то провинціальный житель отвѣчалъ на ранѣ помѣщенную въ этой газетѣ статью «*Правда ли, что нѣтъ дѣла?*» и доказывалъ, что всякаго рода дѣла въ провинціи множество, но людей-то настоящихъ нѣтъ для его выполненія надлежащимъ образомъ.

«Безграмотные, ничего не знающіе люди, въ глаза не видавшіе университета», дѣлаютъ «массу» дѣлъ, Богъ знаетъ какъ, получаютъ массу денегъ, а люди съ высшимъ образованіемъ сидятъ, изволите ли видѣть, по чердакамъ въ Петербургѣ и «плачутся», что нѣтъ дѣла. Между тѣмъ на примѣръ въ Александріи, по словамъ автора корреспонденціи, всего только «одинъ повѣренный съ высшимъ образованіемъ», а его помощникъ—выпеченный еврей, не умѣющій не только по людски писать, но даже и говорить; и этотъ-то феноменъ чудакъ заработалъ въ два года свыше

четырехъ тысячъ рублей! Другихъ адвокатовъ въ Александріи нѣтъ, и масса судящагося люда, въ особенности въ деревняхъ, должна обращаться къ уличнымъ адвокатамъ. «Вѣдь получаютъ въ деревнѣ (!) или такомъ городѣ, какъ Александрія, занимаясь адвокатурой или служа даже помощникомъ секретаря, отъ 600 до 1,000 руб. годового дохода, все равно, что получать въ Петербургѣ 1,000—1,800 руб.» (Нед., № 35).

Насъ собственно занимаетъ въ этой корреспонденціи не размѣръ гонорара, къ которому любвеобильный провинціальный житель приглашаетъ (статья называется: «*Милости просимъ къ намъ!*») протянуть руки людей высшаго образованія, нынѣ плачущихъ по петербургскимъ чердакамъ о томъ, что никакимъ дѣломъ нѣтъ и ничего дѣлать невозможно—сколько неопровержимое свидѣтельство «жителя» о непомѣрномъ обиліи «дѣла» и дѣлъ, кишашихъ и по городамъ, и по деревнямъ. Какой-то человекъ, не умѣющій говорить, не только писать, получаетъ до 4,000 руб.—стало быть, съ обиліемъ дѣлъ рѣшительно дѣваться некуда. Они напираютъ со всѣхъ сторонъ. «Въ нынѣшнемъ году, прибавляетъ корреспондентъ, дѣла этого самого человека, не умѣющаго даже говорить, пошли еще лучше!» Стало быть, что ни день, то больше и больше дѣлъ, т. е. какъ разъ то самое «дохнуть некогда» *), о которомъ повѣствовало Апелсинскій и которое на дѣлѣ было доказано и исправникомъ, и мировымъ судьей, и самимъ Апелсинскимъ.

«Нѣтъ дѣла! Скучно!»

Но если читателю покажется недостаточнымъ вышеприведенное свидѣтельство корреспондента, то пусть онъ потруится прочесть еще нижеслѣдующую выписку изъ № 210 *Русскихъ Вѣдомостей* (85 г.): «Изъ статистическихъ данныхъ, приведенныхъ г. Хрулевымъ въ *Юридическомъ Вѣстникѣ*, явствуетъ, что на долю каждой члена судебной палаты, среднимъ числомъ, приходится тысяча дѣлъ въ годъ. Въ одно засѣданіе приходится выслушивать до ста дѣлъ и болѣе, т. е. болѣе чѣмъ вдвое трудъ этотъ превосходитъ норму работы, которую можно требовать отъ трудолюбиваго судьи. Легко представить себѣ, каково бываетъ изученіе докладовъ и обсужденіе дѣлъ при такихъ обстоятельствахъ!»

Да знаете ли вы еще, читатель, что такое «судебная палата» и что собственно она должна дѣлать? А вотъ что это такое: судебная палата должна быть «надежнейшей гарантіей подсудимыхъ, такъ какъ прокурорскій надзоръ, поставленный всѣмъ складомъ своей профессиональной дѣятельности въ невозможность исполнить объективно относиться къ дѣлу, представляетъ довольно слабую гарантію (подсудимаго)». Вотъ именно для того, чтобы специальность «обвинять» была введена въ предѣлы справедливости, и учреждена особая инстанція—судебная палата, которая «однимъ почеркомъ пера можетъ смыть пятно

*) См. стр. 994.

съ подсудимаго или опозорить невиннаго человѣка преданіемъ его суду». Дѣло судебной палаты такимъ образомъ оказывается до чрезвычайности важнымъ; но обиліе *дѣлъ*, благодаря которому каждый членъ палаты долженъ разобрать 1,200 дѣлъ въ годъ и выслушать въ день *сто дѣлъ* и болѣе, дѣлаетъ то, что инстанція эта находится въ самомъ затруднительномъ положеніи. «Столь важный моментъ, какъ окончательное обсужденіе слѣдственного матеріала, предопредѣляющее часто дальнѣйшую *судьбу дѣла* (а стало-быть и *судьбу человѣка*), на практикѣ свелось къ обряду штемпелеванія». Палата *санкціонируетъ почти все проекты обвинительныхъ актовъ* и въ доказательство того, что они *прошли чрезъ канцелярію* палаты, прикладываетъ свой *штемпель*. Точь въ точь какъ регистраторъ, механически прикладывающій печать при записываніи бумагъ въ исходящія книги» (*Рус. Вѣд.*, № 210).

Вы видите, что «дѣлъ» такъ много, что даже въ такихъ высокіхъ инстанціяхъ, отъ которыхъ зависитъ участь человѣка, его судьба, его жизнь, въ пору только «хлопать» штемпелемъ, въ то время когда слѣдуетъ быть «надежнѣйшею» гарантіею подсудимаго! А вы, петербургская интеллигенція, сидите по чердакамъ съ высшимъ образованіемъ, плачетесь, что «нѣтъ дѣла», тогда какъ за одно только «штемпелеваніе» можете получать отъ 1,200 до 2,500 р. с. въ годъ, что при петербургской жизни равнялось бы никакъ не менѣе 3,000—4,000 р.!

Впрочемъ затруднительное положеніе «инстанцій», благодаря обилію дѣлъ поставленной въ необходимость снизить до роли простого регистратора,—положеніе это еще можетъ быть поправлено самымъ простымъ образомъ: по словамъ почтеннаго автора статьи, которымъ цитировали, *стоитъ только увеличить персоналъ судебныхъ палатъ*. Но что вы скажете о положеніи *нижнихъ инстанцій*, которыя также буквально по горло завалены дѣлами? Неужели и тамъ также нужно увеличивать «персоналъ» людей, который въ настоящее время за обиліемъ дѣлъ тоже ничего не можетъ сдѣлать путнаго? А что обиліе дѣлъ въ самыхъ низшихъ инстанціяхъ существуетъ и ничуть не меньше, чѣмъ въ инстанціяхъ высшихъ, въ этомъ не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія. Приведу примѣръ, опубликованный въ официальной газетѣ, издающейся въ самомъ повидимому не канцелярскомъ мѣстѣ. Въ № 59 *Терскихъ Областныхъ Вѣдомостей* помѣщена публикація отъ хасафъ-юртовскаго полицейскаго управленія о розыскѣ разныхъ дѣлъ, которыя *вѣтромъ выдуло* изъ этого управленія 12 истекшаго мая мѣсяца (публиковано 21 іюля). Что такое Хасафъ-Юртъ? Ни я, ни читатель не знаемъ, но по слову «Юртъ», вовсе не напоминающему чего-нибудь похожаго на «бургъ», на «штадтъ» или на «городъ», можемъ догадываться, что это нѣчто жидое и нѣчто близко напоминающее слово «кочевье». Но что бы это ни было, аулъ ли это, станица ли, или просто одно только полицейское «управленіе», посмотрите-ка, какое гнѣздо «дѣлъ» заведено здѣсь! 12 «истекшаго»

мая изъ ущелья (вѣроятно тамъ какое-нибудь ущелье есть) сталъ дуть вѣтеръ, а писарь полицейскаго управленія вѣроятно ушелъ къ атаману или священнику, а можетъ быть къ муллѣ или къ князю Бейбулатову въ карачаевскаго барашка. Вотъ откуда онъ вѣлъ (карачаевскій барашекъ худенькій, тощенькій и съѣсть его можно скоро, особливо «съ устатку»), а изъ ущелья дуло вѣтромъ и прямо въ полицейское управленіе, въ окно; дуло разъ и выдуло слѣдующія дѣла: отъ 10, 11 и 23 января, 17 апрѣля, 3 и 10 іюня и 20 августа, за №№ 30, 31, 116, 293, 1069, 1070 и 1251. И въ другой разъ дуло изъ ущелья и опять унесло отъ 13 іюня, 4 и 19 іюля, 25 сентября и 10 октября, за №№ 566, 714, 740, 1109, 1116 и 1146. Писарь между тѣмъ, ничего не подозревая, продолжаетъ преспокойно вѣсть барашка, болтаетъ о казачкахъ, да потягиваетъ кахетинское, а въ то же время изъ ущелья начинаетъ подувать совсѣмъ не на шутку: дуло въ третій разъ такъ, что выдуло сразу цѣлую пропасть дѣлъ: отъ 8 и 27 октября, отъ 16 января, отъ 13 марта, 10 и 15 мая, 7 августа, 12 мая и 8 августа, опять отъ 12 мая и 1 іюля, за №№ 977, 1051, 38, 312, 416, 396, 763, 362, 413, и наконецъ сильнымъ порывомъ выхватило изъ управленія огромную переписку по дѣлу князя Асламбека Айдемарова за № 2237—и все это унесло невѣдомо куда.

И въ первое время послѣ того, какъ писарь, покончивъ съ барашкомъ, возвратился въ управленіе, трудно было бы замѣтить пропажу такой массы дѣлъ; разсылный принесъ уже новый, биткомъ набитый портфель, и только черезъ два съ половиною мѣсяца, и то вѣроятно случайно, удалось напасть на слѣдъ пропажи. И замѣьте, 12 мая вылетали бумаги прошлагоднія и позапрошлаго года, слѣдовательно дѣла, которыя одновременно не было возможности «обсудить»; еще замѣтите, не успѣла разлетѣться такая масса не оконченныхъ и нерѣшенныхъ дѣлъ, какъ налетѣла уже новая. И кромѣ того неужели только разъ, именно 12 мая, только и дуло такъ сильно изъ ущелья въ окно управленія? И неужели только 12 мая не доглядѣлъ писарь, потому что вѣлъ шашлыкъ у князя? Вѣдь онъ часто вѣсть шашлыкъ и изъ ущелья часто дуетъ? Нѣтъ! Навѣрно и прежде десятки лѣтъ выдувало точно такимъ же образомъ *массу дѣлъ* и уносило куда-нибудь черезъ урусбиевскій перевалъ въ Сванетію, а иначе давно бы уже шла рѣчь объ увеличеніи хасафъ-юртовскаго персонала, такъ какъ передѣлать всѣхъ этихъ дѣлъ, какъ должно, навѣрное, безъ помощи ущелья писарь не былъ бы въ состояніи, потому что это *фактически невозможно*, скажемъ мы словами *Рус. Вѣд.* (№ 210), объясняющими «штемпелеваніе» судьбы людей въ высшихъ инстанціяхъ.

Такимъ образомъ обиліе всевозможнаго рода «дѣлъ» не подлежитъ никакому сомнѣнію: дѣла эти кишатъ вокругъ всѣхъ насъ; кишатъ кишми, заполняютъ всевозможныя инстанціи отъ самыхъ низшихъ до самыхъ высшихъ и повсюду требуютъ увеличенія персоналовъ, увеличенія денежныхъ

сѣтъ, даже расширенія построекъ! — по крайней мѣрѣ о расширеніи тюремныхъ зданій знатоки дѣла поговариваютъ довольно часто; кромѣ всего этого къ существующимъ уже инстанціямъ, оказывающимся буквально заваленными дѣлами, поминутно прибавляются новыя учрежденія и инстанціи, новыя расходы и сѣтныя расходы, и къ новому дѣлу привлекаются новыя массы дѣятелей. И если бы мы позволили себѣ предположить, что хоть одна сотая часть этихъ безчисленныхъ «дѣлъ» правильно и просто соотвѣтствуетъ назначенію тѣхъ инстанцій, въ которыхъ эти дѣла дѣлаются, т. е. если бы мы предположили, что десятая часть этихъ дѣлъ дѣлается для того, чтобы мнѣ, отдѣльному лицу и обществу, въ которомъ я живу, было бы лучше, легче и разумнѣе жить на свѣтѣ, такъ давно бы ужъ у насъ на Руси были кисельные берега, медовыя рѣки, и жили бы мы всѣ въ прекрасномъ саду, гдѣ растутъ золотыя яблоки и поютъ райскія птички. Но стоитъ намъ отъ общаго представленія безконечныхъ хлопотъ о личномъ и общемъ благѣ, удручающихъ старыя и вновь возникающія инстанціи, перейти къ дѣйствительной жизни какого-нибудь жилого человѣческаго мѣста, положимъ хоть современнаго губернскаго города или современной русской деревни, чтобы тотчасъ же убѣдиться въ существованіи двухъ чрезвычайно тяжкихъ явленій: во-первыхъ, въ полной безжизненности житейскихъ отношеній и, во-вторыхъ, въ нравственной тоскѣ, въ томительной скукѣ жизни того большого круга интеллигентныхъ людей, которые наполняютъ мѣстныя инстанціи и повинному хлопоту нѣ для чего иного, кромѣ благообразія и упорядоченія жизни. Дѣятели томатся, тоскуютъ, скучаютъ, стремятся какъ-никакъ размять свободныя отъ занятій часы, а общественная жизнь, не смотря на обиліе хлопотъ и дѣловой суеты, которыми завалены эти скучающіе дѣятели, идетъ такъ, что какъ будто еще и въ поминѣ не было какихъ бы то ни было инстанцій, обязанныхъ заботиться объ ея благообразіи.

II.

Имѣя напѣреніе въ настоящемъ письмѣ коснуться именно этого непривлекательнаго, томительнаго и вообще неблагообразнаго по результатамъ соединенія хлопотливой дѣловой возни съ тоскливымъ существованіемъ интеллигенціи и полною заброшенностью дѣйствительныхъ, живыхъ общественныхъ нуждъ, — соединенія, которое характеризуетъ переживаемую нами теперь минуту, — не могу не сдѣлать небольшого отступленія и не рассказать одного моего очень простаго разговора съ однимъ крестьяниномъ объ очень простомъ, но дѣйствительно человѣчески-необходимомъ и человѣчески-справедливомъ общественномъ дѣлѣ. Быть можетъ, разговоръ объ этомъ маленькомъ дѣлѣ дастъ мнѣ возможность лучше разобратся въ той большой суетѣ, о которой идетъ рѣчь. Крестьянинъ, съ которымъ у меня случайно вышелъ простой разговоръ о простомъ и не громкомъ дѣлѣ, былъ старикъ-камен-

щикъ; на своемъ вѣку онъ исходилъ никакъ не менѣе полъ-Россіи; немало поработали его руки при постройкѣ церквей, домовъ, казармъ. Рассказывая объ этихъ работахъ и о трудахъ, въ которыхъ онъ провелъ жизнь, старикъ не рассказывалъ мнѣ ничего особенно любопытнаго: расчеты, харчи, хозяева... Но оказалось, что въ этой трудовой и однообразной жизни было одно такое воспоминаніе, которое оставило въ немъ самое пріятное и вмѣстѣ съ тѣмъ сложное впечатлѣніе. Воспоминаніе это относилось къ постройкѣ въ одномъ изъ уголковъ южной Россіи новой нѣмецкой колоніи. Пока онъ рассказывалъ мнѣ исторію своей долгой рабочей жизни и заработка, никакныхъ, повторяю, выхъ воспоминаній, кромѣ воспоминаній только о заработкѣ, не возникало въ воображеніи старика; но едва только рѣчь зашла о постройкѣ этой нѣмецкой колоніи, какъ тотчасъ же что-то пріятное, свѣтлое проскользнуло въ памяти рассказчика, зазвучало въ его голосѣ, засвѣтилось въ его лицѣ. Постройка «колоніи» была для него не только заработокъ, не только работа рукъ, но какъ будто бы такое хорошее дѣло, вспоминая о которомъ радуешься, что могъ приложить къ нему свои руки, что могъ въ немъ участвовать.

— Ужъ такъ-то хорошо, такъ-то искусно надумано! Даже и словъ не подберешь, какъ ужъ и похвалить-то! Вотъ какое благовидное дѣло сдѣлалось!

По рассказамъ старика, старая нѣмецкая колонія, почувствовавъ излишекъ населенія и видя, что въ ея средѣ выросло уже новое здоровое поколѣніе мужчинъ и женщинъ, имѣющихъ всѣ права жить вполнѣ самостоятельно и независимо, чтобы удовлетворить этой совершенно законной, совершенно простой, человѣчески понятной и уважительной потребности молодого поколѣнія, купила огромный лоскутъ земли, выстроила на немъ сразу цѣлую улицу каменныхъ домовъ со всѣми необходимыми въ хозяйствѣ приспособленіями и службами, сразу «сыграла» тридцать свадебъ и сразу же «отсадила», какъ рой, въ новый со всѣми возможными удобствами устроенный новый улей. И все это сдѣлалось, благодаря самому простому и вполнѣ человѣчески-понятному обычаю колонистовъ, вслѣдствіе котораго въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ много сыновей, только старшій сынъ считается наследникомъ отцовскаго имущества, а всѣ послѣдующіе, хотя и живутъ до возраста въ отцовскомъ домѣ, но считаются уже работниками, то-есть за свои труды въ отцовскомъ домѣ, — труды, несомнѣнно увеличивающіе отцовскій достатокъ, — получаютъ обыкновенную заработную плату. Эта заработная плата не выдается однако на руки дѣтямъ, такъ что они живутъ въ отцовскомъ домѣ, вовсе не чувствуя себя нанятыми батраками, а вся сполна вносится въ общественную кассу, т. е. вотъ изъ суммъ то этой кассы и получаютъ тѣ mogućія общественныя средства, которыя даютъ возможность ежегодно устраивать, *сажать* на собственное хозяйство подрастающія молодые пары, сначала помощью покупки въ той же самой колоніи

свободныхъ и никого не стѣсняющихъ участковъ, а современемъ, когда не оказывается возможнымъ обойтись наличными средствами, большія общественныя суммы, добровольно и сознательно вложенныя въ общую кассу каждымъ отдѣльнымъ домохозяиномъ, даютъ возможность, безъ всякаго ущерба или обремененія существующихъ хозяйствъ, отсадить на новыя мѣста и въ новыя жилища сразу цѣлый новый молодой выводокъ. Этотъ выводокъ, при помощи тѣхъ подростковъ, которыхъ не поглощаютъ семьи старой колоніи и которые въ новой примыкаютъ къ новообразовавшимся хозяйствамъ, какъ работники, т. е. люди, имѣющие быть въ послѣдствіи также хозяевами, начинаютъ жить трудами рукъ своихъ, еще болѣе увеличивая общественныя средства разрастающейся колоніи и давая ей возможность на эти средства улучшить свой внѣшній видъ, строить церкви, школу, мостовую, водопроводы, даже гулянье, вокзалъ для танцевъ.

— И такъ-то я, говорилъ старакъ, — въ ту пору на нихъ любовался да радовался: кажется, въ жизни свою такого мнѣ не было удовольствія! Ужъ такъ-то хорошо, да весело, да благородно! Ну, скажите на милость, ну что, ежели бы не отсаживать выводковъ-то, а держать ихъ, вотъ какъ въ нашихъ горькихъ мѣстахъ, въ тѣснотѣ, вѣдь что бы это было? Вѣдь мы видимъ, какъ въ нашихъ мѣстахъ-то изъ-за этой тѣсноты то слезы льются... Буду я говорить такъ, что, положимъ, вотъ хоть у меня три сына, и всѣ три сына женатые. Работаютъ они въ домѣ всѣ и достоиніе въ домѣ всеобщее, а вѣдь работа работъ не ровная и каждый свою работу знаетъ. Каковъ есть кусокъ сахару, а я вижу, сколько въ немъ моего поту есть и сколько братниного; я ужъ знаю, кто мой уголь у куска-то у сахарнаго откусилъ — молчу, а самъ себѣ думаю: «ишь молъ кто моими то трудами лакомится!» Да окромъ этого я человѣкъ женатый, у бабы у моей свой характеръ, вѣдь мы хотимъ жить своимъ домомъ, своимъ хозяйствомъ, по своему характеру; моей бабѣ милы ея ребята, а братникой женѣ, предположимъ, они не милы; у самой-то у ней нѣтъ дѣтей, а на моихъ она работать не хочетъ. Ну, какъ же тутъ, въ тѣснотѣ-то, соблюсти себя въ тишинѣ да въ любви? Только и есть, что молчать всѣ другъ про друга, да другъ при другѣ, да бояться стариковъ, пока живы да строги. Только однимъ страхомъ и прищиплены кучей жить... Тутъ на каждомъ шагу изъ-за однихъ бабъ чего натерпѣшься. Какъ-то баба вѣдь она еще больше нашего хочетъ жить сама по себѣ; она все на свою мѣрку мѣряетъ, ей все надо, чтобы по ейному вкусу было, по Авдотьиному, а не по Марьиному или по Матрениному... А гдѣ же тутъ въ котлѣ-то со своимъ вкусомъ уместиться такъ, чтобы чужой не мѣшалъ? Вѣдь и Марья, и Матрена тоже только въ свой вкусъ вѣруютъ, ну, и идетъ шипучее зло... Пока, что, бояться родителей, копять злобу потихоньку, терпѣть, а придетъ не стерпѣжъ, начнутъ дѣлаться — и растащатъ большой домъ по мелкимъ кускамъ. Разбредутся по хибаркамъ прямо на хлѣбъ да на квасъ. Поди-ка избу-то заведи, поди-ка со скотичой-то справься! А тутъ,

гляднись, ребенокъ родился, а тамъ, гляднись, ко-рова пала, помочи нѣтъ ни откуда! Вотъ и бьется человѣкъ день и ночь изъ пустава... «Семь-ко, думаетъ, пойду на фабрику, поправлюсь; принесу денегъ, все исправлю!» Пойдетъ на фабрику-то, а тамъ, гляднись, и пить выучился, а то такъ и совсѣмъ распяньствовался со скуки по дому-то... А со скуки по бабѣ по своей, гляднись, и связался съ какой-нибудь мадамой на чужой сторонѣ, да заболѣлъ, да домой-то воротился и пьяный, и больной, и жену-то въ болѣзнь вогналъ, а наконецъ того, съ горя, да съ нужды, да съ неудачи, и вовсе пропащимъ человѣкомъ сдѣлался... Въ деревнѣ ослабѣть недолго! Иной, ослабѣвши, пьетъ, а иной жену бьетъ, а иной и темными дѣлами начнетъ заниматься: гляднись, и поймали у сосѣдскаго амбара и въ острогъ повели, а по улицѣ по деревенской ребятишки его съ мамкой со своей въ отрепкахъ пошли милостыню просить! Такъ вотъ какъ по нашимъ-то горькимъ мѣстамъ бываетъ! Да какъ поглядѣлъ я въ ту пору на этихъ тридцать-то свадебъ, какъ онѣ съ музыкой, да съ пѣснями, да съ весельемъ въ новое-то мѣсто шли, да какъ вспомнилъ наше мужицкое житье-бытье, такъ, вѣрнѣе ли, такъ меня слеза и прошибла... предъ Богомъ! И вѣдь какъ тихо-то да благородно, такъ просто на рѣдкость! Идутъ люди въ свои дома, все это они сами выработали, покуда росла, никому ни въ чемъ не запутавши, въ ноги никому не кланяются, чтобы пѣвѣрили рубль серебромъ примѣрно для начатія хозяйства, все у нихъ свое, трудовое и во всемъ своя воля! Такъ-то, братецъ ты мой, складно это у нихъ, такъ-то благородно, чинно да весело, что вотъ ужъ сколько годовъ прошло съ постройки-то, а какъ вспомню, такъ и сейчасъ побѣгъ бы полюбоваться на нихъ! Право слово, побегъ бы!

Я очень хорошо знаю, что видѣлія, нарисованная разсказомъ каменщика, натерпѣвшагося отъ старыхъ и новыхъ не порядковъ, не вполне соответствуетъ дѣйствительности. Но въ то же время я несомнѣнно знаю, что, даже и не раздѣляя восторженныхъ похвалъ, расточаемыхъ каменщикомъ «порядкамъ», царящимъ въ колоніяхъ, порядки эти, каковы бы они ни были, все таки лучше и человѣчнѣе того, что мы въ «нашихъ мѣстахъ» привыкли называть также «порядками». Изъ всего, что мнѣ лично приходилось видѣть, читать или слышать отъ очевидцевъ, близко знающихъ тѣ человѣческія общезжитія, которыя называютъ колоніями, я, да и всякій другой, не могъ не вывести заключенія, что эти общезжительскія мѣста живутъ хорошо, достаточно, умно и тихо. Тишина, которою окружены эти трудовыя общезжитія, замѣчательна въ настоящее время мнѣ приходится просматривать чрезвычайно много разныхъ провинціальныхъ газетъ, а извѣстно, что провинціальная пресса особенно широко разрослась на югѣ Россіи, какъ разъ въ тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ процвѣтаютъ нѣмецкія колоніи, т. е. въ Новороссіи, Крыму, Кавказѣ, и нигдѣ, ни въ одной газетѣ, почти никогда ни единымъ словомъ не упо-

минается о жить-быть колонистовъ. Изрѣдка только мелькнетъ извѣстіе, что молъ нашимъ южно-русскимъ мужикамъ становится трудно жить отъ этихъ колоній, съ каждымъ годомъ все дальше и дальше раздвигających свои предѣлы помощью покупки сотенъ тысячъ десятинъ земли, но почти никогда нѣтъ ничего похожаго на извѣстія, идущія изъ нашихъ селъ и деревень.

Разбой, грабежъ, пожаръ, падежъ, эпидемія, надувательства всѣхъ видовъ и образцовъ—извѣстія обо всемъ этомъ валомъ валать на страницы нашихъ провинціальныхъ органовъ изъ деревень, селъ, поселковъ и городовъ, и почти никогда не слышится о нихъ изъ тѣхъ общежитій людскихъ, которые десятками лѣтъ живутъ въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ съ той или другой нѣмецкой колоніей; даже для нихъ жизнь, нравы и порядки сосѣдей-колонистовъ извѣстны только въ весьма слабой степени, точно будто по сосѣдству и нѣтъ никакого жилого мѣста, да и всѣ тѣ, воплнѣ достойныя уваженія лица, отъ которыхъ я слышалъ много разсказовъ про жизнь и порядки въ колоніяхъ, и тѣ болѣею частью всегда *случайно* знакомились съ ними. О колоніи напримѣръ Темпельгофъ близъ Пятигорска, удивляющей всѣхъ случайно заглядывавшихъ туда необыкновеннымъ благоустройствомъ и достаткомъ.—колоніи, имѣющей роскошный внѣшній видъ, съ мостовыми, съ освѣщеніемъ, имѣющей свою прогимназію, свои общественныя учрежденія вродѣ паровыхъ общественныхъ мельницъ,—объ этой колоніи стало извѣстно только въ самое недавнее время, благодаря случайному описанію ея, помѣщенному въ *Терскихъ Вѣдомостяхъ*, — описанію, исполненному безконечныхъ похвалъ и удивленій предъ людьми, которые съумѣли такъ уютно, хорошо, тепло, свѣтло и благообразно устроиться и жить тутъ же подъ бокомъ у насъ, подъ бокомъ у людей, которые только и дѣлаютъ, что вопіютъ объ увеличеніи «персоналовъ» въ обществѣ, въ учрежденіи новыхъ инстанцій. Ни мировой судья, ни окружный судъ, ни слѣдователь, ни, словомъ, вся огромная провинціальная интеллигенція, заваленная выше головы «дѣлами», почти не знаютъ даже о существованіи этихъ колоній, которыя живутъ и процвѣтаютъ у нихъ же подъ бокомъ и даже подъ носомъ, а это значить только то, что колоніи не нуждаются въ содѣйствіи всѣхъ этихъ инстанцій и людей, пекущихся объ общественномъ благополучіи, и находятъ возможнымъ удовлетворять всѣмъ своимъ нуждамъ единственно при помощи собственныхъ средствъ.

Очень хорошо всѣмъ извѣстно, что нѣмцы-колонисты являются въ Россію съ большими средствами, дающими имъ возможность сразу устроиться хорошо и уютно, тогда какъ нашъ крестьянинъ, отдѣлившись отъ родителя, начинаетъ жить только съ «голыми руками». Но я говорю о благосостояніи колоній вовсе не для того, чтобы корить имъ нашего горемыку-мужика, а единственно для того, чтобы обратить вниманіе на тотъ пріемъ, способъ, манеру, если угодно, помощью ко-

торыхъ люди находятъ возможнымъ жить на бѣломъ свѣтѣ справедливо и благообразно. Я говорю о колоніяхъ и «порядкахъ», господствующихъ въ ихъ жизни, для того, чтобы *припомнить*, въ чемъ же собственно заключается суть «общественнаго блага» и «общественнаго дѣла», такъ какъ за обиліемъ кшащей вокругъ насъ дѣловой суеты положительно можно утратить всякое ясное, живое представленіе о живомъ, человѣчески-понятномъ дѣлѣ. Благодаря знакомству съ жизнью такой маленькой по-человѣчески живущей группы людей, я могу видѣть, что суть всего благообразія житья-бытья этой маленькой людской группы есть *самое простое, самое дѣйствительное и самое реальное удовлетвореніе человека въ необходимыхъ для его существованія надобностяхъ*—вотъ тотъ до чрезвычайности простой и до чрезвычайности благодѣтельный пріемъ, которыми руководствуются колонисты во взглядѣ на свои общественныя обязанности. Люди, живущіе трудами рукъ своихъ, знаютъ, что и дѣти ихъ будутъ жить точно такъ-же, какъ и они; но для того, чтобы жить такимъ образомъ, нужно, чтобы у человѣка было все необходимое: земля, домъ, скотъ, орудія; нужно стало быть купить и домъ, и скотъ, и землю, и орудія, и вслѣдствіе такого простого взгляда на человѣческую нужду и общественное дѣло становится простымъ, важнымъ и воплнѣ человѣческимъ. Помощью общественной кассы, никого не обременяющей, наполняемой деньгами добровольно, изъ чувства личной потребности быть справедливымъ и покойнымъ за будущее поколѣніе, образуются тѣ средства, которыми и удовлетворяются воплнѣ простыя и воплнѣ необходимыя нужды человѣка, живущаго трудами своихъ рукъ. И вотъ такое-то *простое дѣло* сразу уничтожаетъ возможность безчисленнаго количества всевозможныхъ общественныхъ изъевъ: уничтожаетъ нищенство, уничтожаетъ бродяжничество, воровство, семейный разладъ изъ-за нищеты—словомъ, сразу дѣлаетъ совершенно ненужною ту обременительную, тяжкую, бесплодную суету, которая заваливаетъ всевозможныя инстанціи всевозможными дѣлами. Нашъ народъ, начинающій жить и живущій «съ голыми руками», находящійся въ зависимости отъ случайностей своего труда, — нашъ народъ очевидно нуждается гораздо болѣе, чѣмъ тѣ люди, о которыхъ мы только-что говорили, въ томъ, чтобы люди «общественнаго дѣла» относились къ его положенію *какъ можно проще*. Онъ также живетъ трудами рукъ своихъ, но этотъ трудъ находится въ неблагоприятныхъ условіяхъ, подверженъ тысячамъ случайностей, которыя могутъ лишить возможности человѣка трудиться и слѣдовательно поставить его въ совершенно безпомощное положеніе. Слѣдовательно, желая «пещись» о немъ, необходимо только одно простое и важное дѣло—*обеспечить для него возможность и спокойствіе труда*, и больше ничего не нужно! Но вотъ именно этого-то простого вниманія къ насущнѣйшей нуждѣ человѣка, живущаго только собственными

своими руками, мы и не видимъ во всей той безконечной дѣловой суетѣ, которая кишитъ вокругъ насъ.

III.

Заглянемъ на минуту въ кое-какія изъ этихъ многочисленныхъ инстанцій, обремененныхъ утомительнымъ трудомъ «штемцелованія» обвинительныхъ актовъ и запечатыванія безчисленныхъ пакетовъ, и посмотримъ, что тамъ дѣлается.

Вотъ предъ нами какое-то глажевское волостное правленіе, Новоладожскаго уѣзда, Петербургской губерніи. Дѣла оно дѣлаетъ много, но мы возьмемъ только одну частицу этихъ дѣлъ, именно дѣла волостного суда, да изъ этихъ-то дѣлъ также коснемся только одной изъ множества заботъ, удручающихъ господъ волостныхъ судей—именно заботу о взысканіи податей. Вотъ въ какомъ видѣ осуществляется мин эта забота: «по рѣшенію глажевскаго волостного суда приговорены къ тѣлесному наказанію, по 20 ударовъ, за неплатежъ податей крестьяне слѣдующихъ обществъ: изъ 45 надѣльныхъ домохозяевъ Подпонецкаго общества приговорено къ розгамъ 25 человекъ; Оломенскаго изъ 45—32 человека; Лаховскаго изъ 35—26 чел.; Гатицкаго изъ 41—32 чел.; Меминскаго изъ 51—35 чел.; Глажевскаго изъ 105—38 чел.; Черенцовскаго изъ 83—19 чел.; Теребочевскаго изъ 44—7 чел.; Наволокскскаго изъ 35—11 чел.; Наростынскаго изъ 33—8. И всѣ эти приговоры постановлены только въ промежутокъ времени съ 16 мая по 28 іюня настоящаго года.

Такимъ образомъ втеченіе мѣсяца изъ 517 домохозяевъ, населяющихъ волость, высѣчено 224 человекъ *), т. е. безъ малаго наказана половина волости. За что же? А за то, что не платятъ податей. Отчего же они не платятъ? Да вотъ отчего. «Въ большинствѣ случаевъ у бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ Солоцкой и Глажевской волостей на одну ревизскую душу приходится отъ $\frac{3}{4}$ до 1 десятины пашни, и только у нѣкоторыхъ государственныхъ крестьянъ Глажевской волости, имѣющихъ надѣлы болѣе 10 десятинъ, количество пахотной земли достигаетъ до $1\frac{1}{2}$ десятины на душу. Почва песчаная, глинистая; овесъ никогда не даетъ хорошихъ урожаевъ: обыкновенный урожай овса самъ 2—3. Но и этотъ скудный урожай не составляетъ полной собственности землепашца, такъ какъ большинство крестьянъ беретъ овесъ на посѣвъ у кулаковъ или у мѣстныхъ помѣщиковъ, причемъ платитъ такой процентъ: либо овсомъ же за кулъ полтора куля, либо деньгами—1 р. 50 к. или 2 руб. за кулъ, причемъ эти деньги вносятся при полученіи овса, а самый овесъ возвращается осенью. При урожаѣ самъ два-три крестьянину очень часто, по уплатѣ роста, остается одна только овсяная солома. Но часто и за такіе проценты не всѣ нуждающіеся могутъ достать сѣмена на посѣвъ. Въ нынѣшнемъ году многіе крестьяне должны были оставить незабѣянными свои яровыя

поля. Нѣкоторые крестьяне, въ ожиданіи ссуды на посѣвъ отъ новоладожской земской управы, запахали было свои поля, но ссуда не была разрѣшена, и они вынуждены были отдать задаромъ свои нивы односельчанамъ-богачамъ, имѣющимъ сѣмена, лишь бы только земля не пустоствовала. Кроме всего этого, 84—85 годъ былъ особенно неблагопріятенъ для крестьянъ названной мѣстности. Сибирская язва свила себѣ здѣсь постоянное гнѣздо, унося сотни и тысячи рогатаго скота и лошадей; въ 84 г. она даже и людей не щадила. За этихъ бѣдствіемъ послѣдовалъ неурожай на хлѣбъ, тогда какъ и въ благопріятные годы только у нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ крестьянъ хлѣба хватаетъ на полгода» (*Недѣля*, № 28).

Въ цифрахъ, которыя приведены выше, не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія; онѣ собраны статистиками петербургскаго земства, это не выдумка, а сухая, совершенная правда. Посмотрите на нихъ и подумайте, что это такое? Въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ, когда каждый деревенскій ребенокъ можетъ опредѣлить, будетъ ли онъ сытъ, или голоденъ зимою, т. е. въ то самое время, когда собственными глазами можно видѣть, сколько засѣяно въ поляхъ и хватить ли этого засѣва на насущныя потребности населенія, — въ это-то самое время, во имя какого-то нравственнаго поврежденія въ глубинѣ сознанія и совѣсти людей, знающихъ дѣйствительное свое положеніе, совершается дѣло поминутнаго тупоуміе, ни для кого и ни для чего ненужное. Что же это такое? Можно было бы впасть въ большую ошибку, если предположить, что побудителемъ къ сѣченію была человѣческая жестокость. Нѣтъ! наказываютъ просто потому, что мысль о возможности *въ самомъ дѣлѣ* удовлетворить насущныя нужды поселянъ, удовлетворить просто, справедливо, по-человѣчески—эта мысль никогда ничѣмъ не поддерживалась въ народномъ сознаніи. Наказываютъ зря, зная, что никто не виноватъ, но надо же что-нибудь дѣлать въ такіе критическія минуты, когда нечѣмъ платить податей, т. е. нельзя выполнить первѣйшей обязанности обывателя. Фальшивое, тяжкое дѣло дѣлается въ тѣхъ именно затруднительныхъ человѣческихъ положеніяхъ, которыя требуютъ самаго простаго и внимательнаго удовлетворенія.

Убавьте цифру наказанныхъ въ одной только волости въ десять разъ и вмѣсто 224-хъ примите за норму только 22 человекъ на волость, помножьте эту цифру примѣрно на 10, чтобы получить примѣрное число наказанныхъ въ уѣздѣ, умножьте имѣющую получиться цифру опять на десять; чтобы имѣть понятіе о количествѣ наказанныхъ въ губерніи, наконецъ и эту цифру увеличьте въ размѣрахъ количества губерній, и вы получите нѣчто чудовищное. Наказано 224 человекъ потому, что никто не привыкъ *справедливо и просто думать ни о своей нуждѣ, ни о нуждѣ ближняго*. Наказанный человѣкъ освобождается отъ тяжкаго бремени; дома его мучила нищета, нужда, голодовка, плачь голодныхъ ребятъ, жалость объ умиравшемъ мальчонкѣ. Онъ

*) Цифры официальные (*Недѣля* 85 г.).

сердился дома на кулаковъ, которые его обобрали, ругался даже надъ сходомъ, ропталъ на порядки, при которыхъ никакъ не справишься, и его наказали, т. е. дали ему право плюнуть на свои человѣческія терзанія, сдѣлали совершенно ненужными его мысли о порядкахъ и не порядкахъ, прекратили въ немъ всякія совѣстливыя душевныя движенія. Кто и что еще можетъ отъ него требовать? Кто и въ чемъ его можетъ обвинять? У него на спинѣ рубцы, онъ *за все* пострадалъ, пострадалъ настоящимъ образомъ; ему теперь нельзя, невозможно не отдохнуть отъ всѣхъ своихъ мукъ и всего своего горя и главное отъ этихъ рубцовъ на спинѣ—и онъ отдыхаетъ въ кабакѣ; жена, ребята теперь пусть погодятъ: онъ вѣдь дѣйствительно пострадалъ и измучился. А чтобы совершить такое тупоумное дѣло, какъ порка 224 человѣкъ, нужно написать и составить 224 протокола, нужно исписать пропасть бумагъ, и немудрено, что писарь проситъ прибавки, что писарскія жалованья растутъ съ каждымъ годомъ.

Поднимемся ступенькой выше и заглянемъ въ камеру мирового судьи.

IV.

Возьмемъ для примѣра опять-таки только кусочекъ изъ этой глыбы «дѣлъ», положимъ, хоть дѣла о семейныхъ крестьянскихъ ссорахъ. благо матеріалъ относительно этого рода дѣлъ находится у насъ подъ рукою. Мы имѣемъ въ рукахъ, во-первыхъ, письмо бывшаго мирового судьи, напечатанное недавно въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ*, и статью изъ *Юридическаго Вѣстника* г. Лудмера о бабьихъ стонахъ. Обѣ эти статьи рассказываютъ объ одномъ и томъ же уголкѣ Московской губерніи, и для обѣихъ статей не только хватило матеріала, но мы имѣемъ основаніе думать, что матеріалъ этотъ далеко не исчерпанъ, такъ какъ въ непродолжительномъ времени въ печати должны появиться матеріалы, касающіеся тиранства надъ дѣтьми, и почерпнутые опять-таки изъ того же самого крошечнаго подмосковнаго мирового участка. Что же тутъ творится въ этомъ случайно разрытомъ муравейникѣ? «Ежедневно — говорится въ письмѣ г. мирового судьи—въ мою камеру приходили десятками изувѣченныя, истязуемыя, избитыя бабы. Почти то же самое я видѣлъ и въ уѣздномъ городѣ въ 82—84 годахъ, гдѣ мелкіе мѣщане, ремесленники, пригородные жители безчеловѣчно закладываваютъ своихъ женъ. Въ памяти моей живы ужасныя избіенія женъ и малыхъ дѣтей, истязанія беременныхъ, которыхъ изверги привязывали за косы и лупили ремнями черезъ сѣдельникомъ по животу, плечамъ и груди. У одной молодой женщины защемили косу между половниками; свекровь держала, а мужъ билъ. Одинъ *потерянный* мужикъ снялъ одешонку съ малыхъ ребятъ и бѣжить пропить ее. Жена нагнала его и стала отнимать одежду. Мужикъ началъ неистово бить ее кулаками и сапогами, и ее еле живую принесли въ мою камеру. Другой пьяница, войдя въ избу, сбилъ кулаками

люльку съ груднымъ ребенкомъ, а потомъ вышвырнулъ его на морозъ. Одинъ *спившійся съ круцу* здоровенный мужикъ бросился колотить жену; она въ это время держала ребенка, умирающую лѣвочку трехъ лѣтъ, дѣвочка умоляла «не бить маму», а мать, вся всклокоченная, въ крови, должна была утѣшать испуганную и умирающую дѣвочку. Судился у меня еще одинъ мужикъ; тотъ мало того что билъ свою жену, онъ вырывалъ у нея ребенка двухъ лѣтъ, мальчика, и жегъ его тѣло надъ горящей лучиной... Но я бы могъ исписать сотни листовъ, еслибы вздумалъ утруждать читателя дѣлами женской мартирологии. Это нѣсколько капель въ цѣломъ потокѣ слезъ» (*Русск. Вѣд.*).

Читая безконечную лѣтопись ужасовъ разстроенной крестьянской семьи, можно наконецъ совершенно потерять способность возмущаться этими ужасами, можно дойти до полного одеревянѣнія, граничащаго съ равнодушіемъ и полнымъ невниманіемъ одинаково какъ къ тирану, такъ и къ его истравленной жертвѣ. Безобразіе, жестокость, безчеловѣчность, звѣрство, *ежедневно* и ежеминутно кишачія кругомъ насъ, до того утомляють вашу мысль, что вы наконецъ отказываетесь мучить себя размышленіемъ объ этихъ безконечныхъ и рѣшительно непонятныхъ проявленіяхъ човѣческой жестокости. Но надобно понять ихъ, и тогда безобразнѣйшая картина звѣрства приметъ значеніе, вполне постижимое здравымъ разсудкомъ.

«Крестьянка деревни Зибровки, Елена Иванова, заявила мнѣ^{*)}, что мужъ чрезвычайно жестоко обращается съ ней и тремя малолѣтними дѣтьми. Онъ не велитъ ей *беречь послѣднихъ* и вымогаетъ отъ нея деньги на пьянство. Два дня тому назадъ, когда она стряпала, мужъ пакнулъ на нее съ яростью, *началъ кусать ее зубами и хотѣлъ откусить носъ*, но она успѣла крикнуть: «заступитесь, дѣтки! онъ меня загрызетъ!». Маленькій, девятилѣтній сынъ бросилъ тогда въ отца щепкой, послѣ чего мучитель оставилъ ее и кинулся на мальчика, котораго безжалостно избилъ. Елена обращалась въ тотъ-же день къ старостѣ и къ старшинѣ, но тѣ ничего не сдѣлали. Въ ту же ночь мужикъ схватилъ полною и хотѣлъ убить мальчика, и когда жена удержала его, то онъ нанесъ ей тяжкіе побои; раздѣлавшись съ женой, онъ выгналъ сына изъ избы и тотъ переночевалъ на дворѣ. Теперь какъ только отецъ увидитъ своихъ дѣтей, то начинаетъ кидать въ нихъ каменьями. Передъ подачей Еленой жалобы она была выгнана мужемъ ночью изъ дома. Ей негдѣ было ночевать, она пошла къ волостному старшинѣ, но тотъ не обратилъ никакого вниманія на ея положеніе и вмѣсто того, чтобы оказать ей защиту, сказалъ: «Маѣ какое дѣло, ночуй, гдѣ знаешь!». Такъ какъ липо Елены было сплошь покрыто рубцами, то я распорядился освѣдѣтельствовать ее чрезъ врача и акушерку и чрезъ два дня назначилъ разбирательство дѣла, къ ка-

*) Факты заимствованы изъ статьи г. Лудмера. *Юрид. Вѣстн.*, № 5.

ковому времени я имѣлъ въ виду получить уже заключеніе медка.

«Мужъ Елены поразилъ меня одичалымъ выраженіемъ своего лица. *Несмотря на настоятельные, обращенные къ нему вопросы, за что онъ такъ зѣвски поступаетъ съ семьей, онъ только тупо обводилъ глазами камеру и бормоталъ:*

«— Эфто дѣйствительно!..»

«Оказалось между прочимъ (?), что ни лошади, ни коровы у него нѣтъ, что изба неманчезавтра развалится, хлѣба своего хватаетъ лишь до января, недоимокъ мною (за каковыя два раза былъ сѣченъ), но сколько именно, сказать не можеть. Разорила его порубка, которую онъ произвелъ въ лѣсахъ помѣщицы (а не произвести онъ ее не могъ, такъ какъ лѣсъ имъ не отведенъ, а купить не на что). Его поймали и оштрафовали; тогда продали лошадей, а корову онъ послѣ этого пропилъ. Сильно пьянствуетъ онъ уже два года.»

«Дѣло крестьянки Мироновой. Мужъ Мироновой, точно такъ же, какъ и мужъ Елены, постоянно ее бьетъ, грозитъ убить ее до смерти, пьянствуетъ и не работаетъ. На разбирательствѣ обнаружилось, что Мироновъ бьетъ свою жену «сапогами и желѣзнымъ гвоздемъ», которымъ обдираетъ ей лицо, что, напиваясь, онъ грызетъ ее зубами и изгрызъ ей большой палецъ, потомъ кричитъ:

— Я тебя непременно убью, живой не оставлю!»

Миронова на видъ женщина большая и слабая. Обвиняемый объяснилъ свои зѣвския пьянствомъ, а почему пьянствуетъ — не въ состояніи былъ растолковать.

— Въ нашей деревнѣ всѣ пьютъ!»

Это его ultima ratio.

«Эта «наша деревня» между прочимъ (?) замѣчательна тѣмъ, что ей въ надѣлъ отведено буквально болото, которое могло бы представлять интересъ для ружейнаго охотника, но никакъ не для пахаря» (Юр. В., № 5).

Изъ этихъ двухъ примѣровъ, къ сожалѣнію слишкомъ кратко, поверхностно, «между прочимъ» объясняющихъ самыя коренныя причины разстройства крестьянскихъ семействъ, читатель весьма просто объяснить себѣ съ перваго взгляда непостижимыя, безчеловѣчныя, даже безумныя проявленія въ человѣкѣ зѣвскихъ инстинктовъ.

Онъ, женатый, семейный, съ дѣтьми, не имѣетъ ни земли, ни дровъ, ни скота; всѣ эти насущныя нужды разрѣшаются драньемъ въ волостномъ правленіи за недоимки, продажей скотины, т. е. униженіемъ нравственнымъ и еще большимъ упадкомъ матеріальнымъ. Къ чему тутъ приложить руку? Чѣмъ кормить семью, вообще что дѣлать съ собой? Вѣдь любовь къ семьѣ можно проявлять какимъ-нибудь реальнымъ дѣломъ, въ трудѣ для нея, въ заботахъ о ея теплѣ, сытости, но тутъ нѣтъ возможности проявить себя ни въ чемъ подобномъ. Что же удивительнаго, что человѣкъ начинаетъ просто-таки не понимать самого себя, не понимать своей семьи, считать жену и дѣтей злодѣями, извергами, которыхъ мало сжечь на огнѣ,

заморозать на морозѣ, изодрать желѣзнымъ гвоздемъ, потому что они хотятъ жить, варить что-то въ печи, разговаривать, плакать, радоваться... Все это упрекаетъ его въ своемъ несчастіи, въ нищетѣ, въ голодѣ, въ холодѣ, тянетъ изъ него душу каждую минуту, тогда какъ онъ ничего не можеть. Мужъ Елены ничего не могъ отвѣтить судѣ на вопросъ о томъ, зачѣмъ онъ тиранитъ семью, кромѣ бессмысленнаго бормотанія: «эфто дѣйствительно». Мужъ Мироновой не могъ объяснить, зачѣмъ бьетъ, зачѣмъ пьянствуетъ; а бьютъ и пьянствуютъ, какъ мы видимъ, зѣвски, ужасно, а корень всему этому опять-таки очень простой и ясный — невозможность трудиться, фактическая невозможность жить трудами рукъ своихъ.

«Крестьянинъ Дмитрій Никитинъ въ продолженіе 9 лѣтъ безмилосердно тиранитъ жену свою Арину. Свекровь не только не бережетъ ее, но еще наговариваетъ сыну на нее и подстрекаетъ его «учить жену». Кромѣ мужа, и братья его, солдаты, также не упускаетъ случая упряжаться на спишѣ Арины. Въ результатѣ Арина, больная, анемичная, необычайно тупая женщина, вызываетъ къ закону о защитѣ. Обвиняемые упорно отрицаютъ факты насилія, но свидѣтели подтверждаютъ ихъ и сообщаютъ такія подробности: Дмитрій, будучи подъ хмелькомъ, бросилъ своего четырехлѣтняго сына объ стѣну и «пришибъ» его такъ, что мальчикъ теперь «ничего не разумѣетъ». Когда одинъ изъ свидѣтелей спросилъ солдата (брата мужа), за что онъ бьетъ братнину жену, тотъ отвѣчалъ: «Мнѣ все равно добивать ее, одинъ конецъ, вѣдь, еще разъ придется идти въ Сербію!» Свекровь же говоритъ: «Убью тебя, околѣешь, будетъ другая сноха». Какъ я ни добивался — говорить г. Луджеръ — выяснить причины этой ненависти къ безотатной женщиной, мнѣ этого не удавалось, по крайней мѣрѣ ближайшихъ причинъ мнѣ не могли указать ни свидѣтели, ни жалобница. Нѣсколько правдоподобнымъ представляется объясненіе сельскаго старосты: Арина взята изъ дальней деревни, причемъ отецъ ея утверждалъ семью Никитиныхъ, что дочь его чуть ли не первая въ околоткѣ работница. Между тѣмъ Арина, по словамъ старосты, къ сельской работѣ мало способна, хвора, вдумчива; свое разочарованіе Никитины теперь и вымѣщаютъ на Аринѣ, не оправдавшей хозяйственныхъ надеждъ семьи».

Несчастную Арину, заколачиваютъ въ гробъ, заколачиваютъ всей семьей, причемъ братья мужа помогаютъ въ этомъ дѣлѣ, т. е. я говорю въ буквальномъ смыслѣ помогаетъ улучшить положеніе семьи смертью слабой бабы; тогда можно взять сильную. Отчего же ему не подсобить? Онъ идетъ въ Сербію, тамъ его убьютъ ни за что, ни про что. Лучшее же онъ «по крайности» для брата сдѣлаетъ добро, и онъ дуется, чѣмъ ни понадея, неработающую Арину... Вы видите, что ихъ, Никитиныхъ, обманули, что отецъ выдалъ имъ ее за настоящую работницу, т. е. насудилъ имъ въ Аринѣ лошадиную силу, а она вонъ какъ оказалась. Было трудно, думали

«поправиться» при помощи лошадиной силы новой бабы, а она вонъ какая... А несчастный отецъ несчастной Арины? Онъ-то вралъ изъ-за чего? Изъ-за чего онъ лгалъ передъ Никитинымъ, говоря о своей дочери: «Какая дѣвка! дѣвка, я тебѣ говорю одно: кобыла, вотъ что! Ты не гляди на нее, что она съ виду-то хлипка — я тебѣ говорю: огневая дѣвка! Толстомясыхъ-то много дѣвокъ, пожалуй, бери, какую хошь—мнѣ что! у меня она не засидится долго, а что прямо говорю: лошади по работѣ, во сто лѣтъ ты изъ нея силы-то этой не вымотаешь!» Зачѣмъ онъ вралъ примѣрно такимъ образомъ? А зачѣмъ, что Арина у него лишній ротъ, ему и такъ трудно, а она-вишь слабая... Сбыть ее съ рукъ—все будто полегче будетъ. А то, какъ на грѣхъ, захвораетъ, такъ тутъ пожалуй и расхоловаться придется, а изъ чего? И такъ не изъ чего взять-то! Запутаешься хуже прежняго; а запутался, ослабъ...

И вотъ чтобы не ослабѣть, Арининъ отецъ «всучиваетъ» дочь свою Никитинымъ, а Никитины, убѣдившись, что ихъ обманули, стараются также для того, чтобы не ослабѣть, вколотить Арину въ гробъ.

Вотъ и Александру Антонову мужъ ея тоже поровнять въ гробъ вогнать; «онъ давно отбилсъ отъ земли, ведетъ праздную жизнь и колотить ее. Нѣсколько дней тому назадъ онъ догналъ Александру на улицѣ, повалилъ ее на землю и поволокъ за косы, но къ счастью ее тогда спасъ староста, который взялъ съ него расписку, что онъ больше не будетъ бить Александру. Но вотъ вчера она, обливаясь потомъ, работала за станомъ и, видя мужа пьянымъ, не стерпѣла и сказала ему: «зачѣмъ онъ льетъ, когда у нихъ нѣтъ куска хлѣба?» Такой упрекъ не понравился Антонову; заперевъ кругомъ избу, онъ выѣстъ съ матерью своею (также падкой до вина) накинулись на Александру и стали ее бить; Антоновъ надѣлъ ей на шею петлю, затянулъ ее и наносилъ удары черезъ сѣдельникомъ, а потомъ и кулаками по груди, въ чемъ ему помогала и мать. На крики Антоновой сбѣжался народъ, но въ избу никто не вошелъ, а только смотрѣли въ окно. Это истязаніе продолжалось около часу. Она впала въ безпамятство и такъ пролежала цѣлый день на полу. Очнулась въ лужѣ крови и съ вывихнутой рукой. По окончаніи боя Антоновъ стянулъ съ нея одежду и пропилъ. Она работала по цѣлымъ днямъ, доставала съ фабрики пряжу и платила за мужа подати. Антонова привели на разбирательство подъ конвоемъ двухъ десятскихъ, такъ какъ онъ успѣлъ уже гдѣ-то украсть тулупъ, за что и взятъ былъ подъ стражу. По словамъ его конвоировъ, обвиняемый уже много разъ былъ подвергавъ тѣлесному наказанію въ волости за праздность».

Но извольте быть не празднымъ тамъ, гдѣ выѣсто земли болото, какъ напримѣръ въ деревнѣ Дурасовкѣ, гдѣ на 23 двора, составляющихъ дурасовское сельское общество, падаетъ всего 7 лошадей и 12 коровъ, земли на душу приходится по полторы десятины и притомъ плохой; лѣсовъ

нѣтъ; луга болотистые; разныхъ платежей, какъ водится, много. Изъ 105 душъ дурасовцевъ 30 человѣкъ живутъ въ городѣ нищенствомъ. *Подávalи они прошеніе непрестанному члену, чтобы у нихъ отняли землю (невыгодно держать ее), но отвѣта ждутъ уже два года.* Даже кабатчикъ ушелъ изъ Дурасовки, ибо дурасовцамъ пить не на что. *Хотѣли было переселиться въ Кубанскую землю, да становой сказалъ, чтобы и думать о томъ не смѣли.* «На вопросъ мой—говорить г. Лудмеръ — какимъ образомъ дурасовцы могли бы выдти изъ затруднительнаго положенія, староста указалъ на ревизію, понимая ее однако въ какомъ-то очень широкомъ смыслѣ, и на «малость землицы».

«Я замѣтилъ, — говоритъ г. Лудмеръ, — что крестьяне, наказанные розгами, большею частью становились деспотами по отношенію къ женамъ и дѣтямъ. Крестьянинъ Константиновъ за неаккуратность въ погашеніи недоимокъ былъ выѣченъ въ волостномъ правленіи; придя домой, онъ сталъ колотить жену, та убѣжала въ поле, онъ веркомъ за ней мчится по полю, настигаетъ ее, привязываетъ къ дереву и начинаетъ бить ногами, но ее спасаютъ подоспѣвшіе люди. Затѣмъ Константиновъ собирается уйти изъ деревни, требуетъ, чтобы за нимъ слѣдовала жена, но она беременна, на сносяхъ, и можетъ родить на дорогѣ; мужъ однако никакихъ резоновъ не принимаетъ. Константинова бросилась ко мнѣ: ради Бога помогите! Вызываю мужа, объясняю ему всю безчеловѣчность его затѣи, но онъ не поддается никакимъ убѣжденіямъ. Чуть не на другой день послѣ разбирательства Константиновъ оставилъ постылую деревню, взявъ жену съ собою».

И такъ вотъ уже двѣ инстанціи, низшая и средняя; не то же ли самое *от третьей*, высшей инстанціи, въ окружномъ судѣ, также со всѣхъ концовъ заваливаемомъ безчисленными количествами крестьянскихъ дѣлъ?

«Въ 1858 г. — читаемъ мы въ № 5 Юрид. Вѣст. 1885 г. осуждено архангельскими судами по уголовнымъ преступленіямъ и проступкамъ 500 человѣкъ обоего пола, изъ нихъ за кражи 230 человѣкъ».

Въ 1863 г. осуждено 669 ч., изъ нихъ за кражи 262 ч.
 > 1873 > > 898 > > за кражи 371 >
 > 1877 > > 1,056 > > за кражи 486 >
 > 1880 > > 1,587 > > за кражи 648 >

Изъ этой маленькой таблички видно во-первыхъ, что количество преступленій (!) возрастаетъ съ каждымъ годомъ, а во-вторыхъ, что большую часть этихъ преступленій составляютъ кражи, покушеніе завладѣть чужимъ имуществомъ. Откуда берутся эти люди, эти воры, армія которыхъ растетъ съ каждымъ годомъ? Авторъ замѣтки, изъ которой мы взяли вышеприведенныя цифры, указываетъ и на весьма замѣтную связь количества преступленій въ сѣверномъ краѣ съ экономическо-бытовой неурядицей этого края. Авторъ на основаніи официальныхъ источниковъ (записки губернатора) удостовѣряетъ о сильномъ обнищаніи населенія.

Стоило бы мнѣ перепечатать въ этомъ очеркѣ свѣдѣнія о «дѣлахъ», назначенныхъ къ слушанію въ десяти, двадцати окружныхъ судахъ, положимъ, втеченіе настоящаго сентября мѣсяца, чтобы читатель убѣдился, что изъ двадцати «дѣлъ» пятнадцать *непрерывно о кражѣ*. Правда, рядомъ со словомъ *кража* не всегда стоитъ слово *крестьянинъ*; теперь часто и очень часто рядомъ съ этимъ словомъ связано и имя дворянина, разночинца, мѣщанина и т. д. Но *крестьянинъ* превосходитъ въ покушеніяхъ на чужую собственность рѣшительно всѣ званія, сословія и состоянія. Я не дѣлаю этихъ перепечатокъ, потому что онѣ заняли бы много мѣста и утопили бы читателя однообразіемъ безконечнаго числа повтореній. Пусть читатель, имѣющій въ рукахъ какой-нибудь провинціальный листокъ и вообще любую изъ русскихъ газетъ, прочтетъ въ нихъ «о дѣлахъ, назначенныхъ къ слушанію», и представитъ себѣ, что по всей Россіи, во всѣхъ окружныхъ судахъ, точь-въ-точь такъ же часто, какъ и въ томъ листкѣ, который онъ держитъ въ рукахъ, упоминается этотъ крестьянинъ, то уже лишенный правъ, то еще только лишаемый ихъ и обвиняемый непрерывно въ кражѣ, и онъ самъ можетъ представить себѣ огромные размѣры этого недуга и количество рукъ, занятыхъ его испѣвленіемъ.

V.

Такъ вотъ какая вавилонская башня «якобы дѣлъ» выросла на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ добрые и простые люди могли бы жить и наполнять житницы. Простые люди «отсаживаютъ» свое молодое поколѣніе на новыя земли, въ новыя дома, новыя ульи, а «не-простые» отсаживаютъ въ тюрьмы, въ чижовки, въ холодныя. И вся-то эта напраслина держитъ около себя «на своихъ харчахъ» сотни тысячъ людей, низшаго, средняго и высшаго образованія, прикованныхъ къ этимъ тысячамъ напрасныхъ «дѣлъ», существующихъ и питающихся ими.

И развѣ можно себѣ представить, чтобы мысль этихъ людей, ихъ *совѣсть дѣйствовала правильно, развивались здорово?* Нѣтъ, въ совѣсти такъ называемой интеллигенціи, толкущейся и зарабатывающей хлѣбъ *около такихъ не простыхъ, не настоящихъ дѣлъ*, — въ совѣсти ея также таятся глубокая язва, точно такъ же какъ въ народной жизни она таятся въ разстройствѣ труда; это — язва, отзывающаяся въ семейныхъ, общественныхъ отношеніяхъ и отзывающаяся, разумеется, также явленіями неблагообразными; отъ этой язвы мучается не меньше мужика не знающій, какъ выбраться изъ этой жизни, и человѣкъ образованный.

VIII. «Скучненько!»

I.

Да! Скучненько такъ живетъ провинціальному обывателю, хотя онъ и не терпитъ «матеріальныхъ недостатковъ».

«... Какъ ни тягостно общее настроеніе воронешцевъ. — читаемъ мы въ № 15 газеты *Донъ* за 85 г., — во и тучи на небѣ не вѣчны, и болѣзни сердца не непрерывны; болѣзни сердца также имѣютъ свои схватки, но также дремливо успокаивается она. Очень рѣдко встрѣчаются въ обществѣ лица, сіяющія счастьемъ и весельемъ. Нытѣ литературы становятся надоедливѣе, новости дня постоянно гремятъ сердце рассказами о горѣ людскомъ. Воровство, банкротства, крахи, убійства, растраты — разрастаются не по днямъ, а по часамъ. Ясно видно, что мы вошли въ періодъ хроническихъ болѣзней, которыя не лечатся такъ быстро. Если кто, счастливый, и не имѣетъ своего личнаго горя, если вы не знаете горя семейнаго, не знаете неудачи въ вашихъ дѣлахъ, то навѣрное общее нытье также часто тяжелымъ гнетомъ тянетъ и ваше сердце. Вотъ почему съ особой радостью мы привѣтствуемъ тѣ счастливыя минуты, когда общество оживаетъ въ ореолѣ восторга и когда оно такъ жадно захватываетъ на душу пріятныя впечатлѣнія. 2 февраля мы слышали концертъ г-жъ Фостремъ и Гипіусъ, и свѣтлымъ облакомъ въ ненастный день казался онъ обществу»...

Не знаю, можно ли характеризовать душевное настроеніе современнаго скучающаго обывателя лучше, чѣмъ оно охарактеризовано въ вышеприведенныхъ строкахъ, взятыхъ нами изъ рецензій г. С. Карпова о концертѣ г-жъ Гипіусъ и Фостремъ. Въ характеристикѣ этой есть все для того, чтобы составить себѣ понятіе объ общемъ тонѣ жизни скучающей интеллигенціи, объ общихъ условіяхъ, въ которыхъ томится интеллигентная душа, и наконецъ о настоятельнѣйшей потребности — такъ-ли, саятъ-ли — выйти куда-нибудь на свѣжій воздухъ изъ удушающей атмосферы жизни, въ которой такъ трудно дышать. И не думайте, что подъ гнетомъ такой интеллигентной тоски находились бы только воронешцы — вовсе нѣтъ. Провинціальная пресса самыхъ разнообразныхъ мѣстностей Россіи даетъ по части душевной тоски образованнаго общества совершенно однородный матеріалъ, и если я взялъ для матеріала настоящей записки главнымъ образомъ газету *Донъ*, то это только потому, что нахожу совершенно бесполезнымъ рыться въ кучѣ газетъ для того, чтобы найти въ нихъ то самое, что я могу найти въ какой-нибудь одной газетѣ, перебирая ее номеръ за номеромъ. И какому бы изъ современныхъ провинціальныхъ лѣтописей ни взяли мы, съ цѣлью узнать, какъ живетъ на Руси человѣкъ общества, вездѣ мы найдемъ одно и то же: литература надоебла ему своимъ *нытьемъ*, окружающее надоебло ему грабежами, крахами и другими безобразіями. и отъ всего этого онъ хочетъ забыться, очувствоваться, — словомъ, какъ-нибудь и куда-нибудь уйти изъ той грязи, въ которой онъ *долженъ* барахтаться и о которой къ тому же непрерывно *ноетъ* несчастная литература.

Кстати сказать, литература эта не только «надоедаетъ» своимъ нытьемъ той части интеллигенціи, которая, проживая среди краховъ, воровства,

убійствъ, грабежей, жаждетъ, выражаясь словами г. Карпова, ожить «въ ореолъ восторга», но даже начинаетъ кой-кого приводить и въ *бышества*. Недавно въ *С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ* нѣкто *Обыватель* выступилъ съ цѣлымъ рядомъ очерковъ противъ этой ноющей литературы, выступилъ съ цѣлымъ разгромить ее въ дребезги. «Они—говоритъ *Обыватель* въ предисловіи къ своей *деревенской правдѣ*—столичные литераторы, съ крайнею неохотой констатируютъ новыя вѣянія; жаль имъ покончить съ бывшею вакханаліей, когда успѣхъ, лавровые вѣнки и деньги доставались такъ легко, когда шалопаѣство шло впереди дѣла, а хлесткая фраза предпочиталась солидному труду. Что дѣлать, г-да литераторы! Нельзя же весь вѣкъ ходить подъ масками и въ костюмахъ! Повѣрьте, господа литераторы: *отрезвившееся общество* не станетъ ждать вашего bon plaisir. Оно такъ жадно запросило *правды*, дѣла и знанія, что если вы не сумѣете отвѣтить на этотъ запросъ *тотчасъ же*, оно *безжалостно выкинетъ* васъ за бортъ со всею вашею извѣстностью, со всеимъ вашимъ былымъ значеніемъ».

Изъ этого отрывка вы видите, до какой степени негодованія довело «сотни тысячъ обывателей» нынѣ современной литературы. Вы видите, что терпѣніе обывателя истощено, и если *тотчасъ же* онъ не будетъ успокоенъ и ему не будетъ данъ отвѣтъ на несуществующій съ его стороны вопросъ, такъ онъ начнетъ *выбрасывать за бортъ*, да притомъ еще и *безжалостно*, точно Стенька Разинъ. Ему мало выбросить за бортъ и утопить человѣка: онъ еще, какъ видите, хочетъ растеранить его, размозжить—словомъ, поступить *безжалостно* (вмѣсто того, чтобы просто не читать)—а за что? Правды ему, палачу, литература не говорила; она все время наряжалась въ костюмы, надѣла на себя маску, сверхъ маски нахлобучила на голову лавровый вѣнокъ и въ такомъ видѣ стала тащить въ свои карманы деньги. Ей хорошо (обыватель знаетъ это тонко!) въ маскахъ-то, да въ костюмахъ, да съ деньгами въ карманѣ мучить мирныхъ обывателей, и вотъ она не хочетъ, кобенится говорить правду, поступать на чистоту; то ли дѣло поступать безсовѣстно, измазать себѣ лицо сажей, чтобы не узнали, кто ты такой, да и хватать деньги.

Но обыватель уже вышелъ изъ терпѣнія. Онъ такъ наголодался «по правдѣ», что самъ рѣшается провозгласить ее и берется «за перо» не ради денегъ, а ради (опять-таки) той неприкрашенной правды, съ которою такъ безперемежно обобщались гг. цеховые литераторы. «Во имя правды—вопиетъ онъ—я рѣшился на полную откровенность, чего бы это мнѣ ни стоило!» «Не только безусловная правдивость, но даже самая *мелочная точность и вѣрность* конкретнымъ фактамъ будетъ соблюдена мною какъ святыня».

И прежде всего, во имя этой *святыни*, во имя *точности и вѣрности*, во имя *безусловной правды*, для которой взбѣшенный неправдою граж-

данинъ рѣшается пожертвовать всею («чего бы это мнѣ ни стоило!»), онъ считаетъ нужнымъ, для «начатія» огромнаго предпріятія, скрыться въ псевдонимѣ *Обыватель*. Ноющую литературу этотъ правдивый человѣкъ будетъ «дуть» поминанно и безъ жалости, а самъ, во имя сущей правды, будетъ прятаться въ конуру псевдонима. «Я не подписываю своего имени потому, что это могло бы *стѣснить* меня до нѣвѣстной степени, *когда стану говорить о себѣ* или о своихъ знакомыхъ»—слышимъ мы изъ конуры и получаемъ обѣщаніе «назвать себя, свое мѣсто дѣйствія, своихъ героевъ», конечно въ случаѣ надобности и сомнѣній. Затѣмъ, вѣроятно въ видахъ того же политѣйшаго безпристрастія, «полной откровенности», точности и вѣрности, а также для того, *чтобы не стѣснять себя* и вообще одѣлать такъ, чтобы «сущая правда» не очень висла на вороту самого «обывателя», послѣдній создаетъ нѣкую чучелу, которая должна быть умной, соглашаться съ мыслями обывателя и уяснять изъ примѣрамъ изъ собственного, чучельнаго, опыта. Создавъ эту яко бы умную чучелу, обыватель даетъ ей имя Алексѣя Петровича, сажаетъ за завтракъ и начинаетъ говорить «сущую правду», причемъ, *какъ мы знаемъ*, даже мелочная *точность и вѣрность конкретныхъ фактовъ* должны бы соблюдаться какъ обывателемъ, такъ и чучелой, какъ святыней. Но едва только обыватель и чучела раскрываютъ рты, чтобы провозгласить правду *во чтобы то ни стало*, какъ немедленно же оказывается необходимымъ дѣлать такое примѣчаніе: «оговариваюсь, что весь довольно длинный разговоръ, записанный въ этой главѣ, я, разумеется, передаю не *совсѣмъ точно* (какъ было запомнить подлинныя выраженія?) и съ необходимыми сокращеніями; но все же *по возможности близко* къ тому, что было сказано въ дѣйствительности».

Такимъ образомъ этотъ правдивый человѣкъ, измученный неправдою литературы, приготовляющийся выбрасывать за бортъ, и притомъ безжалостно, цеховыхъ ея представителей, воюющій о невозможности дольше терпѣть эту неправду, рѣшающійся *во что бы то ни стало* сорвать маски и костюмы и провозгласить сущую, безусловную правду, ставящій священною обязанностью точность и вѣрность фактамъ (съ которыми безцеремонно обошлась цеховая литература)—прежде всего укрывается въ псевдонимъ, въ подвороню и конуру, выставляетъ вмѣсто себя чучелу и, принимая наивный видъ, «оговаривается», что «разумеется» онъ не *совсѣмъ точно* передаетъ то, что говорили они съ чучелой,—вѣдь какъ же запомнить? Наконецъ необходимы сокращенія (а «чего бы то ни стоило?»)... А вѣдь какіе злые эти *обыватели*! За бортъ, говорить, да еще безъ жалости!

Но повѣримъ ему и чучелѣ, что они разговариваютъ *по возможности близко* къ тому, что было сказано обывателемъ и чучелой въ дѣйствительности, и послушаемъ, какая такая у нихъ

«сущая правда», которая воспиталась въ нихъ 17-лѣтнимъ безвыѣзнымъ пребываніемъ къ деревнѣ.

— Хотя у насъ кричатъ иные, будто у насъ народъ преисполненъ какими-то первобытными стихійными совершенствами—говорить яко бы умная и опытная въ деревенской жизни чучела—совершенствами, передъ которыми необходимо умиляться съ *колынопреклоненіемъ*, но на дѣлѣ *даже лакейская цивилизація* выработала изъ двороваго типъ гораздо повыше черносошника. Оттого крестьяне бѣдствуютъ съ землею, доставшеюся *наполовину даромъ*, а дворовые, прогнанные изъ насаженныхъ мѣстъ ни съ чѣмъ, по большей части успѣли устроиться очень порядочно. Оттого между дворовыми вы встрѣтите мастеровъ, управляющихъ, торгашей, огородниковъ, фельдшеровъ—словомъ, сельскую интеллигенцію, оттого и на свѣтѣ божій они смотрятъ нѣсколько иными глазами, чѣмъ крестьяне, и къ общественному бѣдствію (пожаръ въ деревнѣ) отнеслись иначе.

— Помилуйте! — возопили горожане (чучелы, только не умныя, а обязанныя говорить глупости) чуть не хоромъ и даже съ нѣкоторымъ священнымъ ужасомъ. — Что вы рассказываете? Кто же не знаетъ дворовыхъ? Это или оборванные пьяницы, повара и лакеи, или кабатчики, писаря, аблакаты,—словомъ, деревенскія пиявки, люди совѣтъ безъ совѣсти и сердца, можно сказать — озвѣрѣлые.

Умная чучела, подъ названіемъ Алексѣй Петровичъ, *только улыбнулась*.

— Однако изъ этихъ людей *безъ совѣсти и сердца* выходили всѣ тѣ нянюшки и дядьки, довѣренныя, камердинеры и буфетчики,—словомъ, вся та ветхозавѣтная крѣпостная прислуга, о которой и вы, можетъ-быть, слышали кое-что похвальное.

— Скажите, обратился я (обыватель) къ умной чучелѣ,—чему же именно вы приписываете такое сравнительно высшее развитіе дворовыхъ? Неужто только ихъ большей близости къ господамъ? Сколько я знаю, бывлые помѣщики драли своихъ слугъ на конюшнѣ, но лекцій о нравственности имъ не читали.

— Смиѣйтесь! отвѣчала умная чучела,—а *все-таки именно близость* къ господамъ сдѣлала многое. Никакое столкновеніе съ цивилизаціей не пропадаетъ даже при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ (вродѣ «на конюшню!»).

А черносошники?

— «Крестьянская баба относится къ своему мужу съ величайшимъ равнодушіемъ. *Каждая изъ нихъ, буквально каждая, готова гулять отъ мужа съ кѣмъ угодно, даже и на минуту не призадумавшись* *). Съ этой стороны циничность дошла до *pes plus ultra*. Согласитесь, что во всемъ этомъ болѣе озвѣрѣлости, чѣмъ до-быванія средствъ къ жизни кабацкимъ или аблакатскимъ промысломъ. Притомъ же крестьяне и сами были бы не прочь отъ подобныхъ занятій,

но смотреть на нихъ какъ на недостижимыя, хотя и розовыя мечтанія.

Такимъ образомъ оказывается, что бывшіе крѣпостные мужики черносошники, вскормившіе и вспоившіе этихъ обывателей, потому ниже бывшихъ дворовыхъ, что послѣдніе были близки къ господамъ, хотя бы и сталкивались съ цивилизаціей при неблагопріятныхъ условіяхъ, въ конюшнѣ, и потому, что черносошники не сталкивались съ господами, а только платили имъ деньги, они загрубѣли и зазвѣрѣли до того, что *буквально каждая женщина готова гулять отъ мужа съ кѣмъ угодно, даже ни на минуту не призадумавшись*, а мужики бѣдствуютъ съ землею, *наполовину доставшеюся имъ даромъ*, причемъ *каждый питаетъ недостижимыя мысли о томъ, чтобы быть кабатчикомъ*.

Къ чему клонится вся эта «правда», мы не знаемъ. Но въ томъ же самомъ Орловскомъ Вѣстникѣ, гдѣ начата перепечатка «Деревенской правды», недавно былъ опубликованъ такой фактъ: красавица крестьянка почему-то должна была переночевать ночь въ волостномъ правленіи (Мценскаго уѣзда). Волостной писарь и помощникъ писаря, все люди, соприкасавшіеся съ цивилизаціей и вѣроятно съ такими господами, которые за *святымъ* правду выдаютъ мнѣніе, что каждая, *буквально каждая*, черносошная крестьянка-женщина *готова гулять отъ мужа съ кѣмъ угодно, ни на минуту даже не призадумавшись*,—пристали къ этой женщинѣ съ извѣстными предложеніями, но она оказала такое упорное сопротивление, что лакейская цивилизація, въ лицѣ писаря и его помощника, должна была прибѣгнуть къ силѣ, и дѣло объ изнасилованіи этой женщины скоро будетъ слушаться въ окружномъ судѣ.

Впрочемъ вовсе не въ защиту современной литературы отъ умныхъ и глупыхъ «чучелъ», выводимыхъ обывателемъ, завелъ я рѣчь о его ликовинной правдѣ. Грубость и «храпъ» этого обывателя на литературу доказываютъ только, что онъ плохо воспитанъ, что жилъ вдали отъ вліянія благовоспитаннаго общества, что вообще ему чужда близость къ «господамъ», иначе онъ былъ бы вѣжливъ такъ же, какъ и дворовый человекъ. Нельзя даже сердиться и на то, что этотъ поклонникъ «лакейской цивилизаціи» выдаетъ себя за поклонника Тургенева, какъ извѣстно, не весьма любезно относившагося къ цивилизирующему вліянію близости къ мужику конюшенныхъ цивилизаторовъ, и присосѣживается къ свѣтлому имени Льва Толстого, который такъ внимательно относится именно къ этой черносошной душѣ. Нѣтъ, все это не заслуживаетъ ни особеннаго вниманія, ни, тѣмъ паче, негодованія. Но вниманія заслуживаетъ та злоба, та ожесточившаяся печенка семнадцать лѣтъ прокисавшаго въ деревенской берлогѣ обывателя, съ которыми онъ начинаетъ выть о правдѣ. Семнадцать лѣтъ онъ лежалъ тамъ, на днѣ своего логова, хозяйничалъ и помалчивалъ; но наконецъ вышелъ изъ терпѣнія, ожесточился на неправду, почувствовалъ потребность выйти изъ

*) Перепечатка ст. Обывателя въ Орловск. Вѣстн. № 266.

какой-то тины и путаницы жизни, которую онъ такъ долго къ себѣ прилаживалъ и къ которой прилаживался самъ, и вотъ онъ, блуждая глазами и нища врага, какъ звѣрь бросается на литературу съ засученными рукавами и со стиснутыми кулаками, и заревѣлъ:

— Ежели *тотчасъ* не будетъ отвѣта, убью. Безъ всякой жалости! Отвѣта мнѣ! Сейчасъ!.. За бортъ!.. Довольно!

Несчастный требуетъ отвѣта, не задавая даже вопроса. Ему нужно чего-то, нужно вообще выхода изъ той продолжительнѣйшей лжи, среди которой онъ семнадцать лѣтъ сумѣлъ терпѣливо просуществовать, ему нужно выйти на свѣтъ, вообще куда-то выйти, къ чему-то не такому гадкому, среди чего онъ могъ только взбѣлениться, и со зла и съ одиночества онъ хватается за первое «пріятное», что мелькнуло въ его отяжелѣвшемъ отъ бездѣйствія мысли мозгу — за лакейскую цивилизацію...

— «Драли, поролли, а все-таки было хорошо!»

II.

Да, всѣмъ намъ нужно, чтобы было наконецъ что-нибудь «хорошо». Однимъ кажется, что выходъ изъ тепершняго худого — въ благахъ лакейской цивилизаціи (такихъ, по словамъ обывателя, *сотни тысячъ*), другимъ — въ чемънибудь другомъ; но главное, въ чемъ думать найти успокоеніе *огромнѣйшее большинство русской скукающей интеллигенціи* — это несомнѣнно область искусства, низведенная на степень развлечения.

Надобно дѣйствительно до невозможности истомиться отъ нытья литературы, отъ «грызущихъ сердце новостей дня» (*Донъ* № 65), отъ всѣхъ этихъ кражъ, растратъ, чтобы съ такимъ искреннѣйшимъ благоговѣніемъ относиться къ малѣйшимъ минутамъ наслажденія, доставляемаго искусствомъ, какъ это мы видимъ въ современномъ скукающемъ провинціалѣ.

Посмотрите напримѣръ, какъ воспѣтъ концертъ 2 февраля, рѣчь о которомъ прервана была въ началѣ этой статейки для разговоровъ о взбѣленившемся обывателѣ. Высказавъ, какъ уже извѣстно читателю, ту адскую душевную тоску, которая угнетаетъ «сердце» людей, «даже и не имѣющихъ личнаго горя», и объяснивъ, что, именно благодаря этому безпрерывному гнету душевному, скукающій обыватель «съ особенною радостью привѣтствуетъ тѣ счастливыя минуты, когда общество оживаетъ въ ореолѣ восторга», авторъ переходитъ къ концерту 2 февраля и изображаетъ свои впечатлѣнія въ такихъ выраженіяхъ: «Свѣтлымъ облакомъ въ ненастный день казался онъ (концертъ) обществу. Легкость и грація въ пѣніи, въ волшебныхъ пѣсняхъ госпожи Фостремъ, во всѣхъ сердцахъ слушателей не давала мѣста для обычной грусти и печали. И кажется, тѣ чудныя пѣсни соловьиныя, какъ *силуэтъ* (?), долго будутъ напоминать человѣка въ мірѣ лучшій, въ мірѣ красоты и поэзіи. Голосъ такой игриво-легкій, металличе-

ски-чистый плѣнялъ слушателей быстротой граціозныхъ прыжковъ, которые исполнялись съ увѣренностью горной газели. Огневая сила очаровательнаго звука, сразу и такъ глубоко потрясающаго сердце, смѣнялась быстро съ такимъ эфирно-легкимъ отзвукомъ, едва замѣтно брошеннымъ въ далекую даль; но эта, такъ сказать, тѣнь звука ясно слышалась, она схватывалась на лету и такъ волшебна наркотически умиротворяла сердце. «Если намъ — говоритъ далѣе авторъ — иногда и слышалось въ пѣніи г-жи Фостремъ, вмѣсто «соловей», «солофей», то живой голосъ дивной пѣвицы все же былъ очаровательнѣе и богаче самой пѣсни пѣвца любви — соловья!» И затѣмъ, въ поученіе мѣстнымъ пѣвцамъ и пѣвицамъ, имѣющимъ обыкновеніе соваться съ своими музыкальными стремленіями, «какъ ракъ съ клешней», туда, куда и конь съ копытомъ не пробѣжитъ, — авторъ говоритъ: «какъ пріятно замѣтить, что ни въ одной нотѣ низкаго регистра (у г-жи Фостремъ) не оказалось *мужской ноты*, которая такъ нравятся нашимъ провинціальнымъ пѣвцамъ. Для человѣка, понимающаго музыку, весьма противны тѣ *птишья нота*, которыми такъ часто угощаютъ насъ, совсѣмъ не понимая, что для женщины *птишья нота* вовсе не къ лицу. А между тѣмъ женская любовь къ нимъ (къ *птишьямъ нотамъ*) чѣмъ далѣе, тѣмъ замѣтнѣе становится»... Вообще же, «въ ряду серьезныхъ пьесъ концерта, въ общемъ было бы эффектнѣе поставить *игриво легкую пьесу* (вмѣсто рапсодіи Листа № 12), которая могла бы быть воспринята болѣе сознательно, — *такая пьеса върнѣе оживила бы сердца!*»

Въ томъ же № 16 *Дона* и о томъ же самомъ концертѣ г-жи Фостремъ помѣщена и другая восторженная рецензія, такъ что г-жа Фостремъ, ея голосъ, ея біографія, ея происхожденіе, манера пѣть, даже ростъ — все это обследовано, мало сказать, съ восторгомъ, но еще и съ тщательностью, съ замѣчательной внимательностью къ малѣйшимъ характернымъ чертамъ пѣвицы, доставившей истиннымъ скукою воронежцамъ минуты «оживленія въ ореолѣ восторга».

И не думайте, что только для воронежцевъ дороги эти пріятныя *минуты* (въ буквальный смыслъ). Нѣтъ. Если я и завелъ рѣчь объ этихъ минутахъ, то только потому, что жажда найти облегченіе отъ современной тяготы жизни въ области искусства — явленіе рѣшительно повсемѣстное. Надо жить и дышать, и обильный матеріалъ провинціальной прессы даетъ вамъ полную возможность видѣть, что область искусства какъ искусства, и искусства какъ увеселенія — есть единственная область, гдѣ скукающій интеллигентъ (всякаго званія и состоянія) чувствуетъ себя *совершенно свободнымъ*, говоритъ и думаетъ не стѣсняясь, критикуетъ, обсуждаетъ, входитъ во всевозможныя тонкости и мелочи исполненія, — словомъ, чувствуетъ себя полнымъ хозяиномъ. Не только губерскіе и уѣздные города «жаждутъ» концертовъ извѣстныхъ драматическихъ артистовъ и вообще

всяких увеселительных представлений*), но даже и такіа близкія повидимому къ деревнѣ обывательскія мѣста, какъ станицы, и тамъ искусство начинаетъ играть далеко не послѣднюю роль. Изъ станицы Каменской (*Донъ*, № 63) пишутъ: «Въ это лѣто въ нашу станицу пришла, кажется, третья труппа, одна за другой, и только послѣдняя изъ нихъ оказалась удовлетворительной». А въ одномъ изъ слѣдующихъ номеровъ газеты помѣщено самое подробнѣйшее описаніе спектаклей «удовлетворительной» труппы, съ самою точною оцѣнкой игры буквально каждаго артиста, съ указаниемъ, кто заслуживаетъ похвалы за «добросовѣстное исполненіе и кто не заслуживаетъ. Въ такого рода трактатахъ объ искусствѣ, помѣщаемыхъ непремѣнно въ каждомъ номерѣ любой провинціальной газеты, внимательность и зоркость зрителя доходятъ иногда до поразительной тщательности: не только разберутъ игру, но и брюки окритикуютъ и укажутъ, какія именно слѣдовало бы надѣть; у г. Иванова былъ на головѣ такой парикъ, который уничтожалъ иллюзію; г. Ларинъ по толстотѣ своей не подходитъ къ роли Чапканго, надо бы взять Кузьмина, такъ какъ онъ будетъ пожире корпусомъ. Иногда попадаютъ такіе номера газеты, что, кромѣ извѣстія о двухъ-трехъ несчастіяхъ, вродѣ убійства или пожара, весь остальной номеръ наполненъ рецензіями о спектакляхъ въ губернскомъ городѣ и корреспонденціями о томъ же предметѣ изъ уѣздовъ.

Очевидно, что музыка, пѣніе, театр, даже просто гулянье съ иллюминаціей или представленіе чело-вѣка, который совершенно свободно мотаетъ головой во всѣ стороны, суть единственные источники каковаго бы то ни было удовольствія, отдохновенія для скучающей всѣхъ сортовъ интеллигентной публики, выбирающей изъ разныхъ сортовъ удовольствій то, которое соотвѣтствуетъ ея вкусу, развитію, карману. Наибольше шепетильныя сорты интеллигенціи постоянно стремятся завести какой-нибудь «кружокъ», гдѣ бы наслажденіе музыкой, пѣніемъ, драматическимъ искусствомъ было чище, изолированнѣе отъ смѣшанной толпы. Все хотятъ устроить, среди безобразія и мусора современной дѣйствительности, что-нибудь уютное, укромное, какой-нибудь уголокъ, куда бы не доносилось уличное хрюканье, но что-то все какъ будто не выходитъ. Не знаю, осуществились ли надежды воронежцевъ, что военный клубъ «сохранить» вполнѣ семейный характеръ даже и во внѣшней обста-

новкѣ, не загромождая зала рядами стульевъ, а оставляя все по семейному — залы, гостиныя и т. д. «Нужно отдать справедливость (читаемъ мы въ № 19 газеты *Донъ*) военной корпораціи: она умѣетъ не скучать въ своемъ кружкѣ, умѣетъ внести въ свои удовольствія и мысль, и душу, и, въ лицѣ своихъ участниковъ, умѣетъ возможность блеснуть знаніемъ и талантомъ». Не знаю, осуществились ли надежды воронежцевъ, ожидавшихъ отъ этихъ вечеровъ «много оригинальной прелести, оживленное времяпрепровожденіе и разумное эстетическое наслажденіе...» Конечно было бы хорошо, если бы клубъ удержался на высотѣ уюта и изящества. Но вѣдь опыты въ этомъ родѣ уже были. Нѣчто подобное предпринималъ уже «клубъ благороднаго собранія, гостепріимно открывшій свои двери два года тому назадъ для такого рода вечеровъ, но изъ этого ничего не вышло: послѣ двухъ-трехъ малолѣдныхъ семейныхъ вечеровъ новаго типа, ихъ смѣнили обыкновенные спеціальныя вечера...» Опыты такого рода были вездѣ, и вездѣ, начавшись за здравіе, постепенно достигли необходимости пропить своей затѣй «за упокой». Сначала по семейному, Шопенъ, Листъ, декламація и т. д., а потомъ, глядишь, гдѣ-то и пробка хлопнула, забулькало что-то, а тамъ и винтикъ завилили, и понесло по семейному помѣщенію запахомъ пива, водки и *цигаръ*. Пробовали, а все что-то не выходитъ, чтобы ужъ совершенно мизанное было и «освѣжало душу и сердце».

III.

И я думаю, что долго, долго еще не выйдетъ ничего «въ самомъ дѣлѣ успокоительнаго и освѣжающаго». Нѣтъ! ни очаровательному смычку г-жи Терезаны Туа, ни восхитительному голосу г-жи Фостремъ не стереть и не взглянуть съ души истинно-интеллигентнаго и совѣстливаго русскаго чело-вѣка того пятна и язвы, которую онъ не можетъ не чувствовать ежеминутно, зная, что онъ виноватъ передъ «человѣкомъ». По тѣмъ или другимъ причинамъ совѣсть его должна бездѣйствовать, и забота о справедливыхъ чело-вѣческихъ отношеніяхъ — забота въ особенности обязательная для него, какъ для интеллигентнаго чело-вѣка, — не реализуется имъ ни въ какой существенной формѣ. Она молчитъ, камнемъ лежитъ у него на душѣ, а жизнь чело-вѣческая, оставленная на произволъ случая, зарастаетъ бурьяномъ, гниетъ и душитъ запахами разложенія.

На минуту, въ буквальномъ смыслѣ, смычокъ Терезы Туа можетъ еще въ виноватомъ интеллигентномъ чело-вѣкѣ заглушить ощущение неоправданнаго душевнаго состоянія и оживить неоправданно живущую совѣсть («въ ореолѣ восторга»), но разъ кончился концертъ и виноватый интеллигентъ вышелъ на улицу, такъ его и обдало настоящимъ срамомъ замусоренной дѣйствительности. Въ № 85 той же самой газеты *Донъ* напечатана замѣтка репортера, озаглавленная *Отъ угла до угла*. Прочитайте и скажите, что это такое?

*) Въ № 248 *Орловскаго Вѣстника* напечатано: «Въ ряду развлеченій, выпавшихъ на долю орловской публики въ послѣднее время, какъ нѣчто совершенно оригинальное и встрѣчающееся не часто въ провинціи, слѣдуетъ отмѣтить вчерашнее представленіе американской труппы. Въ особенности хороши были упражненія (подъ названіемъ) *юлова на винту*. Г. Клеменсъ производилъ съ своей головой такіа эволюціи, словно она у него чужая и лишь привинчена къ туловищу: онъ совершенно свободно мотаетъ ею во всѣ стороны и вращаетъ вокругъ шеи, такъ что можно подуматъ, будто шейные позвонки у него отсутствуютъ. Спектакль, назначенный завтра, вѣроятно привлечетъ еще болѣе зрителей».

массы», валяющейся на улицах. Я очень хорошо знаю, что этот большой вопрос — не царичинский и не воронежский, а всенародный и даже всемирный; но вѣдь интеллигентный человекъ именно и воспитывается въ такихъ всемирныхъ-то вопросахъ: ему обязательно, волей-неволей, жить подъ давленіемъ ихъ — не какъ возмутительныхъ только явленій, а какъ огромныхъ задачъ, налагаемыхъ на него его особеннымъ интеллигентнымъ образованіемъ и положеніемъ. Если же *такіе* вопросы, почему бы то ни было, выходятъ изъ круга его душевной дѣятельности, оказываются для нея невозможными, то рѣшительно нельзя понять, чѣмъ бы онъ могъ жить духовно и какова же тогда будетъ вообще-то жизнь общественная, если *такіе* вопросы не будутъ подлежать заботамъ интеллигенціи.

А они и дѣйствительно не подлежатъ и жизнь скучающаго интеллигента проходить въ томъ, что онъ *возмущается* улицей да успокаивается кое-какъ въ концертахъ, въ клубахъ, — словомъ, мается, ждетъ чего-то и, какъ ошеломленный, встряхиваетъ головой, когда не подлежащая его дѣятельному вниманію жизнь ошеломитъ его какимъ-нибудь ужасающимъ явленіемъ: убійствомъ, грабежомъ и вообще какой нибудь грандіознѣйшею гадостью или подлостью. Въ такихъ случаяхъ обыватель какъ бы приходитъ въ себя: «да куда же это будетъ?» И нужно отдать честь обывателю, что въ такія минуты онъ искренно возмущается ошеломившимъ его зломъ, страстно высказываетъ. Иногда массовыми движеніями, свои симпатіи и жажду выразить свои добрыя, долго бездѣйствовавшія, не имѣвшія практикѣ побужденія. Въ Казани самоубійство несчастной купеческой дочери Латышевой, застрѣлившейся въ день свадьбы, собираетъ на похороны ея всю Казань, образованную и необразованную, и вся толпа идетъ на могилу покойной, протестуя противъ насилія. Въ Новгородѣ, во время процесса г-жи Теономовой, обвиняемой въ подстрекательствахъ къ убійству и сожженію мужа, толпы народа, убѣжденные въ ея виновности, сплошную массу стояли около окружного суда, ожидая приговора, и находились въ такомъ настроеніи, что обвиняемую прѣшло въ увести изъ суда заднимъ ходомъ и въ мужской шинели. Свѣртный поступокъ турка-хозяина въ Кременчугѣ съ рабочими поднимаетъ на ноги весь городъ. Въ Воронежѣ происходитъ убійство трехъ женщинъ, и весь городъ идетъ за ихъ прахомъ на кладбище; даже въ одной изъ деревень Воронежской губерніи убитую неповинно женщину провожала вся деревня съ возможной для нея торжественностью.

Такіе общественные порывы, безъ всякаго сомнѣнія, благородны; но какія нужны ужасныя, ошеломляющія неожиданности, чтобы въ ослабѣвшей, притерпѣвшейся къ окружающему злу, общественной душѣ пробудились тѣ движенія совѣсти, нормальное развитіе и теченіе которыхъ обязательны для всякаго человека и для всякаго человеческого общества, желающаго ощущать себя живымъ и живущимъ. А вотъ нормальнаго-то развитія вне-

чтательности общественной души къ худымъ и хорошимъ вліяніямъ общественной жизни и не замѣчается теперь въ скучающемъ интеллигентномъ обществѣ. Скучающая интеллигенція привыкла къ тому, что относительно «жгучихъ вопросовъ жизни» можно ограничиться либо только отвращеніемъ — такъ противна форма, въ которой они выражаются на улицахъ, — или только негодованіемъ, либо осторожно ихъ обходить, не заражая себя ихъ дурнымъ запахомъ, либо наконецъ *отдѣлываться* отъ нихъ мертвымъ формализмомъ.

Убиваютъ, какъ я упомянулъ выше, въ г. Воронежѣ сразу трехъ женщинъ, — убиваютъ вечеромъ въ семь часовъ, почти на глазахъ людей, и, убивъ, обворовываютъ квартиру убитыхъ. Городъ ошеломленъ, испуганъ, возмущенъ, а тѣ, кому вѣдать надлежитъ, *эстетически* принялись за искорененіе давно назрѣвавшего зла. По всѣмъ ночлежнымъ домамъ, по всѣмъ закоулкамъ, трущобамъ, начались ночныя облавы, причемъ наловлена масса бездомнаго темнаго люда. Въ короткое время захватывъ 553 человекъ, скучающая интеллигенція выслала 223 человекъ на мѣсто родины, а 312 человекъ передала мѣстному мѣщанскому обществу, какъ доказавшихъ свою *самоличность*. Этого слова «самоличность» оказалось несма достаточно для того, чтобы бездомныхъ воронежскихъ мѣщанъ возвратитъ опять той же бездомности, въ которой они и до сего находились. «Передавъ мѣщанскому обществу» — фраза, какъ будто что-то означающая. Сначала взяли, а потомъ передали кому-то; въ сущности же бездомный какъ былъ бездомнымъ, такъ имъ и остался вплоть до другой какой-нибудь потрясающей неожиданности.

Но даже и этотъ способъ борьбы со зломъ обрадовалъ измывавшихся обывателей, потому что мѣсяца черезъ два послѣ начала облавы на бродягъ въ № 74 газеты *Донъ* появилась слѣдующая записка: «Нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ наша полиція выказала большую энергію при розыскѣ негодяевъ всякаго рода и *спроводила* ихъ изъ города, гораздо болѣе тысячи. За это ей болѣе спасибо. Но еще болѣе спасибо заслужила бы она, если бы обратила свое энергичное вниманіе и на другихъ паразитовъ общества — проститутокъ. Число явныхъ проститутокъ въ послѣднее время *увеличилось ужасно*. Множество грязныхъ притоновъ наполнено ими, да и во всѣ общественные сады не обходятся безъ нихъ. Но сугубый вредъ приноситъ тайная проституція. У насъ въ городѣ существуютъ цѣлыя гаремы, ютятся подъ скромными вывѣсками: «пивная лавка» или «портерная», число же послѣднихъ довольно солидно. Въ интересахъ правды и здоровья, не мѣшало бы взяться за искорененіе этого ужаснаго зла».

И такъ, видите, какія кучи человеческого мусора накопились въ богоспасаемыхъ весяхъ. Вѣдь это все люди, вѣдь это человеческій мусоръ, — мусоръ изъ живыхъ существъ! Что же съ ними дѣлать и какъ быть? На это выработаны скучающей публикой два отвѣта: уйти отъ всей этой гадости и мучительныхъ впечатлѣній, которые она произ-

водить, въ концертъ и забыться въ ореолъ восторгов, или же «передать на руки мѣщанскаго общества, какъ доказавшихъ свою самоличность», а еще лучше—«спровадить».

И, не смотря на обиліе музыкальныхъ вечеровъ съ одной стороны и «энергію спровоживаній» — съ другой, ни спровоживающій ради «успокоенія», ни спровоживаемые одинаково ничего существеннаго въ результатъ не получаютъ. Простой коренной обыватель, живущій собственными трудами, дошелъ до того, что если у него украдутъ шубу или разломаютъ сундукъ, такъ онъ предпочитаетъ обратиться за похищеннымъ прямо къ вору, входить въ сношеніе непосредственно съ похитителемъ, не довольствуясь тѣмъ, что похититель, энергически взятый въ темную, энергически переданъ обществу, какъ доказавшій «самоличность».

«Выбравъ время,—разсказываетъ практическій обыватель въ № 17 *Дона*, — пришелъ я къ его (вора) немудрашему домику; оглянулъ кругомъ—ни единой души нѣтъ: никто, значитъ, меня не запримѣтилъ. Черезъ сѣнцы вошелъ я въ полутемную хатенку. По всему было видно, что здѣсь передъ мной приходомъ шла безобразная попойка. Хотѣлъ я, по своему обыкновенію, помолиться на икону, но таковой не было. Тутъ я увидѣлъ хозяина хатенки. Это былъ дюжій дѣтина, съ широкой грудью, съ здоровенными руками, одутыми лицомъ, жгучими глазами и черными вьющимися волосами на головѣ.—*Что скажешь, любезный?* спросилъ воръ и, видя испугъ обывателя, прибавилъ:—«не бойся! Я не такой дуракъ, чтобы ограбить тебя въ моемъ домѣ. тогда бы я могъ быть пойманъ съ поличнымъ. А вотъ присядь-ка, а я тѣмъ временемъ сама разскажу, зачѣмъ ты пришелъ ко мнѣ. Я съ однимъ изъ товарищей покралъ вещь-то у тебя... Что дѣлать!—прибавилъ онъ нахально, — надобно же промышлять чѣмъ-нибудь, чтобы прожить вѣкъ свой и не помереть голодной смертью.—Затѣмъ онъ сталъ торговаться, оцѣнили вещи въ извѣстную сумму, сошлись, ударили по рукамъ, условились «по честности», какъ и когда возратить вещи и насчетъ того, чтобы «не выдавать» и т. д. И воръ все исполнилъ, какъ обѣщалъ, а обыватель, получившій свои вещи назадъ, нашелъ нужнымъ промолчать о ворѣ — въ благодарность за доброе дѣло. Такимъ образомъ воръ здоровъ и невредимъ находится на рукахъ общества и «доказалъ свою самоличность».

Не лучшіе результаты получаются и отъ способа помощью успокоенія и увеселенія разгонять тоску дѣйствительности. Не смотря на обиліе театровъ, музыкальныхъ, вокальныхъ и тапцовальныхъ вечеровъ и всевозможныхъ гуляній и развлеченій, иногда на скужающую интеллигенцію нападаетъ такая тоска, что хотъ топись. «Вечеръ перваго августа въ городскомъ саду,—читаетъ мы въ хроникѣ все той же газеты *Донъ*, — отличался какой-то особенной вялостью и уныніемъ души. Въ свое время началъ играть оркестръ, хоръ пѣвчихъ пѣлъ, плямпація зазвѣла по главнымъ и второстепеннымъ аллеямъ сада также своевременно; но что-

то томительное сдвигало сердце. Г. Киндель (капельмейстеръ) усердно откалывалъ маршъ за маршемъ, но публика какъ будто не замѣчала этихъ маршей и «сновала» по аллеямъ сада съ страшнымъ сплинномъ; даже молодежь — и та не взвизгивала по обыкновенію своими беззаботнымъ говоромъ и смѣхомъ, а понуря голову, молчаливо только шагала по аллеямъ городского сада. Откуда такая тоска? Откуда такая подавленность жизни?»

Неизвѣстно, чѣмъ бы кончился этотъ несчастный вечеръ, если бы совершенная случайность наконецъ не оживила измучившуюся публику.

«Но, продолжаетъ г. репортеръ, — и подъ этой вялой обывательской жизнью всплываетъ омонекъ эксцентричности: говорятъ, въ концѣ гулянья одна изъ «юницъ» устроила пикантный сюрпризъ на тему сюжета, взятаго на прокатъ изъ *Эрмитажа*: «Смотрите здѣсь, смотрите тамъ!»

Хорошо, что хотъ юница выручила. А то отъ скуки вотъ еще какъ развлекаются. Описывая одинъ воронежскій пожаръ, г. очевидецъ пишетъ (*Донъ*, № 87): «Я, какъ очевидецъ этого пожара, замѣтилъ, что на пожаръ явилось не мало лицъ показывать просто свою удачу: подбросить повыше какую-нибудь тяжеловѣсную вещь, или хватить вѣнскимъ стуломъ въ раму такъ, чтобы все превратилось въ дребезги». Вотъ и дѣти что-то скучаютъ, и многія просто бѣгутъ невѣдомо куда; четыре гимназиста ушли тайкомъ отъ родителей изъ Ельца — ушли странствовать; два мальчика ушли изъ воронежскаго хора — тоже странствовать; взятые, въ ожиданіи справокъ, въ полицейское управленіе, они, по словамъ корреспондента, «играли здѣсь и пѣли какъ птички»...

Да, скучненько-таки живется на бѣломъ свѣтѣ! Но пусть читатель не унываетъ и не сокрушается — есть на этомъ бѣломъ свѣтѣ кое-что и хорошее.

IV.

«Къ богатому магазину съ одной стороны ползетъ съ помощью рукъ и колѣнокъ безногій нищій, съ другой — подходятъ двѣ бабы съ пустыми сумками и съ ними мальчонка лѣтъ пяти, въ оборванномъ, длинномъ не по росту кафтаникѣ, вѣрно съ чужого плеча.

«— Сотворите милостыню Христа ради! робко проносятъ бабы въ одинъ голосъ.

«— Господь подастъ! слышится имъ въ отвѣтъ изъ магазина.

«Нищенки печально отходятъ.

«— Не прогнѣвайся, да «Богъ подастъ», только и слышится пѣлый день, — жалуются одна изъ нихъ.—Чисто съ голоду околѣешь, по міру ходючи. Господи-батюшка, али нѣтъ креста на людяхъ, али нѣтъ доброй христіанской души на людяхъ?

«— Богъ не безъ милости, а свѣтъ не безъ добрыхъ людей! раздался позади нихъ дрожащій голосъ.

«Обернувшись, онѣ увидѣли калѣку.

«— Вы откуда, бабоньки?

«— Изъ Сибири, родимый! отъ общества были высланы!

«Продолжая ихъ разспрашивать, нищій снялъ изъ-за плечъ свою суму, досталъ оттуда три куса бѣлаго хлѣба, три яблока и раздѣлилъ между тремя собратами по несчастію, а ребенку сверхъ того сунулъ еще что-то въ рученку. Бабы, принимая отъ калѣки милостыню, набожно крестились и со слезами благодарили своего благодѣтеля» (*Воляско-Донской Листокъ* 23 авг.).

Такъ вотъ стало-быть не всегда рѣшеніе жгучихъ вопросовъ ограничивается на Руси «спроваживаніемъ» ихъ долой съ глазъ, или удостовѣреніемъ въ «самоличности» бездомовнаго человѣка; дѣлается кое-что по части жгучихъ вопросовъ, неразрѣшимость которыхъ только мучаетъ и томитъ скужающую интеллигенцію, — дѣлается нѣчто дѣйствительно существенное, реальное противъ язвы пролетаріата, начинающагося въ разстройствѣ хозяйственныхъ народныхъ порядковъ, противъ пьянства, воровства, грабежа и другихъ язвъ, вытекающихъ изъ этого разстройства и развѣдающихъ деревни и города. *Самъ* народъ, на средства, добытыя изъ собственной нищенской суммы, совершаетъ такое огромное, трудное, исполненное великаго подвига движеніе, какъ переселеніе и колонизація. Съ другой стороны, тотъ же *самъ* народъ совершаетъ, опять-таки на свой страхъ, на свои нищенскія средства, другое важное и огромное дѣло духовнаго совершенствованія, стремится выработать принципы благообразныхъ человѣческихъ отношеній. И вотъ эти-то народныя дѣла, совершаемыя народомъ во имя благообразія и справедливости человѣческихъ отношеній, совершаемыя «на самомъ дѣлѣ», къ глубокому сожалѣнію совершаются безъ всякаго участія тоскующей интеллигенціи. Жизнь есть, но къ сожалѣнію вовсе не тамъ, гдѣ г. Киндель, откалывающій маршъ за маршемъ, не можетъ разогнать тоску даже у молодежи, *шагающей понура юлову*.

VIII. Мелкіе агенты крупныхъ предпріятій*).

1.

...Урожай восемьдесятъ седьмого года на всемъ протяженіи Волги и Дона скопился массою всякаго покупающаго и продающаго люда. Масса мелкихъ агентовъ отъ разныхъ крупныхъ фирмъ, для скупки хлѣба, шерсти и другихъ продуктовъ, которыми изобилуютъ приволжскія и придонскія степи въ несмѣтномъ количествѣ, кишать повсюду: на пароходахъ, желѣзныхъ дорогахъ, во всякомъ мало-мальски бойкомъ торговомъ мѣстѣ, во всякой станицѣ, расположенной въ удобномъ для передвиженія товаровъ мѣстѣ, не говоря о большихъ торговыхъ, близкихъ къ морю городахъ, гдѣ отъ мелкихъ «агентовъ»

всеговозможнаго рода крупныхъ предпріятій положительно нѣтъ ни прохода, ни проѣзда. За скупщиками мѣстнаго сырья слѣдомъ идетъ и продавецъ всякаго нужнаго крестьянну товара; ярмарки повсемѣстны; проѣздомъ мимо большихъ станицъ и селъ вы видите всегда, что — либо приготавлиются строить балаганы для ярмарки, либо ужъ ломаютъ ихъ, чтобы перевозить въ другое мѣсто, либо видите ярмарку въ полномъ разгарѣ, съ балаганами, парусинными шалашами, съ трактирами, сирадъ изъ которыхъ достигаетъ даже до парохода, съ разными фокусниками, шарманками, дѣвицей «геркулеской», показывающей за три копейки свои чрезвычайныя формы. Эта цокупающая и продающая масса людей конечно требуетъ массы чернаго, рабочаго народа, который таскаетъ кули, тюки, ящики, возитъ и носитъ. И черно-рабочимъ народомъ переполнены также всѣ пристани, всѣ пароходы, желѣзныя дороги и опять-таки крупныя торговые города, — до чрезвычайности.

«Мелкій агентъ крупнаго предпріятія» и «черно-рабочій», появившіеся на Руси одновременно съ развитіемъ крупныхъ торговыхъ, промышленныхъ операцій, причемъ первыхъ появились сотни тысячъ, а вторыхъ — миллионы, совершенно измѣнили какъ внѣшній видъ, такъ и внутренній смыслъ и вообще весь строй и тонъ жизни нашихъ селъ, деревень и городовъ, и измѣнили ихъ не въ привлекательномъ смыслѣ. Въ отношеніи внѣшней непривлекательности села, деревни и города чрезвычайно много потеряли отъ наплыва рабочихъ массы, этихъ людей безъ сапогъ, безъ шапокъ, въ потныхъ рваныхъ рубахахъ, а главное — отъ этого небывалаго прежде неустаннаго мнѣнаго труда, съ перевозкой, переноской всеговозможнаго рода товаровъ и грузовъ. Этотъ вѣчный стонъ, оханье, эти напряженные вопли для облегченія тяжести, переполняющіе изю дня въ день воздухъ торговыхъ мѣстъ, не терзали васъ въ такой степени въ прежнія времена; теперь же отъ рабочей толпы, снующей вездѣ и впередъ, отъ грома этихъ ломовыхъ дрогъ, отъ обилія этихъ тюковъ, бочекъ, ящиковъ, полосъ гремашаго желѣза и т. д. пропало всякое благообразіе улицы, даже всякое удобство; а обиліе рванаго народа, изнуряющагося въ трудѣ или галдящаго въ кабацкѣ, производятъ одуряющее впечатлѣніе неопрятности и суетолицы, ни-когда въ такой степени не обезображивавшихъ тихихъ улицъ нашихъ селъ и городовъ. Но обиліе чернорабочаго, обиліе рвани, крика, изнуренія, брани и пьянства — все это уничтожаетъ только внѣшнее благообразіе нашихъ жилыхъ мѣстъ. Несравненно болѣе тоскливое, изнурительное скучное впечатлѣніе производить, такъ сказать, упадокъ нравственнаго значенія, особенно городовъ, упадокъ тона, который въ старыя времена былъ свойственъ городу, какъ центру, въ которомъ живетъ образованное общество. Велика ли была эта образованность нашихъ городовъ — это вопросъ другой; но за городомъ была извѣстность образованнаго центра, просвѣщеннаго, гдѣ образованный чело-

*) Изъ путевыхъ замѣтокъ о поѣздкѣ по Дону въ 1887 г.

вѣкъ стоялъ всегда на первомъ планѣ; были тамъ люди разныхъ сословій — и мѣщане, и купцы, и разночинцы, но какъ отличительная черта отъ деревни, отъ деревенской глуши, всѣмъ признавалось, *числилось* за городомъ значеніе высшаго въ нравственномъ отношеніи центра. И какъ бы ни былъ малъ кружокъ дѣйствительно образованныхъ людей въ городѣ, онъ всегда имѣлъ значеніе; всякій лавочникъ могъ указать, гдѣ живетъ такой-то генералъ, который пишетъ стихи и играетъ на виолончели; всегда былъ небольшой кружокъ людей, выдѣлявшійся изъ массы городского общества своимъ нравственнымъ значеніемъ; словомъ, образованность отличала городъ отъ деревни и была именно главной отличительной чертой города. Сплетни, пересуды, дразги, раздоры, грязь и всякая дрянь — есть вездѣ; въ городѣ прѣдешь — *отдохнешь!* «Надо побѣхать въ городъ — *освежиться!*» говорили въ прежнія времена; теперь, напротивъ, говорятъ: «надобно куда-нибудь забраться въ глушь, въ дѣбрь... надо же хоть немного освѣжиться!»

Я не сомнѣваюсь, что и теперь въ каждомъ мало-мальски многолюдномъ центрѣ всегда есть кружокъ людей, интересующихся общими вопросами жизни, конечно во сто разъ болѣе образованныхъ, чѣмъ «образованное общество» прежнихъ лѣтъ, но количество ихъ непропорціонально мало, даже буквально ничтожно сравнительно во-первыхъ съ огромной массой той скачущей публики, о которой говорено въ предыдущемъ письмѣ, а во-вторыхъ съ наплывомъ еще новаго сорта людей, рожденных и взрожденных развитіемъ капиталистическихъ предпріятій — людей крошечныхъ специальностей, загипнотизированныхъ какою-нибудь капельною частицею большого предпріятія, удаленныхъ этою капелькою отъ всякихъ общихъ интересовъ и вопросовъ. Въ наплывѣ этого изуродованнаго своей односторонностью человѣка, въ его мелкой суетѣ, въ мелкомъ ничтожномъ дѣлѣ, съ которымъ онъ не знаетъ покоя и никому покоя не даетъ, — человѣка, взрожденнаго капиталомъ и привлеченнаго за собою въ города сотни тысячъ обрваннаго ломового народа; въ шумѣ, трескѣ сумбурнаго и непрерывнаго движенія, втиснуваго на улицу бочекъ, тюковъ, кипъ, ащиковъ въ сто разъ больше, чѣмъ людей, — исчезло и внѣшнее благообразіе города, исчезло и его обязательное нравственное значеніе, исчезла его мѣстная своеобразность — и городъ превратился въ центръ скучнѣйшей суеты, скучнѣйшихъ, однообразнѣйшихъ людей, изнуренныхъ какими-то мельчайшими заботами, каждый самъ по себѣ, безъ возможности понимать такую же мельчайшую заботу своего ближняго.

II.

Въ прежнее время кулъ хлѣба, положенный на телегу или въ сани въ помѣщичьемъ мѣшкѣ и отвезенный мужиками въ городъ къ купцу, здѣсь же у купца въ амбарѣ большей частью и оканчивалъ свою біографію и уже въ крайнемъ слу-

чаѣ оказывался въ Москвѣ. Помѣщикъ, мужикъ и купецъ — вотъ всѣ агенты и факторы хлѣбной торговли въ старину; мужикъ пахалъ, сѣялъ, косилъ, молотилъ, возилъ, — словомъ, совершалъ одинъ сотни такихъ дѣлъ, которые въ настоящее время, при расширеніи хлѣбной операціи, совершаются уже сотнями рукъ. Теперешній купецъ не въ городѣ, даже не въ Москвѣ, а въ Берлинѣ и Лондонѣ, и прежде чѣмъ теперешній кулъ доберется съ базара какой-нибудь станицы до заграничнаго корабля, онъ пройдетъ черезъ сотни рукъ, получающихъ средства къ жизни только отъ прикосновенія къ нему и мнѣющихъ по отношенію къ этому кулу какою-нибудь мельчайшую, специальную обязанность, отнимающую все время и поглощающую всю умственную дѣятельность. Въ настоящее время количество народа, толпящагося около куля хлѣба на пространствахъ, которое онъ пройдетъ отъ базара до корабля, до такой степени велико и разнообразно, что цѣна куля, оказавшагося на заграничномъ пароходѣ, какъ высчитывали мнѣ знатоки, вырастаетъ на пять рублей противъ цѣны базарной, — и всѣ эти пять рублей, по грошу, по полкопѣйкѣ, по гривеннику, разбираются массою народа, который живетъ этими копѣйками и который за эти копѣйки и гривенники долженъ всю жизнь торчать около какой-нибудь частички дѣла, посвящая ей все свое вниманіе.

Человѣчекъ «по хлѣбной части», съ которымъ мнѣ пришлось встрѣтиться на пароходѣ, можетъ служить образчикомъ одной изъ этихъ специальностей хлѣбнаго дѣла.

Человѣчекъ этотъ вѣдалъ въ большую на Дону станицу Ц —скую съ тѣмъ, чтобы жить тамъ всю осень безвыѣздно. Обязанность его должна состоять въ томъ, что онъ каждый Божій день, съ ранняго утра и до поздняго вечера, будетъ, какъ ястребъ за пыльями, слѣдить за мужиками, привозящими въ станицу на продажу хлѣбъ; онъ будетъ ихъ убѣждать, усовѣщевать, божиться и клясться, орать, ругать, тянуть за рукавъ, чтобы всячески оттянуть отъ конкурентовъ другихъ фирмъ, агенты которыхъ будутъ дѣлать то же самое, что и онъ. Постоянно и непрестанно его глаза, втеченіе всего этого времени, должны напряженно разыскивать во вселенной только кули и мѣшки; уши его должны напряженнѣйшимъ образомъ слушать только то, что касается куля и зерна, и каждый звукъ, похожій на слово куль, онъ долженъ жадно и цѣлко перехватывать своимъ насторожившимся ухомъ, немедленно направляя свои мысли, поступки по тому направленію, которое указываетъ специальная его задача. За этотъ напряженный, однообразный, изнурительный трудъ, отнимающій у человѣка почти всѣ часы дня, онъ получаетъ самое ограниченное вознагражденіе; одѣтъ онъ бѣдно и плохо; путешествуя въ третьемъ классѣ, т. е. на палубѣ, онъ таскаетъ съ собою старое одѣяло, въ которое кутается отъ дождя и вѣтра. Имущество его — небольшой чемоданчикъ, въ которомъ находится жестяной чайникъ, стаканъ, свертокъ чая и сахару и небольшая подушка; все это, какъ ви-

дите, должно въ маленькомъ чемоданчикѣ занимать такъ много мѣста, что для какого-нибудь много рода имущества, быть можетъ пары-другой бѣлья, едва ли будетъ мѣсто. Табакъ онъ курить въ двугривенный четверку и покупаетъ только осьмушками; книжка папиросной бумаги для него дорога: онъ покупаетъ за двѣ копейки большіе листы папиросной бумаги; изъ этой бумаги онъ съ величайшей экономіей въ табакѣ крутитъ тончайшія папиросы на одну, много двѣ затяжки: какъ затянется, такъ папироса вся сразу согнется и ударитъ его горячимъ кондомъ по губѣ — такъ она жидка. Онъ больше тратитъ времени, чтобы заплевать папиросу, въ которой бумаги болѣе нежели табаку, чѣмъ курить эту папиросу. Съ нимъ жестяной чайникъ и маленький свертокъ съ чаемъ и сахаромъ. Чаю онъ завариваетъ самое ничтожное количество, такъ что, налитый въ стаканъ, онъ оказывается едва подкрашеннымъ, а затѣмъ нѣсколько стакановъ онъ выпиваетъ голаго кипятку, только кусокъ яблока сунетъ для вида и вѣроятно вкуса. Но сколько бы онъ стакановъ ни выпилъ, кусокъ сатюру, вынутый въ началѣ чаепитія, никогда не былъ уничтоженъ весь, всегда оставалось около половины, которая и пряталась обратно въ свертокъ. Никакихъ «порцій» и даже «полупорцій» по части съѣстного онъ ни разу во весь путь не спрашивалъ—питался исключительно бѣлымъ хлѣбомъ, запивая чаемъ. Однажды только онъ купилъ десятокъ яицъ на пристани. Вотъ всѣ его матеріальныя блага, достигаемыя изнурительнымъ медочнымъ трудомъ.

Человѣкъ этотъ—агентъ низшаго порядка: онъ скупаетъ хлѣбъ въ извѣстной станицѣ и складываетъ его въ ней же. Такихъ агентовъ у фирмы множество въ разныхъ селахъ и деревняхъ; надъ ними идетъ другой рядъ агентовъ, которымъ тоже за труды достаются копейки, а труды которыхъ тоже муравьиные. Одинъ—только и дѣлаетъ, что объѣзжаетъ склады по селамъ, запускаетъ руку въ зерно, жуется его, выплевываетъ, ругается и уѣзжаетъ: прійдетъ, пожуетъ, выплюнетъ, обругаетъ, и дальше. Другой только и дѣлаетъ, что вѣшаетъ да знаки ставить то чернымъ помазкомъ, то краснымъ. Третій только считаетъ: толкнетъ ногой въ кулъ и запишетъ, толкнетъ ногой и запишетъ и т. д... Это покупка, а потомъ перевозка—пароходы, желѣзныя дороги. Стоитъ посмотреть на билетъ прямого сообщенія, положимъ, пробывши въ дорогѣ три дня, отъ Одессы до Петербурга, чтобы убѣдиться, какая несмѣтная сила и разнообразіе въ одной спеціальности контроля; билетъ проколотъ крестами, звѣздами, полумѣсяцами, кругами, квадратами и т. д., и на каждый проколъ и прокусъ—особый человѣкъ, получающій хлѣбъ только за прокусъ билета извѣстнымъ манеромъ и этимъ существующій на землѣ. А тамъ полчища стрѣлочниковъ, полчища таинственныхъ незнакомецъ, которые невидимы на поверхности земли, а ползаютъ подъ вагонами, постукиваютъ что-то, а тамъ полчища людей, которые только съ записной книжкой ходятъ мимо вагоновъ и записываютъ нумера. и т. д.

А пароходъ? Великъ ли онъ весь-то—много-много пятнадцать саженой длины и саженой пять ширины, а посмотрите, сколько тамъ по разнымъ трещинамъ набито народу, и у каждого своя часть. И наверху, и внизу, и съ боковъ—вездѣ понадѣланы какія-то мышиныя норы, величиной съ папиросную коробку, а между тѣмъ въ каждой такой папиросной коробкѣ по цѣлому семейству; непостижимо, какимъ родомъ могутъ существовать, даже дышать въ такой коробкѣ капитанъ—мужчина 13 вершковъ, капитанша—плотная «скульптурная» дама, беременная и уже нѣющая ребенка, нянька ребенка, кошки и всѣ принадлежности мужского, женскаго и въ особенности дѣтскаго туалета. А между тѣмъ существуютъ: какъ утро, коробка папиросная открывается и выходитъ изъ нея капитанъ въ два раза выше коробки ростомъ, выходитъ капитанша, повидимому болѣе размѣромъ чѣмъ вся коробка, нянька съ ребенкомъ, затѣмъ выносятся одинъ стулъ низенькій, другой стулъ высокий; вывозятъ колясочку плетеную, велосипедъ, самоваръ, хлѣбъ, жестяную сахарницу, арбузъ и т. д. А вечеромъ въ эту же коробку все это множество людей и предметовъ опять вбирается постепенно и коробка запирается на ключъ. Иной разъ на самомъ днѣ парохода, гдѣ кажется уже ничего нѣтъ кромѣ тьмы кромѣшной, вдругъ оказывается дверь величиной въ аршинъ, за дверью лѣстница въ темную яму, а въ ямѣ младшій механикъ, жена, ребенокъ, подушки. И все это плодится, множится, и все это сидитъ въ *своей* коробкѣ, варитъ *свой* обѣдъ, озабочено жаднымъ стремленіемъ всунуть на плиту *свой* чайникъ прежде чайника старшаго лопмана и младшаго бочмана, которые тоже держатъ себя независимо въ своихъ папиросныхъ коробкахъ и отъ механиковъ, и отъ штурмановъ, и отъ рулевыхъ, и всякихъ безчисленныхъ обитателей норъ и ущелій, тащущихся на пароходѣ.

III.

И что же—вы можете быть думаете, что человѣкъ такой норы скучаетъ, томится, чувствуетъ неудовлетвореніе и жаждетъ выхода? Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ; именно бисерная-то мелкота спеціальностей, приучающая человѣка сосредоточивать свои силы на какомъ-нибудь ничтожномъ предметѣ или дѣлѣ—искусываетъ въ немъ всякую жажду простора и широты мысли; человѣкъ привыкаетъ обходиться безъ этой широты и ухитряется создать изъ своего капельнаго дѣла такое количество вопросовъ и интересовъ, которое вполне поглотитъ всѣ часы его жизни. Иной такъ обживается въ своей мурыѣ на пароходѣ или такъ сродняется съ своимъ прокусывающимъ билетъ инструментомъ, что ихъ силою не разлучишь съ ихъ любимыми вещами и заботами. О сломавшемся пароходномъ винтѣ онъ можетъ безъ умолку разговаривать съ вами цѣлые дни и недѣли—такъ это дѣло разработано его умомъ, похищеннымъ интересами предпріятія; но вообще о сложномъ метаизмѣ жизни онъ

не найдетъ матеріала для разговора втеченіе пяти минутъ.

— Вы не овесъ-ли изволите покупать? подойдетъ къ вамъ и спроситъ агентъ по овсяной части, — человекъ, который два дня бѣгалъ съ вами на пароходѣ, пилъ за однимъ столомъ чай, думалъ, кто вы такой, и такъ какъ у самого у него вся голова набита овсомъ, то его желаніе войти съ вами въ бесѣду не можетъ, при всѣхъ усиліяхъ его оступленной овсомъ головы, выразиться ни въ какомъ другомъ вопросѣ.

— Нѣтъ, не овесъ! отвѣчаете вы несчастному калѣкѣ, и калѣкѣ больше ничего не остается сдѣлать, какъ уйти прочь.

Иной изъ такихъ, служенныхъ умственно и нравственно на какой-нибудь мелочи, людей, случайно вступивъ съ вами въ общій разговоръ, съ огромными усиліями дѣлаетъ только видъ, что слушаетъ васъ и понимаетъ. Ничего онъ не слышитъ, ничего для него не важно: все это для него не подходитъ, а если и интересуется даже его, то ему просто некогда; но когда дѣло дойдетъ до керосина, на которомъ держится все его земное существованіе, онъ васъ затопитъ рѣчью, какъ керосинный фонтанъ, разверзнетъ такіа пространства керосиннаго мышленія, что конца краю имъ не показывается, если конечно посмотрѣть на дѣло основательно. Онъ сдѣлалъ только «бѣглый» обзоръ, а и то вы не знаете, куда бы отъ него уйти и какъ бы скрыться; у васъ уже давно трещитъ въ вискахъ и начинаются грудныя спазмы, а вѣдь это только «бѣглый» обзоръ!

Мелочность мыслей, заботъ, интересовъ, ихъ чрезвычайная раздробленность — отодвинули на задній планъ всякій интересъ къ живому, общему дѣлу. Думы толкуютъ все о тѣхъ же агентствахъ, пристаняхъ, объ отводѣ мѣстъ для завода, о трехкопѣчномъ сборѣ съ куля, съ бревна, съ мѣшковъ, о подъѣздныхъ путяхъ для этихъ кулей, мѣшковъ, бревенъ и бочекъ. За всѣми этими неуклюжими складами, амбарами, дѣсопилками, пивными и мыльными заводами, разставившимися гдѣ попало — не размышляешь о окружающемъ судѣ, чтобы послушать какое нибудь разбирательство, подумать о жизни. Адвокатъ совершенно забылъ, что въ былое время онъ, если только Богъ далъ ему умъ и совѣсть, могъ, защищая какого-нибудь мужика, сказать обществу много правды, и идти слушать рѣчь по общимъ вопросамъ было дѣломъ обязательнымъ для мало-мальски не невѣжественнаго горожанина. Теперь и въ судѣ, въ этомъ мѣстѣ, гдѣ хоть капельку-то можно было бы слышать о правдѣ жизни вообще, царитъ отраженіе тѣхъ же мусорныхъ печалей муравьино-образнаго человека, копошащагося на кучѣ и около кучи, именуемой капиталомъ: переборъ двухъ копѣекъ съ пуда, взысканіе штрафа, — словомъ, печаль, забота все о той же бочкѣ, о винтѣ, о кулѣ, о тюкѣ, о доскѣ, и ни малѣйшей заботы о человекѣ. Недавно напримѣръ въ петербургскомъ окружномъ судѣ разбиралось дѣло одного

афериста, который разъѣзжалъ по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ, разыскивалъ пострадавшихъ отъ утѣчъ на желѣзнодорожной службѣ, бралъ отъ нихъ довѣренности, выговаривая въ свою пользу 50 проц. съ вознагражденія, которое онъ получить въ пользу своихъ кліентовъ съ желѣзнодорожныхъ обществъ. Судили этого афериста за то, что дорого беретъ, судили за полтинники. Но вотъ что любопытно: «Довѣренностей, полученныхъ аферистомъ, у него оказалось 360 штукъ» (*Новости*, № 229). Вотъ вѣдь какую массу калѣкъ хотѣлъ ограбить этотъ аферистъ! Надобно конечно наказать его. Но 360-то уродовъ и увѣчныхъ людей, открытые имъ, куда-жъ дѣнутся? — мнѣя-то увѣчья, безъ участія афериста, такъ и останутся въ забвеніи. Вѣдь однихъ костей человѣческихъ въ трехъ статьяхъ шестидесяти увѣчьяхъ, я думаю, пудомъ пятьдесятъ, шестидесять наберется? Неужели же нѣтъ не стоитъ показать публикѣ и поговорить о нихъ? Статья, изъ которой я заимствовалъ свѣдѣнія объ аферистѣ, вся посвящена обсужденію новаго закона, касающагося именно вознагражденія за увѣчья желѣзнодорожныхъ служащихъ. И что же? Оказывается, что всѣ усилія желѣзнодорожныхъ администрацій направлены исключительно къ обходу этого закона: Образованные, получающіе хорошіе оклады, купленные предпріятіемъ люди ломаютъ головы надъ тѣмъ, какъ бы обойти законъ, желающій защитить увѣчнаго, и вышвырнуть калѣку на улицу. И вотъ что изобрѣли между прочимъ: «имѣя въ виду установленный закономъ *юдичный* давностный срокъ для представленія исковъ по вознагражденію за вредъ здоровью, правленія *предупредительно*, безъ всякаго со стороны потерпѣвшаго требованія, выдаютъ ему кое-какое пособіе, или сохраняютъ ему жалованье или перемѣщаютъ его въ новую должность, въ видѣ вознагражденія за полученный вредъ, но *оплачиваютъ все это втеченіе только одного года, а потомъ, когда годъ прошелъ и следовательно срокъ давности истекъ, — общество увольняетъ потерпѣвшаго и прекращаетъ съ нимъ всякія обязательства, взятая на себя добровольно*» (та-же газета № 229). Вѣдь на такую жестокость надо много ума потратить. такъ какъ за этотъ умъ платятъ, даютъ хлѣбъ выдумщику. Нѣтъ, положительно повсюду, благодаря пришествію этихъ копѣчныхъ тревогъ капитала, упалъ интересъ и значеніе общихъ коренныхъ вопросовъ жизни. Жизнь человѣческая исчезла подъ наплывомъ суесть предпріятія; люди, ихъ печали, горести, ихъ драмы, ихъ муки, нужда, грѣхъ, горе, ихъ надежды, желанія — все выбито изъ общественнаго сознанія, все потеряло значеніе предъ горемъ перевозокъ и переносокъ, страховокъ, коносаментовъ, винтовъ, тюковъ, ломотиковъ, пароходовъ, контролеровъ и т. д., и т. д. Нѣтъ, не живить людей могуществомъ и силой купона? Скуку, сухость, мелочность и тусклость вносить такой купонный слуга во всѣ сферы жизни — и вотъ почему такъ невыносимо скучно

теперь вездѣ, гдѣ «купону» удалось развернуться болѣе или менѣе свободно.

IX. Рабочія руни.

I.

Еще скучнѣе и тяжелѣе, чѣмъ при созерцаніи изкушеннаго печальными купона-агента, чувствуешь себя при видѣ другого аппарата, изобрѣтеннаго тѣмъ-же невнимательнымъ къ «человѣку» купономъ,—созерцаніи «чернорабочаго», уже во множествѣ народившагося на Руси.

Во всѣхъ мѣстахъ, селахъ и деревняхъ, городахъ,—словомъ, вездѣ, гдѣ только есть какой-нибудь крошечный агентъ какого-нибудь предпріятія,—непримѣнно вы видите уже цѣлыя толпы человѣческихъ существъ съ верблюжьими горбами на спинѣ, безъ шапокъ, безъ сапогъ. Искусственные верблюжьи горбы, сдѣланные изъ дерева и обшитые кожей, тверды и крѣпки, и сдѣланы они въ защиту натуральной человѣческой спины: искусственный горбъ не переломится, а слѣдовательно останется цѣла и натуральная человѣческая спина. Видите, какія гуманныя требованія предъявляютъ къ человѣческой спинѣ всѣ эти излюбленные дѣтища капитала, всѣ эти тюки, бочки, всѣ эти въ разныхъ видахъ оживленные металлы и камни: они хотятъ влѣзть на человѣческую спину въ такихъ размѣрахъ и количествахъ, что она бы должна переломиться, если бы сама не позаботилась о самосохраненіи и не выдумала, въ видѣ самозащиты противъ безчеловѣчныхъ замашекъ капитала, искусственного верблюжьего горба. Капиталу нѣтъ дѣла до человѣческой спины; онъ хлопотетъ о своемъ любимомъ дѣтищѣ, паровой машинѣ; ее ему нужно пустить въ свѣтъ, она хочетъ жить, а переломится ли тамъ какая-нибудь спина—это въ его цѣли и идею не входитъ. И повсюду, и во всемъ чернорабочемъ трудѣ вы видите натугу, стремленіе преодолѣть что-то, не соответствующее обыкновеннымъ силамъ человѣческимъ: оханье всѣмъ животомъ и нутромъ, «дубинушка» съ отчаяннымъ напряженіемъ силъ въ концѣ каждаго куплета, наконецъ натуга, слышащаяся во всякой пѣснѣ, не говоря о такихъ радикальных приспособленіяхъ, какъ искусственные верблюжьи горбы, т. е. деревянные позвоночные хребты—все это говоритъ о нечеловѣческихъ усиліяхъ, все направлено къ преодолѣнію трудностей, не свойственныхъ обыкновеннымъ человѣческимъ силамъ. И если вы представите себѣ, что эти стоны нутромъ, эти «охи» напряженія и нечеловѣческаго усилія оглашаютъ воздухъ нашихъ большихъ рѣкъ, нашихъ пристаней и торговыхъ городовъ, оглушаютъ васъ и тиранятъ вашъ слухъ съ ранняго утра до поздней ночи; надрываютъ ваши нервы, доносясь откуда-то издалека и неистовствуя вблизи васъ—то успѣхъ промышленности не сразу плѣнитъ васъ и придется вамъ по

сердцу; люди, превращенные въ верблюдовъ, и притомъ сотни тысячъ людей, едва ли свидѣлствуютъ объ успѣхахъ человѣческой личности. Нехорошъ также человѣкъ-верблюдъ и въ кабацкѣ, и въ дракѣ, но винить его за такой способъ отдыха рѣшительно невозможно: отъ него берутъ силу и кромѣ кабака рѣшительно ничего не даютъ; органы въ трактирахъ играютъ уже и бьютъ въ барабаны съ шести часовъ утра, и съ этого же времени пьютъ отдыхающій верблюдъ-человѣкъ. Да и вообще, кромѣ кабака, мы рѣшительно ничего не придумали для нашего народа въ качествѣ способа душевнаго и физическаго отдохновенія, и винить утомленнаго трудомъ человѣка-верблюда въ кабацкомъ безобразіи невозможно.

II.

Что кабацкое безобразіе дѣйствительно отвратительно—этого также нельзя не засвидѣтельствовать. И все-таки въ концѣ концовъ въ этой чернорабочей средѣ чувствуешь себя болѣе по человѣчески, чѣмъ въ скучной средѣ людей, уступившихъ купону за чечевичную похлебку свой умъ, знаніе и вообще частаю своей души. Чернорабочій уступаетъ капиталу только руки, и выраженіе *рабочія руки* вполне точно обозначаетъ качество жертвы, приносимой чернорабочимъ молоху-купону. Руки, спина, ноги—вотъ что куплено пока капиталомъ у мужика, крестьянина, чернорабочаго. Душу, совѣсть, мысль—онъ еще не захватываетъ въ свои лапы такъ, какъ бы желалъ; дѣло его на Руси пока новое.

И живая, дѣтская душа поминутно сказывается въ этомъ человѣкъ-верблюдѣ, разъ онъ еще недавно въ этомъ новомъ званіи и разъ только на минуту прекратилось его верблюжье дѣло. Къ счастью его, онъ еще не знаетъ, что появленіе людей-верблюдовъ, къ которымъ онъ принадлежитъ, есть *фазисъ*; онъ не знаетъ, что не просто, какъ ему пока думается, для податей, превратился онъ пока на-время въ верблюда, но что онъ уже втянутъ въ теченіе, что онъ уже завязалъ коготокъ, и что «фазисъ» разыграетъ надъ нимъ такіа-то и такіа превращенія, давнымъ-давно ужъ опредѣленные въ книжкахъ и предсказанные на множество лѣтъ. Онъ думаетъ—«какъ наживу, такъ и къ себѣ!» Но не знаетъ, что фазисъ уже предначерталъ ему путь—уйти ни съ чѣмъ и опять воротиться, постепенно отвыкнуть отъ семьи, завести любовницу, бросить жену (которой, такъ-же какъ и ея дочкѣ Машутѣ, уже предначертаны перспективы совершенно опредѣленные) и пожалуй попасть въ темную за убійство въ пьяномъ видѣ, за кражу и т. д. Ничего этого «наши ребята» не могутъ еще считать непреклоннымъ и обязательнымъ для нихъ до конца дней. Книжъ, гдѣ написано про неизбежность фазисовъ, они не читаютъ, перспективы мрачныхъ никогда не представляли, такъ какъ всѣ деревенскія перспективы—не въ человѣческой власти и критиковать ихъ или предсказывать, или опредѣлять заранѣе невоз-

можно, и никто изъ крестьянъ никогда этимъ не занимался болѣе, какъ въ размѣрахъ, обнимавшихъ будущность весеннихъ всходовъ. Эту же непривычную мыслить о болѣе отдаленныхъ перспективахъ жизни, задѣтый коготкомъ купона, крестьянинъ перенесъ и въ свой верблужій трудъ. Пока что онъ покряхтитъ, а потомъ и «будя!». Но этого «будя» не будетъ для него навѣрное, и уже есть маленькіе признаки, что онъ начинаетъ сердиться на свое верблужье положеніе, какъ бы предчувствуя, что это верблужье дѣло не выпуститъ его изъ своихъ лапъ вплоть до могилы.

Но, повторяю, хоть и есть признаки, доказывающіе, что онъ способенъ разсердиться, — все-таки они ничтожны сравнительно съ безпрестаннымъ проявленіемъ чисто дѣтскихъ чертъ удовольствія и веселья жить на свѣтѣ. Чуть только на минуту, на мгновенье, прекратится верблужій трудъ и выдѣлается свободный часъ, которымъ можетъ воспользоваться некупленная купономъ душа, всегда она тотчасъ же проявляется свѣтло, весело, совершенно по-дѣтски.

— Дайко-сь съ Федоромъ-то съиграю штучку! съ радостью малаго ребенка говорить парходный поваръ, вытаскивая у коровьей головы вилообразную кость. Кость какая ловкая попалась! — Нужно знать, что этотъ поваръ для рабочихъ также работаетъ вмѣстѣ со всѣми товарищами. Онъ только что вылѣзъ изъ воды, гдѣ цѣлый часъ стоялъ, помогая стаскивать баржу съ мели — онъ весь мокрый, потный, усталый; едва только онъ вылѣзъ изъ воды, какъ принялся готовить обѣдъ; ребята ужъ его понукають. Но вотъ, размокнувъ обухомъ коровью голову (въ первый разъ я видѣлъ это удивительное кушанье) и примѣтивъ тамъ подлодящую для шутки вещицу, вилообразную кость, онъ не упускаетъ случая тотчасъ же сыграть и «штучку».

— Федоръ Ивановичъ! говоритъ онъ, подходя къ простоватому и добродушному рабочему, не успѣвшему еще отереть потнаго лба послѣ тяжкаго труда. — Не угодно ли вамъ со мной *паре* поддержать? На сороковочку? Бутылочку пивца? Всего копѣекъ на тридцать на пять? что за бѣда? А выиграете — я угощаю...

Федоръ Ивановичъ долго отиѣкивается, уклончиво улыбается; но поваръ такъ убѣдительно доказываетъ, что «паре» хорошая забава, что Федоръ Ивановичъ наконецъ соглашается и, потянувъ къ себѣ одинъ изъ концовъ вилообразной кости, переломилъ ее: это и значитъ что «паре» принято обѣими сторонами.

— Ну вотъ, и превосходно! интро, плутовато, но весь переполненный сдерживаемымъ смѣхомъ говоритъ поваръ. И прибавляетъ:

— Ну теперь, Федоръ Ивановичъ, вы меня остерегайтесь!

— Иди, обѣдъ готовъ! Полно болтать!

— Иду, иду! Теперь остерегайтесь, Федоръ Ивановичъ! едва не фыркая говоритъ поваръ и уходитъ.

— Ладно! самодовольно говоритъ Федоръ Ива-

нычъ, продолжая вытирать потъ. — Ты, братъ, сорокъ-то копѣекъ вынимай, а не я!

Дѣло въ томъ, что принявъ, «паре», принявшій долженъ всячески остерегаться, чтобы его товарищ по пари (у котораго остался другой конецъ кости) не всучилъ ему подъ какими-нибудь предлогомъ чего-нибудь въ руки, сказавъ: «бери да помни!», т. е. помни пари. Разъ онъ оплошаетъ и возьметъ вещь въ руки и будетъ держать ее въ то время, какъ его противникъ успѣетъ сказать «бери да помни», онъ проигралъ и долженъ по приѣздѣ въ Ростовъ угощать.

— Ладно! Остерегусь, братъ, не беспокойся!

— Ребята! вдругъ, торопливо входя на палубу къ рабочимъ, говоритъ тотъ же поваръ, только-что ушедшій готовить обѣдъ: — иди кто-нибудь на баржу. Отнеси бѣлье... капитанша сердится, велитъ поскорѣй отнести!

Лицо у него какъ бы испугано тѣмъ, что сердится капитанша.

— На, Федоръ Ивановичъ, свеси скорѣй. Мнѣ недосугъ!

И онъ, сунувъ Федору Ивановичу комокъ бѣлья, торопится уйти.

Федоръ Ивановичъ, не ожидавши такого мгновеннаго оборота дѣла, взялъ бѣлье.

— Бери да помни! почти простоналъ поваръ и покатился кубаремъ отъ смѣху.

Хохотала вся артель гораздо громче, шумнѣе и горластѣе, чѣмъ горланить она на работѣ. Такого непомѣрнаго смѣха съ чиханьемъ, охами, стопами давно не слыхалъ я нигдѣ. Такъ хочется только дѣти, которыя иной разъ расхохотуются до того, что «нельзя унять!». Федоръ Ивановичъ, такъ мгновенно и внезапно поставленный въ дураки, добродушнѣйшимъ образомъ улыбался и, держа въ рукахъ тряпки, говорилъ:

— Какъ онъ легко меня обернулъ, жидъ эдакой! Я думалъ все не сразу-же... Анъ онъ кубаремъ перевернулся... не далъ мнѣ... вотъ жидъ-то!.. Какимъ легкимъ оборотомъ кувыркнулъ!..

— Да страпай ты что-то, чортъ! орала хотавшая артель.

— Лѣгка! лѣгка я тебя, Федоръ Ивановичъ! бормоталъ поваръ, не имѣя возможности перестать хохотать и въ то же время колотя топоромъ по коровьей головѣ. — Вотъ какъ у насъ лѣгка обдѣлываютъ!..

Когда сломался парходъ, и стало всѣмъ извѣстно, что дня два онъ простонитъ на мѣстѣ и что слѣдовательно всѣмъ предстоитъ двухдневный невольный отдыхъ, тотчасъ же всѣми рабочими овладѣло самое игривое дѣтское настроеніе.

— Рыбу! Рыбу ловить! Живо! собирайся, ребята!

— Мнѣ бы рубаху починить!

— Починишь! Чего тамъ! Полѣзай въ воду!

— А мы на берегъ «раконъ ловить! весело горланить другой. — Тамъ озерцы есть, болотцы, я знаю.

— Валайте раковъ ловить! А мы за рыбой! Беря бредень! Живо!

И тотчасъ всѣ рабочіе пошли съ парохода, разбѣжались—кто на берегъ ловить раковъ, кто въ Донъ съ бреднемъ. Съ баржей также и бабы, и ребята тотчасъ-же стали опускать сѣтки. И на Дону, гдѣ ходили съ бреднемъ, и на берегу, гдѣ ловили раковъ, шло шумное, веселое вранье, смѣхъ, разговоръ—словомъ, дѣтская игра. Нѣтъ! дѣтскаго въ нихъ еще гораздо больше, чѣмъ верблюжьяго, по крайней мѣрѣ для тѣхъ, кому еще въ новинку этотъ верблюжий трудъ, кто только еще начинаетъ знакомиться съ нимъ!

III.

Живая человѣческая душа еще до такой степени въ самомъ дѣлѣ жива въ нашемъ народѣ, что иногда живое проявленіе молодой и свѣтлой души рѣшительно устраняетъ впечатлѣніе машинности и однообразной изнурительности того дѣла, для котораго этотъ народъ закупленъ и закабаленъ капиталомъ. Смотришь на человѣка, которому нужно бы быть машиною, и не видишь машины, а восхищенъ удивительною пределью человѣка.

Я не могу забыть и къ сожалѣнію не могу передать достаточно ярко того истиннаго поэтическаго впечатлѣнія, которое произвела на меня работа трехсотъ молодыхъ женщинъ, занимавшихся чисткою шерсти.

Когда я вышелъ на берегъ, у котораго присталъ пароходъ нашъ, чтобы принять девяносто тюковъ шерсти, — передомной открылась такая картина: голая, утопающая въ солнечныхъ лучахъ (послѣобѣденное время) степь, съ едва примѣтными вдали очертаніями станичныхъ домовъ и мельницъ; на самомъ берегу передо мной ряды какихъ-то стоговъ, которые я принялъ за стоги сѣна, но которые оказались стогами бѣлой шерсти, прикрытыми сверху брезентами, также бѣлыми. Но что меня поразило — это длинное, выстроенное изъ новаго лѣсу, деревянное зданіе, до чрезвычайности похожее на лѣтнія, загородныя увеселительныя кафе: та же открытая сторона, съ легкими занавѣсками, опускающимися во время вѣтровъ и дождя, а теперь поднятыми, а главное—звуки стройнаго пѣнія какого-то большого хора и масса женскихъ фигуръ; одна къ одной, къ открытой сторонѣ, и поперекъ, какъ въ театрахъ—множество женщинъ, множество разноцвѣтныхъ платковъ на головахъ, на плечахъ. Что это такое? думалось мнѣ, когда я подходилъ къ этому зданію. Иной разъ казалось, что это можетъ быть собранія сектантокъ — на этихъ собраніяхъ также пють. Но, подойдя близко и наконецъ очутившись въ самомъ зданіи, я увидѣлъ, что это не концертная зала и не сектантское собраніе, а большой сарай, въ которомъ болѣе трехсотъ молодыхъ дѣвушекъ занимаются чисткою шерсти; волны этой бѣлой шерсти лежатъ передъ ними на длинныхъ столахъ; онѣ должны выдергивать всѣ нечистоты и темнаго цвѣта шерстин-

ки. 30 к. въ день за работу съ 4 час. ночи до 8-ми вечера—кажется, надо бы пожалѣть труженицъ? Но едва я вошелъ въ этотъ сарай и оглядѣлъ его и этихъ труженицъ, какъ во мнѣ исчезла всякая мысль о трудовой сторонѣ этого собранія. Руки работницъ дѣйствительно что-то щипали, выдергивали, — словомъ, дѣлали какую-то кропотливую работу; но въ самыхъ этихъ труженицахъ (за исключеніемъ нѣсколькихъ пожилыхъ женщинъ и трехъ уродливыхъ калмычекъ, всѣ дѣвушки были молодыя, шестнадцати—двадцати лѣтъ не больше) было такъ много живой женской красоты, нященства, молодости, живой игры жизни, что представленіе о «работницѣ» совершенно исчезло въ удовольствіи видѣть такое обиліе энергіи жизни. Не знаю, не могу опредѣлить, въ чемъ, въ какихъ мелкихъ подробностяхъ проявлялась этимъ множествомъ красивыхъ женщинъ ихъ жизненная энергія: въ пѣснѣ-ли, какъ зарница вспыхивавшей сильно и дружно въ одномъ концѣ сарая и замиравшей на другомъ, чтобы и здѣсь вспыхнуть также зарницей; въ ихъ-ли врожденномъ умѣніи вкладывать красное движеніе во всякое мелкое дѣло рукъ—не знаю; но быть среди этого «живья», насколько не смиреннаго труда и придавшаго даже ему, однообразному и скучному, оттѣнокъ какой-то легкой, шутливой забавы отъ нечего дѣлать — быть здѣсь было весело: просто почему-то опускалось желаніе *жить*, ничего больше, но желаніе жить было веселое, бодрое.

Сколько разъ на своемъ вѣку я видѣлъ художественныя произведенія, въ которыхъ художникъ старался меня, зрителя, плѣнить женской красотой: соберетъ иной штукъ двадцать женскихъ фигуръ и, чтобы сразу потрясти меня, раздѣнетъ ихъ бѣдныхъ до-нага, усадитъ около какой-нибудь двухъ-аршинной лужи, разложитъ ихъ по берегамъ этой трясины въ самыхъ вопіющихъ положеніяхъ, какъ ему угодно, безъ зазвѣнія совѣсти. Словомъ, на разные манеры хотѣтъ насъ восхитить женской красотой — и сколько я ни помню, никогда отъ созерцанія такихъ художественныхъ произведеній не получалось впечатлѣніе *жизни*, радости *жить и жить*, безъ всякихъ объясненій и толкованій, дополненій и комментариевъ. Не получалось именно впечатлѣнія красоты, распрямляющей душу и говорящей измученному человѣку: «не робѣй!». Напротивъ, всегда возбуждалась какая-то тяжесть неопрытнаго состоянія духа, ограниченность впечатлѣнія и мысль о прахѣ и тлѣніи.

А вотъ здѣсь, въ толпѣ этой деревенской молодежи, свободно выросшей въ широкомъ разнообразіи трудовъ жизни, счастливой тѣмъ, что эта жизнь требуетъ отклика всѣхъ человѣческихъ способностей, желаній и свойствъ — вотъ онѣ въ простомъ, даже мизерномъ дѣлѣ проявляютъ (не вѣдомо какъ и въ чемъ) такую красоту живого человѣка, что жить на свѣтѣ кажется радостью, а мертвая тоска, безнадежность сутолоки жизни, привезенная съ собою изъ условій ненароднаго строя жизни, исчезаетъ какъ удушливый дымъ: начинаешь видѣть солнце, радъ, что оно свѣтитъ и грѣетъ...

— Кто желаетъ—иди кипы таскать на баржу! громко на весь сарай провозгласилъ приказчикъ. и масса дѣвушекъ, оставивъ свою работу, хлынула на воздухъ.

Нужно было видѣть, что онѣ съумѣли сдѣлать съ этими уродами—кипой шерсти, обтянутой желѣзными обручами. Еслибы это дѣло дѣлалъ мужикъ—куль или кипа непременно бы преобладали надъ нимъ; мужикъ бы, надеясь, упирался въ куль, а куль сопротивлялся; постоянно слышались бы понуканія: «и-но! напирай, Михайла, напирай, пхай-пхай» и т. д. Совершенно не то вышло теперь; едва на этотъ упорный, неуклюжій куль налетала стая молодежи, какъ въ немъ какъ будто бы мгновенно пропадало все его кулевое величье и солидность. Онъ не только не упирался, а опрометью бросался отъ дѣвчатъ, которыя казалось только кружились и играли около него, какъ птицы. Что-то злѣе проявилось въ этомъ толстомъ существѣ: онъ какъ бы оглупѣлъ, летѣлъ сломя голову, вдругъ сталъ стоймъ, но тотчасъ же перевернулся черезъ голову и въ еще болѣе глупомъ видѣ загремѣлъ куда-то въ бездну, разверзшуюся въ баржѣ. И все это съ такой непрерывною веселостью, шуткой, игрой между молодежью, что всѣ, кто смотрѣлъ на это, получалъ впечатлѣнне просто дѣтской радости—стоять и смотрѣть на это. А куль потерялъ всякій интересъ и никто на него не обращалъ вниманія, хотя онъ и былъ въ желѣзныхъ обручахъ и привыкъ уминаться надъ человѣкомъ.. И вотъ для такого-то впечатлѣнія—радости жить на свѣтѣ и видѣть живого человѣка—не потребовалось никакихъ неопратныхъ приспособленій: всѣ дѣвчата одѣты хотя и въ трехкопѣечныя ситцевыя платишки, хотъ у всѣхъ у нихъ и были загорѣлыя ноги, мозолистыя руки... и въ то же время, несмотря на «черную работу», въ нихъ не пропала ни единая черта истинной красоты чело-вѣческой вообще и женской въ частности.

IV.

Но, увы, читатель—это только въ началѣ «играетъ» жизнь, а трудъ исчезаетъ въ прелесть этой игры. Эти триста молодыхъ дѣвушекъ еще только завязали коготокъ въ желѣзную лапу купона, но разъ коготокъ увязъ—такъ и всей птичкѣ пропасть. Много еще въ нихъ живой души, живой непочатой силы жить; но дальнѣйшій путь жизни ихъ нехорошъ: безъ всякой жалости растятъ онъ и растаптываетъ живую душу. Среди рабочихъ, уже *виданныхъ* виды, уже «обыкновенныхъ» среди рабочихъ порядковъ и нравовъ, складывающихся по волѣ купона, слышались иной разъ глубоко омерзительныя разговоры о женщинахъ, о тѣхъ самыхъ, которыхъ я видѣлъ еще играющими, «какъ дѣтей».

— Онъ что говорить про меня? небрежно поплеывая подсолнухи, спрашиваетъ одинъ бывалый рабочий у другого, тоже бывалаго; они встрѣтились на желѣзной дорогѣ въ вагонѣ.

— Онъ говоритъ, что по мордѣ тебя билъ за сестру... Я, говоритъ, ловко ему морду «раздѣлалъ».

— По мордѣ?

Продолжая плевать скорлупу, первый рабочий думаетъ о чемъ-то и, подумавъ, говоритъ:

— Нѣтъ; вретъ онъ (такой-сякой), по мордѣ онъ меня не билъ...

— Онъ говоритъ, по мордѣ, говоритъ отжарилъ.

Опять что-то обдумываетъ тотъ, кого будто бы били по мордѣ, и, поплевавъ скорлупу и подумавъ, опять, не спѣша, произноситъ:

— По уху далъ два раза, а по мордѣ не билъ... Это онъ вретъ!..

— Ты чего съ сестрой-то?

Рабочій опять подумалъ и очень небрежно отвѣтилъ:

— *Подлюга* она была моя... очень просто!.. А онъ, братъ ея (такъ и такъ), сманилъ ее къ приказчику... Денегъ взялъ съ приказчика... Я воротился изъ города, а она у приказчика. Утромъ дождался ее, встрѣлъ, оттрепалъ за косы... Она выть... Прибѣжалъ братъ—хотѣлъ мнѣ въ рыло... Ну, я его пнулъ... Тогда они меня вдвоемъ повалили, руки держугъ, ну, и два раза по уху далъ... А по мордѣ не билъ...

Я, слушая этотъ разговоръ, признаться сказать, не понялъ хорошенько—говоритъ ли онъ *подруга* или, какъ мнѣ легко могло послышаться, *подлюга*, и, чтобы выдти изъ затрудненія, спросилъ у рабочего точнаго отвѣта.

— Обыкновенно *подлюга*! Какое же ей ния, коли ежели на это идетъ?

— Да вѣдь вы сами совращаете?

Рабочій улыбнулся и сказалъ:

— Да вѣдь намъ что подъ руку попало. Коли идетъ, такъ—чего же? А *подлюга* потому, что хорошая на это не пойдетъ!

— Отчего же бывають однѣ и другія?

Рабочій молчалъ и соображалъ, не покаяна подсолнуховъ.

— Ежели у которой родитель строгъ, то она не позволитъ... А у которой родители строгости не нѣютъ, такъ она и пошла черезъ голову... Строгости нѣтъ—вотъ отъ чего!

И такъ опять *строгость*, извѣстное русское средство отъ всѣхъ болѣзней.

Но, какъ кажется, видѣвшій виды рабочий по временамъ начинаетъ ощущать и гнѣвъ, и стыдъ и, какъ я уже сказалъ выше, сердиться. Подѣзжая къ Ростову, мы видѣли, какъ оттуда по берегу промчался поѣздъ по направленію къ Новочеркасску—спеціальновоенный вагонъ десять были наполнены казаками.

— Это они съ *усмирения* ворочаются, сказалъ одинъ изъ пассажировъ.

Въ Ростовѣ я видѣлъ три турецкихъ гостиницы, разнесенныхъ рабочими до моего пріѣзда за три дня. Работа была очевидно моментальная и сокрушительная; впрочемъ теперь почти все ужъ и возстановлено: рамы, двери, окна, лѣстницы—все новое...

За что и на кого онъ сердится? Почему ему нужна неправдоподобная легенда непременно про иновѣрцевъ? «Турки зарѣзали христіанина». «Евреи зарѣзали, задушили». «Татаринъ убилъ». Что это такое?

Примѣчаніе. Въ этихъ «письмахъ съ дороги» въ самыхъ бѣглыхъ чертахъ и наброскахъ сдѣлано обзорѣніе не очень радостныхъ явленій какъ городской, такъ и деревенской жизни настоящаго времени. «Мечтанія» въ концѣ концовъ оказываются все-таки дѣломъ почти неминуемымъ для русскихъ людей всякаго званія, переживающихъ трудныя времена. Да позволено же мнѣ будетъ эти невеселыя письма закончить возвратомъ опять-таки къ мечтаніямъ, которыя, какъ извѣстно, никогда скучными не бывають. Помѣщаемая ниже статейка объ одномъ литературномъ произведеніи—потому именно и помѣщается въ «письмахъ съ дороги», что написана подъ впечатлѣніемъ *веселыхъ минутъ*, которыя дала мнѣ встрѣча съ хорошо устроившимися переселенцами.

X. «Трудовая» жизнь и жизнь «труженическая».

I.

Нельзя не признать, что мечтанія о томъ, «какъ жить свято», занимають въ сознаниі современнаго русскаго общества всякаго званія—далеко не послѣднее мѣсто. Всякаго рода ученія, указывающія «истинные пути», циркулируютъ въ русскомъ обществѣ въ великомъ множествѣ. Постоянно слышите о проектахъ устройства колоній, поселеній, земледѣльческихъ общинъ, и даже не только о проектахъ, а о самыхъ реальныхъ опытахъ осуществленія этихъ проектовъ на дѣлѣ. Какого-бы то ни было видимаго и скорого успѣха этихъ опытовъ конечно ожидать невозможно: человекъ, протестующій своими мечтаніями противъ условій культурной жизни, которую ему ничего бы не стоило принять въ готовомъ видѣ, тѣмъ не менѣе самъ уже зараженъ уваженіемъ къ ея благамъ, и, плѣненный строемъ справедливой народной жизни, однажды не можетъ не содрогаться, сталкиваясь въ ней иногда съ проявленіями удручающей тьмы и дикости.

При такой неясности положенія, культурному человеку трудно чувствовать себя увѣреннымъ и идти къ цѣли бодрымъ и смѣлымъ шагомъ. Цѣль еще недостаточно опредѣлилась для него и вырисовывается еще въ неясныхъ очертаніяхъ пока еще только мечтаемой, справедливой жизни. Но неосуществимость всѣхъ этихъ мечтаній на дѣлѣ не можетъ умалить значенія сущности мечтаній: жить такъ, чтобы избавиться отъ грѣховъ современныхъ условій жизни,—это стремленіе почтенно и значительно. И вотъ почему я въ настоящей замѣткѣ хочу обратить вниманіе читателей на одно литературное произведеніе, въ которомъ авторъ доказываетъ намъ, что мечтанія, не мирящіяся съ грѣхомъ современной жизни, существуютъ и охотно

воспринимаются въ средѣ людей чисто народной среды, причемъ, самое важное, дѣйствующія лица его разсказа—рѣдкіе образчики людей самаго благороднаго крестьянскаго типа—чувствуя общую съ культурными людьми потребность «жить свято», не только не имѣють надобности чего-нибудь отбросить изъ своего строя жизни, какъ это неминуемо для культурнаго человека, но стремятся напротивъ не только сохранить его во всей стройности и многосложности, но и еще прибавить къ нему новыхъ заботъ, осложнить его благами, выработанными культурой: — не «сократить» себя, какъ стремится дѣлать культурный человекъ, желающій «опроститься», а напротивъ, расширить количество своихъ жизненныхъ интересовъ. Нельзя не сказать поэтому нѣсколькихъ словъ и объ этихъ своеобразныхъ мечтаніяхъ, хотя бы мечтанія ихъ и были только пока мечтаніями.

II.

Мѣсто дѣйствія изображаемыхъ г. Тимошенко-вымъ мечтателей—совершенно неизвѣстная, невѣдомая намъ калмыцкая степь.

Всякій, кто желаетъ основательно и въ то же время не обременяя себя мелочными, ничего никому не говорящими, подробностями узнать жизнь этой пустынной равнины, простирающейся треугольникомъ отъ Царицына до Ростова и отъ Ростова до Петровска на Каспійскомъ морѣ, найдетъ въ произведеніи г. Тимошенкова истинное сокровище*). Онъ не только исполнѣ, во всѣхъ отношеніяхъ, узнаетъ жизнь этого пустыннаго угла со всѣми его особенностями, но и получить вообще величайшее художественное наслажденіе. Новизна типовъ, новизна природы, борьба человека, предоставленнаго только собственнымъ своимъ силамъ, съ тысячами стихійныхъ затрудненій—все это изображено сильно, ярко, выразительно и вообще не уступаетъ по мастерству работы произведеніямъ первоклассныхъ русскихъ художниковъ. Но самое важное, что особенно заинтересуетъ читателя,—это изображеніе образцовой крестьянской семьи, достигшей «трудами рукъ своихъ» полнѣйшаго благосостоянія и возможной только въ такихъ дикихъ, какъ бы оставленныхъ «безъ вниманія» странахъ, какъ мало обитаемая калмыцкая степь.

Во главѣ этой огромной, широко и полно разросшейся крестьянской семьи стоитъ крестьянинъ «Захаръ Абрамовичъ Земля», человекъ *безпрядельнаго радушія и добраго сердца*. Смолоду Захаръ Абрамовичъ былъ крѣпостнымъ, но за какія-то особенныя услуги передъ бариномъ онъ болѣе 50-ти лѣтъ тому назадъ со всѣмъ своимъ семействомъ былъ отпущенъ на волю. Выпущенный на волю, онъ поселился въ привольной калмыцкой степи, которая въ то время, по выраженію калмыковъ, была «земля безъ господина».

*) Въ этой замѣткѣ я говорю не о всей книгѣ г. Тимошенкова «Борьба съ земельными тищичествомъ», а только о ея первой части, напечатанной первоначально въ журналѣ «Новь».

Онъ поселился на широкомъ привольѣ, занявъ по праву перваго захвата столько земельныхъ угодій, «сколько пожелалъ», и зажилъ со всею семьей во всякомъ довольствѣ и изобиліи. Въ настоящее время почтенному старiku давно уже перевалило за 70 лѣтъ, но онъ еще бодръ, свѣжъ, сохранилъ зубы, — словомъ, пользуется цвѣтущимъ здоровьемъ. У него огромная семья рѣдкаго притомъ благосостоянія. Она состоитъ болѣе чѣмъ изъ *семидесяти душъ*. Старшему сыну его 48 лѣтъ, старшему внуку 33 года. Самъ Земля со своею женой-старушкой живетъ постоянно въ слободѣ, на старомъ пепелищѣ; сыновья же его и два зятя живутъ пятью отдѣльными хуторами въ степи, но составляютъ одну семью съ общимъ имуществомъ. Хутора пользуются полнымъ привольемъ въ земельномъ отношеніи, отстоятъ одинъ отъ другого верстъ на 30—40 и въ каждомъ изъ нихъ полное хозяйство большой крестьянской семьи! Въ каждомъ хуторѣ по два плуга воловь, до двухсотъ головъ рогатаго скота, отъ полторы до двухъ тысячъ овецъ, значительное количество птицы и другого инвентаря. Сыновья и зятя распоряжаются въ каждомъ хозяйствѣ самостоятельно, но отдають отцу отчетъ...

Земля не выдаетъ своихъ дочерей и внучекъ въ замужество «за дворъ», т. е. въ люди, а беретъ зятьевъ въ свой домъ, и такимъ образомъ семья его растетъ съ большою быстротой. Въ послѣдніе годы *въ его семьѣ родится болѣе десяти дѣтей*. Многочисленной семьѣ своей Земля ведетъ строгую статистику. У него есть особая тетрадка, куда онъ записываетъ имя, время рожденія и крещенія каждаго ребенка, рожденнаго въ его большой семьѣ. Когда привезутъ съ какаго-нибудь изъ пяти его хуторовъ крестить ребенка и окрестятъ, Захаръ Абрамовичъ запишетъ его имя въ тетрадку, подведетъ итогъ и скажетъ своей женѣ:

— Теперь, старуха, у насъ двѣнадцать Ивановъ, семь Андрюшекъ, девять Настюшекъ, четыре Акулины, три Марины...

Этихъ Настюшекъ и Андрюшекъ въ семьѣ Захара Абрамовича расплодилось такое множество, что главное, такого поразительнаго сходства въ типѣ и породѣ, что въ послѣдніе годы въ семьѣ этой былъ такой случай... Захаръ Абрамовичъ женилъ въ одинъ день сразу трехъ внуковъ. Для публики это было такъ занимательно, что смотрѣть на эту *тройную* свадьбу приходили и прѣзжали изъ дальнихъ мѣстъ. Двое изъ этихъ внуковъ были близнецы и такъ похожи ростомъ и лицомъ другъ на друга, что часто *даже родители* ихъ не различали и называли Ивана Петромъ, а Петра Иваномъ. На свадьбѣ, *чтобы невести и ихъ родственники не ошиблись въ женихахъ*, одного изъ нихъ, для примѣты, должны были перевязать бѣлымъ платкомъ.

Вся эта многочисленная семья жила на свѣтѣ конечно исключительно *трудами рукъ своихъ*; но, читая превосходнѣйшія страницы г. Тимошенкова, въ которыхъ разработаны подробности тру-

довой жизни семьи Захара Абрамовича—эту неустанную борьбу съ природой, со звѣремъ, съ хищной птицей, съ бурями, метелями, неурожаями, надеждами скота, болѣзнями и бѣдами въ жизни людей, и т. д., — *вы ни на одну минуту не останавливаетесь на трудности этой трудовой жизни, а, напротивъ, каждую минуту ощущаете безмѣрную зависть къ ея всестороннему разнообразію*.

Прочитавши напримѣръ страничку о трудовой жизни какаго-нибудь студента или студентки, попробовавшихъ научиться жить «своимъ трудомъ» подъ руководствомъ какаго-нибудь опытнаго сельскаго хозяина (примѣры этому не рѣдки); чувствуешь именно *трудъ*, несчастье попасть въ такое *нелѣпное положеніе*. Легкое ли дѣло — жить въ какой-то мурѣ, ѣсть «сѣрыя щи», отъ которыхъ «пучить», получать 30 коп. пененной платы и... утѣшаться только тѣмъ, что каждый кусокъ заработанъ *своимъ трудомъ* и что не въ праздности, а въ трудѣ промелъ цѣлый день, съ трехъ часовъ утра до девяти вечера, и что наконецъ легъ спать не на постель, а на сырой полъ, а въ концѣ-концовъ даже и угорѣлъ до полусмерти. Неужели *это-то* и есть *народно?* Это тиранство — и нужда, и горе, отъ котораго всѣми способами желалъ бы вырваться каждый батракъ! И вовсе неудивительно, что этотъ батракъ съ ироніей смотритъ на «барина», который «бросилъ городъ», начинаетъ жить «по-народному», полагая, что если его ударитъ сто разъ въ день потъ, да надорветъ онъ себя внутренности, да затреплетъ у него спина, такъ это самая и есть *трудовая жизнь*. Не думаю, чтобы напримѣръ такой писатель, какъ Крафтъ-Эбингъ, въ своей книгѣ: *Нашъ нервный вѣкъ*, придавалъ именно такое *калѣбное* значеніе крестьянскому труду, на который онъ указываетъ какъ на цѣлебное средство отъ многихъ язвъ, изнуряющихъ современное культурное общество. Сравнивъ духовную жизнь нашего поколѣнія съ хищническимъ способомъ земледѣлія и говоря, что злоупотребленіе духовными силами доведено въ наше время до полной непроезводительности, онъ совѣтуетъ слѣдующее: чтобы не истощить почвы, земледѣлецъ прибѣгаетъ къ плодотворной системѣ. «Какъ измѣнилась бы судьба потомковъ умственныхъ дѣятелей, если бы дѣти и внуки послѣднихъ, придерживаясь подобной *плодотворной* системы, обратились къ первобытному назначенію человѣческой дѣятельности — *сельскому хозяйству*». Если «сельское хозяйство» понимать «по нашему», т. е. въ смыслѣ рабочей избы съ тараканами, сѣрыми щами, вслученнымъ животомъ, ломотой и простудой «во всѣхъ суставахъ», такъ, мнѣ кажется, не зачѣмъ ѣздить ни къ г. Энгельсгардту, ни въ Едимоново. Стоитъ только поговорить съ любымъ рабочимъ, чтобы узнать, что и онъ точно такъ-же, какъ и «интеллигентный работникъ», спитъ въ мурѣ, страдаетъ нутромъ и вообще совершенно замученъ. За такими прелестями рѣшительно нѣтъ надобности хо-

дять въ деревню; въ городѣ можно не только «натрудить» руку, спину и вообще закрутить отъ работы, а и въ котлѣ съ кипяткомъ, напиримѣръ, свариться на фабрикѣ, и съ крыши упасть и разбиться въ дребезги. Если такъ, то слова: *самъ своими руками* — тоже не имѣютъ ни малѣйшаго смысла. Кто-жъ это работаетъ и гдѣ бы то ни было не своими руками? Даже воръ — и тотъ самъ своими руками взламываетъ замки, а взломать иной замокъ будетъ иногда потруднѣе, чѣмъ выкорчевать пенъ или привезти бочку воды.

Вотъ почему, читая хронику жизни Захара Абрамовича, читатель невольно останавливаетъ свое вниманіе не на обиліи хозяйственного опыта, накопленнаго Захаромъ Абрамовичемъ въ долгіе годы его трудовой жизни (и кстати сказать, въ высшей степени интереснаго), а *главнымъ образомъ на обиліи нервной деятельности этого человека* и вполне однородно живущей съ нимъ его семьи. Онъ живетъ какъ *простой мужикъ*: поле, скотина, изба — вотъ и все. Но въдѣ это только *аппаратъ* жизни, такой же простой и нехитрый, какъ, положимъ, и аппаратъ телеграфа. Очень нехитрый этотъ телеграфный аппаратъ по внѣшнему виду, однако при его помощи можно разговаривать со всѣмъ свѣтомъ; точно такъ-же и нехитрый аппаратъ жизни Захара Абрамовича даетъ ему возможность соприкасаться и жить въ широкомъ разнообразіи явленій, доступныхъ человѣку на блѣтѣ свѣтѣ. Чего только этому «мужикку» не надо знать, чего только ему не нужно предвидѣть, предугадать, обобщить! Вотъ у него табуны лошадей, стада овецъ. Ему нужно за годъ предвидѣть, будетъ ли чѣмъ прокормить скотъ въ будущемъ году; надобно ему знать, какая будетъ зима, какая весна; онъ долженъ напряженно изучать всевозможныя метеорологическія измѣненія, помнить тысячи примѣтъ, не упускать изъ вида ни цвѣта облаковъ, ни манеры паденія снѣга, ни того, гдѣ полевая мышь вьетъ гнѣздо. Онъ долженъ знать жизнь, нравы, замашки этой мыши до тонкости; прогляди онъ примѣту, не сообрази, не заготовь заранее сѣна и т. д., — и у него погибнутъ тысячи овецъ, лошадей... Онъ долженъ соприкасаться мыслью съ тысячами такого рода знаній, которые въ культурномъ обществѣ составляютъ цѣлыя науки. Онъ знаетъ, какъ *лечить* дѣтей, больныхъ вообще, какъ *лечить* скотъ, знаетъ лекарства, травы, заговоры; ему нужно знать и о небѣ, и о землѣ, и о водѣ; ему надобно имѣть желѣзные мускулы, чтобы убить съ одного размаха волка; ему надобно имѣть нѣжное сердце, чтобы, замѣтивъ лихого человѣка, убаготворить его, прежде чѣмъ онъ задумаетъ сдѣлать зло; ему надобно имѣть удивительное зрѣніе, чтобы за десятки верстъ видѣть то, что не видно человѣку съ нормальнымъ зрѣніемъ; онъ долженъ имѣть тонкій слухъ, чтобы слышать, какъ за десятки верстъ ходятъ табуны и не напалъ ли на него лихой звѣрь или лихая птица. Словомъ, и физически, и нравственно онъ непрерывно въ работѣ, и вотъ только эту-то раз-

носторонность и непрерывность живой духовной дѣятельности и надобно пристально изучать въ народной жизни, чтобы видѣть, какъ разносторонне хочетъ жить человѣкъ и какъ убійственно несправедливъ, ужасенъ (къ сожалѣнію, намъ этотъ ужасъ не вполне ясенъ) строй жизни культурнаго общества, гдѣ, какъ говоритъ Крафтъ-Эбингъ, духовная жизнь истощена, какъ поле высосано хищникомъ. Сравните *количество* труда деревенской бабы и городской швеи. Гдѣ этого труда больше? Бабѣ нужно сдѣлать все самой: она родитъ, воспитываетъ дѣтей, нанячигъ ихъ, кормитъ, сама одѣвается и одѣваетъ всѣхъ, — идетъ за скотиной, за птицей, носитъ дрова, — однимъ словомъ, глядя со стороны, минуты у нея нѣтъ покою! А швея *только шьетъ* — ни поднять тяжелаго ведра, ни пойти за скотомъ въ поле, ни стрипать, ни ткать, ни прастъ, ни жать — ничего этого не нужно, только — шей, шей, шей!... А въдѣ положеніе швеи ужасно, тогда какъ положеніе бабы вовсе не внушаетъ ужаса. Баба живетъ *вся*, а швея высосана нехитрымъ строемъ жизни, истощена, какъ земля хищникомъ, который пять лѣтъ подъ-рядъ собираетъ съ нея только пшеницу, т. е. тоже — шей, шей, шей!

Читатель испытаетъ величайшее наслажденіе, если посмотритъ на произведеніе г. Тимошенкова, изображающаго жизнь Захара Абрамовича, именно съ этой точки зрѣнія, т. е. съ точки зрѣнія полноты духовной и физической жизни. Такую полноту духовной и физической жизни въ современномъ культурномъ обществѣ можно только *купить* на деньги, но для этого нужно предварительно ограбить Индію, Бирму, Египетъ, развратить, разорить, массы народа и массы же народа превратить въ «поставщиковъ впечатлѣній», которые этотъ высшій типъ современнаго общества и *купитъ*. Чтобы быть сильнымъ и здоровымъ, ему нужна *изда верхомъ въ гайды-парѣ*, ему нуженъ массажъ, чтобы не застоялась кровь, ему нуженъ художникъ, чтобы въ непріятную минуту успокоить свои нервы деревенскимъ ландшафтомъ, а при упадкѣ ихъ — поднять взглядомъ на картину, возбуждающую волненіе. Онъ такъ соскучился въ Лондонѣ, что ему *сейчасъ* нужно *природы*, и вотъ экспрессъ мчитъ его въ Альпы, и среди лѣта онъ весело ощущаетъ на щекахъ крапинки альпійскаго снѣга... Сколько народу *порабощено* имъ для того, чтобы онъ могъ жить *разносторонне*! Несомнѣнно, при помощи опустошенной Индіи, Бирмы, Египта, можно устроить себѣ жизнь, *полную впечатлѣній*, но эта жизнь будетъ неправда, зло... А вотъ Захаръ Абрамовичъ умѣетъ основать жизнь, несравненно болѣе разнообразнѣйшую, и во имя этой жизни не пропадетъ и мухи на свѣтѣ!

Тѣмъ-то и достоинъ глубочайшаго вниманія *строй народной трудовой жизни*. Въ культурномъ строѣ нужны деньги для того, чтобы *купить* нужное человѣку содержаніе жизни, въ народномъ — нуженъ *трудъ* для того, чтобы все разнообразіе жизни далось даромъ. Правда, народная жизнь исполнена невѣжества и незнанія. Но развѣ во имя

знанія шьеть швея, сгораетъ кочегаръ? При чемъ знаніе во всей этой потрясающей несправдѣ, и почему его нѣтъ здѣсь—въ строѣ чистомъ и справедливымъ? Отчего оно нейдетъ сюда?

До какой степени не похожи, по своему внутреннему плану, эти два строя жизни—культурный и народный (хотя тутъ и тамъ живутъ одни и тѣ же человѣческія существа), читатель можетъ увидѣть изъ одного чрезвычайно важнаго эпизода въ произведеніи г. Тимошенкова, касающагося самаго первѣйшаго условія культурной жизни—*денегъ*.

III.

Денги нагрянули на богатую (по-крестьянски) семью Захара Абрамовича совершенно неожиданно. Это случилось уже въ то время, когда онъ жилъ пятью хуторами, въ полномъ довольствѣ и изобиліи. Изобиліе трудового богатства было такъ велико, что, помимо полнѣйшаго удовлетворенія всѣхъ семейныхъ нуждъ, Захаръ Абрамовичъ не жалѣлъ добра и для ближняго. Всѣмъ сыновьямъ и внукамъ разъ навсегда приказано: «Прійдетъ гость—рѣжь барана, мало—двухъ!» Дѣйствительно, если къ нему кто пріѣзжаетъ, рѣжутъ барана, хотя бы въ домѣ и было много всякой снѣди. Въ обыкновенное время въ домѣ Захара Абрамовича на столѣ, покрытомъ скатертью, непременнѣ находятся три вещи: цѣлый, непочатый хлѣбъ, солонка съ солью и на большомъ блюдѣ жареный молодой баранъ или поросенокъ. Такъ это заведено и во всѣхъ хуторахъ. Если случится гость, то на столъ подается глиняный баклажокъ съ водкой. Если гостей не было, то вечеромъ, когда возвращаются пастухи, бывшіи днемъ на столѣ баранъ или поросенокъ дѣлятся между ними... Когда онъ женить кого-нибудь изъ своихъ внуковъ или выдаетъ замужъ внучку, то у него бываетъ пиръ на весь міръ. Жарятъ сотни гусей въ печахъ, цѣлыхъ барановъ и быковъ на вертелахъ. Еще задолго до свадьбы готовится множество боченковъ съ водкой; во время самой свадьбы носить кромѣ того водку ведрами, на коромыслахъ, нарочно изъ самаго дальняго кабака, черезъ всю слободу. Это дѣлается для того, чтобы побольше людей могло встрѣтиться съ несущими водку, выпить висящимъ на ведрѣ корцомъ и пожелать новобрачнымъ всякаго добра.

Не мало дѣлалъ онъ добра и вообще для добрыхъ людей. Извѣстно, что въ степяхъ нѣтъ воды, а если и есть гдѣ природныя водохранилища, то вода въ нихъ горькая и соленая и чрезвычайно вредная для человѣка; но стоитъ только выкопать рядомъ съ такимъ водохранилищемъ колодецъ, то получается вода прѣсная и годная къ употребленію. «Чтобы облегчить коннымъ и пѣшимъ передвиженіе по этимъ пустыннымъ степнымъ дорогамъ, Захаръ Абрамовичъ еще лѣтъ 15 тому назадъ выкопалъ для нихъ въ наиболѣе важныхъ мѣстахъ до 30 колодезевъ, обложилъ ихъ камнемъ и каждый годъ ѣздитъ чистить и поправлять ихъ. По этимъ дорогамъ онъ устроилъ во многихъ мѣ-

стахъ часовни, причемъ нѣкоторые поставилъ у самыхъ колодезевъ. Большинство часовенъ состоитъ изъ деревянныхъ столбовъ, вкопанныхъ въ землю, съ полками на верху и навѣсами надъ ними въ видѣ треугольниковъ. Въ этихъ часовняхъ, на полкахъ или въ нишахъ, стоятъ иконы и *помыщается провизія для путниковъ*, какъ-то: пироги, яблоки, арбузы, дыни. Полки устроены такимъ образомъ, что ни собака, ни другое животное не можетъ достать лежащей на нихъ провизіи. По праздникамъ у З. А. печется огромное количество пироговъ, начиненныхъ сыромъ, капустой и мясомъ, и развозятся по часовнямъ».

Словомъ, все, что сердечная доброта Захара Абрамовича и огромное крестьянское богатство могли сдѣлать хорошаго ближнему въ крестьянской средѣ, все дѣлалъ З. А., не жалѣя своихъ достатковъ и щедро расточая ихъ. И такъ тихо, часто и ужъ истинно исполнѣ благородно жилъ на свѣтѣ крестьянинъ Земля. «Несмотря на свои преклонныя лѣта, онъ всегда тамъ, гдѣ больше работы, въ которой онъ продолжаетъ участвовать, не отставая отъ другихъ».

Но въ тотъ моментъ, когда онъ достигъ такого удивительнаго крестьянскаго благосостоянія, которое позволяло ему плодиться и множиться, напоять землю и творить добро безпрепятственно, ему пришлось совершенно для него неожиданно сдѣлаться огромнымъ *денежнымъ богачемъ*, и къ богатству *трудовому* прибавилось богатство *денежное*.

Поселившись съ своею семьей пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ на степномъ привольѣ, Захаръ Абрамовичъ понятія не имѣлъ о какой бы то ни было торговлѣ и промышленности. «Продукты сельскаго хозяйства тогда еще не шли за границу. Поэтому большой быкъ стоилъ 5 коп. мѣдью, четверть овса—полторы коп. и ведро водки—буквально грошъ. Въ то время русскому земледѣльцу и сельскому хозяину невозможно было обращаться въ промышленники и наживать капиталъ. Онъ производилъ продукты почти только для себя, но зато жилъ въ довольствѣ. Таково было общее положеніе сельскохозяйственныхъ дѣлъ. Но вотъ, по ходатайству Императорскаго вольно-экономическаго общества (къ сожалѣнію, г. Тимошенковъ не говоритъ, когда именно было такое ходатайство), разрѣшенъ былъ свободный пропускъ хлѣба и другихъ сельскихъ продуктовъ за-границу, и полились за море изъ Россіи: пшеница, рожь, масло, сало, поваляли туда кожи, шерсть, пухъ, шетина. Это было своего рода эпохю въ жизни русскихъ сельскихъ хозяевъ. Цѣны на продукты разомъ страшно поднялись: рожь и овесъ стали продаваться по 2 руб. за четверть, быкъ 30—40 р. Къ Захару Абрамовичу налетѣла масса скупщиковъ и буквально завалила его деньгами; Захаръ Абрамовичъ только протиралъ глаза отъ удивленія, ахалъ и не зналъ, куда *дѣвать денги*. Онъ не выгонялъ на ярмарки рогатаго скота и овецъ, не вывозилъ на рынокъ хлѣба, но купцы сами пріѣзжали къ нему и привозили *цѣлыя машины денегъ*. Тогда въ этой

мѣстности совсѣмъ еще не было бумажекъ, а ходила только звонкая монета: народъ не вѣрилъ бумажкамъ и не принималъ ихъ. Захару Абрамовичу стали платить за его скотъ и хлѣбъ золотомъ, серебромъ и мѣдью, и Захаръ Абрамовичъ буквально не зналъ, что дѣлать съ этими разнаго вида золотыми, серебряными и мѣдными кружечками.

Сначала онъ велѣлъ своей женѣ заматывать золото въ червонцахъ въ клубки шерсти и пеньки и вѣшать эти клубки (иногда съ рѣшето величиной) на палатахъ, подъ крышей, на чердакъ дона и въ другихъ мѣстахъ. Сталъ класть золото въ чулки, сумки, гаманы и закирля въ сундукъ; серебро же и мѣдъ просто сыпалъ въ сундуки. Черезъ нѣсколько лѣтъ денегъ у него накопилось столько, что *неудъ было уже хоронить*, и онъ порѣшилъ, наконецъ, не держать ихъ при себѣ, а раздѣлять поровну между тремя сыновьями и двумя зятями. Какъ-то во время рождественскихъ праздниковъ онъ собралъ всѣхъ своихъ и произвелъ дѣлежъ—золото дѣлили счетомъ, высыпая червонцы кучами на столъ, серебро и мѣдъ *просто мѣрили хлѣбною мѣрой*, нагребая ее изъ сундуковъ. Съ этого времени раздѣлъ денегъ производился въ семьѣ каждый годъ въ извѣстное время.

Кажется, молодому-то поколѣнію семьи Захара Абрамовича можно бы было изобрести что-нибудь поновѣе прятанія золота въ чулки и попрактичнѣе распорядиться имъ, но трудовой порядокъ жизни оказался до такой степени прочнымъ, до такой степени удовлетворяющимъ рѣшительно всѣмъ семейнымъ, общественнымъ, нравственнымъ и умственнымъ потребностямъ и надобностямъ, что и у молодого поколѣнія просто-таки не хватало фантазіи на что-нибудь и какъ-нибудь тратить эти огромные капиталы, которыми оно располагало.

«Сыновья и зятья Захара Абрамовича *берегли и прятали деньги разными манерами, какъ кто могъ придумать*. Они сыпали ихъ въ закроа съ хлѣбомъ; клали въ горшки и закатывали ихъ въ разныя мѣста въ землю; затыкали въ соломенные и камышовыя крыши домовъ и сараевъ; секретно отъ другихъ домашнихъ долбили и сверлили сохи, лѣстницы и бревна, валавшіеся на дворѣ, клали туда деньги и забывали; *запихивали ихъ въ бараны и бычачьи рога и бросали эти рога валяться среди двора, какъ ни въ чемъ не бывало*. У много гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ валялась *десятки лѣтъ* цѣлая куча ни на что и никому ненужныхъ бараньихъ роговъ, и никто не могъ думать, что они скрываютъ въ себѣ. Изъ всѣхъ перечисленныхъ мѣръ храненія денегъ, послѣдняя пожалуй надежнѣе другихъ. Деньги же, засыпанные въ закроа, часто *по забывчивости* выскѣ съ зерномъ продавались купцамъ на хѣру; деньги, закопанные въ землю, терялись совершенно, когда хозяинъ *забывалъ*, гдѣ зарылъ, а это случалось очень часто. Въ крышахъ домовъ и сараевъ деньги еще чаще терялись, въ бревнахъ и сохахъ онѣ обнаруживались отъ гніенія дерева, во время пожаровъ превращались въ слякки»... *Такъ бились и горевали съ деньгами стѣняки!*

Обиліе денегъ не могло ни на волосъ прибавить въ жизни всей этой огромной и обильной всякимъ достаткомъ семьи самаго малѣйшаго удобства или вызвать въ людяхъ этой семьи какую-нибудь потребность, которая не была бы уже удовлетворена полнотою ихъ трудовой жизни; обиліе денегъ поэтому только томилло ихъ всѣхъ; они чувствовали, что въ крышахъ, столбахъ, чулкахъ, бараньихъ рогахъ, въ закромахъ и сундукахъ лежитъ какая-то страшная, притягивающая вниманіе и раздражающая мысль сила, но что съ нею дѣлать—рѣшительно не знали. Одинъ изъ зятьевъ Захара Абрамовича, вѣроятно наслышавшись «отъ людей» о томъ, что деньги ходятъ подъ проценты, сталъ отдавать свои капиталы въ ростъ разнымъ торговцамъ, сталъ получать проценты, которые также негѣдомо было куда дѣвать, которые, такъ же какъ и капиталъ, прятались и хранились разными способами. Опытъ наживать деньги на процентахъ кончился тѣмъ, что торговцы, вошедши въ довѣріе, «занялъ сразу 25 тысячъ и скрылся съ ними». Потеря этой суммы, ни на одну юту не отозвавшаяся на благосостояніи семьи этого человѣка, попробовавшаго «что-то» сдѣлать съ деньгами, показала ему только новую сторону огорченій, причиняемыхъ деньгами. То почей не спишь и ума не приложишь, куда въ ихъ спрятать, то мучаешься, что пропали, а зачѣмъ собственно свалилась на бѣдную голову такая мука—неизвѣстно.

Въ послѣдніе годы Захаръ Абрамовичъ надумалъ кое-что сдѣлать съ своими богатствами и нашелъ возможнымъ не безвредно тратить изъ нихъ, конечно, самую малую часть. Въ его большой семьѣ грамота всегда была не рѣдкостью; и мужчины, и женщины въ большинствѣ были грамотны, умѣли читать Псалтырь, Евангеліе и умѣли, что требуется по хозяйству, записать. Въ настоящее время Захаръ Абрамовичъ рѣшилъ подвинуть дѣло грамотности дальше: пятерыхъ изъ своей семьи, трехъ внуковъ и двухъ внучекъ, онъ отдѣлилъ и рѣшилъ дать имъ самое лучшее образованіе: одинъ изъ внуковъ его кончаетъ теперь въ университетѣ, два — гимназиста, а двѣ внучки — въ институтѣ. «На каникулы эти внуки ежегодно прѣзжаютъ домой въ степь и охотно участвуютъ въ полевыхъ и домашнихъ работахъ».

Охотно или неохотно участвуютъ внучки-институтки въ работахъ и доставляетъ ли имъ это какое-нибудь удовольствіе—это вопросы, о которыхъ мы разговаривать не будемъ, но попробуемъ представить себѣ, что З. А. поддался-бы общему ходу жизни, т. е. сначала отдѣлилъ-бы дѣтей, а потомъ и самъ поменьшеу перебрался бы изъ трудового строя жизни въ другой, купонный. Что-бы изъ этого могло выйти?

Я думаю, что вышли бы вещи удивительно неожиданныя, и притомъ такого свойства, что уничтожили бы все обаяніе Захара Абрамовича. какъ образцоваго и благообразнѣйшаго во всѣхъ отношеніяхъ челоѣка; превратили бы эту благообразную фигуру богатаго крестьянина, распространяющую вокругъ себя тепло, жизнь и свѣтъ, въ мрач-

ную, безопасную, алчную, ненасытную фигуру волка, хотя (что особенно важно) самъ Захаръ Абрамовичъ оставался бы съ *тѣми* же размѣрами личныхъ требованій, какія онъ въ благопріятныхъ условіяхъ трудового строя жизни могъ удовлетворять безъ капли зла, насилія и жестокости.

Затянуть Захара Абрамовича изъ трудового строя жизни въ строй денежный могло бы самое ничтожное обстоятельство; судьба внука, окончившаго университетъ и желающаго сдѣлать уже не деревенскую карьеру, могла бы показать Захару Абрамовичу силу и значеніе денегъ. Замужество внучки-институтки, конечно ужъ съ немужикомъ, а съ благороднымъ, еще болѣе и скорѣе могло бы освѣтить ему широчайшіе размѣры значенія денегъ и богатства. Попробуй онъ такъ же пышно, такъ же на славу «справить» хотя бы одну только внучкину свадьбу, справить такъ, чтобы радовалась его *любоволюбивая* душа, чтобы все было по-хорошему, чтобы домъ былъ полная чаша, чтобы ребята у внучки родились какъ ягоды, чтобы «пужды они не знали», чтобы ее въ поминѣ не было — словомъ, чтобы не хуже, а лучше людей» — и вотъ уже безмѣрная сила денегъ, ихъ всемогущество и безграничная потребность въ нихъ ясна ему, какъ день. *Все* надо купить! Для этого строя жизни нельзя взять изъ деревенскаго трудового строя ни одной нитки; все, начиная буквально съ нити, здѣсь все нужное, и *должно* быть купленное — таковъ строй; должно быть куплено *все*: одежда, пища, жилище, душевное настрoenіе, должно быть куплено кормленіе дѣтей, воспитаніе ихъ, ихъ здоровье, ихъ умъ — все, все, до послѣдней иголки въ домѣ должно быть взято на деньги, взято отъ кого то другого.

Если бы Захару Абрамовичу только разъ удалось «отвѣдать» этой жизни, онъ бы почувствовалъ, что ему «обѣими руками» нужно схватиться за свой набитый деньгами сундукъ, и онъ схватился бы за свое золото съ жгучею страстью — *ему много надо*; онъ привыкъ много чувствовать, широко распускать и удовлетворять своимъ *разнообразнымъ* душевнымъ требованіямъ; онъ привыкъ, чтобы кругомъ его все жило, плодилось, множилось, цвѣло, было довольно, сыто, весело; онъ привыкъ, однимъ словомъ, чтобы его жизнь и жизнь окружающая была полнымъ-полна, и представьте, что онъ наконецъ ясно, какъ день, увидѣлъ, что «въ городѣ» для удовлетворенія всѣхъ его широко развитыхъ и многообразныхъ физическихъ и нравственныхъ потребностей нужны *только* деньги, и представьте себѣ, что онъ уже не въ деревнѣ, что онъ перешелъ въ городъ, живетъ городскимъ строемъ жизни, *сохраняя ту-же широту и разнообразіе желаній*, которыя онъ вполнѣ удовлетворялъ въ крестьянствѣ. Что онъ будетъ такое? Онъ будетъ тиранъ и звѣрь, безопасный въ удовлетвореніи своихъ *многообразныхъ потребностей*! Только здѣсь *способы удовлетворенія многообразныхъ потребностей иные*. Если въ крестьянствѣ Захаръ Абрамовичъ, подкарауливая по ночамъ волковъ, не смыкая глазъ, безопасно билъ ихъ, ломая имъ ноги,

чтобы они не портили скота, который нуженъ для семьи и для ея благосостоянія, если въ крестьянствѣ онъ привыкъ *чутко* чувствовать погоду, дождь, или тѣмъ же чуткомъ онъ привыкъ узнавать, больна ли у него скотина, или здорова, и т. д., то вся эта *тонкость въ чуткѣ*, ловкость въ силѣ, осторожность въ подсаживаніи, въ подкарауливаніи и т. д. — все это, необходимое въ деревнѣ для достиженія благосостоянія и наилучшей обстановки источника благосостоянія — *труда*, здѣсь, въ городѣ, полностью, цѣлостью перенесено будетъ Захаромъ Абрамовичемъ на *здѣшній*, городской источникъ благосостоянія — на деньги и, *почувъ* ихъ силу, онъ тотчасъ *почувуетъ* силу банка, векселя, кредита, оборота. Онъ *подкараулитъ*, какъ волка ночью, оплошность двойной итальянской бухгалтеріи; онъ *нанюхаетъ* течение и тонъ *господствующихъ* идей, руководясь которыми можно обратиться къ источнику — къ сундуку; онъ *нумромъ* пойметъ высокопоставленное лицо, отъ котораго зависить путь къ сундуку: не связавъ съ высокопоставленнымъ ни слова, онъ *такъ*, какъ узнавалъ, больна или здорова лошадь, однимъ взглядомъ, *самъ не зная какъ*, узнаетъ, добръ или сердитъ начальникъ, какими голосомъ говорить съ нимъ и какія слова? И проберется, и *то-же*, что *тѣми-же* средствами физическими и нравственными удовлетворялъ въ трудовой деревенской жизни, удовлетворитъ и въ этой, новой городской жизни, но ужъ, извините, если въ концѣ-концовъ окажется, что «залъ засѣданія судебныхъ установленій» не будетъ въ состояніи вмѣстѣ болѣе 4 человѣкъ зрителей, такъ какъ съавъями подсудимыхъ и толпами свидѣтелей набито биткомъ все *зданіе* суда. И все родня: пятнадцать Андрышекъ, двѣнадцать Аксюшекъ, три Марины да четыре Акулины. Расхищено денегъ милліоны, векселя перебиты въ этихъ «вещественныхъ доказательствахъ» со счетами портныхъ, акушеровъ... Свадьбы... приданое... зять, деверь, внучатный племянникъ... троюродный внукъ... консантъ... дебетъ... кредитъ... родила... завелъ любовницу... пожертвована икона... молебень... выписано 15 стерлядей на свадьбу... умерла внучка — словомъ, на лицо вся степь съ *безграничнымъ радушіемъ и широкимъ довольствомъ и раздольемъ*, только вокругъ этой степи кучи векселей, толпы нищихъ, ограбленныхъ, обогранныхъ, разоренныхъ, лишенныхъ куска хлѣба.

Кстати сказать: этотъ то типъ человѣка съ мужицкими потребностями, перенесенными въ культурный строй жизни, и есть господствующій типъ въ русскомъ скороспѣломъ купонномъ обществѣ послѣдней четверти столѣтія. Онъ проповѣдуетъ широкое мужицкое семейство, тишь да гладь, чистоту, скромность и строгость нравовъ своей семьи, но, перенося эти требованія въ труженническую ореду, не можетъ не быть въ ней безопасенъ и жестокъ. Просмотрите всѣ наши безчисленные хищнические процессы — вездѣ хищники и «живорѣзъ» только и хлопочетъ о благосостояніи своей семьи, родни. Рыковъ, разорившій вокругъ себя массу народа и разорившій безъ всякаго сожалѣнія, очень огор-

чился, когда вмѣсто ожидаемаго мальчика у него родилась дѣвочка. Даже доктора Битнаго Шляхту, присутствовавшего при родахъ, возненавидѣлъ за неожиданную непріятность и «выслалъ» его изъ Скопина.

Нѣтъ, не такъ-то просто и легко удовлетворить *всѣмъ человеческимъ потребностямъ* въ культурномъ строѣ общества, какъ даетъ возможность это дѣлать строй жизни народной при обстоятельствахъ, не искажающихъ и не стѣсняющихъ свободы его развитія. Въ своей статьѣ о женщинахъ гр. Л. Н. Толстой говорить, что обязанности женщинъ *нашего круга* будутъ совершенно выполнены, если женщина будетъ родить и воспитывать дѣтей. У меня нѣтъ подъ рукой сочиненія Л. Н., но я очень хорошо помню, что выраженіе *женщина нашего круга* находится въ статьѣ о женщинахъ. Вотъ это-то выраженіе какъ нельзя лучше отдѣляетъ два строя жизни—культурный и народный, труженическій и трудовой. И въ томъ, и другомъ строѣ живутъ одни и тѣ же полы—мужчины и женщины, но въ народномъ строѣ можетъ *родить всякая женщина*, можетъ безбоязненно и безстрашно исполнять всѣ свои женскія обязанности (если только строй не изуродованъ посторонними, не народными вліяніями). Всякій парень, у котораго есть руки и орудія труда, можетъ «плодиться, множиться и населять землю» вмѣстѣ со своей женой. Совершенно не то въ культурномъ строѣ современнаго общества: *здесь не можетъ родить и воспитывать дѣтей всякая женщина*, здѣсь *всякій мужчина* не можетъ быть отцомъ и *мужемъ*. Покуда онъ не имѣетъ средствъ *купить* себѣ возможность удовлетворенія всѣхъ своихъ потребностей цѣною *труженичества*, онъ по совѣсти не можетъ рѣшиться на такое трудное дѣло, какъ быть отцомъ семьи. Будучи труженикомъ изъ-за средствъ, онъ *долженъ* купить цѣлую массу другихъ тружениковъ для того, чтобы ихъ руками было сдѣлано то, что ему невозможно сдѣлать самому, поглощенному добычей средствъ. Точно такъ-же масса женщинъ, обладающихъ тѣми же самыми свойствами, какъ и *женщины нашего круга*, обречены строю жизни не имѣть возможности быть матерями; *женщина нашего круга*, самая приниженная и самая чистая, она—именно потому, что она женщина нашего круга—она одна поглотитъ множество чужихъ женскихъ жизней для того, чтобы ея *материнскія надобности* были удовлетворены вполне въ тѣхъ разнѣрахъ, въ какихъ женщина народной среды удовлетворяетъ ихъ безъ грѣха. Ей нужны няньки, горничныя, учительницы, гувернантки, которымъ она въ своемъ домѣ, въ своей семьѣ *не позволяетъ быть матерями*, которымъ нельзя быть матерями, потому что иначе онѣ, труженицы, лишатся заработка. Приниженная мать *нашего круга* не станетъ дожидаться, пока учительница, замужняя, будетъ родить и поправляться послѣ родовъ—она возьметъ другую; она—любящая мать, и ей нельзя держать дѣтей въ праздности: она *не позволитъ* кормилицѣ дер-

жать при себѣ ея собственнаго ребенка, а убѣдить ее отдать этого ребенка сначала въ воспитательный домъ, а потомъ и неизвѣстно куда; ей не нужно ни кормилицы, ни ея ребенка—ей нужно молоко для ея собственнаго ребенка, она—*любящая мать*. Пропали у кормилицы отъ тоски по ребенку молоко, она тотчасъ же удалитъ ее, оставивъ безъ ребенка и безъ мѣста, и наградивъ за все это сарафаномъ, тотчасъ же возьметъ другую—*ея* ребенку нельзя быть безъ молока. Да, она выполняетъ священные обязанности, она—истинно любящая мать; но подумайте, во что обходится это выполненіе священныхъ обязанностей, и сколько труженическаго народу поставлено строю жизни въ полнѣйшую невозможность исполнять то же самое, т. е. удовлетворять потребностямъ своего любящаго сердца. Но человекъ—труженикъ, насильно, наперекоръ строю, наперекоръ возможностямъ, стремится удовлетворять, такъ-же какъ и всѣ, всѣмъ своимъ потребностямъ. Вотъ въ этомъ-то труженическомъ кругу, въ его мученіяхъ, въ его лишеніяхъ, мукахъ, болѣзняхъ, психическихъ страданіяхъ, преступленіяхъ и заключается современная драма жизни, которую не разрѣшить правоученіями.

Теперь возвратимся къ Захару Абрамовичу и порадуемся, что, какъ говорится, «Богъ спасъ» его отъ всего этого зла, и деньги, не отрывая ни его, ни его огромной семьи отъ прочно установившейся трудовой жизни, благодаря счастливой случайности, направили его стремленія не «въ городъ», а по пути весьма своеобразныхъ мечтаній.

IV.

Переворотъ въ жизни Захара Абрамовича произошелъ, благодаря встрѣчѣ съ нѣкимъ учителемъ, Петромъ Ивановичемъ Волгой. «И только послѣ этой встрѣчи—говоритъ г. Тимошенковъ—Захаръ Абрамовичъ вполне созналъ себя и свои стремленія и весь, такъ сказать, пошелъ въ ходъ». Петръ Ивановичъ Волга, уроженецъ какого-то волжскаго города, рано остался сиротой. Это лицо также довольно типично *для нашего времени*. Нѣтъ въ немъ ни громкихъ фразъ, не приходятъ ему въ голову широкія фантазіи, не знаетъ онъ никакихъ социальныхъ теорій и теченій жизни, но у него простое и доброе сердце, опрятный и неоправданный умъ, добросовѣстно воспринимавшій впечатлѣнія жизни, и вотъ всего этого было весьма достаточно, чтобы въ человѣкѣ родилась мысль о необходимости, по-своему, какъ Богъ на душу положитъ и какъ хватить умѣнья, служить народу и не дать ему пропасть зря. Петръ Ивановичъ Волга, оставшійся сиротой послѣ смерти его родителя, купеческаго званія, былъ отданъ въ гатчинскій сиротскій институтъ, а по окончаніи курса назначенъ былъ уѣзднымъ учителемъ также въ одинъ изъ приволжскихъ городовъ, лежащихъ близости къ калмыцкой степи. «Въ уѣздномъ городѣ прежде всего опротивѣлъ Петру Ивановичу тотъ папыщенный, кичливый, важный наружно,

но въ сущности ничтожный, пустой и бездѣльный чиновническій мірокъ, къ которому Волга долженъ былъ принадлежать по своему званію. Все это были люди «20 числа» и смотрѣли на убѣдное казначество, какъ на мать-кормилицу. Двадцатое число было днемъ полученія жалованья, днемъ облегченія для этого мрачнаго міра. Въ этотъ день онъ сіялъ, кипѣлъ радостью, тогда какъ послѣдніе дни служебнаго мѣсяца были днями унылой скорби и воздержанія». Не по сердцу было Петру Ивановичу это общество, да и оно относилось къ нему недружелюбно. Потребность одиночества развита была въ П. И. съ дѣтства. Отецъ его, добрый молодой купецъ, случайно простудился, бросившись спасать утопавшаго въ Волгѣ, и умеръ рано; рано умерла и огорченная смертью любимаго мужа мать. Затѣмъ сиротское и непривѣтливое житье въ институтѣ безъ всякаго родственнаго участія—все это не располагало П. И. на дружество и привязь съ праздною компаніей людей 20 числа. Любя уединеніе, П. И. любилъ свободное отъ занятій въ училищѣ время проводить за городомъ. Здѣсь, въ одномъ уголкѣ, завелъ онъ пастыку, но большею частью просто бродилъ по окрестностямъ, заводи знакомства съ крестьянами. И «крѣпко любила ему простота нравовъ и нравственная чистота этихъ людей, и у него явилось желаніе принять непосредственное участіе, какъ въ радостяхъ, такъ и въ горестяхъ и неудачахъ этого пастушескаго и земледѣльческаго круга, увлекашаго его упорствомъ, терпѣніемъ въ трудѣ и осмысленностью его жизни». Увлеченный этимъ трудолюбивымъ населеніемъ, онъ былъ до глубины души огорченъ вторженіемъ въ эти благословенныя и нетронутыя еще плугомъ мѣста хищника и безжалостнаго расточителя народнаго богатства. «Что ждетъ въ будущемъ эту красавицу-степь? Придетъ ли къ ней хозяинъ-земледѣлецъ, съ любовью воздѣлаетъ ее, насадитъ на ней садовъ и рошъ, обольетъ ее своимъ потомъ и придастъ ей еще болѣшую жизненность и красоту? Или она падетъ жертвой экономической извращенности, попадетъ въ заgreбистыя руки жаднаго арендатора, лишится безвременно своей красоты и жизненной силы?» Дѣйствительность, которую видѣлъ Петръ Ивановичъ, не общала ничего, кромѣ разграбленія этихъ народныхъ богатствъ. «Гибельное, ведущее къ разоренію края направленіе землевладѣнія было понято П. И. на первыхъ же порахъ знакомства съ мѣстностью. Нужно видѣть, съ какою жадностью, съ какими дикими азартомъ хищники-промышленники на перебой гоняются на югъ Россіи за нетронутою степью. Быстро то тамъ, то въ другомъ мѣстѣ истощаютъ они ее и переходятъ въ другое мѣсто. Причина такой гонимости понятна: лѣнъ и золотистая тяжеловѣсная русская пшеница, которая такъ обильно произрастаетъ на дѣйственной почвѣ, всегда высоко стоятъ въ цѣнѣ какъ на русскихъ, такъ и на заграничныхъ хлѣбныхъ рынкахъ, и цѣнная земля быстро обогащаетъ жадно набрасывающихся на нее хищниковъ. Арендаторъ-посѣвщикъ, взявъ у земли все,

что можно, обративъ ее въ ничто, бѣжить дальше и дальше и, не заботясь о ней, только высасываетъ ея жизненные соки. Столкнувшись съ этимъ хищническимъ арендаторствомъ, П. И. почувствовалъ невыразимое огорченіе; душа его ныла, болѣла за родной край, за темный рабочій людъ, составляющій земледѣльческое населеніе этого края, которое издревле любило и любить эту землю, облитую его потомъ и кровью, которому Царь-Освободитель возвратилъ человѣческія и гражданскія права, но у котораго, тѣмъ не менѣе, стеченіемъ неблагоприятныхъ обстоятельствъ *оптималась всякая возможность свободнаго труда*, какъ основы благополучія и счастья». Подъ такими тяжкими впечатлѣніями дѣйствительности любовь П. И. къ земледѣльцу и земледѣльческому труду привела его постепенно къ такому рѣшенію: *выступить на борьбу съ хищничествомъ, принести себя въ жертву за народное благосостояніе*, и въ этой рѣшимости П. И.: «наединѣ съ самимъ собой» далъ великую клятву.

V.

Соединившись съ Захаромъ Абрамовичемъ, оба они начинаютъ осуществлять на дѣлѣ свои заветныя мечты! Въ произведеніи г. Тимошенкова читатели могутъ найти всѣ подробности, въ которыхъ планы эти осуществлены и какими средствами. Многие оспаривали и оспариваютъ достоверность приводимыхъ г. Тимошенковымъ фактовъ—и оспаривая находятъ, что произведеніе его только фантазія. Намъ кажется такой взглядъ на произведеніе Тимошенкова неосновательнымъ во-первыхъ потому, что при доброй волѣ добрыхъ людей положительно можно совершить все то, что совершили герои г. Тимошенкова, а во-вторыхъ потому, что если-бы даже г. Тимошенковъ и ввелъ въ разсказъ нѣкоторую долю своей фантазіи, — такъ не она вѣдь ищетъ въ его разсказѣ первенствующее значеніе. Фантазіи его могутъ быть даже и не велики, и не соблазнительны; но важно указаніе на то, что въ обществѣ существуютъ попытки сохранить и укрѣпить строй жизни, неимѣющій съ строемъ жизни купоннымъ ничего общаго; что существуетъ—и даже въ людяхъ самаго простого званія, и даже необразованныхъ—стремленіе поставить преграды купоннымъ зламъ, оборониться отъ нихъ, оградить отъ нихъ народныя массы.

Въ смыслѣ осуществленія этихъ желаній Захаръ Абрамовичъ Земля и П. И. Волга сдѣлали даже очень немного. Вотъ что разсказываетъ объ этихъ дѣлахъ на общую пользу г. Тимошенковъ:

Прежде всего, ими была скуплена на наличныя деньги и на другихъ выгодныхъ условіяхъ громадная масса земли. Эта покупка какъ бурей снесла также массы хищниковъ на огромное пространство. Въ самомъ лучшемъ и красивѣйшемъ мѣстѣ приобрѣтенной (и постоянно расширяющейся) территоріи, по соседству съ р. Манычемъ, «со-

здано» товарищами борьбы сельско-хозяйственное, торговое и промышленное село, названное Школой. Названо оно так потому, что П. И., до момента своего обогащения не бросавший своей учительской деятельности и бывший в последнее время управителем школы для калмыцких детей, оставив службу, исходатайствовал право передѣлать, устроить эту школу по собственному плану и соображениям и перенести ее на новое мѣсто, на собственную землю, въ плодороднѣйшую равнину около широкаго лога, съ богатыми родниками прекрасной прѣсной воды. «Это дастъ возможность при каждой усадьбѣ имѣть рошу, садъ, цвѣтникъ, огородъ». Школа эта изъ уѣзднаго училища преобразована въ ремесленно-земледѣльческое, и въ настоящее время «оно поставлено такъ, что всѣ обучающіеся въ немъ ученики, тотчасъ по окончаніи курса, получаютъ въ управленіе фермы съ полнымъ хозяйственнымъ обзаведеніемъ и владѣютъ ими въ качествѣ арендаторовъ; черезъ нѣсколько же лѣтъ успѣшнаго управленія получаютъ ихъ, на особыхъ правилахъ и условіяхъ, въ вѣчную и потомственную собственность».

«Страшный недостатокъ въ глухой мѣстности, гдѣ устроилось товарищество, въ мастеровыхъ и ремесленникахъ побудилъ послѣднее устроить при училищѣ обширнѣйшія помѣщенія для всевозможныхъ ремеселъ. Часто при нуждѣ въ плотникѣ его нельзя было найти ближе ста верстъ; кожи возили для выдѣлки за 300 верстъ, въ Ставрополь, Астрахань и т. д. Въ ремесленныхъ помѣщеніяхъ устроены мастерскія: плотницкая, столярная, ткацкая, портняжная, сапожная, шорная, кузья, овчинная, кожевенный заводъ, валяльная войлоковъ и теплыхъ сапогъ. Въ каждой мастерской работает артель, состоящая изъ мастеровъ-товарищей, подмастерьевъ и учениковъ. Каждый изъ окружающихъ жителей, какого бы возраста онъ ни былъ, воленъ поступить въ какую ему угодно мастерскую и его вездѣ обязаны принять. Всѣ ремесленники вѣистѣ съ тѣмъ и земледѣльцы, имѣющіе въ окружности школы и землю, и хозяйство. Они лѣтомъ работаютъ въ полѣ, а въ ремесленные классы собираются къ осени, когда кому болѣе удобно».

Безъ убытка для товарищества основаны на общую пользу и другія учрежденія. Выстроена паровая мельница, которая въ экономическомъ отношеніи приноситъ уже «великіе результаты». По недостатку мельницъ мука цѣнилась здѣсь вдвое дороже зерна; бывали и такія времена, когда пудъ ржи стоилъ 40 коп., а мука—3 р. 50 к. Паровая мельница, устроенная товариществомъ, стала обмалывать хлѣбъ у населенія верстъ на 200 въ окружности. При этой же мельницѣ товарищество устроило складочныя хлѣбныя магазины, благодаря которымъ окрестные крестьяне могли совершенно уничтожить свои обязательныя для нихъ хлѣбныя магазины. «Хлѣбъ магазинный болѣею частью считался всегда въ недомѣкъ; то же, что оставалось въ магазинахъ, страшно портилось, утекало въ шель, съѣдалось мышами. да и самые магазины обходились крестьянамъ дорого. Обще-

ства обязаны было ихъ строить по особому плану, а въ нѣкоторыхъ слободахъ и станицахъ приходилось строить по 4 и 5 магазиновъ, стоимостью отъ 5 до 9 тысячъ. Товарищество Петра Ив. вошло съ ходатайствомъ въ мѣстное земство, выражая желаніе всегда держать при мельницѣ сто тысячъ четвертей хлѣба въ зернѣ и мукѣ, который будетъ отпускаться при всякомъ нужномъ случаѣ населенію двухъ сосѣднихъ уѣздовъ съ надбавкой 10 проц. противъ покупной цѣны, т. е. вообще дешевле той цѣны, которая должна быть въ годы безхлѣбья и нужды въ хлѣбѣ. Ходатайство было уважено; магазины стали не нужны, и общества обратили въ капиталъ какъ самыя магазины, такъ и имѣвшіеся въ нихъ хлѣбъ».

Или вотъ еще двѣ безвыгодныя для товарищества операціи, вносящія въ то же время и выгоду, и благосостояніе въ народную жизнь.

«Прежде овечья шерсть сбывалась здѣсь промышленникамъ-скупщикамъ, которые брали ее почемъ хотѣли. Не только крестьяне, но и крупныя овцеводы, при нуждѣ денегъ на покосъ и полевые работы, продавали шерсть по два рубля за пудъ, тогда какъ на рынокъ цѣна ей стояла 6—7 руб. Товарищество П. И. устроило мойку, гдѣ моетъ шерсть, а потомъ отправляетъ ее на внутренніе рынки внутренней Россіи; тутъ же при мойкѣ оно устроило складъ шерсти на комиссію. Сдающіе сюда шерсть получаютъ во время сдачи половину рыночной цѣны, а потомъ по отправкѣ и продажѣ получаютъ и другую половину за вычетомъ процентовъ за расходы по комиссіи. Такимъ образомъ, крестьяне, вѣсто прежнихъ 2 рублей, получаютъ теперь 6 р. 60 к., за вычетомъ 1 р. 40 к. расходовъ».

До учрежденія товарищества мѣстное населеніе несло большіе убытки при колебаніи цѣнъ на скотъ. Случалось, что цѣна за овцу, поднявшись до 7 руб., вдругъ падала черезъ полгода до 1 р. 50 к., тогда какъ цѣна на сало, мясо, овчину не измѣнялась. «Чтобы край ничего не терялъ отъ такихъ колебаній, товарищество П. И. устроило салотопенный заводъ, а относительно сбыта овецъ приняло такую систему: если цѣна на нихъ высокая, то оно бьетъ на заводѣ только своихъ овецъ, и то по выбору, а остальныхъ продаетъ; если же цѣна на овецъ падаетъ, то оно бьетъ на сало и своихъ, и овецъ окрестныхъ крестьянъ, т. е. даетъ возможность крестьянамъ продавать не овецъ, которыя дешевы, а сало, которое въ цѣнѣ. Иногда, перебивъ всѣхъ своихъ овецъ, оно отдаетъ весь свой заводъ съ посудой въ распоряженіе крестьянъ».

Какъ видитъ читатель, всѣ эти попытки далеко не фантастическія; всего этого даже мало для того, чтобы окрестить эти попытки названіемъ *борьба*. Но дорого и важно стремленіе вступить въ эту борьбу. Въ тѣхъ же степяхъ и тѣ же деньги, какъ мы видѣли въ предыдущихъ письмахъ съ дороги, орудутъ совершенно инымъ образомъ: истощаютъ землю, закабалываютъ народъ. Еще болѣе замѣчательнъ источникъ, изъ котораго вышло такое живо-

творящее направлѣніе — любовь къ труждающемуся человеку у Петра Ивановича и любовь къ широкой трудовой жизни у Захара Абрамовича. Петровъ Ивановичей и Захаровъ Абрамовичей на Руси несмѣтное множество, и пренебрегать или обрѣкать

теоретически на гибель какъ любовь такихъ оригиналовъ къ труждающемуся человеку, такъ и любовь къ трудовой жизни едва-ли возможно въ массѣ простыхъ русскихъ людей, на нашихъ глазахъ едва только начинающихъ жить сознательно.

Ж И В Ы Я Ц И Ф Р Ы.

(Изъ записокъ деревенскаго обывателя.)

I. «Четверть» лошади.

I.

...Кажется, во всей «нашей округѣ» нѣтъ среди мѣстной обывательской интеллигенціи (даже самаго высокаго сорта) такого страстнаго любителя мѣстныхъ статистическихъ «данныхъ», какимъ совершенно неожиданно оказался я, деревенскій обыватель, пишущій эти строки. Огромныя кныи и связки изданій статистическаго комитета, обязательно получаемыя деревенской, обывательской интеллигенціей, постоянно и повсюду производили и производятъ на нее какое-то удручающее впечатлѣніе. Получишь, бывало, такую толстую книгу, удержишь въ рукахъ, почему-то непременно вздохнешь и положишь на полку; такъ эти книги и покоятся недвижимо тамъ, гдѣ ихъ положить. А между тѣмъ только вѣдь въ этихъ-то толстыхъ скучныхъ книгахъ и сказано цифрами та «сущая» правда нашей жизни, о которой мы совершенно отвыкли говорить человѣческимъ языкомъ, и нужно только разъ получить интересъ къ этимъ дробямъ, нулямъ, нуликамъ, къ этой вообще цифровой крупѣ, которою устѣяны статистическія книги и таблицы, какъ всѣ они, вся эта крупная цифра начнетъ принимать человѣческіе образы и облекаться въ картины ежедневной жизни, то-есть начнетъ получать значеніе не мертвыхъ и скучныхъ знаковъ, а, напротивъ, значеніе самаго разнообразнаго изображенія жизни.

И все-таки, не случись со мной одного самаго (какъ увидитъ читатель ниже) ничтожнаго обстоятельства, я бы никогда не вошелъ во вкусъ этихъ, покрытыхъ какой-то черной мушкаркой, страницъ и никогда бы не понялъ многозначительности выводовъ изъ этой цифровой мушкарки, всегда казавшихся мнѣ, какъ коренному «обывателю», совершенно несостоящимъ дѣломъ и пустопорожнимъ словозверженіемъ. Никогда не думая серьезно вникать въ это дѣло, мы однакожъ не прочь иной разъ вложить въ цифры и собственный свой смыслъ, сдѣлать собственные свои выводы, и всякій разъ дѣлаемъ это конечно только «для смѣху». Бываютъ въ нашей пустопорожней обывательской жизни такія минуты, когда мы умѣемъ облаять все въ настоящемъ порядкѣ вещей. Вотъ только въ

такія-то минуты универсальнаго облаиванія текущей дѣятельности, въ числѣ прочихъ, подлежащихъ облаиванію сюжетовъ, не минуетъ нашего издѣвательства и статистика, не минуетъ только потому, что настроеніе минуты требуетъ всесторонняго облаиванія жизни.

— Въ деревнѣ Присухинѣ — издѣвается въ такія минуты какой-нибудь обыватель — школа имѣетъ тридцать учениковъ, въ деревнѣ Засухинѣ — двадцать, а въ деревнѣ Оплеухинѣ — всего два ученика... Изъ этого, изводите видѣть, слѣдуетъ такой средній выводъ, что среднимъ числомъ на школу — по семнадцати человекъ и еще какой-то нуль, да еще и около нуля какая-то возявка... Это все равно, ежели бы я взялъ миллионщика Колотушкина, у котораго въ карманѣ миллионъ, присоединилъ къ нему просвирию Кукушкину, у которой грошъ, — такъ тогда въ среднемъ выводѣ на каждого и вышло бы по полумиллиону. Просто нужно за что-нибудь деньги брать! Очень просто!

— Да! изъ-за чего это Болванкинъ на собраніи съ своимъ кирпичомъ совался? спрашиваетъ кто-нибудь во время этого обличительнаго монолога. «Кто-нибудь» спрашиваетъ просто зря, отъ нечего дѣлать. Но такъ какъ «облаиваніе» коснулось статистики, то немудрено услышать и отвѣтъ на этотъ случайный вопросъ, подходящій къ подлежащей облаиванію темѣ.

— А какъ же! отвѣтствуетъ другой изъ занимающихся облаиваніемъ собесѣдниковъ. — По статистическимъ даннымъ, на каждую печную трубу приходится шесть рождаемостей, а на каждую курную избу двѣ рождаемости и четыре смертности. Слѣдовательно, ежели земство купить по дешевой цѣнѣ кирпичъ у Болванкина и станетъ раздавать его бабамъ для устройства печей-голанокъ въ курныхъ избахъ, то сейчасъ же бабы будутъ производить шесть процентовъ рождаемости, — и слѣдовательно купецъ Болванкинъ отличнѣйшимъ образомъ продастъ свой кирпичъ, который у него ужъ и такъ развалился и который совсѣмъ съ заводомъ и съ Болванкинымъ стоитъ грошъ. Какъ же ты этого не понимаешь? Нѣтъ, братъ!.. Тутъ въ среднемъ выводѣ можно запустить лапу очень хорошо!..

Извѣстный обывателю складъ и строй окружающей его жизни, въ которомъ слово «хапнуть» играетъ не послѣднюю роль, невольно заставляетъ

его прилагать этот господствующий принцип и къ такого рода явленіямъ жизни, которыхъ онъ даже и не понимаетъ совершенно, въ которыхъ ровно ничего не смыслить. Неудивительно, что въ тѣ рѣдкія минуты празднаго лаянья на всѣхъ и вся, когда, за истощеніемъ обланяемаго матерьяла, на зубокъ обывателя попадаются и такой неприспособленный матерьялъ для разговора, какъ статистика, основной принципъ «хапнуть» не покидаетъ соображеній обывателя, и онъ прикладываетъ его тамъ, гдѣ принципъ этотъ не имѣетъ никакого значенія. И говоря откровенно, я не знаю ни одного статистическаго «столбца», который не былъ бы истолкованъ нашими коренными деревенскими обывателями именно въ этомъ послѣднемъ смыслѣ. И я помню положительно только одинъ случай, когда обланянье, начавшееся «отъ нечего дѣлать» и добравшееся за истощеніемъ матерьяла до статистики, вдругъ должно было замолкнуть за полнѣйшею невозможностью приткнуться къ обланяемой цифрѣ хоть каплю принципиальнаго во всѣхъ обланяніяхъ обвиненія, т. е. слово «хапнуть», казалось, готовое сорваться съ языка, вдругъ не сорвалось, и обладатель только сталъ втупнѣть.

— Невѣдомо чего ужъ и писать стали! говорилъ мнѣ однажды одинъ изъ такихъ обланятелей, зайдя попить чайку и отъ нечего дѣлать перелистывая «обзоръ» нашего уѣзда, только-что полученный съ почты. — Ужъ даже и невѣдомо до чего дооблгались!

— Что такое?

— Одна вещь *четверть* лошади приходится, изволите видѣть, на каждую какую-то тамъ квадратную что-ли душу. Ну, что-жъ это означаетъ, позвольте васъ спросить?

— Какъ квадратную душу? Что вы, Иванъ Ивановичъ!

Иванъ Ивановичъ посмотрѣлъ въ книгу и сказалъ:

— Ну, песъ съ ней! ну, ревизскую что-ли! Но что-жъ означаетъ *четверть* лошади? Какая-то такая лошадиная четвертая часть? Которая-же первая-то часть у ей? Это даже прямо сказать — на смѣшка одна!

— Ну, какъ же такъ!

— И очень просто!.. Положительно одно издѣвательство!.. Съ кирпича, съ беременной бабы, съ трубы, все можно что-нибудь взять и даже въ карманъ положить... А это ужъ — чортъ знаетъ что! *Четверть* лошади!..

Лично я, хотя и могъ бы совершенно иначе понимать эти «цифры», подлежащія обланянію на разные лады, но, говоря по совѣсти, обжившись съ деревенскими обывателями, также подобно нимъ привыкъ очень мало интересоваться этими множествомъ крупныхъ и мелкихъ нулей, которые мы только и видимъ въ таблицахъ многотомныхъ трудовъ. Быть можетъ, подумавши, я бы и могъ что-нибудь возразить Ивану Ивановичу, но простое нежеланіе думать серьезно и привычка ограничиваться обланяніемъ не вызвали меня на разговоръ о непостижимой цифрѣ.

Четверть лошади! подумалъ я и присоеди-

нился къ издѣвательству Ивана Ивановича. Толстые томы «трудовъ», какъ и прежде, такъ и послѣ обланянія, сдѣланнаго Иваномъ Ивановичемъ, продолжали спокойно лежать на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ были положены, и всякій разъ возбуждали во мнѣ только глубокой вздохъ, когда, перечитавъ все, что можно было перечитать, приходилось съ прискорбіемъ увидѣть, что кромѣ «трудовъ» рѣшительно ничего для чтенія нѣтъ!

Но вотъ совершенно неожиданно со мною происходитъ переворотъ: я собственными глазами увидѣлъ *четверть лошади!* и съ тѣхъ поръ устьяныя крупными и мелкими нулями «труды» приняли въ моихъ глазахъ чрезвычайное значеніе.

II.

Да, я теперь знаю, что такое *четверть* лошади; знаю, что эта четверть — не пустяки, что эта дробь имѣетъ весьма серьезное значеніе.

Дѣло было такъ..

Я только что окончилъ чтеніе новаго переводнаго романа, напечатаннаго въ одномъ изъ толстыхъ журналовъ, и находился въ весьма тяжеломъ душевномъ настроеніи. Не думайте, что на нервы деревенскихъ обывателей дѣйствуютъ только такія явленія жизни, которыя таятъ въ себѣ обычную для насъ сущность «хапнуть въ карманъ», и что только такія явленія волюють и тревожатъ насъ. Вовсе нѣтъ. Посмотрите-ко, какого переполоха надѣлалъ въ нашемъ уѣздномъ обществѣ хотя-бы «романъ графини Лиды». Все, что не знало нигого исхода и теченія жизни, кромѣ службы, семейной ссоры и буфета въ клубѣ, — все вдругъ завохало, застонало, заметалось, закричало и заговорило изъ всѣхъ силъ и во весь голосъ. Какъ теперь помню, еле-живой уѣздный аптекарь, выходя изъ клуба во второмъ часу ночи и будучи уже въ такомъ состояніи, которое заставило его тотчасъ-же обнять фонарный столбъ, — все таки напелъ въ себѣ силы закричать: «Пріас-схо-нна!» И оралъ то же самое, раскачиваясь на извозчикѣ, на котораго усадилъ его городской. Да, и мы не прочь иногда порадоваться и потосковать хорошо. Такъ было и со мной въ этотъ разъ. Романъ былъ обыкновенный: мужъ-старикъ, она (маркиза, само собой) молодая и, само собой, Анатоля, молодой. Обманъ друга съ первой страницы до послѣдней. Обманъ письмами, глазами, рукопожатіями. Словомъ, какое-то безпрестанное воровство самыхъ элементарныхъ человѣческихъ радостей, воровство въ которомъ не нуждалась ни во вѣки-вѣковъ ни одна горничная, получающая 8 рублей въ мѣсяцъ. А тутъ маркиза, и не можетъ жить на бѣломъ свѣтѣ иначе, какъ «украдуши», да «уворуючи»! Впрочемъ — не въ подробностяхъ романа дѣло, а только въ томъ, что мнѣ было скучно отъ него, и я ушелъ гулять.

Шелъ я, скучалъ, ни о чемъ не думалъ и вдругъ случайно услышалъ:

— То-то — кабы лошадь была!

Слова эти жалобно проговорилъ женскій голосъ,

и я, положительно не знаю почему, при словѣ «лошадь» вспомнилъ фразу Ивана Ивановича:

— Четверть лошади! Ну, скажите пожалуйста, не насмѣшка-ли?

— «А можетъ быть, мелькнуло мнѣ,—именно на эту-то бабу и приходится въ среднемъ вывести только четверть? Какъ же она живетъ съ одной четвертью?»

— Какъ же безъ лошади? сказалъ мужской голосъ.— Безъ лошади пропадешь!

— «Какъ же въ самомъ дѣлѣ безъ лошади? подумалось мнѣ.—Какъ же съ одной четвертью-то?»

Что-то сказало мнѣ, что передо мной—не что иное, какъ живая статистическая дробь, а чрезъ мгновеніе я уже съ полною ясностью зналъ, что я вижу именно дробь въ живомъ человѣческомъ образѣ, вижу, что такое эти пулики съ запятыми, съ большими и маленькими. И мнѣ ужасно захотѣлось подойти къ этой живой дробѣ.

Дробь была баба лѣтъ тридцати, и рядомъ съ ней стояла на землѣ маленькая, полтора-годовая дѣвочка. Обѣ онѣ вышли изъ лачужки, у которой не было даже сѣней. Противъ бабы и дѣвочки стоялъ мужикъ, тоже должно быть какая-нибудь единица, дѣленная по крайней мѣрѣ на десятокъ мѣстныхъ бюджетниковъ, потому что у него въ спинѣ на каждый квадратный футъ было по четыре двухдюймовыхъ дыры, въ который повидимому также зналъ, что «четверть» лошади не представляетъ ничего хорошаго.

— Кабы у меня лошадь была, такъ ужъ отвезъ-бы! сказалъ онъ тоскливо.

— То-то безъ лошади-то неспособно! сказала дробь-баба.

— Далеко-ль до покосу-то?

— Да версты двѣ будетъ.

— Такъ ты вотъ какъ! задумчиво сказалъ мужикъ, дѣленный на десять.— Ты обѣдъ держи въ одной рукѣ, а косу въ тое-жъ руку приулади, а подстилку и полшубокъ для дѣвочки на шею намотай... Вотъ и будетъ великолѣпно! Чувешь?

— А дѣвочка-то какъ?

— Пойдетъ!

— Да какъ же она босая-то пойдетъ? И двѣ версты ей не убѣчь, я пойду скоро.

— Это вѣрно! сказалъ мужикъ и сталъ опять думать.

Стала думать и дробь-баба.

И скоро мысли этихъ дробей стали складываться въ слѣдующую формулу:

— Вотъ какъ ты, Авдотья, удѣлай! Ты дѣвчонку сажай на шею, верхомъ...

— Да чѣмъ же я ее держать-то буду? Въ одной рукѣ полшубокъ, подстилка, въ другой коса и обѣдъ? Не за волосы же ей меня тянуть?

— И то правда! сказалъ мужикъ задумчиво и опять сталъ думать такъ же крѣпко, какъ думала дробь-баба.

Первый, повидимому, додумался мужикъ; въ его лицѣ что-то оживилось, и онъ съ большими оживленіемъ проговорилъ:

— Тогда окончательно я тебѣ скажу—вотъ мой совѣтъ: сымай платокъ съ плечъ!

— Что-жъ будетъ?

— Сымай! Увидишь!

Баба опустила на землю горшокъ, завязанный въ тряпкѣ, положила туда-же косу, полшубокъ, половникъ, развязала большой платокъ, обхватывавшій грудь и завязанный узломъ на спинѣ, и сказала мужику:

— Ну?

— Ну, теперь гляди! сказалъ мужикъ, оживляясь сразу, по малой мѣрѣ, на тысячу процентовъ.—Гляди теперь, какой мы произведемъ оборотъ. Стой прямо!

Онъ подошелъ къ дѣвчкѣ и, взявъ ее подъ мышки, поднялъ.

— Ну, любезная барышня, пожалуйста въ вагонъ садитесь! къ маменькѣ на шею!.. Разъ!

Дѣвочка обхватила шею матери и ногами, и руками.

— Охъ, ты меня удушишь, Пашутка! тихо прошептала мать.—Что-жъ будетъ?

— Погоди, не торопись! суетился мужикъ.— Барынь! крикнулъ онъ мнѣ.—Поди-ко—сдѣлайте милость, потрудитесь!—подними платокъ, мнѣ дѣвчонки нельзя пустить.

Я поднялъ платокъ и подаль мужику.

— Благодаримъ покорно! Теперь мы уладимъ Пашутку никакъ не меньше, какъ въ первомъ классѣ!

Онъ развернулъ платокъ, сложилъ его съ угла на уголъ вдвое, и наложивъ средину на голову Пашутки, обвязалъ концами ея мать такимъ образомъ, что платокъ прямо проходилъ у ней подъ шеей и подмышками и завязывался узломъ на самой шеѣ такъ удачно, что Пашутка сидѣла на этомъ узлѣ какъ на подушкѣ.

— Прямо въ некурящій вагонъ обладили! Поѣздъ стоитъ пятнадцать минутъ, буфетъ! въ восторгъ воскликнулъ мужикъ.— Не держись, Пашутка, пусти руки! Сиди свободно!..

Пашутка выпустила руки, заболтала ногами, захлопала руками и что-то залепетала.

— Ну, ты не дергай меня! мнѣ подъ шеей тянетъ, сказала мать,—сиди смирно!

— Бери обѣдъ! Бери косу! оживленно говорилъ мужикъ, подавая бабѣ въ руки все, что она была должна нести,—и все баба взяла, и въ руки и въ подмышки. Все умѣстилось, но баба не шла. Лицо ея было невесело. Хотя и смѣшно, и искусно выдумалъ этотъ вагонъ добрый сосѣдъ, дѣленный на десять бюджетовъ, но все-таки ей нужно было изловчиться и приладиться, и она нѣкоторое время неподвижно стояла на одномъ мѣстѣ, прилаживая половчѣе то косу, то полшубокъ, то половникъ.

— Ай не ладно? все также весело и не вѣря въ неудобства собственной выдумки, спрашивалъ мужикъ.

— Нѣ.. прошептала баба, выматывая голову изъ туго-стянутого платка,—нѣ.. ничего! ладно! теперь дойдемъ.

— Теперь дойдешь! Ничего! Не слѣши. Ладно дойдешь! Вали, братъ! Третій звонокъ! Трогай!

— Ну, спасибо! сказала баба съ большим чувством и медленно, не шевелясь ни вправо, ни влево, тронулась съ мѣста.

— Кабы лошадь-то была!.. переставъ радваться, со вздохомъ проговорилъ мужикъ благодѣтель и сталъ отирать полой рваного армяка свой мокрый лобъ.

Но я уже не слушалъ его словъ.

Баба пошла, и я уже не могъ не идти за ней: я уже былъ захваченъ интересомъ видѣть въ живомъ человѣческомъ образѣ очертанія повидимому ровно ничего незначащей статистической дробы. И хотя дробь эта была оживлена человѣкомъ пока только чуть-чуть, но я уже чувствую, что видѣнное мною далеко не исчерпываетъ всего содержания, таящагося въ яко-бы пустопорожней цифрѣ, и что въ этой цифровой загадкѣ есть еще много чего-то, что надобно непременно разузнать и разслѣдовать.

И я пошелъ поэтому вслѣдъ за бабой.

III.

Баба шла съ такой осторожностью, вытяжкой, и съ такой тщательностью балансировала среди обременявшихъ ее тяжестей, что мнѣ невольно вспомнилась акробатка, которую я видѣлъ когда-то, гдѣ-то въ загородномъ саду. Она, такъ-же какъ и баба, балансировала съ величайшей осторожностью на тонкой проволоцѣ, вися надъ землей и толпой зрителей. Да, вѣдь и на ней лежатъ бремени не меньше, чѣмъ на бабѣ, и у нея по статистическимъ даннымъ оказывается 00 отцовской заботы, 00 материнской любви и затѣмъ уже въ цѣлыхъ числахъ идетъ алчность антрепренеровъ и хозяевъ, а въ десяткахъ чиселъ ежеминутно чувствуются ея плотоядные глаза плотоядныхъ людей, готовыхъ каждую минуту расхитить для собственнаго удовольствія ея плоть и кровь. Да, ей надо также очень, очень осторожно ходить по канату!

Нецѣлое число, именуемое бабой, шло все дальше и дальше, иногда весьма нетерпѣливо вскрикивая на дѣвчонку:

— Перестань за волосы хватать! вѣдь крѣпко сидишь? чего баловаться-то?

— Тяжело тебѣ? сказалъ я наконецъ, побуждаемый желаніемъ выяснитъ подробности существованія этой дробы.

— Знаю не легко! сказала дробь, но безъ всякаго негодованія. — Кабы лошадь-бы была... А то вотъ теперь убирать сѣно надо, безъ лошади-то и трудно!

— А далеко еще до покоса?

— Порядочно еще... Мы и покосъ-то взяли дальній безъ жеребья, поэтому по самому, чтобы лошадь... Не падай, дура! Сказано тебѣ?..

Дѣвчонка заплакала, но матери ужъ нельзя было тратить время на ея успокоеніе. Она шла и по слову, по два (говорить ей было неловко) изображала мнѣ положеніе своихъ дѣлъ.

— Жеребьевые-то участки ближніе и хорошіе, да намъ малы... Мы безъ жеребьевъ взяли даль-

ніе, съ зарослемъ... Они будутъ вдвое противъ жеребьевыхъ-то на душу... Жеребьевый на душу...

По словечку, перерывая рѣчь тяжелымъ дыханіемъ, баба рассказала мнѣ и о томъ, что у нихъ уже есть и сбруя. И сбруя эта вышла имъ какъ-то случайно: просто Богъ далъ. Жила у нихъ два года одна старушка, бѣдная, у которой внукъ въ Петербургѣ учился въ шорникахъ, и вотъ когда внукъ самъ сталъ работать «отъ себя», то вытребовала и старушку-бабушку и въ благодарности за ея содержаніе прислалъ полный комплектъ сбруи съ большою уступкой. За эту сбрую еще не заплачено, а заплатится тогда, когда продадутъ сѣно, тогда вотъ можно будетъ «обдумать» (пока!) и насчетъ лошади. Предстоитъ еще маленькая неприятность и съ этимъ самымъ сѣномъ: вывезти его будетъ не на чемъ (всего четверть лошади), а если урожай сѣна будетъ великъ, то пожалуй на мѣстѣ придется его продать такъ дешево, что «обдумать» лошадь можно будетъ уже не ранѣе, какъ еще черезъ годъ.

Слушая эту прерывистую, задыхающуюся рѣчь бабы, я иногда приходилъ къ мысли подойти и помочь ей. Но строго «научный методъ», которому я старался слѣдовать въ моихъ наблюденіяхъ, вовремя останавливалъ меня. Однажды баба даже остановилась, закашлялась, но я все-таки остался на научной почвѣ, не подошелъ къ ней и не испортилъ точности цифръ статистическаго «столбца». Столбецъ такъ и остался столбцомъ, безъ всякихъ измѣненій, а баба покашляла, покашляла и пошла опять балансировать.

Наконецъ мы пришли на покосъ.

III.

Довольно большое пространство низменнаго поля, заросшаго кустами прутника, было уже уставлено копнами сѣна, которыя въ нашихъ мѣстахъ называютъ «кучами». Въ значительномъ количествѣ видѣлись онѣ въ прогалинахъ между кустарниками и по многу, «какъ придется», стояли въ такихъ мѣстахъ, гдѣ было попросторнѣе отъ зарослей. Вотъ эти-то «кучи» и надобно было стащить въ нѣсколько стоговъ, или же сложить въ одинъ длинный стогъ, видомъ всегда похожій на сарай, который и продается скупщикамъ на сажени, мѣрая по низу, съ одной стороны отъ края до края.

Остановившись на покосѣ, баба осторожно сѣла на землю, осторожно сложила свои тяжести, сама развязала сзади себя платокъ, спустила на землю Пашутку, и вся мокрая, съ прилипшими къ мокрому щекамъ и лбу волосами, нѣкоторое время сидѣла молча, отдыхая и утирая мокрое лицо и шею. Пашутка толкалась около нея и что-то кланялась, но мать такъ устала, что уже не обращала на это кланчанье вниманія. Я пристроился подъ кустъ, въ тѣнь, закурилъ папиросу и изучалъ.

— Ав-дѣй-эй!.. А Ав-дѣ-э-эй! звонко позвала баба, и скоро изъ-за кустовъ показался мужикъ съ граблями на плечѣ.

Усталой походкой онъ подошелъ къ бабѣ, подхватилъ на руки Пашутку, которая побѣжала ему навстрѣчу; не спуская ее съ рукъ, онъ сѣлъ на землю, и вся семья принялась за дѣлу, предварительно перекрестившись.

Ѣли молча, почти не разговаривали; Ѣли и отдыхали въ одно и то же время. Коротокъ былъ обѣдъ и коротокъ отдыхъ.

— Какъ бы дождомъ не брызнуло! сказалъ Авдѣй, оглядывая небо. — Ишь, несетъ вѣтромъ изъ мокраго угла (съ юга)! Пока что, хоть дѣло разчаты надо...

Онъ всталъ, опять перекрестился нѣсколько разъ, потомъ пошелъ въ лѣсъ, откуда скоро раздались стукъ топора. Тѣмъ временемъ мать Пашутки всячески старалась ее укачать и уложить спать, но Пашутка какъ на грѣхъ пищала, капризничала и на что-то жаловалась. Иногда въ уговариваніяхъ матери слышалась какая-то раздражительная нота; ей нельзя было держать Пашутку на рукахъ, сидѣть сложа руки. Ей предстояла трудная работа.

— Не спать, пострѣленокъ! сказала она Авдѣю, когда тотъ вышелъ изъ лѣсу.

Это извѣстіе очевидно очень опечалило Авдѣя. Держа на плечѣ двѣ большія жерди, которыми онъ принесъ изъ лѣсу, онъ задумчиво остановился передъ женой и задумчиво смотрѣлъ на Пашутку.

— Авось она одна побудетъ? нерѣшительно спросилъ онъ жену.

— Вѣстимо одной надо быть!.. Хошь и поплачетъ, дѣлать нечего... Плачь не плачь, а дѣлать нечего!..

— Ничего! успокоительно сказалъ отецъ, подсаживаясь къ Пашуткѣ. — Ты, Пашуха, сиди да гляди, что мы съ мамкой будемъ дѣлать.. Будешь? Мы туточка вотъ и даже не далеко!.. Будешь смирно сидѣть?.. Гостинку дамъ, какъ домой воротимся, право! Цѣлую баранку дамъ! Будешь?

Пашутка что-то прошептала.

— Ну, и хорошо! Дай-кошь я тебя поцѣлую, головку поглажу... Ну, Авдотья, пойдемъ!

Пашутка исполняя свое слово и сидѣла смирно, потому что отецъ и мать были недалеко и на ее глазахъ дѣлали свое дѣло. А дѣло это было трудное...

— Вотъ безъ лошади-то!.. горько говорилъ Авдѣй.

— Ну ужъ, чего разговаривать! не желая пустословить и очевидно вся напрягшись для тяжкаго труда, довольно рѣзко сказала его жена. — Подсовывай жердь-е-то!

Такъ какъ на одной четверти лошади нельзя возить сѣна, то нашимъ дробямъ пришлось подсовывать подъ каждую сѣнную «кучу» по двѣ жерди рядомъ, братья за концы этихъ жердей, точно за носилки, и поднимая тяжесть не менѣе четырехъ пудовъ, тащить ее къ той кучѣ, гдѣ предполагалось сложить стогъ.

Жерди были подвешены; четырехъ-пудовая куча сѣна плотно притискивала ихъ къ землѣ, низкой и болотистой.

— Ну-ко, Господи благослови! сказалъ Авдѣй,

становясь впередъ; согнувшись, онъ занесъ руки назадъ, захватилъ концы жердей и проговорилъ, не поднимая ихъ и не разгибаясь: Ты—не вдругъ, Авдотья, налегай! Пошаленьку! не сразу подхватывай! Приладься!

Авдотья знала всю трудность дѣла и изловчалась. Лица бѣда была поднята, а тамъ ужъ нужно было держаться цѣпко за концы, а чотыре пуда не оторвутъ рукъ отъ плечей. Разъ три они оба приналегали на кучу, то сзади Авдотья, то спереди Авдѣй, и понемногу она сдвинулась съ мѣста, отсосалась отъ сырой земли и наконецъ съ значительнымъ усиленіемъ они оба стали приподнимать ее. Для Авдотьи это было особенно трудно и требовало весьма значительнаго калѣченья ея тѣла. Подхватить концы жердей сразу ей было очевидно не по силамъ, и она, положивъ одинъ конецъ жерди на колѣно, обѣими руками вцѣпилась въ конецъ другой жерди, подняла ее, высвободила одну руку и схватила ее за конецъ жерди, который лежалъ у нея на колѣнѣ. Наконецъ они оба выпрямились и пошли. Пошли, держась прямо, какъ струна.

Прямо, какъ струна, идетъ крестьянинъ за сохой; онъ повидимому только идетъ, и ничего нѣтъ удручающаго васъ, наблюдателя, въ этой походкѣ; но подойдите къ нему поближе, посмотрите на эту спину, какъ бы не умиющую согнуться, — она вся дрожитъ; нѣтъ въ ней мѣста даже величиной въ булавочную головку, которое бы не трепетало самымъ напряженнымъ усиленіемъ. Нужно затанць духъ, собрать въ себѣ всѣ силы, обуздать каждый мускулъ, страдающій отъ тяжести, которую ему приходится преодолѣть, заставить его исполнять трудное дѣло, не дать ему ни малѣйшей воли, и вотъ отчего твердой походкой идущій по пашнѣ человекъ, кажущійся такимъ непоколебимо спокойнымъ, на самомъ дѣлѣ каждый шагъ свой одолѣваетъ страшнымъ напряженіемъ нервовъ, такимъ напряженіемъ, что вздохнуть можно только дойдя до конца полосы, т. е. до поворота. Но настоящій крестьянинъ не останавливается для передышки на поворотахъ, а скорѣе идетъ далѣе, зная, что, отдохнувъ хоть съ минуту, ослабнешь и потомъ будетъ труднѣе.

Вотъ съ такимъ-то невѣроятнымъ напряженіемъ силъ подняли и несли четырехъ-пудовую кучу сѣна Авдѣй и Авдотья. Малѣйшая часть тѣла въ каждомъ изъ нихъ была натянута, напряжена, какъ струна. Конечно, потомъ они навѣрное оба и «не такъ» еще «разойдутся» и нервами эти люди сдѣлаютъ то, чего не сдѣлать настоящей силой; но теперь, ннѣ, съ моей строго научной точки зрѣнія, было положительно даже смотрѣть-то трудно на это, повидимому, совершенно простое дѣло.

Кромѣ тяжести, оттягивавшей руки утомленныхъ уже косьюбой людей, успѣшность ихъ работы въ самомъ началѣ была отравлена Пашуткой. Покуда отецъ и мать были у нея на глазахъ, она молчала, не спуская съ нихъ своихъ глазенокъ, но когда они пошли, и она увидѣла, что они ухо-

дять, она огласила пространство необычайным плачем и крикомъ. Я видѣлъ попытки Авдѣи и Авдотьи повернуться къ ней лицомъ, посмотреть, узнать: что съ ней? но куча сѣна не желала уступить изъ физическимъ силъ мужа и жены ни одной капли, и Авдѣи съ Авдотьей могли только ускорить шагъ, то-есть сдѣлать еще большее напряжение, но остановиться уже не могли.

Но зато, спустя нѣсколько минутъ, течение которыхъ ревъ Пашутки дошелъ до невѣроятной степени, я увидѣлъ, что крикъ этотъ не остался для родителей ея гласомъ вопиющаго въ пустыни. И Авдѣи, и его жена буквально сломя голову неслись изъ лѣса, направляясь къ Пашуткѣ. Не добѣжавъ до нея, они даже побросали жердя и въ страшномъ испугѣ бросились къ дочери.

— Ай укусило тебя? кричалъ Авдѣи.

— Не казюлька-ли какая поганая укусила? впопыхахъ говорила Авдотья, почти упавъ на землю около Пашутки и тотчасъ-же осматривая ея голыя ноги.

— Экое мѣсто чортово! Сколько ихъ гадюковъ тутъ разведено, ехидновъ! Что, не тронули ея?

— Не видать, ничего!.. Чего ты орешь-то? въ сердцахъ сказала Авдотья и шлепнула Пашутку.

— Ну, будетъ! сказалъ Авдѣи.—Чего ужъ! Въстимо одна осталась... Испужалась... Я спужался—думалъ, не гадюка-ли? Помереть вѣдь можно отъ нея, отъ поганой! А то что ужъ ты такъ! Въстимо, малый ребенокъ. Эй, лошади-то нѣту!.. Сидѣла бы на возу, пѣсни пѣла... Ну, да ничего, Пашутка, дѣлать нечего! Ужъ какъ ни какъ, а надуть съ собой брать... Воскомъ ей по кошеному-то далеко не уйдти, а крикомъ душу надорветъ.. Ну, ничего!.. Ужъ какъ ни какъ, Авдотья, а съ собой надо взять? спросилъ онъ.

Не дожидаясь отвѣта Авдотьи, Авдѣи взялъ Пашутку на руки и понесъ къ новой кучѣ сѣна. Пока они подводили подъ кучу жерди, Пашутка сидѣла на травѣ. Но когда жерди были подведены, Авдѣи подошелъ къ Пашуткѣ, взялъ ее на руки и понесъ къ сѣну.

— Ну, бабовница, свдись сюда въ ямку-то... Поѣдемъ виѣсть! Ладно такъ-то?

Пашутка что-то пропичала.

— Ну, сиди смирно!

— У, паскудная! съ сердцемъ сказала измученная Авдотья.

— Ну, что ужъ.. Берись!..

— Горластый чортъ, покою нѣтъ!..

И опять мужъ и жена согнулись въ перегибъ, и опять разъ по три, по четыре приладили и присноровились поднять кучу, причемъ уже нужно было робѣть и за Пашутку: какъ бы не свалилась, жерди качаются—но въ концѣ концовъ, съ еще большимъ напряженіемъ нервовъ, мужъ и жена одолѣли-таки увеличенную Пашуткою тяжесть. Кромѣ тяжести жердей, тяжести сѣна, прибавилась еще и тяжесть Пашутки. Что дѣлать! у бѣдныхъ людей была только четвертая часть лошади, и поэтому недостающія части лошадиной силы они должны были взять на себя.

IV.

Все время я, какъ уже сказано ранѣе, держался въ моемъ поведеніи строго научнаго метода. Но послѣ того, какъ куча сѣна на моихъ глазахъ оказалась съ увеличившимся содержаніемъ, я почувствовалъ, что едва-ли можно еще дополнить чѣмъ-нибудь новымъ уже и безъ того слишкомъ многосложное содержаніе статистической дробн. Что еще можетъ быть добавлено въ ея объясненіе? спрашивалъ я самъ себя и положительно не перенесъ бы дальнѣйшей строгости въ сохраненіи себя на научной точкѣ зрѣнія, если бы въ самомъ дѣлѣ къ видѣнному можно было бы что-нибудь добавить еще. Мнѣ было довольно простого умноженія количества видимыхъ глазами кучъ на силы двухъ человѣческихъ существъ, чтобы тотчасъ же прекратить продолженіе моего изслѣдованія.

И я дѣйствительно не могъ продолжать его. Я ушелъ домой... Чтѣ я могу знать, живя въ деревнѣ? Но цифры, которыя я до сихъ поръ игнорировалъ и которыя я неожиданно увидѣлъ во образѣ человѣческомъ,—цифры могутъ мнѣ помочь разобраться въ человѣческихъ единицахъ и дробяхъ. И съ тѣхъ поръ я предался статистикѣ, а чтобы доказать читателю, что плоды моихъ усилій были не тщетны, я расскажу ему самый крошечный эпизодикъ, случившійся со мной по поводу еще одной самой маленькой человѣко-дробн.

II. Квитанція.

I.

Эпизодикъ съ этой капельной цифрой случился со мною въ то время, когда я только-что предался изученію статистики. былъ, такъ сказать, въ самой первой порѣ увлеченія, и поэтому, я надѣюсь, читатель извинитъ мнѣ, если доводы, вслѣдствіе которыхъ во мнѣ родилось побужденіе во что бы то ни стало видѣть своими глазами упомянутую микроскопическую цифру, покажутся ему лишенными точныхъ научныхъ основаній и почти не логическими. Невольныя ошибки начинающаго должны быть извиняемы, и въ надеждѣ на это я расскажу процессъ моего мышленія въ данномъ дѣлѣ безъ всякой утайки: дѣло въ томъ, что, начитавшись мѣстныхъ данныхъ, я безъ перерыва принялся за матеріалы, собранные столчными статистиками, и здѣсь, въ отдѣлѣ браковъ, прироста, рождаемости и смертности населенія, я натолкнулся на цифру, которая мнѣ (по неопытности) показалась совершенно необычайной: оказывается, что въ Петербургѣ ежемѣсячно нарождается до 700 дѣтей, у которыхъ нѣтъ ни отцовъ, ни матерей. Въ графѣ «отцы» стоитъ 0, въ графѣ «матери» — тоже 0, а въ итогѣ написано *итого 700 штукъ человекъ*.

Научный методъ мышленія настолько еще не овладѣлъ мною и моими соображеніями, что я рѣ-

шительно не могъ оставить въ покоѣ этихъ нулей, изъ которыхъ выходятъ цѣлые «люди», и при помощи, откровенно сознаюсь, весьма первобытныхъ вычислений, цѣль которыхъ была доказать себѣ, что изъ двухъ нулей не можетъ произойти ребенокъ, и что для появленія его на свѣтъ необходимы хотя какія-нибудь отецъ-и-матере-образныя дробы,—я, при помощи сложения и дѣленія, вычислилъ, что на каждаго изъ 700 человекъ дѣтей въ среднемъ выводъ приходится не 0 и 0, а (принимая во вниманіе всю сумму единицъ, составляющихъ то, что называется «обществомъ») все-таки нѣкоторая дробь отцовскаго и материнскаго элемента. Естественно, во мнѣ родилось желаніе разыскать то существо въ-явѣ и въ-живѣ, которое можетъ удѣлать на выполнение материнскаго дѣла только одну сотую часть (таково было мое вычисленіе) своего существованія. И гдѣ же остальные девяносто девять частей челоѣка, матери, женщины?

Нисколько не защищаясь противъ могущихъ быть упрековъ со стороны читателей въ недостаткахъ сдѣланныхъ мною вычисленій, я долженъ сказать однако, что лично во мнѣ эти вычисленія выразились въ весьма опредѣленномъ и рѣшительномъ поступкѣ. Въ первый же прїездъ мой въ Петербургъ я, подъ влияніемъ всевозможныхъ соображеній, которыхъ теперь не могу даже припомнить хорошо, прямо съ вокзала велѣлъ извозчику ѣхать въ воспитательный домъ; можетъ быть, отчасти причиною этого было и то обстоятельство, что нашъ деревенскій поѣздъ приходилъ раньше всѣхъ другихъ поѣздовъ, когда надъ Петербургомъ лежить еще тьма зимней ночи, когда весь Петербургъ спитъ и когда только-что начинаютъ открываться булочные и вообще когда негдѣ приткнуться, чтобъ напиться чаю, или же не къ кому захватить, чтобы не разбудить утомленного петербуржца и не побеспокоить его. Какъ бы то ни было, но я думаю — перевѣсъ въ моихъ поступкахъ брало не столько нежеланіе беспокоить моихъ знакомыхъ, сколько опять-таки увлеченіе многосодержательностью статистическихъ цифръ, овладѣвшихъ въ послѣднее время всѣмъ моимъ вниманіемъ. Полагая, что послѣднее влияніе было во мнѣ преобладающимъ, и говорю это на томъ основаніи, что сторожъ, къ которому меня подвезъ извозчикъ и который стоялъ около того мѣста воспитательнаго дома, гдѣ идетъ «продажа картъ», долгое время слушалъ мои вопросы и разглагольствія какъ бы въ какомъ-то недоумѣніи и наконецъ повидимому самъ заразился моею статистическою терминологіей. Какъ-бы въ подражаніе моему специально-статистическому языку, онъ сталъ разговаривать со мною тоже какими-то странными и также какъ бы научнымъ языкомъ.

— Рождаемость? въ недоумѣніи говорилъ онъ, какъ бы приходя въ себя отъ моихъ многосложныхъ вопросовъ.—Рождаемость.. это съ Мойки вамъ надо захватить.. Придется объѣзжать по Невскому и оттуда, отъ мосту, по лѣвой рукѣ... Тамъ идетъ эта самая... напимѣръ рождаемая прино-

ска. Изъ тѣхъ воротъ съ уткой и утятами... Тула бабы волокутъ свое народженіе, съ Мойки. А въ наши ворота идетъ уже выпускъ—кое въ деревню, а кое на гигиенъ-станцію.

— Какая же это гигиенъ-станція?

— А Преображенка!.. Какъ-же? Какъ пойдете по Гончарной и будетъ улица въ концѣ, къ Казачьему плацу — и тутъ сейчасъ на лѣвой рукѣ гигиенъ-станецъ. Для очистки воздуха. Вентиляціи. Потому Петербургъ—не деревня... Тамъ дай Богъ въ годъ два-три покойника, а вѣдь въ Петербургѣ кажинный Божій день народу намретъ какъ снѣгу съ подворотни навѣтъ. Одного нашего брата-мужика, мастерового, навалить въ сутки тьма-тьму-шая. Держать мертвечины долго негодится—вотъ ее изъ всѣхъ мѣстъ—изъ больницъ изъ всякихъ — прямо на гигиенъ-станецъ, а тамъ въ вагонъ, а тамъ на Преображенку, за городъ! Гигиенъ называется все одно, какъ очистка. Для воздуха. Кабы полиція не дѣлала у насъ хорошую гигиену, у насъ бы въ воспитательномъ мерло не такъ, а теперь все не шибко.

Я находился въ недоумѣніи, не умѣя понять, въ какой степени все то, что говоритъ сторожъ, относится къ разрѣшенію заданной мною себѣ задачи? Но тотъ же сторожъ вывелъ меня изъ затрудненія.

— Да вотъ и сегодня ужъ вывозка была младенцамъ на гигиенъ-станецъ, а часу въ девятомъ ихъ ужъ по машинѣ отправятъ. А ежели вамъ насчетъ рождаемаго, напимѣръ, такъ бабы шлеются туда съ Мойки... Это ужъ къ Полицейскому мосту надо объѣзжать дѣлать.

— Ну, спасибо! сказалъ я, спѣшно сѣвъ опять на того-же извозчика и торопливо сказалъ ему:

— Поѣзжай въ Гончарную поскорѣй!

Ключонка ночного извозчика, на которой я ѣхалъ, дѣлая второй длинный конецъ по направленію къ тому же Николаевскому вокзалу, съ половины дороги пошла чрезвычайно тихо, хотя извозчикъ ее и стегалъ довольно исправно. Впрочемъ, судя по тому, что темнота еще довольно густо лежала на землѣ, можно было думать, что время еще раннее. Знаменская площадь была совершенно пуста и только у рельсовъ конно-железной дороги видѣлась капельная фигурка гимназиста съ ранцемъ на спинѣ: онъ, проживающій съ родителями на Пескахъ, ждалъ конки, чтобы поѣхать на Васильевскій островъ въ гимназію; крошечный челоѣчекъ, не доспавъ, всталъ въ шесть часовъ утра и воротится домой никакъ не ранѣе шести часовъ вечера и потомъ еще уроки до одиннадцати. Жутко было какъ-то среди этой тьмы и холода видѣть эту дѣтскую фигурку, изнуряющую свои младенческие годы навѣрное ради куска хлѣба въ будущемъ — и раздумывая объ этомъ, я не замѣтилъ, что лошадь извозчика уже не бѣжитъ, не пытается даже бѣжать, а только постоянно вертитъ хвостомъ и дергаетъ сани впередъ по верху. Я видѣлъ, что лошадь устала, но не рѣшался понукать извозчика и терпѣливо плелся на немъ по пустынной Гончарной, хотя крайне опа-

саясь, что я не поспѣю на гигиенъ-станецъ до отхода поѣзда.

Вдругъ, равняясь со мною санями, появилась сначала дымящаяся лошадь, потомъ сани,

— Поскорѣй, извозчикъ! Ахъ, извозчикъ, опоздаемъ! услышала я съ лѣвой стороны.

И обернувшись, я увидѣлъ женскую руку въ перчаткѣ (довольно ветхой), которая трогала извозчика въ спину.

— Поѣзжай!.. Скоро отойдетъ поѣздъ! Уже должно быть отошелъ! Ахъ, Боже мой!

— Не беспокойтесь, ничего! хлопнувъ дымящуюся лошадь что есть силы, сказалъ извозчикъ, и я сразу увидѣлъ, что на саняхъ сидитъ та самая «бѣлошвейная мастерица», которую всякій петербуржецъ встрѣчаетъ въ такомъ обиліи среди уличной толпы. Аккуратно одѣтая дѣвушка, а рядомъ съ ней картонка продолговатая, коричневая, съ глянцевитой крышкой.

— Пожалуйста!.. послышалось мнѣ еще разъ, когда, послѣ ошеломляющаго удара, лошадь извозчика сильно рванула и сразу обогнала насъ.

— Поспѣемъ! едва слышно донеслись слова извозчика, сопровождаемые новымъ ударомъ, огласившимъ какъ выстрѣлъ пустынную Гончарную.

Извозчикъ обогналъ насъ. Я едва видѣлъ бѣлошвейку, но и видѣнаго было достаточно. Чтобы знать, что она въ величайшемъ безпокойствѣ. Она, сидя на одномъ мѣстѣ, была въ какомъ-то непрерывномъ волненіи, и рука ея поминутно прикасалась къ плечу извозчика.

Извозчикъ дралъ свою клячу, высоко замахиваясь кнутомъ, даже поднимался во весь ростъ и махалъ въ воздухѣ концами возжей.

— Пошелъ! Поѣзжай скорѣй! закричалъ и я моему извозчику. — Опоздаемъ!

Я былъ вполне увѣренъ, что бѣлошвейка ѣдетъ на «гигиенъ-станецъ», хотя присутствіе коробки съ какимъ-нибудь нарядомъ смущало меня. Можетъ быть, она везетъ нарядъ какой-нибудь именинницѣ и спѣшитъ такъ рано? Но, не спуская съ обогнавшей меня дѣвушки глазъ, я увидѣлъ, что извозчикъ ея поворачиваетъ съ Гончарной направо и именно туда, гдѣ должна быть Преображенка, и что дѣвушка даже приподнялась на извозчикѣ, что она, кажется, даже пикаетъ его въ спину, что лошадь уже скачетъ всеми четырьмя ногами сразу, осыпаясь непрерывными ударами.

— Пошелъ! закричалъ я, какъ только могъ. — Прибавляю! Пошелъ во всю мочь!

Извозчикъ, чувствуя что-то небывалое, также пришелъ въ возбужденное состояніе и также принялся «лупить» свою клячку что было мочи. Но трудно было «разжечь» несчастную, утомленную ночью ѣздой скотину, и она хотя и начала такъ же, какъ лошадь обогнавшая насъ извозчика, прыгать всеми четырьмя ногами, но надлежащаго успѣха отъ всѣхъ этихъ стараній не получалось, и мы, при поворотѣ съ Гончарной къ Казачьему плацу, встрѣтили извозника, который везъ бѣлошвейку, уже порожнякомъ. Онъ ѣхалъ медленно, весь въ клубахъ пара, исходящаго отъ лошади.

— Опоздали? почему-то впопыхахъ воскликнулъ мой возница, неустанно нахлестывая клячу.

— Первый звонокъ быть! не спѣша отвѣтилъ извозчикъ, собираясь закурить папироску. — Пожалуй опоздаете...

Это извѣстіе заставило моего возницу сдѣлать какое-то невозможное усиліе — и руками, и горломъ, и кнутомъ — и мы наконецъ-таки очутились около крыльца «Преображенки».

II.

Опрямлетъ вбѣжалъ я въ этотъ покойничій вокзалъ и сразу натолкнулся на такую сцену: гдѣ-то звенѣлъ желѣзно-дорожный звонокъ, шла какая-то суета, но помѣщеніе было ужъ пусто и только у двери столпилось нѣсколько служащихъ, группой окружившихъ бѣлошвейку. Тутъ были жандармъ, купецъ, артельщики въ фартукахъ и какіе-то люди — и все это громко говорило, въ то время, когда бѣлошвейка, сидя на скамейкѣ рядомъ со своимъ коробомъ, заливалась горючими слезами. Группа народа, толкавшаяся около нея, одинъ передъ другимъ старались въ чемъ-то убѣдить ее, и въ тонѣ разговаривающихъ была слышна сочувственная нота.

— Ахъ, Боже мой! Ахъ, Боже мой! Неужели я не увижу его? Мальчикъ мой!.. облитая слезами въ три ручья, захлебываясь ими, хрипло шептала «аккуратная» фигурка бѣлошвейки.

— Сударыня! ничего теперь невозможно! убѣдительнымъ тономъ говорилъ артельщикъ.

— У меня есть квитанція! поднимая мокрое лицо на артельщика и захлебываясь словами, говорила она. — Вотъ, вѣдь я говорю... есть!

Въ рукахъ ея видѣлась какая-то бумажка.

— Эта квитанція не можетъ способствовать!..

— Вѣдь это на моего мальчика!

— Оно точно! Дѣйствительно на мальчика вашего — только-что не такіе номера...

— Мой мальчикъ! Но вѣдь это его номеръ?

— Это нѣкій номеръ, вѣрно! Только что это приемная квитанція, значитъ, живого младенца, а здѣсь накладныя мертвецкія... Этотъ номеръ не можетъ подойти!

— И напрасно вы изволите беспокоиться! прибавилъ другой сочувствовавшій горю человѣкъ. Окончательно по этой квитанціи покойника не разыскать. На живого одинъ номеръ, а на мертвого другой... Который номеръ? Позвольте?

Бѣлошвейка рыдала въ платокъ, но квитанцію дала все-таки.

— Четыреста восемьдесятъ одинъ. Ну, онъ тамъ и обозначенъ умершимъ, а въ приемѣ у него можетъ двадцать девятый или какой тамъ... И окончательно оставьте! Господь прибралъ — что-жъ? Кабы ежли въ покойничьей были...

— Неужели я не увижу? Господи!.. Дайте мнѣ эту квитанцію! Можетъ быть, я увижу... Тамъ еще поѣздъ, пассажирскій.

Раздался третій звонокъ.

— Ахъ, милый мой!.. Уйдетъ!.. Нѣтъ, я побѣгу на вокзалъ!..

Она быстро вскочила съ лавки, схватила картонку, уронила ее и, не смотря на самыя задушевные доказательства, что ничего она не добьется, быстро побѣжала, пробиваясь сквозь толпу. Я схватилъ ее коробку и побѣжалъ вслѣдъ за ней, а за нами высыпала и вся толпа.

— А ты, коли рождаешь ребенка, такъ ты его не бросай, какъ щенка! вдругъ, какъ обухомъ по лбу, громко и отчетливо проговорилъ какой-то изъ слушателей, видошъ лавочникъ.

Бѣдная бѣлошвейка остановилась, и хотя она и была вся измучена и лицо ея опухло отъ слезъ, — въ ней проснулася на минуту бойкость «бѣлошвейки», которая иногда вынуждена давать дуракамъ сдачи.

— Послушайте! смѣло сказала она, останавливаясь. — Вы какъ смѣете говорить дерзости?

— Чего бормочешь! прикрикнули на него нѣкоторые изъ артельщиковъ, — нашелъ время галдѣть!

— Да, настойчиво болталъ правоучитель. — Коли родишь, такъ не бросай! А то только бы хвостомъ повертѣть? Нѣтъ, шалишь! Вотъ и плачь, матушка, ничего!

— Перестань, дуракъ! закричали сочувствующіе бѣдной женщины люди.

Дуракъ не пересталъ бормотать, и это бормотанье какъ будто приковало ноги дѣвушки къ землѣ: она нетрогалась съ мѣста и гнѣвно смотрѣла на удаляющагося дурака.

— Пойдемте! сказалъ я. — Можетъ быть, поѣздъ еще не ушелъ.

Она пошла, но слова нежданнаго дурака очевидно ошеломили ее, и она, сдѣлавъ два-три шага быстрыхъ и стремительныхъ, вдругъ замедлила походку и, продолжая рыдать, говорила гнѣвно и медленно:

— Скверный! Чтобъ я бросила ребенка... Что я, собака? Я бросила! Когда мнѣ кормить нечѣмъ? Чѣмъ я буду кормить?

Опять градомъ льются ея слезы, и мы быстро идемъ впередъ. И вдругъ опять остановка.

— Кабы у меня были родные—или кто нибудь на свѣтѣ... У меня никого нѣтъ! Я сирота! Каждый годъ у насъ родитъ кухарка и всѣ ребята живы... Девять рублей получаетъ, платитъ въ деревню... И всѣ живы... А я?

Горькія слезы.

— ...Я еще и въ мастерицы не вышла... Скверный какой!.. Я бы его нашла потомъ! Изъ въ деревню отдаютъ... Бросила ребенка! Подлецъ этакой! Я бы нашла его...

— Пойдемте, пойдемте пожалуйста! говорилъ я. Она опять побѣжала и опять остановилась:

— Я одна кругомъ... Онъ тоже копѣйки не имѣетъ... ученикъ... Меня съ шести лѣтъ мучаютъ работы... У меня даже своего лоскута нѣтъ... Вѣдь за нихъ казна платитъ, какъ же мнѣ быть?.. Я бы ужъ нашла его!.. У меня у самой молода было ужасть! Двухъ бы покормила! дуракъ эдакой не-

вѣжа! Вся рубашка молокомъ-то... Чѣмъ я виновата?.. всѣмъ можно родить, а мнѣ нельзя? Гадкій какой дуракъ, безсофѣстный!.. Теперь я не найду моего мальчишка!.. Ахъ, милый мой! Голубчикъ мой! Пойдемте ради Бога скорѣе!

До самого вокзала она неслася какъ вѣтеръ и платокъ поминутно мелькалъ около ея лица.

— Опоздали? впопыхахъ спросили мы у тарина въ буфетѣ, сказавъ, зачѣмъ мы пришли.

— Да, проговорилъ онъ, поглядѣвъ на круглые часы:—сейчасъ уйдетъ!

— Что-жъ? сказалъ я, теперь ужъ право нечего!..

Она стояла неподвижно. Я взялъ ее подъ локоть, привелъ къ скамейкѣ и посадилъ. Она отвернулась отъ меня, какъ-то перевѣсилась черезъ ручку деревяннаго дивана и молча, не говоря ни слова, предалась своему безграничному горю. Туго застегнутый, «аккуратный» хозяйскій дипломатъ дрожалъ подъ истерическимъ дрожаніемъ всего ея тѣла.

— Голубчикъ! чуть-чуть шептала она. — Прощай! Прощай, ангельчикъ мой!

И будто поцѣлуи слышались тихіе...

Я сидѣлъ около нея недвижно и боялсядохнуть.

III.

Помню, что она ушла съ опухшими лицомъ, но не забыла задержать его кусочкомъ вуальки и вообще постаралась принять, насколько въ ней хватало силы, обычный видъ бѣлошвейки, опять типъ той самой, которую всякій видитъ въ толпѣ съ коробкой въ рукахъ.

— Ой, сказала она сильнымъ шопотомъ, взглянувъ на часы—одиннадцатый! Теперь полковника меня съѣстъ! Ужъ давно надо было быть! Ахъ, Боже мой!..

Толпа, схлынувшая съ почтового поѣзда, поглотила ее «фигурку», ставшую опять «аккуратной»... Я просидѣлъ еще довольно долго, не смѣлъ тронуться съ мѣста подлѣ впечатлѣніемъ чего то ужаснаго. Наконецъ я всталъ со скамейки и пошелъ.

— Господинъ! остановилъ меня сторожъ съ блухой. Вотъ — бумажку обронили!

Я взялъ бумажку: это была квитанція на принятіе ребенка бѣлошвейки.

А вѣдь она какъ цѣловала эту квитанцію-то! И теперь у нея ничего не осталось. Она опять должна девянносто девять частей жизни посвятить работѣ на хозяйку, заботамъ о полковницѣ, которая «выходитъ изъ себя», если на ней дурно «сидитъ», огорченью за неуспѣхъ этихъ полковницъ изъ-за туалета, скорби хозяйки о недостаткѣ средствъ на игру въ карты,—и только сотую часть своему материнскому дѣлу, чувству, обязанности.

Такъ вотъ какія иногда многосложныя вещи таятъ въ статистическихъ дробяхъ! Думаешь, думаешь надъ этими колонками, дѣлаешь разныя вычисленія, а нежданная слеза возьметъ да все и запачкаетъ!

III. Дополненіе къ разсказу «Квитанція».

I.

Квитанція, оставшаяся въ моихъ рукахъ послѣ неожиданной встрѣчи съ бѣлошвейкой, въ такой степени приковала къ себѣ мое вниманіе, что я до сихъ поръ не могу еще перейти къ оживленію иныхъ статистическихъ цифръ и не могу оторваться отъ размышленія объ этихъ крупнаго и мелкаго размѣра дробяхъ, кишащихъ въ живой жизни кругомъ меня въ несмѣтномъ множествѣ. Быть дробью, потерять самое право думать о своемъ существованіи, какъ о чемъ-то напоминающемъ «цѣлое»—удѣлъ всякаго живого существа въ строй современной купонной жизни, и вотъ почему такая прискоблѣнная дробь, какъ одна сотая матери, выработавшая всѣмъ строемъ этой жизни, сосредоточила мое вниманіе именно на коренныхъ особенностяхъ этого строя. Строй народной, трудовой жизни тѣмъ и отличается отъ купоннаго, т. е. труженническаго, батрацкаго, изнуряющаго личность человѣческую, что въ немъ человѣкъ всѣми возможными способами добивается права чувствовать себя цѣлымъ числомъ, а не дробью, жить на свѣтѣ, не покупая чужого труда и не продавая своего, т. е. жить, сохраняя свою совѣсть и удовлетворяя полнотѣ ея потребностей.

Отличнымъ примѣромъ упорства отстоять трудовую жизнь противъ «купонной» можетъ служить весьма любопытная статья г. Рейнгардта, о которой весьма не мѣшаетъ сказать нѣсколько подробнѣе потому именно, что въ ней разсказывается о крестьянскихъ, привыкшихъ къ самостоятельной жизни, женщинахъ и дѣвушкахъ, не желавшихъ добровольно превращаться въ дробь и сотыя части.

Статья эта изображаетъ *«Движій бунтъ на Уралѣ въ 1839 г.»* и объясняетъ возникшее волненіе такъ: «промысловыя работы (какъ и вообще фабричныя, поденныя работы «изъ-за хлѣба») должны были наводить ужасъ на всѣхъ честныхъ женщинъ, передъ глазами которыхъ прошли несчастныя опозоренныя жертвы съ ихъ навѣки загубленной жизнью... Матеріальныя выгоды и веселая жизнь внушали глубокое отвращеніе этимъ простымъ, но честнымъ натурамъ, которыя предпочитали тихую, хотя и бѣдную жизнь въ своей семьѣ...»

И во имя этого уваженія къ своей чести и къ своему человѣческому достоинству—«женщины въ своей энергической оппозиціи заводууправленію дѣйствовали вполне самостоятельно, безъ всякой активной поддержки со стороны мужчинъ. Право, за которое боролись онѣ, заключалось въ охраненіи нравственной чистоты, въ поддержаніи достоинствъ честной женщины, что возможно было для нихъ только въ семейной жизни...», т. е. въ трудовой жизни своего хозяйства.

Бунтъ крестьянскихъ дѣвицъ, приписанныхъ къ горнымъ заводамъ, начался вслѣдствіе слуха о томъ, что полученъ указъ, запрещающій женскій

промысловый трудъ. Собственно говоря, никакого закона о трудѣ женщинъ не существовало: заводовладѣльцы изъ дворянъ владѣли крестьянами на основаніи крѣпостного права и распоряжались по этому своимъ народомъ «какъ имъ было угодно», т. е. одинаково пользовались трудомъ какъ мужчинъ, такъ и женщинъ,—а съ нихъ, заводовладѣльцевъ-дворянъ, «взяли примѣръ» и владѣльцы заводовъ, принадлежавшіе къ купеческому сословию, имѣвшие право только на мужской трудъ приписныхъ крестьянъ. Эксплуатировать трудъ женщинъ они по закону «не имѣли никакого права», и чтобы добиться этого права, обратились въ тридцатыхъ годахъ къ министру финансовъ съ ходатайствомъ о разрѣшеніи употреблять женщинъ въ работы *за надлежащее вознагражденіе*. Министръ финансовъ удовлетворилъ ходатайство, причемъ установилъ на этотъ предметъ опредѣленныя правила*.

Такимъ образомъ «вознагражденіе», расчетъ на «нужду», явились соблазнами женщинъ и дѣвушекъ, и «рубль» сталъ отрывать ихъ отъ дома и семьи. Но, не смотря на силу рубля, народное хозяйство было еще такъ прочно, что даже десятилѣтній опытъ развращенія и разрушенія семьи не принесъ никакого существеннаго результата. Едва въ 1839 году прошелъ слухъ, что существуетъ указъ, запрещающій женщинамъ поденную работу, какъ мгновенно поднялось все женское населеніе, заявляя громкій протестъ противъ «матеріальныхъ выгодъ», которыми ихъ хотѣли оторвать отъ «невыгодной» жизни въ бѣдности своего дома.

«1-го октября 1839 г. дѣвушки должны были собраться на работы въ полномъ составѣ, т. е. 212 человѣкъ, но ихъ явилось только 12, прочія же остались дома, объявивъ заводскимъ служащимъ рѣшительнымъ тономъ, что онѣ *никогда* не будутъ работать на прискахъ. А ранѣе этого тѣ же дѣвушки отказались и отъ полевыхъ работъ».

Объ этомъ сопротивленіи было донесено хозяевамъ заводовъ въ такомъ видѣ:

«По распоряженію конторы, мы производили высылку на промысла *отъвозъ женскаго пола*, при каковомъ нарядѣ за однихъ матери, за другихъ отцы, а другія сами идти на работу отказались, связываютъ... что женскому полу въ работѣ находиться не подлежитъ: отчего довольное количество препятствуютъ—не идутъ на работы».

Многіе матери и отцы «категорически и громогласно» объявили, что «дочерей своихъ въ работы не пустятъ». Такое упорство заставило заводское начальство потребовать, откуда слѣдуетъ, «энергическихъ мѣръ». «Желая предупредить—пишетъ начальство—развитіе духа неповиновенія, главное правленіе обязанностью своею постановляетъ покорно просить ваше благородіе, по полученіи сего, отправиться безъ промедленія въ К—ій заводъ и оказавшійся духъ неповиновенія строгими и быстрыми мѣрами пресѣчь, а для содѣйствія вамъ теперь же отправляется товарищъ управляющаго, артиллеріи поручикъ Петровъ».

«Его благородіе» и господинъ Петровъ пріѣхали и приняли мѣры—сначала конечно «кроткимъ образомъ» внушивъ о безусловномъ повиновеніи заводскому начальству». Но, увы! «Онѣ же (доносить «его благородіе»), бунтовщицы, не давая словамъ мнимъ вѣроятія, рѣшительно отозвались, что въ работы не пойдутъ до тѣхъ поръ, покада я не объявлю имъ указа, по которому онѣ наряжаются на работу, и не дамъ имъ въ томъ какую-то росписку. На представленіе мое имъ, что требованіе ихъ сумасбродно и обнаруживаетъ одну ихъ дерзость, онѣ оставались въ своемъ упорствѣ...» «Дабы не подать повода къ неповиновенію и прочимъ заводскимъ людямъ, я, руководствуясь (слѣдуютъ статьи XIV т. св. законовъ) о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій, вынужденнымъ нашелся къ приведенію въ повиновеніе дѣвокъ употреблѣть исправительныя полицейскія мѣры, для этого напередъ былъ одну изъ болѣе упорствующихъ изказать розгами, но толпа дѣвокъ сдѣлала при этомъ шумный крикъ: *однакожь, не смотря на это, одна изъ толпы была взята и подвергнута наказанію двумя ударами розогъ.* Эта мѣра имѣла весьма благопріятное дѣйствіе на дѣвокъ, ибо многіе изъ нихъ тотчасъ согласились вступить въ работу...» «За всѣмъ тѣмъ, пять дѣвокъ, а именно: Агафья Гребенщикова, Василиса Быкова, Марья Сосѣкина, Анна Баранова и Наталья Плотникова, остались въ непреклонности, и отъ вступленія въ работы рѣшительно отказались...» «О такомъ неповиновеніи заводскихъ дѣвокъ донося вашему высокопревосходительству, осмѣливаюсь непокорнѣйше просить, не благоугодно ли будетъ приказать къ приведенію въ повиновеніе означенныхъ пяти дѣвокъ употребить надлежащія мѣры» ..

Прошло пятьдесятъ лѣтъ, и то, что не было исполнѣ достигнуто при помощи благопріятныхъ мѣръ, сдѣлалось «само собой», на совершенно другихъ уже основаніяхъ! Теперь заводская жизнь, говорятъ г. Рейнгартъ, «представляетъ много удобовольствій для усердныхъ поклонниковъ Кыприды. На золотыхъ пріискахъ работаетъ много женщинъ и дѣвушекъ, между которыми попадаются очень хорошенкія, даже въ полномъ смыслѣ красавицы. Онѣ (уже) не прихотливы, отличаются большой снисходительностью, такъ что за хорошенкій платокъ, кусокъ ситцу, даже за фунтъ кедровыхъ орѣшекъ готовы подарить своимъ благосклоннымъ вниманіемъ перваго встрѣчаго ловеласа. Вотъ почему (!) *всякій* (!), отправляющійся на промыселъ, запасается *предварительно* (!) платочками, ситцами, въ полной надеждѣ на успѣхъ и конечно почти никогда не ошибается. Успѣхъ очень часто превосходитъ ожиданія!..» «Люди практическіе, опытные, запасаются на этотъ предметъ самыми разнообразными матеріями, потому что брать хотя и много, но все одного и того же качества, бываетъ весьма неудобно, какъ показалъ примѣръ нѣкоего X, который съ любовью къ прекрасному соединялъ аккуратность и расчетливость. Отправляясь на пріиски, онъ

закупилъ на дешевой распродажѣ массу ситца совершенно одинаковаго рисунка... *Черезъ три недѣли* послѣ прібытія его на пріискъ, въ одинъ праздничный день, на мѣстномъ гуляньѣ явились около 60 мѣстныхъ работницъ, одѣтыхъ въ одинаковыя платья, будто по формѣ. Нетрудно было догадаться, что всѣ эти особы втеченіе короткаго времени пользовались вниманіемъ этого господина, что дало поводъ мѣстнымъ шутникамъ (а нешутники что-же?) говорить, что это форма «непремѣнныхъ работницъ» (на основаніи 448 ст. VII т. Горнаго устава о непремѣнныхъ работницахъ). Но какъ ни весела (!) жизнь на промыслахъ, положеніе женщинъ тамъ далеко не пріятно».

Такіе успѣхи растлѣнія нравовъ, повторяю, мы не можемъ приписать въ данномъ случаѣ исключительно какому нибудь несправедливому указу или какому нибудь насильственному мѣропріятію. Теперешнія несчастныя женщины идутъ на свою гибель ужъ безъ участія «благопріятныхъ» мѣръ.

II.

Въ дальнемъ морѣ, на каменной скалѣ, стоитъ гигантская статуя «Свободы». Франція подарила эту статую Америкѣ. На огромномъ пьедесталѣ поставлена величественная фигура женщины съ поднятымъ надъ головою электрическимъ факеломъ. Высоко, чуть не въ облака, подняла эта женщина свой факель; огромный стеклянный фонарь, въ которомъ пламенѣетъ огромный клубокъ электрическаго свѣта, далеко разливаетъ ослѣпительные лучи, пронизывая ихъ широкими размахами туманы, тучи, нависшія надъ землей, стекаясь прямою бѣлою дорогою по бушующимъ волнамъ океана и возносясь въ самую глубину неба. Издалека, за сотни верстъ, видитъ онъ этотъ свѣтъ и править на него свой пароходъ, спасаетъ свой товаръ! Но вѣдь надо *знать*, какъ править, и надо знать, зачѣмъ и кто и какъ *это* свѣтитъ. А вотъ бѣдныя птицы не знаютъ! Застыгнувъ бурей, дождемъ, снѣгомъ, онѣ видятъ этотъ благодатный свѣтъ, думаютъ, что тутъ жильѣ, что тутъ тепло, массами мчатся сюда и... на смерть разбиваются о гигантскій фонарь, воздвигнутый во имя свободы и братства. Пятнадцать тысячъ птичьихъ труповъ было найдено у подножія этого гигантскаго фонаря послѣ одной бурной и черной ночи! Бѣдныя птицы!

Вотъ и нашъ крестьянскій человѣкъ, какого-бы пола ни былъ, «обѣими руками» хватается не только за кусокъ «купона», а, какъ мы видимъ, за кусокъ ситчика и даже за горсть орѣховъ. Мужчина-крестьянинъ уже думаетъ, что ему будетъ «потеплѣе» въ трактирѣ, за бутылкой пива, чѣмъ въ холодной избѣ, да и крестьянскій кажется также потеплѣе на фабрикѣ и въ пивной, и повеселѣе отъ органа и отъ ситчика съ веселымъ рисункомъ. Но вѣдь чтобы все это поправилось, стало тянуть къ себѣ, чтобы все это стало казаться свѣтомъ, тепломъ, приближеніемъ, какъ

несчастнымъ птицамъ казался мертвый свѣтъ фонаря, нужно, чтобы дома стало холодно. чтобы негдѣ было укрыться отъ стужи, чтобы было страшно отъ безпріютности и одиночества.

До какой степени много одиѣхъ только женщинъ отрываютъ «купонныя» дѣла отъ собственного дома и семьи — мнѣ между прочимъ пришлось мелькомъ видѣть въ Ростовѣ, во время поѣздки по Дону *). Здѣсь одно табачное, папиросное дѣло отрываетъ отъ земледѣльческихъ хозяйствъ буквально тысячи молодыхъ женскихъ силъ. Кромѣ пяти тысячъ (никакъ не менѣе) папиросницъ, работающихъ на ростовскихъ фабрикахъ, ихъ великое множество работаетъ и на табачныхъ плантаціяхъ. Кромѣ того въ томъ же Ростовѣ цѣлыя тысячи женщинъ и дѣвицъ занимаются мойкою шерсти, и всѣ эти тысячи буквально не имѣютъ права быть матерями. Онѣ конечно не могутъ сопротивляться обязанностямъ, налагаемымъ на нихъ поломъ; но онѣ должны бросать дѣтей, должны отдѣляться отъ нихъ во что бы-то ни стало, — иначе прекратится шерстяное производство, и у насъ не будетъ папиросъ Асмолова, Кушнарера, крученыхъ, гвардейскихъ и прочихъ. Не знаю и не имѣю подъ руками никакихъ точныхъ свѣдѣній о количествѣ дѣтей, которыхъ обязаны бросить здѣшнія рабочія женщины, но мнѣ передавалъ одинъ изъ гласныхъ ростовской думы, что послѣдняя уплачиваетъ въ Новочеркасскій воспитательный домъ по 80 р. въ годъ за каждого брошеннаго ростовскими фабриками ребенка и препровождаетъ такихъ дѣтей въ Новочеркасскъ. Существуютъ будто-бы агенты, которые слѣдятъ за дѣтми, выбрасываемыми фабриками и заводами, разыскиваютъ и увозятъ такихъ, обреченныхъ быть брошенными, дѣтей въ Новочеркасскъ.

Если-бы было можно сосчитать все количество дѣтей, которыя въ данную минуту должны оставаться безъ материнскаго питанія и ухода, то я не сомнѣваюсь, что цифра вышла бы весьма внушительная. Чтобы судить хоть приблизительно о громадности этой цифры, я настоятельно рекомендую читателю обратить вниманіе на брошюру Н. Михайлова **), касающуюся общей характеристики воспитательныхъ домовъ только Петербурга и Москвы. Оказывается, что только въ двухъ воспитательныхъ домахъ въ Петербургѣ и Москвѣ ежегодно поступаетъ двадцать шесть тысячъ дѣтей, притомъ на Петербургъ приходится 9000, а на Москву — семнадцать тысячъ дѣтей! При этомъ замѣчается слѣдующее явленіе: «вълѣдствіе центрального положенія Москвы и возможности быстро доставлять дѣтей по желѣзнымъ дорогамъ, въ послѣдніе годы замѣчается все болѣе пріливъ дѣтей изъ провинціи». Не надо быть пророкомъ, чтобы съ точностью опредѣлить всѣ провинціальныя мѣстности, откуда прибываетъ такая масса бро-

совыхъ дѣтишекъ: это фабричныя подмосковныя районы.

Въ доказательство того, что женскій фабричный трудъ ставитъ работницу въ необходимость непремѣнно оставлять, покидать своего ребенка, мы можемъ привести слѣдующій отрывокъ изъ прекрасной статьи г. Сидорова о «Раменской фабрикѣ», одной изъ самыхъ образцовыхъ во всемъ подмосковномъ районѣ. Фабрика эта дѣлаетъ для рабочихъ все, что только можетъ сдѣлать лучшаго, — и вотъ въ какомъ положеніи находятся тамъ женщины:

«Въ шести корпусахъ устроены дѣтскія, такъ называемыя ясли. Цѣль ихъ та, чтобы, уходя на работу, матери могли оставлять своихъ маленькихъ дѣтей подъ надлежащимъ присмотромъ. Раменская фабрика, кажется, единственная, въ которой до нѣкоторой степени постарались улучшить положеніе беременныхъ женщинъ и матерей, кормящихъ грудью дѣтей. Организованы дѣтскія слѣдующимъ образомъ: въ каждой ясли нѣсколько нянекъ, отъ 2-хъ до 6-ти, сообразно количеству приносимыхъ дѣтей; няньки получаютъ по 6 р. въ мѣсяцъ. Надъ няньками есть смотрительница, получающая около 15 р. въ мѣсяцъ. Приносить дѣтей въ дѣтскую, устроенную при корпусѣ, можетъ каждая работница, живущая въ корпусѣ, не испрашивая на это никакого и ни у кого особаго разрѣшенія. Для прокорма дѣтей отпускается безвозмездно молоко въ достаточномъ количествѣ. Въ каждую дѣтскую проведены краны съ холодной и горячей водой. Дѣтскія снабжены въ надлежащемъ количествѣ постельнымъ бѣльемъ. Но изъ 211 дѣтей до 4-хъ-лѣтняго возраста приносилось въ дѣтскія всего 30—35 дѣтей, т. е. всего почти четверть только грудныхъ дѣтей, что указываетъ на нѣкоторое равнодушіе со стороны рабочихъ къ устройству дѣтскихъ. Вдумавшись же въ ихъ устройство, мы поймемъ это равнодушіе... Первое неудобство матери-работницы отдавать ребенка въ дѣтскую то, что тамъ она можетъ держать его только въ то время, когда сама занята работой на фабрикѣ. Ясное дѣло, что няньки для своей свободы всѣ мѣры принимаютъ къ тому, чтобы ввѣренныя имъ дѣти спали: «чѣмъ бы дитя ни тѣшилось, лишь бы не плакало», а что же лучше утрачиваетъ плачъ, какъ не сонъ? И вотъ, усталая отъ шестичасовой работы, мать приходитъ домой, а ребенокъ уже не спитъ, спать и ей не даетъ. Возится она съ нимъ, возится все недолгое свободное время, а тамъ опять станки, веретено... а ребенокъ въ это время опять спитъ, чтобы въ слѣдующій прожежутокъ вновь терзать свою усталую мать. Поставьте себя на мѣсто этой матери, и вы поймете, что она станетъ искать исхода другого, кромѣ дѣтской. Такой исходъ есть — няньки-дѣвочки или дряхлыя старушонки: ѣдятъ онѣ мало, да и готовы служить почти изъ за прокорма. Въ 57% изслѣдованныхъ г. Сидоровымъ семействъ именно и прибѣгли къ этому средству: въ нѣкоторыхъ семьяхъ есть свои члены семейства, неспособные къ другому труду, кромѣ нянчанья; несутъ же своихъ

*) «Письма съ дороги», IX.

**) Общая характеристика дѣятельности нашихъ воспитательныхъ домовъ. Врача Н. Ф. Михайлова. Москва 1887 г. (Изъ трудовъ 2-го съѣзда Русскихъ Врачей).

дѣтей въ дѣтскую *только нужда безысходная, голъ пережатая*. Вторая причина—прежде ея не было—не достаточно строгій присмотръ за дѣтскими».

«На Раменской фабрикѣ беременныя женщины отпускаются за нѣкоторое время до родовъ съ работы, если онѣ того пожелаютъ; кормящія же грудью дѣтей по два раза въ сутки отпускаются для кормленія дѣтей. Въ недавнемъ прошломъ бабушки-повитухи не мало изувѣчили дѣтей и замучили роженницъ; но нѣсколько лѣтъ (5) на фабрикѣ устроенъ родильный пріютъ, куда могутъ придти всѣ нуждающіяся въ немъ. Акушерка получаетъ 30 р. въ мѣсяцъ, трудъ у нея громаденъ: въ прошломъ году напр. было въ пріютѣ 308 роженій! Помѣщеніе родильнаго пріюта крайне мизерно—двѣ маленькія комнаты и кухня составляютъ и помѣщеніе пріюта, и квартиру акушерки. При такой громадной рождаемости, совершающейся въ пріютѣ, на каковую указываетъ вышепоказанная цифра, ясно, что роженца должна находиться въ крайне неудобномъ положеніи, какъ во время родовъ, такъ въ особенности должна вести себя не такъ, какъ слѣдуетъ, тотчасъ же послѣ родовъ. *Имена роженницъ остаются въ секретѣ*, или принимаются во всякомъ случаѣ довольно энергичныя мѣры сохранять ихъ въ секретѣ. Вълѣдствіе такого порядка, въ родильный пріютъ привлекаются въ значительномъ количествѣ женщины, рождающія незаконныхъ дѣтей. Этимъ средствомъ обезпечивается большинство несчастныхъ женщинъ, принужденныхъ, скрывая свои фзіологическія отправления, обращаться съ своими родами гдѣ-нибудь въ закоулкѣ, къ какой-либо повитухѣ. Незаконнорожденные дѣти въ Троице-Раменскомъ приходѣ не регистрируются, ибо близость Москвы даетъ возможность *легко сбывать* своихъ дѣтей въ Воспитательный домъ. Поэтому, къ сожалѣнію, мы, рассматривая метрическія данныя Раменскаго прихода, совершенно не имѣемъ этихъ цифръ».

Этотъ «легкій» сбытъ дѣтей въ Москву производится самымъ безхитростнымъ образомъ. Недавно въ *Русскихъ Вѣдомостяхъ* было напечатано о проѣздѣ по желѣзной дорогѣ бабы, которая везла въ Москву въ двухъ плетеныхъ корзинахъ цѣлыя кучи «секретныхъ» ребятешекъ, которые плакали и кричали въ этихъ корзинахъ какъ цыплята, отправляемые курятниками въ Охотный рядъ. Нельзя останавливать производства! Да и конкуренціи слѣдовательно нельзя задерживать! Прямо въ корзину, въ Москву, въ общую ссылку дѣтей.

Я однажды самъ ѣхалъ со старухой-крестьянкой, которая везла въ мѣшкѣ подъ екамейкой въ вагонѣ 3 класса цѣлую кучу мертвыхъ дѣтей. Она ѣхала къ доктору просить свидѣтельство на погребеніе. Въ то дѣло свирѣцествовала какая-то эпидемія и по обыкновенію стояла рабочая пора. Бабы заняты были на работѣ и имъ самимъ нельзя было везти взятыхъ ими и умершихъ питомцевъ. Вотъ онѣ и сваржили старуху, заглотивъ ей за хлопоты 30 коп., а она, чтобы начальство дороги не

протестовало противъ ея товара, свалила мертвыхъ дѣтей въ мѣшокъ, засунула его подъ лавку и поѣхала. Вотъ эта (между прочимъ) невозможность тратить много денегъ на перевозку даже по желѣзной дорогѣ служить также доказательствомъ того, что перевозка дѣтей въ столичные воспитательные дома производится изъ такихъ пунктовъ, которые недалеко отстоятъ отъ столицы. Привезти ребенка напр. изъ какой-нибудь деревни Тульской губ., т. е. верстъ за сто отъ Москвы, это значитъ истратить на него столько денегъ, что на нихъ можно его прокормить дома. И слѣдовательно везутъ только изъ ближайшихъ и притомъ фабричныхъ мѣстъ. Въ пользу этого соображенія говорятъ еще и слѣдующее обстоятельство.

Въ брошюрѣ г. Н. Михайлова на стр. 4 сказано, что въ настоящее время новыми правилами въ воспитательныхъ домахъ дозволяется *самимъ матерямъ* вскармливать своихъ дѣтей и на дому до 3-хъ лѣтъ, съ производствомъ такой платы: въ первый годъ 108 руб., во 2-й 72 р. и въ 3-й 36 р. Какъ видите, мѣра чрезвычайно гуманная; но въ отчетѣ о количествѣ дѣтей, взятыхъ собственными ихъ матерями, не показано никакой цифры, а это было бы непремѣнно, еслибы матери, отдающія дѣтей въ воспитательный домъ, могли бы имѣть-бы *право* быть матерями. Въ томъ-то и дѣло, что онѣ бросаютъ дѣтей потому, что ихъ нельзя «отойти» отъ дѣла, отъ станка, отъ папиросы, что ихъ *нельзя* заниматься ребенкомъ ни дома, ни въ воспитательномъ домѣ. Этого не дозволить работницѣ папироса, ситецъ,—словомъ, товаръ! Не будь папиросы, будь просто голая бѣдность—и тогда бы она непремѣнно кормила ребенка. Принимаются также въ воспитательные дома дѣти, и даже законныя, такихъ родителей, которые по бѣдности не могутъ кормить, а потерять не желаютъ. И такихъ бѣдныхъ родителей, не облагодѣтельствованныхъ фабричными станкомъ, оказалось въ Петербургѣ (въ 84 г.) 544 человекъ. Очевидно, такіе родители имѣютъ надежду когда-нибудь сами продолжать воспитаніе своихъ дѣтей. Фабричная женщина, которой нельзя «отойти» отъ своего дѣла, не можетъ рассчитывать на какое-либо иное будущее, кромѣ той-же безпрестанной невозможности «отойти», оторвать рукъ своихъ, и слѣдовательно ни временно, ни тѣмъ менѣе даже втеченіе трехъ лѣтъ, ей невозможно и думать пользоваться правами матери.

И такъ, фабричная женщина, имѣя право хоть и *секретно* (!) родить, матерью не секретной быть не можетъ! Ей надобно, если она хочетъ «пить-ѣсть», свалить ребенка въ корзинку съ другими такими же секретными дѣтьми и отправить ихъ въ Москву. На этомъ материнскія обязанности ея прекращаются. Она получаетъ изъ воспитательнаго дома «квитанцію» и опять становится къ станку. Этимъ исчерпывается все ея материнское дѣло. Но ребенокъ, ухвачшій въ Москву по желѣзной дорогѣ, не такъ просто разстается съ фабрикой и начинаетъ шибко мстить всѣмъ и всему за свое безпомощное положеніе.

Онъ—живой человѣкъ и желаетъ жить. Его необходимо кормить «иоть изъ приличія». И вотъ для двадцати шести тысячъ дѣтей требуется и двадцать шесть тысячъ *кормилицъ*, точно такъ же какъ и на фабрикѣ требовались, вмѣсто родныхъ матерей, нанятые няньки. Такимъ образомъ для этихъ брошенныхъ дѣтей надо, чтобы еще и другія двадцать шесть тысячъ матерей тоже бросили-бы своихъ собственныхъ двадцать шесть тысячъ дѣтей и оставили ихъ также безъ материнскаго молока. Но такого огромнаго количества кормилицъ никогда воспитательные дома двухъ большихъ городовъ, Петербурга и Москвы, не имѣли. Въ 1882 году, 3 апрѣля, говоритъ г. Михайловъ, въ московскомъ воспитательномъ домѣ не доставало 695 кормилицъ и въ среднемъ выводѣ было на каждую кормилицу по 2 ребенка, а у 262—по три ребенка, круглый годъ не доставало 192 кормилицъ.

1884 годъ, замѣчательный неурожаемъ и *закрѣпленіемъ фабрикъ*, не привлекая однако въ воспитательный домъ кормилицъ, «13 апрѣля было 1395 дѣтей, а кормилицъ только 580. Медицинскій отчетъ за это время говоритъ: «дѣти хронически голодаютъ», значительная часть кормилицъ должна была кормить по трое дѣтей».

Кстати обратите вниманіе на этотъ фактъ «закрѣпленія фабрикъ», который, какъ видите, *убивалъ* притокъ кормилицъ въ воспитательный домъ. «Бабы чуть-е тѣхъ бѣдныхъ крестьянскихъ женщинъ, которыхъ гнала бы въ кормилицы нужда, подсказало имъ, что теперь, когда фабрики закрываются, матери волей-неволей, *изъ софисти* будутъ сами кормить своихъ дѣтей, хоть и впроголодь, а секретныхъ будетъ совсѣмъ мало, такъ какъ дѣвки будутъ волей-неволей сидѣть дома... «Незачѣмъ и идти въ Москву!»

Возвратимся однако къ кормилицамъ.

«Ненормальное душевное состояніе кормилицъ, говоритъ г. Михайловъ (стр. 9), которыхъ нѣрѣдко приходится оставлять деревню помимо собственнаго желанія, не можетъ оставаться безъ вліянія на ихъ молоко. Женщина, идущая въ воспитательный домъ, иногда могла только-что потерять своего ребенка и находится подъ впечатлѣніемъ свѣжаго горя. Всѣ эти обстоятельства прямо вліяютъ на здоровье кормилицъ и дѣтей, которыхъ онѣ кормятъ.» Кромѣ истощающаго кормилицу душевнаго гнета, мы видѣли, что недостатокъ въ нихъ вынуждаетъ начальство воспитательнаго дома давать иной кормилицѣ по два и даже по три ребенка, т. е. истощать ее сверхъ всякихъ мѣръ.

Изъ всего этого выходитъ слѣдующее: кормилица, идущая въ воспитательный домъ «изъ нужды» и слѣдовательно матеріально плохо обезпеченная, дома плохо питавшаяся, да удрученная горемъ, да вынужденная кормить двухъ-трехъ, изнуряется впервыхъ сама, между прочимъ и вслѣдствіе различныхъ искусственныхъ способовъ развить молоко (сеledка, двойныя порціи пищи и т. д.), и не питается въ должной степени ни одного изъ брошенныхъ дѣтей, находящихся на ея рукахъ. Смерт-

ность поэтому въ воспитательныхъ домахъ такая: въ Петербургѣ 31%, въ Москвѣ 40%. (Это смертность въ воспитательныхъ домахъ, а не въ деревняхъ.)

Но въ то же время и дѣти кормилицъ мрутъ въ деревняхъ въ неменьшемъ количествѣ, чѣмъ мрутъ изъ питомцы въ воспитательномъ домѣ. «Вереysкое земство попыталось разъ собрать свѣдѣнія о тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ принимаются питомцы, относительно смертности какъ этихъ послѣднихъ, такъ и дѣтей мѣстныхъ жителей». Получились, по словамъ г. Михайлова, *поражающія данныя*. Въ приходахъ, гдѣ отсутствуютъ питомцы, замѣчается приростъ населенія, а *идь были питомцы*, тамъ не только не оказывается прироста, но даже обнаруживалась значительная убыль населенія. Смертность *своихъ* дѣтей шла прогрессивно съ приемомъ питомцевъ въ семью (стр. 18).

Такимъ образомъ «смерть», «изнуреніе», «истощеніе» идутъ отъ язы «купона» во всѣ стороны. 26 тысячъ *секретныхъ* матерей, 26 тысячъ *брошенныхъ* дѣтей, около той же цифры тысячъ матерей, *брошенныхъ* своихъ дѣтей, и еще такое же количество дѣтей, оставленныхъ матерями для воспитательнаго дома!

Но это еще не все.

При распространеніи въ фабричномъ населеніи проституціи и сифилиса, естественно, что въ этихъ десяткахъ тысячъ выброшенныхъ имъ дѣтей небольшое количество такихъ, которыя родятся зараженными этой болѣзью. И вотъ отъ нихъ, этихъ больныхъ дѣтей, заражаются наемныя кормилицы; эти кормилицы, возвращаясь въ деревню, заражаютъ собственныхъ дѣтей, и такимъ образомъ гибельная болѣзнь широко раздвигаетъ предѣлы своего владычества въ народной средѣ.

Не все еще и это!

Бѣдность, которая гонитъ крестьянку-мать въ кормилицы, заставляя ее бросить своего ребенка, чтобы кормить чужого, тоже брошеннаго, въ концѣ концовъ надоумила ее извлекать изъ этихъ дѣтскихъ смертей и несчастій, по крайней мѣрѣ, матеріальную выгоду. Плату кормилицы-воспитательницы получаютъ за дѣтей отъ 1-го до 3-хъ рублей въ мѣсяцъ, сообразно возрасту ребенка. До перваго года платятъ 3 рубля, затѣмъ плата постепенно уменьшается. Многимъ кормилицамъ, съ болѣе меркантильнымъ воззрѣніемъ на дѣло, конечно, невыгодно имѣть ребенка за пониженную плату, поэтому они стараются сбыть подросшаго, т. е. *рублевого* ребенка, и получить взаменъ его помоложе, т. е. *трехрублевого*. То есть сбываютъ подросшаго уже ребенка въ такія семьи, бѣдность которыхъ рада и рублю, а сами берутъ себѣ новыхъ питомцевъ. Такимъ образомъ кромѣ смерти, сифилиса—пришло съ брошеннымъ ребенкомъ въ деревню и безчеловѣчное барышничество людьми, развратъ, которому нѣтъ имени.

Наконецъ не дремлетъ въ этомъ царствѣ смерти и деревенскій столпъ—кулакъ. И онъ прочно и твердо держитъ въ этомъ дѣлѣ свое кулацкое барышническое знамя.

«При выдачѣ денег кормилицамъ существуетъ то неудобство, что онѣ должны сами являться въ воспитательный домъ за получениемъ. Исключенія, когда кормилица можетъ получить плату на мѣстѣ, — весьма рѣдки. Гдѣ же бѣдной женщинѣ, имѣющей кучу своихъ дѣтей и взявшей питомца, пускаться въ Петербургъ или Москву, которые иногда отстоятъ отъ деревни, гдѣ она живетъ, на 100 и болѣе верстъ? Вотъ тутъ-то на помощь бѣдной женщинѣ и является кулакъ. Такъ какъ выдаваемые кормилицамъ на питомцевъ билеты, по которымъ онѣ могутъ получать деньги, представляютъ извѣстную цѣнность, то эти билеты и сдѣлались предметомъ наживы мѣстныхъ ловкихъ людей, которые во-первыхъ получаютъ деньги за кормилицъ по сотнямъ билетовъ, взявъ за это хорошіе проценты, и во-вторыхъ принимаютъ эти билеты въ закладъ. «Мы знаемъ, говоритъ г. Михайловъ, одинъ городъ въ Московской губерніи, гдѣ все почтенное купечество и «уважаемые» кабатчики широко промышляютъ питомническими билетами, принимая ихъ въ залогъ по 10 коп. за каждый мѣсяцъ и отпуская похъ нихъ товаръ. Не рѣдкость встрѣтить въ однихъ рукахъ такихъ цѣпкихъ людей по 300 и по 500 билетовъ».

И такъ, вотъ какія вещи творятъ разные «ситчики» и «папироски» съ женщиной и вокругъ нея, разъ поставивъ ее въ невозможность просто быть хозяйкой своего дома. Но все, что здѣсь сказано, на основаніи брошюры г. Михайлова, положительно *капля въ море* тѣхъ ужасовъ, о которыхъ эта брошюра повѣствуетъ и на размышленіе о которыхъ наводитъ васъ. Обильный матеріалъ, собранный г. Михайловымъ, захватываетъ это темное дѣло нашего строя жизни во всѣхъ отношеніяхъ, и вы, прочитавъ его брошюру, будете удивлены, узнавъ, что все рассказываемое имъ не только еще не *ме все*, но что онъ, «при краткости» срока на рефераты, не *могъ нарисовать картину во всей полнотѣ*. Со временемъ авторъ общается сдѣлать это, т. е. представить темное дѣло во всѣхъ подробностяхъ. Но для насъ, простыхъ читателей, должно быть вполне довольно и того, что и теперь намъ могъ сообщить г. Михайловъ, чтобы хоть на мгновение задуматься надъ несомнѣнно видимымъ нами зломъ, и просто по человѣчески опечалиться тѣми печальми, которыя сейчасъ прошли передъ нашими глазами.

Зло это—дѣло «рукъ человѣческихъ», но неужели тѣ же руки человѣческія не могутъ быть направлены и на его прекращеніе?

IV.

А попытки къ этому иногда уже начинаютъ встрѣчаться и въ наше трудное время. Около двухъ лѣтъ среди газетныхъ объявленій стала появляться публикація о «саратовской сарпинкѣ». Вотъ объ этой-то сарпинкѣ мнѣ и пришлось услышать нынѣшнимъ лѣтомъ, во время поѣздки по Волгѣ, слѣдующія свѣдѣнія, которыя сообщилъ мнѣ одинъ изъ саратовскихъ мануфактурныхъ торговцевъ.

Нѣмецкіе колонисты, «домъ» и хозяйство которыхъ устроены, какъ извѣстно, несравненно устойчивѣе и прочнѣе, чѣмъ у нашихъ крестьянъ, и которые вслѣдствіе этого, спокойно занимаясь своимъ хозяйствомъ, не ощущаютъ кругомъ себя того холода и стужи одиночества, какое ощущаетъ нашъ разстроенный въ хозяйствѣ мужикъ,—не пошли на призывъ новоявленного купона, не улетѣли на этомъ мертвый свѣтъ изъ своихъ теплыхъ и уютныхъ домовъ и не отдали своихъ женъ и дочерей на съдѣніе этому владыкѣ нашего вѣка.

Ни мало однако не брезгая деньгами, которыя сулилъ начавшій развиваться фабричный трудъ, они стали брать фабричную работу на домъ и вмѣсто фабричныхъ станковъ образовались станки домашніе, за которыми и работаютъ колонистскія дѣвушки и женщины въ свободное отъ другихъ домашнихъ занятій время. Продуктъ этихъ трудовъ, по словамъ мануфактурныхъ торговцевъ, и по качеству, и по цѣнѣ сразу побѣдигъ не только такой же продуктъ, производимый московскими фабриками, но и продуктъ заграничнаго производства. Саратовская сарпинка оказалась и лучше, и прочнѣе, и дешевле, какъ заграничной, такъ и московской. Когда я разговаривалъ объ этомъ съ торговцемъ мануфактурными товарами, рассказывавшемъ мнѣ этотъ новый опытъ производства, онъ, простой человѣкъ, можетъ быть никогда не думавшій о томъ, какъ дѣлается этотъ ситецъ и сарпинка, и имѣвшій только торговать имъ,—самъ очевидно былъ удивленъ этимъ блестящимъ опытомъ и самъ завелъ рѣчь о томъ, какая бездна мерзости и неправды, неразлучной съ производствомъ фабричнымъ, избѣгнута этихъ домашнимъ способомъ производства. Не только о дешевизнѣ и о прочности говорилъ онъ, а о томъ—и это гораздо больше, чѣмъ о дешевизнѣ,—какъ это все хорошо, справедливо вышло; вышелъ дешевый товаръ и не оказалось ни тѣни фабричнаго распутства и грѣха!

Не человѣкъ ушелъ къ станку изъ своего дома, а станокъ пришелъ къ нему въ домъ.

А развѣ въ нашей крестьянской семьѣ есть хоть малѣйшій признакъ нежеланія осложнить домашній трудъ присоединеніемъ къ нему новыхъ родовъ труда! Вся семья, вся духовная жизнь семьи держится силами трудовой жизни и ничего кромѣ удовольствія имѣть заработокъ, могущій дать возможность облегчить тяжеловѣсныя, первобытные приемы современной крестьянской трудовой жизни, не принесетъ этому дому никакой станокъ и никакая машина, добромъ вошедшая въ крестьянскій домъ. Крестьянская семья *любитъ работу* и даже самыя трудныя, тяжкія дѣла умѣетъ облегчать пѣсню *).

*) Въ числѣ пѣсень, собранныхъ С. М. Пономаревымъ въ Приуральѣ, напечатанныхъ въ 11 и 12 №№ «Сѣверн. Вѣст.» 1887 года, есть одна, какъ нельзя лучше выясняющая взглядъ народа между прочимъ и на женскій фабричный трудъ. Въ пѣснѣ рассказывается о бѣгствѣ казаковъ съ Дона на Дунай-рѣку вслѣдствіе того, что на Дону получились такіа приказанія, которыхъ не могла вынести казачья душа

IV. «Ноль—цѣлыхъ!»

I.

Я надѣюсь, что читатель обратитъ вниманіе на нѣкоторыя странности, допущенныя мною въ заголовкѣ этой замѣтки: совершенно точное опредѣленіе мнимой величины «ноль цѣлыхъ» вовсе повидимому не нуждается въ томъ разъединеніи двухъ опредѣляющихъ словъ, какое почему-то допущено мною; это первая странность, а вторая, это знакъ восклицанія, повидимому поставленный также совсѣмъ ни къ селу, ни къ городу.

Если только читатель дѣйствительно обратитъ вниманіе на эти странности въ заголовкѣ, то я надѣюсь, что онъ, уже безъ всякой съ моей стороны помощи, выполнять все то, что я хитроумно задумалъ, обставивъ заголовокъ такими хитросплетеніями и загадочными осложненіями. Волей-неволей всматриваясь въ эти хитросплетенія, читатель, я надѣюсь, призадумается во-первыхъ надъ необычайной трудностью предстоящаго мнѣ дѣла—оживить, то-есть въживомъ человѣческомъ образѣ представить такую мнимую величину, какъ «ноль», да и не простой ординарный нулишко, ничтожество, а нѣчто такое, что претендуетъ быть «цѣлымъ»—это разъ; а во-вторыхъ, призадумавшись надъ такимъ труднымъ положеніемъ, и самъ попытается подумать и опредѣлить, что бы это такое могло въ живой жизни соответствовать этой таинственной математической величинѣ?

Неужели, подумаетъ читатель, эта мнимая величина можетъ быть выражена въ человѣческомъ образѣ? Вѣдь если *ноль*, такъ стало-быть на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ стоитъ, ровно ничего не можетъ находиться; *ноль*—это пустопорожнее мѣсто, знакъ для указанія, что тамъ, гдѣ онъ находится, нѣтъ ничего, ни синь-пороха? Однако вотъ этотъ-то пустопорожній знакъ осмѣливается утверждать, что онъ, это «ничто», стоитъ на мѣстѣ цѣлаго.

Спрашивается, какое-же такое можетъ быть это цѣлое, если оно допускаетъ виѣсто себя представительство «ноля», который опять-таки ровно ничего не означаетъ и въ то же время рѣшительно не покоряется вашимъ обличеніямъ его въ ничто—

Вокругъ-то стоятъ, вотъ, раздущечка,
Воръ-Игвашечка.

Онъ стоитъ-то улыбается,
Во рукахъ держитъ указки,
Указки скорописные,

Неоближные:
Какъ старыхъ казаковъ—
Казнить—въшати!

Молодыхъ ребятъ—
Во солдаты брать!

Молодыхъ ихъ женъ—
На фабричный дворъ!

Малыхъ дѣтушекъ—
Подъ заборъ бросати!

«Фабричный дворъ», какъ видите, то же, что для молодыхъ ребятъ солдатчина; то же, что для стариковъ—казнь... И какъ вѣрно намѣченъ неизбежный результатъ фабрики—необходимость подъ заборъ бросать дѣтей!

СОЧ. ГЛ. УСИНСКАГО. Т. II.

жествъ, не хочетъ признать себя просто нулемъ, а утверждаетъ, что онъ какой-то особенный ноль.

Вотъ, вслѣдствіе такого затруднительнаго, даже прискорбнаго положенія, въ которое становится изслѣдователь ни съ чѣмъ несообразной комбинаціи «нуля» и «цѣлаго», я и поставилъ въ заголовкѣ восклицательный знакъ: извольте-ка въ самомъ дѣлѣ поломать голову надъ розысканіемъ какого-то человѣческаго существа, которое бы и существовало и не существовало одновременно?

Заручившись помощью восклицательнаго знака, вызывающаго въ читателѣ прискорбное, близкое къ состраданію чувство, я безъ всякой утайки могу сознаться, что положеніе мое было въ высшей степени нелѣпое. Коренная ошибка моя состояла въ томъ, что я принялся искать живыхъ нулей въ народной средѣ. Гдѣ, какъ не въ той средѣ, думалось мнѣ, могутъ быть человѣческаго существованія, опредѣляемые пустопорожнимъ знакомъ нуля, какъ не въ этой средѣ наимельчайшихъ десятичныхъ дробей? Развѣ не здѣсь на каждомъ шагѣ попадаются фигуры, существованіе которыхъ положительно непостижимо? И я сталъ самымъ пристальнымъ образомъ всматриваться во всякую деревенскую нищету, голытьбу, мѣстную и прохажую, и при всей призрачности существованія ихъ, повидимому чрезвычайно близкомъ къ несуществованію, въ концѣ концовъ всѣ они не могли быть выдѣлены изъ области дробей, хотя-бы и въ высшей степени микроскопическихъ. И ноль такимъ образомъ оставался для меня тайной.

Однажды я попалъ на нѣчто, казалось мнѣ, вполне отвѣчающее моей многотрудной задачѣ. На платформѣ нашей станціи, въ лютый морозъ, ба желѣзной, прокаленной холодомъ, скамейкѣ, заприѣтилъ я одного человѣка. Человѣчекъ этотъ, крестьянскаго званія, былъ весь какой-то воздушный: онъ былъ маленькій и тощій до послѣдней степени; худенькое лицо, маленькіе безцвѣтные глаза, маленькая, едва примѣтная борода, такая маленькая, что лютый морозъ при всѣхъ своихъ усиленіяхъ могъ прицѣпить къ ней самую ничтожную сосульку; тощія, худыя, обмотанныя трясинами и веревками, ноги, самые нищенскіе лапти и коротенькій старый полушубокъ съ огромнымъ воротомъ (не хватало овчины), открывавшій всю голую шею, и даже почти плечи, словомъ, почти декольте, и наконецъ картузишко—все это было такъ тоще, воздушно, тонко и притомъ во всѣхъ направленіяхъ проникнуто холодомъ и лютымъ морозомъ.

Картузишко, приплюснутый на лбу, торпосился на затылкѣ какимъ-то букетомъ рваного сукна, точно заборный пѣтушиный гребень; очевидно какой-нибудь добрый человѣкъ, желая попробовать новое ружье, сказалъ воздушному существу:

— Ну-ко, Микитка, швырни шапку! Дай я попробую... Дамъ папироску!

Микитка швырнулъ, весело засмѣялся, весело надѣлъ разбитую шапку и, получивъ папироску, весело пошелъ мерзнуть на лютый морозъ. Да, было въ немъ, въ этомъ воздушномъ, тощемъ, малепь-

комъ, какъ воробей, существѣ что-то воробынно-веселое...

Запримѣтилъ я его воробыннюю веселость тогда, когда онъ хотѣлъ своими замерзлыми руками сдѣлать себѣ сигарку. Онъ досталъ газетную бумагу и, конусообразно свернувъ ее, держалъ въ рукѣ, приготовляясь наполнить табакомъ; но другая рука, которая искала въ карманѣ табакъ, находилась, должно быть, въ такомъ комическомъ положеніи, что и воздушный человѣкъ не могъ не улыбнуться. Онъ шумѣлъ замерзлой рукой въ замерзломъ карманѣ весьма энергично, выпихивалъ этотъ карманъ изъ-подъ полы наружу, хотѣлъ опрокинуть на руку все въ немъ содержимое, однако въ концѣ концовъ ничего не добылъ въ этомъ карманѣ, но все-таки показалъ видъ, что дѣлаетъ сигарку и потрясъ пустой горстью надъ пустой бумагой. Все это было такъ смѣшно, что и самъ онъ не могъ не улыбнуться.

— У тебя, сказалъ я, — видно табакъ-то совѣмъ нѣтъ?

Воздушный человѣчекъ поглядѣлъ на меня, весело улыбнулся и воробыннимъ голосомъ проговорилъ:

— И даже нисколько нѣту!..

Что-то беззаботно птичье, воробынное, и эта худоба, и легкость всего тѣла, легкость взгляда, улыбка — все это заинтересовало меня съ точки зрѣнія поисковъ за мнимыми величинами.

— «Совѣмъ воздушный!..» подумалъ я, и мнѣ пришло въ голову, что ужъ не это-ли ноль-то цѣлыкъ? Человѣкъ живой, а производитъ впечатлѣніе чего-то почти неосознаемаго. Необходимо было поближе подойти къ нему, и я спросилъ: кто онъ? откуда?

Оказалось — идетъ изъ острога, куда попалъ «по ошибкѣ». Служилъ онъ у купца при лавкѣ, въ чернорабочихъ мужикахъ; однажды сынъ купца послалъ его куда-то и, во время его отсутствія, сломалъ кассу и утащилъ деньги. Когда воздушный мужикъ воротился, то засталъ кассу разломанной и остобенѣлъ отъ ужаса, а въ это время вошелъ хозяинъ. Не трудно было понять, въ чемъ дѣло и кто воръ; но отецъ, жалѣючи сына, повелъ дѣло «для виду» противъ воздушнаго мужика, чтобы люди не болтали пустого про его родное дѣтище (тоже вѣдь любилъ!), и воздушный человѣкъ для «проформы» просидѣлъ въ острогѣ три мѣсяца.

— Онъ, купецъ-то, знаетъ! сказалъ весело воздушный человѣкъ. — Это онъ такъ! Какой я тамъ воръ!

Веселость, слышавшаяся въ этихъ словахъ, напоминала дѣйствительно веселость птицы, находящей возможность чиркать и порхать по вѣткамъ облебенѣлаго дерева. лишь-бы играло на небѣ солнце. И чѣмъ дальше шелъ нашъ разговоръ, тѣмъ явственнѣе обнаруживалось птичье существованіе моего собесѣдника.

Когда я спросилъ его: — куда онъ теперь идетъ и зачѣмъ? то воздушное существо отвѣчало:

— А и самъ не знаю!.. Главное — капиталу

нѣтъ нисколько! да и паспорта нѣту, подати требуютъ.

Слова о податяхъ являлись какою-то неожиданностью въ общемъ впечатлѣніи воздушнаго человѣка; капиталу у него нѣтъ, паспорта нѣтъ, куда идти — неизвестно, нѣтъ у него ни табакъ, ни одежды, ни шапки — и вдругъ какія-то подати!

— За что же ты платишь-то? спросилъ я, недоумѣвая.

— За двѣ души платимъ!

— Одинъ?

— Вотъ какъ есть!

— Стало-быть у тебя земля есть?

Воздушный человѣкъ подумалъ и весело прочирикалъ по птичь:

— Нѣ! Мы платимъ *съ-пуста!*

Разговоръ о податяхъ, готовый было разрушить мое впечатлѣніе о воздушности собесѣдника, благодаря послѣдней фразѣ «съ-пуста», вновь прервалъ всякую связь между нимъ и дѣйствительностью; онъ опять оказался существомъ вполнѣ воздушнымъ, что и поспѣшилъ подтвердить слѣдующими веселыми словами:

— Намъ съ-пуста платить — самое любезное дѣло!... Ежели-бы платить не съ-пуста, такъ куда-бы хуже было... А съ-пуста-то, слава тебѣ Господи!

Все это онъ превесело прочирикалъ по воробынному, и если-бы въ самомъ дѣлѣ былъ воробей, то попрыгалъ-бы и попорхалъ по вѣткамъ обмерзлаго дерева; не будучи однако воробьемъ, онъ выразилъ свои воробынныя желанія развеселившимися глазами и скривившейся отъ улыбки бороденкой.

— Съ-пуста платить лучше, чѣмъ не съ-пуста? чувствуя, что я вмѣстѣ съ своимъ собесѣдникомъ, послѣ его послѣднихъ словъ, какъ-бы поднялся отъ земли къ небу и нахожусь въ воздушномъ пространствѣ — спросилъ я его съ удивленіемъ и съ удивленіемъ же услышалъ еще болѣе веселыя слова:

— Безподобно хорошо *съ-пуста-то* платить!..

— Постой! сказалъ я, чувствуя какъ-бы головокругленіе отъ высоты подъема надъ земной поверхностью, — ты говоришь съ-пуста платить лучше? То есть платить, не получая земли?

— Это самое!

— Почему же такъ? Вѣдь землю ты могъ-бы отдать въ аренду?...

Воздушный человѣкъ засіялъ радостью:

— Да она болото у насъ!..

Этотъ отвѣтъ опять какъ-бы приблизилъ насъ къ землѣ.

— Болото!... Но почему же все-таки тебѣ выгодно платить и безъ болота? Чѣмъ оно тебѣ мѣшаетъ?

— Да не дай Богъ къ нему касаться, къ болоту-то!

— Ты и не касайся!

— Не касаясь бы, такъ оно касается! Возьми-ка я болото — анъ ужъ я общественникъ сталъ! Съ меня ужъ и на старосту возьмутъ, и на волю, и по дорожной повинности, и по мостовой, и

караулъ и — Боже мой — чего еще!.. А какъ я отъ земли отказался, остается мнѣ моя душа и больше ничего!.. Отдалъ за двѣ порціи — и знать ничего не знаю!..

И опять мы оба очутились въ воздушномъ пространствѣ. Теперь ужъ и я видѣлъ совершенно ясно, что платить за пустое пространство и даже въ двойномъ количествѣ — вещь чрезвычайно пріятная.

Но потребность возвратиться на землю заставила меня сдѣлать моему собесѣднику еще одинъ вопросъ:

— А все-таки куда же ты дѣнешся?

Лицо веселаго воробья призадумалось. Подумалъ онъ и сказалъ:

— Боровицкіе мужики звали въ Питеръ... въ балетъ служить...

— Куда?

— Въ театръ... По балетной части... Машины двигать... Напримѣръ, рассказывали, ежгли море, такъ подъ холстиной сидѣть надо, руками бить, толкать, чтобъ волнами оказывало передъ публикой... Работа легкая! адресъ одного балетчика у меня при себѣ... Только вотъ капиталу нѣтъ нисколько!..

Итакъ, у воздушнаго существа оказалась возможность карьеры. При помощи начальника станціи можно было помочь ему убраться въ Петербургъ съ товарнымъ поѣздомъ. Но уже одно то, что у этого человѣка, не смотря на его полную воздушность и отчужденность отъ всего земнаго, оказалась возможность какой-бы то ни было карьеры, положенія — онъ уже не могъ мнѣ служить матеріаломъ для разрѣшенія моей задачи. Воздушность, отличавшая это существо вообще отъ всякой связи съ человѣчествомъ, конечно весьма близко напоминала о нолѣ, о чемъ-то во всѣхъ отношеніяхъ неосознаннымъ и неуловимымъ; но разъ это неуловимое можетъ хотя и въ мечтаніяхъ приткнуться куда-нибудь и какъ-нибудь въ ряды человѣческаго общества, оно уже не цѣлое, а непременно дробь, и слѣдовательно, удовлетворяя одной половинѣ опредѣленія мнимой величины, «нолю», вовсе не удовлетворяетъ другой ея половинѣ и слѣдовательно не можетъ быть полезнымъ въ моихъ изысканіяхъ.

И долго я такъ бился съ мучившей меня задачей безъ всякаго успѣха. Какія-бы воздушныя, почти мнимыя существованія ни встрѣчались мнѣ въ деревенской жизни, во всякомъ случаѣ они оказывались дробями, то-есть величинами, совершенно опредѣленными. И я рѣшительно не знаю, какимъ бы образомъ могъ я выбраться изъ моего затруднительнаго положенія, если-бы одно совершенно случайное обстоятельство не выручило меня изъ бѣды.

II.

Неожиданное обстоятельство это заключалось въ томъ, что я, деревенскій обыватель, глазъ котораго привыкъ видѣть только мужика, бабу, деревенскую скотину, ухо котораго привыкло слышать только рѣ-

чи, вращающіяся около словъ «никакихъ способствъ», и мысль котораго привыкла руководствоваться въ пониманіи окружающаго единственно упованіемъ на Бога, — я, захолустный человѣкъ, вдругъ, по щучьему велѣнію, очутился въ одинъ скучный зимній вечеръ въ самомъ высшемъ обществѣ, въ обществѣ самыхъ благоухающихъ человѣко-дѣтотъ, совершенно не-деревенскаго строя жизни, тамъ, гдѣ «вѣнецъ творенія» имѣетъ полную возможность чувствовать себя дѣйствительно вѣнцомъ, послѣднимъ словомъ культуры, любимымъ ея дѣтищемъ, холемымъ и избильно питаемымъ во всѣхъ отношеніяхъ. Словомъ, изъ одного міра — нужды, податей, навоза и соломы — я перенесся въ міръ довольства, богатства, шелка, блеска и всякаго рода радости.

Сдѣлалось это, повторяю, совершенно случайно. Мнѣ давно совѣтовали прочесть надѣлавшій шуму «Романъ графини», напечатанный въ Недѣлѣ (№ 11 за 1887 г.); говорили, что вообще — «необыкновенно». Пьяный автокаръ въ уѣздномъ клубѣ весь вечеръ неумолчно вопіялъ: «превосходно! дьявольски великолепно!». И вообще вся полунычная уѣздная братія размякла, разнѣжилась и пожалуй даже раскисла отъ какихъ-то невѣдомыхъ ей ощущеній, познакомившись съ содержаніемъ этого любопытнаго произведенія. Словомъ, возбужденіе умовъ по случаю появленія въ печати этого романа было такъ велико, что я не разъ хотѣлъ было приняться за его чтеніе. Но деревенскій недосугъ, «то то, то другое», эти невидимые, слышимые, неосознанные истребители нашихъ дней, мѣсяцевъ, годовъ, десятиковъ лѣтъ, а въ концѣ концовъ и всей нашей жизни — долго не допускали меня до выполненія моего намѣренія. Наконецъ тоска въ поискахъ за фактами для объясненія не поддающейся никакому объясненію мнимой величины до того доконала меня, что я единственно изъ прямого желанія забыть свои безплодныя мысли схватился за желтенькую книжку и съ первыхъ же строкъ почувствовалъ, что я уже не въ деревнѣ, а какъ-бы на коврь-самолетѣ очутился въ невѣдомой странѣ.

Положимъ, что страна эта оказалась невѣдомой мнѣ быть можетъ по причинѣ моей деревенской объюродѣлости — пусть такъ; но я долженъ сказать, что кромѣ объюродѣлости, ставшей захолустнаго человѣка въ необходимость развѣвать ротъ при видѣ иной разъ самыхъ ничтожныхъ «дикихъ птицъ», которыми изобилуетъ «высшій свѣтъ», — кромѣ этой совершенно деревенской причины восхищенія тѣмъ, что я прочиталъ, была еще и другая, самая для меня важная причина именно статистическая. Читая этотъ романъ, я совершенно ясно видѣлъ, что я нахожусь въ обществѣ подлинно уже «цѣлыхъ чиселъ», людей, живущихъ на свѣтѣ «полною» жизнью, берущихъ изъ нея все, что имъ требуется, во всѣхъ отношеніяхъ, и моему статистическому глазу нельзя было не засіять бриллиантомъ отъ радости — подвести счетъ всему, что «цѣлому» человѣку нужно.

Графиня, героиня романа, показала мнѣ ищен-

но замѣчательнѣйшимъ образчикомъ всесторонняго проявленія и удовлетворенія желаній, стремленій и обязанностей полного, цѣлаго человѣка ея пола, въ теперешнихъ условіяхъ жизни; немудрено, что я, насмотрѣвшись въ жизни на разныхъ человѣко-дуби, на всевозможныя искаженія человѣческаго существа, естественно былъ радъ, читая романъ, смотрѣть на этотъ широко и разнообразно живущій образъ человѣческій и... конечно въ концѣ концовъ «подсчитать» всю эту «всесторонность», изъ проявленій которой складается прекрасный образъ человѣческаго «цѣлаго».

Не знаю, можно ли при настоящихъ условіяхъ жизни найти другой подобный образчикъ цѣлаго и полного существованія, какъ тотъ, который выставленъ въ «романѣ графини». «Любящій меня мужъ, пишетъ она о себѣ (стр. 65), близкіе родные, нѣкоторые друзья такую мнѣ жизнь устроили, что я сомнѣваюсь, есть-ли на свѣтѣ еще другая женщина счастливѣе меня въ этомъ отношеніи». И точно, Господь наградила героиню романа всѣмъ, что только было въ его божеской власти. «И румяна, и бѣла — (стр. 59), молодая и хороша...» «Я знаю, что въ свѣтѣ для многихъ, какъ женщинъ, такъ и мужчинъ, я — то, что въ баснѣ винограды для лисицы» (стр. 64). Довольно впрочемъ и этихъ двухъ примѣровъ, чтобы видѣть, что точно Господь наградила ее. И во всемъ романѣ тамъ и сямъ неумышленно, сами собой сказываются признанія въ собственныхъ достоинствахъ, изъ которыхъ видно, что они не выдуманы, а точно есть, въ подлинномъ видѣ. «Моя небольшая, живая фигурка, да еще въ моей чудесной комнатѣ въ китайскомъ вкусѣ положительно ничего страшнаго не выметъ...» (26). Чего ужъ страшнаго? Дай Богъ всякому! Видно, что человѣкъ, который такъ говоритъ самъ о себѣ, счастливъ уже просто потому, что онъ такъ счастливо созданъ. Но этимъ счастьемъ «отъ Бога» счастье героини не исчерпывается. Есть у ней, также отъ Бога, мужъ. «Онъ очень, очень высокъ, глаза черные, волосы, усы и борода черные съ просѣдью, вообще его представительная фигура невольно бросается въ глаза; къ тому-же онъ замѣчательный лингвистъ, владѣетъ всѣми мертвыми и живыми языками» (47). Какъ видите, и мужъ тоже такой, что дай Богъ всякому! «Ура! пишетъ счастливая графиня, мой мужъ пріѣхал! Если бы вы видѣли, какъ этотъ высокій, высокій, полный, полный мужчина подхватилъ меня на руки какъ перышко, а самъ весь дрожитъ, слезы на глазахъ. Когда пріѣзжаетъ, вѣрите-ли, не поглядится на меня, на дѣтей. Увѣряетъ, что красивѣе, изящнѣе меня женщины не знаетъ, что дѣти — не дѣти, а амурсы» (27). То есть просто поглядѣть-то на нихъ на двоихъ съ дѣтьми — душа радуется! Нѣтъ такой прихоти, которой-бы этотъ безподобный мужъ не исполнилъ. Любила она, графиня, чтобы у ней подъ подушкой коробка конфетъ лежала постоянно, а тетки-старухи постоянно таскали эту коробку изъ-подъ подушки, говоря: «зубы портятся». Пожаловалась она мужу, и теперь у нея подъ подушкой постоянно лежитъ

не одна, а двѣ коробки. «Мужъ велѣлъ и никакія фрейлины въ мирѣ (старухи-тетки) не смѣютъ изъ брать!» (28). За такимъ мужемъ жить — что за каменной стѣной, это всякій скажетъ. И живетъ графиня съ мужемъ — лучше не надо. «Мы съ нимъ примѣрные супруги: ссоръ у насъ не бываетъ, онъ меня любитъ, балуетъ, я его слушаюсь, все обстоитъ благополучно» (11). Обыкновенно день проходитъ такимъ образомъ:

«Съ 10 часовъ встаю, возмусъ съ дѣтьми до 12, въ 12 «luncheon», за которымъ обязательно ничего не ѣмъ. До 3-хъ *все*возможныя занятія; въ 3 — «luncheon» настоящій. Послѣ него обязательная прогулка съ дѣтьми и ихъ «gogetness» въ коляскѣ или каретѣ; иногда я ихъ отвожу и продолжаю сама скитаться или возвращаюсь домой съ ними и принимаю посѣщенія, есть нѣкоторыя очень интересныя, но другія — чистое наказаніе. Въ 6 часовъ обѣдъ съ церемоніаломъ; мои тетки, или вѣрнѣе церберы въ юбкѣ, выползаютъ на свѣтъ Божій; обыкновенно еще заходятъ двое-трое; мужъ часто отсутствуетъ — въ клубѣ пропадаетъ; дѣтей тоже нѣтъ, они обѣдаютъ на верху въ «pique-toot». *Послѣ обѣда такое разнообразіе во время-препровожденіи, что мнѣ и не перечислить всего.* Скоро балы начнутся; теперь ихъ пока нѣтъ. Бѣжу часто въ театры, концерты, на симфоническіе и квартетные вечера, на званые вечера, и у себя принимаю. Тихіе вечера мнѣ рѣдко выпадаютъ, а только именно такимъ докторъ приписываетъ благотворное вліяніе на мою болѣзнь... Но гдѣ же, гдѣ мнѣ раздобыть этихъ тихихъ дней и тихихъ вечеровъ? Благодаря моей живости, я успѣла стать въ стѣснительной рамкѣ условій моей жизни и опять таки только сравнительно, да наконецъ мнѣ нравится волноваться. Я усердно занимаюсь дѣлами благотворительности, пою, кормлю, одѣваю массу старухъ».

Это скромное перечисленіе всего, что требуетъ отъ человѣка ординарный, будничныи день (балы еще не начинались), уже одно оно заставляетъ насъ подумать, какая масса впечатлѣній нужна болѣе или менѣе нормальному человѣку, чтобы онъ могъ, не стѣсня себя, примѣнить къ жизни свою живую силу: тутъ и хлопоты съ дѣтьми, *все*возможныя занятія отъ 12 до 3-хъ, и *все*возможныя скитанія тоже не безъ причины и надобности отъ 3 до 6, а послѣ шести такое разнообразіе времяпрепровожденія, что и «не перечислить». Остается еще время и желаніе употребить его на заботу о чужомъ дѣлѣ благотворительности. Но этотъ, исполненный, какъ видите, всевозможными дѣлами день — только будничныи. Всего этого мало для нормальнаго человѣка.

«Встрѣчу я новый годъ повидимому весело. Восемь троекъ повезутъ всю нашу компанію въ Озерки; тамъ залъ уже удержанъ и будутъ цыгане и танцы. Если не будетъ очень холодно, всю дорогу буду пѣть: ужасно люблю кататься на тройкахъ и въ санкахъ и пѣть! NN прекрасно вторитъ, найдутся еще голоса, намъ и цыганъ не нужно. 25 декабря была у меня елка и танцы, разошлись въ 7 ч. утра — и вотъ такимъ образомъ каждый день» (74).

Каждый Божій день такимъ-то вотъ родомъ — до седьмого часу! Стало-быть ужъ много дано отъ Бога! Да и это еще не все; иной разъ и не то надумаютъ:

«Я пишу въ саду, въ такъ называемомъ «Охотничьемъ домикѣ». Дождикъ льетъ какъ изъ ведра, и знаете ли куда мы сейчасъ, всей компаніей человѣкъ въ двѣнадцать, отправляемся? Раковъ ловить сѣтками. У меня есть интересное короткое платьѣ, высокіе

сапожки, настоящіе мужскіе сапоги на мою ногу". (24).

И вѣдь въ проливной дождикъ—и то ничего! А разъ былъ такой случай:

«При приближеніи поѣзда, X., желая удержать мою Бетси, подиравъ руку; лошадь, испугавшись взмаха руки и свистка машины, вдругъ поднялась на дыбы и выбила меня изъ сѣдла; я упала всей тяжестью на лѣвую сторону. X., говорятъ, стрѣляться хотѣлъ (30)... Мужъ увѣраетъ, что X. нарочно причинилъ мнѣ мою болѣзнь, чтобы я обратила на него вниманіе. Онъ состоитъ безнадежнымъ поклонникомъ третью зиму (38). Меня доктора хвалятъ, говорятъ—терпѣливая хорошенькая больная» (29).

Полежала немного и опять все пошло какъ должно:

«Когда я пою, то вся пою отъ души, я сама себя слушаю, точно не я пою, а кто-то другой, и глубина, и страстность этого, не моего, голоса удивляютъ меня. Я не люблю этихъ минутъ; я чувствую въ себѣ тогда силу, съ которой не умѣю справиться» (36).

Точно, силы много; и то, что мы уже перечислили по этой части, далеко еще не исчерпываетъ размѣровъ, въ которыхъ она проявляется. «Больше всего все-таки люблю чтеніе» (12), и благодаря этому, она узнала «томикъ» стиховъ одного поэта и написала ему:

«Я люблю моего мужа и постараюсь всегда быть достойной его любви и вѣры въ меня; но въ моемъ чувствѣ къ вамъ такъ много хорошаго, искреннаго, что никто не смѣетъ и не долженъ ничего другого въ немъ и подозревать. Я такъ и объявила мужу и, какъ всегда, онъ нашелъ, что я права» (60).

И дѣйствительно, любовь къ поэту и къ тому, что и о чемъ онъ писалъ—самая душевная и возвышенная: героиня романа видитъ въ немъ «чистое сердце», которое вылилось въ покорные звуки любви и утѣшенія «усталому брату».

«Во многихъ отношеніяхъ, пишетъ она (54), судьба благосклонна ко мнѣ, чѣмъ къ этимъ бѣднымъ (устальнымъ) людямъ. Но въ часы сомнѣній, сердечныхъ грозъ, душевной борьбы, могу-ли я причислять себя къ тѣмъ «братьямъ», которымъ посвящены ваши прочувствованныя строки, и стать въ число тѣхъ, для которыхъ летитъ ваша пѣснь?»

Вотъ и еще новая сторона духовной дѣятельности человѣка, и дѣятельность эта сказывается въ разсѣрахъ, говорящихъ о не маленькой силѣ души. «Сердечныя грозы» и «душевная борьба» переживаются не «какъ-нибудь», а настоящимъ образомъ, глубоко и въ самомъ дѣлѣ трудно. И тутъ видно, что и по части совѣсти тоже дано отъ Бога не мало всего хорошаго.

Совѣсть совѣстью, страданье страданьемъ, а и еще все-таки-есть «остача», которую надо куда-нибудь дѣвать. И эта остача также пополяется кой-какими почти дѣтскими средствами:

«Вышепоименованные messieurs,—X, Z и NN—три моихъ самыхъ ярыхъ поклонника, всѣ трое замѣчательно изящные молодые люди. Моей симпатіей пользуется больше всѣхъ NN. Высокій, стройный брюнетъ, прелестный мазуристъ, бонмотистъ и флейтастъ, въ высшей степени bon enfant, надобѣдливый мнѣ только тѣмъ, что гдѣ бы я ни была, дома-ли, у знакомыхъ-ли, онъ неотступно слѣдуетъ за мной по пятамъ. Я не могу сдѣлать движенія, чтобы NN, сложивъ голову, не бросился въ мою сторону; недавно, заживъ шпорою стилистъ съ разными куклами, онъ повалилъ ихъ и всѣ разбилъ. Въ наказаніе я заставила его на четверенькахъ

собрать всѣ осколки и чуть не умерла отъ смѣху, когда этотъ большой мальчикъ ползалъ у моихъ ногъ, Z болѣе сдержанъ; ему разъ навсегда принадлежатъ всѣ первыя мои кадрили, гдѣ-бы я ни танцевала. X, я вамъ описывала, онъ меня давно знаетъ, давно любить, и я его давно мучаю, впрочемъ иногда цѣлуетъ мою руку. Для него двери всегда открыты, онъ балуетъ моихъ дѣтей, дразнитъ моихъ древнихъ тетокъ и двухъ левретокъ, прелестно поетъ, съ мужемъ на «ты». Когда мужъ уѣзжаетъ, то X обыкновенно считается нашимъ factotum'омъ, приноситъ конфеты, ноты, полныя книги, читаетъ, когда я разрѣшаю, ваши стихи...» (69).

Еще есть какой-то морякъ, «имѣющій дерзость меня любить», который привезъ героинѣ романа въ подарокъ японское опахало изъ павлиньихъ перьевъ, висящее какъ-разъ «надъ моимъ диванчикомъ и устроенное такъ, что оно плавно и тихо вѣетъ хотъ безъ конца, если прижать дружку» (26).

Вотъ подъ этимъ-то опахаломъ, въ комнатѣ, которая называется «фонарикомъ» и дѣйствительно чрезвычайно изящна,—въ комнатѣ, гдѣ играютъ «большіе мальчики» и левретки и гдѣ стоятъ статуэтки,—здѣсь любимое мѣсто героини; здѣсь такъ удобно наблюдать въ окно шумную жизнь города. читать, писать и заниматься рукодѣльемъ. Да, и на это еще находится время и охота. Веченіе полугодя графиня вышила себѣ русскій костюмъ: «начиная съ первой бусинки кокошника и кончая послѣднимъ шелковымъ крестикомъ рубашки и передника изъ че-чун-чи,—я все вышила сама». И какъ вышила то!... «Если у васъ найдется другое полотенце (она подарила поэту полотенце), то бросьте его въ море, а мое оставьте» (53), потому что во всякомъ случаѣ работа превосходная. Золотыя руки Богъ далъ!

Однако-жъ всего не перечтешь. «Романъ графини» тѣмъ и хорошъ, что въ немъ фигура героини и ея нравственная личность очерчены до мельчайшихъ подробностей. Читая эти легкіе наброски, маленькія записочки, изъ которыхъ состоятъ романъ, поражаешься той непоимѣрной массой живыхъ силъ человѣка, которая этому человѣку необходимо проявить въ жизни и дѣйствіи, чтобы жизнь эта не была исполнена прорѣхъ и пустыхъ мѣстъ. Какъ художественное произведеніе, «Романъ графини» тѣмъ и привлекателенъ, что въ немъ рисуется предъ вашими воображеніемъ образъ человѣка, живущаго полною жизнью, безъ прорѣхъ, пустыхъ мѣстъ, и читателю нельзя не любоваться этимъ художественнымъ образчикомъ жизни, ничѣмъ не стѣсненной, не притиснутой, не поставленной малѣйшимъ образомъ въ какое-нибудь ложное положеніе и дающей волю духовной дѣятельности раскрываться и развиваться во всей полнотѣ.

Образчикъ такой полной, цѣльной жизни такъ приковалъ къ себѣ мое вниманіе, что я, вѣсто того чтобы подвести наконецъ итоги и «подсчитать», что именно нужно человѣку, желающему чувствовать себя «цѣлымъ», а не дробью,—вмѣсто этого, я, забывъ мои статистическія обязанности—продолжалъ, по окончаніи чтенія, любоваться художественно изображеннымъ обликомъ и радовался, что автору удалось такъ удачно выбрать ли-

по, поставленное въ современномъ строѣ жизни въ наилучшія условія; радовался, видя, что полно живущій человекъ—большая приманка любить живую жизнь на землѣ.

Думалъ, думалъ я объ этомъ цѣломъ человекѣ, думалъ, припоминая подробности романа, думалъ и такъ вообще о томъ же дѣлѣ, и скоро почувствовалъ, что мои мысли, нисколько не прерываясь въ своемъ теченіи и не сбываясь съ пути, сосредоточиваются на чемъ-то уже совсѣмъ неподходящемъ къ облику героини романа.—облику, который какъ-бы даже затуманился какими-то новыми обликами, ни на волея и ни въ чемъ не подходящими къ источнику моихъ мыслей, къ роману и его героинѣ, и въ то же время вовсе ненарушающими правильности теченія мыслей о «цѣломъ человекѣ».

III.

— Эхъ бѣда, Васекъ-то года не вышли, женить нельзя! А безъ бабы не совладать съ домоу!

Невѣдомо какъ и почему вспомнилась и даже послышалась мнѣ довольно-таки давняя жалоба моего деревенскаго сосѣда, крестьянина, у котораго захворала жена. Крестьянинъ этотъ уже пожилой человекъ, начинавшій раскисать и слабнуть; онъ со своей старухой успѣлъ уже выдать замужъ трехъ дочерей, одного сына сдалъ въ солдаты, другой женился и отошелъ, а теперь на рукахъ стариковъ остался сынъ, которому не хватало полутора года. чтобы жениться, двѣ внучки, отъ одной изъ умершихъ дочерей, да самъ старикъ со старухой.

Жалоба о томъ, что Васекъ не вышелъ годы, началась тотчасъ послѣ того, какъ Аксиныя, жена сосѣда, стала хворать. Прихворнула она въ первый разъ года четыре тому назадъ, но ни на минуту не останавливалась въ работѣ. Она постоянно перемогалась, стала жаловаться сосѣдкамъ на боль то въ боку, то въ животѣ, то въ спинѣ, но продолжала дѣлать свое дѣло безъ малѣйшаго опущенія.

Мало-по-малу недомоганье стало одолевать Аксиныю все сильнѣе и сильнѣе, и бывали дни, когда она по-полу дня не могла встать на ноги. А по мѣрѣ того, какъ шло недомоганье Аксины, домоу моего сосѣда какъ-то омрачался; старику приходилось дѣлать иной разъ и бабье дѣло, а молодому парню случалось и бѣлье полоскать на рѣчкѣ; все это становило мужиковъ въ неловкое положеніе, затрудняло, нарушало порядокъ жизни; отъ всего этого было имъ и неловко, и скучно.

Вѣда моего сосѣда и его дома заключалась между прочимъ и въ томъ еще, что и самъ онъ, отецъ семьи, и его сынъ, да и вообще вся мужская половина семейства—были не изъ бойкихъ, не быстрыхъ умомъ и не расторопныхъ людей. Аксиныя чувствовала эти свойства своего мужа, перешедшія потомъ и въ дѣтей, съ самаго перваго дня свадьбы; она знала, что мужъ ей попался не ахти какого достоинства, хотя и былъ добръ и тихъ и не пьющъ. Сама имѣя добрый характеръ и непре-

станно занятый умъ, она не позволяла себѣ срывать зло на мужнину и дѣтскую «нескладность», и прожила всю жизнь, вплоть до болѣзни, почти молча, въ непрерывномъ трудѣ. Теперь-же, когда она стала прихварывать, недалый умъ и природныя нескладности «мужиковъ» стали сказываться въ обиходѣ жизни всего дома ежemiнута. По мѣрѣ того, какъ въ Аксиныѣ замирала энергія труда, въ отцѣ и въ сынѣ просыпались ничѣмъ не прелестуемые свойства нескладности. Оба они стали больше скучать, жалѣть Аксиныю, чѣмъ работать. Старикъ въ уныніи цѣлые дни твердилъ:

— Эхъ, Васька-то не доросъ!... Какъ безъ бабы можно!..

Онъ убивался, охалъ, а хозяйство понемногу разстраивалось и шло къ упадку.

— Иванъ Андреечъ! скажешь бывало охающему сосѣду.—А вѣдь заборъ-то вышъ валится!.. Надо бы вамъ поправить!

— То-то Васька-то не вышелъ! Какъ тутъ одному сладить? Вѣстимо валится!

Подойдемъ къ забору, посмотримъ на его разрушеніе собственными глазами; оказывается, заборъ, точно, еле живъ.

— Ишь, скажетъ Иванъ Андреечъ,—и то! Эво какъ его разломил!

Возьмется обѣими руками за накренившуюся верхушку столба и «попробуетъ» поставить его прямо. Но отъ этой пробы подгнившій столбъ только трептѣть въ корню и еще ниже опускается къ землѣ.

— Ишь вотъ!

— Теперь онъ совсѣмъ повалился!

— И есть, что совсѣмъ. Ахъ, баба-то захворала! Эко горе, Васька-то не доросъ!

На томъ дѣло съ заборомъ и оканчивается; а если черезъ нѣсколько времени и продолжается, то непремѣнно въ томъ же самомъ родѣ:

— Иванъ Андреечъ! Вѣдь твои свиньи стали во мнѣ шлаться! Самъ ты посуля—вѣдь огородъ!

— Да вѣдь конечно! Самъ знаю! Ишь какъ его повалило!..

— Совсѣмъ упалъ вѣдь. Надо же подпереть-то!

— Какъ не надо? вѣстимо надо подпереть!

Удрученный тоскою. Иванъ Андреечъ опять подходитъ къ столбу, бьетъ въ него ногой, какъ бы желая убѣдиться въ его гнилости, и выбивъ его окончательно—причемъ разрушаются и обѣ примыкавшія къ столбу части забора—съ великимъ уныніемъ говоритъ:

— Н-но! вонъ какъ ужъ! Ахъ, баба-то у меня хвораетъ!.. Эхъ, Васька-то!

А Аксиныѣ становилось все хуже и хуже, и она стала лежать, больная и недвижная, по цѣлымъ недѣлямъ.

Тѣмъ временемъ Васька, похожій на родителя по характеру и по «нескладности», хотя и добрый парень, не видя въ отцѣ ничего побуждающаго къ энергическому труду, ничего дисциплинирующаго и вообще чувствуя, что при данныхъ обстоятельствахъ пока «ничего не сообразишь»—также поослабъ въ трудѣ и предпочиталъ чего-то ожидать, прежде чѣмъ дѣйствовать. Полюбилъ

онъ въ это время, отъ нечего дѣлать, ходить къ пастуху въ гости и вести съ нимъ разговоры о божественномъ.

Иной разъ сидитъ у развалившихся воротъ и повѣствуетъ между маленькими ребятами о разныхъ чудесахъ.

Идетъ мимо какой-нибудь хозяйственный, дѣловой мужикъ, остановится, послушаетъ и скажетъ:

— Эко дѣло-то въ тебѣ, Васыка, разыгралась! Некому васъ съ батюшкой приструнить, мать-то хвораетъ...

— Я про Вожыкихъ угодишковъ...

— Очень просто скажу тебѣ, не твое это дѣло! Поди, поставь свѣчку, положи поклонъ и иди въ своему дѣлу. Ишь вонъ ворота-то какъ разломил! Возьми топоръ да вбей гвоздь, это вотъ твое дѣло!.. Куда не надо, не суйся! Это больше ничего, дѣнь тебя обуяла, — вотъ что скажу! Тебѣ когда года-то выдутъ?..

— Да ужъ теперь скоро... Осенью войду въ совершенные года.

— Женить тебя надо! Авось ворота поправишь.

Ко времени совершеннолѣтія Василія, Аксинья слегка совершенно.

Маленькое тѣло ея, скорчившееся подъ грудой всякихъ тряпокъ, тихо и недвижно лежало на деревянной жесткой кровати и только удушливымъ кашлемъ, иногда по цѣлому часу непрерывно «колотившимъ» ея грудь, давало знать о томъ, что она еще жива. Нетерпѣнье Васильева отца относительно его женитьбы возрастало съ каждымъ днемъ, и когда наконецъ настали для Василія «совершенные года», онъ положительно, какъ положимый, сталъ сватать за своего сына всѣхъ дѣвокъ безъ разбора. Сваталъ онъ такъ неискусно, такъ бессмысленно торопился: «поскорѣйча!» такъ безтолково упрямился, бросался отъ одной невѣсты къ другой, что только перепугалъ всѣхъ дѣвокъ.

Накинулся было онъ въ попыткахъ на молодую горничную, жившую въ моемъ домѣ, и, не разобравъ того, что она уже носитъ «дипломатъ» и «все такое», видя въ ней только ея здоровье и способность къ работѣ, — присталъ къ ней неотступно, приходилъ къ ней въ день десять разъ вмѣстѣ съ сыномъ, оба стояли безъ шапокъ, просили всячески, доказывали, что надо спѣшить, что мясодѣ скоро кончится, что затѣмъ косяба. Словомъ, между ними иногда бывали сцены истинно комическія: отчаяніе со стороны жаждавшего «бабы» отца и въ отвѣтъ необычайное издѣвательство и кокетство петербургской горничной.

— Ополумѣли они изъ-за бабы-то! говорили въ народѣ.

При «нескладности» какъ отца, такъ и сына, вообще во всѣхъ житейскихъ дѣлахъ, едва-ли они оба могли-бы сдѣлать что-нибудь нутное для своего дома. По обыкновенію, въ дѣло вмѣшались «добрые люди» и стали сватать имъ невѣсты изъ другихъ, весьма глухихъ деревень, вслѣдствіе чего отецъ и сынъ часто должны были на два и на три дня уѣзжать изъ дому. Двѣ внучки, по одиннадцатому и двѣнадцатому году, да какая-нибудь

старуха-сосѣдка, взявшаяся покарать домъ, и умирающая Аксинья оставались дома однѣ. Съ каждымъ днемъ домъ этотъ близился къ полному запустѣнію. Скотина шаталась по дворамъ, голодная и безпризорная, а на дворѣ былъ чистый хаосъ, и для дѣятельнаго крестьянина было даже нѣчто жуткое: при видѣ всего этого хлама — колесъ, жердеи, телѣтъ, полуразвалившихся, кое-какъ связанныхъ и сколоченныхъ саней, словомъ, — всего хлама, потерявшаго вслѣдствіе прекращенія въ домѣ жизни всякій смыслъ и значеніе, — жутко думалось дѣятельному мужику: о суетѣ-суетѣ начиналъ думать онъ, о смерти, о тлетѣ жизни, и ему вообще становилось страшновато за ея бессмыслицу и тяготу. «Поскорѣй-бы уйти въ жилое мѣсто!» думалось ему, и онъ спѣшилъ уйти... Смертью вѣяло отъ всего двора и скучно было даже смотрѣть на этотъ домъ.

Наконецъ пронеслась вѣсть — «нашли!».

Вѣсть эту привезли отецъ и сынъ, промчавшись по деревнѣ въ какомъ-то неистовомъ состояніи, погоняя измученную клачу изъ всѣхъ силъ. Дѣло не откладывалось въ дальній ящикъ; въ тотъ же день сладили со священствомъ, а черезъ день состоялась и свадьба.

Привезли молодую красивую дѣвушку, которая не уживалась съ злой мачихой.

На нашихъ глазахъ въ разоренный дворъ, въ развалившіяся ворота, на лошади, у которой въ тощей гривѣ виднѣлся розовый бантъ, въѣхала молодая, красивая, также съ цвѣточкомъ въ волосахъ дѣвушка и не спѣша вошла по расшатавшемуся крыльцу въ разваливавшийся домъ.

И въ домъ вошла жизнь.

Оживаніе — что будешь дѣлать? — началось смертью Аксиньи.

Вѣдая, измучившаяся трудовою жизнью старуха если и дышала еще и глядѣла на бѣлый свѣтъ, то только потому, что въ ней жила забота о домѣ, тоска о разрушеніи хозяйства; эта печаль не давала прекратиться въ ней жизни. Двигала въ ней послѣднія капли крови, сжимала умирающее сердце.

Но вотъ вошла въ домъ молодая сила, и достаточно было старухѣ «глянуть» на эту молодость, чтобы безъ малѣйшаго сомнѣнія дать этой молодости и силѣ дорогу. Какъ весеннимъ рѣзвымъ вѣтромъ пахнуло въ лишенномъ жизни домѣ. Пахнуло имъ и на старуху, дуло съ ея сердца, какъ сухой листокъ, печаль и заботу, то есть все, отъ чего въ ней еще сжималось сердце и двигалась кровь, и Аксинья испустила послѣднее, едва слышное дыханіе.

Маленькій досчатый гробъ, въ который ее уложили, легкій какъ перо и нечувствительный для четырехъ дюжихъ плечъ — легко и проворно бѣжалъ на кладбище; точно такъ-же легко и проворно, какъ Аксинья, бывало, работала, ходила и все дѣлала при жизни. Какъ будто и теперь она не хотѣла понапрасну тратить времени, зная, что оно дорого въ хозяйствѣ. Она точно спѣшила теперь къ своему новому дому, на кладбище, чтобы не

мѣшать новой хозяйкѣ оживлять ея стараго пещища.

Толстый, пышный, румяный пирогъ, закрытый плотнымъ какъ дубокъ и расшитымъ пѣтухами полотенцемъ («ейное» рукодѣліе), принесенный мнѣ на второй день свадьбы молодыми, былъ первымъ знакомъ того, что въ отжившемъ домѣ началась новая жизнь. Молодая женщина—вся живая сила, скромная и могучая—мгновенно преобразила «нескладныхъ» людей. Они были неузнаваемы; даже лицо старика, начинавшее походить на тряпку, сіяло, налилось и лоснилось, а Василій держалъ себя съ такой усиленной бодростью, точно солдатъ во фронтѣ. Онъ также весь сіялъ, лоснился.

Со второго же дня свадьбы всѣ сосѣди, всѣ прохожіе почувствовали, что въ холодномъ и пустомъ домѣ, какъ въ котлѣ, подъ которымъ до сихъ поръ не было дровъ, начиналъ разгораться горячій огонь. Изъ всѣхъ силъ старикъ съ пріятелями хлопоталъ у воротъ, приводя ихъ въ порядокъ; стукъ молотка, топора, сталъ раздаваться поминутно то въ томъ, то въ другомъ углу двора. И отецъ, и сынъ поминутно сновали по двору, появлялись на крышѣ разваливагося сарая или у трубы, которая почти развалилась. Не покладая рукъ, приводили они въ порядокъ и трубу, и крышу, и заборы. Меланхоликъ Василій не имѣлъ минуты свободной для мечтаній и леталъ на клятѣ то на рѣку за водой, то въ лѣсъ за дровами. Куры, которыя въ періодъ безвременья бродили гдѣ попало,—всѣ собрались въ одномъ мѣстѣ и открыли начало новой жизни непрерывнымъ кудахтаньемъ. Всякая тварь радовалась теплу, которое исходило изъ начинавшаго теплѣть дома. Съ появленіемъ молодой бабы, весь хламъ трудовых приспособленій, бесполезно загромождавшій дворъ, получалъ смыслъ и значеніе и сталъ исполнять свои обязанности. Все оказалось нужнымъ, необходимымъ, и до того необходимымъ, что весь домъ началъ жалѣть, что у людей «рукъ не хватаетъ» на то, чтобы управиться.

И именно «баба» дала смыслъ всей многосложности труда, составляющаго жизнь крестьянскаго дома. Всѣмъ нужно было сытыми, одѣтыми, обученными: нужно ждать дѣтей, нужно потомъ ходить за ними, одѣвать, обувать, нянчить, растить, беречь. Словомъ, вся перспектива жизни человѣческой раскрылась вновь передъ всѣми живущими въ домѣ, и потому именно раскрылась эта перспектива отъ появленія молодой женской силы, что внесенное ею разнообразіе повидимому только «женскихъ дѣлъ» находилось въ действительности въ неразрывной связи съ разнообразіемъ всѣхъ дѣлъ мужиковъ и, только сливаясь воедино, давало смыслъ и содержаніе жизни цѣлой семьи. Ъздить за дровами и топить печь, чтобы было только тепло,—скучно; но ѡздить за дровами для того, чтобы и тепло было, и чтобы молоко оттопить ребенку, и чтобы спечь хлѣбъ, чтобы выстирать бѣлье, чтобы вымыть ребенка—это дѣло стоящее, и поэтому «безпрѣмѣнно» надо ѡхаты за дровами, хоть даже воровать.

Вотъ, кажется, собственно на этомъ-то пунктѣ, т. е. на неразрывности женской и мужской трудовой жизни въ народной средѣ,—я и утратилъ незамѣтнымъ для меня образомъ то чрезвычайно радостное ощущеніе «полноты» существованія, которое получилось отъ чтенія «Романа графини». Конечно, полотенце она, графиня, вышьетъ такое, что всѣ остальные дѣйствительно слѣдуетъ выбросить въ бездну моря; но у деревенской женщины даже и такая, повидимому, бабья мелочь, какъ полотенце, всетаки дѣло не бабье только, а взаимное; даже и въ этомъ пустакѣ ея мужъ долженъ принимать участіе, пахать подъ ленъ, сѣять и т. д. И если представить себѣ, что нѣтъ такого женскаго или мужского, большого или малаго труда въ народной средѣ, который-бы не былъ неразрывно связанъ взаимнымъ сотрудничествомъ, то полнота бабьей и мужской жизни во всѣхъ отношеніяхъ будетъ, пожалуй, поразностороннѣе, чѣмъ описано въ романѣ.

Ставши на эту точку зрѣнія, я невольно сталъ припоминать Марфу, молодую жену Василя, во всевозможныхъ и разнообразнѣйшихъ положеніяхъ ея трудовой жизни. Вотъ она ѣдетъ на высокомъ возу сѣна и даже пѣсню поетъ («Рабинушку»): это она помогала мужу сушить и сгребать сѣно, участвовала въ мужицкомъ трудѣ; но съ другой стороны, когда она ставитъ хлѣбы и когда у нея заняты руки, мужъ ея долженъ взять ребенка, играть съ нимъ, сказки ему сказывать, игрушку дѣлать. Да и не въ домѣ только дѣлаютъ они одно общее дѣло, а и въ обществѣ. Она, Марфа, не вмѣшается въ оходку, не предъявить своего бабьяго мнѣнія всенародно, но ужъ въ сторонѣ «отъ мужиковъ» непрѣмѣнно стоять будетъ и будетъ слушать въ оба уха все, что галдятъ мужики, а почуявъ какую-нибудь прикосновенность разрабатываемаго вопроса къ своему дому, непрѣмѣнно оттащить мужа за рукавъ и такъ «внушить» ему, что онъ не дастся въ обиду и не продастъ за стаканъ вина своего голоса въ вопросахъ, касающихся, положимъ, деревенскаго бюджета. Да и непосредственно она не чужда связи съ общественнымъ дѣломъ, неразрывнымъ съ дѣломъ домашнимъ; она вотъ теперь беременна, а ей надобно сегодня ночью идти молотить; неразрывность трудовой жизни сдѣлаетъ то, что пойдетъ молотить мужъ, а она исполнитъ за него обязанность ночного караульщика. Сидѣть у воротъ и стучать въ колотушку ей легче и по силамъ.

Однако трудовая жизнь ея не исчерпывается однимъ только трудомъ рукъ; есть у нея и духовные интересы и знанія. Она вотъ твердо знаетъ, что когда захвораютъ овцы, то надобно молиться угоднику *Самову*, и хотя батюшка говоритъ ей, что такого угодника нѣтъ, а есть Господь Савофъ, но она, не желая оставить овецъ безъ защиты и помощи, все-таки продолжаетъ быть увѣренной, что и угодникъ *Самовъ*, самый овечій, настоящій защитникъ—долженъ быть отъ Бога данъ непрѣмѣнно. Конечно это не настоящее знаніе, да гдѣ же ей взять настоящаго-то? И дѣтей

она сама лечитъ, и есть у ней на этотъ счетъ также собственныя свои знанія; знаетъ она, когда и какъ и при какой болѣзни что надобно шептать и какъ заговаривать воду, и какую пить траву. И эти знанія, разумеется, совѣмъ не настоящія, но и тутъ она опять не виновата: ни она до знанія, ни, тѣмъ печальнѣе, само знаніе не дошли другъ до друга и когда дойдутъ—неизвѣстно! А если бы дошли, то, разумеется, Марфа не стала бы шептать пустяковъ, а стала-бы дѣлать настоящее дѣло.

Мало-по-малу достоинства жизни Марфы стали окончательно преобладать надъ достоинствами жизни графини. И Марфа умѣетъ пѣть, и она до седьмого часу отлично отплясывала на вечеринкахъ, а рыбу и раковъ они теперь съ мужемъ ловятъ каждое лѣто и притомъ даже совѣмъ безъ «сапожекъ»; умѣетъ и она приготовить, во 1-хъ, «маленькій ленчъ» въ четыре часа утра, потомъ (въ рабочую пору) «настоящій» ленчъ въ девять часовъ, потомъ обѣдъ, потомъ полдникъ, потомъ ужинъ; умѣетъ и она привлекать сердца «большихъ мальчиковъ», но деревенскіе большіе мальчики худа ей не смѣютъ дѣлать, и когда одинъ хотѣлъ было, чтобы она «обратила на него вниманіе», столкнутъ ее съ дровней, на которыхъ она ѣхала съ бѣднемъ къ проруби—то она сдѣлала такой веселый жестъ, что «большой мальчикъ» сразу сталъ на четвереньки и могъ проговорить только: —«однако!», чѣмъ и заставилъ Марфу хохотать до упаду. Словомъ, все, что можетъ проявить въ жизни богато-одаренная натура героини романа, все проявляетъ и Марфа, съ той только разницей, что ея полнота жизни неразрывно и во всѣхъ подробностяхъ слита во-первыхъ съ жизнью мужа, а во-вторыхъ далеко не отдѣлена отъ жизни общественной, мірской, въ которой она участвуетъ своей мыслью и своей заботой.

Это послѣднее преимущество — неразрывность интересовъ семьи съ «міромъ», обществомъ—окончательно помирало передо мною очарованіе того самаго фонарика, откуда видна вся кипучая (?) жизнь Петербурга и гдѣ вѣтъ опахало, привезенное морякомъ, который имѣетъ смѣлость, и т. д.

Но когда я исчерпалъ всѣ достоинства Марфы, мнѣ стало какъ-то жалко утраченного впечатлѣнія романа. Впечатлѣніе было хорошее, а въ деревенской глуши, не часто балующей такими прелестями, и подавно. Мнѣ сильно захотѣлось опять возстановить это впечатлѣніе, опять немного полюбоваться изображеннымъ въ романѣ, и я вновь сталъ его перелистывать. Но увы!... Теперь мнѣ стали попадаться такіе строчки, которые я проглядѣлъ подъ первыми впечатлѣніемъ, и не обратилъ на нихъ никакого вниманія. А теперь именно онѣ-то и выступили съ особенной ясностью и окончательно истребили во мнѣ все, что я за полчаса еще считалъ такимъ прекраснымъ и поэтическимъ.

IV.

Темнымъ облачкомъ затемнилась сначала одна, часъ тому назадъ яркая и свѣтлая страница, а за

ней другая и третья. На одной мелькнула мнѣ такая прозаическая фраза:

«Мужъ мой состоитъ при одномъ изъ Министерствъ и изъ 12 мѣсяцевъ въ году 8 проводитъ внѣ дома. Сперва мнѣ эти разлуки стоили горькихъ слезъ, теперь я привыкла...»

А на другой и еще прозаичнѣе:

«Когда мужъ прїѣзжаетъ, не наглядится на меня. А пройдетъ мѣсяцъ, другой, смотришь—завязываются чеполаны, приготавлиются, чистятся ружья, и—прощай! «Нелзя, мое дитя, долгъ службѣ!» (27).

А третья страница такъ и совѣмъ меня доканала:

«Отъѣздъ мужа можетъ разстроить мои намѣренія, и онъ скоро можетъ уѣхать. *Жалко очень, что мы не миллионеры*; мужъ бы тогда не служилъ и не оставлялъ бы меня...» (42).

Прочиталъ я эти строчки, и сразу все великолѣпное видѣніе рассыпалось прахомъ!

Какъ старикъ въ сказкѣ о рыбацкѣ и рыбацѣ, когда золотая рыбка ушла въ море, ничего старику не сказавши, «лишь хвостомъ по водѣ плеснула»,—такъ и я очутился теперь въ недоумѣніи предъ какой-то безотрадной пустотой. Передо мной, какъ и передъ старикомъ, исчезли всѣ сказочныя чудеса, очутилась старая землянка, на порогѣ землянки не царица, а старуха,

А предъ ней разбитое корыто!..

Тайна сказочнаго великолѣпія стала совершенно ясна. Была золотая рыбка—и великолѣпіе было, а ушла рыбка въ «глубокое море» — и осталось отъ всего только землянка, да старуха, да корыто!

Будетъ миллионъ или, проще, купонъ—будетъ и ленчъ, сначала малый, потомъ настоящій, потомъ «всевозможныя» занятія (отъ 12 до 3), потомъ «всевозможныя скитанія» до 6, потомъ обѣдъ, потомъ увеселенія, которыхъ не перечесть, будетъ и воспитаніе дѣтей, и благотворительность, и танцы до семи часовъ утра, и тройки, и раки, будутъ любящій мужъ, и поклонники, и пѣвцы, и поэты, и вышивки, и фонарики, и все—все будетъ! А не будетъ купона—ничего не будетъ!

А вотъ Марфа...

Но нѣтъ! я положительно не смѣю говорить о Марфѣ. То, что я сказалъ-бы въ пользу полноты ея существованія, могло-бы показаться умышленнымъ разукрашиваніемъ ничѣмъ не разукрашенной «бабьей жизни». Это дѣйствительно такъ, и трудно пожелать кому-нибудь «отвѣдать» на собственномъ опытѣ всю эту «полноту» теперешней деревенской нищеты, тѣготы и всякой недостатка, одинаково знакомыхъ какъ мужскому, такъ и женскому населенію деревни.

Но если «дѣйствительность» народнаго строя жизни скудна и не даетъ возможности фактически подчеркнуть и разукрасить предъ читателями особенности этого строя жизни—все-таки самая сущность этого строя заслуживаетъ полнаго вниманія. Отдѣливъ эту сущность отъ суровой дѣйствительности народной жизни, мы все-таки получимъ возможность довольно ясно представить себѣ основанія, на которыхъ можетъ держаться болѣе или ме-

нѣе *полное*, дѣйствительно цѣльное существованіе человека.

Откинувъ наличность нужды, нищеты и всякой тѣмы, мы получимъ въ совершенно ясномъ видѣ слѣдующія основныя черты народнаго строя жизни: во-первыхъ семья, въ которой мужчина какъ и женщина необходимы другъ для друга потому, что только неразрывная во всѣхъ отношеніяхъ трудовая жизнь ихъ и есть основаніе всего строя жизни. Ни бабѣ, ни мужику жить другъ безъ друга нельзя и *внезапно* дома у нихъ не будетъ. Смыслъ существованія и вообще *жизни* для нихъ обоихъ получается только тогда, когда они «*вмѣстѣ*» и «*вмѣстѣ* во всемъ». Эта первая, отличительная черта народнаго строя жизни, а другая заключается въ томъ, что жизнь *семьи, дома* неразрывна съ мірскою, общественною жизнью; семья имѣетъ на нее непрерывное вліяніе, точно такъ же какъ и сама постоянно чувствуетъ вліяніе міра на себя.

Въ этихъ двухъ характерныхъ чертахъ народнаго строя жизни заключаются всѣ данныя для многостороннѣйшаго проявленія человѣкомъ всего, что въ немъ есть божескаго и человѣческаго.

Облечь этотъ «образчикъ» полноты существо-

ванія въ такія формы, которыя бы плѣнили мысль и взоръ читателя, не позволяетъ горькая дѣйствительность, и вотъ почему мы не смѣемъ живописать красоту существованія Марфы.

Но разъ все-таки этотъ «образчикъ» такъ или иначе обозначился въ нашемъ воображеніи — мы его не будемъ оставлять безъ вниманія. Обликъ героини «романа» — образчикъ купонной полноты жизни — есть рѣдкое исключеніе. Въ дѣйствительности же стонъ и плачь и стenanія идутъ отъ купона во всѣхъ направленіяхъ, и дѣло семьи, мужа, жены, какъ во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ, такъ и въ отношеніяхъ къ обществу, до такой степени изуродовано, искажено купономъ, что на него давно уже пора обратить серьезное вниманіе.

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ сила купона не развилась еще до такихъ размѣровъ, до какихъ она дошла въ настоящее время. Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ мы могли видѣть его продѣлки только на несчастномъ поденщикѣ, человѣкѣ каторжнаго физическаго труда. Теперь онъ уже проѣлъ всѣ слои общества отъ верхняго края до нижняго, и именно тамъ, гдѣ долженъ бы быть виденъ результатъ, своей прелестью оправдывающій всѣ поведенія во имя купона жертвы, — тамъ то его и нѣтъ.

МИМОХОДОМЪ.

I. Паровой цыпленокъ.

(Разсказъ, пригодный для напечатанія только на свѣткахъ *).

Ни мало не протестуя противъ редакціонной помѣтки, вполне точно опредѣляющей значеніе этой статейки и допускающей появленіе ея въ печати именно только въ свѣточное время, я долженъ сказать однако, что наименованіе «разсказъ», данное редакціей этому произведенію, почти вовсе не соответствуетъ тому содержанію, которое въ этой статейкѣ заключается, и формѣ, въ которой оно будетъ передано. Никакого послѣдовательнаго разсказа здѣсь нѣтъ и не было его въ дѣйствительности. Просто люди разговаривали «о душѣ», и одинъ изъ собесѣдниковъ, проѣзжіи курятникъ, произнесъ по этому поводу нѣчто вродѣ реферата, почерпая весьма любопытные матеріалы изъ куриной психологіи. Вотъ и все.

Дѣло было такъ.

Наскучивъ сидѣть въ ожиданіи поѣзда въ душевой маленькой общей камерѣ самаго микроскопическаго полустанка N—ской желѣзной дороги, я думалъ пойти посидѣть и покурить на платформѣ... Былъ темный и теплый осенній вечеръ и время было довольно позднее, часъ одиннадцатый.

Три керосиновыхъ лампочки, разставленныя по платформѣ на значительныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, почти совершенно не освѣщали ее, и поэтому я рѣшительно не могъ рассмотреть даже при самомъ пристальномъ вниманіи тѣхъ темныхъ человѣческихъ силуэтовъ, группа которыхъ, такъ же какъ и я, въ ожиданіи поѣзда, собралась на платформѣ въ самомъ близкомъ отъ меня разстояніи. Видны были какія-то черныя тѣни, а кто онѣ такіе и что за народъ — разглядѣть было почти невозможно. Но разговоръ, который они вели между собой, былъ слышенъ совершенно ясно среди неподвижной тишины темнаго и теплаго вечера.

Къ несчастью, разговоръ былъ весьма печальнаго свойства. Дѣло шло о необыкновенномъ несчастіи, случившемся на одной изъ ближайшихъ большихъ станцій въ тотъ же день, рано утромъ, и составлявшемъ предметъ разговора по всей линіи дороги: подъ поѣздъ бросился извѣстный всѣмъ живущимъ дѣло съ дорогой людямъ одинъ кабатчикъ, въ послѣдніе годы предававшійся сильному пьянству и совершенно обнищавшій.

— Подъ конецъ-то онъ, братцы, ужъ и совсемъ очумѣлъ! рассказывалъ одинъ изъ черныхъ силуэтовъ, въ которомъ, только благодаря блеснувшей при движеніи бляхъ, можно было подозрѣвать желѣзно-дорожнаго сторожа. — Онъ ужъ разонъ пять покушался-то на это дѣло... Да все

* Помѣтка одной редакціи.

боязно ему было. Бѣжить къ поѣзду-то, а самъ оретъ... Поѣздъ гремитъ, а онъ съ испугу и самъ оретъ, а бѣжить, руки вверхъ поднимаетъ! У—ухъ! ухъ! ухъ! И все бѣжить!.. Страшно, а все его несетъ!.. Ну, завсегда Богъ его спасалъ; добрые люди не давали пропасть... Поймають, уведутъ домой сплечь... Въ больницу клади... Ну, а въ этотъ разъ видно не доглядѣли...

— А оралъ? Не слышали?

— Потомъ-то рассказывали, что молъ шибко кто-то оралъ... Слышали, говорятъ, оралъ кто-то, ухалъ все... Ну, да время было ночное, глухое... Спали!.. Нѣтъ, это ужъ видно воля Божія...

— Чортъ тутъ распоряжается! Въ такихъ дѣлахъ дьяволъ—хозяинъ и указчикъ, а не Богъ! послышалось изъ глубины всей группы силуэтовъ.

— Это вѣрно! глухо отвѣчали въ той-же группѣ, и всѣ на нѣкоторое время замолкли...

Разговоръ былъ непріятенъ, предметъ разговора мраченъ и ужасающъ, и поэтому бесѣда шла очень плохо. Но именно, быть можетъ, потому, что предметъ разговора былъ тяжелъ и многозначителенъ, собесѣдникамъ почти невозможно было легко отдѣлаться отъ угнетающаго ихъ мысль событія и перейти къ обыденной пустошопорной случайной болтовнѣ случайно встрѣтившихся людей. Какъ ни непріятно было думать и говорить объ этой нехорошей смерти, а разговоръ возобновлялся только о ней.

— Отъ жены вишь, сказываютъ, онъ такъ-то ослабѣлъ. Спился-то!

— Что-жъ ему, дураку, жена-то дороже души что-ли?

— Ну, да вѣдь какъ-сказать... Сбѣжала она отъ него—ну, онъ и заскучалъ...

— Сбѣжала! Да чортъ съ ней! Бѣгай, куда хошь... Мало-ли бабъ то?

— Бабъ-то много, да душа-то одна!

— Наде за душу-то Богу на томъ свѣтѣ отвѣчать!..

— Охъ, душа, душа!.. сказалъ сторожъ со вздохомъ, и разговоръ вѣроятно-бы пресѣкся, если бы въ это время около группы неожиданно не оказался молодой помощникъ смотрителя станціи, неслышно очутившійся около группы, благодаря резиновымъ калошамъ.

Это былъ молодой, веселый человѣкъ; онъ только-что получилъ мѣсто, только-что женился, только-что одѣлся въ новую форму и чувствовалъ, что теперь онъ «похожъ на человѣка». Остановился онъ около группы мимоходомъ, чтобы закурить папиросу, и положительно отъ нечего дѣлать весело бросилъ слово:

— Что у васъ тутъ? Какая душа?..

Слово «душа» совершенно случайно коснулось его уха, когда онъ шелъ мимо; мысли его были за тридевять земель отъ возможности быть внимательнымъ къ какимъ-то чужимъ разговорамъ: онъ не шелъ, а несся къ молодой женѣ, къ горячему новому самовару и былъ вообще радъ самому себѣ...

— Да вотъ про несчастье про нонешнее... Про кабатчика...

— Такъ что-жъ?

Онъ дернулъ спичкой о рукавъ и едва-ли слышалъ, что ему говорятъ.

— Да такъ... болтаемъ... Душу-молъ бѣдняга свою погубилъ.

— Какую душу?

Быстро зажглась папираса и рассыпала кругомъ себя искры.

— Какая душа? Чтѣ за чепуха!

— Какъ же, вешкобродіе? Душа-съ!

— Просто пьяница!—Разумѣется, чепуха!

— А какъ же на томъ-то свѣтѣ?

— Ну, что вздоръ молоть!.. Не пьянствуй и не развѣивать... Чортъ знаетъ чтѣ! Душа!

Молодая жена и новый кипящій самоваръ, заполонавшіе его мысль, дѣлали его рѣчь веселой, отдававшей запахомъ «трынь-травы». Бросивъ эти нѣсколько словъ развязно и весело, онъ развязно и весело унесся отъ группы вдоль платформы и бросилъ оставшимся на платформѣ силуэтамъ еще два слова:

— Конечно, чепуха!..

И скрылся въ темнотѣ, подиывая «Стрѣлочка»...

— Нѣтъ, не чепуха! довольно рѣшительно проговорилъ какой-то изъ силуэтовъ, и темная фигура его вытянулась вверхъ, поглотивъ свою тѣнью всѣ остальные темные силуэты. — И даже очень она не чепуха, душа-то!..

Появленіе развеселаго начальника станціи какъ бы разогнало мрачныя мысли собесѣдниковъ, и поэтому, не найдя сразу легкой темы для разговора, они не поддержали рѣшительнаго заявленія незнакомца оратора. Но это молчаніе не обезкуражило оратора, и онъ тѣмъ же многозначительнымъ тономъ продолжалъ:

— Чепуха! Сфорсиль, да и горя мало!... Это стало-быть ты въ Бога не вѣруешь—нигилистъ, больше ничего!.. Коли бы ты вѣрилъ въ Бога, такъ не посмѣлъ бы форсить!.. Я и самъ былъ тоже вродѣ дубовой колоды, покада не ударило меня въ башку вѣрой... Чтѣ мы всѣ-то понимаемъ? Знаемъ Богу молиться, свѣчки ставить, а понимать премудрость—не можемъ... А между тѣмъ, какъ привелъ мнѣ Богъ пойдти сначала по рыбей, а потомъ по куриной части, да далъ мнѣ талантъ и дозволилъ выикнуть, такъ я тепереча, братцы, и понялъ это дѣло!.. Да! Есть она, братцы, душа-то, есть она!.. Вотъ чтѣ я скажу—а не «чепуха»!

Не сразу публика взяла въ толкъ то, что проговорилъ курятникъ; слишкомъ много было въ его рѣчи смѣшано самыхъ неподходящихъ другъ къ другу понятій и представленій. Богъ, душа, рыба часть, куриная часть. Всего этого переварить сразу темные силуэты не могли. Кто-то изъ нихъ попробовалъ было сказать обычное въ затруднительныхъ для русскаго обывателя случаяхъ: «Само-собой!», т. е. слова, которыя, повидимому, и могутъ быть приняты за отвѣтъ, но въ сущности ровно ничего не означаютъ (хотя даже въ коммерческихъ дѣлахъ употребляются постоянно), но сказать это какъ-то робко, почти шопотомъ, и замолкъ...

Но молчаніе уже не могло продолжаться; тема

для бесѣды получалась вовсе не мрачная, и разговор оживился.

— Какая же такая, позвольте васъ спросить, бываетъ куриная душа? очевидно приготовляясь начать продолжительный разговоръ, произнесъ не спѣша и съ разстановкой кто-то изъ слушателей. — Позвольте узнать, на какомъ вы полагаете основаніи? Душа должна существовать христіанская, а какая такая куриная, или рыба? — такъ объ этомъ никакимъ образомъ не можетъ быть сказано въ Писаніи...

— Въ писаніи-то, положимъ, что объ этомъ и дѣйствительно ничего нѣтъ, а я, вотъ видишь меня — курятникъ Селиверстовъ — я вотъ говорю тебѣ, да! Хочешь ты мнѣ вѣръ, а хочешь не вѣръ, а я тебѣ утверждаю, что когда вникнулъ я въ рыбу, а главное въ куриное дѣло, тогда я во Всевышняго Создателя и утѣровалъ. А то была я, однимъ словомъ, дубовый пенъ! Какъ хочешь, такъ и думай! Да!..

Въ тонѣ голоса курятника слышалось большое одушевленіе, но очевидно было, что обширность темы, интересовавшей его, ставила его предъ публикой въ неловкое положеніе и затрудняла его рѣчь.

— Да! повторилъ онъ опять тѣ же слова, что уже сказалъ раньше. — На куриномъ дѣлѣ позналъ премудрость. Какъ хочешь, такъ и разбирай!

Настало молчаніе.

— И существуетъ куриная душа? чрезвычайно оживленно и съ явной насмѣшкой въ голосѣ воскликнулъ одинъ изъ слушателей.

Курятникъ примолкъ, но тотчасъ же весь какъ-то встряхнулся, подбодрилъ себя и почти гаркнулъ басомъ:

— Ссуществуетъ!

— Душа куриная?

— Н—да!

«Очертя голову», казалось, сказаны были эти слова, и курятникъ, увидѣвъ, что ему нѣтъ отступленія, громко и безъ остановки проговорилъ:

— Окончательно могу сказать, хоть побожиться, говорю передъ истиннымъ Богомъ: существуетъ куриная душа — чтобъ мнѣ не дожить до завтра! Вотъ тебѣ что!

Всѣ молчали.

— Существуетъ! вопилъ курятникъ.

И опять всѣ молчали.

— Да! Есть она, братцы, есть!..

— Ну ужъ, другъ любезный... Ты, братъ, что-то кажется... того...

— Ничего не «того»? Чего тутъ «того»? Тутъ дѣло эво какое, а не «того»... Я тебя вотъ спрашивать буду, можешь-ли ты мнѣ отвѣчать?

— Чего-жъ мнѣ не отвѣчать? Коли по человѣчьи будешь говорить, такъ и я тебѣ отвѣчу по человѣчьи...

— Не лаять же я на тебя буду!

— Ну, коли ты не будешь лаять, такъ и я не буду кукуреку кричать... Спрашивай!

— Ну, коли ты можешь отвѣчать, такъ я тебѣ буду представлять вопросы... Первымъ долгомъ, сейчасъ здѣсь былъ разговоръ о душегубствѣ... Отвѣ-

чай мнѣ, почему кабатчикъ подѣ вагонъ бросился?

— Чортово дѣло — больше ничего! опять провозгласилъ рѣшительный голосъ изъ группы слушателей, не давъ отвѣтить тому слушателю, который разговаривалъ съ курятникомъ.

— Чортово-то оно чортово, сказалъ курятникъ, — а главное, требуется знать, подѣ какому предлогу чортъ-то его подѣ колесо поволокъ, вотъ главное дѣло въ чемъ!..

— Вѣдь, сказывали тутъ, что молъ изъ-за жены огорчился!.. отвѣчалъ собесѣдникъ курятника. — Изъ-за бабы огорчился, сталъ пить, ну а ужъ отъ пьянства чего не выйдетъ...

— Слѣдовательно, разобравши дѣло, оказывается въ первоначальномъ основаніи было огорченіе?

— Надо быть такъ...

— Ну, а теперь потрудитесь объяснить: кое мѣсто его колесомъ переѣхало?

— А ужъ это вотъ пушай онъ скажетъ... Кое мѣсто, Михалычъ, кабатчика-то переѣхало?

— А его, отвѣчалъ сторожъ, — вотъ этакъ, по животу разрѣзало.

— И конечно спину и все? какъ настоящій экспертъ допытывался курятникъ.

— Ужъ конечно все разворочало, что подѣ него попало...

— Ну, превосходно! Теперь позвольте васъ спросить: когда вы утверждаете, что «отъ огорченія», то въ какомъ мѣстѣ оно у него заключалось — въ спинѣ, въ животѣ или еще въ какихъ костяхъ?

Вопросъ показался публикѣ въ такой степени ни съ чѣмъ несообразнымъ, что послѣ нѣкотораго молчанія часть публики разразилась громкимъ хохотомъ, а собесѣдникъ курятника, какъ бы нехотя и вовсе не желая продолжать пустопорожняго разговора, промолвилъ:

— Ну, братъ, я вижу, съ тобой разговаривать такъ надо языкъ суконный привѣшивать... А такъ то, свой-то, только безъ толку обоешь... И вѣтру-то на дворѣ нѣту, а вотъ у тебя въ головѣ что-то какъ будто сквознякомъ посвистываетъ... Въ брюхѣ оно у него, огорченіе-то, было!..

— Это въ брюхѣ было огорченіе отъ жены?

— Да ну тебя! Перестань молоты!.. съ нетерпѣніемъ и сердцемъ сказалъ собесѣдникъ. — Плететь языкомъ незнаю что!

— Вотъ то-то и есть, что у васъ-то именно и нѣтъ соображенія.

— И пушай!

— Ежели у солдата отрѣзываютъ ногу, слѣдовательно, у него нога болѣла, а не спина и не животъ. И ежели отрѣзываютъ у меня руку, то болѣла, стало быть, рука, а не ухо и не носъ... А когда отъ огорченія чловѣкъ спину себѣ подѣ вагономъ ломаетъ, такъ позвольте васъ спросить, что у него болѣло: спина или животъ?

Всѣ молчали.

— Вотъ въ томъ-то и состоитъ!.. Болѣло-то у него на совѣсти, въ дѣлѣ, а не въ кости, не въ ребрѣ... Вотъ поэтому-то и говорится «погубилъ

душу» — а не «чепуха!», какъ болтнулъ вонъ тотъ господинъ... Душа болѣла и душа подъ вагономъ погнѣбла»...

— Чортова работа, больше ничего! упорно гудѣлъ невидимый въ кучѣ слушатовъ басъ.

— Чортова! Конечно это его дѣло! Только онъ ведетъ тебя подъ вагонъ-то не за ногу, а за совѣсть, за душу!... Вотъ въ чемъ дѣло-то!... Нѣту, братцы, есть, есть она, душа-то!..

— А куриная-то душа? вновь заговорилъ тотъ самый собесѣдникъ, который только-что было со-вѣмъ прервалъ разговоръ съ курятникомъ.

— И куриная душа существуетъ!.. Куриная-то душа меня и на умъ-то навела... Вотъ, видишь, плетушка моя стоитъ съ цыплятами?..

Вѣроятно тутъ же на платформѣ полустанка гдѣ-нибудь стояла эта плетушка съ цыплятами, но въ темнотѣ не было ея видно.

— Ну видимъ, ну, что-жъ?

— Ну, такъ вотъ это я хотѣлъ нашихъ бабъ въ послѣдній разъ поднадуть паровымъ цыпленкомъ — только нѣтъ, не надуетъ! Въ послѣдній разъ хотѣлъ ихъ поморочить, всучить имъ вѣсто янцъ — ну нѣтъ, навыкли, не берутъ!

— Отчего-же?

— Вездущный онъ, паровой-то цыпленокъ! Души въ немъ нѣтъ — и не плодится! Вотъ въ чемъ дѣло. Я служу на паровомъ цыпльемъ заводѣ. Такъ вотъ въ прежнія времена мы и мѣняли паровыхъ цыплятъ на яйца. Дашь бабѣ курочку и пѣтушка, да и двѣ курицы съ пѣтухомъ намъ ничего не стоитъ дать за десятокъ, за полтора... Изъ двухъ-трехъ у насъ выйдетъ 10, 15 — все барышъ намъ. И сначала брали... Ничего! А намъ и любо вѣсто денегъ-то! А потомъ вдругъ и не берутъ... Всѣ бабы въ одинъ голосъ завопили: «не несется ваши машинныя куры!» — и все тутъ... И вотъ что ты хочешь — не несется!.. И рыбы дѣло тоже: машинная заводская рыба — теперь вотъ вырастить ее искусственнымъ манеромъ можно, а потомства нѣту!.. Вотъ ты и думай, какая тутъ премудрость!.. Температура тутъ существуетъ — потому что горячей водой, паромъ дѣйствуютъ. А души нѣтъ!

— Да вѣдь онъ ходитъ, цыпленокъ-то машинный? Ёсть?

— И ходитъ, и ёсть, а размышленія въ немъ нѣтъ... Не можетъ онъ подумать о жизни...

— Ну, братъ, ты опять никакъ заплутался!..

— Заплутался или не заплутался, а ваши слова тоже безъ смысла... Ходитъ! Что-жъ такое ходитъ? Вонъ желѣзная машина тоже ходитъ, почтше лошади, а скажи-ка ей: «Налѣво! поверни къ кабачку!» — нѣтъ, не повернетъ... Ходитъ! Это все одно, что лектрицкій свѣтъ. Мнѣ одинъ мой землякъ, театральныи ламповщикъ, говоритъ: «Погляди-кось, какой огонь выдумали!». Поглядѣлъ я и думаю: «Какой пламень въ этомъ стеклянномъ пузырькѣ (цвѣткомъ сдѣланъ) и какъ не лопетъ!» И говорю: «Какъ это стекло-то не лопнетъ, какой огонь!» А землякъ усмѣхнулся, говоритъ: «Очень страшный огонь... Плюнь, погляди, какъ зашипитъ». Плюнулъ я въ этотъ тюльпанъ,

а оно и вовсе не зашипѣло... «Какъ такъ!» — «А такъ, говорить, этотъ огонь выдушицкій, безбожный — онъ какъ ледъ холодный... возьми-ка тюльпанъ-то въ руку»... Взялъ я, а онъ и въ самъ дѣлѣ, какъ ледъ. А вѣдь огонь?.. Вотъ и разсуди: гдѣ Богъ, а гдѣ фокусъ-покусъ... Такъ и въ рыбѣ машинной, и въ цыпленкѣ паровомъ: температура есть, а совѣсти нѣтъ! Вотъ и у кабачника въ совѣсти болѣло, а ежели онъ переломилъ спину, то въ спинѣ не можетъ болѣть отъ того, что жена сбѣжала... а въ душѣ!..

— Ну, братъ, ты никакъ опять вѣсто воротъ на крышу съ возомъ поѣхалъ! Почему-же паровая курица не несется?

— А потому, что она тварь температурная, машинная выдумка, а не тварь Божія... У паровой курицы одна температура, а у настоящей — совѣсть! Вотъ отъ этого она и несется... Потому что у нея существуетъ умственное размышленіе и забота... Въ температурѣ этого нѣтъ, а въ душѣ есть...

— Есть?

— Вѣрно есть!

— А ты не лежалъ въ сумасшедшемъ домѣ?

— Нѣтъ, Богъ миловалъ!

— Слава Богу! А я думалъ, что начальство за тобой не доглядѣло, плохо заирали...

— Съ вашимъ братомъ поговорить по умному, такъ иначе какъ за сумасшедшаго и не прослы-вешь. — Сами-то вы что въ душѣ смыслите?

— А ты, что въ куриной совѣсти понимаешь?

— Да все понимаю!..

— Ну, да что?

— Да все понимаю, всю куриную душу вижу! Чего ты гогочешь? Ты отвѣтъ мнѣ одно: знаешь, какъ насѣдку на яйца сажаютъ?

— Ну, ужъ это — не нашего ума дѣло. Мы дро-вяники.

— Ну, а не вашего ума дѣло, такъ и молчи, и слушай... Курица, братецъ ты мой, не очень любитъ на яйцахъ-то сидѣть... Ей-бы только яйцо снести, а потомъ опять въ кафе-ресторанъ съ пѣтухами погулять, пѣсенъ попѣть, побормотать... Бываютъ такіе франтики, что ее три дня подъ лукошкомъ на яйцахъ держутъ, а она все съ боку ихъ жмется, не садится на нихъ, думаетъ, какъ-ниная барыня: «Ежели я сама буду съ дѣтми, то, можетъ быть, испорчу свой бюстъ и меня не будутъ любить!»... И жмется въ уголъ, а яйца такъ и лежатъ безъ вниманія... Сними на четвертый день лукошко, а она — порхъ, и убѣжала, закудаhtала, зарала на весь дворъ, пожаловалась о своемъ стѣсненіи, а пѣтухъ уже тоже, какъ оглашенный, бѣжитъ ей на защиту; тоже жалостливъ! И сейчасъ въ кусты, на острова, въ Аркадію и въ маскарадъ. Иная такая выйдетъ форсуныя — сладу нѣтъ! Такъ бабы вотъ какъ съ такими форсуныями поступаютъ: возьметъ, надѣ-лаетъ хлѣбныхъ шариковъ, намочитъ ихъ въ водкѣ и дастъ съѣсть... Форсуныя-то съѣстъ и захлѣбеть. Вотъ ее хлѣбную-то и посадетъ на яйца, да лу-кошкомъ прикроютъ... Покуда она спитъ, да о маскарадахъ съ танцами не думаетъ — анъ ужъ у

нея съ яйцомъ-то и началось знакомство... И въ яйцо идетъ тепло, и изъ яйца идетъ въ нее... Сними лукошко — ужъ она не можетъ встать! И сама знаетъ, что хорошо-бы ей погулять, слышитъ, какъ пѣтухъ оретъ, романсы поетъ, на острова собирается, а не можетъ — совѣсть взяла ее за живое! Жалость у нея ужъ есть! Душа заговорила!.. И просидитъ свой животъ до голаго мяса, ни одного пера на немъ не останется, просидитъ до боли, а изъ за чего? Изъ совѣсти!.. Изъ совѣсти-то и пойдутъ въ ней всякія мысли: и какъ она была въ дѣвцахъ (долго вѣдь ей сидѣть-то, есть о чемъ подумать подъ лавкой-то!), и какъ гуляла, и что видѣла, и какъ пѣтухъ къ ней подскочилъ, и какія перья на немъ (каждое перо вспомнить, обдумаетъ сто разъ!), и какъ было дальше, и какъ она захворала, затяжелѣла, и какъ родила, и какъ кричала во время родовъ — все это она обдумаетъ подъ лавкой-то... И всѣ эти мысли-то ея изъ еяной души въ цыплячью душу идутъ, и цыпленокъ тоже принимаетъ еяныя мысли и заботы... Онъ еще еле-еле на что-нибудь похожъ, а ужъ по душевной части ему насѣдкой все дадено, всѣ мысли... онѣ, какъ зерна маленькія, точно булавокъ уколоты: то тамъ — то сямъ, а потомъ и вырастутъ въ большія, въ настоящія куриныя... Это, братцы мои, не температура въ пятьдесятъ или сколько тамъ градусовъ, а душа съ душой разговариваетъ!.. Хотя бабу иную взять — ходить беременная, пожару испугалась, ударила себя обѣими руками объ голову — и у ребенка пятна на тѣхъ самыхъ мѣстахъ — такъ и тутъ... Думала курица и ахала, какъ она въ дѣвцахъ состояла и какъ потомъ все вышло — и въ цыпленка бездушнымъ тоже самое въ душу входитъ... Отчего пѣтуховъ много родится? Отъ того, что курица больше всего о пѣтухѣ мечтаетъ. Каждое перо помнить... Ужъ ежели мужикъ идетъ къ попу, къ старшинѣ, къ писарю поклониться — всегда пѣтуха несетъ. Очень много заботы у куръ объ нихъ. Вотъ такимъ-то родомъ и всякія заботы изъ куриной души въ цыплячью переходятъ: и о томъ, что въ дѣвцахъ надо быть, и о томъ, что пѣтухи явятся и родить надо... все это туда въ яйцо-то и идетъ своимъ порядкомъ... А въ горячей водѣ ничего этого нѣтъ — одна температура... А температура нешто думаетъ о куриной жизни? Думаетъ она о пѣтухахъ? о томъ, что скучно сидѣть подъ лавкой, да нельзя, жалъ ребенка? Ничего не думаетъ! Вотъ и выходитъ цыпленокъ бездушный, безсовѣстный, безъ заботы и безъ ума!.. И отъ лектричкаго свѣта также трава не вырастетъ... Вотъ что такое Богъ-то!.. Нѣтъ, братцы, не чепуха! Душа дѣло одно, а выдумки — дѣло другое... Нѣтъ, не чепуха это... Это надо очень тонко сообразить!..

— Не знаю! равнодушно сказалъ собесѣдникъ, — не знаю ужъ... Премудро что-то... По моимъ мыслямъ выходитъ такъ, что окромя христіанской души будто бы никакихъ прочихъ и не положено... А чтобы, напримѣръ, куриная совѣсть... не знаю!.. Этого мы не можемъ!..

— То-то и есть, что не можете...

Рефератъ былъ очевидно конченъ и вопросъ исчерпанъ, но такъ какъ поѣздъ еще не приходилъ и время было у всѣхъ свободное, то окончить разговоръ на заключительныхъ словахъ курятника было бы всей компаніи какъ-то не совѣсти удобно. Нужно было (всѣ это чувствовали, какъ и въ настоящихъ собраніяхъ ученыхъ обществъ) что-нибудь возразить или дополнить... И точно, послѣ нѣкотораго молчанія одинъ изъ слушателей, по голосу, кажется, тотъ самый, который тайну смерти кабачника приписывалъ чорту, вдругъ произнесъ:

— Вотъ ты говоришь — выдумка, сказалъ онъ курятнику. — Ужъ и точно, братъ, навывдумано не вѣсть чего!.. Иду я наемдн по Петербургу, по Исакиевской площади; вижу ѣдетъ господскій хорошій рысакъ въ самой первѣйшей запряжкѣ: что рысакъ, что сани, что сбруя, полость — тысячные. У кучера-то никакъ позументъ какой. И что же ты думаешь? Вдѣланы, братцы вы мои, этому самому кучеру вотъ въ это... передъ Богомъ говорю, не вру... вотъ это мѣсто...

— Куда?

— Вотъ... Передъ Богомъ не вру!.. Вотъ что хочешь... вдѣланы, братцы мои, часы...

— Въ это самое мѣсто?

— Вдѣланы часы огромные, въ полъ-ладони... И такимъ родомъ барину ихъ видно завсегда... Такъ кучеру-то совѣстно даже!

— Это ужъ даже и распахнуться баринъ-то не желаетъ?

— Должно быть, что по секундамъ ѣздитъ... Стали, надо быть, ужъ по секундамъ ѣздить. Дорожать!.. Дѣловъ, должно быть, полонъ ротъ.

— Ну, сказалъ презрительно и небрежно курятникъ, — какія это выдумки. Нешто такія выдумки-то пошли!..

— Да, братъ! Пошли выдумки, нечего сказать, ловкія.

Голосъ, которымъ были сказаны эти слова, прямо свидѣтельствовалъ, что это говорить непременно «неплательщикъ» и «недоимщикъ», т. е. простой, сѣрый мужичонка.

— Бывало ѣздили я въ Москвѣ въ извозчикахъ, такъ съ Никольской на Нижегородку два рублика купецъ-то давивалъ... «Поѣзжай только скорѣй, мнѣ надо узнать, не приехалъ-ли товаръ»... а нонче побормоталъ въ дудку черезъ проволоку — вотъ тебѣ и все... На Нижегородку, на Смоленскую, куда хошь разговоръ идетъ по проволоку, а нашему брату — мать!

— Телефонъ называется! сказалъ курятникъ.

— Агафонъ или Оалалей — нашему брату, мужику, все отъ выдумокъ-то хуже да хуже... Давить насъ выдумка на всѣхъ путяхъ, жметъ... А по дати — подай...

На этомъ выводѣ изъ всего вышесказаннаго сдѣланномъ «сѣрымъ» мужикомъ, прекратились въ публикѣ какъ мрачныя мысли о несчастномъ событіи дня, такъ и всякія фантастическія мечтанія, навѣяныя рефератомъ курятника. Сѣрый мужикъ возвратилъ своимъ замѣчаніемъ мысли всѣхъ присутствующихъ къ дѣйствительности и закончилъ

такимъ образомъ случайную бесѣду случайно встрѣтившихся людей самымъ достойнымъ образомъ, т. е. такъ, какъ заканчивается въ наши дни всякая бесѣда, о чемъ бы она ни началась.

II. Не все коту масляница.

I.

На вечерѣ у одного крупнаго, парижскаго, купоннаго аристократа недавно произошелъ, по словамъ газетъ, слѣдующій весьма любопытный эпизодъ. Купонный аристократъ *кутилъ* на этотъ вечеръ, для собственнаго удовольствія, искусство одного знаменитаго піаниста, пригласивъ его за извѣстную плату играть. Знаменитый піанистъ при одномъ взглядѣ на общество, напоминавшее собраніе несгораемыхъ чугунныхъ шкафовъ изъ банкирскихъ конторъ, хотя и наряженныхъ въ шелки и брилліанты,—почувствовалъ себя крайне неловко, оробѣлъ, охолодѣлъ, но все-таки долженъ былъ исполнить свое дѣло, какъ нанятый.

Купонное общество слушало, ощущая только одно удовольствіе быть нанимателемъ и покупателемъ всего «что угодно», всякой знаменитости, всякаго таланта, и вовсе не интересовалось музыкой, потому что ровно ничего въ ней не понимало. Хозяйка дома, супруга одного изъ несгораемыхъ шкафовъ, была даже такъ нетерпѣлива при исполненіи артистомъ какой-то продолжительной сонаты, что всякій разъ, когда композиторъ долженъ былъ прервать на нѣсколько мгновеній игру, эта, осыпанная брилліантами, жена несгораемаго шкафа не упускала случая нетерпѣливо спросить артиста:

— Вы кончили?

Смущенный, сконфуженный этими чугунными обществомъ, несчастный наемникъ кое-какъ донгралъ все-таки до конца пьесу и, сбивъ эту поденную работу, немедленно же хотѣлъ удалиться... Но въ это время супруга несгораемаго шкафа, любезно поблагодаривъ піаниста, не менѣе любезно сказала:

— Оставайтесь одну минуту... Теперь я сыграю вамъ... *сама*!

Піанистъ долженъ былъ исполнить это желаніе и выслушать игру *самой* хозяйки. Какъ же сыграла она *сама*? Она просто придвинула къ себѣ какое-то большое мягкое кресло, съ сіяющей улыбкой расправила юбки и медленно опустилась въ это самое кресло... Сѣла она плотно, повернулась, поправилась и вдругъ, въ подушкѣ того самаго кресла, на которомъ она возсѣдала, заиграло и забарабанило: «*En revenant de la revue*»! Въ глубинѣ кресла гудѣло, трещало, пищало и барабанило такъ удивительно хорошо, что всѣ несгораемые шкафы пришли въ неописанный восторгъ; они застучали своими чугунными дверями, загрохотали скобами, зашелкали секретными замками,—словомъ, несто-во зааплодировали. Но больше всѣхъ сіяла сама артистка: вѣдь она *сама* играла такую отличную пьесу и играла такъ хорошо! Бѣдный артистъ долженъ былъ въ числѣ прочихъ гостей поблагода-

рить артистку (всѣ ее благодарили, и она принимала рукопожатія) и едва живой отъ изумленія удалился. А артистка опять усѣлась въ кресло и еще разъ *сама* сыграла изъ «Жирофле», а потомъ и «Марсельезу»:—она вѣдь все можетъ сыграть *сама*.

II.

Я вполне увѣренъ, что эпизодъ этотъ покажется читателю каррикатурой и выдумкой; но если онъ дастъ себѣ трудъ подумать вообще о сущности купоннаго строя жизни и дать этому каррикатурному и повидимому ничтожному эпизоду надлежащее въ немъ мѣсто, то онъ непремѣнно увидитъ въ немъ одну изъ самыхъ характерныхъ чертъ этого строя. Смѣшно и каррикатурно выражено въ этомъ эпизодѣ соприкосновеніе купоннаго человека съ музыкой: стоитъ только *стѣсть* поплотнѣй на эту самую *музыку*—и музыка готова; но развѣ не въ такой же ничтожной степени соприкосновенія находится купонный человѣкъ со всѣмъ строемъ жизни, результаты которой всецѣло принадлежать только ему? Точно такъ же, какъ онъ *сама* играетъ (стоитъ только сѣсть покрѣпче),—онъ участвуетъ и въ литературѣ, и въ искусствѣ: самъ купить картину, самъ купить книгу; онъ самъ только купить платье, самъ только ѣсть, онъ самъ только выбираетъ на сегодняшний вечеръ спектакль,—словомъ, благодаря купону, онъ беретъ отовсюду все готовое и хотя повидимому ставитъ тѣмъ себя въ полнѣйшую зависимость отъ всего покупаемаго имъ народа, но на дѣлѣ онъ, какъ корень этого строя, оказывается его единственнымъ владельцемъ, въ то-же время не имѣя съ этимъ народомъ ни малѣйшей нравственной связи.

Подъ тяжеловѣснымъ, угнетающимъ вліяніемъ такого узкаго, немилосерднаго направленія жизни, неумудрено, если вся чернорабочая человѣческая масса, создающая на собственныхъ костяхъ благополучіе купоннаго человѣка, во временамъ теряетъ всякую надежду на лучшее будущее, мечтаетъ о немъ только втихомолку, робко и даже заподозриваетъ самого себя при этомъ въ нѣкоторомъ упомощаженіи. Но какъ ни умалены мечтанія чернорабочаго человѣка о какой-то самостоятельной жизни, мечтанія эти не замираютъ ни на одну минуту, такъ какъ они и составляютъ сущность духовной жизни человѣка всегда, «и нынѣ и присно». И вотъ почему всѣ мы, чернорабочіе меркантильнаго строя жизни, такъ всегда глубоко рады всякому мечтателю и фантазеру, который придетъ къ намъ для того, чтобы ободрить насъ, который только хоть на небесахъ и послѣ смерти нашихъ посулитъ намъ что-нибудь хорошее. Тѣмъ болѣе мы будемъ счастливы и обрадованы, если то же самое мечтаніе поддержитъ въ насъ и докажетъ намъ самымъ справедливымъ нашихъ мечтаній—не фанатикъ, не вдохновенный предвидѣніемъ человѣкъ, не фантазеръ, а человѣкъ строгой, точной науки, руководимый въ своихъ дѣлахъ и мнѣніяхъ несокрушимой логикой разума.

III.

Крошечная брошюра г. Энгельмейера, «Экономическое значеніе современной техники», есть именно такая благородная попытка — разобраться въ успѣхахъ техники по отношенію къ человѣку, мечтающему вырваться изъ лапъ купона на божій свѣтъ. «Идеаль», съ которымъ г. Энгельмейеръ входитъ въ область своей науки, прямо и просто выраженъ словами Аристотеля, котораго авторъ брошюры называетъ «отцомъ технической науки, свидѣтелемъ ея перваго безсвязнаго лепета», и котораго онъ считаетъ незаконно великимъ, потому что онъ за двѣ тысячи лѣтъ *«уже носилъ въ себѣ тотъ же идеалъ, такъ же прилагалъ его къ жизни и того же ожидалъ, чего и мы ожидаемъ и все еще только, увы, ожидаемъ!..»* Идеаль этотъ, логическое, хоть и нескорое приближеніе котораго доказано, какъ мы увидимъ ниже, г. Энгельмейеромъ весьма основательно, выраженъ Аристотелемъ пророческими словами, звучащими изъ тьмы вѣковъ трогательно и ясно. Вотъ эти слова: *«Если-бы, говоритъ онъ, каждый рабочий инструментъ могъ исполнять свойственную ему работу по приказанію и по предчувствію, если-бы челноки ткача ткали такимъ образомъ сами собою, то мастеру не надо было бы подмастерьевъ, а господину — рабовъ»* (51 стр.).

Какъ видите, точка зрѣнія г. Энгельмейера на его науку и ея цѣли есть самая гуманная и вполне соответствуетъ точкѣ зрѣнія на существующіе порядки и на цѣли науки рѣшительно всякаго чернорабочаго человѣка. Развѣ темный-претемный мужикъ, раздумавшись о житьѣ-бытьѣ и убѣдившись, что все это происходитъ отъ того, что антихристъ уже родился, — развѣ онъ не исходитъ въ своемъ умозаключеніи о несомнѣнномъ пришествіи антихриста изъ того же нежеланія быть чьимъ-нибудь рабомъ? Развѣ не антихристъ отрываетъ отъ его семьи сына, человѣка трудящагося, связаннаго съ отцомъ и матерью духовными узами, и бросаетъ его на фабрику на поденщину, разрывая его нравственную связь съ его семьей, женой, его дѣтьми и не давая его женѣ права быть женой и матерью? А нашъ темный-претемный деревенскій «механикъ-самоучка», непремѣнно сосредоточивающій свою едва тронутую знаніемъ мысль исключительно на изобрѣтеніи вѣчнаго движенія *perpetuum mobile* — развѣ въ его напряженіи ума не участвовала та же самая скорбная нота печали о рабствѣ, и развѣ онъ не мечталъ о томъ, чтобы «челноки его бабы ткали сами собою», то есть освобождали бы въ бабѣ человѣка, не отрывали бы ее на фабрику, и чтобы не человѣку приказывали работать, но чтобы человѣкъ самъ приказывалъ «рабочему инструменту исполнять, даже по предчувствію, свойственную ему работу»?

Вотъ тѣ едва намѣченные признаки того, что точка зрѣнія г. Энгельмейера имѣетъ глубокое основаніе какъ въ человѣкѣ, просвѣщенномъ знаніемъ, такъ и въ искренности человѣческаго чувства самаго темнаго-претемнаго простолудина: одинаковая скорбь о

рабствѣ человѣка, одинаковая жажда независимости и одинаковая цѣль въ примѣненіи къ жизни знанія. И несмотря на то, что свою восторженную рѣчь о пророческихъ мысляхъ Аристотеля г. Энгельмейеръ оканчиваетъ сожалѣніемъ о томъ, что осуществленія этихъ мыслей мы только «увы! все еще ожидаемъ» — его маленькая книжка даетъ уже намъ такую массу радужныхъ надеждъ, которую мы даже и подозревать не могли.

Конечно, купонъ будетъ уничтоженъ, но не такъ чтобы ужъ очень скоро. Напротивъ, въ его біографіи будутъ еще небывало блестящія страницы. «Въ проходномъ ряду *вътрюмъ торговалъ!*» — помнится мнѣ шутовская фраза балаганнаго шута, и помнится, какъ казалась смѣшна эта фигура торгующаго вѣтрюмъ человѣка; а теперь же брошюра г. Энгельмейера неопровержимо доказываетъ намъ, что въ ближайшемъ будущемъ торговля вѣтрюмъ будетъ практиковаться самымъ подлиннымъ образомъ, что будутъ вѣтряные собственники, арендаторы, контракты, процессы, — словомъ, будетъ все, что теперь окружаетъ слово *товаръ*. Во время крестовыхъ походовъ, когда была выдумана вѣтряная мельница, ужъ былъ, по словамъ г. Энгельмейера (стр. 17), вопросъ о томъ, «кому долженъ принадлежать вѣтеръ: дворянству, духовенству или коронѣ? и какая изъ предержавшихъ властей въ правѣ наложить *налогъ на вѣтеръ?*» Если купонное око не проглядѣло хорошаго товара въ такое многосложное время, какъ крестовые походы, то уже теперь-то оно никакъ не образумитъ этого драгоценнѣйшаго товара не проглядѣть. Все, что толчется, живетъ, пьетъ и ѣстъ вокругъ всякихъ «операций» — все должно сильно поживиться около «торговли вѣтрюмъ въ проходномъ ряду».

IV.

Путь, по которому знаніе ведетъ всѣхъ насъ, горемычныхъ, къ такому свѣтлому будущему, очерченъ г. Энгельмейеромъ съ полною точностью и основательностью. Перескажу его въ самыхъ общихъ чертахъ, твердо вѣря, что тотъ, кто заинтересуется затронутыми г. Энгельмейеромъ вопросами, непремѣнно самъ обратится къ его брошюрѣ.

Промышленный переворотъ конца прошлаго вѣка, породившій крупную фабричную промышленность, объясняется двумя важнѣйшими техническими усовершенствованіями:

- 1) изобрѣтеніемъ машинъ-*орудій*, замѣняющихъ ловкость человѣка въ работѣ, и
- 2) изобрѣтеніемъ машинъ-*двигателей*, замѣняющихъ силу человѣка.

Коренной переворотъ произошелъ только послѣ *одновременнаго* введенія какъ болѣе усовершенствованныхъ рабочихъ орудій, такъ и болѣе сильныхъ двигателей. «Не то важно, говорить г. Энгельмейеръ (стр. 10), дѣлая возраженіе на нѣкоторыя замѣчанія К. Маркса, — что совершенствованіе прежде коснулось машинъ-*орудій*, а потомъ машинъ-*двигателей*, а то важно, что оно косну-

лось ихъ обоимъ. Если бы у насъ были всѣ эти прядильныя, ткацкія и другія машины-орудія, но не было бы универсальнаго парового двигателя, а мы продолжали бы приводить ихъ (машины-орудія) въ дѣйствіе силою человѣка и животныхъ, или вѣтра и воды, то все-таки не было-бы у насъ фабрики и крупной промышленности. Появляется же послѣдняя только тогда, и лишь потому, что сама сила (приводящая въ движеніе паровикъ) *подпала въслѣдъ подъ нашу произволъ*; что мы съ одинаковой легкостью управляемъ какъ маленькимъ локомотивомъ, такъ и огромнымъ двигателемъ въ нѣсколько тысячъ лошадиныхъ силъ, и что *со своимъ источникомъ этой силы можемъ перемѣщаться и основываться гдѣ угодно* (11) и гдѣ конечно выгодно.»

Паровой двигатель сдѣлалось возможнымъ ставить по произволу тамъ, гдѣ это было выгодно и удобно, гдѣ дешевле подлежащій обработкѣ матеріалъ и гдѣ дешевле мужикъ съ бабой. Вѣтрянка не будетъ работать, когда нѣтъ вѣтра, и можетъ поставить населеніе въ невозможность удовлетворить самую насущную потребность «ѣсть хлѣбъ»; паровой-же двигатель можетъ молоть, не боясь никакихъ неожиданныхъ случайностей природы, можетъ работать день и ночь. Ни вѣтру, ни бабьему станку, приводимому въ дѣйствіе бабьей же ногой, конечно не было уже возможности поровняться или побороться съ этой неустанно проявляемой силой машины-двигателя.

Но чтобы машина-двигатель была дѣйствительно въ движеніи и была бы «не простымъ сочетаніемъ ея желѣзныхъ членовъ», а дѣйствительно передавала-бы силу машинѣ-орудію,—необходимо, чтобы эта сила находилась въ самой паровой машинѣ. «Если мы спросимъ, откуда эта сила берется въ самой паровой машинѣ, то отвѣтъ будетъ ясенъ: изъ воды и топлива. Но вода въ свою очередь играетъ роль промежуточнаго, передаточнаго органа: ея паръ дѣйствуетъ только какъ пружина, которой упругость мы увеличиваемъ нагрѣваніемъ насчетъ теплоты, развиваемой топливомъ. Значитъ, если паровой двигатель и получилъ все свое значеніе благодаря своей универсальности, то причину этой универсальности надобно искать въ свойствахъ топлива, такъ какъ сама паровая машина есть не болѣе какъ приспособленіе для того, чтобы эксплуатировать силу, заключенную въ топливо.»

Такимъ образомъ оказывается, что корень переворота заключается въ открытіи силы, заключающейся въ топливѣ и проявляющейся вездѣ, всегда и въ такихъ количествахъ, какое къ тому потребуются — если есть налицо необходимое количество топлива, скрывающаго въ себѣ эту силу. Безъ этой освобожденной изъ топлива силы, всѣ эти желѣзные выдумки, машины-орудія, машины-двигатели, стояли бы бездыханными мертвецами, простыми «сочетаніями желѣзныхъ членовъ». Такой источникъ этой силы и стало-быть источникомъ всего переворота найденъ былъ въ каменномъ углѣ, «универсальномъ источникѣ силы

современной промышленности» (стр. 12). «Каменный уголь удобенъ для храненія и перевозки на значительныя разстоянія. Въ его черныхъ глыбахъ хранится запасъ силы и разсыпается отъ истощеній на многія тысячи верстъ, гдѣ въ этой силѣ нуждаются. Сохраняетъ онъ этотъ драгоценный запасъ, этотъ зарядъ свой, многіе годы, не требуя ухода и преспокойно лежа въ кучахъ, и наконецъ отдаетъ эту силу безъ сопротивленія, стоитъ его только зажечь» (стр. 12).

Вотъ какое благополучіе свалилось по божьему произволу на счастливаго обладателя купона! Дана ему въ полное распоряженіе не случайная какая-нибудь сила животного, воды или вѣтра, — а вѣчная, неизмѣнная, увеличиваемая и уменьшаемая по произволу «сила солнечнаго луча», — сила, употребляемая тамъ, гдѣ надо, гдѣ удобно, когда надо и когда удобно. Получивъ этотъ драгоценный даръ, господинъ купонъ получилъ и возможность повелѣвать этой силой, заточивъ ее въ машину-двигатель, а соединивъ этотъ неустанный двигатель съ машиною-орудіемъ, онъ замѣнилъ устающія руки человѣческія желѣзными неустанными руками, не покладаящими своихъ желѣзныхъ пальцевъ ни на одно мгновеніе!

V.

Всѣ трудящіеся люди, своими руками дѣлавшіе гвоздь, замокъ, холстъ, сукно и т. д., всѣ поголовно должны были прекратить свой домашній трудъ. На нихъ понесло съ фабрики и гвоздями, и холстами, и замками, и сукнами — точно снѣгомъ; все стало дѣлаться лучше, а ужъ о дешевизнѣ и говорить нечего. Въ три года все почище деревенскихъ бабъ — душъ въ триста — не наткетъ такого количества холста, которое фабрика «выброситъ» въ одну минуту, и не на одну какую-нибудь деревню въ триста бабьихъ душъ, а на триста деревень, съ несмѣтнымъ множествомъ душъ всякаго пола и возраста. Сидѣть за станкомъ годъ, чтобы наткать на одну рубаху, глупо и обидно; рубаха стоитъ всего три гривеника — только надо добыть этотъ гривеникъ, эту кругленькую штучку, которую стали требовать, если хочешь получить холста, не сѣдя за станкомъ. Но эти кругленькія штучки и стала давать та же фабрика; оторванная ею отъ своего станка, женщина-хозяйка стала у чужого станка простой работницей.

А когда и мужики, и молодые парни стали уходить изъ-дому, бросать свою домашнюю работу изъ-за кругленькихъ кружочковъ, уходить, потому что на кругленькіе кружочки и дешевле, и лучше купишь замокъ и гвоздь — то темный-претемный дядя Софронъ не могъ уже не видѣть опять съ поразительной ясностью, что антихристъ родился окончательно. Все стало дешевле, красивѣе, лучше — и гвоздь, и холстъ, и сукно, и замокъ — и деньги на все это даютъ; но баба уходитъ отъ дѣтей, сынъ отъ отца, мужъ отъ жены, а дѣвушки, которымъ надо бы быть матерями, хозяйками, ро-

дѣтъ въ канавахъ и на задворкахъ, бросаютъ дѣтей и гибнуть сами, а инныя такъ родятъ и еще хвастаются: «коли вст, говорятъ, будутъ почитать, такъ некого будетъ и крестить». Развѣ это не антихристовы дѣла? Вотъ подѣ всѣмъ-то этимъ впечатлѣніями и возмечталъ нашъ темный-претемный «механикъ-самоучка» перекинуть антихристовы выдумки. «Топливо» — не будь каменнаго угля — онъ, механикъ, все-таки бы могъ раздобыть въ значительномъ количествѣ: стоить только угостить лѣсника Кудышкина — «и руби въ господскомъ лѣсу сколько влѣзешь!» Эту силу онъ раздобудетъ хотъ и воровскими манеромъ; но вотъ дѣвать то ее некуда — нѣтъ у него никакой возможности устроить на своемъ дворѣ паровую машину, машину-двигатель, а не будетъ машина «двигать» бабій станокъ, баба не усидитъ на ручной работѣ, уйдетъ на фабрику; а онъ не хочетъ ее пускать, хочетъ, чтобы она была дома, но чтобы ей не сидѣть цѣлую зиму за тремя аршинами... Взять силу лошадиную — кормить ее надо овсомъ, а это дорожка каменнаго угля. Слѣдовательно, чтобы не бросать дома, чтобы не идти на фабрику, чтобы не губить женъ и сестеръ и не бросать въ пустомъ домѣ дѣтей, надобно *аудумать* такого *домашняго пособника*, который бы во-первыхъ *ничего не стоилъ*, былъ бы советомъ даровой, дѣйствовалъ самъ собой, безъ топлива или овса. и вторыхъ надобно, чтобы при помощи этого пособника былъ *облегченъ домашній трудъ* во всѣхъ отношеніяхъ и во всѣхъ домашнихъ поделкахъ. Долженъ быть этотъ домашній пособникъ тутъ же на дворѣ, подѣ сараемъ; какъ понадобилось ткать, «пошелъ въ сарай, снялъ съ крюка веревку, отцѣпилъ *его*» — и станокъ застучалъ, а баба только посматриваетъ и ребенка кормитъ. Пришло время спать, опять пошелъ въ сарай, зацѣпилъ веревку на крючокъ и стала машина. Надо молотить — опять отцѣпилъ и пригналъ пособника къ цѣпу; надо масло бить — пригналъ пособника къ маслобойкѣ. А когда не надо — взялъ да опять веревку зацѣпилъ на крючокъ, «анъ она и стала». Такъ «она» и стоитъ недвижимо, пока не надо, а какъ надо, такъ и пошла. Такимъ родомъ въ дому будетъ все честно-благородно, у всѣхъ будетъ дѣло легкое, не каторжное, бабы будутъ больше пѣсень пѣть, чаще Богу молиться, а не ругаться со зломъ, съ бѣдностію и усталю.

Такъ мечталъ бѣдный, чувствительный Мишанька, самоучка-механикъ, огорченный антихристовыми поступками, разстроивающими всѣ его нравственные связи съ своими близкими и дѣлающими чинимъ-то работъ и невольникомъ. И долго мучительно бился онъ надъ своимъ «вѣчнымъ двигателемъ», всякій разъ оканчивая дѣло домогъ умалишенныхъ. Но такъ какъ въ его мечтаніяхъ говорила чистая мысль человѣческая, исходившая изъ чистаго и любящаго сердца, то онъ и былъ совершенно правъ въ своихъ мечтаніяхъ. *Какъ онъ думалъ, такъ теперь и все сбывается на дѣлѣ, слово въ слово:*

Во 1-хъ будетъ у него въ домѣ тотъ самый *домашній пособникъ*, о которомъ онъ мечталъ и который недвижимо будетъ стоять въ сараѣ до тѣхъ поръ, пока «не потребуется».

Во 2-хъ будетъ этотъ пособникъ жить *безъ всякаго корма*: безъ дровъ, безъ овса, безъ паровъ, безъ каменнаго угля,

и въ 3-хъ будетъ этотъ домашній работникъ работать безъ участія паровой машины, которой современемъ такъ же придется исчезнуть съ лица земли, какъ и самому г. купону.

Стало-быть и на нашей улицѣ будетъ праздникъ!

VI.

«Домашній пособникъ», о которомъ мечталъ механикъ-самоучка, огорченный антихристовыми неправдами, желающій жить по-божески — на техническомъ языкѣ называется «*аккумуляторъ*». Чтобы несвѣдующій читатель сразу понялъ секретъ и смыслъ этой выдумки, я привожу изъ брошюры г. Энгельмейера самое простѣйшее изъ объясненій: карманныя часы. «Когда мы заводимъ часы ключикомъ, то при каждомъ его поворотѣ мы совершаемъ нѣкоторую мускульную работу; эту мускульную работу *вбираетъ въ себя* пружина, которую стягиваютъ обороты ключика, и затѣмъ, втеченіе сутокъ, станутая пружина постепенно освобождаетъ эту скрытую ею нашу силу: втеченіе сутокъ часы ходятъ только вслѣдствіе нашей мускульной силы, истраченной на обороты ключика». Если же такая маленькая пружинка, какъ часовая, можетъ сохранять ничтожное количество мускульной силы, затраченной на то, чтобы завести, то такимъ же образомъ можетъ быть сохранена и затрата мускульной силы гораздо большихъ развѣровъ, а стало-быть и всякой силы вообще — силы вѣтра, воды. Аккумуляторъ есть такимъ образомъ аппаратъ, умѣющій сохранить въ себѣ силу, введенную въ него извнѣ какимъ бы то ни было образомъ и способомъ. Кромѣ того, что аккумуляторъ сохраняетъ эту силу, онъ позволяетъ переносить и перевозить эту силу, куда понадобится по произволу, можетъ прекращать ея дѣйствіе и можетъ возобновлять его.

Хотя, по словамъ г. Энгельмейера (стр. 40), «*передача силы путемъ развозки въ аккумуляторы*» еще не вышла изъ сферы опытовъ, но намъ, черноработнымъ, радостно знать и о тѣхъ опытахъ, которые дѣлаются и которые несомнѣнно доказываютъ, что въ концѣ-концовъ они увѣнчаются полнымъ успѣхомъ. Не диво-ли, въ самомъ дѣлѣ, если близится къ осуществленію слѣдующій удивительный проектъ: «источникъ *природной* силы соединяется съ мѣстами потребления этой силы (т. е. пока съ нынѣшними фабриками) легкой постройкой желѣзными дорогами, т. е. въ видѣ укрѣпленнаго на столбахъ рельса или даже проволоки. По рельсу ходятъ особые вагончики съ аккумуляторами: къ потребителямъ аккумуляторы идутъ заряженные, т. е. наполненные силой, а возвраща-

ются разряженными, такъ сказать пустой посудой. Перевозка эта возможна даже безъ участія прислуги, а для движенія назначаются нѣсколько изъ тѣхъ же аккумуляторовъ» (41).

Сравнивъ существующія системы аккумуляторовъ «по ихъ способности къ запасанію силы», авторъ брошюры говоритъ, что дѣло техника въ этомъ отношеніи состоитъ теперь въ томъ, «чтобы выработать такіе типы аккумуляторовъ, которые бы по удобству пользованія ими можно было приравнять къ природному аккумулятору — каменному уголю» (37). «Самые приемы улавленія силъ уже почти не требуютъ улучшенія!» (стр. 37). И такъ уже найдено возможнымъ улавлять силы, сохранять ихъ въ аккумуляторахъ, переносить, перевозить, пускать въ ходъ, когда и гдѣ надо. Но, говоритъ авторъ (и къ удивленію, находить возможнымъ прибавить къ этому «но» прискорбнѣйшее «увы!»), мечта о томъ, чтобы такіе искусственные аккумуляторы поровнялись въ качествѣ съ природнымъ аккумуляторомъ — каменнымъ углемъ — вотъ этого-то — *увы! увы!* — еще не достигнуто въ настоящее время!!

Какія же такія силы, равносильныя силѣ солнечнаго луча, таящагося въ каменномъ углѣ, научила насъ наука улавливать въ настоящее время?

«Разъ мы будемъ имѣть такіе аккумуляторы (удобные для переноски, перевозки, терпѣливые и невредимые долгіе годы, какъ каменный уголь), и наша власть надъ силами природы значительно расширится: мы будемъ улавливать и запасать въ аккумуляторы (какъ въ кускѣ каменнаго угля) солнечный лучъ, вѣтеръ, морской прибой и всякія другія силы; мы будемъ хранить эти запасы и расходовать ихъ по усмотрѣнію» (стр. 37).

Но и этого мало. Уже достигнута не только возможность улавливанія силъ природы, не только возможность сохраненія ихъ «въ посудѣ» (стр. 40), но и возможность передачи этихъ уловленныхъ силъ на большомъ разстояніи отъ силового центра иными, болѣе доступными и простыми способами.

На страничкѣ 39 читаемъ:

«Электрическая передача работы составляетъ теперь истинную злобу дня. Вкратцѣ всякая электрическая передача работы состоитъ изъ слѣдующихъ степеней: имѣется какой-нибудь источникъ силы — вода, паръ, газовый двигатель (а теперь солнечный лучъ, вѣтеръ, морской прибой), который вращаетъ динамо-машину. При этомъ механическая работа (1-я степень) превращается (2-я степень) въ электрическій токъ, который (3-я степень) передается по двумъ проволокамъ (для прямого и обратнаго тока) къ мѣсту назначенія. Здѣсь (4-я степень) этотъ токъ принимается одною или нѣсколькими динамо-машинами, которыя вращаются, причемъ электричество обратно превращается (5-я степень) опять въ механическую работу» (39).

Опыты передачи силъ изъ источника ихъ на разстояніе были между прочимъ произведены на разстояніи 56 верстъ между Парижемъ и стан-

ціею Сѣверной жел. дор. Крейль. Сила около 80 паровыхъ лошадей, развиваемая въ Крейль паровымъ двигателемъ, дошла до проволоки до Парижа въ размѣрѣ 65 проц. т. е. 52 лошадиныхъ силъ. «Хотя потери въ работѣ — говоритъ г. Энгельмейеръ — все еще велики, но *вѣдь если мы располагаемъ даровой силой природы (а мы ею уже располагаемъ), то потери эти теряютъ значеніе, а то-то и важно*» (стр. 40).

«Если мы имѣемъ — продолжаетъ авторъ — въ какомъ-нибудь мѣстѣ, положимъ, водопадъ, или просто устроили плотину, если улавливаемъ силу паденія воды и съ помощью аккумуляціи и канализаціи (передачи по проволокамъ) раздаемъ ее (силу паденія воды или вѣтра) въ разные мѣста потребленія, то въ предѣлахъ окружности радіусомъ въ 20 верстъ мелкая промышленность (кустарь) получить болѣе дешевую силу, чѣмъ теперь съ паровой машиной».

VII.

Изложивъ все, чѣмъ добыто техникою по части аккумуляціи и передачи работы даровыхъ природныхъ силъ, авторъ рисуетъ намъ недалекое будущее въ такихъ очертаніяхъ:

«Передъ нами развертывается слѣдующая картина: на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бушуетъ какая-нибудь стихійная сила, по берегамъ рѣкъ, морей или на открытыхъ вѣтрамъ возвышенностяхъ, воздвигаются особые учрежденія, которыя улавливаютъ мѣстную *своевольную* силу природы и превращаютъ ее въ разбѣренные и послушные заряды аккумуляторовъ. Каждый такой *силовой центръ* окруженъ потребителями силы, т. е. производителями всякаго рода, и соединенъ съ ними цѣлою сѣтью путей (проволокъ), по которымъ производится *раздача силъ*» (43).

Прямой логическій результатъ устройства *силовыхъ центровъ* неминуемо долженъ выразиться въ томъ, что «каждый ремесленникъ можетъ получить нужную ему часть движущей силы. Мелкая промышленность первая обратится къ *новой силѣ* и, располагая болѣе, чѣмъ теперь, дешевою силою, будетъ развиваться. Развиваясь, она буюдетъ оснаивать рынокъ у крупной промышленности, и тогда крупная промышленность, оставшись при паровой машинѣ, особенно вдали отъ силовыхъ центровъ, окажется въ слѣдующемъ положеніи: съ одной стороны уменьшится сбытъ фабрика, съ другой — увеличится цѣна на каменный уголь, то есть вадорожаетъ фабрикація. А это и ее заставитъ обратиться къ *новой силѣ*» (стр. 47), то есть стать на одну доску съ мелкимъ ремесленникомъ — чего именно теперь-то и нѣтъ: у крупнаго промышленника есть такая могучая сила, какъ каменный уголь и паровой двигатель, а у ремесленника только руки, жена и пятеро дѣтей махъ-мада меньше. Тогда же и у ремесленника будутъ не одніи руки, а та самая могучая сила, какая и у фабриканта, и нетрудно представить, что мелкій ремесленникъ скоро быстро размножитъ

свои маленькія мастерскія и заполнить рынокъ своими издѣліями.

Такимъ образомъ сбывается тайное желаніе всякаго чернорабочаго, всякаго кустара, всякой деревенской бабы, бывшей за станкомъ всю зиму. Сбываются несбывшіяся мечтанія механика-самоучки: у него будетъ наконецъ стоять въ сараѣ та самая сила, о которой онъ мечталъ и которая поможетъ ему, его женѣ и его семьѣ не выводить себя и не выходить на продажу. Сбываются почти фантастическія мечтанія древняго философа, мечтавшаго о томъ, чтобы инструментъ работалъ самъ собой по приказанію и даже *предчувствію* человѣка. Сбываются тайные, глубоко выстраданные идеалы людей, скорбѣвшихъ о порабощеніи человѣка. Г. Энгельмейеръ приводитъ слова одного изъ такихъ *человѣчѣйшихъ* техническихъ авторитетовъ, Ф. Рело, давнымъ-давно запечаливавшагося о положеніи рабочаго и крѣпко надѣявшагося, «что мелкій ткачъ былъ бы освобожденъ отъ перелѣса капитала, если-бы мы могли ему дать для его станка нужную ему часть движущей силы». Все, слава Богу, понемногу сбывается.

Но...

VIII.

Но, хоть сбудется все это непременно, только прежде чѣмъ сбудется,—купонъ натворитъ еще пропасть всякаго грѣха.

Какъ только объявится гдѣ-нибудь одинъ «*силовой центръ*» и какъ только хоть одинъ купонникъ наживетъ «на вѣтру» рубль серебромъ—тотчасъ же въ купонномъ мірѣ начнется неистовое ликованіе. «Можно торговать... вѣтрами!» Да чего же лучше? Все, что торгуетъ сивухой, желѣзомъ, каменнымъ углемъ, ситцемъ—все полѣзетъ на «возвышенныя мѣста», выправитъ патенты, станетъ арендовать «у господъ» вѣтряные бугры, откупать у «общества» вѣтры, заведетъ вѣтряные процессы, а также и поддѣлку аккумуляторовъ. И ужъ поживетъ купонникъ въ свое удовольствіе! Поживетъ и помѣщикъ, отлавлившій въ аренду свой вѣтряной бугоръ, и адвокатъ,

взыскавшій «съ общества» крестьянъ деревни Горбловой, также отдавшихъ въ аренду свои вѣтряныя мѣста и неоправдавшихъ контракта, такъ какъ цѣлый годъ никакихъ вѣтровъ на арендованномъ мѣстѣ не случилось,—все поживутъ въ полное свое удовольствіе! Драки даже у вѣтряныхъ агентовъ и арендаторовъ будутъ происходить въ воздушныхъ пространствахъ, и дѣла объ этихъ дракахъ будутъ разбираться въ мировыхъ учрежденіяхъ. Будутъ происходить онисии крестьянскаго имущества за невозможность «вѣтряныхъ» и будутъ сѣчь въ волостномъ правленіи за недонимку также «по вѣтряной части». Ребятишкамъ строжайше будетъ запрещено ставить на крышахъ вертушки и строить весной на ручьяхъ мельницы, а за нарушеніе будутъ брать штрафы. Староста опять будетъ проклипать свою жизнь, оттого что пришло еще новое мученіе: кромѣ земскихъ, дорожныхъ, казенныхъ поземельныхъ, страховыхъ и иныхъ сборовъ, надо еще выколачивать «вѣтряные»...

Все будетъ! Но непременно будетъ и другое.

Именно потому, что вѣтеръ станетъ *товаромъ*, кулачничко, арендававшій «вѣтры» у помѣщика Ароматова, будетъ всячески распространять свой товаръ, какъ онъ теперь распространяетъ свой товаръ—сивуху. Будетъ «довѣрять» въ долгъ, усовѣститъ бабу не жалѣть денегъ провести проволоку и разлакомитъ ее аккумуляторомъ, какъ теперь разлакомливаетъ ее ситчикомъ съ живописнымъ рисункомъ. И такъ-ли, саякъ-ли проволока эта проткнется сквозь стѣну мужицкой избы, такъ-ли, саякъ-ли познакомитъ человѣка съ облегченнымъ трудомъ, съ правомъ дать отдохнуть и тѣлу, и душѣ. И какъ только «на людяхъ» поймутъ, что это дѣло хорошее, такъ и завалятъ «арендателя» *силовымъ* центромъ купонами! Завалятъ его, какъ снѣгомъ, нанесутъ на него цѣлый сугробъ купоновъ и доведутъ его до того, что онъ прямо погребется подъ тяжестью этого сугроба. У него такъ будетъ всего много, и притомъ такъ все это задаромъ, что онъ перестанетъ думать, желать и долженъ просто-таки исчезнуть съ лица земли, «помереть» отъ объяденія и пьянства, безъ покаянія и безъ причастія: не все коту будетъ масляница!



DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

